СОБРАНИЕ ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ (1911-1916)



Джек ЛОНДОН

Jack London

Джек Лондон. Собрание повестей и рассказов (1911-1916)

Джек Лондон

Аннотация
ДЖЕК ЛОНДОН. «РАССКАЗЫ ЮЖНОГО МОРЯ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
- Дом Мапуи
- Зуб кашалота
- Мауки
- Ату их, ату!
- Язычник
- Страшные Соломоновы острова
- Неукротимый белый человек
- Потомок Мак-Коя

ДЖЕК ЛОНДОН. «СЫН СОЛНЦА» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
- Сын Солнца
- Буйный характер Алозия Пенкберна
- Дьяволы на Фуатино
- Шутники с Нью-Гиббона
- Маленький счет Сузину Холлу
- Ночь на Гободо
- Перья Солнца
- Жемчуг Парлея

ДЖЕК ЛОНДОН. «ХРАМ ГОРДЫНИ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
Храм гордыни
Кулау-прокаженный
Прощай, Джек!
«Алоха Оэ»
Чун А-чун
Шериф Коны
Джек Лондон. Смок Беллью. Смок и Малыш (сборник)
Смок Беллью
Вкус мяса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Мясо
I
II
III
IV
V

VI
VII
За золотом на ручей Индианки
I
II
III
Малыш видит сны
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Человек на другом берегу
I
II
III
IV
V
VI
Гонки
I
II
III

IV
V
VI
Смок и Малыш
Маленький Карсон
I
II
III
Как вешали Калтуса Джорджа
I
II
III
Ошибка Господа Бога
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Яичный переполох
I
II
III
IV

V
VI
Поселок Тру-ля-ля
I
II
III
IV
V
Тайна женской души
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
ДЖЕК ЛОНДОН. «РОЖДЕННАЯ В НОЧИ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Рожденная в Ночи
Безумие Джона Харнеда
Когда мир был юным
Польза сомнения
Воздушный шантаж
Только кулаки
Война
Под палубным тентом
Убить человека
Мексиканец
Джек Лондон. Джон — Ячменное Зерно
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Джек Лондон. Алая чума
Глава первая

Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
ДЖЕК ЛОНДОН. «СИЛА СИЛЬНЫХ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
Сила сильных
По ту сторону рва
Беспримерное нашествие
Враг всего мира
Мечта Дебса
Морской фермер
Сэмюэль
ДЖЕК ЛОНДОН. «ЧЕРЕПАХИ ТАСМАНА» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
Черепахи Тасмана
Неизменность форм
История, рассказанная в палате для слабоумных
Бродяга и фея
Блудный отец
Первобытный поэт
Finis
Конец сказки
ДЖЕК ЛОНДОН. «КРАСНОЕ БОЖЕСТВО» (СБОРНИК

РАССКАЗОВ)
Красное божество
Бесстыжая
Как аргонавты в старину...
Принцесса
ДЖЕК ЛОНДОН. «НА ЦИНОВКЕ МАКАЛОА» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
На циновке Макалоа
Кости Кахекили
Исповедь Элис
Берцовые кости
Дитя воды
Слезы А Кима
Прибой Канака
ДЖЕК ЛОНДОН. «ГОЛЛАНДСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
Голландская доблесть
Тайфун у берегов Японии
Исчезнувший браконьер
На берегах Сакраменто
Крис Фаррингтон — настоящий моряк
Абордаж отбит
Приключение в воздушном океане
Плешивый
В бухте Йеддо
Их дело — жить

Джек Лондон. Бюро убийств
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
ГЛАВА VII
ГЛАВА VIII
ГЛАВА IX
ГЛАВА X
ГЛАВА XI
ГЛАВА XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
ПЛАН ЗАВЕРШЕНИЯ КНИГИ, НАМЕЧЕННЫЙ ДЖЕКОМ ЛОНДОНОМ
НАБРОСОК ОКОНЧАНИЯ РОМАНА, СДЕЛАННЫЙ ЧЕРМЕЙН ЛОНДОН

Аннотация

Десять авторских сборников, две внецикловых повести, произведения, написанные в соавторстве.

Содержание:

1. Рассказы южного моря (сборник) *(1911)*
2. Сын Солнца (сборник) *(1912)*
3. Храм гордыни (сборник) *(1912)*
4. Смок Беллью. Смок и Малыш (сборник) *(1912)*
5. Рожденная в Ночи (сборник) *(1913)*
6. Джон – Ячменное Зерно (повесть) *(1913)*
7. Алая чума (повесть) *(1912)*
8. Сила сильных (сборник) *(1914)*
9. Черепахи Тасмана (сборник) *(1916)*
10. Красное божество (сборник) *(1918)*
11. На циновке Макалоа (сборник) *(1919)*
12. Голландская доблесть (сборник) *(1922)*
13. Бюро убийств (роман) *(1963)*

ДЖЕК ЛОНДОН
«РАССКАЗЫ ЮЖНОГО МОРЯ»
(СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Дом Мапуи

Несмотря на свои тяжеловесные очертания, шхуна «Аораи» двигалась при легком ветре послушно и быстро, и капитан подвел ее близко к острову, прежде чем бросить якорь чуть не доходя до того места, где начинался прибой. Атолл Хикуэру, ярдов сто в диаметре и окружностью в двадцать миль, представлял собою кольцо измельченного кораллового песка, поднимавшегося всего на четыре-пять футов над высшим уровнем прилива. На дне огромной, гладкой, как зеркало, лагуны было много жемчужных раковин, и с палубы шхуны было видно, как за узкой полоской атолла искатели жемчуга бросаются в воду и снова выходят на берег. Но войти в атолл не могла даже торговая шхуна. Небольшим гребным катерам при попутном ветре удавалось пробраться туда по мелкому извилистому проливу, шхуны же останавливались на рейде и высылали к берегу лодки.

С «Аораи» проворно спустили шлюпку, и в нее спрыгнули несколько темнокожих матросов, голых, с алыми повязками вокруг бедер. Они взялись за весла, а на корме у руля стал молодой

человек в белом костюме, какие носят в тропиках европейцы. Но он не был чистым европейцем: золотистый отлив его светлой кожи и золотистые блики в мерцающей голубизне глаз выдавали примесь полинезийской крови. Это был Рауль, Александр Рауль, младший сын Мари Рауль, богатой квартеронки, владелицы шести торговых шхун. Шлюпка одолела водоворот у самого входа в пролив и сквозь кипящую стену прибоя прорвалась на зеркальную гладь лагуны. Рауль выпрыгнул на белый песок и поздоровался за руку с высоким туземцем. У туземца были великолепные плечи и грудь, но обрубок правой руки с торчащей на несколько дюймов, побелевшей от времени костью свидетельствовал о встрече с акулой, после которой он уже не мог нырять за жемчугом и стал мелким интриганом и прихлебателем.

— Ты слышал, Алек? — были его первые слова. — Мапуи нашел жемчужину. Да какую жемчужину! Такой еще не находили на Хикуэру, и нигде на всех Паумоту, и нигде во всем мире. Купи ее, она еще у него. Он дурак и много не запросит. И помни: я тебе первый сказал. Табак есть?

Рауль немедля зашагал вверх по берегу, к лачуге под высоким пандановым деревом. Он служил

у своей матери агентом, и в обязанности его входило объезжать все острова Паумоту и скупать копру, раковины и жемчуг.

Он был новичком в этом деле, плавал агентом всего второй раз и втайне тревожился, что не умеет оценивать жемчуг. Но когда Мапуи показал ему свою жемчужину, он сумел подавить изумленное восклицание и сохранить небрежную деловитость тона. Но между тем жемчужина поразила его. Она была величиною с голубиное яйцо, безупречной формы, и белизна ее отражала все краски матовыми огнями. Она была как живая. Рауль никогда не видел ничего подобного ей. Когда Мапуи положил жемчужину ему на ладонь, он удивился ее тяжести. Это подтверждало ценность жемчужины. Он внимательно рассмотрел ее через увеличительное стекло и не нашел ни малейшего порока или изъяна: она была такая чистая, что казалось, вот-вот растворится в воздухе. В тени она мягко светилась переливчатым лунным светом. И так прозрачна была эта белизна, что, бросив жемчужину в стакан с водой, Рауль едва мог различить ее. Так быстро она опустилась на дно, что он сразу оценил ее вес.

— Сколько же ты хочешь за эту жемчужину? — спросил он с ловко разыгранным равнодушием.

— Я хочу… — начал Мапуи, и из-за плеч Мапуи, обрамляя его коричневое лицо, высунулись коричневые лица двух женщин и девочки; они закивали в подтверждение его слов и, еле сдерживая волнение, жадно сверкая глазами, вытянули вперед шеи.

— Мне нужен дом, — продолжал Мапуи. — С крышей из оцинкованного железа и с восьмиугольными часами на стене. Чтобы он был длиной в сорок футов и чтобы вокруг шла веранда. В середине чтобы была большая комната, и в ней круглый стол, а на стене часы с гирями. И чтобы было четыре спальни, по две с каждой стороны от большой комнаты; и в каждой спальне железная кровать, два стула и умывальник. А за домом кухня — хорошая кухня, с кастрюлями и сковородками и с печкой. И чтобы ты построил мне этот дом на моем острове, на Факарава.

— Это все? — недоверчиво спросил Рауль.

— И чтобы была швейная машина, — заговорила Тэфара, жена Мапуи.

— И обязательно стенные часы с гирями, — добавила Наури, мать Мапуи.

— Да, это все, — сказал Мапуи.

Рауль засмеялся. Он смеялся долго и весело. Но, смеясь, он торопливо решал в уме арифметиче-

скую задачу: ему никогда не приходилось строить дом, и представления о постройке домов у него были самые туманные. Не переставая смеяться, он подсчитывал, во что обойдется рейс на Таити за материалами, сами материалы, обратный рейс на Факарава, выгрузка материалов и строительные работы. На все это, круглым счетом, потребуется четыре тысячи французских долларов, иными словами — двадцать тысяч франков. Это немыслимо. Откуда ему знать, сколько стоит такая жемчужина? Двадцать тысяч франков — огромные деньги, да к тому же это деньги его матери.

— Мапуи, — сказал он, — ты дурак. Назначь цену деньгами.

Но Мапуи покачал головой, и три головы позади него тоже закачались.

— Мне нужен дом, — сказал он, — длиной в сорок футов, чтобы вокруг шла веранда…

— Да, да, — перебил его Рауль. — Про дом я все понял, но из этого ничего не выйдет. Я дам тебе тысячу чилийских долларов…

Четыре головы дружно закачались в знак молчаливого отказа.

— И кредит на сто чилийских долларов.

— Мне нужен дом… — начал Мапуи.

— Какая тебе польза от дома? — спросил Рауль. — Первый же ураган снесет его в море. Ты сам это знаешь.

Капитан Раффи говорит, что вот и сейчас можно ждать урагана.

— Только не на Факарава, — сказал Мапуи, — там берег много выше. Здесь, может быть, и снесет; на Хикуэру всякий ураган опасен. Мне нужен дом на Факарава: длиною в сорок футов и вокруг веранда…

И Рауль еще раз выслушал весь рассказ о доме. В течение нескольких часов он старался выбить эту навязчивую идею из головы туземца, но жена, и мать Мапуи, и его дочь Нгакура поддерживали его. Слушая в двадцатый раз подробное описание вожделенного дома, Рауль увидел через открытую дверь лачуги, что к берегу подошла вторая шлюпка с «Аораи». Гребцы не выпускали весел из рук, очевидно спеша отвалить. Помощник капитана шхуны выскочил на песок, спросил что-то у однорукого туземца и быстро зашагал к Раулю. Внезапно стало темно, — грозовая туча закрыла солнце. Было видно, как за лагуной по морю быстро приближается зловещая линия ветра.

— Капитан Раффи говорит, надо убираться отсюда, — сразу же начал помощник. — Он велел

передать, что, если есть жемчуг, все равно надо уходить, авось, успеем собрать его после. Барометр упал до двадцати девяти и семидесяти.

Порыв ветра тряхнул пандановое дерево над головой Рауля и пронесся дальше; несколько спелых кокосовых орехов с глухим стуком упали на землю. Пошел дождь — сначала вдалеке, потом все ближе, надвигаясь вместе с сильным ветром, и вода в лагуне задымилась бороздками. Дробный стук первых капель по листьям заставил Рауля вскочить на ноги.

— Тысячу чилийских долларов наличными, Мапуи, — сказал он, — и кредит на двести.

— Мне нужен дом… — затянул Мапуи.

— Мапуи! — прокричал Рауль сквозь шум ветра. — Ты дурак!

Он выскочил из лачуги и вместе и помощником капитана кое-как добрался до берега, где их ждала шлюпка. Шлюпки не было видно. Тропический ливень окружал их стеной, так что они видели только кусок берега под ногами и злые маленькие волны лагуны, кусавшие песок. Рядом выросла фигура человека. Это был однорукий Хуру-Хуру.

— Получил жемчужину? — прокричал он в ухо Раулю.

— Мапуи дурак! — крикнул тот в ответ, и в следующую минуту их разделили потоки дождя.

Полчаса спустя Хуру-Хуру, стоя на обращенной к морю стороне атолла, увидел, как обе шлюпки подняли на шхуну и «Аораи» повернула прочь от острова. А в том же месте, словно принесенная на крыльях шквала, появилась и стала на якорь другая шхуна, и с нее тоже спустили шлюпку. Он знал эту шхуну. Это была «Орохена», принадлежавшая метису Торики, торговцу, который сам объезжал острова, скупая жемчуг, и сейчас, разумеется, стоял на корме своей шлюпки. Хуру-Хуру лукаво усмехнулся. Он знал, что Мапуи задолжал Торики за товары, купленные в кредит еще в прошлом году.

Гроза пронеслась. Солнце палило, и лагуна опять стала гладкой, как зеркало. Но воздух был липкий, словно клей, и тяжесть его давила на легкие и затрудняла дыхание.

— Ты слышал новость, Торики? — спросил Хуру-Хуру. — Мапуи нашел жемчужину. Такой никогда не находили на Хикуэру, и нигде на всех Паумоту, и нигде во всем мире. Мапуи дурак. К тому же он у тебя в долгу. Помни: я тебе первый сказал. Табак есть?

И вот к соломенной лачуге Мапуи зашагал

Торики. Это был властный человек, но не очень умный. Он небрежно взглянул на чудесную жемчужину — взглянул только мельком — и преспокойно опустил ее себе в карман.

— Тебе повезло, — сказал он. — Жемчужина красивая. Я открою тебе кредит на товары.

— Мне нужен дом… — в ужасе залепетал Мапуи. — Чтобы длиной был сорок футов…

— А, поди ты со своим домом! — оборвал его торговец. — Тебе нужно расплатиться с долгами, вот что тебе нужно. Ты был мне должен тысячу двести чилийских долларов. Прекрасно! Теперь ты мне ничего не должен. Мы в расчете. А кроме того, я открою тебе кредит на двести чилийских долларов. Если я удачно продам эту жемчужину на Таити, увеличу тебе кредит еще на сотню — всего, значит, будет триста. Но помни, — только если я удачно продам ее. Я могу еще потерпеть на ней убыток.

Мапуи скорбно скрестил руки и понурил голову. У него украли его сокровище. Нового дома не будет, — он попросту отдал долг. Он ничего не получил за жемчужину.

— Ты дурак, — сказала Тэфара.

— Ты дурак, — сказала старая Наури. — Зачем ты отдал ему жемчужину?

— Что мне было делать? — оправдывался Мапуи. — Я был ему должен. Он знал, что я нашел жемчужину. Ты сама слышала, как он просил показать ее. Я ему ничего не говорил, он сам знал. Это кто-то другой сказал ему. А я был ему должен.

— Мапуи дурак, — подхватила и Нгакура.

Ей было двенадцать лет, она еще не набралась ума-разума. Чтобы облегчить душу, Мапуи дал ей такого тумака, что она свалилась наземь, а Тэфара и Наури залились слезами, не переставая корить его, как это свойственно женщинам.

Хуру-Хуру, стоя на берегу, увидел, как третья знакомая ему шхуна бросила якорь у входа в атолл и спустила шлюпку. Называлась она «Хира» — и недаром: хозяином ее был Леви, немецкий еврей, самый крупный скупщик жемчуга, а Хира, как известно — таитянский бог, покровитель воров и рыболовов.

— Ты слышал новость? — спросил Хуру-Хуру, как только Леви, толстяк с крупной головой и неправильными чертами лица, ступил на берег. — Мапуи нашел жемчужину. Такой жемчужины не бывало еще на Хикуэру, и на всех Паумоту, и во всем мире. Мапуи дурак: он продал ее Торики за тысячу четыреста чилийских долларов, — я

подслушал их разговор. И Торики тоже дурак. Ты можешь купить у него жемчужину, и дешево. Помни: я первый тебе сказал. Табак есть?

— Где Торики?

— У капитана Линча, пьет абсент. Он уже час как сидит там.

И пока Леви и Торики пили абсент и торговались из-за жемчужины, Хуру-Хуру подслушивал — и услышал, как они сошлись на невероятной цене: двадцать пять тысяч франков!

Вот в это время «Орохена» и «Хира» подошли совсем близко к острову и стали стрелять из орудий и отчаянно сигнализировать. Капитан Линч и его гости, выйдя из дому, еще не успели увидеть, как обе шхуны поспешно повернули и стали уходить от берега, на ходу убирая гроты и кливера и под напором шквала низко кренясь над побелевшей водой. Потом они скрылись за стеною дождя.

— Они вернутся, когда утихнет, — сказал Торики. — Надо нам выбираться отсюда.

— Барометр, верно, еще упал, — сказал капитан Линч.

Это был седой бородатый старик, который уже не ходил в море и давно понял, что может жить в ладу со своей астмой только на Хикуэру. Он вошел в дом и взглянул на барометр.

— Боже ты мой! — услышали они и бросились за ним следом: он стоял, с ужасом глядя на стрелку, которая показывала двадцать девять и двадцать.

Снова выйдя на берег, они в тревоге оглядели море и небо. Шквал прошел, но небо не прояснилось. Обе шхуны, а с ними и еще одна, под всеми парусами шли к острову. Но вот ветер переменился, и они поубавили парусов. А через пять минут шквал налетел на них с противоположной стороны, прямо в лоб, — и с берега было видно, как там поспешно ослабили, а потом и совсем убрали передние паруса. Прибой звучал глухо и грозно, началось сильное волнение. Потрясающей силы молния разрезала потемневшее небо, и оглушительными раскатами загремел гром.

Торики и Леви бегом пустились к шлюпкам. Леви бежал вперевалку, словно насмерть перепуганный бегемот. При выходе из атолла навстречу их лодкам неслась шлюпка с «Аораи». На корме, подгоняя гребцов, стоял Рауль. Мысль о жемчужине не давала ему покоя, и он решил вернуться, чтобы принять условия Мапуи.

Он выскочил на песок в таком вихре дождя и ветра, что столкнулся с Хуру-Хуру, прежде чем увидел его.

— Опоздал! — крикнул ему Хуру-Хуру. — Мапуи

продал ее Торики за тысячу четыреста чилийских долларов, а Торики продал ее Леви за двадцать пять тысяч франков. А Леви продаст ее во Франции за сто тысяч. Табак есть?

Рауль облегченно вздохнул. Все его терзания кончились. Можно больше не думать о жемчужине, хоть она и не досталась ему. Но он не поверил Хуру-Хуру: вполне возможно, что Мапуи продал жемчужину за тысячу четыреста чилийских долларов, но чтобы Леви, опытный торговец, заплатил за нее двадцать пять тысяч франков — это едва ли. Рауль решил переспросить капитана Линча, но, добравшись до жилища старого моряка, он застал его перед барометром в полном недоумении.

— Сколько по-твоему показывает? — тревожно спросил капитан, протер очки и снова посмотрел на барометр.

— Двадцать девять и десять, — сказал Рауль. — Я никогда не видел, чтобы он стоял так низко.

— Не удивительно, — проворчал капитан. — Я пятьдесят лет ходил по морям и то не видел ничего подобного. Слышишь?

Они прислушались к реву прибоя, сотрясавшего дом, потом вышли. Шквал утих. За милю от берега «Аораи», попавшую в штиль, кренило и швыряло

на высоких волнах, которые величественно, одна за другой, катились с северо-востока и с яростью кидались на коралловый берег. Один из гребцов Рауля указал на вход в пролив и покачал головой. Посмотрев в ту сторону, Рауль увидел белое месиво клубящейся пены.

— Я, пожалуй, переночую у вас, капитан, — сказал он и велел матросу вытащить шлюпку на берег и найти пристанище для себя и для остальных гребцов.

— Ровно двадцать девять, — сообщил капитан Линч, уходивший в дом, чтобы еще раз взглянуть на барометр.

Он вынес из дома стул, сел и уставился на море. Солнце вышло из-за облаков, стало душно, по-прежнему не было ни ветерка. Волнение на море усиливалось.

— И откуда такие волны, не могу понять, — нервничал Рауль. — Ветра нет… А вы посмотрите… нет, вы только посмотрите вон на ту!

Волна, протянувшаяся на несколько миль, обрушила десятки тысяч тонн воды на хрупкий атолл, и он задрожал, как от землетрясения. Капитан Линч был ошеломлен.

— О Господи! — воскликнул он, привстав со стула, и снова сел.

— А ветра нет, — твердил Рауль. — Был бы ветер, я бы еще мог это понять.

— Можешь не беспокоиться, будет и ветер, — мрачно ответил капитан.

Они замолчали. Пот выступил у них на теле миллионами мельчайших росинок, которые сливались в капли и ручейками стекали на землю. Не хватало воздуха, старик мучительно задыхался. Большая волна взбежала на берег, облизала стволы кокосовых пальм и спала почти у самых ног капитана Линча.

— Намного выше последней отметки, — сказал он, — а я живу здесь одиннадцать лет. — Он посмотрел на часы. — Ровно три.

На берегу появились мужчина и женщина в сопровождении стайки детей и собак. Пройдя дом, они остановились в нерешительности и после долгих колебаний сели на песок. Несколько минут спустя с противоположной стороны приплелось другое семейство, нагруженное всяким домашним скарбом. И вскоре вокруг дома капитана Линча собралось несколько сот человек — мужчин и женщин, стариков и детей. Капитана окликнул одну из женщин с грудным младенцем на руках и узнал, что ее дом только что смыло волной.

Дом капитана стоял на высоком месте острова, справа и слева от него огромные волны уже перехлестывали через узкое кольцо атолла в лагуну. Двадцать миль в окружности имело это кольцо, и лишь кое-где оно достигало трехсот футов в ширину. Сезон ловли жемчуга был в разгаре, и туземцы съехались сюда со всех окрестных островов и даже с Таити.

— Здесь сейчас тысяча двести человек, — сказал капитан Линч. — Трудно сказать, сколько из них уцелеет к завтрашнему утру.

— Непонятно, почему нет ветра? — спросил Рауль.

— Не беспокойся, мой милый, не беспокойся, неприятности начнутся очень скоро.

Не успел капитан Линч договорить, как огромная волна низринулась на атолл. Морская вода, покрыв песок трехдюймовым слоем, закипела вокруг их стульев. Раздался протяжный стон испуганных женщин. Дети, стиснув руки, смотрели на гигантские валы и жалобно плакали. Куры и кошки заметались в воде, а потом дружно, как сговорившись, устремились на крышу дома. Один туземец, взяв корзину с новорожденными щенятами, залез на кокосовую пальму и привязал корзину на высоте двадцати футов над землей.

Собака-мать, повизгивая и тявкая, скакала в воде вокруг дерева.

А солнце светило по-прежнему ярко, и все еще не было ни ветерка. Они сидели, глядя на волны, кидавшие «Аораи» из стороны в сторону. Капитан Линч, не в силах больше смотреть на вздымающиеся водяные горы, закрыл лицо руками, потом ушел в дом.

— Двадцать восемь и шестьдесят, — негромко сказал он, возвращаясь.

В руке у него был моток толстой веревки. Он нарезал из нее концы по десять футов длиной, один дал Раулю, один оставил себе, а остальные роздал женщинам, посоветовав им лезть на деревья.

С северо-востока потянул легкий ветерок, и, почувствовав на лице его дуновение, Рауль оживился. Он увидел, как «Аораи», выбрав шкоты, двинулась прочь от берега, и пожалел, что остался здесь. Шхуна-то уйдет от беды, а вот остров… Волна перехлестнула через атолл, чуть не сбив его с ног, и он присмотрел себе дерево, потом, вспомнив про барометр, побежал в дом и в дверях столкнулся с капитаном Линчем.

— Двадцать восемь и двадцать, — сказал старик. — Ох, и заварится тут чертова каша!.. Это что такое?

Воздух наполнился стремительным движением. Дом дрогнул и закачался, и они услышали мощный гул. В окнах задребезжали стекла. Одно окно разбилось; в комнату ворвался порыв ветра такой силы, что они едва устояли на ногах. Дверь с треском захлопнулась, расщепив щеколду. Осколки белой дверной ручки посыпались на пол. Стены комнаты вздулись, как воздушный шар, в который слишком быстро накачали газ. Потом послышался новый шум, похожий на ружейную стрельбу, — это гребень волны разбился о стену дома. Капитан Линч посмотрел на часы. Было четыре пополудни. Он надел синюю суконную куртку, снял со стены барометр и засунул его в глубокий карман. Новая волна с глухим стуком ударилась в дом, и легкая постройка повернулась на фундаменте и осела, накренившись под углом в десять градусов.

Рауль первый выбрался наружу. Ветер подхватил его и погнал по берегу. Он заметил, что теперь дует с востока. Ему стоило огромного труда лечь и приникнуть к песку. Капитан Линч, которого ветер нес, как соломинку, упал прямо на него. Два матроса с «Аораи» спрыгнули с кокосовой пальмы и бросились им на помощь, уклоняясь от ветра под самыми невероятными углами, на

каждом шагу хватаясь за землю.

Капитана Линч был уже слишком стар, чтобы лазить по деревьям, поэтому матросы, связав несколько коротких веревок, стали постепенно поднимать его по стволу и наконец привязали к верхушке в пятидесяти футах от земли. Рауль закинул свою веревку за ствол другой пальмы и огляделся. Ветер был ужасающий. Ему и не снилось, что такой бывает. Волна, перекатившись через атолл, промочила его до колен и хлынула в лагуну. Солнце исчезло, наступили свинцовые сумерки. Несколько капель дождя ударили его сбоку, словно дробинки, лицо окатило соленой пеной, словно ему дали оплеуху; щеки жгло от боли, на глазах выступили слезы. Несколько сот туземцев забрались на деревья, и в другое время Рауль посмеялся бы, глядя на эти гроздья людей. Но он родился на Таити и знал, что делать: он согнулся, обхватил руками дерево и, крепко ступая, пошел по стволу вверх. На верхушке пальмы он обнаружил двух женщин, двух девочек и мужчину; одна из девочек крепко прижимала к груди кошку.

Со своей вышки он помахал рукой старику капитану, и тот бодро помахал ему в ответ. Рауль был потрясен видом неба: оно словно нависло

совсем низко над головой и из свинцового стало черным. Много народу еще сидело кучками на земле под деревьями, держась за стволы. Кое-где молились, перед одной из кучек проповедовал миссионер-мормон. Странный звук долетел до слуха Рауля — ритмичный, слабый, как стрекот далекого сверчка; он длился всего минуту, но за эту минуту успел смутно пробудить в нем мысль о рае и небесной музыке. Оглянувшись, он увидел под другим деревом большую группу людей, державшихся за веревки и друг за друга. По их лицам и по одинаковым у всех движениям губ он понял, что они поют псалом.

А ветер все крепчал. Никакой меркой Рауль не мог его измерить, — этот вихрь оставил далеко позади все его прежние представления о ветре, — но почему-то он все-таки знал, что ветер усилился. Невдалеке от него вырвало с корнем дерево, висевших на нем людей швырнуло на землю. Волна окатила узкую полоску песка — и люди исчезли. Все совершалось быстро. Рауль увидел на фоне белой вспененной воды лагуны черную голову, коричневое плечо. В следующее мгновение они скрылись из глаз. Деревья гнулись, падали и скрещивались, как спички. Рауль не уставал поражаться силе ветра; пальма, на

которой он спасался, тоже угрожающе раскачивалась. Одна из женщин причитала, крепко прижав к себе девочку, а та все не выпускала из рук кошку.

Мужчина, державший второго ребенка, тронул Рауля за плечо и указал вниз. Рауль увидел, что в ста шагах от его дерева мормонская часовня, как пьяная, шатается на ходу: ее сорвало с фундамента, и теперь волны и ветер подгоняли ее к лагуне. Ужасающей силы вал подхватил ее, повернул и бросил на купу кокосовых пальм. Люди посыпались с них, как спелые орехи. Волна схлынула, а они остались лежать на земле: одни неподвижно, другие — извиваясь и корчась. Они чем-то напоминали Раулю муравьев. Он не ужасался,

— теперь его уже ничто не могло ужаснуть. Спокойно и деловито он наблюдал, как следующей волной эти человеческие обломки смыло в воду. Третья волна, самая огромная из всех, швырнула часовню в лагуну, и она поплыла во мрак, наполовину затонув, — ни дать ни взять Ноев ковчег.

Рауль поискал глазами дом капитана Линча и с удивлением убедился, что дома больше нет. Да, все совершалось очень быстро. Он заметил, что с уцелевших деревьев многие спустились на землю. Ветер тем временем еще усилился, Рауль

видел это по своей пальме: она уже не раскачивалась взад и вперед, — теперь она оставалась почти неподвижной, низко согнувшись под напором ветра, и только дрожала. Но от этой дрожи тошнота подступала к горлу. Это напоминало вибрацию камертона или струн гавайской гитары. Хуже всего было то, что пальма вибрировала необычайно быстро. Даже если ее не вырвет с корнями, она долго не выдержит такого напряжения и переломится.

Ага! Одно дерево уже не выдержало! Он не заметил, когда оно сломалось, но вот стоит обломок — половина ствола. Пока не увидишь, так и не будешь знать, что творится. Треск деревьев и горестные вопли людей тонули в мощном реве и грохоте… Когда это случилось, Рауль как раз смотрел туда, где был капитан Линч. Он увидел, как пальма бесшумно треснула посредине и верхушка ее, с тремя матросами и старым капитаном, понеслась к лагуне. Она не упала, а поплыла по воздуху, как соломинка. Он следил за полетом: она ударилась о воду шагах в ста от берега. Он напряг зрение и увидел — он мог бы в том поклясться, — что капитана Линч помахал ему на прощание рукой.

Рауль не стал больше ждать, он тронул туземца

за плечо и знаком показал ему, что нужно спускаться. Туземец согласился было, но женщины словно окаменели от страха, и он остался с ними. Рауль захлестнул веревку вокруг дерева и сполз по стволу на землю. Его окатило соленой водой. Он задержал дыхание, судорожно вцепившись в веревку. Волна спала, и, прижавшись к стволу, он перевел дух, потом завязал веревку покрепче. И тут его окатила новая волна. Одна из женщин соскользнула с дерева, но мужчина остался со второй женщиной, обоими детьми и кошкой. Рауль еще сверху видел, что кучки людей, жавшихся к подножиям других деревьев, постепенно таяли. Теперь это происходило справа и слева от него, со всех сторон. Сам он напрягал все силы, чтобы удержаться; женщина рядом с ним заметно слабела. После каждой волны он дивился сначала тому, что его еще не смыло, а потом — что не смыло женщину. Наконец, когда схлынула еще одна волна, он остался один. Он поднял голову: верхушка дерева тоже исчезла. Укоротившийся наполовину, дрожал расщепленный ствол. Рауль был спасен: корнями пальма держалась, и теперь ветер был ей не страшен. Он полез вверх по стволу. Он так ослабел, что двигался медленно, и еще несколько волн догнали его, прежде чем

ему удалось от них уйти. Тут он привязал себя к стволу и приготовился мужественно встретить ночь и то неизвестное, что еще ожидало его.

Ему было очень тоскливо одному в темноте. Временами казалось, что наступил конец света и только он один еще остался в живых. А ветер все усиливался, усиливался с каждым часом. К одиннадцати часам, по расчетам Рауля, он достиг совсем уже невероятной силы. Это было что-то чудовищное, дикое — визжащий зверь, стена, которая крушила все перед собой и проносилась мимо, но тут же налетала снова, — и так без конца. Ему казалось, что он стал легким, невесомым, что он сам движется куда-то, что его с неимоверной быстротой несет сквозь бесконечную плотную массу. Ветер уже не был движущимся воздухом — он стал ощутимым, как вода или ртуть. Раулю чудилось, что в этот ветер можно запустить руку и отрывать его по кускам, как мясо от туши быка, что в него можно вцепиться и приникнуть к нему, как к скале.

Ветер душил его. Он врывался с дыханием через рот и ноздри, раздувая легкие, как пузыри. В такие минуты Раулю казалось, что все тело у него набито землей. Чтобы дышать, он прижимался губами к стволу пальмы. Этот непрекращающий-

ся вихрь лишал его последних сил, он изматывал и тело, и рассудок. Рауль уже не мог ни наблюдать, ни думать, он был в полусознании. Четкой оставалась одна мысль: «Значит, это ураган». Мысль эта упорно мерцала в мозгу, точно слабый огонек, временами дававший вспышки. Очнувшись от забытья, он вспоминал: «Значит, это ураган», — потом снова погружался в забытье.

Яростнее всего ураган бушевал от одиннадцати до трех часов ночи, — и как раз в одиннадцать сломалось то дерево, на котором спасался Мапуи и его семья. Мапуи всплыл на поверхность лагуны, все еще не выпуская из рук свою дочь Нгакуру. Только местный житель мог уцелеть в такой переделке. Верхушка дерева, к которой Мапуи был привязан, бешено крутилась среди пены и волн. То цепляясь за нее, то быстро перехватывая по стволу руками, чтобы высунуть из воды свою голову и голову дочери, он ухитрился не захлебнуться, но вместе с воздухом в легкие проникала вода — летящие брызги и дождь, ливший почти горизонтально.

До противоположного берега лагуны было десять миль. Здесь о бешено крутящиеся завалы из стволов, досок, обломков домов и лодок разбивалось девять из каждых десяти несчастных,

не погибших в водах лагуны. Захлебнувшихся, полуживых, их швыряло в эту дьявольскую мельницу и размалывало в кашу. Но Мапуи повезло, волею судьбы он оказался в числе уцелевших; его выкинуло на песок. Он истекал кровью; у Нгакуры левая рука была сломана, пальцы правой расплющило, щека и лоб были рассечены до кости. Мапуи обхватил рукою дерево и, держа дочь другой рукой, со стонами переводил дух, а набегавшие волны доставали ему до колен, а то и до пояса.

В три часа утра сила урагана пошла на убыль. В пять часов было очень ветрено, но не более того, а к шести стало совсем тихо и показалось солнце. Море начало успокаиваться. На берегу еще покрытой волнами лагуны Мапуи увидел искалеченные тела тех, кому не удалось живыми добраться до суши. Наверное, среди них и его жена и мать. Он побрел по песку, осматривая трупы, и увидел свою жену Тэфару, лежавшую наполовину в воде. Он сел на землю и заплакал, подвывая по-звериному, — ибо так свойственно дикарю выражать свое горе. И вдруг женщина пошевелилась и застонала. Мапуи вгляделся в нее: она была не только жива, но и не ранена. Она просто спала! Тэфара тоже оказалась в числе

немногих счастливцев.

Из тысячи двухсот человек, населявших остров накануне, уцелело всего триста. Миссионер-мормон и жандарм переписали их. Лагуна была забита трупами. На всем острове не осталось ни одного дома, ни одной хижины — не осталось камня на камне. Почти все кокосовые пальмы вырвало с корнем, а те, что еще стояли, были сломаны, и орехи с них сбиты все до одного. Не было пресной воды. В неглубоких колодцах, куда стекали струи дождя, скопилась соль. Из лагуны выловили несколько промокших мешков с мукой. Спасшиеся вырезали и ели сердцевину упавших кокосовых орехов. Они вырыли ямы в песке, прикрыли их остатками железных крыш и заползли в эти норы. Миссионер соорудил примитивный перегонный куб, но не поспевал опреснять воду на триста человек. К концу второго дня Рауль, купаясь в лагуне, почувствовал, что жажда мучит его не так сильно. Он оповестил всех о своем открытии, и скоро триста мужчин, женщин и детей стояли по шею в воде, стараясь хотя бы так утолить свою жажду. Трупы плавали вокруг них, попадались им под ноги. На третий день они похоронили мертвых и стали ждать спасательных судов.

А между тем Наури, разлученная со своей семьей, одна переживала все ужасы урагана. Вместе с доской, за которую она упорно цеплялась, не обращая внимания на бесчисленные занозы и ушибы, ее перекинуло через атолл и унесло в море. Здесь, среди сокрушительных толчков огромных, как горы, волн, она потеряла свою доску. Наури было без малого шестьдесят лет, но она родилась на этих островах и всю жизнь прожила у моря. Плывя в темноте, задыхаясь, захлебываясь, ловя ртом воздух, она почувствовала, как ее с силой ударил в плечо кокосовый орех. Мгновенно составив план действий, она схватила этот орех. В течение часа ей удалось поймать еще семь. Она связала их, и получился спасательный пояс, который и удержал ее на воде, хотя ей все время грозила опасность насмерть расшибиться о него. Наури была толстая, и скоро вся покрылась синяками, но ураганы были ей не внове, и, прося у своего акульего бога защиты от акул, она ждала, чтобы ветер начал стихать. Но к трем часам ее так укачало, что она пропустила этот момент. И о том, что к шести часам ветер совсем стих, она тоже не знала. Она очнулась, только когда ее выкинуло на песок и, хватаясь за него израненными, окровавленными руками,

поползла вверх по берегу, чтобы волны не смыли ее обратно в море.

Она знала, где находится: ее выбросило на крошечный островок Такокота. Здесь не было лагуны, здесь никто не жил. Островок отстоял от Хикуэру на пятнадцать миль. Хикуэру не было видно, но Наури знала, что он лежит к югу от нее. Десять дней она жила, питаясь кокосовыми орехами, которые не дали ей утонуть: она пила их сок и ела сердцевину, но понемножку, чтобы хватило надолго. В спасении она не была уверена. На горизонте виднелись дымки спасательных пароходов, но какой пароход догадается заглянуть на маленький необитаемый остров Такокота?

С самого начала ей не давали покоя трупы. Море упорно выбрасывало их на песок, и она, пока хватало сил, так же упорно сталкивала их обратно в море, где их пожирали акулы. Когда силы у нее иссякли, трупы опоясали остров страшной гирляндой, и она ушла от них как можно дальше, хотя далеко уйти было некуда.

На десятый день последний орех был съеден, и Наури вся высохла от жажды. Она ползала по песку в поисках орехов. «Странно, — думала она, — почему всплывает столько трупов, а орехов нет? Орехов должно бы плавать больше, чем

мертвых тел!» Наконец она отчаялась и в изнеможении вытянулась на песке. Больше надеяться было не на что, оставалось только ждать смерти.

Придя в себя, Наури медленно осознала, что перед глазами у нее голова утопленника с прядью светло-рыжих волос. Волна подбросила труп поближе к ней, потом унесла назад и, наконец, перевернула навзничь. Наури увидела, что у него нет лица, но в пряди светло-рыжих волос было что-то знакомое. Прошел час. Она не старалась опознать мертвеца, — она ждала смерти и ее не интересовало, кем было раньше это страшилище.

Но через час она с усилием приподнялась и вгляделась в труп. Сильная волна подхватила его и оставила там, куда не доставали волны поменьше. Да, она не ошиблась: эта прядь рыжих волос могла принадлежать только одному человеку на островах Паумоту: это был Леви, немецкий еврей, — тот что купил жемчужину Мапуи и увез ее на шхуне «Хира». Что ж, ясно одно: «Хира» погибла. Бог рыболовов и воров отвернулся от скупщика жемчуга.

Она подползла к мертвецу. Рубашку с него сорвало, широкий кожаный пояс был на виду. Затаив дыхание, Наури попробовала расстегнуть

пряжку. Это оказалось совсем не трудно, и она поспешила отползти прочь, волоча пояс за собой по песку. Она расстегнула один кармашек, другой, третий — пусто. Куда же он ее дел? В последнем кармашке она нашла ее — первую и единственную жемчужину, купленную им за эту поездку. Наури отползла еще на несколько шагов, подальше от вонючего пояса, и рассмотрела жемчужину. Это была та самая, которую Мапуи нашел, а Торики отнял у него. Она взвесила ее на руке, любовно покатала по ладони. Но не красота жемчужины занимала Наури: она видела в ней дом, который они с Мапуи и Тэфарой так старательно построили в своих мечтах. Глядя на жемчужину, она видела этот дом во всех подробностях, включая восьмиугольные часы на стене. Ради этого стоило жить.

Она оторвала полосу от своей аху и, крепко завязав в нее жемчужину, повесила на шею, потом двинулась по берегу, кряхтя и задыхаясь, но зорко высматривая кокосовые орехи. Очень скоро она нашла один, а за ним и второй. Разбив орех, она выпила сок, отдававший плесенью, и съела дочиста всю сердцевину. Немного позже она набрела на разбитый челнок. Уключин на нем не было, но она не теряла надежды и к вечеру

разыскала и уключину. Каждая находка была добрым предзнаменованием. Жемчужина принесла ей счастье. Перед закатом Наури увидела деревянный ящик, качавшийся на воде.

Когда она тащила его на берег, в нем что-то громыхало. В ящике оказалось десять банок рыбных консервов. Одну из них она открыла, поколотив ее о борт челнока. Соус она выпила через пробитое отверстие, а потом несколько часов по маленьким кусочкам извлекала из жестянки лососину.

Еще восемь дней Наури ждала помощи. За это время она пристроила к челноку найденную уключину, использовав все волокна кокосовых орехов, какие ей удалось собрать, и остатки своей аху. Челнок сильно растрескался, проконопатить его было нечем, но Наури припасла скорлупу от кокосового ореха, чтобы вычерпать воду. Она долго думала, как сделать весло; потом куском жести отрезала свои волосы, сплела из них шнурок и этим шнурком привязала трехфутовую палку к доске от ящика с консервами, закрепив ее маленькими клиньями, которые выгрызла зубами.

На восемнадцатые сутки, в полночь, Наури спустила челнок на воду, и миновав полосу прибоя, пустилась в путь домой, на Хикуэру. Наури была

старуха. От пережитых лишений весь жир у нее сошел, остались одна кожа да чуть покрытые дряблыми мышцами кости. Челнок был большой, рассчитанный на трех сильных гребцов, но она справлялась с ним одна, работая самодельным веслом; протекал он так сильно, что треть времени уходила на вычерпывание. Уже совсем рассвело, а Хикуэру еще не было видно. Такокота исчез позади, за линией горизонта. Солнце палило, и обильный пот проступил на обнаженном теле Наури. У нее остались две банки лососины, и в течение дня она пробила в них дырки и выпила соус, — доставать рыбу было некогда. Челнок относило к западу, но подвигался ли он на юг, она не знала.

Вскоре после полудня, встав во весь рост на дне челнока, она увидела Хикуэру. Пышные купы кокосовых пальм исчезли. Там и сям торчали редкие обломанные стволы. Вид острова придал ей бодрости. Она не думала, что он уже так близко. Течение относило ее к западу. Она продолжала грести, стараясь направлять челнок к югу. Клинышки, державшие шнурок на весле, стали выскакивать, и Наури тратила много времени каждый раз, когда приходилось загонять их на место. И на дне все время набиралась вода:

через каждые два часа Наури бросала весло и час работала черпаком. И все время ее относило на запад.

К закату Хикуэру был в трех милях от нее, на юго-востоке. Взошла полная луна, и в восемь часов остров лежал прямо на восток, до него оставалось две мили. Наури промучилась еще час, но земля не приближалась: течение крепко держало ее, челнок был велик, никуда не годилось весло и слишком много времени и сил уходило на вычерпывание. К тому же она очень устала и слабела все больше и больше. Несмотря на все ее усилия, челнок дрейфовал на запад.

Она помолилась акульему богу, выпрыгнула из челнока и поплыла. Вода освежила ее, челнок скоро остался позади. Через час земля заметно приблизилась. И тут случилось самое страшное. Прямо впереди нее, не дальше чем в двадцати футах, воду разрезал огромный плавник. Наури упорно плыла на него, а он медленно удалялся, потом свернул вправо и описал вокруг нее дугу. Не теряя плавника из вида, она плыла дальше. Когда он исчезал, она ложилась ничком на воду и выжидала. Когда он вновь появлялся, она плыла вперед. Акула не торопилась — это было ясно: со времени урагана у нее не было недостатка

в пище. Наури знала, что, будь акула очень голодна, она сразу бросилась бы на добычу. В ней было пятнадцать футов в длину, и одним движением челюстей она могла перекусить человека пополам.

Но Наури было некогда заниматься акулой, — течение упорно тянуло ее прочь от земли. Прошло полчаса, и акула обнаглела. Видя, что ей ничего не грозит, она стала сужать круги и, проплывая мимо Наури, жадно скашивала на нее глаза. Женщина не сомневалась, что рано или поздно акула осмелеет и бросится на нее. Она решила действовать, не дожидаясь этого, и пошла на отчаянный риск. Старуха, ослабевшая от голода и лишений, встретившись с этим тигром морей, задумала предвосхитить его бросок и броситься на него первой. Она плыла, выжидая удобную минуту. И вот акула лениво проплыла мимо нее всего в каких-нибудь восьми футах. Наури кинулась вперед, словно нападая. Яростно ударив хвостом, акула пустилась наутек и, задев женщину своим шершавым боком, содрала ей кожу от локтя до плеча. Она уплыла быстро, по кругу, и наконец исчезла.

В яме, вырытой в песке и прикрытой кусками искореженного железа, лежали Мапуи и Тэфара;

они ссорились.

— Послушался бы ты моего совета, — в тысячный раз корила его Тэфара,

— припрятал жемчужину и никому бы не говорил, она и сейчас была бы у тебя.

— Но Хуру-Хуру стоял около меня, когда я открывал раковину, я тебе уже говорил это много-много раз.

— А теперь у нас не будет дома. Рауль мне сегодня сказал, что если бы ты не продал жемчужину Торики…

— Я не продавал ее. Торики меня ограбил.

— …если бы ты ее не продал, он дал бы тебе пять тысяч французских долларов, а это все равно что десять тысяч чилийских.

— Он посоветовался с матерью, — пояснил Мапуи. — Она-то знает толк в жемчуге.

— А теперь у нас нет жемчужины, — простонала Тэфара.

— Зато я заплатил долг Торики. Значит, тысячу двести я все-таки заработал.

— Торики умер! — крикнула она. — О его шхуне нет никаких известий. Она погибла вместе с «Аораи» и «Хира». Даст тебе Торики на триста долларов кредита, как обещал? Нет, потому что Торики умер. А не найди ты эту жемчужину, был

бы ты ему сейчас должен тысячу двести? Нет! Потому что Торики умер, а мертвым долгов не платят.

— А Леви не заплатил Торики, — сказал Мапуи. — Он дал ему бумагу, чтобы по ней получить деньги в Папеете; а теперь Леви мертвый и не может заплатить; и Торики мертвый, и бумага погибла вместе с ним, а жемчужина погибла вместе с Леви. Ты права, Тэфара. Жемчужину я упустил и не получил за нее ничего. А теперь давай спать.

Вдруг он поднял руку и прислушался. Снаружи послышались какие-то странные звуки, словно кто-то дышал тяжело и надсадно. Чья-то рука шарила по циновке, закрывавшей вход.

— Кто здесь? — крикнул Мапуи.

— Наури, — раздалось в ответ. — Скажите мне, где Мапуи, мой сын?

Тэфара взвизгнула и вцепилась мужу в плечо.

— Это дух! — пролепетала она. — Дух!

У Мапуи лицо пожелтело от ужаса. Он трусливо прижался к жене.

— Добрая женщина, — сказал он запинаясь и стараясь изменить голос. — Я хорошо знаю твоего сына. Он живет на восточном берегу лагуны.

За циновкой послышался вздох. Мапуи приободрился: ему удалось провести духа.

— А откуда ты пришла, добрая женщина? — спросил он.

— С моря, — печально раздалось в ответ.

— Я так и знала, так и знала! — завопила Тэфара, раскачиваясь взад и вперед.

— Давно ли Тэфара ночует в чужом доме? — сказал голос Наури.

Мапуи с ужасом и укоризной посмотрел на жену, — ее голос выдал их обоих.

— И давно ли мой сын Мапуи стал отрекаться от своей старой матери? — продолжал голос.

— Нет, нет, я не… Мапуи не отрекается от тебя! — крикнул он. — Я не Мапуи. Говорю тебе, он на восточном берегу.

Нгакура проснулась и громко заплакала. Циновка заколыхалась.

— Что ты делаешь? — спросил Мапуи.

— Вхожу, — ответил голос Наури.

Край циновки приподнялся. Тэфара хотела зарыться в одеяла, но Мапуи не отпускал ее, — ему нужно было за что-то держаться. Дрожа всем телом и стуча зубами, они оба, вытаращив глаза, смотрели на циновку. В яму вползла Наури, вся мокрая и без аху. Они откатились от входа и стали рвать друг у друга одеяло Нгакуры, чтобы закрыться им с головой.

— Мог бы дать старухе матери напиться, — жалобно сказал дух.

— Дай ей напиться! — приказала Тэфара дрожащим голосом.

— Дай ей напиться, — приказал Мапуи дочери.

И вдвоем они вытолкнули Нгакуру из-под одеяла. Через минуту Мапуи краешком глаза увидел, что дух пьет воду. А потом дух протянул трясущуюся руку и коснулся его руки, и, почувствовав ее тяжесть, Мапуи убедился, что перед ним не дух. Тогда он вылез из-под одеяла, таща за собою жену, и скоро все они уже слушали рассказ Наури. А когда она рассказала про Леви и положила жемчужину на ладонь Тэфары, даже та признала, что ее свекровь — человек из плоти и крови.

— Завтра утром, — сказала Тэфара, — ты продашь жемчужину Раулю за пять тысяч французских долларов.

— А дом? — возразила Наури.

— Он построит дом, — сказала Тэфара. — Он говорит, что это обойдется в четыре тысячи. И кредит даст на тысячу французских долларов — это две тысячи чилийских.

— И дом будет сорок футов в длину? — спросила Наури.

— Да, — ответил Мапуи, — сорок футов.

— И в средней комнате будут стенные часы с гирями?

— Да, и круглый стол.

— Тогда дайте мне поесть, потому что я проголодалась, — удовлетворенно сказала Наури. — А потом мы будем спать, потому что я устала. А завтра мы еще поговорим про дом, прежде чем продать жемчужину. Тысячу французских долларов лучше взять наличными. Всегда лучше платить за товары наличными, чем брать в кредит.

Зуб кашалота

Много воды утекло с тех пор, как Джон Старкерст заявил во всеуслышание в миссионерском доме деревни Реувы о своем намерении провозвестить слово божие всему Вити Леву. Надо сказать, что Вити Леву — в переводе «Великая земля» — это самый большой остров архипелага Фиджи, в который входит множество больших островов, не считая сотен мелких. Кое-где на его побережьи осели немногочисленные миссионеры, торговцы, ловцы трепангов и беглецы с китобойных судов, жившие без всякой уверенности в завтрашнем дне. Дым из раскаленных печей стлался под окнами их жилищ, и дикари тащили на пиршества тела убитых.

«Лоту» — что значит обращение в христианство — подвигалось медленно и нередко шло вспять. Вожди, объявившие себя христианами и радушно принятые в лоно церкви, имели прискорбное обыкновение временами отпадать от веры, чтобы вкусить мяса какого-нибудь особенно ненавистного врага. «Ешь, не то съедят тебя» — таков был закон этих мест; «Ешь, не то съедят тебя» — таким, по-видимому, и останется

закон этих мест на долгие годы. Там были вожди, например Таноа, Туйвейкосо и Туйкилакила, которые поглотили сотни своих ближних. Но всех этих обжор перещеголял Ра Ундреундре. Ра Ундреундре жил в Такираки. Он вел счет своим гастрономическим подвигам. Ряд камней близ его дома обозначал количество съеденных им врагов. Этот ряд достигал двухсот тридцати шагов в длину, а камней в нем насчитывалось восемьсот семьдесят два. Каждое тело отмечалось одним камнем. Ряд камней, вероятно, был бы еще длиннее, если бы на свою беду Ра Ундреундре не получил удара копьем в поясницу во время стычки в чаще на Сомо-Сомо и не был подан на стол вождю Наунга Вули, чей жалкий ряд состоял всего только из сорока восьми камней.

Измученные тяжелой работой и лихорадкой, миссионеры упрямо делали свое дело, временами приходя в отчаяние, и все ждали какого-то необычайного знамения, какой-то вспышки пламени духа святого, который поможет им собрать богатый урожай душ. Но обитатели островов Фиджи закостенели в своем язычестве. Курчавым людоедам отнюдь не хотелось поститься, когда урожай человеческих душ был так обилен. Время от времени, пресытившись, они обманывали

миссионеров, распуская слух, что в такой-то день устроят бойню и будут жарить туши. Миссионеры тогда спешили спасать обреченных, покупая их жизнь за связки табака, куски ситца и кварты бус. Вожди совершали таким способом выгодные торговые операции, отделываясь от излишков живности. К тому же они всегда могли пойти на охоту и пополнить свои запасы.

Так обстояли дела, когда Джон Стархерст объявил во всеуслышание, что провозвестит слово божие по всей Великой земле, от побережья до побережья, а для начала отправится в горы, к неприступным истокам реки Реувы. Его слова ошеломили всех.

Учителя-туземцы тихо плакали. Двое миссионеров, товарищей Стархерста, пытались отговорить его. Владыка Реувы предостерегал Стархерста, говоря, что гордые жители непременно «кай-кай» его (кай-кай — значит съесть), и ему, владыке Реувы, как обращенному в «лоту», придется тогда объявить войну горным жителям. Что ему их не победить, это он хорошо понимал. Что они спустятся по реке и разорят деревню Реуву, это он хорошо понимал. Но что же ему остается делать? Если Джон Стархерст хочет во что бы то ни стало быть съеденным, значит, не миновать войны,

которая обойдется в сотни жизней.

В тот же день под вечер к Джону Стархерсту явилась депутация вождей Реувы. Он слушал их терпеливо и терпеливо спорил с ними, но ни на волос не изменил своего решения. Своим товарищам миссионерам он объяснил, что вовсе не жаждет принять мученический венец; просто он услышал зов, побуждающий его провозвестить слово божие всему Вити Леву, и повинуется господнему велению.

Торговцам, которые пришли к нему и отговаривали его усерднее всех, он сказал:

— Ваши доводы неубедительны. Вы только о том и заботитесь, как бы не пострадала ваша торговля. Вы стремитесь наживать деньги, а я стремлюсь спасать души. Язычники этой темной страны должны быть спасены.

Джон Стархерст не был фанатиком. Он первый опроверг бы такое обвинение. Он был вполне благоразумен и практичен. Он верил, что его миссия увенчается успехом, и уже видел, как вспыхивает искра духа святого в душах горцев и как возрождение, начавшееся в горах, охватит всю Великую землю вдоль и поперек, от моря до моря и до островов в просторах моря. Не пламенем безумства светились его кроткие серые глаза, но спокойной

решимостью и непоколебимой верой в высшую силу, которая руководит им.

Лишь один человек одобрял решение миссионера, и это был Ра Вату, который тайком поощрял его и предлагал ему проводников до предгорий. Джон Стархерст, в свою очередь, был очень доволен поведением Ра Вату. Закоренелый язычник, с сердцем таким же черным, как и его деяния, Ра Вату начал обнаруживать признаки просветления. Он даже поговаривал о том, что сделается «лоту». Правда, три года тому назад Ра Вату говорил то же самое и, очевидно, вошел бы в лоно церкви, если бы Джон Стархерст не воспротивился его попытке привести с собой своих четырех жен. Ра Вату был противником моногамии по соображениям этического и экономического порядка. К тому же мелочные придирки миссионера показались ему обидными, и в доказательство того, что он сам себе хозяин и человек чести, он замахнулся своей увесистой боевой палицей на Стархерста. Стархерст спасся; пригнувшись, он бросился на Ра Вату, стиснул его и не отпускал, пока не подоспела помощь. Но теперь все это было прощено и забыто. Ра Вату решил войти в лоно церкви, и не только как обращенный язычник, но и как обращенный многоженец. Ему только хочется

подождать, уверял он Стархерста, пока умрет его старшая жена, которая уже давно болеет.

Джон Стархерст плыл вверх по медлительной Реуве в одном из челноков Ра Вату. Челнок должен был доставить его за два дня до непроходимых мест, а затем вернуться обратно. Далеко впереди в небо упирались громадные окутанные дымкой горы — хребет Великой земли. Весь день Джон Стархерст смотрел на них нетерпеливо и жадно.

Время от времени он безмолвно творил молитву. Иногда вместе с ним молился и Нару, учитель-туземец, который был «лоту» вот уже семь лет — с тех пор как его спас от жаровни доктор Джеймс Эллери Браун, истративший на выкуп всего только сотню связок табаку, два байковых одеяла и большую бутылку виски. Проведя двадцать часов в уединении и молитве, Нарау в последнюю минуту услышал зов, побуждающий его идти вместе с Джоном Стархерстом в горы.

— Учитель, я пойду с тобой, — сказал он.

Джон Стархерст приветствовал его решение со степенной радостью. Поистине с ним сам господь, если дух взыграл даже в таком малодушном существе, как Нарау.

— Я и вправду робок, ибо я — слабейший из

сосудов божьих, — говорил Нарау, сидя в челноке, в первый день их путешествия.

— Ты должен верить, укрепиться в вере, — внушал ему миссионер.

В тот же день по Реуве поднимался другой челнок. Но он плыл сзади, на расстоянии часа пути, и человек, сидевший в нем, старался остаться незамеченным. Этот челнок также принадлежал Ра Вату. В нем был Эрирола, двоюродный брат Ра Вату и его преданный наперсник, а в небольшой корзинке, которую он не выпускал из рук, лежал зуб кашалота. Это был великолепный зуб длиной в добрых шесть дюймов, с годами принявший желтовато-пурпурный оттенок. Этот зуб тоже принадлежал Ра Вату, а когда такой зуб начинает ходить по рукам, на Фиджи неизменно совершаются важные события. Ибо вот что связано с зубами кашалота: тот, кто примет в дар такой зуб, должен исполнить просьбу, которую обычно высказывают, когда его дарят или некоторое время спустя. Просить можно о чем угодно, начиная с человеческой жизни и кончая союзом между племенами, и нет фиджианца, который настолько потерял бы честь, чтобы принять зуб, но отказать в просьбе. Случается, что обещание не удается исполнить или с этим медлят, но тогда

дело кончается плохо.

В верховьях Реувы, в деревне одного вождя по имени Монгондро, Джон Стархерст отдыхал на исходе второго дня своего путешествия. Наутро он вместе с Нарау собирался идти пешком в те дымчатые горы, которые теперь, вблизи, казались зелеными и бархатистыми. Монгондро был добродушный подслеповатый старик небольшого роста, страдающий слоновой болезнью и уже утративший вкус к бранным подвигам. Он принял Стархерста радушно, угостил его явствами со своего стола и даже побеседовал с ним о религии. У Монгондро был пытливый ум, и он доставил большое удовольствие Джону Стархерсту, попросив его рассказать, отчего все существует и с чего все началось. Закончив свой краткий очерк сотворения мира по Книге Бытия, миссионер заметил, что Монгондро потрясен его рассказом. Несколько минут старик вождь молча курил. Наконец он вынул трубку изо рта и горестно покачал головой.

— Не может этого быть, — сказал он. — Я, Монгондро, в юности хорошо работал топором. Однако у меня ушло три месяца на то, чтобы сделать один челнок — маленький челнок, очень маленький челнок. А ты говоришь, что вся эта

земля и вода сделана одним человеком.

— Нет, они созданы богом, единым истинным богом, — перебил его миссионер.

— Это одно и то же, — продолжал Монгондро. — Значит, вся земля и вся вода, деревья, рыба, лесные чащи, горы, солнце, и луна, и звезды — все это было сделано в шесть дней? Нет, нет! Говорю тебе, в юности я был ловкий, однако у меня ушло три месяца на один небольшой челнок. Твоей сказкой можно пугать маленьких детей, но ей не поверит ни один мужчина.

— Я мужчина, — сказал миссионер.

— Да, ты мужчина. Но моему темному разуму не дано понять, то во что ты веришь.

— Говорю тебе, я верю в то, что все было сотворено в шесть дней.

— Пусть так, пусть так, — пробормотал старый туземец примирительным тоном.

А когда Джон Стархерст и Нарау легли спать, Эрирола прокрался в хижину вождя и после предварительных дипломатических переговоров протянул зуб кашалота Монгондро.

Старый вождь долго вертел зуб в руках. Зуб был красивый, и старику очень хотелось получить его. Но он догадывался, о чем его попросят. «Нет, нет, хороший зуб, хороший, но...», и хотя у него

слюнки текли от жадности, он вежливо отказался и вернул зуб Эрироле.

На рассвете Джон Стархерст уже шагал по тропе среди зарослей в высоких кожаных сапогах, и по пятам за ним следовал верный Нарау, а сам Стархерст шел по пятам за голым проводником, которого ему дал Монгондро, чтобы показать дорогу до следующей деревни. Туда путники пришли в полдень, а дальше их повел новый проводник. Сзади, на расстоянии мили, шагал Эрирола, и в корзине, перекинутой у него через плечо, лежал зуб кашалота. Он шел за миссионером четвертые сутки и предлагал зуб вождям всех деревень. Но те один за другим отказывались от зуба. Этот зуб появлялся так скоро после прихода миссионера, что вожди догадывались, о чем их попросят, и не хотели связываться с таким подарком.

Путники углубились в горы, а Эрирола свернул на тайную тропу, опередил миссионера и добрался до твердынь Були из Гатоки. Були не знал о том, что миссионер скоро придет. А зуб был хорош — необыкновенный экземпляр редчайшей расцветки. Эрирола преподнес его публично. Вокруг гатокского Були собрались приближенные, трое слуг усердно отгоняли от него мух, и Були,

восседавший на своей лучшей циновке, соблаговолил принять из рук глашатая зуб кашалота, посланный в дар вождем Ра Вату и доставленный в горы его двоюродным братом Эриролой. Дар был принят под гром рукоплесканий и все приближенные, слуги и глашатаи закричали хором:

— А! уой! уой! уой! А! уой! уой! уой! А табуа леву! уой! уой! А мудуа, мудуа, мудуа!

— Скоро придет человек, белый человек, — начал Эрирола, выдержав приличную паузу. — Он миссионер, и он придет сегодня. Ра Вату пожелал иметь его сапоги. Он хочет преподнести их своему доброму другу Монгондро и обязательно вместе с ногами, так как Монгондро старик, и зубы у него плохи. Позаботьтесь, о Були, чтобы в сапогах были отправлены и ноги, а все прочее пусть останется здесь.

Радость, доставленная зубом кашалота, померкла в глазах Були, и он оглянулся кругом, не зная, что делать. Но подарок был уже принят.

— Что значит такая мелочь, как миссионер? — подсказал ему Эрирола.

— Да, что значит такая мелочь, как миссионер! — согласился Були, успокоенный. — Монгондро получит сапоги. Эй, юноши, ступайте, трое или четверо, навстречу миссионеру. И не забудьте

принести сапоги.

— Поздно! — сказал Эрирола. — Слушайте! Он идет.

Продравшись сквозь чащу кустарника, Джон Стархерст и не отстававший от него Нарау выступили на сцену. Пресловутые сапоги промокли, когда миссионер переходил ручей вброд, и с каждым его шагом из них тонкими струйками капала вода. Стархерст окинул все вокруг сверкающими глазами. Воодушевленный непоколебимой уверенностью, без тени сомнения и страха, он был в восторге от того, что предстало его взору. Стархерст знал, что от начала времен он первый из белых людей ступил в горную твердыню Гатоки.

Сплетенные из трав хижины лепились по крутому горному склону или нависали над бушующей Руевой. Справа и слева вздымались высочайшие кручи. Солнце освещало эту теснину не больше трех часов в день. Здесь не было ни кокосовых пальм, ни банановых деревьев, хотя все поросло густой тропической растительностью и ее легкая бахрома свешивалась с отвесных обрывов и заполняла все трещины в утесах. В дальнем конце ущелья Реува одним прыжком соскакивала с высоты восьмисот футов, и воздух этой скалистой крепости вибрировал в лад с рит-

мичным грохотом водопада.

Джон Стархерст увидел, как Були вышел из хижины вместе со своими приближенными.

— Я несу вам добрые вести, — приветствовал их миссионер.

— Кто послал тебя? — спросил Були негромко.

— Господь.

— Такого имени на Вити Леву не знают, — усмехнулся Були. — Если он вождь, то каких деревень, островов, горных проходов?

— Он вождь всех деревень, всех островов, всех горных проходов, — ответил Джон Стархерст торжественно. — Он владыка земли и неба, и я пришел провозвестить вам его слова.

— Он прислал нам в дар зуб кашалота? — дерзко спросил Були.

— Нет, но драгоценнее зубов кашалота…

— У вождей в обычае посылать друг другу зубы кашалота, — перебил его Були. — Твой вождь скряга, а сам ты глуп, если идешь в горы с пустыми руками. Смотри, тебя опередил более щедрый посланец.

И он показал Стархерсту зуб кашалота, который получил от Эриролы.

Нарау застонал.

— Это кашалотовый зуб Ра Вату, — шепнул он

Стархерсту. — Я его хорошо знаю. Мы погибли.

— Добрый поступок, — сказал миссионер, оглаживая свою длинную бороду и поправляя очки. — Ра Вату позаботился о том, чтобы нас хорошо приняли.

Но Нарау снова застонал и отшатнулся от того, за кем следовал с такой преданностью.

— Ра Вату скоро станет «лоту», — проговорил Стархерст, — и вам тоже я принес «лоту».

— Не надо мне твоего «лоту», — надменно ответил Були, — и я решил убить тебя сегодня же.

Були кивнул одному из своих рослых горцев, и тот выступил вперед и взмахнул палицей. Нарау кинулся в ближайшую хижину, ища убежища среди женщин и циновок, а Джон Стархерст прыгнул вперед и, увернувшись от палицы, обхватил шею своего палача. Заняв столь выгодную позицию, он принялся убеждать дикарей. Он убеждал их, зная, что борется за свою жизнь, но эта мысль не вызывала у него ни страха, ни волнения.

— Плохо ты поступишь, если убьешь меня, — сказал он палачу. — Я не сделал тебе зла, и я не сделал зла Були.

Он так крепко обхватил шею этого человека, что остальные не решались ударить его своими палицами. Стархерст не разжимал рук и отста-

ивал свою жизнь, убеждая тех, кто жаждал его смерти.

— Я Джон Старкерст, — продолжал он спокойно, — я три года трудился на Фиджи не ради наживы. Я здесь среди вас ради вашего же блага. Зачем убивать меня? Если меня убьют, это никому не принесет пользы.

Були покосился на зуб кашалота. Ему-то хорошо заплатили за это убийство.

Миссионера окружила толпа голых дикарей, и все они старались добраться до него. Зазвучала песнь смерти — песнь раскаленной печи, и увещевания Старкерста потонули в ней. Но он так ловко обвивал тело палача своим телом, что никто не смел нанести ему смертельный удар. Эрирола ухмыльнулся, а Були пришел в ярость.

— Разойдитесь! — крикнул он. — Хорошая молва о нас дойдет до побережья! Вас много, а миссионер один, безоружный, слабый, как женщина, и он один одолевает всех.

— Погоди, о Були, — крикнул Джон Старкерст из самой гущи свалки, — я одолею и тебя самого! Ибо оружие мое — истина и справедливость, а против них не устоит никто.

— Так подойди же ко мне, — отозвался Були, — ибо мое оружие — всего только жалкая, ни-

чтожная дубинка, и, как ты сам говоришь, ей с тобой не сладить.

Толпа расступилась, и Джон Старкерст стоял теперь один лицом к лицу с Були, который опирался на свою громадную сучковатую боевую палицу.

— Подойди ко мне, миссионер, и одолей меня, — подстрекал его Були.

— Хорошо, я подойду к тебе и одолею тебя, — откликнулся Джон Старкерст; затем протер очки и, аккуратно надев их, начал приближаться к Були.

Тот ждал, подняв палицу.

— Прежде всего, моя смерть не принесет тебе никакой пользы, — начал Джон Старкерст.

— На это ответит моя дубинка, — отозвался Були.

Так он отвечал на каждый довод Старкерста, а сам не спускал с миссионера глаз, чтобы вовремя помешать ему броситься вперед и нырнуть под занесенную над его головой палицу. Тогда-то Джон Старкерст впервые понял, что смерть его близка. Он не повторил своей уловки. Обнажив голову, он стоял на солнцепеке и громко молился — таинственный, неотвратимый белый человек, один из тех, кто библией, пулей или бутылкой рома настигает изумленного дикаря во всех его

твердынях. Так стоял Джон Стархерст в скалистой крепости гатокского Були.

— Прости им, ибо они не ведают, что творят, — молился он. — О господи! Будь милосерден к Фиджи! Смилуйся над Фиджи! Отец всевышний, услышь нас ради сына твоего, которого ты дал нам, чтобы через него мы все стали твоими сынами. Ты дал нам жизнь, и мы верим, что в лоно твое вернемся. Темна земля сия, о боже, темна. Но ты всемогущ, и в твоей воле спасти ее. Простри длань твою, о господи, и спаси Фиджи, спаси несчастных людоедов Фиджи.

Були терял терпение.

— Сейчас я тебе отвечу, — пробормотал он и, схватив палицу обеими руками, замахнулся.

Нарау, прятавшийся среди женщин и циновок, услышал удар и вздрогнул. Грянула песнь смерти, и он понял, что тело его возлюбленного учителя тащат к печи.

«Неси меня бережно, неси меня бережно,
Ведь я — защитник родной страны.
Благодарите! Благодарите! Благодарите!»

Один голос выделился из хора:
«Где храбрец?»
Сотни голосов загремели в ответ:

«Его несут к печи, его несут к печи».

«Где трус?» — раздался тот же голос.

«Бежит доносить весть!» — прогремел ответ сотни голосов. — Бежит доносить! Бежит доносить!»

Нарау застонал от душевной муки. Правду говорила старая песня. Он был трус, и ему оставалось только убежать и донести весть о случившемся.

Мауки

Он весил сто десять фунтов. Волосы у него были курчавые, как у негра, и он был черен. Черен как-то по-особенному: не красновато и не синевато-черен, а черно-лилов, как слива. Звали его Мауки, и он был сын вождя. У него было три «тамбо». Тамбо у меланезийцев означает табу и, конечно, сродни этому полинезийскому слову. Три тамбо Мауки сводились к следующему: во-первых, он не должен здороваться за руку с женщиной или допускать, чтобы женская рука прикасалась к нему и к его вещам; во-вторых, он не должен есть ракушек или другой пищи, приготовленной на огне, на котором их жарили; в-третьих, он не должен притрагиваться к крокодилам или плавать в челне, на котором была частица крокодила величиной хотя бы с ноготь.

Черными были у Мауки и зубы, но в отличие от кожи, они были совсем черные или, лучше сказать, черные, как сажа. Они стали у него такими за одну ночь, когда мать натерла их истолченным в порошок камнем, который добывали у горного обвала возле Порт-Адамса. Порт-Адамс — приморская деревушка на Малаите, а Малаита

— самый дикий из всех Соломоновых островов. Он настолько дик, что ни одному купцу или плантатору не удалось там обосноваться, а сотни белых авантюристов — начиная с первых ловцов трепанга и торговцев сандаловым деревом и кончая современными вербовщиками рабочей силы с их винчестерами и нефтяными двигателями — нашли здесь свой конец от томагавков и тупоносых снайдеровских пуль. Тем не менее и сейчас, в двадцатом столетии, Малаита остается золотым дном для вербовщиков, которые посещают ее берега в надежде найти здесь туземцев для работы на плантациях соседних и более цивилизованных островов за тридцать долларов в год. Уроженцы этих соседних и более цивилизованных островов сами настолько приобщились к цивилизации, что уже не желают работать на плантациях.

Уши Мауки были проткнуты не в одном и не в двух, а в десяти местах. В одном из меньших отверстий он носил глиняную трубку. Отверстия покрупней не годились для этой цели: не только чубук, но и вся трубка легко проскочила бы насквозь. Да это и не мудрено, потому что в самые большие дырки он обычно вставлял по круглой деревяшке диаметром в добрые четыре

дюйма. Иначе говоря, окружность этих дыр равнялась приблизительно двенадцати с половиной дюймам. Что касается эстетики, то здесь Мауки придерживался весьма независимых взглядов. В ушах у него красовались такие предметы, как пустые гильзы, гвозди от подков, медные гайки, обрывки бечевки, плетенный из соломы шнур, зеленые стрелки пальмовых листьев, а когда наступала вечерняя прохлада, — пунцовые цветы мальвы. Отсюда видно, что он прекрасно мог обходиться без карманов. Да и куда бы он их приделал — ведь вся его одежда состояла из куска ситца шириной в несколько дюймов. Карманный нож он носил в волосах, защемив лезвием курчавую прядь, а самое ценное свое достояние — ручку от фарфоровой чашки — привешивал к продетому сквозь ноздри черепаховому кольцу.

Невзирая на все эти украшения, Мауки был миловиден. Его лицо можно было назвать красивым даже с европейской точки зрения, а для меланезийца Мауки был поразительно хорош собой. Единственным недостатком этого лица была излишняя мягкость. Оно было женственным, почти девичьим, с тонкими, мелкими и правильными чертами. Безвольный подбородок и рот. Ни силы, ни характера в линии скул, лба и носа.

Разве только в глазах Мауки порой проскальзывал какой-то намек на те неизвестные величины, которые составляли неотъемлемую часть его существа, но никем еще не были разгаданы. Эти неизвестные были смелость, настойчивость, бесстрашие, живое воображение, хитрость, и когда они проявлялись в его последовательных и решительных поступках, окружающие только разводили руками.

Отец Мауки был вождем в деревушке Порт-Адамс, и для родившегося на берегу мальчика вода была родной стихией. Он умел ловить рыб и устриц; коралловые рифы были для него открытой книгой. Управлять челноком он тоже умел. Плавать научился, когда ему был год от роду. Семи лет он уже мог задерживать дыхание на целую минуту и нырять на глубину тридцати футов. Но в этом возрасте его похитили жители чащи, которые не только не умеют плавать, но даже боятся соленой воды. С тех пор Мауки видел море только издали, сквозь просветы в зарослях или с обнаженных склонов высоких гор. Он стал рабом старого Фанфоа, царька, объединившего под своей властью около двух десятков разбросанных по горным отрогам Малаиты селений, дым которых в безветренные утра служит для

белых мореплавателей едва ли не единственным доказательством того, что внутренняя часть острова обитаема. Белые не проникают в глубь Малаиты. Когда-то в погоне за золотом они пытались туда пробраться, но всякий раз оставляли там свои головы, которые и поныне скалят зубы с закопченных балок туземных хижин.

Однажды, когда Мауки уже был рослым семнадцатилетним юношей, Фанфоа остался без табаку. Он остался совсем без табаку. И все его подданные очень бедствовали. Виноват в этом был сам Фанфоа. Бухта Суо настолько мала, что большой шхуне в ней не развернуться на якоре. Мангровые заросли обступают ее со всех сторон и низко свешиваются над темной водой. Это западня, и в эту западню попались двое белых. Они приплыли на небольшом двухмачтовом паруснике вербовать рабочих, и у них было много табаку и товаров, не говоря уже о трех винтовках и большом запасе патронов. В Суо нет прибрежных жителей, и лесные племена здесь могут спокойно спускаться к морю. Торговля шла бойко. В первый же день записались двадцать человек. Даже старый Фанфоа записался. И в тот же день двадцать новых рабочих отрубили двум белым головы, прикончили команду и сожгли

парусник. После этого целых три месяца табак и другие товары не переводились в лесных селениях. А потом пришел военный корабль, ядра с которого полетели далеко в горы, и люди в страхе разбежались из деревень и ушли в глубь чащи. Затем на берег высадились вооруженные отряды. Они сожгли все деревни вместе с награбленным табаком и товарами. Кокосовые пальмы и бананы были срублены, всходы таро уничтожены, а куры и свиньи прирезаны.

Полученный урок мог пригодиться Фанфоа в будущем, но пока он оставался без табаку. А молодежь в селениях была так напугана, что отказывалась наниматься к вербовщикам. Потому-то Фанфоа и приказал отвести своего раба Мауки на берег и сдать его белым, а в задаток получить за него пол-ящика табаку да еще ножей, топоров, бус и ситцу. Все это Мауки отработает на плантациях. Мауки до смерти перепугался, когда ему велели подняться на шхуну. Он шел, словно ягненок на заклание. Белые, наверное, очень свирепые существа. Иначе они бы не посмели разъезжать вдоль берегов Малаиты и заходить во все бухты, по двое на шхуне, с командой из пятнадцати — двадцати чернокожих да еще с несколькими десятками завербованных. А ведь

им приходилось вдобавок опасаться прибрежного населения, готового в любую минуту напасть, захватить шхуну и прикончить весь экипаж. Белые люди, должно быть, очень страшны. Притом ни у кого, кроме белых, не было таких дьявол-дьяволов — ружей, стрелявших много раз подряд без остановки; всяких железных и медных штук, заставлявших шхуну идти без всякого ветра, и ящиков, которые говорили и смеялись, точь-в-точь как говорят и смеются люди. Да это еще что! Он слышал про одного белого, у которого его собственный, личный дьявол-дьявол обладал такой чудодейственной силой, что этот белый мог по желанию вынимать все свои зубы, а потом вставлять их обратно.

Мауки повели вниз в каюту. На палубе остался сторожить один белый с двумя пистолетами за поясом. А в каюте другой сидел за книгой и чертил в ней какие-то таинственные линии и знаки. Он осмотрел Мауки, словно тот был курицей или поросенком, заглянул ему под мышки и написал что-то в книге. Потом протянул Мауки палочку для письма, и Мауки, только дотронувшись до нее, тем самым обязался работать три года на плантациях мыловаренной компании «Лунный блеск». Мауки никто не разъяснил, что свирепые

белые люди прибегнут к силе, если он вздумает уклониться от взятого на себя обязательства, и что вся мощь и все военные корабли Великобритании будут им в том поддержкой.

На шхуне было много других чернокожих из дальних и никому не ведомых мест, и когда белый человек им что-то сказал, они сорвали с головы Мауки длинное перо, остригли его наголо, а вокруг бедер повязали лавалаву из ярко-желтого ситца.

Много дней провел Мауки на шхуне, много видел новых земель и островов — столько ему и во сне не снилось — и наконец добрался до Нью-Джорджии, где его высадили на берег и поставили работать в поле — резать тростник и расчищать заросли. Только теперь он узнал, что такое работа. Даже когда он был у старого Фанфоа, ему не приходилось столько трудиться. А трудиться он не любил. Подымались с зарей, возвращались в сумерки, ели всего два раза в день. И пища была однообразная. Заладят на целый месяц одни бататы, а не то целый месяц дают только рис.

День за днем он очищал кокосовые орехи от скорлупы, день за днем и неделю за неделей подбрасывал хворост в костры, на которых сушили

копру, пока у него не разболелись глаза и его не послали валить деревья. Он ловко орудовал топором, и вскоре его перевели на постройку моста. Потом в наказание за какую-то провинность отправили на дорожные работы. Ему случалось плавать и на вельботах, когда белые отправлялись в отдаленные бухты за копрой или выходили в море глушить рыбу динамитом.

Помимо всего прочего, он усвоил «beche de mer»[1] — распространенный в южных морях английский жаргон — и мог теперь объясняться с белыми, а главное — со всеми черными рабочими, с которыми иначе никогда бы не столковался. Тут были сотни различных племен и наречий. Многое узнал он о белых людях, и прежде всего то, что они держат свое слово. Когда они говорили рабочему, что дадут ему пачку табаку, он ее получал. Когда говорили, что выбьют из него семь склянок, если он сделает то-то и то-то, и он это делал, из него непременно выбивали семь склянок. Мауки не знал, что такое «семь склянок», но, часто слыша это выражение, решил про себя, что, должно быть, это кровь и зубы, потерей которых частенько сопровождались подобного

[1] notes: 1

трепанг (франц.); в данном случае наречие, распространенное в тех местах, где добывается трепанг

рода операции. Еще одно он твердо усвоил: никого не били и не наказывали зря. Даже когда белые напивались — а это с ними случалось нередко — они никогда не дрались, если не было нарушено какое-нибудь их правило.

Мауки не нравилось на плантациях. Работать он терпеть не мог, ведь как-никак он был сын вождя. К тому же с тех пор как Фанфоа похитил его из Порт-Адамса, прошло десять лет, и Мауки стосковался по дому. Даже рабство у старого Фанфоа представлялось ему теперь завидным уделом. Поэтому он бежал. Он углубился в джунгли, надеясь пробиться на юг к морю, украсть челнок и в нем добраться до Порт-Адамса. Но схватил лихорадку, был пойман и полумертвым доставлен назад.

Второй раз Мауки бежал уже не один, а с двумя земляками. Они отошли миль за двадцать по берегу, достигли деревни и укрылись в хижине одного из тамошних жителей, переселенца с Малаиты. Но двое белых не побоялись прийти глухой ночью в селение и выбить по семи склянок из каждого беглеца, связать их всех троих, как поросят, и кинуть в вельбот. А из человека, который их приютил, выколотили семь раз по семи склянок, судя по количеству вырванных у него волос, содранной кожи и выбитых зубов. На всю

жизнь пропала у него охота укрывать беглых.

Целый год Мауки терпел и трудился. Потом его взяли в дом прислуживать. Тут пища была лучше, свободного времени больше, работа совсем не трудная — убирать комнаты и подавать белым господам виски и пиво в любое время дня и ночи. Мауки это нравилось, но жизнь в Порт-Адамсе нравилась ему больше. Служить оставалось два года, а два года — долгий срок, когда тоскуешь по дому. За этот год Мауки многому научился, и теперь на правах слуги он ко всему имел доступ. Он разбирал и чистил винтовки, знал, где хранится ключ от кладовой. План побега принадлежал ему, и вот однажды ночью десять туземцев с Малаиты и один из Сан-Кристобаля ускользнули из бараков и подтащили к берегу вельбот. Ключ от висевшего на вельботе замка раздобыл Мауки, и тот же Мауки погрузил в вельбот двенадцать винчестеров, огромный запас патронов, ящик динамита с детонаторами и бикфордовым шнуром и десять ящиков табаку.

Дул северо-западный муссон, и по ночам они неслись на юг, а днем прятались на уединенных, необитаемых островках, если же приставали к большому острову, то втаскивали вельбот в кусты. Так они добрались до Гвадалканара,

обогнули остров, держась вдоль берега, потом пересекли пролив Индиспэнсебль и пристали к острову Флорида. Здесь они убили того чернокожего, который был из Сан-Кристобаля, голову его спрятали, а все остальное зажарили и съели. Малаита была всего в двадцати милях, но в последнюю ночь сильное течение и переменные ветры помешали им достичь берега. Рассвет застал их все еще в нескольких милях от цели. Но на рассвете показался катер с двумя белыми, которые не испугались одиннадцати туземцев с их двенадцатью ружьями. Мауки и его товарищей доставили в Тулаги, где жил великий белый господин, старший над всеми белыми. И великий белый господин судил беглецов, после чего их связали, дали им по двенадцати плетей и приговорили к штрафу в пятнадцать долларов. Затем их отослали в Нью-Джорджию, где белые выбили из них по семи склянок из каждого и запрягли в работу. Но Мауки уже не попал в слуги. Его отправили на постройку дороги. Штраф в пятнадцать долларов уплатили за него белые, от которых он бежал, и ему сказали, что он должен их отработать, а это значило — лишних шесть месяцев на плантациях. Да сверх того за его долю украденного табаку ему накинули еще год.

Теперь до возвращения в Порт-Адамс Мауки оставалось три с половиной года. Поэтому он однажды ночью украл челнок, прятался некоторое время на островках в проливе Маннинг, потом пересек этот пролив и стал пробираться вдоль восточного побережья острова Изабель, но, проделав две трети пути, был пойман белыми у лагуны Мериндж. Спустя неделю он бежал от них и скрылся в чаще. На Изабель нет лесных племен, там одни только прибрежные жители, и все они христиане. Белые назначили за поимку Мауки награду в пятьсот пачек табаку, и всякий раз, как он пытался пробраться к морю, чтобы украсть челнок, прибрежные жители устраивали на него облаву. Так прошло четыре месяца, но когда награду повысили до тысячи пачек, Мауки поймали и вернули в Нью-Джорджию строить дороги. Ну, а тысяча пачек табаку стоит пятьдесят долларов, и обещанную награду Мауки должен был уплатить сам, а для этого требовалось проработать год и восемь месяцев. Так что Порт-Адамс отодвинулся теперь уже на пять лет.

Он тосковал еще сильнее и отнюдь не был склонен к тому, чтобы взяться за ум, остепениться, отработать свои пять лет и тогда уже вернуться домой. В следующий раз его задержали при по-

пытке к бегству. Дело рассматривал сам мистер Хэвеби, представитель мыловаренной компании на острове, и он признал Мауки неисправимым. Неисправимых компания отправляла с Соломоновых островов за сотни миль, на острова Санта-Крус, где у нее тоже были свои плантации. Туда и отправили Мауки, только он не доехал. Шхуна зашла в Санта-Анне, и ночью Мауки вплавь добрался до берега, стащил у торгового агента две винтовки и ящик табаку и в челноке доплыл до Кристобаля. Малаита была теперь от него к северу всего в пятидесяти или шестидесяти милях, но когда он пытался переправиться через пролив, поднялся шторм и его отнесло назад к Санта-Анне, где агент заковал его в кандалы и продержал до возвращения шхуны с островов Санта-Крус. Винтовки агенту вернули, а за ящик табаку Макуи предстояло расплатиться годом работы. Его задолженность компании теперь равнялась шести годам.

На обратном пути в Нью-Джорджию шхуна стала на якорь в проливе Марау у юго-восточной оконечности Гвадалканара. С кандалами на руках Мауки поплыл к берегу и скрылся в зарослях. Шхуна ушла, но местный агент «Лунного блеска» предложил за поимку беглеца награду в тысячу

пачек табаку, и жители чащи привели к нему Мауки, что увеличило его долг компании еще на год и восемь месяцев. Прежде чем шхуна вернулась, Мауки снова сбежал, на этот раз в вельботе, прихватив с собой украденный у агента ящик табаку. Но налетевший с северо-запада шквал выбросил его на Уги, где туземцы-христиане стащили у него табак, а его самого передали агенту «Лунного блеска». Украденный туземцами табак означал для Мауки еще год работы, что в итоге составило восемь с половиной лет.

— Отправим-ка его на Лорд-Хау, — сказал мистер Хэвеби. — Там теперь Бунстер. Пусть как хотят, так между собой и разбираются. Либо Мауки угробит Бунстера, либо Бунстер — Мауки. И в том и в другом случае мы останемся в выигрыше.

Если выйти из лагуны Мериндж у острова Изабель и держать курс прямо на север, по компасу, то, пройдя сто пятьдесят миль, увидишь выступающие из воды коралловые отмели Лорд-Хау. Лорд-Хау — кольцеобразная полоса земли миль полтораста в окружности и шириной всего в несколько сот ярдов, возвышающаяся местами на целых десять футов над уровнем моря. Внутри этого песчаного кольца лежит огромная лагуна,

усеянная коралловыми рифами. Ни географически, ни этнографически Лорд-Хау не может быть отнесен к Соломоновым островам. Это атолл, тогда как Соломоновы острова происхождения вулканического. И язык и внешность его обитателей говорят об их близости к полинезийской расе, а жители Соломоновых островов — меланезийцы. Лорд-Хау заселен уроженцами Западной Полинезии, приток которых продолжается и по сей день: юго-восточный пассат прибивает к берегам острова их длинные узконосые челны. Некоторый, хоть и более слабый приток меланезийцев на Лорд-Хау в пору северо-западных муссонов тоже не подлежит сомнению.

Никто не посещает Лорд-Хау, или Онтонг-Джаву, как этот остров иногда называют. Агентство Кука не продает туда билетов и туристы не подозревают о его существовании. Ни один белый миссионер не высаживался на его берегах. Пять тысяч жителей этого атолла столь же миловидны, сколь и первобытны. Но они не всегда отличались таким миролюбием. Лоции указывали на их враждебность и коварство. Однако составители этих лоций, видимо, не знают, какие изменения претерпел нрав обитателей острова, с тех пор как они несколько лет назад захватили большой

трехмачтовый корабль и перебили всю команду, кроме помощника штурмана, которому удалось спастись. Уцелевший принес эту весть своим белым братьям и вернулся на Лорд-Хау с тремя торговыми шхунами. Шкиперы направили свои суда прямо в лагуну и без дальних слов стали проповедовать евангелие белого человека, гласившее, что убивать белых разрешается только белым, а низшим расам это не положено. Шхуны разгуливали вдоль и поперек лагуны, сея смерть и разрушение. Бежать с этой узкой полоски песка было некуда. В чернокожего стреляли, как только он показывался, а спрятаться ему было негде. Деревни были сожжены, лодки изломаны в щепы, куры и свиньи зарезаны, а драгоценные кокосовые пальмы срублены. Так продолжалось месяц, а потом шхуны удалились, но страх перед белым человеком навсегда запечатлелся в сердцах островитян, и никогда они уже не осмеливались нанести ему вред.

Макс Бунстер, агент вездесущей мыловаренной компании «Лунный блеск», был единственным белым на острове. На Лорд-Хау компания водворила его потому, что стремилась если не совсем с ним развязаться, то хоть запихнуть его куда-нибудь подальше. Отделаться от него раз и навсегда

она не могла, потому что не так-то легко было найти кого-нибудь на его место. В голове у этого здоровенного немца явно чего-то недоставало. Назвать его полупомешанным было бы еще слишком мягко. Задира, трус и в три раза худший дикарь, чем любой из дикарей на острове, Бунстер, как это и свойственно трусам, измывался только над слабыми. Поступив агентом на службу мыловаренной компании, он сперва получил назначение на Саво. Когда его решили оттуда убрать и послали ему на смену чахоточного колониста, Бунстер избил его до полусмерти, и тот, совсем уже умирающий, вынужден был уехать на той же шхуне, с которой прибыл.

Затем мистер Хэвеби подыскал на место Бунстера молодого иоркширца, настоящего гиганта, стяжавшего себе славу кулачного бойца, которого хлебом не корми, а только дай подраться. Но Бунстер не желал драться. Десять дней он прикидывался овечкой, пока иоркширец не свалился от приступа дизентерии и лихорадки. Тут Бунстер себя наконец показал, сбросил больного на пол и до того разошелся, что принялся топтать его ногами. Опасаясь расплаты, Бунстер не стал ждать, когда его жертва оправится, и сбежал на катере в Гувуту. Там он опять-таки отличился: избил

молодого англичанина, и без того искалеченного во время бурской войны.

Тогда-то мистер Хэвеби и отослал Бунстера на этот богом забытый остров — Лорд-Хау. В честь своего прибытия Бунстер выдул пол-ящика джину и исколотил помощника шкипера с доставившей его шхуны, человека уже пожилого и страдающего астмой. А когда шхуна ушла, он созвал на берег канаков и предложил им бороться с ним один на один, пообещав ящик табаку тому, кто положит его на обе лопатки. Трех канаков он одолел, а четвертый положил его самого, но вместо обещанного табаку получил пулю в легкие.

Так началось правление Бунстера на Лорд-Хау. В главном селении жили три тысячи человек, но оно пустело даже средь бела дня, стоило только Бунстеру там появиться. Мужчины, женщины, дети бросались от него врассыпную. Даже собаки и свиньи спешили убраться подобру-поздорову, а сам король, позабыв о своем королевском достоинстве, прятался от него под циновку. Оба премьер-министра трепетали от страха перед Бунстером, который, не вдаваясь в обсуждение спорных вопросов, сразу пускал в ход кулаки.

И сюда, на Лорд-Хау, доставили Мауки, и здесь он должен был работать на Бунстера восемь с

половиной долгих лет. С Лорд-Хау не убежишь. Так или иначе судьбы Бунстера и Мауки отныне тесно переплелись. Бунстер весил двести футов, Мауки — сто десять. У Бунстера была жестокость дегенерата, у Мауки — свирепость дикаря, и оба, каждый по-своему, были хитры и упорны.

Мауки и понятия не имел, на какого хозяина ему придется работать. Его никто не предостерег насчет Бунстера, и он думал, что этот белый такой же, как и все остальные, — пьет много виски, правит островом, устанавливает законы, всегда держит свое слово и никогда без причины не ударит туземца. Бунстер был в более выгодном положении. Он знал историю Мауки и заранее предвкушал, как возьмет его в оборот. Последний по счету повар Бунстера лежал со сломанной рукой и вывихнутым плечом, поэтому немец взял к себе Мауки поваром; кроме того, он должен был прислуживать по дому.

Мауки очень скоро понял, что белый белому рознь. В тот самый день, когда шхуна снялась с якоря, Бунстер приказал ему купить цыпленка у Самайзи, туземца-миссионера с островов Тонга. Но Самайзи как раз был в отлучке — он отправился на другой берег лагуны, и его ждали назад только через три дня. Мауки вернулся с пустыми

руками. Он поднялся по крутой лестнице (дом стоял на сваях, футов на двенадцать от земли) и вошел в спальню хозяина. Бунстер потребовал цыпленка.

Мауки раскрыл было рот, чтобы объяснить, почему он не выполнил приказание. Но Бунстер был не охотник до объяснений. Он двинул его кулаком. Удар пришелся Мауки по челюсти и подбросил его в воздух. Он вылетел в дверь, перелетел через узкую веранду, обломав перила, и грохнулся на землю. Губы у него были расквашены, рот полон крови и выбитых зубов.

— Поговори у меня! — орал багровый от ярости агент, перегнувшись через сломанные перила и сверкая глазами на Мауки.

Такого белого Мауки еще никогда не встречал, и он решил смириться и по возможности не раздражать хозяина. Он видел, как доставалось от Бунстера гребцам, одного из них немец три дня продержал в кандалах и морил голодом лишь за то, что тот сломал уключину. Слышал он и ходившие по деревне толки, узнал, почему Бунстер взял себе третью жену, взял насильно, как это всем было известно. И первая и вторая жена покоились на кладбище, засыпанные белым коралловым песком с коралловыми глыбами в

ногах и в изголовье. Молва говорила, что они умерли от побоев. А что третьей жене Бунстера живется не сладко, Мауки и сам видел.

Но разве угодишь на белого человека, когда он зол на жизнь? Если Мауки молчал, его били и обзывали бессловесной скотиной. Если говорил, били за то, что смеет рассуждать. Если он был угрюм, Бунстер утверждал, что повар замышляет недоброе, и на всякий случай порол его. А если Мауки силился улыбнуться и казаться веселым, его обвиняли в том, что он насмехается над своим господином и повелителем и угощали палкой. Бунстер был сущий дьявол. В селении с ним давно бы расправились, если бы не память о трех шхунах и о полученном тогда уроке. Возможно, что и это не остановило бы туземцев, будь здесь лес, куда они могли бы бежать. Но леса не было, а убийство белого — любого белого — приведет сюда военный корабль, виновных перестреляют, а драгоценные кокосовые пальмы срубят. Гребцы тоже только о том и мечтали, как бы невзначай утопить Бунстера, опрокинув шлюпку. Однако Бунстер зорко следил за тем, чтобы шлюпка не опрокидывалась.

Мауки был слеплен из другого теста. Зная, что, пока Бунстер жив, ему не убежать, он твердо

решил прикончить белого. Вся беда в том, что не представлялось подходящего случая. Бунстер всегда был начеку. Ни днем, ни ночью не расставался он с револьвером. Он никому не разрешал подходить к себе сзади. Мауки уразумел это после того, как его дважды сшибли с ног кулаком. Бунстер понимал, что ему следует опасаться этого добродушного и даже кроткого на вид юнца с Малаиты больше, чем всего населения Лорд-Хау. Но наслаждение, которое он испытывал, мучая Мауки, приобретало от этого лишь особую остроту. А Мауки до поры до времени смирялся, безропотно переносил все истязания и ждал.

До сих пор все белые уважали его тамбо, но Бунстер не считался ни с чем. Мауки полагалось две пачки табаку в неделю. Бунстер отдавал их своей наложнице, и Мауки должен был брать табак у нее из рук. Этого он сделать не мог и оставался без табаку. Тем же способом его не раз лишали обеда, и часто он по целым дням ходил голодный. Ему нарочно заказывали рагу из ракушек, которые водились у берегов. Но этого блюда Мауки не мог приготовить: ракушки были для него тамбо. Шесть раз отказывался он прикоснуться к ракушкам, и шесть раз его избивали до потери сознания. Бунстер знал, что это щенок скорее

умрет, чем нарушит запрет, однако называл его отказ бунтом и, конечно, убил бы Мауки, если бы не боялся остаться без повара.

Любимой забавой агента было схватить Мауки за курчавые волосы и колотить его головой об стену или же неожиданно для Мауки ткнуть ему в голое тело горящей сигарой. Это называлось у Бунстера прививкой, и такой прививке Мауки подвергался чуть ли не каждый день. Однажды в припадке бешенства Бунстер выдернул ручку от фарфоровой чашки из носа Мауки, разорвав ему ноздри.

— Ну и рожа! — вот и все, что Бунстер нашел нужным сказать, взглянув на его изуродованное лицо.

Если кожа акулы шершава, как наждачная бумага, то кожа ската подобна терке. В южных морях туземцы употребляют ее вместо рашпиля для шлифовки челнов и весел. Бунстер обзавелся рукавицей из кожи ската. Для начала он испытал ее на Мауки, одним взмахом руки содрав ему кожу от затылка до лопатки. Бунстер пришел в восторг. Он и жену угостил рукавицей, а потом весьма основательно опробовал ее на всех гребцах. Оба премьер-министра тоже удостоились прикосновения рукавицы и скрепя сердцем вынуждены

были ухмыляться и принимать все в шутку.

— Смейтесь же, черт побери, смейтесь! — приговаривал при этом Бунстер.

Мауки больше всех терпел от рукавицы. Не проходило дня, чтобы он не испытал ее ласк. Временами сплошь покрытая ссадинами спина не давала ему спать по ночам, а неистощимый в своих шутках мистер Бунстер то и дело сдирал едва поджившую кожу. Мауки терпел и ждал, уверенный, что рано или поздно наступит и его час. А когда этот час наконец наступил, все до мелочи было у него решено и предусмотрено.

Однажды утром Бунстер поднялся в таком настроении, что готов был выбить семь склянок из всей вселенной. Начал он с Мауки и им же кончил, между делом наградив увесистым тумаком жену и исколотив всех гребцов. За завтраком он назвал кофе помоями и обварил Мауки, выплеснув всю чашку ему в лицо. К десяти часам Бунстер дрожал от озноба, а полчаса спустя метался в жару. Это был не простой приступ малярии. Болезнь быстро приняла тяжелое течение со всеми признаками тропической лихорадки. Дни проходили, а прикованный к постели Бунстер все слабел и слабел. Мауки следил за ним и ждал, а кожа его тем временем подживала.

Он приказал гребцам вытащить катер на берег, чтобы очистить дно и вообще привести шлюпку в порядок. Думая, что это распоряжение Бунстера, они беспрекословно повиновались. Но Бунстер в это время лежал без сознания и распоряжаться не мог. Казалось бы, удобный случай настал, но Мауки почему-то все еще медлил.

Лишь только миновал кризис и выздоравливающий, но слабый, как ребенок, Бунстер пришел в себя, Мауки уложил в сундучок свои скудные пожитки, в том числе и драгоценную ручку от фарфоровой чашки, и отправился в деревню переговорить с королем и его двумя премьер-министрами.

— Эта хозяин Бунстер, он — хороший хозяин, вы много его любите? — спросил Мауки.

Те в один голос стали уверять, что вовсе его не любят. Министры изливались в жалобах, перечисляя все оскорбления и обиды, которые вытерпели от Бунстера. Король так расчувствовался, что даже всплакнул. Мауки грубо прервал их:

— Ваш мой слушай — мой большой господина в свой страна. Ваш не любит этот белый хозяин. Мой его не любит. Будет шибко хорош — ваш клади катер сто кокос, двести кокос, триста кокос.

Ваш кончал таскай, ваш ходи спать. Канаки все ходи спать. Большой белый хозяин шибко дома шуметь. Ваш ничего не знай, ваш много крепко спал.

В том же духе Мауки переговорил и с гребцами. Потом он приказал жене Бунстера вернуться к своим родным. Если бы она отказалась, он попал бы в затруднительное положение, ведь его тамбо не позволяло ему и пальцем притронуться к ней.

Когда дом опустел, Мауки вошел в спальню, где дремал Бунстер. Прежде всего он убрал от него револьверы, потом натянул рукавицу из кожи ската. Взмах рукавицы, содравшей Бунстеру всю кожу с носа, послужил ему первым предупреждением.

— Шибко хорош, хозяин? — ухмыльнулся Мауки между двумя взмахами рукавицы, первый из которых ободрал лоб, а второй снял всю кожу с левой щеки агента. — Смейся, черт бери, смейся!

Мауки работал на совесть, и укрывшиеся в своих хижинах канаки слышали, как «большой хозяин шибко шумел» и продолжал шуметь еще час, а то и больше.

Закончив свое дело, Мауки отнес компас и все имевшиеся в доме винтовки и патроны в катер и стал грузить в него ящики с табаком. Пока он

занимался этим, из дома выскочило какое-то страшное багровое существо и с воплями устремилось к морю. Но, пробежав несколько шагов, оно упало на песок и пыталось еще ползти, корчась и скуля под палящими лучами солнца. Мауки посмотрел в ту сторону; он, видимо, колебался. Затем подошел, аккуратно отделил Бунстеру голову от туловища, завернул ее в циновку и спрятал в ящик на корме катера.

Так крепко спали канаки весь этот долгий жаркий день, что не видели, как катер вышел в открытое море и повернул на юг, подгоняемый юго-восточным пассатом. Катер не был замечен и во время долгого перехода к острову Изабель и тогда, когда он, беспрестанно лавируя, шел против ветра оттуда на Малаиту. Мауки прибыл в Порт-Адамс богачом: такой уймы винтовок и табаку здесь ни у кого до сих пор еще не было. Но он не остался там. Он отрезал голову белому человеку, и только лес мог быть ему защитой. Итак, Мауки вернулся в лесные селения, пристрелил старого Фанфоа и с десяток его приспешников, а себя провозгласил вождем. Когда умерли его отец и брат, Мауки стал править в Порт-Адамсе, они заключили союз, и жители джунглей и побережья, объединившись, стали наиболее грозной

силой среди двухсот вечно враждующих между собой племен на Малаите.

Мауки очень боялся британского правительства, но еще больше боялся он всемогущей мыловаренной компании «Лунный блеск». И вот однажды в джунгли пришло известие: компания напоминала, что он ей должен за неотработанные восемь с половиной лет. Мауки ответил, что согласен уплатить; и тогда появился неизбежный белый человек, шкипер шхуны, единственный белый, который за все время правления Мауки осмелился углубиться в чащу и вышел оттуда цел и невредим. И этот человек не только вышел из чащи, но и унес с собой семьсот пятьдесят долларов золотом — возмещение за недополученные компанией восемь с половиной лет работы и за уступленные ею по себестоимости небезызвестные винтовки и ящики табаку.

Мауки весит уже не сто десять фунтов. У него живот в три обхвата и четыре жены. Много у него и всякого другого добра: винтовки, револьверы, ручка от фарфоровой чашки и великолепная коллекция голов, в которой представлены чуть ли не все лесные племена Малаиты. Но дороже всей коллекции ему одна голова, превосходно высушенная и сохранившаяся, с песочного цве-

та волосами и рыжеватой бородкой, бережно завернутая в тончайшую лава-лава. Когда Мауки отправляется в поход на своих соседей, он неизменно достает эту голову и один в своем тростниковом дворце долго и торжественно ее созерцает. В такие минуты деревня погружается в безмолвие, и в этой мертвой тишине даже грудной младенец не смеет пикнуть. Голову эту считают самым могущественным дьявол-дьяволом на Малаите и приписывают ей всю силу и величие Мауки.

Ату их, ату!

Это был пьянчуга шотландец, он глотал неразбавленное виски, как воду, и, зарядившись ровно в шесть утра, потом регулярно подкреплялся часов до двенадцати ночи, когда надо было укладываться спать. Для сна он урывал каких-нибудь пять часов в сутки, остальные же девятнадцать тихо и благородно выпивал. За два месяца моего пребывания на атолле Оолонг я ни разу не видел его трезвым. Он так мало спал, что и не успевал протрезвиться. Такого образцового пьяницу, который пил бы так прилежно и методично, мне еще не приходилось встречать.

Звали его Мак-Аллистер. Посмотреть — хлипкий старикашка, еле на ногах держится, руки трясутся, как у параличного, особенно когда он наливает себе стаканчик, но я ни разу не видел, чтобы он пролил хоть каплю. Двадцать восемь лет носило его по Меланезии, между германской Новой Гвинеей и германскими Соломоновыми островами, и он так акклиматизировался в этих краях, что и разговаривал уже на тамошнем тарабарском наречии, которое зовется «beche de mer». Даже говоря со мной, не обходился он без таких

выражений, как «солнце, он встал» — вместо «на рассвете», «каи-каи, он здесь» — вместо «обед подан» или «моя пуза гуляет» — вместо «живот болит».

Маленький человек, сухой, как щепка, прокаленный снаружи жгучим солнцем и винными парами изнутри, живой обломок шлака, еще не остывшего шлака, он двигался толчками, как заведенный манекен. Казалось, его могло унести порывом ветра. Он и весил каких-нибудь девяносто фунтов, не больше.

Но, как ни странно, это был царек, облеченный всей полнотою власти. Атолл Оолонг насчитывает сто сорок миль в окружности. Только по компасу можно войти в его лагуну. В то время население Оолонга составляли пять тысяч полинезийцев; все — мужчины и женщины — статные, как на подбор, многие ростом не ниже шести футов и весом в двести футов с лишним. От Оолонга до ближайшей земли двести пятьдесят миль. Дважды в год наведывалась маленькая шхуна за копрой.

Мелкий торговец и отпетый пьяница, Мак-Аллистер был на Оолонге единственным представителем белой расы и правил его пятитысячным населением поистине железной рукой. Воля его

была здесь законом. Любая его фантазия, любая прихоть исполнялись беспрекословно. Сварливый ворчун, какие нередко встречаются среди стариков шотландцев, он постоянно вмешивался в домашние дела дикарей. Так, когда Нугу, королевская дочь, избрала себе в мужья молодого Гаунау, жившего на другом конце атолла, отец дал согласие; но Мак-Аллистер сказал: «Нет!» — и свадьба расстроилась. Или когда король пожелал купить у своего верховного жреца принадлежавший тому островок в лагуне, Мак-Аллистер опять сказал: «Нет!» Король задолжал Компании сто восемьдесят тысяч кокосовых орехов, и ни один кокос не должен был уйти на сторону, пока не будет выплачен весь долг.

Однако заботы Мак-Аллистера не снискали ему любви короля и народа. Вернее, его ненавидели лютой ненавистью. Как я узнал, жители атолла во главе со своими жрецами на протяжении трех месяцев творили заклинания, стараясь сжить тирана со света. Они насылали на него самых страшных своих духов, но Мак-Аллистер ни во что не верил, и никакой дьявол не был ему страшен. Такого пьяницу шотландца никакими заклятиями не проймешь. Напрасно дикари подбирали остатки пищи, которой касались его губы,

бутылки из-под виски и кокосовые орехи, сок которых он пил, даже его плевки и колдовали над ними, — Мак Аллистер жил не тужил. На здоровье он не жаловался, не знал, что такое лихорадка, кашель или простуда; дизентерия обходила его стороной, как и обычные в этих широтах злокачественные опухоли и кожные болезни, которым подвержены равно белые и черные. Он, верно, так проспиртовался, что никакой микроб не мог в нем уцелеть. Мне представлялось, что, едва угодив в окружающую Мак-Аллистера проспиртованную атмосферу, они так и падают к его ногам мельчайшими частицами пепла. Все живое бежало от Мак-Аллистера, даже микробы, а ему бы только виски. Так он и жил!

Это казалось мне загадкой: как могут пять тысяч туземцев мириться с самовластием какого-то старого сморчка? Каким чудом он держится, а не скончался скоропостижно уже много лет назад? В противоположность трусливым меланезийцам, местное племя отличается отвагой и воинственным духом. На большом кладбище, в головах и ногах погребенных, хранится немало кровавых трофеев — гарпуны, скребки для ворвани, ржавые штыки и сабли, медные болты, железные части руля, бомбарды, кирпичи — по-

видимому, остатки печей на китобойных судах, старые бронзовые пушки шестнадцатого века — свидетельство того, что сюда заходили еще корабли первых испанских мореплавателей. Не один корабль нашел в этих водах безвременную могилу. И тридцати лет не прошло с тех пор, как китобойное судно «Бленнердейл», ставшее в лагуне на ремонт, попало в руки туземцев вместе со всем экипажем. Та же участь постигла команду «Гаскетта», шхуны, перевозившей сандаловое дерево. Большой французский парусник «Тулон» был застигнут штилем у берегов атолла и после отчаянной схватки взят на абордаж и потоплен у входа в Липау. Только капитану с горсточкой матросов удалось бежать на баркасе. И, наконец, испанские пушки — о гибели какого из первых отважных мореплавателей они возвещали? Но все это давно стало достоянием истории, — почитайте «Южно-Тихоокеанский справочник»! О существовании другой истории — неписанной — мне еще только предстояло узнать. Пока я безуспешно ломал голову над тем, как пять тысяч дикарей до сих пор не расправились с каким-то выродком шотландцем, почему они даровали ему жизнь?

Однажды в знойный полдень мы с Мак-Алли-

стером сидели на веранде и смотрели на лагуну, которая чудесно отливала всеми оттенками драгоценных камней. За нами на сотни ярдов тянулись усеянные пальмами отмели, а дальше, разбиваясь о прибрежные скалы, ревел прибой. Было жарко, как в пекле. Мы находились на четвертом градусе южной широты, и солнце, всего лишь несколько дней назад пересекшее экватор, стояло в зените. Ни малейшего движения в воздухе и на воде. В этом году юго-восточный пассат перестал дуть раньше обычного, а северо-западный муссон еще не вступил в свои права.

— Сапожники они, а не плясуны, — упрямо твердил Мак-Аллистер.

Я отозвался о полинезийских плясках с похвалой, сказав, что папуасские и в сравнение с ними не идут; Мак-Аллистер же, единственно по причине дурного характера, отрицал это. Я промолчал, чтобы не спорить в такую жару. К тому же мне еще ни разу не случалось видеть, как пляшут жители Оолонга.

— Сейчас я вам докажу, — не унимался мой собеседник и, подозвав туземца с Нового Ганновера, исполнявшего при нем обязанности повара и слуги, послал его за королем: — Эй ты, бой, скажи королю, пусть идет сюда.

Бой повиновался, и вскоре перед Мак-Аллистером предстал растерянный премьер-министр. Он бормотал какие-то извинения: король-де отдыхает и его нельзя тревожить.

— Король здорово крепко отдыхай, — сказал он в заключение.

Это привело Мак-Аллистера в такую ярость, что министр трусливо бежал и вскоре возвратился с самим королем. Я невольно залюбовался этой чудесной парой. Особенно поразил меня король, богатырь не менее шести футов трех дюймов росту. В его чертах было что-то орлиное — такие лица не редкость среди североамериканских индейцев. Он был не только рожден, но и создан для власти. Глаза его метали молнии, однако он покорно выслушал приказание созвать со всей деревни двести человек, мужчин и женщин, лучших танцоров. И они действительно плясали перед нами битых два часа под палящими лучами солнца. Пусть они за это еще больше возненавидели Мак-Аллистера — плевать ему было на чувства туземцев, и домой он проводил их бранью и насмешками.

Рабская покорность этих великолепных дикарей все сильнее и сильнее меня поражала. Я спрашивал себя: как это возможно? В чем тут

секрет? И я все больше терялся в догадках, по мере того как новые доказательства этой непререкаемой власти вставали передо мной, но так и не находил ей объяснения.

Однажды я рассказал Мак-Аллистеру о своей неудаче: старик туземец, обладатель двух великолепных золотистых раковин «каури», отказался променять их мне на табак. В Сиднее я заплатил бы за них не менее пяти фунтов. Я предлагал ему двести плиток табаку, а он просил триста. Когда я упомянул об этом невзначай, Мак-Аллистер вызвал к себе туземца, отобрал у него раковины и отдал мне. Красная цена им, рассудил он, пятьдесят плиток, и чтобы я и думать не смел предлагать больше. Туземец с радостью взял табак. Очевидно, он и на это не рассчитывал. Что касается меня, то я решил в будущем придержать язык. Я еще раз подивился могуществу Мак-Аллистера и, набравшись храбрости, даже спросил его об этом; Мак-Аллистер только хитро прищурился и с глубокомысленным видом отхлебнул из стакана.

Как-то ночью мы с Отти — так звали обиженного туземца — вышли в лагуну ловить рыбу. Я втихомолку вручил старику недоданные сто пятьдесят плиток, чем заслужил величайшее его

уважение, граничившее с каким-то детским обожанием, тем более удивительным, что человек этот годился мне в отцы.

— Что это вы, канаки, точно малые дети, — приступил я к нему, — купец один, а вас, канаков, много. Вы лижете ему пятки, как трусливые собачонки. Боитесь, что он съест вас? Так ведь у него и зубов нет. Откуда у вас этот страх?

— А если много канаки убивай купец? — спросил он.

— Он умрет, только и всего, — ответил я. — Ведь вам, канакам, не впервой убивать белых. Что же вы так испугались этого белого человека?

— Да, канаки много убивал белый человек, — согласился он. — Я правда говорю. Но только давно, давно. Один шхуна — я тогда совсем молодой — стал там, за атолл: ветер, он не дул. Нас много канаки, много-много челнов, надо нам поймай этот шхуна. И нас поймай эта шхуна — я правда говорю, — но после большой драка. Два-три белый стрелял, как дьявол. Канак, он не знал страх. Везде, внизу, вверху, много канак, может, десять раз пятьдесят. А еще на шхуна белый Мери. Моя никогда не видел белый Мери. Канаки убивал много-много белый. Только не капитан. Капитан, он живой, и еще пять-шесть белый не

умирал. Капитан, он давал команда. Белый, он стрелял. Другой белый спускал лодка. А потом все марш-марш за борт. Капитан, он белый Мери тоже спускал за борт. Все греби, как дьявол. Мой отец, он тогда сильный был, бросал копье. Копье пробил бок белой Мери, пробил другой бок, выскочил наружу. Конец белой Мери. Нас, канаки, ничего не боялся.

Очевидно, гордость Отти была задета — он сдвинул набедренную повязку и показал мне шрам, в котором нетрудно было признать след пулевой раны. Но прежде чем я успел ему ответить, его поплавок сильно задергался. Отти подсек, но леска не поддалась, рыба успела уйти за ветвь коралла.

Старик посмотрел на меня с упреком, так как я разговорами отвлек его внимание, скользнул по борту вниз, потом, уже в воде, перевернулся и плавно ушел на дно следом за леской. Здесь было не меньше десяти саженей.

Перегнувшись, я с лодки следил за его мелькающими пятками. Постепенно теряясь в глубине, они тянули за собой в темную пучину призрачный, фосфорический след. Десять морских саженей — шестьдесят футов — что это значило для такого старика по сравнеию с драгоцен-

ной снастью! Через минуту, показавшуюся мне вечностью, он, облитый белым сиянием, снова вынырнул из глубины. Выплыв на поверхность, он бросил в лодку десятифунтовую треску — крючок, торчавший в ее губе, благополучно вернулся к своему хозяину.

— Что ж, может, это и правда, — не отставал я. — Когда-то вы боялись. Зато теперь купец нагнал на вас страху.

— Да, много страх, — согласился он, явно не желая продолжать разговор.

Мы еще с полчаса удили в полном молчании. Но вот под ними зашныряли мелкие акулы, они откусывали с наживкой и крючок, и мы, потеряв по крючку, решили подождать — пусть разбойники уберутся восвояси.

— Да, твоя верно говори, — вдруг словно спохватился Отти. — Канаки узнал страх.

Я зажег трубку и приготовился слушать. Хотя старик изъяснялся на ужасающем «beche de mer», я передаю его рассказ на правильном английском языке. Но самый дух и строй его повествования я постараюсь сохранить.

— Вот тогда-то мы и возгордились. Столько раз дрались мы с чужими белыми людьми, что являются к нам с моря, и всегда побеждали. Не-

мало полегло и наших, но что это в сравнении с сокровищами, что ждали нас на кораблях! И вот, может, двадцать, а может, двадцать пять лет назад у входа в лагуну показался корабль и прямехонько вошел в нее. Это была большая трехмачтовая шхуна. На ее борту находилось пять белых и человек сорок экипажа — все черные с Новой Гвинеи и Новой Британии. Они прибыли сюда для ловли трепангов. Шхуна стала на якорь у Паулоо — это на другом берегу, — ее лодки шныряли по всей лагуне. Повсюду они разбили свои лагеря и стали сушить трепангов. Когда белые разделились, они уже были нам не страшны: ловцы находились милях в пятидесяти от шхуны, а то и больше.

Король держал совет со старейшинами, и мне вместе с другими пришлось весь остаток дня и всю ночь плыть в челне на ту сторону лагуны, чтобы передать жителям Паулоо: мы собираемся напасть на все становища сразу, а вы захватите шхуну. Сами гонцы, хоть и выбились из сил, тоже приняли участие в драке. На шхуне было двое белых, капитан и помощник, а с ними шесть черных. Капитана и трех матросов схватили на берегу и убили, но сначала капитан из двух револьверов уложил восьмерых наших. Видишь,

как близко, лицом к лицу, сошлись мы с врагами!

Помощник услышал выстрелы и не стал ждать; он погрузил запас воды, съестное и парус в маленькую шлюпку, футов двенадцать длиной. Мы, тысяча человек, в челнах, усеявших всю лагуну, двинулись на судно. Наши воины дули в раковины, оглашали воздух песнями войны и громко били веслами о борт. Что мог сделать один белый и трое черных против всех нас? Ничего — и помощник знал это.

Но белый человек подобен дьяволу. Стар я и немало белых перевидал на своем веку, но теперь, наконец, понял, как случилось, что белые захватили все острова в океане. Это потому, что они дьяволы. Взять хоть тебя, что сидишь со мной в одной лодке. Ты еще молод годами. Что ты знаешь? Мне каждый день приходится учить тебя то одному, то другому. Да я еще мальчишкой знал о рыбе и ее привычках больше, чем знаешь ты сейчас. Я, старый человек, ныряю на дно лагуны, а ты… где тебе за мной угнаться! Так на что же, спрашивается, ты годишься? Разве только на то, чтобы драться. Я никогда не видел тебя в бою, но знаю, ты во всем подобен своим братьям, и дерешься ты, верно, как дьявол. И ты

такой же глупец, как твои братья, — ни за что не признаешь себя побежденным. Будешь драться насмерть и так и не узнаешь, что ты разбит.

А теперь послушай, что сделал помощник. Когда мы, дуя в раковины, окружили шхуну и от наших челнов почернела вся вода кругом, он спустил шлюпку и вместе с матросами направился к выходу в открытое море. И опять по этому видно, какой он глупец. Ни один умный человек не отважится выйти в море на такой шлюпке. Борта ее и на четыре дюйма не выдавались над водой. Двадцать челнов устремились за ним в погоню, в них было двести человек — вся наша молодежь. Пока матросы проходили на своей шлюпке одну сажень, мы успевали пройти пять. Дела его были совсем плохи, но, говорю тебе, это был глупец. Он стоял в шлюпке и выпускал заряд за зарядом. Он был никудышный стрелок, но мы его догоняли, и у нас все прибывало убитых и раненых. Но все равно дела его были совсем, совсем плохи.

Помню, он не выпускал изо рта сигары. Когда же мы, изо всех сил налегая на весла, приблизились к нему шагов на сорок, он бросил винтовку, поднес сигару к динамитной шашке и кинул ее в нашу сторону. Он зажигал все новые и новые шашки и бросал их одну за другой, без счета.

Теперь я понимаю, что он расщеплял шнур и вставлял в него спичечные головки, чтобы шнур скорее сгорал, и у него были очень короткие шнуры. Иногда шашка взрывалась в воздухе, но чаще в каком-нибудь челне, и всякий раз, как она взрывалась в челне, от людей ничего не оставалось. Из двадцати наших лодок половина была разбита в щепки. Та, где сидел я, тоже взлетела на воздух, а с нею двое моих товарищей — динамит взорвался как раз между ними. Остальные повернули назад. Тогда помощник с криком «Ату их, ату!» опять схватился за ружье и стал стрелять нам в спину. И все это время его черные матросы гребли изо всех сил. Видишь, я не обманул тебя, человек этот и вправду был дьявол.

Но этим дело не кончилось. Оставляя шхуну, он поджег ее и устроил так, чтобы весь порох и динамит на борту взорвались одновременно. Сотни наших тушили пожар и качали воду, когда шхуна взлетела на воздух. И вот добыча, за которой мы гнались, ушла от нас, а сколько наших было убито! Даже и сейчас, когда я стар и меня навещают дурные сны, я слышу, как помощник кричит: «Ату их, ату!» Громовым голосом кричит он: «Ату их, ату!» Зато из тех белых, кто был застигнут на берегу, ни один не остался в живых.

Помощник в своей маленькой лодке вышел в океан — на верную гибель, как мы думали, разве может такое суденышко с четырьмя гребцами уцелеть в открытом море? Но прошел месяц, и в часы затишья между двумя ливнями в лагуну вошел корабль и стал на якорь против нашей деревни. Король собрал старейшин, было решено дня через два-три напасть на корабль. Тем временем, соблюдая обычай, мы поплыли в наших челнах приветствовать гостей и захватили с собой связки кокосов, птицу и свиней для обмена. Но едва наши головные поравнялись со шхуной, как люди на борту начали расстреливать нас из винтовок. Остальные обратились в бегство. Изо всех сил налегая на весла, я увидел помощника — того, что в маленькой лодке бежал в открытое море: он взобрался на борт, и приплясывал, и орал во все горло: «Ату их, ату!»

В тот же полдень к берегу подошли три шлюпки; в них было полным-полно белых людей, и они высадились в нашей деревне. Они прошли ее из конца в конец и убивали каждого на своем пути. Они перебили всю птицу и всех свиней. Те из нас, что спаслись от пуль, сели в челны и укрылись в лагуне. Отъезжая от берега, мы увидели, что вся деревня в огне. К вечеру нам повстречалось

много челнов из селения Нихи у прохода Нихи, что на северо-востоке. Это были те, кому, как и нам, удалось спастись: их деревня была сожжена дотла вторым кораблем, вошедшим в лагуну через северо-восточный проход Нихи.

Темнота застала нас западнее Паулоо. Здесь в глухую полночь до нас донесся женский плач, и мы врезались в целую стаю челнов с беглецами из Паулоо. Это было все, что осталось от людной деревни; теперь там курилось огромное пожарище, так как в Паулоо тем временем пришла третья шхуна. Как оказалось, помощник вместе с тремя черными матросами добрался до Соломоновых островов и рассказал своим братьям, что произошло на Оолонге. И тогда его братья сказали, что пойдут и накажут нас. Вот они и явились на трех шхунах, и три наши деревни были стерты с лица земли.

Что же нам было делать? Наутро два корабля, воспользовавшись попутным ветром, настигли нас посреди лагуны. Дул сильный ветер, и они мчались прямо на нас, топя на своем пути десятки челнов. Мы бежали от них врассыпную, как летучая рыба бежит от меч-рыбы, и нас было так много, что тысячам канаков удалось все же укрыться на окраинных островах.

Но и после этого три корабля продолжали охотиться за ними по всей лагуне. Ночью мы благополучно прокрались мимо них. И на второй, и на третий, и на четвертый день шхуны возвращались и гнали нас на другой конец лагуны. И так день за днем. Мы потеряли счет убитым и уже не вспоминали о них. Правда, нас было много, а белых мало. Но что могли мы сделать? Я находился среди тех храбрецов, что собрались в двадцати челнах и были готовы сложить голову. Мы напали на шхуну, что поменьше. Они убивали нас без пощады. Они забросали нас динамитными шашками, а когда динамит кончился, стали поливать кипящей водой. Их ружья ни на минуту не смолкали. Тех, кто спасся с затонувших лодок и пустился вплавь, они приканчивали в воде. А помощник опять плясал на палубе рубки и кричал во все горло: «Ату их, ату!»

Каждый дом на самом крошечном островке был сожжен дотла. Они не оставили нам ни одной курицы, ни одной свиньи. Все колодцы были забиты трупами или доверху засыпаны обломками коралла. До прихода трех шхун нас было на Оолонге двадцать пять тысяч. Сейчас нас пять тысяч, тогда как после их ухода, как ты увидишь, нас осталось всего три тысячи.

Наконец трем шхунам надоело перегонять нас из конца в конец по всей лагуне. Они собрались в Нихи, что у северо-восточного прохода, и оттуда стали теснить нас на запад. Белые спустили девять шлюпок и обшаривали каждый островок. Они преследовали нас неустанно, день за днем. А едва наступала ночь, три шхуны и девять шлюпок выстраивались в сторожевую цепь, которая тянулась через всю лагуну, из края в край, и не давала проскользнуть ни одному челну.

Это не могло длиться вечно. Ведь лагуна не так уж велика. Все, кто остался в живых, были вытеснены на западное побережье. Дальше простирался океан. Десять тысяч канаков усеяло песчаную отмель от входа в лагуну до прибрежных скал, где пенился прибой. Никто не мог ни прилечь, ни размять ноги, для этого просто не было места. Мы стояли бедро к бедру, плечо к плечу. Два дня они продержали нас так, помощник то и дело взбирался на мачту и, глумясь над нами, оглашал воздух криками: «Ату их, ату!» Мы уже сожалели, что месяц назад осмелились поднять руку на него и его шхуну. Мы были голодны и двое суток простояли на ногах. Умирали дети, умирали старые и слабые и те, кто истекал кровью от ран. Но самое ужасное — не было воды, чтобы

утолить жажду. Два дня сжигало нас солнце и не было тени, чтобы укрыться. Много мужчин и женщин искали спасения в прохладном океане, и кипящие буруны выбрасывали на скалы их тела. Новая казнь — нас роями осаждали мухи. Кое-кто из мужчин пытался вплавь добраться до шхун, но всех их до одного пристрелили в воде. Те из нас, кто остался жив, горько сожалели, что напали на трехмачтовое судно, вошедшее в лагуну для ловли трепангов.

Наутро третьего дня к нам подъехала лодка, в ней сидели три капитана вместе с помощником. Вооруженные до зубов, они вступили с нами в переговоры. Они только потому прекратили избиение, объявили капитаны, что устали нас убивать. А мы уверяли их, что раскаиваемся, никогда мы больше не поднимем руку на белого человека и в доказательство своей покорности посыпали голову песком.

Тут наши женщины и дети стали громко вопить, моля дать им воду, и долгое время ничего нельзя было разобрать. Наконец мы услышали свой приговор. Нам было приказано нагрузить все три корабля копрой и трепангами. Мы согласились. Нас мучила жажда, и мужество оставило нас: теперь мы знали, что в бою канаки сущие

дети по сравнению с белыми, которые сражаются, как дьяволы. А когда переговоры кончились, помощник встал и, насмехаясь, закричал нам вслед: «Ату их, ату!» После этого мы сели в лодки и отправились на поиски воды. Проходили недели, а мы все ловили и сушили трепангов, собирали кокосы и готовили из них копру. День и ночь дым густой пеленой стлался над всеми островами Оолонга — так искупали мы свою вину. Ибо в те дни смерти нам каленым железом выжгли в мозгу, что нельзя поднимать руку на белого человека.

Но вот трюмы шхун наполнились трепангами и копрой, а наши пальмы были начисто обобраны. И тогда три капитана и помощник снова созвали нас для важного разговора. Они сказали, что сердце у них радуется, так хорошо канаки затвердили свой урок, а мы в тысячный раз уверяли их в своем раскаянии и клялись, что больше это не повторится, и опять посыпали голову песком. И капитаны сказали, что все это очень хорошо. Но в знак своей милости они приставят к нам дьявола, дьявола из дьяволов, чтобы было кому нас остеречь, если мы замыслим зло против белого человека. И тогда помощник, чтобы поглумиться над нами, еще раз крикнул: «Ату их, ату!» Шестеро наших, которых мы уже оплакивали,

как мертвых, были спущены на берег, после чего корабли, подняв паруса, ушли к Соломоновым островам.

Шесть высаженных на берег канаков первыми пали жертвой страшного дьявола, которого приставили к нам капитаны.

— Вас посетила тяжкая болезнь? — перебил я, сразу раскусив, в чем заключалась хитрость белых.

На борту одной из шхун свирепствовала корь, и пленников умышленно заразили этой болезнью.

— Да, тяжкая болезнь. Это был могущественный дьявол. Самые древние старики не слыхали о таком. Мы убили последних жрецов, остававшихся в живых за то, что они не могли справиться с этим дьяволом. Болезнь что ни день становилась злее. Я уже говорил, что тогда, на песчаной отмели, бедро к бедру и плечо к плечу стояли десять тысяч человек. Когда же болезнь ушла прочь, нас осталось только три тысячи. И так как все кокосы ушли на копру, в стране начался голод.

— Этот купец, — сказал Отти в заключение, — он кучка навоза, что валяется на дороге. Он гнилой мясо, черви его кай-кай, он смердит. Он пес, шелудивый пес, его заедай блохи. Канак, он не бойся купец. Он бойся белый человек. Он

слишком хорошо знай, что значит — убей белый человек. Шелудивый пес купец, он имей много братья, братья не давай его в обиду, они сражайся, как дьявол. Канак, он не бойся окаянный купец. Канак злой-злой, он рад убей купец, но он помни страшный дьявол. Помощник кричит: «Ату их, ату!», и канак, он не убивай.

Отти зубами вырвал кусок мякоти из брюшка огромной, судорожно бившейся макрели, насадил на крючок, и крючок с наживкой, озаренный призрачным светом, стал быстро погружаться на дно.

— Акула марш-марш, — сказал Отти. — Теперь нас поймай много-много рыбы.

Поплавок отчаянно дернуло. Старик потащил леску, осторожно выбирая ее руками, и большая треска, сердито раззевая пасть, шлепнулась на дно лодки.

— Солнце, он вставай, — сказал Отти, — моя неси окаянный купец большой-большой рыба задаром.

Язычник

Впервые мы встретились, когда бушевал ураган, и хотя мы пробивались сквозь шторм на одном судне, я обратил внимание на него только после того, как шхуна разлетелась в щепки. Я, несомненно, видел его и раньше, среди других членов нашей команды, сплошь состоящей из канаков, но за все время я ни разу не вспомнил о его существовании, потому что на «Крошке Жанне» было очень много народу. Кроме восьми или десяти матросов-канаков, белого капитана, его помощника, кладовщика и шестерых каютных пассажиров, шхуна взяла в Ранжире что-то около восьмидесяти пяти палубных пассажиров с Паумоту и Таити: мужчин, женщин и детей. У каждого из них были корзины, не говоря уже о матрасах, одеялах и узлах с одеждой.

Сезон добычи жемчуга на Паумоту закончился, и ловцы возвращались на Таити. Шестеро скупщиков жемчуга разместились в каютах: два американца, китаец А-Чун (ни разу в жизни не видел такого белокожего китайца), один немец, один польский еврей и я.

Сезон был удачный. Ни один из нас и ни один

из восьмидесяти пяти палубных пассажиров не имел оснований жаловаться на судьбу. Все хорошо поработали и мечтали отдохнуть и развлечься в Папеэте.

«Крошку Жанну», конечно, перегрузили. Водоизмещением она была всего в семьдесят тонн; нельзя было брать на борт и десятую часть того сброда, который запрудил палубу. Трюмы были до отказа загружены жемчужными раковинами и копрой. Даже кладовку забили перламутром. Каким-то чудом матросы умудрялись еще управлять шхуной. Пройти по палубе было невозможно, и они передвигались по поручням.

Ночью матросы ходили по людям, которые, честное слово, спали буквально друг на друге. А кроме того, полно было поросят, кур, мешков с бататом, и везде, где только можно, красовались связки кокосовых орехов для утоления жажды и гроздья бананов. По обе стороны между вантами грот-мачты и фок-мачты низко, чтобы не соприкасались со штагами утлегаря, были натянуты леера. А на каждом таком леере висело не меньше полусотни связок бананов.

Рейс предстоял беспокойный, даже если пройти путь дня за два-три, что было возможно только при сильном юго-восточном пассате. Но ветра

не было. Через пять часов пути после нескольких слабых порывов ветер стих совсем. Штиль продолжался всю ночь и весь следующий день — один из тех ослепительных зеркальных штилей, когда от одной мысли о том, чтобы открыть глаза и посмотреть на воду, начинает болеть голова.

На следующий день умер человек, уроженец острова Пасхи, — в том сезоне он был одним из лучших ловцов жемчуга в лагуне. Оспа — вот причина его смерти, хотя я не могу себе представить, как ее занесли на судно; когда мы выходили из Ранжира, на берегу не было зарегистрировано ни единого случая заболевания оспой. И все-таки факт оставался фактом: оспа, умерший человек и трое больных.

Ничего нельзя было сделать. Мы не могли изолировать больных и не могли ухаживать за ними. На судне нас было, что сельдей в бочке. Ничего нельзя было сделать — только заживо гнить да умирать, вернее, ничего нельзя было сделать после той ночи, когда умер человек. В ту же ночь помощник капитана, кладовщик, польский еврей и четверо ловцов-туземцев удрали на вельботе. Больше мы их не видели. Утром капитан приказал продырявить оставшиеся шлюпки, и теперь мы уже никуда не могли деться.

В тот день умерли двое, на следующий день — трое, потом количесво смертных случае подскочило до восьми. Любопытно было наблюдать, как мы это воспринимали. Туземцев, например, охватил тупой, беспросветный страх. Капитан-француз стал раздражительным и болтал без умолку. Звали этого капитана Удуз. От волнения его даже подергивало. Высокий, грузный мужчина, весом фунтов двести, не меньше, — жирная туша, дрожащая как желе.

Немец, два американца и я скупили все виски и непрерывно пили. Рассчитали мы все отлично, а именно: бациллы, проникающие в организм, моментально погибнут. И этот рецепт оказался действенным, хотя, должен признаться, и капитана Удуза и А-Чуна болезнь миновала тоже. Француз совсем не пил, а А-Чун ограничивался стаканом в день.

Да, славное было времечки! Солнце стояло в зените. Ветра совсем не было, лишь изредка налетали шквалы, они свирепствовали от пяти до тридцати минут и мчались прочь, окатив нас ливнем. После шквала снова нещадно палило солнце, и с отсыревших палуб поднимались клубы пара.

Пар этот был не простой. Это был смертоносный

туман, насыщенный мириадами бацилл. Видя, как с больных людей и с трупов поднимается этот пар, мы пропускали еще по стаканчику, потом еще и еще, почти не разбавляя. Кроме того, мы взяли за правило выпивать несколько добавочных рюмок каждый раз, когда скидывали мертвецов за борт кишащим вокруг судна акулам.

Прошла неделя, запасы виски кончились. И это хорошо, иначе меня не было бы сейчас в живых. Чтобы пережить все, что произошло потом, нужно было быть вполне трезвым, надеюсь, вы со мной согласитесь, если я упомяну об одной небольшой детали — в конце концов в живых осталось только двое. Вторым был язычник, во всяком случае я слышал, что именно так называл его капитан Удуз в тот момент, когда я впервые узнал о существовании этого человека. Не будем, однако, забегать вперед.

Это было на исходе недели. Виски вышло, скупщики жемчуга протрезвели, и я впервые случайно взглянул на барометр, висевший в кают-компании. Для Паумоту норма — 29.90, и мы привыкли видеть, как стрелка колеблется между 29.85 и 30.00 или даже 30.05, но то, что увидел я — 29.62! — могло привести в чувство самого пьяного скупщика жемчуга из тех, кто

когда-либо пытался уничтожить микробов оспы шотландским виски.

Я сказал об этом капитану Удузу, и он ответил, что уже несколько часов наблюдает, как падает барометр. Не много можно было сделать при данных обстоятельствах, но это немногое он выполнил превосходно. Он остановил только штормовые паруса, натянул штормовые леера и ждал ветра. Ошибся он уже после того, как налетел ветер. Он лег в дрейф, и это правильно, когда находишься к югу от экватора, если — вот тут-то он и сплоховал, — если судно не стоит на пути урагана.

А мы стояли на пути урагана. Я видел это по тому, как непрерывно усиливался ветер и падал барометр. Я считал, что шхуну надо было повернуть и идти левым галсом, пока не перестанет падать барометр, и уже после этого лечь в дрейф. Я спорил с капитаном, чуть не довел его до истерики, но он стоял на своем. Хуже всего то, что мне не удалось уговорить остальных скупщиков жемчуга поддержать меня. В конце концов кто я такой, чтобы знать море и его особенности лучше многоопытного капитана? Так они, вероятно, думали.

Ветер катил страшные валы, и я никогда не

забуду трех первых волн, обрушившихся на «Крошку Жанну». Она накренилась, что иногда бывает, когда суда ложатся в дрейф, и первая волна перекатилась через палубу. Штормовые леера — это для сильных и здоровых, но даже им они не особенно помогают, когда женщины, дети, груды бананов и кокосовых орехов, поросята, дорожные корзины, умирающие, больные — все это катится по палубе сплошной визжащей, воющей массой.

Вторая волна смела с палубы «Крошки Жанны» поручни, и так как корма шхуны погрузилась в воду, а нос взметнулся к небу, все это страшное месиво людей и груза поползло вниз. Это был поток человеческих тел. Людей несло, кого головой вперед, кого вперед ногами, кого боком, кувырком; они корчились, сгибались, извивались и распластывались. Время от времени кому-нибудь удавалось ухватиться за мачту или леер, но под напором движущихся тел он разжимал руки.

Кто-то врезался головой в битенг по правому борту. Череп его раскололся, как яйцо. Я понял, что нас ждет, и вскарабкался на рубку, затем на грот-мачту. А-Чун и один из американцев попытался влезть следом за мной, но я опередил их на целый прыжок. Американца тут же смыло волной за борт, как соломинку. А-Чун ухватился за

штурвал и повис на нем. Но огромная женщина из племени раратонга, весом, наверно, фунтов в двести пятьдесят, упала на него и ухватилась рукой за его шею. Свободной рукой он схватил канака-рулевого, но в это мгновение шхуна накренилась на правый борт.

Лавина воды и человеческих тел, которая неслась вдоль левого борта между каютой и поручнями, ринулась к правому борту. Всех смело: ту женщину, А-Чуна и рулевого, — и, честное слово, я видел, как, разжав руки и падая вниз, А-Чун усмехнулся мне с философским смирением.

Третья, самая большая волна причинила не меньше разрушений. Когда она обрушилась на судно, почти все взобрались на такелаж. Внизу остался десяток оглушенных, захлебывающихся, полуживых несчастных, они старались уползти куда-нибудь в безопасное место, но их швыряло взад и вперед по палубе. Их смыло волной вместе с обломками двух шлюпок. Скупщики жемчуга и я умудрились между двумя волнами затолкать в кают-компанию человек пятнадцать женщин и детей и запереть их там. Увы, это не спасло несчастных.

А ветер? Я никогда бы не поверил, что может быть такой ветер. Описать его нельзя. Разве мож-

но описать кошмар? С таким же успехом можно описывать тот ветер. Он срывал с нас одежду. Я сказал «срывал», и я не оговорился. Я вовсе не прошу, чтобы вы мне верили. Я просто рассказываю о том, что сам видел и пережил. Порой мне не верится, что все это было. Невозможно испытать на себе этот ветер и остаться в живых. Я выжил, вот и все. Это было что-то чудовищное, и ужас заключался в том, что ветер все время усиливался.

Представьте себе неисчислимые миллионы и миллиарды тонн песка. Представьте, что песок мчится со скоростью девяносто, сто, сто двадцать миль в час, даже быстрее. Представьте себе, далее, что песок невидим, неосязаем, хотя полностью сохраняет вес и плотность песка. Вообразите все это — и вы получите отдаленное представление о том ветре.

Быть может, песок — неудачное сравнение. Считайте, что это шлам, невидимый, неосязаемый, но тяжелый, как шлам. Нет, даже не то! Считайте, что каждая молекула воздуха сама является кучей шлама. Затем попытайтесь вообразить великое множество таких молекул, слитых воедино. Нет, у меня не хватает слов. Язык человека может передать обычные явления жизни, но он не дает возможности передать

сверхъестественное стихийное бедствие, как тот ветер. Лучше бы мне не браться за это описание, как я решил вначале.

Я только одно скажу: этот ветер сбил волны. Более того, казалось, смерч всосал в себя весь океан и заметался в том пространстве, где прежде был воздух.

Конечно, от парусов на шхуне остались одни клочья. Но капитан Удуз имел на «Крошке Жанне» приспособление, каких я никогда не видел на здешних шхунах, — плавучий якорь. Это был конический брезентовый мешок с массивным железным обручем, вставленным в верхний край. Плавучий якорь пускают, подобно змею, он врезается в воду так же, как змей взмывает в поднебесье, с той только разницей, что плавучий якорь останавливается у самой поверхности воды. Со шхуной якорь связывал длинный канат. Поэтому «Крошка Жанна», гонимая ветром, встречала волны носом.

Все могло бы кончиться благополучно, не окажись мы на пути урагана. Правда, ветер сорвал наши паруса, сломал верхушки мачт, перепутал снасти бегучего такелажа, и все-таки мы вышли бы из беды, если бы на нас не надвинулся самый центр урагана. Это нас и погубило. Бесконечные

порывы ветра оглушили, пришибли, парализовали меня, я был готов прекратить борьбу, но тут мы оказались в центре циклона. На нас обрушился новый страшный удар — полное затишье. Воздух стал абсолютно неподвижен. Это было невыносимо.

Не забывайте, что несколько часов подряд мы испытывали страшный напор ветра. А потом внезапно давление исчезло. У меня было такое чувство, что тело мое лопнет, разорвется на куски. Казалось, будто я вот-вот взорвусь. Но это длилось всего одно мгновение. Надвигалась катастрофа. Давление упало совсем, стих ветер — и тут поднялись волны. Они прыгали, они вздымались, они взмывали к самым тучам. Не забывайте, что отовсюду ветер дул к центру спокойствия. Поэтому сюда же со всех сторон катились волны. И не было ветра, который мог бы сбить их. Волны подскакивали, как пробки, пущенные со дна ведра с водой. В их движении отсутствовала система или последовательность. Это были безумные, сумасшедшие волны высотой не меньше восьмидесяти футов. Это были вовсе не волны. Ни один смертный не видел ничего подобного.

Это были всплески, чудовищные всплески — и все! Всплески высотой в восемьдесят футов. Во-

семьдесят! Даже больше восьмидесяти! Волны выше наших мачт. Волны-смерчи, волны-взрывы. Они были пьяны. Они падали везде, как попало. Они сталкивались, отталкивались друг от друга. Они схлестывались и разлетались в стороны тысячами водопадов. Редко кому удавалось заглянуть в «глаз бури» — побывать в центре урагана. Полнейший хаос. Анархия. Преисподняя обезумевшей стихии.

Что сталось с «Крошкой Жанной»? Не знаю. Язычник говорил мне потом, что он тоже ничего о ней не знает. Она в буквальном смысле раскололась пополам, разлетелась на куски, рассыпалась в щепки, превратилась в труху, перестала существовать. Я пришел в себя, когда был уже в воде и плыл, машинально работая руками, хотя уже начинал тонуть. Как я там очутился, не помню. Я видел только, как «Крошка Жанна» разлетается на куски, вероятно, это произошло в то мгновение, когда я терял сознание. Как бы там ни было, я был в воде, и единственное, что оставалось, — не падать духом, хотя духу-то у меня не хватало. Снова поднялся ветер, волны стали меньше, двигались они как обычно, и я понял, что миновал центр циклона. К счастью, вокруг не было акул. Ураган разогнал жадную стаю, которая окружала

судно с мертвецами и пожирала трупы.

«Крошка Жанна» рассыпалась на куски около полудня, а часа через два я наткнулся на крышку от люка. Все время лил ливень, и я заметил эту крышку совершенно случайно. К кольцу была привязана небольшая веревка; я понял, что продержусь по крайней мере день, если не появятся акулы. Часа три спустя, может быть, немного больше, когда я, крепко ухватившись за крышку и зажмурив глаза, по мере сил старался равномерно и глубоко дышать и в то же время не наглотаться воды, мне показалось, что слышу чьи-то голоса. Дождь прекратился, и ветер и море успокоились. Футах в двадцати от меня, прицепившись к крышке люка, плыли капитан Удуз и язычник. Они дрались из-за этой крышки, по крайней мере дрался Удуз.

Я услыхал визг Удуза: «Paien noir!»[2] — и увидел, как он стукнул канака ногой.

Надо сказать, что капитан Удуз потерял всю свою одежду, кроме тяжелых, грубых башмаков. Удар был жестокий — он пришелся язычнику в лицо и почти оглушил его. Я думал, что канак тоже стукнет его как следует, но он ограничил-

---

[2] notes: 2
черный язычник, безбожник (франц.)

ся тем, что для безопасности отплыл футов на десять. Каждый раз, когда волны прибивали его к французу, тот, держась руками за крышку, лягал его обеими ногами и ругал канака черным язычником.

— Я вот пущу тебя на дно, белая скотина! — заорал я.

Только сильная усталость помешала мне это сделать. Мне сделалось не по себе от одной мысли о том, что надо к нему плыть. Так что я позвал канака и предложил ему держаться за мою крышку. Он сказал мне, что его зовут Отоо и что он уроженец острова Бора-Бора, самого западного из Островов Товарищества. Как я узнал впоследствии, он первым обнаружил крышку и, увидев через некоторое время капитана Удуза, предложил ему спасаться вместе, а за эти старания капитан ногами оттолкнул его прочь.

Так мы встретились с Отоо. Нет, он не задира. Он был кроток, нежен и добр, хотя рост его достигал шести футов, и сложен он был, как гладиатор. Он не был ни задирой, ни трусом. В груди его билось львиное сердце, и впоследствии я не раз видел, как он шел на риск там, где я непременно бы отступил. Я хочу сказать, хотя Отоо и не был задирой и никогда не ввязывался в ссоры, он ни-

когда не отступал перед опасностью. Но берегись, когда Отоо начинал действовать! Никогда не забуду, как он разделал Билли Кинга. Это случилось в Германском Самоа. Билл Кинг был прославленным чемпионом-тяжеловесом американского флота. Это был человек-зверь, этакая горилла, один из тех грубо сколоченных, крепко сбитых парней, которые отлично владеют кулаками. Он начал ссору и дважды стукнул Отоо ногой, потом ударил его еще раз, прежде чем до Отоо дошло, что необходимо драться. По-моему, не прошло и четырех минут, как Билли Кинг превратился в несчастного обладателя четырех сломанных ребер, перебитого предплечья и вывихнутой лопатки. Отоо ничего не смыслил в искусстве бокса. Он бил, как умел, и Билли Кинг пролежал что-то около трех месяцев, оправляясь от побоев, полученных в один прекрасный день на берегу Апии.

Не буду, однако, забегать вперед. Итак, мы оба держались за ту крышку. Каждый из нас по очереди забирался на нее и, лежа ничком, отдыхал, а другой, погрузившись в воду до самого подбородка лишь придерживался за нее руками. Два дня и две ночи, то лежа на крышке, то погружаясь в воду, мы носились по океану. Под конец я почти все время был в бессознательном состоянии, но

иногда слышал, как Отоо что-то бормочет на своем родном языке. Мы находились в воде, поэтому не умерли от жажды, хотя соленая морская вода разъедала опаленное солнцем тело.

Кончилось тем, что Отоо спас мне жизнь, потому что я пришел в себя на берегу футах в двадцати от воды, защищенной от солнца листьями кокосовой пальмы. Это Отоо приволок меня туда и воткнул в песок листья. Сам он лежал рядом. Я снова потерял сознание, а когда очнулся, стояла прохладная звездная ночь, и Отоо поил меня соком кокосового ореха.

Кроме нас двоих, с «Крошки Жанны» не спасся никто. Капитан Удуз, вероятно погиб от истощения, потому что ту крышку выбросило на берег через несколько дней. Мы с Отоо прожили на атолле целую неделю, потом нас подобрал французский крейсер и доставил на Таити. Однако за это время мы совершили церемонию обмена именами. На островах Южных морей этот обычай связывает людей узами, которые крепче уз братства. Инициатива принадлежала мне, и Отоо пришел в неописуемый восторг от этого предложения.

— Это хорошо, — сказал он по-таитянски, — потому что два дня мы вместе смотрели в глаза

смерти.

— Но смерть поперхнулась, — сказал я, улыбаясь.

— Вы были храбры, господин, — ответил он, — и у смерти не хватило наглости заговорить.

— Почему ты называешь меня «господином»? — возразил я, притворяясь обиженным. — Мы же поменялись именами. Для тебя я Отоо. Ты для меня — Чарли. И между нами на веки веков ты Чарли, а я Отоо. Таков обычай. И после нашей смерти, если мы встретимся в потустороннем мире, ты все так же будешь для меня Чарли, а я для тебя Отоо.

— Да, господин, — ответил он, и глаза его засияли тихой радостью.

— Ты опять! — закричал я в негодовании.

— Разве я могу отвечать за то, что произносят мои губы? — сказал он.

— Это ведь только губы. Но про себя я всегда буду говорить: «Отоо». Когда я буду думать о себе, я подумаю о тебе. Когда меня позовут по имени, я буду думать о тебе. И над небесами, и за звездами, отныне и навеки. Ты будешь для меня Отоо. Это хорошо, господин?

Я сдержал улыбку и ответил, что хорошо.

В Папеэте мы расстались. Я остался на берегу,

чтобы немного окрепнуть, а он катером отправился на свой остров Бора-Бора. Через шесть недель он вернулся. Я удивился, потому что, уезжая, он сообщил, что решил вернуться домой, к жене и забыть о дальних путешествиях.

— Куда ты поедешь, господин? — спросил он, едва мы успели поздороваться.

Я пожал плечами. Это был трудный вопрос.

— Буду скитаться по всему свету, — ответил я, — по всем морям и по всем островам, которые лежат в этих морях.

— Я поеду с тобой, — сказал он просто. — Моя жена умерла.

У меня никогда не было брата, но если судить по другим людям, то вряд ли хоть один человек на земле имел брата, который бы значил для него так же много, как Отоо для меня. Он был мне и братом, и отцом, и матерью. Я твердо убежден, что стал лучше и честнее благодаря Отоо. Мне безразлично, что обо мне думают окружающие, но я должен был оставаться честным в глазах Отоо. Он был рядом, и я не смел запятнать себя. Я был его идеалом, конечно, это объясняется его любовью и обожанием, но подчас я мог бы наделать кучу глупостей, если бы меня не останавливала мысль об Отоо. Он гордился мной, и я

уж и сам начинал видеть в себе что-то хорошее, и у меня выработалась привычка не делать ничего, что могло бы подорвать эту его гордость.

Я, конечно, не сразу понял, как он ко мне относится. Он никогда меня ни в чем не упрекал, никогда не порицал, и я не сразу узнал, как высоко я стою в его глазах.

Так же медленно до меня доходило, что он тяжело переживает, когда я стараюсь казаться хуже, чем я есть на самом деле.

Мы не расставались семнадцать лет, и все эти годы он всегда был рядом со мной: сторожил мой сон, ухаживал за мной, когда я был ранен, бросался за меня в драку и получал раны. Он служил на суднах вместе со мной, и мы с ним избороздили весь Тихий океан — от Гавайских островов до мыса Сиднея и от пролива Торрес до Галапагоса. Мы вербовали чернокожих на всем протяжении от Новых Гебрид и островов Лайн до Луизианы, Новой Британии, Новой Ирландии и Нового Ганновера. Мы трижды пережили кораблекрушение: возле островов Гилберта, Санта-Крус и Фиджи. Мы покупали и перепродавали все, на чем можно было заработать доллар, — будь то жемчуг, раковины, копра, трепанги, черепахи, черепаховые панцири и всякая всячина с разбитых судов.

Я обо всем догадался в Папеэте, сразу после того, как он объявил, что пойдет за мной хоть на край света. В ту пору в Папеэте был своего рода клуб, где собирались скупщики жемчуга, торговцы, капитаны и разные авантюристы, каких немало в тех краях. Игра шла по крупной, пили тоже немало, и, к сожалению, я засиживался позднее, чем следовало бы. И когда бы я ни вышел из клуба, меня всегда ждал Отоо, чтобы проводить домой.

Вначале это вызывало у меня улыбку, затем я отчитал его. Потом я заявил ему без обиняков, что не нуждаюсь в няньках. После этого, выходя из клуба, я не встречал его. Прошла неделя, и как-то совершенно случайно я обнаружил, что он по-прежнему провожает меня домой, пробираясь вдоль улицы в тени манговых деревьев. Что я мог сделать? И тогда я понял, что нужно было делать.

Незаметно для себя я стал приходить домой раньше. На улице дождь и ветер, и я в разгар дурачества и веселья то и дело возвращался к мысли об Отоо, который неустанно несет свою унылую вахту под манговым деревом, не защищающим от потоков воды. Я и в самом деле стал лучше благодаря ему. И все-таки он не проявлял пуританской нетерпимости в вопросах морали.

Ему ничего не было известно о христианских заповедях. Все население Бора-Бора приняло христианство, а он был язычник, единственный неверующий на острове, великий материалист, который знал, что будет мертв, когда умрет. Он верил в людскую добросовестность и честную игру. Мелкие подлости в его кодексе чести были почти таким же серьезным преступлением, как зверское убийство, и я совершенно убежден, что он скорее отнесется с уважением к убийце, чем к жулику средней руки.

Что же касается меня лично, он не одобрял ничего, что шло мне во вред. В игре он не видел ничего плохого. Он и сам был азартным игроком. Но поздние бдения, объяснил он, вредят здоровью. Он знал людей, которые умирали от лихорадки потому, что не заботились о своем здоровье. Он не был трезвенником и, промокнув до нитки, был не прочь хлестнуть виски. Иными словами, он верил, что спиртное полезно лишь в умеренных количествах. Он видел множество людей, которых шотландское виски или джин загоняли в гроб или делали калеками.

Мое благосостояние Отоо принимал близко к сердцу. Он думал о моем будущем, взвешивал мои планы и размышлял о моей судьбе больше, чем

я сам. Вначале, когда я еще не подозревал о том, что он интересуется моими делами, ему приходилось самому догадываться о моих намерениях, как, например, случилось в Папеэте, когда я раздумывал, вступать ли в компанию с одним плутоватым парнем, моим соотечественником, который затеял рискованное предприятие с гуано. Я не знал, что этот парень — мошенник. Этого не знал ни один белый в Папеэте. Отоо тоже ничего не знал, но он видел, что мы становимся с тем парнем закадычными дружками, и на свой страх решил все разузнать о нем. На побережье Таити стекаются матросы-туземцы со всех морей. Подозрительный Отоо терся около них до тех пор, пока не собрал убедительные факты, подтверждающие его догадки. Да, немало он узнал о делишках Рэндольфа Уотерса. Когда Отоо рассказал мне о них, я не поверил, но потом выложил все Уотерсу, и тот, не сказав ни слова, с первым же пароходом отбыл в Окленд.

Откровенно говоря, вначале меня раздражало то, что Отоо сует нос в мои дела. Но я знал, что он действует совершенно бескорыстно; вскоре я должен был признать, что он мудр и осторожен. Он следил, чтобы я не упустил выгодного случая, был одновременно и дальновидным и

проницательным. Скоро я уже начал во всем советоваться с Отоо, так что в конце концов он стал разбираться в моих делах лучше, чем я сам. Мои интересы он принимал ближе к сердцу, чем я. В ту чудесную пору я был по-мальчишески беспечен, романтику предпочитал доллару, а приключение — удобному ночлегу под крышей. Словом, хорошо, что кто-то присматривал за мной. Если бы не Отоо, меня бы давно не было в живых. Это я знаю наверное.

Из многочисленных примеров позвольте привести один. Когда я отправился за жемчугом в Паумоту, у меня уже был некоторый опыт по вербовке чернокожих. В Самоа мы с Отоо остались на берегу, вернее, сели на мель, денег — ни гроша, но мне повезло: я поступил вербовщиком на бриг, который доставлял негров на плантации. Отоо нанялся на этот же бриг простым матросом. В течение следующих шести лет на разных судах мы избороздили самые дикие уголки Меланезии. Отоо был убежден, что место загребного на моей лодке по праву принадлежит ему. Работали мы обычно так. Вербовщика высаживали на сушу. Его лодка оставалась у самого берега — весла наготове. Она находилась под прикрытием другой лодки, что стояла в нескольких сотнях ярдов в

море. Я втыкал в песок шест, которым в случае необходимости можно было быстро оттолкнуться от берега, выгружал из лодки свои товары, а Отоо бросал весла и подсаживался к винчестеру, скрытому под парусиной. Матросы на другой лодке были тоже вооружены: под парусиной вдоль берега лежали снайдеры.

Пока я торговался с чернокожими и убеждал их наняться на плантации Квинсленда, Отоо не спускал с них глаз. Сколько раз негромким окриком предупреждал он меня о подозрительных действиях негров или о ловушке, которую они готовили. Иногда первым сигналом тревоги был внезапный выстрел, которым Отоо разил негра наповал. Я бросался к лодке, и он всегда подхватывал меня на лету. Помню, однажды, когда мы плавали на «Санта Анна», на нас напали, едва наша лодка подошла к берегу. Прикрывающая нас лодка помчалась на помощь, но тем временем несколько десятков дикарей оставили бы от нас мокрое место. Тогда Отоо одним прыжком перескочил на берег и начал обеими руками разбрасывать во все стороны табак, бусы, томагавки, ножи и куски ситца.

Для негров это было слишком сильное искушение. Пока они дрались из-за сокровищ, мы

столкнули лодку в воду и отошли футов на сорок в море. А через четыре часа на этом берегу я завербовал тридцать человек.

Особенно запомнился мне один случай на Малаите, самом диком острове из восточной группы Соломоновых островов. Туземцы были настроены чрезвычайно дружественно, но откуда нам было знать, что вся деревня уже более двух лет собирала человеческие головы, чтобы обменять их на голову белого человека? Там все бродяги были охотниками за головами, и особенно высоко ценились головы белых. Тот, кто ее добудет, получит все, что они накопили. Как я уже сказал, они были настроены очень дружелюбно, и я в этот день удалился в глубь берега на добрую сотню ярдов. Отоо предупреждал, что это не безопасно, но я не послушался, и, как всегда, это привело меня к беде. Я внезапно увидел целую тучу копий, летящих из мангровой чащи. Не менее десятка задело меня. Я пустился бежать, но споткнулся о копье, которое вонзилось мне в икру, и упал. Негры бросились за мной, размахивая боевыми, украшенными перьями топориками на длинных рукоятках, и собирались, по-видимому, отрубить мне голову. Им так не терпелось получиь награду, что они толкались и мешали друг другу. В

суматохе мне удавалось увертываться от ударов, петляя на бегу и бросаясь на землю.

В это время появился Отоо, Отоо — борец. Он где-то раздобыл тяжелую боевую дубинку, и в рукопашной она оказалась полезней ружья. Отоо бросился в гущу толпы, и враги не могли поразить его копьями, а топоры только мешали им. Он сражался за меня с исступлением. Дубинкой он орудовал потрясающе. Под его ударами головы лопались, словно перезрелые апельсины. Его ранили лишь после того, как, разогнав туземцев, он взвалил меня на плечи и побежал к лодке. Он добрался до лодки, четыре раза задетый копьями, схватил свой винчестер и стал стрелять, каждым выстрелом укладывая врага. Затем нас взяли на шхуну и перевязали раны.

Семнадцать лет мы не расставались. Он сделал меня человеком. Я бы и по сей день был судовым приказчиком, вербовщиком, а может быть, от меня не осталось бы даже воспоминания, если бы не он.

— Сейчас, истратив деньги, ты можешь заработать еще, — сказал он мне однажды. — Сейчас тебе легко добывать деньги. Но когда ты состаришься, деньги у тебя разойдутся, а заработать ты не сможешь. Я это знаю, господин. Я изучил

повадки белых. На побережье много стариков, некогда они были молоды и могли зарабатывать, как ты сейчас. Теперь они стары, у них ничего нет, и они слоняются в ожидании какого-нибудь парня, который угостит их.

Чернокожий трудится на плантациях, словно раб. Он получает двадцать долларов в год. Он работает много. Надсмотрщик работает мало. Ездит себе верхом да наблюдает, как работает чернокожий парень. Он получает тысячу двести долларов в год. Я матрос на шхуне. Мне платят пятнадцать долларов в месяц. Это потому, что я хороший матрос. Я много работаю. А капитан прохлаждается под тентом да тянет пиво из больших бутылок. Я никогда не видел, чтобы он поднимал паруса или работал веслом. Он получает сто пятьдесят долларов в месяц. Я — матрос. Он — навигатор. Господин, я думаю, тебе надо изучить навигацию.

Отоо побудил меня заниматься этим. Когда я вышел в свой первый рейс вторым помощником капитана, он плавал со мной и больше меня гордился тем, что я командую. Но Отоо не унимался:

— Господин, капитан получает много денег, но он ведет судно и никогда не знает покоя. Судовладелец — вот кто получает больше. Судовладелец,

который сидит на берегу и делает деньги.

— Верно, но шхуна стоит пять тысяч долларов, причем старая шхуна, — возразил я. — Я помру, прежде чем накоплю пять тысяч долларов.

— Белый человек может разбогатеть очень быстро, — продолжал он, указывая на берег в зарослях кокосовых пальм.

Это было у Соломоновых островов. Мы шли вдоль восточного берега Гвадалканара и скупали «растительную слоновую кость».

— Между устьями двух рек расстояние мили две, — сказал он. — Равнина тянется в глубь острова. Сейчас она ничего не стоит. Но кто знает? Может быть, через год-два эта земля будет стоить очень дорого. Тут удобно стать на якорь. Океанские пароходы могут подходить к самому берегу. Старый вождь продаст тебе полоску земли шириной в четыре мили за десять тысяч пачек табаку, десять бутылок джина и ружье системы Снайдера, что обойдется тебе приблизительно в сотню долларов. Затем ты оформишь сделку и через один-два года продашь землю и купишь собственное судно.

Я последовал совету Отоо, и его предсказание сбылось, правда, не через два, а через три года. Затем последовало дело с пастбищами на Гвадал-

канаре — арендовал у государства двадцать тысяч акров сроком на девятьсот девяносто девять лет по номинальной стоимости. Я был арендатором ровно девяносто дней, потом продал землю за огромную сумму одной компании. Именно он, Отоо, все предвидел и не упускал удобного случая. Это была его идея — поднять затонувший «Донкастер», который продавался на аукционе за сто фунтов. Операция эта после покрытия всех расходов дала три тысячи чистой прибыли. По совету Отоо я стал плантатором на Савайе и занялся торговлей кокосовыми орехами в Уполу.

Мы уже не ходили в море так часто, как прежде. Я стал богатым, женился, жизнь пошла по-иному, но Отоо оставался все тем же Отоо, он бродил по дому, заглядывал в контору, не вынимая изо рта деревянной трубки и не расставаясь с дешевой сорочкой и панталонами. Я не мог заставить его тратить деньги. Ему не нужно было никакого вознаграждения, кроме любви, и

— бог свидетель, — мы все от души его любили. Дети его обожали, а жена моя непременно бы его избаловала, если бы Отоо можно было избаловать.

А дети! Это он раскрыл им тайны окружающего мира. Под его присмотром они делали первые

шаги. Когда кто-нибудь из ребят заболевал, он не отходил от его постели. Одного за другим, когда они были еще совсем крошечными, он брал с собой в лагуну и учил плавать и нырять. Я никогда не знал о рыбах и о рыбной ловле столько, сколько он рассказал детям. Он открыл им тайны леса. В семь лет Том знал лес так, как мне и не снилось. Шести лет Мэри бесстрашно проходила по обрывистой скале, а я знал, что не каждый мужчина отважится на такой подвиг. Едва Франку исполнилось шесть лет, он мог достать монету с пятиметровой глубины.

— Мой народ на Бора-Бора не любит язычников, они там все христиане. А я не люблю христиан острова Бора-Бора, — сказал он однажды, когда я убеждал его взять одну из наших шхун и навестить родной остров. У меня была идея — заставить его тратить деньги, по праву принадлежавшие ему. Путешествие я затевал неспроста: я надеялся, что это событие будет переломным в его психологии и он начнет беззаботно тратить деньги.

Я говорю «одну из наших шхун», хотя в ту пору все они по закону принадлежали мне. Я долго пытался побороть его упрямство: мне хотелось, чтобы мы были компаньонами.

— Мы компаньоны с того самого дня, как затонула «Крошка Жанна», — ответил он мне наконец. — Но если твое сердце пожелало, давай будем законными компаньонами. Я бездельничаю, а денег на меня уходит уйма. Я много пью, ем и курю вволю, а это стоит немало, я знаю. Я бесплатно играю на бильярде, потому что это твой стол, но это все-таки расход. Удить рыбу на рифе для собственного удовольствия может позволить себе только богач. На крючки и лесы уходит много денег. Да, нам необходимо стать компаньонами по закону. Мне нужны деньги. Я буду получать их в конторе у старшего клерка.

Словом, были выписаны и оформлены соответствующие документы. Прошел год, и я начал ворчать.

— Чарли, — сказал я, — ты — старый обманщик, несчастный скряга, жалкий краб. Смотри-ка, твоя доля прибыли за этот год равна нескольким тысячам долларов. Эту бумагу мне дал старший клерк. Здесь написано, что за год ты истратил восемьдесят семь долларов и двадцать центов.

— Мне еще что-нибудь причитается? — спросил он озабоченно.

— Я же сказал, несколько тысяч долларов, — ответил я.

Лицо его просветлело, будто он почувствовал большое облегчение.

— Это очень хорошо, — сказал он. — Смотри, чтобы старший клерк правильно вел счета. Когда мне понадобятся деньги, я возьму их, и чтобы ни один цент не пропал.

— А если случается недостача, — помолчав, добавил он жестко, — ее покрывают из жалованья клерка.

А в то время, как я впоследствии узнал, в сейфе американского консульства уже хранилось его завещание, составленное Каррузерсом, по которому я являлся единственным его наследником.

Но пришел конец, потому что все на свете должно когда-нибудь закончиться. Это случилось на Соломоновых островах, где в дни безрассудной юности мы работали не покладая рук. Теперь мы снова посетили эти места, главным образом для того, чтобы отдохнуть, а заодно посмотреть, как идут дела на земельных участках на острове Флорида, и разузнать, насколько выгоден жемчужный промысел в проливе Мболи. Мы стали на якорь у острова Саво в надежде выторговать у туземцев что-нибудь ценное.

Ну, возле Саво так и кишат акулы. Обычай туземцев хоронить своих покойников в открытом

море привел к тому, что акулы стали постоянными жильцами омывающих остров вод. Так уж мне всегда везет, что крошечное, перегруженное туземное каноэ, в котором мы плыли, опрокинулось. В нем было, вернее, за него держались четверо негров и я. До шхуны было ярдов сто. Как раз в то время, когда я кричал своим на шхуне, чтобы спустили шлюпку, раздались вопли одного из негров. Он держался за конец каноэ, и его несколько раз потянуло вместе с лодчонкой. Потом он разжал руки и исчез. Его утащила акула.

Трое оставшихся негров пытались выкарабкаться из воды на днище опрокинутого каноэ. Я кричал на них, ругался, даже стукнул того, который был рядом, кулаком, но ничего не помогло. Их охватил безумный ужас. Каноэ едва ли могло выдержать даже одного из них. Когда на лодку взобрались трое, она стала вертикально, затем опрокинулась на бок, сбросив их в воду.

Я поплыл к шхуне, надеясь, что мне навстречу выйдет шлюпка. Один из негров последовал за мной, и мы продвигались вперед рядом, не говоря ни слова и время от времени опуская лицо в воду, чтобы посмотреть нет ли акул. Человек, оставшийся у каноэ, дико закричал: на него напали хищники. Опустив голову в воду, я увидел огром-

ную акулу, проплывающую как раз подо мной. Она была не менее шестнадцати футов длиной. Я видел, как все произошло. Она схватила негра поперек туловища и поплыла прочь. Голова, руки, плечи несчастного все время были над водой, он кричал душераздирающим голосом. Акула протащила его несколько сот футов, потом он скрылся под водой.

Я плыл вперед, надеясь, что это была последняя голодная акула. Но была еще одна. Была ли это одна из тех, которые напали на негров вначале, или она насытилась где-нибудь в другом месте, я не знаю. Во всяком случае, она, кажется, не спешила, как другие. Теперь я уже не мог плыть так быстро, как раньше, потому что я тратил много сил, стараясь не терять ее из виду. Я видел, как она начала первую атаку. Мне повезло — я обеими руками стукнул ее по рылу, и, хотя ее внезапный толчок чуть не увлек меня под воду, мне все-таки удалось ее отогнать… Потом она повернула и начала кружить подле меня. Так же мне удалось спастись и во второй раз. Третий бросок был неудачен для обеих сторон. Она повернула в тот момент, когда мои кулаки были возле ее рыла, и прикоснувшись к ее боку, напоминавшему наждачную бумагу, я на одной руке содрал кожу

от локтя до плеча: на мне была безрукавка.

Теперь я уже совсем выдохся и потерял всякую надежду на спасение. До шхуны оставалось футов двести. В то время, когда я опустил лицо в воду и наблюдал за акулой, которая готовилась к следующей атаке, я заметил промелькнувшее между нами коричневое тело. Это был Отоо.

— Плыви к шхуне, господин! — сказал он. И голос его был весел, словно речь шла о веселом приключении. — Я знаю акул. Акулы мне братья.

Я подчинился и медленно поплыл вперед, а Отоо был рядом, все время лавируя между мной и акулой, отражая ее атаки и подбадривая меня.

— На боканцах снесло такелаж, и они его крепят, — объяснил он через минуту-другую и сразу нырнул, чтобы отбить очередную атаку хищника.

Когда шхуна была в тридцати футах, я выдохся окончательно. Я с трудом двигал руками и ногами. С борта нам бросали веревки, но они падали слишком далеко. Акула, убедившись, что имеет дело с безобидными существами, осмелела. Несколько раз она меня чуть не схватила, но в решающую секунду ей помешал Отоо. Конечно, сам Отоо мог спастись в любой момент. Но он не хотел бросать меня.

— Прощай, Чарли! Это конец, — задыхаясь, выговорил я.

Я знал, что это конец, что через секунду я опущу руки и пойду ко дну.

Но Отоо засмеялся и сказал:

— Я покажу тебе новый фокус. Этой акуле плохо придется!

Он нырнул между мной и акулой, которая плыла за мной.

— Забирай влево! — крикнул он. — Там веревка. Еще левее, господин, левее!

Я повернул в другую сторону и поплыл вперед. Когда я ухватился за веревку, на шхуне раздался крик. Я оглянулся. Отоо не было… В следующее мгновение он показался на поверхности. Кисти обеих рук были у него оторваны, из ран лилась кровь.

— Отоо! — негромко позвал он. И взгляд его был полон той же любви, что звучала в его голосе.

Только теперь, единственный раз, в последнее мгновение своей жизни, он назвал меня этим именем.

— Прощай Отоо! — крикнул он.

Потом он исчез под водой, а меня втащили на борт, где я упал на руки капитана и потерял сознание.

Так ушел из жизни Отоо, который спас меня в молодости, сделал меня человеком и потом снова спас. Мы встретились в пасти урагана, и нас разлучила пасть акулы. Между этими событиями прошло семнадцать лет, и я с полной ответственностью могу заявить, что в мире никогда не было такой дружбы между темнокожим и белым. И если Иегова на своем высоком посту действительно всевидящ, то в его царстве не последним будет Отоо, единственный язычник с острова Бора-Бора.

Страшные Соломоновы острова

Вряд ли кто станет утверждать, что Соломоновы острова — райское местечко, хотя, с другой стороны, на свете есть места и похуже. Но новичку, незнакомому с жизнью вдали от цивилизации, Соломоновы острова могут показаться сущим адом.

Правда, там до сих пор свирепствует тропическая лихорадка, и дизентерия, и всякие кожные болезни; воздух так насквозь пропитан ядом, который, просачивается в каждую царапину и ссадину, превращает их в гноящиеся язвы, так что редко кому удается выбраться оттуда живым, и даже самые крепкие и здоровые люди зачастую возвращаются на родину жалкими развалинами. Правда и то, что туземные обитатели Соломоновых островов до сих пор еще пребывают в довольно диком состоянии; они с большой охотой едят человечину и одержимы страстью коллекционировать человеческие головы. Подкрасться к своей жертве сзади и одним ударом дубины перебить ей позвонки у основания черепа считается там верхом охотничьего искусства. До сих пор на некоторых островах, как, например,

на Малаите, вес человека в обществе зависит от числа убитых им, как у нас — от текущего счета в банке; человеческие головы являются самым ходким предметом обмена, причем особенно ценятся головы белых. Очень часто несколько деревень складываются и заводят общий котел, который пополняется из месяца в месяц, пока какой-нибудь смелый воин не представит свеженькую голову белого, с еще не запекшейся на ней кровью, и не потребует в обмен все накопленное добро.

Все это правда, и, однако, немало белых людей десятками живут на Соломоновых островах и тоскуют, когда им приходится их покинуть. Белый может долго прожить на Соломоновых островах, — для этого ему нужна только осторожность и удача, а кроме того, надо, чтобы он был неукротимым. Печатью неукротимости должны быть отмечены его мысли и поступки. Он должен уметь с великолепным равнодушием встречать неудачи, должен обладать колоссальным самомнением, уверенностью, что все, что бы он ни сделал, правильно; должен, наконец, непоколебимо верить в свое расовое превосходство и никогда не сомневаться в том, что один белый в любое время может справиться с тысячью чер-

ных, а по воскресным дням — и с двумя тысячами. Именно это и сделало белого неукротимым. Да, и еще одно обстоятельство: белый, который желает быть неукротимым, не только должен глубоко презирать все другие расы и превыше всех ставить самого себя, но и должен быть лишен всяких фантазий. Не следует ему также вникать в побуждения, мысли и обычаи черно-, желто— и краснокожих, ибо отнюдь не этим руководилась белая раса, совершая свое триумфальное шествие вокруг всего земного шара.

Берти Аркрайт не принадлежал к числу таких белых. Для этого он был чересчур нервным и чувствительным, с излишне развитым воображением. Слишком болезненно воспринимал он все впечатления, слишком остро реагировал на окружающее. Поэтому Соломоновы острова были для него самым неподходящим местом. Правда, он и не собирался долго там задерживаться. Пяти недель, пока не придет следующий пароход, было, по его мнению, вполне достаточно, чтобы удовлетворить тягу к первобытному, столь приятно щекотавшему его нервы. По крайней мере так — хотя и в несколько иных выражениях — он излагал свои планы попутчицам по «Макембо», а те смотрели на него как на героя, ибо сами они,

как и подобает путешествующим дамам, намеревались знакомиться с Соломоновыми островами, не покидая пароходной палубы.

На борту парохода находился еще один пассажир, который, впрочем, не пользовался вниманием прекрасного пола. Это был маленький сморщенный человечек с загорелым дочерна лицом, иссушенным ветрами и солнцем. Имя его — то, под которым он значился в списке пассажиров, — никому ничего не говорило. Зато прозвище — капитан Малу — было хорошо известно всем туземцам от Нового Ганновера до Новых Гебридов; они даже пугали им непослушных детей. Используя все — труд дикарей, самые варварские меры, лихорадку и голод, пули и бичи надсмотрщиков, — он нажил состояние в пять миллионов, выражавшееся в обширных запасах трепанга и сандалового дерева, перламутра и черепаховой кости, пальмовых орехов и копры, в земельных участках, факториях и плантациях.

В одном покалеченном мизинце капитана Малу было больше неукротимости, чем во всем существе Берти Аркрайта. Но что поделаешь! Путешествующие дамы судят главным образом по внешности, а внешность Берти всегда завоевывала ему симпатии дам.

Разговаривая как-то с капитаном Малу в курительной комнате, Берти открыл ему свое твердое намерение изведать «бурную и полную опасностей жизнь на Соломоновых островах», — так он при этом случае выразился. Капитан Малу согласился с тем, что это весьма смелое и достойное мужчины намерение. Но настоящий интерес к Берти появился у него лишь несколькими днями позже, когда тот вздумал показать ему свой автоматический пистолет 44-го калибра. Объяснив систему заряжания, Берти для наглядности вставил снаряженный магазин в рукоятку.

— Видите, как просто, — сказал он, отводя ствол назад. — Теперь пистолет заряжен и курок взведен. Остается только нажимать на спусковой крючок, до восьми раз, с любой желательной вам скоростью. А посмотрите сюда, на защелку предохранителя. Вот что мне больше всего нравится в этой системе. Полная безопасность! Возможность несчастного случая абсолютно исключена! — Он вытащил магазин и продолжал: — Вот! Видите, насколько эта система безопасна?

Пока Берти производил манипуляции, выцветшие глаза капитана Малу пристально следили за пистолетом, особенно под конец, когда дуло пришлось как раз в направлении его живота.

— Будьте любезны, направьте ваш пистолет на что-нибудь другое, — попросил он.

— Он не заряжен, — успокоил его Берти. — Я же вытащил магазин. А незаряженные пистолеты не стреляют, как вам известно.

— Бывает, что и палка стреляет.

— Эта система не выстрелит.

— А вы все-таки поверните его в другую сторону.

Капитан Малу говорил негромко и спокойно, с металлическими нотками в голосе, но глаза его ни на миг не отрывались от дула пистолета, пока Берти не отвернул его наконец в сторону.

— Хотите пари на пять фунтов, что пистолет не заряжен? — с жаром воскликнул Берти.

Его собеседник отрицательно покачал головой.

— Хорошо же, я докажу вам…

И Берти приставил пистолет к виску с очевидным намерением спустить курок.

— Подождите минутку, — спокойно сказал капитан Малу, протягивая руку.

— Дайте, я еще разок на него взгляну.

Он направил пистолет в море и нажал спуск. Раздался оглушительный выстрел, механизм щелкнул и выбросил на палубу дымящуюся гильзу. Берти застыл с открытым ртом.

— Я, кажется, отводил назад ствол, да? — пробормотал он. — Как глупо…

Он жалко улыбнулся и тяжело опустился в кресло. В лице у него не было ни кровинки, под глазами обозначились темные круги, руки так тряслись, что он не мог донести до рта дрожащую сигарету. У него было слишком богатое воображение: он уже видел себя распростертым на палубе с простреленной головой.

— В-в-вот история! — пролепетал он.

— Ничего, хорошая штучка, — сказал капитан Малу, возвращая пистолет.

На борту «Макембо» находился правительственный резидент, возвращающийся из Сиднея, и с его разрешения пароход зашел в Уги, чтобы высадить на берег миссионера. В Уги стояло небольшое двухмачтовое суденышко «Арла» под командованием шкипера Гансена. «Арла», как и многое другое, тоже принадлежала капитану Малу: и по его приглашению Берти перешел на нее, чтобы погостить там несколько дней и принять участие в вербовочном рейсе вдоль берегов Малаиты. Через четыре дня его должны были ссадить на плантации Реминдж (тоже собственность капитана Малу), где он мог пожить недельку, а затем отправиться на Тулаги — местопребывание

резидента — и остановиться у него в доме. Остается еще упомянуть о двух предложениях капитана Малу, сделанных им шкиперу Гансену и мистеру Гаривелу, управляющему плантацией, после чего он надолго исчезает из нашего повествования. Сущность обоих предложений сводилась к одному и тому же — показать мистеру Бертраму Аркрайту «бурную и полную опасностей жизнь на Соломоновых островах». Говорят также, будто капитан Малу намекнул, что тот, кто доставит мистеру Аркрайту наиболее яркие переживания, получит премию в виде ящика шотландского виски.

— Между нами, Сварц всегда был порядочным идиотом. Как-то повез он четверых своих гребцов на Тулаги, чтобы их там высекли — конечно, совершенно официально. И с ними же отправился на вельботе обратно. В море немного штормило, и вельбот перевернулся. Все спаслись, ну, а Сварц — Сварц-то утонул. Разумеется, это был несчастный случай.

— Вот как? Очень интересно, — рассеянно заметил Берти, так как все его внимание было поглощено чернокожим гигантом, стоявшим у штурвала.

Уги остался за кормой, и «Арла» легко сколь-

зила по сверкающей глади моря, направляясь к густо поросшим лесом берегам Малаиты. Сквозь кончик носа у рулевого, так занимавшего внимание Берти, был щегольски продет большой гвоздь, на шее красовалось ожерелье из брючных пуговиц, в ушах висели консервный нож, сломанная зубная щетка, глиняная трубка, медное колесико будильника и несколько гильз от винчестерных патронов; на груди болталась половинка фарфоровой тарелки. По палубе в разных местах разлеглось около сорока чернокожих, разукрашенных примерно таким же образом. Пятнадцать человек из них составляли экипаж судна, остальные были завербованные рабочие.

— Конечно, несчастный случай, — заговорил помощник шкипера «Арлы» Джекобс, худощавый, с темными глазами, похожий скорее на профессора, чем на моряка. — С Джонни Бедилом тоже чуть было не приключился такой же несчастный случай. Он тоже вез домой несколько высеченных, и они перевернули ему лодку. Но он плавал не хуже их и спасся с помощью багра и револьвера, а двое черных утонули. Тоже несчастный случай.

— Это здесь частенько бывает, — заметил шкипер. — Взгляните вон на того парня у руля, мистер

Аркрайт! Ведь самый настоящий людоед. Полгода назад он вместе с остальной командой утопил тогдашнего шкипера «Арлы». Прямо на палубе, сэр, вон там, у бизань-мачты.

— А уж в какой вид палубу привели — смотреть было страшно, — проговорил помощник.

— Позвольте, вы хотите сказать?.. — начал Берти.

— Вот, вот, — прервал его шкипер Гансен. — Несчастный случай. Утонул человек.

— Но как же — на палубе?

— Да уж вот так. Между нами говоря, они воспользовались топором.

— И это — теперешний ваш экипаж?!

Шкипер Гансен кивнул.

— Тот шкипер был уж очень неосторожен, — объяснил помощник. — Повернулся к ним спиной, ну… и пострадал.

— Нам придется избегать лишнего шума, — пожаловался шкипер. — Правительство всегда стоит за черномазых. Мы не можем стрелять первыми, а должны ждать, пока выстрелит черный. Не то правительство объявит это убийством, и вас отправят на Фиджи. Вот почему так много несчастных случаев. Тонут, что поделаешь.

Подали обед, и Берти со шкипером спустились

вниз, оставив помощника на палубе.

— Смотрите в оба за этим чертом Ауки, — предупредил шкипер на прощание. — Что-то не нравится мне последнее время его рожа.

— Ладно, — ответил помощник.

Обед еще не закончился, а шкипер дошел как раз до середины своего рассказа о том, как была вырезана команда на судне «Вожди Шотландии».

— Да, — говорил он, — отличное было судно, одно из лучших на побережье. Не успели вовремя повернуть, ну и напоролись на риф, а тут сразу же на них набросилась целая флотилия челнов. На борту было пятеро белых и двадцать человек команды с Самоа и Санта-Крус, а спасся один второй помощник. Кроме того, погибло шестьдесят человек завербованных. Всех их дикари — кай-кай. Что такое кай-кай? Прошу прощения, я хотел сказать — всех их съели. Потом еще «Джемс Эдвардс», прекрасно оснащенный…

Громкая брань помощника прервала шкипера. На палубе раздались дикие крики, затем прогремели три выстрела, и что-то тяжелое упало в воду. Одним прыжком шкипер Гансен взлетел по трапу, ведущему на палубу, на ходу вытаскивая револьвер. Берти тоже полез наверх, хотя и не

столь быстро, и с осторожностью высунул голову из люка. Но ничего не случилось. На палубе стоял помощник с револьвером в руке, трясясь, как в лихорадке. Вдруг он вздрогнул и отскочил в сторону, как будто сзади ему угрожала опасность.

— Туземец упал за борт, — доложил он каким-то странным, звенящим голосом. — Он не умел плавать.

— Кто это был? — строго спросил шкипер.

— Ауки!

— Позвольте, мне кажется, я слышал выстрелы, — вмешался Берти, испытывая приятный трепет от сознания опасности — тем более приятный, что опасность уже миновала.

Помощник круто повернулся к нему и прорычал:

— Вранье! Никто не стрелял. Черномазый просто упал за борт.

Гансен посмотрел на Берти немигающим, невидящим взглядом.

— Мне показалось… — начал было Берти.

— Выстрелы? — задумчиво проговорил шкипер. — Вы слышали выстрелы, мистер Джекобс?

— Ни единого, — отвечал помощник.

Шкипер с торжествующим видом повернулся к своему гостю.

— Очевидно, несчастный случай. Спустимся вниз, мистер Аркрайт, и закончим обед.

В эту ночь Берти спал в крошечной каюте, отгороженной от кают-компании и важно именовавшейся капитанской каютой. У носовой переборки красовалась ружейная пирамида. Над изголовьем койки висело еще три ружья. Под койкой стоял большой ящик, в котором Берти обнаружил патроны, динамит и несколько коробок с бикфордовым шнуром. Берти предпочел перейти на диванчик у противоположной стены, и тут его взгляд упал на судовой журнал «Арлы», лежавший на столике. Ему и в голову не приходило, что этот журнал был изготовлен капитаном Малу специально для него. Из журнала Берти узнал, что двадцать первого сентября двое матросов упали за борт и утонули. Но теперь Берти уже научился читать между строк и знал, как это надо понимать. Далее он прочитал о том, как в зарослях на Суу вельбот с «Арлы» попал в засаду и потерял трех человек убитыми, как шкипер обнаружил в котле у повара человечье мясо, которое команда купила, сойдя на берег в Фуи; как во время сигнализации случайным взрывом динамита были перебиты все гребцы в шлюпке. Он прочитал также о ночных нападениях на шхуну,

о ее спешном бегстве со стоянок под покровом ночной темноты, о нападениях лесных жителей на команду в мангровых зарослях и о сражениях с дикарями в лагунах и бухтах. То и дело Берти натыкался на случаи смерти от дизентерии. Со страхом он заметил, что так умерли двое белых, подобно ему гостивших на «Арле».

— Послушайте, э-э! — обратился на другой день Берти к шкиперу Гансену. — Я заглянул в ваш судовой журнал…

Шкипер был, по-видимому, крайне раздосадован тем, что судовой журнал попался на глаза постороннему человеку.

— Так вот эта дизентерия — это такая же ерунда, как и все ваши несчастные случаи, — продолжал Берти. — Что на самом деле имеется в виду под дизентерией?

Шкипер изумился проницательности своего гостя, сделал было попытку все отрицать, потом сознался.

— Видите ли, мистер Аркрайт, дело вот в чем. Эти острова и так уже имеют печальную славу. С каждым днем становится все труднее вербовать белых для здешней работы. Предположим, белого убили — Компании придется платить бешеные деньги, чтобы заманить сюда другого. А если

он умер от болезни, — ну, тогда ничего. Против болезней новички не возражают, они только не согласны, чтобы их убивали. Когда я поступал сюда, на «Арлу», я был уверен, что ее прежний шкипер умер от дизентерии. Потом я узнал правду, но было уже поздно: я подписал контракт.

— Кроме того, — добавил мистер Джекобс, — слишком уж много получается несчастых случаев. Это может вызвать ненужные разговоры. А во всем виновато правительство. Что еще остается делать, если белый не имеет возможности защитить себя от черномазых?

— Правильно, — подтвердил шкипер Гансен. — Возьмите хотя бы случай с «Принцессой» и этим янки, который служил на ней помощником. Кроме него, на судне было еще пятеро белых, в том числе правительственный агент. Шкипер, агент и второй помощник съехали на берег в двух шлюпках. Их всех перебили до одного. На судне оставались помощник, боцман и пятнадцать человек команды, уроженцев Самоа и Тонга. С берега явилась толпа дикарей. Помощник и оглянуться не успел, как боцман и экипаж были перебиты. Тогда он схватил три патронташа и два винчестера, влез на мачту и стал оттуда стрелять. Он словно взбесился при мысли, что все

его товарищи погибли. Палил из одного ружья, пока оно не раскалилось. Потом взялся за другое. На палубе было черно от дикарей — ну, он всех их прикончил. Бил их влет, когда они прыгали за борт, бил в лодках, прежде чем они успевали схватиться за весла. Тогда они стали кидаться в воду, думали добраться до берега вплавь, а он уже так рассвирепел, что и в воде перестрелял еще с полдесятка. И что же он получил в награду?

— Семь лет каторги на Фиджи, — угрюмо бросил помощник.

— Да, правительство заявило, что он не имел права стрелять дикарей в воде, — пояснил шкипер.

— Вот почему они теперь умирают от дизентерии, — закончил Джекобс.

— Подумать только, — заметил Берти, чувствуя острое желание, чтобы эта поездка скорее кончилась.

В этот же день он имел беседу с туземцем, который, как ему сказали, был людоедом. Звали туземца Сумазаи. Три года он проработал на плантации в Квинсленде, побывал и в Сиднее, и на Самоа, и на Фиджи. В качестве матроса на вербовочной шхуне он объездил почти все острова — Новую Британию и Новую Ирландию,

Новую Гвинею и Адмиралтейские острова. Он был большой шутник и в разговоре с Берти следовал примеру шкипера. Ел ли он человечину? Случалось. Сколько раз? Ну, разве запомнишь. Едал и белых. Очень вкусные, только не тогда, когда они больные. Раз как-то случилось ему попробовать больного.

— Фу! Плохой! — воскликнул он с отвращением, вспоминая об этой трапезе. — Я потом сам очень больной, чуть кишки наружу не вылазил.

Берти передернуло, но он мужественно продолжал расспросы. Есть ли у Сумазаи головы убитых? Да, несколько голов он припрятал на берегу, все они в хорошем состоянии — высушенные и прокопченные. Одна с длинными бакенбардами — голова шкипера шхуны. Ее он согласен продать за два фунта, головы черных — по фунту за каждую. Еще у него есть несколько детских голов, но они плохо сохранились. За них он просит всего по десять шиллингов.

Немного погодя, присев в раздумье на трапе, Берти вдруг обнаружил рядом с собой туземца с какой-то ужасной кожной болезнью. Он вскочил и поспешно удалился. Когда он спросил, что у этого парня, ему ответили — проказа. Как молния, влетел он в свою каюту и тщательно вымылся

антисептическим мылом. За день ему пришлось еще несколько раз мыться, так как оказалось, что все туземцы на борту больны той или иной заразной болезнью.

Когда «Арла» бросила якорь среди мангровых болот, над бортом протянули двойной ряд колючей проволоки. Это выглядело весьма внушительно, а когда вблизи показалось множество челнов, в которых сидели туземцы, вооруженные копьями, луками и ружьями, Берти еще раз подумал, что хорошо бы поездка скорее кончалась.

В этот вечер туземцы не спешили покинуть судно, хотя им не разрешалось оставаться на борту после заката солнца. Они даже стали дерзить, когда помощник приказал им убираться восвояси.

— Ничего, сейчас они запоют у меня по-другому, — заявил шкипер Гансен, ныряя в люк.

Вернувшись, он украдкой показал Берти палочку с прикрепленным к ней рыболовным крючком. Простая аптечная склянка из-под хлородина, обернутая в бумагу, с привязанным к ней куском бикфордова шнура может вполне сойти за динамитную шашку. И Берти и туземцы были введены в заблуждение. Стоило шкиперу Гансену поджечь шнур и прицепить крючок к набедренной повязке первого попавшегося ди-

каря, как того сразу охватило страстное желание очутиться как можно скорее на берегу. Забыв все на свете и не догадываясь сбросить с себя повязку, несчастный рванулся к борту. За ним, шипя и дымя, волочился шнур, и туземцы стали очертя голову бросаться через колючую проволоку в море. Берти был в ужасе. Шкипер Гансен тоже. Еще бы! Двадцать пять завербованных им туземцев — за каждого он уплатил по тридцать шиллингов вперед — попрыгали за борт вместе с местными жителями. За ним последовал и тот, с дымящейся склянкой.

Что было дальше с этой склянкой, Берти не видел, но так как в это самое время помощник взорвал на корме настоящую динамитную шашку, не причинившую, конечно, никому никакого вреда, но Берти с чистой совестью присягнул бы на суде, что туземца у него на глазах разорвало в клочья.

Бегство двадцати пяти завербованных обошлось капитану «Арлы» в сорок фунтов стерлингов, так как не было, конечно, никакой надежды разыскать беглецов в густых зарослях и вернуть их на судно. Шкипер и помощник решили утопить свое горе в холодном чае. А так как этот чай был разлит в бутылки из-под виски, то Берти и

в голову не пришло, что они поглощают столь невинный напиток. Он видел только, что они очень быстро упились до положения риз и стали ожесточенно спорить о том, как сообщить о взорванном туземце — как об утопленнике или умершем от дизентерии. Затем оба захрапели, а Берти, видя, что, кроме него на борту не осталось ни одного белого в трезвом состоянии, до самой зари неусыпно нес вахту, ежеминутно ожидая нападения с берега или бунта команды.

Еще три дня простояла «Арла» у берегов Малаиты, и еще три томительных ночи Берти провел на вахте, в то время как шкипер и помощник накачивались с вечера холодным чаем и мирно спали до утра, вполне полагаясь на его бдительность. Берти твердо решил, что если он останется жив, то обязательно сообщит капитану Малу об их пьянстве.

Наконец «Арла» бросила якорь у плантации Реминдж на Гвадалканаре. Со вздохом облегчения сошел Берти на берег и крепко пожал руку управляющему. У мистера Гаривела все было готово к приему гостя.

— Вы только не беспокойтесь, пожалуйста, если заметите, что мои подчиненные настроены невесело, — шепнул по секрету мистер Гаривел,

отводя Берти в сторону. — Ходят слухи, что у нас готовится бунт, и нельзя не признать, что кое-какие основания к тому есть, но лично я уверен, что все это сплошной вздор.

— И-и… много туземцев у вас на плантации? — спросил Берти упавшим голосом.

— Сейчас человек четыреста, — с готовностью сообщил мистер Гаривел, — но нас-то ведь трое, да еще вы, конечно, да шкипер «Арлы» с помощником — мы легко с ними управимся.

В эту минуту подошел некто Мак-Тэвиш, кладовщик на плантации, и, еле поздоровавшись с Берти, взволнованно обратился к мистеру Гаривелу с просьбой немедленно его уволить.

— У меня семья, дети, мистер Гаривел! Я не имею права рисковать жизнью! Беда на носу, это и слепому видно. Черные того и гляди взбунтуются, и здесь повторятся все ужасы Хохоно!

— А что это за ужасы Хохоно? — поинтересовался Берти, когда кладовщик после долгих уговоров согласился остаться еще до конца месяца.

— Это он о плантации Хохоно на острове Изабель, — отвечал управляющий. — Там дикари перебили пятерых белых на берегу, захватили шхуну, зарезали капитана и помощника и все скопом сбежали на Малаиту. Я всегда говорил,

что тамошнее начальство слишком беспечно. Нас-то они не застанут врасплох!.. Пожалуйте сюда, на веранду, мистер Аркрайт. Посмотрите, какой вид на окрестности!

Но Берти было не до видов. Он придумывал, как бы ему поскорее добраться до Тулаги, под крылышко резидента. И пока он был занят размышлениями на эту тему, за спиной у него вдруг грянул выстрел. В тот же миг мистер Гаривел стремительно втащил его в дом, чуть не вывернув ему при этом руку.

— Ну, дружище, вам повезло. Капельку бы левее — и… — говорил управляющий, ощупывая Берти и постепенно убеждаясь, что тот цел и невредим. — Простите, ради бога, все по моей вине, но кто бы мог подумать

— среди бела дня…

Берти побледнел.

— Вот также убили прежнего управляющего, — снисходительно заметил Мак-Тэвиш. — Хороший был парень, жалко! Всю веранду тогда мозгами забрызгало. Вы обратили внимание — вон там темное пятнышко, во-он, между крыльцом и дверью.

Берти пришел в такое расстройство, что коктейль, приготовленный и поднесенный ему

мистером Гаривелом, оказался для него как нельзя более кстати. Но не успел он поднести стакан к губам, как вошел человек в бриджах и крагах.

— Что там еще стряслось? — спросил управляющий, взглянув на вошедшего. — Река, что ли, опять разлилась?

— Какая, к черту, река — дикари. В десяти шагах отсюда вылезли из тростника и пальнули по мне. Хорошо еще, что у них была снайдеровская винтовка, а не винчестер, да и стреляли с бедра… Но хотел бы я знать, откуда у них этот снайдер?.. Ах, простите, мистер Аркрайт. Рад вас приветствовать.

— Мистер Браун, мой помощник, — представил его мистер Гаривел. — А теперь давайте выпьем.

— Но где они достали оружие? — допытывался мистер Браун. — Говорил я вам, что нельзя хранить ружья в доме.

— Но они же никуда не делись, — уже с раздражением возразил мистер Гаривел.

Мистер Браун недоверчиво усмехнулся.

— Пойдем посмотрим! — потребовал управляющий.

Берти тоже отправился в контору вместе с остальными. Войдя туда, мистер Гаривел торжествующе указал на большой ящик, стоящий в

темном пыльном углу.

— Прекрасно, но откуда же тогда у негодяев ружья? — в который раз повторил мистер Браун.

Но тут Мак-Тэвиш потрогал ящик и, ко всеобщему изумлению, без труда приподнял его. Управляющий бросился к ящику и сорвал крышку — ящик был пуст. Молча и со страхом они посмотрели друг на друга. Гаривел устало опустил голову. Мак-Тэвиш выругался:

— Черт побери! Я всегда говорил, что слугам нельзя доверять.

— Да, положение серьезное, — признался Гаривел. — Ну, ничего, как-нибудь выкрутимся. Нужно задать им острастку, вот и все. Джентльмены, захватите с собой к обеду винтовки, а вы, мистер Браун, пожалуйста, приготовьте штук сорок — пятьдесят динамитных шашек. Шнуры сделайте покороче. Мы им покажем, канальям! А сейчас, джентльмены, прошу к столу.

Берти терпеть не мог риса с пряностями по-индийски, поэтому он, опережая остальных, сразу приступил к заманчивому на вид омлету. Он успел уже разделаться со своей порцией, когда Гаривел тоже потянулся за омлетом. Но, взяв кусочек в рот, управляющий тут же с проклятиями его выплюнул.

— Это уже во второй раз, — зловеще процедил Мак-Тэвиш.

Гаривел все еще харкал и плевался.

— Что во второй раз? — дрожащим голосом спросил Берти.

— Яд, — последовал ответ. — Этому повару не миновать виселицы!

— Вот так же отправился на тот свет счетовод с мыса Марш, — заговорил Браун. — Он умер в ужасных мучениях. Люди с «Джесси» рассказывали, что за три мили слышно было, как он кричал.

— В кандалы закую мерзавца, — прошипел Гаривел. — Хорошо еще, что мы вовремя заметили.

Берти сидел белый, как полотно, не шевелясь и не дыша. Он попытался что-то сказать, но только слабый хрип вылетел из его горла. Все с тревогой посмотрели на него.

— Неужели вы?.. — испуганно воскликнул Мак-Тэвиш.

— Да, да, я съел его! Много! Целую тарелку! — возопил Берти, внезапно обретая дыхание, как пловец, вынырнувший на поверхность.

Наступило ужасное молчание. В глазах сотрапезников Берти прочитал свой приговор.

— Может, это еще не яд, — мрачно заметил Гаривел.

— Спросим у повара, — посоветовал Браун.

Весело улыбаясь, в комнату вошел повар, молодой туземец, с гвоздем в носу и продырявленными ушами.

— Слушай, ты, Ви-Ви! Что это такое? — прорычал Гаривел, угрожающе ткнув пальцем в яичницу.

Такой вопрос, естественно, озадачил и испугал Ви-Ви.

— Хороший еда, можно кушать, — пробормотал он извиняющимся тоном.

— Пускай сам попробует, — предложил Мак-Тэвиш. — Это лучший способ узнать правду.

Гаривел схватил ложку омлета и подскочил к повару. Тот в страхе бросился вон из комнаты.

— Все ясно, — торжественно объявил Браун. — Не станет есть, хоть ты его режь.

— Мистер Браун, прошу вас надеть на него кандалы! — приказал Гаривел и затем ободряюще обратился к Берти: — Не беспокойтесь, дружище, резидент разберет это дело, и, если вы умрете, негодяй будет повешен.

— Вряд ли правительство решится на это, — возразил Мак-Тэвиш.

— Но, господа, господа, — чуть не плача закричал Берти, — вы забываете обо мне!

Гаривел с прискорбием развел руками.

— К сожалению, дорогой мой, это туземный яд и противоядие пока еще не известно. Соберитесь с духом, и если…

Два резких винтовочных выстрела прервали его. Вошел Браун, перезарядил винтовку и сел к столу.

— Повар умер, — сообщил он. — Внезапный приступ лихорадки.

— Мы тут говорили, что против местных ядов нет противоядия.

— Кроме джина, — заметил Браун.

Назвав себя безмозглым идиотом, Гаривел бросился за джином.

— Только не разбавляйте, — предупредил он, и Берти, хватив разом чуть не стакан неразбавленного спирта, поперхнулся, задохся и так раскашлялся, что на глазах у него выступили слезы.

Гаривел пощупал у него пульс и смерил температуру, он всячески ухаживал за Берти, приговаривая, что, может, еще омлет и не был отравлен. Браун и Мак-Тэвиш тоже высказали сомнение на этот счет, но Берти уловил в их тоне неискреннюю нотку. Есть ему уже ничего не хотелось, и он, тайком от остальных, щупал под столом

свой пульс. Пульс все учащался, в этом не было сомнений, Берти только не сообразил, что это от выпитого им джина. Мак-Тэвиш взял винтовку и вышел на веранду посмотреть, что делается вокруг дома.

— Они собираются около кухни, — доложил он, вернувшись. — И все со снайдерами. Я предлагаю подкрасться с другой стороны и ударить им во фланг. Нападение — лучший способ защиты, так? Вы пойдете со мной, Браун?

Гаривел как ни в чем не бывало продолжал есть, а Берти с трепетом обнаружил, что пульс у него участился еще на пять ударов. Тем не меннее и он невольно вскочил, когда началась стрельба. Сквозь частую трескотню снайдеров слышались гулкие выстрелы винчестеров Брауна и Мак-Тэвиша. Все это сопровождалось демоническими воплями и криками.

— Наши обратили их в бегство, — заметил Гаривел, когда крики и выстрелы стали удаляться.

Браун и Мак-Тэвиш вернулись к столу, но последний тут же снова отправился на разведку.

— Они достали динамит, — сообщил он по возвращении.

— Что же, пустим в ход динамит и мы, — предложил Гаривел.

Засунув в карманы по пять, шесть штук динамитных шашек, с зажженными сигарами во рту, они устремились к выходу. И вдруг!.. Позже они обвиняли Мак-Тэвиша в неосторожности, и тот признал, что заряд, пожалуй, и правда был великоват. Так или иначе, страшный взрыв потряс стены, дом одним углом поднялся на воздух, потом снова сел на свое основание. Со стола на пол полетела посуда, стенные часы с восьмидневным заводом остановились. Взывая о мести, вся троица кинулась в темноту, и началась бомбардировка.

Когда они двинулись в столовую, Берти и след простыл. Дотащившись до конторы и забаррикадировав дверь, он почил на полу, переживая в пьяных кошмарах сотни всевозможных смертей, пока вокруг него кипел бой. Наутро, разбитый, с отчаянной головной болью от джина, он выполз на воздух и с изумлением обнаружил, что солнце по-прежнему сияет на небе и бог, очевидно, правит миром, ибо гостеприимные хозяева Берти разгуливали по плантации живые и невредимые.

Гаривел уговаривал его погостить еще, но Берти был непоколебим и отплыл на «Арле» к Тулаги, где до прибытия парохода не покидал

дома резидента. На пароходе в Сидней опять были путешествующие дамы, и опять они смотрели на Берти как на героя, а капитана Малу не замечали. Но по прибытии в Сидней капитан Малу отправил на острова не один, а два ящика первосортного шотландского виски, ибо никак не мог решить, кто — шкипер Гансен или мистер Гаривел — лучше показал Берти Аркрайту «бурную и полную опасностей жизнь на страшных Соломоновых островах».

Неукротимый белый человек

Пока чернокожий человек черный, а белый человек белый, они не поймут друг друга, — так сказал капитан Вудворт.

Мы сидели в кабачке у Чарли Робертса и стаканами тянули «Абу-Хамед», приготовленный хозяином, который пил с нами за компанию. Чарли Робертс утверждал, что раздобыл рецепт этого напитка непосредственно у Стивенса, прославившегося изобретением «Абу-Хамеда» в то время, когда жажда гнала его отведать воду Нила, у того самого Стивенса, который сочинил «С Китченером к Хартуму», а потом погиб при осаде Ледисмита.

Капитан Вудворт, крепкий, коренастый, с опаленным за сорок лет пребывания в тропиках лицом, прекрасными лучистыми карими глазами, каких я ни разу в жизни не встречал у мужчин, многое изведал в жизни. Крестообразный шрам на его лысой макушке говорил о близком знакомстве с боевым топором туземца; о том же свидетельствовали два рубца от стрелы на правой стороне шеи: там, где стрела вошла и вышла из его тела. По его словам, он бежал, а

стрела ему мешала, но он не имел времени отламывать наконечник стрелы и потому протащил ее насквозь. Теперь он был капитаном «Савайи», огромного парохода, который вербовал на островах Южных морей рабочую силу для немецких плантаций в Самоа.

— Половина всех недоразумений происходит из-за нашей тупости, — заявил Робертс, делая паузу, чтобы отхлебнуть из своего стакана и добродушно отчитать за что-то маленького слугу-самоанца. — Если бы белый человек хотя бы иногда задумывался над психологией чернокожих, можно было бы избежать большинства недоразумений.

— Я встречал таких, правда, их было немного, которые утверждали, что понимают негров, — ответил капитан Вудворт, — и я всегда замечал, что их в первую очередь «кай-кай», то есть съедали. Вспомните миссионеров в Новой Гвинее и Новых Гебридах, на острове мучеников Эрроманге и на всех остальных островах. Вспомните судьбу австрийской экспедиции: ее изрубили в куски на Соломоновых островах, в дебрях Гвадалканара. Да и сами торговцы, умудренные многолетним опытом: они хвастались, что к ним не прикоснется ни один негр, а головы их по сей день красуются на

балках плавучих жилищ. Или вот старый Джонни Симонс. Двадцать шесть лет провел в дебрях Меланезии и клялся, что знает негров как свои пять пальцев, что они его не тронут. А погиб он у лагуны Марово, в Нью-Джорджии. Ему отрезали голову черная Мэри и старый одноногий негр. (Одну ногу у него отхватила акула, когда он нырял за оглушенной рыбой.) Был еще Билли Уотс, убийца негров, человек, которого испугался бы сам дьявол! Помню, стояли мы у мыса Литл, это, знаете ли, в Новой Ирландии, когда негры утащили у него полтюка табаку, который он собирался продать, табак и стоил-то доллара три. Так он в отместку пристрелил шестерых негров, разбил их боевые каноэ и сжег две деревни. Четыре года спустя, когда он с пятьюдесятью молодчиками из Буку там же, у мыса Литл, ловил трепангов, их подстерегли чернокожие. Всех перебили за пять минут, кроме троих парней, которым удалось удрать в каноэ. Словом, нечего болтать, будто мы понимаем негров. Миссия белого человека — нести цивилизацию в мир, и это — нелегкое дело, выпавшее на его долю. Где ж тут останется время, чтобы копаться в психологии негров?

— Точно! — выпалил Робертс. — И вообще это не так уж обязательно — понимать негров. Чем

глупее белый человек, тем успешнее он насаждает цивилизацию…

— И вселяет страх божий в сердца негров, — вставил капитан Вудворт. — Может быть, вы правы, Робертс. Возможно, секрет его успеха именно в глупости, и, несомненно, один из признаков этой глупости — неспособность понять негров. Одно ясно: белый призван управлять неграми, независимо от того, понимает он их или нет. Он неукротим и неотвратим, как рок.

— Конечно, белый человек неукротим и неотвратим для негров, — вставил Робертс. — Скажите белому, что в какой-то лагуне, где живут десятки тысяч воинственных туземцев, лежит жемчужина, — он бросится туда очертя голову с полдюжиной разных ловцов-канаков и дешевым будильником вместо хронометра. Они возьмут удобное судно водоизмещением тонн в пять и набьются туда, как сельди в бочку. Только шепните ему, что на Северном полюсе есть золотая жила, и это неукротимое белокожее существо сразу же двинется в путь, прихватив с собой лопату, кирку, окорок и патентованный, последнего образца, лоток для промывания золота. И самое удивительное, что он туда доберется! Намекните ему, что за раскаленной оградой ада нашли

алмазы — и Мистер Белокожий атакует врата преисподней и заставит старого бродягу Сатану работать ломом и лопатой. Вот что происходит, когда человек глуп и неукротим.

— Интересно, что думают чернокожие о… о неукротимости?

Капитан Вудворт негромко засмеялся. Глаза его засветились от воспоминаний.

— Мне тоже хотелось бы узнать, что думали и, должно быть, до сих пор думают негры Малу об одном неукротимом белом человеке, который был с нами на «Герцогине», когда мы стали на якорь у их берега, — сказал он.

Робертс приготовил еще три «Абу-Хамеда».

— Было это лет двадцать тому назад. Звали его Сакторп. Я ни разу в жизни не встречал такого тупого человека, но он был неукротим, как сама смерть. Он умел только стрелять, и больше ничего. Помню, как я в первый раз его встретил здесь, в Апии, двадцать лет назад. Тебя еще тут не было, Робертс. Я остановился в гостинице голландца Генри, там, где сейчас рынок. Вы ничего о нем не знаете? Он неплохо заработал, тайно переправляя оружие повстанцам, продал свою гостиницу, а ровно через шесть недель его зарезали в каком-то кабачке Сиднея.

Однако о Сакторпе. Как-то ночью, едва я заснул, кошачья пара начала во дворе концерт. Соскочив с постели, я подошел к окну с кувшином воды в руке. И в то же время услыхал, как раскрылось соседнее окошко. Раздалось два выстрела, и окно закрылось. Все произошло так быстро, что описать невозможно. Это было делом нескольких секунд. Раскрывается окно, — бум, бум, — два раза стреляет револьвер, — окно закрывается. Я не знаю, кто он был, но он даже не выглянул в окно. Он был уверен. Понимаете? Уверен. Концерт прекратился, и утром нашли окоченевшие тела нарушителей тишины. Мне это показалось чудовищным. Во-первых, на небе светились только звезды, а Сакторп стрелял, не целясь, во-вторых, выстрелы следовали один за другим так быстро, будто он стрелял из двустволки, и, наконец, он знал, что попал в свои мишени, даже не выглянув в окно.

Через два дня он пришел наниматься на «Герцогиню». Я тогда был помощником капитана на большой шхуне водоизмещением в сто пятьдесят тонн. Мы перевозили завербованных негров. Должен сказать, в те дни вербовка была настоящей вербовкой. Мы не знали ни правительственных инспекторов, ни властей. Это была адски тяжелая

работа. Мы целиком полагались только на себя. Когда дела принимали плохой оборот, не пеняй на других! Мы вывозили негров со всех островов Южных морей, кроме тех, откуда нас гнали. Словом, он пришел на шхуну и назвался Джоном Сакстерпом. Небольшой человечек какого-то песочного цвета: песочные волосы, песочный цвет лица, даже глаза песочные. Ничего в нем не было приметного. Душа у него была такая же бесцветная, как и физиономия. Он сказал, что остался без единого пенса и хочет поступить на судно. Готов служить юнгой, коком, судовым приказчиком или простым матросом.

Он ничего не смыслил ни в одной из тех профессий, но сказал, что научится. Мне он был не нужен, но его стрельба произвела на меня столь сильное впечатление, что я записал его матросом с жалованьем три фунта в месяц.

Не стану отрицать, он действительно хотел чему-нибудь научиться. Но так уж он был устроен, что не мог ничему научиться. Он разбирался в румбах компаса не больше, чем я в приготовлении выпивки, которую нам делает Робертс. Штурвалом же он орудовал так, что ему я обязан первой сединой. Я ни разу не рискнул подпустить его к штурвалу, когда море было неспокойно,

потому что движение с попутным ветром или галсами — против ветра — было для него неразрешимой тайной. Он бы никогда не мог сказать, в чем разница между шкотами и талями. Путал кливер с гафелем. Прикажите ему ослабить гротрисель-шкот, и, прежде чем вы сообразите, что происходит, он опустит нок гафеля. Он трижды падал за борт, а плавать не умел. Но он всегда был жизнерадостен, не ведал, что такое морская болезнь, и был самым покладистым человеком, каких я только знал. Это была замкнутая натура. Он никогда не рассказывал о себе. Для нас его жизнь началась с того дня, когда он появился на «Герцогине». Где он научился стрелять, сказать могли лишь звезды. Он был янки — это мы определили по его гнусавому произношению. Но больше мы так ничего и не узнали.

Вот я и подошел к самому главному. Нам здорово не везло на Новых Гебридах: за пять недель — только четырнадцать негров, и с попутным зюйд-остом мы взяли курс к Соломоновым островам. На Малаите тогда, как и сейчас, можно было легко вербовать негров, и мы пошли к северо-западной оконечности острова — Малу. Рифы там и у берега и в открытом море, и стать на якорь нелегко, но мы благополучно миновали рифы, от-

дали якорь и взорвали динамит — этим сигналом мы возвещали негров о начале вербовки. За три дня никто не явился. Негры сотнями подплывали к нам на своих каноэ, но они только смеялись, когда мы показывали им бусы, ситец, топоры и начинали рассказывать о том, что работа на плантациях Самоа — одно удовольствие.

На четвертый день все вдруг переменилось. Записалось сразу пятьдесят с лишним человек; их разместили в главном трюме, разумеется, с правом свободного передвижения по палубе. Теперь, когда я оглядываюсь назад, эта повальная вербовка представляется мне очень подозрительной, но в то время мы думали, что какой-нибудь могущественный вождь-царек разрешил своим подданным наниматься на работу. Утром пятого дня обе наши шлюпки, как обычно, пошли к берегу. Одна шлюпка прикрывала другую на случай нападения. И, как обычно, на палубе слонялись без дела, болтали, курили или спали полсотни негров. На «Герцогине», кроме них, остались я, Саксторп да четверка матросов. На обеих шлюпках работали уроженцы островов Гилберта. На первой были капитан, судовой приказчик и вербовщик. На второй, что прикрывала первую и стояла в сотне ярдов от берега, находился второй

помощник капитана. Обе шлюпки были хорошо вооружены, хотя нам как будто ничего не угрожало.

Четверо матросов, включая Саксторпа, чистили поручни на корме. Пятый матрос с винтовкой в руках стоял на часах перед грот-мачтой, возле бака с водой. Я был на носу, наводя последний глянец на новое крепление фор-гафеля. Только я наклонился за своей трубкой, как с берега раздался выстрел. Я выпрямился, чтобы посмотреть, в чем дело. Что-то стукнуло меня по затылку. Оглушенный, я свалился на палубу. Вначале я подумал, что мне на голову упала снасть, но я услышал адский треск выстрелов со стороны шлюпок и, падая, успел посмотреть на матроса, который стоял на часах. Два здоровенных негра держали его за руки, а третий замахнулся на него топором.

Как сейчас, вижу эту картину: бак для воды, грот-мачта, чернокожие, схватившие часового за руки, топор, опускающийся ему на голову, — все это залито ослепительно солнечным светом. Я был словно во власти колдовского видения наступающей смерти. Казалось, томагавк двигается слишком медленно. Я увидел, как он врезался в голову, ноги матроса подкосились, и он начал

оседать на палубу. Негры крепко держали его и стукнули еще два раза. Затем меня тоже стукнули пару раз по голове, и я решил, что я умер. К тому же выводу пришел тот негодяй который нанес мне удары. Я не мог двигаться и лежал неподвижно, наблюдая, как они отсекли часовому голову. Должен сказать, орудовали они ловко. Видно, набили руку на этом деле.

Стрельба со шлюпок прекратилась, и я не сомневался, что они всех прикончили. Сейчас они придут за моей головой. Очевидно, они снимали головы тем матросам, что были на корме. На Малаите ценятся человеческие головы, особенно головы белых. Они занимают почетные места в каноэ, в которых живут прибрежные туземцы. Я не знаю, какого декоративного эффекта добиваются лесные жители, но они ценят человеческие головы так же, как их собратья на побережье.

Все же меня не покидала слабая надежда на спасение. На четвереньках я добрался до лебедки, а там с трудом поднялся на ноги. Теперь мне была видна корма — на палубе рубки торчали три головы. Это были головы матросов, с которыми я общался много месяцев подряд.

Негры заметили, что я поднялся на ноги, и побежали ко мне. Я хотел было достать револьвер,

но обнаружил, что они его забрали. Не могу сказать, чтобы я очень испугался. Я несколько раз был на волосок от гибели, но никогда смерть не подступала ко мне так близко, как в тот раз. Я был в полубессознательном состоянии, и мне было все безразлично.

Негр, который несся впереди, прихватил в камбузе большой мясницкий нож, намереваясь разделать меня на куски. Он гримасничал, как обезьяна. Но ему не удалось осуществить свое намерение. Он ничком рухнул на палубу, и я увидел, как изо рта у него хлынула кровь. В полузабытьи я расслышал выстрел, за ним еще и еще. Негры падали один за другим. Я постепенно приходил в себя и заметил, что стреляют без промаха. С каждым выстрелом кто-то падал. Я уселся рядом с лебедкой и взглянул наверх. Там на салинге сидел Сакторп. Как он умудрился туда забраться, я не знаю: ведь у него в руках было два винчестера и множество патронташей. Как бы то ни было, сейчас он был занят делом, на какое был способен.

Мне приходилось видеть и резню и расстрелы, но я ни разу в жизни не видел ничего подобного. Я сидел у лебедки и наблюдал. Я был в каком-то полуобморочном состоянии, и все происходящее представлялось мне сном. Банг, банг, банг — стре-

ляло ружье, и хлоп, хлоп, хлоп — валились на палубу негры. Во время первой попытки схватить меня погибло человек десять, и остальные теперь остолбенели от ужаса, но Сакторп стрелял, не переставая. К этому времени к судну подошли те две шлюпки и каноэ с неграми, которые были вооружены снайдерами и винчестерами, захваченными у нас. Они открыли по Сакторпу ураганный огонь. К счастью для него, негры хорошо стреляют только на близком расстоянии. Они не прикладывают ружья к плечу. Они ждут, пока человек очутится ниже их, и стреляют, приставив ружье к бедру. Когда у Сакторпа перегревался винчестер, он брал другой. Потому-то он и захватил с собой два ружья, когда полез наверх.

Скорость стрельбы была у него потрясающая. К тому же Сакторп ни разу не промазал. Если на земле существует неукротимый человек, так это Сакторп. Немыслимая скорость делала это побоище страшным.

Негры не могли опомниться. Когда же они немного пришли в себя, они начали бросаться за борт и опрокидывали свои каноэ. Сакторп продолжал свою стрельбу. Вода была сплошь усеяна черными макушками, и — бух-бух-бух — всаживал он в них свои пули. Он не промахнулся

ни разу, и я отлично слышал, как каждая пуля хлопала в человеческий череп.

Лавина негров устремилась к берегу. Я поднялся и, словно во сне, видел, как на воде, точно мячики, прыгали и исчезали головы чернокожих. Некоторые дальние выстрелы были совершенно феноменальны. Только один добрался до берега, но когда он поднялся, чтоб выйти из воды, Сакторп уложил и его. Это было превосходное попадание. И когда двое негров подбежали к раненому и стали вытаскивать его на берег, Сакторп уложил их на месте.

Я решил, что все кончилось. Но тут стрельба началась снова. Какой-то негр выскочил из кают-компании и бросился к поручням, но на полпути упал. Кают-компания, вероятно, была переполнена неграми. Я насчитал человек двадцать. Они выбегали по одному и прыгали к поручням. Но ни один из них не добрался до борта. Мне это зрелище напомнило стрельбу по летящей мишени. Чернокожий выскакивал из двери, раздавался выстрел Сакторпа — и он моментально летел вниз. Там, в кают-компании, они, конечно, не знали, что происходит на палубе, и продолжали выбегать наверх, пока их всех не перебили.

Сакторп подождал немного, убедился, что

опасность миновала, и спустился на палубу.

Из всей команды «Герцогини» уцелели только мы с Саксторпом, и я был очень плох, а он был совершенно беспомощен теперь, когда уже не нужно было стрелять. Следуя моим указаниям, он промыл мои раны и перевязал их. Внушительная порция виски придала мне сил — надо было как-то выбираться отсюда. Мне не на кого было надеяться. Все были убиты. Мы попытались поставить паруса: Саксторп поднимал их, а я ему помогал. Он снова показал свою непроходимую тупость. Парус не поднялся ни на сантиметр, и когда я снова потерял сознание, нам, казалось, пришел конец.

Но я очнулся. Саксторп беспомощно сидел на трапе в ожидании моих распоряжений. Я велел ему осмотреть раненых, среди них могли оказаться такие, которые могут передвигаться. Он отобрал шестерых. У одного, помню, была перебита нога, но Саксторп заявил, что руки у него в порядке. Лежа в тени, я отгонял мух и говорил, что делать, а Саксторп подгонял свою инвалидную команду. Клянусь, он заставлял этих несчастных негров тянуть каждый конец, прежде чем они нашли фалы. Один из них, выбирая канат, замертво упал на палубу, но Саксторп избил остальных и

велел им продолжать работать. Когда грот и фок были поставлены, я приказал ему расклепать якорную цепь и выпустить ее за борт. Я заставил их помочь мне добраться до штурвала: хотел попытаться сам как-нибудь повести судно. Не могу понять, как это произошло, но вместо того, чтобы освободиться от якоря, он отдал второй. Так что теперь мы стали на оба якоря.

Но в конце концов Саксторпу удалось сбросить обе якорные цепи в море и поставить стаксель и кливер. «Герцогиня» легла на курс. Наша палуба представляла собой ужасное зрелище. Повсюду валялись трупы и умирающие. Они были везде, в самых неожиданных местах. Многим удалось заползти с палубы в кают-компанию. Я распорядился, чтобы Саксторп и его кладбищенская команда сбрасывали за борт трупы и умирающих. В тот день акулы здорово поживились. Четверо наших убитых матросов были, разумеется, тоже сброшены за борт. Но головы их мы все-таки положили в мешок с грузом, чтобы их не выбросило на берег и чтобы они ни в коем случае не попали в руки неграм.

Пятерку пленных я считал командой судна. Однако они придерживались другого мнения. Они дождались удобного случая и перемахнули

за борт. Двоих Саксторп застрелил из револьвера на лету и прикончил бы и остальных, но я его остановил. Понимаете, мне надоела непрерывная бойня, и, кроме того, они помогли нам двинуться в путь. Но это заступничество ни к чему не привело: акулы сожрали всех троих.

Мы вышли в открытое море. У меня началось что-то вроде воспаления мозга. Как бы то ни было, «Герцогиню» носило по морю три недели, пока я немного не поправился и не привел ее в Сидней. Во всяком случае, эти негры Малу долго будут помнить, что с белым человеком шутки плохи. Саксторп был действительно неукротим.

Чарли Робертс протяжно свистнул и сказал:

— Еще бы! Ну, а Саксторп, что с ним было потом?

— Он занялся охотой на тюленей, и дела его шли отлично. Лет шесть он плавал на разных шхунах Виктории и Сан-Франциско. На седьмой год в Беринговом море шхуна, на которой он служил, была захвачена русским крейсером, и, говорят, всю команду отправили на соляные копи в Сибирь. Во всяком случае, я больше о нем ничего не слышал.

— Нести цивилизацию в мир… — пробормотал Робертс. — Нести цивилизацию… Что ж, за это

стоит выпить! Кто-то должен этим заниматься, я хочу сказать, нести цивилизацию.

Капитан Вудворт потер шрам на своей лысой голове.

— Я уже сделал свое дело, сказал он. — Вот уже сорок лет, как я служу. Это мой последний рейс. Уеду домой — на покой.

— Держу пари, — возразил Робертс, — что вы встретите смерть за штурвалом, а не дома.

Капитан Вудворт без колебаний принял пари, но я думаю, что у Чарли Робертса больше шансов выиграть.

Потомок Мак-Коя

Низко осев под тяжестью груза пшеницы, шхуна «Пиренеи» медленно скользила по спокойному океану, и человек, подплывший в легкой пироге к ее железному борту, без труда вскарабкался наверх. Когда он перегнулся через фальшборт и увидел палубу, ему показалось, что перед его глазами колышется легкое, едва различимое туманное марево. Может, это ему и впрямь только показалось, может, глаза на секунду застлала плотная пелена? Его охватило непреодолимое желание стряхнуть с себя неприятное ощущение, и он подумал, что стареет и пришло время посылать в Сан-Франциско за очками.

Он перелез через поручни и посмотрел вверх на мачты, потом перевел взгляд на помпы. Они не работали. Никаких признаков того, что произошла какая-то авария, не было, и он удивился, почему шхуна подала сигнал бедствия. «Только бы не эпидемия, — подумал он, беспокоясь о счастливо-беззаботных жителях своего островка. — Нет, должно быть, кончилась пресная вода или провизия». Он поздоровался с капитаном и по его изможденному лицу и страдальческому выраже-

нию глаз понял, что тот не зря подал сигнал. В ту же секунду до него донесся слабый, едва ощутимый запах — похоже было, что подгорел хлеб.

Он удивленно огляделся. В двадцати футах от него матрос с усталым лицом конопатил палубу. Взгляд незнакомца задержался на нем; он заметил, как из паза в палубе, прямо из-под рук матроса, выскользнула тоненькая струйка дыма и, свернувшись кольцами, растаяла в воздухе. Он подошел ближе. Загрубевшие подошвы босых ног ощутили странное тепло. Теперь он уже знал, что произошло. Он бросил взгляд на бак; столпившаяся там команда с надеждой смотрела на него. Влажные карие глаза незнакомца как будто изливали на них благостное тепло, лаская и словно окутывая покровом безмерного покоя.

— Давно горит, капитан? — спросил он голосом мягким и кротким, напоминавшим воркование голубя.

На какой-то краткий миг капитану передалось ощущение безмятежного покоя и умиротворенности, исходившее от незнакомца, но уже в следующую секунду при мысли о том, что пережито и что еще предстоит пережить, он возмутился. Какое право имеет этот жалкий оборванец в холщовых штанах и бумажной ру-

бахе навязывать ему свой безмятежный покой и умиротворенность, лезть в его измученную треволнениями душу? Капитан сам не отдавал себе отчета: то был бессознательный протест, возникший помимо его желания и воли.

— Пятнадцать дней, — отрывисто ответил он. — А кто вы такой?

— Мое имя — Мак-Кой. — Голос незнакомца звучал теплым сочувствием.

— Меня интересует другое. Вы лоцман?

Ласковый благословляющий взгляд Мак-Коя устремился на подошедшего к капитану высокого широкоплечего человека с небритым, усталым лицом.

— Да, я и лоцман, — последовал ответ. — Мы все здесь лоцманы, капитан, и я знаю каждый дюйм этих вод.

— Мне надо повидать кого-нибудь из местных властей, — раздраженно перебил его капитан. — Я должен поговорить с ними, и чем скорее, тем лучше.

— В таком случае я тот, кто вам нужен.

И снова ощущение покоя и умиротворенности коварно проникло в душу капитана — и это теперь, когда каждую секунду у него под ногами вот-вот забушует огонь! Капитан раздраженно и

нетерпеливо поднял брови и сжал кулаки, словно готовясь нанести удар.

— Да кто вы такой, черт подери? — крикнул он.

— Губернатор и главный судья, — был ответ, произнесенный голосом тихим и кротким.

При этих словах высокий широкоплечий человек разразился резким невеселым смехом, более походившим на истерические всхлипывания. И он и капитан изумленно и недоверчиво уставились на Мак-Коя. Непостижимо, как этот босоногий оборванец может занимать столь высокий пост. Под расстегнутой бумажной рубахой виднелась заросшая седыми волосами грудь, нижнего белья явно не было. Из-под полей выгоревшей соломенной шляпы выбивались растрепанные седые космы. На грудь спускалась спутанная борода, придававшая ему сходство с патриархом. Два шиллинга — вот красная цена, которую дали бы за его одежду в любой лавке старьевщика.

— Вы случайно не родственник Мак-Коя с брига «Баунти»? — спросил капитан.

— Он мой прадед.

— Да ну! — начал было капитан, но тут же осекся. — Меня зовут Девенпорт, а это мистер Кониг

— мой старший помощник.

Они пожали друг другу руки.

— А теперь перейдем к делу, — торопливо, словно подгоняемый неотложной необходимостью, заговорил капитан. — Зерно начало гореть больше двух недель назад. Каждую секунду огонь может вырваться из трюма, и шхуна полетит к чертям. Вот почему я взял курс на Питкэрн. Я хочу выброситься на берег или затопить шхуну, чтобы спасти хотя бы корпус.

— В таком случае вы совершили ошибку, капитан, — заметил Мак-Кой. — Надо было идти на Мангареву. Там прекрасная отмель, а вода в лагуне спокойная, как в мельничной запруде.

— Но ведь мы пришли не в Мангареву, а сюда, не так ли? — раздраженно сказал старший помощник. — Мы уже здесь, и надо что-нибудь придумать.

Губернатор добродушно покачал головой.

— Здесь вы ничего не придумаете. У Питкэрна нет ни отмели, ни даже якорной стоянки.

— Вздор! — воскликнул старший помощник. — Вздор! — повторил он громче, заметив, что капитан делает ему знаки не горячиться. — Уж кого-кого, а меня вы не проведете! А где стоят ваши суда: шхуна, куттер или что там у вас име-

ется? А? Что же вы молчите?

Мягкая улыбка, такая же мягкая, как его голос, тронула губы Мак-Коя. Его улыбка была сама нежность и ласка, она словно обволакивала измученного помощника, увлекая в мир тишины и спокойствия безмятежной души Мак-Коя.

— У нас нет ни шхуны, ни куттера, — ответил он. — А пироги мы втаскиваем на скалы.

— Ну уж не морочьте мне голову, — проворчал помощник. — Как же вы добираетесь до других островов?

— А мы и не добираемся до них. Я, как губернатор Питкэрна, еще иногда бываю на других островах. Прежде, когда я был помоложе, я то и дело уезжал с острова — чаще всего на миссионерском бриге, а иногда и на торговых шхунах. Но этого брига больше нет, и мы целиком зависим от идущих мимо судов. Бывает, к нам заходит в год пять, а то и шесть судов. А иной год и ни одного. Ваша шхуна — первая за последние семь месяцев.

— Неужели вы думаете, я поверю… — начал было старший помощник, но капитан Девенпорт перебил его:

— Ну, хватит. Мы теряем время. Что же делать, мистер Мак-Кой?

Карие, женственно-кроткие глаза старика обратились к одиноко высившемуся среди океана скалистому острову, затем он перевел взгляд — капитан с помощником наблюдали за ним — на столпившуюся на носу команду, напряженно ждавшую его решения.

Мак-Кой не торопился с ответом. Он размышлял долго, обстоятельно, с уверенностью человека, душу которого никогда ничто не омрачало.

— Ветер сейчас совсем слабый, — сказал он наконец. — Но немного западнее проходит сильное течение.

— Поэтому-то мы и вышли на подветренную сторону, — перебил его капитан, желая показать, что и он владеет искусством мореходства.

— Да, поэтому вы и вышли на подветренную сторону, — продолжал Мак-Кой. — Но сегодня вам все равно не удастся справиться с этим течением. А если б даже и удалось, все равно здесь нет отмели. Разобьете судно о скалы.

Он замолчал; капитан и старший помощник обменялись взглядом, полным отчаяния.

— Остается единственный выход, — снова заговорил Мак-Кой. — К ночи ветер покрепчает. Видите вон те облачка и марево с наветренной стороны? Вот оттуда-то, с юго-востока, он и за-

дует. Отсюда до Мангаревы триста миль. Идите прямехонько туда. Там превосходная лагуна.

Старший помощник покачал головой.

— Зайдем в каюту и посмотрим карту, — предложил капитан.

Когда они вошли в каюту, в ноздри Мак-Кою ударил резкий, удушливый запах. Невидимый газ разъедал глаза, причиняя нестерпимую боль. На горячей палубе невозможно было стоять босиком. Пот градом катил с Мак-Коя. Он чуть не с ужасом поглядел вокруг. Поразительная жара. Просто диво, что каюта еще не объята огнем. Мак-Кою почудилось, что его сунули в гигантскую печь, которая вот-вот разгорится и поглотит его как былинку, в своем полыхающем чреве.

Помощник капитана увидел, как Мак-Кой, подняв ногу, потер обожженную подошву о штанину, и жестко рассмеялся.

— Преддверие ада, не так ли? А спуститесь ниже, угодите в самый ад.

— Ну и пекло! — вскричал Мак-Кой, вытирая лицо цветным носовым платком.

— Вот Мангарева, — проговорил капитан, склонившись над столом и указывая на черную точку, затерявшуюся среди белой пустыни карты. — А между Питкэрном и Мангаревой есть еще один

остров. Почему бы нам не пойти к нему?

Мак-Кой даже не взглянул на карту.

— Это остров Полумесяца. Он необитаем, поднимается над морем фута на два-три, не больше. Есть лагуна, но в нее не войти. Нет, Мангарева — ближайшее и самое подходящее для вас место.

— Ну что ж, Мангарева так Мангарева, — сказал капитан Девенпорт, предупреждая возражения старшего помощника. — Созовите команду на корму, мистер Кониг.

Матросы повиновались и устало поплелись на корму. В каждом их движении чувствовалось страшное переутомление. Из камбуза вышел кок, рядом с ним стал юнга.

Когда капитан объяснил обстановку и сообщил о своем решении идти на Мангареву, поднялся возмущенный ропот. В общем гуле хриплых голосов порой слышались невнятные гневные выкрики, то там, то здесь раздавались громкие проклятия. На мгновение все заглушил голос матроса-кокни:

— Да пропадите вы пропадом! Мало вам, что вот уже две недели мы жаримся в аду? Теперь нас снова хотят заставить идти черт знает куда на этой адской посудине!

Они не поддавались никаким уговорам ка-

питана, и лишь кроткое спокойствие Мак-Коя, казалось, умиротворило их: мало-помалу ропот и проклятия затихли, и вскоре все матросы, кроме двух-трех, не сводивших с капитана тревожных глаз, устремили взгляды на зеленые, нависшие над морем скалы Питкэрна.

Словно ласковый ветерок прошелестел голос Мак-Коя:

— Капитан! Мне послышалось, матросы говорили, что они голодают?

— Да, так оно и есть. За последние два дня я сам съел один сухарь и маленький кусочек рыбы. Есть нечего. Когда мы обнаружили, что зерно загорелось, мы тут же задраили люки, надеялись, что задушим огонь. А уж после этого увидели, что в камбузе у нас мало съестных припасов. Но было уже поздно, вскрыть люки мы не рискнули. Голодают? Я голодаю не меньше их.

Он снова принялся уговаривать матросов, и снова поднялся ропот и послышались проклятия, снова на лицах появилось выражение гнева и злобы. Позади капитана, на полуюте, встали второй и третий помощники. Лица их не выражали ничего, кроме усталости и равнодушия; казалось, бунт команды вызывает у них только скуку. Капитан Девенпорт вопросительно посмотрел на

старшего помощника, но тот беспомощно пожал плечами.

— Теперь вы понимаете, — обернулся капитан к Мак-Кою, — что невозможно заставить людей уйти от острова, в котором они видят единственное спасение, и на горящем судне снова пуститься в море. Больше двух недель шхуна, по существу, была им плавучим гробом. Они выбились из сил, изголодались — словом, достаточно натерпелись. Нам остается только одно: пробиваться к Питкэрну!

Но ветра по-прежнему не было, днище шхуны обросло ракушками, и она снова и снова безуспешно пыталась преодолеть мощное западное течение. К концу второго часа их отнесло назад на три мили. Матросы работали с отчаянием обреченных, словно пытались передать судну частицу своей силы и помочь ему в борьбе с враждебной стихией. Но все было напрасно: шхуну неуклонно, сначала левым бортом, потом правым, относило на запад. Капитан беспокойно шагал по палубе, лишь изредка останавливаясь перед плывущей по воздуху струйкой дыма и пытаясь найти щель, из которой она пробилась. Корабельный плотник без устали разыскивал такие щели, а найдя, наглухо конопатил их.

— Ну, что скажете? — вдруг обратился капитан к Мак-Кою, с детским любопытством наблюдавшему за плотником.

Мак-Кой посмотрел на берег, который медленно исчезал в сгущавшейся дымке.

— Мне думается, лучше уходить на Мангареву. Ветер свежеет, завтра к вечеру вы будете на месте.

— А что, если пламя вырвется наружу? Этого можно ждать в любую минуту.

— Держите шлюпки наготове. Если и начнется пожар, доберетесь с попутным ветром до Мангаревы на шлюпках.

Капитан на минуту задумался, и тут Мак-Кой услышал вопрос, которого он не желал бы слышать, но которого ждал все это время.

— У меня нет карты Мангаревы. На большой карте она крошечная точка. Мне не найти входа в лагуну. Не пойдете ли вы с нами?

Ничто не могло нарушить спокойствия Мак-Коя.

— Хорошо, капитан, — ответил он с такой безмятежностью, с какой принял бы приглашение на обед. — Я пойду с вами на Мангареву.

Снова команду созвали на корму, и, стоя на полуюте, капитан снова обратился к матросам:

— Мы сделали все, что было в наших силах, но вы сами видите: к Питкэрну не подойти. Нас относит течение со скоростью двух узлов. Вот этот джентльмен, его превосходительство Мак-Кой, — губернатор и главный судья острова Питкэрн. Он идет с нами на Мангареву. Значит, положение наше не такое уж скверное. Разве согласился бы он пойти с нами, если б думал, что ему грозит смерть? Сколь бы ни был велик риск, раз он по доброй воле пошел на него, нам уж сам бог велел делать то же самое. Ну так что, идем мы на Мангареву?

На сей раз взрыва не последовало. Уверенность и спокойствие, которые, казалось, излучал Мак-Кой, возымели свое действие. Матросы вполголоса начали совещаться. Совещание длилось недолго. По сути дела, они были единодушны в своем решении. Объявить о нем они поручили матросу-кокни. Преисполненный сознанием собственной доблести, гордясь собой и своими товарищами, избранник матросов воскликнул с горящими глазами:

— Клянусь богом! Если он пойдет, то и мы пойдем!

Матросы нестройно поддержали его и разошлись.

— Постойте-ка, капитан, — сказал Мак-Кой, заметив, что тот собирается отдать приказание старшему помощнику. — Прежде чем отправиться с вами, я должен съездить на берег.

Мистер Кониг застыл на месте от изумления и уставился на Мак-Коя, словно на сумасшедшего.

— Съездить на берег! — повторил капитан. — Зачем? Пока вы доберетесь в своей пироге до Питкэрна, пройдет не меньше трех часов.

Мак-Кой прикинул на взгляд расстояние до острова и утвердительно кивнул.

— Ваша правда. Сейчас шесть. Раньше девяти мне до берега не доплыть. Люди соберутся только к десяти. Но к ночи ветер обязательно покрепчает, вы сможете поднять паруса и на рассвете подберете меня прямо в море.

— Ради всего святого, — взорвался капитан, — для чего вам понадобилось собирать жителей? Неужто вы еще не поняли, что у нас под ногами полыхает огонь?

Мак-Кой оставался невозмутим и спокоен, точно океан в летнюю пору, и буря негодования пронеслась мимо — океан не подернулся даже легкой рябью.

— Я понимаю, капитан, что шхуна горит, — проворковал он. — Только поэтому я и согласился

идти с вами в Мангареву. Но я должен получить на это разрешение граждан. Таков наш обычай. Не так уж часто губернатор покидает остров. Тогда на карту ставятся интересы всех жителей, поэтому они вправе либо дать согласие на его отъезд, либо ответить отказом. Но я знаю, они согласятся.

— Вы в этом уверены?

— Совершенно.

— А если так, то зачем же зря терять время? Подумайте, насколько это нас задержит — на целую ночь!

— Таков наш обычай, — последовал невозмутимый ответ. — Кроме того, как губернатор, я должен оставить на время моего отсутствия кое-какие распоряжения.

— Но ведь до Мангаревы ходу-то всего двадцать четыре часа, — возразил капитан. — Даже если в обратный путь вам придется идти против ветра и времени на него уйдет в шесть раз больше, то и тогда вы будете дома не позже, чем через неделю.

Мак-Кой улыбнулся своей ласковой, доброй улыбкой.

— Должно быть, вы не знаете, что суда в Питкэрн заходят очень редко; а уж если и заходят, то

только те, что идут из Сан-Франциско, или те, что огибают мыс Горн. Если я вернусь на Питкэрн через полгода, считайте, что мне повезло. Быть может, придется отсутствовать и целый год, а быть может, придется добираться до Сан-Франциско и уж там ждать попутного судна. Однажды мой отец уехал с острова на три месяца, а прошло два года, прежде чем ему удалось вернуться домой. К тому же у вас плохо с провизией. Если дойдет до того, что надо будет пересаживаться в шлюпки да еще и погода испортится, не так-то скоро вы доберетесь до суши. Я приведу две пироги с провизией. Лучше всего, пожалуй, взять сушеных бананов. Как только ветер усилится, набирайте ход. Чем ближе вы подойдете к острову, тем тяжелее я нагружу свои пироги. До свидания.

Он протянул капитану руку. Девенпорт крепко пожал ее и на секунду задержал в своей. Казалось, он цепляется за нее с тем же отчаянием, с каким утопающий цепляется за спасательный круг.

— Могу я быть уверен, что утром вы вернетесь? — спросил он.

— То-то и оно-то! — крикнул старший помощник. — Откуда нам знать, не выдумал ли он всего, чтобы спасти собственную шкуру?

Мак-Кой ничего не ответил. Он посмотрел на них ласково и мягко, и обоим показалось, что вместе с его взглядом им передалась частица его огромной душевной убежденности.

Капитан выпустил его руку, и, окинув в последний раз ласковым взглядом шхуну и матросов, Мак-Кой перелез через поручни и спустился в пирогу.

Ветер усилился, и шхуне удалось, несмотря на обросшее ракушками дно, уйти на несколько миль от западного течения. На рассвете, когда до Питкэрна оставалось больше трех миль, капитан увидел две быстро приближающиеся к шхуне пироги. И снова Мак-Кой вскарабкался на борт и спрыгнул на горячую палубу «Пиренеев». Затем наверх подняли обернутые сухими листьями тюки сушеных бананов.

— А теперь, капитан, — сказал Мак-Кой, — летим на всех парусах. Я ведь не моряк, — объяснил он спустя несколько минут, стоя на корме рядом с капитаном, который переводил взгляд с неба на воду, прикидывая скорость судна. — Ваше дело довести шхуну до Мангаревы, а уж там-то я введу ее в лагуну. Как по-вашему, сколько она делает узлов?

— Одиннадцать, — ответил капитан, бросив

последний взгляд на пенящуюся за бортом воду.

— Одиннадцать, — повторил Мак-Кой. — Ну что ж, если она сохранит эту скорость, завтра утром, между восемью и девятью, мы увидим Мангареву. К десяти, самое позднее к одиннадцати, я подведу шхуну к берегу, и всем вашим несчастьям наступит конец.

В голосе Мак-Коя звучала такая убежденность, что капитану показалось, будто блаженная минута спасения уже наступила. Больше двух недель вел он по океану горящее судно. Еще немного, и он не вынесет страшного напряжения.

Ветер налетел шквалом, ударил его в спину и засвистел в ушах. Капитан мысленно определил его силу и быстро глянул за борт.

— А ветер-то крепчает, — объявил он. — Старушка выжимает, пожалуй, все двенадцать. Если ветер продержится, мы к рассвету покроем путь до Мангаревы.

Весь день шхуна с горящим грузом неслась по вспененному, яростно клокочущему океану. К ночи подняли бом-брамсель и брамсель, и шхуна продолжала лететь в кромешной тьме, разрезая и оставляя позади огромные ревущие валы. Попутный ветер сделал свое дело, и настроение команды явно улучшилось. Когда сменилась

вторая вахта, какой-то беззаботный матрос даже затянул песню, а когда пробило восемь склянок, ее подхватила уже вся команда.

Капитан Девенпорт велел постелить себе прямо на палубе рубки.

— Я уже забыл, что такое сон, — пожаловался он Мак-Кою. — Совсем выбился из сил. Но вы разбудите меня, как только сочтете нужным.

В три часа ночи капитан проснулся от легкого прикосновения к плечу. Он быстро сел и прислонился спиной к световому люку, еще не очнувшись от короткого тяжелого сна. Ветер по-прежнему пел в снастях свою воинственную песню, все так же бушевал океан, яростно швыряя «Пиренеи» из стороны в сторону. Шхуна черпала воду то одним бортом, то другим, волны то и дело заливали палубу. Мак-Кой что-то крикнул ему — капитан не расслышал. Он схватил Мак-Коя за плечо и притянул к себе так, что его ухо оказалось вровень с губами Мак-Коя.

— Сейчас три часа, — услышал он голос Мак-Коя, не утерявший своей глубинной кротости, но странно приглушенный, словно доносился откуда-то издалека. — Мы прошли двести пятьдесят миль. Прямо по носу, милях в тридцати, остров Полумесяца. На нем нет маяков. Если мы

будем нестись так, как несемся сейчас, наверняка наскочим на него, — сами погибнем и шхуну потеряем.

— Вы считаете, надо ложиться в дрейф?

— Да, до рассвета. Это задержит нас всего на четыре часа.

И шхуна с объятым огнем чревом легла в дрейф, вступив в отчаянную схватку со штормом и приняв на себя всю ярость сокрушающих ударов ревущего океана, — охваченная пламенем скорлупка, за которую цеплялась кучка людей, из последних сил пытающихся выиграть сражение с взбунтовавшейся стихией.

— Никак не возьму в толк, откуда налетел шторм, — сказал Мак-Кой капитану, когда они добрались до подветренной стороны рубки. — В это время года не должно бы быть никакого шторма. Да и вообще с погодой творится что-то неладное. Пассат прекратился, а шторм налетел совсем с другой стороны. — Он махнул в темноту, словно взгляд его обладал способностью проникать за сотни миль. — Он несется на запад — где-то сейчас происходят вещи куда страшнее, чем здесь, — ураган, или что-нибудь в этом роде. Наше счастье, что нас отнесло так далеко к востоку. Шторм скоро прекратится, уж что-что, а это я

знаю наверняка.

С рассветом шторм и в самом деле утих. Но рассвет принес с собой новую опасность, еще более грозную. Над океаном навис густой туман, вернее, жемчужно-серая мгла; плотная и непроницаемая для глаза, она в то же время пропускала солнечные лучи, и они пронизывали ее насквозь, наполняя ярким переливчатым сиянием.

На палубе «Пиренеев» в это утро вилось больше дымков, чем накануне, и приподнятого настроения офицеров и матросов как не бывало. С подветренной стороны камбуза доносились всхлипывания юнги. Это был его первый рейс, и сердце его переполнял страх смерти. Капитан, как неприкаянный, слонялся по шхуне, хмурясь и нервно покусывая усы, не зная, на что решиться.

— Ну, а вы что скажете? — спросил он, останавливаясь возле Мак-Коя, который ел сушеные бананы и запивал их холодной водой.

Мак-Кой доел последний банан, допил воду и медленно осмотрелся. Взгляд его, который он обратил на капитана, лучился теплым сочувствием.

— Что ж, капитан, — сказал он, — чем гореть, стоя на месте, лучше идти вперед. Не может же палуба бесконечно стискивать натиск огня. Се-

годня она куда горячее, чем вчера. Не найдется ли у вас для меня пары ботинок? Трудновато становится ходить босиком.

При развороте шхуну захлестнули две огромные волны, и старший помощник заметил, что неплохо было бы залить эту воду в трюм, если б не надо было при этом отдраивать люки. Мак-Кой наклонился над компасом, проверяя курс судна.

— Я бы взял круче к ветру, капитан, — сказал он. — Нас здорово отнесло, пока мы лежали в дрейфе.

— Я уже взял правее на один румб. Мало?

— Прибавьте еще один, капитан. Шторм подогнал западное течение, теперь оно сильнее, чем вы думаете.

Капитан согласился на полтора румба и в сопровождении Мак-Коя и старшего помощника отправился на мостик посмотреть, не появится ли впереди земля. Были поставлены все паруса, и шхуна летела вперед со скоростью десять узлов. Океан быстро успокаивался. Но беспросветная жемчужная мгла по-прежнему плотно окутывала «Пиренеи», и к десяти часам капитан начал нервничать. Все матросы стояли на своих местах, готовые, как только завидят сушу, броситься к снастям и повернуть шхуну по ветру. Наткнись

они в такой мгле на коралловый риф, шхуна неминуемо погибнет.

Прошел еще час. Трое марсовых напряженно всматривались в светящуюся на солнце жемчужную мглу.

— А что, если мы прошли мимо Мангаревы? — вдруг спросил капитан.

— Пусть себе бежит вперед, капитан, — мягко ответил Мак-Кой, не сводя глаз с океана. — Это все, что мы можем сделать. Впереди — все Паумоту. На тысячу миль вокруг — рифы и атоллы. Где-нибудь да высадимся.

— Ну что ж, вперед так вперед. — Капитан начал спускаться на палубу.

— Должно быть, мы уже пропустили Мангареву. Одному богу известно, когда теперь попадется другой остров. Я жалею, что не послушался вас и не взял на полрумба правее, — признался он минутой позже. — Проклятое течение! Злые шутки играет оно с моряками!

— Старые моряки называли Паумоту «Опасным Архипелагом», — сказал Мак-Кой, когда они вернулись на корму. — А все из-за этого течения.

— Однажды я разговорился в Сиднее с одним малым, — начал мистер Кониг. — Он исходил все Паумоту на торговых судах. Так он уверял меня,

что страховой взнос здесь составляет восемнадцать процентов. Это правда?

Мак-Кой улыбнулся и кивнул.

— Все верно, да только компании вовсе отказываются страховать суда, объяснил он. — Каждый год владельцы списывают двадцать процентов стоимости шхун.

— Боже мой! — простонал капитан. — Значит, шхуна через пять лет ничего не стоит! — Он грустно покачал головой. — Страшные воды, страшные воды!

Они снова пошли в каюту посмотреть на большую карту, но каюта была полна ядовитых паров, и, задыхаясь и кашляя, они выбежали на палубу.

— Вот остров Моренаут. — Капитан показал на карту, которую он расстелил на крыше рубки. — До него не больше сотни миль, если идти в подветренную сторону.

— Сто десять. — Мак-Кой с сомнением покачал головой. — Можно попытаться подойти к нему, но это очень трудно. Может быть, мне удастся подвести шхуну к берегу, но с таким же успехом я могу посадить ее на риф. Плохое место, очень плохое.

— И все-таки попытаемся, — решил капитан и принялся прокладывать новый курс.

После полудня убавили парусов, чтобы в темноте не пройти мимо острова, и когда подошло время второй вахты, совсем было приунывшая команда снова воспрянула духом. Земля уже близко, рано поутру их мучениям наступит конец.

Утро следующего дня выдалось тихое и ясное, на горизонте вставало пылающее тропическое солнце. Юго-восточный пассат повернул на восток и гнал шхуну со скоростью восемь узлов. Капитан Девенпорт определил точное место судна, сделав поправку на течение, и объявил, что до Моренаута осталось не больше десяти миль. Шхуна прошла десять миль и еще десять, но тщетно марсовые на всех трех мачтах всматривались в даль: ничто не нарушало однообразия пустынного, сияющего в лучах солнца океана.

— И все-таки земля совсем рядом! — прокричал им с кормы капитан Девенпорт.

Мак-Кой успокаивающе улыбнулся, а капитан схватил секстан и, бросив на Мак-Коя безумный взгляд, снова принялся за вычисления.

— Так и знал, что я прав! — закричал он, кончив вычисления. — Двадцать один и пятьдесят пять южной широты; один — тридцать шесть и два — западной долготы. Вот где мы сейчас находимся. Остров в восьми милях под ветром. А что у вас

получилось, мистер Кониг?

Старший помощник просмотрел свои выкладки и тихо сказал:

— Широта у меня та же, что и у вас, — двадцать один и пятьдесят пять, но долгота совсем другая: один — тридцать шесть, сорок восемь. Это значит, что остров с наветренной стороны и…

Но капитан встретил его слова таким презрительным молчанием, что мистеру Конигу не оставалось ничего другого, как заскрежетать зубами и пробормотать про себя проклятие.

— Круче к ветру! — приказал капитан рулевому. — Три румба вправо, так держать!

Он снова углубился в вычисления, заново проверяя их. Пот лил с него градом. Он нервно кусал губы, жевал усы, грыз карандаш и глядел на цифры с таким ужасом, словно перед ним стояло привидение. Внезапно, охваченный дикой вспышкой гнева, он скомкал исписанный листок и растоптал его ногами. Мистер Кониг злорадно ухмыльнулся, а капитан прислонился к рубке и в течение получаса молчал, размышляя и безнадежно глядя в океан.

— Мистер Мак-Кой, — вдруг прервал он молчание. — Милях в сорока отсюда, к северу или северо-западу, на карте указана группа островов

— острова Актеона. Что вы о них скажете?

— Их четыре, и все они очень низкие, ответил Мак-Кой. — Первый, к юго-востоку, — Матуэри. Людей нет, лагуна закрыта. Потом идет Тенарунга. Когда-то на этом острове было десятка два жителей, но теперь там, наверно, никого не осталось. Да и неважно, живут ли на нем люди, — вход в лагуну очень мелкий, всего шесть футов, шхуне в нее не войти. Два других острова

— Вехауга и Теуараро. Ни людей, ни лагун, — очень низкие. Ни к одному из этих островов шхуне не пристать — верная гибель.

— Да что же это такое! — в бешенстве вскричал капитан. — Людей нет! Лагуны закрыты! На кой черт они тогда годятся, эти острова? Ну, ладно! — рявкнул он вдруг, словно разъяренный терьер. — К северо-западу от нас на карту нанесена целая куча островов. А о них что вы скажете? Неужто ни к одному нельзя подойти?

Мак-Кой спокойно обдумывал ответ. Ему не нужно было смотреть на карту. Все эти острова, рифы, мели, лагуны и расстояния между ними были давным-давно занесены на карту его памяти. Он знал их так же хорошо, как городской житель знает дома, улицы и переулки своего родного города.

— Панакена и Ванавана отсюда милях в ста, а то и больше, к западу, вернее, к северо-западу, — сказал он. — Один необитаем, а жители второго, слышал я, перебрались на остров Кадмус. Как бы то ни было, в лагуны этих островов нет входа. Еще в ста милях к северо-западу остров Ахунуи. Ни входа в лагуну, ни людей.

— Ладно. В сорока милях от них еще два острова? — Капитан Девенпорт поднял голову от карты.

Мак-Кой кивнул.

— Да, Парос и Манухунги — ни входа в лагуну, ни людей. В сорока милях от них — Ненго-Ненго. И тоже — ни людей, ни лагуны. Но рядом с ним остров Хао. Это как раз то, что нам надо. Лагуна имеет тридцать миль в длину и пять в ширину. Полным-полно народу. Сколько угодно пресной воды. В лагуну может войти судно любого размера.

Мак-Кой умолк и сочувственно посмотрел на капитана; Девенпорт, вооружившись измерительным циркулем, снова склонился над картой и глухо застонал.

— Неужели ближе Хао нет ни одного острова с открытой лагуной? — спросил он.

— Нет, капитан. Это ближайший.

— Но ведь до него триста сорок миль. — Капитан говорил медленно, но решительно. — Я не могу пойти на такой риск и взять на себя ответственность за жизнь вверенных мне людей. Уж лучше я потоплю шхуну на рифах островов Актеона. А жаль, неплохое ведь судно, — добавил он огорченно, отдавая распоряжение об изменении курса и делая большую, чем прежде, поправку на снос западным течением.

Прошел час, и небо заволокли тяжелые тучи. Все еще дул юго-восточный пассат, но океан стал похож на черно-белую шахматную доску, по которой перекатывались и вздымались пенные гребни волн.

— В час, самое позднее в два мы подойдем к островам, — уверенно объявил капитан. — Ваша задача, Мак-Кой, подвести шхуну к тому из них, на котором живут люди.

Солнце в этот день больше не показывалось; пробило час, но впереди не было видно никаких островов. Капитан мрачно смотрел на тянущийся за «Пиренеями» бурлящий след.

— Бог мой! — вдруг закричал он. — Смотрите-ка! Восточное течение!

Мистер Кониг недоверчиво посмотрел за корму. Мак-Кой уклонился от прямого ответа, но заме-

тил, что не видит причин, почему бы на Паумоту не быть восточному течению. От налетевшего шквала шхуна вдруг словно застыла на месте и полетела в бездонную пропасть между двумя высоченными волнами.

— Посмотрите на лот! Эй, вы там! — Капитан Девенпорт держал лотлинь и следил, как судно отклонялось от курса к северо-востоку. — Вот оно, смотрите! Подержите-ка лотлинь, увидите сами!

Мак-Кой и старший помощник схватились за линь и почувствовали, как он трепещет, подхваченный силой течения.

— Течение в четыре узла, — заметил мистер Кониг.

— Восточное течение вместо западного! — сказал капитан, осуждающе глядя на Мак-Коя, словно это он был виноват в том, что произошло.

— Вот вам одна из причин, капитан, почему страховой взнос в этих местах составляет восемнадцать процентов, — весело ответил Мак-Кой. — Никогда не знаешь, что тебя ждет. Течения то и дело меняются. Один человек

— забыл его имя, он книги писал и плавал на яхте «Каско», — так однажды он, вместо того, чтобы пристать к Такароа, прошел от него в тридцати милях и оказался у острова Тикеи, а все

из-за того, что переменилось течение. Мы сейчас идем с наветренной стороны, и лучше бы взять на несколько румбов круче.

— Но насколько отнесло нас это течение? — раздраженно сказал капитан.

— Откуда мне знать, сколько брать румбов?

— Я тоже не знаю, капитан, — кротко ответил Мак-Кой.

Снова подул ветер, и шхуна круто повернула по ветру; с палубы по-прежнему поднимались тоненькие струйки дыма, тускло мерцая в сером свете дня. Но вот шхуну снова отнесло назад, она сделала поворот фордевинд, пересекла свой след, бороздя океан и нащупывая путь к островам Актеона, которых по-прежнему не видели марсовые на мачтах.

Капитан Девенпорт был вне себя от ярости. Гнев его вылился в форму мрачного молчания, и с полудня до самого вечера он только шагал по палубе или молча стоял, прислонившись к вантам. С наступлением ночи, даже не посоветовавшись с Мак-Коем, он отдал приказ изменить курс на северо-запад. Мистер Кониг исподтишка бросил взгляд на карту и компас, а Мак-Кой, не скрываясь, простодушно сверился с компасом, и оба они поняли, что шхуна взяла направление к острову

Хао. К полуночи ветер стих, небо усеяли звезды. Капитан Девенпорт приободрился в надежде на тихую погоду.

— Место корабля определю утром, — сказал он Мак-Кою, — хотя, на какой мы теперь долготе, для меня загадка. Но я думаю воспользоваться способом равных высот Сомнера. Вы знаете, что такое линия Сомнера?

И он подробно объяснил Мак-Кою метод определения места по способу Сомнера.

Утро выдалось ясное. С востока дул ровный пассат, и шхуна так же ровно бежала вперед со скоростью девяти узлов. Капитан и старший помощник определили местонахождение судна по способу Сомнера, цифры у обоих сошлись, и сделанные в полдень наблюдения лишь подтвердили правильность полученных утром данных.

— Еще двадцать четыре часа, и мы будем у цели, — уверял Мак-Коя капитан. — Просто чудо, как еще держится палуба нашей славной старушки! Но ее ненадолго хватит, нет, нет, ненадолго. Посмотрите, как дымится, с каждым днем все сильнее и сильнее. А ведь пригнана была на славу, перед выходом из Фриско ее заново проконопатили. Я даже удивился, когда в первый раз прорвался огонь и пришлось задраить люки.

Что такое?

Он внезапно умолк и испуганно уставился на тоненькую струйку дыма, вьющуюся за бизань-мачтой на высоте двадцати футов над палубой. От удивления у него даже отвисла челюсть.

— Откуда он там взялся? — возмутился он.

Ниже никакого дыма не было. Должно быть, струйка дыма перелетела сюда с палубы и, найдя приют от ветра под прикрытием мачты, по какому-то странному капризу природы обрела форму и видимость на высоте двадцати футов от палубы. Вот она оторвалась от мачты и на короткое мгновение нависла над головой капитана, словно грозное предзнаменование судьбы. В следующую минуту порыв ветра подхватил ее и унес в океан, а челюсть капитана вновь приняла нормальное положение.

— Так вот, когда мы впервые задраили люки, я удивился. Уж как хорошо была пригнана палуба, и все же дым просачивался сквозь нее, словно сквозь сито. С тех пор мы только и делаем, что конопатим ее. Должно быть, давление в трюме огромное, если дым находит столько лазеек.

В тот вечер небо вновь затянуло тучами, начал моросить дождь. Ветер все время менял направление, то дул с юго-востока, то с северо-востока;

в полночь с юго-запада налетел сильный шквал, отбросил шхуну назад, и с этой минуты ветер дул, не переставая ни на секунду.

— Нам не добраться до Хао раньше десяти или одиннадцати, — простонал капитан в семь утра, когда нависшая на востоке мрачная громада туч унесла слабую надежду на солнечный день. В следующую минуту он уже уныло спрашивал:

— Ну где же эти течения?

Марсовые на мачтах по-прежнему не видели землю, и весь день то стоял штиль и моросил дождь, то порывами налетал ветер. К ночи с запада пошли огромные волны. Барометр упал до 29.50. Ветра почти не было, но зловещие волны все сильнее и сильнее бились о борта «Пиренеев». Не прошло и часа, как шхуну завертело в водовороте огромных валов, бесконечной чередой мчавшихся с запада из бездны ночи. Быстро, как только смогли падавшие от усталости матросы обеих вахт, убрали паруса, и к шуму ревущих волн добавился угрожающий ропот и жалобы выбившихся из сил матросов. А когда вахтенных матросов вызвали на корму крепить снасти, они уже открыто выразили свое нежелание повиноваться. В каждом их движении крылись протест и угроза. Воздух был влажный и словно бы лип-

кий, матросы дышали тяжело и часто, жадно ловя ртом воздух. Пот лил по обнаженным рукам и лицам матросов, по измученному, еще более мрачному, чем когда-либо, лицу капитана, и в его застывших глазах притаилась тревога и сознание неизбежной гибели.

— Ураган проходит западнее, — ободряюще сказал Мак-Кой. — Самое худшее — заденет нас краем.

Но капитан даже не обернулся и принялся читать при свете фонаря «Наставление морякам по вождению судов в циклоны и штормы». Молчание нарушали лишь доносящиеся со спардека всхлипывания юнги.

— Да замолчишь ли ты! — крикнул капитан с такой яростью, что все, кто был на палубе, вздрогнули, а преступник завопил от страха пуще прежнего. — Мистер Кониг, — обратился капитан к старшему помощнику дрожащим от возбуждения и гнева голосом, — сделайте одолжение, заткните шваброй глотку этому отродью!

Но к мальчику отправился Мак-Кой, и через несколько минут всхлипывания прекратились — юнга успокоился и заснул.

Перед рассветом с юго-востока повеяло первым дыханием свежего ветерка, мало-помалу уси-

ливавшегося и перешедшего в легкий ровный бриз. Вся команда собралась на палубе, тревожно ожидая, что последует дальше.

— Ну вот, теперь все будет в порядке, капитан, — сказал Мак-Кой, стоя бок о бок с Девенпортом. — Ураган помчался на запад, а мы много южнее. До нас дошел только этот бриз. Сильнее он уже не станет. Можно ставить паруса.

— А что от них толку? Куда мне вести шхуну? Вот уже два дня, как мы не знаем, где находимся, а ведь мы должны были увидеть Хао еще вчера утром. Куда нас несет: на север, юг, восток — или куда? Ответьте, и я в мгновение ока подниму все паруса.

— Я не моряк, капитан, — мягко сказал Мак-Кой.

— Когда-то я считал себя моряком, — послышалось в ответ, — до тех пор, пока не попал на эти проклятые Паумоту.

В полдень с мачты раздался крик:

— Прямо по носу буруны!

Моментально сбавили ход и начали убирать паруса. Судно медленно скользило вперед, борясь с течением, грозившим бросить его на рифы. Офицеры и матросы работали как одержимые, им помогали кок, юнга, капитан Девенпорт, Мак-

Кой. Шхуна была на волосок от гибели: прямо перед ними тянулась низкая отмель, унылый и опасный клочок земли, непригодный для жилья, о который безостановочно разбивались волны и на котором даже птицам негде было свить гнезда. Шхуна прошла мимо отмели в каких-нибудь ста ярдах и опять забрала ветер. Как только опасность миновала, задыхающиеся от только что пережитого волнения матросы обрушили поток ругательств и проклятий на голову Мак-Коя. Это он явился к ним на шхуну и предложил идти на Мангареву! Он лишил их безопасного приюта на Питкэрне и привел на верную гибель в эти изменчивые, страшные просторы океана! Но ничто не могло нарушить безмятежного спокойствия Мак-Коя. Он улыбнулся матросам, и столько доброжелательности было в его улыбке, что лучившаяся от него доброта, казалось, проникла в мрачные, полные отчаяния души матросов, и, посрамленные, они замолкли.

— Страшные воды, страшные воды, — бормотал капитан, пока шхуна медленно уходила от опасного места. Вдруг он замолчал и уставился на отмель. Она должна была находиться прямо за кормой, но почему-то оказалась с наветренной стороны шхуны.

Он сел и закрыл лицо руками. И все — и старший помощник, и Мак-Кой, и матросы — увидели то, что увидел капитан. Южную оконечность отмели омывало восточное течение, отнесшее к ней шхуну; у северного конца отмели проходило западное течение, захватившее шхуну и медленно увлекавшее ее прочь.

— Когда-то я слышал об этих Паумоту, — со стоном сказал капитан, поднимая белое, как полотно, лицо. — Мне рассказывал о них капитан Мойендейл, после того как потерял здесь судно. А я тогда посмеялся над ним. Да простит меня бог за то, что я посмеялся над ним. Что это за отмель? — обратился он к Мак-Кою.

— Не знаю, капитан.

— Почему?

— Да потому, что мне никогда прежде не приходилось ни видеть ее, ни слышать о ней. Одно я знаю наверняка: на картах ее нет. Этот район никто никогда как следует не исследовал.

— Но ведь это значит, что вы не знаете, где мы находимся?

— Так же как и вы, капитан, — мягко ответил Мак-Кой.

В четыре пополудни вдали показалось несколько кокосовых пальм, словно выросших прямо из

воды. А чуть позже над водой поднялся низкий атолл.

— Теперь я знаю, где мы находимся, капитан, — сказал Мак-Кой, опуская бинокль. — Это остров Решимости. Мы в сорока милях от Хао, но ветер дует нам прямо в лоб, и нам к нему не пробиться.

— Тогда готовьтесь, будем приставать здесь. С какой стороны вход в лагуну?

— К лагуне ведет узкий пролив, годный разве что для легкой пироги. Но уж раз мы знаем теперь, где находимся, можно пойти к острову Барклая де Толли. Он всего в ста двадцати милях, на северо-северо-запад. При таком ветре мы будем завтра к девяти утра.

Капитан углубился в карту, обдумывая предложения Мак-Коя.

— Даже если мы разобьем ее здесь, нам все равно не миновать идти к острову Барклая де Толли, только уж в шлюпках, — добавил Мак-Кой.

Капитан отдал приказание, и снова шхуна пустилась в путь по океану, столь негостеприимно встречавшему ее.

Следующий день не принес ничего утешительного: палуба «Пиренеев» дымилась больше прежнего, людьми овладело безысходное от-

чаяние, грозившее в любую минуту перейти в открытый бунт. Течение усилилось, ветер спал, и шхуну неуклонно относило на запад. Далеко на востоке, еле видимый с мачты, показался остров Барклая де Толли, и шхуна несколько часов подряд безуспешно пыталась пробиться к нему. На горизонте, как навязчивый мираж, маячили кокосовые пальмы, стоило спуститься с мачты на палубу, и они сразу исчезали за выпуклым краем водной равнины.

И снова капитан Девенпорт углубился в карту, призвав на совет Мак-Коя. В семидесяти милях к юго-западу лежит остров Макемо с превосходной лагуной длиной в тридцать миль. Но когда капитан отдал приказ идти к острову, матросы отказались повиноваться. Хватит с них жариться на адском огне, заявили они. Земля совсем рядом. Что из того, что шхуна не может к ней подойти? На что ж тогда шлюпки? Пусть горит, туда ей и дорога. А жизнь им еще пригодится. Они верой и правдой служили шхуне, теперь пришел черед послужить самим себе.

Отшвырнув с дороги второго и третьего помощников, матросы бросились к шлюпкам и с лихорадочной поспешностью стали готовить их к спуску. Им наперерез кинулись капитан

Девенпорт и старший помощник с револьверами в руках. Но в этот момент с палубы рубки к матросам обратился Мак-Кой.

При первых же звуках его тихого, кроткого голоса они остановились и начали прислушиваться. Мак-Кой вселял в них свою непостижимую уверенность и безмятежность. Его мягкий голос и простые слова таинственным образом вливались в их сердца, и, сами того не желая и внутренне противясь, матросы оттаивали и смягчались. В памяти всплывали давно минувшие времена, любимые колыбельные песни, что пела в детстве мать, ласка и теплота материнских рук… И почудилось им, что нет больше в этом мире ни тревог, ни усталости. Все идет так, как должно, и уж само собой разумеется, что им придется отказаться от мысли о суше и снова пуститься в океан на охваченном адским огнем судне…

Мак-Кой говорил очень просто, да им вовсе и неважно было то, что он говорил. Красноречивее любых слов говорила за него его незаурядная натура. Должно быть, они подпали под очарование той таинственной силы, которая исходила из его чистой и глубокой души, в одно и то же время несказанно смиренной и необычайно властной. Словно луч света проник в темные тайники их

душ, неся с собой ласку и доброту, и эта сила оказалась куда более грозной, чем та, что глядела на них из сверкающих, несущих смерть дул револьверов в руках капитана и старшего помощника.

Матросы заколебались, и те, кто успел отвязать шлюпки, начали поспешно крепить их обратно. Потом один, второй, третий, и вот уже все они сначала неуверенно, бочком, потом более поспешно стали расходиться с кормы.

Мак-Кой спустился с крыши рубки на палубу; лицо его светилось неподдельной радостью. Еще один бунт миновал. А был ли какой-нибудь бунт? Да и никогда не вспыхивали никакие бунты, ибо не было для них места в том благословенном мире, в котором он жил.

— Вы загипнотизировали их, — пробормотал старший помощник, мрачно усмехаясь.

— Они славные ребята, и у них добрые сердца, — последовал ответ. — Им нелегко пришлось, и они работали, не щадя себя; они и дальше не будут щадить себя, до самого конца.

Мистеру Конигу было не до разговора. Он отдал приказание, матросы послушно забегали по палубе, и скоро шхуна начала медленно поворачивать, пока наконец не взяла курс на Макемо.

Ветер дул очень слабый, а после заката и вовсе

прекратился. Было нестерпимо жарко; по носу и корме уныло слонялись матросы: все их попытки заснуть оказались тщетными. На горячей палубе лечь было невозможно, ядовитые испарения просачивались сквозь щели и, словно злые духи, ползли по судну, забираясь в ноздри и горло, вызывая приступы кашля и удушья. На черном небе тускло мерцали звезды; взошла круглая луна, и в ее серебристом свете заплясали мириады струек дыма; извиваясь и переплетаясь, они подымались над палубой, добираясь до самых верхушек мачт.

— Расскажите, — попросил капитан Девенпорт, протирая слезящиеся от дыма глаза, — что произошло с матросами брига «Баунти» после того, как они высадились на Питкэрне. В газетах тогда писали, что бриг они сожгли и след их отыскался только много лет спустя. А что произошло за это время? Мне всегда хотелось разузнать об их судьбе. Помнится, их приговорили к повешению. Кажется, они привезли с собой на Питкэрн туземцев, не так ли? И среди них было несколько женщин. Должно быть, из-за них-то и начались все неприятности.

— Да, неприятности в самом деле начались, — ответил Мак-Кой. — Они были плохие люди.

Они сразу начали ссориться из-за женщин. У одного из мятежников, звали его Уильямс, вскоре умерла жена, упала со скалы и разбилась, когда охотилась на морских птиц. Все женщины на острове были таитянки. Тогда Уильямс отнял жену у туземца. Туземцы рассердились и перебили почти всех мятежников. А потом те мятежники, что спаслись, перебили всех туземцев. Женщины им помогали. Да и сами туземцы убивали друг друга. Произошло побоище. Это были очень плохие люди.

Туземца Тимити убили двое других туземцев; пришли к нему в гости и в знак дружбы стали расчесывать ему волосы; потом убили. Этих двух послали белые люди. А потом белые люди убили их самих. Туллалоо был убит своей женой в пещере, потому что она хотела в мужья белого человека. Они были очень нехорошие. Господь отвратил от них лицо свое. К концу второго года из туземцев не осталось в живых ни одного, а из белых — четверо: Юнг, Джон Адамс, Мак-Кой — мой прадед, и Квинтал. Квинтал тоже был очень плохой человек. Однажды он откусил у своей жены ухо только потому, что она наловила мало рыбы.

— Вот так сброд! — воскликнул мистер Кониг.

— Да, они были очень дурные люди, — согласился Мак-Кой и продолжал ворковать о кровавых деяниях и пагубных страстях своих грешных предков. — Мой прадед убежал от виселицы только для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. На острове он соорудил куб и начал гнать спирт из корней пальмового дерева. Квинтал был его закадычным другом, и они только и делали, что вместе пили. Кончилось тем, что прадед заболел белой горячкой и в приступе болезни привязал к шее камень и бросился со скалы в море.

Жена Квинтала, та самая, у которой он откусил ухо, тоже вскоре погибла, сорвалась со скалы. Тогда Квинтал отправился к Юнгу и потребовал, чтоб он отдал ему свою жену, а потом пошел к Адамсу и потребовал его жену. Адамс и Юнг боялись Квинтала. Они знали, что он убьет их. Тогда они сами убили его топором. Потом Юнг умер. На этом и кончились их несчастья.

— Еще бы им не кончиться, — пробормотал капитан Девенпорт. — Убивать больше было некого.

— Господь отвратил от них лицо Свое, — тихо сказал Мак-Кой.

Миновала ночь; к утру восточный ветер почти

совсем спал, и, не решаясь повернуть шхуну на юг, капитан Девенпорт привел ее в крутой бейдевинд. Он боялся коварного западного течения, которое уже не раз лишало их надежных убежищ. Штиль держался весь день и всю ночь, и снова среди матросов, вот уже много дней не евших ничего, кроме сушеных бананов, поднялся ропот. От этой банановой диеты они слабели, многие жаловались на боли в животе. Весь день течение несло «Пиренеи» на запад, не оставалось уже никакой надежды, что шхуна сможет идти прямо на юг… В середине первой вахты далеко на юге из воды вновь показались верхушки кокосовых пальм, их пышные кроны величаво колыхались над низким атоллом.

— Это остров Таэнга, — сказал Мак-Кой. — Если ночью не задует ветер, мы пройдем мимо Макемо.

— Куда запропастился юго-восточный пассат? — возмущался капитан. — Почему он не дует? Что происходит?

— Все дело в испарениях с лагун, — объяснил Мак-Кой. — Лагун-то здесь видимо-невидимо. Эти испарения изменяют всю систему пассатов. Случается, ветер вдруг и вовсе поворачивает вспять, а потом уж возвращается с юго-запада ураганным

штормом. Это Опасный Архипелаг, капитан.

Капитан обернулся к старику и уже открыл было рот, собираясь выругаться, но в последний момент удержался. Присутствие Мак-Коя сдерживало клокотавшую в груди ярость, и готовое сорваться с языка богохульство так и осталось непроизнесенным. Влияние Мак-Коя очень выросло за те дни, что они провели вместе. Капитан Девенпорт, этот смелый и отчаянный моряк, который никогда ни перед чем не останавливался и никогда не обуздывал себя ни в поступках, ни в словах, вдруг почувствовал, что не может выговорить бранных слов в присутствии старика с добрыми карими глазами и тихим кротким голосом! Когда это дошло до сознания капитана, он был потрясен. Да ведь этот старик — потомок Мак-Коя с «Баунти», мятежника Мак-Коя, исчадия зла и насилия, что бежал из Англии от грозившей ему виселицы и погиб насильственной смертью на острове Питкэрн в давно минувшие кровавые дни!

Капитан Девенпорт не отличался религиозностью, но в эту минуту им овладело безумное желание броситься к ногам стоящего перед ним человека и говорить, говорить, говорить… он и сам не знал что. Он не смог бы определить при-

чину того глубокого волнения, которое с такой силой охватило все его существо, но вдруг почувствовал себя слабым и ничтожным рядом с этим стариком, мягкосердечным, как женщина, и простодушным, как ребенок.

Нет, он не унизится на глазах у всей команды. Ярость, душившая его за минуту до того и едва не исторгнувшая из его уст проклятия, все еще бушевала в его груди. Он изо всех сил хватил кулаком по стенке каюты.

— Меня не так-то легко сломить, слышите? Вашим проклятым Паумоту удалось провести меня, но я все равно не сдамся! Я буду вести шхуну вперед, вперед и только вперед, но я найду для нее лагуну, хотя бы мне пришлось дойти до Китая! И если все до единого сбегут со шхуны, я все равно не покину ее! Я еще покажу этим Паумоту! Им не одурачить меня! И я не брошу старую посудину до тех пор, пока на ее палубе останется хоть одна доска, на которой я смогу стоять! Слышите?

— Я останусь с вами, капитан.

Всю ночь дул слабый южный ветер. Капитан то и дело определял направление течения и каждый раз убеждался, что шхуну с ее горящим грузом неуклонно относит на запад; тогда он отходил в сторону и тихо, чтобы не слышал Мак-Кой,

ругался.

С рассветом на юге показались верхушки кокосовых пальм.

— Это подветренный берег Макемо, — сказал Мак-Кой. — В нескольких милях к западу — остров Катиу. Можно попытаться подойти к нему.

Но сильное течение, выбивавшееся из пролива между островами, отнесло шхуну на северо-запад, и в полдень кокосовые пальмы острова Катиу в последний раз мелькнули над водой и снова исчезли в безбрежных просторах океана. А через несколько минут, как раз в тот момент, когда капитан обнаружил, что шхуна зажата мертвыми тисками уже другого течения, северо-восточного, марсовые разглядели кокосовые пальмы на северо-западе.

— Это Рарака, — объяснил Мак-Кой. — Без попутного ветра к ней не подойти. А нас относит течение к юго-западу. Но надо быть настороже. Несколькими милями дальше мы попадаем в течение, которое идет на север, потом делает круг и поворачивает к северо-западу. Оно может отнести нас от Факаравы, а Факарава — самое для нас подходящее место.

— Эти прок… эти течения носят нас из стороны в сторону, куда им заблагорассудится, — с жаром

проговорил капитан. — Но мы все равно разыщем лагуну, помяните мое слово.

Однако конец шхуны неотвратимо приближался. Палуба так накалилась, что казалось, еще немного — и из щелей вырвутся языки пламени. А в некоторых местах, чтобы не обжечь ноги, приходилось бежать: даже башмаки на толстых подошвах уже не защищали. Дыма все прибавлялось, и с каждой минутой он становился все более едким. Воспаленные глаза слезились, все кашляли и задыхались, словно чахоточные больные. После полудня приготовили к спуску шлюпки. В них уложили остатки сушеных бананов и навигационные приборы. Опасаясь, что палуба может вспыхнуть в любой момент, капитан отнес в шлюпку даже хронометр.

Ночь прошла в гнетущем ожидании близкого конца, каждый смотрел на измученное лицо и ввалившиеся глаза другого, словно удивляясь, что шхуна еще цела и все они до сих пор живы.

Перебегая с одного места на другое, а время от времени даже смешно подпрыгивая, что совсем не вязалось с его обычной степенной походкой, капитан Девенпорт осмотрел палубу.

— Конец — вопрос нескольких часов, если не минут, — объявил он, вернувшись на корму.

С мачты раздался крик марсового, увидевшего землю. С палубы ее не было видно, и Мак-Кой бросился наверх, а капитан, воспользовавшись его отсутствием, разразился проклятиями. Но вдруг они замерли у него на языке: в направлении к северо-востоку капитан разглядел на воде темную полоску. То был не шквал, а обычный ветер, тот самый пассат, что пропал и появился теперь вновь, отклонясь на восемь румбов в сторону от своего обычного направления.

— Ну, теперь держитесь по ветру, капитан, — сказал Мак-Кой, вернувшись на корму. — Мы у восточного берега острова Факарава. Войдем в лагуну на полном ходу, при боковом ветре под всеми парусами.

Через час кокосовые пальмы и низкие берега острова были видны уже с палубы. Но мысль о том, что конец шхуны неотвратимо приближается, тяжелым камнем легла на души людей. Капитан приказал спустить на воду три шлюпки, а чтобы они держались порознь, в каждую посадили по матросу. Шхуна шла вдоль самого берега — всего в двух кабельтовых лежал белый от пены прибоя атолл.

— Приготовьтесь, капитан, — предупредил Мак-Кой.

Не прошло и минуты, как атолл словно расступился, открыв узкий пролив, за которым расстилалась зеркальная гладь огромной — тридцать миль в длину и десять в ширину — лагуны.

— Пора, капитан.

В последний раз повернулись реи, и, послушно повинуясь рулю, шхуна вошла в пролив. Но не успела она сделать поворот, не успели матросы закрепить шкоты, как вдруг все в паническом ужасе бросились на корму. Ничего не случилось, но что-то, уверяли они, вот-вот произойдет. Почему им это казалось, они и сами не могли объяснить. Но они знали, что этого не миновать. Мак-Кой побежал на нос, чтобы оттуда управлять шхуной, но капитан схватил его за руку и вернул на место.

— Оставайтесь здесь, — сказал он. — Палуба не безопасна. В чем дело?

— закричал он. — Почему мы стоим на месте?

Мак-Кой улыбнулся.

— Мы пробиваемся навстречу течению в семь узлов, капитан, — объяснил он, — с такой скоростью во время отлива выходит вода из лагуны.

К концу следующего часа шхуна продвинулась вперед едва ли на больше чем на собственную длину; но вот ветер посвежел, и она медленно

пошла вперед.

— Все в шлюпки! — громко приказал капитан.

Но не успел еще затихнуть его голос, не успели матросы, послушно повиновавшиеся его приказу, добежать до борта, как из средней части палубы вырвался огромный столб огня и дыма и взметнулся в небо, опалив часть парусов и оснастки, тут же рухнувших в воду. Столпившихся на корме матросов спасло только то, что дул боковой ветер. Они в ужасе метнулись к шлюпкам, но их остановил спокойный, невозмутимый голос Мак-Коя:

— Не спешите, все в порядке. Пожалуйста, спустите сначала мальчика.

Когда разразилась катастрофа, рулевой в панике бросил штурвал, и капитан едва успел ухватиться за спицы и выровнять шхуну, чтобы она не отклонилась от курса и не врезалась в стремительно надвигающийся берег.

— Займитесь шлюпками! — крикнул он старшему помощнику. — Одну из них держите прямо за кормой. В последний момент я в нее прыгну.

Мгновение мистер Кониг колебался, потом перескочил через борт и спустился в шлюпку.

— Полрумба правее, капитан.

Капитан Девенпорт вздрогнул. Он был уверен, что остался на шхуне один.

— Есть полрумба правее, — ответил он.

На спардеке зияла огненная дыра, извергавшая огромные клубы дыма, которые поднимались до самых верхушек мачт, совершенно закрывая носовую часть судна. Встав под прикрытие бизань-мачты, Мак-Кой продолжал управлять маневрами шхуны в узком извилистом проливе. Огонь устремился вдоль палубы на корму, белоснежная башня парусов грот-мачты вспыхнула и исчезла в огненном вихре. Парусов фок-мачты не было видно за стеной дыма, но они знали, что до фок-мачты огонь еще не добрался.

— Только бы успеть войти в лагуну прежде, чем сгорят все паруса, — тяжело вздохнув, сказал капитан.

— Успеем, — заверил его Мак-Кой. — Времени у нас вполне достаточно. Должны успеть. А уж в лагуне мы поставим ее кормой к ветру, так, что он унесет дым и собьет огонь.

Язык пламени жадно лизал бизань-мачту, но не дотянулся до нижнего паруса и исчез. Откуда-то сверху на голову капитана упал горящий кусок троса, но он только досадливо поморщился, словно его ужалила пчела, и смахнул его на палубу.

— Как на румбе, капитан?

— Северо-запад.

— Держите на запад-северо-запад.

Капитан переложил руль на подветренный борт и привел шхуну точно на заданный курс.

— Северо-запад, капитан!

— Есть северо-запад!

— А теперь запад!

Медленно входя в лагуну, шхуна, разворачиваясь, описала дугу и стала кормой к ветру, и так же медленно, со спокойной уверенностью человека, у которого впереди еще тысячи лет жизни, Мак-Кой произносил нараспев слова команды:

— Еще румб, капитан!

— Есть еще румб!

Капитан Девенпорт немного повернул штурвальное колесо, потом быстрым движением изменил направление и снова чуть-чуть повернул штурвал.

— Так держать!

— Есть так держать!

Несмотря на то, что ветер дул теперь с кормы, было так жарко, что капитан лишь искоса поглядывал на компас, поворачивая штурвал то одной, то другой рукой и заслоняя свободной обожженное, покрывшееся волдырями лицо. Борода Мак-Коя начала тлеть, и в нос капитана ударил такой сильный запах паленых волос, что он огля-

нулся и с беспокойством посмотрел на Мак-Коя. Время от времени капитан и вовсе отпускал штурвал и потирал обожженные руки о штаны. Все до одного паруса бизань-мачты унесло пламенным вихрем, и обоим приходилось сгибаться в три погибели, чтобы укрыть от огня лицо.

— А теперь, — сказал Мак-Кой, бросая из-под руки взгляд на лежащий перед ними низкий берег, — четыре румба вправо и так держать.

Всюду, куда бы они не посмотрели, горели и летели вниз снасти. Едкий дым от тлеющего у ног капитана смоленого троса вызвал у него сильный приступ кашля, но капитан не выпустил штурвала.

Шхуна задела дно и, высоко задрав нос, мягко остановилась. От толчка на капитана и Мак-Коя посыпался град горящих обломков. Судно еще немного продвинулось вперед и снова остановилось. Слышно было, как киль дробит хрупкие кораллы. Продвинувшись еще немного вперед, шхуна в третий раз остановилась.

— Точнее на румбе, — сказал Мак-Кой. — Точнее? — тихо спросил он.

— Она не слушается руля, — ответил капитан.

— Ну что ж. Она разворачивается. — Мак-Кой заглянул через борт. — Мягкий белый песок. Луч-

шего и желать нельзя. Превосходная лагуна.

Как только шхуна развернулась и корма оказалась под ветром, на нее обрушился страшный столб дыма и пламени. Опаленный огнем, капитан выпустил из рук штурвал и бросился к шлюпке. Мак-Кой посторонился, пропуская его вперед.

— Сначала вы! — крикнул капитан, схватив его за плечо и почти перебрасывая через поручни. Но пламя бушевало уже у самого борта, и капитан прыгнул вниз сразу же вслед за Мак-Коем; оба повисли на канате и одновременно упали в шлюпку.

Не дожидаясь приказаний, матрос обрубил канат, поднятые наготове весла врезались в воду, и шлюпка стрелой полетела к берегу.

— Прекрасная лагуна, капитан, — пробормотал Мак-Кой, оглядываясь.

— Да, лагуна прекрасная, но если бы не вы, нам бы никогда ее не разыскать.

Три шлюпки быстро приближались к песчаному, усеянному кораллами берегу; чуть дальше, на опушке рощи кокосовых пальм, виднелось с полдюжины хижин, а около них десятка два испуганных туземцев во все глаза глядели на огромное полыхающее чудище, подошедшее к

их острову.

Шлюпки коснулись земли, и команда шхуны ступила на белый песок.

— А теперь, — сказал Мак-Кой, — мне надо подумать о том, как вернуться на Питкэрн.

ДЖЕК ЛОНДОН «СЫН СОЛНЦА» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Сын Солнца

1

«Уилли-Уо» стояла в проходе между береговым и наружным рифом. Там, за скалами, лениво шумел прибой, но защищенная лагуна, тянувшаяся ярдов на сто к белому пляжу из мельчайшего кораллового песка, оставалась гладкой, как стекло. Хотя проход был узок, а шхуна стала на якорь в самом мелком месте, позволявшем развернуться, якорная цепь «Уилли-Уо» была выпущена на полные сто футов. Все ее движения отпечатались на дне из живых кораллов. Ржавая цепь, подобно чудовищной змее, переползала с места на место, и ее прихотливые пути скрещивались, расходились и снова скрещивались, чтобы в конце концов сойтись у неподвижного якоря.

Большая треска, серовато-коричневая в крапинку, пугливо резвилась среди кораллов. Другие рыбы, самой фантастической формы и окраски, вели себя чуть ли не вызывающе: они даже не замечали апатично проплывающих мимо больших акул, одно появление которых заставляло треску удирать и прятаться в облюбованные

расщелины.

В носовой части судна на палубе человек двенадцать туземцев чистили тиковые поручни. Обезьяны и то лучше справились бы с этой работой. Впрочем, эти люди и напоминали каких-то огромных доисторических обезьян: в глазах то же выражение плаксивой раздражительности, лица асимметричнее, чем у обезьян, не говоря уже о том, что наличие волосяного покрова делает обезьян все же в некотором роде одетыми, тогда как у этих туземцев не было и намека на одежду.

Зато они щеголяли кучей всяких украшений, чего нельзя сказать об обезьянах. В ушах у них красовались глиняные трубки, черепаховые кольца, огромные деревянные затычки, ржавые гвозди, стреляные гильзы. Дырки в их мочках были разной величины, — от такой, как винчестерное дуло, и до нескольких дюймов в диаметре. Каждое ухо в среднем насчитывало от трех до шести отверстий. В нос они продевали иглы и шила из полированной кости или окаменелые раковины. На груди у одного болталась белая дверная ручка, у другого — черепок фарфоровой чашки, у третьего — медное колесико от будильника. Они разговаривали странными птичьими голосами и сообща выполняли работу, с какой

шутя справился бы один белый матрос.

На юте под тентом стояли двое мужчин. Оба были в нижних рубашках стоимостью в шесть пенсов и набедренных повязках. У каждого на поясе висели револьвер и кисет с табаком. Пот мириадами капелек выступал у них на коже. Кое-где капельки сливались в крошечные ручейки, которые стекали на горячую палубу и мгновенно испарялись. Сухопарый темноглазый человек пальцами утер со лба едкую струю пота и, устало выругавшись, стряхнул ее. Устало и безнадежно посмотрел он на море за дальним рифом и на верхушки пальм, окаймлявших берег.

— Восемь часов, а жарит, как в пекле. Что-то будет в полдень? — пожаловался он. — Послал бы господь ветерок. Неужто мы никогда не тронемся?

Второй, стройный немец лет двадцати пяти с массивным лбом ученого и недоразвитым подбородком дегенерата, не потрудился ответить. Он был занят тем, что высыпал порошки хинина в папиросную бумагу. Скрутив гран пятьдесят в тугой комок, он сунул его в рот и, не запивая водой, проглотил.

— Хоть бы каплю виски, — вздохнул первый после пятнадцатиминутного молчания.

Прошло еще столько же времени, и наконец немец ни с того ни с сего сказал:

— Малярия доконала меня! Как только придем в Сидней, я попрощаюсь с вами, Гриффитс. Хватит с меня тропиков. Не понимаю, о чем я думал, когда подписывал с вами контракт.

— Какой вы помощник! — ответил Гриффитс; он слишком изнывал от жары, чтобы горячиться. — Когда в Гувуту узнали, что я собираюсь нанять вас, все смеялись. «Кого? Якобсена? — спрашивали меня. — Вам не спрятать от него не то что кварты джина, а даже склянки серной кислоты. Он что угодно вынюхает». И вы оправдали вашу репутацию. Уже две недели у меня глотка во рту не было, потому что вы изволили вылакать весь мой запас.

— Если бы у вас была такая малярия, как у меня, вы бы понимали, — захныкал помощник.

— Да я и не сержусь, — ответил Гриффитс. — Я только мечтаю, чтобы господь послал мне выпивку, или хотя бы легкий ветерок, или еще что-нибудь. А то завтра у меня начнется приступ.

Помощник предложил ему хинин. Приготовив пятидесятиграновую дозу, Гриффитс сунул комок в рот и проглотил без капли воды.

— Господи! Господи! — простонал он. — Попасть бы в места, где понятия не имеют, что такое хина. Проклятое лекарство, черт бы его побрал! Я проглотил уже тонны этой гадости.

Он снова взглянул на море, ища признаков ветра. Но нигде не было видно облаков, обычных предвестников ветра, а солнце, все еще не добравшееся до зенита, превратило небо в раскаленную медь. Эту жару, казалось, можно было не только ощущать, но и видеть, и Гриффитс устало перевел взгляд на берег. Но и белизна берега причиняла нестерпимую боль глазам. Неподвижные пальмы четко выделялись на фоне неяркой зелени густых зарослей, казались картонными. Чернокожие мальчишки играли голышом на песке под ослепительным солнцем, и человеку, страдающему от нестерпимого зноя, было обидно и тошно на них смотреть. Гриффитс почувствовал какое-то облегчение, когда один из них, разбежавшись, споткнулся и полетел кувырком в тепловатую морскую воду.

Восклицание, которое вырвалось у туземцев, толпившихся на баке, заставило обоих мужчин взглянуть в сторону моря. Со стороны ближайшего мыса, выступавшего из-за рифа, в четверти мили показалось длинное черное каноэ.

— Это племя гоома из соседней бухты, — определил помощник.

Один из чернокожих подошел к юту, ступая по раскаленной палубе с равнодушием человека, чьи босые ноги не ощущают жара. Это тоже болезненно задело Гриффитса, и он закрыл глаза. Но в следующий момент они широко раскрылись.

— Белый хозяин плывет вместе с гоома, — сказал чернокожий.

Капитан и его помощник вскочили на ноги и посмотрели на каноэ. На корме нетрудно было различить сомбреро белого человека. Лицо помощника выразило тревогу.

— Это Гриф, — сказал он.

Гриффитс долго смотрел и, удостоверившись, сердито чертыхнулся.

— Чего ему тут нужно? — обратился он не то к помощнику, не то к слепящим морю и небу, беспощадно сверкающему солнцу, ко всей этой раскаленной и неумолимой вселенной, с которой связала его судьба.

— Говорил я, что вам не удастся удрать, — захихикал помощник.

Но Гриффитс не слушал его.

— При его-то капиталах рыскать, как какой-нибудь сборщик арендной платы! — кричал он

в порыве злобы. — Ведь он набит деньгами, купается в деньгах, лопается от денег. Мне точно известно, что он продал свои Йирингские плантации за триста тысяч фунтов. Белл сам сказал мне это, когда мы последний раз выпивали с ним в Гувуту. Архимиллионер, а преследует меня, как Шейлок, из-за какого-то пустяка. — Он накинулся на помощника: — Конечно, вы говорили мне. Так продолжайте же, говорите! Ну так что вы мне рассказывали?

— Я говорил вам, что, если вы надеетесь улизнуть с Соломоновых островов, не заплатив ему, значит вы плохо знаете Грифа. Этот человек — сущий дьявол, но он честен. Я это знаю. Я говорил вам, что он может выбросить тысячу фунтов ради потехи, а за пять центов будет драться, как бродяга за ржавый котелок. Говорю вам: я его знаю. Разве не он отдал свою «Балакулу» Квинсленд-ской миссии, когда их «Вечерняя звезда» погибла у Сан-Кристобаля? А «Балакула», если ее продать, стоит верных три тысячи фунтов. И разве он не вздул Строзерса, да так, что тот две недели валялся на койке, только из-за того, что счет не сходился на два фунта десять шиллингов, а Строзерс стал нахально спорить и пытался обмануть его?

— Черт возьми! — крикнул Гриффитс в бессиль-

ной злобе.

Помощник продолжал рассказывать.

— Говорю вам, только честный человек, такой, как он сам, может с ним бороться, но другого такого человека еще не бывало на Соломоновых островах. Людям, как мы с вами, он не под силу. Мы слишком прогнили, насквозь прогнили. У вас тут внизу куда больше тысячи двухсот фунтов. Расплатитесь с ним — и делу конец.

Но Гриффитс только скрипнул зубами и сжал тонкие губы.

— Я буду бороться с ним, — пробормотал он, больше обращаясь к себе и к ослепительному солнечному шару, чем к помощнику. Он повернулся и уже стал спускаться вниз, но возвратился. — Послушайте, Якобсен. Он будет здесь только через четверть часа. Скажите, вы-то за меня? Вы будете на моей стороне?

— Конечно, я буду на вашей стороне. Даром я, что ли, выпил все ваше виски? А что вы намерены предпринять?

— Я не собираюсь убивать его, если удастся обойтись без этого. Но платить ему я не намерен, учтите это.

Якобсен пожал плечами, молчаливо покоряясь судьбе, а Гриффитс шагнул к трапу и спустился

в каюту.

2

Якобсен увидел, как каноэ поравнялось с низким рифом, подошло к проходу и скользнуло в него. Гриффитс вернулся на палубу; большой и указательный пальцы его правой руки были перепачканы чернилами. Спустя пятнадцать минут каноэ подошло к борту. Человек в сомбреро встал.

— Здравствуйте, Гриффитс! — сказал он. — Здравствуйте, Якобсен! — Положив руку на фальшборт, он обернулся к своим темнокожим матросам: — Вы, ребята, оставайтесь с лодкой здесь.

Когда он перепрыгнул через фальшборт и ступил на палубу, в его тяжеловатой на вид фигуре появилась какая-то кошачья гибкость. Подобно другим белым, он был одет очень легко. Дешевая рубашка и белая набедренная повязка не скрывали его атлетического сложения. У него были сильные мускулы, но они не делали фигуру неуклюжей и грузной. Они были округлыми и, приходя в движение, мягко и плавно перекатывались под гладкой загорелой кожей. Тропическое солнце покрыло таким же коричневым загаром

его лицо, и оно стало темным, как у испанца. Светлые усы явно не соответствовали темному загару, а глаза поражали синевой. Трудно было представить, что когда-то у этого человека была совсем белая кожа.

— Откуда вас принесло? — спросил Гриффитс, когда они обменялись рукопожатиями. — Я думал, что вы в Санта-Крусе.

— Я и был там, — ответил приехавший. — Но мы совершили быстрый переход. «Удивительный» сейчас стоит в бухте Гоома и ждет ветра. Я узнал от туземцев, что здесь находится судно, и решил посмотреть. Ну, как дела?

— Дела ниже среднего. Копры в сараях почти нет, а кокосовых орехов не наберется и полдюжины тонн. Женщины раскисли от малярии и бросили работу, и мужчинам не удается загнать их обратно в болота. Да и они все больные. Я угостил бы вас, но мой помощник прикончил последнюю бутылку. Эх, господи, хоть бы подул ветерок!

Гриф, переводя безмятежный взор с одного собеседника на другого, засмеялся.

— А я рад, что держится штиль, — сказал он. — Он помог мне повидаться с вами. Мой помощник раскопал вот этот ваш вексель, и я привез его.

Якобсен вежливо отступил назад, предоставляя своему хозяину самому встретить неприятность.

— К сожалению, Гриф, чертовски сожалею, — сказал Гриффитс, — но денег у меня сейчас нет. Вам придется дать мне еще отсрочку.

Гриф прислонился к трапу, и на лице его выразились удивление и огорчение.

— Черт побери, — сказал он, — как люди на Соломоновых островах быстро приучаются врать! Никому нельзя верить. Вот, например, капитан Йенсен. Я готов был поклясться, что он не лжет. Всего лишь пять дней назад он сказал мне… Хотите знать, что он сказал мне?

Гриффитс облизал губы.

— Ну?

— Он сказал мне, что вы продали все, сорвали большой куш и уходите на Новые Гебриды.

— Подлый лгун! — раздраженно крикнул Гриффитс.

Гриф кивнул головой.

— Похоже, что так. Он даже имел наглость утверждать, что купил у вас две ваши фактории — Маури и Кахулу. Он сказал, что заплатил вам за них со всеми потрохами тысячу семьсот фунтов стерлингов.

Глаза Гриффитса сузились и сверкнули. Но и

это непроизвольное движение не ускользнуло от ленивого взгляда Грифа.

— И Парсонс, ваш агент в Хикимаве, рассказал мне, что Фулкрумская компания купила у вас эту факторию. Ну ему-то какой смысл врать?

Гриффитс, изнуренный жарой и болезнью, больше не владел собой. Все, что у него накипело, отразилось на его лице, рот насмешливо искривился.

— Послушайте, Гриф, зачем вы играете со мной? Вам все известно, и я это знаю. Ну хорошо, пусть будет так. Я действительно продал все и сматываюсь. Что же вы намерены предпринять?

Гриф пожал плечами, лицо его по-прежнему ничего не выражало. Казалось только, что он озадачен.

— Здесь закон не действует. — Гриффитс решил внести в дело полную ясность. — Тулаги отсюда в ста пятидесяти милях. Я запасся всеми нужными бумагами и нахожусь на собственном судне. Ничто не помешает мне уйти. Вы не вправе задержать меня только из-за того что я должен вам какие-то деньги. И, клянусь богом, вам не удастся это сделать. Зарубите себе на носу.

Лицо Грифа выразило обиду и недоумение.

— Вы хотите сказать, что собираетесь прикар-

манить мои двенадцать сотен, Гриффитс?

— Да что-то в этом роде, старина. И жалкие слова не помогут вам. Но, кажется подул ветерок. Вам лучше убраться отсюда, пока я не двинулся, не то я потоплю вашу лодку.

— Действительно, Гриффитс, вы почти правы. Я не могу вас задержать. — Гриф пошарил в сумке, которая висела на поясе от револьвера, и вытащил свернутую бумагу, по-видимому, официальный документ. — Но, может быть, вот это остановит вас. Тут уж вам придется кое-что зарубить себе на носу.

— Что это?

— Приказ адмиралтейства. Бегство на Новые Гебриды не спасет вас. Он имеет силу повсюду.

Взглянув на документ, Гриффитс проглотил слюну. Нахмурив брови, он обдумывал создавшееся положение. Затем он внезапно поднял глаза, все его лицо дышало искренностью.

— Вы оказались умнее, чем я полагал, старина, — признался он. — Накрыли вы меня. Зря я вздумал тягаться с вами. Якобсен предупреждал, что у меня ничего не выйдет, но я не послушал его. Оказалось, он был прав, так же, как правы и вы. Деньги у меня внизу. Пойдемте туда и рассчитаемся.

Гриффитс начал спускаться вниз первым, но затем пропустил гостя вперед и взглянул на море, где неожиданный порыв ветра оживил волну.

— Поднимите якорь! — приказал он помощнику. — Ставьте паруса и готовьтесь к отходу!

Когда Гриф присел на край койки помощника перед маленьким столиком, он заметил, что из-под подушки торчит рукоятка револьвера. На столике, прикрепленном крюками к переборке, были чернила, перо и потрепанный судовой журнал.

— О, меня ничем не проймешь — я и не такие шутки откалывал! — вызывающе говорил Гриффитс. — Я слишком долго болтался в тропиках. Я болен, чертовски болен. А виски, солнце и малярия сделали меня к тому же больным и душевно. Теперь для меня не существует ничего низкого и бесчестного, и я способен понять, почему туземцы едят людей, охотятся за головами и делают тому подобные вещи. Я сейчас и сам на все способен. А потому попытку надуть вас на эту маленькую сумму я называю безобидной шуткой. К сожалению, не могу предложить вам выпить.

Гриф ничего не ответил, и хозяин занялся тем, что пытался отпереть большой и помятый во многих местах денежный ящик. С палубы до-

неслись пронзительные крики, грохот и скрип блоков, — чернокожие матросы ставили паруса. Гриф следил за большим тараканом, ползавшим по грязной стене. Гриффитс, раздраженно ругаясь, перенес денежный ящик к трапу, где было больше света. Здесь, повернувшись спиной к гостю и склонясь над ящиком, он схватил винтовку, которая стояла рядом с лестницей, и быстро повернулся.

— Теперь не двигайтесь, — приказал он.

Гриф улыбнулся, насмешливо приподнял брови и подчинился. Его левая рука лежала на койке, а правая на столе. Револьвер, висевший у его правого бедра, был хорошо виден. Но он вспомнил о другом револьвере, который торчал из-под подушки.

— Ха! — усмехнулся Гриффитс. — Вы загипнотизировали всех на Соломоновых островах, но не меня, позвольте вам сказать. А теперь я выброшу вас отсюда вместе с вашим адмиралтейским приказом, но сначала вам придется кое-что сделать. Поднимите этот судовой журнал.

Гриф с любопытством взглянул на журнал, но не сделал ни единого движения.

— Говорю вам, Гриф, я болен, и мне так же легко застрелить вас, как раздавить таракана. Повто-

ряю, поднимите этот журнал.

Он и в самом деле выглядел больным; его худое лицо нервно дергалось от овладевшей им ярости. Гриф поднял журнал и отложил его в сторону. Под ним лежал исписанный листок бумаги вырванный из блокнота.

— Прочтите! — приказал Гриффитс. — Прочтите вслух!

Гриф подчинился; но в то время как он читал, пальцы его левой руки начали медленно подвигаться к рукоятке револьвера, лежавшего под подушкой.

«Борт судна „Уилли-Уо“, бухта Бомби, остров Анны, Соломоновы острова,

— прочел он. — Настоящим заявляю, что я получил сполна весь долг с Гаррисона Гриффитса, который сего числа заплатил мне наличными тысячу двести фунтов стерлингов, и данной подписью удостоверяю, что не имею к нему никаких претензий».

— Когда эта расписка будет в моих руках, — усмехнулся Гриффитс, — ваш адмиралтейский приказ не будет стоить и бумаги, на которой он написан. Подпишите!

— Это не поможет, Гриффитс, — сказал Гриф. — Документ, скрепленный подписью под при-

нуждением, не имеет законной силы.

— В таком случае почему вы не хотите подписать его?

— Просто я избавлю вас от крупных неприятностей, если не подпишу его.

Пальцы Грифа уже прикоснулись к револьверу, и в то время как он разговаривал, играя пером, которое держал в правой руке, левой он начал медленно и незаметно подвигать оружие к себе. Когда наконец револьвер полностью очутился под рукой и средний палец лег на спусковой крючок, а указательный — вдоль ствола, он подумал, удастся ли ему метко выстрелить, держа оружие в левой руке и не прицеливаясь.

— Обо мне не заботьтесь, — насмехался Гриффитс. — Запомните только: Якобсен подтвердит, что видел, как я уплатил вам деньги. А теперь подпишите, подпишите полностью внизу и поставьте дату, Дэвид Гриф.

С палубы донеслись визг шкотовых блоков и треск ликтросов о паруса. В каюте можно было почувствовать, что «Уилли-Уо» кренится, забирая ветер, и выпрямляется. Дэвид Гриф все еще медлил. Спереди раздался резкий стук шкивов грота-фалов. Маленькое судно накренилось, и сквозь стенки каюты послышались бульканье и

плеск воды.

— Пошевеливайтесь! — крикнул Гриффитс. — Якорь поднят.

Дуло винтовки, направленное прямо на него, находилось на расстоянии четырех футов, когда Гриф решил действовать. При первых движениях судна Гриффитс покачнулся, и винтовка дрогнула. Гриф воспользовался этим, притворился, будто подписывает бумагу, и в то же мгновение с кошачьим проворством сделал быстрое и сложное движение. Он низко пригнулся, бросился всем телом вперед, а левая рука его мелькнула из-под стола, и он столь своевременно и решительно нажал на спусковой крючок, что пуля вылетела как раз в тот момент, когда дуло показалось наружу. Но и Гриффитс не отстал. Дуло его оружия опустилось, чтобы встретить пригнувшееся тело, и выстрел из винтовки раздался одновременно с выстрелом из револьвера.

Гриф почувствовал острую боль и ожог от пули, оцарапавшей ему плечо, и увидел, что сам он промахнулся. Он бросился к Гриффитсу, чтобы предупредить новый выстрел, и, обхватив обе его руки, все еще державшие винтовку, сильно прижал их к телу. А дуло револьвера, который был в его левой руке, он приставил к животу

Гриффитса. Под влиянием гнева и острой боли от содранной кожи Гриф уже был готов спустить курок, как вдруг волна гнева схлынула, и он овладел собой. Снаружи доносились негодующие крики людей с его лодки.

Все это произошло в течение нескольких секунд. Без малейшего промедления Гриф схватил своего противника в охапку и, не давая ему опомниться, потащил вверх по крутым ступенькам. Он выскочил на палубу в слепящий блеск солнца. У рулевого колеса, ухмыляясь, стоял чернокожий, и «Уилли-Уо», чуть накренившись от ветра, летела вперед, оставляя за собой пенистый след. А за кормой быстро отставала его лодка. Гриф повернул голову. Со средней палубы к нему бежал Якобсен с револьвером в руке. В два прыжка, все еще держа в объятиях беспомощного Гриффитса, Гриф добрался до борта, перемахнул через него и исчез в волнах.

Оба человека, сцепившись, пошли ко дну, но Гриф сразу поджал колени, уперся ими в грудь противника и, разорвав тиски, подмял его под себя. Поставив обе ступни на плечи Гриффитса, он заставил его погрузиться еще ниже, а сам вынырнул на поверхность. Едва его голова показалась в солнечном свете, как два всплеска воды

в быстрой последовательности и на расстоянии двух футов от его лица известили о том, что Якобсен умеет пользоваться оружием. Но третьего выстрела не последовало, так как Гриф, набрав полные легкие воздуха, снова нырнул. Под водой он поплыл в сторону берега и не поднимался на поверхность до тех пор, пока не увидел над головой лодку и шлепающие весла. Когда он влез в лодку, «Уилли-Уо» шла по ветру, делая поворот.

— Давай! Давай! — крикнул Гриф своим матросам. — Эй, ребята, быстро к берегу!

Без всякого стеснения он повернулся спиной к полю боя и бежал в укрытие. «Уилли-Уо» была вынуждена остановиться, чтоб подобрать своего капитана, и это дало Грифу возможность уйти. Каноэ, подгоняемое всеми веслами, на полном ходу врезалось в песок, и все члены его экипажа, выскочив, побежали по песку к деревьям. Прежде чем они достигли укрытия, песок трижды взрывался перед ними. И вот наконец они очутились в спасительной чаще зарослей.

Гриф смотрел, как «Уилли-Уо», держа круто к ветру, вышла из прохода и, ослабив шкоты, повернула на юг. Когда судно, огибая мыс, скрылось из виду, он успел заметить, как на нем поставили топсель. Один из туземцев, чернокожий лет

пятидесяти, страшно изуродованный рубцами и шрамами от накожных болезней и старых ран, посмотрел ему в лицо и усмехнулся.

— Честное слово, — сказал он, — этот шкипер очень сердит на тебя.

Гриф засмеялся и пошел обратно по песку к лодке.

3

Ни один человек на Соломоновых островах не знал, сколько миллионов у Дэвида Грифа, ибо его владения и предприятия были разбросаны по всей южной части Тихого океана. От Самоа до Новой Гвинеи и даже севернее экватора встречались его плантации. Он владел концессиями по добыванию жемчуга на Паумоту. Хотя имя его нигде не упоминалось, но он представлял немецкую компанию, которая вела торговлю на Маркизских островах, принадлежащих Франции. Во всех группах островов у него имелись фактории, и их обслуживали многочисленные суда, также принадлежащие ему. Он владел атоллами, столь отдаленными и микроскопическими, что самые маленькие его суда и шхуны навещали их не чаще раза в год.

В Сиднее, на улице Каслри, его контора занима-

ла три этажа. Но он редко бывал там. Его больше привлекали поездки на острова, где он основывал все новые предприятия, проверял и оживлял старые и при этом сталкивался с тысячами неожиданных приключений и забав. Он купил за бесценок затонувший пароход «Гавонн» и, совершив невозможное, вытащил его на поверхность, заработав на этом четверть миллиона. На Луизиадах он основал первые каучуковые плантации, а на Бора-Бора покончил с хлопком и заставил беспечных туземцев сажать какао. Он приобрел покинутый остров Лаллу-Ка, заселив его полинезийцами с атолла Онтонг-Ява, и посадил там на четырех тысячах акров земли кокосовые пальмы. И не кто иной, как он, примирил враждующие племена таитян и начал разработку фосфатов на острове Хикиху.

Его собственные суда привозили новых рабочих. Они везли туземцев с Санта-Круса на Новые Гебриды, жителей Новых Гебрид на остров Банкса, а охотников за головами перевозили с Малаиты на плантации Нью-Джорджии. От Тонги до островов Гилберта и дальше к островам Луизиады его вербовщики объезжали все берега в поисках рабочих. Он владел тремя большими пароходами, совершавшими регулярные рейсы

между островами, хотя сам он редко выбирал их для своих поездок, предпочитая более примитивный способ передвижения при помощи ветра и парусов.

Ему было не меньше сорока лет, но выглядел он тридцатилетним. Однако обитатели берегов Тихого океана помнили, как он впервые появился на островах лет двадцать назад: соломенные усики уже тогда покрывали шелковистым пухом его верхнюю губу. В отличие от других белых в тропиках он жил здесь потому, что любил эти места. Его кожа легко переносила действие солнечных лучей. Он был рожден для солнца. Невидимые сверхскоростные световые волны были бессильны причинить ему вред. Другие белые люди не были защищены от них. Солнце проникало сквозь их кожу, разрушало и сушило их ткани и нервы, пока они не заболевали умственно и физически, посылали к чертям все десять заповедей, опускались до уровня животных, быстро спивались, вгоняя себя в гроб, и так неистово самоуправствовали, что для усмирения их иногда приходилось посылать военные суда.

А Дэвид Гриф был настоящим сыном солнца и процветал под его лучами. С годами он становился все более смуглым, и его коричневый

загар приобрел тот золотистый оттенок, каким отливает кожа полинезийцев. Но его голубые глаза сохраняли свою голубизну, усы оставались соломенными, а черты лица были такими, какие присущи в течение многих веков английской расе. Он был англичанином по крови, однако те, кто знал его, утверждали, что родился он, во всяком случае, в Америке. В отличие от своих знакомых он явился в Океанию не ради наживы. Собственно говоря, он даже привез кое-что с собой. Впервые он появился на островах Паумоту. Юношей, ищущим романтику и приключения на опаленной солнцем дороге тропиков, он прибыл на борту маленькой собственной яхты, которой сам же управлял. Его принес сильный ураган: гигантские волны забросили его вместе с яхтой в самую гущу кокосовых пальм за триста ярдов от берега. Спустя шесть месяцев вывезли его оттуда ловцы жемчуга. Но солнце уже проникло в его кровь. На Таити, вместо того чтобы сесть на пароход и возвратиться домой, он купил шхуну, нагрузил ее товарами, взял ловцов жемчуга и отправился крейсировать по Опасному Архипелагу.

Вместе с появлением золотистого оттенка на его лице золото начало истекать из кончиков его пальцев. Он превращал в золото все, к чему

прикасался, но играл в эту игру не ради золота, а ради самой игры. Это была мужская игра, грубые столкновения и жестокие схватки из-за добычи с искателями приключений одной с ним крови и крови половины населения Европы и остального мира. Но еще выше он ставил свою любовь ко всем другим вещам, которые составляют неотъемлемую часть жизни человека, скитающегося по южным морям: к запаху рифов; к безграничной прелести стай актиний, встречающихся в тихих лагунах; к кровавым восходам солнца, с их буйством красок; к увенчанным пальмами островам в бирюзовых морях; к пьянящему действию пассатов; к равномерному покачиванию пенящихся волн; к колеблющейся под ногами палубе; к вздымающимся над головой парусам; к украшенным цветами золотисто-смуглым мужчинам и девушкам Полинезии, полудетям, полубогам, и даже к огромным дикарям из Меланезии, охотникам за головами и людоедам, этим полулюдям и настоящим дьяволам.

И вот единственно от избытка энергии и жизненной силы он, любимый сын солнца, обладатель многих миллионов, свернул со своего далекого пути, чтобы поиграть с Гаррисоном Гриффитсом из-за пустяковой суммы. Это была

забава, шутка, задача, часть той игры, в которую он с таким удовольствием играл, легкомысленно ставя на карту собственную жизнь.

4

Ранее утро застало «Удивительный» идущим бейдевинд вдоль берега Гвадалканара. Он медленно скользил по воде под замирающим дыханием берегового бриза. На востоке тяжелые массы облаков предвещали юго-восточные пассаты, сопровождаемые шквалами и ливнями. Впереди вдоль берега одним курсом с «Удивительным» шло небольшое судно, которое он медленно нагонял. Однако это была не «Уилли-Уо»; капитан Уорд с «Удивительного», опустив подзорную трубу, назвал судно «Каури».

Гриф, только что поднявшийся на палубу, с сожалением вздохнул.

— Эх, если бы это была «Уилли-Уо»! — сказал он.

— А вы не любите, когда вам достается, — с участием заметил Дэнби, второй помощник.

— Разумеется. — Гриф замолчал, а потом искренне рассмеялся. — Я твердо убежден, что Гриффитс — мошенник, а вчера он поступил просто подло. «Подпишите, — говорит, — под-

пишите полностью внизу и поставьте дату». И Якобсен, жалкая крыса, еще помогал ему. Это было настоящее пиратство, снова возвратились дни Забияки Хейса.

— Не будь вы моим хозяином, мистер Гриф, я бы с удовольствием дал вам совет, — вмешался капитан Уорд.

— Ну, выкладывайте, — одобрил его Гриф.

— Тогда… — Капитан помедлил и откашлялся. — При ваших-то капиталах надо быть дураком, чтобы идти на такой риск — связываться с этими проходимцами. Для чего вы это делаете?

— По правде говоря, я и сам не знаю, капитан. Наверное, мне просто хочется. А можете ли вы найти какую-нибудь более основательную причину для всех ваших поступков?

— В один прекрасный день оторвут вашу буйную голову, — заворчал в ответ капитан Уорд, подходя к компасу, чтобы определить положение судна относительно пика, вершина которого как раз в эту минуту показалась из-за облаков, закрывавших Гвадалканар.

Береговой бриз напряг последние силы, и «Удивительный», быстро скользя по волнам, догнал «Каури» и пошел рядом с ним. Когда обмен приветствиями закончился, Дэвид Гриф спросил:

— Не попадалась ли вам «Уилли-Уо»?

Капитан в широкополой шляпе и с голыми ногами потуже затянул бечевкой вокруг пояса выцветшую голубую набедренную повязку и сплюнул табачную жижу за борт.

— Попадалась, — ответил он. — Гриффитс заходил в Саво вчера вечером, чтобы запастись свининой, бататом и наполнить баки пресной водой. Похоже, собирается в дальнее плавание, но он отрицает это. А что? Вы хотели повидать его?

— Да, но если вы его встретите раньше, то не говорите, что видели меня.

Капитан кивнул головой и, подумав, перешел на нос судна, чтобы не удаляться от собеседника, находящегося на более быстроходной шхуне.

— Послушайте! — сказал он. — Якобсен говорил мне, что они собираются сегодня быть в Габере. Он сказал, они переночуют там, чтобы взять запас земляной груши.

— В Габере находится единственный маячный створ на Соломоновых островах, — заметил Гриф, когда его шхуна ушла намного вперед. — Не так ли, капитан Уорд?

Капитан утвердительно кивнул.

— А в маленькой бухте по эту сторону мыса трудно стать на якорь?

— Совсем невозможно. Там только рифы да мели и прибой сильный. Ведь именно в том месте три года назад «Молли» разлетелась в щепки.

С минуту Гриф затуманенным взором смотрел прямо перед собой, как будто созерцая какое-то видение. Затем глаза его сощурились, а кончики соломенных усов встопорщились от улыбки.

— Мы станем на якорь в Габере, — сказал он. Там меня и спустите в вельботе. Кроме того, дайте мне шесть молодцов с винтовками. Я вернусь на борт еще до утра.

Лицо капитана выразило подозрение, которое тут же сменилось укоризной.

— О, это только невинная шутка, шкипер, — стал оправдываться Гриф с виноватым видом школьника, уличенного в шалости.

Капитан Уорд что-то буркнул, зато Дэнби оживился.

— Мне хотелось бы отправиться с вами, мистер Гриф, — сказал он.

Гриф кивнул головой в знак согласия.

— Припасите несколько топоров и ножей для рубки кустарника, — сказал он. — И между прочим два ярких фонаря. Да проследите, чтобы в них было масло.

5

За час до захода солнца «Удивительный» подошел к маленькой бухте. Ветер посвежел, и оживившееся море начало волноваться. Прибрежные рифы уже побелели от пены прибоя, а те, что подальше, выделялись только бесцветной окраской воды. Когда шхуна, идя по ветру, замедлила ход, с нее спустили вельбот. В него спрыгнуло шесть молодцов с островов Санта-Крус в набедренных повязках, у каждого была винтовка. Дэнби с фонарями сел на корму. Гриф, собираясь спуститься, задержался у борта.

— Молитесь, чтобы ночь была темной, шкипер, — сказал он.

— Будет темной, — ответил капитан Уорд. — Луны не видно, и все небо закрыто облаками. Что-то пахнет штормом.

От такого прогноза лицо Грифа просветлело, и золотистый оттенок его загара стал более отчетливым. Он спрыгнул вниз ко второму помощнику.

— Отваливайте! — приказал капитан Уорд. — Ставь паруса! Руль под ветер! Так! Прямо держать руль!

«Удивительный» с наполненными парусами

скользнул прочь и, обогнув мыс, пошел к Габере, в то время как вельбот на шести веслах с Грифом на руле понесся к берегу. Искушенный рулевой, Гриф пробрался сквозь узкий, извилистый проход, который не могло преодолеть ни одно судно большего размера, чем вельбот. Но вот рифы и мели остались позади, и они ступили на тихий, омываемый волнами берег.

Следующий час был посвящен работе. Расхаживая среди кокосовых пальм и кустарника, Гриф выбирал деревья.

— Рубите это дерево, рубите то, — говорил он туземцам. — Нет, это дерево не трогайте, — говорил он, отрицательно качая головой.

Наконец в зарослях был вырублен целый клин. У берега осталась одна высокая пальма, у вершины клина вторая. Когда зажгли фонари, подняли их на эти два дерева и закрепили там, было уже темно.

— Тот наружный фонарь висит слишком высоко, — критически заметил Дэвид Гриф. — Дэнби, повесьте его футов на десять ниже.

6

«Уилли-Уо» во весь дух мчалась по волнам, потому что порывы налетающего шквала все еще

оставались сильными. Чернокожие поднимали большой грот, который спустили на ходу, когда ветер был слишком сильным. Якобсен, наблюдавший за их работой, приказал им сбросить фалы с нагелей и быть наготове, а сам прошел на бак, где стоял Гриффитс. Широко раскрытые глаза обоих мужчин напряженно всматривались в черную тьму, а уши жадно ловили звук прибоя, ударявшего в невидимый берег. Именно по этому звуку они и могли управлять своим судном в тот момент.

Ветер немного стих, массы облаков поредели и начали расходиться, в сумрачном свете звезд вдали неясно вырисовывался лесистый берег. Впереди с подветренной стороны появилась остроконечная скала. Капитан и помощник устремили на нее взгляд.

— Мыс Эмбой, — объявил Гриффитс. — Глубина здесь достаточная. Встаньте на руль, Якобсен, пока не определим курс. Живее!

Босой, с голыми икрами и в скудном одеянии, с которого струилась вода, помощник перебежал на корму и заменил чернокожего у штурвала.

— Как идем? — спросил Гриффитс.

— Зюйд-зюйд-вест.

— Ложись на зюйд-вест.

— Есть!

Гриффитс прикинул изменившееся положение мыса Эмбой по отношению к курсу «Уилли-Уо».

— Полрумба к весту! — крикнул он.

— Есть полрумба на вест! — донесся ответ.

— Так держать!

— Есть так держать! — Якобсен отдал штурвал туземцу. — Правь как следует, слышишь? — пригрозил он. — А не то я оторву твою проклятую черную башку.

Он снова пошел на бак и присоединился к Гриффитсу; опять сгустились тучи, звезды спрятались, а ветер усилился и разразился новым шквалом.

— Смотрите за гротом! — прокричал Гриффитс на ухо помощнику, одновременно следя за поведением судна.

Оно понеслось по волнам, черпая левым бортом, в то время как он мысленно измерял силу ветра и придумывал, как бы ослабить его действие. Тепловатая морская вода, чуть-чуть фосфоресцируя, заливала его ступни и колени. Ветер завывал на высокой ноте, и все снасти запели, когда «Уилли-Уо» еще больше увеличила скорость.

— Убрать грот! — закричал Гриффитс, бросаясь к дирикфалам, и, отталкивая чернокожих, он сам

выполнил эту команду.

Якобсен у гафелей сделал то же самое. Большой парус упал вниз, и чернокожие с криками и воплями бросились на сопротивляющийся брезент. Помощник, отыскав в темноте туземца, уклоняющегося от работы, сунул свои огромные кулаки ему в лицо и потащил работать.

Шторм был в полном разгаре, и «Уилли-Уо» даже на малых парусах мчалась во весь дух. Снова двое мужчин встали на баке и тщетно всматривались в затянутый сеткой дождя горизонт.

— Мы идем верно, — сказал Гриффитс. — Дождь скоро кончится. Можем держать этот курс, пока не увидим огни. Вытравите тринадцать саженей якорной цепи. Хотя в ночь вроде этой лучше вытравить все сорок пять. А потом пусть убирают грот. Он нам больше не понадобится.

Спустя полчаса его утомленные глаза различили мерцание двух огней.

— Вот они, Якобсен. Я стану на руль. Спустите носовой стаксель и готовьте якорь. Заставьте-ка негров попрыгать.

Стоя на корме и держа в руках штурвал, Гриффитс следовал тому же курсу, пока оба огня не слились в один, а затем резко изменил курс и пошел прямо на них. Он слышал грохот и рев

прибоя, но решил, что это далеко, — должно быть, у Габеры.

Он услышал испуганный крик помощника и изо всех сил стал вертеть штурвал обратно, но тут «Уилли-Уо» наскочила на риф. В тот же момент грот-мачта свалилась на бак. Последовало пять ужасных минут. Все уцепились за что попало, а шхуну то подбрасывало вверх, то швыряло на крупный коралл, и теплые волны перекатывались через людей. Давя и ломая коралл, «Уилли-Уо» пробилась через отмель и окончательно стала в сравнительно спокойном и мелководном проливе позади.

Гриффитс молча сел на крышу каюты, свесив голову на грудь в бессильной ярости и горечи. Только раз он поднял голову, чтобы взглянуть на два белых огня, стоявших точно один над другим.

— Вот они, — сказал он. — Но это не Габера. Что же это тогда, черт побери?

Хотя прибой все еще ревел и по отмели катились буруны, обдавая мелкими брызгами людей, ветер стих, и выглянули звезды. Со стороны берега донесся плеск весел.

— Что у вас здесь было? Землетрясение? — крикнул Гриффитс. — Дно совсем изменилось. Я сотни

раз стоял здесь на тридцати саженях каната. Это вы, Вильсон?

Подошел вельбот, и человек перепрыгнул через поручни. При тусклом свете звезд Гриффитс увидел направленный в его лицо автоматический кольт, а подняв глаза, узнал Дэвида Грифа.

— Нет, вы никогда еще не отдавали здесь якорь, — сказал Гриф, смеясь.

— Габера с той стороны мыса, и я отправлюсь туда, как только получу маленькую сумму в тысячу двести фунтов стерлингов. О расписке можете не беспокоиться. У меня с собой ваш вексель, и я просто возвращу его вам.

— Это сделали вы! — закричал Гриффитс, вскакивая на ноги в порыве злобы. — Вы установили фальшивые огни! Вы разорили меня…

— Спокойно! Спокойно! — В ледяном тоне Грифа прозвучала угроза. — Так, значит, тысячу двести, будьте добры!

Гриффитсом, казалось, овладело полное безразличие. Он испытывал отвращение, глубокое отвращение к этой солнечной стране, к неумолимому зною, к тщетности всех своих попыток, к этому голубоглазому с золотистой кожей, необыкновенному человеку, который разрушил все его планы.

— Якобсен, — сказал он, — откройте денежный ящик и дайте этому… этому кровопийце… тысячу двести фунтов.

Буйный характер Алозия Пенкберна

1

У Дэвида Грифа был зоркий глаз, он сразу подмечал все необычное, обещавшее новое приключение, и всегда был готов к тому, что за ближайшей кокосовой пальмой его подстерегает какая-нибудь неожиданность, а между тем он не испытал никакого предчувствия, когда ему попался на глаза Алоизий Пенкберн. Это было на пароходике «Берта». Гриф со своей шхуны, которая должна была отойти позднее, пересел на этот пароход, желая совершить небольшую поездку от Райатеи до Папеэте. Он впервые увидел Алоизия Пенкберна, когда этот уже немного захмелевший джентльмен в одиночестве пил коктейль у буфета, помещавшегося в нижней палубе около парикмахерской. А когда через полчаса Гриф вышел от парикмахера, Алоизий Пенкберн все еще стоял у буфета и пил в одиночестве.

Когда человек пьет один — это дурной признак. И Гриф, проходя мимо, бросил на Пенкберна беглый, но испытующий взгляд. Он видел молодого человека лет тридцати, хорошо сложенного, кра-

сивого, хорошо одетого и явно одного из тех, кого в свете называют джентльменами. Но по едва уловимой неряшливости, по нервным движениям дрожащей руки, расплескивавшей напиток, по беспокойно бегающим глазам Гриф безошибочно определил, что перед ним хронический алкоголик.

После обеда он снова встретился с Пенкберном. На этот раз встреча произошла на верхней палубе. Молодой человек, цепляясь за поручни и глядя на неясно видные фигуры мужчины и женщины, сидевших поодаль в шезлонгах, заливался пьяными слезами. Гриф заметил, что рука мужчины обнимала талию женщины. А Пенкберн смотрел на них и рыдал.

— Не из-за чего плакать, — мягко сказал ему Гриф.

Пенкберн посмотрел на него, не переставая заливаться слезами от глубокой жалости к себе.

— Это тяжело, — всхлипывал он. — Да, да, тяжело. Тот человек — мой управляющий. Я его хозяин, я плачу ему хорошее жалованье. И вот как он его зарабатывает!

— Почему бы вам тогда не положить этому конец? — посоветовал Гриф.

— Нельзя. Тогда она не позволит мне пить вис-

ки. Она моя сиделка.

— В таком случае прогоните ее и пейте, сколько душе угодно.

— Не могу. У него все мои деньги. Если я ее прогоню, он не даст мне даже шести пенсов на одну рюмку.

Эта горестная перспектива вызвала новый поток слез. Гриф заинтересовался Пенкберном. Положение было на редкость любопытное, какое и вообразить себе трудно.

— Их наняли, чтобы они обо мне заботились, — бормотал Пенкберн сквозь рыдания, — и чтобы отучили меня от пьянства. А они вот как это выполняют! Все время милуются, а мне предоставляют напиваться до бесчувствия. Это нечестно, говорю вам. Нечестно. Их отправили со мной специально затем, чтобы они не давали мне пить, а они не мешают мне пить, лишь бы я оставлял их в покое, и я допиваюсь до скотского состояния. Если я жалуюсь, они угрожают, что не дадут мне больше ни капли. Что же мне, бедному, делать? Смерть моя будет на их совести, вот и все. Пошли вниз, выпьем.

Он отпустил поручни и упал бы, если бы Гриф не схватил его за руку. Алоизий сразу словно преобразился — распрямил плечи, выставил

вперед подбородок, а в глазах его появился суровый блеск.

— Я не позволю им меня убить. И они еще будут каяться! Я предлагал им пятьдесят тысяч — разумеется с тем, что уплачу позже. Они смеялись. Они пока ничего не знают. А я знаю! — Он порылся в кармане пиджака и вытащил какой-то предмет, который заблестел в сумраке.

— Они не знают, что это такое. А я знаю. — Он посмотрел на Грифа с внезапно вспыхнувшим недоверием. — Как, по-вашему, что это такое? А?

В уме Грифа промелькнула картина: дегенерат-алкоголик убивает страстно влюбленную парочку медным костылем. Ибо у Пенкберна в руке он увидел именно медный костыль, какие в старину употреблялись на судах для крепления.

— Моя мать думает, что я здесь для того, чтобы лечиться от запоя. Она ничего не знает. Я подкупил доктора, чтобы он предписал мне путешествие по морю. Когда мы будем в Папеэте, мой управляющий зафрахтует шхуну, и мы уплывем далеко. Но влюбленная парочка ничего не подозревает. Они думают, что это пьяная фантазия. Только я один знаю. Спокойной ночи, сэр. Я отправлюсь спать… если… гм… если только вы не согласитесь выпить со мной на сон грядущий.

Последнюю рюмку, хорошо?

2

На следующей неделе, которую он провел в Папеэте, Гриф много раз встречал Алоизия Пенкберна и всегда при очень странных обстоятельствах. Видел его не только он, но и все в столице маленького острова. Давно уже не были так шокированы обитатели побережья и пансиона Лавинии, ибо как-то в полдень Алоизий Пенкберн с непокрытой головой, в одних трусах бежал по главной улице от пансиона Лавинии на пляж. Другой раз он вызвал на состязание по боксу кочегара с «Берты». Предполагалось четыре раунда в «Фоли-Бержер», но на втором Пенкберн был нокаутирован. Потом он в припадке пьяного безумия пытался утопиться в луже глубиной два фута. Рассказывали, что он бросился в воду с пятидесятифутовой высоты — с мачты «Марипозы», стоявшей у пристани. Он зафрахтовал тендер «Торо» за сумму, превышавшую стоимость самого судна, и спасло его только то, что его управляющий отказался финансировать сделку. Он скупил на рынке у слепого старика прокаженного весь его товар и стал продавать плоды хлебного дерева, бананы и бататы так дешево, что пришлось

вызывать жандармов, чтобы разогнать набежавшую отовсюду толпу туземцев. В силу этих обстоятельств жандармы трижды арестовывали Алоизия за нарушения общественного спокойствия, и трижды его управляющему пришлось отрываться от любовных утех, чтобы заплатить штрафы, наложенные нуждающимися в средствах колониальными властями.

Затем «Марипоза» отплыла в Сан-Франциско, и в каюте для новобрачных поместились только что обвенчавшиеся управляющий и сиделка. Перед отплытием управляющий с умыслом выдал Алоизию восемь пятифунтовых ассигнаций, заранее предвидя результат: Алоизий очнулся через несколько дней без гроша в кармане и на грани белой горячки. Лавиния, известная своей добротой даже среди самых отпетых мошенников и бродяг на тихоокеанских островах, ухаживала за ним, пока он не выздоровел, и ни единым намеком не вызвала в его пробуждающемся сознании мысли о том, что у него больше нет ни денег, ни управляющего, чтобы оплатить расходы по его содержанию.

Как-то вечером Дэвид Гриф сидел, отдыхая, под тентом на юте «Морской Чайки» и лениво просматривал столбцы местной газетки «Курьер».

Вдруг он выпрямился и от удивления чуть не протер глаза. Это было что-то невероятное! Старая романтика южных морей не умерла. Он прочел:

«Ищу компаньона:

Согласен отдать половину клада, стоимостью в пять миллионов франков, за проезд к неизвестному острову в Тихом океане и перевозку найденных сокровищ. Спросить Фолли[3] в пансионе Лавинии».

Гриф взглянул на часы. Было еще рано, только восемь часов.

— Мистер Карлсен! — крикнул он туда, где виднелся огонек трубки. — Вызовите гребцов на вельбот. Я отправляюсь на берег.

На носу судна раздался хриплый голос помощника капитана, норвежца, и человек шесть рослых туземцев с острова Рапа прекратили пение, спустили шлюпку и сели на весла.

— Я пришел повидаться с Фолли. С мистером Фолли, я полагаю? — сказал Дэвид Гриф Лавинии.

Он заметил, с каким живым интересом она взглянула на него, обернувшись, позвала кого-то из кухни, находившейся на отлете, через две

---

[3] notes: 3
Фолли (англ.) — сумасброд

комнаты. Через несколько минут вошла, шлепая босыми ногами, девушка-туземка и на вопрос хозяйки отрицательно покачала головой.

Лавиния была явно разочарована.

— Вы ведь с «Морской Чайки»? — сказала она. — Я передам ему, что вы заходили.

— Так это мужчина? — спросил Гриф.

Лавиния кивнула.

— Я надеюсь, что вы сможете ему помочь, капитан Гриф. Я ведь только добрая женщина. Я ничего не знаю. Но он приятный человек и, может быть, говорит правду. Вы в этом разберетесь скорее, чем такая мягкосердечная дура, как я. Разрешите предложить вам коктейль?

3

Вернувшись к себе на шхуну, Дэвид Гриф задремал в шезлонге, прикрыв лицо журналом трехмесячной давности. Его разбудили какие-то хлюпающие звуки за бортом. Он открыл глаза. На чилийском крейсере за четверть мили от «Чайки» пробило восемь склянок. Была полночь. За бортом слышался плеск воды и все те же хлюпающие звуки. Это было похоже не то на фырканье какого-то земноводного, не то на плач одинокого человека, который ворчливо изливает свои горе-

сти перед всей вселенной.

Одним прыжком Гриф очутился у невысокого фальшборта. Внизу в море виднелось фосфоресцирующее и колеблющееся пятно, из центра которого исходили странные звуки. Гриф перегнулся через борт и подхватил под мышки находившегося в воде человека. Постепенно подтягивая его все выше и выше, он втащил на палубу голого Алоизия Пенкберна.

— У меня не было ни гроша, — пожаловался тот. — Пришлось добираться вплавь, и я не мог найти ваш трап. Это было ужасно. Извините меня. Если у вас найдется полотенце, чтобы я мог им обвязаться, и глоток спиртного покрепче, то я быстро приду в себя. Я мистер Фолли, а вы, наверное, капитан Гриф, заходивший ко мне в мое отсутствие. Нет, я не пьян. И мне не холодно. Это не озноб. Лавиния сегодня разрешила мне пропустить всего только два стаканчика. У меня вот-вот начнется приступ белой горячки. Мне уже стала мерещиться всякая чертовщина, когда я не мог найти трап. Если вы пригласите меня к себе в каюту, я буду очень благодарен. Вы единственный откликнулись на мое объявление.

Хотя ночь была теплая, Алоизий Пенкберн так дрожал, что на него жалко было смотреть. Когда

они спустились в каюту, Гриф первым делом дал ему полстакана виски.

— Ну, а теперь выкладывайте, — сказал Гриф, когда его гость был в рубашке и парусиновых брюках. — Что означает ваше объявление? Я слушаю.

Пенкберн многозначительно посмотрел на бутылку с виски, но Гриф покачал головой.

— Ладно, капитан… хотя, клянусь остатками своей чести, я не пьян, ничуть не пьян. То, что я вам расскажу, — истинная правда, и я буду краток, так как для меня ясно, что вы человек деловой и энергичный. Кроме того, организм ваш не отравлен. Алкоголь никогда не грыз каждую клеточку вашего тела миллионами червей. Вас никогда не сжигал адский огонь, который сейчас сжигает меня. Теперь слушайте.

Моя мать еще жива. Она англичанка. Я родился в Австралии. Образование получил в Йоркском и в Йейлском университетах. Я магистр искусств, доктор философии, но я никуда не гожусь. Хуже того — я алкоголик. Я был спортсменом. Я нырял «ласточкой» с высоты ста десяти футов. Я установил несколько любительских рекордов. Я плаваю как рыба. Я научился кролю у первого из Кавиллей. Я проплывал тридцать миль по бурному

морю. У меня есть и другой рекорд — я поглотил на своем веку больше виски, чем любой другой человек моего возраста. Я способен украсть у вас шесть пенсов, чтобы купить рюмку виски. А теперь я расскажу вам всю правду насчет клада.

Мой отец был американец, родом из Аннаполиса. Во время гражданской войны он был гардемарином. В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году он уже в чине лейтенанта служил на «Сювани» — капитаном ее тогда был Поль Ширли. В том году «Сювани» брала уголь на одном тихоокеанском острове, — название его вам знать пока незачем. Остров сейчас находится под протекторатом одной державы, которую я тоже не назову. Тогда этого протектората не было. На берегу, за стойкой одного трактира, мой отец увидел три медных костыля… судовых костыля.

Дэвид Гриф спокойно улыбнулся.

— Теперь я вам скажу название этой стоянки и державы, установившей затем протекторат над островом, — сказал он.

— А о трех костылях вы тоже можете что-нибудь рассказать? — так же спокойно спросил Пенкберн. — Что ж, говорите, так как теперь они находятся у меня.

— Могу, разумеется. Они находились за стой-

кой трактирщика, немца Оскара в Пеено-Пеенее. Джонни Блэк принес их туда со своей шхуны в ночь своей смерти. Он тогда только что вернулся из длительного рейса на запад, где он ловил трепангов и закупал сандаловое дерево. Эта история известна всем обитателям побережья.

Пенкберн покачал головой.

— Продолжайте!

— Это, конечно, было не в мое время, — объяснил Гриф. — Я только пересказываю то, что слышал. Затем в Пеено-Пеенее прибыл эквадорский крейсер. Он шел тоже с запада — на родину. Офицеры крейсера узнали, что это за костыли. Джони Блэк умер, но они захватили его помощника и судовой журнал. Крейсер отправился на запад. Через полгода, возвращаясь на родину, он снова отдал якорь в Пеено-Пеенее. Плавание его оказалось безрезультатным, а история эта стала всем известна.

— Когда восставшие двинулись на Гваякиль, — сказал Пенкберн, перебив Грифа, — федеральные власти, считая, что город отстоять не удастся, захватили весь денежный запас государственного казначейства, что-то около миллиона долларов золотом, но все в английской валюте, и погрузили его на американскую шхуну «Флерт». Они

собирались бежать на следующий день. А капитан американской шхуны увел ее в ту же ночь. Теперь продолжайте вы.

— Это старая история, — подхватил Гриф. — В порту больше не было ни одного корабля. Федеральные власти не могли бежать. Зная, что отступление отрезано, они отчаянно защищали город. Рахас Сальсед, шедший из Кито форсированным маршем, прорвал осаду. Восстание было подавлено, и единственный старый пароход, составлявший весь эквадорский военный флот, был послан в погоню за «Флертом». Они настигли шхуну неподалеку от Ново-Гебридских островов. «Флерт» лежал в дрейфе, а на его мачтах был поднят сигнал бедствия. Капитан умер накануне — от черной лихорадки.

— А помощник? — с вызовом спросил Пенкберн.

— Помощник был убит за неделю до этого туземцами на одном из островов Банкса, куда они посылали шлюпку за водой. Не осталось никого, кто мог бы вести корабль. Матросов подвергли пытке, в нарушение международного права. Они и рады бы дать показания, но ничего не знали. Они рассказали только о трех костылях, вбитых в деревья на берегу какого-то острова, но где этот

остров, они не знали. Он был где-то далеко на западе — вот все, что они могли сказать. Ну, а дальше история имеет два варианта. По одному варианту матросы все умерли под пыткой. По другому — тех, кто не умер, повесили на реях. Во всяком случае, эквадорский крейсер вернулся на родину без сокровищ. А что касается этих трех костылей, то Джони Блэк привез их в Пеено-Пеенее и оставил в трактире немца Оскара, но как и где он их нашел, он так и не рассказал.

Пенкберн жадно посмотрел на бутылку виски.

— Налейте хоть на два пальца, — взмолился он.

Гриф подумал и налил ему чуть-чуть. Глаза Пенкберна засверкали, он снова ожил.

— Вот здесь на сцену появляюсь я и сообщаю вам недостающие подробности, — сказал он. — Джонни Блэк рассказал все! Рассказал моему отцу. Он написал ему из Левуки, еще до того, как приехал в Пеено-Пеенее, и умер. Мой отец однажды в Вальпараисо спас ему жизнь во время пьяной драки в трактире. Один китаец, скупщик жемчуга с острова Четверга, разыскивавший новые места для ловли к северу от Новой Гвинеи, выменял эти три костыля у какого-то негра. Джонни Блэк купил их на вес, как медный лом.

Он, так же как и китаец, понятия не имел об их происхождении. Но на обратном пути он сделал остановку, чтобы половить морских черепах, у того самого берега, где, как вы говорите, был убит помощник капитана с «Флерта». Да только он вовсе не был убит. Туземцы островов Банкса держали его в плену, и он умирал от некроза челюсти: во время стычки на берегу его ранили стрелой. Перед смертью он рассказал Джонни Блэку всю историю. Джонни написал из Левуки моему отцу. Дни его уже тогда были сочтены: рак. Через десять лет мой отец, плавая капитаном на «Перри», забрал эти костыли у немца Оскара. А по завещанию отца — это была его последняя воля — я получил костыли и все сведения. Я знаю, где находится остров, знаю широту и долготу того побережья, где были вбиты в деревья костыли. Костыли сейчас у Лавинии. Широта и долгота у меня в голове. Ну, что вы мне теперь скажете?

— Сомнительная история, — сказал Гриф. — Почему ваш отец сам не отправился за этим сокровищем?

— В этом не было надобности. Скончался его дядя и оставил ему состояние. Отец вышел в отставку, путался все время в Бостоне с целой оравой сиделок, и моя мать с ним развелась. Она

тоже получила наследство, дававшее ей тысяч тридцать годового дохода, и переехала в Новую Зеландию. Я был поделен между ними: жил то в Новой Зеландии, то в Штатах, до смерти отца. Он умер в прошлом году. Теперь я целиком принадлежу матери. Отец оставил мне все свои деньги — так, миллиона два, — но мать добилась того, что надо мной учредили опеку — из-за пьянства. У меня уйма денег, а я не могу тронуть ни цента, кроме того, что мне выдается. Зато папаша, которому все это было известно, оставил мне три костыля и все относящиеся к ним сведения. Он сделал это через своего поверенного, и мать ничего не знает. Он говорил, что это обеспечит меня на всю жизнь, и если у меня хватит мужества отправиться за этим сокровищем и добыть его, я буду иметь возможность пить, сколько влезет, до самой смерти. У меня миллионы — в руках опекунов, кучу денег я получу от матери, если она раньше меня угодит в крематорий, еще миллион ожидает, чтобы я его выкопал, а тем временем я должен клянчить у Лавинии две рюмки в день. Это черт знает что! Особенно, если учесть мою жажду…

— Где находится остров?

— Далеко отсюда.

— Назовите его.

Ни за что на свете, капитан Гриф! Вы на этом деле легко заработаете полмиллиона. Вы поведете шхуну по моим указаниям, а когда мы будем далеко в море, на пути к острову, я вам его назову. Не раньше!

Гриф пожал плечами и прервал разговор.

— Я дам вам еще рюмку и отправлю на лодке на берег, — сказал он.

Пенкберн опешил. Минут пять, по крайней мере он не знал, на что решиться, затем облизал губы и сдался.

— Если вы даете слово, что поедете, я вам скажу все сейчас.

— Конечно, поеду. Потому-то я вас и спрашиваю. Назовите остров.

Пенкберн посмотрел на бутылку.

— Я сейчас выпью эту последнюю рюмку, капитан.

— Нет, не выйдет. Эта рюмка предназначалась вам, если бы вы отправились на берег. А раз вы намерены назвать мне остров, вы должны сделать это в трезвом состоянии.

— Ну, ладно: это остров Фрэнсиса. Бугенвиль назвал его остров Барбура.

— Знаю. Уединенный остров в Малом Коралло-

вом море, — сказал Гриф. — Он находится между Новой Ирландией и Новой Гвинеей. Сейчас это отвратительная дыра, но это было недурное местечко в те времена, когда капитан «Флерта» вбивал костыли, да и тогда еще, когда их выменял китаец, скупщик жемчуга. Два года назад там был уничтожен со своей командой пароход «Кастор», вербовавший рабочих для плантаций на Уполу. Я хорошо знал его капитана. Немцы послали крейсер, обстреляли из орудий заросли, сожгли полдюжины деревень, убили несколько негров и множество свиней — и все. Тамошние негры всегда были опасны, а особенно опасны они стали сорок лет назад, когда перерезали команду китобойного судна. Как, бишь, оно называлось? Постойте, сейчас узнаем.

Он подошел к книжной полке, снял толстый «Южно-Тихоокеанский справочник» и перелистал страницы.

— Ага, вот он, «Френсис, или Барбур», — прочел он скороговоркой. — Туземцы воинственны и вероломны… Меланезийцы, каннибалы. Захватили и уничтожили китобойное судно «Уэстерн»… Вот как оно называлось! «Мели… мысы… якорные стоянки… ага, Красный утес, бухта Оуэна, бухта Ликикили…» Вот это вернее! «Далеко вдается

в берег. Болота с мангровыми зарослями. На глубине девяти саженей грунт хорошо держит якорь в том месте, от которого на вест-зюйд-вест находится отвесная белая скала». — Гриф поднял глаза. — Голову даю на отсечение, что это и есть ваш берег, Пенкберн!

— Вы едете? — с живостью спросил тот.

Гриф кивнул.

— Теперь мне эта история кажется правдоподобной. Вот если бы речь шла о ста миллионах или другой столь же невероятной сумме, я ни на минуту бы этим не заинтересовался. Завтра мы отплывем, но при одном условии: если вы обещаете беспрекословно мне повиноваться.

Его гость радостно и выразительно закивал головой.

— А это значит, что не будете пить.

— Это жестокое требование, — жалобно сказал Пенкберн.

— Таковы мои условия. Я достаточно разбираюсь в медицине, и под моим надзором с вами ничего дурного не случится. Вы будете работать — делать тяжелую работу матроса. Вы будете нести вахту наравне с матросами и делать все, что им положено, но есть и спать вместе с нами на корме.

— Идет! — Пенкберн в знак согласия протянул руку Грифу. — Если только это меня не убьет, — добавил он.

Дэвид Гриф великодушно налил в стакан виски на три пальца и протянул стакан Пенкберну.

— Это ваша последняя порция. Пейте.

Пенкберн протянул уже было руку. Но вдруг с судорожной решимостью отдернул ее, расправил плечи и поднял голову.

— Я, пожалуй, не стану, — начал он, затем, малодушно поддавшись мучившему его желанию, поспешно схватил стакан, словно боясь, что его отнимут.

4

От Папеэте на островах Товарищества до Малого Кораллового моря путь неблизкий: идти приходится от 150ё западной долготы до 150ё восточной долготы. Если плыть по прямой, то это все равно, что пересечь Атлантический океан. А «Морская Чайка» к тому же шла не по прямой. Из-за многочисленных дел Дэвида Грифа она не раз отклонялась от курса. Гриф сделал остановку, чтобы заглянуть на необитаемый остров Роз и узнать, нельзя ли его заселить и устроить там кокосовые плантации. Затем он вздумал засвиде-

тельствовать свое почтение Туи-Мануа, королю Восточного Самоа, и тайными происками добивался там доли в монопольной торговле на трех островах этого умирающего монарха. В Апии он принял на борт для доставки на острова Гилберта нескольких новых агентов, ехавших на смену старым, и партию товаров для меновой торговли. Потом он зашел на атолл Онтонг-Ява, осмотрел свои плантации на острове Изабель и купил землю у вождей приморских племен северо-западной Малаиты. И на всем протяжении этого извилистого пути Дэвид Гриф старался сделать из Алоизия Пенкберна настоящего человека.

Этот вечно жаждущий мученик, хотя и жил на юте, принужден был выполнять обязанности простого матроса. Он не только стоял вахту на руле, крепил паруса и снасти; ему поручалась самая грязная и тяжелая работа. Его поднимали в «беседке» высоко вверх, и он скоблил мачты и промазывал их до самого низа. Он драил песчаником палубу и мыл ее негашеной известью. От этого у него болела спина, но зато развивались и крепли его дряблые мускулы. Когда «Морская Чайка» стояла на якоре и матросы-туземцы скоблили кокосовой скорлупой медную обшивку ее днища, ныряя для этого под воду, Пенкберна тоже

посылали на эту работу наравне со всеми.

— Посмотрите на себя, — сказал ему однажды Гриф. — Вы вдвое сильнее, чем были. Вы все это время капли в рот не брали и вот не умерли же, и организм ваш почти избавился от отравы. Вот что значит труд. Он оказался для вас куда полезнее, чем надзор сиделок и управляющих. Если хотите пить

— вот, пожалуйста! Нужно только поднести ко рту.

Он вынул из ножен свой тяжелый нож и несколькими ловкими ударами вырезал треугольный кусок в скорлупе кокосового ореха, уже очищенного от верхней волокнистой оболочки. Жидкий, прохладный сок, похожий на молоко, шипя запенился через край. Пенкберн с поклоном принял эту изготовленную природой чашу, запрокинул голову и выпил все до дна. Каждый день он выпивал сок множества орехов. Чернокожий буфетчик, шестидесятилетний туземец с Новых Гебридов, и его помощник, одиннадцатилетний мальчик с острова Ларк, аккуратно снабжали его ими.

Пенкберн не протестовал против тяжелой работы. Он не только никогда не увиливал от нее, но хватался за все с какой-то жадностью и

мигом исполнял приказание, всегда опережая матросов-туземцев. И все то время, пока Гриф отучал его от спиртного, он переносил эти муки с истинным героизмом. Даже, когда организм его отвык от отравы, Пенкберн все еще был одержим постоянным маниакальным желанием выпить. Однажды, когда он под честное слово был отпущен на берег в Апии, хозяевам трактиров чуть не пришлось закрыть свои заведения, так как он выпил почти все их наличные запасы. И в два часа ночи Дэвид Гриф нашел его у входа в «Тиволи», откуда его с позором вышвырнул Чарли Робертс. Алоизий, как когда-то, заунывно изливал свою печаль звездам. Одновременно он занимался и другим, более прозаическим делом: в такт своим завываниям он с удивительной меткостью кидал куски коралла в окна Чарли Робертса.

Гриф увел Пенкберна, но принялся за него только в следующее утро. Расправа происходила на палубе «Морской Чайки», и в сцене этой не было ничего идиллического. Гриф молотил его кулаками, не оставил на нем живого места, задал ему такую трепку, какой Алоизию не задавали никогда в жизни.

— Это ради вашего блага, Пенкберн, — приговаривал он, нанося удары. — А это ради вашей

матери. А это для блага мира, вселенной и всего будущего потомства. А теперь, чтобы получше вдолбить вам этот урок, мы повторим все сначала! Это для спасения вашей души; это ради вашей матери; это ради ваших малюток, которых еще нет, о которых вы еще и не думаете, чью мать вы будете любить во имя детей и во имя самой любви, когда благодаря мне станете настоящим человеком. Принимайте же свое лекарство! Я еще не кончил, я только начинаю. Есть еще немало и других причин для трепки, которые я сейчас вам изложу.

Коричневые матросы, чернокожие буфетчики, кок — все смотрели и ухмылялись. Им и в голову не приходило критиковать загадочные, непостижимые поступки белых людей. Помощник капитана Карлсен с угрюмым одобрением наблюдал действия хозяина, а Олбрайт, второй помощник, только крутил усы и улыбался. Оба были старые моряки, прошедшие суровую школу. И собственный и чужой опыт убедил их, что проблему лечения от запоя приходится решать не так как ее решают медики.

— Юнга! Ведро пресной воды и полотенце, — приказал Гриф, кончив свое дело. — Два ведра и два полотенца, — добавил он, посмотрев на

свои руки.

— Хорош, нечего сказать! — обратился он к Пенкберну. — Вы все испортили. А теперь от вас разит, как из бочки. Придется все начинать сначала. Мистер Олбрайт! Вы видели груду старых цепей на берегу у лодочной пристани? Разыщите владельца, купите все и доставьте на шхуну. Цепей этих там, наверное, саженей полтораста… Пенкберн! Завтра утром вы начнете счищать с них ржавчину. Когда кончите, отполируете наждаком. Затем выкрасите. Вы будете заниматься только этим, пока цепи не станут гладкими и блестящими, как новые.

Алоизий Пенкберн покачал головой.

— Ну, нет, хватит! Я бросаю это дело, остров Френсиса может идти ко всем чертям! Потрудитесь немедленно доставить меня на берег. Я вам не раб, я белый человек. Вы не смеете так со мной обращаться!

— Мистер Карлсен, примите меры, чтобы мистер Пенкберн не покидал корабля.

— Я вам покажу! — завизжал Алоизий. — Вы не смеете меня здесь удерживать!

— Я посмею еще раз вас отдубасить, — ответил Гриф. — И зарубите себе на носу, одуревший щенок: я буду бить вас, пока целы мои кулаки или

пока у вас не появится сильное желание очищать эту ржавую цепь. Я за вас взялся, и я сделаю из вас человека, хотя бы мне пришлось забить вас до смерти. Теперь ступайте вниз и переоденьтесь. После обеда берите молоток и принимайтесь за дело. Мистер Олбрайт, пошлите за ними лодки. И следите за Пенкберном. Если он будет валиться с ног или его начнет трясти, дайте ему глоток виски, но только один глоток. После такой ночи ему это может понадобиться.

5

Пока «Морская Чайка» стояла в Апии, Алоизий Пенкберн сбивал ржавчину с цепей. По десять часов в день он стучал молотком. И во время долгого плавания до острова Гилберта он продолжал сбивать ржавчину. Затем надо было полировать их наждачной бумагой. Полтораста морских саженей — это девятьсот футов, и каждое звено цепи было очищено и отполировано, как не чистили и не полировали ни одну цепь. А когда последнее звено было второй раз покрыто черной краской, Пенкберн отправился к Грифу.

— Если есть у вас еще какая-нибудь грязная работа, так давайте! — сказал он. Если прикажете, я перечищу и все остальные цепи! А обо мне

можете больше не беспокоиться. Я спиртного теперь в рот не возьму. Я буду тренироваться. Вы сломили мой буйный характер, когда избили меня, но запомните: это только временно. Я буду тренироваться до тех пор, пока не стану весь таким же твердым и таким же чистым, как эта цепь. И в один прекрасный день, мистер Дэвид Гриф, я сумею вас вздуть не хуже, чем вы вздули меня. Я так расквашу вам физиономию, что ваши собственные негры не узнают вас.

Гриф пришел в восторг.

— Вот теперь вы заговорили как мужчина! — воскликнул он. — Единственный для вас способ вздуть меня — это стать настоящим человеком, но тогда, может быть…

Он не досказал в надежде, что Алоизий поймет его. Тот с минуту недоумевал, а затем его вдруг осенило — это видно было по глазам.

— А тогда мне уже не захочется сделать этого, не так ли?

Гриф кивнул.

— Вот это-то и скверно! — пожаловался Алоизий. — Я тоже думаю, что не захочется. Я понимаю, в чем тут штука. Но все равно выдержу характер и возьму себя в руки.

Теплый загар на лице Грифа как будто еще

потеплел. Он протянул руку.

— Пенкберн, вот теперь я вас люблю.

Алоизий схватил его за руку и, грустно покачав головой, сказал с искренним сокрушением:

— Гриф, вы сломили мой буйный характер, и боюсь, навсегда!

6

В знойный тропический день, когда уже стихали последние слабые порывы юго-восточного пассата и, как всегда в это время года, на смену ему ожидался северо-западный муссон, с «Морской Чайки» увидели на горизонте покрытый джунглями берег острова Фрэнсиса. Гриф с помощью компаса и бинокля нашел вулкан, носивший название Красного утеса, миновал бухту Оуэна и уже при полном безветрии вошел в бухту Ликикили. Пришлось спустить два вельбота, которые взяли судно на буксир, а Карлсен все время бросал лот, и «Чайка» медленно вошла в глубокий и узкий залив. Здесь не было песчаных отмелей. Мангровые заросли начинались у самой воды, а за ними стеной поднимались джунгли, среди которых кое-где виднелись зубчатые вершины скал. «Чайка» проплыла с милю, и когда белая отвесная скала оказалась на вест-зюйд-вест

от нее, лот подтвердил правильность сведений «Справочника», и якорь с грохотом опустился на глубину девяти саженей.

До полудня следующего дня люди оставались на шхуне и ждали. Не было видно ни одной пироги. Не было никаких признаков, что здесь есть люди. Если бы не раздавались порой всплеск, когда проплывала рыба, или крики какаду, можно было бы подумать, что здесь нет ничего живого, — только раз огромная бабочка дюймов в двенадцать пролетела высоко над мачтами, направляясь к джунглям на другом берегу.

— Нет смысла посылать лодку на верную гибель, — сказал Гриф.

Пенкберн не поверил и вызвался отправиться один, даже вплавь, если ему не дадут шлюпки.

— Они еще не забыли германский крейсер, — объяснил Гриф. — Держу пари, что в кустах полным-полно дикарей. Как вы полагаете, мистер Карлсен?

Старый искатель приключений, видавший виды, горячо поддержал его.

К вечеру второго дня Гриф приказал спустить вельбот. Сам он сел на носу, с зажженной сигаретой в зубах и динамитной шашкой в руке, — он намеревался глушить рыбу и рассчитывал на

богатую добычу. Вдоль скамеек лежало с полдюжины винчестеров, а сидевший за рулем Олбрайт имел под рукой маузер. Они плыли мимо зеленой стены зарослей. Временами переставали грести, и лодка останавливалась среди глубокого безмолвия.

— Ставлю два против одного, что кусты кишат ими… Держу пари на один фунт, — прошептал Олбрайт.

Пенкберн еще мгновение вслушивался и принял пари. Через пять минут они увидели стаю кефали. Темнокожие гребцы перестали грести. Гриф поднес шнур к своей сигарете и бросил в воду динамитную шашку. Шнур был такой короткий, что шашка моментально взорвалась. И в ту же секунду заросли тоже как будто взорвались — с дикими, воинственными криками из-за мангровых деревьев выскочили, как обезьяны, черные обнаженные люди.

На вельботе все схватились за винтовки. Затем наступила выжидательная пауза. На торчавших из воды корнях столпилось около сотни чернокожих. Некоторые были вооружены устаревшими винтовками системы Снайдер, но большинство — томагавками, закаленными на огне копьями и стрелами с костяными наконечниками.

Не было произнесено ни одного слова. Обе стороны наблюдали друг за другом через разделявшие их двадцать футов воды. Одноглазый старик негр, с заросшим щетиной лицом, направил винтовку на Олбрайта, который, в свою очередь, держал его под прицелом своего маузера. Эта сцена продолжалась минуты две. Оглушенная рыба между тем всплывала на поверхность или, полуживая, трепетала в прозрачной глубине.

— Все в порядке, ребята, — сказал Гриф спокойно. — Кладите ружья и прыгайте в воду. Мистер Олбрайт, киньте табаку этой одноглазой скотине.

Пока матросы ныряли за рыбой, Олбрайт бросил на берег пачку дешевого табака. Одноглазый кивал головой и гримасничал, пытаясь придать своей физиономии любезное выражение. Копья опустились, луки разогнулись, а стрелы были вложены в колчаны.

— Видите, они знают, что такое табак, — сказал Гриф, когда они плыли обратно к шхуне. — Значит, надо ждать гостей. Вскройте ящик с табаком, мистер Олбрайт, и приготовьте несколько ножей для обмена. Вон уже плывет пирога!

Одноглазый, как подобает вождю, плыл один — навстречу опасности, рискуя жизнью ради

своего племени. Карлсен перегнулся через борт, помогая гостю подняться на палубу, и, повернув голову, буркнул:

— Они выкопали деньги, мистер Гриф! Старый хрыч прямо-таки увешан ими.

Одноглазый ковылял по палубе, заискивающе улыбаясь и плохо скрывая страх, который он еще не вполне преодолел. Он хромал на одну ногу, и причина была ясна — ужасный шрам в несколько дюймов глубиной через все бедро до колена. На нем не было никакой одежды, но зато его нос щетинился, как шкура дикобраза — он был продырявлен по крайней мере в десяти местах, и в каждое отверстие была продета костяная игла, покрытая резьбой. С шеи на грязную грудь свисало ожерелье из золотых соверенов, к ушам прицеплены серебряные полукроны, а под носом (хрящ между ноздрей был проткнут) болталась большая медная монета. Она потускнела и позеленела, но сразу можно было узнать в ней английский пенс.

— Подождите, Гриф, — сказал Пенкберн с хорошо разыгранной беззаботностью. — Вы говорите, что они покупают у белых людей только бусы и табак. Прекрасно. Слушайте меня. Они нашли клад, и придется его у них выменивать. Соберите

в сторонке всю команду и внушите им, чтобы они притворились, будто их интересуют только пенсы. Понятно? Золотыми монетами они должны пренебрегать, а серебряные брать, но неохотно. Пусть требуют от дикарей одни только медяки.

Пенкберн стал руководить обменом. За пенс из носа Одноглазого он дал десять пачек табаку. Поскольку каждая пачка стоила Дэвиду Грифу один цент, сделка была явно убыточной. Но за серебряные полукроны Пенкберн давал только по одной пачке. От соверенов он вообще отказался. Чем решительнее он отказывался, тем упорнее Одноглазый навязывал ему их. Наконец, с притворным раздражением, как бы делая явную уступку, Пенкберн дал две пачки за ожерелье из десяти соверенов.

— Преклоняюсь перед вами! — сказал Гриф Пенкберну вечером за обедом.

— Ничего умнее не придумаешь! Вы произвели переоценку ценностей. Теперь они будут дорожить пенсами и навязывать нам соверены. Пенкберн, пью за ваше здоровье! Юнга! Еще чашку чаю для мистера Пенкберна.

Началась золотая неделя. От зари до сумерек пироги рядами стояли в двухстах футах от шхуны — здесь начиналась запретная зона. Границу

охраняли вооруженные винтовками матросы, туземцы с острова Рапа. Пирогам разрешалось подходить к шхуне только по одной, и чернокожие допускались на палубу лишь по одиночке. Здесь, под полотняным навесом, сменяясь через каждый час, четверо белых вели обмен. Он велся по расценкам, установленным Пенкберном и Одноглазым. За пять соверенов давали одну пачку табаку; за сто соверенов — двадцать пачек. Таким образом, людоед с хитрым видом выкладывал на стол тысячу долларов золотом и, невероятно довольный, отправлялся обратно, получив на сорок центов табаку.

— Надеюсь, у нас хватит курева, — с сомнением в голосе пробормотал Карлсен, вскрывая второй ящик.

Олбрайт рассмеялся.

— У нас в трюме пятьдесят ящиков, — сказал он, — а, по моему подсчету, за три ящика мы выручаем сто тысяч долларов. Зарыт был всего один миллион, значит, он нам обойдется в тридцать ящиков. Впрочем, разумеется, надо иметь резерв на серебро и пенсы. Эквадорские федералисты, наверное, погрузили на шхуну всю монету, какую нашли в казначействе.

Пенсов и шиллингов почти не приносили, хотя

Пенкберн постоянно и с беспокойством их спрашивал. Казалось, ему были нужны только пенсы, и в глазах его при виде их появлялся жадный блеск. Дикари решили, что золото представляет наименьшую ценность и, значит, его нужно сбыть в первую очередь. Пенсы же, за которые дают товару в пятьдесят раз больше, чем за соверены, надо придержать и хранить, как зеницу ока. Несомненно, седобородые мудрецы, посовещавшись в своих лесных берлогах, решили поднять цену на пенсы, как только спустят белым все золото. Как знать? Авось, эти чужеземцы станут давать даже по двадцать пачек за драгоценные медяки!

К концу недели торговля пошла вяло. Тогда изредка появлялись пенсы, которые неохотно отдавались дикарями за десять пачек. Серебра же поступило на несколько тысяч долларов.

На восьмой день утром обмен прекратился. Седобородые мудрецы приступили к осуществлению своего плана и потребовали по двадцать пачек за пенс. Одноглазый изложил новые условия. Белые приняли это, по-видимому, весьма серьезно и начали вполголоса совещаться. Если бы Одноглазый понимал по-английски, ему все стало бы ясно.

— Мы получили восемьсот с лишним тысяч, не считая серебра, — сказал Гриф. — Это, пожалуй, все, что у них имелось. Остальные двести тысяч, вероятнее всего, попали к лесным племенам, которые живут в глубине острова. Давайте вернемся сюда через три месяца. За это время прибрежные жители выменяют у лесных эти деньги обратно; да и табак у них к тому времени уже кончится.

— Грех будет покупать у них пенсы! — ухмыльнулся Олбрайт. — Это не по нутру моей бережливой купеческой душе.

— Начинается береговой бриз, — сказал Гриф, глядя на Пенкберна. — Ну, как ваше мнение?

Пенкберн кивнул.

— Прекрасно. — Гриф подставил щеку ветру и почувствовал, что он дует слабо и неравномерно. — Мистер Карлсен, поднимайте якорь и ставьте паруса. И пусть вельботы будут наготове для буксировки. Этот бриз ненадежен.

Он поднял початый ящик табаку, в котором оставалось еще шестьсот — семьсот пачек, сунул его в руки Одноглазому и помог ошеломленному дикарю перебраться через борт. Когда на мачте поставили фок, в пирогах у запретной зоны раздался вопль отчаяния. А когда был поднят якорь и «Морская Чайка» тронулась с места, Одноглазый,

под наведенными на него винтовками, подплыл к борту и, неистово жестикулируя, объявил о согласии своего племени отдавать пенсы по десять пачек за штуку.

— Юнга! Кокос! — крикнул Пенкберн.

— Итак, вы отправляетесь в Сидней, — сказал Гриф. — А потом?

— Потом вернусь сюда вместе с вами за остальными двумя сотнями тысяч,

— ответил Пенкберн. — А пока займусь постройкой шхуны для дальнего плавания. Кроме того, я буду судиться с моими опекунами — пусть докажут, что мне нельзя доверить отцовские деньги! Пусть попробуют это доказать! А я им докажу обратное!

Он с гордостью напряг мускулы под тонкой рубашкой, схватил двух чернокожих буфетчиков и поднял их над головой, как гимнастические гири.

— Потравить фока-шкот! Живо! — крикнул Карлсен с юта, где ветер уже наполнял грот.

Пенкберн отпустил буфетчиков и бросился выполнять приказание, обогнав на два прыжка матроса-туземца, тоже бежавшего к ходовому концу снасти.

Дьяволы на Фуатино

1

Из многочисленных своих яхт, шхун и кечей, сновавших между коралловыми островами Океании, Гриф больше всего любил «Стрелу»; это была шхуна в девяносто тонн, очень похожая на яхту и, как ветер, быстрая и неуловимая. Слава о ней гремела еще в ту пору, когда она перевозила контрабандный опиум из Сан-Диего в залив Пюджет или совершала внезапные набеги на лежбища котиков в Беринговом море и тайно доставляла оружие на Дальний Восток. Таможенные чиновники ненавидели ее от всей души и осыпали проклятиями, но в сердцах моряков она неизменно вызывала восторг и была гордостью создавших ее кораблестроителей. Даже теперь, после сорока лет службы, она оставалась все той же старой славной «Стрелой»; нос ее по-прежнему с такой быстротой резал волны, что те моряки, которые ее никогда не видали, отказывались этому верить, и много споров, а порой и драк возникало из-за нее во всех портах от Вальпараисо до Манилы.

В тот вечер она шла в бейдевинд: грот ее почти обвис, передние шкаторины всякий раз, когда шхуна поднималась на гладкую волну, вяло колыхались; дул слабый, едва заметный бриз, и все же «Стрела» легко делала четыре узла. Уже больше часа Гриф стоял на баке у подветренного борта, облокотясь на планширь, и смотрел на ровный светящийся след, оставляемый шхуной. Слабый ветерок от передних парусов обдавал его щеки и грудь бодрящей прохладой. Он наслаждался неоценимыми качествами своей шхуны.

— Какая красавица, а, Таути? Чудо, а не шхуна! — сказал он, обращаясь к вахтенному матросу-канаку, и нежно похлопал рукой по тиковому фальшборту.

— Еще бы, хозяин, — ответил канак низким, грудным голосом, столь характерным для полинезийцев. — Тридцать лет плаваю под парусами, а такого не видал. На Райатее мы зовем ее «Фанауао».

— Ясная зорька, — перевел Гриф ласковое имя. — Кто ее так назвал?

Таути хотел уже ответить, но вдруг насторожился и стал пристально всматриваться вдаль. Гриф последовал его примеру.

— Земля, — сказал Таути.

— Да, Фуатино, — согласился Гриф, все еще глядя туда, где на чистом, усыпанном звездами горизонте появилось темное пятно. — Ладно. Я скажу капитану.

«Стрела» продолжала идти тем же курсом, и скоро мутное пятно на горизонте приняло более определенные очертания; послышался рокот волн, сонно бившихся о берег, и блеяние коз; ветер, дувший со стороны острова, принес аромат цветов.

— Ночь-то какая светлая! Можно бы и в бухту войти, кабы тут не такая щель, — с сожалением заметил капитан Гласс, наблюдая за тем, как рулевой готовился намертво закрепить штурвал.

Отойдя на милю от берега, «Стрела» легла в дрейф, чтобы дождаться рассвета и только тогда начать опасный вход в бухту Фуатино. Ночь дышала покоем — настоящая тропическая ночь, без малейшего намека на дождь или возможность шквала. На баке где попало завалились спать матросы, уроженцы острова Райатеи; на юте с той же беспечностью приготовились ко сну капитан, помощник и Гриф. Они лежали на одеялах, курили и сонно переговаривались: речь шла о Матааре, королеве острова Фуатино, и о любви ее дочери Наумоо к своему избраннику Мотуаро.

— Да, романтический народ, — сказал Браун, помощник капитана. — Не меньше, чем мы, белые.

— Не меньше, чем Пилзах, — сказал Гриф. — А этим немало сказано. Сколько лет прошло, капитан, как он удрал от вас?

— Одиннадцать, — с обидой в голосе проворчал капитан Гласс.

— Расскажите-ка, — попросил Браун. — Говорят, он с тех пор никуда не уезжал с Фуатино. Это правда?

— Правда! — буркнул капитан. — До сих пор влюблен в свою жену. Негодяйка этакая! Ограбила она меня. А какой был моряк! Лучшего я не встречал. Недаром он голландец.

— Немец, — поправил Гриф.

— Все одно, — последовал ответ. — В тот вечер, когда он сошел на берег и его увидела Нотуту, море лишилось хорошего моряка. Они, видно, сразу понравились друг другу. Никто и оглянуться не успел, как она уже надела ему на голову венок из каких-то белых цветов, а минут через пять они бежали к берегу, держась за руки и хохоча, как дети. Надеюсь, он взорвал этот коралловый риф в проходе. Каждый раз я тут порчу лист или два медной обшивки…

— А что было дальше? — не унимался Браун.

— Да вот и все. Кончился наш моряк. В тот же вечер женился и уже на судно больше не приходил. На другой день я отправился его искать. Нашел в соломенной хижине в зарослях — настоящий белый дикарь! Босой, весь в цветах и в каких-то украшениях, сидит и играет на гитаре. Вид самый дурацкий. Просил свезти его вещи на берег. Я послал его к черту. Вот и все. Завтра его увидите. У них уже теперь трое малышей — чудесные ребятишки. Я везу ему граммофон и кучу пластинок.

— А потом вы его сделали своим торговым агентом? — обратился помощник к Грифу.

— Что же мне оставалось? Фуатино — остров любви, а Пилзах — влюбленный. И туземцев он знает. Агент из него вышел отличный. На него можно положиться. Завтра вы его увидите.

— Послушайте, молодой человек, — угрожающе забасил капитан Гласс, обращаясь к своему помощнику. — Вы, может быть, тоже романтик? Тогда лучше оставайтесь на борту. Там все в кого-нибудь влюблены. Они живут любовью. Кокосовое молоко, что ли, на них так действует, или уж воздух тут такой, или море какое-то особенное. История острова за последние десять тысяч лет

— это сплошные любовные приключения. Кому

и знать, как не мне. Я разговаривал со стариками. И если я поймаю вас на берегу рука об руку с какой-нибудь…

Он вдруг умолк. Гриф и Браун невольно обернулись к нему. Капитан смотрел через их головы в направлении борта. Они взглянули туда же и увидели смуглую руку, мокрую и мускулистую. Потом за борт уцепилась и другая, такая же смуглая рука. Показалась встрепанная, кудрявая шевелюра — и наконец лицо с лукавыми черными глазами и морщинками проказливой улыбки вокруг рта.

— Бог мой! — прошептал Браун. — Да ведь это же фавн, морской фавн!

— Это Человек-козел, — сказал Гласс.

— Это Маурири, — откликнулся Гриф, — мой названный брат. Мы с ним побратались — дали друг другу священную клятву по здешнему обычаю. Теперь я его зову своим именем, а он меня — своим.

Широкие смуглые плечи и могучая грудь поднялись над бортом, и огромный человек легко и бесшумно спрыгнул на палубу. Браун, гораздо более начитанный, чем полагается помощнику капитана, с восхищением смотрел на пришельца. Все, что он вычитал в книгах, заставляло его

без колебаний признать фавна в этом госте из морской пучины. Но этот фавн чем-то опечален, решил молодой человек, когда смугло-золотистый бог лесов приблизился к Дэвиду и тот приподнялся ему навстречу с протянутой рукой.

— Дэвид! — приветствовал его Дэвид Гриф.

— Маурири, Большой брат! — отвечал Маурири.

И в дальнейшем, по обычаю побратимов, каждый звал другого своим именем. Они разговаривали на полинезийском наречии острова Фуатино, и Браун мог только гадать, о чем у них идет беседа.

— Издалека же ты приплыл, чтобы сказать «талофа», — проговорил Гриф, глядя, как с усевшегося на палубе Маурири ручьями стекает вода.

— Много дней и ночей я ждал тебя, Большой брат. Я сидел на Большой Скале, там, где спрятан динамит, который я стерегу. Я видел, как вы подошли к проходу, а потом опять ушли в темноту. Я понял, что вы ждете утра, и поплыл к вам. У нас большое горе. Матаара все время плачет и молится, чтобы ты скорее приехал. Она старая женщина, а Мотуаро умер, и она горюет.

Гриф, согласно обычаю, сокрушенно покачал головой и вздохнул.

— Женился он на Наумоо? — спросил он немного погодя.

— Да. Они уже убежали и жили в горах с козами, пока Матаара их не простила. Тогда они вернулись к ней в Большой дом. Но теперь он умер, и Наумоо скоро умрет. Страшное у нас горе, Большой брат. Тори умер, Тати-Тори, и Петоо, и Нари, и Пилзах, и еще много других.

— И Пилзах тоже! — воскликнул Гриф. — Что, была какая-то болезнь?

— Было много убийств. Слушай, Большой брат. Три недели назад пришла незнакомая шхуна. С Большой скалы я видел над морем ее паруса. Шлюпки тащили ее в бухту. Но они не сумели обогнуть риф, и шхуна много раз задевала его. Теперь ее вывели на отмель и там чинят. На борту восемь белых. С ними женщины с какого-то острова далеко к востоку. Женщины говорят на языке, похожем на наш, только не совсем. Но мы их понимаем. Они сказали, что люди со шхуны их похитили. Может, это и правда, но они танцуют и поют и как будто довольны.

— Ну, а мужчины? — прервал его Гриф.

— Говорят они по-французски, это я знаю, ведь раньше на твоей шхуне плавал помощник, который говорил по-французски. Двое из них главные,

и они не похожи на других. У них голубые, как у тебя, глаза, и они дьяволы. Один

— самый большой дьявол, другой — поменьше, остальные шестеро — тоже дьяволы. Они не платят нам ни за ямс, ни за таро и плоды хлебного дерева. Так они убили Тори, И Тати-Тори, и Петоо, и других. Мы не можем драться с ними, потому что у нас нет винтовок, только два или три старых ружья.

Они обижают наших женщин. А когда Мотуаро заступился за Наумоо, они его убили и увели Наумоо к себе на шхуну. За это же убили Пилзаха. Главный дьявол выстрелил в него один раз, когда Пилзах греб на своем вельботе, а потом еще два раза, когда он полз вверх по берегу. Пилзах был храбрый человек, и теперь Нотуту сидит в своем доме и плачет. Многие испугались и убежали в горы к козам. Но в горах на всех не хватает еды. А кто остался внизу, те боятся выходить на рыбную ловлю и больше не работают в своих садах, потому что эти дьяволы все отнимают. Мы хотим драться, Большой брат, нам нужны ружья и много патронов. Я послал сказать нашим, что поплыл к тебе, и они теперь ждут. Белые люди со шхуны не знают, что вы здесь. Дай мне лодку и ружья, и я вернусь, пока темно. Когда вы завтра

подойдете к берегу, мы будем готовы. Ты дашь знак, и мы нападем на чужих белых и убьем их. Их нужно убить. Большой брат, ты всегда был нам как родной; все у нас молятся многим богам, чтобы ты пришел. И ты пришел.

— Я поеду вместе с тобой, — сказал Гриф.

— Нет, Большой брат, — ответил Маурири, — ты должен остаться на шхуне. Чужие белые будут бояться шхуны, а не нас. Ты дашь нам ружья, но они этого не будут знать. Они испугаются только тогда, когда увидят твою шхуну. Пошли на лодке этого юношу.

И вот Браун, взволнованный предвкушением романтических приключений, о которых он столько читал в книгах и столько мечтал, но которых еще не испытал в жизни, занял свое место на корме вельбота, нагруженного ружьями и патронами; четверо матросов с Райатеи взялись за весла, смугло-золотистый фавн, добравшийся вплавь, сел за руль, и лодка нырнула в теплую тропическую ночь, направляясь к полулегендарному острову любви — Фуатино, который оказался во власти пиратов двадцатого века.

2

Если провести линию между Джалуитом (в

группе Маршальских островов) и Бугенвилем (Соломоновы острова) и если двумя градусами южнее экватора эту линию пересечь другой прямой, проведенной от Укуора (Каролинские острова), то здесь, на этом омытом солнцем участке моря, мы найдем гористый остров Фуатино, населенный племенами, родственными гавайцам, таитянам, маори и самоанцам. Он составляет самое острие обращенного на запад клина, вбитого Полинезией между Меланезией и Микронезией. Вот этот-то остров Фуатино и увидел на следующее утро Гриф в двух милях к востоку от шхуны, на одной линии с подымающимся солнцем. Дул все тот же слабый, едва ощутимый бриз, и «Стрела» скользила по гладкому морю со скоростью, какая сделала бы честь любой шхуне даже при ветре в три раза более сильном.

Фуатино был не что иное, как древний вулкан, поднятый со дна моря каким-то доисторическим катаклизмом. Западную сторону кратера размыло морем, и она обвалилась, образовав вход внутрь кратера, который теперь представлял собой бухту. Фуатино, таким образом, походил на неровную подкову, обращенную пяткой на запад. К проходу в подкове и направлялась «Стрела». Капитан Гласс, стоявший на палубе с биноклем

в руке то и дело сверявшийся с самодельной картой, которую он разостлал на палубе рубки, вдруг выпрямился, и на его лице появилось выражение не то тревоги, не то покорности.

— Начинается, — сказал он. — Это малярия. Но я не ждал приступа раньше завтрашнего утра. Она меня всегда здорово треплет, мистер Гриф. Через пять минут я уже ничего не буду соображать. Придется вам самому вводить шхуну в бухту. Бой, готовь койку! Грелку и побольше одеял! Море сейчас так спокойно, мистер Гриф, что вам, я думаю, удастся благополучно проскочить большой риф. Держите по ветру и хорошенько разгоните судно. Только одна «Стрела» во всем Тихом океане способна на такой маневр, и я уверен, что вы его сделаете. Идите вплотную к Большой скале и следите за грота-гиком.

Он говорил быстро, словно пьяный: затуманенное сознание с трудом боролось со все нарастающим приступом малярии. Когда он, шатаясь, направился к каюте, его лицо стало багровым и все пошло пятнами, как при воспалении или гангрене. Глаза вылезли из орбит и остекленели, руки тряслись, зубы стучали от озноба.

— Через два часа начну потеть, — еле выговорил он с мертвенной улыбкой на губах. — Потом

еще два часа, и все будет в порядке. Уж я изучил эти проклятые приступы. С первой минуты до последней… Ввв-ы бб…

Речь его превратилась в невнятное бормотание, и, с трудом держась на ногах, он сполз по трапу в свою каюту; Гриф занял его место. «Стрела» только что подошла к проходу. На концах подковы возвышались две скалистые горы высотой около тысячи футов. Они вырастали из моря и соединялись с островом лишь узкими и низкими перешейками. Между горами оставалось пространство в полмили, почти сплошь перегороженное коралловым рифом, отходившим от южного конца подковы. Проход, который капитан Гласс называл щелью, извивался между рифами, загибаясь к северной горе, и тут тянулся у самого подножия отвесного утеса. В этом месте грота-гик, вынесенный за левый борт шхуны, то и дело касался скалы. Гриф, стоявший у противоположного борта, видел, что дно здесь на глубине всего двух сажен и что прямо из-под шхуны оно круто поднимается вверх. Впереди шел вельбот: он тянул за собой шхуну, которую иначе могло бы снести на риф отражавщимся от утеса ветром. Гриф ввел шхуну в проход, воспользовавшись благоприятным бризом, и обогнул большой риф

без повреждений. Шхуна, правда, царапнула по рифу, но так легко, что медная обшивка не пострадала.

Перед Грифом открылась бухта Фуатино. Ее водная гладь представляла собой правильный круг около пяти миль в диаметре, вписанный в белые коралловые берега, от которых поднимались одетые зеленью склоны, выше переходившие в мрачные стены кратера. Зубчатые гребни этих стен распадались на острые вулканические пики, вокруг которых шапками стояли принесенные пассатами облака. Каждая впадинка, каждая расщелина в выветрившейся лаве давали приют деревьям и ползучим, взбирающимся вверх лозам — зеленая пена растительности покрывала скалы. Горные потоки, обозначенные лентами тумана, извивались по крутым склонам высотой в несколько сот футов. Теплый и влажный воздух был напоен ароматом желтой кассии.

Лавируя против слабого ветра, «Стрела» вошла в бухту. Гриф приказал поднять вельбот и стал рассматривать берег в бинокль. Нигде не видно было признаков жизни. Все спало под палящими лучами тропического солнца. Никто не вышел встречать «Стрелу». На северном берегу, там, где за кокосовыми пальмами скрывалась деревня,

из-под навесов торчали черные носы пирог. На прибрежной отмели, прямая и неподвижная, одиноко стояла незнакомая шхуна. Ни на ее борту, ни вокруг не было заметно движения. Когда до берега осталось не больше пятидесяти ярдов, Гриф приказал отдать якорь. Тут глубина была сорок сажен. А на середине бухты Гриф однажды, много лет назад, вытравил триста сажен троса, но дна так и не достал, чего и следовало ожидать в таком огромном кратере, как вулкан Фуатино.

Цепь, громыхая, полезла из клюза, и Гриф увидел, что на палубе незнакомой шхуны появилось несколько туземок, рослых и пышных, какими бывают только уроженки Полинезии. Видел он и то, чего на шхуне не заметили: из камбуза, озираясь, выбрался человек, спрыгнул на песок и мгновенно исчез в прибрежных зарослях.

Пока убирали и крепили паруса, растягивая тент и свертывая шкоты и тали, как это полагается на стоянке, Гриф ходил взад и вперед по палубе и оглядывал берег, надеясь хоть где-нибудь обнаружить признаки жизни. Один раз он ясно услышал, как где-то далеко, в направлении Большой скалы, грохнул выстрел. Но больше выстрелов не последовало, и он решил, что это какой-нибудь охотник подстрелил в горах дикого

козла.

К концу второго часа капитан Гласс перестал трястись от озноба под горой одеял и начал обливаться потом.

— Еще полчаса — и буду здоров, — проговорил он слабым голосом.

— Отлично, — сказал Гриф. — Здесь что-то никого не видно. Я съезжу на берег, повидаюсь с Матаара и узнаю, что там у них делается.

— Только будьте поосторожнее, — предупредил его капитан. — Публика тут, видно, собралась отчаянная. Если не сможете через час вернуться, дайте мне знать.

Гриф сел за руль, и четверо матросов канаков навалились на весла. Когда вельбот подошел к берегу, Гриф не без любопытства оглядел женщин, расположившихся под тентом шхуны. Он помахал им рукой, и они, прыснув со смеху, сделали то же самое.

— Талофа! — крикнул он.

Они поняли приветствие, но ответили «иорана», и Грифу стало ясно, что они с какого-то из островов Товарищества.

— С Хуахине, — не колеблясь, уточнил один из матросов. И действительно, когда Гриф спросил женщин, откуда они родом, те, снова прыснув со

смеху, ответили «Хуахине».

— Очень похожа на шхуну старика Дюпюи, — тихо сказал Гриф на таитянском наречии. — Не смотрите так пристально. Ну, что? Ведь точь-в-точь «Валетта»!

Пока матросы вылезали из вельбота и втаскивали его на берег, они как бы невзначай поглядывали на судно.

— Да, это «Валетта», — сказал Таути. — Восемь лет назад она потеряла стеньгу. В Папеэте ей поставили новую, на десять футов короче. Вон она, я ее узнал.

— Подите-ка, ребята, поболтайте с женщинами. С вашей Райатеи ведь рукой подать до Хуахине, и вы наверняка найдете среди них знакомых. Разнюхайте все, что можно. Но если явятся белые, не затевайте драки.

Целая армия крабов-отшельников, шурша, разбежалась перед ним, когда он стал подниматься по берегу. Но нигде не видно было свиней, которые в прежнее время всегда хрюкали и рылись под пальмами. Кокосовые орехи валялись где попало. Под навесами было пусто: копру не заготовляли. Труд и порядок исчезли. Гриф обошел одну за другой травяные хижины деревни. Все были пусты. Возле одной он наткнулся на слепого

беззубого старика с увядшим, морщинистым лицом. Он сидел в тени и, когда Гриф заговорил с ним, с перепугу залепетал что-то невнятное. «Словно от чумы все вымерли», — думал Дэвид, подходя наконец к Большому дому. И здесь царило безмолвие и запустение. Не было юношей и девушек в венках, в тени авокадо не возились коричневые малыши. На пороге, скорчившись и раскачиваясь взад и вперед, сидела старая королева Матаара. Увидев Грифа, она заплакала и стала рассказывать ему о своем горе, в то же время сокрушаясь, что нет при ней никого, кто бы мог оказать гостю должный прием.

— И они забрали Наумоо, — закончила она. — Мотуаро убит. Люди все убежали в горы и голодают там с козами. И некому даже открыть для тебя кокосовый орех. О брат, твои белые братья — дьяволы.

— Они мне не братья, Матаара, — утешал ее Гриф. — Они грабители и подлецы, и я очищу от них остров…

Недоговорив, он быстро обернулся, рука его метнулась к поясу и обратно, и большой кольт наставился на человека, который, пригибаясь к земле, выбежал из-за кустов и бросился к Грифу. Но Гриф не спустил курка, и человек, подбежав,

кинулся ему в ноги и разразился потоком каких-то несуразных, жалобных звуков. Гриф узнал в нем того беглеца, который получасом раньше вылез из камбуза «Валетты» и скрылся в зарослях. Подняв его, он стал внимательно следить за его судорожными гримасами — у этого человека была заячья губа — и только тогда начал различать слова в этом невнятном бормотании.

— Спасите меня, хозяин, спасите! — кричал человек по-английски, хотя он, несомненно, был уроженцем Океании. — Я знаю вас, спасите меня.

Дальше последовали совсем уже дикие бессвязные вопли, которые прекратились лишь после того, как Гриф взял его за плечи и сильно встряхнул.

— Я тоже узнал тебя, — сказал Гриф. — Два года назад ты служил поваром во французском отеле в Папеэте. Все звали тебя Заячьей Губой.

Человек неистово закивал.

— Теперь я кок на «Валетте». — Губы его дергались, он брызгал слюной и плевался, делая отчаянные усилия говорить внятно. — Я знаю вас. Я видел вас в отеле. И в ресторане «Лавиния». И на «Киттиуэйк». И на пристани, где стояла ваша «Марипоза». Вы капитан Гриф. Вы спасете

меня. Эти люди — дьяволы. Они убили капитана Дюпюи. Меня они заставили отравить половину команды. Двоих они застрелили на мачте. Остальных перебили в воде. Я все про них знаю. Они похитили девушек из Хуахине. И взяли на борт беглых каторжников из Нумеа. Они грабили торговцев на Новых Гебридах. Они убили купца в Ваникори и украли там двух женщин. Они…

Но Гриф уже не слышал его. Из-за деревьев, со стороны залива, донеслась сухая дробь выстрелов, и он бросился к берегу. Пираты с Таити в компании с преступниками из Новой Каледонии! Шайка отъявленных головорезов! А теперь они напали на его шхуну! Заячья Губа бежал за ним по пятам, и, не переставая брызгать слюной и плеваться, старался докончить свой рассказ о преступлениях белых дьяволов.

Ружейная пальба прекратилась так же внезапно, как и началась, но Гриф, мучимый предчувствиями, все бежал и бежал, пока на повороте не столкнулся с Маурири, мчавшимся навстречу ему с берега.

— Большой брат, — воскликнул, тяжело дыша, Человек-козел. — Я опоздал. Они захватили твою шхуну. Бежим! Они теперь будут искать тебя.

Он бросился в гору, прочь от берега.

— Где Браун? — спросил Гриф.

— На Большой скале. После расскажу. Бежим!

— А матросы с вельбота?

Маурири пришел в отчаяние от такой медлительности.

— Они на чужой шхуне с женщинами. Их не убьют. Я тебе верно говорю. Дьяволам нужны матросы. А тебя они убьют. Слушай! — Внизу у воды надтреснутый тенор выводил французскую охотничью песню. — Они уже высаживаются на берег. Я видел, как они захватили твою шхуну. Бежим!

3

Гриф никогда не дрожал за свою жизнь, однако он был далек и от ложного геройства. Он знал, когда нужно драться, а когда — бежать, и нисколько не сомневался в том, что сейчас самым правильным будет бегство. Вверх по дорожке, мимо старика, сидевшего в тени пальм, мимо Матаары, скорчившейся на пороге своего дома, промчался он следом за Маурири. По его пятам, как верный пес, бежал, задыхаясь, Заячья Губа. Сзади слышались крики преследователей, однако скорость, взятая Человеком-козлом, оказалась им не под силу. Широкая тропа сузилась, завернула

вправо и пошла круто в гору. Последняя травяная хижина была позади. Они проскочили сквозь густые заросли кассии, вспугнув рой огромных золотистых ос. Дорожка становилась все круче и круче и наконец превратилась в козью тропу. Маурири показал на открытый выступ скалы, по которому вилась чуть заметная тропинка.

— Только бы там пройти, Большой брат, а дальше мы уже будем в безопасности. Белые дьяволы туда не сунутся. Наверху много камней, и если кто пробует влезть, мы скатываем их ему на голову. А никакого другого пути нет. Они всегда останавливаются здесь и стреляют, когда мы пробираемся по скале. Бежим!

Через четверть часа они достигли того места, откуда начинался подъем по совершенно открытому склону.

— Погодите немного, а когда пойдете, так уж не зевайте, — предупредил их Маурири. Он выпрыгнул на яркий солнечный свет, и сразу же внизу хлопнуло несколько ружейных выстрелов. Пули защелкали вокруг, выбивая из скалы облачка пыли, но Маурири проскочил благополучно. За ним последовал Гриф. Одна пуля пролетела так близко, что Дэвид почувствовал, как его ударило в щеку осколком камня. Не пострадал и Заячья

Губа, хотя он пробирался медленнее всех.

Остаток дня они провели выше в горах, в лощине, где на толще вулканического туфа террасами росли таро и папайя. Здесь Гриф обдумал план действий и выслушал подробный рассказ Маурири о том, что произошло.

— Нам не повезло, — сказал Маурири. — Надо же, чтобы именно в эту ночь белые дьяволы отправились на рыбную ловлю. Мы входили в бухту в темноте. Дьяволы были на шлюпках и пирогах. Они шагу не делают без ружья. Одного матроса они застрелили. Браун вел себя очень храбро. Мы хотели проскочить в глубь залива, но они опередили нас и загнали к берегу между Большой скалой и деревней. Ружья и патроны мы спасли, а вот лодка досталась им. По ней-то они и узнали о твоем прибытии. Браун теперь на этой стороне Большой скалы, с ружьями и патронами.

— Почему же он не перебрался через Большую скалу и не предупредил меня, когда мы подошли к берегу?

— Он не знает дороги. Одни только козы да я знаем, как пройти. Я не подумал об этом и пополз сквозь кусты вниз, чтобы плыть к тебе. А белые дьяволы засели в кустах и обстреливали оттуда Брауна и матросов. За мной они тоже охотились

до самого рассвета и даже утром вон там в низине. Потом подошла твоя шхуна, и они стали ждать, чтобы ты сошел на берег. Я наконец выбрался из кустов, но ты был уже на берегу.

— Так это ты стрелял?

— Да, я хотел предупредить тебя, но они поняли и не стали отвечать, а у меня больше не было патронов.

— Рассказывай теперь ты, Заячья Губа, — обратился Гриф к коку с «Валетты».

Кок рассказывал мучительно долго, с бесконечными подробностями. С год он плавал на «Валетте» между Таити и Паумоту. Старый Дюпюи, хозяин шхуны, был также ее капитаном. В свое последнее плавание он нанял на Таити двух незнакомых моряков, одного — помощником, другого — вторым помощником. Кроме них, на шхуне был еще один новый человек — его Дюпюи вез на Фанрики в качестве своего торгового агента. Помощника звали Рауль Ван-Асвельд, второго помощника — Карл Лепсиус.

— Они братья, я знаю, я слышал, как они разговаривали ночью на палубе, когда думали, что все спят, — пояснил Заячья Губа.

«Валетта» крейсировала между островами Лоу, забирая с факторий Дюпюи перламутр и жемчуг.

Новый агент, Франс Амундсон, остался на острове Фанрики вместо Пьера Голяра, а Пьер Голяр сел на шхуну, намереваясь вернуться на Таити. Туземцы с Фанрики говорили, что при нем была кварта жемчуга, которую он должен был сдать Дюпюи. В первую же ночь после отплытия в каюте послышались выстрелы, а утром из каюты вытащили два мертвых тела — это были Дюпюи и Голяр — и выбросили их за борт. Матросы-таитяне забились в кубрик и двое суток сидели там без еды, а «Валетта» лежала в дрейфе. Тогда Рауль Ван-Асвельд велел Заячьей Губе приготовить пищу, всыпал в нее яду и заставил кока отнести котел вниз. Половина матросов умерла.

— Он наставил на меня ружье, что мне было делать? — со слезами говорил Заячья Губа. — Из тех, кто остался в живых — их было десять человек, — двое вскарабкались на ванты, там их и застрелили. Остальные попрыгали за борт, думали добраться до берега вплавь. Их всех перестреляли в воде. На шхуне остались только я и двое дьяволов. Меня они не убили, им нужен был кок, чтобы готовить пищу. В тот же день подул бриз, они вернулись на Фанрики и захватили Франса Амундсона, он тоже из их шайки.

Затем Заячья Губа рассказал о всех ужасах, ко-

торые пережил, пока шхуна долгими переходами подвигалась к западу. Он был единственным живым свидетелем совершенных преступлений и понимал, что, не будь он коком, его бы давно убили. В Нумеа к ним присоединились пятеро каторжников. Ни на одном из островов Заячьей Губе не разрешали сходить на берег, и Гриф был первым посторонним человеком, с которым ему удалось поговорить.

— Теперь они меня убьют, — говорил, брызгая слюной, Заячья Губа. — Они знают, что я вам все рассказал. Но я не трус. Я останусь с вами, капитан, и умру с вами.

Человек-козел покачал головой и встал.

— Лежи тут и отдыхай, — сказал он Грифу. — Ночью нам придется долго плыть. А кока я отведу повыше, туда, где живут мои братья вместе с козами.

4

— Хорошо, что ты умеешь плавать, как настоящий мужчина, — прошептал Маурири.

Из туфовой лощины они спустились к берегу и вошли в воду. Плыли тихо, без плеска. Маурири показывал дорогу. Черные стены кратера уходили ввысь, и пловцам казалось, что они находятся

на дне огромной чаши. Над головой тускло светилось небо, усыпанное звездной пылью. Впереди мерцал огонек, указывая, где стоит на якоре «Стрела». С палубы, ослабленные расстоянием, доносились звуки гимна. Это завели граммофон, предназначавшийся для Пилзаха.

Пловцы повернули влево, подальше от захваченной шхуны. Вслед за гимном послышался смех и пение, потом опять звуки граммофона. «Веди меня, о благодатный свет», — понеслось над темной водой, и Гриф невольно усмехнулся — так кстати пришлись эти слова.

— Мы должны доплыть до прохода и вылезть на Большой скале, — прошептал Маурири. — Дьяволы засели в низине. Слышишь?

Одиночные выстрелы, следовавшие через неровные промежутки времени, говорили о том, что Браун еще держится на скале и что пираты угрожают ему со стороны перешейка.

Через час они уже плыли вдоль Большой скалы, которая нависала над ними темной громадой. Ощупью отыскивая путь, Маурири привел Грифа в тесную расщелину, и они стали карабкаться вверх, пока не достигли узкого карниза на высоте ста футов над водой.

— Оставайся здесь, — сказал Маурири. — А я

пойду к Брауну. Вернусь утром.

— Я пойду с тобой, брат, — сказал Гриф.

Маурири усмехнулся в темноте.

— Даже тебе, Большой брат, не удастся это сделать. Меня зовут Человек-козел, и только один я на всем Фуатино могу ночью перебраться через Большую скалу. Но и я делаю это в первый раз. Дай руку. Чувствуешь? Вот здесь хранится динамит Пилзаха. Ложись поближе к скале и можешь спокойно спать — не упадешь. Я ухожу.

Прислушиваясь к шуму прибоя, грохотавшего далеко внизу, Гриф сидел на узком карнизе, рядом с тонной динамита, и обдумывал план дальнейших действий. Затем, подложив руку под голову, он прижался к скале и заснул.

Утром, когда Маурири повел его через перевал, Гриф понял, почему этот проход был бы невозможен для него ночью. Как моряк, он отлично умел взбираться на мачты и не боялся высоты, и все же впоследствии ему казалось чудом, что он вообще ухитрился пройти даже при ярком свете дня. Были места, где ему приходилось, следуя точным наставлениям Маурири, наклоняться над щелью футов в сто глубиной и, падая вперед на руки, цепляясь за какой-нибудь выступ на противоположной стороне, а затем уже осторож-

но подтягивать ноги. Один раз пришлось сделать прыжок через зияющую пропасть шириной в десять футов и глубиной футов в пятьсот с таким расчетом, чтобы стать ногами на крохотный выступ на другой стороне, футов на двадцать ниже. В другом месте, когда он шел по узкому, всего в несколько дюймов, карнизу и вдруг увидел, что ему не на что опереться руками, он, несмотря на все свое хладнокровие, растерялся. И Маурири, заметив, что он пошатнулся, быстро обошел его с краю, балансируя над самой пропастью, и на ходу больно ударил по спине, чтобы привести в чувство. Вот тогда-то Гриф понял раз и навсегда, почему Маурири прозвали Человеком-козлом.

5

Позиция на Большой скале давала обороняющимся ряд преимуществ, хотя и имела свои слабые стороны. Она была неприступна, — двое могли бы удержаться здесь против целой армии. Кроме того, она контролировала выход в открытое море; обе шхуны, вместе с Раулем Ван-Асвельдом и его головорезами, оказались запертыми в бухте. Гриф, который перенес сюда свою хранившуюся ниже тонну динамита, был хозяином положения. Это он неопровержимо до-

казал в то утро, когда шхуны попытались выйти в море. Впереди шла «Валетта», которую вел на буксире вельбот; гребцами на нем были захваченные в плен фуатинцы. Гриф и Маурири следили за ней из своего укрытия за скалой с высоты в триста футов. Рядом лежали ружья, а так же тлеющая головешка и большая связка динамита со вставленными шнурами и детонаторами. Когда вельбот проходил под самым утесом, Маурири покачал головой:

— Они наши братья, мы не можем стрелять!

На носу «Валетты» было несколько матросов со «Стрелы», все уроженцы Райатеи. Еще один их соплеменник стоял на корме у штурвала. Пираты, должно быть, прятались в каюте или были на «Стреле». Лишь один с винтовкой в руках расположился посреди палубы. Он прижал к себе Наумоо, дочь старой королевы Матаары, прикрываясь ею, как щитом.

— Это главный дьявол, — прошептал Маурири. — Глаза у него голубые, как у тебя. Он страшный человек. Посмотри, он прячется за Наумоо, чтобы мы его не убили.

Слабый ветерок и начинающийся прилив загоняли воду внутрь залива, и шхуна подвигалась медленно.

— Вы понимаете по-английски? — крикнул Гриф.

Человек вздрогнул, поднял ружье и взглянул вверх. Все движения у него были быстрыми и гибкими, как у кошки. Лицо, покрытое красноватым загаром, характерным для блондинов, выражало свирепый задор. Это было лицо убийцы.

— Да, — ответил он. — Чего вы хотите?

— Поворачивайте обратно или я взорву вашу шхуну, — предупредил его Гриф. Он раздул головешку и прошептал: — Скажи, чтобы Наумоо вырвалась и бежала на корму.

Со «Стрелы», шедшей следом за «Валеттой», прогремели выстрелы, и пули защелкали по скале. Ван-Асвельд вызывающе захохотал, а Маурири тем временем обратился на туземном наречии к Наумоо. Когда шхуна очутилась под самой скалой, девушка вырвалась из рук бандита. Гриф, ждавший этого момента, поднес головешку к спичке, вставленной в расщепленный конец шнура, вскочил из-за укрытия и бросил динамит. Ван-Асвельду удалось опять схватить Наумоо, и теперь они боролись. Человек-козел прицелился в него, но ждал, опасаясь задеть Наумоо. Динамит плотным свертком стукнулся о палубу, подскочил и скатился в шпигат левого борта.

Ван-Асвельд заметил это и в нерешительности остановился, а затем и он и Наумоо бросились на корму. Человек-козел выстрелил, но лишь расщепил угол камбуза.

Огонь со «Стрелы» усилился, и двое на скале вынуждены были притаиться за укрытием. Маурири хотел было высунуться и посмотреть, что делается внизу, но Гриф удержал его.

— Чересчур длинный шнур, — сказал он. — В следующий раз будем знать.

Взрыв грохнул только через полминуты. Того, что за этим последовало, они не видели, ибо на «Стреле» определили наконец дистанцию и оттуда вели непрерывный огонь. Гриф отважился было выглянуть, но тотчас две пули просвистели у него над головой. Он успел, однако, увидеть, что «Валетта» с проломленным правым бортом и сорванным планширем, кренясь, уходит под воду. Течением ее относило обратно в бухту. Прятавшиеся в каюте пираты и женщины подплыли под прикрытием огня к «Стреле» и теперь карабкались на борт. Гребцы фуатинцы отдали буксир, повернули обратно в бухту и гребли изо всех сил к южному берегу.

Со стороны перешейка хлопнуло четыре выстрела — это Браун со своими людьми пробрался

сквозь чащу и вступил в бой. Огонь со «Стрелы» ослабел, и Гриф с Маурири поддержали Брауна, но их выстрелы не могли нанести противнику большого вреда, ибо пираты, отстреливаясь, укрывались за палубными надстройками. К тому же ветром и течением «Стрелу» относило все дальше в глубь бухты. От «Валетты» не оставалось уже и следа. Она исчезла в бездонных водах кратера.

Два маневра Ван-Асвельда, свидетельствовавшие о его хладнокровии и находчивости, вызвали невольное восхищение Грифа. Ружейный огонь, который вели пираты со «Стрелы», вынудил убегавших фуатинцев повернуть обратно и сдаться. Одновременно Ван-Асвельд отрядил половину своих бандитов на берег, с тем чтобы они отрезали Брауна от основной части острова. Все утро с перешейка доносилась пальба, то замолкая, то вспыхивая вновь, и по ней Гриф мог следить, как Брауна теснили к Большой скале. Таким образом, за исключением гибели «Валетты», все оставалось по-прежнему.

6

Но позиция на Большой скале имела и существенные неудобства. Там не было ни воды, ни

пищи. По ночам Маурири, в сопровождении одного из матросов, уплывал на другой берег за припасами. Но пришла ночь, когда огни осветили гладь залива и загремели выстрелы. Так были отрезаны и водные подступы к скале.

— Интересное положение, — заметил Браун, некогда мечтавший о приключениях и теперь имевший возможность полностью ими насладиться. — Мы их держим в руках, но они нас тоже. Рауль не может удрать, но зато мы можем умереть с голоду, пока его сторожим.

— Хоть бы дождь пошел, тогда наполнились бы все, какие тут есть впадины, — сказал Маурири. Уже сутки они сидели без воды. — Большой брат, сегодня ночью мы с тобой достанем воду. Это могут сделать только сильные люди.

В ту ночь, захватив с собой несколько калабашей с тщательно пригнанными пробками, каждый вместимостью в кварту, Гриф и Маурири опустились к морю по склону скалы, обращенному к перешейку. Они отплыли от берега футов на сто. Где-то недалеко время от времени позвякивали уключины или глухо ударялось весло о борт пироги. Иногда вспыхивала спичка — это кто-нибудь из караульных закуривал сигарету или трубку.

— Подожди здесь, — прошептал Маурири. — Держи калабаши.

Он нырнул. Гриф, опустив лицо в воду, видел его фосфоресцирующий след, уходивший в глубину. Потом след потускнел и пропал совсем. Прошла долгая минута, прежде чем Маурири бесшумно вынырнул на поверхность рядом с Грифом.

— На, пей!

Калабаш был полон, и Гриф с жадностью стал пить свежую пресную воду, добытую из морской пучины.

— Там бьют ключи, — сказал Маурири.

— На дне?

— Нет, из берега. До дна оттуда так же далеко, как до вершины горы. Это на глубине пятидесяти футов. Опускайся, пока не почувствуешь холода.

Несколько раз вдохнув всей грудью и выдохнув воздух, как обычно делают пловцы перед тем как нырнуть, Гриф ушел под воду. Она была соленая на вкус и теплая. Потом, уже на порядочной глубине, она заметно охладилась и стала менее соленой. Внезапно Гриф почувствовал, что попал в холодную струю. Он вынул пробку, и пресная вода, булькая, стала вливаться в калабаш. Мимо, словно морской призрак, проплыла огромная рыба, оставляя за собой светящийся след.

В дальнейшем Гриф, оставаясь на поверхности, держал постепенно тяжелеющие калабаши, а Маурири нырял и наполнял их один за другим.

— Здесь есть акулы, — сказал Гриф, когда они поплыли обратно к берегу.

— Не страшно, — последовал ответ. — Эти акулы едят только рыбу. Мы, фуатинцы, братья таким акулам.

— А тигровые акулы? Я как-то видел их здесь.

— Если они сюда приплывут, мы останемся без воды, разве только пойдет дождь.

7

Через неделю Маурири и один из матросов, отправившись за пресной водой, вернулись с пустыми калабашами. В залив проникли тигровые акулы. На следующий день на Большой скале все мучились от жажды.

— Надо рискнуть, — сказал Гриф. — Сегодня ночью за водой поплыву я с Маутау. А завтра ты с Техаа.

Гриф успел наполнить всего лишь три калабаша, как вдруг появились акулы и загнали пловцов на берег. На скале было шестеро человек, на каждого, стало быть, пришлось по одной пинте воды на весь день, а этого под тропическим солнцем

недостаточно для человеческого организма. На следующую ночь Маурири и Техаа вернулись вовсе без воды. И в тот день, который последовал за этой ночью, Браун узнал, что такое настоящая жажда — когда потрескавшиеся губы кровоточат, небо и десны облеплены густой слизью и распухший язык не умещается во рту.

Стемнело, и Гриф отправился за водой вместе с Маутау. Они по очереди ныряли вглубь, где бил холодный ключ, и, пока наполнялись калабаши, с жадностью глотали пресную воду. С последним калабашем нырнул Маутау. Гриф сверху видел, как промелькнули тускло светящиеся тела чудовищ, и по фосфорическим следам различил все перипетии подводной драмы. Обратно он поплыл один, но не выпустил из рук драгоценный груз — наполненные калабаши.

Осажденные голодали. На скале ничего не росло. Внизу, где об утесы с грохотом разбивался прибой, можно было найти сколько угодно съедобных ракушек, но склон был слишком крут и недоступен. Кое-где по расщелинам удавалось иной раз спуститься к воде и набрать немного тухлых моллюсков и морских ежей. Бывало, что в западню попадался фрегат или какая-нибудь другая морская птица. Один раз на наживку из

мяса фрегата им посчастливилось поймать акулу. Они сберегли ее мясо для приманки и еще раз или два ловили на него акул.

Но с водой положение по-прежнему было отчаянное. Маурири молил козьего бога послать им дождь, Таути просил о том же бога миссионеров, а двое его земляков с Райатеи, отступив от своей новой веры, взывали к божествам былых языческих дней. Гриф усмехался и о чем-то размышлял, а Браун, у которого язык почернел и вылезал изо рта и взгляд стал совсем диким, проклинал все на свете. Особенно он свирепел по вечерам, когда в прохладных сумерках с палубы «Стрелы» доносились звуки священных гимнов. Один гимн — «Где нет ни слез, ни смеха» — каждый раз приводил его в бешенство. Эта пластинка, видимо, нравилась на шхуне: ее заводили чаще других. Браун, невыносимо страдавший от голода и жажды, временами от слабости почти терял сознание. Он мог лежать на скале и спокойно слушать бренчание гитары или укулеле и пение хуахинских женщин; но лишь только над водой раздавались голоса хора, он выходил из себя. Однажды вечером надтреснутый тенор стал подпевать пластинке:

Где нет ни слез, ни смеха,

Там скоро буду я.
Где нет ни зимы, ни лета,
Где все одето светом,
Там буду я,
Там буду я.

Браун поднялся. Схватил винтовку, не целясь, вслепую, он выпустил всю обойму по направлению шхуны. Снизу донесся смех мужчин и женщин, а с перешейка прогремели ответные выстрелы. Но надтреснутый тенор продолжал петь, и Браун все стрелял и стрелял до тех пор, пока гимн не кончился.

В эту ночь Гриф и Маурири вернулись всего с одним калабашем воды. На плече у Грифа не хватало двух дюймов кожи — эту памятку оставила ему акула, задевшая его своим жестким, как наждак, боком в ту минуту, когда он увернулся от нее.

8

Однажды ранним утром, когда солнце не начало еще палить по-настоящему, от Ван-Асвельда пришло предложение начать переговоры. Браун принес эту весть со сторожевого поста, устроенного в скалах ста ярдами ниже. Сидя на корточках

перед маленьким костром, Гриф поджаривал кусок акульего мяса. За последние сутки им повезло. Они набрали водорослей и морских ежей, Техаа выловил акулу, а Маурири, спустившись вниз по расщелине, где хранился динамит, поймал довольно крупного спрута. К тому же они успели ночью дважды сплавать за водой до того, как их выследили тигровые акулы.

— Говорит, что хотел бы прийти и побеседовать с вами, — сообщил Браун. — Но я знаю, чего этому скоту нужно. Хочет посмотреть, скоро ли мы тут подохнем с голоду.

— Ведите его сюда, — сказал Гриф.

— И мы его убьем, — радостно воскликнул Человек-козел.

Гриф отрицательно покачал головой.

— Но ведь он убийца, Большой брат. Он зверь и дьявол! — возмутился Маурири.

— Нельзя его убивать. Мы не можем нарушить свое слово. Такое у нас правило.

— Глупое правило!

— Все равно, это наше правило, — твердо сказал Гриф, переворачивая на углях кусок мяса, и, заметив, какими голодными глазами смотрит на это мясо Техаа и с какой жадностью он вдыхает запах жареного, добавил: — Не показывай вида,

что ты голоден, Техаа, когда Большой дьявол будет здесь. Веди себя так, как будто ты никогда и не слыхал, что такое голод. Изжарь-ка вот этих морских ежей. А ты, брат, приготовь спрута. Главный дьявол будет с нами завтракать. Ничего не оставляйте, жарьте все.

Когда Ван-Асвельд в сопровождении большого ирландского терьера подошел к лагерю, Гриф, все еще сидевший перед костром, поднялся ему навстречу. Рауль благоразумно не сделал попытки обменяться с ним рукопожатием.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я много о вас слышал.

— А я предпочел бы ничего о вас не слышать, — ответил Гриф.

— То же самое и я, — отпарировал Рауль. — Сначала я не знал, что это вы, и думал, так, обыкновенный капитан торговой шхуны. Вот почему вам удалось запереть меня в бухте.

— Должен, к стыду своему, признаться, что и я вас вначале недооценил,

— усмехнулся Гриф. — Думал, так, мелкий жулик, и не догадался, что имею дело с прожженным пиратом и убийцей. Вот почему я потерял шхуну. Так что мы, в общем, квиты.

Даже сквозь загар, покрывавший лицо Рауля,

видно было, что он весь побагровел, однако он сдержался. Взгляд его недоуменно остановился на съестных припасах и на калабашах с водой, но он ничем не выдал своего удивления. Он был высок ростом, строен и хорошо сложен. Гриф вглядывался в него, стараясь разгадать, что за человек стоит перед ним. Светлые глаза Рауля смотрели властно и проницательно, но они были посажены чересчур близко, — не настолько, чтобы вызывать впечатление уродства, а просто чуточку ближе, чем того требовал весь склад его лица: широкий лоб, крепкий подбородок, тяжелые челюсти и выдающиеся скулы. Сила! Да, его лицо выражало силу, и все же Гриф смутно угадывал, что в этом человеке чего-то недостает.

— Мы оба сильные люди, — сказал Рауль с легким поклоном. — Сто лет назад мы могли бы спорить за обладание целыми империями.

Гриф, в свою очередь, поклонился.

— А сейчас мы, увы, ссоримся из-за нарушения закона в колониях тех самых империй, судьбы которых мы могли бы вершить сто лет назад.

— Да, все тлен и суета, — философски изрек Рауль, садясь у костра. — Продолжайте, пожалуйста, свой завтрак. Не обращайте на меня внимания.

— Не хотите ли к нам присоединиться? — при-

гласил его Гриф.

Рауль внимательно посмотрел на него и принял приглашение.

— Я весь в поту, — сказал он — Можно умыться?

Гриф утвердительно кивнул и приказал Маурири подать калабаш. Драгоценная влага вылилась на землю. Рауль пытливо заглянул в глаза Маурири, но лицо Человека-козла не выражало ничего, кроме полного безразличия.

— Моя собака хочет пить, — сказал Рауль.

Гриф опять кивнул, и еще один калабаш подали собаке. Снова Рауль пристально вглядывался в лица туземцев и снова ничего не увидел.

— К сожалению, у нас нет кофе, — извинился Гриф. — Придется вам удовольствоваться простой водой. Еще калабаш, Техаа! Попробуйте акульего мяса. А на второе у нас спрут и морские ежи с салатом из водорослей. Жалко, что нет фрегатов. Ребята вчера поленились и не ходили на охоту.

Гриф был так голоден, что, кажется, проглотил бы и политые салом гвозди, однако он ел с видимой неохотой и бросал куски собаке.

— Никак не привыкну к этому варварскому меню, — вздохнул он, окончив завтрак. — Вот консервов, которые остались на «Стреле», я бы

поел с удовольствием, а эта дрянь... — Он взял большой поджаренный кусок акульего мяса и швырнул его собаке. — Но, видно, придется привыкать, раз вы еще не намерены сдаться.

Рауль неприязненно рассмеялся.

— Я пришел предложить условия, — колко сказал он.

Гриф покачал головой.

— Никаких условий. Я держу вас за горло и отпускать не собираюсь.

— Вы что же, воображаете, что навек заперли меня в этой мышеловке? — воскликнул Рауль.

— Да уж живым вы отсюда не выйдете, разве что в кандалах. — Гриф задумчиво оглядел своего гостя. — Я ведь не первый раз имею дело с такими, как вы. Только я думал, что мы давно уже очистили Океанию от подобной публики. Вы представляете собой, так сказать, живой анахронизм, и от вас надо как можно скорее избавиться. Я лично советовал бы вам вернуться на шхуну и пустить себе пулю в лоб. Это для вас единственный шанс избежать тех неприятностей, которые вам предстоят в будущем.

Таким образом, переговоры, по крайней мере для Рауля, окончились ничем, и он отправился восвояси, вполне убежденный, что люди на скале

могут продержаться еще целый год. Он быстро переменил бы мнение, если бы видел, как, едва он исчез за склоном, матросы и Техаа бросились подбирать оставшиеся после собаки объедки, как они ползая по скале, выискивали каждую крошку мяса, обсасывали каждую косточку.

9

— Сегодня придется поголодать, — сказал Гриф, — но это лучше, чем потом долго мучиться от голода. Очень хорошо, что Большой дьявол поел с нами и вволю напился воды — зато, ручаюсь, теперь он не станет здесь задерживаться. Он, может быть, уже завтра попробует уйти. Этой ночью, Маурири, мы с тобой будем спать на том склоне Большой скалы. А если Техаа сможет добраться туда, то и его возьмем, — он метко стреляет.

Среди матросов-канаков один Техаа умел лазить по утесам и способен был преодолеть опасный путь. На рассвете следующего дня он уже лежал в защищенной скалами нише, ярдов на сто правее того места, где укрепились Гриф и Маурири.

Первым предупреждением были выстрелы на перешейке; они означали, что бандиты отходят через чащу к заливу и что Браун с двумя матро-

сами их преследует. Но прошел еще час, прежде чем Гриф из своего орлиного гнезда на утесе увидел «Стрелу», направлявшуюся к проходу. Как и в первый раз, она шла за вельботом, и гребли на нем пленные фуатинцы. Пока они медленно проплывали под Большой скалой, Маурири, по указанию Грифа, объяснил им, что они должны делать. На скале рядом с Грифом лежало несколько связок динамитных шашек с очень короткими шнурами.

На палубе «Стрелы» было много народу. Один из бандитов, в котором Маурири узнал брата Рауля, с ружьем в руке стоял на баке среди матросов. Другой поместился на юте, рядом с рулевым. К нему грудь с грудью была привязана веревкой старая королева Матаара. По другую сторону от рулевого стоял капитан Гласс с рукой на перевязи. Рауль, как и в первый раз, стоял на середине палубы, прикрываясь связанной с ним Наумоо.

— Доброе утро, мистер Дэвид Гриф, — крикнул он, глядя вверх.

— А ведь я предупреждал вас, что вы покинете остров только в кандалах, — укоризненно откликнулся Гриф.

— Вы не посмеете убить всех людей на борту, — ответил Рауль. — Ведь это же ваши люди.

Шхуна, подвигавшаяся очень медленно, рывками, в такт со взмахами весел на вельботе, теперь оказалась почти под самой скалой. Фуатинцы продолжали грести, но стали заметно слабее налегать на весла, и тотчас бандит, стоявший на баке, прицелился в них из ружья.

— Бросай, Большой брат! — крикнула Наумоо на фуатинском наречии. — Сердце мое разрывается от горя, и я хочу умереть. Он уже приготовил нож, чтобы перерезать веревку, но я схвачу его и буду крепко держать. Не бойся, Большой брат, бросай. Бросай скорее… И прощай!

Гриф в нерешительности опустил головешку, которую он только что раздувал.

— Бросай! — молил Человек-козел.

Но Гриф все колебался.

— Если они выйдут в море, Большой брат, Наумоо все равно погибнет. А что будет с остальными? Что ее жизнь по сравнению с жизнью многих?

— Попробуйте только выстрелить или бросить динамит, и мы перебьем всех на шхуне, — крикнул Рауль. — Я победил вас, Дэвид Гриф! Вы не можете убить всех этих людей, а я могу. Тихо, ты!

Последнее относилось к Наумоо, продолжав-

шей взывать к Грифу на своем родном языке. Рауль схватил ее одной рукой за горло и стал душить, чтобы заставить замолчать, а она крепко обхватила его вокруг пояса и умоляюще глядела вверх.

— Бросайте, мистер Гриф! Взорвите их ко всем чертям! — зычным басом прогремел капитан Гласс. — Это подлые убийцы. Их там полным-полно, в каюте.

Бандит, к которому была привязана старая королева, обернулся и пригрозил капитану Глассу ружьем, но тут Техаа, давно уже целившийся в него со скалы, спустил курок. Ружье выпало из рук пирата, невероятное удивление отразилось на его лице, ноги подогнулись, и он повалился на палубу, увлекая за собой королеву.

— Лево руля! Еще лево руля! — крикнул Гриф. Капитан Гласс вместе с канаком рулевым быстро перехватили ручки штурвала, и «Стрела» пошла прямо на скалу. Рауль все еще боролся с Наумоо. Его брат кинулся с бака ему на помощь. Грянули выстрелы из винтовок Техаа и Маурири, но оба они промахнулись. Брат Рауля приставил ружье к груди Наумоо — и в эту самую секунду Гриф прикоснулся головешкой к спичке, вставленной в конец шнура. Обеими руками он поднял и швыр-

нул вниз тяжелую пачку, и тут же прогремел выстрел. Наумоо пошатнулась, ее тело рухнуло на палубу одновременно с падением динамита. На этот раз шнур был достаточно короткий и взрыв произошел сразу. Та часть палубы, где находился Рауль, его брат и Наумоо, исчезла как по мановению ока.

Борт шхуны был пробит, и она стала быстро тонуть. Матросы канаки попрыгали с бака в воду. Первого выскочившего из каюты бандита капитан Гласс ударил ногой в лицо, но был смят и сшиблен остальными. Следом за бандитами выскочили женщины с Хуахине и тоже попрыгали за борт. А «Стрела» тем временем все погружалась и, наконец, стала килем на дно рядом со скалой. Верхушки ее мачт торчали над водой.

Грифу сверху хорошо было видно, что делалось под водой. Он видел, как Матаара на глубине сажени отвязала себя от мертвого пирата и вынырнула на поверхность. Тут она заметила, что рядом тонет капитан Гласс: он не мог плыть. И королева — старая женщина, но истая дочь островов — нырнула за ним и, поддерживая его голову над водой, помогла ему добраться до мачты.

На поверхности воды среди множества темных голов виднелось пять рыжих и русых. Гриф с

винтовкой у плеча ждал, когда удобнее будет выстрелить. Человек-козел тоже прицелился; через минуту он спустил курок — одно тело медленно пошло ко дну. Но мщение совершилось и без их участия, руками матросов канаков. Эти огромные, могучие островитяне, умевшие плавать, как рыбы, быстро рассекая воду, устремились туда, где мелькали русые и рыжие головы. Сверху было видно, как четверых оставшихся пиратов схватили, утащили под воду и утопили там, как щенят.

За десять минут все было кончено. Женщины с Хуахине со смехом и визгом цеплялись за борта вельбота. Матросы канаки, ожидая приказаний, собрались вокруг торчавшей из воды мачты, за которую держались капитан Гласс и Матаара.

— Бедная «Стрела»! — стонал капитан Гласс. — Пропала моя голубушка!

— Ничего подобного, отозвался Гриф со скалы. — Через неделю мы ее поднимем, починим борт и пойдем дальше. — Обращаясь к королеве, он спросил: — Ну как, сестра?

— О брат мой, Наумоо умерла и Мотуаро умер, но Фуатино опять наш. День только начинается. Я пошлю в горы оповестить мой народ, и сегодня вечером мы снова, как никогда раньше, будем пировать и веселиться в Большом доме.

— Давно уже надо было переменить ей шпангоуты в средней части, — сказал капитан Гласс. — А вот хронометрами не придется пользоваться до самого конца плавания.

Шутники с Нью-Гиббона

1

— Сказать по правде, я даже боюсь везти вас на Нью-Гиббон, — сказал Дэвид Гриф. — Ведь пока вы и англичане не уехали с острова и не развязали мне рук, я ничего не мог добиться и топтался на месте.

Валленштейн, германский резидент из Бугенвиля, налил себе щедрую порцию шотландского виски с содовой и улыбнулся.

— Мистер Гриф, мы преклоняемся перед вами, — сказал он на отличном английском языке. — Вы совершили чудо на этом проклятом острове. И мы больше не станем вмешиваться в ваши дела. Это действительно остров дьяволов, а старый Кохо — самый главный дьявол. Сколько мы ни пытались договориться с ним, все напрасно. Он страшный лжец и далеко не дурак. Прямо-таки чернокожий Наполеон или Талейран, но только Талейран — людоед, охотник за головами. Помнится, лет шесть тому назад я прибыл сюда с английским крейсером. Негры тут же попрятались в зарослях, но некоторым не удалось скрыться. Среди них

была последняя жена Кохо. Ее подвесили за руку, и она двое суток коптилась на солнце. Мы сняли ее, но она все равно умерла. А потом в реке нашли еще трех женщин, погруженных по самую шею в холодную проточную воду. У них были перебиты все кости. Очевидно, при таком способе приготовления они должны стать вкуснее. Когда мы вытащили этих несчастных, они еще дышали. Удивительно живучий народ! Самая старшая из них протянула потом, кажется, дней десять… Да, вот вам примерное «меню» Кохо. Настоящий дикий зверь. И как вам удалось усмирить его, остается для нас загадкой.

— Я бы не сказал, что мы его усмирили, — ответил Гриф, — хоть иногда он приходит на плантацию и чуть ли не ест из рук.

— Да, но все-таки вы добились куда большего, чем мы со всеми нашими крейсерами. Ни немцы, ни англичане его в глаза не видели. Вы были первый…

— Нет, не я, — возразил Гриф, — первым был Мак-Тэвиш.

— Ах да, я помню его. Такой маленький, сухощавый шотландец. Его еще называли «Миротворец».

Гриф кивнул.

— Я слышал, что жалованье, которое он получает у вас, больше, чем мое или английского резидента?

— Боюсь, что так. И поверьте — только не обижайтесь, пожалуйста, — он стоит этих денег. Мак-Тэвиш всегда там, где пахнет резней. Он просто маг и волшебник. Без него мне никогда бы не обосноваться на Нью-Гиббоне. Сейчас он на Малаите расчищает плантацию.

— Первую?

— Да. На всей Малаите нет даже фактории. До сих пор вербовщики обтягивают свои лодки колючей проволокой. И вот теперь там разбита плантация. Ну что же, через полчаса мы будем на месте. — Гриф протянул гостю бинокль. — Вон там, слева от бунгало, вы видите навесы для лодок. Сзади — бараки. А справа — навесы для копры. Мы уже высушиваем немало копры. Старый Кохо настолько цивилизовался, что заставляет своих людей собирать для нас кокосовые орехи. А вон и устье реки, в которой вы нашли трех искалеченных женщин.

«Уондер» под всеми парусами шел прямо к месту якорной стоянки. Судно, подгоняемое легким бризом, лениво покачивалось на стеклянной поверхности моря, подернутого легкой

рябью. Заканчивался сезон дождей, воздух был тяжелый и насыщенный влагой, по небу неслись бесформенные массы причудливых облаков. Они заволакивали остров серой пеленой, сквозь которую мрачно проступали извилистые очертания берегов и горные вершины. Один мыс обжигали горячие лучи солнца, а другой, в какой-нибудь миле поодаль, заливали потоки дождя.

Нью-Гиббон — сырой, богатый и дикий остров — расположен в пятидесяти милях от Шуазеля. Географически он входит в группу Соломоновых островов, а политически лежит как раз на границе между английской и немецкой сферами влияния и поэтому находится под объединенным контролем резидентов Англии и Германии. Однако контроль этот существовал только на бумаге, в решениях, вынесенных колониальными ведомствами обеих стран. Фактически никакого контроля не было и в помине. Ловцы трепангов и близко не подходили к Нью-Гиббону. Торговцы сандаловым деревом, умудренные горьким опытом, тоже перестали навещать его. Вербовщикам не удалось завербовать здесь ни одного туземца для работы на плантациях, а после того, как на шхуне «Дорсет» был вырезан весь экипаж, они вообще не наезжали сюда.

Позднее одна немецкая компания попыталась разбить на Нью-Гиббоне плантацию кокосовых пальм; но когда несколько управляющих и много рабочих сложили здесь свои головы, плантация была заброшена. Немецким и английским крейсерам так и не удалось заставить чернокожих обитателей Нью-Гиббона внять голосу рассудка. Четырежды миссионеры начинали свое мирное наступление на остров и каждый раз спасались бегством, бросив тех, кто погиб от ножа и болезней.

Снова прибывали крейсеры, снова туземцев усмиряли, но усмирить никак не могли. Они прятались в зарослях кустарника и дружно смеялись под вой снарядов. Когда военные корабли уходили, они снова строили свои травяные хижины, сожженные белыми, и снова складывали печи стародедовским способом.

Нью-Гиббон — большой остров: миль полтораста в длину и семьдесят пять в ширину. Наветренный скалистый берег почти недоступен для судов: ни бухты, ни удобной якорной стоянки. Населяли его десять племен, которые постоянно враждовали между собой, по крайней мере до тех пор, пока не появился Кохо. Силой оружия и хитрой политикой он, подобно Камеха-

меха, объединил большинство племен в этакую конфедерацию. Кохо запрещал своим подданным устанавливать какие бы то ни было связи с белыми и был совершенно прав, поскольку европейская цивилизация не сулила для его народа ничего хорошего. После последнего крейсера он был безраздельным хозяином острова, но вот сюда прибыли Дэвид Гриф и Мак-Тэвиш-Миротворец; они высадились на пустынном берегу, где когда-то стояли немецкое бунгало, бараки и дома английских миссионеров.

Война следовала за войной, короткое перемирие — и снова война. Маленький, сухощавый шотландец умел не только устанавливать мир, но и учинить резню. Ему мало было одного побережья; он привез с Малаиты бушменов и прошел по кабаньим тропам в глубину джунглей. Он сжигал деревни до тех пор, пока Кохо не надоело отстраивать их заново, а когда Мак-Тэвиш захватил в плен старшего сына Кохо, вождю ничего не оставалось, как начать переговоры. Во время этих переговоров Мак-Тэвиш установил весьма своеобразный обменный курс на головы: за одного белого он обещал убивать десять соплеменников Кохо. После того как Кохо убедился, что шотландец — человек слова, на острове впервые

воцарился прочный мир.

А Мак-Тэвиш тем временем выстроил бунгало и бараки, расчистил по побережью джунгли и разбил плантацию. Потом он отправился на атолл Тасмана, где бушевала чума; знахари утверждали, что зараза исходит от плантации Грифа. Через год его снова призвали на Нью-Гиббон, чтобы усмирить туземцев, и, уплатив штраф в размере двухсот тысяч кокосовых орехов, старый вождь решил, что гораздо выгоднее поддерживать мир и продавать кокосовые орехи, чем отдавать их даром. К тому времени он утратил воинственный пыл юности, состарился и охромел на одну ногу: пуля из винтовки Ли-Энфилда продырявила ему икру.

2

— Я знал одного малого на Гавайях, — сказал Гриф, — управляющего сахарной плантацией; так вот он обходился в таких случаях молотком и десятипенсовым гвоздем.

Они сидели на широкой веранде бунгало и наблюдали, как Уорс, здешний управляющий, врачует больных. Это были рабочие из Нью-Джорджии, всего человек двенадцать, и последним в очереди стоял парень, которому надо было

вырвать зуб. Первая попытка была неудачной. Уорс одной рукой вытирал пот со лба, а в другой держал щипцы и помахивал ими в воздухе.

— И верно, сломал немало челюстей, — мрачно пробурчал Уорс.

Гриф покачал головой. Валленштейн улыбнулся и приподнял брови.

— Во всяком случае, он об этом не рассказывал, — ответил Гриф. — Больше того, он уверял меня, что у него всегда получается с первого раза.

— Я видел, как это проделывают, когда плавал вторым помощником на одном английском судне, — вставил капитан Уорд. — Наш старик пользовался колотушкой, которой конопатят судно, и стальной свайкой. Он тоже выбивал зуб с первого удара.

— По мне лучше щипцы, — пробурчал Уорс, засовывая их в рот чернокожего.

Он начал тащить, но больной взвыл и едва не соскочил со стула.

— Да помогите же кто-нибудь, наконец, — взмолился управляющий, — держите его крепче!

Гриф и Валленштейн схватили беднягу с двух сторон и прижали к спинке стула. Однако тот яростно отбивался и все сильнее стискивал щипцы зубами. Все четверо раскачивались из

стороны в сторону. От жары и напряжения пот лил с них градом. Пот лил и с пациента, но не от жары, а от страшной боли. Вот опрокинулся стул, на котором он сидел. Уорс умолял своих помощников приналечь еще немножко, приналег сам и, сдавив щипцы так, что зуб хрустнул, изо всех сил дернул…

Из-за возни никто не заметил, как какой-то туземец небольшого роста, прихрамывая, поднялся по ступенькам веранды, остановился на пороге и стал с интересом смотреть на происходящее.

Кохо был очень консервативен. Его отец, дед и прадед не носили одежды, Кохо тоже предпочитал ходить голым и обходился даже без набедренной повязки. Многочисленные дырки в носу, губах и ушах свидетельствовали о том, что когда-то Кохо обуревала страсть к украшениям. Мочки его ушей были разорваны, и величину бывших отверстий можно было легко определить по длинным полоскам иссохшего мяса, свисающим до самых плеч. Теперь он заботился только об удобствах и одну из шести дырок в правом ухе приспособил под короткую глиняную трубку. На нем был широкий дешевый пояс из искусственной кожи, а за поясом блестело лезвие длинного ножа. На поясе висела бамбуковая коробка с

бетелем. В руке он держал короткоствольную крупнокалиберную винтовку системы Снайдер. Он был невообразимо грязен, весь в шрамах, и самый ужасный шрам оставила на левой ноге пуля винтовки Ли-Энфилда, вырвав у него половину икры. Впалый рот говорил о том, как мало зубов осталось у Кохо. Лицо его сморщилось, тело высохло, и лишь маленькие черные глаза ярко блестели, и в них было столько беспокойства и затаенной тоски, что они были больше похожи на обезьяньи глаза, чем на человеческие.

Он смотрел и усмехался, как маленькая злая обезьянка. Нет ничего удивительного в том, что он испытывал удовольствие при виде страданий пациента, ибо мир, в котором он жил, был миром страданий. Ему не раз причиняли боль, и еще чаще он причинял ее другим. Когда больной зуб был наконец вырван и щипцы, проскрежетав по другим зубам, вытащили его наружу, глаза старого Кохо радостно сверкнули. Он с восторгом смотрел на беднягу, который упал на пол и отчаянно вопил, сжимая руками голову.

— Как бы он не потерял сознание, — сказал Гриф, склоняясь над негром.

— Капитан Уорд, дайте ему, пожалуйста, выпить. И вам самому надо выпить, Уорс, вы

дрожите, как осиновый лист.

— Пожалуй, и я выпью глоток, — сказал Валленштейн, вытирая со лба пот. Вдруг он увидел на полу тень Кохо, а потом и самого вождя. — Хэлло! Это кто такой?

— Здравствуй, Кохо! — сердечно приветствовал его Гриф, но здороваться за руку не стал.

Когда Кохо родился, колдуны запретили ему прикасаться к белому человеку, и это стало табу.

Уорс и капитан «Уондера» Уорд тоже поздоровались с Кохо, но Уорс нахмурился, когда увидел в руках Кохо снайдер, ибо строго-настрого запретил бушменам приносить на плантацию огнестрельное оружие. Это тоже было табу. Управляющий хлопнул в ладоши, и тотчас же прибежал мальчик-слуга, завербованный в Сан-Кристобале. По знаку Уорса он отобрал у Кохо винтовку и унес ее внутрь бунгало.

— Кохо, — сказал Гриф, представляя немецкого резидента, — это большой хозяин из Бугенвиля, да-да, очень большой хозяин.

Кохо, очевидно, припомнил визиты немецких крейсеров и усмехнулся, а в глазах у него вспыхнул недобрый огонек.

— Не здоровайтесь с ним за руку, Валленштейн, — предупредил Гриф. — Это табу, понимаете?

— Потом он сказал Кохо: — Честное слово, ты стал очень уж жирный. Не хочешь ли жениться на новой Марии? А?

— Мой очень старый, — ответил Кохо, устало качая головой. — Мой не любит Мария. Мой не любит кай-кай (пищу). Скоро мой совсем умрет. — Он выразительно посмотрел на Уорса, который допивал стакан, запрокинув голову. — Мой любит ром.

Гриф покачал головой.

— Для черных парней это табу.

— Тот черный парень — это не табу, — возразил Кохо, кивая на рабочего, который все еще стонал.

— Он больной, — объяснил Гриф.

— Мой тоже больной.

— Ты большой врун, — рассмеялся Гриф. — Ром — табу. Всегда — табу. Кохо, у нас будет большой разговор с этим большим хозяином из Бугенвиля.

Гриф, Валленштейн и старый вождь уселись на веранде и заговорили о государственных делах. Старого вождя хвалили за то, что он ведет себя спокойно, а Кохо жаловался на свою дряхлость и немощь и клялся, что теперь между ними будет вечный мир. Потом обсуждался вопрос о создании

немецкой плантации в двадцати милях отсюда по побережью. Землю под плантацию, разумеется, нужно было купить у Кохо, заплатив ему табаком, ножами, бусами, трубками, топорами, зубами морской свинки и раковинами, которые заменяют туземцам деньги. Платить можно было чем угодно, но только не ромом. Пока они совещались, Кохо то и дело поглядывал в окно и видел, как Уорс приготовлял какие-то лекарства, а бутылки ставил в аптечный шкаф. Закончив работу, Уорс налил себе стакан шотландского виски. Кохо прекрасно запомнил бутылку. Когда совещание кончилось, он битый час проторчал в комнате, но ему так и не представился подходящий момент: его ни на минуту не оставляли одного. Когда Гриф и Уорс снова заговорили о делах, Кохо понял, что сегодня у него ничего не выйдет.

— Мой пойдет на шхуна, — объявил он и, прихрамывая, вышел из бунгало.

— Как низко пали великие мира сего! — засмеялся Гриф. — Даже не верится, что когда-то этот Кохо был самым страшным и кровожадным дикарем на Соломоновых островах и открыто выступал против двух самых сильных держав в мире. А теперь он идет на шхуну, чтобы выклян-

чить у Дэнби немного виски.

3

Дэнби ведал приемом и выдачей грузов на шхуне «Уондер». Он сыграл очень злую шутку над туземцем, но шутка эта оказалась последней в его жизни.

Он сидел в кают-компании и проверял список товаров, которые вельботы уже выгрузили на берег. В это время по трапу поднялся Кохо, вошел в кают-компанию и уселся за стол прямо напротив Дэнби.

— Мой скоро совсем умрет, — пожаловался старый вождь. Земные радости больше не волновали его. — Мой не любит никакие Мэри, не любит кай-кай. Мой очень болен. Мой скоро конец. — Кохо сокрушенно умолк. Лицо его выражало крайнюю тревогу. Он осторожно похлопал себя по животу, давая понять, что испытывает острую боль. — Живот совсем плохо. — Он снова замолчал, как бы ожидая, что Дэнби посочувствует ему. Наконец последовал долгий тягостный вздох: — Мой любит ром.

Дэнби безжалостно рассмеялся. Старый вождь не раз пытался выпросить у него хоть немного виски, но Гриф и Мак-Тэвиш наложили строжай-

шее табу на алкоголь и не разрешали туземцам ни капли спиртного.

Вся беда в том, что Кохо уже отведал возбуждающих напитков. В юности, когда он вырезал экипаж шхуны «Дорсет», ему довелось вкусить всю сладость опьянения; к сожалению, он пил не один, и корабельные запасы скоро иссякли. В следующий раз Кохо оказался предусмотрительней: когда он уничтожил со своими нагими воинами немецкую плантацию, то сразу же забрал все спиртное себе. Получилась великолепная смесь, состоящая из множества возбуждающих компонентов, начиная от хинного пива и кончая абсентом и абрикосовым бренди. Эту смесь он пил много месяцев, выпил всю, но жажда осталась, осталась на всю жизнь. Как и все дикари, он был предрасположен к алкоголю, и его организм настойчиво требовал выпивки. Когда он выпивал, в горле появлялось восхитительное жжение и по всем жилам разливалось тепло; его обволакивала какая-то блаженная греза, а сердце наполнялось радостью и ликованием. Он был уже стар и немощен, женщины и пиршества больше не доставляли ему удовольствия, остыла былая ненависть к врагам, сжигавшая его сердце, и теперь ему все больше и больше был нужен

всемогущий огонь из бутылки, из всевозможных бутылок, — он хорошо их запомнил. Бывало, он часами сидел на солнце, грустно вспоминая ту великую оргию, которую он устроил после уничтожения немецкой плантации.

Дэнби посочувствовал старому вождю, расспросил о симптомах его болезни, а потом предложил слабительное, какие-то пилюли, капсулы и прочие совершенно безвредные лекарства из аптечного шкафа. Однако Кохо решительно отказался от них. Вырезав экипаж шхуны «Дорсет», он по неосторожности разжевал капсулу с хиной, а двое его воинов проглотили какой-то белый порошок и вскоре умерли в страшных мучениях. Нет, Кохо не доверял лекарствам. Зато он любил жидкости в бутылках: их пламенно-холодная струя возвращала молодость, согревала душу и навевала сладкие мечты. Не удивительно, что белые ценили эти напитки и не хотели продавать их.

— Ром очень хорошо, — повторял он монотонно, жалобно и по-старчески терпеливо.

Вот тогда-то Дэнби и совершил роковую ошибку, зло подшутив над Кохо. Он подошел к аптечке, которая была у Кохо за спиной, отпер ее и достал четырехунциевую бутылку с этикеткой «горчич-

ная эссенция». Он сделал вид, что вынул пробку и хлебнул из бутылки. В зеркале, висящем на переборке, он видел Кохо, который сидел вполоборота и явно наблюдал за ним. Дэнби причмокнул губами и, выразительно крякнув, поставил бутылку на место. Он не стал запирать аптечку и вернулся на свое место; посидев немного, он встал, вышел на палубу, остановился возле трапа и прислушался. Через несколько секунд тишину розорвал хриплый надрывный кашель. Дэнби усмехнулся и вернулся в каюту. Бутылка стояла на прежнем месте, а старый вождь сидел в прежней позе. Дэнби поразился его железному самообладанию. Его рот, язык и горло жгло, конечно, огнем, он задыхался и едва подавлял кашель, а из глаз невольно текли слезы и крупными каплями катились по щекам. Любой другой на его месте давился бы от кашля целых полчаса.

Но лицо старого Кохо было мрачно и непроницаемо. Он понял, что над ним сыграли злую шутку, и глаза его вспыхнули такой неистовой ненавистью и злобой, что у Дэнби мороз пробежал по коже. Кохо поднялся и гордо сказал:

— Мой пойдет домой. Пусть мой дадут лодку.

4

Когда Гриф и Уорс отправились на плантацию, Валленштейн расположился в гостиной, чтобы почистить свой автоматический пистолет. Разобрав его, он смазывал части ружейным маслом и протирал их старыми тряпками. На столе возле него стояла неизменная бутылка шотландского виски и множество бутылок с содовой водой. Случайно здесь оказалась еще одна бутылка, неполная, тоже с этикеткой шотландского виски, однако в ней была налита жидкая мазь для лошадей; ее приготови Уорс и забыл убрать.

Валленштейн посмотрел в окно и увидел идущего по дорожке Кохо. Старик шел очень быстро, но когда он приблизился к веранде и вошел в комнату, походка его была медленной и величественной. Он уселся и стал наблюдать за чисткой оружия. Хотя его рот, губы и язык были сожжены, он и виду не подал, что ему больно. Минут через пять он сказал:

— Ром хорошо. Мой любит ром.

Валленштейн ухмыльнулся и покачал головой, а потом словно бес надоумил его сыграть над туземцем весьма злую шутку, которая, к сожалению, тоже оказалась последней в его жизни. На

эту мысль, собственно, его натолкнуло сходство между бутылками с этикеткой шотландского виски. Валленштейн положил на стол части пистолета и налил себе солидную порцию виски с содовой. Он стоял как раз между Кохо и столом и незаметно поменял бутылки местами; потом он осушил свой стакан и, сделав вид, что ищет что-то, вышел из комнаты. Вскоре он услышал, что старик отчаянно кашляет и плюется; Валленштейн вернулся в комнату, но Кохо сидел на прежнем месте как ни в чем не бывало. Правда, жидкости в бутылке поубавилось, и поверхность ее еще слегка колебалась.

Кохо встал и хлопнул в ладоши. Появился мальчик-слуга, Кохо знаком потребовал свою винтовку. Тот принес винтовку и, как было принято на плантации, пошел по дорожке впереди Кохо. Он передал старику-вождю оружие лишь после того, как они вышли за ворота. Валленштейн, посмеиваясь, смотрел вслед Кохо, который ковылял по берегу к реке.

Едва Валленштейн успел собрать пистолет, как услышал отдаленный выстрел. Он почему-то тотчас подумал о Кохо, но потом отогнал эту мысль. Ведь Уорс и Гриф взяли с собой дробовики, и кто-нибудь из них, наверно, бил диких голубей.

Валленштейн удобно развалился в кресле, закрутил, ухмыляясь, свои желтые усы и задремал. Его разбудил взволнованный крик Уорса:

— Звоните в большой колокол! Звоните что есть силы! Звоните вовсю!

Валленштейн выбежал на веранду как раз в тот момент, когда управляющий верхом на лошади перемахнул через низкую ограду и поскакал вдоль берега за Грифом, который мчался, как сумасшедший, далеко впереди. Громкий треск огня и клубы дыма, пробивающиеся сквозь чащу кокосовых деревьев, объяснили все. Кохо поджег бараки и навесы для лодок. Когда немецкий резидент побежал по берегу, он услышал бешеный звон большого колокола и видел, как от шхуны быстро отваливают вельботы.

Бараки и навесы для лодок, крытые сухой травой, были охвачены ярким пламенем. Из кухни появился Гриф: он волочил за ногу голый труп чернокожего мальчика. Труп был без головы.

— Там кухарка! — сказал Гриф. — Тоже без головы. Но она слишком тяжелая. А мне надо было скорее сматываться.

— Во всем виноват я, я один, — грустно повторял Валленштейн. — Это дело рук Кохо. Я дал ему выпить лошадиной мази.

— Он, наверное, скрылся в кустах, — сказал Уорс, вскакивая на лошадь.

— Оливер сейчас на берегу реки. Надеюсь, он не попадет в лапы Кохо.

Управляющий пустил лошадь галопом и исчез за деревьями. Через несколько минут, когда пылающие, как костер, бараки рухнули, они услышали, что Уорс зовет их. Они нашли его на берегу. Уорс, очень бледный, все еще сидел на лошади и пристально смотрел на что-то лежащее на земле. Это был труп Оливера, молодого помощника управляющего; его с трудом опознали, ибо головы у него не было. Вокруг, еле переводя дух, сгрудились сбежавшиеся со всей плантации чернокожие рабочие; Гриф велел им соорудить носилки для покойника.

Валленштейн горевал и каялся, как истый немец. Слезы катились у него из глаз, а когда он перестал плакать, то разразился проклятиями. Его ярость не имела границ; он схватил дробовик Уорса, и на губах у него выступила пена.

— Перестаньте, Валленштейн! — твердо сказал Гриф. — Успокойтесь! Не валяйте дурака!

— Неужели вы дадите ему удрать? — взревел немец.

— Он уже удрал. Заросли начинаются сразу

же за рекой. Вы же видите, где он перебрался через реку. Он уходит от нас по кабаньим тропам. Преследовать его — все равно что искать иголку в стоге сена, и мы наверняка нарвемся на его молодчиков. Кроме того, в джунглях легко попасть в западню; знаете ли, всякие там волчьи ямы, отравленные колючки и прочие сюрпризы дикарей. Один Мак-Тэвиш со своими бушменами рискует заходить в джунгли, да и то в прошлый раз погибло трое из его отряда. Идемте домой. Вечером мы услышим и треск раковин, и бой военных барабанов, и всю эту адскую музыку. На нас напасть они не рискнут, но все же, мистер Уорс, пусть люди ни на шаг не отходят от дома. Пошли.

Когда они возвращались по тропинке домой, навстречу им попался один из рабочих, который громко хныкал.

— Заткнись! — рявкнул на него Уорс. — Какого черта ты орешь?

— Кохо кончил два корова, — ответил рабочий, выразительно проводя указательным пальцем по шее.

— Он зарезал коров, — сказал Гриф своим спутникам. — Значит, Уорс, вам пока что придется обходиться без молока. А через несколько дней я

пришлю вам пару коров с Уги.

Валленштейн не мог успокоиться до тех пор, пока Дэнби, сойдя на берег, не признался, что напоил старого вождя горчичной эссенцией. Услышав это, немецкий резидент даже повеселел, хотя он еще яростнее крутил усы и проклинал Соломоновы острова на четырех языках.

На следующее утро с топамачты «Уондер» можно было наблюдать, как над лесными зарослями вьются сигнальные дымы. Черные клубящиеся столбы поднимались ввысь и передавали от мыса к мысу и дальше, в самую чащу джунглей, тревожную весть. В этих переговорах принимали участие далекие селения, расположенные в глубине острова, на вершинах гор, куда не заходили даже отряды Мак-Тэвиша. Из-за реки непрерывно доносился сумасшедший треск раковин, и на десятки миль вокруг воздух содрогался от глухого рокота огромных военных барабанов, которые туземцы выжигают и выдалбливают из толстых стволов орудиями из камня и морских раковин.

— Пока вы здесь, вам ничего не грозит, — сказал Гриф своему управляющему. — Мне надо съездить в Гувуту. Они не решатся выйти из джунглей и напасть на открытом месте. Держите рабочие команды поближе к дому. Прекратите расчистку

леса, пока не кончится вся эта заваруха. Они перебьют всех рабочих, которых вы пошлете в лес. И что бы ни случилось, не вздумайте преследовать Кохо в джунглях. Ясно? Иначе попадете к нему в лапы. Ждите Мак-Тэвиша. Я пришлю его с отрядом малаитских бушменов. Только Мак-Тэвиш сможет проникнуть в джунгли. До моего возвращения с вами останется Дэнби. Вы не возражаете, мистер Дэнби? Я пришлю Мак-Тэвиша на «Ванде»; на ней вы и вернетесь и скоро снова будете на «Уондере». В этот рейс капитан Уорд как-нибудь управится без вас.

— Я как раз хотел просить вас об этом, — сказал Дэнби. — Я никак не думал, что из-за моей шутки заварится такая каша. И как тут не крути, во всем виноват я.

— И я тоже, — вставил Валленштейн.

— Но начал я, — настаивал Дэнби.

— Может быть, вы и начали, но я продолжил.

— А Кохо закончил, — сказал Гриф.

— Во всяком случае, я тоже останусь здесь, — решил немец.

— Я думал, вы поедете со мной в Гувуту, — возразил Гриф.

— И я так думал, но долг велит мне остаться здесь, а потом ведь как-никак я сам свалял дурака.

Я останусь и помогу вам навести здесь порядок.

5

Из Гувуту на Малаиту уходил вербовочный кеч, и Гриф немедленно послал Мак-Тэвишу самые подробные инструкции. Капитан Уорд отправился с «Уондером» на острова Санта-Крус, а Гриф, получив у английского резидента вельбот и команду чернокожих заключенных, пересек пролив и высадился в Гвадалканаре, чтобы осмотреть пастбища за Пендуфрином.

Через три недели, со свежим ветром и под всеми парусами, Гриф лихо прошел меж коралловых рифов и всколыхнул неподвижную поверхность бухты Гувуту. Бухта была пуста, и лишь у самого берега стоял небольшой кеч. Гриф узнал «Ванду». Она, очевидно, пришла сюда проливом Тулаги и только что стала на якорь; чернокожий экипаж еще убирал паруса. Гриф подошел к «Ванде», и сам Мак-Тэвиш подал ему руку, помогая перебраться на кеч.

— В чем дело? — спросил Гриф. — Вы еще не уехали?

Мак-Тэвиш кивнул головой.

— Уехали. И уже приехали. На судне все в порядке.

— А на Нью-Гиббоне?

— Все на месте, если не считать некоторых мелких деталей ландшафта, которые вдруг куда-то исчезли.

Такой же маленький, как Кохо, и такой же сухощавый, с лицом цвета красного дерева, Мак-Тэвиш смотрел на Грифа маленькими бесстрастными глазами, которые были больше похожи на высверленные отверстия, чем на человеческие глаза. Это был не человек, а холодное пламя. Болезни, зной и стужа были ему нипочем, он не знал, что такое восторг или отчаяние, не ведал страха, не испытывал никаких чувств; жестокий и резкий, он был беспощаден, как змея. И теперь, глядя на кислую физиономию Мак-Тэвиша, Гриф сразу понял, что тот привез дурные вести.

— Выкладывайте все! — сказал Гриф. — Что там случилось?

— То, что случилось, достойно самого сурового осуждения, — ответил Мак-Тэвиш. — Надо совсем потерять совесть, чтобы так шутить над язычниками-неграми. А кроме того, это обходится слишком дорого. Пойдемте вниз, мистер Гриф. О таких вещах лучше говорить за стаканом виски. Прошу вас.

— Ну, как вы там все уладили? — спросил Гриф,

едва они вошли в каюту.

Маленький шотландец покачал головой.

— А там нечего было улаживать. Ведь все зависит от точки зрения. И с моей точки зрения, там было все устроено, понимаете, абсолютно все, еще до моего приезда.

— Но плантация? Что с плантацией?

— Нет никакой плантации. Весь наш многолетний труд пропал даром. Мы вернулись к тому, с чего начали, с чего начинали и миссионеры и немцы и с чем они ушли отсюда. От переселения не осталось камня на камне. Дома превратились в пепел. Деревья срублены все до единого, а кабаны перерыли ямс и сладкий картофель. А ребята из Нью-Джорджии!.. Сто дюжих парней! Ведь какие были работяги… И обошлись вам в кругленькую сумму… Все погибли… и некому даже рассказать о том, что произошло.

Он замолчал и полез в большой рундук под трапом.

— А Уорс? А Дэнби? Валленштейн? Что с ними?

— Я же сказал вам. Вот, посмотрите!

Мак-Тэвиш вытащил мешок и вытряхнул его содержимое на пол. Содрогнувшись, Дэвид Гриф с ужасом смотрел на головы тех троих, кого он оставил на Нью-Гиббоне. Желтые усы Валленштейна

уже не закручивались лихо вверх, а свисали на верхнюю губу.

— Я не знаю, как это произошло, — мрачно сказал шотландец. — Но предполагаю, что они полезли за старым чертом в джунгли.

— А где Кохо? — спросил Гриф.

— Опять в джунглях и пьян, как лорд. Потому-то мне и удалось добыть эти головы. Он так накачался, что не держался на ногах. Когда я нагрянул в деревню, его едва успели унести. Я буду вам очень обязан, если вы избавите меня от этого. — Мак-Тэвиш замолчал и, вздохнув, кивнул на головы. — Вероятно, их надо похоронить, как полагается, зарыть в землю. Но, насколько я понимаю, это очень любопытные экземпляры. Любой музей заплатит вам по сотне фунтов за каждую голову. Выпейте еще. Вы немного бледны… А теперь, если говорить серьезно, позвольте дать вам один совет: не допускайте никаких проделок и шуток над дикарями. Это — дорогое удовольствие и, кроме беды, ни к чему не приведет.

Маленький счет Сузину Холлу

1

Окинув еще раз долгим взглядом безбрежную синеву моря, Гриф вздохнул, слез с шаткого салинга и стал медленно спускаться по вантам на палубу.

— Мистер Сноу, — обратился он к молодому помощнику капитана, встретившему его тревожным взглядом, — атолл Лю-Лю, очевидно, на дне морском. Больше ему быть негде, если есть в навигации хоть капля здравого смысла. Ведь мы второй раз проходим над ним, вернее, над тем местом, где ему полагается быть. Либо я совсем забыл, чему меня учили, либо хронометр врет.

— Это хронометр, — поспешил уверить капитана Сноу. — Ведь я независимо от вас проводил наблюдения и получил те же результаты.

— Да, — уныло кивнул головой Гриф, — и там, где у вас Сомнеровы линии пересекаются и у меня тоже, должен находиться центр атолла Лю-Лю. Значит, хронометр не в порядке. Зубец, наверное, сорвался.

Он быстро подошел к поручням, взглянул на

пенистый след за кормой и вернулся назад. «Дядя Тоби», подгоняемый свежим попутным ветром, шел со скоростью девять-десять узлов.

— Приведите шхуну к ветру, мистер Сноу. Убавьте паруса. Будем лавировать двухчасовыми галсами. Небо заволакивается. Определиться по звездам ночью вряд ли удастся. Определим широту завтра, выйдем на широту атолла Лю-Лю и будем идти по ней, пока не наткнемся на остров. Вот как поступали прежде бывалые моряки.

Широкая, как бочка, с тяжелым рангоутом, высокими бортами и тупым, почти голландским, носом шхуна «Дядя Тоби» была самой тихоходной, но зато и самой надежной и простой в управлении из шхун Дэвида Грифа. Она совершала рейсы между островами Банкса и Санта-Крус, а также ходила к отдаленным атоллам, лежащим к северо-западу, откуда Гриф вывозил копру, черепах, а случалось, и тонну-другую жемчужных раковин, скупаемых для него туземными агентами. Накануне отплытия жестокий приступ лихорадки свалил капитана, и Гриф сам повел шхуну в очередное полугодичное плавание. Он решил начать с наиболее отдаленного атолла Лю-Лю, но сбился с курса и теперь блуждал в открытом море с испорченным хронометром.

2

В эту ночь не было видно ни одной звезды. На другой день солнце не появилось совсем. Знойный влажный штиль, порой прерываемый сильными шквалами и ливнями, навис над морем. Чтобы не забираться слишком далеко по ветру, шхуна легла в дрейф. Так прошло четверо суток. Небо все время было затянуто облаками. Солнце исчезло, а звезды если и появлялись, то мерцали так тускло и слабо, что нечего было и думать определиться по ним. Теперь уже было ясно, что стихии готовы разыграться, — самый неопытный новичок понял бы это. Взглянув на барометр, который упорно показывал 29.90, Гриф вышел на палубу и столкнулся с Джеки-Джеки, чье лицо было так же хмуро и пасмурно, как небо и воздух. Джеки-Джеки служил на шхуне в качестве не то боцмана, не то второго помощника, командуя смешанным канакским экипажем.

— Большой будет буря, — сказал он. — Я пять, шесть раз видел большой буря. Начало всегда такой.

Гриф кивнул.

— Приближается ураган, Джеки-Джеки. Барометр скоро начнет падать.

— Да, — согласился боцман. — Очень сильно дуть будет.

Минут через десять на палубу вышел Сноу.

— Начинается, — сказал он. — Уже двадцать девять восемьдесят пять. Барометр колеблется. Чувствуете, жарища какая? — Он отер со лба пот. — Мутит меня что-то. Завтрак обратно просится.

Джеки-Джеки усмехнулся.

— Моя тоже весь нутро ходит. Это к буре. Ничего, «Дядя Тоби» хорош корабль. Выдержит.

— Поставьте штормовой трисель на грот-мачте и штормовой кливер, — обратился Гриф к помощнику. — Возьмите все рифы на основных парусах, прежде чем убирать их, и закрепите двойными сезнями. Кто знает, что может случиться!

Через час барометр упал до 29.70. Духота стала еще невыносимее, мертвый штиль продолжался. Помощник капитана, совсем молодой человек, шагал по палубе, но тут вдруг остановился и потряс поднятыми кулаками.

— Где этот чертов ураган! Чего он медлит! Пусть уж самое худшее, только бы скорее! Веселенькая история! Места своего не знаем, хронометр испорчен, да еще нате вам — ураган, а ветра все нету!

Загроможденное тучами небо стало медно-красным, как внутренность огромного раскаленного

котла. Никто не остался внизу, все вышли на палубу. На корме и на носу толпились туземные матросы, испуганно шептались и с опаской поглядывали на грозное небо и такое же грозное море, катившее длинные низкие маслянистые волны.

— Как нефть с касторкой, — буркнул помощник капитана, плюнув с отвращением за борт. — Мать любила пичкать меня такой гадостью в детстве. Господи, темно-то как!

Зловещее медное зарево исчезло. Тучи сгустились и медленно поползли вниз, стало темно, как в сумерках. Дэвид Гриф хорошо знал повадки ураганов, однако он достал «Штормовые правила» и снова их перечитал, напрягая глаза в этом призрачном освещении. Нет, делать ничего не полагалось, только лечь в дрейф и ждать ветра, тогда можно будет определить, где находится центр урагана, неотвратимо двигавшегося откуда-то из мрака.

Ураган налетел в три часа дня, когда барометр показывал 29.45. О его приближении можно было судить по волнам. Море вдруг потемнело и зарябило белыми барашками. Сперва это был просто свежий ветер, не набравший еще полной силы. Паруса «Дядя Тоби» наполнились, и он пошел в полветра со скоростью четыре узла.

— Не много же после такой подготовки, — иронически заметил Сноу.

— Да, — согласился Джеки-Джеки, — этот ветер, он маленький мальчик. Но скоро будет большой мужчина.

Гриф приказал поставить фок, не отдавая рифов. И «Дядя Тоби» ускорил ход под напором усиливающегося ветра. Предсказание Джеки-Джеки скоро сбылось. Ветер стал «большим мужчиной». Но на этом не остановился. Он дул и дул, затихая на миг перед новыми, все более яростными порывами. Наконец поручни «Дядя Тоби» почти совсем скрылись под водой. По палубе заходили пенные волны — вода не успевала уходить через шпигаты. Гриф не спускал глаз с барометра, который продолжал падать.

— Центр урагана где-то к югу от нас, — сообщил он помощнику. — Мы идем прямо наперерез ему. Надо лечь на обратный курс. Тогда, если я прав, барометр начнет подниматься. Уберите фок. «Дядя Тоби» не может нести столько парусов. Приготовиться к повороту.

Когда все было готово, «Дядя Тоби» повернул и стремительно понесся к северу сквозь мрак и бурю.

— Как в кошки-мышки играем, — обратился

Гриф к помощнику спустя некоторое время. — Ураган описывает огромную дугу. Вычислить ее невозможно. Успеем проскочить, или центр урагана нас настигнет? Все зависит от размеров кривой. Барометр пока, слава богу, стоит на месте. Но идти нам больше нельзя, волна слишком велика, надо лечь в дрейф. Нас и так будет относить к северу.

— Я думал, уж я-то знаю, что такое ветер! — прокричал на другое утро Сноу на ухо капитану. — Но это не ветер. Это черт знает что. Это невообразимо. В порывах — до ста миль в час. Ничего себе, а? И рассказать-то никому нельзя, не поверят. А волна! Посмотрите! Не первый год плаваю, а такого не видывал.

Наступил день, и солнце, надо думать, взошло в положенное ему время, но и час спустя после восхода шхуну все еще окутывали густые сумерки. По океану ходили исполинские горы. Меж ними разверзались изумрудные долины шириной в треть мили. На их пологих склонах, несколько защищенных от ветра, грядами теснились мелкие волны в белых пенных шапках. Но гребни огромных валов были без белой оторочки — ветер мгновенно срывал с них закипавшую пену и носил ее над морем, забрасывая выше самых

высоких мачт.

— Худшее позади, — решил Гриф. — Барометр поднимается. Ветер скоро спадет, ну а волна, понятно, станет еще больше. Пойду-ка я теперь вздремну. А вы, Сноу, следите за ветром. Он наверняка будет меняться. Разбудите меня, когда пробьет восемь склянок.

После полудня волнение достигло апогея, а шторм, изменив направление, превратился в обыкновенный крепкий ветер. Как раз в это время Джеки-Джеки заметил вдали полузатопленную шхуну. «Дядя Тоби», дрейфуя, прошел вдалеке от ее носа, так что разглядеть название было трудно. А к вечеру они наткнулись на небольшую, наполовину затонувшую шлюпку. На ее носу белели буквы: «Эмилия Л. *N3*» . Сноу разглядел их в бинокль.

— Эта шхуна с котиковых промыслов, — объяснил Гриф. — И что ей понадобилось в здешних водах, ума не приложу!

— Клад, может быть, искать вздумали? — предположил Сноу. — Помните «Софи Сезерлэнд» и «Германа»? Тоже были котиковые шхуны. А потом их в Сан-Франциско зафрахтовали какие-то, с картами в кармане, из тех, что всегда точно знают и куда ехать и где искать, а прибудут на

место — все оказывается чепухой.

3

Всю ночь «Дядю Тоби» швыряло, как скорлупку, по уже затихающим, но все еще огромным волнам. Ветра не было, это лишало шхуну устойчивости. Только под утро, когда всем на борту казалось уже, что у них душа с телом расстается, задул небольшой ветерок. Отдали рифы. К полудню волнение улеглось, облака поредели, выглянуло солнце. Наблюдение дало два градуса пятнадцать минут южной широты. Определить долготу по испорченному корабельному хронометру нечего было и думать.

— Мы сейчас где-то в пределах полутора тысяч миль на линии этой широты, — обратился Гриф к помощнику, склонившемуся вместе с ним над картой. — Атолл Лю-Лю где-нибудь к югу. А в этой части океана пусто, хоть шаром покати, ни островка, ни рифа, по которому бы можно отрегулировать хронометр. Единственное, что остается делать…

— Земля, капитан! — крикнул боцман, наклоняясь над трапом.

Гриф взглянул на сплошное голубое пятно карты, свистнул от удивления и бессильно отки-

нулся на спинку стула.

— Ну и ну! — проговорил он наконец. — Здесь не должно быть земли. Вот так плавание! Бред какой-то! Будьте так добры, мистер Сноу, пойдите узнайте, что там стряслось с Джеки-Джеки, с ума он, что ли, сошел.

— А ведь верно, земля! — раздался через минуту голос помощника. — Видно с палубы… Верхушки пальм… Какой-то атолл… Может, это все-таки Лю-Лю?

Гриф вышел на палубу, взглянул на резную бахрому пальм, которые, казалось, вставали прямо из воды, и покачал головой.

— Приведите шхуну круто к ветру, — сказал он. — Пойдем на юг. Если остров тянется в этом направлении, попадем в его юго-западный угол.

Пальмы были, по-видимому, совсем недалеко, раз их было видно даже с низкой палубы «Дяди Тоби». И действительно, скоро из воды вынырнул небольшой плоский островок. Пальмы росшие на нем в изобилии, ясно обозначали круг атолла.

— Красивый остров! — воскликнул Сноу. Правильный круг, миль восемь-девять в диаметре. Интересно, есть ли вход в лагуну? Как знать, может, мы новый остров открыли.

Они пошли короткими галсами вдоль западной

стороны острова, то приближаясь к омываемой бурунами коралловой гряде, то отходя от нее. Канак, смотревший с мачты поверх пальмовых крон, закричал, что видит в самой середине лагуны небольшой островок.

— Знаю, о чем вы сейчас думаете, — обратился вдруг Гриф к помощнику.

Сноу что-то пробормотал, покачивая головой: теперь он с сомнением и в то же время вызывающе поглядел на хозяина.

— Вы думаете, что вход в лагуну на северо-западе, — продолжал Гриф, словно отвечая выученный урок. — Ширина прохода два кабельтова. На северном берегу три одиночных пальмы, на южном — пандануса. Атолл представляет собой правильный круг диаметром в восемь миль. В центре островок.

— Да, вы правы, я именно об этом и думал, — признался Сноу.

— А вон и вход в лагуну, как раз там, где ему полагается быть.

— И три пальмы, — почти шепотом произнес Сноу, — и пандануса. Если увидим ветряк, значит, это и есть остров Суизина Холла. Но нет, не может быть. Десять лет его ищут, этот остров, и не могут найти.

— Говорят, Суизин Холл сыграл с вами скверную шутку.

Сноу кивнул:

— Да. Поэтому я и служу у вас. Он разорил меня. Это был сущий грабеж. Я получил наследство и на первую же выплату купил в Сиднее на аукционе «Каскад» — судно, потерпевшее кораблекрушение.

— Он разбился у острова Рождества?

— Да. Ночью налетел на берег и прочно засел на отмели. Пассажиров и почту сняли, а груз остался. На те деньги, что у меня еще были, я купил маленькую шхуну, а уж чтобы снарядить ее, пришлось ждать окончательного расчета с душеприказчиками. Что же, вы думаете, сделал Суизин Холл? Он тогда был в Гонолулу. Взял да и отправился, нимало не медля, на остров Рождества. У него не было абсолютно никаких прав на «Каскад» и никаких документов. Но когда я прибыл туда, то нашел только остров да машину. А «Каскад» вез партию шелка. И она даже ни капельки не подмокла. Я позже узнал об этом от его второго помощника. Да. Холл здорово поживился на этом деле. Говорят, выручил шестьдесят тысяч долларов.

Сноу дернул плечами и мрачно уставился на

сияющую гладь лагуны, где в лучах полуденного солнца плясали маленькие веселые волны.

— «Каскад» по всем законам принадлежит мне. Я купил его на аукционе. Все поставил на карту и все потерял. Шхуна пошла на расплату с командой и торговцами, предоставившими мне кредит. Я заложил часы и секстан и нанялся кочегаром. Потом получил работу на Новых Гебридах за восемь фунтов в месяц. Попробовал завести собственное дело, прогорел. Поступил на вербовочное судно, ходившее в Танну и дальше, на Фиджи. Последнее время работал надсмотрщиком на немецких плантациях за Апией. Теперь вот плаваю на «Дяде Тоби».

— А вы встречались когда-нибудь с Суизином Холлом?

Сноу отрицательно покачал головой.

— Ну, так сегодня встретитесь. Смотрите, вон и мельница.

Выйдя из прохода, они увидали поросший лесом островок. Сквозь гущу пальм ясно виднелся высокий голландский ветряк.

— Похоже, что на острове никого нет. А то бы вам удалось наконец свести с ним счеты.

Лицо Сноу приняло злобное выражение, кулаки сжались.

— Судом от него ничего не добьешься. Он слишком богат. Но вздуть его я могу — на все шестьдесят тысяч. Эх, хотел бы я, чтобы он был дома!

— Признаться, и я тоже, — одобрительно усмехнулся Гриф. — Описание острова вам известно от Бау-Оти?

— Да, как и всем. Беда только в том, что Бау-Оти не знал ни широты, ни долготы острова. Где-то далеко за островами Гилберта — вот все, что он мог сказать. Интересно, где он теперь?

— Последний раз я видел его год назад на Таити. Он собирался наняться на судно, которое шло в рейс к Паумоту. Ну вот мы и подходим. Бросай лот, Джеки-Джеки. Мистер Сноу, приготовьтесь отдать якорь. По словам Бау-Оти, якорное место находится в трехстах ярдах от западного берега, глубина десять сажен, к юго-востоку коралловые отмели. Да вот и они. Джеки-Джеки, сколько там у тебя?

— Десять сажен.

— Отдайте якорь, Сноу.

«Дядя Тоби» развернулся на якоре, паруса поползли вниз, матросы канаки бросились к фока-фалам и шкотам.

4

Вельбот причалил к небольшой пристани, сложенной из обломков коралла, и Дэвид Гриф с помощником спрыгнули на берег.

— Нигде ни души, — сказал Гриф, направляясь по песчаной дорожке к бунгало. — Но я чувствую запах, очень хорошо мне знакомый. Где-то идет работа, если мой нос не обманывает меня. Лагуна полна перламутровых раковин и, поверьте, их мясо гниет не в тысяче миль отсюда. Чувствуете, какая вонь?

Жилище Суизина Холла было мало похоже на обычное тропическое бунгало. Это было здание в миссионерском стиле. Решетчатая дверь вела в большую гостиную, соответственно убранную. Пол был устлан искусно сплетенными самоанскими циновками. Были здесь бильярд, несколько кушеток, удобные мягкие сиденья в оконных нишах. Столик для рукоделия и рабочая корзинка с начатой французской вышивкой, из которой торчала иголка, говорили о присутствии женщины. Окружавшая дом веранда и шторы на окнах превращали слепящий блеск тропического солнца в прохладное матовое сияние. Внимание Грифа привлекли переливы перламутровых кнопок.

— Ого! Да здесь и скрытое освещение. Аккумуляторы, питаемые ветряным двигателем, — догадался он и нажал одну из кнопок.

Вспыхнули невидимые лампы, и рассеянный золотистый свет наполнил комнату. Вдоль стен тянулись полки, уставленные книгами. Гриф просмотрел названия. Для моряка и искателя приключений он был довольно начитанным человеком, но и его удивило многообразие интересов и широта кругозора Суизина Холла. Он увидел на полках многих своих старых друзей, но среди них оказались и такие книги, о которых Гриф знал только понаслышке. Здесь стояли полные собрания сочинений Толстого, Тургенева и Горького, Купера и Марка Твена, Золя и Сю, Флобера, Мопассана и Поль-де-Кока. С любопытством перелистывал он Мечникова, Вейнингера и Шопенгауэра, Эллиса, Лидстона, Крафт-Эббинга и Фореля. Когда Сноу, осмотрев весь дом, вернулся в гостиную, он застал Грифа с «Распространением человеческих рас» Вудрофа в руках.

— Эмалированная ванна! Душ! Королевские покои, да и только! Мои денежки тоже, небось, пошли на эту роскошь. Но в доме кто-то есть. Я нашел в кладовой только что раскрытые банки с молоком и маслом и свежее черепаховое мясо.

Пойду-ка еще погляжу.

Гриф тоже отправился осматривать дом. Отворив дверь на другом конце гостиной, он попал в комнату, которая, очевидно, служила спальней женщине. В дальнем углу виднелась дверь из проволочной сетки, а за нею веранда, которую затеняли решетчатые жалюзи. Там на кушетке спала женщина: в мягком полусвете она показалась Грифу очень красивой — брюнетка, похожая на испанку. По цвету лица прекрасной незнакомки Гриф решил, что она недавно в тропиках. Бросив один-единственный взгляд на спящую, он поспешил удалиться на цыпочках. В гостиной в эту минуту опять появился Сноу: он тащил за руку старого, сморщенного чернокожего, который гримасничал от страха и знаками старался дать понять, что он немой.

— Я нашел его спящим в конурке за домом, разбудил и приволок сюда. Кажется, повар, но я не мог добиться от него ни слова. Ну, а вы что нашли?

— Спящую царевну! Ш-ш-ш, кто-то идет.

— Ну, если это Холл!.. — прорычал Сноу, сжимая кулаки.

Гриф покачал головой.

— Только без драки. Здесь женщина. Если это

Холл, я уж постараюсь доставить вам случай расквитаться с ним, прежде чем мы уедем.

Дверь отворилась, и на пороге показался рослый и грузный мужчина. На поясе у него болтался длинный тяжелый кольт. Он бросил на них подозрительный взгляд, но тут же его лицо расплылось в приветливой улыбке.

— Милости просим, путешественники! Но скажите на милость, как вам удалось найти мой остров?

— А мы, видите ли, сбились с курса, — ответил Гриф, пожимая протянутую руку.

— Суизин Холл, — представился хозяин и повернулся, чтобы приветствовать Сноу. — Должен сказать, что вы мои первые гости.

— Так это значит и есть тот таинственный остров, о котором столько лет идут разговоры во всех портах! Ну ладно, теперь-то я знаю, как вас найти.

— Как? — быстро переспросил Холл.

— Очень просто. Нужно сломать корабельный хронометр, попасть в ураган, а затем смотреть, где появятся из моря кокосовые пальмы.

— Простите, а ваше имя? — спросил, слегка посмеявшись шутке, Холл.

— Энстей, Фил Энстей, — без запинки ответил

Гриф. — Иду на «Дяде Тоби» с островов Гилберта на Новую Гвинею и пытаюсь поймать свою долготу. А это мой помощник, мистер Грей, куда более опытный мореход, чем я, но на этот раз и он дал маху.

Гриф сам не знал, почему ему вздумалось солгать. Какая-то внутренняя сила толкнула его на это, и он поддался искушению. Он смутно чувствовал, что здесь что-то неладно, но что, не мог разобрать. Суизин Холл был круглолицый толстяк с неизменной улыбкой на устах и лукавыми морщинками в уголках глаз. Но Гриф еще в ранней юности познал, как обманчива бывает подобная внешность и что может скрываться под веселым блеском голубых глаз.

— Что вы делаете с моим поваром? Своего потеряли и думаете моего похитить? — спросил Холл. — Отпустите беднягу, а не то быть вам без ужина. Жена моя здесь и будет рада с вами познакомиться. Сейчас поужинаем. Жена, правда, зовет это обедом и вечно бранит меня за невежество. Но что поделаешь! Я человек старомодный. Мои всегда обедали в полдень, и я не могу забыть привычек детства. Не хотите ли помыться? Что касается меня, я не прочь. Взгляните, на кого я похож. Весь день работал, как собака, с ловцами,

раковины достаем. Да вы и сами, верно, догадались по запаху.

5

Сноу ушел, сославшись на дела. Помимо нежелания разделить трапезу с человеком, ограбившим его, он спешил на шхуну предупредить команду о выдумке Грифа. Гриф вернулся на «Дядю Тоби» только в одиннадцать. Помощник ждал его с нетерпением.

— Странное что-то творится на острове Суизина Холла, — сказал Гриф, в раздумье покачивая головой. — Не знаю, в чем дело, но чувствую: тут что-то не так. Каков из себя Суизин Холл?

Сноу пожал плечами.

— Этот тип на берегу в жизни не покупал тех книг, что стоят у него на полках, — убежденно продолжал Гриф. — И придумать такую тонкую штуку, как скрытое освещение, он тоже не способен. Он только разговаривает сладко, а внутри груб, как конская скребница. Плут с елейными манерами. А те молодцы, что при нем состоят, Уотсон и Горман, — они пришли тотчас же после вашего ухода — это сущие пираты. Им лет под сорок каждому. Битые-перебитые, колючие, как ржавые гвозди, только вдвое опасней. Настоящие

головорезы с кольтами за поясом. Совсем, казалось бы, неподходящая компания для Суизина Холла. Но женщина! Леди с головы до пят, уверяю вас. Хорошо знает Южную Америку и Китай. Уверен, что испанка, хотя по-английски говорит, как на родном языке. Много путешествовала. Мы говорили с ней о бое быков. Она его видала в Мексике, Гваякиле и Севилье. Небезызвестен ей, между прочим, и котиковый промысел. И тут есть одна странность, которая меня смущает. Почему бы Суизину Холлу не завести для нее рояль? Ведь дом обставлен, как дворец. И еще: она живая, разговорчивая. И Холл весь вечер не спускал с нее глаз, сидел, как на иголках, вмешивался в разговор, сам старался его направлять. Вы не знаете, Суизин Холл женат?

— Убей меня бог, не знаю. Мне и в голову не приходило этим интересоваться.

— Он представил ее мне как миссис Холл. Самого его Уотсон и Горман тоже зовут Холлом. Прелюбопытная парочка эти двое! Очень все это странно. Не понимаю.

— Ну и что же вы думаете делать? — спросил Сноу.

— Да так, пожить здесь немного, почитать кое-что, тут есть интересные книжки. А вы завтра

утречком спустите-ка стеньгу, да хорошо бы и все остальное пересмотреть. Как-никак мы выдержали ураган. Займитесь заодно ремонтом всего такелажа. Разберите все на части, да и возитесь себе на здоровье. Этак, знаете, не спеша.

6

На следующий день подозрения Грифа получили новую пищу. Съехав ранним утром на берег, он побрел наперерез через остров к бараку, где жили ловцы, и подошел как раз в тот момент, когда они садились в лодки. С удивлением отметил он подавленное настроение рабочих; канаки — веселый народ, но эти напоминали партию арестантов. Холл и его помощники тоже были здесь, и Гриф обратил внимание на то, что у каждого за плечами была винтовка. Сам Холл встретил гостя весьма любезно, но Горман и Уотсон смотрели исподлобья и еле поздоровались с ним.

Спустя минуту один из канаков, нагнувшись над веслом, многозначительно подмигнул Грифу. Лицо рабочего показалось ему знакомым: как видно, один из туземцев, матросов или водолазов, с которыми он встречался во время своих многочисленных разъездов по островам.

— Не говори им, кто я, — сказал Гриф по-таи-

тянски. — Ты служил у меня?

Канак кивнул головой и открыл было рот, но грозный окрик Уотсона, сидевшего уже на корме, заставил его замолчать.

— Простите, пожалуйста, — извинился Гриф. — Мне бы надо знать, что этого делать не полагается.

— Ничего, — успокоил его Холл. — Беда с ними, болтают много, а дела не делают. Приходится держать их в ежовых рукавицах. А то и кормежку свою не оправдают.

Гриф сочувственно кивнул.

— Знаю. У меня у самого команда из канаков. Ленивые свиньи. Палкой их надо подгонять, как негров, иначе и половины работы не сделают.

— О чем вы с ним говорили? — бесцеремонно вмешался Горман.

— Спросил, много ли тут раковин и глубоко ли приходится нырять.

— Раковин довольно, — ответил за канака Холл. — Работаем на глубине десяти сажен, недалеко отсюда. Не хотите ли взглянуть?

Полдня провел Гриф на воде. Потом завтракал вместе с хозяевами. После завтрака вздремнул в гостиной на диване, почитал, поболтал полчасика с миссис Холл. После обеда сыграл на бильярде

с ее мужем. Грифу не приходилось раньше сталкиваться с Суизином Холлом, но слава последнего как искуснейшего игрока на бильярде облетела все порты от Левуки до Гонолулу. Однако сегодняшний противник Грифа оказался довольно слабым игроком. Его жена гораздо лучше владела кием.

Вернувшись на «Дядю Тоби», Гриф растолкал Джеки-Джеки, объяснил, где находятся бараки рабочих, и велел ему незаметно сплавать туда и поговорить с канаками. Джеки-Джеки вернулся через два часа. Весь мокрый стоял он перед Грифом и мотал головой.

— Очень странно. Все время там один белый с большим ружьем. Лежит в воде, смотрит. Потом, может быть, полночь, другой белый приходит, берет ружье. Тогда один идет спать, другой караулит с ружьем. Плохо. Нельзя видеть канака, нельзя говорить. Моя вернулся.

— Черт возьми, — сказал Гриф, — сдается мне, тут не одними раковинами пахнет! Эти трое все время следят за канаками. Наш хозяин такой же Суизин Холл, как и я.

Сноу даже свистнул, так поразила его вдруг пришедшая ему в голову мысль.

— Понимаю! — воскликнул он. — Знаете, что

я подумал?

— Я вам скажу, — ответил Гриф. — Вы подумали, что «Эмилия Л.» — их судно.

— Вот именно. Они добывают и сушат раковины, а шхуна ушла за рабочими и продовольствием.

— Да, так оно, очевидно, и есть. — Гриф взглянул на часы и стал собираться спать. — Он моряк, вернее, все трое моряки. Но они не с островов. Они чужие в этих водах.

Сноу опять свистнул.

— А «Эмилия Л.» погибла со всей командой. Кому это знать, как не нам. Придется, значит, этим молодцам ждать возвращения настоящего Суизина Холла. Тут он и накроет.

— Или они захватят его шхуну.

— Дай-то бог! — злорадно проворчал Сноу. — Пусть-ка и его кто-нибудь ограбит. Эх, был бы я на их месте! Сполна бы расчелся.

7

Прошла неделя, за которую «Дядя Тоби» подготовился к отплытию, а сам Гриф сумел рассеять все подозрения, какие могли возникнуть в душе его гостеприимных хозяев. Даже Горман и Уотсон больше не сомневались, что перед ними

доподлинный Фил Энстей. Всю неделю Гриф упрашивал Холла сообщить ему долготу острова.

— Как же я уйду отсюда, не зная пути? — взмолился он под конец. — Я не могу отрегулировать хронометр без вашей долготы.

Холл, смеясь, отказал.

— Такой опытный моряк, как вы, мистер Энстей, уж как-нибудь доберется до Новой Гвинеи или еще какого-нибудь другого острова.

— А такой опытный моряк, как вы, мистер Холл, должен бы знать, что мне нетрудно будет найти ваш остров по его широте, — отпарировал Гриф.

В последний вечер Гриф, как обычно, обедал на берегу, и ему впервые удалось посмотреть собранный жемчуг. Миссис Холл в пылу беседы попросила мужа принести «красавиц». Целых полчаса показывала она их Грифу. Он искренне восхищался и так же искренне выражал удивление по поводу такой богатой добычи.

— Эта лагуна ведь совершенно нетронутая, — объяснил Холл. — Вы сами видите — почти все раковины большие и старые. Но интереснее всего, что самые ценные раковины мы нашли в одной небольшой заводи и выловили за какую-нибудь неделю. Настоящая сокровищница. Ни одной пустой, мелкого жемчуга целые кварты.

Но и самые крупные все оттуда.

Гриф оглядел их и определил, что самая мелкая стоит не меньше ста долларов, те, что покрупнее, — до тысячи, а несколько самых крупных — даже гораздо больше.

— Ах, красавицы! Ах, милые! — приговаривала миссис Холл, нагибаясь и целуя жемчуг. Немного погодя она поднялась и пожелала Грифу спокойной ночи. — До свидания!

— Не до свидания, а прощайте, — поправил ее Гриф. — Завтра утром мы снимаемся.

— Как, уже? — протянула она, но в глазах ее мужа Гриф подметил затаенную радость.

— Да, — продолжал Гриф, — ремонт окончен. Вот только никак не добьюсь от вашего мужа, чтобы он сообщил мне долготу острова. Но я еще не теряю надежды, что он сжалится над нами.

Холл засмеялся и затряс головой. Когда жена вышла, он предложил выпить напоследок. Выпили и, закурив, продолжали беседу.

— Во что вы оцениваете все это? — спросил Гриф, указывая на россыпь жемчуга на столе. — Вернее, сколько вам дадут скупщики?

— Тысяч семьдесят пять — восемьдесят, — небрежно бросил Холл.

— Ну, это вы мало считаете. Я кое-что смыслю

в жемчуге. Взять хоть эту, самую большую. Она великолепна. Пять тысяч долларов, и ни цента меньше. А потом какой-нибудь миллионер заплатит за нее вдвое, после того как купцы урвут свое. И заметьте, что, не считая мелкого жемчуга, у вас тут много крупных неправильной формы. Целые кучи! А они начинают входить в моду, цена на них растет и удваивается с каждым годом.

Холл еще раз внимательно осмотрел жемчуг, разобрал по сортам и вслух подсчитал его стоимость.

— Да, вы правы, все вместе стоит около ста тысяч.

— А во сколько вам обошлась добыча? — продолжал Гриф. — Собственный ваш труд, два помощника, рабочие?

— Примерно пять тысяч долларов.

— Значит, чистых девяносто пять тысяч?

— Да, около того. Но почему вас это так интересует?

— Просто пытаюсь найти… — Гриф остановился и допил бокал. — Пытаюсь найти справедливое решение. Допустим, я отвезу вас и ваших товарищей в Сидней и оплачу ваши издержки — пять тысяч долларов или, будем даже считать, семь с половиной тысяч. Как-никак, вы основательно

потрудились.

Холл не дрогнул, не шевельнул ни одним мускулом, он только весь подобрался и насторожился. Добродушие, сиявшее на его круглом лице, вдруг угасло, как пламя свечи, когда ее задувают. Смех уже не заволакивал его глаза непроницаемой пеленой, и внезапно из их глубины выглянула темная, преступная душа. Он заговорил сдержанно и негромко:

— Что вы, собственно, хотите этим сказать?

Гриф небрежно закурил сигару.

— Уж, право, не знаю с чего и начать. Положение довольно затруднительное — для вас. Я хочу быть справедливым. Я уже сказал: вы все-таки немало потрудились. Мне бы не хотелось просто отбирать у вас жемчуг. Так что я готов заплатить вам за хлопоты, за потерянное время, за труд.

Сомнение на лице мнимого Холла сменилось внезапно уверенностью.

— А я-то думал, что вы в Европе, — проворчал он. На миг в глазах его блеснула надежда. — Эй, послушайте, не морочьте голову. Чем вы докажете, что вы Суизин Холл?

Гриф пожал плечами.

— Подобная шутка была бы неуместной после вашего гостеприимства. Да и второй Суизин Холл

неуместен на острове.

— Если вы Суизин Холл, так кто я, по-вашему? Вы, может быть, и это знаете?

— Нет, не знаю, — ответил беспечно Гриф, — но хотел бы знать.

— Не ваше дело.

— Согласен. Выяснять вашу личность не моя обязанность. Но, между прочим, я знаю вашу шхуну, и найти ее хозяина не такое уж мудреное дело.

— Как зовется моя шхуна?

— «Эмилия Л.».

— Верно. А я капитан Раффи, владелец и шкипер.

— Охотник за котиками? Слыхал, слыхал. Но каким ветром вас занесло сюда?

— Деньги были нужны. Котиковых лежбищ почти не осталось.

— А те, что на краю света, слишком хорошо охраняются?

— Да, вроде того. Но вернемся к нашему спору. Я ведь могу оказать сопротивление. Будут неприятности. Каковы ваши окончательные условия?

— Те, что я сказал. И даже больше. Сколько стоит ваша «Эмилия»?

— Она свое отплавала. Десять тысяч долларов

— да и то уже грабеж. Каждый раз в штормовую погоду я боюсь, что обшивка не выдержит и балласт продавит дно.

— Уже продавил. Я видел, что ваша «Эмилия Л.» болталась килем кверху после шторма. Допустим, она стоит семь с половиной тысяч долларов. Так вот, я плачу вам пятнадцать тысяч и везу вас до Сиднея. Не снимайте рук с колен.

Гриф встал, подошел к нему и отстегнул от его пояса револьвер.

— Небольшая предосторожность, капитан. Сейчас я отвезу вас на шхуну. Миссис Раффи я сам обо всем предупрежу и доставлю ее на судно вслед за вами.

— Вы великодушный человек, мистер Холл, — сказал Раффи, когда вельбот уже подходил к борту «Дяди Тоби». — Но будьте осторожны с Горманом и Уотсоном. Это сущие дьяволы. Да, между прочим, мне неприятно говорить об этом, но вы ведь знаете мою жену. Я, видите ли, подарил ей четыре или пять жемчужин. Уотсон с Горманом были не против.

— Ни слова, капитан, ни слова. Жемчужины принадлежат ей. Это вы, мистер Сноу? Здесь наш друг, капитан Раффи. Будьте добры, возьмите его на свое попечение. А я поехал за его женой.

8

Дэвид Гриф что-то писал, сидя за столом в гостиной. За окном чуть брезжил рассвет. Гриф провел беспокойную ночь. Обливаясь слезами, миссис Раффи два часа укладывала вещи. Гормана захватили в постели. Но Уотсон, карауливший рабочих, пытался было оказать сопротивление. До выстрелов, впрочем, дело не дошло. Он сдался, как только понял, что его карта бита. Гормана с Уотсоном в наручниках заперли в каюте помощника. Миссис Раффи расположилась у Грифа, а капитана Раффи привязали к столу в салоне.

Гриф дописал последние строчки, отложил перо и перечитал написанное:

Суизину Холлу за жемчуг, добытый в его лагуне (согласно оценке) — 100.000 долларов

Герберту Сноу сполна за судно «Каскад» (в жемчуге, согласно оценке) — 60.000 долларов

Капитану Раффи жалованье и плата за издержки, связанные с добычей жемчуга — 7.500 долларов

Капитану Раффи в виде компенсации за шхуну «Эмилия Л.», погибшую во время урагана — 7.500 долларов

Миссис Раффи в подарок пять первоклассных

жемчужин (согласно оценке) — 1.100 долларов

Проезд до Сиднея четырем персонам по 120 долларов — 480 долларов

За белила на окраску двух вельботов Суизина Холла — 9 долларов

Суизину Холлу остаток (в жемчуге, согласно оценке) оставлен в ящике стола в библиотеке — 23.411 долларов

100 000 долларов

Гриф поставил свою подпись, дату, помедлил немного и приписал внизу:

«Остаюсь должен Суизину Холлу три книги, взятые мною из библиотеки: Хедсон „Закон психических явлений“, Золя „Париж“, Мэхэн „Проблемы Азии“. Книги, или их полную стоимость, можно получить в конторе вышеупомянутого Грифа, в Сиднее».

Гриф включил свет, взял стопку книг, аккуратно заложил входную дверь на щеколду и зашагал к поджидавшему его вельботу.

Ночь на Гобото

1

На Гобото собираются торговцы, прибывающие сюда на своих шхунах, и плантаторы с диких и далеких берегов, и все надевают здесь башмаки, облачаются в белые полотняные брюки и прочие атрибуты цивилизации. На Гобото приходит почта, оплачиваются счета, и здесь почти всегда можно получить газету не более чем пятинедельной давности, ибо этот крохотный островок, опоясанный коралловыми рифами и имеющий удобную якорную стоянку, стал, по существу, главным портом и своего рода распределительным центром всего архипелага.

Гобото живет в мрачной, удушливой и зловещей атмосфере, и, хоть это совсем маленький островок, здесь зафиксировано больше случаев острого алкоголизма, чем в любой другой точке земли. На Гувуту (Соломоновы острова) говорят, что там пьют даже в промежутках между выпивками. На Гобото этого не оспаривают. Но, между прочим, замечают, что в истории Гобото о таких промежутках ничего не известно. И еще

приводят некоторые статистические данные об импорте, из которых явствует, что Гобото потребляет гораздо больше спиртных напитков на душу населения, чем Гувуту. Гувуту объясняет это тем, что Гобото ведет более крупные дела и там больше приезжих. Гобото возражает на это, что по численности населения он уступает Гувуту, но зато приезжающие сюда больше страдают от жажды. Спору этому конца не видно, и прежде всего потому, что спорщики слишком быстро сходят в могилу, так ни до чего и не договорившись.

Гобото невелик. Остров имеет лишь четверть мили в поперечнике, и на этой четверти мили расположились адмиралтейские навесы для угля (несколько тонн угля лежат тут вот уже двадцать лет), бараки для горстки чернокожих рабочих, большой магазин и склад, крытые железом, и бунгало, в котором живут управляющий и два его помощника. Эти трое и составляют белое население острова. Одного из трех всегда трясет лихорадка. Работать на Гобото нелегко. Как и все Компании, обосновавшиеся на островах, здешняя Компания взяла за правило угощать своих клиентов, и обязанность угощать ложится на управляющего и его помощников. Круглый год торговцы и вербовщики, прибывающие сюда из

далеких и «сухих» рейсов, и плантаторы со столь же далеких и «сухих» берегов высаживаются на Гобото, мучимые великой и неутолимой жаждой. Гобото — Мекка кутил, и, упившись до бесчувствия, приезжие возвращаются на свои шхуны и плантации, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Иным, менее выносливым, нужна по крайней мере шестимесячная передышка, прежде чем они в состоянии вновь посетить Гобото. Но управляющему и его помощникам такой передышки не полагается. Они привязаны к своему месту; день за днем, неделя за неделей с муссоном или юго-восточным пассатом приходят шхуны, груженные копрой, «растительной слоновой костью», перламутром, морскими черепахами и жаждой.

Работать на Гобото очень тяжело. Поэтому служащим здесь платят вдвое больше, чем на других факториях, и именно поэтому Компания отбирает для работы на Гобото самых смелых и неустрашимых людей. Мало кто может протянуть здесь хотя бы год; либо его чуть живого увозят обратно в Австралию, либо его останки зарывают в песок на противоположной, подветренной стороне острова.

Джонни Бэссет, почти легендарный герой Гобо-

то, побил все рекорды. Джонни получал деньги, которые присылали с родины; обладая совершенно удивительным здоровьем, он протянул целых семь лет. Выполняя его предсмертную волю, помощники заспиртовали его в бочке с ромом (купленной на их собственные сбережения) и отправили бочку к его родным в Англию.

И тем не менее на Гобото старались быть джентльменами. Пусть у них есть кое-какие грешки на совести, но все же они джентльмены и всегда были таковыми. Вот почему на Гобото существовал великий неписанный закон, согласно которому человек, сходя на берег, должен надевать брюки и башмаки. Короткие штаны, лава-лава и голые ноги были просто неприличны. Когда капитан Йенсен, самый отчаянный из всех вербовщиков, хоть и происходил из почтенной нью-йоркской семьи, решил сойти на берег в набедренной повязке, нижней рубашке, с двумя пистолетами и ножом за поясом, ему предложили одеться. Это произошло еще во времена Джонни Бэссета, человека весьма щепетильного в вопросах этикета. Стоя на корме своего вельбота, капитан Йенсен громогласно утверждал, что у него на шхуне штанов нет; при этом он подтвердил свое намерение сойти на берег. Потом его

заботливо лечили на Гобото от пулевого ранения в плечо и даже принесли извинения за причиненное беспокойство, так как на его шхуне штанов действительно не оказалось. Наконец, когда капитан Йенсен поднялся с постели, Джонни Бэссет очень вежливо, но твердо помог гостю облачиться в брюки из своего собственного гардероба. Это был великий прецедент, и в последующие годы этикет никогда не нарушался. Отныне белый человек и брюки были неотделимы друг от друга. Только чернокожие бегали голыми. Брюки стали символом касты.

2

Этот вечер был бы таким же, как и все остальные вечера, если бы не одно происшествие. Их было семеро; целый день они тянули шотландское виски с умопомрачительными коктейлями, и хоть глаза у них блестели, они еще твердо держались на ногах; потом все семеро сели обедать. На них были куртки, брюки и башмаки. Тут были: Джерри Мак-Мертрей, управляющий; Эдди Литл и Джек Эндрюс, помощники; капитан Стейплер с вербовочного кеча «Мери»; Дарби Шрайлтон, плантатор с Тито-Ито; Питер Джи, наполовину англичанин, наполовину китаец, скупавший

жемчуг на островах от Цейлона до Паумоту, и, наконец, Альфред Дикон, который прибыл сюда с последним пароходом. Сначала чернокожий слуга принес вино для тех, кто хотел вина, но вскоре они снова перешли на шотландское виски с содовой и обильно смачивали каждый кусок, прежде чем отправить его в свои затвердевшие, сожженные спиртом желудки.

Когда они пили кофе, послышался грохот якорной цепи, скользящей по клюзу: прибыло какое-то судно.

— Это Дэвид Гриф, — заметил Питер Джи.

— Откуда вы знаете? — грубо спросил Дикон и, не желая согласиться с метисом, заявил: — Все вы такие, чуть что, норовите пустить новичку пыль в глаза. Я сам немало поплавал на своем веку и считаю пустым бахвальством, когда мне говорят название судна, едва завидев парус, или называют по имени капитана, лишь услышав, как гремит якорная цепь его судна; это… это совершеннейшая ерунда.

Питер Джи зажигал в это время сигарету и промолчал.

— Я знал чернокожих, которые проделывают совершенно удивительные вещи, — тактично вставил Мак-Мертрей.

Поведение Дикона раздражало и управляющего и остальных свидетелей этой сцены. С той минуты, как Питер Джи прибыл сюда, Дикон все время старался как-нибудь задеть его. Он придирался к каждому его слову и вообще был очень груб.

— Может быть, это потому, что у Питера есть примесь китайской крови?

— предположил Эндрюс. — Дикон — австралиец, а ведь известно, какие они сумасброды, когда речь идет о цвете кожи.

— Думаю, что вы правы, — согласился Мак-Мертрей. — Но мы не допустим, чтобы так оскорбляли человека, особенно такого, как Питер Джи, который белее многих белых.

И управляющий был прав. Питер Джи, этот евразиец, был редким человеком, добрым и умным. Хладнокровие и честность его китайских предков уравновешивали безрассудство и распущенность его отца-англичанина. Кроме того, он был образованнее, чем любой из присутствующих, говорил на хорошем английском языке, равно как и на нескольких других языках, и больше соответствовал их идеалу джентльмена, чем они сами. Наконец, он был добрая душа. Он ненавидел насилие, хотя в свое время ему приходилось убивать людей, ненавидел драки и

избегал их, как чумы.

Капитан Стейплер поддержал Мак-Мертрея.

— Помню, когда я перешел на другую шхуну и прибыл на ней в Альтман, чернокожие сразу же узнали, что это я. Меня там не ждали, тем более на другом судне. Они сказали торговому агенту, что шхуну веду я. Тот взял бинокль и заявил, что они ошибаются. Но они не ошиблись. Потом они сказали, что узнали меня по тому, как я управлял шхуной.

Дикон словно не слышал Стейплера и продолжал приставать к скупщику жемчуга.

— Каким образом вы могли узнать по грохоту цепи, что подошел именно этот… как его там зовут?.. — вызывающе спросил он.

— Тут очень много всего, что позволяет прийти к этому выводу, — ответил Питер Джи. — Не знаю даже, как вам это объяснить. Об этом можно написать целую книгу.

— Так я и думал, — ухмыльнулся Дикон. — Ничего нет проще, как дать объяснение, которое ничего не объясняет.

— Кто хочет партию в бридж? — прервал его Эдди Литл, помощник управляющего; он выжидательно смотрел на присутствующих и уже начал тасовать карты. — Питер, вы будете играть,

не правда ли?

— Если он сядет сейчас за бридж, значит, он просто болтун, — отрезал Дикон. — В конце концов мне надоел весь этот вздор. Мистер Джи, вы весьма обяжете меня и поддержите свою репутацию честного человека, если объясните, каким образом вы узнали, чей корабль отдал сейчас якорь. А потом мы сыграем с вами в пикет.

— Я предпочел бы бридж, — ответил Питер. — Что касается вашего вопроса, то дело, в общем, обстоит так: по звуку якорной цепи я определяю, что это небольшое судно, без прямых парусов. Не было слышно ни гудка, ни сирены — опять-таки небольшое судно. Оно подошло чуть не к самому берегу. Еще одно указание на то, что это небольшое судно, ибо пароходы и большие парусники отдают якорь, не доходя до мели. Далее, вход в бухту очень извилист, и ни один капитан на всем архипелаге, будь он с вербовочного или торгового судна, не отважится войти в бухту после наступления темноты. И тем более, если он нездешний. Правда, есть два исключения. Одно из них Маргонвилл, но его казнили по приговору суда на Фиджи. Остается Дэвид Гриф. Он заходит в бухту днем и ночью, в любую погоду. Все это знают. Если бы Гриф был сейчас где-нибудь далеко, мы

могли бы предположить, что это какой-нибудь отчаянный молодой шкипер. Но, во-первых, о таком шкипере нам ничего не известно. А, во-вторых, Гриф плавает сейчас в этих водах на «Гунге» и скоро отправится на Каро-Каро. Позавчера я был на «Гунге» в проливе Сэнд-флай и разговаривал с ним. Он привез на новую факторию торгового агента. Гриф сказал, что сначала он зайдет в Бабо, а потом прибудет на Гобото. Ему давно пора быть здесь. Я слышал, как отдали якорь. Кому же еще быть, как не Дэвиду Грифу? Командует «Гунгой» капитан Доновен, и я знаю, что он не подойдет к Гобото в темноте, когда на судне нет хозяина. Вот увидите, не пройдет и нескольких минут, как в дверях появится Дэвид Гриф и скажет: «В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками». Держу пари на пятьдесят фунтов, что сейчас войдет именно он и скажет: «В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками».

На миг Дикон был сокрушен. От гнева кровь бросилась ему в лицо.

— Отлично! Он ответил вам. — Мак-Мертрей добродушно рассмеялся. — И я сам поддержу пари на пару соверенов.

— Кто хочет сыграть в бридж? — нетерпеливо крикнул Эдди Литл. — Питер, идите сюда!

— Вы играйте в бридж, а мы перекинемся в пикет, — заявил Дикон.

— Я предпочитаю бридж, — мягко возразил Питер Джи.

— Вы не играете в пикет?

Скупщик жемчуга кивнул.

— Тогда начнем! И, может быть, я докажу вам, что в пикете смыслю больше, чем в якорях.

— Но позвольте… — начал было Мак-Мертрей.

— Вы можете играть в бридж, — перебил его Дикон, — а мы предпочитаем пикет.

Питер Джи сел за игру очень неохотно; он словно чувствовал, что она могла плохо кончиться.

— Только один роббер, — сказал он, снимая колоду перед сдачей.

— По скольку будем играть? — спросил Дикон.

Питер Джи пожал плечами.

— По скольку хотите.

— Сто на кон — пять фунтов партия?

Питер Джи согласился.

— При недоборе больше чем наполовину, конечно, десять фунтов?

— Хорошо, — сказал Питер Джи.

Четверо сели за другой стол играть в бридж. Капитан Стейплер в карты не играл и время от времени наполнял шотландским виски вы-

сокие стаканы, что стояли справа у каждого игрока. Мак-Мертрей, плохо скрывая беспокойство, следил за тем, как шла игра в пикет. На его товарищей англичан тоже весьма неприятно действовало поведение австралийца, и они опасались какой-нибудь выходки с его стороны. Всем было ясно, что он ненавидит Питера Джи и в любой момент может затеять ссору.

— Надеюсь, что Питер проиграет, — тихо сказал Мак-Мертрей.

— Едва ли, разве если карта совсем не пойдет, — ответил Эндрюс. — В пикет он играет, как бог. Знаю по собственному опыту.

Питеру Джи явно везло, потому что Дикон все время бранился, то и дело наливая себе виски. Он проиграл первую партию и, судя по его отрывистым замечаниям, проигрывал вторую, когда дверь открылась и в комнату вошел Дэвид Гриф.

— В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками, — сказал он и пожал руку управляющему. — Здорово, Мак! Понимаешь, мой шкипер сидит в вельботе. У него есть шелковая рубашка, галстук и теннисные туфли, одним словом, все как полагается, но он просит прислать ему пару брюк. Мои ему слишком малы, но ваши будут впору. Здорово, Эдди! Ну как твоя нгари-нгари?

Джек, ты здоров? Просто чудеса! Никого не трясет лихорадка, и никто не пьян! — Гриф вздохнул. — Наверно, еще слишком рано. Здорово, Питер! Знаешь, через час, после того как ты ушел в море, налетел шквал. Он захватил вас? Нам пришлось бросить второй якорь. — Пока Грифа знакомили с Диконом, Мак-Мертрей велел мальчику-слуге отнести брюки, и, когда капитан Доновен вошел в комнату, он имел такой вид, какой и должен иметь белый человек — по крайней мере на Гобото.

Дикон проиграл вторую партию. Об этом возвестил новый взрыв брани. Питер Джи молча закурил сигарету.

— Что? Вы выиграли и хотите бросить игру? — свирепо спросил Дикон.

Гриф вопросительно поднял брови и взглянул на Мак-Мертрея, который сердито нахмурился в ответ.

— Роббер окончен, — ответил Питер Джи.

— Роббер состоит из трех партий. Мне сдавать. Начали!

Питер Джи уступил, и третья партия началась.

— Щенок, ему нужна плетка, — прошептал Мак-Мертрей Грифу. — А ну, ребята, кончай игру! Я присмотрю за этим малым. Если он зайдет

слишком далеко, я выкину его вон, и плевать я хотел на инструкции.

— Кто это? — спросил Гриф.

— Прибыл с последним пароходом. Компания распорядилась встретить его как можно лучше. Он хочет вложить деньги в плантацию. Компания предоставила ему кредит на десять тысяч фунтов. Он бредит «Австралией только для белых». Думает, что если у него белая кожа, а папаша был когда-то генеральным прокурором британского содружества, значит, он может хамить. Вот и пристает к Питеру, а ведь вы знаете, что Питер — самый миролюбивый человек в мире. К черту Компанию! Я не обязан нянчить ее молокососов с банковскими билетами. Налейте себе, Гриф. Это негодяй, отъявленный негодяй.

— Может быть, он еще слишком молод? — заметил Гриф.

— Он просто не умеет пить. — Управляющий весь кипел гневом. — Если он поднимет на Питера руку, я его так отделаю, что век не забудет, паршивец этакий!

Питер Джи опустил доску, на которой записывал очки, и откинулся на спинку стула. Он выиграл третью партию. Питер посмотрел на Эдди и сказал:

— Теперь я могу играть с вами в бридж.

— Может быть, продолжим? — проворчал Дикон.

— Нет, я, право же, устал от этой игры, — сказал Питер Джи со свойственным ему спокойствием.

— Давайте сыграем еще партию, — настаивал Дикон. — Еще одну. Это же сущий разбой. Я проиграл пятнадцать фунтов. Либо проиграю вдвое больше, либо каждый останется при своих.

Мак-Мертрей хотел было вмешаться, но Гриф остановил его взглядом.

— Если действительно в последний раз, то я согласен, — сказал Питер Джи, собирая карты. — Кажется, мне сдавать. Если я правильно понял, ставка

— пятнадцать фунтов. Либо вы будете мне должны тридцать фунтов, либо мы в расчете.

— Вот именно! Либо ничья, либо я плачу вам тридцать фунтов.

— Что, попало? — заметил Гриф, пододвигая стул.

Остальные стояли или сидели вокруг стола, а Дикону опять не везло. Было очевидно, что он умеет играть и играет хорошо. К нему просто не шла карта. Но он не умел сохранять хладнокровие, когда проигрывал. Он так и сыпал грубыми,

отвратительными ругательствами и все время нападал на невозмутимого Питера Джи. Когда Питер уже закончил игру, у Дикона не было даже пятидесяти очков. Он не произнес ни слова и злобно посмотрел на своего противника.

— Кажется, недобор, — сказал Гриф.

— Значит, проигрыш вдвойне, — заметил Питер Джи.

— Без вас знаю, — огрызнулся Дикон. — Я учил арифметику. И должен вам сорок пять фунтов. Забирайте!

И он грубо швырнул на стол девять пятифунтовых банкнот, что само по себе было оскорблением. Однако Питер Джи оставался невозмутим и даже виду не подал, что его это как-то задевает.

— Дуракам счастье, но скажу вам по чести, что в карты играть вы все-таки не умеете, — продолжал Дикон. — Я показал бы вам, что значит играть в карты.

Питер Джи усмехнулся и, кивая головой, молча сложил деньги.

— Есть одна маленькая игра, которую называют казино, — не знаю, слышали ли вы о ней, — совсем детская игра.

— Я видел, как в нее играют, — мягко сказал Питер Джи.

— Что такое? — рявкнул Дикон. — Уж не хотите ли вы сказать, что умеете в нее играть?

— О нет, ни в коем случае. Боюсь, для меня это слишком сложно.

— Отличнейшая игра казино, — непринужденно вмешался Гриф. — Я очень люблю ее.

Дикон не удостоил его даже взглядом.

— Я сыграю с вами по десять фунтов партия, до тридцати одного, — заявил Дикон. — И докажу вам, как мало вы смыслите в картах. Начнем. Где полная колода?

— Нет, благодарю вас, — ответил Питер Джи. — Меня ждут партнеры, мы будем играть в бридж.

— Да, да, идите к нам, — встрепенулся Эдди Литл. — И давайте начнем.

— Испугались маленького казино! — издевался Дикон. — Может быть, ставка слишком высока? Ну, так будем играть на пенсы и фартинги, если вам угодно.

Поведение австралийца было оскорбительно для всех присутствующих. И Мак-Мертрей не выдержал.

— Перестаньте, Дикон! Он же сказал, что не хочет играть. Оставьте его в покое.

Дикон свирепо повернулся к хозяину, но прежде чем он успел разразиться ругательствами,

вмешался Гриф.

— Мне бы хотелось сыграть с вами в казино, — сказал он.

— Что вы понимаете в казино?

— Совсем немного, но я с удовольствием поучусь.

— Сегодня я не даю уроков на пенсы.

— Прекрасно! — ответил Гриф. — Я согласен почти на любую ставку… конечно, в разумных пределах.

Дикон решил отделаться от этого назойливого человека одним ударом.

— Мы сыграем по сто фунтов за партию, если вас это устраивает.

Гриф выразил свой полнейший восторг.

— Чудесно! Великолепно! Давайте начнем. Вы мелочь считаете?

Дикон был ошарашен. Он никак не ожидал, что гоботский торговец примет его предложение.

— Так вы мелочь считаете? — повторил Гриф.

Между тем Эндрюс принес новую колоду и выбросил джокера.

— Конечно, нет, — ответил Дикон. — Так играют только пай-мальчики.

— Прекрасно, — согласился Гриф. — Я тоже не люблю играть, как пай-мальчики.

— Значит, не любите? Ну что ж, тогда я вам предложу одну вещь: будем играть по пятьсот фунтов партия.

И Дикон снова был ошарашен.

— Согласен, — сказал Гриф, начиная тасовать карты. — Сначала идет вся масть и пики, потом большое и малое казино и, наконец, тузы, по старшинству, как в бридже. Согласны?

— Да я вижу, вы здесь ребята не промах, — засмеялся Дикон, но смех его звучал неестественно. — Откуда я знаю, есть ли у вас деньги?

— А откуда я знаю, что они есть у вас? Мак, какой кредит может мне предоставить Компания?

— Такой, какой вам нужно.

— Вы лично гарантируете это? — спросил Дикон.

— Ну, конечно, гарантирую. И будьте спокойны, Компания учтет его вексель на гораздо большую сумму, чем ваш чек.

— Снимите, — сказал Гриф, кладя колоду карт перед Диконом на стол.

Недоверчиво глядя на лица присутствующих, Дикон нерешительно начал снимать. Помощники управляющего и капитаны ободряюще кивнули.

— Я никого из вас не знаю, — жаловался Дикон.

— Как я могу быть уверен? Вексель — это еще не деньги.

Тогда Питер Джи достал из кармана бумажник и, попросив у Мак-Мертрея авторучку, стал писать.

— Я еще ничего не купил, — сказал он, — значит, вся сумма лежит на моем счете. Гриф, я переведу ее на ваше имя. Здесь пятнадцать тысяч. Вот посмотрите.

Дикон перехватил чек, когда его передавали через стол, медленно прочитал и посмотрел на Мак-Мертрея.

— Чек надежный?

— Вполне. Такой же надежный, как ваш. И вообще бумаги Компании всегда надежны.

Дикон снял колоду и тщательно перетасовал карты. Первым сдавал он. Но ему по-прежнему не везло, и он проиграл первую партию.

— Сыграем еще, — сказал он. — Мы не договорились, сколько партий будем играть, и вы не можете бросить игру, когда я проигрываю. Будем дерзать.

Гриф стасовал карты и протянул колоду Дикону, чтобы тот снял.

— Давайте играть на тысячу, — сказал Дикон, проиграв вторую партию. И когда ставка в ты-

сячу фунтов была проиграна так же, как перед этим две по пятьсот, он предложил играть на две тысячи.

— Ведь это прогрессия, — предостерегающе заявил Мак-Мертрей и тут же встретил ненавидящий взгляд Дикона. Однако управляющий был настойчив. — Вы умный человек и не соглашайтесь на удвоение ставок.

— Кто здесь играет, вы или он? — злобно выкрикнул Дикон, потом, обращаясь к Грифу, сказал: — Я проиграл две тысячи?

Гриф кивнул в знак согласия, началась четвертая партия, и Дикон выиграл. Каждый понимал, что, постоянно удваивая ставки, он вел нечестную игру. Хотя Дикон проиграл три партии из четырех, он не потерял ни пенса. Прибегая к этой детской уловке и удваивая ставки при каждом проигрыше, он рано или поздно должен был полностью отыграться при первом же выигрыше.

Было видно, что он не прочь прекратить игру, но Гриф снова протянул ему колоду.

— Как? — закричал Дикон. — Вы еще хотите?

— Я же ничего не выиграл, — капризно, словно оправдываясь, пробормотал Гриф, начиная сдавать. — Играем, как сначала, по пятьсот фунтов?

До Дикона, очевидно, дошло, что он ведет себя

недостойно, и он ответил:

— Нет, продолжим по тысяче. И потом игра до тридцати одного тянется очень долго. Почему бы нам не сыграть до двадцати одного, если для вас это не слишком быстро?

— Это будет чудесная быстрая игра, — согласился Гриф.

Дикон играл в прежней манере. Он проиграл две партии, удвоил ставку и опять вернул проигранное. Но Гриф был терпелив, хотя та же самая история повторилась на протяжении часа несколько раз. Наконец произошло то, чего он так долго ждал: Дикон проиграл подряд несколько партий. Он удвоил ставку до четырех тысяч, потом до восьми — и проиграл опять, тогда он предложил удвоить ставку до шестнадцати тысяч.

Гриф отрицательно покачал головой.

— Вы же не можете играть на такую сумму. Компания предоставила кредит только на десять тысяч.

— Значит, вы не дадите мне отыграться? — хрипло спросил Дикон. — Отобрали у меня восемь тысяч фунтов и бросаете карты? Надо дерзать!

Гриф, улыбаясь, покачал головой.

— Но это же грабеж, настоящий грабеж! — кри-

чал Дикон. — Вы забрали мои деньги и не даете мне отыграться.

— Нет, вы ошибаетесь. Можете играть. У вас осталось еще две тысячи фунтов.

— Хорошо, мы сыграем на них, — прервал его Дикон. — Снимите.

Игра шла в полной тишине, которую прерывали лишь гневные выкрики и ругательства Дикона. Зрители молчаливо потягивали виски и снова наполняли стаканы.

Гриф не обращал внимания на своего беснующегося противника и играл очень сосредоточенно. В колоде было пятьдесят две карты, которые надо помнить, и он их помнил. Партия после последней сдачи была почти сыграна; Гриф бросил карты.

— Я кончил, — сказал он. — У меня двадцать семь.

— А если вы ошиблись? — угрожающе сказал Дикон; его лицо побледнело и вытянулось.

— Тогда я проиграл. Считайте.

Гриф пододвинул ему свои взятки, и Дикон начал пересчитывать их дрожащими пальцами. Потом он отодвинулся от стола, осушил стакан виски и огляделся: все смотрели на него с неприязнью.

— Кажется, со следующим пароходом мне надо ехать в Сидней, — сказал он, и впервые за весь день голос его прозвучал спокойно, без раздражения.

Впоследствии Гриф рассказывал:

— Если бы он начал хныкать или поднял гвалт, я бы ни за что не дал ему этого последнего шанса, но он вел себя, как подобает мужчине, и я не мог отказать ему в этом.

Дикон взглянул на часы, сделал вид, что зевает, и начал подниматься.

— Подождите, — сказал Гриф. — Может быть, вы еще хотите отыграться?

Дикон опустился на стул, хотел что-то сказать, но не мог, он только облизал пересохшие губы и кивнул головой.

— Утром капитан Доновен уходит на «Гунге» на Каро-Каро, — начал Гриф таким тоном, словно говорил о чем-то совершенно не относящимся к делу. — Каро-Каро — это песчаная отмель посреди моря, на которой стоят несколько тысяч кокосовых пальм. Еще там растет пандус, но ни сладкий картофель, ни таро развести не удается. На острове живут около восьмисот туземцев, король и два премьер-министра, причем только эти двое носят кое-какую одежду. Это забытая богом

дыра, и раз в год я посылаю туда с Гобото шхуну. Питьевая вода там, правда, солоновата на вкус, но старый Том Батлер пьет ее вот уже двенадцать лет и держится. Он там единственный белый. У него есть шлюпка и пятеро гребцов с островов Санта-Крус, которые — дай им только волю — немедленно бы сбежали или прикончили Тома. Потому-то их и послали на Каро-Каро. Оттуда не сбежишь. Ему посылают с плантаций самых буйных. Там нет миссионеров. Двух учителей туземцы с Самоа забили насмерть палками, едва они сошли на берег.

Вы, конечно, удивлены, зачем я все это рассказываю. Наберитесь терпения. Так вот, завтра утром капитан Доновен отправится в свой ежегодный рейс на Каро-Каро. Том Батлер стар, ему уже трудно вести дела. Я предлагал ему вернуться в Австралию, но он не соглашается, говорит, что хочет умереть на Каро-Каро; так оно и будет через год-два. Старый чудак! Но теперь туда пора послать кого-нибудь помоложе, чтобы он заменил там Батлера. Как вам нравится эта работа? Вам пришлось бы пробыть там два года.

Подождите! Я еще не кончил.

Сегодня вы много говорили о том, что надо дерзать. А что дерзновенного в том, чтобы проса-

живать деньги, которые не стоили тебе ни капли пота? Проигранные вами десять тысяч достались вам от отца или какого-нибудь родственника, которому, наверно, пришлось немало попотеть, прежде чем он их заработал. Но если вы пробудете два года на Каро-Каро в качестве агента, это уже кое-что значит. Я ставлю десять тысяч фунтов, которые выиграл у вас, против вашего обязательства провести два года на Каро-Каро. Если вы проиграете, то поступаете ко мне на службу и завтра утром отправляетесь на остров. Вот это можно назвать настоящим дерзновением. Будете играть?

Дикон не мог выговорить ни слова. У него застрял комок в горле, и, беря карты, он только кивнул головой.

— Одну минуту, — сказал Гриф. — Я даже пойду вам навстречу. Если вы проиграете, то два года вашей жизни принадлежат мне — безо всякого жалованья. Если вы будете хорошо работать, будете выполнять все правила и инструкции, то за два года заработаете у меня десять тысяч фунтов, по пять тысяч фунтов в год. Деньги будут депонированы на счет Компании и по истечении срока выплачены вам с процентами. Вас это устраивает?

— Даже больше, чем устраивает, — с трудом выдавил из себя Дикон. — Но вы же идете на явный убыток. Агент получает каких-нибудь десять — пятнадцать фунтов в месяц.

— Отнесем это за счет дерзания, — сказал Гриф, как бы давая понять, что говорить тут не о чем. — Но прежде чем начать, я набросаю для вас несколько жизненных правил. Вы будете их повторять вслух каждое утро в течение двух лет — если, конечно, проиграете. Они пойдут вам на пользу. Я уверен, что, когда вы их повторите на Каро-Каро семьсот тридцать раз, они навсегда врежутся в вашу память. Мак, дайте мне, пожалуйста, вашу ручку. Итак…

Несколько минут он кое-что быстро писал, а потом начал читать вслух:

«Я должен раз и навсегда запомнить, что каждый человек достоин уважения, если только он не считает себя лучше других».

«Как бы я ни был пьян, я должен оставаться джентльменом. Джентльмен — это человек, который всегда вежлив. Примечание: лучше не напиваться пьяным».

«Играя с мужчинами в мужскую игру, я должен вести себя, как мужчина».

«Крепкое словцо, вовремя и к месту сказанное,

облегчает душу. Частая ругань лишает ругательство смысла. Примечание: ругань не сделает карты хорошими, а ветер — попутным».

«Мужчине не разрешается забывать, что он мужчина. Такое разрешение не купишь за десять тысяч фунтов».

Когда Гриф начал читать, Дикон побледнел от гнева. Потом шея и лицо его начали багроветь, и он сидел красный, как рак.

— Вот и все, — сказал Гриф, складывая бумагу и бросая ее на середину стола. — Ну как, вы еще хотите играть?

— Так мне и надо, — отрывисто пробормотал Дикон. — Я осел. Мистер Джи, независимо от того, выиграю я или проиграю, мне хотелось бы извиниться перед вами. Может быть, всему виной виски, я не знаю, но я осел, грубиян и хам.

Он протянул Питеру Джи руку, и тот радостно пожал ее.

— Послушайте, Гриф, — воскликнул Джи, — он, право же, парень что надо. Давай кончим это дело, выпьем на прощание и все забудем.

Гриф хотел было что-то возразить, но Дикон крикнул:

— Нет, я этого не допущу. Играть — так играть до конца. И если суждено Каро-Каро, пусть будет

Каро-Каро. И хватит об этом.

— Правильно, — сказал Гриф, начиная тасовать колоду. — И если он сделан из крепкого материала, Каро-Каро ему не повредит.

Игра была острая и упорная. Трижды они набирали равное количество взяток и не могли выйти на «мастях». Перед пятой и последней сдачей Дикону не хватало до выигрыша трех очков, а Грифу — четырех. Дикон мог выиграть на одних «мастях». Он больше не ворчал и не ругался и, надо сказать, играл отлично. Неожиданно он бросил два черных туза и туза червей.

— Думаю, что вы можете назвать четыре мои карты? — сказал он, когда колода кончилась и он взял оставшиеся карты.

Гриф кивнул.

— Тогда назовите их.

— Валет пик, двойка пик, тройка червей и туз бубен.

Ни один мускул не дрогнул на лицах зрителей, которые стояли за Диконом и видели его карты. Гриф назвал карты правильно.

— Кажется, вы играете в казино лучше меня, — признал Дикон. — Я могу назвать только три ваших карты; у вас валет, туз и большое казино.

— Неверно. В колоде не пять тузов, а четыре. Вы

сбросили трех, а четвертый у вас на руках.

— Клянусь Юпитером, вы правы. Я и правда трех сбросил. И все-таки я наберу на одних «мастях»… Это все, что мне нужно.

— Я отдам вам малое казино… — Гриф замолчал, прикидывая взятки. — Да и туза тоже, а потом сыграю на «мастях» и кончу с большим казино. Играйте!

— «Мастей больше нет, и я выиграл! — возликовал Дикон, когда взял последнюю взятку. — Я кончаю с малым казино и четырьмя тузами. На пиках и большом казино вы набираете только двадцать.

Гриф покачал головой.

— Боюсь, что вы ошибаетесь.

— Не может быть, — уверенно заявил Дикон. — Я считал каждую карту, какую сбрасывал. Это единственное, за что я спокоен. У меня двадцать шесть, и у вас двадцать шесть.

— Пересчитайте, — сказал Гриф.

Дрожащими пальцами, медленно и тщательно Дикон пересчитал взятки. У него было двадцать пять. Он протянул руку к углу стола, взял написанные Грифом правила, сложил их и сунул в карман. Потом он допил свой стакан и встал. Капитан Доновен посмотрел на часы, зевнул и

тоже поднялся.

— Вы на шхуну, капитан? — спросил Дикон.

— Да. В котором часу прислать за вами вельбот?

— Я иду сейчас с вами. По дороге захватим с «Билли» мой багаж. Утром я ходил на нем в Баро.

Все пожелали Дикону удачи на Каро-Каро, и он с каждым попрощался за руку.

— А Том Батлер играет в карты? — спросил он Грифа.

— В солитер, — ответил тот.

— Тогда я научу его двойному солитеру.

Дикон повернулся к двери, где его ждал капитан Доновен, и со вздохом добавил:

— Думаю, он тоже обдерет меня, если играет, как вы, почтенные островитяне.

Перья Солнца

1

Остров Фиту-Айве был последним оплотом полинезийцев в Океании. Независимости его способствовали три обстоятельства. Во-первых и во-вторых — уединенное расположение острова и воинственность его жителей. Однако эти обстоятельства в конце концов не спасли бы Фиту-Айве, если бы им не прельстились одновременно Япония, Франция, Англия, Германия и Соединенные Штаты. Они дрались из-за него, как мальчишки из-за найденного на улице медяка, и не давали друг другу завладеть им. Военные суда пяти держав теснились в единственной маленькой гавани Фиту-Айве. Поговаривали о войне, и где-то за океаном уже бряцали оружием. Во всем мире люди за утренним завтраком читали в газетах сообщения о Фиту-Айве. Словом, по местному выражению одного матроса-янки, «все сразу сунулись к одной кормушке».

Вот почему-то остров Фиту-Айве избежал даже объединенного протектората и король его, Тулифау, или Туи Тулифау, по-прежнему творил

суд и расправу в своем бревенчатом дворце из калифорнийского леса, построенном для него каким-то сиднейским коммерсантом. Туи Тулифау был король с головы до ног, король с первой секунды своей жизни. Более того, когда исполнилось пятьдесят восемь лет и пять месяцев его царствования, королю было еще только пятьдесят восемь лет и три месяца, а, следовательно, он царствовал на пять миллионов секунд дольше, чем жил на свете: его короновали за два месяца до рождения.

Это и с виду был настоящий король, величественный мужчина ростом шесть с половиной футов. Не отличаясь чрезмерной полнотой, он весил, однако, триста двадцать фунтов. Впрочем, такой рост и вес не считались у полинезийских вождей редкостью. Супруга Тулифау, королева Сепели, была ростом в шесть футов три дюйма и весила двести шестьдесят фунтов, а брат ее, Уилиами (командовавший армией, когда ему надоедали обязанности первого министра), был выше ее на дюйм и весил ровно на полцентнера больше.

Туи Тулифау был веселый король, большой любитель поесть и выпить. Таким же веселым и безобидным нравом отличались его подданные,

что не мешало им иногда выходить из себя и даже швырять дохлыми свиньями в того, кто навлек на себя их гнев. При всем своем миролюбии они умели сражаться не хуже маорийцев, в чем не раз убеждались в былые времена разбойники-купцы, торговавшие сандаловым деревом и людьми.

2

Шхуна Грифа «Кантани», еще два часа назад миновав Каменные Столбы, скалы, сторожившие вход в бухту, теперь тихо входила в гавань с легким бризом, который словно не решался разгуляться по-настоящему. Был прохладный звездный вечер, и все слонялись по палубе в ожидании, когда шхуна своим черепашьим ходом доберется до причала. Из каюты появился кладовщик Уилли Сми, принарядившийся перед выходом на берег. Помощник капитана посмотрел на его рубашку из тончайшего белого шелка и выразительно хмыкнул.

— Собираешься, я вижу, на бал? — сказал Гриф.

— Нет, — возразил помощник. — Это он для Таитуи так расфрантился. Влюблен в нее по уши.

— Выдумываете! — запротестовал Уилли.

— Ну, так она в тебя влюблена, это все равно, — настаивал помощник капитана. — Не пройдет

и полчаса, как ты будешь с нею в обнимку гулять по берегу в венке и с цветком за ухом.

— Просто вы завидуете, фыркнул Уилли. — Вам самому она приглянулась, да ничего у вас не выходит.

— Не выходит, потому что у меня нет такой рубашки, как у тебя, вот и все. Держу пари на полкроны, что ты уедешь с Фиту-Айве без нее.

— А если ее не получит Таитуа, так наверняка заберет Туи Тулифау, — предостерег кладовщика Гриф. — Смотри, не попадайся ему на глаза в этой рубашке, иначе придется тебе распрощаться с нею!

— Это верно, подтвердил и капитан Бойг, оторвавшись на миг от созерцания огней на берегу. — В прошлый наш приезд он забрал у одного из моих канаков расшитый пояс и складной нож... Мистер Мэш, — обратился капитан к своему помощнику, — можете отдать якорь. Только не слишком вытравливайте канат. Похоже, что ветра не будет, и утром нам придется стать напротив складов копры.

Через минуту загремел якорь. У борта уже стояла спущенная на воду шлюпка, и в нее садились те, кто съезжал на берег. Здесь были все канаки, а из белых только Гриф и Уилли Сми.

На узком коралловом молу Уилли, буркнув что-то вроде извинения, расстался со своим хозяином и быстро исчез в пальмовой аллее. А Гриф пошел в другую сторону, мимо старой миссионерской церкви. На берегу среди могил плясали юноши и девушки, весьма легко одетые — в одних «аху» и «лава-лава», украшенные венками и гирляндами. В волосах у них белели, словно светясь, крупные цветки гибиска.

Немного подальше, перед длинным травяным шалашом «химине», Гриф увидел стариков: их было несколько десятков, и, сидя рядом, они пели старые церковные гимны, которым когда-то выучились у позабытых всеми миссионеров.

Потом Гриф прошел мимо дворца Туи Тулифау — множество огней и доносившийся изнутри шум свидетельствовали, что там, как всегда, идет пир горой. Ибо из всех счастливых островов Океании Фиту-Айве был самый счастливый. Здесь пировали и веселились по случаю и рождений и смертей, с одинаковым усердием чествовали мертвецов и еще не рожденных.

Гриф продолжал идти по Дроковой аллее, которая вилась и петляла среди множества цветов и густых зарослей папоротниковых альгароб. Теплый воздух был полон благоухания, а на фоне

звездного неба рисовались отягощенные плодами манговые деревья, величавые авокадо и веера стройных пальм. Там и сям мелькали травяные хижины, чьи-то голоса и смех журчали во мраке. Вдали, на воде, мигали огоньки и звучала тихая песня — это от рифов плыли домой рыбаки.

Наконец, Гриф свернул с дороги к одной из хижин и тут в темноте наткнулся на свинью, которая негодующе хрюкала. Заглянув в открытую дверь, он увидел пожилого туземца, сидевшего на груде сложенных циновок. Время от времени он машинально обмахивал свои голые ноги хлопушкой для мух, сделанной из кокосовой мочалы, и, оседлав нос очками, сосредоточенно читал какую-то книгу. Гриф не сомневался, что это библия на английском языке. Какую еще книгу мог читать его торговый агент, Иеремия, окрещенный так в честь древнего пророка?

У Иеремии кожа была несколько светлее, чем у туземцев Фиту-Айве, ибо он был чистокровный самоанец. Воспитанный миссионерами, он когда-то преданно служил их делу, подвизаясь в качестве учителя на западных атоллах, населенных каннибалами. В награду его потом отправили на Фиту-Айве, этот рай земной, где все жители, за исключением отступников, были

добрыми христианами, и Иеремии оставалось только вернуть некоторых заблудших на путь истинный.

Однако Иеремию погубила чрезмерная начитанность. Случайно попавший к нему в руки том Дарвина, да притом еще сварливая жена и одна хорошенькая вдовушка на Фиту-Айве совратили его самого, и он оказался в числе заблудших. Это не было вероотступничество. Но после того, как он полистал Дарвина, им овладела душевная и умственная апатия. Что пользы человеку пытаться познать бесконечно сложный и загадочный мир, в особенности когда у этого человека злая жена? И Иеремия все с меньшим рвением исполнял свои обязанности пастыря, начальство все чаще грозило, что отошлет его обратно к людоедам, а, соответственно этому, острый язык жены жалил его все сильнее.

Туи Тулифау был добрый монарх и сочувствовал Иеремии: ни для кого не было тайной, что его самого поколачивала супруга в тех случаях, когда он напивался сверх всякой меры. Из политических соображений (ибо Сепели принадлежала к столь же высокому роду, как и он, а брат ее командовал армией) Туи Тулифау не мог развестись с королевой. Но развести Иеремию с женой он

мог — и сделал это, после чего Иеремия немедленно женился на своей избраннице и занялся коммерцией. Попробовав самостоятельно вести торговлю, он скоро прогорел — главным образом из-за разорительных милостей Туи Тулифау. Отказать в кредите этому веселому самодержцу значило бы навлечь на себя конфискацию имущества, а предоставление ему кредита неизбежно должно было привести к банкротству.

Проболтавшись год без дела, Иеремия поступил на службу к Дэвиду Грифу в качестве торгового агента и вот уже двенадцать лет с честью выполнял эту обязанность. Торговля процветала, так как Гриф был первый человек, который успешно отказывал королю в кредите, а если и отпускал ему товар в долг, то умудрялся затем получать с него деньги.

Когда Гриф вошел, Иеремия серьезно посмотрел на него поверх очков, затем так же серьезно и не спеша, отметив страницу, отложил библию в сторону и пожал хозяину руку.

— Очень хорошо, что вы пожаловали собственной персоной! — сказал он.

— А как иначе я мог пожаловать? — с улыбкой отозвался Гриф.

Но Иеремия, совершенно лишенный чувства

юмора, пропустил это замечание мимо ушей.

— Коммерция на острове находится в катастрофическом состоянии! — изрек он торжественно, со смаком отчеканивая каждое многосложное слово. — Мой торговый баланс хоть кого приведет в ужас!

— А что, торговля идет плохо?

— Напротив, очень бойко. Полки в лавке совсем опустели. Да, полки совершенно пусты. Но… — Тут в глазах Иеремии блеснула гордость. — Но на складе еще много товару. Я держу его под спудом, за крепкими замками.

— Наверное, опять слишком много надавали в кредит Туи Тулифау?

— Нет, он не только не брал в долг, но заплатил и по всем старым счетам.

— Ну, тогда я ничего не понимаю! — признался Гриф. — Откуда же кризис? Вы говорите: полки пусты, в кредит ничего не отпускалось, все счета оплачены, на складе припрятан товар — в чем загвоздка?

Иеремия ответил не сразу. Из-под груды циновок он извлек железный денежный ящик. Гриф заметил, что ящик не заперт, и удивился: обычно самоанец очень тщательно запирал его.

Ящик был доверху набит какими-то кредит-

ками. Иеремия снял одну, лежавшую на самом верху, и протянул ее хозяину.

— Вот в чем загвоздка.

Гриф осмотрел аккуратно сделанную кредитку и прочел:

«Первый Королевский банк Фиту-Айве выплачивает предъявителю сего по требованию один фунт стерлингов.» Посредине было расплывчатое изображение чьей-то физиономии, а внизу стояла подпись Туи Тулифау и еще другая — «Фулуалеа» с пояснительной надписью «Министр финансов».

— Что за чертовщина? Откуда взялся этот Фулуалеа? — воскликнул Гриф.

— И что за имя! На языке туземцев фиджи это слово, кажется, означает «перья солнца»!

— Совершенно верно: Перья Солнца. Так именует себя этот гнусный мошенник. Явился сюда с Фиджи и перевернул все вверх дном — я имею в виду коммерцию на острове.

— Наверное, это кто-нибудь из продувных левукских туземцев?

Иеремия скорбно покачал головой.

— Нет, он белый. И негодяй, каких мало. Присвоил себе благородное и звучное фиджийское имя — и втоптал его в грязь ради своих гнусных

целей. Он сделал Туи Тулифау пьяницей. Он все время его спаивает и не дает протрезвиться. А король в благодарность назначил его министром финансов и предоставил ему еще кучу других должностей. Фулуалеа выпустил вот эти фальшивые деньги и заставил весь народ принимать их. Он ввел патенты для торговцев, налоги на копру и на табак. Введены также и другие налоги, и портовый сбор, и какие-то правила для прибывающих судов. С населения налогов не берут, только с нас, торговцев. Когда обложили налогом копру, я стал платить за нее соответственно меньше. Тут люди зароптали, и Перья Солнца издал новый закон: восстановил прежнюю цену и запретил ее снижать. Меня он оштрафовал на два фунта стерлингов и пять свиней — так как было известно, что у меня их именно пять. Стоимость их я записал в графу торговых расходов. У Хоукинса, агента Компании Фокрэм, под видом штрафа отобрали сперва свиней, потом джин, а когда он стал шуметь, пришли солдаты и сожгли его лавку. Я прекратил торговлю, но подлец Фулуалеа оштрафовал меня вторично и пригрозил спалить и мою лавку, если я еще раз попытаюсь обойти закон. Ну, я и продал все, что было на полках, и теперь ваша касса набита

ничего не стоящим хламом. Конечно, если вы выплатите мне жалованье этими бумажками, меня это сильно огорчит, но это будет только справедливо, безусловно справедливо. Теперь скажите, что делать?

Гриф пожал плечами.

— Прежде всего мне надо повидать эти Перья Солнца и выяснить положение.

— Тогда торопитесь, — посоветовал Иеремия, — покуда он не успел еще наложить на вас сотню всяких штрафов. Таким-то образом он и вылавливает всю звонкую монету, какая есть в стране. Он все, кажется, уже заграбастал, кроме того, что лежит в земле!

3

Возвращаясь от Иеремии по той же Дроковой аллее, Гриф у освещенного фонарями входа в дворцовый парк, встретил низенького толстяка, гладко выбритого, румяного, в измятых парусиновых брюках. Человек этот только что вышел из дворца. Что-то в его походке и самоуверенных манерах показалось Грифу знакомым, и в следующую минуту он узнал в нем субъекта, которого встречал по крайней мере в десяти портах Тихого океана.

— Кого я вижу! Корнелий Дизи! — воскликнул он.

— Эге, да это вы, Гриф! — отозвался тот, и они пожали друг другу руки.

— Пойдемте ко мне на шхуну, угощу вас первосортным ирландским виски,

— предложил Гриф.

Корнелий выпятил грудь и принял чопорно-величественный вид.

— Нет, мистер Гриф, этот номер не пройдет. Теперь я — Фулуалеа, и выпивкой меня не соблазнишь, как в былые времена. Притом, волею его величества, милостивого короля Тулифау, я — министр финансов в этой стране. Я же — верховный судья. Только иногда, когда королю угодно развлечься, он сам берет в руки меч правосудия.

Гриф от удивления даже присвистнул.

— Так это вы — Перья Солнца?

— Я предпочитаю, чтобы меня называли поздешнему, — поправил его Корнелий. — Имею честь представиться: Фулуалеа. Старая дружба не ржавеет, мистер Гриф, но все же я с великим сожалением должен сообщить вам неприятную весть: вам придется заплатить ввозную пошлину, установленную нами для всякого коммерсанта, который приезжает сюда грабить жителей ко-

ралловых островов, мирных полинезийцев… Что бишь я хотел сказать еще? Ах, да! Вы нарушили правила: С преступными намерениями вошли в порт Фиту-Айве после захода солнца, не зажигая бортовых огней… Не перебивайте меня! Я своими глазами видел это. За такие беззаконные действия вы уплатите штраф в размере пяти фунтов… А джин у вас на шхуне имеется? Это тоже серьезное нарушение… Да, так я говорю — жизнь моряков нам слишком дорога, чтобы мы в нашем благоустроенном порту позволили рисковать ею ради грошовой экономии керосина… Однако вы не ответили на мой вопрос: есть у вас спиртное? Спрашиваю как начальник порта.

— Ого! Вы взяли на себя уйму ответственных обязанностей! — сказал Гриф, усмехаясь.

— Таков тяжкий долг белого человека. Мошенники-купцы взвалили все бремя правления на бедного Туи Тулифау, добрейшего из монархов, какие когда-либо занимали трон на тихоокеанских островах и тянули грог из королевского калабаша. И вот я, Корнелий… то есть Фулуалеа, взялся навести здесь законный порядок… И, хотя мне это очень неприятно, я как начальник порта должен обвинить вас в нарушении карантина.

— Какого карантина? Это что еще за новость?

— Распоряжение портового врача. Пока судно не отбыло карантина — никаких сношений с берегом! Ведь вы можете занести какую-нибудь эпидемию — ветряную оспу, например, или коклюш, — а это страшное бедствие для доверчивых полинезийцев! Кто же защитит кроткого и доверчивого туземца? Я, Фулуалеа, Перья Солнца, взял на себя эту великую миссию!

— А кто ваш портовый врач, черт бы его побрал? — осведомился Гриф.

— Я, Фулуалеа. Вы опасный правонарушитель!.. Считайте себя оштрафованным на пять ящиков первосортного голландского джина.

Гриф от души расхохотался.

— Как-нибудь сговоримся, Корнелий. Едемте ко мне на шхуну и там выпьем.

Перья Солнца величественным жестом отклонил приглашение.

— Это взятка. Взяток не беру, не такой я человек. А почему вы не представили ваших судовых документов? Как начальник таможни, я штрафую вас на пять фунтов стерлингов и еще на два ящика джина.

— Послушайте, Корнелий, пошутить не грех, но вы хватили через край. Здесь вам не Левука! Бросьте хорохориться, меня не запугаете.

Признаться, у меня уже руки чешутся.

Перья Солнца в смятении отступил подальше.

— Не вздумайте сейчас пустить их в ход! — сказал он с угрозой. — Здесь не Левука, это верно. Именно поэтому и еще потому, что за мной стоит Туи Тулифау и королевская армия, я могу вас в порошок стереть. Немедленно платите все штрафы, иначе я конфискую ваше судно. Думаете, вы первый? Вот и Питер Джи, скупщик жемчуга, прокрался в гавань, нарушив все правила, да еще поднял скандал из-за каких-то пустячных штрафов. Не хотел платить, ну и сидит теперь на берегу и кается.

— Неужто вы…

— Конечно! Выполняя свои высокие обязанности, я захватил его шхуну. На ее борту сейчас находится пятая часть нашей верной армии, а через неделю шхуна будет продана. Мы нашли в трюме тонн десять раковин. Пожалуй, я уступлю их вам в обмен на джин. Вы сделаете на редкость выгодное дельце, можете мне поверить! Сколько, вы говорите, у вас джину?

— Опять джин!

— А что же тут удивительного? Туи Тулифау пьет по-королевски. Мне приходится день и ночь ломать голову, придумывая, как обеспечить его

спиртным. И щедр он до невозможности — все его прихлебатели вечно вдрызг пьяны. Это безобразие… Ну что же, мистер Гриф, уплатите вы штрафы или вынудите меня прибегнуть к решительным мерам?

Гриф сердито повернулся к нему.

— Корнелий, вы пьяны. Протрезвитесь и тогда подумайте, что вы делаете. Веселые деньки на островах Океании миновали. В нынешние времена такие забавы вам даром не пройдут.

— Вы, кажется, собираетесь вернуться на шхуну, мистер Гриф? Не трудитесь напрасно! Я предвидел, что вы будете артачиться — знаю я вашего брата! — и вовремя принял меры: всю команду вы найдете на берегу, а шхуна ваша конфискована.

Гриф сделал шаг к нему, все еще надеясь, что он шутит. Фулуалеа опять испуганно попятился. За его спиной вдруг выросла какая-то огромная фигура.

— Это ты, Уилиами? — понизив голос, спросил Фулуалеа. — Вот еще один морской пират! Защити меня силой своих рук, о могучий брат мой!

— Привет тебе, Уилиами, — сказал Гриф. — С каких это пор на Фиту-Айве всем управляет какой-то левукский бездельник? Он говорит, что

моя шхуна захвачена. Правда это?

— Правда, — густым басом прогудел Уилиами. — Есть у тебя еще такие шелковые рубашки, как та, что носит Уилли Сми? Туи Тулифау хочется иметь такую рубашку. Он слышал о ней.

— И он ее получит, — вмешался Фулуалеа. — Что бы король ни захотел, шхуну или рубашку, все он получит.

— Однако вы порядком зарвались, Корнелий! — пробурчал Гриф. — Это чистейший разбой! Вы захватили мое судно без всяких оснований.

— Без оснований? А разве пять минут тому назад вы на этом самом месте не отказались уплатить штрафы, которые с вас причитаются?

— Да ведь шхуна-то конфискована до этого!

— Ну и что же? Ведь я заранее знал, что вы откажетесь. Все сделано по закону, и вам не на что жаловаться. Правосудие, эта несравненная лучезарная звезда, — мое божество, и у его сияющего алтаря я, Корнелий Дизи — то есть Фулуалеа, это одно и то же, — день и ночь возношу молитвы. Уходите, господин купец, или я напущу на вас дворцовую стражу! Уилиами, этот купец — отчаянный человек, он на все способен. Вызови стражу!

Уилиами схватил свисток на плетеном коко-

совом шнурке, висевший на его широкой голой груди, и засвистал. Гриф гневно замахнулся на Корнелия, но тот юркнул за массивную спину Уилиами, где он был в безопасности. А по дорожке от дворца уже мчалось человек десять рослых полинезийцев, среди которых не было ни одного ниже шести футов. Добежав, они выстроились позади своего командира.

— Убирайтесь отсюда, господин купец, — приказал Корнелий. — Разговор окончен. Завтра утром мы в суде разберем все ваши дела. Вы должны явиться во дворец ровно в десять часов и ответить за следующие преступления: Нарушение общественного спокойствия, изменнические, мятежные речи, дерзкое нападение на верховного судью с целью избить, ранить, нанести тяжкие увечья, а также несоблюдение карантина и установление порядков и грубое нарушение таможенных правил. Утром, милейший, утром, не успеет упасть плод с хлебного дерева, как правосудие свершится! И да помилует господь вашу душу!

4

Наутро, еще до назначенного часа, Гриф пришел во дворец вместе с Питером Джи и настоял,

чтобы их допустили к Туи Тулифау. Король, окруженный несколькими вождями, возлежал на циновках в дворцовом саду, в тени авокадо. Несмотря на ранний час, служанки уже хлопотали, непрерывно разнося всем джин. Король был рад старому другу и выразил сожаление, что «Давида» впутался в неприятности, оказавшись не в ладу с новыми законами Фиту-Айве. Однако в дальнейшей беседе он упорно избегал этой темы и на все протесты ограбленных купцов неизменно отвечал предложением выпить. Только раз он излил свои чувства, сказав, что Перья Солнца — замечательный человек и никогда еще на Фиту-Айве не царило такое благополучие, как сейчас: никогда еще не было в казначействе столько денег, а во дворце столько джина.

— Да, я очень доволен Фулуалеа, — заключил король. — Выпейте еще!

— Нам надо в спешном порядке убраться отсюда, — шепнул Гриф Питеру Джи, — иначе мы совсем опьянеем. А меня к тому же через несколько минут будут судить за поджог, или ересь, или распространение проказы… сам не знаю, за что, — и мне надо собраться с мыслями.

Когда они выходили от короля, Гриф мельком видел королеву. Она из-за двери подсматривала

за своим августейшим супругом и его собутыльниками, и выражение ее нахмуренного лица сразу подсказало Грифу, что ему следует действовать только через нее.

В другом тенистом уголке обширного дворцового парка Корнелий вершил суд. Видимо, он приступил к этому занятию спозаранку. Когда пришел Гриф, разбиралось уже дело Уилли Сми. Королевская армия присутствовала на суде в полном составе, за исключением той ее части, которая стерегла захваченные шхуны.

— Пусть подсудимый встанет, — сказал Корнелий, — и выслушает справедливый и милостивый приговор суда. За непристойное поведение и распущенность, не подобающую человеку его звания, он приговаривается к штрафу. Подсудимый заявляет, что у него нет денег? Хорошо. К сожалению, у нас нет тюрьмы. По этой причине, а также снисходя к бедности подсудимого, суд штрафует его только на одну белую шелковую рубашку такого же сорта, качества и фасона, как та, которая сейчас на нем.

Корнелий сделал знак, и несколько воинов увели Уилли Сми за дерево. Через минуту он появился уже без упомянутой в приговоре части туалета и сел подле Грифа.

— В чем вы провинились? — спросил у него тот.

— Понятия не имею. А какие преступления совершили вы?

— Следующий, — сказал Корнелий строго официальным тоном. — Обвиняемый Дэвид Гриф, встаньте! Суд рассмотрел обвинительный материал по вашему делу

— или, вернее, делам — и выносит следующее постановление… Молчать! — гаркнул он, когда Гриф хотел перебить его. — Повторяю, все показания против вас тщательно рассмотрены. Суд не желает отягчать участь обвиняемого и потому предупреждает, что таким поведением он может навлечь на себя еще и кару за оскорбление суда. А за его открытое и наглое неповиновение установленным в порту правилам, несоблюдение карантина и нарушение законов о судоходстве принадлежащая ему шхуна «Кантани» объявляется конфискованной в пользу правительства Фиту-Айве и через десять дней от сего числа будет продана с публичных торгов со всем ее оснащением и грузом. Кроме того, подсудимый Гриф за преступления, совершенные им, а именно за буйное, вызывающее поведение и явное неуважение к законам нашей страны, обязан уплатить штраф

в размере ста фунтов стерлингов и пятнадцати ящиков джина. Подсудимый, я не предоставляю вам слова. Отвечайте только на один вопрос: намерены вы платить или нет?

Гриф отрицательно покачал головой.

— В таком случае, — продолжал Корнелий, — считайте себя арестованным, но временно оставленным на свободе, ибо на острове нет тюрьмы, куда вас можно было бы упрятать. И, наконец, до сведения суда дошло, что сегодня рано утром подсудимый Гриф самоуправно посылал своих канаков к рифам наловить рыбы на завтрак. Это явное нарушение прав здешних рыбаков. Мы обязаны защищать интересы отечественных промыслов. Суд выносит подсудимому суровое порицание, и, если подобное правонарушение повторится, он и все виновные будут немедленно отправлены на каторжные работы — приводить в порядок Дроковую аллею. Объявляю заседание закрытым.

Когда они уходили из резиденции короля, Питер Джи, подтолкнув Грифа, указал глазами на Туи Тулифау, по-прежнему возлежавшего на циновках. Шелковая рубашка Уилли Сми уже туго облегала жирные королевские телеса.

5

— Картина ясна, — говорил Питер Джи на совещании в доме у Иеремии. — Дизи, видимо, выкачал уже почти все деньги, какие были у населения Фиту-Айве. Чтобы король ему не мешал, он непрерывно спаивает его джином, который он захватил на наших судах. Он только и ждет удобного момента, чтобы прикарманить всю звонкую монету, что хранится в казначействе, и удрать на моей или вашей шхуне.

— Он негодяй, — объявил Иеремия, перестав на минуту протирать очки. — Плут он и мерзавец!.. В него следовало бы запустить дохлой свиньей, самой протухшей падалью!

— Совершенно верно, — подтвердил Гриф, — отхлестать дохлой свиньей! И меня нисколько не удивит, если именно вы возьмете это на себя. Непременно подыщите что-нибудь подходящее — самую что ни на есть дохлятину. Туи Тулифау сейчас в лодочном сарае на берегу — вскрывает один из моих ящиков виски. Я пойду во дворец и начну закулисные переговоры с королевой. Тем временем вы перенесите часть товара из склада в лавку и разложите по полкам. Вам, Хоукинс, я ссужу немного своего. А вы, Питер, ступайте в

лавку немца и начните все продавать за бумажные деньги. Убытки я возмещу, не беспокойтесь. Думаю, что через три дня у нас будет всенародное собрание

— или переворот. Иеремия, вы разошлите гонцов по всему острову, к рыбакам, земледельцам, повсюду, даже в горы к охотникам за дикими козами. Пусть приедут и соберутся у дворца ровно через три дня.

— А солдаты? — возразил Иеремия.

— Ими я займусь сам. Они вот уже два месяца не получали жалованья. Притом Уилиами — брат королевы… Да, вот еще что: не надо сразу раскладывать в лавках много товаров. А когда придут солдаты с бумажными деньгами, ничего им не продавайте.

— Они сожгут лавки! — сказал Иеремия.

— Пусть сожгут. За все заплатит король Тулифау.

— И за мою рубашку тоже? — спросил Уилли Сми.

— Это уж ваше с ним частное дело, решайте его между собой, — ответил Гриф.

— Рубашка изорвана, — жалобно сказал Уилли. — Не успел он поносить ее десять минут, как она лопнула на спине. Я сам видел сегодня утром. Она

стоила мне тридцать шиллингов, и я один только раз надевал ее.

— Где взять дохлую свинью? — спросил Иеремия.

— Купите живую и заколите, — сказал Гриф. — Лучше всего небольшую.

— Небольшая тоже стоит не меньше десяти шиллингов.

— Проведите эту сумму по графе текущих расходов.

И, помолчав, Гриф добавил:

— Если хотите, чтобы свинья хорошенько протухла, заколите ее сегодня же.

6

— Ты верно говоришь, Давида, — сказала королева Сепели. — С тех пор, как этот Фулуалеа, все словно взбесились, а Туи Тулифау потопил свой разум в джине. Если он не созовет Большой Совет, я его изобью. Когда он пьян, с ним очень легко справиться.

Она сжала кулак. У этой амазонки фигура была такая внушительная, а лицо выражало такую решимость, что Гриф понял: Совет будет созван.

Беседа велась на языке жителей Фиту-Айве, настолько родственном самоанскому, что Гриф

говорил на нем, как туземец.

— Ты сказал, Уилиами, что солдаты требуют настоящих денег и не хотят брать бумажки, которыми платит Фулуалеа? Так вели им эти бумажки принимать и позаботиться, чтобы завтра же они получили жалованье за все время.

— К чему поднимать шум? — возразил Уилиами. — Король блаженствует. В казначействе куча денег. И я тоже доволен. Дома у меня припасено два ящика джина и много разного товару из лавки Хоукинса.

— О мой брат, ты настоящий боров! — обрушилась на него Сепели. — Или ты не слышал, что говорил Давида? Где были твои уши? Когда у тебя в доме не останется больше ни джина, ни товаров, когда купцы перестанут их привозить, а Перья Солнца удерет в Левуку со всеми нашими деньгами, что ты тогда будешь делать? Только золото и серебро — деньги, а бумага — это бумага. Говорю тебе: народ ропщет! Во дворце не стало рыбы. Никто не приносит нам больше бататов — можно подумать, что земля перестала их родить. Вот уже неделя, как горцы не шлют нам козьего мяса. Перья Солнца приказал торговцам покупать копру по старой цене, но никто не продает ее, потому что людям не нужны бумажные день-

ги. Сегодня я разослала слуг в двадцать домов за яйцами, а яиц нет. Может быть, Перья Солнца наслал порчу на кур? Не знаю. Знаю только, что яиц нет. Хорошо еще, что пьяницы едят мало, — не то во дворце давно начался бы голод. Вели своим воинам получить жалованье! Пусть им заплатят бумажками.

— И предупреждаю тебя, — добавил Гриф. — Хотя в лавках будут торговать, но от солдат бумажные деньги принимать не станут. Зато через три дня народ соберется на Большой Совет, и Перья Солнца будет мертв, как дохлая свинья.

7

В день Совета все население острова Фиту-Айве собралось в столице. Пять тысяч человек прибыли сюда в челноках и больших лодках, пешком и верхом на ослах. Три предыдущих дня были полны сенсационных событий. Во-первых, лавки стали бойко торговать разными товарами. Когда же явились солдаты, желая, в свою очередь, поддержать торговлю, им в этом было отказано, и купцы посоветовали им обратиться к Фулуалеа за звонкой монетой. «Ведь на его бумажных деньгах написано, что по первому требованию обменяют на золото и серебро», — говорили они.

Лишь высокий авторитет Уилиами удержал солдат и спас лавки от сожжения. Все-таки один из принадлежавших Грифу складов копры сгорел дотла (убытки, разумеется, были отнесены за счет короля). Изрядно досталось и Иеремии — его поколотили, осыпали бранью и насмешками, да еще разбили его очки. А у судового кладовщика Уилли Сми на костяшках пальцев была содрана вся кожа. Произошло это оттого, что три буянивших солдата, один за другим, со всего размаху ударились об его сжатые кулаки. Таким же точно образом пострадал и капитан Бойг. Только Питер Джи остался невредим, ибо, по счастливой случайности, его кулаки пришли в столкновение не с крепкими солдатскими челюстями, а с хлебными корзинами.

Большой Совет происходил в дворцовом парке. На главном месте восседал Туи Тулифау рядом с королевой Сепели, окруженный своими собутыльниками. Правый глаз и губа у короля вспухли, словно он тоже напоролся на чей-то кулак. Во дворце уже с утра шушукались о том, что Сепели задала супругу трепку. Как бы то ни было, король был сегодня трезв — об этом свидетельствовала вялость его жирного тела, уныло выпиравшего из всех прорех шелковой рубашки

Уилли Сми. Ему беспрестанно подавали молодые кокосовые орехи, и он утолял их соком мучившую его жажду.

За оградой теснилась сдерживаемая солдатами толпа. На территорию дворца допущены были только кое-кто из вождей, деревенские щеголи с их подружками и делегаты, сопровождаемые своими штабами.

Корнелий Дизи занял место по правую руку короля, как и подобало влиятельному сановнику. А слева от Сепели, напротив Корнелия, сидел Иеремия в кругу белых купцов, которые выбрали его представителем. Лишенный своих очков, он близоруко щурился, поглядывая на всемогущего министра финансов.

Стали выступать по очереди ораторы — делегат с наветренной стороны побережья, делегат с подветренной стороны и делегаты от горных деревень. Каждого поддерживала группа прибывших с ним вождей и ораторов менее высокой марки.

Говорили все приблизительно одно и то же. Народ недоволен тем, что выпустили бумажные деньги. На острове неблагополучно. Никто не заготовляет копры. Люди стали недоверчивы. До того дошло, что все должники спешат уплатить

свои долги, а кредиторы денег не берут и удирают от должников. И все потому, что бумажные деньги ничего не стоят. Цены растут, а продуктов на рынке все меньше. За курицу дерут втридорога. Купишь, а она оказывается жесткой и такой старой, что ее нужно немедленно перепродать, пока она не околела.

Стране грозят беды, на это указывают всякие дурные приметы и знамения. В некоторых местах наблюдается нашествие крыс. Урожай плохой. Плоды анонны уродились мелкие. На подветренном берегу с самого лучшего дерева авокадо неизвестно отчего облетели все листья. Манговые плоды в этом году совсем невкусные, а бананы поел червь. Из океана ушла вся рыба, и появились целые стаи тигровых акул. Дикие козы перекочевали на неприступные кручи. Запасы муки в хранилищах прогоркли. В горах слышен временами какой-то гул, а по ночам там бродят духи. У одной женщины из Пунта-Пуна ни с того ни с сего отнялся язык, а в деревне Эйхо родилась пятиногая коза. И старейшины в деревнях заявляют во всеуслышание, что всему причиной новые деньги, которые пустил в обращение Фулуалеа.

От армии выступил Уилиами. Он сказал, что его солдаты бунтуют. Вопреки королевскому указу,

купцы не принимают бумажных денег. Он, Уилиами, ничего не берется утверждать, но похоже на то, что во многом виноваты деньги Фулуалеа.

Затем от имени купцов держал речь Иеремия. Когда он поднялся, все заметили, что между его широко расставленных колен стоит большая тростниковая корзина. Иеремия сначала долго распространялся о качествах тканей, привозимых на остров купцами, о красоте их, добротности и разнообразии, об их преимуществах перед местной «тапа», быстро промокающей, непрочной и грубой. Теперь никто не носит больше тапа, а раньше, до того, как сюда приехали купцы, все носили только тапа, ничего кроме тапа. А что сказать о замечательных сетках от москитов, которые продаются почти даром? Самый искусный ткач на Фиту-Айве не сделает такой сетки и в тысячу лет!

Далее Иеремия подробно остановился на несравненных достоинствах топоров, ружей и стальных рыболовных крючков, перешел на иголки, нитки и лесы для удочек и в заключении воздал должное белой муке и керосину.

Затем, излагая свои доводы в строгой последовательности, так что поминутно слышалось: «во-первых», «во-вторых» и так далее, он загово-

рил о благоустройстве, порядке и цивилизации. Он утверждал, что купец — носитель цивилизации и ему следует оказывать всяческое содействие и покровительство, иначе он не будет приезжать сюда. Далеко на западе есть острова, где купцам не оказывали покровительства, — и что же? Они туда больше не ездят, и люди на этих островах живут, как дикие звери, не носят никакой одежды, а шелковых рубашек никогда и в глаза не видывали (тут Иеремия выразительно покосился на короля) и едят друг друга.

Те подозрительные бумажки, что выпустил Перья Солнца, — не деньги. Купцы знают, что такое деньги, и не хотят принимать эти бумажки. А если от них станут этого требовать, купцы уедут с Фиту-Айве и никогда не вернутся. И тогда здешние жители, уже давно разучившиеся изготовлять тапа, будут ходить голые и пожирать друг друга.

Еще многое сказал Иеремия — он ораторствовал битый час — все время упирал на то, что без купцов жизнь на Фиту-Айве станет ужасной.

— И как тогда во всем мире будут называть жителей этого острова? — восклицал он. — Кайканаки, людоеды — вот как будут называть их!

Речь Туи Тулифау была коротка. Он сказал:

— Мы слышали здесь, что думает народ, армия и купцы. Теперь пусть говорит Перья Солнца. Бесспорно, он своей денежной системой творит чудеса. Он не раз объяснял мне ее действие. Это очень просто. Он сейчас и вам все объяснит.

Корнелий начал с заявления, что народ взбудоражили белые купцы, которые все в заговоре против него, Фулуалеа. Иеремия справедливо восхвалял здесь благодетельные свойства белой муки и керосина. Жители Фиту-Айве вовсе не хотят стать кай-канаками. Они стремятся к цивилизации, они жаждут как можно быстрее к ней приобщиться. В этом все дело, и он просит его внимательно выслушать. Бумажные деньги — это главный признак высшей цивилизации. Поэтому он, Перья Солнца, и ввел их. И по этой самой причине купцы восстают против них. Они не хотят, чтобы Фиту-Айве стала цивилизованной страной. Для чего они везут сюда свои товары из самых дальних стран за океаном? Он, Перья Солнца, скажет им это прямо в глаза при всем народе! Поэтому они едут сюда, что в их цивилизованных странах люди не дают оббирать себя и купцы не получают таких громадных барышей, как здесь, на Фиту-Айве. Если жители острова станут цивилизованным народом, у бе-

лых купцов вся торговля полетит к черту. Тогда каждый островитянин при желании сможет сам стать торговцем. Оттого-то белые купцы и против бумажных денег, которые ввел здесь он, Перья Солнца. Почему его здесь называют «Перья Солнца»? Потому, что он принес островитянам свет из далекого мира за горизонтом. Бумажные деньги — это свет. А грабители-купцы боятся света. Вот они и стремятся его угасить.

Он, Фулуалеа, сейчас докажет это славному народу Фиту-Айве. Он докажет это устами своих врагов. Всем известно, что в высококвалифицированных странах давно введены бумажные деньги. Пусть скажет Иеремия, так это или нет.

Иеремия безмолствовал.

— Видите, — продолжал Корнелий, — он не отвечает. Он не может отрицать истину. В Англии, Франции, Германии Америке, во всех великих странах Папаланги в ходу бумажные деньги. Эта система существует там сотни лет. Я спрашиваю тебя, Иеремия, как честного человека, как человека, который когда-то усердно трудился во славу веры господней: ведь ты не можешь отрицать, что в великих заморских странах такая система существует?

Иеремия не мог этого отрицать и нервно те-

ребил пальцами завязки стоявшей у его ног корзины.

— Ну что же? Вы видите, я прав, — сказал Корнелий. — Иеремия этого не отрицает. А теперь я спрошу тебя, о добрый народ Фиту-Айве: если бумажные деньги годятся для заморских стран, почему они не хороши для Фиту-Айве?

— Это не такие деньги! — крикнул Иеремия. — Бумажки, которые выпустил Перья Солнца, — совсем не то, что бумажные деньги великих стран!

Но Корнелий, видимо, ожидал этого возражения и не растерялся. Он поднял вверх кредитку так, чтобы все могли ее видеть.

— Это что? — вопросил он.

— Бумага, просто бумага, — ответил Иеремия.

— А это?

Корнелий показал всем кредитку Английского банка.

— Это английские бумажные деньги, — пояснил он собранию, протягивая бумажку Иеремии, чтобы тот мог ближе рассмотреть ее. — Верно я говорю, Иеремия?

Иеремия неохотно кивнул головой.

— Ты сказал, что деньги Фиту-Айве — простая бумага и больше ничего. Ну, а что ты скажешь

про эти английские деньги? Отвечай как честный человек!.. Мы ждем твоего ответа, Иеремия.

— Они… Они… — промямлил озадаченный Иеремия и беспомощно замолчал: в софистике он был не силен.

— Бумага, простая бумага, — закончил за него Корнелий, подражая его запинающейся речи.

По лицам присутствующих видно было, что Корнелий убедил всех. А король восторженно захлопал в ладоши и сказал вполголоса:

— Все ясно, совершенно ясно.

— Видите, он сам это признает. — В позе и голосе Корнелия Дизи заметно было торжество и уверенность в победе. — Он не может указать разницы. Потому что разницы нет! Наши бумажные деньги — точное подобие английских. Это настоящие деньги!

Тем временем Гриф успел шепнуть что-то Иеремии на ухо. Тот кивнул головой, и, когда Корнелий замолчал, он снова взял слово:

— Однако все папаланги знают, что английское правительство обменивает эту бумагу на звонкую монету.

Дизи окончательно чувствовал себя победителем. Он помахал в воздухе фиту-айванской кредиткой.

— А разве здесь не написано то же самое?

Гриф снова что-то шепнул Иеремии.

— Написано, что эти бумажки вы обменяете на золото и серебро? — переспросил Иеремия.

— По первому требованию? — спросил Иеремия.

— По первому требованию.

— Тогда я требую обмена сейчас же, — сказал Иеремия, вытаскивая из висевшего у него на поясе мешочка небольшую пачку кредиток.

Корнелий взглянул на нее быстрым оценивающим взглядом.

— Хорошо. Вы получите за них немедленно звонкой монетой. Сколько тут?

— Вот мы сейчас увидим нашу новую систему в действии! — объявил король, разделяя триумф своего министра.

— Все слышали? Он будет менять бумажки на звонкую монету! — крикнул Иеремия во весь голос.

Не теряя ни минуты, он сунул обе руки в корзину и извлек оттуда целую кипу фиту-айванских кредиток, уложенных пачками. При этом вокруг распространился какой-то странный запах, шедший из корзины.

— Всего здесь у меня тысяча двадцать восемь

фунтов, двенадцать шиллингов и шесть пенсов, — объявил Иеремия. — А вот мешок для монеты.

Корнелий отшатнулся. Он никак не ожидал, что Иеремия потребует такую большую сумму. К тому же, обводя собрание встревоженными глазами, он увидел, что вожди и представители деревень тоже достают пачки бумажных денег. Солдаты, держа в руках полученное за два месяца жалованье, проталкивались вперед, а из-за ограды на дворцовую территорию хлынула толпа народа — и все держали наготове бумажные деньги.

— Вы создаете панику, чтобы опустошить наш банк! — с упреком сказал Корнелий Грифу.

— Вот мешок для денег, — торопил его Иеремия.

— Обмен придется отложить, — объявил наконец Корнелий с храбростью отчаяния. — Банк в эти часы закрыт.

Иеремия, размахивая пачкой кредиток, орал:

— Здесь ничего не сказано насчет часов. Здесь сказано: «по требованию», — и я требую, чтобы обменяли немедленно.

— Вели им прийти завтра, Туи Тулифау! — взмолился Корнелий. — Завтра им будет уплачено.

Король медлил: супруга грозно смотрела на него, крепко сжав в кулак коричневую руку, и Туи

Тулифау тщетно пытался отвести глаза от этого устрашающего кулака. Он нервно откашлялся.

— Мы хотим сейчас видеть твою систему в действии, — объявил он. — Люди прибыли издалека.

— Неужели вы согласны, чтобы я им отдал такие громадные деньги? — тихо сказал Дизи королю.

Сепели услышала и огрызнулась так свирепо, что король невольно шарахнулся от нее.

— Не забудьте про свинью, — шепнул Гриф Иеремии. Тот вскочил и, энергичным жестом прекратив поднимавшийся уже галдеж, заговорил:

— На Фиту-Айве существовал когда-то древний и весьма почтенный обычай. Когда кого-нибудь уличали в тяжких преступлениях, ему перебивали дубиной все суставы, а затем связанного оставляли перед приливом в воде у берега, на съедение акулам. К сожалению, те времена миновали. Но у нас еще сохранился другой древний и весьма почтенный обычай. Всем вам он известен. Уличенных грабителей и обманщиков побивают дохлыми свиньями.

Тут правая рука Иеремии нырнула в корзину, и, несмотря на то, что он был без очков, извлеченная им оттуда свинья угодила прямехонько

в шею Корнелию. Иеремия метнул ее с такой силой, что министр финансов перекувырнулся и отлетел в сторону. Тут же, не дав ему прийти в себя, к нему подскочила Сепели с живостью и проворством, каких никак нельзя было ожидать от женщины, весившей двести шестьдесят футов. Ухватив Корнелия одной рукой за шиворот, она взмахнула свиньей и под восторженный рев всех своих подданных по-королевски расправилась с ним.

Туи Тулифау ничего другого не оставалось, как, скрыв свою досаду, примириться с позором своего фаворита. Он откинулся на циновке, хохоча так, что сотрясалась вся гороподобная туша.

Сепели бросила наконец и свинью и министра финансов. Орудие казни немедленно подхватил один из делегатов. Корнелий пустился наутек, но свинья угодила в него и сшибла с ног. Тут уже весь народ и армия с криками и хохотом приняли участие в забаве. Как ни увертывался, как ни метался бывший министр, свинья настигала его всюду, сбивая с ног, или летела навстречу. Словно затравленный заяц, улепетывал он между пальмами и деревьями авокадо. Ни одна рука не коснулась его, мучители расступались, давая ему дорогу, но ни на миг не прекращали пресле-

дования. И свинья летала, как мяч, — ее только успевали подхватывать то одни, то другие руки.

Когда и Корнелий и его преследователи скрылись в глубине Дроковой аллеи, Гриф повел всех торговцев в королевское казначейство, и только к вечеру последняя кредитка была обменена на звонкую монету.

8

В ласковой прохладе сумерек из-за прибрежных зарослей выплыл челнок и направился к «Кантани». Челнок был ветхий, дырявый, и сидевший в нем человек греб очень медленно, время от времени останавливаясь, чтобы вычерпать воду. Матросы канаки злорадно захихикали, когда он, подъехав к «Кантани», с мучительными усилиями стал взбираться на палубу. Он был омерзительно грязен и вид имел пришибленный.

— Можно мне потолковать с вами, мистер Гриф? — спросил он смиренно и печально.

— Да, только сядьте подальше и с подветренной стороны, — отозвался Гриф. — Нет, нет, еще дальше! Вот так.

Корнелий присел на планшир и подпер голову руками.

— Понятно, — сказал он. — От меня несет, как от неубранных трупов на поле битвы. Голова трещит, шея, наверное, сломана, зубы все шатаются… В ушах жужжит, как будто там целое гнездо ос. А еще, я полагаю, у меня вывихнуты мозги! Ох! То, что я пережил, страшнее землетрясения и чумы! На мою голову падал град свиней… — Он замолчал с тяжелым вздохом, похожим на стон. — Я видел смерть лицом к лицу, смерть страшную, какую не мог бы вообразить себе ни один поэт. Если бы я сварился в кипящем масле, или был съеден крысами, или меня разорвали на части дикие жеребцы, это было бы, конечно, неприятно… Но принять смерть от дохлой свиньи! — Корнелий содрогнулся. — Право, это превосходит всякое человеческое воображение!

Капитан Бойг шумно потянул носом воздух и передвинул свой складной стул подальше от Корнелия.

— Мистер Гриф, я слышал, что вы едете в Яп, — продолжал Корнелий. — У меня к вам две покорнейшие просьбы: довезите меня туда и угостите капелькой того виски, от которого я отказался в день вашего прибытия.

Гриф хлопнул в ладоши и велел подошедшему на зов чернокожему стюарду принести мыло и

полотенца.

— Ступайте, Корнелий, и первым делом вымойтесь как следует, — сказал он. — Бой принесет вам штаны и рубаху… Кстати, пока вы не ушли, объясните мне, каким это образом в казначействе денег оказалось больше, чем выпущено бумажек?

— Я хранил там свои собственные деньги, которые привез, чтобы было с чем начать.

— Ну, плату за простой и все наши убытки и издержки мы решили взыскать с Туи Тулифау, — сказал Гриф. — Так что найденный в кассе излишек будет вам возвращен… Вычтем только десять шиллингов.

— Это за что же?

— А дохлые свиньи, по-вашему, растут на деревьях? Сумма в десять шиллингов, уплаченная за свинью, у нас проведена по книгам.

Вздрогнув при упоминании о свинье, Корнелий кивком выразил согласие.

— Слава богу, что эта свинья стоила только десять шиллингов, а не пятнадцать и не двадцать!

Жемчуг Парлея

1

Канак рулевой повернул штурвал, «Малахини» послушно стала носом к ветру и выпрямилась. Передние паруса вяло повисли; раздалось дробное пощелкивание концов троса о парус и скрип поспешно выбираемых талей; ветер снова наполнил паруса, шхуна накренилась и легла на другой галс. Хотя было еще раннее утро и дул свежий бриз, пятеро белых, расположившихся на юте, были одеты очень легко: Дэвид Гриф и его гость, англичанин Грегори Малхолл, — в пижамах и китайских туфлях на босу ногу, капитан и его помощник — в нижних рубашках и парусиновых штанах, а второй помощник капитана все еще держал рубашку в руках, не имея ни малейшего желания надеть ее. Пот струился у него на лбу, и он жадно подставлял обнаженную грудь ветру, не приносившему прохлады.

— Экая духота, и ветер не помогает, — с досадой сказал он.

— Что там делается на западе, хотел бы я знать, — проворчал Гриф.

— Это ненадолго, — отозвался голландец Герман, помощник капитана. — Ветер и ночью все менялся: то так повернет, то этак.

— Что-то будет! Что-то будет! — мрачно произнес капитан Уорфилд, обеими руками разделяя надвое бороду и подставляя подбородок ветру в напрасной надежде освежиться. — Вот уже две недели погода какая-то шалая. Порядочного пассата три недели не было. Ничего понять нельзя. Вчера на закате барометр стал колебаться — и сейчас еще пляшет. Люди сведущие говорят, что это ровно ничего не значит. А только не нравится мне это! Действует на нервы, знаете. Вот так он плясал и в тот раз, когда пошел ко дну «Ланкастер». Я тогда был мальчишкой, но отлично помню. Новенькое судно, четырехмачтовое, и обшивка стальная, а затонуло в первый же рейс. Капитан не перенес удара. Он сорок лет плавал на судах Компании, а после этого и года не протянул — истаял, как свеча.

Несмотря на ветер и на ранний час, все задыхались от жары. Ветер только дразнил, не принося прохлады. Не будь он насыщен так влагой, можно было бы подумать, что он дует из Сахары. Не было ни пасмурно, ни туманно — ни намека на туман, и, однако, даль казалась расплывчатой и

неясной. На небе не видно было облаков, но его заволокла густая мгла, и лучи солнца не могли пробиться сквозь нее.

— Приготовиться к повороту! — спокойно и внушительно распорядился капитан Уорфилд.

Темнокожие матросы канаки в одних коротких штанах стали к шкотам; все их движения были плавны, но быстры.

— Руль на ветер! На борт!

Рулевой мгновенно перебрал ручки штурвала, и «Малахини» изящным и стремительным движением переменила галс.

— Да она просто чудо! — воскликнул Малхолл. — Не знал я, что в Южных морях купцы ходят на яхтах.

— Она была построена в Глостере как рыбачье судно, — пояснил Гриф, — а у глостерских судов и корпус, и оснастка, и ход такой, что никакой яхте не уступят.

— А ведь устье лагуны перед вами, почему же вы не входите? — критически заметил англичанин.

— Попробуйте, капитан Уорфилд, — предложил Гриф. — Покажите гостю, что значит входить в лагуну при сильном отливе.

— Круче к ветру! — отдал команду капитан.

— Есть круче к ветру! — повторил канак, слегка поворачивая штурвал.

«Малахини» направилась к узкому проходу в лагуну длинного и узкого атолла своеобразной овальной формы. Казалось, он возник из трех атоллов, которые некогда сомкнулись и срослись в один. На песчаном кольце атолла местами росли кокосовые пальмы, но там, где песчаный берег был слишком низок, пальмы не росли, и в просветах сверкала лагуна; вода в ней была как зеркало, едва подернутое рябью. Эта неправильной формы лагуна простиралась на много квадратных миль, и в часы отлива воды ее рвались в открытое море через единственный узкий проток. Так узок был проток и так силен напор устремившейся в него воды, что казалось — это не просто вход в лагуну, а стремнина бурной реки. Вода кипела, кружила, бурлила и рвалась вон из пролива крутыми, зубчатыми, увенчанными белой пеной валами. Удар за ударом наносили «Малахини» эти вздымавшиеся ей навстречу валы, и каждый удар, точно стальным клином, сбивал ее с курса, отбрасывая в сторону. Она уже вошла в проход — и тут оказалась так прижатой к коралловому берегу, что пришлось сделать поворот. На новом галсе шхуна стала бортом к течению, и оно стре-

мительно понесло ее в открытое море.

— Ну, теперь пора пустить в ход ваш новый дорогой мотор, — с добродушной усмешкой сказал Гриф.

Все знали, что этот мотор — слабость капитана Уорфилда. Капитан до тех пор преследовал Грифа мольбами и уговорами, пока тот не дал согласия на покупку.

— Он еще оправдает себя, — возразил капитан. — Вот увидите. Он надежнее всякой страховки, а ведь сами знаете — судно, плавающее на Паумоту, и страховать никто не берется.

Гриф указал назад, на маленький тендер, который тоже пробивался, борясь с течением, ко входу в лагуну.

— Держу пари на пять франков, что «Нухива» нас обгонит.

— Конечно, — согласился Уорфилд. — У нее относительно очень сильный мотор. Мы рядом с ней — прямо океанский пароход, а у нас всего сорок лошадиных сил. У нее же — десять, и она летит, как птица. Она проскочила бы в самый ад, но такого течения и ей не одолеть. Сейчас его скорость верных десять узлов!

И со скоростью десяти узлов, швыряя и кидая «Малахини» то на один борт, то на другой, тече-

ние вынесло ее в открытое море.

— Через полчаса отлив кончится, тогда войдем, — сердито сказал капитан Уорфилд и прибавил, словно объясняя, чем недоволен: — Парлей не имел никакого права давать атоллу свое имя. На всех английских картах, да и на французских тоже, этот атолл обозначен как Хикихохо. Его открыл Бугенвиль и оставил ему туземное название.

— Не все ли равно, как он называется? — сказал второй помощник, все еще медля надевать рубашку. — Главное — он перед нами, а на нем старик Парлей со своими жемчугом.

— А кто видел этот жемчуг? — спросил Герман, глядя то на одного, то на другого.

— О нем все знают, — ответил второй помощник и обернулся к рулевому:

— Таи-Хотаури, расскажи-ка нам про жемчуг старика Парлея.

Польщенный канак, немного сконфуженный общим вниманием, перехватил ручки штурвала.

— Мой брат нырял для Парлея три, четыре месяца. Он много рассказывал про жемчуг. Хикихохо — место хорошее, тут много жемчуга.

— А перекупщики, как ни добивались, не получили у старика ни единой жемчужины,

— вставил капитан.

— Говорят, когда он отправился на Таити встречать Арманду, он вез для нее полную шляпу жемчуга, — продолжал второй помощник. — Это было пятнадцать лет назад, с тех пор у него немало прибавилось. Он и перламутр собирал. Все видели его склады раковин — сотни тонн. Говорят, из лагуны взято все дочиста. Может быть, поэтому он и объявил аукцион.

— Если он действительно задумал продавать, это будет самая большая годовая распродажа жемчуга на Паумоту, — сказал Гриф.

— Ничего не понимаю! — не выдержал Малхолл, как и все, измученный влажным, удушливым зноем. — В чем дело? Кто такой этот старик? И что у него за жемчуг? Почему вы говорите загадками?

— Старик Парлей — хозяин Хикихохо, — ответил второй помощник капитана. — У него огромное состояние в жемчуге, он собирал его долгие годы, а недавно объявил, что хочет распродать весь свой запас; на завтра назначен аукцион. Видите, сколько мачт торчит над лагуной?

— По-моему, восемь, — подсчитал Герман.

— Что делать восьми шхунам в такой богом забытой дыре? — продолжал второй помощник.

— Тут и для одной шхуны не наберется за весь год полного груза копры. Это они на аукцион явились, как и мы. Вот и «Нухива» поэтому за нами гонится, хотя какой уж она покупатель! На ней плавает Нарий Эринг, он владелец и шкипер. Он сын английского еврея и туземки, и у него только и есть за душой, что нахальство, долги да неоплаченные счета за виски. По этой части он гений. Он столько должен, что в Папеэте все торговцы до единого заинтересованы в его благополучии. Они в лепешку расшибутся, чтобы дать ему заработать. У них другого выхода нет, а ему это на руку. Вот я никому ничего не должен, а что толку? Если я заболею и свалюсь вон тут на берегу, никто и пальцем не шевельнет: пусть и подохну, они не в убытке. Другое дело Нарий Эринг, для него они на все готовы. Если он свалится больной, для него ничего не пожалеют. Слишком много денег в него вложено, чтоб оставить его на произвол судьбы. Его возьмут в дом и будут ходить за ним, как за родным братом. Нет, знаете, честно платить по счетам совсем не так выгодно, как говорят!

— При чем тут Нарий? — нетерпеливо сказал англичанин и, обращаясь к Грифу, попросил: — Объясните мне все по порядку. Что это за басни о жемчуге?

— Если что забуду, подскажете, — предупредил Гриф остальных и начал рассказывать: — Старик Парлей — большой чудак. Я с ним давно знаком и думаю, что он немного не в своем уме. Так вот, слушайте. Парлей чистокровный француз, даже парижанин, это он мне сам сказал, у него выговор настоящий парижский. Приехал он сюда давным-давно, занялся торговлей и всякими делами и таким образом попал на Хикихохо. Приехал торговать, когда здесь процветала меновая торговля. На Хикихохо было около сотни жителей, нищих туземцев. Он женился на их королеве по туземному обряду. И когда королева умерла, все ее владения перешли к нему. Потом разразилась эпидемия кори, после которой уцелело не больше десятка туземцев.

Парлей, как король, кормил их, а они на него работали. Надо вам сказать, что незадолго до смерти королева родила дочь Арманду. Когда девочке исполнилось три года, Парлей отослал ее в монастырь в Папеэте, а семи или восьми лет отправил во Францию. Можете догадаться, что из этого вышло. Единственной дочери короля и капиталиста с островов Паумоту подобало воспитываться лишь в самом лучшем, самом аристократическом монастыре. Вы ведь знаете,

в доброй старой Франции не существует расовых барьеров. Арманду воспитывали как принцессу, да она и чувствовала себя принцессой. Притом она считала себя настоящей белой и даже не подозревала, что с ее происхождением что-то неладно.

И вот разыгралась трагедия. Старик Парлей всегда был со странностями, к тому же он слишком долго жил на Хикихохо неограниченным владыкой — и под конец вообразил, будто он и в самом деле король, а его дочь — принцесса. Когда Арманде исполнилось восемнадцать лет, он выписал ее к себе. Денег у него было хоть пруд пруди, как говорится. Он построил огромный дом на Хикихохо, а в Папеэте — богатый бунгало. Арманда должна была приехать почтовым пароходом, шедшим из Новой Зеландии, и старик на своей шхуне отправился встречать ее в Папеэте. Возможно, все обошлось бы благополучно, назло всем спесивым индюшкам и тупым ослам, задающим тон в Папеэте, но тут вмешался ураган. Это ведь было, кажется, в тот год, когда затопило Ману-Хухи, верно? Там еще утонуло больше тысячи жителей?

Все подтвердили, а капитан Уорфилд прибавил:

— Я плавал тогда на «Сороке». Нас выбросило на сушу — шхуну со всей командой и с коком. Занесло за четверть мили от берега в кокосовую рощу, у входа в Таохайскую бухту. А считается, что это безопасная гавань.

— Так вот, — продолжал Гриф. — Этим самым ураганом подхватило шхуну Парлея, и он явился в Папеэте со всем своим жемчугом ровно на три недели позже, чем следовало. Его шхуну тоже выбросило на берег, и ему пришлось подвести под нее катки и проложить полозья, ее волокли посуху добрых полмили, прежде чем снова спустить на воду.

А тем временем Арманда ждала его в Папеэте. Никто из местных жителей ни разу ее не навестил. Она сама, по французскому обычаю, явилась с визитом к губернатору и к портовому врачу. Они приняли ее, но их жен, конечно, не оказалось дома, и визита они ей не отдали. Ведь она была отверженная, она стояла вне общества, хотя и не подозревала об этом, — и вот столь деликатным образом ей дали это понять. Был тут еще некий молодой лейтенант с французского крейсера. Она покорила его сердце, но головы он не потерял. Можете себе представить, каким ударом было все это для молодой девушки, обра-

зованной, красивой, воспитанной, как подлинная аристократка, избалованной всем, что только можно было достать тогда за деньги во Франции. Нетрудно угадать конец. — Гриф пожал плечами. В бунгало Парлея был слуга японец. Он видел это. Он рассказывал потом, что она проделала все, как настоящий самурай. Действовала не сгоряча, не в безумной жажде смерти, — взяла стилет, аккуратно приставила острие к груди и обеими руками неторопливо и уверенно вонзила его себе прямо в сердце.

И после этого приехал старик Парлей со своим жемчугом. Говорят, у него была жемчужина, которая стоила шестьсот тысяч франков. Ее видел Питер Джи, он говорил мне, что сам давал за нее эти деньги. Старик совсем было сошел с ума. Два дня его держали в Колониальном клубе в смирительной рубашке…

— Дядя его жены, старик туземец, разрезал рубашку и освободил его, — прибавил второй помощник.

— И тогда Парлей начал буйствовать, — продолжал Гриф. — Всадил три пули в подлеца лейтенанта…

— Так что тот три месяца провалялся в судовом лазарете, — вставил капитан Уорфилд.

— Запустил бокалом вина в физиономию губернатору; дрался на дуэли с портовым врачом; избил слуг туземцев; устроил разгром в лазарете, сломал санитару два ребра и ключицу и удрал. Кинулся прямиком на свою шхуну, держа в каждой руке по револьверу и крича, что пусть, мол, начальник полиции со всеми своими жандармами попробует его арестовать, — и ушел на Хикихохо. Говорят, с тех пор он ни разу не покидал острова.

Второй помощник кивнул.

— Это было пятнадцать лет назад, и он с тех пор ни разу с места не двинулся.

— И собрал еще немало жемчуга, — сказал капитан. — Сумасшедший, просто сумасшедший. Меня от одной мысли о нем дрожь пробирает. Настоящий колдун.

— Кто-кто? — не понял Малхолл.

— Хозяин погоды. По крайней мере все туземцы в этом уверены. Вот спросите Таи-Хотаури. Эй, Таи-Хотаури! Как по-твоему, что старик Парлей делает с погодой?

— То, что делает дьявол, — был ответ. — Я знаю. Захочет бурю. Захочет

— совсем ветра не будет.

— Да, настоящий старый колдун, — сказал

Малхолл.

— Этот жемчуг приносит несчастье, — вдруг объявил Таи-Хотаури, зловеще качая головой. — Парлей говорит — продаю. Приходит много шхун. Тогда Парлей сделает большой ураган, и всем будет конец. Увидите. Все здесь так говорят.

— Теперь самая пора ураганов, — невесело усмехнулся капитан Уорфилд.

— Туземцы не так уж далеки от истины. Вот и сейчас что-то надвигается. Я бы предпочел, чтоб «Малахини» была за тысячу миль отсюда.

— Конечно, Парлей немного помешан, — докончил Гриф. — Я старался его понять. У него в голове все перепуталось. Восемнадцать лет вся жизнь для него была в одной Арманде. И теперь ему часто кажется, что она жива, но до сих пор не вернулась из Франции. Между прочим, ему еще и поэтому не хотелось расставаться со своим жемчугом. И он ненавидит белых. Он никогда не забывает, что они убили его дочь, хотя почти всегда забывает, что ее уже нет в живых… Вот те и на! Где же ваш ветер?

Паруса бессильно повисли у них над головой, и капитан Уорфилд с досадой выругался сквозь зубы. Жара и прежде была невыносимая, а теперь, когда ветер стих, стало совсем невтерпеж. По

лицам людей струился пот, и то один, то другой, тяжело переводя дыхание, жадно ловил ртом воздух.

— Вот он, ветер, — и капитан на восемь румбов изменил направление. — Гика-шкоты перенести! Живо!

Канаки бросились выполнять команду капитана, и целых пять минут шхуна, преодолевая течение, шла прямо ко входу в узкий пролив. Ветер снова упал, потом подул в прежнем направлении, и пришлось опять ставить паруса по-старому.

— А вот и «Нухива», — сказал Гриф. — Они пустили в ход мотор. Смотрите, как несется!

— Все готово? — спросил капитан у механика, португальца-метиса, который высунулся из маленького люка перед самой рубкой и утирал потное лицо комком промасленной пакли.

— Готово, — ответил механик.

— Ну, пускайте.

Механик скрылся в своей берлоге, и тотчас послышалось фырканье и шипение глушителя. Но шхуне не удалось удержать первенства. Пока она продвигалась на два фута, маленький тендер успевал пройти три; он быстро настиг ее, а затем и обогнал. На палубе его были одни туземцы.

Человек, управлявший тендером, насмешливо помахал рукой тем, кто был на «Малахини».

— Это и есть Нарий Эринг, — сказал Гриф Малхоллу. — Высокий у штурвала — видели? Самый отъявленный негодяй на всех островах Паумоту.

Пять минут спустя канаки — матросы «Малахини» подняли радостный крик, и все взгляды обратились на «Нухиву». Там что-то случилось с мотором, и теперь «Малахини» обходила ее. Канаки карабкались на ванты и осыпали насмешками остающихся позади соперников; тендер круто накренился под ветер, и течение сносило его назад в открытое море.

— Вот у нас мотор так мотор! — одобрительно сказал Гриф, когда перед ними раскрылась лагуна и «Малахини» переменила курс, готовясь стать на якорь.

Капитан Уорфилд, хотя и очень довольный, только буркнул в ответ:

— Будьте покойны, он окупится.

«Малахини» прошла в самую середину небольшой флотилии и наконец выбрала свободное место для стоянки.

— Вот и Айзекс на «Долли», — заметил Гриф и приветственно помахал рукой. — И Питер Джи на «Роберте». Когда объявлена такая распродажа

жемчуга, разве он останется в стороне! А вот и Франчини на «Кактусе». Все скупщики собрались. Можете не сомневаться, старик Парлей возьмет хорошую цену.

— А они все еще не исправили мотор, — с торжеством сказал капитан Уорфилд.

Он смотрел туда, где за редкими стволами кокосовых пальм, окаймлявших лагуну, виднелись паруса «Нухивы».

2

Дом у Парлея был большой, двухэтажный, из калифорнийского леса и крыт оцинкованным железом. Он был несоразмерно велик для тонкого кольца атолла и торчал над узкой полоской песка, точно огромный нарост. Едва «Малахини» стала на якорь, прибывшие, как полагается, отправились на берег с визитом. Капитаны и скупщики с остальных судов уже собрались в большой комнате, где можно было бы осмотреть жемчуг, назначенный на завтра к продаже. Темнокожие слуги, они же родня хозяина — последние жители Хикихохо, — разносили виски и абсент. И среди этого разнообразия сборища, покашливая и посмеиваясь, расхаживал сам Парлей — жалкая развалина, в которой нельзя было

узнать когда-то рослого и сильного человека. Глаза его ушли глубоко в орбиты и лихорадочно блестели, щеки ввалились. Он неровно, местами, оплешивел, усы и эспаньолка у него были тоже какие-то клочковатые.

— О господи! — пробормотал Малхолл. — Прямо долговязый Наполеон Третий! Но какой облезлый, высохший! Кожа да кости. До чего же жалок! Не удивительно, что он держит голову набок, иначе ему на ногах не устоять.

— Будет шторм, — сказал старик Грифу вместо приветствия. — Вы, видно, очень уж неравнодушны к жемчугу, если явились сюда сегодня.

— За таким жемчугом не жаль отправиться хоть к чертям в пекло, — со смехом ответил Гриф, оглядывая стол, на котором разложены были жемчужины.

— Кое-кто уже отправился туда, — проскрипел Парлей. — Вот посмотрите!

— Он показал на великолепную жемчужину размером в небольшой грецкий орех, лежавшую отдельно на куске замши. — Мне за нее давали на Таити шестьдесят тысяч франков. А завтра, пожалуй, и больше дадут, если всех не унесет ураган. Так вот, эту жемчужину нашел мой родич, вернее, родич моей жены. Туземец. И притом вор. Он ее

припрятал. А она была моя. Его двоюродный брат, который приходился и мне родней — мы тут все в родстве, — убил его, стащил жемчужину и удрал на катере в Ноо-Нау. Я снарядил погоню, но вождь племени Ноо-Нау убил его из-за этой жемчужины еще раньше, чем я туда добрался. Да, тут на столе немало мертвецов. Пейте, капитан. Ваше лицо мне незнакомо. Вы новичок на островах?

— Это капитан Робинсон с «Роберты», — сказал Гриф, знакомя их.

Тем временем Малхолл обменялся рукопожатием с Питером Джи.

— Я и не думал, что на свете есть столько жемчуга, — сказал Малхолл.

— Такого количества сразу и я не видывал, — признался Питер Джи.

— Сколько все это может стоить?

— Пятьдесят или шестьдесят тысяч фунтов — для нас скупщиков. А в Париже… — Он пожал плечами и высоко поднял брови, не решаясь даже назвать сумму.

Малхолл вытер пот, стекавший на глаза. Да и все в комнате обливались потом и тяжело дышали. Льда не было, виски и абсент приходилось глотать теплыми.

— Да, да, — хихикая, подтвердил Парлей. —

Много мертвецов лежит тут на столе. Я знаю свои жемчужины все наперечет. Посмотрите на эти три! Недурно подобраны, а? Их добыл для меня ловец с острова Пасхи — все три в одну неделю. А на следующей неделе сам стал добычей акулы: она отхватила ему руку, и заражение крови его доконало. Или вот эта, она крупная, но неправильной формы, — много ли в ней толку; хорошо, если мне дадут за нее завтра двадцать франков, а добыли ее на глубине в сто тридцать футов. Я видел, как он вынырнул. У него сделалось не то кровоизлияние в легкие, не то судороги — только через два часа он умер. И кричал же он перед смертью! На несколько миль было слышно. Такого силача туземца я больше не видывал. Человек шесть моих ловцов умерли от судорог. И еще много людей умрет, еще много, много умрет.

— Довольно вам каркать, Парлей, — не стерпел один из капитанов, — Шторма не будет.

— Будь я крепок, как когда-то, живо поднял бы якорь и убрался отсюда,

— ответил хозяин старческим фальцетом. — Живо убрался бы, если б был крепок и силен и не потерял еще вкус к вину. Но вы останетесь. Вы все останетесь. Я бы и не советовал, если б думал, что вы послушаетесь. Стервятников от падали

не отгонишь. Выпейте еще по стаканчику, мои храбрые моряки. Ну-ну, чем только не рискуют люди ради нескольких соринок, выделенных устрицей! Вот они, красавицы! Аукцион завтра, точно в десять. Старик Парлей распродает свой жемчуг, и стервятники слетаются… А старик Парлей в свое время был покрепче их всех и еще не одного из них похоронит.

— Экая скотина! — шепнул второй помощник с «Малахини» Питеру Джи.

— Да хоть и будет шторм, что из этого? — сказал капитан «Долли». — Хикихохо никогда еще не заливало.

— Тем вероятнее, что придет и его черед, — возразил капитан Уорфилд.

— Не доверяю я этому Хикихохо.

— Кто теперь каркает? — упрекнул его Гриф.

— Черт! Обидно будет потерять новый мотор, пока он не окупился, — пробурчал капитан Уорфилд.

Парлей с неожиданным проворством метнулся сквозь толпу к барометру, висевшему на стене.

— Взгляните-ка, мои храбрые моряки! — воскликнул он торжествующе.

Тот, кто стоял ближе всех, наклонился к барометру. Лицо его вытянулось.

— Упал на десять, — сказал он только, но на всех лицах отразилась тревога, и казалось, каждый готов сейчас же кинуться к выходу.

— Слушайте! — скомандовал Парлей.

Все смолкли, и издали донесся необычайно сильный шум прибоя: С грохотом и ревом он разбивался о коралловый берег.

— Большую волну развело, — сказал кто-то, и все бросились к окнам.

В просветы между пальмами виден был океан. Мерно и неторопливо, одна за другой, наступали на берег огромные ровные волны. Несколько минут все, кто был в комнате, тихо переговариваясь, смотрели на это необычайное зрелище, и с каждой минутой волны росли и поднимались все выше. Таким неестественным и жутким был этот волнующийся при полном безветрии океан, что люди невольно понизили голос. Все вздрогнули, когда раздалось отрывистое карканье старика Парлея:

— Вы еще успеете выйти в открытое море, храбрые джентльмены. У вас есть шлюпки, лагуну можно пройти на буксире.

— Ничего, — сказал Дарлинг, подшкипер с «Кактуса», дюжий молодец лет двадцати пяти. — Шторм идет стороной, к югу. На нас и не дунет.

Все вздохнули с облегчением. Возобновились разговоры, голоса стали громче. Некоторые скупщики даже вернулись к столу и вновь занялись осмотром жемчуга.

— Так, так! — пронзительно выкрикнул Парлей. — Пусть настанет конец света, вы все равно будете торговать.

— Завтра мы непременно купим все это, — подтвердил Айзекс.

— Да, только заключать сделки придется уже в аду.

Взрыв хохота был ответом старику, и это общее недоверие взбесило его. Вне себя он накинулся на Дарлинга:

— С каких это пор таким молокососам стали известны пути шторма? И кем это, интересно знать, составлена карта направления ураганов на Паумоту? В каких книгах вы ее нашли? Я плавал в этих местах, когда самого старшего из вас еще и на свете не было, я знаю, что говорю. Двигаясь к востоку, ураганы описывают такую гигантскую, растянутую дугу, что получается почти прямая линия. А к западу они делают крутой поворот. Вспомните карту. Каким образом в девяносто первом во время урагана затопило Аури и Хиолау? Все дело в дуге, мой мальчик, в дуге! Через

час-другой, самое большее через три, поднимется ветер. Вот, слушайте!

Раздался тяжелый, грохочущий удар, мощный толчок потряс коралловое основание атолла. Дом содрогнулся. Темнокожие слуги с бутылками виски и абсента в руках прижались друг к другу, словно искали защиты, и со страхом глядели в окна на громадную волну, которая обрушилась на берег и докатилась до одного из навесов для копры.

Парлей взглянул на барометр, фыркнул и искоса злорадно посмотрел на своих гостей. Капитан тоже подошел к барометру.

— Двадцать девять и семьдесят пять, — сказал он. — Еще на пять упал. О черт! Старик прав, надвигается шторм. Вы как хотите, а я возвращаюсь на «Малахини».

— И все темнеет, — понизив голос чуть не до шепота, произнес Айзекс.

— Черт побери, совсем как на сцене, — сказал Грифу Малхолл, взглянув на часы. — Десять утра, а темно, как в сумерки. Огни гаснут, сейчас начнется трагедия. Где же тихая музыка?

Словно в ответ, раздался грохот. Дом и весь атолл вновь содрогнулись от мощного толчка. В паническом страхе люди бросились к двери.

В тусклом свете мертвенно бледные, влажные от пота лица казались призрачными. Айзекс дышал тяжело, с хрипом, вся эта нестерпимая жара давила его.

— К чему такая спешка? Ехидно посмеиваясь, кричал им вдогонку Парлей.

— Выпейте напоследок, храбрые джентльмены!

Никто не слушал его. Когда гости дорожкой, выложенной по краям раковинами, направились к берегу, старик высунулся из дверей и окликнул их:

— Не забудьте джентльмены, завтра с десяти утра старый Парлей распродает свой жемчуг.

3

На берегу началась суматоха. Шлюпка за шлюпкой заполнялась спешившими людьми и тотчас отваливала. Тьма сгущалась. Ничто не нарушало тягостного затишья. Всякий раз, как волны извне обрушивались на берег, узкая полоса песка содрогалась под ногами. У самой воды лениво прогуливался Нарий Эринг. Он смотрел, как торопятся отплыть капитаны и скупщики, и ухмылялся. С ним были трое его матросов-канаков и Таи-Хотаури, рулевой с «Малахини».

— Лезь в шлюпку и берись за весло, — приказал капитан Уорфилд своему рулевому.

Таи-Хотаури с развязным видом подошел к капитану, а Нарий Эринг и его канаки остановились поодаль и смотрели на них.

— Я на тебя больше не работаю, шкипер! — громко и с вызовом сказал Таи-Хотаури. Но выражение его лица противоречило словам, так как он усиленно подмигивал Уорфилду. — Гони меня, шкипер, — хрипло прошептал он и снова многозначительно подмигнул.

Капитан Уорфилд понял намек и постарался сыграть свою роль как можно лучше. Он поднял кулак и возвысил голос:

— Пошел в шлюпку, или я из тебя дух вышибу! — загремел он.

Канак отступил и угрожающе пригнулся; Гриф стал между ними, стараясь успокоить капитана.

— Я иду служить на «Нухиву», — сказал Таи-Хотаури, отходя к Эрингу и его матросам.

— Вернись сейчас же! — грозно крикнул вслед ему капитан Уорфилд.

— Он ведь свободный человек, шкипер! — громко сказал Нарий Эринг. — Он прежде плавал со мной и ко мне возвращается, только и всего.

— Скорее, нам пора на шхуну, — торопил Гриф.

— Смотрите, становится совсем темно.

Капитан Уорфилд сдался; но едва шлюпка отошла от берега, он, стоя на корме, выпрямился во весь рост и кулаком погрозил оставшимся.

— Я вам это припомню, Нарий! — крикнул он. — Никто из шкиперов, кроме вас, не сманивает чужих матросов.

Он сел на свое место.

— Что это у Таи-Хотаури на уме? — негромко, с недоумением сказал он.

— Что-то он задумал, только не пойму, что именно.

4

Как только шлюпка подошла вплотную к «Малахини», через борт навстречу прибывшим перегнулся встревоженный Герман.

— Барометр летит вниз, — сообщил он. — Надо ждать урагана. Я распорядился отдать второй якорь с правого борта.

— Приготовьте и большой тоже, — приказал Уорфилд, возвращаясь к своим капитанским обязанностям. — А вы, кто-нибудь, поднимите шлюпку на палубу. Поставить ее вверх дном и принайтовить как следует!

На всех шхунах команда торопливо готовилась

к шторму. Судно за судном подбирало грохотавшие якорные цепи, поворачивалось и отдавало второй якорь. Там, где, как на «Малахини», был третий, запасной якорь, готовились отдать и его, когда определится направление ветра.

Мощный рев прибоя все нарастал, хотя лагуна по-прежнему лежала невозмутимо гладкая, как зеркало. На песчаном берегу, где стоял дом Парлея, все было пустынно и безжизненно. У навесов для лодок и для копры, у сараев, где складывали раковины, не видно было ни души.

— Я рад бы сейчас же поднять якоря и убраться отсюда, — сказал Гриф.

— В открытом море я бы так и сделал. Но тут мы заперты: цепи атоллов тянутся и с севера и с востока. Как по-вашему, Уорфилд?

— Я с вами согласен, хотя лагуна в шторм и не так безопасна, как мельничная запруда. Хотел бы я знать, с какой стороны он налетит. Ого! Один склад Парлея уже готов!

Они увидели, как приподнялся и рухнул сарай, снесенный волной, которая, вскипая пеной, перекатилась через песчаный гребень атолла в лагуну.

— Перехлестывает! — воскликнул Малхолл. — И это — только начало. Вот опять!

Новая волна подбросила остов сарая и отхлынула, оставив его на песке. Третья разбила его и вместе с обломками понеслась по склону вниз, в лагуну.

— Уж скорей бы шторм. Может, хоть прохладнее станет, — проворчал Герман. — Совсем дышать нечем, настоящее пекло! Я изжарился, как в печке.

Ударом ножа он вскрыл кокосовый орех и с жадностью выпил сок. Остальные последовали его примеру, а в это время у них на глазах волной снесло и разбило в щепы еще один сарай Парлея, служивший складом раковин. Барометр упал еще ниже и показывал 29,50.

— Видно мы оказались чуть не в самом центре низкого давления, — весело сказал Гриф. — Я еще ни разу не бывал в сердце урагана. Это и вам будет любопытно, Малхолл. Судя по тому, как быстро падает барометр, переделка нам предстоит нешуточная.

Капитан Уорфилд охнул, и все обернулись к нему. Он смотрел в бинокль на юго-восток, в дальний конец лагуны.

— Вот оно! — негромко сказал он.

Видно было и без бинокля. Странная, ровная пелена тумана стремительно надвигалась на

них, скользя по лагуне. Приближаясь, она низко пригибала растущие вдоль атолла кокосовые пальмы, несла тучу сорванных листьев. Вместе с ветром скользила по лагуне сплошная полоса потемневшей, взбаламученной воды. Впереди, точно застрельщики, мелькали такие же темные клочки, исхлестанные ветром. За этой полосой двигалась другая, зеркально гладкая и спокойная, шириною в четверть мили. Следом шла новая темная, взвихренная ветром полоса, а дальше вся лагуна белела пеной, кипела и бурлила.

— Что это за гладкая полоса? — спросил Малхолл.

— Штиль, — ответил Уорфилд.

— Но он движется с той же скоростью, что и ветер, — возразил Малхолл.

— А как же иначе? Если ветер нагонит его, так и штиля никакого не будет. Это двойной шквал. Когда-то я попал в такой на Савайи. Вот это был двойной! Бац! Он обрушился на нас, потом вдруг тишина, и потом снова ударило. Внимание! Сейчас нам достанется. Смотрите на «Роберту»!

«Роберту», стоявшую ближе всех бортом к ветру на ослабших якорных цепях, подхватило, как соломинку, и понесло, но якорные цепи тотчас натянулись — и она, резко рванувшись, стала

носом к ветру. Шхуна за шхуной, в том числе и «Малахини», срывались с места, подхваченные налетевшим шквалом, и разом останавливались на туго натянутых цепях. Когда якоря остановили «Малахини», толчок был так силен, что Малхолл и несколько канаков не удержались на ногах.

И вдруг ветра как не бывало. Летящая полоса штиля захватила их. Гриф чиркнул спичкой, и ничем не защищенный огонек спокойно, не мигая, разгорелся в недвижном воздухе. Было темно и хмуро, как в сумерки. Затянутое тучами небо, казалось, с каждым часом нависавшее все ниже, теперь словно прильнуло вплотную к океану.

Но вот на «Роберту» обрушился второй удар урагана, и она, а затем и остальные шхуны, одна за другой, вновь рванулись на якорях. Океан яростно кипел, весь в белой пене, в мелких и острых, сыплющих брызгами волнах. Палуба «Малахини» непрерывно дрожала под ногами. Туго натянутые фалы отбивали на мачтах барабанную дробь, и все снасти сотрясались, точно под неистовыми ударами чьей-то могучей руки. Стоя против ветра, невозможно было дышать. Малхолл, который в поисках убежища вместе с другими скорчился за рубкой, убедился в этом, нечаянно оказавшись лицом к ветру: легкие его

мгновенно переполнились воздухом, и он чуть не задохнулся прежде, чем успел отвернуться и перевести дыхание.

— Невероятно! — с трудом произнес он, но его никто не слышал.

Герман и несколько канаков ползком, на четвереньках пробирались на бак, чтобы отдать третий якорь. Гриф тронул капитана Уорфилда за плечо и показал на «Роберту». Она надвигалась на них, волоча якоря. Уорфилд закричал в самое ухо Грифу:

— Мы тоже тащим якоря!

Гриф кинулся к штурвалу и, быстро положив руль на борт, заставил «Малахини» взять влево. Третий якорь удержался, и «Роберту» пронесло мимо, кормой вперед, на расстоянии каких-нибудь двенадцати ярдов. Гриф и его спутники помахали Питеру Джи и капитану Робинсону, которые вместе с матросами хлопотали на носу «Роберты».

— Питер решил расклепать цепи! — закричал Гриф. — Пробует выйти из лагуны! Ничего другого не остается, якоря ползут!

— А мы держимся! — крикнул в ответ Уорфилд. — Смотрите, «Кактус» налетел на «Мизи». Теперь им крышка!

До сих пор «Мизи» держалась, но «Кактус», налетев на нее всей тяжестью, сорвал ее с места, и теперь обе шхуны, сцепившись снастями, скользили по вспененным волнам. Видно было, как их команды рубят снасти, стараясь разъединить суда. «Роберта», освободившись от якорей и поставив кливер, направлялась к выходу в северо-западном конце лагуны. Ей удалось пройти его, и с «Малахини» видели, как она вышла в открытое море. Но «Мизи» и «Кактус» так и не сумели расцепиться, и их выбросило на берег в полумиле от выхода из атолла.

Ветер неуклонно крепчал, и казалось, этому не будет конца. Чтоб выдержать его напор, приходилось напрягать все силы, и тот, кто вынужден был ползти по палубе против ветра, в несколько минут доходил до полнейшего изнеможения. Герман и канаки упрямо делали свое дело — крепили все, что только возможно было закрепить. Ветер рвал с плеч рубашки и раздирал их в клочья. Люди двигались так медленно, словно тела их весили много тонн; при этом они постоянно искали какой-нибудь опоры и не выпускали ее, не ухватившись сначала за что-нибудь другой рукой. Свободные концы тросов торчали горизонтально, и ветер, измочалив их, отрывал по

клочку и уносил прочь.

Малхолл тронул за плечо тех, кто был рядом, и указал на берег. Крытые травой навесы исчезли, а дом Парлея шатался, как пьяный. Ветер дул вдоль атолла, и поэтому дом был защищен вереницей кокосовых пальм, тянувшейся на несколько миль. Но громадные валы, перехлестывая через атолл, снова и снова ударяли в стены, подтачивая и дробя фундамент. Дом уже накренился и сползал по песчаному склону; он был обречен. Там и тут люди взбирались на кокосовые пальмы и привязывали себя к дереву. Пальмы не раскачивались на ветру, но, согнувшись под его напором, уже не разгибались, а только дрожали, как натянутая стрела. Под ними на песке вскипала белая пена.

Вдоль лагуны перекатывались теперь такие же громадные валы, как и в открытом море. Им было где разгуляться на протяжении десяти миль от наветренного края атолла до места стоянки судов, и все шхуны то глубоко ныряли, накрытые волной, то поднимались чуть ли не отвесно на ее гребне. «Малахини» стала зарываться носом до самого полубака, а в иные минуты палубу до поручней заливало водой.

— Пора пустить ваш мотор! — во все горло

закричал Гриф, и капитан Уорфилд, ползком добравшись до механика, стал громко и решительно отдавать приказания.

Мотор заработал на полный ход вперед, и «Малахини» начала держаться получше. Правда, она по-прежнему зарывалась носом, но уже не так яростно рвалась с якорей. Однако и теперь цепи были натянуты до отказа. С помощью мотора в сорок лошадиных сил удалось лишь немного ослабить их натяжение.

А ветер все крепчал. Маленькой «Нухиве», стоявшей на якоре рядом с «Малахини», ближе к берегу, приходилось совсем плохо; притом ее мотор до сих пор не исправили, и капитана не было на борту. Она так часто и так глубоко зарывалась носом, что всякий раз, как ее захлестывало волной, на «Малахини» теряли надежду вновь ее увидеть. В три часа дня «Нухиву» накрыло волной; не успела вода схлынуть с палубы, как вдогонку обрушился новый вал, и на этот раз «Нухива» уже не вынырнула.

Малхолл вопросительно взглянул на Грифа.

— Проломило люки! — прокричал тот в ответ.

Капитан Уорфилд показал на «Уинифрид» — маленькую шхуну, которая металась и ныряла по другую сторону от «Малахини», — и что-то

закричал в самое ухо Грифу. До того доносились только смутные обрывки слов, остальное исчезало в реве урагана.

— Дрянная посудина… Якоря держат… Но как сама не рассыплется!.. Стара, как ноев ковчег.

Часом позже Герман снова показал на «Уинифрид». Резкие рывки, сотрясавшие шхуну всякий раз, когда якорные цепи удерживали ее на месте, просто-напросто разнесли ее на куски; вся носовая часть вместе с фок-мачтой и битенгом исчезла. Шхуна повернулась бортом к волне, скатилась в провал между двумя валами, постепенно погружаясь передней частью в воду,

— и так, — почти опрокинутую, ее погнало к берегу.

Теперь осталось только пять шхун, из них с мотором одна лишь «Малахини». Две оставшихся, опасаясь, как бы и их не постигла участь «Нухивы» или «Уинифрид», последовали примеру «Роберты»: расклепали якорные цепи и понеслись к выходу из лагуны. Первой шла «Долли», но у нее сорвало кливер, и она разбилась на подветренном берегу атолла, неподалеку от «Мизи» и «Кактуса». Это не остановило «Мону», она тоже снялась с якорей и тоже разбилась, не достигнув устья лагуны.

— А хорош у нас мотор! — во все горло крикнул капитан Уорфилд Грифу.

Владелец шхуны крепко пожал ему руку.

— Мотор себя окупит! — закричал он в ответ. — Ветер заходит к югу, теперь нам станет легче!

Ветер по-прежнему дул со все нарастающей силой, но при этом постепенно менял направление, поворачивая к югу и юго-западу, так что наконец три оставшиеся шхуны стали под прямым углом к берегу. Ураган подхватил то, что осталось от дома Парлея, и швырнул в лагуну; обломки понесло на уцелевшие суда. Миновав «Малахини», вся груда рухнула на «Папару», стоявшую в четверти мили позади нее. Команда кинулась на бак и в четверть часа отчаянными усилиями свалила остатки дома за борт, но при этом «Папара» потеряла фок-мачту и бушприт.

Левее «Малахини» и ближе к берегу стояла «Тахаа», стройная, точно яхта, но с несоразмерно тяжелым рангоутом. Ее якоря еще держались, но капитан, видя, что ветер не ослабевает, приказал рубить мачты.

— С таким мотором нас можно поздравить! — крикнул Гриф своему шкиперу. — Нам, пожалуй, не придется рубить мачты.

Капитан Уорфилд с сомнением покачал го-

ловой.

Как только ветер переменился, улеглось и волнение в лагуне, зато теперь шхуну бросали то вверх, то вниз перехлестывающие через атолл валы океана. На берегу уцелели далеко не все пальмы. Одни были сломаны чуть не у самой земли, другие вырваны с корнем. На глазах у тех, кто был на борту «Малахини», под напором ветра ствол одной пальмы переломился посередине и верхушку вместе с тремя людьми, уцепившимися за нее, швырнуло в лагуну. Двое, оставив дерево, поплыли к «Тахаа». Немного позже, перед тем, как совсем стемнело, один из них показался на корме шхуны, прыгнул за борт и поплыл к «Малахини», уверенно и сильно рассекая мелкие и острые, брызжущие пеной волны.

— Это Таи-Хотаури, — вглядевшись, решил Гриф. — Теперь мы узнаем все новости.

Канак, ухватившись за конец каната, вскарабкался на нос и пополз по палубе. Ему дали кое-как укрыться от ветра за рубкой и передохнуть; и потом, отрывочно, больше жестами, чем словами, он стал рассказывать:

— Нарий… разбойник, дьявол!.. хотел украсть жемчуг… убить Парлея… один человек убьет… никто не знает кто… Три канака, Нарий, я…

пять бобов в шляпе… Нарий сказал, один боб черный… Нарий проклятый обманщик — все бобы черные… пять черных… в сарае темно… все вытащили черные… Подул большой ветер, надо спасаться… все влезли на деревья… Этот жемчуг приносит несчастье, я вам говорил… он приносит несчастье…

— Где Парлей? — крикнул Гриф.

— На дереве… с ним три канака… А Нарий с одним канаком на другом дереве… Мое дерево сломалось и полетело к чертям, а я поплыл на шхуну…

— Где жемчуг?

— На дереве, у Нария. Может, он еще достанется Нарию…

Одному за другим Гриф прокричал на ухо спутникам то, что рассказал ему Таи-Хотаури. Больше всех возмутился капитан Уорфилд, он даже зубами заскрипел от ярости.

Герман спустился в трюм и вернулся с фонарем, но как только подняли фонарь над рубкой, ветер задул его. Кое-как общими усилиями удалось наконец зажечь нактоузный фонарик.

— Ну и ночка! — закричал Гриф в самое ухо Малхоллу. — И ветер все крепчает!

— А какая скорость?

— Сто миль в час… а то и двести… не знаю… Никогда ничего подобного не видел.

Волнение в лагуне тоже усиливалось, так как огромные валы все время перекатывались через атолл. За многие сотни миль ветер гнал воды океана обратно, навстречу отливу, преодолевая его и переполняя лагуну. А как только начался прилив, наступающие на атолл валы стали еще выше. Луна и ветер точно сговорились опрокинуть на Хикихохо весь Тихий океан.

В очередной раз заглянув в машинное отделение, капитан Уорфилд вернулся растерянный и сообщил, что механик лежит в обмороке.

— Нам нельзя остановить мотор, — прибавил он беспомощно.

— Ладно, — сказал Гриф. — Тащите механика на палубу. Я его сменю.

Люк, ведущий в машинное отделение, был задраен наглухо, и попасть туда можно было только из каюты, через тесный, узкий проход. В крохотном машинном отделении стояла нестерпимая жара и духота, воняло перегаром бензина. Гриф наскоро, опытным глазом, оглядел мотор и все снаряжение. Потом задул керосиновую лампу и начал работать в полной темноте; ему светил лишь кончик сигары, — он курил их одну за дру-

гой, всякий раз выходя в каюту, чтобы зажечь новую. Каким он ни был спокойным и уравновешенным, а вскоре и его нервы стали сдавать — так тяжело было оставаться здесь взаперти, вдвоем с механическим чудовищем, которое надрывалось, пыхтело и стонало в этой гулкой тьме. Гриф был обнажен до пояса, перепачкан смазкой и машинным маслом, весь в ссадинах и синяках, потому что качкой его то и дело швыряло и бросало во все стороны; от спертого, отравленного воздуха кружилась голова, так он работал час за часом, без конца возился с мотором, осыпая его и каждую его часть в отдельности то благословениями, то проклятиями. Зажигание начало пошаливать. Горючее поступало с перебоями. И что хуже всего, начали перегреваться цилиндры. В каюте наскоро посовещались, причем метис-механик просил и умолял на полчаса выключить мотор, чтобы дать ему хоть немного остыть и тем временем наладить подачу воды. А капитан Уорфилд твердил, что выключать ни в коем случае нельзя. Метис клялся, что тогда мотор выйдет из строя и все равно остановится, но уже навсегда. Гриф, весь перепачканный, избитый, исцарапанный, сверкая воспаленными глазами и крича во все горло, выругал обоих и распорядился по-сво-

ему. Малхоллу, Герману и второму помощнику велено было остаться в каюте и дважды и трижды профильтровать бензин. В настиле машинного отделения прорубили отверстие, и один из канаков стал раз за разом окатывать цилиндры водой из трюма, а Гриф поминутно смазывал все подвижные части.

— Вот не знал, что вы такой специалист по бензину, — с восхищением сказал капитан Уорфилд, когда Гриф вышел в каюту, чтобы глотнуть менее отравленного воздуха.

— Я купаюсь в бензине, — ответил тот, яростно скрипнув зубами. — Я пью его.

Какое еще употребление нашел Гриф для бензина, осталось неизвестным: «Малахини» внезапно и круто зарылась носом в волну — и всех, кто находился в каюте, и бензин, который они процеживали, с размаху отбросило на переднюю переборку. Несколько минут никто не мог подняться на ноги, люди катались по палубе то взад, то вперед, их било и колотило о переборки. На шхуну обрушились один за другим три гигантских вала, она вся заскрипела, застонала, затряслась под непосильным грузом переполнившей палубу воды. Гриф пополз к мотору, а капитан Уорфилд, улучив минуту, выбрался по

трапу на палубу.

Прошло добрых полчаса, прежде чем он вернулся.

— Вельбот снесло, — сообщил он. — И ялик! Все смыло, остались только палуба да люки! Если бы не мотор, тут бы нам и крышка. Действуйте дальше!

К полуночи голова и легкие механика настолько очистились от паров бензина, что он сменил Грифа, и тот наконец мог выйти на палубу и отдышаться. Он присоединился к остальным — они скорчились позади рубки, держась за все, за что только можно было ухватиться, и вдобавок для верности накрепко привязав себя веревками. Все смешалось в этой человеческой каше, потому что и для канаков не было другого укрытия. Некоторые из них по приглашению капитана сунулись было в каюту, но бензиновый угар скоро выгнал их оттуда. «Малахини» то и дело ныряла или ее окатывало волной, и люди вдыхали воздух, полный мельчайших брызг и водяной пыли.

— Тяжеленько приходится, а, Малхолл? — крикнул гостю Гриф в перерыве между двумя валами.

Малхолл, задыхаясь и кашляя, только кивнул в ответ. Вода, скопившаяся на палубе, не успевала уходить за борт через шпигаты — она перекатыва-

лась по шхуне, выплескивалась через фальшборт, и тут же «Малахини» черпала другим бортом или порою совсем оседала на корму, задрав нос в небо, и тогда водяная лавина проносилась по всему судну из конца в конец. Потоки воды хлестали по трапам, по палубе рубки, окатывали, били и сталкивали друг с другом укрывшихся здесь людей и водопадом выливались за корму.

Малхолл первый заметил при тусклом свете фонарика темную фигуру и показал на нее Грифу. Это был Нарий Эринг. Он каким-то чудом держался на палубе, скорчившись в три погибели, совершенно голый; на нем был только пояс, и за поясом — обнаженный нож.

Капитан Уорфилд развязал удерживавшие его веревки и перебрался через чужие плечи и спины. Свет фонарика упал на его искаженное гневом лицо. Губы его шевелились, но слова относило ветром. Он не пожелал нагнуться к Эрингу и кричать ему в самое ухо. Он просто указал на борт. Нарий понял. Зубы его блеснули в дерзкой, глумливой усмешке, и он поднялся — рослый, мускулистый, великолепно сложенный.

— Это убийство! — крикнул Малхолл Грифу.

— Собирался же он убить старика Парлея! — закричал в ответ Гриф. На мгновение вода

схлынула с юта, и «Малахини» выпрямилась. Нарий храбро шагнул к борту, но порыв ветра сбил его с ног. Тогда он пополз и скрылся в темноте, но все были уверены, что он прыгнул за борт. «Малахини» снова круто зарылась носом, а когда волна схлынула с кормы, Гриф дотянулся до Малхолла и крикнул тому в ухо:

— Ему это нипочем! Его на Таити зовут Человек-рыба! Он переплывет лагуну и вылезет на том краю атолла, если только от атолла хоть что-нибудь уцелело.

Через пять минут, когда шхуну накрыло волной, на палубу рубки, а с нее — на тех, кто укрывался за нею, свалился клубок человеческих тел. Их схватили и держали, пока не схлынула вода, а потом стащили вниз и тогда только разглядели, кто это. На полу, неподвижный, с закрытыми глазами, лежал навзничь старик Парлей. С ним были его родичи канаки. Все трое — голые и в крови. У одного канака рука была сломана и висела, как плеть. У другого была содрана кожа на голове, и зияющая рана сильно кровоточила.

— Дело рук Нария? — спросил Малхолл.

Гриф покачал головой.

— Нет. Их расшибло о палубу и о рубку.

Вдруг все переглянулись, ошеломленные, недо-

умевающие. Что случилось? Не сразу они поняли, что ветра больше нет. Он прекратился внезапно, как будто обрубленный взмахом меча. Шхуна раскачивалась, ныряла в волнах, рвалась с якорей, и только теперь стало слышно, как гремят и лязгают цепи. Впервые люди услышали и плеск воды на палубе. Механик отключил винт и приглушил мотор.

— Мы в мертвой точке циклона, — сказал Гриф. — Сейчас ветер изменит направление. Опять начнется, и еще покрепче. — И, поглядев на барометр, прибавил: — Двадцать девять и тридцать два.

Ему не сразу удалось понизить голос — он столько часов кряду старался перекричать бурю, что теперь, в наступившем затишье, чуть не оглушил окружающих.

— У старика все ребра переломаны, — сказал второй помощник, ощупывая бок Парлея. — Он еще дышит, но дело его плохо.

Парлей застонал, бессильно шевельнул рукой и открыл глаза. Взгляд у него был ясный и осмысленный.

— Мои храбрые джентльмены, — услышали они прерывающийся шепот. — Не забудьте… аукцион… ровно в десять… в аду.

Веки его опустились, нижняя челюсть стала от-

висать, но он на мгновение одолел предсмертную судорогу и в последний раз громко, насмешливо хихикнул.

Снова все демоны неба и океана сорвались с цепи. Прежний, уже знакомый рев урагана наполнил уши. «Малахини», подхваченная ветром, совсем легла на борт, с маху описав крутую дугу. Якоря удержали ее; она стала носом к ветру и рывком выпрямилась. Подключили винт, вновь заработал мотор.

— Норд-вест! — крикнул капитан Уорфилд вышедшему на палубу Грифу. — Сразу перескочил на восемь румбов!

— Теперь Эрингу не переплыть лагуну! — заметил Гриф.

— Тем хуже, черт опять принесет его к нам!

5

Как только центр циклона миновал их, барометр начал подниматься. В то же время ветер быстро слабел. И когда он стал всего лишь обыкновенным сильным штормом, мотор последним судорожным напряжением своих сорока лошадиных сил сорвался с фундамента, подскочил в воздух и тут же рухнул набок. Вода из трюма с шипением окатила его, и все окуталось обла-

ком пара. Механик горестно застонал, но Гриф с нежностью поглядел на эти железные останки и вышел в рубку, комьями пакли обтирая руки и грудь, перепачканные машинным маслом.

Солнце уже поднялось высоко, и дул легчайший ветерок, когда Гриф вышел на палубу, зашив рану на голове одного родича Парлея и вправив руку второму. «Малахини» стояла у самого берега. На баке Герман с командой выбирали якоря и приводили в порядок перепутавшиеся цепи. «Папара» и «Тахаа» исчезли, и капитан Уорфилд внимательно осматривал в бинокль дальний берег атолла.

— Ни одной мачты не видать, — сказал он. — Вот что получается, когда плаваешь без мотора. Должно быть, их унесло в открытое море еще до того, как ветер переменился.

На берегу, в том месте, где стоял прежде дом Парлея, не видно было никаких следов жилья. На протяжении трехсот ярдов, там, где океан ворвался в кольцо атолла, не сохранилось не только дерева, но и ни единого пня. Дальше кое-где одиноко стояли уцелевшие пальмы, но большинство было сломлено у самого корня, торчали лишь короткие обрубки. Таи-Хотаури заметил, что на одной из пальм среди листьев что-то шевелит-

ся. Шлюпки с «Малахини» смыло ураганом, и Таи-Хотаури бросился в воду и поплыл к берегу, а затем вскарабкался на дерево. Оставшиеся на шхуне не спускали с него глаз.

Потом он вернулся, и ему помогли поднять на борт девушку туземку из числа домочадцев Парлея. Но прежде чем подняться самой, она протянула наверх измятую, поломанную корзинку. В корзинке оказался выводок слепых котят — они были уже мертвы, кроме одного, который слабо попискивал и шатался на неловких, расползающихся лапках.

— Вот те на! — сказал Малхолл. — А это кто?

И все увидели, что берегом идет человек. Его движения были так беспечны и небрежны, словно он просто вышел поутру прогуляться. Капитан Уорфилд скрипнул зубами: это был Нарий Эринг.

— Эй, шкипер! — крикнул Нарий, поравнявшись с «Малахини». — Может, вы пригласите меня к себе и угостите завтраком?

Кровь бросилась в лицо капитану Уорфилду, и даже шея его побагровела. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся словами.

— Я вас… в два счета… — только и сумел он выговорить.

ДЖЕК ЛОНДОН
«ХРАМ ГОРДЫНИ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Храм гордыни

Персиваль Форд не мог понять, что привело его сюда. Он не танцевал. Военных недолюбливал. Разумеется, он знал всех, кто скользил и кружился на широкой приморской террасе, — офицеров в белых свеженакрахмаленных кителях, штатских в черном и белом, женщин с оголенными плечами и руками. Двадцатый полк, который отправлялся на Аляску, на свою новую стоянку, пробыл в Гонолулу два года, и Персиваль Форд, важная особа на островах, не мог избежать знакомства с офицерами и их женами.

Но от знакомства еще далеко до симпатии. Полковые дамы немного пугали его. Они совсем не походили на женщин, которые были ему по душе, — на пожилых дам, старых и молодых дев в очках, на серьезных женщин всех возрастов, которых он встречал в церковных, библиотечных и детских комитетах и которые смиренно обращались к нему за пожертвованием и советом. Он подавлял их своим умственным превосходством, богатством и высоким положением, какое занимал на Гавайских островах среди магнатов коммерции. Этих женщин он ничуть не боялся. Плотское в

них не бросалось в глаза. Да, в этом заключалось все дело. Он был брезглив, он сам это осознавал, и полковые дамы с обнаженными плечами и руками, смелыми взглядами, жизнерадостные и вызывающе чувственные, раздражали его.

С мужчинами этого круга отношения у него были не лучше, — они легко относились ко всему, пили, курили, ругались и щеголяли своей грубой чувственностью с неменьшим бесстыдством, чем их жены. В компании военных Форду всегда было не по себе. Да и они, видимо, чувствовали себя с ним стесненно. Он чутьем угадывал, что за глаза они смеются над ним, что он жалок им и они его едва терпят. Встречаясь с ним, они всегда как бы подчеркивали, что ему не хватает чего-то, что есть в них. А он благодарил бога за то, что этого в нем не было. Брр! Они под стать своим дамам!

Надо сказать, что Персиваль Форд и женщинам нравился не больше, чем мужчинам. Стоило только взглянуть на него, чтобы стало ясно, почему это так. Он был крепкого сложения, не знал, что такое болезнь или даже легкое недомогание, но в нем не чувствовалось трепета жизни. В нем все было бесцветно. Это длинное и узкое лицо, тонкие губы, худые щеки и недобрые маленькие глазки не могли принадлежать человеку с

горячей кровью. Волосы пепельные, прямые и реденькие свидетельствовали о худосочии, нос был тонкий, слабо очерченный, чуть крючковатый. Жидкая кровь многого лишила его в жизни, и он доходил до крайности лишь в одном — в добродетели. Он всегда долго и мучительно размышлял о том, что правильно и что неправильно в его поступках. И поступать правильно было для него так же необходимо, как для простого смертного любить и быть любимым.

Он сидел под альгаробами между террасой и берегом. Обведя взглядом танцующих, он отвернулся и стал смотреть поверх волн, тихо ударявших о берег, на Южный Крест, горевший низко над горизонтом. Голые женские плечи и руки вызвали в нем прилив раздражения. Будь у него дочь, он бы ей этого никогда не позволил, ни за что! Но бесплотен был его помысел. В его сознании не возник образ этой дочери, он не увидел ни ее рук, ни плеч. А смутная мысль о браке вызвала у него только улыбку. Ему было тридцать пять лет, и, не изведав любви, он видел в ней одно только скотское, ничего романтического. Жениться может каждый. Женятся японские и китайские кули, замученные трудом на сахарных и рисовых плантациях, женятся при первой возможности

— это потому, что они стоят на низших ступенях развития. Что им еще остается? Они похожи на этих военных и их дам. А он, Персиваль Форд, — совсем другой. Он гордился своим происхождением. Не от жалкого брака по любви родился он! Высокое понимание долга и преданность делу — вот что было причиной его рождения. Его отец женился не по любви. Безумие этого чувства никогда не тревожило Айзека Форда. Когда он откликнулся на призыв отправиться к язычникам со словом божьим, он не думал о женитьбе. В этом они были схожи друг с другом — Персиваль и его отец. Но Совет миссий соблюдал экономию. С расчетливостью, свойственной людям Новой Англии, он все взвесил и пришел к выводу, что женатые миссионеры обходятся дешевле и работают энергичнее. Поэтому Совет предписал Айзеку Форду жениться. Мало того, он подыскал ему жену, такую же ревностную душу, не помышлявшую о браке и охваченную одним желанием — делать божье дело среди язычников.

Впервые они увиделись в Бостоне. Совет их свел, все уладил, и не прошло недели, как они поженились и отправились в длительное путешествие за мыс Горн.

Персиваль Форд гордился тем, что родился от

такого брака. Он был плодом возвышенной любви и считал себя аристократом духа. Он гордился своим отцом. Это чувство обратилось у него в страсть. Прямая и строгая фигура Айзека Форда запечатлелась в его памяти, образ этот питал его гордыню. На письменном столе у него стояла миниатюра этого воина Христова. В спальне висел портрет Айзека Форда, написанный в то время, когда он был премьер-министром при монархии. Он не домогался высокого положения и благ мирских, но, как премьер-министр, а впоследствии банкир, он мог ведь оказать большие услуги миссионерскому делу. Немецкие и английские торгаши, весь торговый мир смеялся над Айзеком Фордом: коммерсант — и спаситель душ! Но он, его сын, иначе смотрел на это. Когда туземцы в период уничтожения феодальной системы, не имея никакого понятия о значении земельной собственности, стали упускать из рук крупные поместья, не кто иной, как Айзек Форд, оттер всех коммерсантов от их добычи и завладел обширными плодородными землями! Не удивительно, что торгаши не любили о нем вспоминать. Но сам он никогда не считал принадлежавшие ему огромные богатства своею собственностью. Он считал себя слугой божьим. На свои доходы он

строил школы, богадельни и церкви. Не его вина, что сахар после резкой заминки подскочил в цене на сорок процентов; что банк, основанный им, удачно оперировал железнодорожными акциями и он, Форд, стал владельцем железной дороги, и, помимо всего прочего, пятидесяти тысяч акров земли на Оаху, купленной им по доллару за акр; эта земля каждые полтора года давала восемь тонн сахара с акра. Да, Айзек Форд — несомненно героическая фигура, и памятник ему — так думал его сын — должен был бы стоять перед зданием суда рядом со статуей Камехамеха I. Айзек Форд умер, но он, его сын, продолжал его дело, если и не так энергично, то, во всяком случае, так же неуклонно.

Персиваль Форд снова взглянул на террасу. Чем отличаются, спросил он себя, бесстыдные пляски опоясанных травой туземок он танцев декольтированных женщин его расы? Есть ли между ними существенная разница? Или различие только в степени?

В то время, как он размышлял об этом, чья-то рука легла ему на плечо.

— Алло, Форд! И вы здесь? Ну как, веселитесь вовсю?

— Я стараюсь быть снисходительным к тому,

что я вижу, доктор, — мрачно ответил Персиваль Форд. — Садитесь, пожалуйста.

Доктор Кеннеди сел и громко хлопнул в ладоши. Тут же появился одетый в белое слуга-японец.

Кеннеди заказал себе виски с содовой и, повернувшись к Форду, сказал:

— Вам я, разумеется, не предлагаю.

— Нет, я тоже выпью что-нибудь, — решительно заявил Форд.

Глаза доктора выразили удивление. Слуга стоял в ожидании.

— Лимонаду, пожалуйста.

Доктор добродушно рассмеялся, решив, что над ним подшутили, и взглянул на музыкантов, разместившихся под деревом.

— Да ведь это оркестр Алоха, — сказал он. — А я думал, что они по вторникам играют в Гавайском отеле. Видно, повздорили с хозяином.

Его взгляд остановился на человеке, который играл на гитаре и пел гавайскую песню под аккомпанемент всего оркестра. Лицо доктора стало серьезно, и он обернулся к своему собеседнику.

— Послушайте, Форд, не пора ли вам оставить в покое Джо Гарленда? Вы, как я понимаю, против намерения благотворительного комитета отправить его в Соединенные Штаты, и я хочу по-

говорить с вами об этом. Казалось бы, вы должны радоваться случаю убрать его отсюда. Это хороший способ прекратить ваше преследование.

— Преследование? — Брови Персиваля Форда вопросительно поднялись.

— Называйте это как хотите, — продолжал Кеннеди. — Вот уж сколько лет вы травите этого беднягу. А он ни в чем не виноват. Даже вы должны это признать.

— Не виноват! — Тонкие губы Персиваля Форда на минуту плотно сжались.

— Джо Гарленд — беспутный лентяй. Он всегда был никудышный, необузданный человек.

— Но это еще не основание, чтобы преследовать его так, как делаете вы. Я давно наблюдаю за вами. Когда вы вернулись из колледжа и узнали, что Джо работает батраком у вас на плантации, вы начали с того, что выгнали его, хотя у вас миллионы, а у него — шестьдесят долларов в месяц.

— Нет, я начал с того, что сделал ему предупреждение, — сказал Персиваль Форд рассудительно, тоном, каким он обычно говорил на заседаниях комитетов. — По словам управляющего, он способный малый. В этом отношении у меня не было к нему претензий. Речь шла о его поведении в нерабочие часы. Он легко разрушал то, что мне

удавалось создать с таким трудом. Какую пользу могли принести воскресные и вечерние школы и курсы шитья, если Джо Гарленд каждый вечер тренькал на своей проклятой гитаре и укулеле, пил и отплясывал хюла? Однажды, после того как я сделал ему предупреждение, я наткнулся на него у хижины батраков. Никогда этого не забуду. Был вечер. Еще издали я услышал мотив хюла. А когда подошел ближе, я увидел площадку, залитую лунным светом, и бесстыдно пляшущих девушек, которых я стремился направить на путь чистой и праведной жизни. Помнится, среди них были три девушки, только что окончившие миссионерскую школу. Разумеется, я уволил Джо Гарленда. Та же история повторилась в Хило. Говорили, что я суюсь не в свое дело, когда я убедил Мэсона и Фитча уволить его. Но меня просили об этом миссионеры. Подавая дурной пример, он портил все их дело.

— Затем он поступил на железную дорогу — вашу железную дорогу, — но его уволили, и без всякой причины, — сказал Кеннеди с вызовом.

— Это не так, — последовал быстрый ответ. — Я вызвал его к себе в контору и полчаса беседовал с ним.

— Вы уволили его за непригодность?

— За безнравственный образ жизни, с вашего позволения.

Доктор Кеннеди язвительно рассмеялся.

— Черт побери, кто дал вам право чинить суд? Разве владение землей дает вам власть над бессмертными душами тех, кто гнет на вас спину? Вот я

— ваш врач. Значит, назавтра я могу ожидать вашего указа, предписывающего мне, под страхом лишиться вашего покровительства, бросить пить виски с содовой? Черта с два! Форд, вы слишком серьезно смотрите на жизнь. Кстати, когда Джо впутали в дело контрабандистов (у вас он тогда еще не работал) и он прислал вам записку с просьбой уплатить за него штраф, вы предоставили ему отработать шесть месяцев на каторге. Вы покинули его в беде. Не забывайте об этом. Вы оттолкнули его, и сердце у вас не дрогнуло. А я помню день, когда вы в первый раз пришли в школу, — мы были пансионерами, а вы приходящий, — и вам, как всякому новичку, полагалось пройти через испытание: вас должны были трижды окунуть в бассейне для плавания, это была обычная порция новичка. И вы сдрейфили. Стали уверять, что не умеете плавать. Затряслись, заревели…

— Да, помню, — медленно проговорил Персиваль Форд. — Я испугался. И я солгал… я умел плавать… но я испугался.

— А помните, кто вступился за вас? Кто лгал еще отчаяннее, чем вы, и клялся, что вы не умеете плавать? Кто прыгнул в бассейн и вытащил вас? Мальчишки чуть не утопили его за это, потому что они увидели, что вы умеете плавать.

— Разумеется, помню, — холодно ответил Форд. — Но благородный поступок, совершенный человеком в детстве, не извиняет его порочной жизни.

— Вам он никогда ничего плохого не сделал? Я хочу сказать, вам лично и непосредственно?

— Нет, — ответил Персиваль Форд. — Это-то и делает мою позицию неуязвимой. Я не питаю к нему личной вражды. Он дрянной человек, в этом все дело. Он ведет дурную жизнь…

— Другими словами, он не согласен с вашим пониманием того, как следует жить.

— Пусть так. Это не имеет значения. Он бездельник…

— По той простой причине, — перебил доктор Кеннеди, что вы гоните его с работы.

— Он безнравственный…

— Бросьте, Форд! Вечно одна и та же песня! Вы

чистокровный сын Новой Англии. Джо Гарленд — наполовину канак. У вас кровь холодная, у него горячая. Для вас жизнь — одно, для него — другое. Он идет по жизни с песней, смеясь и танцуя; он добр и отзывчив, прост, как дитя, и каждый ему

— друг. Вы же только скрипите да молитесь, вы друг одним лишь праведникам, а праведными считаете тех, кто соглашается с вашим понятием о праведности. Вы — анахорет, Джо Гарленд — добрый малый. Кто больше берет от жизни? Жизнь наша, знаете ли, — та же служба. Когда нам платят слишком мало, мы бросаем ее, и, поверьте, в этом причина всех обдуманных самоубийств. Джо Гарленд умер бы с голоду, живи он тем, что вы получаете от жизни. Он скроен на другой манер. А вы умерли бы с голоду, если бы у вас было только то, чем живет Джо, — песни и любовь…

— Извините, похоть! — перебил Персиваль Форд.

Доктор Кеннеди улыбнулся.

— Для вас любовь — слово из шести букв, которые вы узнали из словаря. Но любви, любви настоящей, чистой, как роса, трепещущей и нежной, вы не знаете. Если бог создал вас и меня, мужчин и женщин, то, поверьте, он же создал и

любовь. Но вернемся к нашему разговору. Пора вам перестать травить Джо Гарленда! Это недостойно вас, и это трусость. Вы должны протянуть ему руку помощи.

— Почему именно я, а не вы, например? — спросил Персиваль Форд. — Почему вы не окажете ему помощи?

— Я это делаю. Я и сейчас ему помогаю: стараюсь убедить вас, чтобы вы не препятствовали благотворительному комитету отправить его в Штаты. Это я нашел для него место в Хило у Мэсона и Фитча. Шесть раз я подыскивал ему работу, и отовсюду вы его выгоняли. Ну да ладно. Не забудьте одного — небольшая доза откровенности вам не повредит: нечестно взваливать чужую вину на Джо Гарленда. И вы отлично знаете, что меньше всего вам следует это делать. Это, право же, непорядочно. Это просто позорно.

— Я вас не понимаю, — отозвался Персиваль Форд. — Вы увлекаетесь какой-то странной теорией наследственности, которая предполагает личную безответственность. Хороша теория! Она снимает всякую ответственность с Джо Гарленда за его грехи и в то же время делает ответственным за них меня

— возлагает на меня больше ответственности,

чем на всех других, включая и самого Джо Гарленда. Я отказываюсь понимать это!

— По-видимому, светский такт или ваша хваленая щепетильность мешают вам понять меня, — сердито отрезал доктор Кеннеди. — В угоду обществу можно многим пренебречь, но вы заходите слишком далеко.

— Чем это я пренебрегаю, позвольте узнать?

Доктор Кеннеди окончательно вышел из себя. Лицо его запылало густым румянцем, какого не могла вызвать обычная порция виски с содовой. И он ответил:

— Сыном вашего отца.

— Что вы этим хотите сказать?

— Черт побери, я сказал яснее ясного! Но если вам этого мало — пожалуйста: сыном Айзека Форда, Джо Гарлендом, вашим братом.

Персиваль Форд молчал; лицо его выражало ошеломление и досаду. Кеннеди смотрел на него с любопытством, но прошло несколько томительных минут, и доктор смутился, испугался.

— Боже мой! — воскликнул он. — Неужели же вы не знали этого?

Словно в ответ на его слова лицо Персиваля Форда стало медленно бледнеть.

— Это ужасная шутка, — проговорил он. —

Ужасная шутка.

Доктор взял себя в руки.

— Но это все знают, — сказал он. — Я думал, что и вы знаете. А если не знаете, то вам пора узнать, и я рад, что представился случай сказать вам правду. Джо Гарленд и вы — родные братья по отцу.

— Ложь! — крикнул Форд. — Вы не знаете, что говорите. Мать Джо Гарленда — Элиза Кунильо. (Доктор Кеннеди кивнул.) Я отлично помню эту женщину, ее утиный садок и участок таро. Его отец — Джозеф Гарленд, здешний колонист. (Доктор Кеннеди покачал головой.) Он умер всего два или три года назад. Он был пьяница. Отсюда и беспутство Джо. Вот вам и наследственность.

— И никто никогда не говорил вам? — помолчав, с удивлением проговорил Кеннеди.

— Доктор Кеннеди, вы сказали нечто ужасное, и я не могу этого так оставить. Вы должны привести убедительные доказательства или… или…

— Убедитесь сами. Обернитесь и посмотрите. Вы видите его в профиль. Посмотрите на нос. Это нос Айзека Форда. Ваш нос — только слабая его копия. Сомнений быть не может. Всмотритесь! Черты у него крупнее, но сходство полное.

Персиваль Форд смотрел на метиса, игравшего

под деревом хау, и ему, словно во внезапном озарении, почудилось, что он видит призрак самого себя. Черта за чертой дополняли поразительное сходство. Нет, скорее он сам был призраком этого крепкого, мускулистого, хорошо сложенного человека. Как его черты, так и черты Джо Гарленда напоминали Айзека Форда. И никто не сказал ему! В памяти Персиваля Форда всплыли многочисленные изображения его отца — миниатюры, фотографии, — и он снова и снова в лице музыканта узнавал и явные и едва заметные признаки сходства. Только дьявол мог воспроизвести суровые черты Айзека Форда в мягких и чувственных линиях этого профиля! Музыкант повернулся, и на одно мгновение Персивалю Форду показалось, будто это не Джо Гарленд, а его покойный отец смотрит на него.

— Обычная история. — Голос доктора Кеннеди звучал будто издалека. — В былые годы тут все перемешалось. Вы же знаете, это было на ваших глазах. Моряки женились на королевах, производили на свет принцесс и все в таком роде. На Гавайских островах это было обычным явлением.

— Но к моему отцу это не имеет никакого отношения! — перебил Персиваль Форд.

— Как сказать! — Кеннеди пожал плечами. — На всех действуют космические силы и дурман жизни. Старый Айзек Форд был человек строгих правил и все такое. Я понимаю, что нет объяснения его поступку и меньше всего он сам мог бы объяснить его. Он не более вас отдавал себе в этом отчет. Дурман жизни, вот и все! И не забывайте одного, Форд, — в жилах Айзека Форда была капля горячей крови, и Джо Гарленд унаследовал ее всю целиком, а вы унаследовали аскетическую кровь старого Айзека. Если в ваших жилах течет холодная, спокойная и покорная кровь, это еще не основание для того, чтобы злиться на Джо Гарленда. Когда Джо Гарленд разрушает сделанное вами, помните — в обоих случаях действует Айзек Форд: одной рукой он уничтожает то, что создает другой. Вы, скажем, его правая рука, а Джо Гарленд — левая.

Персиваль Форд не ответил, и доктор Кеннеди в молчании допил забытое им виски. Где-то за парком послышались настойчивые гудки автомобиля.

— Вот и машина, — сказал, поднимаясь, доктор Кеннеди. — Надо бежать. Мне жаль, что я вас расстроил, и вместе с тем я рад. Запомните же: в жилах Айзека Форда была всего одна

капля буйной крови, и она целиком досталась Джо Гарленду. И еще: если левая рука вашего отца и мешает вам, не отсекайте ее. Притом Джо — славный малый. Скажу откровенно: если бы мне нужен был товарищ, чтобы жить со мной на необитаемом острове, и пришлось бы выбирать между ним и вами, я выбрал бы Джо.

На лужайке бегали, играя, голоногие ребятишки, но Форд не замечал их. Он, не отрываясь, смотрел на певца под деревом. Он даже пересел, чтобы быть поближе к нему. Мимо, с трудом волоча ноги, прошел старый клерк. Сорок лет провел он на островах. Персиваль Форд подозвал его. Клерк почтительно подошел, удивленный таким вниманием.

— Джон, — сказал Форд, — мне нужно узнать у вас кое-что. Присядьте.

Клерк нерешительно сел, ошеломленный неожиданной честью. Он заморгал глазами и пробормотал:

— Да, сэр, благодарю вас.

— Джон, кто такой Джо Гарленд?

Клерк вытаращил на него глаза, моргнул, откашлялся, но ничего не сказал.

— Отвечайте, — приказал Персиваль Форд. — Кто он?

— Вы шутите, сэр, — с трудом проговорил клерк.

— Я говорю совершенно серьезно.

Клерк отодвинулся подальше.

— Неужели вы не знаете? — спросил он, и в его вопросе уже был ответ.

— Я хочу знать.

— Да он же… — Джон запнулся и беспомощно посмотрел вокруг. — Спросите лучше кого-нибудь другого. Все думали, что вы знаете. Мы все время так думали…

— Договаривайте же!

— Мы всегда думали, что как раз поэтому вы имеете зуб против него.

Все фотографии и миниатюры Айзека Форда проносились перед глазами его сына, а дух Айзека Форда, казалось, витал над ним.

— Доброй ночи, сэр, — услышал он голос клерка и увидел, как тот поднялся и отошел, прихрамывая.

— Джон! — резко окликнул он старика.

Джон вернулся и остановился неподалеку, моргая и нервно облизывая губы.

— Вы ведь еще ничего не сказали мне.

— Ах, это о Джо Гарленде?!

— Да, о Джо Гарленде. Кто он?

— Не мое это дело, сэр, но, если вы настаиваете, я скажу… Джо Гарленд — ваш брат, сэр.

— Благодарю вас, Джон. Спокойной ночи.

— А вы не знали? — полюбопытствовал старик; критический момент миновал, и он уже не торопился уйти.

— Благодарю вас, Джон. Спокойной ночи! — повторил Форд.

— Да, сэр, спасибо. Похоже, что дождик будет. Спокойной ночи, сэр.

С чистого звездного неба, освещенного лунным светом, падал дождь, мелкий, как водяная пыль. Никто не обращал на него внимания; голоногие ребятишки продолжали играть, бегая по траве, зарываясь в песок. Через несколько минут дождь прошел. На юго-востоке черным, резко очерченным пятном маячила Даймонд-Хед; контур ее воронкообразной вершины выделялся на звездном небе. Волны прибоя в сонной тишине набегали на песчаный берег и рассыпались пеной у самой травы. В лунном свете далеко мелькали черными точками купальщики. Голоса певцов, напевающих вальс, умолкли, и в наступившей тишине откуда-то из-под деревьев донесся женский смех, в котором звучал зов любви. Персиваль Форд вздрогнул, ему вспомнились

слова доктора Кеннеди. У лодок, вытащенных на берег, он увидел канаков — мужчин и женщин; они полулежали на песке неподвижно, как зачарованные. Женщины были в белых холоку, и на плече одной из них он увидел темную голову лодочника. Немного дальше, там, где песчаная кромка расширялась у входа в лагуну, он увидел шедших рядом мужчину и женщину. Когда они подошли ближе к освещенной террасе, он заметил, как женщина отвела обнимавшую ее руку. А когда они поравнялись с ним, он узнал знакомого капитана и дочь майора и кивнул им. Дурман жизни, именно дурман, отлично сказано! И снова из-под темного альгаробового дерева раздался женский смех, зов любви. Мимо, отправляясь спать, прошел голоногий мальчуган; его вела за руку ворчавшая няня-японка. Певцы тихо и томно запели гавайскую любовную песню, а офицеры, обняв своих дам, все еще скользили и кружились в танце. И снова под деревьями засмеялась женщина.

Персиваль Форд смотрел, слушал — и резко осуждал все это. Его раздражал и женский смех, в котором слышался зов любви, и лодочник, склонивший голову на плечо женщины в белой холоку, и парочки, гулявшие на берегу, и

танцевавшие офицеры и дамы, и голоса певцов, певших о любви, и его брат, певший вместе с ними. Но особенно раздражала его смеявшаяся под деревом женщина. Странные мысли зароились в его мозгу. Он сын Айзека Форда, и то, что случилось с его отцом, могло случиться и с ним. При этой мысли щеки его вспыхнули, и он испытал острое чувство стыда. То, что было у него в крови, так ужаснуло его, как если бы он вдруг узнал, что отец его был прокаженным и что он носит в себе зародыш этой ужасной болезни. Айзек Форд, этот суровый воин Христов, — старый лицемер! Чем он отличался от любого канака? Храм гордыни, воздвигнутый Персивалем Фордом, рушился у него на глазах.

Часы шли, на террасе смеялись и танцевали, туземный оркестр продолжал играть, а Персиваль Форд все еще бился над внезапно возникшей ошеломляющей проблемой. Он сидел, облокотясь на стол, склонив голову на руку с видом усталого зрителя, и про себя молился. В перерывах между танцами офицеры, дамы, мужчины в штатском подходили к нему, говорили банальные фразы; а когда они возвращались на танцевальную площадку, внутренняя борьба в нем возобновлялась с прежней силой.

Он начинал «склеивать» свой разбитый идеал. В качестве цемента он использовал гибкую и хитрую логику, которую вырабатывают в лаборатории своего мозга эгоцентристы, — и логика эта оказывала действие. Его отец, несомненно, был создан из более совершенного материала, чем все окружающие; но старый Айзек переживал еще только процесс становления, тогда как он, Персиваль, достиг совершенства. Таким образом, он реабилитировал отца и в то же время возвышал себя. Его убогое маленькое «я» раздулось до колоссальных размеров. Он так велик, что может простить! Он просиял при этой мысли. Айзек Форд был великий человек, но он, его сын, превзошел отца, потому что обрел в себе силы простить его и даже по-прежнему чтить его память, хотя она была уже не так священна, как раньше. Он уже одобрял Айзека Форда, пренебрегшего последствиями своего единственного ложного шага. Очень хорошо! Он, его сын, также не будет замечать их.

Танцы скоро кончились. Оркестр доиграл «Алоха Оэ», и музыканты стали собираться домой. Персиваль Форд хлопнул в ладоши, появился слуга-японец.

— Скажи тому человеку, что я хочу его видеть,

— сказал Форд, указывая на Джо Гарленда. — Пусть сейчас же придет сюда.

Джо Гарленд подошел и почтительно остановился в нескольких шагах, нервно перебирая струны гитары, которую по-прежнему держал в руках. Персиваль Форд не предложил ему сесть.

— Вы мой брат, — сказал он.

— Кто же этого не знает? — последовал недоуменный ответ.

— Да, по-видимому, это всем известно, — сухо сказал Персиваль Форд. — Но до сегодняшнего вечера я этого не знал.

Наступило молчание. Джо Гарленд чувствовал себя неловко; Персиваль Форд хладнокровно обдумывал то, что собирался сказать.

— Помните тот день, когда я в первый раз пришел в школу и мальчишки выкупали меня в бассейне? — спросил он. — Почему вы тогда заступились за меня?

Джо застенчиво улыбнулся.

— Потому что вы знали?

— Да, поэтому.

— А я не знал, — все так же сухо проговорил Персиваль Форд.

— Вот оно что! — отозвался Джо.

Снова наступило молчание. Слуги начали га-

сить огни.

— Теперь вы знаете, — просто сказал Джо Гарленд.

Персиваль Форд сдвинул брови. Затем смерил его внимательным взглядом.

— Сколько вы возьмете за то, чтобы покинуть острова и никогда больше не приезжать сюда? — спросил он.

— И никогда не приезжать?.. — повторил Джо Гарленд, запинаясь. — Здесь я провел всю жизнь. В других странах холодно. Я не знаю других стран. Здесь у меня много друзей. В других странах мне никто не скажет: «Алоха, Джо, приятель!»

— Я сказал: никогда больше не возвращаться сюда, — повторил Персиваль Форд. — Завтра «Аламеда» отходит в Сан-Франциско.

Джо Гарленд был в полном недоумении.

— Но зачем мне уезжать? — спросил он. — Теперь, вы знаете, что мы братья.

— Именно поэтому, — был ответ. — Как вы сами сказали, все это знают. Вы получите хорошее вознаграждение.

Смущение и замешательство Джо Гарленда сразу исчезли. Различия в происхождении и общественном положении как не бывало.

— Вы хотите, чтобы я уехал?

— Да, хочу, чтобы вы уехали и никогда не приезжали сюда, — ответил Персиваль Форд.

В этот миг, мелькнувший, как вспышка света, Джо Гарленд вырос в его глазах с гору, а сам он съежился и превратился в козявку. Но человеку опасно видеть себя в истинном свете: жить тогда становится невозможно. Персиваль Форд на одно лишь мгновение прозрел и увидел себя и своего брата такими, как есть. Это мгновение прошло — и он опять оказался во власти своего ничтожного и ненасытного «я».

— Я сказал, что вы получите хорошее вознаграждение. Вы от этого ничуть не пострадаете. Я хорошо заплачу.

— Ладно, — сказал Джо Гарленд. — Я уеду.

Он повернулся, собираясь уйти.

— Джо! — позвал его Персиваль Форд. — Зайдите завтра утром к моему нотариусу. Пятьсот долларов сразу и двести ежемесячно, пока будете находиться вне островов.

— Вы очень добры, — тихо ответил Джо Гарленд. — Вы слишком добры. Но не надо мне ваших денег. Завтра я уеду на «Аламеде».

Он ушел, не попрощавшись.

Персиваль Форд хлопнул в ладоши.

— Бой, — сказал он слуге-японцу, — лимонаду!

Он долго сидел за лимонадом, и довольная улыбка не сходила с его лица.

Кулау-прокаженный

Оттого что мы больны, у нас отнимают свободу. Мы слушались закона. Мы никого не обижали. А нас хотят запереть в тюрьму. Молокаи — тюрьма. Вы это знаете. Вот Ниули, — его сестру семь лет как услали на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она останется на Молокаи до самой смерти. Она не хотела туда ехать. Ниули тоже этого не хотел. Это была воля белых людей, которые правят нашей страной. А кто они, эти белые люди?

Мы это знаем. Нам рассказывали о них отцы и деды. Они пришли смирные, как ягнята, с ласковыми словами. Оно и понятно: ведь нас было много, мы были сильны, и все острова принадлежали нам. Да, они пришли с ласковыми словами. Они разговаривали с нами по-разному. Одни просили разрешить им, милостиво разрешить им проповедовать нам слово божие. Другие просили разрешить им, милостиво разрешить им торговать с нами. Но это было только начало. А теперь они все забрали себе — все острова, всю землю, весь скот. Слуги господа бога и слуги господа рома действовали заодно и стали большими началь-

никами. Они живут, как цари, в домах о многих комнатах, и у них толпы слуг. У них ничего не было, а теперь они завладели всем. И если вы, или я, или другие канаки голодают, они смеются и говорят: «А ты работай. На то и плантации».

Кулау замолчал. Он поднял руку и скрюченными, узловатыми пальцами снял с черноволосой головы сверкающий венок из цветов мальвы. Лунный свет заливал ущелье серебром. Ночь дышала мирным покоем. Но те, кто слушал Кулау, казались воинами, пострадавшими в жестоком бою. Их лица напоминали львиные морды. У одного на месте носа зияла дыра, у другого с плеча свисала култышка — остаток сгнившей руки. Их было тридцать человек, мужчин и женщин, — тридцать отверженных, ибо на них лежала печать зверя.

Они сидели, увенчанные цветами, в душистой, пронизанной светом мгле, выражая свое одобрение речи Кулау нечленораздельными хриплыми криками. Когда-то они были людьми, но теперь это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду, — страшная карикатура на человека. Пальцы — у кого они еще сохранились — напоминали когти гарпий; лица были как неудавшиеся, забракованные

слепки, которые какой-то сумасшедший бог, играя, разбил и расплющил в машине жизни. Кое у кого этот сумасшедший бог попросту стер половину лица, а у одной женщины жгучие слезы текли из черных впадин, в которых когда-то были глаза. Некоторые мучились и громко стонали от боли. Другие кашляли, и кашель их походил на треск рвущейся материи. Двое были идиотами, похожими на огромных обезьян, созданных так неудачно, что по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Они кривлялись и бормотали что-то, освещенные луной, в венках из тяжелых золотистых цветов. Один из них, у которого раздувшееся ухо свисало до плеча, сорвал яркий оранжево-алый цветок и украсил им свое страшное ухо, колыхавшееся при каждом его движении.

И над этими существами Кулау был царем. А это захлебнувшееся цветами ущелье, зажатое между зубчатых скал и утесов, откуда доносилось блеяние диких коз, было его царством. С трех сторон поднимались мрачные стены, увешанные причудливыми занавесями из тропической зелени и чернеющие входами в пещеры — горные берлоги его подданных. С четвертой стороны долина обрывалась в глубочайшую пропасть, и там,

вдалеке, виднелись вершины более низких гор и хребтов, у подножия которых гудел и пенился океанский прибой. В тихую погоду к каменистому берегу у входа в долину Калалау можно было подойти на лодке, но только в очень тихую погоду. И смелый горец мог проникнуть с берега в верхнюю часть долины, в зажатое скалами ущелье, где царствовал Кулау; но такой человек должен был обладать большой смелостью и к тому же знать еле видные глазу козьи тропы. Казалось невероятным, что жалкие, беспомощные калеки, составлявшие племя Кулау, сумели пробраться по головокружительным тропинкам в это неприступное место.

— Братья, — начал Кулау.

Но тут один из косноязычных, обезьяноподобных уродов издал безумный, звериный крик, и Кулау замолчал, дожидаясь, когда отзвуки этого пронзительного вопля, перекатившись между скалистыми стенами, замрут вдали, в неподвижном ночном воздухе.

— Братья, не удивительно ли? Нашей была эта земля, а теперь она не наша. Что дали нам за нашу землю эти слуги господа бога и господа рома? Получил ли кто из вас за нее хоть доллар, хоть один доллар? А они стали хозяевами и теперь

говорят нам, что мы можем работать на земле — на их земле, и что плоды наших трудов тоже достанутся им. В прежние дни нам не нужно было трудиться. И ко всему этому теперь, когда нас поразила болезнь, они отнимают у нас свободу.

— А кто принес нам эту болезнь, Кулау? — спросил сухопарый, жилистый Килолиана, который лицом так напоминал смеющегося фавна, что, казалось, вместо ног у него должны быть копыта. Но это были не копыта, а ноги, только все в крупных язвах и лиловых пятнах гниения. А когда-то Килолиана смелее всех карабкался по горам и знал все козьи тропинки, он-то и привел Кулау и его несчастный народ в безопасные верховья Калалау.

— Это правильный вопрос, ответил Кулау. — От того что мы не хотели работать на их сахарных плантациях, где раньше паслись наши кони, они привезли из-за моря рабов-китайцев. А с ними пришла китайская болезнь — та самая, которой мы болеем и за которую нас хотят заточить на Молокаи. Мы родились на Кауаи. Мы бывали и на других островах, кто где: на Оаху, Мауи, Гавайи, в Гонолулу. Но всегда мы возвращались на Кауаи. Почему мы возвращались? Как вы думаете? Потому что мы любим Кауаи. Мы здесь родились,

здесь жили. И здесь умрем, если… если среди нас нет трусливых душ. Таких нам не нужно. Таким место на Молокаи. И если они есть среди нас, пускай уходят. Завтра на берег высадятся солдаты. Пусть трусливые души спустятся к ним. Их живо отправят на Молокаи. А мы, мы останемся и будем бороться. Но не бойтесь, мы не умрем. У нас есть винтовки. Вы ведь знаете, как узка тропа, двоим на ней не разойтись. Я, Кулау, который ловил когда-то диких быков на Ниихау, один могу защищать эту тропу от тысячи врагов. Вот Капалеи, он раньше был судьей над людьми, почтенным человеком, а теперь он — затравленная крыса, как и мы с вами. Он мудрый, послушайте его.

Капалеи поднялся. Когда-то он был судьей. Он учился в колледже в Пунахоу. Он сидел за одним столом с господами и начальниками и с высокими представителями иностранных держав, охраняющими интересы торговцев и миссионеров. Вот каков был Капалеи в прошлом. А сейчас, как и сказал Кулау, это была затравленная крыса, человек вне закона, превратившийся в нечто столь страшное, что он был теперь и ниже закона и выше его. Вместо носа и щек у него остались только черные ямы, глаза без век горели под голыми надбровными дугами.

— Мы не затеваем раздоров, — начал он. — Мы просим, чтобы нас оставили в покое. Но если они не оставляют нас в покое — значит, они и затевают раздоры и пусть понесут за это наказание. Вы видите, у меня нет пальцев. — Он поднял свои култышки, чтобы все могли их увидеть. — Но вот от этого большого пальца еще сохранился сустав, и я могу нажать им на спуск так же крепко, как и в былые дни — указательным пальцем, которого нет. Мы любим Кауаи. Так давайте жить здесь или умрем здесь, но не пойдем в тюрьму на Молокаи. Болезнь эта не наша. На нас нет греха. Слуги господа бога и слуги господа рома привезли сюда болезнь вместе с китайскими кули, которые работают на украденной у нас земле. Я был судьей. Я знаю закон и порядок. И я говорю вам: не разрешает закон украсть у человека землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на всю жизнь.

— Жизнь коротка, и дни наши наполнены страданиями, — сказал Кулау. — Давайте петь и танцевать, и будем счастливы, как можем.

Из пещеры в скале принесли калабаши и пустили их вкруговую. Они были наполнены крепчайшей настойкой из корней растения ти; и когда жидкий огонь ударил этим людям в мозг и

разлился по телу, они забыли все и снова стали людьми. В женщине, проливавшей жгучие слезы из пустых глазниц, проснулись прежние чувства, и она, перебирая струны своей гитары, запела любовную песню дикарки — песню, что родилась в темных лесных чащах первобытного мира. Воздух дрожал от ее голоса, властного и зовущего. На циновке, подчиняясь ритму песни, плясал Килолиана. Каждое его движение излучало любовь, и рядом с ним на циновке плясала женщина, чьи пышные бедра и высокая грудь странно не вязались с изъеденным болезнью лицом. То была пляска живых мертвецов, ибо в их разлагающихся телах еще таились и любовь и желания. Все громче звучала любовная песня женщины, проливавшей жгучие слезы из невидящих глаз, все упоеннее плясали танцоры пляску любви в теплой ночной тишине, все быстрее ходили по рукам калабаши, и упорным огнем тлели у всех в мозгу воспоминания и страсть.

Рядом с женщиной на циновке плясала тоненькая девушка; лицо у нее было красивое и чистое, но на скрюченных руках, поднимавшихся и падавших в пляске, болезнь уже оставила свой разрушительный след. А оба идиота — страшная, отвратительная пародия на человека — плясали

поодаль, бормоча и хрипя что-то невнятное, пародируя любовь.

Но вот любовная песня женщины оборвалась на полуслове, опустились на землю калабаши, и кончилась пляска. Взгляды всех устремились в пропасть, к морю, над которым в залитом луною воздухе призрачным огнем сверкнула ракета.

— Это солдаты, — сказал Кулау. — Завтра будет бой. Нужно подкрепиться сном и подготовиться.

Прокаженные повиновались и уползли в свои норы, и скоро Кулау остался один. Он сидел неподвижно в свете луны, положив на колени винтовку и глядя вниз на далекий берег, к которому приставали лодки.

Здесь, наверху, долина Калалау была надежным убежищем. Если не считать Килолианы, знавшего обходные тропы в отвесных стенах ущелья, никто не мог добраться сюда, кроме как по острому горному гребню. Гребень этот тянулся на сотню ярдов в длину; в ширину он был не больше двенадцати дюймов. По обе стороны его зияли пропасти. Стоило поскользнуться — и справа и слева человека ждала верная смерть. Но в конце пути перед ним открывался земной рай. Море зелени омывало ущелье, заливая его от стены до стены зелеными волнами, стекая со

скалистых уступов обильными струями лоз и разбрызгивая по всем расщелинам пену папоротников и воздушных корней. Долгие месяцы Кулау и его подданные вели борьбу с этим морем растительности. Им удалось оттеснить буйные цветущие заросли, и теперь бананам, апельсинам и манговым деревьям стало свободнее. На небольших полянках рос дикий аррорут; на каменных террасах, покрытых слоем земли, они развели таро и дыни; и на всех открытых местах, куда проникало солнце, поднимались деревья папайя, отягченные золотыми плодами.

В это убежище Кулау ушел из низовьев долины, от моря. Если бы пришлось уходить и отсюда, у него были на примете другие ущелья, еще выше, среди громоздящихся горных вершин. И теперь он сидел, положив рядом с собою винтовку, и вглядывался сквозь завесу листвы в солдат на далеком берегу. Он разглядел, что они привезли с собой тяжелые пушки, отражавшие солнце, как зеркала. Прямо перед ним тянулся острый гребень. По тропинке, ведущей к нему снизу, ползли крошечные точки — люди. Кулау знал, что это не солдаты, а полиция. У этих ничего не выйдет, и вот тогда за дело возьмутся солдаты.

Он любовно провел искалеченной рукой по

стволу винтовки и проверил прицел. Стрелять он научился давно, когда охотился на острове Ниихау, где до сих пор не забыли его меткой стрельбы.

По мере того как движущиеся точки приближались и увеличивались, Кулау определял дистанцию с поправкой на ветер, дувший сбоку, и учитывал возможность перелета по таким низко расположенным целям. Но стрелять он не стал. Он дал им добраться до начала острого гребня и только тогда обнаружил свое присутствие. Он спросил, не выходя из зарослей:

— Что вам нужно?

— Нам нужен Кулау-прокаженный, — ответил начальник отряда туземной полиции, голубоглазый американец.

— Уходите обратно, — сказал Кулау.

Он знал этого человека: это был шериф, — тот, кто не дал ему жить на Ниихау и прогнал его через весь Кауаи в долину Калалау, а оттуда вверх, в ущелье.

— Кто ты? — спросил шериф.

— Я Кулау-прокаженный, — послышалось в ответ.

— Тогда выходи. Ты нам нужен, живой или мертвый. Твоя голова оценена в тысячу долларов.

Тебе не уйти.

Кулау громко рассмеялся в своем тайнике.

— Выходи! — скомандовал шериф, но ответом ему было молчание.

Он посовещался с полицейскими, и Кулау, понял, что они решили взять его штурмом.

— Кулау! — крикнул шериф. — Кулау, я иду к тебе.

— Тогда погляди сначала на солнце, и небо, и море, потому что больше ты их никогда не увидишь.

— Хорошо, хорошо, Кулау, — сказал шериф примирительным тоном. — Я знаю, что ты стреляешь без промаха. Но в меня ты не станешь стрелять. Я ничем тебя не обидел.

Кулау проворчал что-то.

— Право же, — настаивал шериф, — я ведь ничем тебя не обидел, разве не так?

— Ты обижаешь меня тем, что пытаешься засадить в тюрьму, — прозвучал ответ. — И ты обижаешь меня тем, что пытаешься получить за мою голову тысячу долларов. Если тебе дорога жизнь, стой на месте.

— Я должен до тебя добраться. Что поделаешь, это мой долг.

— Ты умрешь раньше, чем доберешься до ме-

ня.

Шериф был не трус, но тут он заколебался. Он посмотрел вниз, в пропасть, окинул взглядом острый, как нож, гребень и решился.

— Кулау! — крикнул он.

Заросли молчали.

— Кулау, не стреляй. Я иду.

Шериф повернулся к полицейским, отдал им какое-то приказание и пустился в свой опасный путь. Он шел медленно. Это напоминало ему ходьбу по канату. Кроме воздуха, ему не за что было ухватиться. Камни сыпались у него из-под ног и стремительно летели в пропасть. Солнце палило, и по лицу у него катился пот. Но он все шел и наконец достиг половины пути.

— Стой! — скомандовал Кулау из зарослей. — Еще шаг и я стреляю.

Шериф остановился, покачиваясь над бездной, чтобы удержать равновесие. Он побледнел, но во взгляде его была решимость. Он облизал пересохшие губы и заговорил:

— Кулау, ты не убьешь меня. — Я знаю, что не убьешь.

Он снова двинулся вперед. Пуля заставила его перевернуться волчком. Когда он падал, на лице его промелькнуло сердитое недоумение.

Он успел подумать, что если упасть на острый гребень, то еще можно спастись, — но тут смерть настигла его. Секунда — и гребень был пуст. И тогда пятеро полицейских один за другим смело пустились бегом по острому гребню, а остальные тут же открыли огонь по зарослям. Это было безумие. Кулау нажимал курок так быстро, что пять выстрелов прогремели почти непрерывной очередью. Пригнувшись к самой земле от пуль, со свистом прорезавших кусты, он выглянул из зарослей. Четверо полицейских исчезли так же, как их начальник. Пятый, еще живой, лежал поперек гребня. На дальнем конце толпились остальные полицейские, уже переставшие стрелять. Положение их на этой голой скале было безнадежным: Кулау мог снять их всех до последнего, не дав им спуститься. Но он не стрелял. И после короткого совещания один из полицейских снял с себя белую рубашку и помахал ею, как флагом. Потом он, а за ним и другой пошли по гребню к раненому товарищу. Не выдавая себя ни одним движением, Кулау смотрел, как они медленно отступали и, спустившись вниз, в долину, снова превратились в темные точки.

Два часа спустя Кулау заметил из другого укрытия, что группа полицейских пробует подняться

по противоположному склону долины. Дикие козы разбегались от них, а они лезли все выше и выше. И наконец, не доверяя самому себе, Кулау послал за Килолианой.

— Нет, здесь им не пройти, — сказал Килолиана.

— А козы? — спросил Кулау.

— Козы пришли из соседней долины, а сюда им не попасть. Дороги нет. Эти люди не умнее коз. Они упадут и разобьются насмерть. Давай посмотрим.

— Они смелые, — сказал Кулау. — Давай посмотрим.

Лежа рядом на ковре из лиан, под свисающими сверху желтыми цветами хау, они смотрели, как крошечные человечки карабкаются вверх — и то, чего они ждали, случилось: трое полицейских оступились, упали и, докатившись до выступа, камнем полетели вниз.

Килолиана усмехнулся.

— Больше нас не будут тревожить, — сказал он.

— У них есть пушки, — возразил Кулау. — Солдаты еще не сказали своего слова.

Разморенные жарой, прокаженные спали в пещерах. Кулау тоже дремал у своего логовища,

держа на коленях начищенную, заряженную винтовку. Девушка с искалеченными руками лежала в зарослях, наблюдая за острым гребнем. Вдруг Кулау вскочил, забыв про сон: на берегу раздался взрыв. В следующее мгновение воздух словно разодрало на части. Этот немыслимый звук испугал его. Казалось, боги схватили небесный покров и рвут его, как женщины рвут на полосы ткань. Страшный звук быстро приближался. Кулау с опаской поднял глаза. И вот снаряд разорвался высоко в горах, и столб черного дыма вырос над ущельем. Утес дал трещину, и обломки полетели к его подножию.

Кулау провел рукой по взмокшему лбу. Он был потрясен. Он еще никогда не слышал орудийной стрельбы и даже не мог представить, как это страшно.

— Раз, — сказал Капалеи, решив почему-то вести счет выстрелам.

Второй и третий снаряды с визгом пролетели над ущельем и разорвались за ближним хребтом. Капалеи считал. Прокаженные высыпали на открытое место перед пещерами. Вначале стрельба испугала их, но снаряды перелетали через ущелье, и скоро они успокоились и стали любоваться новым для них зрелищем. Оба идиота визжали от

восторга и принимались кривляться и прыгать всякий раз, как воздух раздирало снарядом. Кулау почти успокоился. Пушки не причиняли вреда. Наверно, такими большими снарядами и на таком расстоянии невозможно стрелять метко, как из винтовки.

Но вот что-то изменилось. Теперь снаряды не долетали до них. Один разорвался в зарослях у острого гребня. Кулау вспомнил про девушку, которая лежала на страже, и побежал туда. Кусты еще дымились, когда он заполз в чащу. Изумление охватило его. Ветки были поломаны, расщеплены. Там, где он оставил девушку, в земле была яма. Девушку разорвало в клочья. Снаряд попал прямо в нее.

Выглянув из кустов и убедившись, что на гребне нет солдат, Кулау пустился бегом обратно к пещерам. Снаряды летели над ним с воем, свистом, стоном, и вся долина гудела и сотрясалась от взрывов. Перед пещерами весело скакали оба идиота, вцепившись друг в друга полусгнившими пальцами. И вдруг Кулау увидел, как рядом с ними из земли поднялся столб черного дыма. Взрывом их отшвырнуло в разные стороны. Один лежал неподвижно, другой на руках пополз к пещере. Ноги его волочились по земле, из ран

хлестала кровь. Он был весь в крови и скулил, как собачонка. Все остальные, кроме Капалеи, попрятались в пещеры.

— Семнадцать, — сказал Капалеи и тут же добавил: — Восемнадцать.

Восемнадцатый снаряд упал у самого входа в одну из пещер. Прокаженные высыпали на волю, но из этой пещеры никто не показывался. Кулау вполз в нее, задыхаясь от едкого, вонючего дыма. На земле лежали четыре изуродованных трупа. Среди них была женщина с невидящими глазами, у которой только теперь иссякли слезы.

Подданных Кулау охватила паника, и они уже двинулись по тропе, уводившей из ущелья вверх, в хаос вершин и обрывов. Раненый идиот, тихо подвывая, тащился по земле, стараясь поспеть за остальными. Но у самого начала подъема силы изменили ему, и он скорчился и затих.

— Его нужно убить, — сказал Кулау, обращаясь к Капалеи, который сидел там же, где и раньше.

— Двадцать два, — ответил Капалеи. — Да, лучше убить его. Двадцать три… Двадцать четыре.

Увидев направленное на него дуло, идиот громко взвизгнул. Кулау заколебался и опустил винтовку.

— Это не легко, — сказал он.

— Ты дурак. Двадцать шесть, двадцать семь, — сказал Капалеи. — Давай я тебя научу.

Он встал и, подняв с земли тяжелый камень, пошел к раненому. В ту минуту, когда он замахнулся, новый снаряд попал прямо в него, тем самым избавив его от необходимости действовать и подведя итог его счету.

Кулау остался один в ущелье. Он провожал глазами своих подданных, пока последние скрюченные фигуры не исчезли за выступом горы. Потом повернулся и пошел вниз, к зарослям, где убило девушку. Стрельба продолжалась, но он не уходил, так как заметил, что далеко внизу к подъему двинулись солдаты. Один снаряд разорвался в десяти шагах от него. Распластавшись на земле, Кулау слышал, как осколки пролетели над ним. Цветы хау посыпались на него дождем. Он поднял голову, посмотрел на тропинку и вздохнул. Ему было очень страшно. Пули не смутили бы его, но орудийный огонь вселял в него ужас. При каждом выстреле он, дрожа, припадал к земле, но всякий раз опять поднимал голову и следил за тропинкой.

Наконец стрельба прекратилась. Верно, потому, решил он, что солдаты уже близко. Они ползли по тропинке гуськом, и он стал было считать их,

но сбился со счета. Их было не меньше сотни, и все они пришли за ним — Кулау-прокаженным. На мгновение в нем вспыхнула гордость. С винтовками и пушками, с полицией и солдатами они идут за ним, а он — один, да еще больной, калека. За него, живого или мертвого, обещана тысяча долларов. Во всю свою жизнь он не имел столько денег. Это была горькая мысль. Капалеи сказал правду. Он, Кулау, никому не сделал зла. Просто белым людям нужны были рабочие руки на краденой земле, и они привезли китайских кули, а с ними пришла болезнь. И теперь, оттого что его заразили этой болезнью, он стоит тысячу долларов, но ему-то их не получить! Его труп, сгнивший от болезни или разорванный снарядом, — вот за что будут выплачены эти огромные деньги.

Когда солдаты добрались до острого гребня, Кулау хотел было предупредить их, но взгляд его упал на убитую девушку, и он смолчал. Когда на тропинке показался шестой солдат, он открыл огонь и стрелял до тех пор, пока тропинка не опустела. Он выпускал пули, снова заряжал винтовку и снова стрелял не переставая. Все старые обиды огнем горели у него в мозгу, им овладела ярость и жажда мщения. Растянувшись по всей тропе, солдаты тоже стреляли и хотя они залег-

ли, стараясь укрыться в неглубоких выемках, целиться по ним было легко. Пули свистели и ударялись вокруг Кулау, со звоном отскакивая от камней. Одна пуля царапнула его по черепу, другая обожгла лопатку, не оцарапав кожи.

Это было настоящее побоище, и учинил его один человек. Солдаты стали отступать, унося раненых. Снимая их выстрелами одного за другим. Кулау вдруг почуял запах горелого мяса. Он огляделся по сторонам, но потом понял, что это его пальцы горят от накалившейся винтовки. Проказа разрушила нервы рук. Мясо горело, и он слышал запах, а боли не чувствовал.

Он лежал в зарослях и улыбался, но вдруг вспомнил о пушках. Они, вероятно, замолчали ненадолго и теперь уже будут стрелять прямо по зарослям, откуда он вел огонь. Не успел он отодвинуться за выступ скалы, куда, по его наблюдениям, снаряды не попадали, как обстрел возобновился. Кулау считал: еще шестьдесят снарядов выпустили пушки по ущелью, а потом замолчали. Небольшая площадь была так изрыта воронками, что, казалось, ничего живого там не могло остаться. Солдаты так и решили и под палящими лучами послеполуденного солнца опять полезли вверх по тропе. И снова им не уда-

лось пройти по гребню, и снова они отступили к морю.

Еще два дня Кулау удерживал тропу, хотя солдаты продолжали обстреливать его укрытие из пушек. На третий день на скалистой гряде, нависавшей над ущельем, появился один из прокаженных, мальчик Пахау, и прокричал ему, что Килолиана, охотясь на коз, чтобы им всем не умереть с голода, упал и разбился и что женщины перепуганы и не знают, что делать. Кулау велел мальчику спуститься и, дав ему запасную винтовку, оставил его сторожить тропу, а сам поднялся к своим подданным. Они совсем пали духом. Большинство из них были слишком слабы, чтобы добывать себе пищу в таких тяжких условиях, поэтому все они голодали. Кулау выбрал двух женщин и мужчину, у которых болезнь зашла еще не слишком далеко, и послал их в ущелье за едой и циновками. Остальных он постарался утешить и подбодрить, так что даже самые слабые стали помогать в постройке шалашей.

Но посланные за едой не вернулись, и Кулау пошел назад в ущелье. Когда он появился над обрывом, одновременно щелкнуло пять-шесть затворов. Одна пуля пробила ему мякоть плеча, другая ударилась о скалу, и отлетевшим осколком

ему порезало щеку. Он отпрянул назад, но успел заметить, что ущелье кишит солдатами. Его подданные предали его. Они не выдержали ужаса канонады и предпочли ей Молокаи — тюрьму.

Отступив на несколько шагов, Кулау снял с пояса тяжелую патронную сумку. Он залег среди скал и, когда над обрывом поднялась голова и плечи первого солдата, спустил курок. Так повторилось два раза, а потом, после паузы, из-за края обрыва вместо головы и плеч высунулся белый флаг.

— Что вам нужно? — спросил Кулау.

— Мне нужно тебя, если ты — Кулау-прокаженный, — раздался ответ.

Кулау забыл об опасности, забыл обо всем, — он лежал и дивился необычайному упорству этих хаоле — белых людей, которые добиваются своего, несмотря ни на что. Да, они добиваются своего, подчиняют себе все и вся, даже если это и стоит им жизни. Он почувствовал восхищение этой их волей, которая сильнее жизни и покоряет все на свете. Он понял, что дело его безнадежно. С волей белого человека спорить нельзя. Убей он их тысячу, они все равно подымутся, как песок морской, и умножатся, и доконают его. Они никогда не признают себя побежденными. В этом их ошибка и их сила. У его народа этого нет. Теперь ему

стало понятно, как ничтожная горсть посланцев господа бога и господа рома сумела поработить его землю. Это случилось потому…

— Ну, что же? Пойдешь ты со мной? — Это был голос невидимого человека, держащего белый флаг. Ну да, он настоящий хаоле, идет напролом к своей цели.

— Давай поговорим, — сказал Кулау.

Над обрывом поднялась голова и плечи, а потом и весь человек. Это был молоденький капитан с нежным лицом и голубыми глазами, стройный, подтянутый. Он двинулся вперед, потом, по знаку Кулау, остановился и сел шагах в пяти от него.

— Ты храбрый, — сказал Кулау задумчиво. — Я могу убить тебя, как муху.

— Нет, не можешь, — ответил тот.

— Почему?

— Потому что ты — человек, Кулау, хоть и скверный. Я знаю твою историю. Убивать ты умеешь.

Кулау проворчал что-то, но в душе он был польщен.

— Что ты сделал с моими людьми? — спросил он. — Где мальчик, две женщины и мужчина?

— Они сдались нам. А теперь твоя очередь, — я пришел за тобой.

Кулау недоверчиво рассмеялся.

— Я свободный человек, — заявил он. — Я никого не обижал. Одного я прошу: чтобы меня оставили в покое. Я жил свободным и свободным умру. Я никогда не сдамся.

— Значит, твои люди умнее тебя, — сказал молодой капитан. — Смотри, вот они идут.

Кулау обернулся. Сверху двигалась страшная процессия: остатки его племени со вздохами и стонами тащились мимо него во всем своем жалком уродстве.

Но Кулау суждено было изведать еще большую горечь, ибо, поравнявшись с ним, они осыпали его оскорбительной бранью, а старуха, замыкавшая шествие, остановилась и, вытянув костлявую руку с когтями гарпии, оскалив зубы и тряся головой, прокляла его. Один за другим прокаженные перебирались через скалистую гряду и сдавались притаившимся в засаде солдатам.

— Теперь ты можешь идти, — сказал Кулау капитану. — Я никогда не сдамся. Это мое последнее слово. Прощай.

Капитан соскользнул вниз, к своим солдатам. В следующую минуту он поднял надетый на ножны шлем, и пуля, выпущенная Кулау, пробила его насквозь. До вечера они стреляли по нему с берега, и когда он ушел выше, в неприступные

скалы, солдаты двинулись за ним следом.

Шесть недель гонялись они за Кулау среди острых вершин и по козьим тропам. Когда он скрывался в зарослях лантаны, они расставляли цепи загонщиков и гнали его, как кролика, сквозь лантановые джунгли и кусты гуава. Но всякий раз он путал следы и ускользал от них. Настигнуть его не было возможности. Если преследователи наседали вплотную, Кулау пускал в дело винтовку, и они уносили своих раненых по горным тропинкам к морю. Случалось, что солдаты тоже стреляли, заметив, как мелькает в чаще его коричневое тело. Однажды они нагнали его впятером на открытом участке тропы и выпустили в него все заряды. Но он, хромая, ушел от них по краю головокружительной пропасти. Позже они нашли на земле пятна крови и поняли, что он ранен. Через шесть недель на него махнули рукой. Солдаты и полицейские возвратились в Гонолулу, предоставив ему долину Калалау в безраздельное пользование, хотя время от времени охотники-одиночки пытались изловить его… на свою же погибель.

Два года спустя Кулау в последний раз заполз в заросли и растянулся на земле среди листьев ти и цветов дикого имбиря. Свободным он прожил

жизнь и свободным умирал. Стал накрапывать дождь, и он закрыл свои изуродованные ноги рваным одеялом. Тело его защищал клеенчатый плащ. Маузер он положил себе на грудь, заботливо стерев со ствола дождевые капли. На руке, вытиравшей винтовку, уже не было пальцев; он не мог бы теперь нажать на спуск.

Он закрыл глаза, слабость заливала тело, в голове стоял туман, и он понял, что конец его близок. Как дикий зверь, он заполз в чащу умирать. В полусознании, в бреду он возвращался мыслью к дням своей юности на Ниихау. Жизнь угасала, все тише стучал по листьям дождь, а ему казалось, что он снова объезжает диких лошадей и строптивый двухлеток пляшет под ним и встает на дыбы; а вот он бешено мчится по корралю, и подручные конюхи разбегаются в стороны и перемахивают через загородку. Минуту спустя, совсем не удивившись этой внезапной перемене, он гнался за дикими быками по горным пастбищам, и, набросив на них лассо, вел их вниз, в долину. А загоне, где клеймили скот, от пота и пыли ело глаза и щипало в носу.

Вся его здоровая, вольная молодость грезилась ему, пока острая боль наступающего конца не вернула его к действительности. Он поднял свои

обезображенные руки и в изумлении посмотрел на них. Почему? Как? Как мог он, молодой, свободный, превратиться вот в это? Потом он вспомнил все и на мгновение снова стал Кулау-прокаженным. Веки его устало опустились, шум дождя затих. Томительная дрожь прошла по телу. Потом и это кончилось. Он приподнял голову, но сейчас же снова уронил ее на траву. Глаза его открылись и уже не закрывались больше. Последняя мысль его была о винтовке, и, обхватив ее беспалыми руками, он крепко прижал ее к груди.

Прощай, Джек!

Странное место — Гавайи. В тамошнем обществе все, как говорится, шиворот-навыворот. Не то чтобы случалось что-нибудь неподобающее, нет. Скорее наоборот. Все даже слишком правильно. И тем не менее что-то в нем не так. Самым изысканным обществом считается миссионерский кружок. Любого неприятно удивит тот факт, что на Гавайях незаметные, готовые как будто в любую минуту принять мученический венец служители церкви важно восседают на почетном месте за столом у представителей денежной аристократии. Скромные выходцы из Новой Англии, которые еще в тридцатых годах минувшего столетия покинули свою родину, спешили сюда с возвышенной целью — дабы принести канакам свет истинной веры и научить их почитать бога единого, всеправедного и вездесущего. И так усердно обращали они канаков и приобщали к благам цивилизации, что ко второму или третьему поколению почти все туземцы вымерли. Евангельские семена упали на добрую почву. Что до миссионеров, то их сыновья и внуки тоже собрали неплохой урожай в виде полноправного

владения самими островами: землей, бухтами, поселениями, сахарными плантациями. Проповедники, явившиеся сюда, чтобы дать дикарям хлеб насущный, недурно покутили на языческом пиру.

Я вовсе не собирался рассказывать о странных вещах, что творятся на Гавайях. Но дело в том, что только один человек может толковать о здешних событиях, не приплетая к разговору миссионеров: этот человек — Джек Керсдейл, тот самый, о котором я хочу рассказать. Так вот, сам он тоже из миссионерского рода. Правда, со стороны бабки. А дед его был старый Бенджамен Керсдейл из Штатов, который начал сколачивать в молодости миллион, торгуя дешевым виски и джином. Вот вам еще одна странная шутка. В былые времена миссионеры и торговцы считались заклятыми врагами. Интересы-то их сталкивались. А нынче их потомки переженились, поделили остров и отлично ладят друг с другом.

Жизнь на Гавайях, что песня! Об этом здорово сказал Стоддард в своих «Гавайях»:

Самой судьбы мелодии прелестной
Тут каждый островок — строфа.
И жизнь, как песня!

Как он прав! Кожа здесь у людей золотистая. Туземки — юноны, спелые, как солнце, а мужчины — бронзовые аполлоны. Нацепят украшения, венки из цветов — и ну плясать и петь. Да и белые, которые недолюбливают чопорную миссионерскую компанию, тоже поддаются расслабляющему влиянию солнечного климата и, как бы ни были заняты, тоже танцуют, поют и втыкают цветы в волосы. Джек Керсдейл из таких ребят. А надо сказать, самый деловой человек из тех, кого я знаю. Сколько у него миллионов, — не сочтешь! Сахарный король, владелец кофейных плантаций, первым начал добывать каучук, держит несколько скотоводческих ранчо, непременный участник чуть ли не всех предприятий, что замышляют тут, на островах. И в то же время — человек света, член клуба, яхтсмен, холостяк, к тому же такой красавец, какие не снились мамашам, имеющим дочек на выданье. Между прочим, он прошел курс в Иейле, так что голова у него была набита всякими цифрами и учеными сведениями о Гавайских островах больше, чем у любого здешнего жителя, каких я знаю. И работать умел что надо, и песни пел, и танцевал, и цветы в волосы втыкал, как заправский бездельник.

Характер у Джека был упорный: он дважды дрался на дуэли — оба раза по политическим мотивам, — будучи еще зеленым юнцом, который делал первые шажки в политике. Он сыграл самую достойную, пожалуй, и мужественную роль во время последней революции, когда скинули местную династию, а ведь ему тогда было едва ли больше шестнадцати. Он далеко не трус — я говорю об этом для того, чтобы вы лучше поняли случившееся потом. Довелось мне раз видеть, как он объезжал на ранчо в Халеакала одного четырехлетнего жеребца, к которому два года не могли подступиться лучшие ковбои Фон Темпского. И еще об одном происшествии расскажу. Оно случилось в Коне, внизу, на побережье, вернее — наверху, потому что тамошние жители, видите ли, считают ниже своего достоинства селиться меньше чем на тысячефутовой высоте. Так вот, мы собрались на веранде у доктора Гудхью. Я болтал с Дотти Фэрчайлд. И вдруг со стропил прямо к ней на прическу упала огромная сороконожка — мы потом измерили: семь дюймов! Признаюсь, я остолбенел от ужаса. Рассудок не повиновался мне. Я не мог шевельнуть пальцем. Только представьте: в каком-нибудь шаге от меня в волосах собеседницы извивается этакая отвратительная

ядовитая гадина. Каждую секунду сороконожка могла скатиться на ее оголенные плечи — ведь мы только что поднялись из-за стола.

— В чем дело? — удивилась Дотти, поднимая руку к волосам.

— Не двигайтесь! — закричал я.

— Что случилось? — испуганно спрашивала она, видя, как дергаются у меня губы и глаза расширились от ужаса.

Мое восклицание привлекло внимание Керсдейла. Он посмотрел в нашу сторону, сразу все понял и быстро, но без лихорадочной поспешности подошел к нам.

— Не двигайтесь, Дотти, прошу вас! — сказал он спокойно.

Он не колебался ни секунды и действовал хладнокровно, расторопно.

— Позвольте, — проговорил он.

Он поднял ей на плечи шарф и одной рукой плотно держал концы, чтобы сороконожка не попала Дотти за корсаж. Другую руку, правую, он протянул к ее волосам, схватил омерзительную тварь насколько возможно ближе к голове и, крепко держа между большим и указательным пальцами, вытащил ее прочь. Не часто увидишь такое. Меня мороз по коже продирал. Сороконож-

ка — семь дюймов шевелящихся конечностей — билась в воздухе, изгибалась, скручивалась, обвивалась вокруг пальцев, царапала Джеку кожу, стараясь вырваться. Я видел, как эта тварь однажды укусила его, хотя, сбросив ее на землю и раздавив ногой, Джек принялся уверять дам, что дело обошлось без укусов. Но пять минут спустя он был уже в кабинете у доктора Гудхью, где тот сделал ему насечку и инъекцию перманганата. На другой день рука у Керсдейла вздулась, как пивной бочонок, и прошло три недели, прежде чем опухоль спала.

Все это не имеет в общем-то прямого отношения к моему рассказу, я лишь хотел показать, что Джек Керсдейл был кто угодно, но только не трус. Он являл лучший образец мужской выдержки. Никогда не выказывал боязни. Улыбка не сходила с его губ. Он запустил руку в волосы Дотти Фэрчайлд так беспечно, как будто в бочонок с соленым миндалем. И все же мне привелось наблюдать, как этот человек испытал такой дикий страх, который в тысячу раз сильнее того, что охватил меня, когда я увидел, как на голове Дотти Фэрчайлд шевелится ядовитая сороконожка, грозя вот-вот упасть на лицо и на грудь.

В ту пору я интересовался различными случа-

ями проказы, а в этой области Керсдейл обладал поистине энциклопедическими знаниями — как, впрочем, и в любой другой, касающейся островов. Проказа была, что называется, его коньком. Он слыл ревностным защитником колонии на Молокаи, куда помещали всех заболевших. Среди туземцев ходили разговоры, раздуваемые всякими демагогами, насчет жестокостей на Молокаи, что, дескать, людей не только насильно отрывают от родных и друзей, но и принуждают жить в заключении до самой смерти. Попавший туда не мог будто бы надеяться ни на смягчение этого наказания, ни на отсрочку приговора. На воротах в колонию словно было написано: «Оставь надежду…»

— А я вам заявляю, что они там вполне счастливы, — настаивал Керсдейл. — Им куда лучше живется, чем их родственникам и друзьям, которые здоровы. Вся эта болтовня об ужасах на Молокаи — вздор! Побывайте в какой-нибудь больнице или в трущобах любого большого города, вы увидите вещи в тысячу раз страшнее. Живые мертвецы! Существа, которые когда-то были людьми! Какая глупость! Посмотрели бы вы, какие конные состязания устраивают эти живые мертвецы четвертого июля! У некоторых

из них есть собственные лодки. Один имеет даже катерок. Им совсем нечего делать, кроме как весело проводить время. Еда, кров, одежда, медицинское обслуживание — все к их услугам. Они сами себе хозяева. И климат там гораздо лучше, чем в Гонолулу, и местность восхитительная. Я и сам не возражал бы насовсем поселиться там. Чудесное местечко!

Так Керсдейл представлял веселящегося прокаженного. Сам он не боялся проказы. Он утверждал, что для него или любого другого белого опасность заразиться проказой ничтожна, какой-нибудь один случай из миллиона, хотя признавался впоследствии, что его однокашник, Альфред Стартер, как-то умудрился заболеть, был отправлен на Молокаи и там умер.

— Дело в том, что прежде не умели точно ставить диагноз, — объяснил Керсдейл. — Какие-нибудь неизвестные симптомы или отклонение от нормы — и человека упекали на Молокаи. В результате туда были отправлены десятки таких же прокаженных, как и мы с вами. Теперь ошибок не случается. Метод, которым пользуется Бюро здравоохранения, абсолютно надежен. Самое интересное: когда этот метод открыли, подвергли повторному исследованию всех, кто

был на Молокаи, и обнаружили, что кое-кто совершенно здоров. Вы думаете, они были рады выбраться оттуда? Как бы не так! Покидая колонию, они рыдали так, как не рыдали, уезжая из Гонолулу. Иные наотрез отказались вернуться, их пришлость увести силой. Один даже женился на женщине в последней стадии болезни и писал душераздирающие письма в Бюро здравоохранения, протестуя против высылки его из колонии на том основании, что никто не сможет так ухаживать за его старой больной женой, как он сам.

— И что это за метод? — спрашивал я.

— Бактериологический метод. Тут уж ошибка невозможна. Первым его применил здесь доктор Герви, наш лучший специалист. Он прямо кудесник. Знает о проказе больше, чем кто бы то ни было, и если когда-нибудь откроют средство от проказы, то это сделает он. А сам метод очень прост: удалось выделить и изучить bacillus leprae. Теперь эти бациллы узнают безошибочно. Человека, у которого подозревают проказу, приглашают к врачу, срезают крохотный кусочек кожи и подвергают его бактериологическому исследованию. Видимых признаков нет, а тем не менее могут найти кучу этих самых бацилл.

— В таком случае и у нас с вами может быть

куча бацилл? — спросил я.

Керсдейл пожал плечами и засмеялся.

— Разумеется! Инкубационный период длится семь лет. Если у вас есть какие-нибудь сомнения на этот счет, отправляйтесь к доктору Герви. Он срежет у вас кусочек кожи и мигом даст ответ.

Позже Джек Керсдейл познакомил меня с доктором Герви, который немедленно всучил мне стопку разных отчетов и брошюр по этому вопросу, выпущенных Бюро здравоохранения, и повез в Калихи, на приемный пункт, где подвергались исследованию подозреваемые, а тех, у кого обнаруживали проказу, задерживали для высылки на Молокаи. Отправляют туда приблизительно раз в месяц, и тогда, попрощавшись с близкими, больные садятся на крошечный пароходик «Ноо», и их везут в колонию.

Однажды около полудня, когда я писал в клубе письма, ко мне подошел Джек Керсдейл.

— Вы-то мне и нужны! — сказал он вместо приветствия. — Я хочу показать вам самое грустное зрелище на Гавайях: отправку рыдающих прокаженных на Молокаи. Посадка начнется через несколько минут. Позвольте, однако, предупредить: не давайте воли своим чувствам. Горе их, конечно, безутешно, но, поверьте, они убивались

бы сильнее, если бы Бюро здравоохранения вздумало через год вернуть из обратно. У нас как раз есть время пропустить стаканчик виски. Коляска ждет у подъезда. Мы за пять минут доберемся до пристани.

Мы отправились на пристань. Человек сорок несчастных сгрудились там на отгороженном месте со своими тюками, одеялами и прочей кладью. «Ноо» только что прибыл и подходил к лихтеру, что стоял у пристани. За посадкой наблюдал самолично мистер Маквей, управляющий колонией; меня представили ему, а также доктору Джорджесу из Бюро здравоохранения, которого я уже видел раньше в Калихи. Прокаженные и в самом деле являли собой весьма мрачное зрелище. Лица у большинства были так обезображены, что не берусь описать. Среди них попадались, однако, люди вполне приятной внешности, без явных видимых признаков беспощадной болезни. Особенно я запомнил белую девочку, лет двенадцати, не больше, с голубыми глазами и золотыми кудряшками. Но одна щечка у нее была чуть раздута. На мое замечание о том, насколько ей, бедняжке, тяжело, наверное, одной среди темнокожих больных, доктор Джорджес ответил:

— Не совсем так. По-моему, это для нее самый счастливый день в жизни. Дело в том, что ее привезли из Кауаи, где она жила с отцом — страшный человек! И теперь, заболев, она будет жить вместе с матерью в колонии. Ту отправили еще три года назад… Очень тяжелый случай.

— И вообще по внешности судить никак нельзя, — пояснил Маквей. — Видите того высокого парня, которой так хорошо выглядит, словно совсем здоров? Так вот, я случайно узнал, что у него открытая язва на ноге и другая у лопатки. И у остальных тоже что-нибудь… Посмотрите на девушку, которая курит сигарету. Обратите внимание на ее руку. Видите, как скрючены пальцы? Анестезийная форма проказы. Поражает нервные узлы. Можно отрубить ей пальцы тупым ножом или потереть о терку для мускатного ореха, и она ровным счетом ничего не почувствует.

— Да, но вот, например, та красивая женщина. Она-то уж наверняка здорова, — упорствовал я. — Такая великолепная и пышная.

— С ней печальная история! — бросил Маквей через плечо, поворачиваясь, чтобы прогуляться с Керсдейлом по пристани.

Да, она была красива — чистокровная полинезийка. Даже из моего скудного знакомства с

типами людей той расы я мог заключить, что она отпрыск старинного царского рода. Я дал бы ей года двадцать три — двадцать четыре, не больше. Сложена она была великолепно, и признаки полноты, свойственной женщинам ее расы, были едва заметны.

— Это было ударом для всех нас, — прервал молчание доктор Джордес. — Она сама пришла на обследование. Никто даже не подозревал. Как она заразилась — ума не приложу. Право же, мы чуть не плакали. Мы разумеется, постарались, чтобы дело не попало в газеты. Что с ней случилось, никто не знает, кроме нас да ее семьи. Спросите у любого в Гонолулу, и он вам скажет, что она скорее всего в Европе. Она сама просила, чтобы мы не распространялись. Бедняжка, она такая гордая.

— Но кто она? — спросил я. — По тому, как вы говорите, она должна быть заметной фигурой.

— Знаете такую — Люси Мокунуи?

— Люси Мокунуи? — повторил я: в памяти зашевелились какие-то давние впечатления, но я покачал головой. — Мне кажется, что я где-то слышал это имя, но оно мне ничего не говорит.

— Никогда не слышали о Люси Мокунуи? Об этом гавайском соловье? Ах, простите, вы же

малахини, новичок в здешних местах, можете и не знать. Люси Мокунуи была любимицей всего Гонолулу, да что там — всего острова.

— Вы сказали была… — прервал я.

— Я не оговорился, увы! Теперь она, считайте, умерла. — Он с безнадежным сожалением пожал плечами. — В разное время из-за нее потеряли голову человек десять хаолес — ах, простите! — человек десять белых. Я уж не говорю о людях с улицы. Те десять — все занимали видное положение.

Она могла бы выйти замуж за сына Верховного Судьи, если бы захотела. Так вы считаете ее красивой? Да, но надо услышать, как она поет! Самая талантливая певица-туземка на Гавайских островах. Голос у нее — чистое серебро, нежный, как солнечный луч. Мы обожали ее. Она гастролировала в Америке — сначала с Королевским Гавайским оркестром, потом дважды ездила одна, давала концерты.

— Вот оно что! — воскликнул я. — Да, припоминаю. Я слышал ее года два назад в Бостонской филармонии. Так это она! Теперь-то я узнаю ее.

Безотчетная грусть внезапно охватила меня. Жизнь в лучшем случае — бессмысленная и тщетная штука. Каких-нибудь два года, и вот эта

великолепная женщина во всем великолепии своего успеха вдруг оказывается здесь, в толпе прокаженных, ожидающих отправки на Молокаи. Невольно пришли на ум строки из Хенли:

Старый несчастный бродяга поведал о старом несчастье, Жизнь, говорит, — ошибка, ошибка и позор.

Я содрогнулся при мысли о будущем. Если на долю Люси Мокунуи выпал такой тяжкий жребий, то кто знает, что ожидает меня… любого из нас? Я всегда отдавал себе отчет в том, что мы смертны, но жить среди живых мертвецов, умереть и не быть мертвым, стать одним из тех обреченных существ, которые некогда были мужчинами и женщинами, да, да, и женщинами — такими, как Люси Мокунуи, это воплощение полинезийского обаяния, эта талантливая актриса, божество… наверное, я выдал в ту минуту свое крайнее смятение, ибо доктор Джорджес поспешил уверить меня, что им там, в колонии, живется совсем не плохо.

Это было непостижимо, чудовищно. Я не мог заставить себя смотреть на нее. Немного поодаль, за веревками, где прохаживался полисмен, стояли родственники и друзья отъезжающих. Подойти поближе им не позволяли. Не было ни объятий,

ни прощальных поцелуев. Они могли лишь переговариваться друг с другом — последние пожелания, последние слова любви, последние, многократно повторяемые напутствия. Те, что стояли за веревками, смотрели с каким-то отчаянным, напряженным до ужаса вниманием. Ведь в последний раз видели они любимые лица, лица живых мертвецов, которых погребальное судно увезет сейчас на молокаиское кладбище.

Доктор Джорджес подал знак, и несчастные зашевелились, поднялись на ноги и, сгибаясь под тяжестью клади, медленно побрели через лихтер к сходням. Скорбное похоронное шествие! Среди провожающих, сгрудившихся за веревками, тут же послышались рыдания. Кровь стыла в жилах, разрывалось сердце. Я никогда не видел такого горя и, надеюсь, не увижу больше. Керсдейл и Маквей все еще находились на другом краю пристани, занятые каким-то серьезным разговором — наверное, о политике, потому что оба они в ту пору крайне увлекались этой странной игрой. Когда Люси Мокунуи проходила мимо, я снова украдкой посмотрел на нее. Она и в самом деле была прекрасна! Прекрасна даже по нашим представлениям — один из тех редчайших цветков, что расцветают лишь раз в поколение. Подумать

только, что такая женщина обречена прозябать в колонии для прокаженных!

Она шла, точно королева: вот пересекла лихтер, поднялась по сходням, прошла палубой на корму, где у поручней столпились прокаженные — они плакали и махали остающимся на берегу.

Отдали концы, и «Ноо» стал медленно отваливать от пристани. Крики и плач усилились. Какое безнадежное, горестное зрелище! Я мысленно давал себе слово, что никогда впредь не окажусь свидетелем отплытия «Ноо», в эту минуту подошли Маквей и Керсдейл. Глаза у Джека блестели, и губы не могли скрыть довольной улыбки. Очевидно, разговор о политике закончился к обоюдному согласию. Веревочное ограждение сняли, и причитающие родственники кинулись к самому краю причала, окружив нас плотной толпой.

— Это ее мать, — шепнул мне доктор Джорджес, показывая на стоявшую рядом старушку, которая горестно покачивалась из стороны в сторону, не отрывая от палубы невидящих, полных слез глаз. Я заметил, что Люси Мокунуи тоже плачет. Но вот она утерла слезы и пристально посмотрела на Керсдейла. Потом протянула обе руки — тем восхитительным чувственным движением, которым некогда словно обнимала аудиторию Ольга

Нетерсоль, и воскликнула:

— Прощай, Джек! Прощай, дорогой!

Он услышал ее и обернулся. Я никогда не видел, чтобы человек так испугался. Керсдейл зашатался, побелел и как-то обмяк, словно из него вынули душу. Вскинув руки, он простонал: «Боже мой!» Но тут же громадным усилием воли взял себя в руки.

— Прощай, Люси! Прощай! — отозвался он.

Он стоял и махал ей до тех пор, пока «Ноо» не вышел из гавани и лица стоявших у кормовых поручней не слились в сплошную полосу.

— Я полагал, что вы знаете, — сказал Маквей, удивленно глядя на Керсдейла. — Уж кому-кому, а вам… Я решил, что поэтому вы и пришли сюда.

— Теперь я знаю, — медленно проговорил Керсдейл. — Где коляска?

И быстро, чуть не бегом, зашагал с пристани. Я едва поспевал за ним.

— К доктору Герви, — крикнул он кучеру, — Да побыстрей!

Тяжело, еле переводя дух, он опустился на сиденье. Бледность разлилась у него по лицу, губы были крепко сжаты, на лбу и на верхней губе выступил пот. Сильнейшая боль, казалось, мучает его.

— Поскорее, Мартин, ради бога! — вырвалось у него. — Что они у тебя плетутся? Подхлестни-ка их, слышишь? Подхлестни как следует.

— Мы загоним лошадей, сэр, — возразил кучер.

— Пускай! Гони вовсю! Плачу и за лошадей и штраф полиции. А ну, быстрее, быстрей!

— Как же я не знал? Ничего не знал… — бормотал он, откидываясь на подушки и дрожащей рукой отирая пот с лица.

Коляска неслась с бешеной скоростью, подпрыгивая и кренясь на поворотах. Разговаривать было невозможно. Да и о чем говорить? Но я слышал, как Джек повторял снова и снова: «Как же я не знал!…»

«Алоха Оэ»

Нигде уходящим в море судам не устраивают таких проводов, как в гавани Гонолулу. Большой пароход стоял под парами, готовый к отплытию. Не менее тысячи человек толпилось на его палубах, пять тысяч стояло на пристани. По высоким сходням вверх и вниз проходили туземные принцы и принцессы, сахарные короли, видные чиновники Гавайев. А за толпой, собравшейся на берегу, длинными рядами выстроились под охраной туземной полиции экипажи и автомобили местной аристократии.

На набережной гавайский королевский оркестр играл «Алоха Оэ», а когда он смолк ту же рыдающую мелодию подхватил струнный оркестр туземцев на пароходе, и высокий голос певицы птицей взлетел над звуками инструментов, над многоголосым гамом вокруг. Словно звонкие переливы серебряной свирели, своеобразные и неповторимые, влились вдруг в многозвучную симфонию прощания.

На нижней палубе вдоль поручней стояли в шесть рядов молодые люди в хаки; их бронзовые лица говорили о трех годах военной службы,

проведенных под знойным солнцем тропиков. Однако это не их провожали сегодня так торжественно, и не капитана в белом кителе, стоявшего на мостике и безучастно, как далекие звезды, взиравшего с высоты на суматоху внизу, и не молодых офицеров на корме, возвращавшихся на родину с Филиппинских островов вместе со своими измученными тропической жарой, бледными женами. На верхней палубе, у самого трапа, стояла группа сенаторов Соединенных Штатов — человек двадцать — с женами и дочерьми. Они приезжали сюда развлечься. И целый месяц их угощали обедами и поили вином, пичкали статистикой, таскали по горам и долам, на вершины вулканов и в залитые лавой долины, чтобы показать все красоты и природные богатства Гавайев.

За этой-то веселящейся компанией и прибыл в гавань большой пароход, и с нею прощался сегодня Гонолулу.

Сенаторы были увешаны гирляндами, они просто утопали в цветах. На бычьей шее и мощной груди сенатора Джереми Сэмбрука красовалась добрая дюжина венков и гирлянд. Из этой массы цветов выглядывало его потное лицо, покрытое свежим загаром. Цветы раздражали сенатора

невыносимо, а на толпу, кишевшую на пристани, он смотрел оком человека, для которого существуют только цифры, человека, слепого к красоте. Он видел в этих людях лишь рабочую силу, а за ней — фабрики, железные дороги, плантации, все то, что она создавала и что олицетворяла собой для него. Он видел богатства этой страны, думал о том, как их использовать, и, занятый этими размышлениями о материальных благах и могуществе, не обращал никакого внимания на дочь, которая стояла подле него, разговаривая с молодым человеком в изящном летнем костюме и соломенной шляпе. Юноша не отрывал жадных глаз от ее лица и, казалось, видел только ее одну. Если бы сенатор Джереми внимательно присмотрелся к дочери, он понял бы, что пятнадцатилетняя девочка, которую он привез с собой на Гавайские острова, за этот месяц превратилась в женщину.

В климате Гавайев все зреет быстро, а созреванию Дороти Сэмбрук к тому же особенно благоприятствовали окружающие условия. Тоненькой бледной девочкой с голубыми глазами, немного утомленной вечным сидением за книгами и попытками хоть что-нибудь понять в загадках жизни, — такой приехала сюда Дороти месяц

назад. А сейчас в газах ее был жаркий свет, щеки позолочены солнцем, в линиях тела уже чувствовалась легкая, едва намечавшаяся округлость. За этот месяц Дороти совсем забросила книги, ибо читать книгу жизни было куда интереснее. Она ездила верхом, взбиралась на вулканы, училась плавать на волнах прибоя. Тропики проникли ей в кровь, она упивалась ярким солнцем, теплом, пышными красками. И весь этот месяц она провела в обществе Стивена Найта, настоящего мужчины, спортсмена, отважного пловца, бронзового морского бога, который укрощал бешеные волны и на их хребтах мчался к берегу.

Дороти Сэмбрук не замечала перемены, которая произошла в ней. Она оставалась наивной молоденькой девушкой, и ее удивляло и смущало поведение Стива в этот час расставания.

До сих пор она видела в нем просто доброго товарища, и весь месяц он и был ей только товарищем, но сейчас прощаясь с ней, вел себя как-то странно. Говорил взволнованно, бессвязно, вдруг умолкал, начинал снова. По временам он словно не слышал, что говорит она, или отвечал не так, как обычно. А взгляд его приводил Дороти в смятение. Она раньше и не замечала, что у него такие горящие глаза; она не смела смотреть в

них и то и дело опускала ресницы. Но выражение их и пугало и в то же время притягивало ее, и она снова и снова заглядывала в эти глаза, чтобы увидеть то пламенное, властное, тоскующее, чего она еще не видела никогда ни в чьих глазах. Она и сама испытывала какое-то странное волнение и тревогу.

На пароходе оглушительно завыл гудок, и увенчанная цветами толпа хлынула ближе. Дороти Сэмбрук сделала недовольную гримасу и заткнула пальцами уши, чтобы не слышать пронзительного воя, — и в этот миг она снова перехватила жадный и требовательный взгляд Стива. Он смотрел на ее уши, нежно розовеющие и прозрачные в косых лучах закатного солнца.

Удивленная и словно завороженная странным выражением его глаз, Дороти смотрела на него не отрываясь. И Стив понял, что выдал себя; он густо покраснел и что-то невнятно пробормотал. Он был явно смущен, и Дороти была смущена не меньше его. Вокруг них суетилась пароходная прислуга, торопя провожающих сойти на берег. Стив протянул руку. И в тот миг, когда Дороти ощутила пожатие его пальцев, тысячу раз сжимавших ее руку, когда они вдвоем карабкались по крутым склонам или неслись на доске по вол-

нам, — она услышала и по-новому поняла слова песни, которая, подобно рыданию, рвалась из серебряного горла гавайской певицы:

Ka halia ko aloha
Kai hiki mai,
Ke hone ae nei i
Ku'u manawa,
O oe no Ka'u aloha
A loko e hana nei.

Этой песне учил ее Стив, она знала и мелодию и слова и до сих пор думала, что понимает их. Но только сейчас, когда в последний раз пальцы Стива крепко сжали ее руку и она ощутила теплоту его ладони, ей открылся истинный смысл этих слов. Она едва заметила, как ушел Стив, и не могла отыскать его в толпе на сходнях, потому что в эти минуты она уже блуждала в лабиринтах памяти, вновь переживая минувшие четыре недели — все события этих дней, представшие перед ней сейчас в новом свете.

Когда месяц назад компания сенаторов прибыла в Гонолулу, их встретили члены комиссии, которой было поручено развлекать гостей, и среди них был и Стив. Он первый показал им в Ваикики-Бич, как плавают по бурным волнам во

время прибоя. Выплыв в море верхом но узкой доске, с веслом в руках, он помчался так быстро, что скоро только пятнышком замелькал и исчез вдали. Потом неожиданно возник снова, встав из бурлящей белой пены, как морской бог, — сначала показались плечи и грудь, а потом бедра, руки; и вот он уже стоял во весь рост на пенистом гребне могучего вала длиной с милю, и только ноги его были зарыты в летящую пену. Он мчался со скоростью экспресса и спокойно вышел на берег на глазах у пораженных зрителей. Таким Дороти впервые увидела Стива. Он был самый молодой член комиссии — двадцатилетний юноша. Он не выступал с речами, не блистал на торжественных приемах. В увеселительную программу для гостей он вносил свою долю, плавая на бурных волнах в Ваикики, гоняя диких быков по склонам Мауна Кеа, объезжая лошадей на ранчо Халеакала.

Дороти не интересовали бесконечные статистические обзоры и ораторские выступления остальных членов комиссии, на Стива они тоже нагоняли тоску, — и оба потихоньку удирали вдвоем. Так они сбежали и с пикника в Хамакуа и от Эба Луиссона, кофейного плантатора который в течение двух убийственно скучных часов занимал гостей разговором о кофе, о кофе и только о

кофе. И как раз в тот день, когда они ехали верхом среди древовидных папоротников, Стив перевел ей слова песни «Алоха Оэ», которой провожали гостей-сенаторов в каждой деревне, на каждом ранчо, на каждой плантации.

Они со Стивом с первого же дня очень много времени проводили вместе. Он был ее неизменным спутником на всех прогулках. Она совсем завладела им, пока ее отец собирал нужные ему сведения о Гавайских островах. Дороти была кротка и не тиранила своего нового приятеля, но он был у нее в полном подчинении, и лишь во время катания на лодке, или поездок верхом, или плавания в прибой власть переходила к нему, а ей оставалось слушаться.

И вот теперь, когда уже был поднят якорь и громадный пароход стал медленно отваливать от пристани, Дороти, слушая прощальную мелодию «Алоха Оэ», поняла, что Стив для нее был не только веселым товарищем.

Пять тысяч голосов пели сейчас «Алоха Оэ»:
В разлуке любовь моя будет с тобою
Всегда, до новой встречи.

И в тоже мгновение, вслед за открытием, что она любит и любима, пришла мысль, что их со

Стивом разлучают, отрывают друг от друга. Когда еще они встретятся снова? И встретятся ли? Слова песни о новой встрече она услышала впервые от него, Стива, — она вспомнила, как он пел их ей, повторяя много раз подряд, под деревом хау в Ваикики. Не было ли это предсказанием? А она восторгалась его пением, твердила ему, что он поет так выразительно… Вспомнив это, Дороти рассмеялась громко, истерически. «Выразительно!» Еще бы, когда человек душу свою изливал в песне! Теперь она знала это, но слишком поздно. Почему он ей ничего не сказал?

Вдруг она вспомнила, что в ее возрасте девушки еще не выходят замуж. Но тотчас сказала себе: «А на Гавайях выходят». На Гавайях, где кожа у всех золотиста и женщины под поцелуями солнца созревают рано, созрела и она — за один месяц.

Тщетно вглядывалась Дороти в толпу на берегу. Куда девался Стив? Она готова была отдать все на свете, чтобы увидеть его еще хоть на миг, она почти желала, чтобы какая-нибудь смертельная болезнь поразила капитана, одиноко стоявшего на мостике, — ведь тогда пароход не уйдет! В первый раз в жизни она посмотрела на отца внимательно, пытливо — и с внезапно проснувшимся страхом прочла в этом лице упрямство

и жесткую волю. Противиться этой воле очень страшно! И разве она может победить в такой борьбе?..

Но почему, почему Стив молчал до сих пор? А сейчас уже поздно… Почему он не сказал ей ничего тогда, под деревом хау в Ваикики?

Тут ее осенила догадка — и сердце у нее упало. Да, да, теперь понятно, почему молчал Стив! Что-то такое она слышала недавно… А, это было у миссис Стентон, в тот день, когда дамы миссионерского кружка пригласили на чашку чая жен и дочерей сенаторов… Та высокая блондинка, миссис Ходжкинс, задала вопрос… Дороти отчетливо вспомнила все: обширную веранду, тропические цветы, бесшумно сновавших вокруг слуг-азиатов, жужжание женских голосов и вопрос миссис Ходжкинс, сидевшей неподалеку в группе других дам. Миссис Ходжкинс недавно вернулась на остров с континента, где она провела много лет, и, видимо, расспрашивала о старых знакомых, подругах ее юности.

— А как поживает Сюзи Мэйдуэлл? — осведомилась она.

— О, мы с ней больше не встречаемся! Она вышла за Вилли Кьюпеля, — ответила одна из местных жительниц.

А жена сенатора Беренда со смехом спросила, почему же замужество Сюзи Мэйдуэлл оттолкнуло от нее приятельниц.

— Ее муж — хапа-хаоле, человек смешанной крови, — был ответ. — А мы, американцы на островах, должны думать о наших детях.

Дороти повернулась к отцу, решив проверить свою догадку.

— Папа! Если Стив приедет когда-нибудь в Штаты, ему можно будет побывать у нас?

— Стив? Какой Стив?

— Ну, Стивен Найт. Ты же его знаешь, ты прощался с ним только что, пять минут назад! Если ему случится когда-нибудь попасть в Штаты, можно будет пригласить его к нам?

— Конечно, нет! — коротко отрезал Джереми Сэмбрук. — Этот Стивен Найт — хапа-хаоле. Ты знаешь, что это значит?

— О-ох! — чуть слышно вздохнула Дороти, чувствуя, как немое отчаяние закрадывается ей в душу.

Стив — не хапа-хаоле, в этом Дороти была уверена. Она не знала, что к его крови примешалась капелька крови, полной жара тропического солнца, а значит, о браке с ним нечего было и думать. Странный мир! Ведь преподобный Клегхорн

женился же на темнокожей принцессе из рода Камехамеха, — и все-таки люди считали за честь знакомство с ним, и в его доме бывали женщины высшего света из ультрафешенебельного миссионерского кружка! А вот Стив... То, что он учил ее плавать или вел ее за руку в опасных местах, когда они поднимались на кратер Килауэа, никому не казалось предосудительным. Он мог обедать с нею и ее отцом, танцевать с нею, быть членом увеселительной комиссии, но жениться на Дороти он не мог, потому что в жилах его струилось тропическое солнце.

А ведь это совсем не было заметно! Кто не знал, тому это и в голову не могло прийти! Стив был так красив... Образ его запечатлелся в ее памяти, и она с бессознательным удовольствием вспоминала великолепное гибкое тело, могучие плечи, надежную силу этих рук, что так легко подсаживали ее в седло, несли по гремящим волнам или поднимали ее, уцепившуюся за конец альпенштока, на крутую вершину горы, которую называют «Храмом солнца»! И еще что-то другое, таинственное и неуловимое, вспоминалось Дороти, что-то такое, в чем она и сейчас еще очень смутно отдавала себе отчет: ощущение близости мужчины, настоящего мужчины, какое она ис-

пытывала, когда Стив бывал с нею.

Она вдруг очнулась с чувством острого стыда за эти мысли. Кровь прилила к ее щекам, окрасила их ярким румянцем, но тотчас отхлынула: Дороти побледнела, вспомнив, что больше никогда не увидит любимого.

Пароход уже отвалил, и палубы его поравнялись с концом набережной.

— Вон там стоит Стив, — сказал сенатор дочери. — Помаши ему на прощание, Дороти!

Стив не сводил с нее глаз и увидел в ее лице то новое, чего не видел раньше. Он просиял, и Дороти поняла, что он теперь знает. А в воздухе трепетала песня:

Люблю — и любовь моя будет с тобой, Всегда, до новой встречи.

Слова был не нужны, они и без слов все сказали друг другу. Вокруг Дороти пассажиры снимали с себя венки и бросали их друзьям, стоявшим на пристани. Стив протянул руки, глаза его молили. Она стала снимать через голову свою гирлянду, но цветы зацепились за нитку восточного жемчуга, которую надел ей сегодня на шею старик Мервин, сахарный король, когда вез ее и отца на пристань.

Она дергала жемчуг, цеплявшийся за цветы.

А пароход двигался и двигался вперед. Стив был теперь как раз под палубой, где она стояла, медлить было нельзя — еще минута, и он останется позади!

Дороти всхлипнула, и Джереми Сэмбрук испытующе посмотрел на нее.

— Дороти! — крикнул он резко.

Она решительно рванула ожерелье — и вместе с цветами дождь жемчужин посыпался на голову ожидавшего возлюбленного.

Она смотрела на него, пока слезы не застлали перед ней все, потом спрятала лицо на плече отца. А сенатор, забыв о статистике, с удивлением спрашивал себя: почему это маленькие девочки так спешат стать взрослыми?

Толпа на пристани все пела, мелодия, отдаляясь, таяла в воздухе, но по прежнему была в ней любовная нега и слова сжигали сердце, как кислота, ибо в них была ложь.

Aloha oe, Aloha oe, e ke onaona no ho ika lipo…

В последний раз приди в мои объятия!

Любовь моя с тобой всегда, до новой встречи.

Чун А-чун

Во внешности Чун А-чуна вы не нашли бы ничего примечательного. Он был небольшого роста, худощавый и узкоплечий, как большинство китайцев. Путешественник, случайно встретив его на улице в Гонолулу, решил бы: вот добродушный маленький китаец, владелец какой-нибудь процветающей прачечной или портняжной мастерской. Что касается добродушия и процветания, это суждение было бы правильным, хотя и не отражало бы истину во всем ее объеме, ибо добродушие Чун А-чуна было столь же велико, как и его состояние, а точных размеров последнего не представляла ни одна живая душа. Все знали что, Чун А-чун чрезвычайно богат, но в данном случае словом «чрезвычайно» обозначалось нечто абсолютно неизвестное.

Маленькие черные глазки Чун А-чуна, хитрые и блестящие, казались дырочками, просверленными буравчиком. Но они были широко расставлены, и лоб, нависший над ними, несомненно, принадлежал мыслителю. Ибо всю жизнь А-чуну приходилось решать самые сложные проблемы. Не то, чтобы эти проблемы особенно беспокоили

его. В сущности, А-чун представлял собой законченный тип философа, духовное равновесие его не зависело от того, был ли он мультимиллионером, распоряжающимся судьбами множества людей, или простым кули. А-чун всегда пребывал в состоянии безграничного душевного покоя, не нарушаемого успехом и не смущаемого неудачами. Ничто не могло сокрушить его невозмутимость: ни удары плети надсмотрщика на плантации сахарного тростника, ни падение цен на сахар, когда А-чун уже сам владел этими плантациями. Опираясь на непоколебимую скалу своей удовлетворенности миром, он справлялся с проблемами, которыми людям вообще приходится заниматься не часто, а китайским крестьянам и того реже.

А-чун был именно китайским крестьянином, обреченным всю жизнь трудиться, как рабочая скотина, на полях; но, по велению судьбы, в один прекрасный день он исчез с этих полей, словно принц в сказке. А-чун не помнил своего отца, мелкого арендатора неподалеку от Кантона; не много воспоминаний оставила и мать: она умерла, когда мальчику едва исполнилось шесть лет. Зато он помнил своего почтенного дядюшку А-ку, на которого он батрачил с шести лет до

двадцати четырех. Именно после этого он исчез, завербовавшись на три года на сахарные плантации Гавайских островов с оплатой в пятнадцать центов в день.

А-чун обладал редкой наблюдательностью. Он запоминал мельчайшие подробности, какие вряд ли заметил бы и один из тысячи. Он проработал на плантациях три года и по окончании этого срока знал о выращивании сахарного тростника больше, чем надсмотрщики и даже сам управляющий; управляющий же был бы несказанно изумлен, если бы ему стало известно, какими сведениями о переработке тростника располагает этот сморщенный кули. Но А-чун изучал не только процессы переработки тростника. Он старался постичь, каким путем люди становятся владельцами сахарных заводов и плантаций. Очень быстро он усвоил, что от своего собственного труда люди не богатеют. Он знал это потому, что сам гнул спину целых двадцать лет. Люди наживают деньги, только используя труд других. И человек тем богаче, чем больше ближних работают на него.

И вот, когда срок контракта истек, А-чун вложил свои сбережения в маленькую лавку импортных товаров, вступив в компанию с неким А-янгом.

Впоследствии лавка превратилась в крупную фирму «А-чун и А-янг», которая торговала решительно всем — от индийских шелков и женьшеня до островов с залежами гуано и вербовочных судов. В то же время А-чун нанялся работать поваром. Он оказался прекрасным кулинаром и за три года стал самым высокооплачиваемым шеф-поваром в Гонолулу. Карьера его была обеспечена, и он совершал непростительную глупость, отказываясь от нее, — так сказал ему Дантен, его хозяин; однако А-чун лучше знал, что ему надо. За упрямство его трижды назвали дураком при расчете и выдали пятьдесят долларов сверх положенной суммы.

Фирма «А-чун и А-янг» богатела. Теперь А-чуну незачем было работать поваром. На Гавайях начался бум. Расширялись плантации сахарного тростника, и всюду требовались рабочие руки. А-чун видел, какие это сулит возможности, и занялся ввозом рабочей силы. Он доставил на Гавайи тысячи кантонских кули, и состояние его росло день ото дня. Он вкладывал капитал в различные предприятия. Его черные, как бусинки, глаза безошибочно различали выгоду там, где прочим людям виделось разорение. Он за бесценок купил пруд для разведения рыбы, который

потом принес пятьсот процентов прибыли и дал А-чуну возможность монополизировать поставки рыбы в Гонолулу. А-чун не давал интервью, не играл никакой роли в политике, не участвовал в революциях, зато безошибочно предугадывал события и был значительно дальновиднее тех, кто руководил этими событиями. В воображении он видел Гонолулу современным, освещенным электричеством еще в те времена, когда город, грязный, под вечной угрозой песчаных заносов, беспорядочно лепился к голым скалам коралового островка. И А-чун покупал землю. Он покупал землю у торговцев, нуждающихся в наличных, у нищих туземцев, у разгульных сынков богачей, у вдов и сирот, даже у прокаженных, которых высылали на Молокаи. И со временем оказалось, что купленные А-чуном клочки земли совершенно необходимы для складов, либо для общественных зданий, либо для отелей. А-чун сдавал внаем и брал в аренду, продавал, покупал и перепродавал снова.

Однако это еще не все. А-чун вверил свои надежды и деньги некоему Паркинсону, бывшему капитану, которому не доверился бы никто другой. Паркинсон отбыл в таинственный рейс на маленькой «Веге». После этого Паркинсон не знал

нужды до конца дней своих, а много лет спустя весь Гонолулу охватило изумление: каким-то путем стало известно, что острова Дрейк и Акорн, славившиеся залежами гуано, давно проданы Британскому тресту фосфатов за три четверти миллиона.

Кроме того, были дни изобилия и пьянства при короле Калакауа, когда А-чун заплатил триста тысяч долларов за опиумную лицензию. И хотя монополия на торговлю наркотиками обошлась ему в треть миллиона, все же это оказалось выгодной сделкой, так как на доходы от нее он купил плантацию Калалау, а та, в свою очередь, давала ему в течение семнадцати лет тридцать процентов чистой прибыли и была продана в конце концов за полтора миллиона.

Задолго до этого, еще при правлении династии Камехамеха, А-чун верно служил своей стране в качестве консула на Гавайях — а должность эту отнюдь нельзя назвать недоходной. При Камехамехе IV он переменил гражданство и стал гавайским подданным для того, чтобы жениться на Стелле Аллендейл; она являлась подданной туземного короля, хотя в жилах ее текло больше англосаксонской крови, чем полинезийской. Среди предков Стеллы были люди

стольких национальностей, что доли крови исчислялись восьмыми и даже шестнадцатыми. Одну шестнадцатую составляла, например, кровь ее прабабушки Паа-ао — принцессы Паа-ао, ибо она происходила из королевского рода. Прадедом Стеллы Аллендейл был некий капитан Блант, англичанин-авантюрист, который служил у Камехамеха I и был возведен им в сан неприкосновенного вождя. Дед ее, капитан китобойного судна, происходил из Нью-Бедфорда, а у отца, кроме английской крови, была слабая примесь итальянской и испанской. Так что супруга А-чуна, гавайянка по закону, с большим основанием могла быть причислена к любой из трех других национальностей.

И в этот сплав рас А-чун добавил струю монгольской крови. Таким образом, его дети от миссис А-чун были на одну тридцать вторую полинезийцы, на одну шестнадцатую итальянцы, на одну шестнадцатую португальцы, наполовину китайцы и на одиннадцать тридцать вторых англичане и американцы.

Вполне вероятно, что А-чун воздержался бы от брака, если бы он мог предвидеть, какое необыкновенное потомство произойдет от этого союза. Оно было необыкновенным во многих отноше-

ниях. Во-первых, по количеству: А-чун стал отцом пятнадцати сыновей и дочерей, в основном дочерей. Вначале родились сыновья — всего трое, а затем с неумолимой последовательностью целая дюжина дочерей. Результаты смешения рас оказались блестящими. Потомство было не только многочисленным: все дети, как один, обладали безукоризненным здоровьем. Но больше всего поражала их красота. Дочери А-чуна были красивы какой-то хрупкой, неземной красотой. Казалось, в них острые углы папаши А-чуна смягчены плавностью линий свойственной мамаше А-чун, так что дочери были гибкими, но не костлявыми и ласкали глаз округлостью форм, не будучи полными. Черты каждой из девушек носили неуловимый отпечаток Азии, хотя и сглаженный и замаскированный влиянием старой Англии, новой Англии и Южной Европы. Ни один наблюдатель, не будучи осведомлен заранее, не догадался бы о наличии значительной примеси китайской крови в их жилах; в то же время осведомленный наблюдатель не преминул бы тут же отметить в дочерях А-чуна китайские черты.

Девицы А-чун являли собой новый тип красавиц. Ничего подобного природа еще не создавала. Единственно, на кого сестры походили, — это

друг на друга, и все же каждая обладала ярко выраженной индивидуальностью. Перепутать их было невозможно. В то же время белокурая голубоглазая Мод непременно напоминала каждому Генриетту, брюнетку с оливковой кожей, огромными томными глазами и волосами, черными до синевы.

То общее, что проглядывало во внешности сестер, невзирая на все их различия, шло от А-чуна. Он заложил основу, на которую наносился сложный узор смешения рас. Хрупкое сложение досталось дочерям от А-чуна, а кровь саксов, латинян и полинезийцев дала им утонченную красоту, которая свойственна женщинам этих рас.

У миссис А-чун были свои представления о жизни, и А-чун во всем шел жене навстречу, но только до тех пор, пока это не нарушало его философского спокойствия. Она привыкла жить на европейский лад. Прекрасно! А-чун подарил ей европейский особняк. Позже, когда подросли сыновья и дочери, он выстроил бунгало — просторное, широко раскинувшееся здание, столь же скромное, сколь великолепное. Кроме того, через некоторое время появился дом в горах Танталус, куда семья переезжала на сезон южных ветров.

А в Ваикики, на взморье, он построил виллу, причем настолько удачно выбрал участок, что впоследствии, когда правительство Соединенных Штатов решило конфисковать участок для военных целей, А-чуну выплатили изрядную сумму. Во всех резиденциях имелись бильярд, курительные и несчетное количество комнат для гостей — дело в том, что прелестные наследники А-чуна любили устраивать многолюдные приемы. Меблировка отличалась изысканной простотой. Были потрачены баснословные суммы, но это не бросалось в глаза — все благодаря просвещенному вкусу наследников.

А-чун не скупился, когда речь шла об образовании его детей.

— Не жалейте денег, — говорил он в прежние времена Паркинсону, если этот нерадивый моряк выражал сомнение, стоит ли тратиться на совершенствование мореходных качеств «Веги». — Вы водите шхуну — я плачу по счетам.

Точно так же было с его сыновьями и дочерьми. Их дело получать образование и не считаться с расходами. Первенец Гарольд учился в Гарварде и Оксфорде. Альберт и Чарльз поступили в Иейл в один и тот же год. Дочери же, от самой старшей до младшей воспитывались в закрытой

школе Миллз в Калифорнии, а затем переходили в Вассар, Уэллсли или Брин Маур. Те, кто желали, завершали образование в Европе. Со всех концов земли возвращались к А-чуну сыновья и дочери и высказывали все новые пожелания и советы по части усовершенствования строгого великолепия его резиденций. Сам А-чун предпочитал откровенную пышность восточной роскоши. Но он был философ и прекрасно понимал, что вкусы его детей безукоризненны и полностью соответствуют западным стандартам.

Разумеется, дети его не были известны как дети А-чуна. Подобно тому, как он из простого кули превратился в мультимиллионера, точно так же и имя его претерпело изменение. Мамаша А-чун писала фамилию А'Чун, а ее отпрыски мудро опустили апостроф и превратились в Ачунов. А-чун не возражал. Как бы ни писали его имя, это не нарушало его удобств и философского спокойствия. Кроме того, он не был горд. Но когда требования детей А-чуна настолько возросли, что речь зашла о крахмальной сорочке, стоячем воротничке и сюртуке, это уже нарушало его удобства и покой. А-чун не носил европейское платье. Он предпочитал свободные китайские халаты, и семейство не смогло заставить А-чуна

отказаться от его привычек ни уговорами, ни силой. Молодые Ачуны испробовали оба способа и во втором случае потерпели особенно катастрофическое поражение. Надо сказать, что они недаром побывали в Америке. Там они познали всю действенность бойкота как оружия организованного труда, и вот они стали бойкотировать Чун А-чуна, своего отца, в его собственном доме, при подстрекательстве и содействии мамаши А-чун. А-чун, хотя и невежественный в том, что касалось западной культуры, был достаточно хорошо знаком с отношениями между предпринимателями и рабочими на Западе. Как крупный работодатель, он знал, что следует противопоставить тактике организованного труда. Не долго думая, он объявил локаут своим взбунтовавшимся отпрыскам и заблудшей супруге. Он рассчитал прислугу, заколотил конюшни, запер все дома и переехал в гавайский отель «Ройял», основным держателем акций какого он, между прочим, являлся. И пока вся семья в смущении и ярости металась по знакомым, А-чун спокойно занимался многочисленными делами, покуривал трубку с крошечной серебряной чашечкой и обдумывал проблему своего необыкновенного семейства.

Проблема эта не слишком тревожила его. В

глубине своей философской души он знал: в надлежащий момент он сумеет ее разрешить. А пока А-чун дал ясно понять, что, несмотря на свое благодушие, именно он безраздельно вершит судьбами остальных А-чунов.

Семейство продержалось лишь неделю, а затем вместе с А-чуном и штатом прислуги возвратилось в бунгало. После этого случая никто не смел выражать недовольство, если А-чун выходил в великолепную гостиную в костюме, состоящем из голубого шелкового халата, ватных туфель и шелковой черной шапочки с красным шариком на макушке, или когда появлялся, посасывая трубку с серебряной чашечкой на тонком мундштуке, среди офицеров и штатских, куривших сигареты и сигары на просторных верандах или в курительной комнате.

А-чун занимал совершенно особое положение в Гонолулу. Он не выезжал в свет, но двери любого дома были открыты для него. Сам он никого не посещал, кроме нескольких китайцев-купцов; зато он принимал у себя и всегда распоряжался хозяйством и всеми домочадцами, а также главенствовал за столом.

Китайский крестьянин по рождению, он был теперь в центре атмосферы утонченной культу-

ры и изысканности, не имеющей себе равных на гавайских островах. И не нашлось бы ни одного человека на Гавайях, кто бы счел ниже своего достоинства переступить порог дома А-чуна и пользоваться его гостеприимством. Прежде всего, потому что бунгало А-чуна отвечало требованиям самого безукоризненного вкуса. Далее, А-чун был могуществен. И, наконец, А-чун являл образец добродетели и честного предпринимательства. Хотя деловая мораль была на Гавайях строже, чем на материке, А-чун превзошел всех дельцов Гонолулу своей беспримерной, скрупулезной честностью. Вошло в поговорку, что на слово А-чуна можно положиться так же, как на его долговую расписку. Ему не нужно было скреплять свои обязательства подписью. Он никогда не нарушал слова.

Через двадцать лет после того, как умер Хотчкис из фирмы «Хотчкис, Мортерсон и Кё», среди забытых бумаг была обнаружена запись о ссуде в триста тысяч долларов, выданной А-чуну. В то время А-чун состоял тайным советником при короле Камехамехе II. В суете и неразберихе тех дней — дней процветания и обогащения — А-чун забыл об этом деле. Не сохранилось никакой расписки, никто не предъявлял А-чуну иска, тем не

менее он полностью рассчитался с наследниками Хотчкиса, добровольно уплатив по сложным процентам сумму, которая значительно превышала основной долг.

То же произошло и в случае, когда А-чун поручился своим словом за неудачный проект осушительных работ в Какику, — в то время самым заядлым пессимистам не снилось, что нужна какая-то гарантия; и А-чун, «не моргнув глазом, подписал чек на двести тысяч, да, да, джентльмены, не моргнув глазом», — так доложил секретарь лопнувшего предприятия, которого, почти ни на что не надеясь, послали выяснить намерения А-чуна. И в довершение ко многим подобным фактам, подтверждавшим твердость его слова, вряд ли был на островах хоть один более или менее известный человек, которому в трудную минуту А-чун щедрой рукой не оказал финансовой помощи.

И вот теперь на глазах всего Гонолулу милое семейство А-чуна превратилось в запутанную проблему. А-чун стал предметом всеобщего тайного сочувствия, ибо невозможно было представить, каким образом ему удастся выкрутиться из этого затруднительного положения. Но для А-чуна проблема была значительно проще, чем для

остальных. Никто, кроме него, не знал, насколько далек он от своих родных. Даже семейство его об этом не догадывалось. А-чун сознавал, что он лишний среди собственных детей. А ведь впереди старость, и с каждым годом он будет отдаляться от них все больше — это А-чун предвидел. Он не понимал своих детей. Они разговаривали о вещах, которые не интересовали его и о которых он понятия не имел. Западная культура не коснулась его. Он оставался азиатом до мозга костей — это означало, что он был язычником. Христианство его детей казалось А-чуну бессмысленным. Однако он мог бы не обращать внимания на все это, как на нечто постороннее, не имеющее значения, если бы он понимал души своих детей. Когда Мод, например, сообщала ему, что расходы по дому составили за месяц тридцать тысяч долларов, или Альберт просил его пять тысяч долларов на покупку яхты «Мюриэль», чтобы вступить в Гавайский яхт-клуб, тут для А-чуна не было загадок. Но его сбивали с толку сложные процессы, происходившие в умах его детей, и другие, странные желания. Прошло немного времени, и он понял, что мысли каждого сына и каждой дочери для него — запутанный лабиринт, в котором ему никогда не удастся разобраться.

Он постоянно натыкался на стену, разделяющую Восток и Запад. Души детей были недоступны для А-чуна точно так же, как его душа оставалась недосягаемой для них.

К тому же с течением времени А-чуна все больше влекло к соотечественникам. Запахи китайского квартала притягивали его. А-чун вдыхал их с наслаждением, проходя по улице; и воображение уносило его на узкие, извилистые улочки Кантона, где кипела шумная жизнь. Он жалел, что отрезал косу, желая сделать приятное Стелле Аллендейл перед свадьбой; теперь он всерьез подумывал о том, чтобы обрить затылок и отрастить косу опять. Блюда, которые стряпал высокооплачиваемый повар, не доставляли ему такого удовольствия, как напоминающие родину странные кушанья в душном ресторанчике китайского квартала. И он гораздо больше любил наслаждаться беседой за трубкой с двумя-тремя друзьями-китайцами, нежели выступать в роли хозяина на изысканных званых обедах, какими славился его бунгало. Там мужчины и женщины — сливки американского и европейского общества Гонолулу

— сидели за длинным столом, и женщины — со сверкающими в мягком свете драгоценностями

на белых шеях и руках, мужчины — в вечерних костюмах; они болтали о таких событиях и смеялись таким шуткам, которые, хотя и не были абсолютно бессмысленными для А-чуна, но не интересовали и не развлекали его.

Однако не только отчужденность А-чуна от семьи и его растущее стремление вернуться на родину составляли проблему. Речь шла также об его капитале. А-чун жаждал безмятежной старости. Он хорошо потрудился на своем веку и в награду хотел только мира и покоя. Но он знал, что с таким огромным богатством вряд ли ему удастся насладиться миром и покоем. Уже появились дурные предзнаменования. А-чуну приходилось наблюдать, какие неприятности происходили из-за денег.

Дети его бывшего хозяина Дантена, действуя по всем правилам закона, лишили старика права распоряжаться своим имуществом; по решению суда над Дантеном учредили опеку.

А-чун твердо знал: будь Дантен бедняком, никто не усомнился бы в его способности разумно вести свои дела. И ведь у старого Дантена было только трое детей и каких-нибудь полмиллиона, а у него, А-чуна, — пятнадцать детей и, ему одному известно, сколько миллионов.

— Наши дочери — красавицы, — сказал А-чун однажды вечером своей жене.

— Вокруг них множество молодых людей. В доме полным-полно молодых людей. Счета за сигары огромны. Почему же нет свадеб?

Мама А'Чун пожала плечами и промолчала.

— Женщины остаются женщинами, а мужчины мужчинами, странно, что нет свадеб. Может быть, наши дочери не нравятся молодым людям?

— Ах, наши дочери в достаточной мере нравятся мужчинам, — ответила наконец мамаша А'Чун. — Но, видишь ли, молодые люди не могут забыть, что ты отец своих дочерей.

— Однако ты-то забыла, кто был мой отец, — сказал А-чун серьезно. — Единственное, о чем ты меня попросила — это отрезать косу.

А'Чун кивнула:

— Я полагаю, молодые люди теперь более разборчивы, чем была я.

Тут А-чун неожиданно спросил:

— Что сильнее всего на свете?

С минуту мама А'Чун обдумывала ответ, затем сказала:

— Бог.

— Да, я знаю. Боги бывают всякие. Из бумаги, из дерева, из бронзы. У меня в конторе есть малень-

кий бог, он служит мне вместо пресс-папье. А в Епископском музее выставлено множество богов из кораллов и застывшей лавы.

— На свете есть только один бог, — твердо заявила мама А'Чун и, решительно распрямив свою массивную фигуру, за отсутствием других доказательств, уже готова была ринуться в спор.

А-чун заметил тревожные сигналы, но не принял вызова.

— Хорошо, в таком случае, что сильнее бога? — спросил он. — Так вот, я скажу тебе: деньги. Мне приходилось вести дела с иудеями и христианами, с мусульманами и буддистами, с маленькими чернокожими с Соломоновых островов и с Новой Гвинеи — те носили своих богов с собой, завернув в промасленную бумагу. Они молились разным богам, эти люди; но все они одинаково поклонялись деньгам. Этот капитан Хиггинсон, ему как будто нравится Генриетта.

— Он ни за что на ней не женится, — возразила мамаша А'Чун. — Когда-нибудь он станет адмиралом.

— Контр-адмиралом, — поправил А-чун. — Да, я знаю. Они получают этот чин, когда выходят в отставку.

— Его семья в Соединенных Штатах занимает

высокое положение. Они не допустят, чтобы он женился на… чтобы он женился не на американке.

А-чун вытряхнул пепел из трубки и вновь набил ее серебряную головку крошечной щепоткою табаку. Потом он зажег трубку, неторопливо выкурил ее и только после этого заговорил.

— Генриетта — старшая дочь. Когда она выйдет замуж, я дам за ней триста тысяч долларов. Капитан Хиггинсон и его высокопоставленная семейка никак не устоят против этого соблазна. Пусть только он узнает об этом. Тут я целиком полагаюсь на тебя.

Потом А-чун сидел и курил, и в сплетающихся кольцах дыма пред его глазами возникали очертания лица и фигуры Той Шей, прислуги «за все» в доме его дяди в деревне близ Кантона; для этой девушки работа никогда не кончалась, и за год труда она получала один доллар. И самого себя, молодого, видел он в клубах дыма, юношу, который восемнадцать лет надрывался на полях своего дяди за чуть большую плату.

И теперь он, крестьянин А-чун, дает своей дочери в приданое триста тысяч лет такого труда. А эта дочь — лишь одна из двенадцати. Эта мысль не вызвала в нем торжества. Он подумал, как

забавен и непонятен мир: и он засмеялся и вывел мамашу А'Чун из задумчивости, истоки которой, он знал, лежали в скрытых глубинах ее существа, куда ему никогда не удавалось проникнуть.

Однако слух о намерении А-чуна дошел по назначению, и капитан Хиггинсон, забыв о контр-адмиральском чине и своей высокопоставленной семье, взял в жены триста тысяч долларов, а также утонченную и образованную девицу, которая была на одну тридцать вторую полинезийкой, на одну шестнадцатую итальянкой, на одну шестнадцатую португалкой, на одиннадцать тридцать вторых англичанкой и американкой и наполовину китаянкой.

Щедрость А-чуна сделала свое дело. Девицы А-чун стали буквально нарасхват. Следующей оказалось Клара, однако когда секретарь управления Территорией сделал ей официальное предложение, А-чун объявил, что ему придется подождать; сначала должна выйти замуж Мод, вторая дочь. Это был мудрый шаг. Теперь вся семья оказалась заинтересованной в замужестве Мод; дело сладилось в три месяца, Мод вышла замуж за Неда Гемфриса, иммиграционного чиновника Соединенных Штатов. Оба новобрачных выражали недовольство, так как получили в

приданое всего двести тысяч долларов. А-чун объяснил, что его первоначальная щедрость имела целью сломать лед; теперь дело сделано, и, естественно, его дочери пойдут по более низкой цене.

После Мод настала очередь Клары: и потом на протяжении двух лет свадебные церемонии в бунгало следовали одна за другой.

Между тем А-чун не терял времени даром. По частям он ликвидировал капиталовложения. Он продал свою долю в двух десятках предприятий и шаг за шагом, стараясь не вызвать на рынке падения цен, избавился от своих огромных вложений в недвижимость. Напоследок падение цен все-таки произошло, но он продавал, хотя и себе в убыток. Он видел: первые тучки уже собираются на горизонте. Ко времени замужества Люсиль препирательства и завистливые шепотки уже достигли ушей А-чуна. В воздухе носились проекты и контрпредложения насчет того, как добиться расположения А-чуна и настроить его против того или иного зятя, а то и против всех зятьев, разумеется, кроме одного. Все это отнюдь не помогало А-чуну вкушать мир и спокойствие, на которые он рассчитывал в старости.

А-чун спешил. Уже долгое время он состоял в

переписке с крупнейшими банками Шанхая и Макао. Каждым пароходом в течение нескольких лет шли в те дальневосточные банки переводные векселя на имя некоего А-чуна. Вклады становились все крупнее.

Две младшие дочери А-чуна не были пока замужем. Он решил не мешкать и выделил каждой по сто тысяч; деньги лежали в Гавайском банке, приносили проценты и ожидали свадебных церемоний обеих девиц. Альберт занялся делами фирмы «А-чун и А-янг», так как старший, Гарольд, предпочел взять свои четверть миллиона и отправился жить в Англию. Младший, Чарльз, получив сто тысяч и опекуна, должен был пройти курс обучения в институте Кели. Мамаше А'Чун было передано бунгало, дом в горах на Танталусе и новая резиденция на взморье, построенная взамен той, которую А-чун продал властям. Кроме того, мамаше А'Чун предназначались полмиллиона долларов, надежно помещенных.

Наконец А-чун был готов к кардинальному решению проблемы. В одно прекрасное утро, когда семья сидела за завтраком, — А-чун позаботился о том, чтобы все зятья и их жены были в сборе, — он объявил о своем решении возвратиться на землю предков. В ясной, краткой речи он объяснил, что

достаточно обеспечил свою семью; тут же А-чун изложил ряд правил, которые, он уверен, помогут — так он сказал — семье жить в мире и согласии.

Помимо того, он дал своим зятьям различные деловые советы, прочитал небольшую проповедь о преимуществах умеренности и надежных вкладов и поделился с ними своими всеобъемлющими знаниями относительно промышленности и деловой жизни на Гавайях. Затем он приказал подать экипаж и вместе с рыдающей мамашей А'Чун отбыл к тихоокеанскому почтовому пароходу. В бунгало воцарилась паника. Капитан Хиггинсон в исступлении требовал насильно вернуть А-чуна. Дочери лили обильные слезы.

— Старик, должно быть, сошел с ума. — Высказав такое предположение, муж одной из них, бывший федеральный судья, немедленно отправился в соответствующее учреждение, чтобы навести справки. Вернувшись, он сообщил, что А-чун, оказывается, побывал там накануне, потребовал освидетельствования, которое и прошел с блеском. Итак, ничего другого не оставалось, как спуститься к пристани и сказать «до свидания» маленькому пожилому человечку; он помахал им на прощание с верхней палубы, в то время как огромный пароход медленно нащупывал носом

путь в океан между коралловыми рифами.

Однако маленький пожилой человечек не собирался ехать в Кантон. Он слишком хорошо знал свою страну и железную хватку мандаринов, чтобы рискнуть появиться там с кругленькой суммой денег, которая у него осталась. Он направлялся в Макао. А-чун привык пользоваться почти неограниченной властью и, естественно, стал высокомерен как монарх. Но когда он сошел на берег в Макао и прибыл в лучший европейский отель, клерк отказался предоставить ему номер. Китайцы не допускались в этот отель. А-чун потребовал вызвать управляющего и получил оскорбительный ответ. Тогда он уехал, но через два часа снова был в отеле. Пригласив клерка и управляющего, он уплатил им жалованье за месяц вперед и уволил их. А-чун сам стал хозяином отеля. Много месяцев, пока в окрестностях города строился его великолепный дворец, А-чун занимал самые роскошные апартаменты отеля. И очень быстро, со свойственной ему ловкостью, А-чун добился увеличения доходов отеля с трех процентов до тридцати.

Неприятности, в предвидении которых А-чун сбежал, начались чрезвычайно скоро. Кое-кто из зятьев неудачно поместил свои деньги, нашлись

и такие, что промотали приданое дочерей А-чуна. Поскольку старик был вне пределов досягаемости, они обратили взоры на мамашу А'Чун и ее полмиллиона и, естественно, испытывали друг к другу отнюдь не самые теплые чувства.

Юристы наживали состояния, разбирая правильность формулировок доверенностей. Гавайские суды были завалены исками, встречными исками и ответными исками. Дело дошло даже до полицейских судов. Во время некоторых ожесточенных стычек от брани стороны перешли к рукоприкладству. Дабы прибавить вес словам, в ход были пущены тяжелые предметы вроде цветочных горшков. И вот возникали процессы о диффамации; они тянулись до бесконечности, и сенсационные показания свидетелей держали весь Гонолулу в постоянном возбуждении.

А во дворце, окруженный дорогими его сердцу атрибутами восточной роскоши, А-чун безмятежно покуривал трубочку и прислушивался к суматохе за океаном. И каждый почтовый пароход увозил из Макао в Гонолулу письмо, написанное на безукоризненном английском языке и отпечатанное на американской машинке. В письмах А-чун, приводя подходящие к случаю цитаты и правила, призывал семью жить в мире

и согласии. Что же касается его самого, то он далек от всего этого и целиком удовлетворен жизнью. Он добился желанного покоя. Изредка А-чун посмеивался и потирал руки, а в его раскосых черных глазах вспыхивал лукавый огонек при мысли о том, как забавен мир. Ибо долгие годы жизни и размышлений укрепили в нем это убеждение, что мир, в котором мы живем, чрезвычайно забавная штука.

Шериф Коны

— Да, здешний климат нельзя не полюбить, — сказал Кадуорт в ответ на мой восторженный отзыв о побережье Коны. — Я приехал сюда восемнадцать лет назад, совсем юнцом, только что окончив колледж, да тут и остался. На родину езжу редко, только погостить. Предупреждаю: если есть на земле местечко, дорогое вашему сердцу, не задерживайтесь здесь надолго, не то Кона станет вам милее.

Разговор этот мы вели после обеда на широкой террасе. Терраса выходила на север, но в таком чудесном климате это не имело никакого значения.

Потушили свечи. Слуга-японец в белой одежде, скользя неслышно, как призрак, в серебряном лунном свете, принес нам сигары и скрылся, словно растаял во мраке бунгало. Сквозь листву бананов и легуа я смотрел вниз, туда, где ниже зарослей гуавы, в тысяче футов под нами, тихо плескалось море. Вот уже целую неделю, с тех пор как я сошел на берег с каботажного суденышка, я жил у Кадуорта, и за все это время ни разу не видел, чтобы ветер хотя бы покрыл рябью безмя-

тежную гладь моря. Здесь, правда, иногда дуют бризы, но это легчайшие из ветерков, когда-либо веявших над островами вечного лета. Их и ветром назвать нельзя, — они подобны вздохам, протяжным, блаженным вздохам отдыхающего мира.

— Страна лотоса, — сказал я.

— Да, страна, где один день похож на другой и каждый из них — день райской жизни, — отозвался мой собеседник. — Здесь никогда ничего не случается. Здесь не слишком жарко и не слишком холодно. Все в меру. Вы заметили, как дышат по очереди море и земля?

Действительно, я наблюдал это чудесное-ритмичное дыхание. Каждое утро на берегу поднимался легкий ветерок и, овеяв землю нежнейшей и легчайшей струей озона, медленно уходил к морю. Играя над морем, этот бриз слегка затемнял блеск его глади, и, куда ни глянь, длинные полосы воды переливались, струились, волновались под капризными поцелуями ветра. А по вечерам я следил, как замирает дыхание моря, сменяясь божественным покоем, и слушал, как тихо дышит земля между кофейными деревьями и баобабами.

— Это страна вечной тишины — сказал я. — Дуют здесь когда-нибудь сильные ветры?

Настоящие? Вы знаете, о каких я говорю.

Кадуорт покачал головой и указал на восток.

— Как они могут дуть, когда им преграждает путь такой барьер?

Вдали высились громады гор Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, заслоняя половину звездного неба. На высоте двух с половиной миль над нашими головами они возносили свои одетые снегом вершины, — даже тропическое солнце было не в силах этот снег растопить.

— Готов поручиться, что в тридцати милях отсюда ветер сейчас дует со скоростью сорока миль в час.

Я недоверчиво усмехнулся.

Кадуорт подошел к телефону на террасе. Он вызывал по очереди Уаймею, Кохалу и Гамакуа. И по долетавшим до меня отрывочным фразам я понял, что говорят о ветре в тех местах: «Значит, бешеный шторм?.. Валит с ног, да?.. И сколько времени это уже длится?.. Всего неделю?.. Алло, Эйб, это ты?.. Да, да. А ты все еще не бросил свою затею — разводить кофе на берегу Гамакуа?.. К черту твои защитные насаждения! Ты бы посмотрел на мои деревья!..»

— В Гамакуа настоящая буря, — сказал мне Кадуорт, повесив трубку. — Я всегда подсмеива-

юсь над попытками Эйба разводить кофе. У него плантация в пятьсот акров, и он творит чудеса, защищая ее от ветра. Но как там корни держатся в земле, не понимаю, хоть убейте. Ветрено ли там? Да ведь в Гамакуа всегда дуют сильные ветры. Из Кохалы сообщают, что шхуна под парусами, на которых взято по два рифа, идет против ветра по проливу между Гавайей и Мауи и ей туго приходится.

— Сидя здесь, трудно себе это представить, — сказал я, все еще не убежденный. — Неужели же хоть слабые порывы этих ветров никогда не проникают сюда каким-нибудь окольным путем?

— Никогда. Наш береговой бриз не имеет ничего общего с ветрами по ту сторону Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. Он чисто местный. Понимаете, земля излучает свое тепло быстрее, чем море, и потому ночью, когда она остывает, ветер дует с берега. А днем земля нагревается сильнее, и ветер дует с моря… Вот вслушайтесь! Теперь дышит земля: поднимается горный ветер.

Я и в самом деле услышал, как ветерок, приближаясь, тихо шелестит в листве кофейных деревьев, шевелит плоды баобаба и вздыхает среди стеблей сахарного тростника. На террасе воздух все еще был недвижим. Но вот долетело

и сюда первое дуновение горного ветра, мягкое, полное пряного аромата, прохладное. И что это была за дивная прохлада, ласкающая, как шелк, хмельная, как вино! Только горный ветер Коны приносит такую упоительную свежесть.

— Теперь вы понимаете, почему я восемнадцать лет назад влюбился в Кону? — спросил Кадуорт. — Я не смогу никогда отсюда уехать. Это было бы ужасно, я бы, кажется, умер с тоски. Еще один человек любил Кону так же, как я. Пожалуй, даже сильнее: ведь он родился здесь, на побережье. Он замечательный человек и мой лучший друг, ближе родного брата. Но он покинул Кону — и не умер.

— А что его заставило уехать? — спросил я. — Любовь? Женщина?

Кадуорт покачал головой.

— Нет. И никогда он не вернется сюда, хотя сердце свое оставил здесь и до самой смерти не разлюбит Коны.

Мой собеседник некоторое время молчал, засмотревшись на береговые огни Каула внизу. А я курил и ждал.

— Вы спрашивали, не женщина ли тут замешана. Нет. Он был влюблен в свою жену. И детей у него трое, их он тоже любил. Они теперь в Гоно-

лулу. Мальчик уже учится в колледже.

— Так что за причина?.. Какой-нибудь опрометчивый поступок? — помолчав, спросил я, на этот раз уже нетерпеливо.

Он снова отрицательно покачал головой.

— Нет, ни в каком преступлении он не был виновен, да его ни в чем и не обвиняли. Он был шерифом Коны.

— У вас пристрастие к парадоксам, — сказал я.

— Да, вероятно, это похоже на парадокс, — согласился Кадуорт. — В том-то и весь ужас.

С минуту он смотрел на меня испытующе. И вдруг отрывистым тоном начал свой рассказ:

— Он был прокаженный. Нет, не от рождения — с проказой не рождаются. Он заболел ею. Этот человек… — ну, да не все ли равно, зачем скрывать его имя? — Лайт Грегори. Каждый камаина знает его историю. Лайт — чистейший американец, но он сложен, как вожди старой Гавайи. Ростом шесть футов три дюйма, а весом двести двадцать фунтов, и при этом весь из мускулов и костей, ни одной унции жира. Я не встречал человека сильнее его

— это настоящий великан, атлет. Не человек, а бог! И он был моим другом. Душа и сердце у него такие же большие и такие же прекрасные как

и его тело.

Скажите, что бы вы сделали, если бы увидели своего друга, брата, на краю пропасти? Ноги у него скользят, он вот-вот сорвется, а вы ничем не можете ему помочь. Это самое пережил я. Ничего нельзя было сделать! Я видел, как этот ужас надвигается, — и был бессилен. Господи, что я мог сделать? Страшная болезнь уже наложила на его лицо зловещий и неотвратимый отпечаток. Никто еще не замечал этих признаков. Я один видел их — вероятно, потому, что любил Лайта. Видел, но не хотел верить глазам: это было слишком страшно. Однако признаки были. Сначала припухли мочки ушей — слегка, едва заметно! Месяцами я наблюдал это и вопреки всему надеялся, что ошибаюсь. Потом чуть-чуть потемнела кожа над бровями. Вначале это напоминало легкий загар. И я хотел бы думать, что это загар, если бы кожа в этом месте не поблескивала как-то странно: по ней словно пробегали отсветы. Так хотелось верить, что это просто загар, однако я уже не мог обманывать себя. А ведь никто еще не замечал страшных признаков (никто, кроме Стивена Калюны, — это я узнал только позднее). Один я видел, как надвигается несчастье, отвратительное, невыразимо ужасное… Но я не хотел

заглядывать вперед. Не мог: очень уж страшно было. И по ночам я плакал.

Он был мой друг. Мы вместе охотились на акул на Ниихау и диких животных на Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, объезжали лошадей и клеймили быков на ранчо Картера. Гонялись за козами по всему Халеакала. Лайт учил меня нырять и плавать во время прилива, и в конце концов я почти сравнялся с ним в этом искусстве, а он был искуснее любого канака. Он у меня на глазах нырял на глубину в пятнадцать морских саженей и оставался под водой целых две минуты. На море он был человек-амфибия, а по горам лазал, как настоящий альпинист, взбираясь туда, куда забредали только дикие козы. Ничего он не боялся. Он находился на борту «Люси», когда она потерпела крушение, и, прыгнув за борт, проплыл тридцать миль за тридцать шесть часов — это во время сильного шторма! Самые бурные волны, которые нас с вами превратили бы в студень, его не могли остановить. Он был велик и могуч, как бог. Вместе пережили мы с ним революцию, и оба были романтиками-монархистами. Лайт был дважды ранен. Его приговорили к смерти, но у республиканцев рука не поднялась на такого человека. А он только смеялся над ними. Позднее ему воздали

должное и назначили шерифом Коны.

Он был простодушен, этот большой ребенок, так и не ставший взрослым. Склад его ума не отличался сложностью, в ходе мыслей не было никаких хитросплетений и вывертов. Он всегда действовал напрямик и смотрел на вещи просто.

Лайт был сангвиник. Я в жизни не встречал человека столь оптимистичного, довольного всем и счастливого. Он ничего не требовал от жизни: ведь у него было все, чего можно пожелать. Жизнь расплатилась с ним сполна и наличными, за ней не числилось никакого долга. Он получил все авансом: великолепное тело, железное здоровье, душевную стойкость и скромность. Чего ему еще было желать? Физически он был совершенством. Ни разу в жизни не болел, не знал, что такое головная боль, и, когда я страдал от нее, он смотрел на меня с удивлением и смешил меня своими неловкими попытками выразить сочувствие. Да, он не понимал, не мог понять, что такое головная боль. Великий был оптимист!.. Еще бы! Как не быть оптимистом при такой поразительной жизнеспособности и невероятном здоровье!

Вот вам пример того, как он верил в свою счастливую звезду и как оправдана была эта вера. Когда он был еще юнцом и мы с ним только что

познакомились, он однажды вздумал сыграть в покер в Уайлуку. Среди игроков был здоровенный немец по фамилии Шульц, он вел себя отвратительно — грубо и деспотически властвовал за игорным столом. Ему в тот день везло, и он стал уже совсем невыносим. Тут пришел Лайт Грегори и сел играть с ними.

Первым объявил игру Шульц, поставив ставку втемную. Лайт ставку принял, остальные тоже, и Шульц заставил выйти из игры всех, кроме Лайта. Лайту не понравился наглый тон немца, и он, в свою очередь, повысил ставку. Шульц ответил тем же. Лайт повысил снова. Так они состязались. А знаете, какие карты были на руках у Лайта? Два короля и три мелких трефы. Какой уж там покер! Но Лайт не в покер играл: он вел игру, в которой ставкой был его оптимизм. Он не знал, какие карты у Шульца, однако все повышал и повышал ставку, пока тот не взвыл. А ведь у немца-то было на руках три туза! Подумайте только! Имея на руках двух каких-то королей, человек заставляет противника с тремя тузами брать прикуп и отступиться!

Итак, Шульц прикупил две карты. Сдавал второй немец, приятель Шульца. Лайт знал уже, что играет против трех одинаковых карт. И что же вы

думаете, он сделал? Что бы вы сделали на его месте? Конечно, прикупили бы три карты, а королей бы придержали. Но Лайт поступил иначе. Ведь то была игра на оптимизм. Он сбросил королей, оставив себе три трефы, и прикупил две карты. Он даже не взглянул на них — смотрел через стол на Шульца, ожидая, чтобы тот объявил ставку. И Шульц поставил очень крупную сумму. Имея на руках трех тузов, он был уверен, что обыграет Лайта: ведь если у Лайта и есть три одинаковые карты, рассуждал немец, они, во всяком случае, меньше тузов. Бедняга Шульц! Его предпосылки были совершенно правильны, ошибался он только в одном: он полагал, что Лайт играет в покер. Они сражались пять минут, и попеременно то один, то другой увеличивал ставку. Наконец, уверенность Шульца начала таять. А Лайт за все время так и не заглянул в прикупленные им две карты — и Шульц это знал. Я видел, как он раздумывал секунду-другую, а потом вдруг оживился и опять начал повышать ставку. Но это было последнее усилие: напряжение было слишком велико, и Шульц наконец не выдержал.

— Послушайте, Грегори, — сказал он. — На что вы играете? Не нужны мне ваши деньги. Но ведь у меня на руках…

— Все равно, что бы у вас там ни было, — перебил его Лайт. — Вы же не знаете еще, что у меня. Пожалуй, пора и взглянуть…

Он посмотрел в свои карты и повысил ставку еще на сто долларов. И все началось сначала. Опять то один, то другой повышал ставку, пока Шульц, наконец, не сдался и, прекратив игру, выложил на стол свои три туза. Лайт открыл карты. Они были одной масти: оказалось, что и прикупил он тоже две трефы…

Вот так он сломил Шульца: тот никогда больше не играл с прежней смелостью и азартом. Он потерял веру в себя и сильно нервничал за игрой.

— Но как тебе это удалось? — спросил я потом у Лайта. — Ведь когда он прикупил две карты, ты уже понимал, что у тебя меньше. И ты даже не взглянул на свой прикуп!

— Незачем мне было смотреть, — ответил Лайт, — я все время не сомневался, что там еще две трефы. Иначе и быть не могло. Ну и что же? Неужели ты думал, что я спасую перед этим толстым немцем? Нет, я и мысли не допускал, что он может меня победить! Сдаваться я не привык. Я всегда уверен, что победа будет за мной. Веришь ли, я был бы просто поражен, если бы у меня не оказались на руках одни трефы.

Да, вот каков был Лайт Грегори! Теперь вы сами можете судить о силе его оптимизма. По его собственному выражению, ему так и полагалось — всегда побеждать, преуспевать и быть счастливым. И победа над Шульцем, как и десять тысяч других удач, укрепляла его веру в себя. Ведь ему действительно всегда сопутствовал успех. Вот почему он ничего не боялся. Он верил, что с ним никакая беда не может стрястись, потому что не знал в своей жизни несчастий. Когда «Люга» потерпела крушение, он проплыл тридцать миль, пробыл в воде две ночи и день. И все это страшное время ни на миг не терял надежды, не сомневался в том, что спасется. Он *з на л* , что выберется на сушу. Так он сам мне сказал, и я верю, что он сказал правду.

Такой уж это был человек. Человек особой, высшей породы, непохожий на нас, жалких смертных. Он не знал обычных человеческих невзгод и болезней. Все, чего он хотел, само давалось ему в руки. Когда он ухаживал за красавицей из семьи Кэрузер, у него была целая дюжина соперников, но девушка вышла за него и была ему доброй женой, самой любящей женой на свете. Он хотел иметь сына — и родился сын. Потом захотел дочь и второго сына. Исполнилось и это

желание. И дети у него хорошие, без малейшего изъяна, грудные клетки у них, как бочонки. Они унаследовали от Лайта его силу и здоровье.

Потом пришла беда. И наложила на этого счастливца страшное клеймо зверя. Я целый год наблюдал, как оно все больше обозначается, и сердце у меня разрывалось. А Лайт ничего не подозревал, да и никто другой не догадывался, кроме того проклятого хапа-хаоле, метиса Стивена Калюны. Но я тогда не знал, что и Стивен тоже заметил признаки проказы. Да, чуть не забыл: знал это, кроме нас двоих, еще доктор Строубридж, федеральный врач,

— у этого глаз был наметан: ведь в его обязанности входило осматривать больных, у которых подозревали проказу, и отправлять зараженных на приемный пункт в Гонолулу. Да и Стивен Калюна с одного взгляда распознал эту болезнь: она свирепствовала в их семье, и не то четверо, не то пятеро его родственников были уже отосланы на Молокаи.

Стивен был зол на Лайта из-за своей сестры. Когда у нее заподозрили проказу, брат увез ее и спрятал где-то, прежде чем она попала в руки доктора Строубриджа. А Лайт, как шериф Коны, обязан был ее разыскать и пытался это сделать.

В тот вечер мы все собрались в Хило, в баре Неда Остина. Когда мы пришли, Стивен Калюна был уже там и сидел один. Он был явно нетрезв и настроен воинственно. Лайта позабавила какая-то шутка, и он смеялся своим громким, веселым смехом большого ребенка. Калюна презрительно сплюнул. Лайт это заметил, как и все остальные, но решил не обращать внимания на грубияна. Однако Калюна искал ссоры: он не простил Лайту попыток разыскать и задержать его сестру и в тот вечер всячески подчеркивал свою неприязнь. Но Лайт делал вид, будто ничего не замечает. Я думаю, он в душе немного жалел Калюну. Самая тяжелая обязанность шерифа — разыскивать прокаженных: не очень-то приятно врываться в чужой дом и уводить оттуда ни в чем не повинных отца, мать или ребенка, а затем отправлять их в вечную ссылку на Молокаи! Разумеется, это необходимо для охраны общественного здоровья, и, поверьте, Лайт поступил бы точно так же с родным отцом, если бы у того заподозрили проказу.

Наконец Калюн выпалил, обращаясь к Лайту:

— Эй, Грегори, вы думаете, что отыщете Каланивео? Ну, нет, не надейтесь.

Каланивео звали сестру Стивена Калюны. Услышав этот оклик, Лайт посмотрел на Калюну,

но ничего не ответил. Калюна окончательно взбесился. Он ведь все время распалял себя.

— Знаете, что я вам скажу? — закричал он. — Сами вы угодите на Молокаи раньше, чем отправите туда Каланивео. Хотите знать, кто вы такой? Вы не имеете права находиться в обществе чистых людей. Немало народу вы угнали на Молокаи и повсюду кричите, что это ваш долг, а между тем отлично знаете, что вам самому место на Молокаи!

Никогда еще я не видел Лайта в таком гневе! Проказа — этим, знаете ли, не шутят!

Лайт одним прыжком очутился возле Калюны и, схватив его за горло, поднял со стула. Он тряс метиса так свирепо, что у того зубы стучали.

— Ты что этим хочешь сказать? — крикнул Лайт. — Сию минуту отвечай, или я выжму из тебя правду!

Как вы знаете, на Западе есть одна фраза, которую полагается произносить с улыбкой. То же принято у нас на островах, когда речь идет о проказе. Каков бы ни был Калюна, трусом его не назовешь. Как только Лайт отпустил его, он ответил:

— Что я хотел сказать? Да то, что вы сами прокаженный.

Лайт неожиданно с размаху посадил на стул метиса, не ожидавшего, что так легко отделается, и захохотал весело, от души. Но смеялся только он один, и, через секунду заметив это, Лайт обвел взглядом нас всех. Я подошел к нему и попытался его увести, но он не обращал на меня внимания. Он смотрел, как загипнотизированный, на Стивена Калюну, а тот тер себе шею

— нервно, торопливо, словно хотел поскорее уничтожить заразу в том месте, к которому прикоснулись пальцы Лайта. Видно было, что он делает это инстинктивно, непроизвольно.

Лайт опять оглянулся на нас, медленно переводя взгляд с одного на другого.

— О господи, ребята! О господи! — выговорил он хриплым, испуганным шепотом. В голосе его клокотал смертельный ужас, а ведь он, мне думается, до этого вечера не знал в жизни страха.

Впрочем, через минуту его безграничный оптимизм взял верх, и он снова засмеялся.

— Шутка недурна, кто бы ее ни придумал, — сказал он. — Ну-с, сегодня я вас всех угощаю. Я было испугался, по правде сказать… Никогда больше не шутите так ни над кем, ребята. Это слишком страшно. То, что я пережил за одну минуту, хуже тысячи смертей… Подумал о жене

и детишках и…

Голос его дрогнул, оборвался, взгляд опять остановился на метисе, все еще потиравшем шею. Видно было, что Лайт ошеломлен, расстроен.

— Джон, — сказал он, повернувшись ко мне.

Его звучный и приятный голос стоял еще у меня в ушах, но я не в силах был отозваться: к горлу подступил комок, и я знал, что лицо мое выдает меня.

— Джон! — позвал он снова и подошел ближе.

Он обратился ко мне с какой-то робостью, а слышать робость в голосе Лайта Грегори было ужаснее всех ночных кошмаров!

— Джон, Джон, что все это значит? — повторил Лайт еще неувереннее. — Ведь это шутка, правда? Джон, вот моя рука. Разве я протянул бы ее тебе, если бы был болен? Джон, разве я прокаженный?

Он протяну руку, и я подумал: «А, будь что будет! К черту все, ведь он мой друг». И пожал ему руку. У меня защемило сердце, когда я увидел, как просияло его лицо.

— Да, да, это шутка, Лайт, — сказал я. — Мы сговорились подшутить над тобой. Но, пожалуй, ты прав: такими вещами не шутят. И больше это не повторится.

Лайт не засмеялся, он только улыбнулся, как

человек, который только что очнулся от страшного сна и все еще не может забыть его.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Больше так не шутите, а за выпивкой дело не станет. Должен сознаться, ребята, вы мне на минуту задали-таки страху! Смотрите, меня даже пот прошиб.

Он со вздохом утер потный лоб и направился к стойке.

— Я вовсе не шутил, — отрывисто произнес вдруг Калюна.

Я бросил на метиса уничтожающий взгляд. Я готов был убить его на месте, но не решился ни сказать что-либо, ни ударить его: это только ускорило бы катастрофу, а я все еще питал безумную надежду предотвратить ее.

— Нет, это не шутка, — повторил Калюна. — Вы прокаженный, Лайт Грегори, и не имеете права прикасаться к здоровому телу честных людей.

Тут Грегори вскипел.

— Шутка зашла уже слишком далеко! Прекрати это, слышишь, Калюна? Прекрати, говорю, или я тебе все кости переломаю!

— Сперва ступайте-ка, пусть сделают бактериологическое исследование,

— возразил Калюна. — И если окажется, что я вру, тогда уж бейте меня до смерти, раз вам этого

хочется. Да вы бы хоть поглядели на себя в зеркало! Это же сразу видно. У вас делается львиное лицо. Вот уже и кожа над бровями потемнела.

Лайт долго смотрел на себя в зеркало, и я видел, как у него трясутся руки.

— Ничего не вижу, — сказал он наконец. Затем обрушился на хапа-хаоле:

— Черная у тебя душа, Калюна! Скажу прямо: напугал ты меня так, как ни один человек не имеет права пугать другого. И ты ответишь за свои слова. Я сейчас пойду прямо к доктору Строубриджу выяснить это дело. И когда вернусь, берегись!

Ни на кого не глядя, он пошел к двери.

— Подожди меня здесь, Джон, — сказал он, жестом остановив меня, когда я хотел пойти за ним. И вышел.

Мы все стояли неподвижно, безмолвно, как призраки.

— Ведь это же правда, — сказал Калюна. — Вы сами могли убедиться.

Все посмотрели на меня, и я утвердительно кивнул. Гарри Барнли поднес стакан ко рту, но тотчас, не отпив ни капли, поставил его на прилавок так неловко, что расплескал половину виски. Губы у него дрожали, как у ребенка, который

сейчас расплачется. Нед Остин с грохотом открыл холодильник. Он ничего там не искал и вряд ли даже сознавал, что делает. Никто из нас не говорил ни слова. У Гарри Барнли губы еще сильнее задрожали, и вдруг он в порыве дикой злобы ударил Калюну кулаком по лицу, раз и другой. Мы не пытались разнять их. Нам было безразлично, пусть бы даже Барнли убил метиса. Бил он его жестоко. А мы не вмешивались. Я даже не помню, когда Барнли оставил беднягу в покое и тот смог убраться. Слишком мы были потрясены.

Позднее доктор Строубридж рассказал мне, что произошло у него в кабинете. Он засиделся там, составляя какой-то отчет, вдруг в кабинете появился Лайт. Лайт к тому времени уже ободрился и вошел быстрыми и легкими шагами. Он еще немного сердился на Калюну, но к нему вернулась прежняя уверенность в себе. «Что мне было делать? — говорил доктор. — Я знал, что он болен, я уже несколько месяцев видел, как надвигается эта беда. Но у меня не хватало духу ответить на его вопрос. Не мог я сказать „да“! Признаюсь, я не выдержал и разрыдался. А он умолял меня сделать бактериологическое исследование. „Срежьте у меня кусок кожи, док, — твердил он, — и сделайте исследование“.

Но, видно, слезы доктора Строубриджа подтвердили опасения Лайта. На другое утро «Клодина» отходила в Гонолулу. Мы перехватили Лайта уже на пристани. Понимаете, он решил ехать в Гонолулу и заявить о своей болезни во врачебном управлении! И ничего мы не могли с ним поделать! Слишком много больных отправил он на Молокаи и не мог увиливать, когда дело коснулось его самого. Мы уговаривали его ехать в Японию. Но он и слышать не хотел об этом. «Я должен нести свой крест, ребята», — вот все, что он отвечал нам. И повторял это снова и снова, как одержимый.

Он уладил все свои дела и с приемного пункта в Гонолулу отправился на Молокаи.

Там здоровье его пошатнулось. Местный врач писал нам, что это уже не Лайт, а тень прежнего Лайта. Видите ли, он тосковал по жене и детям. Он знал, что мы о них заботимся, но и это не могло залечить рану. Месяцев через шесть или семь я поехал на Молокаи навестить его. Я сидел по одну сторону зеркального окна, он — по другую. Мы смотрели друг на друга сквозь стекло и переговаривались при помощи трубы вроде рупора. Все мои уговоры были тщетны: Лайт решил остаться на Молокаи. Добрых четыре часа я спорил с ним

и наконец изнемог. К тому же мой пароход уже давал гудки.

Однако мы не могли с этим примириться. Через три месяца мы зафрахтовали шхуну «Алкион». На ней контрабандисты провозили опиум, и летела она под парусами со сказочной быстротой. Хозяин ее, швед, за деньги готов был на все, и мы за изрядную сумму договорились с ним о рейсе в Китай. Шхуна отплыла из Сан-Франциско, а через несколько дней и мы вышли в море на шлюпе Лендхауза. Это была яхта грузоподъемностью в пять тонн, но мы лавировали на ней пятьдесят миль против ветра на северо-восток. Вы спрашиваете насчет морской болезни? Никогда в жизни я не страдал так от нее, как в тот раз. Когда берег скрылся из виду, мы встретили «Алкиона». Барнли и я перешли на шхуну.

К Молокаи мы подошли около одиннадцати часов вечера. Шхуна легла в дрейф, а мы на вельботе пробились через буруны и высадились в Калауэо — знаете, то место, где умер отец Дамьен. Швед, хозяин «Алкиона», был молодчина. Засунув за пояс пару револьверов, он пошел с нами. Втроем мы прошли около двух миль по полуострову до Калаупапы. Представьте себе наше положение: поздней ночью искать человека в поселке, где

больше тысячи прокаженных! Да если бы поднялась тревога, нам была бы крышка! Место незнакомое, тьма, ни зги не видать. Выскочили собаки прокаженных, подняли лай… Мы брели наугад, спотыкаясь в темноте, и заблудились.

Тогда швед перешел к решительным действиям. Он повел нас к первому попавшемуся дому, стоявшему на отлете. Захлопнув за собой дверь, мы зажгли свечу. В комнате было шестеро прокаженных. Мы их подняли на ноги, и я обратился к ним на языке туземцев. Нам нужен был кокуа. Кокуа по-ихнему означает «помощник». Так называют туземца, не зараженного проказой, который живет в поселке на жалованье от Врачебного управления; его обязанность — ходить за больными, делать перевязки и так далее. Мы остались в доме, чтобы надзирать за его обитателями, а швед отправился с одним из них разыскивать кокуа. Нашел и привел, держа его всю дорогу под дулом револьвера. Впрочем, кокуа оказался мирным и услужливым. Швед остался в доме на страже, а меня и Барнли кокуа отвел к Лайту. Мы застали его одного.

— Я так и думал, что вы приедете, ребята, — сказал Лайт. — Не касайтесь меня, Джон! Ну, как поживают Нед, Чарли и вся наша компания?

Ладно, потом расскажете. Я готов идти с вами. Девять месяцев здесь отмучился, хватит. Где вы оставили лодку?

Мы пошли к тому дому, где нас ждал швед. Но в поселке уже поднялась тревога. В домах загорались огни, хлопали двери. У нас решено было стрелять только в случае крайней необходимости. И, когда нас пытались задержать, мы пустили в ход кулаки и рукоятки револьверов. На меня наскочил какой-то здоровенный парень, и я никак не мог от него отделаться, хотя дважды хватил его изо всей силы кулаком по лицу. Он вцепился в меня, и мы, упав, покатились по земле. Теперь мы боролись лежа, и каждый пытался одолеть другого. Парень уже брал верх, когда кто-то подбежал к нам с зажженным фонарем и я увидел лицо своего противника. Как описать мой ужас! То было не лицо, а только страшные его остатки, разлагающиеся или уже разложившиеся. Ни носа, ни губ, и только одно ухо, распухшее и обезображенное, свисавшее до самого плеча. Я чуть с ума не сошел. Он обхватил меня и прижал к себе так близко, что его болтавшееся ухо коснулось моего лица. Тут я, должно быть, действительно обезумел и принялся колотить его револьвером. До сих пор не знаю, как это случилось, но когда я

уже вырвался, он вдруг впился в мою руку зубами. Часть кисти оказалась внутри этого безгубого рта. Тогда я нанес ему удар револьвером прямо по переносице, и зубы разжались.

Кадуорт показал мне свою руку. При лунном свете я разглядел на ней шрамы. Можно было подумать, что он искусан собакой.

— Наверно, здорово боялись заразы? — сказал я.

— Да. Семь лет жил в страхе. Ведь у этой болезни инкубационный период длится семь лет. Жил я здесь, в Коне, и ждал. Я не заболел. Но за эти семь лет не было ни одного дня, ни одной ночи, когда бы я не смотрел во все глаза вокруг… на все это…

Голос его дрогнул, он поглядел на залитое лунным светом море внизу, потом на снежные вершины гор.

— Невыносимо было думать, что я утрачу все это, никогда больше не увижу Кону. Семь лет!.. Проказа меня пощадила. Но из-за этих лет ожидания я остался холостяком. У меня была невеста. Я не мог жениться, пока были опасения… А она не поняла. Уехала в Штаты и там вышла замуж за другого. Больше я никогда ее не видел…

Как раз в ту минуту, когда я оторвал от себя прокаженного полисмена, послышался стук

копыт, такой громкий, словно кавалерийский отряд мчался в атаку. Это наш швед, испуганный суматохой, не теряя времени, заставил тех прокаженных, которых он стерег, оседлать для нас четырех лошадей. Нам уже ничто не мешало продолжать путь: Лайт расправился с тремя кокуа, и когда мы мчались прочь, кто-то стал стрелять в нас из винчестера — вероятно, Джек Маквей, главный надзиратель на Молокаи.

Ох, что это была за скачка! Лошади прокаженных, седла и поводья прокаженных, тьма, хоть глаз выколи, свист пуль за спиной, а дорога далеко не из лучших. Притом швед ездить верхом не умел, а ему еще вместо лошади подсунули мула.

Но все-таки мы добрались до вельбота и ушли, пользуясь приливом. Отчаливая, мы слышали, как с береговой кручи спускались всадники из Калаупапы…

Вы едете в Шанхай. Так навестите там Лайта Грегори. Он служит у одной немецкой фирмы. Пригласите его пообедать, закажите вино и все, что там найдется самого лучшего, и не позволяйте ему платить — счет пришлите мне. Жена и дети Лайта живут в Гонолулу, и я знаю, что заработок его нужен для них. Он отсылает им большую часть этого заработка, а сам живет от-

шельником…

И поговорите с ним о Коне. Здесь он оставил свое сердце. Расскажите ему о Коне побольше — все, что знаете.

Джек Лондон
Смок Беллью. Смок и Малыш (сборник)

Смок Беллью
Вкус мяса
I

Сначала он был Кристофер Беллью. В колледже он превратился в Криса Беллью. Позже, в кругах сан-францисской богемы, его прозвали Кит Беллью. А в конце концов он стал Смок Беллью, и иначе его уже не называли. История превращений его имени была историей его собственных превращений. Не будь у него любящей матери и железного дяди и не получи он письма от Джиллета Беллами — ничего бы не случилось.

«Я только что просмотрел номер «Волны», — писал Джиллет из Парижа. — Не сомневаюсь, что дело у О'Хара пойдет. Однако он еще не знает всех тонкостей ремесла. (Следовали советы, как улучшить молодой великосветский еженедельник.) Сходи в редакцию и поговори с О'Хара. Пусть он думает, что это твои собственные соображения, не поминай меня. А то он сделает меня своим парижским корреспондентом; мне же это очень невыгодно, потому что я сотрудничаю в больших журналах, где по крайней мере деньги платят.

Прежде всего внуши ему, чтобы он выгнал болвана, который дает ему критические заметки о живописи и о музыке. Кроме того, в Сан-Франциско всегда была своя литература, а теперь нет никакой. Скажи О'Хара, пусть постарается найти осла, который согласится регулярно поставлять для «Волны» серию рассказов — романтических, ярких, полных настоящего сан-францисского колорита».

Кит Беллью отправился в редакцию «Волны», чтобы честно выполнить все советы Джиллета. О'Хара выслушал. О'Хара стал спорить. О'Хара согласился. О'Хара выгнал болвана критика. А затем О'Хара проявил свой характер, тот самый, которого так боялся Джиллет, сидя в далеком Париже. Когда О'Хара чего-нибудь хотел, ни один приятель не мог ему отказать. Он был ласково и неотразимо настойчив. Кит Беллью, прежде чем успел вырваться из редакции, стал помощником редактора, дал согласие поставлять несколько столбцов рецензий, пока не найдется кто-нибудь взамен, связал себя обещанием давать в каждый номер рассказы по десять тысяч слов из жизни Сан-Франциско — и все это совершенно бесплатно. «Волна» еще не имеет возможности платить, объяснил О'Хара и с не меньшей настойчивостью

заявил, что во всем Сан-Франциско есть только один человек, который способен написать такую серию рассказов, и этот единственный человек — Кит Беллью.

— А ведь ослом-то оказался я! — стонал Кит, спускаясь по узкой лестнице.

Так начал он работать на О'Хара и на ненасытные столбцы «Волны». Неделю за неделей просиживал он в редакционном кресле, выпроваживал кредиторов, ссорился с наборщиками и при всем том умудрялся выжимать из себя для каждого номера по двадцать тысяч слов. Облегчения не предвиделось. «Волна» была честолюбива. Честолюбие заставляло ее выходить с иллюстрациями. Иллюстрации стоили дорого. Денег не хватало ни на уплату Киту Беллью, ни на привлечение новых сотрудников.

— Вот что значит быть добрым малым, — проворчал однажды Кит.

— Побольше бы таких! — со слезами на глазах воскликнул О'Хара, пылко пожимая руку Кита. — Ты мой спаситель, Кит. Только благодаря тебе я не прогорел. Еще немного, милый друг, и все наладится!

— Не верю, — уныло проговорил Кит. — Мне ясна моя судьба. Я обречен торчать здесь вечно.

Через несколько времени Кит придумал выход. Выбрав удобный момент, он в присутствии О'Хара потерял сознание и повалился в первое попавшееся кресло. Немного погодя он тяжко рухнул всем телом на письменный стол и судорожным движением рук опрокинул горшочек с клейстером.

— Поздно лег вчера? — осведомился О'Хара.

Кит старательно протер глаза и, прежде чем ответить, долго с недоумением оглядывался по сторонам.

— О нет, не в том дело. Глаза! Они словно выскакивают из головы.

С тех пор Кит каждый день натыкался на стены и опрокидывал редакционную мебель. Но сердце О'Хара не смягчилось.

— Вот что, Кит, — сказал он однажды. — Тебе необходимо показаться глазному врачу. Пойди к Хасдэплу. Шикарный доктор. Платить тебе не придется: мы напечатаем его объявление. Я с ним сам поговорю.

О'Хара сдержал слово, и Киту волей-неволей пришлось отправиться к врачу.

После длительного осмотра врач вынес такой приговор:

— Совершенно здоровые глаза! Исключитель-

ное зрение, замечательное. Таких глаз одна пара на миллион людей.

— Не говорите этого О'Хара! — взмолился Кит. — И пропишите мне, пожалуйста, темные очки.

Единственным результатом этой проделки было то, что О'Хара все время выражал Киту свое сочувствие и тотчас же восторженно заговаривал о прекрасном будущем, которое ждет их, когда «Волна» прочно станет на ноги.

К счастью, у Кита были средства. Сравнительно скромные, они все-таки давали ему возможность состоять членом нескольких клубов и снимать мастерскую в Латинском квартале. С тех пор как он сделался помощником редактора «Волны», его личные расходы значительно сократились. У него не было времени тратить деньги. Мастерскую он забросил и больше не угощал местную богему своими знаменитыми ужинами, состряпанными на жаровне. И все-таки у него вечно не было наличных денег. Незадачливая «Волна» дочиста опустошала не только его мозг, но и карманы. Иллюстраторы время от времени отказывались иллюстрировать, наборщики время от времени отказывались набирать, мальчишка-рассыльный время от времени требовал расчет.

Взглянет в такую минуту О'Хара на Кита — и Кит заплатит все.

Когда пароход «Эксцельсиор», прибывший из Аляски, всполошил всю страну известием о клондайкской золотой лихорадке, Кит осмелился сделать О'Хара следующее легкомысленное предложение.

— Послушай, О'Хара, — сказал он. — Золотая лихорадка будет расти. Повторятся дни сорок девятого года. Отпусти меня в Клондайк — корреспондентом от «Волны»! Я поеду на свой счет.

О'Хара покачал головой:

— Мне без тебя не обойтись в редакции, Кит. Серия рассказов еще не закончена. Да, кроме того, я только что беседовал с Джексоном. Завтра он уезжает в Клондайк и согласился еженедельно присылать нам письма и снимки. Без этого я не отпустил бы его. И как удачно, что мы все получим совершенно бесплатно.

Вечером Киту удалось вырваться в клуб. Встретив в клубной читальне своего дядю, он снова услыхал о Клондайке.

— Здравствуй, дядя! — воскликнул Кит, погружаясь в кожаное кресло и вытягивая ноги. — Присаживайся!

Кит заказал коктейль, а дядюшка удовлетво-

рился местным водянистым красным вином, которое было его излюбленным напитком. Он неодобрительно глянул на бокал с коктейлем, потом перевел взгляд на лицо племянника. Кит почувствовал, что ему не миновать нахлобучки.

— Я тороплюсь, — поспешил он объяснить. — Мне надо еще успеть в галерею Эллери, на выставку Кейта, и накатать о ней по крайней мере полстолбца.

— Что с тобой? — спросил дядя. — Ты бледен. На тебе лица нет.

Кит вздохнул.

— Кажется, скоро я буду иметь удовольствие похоронить тебя, — продолжал дядя.

Кит уныло покачал головой:

— Не хочу беспокоить червей! Предпочитаю крематорий.

Джон Беллью принадлежал к тому старому, закаленному племени, которое в пятидесятых годах переправилось через прерию в повозках, запряженных волами. К суровому закалу, унаследованному им от предков, прибавился закал трудного, тревожного детства, прошедшего в пору освоения новой земли.

— Ты живешь не так, как надо, Кристофер. Мне стыдно за тебя.

— Мот и кутила, не так ли? — рассмеялся Кит.

Дядя пожал плечами.

— Не гляди на меня так уничтожающе, дядюшка, — сказал Кит. — Кутежи — вещь неплохая, но, к сожалению, ты ошибаешься. Я давно перестал кутить: у меня нет времени.

— В чем же дело?

— Работа замучила.

Джон Беллью расхохотался.

— Право?

Он опять рассмеялся.

— Человек — порождение окружающей среды, — изрек Кит, указывая на дядюшкин стакан. — Смех твой горек и жидок, как вино в твоем стакане.

— Работа замучила! — язвительно повторил дядюшка. — Да ты не заработал ни одного цента за всю свою жизнь.

— Нет, заработал, но не получил. Я зарабатываю пятьсот долларов в неделю и работаю за четверых.

— Картины, которых никто никогда не купит? Модные пустячки, безделушки… Плавать умеешь?

— Когда-то умел.

— А ездить верхом?

— Пробовал и это.

Джон Беллью негодующе фыркнул.

— Я счастлив, что твой отец в могиле и не видит тебя во всем твоем бесстыдстве. Твой отец был с ног до головы мужчина, понимаешь? Настоящий мужчина! Он выбил бы из тебя всю твою музыкальную и рисовальную дурь!

— Что делать! Таков наш упадочный век! — вздохнул Кит.

— Если б был какой-нибудь толк ото всех твоих искусств, — сердито продолжал дядя, — ну, это я еще понимаю, это я еще мог бы стерпеть. Но ты за всю свою жизнь не заработал ни цента и не знаешь настоящего труда мужчины!

— Гравюры, картины, веера… — перечислил Кит.

— Ты пачкун и неудачник. Какие ты картины написал? Несколько мутных акварелей и кошмарных плакатов. И ни разу ничего не выставил, даже здесь, в Сан-Франциско.

— Одна моя картина висит в зале этого клуба.

— Мазня! А музыка? Твоя милая, но бестолковая мама тратила сотни на то, чтобы обучить тебя музыке. Но ты и тут осрамился. Ты даже пяти долларов не заработал, ну, хотя бы аккомпанируя кому-нибудь на концерте. Песенки твои? Дре-

бедень, которую никто не печатает и никто не поет, кроме бездельников, прикидывающихся богемой.

— Я выпустил книжку. Помнишь, томик сонетов? — робко возразил Кит.

— Во сколько он тебе обошелся?

— Сотни в две долларов, не больше.

— А еще у тебя какие заслуги?

— Одна моя пьеска ставилась как-то на открытой эстраде.

— И что ты получил за нее?

— Славу.

— А ведь ты когда-то умел плавать и пытался ездить верхом! — гневно воскликнул Джон Беллью, опуская бокал на стол с совершенно излишней стремительностью. — Скажи, ну куда ты годишься? Денег на твое воспитание не жалели, но даже в университете ты не играл в футбол. Ты не умеешь грести. Ты не умеешь…

— Я занимался фехтованием и боксом. Немного.

— Когда ты тренировался в последний раз?

— Да после университета забросил; считалось, что я прекрасно рассчитываю расстояние и время, но только…

— Продолжай.

— Меня называли свободным художником.

— Скажи прямо: лентяем.

— Да, это примерно то же самое — в деликатной форме.

— Мой отец, сэр, а ваш дед, старый Исаак Беллью, одним ударом кулака убил человека, когда ему было шестьдесят девять лет.

— Кому было шестьдесят девять лет? Убитому?

— Нет, деду твоему, никчемный ты бездельник! Ты в шестьдесят девять лет не сможешь убить и комара.

— Времена переменились, дядюшка. В наше время за убийство сажают в тюрьму.

— Твой отец проскакал однажды сто восемьдесят пять миль без отдыха и насмерть загнал трех лошадей.

— Живи он в наши дни, он благополучно храпел бы всю дорогу в купе спального вагона.

Дядя чуть было не вышел из себя, но сдержал гнев и спокойно спросил:

— Сколько тебе лет?

— Да как будто бы мне…

— Знаю, двадцать семь. Двадцати двух лет ты окончил колледж. Мазал, бренчал, строчил и болтался без дела пять лет. Так скажи мне, ради Бога, куда ты годишься? В твои годы у меня была

одна-единственная смена белья. Я пас стада в Колузе. Я был крепок, как камень, и мог спать на голом камне. Я питался вяленой говядиной и медвежьим мясом. Зато я гораздо крепче тебя. Ты весишь около ста шестидесяти пяти фунтов, а я хоть сейчас могу положить тебя на обе лопатки и намять тебе бока.

— Для того чтобы опорожнить стакан коктейля или жидкого чая, не нужно быть силачом, — примирительно пробормотал Кит. — Неужели ты не понимаешь, дядюшка, что времена переменились? И кроме того, меня неправильно воспитывали. Моя милая бестолковая мама…

Дядю передернуло.

— …судя по твоим рассказам, слишком меня баловала: держала в вате и так далее. А если бы я мальчишкой принимал участие в тех достойных мужчины забавах, за которые ты так ратуешь, я был бы теперь другим человеком. Скажи, почему ты никогда не брал меня с собой? Холл и Робби ездили с тобой и на Сьерры и в Мексику…

— Я считал тебя недотрогой и неженкой.

— Сам виноват, дядюшка, — ты и моя милая — гм — мама. Как я мог закалиться? Ведь меня считали недотрогой и неженкой. Что же мне оставалось, кроме гравюр, картинок да вееров?

Моя ли вина, что мне никогда не приходилось добывать себе хлеб в поте лица своего?

Старик с нескрываемым негодованием смотрел на племянника. Это легкомыслие и дряблость выводили его из себя.

— Я снова собираюсь отправиться в путешествие, достойное мужчины, как ты выразился. Приглашаю тебя.

— Запоздалое приглашение… Куда?

— Холл и Роберт отправляются в Клондайк. Я провожу их через перевал и спущусь с ними к озерам. Потом обратно.

Кит не дал ему договорить. Он вскочил со стула и схватил дядю за руку.

— Спаситель мой! — воскликнул он.

Джон Беллью недоверчиво насторожился. Он не ожидал, что его приглашение будет принято.

— А ты не шутишь? — спросил он.

— Когда мы отправляемся?

— Это очень трудное путешествие. Ты будешь нам обузой.

— Нет! Я буду все делать! «Волна» научила меня работать…

— Каждый должен взять с собой запасов на целый год. Народу будет такое множество, что индейцев-носильщиков не хватит на всех. Холлу

и Роберту придется самим тащить свои припасы. Я затем и отправляюсь с ними, чтобы помочь им. Тебе придется тащить на спине столько же, сколько им.

— Испытай меня.

— Ты не умеешь носить тяжести.

— Когда мы отправляемся?

— Завтра.

— Пожалуйста, не воображай, дядюшка, что меня наставила на путь истинный твоя проповедь о пользе закалки, — сказал Кит, прощаясь. — Мне необходимо уехать из этого города, от О'Хара — куда угодно, лишь бы подальше.

— Кто такой этот О'Хара? Японец?

— Нет, он ирландец, рабовладелец и мой лучший друг. Он редактор и издатель и вообще главная шишка в «Волне». Он делает там все, что захочет.

Вечером Кит Беллью настрочил О'Хара записку.

«Уезжаю всего лишь на несколько недель, — писал он. — Найми какого-нибудь чудака, пусть докончит за меня последний рассказ. Прошу прощения, милый друг, но этого требует мое здоровье. Вернусь и налягу на работу с двойным усердием».

II

Через несколько дней Кит Беллью высадился на обезумевший берег Дайи, заваленный тысячепудовым багажом многих тысяч людей. Груды снаряжения и продовольствия выбрасывались на берег с пароходов и медленно просачивались с берега в Дайскую долину и через Чилкут. Путешественникам предстояло двадцать восемь миль тащить свои пожитки на себе. Индейцы-носильщики, взвинтившие цены за переноску багажа с восьми центов за фунт до сорока, не справлялись с работой. Их не хватало, и всем было ясно, что большинство путешественников не успеет перебраться через перевал до наступления зимы.

Самым неприспособленным из новичков был Кит. У него, как и у многих, на поясе висел патронташ и болтался большой револьвер. Этот револьвер навязал ему, между прочим, дядюшка, помнивший былые беззаконные годы. Но Кит романтически воспринимал окружающее. Его пленяла пестрота людского потока, устремившегося за золотом, и он смотрел на все глазами художника. Он ничего не принимал всерьез. Еще на пароходе он заявил, что не собирается

относиться к путешествию, как к собственным похоронам. Ведь это просто каникулы. Заглянуть за перевал, поглазеть по сторонам — и домой!

Кит оставил своих спутников дожидаться на песчаном берегу выгрузки багажа, а сам пошел слоняться вдоль реки и набрел на старую факторию. Он не щеголял своим револьвером, хотя заметил, что очень многие, имеющие револьвер, чрезвычайно задирали нос. Дюжий рослый индеец прошел мимо Кита, согнувшись под неимоверно тяжелым тюком. Кит последовал за индейцем, восхищенный его прекрасными икрами и той грациозной легкостью, с которой он двигался, несмотря на тяжелую ношу. Индеец сбросил кладь на весы у дверей фактории, и Кит присоединился к толпе золотоискателей, одобрительно глазевших на силача; оказалось, что кладь весила сто двадцать фунтов; эта цифра благоговейно передавалась из уст в уста.

«Мне не поднять этакую тяжесть, а уж не снести и подавно», — подумал Кит.

— Несешь на озеро Линдерман, дружище? — спросил он.

Индеец гордо кивнул головой.

— И сколько взял за переноску?

— Пятьдесят долларов.

Разговор оборвался. Внимание Кита привлекла девушка, стоявшая на пороге. Она была одета не так, как большинство женщин, прибывших на пароходе, — ни короткой юбки, ни спортивных брюк. Она была одета так, как обычно одеваются женщины в дороге. Кита поразила полная уместность ее среди всего окружающего, — она, казалось, была здесь необходима. Молодая, красивая. Яркое очарование ее румяного лица привлекало его, и он так пристально смотрел на нее, что она это почувствовала; темные, с длинными ресницами глаза встретились с его глазами. С его лица она перевела насмешливый взгляд на его громадный револьвер. Потом их глаза снова встретились, и Кит прочел в них презрение и насмешку. Он вздрогнул, как от удара. Девушка повернулась к мужчине, стоявшему рядом с ней, и глазами указала на Кита. Мужчина оглядел его с тем же веселым презрением.

— Чечако, — произнесла девушка.

Мужчина, одетый, как бродяга, в дешевые брюки и рваную шерстяную фуфайку, сухо усмехнулся, и Кит почувствовал себя оплеванным, хотя и не мог бы сказать почему. И все же она на редкость красива, решил Кит, глядя вслед уходящим мужчине и девушке. Какая грациозная у нее по-

ходка. Он узнает эту походку и через тысячу лет.

— Заметили этого человека с девушкой? — взволнованно спросил Кита сосед. — Знаете, кто он?

Кит покачал головой.

— Чарли Олень. Мне только что показали его. Ему здорово повезло на Клондайке. Старожил. И на Юконе пробыл лет двенадцать. Только что вернулся оттуда.

— Что значит чечако? — спросил Кит.

— Вы, например, чечако, я — чечако, — был ответ.

— Быть может, это и так, но все же мне не ясно. Что значит слово «чечако»?

— Новичок.

Кит возвращался по берегу к своим и все время повторял про себя это обидное слово. Было досадно услышать «новичок» от слабой девушки.

Пробираясь между горами тюков и вспоминая индейца с громадным грузом на спине, Кит решил испытать свою силу. Для испытания он выбрал мешок муки весом в сто фунтов. Расставив ноги, он стал над мешком, ухватил его и попытался взвалить на плечо. В первое мгновение он решил, что сто фунтов — это очень большая тяжесть; во второе — пришел к заключению, что у него слабая

спина; в третье — крепко выругался. Это произошло после пяти минут бесплодных усилий, когда он оказался распростертым в изнеможении на той самой ноше, которую хотел одолеть.

Он отер пот со лба и вдруг заметил Джона Беллью, насмешливо глядевшего на него поверх груды мешков.

— Боже! — воскликнул этот апостол суровой закалки. — Наш могучий род дал слабосильных потомков. Когда мне было шестнадцать лет, такой тюк казался мне игрушкой.

— Ты забываешь, дядюшка, — огрызнулся Кит, — что я не был вскормлен медвежатиной.

— И когда мне стукнет шестьдесят, такой тюк по-прежнему останется для меня игрушкой.

— А ну-ка, покажи!

Джон Беллью показал. Ему было сорок восемь, но он нагнулся, примерился к мешку, быстрым движением взвалил его на плечи, перевернул и выпрямился.

— Сноровка, милый мальчик, сноровка и… крепкая спина.

Кит почтительно приподнял шляпу.

— Ты чудо, дядюшка, чудо из чудес. Как ты думаешь, приобрету я когда-нибудь такую сноровку?

Джон Беллью пожал плечами.

— Ты запросишься домой, чуть мы тронемся в путь.

— Ну нет, — ответил Кит. — Дома меня ждет О'Хара, словно разъяренный лев. Я постараюсь вернуться к нему как можно позже.

III

Первый переход Кита с поклажей прошел удачно. До Финниганского брода их багаж, весивший две тысячи пятьсот фунтов, несли индейцы, которых удалось нанять. После брода им пришлось нести самим. Они рассчитали, что могут делать по миле в день. Это казалось очень легким, но только на словах. Так как Джон Беллью должен был оставаться в лагере, чтобы готовить пищу, он мог делать не более одного-двух переходов с поклажей. Таким образом, на долю каждого из троих молодых людей выпал тяжкий жребий ежедневно перетаскивать на милю вперед по восемьсот фунтов; считая, что каждый вьюк весит пятьдесят фунтов, им пришлось бы ежедневно шестнадцать раз проходить милю с грузом за плечами и пятнадцать обратно порожняком.

— Пятнадцать потому, что последний раз нам не придется возвращаться за поклажей, — объяс-

нил Кит свое приятное открытие.

При восьмидесятифунтовых тюках им предстояло бы делать девятнадцать миль ежедневно — туда и назад, а при стофунтовых только пятнадцать.

— Я не люблю ходить пешком, — заявил Кит, — и чем бегать туда и назад девятнадцать раз, предпочитаю носить по сто фунтов сразу.

Заметив недоверчивую улыбку на лице у дяди, он поспешно добавил:

— Конечно, не сразу; я буду приучаться постепенно. Для того чтобы приобрести сноровку, нужно время. Начну с пятидесяти фунтов.

Кит взял пятьдесят фунтов и всю дорогу шел весело и быстро, даже вприпрыжку. У места, назначенного для следующей стоянки, Кит сбросил тюк и налегке отправился обратно, за новой поклажей. Это вовсе не так трудно, думал он. Но две мили сбили с него самоуверенность. Следующая кладь весила шестьдесят пять фунтов. Нести оказалось уже значительно труднее, и Кит больше не подпрыгивал. По примеру всех носильщиков он часто опускался на землю и отдыхал, прислонив поклажу, висевшую на спине, к камню или пню. К третьему разу он так расхрабрился, что принял в ремни девяностофунтовый мешок с бобами и

взвалил его себе на плечи. Но прошел сто шагов и почувствовал, что вот-вот свалится. Кит сел на землю и вытер лицо.

— Короткие переходы и короткие привалы, — бормотал он. — Вот в чем штука.

Порой он садился отдыхать, не сделав и сотни шагов, а груз после каждого отдыха становился заметно тяжелее. Он трудно дышал, и пот лил с него ручьями. Не пройдя и четверти мили, он сорвал с себя шерстяную фуфайку и повесил ее на дерево. Через несколько минут он далеко забросил шляпу. Пройдя полмили, Кит решил, что ему конец. Никогда в жизни он не чувствовал себя так плохо. Обессиленный, он сидел на земле, и вдруг взгляд его упал на револьвер и тяжелый патронташ, болтавшийся у пояса…

— Хлам — лишние десять фунтов, — пробурчал он злобно и отстегнул револьвер и патронташ.

Он даже не дал себе труда повесить револьвер на дерево, а просто швырнул его в кусты. Молчаливые, тяжело нагруженные путники угрюмо двигались по дороге, и Кит заметил, что другие новички тоже бросают свое оружие.

Кит стал присаживаться все чаще и чаще. Протащится кое-как сто футов, а там кровь бешено забьется в ушах, затрясутся колени — и

он принужден опуститься на землю. Остановки делались все продолжительнее. А воображение лихорадочно работало. Впереди двадцать восемь миль пути, двадцать восемь томительных дней, а этот первый день, судя по всему, самая легкая часть путешествия…

— То ли еще будет, когда дойдем до Чилкута, — говорили ему его спутники во время стоянок. — Там придется карабкаться на четвереньках.

— Мне до Чилкута не дойти, — отвечал Кит. — Это не для меня. Задолго до Чилкута я упокоюсь в уютной яме, под покровом мха.

Он поскользнулся, и, чтобы удержаться на ногах, ему пришлось сделать огромное усилие. Все перевернулось у него внутри.

— Если я упаду под этой тяжестью, я уже больше не встану, — сказал Кит случайному спутнику.

— Это еще ничего, — отозвался тот. — Вот погодите, доберемся до ущелья. Нам предстоит переправиться через бурный поток по сосновому бревну длиной в шестьдесят футов. Веревок, чтобы держаться, — никаких, а волны перехлестывают через бревно и плещут по коленям. Если свалишься в воду с кладью на спине, сразу пойдешь ко дну, потому что из ремней не выпутаться.

— Ничего не имею против, — сказал Кит и в глубине души чувствовал, что говорит почти правду.

— Там гибнет по три, по четыре человека в день, — добавил рассказчик. — Как-то я помог выудить из воды одного немца. На нем нашли четыре тысячи долларов.

— Отрадно слышать, — проговорил Кит, тяжело поднимаясь на ноги и снова пускаясь в путь.

Мешок с бобами и Кит превратились в ходячую трагедию. Кит сравнивал свое положение с положением Синдбада-морехода, у которого на шее сидел старик. И это называлось «прогулкой, достойной мужчины»! Сравнительно с таким путешествием служба у О'Хара была блаженством. Снова и снова приходила ему на ум заманчивая идея: кинуть мешок с бобами в кусты, потихоньку улизнуть обратно на берег, сесть на пароход и вернуться в цивилизованный мир.

Но Кит не бросил мешка и не убежал. Где-то в глубине его души жила непоколебимая твердость. Он упрямо повторял самому себе, что все, доступное другим мужчинам, должно стать доступным и ему. Эта мысль преследовала его, как бред, и он часто заговаривал об этом со своими спутниками. Отдыхая, он с завистью смотрел на

индейцев, с крепкими, как у мулов, ногами, тащивших ноши вдвое тяжелее. Без отдыха шли и шли они вперед, и Кит удивлялся их уверенности и спокойствию.

Кит сидел на земле, громко ругался — ругаться во время ходьбы у него не было сил — и боролся с соблазном удрать в Сан-Франциско. Миля, которую нужно было пройти с грузом, не была еще пройдена, а уж его злость сменилась слезами. Это были слезы бессилия и отвращения к самому себе. Никогда еще ни один человек не чувствовал себя до такой степени побежденным. Когда последняя миля была уже на исходе, он, собрав остаток сил, кое-как дотащился до места стоянки и упал ничком с поклажей на спине. Это не убило его, но, прежде чем встать, он пятнадцать минут пролежал неподвижно, не в силах пошевелиться, не в силах расстегнуть ремни и снять с себя тяжелый мешок. У него началась рвота. В таком положении нашел его Робби, которого тоже мучила тошнота. Сознание, что Робби испытывает те же муки, что и он, придало Киту силы.

— Другие могут, — значит, можем и мы, — сказал ему Кит, хотя в глубине души его терзало сомнение, не бахвальство ли это.

IV

— Мне двадцать семь лет, и я мужчина, — много раз повторял себе Кит в течение следующих дней. Он нуждался в этом напоминании. К концу недели он научился ежедневно перетаскивать восемьсот фунтов на милю вперед, но зато потерял пятнадцать фунтов собственного веса. Щеки у него ввалились, тело и ум утратили гибкость. Он больше не шел, а тащился. Даже возвращаясь за поклажей, налегке, он еле волочил ноги.

Кит превратился во вьючное животное. Он нередко засыпал во время еды, и сон у него был крепок, как у животного; иногда, впрочем, он просыпался с криком от судороги, сводившей ему ноги. Все тело болело и ныло. Ступни были покрыты пузырями, а когда путникам пришлось сделать две мили по острым камням Дайской долины, ноги Кита покрылись сплошными ранами. Эти две мили должны были стать тридцатью восемью милями. Кит умывался не чаще одного раза в день. Ногтей он не чистил: они потрескались, обросли заусенцами и были постоянно грязны. Ссадины на плечах и на груди, натертые ремнями, впервые заставили его серьезно заду-

маться над страданиями ломовых лошадей.

Но больше всего в первое время его мучила грубая пища. Усиленная работа требовала усиленного питания, и желудок Кита, не привыкший к огромным порциям бекона и неудобоваримых черных бобов, взбунтовался. Для Кита начались ужасные дни голодовки и болезни. Он еле держался на ногах. Наконец настала радостная пора, когда к нему вернулась способность есть; он обжирался, как дикий зверь, и не мог равнодушно смотреть на съестное.

Когда путешественники перетащили багаж через ущелье, планы их изменились. Пронесся слух, что в районе озера Линдерман вырублены последние деревья, годные на постройку лодок. Холл и Роберт, с инструментами, пилой, одеялами и необходимой провизией, отправились на поиски леса, поручив Киту и дяде перетаскать остальной багаж. Кит и Джон Беллью вместе стряпали и вместе, плечом к плечу, шагали, нагруженные кладью. Время шло, и вершины покрывались снегом. Быть застигнутыми зимой на этой стороне перевала — значило потерять целый год. Дядюшка нагрузил свою железную спину целой сотней фунтов. Кит пришел в уныние, но стиснул зубы и тоже взвалил себе на плечи сотню фунтов. Снача-

ла ему было трудно и больно, но он уже приобрел сноровку, и его тело, утратившее вместе с жиром и дряблость, стало упругим и мускулистым. К тому же он наблюдал и изобретал. Он подметил, что индейцы пользуются головными ремнями, и приспособил их в помощь своим наплечным ремням. Это значительно уменьшало тяжесть и давало ему возможность пристраивать к тюку еще какой-нибудь громоздкий, но не тяжелый предмет. Таким образом, он научился нести сто фунтов на ремнях за плечами, пятнадцать или двадцать фунтов поверх основной поклажи, топор или пару весел в одной руке и несколько вложенных друг в друга кастрюль — в другой.

Но трудности все росли. Чем дальше, тем хуже становилась дорога; с каждым днем поклажа казалась тяжелее, с каждым днем снеговая линия в горах опускалась все ниже и ниже. Цены на переноску груза поднялись до шестидесяти центов за фунт. О Холле и Роберте, которые ушли вперед, чтобы свалить несколько деревьев, распилить их на доски и построить челнок, не было ни слуху ни духу. Джон Беллью стал беспокоиться.

Встретив кучку индейцев, возвращавшихся налегке с Линдермана, он подрядил их, по тридцати центов за фунт, отнести часть багажа на вершину

Чилкута. Такой расход почти истощил кошелек Джона Беллью. Оставшиеся четыреста фунтов одежды и лагерных принадлежностей он решил перенести сам, а Кита отправил вперед вместе с индейцами. Было условлено, что на вершине Чилкута Кит задержится и будет понемножку перетаскивать багаж, пока его не нагонит дядюшка с поклажей в четыреста фунтов.

V

Кит вместе с индейцами медленно тащился по дороге. Так как путь предстоял длинный и трудный, Кит взвалил на себя всего восемьдесят фунтов. Индейцы едва плелись с тяжелым грузом, но все-таки они шли быстрее, чем привык ходить Кит. Но Кит не протестовал. Он теперь считал себя не менее выносливым, чем индейцы.

Пройдя четверть мили, он захотел отдохнуть, но индейцы не остановились, и Кит пошел вместе с ними. Пройдя еще четверть мили, он почувствовал, что не в состоянии сделать ни шагу более, однако он стиснул зубы и зашагал, не отставая от носильщиков. Без передышки была пройдена миля, и Кит с удивлением должен был признать, что он жив, не умер. А потом, как это ни странно,

он «втянулся», и вторая миля далась ему, пожалуй, легче, чем первая. Третья миля чуть не убила Кита, но, изнемогая от усталости и боли, он не стал хныкать, а продолжал идти. И как раз в то мгновение, когда он почувствовал, что сейчас потеряет сознание, индейцы сделали привал. Вместо того чтобы отдыхать, не снимая груза, как поступали обычно белые путешественники, индейцы освободились от головных и наплечных ремней, свободно разлеглись, закурили и пустились в разговоры. Отдыхали они целых полчаса. После получасового отдыха Кит с удивлением почувствовал себя совершенно свежим, и отныне его девизом стало: «Долгие переходы и долгие остановки».

Склон Чилкута оказался именно таким, каким представлял его себе Кит по рассказам. Не раз приходилось ему карабкаться вверх на четвереньках. Но когда он в снежную вьюгу добрался до вершины перевала, тайная гордость наполнила его душу; он сделал трудный переход наравне с индейцами, не отставая от них и не жалуясь. Сравняться с индейцами стало его новой мечтой.

Расплатившись с ними и отпустив их, он остался совершенно один на горном хребте, среди непроницаемой мглы, на тысячу футов выше лес-

ной полосы. Голодный, усталый, промокший до пояса, он готов был в эту минуту отдать весь свой годовой доход за костер и чашку кофе. Однако ему пришлось удовлетвориться несколькими холодными оладьями и закутаться в брезент палатки. Он быстро уснул, но, засыпая, успел злорадно подумать, что Джон Беллью сейчас взбирается на Чилкут, таща на себе четыреста фунтов багажа. У самого Кита на попечении находилось не четыреста, а две тысячи фунтов багажа, но ему предстояло спускаться с горы, а не подниматься в гору.

Утром, измученный и замерзший, Кит вылез из-под брезента, съел фунта два сырого бекона, взвалил на плечи сто фунтов багажа и отправился вниз по тропе между скал. Тропа вела через узкий ледник к озеру Кратер. Какие-то люди шли с грузом через ледник. Целый день Кит перетаскивал свой багаж к верхнему краю ледника, и, так как расстояние было невелико, он навьючивал на себя каждый раз по полтораста фунтов. Такая неожиданная выносливость радостно поразила его. У встречного индейца он приобрел за два доллара три морских сухаря. Этими сухарями и сырым беконом он закусывал несколько раз в день. Грязный, продрогший, в мокрой от пота

одежде, он и следующую ночь провел под холстиной палатки.

Рано утром он разостлал брезент на льду, свалил на него три четверти тонны багажа и поволок за собой. Там, где ледниковая тропа круто спускалась под уклон, самодельные сани ускорили бег. Брезент с поклажей наскочил на Кита, ударил его сзади по ногам, и Кит очутился верхом на своей поклаже. Брезент помчался вниз вместе с Китом.

Сотни тяжело нагруженных носильщиков, шагавших по льду, останавливались и провожали Кита удивленными взглядами. Кит неистово орал: «Берегись!» — и все поспешно отскакивали в сторону. Внизу, у самого края ледника, прилепилась ко льду маленькая палатка; она так быстро вырастала на его глазах, что Киту казалось, будто она бежит ему навстречу. Брезент съехал с дороги, которая круто сворачивала влево, и помчался по свежему снегу, окутанный облаком морозной пыли. Мягкий снег затормозил бешеную скорость брезента. Кит снова увидел палатку в ту самую секунду, когда из всей силы налетел на нее. Его корабль вывернул из земли деревянные колья палатки, распахнул лицевые полотнища и ворвался внутрь. Кит барахтался на брезенте среди развороченных ящиков и мешков. Палатка

качалась, как пьяная, и в морозном тумане Кит оказался лицом к лицу с испуганной девушкой, кутавшейся в одеяла, — с той самой девушкой, которая назвала его в Дайе чечако.

— Хорош смок[4], а? — весело крикнул Кит.

Девушка неодобрительно смотрела на него.

— Вот вам и ковер-самолет! — продолжал Кит.

— Уберете вы когда-нибудь у меня с ног этот ваш мешок? — сердито спросила девушка.

Кит привстал.

— Это не мешок, а мой локоть. Простите.

Ничуть не смущенная такой поправкой, она была по-прежнему вызывающе холодна.

— Еще спасибо, что вы не опрокинули печку, — проговорила она.

Кит посмотрел туда, куда глядела девушка, и увидел печку из листового железа и кофейник на ней. За кофейником присматривала молодая индианка. Кит понюхал воздух и снова взглянул на девушку.

— Я чечако, — сказал он.

По выражению скуки на ее лице он понял, что она сама это знает. Но Кит не смутился.

---

[4] notes: 4

Смок — английский спортивный термин, соответствующий русскому выражению «резаный мяч». В некоторых случаях Лондон обыгрывает также основное значение слова smoke — «курить».

— Свое огнестрельное оружие я бросил по дороге, — сказал он.

Тогда она узнала его, и глаза ее блеснули.

— Не думала я, что вы доберетесь так далеко, — сообщила она ему.

Кит снова жадно потянул в себя воздух.

— Я слышу запах кофе! — Он решил идти напролом. — Вот вам мой мизинец, отрежьте его; я на все готов; я буду вашим рабом целый год и один день или сколько угодно лет и дней, только налейте мне чашечку из вашего кофейника.

За чашкой кофе он назвал себя, и она сказала ему свое имя — Джой Гастелл. Кроме того, Кит узнал, что она здешняя старожилка. Она родилась в фактории на Большом Невольничьем озере: ребенком она с отцом перешла Скалистые горы и спустилась к Юкону. Теперь она снова путешествует вместе с отцом, но его неожиданно задержали в Сиэтле дела. Он оказался в числе пассажиров злосчастного «Певца», потерпевшего крушение, и сейчас находится в заливе Пьюджет, куда его доставил подобравший пассажиров пароход.

Так как девушка не вылезала из-под одеял, Кит не стал затягивать разговора и, героически отказавшись от второй чашки кофе, освободил

палатку от себя и своего багажа. Он уносил с собой много разнообразных впечатлений: у нее очаровательные глаза и очаровательное имя; ей не больше двадцати — двадцати двух лет; отец ее, вероятно, француз; у нее твердая воля и пылкий характер, и воспитание она получила где угодно, но только не в здешних местах.

VI

По обледенелым скалам, высоко над полосой леса, шла тропа, огибая озеро Кратер, и выводила к скалистому ущелью, откуда открывался прямой путь к Счастливому Лагерю и первым кривым карликовым елям. Тащить на себе груз по этой круговой дороге — значило потерять много времени и окончательно выбиться из сил. На озере стояла парусная лодка, перевозившая грузы. В какие-нибудь два часа лодка могла бы доставить Кита и его поклажу на другой берег.

Но Кит уже истратил все деньги, а перевозчик запросил по четыреста долларов за тонну.

— Твоя лодчонка, друг мой, — сказал Кит перевозчику, — золотое дно. Но я могу показать тебе и другое золотое дно.

— Покажи! — был ответ.

— Покажу, если ты перевезешь мой багаж на другой берег. Прекрасная идея, еще не запатентованная, и ты сможешь открыть предприятие сразу, чуть я объясню тебе, в чем дело. Согласен?

Перевозчик объявил, что согласен, и Кит решил, что можно довериться его обещанию.

— Отлично. Видишь ты тот ледник? Возьми кирку и за день пробей в нем желоб сверху донизу. Понял? Получится «Чилкут — Озеро Кратер. Акционерная компания перевозок кувырком». Ты можешь спускать ежедневно не меньше ста тонн, и работы никакой — знай клади деньги в карман. По пятидесяти центов с тонны каждый заплатит!

Через два часа Кит находился уже на другом берегу озера, выиграв целых три дня. Когда Джон Беллью нагнал его, он был уже очень недалеко от Глубокого озера — другой вулканической впадины, наполненной ледниковой водой.

VII

Последний переход, от Долгого озера до Линдермана, считается три мили; здесь тропа — если только это можно назвать тропой — взбирается на вершину тысячефутового хребта, сползает,

извиваясь, вниз по скользким скалам и пересекает широкое болото. Джон Беллью остолбенел от удивления, увидев, как Кит взвалил себе на спину сотню фунтов, а сверху на эту сотню положил пятидесятифунтовый мешок муки.

— Ну-ка, закаленный человек! — воскликнул Кит. — Покажи, чему тебя научило медвежье мясо и одна-единственная смена белья!

Джон Беллью покачал головой.

— Я уже стар, Кристофер.

— Тебе всего только сорок восемь. Мой дед, а ваш отец, сэр, старый Исаак Беллью, одним ударом кулака убил человека, когда ему было шестьдесят девять лет.

Джон Беллью, улыбаясь, проглотил пилюлю.

— Дядюшка, мне хочется сообщить тебе важную новость. Меня воспитывали недотрогой и неженкой, но сейчас я таскаю тяжести лучше тебя, хожу лучше тебя и с легкостью уложу тебя на обе лопатки и намну бока.

Джон Беллью поднял руку и торжественно произнес:

— Кристофер, мой мальчик, я верю, что ты можешь уложить меня на обе лопатки и намять мне бока. Больше того: я уверен, что ты можешь совершить этот подвиг, даже имея сто фунтов на

плечах. Ты хорошо поработал, мальчик, и добился почти невероятных успехов.

Во время последнего перехода Кит за один день проделал четыре конца взад и вперед. Иными словами, он покрыл за день двадцать четыре мили, карабкаясь по горам, причем двенадцать миль из этих двадцати четырех — со ста пятьюдесятью фунтами за спиной. Это сильно утомило его, но он гордился собой и чувствовал себя прекрасно. Он ел и спал так, как раньше никогда еще не ел и не спал: и когда оказалось, что скоро конец тяжелому пути, он даже немного огорчился.

Беспокоило Кита только одно: он знал, что если споткнется и упадет с сотней фунтов за плечами, он останется в живых и поднимется на ноги; но он был уверен, что если ему случится упасть с пятидесятифунтовой прибавкой, то эта прибавка непременно свернет ему шею. Тысячами ног все тропы через болота очень быстро затаптывались, превращаясь в бездонную топь, и приходилось все время прокладывать новые. Однажды, прокладывая такую новую тропу, Кит на практике разрешил вопрос о пятидесятифунтовой надбавке.

Зыбкая, топкая поверхность колыхалась под ним; он оступился и шлепнулся в воду ничком.

Пятьдесят фунтов придавили его, не сломав ему шеи. С оставшейся сотней за плечами Киту удалось подняться на четвереньки. Но встать он не мог. Левую руку снова втянуло вглубь, и щека легла в грязь, как на подушку. Кит вытянул левую руку — правая шла по плечо. Выпутаться из ремней было невозможно, а стофунтовая тяжесть мешала подняться. На четвереньках, с трудом вытаскивая из грязи то одну, то другую руку, он сделал попытку добраться до того места, куда упал его мешок с мукой. Но все усилия были напрасны: они только утомляли его, а тонкий слой травы, покрывавший трясину, прорвался под его тяжестью, и струйка взбаламученной воды стала просачиваться наружу, заливая ему нос и рот.

Тогда он попробовал перевернуться на спину, чтобы поклажа служила ему опорой, но это привело лишь к тому, что обе руки его погрузились в воду по плечи, и Кит почувствовал, что тонет. С завидным терпением он медленно вытащил обе руки из грязи, положил их плашмя на воду, чтобы опереться на них подбородком, и громко позвал на помощь. Через несколько минут раздалось хлюпанье по грязи приближавшихся сзади шагов.

— Помоги, приятель! — крикнул Кит. — Брось

мне веревку.

Киту ответил женский голос, и Кит узнал этот голос.

— Если вы расстегнете мне ремни, я встану.

Сто фунтов звонко шлепнулись в грязь, и Кит медленно поднялся на ноги.

— Ну и положение! — смеялась мисс Гастелл, увидев облепленное грязью лицо Кита.

— Пустяки! — весело воскликнул Кит. — Это просто одно из моих любимых гимнастических упражнений. Советую и вам попробовать: замечательно развивает грудную клетку и позвоночник.

Он вытер лицо рукой и стряхнул с руки ком грязи.

— О, да это мистер, мистер… Смок Беллью! — воскликнула девушка, узнав Кита.

— Благодарю вас за своевременную помощь и за новое имя, — проговорил Кит. — Совершилось мое второе крещение. С этой минуты все должны называть меня Смоком Беллью. Смок — сильное и выразительное имя.

Он замолчал, а потом неожиданно скорчил злое лицо.

— Знаете, что я решил предпринять? — произнес он свирепым голосом. — Я возвращусь

обратно в Штаты. Я женюсь. У меня будет большая семья, много-много детей. Как-нибудь вечером я соберу детей и расскажу им, какие страдания перенес их отец на Чилкутской дороге. И если они не зарыдают, — повторяю, если они не зарыдают, я возьму палку и вышибу из них дух!

VIII

Надвигалась полярная зима. Землю покрыл шестидюймовый слой снега, и, несмотря на жестокие ветры, маленькие озера затянулись льдом. В один из вечеров, когда буря несколько утихла, Кит вместе с дядей помог двоюродным братьям нагрузить лодку и постоял на берегу, пока лодка не исчезла в метели.

— Надо выспаться и утром пораньше в путь, — сказал Джон Беллью. — Если нас не задержит буран на перевале, завтра вечером мы будем в Дайе. А если нам посчастливится сразу попасть на пароход, еще неделя — и мы опять в Сан-Франциско.

— Ты доволен прогулкой? — рассеянно спросил Кит.

Их последний привал на озере Линдерман был печален и неуютен. Робби и Холл забрали с собой

все самые необходимые вещи, включая и палатку. Потертый брезент кое-как прикрывал их от вьюги. Ужин они варили на костре, в негодных, помятых кастрюлях. Им оставили только одеяла да пищу на несколько дней.

С той минуты, как лодка отошла от берега, Кит стал рассеянным и беспокойным. Джон Беллью заметил состояние племянника, но приписал это сильному переутомлению после трудного похода. За ужином Кит только раз нарушил молчание.

— Дядюшка, — сказал он ни с того ни с сего, — пожалуйста, отныне называй меня Смок. Ведь я здорово прокоптился за дорогу.

После ужина Кит отправился в лагерь золотоискателей, занятых постройкой и снаряжением челноков. Когда через несколько часов он вернулся и залез под одеяло, Джон Беллью уже спал.

Ветреным мглистым утром Кит вылез из-под одеяла, не обуваясь, развел огонь, согрел на огне свои промерзшие сапоги, сварил кофе и поджарил бекон. Дядюшка и племянник невкусно позавтракали на холодном ветру. Позавтракав, они сложили одеяла. Джон Беллью зашагал в сторону Чилкутской дороги, но Кит вдруг остановил его и протянул ему руку.

— До свидания, дядя, — сказал он.

Джон Беллью удивленно взглянул на племянника и выругался от удивления.

— Не забывай, дядюшка, что теперь я Смок, — внушительно проговорил Кит.

— Но что ты задумал?

Кит махнул рукой на север, в сторону бурного озера.

— Не имеет смысла возвращаться, когда зашел так далеко, — сказал Кит. — Я почуял запах мяса, и оно мне по вкусу. Я иду дальше.

— У тебя нет денег! — возразил Джон Беллью. — И никакого снаряжения.

— Я нашел работу. Кристофер Смок Беллью покажет себя. Он нашел работу. Он теперь слуга джентльмена. Сто пятьдесят долларов в месяц на всем готовом. Он отправляется в Доусон в обществе двух джентльменов и еще одного слуги — отправляется в качестве повара, лодочника и чего угодно. А О'Хара со своей «Волной» может убираться к дьяволу! До свидания!

Пораженный Джон Беллью слабо пробормотал:

— Ничего не понимаю!

— Говорят, в бассейне Юкона немало медведей! — объяснил Кит. — У меня всего только одна смена белья, и мне хочется отведать медвежати-

ны. Прощайте!

Мясо
I

Дул сильный порывистый ветер, когда Смок Беллью, с трудом преодолевая его, вышел на берег. В предрассветных сумерках дюжину лодок нагружали драгоценным багажом, который удалось перенести через Чилкут. Это были неуклюжие самодельные челноки, неумело сколоченные из только что срубленного сырого дерева. Одна лодка, уже нагруженная, отходила от берега, и Кит остановился поглядеть.

Ветер, попутный в открытом озере, здесь дул прямо в берег, подымая волны на мелководье. Отъезжающие хлюпали по воде высокими непромокаемыми сапогами, изо всех сил стараясь вытолкнуть свою лодку на глубокое место. Два раза это не удавалось. Дважды они влезали в лодку и пытались грести, но оба раза их снова относило к берегу и сажало на мель. Кит заметил, что брызги на бортах лодки быстро превращаются в лед. Третья попытка была более удачна. Лодку вытащили на такую глубину, что людям пришлось идти по пояс в воде. С трудом подни-

мая тяжелые весла, гребцы начали медленно удаляться от берега. Затем они поставили парус из одеял, но ветер сорвал его, и лодку в третий раз вынесло на замерзающий берег.

Кит усмехнулся и пошел дальше. Ему тоже предстояло сразиться с ветром и с бурей. В своей новой роли слуги он должен был через несколько часов отчалить в лодке от этого самого места.

Все работали, работали изо всех сил, потому что быстро наступала зима и нужно было перебраться через цепь озер, прежде чем они покроются льдом. Однако, войдя в палатку мистеров Спрага и Стайна, Кит не обнаружил никаких приготовлений к отплытию.

У огня, под защитой брезента, покуривая самокрутку из оберточной бумаги, сидел, подобрав под себя ноги, маленький толстенький человечек.

— Добрый день! — сказал он. — Вы новый слуга мистера Спрага?

Кит заметил, что толстяк слегка подмигнул ему и слова «мистер» и «слуга» произнес многозначительно. Кит кивнул головой.

— А я слуга доктора Стайна, — объявил коротенький человечек. — Во мне пять футов два дюйма росту, и зовут меня Малыш. Джек Малыш. А иногда меня называют Джонни-на-все-руки.

Кит поздоровался с ним.

— Вскормлены медвежьим мясом? — осведомился Кит.

— Конечно, — ответил Джек, — но первой моей пищей было молоко буйволиц, насколько я помню. Присаживайтесь и закусите. Хозяева еще дрыхнут.

Несмотря на то что Кит уже позавтракал, он с большим удовольствием позавтракал вторично. Изнуренный многонедельным трудом, Кит приобрел желудок и аппетит волка. Он мог есть что угодно, сколько угодно и знать не знал, что такое несварение желудка. Малыш оказался говорливым пессимистом. Он дал хозяевам очень нелестную характеристику и сделал несколько мрачных предсказаний насчет экспедиции. Томас Стэнли Спраг был молодой горный инженер и сын миллионера. Доктор Адольф Стайн тоже сын богача. Благодаря своим отцам они получили от одного синдиката субсидию для изыскательских работ на Клондайке.

— Оба они набиты деньгами, — говорил Малыш. — Когда они прибыли в Дайю, цена за переноску багажа поднялась до семидесяти центов, но не было ни одного индейца. В это время на берегу находились приезжие из Восточного

Орегона, настоящие рудокопы, и им удалось подрядить несколько индейцев по семьдесят центов за фунт. Индейцы уже нагрузились поклажей — три тысячи фунтов, — когда прибыли Спраг и Стайн. Они предложили индейцам восемьдесят центов, потом девяносто, а когда дошло до доллара за фунт, индейцы отказали рудокопам и нанялись к Спрагу и Стайну. И вот Спраг и Стайн уже на озерах, хотя это и обошлось им в три тысячи долларов, а орегонские рудокопы все еще сидят на берегу. И просидят до будущего года! Да, наши хозяева — мастера сорить деньгами, а на других людей им наплевать. Знаешь, что они выкинули здесь, на Линдермане? Плотники как раз кончали лодку для приезжих из Сан-Франциско — за шестьсот долларов. Спраг и Стайн отвалили плотникам тысячу, и те, не долго думая, расторгли сделку. Лодка отличная, но каково этим молодцам из Сан-Франциско? Остались со своим багажом, и ни с места. Застряли до будущего года. Выпей еще чашечку кофе и поверь мне на слово, что я ни за что не связался бы с этими кровопийцами, если бы меня не тянуло в Клондайк! Скверные люди. Ради своих делишек они готовы мертвого ограбить. А ты подписал контракт?

Кит покачал головой.

— Ну, тогда мне тебя жаль, дружище. В этих краях голод, и они бросят тебя на произвол судьбы, как только мы доберемся до Доусона. Зимой здесь много людей погибнет от голода…

— Но мы сговорились… — начал Кит.

— На словах! — оборвал Малыш. — А слова для них ничего не стоят: ты им одно, а они тебе другое. Ну да ладно! Как тебя зовут, друг?

— Зови меня Смок, — сказал Кит.

— Закабалят они тебя с твоим словесным контрактом, друг Смок. Деньгами сорить они умеют, но работать не любят, все утро валяются в постелях. Давно уже пора отправляться в дорогу, а они все еще дрыхнут. Отдуваться придется нам с тобой. Вот сейчас они проснутся и сразу подадут голос — потребуют кофе в постель. Слыханное ли дело, чтобы взрослым мужчинам подавали кофе в постель? Ты умеешь грести или править? На суше я ковбой и золотоискатель, а вот на воде — ничего не умею. Хозяева тоже не смыслят в лодках. А ты?

— Где там, — сказал Кит. Новый порыв ветра осыпал его хлопьями снега, и он плотно прижался к брезенту. — Катался на лодке, когда был мальчишкой. Но мы научимся.

Ветер приподнял край брезента, и Малышу за

шиворот насыпалась целая горсть снегу.

— Мы-то научимся, — сердито проворчал Малыш. — Конечно, научимся. Тут и ребенок научится. Но держу пари, что сегодня мы не тронемся в путь.

В восемь часов из палатки потребовали кофе, а в девять хозяева встали.

— Эге! — сказал Спраг, краснощекий, откормленный малый лет двадцати пяти. — Пора собираться, Малыш. Вы и… — Он бросил вопросительный взгляд на Кита. — Простите, я вчера не совсем разобрал ваше имя.

— Смок.

— Так вот, Малыш, и вы, мистер Смок, я рекомендую вам заняться погрузкой.

— Просто Смок, без мистера! — сказал Кит.

Спраг кивнул головой, и они вместе с доктором Стайном, худощавым молодым человеком, куда-то зашагали и вскоре затерялись между палаток.

Малыш многозначительно подмигнул Киту.

— Больше полутора тонн багажа, а сами они палец о палец не ударят! Вот увидишь!

— Они платят нам, чтобы мы за них работали, — весело отозвался Кит, — и, я думаю, нам придется с этим примириться.

Перетащить на спине три тысячи фунтов груза

на сотню шагов вообще нелегкое дело, а перенести их в шторм и метель, когда тяжелые резиновые сапоги увязают в снежных сугробах, — и того труднее. Слуги сложили палатку и упаковали кухонные принадлежности. Затем принялись грузить лодку. По мере погрузки лодку нужно было отпихивать все дальше и дальше от берега, на более глубокое место, и, таким образом, расстояние, которое грузчикам приходилось переходить вброд, все увеличивалось. К двум часам дня работа была окончена, и Кит, несмотря на то, что сегодня дважды позавтракал, ослаб от голода. У него дрожали колени. Малыш чувствовал себя не лучше. Он произвел осмотр горшков и кастрюль и в одной из кастрюль обнаружил холодные бобы, перемешанные с большими кусками свинины. Ложка была с длиннейшей ручкой, одна на двоих, и едоки поочередно запускали ее в кастрюлю. Кит был совершенно убежден, что никогда в жизни не пробовал более вкусного кушанья.

— Честью клянусь, — с полным ртом пробормотал Кит, — только в этом путешествии узнал я, что такое настоящий аппетит.

Спраг и Стайн явились в самый разгар этого приятного занятия.

— Что нас задерживает? — спросил Спраг недо-

вольным голосом. — Тронемся мы когда-нибудь или нет?

Вместо ответа Малыш зачерпнул ложкой бобы, облизал ее и передал Киту. Едоки не промолвили ни единого слова, пока кастрюля не была вылизана дочиста.

— Ну, ясно, мы тут бездельничали, — сказал Малыш, утирая ладонью рот. — Ничего не делали. И конечно, вы ничего не ели. И все это по моей вине.

— Мы позавтракали в одной палатке у друзей, — поспешно проговорил Стайн.

— Так я и знал! — буркнул Малыш.

— Вы уже наелись наконец, и можно отправляться! — торопил Спраг.

— Лодка спущена на воду, — ответил Малыш. — Лодка нагружена. Что же еще, по-вашему, нужно сделать, чтобы отправиться в путь?

— Сесть в лодку и оттолкнуться. Идем.

Хозяева уселись, а Кит и Малыш принялись толкать лодку перед собой. Когда вода стала заливать за отвороты высоких сапог, они вскочили в лодку. Хозяева и не дотронулись до весел, а потому лодку сразу же прибило обратно к берегу. Раз десять повторялось одно и то же. Кит и Малыш выбились из сил.

Малыш, проклиная весь мир, уселся на корме и сунул за щеку кусок жевательного табаку. Кит вычерпывал воду из лодки, а хозяева раздраженно переругивались.

— Если вы будете меня слушаться, я попробую отчалить, — сказал Спраг.

Но намерению его не суждено было исполниться. Не успел Спраг перекинуть ногу за борт лодки, как его окатила волна, и он вымок до пояса.

— Придется поставить палатку и разложить костер! — воскликнул мокрый Спраг, когда лодку снова выбросило на берег. — Я замерз.

— Чуть промок и уже испугался, — насмешливо сказал Стайн. — Сколько людей отъехало сегодня с этого самого места, хотя они промокли больше, чем вы. Теперь я поведу лодку.

На этот раз вымок он и, стуча зубами, потребовал, чтобы немедленно был разведен костер.

— Стоит ли обращать внимание на легкий душ? — издевался Спраг. — Едем!

— Малыш, выньте из лодки мой чемодан с бельем и разведите костер! — приказал Стайн.

— Малыш, не смейте разгружать лодку! — воскликнул Спраг.

Малыш взглянул поочередно на обоих господ, сплюнул, но не двинулся с места.

— Он служит у меня и обязан повиноваться моим приказаниям, а не вашим! — крикнул Стайн. — Малыш, вынесите на берег мой чемодан!

Малыш исполнил приказание, а Спраг остался сидеть в лодке, хотя его трясло от холода. Не получая никаких распоряжений, Кит с удовольствием отдыхал.

— Когда капитаны ссорятся — пароход стоит, — проговорил он как будто про себя.

— Что вы сказали? — спросил Спраг.

— Я говорю сам с собой, такая у меня привычка, — отвечал Кит.

Хозяин наградил его суровым взглядом и, надувшись, просидел в лодке еще несколько минут. Потом сдался.

— Выньте из лодки мой чемодан, — распорядился он, — и займитесь, пожалуйста, костром: мы остаемся до утра.

II

Настало утро, а ветер не утих. Озеро Линдерман представляло собой узкое горное ущелье, наполненное водой. Ветер, срываясь с гор, дул здесь неравномерно, порывами, то с силой урагана, то

как еле заметный бриз.

— Если вы хорошенько подтолкнете, я, пожалуй, выведу лодку, — сказал Кит, когда все было готово к отплытию.

— Что вы в этом смыслите? — накинулся на него Стайн.

— Там видно будет! — ответил Кит и замолчал.

Впервые в жизни Кит нанялся в услужение, но он быстро усвоил правила дисциплины. Покорно и весело принимал он участие в общих попытках сдвинуться с места.

— Что вы собираетесь делать? — чуть не плача спросил Стайн.

— Давайте сядем и хорошенько отдохнем, а когда настанет затишье, наляжем и двинем ее как следует.

В этой идее не было ничего мудреного, но все же Кит первый набрел на нее. План удался сразу. Поставили парус из одеял, и лодка двинулась. Стайн и Спраг мигом повеселели. Малыш, несмотря на неистощимый пессимизм, оказался человеком веселым, а Кит был слишком захвачен всем происходящим, чтобы скучать. Четверть часа Спраг боролся с рулем, потом умоляюще взглянул на Кита, и Кит сменил его.

— Я чуть руки себе не обломал, — извиняю-

щимся голосом пробормотал Спраг.

— Вы, наверное, никогда не пробовали медвежатины? — сочувственно осведомился Кит.

— Что вы хотите этим сказать, черт побери?

— О, ровно ничего, я просто полюбопытствовал.

Но за спиной хозяина Кит встретил одобрительный взгляд Малыша, который понял и оценил шутку товарища.

Кит обнаружил такие блестящие способности к управлению лодкой, что денежные тузы, не склонные к труду, произвели его в рулевые. Малыш с удовольствием взвалил все корабельное дело на плечи товарища, а сам занялся стряпней.

Между озерами Линдерман и Беннет было несколько миль сухого пути, и предстояло тащить багаж на плечах. Оставив в лодке только самый легкий груз, Кит и Малыш перегнали ее на озеро Беннет по узкому, но быстрому протоку, соединяющему оба озера, и тут Кит приобрел много познаний в судоходном деле. Багаж пришлось тащить на себе Киту и Малышу. Спраг и Стайн исчезли, и Кит с Малышом, надрываясь, в два дня перенесли его от озера к озеру. Так было и дальше, — Кит и Малыш изнемогали под тяжестью клади, а хозяева шли налегке и вдобавок

требовали, чтобы им угождали.

Полярная зима приближалась и сковывала все, как железом, а путники продвигались вперед медленно, тратя много дней по-пустому. В Уинди-Арм Стайн самовластно отставил Кита от руля и взялся управлять лодкой сам; в результате не прошло и часа, как лодку отнесло на подветренный берег, где яростно бушевали волны. Два дня были потеряны на починку лодки, а когда на третий день утром хозяева и работники вышли на берег, на корме и на носу красовались огромные буквы сделанной углем надписи: Чечако.

Кит улыбнулся, оценив меткость прозвища.

— Я, конечно, умею читать и писать, и я знаю, что чечако значит новичок, но я не настолько образован, чтобы написать такое трудное слово, — заявил Малыш в ответ на обвинение Стайна.

Оба хозяина злобно посмотрели на Кита. Кит промолчал о том, что накануне вечером Малыш попросил его показать, как пишется это слово.

— Их это задело не меньше медвежатины! — радовался Малыш.

Кит усмехнулся. С каждым днем убеждаясь в своих силах, в своей возрастающей ловкости, он все глубже проникался презрением к хозяевам.

Они не только раздражали и возмущали его, но и внушали ему омерзение. Сам он отведал медвежьего мяса, и оно пришлось ему по вкусу; они же отбивали у него всякую охоту к этой еде. Он благодарил Бога, что Бог создал его не похожим на них. Его неприязнь к ним порой доходила до ненависти. Хозяева раздражали Кита не столько своими вечными придирками, сколько своей беспомощностью. Все-таки он принадлежал к закаленному роду старого Исаака Беллью.

— Малыш! — сказал он как-то во время одной из обычных досадных задержек. — Стукнуть бы их веслом по башке и выкинуть за борт.

— Правильно! — согласился Малыш. — Где уж им есть медвежатину! Рыбу им жевать, а не мясо, вонючкам этаким!

III

Первые пороги находились в Ящичном ущелье, следующие — Белая Лошадь — на несколько миль ниже. Ящичное ущелье недаром было так прозвано. Это был захлопнутый ящик, западня. По сторонам его поднимались отвесными стенами скалы, и выйти из него можно было только через пороги. Русло реки сужалось здесь, и вода,

как бешеная, с неистовым ревом мчалась через узкий проход, вздуваясь посередине футов на восемь выше, чем у скалистых берегов. Волны мчащейся реки сталкивались с огромными бурунами, которые клокотали на порогах, не двигаясь с места. Ящичное ущелье пользовалось дурной славой: здесь смерть собирала богатую дань с проезжающих золотоискателей.

Высадившись на крутом берегу, где уже находилось штук двадцать нерешительно выжидающих лодок, Кит и его спутники отправились посмотреть на пороги. Они подползли к карнизу и глянули вниз на кипящий водоворот. Спраг отшатнулся.

— Боже мой! — закричал он. — Да тут не выплывешь!

Малыш многозначительно толкнул Кита локтем и прошептал:

— Трусы несчастные! Бьюсь об заклад, они сдрейфят!

Кит не слушал его. Во время путешествия на лодке он познал упрямство и безжалостность стихии. Ему захотелось помериться с ней силами.

— Нам нужно будет держаться гребня на середине реки, — сказал он. — Если мы отклонимся от него, лодка налетит на скалы…

— И мы даже не узнаем, обо что расшиблись, — докончил Малыш. — Умеешь плавать, Смок?

— Если случится беда, я предпочел бы не уметь плавать: один конец!

— Я тоже так думаю, — мрачно проговорил незнакомец, стоявший рядом с Китом на скале. — Хорошо бы, если бы все это было уже позади!

— А я и за деньги не пропустил бы такого случая! — сказал Кит.

Он говорил вполне искренне, но в то же время ему хотелось подбодрить незнакомца. Постояв немного, Кит направился к лодке.

— Так вы решились? — спросил незнакомец.

Кит кивнул головой.

— А у меня не хватает духу. Я тут торчу уже много часов. Чем дольше я смотрю на реку, тем больше страху нагоняет она на меня. Гребец я плохой, а со мной жена и маленький племянник. Если вам самим удастся благополучно переправиться, не поможете ли вы мне?

Кит вопросительно взглянул на Малыша. Тот молчал.

— С ним жена! — сказал Кит, и ему не пришлось разочароваться в товарище.

— Ладно! — согласился Малыш. — Я и сам думал, что нужно помочь человеку.

Малыш и Кит заторопились, но Стайн и Спраг не двинулись с места.

— Желаю удачи, Смок! — крикнул Спраг. — Я… — он замялся, — я… останусь здесь… посмотрю, как вы справитесь.

— Нам нужно троих в лодке: двоих на веслах и одного на руле! — твердо сказал Кит.

Спраг и Стайн переглянулись.

— Никуда я не поеду, — сказал Стайн. — Если ты не боишься стоять здесь и смотреть, так и я не боюсь.

— А кто боится? — запальчиво спросил Спраг.

Стайн ответил ему с жаром, и пошла перебранка. Кит и Малыш ушли одни.

— Обойдемся и без них! — сказал Кит. — Ты будешь грести, а я сяду на руль. Греби напрямик, и больше никаких! Там будет такой шум, что ты меня не услышишь, а потому помни: грести без передышки и держать прямо!

Они отчалили и вышли на середину реки; течение становилось все более быстрым. Из ущелья доносился грохот. Река спокойно вливалась в ущелье, гладкая, как расплавленное стекло. Когда лодка очутилась между черными скалами, Малыш набил себе рот жевательным табаком и налег на весла. Лодка подскочила на первых

порогах, и гребцы были оглушены ревом клокочущих вод, который удваивало эхо ущелья. Путников окатило холодными брызгами. Порой Кит едва различал Малыша, сидевшего на носу. За две минуты лодка прошла три четверти мили и благополучно примчала их к низкому песчаному берегу.

Малыш выплюнул жвачку — во время опасности он забывал отплевываться — и восторженно крикнул:

— Вот оно, медвежье мясо! Самое настоящее! Признаться, Смок, садясь в лодку, я трусил, как черт. А теперь я за медвежатину! Идем переправим другую лодку!

Возвращаясь по берегу к лодкам, они издали увидели хозяев, которые сверху рассматривали пороги.

— Вот они, рыбоеды, — сказал Малыш. — Сразу завоняло.

IV

Переправив через пороги лодку Брэка — так звали их нового знакомого, — Кит и Малыш познакомились с его женой, худенькой женщиной, похожей на девочку. В ее синих глазах блесте-

ли слезы благодарности. Брэк сделал попытку вручить Киту пятьдесят долларов и, потерпев неудачу, предложил деньги Малышу.

— Чудак человек! — ответил Малыш. — Я приехал в эти места, чтобы выколачивать деньгу из земли, а не из своих же товарищей.

Брэк порылся на дне челнока и вытащил большую оплетенную соломой бутыль виски. Малыш потянулся было к бутылке, но вдруг резко отдернул руку и покачал головой.

— Нет. Впереди еще проклятая Белая Лошадь, — сказал он, — и говорят, она похуже Ящика. Сейчас не время пить!

Проплыв по тихой реке еще несколько миль, все четверо сошли на берег, чтобы посмотреть на новые пороги. Каменная гряда отклоняла здесь стрежень порожистой реки к правому берегу. Мощная масса воды устремлялась в узкий проход между грядой и берегом, неистово вздымая огромные пенистые волны. Смертоносная грива Белой Лошади собирала с проезжающих еще более богатую дань мертвецами. Перед Гривой бушевал бурун, позади Гривы крутился водоворот. Обойти Гриву стороной было невозможно.

— Это почище Ящика, — сказал Малыш.

Чья-то лодка приближалась к порогам. Лодка

была большая, футов тридцать в длину и тяжело нагруженная. В лодке сидели шестеро. Еще не достигнув Гривы, она уже металась и прыгала, пена и брызги то и дело скрывали ее из виду.

Малыш исподлобья глянул на Кита.

— Ей уже здорово достается, хотя все худшее еще впереди. Гребцы сложили весла! Началось. Боже! Пошла ко дну! Нет, вынырнула!

Пенистые валы погребли под собой огромную лодку. Через мгновение она вынырнула и взлетела на волну прямо посреди Гривы. К великому удивлению Кита, над водой показалось даже днище лодки. Мгновение она словно висела в воздухе. Пятеро гребцов в бездействии сидели на скамьях, а шестой во весь рост стоял на корме у руля. Затем лодка снова нырнула и исчезла из глаз. Трижды она ныряла и трижды вновь восставала из пучины. Она благополучно миновала страшную Гриву, и вдруг наблюдавшие с берега увидели, что нос ее попал в водоворот. Рулевой всей тяжестью налег на руль, пытаясь повернуть его. Напрасная попытка! Лодка закружилась в водовороте.

Трижды пронеслась она по кругу, каждый раз так близко от скал, на которых стояли Кит и Малыш, что они могли бы прыгнуть в нее. Ру-

левой, человек с недавно отпущенной рыжей бородкой, махнул им рукой. Единственный путь из водоворота лежал через Гриву. Вероятно, у рулевого закружилась голова, и потому, когда лодку внезапно снова бросило в быстрое течение Гривы, он не успел выпрямить руль. То ныряя, то подскакивая, лодка помчалась вперед, уносимая бешеным течением Гривы. Гигантская водяная воронка втянула ее вглубь. Затем на поверхность всплыли ящики и мешки. Вынырнуло днище перевернутой лодки, и замелькали в воде головы гребцов. Двоим удалось выбраться на берег, а четверых засосала воронка. Доски, тюки, ящики скрылись за поворотом реки. Долго молчали. Первым заговорил Малыш.

— Идем, — сказал он. — Нужно и нам попытать счастья. Если мы еще будем здесь стоять, я просто струшу и сбегу.

— Пора и нам обкуриться! — усмехнулся Кит.

— Хочешь оправдать свое прозвище? — сказал Малыш. — Идете? — спросил он, обращаясь к хозяевам.

Вероятно, рев воды помешал им расслышать его приглашение.

Малыш и Кит, по колено в снегу, вернулись к началу порогов и отвязали лодку. Кита пришпо-

ривала решимость товарища, а также память о том, что старый Исаак Беллью и все другие Беллью не раз совершали подобные подвиги в своем победоносном шествии на Запад. Что сделали они, то может сделать и он! Перед ним было мясо, настоящее сырое мясо, и он радостно думал, что такое мясо по зубам лишь сильным людям.

— Держи прямо на бурун! — крикнул ему Малыш и бросил в рот кусок прессованного табаку, а лодка между тем летела все быстрей, увлекаемая течением к порогам.

Кит кивнул Малышу и изо всех сил налег на руль.

Через несколько минут мокрый до нитки Малыш, причалив к берегу ниже Белой Лошади и выплевывая жвачку, пожимал своему товарищу руку.

— Мясо! Мясо! — ликуя, восклицал Малыш. — Мы едим его сырым! Мы живьем пожираем его.

На берегу они встретили Брэка. Его жена стояла поодаль. Кит обменялся с Брэком крепким рукопожатием.

— Боюсь, ваша лодка здесь не пройдет, — сказал Кит. — Она мала, меньше нашей, и, кажется, очень валкая.

Брэк извлек из кармана пачку кредиток.

— Каждому из вас дам по сотне, если вы переправите лодку.

Кит еще раз взглянул на пенистую гриву Белой Лошади. Мороз крепчал, в рано спустившихся долгих сумерках все вокруг казалось сумрачнее и опасней.

— Не в этом дело! — сказал Малыш. — Нам не нужны ваши деньги. Но мой товарищ собаку съел в гребле, и если он говорит, что ваша лодка не пройдет, значит, так оно и есть.

Кит в подтверждение этих слов кивнул головой, но взгляд его случайно упал на миссис Брэк. Она в упор смотрела на него, и Кит прочел в ее глазах мольбу. Малыш тоже заметил умоляющий взгляд миссис Брэк. Товарищи смущенно переглянулись и промолчали. Повинуясь общему чувству, они кивнули друг другу и зашагали к порогам. Но не успели они пройти и сотни ярдов, как навстречу им попались Стайн и Спраг.

— Куда вы? — спросил Спраг.

— Переправить еще одну лодку, — ответил Малыш.

— Оставьте! Уже темнеет. Вы оба сейчас же пойдете готовить нам ужин.

Возмущение Кита было так велико, что он не сказал ни слова.

— С ним жена! — сказал Малыш.

— Это его дело, — ответил Стайн.

— И мое и Смока! — сказал Малыш.

— А я вам запрещаю! — грубо крикнул Спраг. — Смок, еще один шаг — и вы уволены.

— Ни с места, Малыш! — прибавил Стайн.

— Вы без нас пропадете, — ответил Малыш. — Как вы доставите вашу несчастную лодку в Доусон? Кто будет подавать вам кофе в постель и подстригать вам ногти? Идем, Смок. Они не посмеют рассчитать нас. Кроме того, у нас уговор. Если они нас рассчитают, им придется даром кормить нас целую зиму.

Едва они спустили лодку Брэка на воду и отъехали от берега, как волны стали плескать через борт. Впрочем, это было еще только предвестие того, что ждало их впереди. Малыш, набив рот неизменной жвачкой, весело глянул на Кита, и Кит почувствовал неожиданный прилив нежности к этому человеку, который совершенно не умел плавать и все-таки решился на такое опасное дело.

Пороги клокотали все сильнее, и тучи брызг окружили лодку. В надвигающихся сумерках перед Китом мелькнула Грива, весь извилистый путь бегущего через нее течения. Кит почувство-

вал огромную радость, когда ему удалось ввести лодку в бурлящую Гриву по самой ее середине. В следующую минуту лодка запрыгала на волнах, то ныряя, то взлетая на гребни волн, и Кит изо всех сил налег на руль. Он уже ничего не мог разглядеть в облаке водяной пыли и желал только одного: чтобы дядя видел его в эту минуту. Мокрые насквозь, задыхаясь, они вынырнули ниже Гривы; лодка была полна воды, и легкий багаж плавал на поверхности. Малыш сделал несколько осторожных взмахов веслами — в водовороте лодку подхватило течением, и она мягко коснулась отмели. С высокого берега на них смотрела миссис Брэк. Мольба ее была услышана, и слезы струились из ее глаз.

— Вы обязаны принять деньги, обязаны! — воскликнул, идя навстречу им, Брэк.

Малыш вскочил, лодка накренилась под ним, и он шлепнулся в воду.

— К черту деньги! — сказал Малыш. — Давайте сюда виски! Все уже кончено, а я промочил ноги и боюсь простудиться.

V

На следующее утро лодка Спрага и Стайна отчалила, по обыкновению, одной из последних. Несмотря на то, что Брэк был плохой моряк и что вся его команда состояла лишь из жены и племянника, он давно нагрузил свою лодку и с рассветом пустился в путь. Но Стайн и Спраг не торопились, словно не понимали, что озеро может замерзнуть в любую минуту. Они отлынивали от дела и постоянными придирками мешали Малышу и Киту работать.

— Я теряю всякое уважение к Господу Богу! — богохульствовал Малыш. — Сотворил этакую мразь в человеческом образе.

— Зато с тобой он не промахнулся, — с усмешкой отвечал Кит. — Чем я больше гляжу на тебя, тем больше уважаю Создателя.

— Так, по-твоему, он смастерил меня на совесть? — спрашивал Малыш, смущенный комплиментом.

Их путь лежал через озеро Ле-Барж. В озере не было течения, и если не дул попутный ветер, сорок миль приходилось идти на веслах. Но пора попутных ветров миновала, с севера сорвался

ледяной вихрь и дул прямо в лицо. Озеро вздулось, поднялись огромные волны, было почти невозможно грести. В довершение всех бед пошел снег; весла покрывались слоем льда, и одному из гребцов приходилось беспрестанно сбивать лед топором. Вынужденные приняться за весла, Спраг и Стайн только делали вид, что гребут. Кит хорошо знал, что значит налегать на весла всей тяжестью своего тела, и отлично видел, что хозяева только обмакивают весла в воду.

По прошествии трех часов Спраг бросил весло на дно лодки и заявил, что они должны вернуться в устье реки на ночлег. Стайн поддержал его, и, таким образом, все труды пошли насмарку. На второй и третий день повторились те же бесплодные попытки. В устье реки образовалась целая флотилия, лодок в двести. Каждый день прибывало их сорок — пятьдесят, и только двум или трем удавалось добраться до северо-западного берега озера, не возвращаясь к устью. Озеро вдоль берега стало затягиваться льдом. Лед узкой кромкой охватывал отмели. Озеро должно было замерзнуть в самые ближайшие дни.

— Не будь они такие тряпки, мы перемахнули бы на тот берег, — сказал Кит Малышу на третий день вечером, когда они сушили у огня свои

насквозь промокшие мокасины. — Сегодня уже были бы там, если бы они не заставили повернуть обратно. Стоило поработать еще какой-нибудь час, и нас вынесло бы на западный берег. Наши хозяева беспомощные младенцы.

— Правильно, — согласился Малыш. Он придвинул свои мокасины к огню и задумчиво помолчал. — Послушай, Смок. До Доусона еще не одна сотня миль. Если мы не хотим мерзнуть здесь всю зиму, необходимо что-нибудь предпринять.

Кит взглянул на товарища и ничего не ответил.

— Связались мы с этими младенцами! — ворчал Малыш. — Командовать и швырять деньгами они умеют, а как дойдет до дела, так они и вправду младенцы. Если мы хотим в этом году попасть в Доусон, не надо их слушать.

Они переглянулись.

— Идет! — сказал Кит и подтвердил свое согласие пожатием руки.

Ранним утром, еще задолго до рассвета, Малыш поднял громкий крик.

— Вставайте! — орал он. — Пошевеливайтесь, эй вы там, сони! Получайте свой кофе. Лакайте его поживее! Мы отправляемся в путь!

Ворча и хныча, Стайн и Спраг поднялись на два часа раньше, чем обычно. Ветер стал крепче, лица путников заиндевели, весла отяжелели от льда. Они боролись три, четыре часа — один на руле, один сбивал лед и двое на веслах. По очереди менялись местами. Северо-западный берег все приближался. Но ветер крепчал, и наконец Спраг не выдержал — бросил весло и отказался грести. Малыш схватил весло, хотя его только что сменили.

— А вы сбивайте лед, — сказал он Спрагу, протягивая ему топор.

— Что толку? — захныкал Спраг. — Все равно не доехать. Ворочайте назад!

— Вперед! — закричал Малыш. — Лед обрубайте. А как отдохнете, смените меня на веслах.

Наконец после многочасовых усилий они достигли берега и увидели одни только скалы, о которые хлестал прибой: причалить было невозможно.

— Говорил я вам! — хныкал Спраг.

— Ничего путного вы не говорили! — ответил Малыш.

— Едем обратно!

Кит и Малыш промолчали. Кит повел лодку вдоль негостеприимного берега. Каждый удар

весел подвигал лодку всего лишь на фут вперед, а бывало и так, что два-три удара только-только удерживали ее на месте. Кит старался утешить приунывших хозяев. Он говорил им, что лодки, которым удалось добраться до этого берега, не возвращались. Следовательно, они где-то нашли удобную пристань. Они гребли еще час, еще два.

— Если бы вы всю ту силу, которую нагуляли, попивая кофе в постели, вложили в греблю, мы были бы уже давно на берегу, — подбодрял своих хозяев Малыш. — А то вы только делаете вид, что гребете.

Через несколько минут Спраг бросил весло.

— Не могу больше! — со слезами в голосе сказал он.

— Мы тоже больше не можем! — крикнул Кит, чувствуя, что сейчас расплачется или совершит убийство. — Но мы все-таки идем вперед!

— Мы возвращаемся. Поверните руль.

— Малыш, если он не может грести, возьми у него весла и греби! — приказал Кит.

— Ладно, — отозвался Малыш. — А он пусть сбивает лед.

Но Спраг заявил, что не отдаст весел Малышу. Стайн тоже бросил грести, и лодку понесло назад.

— Поворачивайте, Смок! — скомандовал Спраг.

— Убирайтесь вы к черту! — крикнул Кит, сам себе удивляясь. Первый раз в жизни он обругал человека. — Берите весло и гребите!

Бывают минуты усталости, когда люди забывают обо всем, чему их научила цивилизация, и такая минута наступила. Каждый дошел до предела. Спраг снял перчатку, вытащил револьвер и направил его на рулевого. Это было для Кита еще не изведанным ощущением. Но оказалось, что это вовсе не страшно. Он чувствовал себя как ни в чем не бывало.

— Если вы сейчас же не уберете револьвер, — сказал Кит, — я отниму его у вас и переломаю вам ребра.

— Если вы сейчас же не повернете лодку обратно, — прогремел Спраг, — я пристрелю вас!

Тогда вмешался Малыш. Он бросил скалывать лед и, с топором в руке, встал за спиной Спрага.

— Стреляйте! — сказал Малыш, поднимая топор. — Наконец-то мне представился случай раскроить вам череп. Начинайте увеселение.

— Да это бунт! — вмешался Стайн. — Вы обязаны подчиняться! Вы нанялись!

Малыш повернулся к нему.

— И вы тоже получите по черепу, как только

я расправлюсь с вашим товарищем, слюнтяй поросячий!

— Спраг, — сказал Кит, — опустите револьвер и принимайтесь за греблю. Даю вам тридцать секунд.

Спраг колебался с минуту, затем, истерически смеясь, спрятал револьвер и начал грести.

Еще два часа, дюйм за дюймом, продвигались они вдоль негостеприимных скал, и Кит уже опасался, что сделал большую ошибку, не повернув назад. Еще минута — и он повернул бы руль, но вдруг перед ним открылся узкий проход, шириной около двадцати футов, ведущий в спокойную бухточку, защищенную от ветра. Это была гавань, в которой нашли приют лодки, прибывшие раньше. Путники причалили к отлогому берегу, и пока хозяева в изнеможении лежали в лодке, Кит и Малыш раскинули палатку, развели костер и принялись стряпать.

— Что значит поросячий слюнтяй, Малыш? — осведомился Кит.

— Черт его знает! Не знаю! — ответил Малыш. — Но так или иначе, это название отлично подходит к нему.

Вечером ветер пошел на убыль, стало ясно и холодно. Кофе, налитый в чашку, через минуту

покрылся толстым слоем льда. В восемь часов, когда усталые хозяева, завернувшись в одеяла, уснули крепким сном, Кит пошел посмотреть, в порядке ли лодка.

— Озеро замерзает, — возвестил он. — Вся бухта уже покрыта корочкой льда.

— Что же нам делать?

— Выбора у нас нет. Озеро всегда замерзает первым. А река благодаря быстрому течению не замерзнет еще несколько дней. Если лодка останется хотя бы на один день на озере Ле-Барж, ей придется зимовать здесь.

— Значит, необходимо выехать сегодня? Сейчас же?

Кит утвердительно кивнул головой.

— Вставайте, эй, вы, сони! — заорал Малыш и, не теряя времени, принялся убирать палатку.

Хозяева проснулись и громко застонали. Их одеревенелые мускулы ныли, расставаться со сном было для них мукой.

— Который час? — спросил Стайн.

— Половина девятого.

— Еще темно, — возразил Стайн.

Малыш выдернул несколько шестов, и палатка стала оседать.

— Сейчас не утро! — пояснил он. — Не утро,

а вечер. Вставайте! Озеро покрывается льдом. Нужно сегодня же выбраться отсюда.

Стайн со злым лицом уселся на постели.

— Пусть его замерзает! Мы не тронемся сегодня.

— Ну и не трогайтесь, пожалуйста! А мы со Смоком берем лодку и едем.

— Но вы подрядились…

— Доставить вас в Доусон! — перебил Малыш. — Вот мы и тащим вас в Доусон, разве не так?

И он наглядно подтвердил свои слова, обрушив палатку на головы хозяев.

Ломая тонкий лед маленькой бухты, лодка вошла в озеро, где тяжелая, как стекло, вода оседала на веслах льдом. Вскоре озеро превратилось в густую кашу, в которую с трудом погружались весла. Капавшая с весел вода замерзала в воздухе. Поверхность озера затягивалась тонкой корочкой, и лодка двигалась вперед все медленнее и медленнее.

Впоследствии Кит нередко пытался восстановить в памяти события этой ночи, но это ему никогда не удавалось. «А что чувствовали несчастные Спраг и Стайн?» — думал Кит, вспоминая свои тогдашние муки. Пробиваясь сквозь замерзающую воду, он чувствовал себя так, как

будто борется с лютым морозом и невыносимой усталостью по крайней мере уже тысячу лет.

Наутро лодка стала — и ни с места. Стайн отморозил себе пальцы, Спраг — нос, а у Кита мучительно ныли и щеки и нос, давая ему знать, что мороз не обошел и его. Когда немного рассвело, они огляделись. Всюду, куда хватал взгляд, расстилалась ледяная равнина. Озеро замерзло. Вдали, в какой-нибудь сотне шагов от них, виднелся северный берег. Малыш уверял, что там — устье реки и что он видит воду. Работать были в состоянии только Кит и Малыш. Разбивая веслами лед, они повели лодку дальше. Когда последние силы уже покидали их, быстрое течение реки вдруг подхватило лодку и понесло. Оглянувшись, они увидели, что целая стая выехавших ночью лодок бесповоротно застыла в могучих тисках льда; а они обогнули отмель и направились вниз по течению со скоростью шести миль в час.

VI

День за днем плыли они вниз по быстрой реке, и с каждым днем береговой лед сковывал все большие и большие пространства воды, подби-

раясь к середине реки. Перед тем как лечь спать, они вырубали во льду желоб для лодки и переносили на берег все необходимое для привала. Утром они снова вырубали лодку из свежего льда и тащили ее к воде. Малыш установил в лодке железную печку, и Спраг и Стайн проводили у печки длинные, томительные часы. Они покорились судьбе, не отдавали больше приказаний, и единственным их желанием было — поскорее добраться до Доусона. Малыш, неутомимый веселый пессимист Малыш, не жалея сил, выкрикивал три строчки первого куплета песни, которую он позабыл:

Как аргонавты в старину,

Родной покинув дом,

Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,

За Золотым Руном.

Чем крепче становился мороз, тем чаще пел эту песню Малыш.

Хуталинква, Большой и Малый Лосось несли в Юкон ледяную кашу. Ледяная каша прилипала к бортам лодки, и на ночь, чтобы лодка не оказалась в ледяном кольце, им приходилось вытаскивать ее из воды и ставить на береговой

лед. Утром они снова вырубали лодку из льда и переносили в открытую воду.

Последнюю ночь на берегу они провели между устьями рек Белой и Стюарт. Наутро перед ними открылся Юкон, покрытый снегом во всю свою полумильную ширину, от одного берегового припая до другого. Малыш проклял весь мир не так беззаботно, как проклинал его обычно, и вопросительно глянул на Кита.

— Последняя лодка, которая достигнет Доусона в этом году, будет наша, — сказал Кит.

— В реке ни капли воды, Смок.

— Так двинемся по льду. Идем!

Спраг и Стайн, несмотря на свои протесты, были посажены в лодку. Не меньше получаса Кит и Малыш прорубали топорами путь через прибрежный лед к быстро несущейся, но уже замерзавшей воде. Когда им удалось пробиться, плавучий лед проволок лодку ярдов сто вдоль берегового припая, ободрав верхний край одного из бортов и чуть не потопив ее. Затем они попали в излучину течения, которое понесло их прочь от берега. Они старались выбраться на середину реки. Ледяная каша вокруг них затвердевала в крупные льдины.

Полыньи, где плавал мелкий лед, смерзались

у них на глазах. Упираясь веслами в лед, порою выскакивая на плывущие льдины и руками протаскивая лодку вперед, они через час достигли середины реки. А через пять минут лодка остановилась, скованная ледяным кольцом. Река затвердевала на ходу. Глыба примерзала к глыбе, и лодка оказалась в центре огромной льдины в семьдесят пять футов диаметром. Они двигались вперед то боком, то кормой, а вокруг вода поминутно разрывала свои оковы, чтобы сразу же попасть в другие, еще более прочные. Часы шли, Малыш топил печурку, стряпал и распевал свою боевую песню.

Наступила ночь, и после долгих бесплодных стараний подвести лодку к берегу они беспомощно понеслись вперед сквозь тьму.

— А что, если мы уже проскочили Доусон? — спросил Малыш.

— Придется возвращаться пешком, — ответил Кит, — если только нас не раздавят льды.

Небо было ясное, и в мерцающем свете холодных звезд они различали на берегу смутные очертания гор. В одиннадцать часов они услышали впереди глухой, раскатистый грохот. Льдины замедлили ход; глыбы наталкивались друг на дружку, трещали и разбивались. Огромная глы-

ба, вздернутая на дыбы, наскочила на льдину, к которой была припаяна лодка, раскололa лодку пополам и, скользнув, утащила одну половину с собой. Другая половина не потонула, она удержалась на старой льдине, но на мгновение они увидели рядом черную воду. Река остановилась. Через полчаса она собралась с силами и снова двинулась. Движение продолжалось не больше часа, потом льды опять сомкнулись. Собравшись с силами, река еще раз сбросила оковы и вновь помчалась вперед. Они увидели огоньки на берегу: река стала окончательно — теперь уже на шесть месяцев.

На берегу в Доусоне собрались любопытные — поглазеть на ледостав, и из темноты к ним долетала боевая песня Малыша:

Как аргонавты в старину,

Родной покинув дом,

Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,

За Золотым Руном.

VII

Три дня работали Кит и Малыш, перетаскивая полторы тонны груза с середины реки в дом на высоком берегу Доусона, купленный Спрагом и Стайном. В сумерки, когда работа была окончена, Спраг пригласил Кита к себе в теплую комнату. Снаружи термометр показывал шестьдесят пять градусов ниже нуля.

— Месяц еще не кончился, Смок, — сказал Спраг. — Но вот вам ваши деньги сполна. Счастливого пути!

— А уговор? — воскликнул Кит. — Вам известно, что здесь голод. Даже на приисках нельзя найти работу, если нет своего продовольствия. Наш уговор…

— Не помню никакого уговора! — перебил Спраг. — Может быть, вы помните какой-нибудь уговор, Стайн? Мы наняли вас на месяц. Вот вам деньги. Распишитесь в получении.

У Кита потемнело в глазах. Он сжал кулаки. Спраг и Стайн шарахнулись от него. Но Кит ни разу в жизни никого не ударил, к тому же он чувствовал себя настолько сильнее Спрага, что постыдился его ударить.

Малыш заметил его колебания и вмешался.

— Послушай, Смок, — сказал он. — Я тоже ухожу от этих молодцов. Неохота мне оставаться у них. Будем держаться друг друга. Ладно? Бери одеяла и отправляйся в «Олений Рог». Жди меня там. Я соберу свои пожитки, получу с наших хозяев что следует, а потом они с меня получат что следует. Моряк я неважный, но теперь, когда мы на твердой земле, я от тебя не отстану.

Через полчаса Малыш появился в салуне «Олений Рог», где его ждал Кит. Руки его и одна щека были в крови, и Кит понял, что Спраг и Стайн действительно получили что следует.

— Жаль, что ты не видал нашей схватки! — весело говорил Малыш. — Описать невозможно, что там творилось. Бьюсь об заклад, что ни один из них целую неделю носа на улицу не высунет. А теперь у нас с тобой выбора нет. Жратва стоит полтора доллара фунт. Работы без собственного продовольствия здесь не получить. За фунт лосиного мяса дают по два доллара, да и то не достать. Наших денег хватит на месяц — на харчи и на амуницию, а потом едем на Клондайк, подальше. Если по дороге нам не попадутся лоси, мы пристанем к индейцам. А если через шесть недель мы не набьем пяти тысяч фунтов лосины, я… я готов

вернуться к нашим хозяевам и принести им мои извинения. Согласен?

Кит пожал Малышу руку.

— Ну какой я охотник, — сказал он смущенно.

Малыш поднял свой стакан.

— Ты из тех, кто питается мясом, и я научу тебя.

За золотом на ручей Индианки
I

Два месяца спустя Смок Беллью и Малыш вернулись с охоты на лосей в Доусон и остановились в «Оленьем Роге». Охота была успешно закончена, мясо перевезено в город и продано по два с половиной доллара за фунт; таким образом, у них оказалось на руках три тысячи долларов золотым песком и хорошая упряжка собак. Им повезло. Несмотря на то что толпы золотоискателей загнали дичь за сто миль от Доусона, в горы, Киту и Малышу, не пройдя и пятидесяти миль, удалось в узком ущелье затравить четырех лосей.

Откуда взялись эти лоси — так и осталось загадкой, так как в тот же день, незадолго до встречи с лосями, четыре изголодавшихся индейских семейства жаловались охотникам, что они не

встретили никакой дичи на протяжении трехдневного пути. Часть своей добычи охотники отдали в обмен на упряжку издыхающих с голоду собак; после недельной хорошей кормежки Смок и Малыш запрягли собак и перевезли мясо на изголодавшийся рынок Доусона.

Теперь перед охотниками стояла задача — превратить золотой песок в еду. Мука и бобы стоили полтора доллара фунт, но самое трудное было найти человека, готового продать их. Доусон задыхался в тисках голода. Сотни людей с полными карманами, но пустыми желудками принуждены были покинуть город. Многие уплыли вниз по реке еще до ледостава; другие, захватив последние свои запасы, отправились пешком по льду в Дайю — за шестьсот миль от Доусона.

Смок встретился с Малышом в жарко натопленном салуне. Малыш сиял.

— Жизнь никуда не годится без виски и сахара, — изрек Малыш вместо приветствия, срывая с заиндевелых усов кусочки льда и бросая их на пол. — Я только что раздобыл восемнадцать фунтов сахара. Чудак спросил всего только по три доллара за фунт. Ну а у тебя как дела?

— Я тоже не терял времени даром, — гордо ответил Смок. — Я закупил пятьдесят фунтов

муки. И приезжий с Адамова ручья обещал мне доставить еще пятьдесят фунтов завтра.

— Отлично! Мы великолепно проживем до вскрытия реки. Послушай, Смок, какие у нас чудесные собаки! Скупщик предлагал мне по двести за морду, хотел купить пятерых. Но я ответил, что он напрасно старается. Собачки у нас хоть куда! Мясо пошло им впрок, хотя не очень-то весело скармливать собакам провизию по два с половиной доллара фунт. Давай выпьем! Нужно спрыснуть мою добычу: восемнадцать фунтов сахара!

Через несколько минут, отвешивая золотой песок за выпитое виски, Малыш хлопнул себя по лбу.

— Совсем из головы вон! Ведь я сговорился встретиться в «Тиволи» с одним молодцом. Он продает порченую грудинку по полтора доллара за фунт. Я возьму несколько фунтов для наших собачек, и мы сэкономим на их харчах доллар в день. Прощай!

Только что ушел Малыш, как в двойных дверях появился закутанный в меха человек. Увидев Смока, он радостно заулыбался, и Смок узнал мистера Брэка — того самого, чью лодку он переправил через Ящичное ущелье и пороги Белой

Лошади.

— Я узнал, что вы в городе, — торопливо заговорил Брэк, пожимая руку Смока, — и вот уже полчаса разыскиваю вас. Пойдемте отсюда, мне надо поговорить с вами наедине.

Смок бросил печальный взгляд на гудящую, раскаленную докрасна печку.

— А здесь нельзя?

— Нет, дело важное. Идемте во двор.

Выходя из салуна, Смок снял рукавицу, чиркнул спичкой и осветил термометр, висевший снаружи у двери. Мороз обжег ему руку, и он поспешно натянул рукавицу. В небе дугой раскинулось северное сияние. Над Доусоном стоял заунывный вой многих тысяч псов.

— Сколько? — спросил Брэк.

— Шестьдесят ниже нуля. — Кит плюнул для пробы, и плевок замерз в воздухе, не долетев до земли. — Термометр трудится вовсю. Падает и падает. Час назад было всего пятьдесят два градуса. Я не хотел бы теперь очутиться в дороге!

— А я затем и пришел, чтобы позвать вас в дорогу! — прошептал Брэк, пугливо озираясь вокруг. — Вы знаете ручей Индианки? Он впадает в Юкон на том берегу, в тридцати милях отсюда.

— Там нет ничего! — возразил Смок. — Эту ре-

чушку исследовали уже много лет назад.

— Другие богатые реки тоже были исследованы, и однако… Слушайте! Это богатейшее место! И золото лежит неглубоко: от восьми до двадцати футов глубины — рыть недолго! Там не будет ни одного участка, который дал бы меньше полумиллиона. Это величайшая тайна. Я узнал об этом от моих ближайших друзей и тогда же сказал жене, что перед уходом непременно разыщу вас. Прощайте. Инструменты мои зарыты в песке на берегу. Я обещал друзьям не выезжать, пока не уснет весь город. Сами знаете, что все пойдет к чертям, если хоть кто-нибудь выследит, куда мы едем. Берите своего товарища — и айда! Не забудьте: ручей Индианки. Третий после Шведского ручья!

II

Войдя в хижину на окраине Доусона, Смок услышал знакомый храп.

— Спать, спать, ложись спать! — пробурчал Малыш, когда Смок взял его за плечо. — Я не в ночной смене, — забормотал он, когда Смок стал настойчивее. — Расскажи о своих заботах буфетчику.

— Натягивай штаны! — сказал Смок. — Нам нужно сделать две заявки.

Малыш уселся на постели, собираясь разразиться проклятиями, но Смок закрыл ему рот рукой.

— Тсс, тише! — прошептал Смок. — Тут дело не маленькое. Не разбуди соседей. Весь город спит.

— Знаю я твои секреты! — сказал Малыш. — Никто никому ничего не рассказывает, а потом все встречаются на дороге. Где же твое сокровище?

— Ручей Индианки, — продолжал шептать Смок. — Дело верное. Эти сведения у меня от Брэка. Золото лежит неглубоко, чуть не под самым мхом. Вставай! Мы пойдем налегке.

Малыш закрыл глаза и снова погрузился в сон. Смок сдернул с него одеяла.

— Не хочешь — не надо. Я иду один, — сказал он.

Малыш начал одеваться.

— Собак возьмем с собой? — спросил он.

— Нет. Вряд ли там есть дорога, и мы скорее доберемся без собак.

— Тогда я задам им корму, чтобы они не подохли до нашего возвращения. Не забудь захватить березовой коры и свечу.

Малыш открыл дверь и, обожженный морозом, поспешил опустить наушники и надеть

рукавицы.

Через пять минут он вернулся, потирая нос.

— Смок, право же, я против этого похода. Воздух холоднее, чем были крюки в аду за тысячу лет до того, как черти развели огонь. Кроме того, сегодня пятница и тринадцатое. Верно тебе говорю, не будет нам удачи.

Захватив небольшие походные сумки, они закрыли за собой дверь и стали спускаться с холма. Северное сияние погасло, и им пришлось идти в темноте, при неверном свете мигающих звезд. На повороте тропинки Малыш оступился, провалился по колено в сугроб и стал проклинать тот день, месяц и год, когда он родился на свет.

— Неужели ты не можешь помолчать? — сердитым шепотом проговорил Смок. — Оставь календарь в покое! Ты разбудишь весь город.

— Хо! Видишь свет в этом окне? И там, повыше! Слышишь, как хлопнула дверь? Разумеется, Доусон спит! Огни? Это безутешные родственники плачут над своими покойниками. Нет, нет, никто не собирается в поход.

Когда они сошли с горы и были уже почти в самом городе, огни мелькали во всех окнах, всюду хлопали двери и раздавался скрип многих мокасин по утоптанному снегу.

Малыш снова нарушил молчание:

— Черт возьми, сколько тут похорон разом!

На тропинке стоял человек и повторял громким встревоженным голосом:

— Ох, Чарли! Шевелись! Скорее!

— Заметил тюк у него за спиной? Наверное, кладбище не близко, если факельщикам приходится брать с собой одеяла.

Когда Смок и Малыш вышли на главную улицу города, за ними уже шли вереницей человек сто, и пока они при обманчивом свете звезд с трудом разыскивали узенькую тропинку, ведущую к реке, сзади собиралось все больше и больше народа. Малыш поскользнулся и с высоты тридцати футов скатился в мягкий снег. Смок покатился туда же и упал на Малыша, который барахтался в снегу, пытаясь встать на ноги.

— Я нашел первый! — пробурчал Малыш, снимая рукавицы и вытряхивая из них снег.

Через минуту им пришлось бежать от лавины тел, сыпавшихся на них сверху. Во время ледостава здесь образовался затор, и нагроможденные друг на дружку льдины были теперь коварно прикрыты снегом. Смок, уставший падать и ушибаться, вытащил свечу и зажег ее. Люди, шедшие сзади, приветствовали неожиданный свет

шумными возгласами одобрения. В морозном безветренном воздухе свеча горела ярко, и Смок пошел быстрее.

— Все они спешат за золотом, — сказал Малыш. — Или, может, это просто лунатики?

— Во всяком случае, мы во главе процессии! — сказал Смок.

— Неизвестно! Видишь огни? Что же это, потвоему, светлячки? Погляди. Уверяю тебя, вперед нас целая вереница таких процессий.

Весь путь по торосам до западного берега Юкона был усеян огоньками, а позади, на высоком берегу, с которого они только что спустились, огней было еще больше.

— Нет, Смок, это не поход за золотом, это исход евреев из Египта. Впереди, должно быть, не меньше тысячи человек и сзади не меньше десяти тысяч. Слушайся старших, Смок, я пропишу тебе правильное лекарство. Чует мое сердце — ничего хорошего из этого не выйдет. Идем домой и ляжем!

— Побереги легкие, если не хочешь отстать, — оборвал его Смок.

— Ноги у меня, правда, короткие, но они сгибаются сами собой, и потому мускулы мои не знают усталости. Бьюсь об заклад, что я перегоню

любого из здешних скороходов…

Смок знал, что Малыш не хвастает. Он давно убедился в том, что его друг великолепный ходок.

— Я нарочно иду медленно, чтобы ты, бедненький, не отставал от меня, — поддразнивал Смок.

— Вот потому-то я и наступаю тебе на пятки. Если не можешь идти быстрее — пусти меня вперед.

Смок пошел быстрее и скоро нагнал ближайшую кучку золотоискателей.

— Вперед, вперед, Смок! — торопил Малыш. — Обгони этих непогребенных покойников. Тут тебе не похороны. Живо! Чтобы в ушах свистело!

В этой группе Смок насчитал восьмерых мужчин и женщин. Вскоре здесь же, среди торосов, они обогнали и вторую группу — человек двадцать. В нескольких футах от западного берега тропа сворачивала к югу. Торосы сменились гладким льдом. Но этот лед был покрыт слоем снега в несколько футов толщины. Санная колея не шире двух футов узкой лентой извивалась впереди. Стоило шагнуть в сторону — и провалишься в глубокий снег. Золотоискатели, которых они обгоняли, неохотно пропускали их вперед, и Смоку с Малышом часто приходилось сворачивать в

сугроб и вязнуть в глубоком снегу.

Малыш был угрюм и неукротимо зол. Когда люди, которых он толкал, ругали его, он не оставался у них в долгу.

— Куда ты так торопишься? — сердито спросил один.

— А ты куда? — ответил Малыш. — Вчера с Индейской реки двинулась куча народу. Все они доберутся до места раньше тебя, и тебе ничего не останется.

— Если так, тебе тем более незачем торопиться!

— Кому? Мне? Да ведь я не за золотом! Я чиновник. Иду по служебному делу. Бегу на ручей Индианки, чтобы произвести там перепись.

— Эй ты, малютка? Куда спешишь? — окликнул Малыша другой. — Неужели ты и вправду надеешься сделать заявку?

— Я? — ответил Малыш. — Да я тот самый и есть, который открыл золотую жилу на ручье Индианки. Теперь иду приглядеть, чтобы никто из проклятых чечако не отнял у меня моего участка.

В среднем золотоискатели по ровной дороге проходили три с половиной мили в час. Смок и Малыш — четыре с половиной. Иногда они

делали короткие перебежки и тогда двигались еще быстрее.

— Я решил оставить тебя без ног, — сказал Смок.

— Ну, это ты врешь! — отозвался Малыш. — Я и без ног могу так зашагать, что у твоих мокасин через час отлетят подметки. Хотя куда нам торопиться, право, не знаю. Я вот иду и прикидываю в уме. Каждая заявка на ручье пятьсот футов. Допустим, что на каждую милю будет по десяти заявок. Впереди шагает не меньше тысячи человек, а весь ручей не длиннее ста миль. Вот и считай, сколько народа останется с носом. В том числе и мы с тобой.

Прежде чем ответить Малышу, Смок неожиданно пошел быстрее и сразу же опередил своего спутника шагов на десять.

— Если бы ты помалкивал да прибавил бы шагу, мы живо обогнали бы кое-кого из этой тысячи идущих впереди, — сказал Смок.

— Кто? Я? Пусти меня вперед, и я тебе покажу, что значит ходить по-настоящему.

Смок рассмеялся и снова перегнал Малыша. Теперь эта погоня за золотом представилась ему в новом свете. Ему припомнились известные слова одного безумного философа о переоценке ценно-

стей. И в самом деле: в эту минуту ему гораздо важнее было перегнать Малыша, чем найти целое состояние. Он пришел к заключению, что в игре самое важное — игра, а не выигрыш. Все силы его души, его ума, его мускулов были направлены только на то, чтобы победить этого человека, который за всю свою жизнь не прочел ни единой книги и не мог бы отличить визга шарманки от оперной арии.

— Погоди, Малыш, я тебя доконаю. С тех пор как я ступил на берег в Дайе, каждая клеточка моего тела переродилась. Мясо у меня жилистое, как клубок струн, и горькое, как яд гремучей змеи. Несколько месяцев назад я бы многое отдал, чтобы выдумать такую великолепную фразу, но не мог. А теперь она пришла сама собой, потому что я ее выстрадал. И когда я ее выстрадал, мне незачем стало ее писать. Я теперь настоящий мужчина и могу дать хорошую трепку всякому, кто заденет меня. Так и быть, пропускаю тебя вперед на полчаса. Сделай что можешь. А потом вперед пойду я и покажу тебе, как надо ходить.

— Ну, теперь держись, — добродушно посмеивался Малыш. — Прочь с дороги ты, молокосос, и поучись у старших.

Каждые полчаса они сменяли друг друга,

устанавливая по очереди рекорд быстроты. Разговаривали они мало. Им было тепло, потому что они шли быстро, но дыхание застывало у них на губах. Они почти беспрерывно терли рукавицами нос и щеки. Достаточно было не растирать лицо одну минуту, как щеки и нос начинали неметь, и требовался новый энергичный массаж, чтобы ощутить обжигающее покалывание вернувшегося кровообращения.

Часто им казалось, что они уже обогнали всех, но впереди неизменно обнаруживались путники, вышедшие из города раньше. Некоторые пытались не отставать от Смока и Малыша, но это никому не удавалось, и, пройдя милю или две, обескураженные соперники постепенно терялись во тьме позади.

— Мы всю зиму в дороге, — объяснял Малыш, — а они раскисли, сидя возле печки, и туда же — хотят состязаться с нами! Другое дело, если бы они были настоящие старатели. Настоящий старатель умеет ходить.

Смок зажег спичку и посмотрел на часы. Больше он не повторял этого: мороз с такой злостью накинулся на его пальцы, что прошло полчаса, прежде чем они согрелись.

— Четыре часа, — сказал он, надевая рукави-

цы. — Мы обогнали уже триста человек.

— Триста тридцать восемь, — поправил Малыш. — Я считал. Эй вы там, уступите дорогу! Дайте возможность идти тому, кто умеет ходить.

Это относилось к выбившемуся из сил человеку, который еле плелся впереди, загораживая дорогу. Этот да еще такой же были единственными неудачниками, которые попались им на пути, потому что Смок и Малыш двигались почти впереди всех. Об ужасах этой ночи они узнали только впоследствии. Обессиленные люди садились в снег, чтобы отдохнуть немного, и больше уже не вставали. Насмерть замерзли только семеро, но сколько ампутаций ног, рук, пальцев было произведено в доусонских больницах на следующий день! Ночь великого похода на ручей Индианки была самая холодная за всю эту зиму. На рассвете спиртовые термометры Доусона показывали семьдесят пять градусов ниже нуля. Участники того похода были большей частью новички и не имели представления о том, что такое мороз.

Через несколько шагов наши путники обогнали еще одного ходока, выбывшего из строя. Северное сияние, яркое, как прожектор, охватило полнеба, от горизонта до зенита. Он сидел у дороги на глыбе льда.

— Вперед, сестрица! — весело крикнул ему Малыш. — Шевелись, а не то замерзнешь.

Человек ничего не ответил. Путники остановились, чтобы выяснить, отчего он молчит.

— Твердый, как кочерга, — объявил Малыш. — Толкни его, и он переломится пополам.

— Дышит ли он? — Смок снял рукавицу и сквозь мех и фуфайку попытался нащупать сердце.

Малыш открыл одно ухо и приложил его к оледенелым губам человека.

— Не дышит, — сказал он.

— Сердце не бьется, — сказал Смок.

Смок натянул рукавицу и долго хлопал рука об руку, прежде чем решился снова снять рукавицу и зажечь спичку. На льдине сидел мертвый старик. При беглом свете спички они разглядели длинную седую бороду, превратившуюся в ледяную сосульку, щеки, побелевшие от холода, закрытые глаза, слипшиеся, опушенные снегом ресницы. Спичка догорела.

— Идем, — сказал Малыш, потирая ухо. — Покойнику ничем не поможешь. А я отморозил ухо. Теперь слезет кожа, и оно будет ныть целую неделю.

Несколько минут спустя, когда пылающая лента на горизонте неожиданно брызнувшим светом

озарила все небо, они увидели на льду, далеко впереди, две быстро шагающие фигуры. Кроме них, кругом не было ни одной живой души.

— Те двое — впереди всех, — сказал Малыш, когда снова спустилась тьма. — Идем скорее, перегоним их.

Но прошло полчаса, а Смок и Малыш все еще не нагнали двоих впереди. Малыш уже не шел, а бежал.

— Догнать мы их догоним, но перегнать все равно не удастся! — задыхаясь, проговорил Малыш. — Ну и шагают! Это тебе не чечако! Готов поклясться, это здешние старожилы.

Они нагнали быстроногих ходоков, когда впереди был Смок. И Смок с удовольствием пристроился к ним сзади. У него вдруг явилась уверенность, что та из закутанных фигур, которая ближе к нему, женщина. Откуда взялась эта уверенность, он не знал. Женщина была вся закутана в меха, и все-таки что-то знакомое почудилось Смоку. Когда снова вспыхнуло северное сияние, Смок успел разглядеть маленькие ножки в мокасинах и узнал походку, которую, раз увидав, невозможно забыть.

— Здорово шагает, — хрипло произнес Малыш. — Пари держу, что она индианка.

— Здравствуйте, мисс Гастелл! — сказал Смок.

— Здравствуйте! — ответила она, повернув голову и бросив на него быстрый взгляд. — Темно. Я ничего не вижу. Кто вы?

— Смок.

В морозном воздухе раздался смех, и Смок почувствовал, что ни разу в жизни не слышал такого очаровательного смеха.

— Ну как? Женились? Воспитываете детей, как тогда обещали? — И, прежде чем он успел ответить, она продолжала: — Много ли чечако плетутся за вами?

— Несколько тысяч. Мы перегнали больше трехсот. И они не теряют времени.

— Старая история! — горько вздохнула девушка. — Пришлые люди занимают самые богатые русла, а старожилы, которые так мужественно, с такими страданиями создали эту страну, остаются ни с чем. Ведь они нашли золото на Индианке и дали знать старожилам Морского Льва. Как об этом пронюхали все, неизвестно. Морской Лев на десять миль дальше Доусона, и когда старожилы придут на ручей Индианки, весь он будет занят доусонскими чечако. Это несправедливо, возмутительно.

— Да, это скверно, — согласился Смок. — Но,

право же, с этим ничего не поделаешь. Кто первый пришел, тот и нашел.

— А все-таки я хотела бы что-нибудь предпринять! — с жаром воскликнула она. — Я буду рада, если все они замерзнут в дороге или что-нибудь ужасное случится с ними, только бы старожилы Морского Льва пришли раньше!

— Однако вы не очень любите нас! — рассмеялся Смок.

— Ах нет, совсем не то! — торопливо сказала она. — Но я знаю всех в Морском Льве, каждого человека, и какие это люди! Сколько голодали они в этом краю и как геройски работали! Вместе с ними мне пришлось пережить тяжелые времена на Коюкуке, когда я была совсем маленькой девочкой. Мы вместе голодали на Березовом ручье и на Сороковой Миле. Это герои, которые заслужили награду. А тысячи желторотых новичков обгоняют их и оставляют ни с чем. Ну, я умолкаю и прошу вас не сердиться на меня. Нужно беречь дыхание, а то вы и ваши обгоните меня и отца.

В течение часа Джой и Смок не сказали друг другу ни слова, но он видел, что девушка изредка перешептывается с отцом.

— Я узнал его, — сказал Малыш Смоку. — Этот Льюис Гастелл из настоящих. А девушка — его

дочь. Он пришел сюда в незапамятные времена и привез с собой девочку, грудного ребенка. Это он вместе с Битлсом пустил первый пароход по Коюкуку.

— Нам незачем обгонять их, — сказал Смок. — Нас только четверо.

Малыш согласился с ним, и они еще час шагали в полном молчании. В семь часов утра, при последней вспышке северного сияния, они увидели широкий проход между гор.

— Ручей Индианки! — воскликнула Джой.

— Чудеса! — воскликнул Малыш. — А по моим расчетам выходило, что мы придем сюда только через полчаса. Ну и быстро же мы бежали.

Здесь дорога, ведущая по Юкону к Дайе, поворачивала в обход торосов к восточному берегу. Им пришлось сойти с хорошо накатанной дороги и шагать между льдин по едва заметной тропинке, бегущей вдоль западного берега.

Льюис Гастелл, шедший впереди, вдруг поскользнулся в темноте на неровном льду и сел, схватившись обеими руками за лодыжку. Он с трудом поднялся на ноги и, прихрамывая, медленно заковылял. Через несколько минут он остановился.

— Не могу идти дальше, — сказал он дочери. —

Я растянул себе сухожилие. Иди одна и сделай заявку за нас обоих.

— Не можем ли мы вам помочь? — спросил Смок.

Льюис Гастелл покачал головой.

— Ей нетрудно застолбить два участка. А я поднимусь на берег, разведу костер и перевяжу себе ногу. Обо мне не беспокойтесь. Иди, Джой, застолби участок выше «Находки». Выше почва богаче.

— Возьмите хоть бересты, — сказал Смок, разделив свой запас на две равные части. — Мы позаботимся о вашей дочери.

Льюис Гастелл хрипло рассмеялся.

— Благодарю вас, — сказал он. — Она и сама о себе позаботится. Лучше вы идите за ней. Она вам покажет дорогу.

— Вы позволите мне идти впереди? — спросила она Смока. — Я знаю этот край лучше, чем вы.

— Ведите нас, — галантно ответил Смок. — Я с вами согласен: возмутительно, что мы, чечако, обгоняем жителей Морского Льва. А нет ли здесь какой-нибудь другой дороги, чтобы от них избавиться?

Она покачала головой.

— Если мы пойдем другой дорогой, они все равно, как стадо, побегут за нами.

Пройдя четверть мили, она вдруг круто повернула к западу, и Смок заметил, что они теперь идут по девственному снегу. Однако ни он, ни Малыш не обратили внимания на то, что едва заметная тропинка, по которой они шли, попрежнему ведет на юг. Если бы они видели, что сделал Льюис Гастелл, оставшись один, вся история Клондайка приняла бы, пожалуй, другой оборот. Старик, нисколько не хромая, побежал за ними, низко наклонив голову, как собака, бегущая по следу. Он старательно утоптал и расширил поворот в том месте, где они свернули на запад, а сам зашагал вперед по старой дороге, ведущей к югу.

Тропинка вела вверх по ручью, но она была так мало заметна, что несколько раз они сбивались с пути. Через четверть часа Джой почему-то выразила желание идти сзади и пропустила обоих мужчин вперед поочередно прокладывать путь по снегу. Они двигались теперь так медленно, что золотоискатели, шедшие по их следам, стали догонять их: к девяти часам, когда стало светать, за ними тянулся огромный хвост. Темные глаза Джой засверкали.

— Сколько времени мы идем по этому ручью? — спросила она.

— Два часа, — ответил Смок.

— Да два часа на обратную дорогу! Итого четыре, — сказала она и засмеялась. — Старожилы Морского Льва спасены!

Смутное подозрение пронеслось в голове Смока. Он остановился и посмотрел на девушку.

— Я не понимаю, — сказал он.

— Что ж, я вам объясню. Это Норвежский ручей. Ручей Индианки — следующий к югу.

Смок на мгновение онемел.

— И вы это сделали намеренно? — спросил Малыш.

— Да, намеренно, для того чтобы старожилы выиграли время.

Она засмеялась. Смок взглянул на Малыша, и они оба захохотали.

— Если бы женщины не были такой редкостью в этой стране, — сказал Малыш, — я перекинул бы вас через колено и высек.

— Значит, ваш отец не растянул себе жилу, а просто подождал, пока мы скроемся из виду, и пошел дальше? — спросил Смок.

Она кивнула.

— И вы заманили нас на ложный путь?

Она снова кивнула, и Смок весело захохотал. Это был смех человека, открыто признававшего

себя побежденным.

— Почему вы на меня не сердитесь? — обиженно спросила она. — Или… не побьете меня?

— Надо возвращаться, — сказал Малыш. — У меня ноги мерзнут, когда мы стоим.

Смок покачал головой.

— Значит, мы даром потеряли четыре часа. Я предлагаю идти вперед. Мы прошли вверх по этому Норвежскому ручью миль восемь, и когда посмотришь назад, видно, что мы довольно круто повернули к югу. Если мы пойдем прямо и перемахнем через водораздел, мы выйдем на ручей Индианки где-нибудь повыше «Находки». — Он посмотрел на Джой. — Не пойдете ли и вы? Я обещал вашему отцу смотреть за вами.

— Я… — она колебалась, — я пойду с вами, если вы ничего не имеете против. — Она смотрела ему прямо в глаза и больше уже не смеялась. — Право, мистер Смок, вы заставили меня пожалеть о том, что я сделала. Но ведь должен же был кто-нибудь защитить интересы старожилов?

— Я понял, что поход за золотом — это, в сущности, спортивное состязание.

— А я поняла, что вы оба хорошие спортсмены, — сказала она со вздохом и прибавила: — Как жаль, что вы не старожилы!

В продолжение двух часов они шли по замерзшему руслу Норвежского ручья, а потом повернули к югу по узкому извилистому притоку. В полдень они стали взбираться на перевал. Позади тянулась длинная цепь золотоискателей, шедших по их следам. Кое-где с привалов поднимались уже тонкие струйки дыма.

Идти было трудно. Они брели по пояс в снегу и часто останавливались, чтобы перевести дух. Малыш первый взмолился об отдыхе.

— Мы уже целых двенадцать часов в пути, — сказал он. — Я устал. Вы тоже. Я чертовски голоден и готов, как индеец, закусить сырой медвежатиной. А эта бедная девушка свалится с ног, если не поест чего-нибудь. Надо разложить костер. Что скажете?

Они так быстро, ловко и так методически принялись устраивать временную стоянку, что Джой, недоверчиво следившая за ними, должна была признать, что и старожилы не справились бы лучше. Из еловых веток и одеял был сооружен шалаш. Путники не подошли к огню, пока не растерли докрасна своих щек и носов.

Смок плюнул в воздух. Через секунду раздался звон упавшей льдинки.

— Я сдаюсь, — сказал он. — Никогда еще я не

видал такого мороза.

— Была одна зима на Коюкуке, когда мороз достиг восьмидесяти шести градусов, — заметила Джой. — Сейчас, должно быть, не меньше семидесяти или семидесяти пяти. Я чувствую, что отморозила себе щеки. Они горят как в огне.

Здесь, на горном склоне, не было льда. Поэтому они положили в таз твердого, зернистого, как сахар, снегу и сварили кофе. Смок жарил свинину и подогревал сухари, чтобы они оттаяли. Малыш поддерживал огонь. Джой расставила две тарелки, две кружки, жестянку со смесью соли и перца и жестянку с сахаром. Она и Смок ели из одной тарелки и пили из одной кружки.

Было уже около двух часов, когда они стали спускаться и попали на какой-то приток ручья Индианки. Джой, которая теперь хотела, чтобы ее спутники сделали заявки, боялась, что из-за нее они идут медленно, и потребовала пропустить ее вперед. Она шла так быстро и ловко, что Малыш пришел в восторг.

— Посмотрите на нее! — воскликнул он. — Вот это женщина! Смотрите, как мелькают ее мокасины. У нее нет высоких каблуков! Она пользуется ногами, дарованными ей природой. Да, она годится в жены бравому охотнику на медведей.

Джой повернула голову и бросила благодарный взгляд, предназначавшийся отчасти и для Смока. И Смок уловил дружеское чувство в этой улыбке и в то же время отметил про себя, сколько женского заключено в этой дружелюбной улыбке.

Дойдя до ручья Индианки, они оглянулись и увидели длинную цепь золотоискателей, с большим трудом тащившихся вниз с перевала.

Они спустились с откоса в русло промерзшего до самого дна ручья; его берега, аллювиального происхождения, доходили до восьми футов в вышину. Лед был покрыт нетронутым снегом, и наши путники поняли, что они сошли в ручей выше «Находки» и выше последних заявок старожилов Морского Льва.

— Не попадите в родник! — крикнула Джой Смоку. — А то при семидесятиградусном морозе вы останетесь без ног.

Эти родники, обычные для Клондайка, не замерзают даже при самых страшных морозах. Они образуют лужи, замерзающие сверху и прикрытые снегом. Вот почему, ступая по сухому снегу, можно неожиданно провалиться в воду по колено. Если в течение пяти минут не переменить промокшую обувь, ноги придется отнимать.

Уже в три часа дня начались долгие серые се-

верные сумерки. Наши спутники стали искать сухое дерево, которое должно было обозначать центральный столб последней заявки. Джой, увлекающаяся и живая, первая увидела его. Она побежала вперед и закричала:

— Здесь уже кто-то был! Посмотрите на снег! Вот зарубка на этой елке!

И вдруг по пояс провалилась в снег.

— Я попалась! — жалобно закричала она. — Не подходите ко мне. Я сама выберусь.

Шаг за шагом, проламывая тонкую корочку льда, прикрытую сухим снегом, она выбралась на более прочный лед. Смок, не теряя времени, побежал на берег в кусты, куда весенние ручьи нанесли много валежника. Этот валежник, казалось, только ждал спички, чтобы вспыхнуть. Когда Джой подошла к Смоку, костер уже разгорался.

— Сядьте! — скомандовал он.

Она послушно села в снег. Он сбросил мешок со спины и постлал ей под ноги одеяло.

Сверху донеслись голоса золотоискателей, следовавших за ними.

— Пусть Малыш пойдет вперед и поставит столбы, — посоветовала Джой.

— Иди, Малыш, — сказал Смок, снимая с нее за-

леденевшие мокасины. — Отшагай тысячу футов и поставь два столба. Угловые столбы поставим потом.

Смок перочинным ножом срезал завязки с мокасин Джой. Они так замерзли, что скрипели и визжали под ножом. Сивашские чулки и тяжелые шерстяные носки обледенели. Казалось, будто вся нога вложена в железный футляр.

— Ну, как нога? — спросил он, продолжая работать.

— Я ее не чувствую. Не могу шевельнуть пальцами. Но все обойдется. Огонь чудесно горит. Сами не отморозьте себе рук. Должно быть, пальцы у вас уже онемели.

Он снял рукавицы и стал голыми руками хлопать себя по бедрам. Когда кровообращение в пальцах восстановилось, он снова принялся разувать девушку. Вот обнажилась белая кожа сначала одной, потом другой ноги, предоставленная укусам семидесятиградусного мороза.

Смок с яростью принялся растирать ее ноги снегом. Наконец Джой откинулась, зашевелила пальцами и радостно пожаловалась на боль.

Она подползла с его помощью к огню. Он усадил ее на одеяло — ногами к живительному пламени.

— Теперь сами займитесь своими ногами, — сказал он.

Она сняла рукавицы и стала растирать себе ноги, как бывалая путешественница, следя за тем, чтобы они согревались постепенно. А в это время он согревал руки. Снег не таял и даже не становился влажным. Его легкие кристаллы были тверды, как песчинки. Укусы и уколы кровообращения медленно возвращались в замерзшие пальцы Смока. Он поправил костер, открыл котомку Джой и вынул оттуда запасную пару обуви.

Вернулся Малыш и вскарабкался к ним на берег.

— Я отмерил ровно тысячу футов, — заявил он. — Номера двадцать семь и двадцать восемь. Когда я ставил верхний столб на номере двадцать семь, первый из той кучки, что шла за нами следом, остановил меня и сказал, что я не имею права на двадцать восьмой номер. Но я ответил ему…

— Ну, — закричала Джой, — что вы ему ответили?

— Я ответил ему напрямик, что, если он сейчас же не уберется на пятьсот футов дальше, я превращу его обмороженный нос в сливочное

мороженое и шоколадный пломбир. Он ушел, и я поставил два центральных столба для двух честнейшим образом отмеренных пятисотфутовых участков. Он поставил свой столб по соседству. Я думаю, сейчас ручей Индианки уже поделен весь от истока до устья. Впрочем, наше дело в порядке. Сейчас уже темно и ничего не видно, но завтра можно будет поставить угловые столбы.

III

Наутро погода изменилась. Стало так тепло, что Смок и Малыш, не вылезая из-под одеял, определили температуру в двадцать градусов ниже нуля. Стужа кончилась. Одеяла были покрыты шестидюймовым слоем инея.

— Доброе утро! Как ваши ноги? — через потухший костер обратился Смок к Джой Гастелл, которая сидела в своем спальном мешке и стряхивала с себя снег.

Пока Смок готовил завтрак, Малыш развел костер и принес льду из речки. К концу завтрака совсем рассвело.

— Пойди и поставь угловые столбы, Смок, — сказал Малыш. — Там, где я рубил лед для кофе, я видел песок. Сейчас натоплю воды и промою

лоток этого песку — на счастье.

Смок, взяв топор, пошел ставить столбы. Отойдя от нижнего центрального столба номер двадцать семь, он направился под прямым углом по узкой долинке до ее края. Он шагал машинально, так как ум его был занят воспоминаниями о том, что случилось вчера. Ему казалось, что он каким-то образом приобрел власть не только над нежными очертаниями и крепкими мускулами тех ног, которые он так старательно растирал снегом, но и над всеми женщинами мира. Неясное, но сладостное чувство обладания наполняло его всего. Ему казалось, что он должен сейчас же подойти к Джой Гастелл, взять ее за руку и сказать: «Идем».

И вдруг он сделал открытие, которое заставило его позабыть о власти над белыми женскими ножками. Ему не пришлось поставить углового столба у края долины, ибо он вышел не на край долины, а на другой какой-то ручей. Он приметил высохшую иву и большую одинокую ель и затем вернулся к ручью, где стояли центральные заявочные столбы. Пройдя по руслу, имевшему форму подковы, он убедился, что оба ручья на самом деле один и тот же ручей. Потом он дважды прошел долину поперек — от нижнего столба номер двадцать семь к верхнему столбу

номер двадцать восемь и обратно — и убедился, что *верхний столб последнего находится ниже нижнего столба первого.* Вчера в серых сумерках Малыш сделал две заявки на излучине, имевшей форму подковы!

Смок вернулся назад в лагерь. Малыш только что окончил промывать песок.

— Нам повезло! — закричал он, протягивая таз Смоку. — Смотри! Здесь уйма золота! Не меньше чем на двести долларов. Я еще не видал такого жирного улова.

Смок равнодушно посмотрел на золото, налил себе кружку кофе и сел. Джой почувствовала что-то недоброе и с беспокойством посмотрела на Смока. Малыш был обижен невниманием товарища.

— Почему ты не радуешься? — спросил он. — Ведь тут целое богатство, а ты и посмотреть на него не желаешь.

Прежде чем ответить, Смок отхлебнул глоток кофе.

— Малыш, знаешь ли ты, что наши заявки напоминают Панамский канал?

— Не понимаю.

— Восточный вход в Панамский канал находится западнее его западного входа.

— Не понимаю этой шутки. Продолжай.

— Короче говоря, Малыш, ты сделал обе наши заявки на большой подкове.

Малыш выронил из рук таз с золотом.

— Ну! — крикнул он.

— Верхний столб двадцать восьмого номера находится на десять футов ниже нижнего столба номер двадцать семь.

— Ты хочешь сказать, что мы ничего не получим?

— Даже на десять футов меньше, чем ничего.

Малыш спустился к реке. Через пять минут он вернулся. В ответ на вопросительный взгляд Джой он кивнул головой. Затем безмолвно подошел к поваленному дереву, сел на него и стал разглядывать снег перед своими мокасинами.

— Мы можем теперь вернуться в Доусон, — сказал Смок и принялся складывать одеяла.

— Как мне жаль, Смок, — сказала Джой. — Это я во всем виновата.

— Не беда! — ответил он.

— Я во всем виновата, — настаивала она. — Но папа сделал заявку для меня ниже «Находки». Я отдаю ее вам.

Он покачал головой.

— Малыш! — взмолилась она.

Малыш тоже покачал головой и вдруг захохотал. Он хохотал как сумасшедший.

— Это не истерика, — объяснил он. — Мне иногда бывает страшно весело.

Его взгляд случайно упал на таз с золотом. Он ударил его ногой и рассыпал золото по снегу.

— Это не наше золото, — сказал он. — Оно принадлежит тому лоботрясу, которого я вчера прогнал. И, как оказывается, для его же пользы. Идем, Смок, вернемся в Доусон. Впрочем, если ты хочешь убить меня, я и пальцем не двину, чтобы помешать тебе.

Малыш видит сны
I

— Почему ты никогда не играешь? — спросил Малыш у Смока, когда они как-то раз сидели в «Оленьем Роге». — Неужели тебя не тянет к игорному столу?

— Тянет, — ответил Смок. — Но я знаю статистику проигрышей, а мне нужна верная прибыль.

Вокруг них в большом зале бара раздавалось жужжание дюжины игорных столов, за которыми люди в мехах и мокасинах испытывали свое счастье.

— Посмотри на них, — сказал Смок, охватив широким жестом весь зал. — Ведь самый простой математический расчет говорит, что все они, в общем, сегодня проиграют больше, чем выиграют. Многие из них уже сейчас проигрались.

— Ты хорошо знаешь арифметику, — почтительно пробормотал Малыш. — И в основном ты прав. Но с другой стороны, нельзя не считаться с фактами. Людям иногда везет. А бывает и так, что все игроки выигрывают. Я говорю это, потому что сам играл и видел, как срывают банк. Нужно только выждать счастье, а там уж играть вовсю.

— Судя по твоим словам, это так просто, — сказал Смок, — что я не понимаю, почему люди проигрывают.

— К сожалению, — возразил Малыш, — большинство игроков не чувствует, когда им действительно везет. И со мной не раз так бывало. Каждый раз это надо проверить на опыте.

Смок покачал головой.

— Тут тоже статистика, Малыш. Большинство игроков ошибается в своих предположениях.

— Но неужели ты никогда не чувствовал, что стоит тебе поставить, и ты непременно выиграешь?

Смок рассмеялся.

— Слишком много шансов против меня. Но вот что, Малыш. Я сейчас поставлю на карту доллар. И посмотрим, принесет ли она нам что-нибудь на выпивку.

Смок направился к карточному столу, но Малыш схватил его за руку.

— Чует мое сердце, что мне сегодня повезет. Поставь лучше этот доллар на рулетку.

Они подошли к стоявшему возле буфета столу с рулеткой.

— Подожди, пока я не скажу, — посоветовал Малыш.

— На какой номер? — спросил Смок.

— На какой хочешь. Но не ставь, пока я не скажу.

— Надеюсь, ты не станешь меня убеждать, что за этим столом у нас больше шансов, — сказал Смок.

— У нас столько же шансов, сколько у нашего соседа.

— Но меньше, чем у крупье.

— Подожди, — сказал Малыш. — Ну, ставь!

Крупье пустил шарик из слоновой кости по гладкому краю колеса над вращающимся диском с цифрами. Смок, сидевший много ниже, протянул руку над головой какого-то игрока и

наугад бросил свой доллар. Монета скользнула по гладкому зеленому сукну и остановилась как раз против номера 34.

Шарик тоже остановился, и крупье закричал:

— Выиграл тридцать четвертый.

Он смел деньги со стола, и Смок забрал тридцать пять долларов. Малыш хлопнул его по плечу.

— Теперь ты видишь, что такое счастье, Смок. Чуяло мое сердце. Этого не расскажешь, но я знал, что ты выиграешь. Если бы твой доллар упал на какой-нибудь другой номер, ты все равно выиграл бы. Главное, чтобы предчувствие было верное, а тогда уж нельзя не выиграть.

— А если бы вышел двойной ноль? — спросил Смок, направляясь с Малышом к буфету.

— Тогда бы и твой доллар упал на двойной ноль, — ответил Малыш. — Счастье есть счастье. А потому идем назад к игорному столу. Я сегодня в удаче: я дал выиграть тебе, а теперь сам хочу выиграть.

— У тебя есть какая-нибудь система? — спросил Смок минут через десять, когда его товарищ спустил сто долларов.

Малыш с негодованием помотал головой и поставил фишки на 3, 11 и 17. Кроме того, он бросил

мелочь на «зеленое».

— К черту дураков, играющих по какой-то системе! — закричал он, в то время как крупье собрал со стола все его ставки.

Смок, сначала равнодушный к игре, вдруг заинтересовался ею и, сам не принимая в ней участия, стал внимательно следить за вращающимся колесом, за ставками и выигрышами. Он так погрузился в это занятие, что Малыш, который решил, что с него довольно, с трудом оттащил его от стола.

Крупье вернул Малышу мешок с золотым песком, данный в залог, и приложил к нему бумажку, на которой было написано: «Отсыпать 350 долларов».

Малыш отнес свой мешок и бумажку весовщику, сидевшему в противоположном углу зала, за большими весами. Тот отвесил триста пятьдесят долларов и всыпал их в хозяйский сундук.

— На этот раз твое счастье подтвердило правильность статистики, — сказал Смок.

— Согласись, что я не мог этого знать, не проверив на опыте, — возразил Малыш. — Я увлекся малость, потому что хотел показать тебе, что все-таки бывают минуты, когда начинает везти.

— Не горюй, Малыш, — рассмеялся Смок. — А

вот я действительно набрел на счастье.

Глаза Малыша засверкали.

— Чего же ты медлишь! Ставь!

— У меня счастье особого рода. Скоро я выработаю систему, которая перевернет всю эту лавочку.

— Система! — буркнул Малыш, с искренней жалостью смотря на своего приятеля. — Смок, послушай друга и пошли все системы к черту. Кто играет по системе, тот всегда проигрывает. При системе счастья не бывает.

— Вот этим она мне и нравится, — заявил Смок. — Система — это статистика. Если система правильная, ни за что не проиграешь. А счастье всегда может обмануть.

— Я видел много неудачных систем, но не видал ни одной верной. — Малыш помолчал и вздохнул. — Послушай, Смок, если ты помешался на системе, лучше тебе сюда больше не показываться. Да и вообще не пора ли нам в путь-дорогу?

II

Несколько недель оба друга спорили. Смок проводил время в наблюдениях за рулеткой в «Оленьем Роге», Малыш настаивал, что необхо-

димо как можно скорее двинуться в путь. А когда стали говорить о походе за двести миль вниз по Юкону, Смок отказался наотрез.

— Послушай, Малыш, — сказал он. — Я не пойду. Такая прогулка отнимет целых десять дней, а за это время я надеюсь окончательно разработать мою систему. Она уже сейчас может дать мне верный выигрыш. Ну чего ради я потащусь в такую даль?

— Смок, я о тебе забочусь, — ответил Малыш. — Как бы ты не рехнулся. Я готов тащить тебя хоть на Северный полюс, хоть к черту на рога, только бы оторвать от игорного стола.

— Не беспокойся, Малыш. Ты забываешь, что я совершеннолетний. Тебе еще придется тащить домой тот золотой песок, который я выиграю с помощью моей системы. И тогда ты не обойдешься без хорошей собачьей упряжки.

Сам ты не пробуй играть, — продолжал Смок. — Все, что я выиграю, мы разделим пополам, но для начала мне необходимы все наши наличные деньги. Моя система еще не испытана, а потому возможно, что на первых порах я не раз промахнусь.

III

Наконец после многих часов и дней, проведенных в наблюдении за игорным столом, пришел вечер, когда Смок заявил, что он начинает сражение. Малыш, грустный и насупленный, словно плакальшик на похоронах, сопровождал друга в «Олений Рог». Смок накупил фишек и сел рядом с крупье. Много раз шарик обежал круг, прежде чем Смок решился поставить свою фишку. Малыш сгорал от нетерпения.

— Ставь же, ставь, — говорил он. — Кончай эти похороны. Чего ты ждешь? Испугался, что ли?

Смок качал головой и ждал. Было сыграно уже десять партий, когда он наконец поставил десять однодолларовых фишек на номер 26. Номер выиграл, и Смоку было уплачено триста пятьдесят долларов. Потом, пропустив еще десять, двадцать, тридцать игр, Смок снова поставил десять долларов на номер 32. Он снова выиграл триста пятьдесят долларов.

— Тебе везет! — свирепо прошептал Малыш Смоку. — Жарь дальше, не останавливайся!

Прошло полчаса, в течение которых Смок не принимал участия в игре, затем он поставил

десять долларов на номер 34 и выиграл.

— Везет! — прошептал Малыш.

— Нисколько! — ответил Смок. — Это работает моя система. А ведь недурная система, не правда ли?

— Рассказывай! — не соглашался Малыш. — Счастье приходит самыми разными путями. Никакой системы тут нет. Тебе просто везет сегодня.

Теперь Смок стал играть иначе. Он ставил чаще, но по мелкой, разбрасывая фишки по разным номерам, и больше проигрывал, чем выигрывал.

— Брось игру, — советовал Малыш. — Забирай деньги и уходи. Ты выиграл около тысячи долларов. Не искушай судьбу.

В эту минуту шарик снова забегал по кругу, и Смок поставил десять фишек на номер 26. Шарик остановился на 26, и крупье снова выплатил Смоку триста пятьдесят долларов.

— Если уж тебе так везет, — советовал Малыш, — так лови счастье за хвост и ставь сразу двадцать пять долларов.

Прошло около четверти часа, во время которых Смок выигрывал и проигрывал небольшие суммы. А затем он вдруг поставил двадцать пять долларов на ноль — и тотчас же крупье выплатил

ему восемьсот семьдесят пять долларов.

— Разбуди меня, Смок, это сон, — взмолился Малыш.

Смок улыбнулся, достал записную книжку и занялся вычислениями. Эту книжку он неоднократно вынимал из кармана и надолго погружался в какие-то расчеты.

Вокруг стола собралась толпа. Многие игроки стали ставить на те же номера, что и Смок. Тут он снова изменил свой маневр. Десять раз подряд он ставил на 18 и проигрывал. Тут даже самые упрямые последователи покинули его. Тогда он поставил на другой номер и выиграл триста пятьдесят долларов. Игроки снова ринулись за ним и снова покинули его после целого ряда проигрышей.

— Да брось же, Смок! — настаивал Малыш. — Всякому везению есть предел, и твое явно кончилось: таких кушей, как раньше, тебе уже не забрать.

— Еще один раз — и баста! — ответил Смок.

В продолжение нескольких минут он ставил с переменным счастьем мелкие фишки на разные номера, а затем бросил сразу двадцать пять долларов на двойной ноль.

— Давайте подсчитаем, — сказал он крупье,

выиграв на этот раз.

— Можешь не показывать мне счет, — сказал Малыш Смоку, когда они направились к весам. — Ты выиграл около трех тысяч шестисот долларов. Верно?

— Ровно три тысячи шестьсот, — ответил Смок. — А теперь отвези песок домой. Ведь мы так условились.

IV

— Не шути со своим счастьем! — говорил на следующее утро Малыш, видя, что Смок снова собирается в «Олений Рог». — Тебе повезло, но уже больше везти не будет. Счастье изменит тебе.

— Не смей говорить о счастье! Тут не счастье, а статистика, система, научная формула. Проиграться я никак не могу.

— К черту систему! Никаких систем не существует. Я как-то выиграл семнадцать раз подряд, но тут система была ни при чем. Просто дурацкое счастье! Я испугался и прекратил игру. Если бы я играл дальше, я выиграл бы тридцать тысяч на свои два доллара.

— А я выигрываю, потому что у меня есть система.

— Ну как ты это докажешь?

— Я уже доказал тебе. Идем, докажу еще раз..

В «Оленьем Роге» все уставились на Смока. Игроки у стола очистили ему место, и он снова сел рядом с крупье. На этот раз он вел игру совсем иначе. За полтора часа он поставил только четыре раза. Но каждая ставка была по двадцать пять долларов, и всякий раз он выигрывал. Он получил три тысячи пятьсот долларов, и Малыш снова отнес домой золотой песок.

— А теперь пора кончать, — сказал Малыш, присев на край койки и снимая мокасины. — Ты выиграл семь тысяч. Только сумасшедший стал бы дразнить свое счастье.

— А по-моему, только сумасшедший мог бы бросить игру, когда у него есть такая замечательная система, как у меня.

— Ты умный человек, Смок. Ты учился в колледже. Мне ввек того не узнать, что ты сообразишь в одну минуту. Но ты ошибаешься, считая свое случайное везение за систему. Я много на своем веку слышал о разных системах, но скажу тебе по совести, как другу, — все они ни черта не стоят. Нет такой системы, чтобы выигрывать в рулетку наверняка.

— Но ведь я тебе доказал! И не раз еще докажу,

если хочешь.

— Нет, Смок. Все это просто сон. Вот сейчас я проснусь, разведу огонь и приготовлю завтрак.

— Так вот же, мой недоверчивый друг, золотой песок, который я выиграл! Попробуй подыми его.

Смок бросил на колени товарищу мешок с золотым песком. В мешке было тридцать пять фунтов весу, и Малыш почувствовал его тяжесть.

— Это явь, а не сон, — продолжал настаивать Смок.

— Уф! Много видел я разных снов на своем веку. Во сне, конечно, все возможно. Но наяву системы не помогают. Правда, я не учился в колледже, однако это не мешает мне с полным основанием утверждать, что твое невероятное везение — только сон.

— Это «закон бережливости Гамильтона», — со смехом сказал Смок.

— Я никогда не слышал ни о каком Гамильтоне, но, по-видимому, он прав. Я сплю, Смок, а ты лезешь ко мне со своей системой. Если ты любишь меня, крикни: «Малыш! Проснись!» — и я проснусь и приготовлю завтрак.

V

На третий вечер крупье вернул Смоку его первую ставку — пятнадцать долларов.

— Больше десяти ставить нельзя, — сказал он. — Высшая ставка уменьшена.

— Испугался, — фыркнул Малыш.

— Кому не нравится, может не играть, — ответил крупье. — И, сказать откровенно, я предпочел бы, чтобы ваш товарищ не играл за моим столом.

— Не нравится его система, а? — издевался Малыш, в то время как Смок получал триста пятьдесят долларов.

— В систему я не верю. В рулетке никаких систем нет и быть не может. Но бывает так, что человеку начинает везти. Я должен принять все меры, чтобы предохранить банк от краха.

— Струхнули!

— Да, рулетка — такое же деловое предприятие, как и всякое другое. Мы не филантропы.

Проходил вечер за вечером, а Смок продолжал выигрывать, все время меняя способы игры. Эксперты, столпившись вокруг стола, записывали его номера и ставки, тщетно стараясь разгадать

его систему. Но ключа к ней они не могли найти. Все уверяли, что ему просто везет. Правда, так везет, как еще не везло никому на свете.

Всех смущало то, что Смок всякий раз играл по-иному. Порой он целый час не принимал участия в игре и сидел, уткнувшись в свою записную книжку, и что-то высчитывал. Но случалось и так, что он в продолжение пяти — десяти минут ставил три раза подряд высшую ставку и забирал больше тысячи долларов. Порой его тактика заключалась в том, что он с поразительной щедростью разбрасывал фишки, ставя на разные номера. Так продолжалось от десяти до тридцати минут, и вдруг, когда шарик обегал уже последние круги, Смок ставил высшую ставку разом на ряд, на цвет, на номер и выигрывал по всем трем. Однажды он, для того чтобы сбить с толку тех, кто хотел проникнуть в тайну его игры, проиграл сорок десятидолларовых ставок. Но неизменно, из вечера в вечер, Малышу приходилось тащить домой золотого песку на три с половиной тысячи долларов.

— И все же никаких систем не бывает, — утверждал Малыш, ложась спать. — Я все время слежу за твоей игрой и не вижу в ней никакого порядка. Ты, когда пожелаешь, ставишь на вы-

игрывающий номер, а когда пожелаешь — на проигрывающий.

— Ты, Малыш, и представить себе не можешь, как ты близок к истине. Я иногда сознательно ставлю на проигрыш. Но и это входит в мою систему.

— К черту систему! Я говорил со всеми игроками города, и все они утверждают, что не может быть никакой системы.

— Но ведь я каждый вечер доказываю им, что система есть.

— Послушай, Смок, — сказал Малыш, подходя к свече и собираясь задуть ее. — Я, видно, и впрямь не в себе. Ты, вероятно, думаешь, что это — свечка. Это не свечка. И я — не я. Я сейчас где-нибудь в дороге, лежу в своем спальном мешке, на спине, открыв рот, и все это вижу во сне. И ты — не ты, и свечка — не свечка.

— Странно, Малыш, что мы с тобой видим одинаковые сны, — сказал Смок.

— Совсем нет. Я и тебя вижу во сне. Тебя нет, мне только снится, что ты со мной разговариваешь. Мне снится, что со мной многие разговаривают. Я, кажется, схожу с ума. А если этот сон продлится еще немного, я взбешусь, стану кусаться и выть.

VI

На шестую ночь игры предельная ставка в «Оленьем Роге» была понижена до пяти долларов.

— Не беда, — сказал Смок, обращаясь к крупье. — Я уйду отсюда не раньше, чем выиграю три тысячи пятьсот долларов. Вы только заставите меня играть дольше, чем вчера.

— Почему вы не играете за каким-нибудь другим столом? — злобно спросил крупье.

— Потому что мне нравится ваш стол! — И Смок посмотрел на гудевшую в нескольких шагах от него печку. — Здесь не дует, тепло и уютно.

Малыш чуть не помешался, неся домой девятый мешок с золотым песком, — добычу девятого вечера.

— Я совсем сбит с толку, Смок, — говорил он. — С меня хватит. Я вижу, что и вправду не сплю. Вообще систем не бывает, но у тебя есть система. Нет никакого тройного правила. Календарь отменен. Мир перевернулся. Не осталось никаких законов природы. Таблица умножения пошла ко всем чертям. Два равно восьми. Девять — одиннадцати. А дважды два равно восьмистам сорока шести с… с… половиной. Дважды все — равно

кольдкрему, сбитым сливкам и коленкоровым лошадям. Ты изобрел систему, и теперь существует то, чего никогда не было. Солнце встает на западе, луна превратилась в монету, звезды — это мясные консервы, цинга — благословение божие, мертвые воскресают, скалы летают, вода — газ, я — не я, ты — не ты, а кто-то другой, и возможно, что мы с тобой — близнецы, если только мы — не поджаренная на медном купоросе картошка. Разбуди меня! О, кто бы ты ни был, разбуди меня!

VII

На следующее утро к ним пришел гость. Смок знал его. Это был Гарвей Моран, владелец всех игорных столов в «Тиволи». Он заговорил умоляюще и робко.

— Вы нас всех озадачили, Смок, — начал он. — Я пришел к вам по поручению девяти других владельцев игорных столов в трактирах города. Мы ничего не понимаем. Нам известно, что в рулетке не может быть никаких систем. Это говорят все ученые-математики. Рулетка сама по себе система, и все другие системы против нее бессильны, в противном случае арифметика — чушь.

Малыш яростно закивал головой.

— Если система может победить систему, значит, никакой системы не существует, — продолжал владелец рулетки. — А тогда нам пришлось бы признать, что одна и та же вещь может находиться одновременно в двух разных местах или что две разные вещи могут одновременно находиться в одном месте, способном вместить только одну из них.

— Ведь вы следили за моей игрой? — спросил Смок. — Если системы нет, а мне просто везет, то вам нечего волноваться.

— В этом вся загвоздка. Мы не можем не волноваться. Вы, несомненно, играете по какой-то системе, а между тем никакой системы не может быть. Я слежу за вами пять вечеров подряд и мог заметить только, что у вас есть кое-какие излюбленные номера. Так вот, мы, владельцы девяти игорных столов, собрались и решили обратиться к вам с дружеским предложением. Мы поставим рулетку в задней комнате «Оленьего Рога», и там обыгрывайте нас сколько угодно. Совершенно частным образом. Только вы, да Малыш, да мы. Что вы на это скажете?

— Мы это сделаем немного иначе, — ответил Смок. — Вы просто хотите следить за моей игрой. Сегодня вечером я буду играть в баре «Оленьего

Рога». Там следите за моей системой, сколько вам будет угодно.

VIII

В этот вечер, когда Смок сел за игорный стол, крупье закрыл игру.

— Игра кончена, — сказал он. — Так велел хозяин.

Но собравшиеся владельцы игорных столов не хотели с этим примириться. В несколько минут они собрали по тысяче долларов с человека и снова открыли игру.

— Обыграйте нас, — сказал Гарвей Моран Смоку, когда крупье первый раз пустил шарик по кругу.

— Согласны на то, чтобы предельная ставка была двадцать пять долларов?

— Согласны.

Смок сразу поставил двадцать пять фишек на ноль и выиграл. Моран вытер пот со лба.

— Продолжайте, — сказал он. — У нас в банке десять тысяч.

Через полтора часа все десять тысяч перешли к Смоку.

— Банк сорван, — сказал крупье.

— Ну что, хватит? — спросил Смок.

Владельцы игорных столов переглянулись. Эти разъевшиеся продавцы счастья, вершители его законов, были побиты. Перед ними стоял человек, который либо был ближе знаком с этими законами, либо создал иные законы, высшие.

— Больше мы не играем, — сказал Моран. — Ведь так, Бэрк!

Большой Бэрк, владелец игорных столов в двух трактирах, кивнул головой.

— Случилось невозможное, — сказал он. — У этого Смока есть система. Он разорит нас. Если мы хотим, чтобы наши столы работали по-прежнему, нам остается только сократить предельную ставку до доллара, до десяти центов, даже до цента. С такими ставками ему много не выиграть.

Все взглянули на Смока. Он пожал плечами.

— Тогда, джентльмены, я найду людей, которые по моим указаниям будут играть за всеми вашими столами. Я буду платить им по десяти долларов за четырехчасовую смену.

— Видно, нам придется закрыть лавочку, — ответил Большой Бэрк. — Если только, — он переглянулся с товарищами, — если только вы не пожелаете с нами серьезно поговорить. Сколько вы хотите за вашу систему?

— Тридцать тысяч долларов! — сказал Смок. — По три тысячи с каждого стола.

Они пошептались и согласились.

— И вы объясните нам вашу систему?

— Конечно.

— И обещаете никогда больше в Доусоне не играть в рулетку?

— Нет, сэр, — твердо сказал Смок, — я обещаю только никогда больше не пользоваться этой системой.

— Черт возьми! — воскликнул Моран. — Нет ли у вас еще и других систем?

— Подождите! — вмешался Малыш. — Мне надо поговорить с моим компаньоном. Иди сюда, Смок.

Смок пошел за Малышом в угол комнаты. Сотни любопытных глаз следили за ними.

— Послушай, Смок, — хрипло зашептал Малыш. — Может, это и не сон. А в таком случае ты продаешь свою систему страшно дешево. Ведь с ее помощью ты можешь весь мир ухватить за штаны. Речь идет о миллионах! Сдери с них! Сдери с них как следует!

— А если это сон? — ласково спросил Смок.

— Тогда, во имя сна и всего святого, сдери с них как можно больше. Какой толк видеть сны,

если мы даже во сне не можем сделать выгодного дельца?

— К счастью, это не сон, Малыш.

— В таком случае я никогда тебе не прощу, если ты продашь систему за тридцать тысяч.

— Ты бросишься мне на шею, когда я продам ее за тридцать тысяч. Это не сон, Малыш. Ровно через две минуты ты убедишься, что это был не сон. Я решил продать систему, потому что мне ничего другого не остается.

Смок заявил владельцам столов, что он не меняет своего решения. Те передали ему расписки, на три тысячи каждая.

— Потребуй, чтобы тебе заплатили наличными, — сказал Малыш.

— Да, я хочу получить золотым песком, — сказал Смок.

Владелец «Оленьего Рога» взял расписки, и Малыш получил золотой песок.

— Теперь у меня нет ни малейшего желания проснуться, — сказал он, поднимая тяжелые мешки. — Этот сон стоит семьдесят тысяч. Нет, я не такой расточитель, чтобы раскрыть сейчас глаза, вылезти из-под одеяла и готовить завтрак.

— Ну, рассказывайте вашу систему, — сказал Бэрк. — Мы вам заплатили и ждем ваших объ-

яснений.

Смок подошел к столу.

— Прошу внимания, джентльмены! У меня не совсем обыкновенная система. Вряд ли это даже можно назвать системой. Но у нее то преимущество, что она дает практические результаты. У меня, собственно, есть свои догадки, однако я не стану о них сейчас распространяться. Следите за мной. Крупье, приготовьте шарик. Я хочу выиграть на номер двадцать шесть. Допустим, что я ставлю на него. Пускайте шарик, крупье!

Шарик забегал по кругу.

— Заметьте, — сказал Смок, — что номер девять был как раз напротив!

Шарик остановился против двадцати шести. Большой Бэрк выругался. Все ждали.

— Для того чтобы выиграть на ноль, нужно, чтобы напротив стояло одиннадцать. Попробуйте сами, если не верите.

— Но где же система? — нетерпеливо спросил Моран. — Мы знаем, что вы умеете выбирать выигрышные номера. Но как вы их узнали?

— Я внимательно следил за выигрышами. Случайно я дважды отметил, где остановился шарик, когда вначале против него был номер девять. Оба раза выиграл двадцать шестой. Тогда

я стал изучать и другие случаи. Если напротив находится двойной ноль — выигрывает тридцать второй. А для того чтобы выиграть на двойной ноль, необходимо, чтобы напротив было одиннадцать. Это случается не всегда, но обычно. Как я уже сказал, у меня есть свои догадки, о которых я предпочитаю не распространяться.

Большой Бэрк, пораженный какой-то мыслью, внезапно вскочил, остановил рулетку и стал внимательно осматривать колесо. Все девять остальных владельцев рулеток тоже склонили головы над колесом. Затем Большой Бэрк выпрямился и посмотрел на печку.

— Черт возьми! — сказал он. — Никакой системы не было. Стол стоит слишком близко к огню, и проклятое колесо рассохлось, покоробилось. Мы остались в дураках. Неудивительно, что он играл только за этим столом. За другим столом он не выиграл бы и кислого яблока.

Гарвей Моран облегченно вздохнул.

— Не беда! — произнес он. — Мы не так уж много заплатили, зато мы знаем наверняка, что никакой системы не существует.

Он захохотал и хлопнул Смока по плечу.

— Да, Смок, вы нас помучили изрядно. А мы еще радовались, что вы оставляете наши столы в

покое. У меня в «Тиволи» есть славное вино. Идем со мной, и я его открою.

Вернувшись домой, Малыш стал молча перебирать мешки с золотым песком. Наконец он разложил их на столе, сел на край скамьи и стал снимать мокасины.

— Семьдесят тысяч! — говорил он. — Это весит триста пятьдесят фунтов. И все благодаря покривившемуся колесику и зоркому глазу. Смок, ты съел их сырыми, ты съел их живьем. И все же я знаю, что это сон! Только во сне случаются такие замечательные вещи. Но у меня нет ни малейшего желания проснуться. Я надеюсь, что никогда не проснусь.

— Успокойся! — отозвался Смок. — Тебе незачем просыпаться. Есть философы, которые утверждают, что все люди живут во сне. Ты попал в хорошую компанию.

Малыш встал, подошел к столу, взял самый большой мешок и стал укачивать его, как ребенка.

— Может быть, это и сон, — сказал он. — Но зато, как ты справедливо заметил, я попал в хорошую компанию.

Человек на другом берегу
I

Еще до того, как Смок Беллью в шутку основал поселок Тру-ля-ля, совершил вошедшую в историю спекуляцию с яйцами, которая чуть было не привела к банкротству Билла Свифтуотера, и взял приз в миллион долларов на состязании собачьих упряжек в беге по Юкону, ему пришлось разлучиться с Малышом в верховьях Клондайка. Малыш должен был спуститься вниз по Клондайку в Доусон, чтобы зарегистрировать несколько заявок.

Смок же повернул со своими собаками на юг. Он хотел добраться до Нежданного озера и до мифических Двух Срубов. Для этого он должен был пересечь верховья Индейской реки и неисследованные области, лежащие за горами, и спуститься к реке Стюарт. По слухам, именно где-то в этих краях лежало Нежданное озеро, окруженное зубчатыми горами и ледниками, а дно этого озера было усеяно золотыми самородками. Рассказывали, что когда-то старожилы, чьи имена теперь забылись, ныряли в ледяную воду озера и

выплывали на поверхность, держа по золотому самородку в каждой руке. Но вода была до того холодная, что одни из этих смельчаков умирали тут же от разрыва сердца, другие становились жертвой скоротечной чахотки, и никто из тех, кто отправлялся на это озеро, еще не вернулся. Всякий раз случалось какое-нибудь несчастье. Один провалился в полынью неподалеку от Сороковой Мили. Другой был разорван и съеден своими же собаками. Третьего раздавило свалившееся дерево. Нежданное озеро было заколдованным местом. Дорогу к нему давно забыли, и золотые самородки до сих пор устилали его дно.

О местонахождении Двух Срубов, столь же мифических, имелись более точные сведения. Они стояли на расстоянии «пяти ночевок» от реки Стюарт вверх по реке Мак-Квещен. Их поставил кто-то в те времена, когда в бассейне Юкона еще ни одного золотоискателя и в помине не было. Бродячие охотники на лосей говорили Смоку, что их старикам как-то удалось добраться до этих лачуг, но никаких следов давнишних разработок там не оказалось.

— Лучше бы ты поехал со мной, — сказал Смоку на прощание Малыш. — Если тебе так уж не сидится, это еще не значит, что надо наживать себе

неприятности. Поезжай куда-нибудь, но зачем ехать в какое-то заколдованное место, где, как и тебе и мне хорошо известно, каждого подстерегает злой дух.

— Не беспокойся, Малыш. Через шесть недель я вернусь в Доусон. Дорога по Юкону накатана, да и первые сто миль по Стюарту тоже, должно быть, хорошо наезжены. Старожилы с Гендерсона говорили мне, что в те края после ледостава отправилось несколько золотоискателей. Идя по их следам, я могу делать по сорок, даже по пятьдесят миль в день. Мне бы только добраться туда, и через месяц я буду дома.

— Да, вот добраться туда. Это именно меня и беспокоит. Как ты туда доберешься? Ну что ж, прощай, Смок. Главное, смотри в оба, не попадись злому духу. И помни, что нечего стыдиться, если ты вернешься домой с пустыми руками.

II

Неделю спустя Смок уже карабкался по отрогам гор, окаймляющих южный берег Индейской реки. На водоразделе между Индейской рекой и Клондайком он бросил нарты и навьючил своих псов. Каждая из шести огромных собак тащила

по пятидесяти фунтов. Такой же груз был и на спине у Смока. Смок шел впереди, приминая своими лыжами мягкий снег, а за ним гуськом тащились собаки.

Он любил эту жизнь, эту суровую полярную зиму, дикое безмолвие, беспредельные снежные равнины, на которые никогда не ступала нога человека. Вокруг него вздымались обледенелые горные громады, еще безымянные, еще не нанесенные на карту. Глаз нигде не встречал одиноких дымков, поднимающихся над стоянками охотников. Он один двигался среди этих никому не ведомых пространств. Одиночество нисколько не тяготило его. Он любил дневной труд свой, перебранки собак, устройство привала в зимние сумерки, мерцание звезд и пламенеющую пышность северного сияния.

Но больше всего любил он свои ночные стоянки в этой снежной пустыне. Вовек не забудет он их. Ему грезилась картина, которую он когда-нибудь напишет. Утоптанный снег и горящий костер, постель из пары заячьих шуб, разостланных на свежесрубленных ветвях; заслон от ветра — кусок холста, задерживающий и отражающий жар костра, закоптелый кофейник, кастрюлька, мокасины, надетые на палки для просушки,

лыжи, воткнутые в снег. А по ту сторону костра — собаки, жмущиеся поближе к огню, умные и жадные, косматые и заиндевелые, с пушистыми хвостами, которыми они заботливо прикрывают себе ноги. И кругом сплошная стена непроницаемого мрака.

В такие минуты Сан-Франциско, «Волна» и О'Хара казались ему неясными, бесконечно далекими призраками, тенями из несбывшихся снов. Ему трудно было поверить, что он знал когда-то иную жизнь, что он когда-то плескался и барахтался в болоте городской богемы. В одиночестве, лишенный возможности перекинуться с кем-нибудь словом, он много думал, и мысли его были глубоки и просты. Он с ужасом думал о том, как попусту прошли для него годы его городской жизни, о бездарности всех школьных и книжных философий, об умничающем цинизме редакций и художественных мастерских, о ханжестве дельцов, отдыхающих в своих клубах. Они не знают, что такое волчий аппетит, крепчайший сон, железное здоровье; никогда они не испытывали настоящего голода, настоящей усталости, им незнакомо опьянение работой, от которой вся кровь в жилах бурлит, как вино.

Эта прекрасная, мудрая, суровая Северная Стра-

на существовала всегда, а он ничего о ней не знал. Его удивляло, как это он, созданный для такой жизни, мог не слышать тихого зова северной природы. Она звала его, а он не знал. Но и это пришло в свое время.

— Зато теперь, Желтомордый, я слышу ее ясно!

Пес, к которому были обращены эти слова, поднял сначала одну лапу, потом другую, потом опять уютно прикрыл их хвостом и засмеялся, глядя на своего хозяина через костер.

— Герберту Спенсеру было почти сорок лет, когда он начал понимать, в чем его призвание. Я нашел свое призвание гораздо раньше. Я не дождался и тридцати лет. Мое призвание — здесь. Знаешь, Желтомордый, я хотел бы родиться волчонком и всю жизнь быть твоим братом и братом всего твоего волчьего племени.

Много дней бродил он по хаосу ущелий и перевалов; они были расположены в таком беспорядке, что казалось, будто их разбросал здесь какой-то космический проказник. Тщетно искал он ручеек или речку, которые текли бы на юг — к Мак-Квещену и Стюарту. Подул ветер с гор и принес вьюгу. Находясь над линией лесов и не имея возможности поэтому развести огонь, он два дня бесплодно старался спуститься пониже. К концу

второго дня он добрел до карниза какой-то колоссальной отвесной скалы. Падал такой густой снег, что Смоку не удалось рассмотреть ее основания. Смок плотно закутался в оленью доху, окружил себя собаками, укрылся с ними в огромном сугробе и так провел всю ночь, стараясь не заснуть.

Утром, когда буря утихла, он пошел на разведку. В четверти мили под ним находилось замерзшее, занесенное снегом озеро. Над озером поднимались со всех сторон зубчатые вершины гор. Да, ему так и рассказывали. Он нечаянно набрел на Нежданное озеро.

— Подходящее название, — бормотал он час спустя, приближаясь к самому берегу.

Здесь росло несколько старых елей. Пробираясь к ним, Смок наткнулся на три могилы, почти доверху занесенные снегом: торчали только столбы, на которых были вырезаны совершенно неразборчивые надписи. За елями стояла маленькая ветхая хижина. Он толкнул дверь и вошел. В углу, на том, что когда-то было постелью из еловых веток, лежал скелет, завернутый в истлевшие меха.

«Последний посетитель Нежданного озера», — подумал Смок, поднимая с пола кусок золота величиной в два кулака. Рядом с этим самород-

ком стояла жестянка, полная шершавых золотых самородков величиной с орех.

Так как все, что рассказывали про Нежданное озеро, пока подтверждалось, Смок решил, что золото это добыто с его дна. Но сейчас озеро было покрыто толстым слоем льда и потому недосягаемо. И в полдень с крыльца хижины Смок бросил на него прощальный взгляд.

— Все в порядке, мистер Озеро, — сказал он. — Сторожи свои сокровища. Я еще вернусь сюда за ними, если только здешний злой дух мне не помешает. Я не совсем ясно представляю себе, как я сюда попал, но надеюсь узнать это, выбираясь отсюда.

III

Четыре дня спустя Смок развел костер в большой долине, на берегу замерзшего потока, под гостеприимными елями. Где-то там, в этом белом хаосе, позади находилось Нежданное озеро, но где именно — он уже не знал. Четверо суток блужданий в слепящей пурге сбили его с толку, и он уже не знал, где у него «впереди» и где «позади». Он словно вынырнул из какого-то кошмара. Он не мог бы даже сказать, сколько времени был в пути

— четыре дня или целую неделю. Он спал вместе с собаками, перебрался через десятки невысоких перевалов, следовал за извилинами сумасшедших ущелий, кончавшихся тупиками, и за все время ему только дважды удалось развести огонь и подогреть лосиное мясо. Теперь впервые он мог вдоволь поесть и поставить заслон. Снежная буря улеглась, снова стало ясно и холодно. Мир вокруг него принял свой обычный вид. Речка, на которой он очутился, казалась обыкновенной речкой и текла на юго-запад. Но Нежданное озеро он потерял так же, как потеряли его и все прежние Колумбы.

Полдня пути вниз вдоль небольшой речки привели его в долину другой, более широкой реки. Он догадался, что это и есть Мак-Квещен. Тут он убил лося, и теперь каждая его собака снова тащила по пятидесяти фунтов мяса. Идя вниз по Мак-Квещену, он набрел на санный след. Верхний слой снега был мягок, но под ним находилась утоптанная тропа. Он заключил, что на Мак-Квещене есть два лагеря и что этот путь ведет от одного к другому. Решив, что нижний лагерь — это Два Сруба и что там, вероятно, кто-то поселился, он двинулся вниз по реке.

Было сорок градусов мороза, когда он располо-

жился на ночлег. Засыпая, он размышлял, кто бы могли быть эти люди, открывшие таинственные Два Сруба, и доберется ли он до их стоянки на следующий день. Он тронулся в путь при первых проблесках рассвета и шел по запорошенной тропе, утаптывая ее своими плетеными лыжами, чтобы собаки не проваливались.

Неожиданное настигло его на излучине реки. Он услышал и почувствовал его одновременно. Справа щелкнул ружейный выстрел; пуля, пробив насквозь парку и фуфайку, ударила его в плечо и заставила повернуться вокруг своей оси. Он покачнулся на лыжах, желая сохранить равновесие, и услышал второй выстрел. На этот раз стрелявший промахнулся. Смок не стал дожидаться. Нырнув в снег, он пополз к берегу, чтобы спрятаться среди деревьев и кустов. Снова и снова трещали выстрелы, и он с отвращением почувствовал, что по его спине течет что-то теплое и липкое.

Ведя за собой собак, Смок вскарабкался на берег и спрятался в кустах. Там он снял лыжи, пробрался вперед и стал внимательно осматривать противоположный берег. Но никого не увидел. Стрелявший, должно быть, спокойно лежал за деревьями на противоположном берегу.

— Если сейчас ничего не случится, — пробормотал Смок спустя полчаса, — я вылезу и разведу костер. Иначе я отморожу себе ноги. Желтомордый, что бы ты стал делать, если бы тебе пришлось лежать на морозе, чувствуя, что кровь застывает в твоих жилах, и зная, что тебя собираются застрелить?

Он отполз на несколько шагов назад, утоптал снег и стал приплясывать на месте. Эта пляска нагнала ему кровь в ноги и позволила выдержать еще полчаса. Вдруг он услышал звон бубенчиков. Он увидел нарты, показавшиеся из-за поворота реки. У передка, рядом с шестом, бежал одинокий человек, погонявший собак. Смок был потрясен, так как это был первый человек, которого он увидел после того, как три недели назад расстался с Малышом. Он сразу подумал о негодяе, притаившемся на том берегу.

Не вылезая из своей засады, Смок предостерегающе свистнул. Человек не расслышал и продолжал мчаться вперед. Смок свистнул громче. Человек остановил собак и увидел Смока как раз в тот момент, когда раздался выстрел. Тогда Смок поднял ружье и сам выстрелил в сторону деревьев, откуда донесся звук выстрела.

При первом выстреле человек у шеста покач-

нулся. Шатаясь, он подошел к нартам и, поднимая ружье к плечу, вдруг начал медленно опускаться и сел на нарты. Потом выстрелил, не целясь, и повалился навзничь, — Смок мог видеть только его живот и ноги.

Снова снизу донесся звон бубенчиков. Упавший не шевельнулся. Из-за поворота выехало трое нарт, шесть человек сопровождало их. Смок крикнул, чтобы предупредить, но те уже сами видели, что произошло с первыми нартами, и торопились к пострадавшему. Выстрелы с того берега не повторялись, и Смок, позвав своих собак, вышел из-за прикрытия. Его встретили восклицаниями, двое из только что прискакавших сняли рукавицы, подняли ружья и взяли Смока на прицел.

— Подойди-ка сюда, подлый убийца, — скомандовал чернобородый мужчина. — Брось сейчас же свое ружье в снег.

Поколебавшись, Смок кинул ружье и подошел к ним.

— Обыщи его, Луи, и отними у него оружие, — приказал чернобородый.

Смок понял, что Луи — канадский француз, проводник, как и остальные. Он обыскал Смока и отобрал у него охотничий нож.

— Ну, что ты скажешь в свое оправдание, незна-

комец, прежде чем я тебя застрелю? — спросил чернобородый.

— Скажу, что вы ошибаетесь: не я убил этого человека, — сказал Смок.

Один из проводников закричал. Он прошел по следам Смока и добрался до кустов, за которыми тот прятался. Об этом своем открытии он немедленно сообщил остальным.

— За что ты убил Джо Кинэда? — спросил чернобородый.

— Я его не убивал… — начал Смок.

— Нечего разговаривать. Ты пойман на месте преступления. Вот следы твоих ног. Услышав, что подъезжает наш товарищ, ты отошел в сторону. Ты залег между деревьями и выстрелил в него. Пьер, подними его ружье.

— Дайте мне рассказать вам, — сказал Смок.

— Заткнись! — крикнул чернобородый. — Твое ружье само все расскажет.

Они осмотрели ружье Смока, сосчитали заряды, проверили дуло и магазины.

— Один выстрел! — сказал чернобородый.

Пьер, словно олень, широко раздувая ноздри, понюхал магазин.

— Выстрел был сделан совсем недавно, — сказал он.

— Пуля попала ему в спину, — сказал Смок. — А он ехал лицом ко мне. Ясно, что стреляли с того берега.

Чернобородый на минуту задумался. Затем он покачал головой:

— Нет, ты нас не обманешь. Он повернулся к тебе спиной, и тогда ты выстрелил. Пойдите, ребята, посмотрите, не ведут ли какие-нибудь следы к тому берегу.

Но ему ответили, что возле того берега лежит совершенно нетронутый снег. Чернобородый вынул из раны убитого свалявшийся меховой пыж. Разрезав его, он достал пулю. Кончик пули расплющился и сделался величиной в полудолларовую монету, но основание ее, одетое сталью, было цело. Он сравнил пулю с пулями Смока.

— Тут и слепой поймет, в чем дело, — сказал он. — Эта пуля с мягким носом и стальной рубашкой, и твоя с мягким носом и стальной рубашкой. Здесь тридцать — тридцать; и твоя тридцать — тридцать. Эта — завода Д. и Т., и твоя — завода Д. и Т. Пойдем на берег и посмотрим, как это ты все устроил.

— Я сам ранен, — сказал Смок, — у меня прострелена парка.

Пока чернобородый рассматривал пробитую

парку, один из его товарищей исследовал затвор ружья, принадлежавшего убитому. Ружье свидетельствовало, что из него был сделан один выстрел. Пустая гильза оставалась еще в камере.

— Жаль, что бедному Джо не удалось застрелить тебя, — огорченно сказал чернобородый. — Однако он не оплошал — с такой-то дырой в спине. Ну, ступай!

— Поищите сначала на том берегу, — настаивал Смок.

— Молчи и ступай за мной. Говорить за тебя будут факты.

Они сошли с тропы в том самом месте, где свернул Смок, поднялись по его следам на берег и осмотрели все пространство между деревьями.

— Здесь он плясал, чтобы согреть ноги, — сказал Луи. — Здесь он полз на животе. Здесь приподнялся на локте, чтобы выстрелить…

— А вот его пустой патрон! — сказал чернобородый. — Ребята, нам остается только одно…

— Раньше спросите меня, зачем я сделал этот выстрел, — перебил его Смок.

— Если не замолчишь, я заткну тебе глотку твоими собственными зубами. Ты еще успеешь поговорить. Мы люди приличные, уважающие закон, и мы поступим с тобой, как полагается.

Пьер, далеко мы от дома?

— Миль двадцать будет!

— Отлично. Заберем с собой бедного Джо с его поклажей и едем к Двум Срубам. Я полагаю, мы видели вполне достаточно для того, чтобы вздернуть этого молодца.

IV

Спустя три часа после наступления темноты убитый, Смок и его конвоиры прибыли к Двум Срубам.

При свете звезд Смок увидел на плоском берегу десяток недавно построенных домишек, окружавших старый, довольно большой дом того типа, который нередко встречается на крайнем Западе. Его ввели как раз в этот старый дом. Там он увидел молодого человека огромного роста, его жену и слепого старика. Женщина, которую муж назвал Люси, тоже была высокая и сильная. Старик, как Смок узнал впоследствии, был старый зверолов со Стюарта. Он ослеп прошлой зимой. Узнал Смок и о том, что лагерь Два Сруба был построен год назад. Сюда прибыла группа людей, нашла здесь слепого зверолова и поселилась рядом с ним. Более поздние пришельцы создали

тут целый поселок. Охота была здесь хорошая, попадалось и золото.

Через несколько минут в комнату набилось все население Двух Срубов. Смоку связали руки и ноги ремнями из оленьей кожи, и, всеми осмеянный, никем не замечаемый, он лежал в углу. Он насчитал тридцать восемь человек, народ все грубый и дикий, — выходцы из Штатов и французы — проводники из северной Канады. Поймавшие Смока люди снова и снова повторяли рассказ о том, как все произошло, и вокруг каждого из них толпились разъяренные поселенцы.

— Линчуйте его сейчас же, чего ждать! — кричали в толпе.

Одного огромного ирландца пришлось удержать силой. Он хотел броситься на беззащитного пленника и избить его.

Разглядывая присутствующих, Смок заметил знакомое лицо. Это был Брэк, лодку которого он однажды провел через пороги. К удивлению Смока, тот не подошел к нему и не заговорил с ним. Смок тоже сделал вид, будто не узнает его. И вдруг заметил, что Брэк, заслонив лицо рукой, мигает ему.

Чернобородый, которого звали Эли Гардинг, положил конец толкам о немедленном линче-

вании.

— Молчать! — заорал он. — Потерпите немного. Этот человек принадлежит мне. Я его поймал, и я привел его сюда. Неужели вы думаете, что я тащил его в такую даль для того, чтобы линчевать? Конечно, нет! Я это и сам мог сделать. Я привез его для справедливого и беспристрастного суда, и, клянусь Богом, мы будем его судить справедливо и беспристрастно. Он связан и не сбежит. Оставим его здесь до утра, а завтра суд.

V

Смок проснулся. Он лежал лицом к стене и вдруг почувствовал, что струя ледяного воздуха впилась ему в плечо, как игла. В помещении было жарко натоплено, и струйка морозного воздуха, проникшая снаружи, где было пятьдесят градусов ниже нуля, свидетельствовала о том, что кто-то за стеной выковырял мох из щели между бревнами. Смок был связан, но все же ему удалось изогнуться и дотронуться губами до щели.

— Кто там? — прошептал он.

— Брэк! — последовал ответ. — Не шумите. Я хочу передать вам нож.

— Не стоит, — сказал Смок. — Я не могу им

воспользоваться. Руки у меня связаны за спиной и притянуты ремнем к койке. Да и нож вам в отверстие не просунуть. Но что-нибудь необходимо сделать. Эти молодцы самым серьезным образом хотят меня повесить, а вы, конечно, понимаете, что не я убил этого человека.

— Нечего об этом говорить, Смок. Если даже вы убили его, у вас на это, вероятно, были основания. Не в том дело. Я хочу спасти вас. Здесь отчаянный народ, вы сами их видели. Они оторваны от всего мира и судят по собственным законам на своих сборищах. Недавно они казнили двух воров, укравших продовольствие. Одного они прогнали из лагеря без провизии и спичек. Он прошел сорок миль, промучился два дня и в конце концов замерз. Другому — это было недели две спустя — они предложили на выбор: или уйти без продовольствия и огня, или получить по десяти ударов плетью за каждую дневную порцию. Он выдержал сорок ударов и испустил дух. Теперь они взялись за вас. Все до последнего человека уверены, что вы убили Джо Кинэда.

— Человек, убивший Кинэда, стрелял и в меня. Его пуля задела мне плечо. Добейтесь отсрочки суда и пошлите кого-нибудь обследовать тот берег.

— Ничего не выйдет. Все поверили Гардингу

и пяти французам, бывшим с ним. Кроме того, им досадно, что они никого еще до сих пор не повесили. Им живется скучновато. Никаких особенных богатств они пока не нашли, а искать Нежданное озеро им надоело. В начале зимы они ходили в походы, но сейчас и это оставлено. У них началась цинга, и они страшно озлоблены.

— И хотят выместить на мне все свои неудачи? — сказал Смок. — А вы, Брэк, как попали в это проклятое место?

— Я сделал несколько заявок на ручье Индианки, оставил там компаньонов, а сам пошел вверх по Стюарту, надеясь добраться до Двух Срубов. Здесь меня не приняли в компанию, и я начал разработку выше по Стюарту. У меня кончились запасы, и я только вчера вернулся сюда за продовольствием.

— Вам удалось что-нибудь найти?

— Мало! Но я изобрел одно гидравлическое сооружение, которое будет очень полезно, когда здесь начнется оживление. Особая драга для промывания золота.

— Подождите, Брэк, — сказал Смок, — дайте мне подумать.

В тишине, прислушиваясь к храпу спящих рядом людей, он обдумывал мелькнувшую у него

мысль.

— Скажите, Брэк, распаковали они мешки с провизией, которые были на моих собаках?

— Несколько мешков распаковали. Я видел. Они снесли их в хижину Гардинга.

— Нашли они там что-нибудь?

— Мясо!

— Отлично. Поищите темный полотняный мешок, завязанный ремнем из оленьей кожи. Вы найдете там несколько фунтов самородного золота. Никто никогда в этих местах такого золота не видывал. Слушайте, сделайте вот что…

Четверть часа спустя, получив подробные инструкции и обморозив себе пальцы, Брэк ушел. Смок тоже отморозил себе нос и щеку. Он целых полчаса терся лицом об одеяло, и только жар и покалывание прилившей к щекам крови уверили его, что опасности больше нет.

VI

— Мне все ясно. Не сомневаюсь, что это он убил Кинэда. Вчера вечером мы слышали все подробности. Зачем снова выслушивать то же самое? Я голосую: он виновен!

Так начался суд над Смоком. Оратор, здоровен-

ный детина, выходец из Колорадо, был очень огорчен, когда Гардинг сказал в ответ, что Смока надо судить по всем правилам, и предложил выбрать судьей и председателем собрания Шэнка Вильсона. Все население Двух Срубов вошло в состав присяжных и попутно, после некоторой дискуссии, лишило женщину, Люси, права голоса.

Смок, сидя на койке в углу комнаты, прислушивался к разговору между Брэком и одним из золотоискателей.

— Не продадите ли вы мне пятьдесят фунтов муки? — спрашивал Брэк.

— У вас не хватит песку, чтобы заплатить мне за нее.

— Я дам вам двести.

Тот покачал головой.

— Триста! Триста пятьдесят!

Когда дошло до четырехсот, человек согласился и сказал:

— Пойдемте ко мне в хижину. Там вы отвесите песок.

Они пробрались к двери и вышли. Через несколько минут вернулся один Брэк.

Гардинг давал свидетельские показания, когда Смок увидел, что дверь отворилась и в щели

показалось лицо человека, продававшего муку. Он подмигивал и делал какие-то знаки одному из золотоискателей. Наконец тот встал и пошел к двери.

— Куда ты, Сэм? — спросил Шэнк Вильсон.

— Я на минутку, — ответил Сэм. — У меня там дело.

Смоку разрешили задавать вопросы свидетелям. Начался перекрестный допрос. И вдруг все услышали визг собачьей упряжки и скрип полозьев по снегу. Кто-то из сидевших у двери выглянул наружу.

— Это Сэм и его компаньон, — сказал он. — Они помчались по направлению к Стюарту.

В течение полминуты никто не сказал ни слова. Все многозначительно переглядывались. Уголком глаза Смок видел, как Брэк, Люси и ее муж шептались между собой.

— Продолжай, — сказал Шэнк Вильсон Смоку. — Кончай поскорее допрос свидетелей. Ты хочешь доказать, что тот берег не был осмотрен. Свидетели этого не отрицают. Мы тоже. Но это и не понадобилось. Не было следов, которые вели бы к тому берегу.

— И все же на том берегу был человек! — настаивал Смок.

— Что ты нам очки втираешь. Нас не так много на Мак-Квещене, и мы всех знаем.

— Кто был тот человек, которого вы выгнали из лагеря две недели назад?

— Алонсо Мирамар, мексиканец. Но при чем тут этот вор?

— Ни при чем, если не считать того, что вы о нем ничего не знаете, господин судья.

— Он пошел вниз по реке, а не вверх.

— Почему вы так в этом уверены?

— Я видел, как он выходил из лагеря.

— И это все, что вам известно о нем?

— Нет, не все, молодой человек. Я знаю, все мы знаем, что у него было продовольствие на четыре дня, но не было ружья. Если он не добрался до поселка на Юконе, он давно погиб.

— Вы, должно быть, знаете и все ружья здесь? — спросил Смок.

Шэнк Вильсон рассердился.

— Ты так меня допрашиваешь, будто я обвиняемый, а ты судья. Следующий свидетель! Где француз Луи?

Луи вышел вперед. В эту минуту Люси открыла дверь.

— Куда вы? — строго спросил судья.

— Я не обязана торчать здесь, — вызывающе от-

ветила женщина. — Во-первых, вы меня лишили голоса, а во-вторых, тут слишком душно.

Через несколько минут вышел и ее муж. Судья заметил это, только когда закрылась дверь.

— Кто это вышел? — перебил он Пьера.

— Билл Пибоди, — ответил кто-то. — Он сказал, что ему надо спросить о чем-то жену и что он сейчас вернется.

Вместо Билла вернулась Люси, сняла шубу и села возле печки.

— Я полагаю, что нам незачем допрашивать остальных, — сказал Вильсон, выслушав Пьера. — Все они говорят одно и то же. Соренсон, сходи приведи Билла Пибоди. Сейчас будем голосовать. А теперь, незнакомец, встань и попробуй оправдаться. А мы, чтобы не терять времени, пустим по рукам оба ружья, патроны и обе пули.

Смок объяснил, как он попал в этот край, но в том месте рассказа, когда он начал описывать, как в него выстрелили из засады и как он выбрался на берег, его перебил Шэнк Вильсон.

— Зачем все эти россказни? Ведь мы только время теряем. Ты лжешь, чтобы избавить свою шею от петли, и это, конечно, твое право, но мы не желаем слушать вздор. Ружье, патроны и пуля, убившая Джо Кинэда, свидетельствуют против

тебя. Что там такое? Откройте дверь!

Мороз густым клубом пара ворвался в комнату. Сквозь открытую дверь донесся затихающий вдали собачий лай.

— Это Соренсон и Пибоди, — сказал кто-то. — Они гонят собак вниз по реке.

— Какого черта… — начал было Шэнк Вильсон, но взглянул на Люси и застыл с открытым ртом. — Может, вы, миссис Пибоди, объясните нам, в чем тут дело?

Она покачала головой и сжала губы. Тогда неприязненный взгляд судьи остановился на Брэке.

— Может, вам будет угодно сделать какие-нибудь разъяснения? Я видел, как вы перешептывались с миссис Пибоди.

Все взгляды обратились в сторону Брэка. Тот смутился.

— Он шептался и с Сэмом, — сказал кто-то.

— Послушайте, мистер Брэк, — продолжал Шэнк Вильсон. — Вы прервали заседание и теперь должны объяснить нам, в чем дело. О чем вы там шушукались?

Брэк робко кашлянул и ответил:

— Я хотел купить немного продовольствия.

— На что?

— Как на что? На золотой песок, конечно.

— Где вы его достали?

Брэк промолчал.

— Он промышлял недалеко отсюда, в верховьях Стюарта, — сказал один из золотоискателей. — На прошлой неделе я охотился неподалеку от его стоянки. Он держался как-то странно.

— Этот песок я нашел не там, — сказал Брэк. — Там я разрабатывал проект одного гидравлического сооружения.

— Подайте сюда ваш мешок, — приказал Вильсон.

— Да я нашел этот песок не здесь.

— Все равно! Мы хотим посмотреть.

Брэк притворился, будто не хочет показывать золото. Но он всюду видел угрожающие взоры. Нехотя он сунул руку в карман куртки и вынул жестянку. При этом он брякнул ею обо что-то твердое.

— Вытаскивайте все! — заорал Вильсон.

И Брэк вытащил огромный самородок необычайной желтизны. Таких самородков никто из присутствующих и не видывал.

Шэнк Вильсон ахнул. Человек шесть кинулись к дверям. Они долго толкались и ругались, прежде чем им удалось выйти на улицу. Судья

вытряхнул содержимое жестянки на стол, и, увидев самородки, еще человек шесть бросились к выходу.

— Куда вы? — спросил Эли Гардинг, видя, что Шэнк Вильсон тоже собирается уходить.

— За собаками, конечно.

— Да ведь вы хотели повесить его!

— Успеется! Он подождет, пока мы вернемся. Заседание откладывается. Нельзя терять времени.

Гардинг колебался. Он свирепо посмотрел на Смока, на Пьера, который с порога делал знаки Луи, потом на самородок, лежавший на столе, и тоже решил пойти с остальными.

— Не советую тебе удирать, — сказал он Смоку. — Впрочем, я думаю воспользоваться твоими собаками.

— Что это? Снова нелепая скачка за золотом? — ворчливо спросил слепой старик, когда раздался лай собак и скрип нарт.

— Я никогда в жизни не видела такого золота, — сказала Люси. — Потрогай его, старик.

Она протянула ему самородок. Но золото не интересовало его.

— У нас тут была чудная охота за пушным зверем, пока сюда не явились эти проклятые золотоискатели.

Открылась дверь, и вошел Брэк.

— Все обстоит прекрасно, — сказал он. — Кроме нас четверых, во всем лагере не осталось ни одного человека. До моей стоянки на Стюарте — сорок миль. Они вернутся не раньше чем через пять-шесть дней. Но вам, Смок, надо поскорее улепетывать отсюда.

Брэк достал охотничий нож, перерезал веревки, связывающие его друга, и взглянул на женщину.

— Надеюсь, вы не протестуете? — сказал он с подчеркнутой вежливостью.

— Если вы собираетесь стрелять, — сказал слепой, — переведите меня раньше в другую хижину.

— Со мной вы можете не считаться, — сказала Люси. — Если я не гожусь на то, чтобы повесить человека, я не гожусь и на то, чтобы сторожить его.

Смок встал, потирая затекшие руки.

— Я уже все для вас приготовил, — сказал Брэк. — На десять дней продовольствия, одеяло, спички, табак, топор и ружье.

— Бегите, — сказала Люси. — Держитесь холмов, незнакомец. Постарайтесь с Божьей помощью перебраться через них как можно скорее.

— Прежде чем ехать, я хочу поесть, — сказал

Смок, — и поеду я не вверх по Мак-Квещену, а вниз. Я хотел бы, чтобы вы поехали со мной, Брэк. Мы должны найти настоящего убийцу.

— Советую вам ехать вниз до Стюарта, а оттуда пробираться к Юкону, — возразил Брэк. — Когда эти головорезы вернутся, осмотрев мое гидравлическое сооружение, они будут злы, как волки.

Смок улыбнулся и покачал головой:

— Нет, Брэк, я не могу оставить эти места. Меня слишком многое здесь держит. Хотите верьте, хотите нет, но я должен вам сказать, что я нашел Нежданное озеро. Это золото я вывез оттуда. Кроме того, я хочу, чтобы мне вернули моих собак. Я знаю, что говорю: на той стороне реки прячется какой-то человек. Он выпустил в меня чуть ли не всю свою обойму.

Спустя полчаса Смок, евший жареную оленину и пивший кофе, вдруг поставил на стол свою чашку и прислушался. Он первый услышал какие-то подозрительные звуки. Люси открыла дверь.

— Здорово, Спайк. Здорово, Методи! — приветствовала она двух заиндевевших мужчин, склонившихся над чем-то лежащим на санях.

— Мы вернулись с верхней стоянки, — сказал один из них. Они осторожно внесли какой-то длинный предмет, завернутый в меха. — Вот

что мы нашли по дороге. Он, верно, уж совсем замерз.

— Положите его на нары, — сказала Люси.

Она наклонилась и откинула мех, открыв темное, местами обмороженное лицо, на котором выделялись большие черные немигающие глаза. Кожа туго обтягивала его.

— Да ведь это Алонсо! — воскликнула она. — Несчастный, он умирает с голоду.

— Вот он, человек с того берега, — вполголоса сказал Смок Брэку.

— Когда мы нашли его, — говорил один из новоприбывших, — он ел сырую муку и мороженую свинину. Он набрел на тайник, который устроил, верно, Гардинг. Он бился и кричал в наших руках, как пойманный ястреб. Посмотрите на него. Он высох от голода и замерз. Того и гляди умрет.

Через полчаса, когда лицо умершего снова покрыли мехом, Смок повернулся к Люси.

— Если это вас не затруднит, миссис Пибоди, я бы попросил вас зажарить мне еще кусок оленины. Сделайте его потолще и не слишком прожаривайте.

Гонки
I

— Так, так! Наряжаешься.

Малыш с притворным неодобрением оглядывал товарища, а Смок сердился, тщетно стараясь расправить набегающие складки на только что надетых брюках.

— Для брюк, сшитых на другого, они сидят вполне прилично, — продолжал Малыш. — Сколько ты дал за них?

— Сто пятьдесят долларов за весь костюм, — сказал Смок. — Его бывший владелец был почти такого же роста, как я; мне казалось, что это замечательно дешево. Чего ты, собственно, пристал ко мне?

— Кто? Я? Пустяки! Костюм сидит на тебе превосходно. Для такого любителя медвежатины, который прибыл в Доусон верхом на льдине, не имея ни крошки продовольствия, с единственной сменой белья, в истертых мокасинах и штанах, явно побывавших в кораблекрушении, — это просто шикарный костюм. И до чего же он тебе к лицу! Скажи, пожалуйста…

— Что тебе еще нужно? — раздраженно спросил Смок.

— Как ее зовут?

— Никак ее не зовут. Просто я приглашен на обед к полковнику Бови. А тебе, должно быть, завидно, что в такое почтенное общество приглашен я, а не ты.

— А ты не опоздаешь? — забеспокоился Малыш.

— Куда?

— На обед. Пожалуй, как раз к ужину попадешь.

Смок хотел было пуститься в объяснения, но заметил искорку насмешки в глазах Малыша. Он продолжал одеваться, но его пальцы потеряли былую гибкость, — вот почему он так неудачно завязал галстук под воротником своей бумажной сорочки.

— Какая жалость, — издевался Малыш, — что все мои крахмальные сорочки в стирке. А то я мог бы одолжить тебе.

Смок уже возился с башмаками. Шерстяные чулки были слишком толсты для них. Он умоляюще посмотрел на Малыша, но тот покачал головой:

— Ничем не могу помочь. Даже если бы у меня

были тонкие носки, я бы тебе не дал. Надень мокасины. Ты останешься без пальцев, если пойдешь в этих башмаках.

— Я дал за них пятнадцать долларов, за подержанные, — простонал Смок.

— Ручаюсь, что там все будут в мокасинах.

— Малыш, ведь там дамы. Я буду сидеть за одним столом с настоящими живыми женщинами. С миссис Бови и многими другими.

— Что ж, твои мокасины не испортят им аппетита. Не понимаю только одного: зачем ты понадобился полковнику?

— Я и сам не знаю. Должно быть, он слышал, что я открыл Нежданное озеро. Чтобы осушить его, понадобится целое состояние, а Гуггенгеймы, видимо, ищут, куда бы вложить свои капиталы.

— В таком случае иди в мокасинах. Слушай, пиджак-то узковат, очень уж талию облегает. Смотри, если дамы начнут там ронять на пол носовые платки, не поднимай их. Пусть себе лежат на полу, не обращай внимания…

II

Полковник Бови, высокооплачиваемый специалист, представитель крупного торгового дома

Гуггенгеймов, жил, как ему и подобало, в лучшем здании Доусона. Это двухэтажное бревенчатое здание было так огромно, что в нем была отдельная, настоящая гостиная, служившая только для приема гостей и больше ни для чего.

Огромные медвежьи шкуры покрывали некрашеный дощатый пол этой гостиной, а стены были украшены рогами оленей и лосей. В камине и в большой, набитой дровами печке весело трещал огонь.

Здесь Смок увидел сливки доусонского общества — не скороспелых миллионеров, а подлинный цвет золотопромышленного городка, население которого рекрутировалось со всех концов света. Тут были такие люди, как Уорбэртон Джонс, исследователь Арктики и литератор, капитан Консадайн из канадской конной полиции, Хаскелл — местный комиссар по золоту и барон фон Шредер, любимец кайзера, знаменитый международный дуэлянт.

Здесь же, в бальном платье, предстала перед ним Джой Гастелл, которую Смок до сих пор встречал только на тропе, в мехах и мокасинах. За обедом он сидел рядом с ней.

— Я чувствую себя, как рыба, вытащенная из воды, — признался он. — У вас у всех такой важный

вид. Я никогда не предполагал, что в Клондайке существует восточная роскошь. Посмотрите хотя бы на фон Шредера! Ведь на нем настоящий смокинг! А Консадайн надел накрахмаленную рубашку. Правда, он все же в мокасинах. А как вы находите мою обмундировку?

Он повел плечами, будто приглашая ее полюбоваться собой.

— Вы как будто пополнели за последнее время! — со смехом сказала Джой.

— Ошибаетесь, подумайте еще.

— Это не ваш костюм.

— Совершенно верно. Я купил его за большие деньги у конторщика Аляскинской компании.

— Как жаль, что у конторщиков такие узкие плечи! — сказала девушка. — А как вам нравится моя обмундировка?

— Я потрясен! — воскликнул Смок. — У меня не хватает слов! Я слишком долго был в походе. Ваш наряд ошеломил меня. Я совершенно позабыл, что у женщин есть руки и плечи. Завтра утром я, подобно моему другу Малышу, проснусь, и окажется, что это был только сон. Последний раз, когда я видел вас на ручье Индианки…

— Там я сама была похожа на индианку, — вставила Джой.

— Я не то хотел сказать. На ручье я открыл, что у вас есть ноги.

— Я никогда не забуду, что обязана вам своим спасением, — сказала она. — С тех пор я все время хотела повидаться с вами, чтобы поблагодарить вас. (Смок умоляюще повел плечами.) И вот почему сегодня вечером вы здесь.

— Это вы предложили полковнику пригласить меня?

— Нет, не полковнику, а полковнице. Я же попросила ее посадить нас за столом рядом. Кстати, все увлеклись разговором. Слушайте меня и не перебивайте. Вы знаете ручей Моно?

— Да.

— Как оказалось, это необычайно богатое место. Каждая заявка там стоит миллион долларов и выше. Разобрали эти заявки только на днях.

— Я помню нашествие на этот ручей.

— Словом, весь ручей и его притоки теперь покрыты заявочными столбами. Но вдруг выяснилось, что участок номер три, ниже «Находки», никем не занят. Ручей так далеко от Доусона, что комиссар предоставил шестидесятидневный срок для регистрации после фактической заявки, и все заявки, за исключением третьего номера, были в свое время зарегистрированы. Заявочные

столбы на участке номер три поставил Сайрус Джонсон. Но он исчез. Умер ли он, пошел ли вниз или вверх по реке — никто не знает. Через шесть дней истекает срок подачи заявления. Человек, который поставит там столбы и первый зарегистрируется в Доусоне, получит этот участок.

— Миллион долларов! — пробормотал Смок.

— Гилкрайст, которому принадлежит соседний участок, промыв один лоток, получил золота на шестьсот долларов. А участки рядом еще богаче.

— Но почему же никто об этом не знает? — скептически спросил Смок.

— Скоро узнают все. Это долго держали в тайне, но весть уже просочилась наружу. Хорошая собачья упряжка через двадцать четыре часа будет продаваться за сумасшедшие деньги. Как только кончится обед, вы отправитесь в дорогу. Сделайте это как можно тактичнее. Я все устроила. Придет индеец и принесет вам письмо. Вы прочтете письмо, притворитесь, что весьма озабочены, извинитесь и уйдете.

— Нет… Я не хочу расстаться с вами так скоро…

— Глупости! — шепотом воскликнула она. — Вы должны выехать сегодня же ночью. Надо достать собак. Я знаю две подходящие упряжки.

Одна у Гансона — семь большущих собак с Гудзонова залива. Он просит по четыреста долларов за каждую. Сегодня это дорого, но завтра будет дешевкой. Затем у Ситки Чарли есть восемь мейлемьтов, за которых он просит три тысячи пятьсот. Завтра он рассмеется, если ему предложат пять тысяч. У вас тоже есть собаки. Но не мешает скупить за ночь все лучшие упряжки. Вам предстоит путь в сто десять миль, и собак надо будет менять возможно чаще.

— Я вижу, вы хотите, чтобы я во что бы то ни стало принял участие в этой гонке..

— Если у вас нет денег на собак, то я…

Смок не дал ей договорить.

— Собак я могу купить сам. Но не думаете ли вы, что это азартная игра?

— После ваших подвигов на рулетке в «Оленьем Роге» я знаю, что она вас не испугает. Смотрите на это как на спорт. Гонка на приз в миллион долларов. Вам придется состязаться с лучшими здешними гонщиками. Они еще не вступили в игру, но через сутки вступят, и собаки невероятно подымутся в цене. Толстяк Олаф в городе. Он самый опасный ваш соперник. Аризона Билл тоже примет участие. Это профессиональный перевозчик грузов и почты. Все внимание будет

сосредоточено на нем и на Толстяке Олафе.

— И вы хотите, чтобы я выступил в роли темной лошадки?

— Конечно. В этом и заключается ваше преимущество. С вами не будут серьезно считаться. Ведь вас до сих пор считают за чечако. Вы еще и года здесь не живете. Если вы не обгоните всех на обратном пути, никто вас и не заметит.

— Значит, темной лошадке придется показать свой класс на финише? — сказал Смок.

Она утвердительно кивнула головой.

— Если вы не выиграете заявки на Моно, я никогда не прощу себе того, что я сделала с вами там, на ручье Индианки. И помните, вы единственный человек, который может оспаривать эту победу у наших старожилов.

Самое главное заключалось в том, как она это сказала. Смоку стало жарко. Сердце его забилось. Он кинул на нее вопросительный взгляд, невольный и значительный, и в ее глазах, на мгновение встретившихся с его глазами, прочел нечто гораздо более важное, чем весть об участке, который Сайрус Джонсон не успел зарегистрировать.

— Я приму участие в этом состязании, — сказал он. — И добьюсь победы.

Счастливый свет в ее глазах, казалось, обещал

ему бóльшую награду, чем все золото участка на ручье Моно. Он почувствовал, что ее рука, лежавшая у нее на коленях, ищет его руку. Под покровом скатерти он протянул свою навстречу и испытал крепкое пожатие девичьих пальцев. Ему снова стало жарко.

«Что скажет Малыш?» — неожиданно для себя подумал Смок, выпустив ее руку. Он уже почти ревниво смотрел на фон Шредера и Джонсона. Неужели они не замечают необыкновенной прелести этой девушки?

— Аризона Билл — белый индеец, — продолжала она. — А Толстяк Олаф — охотник на медведей, король снегов, могучий дикарь. Он выносливее любого индейца и никогда не знал другой жизни, кроме жизни в морозной пустыне.

— О ком вы говорите? — спросил через стол капитан Консадайн.

— О Толстяке Олафе, — ответила она. — Я рассказывала мистеру Беллью, какой он замечательный ездок.

— Вы правы, — ответил капитан. — Толстяк Олаф — лучший ездок на Юконе. В тысяча восемьсот девяносто пятом году он привез правительственные депеши после того, как два курьера замерзли на Чилкуте, а третий у Тридцатой Мили

провалился в полынью.

III

Смок ехал к ручью Моно не торопясь. Он боялся утомить своих собак до главной гонки. Он изучал тропу и отмечал места, где ему придется менять собак. В этом состязании приняло участие столько людей, что все пространство в сто десять миль было похоже на один сплошной поселок. По всему пути были расставлены собачьи подставы для смены упряжек. Фон Шредер, принявший участие в состязании исключительно из спортивных видов, имел одиннадцать упряжек, то есть мог менять собак каждые десять миль. Аризона Билл удовлетворился восемью упряжками. У Толстяка Олафа было семь упряжек — столько же, сколько у Смока. Кроме них, в состязании принимало участие свыше сорока человек. Гонки с призом в миллион долларов даже на золотоносном Севере случаются не каждый день. Цены на собак удвоились и даже учетверились.

Участок номер три ниже «Находки» находился в десяти милях от устья Моно. Остальные сто миль надо было проехать по ледяной груди Юкона. На третьем номере было пятьдесят палаток

и триста собак. Заявочные столбы, поставленные Сайрусом Джонсоном два месяца назад, все еще стояли на своих местах, и каждый участник состязания десятки раз обходил участок номер три. Дело в том, что скачке на собаках предшествовала скачка с препятствиями — пешком. Ведь каждый должен был поставить сам свои заявочные столбы — два центральных и четыре боковых. Для этого надо было дважды пересечь речку и только тогда уже можно было гнать своих собак в Доусон.

Было постановлено, что участок откроется для новой заявки ровно в двенадцать часов ночи, в пятницу. До тех пор никто не имел права ставить столбы. Таково было распоряжение комиссара, и, чтобы оно выполнялось, капитан Консадайн отрядил сюда отряд конной полиции. Возникла дискуссия, правильны ли часы у полиции, и капитан Консадайн во избежание споров решил, что время должен установить по своим часам лейтенант Поллок.

Тропа вдоль Моно имела неполных два фута ширины и напоминала желоб, так как по обеим сторонам ее возвышались огромные сугробы. Всех озадачивал вопрос, как по такому узкому пути смогут проехать сорок нарт и триста собак.

— Ну и давка же будет, — говорил Малыш. — Тебе, Смок, придется пробиваться силой. Если бы вся поверхность речки была как каток, и то на ней не разъехались бы и десять упряжек. Все смешается в одну непролазную кучу прежде, чем тронутся в путь. Если кто-нибудь загородит тебе дорогу, дай мне расправиться с ним.

Смок пожал плечами и уклончиво улыбнулся.

— Ты не должен заниматься такими пустяками! — встревоженно закричал Малыш. — Ведь нельзя же с больной рукой погонять собак сто миль, а ты непременно повредишь сустав, если вздумаешь разбить кому-нибудь морду.

Смок кивнул головой.

— Ты прав, Малыш, я не имею права рисковать.

— Первые десять миль собак буду гнать я, — продолжал Малыш. — А ты в это время постарайся сохранять полное спокойствие. Я довезу тебя до Юкона. А дальше собак будешь гнать ты сам. Знаешь, что придумал Шредер? Он поставил свою первую упряжку за четверть мили вниз по ручью и узнает ее по зеленому фонарю. Мы устроимся не хуже его. Но только во всех случаях я сторонник красного цвета.

IV

День был ясный и морозный, но к вечеру небо заволокли облака, и ночь пришла темная и теплая. Ждали близкого снегопада. Термометр показывал пятнадцать градусов ниже нуля, а для Клондайка зимой это очень тепло.

За несколько минут до полуночи Смок оставил Малыша с собаками в пятистах ярдах вниз по ручью и присоединился к золотоискателям, столпившимся на участке номер три. У старта собралось сорок пять человек, жаждущих получить миллион, который Сайрус Джонсон оставил в промерзшей земле. Каждый золотоискатель, одетый в просторную парку из грубого тика, тащил на себе шесть кольев и большой деревянный молоток.

Лейтенант Поллок, сидевший возле костра в широкой медвежьей дохе, смотрел на часы. До полуночи оставалась одна минута.

— Готовьтесь! — сказал он, поднимая в правой руке револьвер, а в левой часы.

Сорок пять капюшонов было откинуто назад, сорок пять пар рукавиц было снято, сорок пять пар ног, обутых в мокасины, уперлось в утоптан-

ный снег. Сорок пять кольев опустилось в снег, и сорок пять молотков взвилось в воздух.

Раздался выстрел, и молотки ударили. Сайрус Джонсон потерял свои права на миллион. Во избежание давки лейтенант Поллок распорядился, чтобы первым забивался нижний центральный столб, вторым — юго-восточный, затем остальные три угловые столба и, наконец, верхний центральный.

Смок вбил свой кол и в числе первого десятка двинулся дальше. По углам участка горели костры, возле костров стояли полисмены. У полисменов были списки участников состязания, и они вычеркивали имена тех, кто пробегал мимо. Каждый должен был назвать свою фамилию и показаться полисмену. Это было устроено для того, чтобы избежать подставных лиц, которые могли вбивать столбы, в то время как настоящий хозяин уже мчался вниз по реке на регистрацию.

В первом углу Смок и фон Шредер поставили свои столбы в одно время. Пока они стучали молотками, их окружила толпа переругивающихся людей. Пробившись сквозь толчею и назвав полисмену свое имя, Смок увидел, как барон столкнулся с кем-то и, сбитый с ног, полетел в сугроб. Но Смок не стал ждать. Впереди него

были еще другие. При свете костра он увидел перед собой широкую спину Толстяка Олафа. На юго-западном углу он и Толстяк Олаф вбили свои колья рядом.

Нелегка была эта предварительная гонка с препятствиями. Участок в милю длиной был усеян покрытыми снегом кочками. Все спотыкались и падали. Смок тоже несколько раз скатывался вниз на четвереньках. Толстяк Олаф растянулся прямо перед ним и сбил его с ног.

Верхний центральный столб нужно было поставить на откосе противоположного берега; люди спустились с откоса, перебежали через речку по льду и начали взбираться на противоположный откос. Смок взбирался на крутой берег, когда вдруг чья-то рука схватила его за ногу и потащила вниз. Смок не мог разобрать при мигающем свете отдаленного костра, кто сыграл над ним эту шутку. Но, к несчастью для себя, мошенник попробовал проделать то же самое с Аризоной Биллом. Аризона встал и изо всей силы ударил его кулаком по лицу. Смок попробовал подняться, но вдруг тоже получил удар по лицу и едва не лишился сознания. Ему все же удалось встать на ноги. Он уже приготовился было нанести ответный удар, но вспомнил советы Малыша

и удержался. Тут чье-то тело, как метательный снаряд, ударило его по ногам, и он снова покатился вниз.

Все это было словно прелюдией к тому, что потом творилось возле нарт. Люди скатывались с откоса и смешивались в кучу. Они старались вскарабкаться на противоположный откос, но нетерпеливые соперники стаскивали их вниз. Удары сыпались направо и налево, в воздухе стон стоял от ругани. Смок, вспоминая лицо Джой Гастелл, думал только о том, чтобы дерущиеся не вздумали пустить в ход деревянные молотки. Его несколько раз сбивали с ног, несколько раз он терял и снова находил свои колья. Наконец он выкарабкался из гущи человеческих тел и стал подниматься на берег подальше в сторонке. Многие конкуренты успели опередить его, и Смок поздравлял себя с тем, что в этой гонке на северо-западный угол участка он может укрыться за чьими-то спинами.

По дороге к четвертому углу он снова упал и потерял свой последний кол. Целых пять минут он искал его в темноте, и все время мимо него пробегали запыхавшиеся люди. От последнего угла он начал и сам перегонять людей, для которых такая гонка на расстоянии мили была не по силам.

У старта творилось нечто невообразимое. Нарты переворачивались, собаки бросались друг на дружку. Среди псов суетились люди и колотили сцепившихся животных дубинками. Увидев мельком это зрелище, Смок подумал, что даже на гравюрах Доре он не встречал ничего подобного.

Выбравшись на укатанную тропу ниже этой свалки, Смок пошел быстрее. Здесь на утоптанных стоянках по сторонам узкой тропы люди и нарты поджидали отставших гонщиков. Внезапно сзади донесся шум полозьев и визг собак, и Смок едва успел отскочить в глубокий снег. Нарты вихрем пронеслись мимо, и Смок увидел в них человека, стоявшего на коленях и дико кричавшего. Но уже через мгновение нарты эти остановились. Смок услышал шум битвы. На одной из стоянок разъяренные псы, почуяв пробегавших мимо собак, вырвались из рук погонщика и набросились на них.

Смок осторожно обошел сцепившихся псов. Он увидел зеленый фонарь фон Шредера и рядом красный огонек своей собственной упряжки. Двое погонщиков с короткими дубинками охраняли собак Шредера.

— Смок, сюда! — услышал он еще издали встревоженный голос Малыша.

— Иду! — закричал он.

При свете красного фонаря он увидел, что снег вокруг нарт смят и утоптан, а по тяжелому дыханию товарища понял, что здесь была драка. Он бросился к нартам и с разбега вскочил в них. Малыш поднял бич.

— Вперед, черти, вперед! — завыл он.

Собаки налегли на грудные ремни и вынесли нарты на дорогу. Это были крупные звери — Гансонова премированная упряжка гудзоновцев, — и Смок назначил их для первого перегона: десять миль от речки до Юкона, трудный пробег по голому льду возле устья и десять миль вниз по Юкону.

— Сколько человек впереди нас? — спросил Смок.

— Закрой рот и береги дыхание! — ответил Малыш. — Эй вы, зверюги! Вперед! Вперед!

Он бежал за нартами, держась за короткую веревку. Смок не мог видеть его, как не мог видеть и нарт, в которых лежал, вытянувшись во весь рост. Огни остались позади, и они мчались сквозь стену непроглядного мрака со всей скоростью, на какую собаки были способны. Этот мрак был какой-то обволакивающий; он казался плотным, почти осязаемым.

Смок почувствовал, как нарты, делая невидимый поворот, наехали на что-то и качнулись. Он услышал впереди ожесточенный лай и отчаянную брань. Впоследствии это называли «свалкой Барнса — Слокума». Упряжки Барнса и Слокума налетели одна на другую, и в эту кучу врезались сейчас семь огромных псов Смока. Возбуждение этой ночи на Моно довело этих полуприрученных волков до исступления. Клондайкских собак, которыми правят без вожжей, останавливают обычно только окриком, и сейчас не было никакой возможности прекратить побоище, завязавшееся на узкой дороге. А сзади налетали все новые нарты, увеличивая свалку. На людей, которым уже почти удалось распутать свои упряжки, катилась лавина новых собак, хорошо накормленных, отдохнувших и рвавшихся в бой.

— Мы должны во что бы то ни стало прорваться вперед! — заревел Малыш на ухо Смоку. — Береги руки и положись на меня.

Как они вырвались из этого водоворота, Смок почти не мог вспомнить. Чей-то кулак двинул его по челюсти, чья-то дубина стукнула по плечу. Собачий клык вонзился ему в ногу, и он почувствовал, как в мокасин стекает теплая кровь. Оба рукава его парки были изодраны в клочья. Нако-

нец шум свалки оказался позади. Словно во сне, Смок помогал Малышу перепрячь собак. Одна из собак издохла, они обрезали постромки и в темноте ощупью починили поврежденную упряжь.

— А теперь, Смок, ложись на нарты и отдышись, — сказал Малыш.

И собаки во всю прыть понеслись в темноту, вниз по Моно, пересекли широкую равнину и выбежали на Юкон. Здесь, при слиянии речонки с великой рекой, у поворота на широкий санный путь, кто-то разжег костер, и у этого костра Малыш расстался со Смоком. При свете костра, когда нарты понеслись, увлекаемые мчавшимися собаками, Смок запечатлел в своей памяти еще одну из незабываемых картин Севера. Это был Малыш, который шел, качаясь, проваливаясь в глубокий снег, и бодро давал свои последние наставления, хотя один глаз у него почернел и закрылся, пальцы были разбиты, а из руки, изодранной выше локтя собачьими клыками, лилась кровь.

V

— Сколько нарт впереди? — спросил Смок, сменяя на первой остановке своих утомленных гудзоновцев и вскакивая на поджидавшие его

новые нарты.

— Одиннадцать! — крикнул ему вслед человек, сторожи́вший собак.

Эта упряжка должна была сделать пятнадцать миль и довезти его до устья Белой реки. Это была самая слабая его упряжка, хотя в нее входило девять собак. Двадцать пять миль, загроможденных торосами, между Белой рекой и Шестидесятой Милей, он разбил на два перегона и поставил на них две свои лучшие упряжки.

Смок лежал на нартах ничком, вытянувшись во всю длину, и держался обеими руками. Едва собаки замедляли бег, он вскакивал на колени и, оглушительно крича, хлестал их бичом. Как ни слаба была эта упряжка, он все же обогнал на ней двух соперников. Вот наконец и Белая. Здесь во время ледостава торосы образовали барьер, отгородивший полынью длиной в целую милю; теперь полынья замерзла и была покрыта гладким льдом. Эта ровная поверхность давала возможность состязающимся менять собак на ходу, и здесь вдоль всего пути стояли наготове свежие собачьи подставы.

Миновав барьер и выскочив на гладкий лед, Смок полетел во весь опор и громко крикнул:

— Билли! Билли!

Билли услышал и отозвался, и при свете многочисленных костров на льду Смок увидел нарты, которые вынырнули откуда-то сбоку и понеслись за ним вдогонку. Собаки были свежие и догнали его. Когда нарты с ним поравнялись, Смок перепрыгнул в них, а Билли перепрыгнул в его нарты и отъехал прочь.

— Где Толстяк Олаф? — закричал Смок.

— Первым идет! — ответил Билли, и костры остались позади, а Смок снова мчался сквозь стену непроглядного мрака.

На этом трудном перегоне, среди хаоса торчащих кверху торосов, Смок, соскочив с нарт и тщательно управляя своим вожаком, обогнал еще троих соперников. Здесь, в темноте, среди льдин, то и дело происходили катастрофы, и Смок слышал, как обрезали постромки с погибших собак и чинили упряжь.

На следующем перегоне, коротком, но, пожалуй, самом трудном, ведущем к Шестидесятой Миле, он обогнал еще двоих. И словно для того, чтобы ему понятна стала их судьба, одна из его собак вывихнула себе плечо и запуталась в сбруе. Передовые собаки, озлобленные такой неудачей, бросились на пострадавшую товарку, и Смоку пришлось пустить в ход тяжелую рукоять своего

бича.

В то время как Смок удалял из упряжки раненую собаку, он услышал за собой собачий лай и человеческий голос, который показался ему знакомым. Это был фон Шредер. Смок закричал, чтобы предотвратить столкновение. Барон, гикнув на своих собак и налегая на поворотный шест, объехал Смока на расстоянии каких-нибудь двенадцати футов. Было так темно, что Смок, слыша его окрик над самым ухом, ничего не мог разглядеть.

Близ фактории на Шестидесятой Миле, на ровном льду, Смок обогнал еще две упряжки. Здесь все только что переменили собак и поэтому ехали почти рядом, стоя в нартах на коленях, размахивая бичами и крича на обезумевших псов. Но Смок хорошо изучил этот участок пути и знал, что сейчас возле вон той сосны, озаренной кострами, дорога круто повернет и превратится в узкую тропу. Дальше нарты смогут ехать только гуськом.

Нагнувшись вперед, Смок ухватился за веревку и подтянул нарты к своему кореннику. Потом поймал его за задние лапы и опрокинул на спину. Собака, рыча от бешенства, пыталась вонзить в него клыки, но остальные собаки уволокли ее за

собой. Ее тело сыграло роль тормоза, и две другие упряжки, шедшие со Смоком наравне, обогнав его, ринулись в темноту узкого прохода.

Впереди раздался грохот. Это столкнулись две упряжки. Смок выпустил из рук лапы коренника, бросился к шесту, круто повернул и погнал собак прямо через непримятый снег. Это было убийственно трудно, псы увязали в снегу по уши, но зато ему удалось вырваться на укатанную дорогу, оставив позади две пары столкнувшихся нарт.

VI

Перегон после Шестидесятой Мили имел всего пятнадцать миль, и Смок оставил для него неважную упряжку. Лучших псов он приберег для двух последних перегонов. Они домчат его до конторы инспектора в Доусоне. Сам Ситка Чарли поджидал Смока со своими восемью мейлемьтами, которые должны были перебросить его на двадцать миль вперед. А для финиша — пробег в пятнадцать миль — он назначил свою собственную упряжку, ту самую, на которой он добрался до Нежданного озера.

На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из трех упряжек, что шли впереди. Но и те

гонщики, нарты которых сбились в кучу у Шестидесятой Мили, не догнали его. Собаки весело и дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки и закутанные в меха люди поджидали своих утомленных хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились набок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах, но Смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли, почти машинально.

По временам он забывался, и три лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи: лицо Джой Гастелл, смеющееся и отважное, лицо Малыша, осунувшееся и постаревшее во время гонки по ручью Моно, и лицо Джона Беллью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали.

Ему хотелось петь и кричать, когда он вспоминал редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.

Уже забрезжил рассвет, когда он сменил утомленных собак на восьмерку свежих мейлемьтов. Эти легконогие выносливые псы могли бежать быстрее тяжеловесных гудзоновцев и были неутомимы, как настоящие волки. Ситка Чарли назвал Смоку всех его конкурентов, шедших впереди. Первым несся Толстяк Олаф, вторым Аризона Билл и третьим фон Шредер. Это были три лучших гонщика страны. Еще до отъезда Смока весь Доусон держал на них пари, называя их именно в этом порядке. Они оспаривали друг у друга миллион, а поставленные на них суммы в целом достигали полумиллиона. Но ни один человек не поставил на Смока. Несмотря на свои всем известные подвиги, он все еще считался чечако, которому предстоит учиться и учиться. Когда совсем рассвело, Смок заметил перед собой нарты и через полчаса нагнал их. Ездок оглянулся, и Смок поздоровался с ним. Это был Аризона Билл. Очевидно, фон Шредер опередил его. Дорога была так узка, что целых полчаса Смок не мог обскакать его и мчался за ним следом. Но наконец, обогнув огромную ледяную глыбу, они выехали на широкую гладкую дорогу, где стояло много собачьих подстав и снег был хорошо утоптан. Смок вскочил на колени, взмахнул бичом,

закричал на собак и полетел рядом с Аризоной Биллом. Тут только он заметил, что правая рука соперника безжизненно повисла и тот вынужден править левой рукой. Это было страшно неудобно, — бедный Билл не мог держаться левой рукой, и все же ему приходилось бросать бич и хвататься за передок нарт, чтобы не вылететь из них. Смок вспомнил драку на участке номер три и все понял.

Прав был Малыш, советуя ему избегать потасовок.

— Что случилось? — спросил Смок, обгоняя Билла.

— Не знаю. Должно быть, мне вывихнули плечо в драке.

Он отставал медленно, но все же в конце концов отстал на целых полмили. Перед Смоком, почти рядом, шли Толстяк Олаф и фон Шредер. Снова Смок поднялся на колени и выжал из своих замученных собак такую скорость, какую способен выжать только человек, обладающий чутьем настоящего собачьего погонщика. Он подъехал вплотную к задку нарт фон Шредера, и в таком порядке три упряжки выехали на просторную гладь перед торосами, где их ждали люди и свежие собаки. До Доусона оставалось

всего пятнадцать миль.

Фон Шредер, разбивший весь путь на десятимильные перегоны, должен был сменить собак через пять миль. Он продолжал гнать своих псов полным ходом. Толстяк Олаф и Смок на лету сменили свои упряжки, и крепкие свежие псы живо догнали ушедшего было вперед барона. Впереди мчался Толстяк Олаф, за ним по узкому следу несся Смок.

— Хорошо, но бывает лучше, — перефразировал Смок выражение Спенсера.

Фон Шредера, теперь отставшего, он не боялся, но впереди шел лучший гонщик страны. Перегнать его казалось невозможным. Много раз Смок заставлял своего вожака сворачивать, чтобы объехать Олафа, но тот неизменно загораживал ему дорогу и уходил вперед. Впрочем, Смок не терял надежды. Никто не проиграл, пока никто не выиграл; впереди еще пятнадцать миль, и мало ли что может случиться.

И действительно, в трех милях от Доусона кое-что случилось. К удивлению Смока, Толстяк Олаф вдруг вскочил на ноги и, отчаянно ругаясь, принялся бешено стегать своих собак. К такому крайнему средству можно прибегать в ста ярдах от финиша, но не в трех милях.

Что за беспощадное избиение! Это значит губить собак, подумал Смок. Его собственная упряжка полностью оправдала его надежды. На всем Юконе не было собак, которых заставляли бы больше работать, и тем не менее они находились в отличном состоянии. А все благодаря тому, что Смок был неразлучен со своими собаками, ел и спал с ними, знал характер каждого пса в отдельности, умел воздействовать на их разум и заставлял охотно служить себе.

Они проскочили через небольшой торос и снова понеслись по гладкой поверхности. Толстяк Олаф был всего в каких-нибудь пятидесяти футах впереди. Вдруг сбоку выскочили какие-то нарты. Смок все понял. Толстяк Олаф приготовил себе упряжку на смену перед самым Доусоном. Он гнал своих собак для того, чтобы не дать Смоку опередить себя во время смены упряжек. Эта свежая подстава перед самым домом была неожиданностью для всех, сюрпризом, который он тщательно подготовил и держал в строжайшей тайне. Даже большинство его помощников ничего не знало о ней.

Смок бешено погнал свою свору, и ему удалось покрыть те пятьдесят футов, которые отделяли его от соперника. Теперь его вожак поравнялся с

коренником Олафа. По другую сторону неслись нарты, предназначенные для смены. При такой сумасшедшей скорости Толстяк Олаф не решался перескочить на ходу. Если он промахнется и упадет, Смок выиграет состязание.

Толстяк Олаф все еще держался впереди, с необычайным искусством управляя собаками. Но головной пес Смока по-прежнему бежал рядом с его коренником.

Полмили все трое нарт мчались рядом. И только когда ровная дорога подходила к концу, Толстяк Олаф решился наконец на прыжок. Улучив минуту, когда несущиеся нарты почти сомкнулись, он прыгнул, мгновенно опустился на колени, взмахнул бичом, гикнул и погнал свою свежую упряжку. Дальше дорога была так узка, что Смок на время принужден был отказаться от попыток обогнать своего соперника. Но расстояние между ними было не больше одного ярда.

«Человек не побежден, пока его не победят», — говорил себе Смок. Как Толстяк Олаф ни гнал собак, он не мог оторваться от своего преследователя. Ни одна из тех упряжек, которые мчали Смока этой ночью, не могла бы выдержать такой убийственной гонки и соперничать со свежими собаками — ни одна, кроме его собственной. Но и

эти выдерживали гонку с трудом, и, огибая утес возле Клондайк-сити, Смок чувствовал, что они выбиваются из последних сил. Мало-помалу они стали отставать, и Толстяк Олаф фут за футом уходил вперед, пока не оторвался от Смока на целых двадцать ярдов.

Жители Клондайк-сити, вышедшие на лед, восторженно кричали. Здесь Клондайк впадал в Юкон, а в полумиле дальше, на северном берегу, стоял Доусон. Снова раздались бешеные крики, и вдруг Смок, скосив глаза, увидел подъезжающие к нему нарты. Он сразу узнал запряженных в них собак. Это были псы Джой Гастелл. И сама Джой Гастелл погоняла их. Капюшон ее беличьей парки был откинут, и овал ее лица выделялся, словно камея, на фоне темной массы волос. Она скинула рукавицы и в одной руке держала бич, а другой ухватилась за нарты.

— Прыгайте! — крикнула она Смоку, когда их нарты поравнялись.

Смок прыгнул и очутился позади нее. От тяжести его тела нарты накренились, но девушка удержалась на коленях.

— Гей, гей, поддай! Живо! — кричала она, и собаки завыли, изо всех сил стремясь перегнать Толстяка Олафа.

И когда ее вожак поравнялся с нартами Толстяка Олафа и ярд за ярдом стал выдвигаться вперед, огромная толпа народа на доусонском берегу окончательно обезумела. Толпа и в самом деле была огромная, потому что все золотоискатели на своих речонках побросали кирки и явились сюда, чтобы посмотреть на исход состязания. Конец пробега в сто десять миль — достаточная причина для любых безумств.

— Как только вы его перегоните, я соскочу с нарт! — крикнула Джой через плечо.

Смок попытался протестовать, но безуспешно.

— Не забудьте, что на береговом откосе крутой поворот, — предупредила она.

Обе упряжки бежали рядом. В продолжение минуты Толстяку Олафу с помощью бича и криков удавалось удерживать равновесие. Но вот вожак Джой стал выбираться вперед.

— Возьмите бич, — крикнула девушка, — я сейчас спрыгну!

Он уже протянул руку, чтобы взять бич, как вдруг услышал предостерегающий окрик Толстяка Олафа. Но было уже поздно. Передовой пес Олафа, разъяренный тем, что его обгоняют, кинулся в атаку. Он вонзил клыки в бок вожака Джой. Все собаки обеих соперничающих свор

вцепились в глотки друг дружке. Нарты наехали на дерущихся собак и опрокинулись. Смок вскочил на ноги и стал поднимать Джой. Но она оттолкнула его, крикнув:

— Бегите!

Толстяк Олаф, не теряя надежды на победу, успел убежать футов на пятьдесят вперед. Смок догнал его уже на берегу Доусона. Но на подъеме Толстяк Олаф собрал все свои силы и опять ушел футов на двенадцать вперед.

До конторы инспектора оставалось пять кварталов.

Улица была полна зрителей. Все высыпали на улицу, как на парад. Смоку нелегко было догнать своего рослого соперника, но все же он в конце концов догнал его. Но перегнать не мог. Бок о бок бежали они по узкому проходу в толпе одетых в меха, кричащих людей. То Смок, то Олаф судорожным прыжком выдвигался вперед на какой-нибудь дюйм лишь для того, чтобы сейчас же потерять его.

Если раньше они загоняли до полусмерти своих собак, то теперь они загоняли самих себя. Но ведь их ждал миллион и величайшие почести, какие только возможны в стране Юкона. «Откуда на Клондайке столько народу?» — думал Смок. Это

было единственное впечатление от внешнего мира, доходившее до его сознания. Он впервые видел все население края сразу.

Смок снова начал отставать. Сердце его разрывалось, ног он не чувствовал и, казалось, продолжал бежать помимо своей воли. И помимо своей воли он ценой невероятного усилия опять оказался рядом со своим огромным соперником.

Вот уже и открытая дверь заявочной конторы. Оба сделали последнюю напрасную попытку опередить друг друга. Бок о бок они ввалились в дверь, столкнулись и рухнули на пол конторы.

Им помогли сесть, но встать они были не в силах. Толстяк Олаф задыхался, обливался потом, махал руками и тщетно пытался что-то сказать. Затем он протянул руку, Смок взял ее, и они обменялись крепким рукопожатием.

— Вот это гонка! — как сквозь сон, услышал Смок голос инспектора, показавшийся ему далеким и слабым. — Вы оба выиграли. Вам придется делить между собой заявку. Вы — компаньоны.

Их руки поднялись вверх, потом опустились — в знак того, что это решение утверждено. Толстяк Олаф качал головой, задыхаясь. Наконец ему удалось заговорить.

— Проклятый вы чечако! — выговорил он, но

выговорил с восхищением в голосе. — Как это вам удалось — не знаю, но вам удалось!

Контора была переполнена, за дверьми на улице шумела толпа. Смок и Толстяк Олаф помогли друг другу подняться. Ноги едва держали Смока, он шатался, как пьяный. Толстяк Олаф, спотыкаясь, шагнул к нему.

— Мне ужасно досадно, что мои собаки напали на ваших!

— Что с ними поделаешь! — ответил Смок. — Я слышал, как вы кричали на них.

— Скажите, — сверкая глазами, вдруг сказал Толстяк Олаф, — ведь эта девушка — дьявольски славная девушка, а?

— Да, дьявольски славная девушка, — согласился Смок.

Смок и Малыш
Маленький Карсон
I

— Экий ты упрямец, — ворчал Малыш. — Боюсь я этого ледника. В одиночку его никто на свете не одолеет.

Смок весело засмеялся и смерил взглядом небольшой сверкающий ледник в дальнем конце долины.

— Сейчас уже август, — возразил он, — два месяца, как день пошел на убыль. Ты разбираешься в кварце, а я нет. Вот ты и поищи главную жилу, а я пошел добывать еду. Ну, до скорого. Вернусь завтра к вечеру.

И он зашагал прочь.

— Чует мое сердце, что это добром не кончится! — жалобно крикнул вслед Малыш.

Но Смок только расхохотался в ответ. Он шагал по узкой долине, изредка утирая пот со лба. Ноги его мяли спелую горную малину и хрупкие листья папоротника, что росли тут же, по соседству с островками льда, лежавшего всюду, куда не проникали солнечные лучи.

Ранней весной они с Малышом поднялись по реке Стюарт и углубились в хаос гор и ущелий, среди которых затерялось Нежданное озеро. Всю весну и половину лета они проблуждали понапрасну и совсем было повернули обратно, как вдруг перед ними впервые блеснуло неуловимое озеро с золотым дном, то самое, что манило и дурачило целое поколение золотоискателей.

Они поселились в старой хижине, которую Смок нашел еще в прошлый свой приход сюда, и вскоре сделали три открытия: во-первых, дно озера сплошь устлано крупными самородками; во-вторых, есть тут места неглубокие, где за золотом можно бы просто нырять, если бы не убийственно холодная вода; и наконец осушить озеро — задача огромная, не под силу двоим, да еще сейчас, когда уже прошла большая часть короткого полярного лета. Но они не пали духом; судя по неровной, шероховатой поверхности самородков, течение подхватило их где-то неподалеку, — и Смок с Малышом отправились на разведку. Они перебрались через большой ледник, нависший над южным берегом, и начали обследовать головоломный лабиринт небольших долин и ущелий, по дну которых сейчас или же когда-то в прошлом самыми прихотливыми пу-

тями сбегали в озеро горные речки, вместо того чтобы брать в нем начало.

Долина, по которой шел Смок, как и полагается всякой долине, постепенно расширялась; но в дальнем конце ее сдавили две круто поднимающиеся вверх каменные стены, а третья, глухая, встала наперерез. У основания этой поперечной стены беспорядочно громоздились обломки скал, и протекавший здесь ручей исчезал бесследно: должно быть, он проложил себе дорогу под землей. Смок взобрался на скалу, преградившую ему путь, и перед ним открылось озеро. В отличие от всех горных озер, какие он видел на своем веку, это озеро не было голубым. Оно было густо-зеленое, цвета павлиньего пера, а это означало, что вода здесь неглубокая и, значит, озеро вполне можно осушить. Со всех сторон вздымались горы, иссеченные льдами скалистые пики и утесы самых причудливых форм и очертаний, — дикий каменный хаос, земля, вставшая дыбом, точно на гравюрах Доре. Все это было так сказочно, так неправдоподобно, что Смоку представилось, будто перед ним не часть нашей разумной планеты, а какой-то космический гротеск. Тут и там в ущельях лежали ледники, почти все небольшие, полуистаявшие, и на глазах у Смока один

из более крупных, на северном берегу озера, пополз и с грохотом и плеском рухнул в воду. За озером, казалось, в какой-нибудь полумиле, — но Смок знал, что это добрых пять миль, — росли несколько елей и стояла хижина. Он присмотрелся внимательнее — нет, ему не померещилось, из трубы поднимался дымок. «Стало быть, еще какие-то люди, сами того не ожидая, набрели на Нежданное озеро», — подумал Смок и, повернув к югу, стал карабкаться по крутому склону.

Перевалив через скалу, он пошел небольшой долиной; под ногами у него расстилался цветочный ковер, в воздухе лениво жужжали пчелы, да и вообще эта долина вела себя вполне разумно: как и полагается, она выходила к озеру. Но через каких-нибудь сто ярдов она уперлась в отвесную стену в тысячу футов вышиной — со стены этой падал горный ручей, разлетаясь облаком мельчайшей водяной пыли.

Тут Смок увидал еще одну струйку дыма, лениво поднимавшуюся в солнечных лучах из-за выступа скалы. Огибая скалу, он услышал легкое постукивание по металлу и в такт стуку — веселое посвистывание. Еще несколько шагов — и он увидел человека, который, зажав между колен башмак подошвой кверху, вбивал в нее шипы.

— Здорово! — окликнул его незнакомец; он с первого взгляда пришелся Смоку по душе. — Как раз вовремя! Сейчас закусим! В котелке кофе, а вот еще парочка холодных лепешек и немного вяленого мяса.

— Не откажусь! — сказал Смок, усаживаясь напротив. — Последние дни пришлось изрядно поголодать. Но там, подальше, в хижине найдется что поесть.

— Вон в той, за озером? Туда-то я и направляюсь.

— Похоже, что Нежданное озеро становится людным местом, — пожаловался Смок, допивая остатки кофе.

— Да вы шутите? — На лице его собеседника выразилось величайшее изумление.

Смок рассмеялся:

— Оно всех застает врасплох. Вон видите, на северо-западе высокая гряда? Оттуда я увидел его в первый раз. Без всякого предупреждения. Вдруг внизу появилось озеро — все как на ладони. А я уже и искать его перестал.

— Вот и я тоже. Я уже повернул обратно, думал вчера вечером выйти на реку Стюарт, вдруг гляжу — озеро. Если это оно самое и есть, где же тогда Стюарт? И где я плутал все время? А вы как сюда

попали? Вас как зовут?

— Беллью. Кит Беллью.

— О, знаю. — Он весь просиял и крепко потряс руку Смока. — Я о вас столько слышал!

— Понимаю, вы следили по газетам за уголовной хроникой, — отшутился Смок.

— Ну нет, — собеседник, смеясь, покачал головой, — только за последними событиями на Клондайке. Вы давно не брились, а то бы я вас сразу узнал. Я ведь был в «Оленьем Роге», когда вы всех провели с рулеткой. Меня зовут Карсон, Энди Карсон. Даже сказать не могу, как я рад с вами познакомиться.

Карсон был худощавый, но жилистый, с живыми черными глазами. Сразу чувствовалось — славный малый и хороший товарищ.

— Стало быть, это и есть Нежданное озеро? — недоверчиво пробормотал он.

— Оно самое.

— И на дне — золото, как масло в горшке?

— Совершенно верно. Вот полюбуйтесь. — Смок вытащил из кармана штук шесть самородков. — Видите? Только нырните — и хоть с закрытыми глазами набирайте пригоршни. Но потом надо пробежать по крайней мере полмили, чтоб согреться.

— Да-а, черт меня побери со всеми потрохами, обскакали вы меня, — беззлобно ругнулся Карсон, но ясно было, что он огорчен и разочарован. — А я-то думал все сам выскрести, все до донышка. Ну ничего, хоть побывал тут, поглядел — и то развлечение.

— Развлечение! — воскликнул Смок. — Да если мы доберемся до дна, рядом с нами Рокфеллер покажется нищим.

— Но это же все ваше, — возразил Карсон.

— Что вы, что вы! Поймите, сколько лет люди ищут золото, а такого места еще никогда не находили. Чтоб выбрать все, что лежит там, на дне, понадобятся и мои руки, и ваши, и моего компаньона, и всех наших друзей. Да здесь в пол-акре больше золота, чем в Бонанзе и Эльдорадо, вместе взятых. Все дело в том, что озеро необходимо осушить. А на это нужны миллионы. Я боюсь одного: тут столько золота, что, если прямо так, без ограничения, пустить его в ход, оно потеряет всякую цену.

— И вы меня примете… — Карсон был так удивлен, что даже не мог договорить.

— С радостью, — докончил Смок. — Чтобы осушить озеро, понадобится год, если не два, и прорва денег, все, что только удастся собрать. А

осушить можно. Я уже тут осмотрелся. Но для этого потребуются усилия всех и каждого, кто согласится работать по найму, потребуется целая армия рабочих, и прежде всего нужны надежные люди, чтоб было с кем начинать дело. Хотите с нами?

— Хочу ли? Еще бы! Я уже чувствую себя миллионером — даже через ледник перебираться страшно. Как-то, знаете, неохота сейчас сломать себе шею. Жаль, что у меня нет больше шипов. Последний вбил в подметку, как раз когда вы явились. А у вас? Покажите-ка.

Смок вытянул ногу.

— Совсем стерлись! Подошва гладкая, что твой каток! — воскликнул Карсон. — Вы, я вижу, немало отмахали. Погодите минутку, я вытащу часть своих и отдам вам.

Но Смок и слушать не стал.

— Незачем, — сказал он. — У меня припасена веревка, футов сорок, я ее оставил в том месте, где мы с товарищем перебирались в прошлый раз. А с веревкой дело верное.

II

Подъем был трудный и утомительный. Лед, сверкая на солнце, слепил глаза. Смок и Карсон обливались потом и еле переводили дух. Кое-где лед был сплошь иссечен трещинами и расщелинами, пробираться в таких местах было тяжело и опасно, за час едва удавалось пройти какую-нибудь сотню ярдов. В два часа дня, поравнявшись с небольшим озерцом, образовавшимся на льдине, Смок предложил отдохнуть.

— Где там у вас мясо? — спросил он. — Давайте пожуем. Последнее время я недоедал, и у меня ноги подкашиваются. Ну ничего, самое плохое уже позади: еще триста ярдов, и мы выйдем на скалы. Теперь идти будет легче, остались только две-три скверные расселины и одна — перед крутым выступом — совсем дрянь. Там есть снеговая перемычка, довольно ненадежная, но мы с Малышом все-таки перебрались.

За едой они познакомились ближе, и Энди Карсон поведал Смоку свою историю.

— Я так и знал, что отыщу Нежданное озеро, — говорил он с набитым ртом. — Я должен был его найти. Я прозевал Французские Холмы, Боль-

шой Скукум, Монте-Кристо, только и оставалось Нежданное озеро, либо — прощай надежда! Ну, и вот добрался. Моя жена была уверена, что мне повезет. Я и сам не падал духом, но куда мне до нее. Другой такой женщины нет на свете — огонь, золотые руки, никогда не унывает, никого не боится, прямо для меня создана, стойкая, как кремень, и все такое. Вот поглядите.

Он достал часы, щелкнул крышкой — внутри была вставлена маленькая фотография; Смок увидел женское лицо в ореоле светлых волос и по обе стороны — смеющиеся детские рожицы.

— Мальчики? — спросил он.

— Сын и дочка, — гордо ответил Карсон. — Он на полтора года старше. У нас уже могли бы быть дети побольше, — со вздохом прибавил он, — да пришлось ждать. Жена, понимаете, хворала. Легкие. Но она решила не сдаваться. А что мы знали о таких вещах? Когда мы поженились, я работал в Чикаго, служил на железной дороге. У жены вся родня чахоточная. Доктора в то время еще мало разбирались в туберкулезе. Считалось, что он передается по наследству. У жены в семье он всех перебрал. Заражались друг от друга и даже не подозревали этого. Думали, что так с чахоткой и родились, что такая уж у них судьба. Мы с ней

первые два года жили у нее в доме. Я не боялся. В моей семье туберкулеза никогда не бывало. Как вдруг и я заболел. Тут пришлось мне задуматься. Стало быть, это заразительно. Я заразился, потому что дышал одним воздухом с ними.

Мы с женой все это обсудили. Я не пошел к врачу, который всегда их всех лечил, а обратился к специалисту из самых новых. Он подтвердил то, до чего я уже и сам додумался, и посоветовал переехать в Аризону. Снялись мы с места и поехали — без вещей, без гроша. Я нашел работу — стал пасти овец, а жену оставил в городе. Но это город чахоточных, там их полным-полно.

Я-то, конечно, сразу пошел на поправку, потому что день и ночь был на свежем воздухе. Домой по нескольку месяцев не наведывался, но каждый раз замечал, что жене становится все хуже. Она никак не могла оправиться. Но потом мы стали умней. Забрал я ее из города, и она тоже начала со мной пасти овец. Четыре года так прошло — зима ли, лето, холод или жара, дождь, снег, мороз, что бы там ни было, ни разу мы не спали под крышей и все время кочевали с места на место. Видели бы вы, как мы изменились — загорели дочерна, тощие стали, как индейцы, крепкие, как сыромятный ремень. Наконец мы решили, что уже совсем

здоровы, и отправились в Сан-Франциско. И оказывается, рано обрадовались. На второй же месяц у обоих началось кровохарканье. Сбежали мы назад в Аризону, к овцам. Еще два года там прожили. Это нас спасло. Вылечились окончательно. А ее родные все перемерли. Не послушали нас.

Тогда мы поняли, что в городе нам не житье. Излазили все побережье Тихого океана, и больше всего нам полюбился Южный Орегон. Поселились мы там в долине реки Игруньи, развели яблоневый сад. Там на яблоках можно разбогатеть. Только это еще никому невдомек. Добыл я кусок земли — в аренду, конечно, — по сорок долларов за акр. Через десять лет эта земля будет стоить пятьсот долларов акр.

Ну и досталось же нам в ту пору! На такие дела нужны деньги, а у нас для начала не было ни цента. Надо ведь и дом построить и конюшню, надо купить лошадей, плуги и прочее такое. Жена два года проработала учительницей в школе. Потом родился сын. А все-таки мы добились своего. Видели бы вы, какие яблони мы насадили, сотню акров, теперь они уже совсем большие. Но денег это стоило прорву, и платежи по закладной мы просрочили. Потому я и забрался сюда. Жене пришлось остаться дома с детишками и с яблонями.

Она хлопочет там, а я тут — будущий миллионер, черт меня дери.

Сияющими глазами он посмотрел на зеленые воды озера за искрящейся кромкой льда, потом еще раз взглянул на фотографию.

— Да, вот это женщина, — пробормотал он. — Всегда своего добьется. Она просто-напросто не пожелала умереть, вот и пошла пасти овец. А от нее только и оставалось тогда, что кожа да кости да огонек внутри. Она и сейчас худенькая. Толстой она никогда не будет. Но хоть и худенькая, а все равно хороша, милее всех на свете. И когда я вернусь домой и наши яблони начнут приносить плоды, а детишки пойдут в школу, мы с ней поедем в Париж. Я-то не бог весть какого мнения об этом Париже, но ей до смерти хочется туда попасть.

— Что ж, тут хватит золота, чтобы и в Париж съездить, — заверил Смок. — Надо только прибрать его к рукам.

Карсон кивнул, глаза его блестели.

— Вот что я вам скажу. Лучше, чем наш, не найти фруктового сада на всем побережье Тихого океана. И климат прекрасный. Там нам нечего бояться чахотки. У кого было плохо с легкими, тому, знаете, надо быть поосторожнее. Так вот,

если вам захочется пустить где-нибудь корни, вы первым делом загляните в нашу долину, непременно! А рыба там как ловится! Ого! Вам не случалось поймать лосося в тридцать пять фунтов весом на самую обыкновенную удочку? Это здорово, дружище, куда как здорово!

III

— Я легче вас на сорок фунтов, — сказал Карсон, — давайте я пойду первым.

Они стояли на краю расселины. Она была огромная, не меньше ста футов в поперечнике, и, видно, образовалась очень давно, — края у нее были не ровные и острые, как у свежей трещины, а обтаявшие, изъеденные временем. В том месте, где стояли Смок и Карсон, края этой ледяной пропасти соединял, точно мост, громадный пласт плотного, слежавшегося снега, наполовину тоже превратившегося в лед. Глаз не достигал нижнего края этой снежной массы, а уж дна расселины и вовсе нельзя было разглядеть. Мост этот подтаивал, обламывался и грозил каждую минуту обрушиться. Видно было, что совсем недавно от него отвалились большие куски, и пока Смок с Карсоном стояли и разглядывали его, снежная

глыба весом в добрых полтонны оторвалась и рухнула вниз.

— Не нравится мне это, — сказал Карсон и мрачно покачал головой. — Совсем не нравится. Тем более я теперь миллионер.

— Все равно надо перебраться, — сказал Смок. — Мы почти у цели. Не возвращаться же назад. И ночевать на льду нельзя. А другой дороги нет. Мы с Малышом все осмотрели на милю вокруг. Правда, когда мы тут проходили, это выглядело еще не так скверно.

— Надо поодиночке. Чур, я первый. — Карсон взялся за смотанную кольцами веревку, которую держал в руках Смок. — А потом уж вы. Я возьму веревку и кирку. Ну-ка, помогите мне спуститься.

Медленно, осторожно он соскользнул вниз, туда, где начиналась снеговая перемычка, и остановился, чтобы окончательно приготовиться к опасному переходу. За спиной у него висел дорожный мешок. На плечи он набросил свернутую широким кольцом веревку, один конец которой был накрепко обмотан у него вокруг пояса.

— Я бы с радостью отдал половину моих миллионов, лишь бы хорошая артель мигом выстроила тут мост, — сказал он, но его лукавая, веселая

усмешка говорила, что это только шутка. И он прибавил: — Ничего, перелезу не хуже кошки.

Точно канатоходец, он взял наперевес кирку и длинный шест, который служил ему альпенштоком, осторожно вытянул ногу и сразу отдернул — видно было, что ему нелегко побороть страх.

— Уж лучше бы оставаться бедняком, — весело сказал он. — Если и на сей раз мои миллионы мне улыбнутся, не стану больше в это дело ввязываться. До чего это хлопотно — быть миллионером!

— Пустяки, — ободряюще сказал Смок. — Давайте я пойду первым, я ведь уже однажды это проделал.

— Но вы на сорок фунтов тяжелей меня, — возразил маленький, щуплый Карсон. — Погодите минутку, сейчас я соберусь с духом. Вот! — И он разом овладел собой. — Да здравствует Игрунья и наши яблони! — провозгласил он и осторожно, легко ступил одной ногой, потом другой. Медленно, рассчитывая каждое движение, он прошел две трети пути. Потом остановился и начал осматривать глубокую яму, через которую ему предстояло перебраться; на дне ее зияла свежая трещина. Смок увидел, как Карсон искоса поглядел вниз, в бездонную пропасть под снежным мостом, и зашатался.

— Выше голову! — повелительно крикнул Смок. — Вниз не смотреть! Так! Вперед!

Карсон повиновался и дошел до конца, ни разу больше не дрогнув. Противоположный край расселины, обтаявший на солнце, был скользкий, но не слишком крутой; Карсон добрался до узкого карниза, повернулся и сел.

— Теперь ваш черед! — крикнул он. — Только не останавливайтесь и не смотрите вниз. Вот что меня чуть не подвело. Шагайте без остановки, в этом вся суть. И пошевеливайтесь. Эта махина того и гляди развалится.

Балансируя своим шестом, Смок двинулся в путь. Ясно было, что мост еле дышит. Снежный пласт под ногами у Смока дрогнул, чуть заметно качнулся, задрожал сильнее. И вдруг раздался громкий треск. Несомненно, позади что-то случилось. Достаточно было посмотреть на потемневшее, напряженное лицо Карсона, чтобы это понять. Откуда-то снизу послышалось далекое слабое журчание и плеск воды, и Смок невольно глянул туда, в мерцающую ледяную бездну. Но тотчас вскинул глаза и уже не смотрел ни вправо, ни влево. Пройдя две трети пути, он оказался перед той же глубокой ямой с трещиной на дне. По острым краям, еще не обтаявшим на

солнце, видно было, что трещина образовалась совсем недавно. Он уже готов был перешагнуть через нее, как вдруг края стали медленно расходиться с сухим непрерывным треском. Смок заторопился, широко шагнул, но башмак со стертыми шипами не удержался на противоположном краю ямы. Смок упал ничком и съехал вниз к самой щели, ноги его уже повисли над пропастью; он совсем провалился бы в нее, если бы, падая, не успел перебросить поперек свой шест и не лег на него грудью. Сердце его бешено забилось, тошнота подступила к горлу. «Почему я больше не падаю?» — мелькнула мысль. Позади что-то трещало, сотрясалось, перемещалось, и шест, на котором повис Смок, дрожал, как натянутая струна. Снизу, из самых недр ледника, донесся глухой, далекий грохот — это обвалившиеся глыбы достигли дна пропасти. Дальний конец снегового моста лишился опоры, середина переломилась, и все же он еще держался, хотя та часть, которую Смок уже миновал, повисла под углом в двадцать градусов. Карсон, прочно усевшись на выступе скалы и изо всех сил упираясь ногами в подтаявший плотный снег, поспешно сматывал и перехватывал рукой обвивавшую его плечи веревку.

— Погодите! — крикнул он. — Не шевелитесь, а то все загремит к чертям.

Он прикинул на глаз расстояние, сорвал с шеи платок, привязал его к веревке, потом вытащил из кармана второй платок. Веревка из связанных намертво упряжных ремней и сплетенных полос сыромятной кожи была легкая и очень прочная. Карсон ловко метнул ее, и Смок с первого же раза поймал конец. Он хотел тотчас выбраться из щели, но Карсон, который тем временем заново опоясался веревкой, остановил его.

— Обвяжитесь тоже, да покрепче, — скомандовал он.

— Если я упаду, я и вас потяну за собой, — возразил Смок.

В голосе маленького, щуплого Карсона зазвучали металлические нотки.

— Помолчите, — оборвал он Смока. — От вашего крика все это может рухнуть вниз.

— Но если я свалюсь…

— Молчите! Никуда вы не свалитесь. Делайте, что вам говорят. Обвяжитесь под мышками, вот так. Покрепче. Так! Вылезайте! А теперь шагайте, но только полегче. Я буду выбирать веревку. Вы знай шагайте. Вот так. Легче! Легче!

Смоку оставалось пройти каких-нибудь десять

шагов, и тут мосту пришел конец. Бесшумно, толчками, он заваливался, оседал все ниже.

— Скорей! — крикнул Карсон, торопливо перехватывая руками веревку.

Смок спешил, как только мог. И вот мост рухнул. Смок пальцами впился в край ледяной стены, а все тело его рванулось вниз за снеговой громадой, ушедшей у него из-под ног. Карсон, сидя на выступе скалы, напрягся, уперся ногами и изо всей мочи потянул веревку к себе. Огромным усилием ему удалось подтащить Смока к верхнему краю стены, но тут он и сам не удержался. Он, как кошка, перевернулся в воздухе, отчаянно цепляясь за гладкий лед, и съехал вниз. Под ним, на другом конце сорокафутовой веревки, так же отчаянно цеплялся за что попало Смок; и прежде чем грохот, донесшийся из бездны, возвестил, что снежная громада достигла дна, оба задержались в своем падении. Карсон первым нашел точку опоры и, изо всех сил натянув веревку, удержал Смока.

Теперь каждый оказался в небольшой впадине; но та ямка, куда попал Смок, была так неглубока, что, как он ни цеплялся за откос, распластавшись на нем всем телом, он неминуемо упал бы, если бы не веревка, — она хоть немного поддерживала

его. Он лежал на краю выступа и не мог видеть, что там, ниже. Прошло несколько минут, оба оценивали положение и с необычайной быстротой овладевали искусством прилипать к мокрому и скользкому ледяному склону. Карсон заговорил первым.

— Эй, — окликнул он; и еще чуть погодя: — Если вы продержитесь минуту сами, я повернусь. Попробуйте.

Смок попытался удержаться без помощи веревки.

— Могу, — сказал он. — Скажите, когда будете готовы. Только поскорее.

— Фута на три ниже есть место, где можно стать, — сказал Карсон. — Я в два счета. Готовы?

— Валяйте!

Это была нелегкая задача — сползти на ярд ниже по крутому скользкому склону, повернуться и сесть; но еще трудней пришлось Смоку: прильнув к ледяной стене, он удерживался на ней огромным напряжением всех мышц, которое с каждой секундой становилось все невыносимее. Он уже чувствовал, что начинает съезжать вниз, но тут веревка натянулась, и, подняв глаза, он увидел Карсона. Карсон был изжелта-бледен, вся кровь отхлынула от его загорелого лица, и Смок мель-

ком подумал, что и сам он, наверно, выглядит не лучше. Тут он увидел, что Карсон нащупывает на поясе нож и руки его трясутся.

«Кончено! — решил Смок. — Малый ошалел от страха. Сейчас перережет веревку».

— Н-ничего, — стуча зубами, выговорил Карсон. — Я не боюсь. Это просто н-нервы, ч-черт их дери. Сейчас все будет в порядке.

Смок, закинув голову, смотрел на него; весь скорчившись, дрожащий и неловкий, Карсон одной рукой натягивал веревку, на которой повис его спутник, а другой сжимал нож и понемногу выдалбливал во льду зарубки для ног.

— Карсон, — тихо сказал Смок, — вы молодчина. Вы просто молодчина!

Слабая, жалкая улыбка была ему ответом.

— Я всегда боялся высоты, — признался Карсон. — У меня от нее голова кружится. Я минутку передохну, ладно? А потом вырублю ямки поглубже, для упора, и вытащу вас.

У Смока потеплело на душе.

— Слушайте, Карсон, — сказал он. — Вы должны перерезать веревку. Все равно вам меня не вытащить, зачем же пропадать обоим. Нож у вас есть. Перережьте веревку.

— Молчите! — возмущенно оборвал его Кар-

сон. — Вас никто не спрашивает.

Смок не мог не заметить, что гнев благотворно подействовал на нервы Карсона. Зато для его собственных нервов было жестоким испытанием лежать вот так и ждать, прижимаясь ко льду и напрягая все силы, чтобы не упасть.

Стон и окрик: «Держись!» — предупредили его об опасности. Сделав нечеловеческое усилие, он вжался лицом и всем телом в лед, почувствовал, как ослабла веревка, и понял, что Карсон скользит вниз, к нему. Он не смел поднять глаза; потом веревка опять натянулась, — Карсон снова нашел опору.

— Еще немного — и была бы крышка, — прерывающимся голосом сказал Карсон. — Съехал на целый ярд. Теперь погодите. Мне надо опять сделать зарубки. Проклятый лед уж очень слаб, а то мы давно бы вылезли.

Левой рукой он натянул веревку, помогая Смоку держаться, а правой долбил лед. Так прошло минут десять.

— Вот слушайте, что я сделал! — крикнул Карсон. — Я выдолбил вам зарубки для ног и для рук, чтобы мы могли стоять рядом. Я буду понемногу тянуть веревку, а вы лезьте сюда, только не торопитесь. И первым делом вот что: избавьтесь-ка

от своего мешка, я вас пока удержу на веревке. Понятно?

Смок кивнул и медленно, осторожно отстегнул ремни. Потом повел плечами, высвобождаясь, и Карсон увидел, как мешок соскользнул вниз и исчез за ледяным выступом.

— Теперь я избавлюсь от своего, — крикнул он Смоку. — Потерпите еще немного!

Через пять минут начался трудный, мучительный подъем. Смок насухо вытер ладони о подкладку рукавов и впился руками в лед; он полз, карабкался, цеплялся, распластывался на этой скользкой круче, поддерживаемый натянутой веревкой. Без помощи Карсона он не поднялся бы ни на дюйм. Хотя он был много сильнее, но зато и тяжелее на сорок фунтов, а потому не мог так цепко держаться на крутизне. Треть пути осталась позади; подъем стал еще круче, а ледяная поверхность, меньше тронутая солнцем, еще более скользкой, и тут Смок почувствовал, что веревка уже не тянет его вверх с прежней силой. Он полз все медленнее, медленнее. Остановиться и передохнуть было негде. Он выбивался из сил, но все же поневоле остановился — и тотчас снова заскользил вниз.

— Падаю! — крикнул он.

— Я тоже, — сквозь зубы отозвался сверху Карсон.

— Тогда бросьте веревку!

В ответ веревка натянулась было в тщетном усилии, потом Смок покатился вниз еще быстрей; он миновал яму, откуда недавно выбрался, и свалился за ледяной бугор. Падая, он в последний раз мельком увидел Карсона: сбитый с ног, Карсон неистово цеплялся за что попало, пытаясь удержаться. Смок был уверен, что летит в пропасть, но, к его удивлению, этого не случилось. Веревка все еще поддерживала его, он скользил по крутизне, но очень скоро скат стал более отлогим, падение замедлилось, и наконец Смок очутился в новой впадине, задержанный новым бугром. Карсона он теперь не видел, — Карсон оказался в той самой впадине, которую прежде занимал Смок.

— Ну-ну, — дрожащим голосом сказал Карсон. — Ну и ну!

Стало тихо. Потом веревка заколебалась.

— Что вы делаете? — окликнул Смок.

— Зарубки для рук и для ног, — нетвердо, запинаясь, отвечал Карсон. — Вот погодите. Я вас живо вытащу. Вы не смотрите, что я заикаюсь. Это просто от волнения. А вообще я ничего. Вот увидите.

— Вы все силы на меня тратите, — сказал Смок. — Лед тает, еще немного — и вы свалитесь вместе со мной. Вам надо это бросить. Слышите? Незачем нам обоим погибать. Понятно? Вы молодчина, каких нет на свете, прямо герой. Но вы бьетесь понапрасну. Бросьте меня.

— Молчите. На этот раз я сделаю зарубки поглубже, тут не то что человек — и лошадь станет. Целая упряжка.

— Довольно уж вы меня тянули, — настаивал Смок. — Бросьте!

— Сколько раз я вас вытягивал? — грозно спросил Карсон.

— Много раз, и совершенно зря. Вы из-за этого только сами съезжаете все ниже.

— Зато учусь действовать вернее. Я до тех пор буду вас тянуть, пока мы отсюда не выберемся. Поняли? Видно, Господь Бог знал, что делал, когда создал меня легковесом. Ну, теперь помолчите. Я занят.

Несколько минут прошло в молчании. Смок слышал, как стучит и звенит, ударяя по льду, лезвие ножа, ледяные осколки перелетали к нему за бугор. Смока мучила жажда; цепляясь руками и ногами за откос, он губами ловил эти мелкие льдинки, давал им растаять во рту и

жадно глотал.

Он услышал, как охнул и потом в отчаянии простонал Карсон; веревка ослабла, и Смок изо всей силы вцепился в лед. Но тотчас веревка снова натянулась. Смок поднял глаза: из-за бугра показался нож и скользнул к нему по крутому склону, острием вперед. Смок зажал его щекой, содрогнулся от пореза, но тут же зажал крепче, и нож остановился.

— Экий я ротозей! — огорченно вскрикнул Карсон.

— Ничего, я его поймал, — успокоил Смок.

— Да ну? Постойте-ка! У меня в кармане сколько угодно бечевки. Я вам ее спущу, и вы привяжете нож.

Смок не ответил, охваченный вихрем противоречивых мыслей.

— Эй, вы там! Вот вам бечевка. Скажите, когда поймаете.

Маленький перочинный ножик, привязанный к бечевке вместо груза, заскользил по льду. Смок поймал его, одной рукой и зубами торопливо открыл большое лезвие и попробовал — острое ли. Потом привязал к бечевке большой нож и крикнул Карсону:

— Тащите!

Нож ушел вверх. Смок не сводил с него глаз. Но он видел не только нож, перед глазами его стоял маленький, щуплый человечек, испуганный и все же непреклонный: он дрожит, стучит зубами, голова у него кружится, и, однако, он умеет побороть страх и отчаяние и ведет себя героем. С тех пор как Смок повстречался с Малышом, ни один человек так сразу не пришелся ему по сердцу, как Карсон. Да, этот поистине вскормлен мясом, это настоящий друг — готов погибнуть за тебя, и твердость духа такая, что самый жестокий страх ее не поколеблет. И однако, Смок трезво оценивал положение. Обоим им не спастись. Медленно, но верно они сползают в пропасть, — он, Смок, тяжелее, и он тащит за собой Карсона. Карсон — легкий и цепкий, как муха. Оставшись один, он спасется.

— Ай да мы! — донесся голос из-за бугра над головой Смока. — Теперь все в порядке, выберемся в два счета!

Он так старался, чтоб голос его звучал бодро и уверенно! И Смок принял решение.

— Слушайте, — заговорил он твердо; откуда-то выплыло лицо Джой Гастелл, но Смок силился прогнать это видение. — Я отправил вам наверх нож, с ним вы отсюда выберетесь. Понятно?

А перочинным ножиком я перережу веревку. Лучше спастись одному, чем погибнуть обоим, понятно?

— Спастись обоим или никому. — В дрожащем голосе Карсона была непоколебимая решимость. — Только продержитесь еще минутку…

— Я и так держусь слишком долго. Я человек одинокий, никто меня не ждет — ни славная худенькая женушка, ни детишки, ни яблони. Понятно? Ну и шагайте подальше отсюда.

— Погодите! Бога ради, погодите! — закричал Карсон. — Не смейте! Дайте мне вас вытащить! Спокойнее, дружище. Мы с вами выкарабкаемся. Вот увидите. Я тут таких ям понарою, что в них влезет целый дом и конюшня в придачу.

Смок не ответил. Как завороженный, следя глазами за ножом, он старательно, неторопливо стал перерезать веревку — и вот одна из трех узких полосок сыромятной кожи лопнула, и концы ее разошлись.

— Что вы делаете? — отчаянно закричал Карсон. — Если вы ее перережете, я вам никогда не прощу, никогда! Спасаться — так обоим или никому, слышите? Мы сейчас выберемся. Только подождите! Ради Бога!

И Смок, не сводивший глаз с перерезанного

ремешка, ощутил безмерный, обессиливающий страх. Он не хотел умирать! Пропасть, зияющая внизу, приводила его в ужас, и с перепугу он ухватился за бессмысленную надежду: может быть, отсрочка окажется спасительной… Страх толкал его на уступку.

— Ладно, — откликнулся он. — Я подожду. Делайте что можно. Но так и знайте, Карсон, если мы опять поползем вниз, я перережу веревку.

— Тише вы! И не думайте про это. Уж если поползем, дружище, так только вверх. Я прилипаю, как пластырь. Я мог бы удержаться, будь тут хоть вдвое круче. Для одной ноги вам уже вырублена солидная ямина. Теперь помолчите, а я буду работать.

Потянулись долгие минуты. Стараясь ни о чем больше не думать, Смок прислушивался к ноющей боли в пальце, на котором задралась заусеница. Надо было еще утром ее срезать, она уже и тогда мешала; ничего, как только выберемся из этой щели, сейчас же срежу, — решил Смок. И вдруг он увидел этот палец и заусеницу другими глазами. Пройдет еще минута, в лучшем случае десять, двадцать минут, и заусеница, и этот крепкий, гибкий, подвижный палец, быть может, станут частью искалеченного трупа на

дне пропасти. Смоку стало страшно, и он возненавидел себя за малодушие. Нет, храбрые люди, те, что едят медвежатину, сделаны из другого теста! От гнева, от презрения к себе он готов был взмахом ножа рассечь веревку. Но страх заставил его опустить нож, и, дрожа, обливаясь потом, он опять прильнул к скользкому откосу.

Он старался уверить себя, будто весь дрожит оттого, что промок насквозь, прижимаясь к тающему льду; но в глубине души он знал, что не в этом дело.

Он услышал вскрик, стон, и веревка вдруг ослабла. Смок начал сползать вниз. Он скользил медленно, очень медленно. Веревка опять натянулась. Но Смок все-таки скользил вниз. Верный Карсон не мог удержать его и сам скользил вместе с ним. Вытянутая нога Смока повисла в пустоте, и он почувствовал, что сейчас рухнет в бездну. Еще секунда — и он, падая, увлечет за собой Карсона.

В этот краткий миг он с пронзительной ясностью понял, что́ единственно правильно, — и, уже не думая, поборов страх смерти, страстную волю к жизни, наотмашь провел лезвием по веревке, увидел, как она порвалась, почувствовал, что скользит все быстрее… падает…

Что было дальше, он так и не понял. Сознание

он не потерял, но все произошло слишком быстро и внезапно. Он должен был разбиться насмерть, но нет — почти тотчас под ногами плеснуло, он с размаху шлепнулся в воду, и холодные брызги обдали ему лицо. Сперва Смок вообразил, что расселина совсем не так глубока, как казалось, и он благополучно достиг дна. Но сейчас же понял свою ошибку. Противоположная стена пропасти была в десяти или двенадцати футах от него. Он сидел в небольшом водоеме, образовавшемся на ледяном уступе оттого, что выше, где лед торчал бугром, таяла, сочилась, капала вода и струйки ее, падая с высоты в десять футов, выдолбили здесь впадину. В том месте, куда свалился Смок, глубина была фута два, и вода доходила до краев. Смок заглянул за край: узкая расселина уходила вниз на многие сотни футов, и на дне ее пенился бурный поток.

— Ох, что вы сделали! — с ужасом крикнул Карсон.

— Послушайте, — отозвался Смок, — я цел и невредим, сижу по горло в воде. Наши мешки тоже тут. Сейчас я на них сяду. Тут хватит места еще человек на шесть. Если начнете скользить, держитесь поближе к стене — как раз сюда попадете. А лучше выбирайтесь отсюда. Идите в ту

хижину. Там кто-то есть. Я видел дым. Достаньте веревку или что-нибудь, что может сойти за веревку, возвращайтесь и выудите меня отсюда.

— А вы правду говорите? — недоверчиво переспросил Карсон.

— Чтоб мне провалиться, если вру. Но только поскорее, а то как бы мне не схватить насморк!

Стараясь согреться, Смок стал каблуком пробивать во льду спуск для воды. К тому времени, как вся вода вылилась, он услышал далекий голос Карсона, который сообщал, что он благополучно выбрался наверх.

Потом Смок стал сушить свою одежду. Под теплыми лучами послеполуденного солнца он все снял с себя, выжал и разостлал вокруг. Спички в непромокаемой коробке не пострадали от воды. Смок ухитрился просушить щепотку табаку, клочок рисовой бумаги и свернул самокрутку-другую.

Часа два он просидел нагишом на мешках, курил, и вдруг наверху послышался так хорошо знакомый ему голос:

— Смок! Смок!

— Мое почтение, Джой Гастелл! — отозвался он. — Откуда вы взялись?

— Вы сильно разбились?

— Ни царапины!

— Отец спускает вам веревку, вы видите ее?

— Да, я ее уже ухватил, — ответил Смок, — пожалуйста, подождите минуту.

— Что с вами? — тревожно спросила она немного погодя. — Вы, наверно, ранены?

— Вовсе нет. Я одеваюсь.

— Одеваетесь?

— Да. Я тут искупался. Ну вот. Готово? Тяните.

Сначала он отправил наверх мешки, за что Джой Гастелл сердито отчитала его, и лишь после этого дал вытащить себя.

Джой Гастелл смотрела на Смока сияющими глазами; ее отец и Карсон сматывали веревку.

— Как вы решились перерезать веревку?. — воскликнула Джой. — Это великолепно, это… это настоящий подвиг!

Смок отмахнулся от похвал. Но Джой стояла на своем:

— Я знаю все. Карсон мне рассказал. Вы пожертвовали собой, чтобы спасти его.

— И не думал, — солгал Смок. — Я давно видел, что тут меня ждет отличный бассейн, и решил искупаться.

Как вешали Калтуса Джорджа
I

Их путь вел в гору по глубокому, рассыпчатому снегу, на котором не видно было ни единого следа нарт или мокасин. Смок шел впереди, приминая хрупкие снежные кристаллы широкими короткими лыжами. Это тяжкий труд, тут требуются здоровые легкие и крепкие мускулы, и Смок не щадил себя. Позади, по проложенному им следу, двигалась упряжка из шести собак; клубы пара поднимались от их дыхания, свидетельствуя о том, как нелегка их работа и как силен мороз. Между коренником и нартами бежал Малыш — он налегал на шест, управляя собаками, и помогал им тянуть нарты. Каждые полчаса он и Смок менялись местами, потому что прокладывать дорогу было еще трудней и утомительней, чем править.

И люди и собаки пустились в путь со свежими силами. Они умело справлялись со своей нелегкой задачей — среди зимы, по снежной целине, пробираться через перевал. В таких трудных условиях хорошо, если удается за день пройти

десять миль. Им это удавалось, но к вечеру, когда можно было наконец лечь и уснуть, завернувшись в мех, Смок и Малыш изрядно уставали. Шесть дней назад они покинули людный лагерь Муклук на Юконе. В первые два дня они с тяжело нагруженными нартами прошли пятьдесят миль вверх по Лосиному ручью накатанной дорогой. А потом началась борьба с целиной, где слоем в четыре фута лежал даже не снег, а тончайшая морозная пыль, — кристаллы ее не слипались друг с другом, и она, сухо шелестя, рассыпалась под ногами, точно сахарный песок. За три дня они одолели еще тридцать миль — поднялись по ручью Колюшки, миновали несколько неглубоких долин, по которым текли на юг ручьи, впадающие в реку Сиваш. Теперь они направлялись мимо Лысых Холмов к горной гряде, за которой по ручью Дикобраза можно было выйти к среднему течению реки Молочной. По слухам, в верховьях реки Молочной были залежи меди. Туда они и шли — к горе из чистой меди, а идти к ней надо мимо того места, где река Молочная вырывается из глубокого ущелья и исчезает в густом лесу, потом у первого же ручья свернуть вправо и подняться на полмили вверх по течению. Стоит только увидеть это место — и они

его сразу узнают. Одноглазый Маккарти описал его совершенно точно. Заблудиться невозможно — разве что Маккарти наврал.

Смок шел впереди; редкие хилые елки попадались все реже, становились все мельче, и вдруг он заметил на самой дороге давно высохшую, мертвую ель. Слова были излишни. Смок только взглянул на Малыша, и в ответ раздалось зычное: «Стой!» Собаки послушно остановились и стали как вкопанные; Малыш принялся распрягать, а Смок накинулся с топором на мертвое дерево; собаки тут же улеглись на снег и свернулись в клубок, плотно укрыв пушистым хвостом не защищенные шерстью лапы и заиндевевший нос.

Люди работали с быстротой, какую дает только долгий опыт. Скоро в лотке для промывки золота, в кофейнике и в кастрюле уже таял снег. Смок вытащил из нарт брусок вареных замороженных бобов с щедро нарезанными кубиками свинины и сала, — оставалось только разогреть их. Он расщепил брусок топором, точно полено, и бросил куски на сковороду, чтобы они оттаяли. Промерзшие насквозь сухари тоже пришлось отогревать. Через каких-нибудь двадцать минут уже можно было приниматься за еду.

— Градусов сорок, — сказал Малыш с полным

ртом. — Только бы не стало холоднее. Да и теплее тоже ни к чему. Самая подходящая погода, когда надо прокладывать тропу.

Смок не ответил, у него тоже был полон рот бобов; усердно жуя, он мельком взглянул на вожака упряжки, лежавшего поодаль. Серый с сединой пес смотрел на него пристально, задумчиво, с бесконечной тоской, которая так часто туманит глаза северных собак. Этот загадочный, гипнотизирующий взгляд был хорошо знаком Смоку и всегда волновал его. Словно стараясь стряхнуть оцепенение, Смок отставил свою тарелку и кружку кофе, подошел к нартам и стал развязывать мешок с вяленой рыбой.

— Эй, — окликнул Малыш, — ты что это делаешь?

— Нарушаю все законы, порядки, обычаи и правила пути, — ответил Смок. — Хочу один-единственный раз накормить собак среди дня. Они здорово поработали, и им еще предстоит тащить нарты в гору. А главное, Быстрый сейчас поговорил со мной, он глазами сказал мне такое, чего не рассказать словами.

Малыш недоверчиво засмеялся:

— Смотри, разбалуешь собак. Скоро ты им начнешь маникюрить лапы. Я еще присоветую

кольдкрем и электрический массаж — для ездовых собак это самое подходящее. И турецкая баня им тоже не повредит.

— Никогда я их днем не кормил, — защищался Смок. — И больше не буду. Только сегодня. Такая блажь на меня нашла.

— А, это у тебя сердце что-то чует, — сказал, мгновенно смягчаясь, Малыш. — Ну, тогда другое дело. Если человеку сердце подсказывает, это уж всегда надо исполнять.

— Это не предчувствие, Малыш. Просто Быстрый так подействовал на мое воображение. Он мне в одну минуту столько сказал глазами, что я не вычитал бы в книгах и за тысячу лет. В его взгляде скрыты все тайны бытия. Они там прямо кишат. Беда в том, что я уж было уловил их — и вдруг опять упустил. Я не стал умней, чем прежде, но я побывал у истоков мудрости. — Смок на минуту умолк. — Не могу тебе объяснить, — прибавил он, — но в глазах этого пса скрыто многое: они рассказывают, что такое жизнь и весь ее ход, и звездная пыль, и силы вселенной, и все прочее — понимаешь, все.

— Ну а попросту говоря, это у тебя сердце что-то чует, — упрямо повторил Малыш.

Смок бросил собакам по вяленому лососю; он

ничего не ответил, только головой покачал.

— Говорю тебе, Смок, — настаивал Малыш, — это не к добру. Что-то сегодня случится. Сам увидишь. И тогда будет видно, к чему она, эта рыба.

— Вот ты и объясни, к чему она.

— Не могу. Время покажет. И знаешь, что я тебе скажу? Твое сердце моему весть подает. Ставлю одиннадцать унций золота против трех зубочисток, что я прав. Уж когда у меня предчувствие, я не боюсь ему верить.

— Лучше ты спорь на зубочистки, а я на золото, — возразил Смок.

— Ну нет. Это уж будет чистый грабеж. Выиграю-то я. Я уж знаю, когда у меня предчувствие, я это всей кожей чую. Еще до вечера что-то случится, вот увидишь, и тогда эта самая рыба покажет, что она такое значит.

— Чертовщина какая-то, — презрительно фыркнул Смок, которому надоела эта болтовня.

— Да, уж это будет чертовщина, — не остался в долгу Малыш. — Спорю, будет самая что ни на есть чертовщина. Ставлю еще одиннадцать унций против трех зубочисток.

— Идет, — сказал Смок.

— И я выиграю! — победоносно сказал Ма-

лыш. — За тобой зубочистки из куриных перьев!

II

Через час они одолели перевал, спустились мимо Лысых Холмов в узкое изогнутое ущелье и вышли на крутой широкий откос, ведущий к ручью Дикобраза. Малыш, шедший впереди, вдруг замер на месте, и Смок криком остановил собак. По откосу медленно, еле волоча ноги, поднималось странное шествие, растянувшееся на добрую четверть мили.

— Плетутся, как на похоронах, — заметил Малыш.

— И ни одной собаки, — сказал Смок.

— Верно. Вон двое тащат нарты.

— А там один упал, видишь? Что-то неладно, Малыш. Смотри, тут не меньше двухсот человек.

— Шатаются все, как пьяные. Вон еще один свалился.

— Целое племя. И дети.

— Смок, а ведь я выиграл, — объявил Малыш. — Вот оно, предчувствие, тут и спорить нечего. Это оно самое и есть. Ты погляди: прямо толпа мертвецов!

Заметив двух путников, индейцы с диким воп-

лем радости ускорили шаг.

— Что и говорить, они порядком выпили, — сказал Малыш. — Видишь, так и валятся с ног.

— Посмотри, какое лицо у этого, впереди, — возразил Смок. — Они голодные, вот что. Они съели своих собак.

— Как же быть? Удирать, пока целы?

— И бросить нарты и собак? — с упреком сказал Смок.

— Если мы не удерем, они нас слопают. Смотри, до чего они голодные… Эй, приятель! Что с вами стряслось? Не смотри так на собаку. Она не пойдет в котел, понятно?

Индейцы, шедшие впереди, окружили их, послышались стоны и жалобы на непонятном наречии. Ужасное, фантастическое зрелище, подумал Смок. Никаких сомнений, это голод. Лица у индейцев были страшно исхудалые, с глубоко ввалившимися щеками, — не лица, а обтянутые кожей черепа. Все новые и новые живые скелеты подходили, теснились к Смоку и Малышу, и наконец эта дикая орда окружила их сплошной стеной. Одежда из шкур, вся в лохмотьях, была изрезана ножом, и Смок быстро понял почему: он увидел, как тощий, высохший ребенок, привязанный к спине матери, сосет и мнет беззубыми

деснами грязную полоску оленьей шкуры. Другой мальчуган усердно жевал обрывок ремня.

— Назад! Не подходите! — завопил Малыш, вновь переходя на английский после безуспешных попыток объясниться при помощи немногих известных ему индейских слов.

Мужчины, женщины и дети, шатаясь и покачиваясь на нетвердых ногах, обступали их все теснее, отовсюду смотрели обезумевшие глаза, слезящиеся от слабости и горящие алчным огнем. Какая-то женщина со стоном шагнула мимо Малыша, повалилась на нарты и жадно вцепилась в них. За ней последовал старик — задыхаясь, ловя ртом воздух, он трясущимися руками пытался развязать ремни и добраться до тюка с провизией. Молодой индеец с обнаженным ножом в руке тоже кинулся было к нартам, но Смок отшвырнул его. Толпа все напирала, началась свалка.

Сперва Смок и Малыш просто отталкивали, отбрасывали обезумевших от голода индейцев. Потом пустили в ход рукоятку кнута и кулаки. А вокруг рыдали и всхлипывали женщины, дети. Ремни, привязывающие груз к нартам, были уже перерезаны в десятке мест. Под градом пинков и ударов индейцы подползали по снегу и пытались вытащить тюки с едой. Приходилось хватать их

и отбрасывать прочь. Они были так слабы, что поминутно падали от малейшего толчка. И при этом они даже не пробовали отбиваться от двух путников, которые не подпускали их к нартам.

Индейцы совсем обессилели от голода, только поэтому они и не опрокинули Смока и Малыша. В пять минут сплошная стена нападающих рассыпалась на кучки поверженных в схватке — они жалобно стонали, бормотали что-то, корчась на снегу, ныли и хныкали, а их расширенные, полные слез глаза прикованы были к мешкам с пищей, которая одна могла спасти им жизнь, и на губах выступала голодная слюна. В воздухе стоял стон, это плакали женщины и дети.

— Замолчите! Да молчите же! — вопил Малыш, затыкая уши и тяжело дыша от усталости. — Ах, ты! Вот ты как! — крикнул он вдруг и, кинувшись вперед, выбил нож из рук индейца, который подполз к нартам и хотел перерезать горло вожаку упряжки.

— Вот ужас… — пробормотал Смок.

— Уф, жарко! — отозвался Малыш. Выручив Быстрого, он снова подошел к товарищу. — Я прямо взмок весь. Что ж нам делать с этой инвалидной командой?

Смок покачал головой, а затем решение задачи

пришло само. К ним подполз индеец; единственный глаз его был обращен не на нарты, а на Смока, и Смок увидел в этом взгляде усилие крепнущей мысли. Другой глаз заплыл, под ним вздулась шишка — Смок вспомнил, что это его рук дело. Индеец приподнялся на локте и заговорил:

— Я Карлук. Я хороший сиваш. Я видел много-много белые люди. Я много-много голодный. Все сиваши много-много голодный. Все сиваши не видал белые люди. Я видал. Я теперь сытый будет. Все сиваши сытый будет. Мы купить еду. У нас золото, много-много. Еды нет. Лето было — в реку Молочную лосось не пришел. Зима была — олень не пришел. Еды нет. Я говорил всем сивашам — много-много белые люди пришел на Юкон. У белые люди еда, много-много. Белые люди любят золото. Возьмем золото, пойдем на Юкон, белые люди дать еду. Много-много золота. Я видал, белые любят золото.

Он взялся за висевший у пояса мешок и костлявыми пальцами стал его развязывать.

— А, черт! — вне себя прервал индейца Малыш. — Вели всем скво, вели пискунам, пускай перестанут орать!

Карлук обернулся и крикнул что-то плачущим женщинам. Мужчины, услышав его окрик, в

свою очередь, повелительно возвысили голос, и понемногу женщины затихли и успокоили детей. Карлук оставил на время свой мешок, поднял в воздух руку и растопырил пальцы; он повторял этот жест снова и снова.

— Вот сколько людей умерло, — сказал он.

И Смок подсчитал, что семьдесят пять человек из племени унесла голодная смерть.

— Я куплю еду, — сказал Карлук. Он развязал наконец свою поклажу и вытащил большой кусок тяжелого металла. Другие последовали его примеру, со всех сторон протягивались руки с такими же кусками металла. Малыш смотрел во все глаза.

— Боже праведный! — воскликнул он. — Медь! Самая обыкновенная красная медь! А они думают, это золото!

— Золото, — убежденно повторил Карлук, уловив главное в возгласе Малыша.

— Бедняги, они верили, что в этом их спасение, — пробормотал Смок. — Посмотри, этот кусок весит фунтов сорок. У них тут сотни фунтов, и они тащили эту тяжесть, хотя сами еле бредут. Вот что, Малыш. Мы должны их накормить.

— Ха! Легко сказать. А ты считать не разучился? У нас еды только на месяц. Вот и прикинь:

шесть порций помножить на тридцать — будет сто восемьдесят. А тут двести индейцев, и у всех отличный аппетит. Как это, черт возьми, мы ухитримся накормить их хотя бы по одному разу?

— А собачий корм? — отозвался Смок. — Двести фунтов вяленой лососины очень выручат. Мы должны их накормить. Понимаешь, они верят, что белые им помогут.

— Ясно, мы не можем просто так их бросить, — согласился Малыш. — Да, неприятная работенка нам с тобой предстоит. Уж и не знаю, что хуже. Одному надо слетать в Муклук за подмогой. Другой останется командовать всем этим лазаретом, и его почти наверняка самого слопают. Не забывай, пожалуйста, мы шесть дней сюда добирались. Даже если гнать налегке и ничего в дороге не помешает, все равно быстрей, чем за три дня, не обернешься.

Минуту Смок соображал и прикидывал, каковы были эти пройденные ими мили и в какой срок он их одолеет, если напрячь все силы.

— Я буду там завтра к вечеру, — заявил он.

— Идет, — бодро согласился Малыш. — А я останусь тут, и они меня скушают.

— Но я возьму по рыбине для собак и на один раз еду для себя, — прибавил Смок.

— Ясно. Ведь в Муклуке ты будешь завтра к вечеру, не раньше.

Смок через Карлука изложил индейцам свой план.

— Разведите костры, длинные костры, много костров, — сказал он в заключение. — В Муклуке много белых людей. Белые люди — хорошие люди. У них много еды. Пройдет пять снов, и я вернусь, привезу много еды. Вот этот человек — мой очень хороший друг, его зовут Малыш. Он остается здесь. Он большой начальник, ясно?

Карлук кивнул и перевел слова Смока остальным.

— Вся еда остается здесь, — сказал Смок. — Малыш будет раздавать еду. Он начальник, ясно?

Карлук перевел, и индейцы кивками и гортанными возгласами выразили свое одобрение.

Смок не уезжал и распоряжался всем, пока дело не пошло на лад. Все, кто мог двигаться, шатаясь или хотя бы ползком, собирали хворост и сучья. Потом развели длинные костры, какие разжигают индейцы, чтобы можно было всем усесться у огня. Малыш с десятком помощников взялся за стряпню; наготове у него была короткая дубинка: голодные нетерпеливы, то одному, то другому приходилось давать по рукам. Женщины усердно

растапливали снег в каждой посудине, какую только удалось для этого приспособить. Первым делом все получили по крошечному ломтику сала, а затем — по ложке сахару, чтоб хоть немного притупить голод. Вскоре на кострах, кольцом окружавших Малыша, во множестве котелков варились бобы, а сам Малыш, строго следя, как бы кто не схватил лишней порции, наскоро пек и раздавал тончайшие оладьи.

— Я тут разведу знатную стряпню, — сказал он на прощание Смоку, — а ты знай гони. Туда рысью, а оттуда галопом. Сегодняшний день и завтрашний у тебя — чтобы добраться туда и еще три дня на обратную дорогу. Завтра они у меня доедят последнюю рыбу, а потом три дня у них не будет во рту ни крошки. Так что гони вовсю, Смок. Гони вовсю.

Но хотя Смок и отправился налегке, погрузив на нарты всего-навсего шесть вяленых лососей, два фунта замороженных бобов с беконом да меховое одеяло, а все-таки ехать ему пришлось не слишком быстро. Вместо того чтобы сидеть на нартах и погонять собак, он вынужден был все время работать шестом, направляя и выравнивая нарты. А ведь позади был длинный день. И Смок и собаки немало поработали и порядком

измучились. Уже наступили долгие полярные сумерки, когда он одолел перевал и оставил за собой Лысые Холмы.

Но вот путь пошел под гору, и собаки побежали веселее; время от времени Смок даже вскакивал на нарты и гнал во всю мочь, заставляя собак делать по шесть миль в час. Темнота подкралась незаметно, и он заплутался — поехал по широкой долине, где протекал какой-то неизвестный ему ручей; потом ручей пошел петлять по равнинам, и Смок для скорости решил не следовать его капризному течению, а срезать напрямик. И уже в полной тьме ему пришлось вернуться к руслу и заново нащупывать дорогу. Час прошел в бесплодных поисках. Убедившись, что дальше плутать безрассудно, Смок развел костер, бросил собакам по половинке лосося и свои бобы тоже разделил пополам. Потом лег и завернулся поплотнее в мех. Засыпая, Смок все же успел сообразить, где он. На последней широкой равнине ручей разделялся на два рукава. Срезая напрямик, Смок сбился с дороги. Сейчас он находился на главном русле, за милю от той тропы, по которой они с Малышом шли накануне. Эта тропа пересекала долину, узкий проток, выходила на другой берег и дальше вела к невысокому подъему.

Едва забрезжил рассвет, Смок, не проглотив ни куска, отправился в путь: надо было протащиться милю вверх по течению, чтоб выйти на тропу. Человек и собаки, голодные, без передышки, восемь часов кряду пробирались напрямик, пересекая многочисленные мелкие ручьи и одолевая невысокие перевалы, потом спустились по ручью Колюшки. К четырем часам дня, когда уже стало быстро темнеть, Смок выбрался на Лосиный ручей, по которому бежала плотно укатанная дорога. Оставалось пройти пятьдесят миль. Смок остановил нарты, развел огонь, бросил собакам по оставшейся половине лосося, разогрел и съел свой фунт бобов. Потом прыгнул на нарты, заорал собакам: «Вперед!» — и они с силой налегли на лямки.

— Живо, звери! — кричал он. — Вперед! Живо, если хотите лопать! В Муклуке еды сколько угодно! Ходу, волки! Ходу!

III

Шел первый час ночи. В салуне «Прииск Энни» толпился народ; гудело пламя в печах, и в большой, жаркой, плохо проветриваемой комнате впору было задохнуться. Непрерывное щелканье

фишек и стук костей на столах, где шла шумная игра, сливались в сплошной, однотонный гул, и так же однотонно гудели голоса мужчин, которые разговаривали — кто сидя, кто стоя, кучками, по двое, по трое. Весовщики хлопотали у весов, так как здесь за все платили золотым песком, и даже за порцию виски, выпитую у стойки, надо было отсыпать на доллар песку.

Стены были сложены из толстых бревен, не очищенных от коры, и проконопачены полярным мхом. Дверь в зал была отворена, там под рояль и скрипку задорно отплясывали веселую виргинскую. Только что была разыграна «китайская лотерея», и счастливчик, получивший у весов главный выигрыш, пропивал его с добрым десятком приятелей. Игравшие в фараон и рулетку держались деловито и спокойно. Тихо было и за столами, где резались в покер, хотя каждый стол окружало плотное кольцо зрителей. Рядом серьезно и сосредоточенно играли в Черного Джека. Шумно было только за столом, где шла игра в кости. В безуспешной погоне за обманчивым счастьем игрок с размаху выбрасывал кости на зеленое поле, громко приговаривая:

— Ну-ну, дружок! Где она, четверка? Давай, давай! Беги, дружок, принеси пирожок! Давай,

давай!

Калтус Джордж, рослый жилистый индеец из Сёркла, стоял поодаль, с мрачным видом прислонясь к бревенчатой стене. Это был цивилизованный индеец, если жить так, как живут белые, значит быть цивилизованным, — и он чувствовал себя жестоко оскорбленным, хотя пора бы уже ему свыкнуться со своей судьбой. Многие годы он исполнял работу белого человека бок о бок с белыми людьми и нередко исполнял лучше, чем они. Он носил такие же штаны, шерстяные фуфайки и теплые рубашки. У него были часы не хуже, чем у белых, и свои короткие волосы он зачесывал на косой пробор. Питался он теми же бобами, беконом, так же пек себе лепешки. Но ему было отказано в самом главном развлечении и отраде белых — в виски. Калтус Джордж недурно зарабатывал. Прежде он делал заявки, покупал и перепродавал участки. Он работал в доле с золотоискателями и сам принимал других в долю. Сейчас у него были отличные собаки, и он по санной дороге перевозил грузы с Шестидесятой Мили в Муклук, получая двадцать восемь центов с фунта, а за бекон и все тридцать три цента, — такой уж был порядок. У него полон кошель золотого песка, хватило бы на множество

выпивок. Но ни в одном кабаке ему не дадут выпить. Виски — веселящее и согревающее душу, лучшее и неоспоримое благо цивилизации — не для него! Только тайком, из-под полы и втридорога мог он доставать спиртное. Это уязвляло его самолюбие, и долгие годы не притупили в нем чувства обиды. А в этот вечер и обида и жажда особенно мучили его, и белые, с которыми он так упорно соперничал, были ему сегодня ненавистны, как никогда. Белые любезно разрешали ему проигрывать золото за их игорными столами, но ни из дружеских чувств, ни за деньги не отпускали ему в своих кабаках и стаканчика спиртного. Вот почему он был безнадежно трезв, безнадежно последователен в своих рассуждениях и, следовательно, мрачен.

Плясовая в зале оборвалась бурным финалом, который, впрочем, не потревожил трех отъявленных пьяниц, храпевших под роялем. «Пара за парой — в буфет!» — провозгласил распорядитель танцев, едва музыка умолкла. И все парами двинулись по широкому коридору в главное помещение — мужчины в мехах и мокасинах, женщины в пышных платьях, в шелковых чулках и бальных туфельках, — как вдруг входная дверь распахнулась, и в салун, шатаясь от усталости,

ввалился Смок Беллью.

Все глаза обратились к нему, шум постепенно утих. Смок хотел заговорить, но ему пришлось сначала сбросить рукавицы, которые повисли, болтаясь на шнурках, и отодрать ледяную корку, наросшую вокруг рта от дыхания, пока он мчался пятьдесят миль по морозу. Помедлив минуту, он подошел к стойке и облокотился на нее.

Один лишь игрок за дальним столом даже не повернул головы и все бросал кости, приговаривая: «Ну-ну, дружок! Давай, давай!» Но пристальный взгляд банкомета, остановившийся на Смоке, привлек его внимание, и он тоже оглянулся. Рука, готовая бросить костяной кубик, застыла в воздухе.

— Что случилось, Смок? — спросил Мэтсон, хозяин салуна «Прииск Энни».

Смоку наконец удалось очистить лицо от льда.

— У меня там собаки… загнал их до полусмерти… — хрипло проговорил он. — Кто-нибудь позаботьтесь о них, а я сейчас расскажу, в чем дело.

Несколькими отрывочными фразами он обрисовал положение. Игрок в кости, чьи деньги все еще лежали на столе и чье капризное счастье по-прежнему не давалось ему в руки, подошел к

Смоку и заговорил первым:

— Надо помочь. Дело ясное. А как? Ты, наверно, уже что-нибудь придумал. Что предлагаешь? Выкладывай.

— Я вот как думаю, — сказал Смок. — Надо сейчас же снарядить несколько легких нарт. Скажем, по сто фунтов провизии на каждые. Снаряжение погонщика и корм для собак — это еще по пятьдесят фунтов. Такие упряжки мигом домчат. Отправим сейчас же хотя бы пять таких нарт — с самыми резвыми собаками, с лучшими погонщиками. По нетронутому снегу они будут вести по очереди. Пусть отправляются сейчас же. И то, даже при самой большой скорости, пока они доберутся до места, у индейцев три дня не будет во рту ни крошки. А как только эти уедут, снарядим еще несколько нарт побольше. Подсчитайте сами. Два фунта съестного в день на человека: меньше нельзя, а то им не дойти. Это значит четыреста фунтов в день, а там старики и дети. Выходит, раньше чем за пять дней им до Муклука не добраться. Вот теперь и скажите, что вы думаете делать.

— Сложимся и купим провизию, — сказал игрок в кости.

— Провизию я и сам куплю, — нетерпеливо

сказал Смок.

— Нет уж, — прервал игрок в кости, — ты тут не один. Мы все этим займемся. Дайте-ка кто-нибудь таз. Это — минутное дело. Вот для почина.

Он вытащил из кармана тяжелый мешочек с золотом, развязал — и в таз полилась струя крупного золотого песка и самородков. Человек, стоявший рядом, выругался и, схватив игрока за руку, зажал край мешка, чтобы остановить эту струю. В тазу на глаз было уже шесть, а то и восемь унций золота.

— Осади назад! — крикнул сердитый человек. — Не у тебя одного есть золото!

— Ого! — усмехнулся игрок в кости. — Что это ты больно рвешься вперед, думаешь, тут расхватывают заявки?

Люди теснились и толкались, спеша внести свою долю, а когда все добились своего, Смок приподнял обеими руками тяжелый таз и широко улыбнулся.

— Тут хватит, чтоб прокормить все племя до конца зимы, — сказал он. — Так как же насчет собак? Нужны собаки побойчее, пять хороших, легких упряжек.

Тотчас был предложен десяток упряжек, и все обитатели Муклука, в полном составе вошедшие

в комитет помощи голодающим, судили, принимали и отвергали одну упряжку за другой.

— Да разве тут годятся твои тяжеловозы? — сказал кто-то Длинному Биллу Хаскелу.

— Они отлично тянут, — возразил Хаскел, оскорбленный в своих лучших чувствах.

— Тянут-то отлично, — ответил тот, — да скорость у них не ахти какая. Ты погоди, для тяжелых нарт они подойдут в самый раз.

Как только отбирали подходящую упряжку, ее хозяин шел запрягать и готовиться к отъезду, и человек пять-шесть спешили ему помочь.

Одну упряжку отвергли потому, что она только сегодня вернулась из поездки и собаки устали. Владелец другой предложил своих собак, но с виноватым видом показал перевязанную лодыжку, которая мешала ему поехать самому. Эту упряжку взял Смок, хоть его и уговаривали хором, что он вымотался и вовсе ему незачем ехать.

Длинный Билл Хаскел заявил, что у Толстяка Олсена упряжка, правда, лихая, но сам Олсен — настоящий слон. Толстяк весил ровным счетом двести сорок фунтов, и все его могучее тело задрожало от негодования. Слезы ярости навернулись ему на глаза, и он до тех пор ругался по-норвежски, пока его не определили в отряд тяжелых

упряжек; игрок в кости воспользовался случаем и перехватил легкую упряжку Олсена.

Пять упряжек были отобраны, нагружены и готовы к отправке, но комитет нашел пока только четверых подходящих погонщиков.

— А Калтуса Джорджа забыли! — крикнул кто-то. — Он отличный гонщик, и он сегодня отдыхал.

Все взгляды обратились на рослого, сильного индейца, но лицо его было неподвижно, и он ничего не ответил.

— Возьми упряжку, — сказал ему Смок.

Индеец опять не ответил. Казалось, электрический ток пронизал толпу, все насторожились, почуяв неладное. Люди все тесней обступали Смока и Калтуса Джорджа, стоявших теперь друг против друга. И Смок понял: с общего молчаливого согласия он сейчас выразитель воли своих товарищей в том, что происходит и что должно произойти. К тому же он был зол. В самом деле, как может кто-либо оставаться в стороне, когда все так и рвутся наперебой помочь голодным! В дальнейшем развитии событий Смок никак не мог проникнуть в ход мыслей Калтуса Джорджа, — он не представлял себе, что у этого индейца могут быть какие-то иные побуждения,

кроме самых эгоистических и корыстных.

— Ты, конечно, возьмешь упряжку, — повторил Смок.

— Сколько? — спросил Калтус Джордж.

Все разом глухо заворчали, все лица исказились презрительной гримасой. Сжав кулаки, готовые вцепиться в того, кто нанес им такое оскорбление, золотоискатели придвинулись вплотную.

— Погодите, ребята! — крикнул Смок. — Может быть, он просто не понял. Сейчас я ему растолкую. Послушай, Джордж. Разве ты не видишь, тут никто не требует платы. Каждый отдает все, что может, только бы те двести индейцев не умерли с голоду.

Он замолчал, выжидая, чтобы его слова дошли до сознания Калтуса Джорджа.

— Сколько? — повторил Калтус Джордж.

— Погодите, вы все! Слушай, Джордж. Мы хотим, чтобы ты все как следует понял. Эти голодные индейцы — твои сородичи. Другое племя, но тоже индейцы. И ты видишь: белые выкладывают свое золото, дают нарты и собак, каждый так и рвется в погонщики. Только самые лучшие достойны пойти с первыми упряжками. Вот Олсен чуть не в драку лез, когда его не брали. Ты должен гордиться, все считают тебя первокласс-

ным гонщиком. Тут вопрос не в том, сколько тебе заплатят, а в том, скоро ли ты доедешь.

— Сколько? — повторил Калтус Джордж.

Толпа, минуту назад доброжелательная и отзывчивая, мгновенно рассвирепела.

— Убить его! — неслось со всех сторон. — Проломить ему башку! Дегтя и перьев сюда!

Калтус Джордж стоял невозмутимый среди этой бури негодования; Смок, отталкивая самых неистовых, заорал во все горло:

— Стойте! Кто тут распоряжается? — Кругом примолкли. — Давайте вереску, — прибавил он тише.

Калтус Джордж пожал плечами, лицо его искривила угрюмая, недоверчивая усмешка. Знает он их, этих белых. Сколько лет он работал вместе с ними, сколько миль отшагал, ел их лепешки, бекон и бобы, — он успел их изучить. Это племя держится своих законов — вот что отлично знал Калтус Джордж. Оно всегда наказывает того, кто нарушает их закон. Но он, Калтус Джордж, не нарушал никаких законов. Он знает законы белых. Он всегда их соблюдал. Он никого не убил, не обокрал, не обманул. Закон белых вовсе не запрещает запросить цену и торговаться. Белые сами запрашивают и торгуются. Вот и он так делает,

они же его и научили. А кроме того, если он недостоин пить вместе с ними, значит, недостоин и заниматься вместе с ними делами милосердия и вообще принимать участие в их нелепых затеях.

Ни Смок и никто другой из присутствующих не догадывались о том, что происходит в мозгу Калтуса Джорджа, чем вызвано его странное поведение и что за ним кроется. Сами того не подозревая, они были так же сбиты с толку и не способны понять его, как он не мог понять их. В их глазах он был себялюбивая, грубая скотина; в его глазах себялюбивыми, грубыми скотами были они.

Принесли веревку. Длинный Билл Хаскел, Толстяк Олсен и игрок в кости, разъяренные, торопливо и неловко надели индейцу на шею петлю и перекинули веревку через балку потолка. За ее конец ухватились человек десять, готовые вздернуть Калтуса.

А Калтус Джордж не сопротивлялся. Он-то знал, что все это чистейший обман, блеф. Белые — мастера обманывать. Недаром покер — их любимая игра. И разве они не обманывают, когда покупают, продают, заключают сделки? Еще как! Он сам наблюдал, как один белый вел свои дела с таким видом, словно у него на руках большая карта, а

была у него одна дрянь.

— Стойте! — скомандовал Смок. — Свяжите ему руки, чтоб не барахтался.

«Опять пугают», — решил Калтус Джордж и покорно дал связать себе руки за спиной.

— В последний раз спрашиваю, Джордж, — сказал Смок, — поведешь ты упряжку?

— Сколько? — повторил Калтус Джордж.

Сам себе удивляясь, ибо он никогда не думал, что способен на такое, и в то же время взбешенный безграничным эгоизмом индейца, Смок подал знак. И Калтус Джордж удивился не меньше, когда петля вдруг затянулась и его рывком подняло в воздух. Невозмутимости индейца как не бывало. На лице его промелькнули, сменяя друг друга, изумление, ужас, боль.

Смок с тревогой наблюдал. Его самого никогда еще не вешали, и он чувствовал себя новичком в этом деле. Тело Калтуса судорожно забилось, связанные за спиной руки силились разорвать путы, из горла вырвался хрип. Неожиданно Смок поднял руку.

— Хватит! — распорядился он.

Ворча, недовольные, что наказание так быстро пришло к концу, люди, тянувшие веревку, опустили Калтуса Джорджа на пол. Глаза Калтуса

выкатились, ноги не держали его, он шатался из стороны в сторону и все еще силился высвободить руки. Смок догадался просунуть пальцы под веревку на шее индейца и быстрым движением ослабил петлю. Калтус Джордж наконец вздохнул.

— Пойдешь ты с этой упряжкой? — спросил Смок.

Калтус Джордж не ответил, он был слишком занят: он дышал.

— Ну да, мы, белые, свиньи, — заговорил Смок, злясь на себя за то, что ему пришлось играть такую роль. — Мы готовы душу продать за золото и все такое. Но бывают же случаи, когда мы обо всем забываем и действуем, не спрашивая себя, сколько на этом можно заработать. И уж тогда, Калтус Джордж, никто нам не становись поперек. А теперь мы хотим знать одно: пойдешь ты с этой упряжкой?

Калтус Джордж колебался. Он был не трус. Может, это все еще обман, нелепая забава белых, и, уступив, он останется в дураках. А пока он не знал, на что решиться, Смок в глубине души терзался тревогой: этот упрямый индеец, пожалуй, добьется того, что его и вправду повесят.

— Сколько? — спросил Калтус Джордж.

Смок поднял руку, давая сигнал.

— Я пойду, — поспешно сказал Калтус Джордж, прежде чем веревка затянулась.

— …и когда спасательная экспедиция меня отыскала, — рассказывал потом Малыш в салуне «Прииск Энни», — этот самый Калтус Джордж примчался первым, обогнал Смока на три часа. А все-таки, не забудьте, Смок пришел вторым. И, скажу я вам, они приехали вовремя. Когда я услыхал, как Калтус Джордж орет на перевале на своих собак, эти чертовы сиваши уже слопали мои мокасины, и рукавицы, и все ремни, и футляр от моего ножа, а кое-кто уже стал и на меня посматривать этакими голодными глазищами… понимаете, я ведь потолще их.

А Смок? Он был еле жив. Он еще покрутился немного, помогал готовить еду для этих двухсот несчастных сивашей, да так, сидя на корточках, и заснул и во сне все еще видел, что подкладывает снег в ведро. Я ему приготовил свою постель и сам его уложил, вот чтоб мне провалиться! Он до того вымотался, что и укрыться не мог. А зубочистки я все-таки выиграл. Вот и выходит, что Смок недаром скормил собакам те шесть рыбин, верно?

Ошибка Господа Бога
I

— Стой! — закричал собакам Смок и всей тяжестью налег на шест, останавливая нарты.

— Что это на тебя напало? — недовольно спросил Малыш. — Тут воды уже нет, можно ехать спокойно.

— Да, — ответил Смок. — Но ты посмотри, вправо отходит тропа. А я думал, в этих местах никто не зимует.

Собаки тотчас улеглись на снег и стали выгрызать намерзшие между пальцами льдинки. Еще пять минут назад это был не лед, а вода. Собаки провалились сквозь присыпанную снегом ледяную корку, под ней скрывалась ключевая вода, которая просочилась с берега и образовала озерко поверх трехфутовой толщи льда, сковавшей реку Нордбеска.

— Первый раз слышу, чтобы на Нордбеске был народ, — сказал Малыш, разглядывая почти незаметную тропу: прикрытая двухфутовым слоем снега, она пересекала русло реки под прямым углом и исчезала в устье небольшого ручья, впа-

давшего в Нордбеску слева. — Может, они тут охотились и давным-давно укатили со всеми своими пожитками.

Не снимая рукавиц, Смок обеими руками сгреб с тропы верхний слой рыхлого снега, посмотрел, подумал, отбросил еще немного снега и снова подумал.

— Нет, — решил он наконец, — следы ведут в обоих направлениях, но в последний раз ехали туда, вверх по ручью. Не знаю, что это за люди, но сейчас они наверняка там. Больше тут никто не проезжал, пожалуй, с месяц. Почему они так застряли, хотел бы я знать?

— А я хотел бы знать, где мы сегодня остановимся на ночевку, — сказал Малыш, уныло глядя на юго-запад: небо там уже темнело, сгущались вечерние сумерки.

— Пойдем по этой тропе, по ручью, — предложил Смок. — Сухостоя и хвороста тут сколько угодно. Можно сделать привал в любую минуту.

— Привал-то, конечно, всегда можно сделать, но, если мы не хотим помереть с голоду, надо поторапливаться и никуда не сворачивать.

— Мы, наверно, что-нибудь найдем на этом ручье, — продолжал уговаривать Смок.

— Да ты только погляди, у нас еды совсем не

осталось! И собаки на что похожи! — воскликнул Малыш. — Погляди только... Ну да черт с ним, ладно! Все равно будет по-твоему.

— Да это нас и на один день не задержит, — уверял Смок. — Может, всего-то надо какую-нибудь лишнюю милю пройти.

— И из-за одной мили люди помирали, — возразил Малыш и с угрюмой покорностью покачал головой. — Что ж, пошли искать себе лиха. Подымайтесь, эй вы, хромоногие! Вставай! Эй, Быстрый! Вставай!

Вожак повиновался, и упряжка устало двинулась, увязая в рыхлом снегу.

— Стой! — заорал Малыш. — Придется прокладывать тропу.

Смок вытащил из нарт лыжи, прикрепил их к мокасинам и зашагал впереди, утаптывая и приминая снег.

Это была нелегкая работа. И собаки и люди уже много дней недоедали, и силы их были на исходе. Они шли по руслу ручья, круто сбегавшего к реке, и с трудом одолевали тяжелый, непрерывный подъем. Высокие отвесные скалы с обеих сторон сходились все тесней, и скоро путники уже двигались по дну узкого ущелья. Отсвет долгих северных сумерек не проникал за высокие камен-

ные стены, и в ущелье было почти совсем темно.

— Настоящая западня, — сказал Малыш. — Точно лезешь в преисподнюю. Тут так и жди беды.

Смок не ответил; полчаса они молча пробивались вперед, и молчание снова нарушил Малыш.

— У меня предчувствие, — проворчал он. — Да, да, у меня предчувствие. Сказал бы я тебе, да ты слушать не станешь…

— Ну, ну, валяй, — отозвался Смок.

— Так вот, чует мое сердце, что мы здесь надолго застрянем. Наживем себе лиха, проторчим тут целую вечность, да еще с хвостиком.

— А что твое сердце чует насчет еды? — довольно нелюбезно осведомился Смок. — У нас нет в запасе еды на целую вечность, да еще с хвостиком.

— Насчет еды ничего не чует. Наверно, уж как-нибудь извернемся. Но одно я тебе прямо скажу, Смок. Я готов съесть всех наших собак, но только не Быстрого. На Быстрого у меня рука не поднимется. Я этого пса слишком уважаю.

— Рано ты нос вешаешь! — насмешливо сказал Смок. — Мое сердце чует больше. Оно чует, что собак есть не придется. Уж не знаю, на лосином мясе, на оленине или на жареных рябчиках, а только мы тут даже раздобреем.

Малыш фыркнул, не находя слов, чтобы выразить свое негодование, и они снова на время умолкли.

— Вот оно начинается, твое лихо, — сказал Смок, останавливаясь и пристально глядя на что-то лежащее у тропы.

Малыш оставил шест, подошел к товарищу и тоже стал разглядывать лежавшее на снегу тело.

— Это не голодный, — сказал Смок.

— Погляди на его губы, — сказал Малыш.

— Совсем закоченел, — сказал Смок и потянул мертвеца за руку; рука не согнулась, но с ней приподнялось все тело.

— Если его бросить оземь, он расколется на куски, — заметил Малыш.

Человек лежал на боку, скованный морозом. Он не был засыпан снегом — значит, лежал здесь недолго.

— Только третьего дня снег сыпал вовсю, — сказал Малыш.

Смок кивнул, нагнулся над мертвым и повернул его лицом вверх. Висок был прострелен; Смок огляделся и кивком указал на валяющийся в снегу револьвер.

Через сотню ярдов им попался еще один труп — он лежал ничком на тропе.

— Две вещи совершенно очевидны, — сказал Смок. — Оба они толстые. Значит, не голодали. И они не нашли золота, иначе не покончили бы самоубийством.

— Да еще самоубийство ли это, — возразил Малыш.

— Несомненно. Тут только одни следы — их собственные, и у обоих виден ожог от пороха. — Смок оттащил второй труп в сторону и носком мокасина подкинул револьвер, вдавленный в снег тяжестью упавшего тела. — Вот и у этого револьвер под боком. Говорил я, что мы тут что-нибудь найдем.

— Видно, все находки еще впереди. С чего бы этим сытым парням пускать себе пулю в лоб?

— Когда уж мы это узнаем, так будем знать и все беды, какие ты чуял, — ответил Смок. — Пойдем дальше. Смеркается.

Было уже совсем темно, когда лыжа Смока вдруг зацепилась за неподвижное мертвое тело и он свалился поперек нарт, на которых лежал еще один покойник. А когда он отряхнулся от снега, насыпавшегося за шиворот, и чиркнул спичкой, они с Малышом увидели третьего покойника, завернутого в одеяла, — он лежал возле наполовину вырытой могилы. И прежде чем спичка погасла,

они заметили еще пять или шесть могил.

— Брр, — содрогнулся Малыш. — Лагерь самоубийц. А какие сытые. Наверно, там все перемерли.

— Нет… вот посмотри. — Смок показал на мерцающий в отдалении слабый огонек. — А вон еще огонь… и еще. Пошли. Прибавь-ка шагу.

Больше трупов им не попадалось, и через несколько минут плотно укатанная тропа привела их в лагерь.

— Да это прямо город, — прошептал Малыш. — Хижин двадцать, не меньше. И ни одной собаки. Вот занятно!

— Теперь я знаю! — взволнованно и тоже шепотом ответил Смок. — Это люди Лоры Сибли. Разве ты не помнишь? Они приплыли осенью по Юкону на «Порт-Таунсенде». Прошли мимо Доусона без остановки. Должно быть, высадились прямо у этого ручья.

— Ну да. Припоминаю. Они мормоны.

— Нет, вегетарианцы. — Смок усмехнулся в темноте. — Не едят мяса и не ездят на собаках.

— Мормоны, вегетарианцы — один черт. У всех у них мозги набекрень. И всегда их на золото тянет. Эта самая Лора Сибли обещала привести их на такое место, где они разом станут милли-

онерами.

— Правильно. Она у них пророчица — ее посещают видения и всякое такое. А я думал, они двинулись вверх по Норденсджолду.

— Тсс! Слушай!

В темноте Малыш предостерегающе дотронулся рукой до груди Смока, и оба прислушались: низкий протяжный стон донесся от одной из хижин. И, прежде чем он замер, его подхватили в другой хижине, в третьей… казалось, рвется наружу беспредельное человеческое горе. От этих стенаний мороз подирал по коже.

— Брр, — содрогнулся Малыш. — Прямо жуть берет. Пойдем поглядим, что с ними стряслось.

Смок подошел к освещенной хижине и постучал. «Войдите!» — со стоном отозвался голос за дверью, и они с Малышом вошли. Это был самый обыкновенный сруб, бревенчатые стены проконопачены мхом, земляной пол усыпан опилками и стружками. При свете керосиновой лампы можно было разглядеть четыре койки, на трех койках лежали люди, они перестали стонать и уставились на вошедших.

— Что у вас тут? — спросил Смок одного из лежащих; даже под одеялами видно было, какие широкие плечи и большое, сильное тело у этого

человека, но глаза у него страдальческие и щеки ввалились. — Оспа, что ли?

Вместо ответа человек показал на свой рот, с усилием растянул вспухшие, почернелые губы, и Смок невольно отшатнулся.

— Цинга, — негромко сказал он Малышу, и больной кивком подтвердил диагноз.

— Еды хватает? — спросил Малыш.

— Ага, — отозвался человек с другой койки. — Можете взять. Еды полно. В соседнем доме никого нет. Кладовая рядом. Идите и берите.

II

Во всех хижинах, которые они обошли в этот вечер, оказалось то же самое. Цингой был поражен весь лагерь. Среди его жителей было десять или двенадцать женщин, но Смок с Малышом увидели далеко не всех. Вначале тут было девяносто три человека. Но десять умерли, и еще двое недавно исчезли. Смок рассказал, как они с Малышом нашли двух самоубийц совсем неподалеку отсюда, и выразил удивление, что никто из лагеря не пошел на поиски. Больше всего его и Малыша поражала беспомощность этих людей. В хижинах была грязь, мусор, дощатые столы

заставлены немытой посудой. Никто и не думал помочь друг другу. В каждой хижине были свои несчастья, нимало не трогавшие соседей, и никто уже не давал себе труда хоронить умерших.

— Прямо понять не могу, — признался Малышу Смок. — Встречал я лодырей и бездельников, но не столько сразу! Слыхал, что они говорят? Никто и пальцем не шевельнул за все время. Пари держу, они тут и не умываются. Неудивительно, что у них цинга.

— Но откуда у вегетарианцев цинга? — возразил Малыш. — Всегда говорят, что цинга косит тех, кто питается мясом, солониной. А эти вообще мяса не едят — ни соленого, ни сырого, ни жареного, никакого.

Смок покачал головой.

— Знаю. Цингу и лечат овощами. Никакие лекарства не помогают. Овощи, особенно картошка, — вот единственное средство. Но не забывай, Малыш, тут перед нами не теория, а факты: эти травоядные все поголовно больны цингой.

— Значит, она заразная.

— Нет, это доктора точно знают. Цинга передается не бациллами. Заразиться ею нельзя. Она сама возникает в организме. От истощения, что ли, от плохого состава крови. Не в том дело, что

они что-то подхватили, а в том, что им чего-то не хватает. Цингой заболевают оттого, что недостает каких-то веществ в крови, и эти вещества находятся не в склянках и порошках, а в овощах и зелени.

— Но ведь эти, здешние, только зелень и едят, — возразил Малыш. — У них тут всякой травы сколько угодно. Нет, ты все путаешь, Смок. Это ты разводишь теорию, а факты ее разбивают вдребезги. Цинга — штука заразная, потому они все ее и подхватили и гниют заживо. И мы с тобой заразимся, если будем тут болтаться. Брр! Так вот и кажется, что эти самые букашки заползают в меня.

Смок только фыркнул и постучал в дверь следующей хижины.

— Наверно, и тут то же самое, — сказал он. — Входи. Надо разобраться как следует.

— Что вам нужно? — резко спросил женский голос.

— Видеть вас, — ответил Смок.

— Кто вы такие?

— Два доктора из Доусона! — выпалил Малыш и тут же за свое легкомыслие получил от Смока тумак под ребра.

— Никакие доктора нам не нужны, — наотрез

заявила женщина, голос ее прервался от боли и злости. — Уходите. До свидания. Мы в докторов не верим.

Смок отодвинул щеколду, толкнул дверь, вошел и вывернул фитиль в слабо горевшей керосиновой лампе. Четыре женщины, лежавшие на койках, перестали стонать и охать и уставились на непрошеных гостей. Две женщины были молодые, с исхудалыми лицами, третья — пожилая и очень полная, четвертая, которую Смок сразу признал по голосу, была до того худа, что он не поверил своим глазам, — таких живых скелетов он еще не видывал. Он сразу понял, что это и есть Лора Сибли, известная пророчица и ясновидящая, затеявшая в Лос-Анджелесе экспедицию; она-то и привела их всех сюда, на Нордбеску, в этот лагерь смерти. Разговор получился весьма недружелюбный. Лора Сибли не признавала докторов. И в придачу ко всем своим испытаниям она почти утратила веру в самое себя.

— Почему вы не послали за помощью? — спросил Смок, когда она умолкла, утомленная, задохнувшись после первой же своей гневной тирады. — Есть большой лагерь на реке Стюарт, и до Доусона всего восемнадцать дней пути.

— А почему Эймос Уэнтворт не пошел? — крик-

нула она с истерической злостью.

— Я не знаком с этим джентльменом, — ответил Смок. — Чем он занимается?

— Ничем. Но он один из всех нас не заболел цингой. А почему не заболел? Я могу вам сказать. Нет, не скажу… — И она плотно сжала тонкие губы; она была худа до прозрачности. Смоку даже казалось, будто сквозь кожу видны ее зубы до самых корней. — Да если бы он и пошел, что толку? Я же знаю. Я не дура. Наши кладовые полны всяких фруктовых соков и консервированных овощей. Ни один лагерь во всей Аляске не вооружен так, как мы, для борьбы с цингой. У нас есть всякие овощи, фрукты, орехи, какие только изготовляются в сушеном виде и в консервах, и всего этого сколько угодно.

— Вот ты и попался, Смок! — с торжеством воскликнул Малыш. — Тут тоже факт, а не теория. Говоришь, лечение овощами? Вот они, овощи, а как же насчет лечения?

— Не понимаю, в чем дело, — признался Смок. — И ведь во всей Аляске другого такого лагеря не найти. Видал я цингу — попадались два-три случая то тут, то там, — но никогда не видел, чтобы целый лагерь был охвачен цингой, да еще такой свирепой. Ничего нельзя понять, Малыш.

Мы должны для них сделать все, что можно, но сперва надо позаботиться о ночлеге и о собаках. Мы навестим вас утром, э-э… миссис Сибли.

— Мисс Сибли, — оскорбленно поправила она. — И вот что, молодой человек: если вы сунетесь сюда с вашими дурацкими лекарствами, я всажу в вас хороший заряд дроби.

— Ну и ведьма же эта пророчица! — смеялся Смок, когда они ощупью пробирались в темноте к пустующей хижине рядом с той, откуда они начали свой обход.

Видно было, что здесь до недавнего времени жили два человека, и друзья невольно спрашивали себя, не те ли самоубийцы, которых они нашли на дороге. Они осмотрели кладовую и обнаружили великое множество всяческих припасов — в банках, в порошке, консервированных, сушеных, сгущенных.

— Как же, спрашивается, они ухитрились заполучить цингу? — воскликнул Малыш, широким жестом указывая на пакетики с яичным порошком и итальянскими грибами. — Ты погляди! Только погляди! — Он потрясал банками с томатом, с кукурузой и фаршированными маслинами. — И сама приводчица тоже подхватила цингу. Как это понимать?

— Пророчица, — поправил Смок.

— Приводчица, — упрямо повторил Малыш. — Кто их привел в эту дыру, не она, что ли?

III

На другое утро, когда было уже светло, Смок столкнулся на улице с человеком, тащившим тяжело груженные сучьями и хворостом сани. Низенький, опрятный и подвижной, этот человек шагал бодро, быстро, хотя сани были тяжелые. Смок тотчас проникся неприязнью к нему.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, — ответил низенький.

— Знаю, — сказал Смок. — Потому и спрашиваю. Вы Эймос Уэнтворт. Любопытно, как это получилось, что вы один из всех не заболели цингой?

— Потому что я не лежал на боку, — быстро ответил тот. — Они бы тоже не заболели, если бы не сидели взаперти и хоть что-нибудь делали. А они чем занимались? Ворчали, и жаловались, и ругали холод, долгую ночь, тяжелую жизнь, работу, болезни и все на свете. Они валялись в постели, пока не распухли так, что уже не могут подняться, вот и все. Посмотрите на меня. Я рабо-

тал. Войдите ко мне в хижину.

Смок последовал за ним.

— Поглядите вокруг. Дом как игрушечка, а? То-то! Чистота, порядок. Я бы и опилки со стружками вымел, да они нужны для тепла. Но они у меня чистые. А поглядели бы вы, что у других на полу делается. Прямо как в хлеву. Я еще ни разу не ел с немытой тарелки. Нет, сэр. А для этого надо работать, и я работал — и не заболел цингой. Намотайте себе это на ус.

— Вы попали в самую точку, — признался Смок. — Но тут у вас, я вижу, только одна койка. Почему это вы в грустном одиночестве?

— Потому что мне так больше нравится. Проще убирать за одним, чем за двумя, только и всего. Тут все лодыри и лежебоки. Неужели я стал бы терпеть такого в доме? Не диво, что у них началась цинга.

Все это звучало очень убедительно, но Смок не мог преодолеть неприязни к собеседнику.

— А почему Лора Сибли так на вас сердита? — спросил он вдруг.

Эймос Уэнтворт быстро взглянул на Смока.

— Лора Сибли чудачка, — ответил он. — Все мы чудаки, если хотите знать. Но избави меня Боже от чудака, который тарелки за собой не вымоет,

а они все такие.

Несколько минут спустя Смок разговаривал с Лорой Сибли. Опираясь на палки, она проковыляла мимо его хижины и остановилась передохнуть.

— Почему это вы так сердиты на Уэнтворта? — вдруг спросил он ни с того ни с сего.

Этот внезапный вопрос застал ее врасплох. Зеленые глаза ее вспыхнули, худое, изнуренное лицо исказилось от бешенства, распухшие, почерневшие губы кривились, готовые произнести самые резкие, необдуманные слова. Но только какие-то бессвязные, нечленораздельные звуки сорвались с этих губ, и тотчас страшным усилием воли Лора Сибли овладела собой.

— Потому что он здоров, — задыхаясь, выговорила она. — Потому что у него нет цинги. Потому что он думает только о себе. Он пальцем не шевельнет, чтоб кому-нибудь помочь. Бросил нас гнить заживо, и мы гнием заживо, а он хоть бы раз принес нам ведро воды, вязанку хвороста! Такой негодяй! Но он еще дождется! Да, да! Он еще дождется!

И с трудом переводя дух, она заковыляла дальше. Пять минут спустя Смок вышел кормить собак и увидел, как она вошла в хижину Эймоса

Уэнтворта.

— Что-то тут неладно, Малыш, что-то неладно, — сказал он, мрачно качая головой, когда его товарищ, перемыв посуду, вышел из дому выплеснуть помои.

— Ясное дело, — весело ответил Малыш. — И нам с тобой тоже ее не миновать. Вот увидишь.

— Я не про цингу.

— А, ты про приводчицу? Эта на все способна, она и мертвого ограбит. До чего же у нее вид голодный, я таких сроду не видал!

IV

— Мы с тобой здоровы, потому что все время работаем, Малыш. И Уэнтворт поэтому здоров. А остальные почти не двигались, и сам видишь, что из этого вышло. Теперь мы пропишем всей хворой команде физический труд. Твоя забота следить, чтоб каждый получил свою порцию. Я тебя назначаю старшей сиделкой.

— Что-о-о? — крикнул Малыш. — Меня? Нет уж, увольте!

— Не уволю. И сам буду твоим помощником, потому что это дело нешуточное. Надо их расшевелить. Прежде всего пускай похоронят мертве-

цов. Самых крепких определим в похоронную команду; других, кто все-таки еще держится, — в команду сборщиков топлива, ведь они тут валялись под одеялами, чтобы экономить дрова; ну а тех, кто послабее, — на работу полегче. Да, и хвойный отвар. Не забыть бы. Аляскинские старожилы просто молятся на него. А эти про него и не слыхивали.

— Ну, нам несдобровать, — ухмыльнулся Малыш. — Первым делом в нас всадят хорошую порцию свинца.

— А вот с этого мы и начнем, — сказал Смок. — Пошли.

За час они обшарили все двадцать с лишним хижин и отобрали у их обитателей все патроны, все ружья, дробовики и револьверы до единого.

— Ну-ка, болящие, — приговаривал Малыш, — выкладывайте ваши пушки и пистолеты. Они нам пригодятся.

— А вы кто? — осведомились в первой же хижине.

— Доктора из Доусона, — ответил Малыш. — Как скажем, так и делайте. Ну-ну, давайте сюда. И патроны тоже.

— А зачем они вам?

— На нас идут войной мясные консервы. Они

уже захватили пол-ущелья, будем отбивать атаку. И имейте в виду, скоро сюда вторгнется хвойный отвар. Ну-ка, поживее.

И это было только начало. Все утро Смок и Малыш поднимали людей с постели — кого просьбами, уговорами, а кого и угрозами и просто силой заставляли встать и одеться. Тех, у кого цинга была в более легкой форме, Смок отобрал в похоронную команду. Других послал запасти дров, чтобы можно было отогреть кострами мерзлую глину и песок и выкопать могилы. Третьим было поручено нарубить и наколоть дров поровну для каждой хижины. Те, кто оказался не в силах выйти из дому, должны были чистить, мыть, прибирать у себя в хижине и стирать белье. Еще одна партия натащила еловых ветвей, и всюду на очагах стали кипятить хвойный отвар.

Но хоть Смок с Малышом и старались делать вид, будто все идет как надо, положение было очень тяжелое. У них мороз пошел по коже, когда они убедились, что по меньшей мере тридцать человек находятся в ужасном, безнадежном состоянии и их нельзя поднять с постели, а одна из женщин в хижине Лоры Сибли умерла. Однако надо было действовать решительно.

— Неохота мне колотить больного, — объяснял

Малыш, угрожающе поднимая кулак, — но если это для его же пользы, я ему башку прошибу. А вас всех очень даже полезно поколотить, лодыри вы несчастные. Ну, ну, давай! Подымайся-ка и надевай свои лохмотья, да поживей, а то я тебе сейчас расквашу физиономию!

За работой люди стонали, охали, всхлипывали, слезы струились по их щекам и замерзали, и ясно было, что муки их неподдельные. Положение было отчаянное, и предписанные Смоком меры — поистине героические.

Когда работники вернулись в полдень домой, их уже ждал вполне приличный обед, приготовленный более слабыми соседями по хижине под надзором и руководством Смока и Малыша.

— Пока хватит, — сказал Смок в три часа дня. — Кончайте работу. Ложитесь в постель. Сейчас вы устали, вам худо, зато завтра будет лучше. Конечно, выздороветь не так-то легко, но у меня вы все выздоровеете.

— Слишком поздно, — посмеиваясь над стараниями Смока, сказал Эймос Уэнтворт. — Им надо было взяться за ум еще осенью.

— Пойдемте-ка, — ответил Смок. — Захватите эти два ведра. Вы-то не больны.

И они пошли втроем из хижины в хижину,

наделяя всех и каждого доброй пинтой хвойного отвара. Нелегко это было — заставить их выпить лекарство.

— Запомните раз и навсегда, нам не до шуток, — объявил Смок первому же упрямцу, который лежал навзничь и стонал, стиснув зубы. — Малыш, помогай! — Смок ухватил пациента за нос и одновременно слегка стукнул в солнечное сплетение, тот задохнулся и открыл рот. — А ну, Малыш! Сейчас он проглотит!

И больной, давясь, отплевываясь, все же проглотил лекарство.

— Ничего, привыкнете, — заверил Смок свою жертву и потянулся к носу человека, лежавшего на соседней койке.

— Я бы уж предпочел касторку, — по секрету признался другу Малыш, готовясь принять свою порцию. — Клянусь Мафусаилом, — объявил он во всеуслышание, проглотив горькую настойку, — на грош глотнешь — ведро здоровья хлебнешь!

— Мы будем вас обходить с этим хвойным отваром четыре раза в день, и каждый раз нам придется напоить восемьдесят человек, — сказал Смок Лоре Сибли. — Мы не можем зря время терять. Выпьете так или зажать вам нос? — Его

рука уже тянулась к ее лицу. — Это настойка растительная, так что совесть может вас не мучить.

— Ни совесть, ни тошнота! — фыркнул Малыш. — Еще бы! Такой дивный напиток!

Лора Сибли колебалась. Нелегко ей было себя пересилить.

— Ну? — повелительно сказал Смок.

— Я… я выпью, — ответила она дрожащим голосом. — Давайте скорей!

В тот вечер Смок и Малыш заползли под свои одеяла такие измотанные, как никогда еще не выматывал их целый день езды по самой тяжелой дороге.

— Тошно мне, — признался Смок. — Страшно смотреть, как они мучаются. Но, кроме работы, я никакого средства не вижу, надо его испробовать до конца. Вот если бы у нас был мешок сырого картофеля…

— Спаркинс не может мыть посуду, — сказал Малыш. — Его прямо корчит от боли. Пришлось его уложить в постель, он и лечь-то сам не мог.

— Вот был бы у нас сырой картофель, — повторил Смок. — В этих сушеных и сгущенных продуктах не хватает чего-то самого главного. Из них жизнь улетучилась.

— А знаешь, или я сильно ошибаюсь, или тот

парнишка по фамилии Джонс, из хижины Браунлоу, не дотянет до утра.

— Не каркай, Бога ради, — с упреком сказал Смок.

— А кому придется его хоронить, не нам, что ли? — рассердился Малыш. — Что с этим парнем творится, я тебе скажу, просто ужас…

— Замолчи ты, — сказал Смок.

Малыш еще пофыркал сердито и скоро уснул. Смок услышал его тяжелое мерное дыхание.

V

К утру умер не только Джонс, — один из самых сильных мужчин, работавший накануне в числе дровосеков, повесился. И потянулись длинной чередой дни, похожие на страшный сон. Целую неделю, напрягая все силы, Смок заставлял своих пациентов работать и глотать хвойный отвар. И одного за другим, а то и по двое, по трое сразу, вынужден был освобождать их от работы. Он убедился, что физический труд — плохое лекарство для больных цингой. Похоронная команда таяла, а работы у нее не убавлялось, и пять или шесть могил, вырытых про запас в отогретой кострами земле, всегда были наготове и ждали.

— Вы не могли хуже выбрать место для лагеря, — сказал Смок Лоре Сибли. — Посмотрите, ведь он лежит на самом дне узкого ущелья, идущего с востока на запад. Даже в полдень солнце сюда не заглядывает. Вы месяцами не видите солнечного света.

— Откуда мне было знать?

Смок пожал плечами.

— Надо было знать, раз вы повели сотню дураков за золотом.

Она со злобой посмотрела на него и проковыляла дальше. Смок проведал рабочую команду, которая со стонами собирала еловые ветки, а возвращаясь через несколько минут, увидел, что пророчица вошла в хижину Эймоса Уэнтворта, и последовал за ней. Из-за двери он услыхал, что она хнычет и просит о чем-то.

— Только для меня одной, — умоляла она в ту минуту, когда Смок появился на пороге. — Я никому не скажу…

Оба с виноватым видом оглянулись на нежданного посетителя. Смок понял, что тут что-то кроется, и мысленно выругал себя — зачем не подслушал!

— Выкладывайте! — резко приказал он. — Что у вас тут?

— А что вам нужно? — угрюмо переспросил Эймос Уэнтворт.

И Смок не мог объяснить, что ему нужно.

VI

Положение становилось все хуже, все безнадежнее. В этом мрачном ущелье, куда не заглядывало солнце, беспощадная смерть уносила все новые и новые жертвы. Каждый день Смок и Малыш со страхом заглядывали друг другу в рот — нет ли белых пятен на деснах и слизистой оболочке, первого несомненного признака цинги.

— Ну хватит, — заявил однажды вечером Малыш. — Я все сызнова обдумал — и хватит с меня. Может, из меня кое-как вышел бы погонщик рабов, но погонять калек — на это я не гожусь. Им день ото дня хуже становится. Я теперь и двадцати человек не могу выгнать на работу. Нынче я отправил Джексона в постель. Он уже готов был покончить с собой. У него это прямо на лице написано. Никакого толку от работы нет.

— И я тоже так решил, — сказал Смок. — Освободим их от работы, оставим только человек десять. Нам нужны помощники. Пускай чередуются, сменяют друг друга. Хвойный отвар надо

продолжать.

— Никакого толку от него нет.

— Может быть, и нет, не знаю, но уж, во всяком случае, он им не вредит.

— Еще один покончил с собой, — сообщил Малыш на другое утро. — Филипс, вот кто. Я уже давно видел, что к этому идет.

— Ну что тут будешь делать! — простонал Смок. — Ты что предлагаешь?

— Кто, я? Ничего я не предлагаю. Пускай все идет своим чередом.

— Но тогда они все перемрут.

— Кроме Уэнтворта, — проворчал Малыш, который давно уже, как и Смок, не выносил этого субъекта.

Уэнтворт был неизменно здоров, словно заколдованный, и Смок только диву давался. Почему Уэнтворт — единственный в лагере — не заболел цингой? Почему Лора Сибли так ненавидит его и в то же время хнычет и скулит перед ним и что-то у него выпрашивает? Что это она у него выпрашивает, в чем он ей отказывает?

Несколько раз Смок нарочно заходил к Уэнтворту в час обеда. Только одно и показалось ему при этом подозрительным — та подозрительность, с какой встречал его Уэнтворт. Затем он попытался

расспросить Лору Сибли.

— Сырой картофель вылечил бы вас всех, — сказал он пророчице. — Я знаю, я уже не раз видел, как он целительно действует.

Глаза ее вспыхнули — в них была и вера, и злоба, и ненависть, и Смок понял, что напал на след.

— Почему вы не привезли с собой на пароходе свежего картофеля? — спросил он.

— Мы везли. Но в Форте Юкон мы его очень выгодно продали. У нас сколько угодно сушеного картофеля, мы знали, что он лучше сохраняется. Он даже не мерзнет.

Смок охнул от досады.

— И вы весь свежий продали? — спросил он.

— Да. Откуда нам было знать?

— И совсем ничего не осталось? Может быть, мешок-другой случайно завалялся где-нибудь в сторонке?

Она замялась на мгновение, покачала головой, потом прибавила:

— Мы ничего не находили.

— А может быть, все же что-нибудь осталось? — настаивал он.

— Откуда я знаю? — скрипучим, злым голосом ответила Лора Сибли. — Я не ведала продовольствием.

— Им ведал Эймос Уэнтворт, — догадался Смок. — Прекрасно. А теперь скажите — это останется между нами, — как по-вашему, не припрятал ли где-нибудь Эймос Уэнтворт немного сырого картофеля?

— Нет. Конечно, нет. Почему бы он стал прятать?

— А почему бы и нет?

Она пожала плечами.

И как ни бился Смок, ему не удалось заставить ее признать, что это могло случиться.

VII

— Уэнтворт — свинья, — таков был приговор Малыша, когда Смок сказал ему о своих подозрениях.

— И Лора Сибли тоже, — прибавил Смок. — Она уверена, что у него есть картофель, но молчит об этом и только добивается, чтобы он поделился с ней.

— А он не желает? — Малыш проклял грешный род человеческий в одной из самых блистательных своих бранных импровизаций и перевел дух. — Оба они настоящие свиньи. Пускай Господь Бог в наказание сгноит их в цинге — вот все,

что я имею сказать по этому поводу. А сейчас я пойду и расшибу Уэнтворту башку.

Но Смок был сторонником дипломатических переговоров. В эту ночь, когда все в лагере спало и стонало во сне или, быть может, стонало, не в силах уснуть, Смок постучал у дверей неосвещенной хижины Уэнтворта.

— Выслушайте меня, Уэнтворт, — сказал он. — Вот здесь, в мешке, у меня на тысячу долларов золотого песка. Я один из богатых людей в здешних краях, я могу себе это позволить. Боюсь, что у меня начинается цинга. Дайте мне одну сырую картофелину — и это золото ваше. Вот попробуйте на вес.

Смок вздрогнул от радости: Эймос Уэнтворт в темноте протянул руку и попробовал на вес мешок с золотом. Потом Смок услыхал, как Уэнтворт шарит под одеялом, и почувствовал, что в руку ему вложили уже не тяжелый мешочек, а картофелину; да, это, несомненно, была картофелина величиной с куриное яйцо и теплая оттого, что лежала у Уэнтворта под боком.

Смок не стал дожидаться утра. Они с Малышом боялись, что два самых тяжелых пациента могут умереть каждую минуту, и тотчас отправились в их хижину. В чашке они несли тысячедолла-

ровую картофелину, истертую, размятую вместе с шелухой и приставшими к ней песчинками; и эту жидкую кашицу они по нескольку капель зараз вливали в страшные черные дыры, которые некогда были человеческими ртами. Всю долгую ночь, снова и снова сменяя друг друга, Смок и Малыш давали больным картофельный сок, втирали его в распухшие десны, в которых шатались и постукивали зубы, и заставляли несчастных старательно глотать каждую каплю драгоценного эликсира.

Назавтра к вечеру в состоянии обоих пациентов произошла чудесная, прямо невероятная перемена. Они уже не были самыми тяжелыми больными в лагере. Через сорок восемь часов, когда была выпита последняя капля картофельного сока, оба они оказались вне опасности, хотя и далеки еще от полного выздоровления.

— Вот что, — сказал Смок Уэнтворту. — У меня есть в этих краях золотоносные участки, мой вексель вам оплатят где угодно. Даю вам до пятидесяти тысяч, по пятьсот долларов за каждую картофелину. Это будет сто штук.

— А золотого песку у вас больше нет? — осведомился Уэнтворт.

— Мы с Малышом наскребли все, что взяли

с собой… Но, честное слово, мы с ним стоим несколько миллионов.

— Нет у меня никакого картофеля, — решительно заявил Уэнтворт. — Мне и самому он нужен. Только одна картофелина у меня и была, та, которую я вам отдал. Я берег ее всю зиму, боялся, что заболею. Нипочем бы ее не продал, да мне нужны деньги на дорогу. Когда река вскроется, я поеду домой.

Хоть картофельный сок и кончился, на третий день стало ясно, что те двое, которых им лечили, идут на поправку. Тем, кому сока не давали, становилось все хуже и хуже. На четвертое утро были похоронены еще три страшных тела, изуродованных болезнью. Пройдя через это испытание, Малыш сказал Смоку:

— Ты пробовал на свой лад. Теперь я попробую по-своему.

И он прямиком отправился к Уэнтворту. Что произошло в хижине Уэнтворта, он рассказывать не стал. Когда он вышел оттуда, суставы его пальцев были расшиблены и ободраны, а физиономия Уэнтворта оказалась вся в синяках, и он еще долгое время держал голову как-то боком на искривленной, негнущейся шее. Нетрудно было объяснить это странное явление: на шее Уэнт-

ворта красовались иссиня-черные отпечатки пальцев — четыре пятна по одну сторону и одно — по другую.

Затем Смок с Малышом нагрянули к Уэнтворту, вышвырнули его за дверь прямо в снег и все в хижине перевернули вверх дном. Приковыляла Лора Сибли и тоже стала лихорадочно искать.

— Ничего ты не получишь, старуха, хотя бы мы откопали целую тонну, — заверил ее Малыш.

Но их постигло не меньшее разочарование, чем Лору Сибли. Они даже пол весь изрыли — и все-таки ничего не нашли.

— Я бы стал его поджаривать на медленном огне, он бы у меня живо заговорил, — с полной серьезностью предложил Малыш.

Смок покачал головой.

— Да ведь это убийство, — стоял на своем Малыш. — Бедняги, он же их убивает. Уж прямо взял бы топор, да и рубил бы головы — и то лучше.

Прошел еще день. Смок и Малыш неотступно следили за каждым шагом Уэнтворта. Несколько раз, едва он с ведром в руках выходил к ручью за водой, они словно невзначай направлялись к его хижине, и он поскорей возвращался, так и не набрав воды.

— Картошка у него припрятана тут же в хи-

жине, — сказал Малыш. — Это ясно как день. Но в каком месте? Мы все перерыли. — Он поднялся и натянул рукавицы. — Я все-таки ее найду, хотя бы мне пришлось по бревнышку растащить эту паршивую лачугу.

Он посмотрел на Смока. Тот не слушал, лицо у него было напряженное, взгляд отсутствующий.

— Что с тобой? — в сердцах спросил Малыш. — Уж не собираешься ли ты подцепить цингу?

— Просто я стараюсь кое-что вспомнить.

— Что вспомнить?

— Сам не знаю. В том-то и беда. Но это очень важно, только бы мне вспомнить.

— Смотри, брат, как бы тебе не свихнуться, — сказал Малыш. — Подумай, что тогда со мной будет! Дай своим мозгам передышку. Поди помоги мне растащить ту хижину. Я бы ее поджег, да боюсь, картошка спечется.

— Нашел! — выкрикнул Смок и вскочил на ноги. — Вот это я и хотел вспомнить. Где у нас бидон с керосином? Живем, Малыш! Картофель наш!

— А в чем фокус?

— Вот увидишь, — загадочно сказал Смок. — Я всегда тебе говорил, Малыш, плохо, когда человек не знаком с художественной литературой, — она даже на Клондайке полезна. Вот сейчас мы про-

делаем одну штуку, о которой написано в книге. Я ее читал еще мальчишкой, и это нам очень пригодится. Идем.

Спустя несколько минут в мерцающем зеленоватом свете северного сияния они подкрались к хижине Эймоса Уэнтворта. Осторожно, бесшумно полили керосином бревенчатые стены и особенно тщательно — дверь и оконные рамы. Потом чиркнула спичка, и они смотрели, как вспыхнуло и разгорелось пламя, освещая все вокруг. Отойдя в тень, они ждали.

Из хижины выскочил Уэнтворт, дикими глазами поглядел на огонь и бросился назад. И минуты не прошло, как он снова появился на пороге; на этот раз он шел медленно, низко пригнувшись под тяжестью огромного мешка. Нетрудно было догадаться, что́ в этом мешке. Смок и Малыш кинулись на Уэнтворта, точно голодные волки. Они обрушились на него одновременно справа и слева. Он едва не упал, придавленный своим мешком, который Смок для верности наскоро ощупал. Уэнтворт обхватил руками колени Смока и запрокинул к нему мертвенно-бледное лицо.

— Берите все! Оставьте мне дюжину, только дюжину!.. Полдюжины!.. — пронзительно завопил Уэнтворт. Он оскалил зубы и в слепом бешенстве

хотел было укусить Смока за ногу, но передумал и опять стал клянчить. — Только полдюжины! — выл он. — Только полдюжины! Я сам хотел вам завтра все отдать. Да, да, завтра. Я сам собирался. Это жизнь! Это спасение! Только полдюжины!

— Где другой мешок? — оборвал его Смок Беллью.

— Я все съел, — ответил Уэнтворт, и ясно было, что это чистая правда. — Здесь в мешке все, что осталось. Берите все. Дайте мне только несколько штук.

— Все съел! — воскликнул Малыш. — Целый мешок! А эти бедняги мрут, потому что у них нет ни единой картофелины! Вот тебе! Вот! Вот! Вот тебе! Свинья! Скотина!

Он с маху пнул Уэнтворта ногой. Первый же пинок оторвал Уэнтворта от Смока, колени которого он обнимал. Второй опрокинул его в снег. Но Малыш бил еще и еще.

— Побереги пальцы, — только и сказал Смок.

— Ясно, — ответил Малыш. — Я его пяткой. Увидишь, я ему все ребра переломаю. Я ему челюсть сверну. На тебе! На! Эх, жалко, что на мне мокасины, а не сапоги. Ах ты, свинья!

VIII

В эту ночь в лагере никто не спал. Час за часом Смок и Малыш снова и снова обходили его обитателей, вливая животворный картофельный сок, по четверти ложки зараз, в страшные, все в язвах рты. И на следующий день, пока один спал, другой продолжал свое дело.

Смертных случаев больше не было. Самые безнадежные больные начали поправляться с поразительной быстротой. На третий день люди, которые пролежали пластом долгие недели и даже месяцы, сползли со своих коек и начали двигаться, опираясь на палки. Уже два месяца, как северный короткий день стал прибывать, и вот солнце впервые поднялось над скалистой грядой и весело заглянуло в ущелье.

— Ни одной картофелины не получишь, — сказал Малыш Уэнтворту, который ныл и хныкал перед ним. — Тебя цинга и не трогала. Уплел целый мешок, теперь она тебе еще двадцать лет не страшна. Через тебя я стал лучше понимать Господа Бога. Я всегда удивлялся, как это он терпит сатану. А теперь понимаю. Он помиловал сатану, как я тебя помиловал. А все равно это стыд и срам,

что я тебя не прикончил.

— Вот мой совет, — сказал Уэнтворту Смок. — Больные очень быстро поправляются; через неделю мы с Малышом уедем, и некому будет вас от них защитить. Вот дорога. До Доусона восемнадцать дней пути.

— Сматывайся отсюда, Эймос, — прибавил Малыш. — А то они скоро выздоровеют и так тебя отделают… Как я тебя отделал — это еще сущие пустяки.

— Джентльмены, умоляю, выслушайте меня, — ныл Уэнтворт, — я в этих краях чужой. Я не знаю здешних обычаев. Я не знаю дороги. Позвольте мне поехать с вами. Я дам вам тысячу долларов, только позвольте мне поехать с вами.

— Пожалуйста, — сказал Смок с коварной улыбкой. — Если Малыш согласен.

— Кто?! Я?! — Малыш с достоинством выпрямился. — Я ничтожество. Я смиреннее последней козявки. Я червяк, букашка, лягушкин брат и мухин сын. Я не боюсь гадов и насекомых и не гнушаюсь ими — ни ползучими, ни вонючими. Но чтоб я связался с ним! Да он же хуже гада, он просто ошибка Господа Бога! Убирайся вон, ты! Я человек не гордый, но на тебя мне и смотреть тошно.

И Эймос Уэнтворт убрался; он ушел один, волоча сани, нагруженные запасом провизии, которой должно было хватить до самого Доусона. Едва он прошел милю по тропе, как его нагнал Малыш.

— Поди сюда, — сказал Малыш. — Давай, давай. Выкладывай. Раскошеливайся.

— Я вас не понимаю, — дрожащим голосом ответил Уэнтворт; он весь затрясся при воспоминании о том, как Малыш уже дважды его отделал — и кулаками и ногами.

— А тысяча долларов? Непонятно? Тысяча долларов, которую Смок уплатил тебе за ту паршивую картофелину? Пошевеливайся!

И Эймос Уэнтворт протянул ему мешочек с золотом.

— Чтоб тебя вонючка искусала, — напутствовал его Малыш. — Авось ты сбесишься и издохнешь.

Яичный переполох

I

Ясным морозным утром Люсиль Эрол, что-то выбиравшая у галантерейного прилавка в магазине Аляскинской торговой компании в Доусоне, подозвала к себе Смока Беллью. Приказчик вышел за чем-то на склад. Хотя огромные печи

раскалились докрасна, Люсиль снова натянула рукавицы.

Смок бросился на ее зов. Во всем Доусоне не было человека, которому не польстило бы внимание Люсиль Эрол — эстрадной певицы, которая служила в небольшой труппе, ежедневно дававшей представления в доусонском театре.

— Вот скука смертная! — пожаловалась Люсиль с капризной гримаской, как только они обменялись рукопожатием. — Уже целую неделю в Доусоне не было приступов золотой лихорадки. Обещал Скиф Митчел устроить костюмированный бал, да отложил. Никто не кутит, и в театр никто не ходит. И почты из Штатов уже две недели нет. В общем, Доусон впал в спячку. Надо что-нибудь придумать. Этому городишке нужна встряска — и мы с вами должны его встряхнуть. Кто же их всех расшевелит, если не мы? Знаете, моя помолвка с Бешеным расстроилась.

И тотчас перед мысленным взором Смока мелькнули два видения: лицо Джой Гастелл — и он сам, на примятом снегу, под холодной северной луной, убитый наповал меткой пулей вышеупомянутого Чарли Бешеного. Смок отнюдь не горел желанием вместе с Люсиль Эрол расшевелить Доусон, и она не могла этого не заметить.

— Вот мило! Благодарю покорно, вы меня совсем не так поняли, — засмеялась она и обиженно надула губы. — Право, вы не настолько внимательны ко мне, чтобы стоило бросаться вам на шею.

— От нечаянной радости можно получить разрыв сердца, — с огромным облегчением пробормотал Смок.

— Лгунишка, — кокетливо сказала Люсиль. — Просто вы до смерти испугались. Так вот имейте в виду, мистер Смок Беллью, я не собираюсь влюбиться в вас, а если вы попробуете влюбиться в меня, Бешеный быстро вас вылечит. Вы его знаете. И потом, я… я не совсем порвала с ним.

— Ладно, загадывайте загадки, — усмехнулся Смок. — Может, когда-нибудь я и догадаюсь, к чему вы клоните.

— Тут нечего гадать, я вам скажу прямо. Бешеный думает, что я порвала с ним, понимаете?

— А на самом деле нет?

— Конечно, нет! Но это я только вам, по секрету. А он думает, что все кончено. Я всем так говорю, и он это заслужил.

— А я вам зачем? Как ширма? Для отвода глаз?

— Ни в коем случае. Вы заработаете кучу денег, мы поднимем Бешеного на смех, развеселим

Доусон, а самое главное, ради чего я все это затеяла, — Бешеный станет немного потише. Ему это полезно. Он… как бы это получше объяснить… уж очень разбушевался. Только потому, что он такой огромный детина, и рудникам своим счет потерял, и…

— И обручен с самой очаровательной женщиной во всей Аляске, — вставил Смок.

— Ну, и это — вы очень любезны… а все равно нечего ему буянить. Вчера вечером он опять разошелся. В салуне «М. и М.» засыпал весь пол золотым песком. На тысячу долларов, не меньше. Просто-напросто развязал кошель и пошел сыпать под ноги танцующим. Вы уже, конечно, слыхали?

— Еще утром. Жалко, что не я уборщик в этом заведении. А все-таки я вас никак не пойму. Я-то тут при чем?

— Вот слушайте. Вчера это было уж слишком. Я поссорилась с ним, и теперь он делает вид, что сердце его разбито. Ну, вот мы и добрались до сути. Я обожаю яйца всмятку.

— Вот те на! — в отчаянии воскликнул Смок. — А это тут при чем?

— Не торопитесь.

— Но какая же связь между яйцами всмятку и

вашей помолвкой?

— Самая прямая, только дослушайте меня.

— Я весь внимание! — заверил Смок.

— Так вот, слушайте, Бога ради. Я люблю яйца всмятку. А в Доусоне яйца — редкость.

— Да, конечно. Я знаю. Почти все, что было, закупил ресторан Славовича. Ветчина с одним яйцом — три доллара. С двумя яйцами — пять долларов. Значит, розничная цена яйцу — два доллара. Только наши богачи да вот Люсиль Эрол или Чарли Бешеный могут позволить себе такую роскошь.

— Бешеный тоже любит яйца, — продолжала Люсиль. — Но не в том суть. Важно, что их люблю я. Каждое утро в одиннадцать часов я завтракаю у Славовича. И непременно съедаю два яйца всмятку. — Она многозначительно помолчала. — Но представьте себе, что кто-то скупил все яйца.

Она ждала ответа, а он смотрел на нее с восхищением: что и говорить, Бешеный выбрал очень неплохо!

— Вы меня не слушаете, — сказала Люсиль.

— Продолжайте, — ответил Смок. — Я сдаюсь. Где же разгадка?

— Вот бестолковый! Вы же знаете Бешеного. Он увидит, как я горюю, что нет яиц всмятку (а я хо-

рошо его изучила и умею разыграть безутешное горе), и как по-вашему, что он тогда сделает?

— Говорите. Я слушаю.

— Да он сразу кинется разыскивать того, кто скупил все яйца. Он перекупит их, сколько бы это ему ни стоило. Вообразите картину: в одиннадцать часов я вхожу к Славовичу. За соседним столиком — Бешеный. Можете не сомневаться, он там будет. «Два яйца всмятку», — говорю я официанту. «Виноват, мисс Эрол, — отвечает он, — яиц больше нет». И тут Бешеный говорит своим медвежьим басом: «Официант, омлет из шести яиц!» — «Слушаю, сэр», — говорит официант и подает омлет. Теперь вообразите картину: Бешеный косится в мою сторону, я делаю самое ледяное возмущенное лицо и подзываю официанта. «Виноват, мисс Эрол, — говорит он, — но это собственность мистера Бешеного. Понимаете, мисс, он скупил все яйца». Вообразите картину: Бешеный торжествует и, старательно прикидываясь, что ничего не заметил, уплетает омлет из шести яиц.

А потом такая картина: Славович самолично приносит мне два яйца всмятку и говорит: «Мистер Бешеный просит оказать ему честь». Как тут быть? Мне только и останется улыбнуться

Бешеному, и мы, конечно, помиримся, и он будет считать, что это ничуть не дорого, даже если яйца обойдутся ему по десять долларов штука.

— А дальше что? — спросил Смок. — На какой же станции я влезу в этот экспресс и у какой водокачки меня потом ссадят?

— Вот глупый! Никто вас не ссадит. Вы приведете свой яичный поезд прямиком к станции назначения. Вы-то и скупите все яйца. Принимайтесь за дело немедленно, сегодня же. Вы можете купить все яйца, сколько их есть в Доусоне, по три доллара за штуку, а с Бешеного возьмете, сколько вам вздумается. И потом мы всем расскажем, в чем суть. Бешеного поднимут на смех. Он немного утихомирится. Мы с вами выйдем победителями. Вы заработаете кучу денег. А Доусон проснется от спячки и будет хохотать до упаду. Разумеется, если… если это, по-вашему, чересчур рискованная спекуляция, я дам вам золотого песку.

Это было уже слишком. Смок был обыкновенный смертный родом с Запада, с весьма своеобразными взглядами на женщин и на деньги. Разве мог он принять от нее золото?

II

— Эй, Малыш! — окликнул Смок своего компаньона; тот вразвалку шагал по другой стороне улицы, неся под мышкой бутыль, в которой замерзла какая-то жидкость. Смок перешел к нему через дорогу. — Где ты пропадал все утро? Я тебя всюду ищу.

— К доктору ходил, — ответил Малыш, показывая бутылку. — С нашей Салли что-то неладно. Вчера вечером, когда я их кормил, я увидал, у нее хвост и бока облезают. Доктор говорит…

— Это все ерунда, — нетерпеливо прервал Смок. — Я хочу…

— Что это с тобой? — возмутился Малыш. — А если у Салли вся шерсть вылезет в такой мороз? Говорят тебе, собака больна! Доктор сказал…

— Салли подождет. Послушай…

— Говорят тебе, она не может ждать. Нет, это уже пахнет истязанием животных. Ты, видно, заморозить ее хочешь. И какая муха тебя укусила? Может, на Монте-Кристо и впрямь нашли золото?

— Не знаю, Малыш. Но у меня к тебе просьба.

— Пожалуйста, — любезно согласился Малыш,

сразу успокаиваясь. — Что там у тебя? Выкладывай. Я весь к твоим услугам.

— Купи для меня яиц…

— Может, еще пудры и духов? А бедная Салли пускай облезет начисто? Нет, знаешь, Смок, если ты хочешь вести роскошную жизнь, можешь сам покупать себе яйца, а с меня хватит и бобов с салом.

— Я и сам буду покупать, но ты мне поможешь. А теперь помолчи, Малыш. Говорить буду я. Сейчас ты пойдешь к Славовичу. Плати хоть по три доллара за яйцо, но купи все, что у него есть.

— По три доллара! — охнул Малыш. — А я только вчера слыхал, что у него в запасе целых семьсот яиц. Две тысячи сто долларов за курочкино яичко! Знаешь, что я тебе скажу? Беги покажись доктору. Он тобой займется. И возьмет с тебя не больше унции песку за совет. До скорого! Мне пора.

Он шагнул было прочь, но Смок взял его за плечо и с силой повернул к себе.

— Слушай, Смок, я все для тебя сделаю, — горячо сказал Малыш. — Если ты схватишь насморк и будешь лежать с переломанными руками, я день и ночь буду сидеть подле тебя и утирать тебе нос. Но будь я проклят вовеки, если ради тебя или

ради кого другого выложу две тысячи сто полновесных долларов за какие-то там куриные яйца.

— Да ведь доллары не твои, а мои. Я затеял одно дело. Хочу скупить все яйца, сколько их есть в Доусоне, в Клондайке, по всему Юкону. Ты должен мне помочь. Мне некогда рассказывать, в чем тут суть. Потом объясню и, если захочешь, приму тебя в долю. Но прежде всего надо скупить яйца. А теперь беги к Славовичу и забирай все, что у него есть.

— Но что я ему скажу? Уж, конечно, он поймет, что я не собираюсь сам все уплести.

— Ничего ему не говори. Деньги скажут. Он берет за вареное яйцо два доллара. Предложи ему по три за сырое. Если он начнет приставать с расспросами, скажи, что хочешь разводить цыплят. Мне все равно, были бы яйца. И потом продолжай в том же духе, обшарь весь Доусон и скупи все яйца до единого. Понял? Покупай все подряд! В ресторанчике напротив Славовича есть немного — купи их. Я пойду в Клондайк-сити. Там живет один разорившийся старик, хромоногий; у него есть шесть дюжин. Он продержал их всю зиму, надеялся продать подороже, чтоб хватило на дорогу до Сиэтла. Я ему оплачу дорогу и получу яйца. Ну, поторапливайся. И еще, говорят, у

той женщины, что живет за лесопилкой и шьет мокасины, найдется дюжина-другая.

— Ладно, будь по-твоему. Но самая большая партия — у Славовича. Я с ним заключу такой контракт, что комар носу не подточит. А сейчас пойду соберу по мелочам, что у кого есть.

— Ладно. Только поскорей. Вечером я тебе расскажу, какой у меня план.

Но Малыш помахал бутылкой.

— Сперва я займусь лечением Салли. Уж столько-то времени яйца подождут. Если их до сих пор не съели, так не съедят, пока я позабочусь о несчастной собаке, — она столько раз спасала нам жизнь.

III

Еще никогда ни один товар не скупали так быстро. За три дня Смок с Малышом прибрали к рукам все яйца, сколько их было в Доусоне, кроме нескольких дюжин. Смок не стоял за ценой. Он, не краснея, признавался, что купил у старика из Клондайка семьдесят два яйца по пять долларов штука. Но большую часть купил Малыш, и притом отчаянно торговался. Женщине, которая занималась шитьем мокасин, он заплатил всего

по два доллара и очень гордился, что так удачно поладил со Славовичем — купил семьсот пятнадцать яиц по два с полтиной на круг. И как он ворчал, когда в ресторанчике напротив, где всего было каких-то сто тридцать четыре яйца, с него содрали по два семьдесят пять за штуку!

Но несколько дюжин еще оставалось у двух владельцев. Малыш вел переговоры с индианкой, которая жила в лачуге на холме, за больницей.

— Сегодня мы с ней покончим, — объявил назавтра Малыш. — Ты вымой посуду. Я мигом обернусь, если только удастся уйти от нее живым. Куда легче вести дела с мужчинами. С бабами прямо беда, они из покупателя всю душу вымотают. Еще продать им что-нибудь можно, а уж купить… Прямо как будто она не яйцами торгует, а золотыми слитками.

Когда под вечер Смок вернулся домой, Малыш сидел на корточках и с подозрительно бесстрастным видом натирал лекарством хвост Салли. Несколько минут прошло в молчании.

— Что хорошего? — небрежно спросил наконец Малыш.

— Да ничего, — ответил Смок. — Сторговался ты со своей скво?

Малыш победоносно кивнул на стол, где стояло

ведерко с яйцами, и продолжал молча втирать снадобье. Потом признался:

— Пришлось отдать по семь долларов за штуку.

— А я под конец предлагал по десять, — сказал Смок. — И вдруг этот тип заявил, что уже продал яйца. Плохо наше дело, Малыш. У нас появился конкурент. Эти двадцать восемь яиц доставят нам немало хлопот. Понимаешь, весь секрет в том, чтобы у нас оказались все яйца до единого, иначе…

Он не договорил и уставился на своего компаньона. Малыш внезапно изменился в лице — что-то взволновало его, но он всячески старался этого не показать. Он отставил лекарство, тщательно, не торопясь, вытер руки о шкуру Салли, поднялся, прошел в угол, посмотрел на термометр, потом повернул обратно. И наконец заговорил тихим, ровным голосом и притом чрезвычайно вежливо:

— Будь так добр, повтори, пожалуйста, сколько яиц ты торговал у этого типа?

— Двадцать восемь.

— Гм… — пробурчал Малыш и легким кивком поблагодарил Смока. Потом раздумчиво и недоброжелательно посмотрел на печь. — Надо

поставить новую печку. А то у этой топка прогорела, получаются не лепешки, а уголь.

— При чем тут печка? — не выдержал Смок. — Скажи толком, в чем дело?

— В чем дело? Ты желаешь знать, в чем дело? Тогда будь так любезен, обрати свои прекрасные глаза на ведро, вон там, на столе. Видишь?

Смок кивнул.

— Так вот что я хочу тебе сказать. Здесь, в этом самом ведре, ровным счетом двадцать восемь яиц, и каждое из них, черт бы их побрал, стоит ровным счетом семь добрых, звонких, полновесных монет. Если ты очень жаждешь еще что-нибудь узнать, пожалуйста, я в твоем распоряжении.

— Ну-ну, дальше, — потребовал Смок.

— Скажи, ты у кого торговал яйца? У высокого старого индейца, верно?

Смок кивнул, и потом ему пришлось кивать на каждый следующий вопрос Малыша.

— Ему щеку ободрал медведь — верно? Он торгует собаками? Его зовут Джим Рваная Щека? Все сходится? Понимаешь, о ком я?

— Ты думаешь, мы с тобой перебивали…

— Друг у друга. Ясное дело. Эта скво — его жена, они живут на холме, за больницей. Я бы мог

купить эти яйца по два доллара штука, если б ты не сунулся.

— То же самое и я, — засмеялся Смок, — если б ты не впутался, чтоб тебе пусто было! Но это не имеет значения. Зато мы скупили все без остатка. Это главное.

И потом целый час Малыш пыхтел, выводя огрызком карандаша какие-то закорючки на полях газеты трехлетней давности, и чем длинней и загадочней становились колонки цифр, тем веселее становился он сам.

— Вот оно! — сказал он наконец. — Здорово, а? Очень даже мило, по-моему. Смотри, я все подсчитал. В нашем распоряжении ровно девятьсот семьдесят три яйца. Они нам стоили ровно две тысячи семьсот шестьдесят долларов, считая песок по шестнадцать долларов унция и не принимая в расчет наше с тобой время. А теперь слушай. Если мы выжмем из Бешеного по десять долларов за штуку, мы получим ровным счетом шесть тысяч девятьсот семьдесят долларов чистого барыша. Вот это куш, скажу я тебе! И половина моя! Так и запиши, Смок, — я тебе до того благодарен, прямо выразить не могу. Плевать я хотел на всяких букмекеров, я теперь всю жизнь буду ставить на кур, а не на лошадей.

IV

В тот вечер в одиннадцать часов, когда Смок уже спал крепким сном, его разбудил Малыш; от его меховой парки веяло стужей, и рука, которой он дотронулся до щеки Смока, была ледяная.

— Что там еще? — проворчал Смок. — У Салли последняя шерсть вылезла?

— Да нет. У меня хорошие новости. Я говорил со Славовичем. Вернее, Славович говорил со мной, это он начал первый. «Малыш, — сказал он, — я хочу поговорить с тобой насчет этих самых яиц. Я никому и словом не обмолвился. Никто не знает, что я продал их тебе. Но если хочешь сделать выгодное дельце, могу дать тебе хороший совет». И он мне посоветовал одну вещь — прямо находка! Угадай, что?

— Ну, ну, говори.

— Хочешь верь, хочешь не верь, но находка — Чарли Бешеный. Он хочет купить яйца. Он заявился к Славовичу, предлагал сперва по пять долларов за штуку, а под конец — по восемь. А у Славовича ничего не осталось. Напоследок Бешеный сказал Славовичу, что разобьет ему башку, если узнает, что он где-нибудь припрятал

яйца. И пришлось Славовичу сказать, что яйца он продал и обещал не называть покупателя. Славович просит, чтоб я разрешил ему сказать Бешеному, кто купил яйца. «Малыш, — говорит мне Славович, — Бешеный сейчас же к тебе прибежит. Ты можешь вытянуть из него по восемь долларов за штуку». А я говорю — черта с два по восемь, я из него и десять выжму. В общем, я сказал Славовичу, что подумаю и утром дам ему ответ. Пусть он скажет Бешеному, что это мы все скупили. Верно я говорю?

— Ну, конечно, Малыш. Утром сразу шепни словечко Славовичу. Пусть скажет Бешеному, что мы с тобой в этом деле компаньоны.

Минут через пять Малыш снова разбудил друга.

— Послушай, Смок! Эй, Смок!

— Ну?

— По десять долларов штука — и ни цента меньше. Правильно я говорю?

— Ну, ясно… — пробормотал Смок, засыпая.

Наутро в магазине Аляскинской торговой компании Смок снова встретил у галантерейного прилавка Люсиль Эрол.

— Дело на мази! — весело объявил он. — Дело на мази. Бешеный приходил к Славовичу насчет

яиц, давал большие деньги, и просил, и грозил. А теперь Славович уже, наверно, ему сказал, что яйца скупили мы с Малышом.

Глаза Люсиль Эрол вспыхнули радостью.

— Сейчас пойду завтракать! — воскликнула она. — Закажу яйца, а когда их не окажется, сделаю такое жалобное лицо, что и каменное сердце смягчится. Уж, конечно, Бешеный наседал на Славовича! Он постарается перекупить всю партию, хотя бы ему для этого пришлось распроститься с одним из своих рудников. Я его знаю. Но только вы не уступайте. Десять долларов, Смок, на меньшее я не согласна. Если вы продадите дешевле, я вам никогда не прощу.

В полдень Малыш занялся приготовлениями к обеду: поставил на стол котелок с бобами, кофе, лепешки на сковороде, жестянку с маслом, банку сгущенного молока, дымящуюся оленину с беконом, компот из сушеных персиков.

— Обед подан, — объявил он. — Только взгляни сперва, как там Салли.

Смок отложил упряжь, которую он чинил, открыл дверь и увидел, как Салли и Быстрый бесстрашно отгоняют свору соседских собак, сбежавшихся к ним в надежде чем-нибудь поживиться. Но он увидел и еще нечто, заставившее

его поспешно захлопнуть дверь и кинуться к печи. Сковорода, на которой жарилась оленина, еще не остыла — рывком он поставил ее на переднюю конфорку, положил большой кусок масла, схватил яйцо, разбил, вылил на шипящую сковороду и потянулся за вторым. Но тут подскочил Малыш и удержал его за руку.

— Эй, ты что делаешь?

— Яичницу, — сказал Смок, стряхивая руку Малыша, и разбил второе яйцо. — Ты что, стал плохо видеть? Может, тебе кажется, что я причесываюсь?

— Да ты не заболел ли? — тревожно спросил Малыш, когда Смок, ловко оттолкнув его локтем, разбил над сковородой третье яйцо. — Или, может, просто рехнулся? Ведь тут яиц уже на тридцать долларов.

— А будет на шестьдесят, — ответил Смок, разбивая четвертое. — Не мешай, Малыш. К нам поднимается Бешеный, через пять минут он будет здесь.

Поняв наконец, в чем тут соль, Малыш с облегчением вздохнул и сел к столу. А когда в дверь постучали, Смок уже сидел против него за столом, и перед каждым стояла тарелка с дымящейся яичницей из трех яиц.

— Войдите! — крикнул Смок.

Вошел Чарли Бешеный, молодой великан добрых шести футов ростом, весивший ни много ни мало сто девяносто фунтов, и пожал обоим руки.

— Присаживайся, Бешеный, закуси с нами, — пригласил Малыш. — Смок, поджарь-ка ему яичницу. Пари держу, он уже давно не пробовал яичка.

Смок вылил еще три яйца на горячую сковороду и через несколько минут поставил яичницу перед гостем. Тот смотрел на нее во все глаза; Малыш признавался потом, что ему страшно стало: вдруг Бешеный сунет яичницу в карман и удерет…

— А пожалуй, даже самые богатые тузы в Штатах не едят так, как мы, — ликовал Малыш. — Вот мы сейчас втроем уплетем яиц на девяносто долларов, и хоть бы что.

Бешеный уставился на быстро исчезающие яйца и словно окаменел.

— Ешь, ешь, — подбодрил его Смок.

— Они… не стоят они по десять долларов! — медленно произнес Бешеный.

Малыш принял вызов.

— Всякая вещь стоит столько, сколько можно за нее получить, так? — спросил он.

— Да, но…

— Какие тут «но»? Я же говорю, сколько мы можем за них взять. По десять долларов за штуку, это как пить дать. Имей в виду, мы со Смоком — яичный трест. Раз мы говорим — десять долларов штука, значит, так оно и будет. — Малыш тщательно вытер свою тарелку лепешкой. — Я, кажется, мог бы съесть еще яичко-другое, — вздохнул он и положил себе бобов.

— Как же это вы так едите яйца, — с упреком сказал Бешеный, — это… это просто нехорошо!

— Уж такая у нас со Смоком слабость, страшно любим яйца, — извиняющимся тоном объяснил Малыш.

Бешеный без особого удовольствия доел свою яичницу и неуверенно посмотрел на двух друзей.

— Послушайте, ребята, вы можете мне оказать большую услугу, — начал он, нащупывая почву. — Продайте мне, или одолжите, или подарите, что ли, этак с дюжину яиц.

— Сделай милость, — ответил Смок. — Мне и самому иной раз до смерти хочется яичницы. Но не такие уж мы бедняки, чтобы брать деньги за угощение. Ни гроша не возьмем. — Тут его под столом сильно ударили ногой, и он понял, что

спокойствие изменяет Малышу. — Так сколько тебе, Бешеный, дюжину?

Бешеный кивнул.

— А ну, Малыш, поджарь ему еще дюжину, — сказал Смок. — Вполне сочувствую. Было время, я и сам мог уплести целую дюжину зараз.

Малыш вскочил, но Бешеный удержал его.

— Нет, не надо жарить, — сказал он. — Мне нужны сырые яйца.

— Ты что, хочешь взять их с собой?

— Вот-вот.

— Какое же это угощение? — запротестовал Малыш. — Это… это уже купля-продажа.

— Это совсем другое дело, Бешеный, — поддержал Малыша Смок. — Я думал, ты просто хочешь их съесть. Понимаешь, мы затеяли одну коммерческую операцию.

Грозные огоньки в голубых глазах Бешеного разгорелись ярче обычного.

— Я заплачу вам, — бросил он. — Сколько?

— Но не за дюжину, — ответил Смок. — Дюжину мы продать не можем. Мы не торгуем в розницу, у нас крупная операция. Не будем же мы сами себе портить рынок. Мы скупили все яйца до единого — и продадим их только все сразу.

— Сколько у вас яиц и сколько вы за них хо-

тите?

— Сколько у нас, Малыш?

— Сейчас скажу. — Малыш откашлялся и стал считать вслух: — Девятьсот семьдесят три отнять девять, остается девятьсот шестьдесят два. По десять за штуку — это получается за все вместе девять тысяч шестьсот двадцать кругленьких долларов. Ну и, конечно, мы ведем дело по-честному: за тухлые яйца деньги обратно, только тухлых тут нет. Вот уж чего я никогда на Клондайке не видал, так это тухлых яиц. Самый последний дурак не повезет сюда тухлые яйца.

— Правильно, — поддержал Смок. — За тухлые яйца деньги обратно. Стало быть, вот что мы предлагаем, Бешеный: плати девять тысяч шестьсот двадцать долларов, и все яйца на Клондайке до единого — твои.

— А потом ты продай их по двадцать за штуку — и выручишь вдвое, — посоветовал Малыш.

Бешеный уныло покачал головой и положил себе в тарелку бобов.

— Это мне не по карману, Малыш. Мне ведь нужно всего несколько штук. Я бы взял дюжину-другую по десять долларов штука. Даже по двадцать взял бы, но только не всю партию.

— Все или ничего, — отрезал Смок.

— Послушайте, — в порыве откровенности сказал Бешеный, — я расскажу вам все начистоту, только пускай это останется между нами. Вы ведь знаете, мы с мисс Эрол были помолвлены. Ну, и теперь она со мной порвала. Это вы тоже знаете. Это все знают. Яйца мне нужны для нее.

— Ха! — зло усмехнулся Малыш. — Так вот зачем они тебе понадобились? Не ожидал я от тебя!

— Чего не ожидал?

— Это просто низость, скажу я тебе! — воскликнул Малыш, охваченный благородным негодованием. — Я не удивлюсь, если кто-нибудь всадит в тебя пулю, ты этого заслуживаешь.

Бешеный вспыхнул, готовый разразиться одним из своих знаменитых припадков ярости. Он сжал вилку с такой силой, что она согнулась, голубые глаза его метали молнии.

— Слушай, ты это про что? Если ты думаешь, что у меня плохое на уме и я это скрываю…

— Я знаю, что думаю, — упрямо возразил Малыш. — Уж, конечно, тут ничего не скроешь. Кидают только в открытую.

— Что кидают?

— Яйца, сливы, мячи, да мало ли что. Только ты просчитаешься, Бешеный. Публика этого не

потерпит. Хоть она и артистка, а ты не имеешь права закидать ее на сцене яйцами.

Казалось, Бешеного вот-вот хватит удар. Он судорожно глотнул горячего, как кипяток, кофе и понемногу пришел в себя.

— Ошибаешься, Малыш, — неторопливо, холодно сказал он. — Я не собираюсь закидать ее яйцами. Ты пойми! — с жаром выкрикнул он. — Я хочу поднести ей яйца на тарелочке, сваренными всмятку, она их очень любит.

— Так я и знал, что этого не может быть! — обрадовался Малыш. — Уж кто-кто, а ты не способен на такую подлость!

— Вот и хорошо, — сказал Бешеный, решив не обижаться. — Но перейдем к делу. Теперь вы знаете, зачем мне нужны яйца. Они мне нужны до зарезу.

— До того, что возьмешь их за девять тысяч шестьсот двадцать долларов? — спросил Малыш.

— Да ведь это просто грабеж! — возмутился Бешеный.

— Это сделка, — отрезал Смок. — Ты что думаешь, мы их накупили, чтобы поправить свое здоровье?

— Да поймите вы! — взмолился Бешеный. — Мне нужно только две-три дюжины, не больше.

Я вам заплачу по двадцать долларов за штуку. А остальные мне куда девать? Сколько лет я жил здесь и не ел яиц, уж как-нибудь и дальше без них проживу.

— Да ты не горячись, — посоветовал Малыш. — Не нужны они тебе — и не надо. Мы тебе их не навязываем.

— В том-то и штука, что они мне нужны, — жалобно сказал Бешеный.

— Что ж, ты знаешь, во сколько они тебе обойдутся — в девять тысяч шестьсот двадцать долларов, а если я сосчитал неправильно, можно пересчитать.

— А вдруг от них не будет толку? — возразил Бешеный. — Вдруг мисс Эрол уже разлюбила яйца?

— По-моему, мисс Эрол стоит десяти тысяч, — спокойно вставил Смок.

— Стоит! — Бешеный вскочил и дал волю своему красноречию. — Да она стоит миллиона! Она стоит всего, что у меня есть! Она стоит всего золота, сколько его есть на Клондайке! — Он снова сел и продолжал спокойнее: — Но это не значит, что я должен просадить десять тысяч долларов на ее завтраки. Вот что я предлагаю. Одолжите мне дюжины две яиц. Я отдам их Славовичу, и он преподнесет их ей от моего имени. Она мне уже

сто лет не улыбалась. Если эти яйца подарят мне ее улыбку, я заберу у вас всю партию.

— Согласен ты на этих условиях подписать контракт? — спросил Смок, спеша поймать его на слове: он-то знал, что Люсиль Эрол улыбнется!

Бешеный даже рот раскрыл.

— Быстро же у вас дела делаются, — сказал он не без злости.

— Мы только соглашаемся на твое предложение, — ответил Смок.

— Ладно! Давай чернила и бумагу, пиши контракт, — вконец разозлился Бешеный, прижатый к стене.

Смок немедленно составил документ, из которого следовало, что Бешеный обязуется заплатить по десять долларов за каждое предложенное ему яйцо при условии, что две дюжины, выданные ему авансом, послужат его примирению с Люсиль Эрол.

Бешеный уже готов был подписать бумагу и вдруг застыл с пером в руке.

— Только вот что, — сказал он. — Если уж я покупаю яйца, они должны быть свежие.

— На Клондайке несвежих не бывает, — фыркнул Малыш.

— А все-таки, если попадется хоть одно плохое

яйцо, вы возвращаете мне за него десять долларов.

— Ну, конечно, — согласился Смок. — Это справедливо.

— Берусь съесть каждое тухлое яйцо, которое ты найдешь, — объявил Малыш.

Смок вставил в контракт слово «свежие», Бешеный мрачно подписался, взял ведерко с пробными двумя дюжинами, надел рукавицы и шагнул к двери.

— До свиданья, грабители! — буркнул он и хлопнул дверью.

V

На другое утро Смок был свидетелем сцены, которая разыгралась у Славовича. Бешеный пригласил его за свой столик рядом со столиком Люсиль Эрол. Все произошло в точности так, как она предсказывала.

— Вы все еще не достали яиц? — жалобно спросила она официанта.

— Нет, мэм, — был ответ. — Говорят, кто-то скупил все яйца в Доусоне. Мистер Славович пытался приобрести несколько штук специально для вас. Но тот, кто все скупил, не хочет выпус-

кать партию из рук.

Вот тут-то Бешеный и подозвал хозяина и за плечо притянул его к себе.

— Слушай, Славович, — хрипло зашептал он ему на ухо. — Вчера вечером я тебе принес две дюжины яиц. Где они?

— В кладовой, я только пяток разморозил и держу для вас наготове.

— Это не для меня, — еще тише прошептал Бешеный. — Свари их всмятку и преподнеси мисс Эрол.

— Я сам сейчас все сделаю, — заверил Славович.

— Да передай от меня поклон, не забудь, — прибавил Бешеный, отпуская наконец плечо Славовича, которое он до сих пор держал железной хваткой.

Люсиль Эрол сидела, уставясь в тарелку, и на ее хорошеньком личике было ясно написано, что грудинка с консервированным картофельным пюре приводит ее в совершенное уныние. И тут Славович поднес ей на тарелке два сваренных всмятку яйца.

— Мистер Бешеный просит оказать ему честь, — сказал он так, что его услышали и за соседним столиком.

«Вот это актриса!» — подумал Смок, глядя на Люсиль. Лицо ее радостно вспыхнуло, она невольно обернулась — вот-вот улыбнется! — и только усилием воли сдержалась и что-то сказала Славовичу. Бешеный под стулом наступил Смоку на ногу.

— Будет ли она есть? Вот что главное! Будет она есть? — тревожно шептал он.

Они искоса поглядывали на соседний столик и видели, что Люсиль колеблется: она едва не отодвинула тарелку, но соблазн был слишком велик.

— Беру все яйца! — сказал Бешеный. — Контракт остается в силе. Ты видел? Нет, ты видел? Она чуть не улыбнулась. Я ее знаю. Теперь все в порядке. Еще пара яиц завтра — и она простит меня, и конец ссоре. Я так благодарен тебе, Смок, я бы пожал тебе руку, да боюсь, она увидит. Ты не грабитель, нет, ты мой благодетель!

VI

Смок вернулся домой в самом праздничном настроении и застал Малыша мрачнее тучи за пасьянсом. Смоку было известно: раз Малыш сел за пасьянс, значит, все плохо на этом свете.

— Молчи и не приставай ко мне, — буркнул Малыш вместо приветствия.

Но немного погодя его прорвало, и он излил перед Смоком душу.

— Все пошло прахом, — в отчаянии объявил он. — Мы вылетели в трубу. Завтра во всех кабачках будут продавать коктейль с яйцом по доллару стакан. Всякий бездомный нищий мальчишка в Доусоне сможет есть яйца до отвала. Как по-твоему, с кем я встретился? Один человек привез на продажу три тысячи яиц — понятно тебе? Три тысячи, он только что доставил их сюда с Сороковой Мили.

— Враки, — недоверчиво сказал Смок.

— Да, враки, черта с два! Я сам их видел. Его зовут Готеро — такой огромный парень с голубыми глазами. Француз из здешних. Он сперва спрашивал тебя, а потом отозвал меня в сторону и убил насмерть. Он прослышал, что мы покупаем яйца, понимаешь? Он знал, что на Сороковой Миле есть три тысячи штук, и прямо поехал и купил их. «Покажи их мне», — говорю. И он показал. Там, на берегу, были его упряжки, собаки отдыхали и два индейца-погонщика тоже, они только-только добрались с Сороковой Мили. И на нартах ящики из-под мыла, такие, знаешь, деревянные ящики.

Мы вытащили один и прямо тут же, на льду, между торосами, вскрыли. А там — яйца! Полно яиц, и все опилками пересыпаны. Продулись мы с тобой, Смок! Наша карта бита. Знаешь, что этот нахал мне заявил? Что он их все нам отдаст по десять долларов за штуку. А знаешь, что он делал, когда я уходил? Писал объявление, что продает яйца. Он предлагает нам первым купить всю партию по десять долларов и будет ждать до двух часов дня. А если мы не купим, выбросит их на рынок и испортит нам всю музыку. Я, говорит, этими делами никогда не занимался, но уж когда счастье само плывет в руки, я его не упущу, — это он про нас с тобой.

— Ну, ничего, — беспечно сказал Смок. — Только не теряй голову и дай мне подумать. Надо действовать быстро и слаженно, в этом весь секрет. Я сговорюсь с Бешеным, чтобы он в два часа пришел за своей покупкой. А ты купи яйца у этого Готеро. Поторгуйся с ним как следует. Даже если они тебе обойдутся по десять долларов штука, все равно мы сбудем их Бешеному по той же цене. А купишь дешевле — прекрасно, мы на этом еще и заработаем. Ну, шагай. Смотри, чтобы они были здесь в два часа, не позже. Попроси собак у полковника Бови и нашу упряжку тоже

возьми. И будь здесь ровно в два.

И Смок стал спускаться с холма.

— Послушай, — крикнул вдогонку Малыш, — ты бы прихватил зонтик! А то, глядишь, и с неба яйца посыплются.

Смок нашел Бешеного в кабачке «М. и М.»; последовало бурное объяснение.

— Имей в виду, мы тут купили еще яиц, — сказал Смок, когда Бешеный согласился прийти к ним в два часа и тут же расплатиться.

— Везет вам на яйца, не то что мне, — сказал Бешеный. — А сколько штук еще вы купили и сколько песку мне приносить?

Смок заглянул в записную книжку.

— Малыш подсчитал, что у нас сейчас три тысячи девятьсот шестьдесят два яйца. Если помножить на десять…

— Сорок тысяч долларов! — завопил Бешеный. — Вы ж говорили, что у вас их девятьсот штук с чем-то! Это вымогательство! Я на это не пойду.

Смок вытащил из кармана контракт и показал пункт об оплате всей партии яиц.

— Тут не указано, сколько именно яиц мы тебе поставляем. Ты обязался уплатить наличными по десять долларов за каждое полученное от нас

яйцо. Теперь их у нас прибавилось, но контракт есть контракт, ты его сам подписал. Говоря по чести, мы узнали про эту новую партию уже после того, как ты его подписал. Тогда уж нам пришлось купить их, а то вся наша операция лопнула бы.

Пять долгих минут Бешеный боролся с собой, не в силах вымолвить ни слова, и наконец все-таки сдался.

— Плохо мое дело, — уныло сказал он. — Куда ни повернись, всюду яйца, прямо шагу ступить нельзя. Надо мне поскорей развязаться с этой историей. А то еще, пожалуй яичная лавина свалится на голову. В два часа я буду у вас. Но подумать только: сорок тысяч долларов!

— Всего тридцать девять тысяч шестьсот двадцать, — поправил Смок.

— Да ведь это двести фунтов песка! — вне себя крикнул Бешеный. — Мне придется привезти его на собаках!

— Мы дадим тебе свою упряжку, чтобы отвезти яйца, — вызвался Смок.

— А потом куда я их дену? Ну, ничего. Я приду. Но теперь я до самой смерти яйца в рот не возьму. Мне о них и думать тошно.

В половине второго по крутому склону холма поднялись две упряжки — это Малыш привез

яйца, купленные у Готеро.

— Мы заработаем почти вдвое, — говорил он, пока они со Смоком перетаскивали ящики в хижину. — Я дал за них по восемь долларов, француз крепко выругался по-своему — и согласился. Стало быть, у нас чистой прибыли по два доллара на штуку, а ведь их три тысячи. Я уплатил ему сполна. Вот расписка.

Пока Смок доставал весы и готовил все к приходу Бешеного, Малыш погрузился в расчеты.

— Вот оно, все подсчитано! — с торжеством объявил он. — Мы получаем двенадцать тысяч девятьсот семьдесят долларов барыша. И Бешеный не в убытке. Он получает мисс Эрол. И яйца тоже достаются ему. Как ни верти, дело для всех выгодное. Внакладе никто не останется.

— Готеро и тот выручил двадцать четыре тысячи, — рассмеялся Смок. — Ну, тут, конечно, надо вычесть, во что ему обошлись яйца и перевозка. А если Бешеный захочет придержать эти яйца, он еще на них наживется.

Ровно в два часа Малыш, выглянув за дверь, увидел, что к ним поднимается Бешеный. Он вошел оживленный и деловитый. Снял тяжелую медвежью шубу, повесил ее на гвоздь и подсел к столу.

— Ну, подавайте сюда ваш товар, разбойники, — начал он. — Да смотрите, впредь и не поминайте при мне о яйцах, не то плохо вам будет.

И все втроем стали подсчитывать яйца, которые Малыш со Смоком скупили до появления Готеро. Когда отсчитали двести штук, Бешеный вдруг ударил одно яйцо о край стола и большими пальцами ловко раскрыл его.

— Эй! Постой! — запротестовал Малыш.

— Мое это яйцо или нет? — огрызнулся Бешеный. — Я плачу за него десять долларов и не желаю покупать кота в мешке. Уж раз я выкладываю по десять долларов за яйцо, мне надо знать, что они свежие.

— Если оно тебе не нравится, я могу его съесть, — лукаво предложил Малыш.

Бешеный посмотрел, понюхал и покачал головой:

— Незачем, Малыш. Яйцо хорошее. Дай-ка мне кастрюльку. Я его сам съем на ужин.

И еще дважды Бешеный на пробу разбивал яйца и, убедившись, что они свежие, выливал их в стоящую рядом кастрюлю.

— Тут на две штуки больше, чем ты говорил, Малыш, — сказал он, кончив считать. — Не девятьсот шестьдесят два, а девятьсот шестьдесят

четыре.

— Виноват, обсчитался, — с готовностью признал свою ошибку Малыш. — Мы их тебе так подкинем, для ровного счета.

— Еще бы, вы можете себе это позволить, — хмуро согласился Бешеный. — Стало быть, одна партия есть. Девять тысяч шестьсот двадцать долларов. Получайте! Пиши расписку, Смок.

— Да уж давай досчитаем до конца, — предложил Смок, — и за все сразу заплатишь.

Бешеный покачал головой:

— Я в счете не силен. Лучше сперва покончим с одной партией, чтоб не запутаться.

Он достал из внутренних карманов шубы два мешочка с золотом, длинные, туго набитые, похожие на колбасы. Когда он расплатился за первую партию, в мешочках осталось золотого песка долларов на триста, не больше.

Потом притащили ящик из-под мыла и начали пересчитывать следующие три тысячи яиц. Отсчитав первую сотню, Бешеный опять с силой стукнул яйцо о край стола. Раздался не треск, а такой звук, точно это было не яйцо, а мраморный шарик.

— Насквозь промерзло, — сказал Бешеный и стукнул сильнее.

Он поднял яйцо, и они увидели, что на месте удара скорлупа рассыпалась в пыль.

— Ну да, — сказал Малыш, — как не промерзнуть, ведь их везли с Сороковой Мили. Их надо топором рубить.

— Тащи топор, — сказал Бешеный.

Смок принес топор, и Бешеный, у которого был меткий глаз и ловкая рука дровосека, разрубил яйцо точно пополам. Внутри оно выглядело весьма сомнительно. От недоброго предчувствия у Смока мороз пробежал по коже. Малыш оказался храбрее. Он взял половинку яйца и понюхал.

— Запах самый обыкновенный, — сказал он.

— Зато вид необыкновенный, — возразил Бешеный. — Да и какой может быть запах, оно же все промороженное. Постойте-ка…

Он положил обе половинки на сковороду, поставил ее на переднюю конфорку горячей плиты, и все трое застыли в нетерпеливом ожидании, молча, с расширенными ноздрями. Постепенно по комнате начал распространяться самый недвусмысленный запах. Бешеный хранил молчание, и Малыш тоже не раскрывал рта, хотя все уже было ясно.

— Выкинь его! — крикнул Смок, задыхаясь.

— Что толку? — спросил Бешеный. — Все равно

придется проверить остальные.

— Только не здесь! — Смок закашлялся и с трудом одолел приступ тошноты. — Разрубай их, сразу будет видно. Выкинь его, Малыш! Выкинь вон! Уф! И не затворяй дверь.

Открывали ящик за ящиком, брали наугад яйцо за яйцом, разрубали их пополам — и убеждались, что все яйца до единого безнадежно и безвозвратно протухли.

— Так и быть, Малыш, можешь их не есть, — насмехался Бешеный. — И уж разрешите мне поскорей убраться отсюда. В контракте речь идет только о свежих яйцах. Одолжите мне, пожалуйста, упряжку, я увезу те, что свежие, пока они тоже не протухли от такого соседства.

Смок помог нагрузить нарты. А Малыш подсел к столу и начал раскладывать пасьянс.

— Интересно, долго ли вы придерживали этот товар? — съязвил напоследок Бешеный.

Смок не ответил и, взглянув на поглощенного пасьянсом Малыша, стал швырять ящики за дверь, прямо в снег. Потом спросил мягко:

— Слушай, Малыш, во сколько тебе, говоришь, обошлись эти три тысячи?

— По восемь долларов штука. Молчи и не приставай ко мне. Я не хуже тебя умею считать.

Мы потеряли на этой затее семнадцать тысяч долларов, да будет тебе известно. Я подсчитал, еще когда мы сидели и собирались нюхать то первое яйцо.

Смок раздумывал несколько минут, потом опять прервал молчание:

— Слушай, Малыш. Сорок тысяч долларов — это ведь двести фунтов золотого песка. Бешеный взял нашу упряжку, чтобы отвезти яйца. Сюда он пришел без нарт. Два мешка с песком он принес прямо в карманах, они весили фунтов по двадцать, не больше. Уговор был платить сразу наличными. Он захватил с собой столько, сколько нужно было, чтобы расплатиться за хорошие яйца. Он не собирался платить за те три тысячи. Значит, он знал, что они тухлые. А откуда он знал? Как это понимать, скажи, пожалуйста?

Малыш сгреб карты, хотел было стасовать их наново, потом остановился.

— И понимать нечего. Младенец тебе растолкует. У нас семнадцать тысяч убытку. У Бешеного семнадцать тысяч барыша. Тем яйцам, которые привез Готеро, хозяин вовсе не Готеро, а сам Бешеный. Еще что тебя интересует?

— Вот что. Почему ты не сообразил, что надо яйца сперва проверить, а потом уже платить

за них?

— Да очень просто. Этот мошенник Бешеный все рассчитал с точностью до секунды. Мне некогда было смотреть, свежие яйца или не свежие. Надо было скакать во весь дух, а то я не поспел бы сюда к расчету. А теперь будь так добр, разреши задать тебе один деликатный вопрос. Как, бишь, зовут ту особу, которая надоумила тебя заняться этой выгодной операцией?

...Малыш в шестнадцатый раз безуспешно раскладывал свой пасьянс, а Смок уже принялся готовить ужин, когда к ним постучался полковник Бови, вручил Смоку письмо и прошел дальше, к себе домой.

— Видал ты его? — с яростью крикнул Малыш. — Я думал, он вот-вот расхохочется. Поднимут нас с тобой на смех. Теперь нам в Доусоне не житье.

Письмо было от Бешеного, и Смок прочел его вслух:

«Дорогие Смок и Малыш! Нижайше вам кланяюсь и приглашаю вас сегодня на ужин к Славовичу. С нами ужинает мисс Эрол, а также Готеро. Пять лет назад, в Сёркле, мы с ним были компаньонами. Он славный малый и будет моим шафером. Теперь насчет яиц. Они попали на

Клондайк четыре года назад и уже тогда были тухлые. Они были тухлые, еще когда их отправляли из Калифорнии. Они спокон веку тухлые. Один год они зимовали в Карлуке, другой — в Нутлике, последнюю зиму пролежали на Сороковой Миле, их там продали, потому что не была внесена плата за хранение. А на эту зиму, надо полагать, они застрянут в Доусоне. Не держите их в теплой комнате. Люсиль просит сказать вам, что мы все вместе как-никак расшевелили Доусон. Так что выпивка за вами, я считаю.

С совершенным почтением ваш друг Б.».

— Ну, что скажешь? — спросил Смок. — Мы, конечно, примем приглашение?

— Я тебе одно скажу, — ответил Малыш. — Бешеному и разориться не страшно. Он же артист, черт его дери, замечательный артист. И еще я тебе скажу: плохая моя арифметика. У Бешеного будет не семнадцать тысяч барыша, а куда больше. Мы с тобой поднесли ему в подарок все свежие яйца, сколько их было на Клондайке, — девятьсот шестьдесят четыре штуки, считая те два, что я ему подкинул для ровного счета. И он, негодяй, еще нахально утащил с собой в кастрюльке те три, которые мы разбили на пробу. А напоследок вот что я тебе скажу. Мы с тобой записные старатели

и прирожденные разведчики. Но что до финансовых махинаций и разных способов разбогатеть в два счета, тут мы такие простофили, каких еще свет не видал. Так давай уж лучше заниматься настоящим делом, будем лазить по горам и лесам, и если ты когда-нибудь заикнешься мне про яйца — кончено, я тебе больше не компаньон. Понятно?

Поселок Тру-ля-ля
I

Смок и Малыш столкнулись на углу возле салуна «Олений Рог». У Смока лицо было довольное, и шагал он бодро. Напротив, Малыш плелся по улице с самым унылым и нерешительным видом.

— Ты куда? — весело окликнул Смок.

— Сам не знаю, — был грустный ответ. — Ума не приложу. Прямо деваться некуда. Два часа убил на покер — скука смертная, карта никому не шла, остался при своих. Сыграл разок со Скифом Митчелом в криббедж на выпивку, а теперь вовсе не знаю, что с собой делать. Вот слоняюсь по улицам и жду — хоть бы подрался кто или собаки погрызлись, что ли.

— Я тебе припас кое-что поинтереснее, — ска-

зал Смок. — Потому и ищу тебя. Идем!

— Прямо сейчас?

— Конечно.

— Куда?

— На тот берег, в гости к старику Дуайту Сэндерсону.

— Первый раз про такого слышу, — угрюмо ответил Малыш. — Вообще первый раз слышу, что на том берегу кто-то живет. Чего ради он там поселился? Он что, не в своем уме?

— Он кое-что продает, — засмеялся Смок.

— Чего там продавать? Собачью упряжку? Рудник? Табак? Резиновые сапоги?

Смок только головой качал в ответ на все вопросы.

— Пойдем — увидишь. Я хочу рискнуть: куплю у него товар, а если хочешь, входи в долю, купим пополам.

— Уж не яйца ли? — воскликнул Малыш, скорчив испуганную гримасу.

— Идем, — сказал ему Смок. — Пока будем переходить реку, можешь отгадывать до десяти раз.

Улица вывела их на высокий берег Юкона, и они спустились на лед. В трех четвертях мили перед ними почти отвесно вставал противоположный берег — крутые утесы в сотни футов

вышиной. К ним вела, кружа и извиваясь среди разбитых, вздыбленных ледяных глыб, едва заметная тропинка. Малыш плелся за Смоком по пятам, развлекаясь догадками: что же такое может продавать Дуайт Сэндерсон?

— Оленей? Медные копи или кирпичный завод? Это на первый случай. Медвежьи шкуры, вообще меха? Лотерейные билеты? Картофельное поле?

— Почти угадал, — ободряюще сказал Смок. — Но только подымай выше.

— Два картофельных поля? Сыроварню? Торфяники?

— Недурно, Малыш. Ты не так уж далек от истины.

— Каменоломню?

— Почти так же близко, как картофельные поля и торфяники.

— Погоди. Дай подумать. Остался последний раз.

Минут десять они шли молча.

— Знаешь, Смок, не буду я больше голову ломать. Если то, что ты покупаешь, похоже сразу и на картофельное поле, и на торфяник, и на каменоломню, я не берусь отгадать. И не войду с тобой в долю, пока сам эту штуку не увижу и не

пощупаю. Что это такое?

— Ладно, скоро сам увидишь. Будь так добр, погляди вон туда, вверх. Видишь, вон там хибарка и из трубы дым идет? Это и есть жилье Дуайта Сэндерсона. Вся эта земля его, и он продает ее под застройку.

— Ах, вот как? А больше у него ничего нет?

— Больше ничего, — засмеялся Смок. — Не считая ревматизма. Говорят, он страдает ревматизмом.

— Стой! — Малыш схватил товарища за плечо и силой остановил его. — Уж не собираешься ли ты в таком гиблом месте покупать землю под застройку?

— На десятый раз отгадал. Шагай.

— Погоди минутку! — взмолился Малыш. — Ты только посмотри, тут же одни утесы да откосы, ни клочка ровного, где же тут строиться?

— Вот уж не знаю!

— Так ты не собираешься тут ничего строить?

— Дуайт Сэндерсон продает только под застройку, — уклончиво ответил Смок. — Идем. Нам надо еще одолеть эту гору.

Подъем был крутой — казалось, узкая тропинка, петляя, ведет прямо в небо, точно лестница Иакова. Малыш охал и кряхтел на неожиданных

поворотах и крутых откосах.

— Выдумал тоже строить здесь! Да тут нет ровного местечка, чтобы почтовую марку налепить! И берег не годится, тут пароходы не пристают. Вся погрузка проходит по другой стороне. Вот он, Доусон. Там хватит места еще на сорок тысяч жителей. Слушай, Смок, ты питаешься мясом. Я это знаю. Тебе, конечно, не затем нужна эта земля, чтоб строиться на ней. Так какого черта ты ее покупаешь, скажи на милость?

— Чтобы продать, конечно.

— Но не все же такие сумасшедшие, как вы с Сэндерсоном.

— Может, и не совсем такие, Малыш, но вроде того. Так вот, я возьму эту землю, разобью на участки и продам их здоровым и разумным жителям Доусона.

— Ха! Весь Доусон до сих пор не забыл про те яйца. Ты что, хочешь еще больше насмешить народ?

— Непременно.

— Ну, знаешь, Смок, это больно дорогое удовольствие. Я помогал тебе смешить людей, когда мы скупали яйца, и мне лично этот смех обошелся почти что в девять тысяч долларов.

— Ладно. На этот раз незачем тебе входить в

долю. Барыши будут мои, но все равно ты должен мне помочь.

— Это пожалуйста. И пускай надо мной еще посмеются. Но я не выброшу на эту затею ни унции. Сколько Сэндерсон просит за землю? Долларов двести, триста?

— Десять тысяч. Но желательно получить ее за пять.

— Эх, почему я не священник! — сокрушенно вздохнул Малыш.

— Что это вдруг?

— Я бы произнес самую красноречивую проповедь на текст, который тебе, может быть, знаком, а именно — о дураке и его деньгах.

— Войдите! — брюзгливо откликнулся на их стук Дуайт Сэндерсон.

Когда они вошли, он сидел на корточках перед каменным очагом и толок кофейные зерна, обернутые в кусок мешковины.

— Чего вам? — грубо спросил он, высыпая истолченный кофе в кофейник, стоявший на угольях.

— Хотим потолковать о деле, — ответил Смок. — Говорят, вы продаете эту землю под застройку. За сколько вы ее отдадите?

— За десять тысяч, — был ответ. — Слыхали? А

теперь смейтесь, если угодно, и убирайтесь вон. Вот она, дверь. До свидания…

— Не затем я пришел, чтобы смеяться. Я мог бы найти себе другую забаву, а не лезть сюда, на вашу гору. Я хочу купить у вас землю.

— Ах, вот как? Что ж, умные речи приятно и слушать. — Сэндерсон подошел и сел напротив посетителей, положив руки на стол и опасливо косясь на кофейник. — Я вам сказал мою цену и не стыжусь повторить: десять тысяч. Можете смеяться, можете купить — как угодно.

И чтоб показать, насколько это ему безразлично, он узловатыми пальцами забарабанил по столу и уставился на кофейник. Потом начал напевать себе под нос: «Тра-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля-ля, тра-ля-ля…»

— Послушайте, мистер Сэндерсон, — сказал Смок. — Эта земля не стоит десяти тысяч. Если б она стоила десять тысяч, ее можно было бы оценить и во сто тысяч. А если она не стоит ста тысяч — а вы сами знаете, что не стоит, — так не стоит и десяти центов.

Сэндерсон постукивал по столу костяшками пальцев и бубнил себе под нос «тру-ля-ля, тра-ля-ля», пока кофе не убежал. Тогда он долил в кофейник немного холодной воды, отставил его

на край очага и опять уселся на свое место.

— А сколько вы дадите? — спросил он.

— Пять тысяч, — ответил Смок.

Малыш застонал.

Снова молчание; старик барабанит по столу и напевает свое «тру-ля-ля».

— Вы не дурак, — сказал он затем Смоку. — Вы говорите, если эта земля не стоит ста тысяч долларов, она не стоит и десяти центов. А сами предлагаете мне пять тысяч. Значит, она стоит и все сто тысяч.

— Но вы не получите за нее и двадцати центов, — горячо возразил Смок, — хоть просидите тут до самой смерти.

— От вас получу.

— Нет, не получите.

— Значит, буду сидеть тут, пока не помру, — отрезал Сэндерсон.

Не обращая больше внимания на посетителей, он занялся стряпней, точно был в хижине один. Разогрел котелок с бобами, лепешку и принялся за еду.

— Нет, спасибо, — пробормотал Малыш. — Мы ни капельки не голодны. Мы только что пообедали.

— Покажите ваши бумаги, — сказал наконец

Смок.

Сэндерсон пошарил в изголовье своей койки и вытащил сверток документов.

— Все в полном порядке, — сказал он. — Вот эта длинная, с большими печатями, прислана прямиком из Оттавы. Это вам не бумажонка от местных властей. Само канадское правительство дало мне право собственности на эту землю.

— Это было два года назад? А сколько участков вы уже продали? — осведомился Смок.

— Не ваше дело, — буркнул Сэндерсон. — Я могу и один жить на своей земле, если пожелаю. Законом это не возбраняется.

— Даю вам пять тысяч, — сказал Смок.

Сэндерсон покачал головой.

— Не знаю, кто из вас больше спятил, — горестно промолвил Малыш. — Выйдем на минуту, Смок. Я хочу тебе сказать два словечка.

Смок нехотя повиновался — уж очень настаивал его компаньон.

— Ты только сообрази, — сказал Малыш, когда они вышли за дверь, — ведь вокруг этого дурацкого участка всюду такие же скалы, и они ничьи. Застолби их и стройся сколько душе угодно.

— Они не годятся, — ответил Смок.

— Да почему не годятся?

— Тебя удивляет, почему я покупаю именно это место, когда кругом земли сколько хочешь?

— Еще бы не удивляло, — подтвердил Малыш.

— То-то и оно! — с торжеством сказал Смок. — Раз ты удивляешься — значит, и другие удивятся. И от удивления все сбегутся сюда. Раз ты удивляешься, значит, я правильно рассчитал. Вот что я тебе скажу, Малыш: я поднесу Доусону такой подарок, что они забудут, как смеяться над нами из-за тех яиц. Вернемся в дом.

— Здоро́во, — сказал Сэндерсон, снова увидев их в дверях. — А я думал, вас и след простыл.

— Ну, за сколько вы уступите землю? — спросил Смок.

— За двадцать тысяч.

— Даю вам десять.

— Ладно, продам за десять. Я только этого и хотел. А вы когда выложите денежки?

— Завтра в Северо-Западном банке. Но за эти деньги мне нужны от вас еще две вещи. Во-первых, когда вы получите свои десять тысяч, вы уедете на Сороковую Милю и пробудете там до конца зимы.

— Это можно. Еще что?

— Я вам заплачу двадцать пять тысяч, а вы мне пятнадцать вернете.

— Согласен. — Сэндерсон повернулся к Малышу. — Когда я поселился здесь, все говорили, что я дурак, — сказал он насмешливо. — Что ж, значит, такому дураку цена десять тысяч долларов, так, что ли?

— На Клондайке полно дураков, — только и нашелся ответить Малыш, — глядишь, которому-нибудь и повезет.

II

На другой день была законно скреплена продажа земли, принадлежавшей Дуайту Сэндерсону («землевладение, которое впредь должно именоваться поселком Тру-ля-ля», — как было обозначено в купчей по требованию Смока). И кассир Северо-Западного банка отвесил Сэндерсону на двадцать пять тысяч принадлежавшего Смоку золотого песка, причем несколько случайных посетителей заметили и эту процедуру, и размер суммы, и получателя.

Золотоискатели — народ подозрительный. Чуть кто сделал что-либо не совсем обычное — даже просто-напросто отправился поохотиться на лося или вышел ночью полюбоваться северным сиянием, — как все уже готовы заподозрить, что

он нашел золотые россыпи или наткнулся на богатую жилу. И конечно, едва стало известно, что такой видный житель Доусона, как Смок Беллью, выплатил старику Дуайту Сэндерсону двадцать пять тысяч долларов, весь город пожелал узнать, за что уплачены эти деньги. Дуайт Сэндерсон помирал с голоду на своей заброшенной земле — что же у него, спрашивается, могло быть такого, что стоило бы двадцать пять тысяч? Ответа не было — и, естественно, жители Доусона с лихорадочным любопытством следили за каждым шагом Смока.

К середине дня распространился слух, что несколько десятков доусонцев уложили свои походные мешки и инструменты и припрятали в кабачках по Главной улице, чтобы можно было в любую минуту двинуться в путь. Куда бы ни направлялся Смок, множество глаз следило за ним. Его считали человеком серьезным, и ни один из многочисленных знакомых не осмелился спросить его про сделку с Дуайтом Сэндерсоном. С другой стороны, никто ни словом не упоминал при нем о яйцах. Столь же дружелюбное внимание повсюду встречал и Малыш.

— Прямо как будто я убил кого или оспа у меня, так они за мной следят, а заговорить боятся, —

жаловался Малыш, повстречав Смока у входа в «Олений Рог». — Вон, видишь, по той стороне идет Билл Солтмен? Ему до смерти хочется поглядеть на нас, а он уставился куда-то в конец улицы. Можно подумать, он нас с тобой и знать не знает. А я спорю на хорошую выпивку: вот завернем сейчас за угол, будто спешим куда, а потом повернем назад — и уж непременно налетим на него, потому как он сразу поскачет за нами.

Они испробовали этот трюк — и правда, когда повернули назад, за углом натолкнулись на Солтмена, который шагал им вдогонку широким походным шагом.

— Здорово, Билл! — приветствовал его Смок. — Далеко собрался?

— Здорово! Просто так, вышел прогуляться, — ответил Солтмен. — Просто вышел прогуляться. Чудная погода, правда?

— Это ты так прогуливаешься? — усмехнулся Малыш. — А я-то подумал: вот несется во весь опор!

В тот вечер, кормя собак, Малыш безошибочно чувствовал, что из темноты в него со всех сторон впиваются десятки пар глаз. И, привязывая собак к столбу, вместо того чтобы оставить их на ночь на свободе, он знал, что дает Доусону новый повод

для волнений.

Обдумав заранее план действий, Смок поужинал в ресторане и принялся развлекаться. Он нарочно кружил по всему Доусону — и всюду оказывался в центре внимания. Кабачки, куда он заходил, тотчас наполнялись народом и сразу пустели, как только он выходил за дверь. Если он подсаживался к дремавшей, всеми заброшенной рулетке и покупал партию фишек, вокруг сразу собирался десяток игроков. Он не удержался от маленькой мести — встал и вышел из театра именно в ту минуту, когда Люсиль Эрол запела свою самую популярную песенку. Добрых две трети слушателей покинули зал вслед за Смоком.

В час ночи он прошел по Главной улице, на которой царило необычайное оживление, свернул на перекрестке и стал подниматься на холм, к своей хижине. На полдороге он приостановился и ясно услышал, как позади поскрипывает снег под чьими-то мокасинами.

Целый час хижина была погружена в темноту; потом Смок зажег свечу, и, выждав ровно столько времени, сколько надо человеку, чтобы одеться, они с Малышом вышли и начали запрягать собак. Работая при свете, падавшем из отворенной двери, они услышали неподалеку слабый свист.

Ответный свист донесся откуда-то снизу.

— Ты только послушай, — усмехнулся Смок. — Это они следят за нами и сообщают обо всем в город. Пари держу, в эту самую минуту по крайней мере человек сорок вылезают из-под одеял и натягивают штаны.

— Ну и глупый же народ! — фыркнул Малыш. — Ничего не стоит их обжулить. Знаешь, чудаки, которые в наше время зарабатывают деньги своим горбом, это... это просто чудаки! На свете полным-полно дурачья, они только и ждут, чтоб им облегчили карманы. И вот что я тебе скажу: если ты еще не передумал, возьми меня в долю.

Груз на нартах был невелик — меховые одеяла, запас провизии. Небольшой моток стальной проволоки едва заметно выглядывал из-под мешка со съестным, и на самом дне нарт был почти совсем спрятан лом.

Рукой в рукавице Малыш с нежностью погладил проволоку и еще разок ласково дотронулся до лома.

— Ха! — шепнул он. — Я и сам бы призадумался, если б темной ночью заметил на чьих-нибудь нартах этакие штуки.

Осторожно, в молчании они спустились со своей упряжкой с холма, потом вышли на Главную

улицу и, удвоив осторожность, повернули на север, к лесопилке, подальше от центра города. Им не встретилось ни души, но едва они свернули к лесопилке, позади, в темноте, которую не могло рассеять слабое мерцание звезд, раздался свист. Быстрым шагом они прошли еще с четверть мили, миновали лесопилку, больницу. Потом повернули назад той же дорогой и, пройдя сотню ярдов, чуть не наскочили на пятерых пешеходов, спешивших рысцой им навстречу. Все пятеро слегка сгибались под тяжестью походных мешков. Один из них остановил передовую собаку Смока, остальные подошли вплотную.

— Встретились вам нарты? — был первый вопрос.

— Нет, — ответил Смок. — Это ты, Билл?

— Черт меня побери! — в величайшем изумлении произнес Билл Солтмен. — Да это Смок!

— Чем это вы занимаетесь среди ночи? — спросил Смок. — Гуляете?

Прежде чем Билл Солтмен успел ответить, к ним подбежали еще двое, а там подоспело еще несколько человек, и скрип шагов по снегу возвещал о приближении толпы.

— С кем это ты? — спросил Смок. — Или опять в поход за золотом?

Солтмен не ответил, он раскуривал трубку, которая вряд ли могла доставить ему удовольствие, судя по тому, как он все еще задыхался от бега. Ясно было, для чего ему понадобилось зажечь спичку: он хотел разглядеть нарты, и Смок видел — все взоры устремились на моток проволоки и на лом. Спичка погасла.

— Да просто так, разные слухи ходят, просто слухи, — многозначительно и таинственно пробормотал Солтмен.

— Может, вы посвятите нас с Малышом?

Кто-то сзади насмешливо фыркнул.

— А вы сами куда направляетесь? — спросил Солтмен.

— А вы кто? Добровольная полиция?

— Да просто так, интересуемся, — сказал Солтмен, — просто так.

— Еще как интересуемся, — откликнулся другой голос из темноты.

— Любопытно знать, — ввернул Малыш, — кто тут чувствует себя самым большим дураком?

Все расхохотались, всем стало неловко.

— Пошли, Малыш, нам пора, — сказал Смок и погнал собак.

Толпа двинулась следом.

— Эй, а вы не ошиблись? — съязвил Малыш. —

Вы ведь шли в ту сторону, а теперь ни с того ни с сего повернули обратно. Может, вы потеряли направление?

— Пошел к черту, — любезно ответил Солтмен. — Куда хотим, туда и направляемся.

И нарты двинулись по Главной улице. Смок шел впереди, Малыш правил шестом, а за ними — свита человек в шестьдесят, все с походным снаряжением за плечами. Было три часа ночи, и только отпетые гуляки видели эту процессию и могли назавтра поведать о ней Доусону.

Полчаса спустя Смок с Малышом взобрались на свой холм и распрягли собак у порога хижины под угрюмыми взглядами шестидесяти провожатых.

— Спокойной ночи! — крикнул им Смок, затворяя дверь.

Через пять минут он задул свечу, а через какие-нибудь полчаса они с Малышом снова бесшумно выбрались из хижины и, не зажигая огня, начали запрягать собак.

— Эй, Смок! — окликнул Солтмен, подходя ближе, так, что они смутно различили в темноте его силуэт.

— Я вижу, от тебя не отделаешься, Билл, — весело отозвался Смок. — А где твои дружки?

— Пошли выпить по стаканчику. Оставили

меня смотреть за вами в оба, вот я и смотрю. А все-таки, Смок, признавайся, что у тебя на уме? Вы не отделаетесь от нас, так уж давай начистоту. Все мы — твои друзья, ты это знаешь.

— Бывают случаи, когда с друзьями можно говорить начистоту, а бывает так, что и нельзя, — уклончиво ответил Смок. — На этот раз никак нельзя, Билл. Иди-ка лучше спать. Спокойной ночи.

— Никакой спокойной ночи не будет. Ты нас еще не знаешь. Мы вопьемся не хуже клеща.

— Что ж, — вздохнул Смок, — если вы настаиваете, дело ваше. Идем, Малыш. Нечего зря тратить время.

Нарты тронулись; Солтмен пронзительно свистнул и зашагал следом. У подножия холма ответили свистом, дальше послышался еще свист и еще… Малыш правил шестом, Смок и Солтмен шли рядом за нартами.

— Слушай, Билл, — сказал Смок. — Я хочу тебе кое-что предложить. Хочешь присоединиться к нам?

Солтмен не колебался ни минуты.

— И бросить товарищей? Ну нет. Мы все к вам присоединимся.

— Тогда ты первый! — воскликнул Смок, вне-

запно обхватил Солтмена обеими руками и, столкнув его с тропы, опрокинул в глубокий снег.

Малыш крикнул на собак и бешено погнал упряжку вниз по тропе, которая, извиваясь среди редких хижин, разбросанных по холмам и косогорам, бежала к югу, к окраине Доусона. Смок и Солтмен, вцепившись друг в друга, катались по снегу. Смок был полон сил и задора и надеялся взять верх, но Солтмен оказался на пятьдесят фунтов тяжелее — это были пятьдесят фунтов превосходных, натренированных мускулов — и снова и снова одолевал его. Не раз он укладывал Смока на обе лопатки, и Смок, очень довольный, лежал и отдыхал. Но всякий раз, как Солтмен хотел высвободиться и встать, Смок вцеплялся в него, и начиналась новая схватка.

— Ничего, силенка у тебя есть, — задыхаясь, признал Солтмен минут через десять, опять повалив Смока в снег и усевшись на него верхом. — И все-таки я тебя каждый раз укладываю.

— А я каждый раз тебя задерживаю, — тоже задыхаясь, ответил Смок. — Мне только того и надо. Малыш за это время знаешь куда укатил?

Солтмен отчаянно рванулся, но ему все же не удалось освободиться. Смок ухватил его за ногу,

дернул — и тот растянулся на снегу во всю длину. От подножия холма донесся тревожный, вопросительный свист. Солтмен сел и пронзительно свистнул в ответ, но Смок тут же вцепился в него, повалил на спину, уселся верхом на грудь, коленями уперся в его могучие бицепсы, руками — в плечи и вдавил в снег. Так и нашли их золотоискатели. Смок расхохотался и встал.

— Спокойной ночи, друзья, — сказал он и стал спускаться под гору, а шестьдесят взбешенных золотоискателей угрюмо и решительно двинулись за ним по пятам.

Смок повернул к северу, миновал лесопилку и больницу и пошел тропой, ведущей по реке вдоль крутых скал, над которыми вздымалась Лосиная Гора. Он обошел индейскую деревню и направился к Лосиному ручью, опять повернул и оказался лицом к лицу с преследователями.

— Вы меня совсем загоняли, — сказал он, делая вид, что зол как черт.

— Тебя, кажется, никто не заставляет, — вежливо пробормотал Солтмен.

— О нет, ни капельки, — огрызнулся Смок, еще успешнее прикидываясь обозленным, и, пройдя через толпу своих провожатых, зашагал назад к Доусону. Дважды он пытался свернуть с тропы

и напрямик, через торосы, перейти на другой берег, но спутники не отставали, и он каждый раз сдавался и сворачивал к доусонскому берегу. Он побрел по Главной улице, пересек по льду реку Клондайк, дошел до Клондайк-сити и снова вернулся в Доусон. В восемь часов, когда стало светать, он привел всю усталую ораву к ресторану Славовича, где в часы завтрака столики приходилось брать с бою.

— Спокойной ночи, друзья, — сказал он, расплачиваясь по счету.

Но не тут-то было, пришлось еще раз пожелать им спокойной ночи у подножия холма. При дневном свете они не стали преследовать его и только смотрели, как он поднимался к своей хижине.

III

Два дня Смок околачивался в городе, и все время за ним неотступно следили. Малыш исчез вместе с нартами и собаками. Ни один человек из тех, кто разъезжал вверх или вниз по Юкону, кто приехал с Бонанзы, Эльдорадо или Клондайка, его не встречал. Оставался только Смок — уж, конечно, он рано или поздно постарается установить связь со своим исчезнувшим компаньоном;

и все взоры были обращены на Смока. Весь вечер второго дня он просидел дома, погасил лампу в девять часов, а на два часа завел будильник. Добровольный страж за дверью услыхал звон будильника, и когда полчаса спустя Смок вышел из хижины, его ждала толпа уже не в шестьдесят человек, а по меньшей мере в триста. Их озаряло яркое северное сияние, и в сопровождении столь пышной свиты Смок спустился в город и вошел в «Олений Рог». В минуту трактир был набит до отказа, злые и нетерпеливые посетители пили, платили и четыре долгих часа смотрели, как Смок играет в криббедж со своим старым другом Брэком. В начале седьмого, скорчив унылую, злобную гримасу, ни на кого не глядя, никого не узнавая, Смок вышел из «Оленьего Рога» и пошел по Главной улице, а за ним нестройными рядами шагала толпа в триста человек, хором выкликая:

— Левой, правой! Сено, солома! Раз! Два! Три!

— Спокойной ночи, друзья, — сказал он сквозь зубы, останавливаясь на берегу Юкона у обрыва, где тропа круто сбегала вниз. — Я позавтракаю и лягу спать.

Все триста закричали, что проводят его, и по льду двинулись за ним на другой берег, прямиком к Тру-ля-ля. Около семи часов утра он привел

всю ватагу к извилистой тропинке, которая поднималась по крутому откосу к хибарке Дуайта Сэндерсона. Сквозь затянутое промасленной бумагой окошко виднелся огонек свечи, над трубой вился дым. Малыш распахнул дверь.

— Входи, Смок, — сказал он. — Завтрак готов. А это что за народ?

На пороге Смок обернулся.

— Ну, друзья, спокойной ночи. Надеюсь, вы приятно провели время!

— Одну минуту, Смок! — крикнул Билл Солтмен, и в его голосе прозвучало жестокое разочарование. — Мне надо с тобой потолковать.

— Валяй, — весело ответил Смок.

— За что ты заплатил старику Сэндерсону двадцать пять тысяч? Можно узнать?

— Ты меня огорчаешь, Солтмен, — был ответ. — Я прихожу в свое, так сказать, загородное имение, мечтаю найти покой, тишину, хороший завтрак, а ты с целой оравой устраиваешь мне перекрестный допрос. Для чего же человеку загородное имение, если он и тут не находит тишины и покоя?

— Ты не ответил на мой вопрос, — с неумолимой логикой возразил Билл Солтмен.

— И не собираюсь отвечать, Билл. Это наши

счеты с Дуайтом Сэндерсоном, больше они никого не касаются. Есть еще вопросы?

— А почему это у тебя в ту ночь были с собой лом и проволока?

— Да какое тебе, собственно, до этого дело? Хотя, если Малышу угодно, он может тебе ответить.

— Пожалуйста! — воскликнул Малыш, с радостью вступая в разговор. Он уже открыл рот, но поперхнулся и посмотрел на Смока. — Скажу тебе, Смок, по секрету, строго между нами: по-моему, это их вовсе не касается, черт подери. Пойдем-ка. Там уже весь кофе выкипел.

Дверь затворилась, и триста провожатых, огорченные и недовольные, разбились на группы.

— Послушай, Солтмен, — сказал кто-то, — а ведь ты хвалился, что приведешь нас на место.

— С чего вы взяли? — сварливо ответил Солтмен. — Я сказал, что Смок приведет нас на место.

— Так это оно и есть?

— Я знаю столько же, сколько и ты. Но все мы знаем, что Смок где-то что-то пронюхал. За что бы он заплатил Сэндерсону двадцать пять тысяч? Не за эту же никудышную землю, ясно.

Толпа хором согласилась с этим рассуждением.

— Ну а теперь что будем делать? — печально спросил кто-то.

— Я, например, пойду завтракать, — бодро сказал Чарли Бешеный. — Выходит, ты одурачил нас, Билл.

— И не думал, — возразил Солтмен. — Это Смок нас одурачил. Но все равно, двадцать пять тысяч-то он платил?

IV

В половине девятого, когда стало совсем светло, Малыш осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу.

— Вот те на! — воскликнул он. — Они все смылись обратно в Доусон! А я-то думал, они тут станут лагерем!

— Не бойся, ты скоро их увидишь, — успокоил его Смок. — Или я сильно ошибаюсь, или мы и оглянуться не успеем, как сюда сползется половина Доусона. Ну, давай помогай, живо! Надо дело делать.

— Ох, ради всего святого, объясни ты мне, что к чему? — взмолился Малыш час спустя, оглядывая плоды их общих трудов: установленную в углу хижины лебедку с приводом, обвивающимся вокруг двойного деревянного вала.

Смок без малейшего усилия повернул рукоятку,

и канат со скрипом побежал вхолостую вокруг вала.

— Ну-ка, Малыш, выйди за дверь и скажи, на что это похоже.

Стоя за дверью, Малыш услышал тот самый скрип и визг, какой издает лебедка, вытягивая груз, и поймал себя на том, что бессознательно прикидывает, какой глубины должна быть шахта, откуда этот груз вытаскивают. Потом все стихло, и он мысленно увидел ведро, подтянутое вплотную к блоку. Затем он услышал, как рукоятка повернулась в обратную сторону, ослабляя канат, и как стукнуло ведро, отставленное на край шахты. Широко улыбаясь, он распахнул дверь.

— Понял! — крикнул он. — Я чуть было и сам не попался на удочку! Дальше что?

Дальше понадобилось натащить в хижину столько камня, что хватило бы нагрузить доверху десяток нарт. И еще много других забот было у них в этот необычайно хлопотливый день.

— А сейчас бери собак и отправляйся в Доусон, — наставлял Малыша после ужина Смок. — Собак оставишь у Брэка, он о них позаботится. За тобой будут следить, так ты попроси Брэка пойти на склад Аляскинской торговой компании и

купить весь динамит, — там у них в запасе всего несколько сот фунтов. И пускай Брэк закажет кузнецу штук шесть прочных сверл, таких, чтоб можно было бурить самую твердую породу. Брэк — опытный старатель, он сумеет втолковать кузнецу, что именно требуется. Кстати, дай Брэку все сведения по нашему участку, пускай он завтра сообщит их инспектору приисков. А в десять часов выходи на Главную улицу и прислушайся. Имей в виду, я не хочу, чтоб получилось слишком много шуму. Пускай будет слышно в Доусоне — но и только. Я запалю три штуки разной силы, а ты заметь, когда оно прозвучит лучше всего.

В десять часов вечера, когда Малыш, ощущая на себе множество любопытных взглядов и напряженно прислушиваясь, прогуливался по Главной улице, он услышал слабый, отдаленный взрыв. Через полминуты донесся второй взрыв, погромче, — на него обратили внимание и другие прохожие. А затем раздался третий, тут уж задребезжали стекла, и люди выскочили на улицу.

— Здорово их тряхнуло! — задыхаясь, объявил Малыш, едва он час спустя переступил порог хибарки в Тру-ля-ля. Он схватил Смока за руку. — Поглядел бы ты на них! Случалось тебе разворошить муравейник? В точности то

же самое! Когда я уезжал, Главная улица так и кишела народом, так и гудела. Завтра сюда набьется столько доусонцев, что шагу нельзя будет ступить. Они уже сейчас сюда подкрадываются, так и знай, или я ни черта не смыслю в золотоискателях.

Смок усмехнулся, шагнул к фальшивой лебедке и раза два со скрипом повернул рукоятку. Малыш выдернул в нескольких местах мох, которым были заделаны пазы между бревнами, чтобы в щелку можно было видеть, что творится вокруг хижины. Потом задул свечу.

— А ну, — шепнул он спустя полчаса.

Смок медленно повернул ворот лебедки, выждал несколько минут, подхватил оцинкованное ведро, наполненное землей, и со стуком, скрипом и скрежетом с размаху поставил его на груду камней, которые они натащили в дом. Потом, заслоняя огонек спички ладонями, закурил.

— Трое уже тут, — прошептал Малыш. — Ты бы поглядел! Знаешь, когда загремело ведро, они прямо затряслись. Вот один сейчас пробует заглянуть в окно…

Смок затянулся сигаретой и при ее красноватом свете посмотрел на часы.

— Надо проделывать это регулярно, — шепнул

он, — будем вытаскивать ведро каждые четверть часа. А в промежутках…

Набросив на камень сложенный втрое кусок мешковины, он ударил по нему долотом.

— Прекрасно, прекрасно! — в восторге простонал Малыш, бесшумно отходя от щелки. — Они сошлись в кружок — видно, совещаются.

С этой минуты и до четырех часов утра, с пятнадцатиминутными перерывами, слышно было, как в хибарке вытаскивают тяжелое ведро скрипучей лебедкой, которая на самом деле крутилась вхолостую. Затем непрошеные гости удалились, и Смок с Малышом легли спать.

Когда рассвело, Малыш осмотрел следы мокасин на снегу.

— Большой Билл Солтмен тоже тут был, — сказал он. — Погляди, какие огромные следы!

Смок взглянул на реку.

— Готовься встречать гостей, — сказал он. — Вон двое уже топают по льду.

— Ха! Вот погоди, в девять часов Брэк зарегистрирует наши заявки, тогда к нам две тысячи притопают.

— И все до единого будут кричать, что найдена «главная жила», — засмеялся Смок. — «Наконец-то открыт источник всех богатств Клондайка!»

Малыш вскарабкался на утес и глазом знатока оглядел ряд участков, которые они застолбили.

— Конечно, это похоже на излом жилы, — сказал он. — Кто смыслит в этом деле, тот ее и под снегом проследит. Тут всякий поверит. А вот и обнажение, вот и порода выходит наружу. Можно подумать, тут и впрямь жила.

Когда двое гостей, перейдя реку, взобрались по извилистой тропе на крутой откос, дверь хибарки оказалась заперта. Билл Солтмен, шедший первым, тихо подошел к двери, прислушался и кивком подозвал Чарли Бешеного. Изнутри донесся скрип и стон лебедки, поднимающей тяжелый груз. Они дождались минуты затишья, потом услышали обратный поворот вала и стук ведра о камень. За следующий час это повторилось еще четыре раза. Наконец Бешеный постучал в дверь. Изнутри послышались неясные звуки, там что-то делали, крадучись и спеша, затихли, снова, крадучись, заспешили, — и наконец минут через пять Смок, тяжело переводя дух, приотворил дверь и выглянул в щелку. Лицо и рубашка у него были в пыли, в мелких осколках. И поздоровался он что-то чересчур приветливо.

— Одну минуту, — прибавил он, — сейчас я к вам выйду.

Он натянул рукавицы и выскользнул в полуоткрытую дверь, чтобы принять гостей прямо на снегу. Они тотчас заметили, что плечи у него в пыли, даже не разобрать, какого цвета рубашка, и колени перепачканы — сразу видно, не успел толком почиститься и отряхнуться.

— Вот ранний визит, — сказал он. — Как вы оказались на этом берегу? Собрались на охоту?

— Мы всё знаем, — сказал Бешеный. — Так что давай в открытую, Смок. Вы тут кое-что нашли.

— Если вам нужны яйца… — начал Смок.

— Да брось ты! Мы хотим поговорить о деле.

— А, так вы хотите купить участки под застройку? — затараторил Смок. — Тут есть превосходные участки. Но, понимаете, мы их пока не продаем. Надо еще изучить местность, разбить улицы. Приходи через недельку, Бешеный, и если ты хочешь поселиться тут в тихом и мирном уголке, я тебе покажу чудное местечко. На той неделе все наверняка будет уже готово. До свидания. Извините, что не приглашаю вас войти, но Малыш… сами знаете, он не без странностей. Он говорит, что поселился здесь ради тишины и покоя. Сейчас он спит, и я до смерти боюсь его разбудить.

Говоря без умолку, он крепко пожал им руки на прощанье. Все еще не умолкая и пожимая

им руки, перешагнул порог и тотчас закрыл за собой дверь.

Они переглянулись и многозначительно кивнули друг другу.

— Колени-то, видал? — хрипло зашептал Солтмен.

— А как же! И плечи. Перемазался, когда ползал по шахте. — Говоря это, Бешеный обводил глазами засыпанную снегом глубокую лощину, и вдруг его взгляд задержался на чем-то, что заставило его присвистнуть. — Смотри-ка, Билл! Вот, вот, видишь, яма? Да это же они рыли шурф! И в обе стороны следы на снегу. Если это не жила, которая простирается по обе стороны, так я ничего не понимаю. Самая настоящая жила.

— И какая громадная! — воскликнул Солтмен. — Да, ничего не скажешь, находка!

— И внизу, вдоль откоса — видишь, как порода выходит наружу и опять уходит вглубь? Откос как раз перерезает жилу.

— А ты вон куда погляди. — Солтмен показал на дорогу, пересекавшую скованный льдом Юкон. — Похоже, весь Доусон идет сюда.

И Бешеный увидел, что вся дорога чернеет, залитая сплошным людским потоком вплоть до дальнего доусонского берега, на котором тоже

толпится народ.

— Ну, не мешает, пока они не нагрянули, заглянуть в тот шурф, — сказал он и быстро зашагал к лощине.

Но тут дверь хибарки распахнулась, и на пороге появились Смок и Малыш.

— Эй! — окликнул Смок. — Вы куда?

— Хотим выбрать участок, — отозвался Бешеный. — Поглядите на реку. Весь Доусон будет расхватывать ваши участки, и мы хотим выбрать первыми. Верно, Билл?

— Еще бы, — подтвердил Солтмен. — По всему видно, шикарный будет поселок, от желающих переехать сюда прямо отбою не будет.

— Вы пошли не в ту сторону, ту часть мы не продаем, — сказал Смок. — Участки под застройку вон там, направо, и повыше на утесах. А эта часть, от реки и до самого верха, не продажная. Так что поворачивайте оглобли.

— Но мы присмотрели себе именно эту землю.

— Говорят вам, не продается, — резко ответил Смок.

— Что ж, ты и пройтись в ту сторону не разрешаешь? — упорствовал Солтмен.

— Не разрешаю. Довольно вы тут погуляли, надоело. Поворачивайте назад.

— А мы все-таки хотим пройтись, — упрямо сказал Солтмен. — Идем, Бешеный.

— Смотрите, это противозаконно, вы вторгаетесь в чужие владения, — предостерег Смок.

— Вовсе нет, мы просто гуляем, — весело возразил Солтмен и, повернувшись, двинулся было дальше.

— Эй! Стой на месте, Билл, не то я тебя сейчас продырявлю! — загремел Малыш, выхватывая два «кольта» и прицеливаясь. — Еще шаг — и я проделаю одиннадцать дырок в твоей поганой шкуре. Понятно?

Ошарашенный Солтмен остановился.

— Понять-то он понял, — пробормотал Малыш. — Но если он пойдет дальше, тогда что? Не могу же я стрелять. Как тогда быть?

— Послушай, Малыш, рассуди здраво! — взмолился Солтмен.

— Поди сюда, тогда и порассуждаем, — ответил Малыш.

Первая волна доусонцев уже захлестнула крутой откос и надвинулась на них, а они все еще пререкались.

— Человек хочет купить землю, присматривает себе участок, а вы говорите, что он куда-то вторгается, — доказывал Бешеный.

— А если земля уже принадлежит другому владельцу? — возражал Малыш. — Как раз этот самый кусок — частная собственность, вот и все. Говорят тебе, этот участок не продается.

V

— Надо скорее кончать, — шепнул Малышу Смок. — А то их, пожалуй, не удержишь…

— Храбрый ты парень, если надеешься их удержать, — шепнул в ответ Малыш. — Тут их две тысячи, и еще прибавится. Того и гляди ринутся на наши участки.

Запретная черта проходила по ближнему краю лощины, там, где Малыш остановил Солтмена с Бешеным. В толпе оказался лейтенант северо-западной полиции и человек шесть полицейских. Смок подошел к лейтенанту и заговорил с ним вполголоса.

— Из Доусона народ все прибывает, — сказал он, — скоро наберется тысяч пять, не меньше. Того и гляди кинутся захватывать участки. Вы только представьте, тут всего пять заявок, это выходит тысяча человек на участок, причем четыре тысячи из пяти бросятся на самый ближний. Этого нельзя допустить, здесь будет столько

жертв, сколько не было за всю историю Аляски. А кроме того, на эти пять участков сегодня утром уже сделаны заявки, и никто не имеет права их перехватить. Короче говоря, нельзя, чтоб началась драка за участки.

— Верно, — сказал лейтенант. — Сейчас я соберу и расставлю своих людей. Мы не можем допустить беспорядка — и не допустим. Но вы все-таки поговорите с ними.

— Тут какая-то ошибка, ребята! — громко начал Смок. — У нас еще не все готово, и мы ничего не продаем. Улицы еще не размечены. А вот на будущей неделе прошу пожаловать: открываем широкую распродажу…

Взрыв общего гнева и нетерпения прервал его на полуслове.

— Нам не нужны никакие улицы! — выкрикнул молодой старатель. — Нам не нужно то, что на земле. Мы пришли за тем, что под землей.

— Мы не знаем, что тут есть под землей, — ответил Смок. — Зато мы знаем, что на этой земле можно выстроить отличный поселок.

— Верно! — подтвердил Малыш. — Уединенное место, и вид красивый. Кто любит уединение, все так тысячами сюда и кинутся. Это будет самое людное уединенное местечко на Юконе!

Снова раздались крики нетерпения, и Солтмен, который разговаривал о чем-то с вновь подошедшими доусонцами, выступил вперед.

— Мы пришли сюда, чтоб застолбить участки, — начал он. — Мы знаем, что вы тут сделали — застолбили пять участков на золотой жиле, вон они идут в ряд по откосу и вдоль ущелья. Только вы при этом смошенничали. Две записи у вас фальшивые. Кто такой Сэт Байрс? Никто у нас и не слыхал про такого. А вы сегодня утром сделали заявку на его имя. И на имя Гарри Максуэлла записали заявку. Но Гарри Максуэлла здесь нет. Он в Сиэтле. Он еще осенью отсюда уехал. Стало быть, две заявки свободны, можно их распределять заново.

— А если у меня есть от него доверенность? — спросил Смок.

— Нет у тебя никакой доверенности, — ответил Солтмен. — Ну-ка, покажи, если есть. И все равно эти участки нужно делить заново. Айда, ребята.

И Солтмен переступил запретную черту, подавая пример остальным, но тут готовую хлынуть за ним толпу остановил громкий окрик лейтенанта:

— Ни шагу дальше! Вы не имеете права!

— Ах, вот как, не имеем права? — переспросил

Билл Солтмен. — Разве по закону не разрешается заново столбить, если заявки сделаны неправильно?

— Действуй, Билл! Не сдавайся! — подбадривала толпа, не переходя, однако, запретную черту.

— По закону разрешается, верно? — вызывающе спросил Солтмен, наступая на лейтенанта.

— Пускай разрешается, — последовал невозмутимый ответ. — Я не могу допустить, чтоб толпа в пять тысяч человек кинулась на две заявки, — и не допущу. Это будет беспорядок, а наше дело — не допускать беспорядка. Здесь, сейчас, на этом самом месте, северо-западная полиция представляет собой закон. Если кто перешагнет эту черту, буду стрелять. А вы, Билл Солтмен, осадите назад.

Солтмен нехотя повиновался. И все же в толпе, теснившейся повсюду, где можно было примоститься на этих скалистых уступах, склонах и утесах, нарастало беспокойство, которое не предвещало ничего хорошего.

— Боже милостивый! — шепнул лейтенант Смоку. — Посмотрите вон туда, на край обрыва, его точно мухи облепили. Стоит толпе податься в сторону, как сотни людей свалятся вниз.

Смока пробрала дрожь; он выступил вперед.

— Давайте действовать по справедливости, друзья. Если вы непременно хотите, я вам распродам участки под застройку по сто долларов штука, а когда поселок будет распланирован, вы распределите их по жребию.

Возмущенная толпа всколыхнулась, но Смок предостерегающе поднял руку:

— Ни с места, вы все! Иначе сотни людей свалятся с обрыва и разобьются. Положение угрожающее.

— Все равно тебе эту землю не заграбастать! — выкрикнул кто-то. — Нам ни к чему тут строиться. Мы хотим застолбить участки.

— Но спорных заявок только две, — возразил Смок. — Ну, они достанутся двоим, а остальные что будут делать?

Он утер лоб рукавом, и тут новый голос выкрикнул:

— Мы все войдем в долю, всё поделим поровну!

Те, кто громкими криками одобрил это предложение, и не подозревали, что оно сделано человеком, с которым Смок заранее уговорился и которому теперь подал знак, утирая лоб.

— Не будьте свиньями, не хватайте всё себе, — продолжал этот человек. — Примите всех в долю,

поделите между всеми права на землю — и на ископаемые, какие есть в земле, тоже.

— Да ни при чем тут права на ископаемые, говорят вам, — возразил Смок.

— Делите их со всем прочим. А мы попытаем счастья.

— Вы хотите, чтоб я уступил насилию, — сказал Смок. — Лучше бы вы сюда не являлись.

Было очевидно, что он в нерешимости, и мощный рев толпы заставил его окончательно уступить. Но Солтмен и другие, стоявшие в первом ряду, начали что-то возражать.

— А вот Билл Солтмен и Бешеный не желают, чтоб вы все участвовали в этом деле, — сообщил толпе Смок. — Кто же теперь свинья?

Это сразу изменило настроение толпы не в пользу Солтмена и Бешеного.

— А как же вы хотите все поделить? — продолжал Смок. — Контрольный пакет должен остаться за мной и Малышом. Мы первые открыли это место.

— Верно! — закричало сразу много голосов. — Правильно! Это справедливо!

— Три пятых будут на нашу долю, — предложил Смок, — а вы все поделите между собой остальные две пятых. И вам придется оплатить

свои паи.

— Десять центов за доллар! — раздался крик. — И акции обложению не подлежат!

— И председатель правления самолично подносит каждому его дивиденды на серебряном блюде, — насмешливо заключил Смок. — Нет уж! Будьте благоразумны, друзья. Десять центов за доллар — это поможет начать дело. Вы покупаете две пятых всех акций и за стодолларовую акцию платите десять долларов. Это самое большее, на что я могу согласиться. А если вам это не подходит — пожалуйста, начинайте драку, сбросьте мои заявочные столбы. Больше чем на две пятых я не дам себя нагреть.

— Но только не выпускайте дутых акций! — крикнул кто-то, и это прозвучало как программа, на которой сошлись все.

— Вас тут около пяти тысяч человек, значит, и паев должно быть пять тысяч, — стал вслух рассчитывать Смок. — А пять тысяч — это две пятых от двенадцати с половиной тысяч. Таким образом, капитал Акционерной компании поселка Тру-ля-ля составит миллион двести пятьдесят тысяч долларов, это будет двенадцать тысяч пятьсот паев по сто долларов каждый, и вы все купите пять тысяч паев и уплатите по десять

долларов за штуку. И плевать мне, если вы не согласны. Будьте все свидетелями — я иду на это только потому, что вы меня заставили.

Доусонцы остались в уверенности, что поймали Смока с поличным, ибо он сфабриковал две фальшивые заявки. Тотчас было выбрано правление и заложены основы Акционерной компании поселка Тру-ля-ля. Не пожелав, как это было предложено, распределять акции на другой день в Доусоне — ведь все, кто не участвовал в нынешнем нашествии, тоже захотят урвать свою долю, — члены правления уселись вокруг костра, разведенного на льду у подножия горы, и вручали каждому из присутствующих расписку в обмен на десять долларов в золотом песке, который, как полагается, отвешивали на специальных весах, — для этого из города притащили десятка два весов.

Только к вечеру вся эта работа была закончена и поселок Тру-ля-ля опустел. Смок и Малыш остались одни. Они ужинали у себя в хижине и посмеивались, глядя на списки акционеров, насчитывавшие четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре фамилии, и на мешки, в которых, как они знали, было золота на сорок восемь тысяч семьсот сорок долларов.

— Но ты еще не довел дело до конца, — заметил Малыш.

— Он придет, — убежденно ответил Смок. — Это прирожденный игрок, и когда Брэк шепнет ему словечко, так он и помирать будет, а притащится.

Не прошло и часа, как в дверь постучали и вошел Бешеный, а за ним Билл Солтмен. Жадным взглядом они окинули хибарку, и глаза их остановились на лебедке, искусно прикрытой одеялами.

— А если я хочу получить тысячу двести акций? — доказывал Бешеный полчаса спустя. — Сегодня вы продали пять тысяч, вместе будет всего-навсего шесть тысяч двести. У вас с Малышом остается шесть тысяч триста. Все равно контрольный пакет за вами.

— Да на что тебе дался наш поселок? — удивился Малыш.

— Ты это знаешь не хуже меня, — отвечал Бешеный. — Между нами говоря, — он покосился на окутанную одеялами лебедку, — это просто прелестный поселок.

— Но вот Билл тоже хочет, чтоб ему подбавили, — проворчал Смок, — а мы никак не можем отдать больше пятисот паев.

— Сколько ты хочешь вложить в это дело? — спросил Бешеный.

— Ну, скажем, пять тысяч долларов, — сказал Солтмен. — Больше мне не наскрести.

— Послушай, Бешеный, — продолжал Смок все тем же ворчливым, обиженным тоном, — если б мы не были добрыми знакомыми, я не продал бы тебе ни единой из этих дурацких акций. И уж, во всяком случае, больше чем пятьсот акций мы с Малышом не отдадим, и вам придется заплатить по пятьдесят долларов за штуку. Это мое последнее слово, не хотите — не надо. Билл может взять сотню, а на твою долю останется четыреста.

А назавтра весь Доусон держался за бока от смеха. Смех вспыхнул рано утром, едва рассвело, когда Смок подошел к доске объявлений у входа на склад Аляскинской торговой компании и кнопками прикрепил к доске лист бумаги. Он еще не успел всадить последнюю кнопку и отойти, а люди уже собрались и читали, заглядывая через его плечо, и фыркали. Вскоре перед доской толпилось несколько сот человек, и задним ничего не было видно. Криками потребовали, чтобы кто-нибудь читал вслух; и затем весь день то один, то другой по общему требованию громогласно перечитывал вывешенное Смоком объявление.

И немало было таких, что стояли в снегу и выслушивали это чтение по нескольку раз, чтобы лучше, во всех язвительных подробностях, запомнить статьи объявления, которое гласило:

«Акционерная компания поселка Труля-ля сводит свой баланс на стене. Это ее первый и последний баланс.

Всякий акционер, который не пожелает пожертвовать десять долларов Доусонской городской больнице, может получить назад свои десять долларов, обратившись лично к Чарли Бешеному, а в случае отказа последнего уплатить эти деньги немедленно получит их, обратившись к Смоку Беллью.

ПРИХОД и РАСХОД

Получено за 4874 акции по 10 долларов 48 740 дол.

Уплачено Дуайту Сэндерсону за землю под поселок Тру-ля-ля 10 000»

Случайные расходы: динамит, сверла, лебедка, взнос инспектору приисков и т. п. 1000»

Пожертвовано Доусонской городской

больнице 37 740»

Итого: 48 740 дол.

Получено от Билла Солтмена за 100 акций, купленных особо по 50 дол. за акцию 5000»
Получено от Чарли Бешеного за 400 акций, купленных особо по 50 дол. за акцию 20 000 »
Уплачено Биллу Солтмену в благодарность за добровольные хлопоты по устройству земельного бума в поселке Тру-ля-ля 5000»
Пожертвовано Доусонской городской больнице 3000»
Получено Смоком Беллью и Джеком Малышом в компенсацию за сделку с яйцами и в возмещение морального ущерба 17 000

Итого: 25 000 дол.

Имеется остаток акций на сумму 7126 долларов. Эти акции, принадлежащие Смоку Беллью и Джеку Малышу, не стоят ничего и могут быть приобретены бесплатно, по первому требованию, любым

жителем Доусона, желающим переменить местожительство и насладиться тишиной и уединением в поселке Труля-ля.

Примечание. Тишина и уединение гарантируются в поселке Тру-ля-ля на вечные времена.

Подписи:

Смок Беллью, председатель
Джек Малыш, секретарь».

Тайна женской души
I

— А все-таки, я вижу, ты не очень-то спешишь жениться, — заметил Малыш, возобновляя разговор, оборвавшийся несколько минут назад.

Смок не ответил; сидя на краешке мехового одеяла, он опрокинул в снег ворчащую собаку и внимательно обследовал ее лапы. А Малыш, поворачивая перед огнем надетый на палку мокасин, от которого валил пар, пристально всматривался в лицо компаньона.

— Погляди-ка на северное сияние, — продол-

жал Малыш. — Экое непостоянство! Совсем как женщина: то она так, то этак, и не поймет, чего ей надо. У самой лучшей женщины ветер в голове, если уж она не совсем дура. И все они настоящие кошки — что большие, что маленькие, красавицы и уродины. А если какая увяжется за мужчиной — ну, считай, за тобой охотится голодный лев или гиена.

И снова красноречие Малыша иссякло. Смок ударил собаку, которая чуть не укусила его за руку, и продолжал осматривать ее израненные, кровоточащие лапы.

— Фу-ты! — опять заговорил Малыш. — Да неужто я не женился бы, если б захотел? А может, меня бы и против моей воли окрутили, но только я всегда удирал, как заяц. Знаешь, Смок, что меня спасало? Хорошее дыхание. Я просто бегу что есть духу. Хотел бы я посмотреть на ту юбку, которая способна меня загонять.

Смок отпустил собаку и тоже повернул перед огнем свои мокрые мокасины, насаженные на палки.

— Придется нам завтра сидеть на месте и шить для собак мокасины, — сказал он наконец. — Этот битый лед совсем искалечил им лапы.

— Нам нельзя оставаться на месте, — возразил

Малыш. — И назад повернуть еды не хватит. Если мы с тобой завтра-послезавтра не нападем на след оленей или этих самых белых индейцев, придется нам слопать своих собак вместе с изрезанными лапами. А кстати сказать, кто их вообще видел, белых индейцев? Все это враки. Как может индеец быть белым? Это все равно, что назвать белым чернокожего. Нет, Смок, завтра надо двинуться дальше. Вся округа точно вымерла, никакой дичи нет. Сам знаешь, вот уж неделя, как нам не попадалось ни одного заячьего следа. Надо выбраться из этого гиблого места куда-нибудь, где водится дичь.

— Собаки будут бежать вдвое быстрей, если дать им денек отдохнуть и обуть их в мокасины, — сказал Смок. — Ты бы влез на какую-нибудь горку и осмотрелся. Мы, наверно, уже вот-вот выйдем на ту равнину с холмами, о которой рассказывал Лаперль.

— Ха! Лаперль сам говорит, что проходил тут десять лет назад и был в ту пору не в своем уме от голода, даже не понимал толком, что у него перед глазами. Помнишь, он рассказывал, будто на вершинах гор развевались огромные флаги? Ясное дело: все у него в голове мутилось. И он сам говорил, что не видел никаких белых индейцев,

это уж Энтон сочинил. А Энтон помер за два года до того, как мы с тобой прикатили на Аляску. Да ладно, завтра пойду огляжусь. Может, удастся подстрелить лося. А сейчас пора спать, вот что я тебе скажу.

II

Все утро Смок провел на стоянке: шил собакам мокасины, чинил упряжь. В полдень он приготовил обед на двоих, съел свою порцию и начал ждать Малыша. Час спустя он стал на лыжи и двинулся по следу товарища. Он поднялся по руслу ручья и миновал узкое ущелье, которое неожиданно вывело его на просторную поляну, — видно было, что когда-то на ней паслись лоси. Однако ни один лось не побывал здесь с осени, с тех пор как выпал первый снег. Следы лыж Малыша пересекали пастбище и поднимались по косогору. Дойдя до вершины, Смок остановился. След шел дальше, вниз по откосу. За милю отсюда, вдоль русла нового ручья, рос невысокий ельник, и видно было, что Малыш прошел через этот лесок. Смок взглянул на часы, подумал о надвигающейся темноте, о собаках, о покинутой стоянке и скрепя сердце отказался

от мысли продолжать поиски. Но прежде чем повернуть назад, он внимательно осмотрелся. На востоке в небо, точно зубья пилы, вгрызались снежные пики Скалистых Гор. Гряда за грядой вздымались горные цепи, и все они тянулись на северо-запад, отрезая пути к той равнине, о которой рассказывал Лаперль. Казалось, горы сговорились преградить дорогу пришельцу, заставить его вернуться назад, к Юкону. Смок спрашивал себя, многие ли до него приходили сюда и отступали перед этим грозным зрелищем. Правда, Лаперль не отступил, но ведь он перевалил через Скалистые Горы с востока.

До полуночи Смок поддерживал большой костер, чтобы Малыш мог издали его увидеть. А утром, чуть забрезжило, свернул лагерь, запряг собак и с рассветом пустился на поиски. В узком ущелье вожак упряжки насторожил уши и заскулил. И немного погодя Смок увидел шестерых индейцев, идущих навстречу. Они шли налегке, без собак, у каждого за плечами был совсем небольшой мешок с походным снаряжением. Они окружили Смока. К немалому его удивлению, они его явно искали. Сразу выяснилось также, что они не говорят ни на одном из индейских наречий, на которых он знал хоть слово. Белыми они не

были, но казались и выше и крепче индейцев, живущих в долине Юкона. Пятеро были вооружены старинными длинноствольными мушкетами Компании Гудзонова залива, в руках шестого Смок увидел хорошо ему знакомый винчестер — это был винчестер Малыша.

Индейцы не стали тратить время на переговоры со своим пленником. Смок был безоружен, ему оставалось только покориться. Они тотчас разобрали груз, лежавший на нартах, каждый взвалил часть себе на плечи, Смоку дали нести меховые одеяла — его и Малыша. Собак распрягли, а когда Смок запротестовал, один из индейцев знаками объяснил, что дорога впереди слишком тяжела для нарт. Смок примирился с неизбежным, спрятал нарты на берегу ручья, сунув их стоймя в снег, и побрел вместе со своими конвойными. Они направились к северу, перевалили через невысокую гряду, спустились к перелеску, который накануне заметил Смок. Миль десять — двенадцать шли по руслу ручья, а когда он стал отклоняться к западу, свернули по узкому притоку прямо на восток.

В первый раз они остановились на ночлег в месте, где за несколько дней до них стояли лагерем какие-то люди. Тут хранились запасы вяленой

лососины и мяса, — все это индейцы теперь взяли с собой. От стоянки уходило много лыжных следов, и Смок понял, что эти-то люди и захватили Малыша; и еще прежде, чем стемнело, ему удалось разглядеть на снегу следы знакомых лыж, более узких, чем лыжи индейцев. Он знаками стал расспрашивать спутников, они кивнули и показали на север.

И во все следующие дни они показывали на север; и как ни кружила, ни извивалась тропа меж беспорядочно теснящихся, нацеленных в небо скалистых пиков, все же она упорно вела на север. То и дело казалось, что в этой суровой снежной пустыне дальше нет дороги, и, однако, тропа поворачивала, отступала, находя невысокие перевалы и избегая крутых, неодолимых горных кряжей. Здесь навалило больше снегу, чем ниже, в долинах, и каждый шаг надо было брать с бою, утаптывая целину лыжами. Притом все спутники Смока были молоды, шли легким, быстрым шагом; и в глубине души он невольно гордился тем, что без труда поспевает за ними. Они были закалены кочевой жизнью, с самого раннего детства привыкли прокладывать путь через снега; и все же он был так крепок и здоров, что этот переход давался ему не тяжелее,

чем им.

За шесть дней они достигли главного перевала и миновали его; хоть он был ниже окружающих грозных гор, но все же лежал на огромной высоте и недоступен был для нагруженных нарт. А через пять дней, спускаясь капризной, извилистой тропой все ниже и ниже, они вышли на широко раскинувшуюся холмистую равнину, открытую Лаперлем десять лет назад. Смок узнал ее с первого взгляда. В этот морозный день термометр показывал сорок градусов ниже нуля и воздух был так прозрачен, что видно было на сто миль вокруг. Насколько хватал глаз, перед Смоком расстилалась эта волнистая равнина. Далеко на востоке еще виднелись Скалистые Горы, вздымавшие в небо свои неприступные, покрытые снегом зубчатые гребни. К югу и к западу тянулись изрезанные ущельями отроги, которые Смок и его спутники недавно пересекли. А здесь, в гигантской впадине, лежал край, по которому прошел Лаперль, — край, одетый снегами, но, несомненно, богатый дичью, а летом это, конечно, смеющаяся, цветущая, вся в зелени земля.

К полудню они спустились по широкому руслу замерзшего потока, мимо утонувших в снегу ив и голых осин, пересекли ровные пространства,

густо поросшие елью, и вышли к большому лагерю, покинутому совсем недавно. На ходу Смок подсчитал примерно следы костров — их было сотни четыре, а то и пять; как видно, здесь стояли лагерем несколько тысяч человек. Тропа была свежая, утоптанная множеством мокасин, так что Смок и его похитители сняли лыжи и без них пошли еще быстрей. Все больше признаков указывало на обилие в этих местах дичи, все чаще попадались следы хищников — волков и рысей. Один из индейцев с радостным возгласом указал на широкую поляну, усеянную обглоданными оленьими черепами: снег на поляне был взрыт и измят, словно тут разыгралось большое сражение. И Смок понял, что после недавнего снегопада охотники перебили здесь немало дичи.

Стало смеркаться, но индейцы ничем не обнаруживали намерения остановиться на ночлег. В сгущавшихся сумерках они шли все вперед и вперед; порой небо вспыхивало, тьма рассеивалась и огромные мерцающие звезды бледнели, подернутые трепетной зеленоватой дымкой северного сияния. Собаки Смока первыми заслышали вдалеке шум лагеря, насторожились и тихонько заскулили от нетерпения. Потом и человеческий слух стал улавливать отдаленный

гул, еще смутный, но не смягченный расстоянием, как бывает обычно. Напротив, это был пронзительный, дикий шум, нестройные резкие звуки перебивались еще более резкими — протяжным воем множества лаек, и в этом вое, то визгливом, то заунывном, слышались тревога и боль, угрюмая безнадежность и вызов. Сняв рукавицу, Смок открыл стекло карманных часов и кончиками пальцев нащупал стрелки — они показывали одиннадцать. Его провожатые оживились. Ноги, столько отшагавшие за долгий день пути, сами собой ускорили шаг — теперь люди почти бежали. Внезапно они вышли из темного ельника, яркий свет многих костров ослепил их, многоголосый шум оглушил. Перед ними лежало огромное становище.

Они пробирались между неровными рядами вигвамов, и шум, как прибой, вздымался им навстречу и катился вслед — возгласы, приветствия, вопросы и ответы, шутки, насмешки, ответные шутки, злобное рычание лаек, которые так и сыпались на собак Смока, точно косматые яростные бомбы, брань индианок, смех, хныканье детей и плач грудных младенцев, стоны разбуженных всем этим больных — адский шум и крик оглушал в этом становище первобытного народа, не

знающего, что такое нервы.

Спутники Смока палками и прикладами отбивались от налетающих отовсюду псов, а его собаки, напуганные таким множеством врагов, рыча и огрызаясь, жались к своим двуногим защитникам, грозно ощетинивались и вставали на дыбы.

Вновь прибывшие остановились у костра, разведенного на утоптанном снегу, где сидели на корточках Малыш и два молодых индейца, поджаривая на огне нарезанную длинными узкими кусками оленину. Еще три молодых индейца лежали, завернувшись в меха, на подстилке из еловых ветвей, при виде подошедших они сели. Малыш поверх костра взглянул на Смока, но лицо его осталось таким же бесстрастным и неподвижным, как лица его соседей; он не кивнул, не улыбнулся и продолжал жарить мясо.

— Что это с тобой? — сердито спросил Смок. — Язык отнялся?

Малыш весело ухмыльнулся.

— Вовсе нет, — ответил он. — Я индеец. Учусь ничему не удивляться. Когда они тебя зацапали?

— На другой день после твоего ухода.

— Хм… — В глазах Малыша заплясали искорки. — Мои дела идут прекрасно, хуже некуда. Тут

у нас лагерь холостяков. — И он широким жестом обвел все это великолепие: костер, постели из еловых ветвей на снегу, вигвамы из оленьих шкур и щиты от ветра, сплетенные из тех же еловых ветвей и ивовых прутьев. — А вот это сами холостяки. — Малыш показал на молодых индейцев, произнес несколько гортанных слов на их языке, и их глаза и зубы сверкнули в ответной улыбке. — Они рады познакомиться с тобой, Смок. Садись и высуши мокасины, я сейчас приготовлю поесть. А здорово я болтаю по-ихнему? Тебе тоже надо выучиться. Похоже, мы у них останемся надолго. Тут есть еще один белый, ирландец, он попал к ним шесть лет назад. Они его поймали на дороге к Большому Невольничьему озеру. Дэнни Мак-Кен его звать. Он тут обзавелся женой, у них уже двое детишек, но, если подвернется случай, он рад будет дать тягу. Видишь, вон направо маленький костер? Это он и есть.

Как видно, тут и предстояло жить Смоку: провожатые оставили его и его собак и исчезли среди вигвамов. Смок занялся своей обувью, потом стал уплетать кусок за куском дымящееся мясо, а Малыш жарил все новые куски и рассказывал новости:

— Похоже, Смок, мы с тобой здорово влипли.

Не так-то просто будет отсюда выбраться. Это самые настоящие, чистейшей воды дикие индейцы. Сами они не белые, но вождь у них белый. Говорит, точно у него полон рот горячей каши, и уж если он не шотландец, так и не знаю, какие они есть, шотландцы. Он тут у них царь и бог и всему голова. Что он скажет, тому и быть. Так и запомни. Дэнни Мак-Кен шесть лет все старается от него удрать. Дэнни — парень неплохой, только у него пороху не хватает. Какой дорогой отсюда выбраться, он знает, на охоте высмотрел: западнее, чем мы с тобой сюда шли. Только одному ему не уйти, никак с духом не соберется. А втроем мы это дело обстряпаем. Бородач — крепкий парень, стоящий, да только у него не все дома.

— Кто это Бородач? — спросил Смок с полным ртом, на миг отрываясь от еды.

— Да этот самый их вождь. Шотландец. Он уже человек немолодой и сейчас, верно, спит, а завтра он потолкует с тобой и докажет, как дважды два, что в его владениях ты просто червяк и больше никто. Тут распоряжается он один. Ты должен крепко вбить себе это в башку. Места эти неисследованные, никому не известные, и хозяин здесь он. И уж он не даст тебе про это забыть. Тут примерно на двадцать тысяч квадратных

миль охотничьи угодья — и все это его. Вот он и есть белый индеец, да и его девчонка тоже. Ха! Не смотри на меня такими глазами. Погоди, сам увидишь. Хорошенькая и совсем белая, как отец — как Бородач, значит. А оленей тут!.. Я сам видел. Сытые, откормленные, стадо в сто тысяч голов, — десять тысяч волков и диких кошек идут по пятам, хватают отставших и кормятся объедками. Да-да, у нас и объедки остаются. Стадо идет на восток, и мы теперь будем все время двигаться следом. Самцов мы едим, а что не съедим, коптим и вялим про запас, чтоб было на весну, пока не начнется лов лосося. Я тебе вот что скажу: чего Бородач не знает про лосося и про оленей, того уж никто на свете не знает.

III

— Вот он идет, Бородач, и с таким видом, будто по делу, — шепнул Малыш и, дотянувшись до ближайшей ездовой собаки, вытер жирные руки о ее косматую шерсть.

Было утро, и холостяки, сидя на корточках вокруг костра, жарили оленину и с аппетитом завтракали. Смок поднял глаза — к их костру направлялся невысокий, худощавый человек

в одежде из шкур, как любой индеец, но, несомненно, белый; за ним собаки тащили нарты и шагали человек десять индейцев. Смок разбил кость и, высасывая горячий мозг, с интересом разглядывал хозяина здешних мест. Густая борода и рыжевато-седые волосы, закопченные дымом костров, почти совсем скрывали лицо этого человека, но видно было, что оно худое, изможденное, щеки совсем ввалились. А все же он здоровый, хоть и худ, как скелет, решил Смок, заметив его расширенные ноздри и широкую грудь, — они говорили о глубоком дыхании, об отличных легких — залоге жизни и здоровья.

— Здравствуйте, — сказал Бородач, снимая рукавицу, и протянул руку. — Меня зовут Снасс.

Они обменялись рукопожатием.

— А меня Беллью, — сказал Смок, чувствуя какую-то непонятную неловкость под испытующим, пронзительным взглядом черных глаз Снасса.

— Я вижу, у вас тут еды достаточно.

Смок кивнул и опять взялся за мозговую кость; почему-то ему было приятно слышать этот мурлыкающий шотландский говор.

— Грубая пища. Но зато мы почти не знаем голода. И это куда полезней, чем всякие делика-

тесы, которыми питаются в городах.

— Я вижу, вы не любитель города, — отшутился Смок, чтобы сказать что-нибудь, и был поражен мгновенной переменой в собеседнике.

Он весь задрожал и поник, точно какое-то чувствительное растение. Потом в глазах его вспыхнули ужас, безмерное отвращение, жгучая ненависть, точно крик нестерпимой боли. Он круто повернулся и, овладев собой, бросил через плечо:

— Мы еще увидимся, мистер Беллью. Олени идут на восток, и я отправляюсь вперед, чтобы выбрать место для стоянки. Вы все сниметесь завтра.

— Вот тебе и Бородач! — пробормотал Малыш, когда Снасс и его спутники отошли подальше, и снова вытер руки о шерсть пса, который с наслаждением принялся слизывать с себя жир.

IV

Немного позже Смок пошел пройтись по становищу, поглощенному несложными будничными заботами. Только что возвратился большой отряд охотников, и мужчины разбрелись каждый к своему костру. Женщины и дети запрягали собак

в легкие нарты, уходили с ними, а когда возвращались, все вместе тащили нарты, нагруженные уже промерзшим мясом только что убитой дичи. Стоял морозный день, какие бывают ранней весной, и вся эта первобытная жизнь шла при тридцати градусах ниже нуля. Ни на ком вокруг не было ни клочка ткани: всем одинаково служили одеждой меха или светло-желтая замша. У мальчиков были в руках луки, колчаны и стрелы с костяными наконечниками; у многих — заткнутые за пояс или висящие в кожаных ножнах на груди костяные или каменные ножи для выделки шкур. Женщины, согнувшись над кострами, коптили мясо, а привязанные за спиной у матерей младенцы сосредоточенно сосали куски сала и смотрели на все круглыми глазами. Огромные псы — настоящие волки — злобно ощетинивались при виде чужака, вооруженного короткой дубинкой, и принюхивались к его запаху, но дубинка заставляла их мириться с присутствием Смока.

В самой середине становища Смок наткнулся на очаг, который явно принадлежал Снассу. Хотя и временное, жилище его было больше и прочнее других. Свернутые шкуры и всякое снаряжение громоздились на помосте, где их

не могли достать собаки. Большая брезентовая палатка служила спальней и жильем. Рядом стояла другая, шелковая, какие обычно предпочитают путешественники по неисследованным землям и богатые любители охоты. Смок, никогда не видевший такой палатки, подошел ближе. Пока он стоял и смотрел, передние полотнища распахнулись, и вышла молодая женщина. Ее движения были так стремительны и появилась она так внезапно, что Смок был ошеломлен, точно увидел призрак. Казалось, и он так же поразил ее, и несколько минут они молча смотрели друг на друга.

Она была облачена в звериные шкуры, но таких великолепных, так мастерски расшитых меховых одежд Смок никогда еще не видел. Парка с откинутым капюшоном — из какого-то незнакомого ему очень светлого серебристого меха. Муклуки на моржовой подошве сшиты из множества серебристых рысьих лапок. Длинные рукавицы, кисточки муклуков, каждая мелочь в этом меховом костюме была, как бледное серебро, мерцающее в свете морозного дня; и из этого мерцающего серебра поднималась на гибкой точеной шее изящная головка — синие глаза, нежно розовеющие щеки, уши, точно маленькие

розовые раковины, светло-каштановые волосы, в которых сверкали искорки инея и морозной пыли. Смоку казалось, что он видит сон; наконец, спохватившись, он потянулся к шапке. И тут изумление в глазах девушки сменилось улыбкой; быстрым, уверенным движением она сняла рукавицу и протянула руку.

— Здравствуйте, — сказала она негромко, степенно, со странным и милым акцентом, и ее голос, серебристый, как ее меховые одежды, прозвучал неожиданно для ушей Смока, уже свыкшихся с пронзительными голосами индианок.

Он промямлил что-то, смутно напоминающее о том, что когда-то он был светским человеком.

— Я рада с вами познакомиться, — продолжала она медленно, с трудом подыскивая слова и неудержимо улыбаясь. — Вы меня, пожалуйста, простите, я не очень хорошо говорю по-английски. Я, как вы, тоже англичанка. Мой отец шотландец. Моя мать умерла. Она была француженка, и англичанка, и немножко индианка. Ее отец был большой человек в Компании Гудзонова залива… Брр! Холодно! — Она надела рукавицы и стала растирать свои розовые уши, которые уже начали белеть. — Пойдемте к огню и поговорим. Меня зовут Лабискви. А вас как зовут?

Так Смок познакомился с Лабискви, дочерью Снасса, который называл ее Маргерит.

— Моего отца зовут не Снасс, — сообщила она Смоку. — Снасс — это его только по-индейски так зовут.

Многое узнал Смок и в этот день и потом, когда племя двинулось по следу оленей. Да, это были настоящие дикие индейцы — те, которых много лет назад встретил и от которых бежал Энтон. Здесь близко проходила западная граница их охотничьих владений, а на лето они перекочевывали на север, в тундру, к берегам Ледовитого океана, и в восточном направлении доходили до самой Лусквы. Что это за река — Луква, Смок так и не понял, и ни Лабискви, ни Мак-Кен не могли ему объяснить. Изредка Снасс, взяв сильнейших охотников, отправлялся на восток, переходил Скалистые Горы, миновал озера, реку Маккензи и доходил до Бесплодных земель. В последний раз, когда они побывали в той стороне, и была найдена шелковая палатка, ставшая жилищем Лабискви.

— Она принадлежала экспедиции Миллисента и Эдбери, — сказал Смоку Снасс.

— А, помню! Они охотились на мускусных быков. Спасательной экспедиции не удалось

разыскать никаких следов их обоих.

— Я их нашел, — сказал Снасс, — но они были уже мертвы.

— Об этом до сих пор никто ничего не знает. Вести не дошли.

— Вести никогда не доходят, — любезно пояснил Снасс.

— Вы хотите сказать, что если бы вы застали их в живых?..

Снасс кивнул:

— Они остались бы со мной и с моим народом.

— Энтон, однако, ушел, — сказал Смок с вызовом.

— Не помню такого имени. Давно это было?

— Лет четырнадцать-пятнадцать назад, — ответил Смок.

— Значит, он все-таки пробрался… А я не раз спрашивал себя, что с ним сталось. Мы звали его Длинный Зуб. Это был сильный человек, очень сильный.

— И Лаперль прошел здесь десять лет назад.

Снасс покачал головой.

— Он видел следы ваших стоянок. Это было летом.

— Тогда понятно, — ответил Снасс. — Летом мы бываем на сотни миль севернее.

Но как ни старался Смок, он не мог найти ключа к прошлому Снасса. Кем он был до того, как переселился в эти дикие северные края? Человек, несомненно, образованный, он уже долгие годы не читал ни книг, ни газет. Он не знал и знать не хотел, что изменилось за это время в мире. Он слыхал о нашествии золотоискателей на Юкон, о клондайкской золотой лихорадке. Но золотоискатели никогда не вторгались в его владения, и он был этому рад. А огромный внешний мир для него просто не существовал. Снасс и слышать о нем не хотел.

Лабискви тоже мало что могла сообщить Смоку о прошлом отца. Она родилась здесь, в охотничьем становище. Ее мать умерла, когда девочке было шесть лет. Мать была красавица — единственная белая женщина, которую видела Лабискви за всю свою жизнь. Она сказала это с грустью — и с грустью снова и снова заговаривала о том мире, откуда ее отец бежал безвозвратно. Да, она знает, что существует другой, большой мир, но это — ее тайна. Она давно поняла, что одно упоминание о нем приводит отца в ярость.

Энтон рассказал одной индианке, что дед Лабискви — отец ее матери — занимал высокий пост в Компании Гудзонова залива. Позднее ин-

дианка рассказала об этом Лабискви. Но имени своей матери девушка так и не узнала.

От Дэнни Мак-Кена нельзя было почерпнуть никаких полезных сведений. Он не любитель приключений. Бродячая жизнь среди дикарей ужасна, а он ведет ее вот уже девять лет. Он жил в Сан-Франциско, его напоили и обманом затащили на китобойное судно; с мыса Барроу он и еще трое из команды бежали. Двое умерли, третий бросил его на полпути, когда они с огромным трудом пробирались к югу. Два года прожил он среди эскимосов, прежде чем набрался мужества снова пуститься в тяжкий и страшный путь на юг, а когда оставалось всего несколько дней до ближайшего поста Гудзоновой компании, его захватили в плен молодые охотники Снасса. Мак-Кен был маленький неумный человечек с больными глазами, он мечтал и говорил только об одном: как бы вернуться в милый город Сан-Франциско, к милой его сердцу профессии каменщика.

V

— Наконец-то к нам попал умный человек, — сказал Смоку Снасс однажды вечером у кост-

ра. — До вас нам все не везло. Впрочем, был еще старик Четырехглазый. Это индейцы так его прозвали, он был близорук и носил очки. Он был профессор зоологии. (Смок отметил про себя, что Снасс совершенно правильно произнес это слово.) Мои охотники захватили его в верховьях реки Поркьюпайн, он заблудился и отстал от своей экспедиции. Умный человек был, спору нет, но чего-то ему не хватало. Вечно он сослепу сбивался с дороги. Правда, он знал геологию и умел обращаться с металлами. На берегах Лусквы есть уголь, Четырехглазый устроил там для нас отличные кузницы. Он чинил наши ружья и научил этому молодежь. В прошлом году он умер, и нам его очень недостает. Он заблудился, замерз в какой-нибудь миле от лагеря, — вот как это случилось.

В тот же вечер Снасс сказал Смоку:

— Вам надо бы выбрать себе жену и завести собственный очаг. Вам будет удобнее, чем с молодыми охотниками. У нас, знаете, есть такой девичий праздник — девушки зажигают костры и ожидают суженых. Это обычно делается среди лета, когда пойдет лосось, но я могу распорядиться раньше, если хотите.

Смок засмеялся и покачал головой.

— Помните, — спокойно сказал в заключение Снасс, — Энтон — единственный, кому удалось отсюда выбраться. Ему повезло, необыкновенно повезло.

Лабискви говорила Смоку, что у ее отца железная воля.

— Четырехглазый называл его Замороженным Пиратом — не знаю, что это означает, — Ледяным Тираном, Пещерным Медведем, Первобытным Зверем, Оленьим Королем, Бородатым Леопардом и еще разными именами. Четырехглазый любил такие слова. Это он меня выучил английскому языку. Он всегда шутил. Никак нельзя было понять, серьезно он говорит или нет. Когда я сердилась, он называл меня — мой дружок гепард. А что такое гепард? Он всегда меня так дразнил.

Смока удивляла ребячески наивная, оживленная болтовня Лабискви, которая так не вязалась с ее обликом взрослой девушки.

Да, ее отец — человек непреклонный. Его все боятся. Он страшен, когда рассердится. Тут есть племя Дикобразов. Они и еще племя Лусква служат Снассу посредниками, продают за него в факториях шкуры и покупают ему патроны и табак. Он всегда поступал честно, а вождь Дикобразов начал его обманывать. Снасс дважды

предупреждал его, а потом поджег его селение, и человек пятнадцать из племени Дикобразов были убиты в схватке. После этого никто не пытался обмануть Снасса. Однажды, когда она была еще маленькая, один белый человек пытался убежать отсюда, и его убили. Нет, отец сам не убивал, он только отдал приказ молодым охотникам. Никогда еще ни один индеец не ослушался ее отца. И чем больше она рассказывала, тем непроницаемее казалась Смоку тайна Снасса.

— Скажите мне, — спросила Лабискви, — правда, что были на свете мужчина и женщина, их звали Паоло и Франческа, и они очень любили друг друга?

Смок кивнул, и она просияла.

— Мне о них рассказывал Четырехглазый. Значит, он все-таки не выдумал. Понимаете, я как-то не верила. Спросила отца, а он так рассердился! Индейцы мне говорили, что он страшно ругал Четырехглазого. Потом были еще Тристан и Изольда… Даже две Изольды. Это очень печальная история. Но я хотела бы любить так. А в том, вашем, мире все мужчины и женщины так любят? Здесь — нет. Здесь просто женятся. Наверно, они тут слишком заняты другими делами. Я англичанка, я никогда не выйду замуж за индейца

— правильно это, как по-вашему? Я поэтому еще не зажигала своего девичьего костра. Некоторые молодые охотники уже сколько раз просили, чтобы отец заставил меня зажечь костер. И Либаш тоже. Он великий охотник. А Махкук все ходит и поет песни. Он такой смешной! Сегодня, когда стемнеет, приходите к моей палатке — услышите, как он поет. Мороз, а он ходит вокруг и поет. Но отец говорит, делай, как знаешь, и потому я не зажгу костра. Понимаете, когда девушка решает выйти замуж, она зажигает костер, чтобы юноши об этом узнали. Четырехглазый говорил, что это прекрасный обычай. А сам так и не выбрал себе жены. Может быть, он был слишком старый. У него было очень мало волос на голове, но мне кажется, на самом деле он был не такой уж старый. А как вы узнаёте, что вы влюблены? Так влюблены, как Паоло и Франческа?

Смок смутился под ясным взглядом ее синих глаз.

— Видите ли… — с запинкой начал он. — Говорят… те, кто влюблен, говорят, что любовь дороже жизни. Когда мужчина или женщина почувствуют, что кто-то им милее всех на свете… ну, тогда, значит, они влюблены. Так оно и получается, только это ужасно трудно объяснить. Это просто

знаешь, вот и все.

Она посмотрела куда-то вдаль, сквозь дым костра, потом вздохнула и вновь взялась за иглу (она шила меховую рукавицу).

— Во всяком случае, — решительно объявила она, — я никогда не выйду замуж.

VI

— Уж если мы сбежим, придется удирать со всех ног, — мрачно сказал Малыш.

— Мы тут в огромной западне, — согласился Смок.

Поднявшись на небольшой голый холм, они оглядывали утопающее в снегах царство Снасса. На востоке, на юге и на западе его замыкали остроконечные вершины и зубчатые хребты далеких гор. К северу без конца и края простиралась все та же холмистая равнина, но оба они знали, что и там им перережут дорогу пять или шесть горных цепей.

— В это время года я могу дать вам три дня форы, — сказал Смоку в тот вечер Снасс. — Вас выдадут следы, сами понимаете. Энтон бежал, когда снега уже не было. Мои молодые охотники догонят любого белого; и притом вы сами про-

ложите для них тропу. А когда снег сойдет, уж я позабочусь о том, чтобы вы не могли сбежать, как Энтон. Мы ведем здоровую, привольную жизнь. А тот мир — он быстро забывается. Меня до сих пор удивляет, как легко, оказывается, обойтись без него.

* * *

— Дэнни Мак-Кен мне покоя не дает, — говорил Смоку Малыш. — Попутчик он, понятно, никудышный. Но он клянется, что знает дорогу на запад. Придется нам с ним столковаться, Смок, а то плохо тебе будет.

— Почему только мне? Все мы в одинаковом положении.

— Ну уж нет. Вот тебе и впрямь надо смотреть в оба.

— А что такое?

— Ты ничего не слыхал?

Смок покачал головой.

— Мне сказали холостяки, — продолжал Малыш. — Они сами только что узнали. Это разыграется нынче, чуть не на полгода раньше срока.

Смок пожал плечами.

— И не любопытно тебе, о чем речь? — поддразнил Малыш.

— Я слушаю.

— Так вот, жена Дэнни только что сказала холостякам… — Малыш помолчал для внушительности. — А холостяки, понятно, рассказали мне. Сегодня вечером будут зажжены девичьи костры. Вот и все. Как тебе это понравится?

— Не понимаю, куда ты клонишь.

— Ах, вот как, не понимаешь? А это очень даже ясно и понятно. За тобой охотится девчонка, и она собирается зажечь костер, и зовут эту девчонку Лабискви. Ого, видал я, какими глазами она на тебя смотрит, когда ты на нее не глядишь. Она никогда не зажигала костра. Все говорила, что не выйдет замуж за индейца. А теперь она зажжет костер, и — это уж как пить дать — ради тебя, милый друг.

— Да, это ты логично рассудил, — сказал Смок, и сердце его упало, когда он вспомнил, как вела себя Лабискви в последние дни.

— Это уж как пить дать, — повторил Малыш. — Вот и всегда так. Только мы надумали удирать — нате вам, вмешивается девчонка и все запутывает. Не будет нам удачи… Эге! Слышишь, Смок?

Три старухи остановились на полдороге между лагерем холостяков и костром Мак-Кена, и самая старая что-то выкрикивала пронзительным,

визгливым голосом.

Смок узнавал имена, но далеко не все слова были ему понятны, и Малыш с грустной усмешкой стал переводить:

— Лабискви, дочь Снасса, Повелителя Туч, Великого Вождя, зажигает сегодня вечером свой первый девичий костер. Мака, дочь Оуитса, Грозы Волков…

Так были перечислены имена десяти или двенадцати девушек, и затем три вестницы побрели дальше, чтобы объявить новость у других костров.

Юношей, поклявшихся никогда не разговаривать с девушкой, — потому их и звали холостяками, — не занимало предстоящее празднество; наутро они должны были по приказу Снасса пуститься в дальний путь, но теперь, чтобы ясней выразить свое презрение к происходящему, решено было отправиться немедля. Снасса не удовлетворяли расчеты старых охотников: если олени, по следу которых идет племя, и впрямь так малочисленны, решил он, значит, стадо разделилось. И послал холостяков в разведку на север и на запад — отыскивать вторую половину огромного стада.

Смок, встревоженный намерением Лабискви

зажечь костер, объявил, что хочет пойти с холостяками. Но сначала он посовещался с Малышом и Мак-Кеном.

— Жди нас там на третий день, Смок, — сказал Малыш. — А мы захватим снаряжение и собак.

— Только помни, — предупредил Смок, — если как-нибудь так получится, что мы не встретимся, вы должны идти своей дорогой и выбираться на Юкон. Это дело решенное. Если выберетесь — летом вернетесь за мной. А если повезет мне, я удеру и потом вернусь за тобой.

Мак-Кен, стоя подле своего костра, показал глазами на крутую мрачную гору на западе, там, где на равнину выходила высокая, неприступная гряда.

— Вот это она и есть, — сказал Мак-Кен. — С южной стороны — небольшой ручеек. Мы поднимемся по нему. На третий день вы нас встретите. Мы попадем туда на третий день. В каком бы месте вы ни вышли на этот ручей, вы найдете если не нас, то наш след.

VII

Но Смоку не повезло. Холостяки решили вести разведку в другом направлении, и на третий

день, в то самое время, как Малыш и Мак-Кен со своими собаками пробирались вверх по ручью, Смок с холостяками за шестьдесят миль к северо-востоку от них напали на след второго оленьего стада. Несколько дней спустя, в слабом свете сумерек, еще более тусклом от валящего снега, они вернулись в становище. Индианка, рыдавшая у костра, вдруг вскочила и накинулась на Смока. Глаза ее горели злобой, она осыпала его бранью и проклятиями, протягивая руки к недвижному и немому, завернутому в меха телу, лежавшему на недавно прибывших нартах. Смоку оставалось лишь догадываться, что произошло, и, подходя к костру Мак-Кена, он готовился к новому взрыву проклятий. Но увидел самого Мак-Кена, который усердно жевал кусок оленины.

— Я не воин, — заскулил он в объяснение. — А Малыш убежал, хотя за ним еще идет погоня. Он дрался как черт. Да все равно его поймают, не выбраться ему. Он подстрелил двоих, но они поправятся. А одному всадил пулю прямо в сердце.

— Знаю, — ответил Смок. — Я только что видел вдову.

— Снасс хотел с вами поговорить, — прибавил Мак-Кен. — Приказал, как только вернетесь, чтоб шли к его костру. Я вас не выдал. Вы ничего не

знаете. Помните это твердо. Малыш удрал со мной на свой страх и риск.

У костра Снасса Смок застал Лабискви. В ее глазах, обращенных к нему, сияла такая нежность, что он испугался.

— Я рада, что вы не пытались убежать, — сказала она. — Видите, я… — Она замялась, но глаз не опустила, и нельзя было не понять, что означает льющийся из них свет. — Я зажгла свой костер, зажгла, конечно, для вас. Мой час настал. Вы мне милее всех на свете. Милее, чем отец. Милее, чем тысяча Либашей и Махкуков. Я люблю. Это так странно. Люблю, как Франческа, как Изольда. Старик Четырехглазый говорил правду. Индейцы так не любят. Но у меня синие глаза и белая кожа. Мы оба белые, вы и я.

Никогда еще ни одна женщина не предлагала Смоку руку и сердце, и он не знал, как себя вести. Впрочем, это было даже не предложение. В его согласии никто и не сомневался. Для Лабискви все это было так просто и ясно, такой нежностью лучились ее глаза, что Смоку оставалось только удивляться, почему она еще не обняла его и не склонилась головой ему на плечо. Потом он понял, что хотя она искренна и простодушна в своей любви, но нежные ласки влюбленных ей

незнакомы. Первобытные дикари их не знают. Лабискви негде было этому научиться.

Она все лепетала, изливая любовь и радость, переполнявшую ее сердце, а Смок собирался с духом, — надо же как-нибудь открыть ей горькую правду… Казалось, желанный случай представился ему.

— Но послушайте, Лабискви, — начал он, — вы уверены, что Четырехглазый рассказал вам всю историю любви Паоло и Франчески?

Она всплеснула руками и радостно засмеялась:

— Это еще не все! Я так и знала, что это еще не все про любовь! Я много думала с тех пор, как зажгла свой костер. Я…

Но тут сквозь завесу падающего снега к костру шагнул Снасс — и удобный случай был упущен.

— Добрый вечер, — буркнул Снасс. — Ваш приятель натворил тут черт знает чего. Хорошо, что хоть вы оказались умнее.

— Может, вы мне скажете, что случилось? — спросил Смок.

Зубы Снасса, удивительно белые по сравнению с прокопченной дымом костров бородой, блеснули в недоброй усмешке.

— Конечно, скажу, — ответил он. — Ваш приятель убил одного из моих людей. Это жалкое

ничтожество Мак-Кен струсил при первом же выстреле. Больше он не удерет. Вашего приятеля ловят в горах мои охотники — и они его изловят. Юкона ему не видать. А вы теперь будете спать у моего костра и с охотниками больше не пойдете. Я сам буду приглядывать за вами.

VIII

Переселившись к костру Снасса, Смок попал в затруднительное положение. Теперь он гораздо больше виделся с Лабискви. Она ничуть не скрывала своей нежной, невинной любви, и это приводило его в ужас. Она смотрела на него влюбленными глазами, и каждый ее взгляд был лаской. Снова и снова он собирался с духом, чтобы сказать ей о Джой Гастелл, и всякий раз приходил к убеждению, что он просто трус. И что хуже всего, Лабискви так очаровательна! Нельзя не любоваться ею… Каждая минута, проведенная с ней, заставляла его презирать себя — и все же как отрадны были эти минуты. Впервые перед ним раскрывалась женская душа — и так прозрачно-чиста была душа Лабискви, так поразительно наивна и невинна, что Смок видел ее до дна и читал в ней, как в раскрытой книге. Вся

изначальная женская доброта была в Лабискви, с ее нетронутой душой, чуждой лжи и каких-либо условностей. Он вспомнил Шопенгауэра, которого читал когда-то, и ему стало ясно, что угрюмый философ глубоко заблуждался. Узнать женщину, как Смок узнал Лабискви, значило понять, что все женоненавистники — душевнобольные.

Лабискви была просто чудо, и, однако, рядом с ее лицом из плоти и крови неизменно вставало, точно огненное видение, лицо Джой Гастелл. Джой была всегда так сдержанна, так владела собой, она подчинялась всем запретам, какие навязала женщине цивилизация, но теперь воображение Смока награждало Джой Гастелл теми же сокровищами души, что открылись ему в Лабискви. Одна лишь возвышала другую, и все женщины всего мира возвысились в глазах Смока благодаря тому, что увидел он в душе Лабискви, в краю снегов, у костра Снасса.

Немало узнал он и о самом себе. Он вспомнил все, что знал о Джой Гастелл, и понял, что любит ее. А между тем ему так хорошо, так отрадно подле Лабискви. Что же это, если не любовь? Можно ли назвать это чувство иначе, не унизив его? Нет, это любовь. Конечно, любовь. Оказывается, он склонен к многоженству! Это открытие потряс-

ло его до глубины души. Когда-то, живя среди сан-францисской богемы, он слышал разговоры о том, что мужчина может любить сразу двух, даже трех женщин. Тогда он этому не верил. И как мог бы он поверить, не испытав ничего подобного? Но теперь другое дело. Теперь он и впрямь любит сразу двух. И хотя его чувство к Джой Гастелл наверняка сильнее, в иные минуты он готов поклясться, что больше он любит Лабискви.

— На свете, должно быть, много женщин, — сказала она однажды. — И женщины любят мужчин. Вас, наверно, многие женщины любили. Расскажите мне о них.

Смок не ответил.

— Расскажите, — повторила она.

— Я никогда не был женат, — уклончиво ответил он.

— И у вас больше никого нет? Нет за горами другой Изольды?

Вот тут-то Смок и понял, что он трус. Он солгал. Против воли, но все же солгал. Он покачал головой, медленно, ласково улыбнулся — и сам не подозревал, сколько нежности отразилось на его лице, когда Лабискви вся просияла от счастья.

Он пытался оправдаться в собственных глазах, успокаивал себя заведомо лицемерными рас-

суждениями, но он и вправду был не настолько спартанец, чтобы безжалостно разбить сердце этой девочки.

Смущение Смока возрастало еще и из-за Снасса. Ничто не ускользало от черных глаз шотландца, и каждое слово его было исполнено значения.

— Кому приятно видеть свою дочь замужем? — говорил он Смоку. — Человек с воображением, во всяком случае, к этому не стремится. Это тяжело. Говорю вам, даже думать об этом горько. Но что ж, такова жизнь: Маргерит тоже должна когда-нибудь выйти замуж.

Наступило молчание, и Смок в сотый раз спрашивал себя, что же таится в прошлом Снасса.

— Я человек грубый, жестокий, — продолжал Снасс. — Но закон есть закон, и я справедлив. Мало того, здесь, среди этих первобытных людей, я и закон и судья. Никто не выйдет из моей воли. Притом я отец, и живое воображение всегда было моим проклятием.

К чему велась эта речь, Смок так и не узнал, — ее прервали громкое ворчание и взрыв серебристого смеха, донесшиеся из палатки, где Лабискви играла с недавно пойманным волчонком. Лицо Снасса исказилось от боли.

— Ничего, я это переживу, — угрюмо пробор-

мотал он. — Маргерит должна выйти замуж, и это счастье для меня и для нее, что здесь оказались вы. На Четырехглазого у меня было мало надежды. Мак-Кен был до того безнадежен, что я сплавил его индианке, которая зажигала свой костер двадцать лет подряд. Если бы не вы, пришлось бы выдать ее за индейца. Либаш мог бы стать отцом моих внуков!

В эту минуту из палатки с волчонком на руках показалась Лабискви и подошла к костру, чтобы посмотреть на того, к кому ее словно притягивало магнитом; глаза ее сияли любовью, которую ее никто не научил скрывать.

IX

— Слушайте, — сказал Мак-Кен. — Теперь весна, оттепель, снег покрывается настом. Самое время двинуться в путь, только вот в горах весной бывают снежные бури. Я их хорошо знаю. С другим я бы не рискнул бежать, но с вами решаюсь.

— Где уж вам бежать, — возразил Смок. — Вы всякому будете только обузой. Какой вы мужчина, вы размякли, как кисель. Если уж я сбегу, так сбегу один. А пожалуй, и вовсе не сбегу, меня никуда не тянет. Оленина мне по вкусу, и лето

уже недалеко, будем есть лососину.

— Ваш приятель умер, — сказал Снасс. — Мои охотники не убивали его. Они нашли его мертвым, он замерз в горах, его там застигли весенние метели. Отсюда никому не уйти. Когда мы отпразднуем вашу свадьбу?

А Лабискви сказала:

— Я смотрю и вижу — в лице и в глазах у вас тоска. Я так хорошо знаю ваше лицо! У вас на шее маленький шрам, под самым ухом. Когда вам хорошо, уголки рта у вас поднимаются вверх. А когда у вас печальные мысли, уголки опускаются вниз. Когда вы улыбаетесь, от глаз идут лучики — три, четыре. Когда смеетесь — шесть. Иногда бывает даже семь, я считала. А теперь нет ни одного. Я не читала книг. Я не умею читать. Но Четырехглазый меня многому научил. Я правильно говорю по-английски. Это он меня научил. Я видела и у него тоску в глазах, точно голод, — тоску по большому миру. Он часто тосковал по тому миру. А ведь у нас он ел вдоволь мяса, и рыбы тогда было много, и ягод, и кореньев, и даже мука была, — нам ее часто приносят Дикобразы и Лусква в обмен на меха. А все-таки ему не хватало того, большого мира. Разве тот мир так хорош, что и вам его недостает? У Четырехглазого ничего не

было. А у вас — я. — Она со вздохом покачала головой. — Четырехглазый и умирая тосковал. Может быть, если вы останетесь здесь навсегда, вас тоже убьет тоска по тому миру? Боюсь, что я совсем не знаю, какой он, тот мир. Хотите убежать туда?

Смок не в силах был ответить, лишь уголки его губ дрогнули — и она поняла.

Минуты проходили в молчании; видно было, что Лабискви борется с собой, и Смок проклинал себя за непонятную слабость: как мог он выдать ей свою тоску по свободе, по большому миру — и не сказать о своей любви к другой женщине!

И опять Лабискви вздохнула.

— Хорошо, — сказала она. — Я так люблю вас, что даже не боюсь отца, хотя в гневе он страшней, чем снежная буря в горах. Вы рассказали мне, что такое любовь. Это — испытание любви. Я помогу вам убежать отсюда и вернуться в большой мир.

X

Смок проснулся и лежал тихо, не шевелясь. Маленькая теплая рука скользнула по его щеке, мягко легла на губы. Потом мех, от которого так и веяло морозом, защекотал его лицо, и ему шепнули на ухо одно только слово:

— Идем.

Он осторожно сел и прислушался. Сотни собак по всему становищу уже завели свою ночную песню, но сквозь вой и лай Смок расслышал совсем близко негромкое, ровное дыхание Снасса.

Лабиксви тихонько потянула его за рукав, и он понял, что надо следовать за ней. Он взял свои мокасины, шерстяные носки и в спальных мокасинах неслышно вышел наружу. У погасшего костра, при красноватом отсвете последних угольев, она знаком велела ему обуться, а сама опять скользнула в шатер, где спал Снасс.

Смок нащупал стрелки часов — был час ночи. Совсем тепло, подумал он, не больше десяти ниже нуля. Лабиксви вернулась и повела его по темным тропинкам через спящее становище. Как ни осторожно они шли, снег все же поскрипывал под ногами, но этот звук тонул в стоголосой собачьей жалобе: псы самозабвенно выли, им было не до того, чтобы залаять на проходивших мимо мужчину и женщину.

— Теперь можно и разговаривать, — сказала Лабиксви, когда последний костер остался в полумиле позади.

Она повернулась к нему — и только сейчас, в слабом свете звезд, Смок заметил, что она идет не

с пустыми руками; он дотронулся до ее ноши — тут были его лыжи, ружье, два пояса с патронами и меховые одеяла.

— Я обо всем позаботилась, — сказала она и радостно засмеялась. — Целых два дня я готовила тайник. Я снесла туда мясо, и муку, и спички, и узкие лыжи, на которых хорошо идти по насту, и плетеные лыжи, которые будут держать нас, даже когда снег станет совсем слабый. О, я умею прокладывать тропу, мы пойдем быстро, любимый.

Слова замерли на губах Смока. Удивительно уже то, что она помогла ему бежать, но что она и сама пойдет с ним, этого он никак не ожидал. Растерянный, не зная, как быть дальше, он мягко отнял у нее ношу. Потом, все еще не в силах собраться с мыслями, одной рукой обнял девушку и притянул к себе.

— Бог добрый, — прошептала Лабискви. — Он послал мне возлюбленного.

У Смока хватило мужества промолчать о том, что он хотел бы уйти один. Но прежде чем он вновь обрел дар речи, образы далекого, многоцветного мира, дальних солнечных стран вспыхнули в его памяти, мелькнули и померкли.

— Вернемся, Лабискви, — сказал он. — Ты станешь моей женой, и мы всегда будем жить с

Оленьим народом.

— Нет, нет! — Она покачала головой и вся протестующе выпрямилась в кольце его рук. — Я знаю. Я много думала. Тоска по большому миру измучит тебя, долгими ночами она будет терзать твое сердце. Она убила Четырехглазого. Она убьет и тебя. Всех, кто приходит сюда из большого мира, грызет тоска. А я не хочу, чтобы ты умер. Мы пойдем на юг и проберемся через снежные горы.

— Послушай меня, дорогая, — уговаривал он, — вернемся!

Она прижала руку в рукавице к его губам, не давая ему продолжать.

— Ты любишь меня? Скажи, любишь?

— Люблю, Лабискви. Ты моя любимая.

И снова ее рука ласково зажала ему рот.

— Идем к тайнику, — решительно сказала Лабискви. — До него еще три мили. Идем.

Смок не трогался с места, она потянула его за руку, но не могла сдвинуть. Он уже готов был сказать ей, что там, на юге, его ждет другая…

— Нельзя тебе возвращаться, — заговорила Лабискви. — Я… я только дикарка, я боюсь того большого мира, но еще больше я боюсь за тебя. Видишь, все так и есть, как ты мне говорил. Я тебя люблю больше всех на свете. Люблю больше, чем

себя. Нет таких слов в индейском языке, чтобы сказать об этом. Нет таких слов в английском языке. Все помыслы моего сердца — о тебе, они яркие, как звезды, и им нет числа, как звездам, и нет таких слов, чтобы о них рассказать. Как я расскажу тебе, что в моем сердце? Вот смотри!

Она взяла его руку и, сняв с нее рукавицу, притянула к себе, под теплый мех парки, прижала к самому сердцу. В долгом молчании Смок слышал, чувствовал, как бьется ее сердце, и знал, что каждый удар этого сердца — любовь. А потом медленно, едва заметно, все еще держа его за руку, она отстранилась, шагнула. Она вела его к тайнику — и он не мог ей противиться. Казалось, это ее сердце ведет его — сердце, которое бьется вот здесь, в его руке.

XI

Подтаявший накануне снег за ночь прихватило морозом, и лыжи легко, быстро скользили по прочному насту.

— Вот сейчас за деревьями будет тайник, — сказала Смоку Лабискви.

И вдруг она схватила его за руку, вздрогнув от испуга и изумления. Среди деревьев плясало

веселое пламя небольшого костра, а перед ним сидел Мак-Кен. Лабискви что-то сказала сквозь зубы по-индейски, — это прозвучало как удар хлыста, и Смок вспомнил, что Четырехглазый называл ее гепардом.

— Недаром я опасался, что вы сбежите без меня, — сказал Мак-Кен, когда Смок и Лабискви подошли ближе, и его колючие хитрые глаза блеснули. — Но я следил за девушкой, и когда она припрятала тут лыжи и еду, я тоже собрался в дорогу. Я захватил для себя и лыжи и еду. Костер? Не бойтесь, это не опасно. В становище все спят как убитые, а без огня я бы тут замерз, дожидаясь вас. Сейчас и пойдем?

Лабискви испуганно вскинула глаза на Смока и, тотчас приняв решение, заговорила. В своем чувстве к Смоку она была совсем девочкой, но теперь она говорила твердо, как человек, который ни от кого не ждет совета и поддержки.

— Ты собака, Мак-Кен, — процедила она сквозь зубы, с яростью глядя на него. — Я знаю, что ты задумал: если мы не возьмем тебя, ты поднимешь на ноги все становище. Что ж, хорошо. Придется тебя взять. Но ты знаешь моего отца. Я такая же, как он. Ты будешь работать наравне с нами. И будешь делать то, что тебе скажут. И если попро-

буешь устроить какую-нибудь подлость — знай, ты пожалеешь, что пошел.

Мак-Кен посмотрел на нее, и в его свиных глазках мелькнули страх и ненависть, а в глазах Лабискви, обращенных к Смоку, гнев сменился лучистой нежностью.

— Я правильно ему сказала? — спросила она.

Рассвет застал их в предгорьях, отделявших равнину, где обитало племя Снасса, от высоких гор. Мак-Кен намекнул, что пора бы и позавтракать, но они не стали его слушать. Поесть можно и позже, среди дня, когда наст подтает на солнце и нельзя будет идти дальше.

Горы становились все круче, и замерзший ручей, вдоль которого они шли, вел их по все более глубоким ущельям. Здесь не так заметно было наступление весны, хотя в одном из ущелий из-под льда уже выбивалась вольная струя и дважды они замечали на ветвях карликовой ивы первые набухающие почки.

Лабискви рассказывала Смоку, по каким местам им предстоит идти и как она рассчитывает сбить и запутать погоню. Есть только два выхода из Оленьей страны — на запад и на юг. Снасс немедля вышлет молодых охотников сторожить обе эти дороги. Но к югу ведет еще одна тропа.

Правда, на полпути, среди высоких гор, она сворачивает на запад, пересекает три горных гряды и сливается с главной южной дорогой. Не обнаружив там, на главной дороге, следов, погоня повернет назад в уверенности, что беглецы направились на запад; никто не заподозрит, что они осмелились избрать более долгий и трудный кружной путь.

Взглянув через плечо на Мак-Кена, шедшего последним, Лабискви сказала негромко:

— Он ест. Нехорошо.

Смок оглянулся. Ирландец набил карманы оленьим салом и теперь исподтишка жевал на ходу.

— Есть будете только на привале, Мак-Кен, — приказал Смок. — Впереди никакой дичи не будет, всю еду надо с самого начала делить поровну. Ведите себя честно, иначе вы нам не попутчик.

К часу дня наст сильно подтаял, и узкие лыжи стали проваливаться, а еще через час не держали уже и широкие плетеные лыжи. Впервые путники сделали привал и поели. Смок подсчитал запасы съестного. Оказалось, что Мак-Кен захватил с собой совсем мало еды. Его мешок был набит шкурками черно-бурой лисы, и для остального почти уже не оставалось места.

— Я просто не знал, что их так много, — объяснил он. — Я собирался в темноте. Зато они стоят больших денег. Оружие у нас есть, патронов много, набьем дичи — это сколько угодно.

— Волки тебя слопают, это сколько угодно, — с досадой сказал Смок, а глаза Лабискви гневно вспыхнули.

Вдвоем они рассчитали, что провизии хватит на месяц, если строго экономить и не наедаться досыта. Лабискви потребовала, чтобы и ей дали нести часть груза; после долгих споров Смок сдался и разделил всю поклажу на три части, строго определив величину и тяжесть каждого тюка.

На другой день ручей вывел их в широкую горную долину; здесь наст уже сильно подтаял, и они с большим трудом, то и дело проваливаясь, добрались наконец до склона новой горы, где под ногами была более твердая ледяная корка.

— Еще десять минут — и нам бы не перейти равнину, — сказал Смок, когда они остановились передохнуть на обнаженной вершине. — Теперь мы поднялись, должно быть, на тысячу футов.

Но тут Лабискви молча показала вниз, на равнину. Меж деревьев, рассеявшись редкой цепью, темнели пять точек. Они почти не двигались.

— Это молодые охотники, — сказала она.

— Они проваливаются чуть не по пояс, — сказал Смок. — Сегодня им уже не выбраться на твердую дорогу. Мы опередим их на несколько часов. Идемте, Мак-Кен. Да побыстрей. Есть будем, когда уже нельзя будет идти дальше.

Мак-Кен тяжело вздохнул, но в кармане у него уже не было оленьего сала, и он побрел за ними, упорно держась позади.

Они опять шли долиной, но уже значительно выше; здесь солнце растопило наст только к трем часам пополудни, а к этому времени им удалось войти в отбрасываемую горой тень, где снег уже снова подмерзал. Лишь раз они приостановились, достали оленье сало, отобранное у Мак-Кена, и съели его на ходу. Промерзшее мясо затвердело, как камень, его нельзя было есть, не разогрев на огне, а сало крошилось во рту и кое-как утоляло мучительный голод.

Только в девять часов, когда кончились долгие сумерки и под пасмурным небом воцарилась непроглядная темень, они сделали привал в рощице карликовых елей. Мак-Кен ныл и жаловался. Девять лет жизни за Полярным кругом ничему его не научили, по дороге он наглотался снега, и теперь, кроме усталости после дневного перехода, его еще мучила жажда и во рту жгло,

как огнем. Прикорнув у костра, он стонал и охал, пока Смок с Лабискви разбивали лагерь.

Лабискви была неутомима, Смок только дивился ее живости и выносливости, силе ее духа и тела. Бодрость ее не была напускной. Всякий раз, встретясь с ним глазами, она улыбалась ему и, случайно коснувшись его руки, медлила отнять свою. Но стоило ей взглянуть на Мак-Кена, как лицо ее становилось жестоким, беспощадным и глаза сверкали ледяным, недобрым блеском.

Ночью поднялся ветер, повалил снег; весь день они шли, ослепленные метелью, не разбирая дороги, и не заметили ручейка, по руслу которого надо было свернуть на запад и выйти к перевалу. Еще два дня плутали они по горам то вверх, то вниз, и наконец весна осталась позади — здесь, наверху, все еще властвовала зима.

— Теперь охотники потеряли наш след, почему бы нам не отдохнуть денек? — упрашивал Мак-Кен.

Но отдыха нельзя было себе позволить. Смок и Лабискви хорошо сознавали опасность. Они заблудились высоко в горах, где не видно было никакого следа и признака дичи. День за днем пробирались они в холодном каменном хаосе, в лабиринте ущелий и долин, которые почти

никогда не приводили на запад. Попав в такое ущелье, они вынуждены были идти до конца: по обе стороны вздымались обледенелые вершины и отвесные скалы, грозные и неприступные. Нечеловечески тяжел был их путь, холод отнимал силы, и все же пришлось еще уменьшить дневную порцию пищи.

Однажды ночью Смока разбудил шум борьбы. В той стороне спал Мак-Кен, и слышно было, как он хрипит и задыхается. Смок ногой разворошил костер, и вспыхнувшее пламя осветило Лабискви: схватив ирландца за горло, она пыталась вырвать у него изо рта кусок мяса. Смок увидел, как рука Лабискви метнулась к бедру и в ней блеснуло лезвие ножа.

— Лабискви! — властно позвал он.

Ее рука застыла в воздухе.

— Не надо, — сказал он, подойдя к ней.

Дрожа от гнева, она помедлила еще мгновение, потом рука ее нехотя опустилась и вложила нож в ножны. Словно опасаясь, что не совладает с собой, она отошла к костру и подбросила хворосту в огонь. Мак-Кен сел и, раздираемый страхом и яростью, плаксиво и злобно забормотал в свое оправдание что-то невнятное.

— Где вы взяли мясо? — спросил Смок.

— Обыщи его, — сказала Лабискви.

Это были ее первые слова, голос ее прерывался от гнева, она с трудом сдерживала себя.

Мак-Кен пытался отбиваться, но Смок взял его железной хваткой, обыскал и вытащил кусок оленины — Мак-Кен запрятал его под мышкой, чтобы отогреть. Тут внезапный вскрик Лабискви заставил его оглянуться. Она бросилась к мешку Мак-Кена и развязала его. Вместо мяса из мешка посыпались мох, хвоя, щепки, — всю эту дрянь он напихал туда, чтобы его изрядно полегчавшая ноша сохраняла прежний вид и размеры.

Лабискви вновь схватилась за нож и кинулась на вора, но Смок удержал ее, и она поникла в его объятиях, всхлипывая от бессильной ярости.

— Любимый мой, я ведь не из-за еды! — задыхаясь, говорила она. — Я о тебе, это твоя жизнь. Собака! Это он тебя, тебя пожирает!

— Ничего, мы еще поживем, — успокаивал ее Смок. — Теперь он понесет муку. Не станет же он есть ее сырой, а если попробует, я сам его убью, потому что он пожирает и твою жизнь, не только мою. — Он притянул Лабискви к себе. — Родная, убийство оставь мужчинам. Убивать — не женское дело.

— Ты бы не стал меня любить, если б я убила

этого пса? — удивилась она.

— Любил бы не так сильно, — уклончиво ответил Смок.

Лабискви вздохнула.

— Хорошо, — покорно сказала она, — я его не убью.

XII

Охотники неутомимо преследовали их. Они прекрасно знали эти места, к тому же им сопутствовала удача; раз напав на занесенный метелью след, они его уже не упускали. Когда выпадал снег, Смок и Лабискви всячески старались сбить преследователей с толку, поворачивали на восток, хотя перед ними была дорога на юг или на запад, карабкались на высокую гору, когда можно было выбрать не такой крутой подъем. Не все ли равно, ведь они уже заблудились. Но им не удавалось избавиться от погони. Иной раз они день-два не видели индейцев, но всякий раз молодые охотники Снасса появлялись опять. После снегопада, когда заметало все следы, они кидались в разные стороны, как стая гончих, и тот, кто первым вновь нападал на след, зажигал костер, дымом подавая знак товарищам.

Смок потерял счет времени, дням и ночам, метелям и привалам. Это был долгий, беспросветный кошмар, полный мук и тяжкого труда, и все же они шли вперед и вперед, и Мак-Кен, спотыкаясь, плелся позади, бормоча что-то о Сан-Франциско, заветной своей мечте. Они шли — и гигантские остроконечные вершины, суровые и невозмутимые, вставали над ними, уходя в ледяную синеву небес. Они то скользили по мрачным ущельям, среди отвесных скал, где на крутизне даже снег не держался, то пробирались оледенелыми долинами, по насквозь промерзшим озерам. Однажды ночью, в короткую передышку между двумя снежными бурями, они увидали в небе огненный отсвет далекого вулкана. Никогда больше они его не видели и даже спрашивали себя, не померещилось ли им в тот раз.

Наст заносило толстым слоем рыхлого снега, потом снег покрывался ледяной коркой, и ее вновь заносило снегом. Местами, в глубоких ущельях и долинах, они шли по толще снега во много сотен футов, а местами, в узких расселинах, где дуло, как в трубе, пересекали небольшие ледники, подметенные ветром начисто, до последней снежинки. Точно безмолвные призраки, они проползали по нависшим снеговым глыбам, го-

товым каждую секунду обрушиться лавиной, или просыпались среди ночи от грохота обвалов. На высотах, где уже не было ни леса, ни кустарника, они не могли развести огонь на привале, — надо было теплом собственного тела отогревать промороженное мясо, чтобы поесть. И все время Лабискви оставалась верна себе. Она была неизменно бодра и весела, только на Мак-Кена глядела без улыбки, и ни холод, ни оцепенение безмерной усталости не могли заглушить ее любви к Смоку.

Зорче кошки следила она за распределением их скудных припасов, и Смок видел, что каждый глоток Мак-Кена выводит ее из себя. Однажды она сама взялась делить еду, и тотчас Мак-Кен разразился неистовыми протестами: не только ему, но и себе она положила гораздо меньше, чем Смоку. После этого Смок всегда сам делил еду. Как-то всю ночь шел снег, и наутро небольшая лавина снесла их на сто ярдов по склону горы; они выбрались из-под снега задохнувшиеся, но невредимые. Однако при этом потерялся мешок Мак-Кена, где была вся их мука. Тотчас второй обвал похоронил этот мешок под снегом уже навсегда. И хоть беда случилась не по вине Мак-Кена, Лабискви с тех пор даже не смотрела в его

сторону; Смок понимал, что она боится не совладать с собой.

XIII

Стояло утро, вокруг была какая-то особенная, ничем не нарушаемая тишина, синело над головой безоблачное небо, ослепительно сверкал под солнцем снег. Они брели вверх по обледенелому откосу, которому не было ни конца, ни края, — брели медленно, точно усталые тени в этом ледяном, безжизненном мире. Ни звука, ни ветерка, все вокруг застыло и замерло. За сотни миль на горизонте вставал зубчатый хребет Скалистых Гор с острыми вершинами, видными так отчетливо, словно до них было каких-нибудь пять миль.

— Что-то будет… — прошептала Лабискви. — Ты чувствуешь? Что-то надвигается… Смотри, все так странно вокруг!

— Меня пробирает дрожь, — ответил Смок, — но это не от холода. И не от голода.

— Дрожь в мозгу, в сердце! — подхватила Лабискви. — Вот и у меня тоже.

— Нет, это не внутри, — определил Смок. — Как будто покалывает тонкими ледяными иглами. Я

чувствую это всей кожей, каждым нервом.

Минут через пятнадцать они остановились передохнуть.

— Дальних гор больше не видно, — сказал Смок.

— Воздух какой-то густой, тяжелый, — сказала Лабискви. — Дышать тяжело…

— Три солнца! — хрипло пробормотал Мак-Кен, зашатался и крепче стиснул палку, чтобы не упасть.

Два ложных солнца появились по обе стороны настоящего.

— Пять, — сказала Лабискви.

Они стояли и смотрели, и все новые солнца вспыхивали у них перед глазами.

— Господи, да их не сосчитать! — в страхе крикнул Мак-Кен.

И правда — куда ни глянь, полнеба пылало и сверкало слепящими вспышками все новых солнц.

Вдруг Мак-Кен издал пронзительный вопль изумления и боли.

— Жжет! — крикнул он и снова взвыл от боли.

Потом вскрикнула и Лабискви, и Смоку словно вонзилась в лицо ледяная игла, его обожгло, точно кислотой. Он вспомнил, как когда-то, купаясь

в море, ожегся о ядовитые стрекала медузы-сифонофоры. Ощущение было настолько сходное, что он машинально провел рукой по щеке, пытаясь отбросить жгучие нити. Внезапно раздался до странности глухой выстрел. Внизу под откосом стояли на лыжах молодые индейцы и один за другим стреляли по беглецам.

— Разойдемся! — крикнул Смок. — Лезьте вверх, в этом спасение! Мы уже почти на вершине. Они на четверть мили ниже нас, сейчас мы перевалим, пойдем под гору и далеко их опередим!

Все трое кинулись врассыпную и изо всех сил стали карабкаться вверх по снежному откосу. Невидимые воздушные жала кололи и жгли им лица. Приглушенные выстрелы странно отдавались в ушах.

— Слава Богу, — задыхаясь, проговорил Смок, — у четверых из них мушкеты, только у одного винчестер. И все эти солнца не дают им целиться. Они никак не рассчитают. Мажут на добрых сто футов.

— Видишь, отец вне себя, — отозвалась Лабискви. — Он приказал нас убить.

— Как странно, — сказал Смок, — твой голос звучит как будто очень издалека.

— Закрой рот! — крикнула вдруг Лабискви. —

Не говори, молчи! Я знаю, что это. Закрой рот рукавом, вот так, и молчи.

Мак-Кен упал первым и через силу поднялся. И потом все они падали вновь и вновь, пока не добрались до вершины. Они не могли понять, почему руки и ноги не повинуются им, все тело онемело, движения стали медленными, тяжелыми. Достигнув вершины, они оглянулись и увидели, что индейцы, поминутно спотыкаясь и падая, карабкаются вслед за ними.

— Им не дойти сюда, — сказала Лабискви. — Это белая смерть. Я ее никогда не видела, но я знаю. О ней рассказывали старики. Скоро поднимется туман — не такой, как все туманы, как бывает вечером, или перед рассветом, или в сильный мороз. Мало кто видел его и остался в живых.

Мак-Кен начал задыхаться и хватать ртом воздух.

— Закройте рот! — прикрикнул на него Смок.

Слепящий свет залил все вокруг, и Смок опять поднял глаза к бесчисленным солнцам. Они мерцали, затуманивались. В воздухе плясали мельчайшие огненные искры. Вершины гор, даже самые близкие, исчезли в этом странном и страшном тумане, и молодые индейцы, все еще упрямо пробивавшиеся вверх, к беглецам,

утонули в нем. Мак-Кен опустился в снег, сел на корточки и закрыл лицо руками.

— Вставайте, пойдем, — приказал Смок.

— Не могу, — простонал Мак-Кен.

Согнувшись в три погибели, он раскачивался из стороны в сторону. Смок направился к нему, медленно, с трудом, огромным усилием воли преодолевая оцепенение, сковавшее каждый мускул. Он отметил, что мысли его ясны. Только тело словно поражено непонятным недугом.

— Оставь его, — сердито пробормотала Лабискви.

Но Смок упорствовал; он поднял ирландца на ноги и повернул лицом к склону, по которому им предстояло спуститься. Потом подтолкнул его, и Мак-Кен, то правя, то притормаживая своей палкой, понесся на лыжах вниз и скрылся в сиянии алмазной пыли.

Смок посмотрел на Лабискви, и она улыбнулась ему, хотя еле стояла на ногах. Он кивнул ей, давая знак спускаться, но она подошла ближе — и почти рядом, в каком-нибудь десятке футов друг от друга, они одновременно помчались вниз сквозь жгучее и жалящее холодное пламя.

Как ни тормозил Смок, он был много тяжелее Лабискви и потому, опередив ее, понесся под гору

с ужасающей быстротой; ему удалось задержаться лишь далеко внизу, на ровном оледенелом плоскогорье. Здесь он дождался Лабискви, и они пошли рядом; шли все медленнее и наконец уже еле передвигали ноги. Оцепенение все больше овладевало ими, и, несмотря на отчаянные усилия, они ползли, как улитки. Они прошли мимо Мак-Кена, который опять скорчился на снегу, не сняв лыж, и Смок на ходу палкой заставил его подняться.

— Нужно остановиться, — с трудом прошептала Лабискви, — иначе мы умрем. Нужно укрыться, так говорят старики.

Она не стала развязывать узлы, а для скорости перерезала ремни, стягивавшие мешок. Смок тоже разрезал ремни своего мешка, и, в последний раз взглянув на смертоносный огненный туман и на бесчисленные солнца, они завернулись с головой в свои одеяла и крепко обнялись. Потом кто-то натолкнулся на них и упал, они услышали всхлипывания, брань, оборвавшуюся отчаянным, раздирающим кашлем, и поняли, что рядом свалился Мак-Кен.

Потом и их стало мучить удушье, внезапные, неудержимые приступы сухого кашля раздирали грудь, сотрясали все тело. Смок почувствовал,

что у него начинается жар, Лабискви тоже лихорадило все сильнее. Чем дальше, тем чаще и мучительней становились припадки кашля, и только под вечер худшее миновало. Понемногу дышать становилось легче, и в промежутках между приступами они засыпали, обессиленные.

А Мак-Кен кашлял все громче, надрывнее, они слышали его стоны и вопли и поняли, что он без сознания. Один раз Смок попытался сбросить с себя мех, но Лабискви обхватила его обеими руками.

— Нет, нет! — умоляла она. — Нельзя раскрываться, это смерть. Лежи вот так, прислонись ко мне лицом и дыши медленно, тихо, вот так, как я, и молчи.

Они дремали, лежа в темноте, приступы кашля слабели, и все же всякий раз они кашлем будили друг друга. Уже за полночь, по расчетам Смока, Мак-Кен раскашлялся в последний раз. Потом он начал стонать — глухо, непрерывно, как больное животное.

Смок проснулся оттого, что губы Лабискви коснулись его губ. Ее руки обвивали его, голова его лежала у нее на груди. Голос Лабискви звучал весело и звонко, как всегда, в нем больше не было глухих, незнакомых нот.

— Вот уже и день, — сказала она, приподнимая мех, закрывавший их лица. — Смотри, любимый, вот уже и день. И мы с тобой живы и не кашляем больше. Давай встанем, посмотрим, что делается вокруг, хотя я могла бы остаться так с тобой на веки вечные. Этот последний час мне было так хорошо. Я не спала и смотрела на тебя, я так тебя люблю.

— Мак-Кена совсем не слышно, — сказал Смок. — А что случилось с охотниками, почему они не нашли нас?

Он откинул мех, огляделся и увидел в небе лишь одно самое обыкновенное солнце. Дул легкий ветерок, еще прохладный, но обещавший в недалеком будущем теплые дни. Весь мир снова стал простым и обычным. Мак-Кен лежал навзничь, его немытое, почерневшее от дыма костров лицо окоченело, застыло, как мрамор. Лабискви это зрелище ничуть не взволновало.

— Посмотри! — воскликнула она. — Овсянка. Это добрый знак.

Погони нигде не было видно — молодые индейцы либо погибли там, за перевалом, либо повернули назад.

XIV

Еды у них оставалось совсем мало, они не смели съесть и десятой доли того, что им было необходимо, сотой доли того, что хотелось съесть; много дней блуждали они по скалистой пустыне, отупевшие, полуживые, точно во сне. Порой Смок ловил себя на том, что лепечет что-то бессмысленное и несвязное, уставясь на нескончаемые, ненавистные снежные вершины. И снова — казалось, через века — он приходил в себя от звука собственного голоса, бормотавшего что-то. Лабискви тоже почти все время была как в бреду. Они двигались машинально, ничего не сознавая. И все время они стремились на запад, и все время покрытые снегом неприступные вершины преграждали им путь, сплошные каменные стены вставали наперерез, заставляя сворачивать то к северу, то к югу.

— На юге выхода нет, — говорила Лабискви. — Старики знают. Надо идти на запад, только на запад.

Охотники Снасса больше не преследовали их, но голод гнался за ними по пятам.

Однажды вновь похолодало, повалил снег,

даже не снег, а какая-то морозная пыль, сухая и сыпучая, как песок. Так продолжалось весь день и всю ночь и еще два дня и две ночи. Нельзя было и шагу ступить, пока на весеннем солнце этот сыпучий покров не подтает и не подернется за ночь настом, — они лежали, закутавшись в меха, и отдыхали, и поэтому ели еще меньше, чем всегда. Так ничтожно мала была теперь дневная порция съестного, что она не успокаивала муки голода, терзавшие желудок, а еще больше мозг. И вот Лабискви, разом проглотив свою обычную долю — крохотный кусочек мяса, — вдруг с пронзительным радостным вскриком, всхлипывая и лепеча что-то, как зверек, накинулась на завтрашнюю порцию и жадно впилась в нее зубами.

И тут Смок увидел нечто поразительное. Вкус мяса привел Лабискви в себя. Она выплюнула жалкий кусочек мяса и яростно, изо всей силы ударила стиснутым кулаком по своим согрешившим губам.

И еще много удивительного дано было Смоку увидеть в те дни. После долгого снегопада поднялся вихрь, подхватил сухие, мелкие снежинки и закружил их, как самум кружит песок в пустыне. Всю ночь бушевала эта снежная буря; потом настал ясный, ветреный день, и при свете его Смок

огляделся; на глаза его навертывались слезы, голова кружилась, и ему казалось, что он спит или грезит. Со всех сторон высились остроконечные пики, громадные и поменьше, то одинокие, как часовой, то по несколько сразу, точно титаны, которые сошлись на совет. И над каждой горной вершиной реяли, развевались на многие мили, полыхали в лазурном небе гигантские снежные знамена, молочно-белые, туманные, переливающиеся светом и тенями, пронизанные серебром солнечных лучей.

— «Я ныне Господа узрел, грядущего во славе», — запел Смок, глядя на эти полотнища снежной пыли, развеваемые ветром, точно шелковые небесные стяги, излучающие свет.

Он смотрел и смотрел, а увенчанные знаменами снежные вершины не исчезали, и все же ему казалось, что это только сон, но тут Лабискви поднялась и присела.

— Я сплю и вижу сны, Лабискви, — сказал он. — Посмотри. Может быть, и тебе снится тот же сон?

— Это не сон, — ответила она. — Старики рассказывали мне и об этом. Значит, скоро подует теплый ветер и мы не погибнем, мы пойдем на запад — и дойдем.

XV

Смок застрелил овсянку, и они разделили ее.

Потом в долине, среди ив, на которых, хоть они и стояли в снегу, уже набухали почки, он подстрелил зайца. И наконец однажды он убил тощую белую ласку. Но больше дичи им не попадалось — ни одного живого существа, только раз высоко над головой они увидали стаю диких уток, летящих на запад, на Юкон.

— Ниже, в долинах, уже лето, — сказала Лабиск-ви. — Скоро лето настанет и здесь.

Лицо ее исхудало, но большие, сияющие глаза стали еще больше, сияли еще ярче, и вся она светлела при одном взгляде на Смока, поражая его какой-то дикой, неземной красотой.

Дни становились длиннее, снег начал оседать. Каждый день покрывавшая его ледяная корка таяла, каждую ночь его вновь схватывало морозом; беглецам приходилось пускаться в путь с рассветом и идти до поздней ночи, а среди дня, когда подтаявший наст проваливался, не выдерживая их тяжести, делать привал. Смока временно поразила снежная слепота, и Лабиск-ви, обвязавшись ремнем вокруг талии, повела

его за собой, точно на буксире. А когда она сама ослепла от сверкающего снега, уже он повел ее за собой, обвязавшись ремнем. Полумертвые от голода, они все глубже погружались в какой-то сон наяву и все шли и шли по этой воскресающей после зимы, но пустынной земле, где они были единственными живыми существами.

Как ни изнурен был Смок, он теперь засыпал со страхом, — горькие и страшные сны преследовали его в этом безумном сумеречном краю. Вечно ему снилась еда, вечно она была перед ним, у самых губ, — и в последний миг коварный властитель снов отнимал ее у него. Он задавал обеды своим старым сан-францисским друзьям и сам жадно и нетерпеливо следил за всеми приготовлениями, сам украшал стол гроздьями винограда с багряными осенними листьями. Гости запаздывали, и, пока он здоровался с ними, смеялся, отвечал шутками на шутки, его терзало одно желание — скорее сесть за стол. И вот он крадется к столу, никем не замеченный, хватает пригоршню черных спелых маслин — и, обернувшись, видит перед собой нового гостя. Остальные окружают его, и снова смех, шутки, остроты, и все время его сводит с ума мысль о спелых маслинах, которые он зажал в кулаке.

Он давал немало таких обедов и всякий раз оставался ни с чем. Он посещал пиршества, достойные Гаргантюа, где толпы гостей поедали без счета целые туши зажаренных быков, выхватывая их из огромных жаровен и острыми ножами отрезая сочные ломти дымящегося мяса. Он стоял, разинув рот, и смотрел снизу вверх на длинные ряды индеек, — их продавали лавочники в белых фартуках. И все покупали их, кроме Смока, а он никак не мог перейти оживленную, людную улицу и все стоял, как прикованный, и смотрел, разинув рот. Вот он снова ребенок, он сидит на слишком высоком стуле, размахивая ложкой, а перед ним в больших мисках — молоко и хлеб, и ему никак до них не дотянуться. То он гнался по горным пастбищам за пугливыми телками и долгие века мучился в тщетном усилии поживиться молоком, то в зловонных подземельях дрался с крысами за объедки и отбросы. Любая пища сводила его с ума, он бродил по просторным конюшням, где на целые мили тянулись стойла, в них стояли откормленные кони, и он искал, где же ведра и кормушки, куда им насыпают отруби и овес, — искал и не находил.

Только один-единственный раз сон не обманул его. Он спасся после кораблекрушения, или, быть

может, его высадили на необитаемый остров, и вот, изголодавшийся, он борется с грозным тихоокеанским прибоем, отдирает от скал двустворчатые раковины и тащит их на отмель, где вдоволь сухих водорослей, выброшенных волнами. Он разводит костер и кладет свою драгоценную добычу на уголья. Из раковин бьет пар, створки раскрываются, видна мякоть, розовая, точно лососина. Теперь они готовы, и здесь некому выхватить кусок у него изо рта. Наконец-то, думает он сквозь сон, наконец-то сон сбывается. На этот раз он поест. Он был так уверен в этом — и все же сомневался и уже готов был к неминуемому разочарованию: вот сейчас видение исчезнет… Но наконец нежно-розовая мякоть, горячая, сочная, у него во рту. Он вонзил в нее зубы. Он ест! Чудо совершилось! Это разбудило его. Он проснулся во мраке, лежа на спине, и услышал, что бормочет, и взвизгивает, и мычит от радости. Челюсти его двигались, он жевал, во рту у него было мясо. Он не шевельнулся, и скоро тонкие пальцы дотронулись до его губ и в рот ему проскользнул новый крохотный кусочек мяса. Но теперь он не стал есть — и больше от этого, чем от того, что он рассердился, горько заплакала Лабискви и еще долго всхлипывала в

его объятиях, пока наконец не уснула. А он лежал без сна, изумляясь, как чуду, силе женской любви и величию женской души.

И вот кончились их последние припасы. Неприступные вершины остались позади, уже не так круты были невысокие перевалы, наконец-то открывался перед ними путь на запад. Но и силы их пришли к концу, еды не осталось ни крошки, и однажды, проснувшись поутру, они не смогли встать. Смок кое-как поднялся на ноги, упал — и уже ползком, на четвереньках стал разводить костер. Но все попытки Лабискви оказались тщетными, — всякий раз она снова падала, совсем обессиленная. Смок упал подле нее, слабая усмешка тронула его губы, — зачем же он, как заведенный, старается разжечь никому не нужный костер? Готовить нечего и греться не надо — тепло. Ласковый ветерок вздыхает в ветвях елей, и отовсюду из-под исчезающего на глазах снега доносится звон и пение невидимых ручейков.

Лабискви лежала неподвижно, почти без дыхания, и минутами Смоку казалось, что она уже мертва. К концу дня его разбудило беличье цоканье. Волоча за собой тяжелое ружье, он потащился по талому, размякшему снегу. Он то полз на четвереньках, то вставал и, шагнув к белке, па-

дал и растягивался во всю длину, а белка сердито цокала и неторопливо, словно дразня, уходила от него. У него не было сил быстро вскинуть ружье и выстрелить, а белка ни минуты не сидела спокойно. Не раз Смок падал в снежную слякоть и плакал от слабости. И не раз огонек жизни готов был угаснуть в нем и на него обрушивалась тьма. Он не знал, сколько времени пролежал в обмороке в последний раз, но когда очнулся, был уже вечер, он весь продрог, и мокрая одежда, заледенев на нем, примерзла к насту. Белка исчезла, и, усталый, измученный, он все же кое-как приполз назад к Лабискви. Он так ослабел, что проспал всю ночь мертвым сном и никакие сновидения не тревожили его.

Солнце уже поднялось, все та же белка стрекотала в ветвях, когда он проснулся оттого, что рука Лабискви коснулась его щеки.

— Положи руку мне на сердце, любимый, — сказала она ясным, но еле слышным голосом, прозвучавшим словно издалека. — В моем сердце — любовь, моя любовь в твоей руке.

Казалось, прошли часы, прежде чем она снова заговорила:

— Помни, на юг дороги нет. Олений народ хорошо это знает. Иди на запад… там выход… ты

почти дошел… ты дойдешь…

Смок забылся сном, похожим на смерть, но еще раз Лабискви разбудила его.

— Поцелуй меня, — сказала она. — Поцелуй, и я умру.

— Мы умрем вместе, любимая, — ответил он.

— Нет! — Чуть заметным, бессильным движением руки она заставила его замолчать.

Слабый голос ее звучал едва слышно, и все же Смок расслышал каждое слово. С трудом дотянувшись до капюшона своей парки, она вытащила из его складок небольшой мешочек и вложила ему в руку.

— А теперь поцелуй меня, любимый. Поцелуй меня и положи руку мне на сердце.

Он прижался губами к ее губам, и снова тьма нахлынула на него, а когда сознание вернулось, он понял, что теперь он один и скоро умрет. И устало обрадовался тому, что скоро умрет.

Он ощутил под рукой мешочек и, мысленно посмеиваясь над своим любопытством, потянул завязки. Из мешочка посыпались крохи съестного. Он узнал каждую крошку, каждый кусочек — все это Лабискви украла сама у себя. Тут были остатки лепешек, припрятанные давным-давно, когда еще Мак-Кен не потерял мешка с мукой;

надкусанные ломтики и обрезки оленьего мяса и крошки оленьего сала; задняя нога зайца, даже не тронутая; задняя ножка белой ласки и часть передней ножки; лапка овсянки и ее крылышко, которое Лабисквы надкусила, но не стала есть… жалкие огрызки, трагические жертвоприношения: она отдавала свою жизнь, эти крохи отнимала у нее, терзаемой голодом, безмерная любовь.

С безумным смехом он отбросил все это на лед и снова забылся.

Ему приснился сон. Юкон пересох. Он бродил по обнажившемуся дну, среди грязных луж и изодранных льдами скал, подбирая крупные самородки. Их тяжесть начинала утомлять его, но тут он открыл, что они съедобные. И он стал жадно есть. В конце концов что толку было бы в золоте, которое люди ценят так высоко, если бы им нельзя было насытиться?

Когда Смок проснулся, настал новый день. Сознание его странно прояснилось. Глаза уже не застилала пелена. Он больше не ощущал знакомой голодной дрожи во всем теле. Радостная легкость пронизывала все его существо, точно в него вливалась весна. Блаженное чувство охватило его. Он обернулся, чтобы разбудить Лабисквы,

увидел ее и вспомнил все. Он стал искать глазами крохи пищи, которые накануне разбросал по снегу. Они исчезли. И он понял, что это и были золотые самородки его сна, его бреда. В бреду, во сне он вернулся к жизни, ибо Лабискви отдала ему свою жизнь; она вложила ему в руку свое сердце и открыла ему глаза на тайну, имя которой — душа женщины.

Он поразился тому, что может двигаться с такой легкостью, — у него хватило сил отнести ее закутанное в меха тело к обнажившемуся на солнце песчаному откосу, подрубить его топором и похоронить Лабискви под обвалом.

Три дня, не имея больше ни крошки во рту, он пробирался на запад. На третий день он свалился под одинокой елью на берегу большой реки, уже свободной ото льда, и понял, что это Клондайк. Слабость и забытье одолевали его, но он еще успел развязать свою поклажу, улыбнуться на прощание сияющему миру и закутаться в одеяло.

Разбудило его сонное попискиванье. Уже наступили сумерки. В ветвях ели у него над головой примостились на ночлег белые куропатки. Острый голод заставил его действовать, хотя все движения его были бесконечно медленны. Долгих пять минут прошло, пока ему удалось

наконец поднять ружье к плечу, еще пять минут, лежа на спине, он старательно целился вверх и все не решался спустить курок. Потом выстрелил и промахнулся. Ни одна куропатка не упала, но ни одна и не улетела. Они только сонно, бессмысленно копошились и шуршали в ветвях. Плечо у него болело. Второй выстрел пропал, потому что он невольно вздрогнул от боли, нажимая курок. Должно быть, в один из этих трех дней он упал и расшиб плечо, хотя нипочем не мог вспомнить, когда и как это случилось.

Куропатки не улетели. Он свернул одеяло, осторожно засунул его между правым боком и рукой. Уперев приклад ружья в этот меховой сверток, он выстрелил еще раз, и с дерева упала куропатка. Он жадно схватил ее, но мяса почти не оказалось, — пуля крупного калибра вырвала его, оставив только жалкий комок измятых перьев. А куропатки все не улетали, и он решил: стрелять — так только в голову! Теперь он целил только в голову. Он заряжал все снова и снова… Мимо… Попал! Глупые куропатки, которым лень было улететь, дождем посыпались на него — он отнимал у них жизнь, чтобы утолить свой голод, чтобы жить. Их было девять, и вот наконец он свернул шею девятой. И потом долго лежал, не

шевелясь, и сам не понимал, почему он и смеется и плачет.

Первую куропатку он съел сырую. Потом лег и уснул, и эта поглощенная им жизнь вернула к жизни его тело. Среди ночи он проснулся, мучимый голодом, и у него хватило сил развести огонь. До самого рассвета он жарил куропаток и ел, и его стосковавшиеся от безделья челюсти перетирали в порошок хрупкие косточки. Потом он весь день спал, проснулся среди ночи и снова уснул, и его разбудило солнце нового дня.

С удивлением он увидел, что костер ярко разгорелся, пожирая свежую порцию хвороста, а сбоку на угольях стоит закопченный кофейник, окутанный облаком пара. У огня, так близко, что Смок мог бы дотянуться до него рукой, сидел Малыш, курил самокрутку и пристально, зорко всматривался в лицо друга. Губы Смока дрогнули, но ему не удалось выговорить ни слова: что-то перехватило горло, в груди закипали слезы. Он протянул руку за самокруткой и жадно вдохнул дым, еще и еще.

— Давно я не курил, — негромко, спокойно сказал он наконец. — Очень, очень давно.

— И не ел, как видно, вон до чего отощал, — ворчливо прибавил Малыш.

Смок кивнул и показал на белые перья куропаток, раскиданные вокруг.

— Зато недавно поел, — ответил он. — Вот от чашки кофе я бы не отказался. Я уже забыл, какой у него вкус. И от лепешек не откажусь и от сала.

— И от бобов? — подсказал Малыш.

— Ну, бобы — это пища богов! Оказывается, я опять изрядно проголодался.

Один стряпал, другой ел — и между делом они коротко рассказали друг другу, что с каждым произошло с тех пор, как они расстались.

— Клондайк вскрылся, — сказал в заключение Малыш, — надо было дождаться, пока пройдет лед. Собрал я шестерых ребят — молодец к молодцу, ты их всех знаешь, — снарядили мы две лодки. Двинулись полным ходом, где шестами отпихивались, где бечевой тянули, где волоком волокли. Но на водопадах пришлось бы застрять на целую неделю. Тут я оставил ребят перетаскивать лодки через скалы. Чуяло мое сердце, что надо поторапливаться. Прихватил побольше еды и пошел. Я так и знал, что отыщу тебя где-нибудь тут еле живого.

Смок кивнул и крепко стиснул руку Малыша.

— Что ж, пойдем, — сказал он.

— Ну нет, дудки! — возмутился Малыш. — Мы с

места не двинемся по крайней мере дня два. Тебе надо отдохнуть и подкормиться.

Смок покачал головой.

— Да ты посмотри на себя, — уговаривал Малыш.

Зрелище было неутешительное. Смок оброс бородой, но видно было, что лицо у него жестоко обморожено — черно-багровое и все в струпьях. Щеки провалились, и даже сквозь бороду и усы, кажется, можно было пересчитать все зубы под натянувшейся кожей. Так же туго она обтягивала и лоб и скулы под глубоко запавшими глазами. Клочковатая борода была не золотистая, как ей бы полагалось, а грязно-черная, опаленная у костров на привалах, и вся в копоти.

— Давай укладывай вещи, — сказал Смок. — Мне надо идти.

— Ты же слаб, как младенец. Ты не можешь и шагу ступить. И что за спешка?

— Малыш, я иду за тем, что всего дороже на Клондайке, и я не могу ждать. Вот и все. Давай укладывайся. Дороже этого нет ничего в целом мире. Перед этим ничто золотые озера и золотые горы, и жизнь, полная приключений, это даже лучше, чем быть настоящим мужчиной и питаться медвежатиной.

У Малыша глаза на лоб полезли от изумления.

— Боже милостивый, — сказал он хрипло. — Да ты что? Совсем спятил?

— Вовсе нет. Наверно, человеку не мешает хорошенько поголодать, и тогда у него раскроются глаза. Во всяком случае, я научился видеть. Я увидел такое… Прежде мне и не снилось, что это возможно. Теперь я знаю, что такое женщина.

Малыш уже открыл рот, губы его насмешливо вздрагивали, глаза смеялись, но Смок не дал ему сострить.

— Не надо, — сказал он мягко. — Ты не знаешь, а я знаю.

И Малыш удержался от шутки.

— Ха, — сказал он, — мне и гадать не надо, и так ясно, кто она. Все кинулись осушать Нежданное озеро, а Джой Гастелл и с места не тронулась. Она сидит в Доусоне и ждет, когда я вернусь и привезу тебя. А если не привезу, она поклялась продать все, что у нее есть, и нанять целую армию охотников, и отправиться в Оленью страну, и вышибить дух из старика Снасса и всей его орды… Но постой, куда же ты, дай я хоть уложусь, пойдем вместе!

ДЖЕК ЛОНДОН «РОЖДЕННАЯ В НОЧИ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Рожденная в Ночи

Вечер был жаркий, какие не часто выдаются даже в Сан-Франциско, и в раскрытые окна старинного клуба Алта-Иньо проникал далекий и глухой шум улиц. Разговор зашел о законах против взяточничества, о том, что если его не пресекут, то, по всем признакам, город будет наводнен преступниками. Приводились всевозможные примеры человеческой низости, злобы, нравственной испорченности. Под конец кто-то вспомнил о вчерашнем происшествии, и было произнесено имя О'Брайена, популярного молодого боксера, накануне вечером убитого на ринге. Это имя сразу словно внесло свежую струю в атмосферу комнаты. О'Брайен был целомудренный юноша, идеалист. Он не пил, не курил, не сквернословил и был прекрасен, как молодой бог. Он даже на ринг носил с собой молитвенник. Молитвенник этот нашли в его уборной, в кармане пальто… после его смерти.

Он был воплощением юности, чистой, здоровой, ничем не запятнанной юности, к которой с восторгом взывают люди, когда они уже ее утратили и к ним подкрадывается старость. И

в этот вечер мы так усиленно взывали к ней, что пришла Мечта и на время увлекла нас в мир романтики, далеко от этого города, сердито шумевшего за окном. Такое настроение отчасти было навеяно отрывками из Торо, которые вздумал прочесть нам Бардуэл. Однако не он, а лысый и обрюзгший Трифден предстал перед нами в этот вечер в роли романтического героя. Слушая его рассказ, мы сперва спрашивали себя, сколько же стаканов виски он поглотил после обеда, но скоро забыли и думать об этом.

— Случилось это в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, мне было тогда тридцать пять лет, — начал Трифден. — Знаю, вы сейчас мысленно подсчитываете… Ну что ж, от правды не уйдешь — мне сорок семь, а на вид можно дать на десять лет больше, и доктора говорят… ну, да к черту всех докторов!

Он поднял высокий бокал к губам и пил медленно, чтобы успокоиться.

— Но я был молод… когда-то. Да, двенадцать лет назад на голове у меня была не лысина, а густая шевелюра, я был крепкий парень, стройный и подтянутый, как спортсмен, и самый долгий день казался мне слишком коротким. Ты же помнишь, Милнер, мы с тобой давно знакомы. Ну, скажи,

разве я не был молодцом хоть куда?

Милнер кивнул головой. Он, как и Трифден, был горным инженером и тоже сколотил себе состояние в Клондайке.

— Ты прав, старик, — сказал Милнер. — Никогда не забуду, как ты разделался с лесорубами в тот вечер, когда какой-то корреспондентишка затеял скандал. В то время Слэвин был в отъезде, — пояснил он нам, — и его управляющий натравил своих людей на Трифдена.

— А полюбуйтесь на меня сейчас, — с горечью сказал Трифден. — Вот что сделала со мной золотая лихорадка. У меня Бог знает сколько миллионов, а в душе — пустота и в жилах ни капли горячей красной крови. Я теперь вроде медузы — огромная студенистая масса протоплазмы… Брр!

Голос его оборвался, и он для утешения снова отхлебнул из стакана.

— В те дни женщины заглядывались на меня. На улице они оборачивались, чтобы взглянуть еще раз. Странно, что я так и не женился… Все из-за той девушки… О ней-то я и хотел вам рассказать. Я встретил ее за тысячу миль — а то и еще дальше — от всех мест, где живут белые люди. И это она процитировала мне те самые строки Торо, которые только что читал Бардуэл, — о богах,

рожденных при свете дня, и богах, рожденных в ночи.

Это было после того, как я обосновался на Голстеде, не подозревая даже, каким золотым дном окажется этот ручей. Я отправился на восток через Скалистые Горы к Большому Невольничьему озеру. На севере Скалистые Горы не просто горный кряж: это рубеж, стена, за которую не проникнешь. В старые времена бродячие охотники изредка переходили эти горы, но большинство таких смельчаков погибало в пути. Именно потому, что это считалось трудным делом, я и взялся за него. Таким переходом мог гордиться любой. Я и сейчас горжусь им больше, чем всем, сделанным мною в жизни.

Я очутился в неведомой стране. Ее огромные пространства еще никем не были исследованы. Здесь никогда не ступала нога белого человека, а индейские племена пребывали почти в таком же первобытном состоянии, как десять тысяч лет назад… Я говорю — почти, так как они уже и тогда изредка вступали в торговые сношения с белыми. Времяот времени отдельные группы индейцев переходили горы с этой целью. Но даже Компании Гудзонова залива не удалось добраться до их стоянок и прибрать их к рукам.

Теперь о девушке. Я поднимался вверх по ручью, который в Калифорнии считался бы рекой, ручью безыменному и не нанесенному ни на одну карту. Вокруг расстилалась прекрасная долина, то замкнутая высокими стенами каньонов, то открытая. Трава на пастбищах была почти в человеческий рост, луга пестрели цветами, там и сям высились кроны великолепных старых елей. Мои собаки, тащившие весь груз на своих спинах, окончательно выбились из сил, и лапы у них были стерты до крови. Я стал разыскивать какую-нибудь стоянку индейцев, у которых надеялся достать нарты и нанять погонщиков, чтобы с первым снегом продолжать путь.

Стояла поздняя осень, и меня поражала стойкость здешних цветов. По всей видимости, я находился где-то в субарктической Америке, высоко в Скалистых Горах, а между тем вся земля была покрыта сплошным ковром цветов. Когда-нибудь туда придут белые и засеют эти просторы пшеницей.

Наконец я заметил дымок, услышал лай собак — индейских собак — и дошел до становища. Там было, вероятно, человек пятьсот индейцев, а по количеству навесов для вяления мяса я понял, что осенняя охота была удачной. И здесь-то я

встретил ее, Люси. Так ее звали. С индейцами я мог объясняться только жестами, пока они не привели меня к большому вигваму — это что-то вроде шатра, открытого с той стороны, где горит костер. Вигвам был весь из золотисто-коричневых лосиных шкур. Внутри царили чистота и порядок, каких я не встречал ни в одном жилище индейцев. Постель была постлана на свежих еловых ветках: на них лежала груда мехов, а сверху — одеяло из лебяжьего пуха, белого лебяжьего пуха. Мне не доводилось видеть ничего подобного этому одеялу! И на нем, скрестив ноги, сидела Люси. Кожа у нее была смуглая, орехового цвета. Я назвал ее девушкой. Нет, это была женщина, смуглая амазонка, царственная в своей пышной зрелости. А глаза у нее были голубые. Да, вот что тогда меня потрясло: ее глаза, темно-голубые — в них как будто смешались синева моря с небесной лазурью — и умные. Более того, в них искрился смех, жаркий, напоенный солнцем, в них было что-то глубоко человеческое и вместе с тем… как бы это объяснить… бесконечно женственное. Что вам еще сказать? В этих голубых глазах я прочел и страстное томление, и печаль, и безмятежность, полную безмятежность, подобную мудрому спокойствию философа.

Неожиданно Трифден прервал свой рассказ.

— Вы, друзья, наверно, думаете, что я хлебнул лишнего. Нет. Это только пятый стакан после обеда. Я совершенно трезв и настроен торжественно. Ведь сейчас со мной говорит моя былая благословенная молодость. И не «старый Трифден», как называют меня теперь, а моя молодость утверждает, что это были самые удивительные глаза, какие я когда-либо видел: такие спокойные и в то же время тоскующие, мудрые и пытливые, старые и молодые, удовлетворенные и ищущие. Нет, друзья, у меня не хватает слов описать их. Когда я расскажу вам о ней, вы все сами поймете…

Не поднимаясь с места, она протянула мне руку. «Незнакомец, — сказала она, — я очень рада вам».

Знаете вы резкий северо-западный говор? Вообразите мои ощущения. Я встретил женщину, белую женщину, но этот говор! Чудесно было здесь, на краю света, встретить белую женщину, но ее говор, ей-богу, причинял боль! Он резал уши, как фальшивая нота. И все же эта женщина обладала поэтической душой. Слушайте — и вы поймете это.

Она сделала знак — и, верите ли, индейцы тотчас вышли. Они беспрекословно повиновались

ей, как вождю. Она велела мужчинам соорудить для меня шатер и позаботиться о моих собаках. Индейцы выполнили ее приказания. Они не позволили себе взять из моих вещей даже шнурка от мокасин. Они видели в ней ту. Которой Следует Повиноваться. Скажу вам, меня пронизала дрожь при мысли, что здесь, за тысячу миль от ничьей земли, белая женщина повелевает племенем дикарей.

«Незнакомец, — сказала она, — я думаю, вы первый белый человек, проникший в эту долину. Сядьте, поговорим, а потом и поедим. Куда вы держите путь?»

Меня снова покоробил ее выговор. Но вы пока забудьте о нем. Уверяю вас, я и сам забыл о нем, сидя там, на лебяжьем одеяле, и слушая эту замечательную женщину, которая словно сошла со страниц Торо или другого поэта.

Я прожил неделю в той долине. Она сама пригласила меня. Обещала дать мне собак, нарты и проводников, которые укажут мне самую удобную дорогу через перевал в пятистах милях от их становища. Ее шатер стоял в стороне от других, на высоком берегу реки, а несколько девушек-индианок стряпали для нее и прислуживали ей. Мы беседовали с ней, беседовали без конца, пока

не пошел первый снег и не установился санный путь. И вот что Люси рассказала мне: она родилась на границе, в семье бедных переселенцев, знаете, какая у них жизнь: работа, работа, которой не видно конца.

«Я не замечала красоты мира, — рассказывала она. — У меня не было времени. Я знала, что она рядом, повсюду вокруг нашей хижины, но нужно было печь хлеб, убирать, стирать и делать всякую другую работу. Порой я умирала от желания вырваться на волю, особенно весной, когда пение птиц просто сводило меня с ума. Мне хотелось бежать далеко в высокой траве пастбищ, чтобы ноги мокли от росы, перелезть через изгородь и уйти в лес, далеко-далеко, до самого перевала, чтобы оттуда увидеть все. Хотелось бродить по каньонам, у озер, дружить с выдрами и пятнистыми форелями, тихонько подкравшись, наблюдать за белками, кроликами, за всякими зверьками, посмотреть, чем они заняты, выведать их тайны. Мне казалось, что, будь у меня время, я бы все время лежала в траве среди цветов и могла бы услышать, о чем они шепчутся между собой, рассказывая друг другу то, чего не знаем только мы, люди».

Трифден подождал, пока наполнят его стакан.

— А в другой раз она сказала:

«Меня мучило желание бродить по ночам, как дикие звери, при свете луны, под звездами, бежать обнаженной, чтобы мое белое тело ласкал прохладный бархат мрака, бежать не оглядываясь. Как-то раз вечером, после тяжелого, очень жаркого дня — в этот день все не ладилось у меня, масло не сбивалось, — я была раздражена, измучена и сказала отцу, как мне хочется иногда бродить ночью. Он испуганно и удивленно посмотрел на меня, дал две пилюли и велел лечь в постель и хорошенько выспаться, тогда я утром буду здорова и весела. С тех пор я больше никому не поверяла свои мечты».

Хозяйство их пришло в полный упадок, семья голодала, и они перебрались в Сиэтл. Там Люси работала на фабрике, где рабочий день долог и работа изнурительная, тяжелая. Спустя год она поступила официанткой в дешевый ресторан, харчевню, как она называла его.

«Я думаю, — сказала мне однажды Люси, — что у меня всегда была потребность в романтике. А какая же романтика в сковородах и корытах, на фабриках и в дешевых ресторанах?»

Когда ей исполнилось восемнадцать лет, она вышла замуж за человека, который собирался

открыть ресторан в Джуно. У него были небольшие сбережения, и ей он казался богачом. Люси не любила его — в разговорах со мной она всегда это подчеркивала, — но она очень устала, и ей надоело тянуть лямку изо дня в день. К тому же Джуно находится на Аляске, и Люси захотелось увидеть этот край чудес. Но мало ей довелось увидеть. Муж ее открыл дешевый ресторан, и очень скоро Люси узнала, для чего он женился на ней: просто чтобы иметь даровую служанку. Скоро ей всем пришлось заправлять и делать всю работу, начиная от обслуживания посетителей и кончая мытьем посуды. Кроме того, она целый день стряпала. Так она прожила четыре года.

Можете себе представить это дикое лесное существо с первобытными инстинктами, жаждущее свободы, заточенное в грязный кабак и принужденное выполнять каторжную работу на протяжении четырех убийственных лет!

«Все было так бессмысленно, — говорила она. — Кому это было нужно? Для чего я родилась? Неужели весь смысл существования в том, чтобы работать, работать и всегда быть усталой? Ложиться спать усталой, вставать усталой; и каждый день как две капли воды похож на другой или еще тяжелее!» От разных святош она

слышала разговоры о бессмертии, но сомневалась в том, чтобы ее земная жизнь была залогом бессмертия.

Мечты о другой жизни не переставали волновать ее, хотя они приходили все реже. Она прочла несколько книг — не знаю, какие именно, — вероятно, романы из серии «Библиотека Приморья», но даже они давали пищу ее фантазии.

«Иногда, — рассказывала она, — у меня так кружилась голова от кухонной жары и чада, что казалось: если я не глотну свежего воздуха, то упаду в оборок. Я высовывалась из окна, закрывала глаза, и передо мной вставали самые удивительные картины. Мне представлялось, что я иду по дороге, а кругом — такая тишина, такая чистота: ни пыли, ни грязи. В душистых лугах журчат ручейки, играют ягнята, ветерок разносит запахи цветов, и все залито мягким солнечным светом. Коровы лениво бродят по колено в воде, и девушки купаются в ручье, такие беленькие, стройные. Мне казалось, будто я нахожусь в Аркадии. Я читала про эту страну в какой-то книге. А может быть, — мечтала я, — из-за поворота дороги выедут вдруг верхом рыцари в сверкающих на солнце доспехах или дама на белой, как снег, лошади. Где-то вдали мне мерещились башни

замка. Или вдруг чудилось, что за следующим поворотом я увижу белый, словно сотканный из воздуха, сказочный дворец с фонтанами, цветами и павлинами на лужайке… А когда я открывала глаза, кухонный жар снова ударял мне в лицо, и я слышала голос Джейка, моего мужа: „Почему ты не подаешь бобов? Думаешь, я буду ждать целый день?“ Романтика! Пожалуй, я была ближе всего к ней в тот день, когда пьяный повар-армянин поднял скандал и пытался перерезать мне горло кухонным ножом, а я уложила его на месте железной ступкой, которой толкла картофель, но раньше обожгла себе руку о горячую плиту.

Я мечтала о беззаботной, радостной жизни, красивых вещах… однако мне часто приходило в голову, что счастье не суждено мне и мой удел — только стряпня и мытье посуды. В то время в Джуно разгульное было житье. Я видела, как вели себя другие женщины, но их образ жизни не соблазнял меня. Я хотела быть чистой; не знаю, почему, но вот хотелось так. Не все ли равно — умереть за мытьем посуды или так, как умирали эти женщины?»

Трифден на мгновение умолк, словно желая собраться с мыслями.

— Да, вот какую женщину я встретил там: она

была вождем племени диких индейцев и владела территорией в несколько тысяч квадратных миль. И случилось это довольно просто, хотя, казалось, ей суждено было жить и умереть среди горшков и сковородок. Мечта ее осуществилась.

«Настал день моего пробуждения, — рассказывала она, — в этот день мне случайно попал в руки клочок газеты со словами, которые я помню до сих пор». И она процитировала мне строки из книги Торо «Вопль человека»:

«Молодые сосны вырастают в маисовом поле из года в год, и это для меня явление отрадное. Мы говорим, что надо цивилизовать индейцев, но это не сделает их лучше, Оставаясь воинственным и независимым, живя уединенной жизнью в лесу, индеец не утратил связи со своими богами, и время от времени ему выпадает счастье редкого и своеобразного общения с природой. Ему близки звезды и чужды наши кабаки. Неугасимый свет его души кажется тусклым, ибо он далек нам. Он подобен бледному, но благодетельному свету звезд, соперничающему с ослепительно ярким, но вредным и недолговечным пламенем свечей.

У жителей островов Товарищества были боги, рожденные при свете дня, но они считались менее древними, чем боги, рожденные в ночи…»

Люси процитировала эти строки все от слова до слова, и они в ее устах звучали торжественно, как догмат веры — правда, языческой, но вобравшей в себя всю живую силу ее мечты.

«Вот и все: остальное было оторвано, — добавила Люси с глубокой печалью в голосе. — Ведь это был только клочок газеты. Торо — мудрый человек. Хотелось бы побольше узнать о нем».

Она помолчала, и, клянусь вам, ее лицо было невыразимо прекрасно и невинно, как лицо святой, когда она сказала через минуту: «Я была бы для него подходящей женой».

Затем она продолжала свой рассказ:

«Как только я прочла эти строки, мне сразу стало понятно то, что творилось со мной. Видно, я рожденная в ночи. Всю жизнь я прожила среди рожденных днем, а сама была рожденной в ночи. Вот почему мне не мила была такая жизнь, эта стряпня и мытье посуды, вот почему мне так хотелось бегать обнаженной при лунном свете. Я поняла, что грязный кабак в Джуно не место для меня. И вот тогда-то я и сказала: „Довольно“. Я уложила свою жалкую одежонку и вышла. Джейк пытался удержать меня.

— Что это ты задумала? — спросил он.

— Ухожу в лес, туда, где мне место.

— Никуда ты не пойдешь, — говорит он и хватает меня за плечи. — Это у тебя от жары в кухне разум помутился. Выслушай меня прежде, чем натворишь бед.

Но я направила на него револьвер, маленький кольт-44, сказала: «Вот мой ответ», — и ушла».

Трифден осушил свой стакан и потребовал другой.

— Знаете, что сделала эта девушка? Ей было тогда двадцать два года. Она провела всю жизнь на кухне и знала о мире не больше, чем я о четвертом или пятом измерении. Перед ней были открыты все пути, однако она не пошла в кабак. Она пошла прямо на берег, так как на Аляске предпочитают путешествовать водным путем. Как раз в это время индейская пирога отправлялась в Дайю — вы знаете лодки этого типа, выдолбленные из ствола дерева, узкие, глубокие, длиной футов в шестьдесят. Люси заплатила индейцам несколько долларов и села в лодку.

«Романтика? — говорила она мне. — Романтика началась с первой же минуты. В лодке было, кроме меня, три семьи, так что нельзя было пошевелиться. Под ногами вертелись собаки и ребятишки, и веем приходилось грести, чтобы лодка двигалась. А вокруг высились величествен-

ные горы, и над ними облака то и дело скрывали солнце. А тишина какая! Дивная тишина! Иногда где-то вдалеке, среди деревьев, мелькал дымок на охотничьей стоянке. Это путешествие напоминало пикник, веселый пикник, и я уже верила, что мои мечты сбудутся, и все время ожидала, что случится что-то необыкновенное. И оно случилось.

А первый привал на острове! А мальчики, бьющие рыбу острогой! А большой олень, которого один из индейцев уложил на месте! Везде вокруг росли цветы, а подальше от берега трава была густая, сочная, в человеческий рост. Несколько девушек вместе со мной взбирались на холмы, собирали ягоды и коренья, кисловатые, но приятные на вкус. В одном месте мы набрели на большого медведя, который ужинал ягодами. Он зарычал и обратился в бегство, испуганный не меньше, чем мы. А жизнь в лагере, дым костра и запах свежей оленины! Это было восхитительно! Наконец-то я была с рожденными в ночи и чувствовала, что мое место здесь, среди них! В эту ночь, ложась спать, я подняла угол шатра и смотрела на звезды, сверкавшие за черными уступами гор, слушала голоса ночи и впервые в жизни чувствовала себя счастливой, зная, что

так будет и завтра, и послезавтра, всегда, всегда, ибо я решила не возвращаться; И я не вернулась.

Романтика! Я узнала ее на следующий день. Нам нужно было перебраться через большой морской рукав шириной не менее чем в двенадцать-пятнадцать миль. И вот, когда мы были на середине его, поднялась буря. Эту ночь я коротала на берегу одна с огромным волкодавом, так как больше никого не осталось в живых».

— Вообразите себе, — сказал, прерывая рассказ, Трифден, — лодка перевернулась и затонула, а все люди погибли, разбившись о скалы. Только Люси, ухватившись за хвост собаки, добралась до берега, избежав скал, и очутилась на крохотной отмели, единственной на протяжении многих миль.

«К счастью, это был материк, — сказала она. — Я пошла вглубь, прямо через леса и горы, куда глаза глядят. Можно было подумать, что я ищу чего-то, — так спокойно я шла. Я ничего не боялась. Ведь я была рожденной в ночи, и огромный лес не мог погубить меня. А на второй день я нашла то, что мне было нужно. Я увидела полуразвалившуюся хижину на маленькой просеке. Она пустовала, должно быть, уже много лет. Крыша провалилась. На койках лежали истлевшие одеяла, а на

очаге стояли горшки и сковородки. Но не это было самое интересное. Вы ни за что не угадаете, что я нашла за деревьями. Там оказались скелеты восьми лошадей, когда-то привязанных к дереву. Они, наверное, умерли с голоду, и от них остались только маленькие кучки костей. У каждой лошади на спине была поклажа, а теперь среди костей валялись мешки из крашеного холста, а в этих мешках находились другие, из лосиных шкур, а в них, как вы думаете, что?»

Люси нагнулась и из-под груды еловых веток, служивших ей постелью, вытащила кожаный мешок. Она развязала его, и мне в руки полился поток золота, какого я никогда не видел: здесь был крупный золотой песок, но больше всего самородков, и по цвету видно было, что все это ни разу еще не подвергалось промывке.

«Ты говоришь, что ты горный инженер, — обратилась она ко мне, — и знаешь эту страну. Можешь ты назвать ручей, где добывают золото такого цвета?»

Я не мог. Золото было почти чистым, без всякой примеси серебра, и я сказал об этом Люси.

«Верно, — подтвердила она, — я продаю его по девятнадцати долларов за унцию. За золото из Эльдорадо больше семнадцати не дают, а минук-

скому цена около восемнадцати. Я нашла среди костей восемь вьюков золота, по сто пятьдесят фунтов в каждом!

— Четверть миллиона долларов! — воскликнул я.

— Именно так выходит и по моему грубому подсчету, — сказала она. — Вот вам и романтика! Работала, как вол, все свои годы, а стоило мне вырваться на волю — и за три дня столько приключений! Что же сталось с людьми, которые добыли все это золото? Я часто думала об этом. Оставив нагруженных и привязанных лошадей, они бесследно исчезли с лица земли. Никто здесь о них не слышал, никому не известна их участь. И я, рожденная в ночи, считаю себя по праву их наследницей».

Трифден помолчал, закуривая сигару.

— Знаете, что сделала эта женщина? Она спрятала все золото и, захватив с собой только тридцать фунтов, отправилась на берег. Здесь она подала сигнал плывшей мимо лодке и в ней добралась до фактории Пэта Хили в Дайе. Закупив снаряжение, она перебралась через Чилкутский перевал. Это было в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, за восемь лет до открытия золота в Клондайке, когда берега Юкона еще

представляли собой мертвую пустыню. Люси боялась индейцев, но она взяла с собой двух молодых скво, перебралась через озера и спустилась вниз по реке к первым стоянкам на нижнем Юконе. Несколько лет она блуждала здесь, а затем добралась до того места, где я встретил ее. Оно ей понравилось, по ее словам, оттого, что она увидела «огромного самца-оленя, стоящего в глубине долины по колена в пурпурных ирисах». Она осталась жить с индейцами, лечила их, завоевала их доверие и постепенно стала править ими. С тех пор она только раз уходила отсюда: с группой молодых индейцев перешла Чилкут, вырыла из тайника спрятанное ею золото и перенесла его сюда.

«И вот я живу здесь, незнакомец, — закончила Люси свой рассказ, — а вот самое ценное из всего, чем я владею».

Она вытащила мешочек из оленьей кожи, который висел у нее на шее, словно медальон, и открыла его. Внутри лежал завернутый в промасленный шелк клочок газеты, пожелтевший от времени, истертый и замусоленный, на котором был напечатан отрывок из Торо.

— И вы счастливы? Довольны? — спросил я. — Имея четверть миллиона долларов, вы могли бы

жить не работая и в Штатах. Вам здесь, должно быть, очень многого не хватает.

— Не так уж много, — ответила она. — Я не поменялась бы ни с одной женщиной в Штатах. Мое место здесь, среди таких людей, как я. Правда, бывают минуты, — и в ее глазах я увидел голодную тоску, о которой уже говорил вам, — бывают минуты, когда мне страстно хочется, чтобы здесь очутился этот Торо.

— Зачем? — спросил я.

— Чтобы я могла выйти за него замуж. Временами я чувствую себя очень одинокой. Я ведь только женщина, самая обыкновенная женщина. Я слышала про женщин другого сорта, которые, как и я, сбегали из дому и проделывали удивительные вещи, например, становились солдатами или моряками. Но это странные женщины. Они и с виду больше похожи на мужчин, чем на женщин, не знают потребностей, которые есть у настоящих женщин. Они не жаждут любви, не жаждут иметь детей, держать их в объятиях и сажать к себе на колени. А я как раз такая женщина. Судите сами, разве я похожа на мужчину?

Нет, она ничуть не походила на мужчину. Она была красивая, смуглая женщина с здоровым, округлым телом и чудесными темно-голубыми

глазами.

— Разве я не женщина? — переспросила она. — Да, такая, как большинство других. И странно: оставаясь во всем рожденной в ночи, я перестаю быть ею, когда дело касается любви. Я думаю, дело в том, что люди всегда любят себе подобных. Так было и со мной — по крайней мере все эти годы.

— Неужели же… — начал я.

— Никогда, — прервала она, и по глазам я понял, что она говорит правду.

— У меня был только один муж, — я теперь мысленно называю его «Быком». Он, наверно, и сейчас держит кабак в Джуно. Навестите его, если будете в тех местах, и вы убедитесь, что он заслужил это прозвище.

Я действительно разыскал этого человека два года спустя. Он оказался именно таким, каким описала его Люси. Флегматичный, толстый — настоящий бык. Он ходил, волоча ноги, между столиками своей харчевни, прислуживая посетителям.

— Вам нужна бы жена в помощь, — сказал я ему.

— У меня она была когда-то, — ответил он.

— Овдовели?

— Да, померла жена. Она всегда твердила, что

кухонный чад ее с ума сведет. Так и случилось. В один прекрасный день она пригрозила мне револьвером и удрала с сивашами в пироге. Их настигла буря, и все погибли.

Трифден опять наполнил свой стакан и долго молчал.

— Ну, что же женщина? — напомнил Милнер. — Ты остановился на самом интересном месте. Что дальше?

— А дальше, — продолжал Трифден, — вот что: судя по ее словам, она оставалась дикаркой во всем, но мужем желала иметь человека своей расы. И она очень мило, напрямик объяснила мне, что хочет стать моей женой.

— Незнакомец, — сказала она, — вы мне очень по сердцу. Если вы осенью могли перейти Скалистые Горы и прийти сюда, значит, вам нравится такая жизнь, какую мы ведем. Здесь красивые места, лучше не сыщешь. Почему бы вам не остаться здесь? Я буду хорошей женой.

Она ждала ответа. Должен признаться, соблазн был велик. Я уже почти влюбился в нее. Ведь вы знаете, я так и не женился. И теперь, оглядываясь на прожитую жизнь, могу сказать, что Люси была единственной женщиной, к которой меня влекло. Но вся эта история казалась мне слишком

несуразной. И я солгал, как джентльмен: сказал ей, что я уже женат.

— А жена ждет тебя? — спросила она.

— Да, — ответил я.

— И она любит тебя?

— Да.

Тем и кончилось. Люси больше никогда не возвращалась к этому разговору… кроме одного раза, когда ее страсть прорвалась наружу.

— Мне стоит лишь приказать, — сказала она, — и ты не уйдешь отсюда… Да, стоит мне сказать слово — и ты останешься здесь. Но я не произнесу его. Я не хочу тебя, если ты не хочешь меня и тебе не нужна моя любовь.

Она вышла и приказала, чтобы меня снарядили в дорогу.

— Право, это очень печально, что ты уезжаешь, — сказала она, прощаясь со мной. — Ты мне нравишься, я полюбила тебя. Если когда-нибудь передумаешь, возвращайся сюда.

А мне в ту минуту очень хотелось поцеловать ее, ведь я был почти влюблен, но я стеснялся. И к тому же не знал, как она отнесется к этому. Она сама пришла ко мне на помощь.

— Поцелуй меня, — сказала она, — поцелуй, чтобы было о чем вспомнить.

И мы поцеловались там, в снежной долине у Скалистых Гор. Я оставил. Люси на краю дороги и пошел вслед за своими собаками. Прошло полтора месяца прежде, чем я, одолев перевал, добрался до первого поста на Большом Невольничьем озере.

Город гремел за окнами, как отдаленный прибой. Бесшумно двигаясь, официант принес нам сифоны. В тишине голос Трифдена звучал, как погребальный колокол:

— Было бы лучше, если бы я остался там. Посмотрите на меня.

И мы посмотрели на его седеющие усы, на плешивую голову, мешки под глазами, отвислые мешки, двойной подбородок, на всю эту картину разрушения когда-то сильного и крепкого мужчины, который устал, выдохся, разжирел от слишком легкой и слишком сытой жизни.

— Еще не поздно, старик, — едва слышно сказал Бардуэл.

— Клянусь Богом, жаль, что я такой трус! — воскликнул Трифден. — Я мог бы вернуться к ней. Она и сейчас там. Я мог бы подтянуться и жить по-другому еще много лет… с ней… там, в горах. Остаться здесь — это самоубийство! Но взгляните на меня: я старик, а ведь мне всего сорок семь лет.

Беда в том, — он поднял свой стакан и посмотрел на него, — беда в том, что такое самоубийство не требует мужества. Я избаловался. Мысль о долгом путешествии на собаках пугает меня; мне страшны сильные утренние морозы, обледенелые нарты.

Привычным движением он снова поднес к губам стакан. Затем внезапно в порыве гнева сделал движение, как бы желая швырнуть его на пол. Но гнев сменился нерешительностью, затем раздумьем. Стакан опять поднялся и замер у губ. Трифден хрипло и горько рассмеялся, но слова его звучали торжественно:

— Выпьем за Рожденную в Ночи! Она была поистине необыкновенной женщиной!

Безумие Джона Харнеда

То, что я вам расскажу, — истинное происшествие. И случилось это во время боя быков в Кито. Я сидел в ложе вместе с Джоном Харнедом, Марией Валенсуэлой и Луисом Сервальосом и видел, как это случилось. Да, вся эта история от начала до конца произошла у меня на глазах.

Я ехал на пароходе «Эквадор» из Панамы в Гваякиль. Мария Валенсуэла — моя кузина. Я знаю ее с детства. Она очень красива. Я испанец, — правда, родом из Эквадора, но потомок Педро Патино, одного из капитанов Писарро. Храбрые то были люди. Герои! Триста пятьдесят испанских кабальеро и четыре тысячи индейцев повел Писарро в далекие Кордильеры на поиски сокровищ. И все четыре тысячи индейцев и триста храбрых кабальеро погибли во время этих бесплодных поисков. Но Педро Патино выжил. От него и пошел наш род Патино. Я, конечно, уроженец Эквадора, но испанец по крови. Мое имя — Мануэль де Хесуе Патино. У меня много гациенд и десять тысяч индейцев-рабов, хотя по закону они считаются свободными людьми, работающими по добровольному найму. Так называемые законы

— просто нелепость, и мы, эквадорцы, смеемся над ними. Мы сами создаем себе законы. И не они управляют нами, а мы — ими. Я — Мануэль Хесус Патино. Запомните это имя. Когда-нибудь оно будет вписано в историю. В Эквадоре у нас бывают перевороты. Мы называем их перевыборами. Шутка недурна, верно? У вас это, кажется, называется «игрой слов»?

Джон Харнед был американец. Я познакомился с ним в Панаме, в отеле «Тиволи». У него было много денег — так мне говорили. Он ехал в Лиму, но в «Тиволи» встретил Марию Валенсуэлу, мою кузину. Она красавица, поистине самая красивая женщина в Эквадоре. Впрочем, не только в Эквадоре, но и в Париже, Мадриде, Нью-Йорке, Вене — нигде нет ей равных. И все мужчины заглядываются на нее. Вот и Джон Харнед, когда встретил ее в Панаме, не мог от нее глаз отвести. Он влюбился, — это я знаю наверное. Мария — уроженка Эквадора, но в любой стране, во всем мире она как дома. Она знает множество языков. Она пела — ах, как она пела! Как настоящая артистка. Улыбка у нее была божественная. А глаза такие, что каждому мужчине непременно хотелось заглянуть в них. Это были глаза «дивные», как говорите вы, англичане, и они сулили блаженство.

Душа мужчины тонула в них, как в пучине.

Мария Валенсуэла богата, богаче меня, а я считаюсь одним из богатейших людей в Эквадоре. Но Джон Харнед не гнался за ее деньгами. Это был человек со странной, непонятной душой. Он не уехал в Лиму. Этот безумец сошел с парохода в Гваякиле и отправился за Марией в Кито. Она тогда возвращалась из Европы или откуда-то еще. Не знаю, что она нашла в этом американце, но он ей нравился, несомненно нравился, и поехал он в Кито только потому, что она его попросила об этом. Я отлично помню их разговор. Мария сказала:

— Приезжайте в Кито, я покажу вам бой быков, великолепный, искусный и смелый!

Джон Харнед возразил:

— Я еду в Лиму, а не в Кито. И билет на пароход у меня взят до Лимы.

— Но вы же путешествуете ради собственного удовольствия, не правда ли? — спросила Мария и посмотрела на него так, как только она умела смотреть; в глазах ее светилось обещание.

И американец поехал в Кито. Не ради боя быков, а ради того, что он прочел в ее глазах. Такие женщины, как Мария Валенсуэла, рождаются раз в столетие. И они не принадлежат какой-либо

одной стране или эпохе. Эти богини принадлежат всему миру. Мужчины всегда у их ног. А они играют мужчинами и пропускают их, как песок, между своих прелестных пальцев. Вот Клеопатра, говорят, была такой женщиной. Такова была и Цирцея, та, что превращала мужчин в свиней. Ха-ха-ха! Верно я говорю?..

Началось все со спора насчет боя быков. Мария Валенсуэла сказала:

— Вы, англосаксы... как бы это назвать... варвары. Возьмем, например, любимый вами бокс. Два человека дерутся на кулаках, пока один другому не сломает нос или не подобьет глаз. Какая мерзость! А зрители орут от восторга. Разве это не варварство?

— Но эти люди дерутся по собственному желанию, — возразил Джон Харнед.

— Никто их не принуждает, для них боке — самое большое удовольствие в жизни.

В улыбке Марии Валенсуэлы сквозило презрение.

— Ведь они же часто убивают друг друга, — я читала об этом в газетах.

— Ну, а быки? — сказал Джон Харнед. — Во время боя убивают не одного быка. А быки-то выходят на арену не по своей воле. Их заставляют.

Это нечестно. Людей же никто не принуждает участвовать в кулачных боях.

— Тогда это тем более непростительно! — воскликнула Мария Валенсуэла. — Значит, они звери, свирепые дикари. Выходят на арену и молотят друг друга кулаками, как пещерный медведь лапами. Совсем другое дело — бой быков. Вы никогда его не видели? Тореадор ловок, он должен быть мастером своего дела. Он не первобытный дикарь, а человек нашего времени. И сколько в этом романтики: человек, по природе своей мягкий и чувствительный, выходит на борьбу со свирепым быком. И убивает он это огромное животное шпагой, гибкой шпагой, одним ударом — вот так! — в самое сердце. Это замечательно! Сердце бьется сильнее, когда видишь такое зрелище: небольшой человек против огромного зверя, покрытая песком широкая арена, тысячи людей смотрят, затаив дыхание. Зверь бросается на человека, а человек стоит неподвижно, как статуя. Он не знает страха, не отступает, а в руке у него гибкая шпага, она серебром сверкает на солнце. Все ближе и ближе надвигаются страшные острые рога, а человек все так же недвижим. И вдруг — шпага блеснула в воздухе, вонзилась по рукоятку прямо в сердце! Бык, мертвый, падает

на песок, а человек невредим! Как это великолепно! Вот где подлинная храбрость. Право, я способна влюбиться в тореадора. А ваш боксер — просто двуногий зверь, первобытное существо, дикарь, маньяк, который принимает град ударов по своей глупой образине и доволен. Нет, едем в Кито, и я покажу вам настоящий спорт, спорт бесстрашных мужчин: тореадор против быка.

И Джон Харнед поехал в Кито, но не для того, чтобы увидеть бой быков, а для того, чтобы не расставаться с Марией Валенсуэлой. Этот американец, настоящий великан, был шире в плечах, чем мы, эквадорцы, выше ростом, массивнее. И, пожалуй, даже крупнее большинства людей своей расы. Глаза у него были голубые, но мне приходилось видеть, как они в иные минуты становились серыми и холодными, как сталь. Черты лица крупные, не такие тонкие, как у нас, а подбородок очень энергичный. Лицо гладко выбрито, как у священника. Не понимаю, с какой стати мужчине стыдиться растительности на своем лице?! Разве не Бог создал его таким? Да, я верую в Бога. Я не язычник, как многие из вас, англичан. Господь милостив, он сотворил меня эквадорцем и дал мне десять тысяч рабов. И после смерти я пойду к своему господу. Священники

говорят правду…

Итак, я хотел вам рассказать о Джоне Харнеде. Он поражал своей сдержанностью. Говорил всегда тихо и никогда при этом не размахивал руками. Можно было подумать, что у него в груди не сердце, а кусок льда. Однако, видно, в крови у него было все-таки немного жару, раз он поехал за Марией Валенсуэлой в Кито. И хотя говорил он тихо и не размахивал руками, в нем, как вы сами увидите, таился настоящий зверь, глупый и свирепый дикарь тех времен, когда человеку одеждой служили звериные шкуры и жил он в пещерах, в соседстве с медведями и волками.

Луис Сервальос — мой друг, достойнейший из эквадорцев. У него три плантации какао в Наранхито и Чобо, а в Милагро — сахарная. Он владеет большими гациендами в Амбато и Латакунге и состоит пайщиком Компании по разработке нефти на побережье. Он потратил много денег на каучуковые насаждения. Луис — человек современного типа, не хуже янки: такой же делец, как они. Денег у него куча, но они вложены в разные предприятия, и ему всегда нужны новые капиталы для поддержания этих предприятий, да и для новых сделок. Луис везде побывал и все видел. В юности он учился в американской военной

академии, которую вы называете «Вест Пойнт». Но там у него вышли неприятности, и пришлось уйти. Он не терпит американцев.

Луису Сервальосу очень нравилась Мария Валенсуэла, его соотечественница. Притом ему нужны были ее деньги для новых предприятий и для его золотых приисков в Восточном Эквадоре, где живут индейцы, которые раскрашивают себе лица. А я друг Луиса и был бы рад, если бы он женился на моей кузине. Кроме того, я вложил изрядную часть моего капитала в его предприятия, особенно в золотые прииски, — дело это сулило огромный доход, но, раньше чем обогатить нас, требовало больших затрат. А если бы Луис женился на Марии Валенсуэле, я бы сразу получил большие деньги.

Однако Джон Харнед поехал за Марией Валенсуэлой в Кито, и нам — Луису Сервальосу и мне — было совершенно ясно, что она увлечена этим американцем. Говорят, женщина всегда своего добьется, но в этом случае вышло иначе: Мария Валенсуэла не сумела навязать свою волю Джону Харнеду. Быть может, все окончилось бы точно так же, если бы в тот день меня и Луиса не было в ложе на бое быков. Но мы были там. И сейчас вы услышите, что произошло.

Нас было четверо в ложе: Луис Сервальос и мы трое, его гости. Я сидел с краю, рядом с ложей президента. С другой стороны находилась ложа генерала Хозе Салазара. В ней, кроме генерала, сидели Хоакин Эндара и Урсисино Кастильо, тоже генералы, полковник Хасинто Фьерро и капитан Бальтазар де Эчеверрия. Луис Сервальос занимал настолько видное положение в обществе, что только он мог получить ложу рядом с ложей президента. Мне даже доподлинно известно, что президент сам предложил дирекции отдать эту ложу Луису Сервальосу.

Оркестр сыграл национальный гимн Эквадора. Прошла по арене процессия тореадоров, президент дал знак начинать. Затрубили трубы, и на арену выскочил бык. Как всегда в этих случаях, ошалелый, взбешенный, потому что спину ему огнем жгли застрявшие в ней дротики, он искал врага, на ком мог бы выместить ярость. Тореадоры стояли за прикрытием и выжидали. И вот вбежали на арену кападоры, с каждой стороны по пяти, стремительно размахивая яркими плащами. При виде такого множества врагов бык остановился, не зная, на кого прежде кинуться. Тогда один из кападоров выступил ему навстречу. Бык окончательно взбесился. Он передними

ногами рыл песок с такой силой, что пыль поднялась столбом. И вдруг, наклонив голову, ринулся на кападора.

Интересное это зрелище — первое нападение первого быка! Потом, естественно, немного устаешь смотреть, и впечатления утрачивают свою остроту. Но первые моменты борьбы всегда захватывают зрителей. Джон Харнед видел бой быков впервые, и его не могло не взволновать это зрелище: человек вооружен только яркой тряпкой, а бык несется прямо на него, выставив вперед острые рога.

— Смотрите, смотрите! — воскликнула Мария Валенсуэла. — Разве это не замечательно?

Джон Харнед в ответ только кивнул, не глядя на нее. Он не отрывал горящих глаз от арены. А там кападор, увернувшись от быка и махнув плащом перед самым его носом, отошел в сторону и накинул свой плащ на плечи.

— Ну, что? — спросила Мария Валенсуэла. — Как по-вашему, это настоящий спорт?

— Да, конечно, — ответил Джон Харнед. — Очень ловкая работа!

Мария Валенсуэла от восторга хлопала в ладоши, высоко подняв маленькие руки. Хлопали и все зрители. Бык повернулся и пошел обратно.

И снова кападор ускользнул от него, набросив плащ на плечи, и публика снова зааплодировала. Это повторилось три раза. Кападор был великолепен! Наконец он ушел с арены, его сменили другие кападоры. Они продолжали дразнить быка, всаживая ему сразу по две бандерильи под лопатки и в спину. Затем выступил вперед главный матадор, Ордоньес, с длинной шпагой и в ярко-красном плаще. Завыли во всю мощь сигнальные трубы. Ордоньес, конечно, не может сравниться с Матестини, но все же он молодчина. Одним взмахом всадил шпагу прямо в сердце быку, и у быка подогнулись ноги, он свалился мертвый. Удар был превосходный, искусный и меткий. Матадору долго хлопали, а из тех рядов, где сидело простонародье, на арену полетели шляпы. Мария Валенсуэла аплодировала так же восторженно, как все, а Джон Харнед, которому даже и тут не изменило хладнокровие, с любопытством наблюдал за ней.

— Вам нравится смотреть на это? — спросил он.

— Всегда, — ответила она, продолжая аплодировать.

— С детства, — добавил Луис Сервальос. — Я помню, как ее в первый раз привели на бой бы-

ков. Ей было только четыре года. Она сидела подле матери и неистово хлопала — так же, как сейчас. Она настоящая испанка.

— Ну, вот теперь вы сами видели, — сказала Мария Валенсуэла Джону Харнеду в то время, как мертвого быка привязали к мулам и тащили с арены. — Видели бой быков. И вам понравилось, да? Я хочу знать, что вы об этом думаете.

— Думаю, что быку не дали возможности защищаться, — сказал Харнед. — Он был обречен заранее, исход боя не оставлял сомнений. Еще до того, как бык вышел на арену, все знали, что он будет убит. А спортивное состязание только тогда интересно, когда неизвестно, чем оно кончится. Здесь против глупого быка, который никогда еще не нападал на человека, выпустили пять опытных мужчин, много раз уже участвовавших в таких боях. Было бы, пожалуй, честнее выпустить одного человека против одного быка.

— Или одного человека против пятерых быков, — бросила Мария Валенсуэла, и мы все захохотали, а громче всех — Луис Сервальос.

— Да, вот именно, — сказал Джон Харнед, — против пяти быков. И притом такого человека, который, как и быки, ни разу до того не выходил на арену, — вот, например, как вы, сеньор

Сервальос.

— А все же мы, испанцы, любим бой быков, — отозвался Луис Сервальос.

(Я готов поклясться, что сам дьявол надоумил Луиса, как действовать. А как он действовал, я сейчас расскажу.)

— Что ж, вкус к тому или иному всегда можно привить людям, — ответил Джон Харнед на замечание Луиса. — У нас в Чикаго убивают добрую тысячу быков ежедневно, однако никому и в голову не придет платить деньги, чтобы посмотреть на это.

— Но то — бойня, — возразил я. — А это... о, это — искусство! Искусство тонкое, редкое, замечательное!

— Ну, не всегда, — вмешался Луис Сервальос. — Я видывал неумелых матадоров, и, должен сказать, это — довольно неприятное зрелище.

Он содрогнулся, и лицо его выразило такое отвращение, что в эту минуту мне окончательно стало ясно: Луис разыгрывает какую-то роль, и, должно быть, сам дьявол нашептывает ему, как вести себя.

— Сеньор Харнед, может быть, и прав, — сказал Луис. — Пожалуй, с быком действительно поступают несправедливо. Ведь мы все знаем, что быку

целые сутки не дают воды, а перед самым боем позволяют пить сколько влезет.

— Значит, он выходит на арену, отяжелев от воды, — сказал Джон Харнед быстро, и я видел, как его глаза стали серыми, острыми и холодными, как сталь.

— Да, это необходимо для боя, — пояснил Луис Сервальос. — Ведь не хотите же вы, чтобы бык был полон сил и забодал всех тореадоров?

— Я хотел бы только, чтобы быка не лишали заранее возможности победить, — сказал Джон Харнед, глядя на арену, где появился уже второй бык. Этот был похуже первого. И очень напуган. Он заметался по арене, ища выхода. Кападоры выступили вперед и стали размахивать плащами, но бык не хотел нападать.

— Вот глупая скотина! — сказала Мария Валенсуэла.

— Простите, но, по-моему, он очень умен, — возразил Джон Харнед. — Он понимает, что ему не следует тягаться с человеком. Смотрите, он почуял смерть на этой арене!

Действительно, бык остановился на том месте, где его предшественник упал мертвым. Он нюхал сырой песок и фыркал. Потом снова обежал арену, подняв кверху морду и глядя на тысячи

зрителей, которые свистели, швыряли в него апельсинными корками и осыпали его бранью. Наконец запах крови привел быка в возбуждение, и он атаковал кападора да так неожиданно, что тот едва спасся: уронив плащ, он спрятался за прикрытие. Бык с грохотом ударился о стену. А Джон Харнед сказал тихо, словно про себя:

— Я пожертвую тысячу сукрэ на приют для прокаженных в Кито, если сегодня вечером хоть один бык убьет человека.

— Вы очень любите быков? — с улыбкой спросила Мария Валенсуэла.

— Во всяком случае, больше, чем таких людей, как те на арене, — ответил Джон Харнед. — Тореадор далеко не храбрец. Да и к чему тут храбрость? Смотрите, бой еще не начинался, а бык уже так утомлен, что и язык отвесил.

— Это от воды, — сказал Луис Сервальос.

— Да, от воды, конечно, — согласился Джон Харнед. — А еще безопаснее было бы подрезать быку сухожилия, раньше, чем выпустить его на арену.

Марию Валенсуэлу рассердил сарказм, звучавший в словах Джона Харнеда. А Луис подмигнул мне так, чтобы другие этого не заметили, и тут только я сообразил, какую он ведет игру. Нам обоим в ней предназначалась роль бандерильеров:

мы должны были втыкать дротики в большого американского быка, который сидел с нами в ложе, дразнить его, пока он окончательно не рассвирепеет, — и, авось, тогда дело не дойдет до брака его с Марией Валенсуэлой. Начиналась интересная игра, а знакомый всем любителям боя быков азарт был у нас в крови.

Бык на арене уже рассвирепел, и кападорам приходилось туго. Движения его были стремительны, и по временам он поворачивался так круто, что задние ноги скользили, и он, оступившись, взрывал копытами песок. Но кидался он все время только на развевавшиеся перед ним плащи и вреда никому не причинял.

— Ему не дают ходу, — сказал Джон Харнед. — Он впустую тратит силы.

— Он плащ принимает за врага. — пояснила Мария Валенсуэла. — Глядите, как ловко кападор дурачит его!

— Так уж он создан, что его легко дурачить, — сказал Джон Харнед. — Вот и приходится ему воевать впустую. Знают это и тореадоры, и зрители, и вы, и я — все мы заранее знаем, что он обречен. Только он один по своей глупости не знает, что у него отняты все шансы победить в бою.

— Дело очень просто, — сказал Луис Серва-

льос. — Бык, нападая, закрывает глаза. Таким образом…

— Человек отскакивает в сторону, и бык пролетает мимо, — докончил за него Джон Харнед.

— Правильно, — подтвердил Луис. — Бык закрывает глаза, и человеку это известно.

— А вот коровы — те не закрывают глаз, — сказал Джон Харнед. — И у нас дома есть корова джерсейской породы, которая легко могла бы расправиться со всей этой компанией храбрецов на арене.

— Но тореадоры не вступают в бой с коровами, — сказал я.

— Коров они боятся, — подхватил Джон Харнед.

— Да, с коровами драться они опасаются, — вмешался Луис Сервальос. — Да и какое это было бы развлечение, если бы убивали тореадоров?

— Отчего же? Бой можно было бы назвать состязанием только в том случае, если бы иногда погибал в бою не бык, а тореадор. Когда я состарюсь или, может быть, стану калекой, неспособным к тяжелой работе, я буду зарабатывать себе кусок хлеба трудом тореадора. Это легкая профессия, подходящая для стариков и инвалидов.

— Да посмотрите же на арену! — сказала Мария

Валенсуэла, так как в эту минуту бык энергично атаковал кападора, а тот увернулся, взмахнув перед его глазами плащом. — Для таких маневров нужна немалая ловкость.

— Вы правы, — согласился Джон Харнед. — Но, поверьте, в тысячу раз больше ловкости требуется в боксе, чтобы отражать град быстрых ударов противника, ибо противник не бык, глаз не закрывает и атакует умело и расчетливо. А ваш бык вовсе не хочет боя. Смотрите, он удирает!

Бык действительно был негодный — опять он забегал вокруг арены, ища выхода.

— Но такие быки бывают опаснее всего, — заметил Луис Сервальос. — Никогда не угадаешь, что они выкинут через минуту. Они умны, почти как коровы. Тореадоры не любят таких. Ага! Повернул обратно!

Бык, сбитый с толку и разозленный тем, что везде натыкался на стены, не выпускавшие его, вдруг смело атаковал своих врагов.

— Видите, он уже язык высунул, — сказал Джон Харнед. — Сначала его наливают водой, потом кападоры по очереди изматывают его, заставляя тратить силы впустую.

Пока одни дразнят его, другие отдыхают. А быку ни на минуту не дают передышки. И когда

он уже вконец измучен и отяжелел от усталости, матадор убивает его.

На арене между тем дошла очередь до бандерильеров. Один из них трижды пытался всадить дротики в тело быка — и все безуспешно. Он только исколол быку спину и привел его в бешенство. Надо вам знать, что бандерильи (дротики) полагается всаживать по две сразу, под лопатки, по обе стороны спинного хребта и как можно ближе к нему. Если всажена только одна, это считается промахом.

Толпа начала свистать, требовала Ордоньеса. И тут Ордоньес отличился на славу: четыре раза он выходил вперед и все четыре раза с одного маху всаживал дротики, так что скоро на спине у быка их оказалось восемь штук, симметрично расположенных. Зрители бесновались от восторга, на арену дождем посыпались монеты, шляпы.

И в этот самый миг бык кинулся на одного из кападоров. Тот поскользнулся и от неожиданности совсем потерял голову. Бык поднял его, но, к счастью, кападор очутился между его широко раскинутыми рогами. Зрители безмолвно, не дыша, следили за происходящим — и вдруг Джон Харнед вскочил и заорал от удовольствия. Да, среди мертвой тишины он один стоял и кричал,

весело приветствуя быка. Сами видите: он хотел, чтобы убит был не бык, а человек. Надо же быть таким зверем! Его неприличное поведение возмутило всех, кто сидел в соседней ложе генерала Салазара, и они стали ругать Джона Харнеда. Урси-сино Кастильо обозвал его «подлым гринго» и бросил ему в лицо всякие другие обидные слова. Впрочем, сказано это было по-испански, так что Джон Харнед ничего не понял. Он стоял и кричал секунд десять, пока быка не отвлекли на себя другие кападоры, и первый остался невредим.

— Опять не дали быку развернуться, — уныло сказал Джон Харнед, садясь на место. — Кападорто ничуть не пострадал. Быка снова одурачили, отвлекли от противника.

Он повернулся к Марии Валенсуэле:

— Извините меня за несдержанность. Она улыбнулась и с шутливым упреком хлопнула его веером по руке.

— Ну, ведь вы в первый раз видите бой быков, — сказала она. — Когда увидите его еще несколько раз, вы не станете больше желать победы быку и гибели людям. Мы не так жестоки, как вы, американцы. В этом виноват ваш бокс. А мы ходим только смотреть, как убивают быков.

— Мне просто хотелось, чтобы и быку была

оказана справедливость, — ответил Джон Харнед. — Наверное, со временем меня перестанет возмущать то, что люди убивают его обманом и хитростями, а не в честном бою.

Опять завыли трубы. Ордоньес в алом плаще вышел вперед с обнаженной шпагой. Но бык уже раздумал драться. Ордоньес топнул ногой, заорал на него и стал размахивать плащом перед его носом. Бык двинулся на него, но как-то нехотя, без всякой воинственности. Первый удар шпаги был неудачен — она угодила в кость и согнулась. Ордоньес взял другую шпагу. Быка принуждали к бою, и он опять кинулся на противника. Пять раз Ордоньес наносил удар, но шпага то входила неглубоко, то натыкалась на кость. При шестом ударе она вонзилась по рукоятку. Но и этот удар был неудачен. Шпага не попала в сердце и прошла насквозь между ребер быка, выйдя на пол-ярда с другой стороны. Публика освистала матадора. Я посмотрел на Джона Харнеда. Он сидел молча и неподвижно, но я заметил, что он стиснул зубы, и рука его крепко сжимала барьер ложи.

А бык уже утратил весь боевой пыл. Ранен он был не очень тяжело, но бегал с трудом, прихрамывая — наверное, мешала торчавшая в его теле шпага. Спасаясь от матадора и кападоров, он кру-

жил по краю арены, глядя вверх на множество окружающих лиц.

— Он словно говорит: «Ради Бога, выпустите меня отсюда, я не хочу драться!» — только и сказал Джон Харнед.

Он продолжал следить за тем, что делалось на арене, и лишь по временам искоса поглядывал на Марию Валенсуэлу, словно проверяя, что она чувствует. Она сердилась на матадора: он был неловок, а ей хотелось интересного зрелища.

Бык уже ослабел от потери крови, но и не думал умирать. Он все еще медленно бродил у стены ринга, ища выхода. Он был утомлен и не хотел нападать. Но участь его была предрешена, его следовало убить. На шее у быка, за рогами, есть местечко, — где позвоночник ничем не защищен, и, если шпага попадет в это место, быку верная смерть. Ордоньес выступал навстречу быку, сбросив свой алый плащ на песок. Бык по-прежнему и не думал нападать. Он стоял неподвижно, опустив голову, и нюхал плащ, Ордоньес воспользовался этим и попытался вонзить шпагу в незащищенное место на затылке. Но бык быстро вскинул голову, и удар не попал в цель. Бык следил теперь глазами за шпагой. Когда же Ордоньес пошевелил ногой плащ, лежавший на

песке, бык забыл о шпаге и снова опустил голову, чтобы обнюхать его. Матадор нанес удар — и опять промахнулся. Это повторилось несколько раз. Положение было нелепое. Джон Харнед все молчал. Но вот наконец шпага попала в цель, бык упал мертвым. Тотчас впрягли мулов и уволокли его с арены.

— Значит, гринго находят, что это жестокая забава? — сказал Луис Сервальос. — Что это бесчеловечно по отношению к быку, не так ли?

— Дело не в быке, — ответил Джон Харнед. — Это зрелище вредное: оно развращает тех, кто его видит, — люди привыкают наслаждаться мучениями животного. Впятером нападать на одного глупого быка — ведь на это же способны только жалкие трусы! И зрителей это учит трусости. Бык умирает, а люди остаются жить и усваивают урок. Зрелище трусости отнюдь не воспитывает в людях храбрость.

Мария Валенсуэла не промолвила ни слова и даже не взглянула на Джона Харнеда. Но она слышала все, что он сказал, и побледнела от гнева. Глядя на арену, она обмахивалась веером. Я видел, что рука ее дрожит. И Джон Харнед тоже не смотрел на Марию. Он продолжал говорить, словно забыв о ее присутствии, и в голосе его

звучал холодный гнев.

— Это трусливая забава трусливого народа, — сказал он.

— Ого! — тихо отозвался Луис Сервальос. — Вам кажется, что вы понимаете нас?

— Да, я теперь понял, что породило испанскую инквизицию, — ответил Джон Харнед. — Она, наверное, доставляла испанцам еще большее наслаждение, чем бой быков.

Луис Сервальос только усмехнулся и промолчал. Он глянул на Марию Валенсуэлу и убедился, что бой в нашей ложе принес ему желанную победу. Мария больше и знать не захочет гринго, который мог сказать такое! Однако ни Луис, ни я не ожидали того, что произошло.

Пожалуй, мы все-таки не понимаем американцев. Как мы могли предвидеть, что Джон Харнед, все время, несмотря на свое раздражение, такой сдержанный и холодный, внезапно взбесится? А он действительно сошел с ума, как вы увидите. Не из-за быка это вышло. Он ведь сам сказал, что не в быке дело. Так почему же участь лошади его довела до безумия? Не понимаю. Джон Харнед не способен был логически мыслить — вот единственное возможное объяснение.

— В Кито обычно лошадей не выводят на бой

быков, — сказал Луис Сервальос, поднимая глаза от программы. — Это принято только в Испании. Но сегодня по особому разрешению пустят в ход и лошадей. Когда выйдет следующий бык, мы увидим на арене лошадей и пикадоров — знаете, всадников с копьями.

— А что, лошади тоже обречены заранее, как и бык? — спросил Джон Харнед.

— Им надевают наглазники, чтобы они не видели быка, — пояснил Луис Сервальос. — И много их было убито на моих глазах. Эффектное зрелище!

— Как зарезали быка, я уже видел. Теперь увижу еще как убивают лошадей. И тогда, быть может, вполне постигну все тонкости этого благородного спорта, — сказал Джон Харнед.

— Лошадей всегда берут старых, — заметил Луис Сервальос. — Таких, которые ни на что уже не годятся.

— Ясно, — сказал Джон Харнед.

Выпустили третьего быка, и кападоры и пикадоры принялись дразнить его. Один пикадор остановился как раз под нашей ложей. Лошадь его действительно была старая, облезлая — кожа да кости.

— Просто чудо, что эта бедная кляча выдерживает тяжесть всадника, — заметил Джон Харнед.

— А чем же лошадь вооружена для боя с быком?

— Лошади вовсе не дерутся с быком, — сказал Луис Сервальос.

— Вот как! Значит, лошадь выводят только для того, чтобы бык ее забодал? И ей надевают наглазники, чтобы она не видела быка, когда он кидается на нее?

— Не совсем так, — возразил я. — Копье пикадора не дает быку забодать лошадь.

— Значит, лошади редко гибнут на арене? — допытывался Джон Харнед.

— Часто, — вмешался Луис Сервальос. — В Севилье на моих глазах в один день было убито восемнадцать лошадей, а публика все шумела, требуя, чтобы вывели новых.

— И те лошади тоже были в наглазниках, как и эта? — спросил Джон Харнед.

— Да, разумеется, — ответил Луис Сервальос. Разговор оборвался. Мы все следили за ходом боя на арене. А Джон Харнед сходил с ума, но мы этого не замечали. Бык на арене не хотел нападать на лошадь, она же стояла спокойно, так как не могла видеть, что кападоры натравливают на нее быка. Они дразнили его плащами, а когда он бросался на них, отбегали к лошади и прятались за прикрытия. Наконец, бык здорово рассвирепел, и тут

его внимание привлекла лошадь.

— А лошадь не знает! Лошадь не знает! — шептал Джон Харнед словно про себя, не сознавая, что говорит вслух.

Бык наскакивал на лошадь, а она ничего не знала, пока пикадор не промахнулся и бык не поднял ее на воздух рогами. Это был великолепный, могучий бык! Смотреть на него было настоящим наслаждением. Он рогами поддел лошадь и подкинул ее на воздух. Когда она затем упала на песок, пикадор соскочил с нее и спасся бегством, а кападоры опять стали травить быка. Из распоротого брюха лошади вывалились внутренности, но она еще приподнялась с отчаянным визгом. И, услышав этот предсмертный визг, Джон Харнед совсем обезумел.

Он встал с места. Я слышал, как он бормотал ругательства. Он не мог оторвать глаз от лошади, а она, не переставая визжать, пыталась бежать, но свалилась на спину и дрыгала ногами в воздухе. Тут бык опять набросился на нее и бодал ее до тех пор, пока она не издохла. Джон Харнед стоял у барьера, и глаза его больше не были холодны, как сталь. Они метали голубой огонь. Он посмотрел на Марию Валенсуэлу, а она — на него. Лицо его выражало глубочайшее отвращение. В эту

минуту нам стало ясно, что он сошел с ума. Люди смотрели теперь на нашу ложу, потому что с лошадью на арене все было кончено, а стоявший у барьера Джон Харнед был высокого роста и всем бросался в глаза.

— Сядьте, — сказал ему Луис Сервальос. — Не дурите, иначе люди поднимут вас на смех.

Джон Харнед, ничего не ответив, сжал кулак и ударил Луиса в лицо с такой силой, что тот, как мертвый, упал на стулья и остался лежать. Он уже не видел, что было дальше. Зато я видел. Урсисино Кастильо перегнулся через стенку, разделявшую наши ложи, и тростью хлестнул Джона Харнеда по лицу. А Джон Харнед в ответ нанес ему такой удар кулаком, что Кастильо, падая, сбил с ног генерала Салазара. Джон Харнед был уже в настоящем исступлении. В нем проснулся дикий зверь, пещерный дикарь первобытных времен вырвался на волю.

— Ага, вы пришли смотреть бой быков, — закричал он. — Но, клянусь Богом, я покажу вам, как дерется человек!

Ну и бой же был! Солдаты, охранявшие ложу президента, бросились в нашу ложу, но Джон Харнед вырвал у одного из них винтовку и стал прикладом дубасить их по головам. Из другой

ложи полковник Хасинто Фьерро палил в него из револьвера. Первым выстрелом был убит солдат. Это я видел своими глазами. А вторая пуля угодила Джону Харнеду в бок. Он с проклятиями прыгнул вперед и всадил штык винтовки в полковника. Страшно было смотреть!

Да, американцы и англичане — зверски жестокий народ. Они высмеивают наш бой быков, а для них самих проливать кровь — лучшее удовольствие. В тот день из-за Джона Харнеда убито было больше людей, чем на всех боях быков, какие до сих пор были в Кито, да и в Гваякиле и во всем Эквадоре.

И все это наделал визг раненой лошади! Но отчего же Джон Харнед не безумствовал, когда убит был бык? Животное есть животное, все равно, лошадь это или бык. Джон Харнед был сумасшедший — только этим и можно все объяснить. Взбесившийся зверь! Ну сами посудите, что хуже:

то, что бык забодал лошадь, или то, что Джон Харнед штыком заколол полковника Хасинто Фьерро? И не его одного он заколол тем же штыком! В него словно бес вселился. Уже все тело его было пробито пулями, а он продолжал драться. Не так-то легко было его убить.

Мария Валенсуэла проявила большое мужество. Она не вопила, не упала в обморок, как другие женщины. Она спокойно сидела в ложе и смотрела на арену. Лицо ее побелело, но она ни разу не повернула головы. Сидела и обмахивалась веером.

Со всех сторон бежали солдаты, офицеры, народ — храбрые люди, желавшие одолеть безумного гринго. И должен сказать, в толпе кричали, что надо перебить всех гринго. В Латинской Америке этот клич не новость, здесь не любят неотесанных гринго и их странные повадки. Вот и в тот день слышались такие крики, но наши храбрые эквадорцы убили только одного Джона Харнеда, после того как он убил семерых да и немало людей изувечил. Бывал я не раз на бое быков, но не видел зрелища отвратительнее, чем наши ложи после этого побоища. Они походили на поле битвы. Повсюду лежали убитые, стонали раненые и умирающие. Один человек, которому Джон Харнед всадил штык в живот, прижимал к ране обе руки и кричал. И, поверьте, эти крики были куда страшнее визга тысячи издыхающих лошадей.

Нет, Мария Валенсуэла не вышла замуж за Луиса Сервальоса. И я очень сожалею об этом. Он был мой друг, и я вложил в его предприятия много

денег. Только через пять недель врачи сняли у него с лица повязку. И по сей день у него на щеке под глазом остался рубец, хотя Джон Харнед ударил Луиса только раз, да и то кулаком. Мария Валенсуэла сейчас в Австрии. Говорят, она выходит замуж не то за эрцгерцога, не то за какого-то знатного вельможу, не знаю. Мне кажется, она была увлечена Джоном Харнедом до того, как он поехал за ней в Кито на бой быков.

Но почему все началось из-за лошади — вот что я хотел бы знать! Почему Харнед смотрел на быка и говорил, что не в нем дело, а когда завизжала лошадь, он сразу обезумел? Непонятный народ эти гринго! Варвары они — и больше ничего.

Когда мир был юным

I

Он был очень спокойный и хладнокровный человек и потому, вскарабкавшись на стену, стал вслушиваться в сырую тьму, стараясь разгадать, не таится ли где опасность. Но слух его уловил лишь завывание ветра в деревьях да шелест листвы на раскачивающихся ветвях. По земле, подгоняемый порывами ветра, полз тяжелый, плотный туман, и хотя он ничего не видел, зато ощущал влажное его дыхание на своем лице. Стена, на которой он сидел, тоже была влажной.

Так же бесшумно, как только что он вскарабкался на стену снаружи, человек соскользнул внутрь. Он достал из кармана электрический фонарик, но не зажег его. Лучше обойтись без света, решил он, хотя кругом царила кромешная тьма. Зажав фонарь в руке и держа палец на кнопке выключателя, он стал подвигаться вперед. Земля была мягкой и слегка пружинила под ногами, потому что ее устилал многолетний слой мертвой хвои, листьев и мха. Ветви цеплялись за одежду, но разглядеть их во тьме и обойти было

невозможно. Он протянул руку и стал продвигаться ощупью, но рука то и дело натыкалась на толстые стволы огромных деревьев. Кругом высились эти деревья, они подступали со всех сторон, и он вдруг почувствовал, насколько он микроскопически мал среди гигантских стволов, которые нависали над ним, как бы угрожая раздавить. Где-то там, за деревьями, находился дом, и он надеялся отыскать какую-нибудь дорожку или извилистую тропинку, которая привела бы его туда.

Однажды ему почудилось, будто он попал в ловушку. Куда бы он ни повернулся, он всюду натыкался на стволы, сучья или на густой кустарник; выхода, казалось, не было. Тогда он осторожно зажег фонарь, сначала направив луч на землю, туда, где стоял. Он медленно обводил лучом вокруг себя, и яркий белый свет выхватывал из темноты во всех подробностях преграды на его пути. Потом между двумя огромными деревьями он заметил проход и, погасив фонарь, двинулся туда, стараясь ступать по сухому: густая листва наверху не давала кое-где осесть туману. Он умело ориентировался и знал, что идет к дому.

И тут случилось нечто неожиданное, немысли-

мое. Его нога ступила на что-то мягкое и живое, и это что-то зафыркало под его тяжестью и стало подниматься. Он отпрыгнул в сторону и замер в напряженном ожидании, готовый броситься прочь или отразить нападение неизвестного существа. Он подождал немного, пытаясь угадать, что за животное выскочило у него из-под ног, а теперь застыло в неподвижности, без единого звука, так же, очевидно, пригнувшись и настороже, как и он сам. Напряжение становилось невыносимым. Держа фонарь перед собой, он нажал кнопку и закричал от ужаса. Он был готов увидеть что угодно — от напуганного теленка или молодого оленя до кровожадного льва, — но то, что он увидел, явилось полнейшей для него неожиданностью. На какое-то короткое мгновение тонкий и белый луч фонаря осветил то, что тысячи лет не изгладят из его памяти — огромного человека с рыжей гривой и бородой; руки, ноги, плечи, большая часть груди были у него обнажены, и только у пояса болталось нечто вроде козлиной шкуры, а ноги были обуты в мокасины из дубленки. Кожа у него была гладкая, без растительности, но потемневшая от солнца и ветра; под ней, точно толстые змеи, тяжелыми узлами сплетались мускулы.

Но даже не появление этого существа, как бы неожиданно оно ни было, заставило человека закричать. Ужас его вызвали невыразимая свирепость в том лице, какой-то животный, дикий блеск голубых глаз, которые почти не ослепил свет, иголки хвои, запутавшиеся в волосах и бороде, огромное тело, изогнувшееся для прыжка. Все это он увидел в одно мгновение. Не успел его крик затихнуть, как существо прыгнуло вперед, а он швырнул в него фонарь и бросился наземь. Он почувствовал его ноги у себя на спине и рванулся в сторону. Существо не удержалось на ногах и тяжело рухнуло в кустарник.

Когда стих треск ветвей, человек замер на четвереньках и прислушался. Существо рыскало неподалеку, и он опасался, что обнаружит свое присутствие, если тронется с места. Непременно хрустнет какая-нибудь ветка, и тогда существо припустится за ним. Он даже вытащил револьвер, но передумал. К нему вернулось самообладание, и он надеялся теперь убраться потихоньку. Он слышал, как странное существо несколько раз принималось колотить по кустам, стараясь обнаружить его, а потом останавливалось и, очевидно, прислушивалось. Это навело человека на одну мысль. Под рукой у него случился кусок

засохшего дерева. Он осторожно обшарил вокруг себя руками. Дабы убедиться, что не заденет ничего, когда размахнется, потом поднял деревяшку и бросил ее. Деревяшка была небольшая, ему удалось далеко закинуть ее, и она с шумом упала в кусты. Он слышал, как существо метнулось к тому месту, и тут же пополз прочь. Он полз на четвереньках, медленно и осторожно, пока колени его не стали мокрыми от сырой земли. Когда он останавливался и прислушивался, до него доносились лишь завывание ветра и стук падающих с ветвей капель. Все так же осторожно он поднялся, подбежал к стене, перелез через нее и спрыгнул на дорогу.

Ощупью пробираясь сквозь кусты, он вывел велосипед и приготовился сесть на седло. Он как раз переводил одной ногой передачу, чтобы поставить педаль в удобное положение, когда услышал, как на землю легко и, по-видимому, прямо на ноги спрыгнуло то существо. Он тут же побежал, держа велосипед за руль, потом, разогнавшись, прыгнул на седло, поймал педали и рванулся вперед. Он услышал позади частое топанье ног по пыльной дороге, но наддал ходу и ушел от преследования.

К несчастью, он в спешке покатил в сторону,

противоположную городу, и теперь поднимался к холмам. Он хорошо знал, что на этой дороге нет ответвлений и вернуться в город можно единственно поехав назад, мимо того чудовища, а он не находил в себе сил решиться на такой подвиг. Часа через полтора, на каком-то подъеме, который с каждым шагом становился круче, он слез с велосипеда. Оставив его на обочине дороги, он для вящей безопасности перелез через ограду, попав, как он решил, на выгон, расстелил там на земле газету и сел.

— Ну и ну! — проговорил он, вытирая с лица пот и капли влаги. — Ну и ну! — повторил он, сворачивая сигарету и раздумывая, как бы пробраться к городу.

Но он так и не тронулся с места. Ему не хватило решимости ехать той же дорогой в темноте, и, ожидая рассвета, он уронил голову на колени и задремал.

Человек не знал, сколько прошло времени, когда проснулся, разбуженный тявканьем молодого койота. Оглядевшись и увидев койота на краю холма позади себя, он заметил, как изменился облик ночи. Туман рассеялся, на небе высыпали звезды и выплыла луна, даже ветер приутих. Стояла мягкая летняя калифорнийская ночь. Он

снова опустил голову на колени, — но тявканье не давало ему заснуть. Почти в полусне он вдруг услышал какое-то дикое, жуткое пение. Подняв голову, он увидел, как по гребню холма, перестав лаять, бежит койот, а за ним, тоже молча, мчится то нагое существо, которое он встретил в саду. Койот был молодой и сильный, но существо, как он успел заметить, настигало его; потом они скрылись из виду. Человек поднялся, перелез через ограду и вскарабкался на велосипед. Его било как в лихорадке, но надо было спешить, ибо это — единственный шанс на спасение. Чудовище больше не преграждало путь к Мельничной Долине.

Он несся по уклону с головокружительной быстротой, но на повороте в низине, там, где на дорогу падали густые тени, колесо попало в выбоину, и он вылетел через руль из седла.

— Не везет, так не везет, — бормотал он, разглядывая сломанную переднюю вилку.

Потом, взвалив велосипед на плечи, он двинулся пешком. Спустя некоторое время он добрался до каменной ограды сада и, дабы удостовериться, что с ним действительно случилось то странное происшествие, стал искать следы на дороге. Вот они! Огромные, глубоко ушедшие у пальцев в

землю, следы мокасин. Он наклонился, рассматривая их, и тут снова услышал жуткое пение. Он видел, как чудовище гналось за койотом, и понял, что ему не убежать. Он и не пытался обратиться в бегство, решив, что лучше спрятаться в тени на дальней, от стены, стороне дороги.

Затем он снова увидел то существо, похожее на голого человека, — оно быстро, легко бежало и пело на ходу. Потом оно остановилось как раз напротив человека, и сердце у того замерло. Но существо не направилось к тому месту, где он укрылся; подпрыгнув, оно ухватилось за сук стоявшего у дороги дерева и, перебирая руками, быстро, по-обезьяньи, вскарабкалось наверх. Оттуда оно перемахнуло через стену, футах в десяти от нее уцепилось за ветви другого дерева, а потом спрыгнуло на землю в сад. Человек в недоумении постоял несколько минут, потом потихоньку пошел прочь.

II

Дейв Слоттер воинственно облокотился на перегородку, отделявшую приемную от кабинета Джеймса Уорда, старшего компаньона фирмы «Уорд, Ноулз и Ко». Дейва злило, что посматривают на него как-то подозрительно, особенно тот,

который стоял перед ним.

— Передайте мистеру Уорду, что я по очень важному делу, — наседал Дейв.

— Я объяснил вам, что мистер Уорд сейчас занят: он диктует стенографистке, — отвечал человек. — Приходите завтра.

— Завтра будет поздно! Доложите ему, что речь идет о жизни или смерти.

Секретарь заколебался, и Дейв поспешил воспользоваться случаем.

— Скажите ему, что вчера вечером я был в Мельничной Долине, там, за заливом, и хочу кое-что сообщить.

— Как доложить? — осведомился секретарь.

— Он не знает меня.

Дейв все еще пребывал в воинственном расположении духа, когда его провели в кабинет, но пыл его поостыл, как только он увидел крупного рыжеволосого мужчину, который, закончив фразу стенографистке, повернулся на вращавшемся кресле к нему. Дейв не знал, почему у него пропал пыл, и злился на себя в душе.

— Вы мистер Уорд? — Он не нашел ничего лучшего, как задать этот глупый вопрос, и оттого разозлился на себя еще больше. Он вовсе не собирался задавать этот вопрос.

— Да, — отвечал мужчина. — А кто вы?

— Гарри Бэнкрофт, — соврал Дейв. — Вы меня не знаете, и мое имя ничего не скажет вам.

— Вы передали, что вчера вечером были в Мельничной Долине. Ну и что?

— Вы ведь там живете? — в свою очередь, спросил Дейв, выразительно поглядев в сторону стенографистки.

— Да, я там живу. По какому делу вы хотели меня видеть? Я очень занят.

— Мне хотелось бы поговорить с вами наедине. Мистер Уорд оглядел его быстрым, оценивающим взглядом, подумал и сказал:

— Мисс Поттер, сделаем перерыв на несколько минут. Девушка поднялась, собрала свои бумаги и вышла из кабинета. Дейв с любопытством взирал на мистера Джеймса Уорда, пока тот не прервал цепь зарождавшихся мыслей посетителя.

— Итак…

— Вчера вечером я был в Мельничной Долине, — запинаясь, начал Дейв.

— Это я уже слышал. Что вам угодно? В Дейве крепло совершенно немыслимое предположение, но он продолжал:

— Я был в вашем доме, вернее, в вашем саду.

— Что вы там делали?

— Я хотел ограбить вас, — откровенно ответил Дейв. — Мне стало известно, что вы живете один с поваром-китайцем, и я решил, что дело безопасное. Но я не попал в дом. Мне помешали. Вот почему я здесь. Я пришел предупредить вас: в вашем саду бегает какой-то дикарь, сущий дьявол, скажу я вам. Такого, как я, на кусочки разорвет. Мне едва удалось спастись. Он совсем почти голый, лазает по деревьям, как обезьяна, и бегает, как олень. Я видел, как он гнался за койотом, и, черт побери, он, кажется, догнал его.

Дейв замолчал, ожидая, какое впечатление произведет его рассказ. Но рассказ не произвел никакого впечатления. Джеймс Уорд выслушал Дейва со спокойным интересом, не более того.

— Странно, весьма странно, — негромко произнес он. — Так вы говорите, — дикарь? А зачем вы рассказали об этом мне?

— Чтобы предупредить вас об опасности. Я в некотором роде тоже опасен, но чтоб убивать людей… то есть, если нет крайней необходимости. Вам угрожает опасность, и я решил предупредить о том. Вот и все, можете мне поверить. Само собой, если бы вы пожелали вознаградить меня за хлопоты, я бы не отказался. Это я тоже имел в виду. Впрочем, мне безразлично, отблагодарите

вы меня или нет. Я рассказал вам все и выполнил свой долг.

Мистер Уорд задумчиво барабанил пальцами по столу. Дейв обратил внимание, что руки у него были большие, крепкие и ухоженные, несмотря на темный загар. Он снова посмотрел на крошечный кусочек пластыря тельного цвета над бровью, который бросился ему в глаза, как только он вошел. И все же он никак не мог принять ту мысль, что настойчиво лезла в голову.

Мистер Уорд достал бумажник из внутреннего кармана пиджака и, вытянув оттуда банкноту, отдал ее Дейву. Убирая бумажку в карман, тот успел заметить, что банкнота была достоинством в двадцать долларов.

— Благодарю вас, — сказал мистер Уорд, давая понять, что разговор окончен. — Я непременно попрошу проследить за этим делом. Дикарь в собственном саду — это действительно небезопасно.

Но настолько невозмутим был мистер Уорд, что Дейв осмелел. Кроме того, ему явилась новая мысль. А что, если дикарь — лунатик, которого упрятали с глаз, и доводится мистеру Уорду братом. Дейв слышал о таких случаях. Очевидно, мистер Уорд не хочет, чтобы дело получило

огласку. Вот и сунул ему двадцать долларов.

— Послушайте, — начал. Дейв, — мне только что пришло в голову, что тот дикарь здорово похож на вас…

Дейв не нашел сил продолжать, пораженный переменой в облике своего собеседника: он увидел те же невыразимо свирепые голубые глаза, что горели в темноте прошлой ночью, те же скрюченные, точно когти, руки, то же огромное тело, изготовившееся для прыжка. На этот раз у Дейва не было фонаря, который он мог бы швырнуть в лицо, поэтому в тот же миг плечи его сжало железное объятие, и он застонал от боли. Он увидел белые оскаленные клыки, как у собаки, что вот-вот укусит. Борода мистера Уорда терлась о его лицо, зубы приближались к горлу. Но мистер Уорд не укусил. Напротив, Дейв почувствовал, что его противник напрягся, словно зажатый в мощных тисках, затем легко, будто играючи, но с такой силой отшвырнул его, что Дейв отлетел к стене и, ловя ртом воздух, свалился на пол.

— Шантажировать пришел? — прорычал мистер Уорд. — А ну, отдавай назад деньги.

Дейв молча протянул банкноту.

— Я полагал, у тебя добрые намерения. Теперь я вижу, что ты за птица. Убирайся, чтоб духу твоего

тут не было, иначе я быстренько упрячу тебя за решетку. Там твое место. Понятно?

— Да, сэр, — едва проговорил Дейв.

— А теперь убирайся!

Дейв молча повернулся и пошел к выходу; от того железного объятия отчаянно болели плечи. Когда он взялся за ручку двери, мистер Уорд заговорил:

— Скажи спасибо, что дешево отделался. — Глаза у него светились жестокостью и надменностью. — Я бы тебе руки оторвал, если бы захотел, и в мусорную корзинку выбросил.

— Понимаю, сэр, — с полной убежденностью в голосе отвечал Дейв.

Он открыл дверь и вышел. Секретарь вопросительно поднял голову.

— Ну и ну, — единственно и произнес Дейв, покидая приемную мистера Уорда, а заодно и наш рассказ.

III

Джеймсу Дж. Уорду стукнуло сорок лет, он был весьма преуспевающий бизнесмен и очень несчастный человек. В течение сорока лет он тщетно пытался разрешить проблему собственной личности, и эта проблема с каждым годом

становилась все более страшным несчастьем. В его телесной оболочке обитали как бы два человека, и с точки зрения времени их разделял промежуток в несколько тысяч лет или около того. Он изучил проблему раздвоения личности более тщательно, чем любой из специалистов в этой запутанной и загадочной области психологии. В литературе он не нашел случая, подобного своему. Даже в описаниях беллетристов, отличающихся буйным полетом фантазии, он не обнаружил ничего похожего. Он не был ни доктором Джекиллом, ни мистером Хайдом, ни тем несчастным молодым человеком из киплинговской «Самой великой истории на свете». Обе личности в нем были так слиты, что все время каждая из них знала о соседстве другой.

Одна личность была личностью человека современного воспитания и образования, обитавшего в последней четверти девятнадцатого века и первом десятилетии двадцатого. Другая личность принадлежала дикарю, варвару, обитавшему в условиях первобытного существования тысячи лет назад. И Джеймс Уорд так и не мог решить, кем именно был он, ибо постоянно ощущал в себе обе личности. Почти не случалось так, чтобы одно его «я» не знало, что делает другое. Кроме

того, к нему не приходили ни видения прошлого, в котором существовало его первобытное «я», ни даже воспоминания о нем. Эта первобытная личность жила сейчас, в настоящем времени, но тем не менее ее всегда тянуло к образу жизни, который приличествовал тому далекому прошлому.

В детстве он был сущим наказанием для матери, отца и докторов, пользовавших семью, хотя никто даже не приблизился к разгадке странного поведения Джеймса. Никто не мог понять, к примеру, откуда у мальчика чрезмерная сонливость в утренние часы и чрезмерный подъем вечером. Не раз видели, как он ночью бродил по коридором, лазал по крышам на головокружительной высоте или бегал по холмам, и все решили, что мальчик — лунатик. На самом же деле он вовсе не спал — первобытные импульсы толкали его бродить по ночам. Однажды он рассказал правду какому-то недалекому лекарю, но в ответ за откровенность тот презрительно высмеял его и назвал все «выдумкой». Однако каждый раз, когда спускались сумерки и наступал вечер, сон словно бежал прочь от Джеймса Уорда. Стены комнаты казались клеткой, раздражали. Он слышал в темноте тысячи каких-то голосов, разговаривающих с ним. Ночь звала его, ибо из всех частей суток

именно ночь гнала его из дома. Никто ничего не мог понять, а он не пытался объяснить. Его считали лунатиком и принимали соответствующие меры предосторожности, но они в большинстве случаев оказывались тщетными. С возрастом мальчик становился хитрее, так что чаще всего проводил ночи на открытом воздухе, наслаждаясь свободой. Потом, разумеется, спал до полудня. Поэтому утренние занятия исключались, и лишь днем нанятые учителя могли научить юного Джеймса кое-чему. Так воспитывалась и развивалась современная личность мистера Уорда.

Да, ребенком он был сущим наказанием, таким потом и остался. Он слыл за злого, бессмысленно жестокого чертенка. Домашние врачи в душе считали его умственным уродом и дегенератом. Приятели-мальчишки, которых насчитывались единицы, превозносили его как «силу», но страшно боялись. Он лучше всех лазал по деревьям, быстрее всех плавал и бегал — словом, был самым отчаянным сорванцом, и никто не осмеливался задирать его. Он моментально впадал в ярость и в порыве гнева обладал феноменальной силой.

Когда Джеймсу было девять лет от роду, он убежал в холмы и больше месяца, пока его не нашли и не вернули домой, жил вольной жизнью,

скитаясь по ночам. Каким чудом удалось ему не умереть с голоду и вообще выжить, никто не знал. А он и не думал рассказывать о диких кроликах, которых он убивал, о том, как ловил и пожирал выводки перепелов, делал набеги на курятники на фермах, о том, как соорудил и выстлал сухими листьями и травой берлогу, где наслаждался в тепле утренним сном.

В колледже Джеймс славился сонливостью и тупостью на утренних лекциях и блестящими успехами на дневных. Занимаясь самостоятельно по пособиям и конспектам товарищей, он кое-как ухитрялся сдавать экзамены по тем ненавистным ему предметам, которые читались по утрам, зато в других предметах, читавшихся днем, успевал преотлично. Он считался в колледже звездой футбола и грозой для противников, в легкой атлетике его тоже привыкли видеть первым, хотя порой он обнаруживал приступы совершенно непонятной ярости. Что касается бокса, то товарищи попросту боялись встречаться с ним: последнюю схватку он ознаменовал тем, что впился зубами в плечо своему противнику.

После окончания Джеймсом колледжа отец его был в отчаянии, не зная, что делать со своим отпрыском, и наконец решил отправить его на

дальнее ранчо в Вайоминг. Три месяца спустя видавшие виды ковбои вынуждены были признаться, что не могут совладать с Джеймсом, и телеграфировали его отцу, чтобы тот забрал назад своего дикаря. Когда отец приехал, ковбои в один голос заявили, что предпочитают скорее иметь дело с завывающими людоедами, заговаривающимися лунатиками, скачущими гориллами, громадными медведями и разъяренными тиграми, чем с этим выпускником колледжа, носившим аккуратный прямой пробор.

Единственное, что он помнил из жизни своего первобытного «я», был язык. В силу загадочных явлений атавизма в его сознании сохранилось немало слов и фраз первобытного языка. В минуты блаженства, восторга, схватки он имел привычку издавать дикие звуки или разражаться первобытными напевами. Благодаря этим выкрикам и напевам он с точностью обнаруживал в себе ту пережившую свое время личность, которая давным-давно, тысячи поколений назад, должна была бы стать прахом. Однажды он намеренно спел несколько древних мелодий в присутствии известного лингвиста, профессора Верца, читавшего курс древнеанглийского языка и до самозабвения влюбленного в свой предмет.

Прослушав первую песню, профессор навострил уши и пожелал узнать, что это — тарабарский жаргон или испорченный немецкий. После второй он пришел в крайнее возбуждение. Джеймс Уорд закончил свое выступление мелодией, которая неудержимо срывалась у него с уст во время схватки или боя. Тогда профессор Верц объявил, что это не тарабарщина, а древнегерманский, вернее, прагерманский такой давней эпохи, о какой языковеды и понятия не имеют. Он даже представить не мог, в какую глухую древность уходил тот язык, и все же опытное ухо профессора улавливало в нем нечто такое, что отдаленно напоминало знакомые архаичные формы. Он пожелал узнать, откуда известны Джеймсу эти песни, и попросил его одолжить ему на время ту бесценную книгу, где они приведены. Кроме того, он пожелал узнать, почему Уорд делал вид, будто он круглый невежда по части германских языков. Уорд, разумеется, не смог ни объяснить, почему держался невеждой, ни дать профессору ту книгу. Тогда после длительных, в течение нескольких недель, уговоров и просьб профессор невзлюбил Уорда и стал называть его шарлатаном и бессовестным эгоистом — подумать только, не позволил и краем глаза заглянуть в тот удиви-

тельный список на языке, который был древнее, чем самый древний из тех языков, что когда-либо обращали на себя внимание лингвистов.

Сообщение о том, что он наполовину современный американец, а наполовину древний тевтонец, отнюдь не способствовало хорошему настроению вконец запутавшегося молодого человека. Современный американец был, однако, сильного характера, так что он, Джеймс Уорд (если он и в самом деле существовал и имел право на самостоятельную жизнь), принудил к согласию, вернее, компромиссу второго человека, что жил в нем, дикаря, который бродил по ночам, не давая спать своему соседу — культурному, изысканному джентльмену, который хотел жить, любить и заниматься делами, как все нормальные люди. Днем и к вечеру он давал волю одной своей личности, ночью — другой, а утром и урывками в ночные часы отсыпался за двоих. Утром он спал в кровати, как всякий цивилизованный человек. Ночью он спал, как дикое животное, среди деревьев, как и в тот момент, когда на него наступил Дейв Слоттер.

Убедив своего отца ссудить ему значительный капитал, Джеймс Уорд начал заниматься коммерцией, надо признаться, энергично и успешно; он

целиком отдавался делам днем, а его компаньон работал по утрам. Покончив с делами, он бывал на людях, но как только время приближалось к девяти или десяти, его охватывало непреодолимое беспокойство, и он поспешно покидал людей до следующего дня. Друзья и знакомые предполагали, что Джеймс Уорд увлечен спортом. И они не ошибались в своем предположении, хотя ни один не догадывался, каким именно видом спорта, даже если бы увидели, как ночью в холмах Мельничной Долины он гоняется за койотами. И никто не верил капитанам каботажных судов, которые утверждали, что не раз холодным зимним утром в проходе Рэкун во время прилива или в быстром течении между островами Козерога и Ангела они видели в нескольких милях от берега плывущего по волнам человека.

На своей вилле в Мельничной Долине Джеймс Уорд жил в полном уединении, если не считать Ли-Синга, повара-китайца и доверенного, который достаточно знал о странностях своего хозяина, но ему хорошо платили за то, чтобы он держал язык за зубами, и он научился молчать:

Вдоволь насладившись ночными прогулками и выспавшись утром, Джеймс Уорд после плотного завтрака, приготовленного Ли-Сингом, в

полдень переправлялся на пароме через залив в Сан-Франциско и являлся в клуб или контору таким же нормальным, уравновешенным бизнесменом, как и любой другой в городе. Но вот наступал вечер, и ночь снова звала его. Им овладевало беспокойство, обострялось восприятие. Слух становился чутким, и несметное множество ночных шорохов рассказывало ему знакомую увлекательную повесть. И если он бывал наедине с самим собою, то начинал нетерпеливо мерять шагами тесную комнату, точно хищник, попавший в клетку.

Однажды он отважился влюбиться. Но с тех пор ни разу не позволял себе подобного развлечения. Он боялся. Дело в том, что некая, насмерть перепуганная молодая леди целую неделю ходила с синяками на руках и плечах, — то были следы ласк, которыми он осыпал ее в приливе нежности, но — увы! — слишком поздно вечером. Случись то свидание днем, все сошло бы превосходно: он был бы обыкновенным, в меру страстным возлюбленным, а не свирепым дикарем из непроходимых германских лесов, умыкающим женщину. Из полученного опыта он заключил, что дневные свидания могут быть успешными, но одновременно пришел к убеж-

дению, что в случае женитьбы семейная жизнь его неминуемо обречена на провал. Он с ужасом представлял себе, как останется наедине с женой после наступления темноты.

Поэтому Джеймс Уорд сторонился женщин, регулировал свою двойную жизнь, сколачивал первый миллион в деле, избегал деятельных мамаш, жаждущих сбыть с рук молоденьких дочек разного возраста, но с одинаково нетерпеливым огоньком в глазах, встречался с Лилиан Джерсдейл, причем взял за правило никогда не устраивать свиданий позднее восьми вечера, по ночам гонялся наперегонки с койотами, засыпал в лесных берлогах и ухитрялся держать свою жизнь втайне ото всех, за исключением Ли-Синга… а потом и Дейва Слоттера. Его встревожило, что тому парню удалось видеть двух человек, что жили в нем.

Правда, он порядком напугал этого громилу, но тот все равно может проболтаться. И даже если он не проболтается, то рано или поздно его тайна все-таки выплывет наружу.

Так Джеймс Уорд решил сделать еще одну героическую попытку обуздать тевтонца-варвара, который составлял половину его существа. Настолько неукоснительно следовал он правилу

встречаться с Лилиан только днем и ранним вечером, что настало время, когда она примирилась с этим — может, оно и к лучшему, а он ревностно молил в душе, чтобы дела не обернулись к худшему. Никакой, наверное, чемпион не готовился к состязанию так усиленно и прилежно, как тренировался в течение этого времени Джеймс Уорд, чтобы покорить в себе дикаря. Помимо всего прочего, он старался так измотать себя за день, чтобы от усталости не слышать потом зова ночи. Он часто отрывался от дел и предпринимал длительные прогулки, охотясь за красным зверем в самых глухих и недоступных уголках в округе, но делал это непременно днем. Вечером, усталый, он возвращался к себе. Дома он установил с десяток гимнастических снарядов, сотни раз проделывая те упражнения, которые другой делал бы десять — двенадцать раз. В качестве уступки самому себе он приказал пристроить внизу открытую веранду, где спал, наслаждаясь по крайней мере пряным запахом ночи. Ли-Синг вечером запирал его там и выпускал только утром, а двойная сетка не давала ему возможности сбежать в лес.

Наконец в августе он нанял слуг в помощь Ли-Сингу и рискнул пригласить в Мельничную Долину гостей — Лилиан, ее мать, и брата, и чело-

век шесть общих друзей. В течение двух дней он держался превосходно. На третий, засидевшись допоздна за бриджем, Джеймс Уорд имел все основания гордиться собой. Он умело скрывал возникающее порой беспокойство, но случилось так, что Лилиан Джерсдейл оказалась его противником в бридже и сидела справа. Это была хрупкая, как цветок, женщина, и ее хрупкость буквально распалила его в тот вечер. Не то чтобы она меньше нравилась ему в такие минуты — нет, он просто испытывал неудержимое желание схватить ее и растерзать — особенно тогда, когда она выигрывала.

Он приказал привести в комнату шотландскую борзую, и когда казалось, что мускулы его вот-вот разорвутся от напряжения, он гладил собаку. Почувствовав шерсть под рукой, он немедленно успокаивался и мог продолжать игру. Никто не догадывался, что за беспечным смехом, тонкой, расчетливой игрой радушный хозяин с трудом сдерживает обуревающие его страсти.

Когда стали расходиться на ночь, Джеймс Уорд намеренно простился с Лилиан на глазах у всех. А после того, как Ли-Синг запер его в комнате, Джеймс Уорд принялся за физические упражнения, вдвое и даже втрое увеличивая их

продолжительность, пока, выбившись из сил, не свалился на диван, стоявший на веранде. Пытаясь заснуть, он размышлял над двумя проблемами, которые особенно тревожили его. Прежде всего — эти упражнения. Странная вещь: чем усиленнее он занимался, тем больше прибывало в нем сил. Он, разумеется, вконец изнурял жившего в себе ночного бродягу-тевтонца, но таким образом, сдавалось ему, лишь отодвигал тот роковой день, когда энергия, копившаяся в нем, вдруг прорвется наружу чудовищной, невиданной прежде волной. Другой задачей была женитьба и уловки, к которым придется прибегать, чтобы не оставаться наедине с женой после наступления темноты.

В Мельничной Долине потом долго ломали голову, откуда в ту ночь забрел туда медведь, хотя участники цирка «Братьев Спрингс», дававшего представления в Сосалито, сбились с ног, разыскивая Большого Бена — самого «крупного медведя в неволе». Но Большой Бен ушел от погони и из полутысячи имений и вилл почему-то выбрал для посещения парк Джеймса Уорда. Первое, что осознал мистер Уорд, когда, дрожа от напряжения, вскочил на ноги, был пламень схватки в груди и древняя боевая песнь на устах. Снаружи

доносились заливистый лай и злобное рычание собак. Потом этот адский шум внезапно, словно удар ножом, прорезал пронзительный визг раненой собаки — он знал, что это его собака.

Не надевая туфель, в одной пижаме он взломал дверь, которую так тщательно запирал Ли-Синг, одним махом сбежал с лестницы и выскочил на улицу. Но как только босые ноги его коснулись гравия, которым была посыпана дорожка, он резко остановился, нагнувшись, пошарил рукой в заветном месте под крыльцом и вытащил огромную сучковатую дубину — верного спутника по безумным ночным приключениям среди холмов. Яростный собачий лай приближался, и, размахивая дубиной, он прыгнул в чащу навстречу ему.

Встревоженные гости собрались на большой веранде. Кто-то включил свет, но они не видели ничего, кроме своих перепуганных лиц. По другую сторону ярко освещенной дорожки черной стеной стояли деревья. И где-то там, в непроглядной тьме, шла страшная схватка. Оттуда доносились дикие крики животных, вой, рычание, звуки ударов, треск ломающихся под тяжелыми прыжками кустов.

Волна боя выкатилась из-за деревьев на дорожку как раз перед верандой. И тут они увидели все.

Миссис Джерсдейл закричала и, теряя сознание, ухватилась за сына. Лилиан судорожно, так что потом долго ныли кончики пальцев, вцепилась в перила и, застыв от ужаса, смотрела на рыжеволосого, с неистовым огоньком в глазах великана, узнавая в нем человека, который должен стать ее мужем. Мерно взмахивая дубиной, он яростно наносил удары косматому медведю, такому огромному, какого ей ни разу не доводилось видеть.

Лилиан Джерсдейл было очень страшно за любимого человека, и все же немалую долю того страха внушал он сам. Разве могла она представить, что под крахмальной рубашкой и модным костюмом ее суженого таился такой грозный, величественный дикарь? И разве она знала, каков мужчина в бою? Схватка, что кипела у нее перед глазами, не была, разумеется, схваткой нынешнего времени, и мужчина не был современным человеком. То был не мистер Джеймс Дж. Уорд, бизнесмен из Сан-Франциско, а некто неизвестный и безымянный, какой-то свирепый, первобытный дикарь, который прихотью случая ожил много тысячелетий спустя.

Продолжая бешено лаять, собаки метались вокруг, бросаясь на медведя и отвлекая его вни-

мание. Как только зверь поворачивался, чтобы отразить нападение сзади, человек прыгал вперед и обрушивал на него свою дубину. Разъяренный медведь снова кидался на противника, но тот отскакивал, стараясь не налететь на собак, отступал, кружил взад и вперед. Тогда собаки опять бросались на медведя, и тот опять огрызался на них.

Конец схватки был неожиданным. Повернувшись, медведь со всего размаха так хватил собаку лапой, что она с перебитым позвоночником и сломанными ребрами отлетела футов на шесть в сторону. Зверь в человеке впал в неистовство. На губах у него выступила пена, из груди вырвался дикий, нечленораздельный вопль; он рванулся вперед и, размахнувшись, изо всех сил опустил дубинку на голову поднявшегося на задние лапы животного. Даже череп медведя не мог выдержать такого, сокрушительной силы, удара; и зверь рухнул на землю, где его принялись терзать собаки. Человек, перемахнув через рычащую свору, вскочил на медвежью тушу и там, освещенный ярким светом, опираясь на свою дубинку, запел на неизвестном наречии победную песнь — такую древнюю, что профессор Верц отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать ее.

Гости кинулись к победителю, бурно приветствуя его, но тут Джеймс Уорд внезапно посмотрел глазами древнего тевтонца на хрупкую белокурую девушку двадцатого века, которую он любил, и что-то оборвалось в нем. Неверными шагами он направился к ней, потом уронил дубинку и, пошатнувшись, чуть не упал. Что-то случилось с ним. Невыносимо болела голова. Душа, казалось, распадается на части. Он обернулся, следя глазами за взглядами остальных, и увидел обглоданный скелет медведя. Он закричал, рванулся было бежать, но его удержали и бережно отвели в дом.

Джеймс Дж. Уорд по-прежнему заправляет делами фирмы «Уорд, Ноулз и Ко». Но он не живет теперь за городом и не гоняется лунными ночами за койотами. Живший в нем древний тевтонец умер в ту ночь, когда в Мельничной Долине произошла схватка с медведем. Теперь Джеймс Дж. Уорд — только Джеймс Дж. Уорд и никто больше; ни единую часть своего существа не делит он с бродягой, случайно уцелевшим с тех времен, когда мир был юным. Джеймс Дж. Уорд стал настолько современным человеком, что вполне познал безотчетный страх, который горьким проклятием висит над цивилизацией.

Он боится темноты, и мысль о том, чтобы пойти ночью в лес на прогулку, повергает его в смятение. Городской дом Джеймса Уорда — пример порядка и изящества, а хозяин его обнаруживает большой интерес ко всякого рода устройствам, защищающим от взломщиков. По стенам всюду протянуты провода, и после того, как расходятся спать, редкий гость повернется в своей постели без того, чтобы не включился сигнал тревоги. Джеймс Уорд самолично изобрел комбинированный дверной замок без ключей, который можно при переездах носить в жилетном кармане и безбоязненно использовать при любых условиях. Но жена не считает его трусом. Она знает, что муж ее не трус. А он, подобно любой знаменитости, преспокойно почиет на лаврах. Мужество Джеймса Дж. Уорда не ставится под сомнение теми из его друзей, которые знают о происшествии в Мельничной Долине.

Польза сомнения

I

Картер Уотсон, зажав под мышкой номер журнала, медленно шел по городу, с любопытством озираясь вокруг. Двадцать лет он не был здесь и теперь замечал везде большие, просто поразительные перемены. В ту пору, когда он, еще мальчуганом, шатался по улицам этого западного городка, здесь было тридцать тысяч жителей, а теперь их насчитывалось триста тысяч. Когда-то улица, по которой он шагал, представляла собой тихий рабочий квартал, а сейчас она кишела китайскими и японскими лавчонками вперемежку с притонами и кабаками самого низкого пошиба. Мирная уличка его юношеских лет превратилась в самый бандитский квартал города.

Он посмотрел на часы. Половина шестого. В это время дня в таких местах бывает затишье; Уотсон хорошо это знал, но его разбирало любопытство. В течение двух десятков лет, которые он провел в скитаниях, изучая социальные условия во всех странах земного шара, он хранил память о своем родном городе как о мирном и отрадном уголке.

Метаморфоза, происшедшая здесь, его ошеломляла. Он решил продолжать прогулку и увидеть своими глазами, до какой степени позора дошел его город.

Картер Уотсон был наделен чуткой гражданской совестью. Человек состоятельный и независимый, он не любил растрачивать энергию на изысканные званые обеды и чаепития в светском обществе; он был равнодушен к актрисам, скаковым лошадям и тому подобным развлечениям. Его коньком были вопросы морали, и он мнил себя реформатором, хотя деятельность его заключалась преимущественно в том, что он сотрудничал в толстых и тонких журналах и выпускал блестящие умные книги о рабочем классе и обитателях трущоб.

Некоторые из двадцати семи прославивших его трудов носили такие заглавия: «Если бы Христос явился в Новый Орлеан», «Истощенный рабочий», «Жилищная реформа в Берлине», «Сельские трущобы Англии», «Население Ист-Сайда», «Реформа в противовес революции», «Университетский городок — обитель радикализма» и «Пещерные люди цивилизации».

Однако Картер Уотсон не был ни одержимым, ни фанатиком. Натыкаясь на ужасы, он не те-

рялся — он их изучал и разоблачал. Не склонен он был и к наивному энтузиазму. Его выручал природный юмор, накопленный годами опыт, философский ум и вялый темперамент; он не верил в молниеносные преобразования, полагая, что общество может совершенствоваться только путем долгой и трудной эволюции. Он не признавал ни коротких путей, ни внезапных перерождений: человечество придет к совершенству лишь путем жертв и страданий, только таким путем осуществлялись до сих пор все социальные реформы.

В этот летний вечер Картер Уотсон испытывал живейшее любопытство исследователя. Он остановился перед баром, на вывеске которого красовалась надпись «Вендом». У этого заведения было два входа. Одна дверь, видимо, вела прямо к буфетной стойке. Этот вход Картер не стал исследовать. За другой дверью тянулся узкий коридор. Пройдя его. Картер очутился в большой комнате, заставленной столиками и стульями. Здесь не было ни души. В дальнем углу он заметил пианино. Сказав себе мысленно, что сюда еще надо будет вернуться и присмотреться к людям, которые выпивают за этими столиками, он продолжал свой обход.

Из комнаты небольшой коридорчик вел в кухню, и здесь за столом в одиночестве ужинал Пэтси Хоран, хозяин «Вендома», торопившийся поесть до вечернего наплыва посетителей. Пэтси Хоран был зол на весь мир. Он сегодня встал с левой ноги, и целый день у него ничего не ладилось. Его подчиненные знали, что он нынче не в духе. Но Картеру Уотсону это было неизвестно. Когда он вошел, угрюмый взгляд Пэтси Хорана случайно остановился на пестрой обложке журнала, который Картер держал под мышкой. Пэтси не знал Картера Уотсона, не знал и того, что под мышкой у него попросту иллюстрированный журнал. В своем раздражении Пэтси решил, что незнакомец принадлежит к разряду тех назойливых субъектов, которые портят и уродуют стены его трактира, наклеивая на них или прикалывая кнопками всякие рекламные объявления. С этого и началась вся история. Пэтси, держа в руках нож и вилку, подскочил к Картеру Уотсону.

— Вон отсюда! — взревел он. — Знаю я ваши штуки!

Картер Уотсон опешил. Человек вырос перед ним, как чертик из табакерки.

— Стены пачкать? — кричал Пэтси, изрыгая поток сочных и довольно-таки отвратительных

эпитетов.

— Если я вас чем-нибудь неумышленно обидел… Ничего больше посетителю выговорить не удалось.

Пэтси перебил его.

— Заткни глотку и убирайся прочь! — изрек он, для большей убедительности размахивая ножом и вилкой.

Картер Уотсон мгновенно представил себе, как вилка вонзается ему в бок, и, поняв, что благоразумнее будет «заткнуть глотку», быстро пошел к двери. Но его покорное отступление, видимо, еще больше разъярило Пэтси Хорана, ибо сей достойный джентльмен, выронив из рук и вилку и нож, кинулся на него.

Пэтси Хоран весил сто восемьдесят фунтов. Столько же весил и Уотсон. В этом отношении шансы были равны. Но Пэтси был просто напористый и грубый трактирный забияка, тогда как Уотсон был искусный боксер. В этом заключалось его преимущество. Сильно размахнувшись, Пэтси промазал, попав кулаком в пустоту. Уотсону следовало ударить его наотмашь и бежать. Но Уотсон обладал и другим преимуществом: опыт, приобретенный при исследовании трущоб и гетто, воспитал в нем выдержку. Круто обер-

нувшись, он, вместо того чтобы нанести удар, быстро нагнулся, избегнув удара противника. У Пэтси, который ринулся вперед, как бык, была сила разбега, тогда как у Уотсона в момент, когда он повернулся, ее не было. В результате оба всей тяжестью своих трехсот шестидесяти фунтов с грохотом рухнули на пол, причем Уотсон очутился под противником. Он лежал у задней стены, — и до двери на улицу было сто пятьдесят футов, — необходимо было быстро что-нибудь придумать. Прежде всего — избежать скандала! Ему вовсе не хотелось, чтобы его имя попало в газеты города, где он вырос и где у него еще много родственников и старых друзей.

Он обхватил тело лежавшего на нем человека, крепко стиснул его и стал ждать помощи, которая должна была явиться в ответ на шум, вызванный их падением. И помощь явилась: шестеро мужчин вбежали из зала и полукругом обступили лежавших.

— Снимите его, ребята! — сказал Уотсон. — Я его не трогал и не желаю с ним драться.

Но зрители хранили молчание. Уотсон держал своего противника и ждал. После ряда неудачных попыток ударить Уотсона Пэтси начал переговоры:

— Уберите руки, тогда я слезу. Уотсон отпустил его, но Пэтси, вскочив и наклонившись над лежащим противником, замахнулся на него.

— Вставай! — скомандовал он.

Голос его звучал грозно и неумолимо, подобно гласу Божию в день Страшного суда, и Уотсон понял, что пощады ждать нечего.

— Отойдите прочь, и я встану, — возразил он.

— Вставай, если ты порядочный человек! — крикнул Пэтси; его бледно-голубые глаза пылали яростью, и кулак сжался для сокрушительного удара.

В тот же миг он отвел ногу назад, чтобы пнуть противника в лицо. Скрестив руки, Уотсон загородил ими лицо и вскочил на ноги так проворно, что успел схватить противника прежде, чем тот изловчился для удара. Не выпуская его, он обратился к свидетелям:

— Уберите его от меня, ребята! Вы видите, я его не бью. Я не лезу в драку. Я хочу уйти отсюда.

Круг оставался недвижим и безмолвен. Молчание это принимало зловещий характер, и у Уотсона захолонуло сердце. Пэтси сделал попытку свалить его с ног, но Уотсон опрокинул его на спину и устремился к выходу. Однако зрители толпою загородили ему дорогу. Он обратил вни-

мание на их лица — бледные, одутловатые лица людей, никогда не видящих солнца, — и понял, что это ночные хищники городских трущоб. Его оттеснили назад к Пэтси, и тот опять кинулся на него. Уотсон обхватил его и, пользуясь минутой передышки, снова воззвал к шайке. Но обращение его осталось гласом вопиющего в пустыне. Ему стало жутко. Он знал немало случаев, когда в таких притонах посетителям-одиночкам ломали ребра, увечили, забивали их до смерти. Он понял также, что, если хочет спастись, не должен наносить ударов ни нападающему, ни его пособникам.

Но в нем заговорило справедливое возмущение. Семеро против одного — это никак нельзя назвать честной игрой! Он злился, в нем просыпался дремлющий в человеке зверь, жаждущий боя. Но он вспомнил о жене и детях, о неоконченной книге, о своем обширном — в десять тысяч акров — ранчо в горах, которое он так любил. Мимолетным видением сверкнуло перед ним голубое небо, залитые солнцем, усеянные цветами луга, скот, лениво бредущий по колено в воде, форели в ручьях. Жизнь была хороша, слишком хороша, чтобы рисковать ею из-за минутной вспышки животной ярости! Словом, Картер Уотсон быстро

остыл и ощутил страх.

Его противник, крепко взятый в тиски, силился вырваться. Уотсон снова положил его на пол, бросился к двери, но был оттеснен компанией мучнистолицых сообщников Пэтси. Опять пришлось ему увернуться от кулаков Пэтси и взять его в тиски. Это повторялось много раз. Уотсон становился все спокойнее и увереннее, а озадаченный Пэтси, спасовав перед противником, все больше распалялся дикой яростью. Зажатый Уотсоном в тиски, он стал колотиться о него головой. Сначала ударился лбом о нос Уотсона. В последовавших за этим схватках Уотсон прижимался лицом к груди Пэтси. Разъяренный Пэтси стал колотиться головой об его темя и таким манером подбил себе собственный глаз, нос и щеку. И чем больше Пэтси причинял себе увечий, тем ожесточеннее колотился он головой о голову противника.

Это одностороннее побоище продолжалось минут двенадцать — пятнадцать. Уотсон не нанес ни единого удара и лишь старался увертываться. Когда он в минуты передышки, кружась между столами, делал попытки продвинуться к выходу, люди с меловыми лицами хватали его за полы и отбрасывали назад к Пэтси. По временам — это

повторялось множество раз — Картер, повертев Пэтси, клал его на обе лопатки, стараясь в то же время приблизиться к двери.

В конце концов, без шапки, растрепанный, с окровавленным носом и подбитым глазом, Уотсон выскочил на улицу и попал в объятия полисмена.

— Арестуйте этого человека! — задыхаясь, выговорил Уотсон.

— Привет, Пэтси, — сказал полисмен. — Из-за чего перепалка?

— Здорово, Чарли, — был ответ. — Этот тип входит…

— Арестуйте этого человека, полисмен! — повторил Уотсон.

— Пошел! Пошел! Проваливай! — сказал Пэтси.

— Проваливай! — поддержал его полисмен. — А не уйдешь, так я тебя засажу куда следует.

— Не уйду, пока вы не арестуете этого человека. Он ни с того ни с сего напал на меня.

— Верно это, Пэтси? — спросил полисмен.

— Нет. Я все расскажу тебе, Чарли, и, клянусь Богом, у меня есть свидетели. Сижу я у себя в кухне за миской супа, как вдруг входит этот парень и начинает приставать ко мне. Я его сроду не видел! Он был пьян…

— Посмотрите на меня, полисмен, — запротестовал возмущенный социолог. — Разве я пьян?

Полицейский окинул его угрюмым, враждебным взглядом и кивнул Пэтси в знак того, что он может продолжать.

— Понимаешь, входит он и начинает хулиганить. «Я Тим Мак-Грэт, говорит, я могу сделать с тобой все, что хочу. Руки вверх». Я засмеялся, а он двинул меня раз, другой, разлил мой суп. Посмотри на мой глаз. Я чуть живой!

— Ну, что вы намерены сделать, полисмен? — спросил Уотсон.

— Ступай, ступай, не то арестую! Тут в душе Картера Уотсона вспыхнуло благородное негодование свободного гражданина.

— Я протестую…

Но полицейский в тот же миг схватил его за плечо и тряхнул так свирепо, что Картер чуть не упал.

— Пойдем, ты арестован!

— Арестуйте же и его! — потребовал Уотсон.

— И не подумаю! — был ответ. — Зачем ты напал на него, когда он мирно ел свой суп?

II

Картер Уотсон был не на шутку взбешен. Мало

того, что на него напали, сильно избили и его же потом арестовали, — все утренние газеты вышли с сенсационными заметками о его якобы пьяной ссоре с хозяином знаменитого «Вендома». В заметках не было ни слова правды. Пэтси Хоран и его приятели описали драку со всеми подробностями. Они утверждали, что Картер Уотсон был пьян. Его будто бы трижды выбрасывали в канаву, а он трижды возвращался в трактир, вопя, как бешеный, что разнесет все заведение. «Выдающийся социолог арестован в пьяном виде!» — прочел Уотсон на первой странице одной из газет, поместившей его увеличенный портрет. Другие заголовки гласили:

«Картер Уотсон домогается звания чемпиона!» «Картер Уотсон получил по заслугам!» «Известный социолог пытался разгромить кабак!» «Картер Уотсон нокаутирован Пэтси Хораном в три раунда!»

Выпущенный на поруки, Картер Уотсон на следующее же утро явился в полицейский суд в качестве ответчика «по иску народа к Картеру Уотсону, обвиняемому в нападении на некоего Пэтси Хорана и избиении оного». Но прежде, чем приступить к делу, прокурор, которому платят жалованье за обвинение всех обидчиков «на-

рода», отвел Уотсона в сторону и завел с ним неофициальный разговор.

— Не лучше ли замять это дело? — сказал прокурор. — Мой вам совет, мистер Уотсон: помиритесь с мистером Хораном, пожмите друг другу руки, и все! Одно мое слово судье — и дело будет прекращено.

— Но я вовсе не желаю замять его, — возразил Уотсон. — Ваша обязанность меня обвинять, а не предлагать мне помириться с этим… этим субъектом!

— О, я буду вас обвинять, не беспокойтесь! — резко сказал прокурор.

— Вам придется выступать и против этого Пэтси Хорана, — предупредил Уотсон, — потому что я подам на него в суд за нападение и побои.

— Лучше бы вам пожать друг другу руки и прекратить дело, — повторил прокурор, и на этот раз в его голосе слышалось что-то похожее на угрозу.

Оба дела были назначены к слушанию через неделю у полицейского судьи Уитберга.

— У тебя нет шансов выиграть дело, — сказал Уотсону его друг детства, бывший издатель самой крупной газеты в городе. — Конечно, все понимают, что этот субъект избил тебя. Про него идет самая дурная слава. Но это тебе нисколько не

поможет. Оба дела будут прекращены. И только потому, что ты — это ты. Человек менее известный был бы осужден.

— Ничего не понимаю! — воскликнул озадаченный социолог. — На меня ни с того ни с сего напали, жестоко избили, а я не нанес ни одного удара. И я же…

— Это неважно, — прервал Картера его собеседник.

— А что же, скажи?

— Сейчас тебе объясню. Ты восстал против местной полиции и всей политической машины. Кто ты такой? Ты даже не житель нашего города. Здесь у тебя нет избирательного права, ты не можешь иметь никакого влияния на избирателей. А владелец этого кабака командует множеством избирателей в своем районе — он может обеспечить голоса на выборах!

— Не хочешь ли ты сказать, что судья Уитберг способен изменить своему долгу и присяге и оправдать этого скота?

— Увидишь сам, — мрачно ответил приятель. — О, он это сделает очень ловко! Он вынесет архизаконное, архиюридическое решение, изобилующее всеми имеющимися в наших словарях словами о праве и справедливости.

— Но у нас есть газеты! — воскликнул Уотсон.

— Газеты не воюют с властями. Они разделают тебя под орех. Смотри, как они уже успели навредить тебе!

— Стало быть, эти молодчики не напишут правды в протоколе?

— Они напишут что-нибудь настолько правдоподобное, что публика поверит им. Разве ты не знаешь, что они пишут протоколы по инструкциям свыше? Им прикажут исказить истину — и тебе не поздоровится, когда они это сделают. Лучше теперь же покончить с этим. Ты влип в скверную историю!

— Но дело ведь назначено к слушанию!

— Только захоти — и они его прекратят. Человек не может бороться с машиной, если только его не поддерживает другая машина.

III

Картер Уотсон был упрямый человек. Он понимал, что машина раздавит его, но он всю жизнь стремился обогатить свой социальный опыт, а данный случай представлял собой несомненно нечто новое.

В утро суда прокурор сделал еще одну попытку уладить дело.

— Если вы так настроены, то я хотел бы пригласить адвоката, — заявил Уотсон.

— Это ни к чему, — сказал прокурор. — Народ платит мне за то, чтобы я вел дело, и я буду его вести. Имейте в виду — у вас нет никаких шансов его выиграть. Мы соединим оба дела в одно — и держите ухо востро!

Судья Уитберг произвел на Уотсона приятное впечатление. Довольно молодой, невысокий и плотный, гладко выбритый, он казался очень милым человеком. Лицо его выражало ум, губы всегда улыбались, в уголках черных глаз залегли веселые морщинки. Глядя на этого судью, Уотсон решил, что предсказания его старого друга не оправдаются.

Но очень скоро его в этом разубедили. Пэтси Хоран и двое его приспешников нагромоздили целую гору ложных обвинений. Уотсон не поверил бы этому, если бы не слышал их собственными ушами. Они отрицали даже присутствие при драке остальных четырех свидетелей! Из тех двоих, которые давали показания, один утверждал, что находился в кухне и видел ничем не вызванное нападение Уотсона на Пэтси, а другой — будто он из другой комнаты видел, как потом Уотсон два раза врывался в кабак с целью добить ни в

чем не повинного Пэтси. Ругань, которую они приписывали Уотсону, была так замысловата и невыразимо гнусна, что этим они себя выдавали с головой. Кто же мог поверить, что Картер Уотсон произносил такие слова! Когда они стали описывать, какие жестокие удары он будто бы обрушил на физиономию бедного Пэтси, Уотсону даже стало смешно, но вместе с тем ему тяжело было видеть, как суд превращался в комедию. Он думал: «До какого же падения дошли люди и какой длинный путь должно еще проделать человечество к вершинам прогресса!»

Уотсон не узнавал себя, да и злейший враг не признал бы его в том забияке и скандалисте, каким его изобразили! Как всегда бывает с запутанными лжесвидетельствами, в отдельных версиях рассказа были пробелы и противоречия. Но судья почему-то совсем не замечал их, а прокурор ловко обходил. Уотсон не позаботился пригласить защитника и теперь рад был, что не сделал этого.

Все же он питал еще некоторое доверие к судье Уитбергу, когда подошел к судейскому столу и стал излагать дело.

— Я прогуливался и забрел случайно… — начал он, но судья перебил его.

— Нас не интересуют ваши прежние действия, — сказал он грубо. — Кто первый нанес удар?

— Ваша честь, — продолжал Уотсон, — у меня нет свидетелей, и удостовериться в правдивости моего рассказа вы можете, лишь выслушав меня до конца.

Его опять перебили.

— Мы здесь не журналы издаем! — прорычал судья Уитберг, свирепо глядя на него.

Уотсон с трудом мог поверить, что он тот самый человек, лицо которого ему понравилось несколько минут назад.

— Кто первый нанес удар? — спросил адвокат Пэтси.

Тут вмешался прокурор, потребовав, чтобы ему объяснили, какое же из двух дел сейчас рассматривается и по какому праву адвокат Пэтси допрашивает подсудимого. Адвокат отразил выпад. Судья Уитберг заявил, что ему ничего не известно о втором деле, которое соединили с первым. Все это требовало выяснений. Началось генеральное сражение, закончившееся тем, что оба юриста извинились перед судьей и друг перед другом. Уотсону казалось, что он видит перед собою шайку карманных воров, шныряющих вокруг честного человека и заговаривающих ему

зубы, пока другие вытаскивают у него кошелек.

Да, машина пущена в ход — только и всего!

— Зачем вы зашли в это заведение, пользующееся дурной репутацией? — спросили Уотсона.

— Вот уже много лет я изучаю экономику и социологию и стараюсь знакомиться…

Только это и успел выговорить Уотсон.

— Нам не интересны ваши «ологии», — перебил судья Уитберг. — Вопрос ясен. Дайте на него ясный ответ. Были вы пьяны или не были? В этом вся суть.

Когда Уотсон сделал попытку рассказать, как Пэтси расшиб себе лицо, колотясь о его голову, его подняли на смех, и судья Уитберг снова остановил его.

— Сознаете ли вы святость присяги, которую вы дали, обещав свидетельствовать только правду? — спросил судья. — Ведь вы рассказываете нам какие-то сказки! Возможно ли, чтобы человек добровольно увечил себя и наносил себе вред, колотясь мягкими, чувствительными частями своего лица о вашу голову? Ведь вы же разумный человек! То, что вы говорите, ни с чем не сообразно.

— В ярости люди бывают безрассудны, — мягко ответил Уотсон.

Тут судья Уитберг глубоко оскорбился и воспылал праведным гневом.

— Какое право вы имеете говорить это? — закричал он. — Это не имеет никакого отношения к делу. Вы обязаны только давать показания. Суду нет никакого дела до ваших мнений о чем бы то ни было.

— Я лишь ответил на вопрос, ваша честь, — смиренно возразил Уотсон.

— Ничего подобного! — снова заорал на него судья. — Предупреждаю вас, сэр, что своим дерзким поведением вы восстановите против себя всех. И знайте, что мы умеем соблюдать законы и правила вежливости. Мне стыдно за вас!

Пока шел начавшийся затем казуистический спор между адвокатом и прокурором, прервавший показания подсудимого о событиях в «Вендоме», Картер без всякой горечи, с любопытством и одновременно с грустью наблюдал, как действует эта огромная, могущественная и вместе с тем жалкая машина, управлявшая страною. Он думал о безнаказанном и бесстыдном взяточничестве в тысячах городов, узаконенном паукообразными гадами, состоящими при этой машине. Вот она — на его глазах в этой судебной камере, где судья угодливо склоняется перед кабатчиком, в руках

которого множество марионеток-избирателей. Ничтожное судебное дело о побоях было лишь одним из многочисленных примеров работы той сложной и многоликой машины, которая действовала во всех городах и штатах, бросая тень на всю страну.

В мозгу Картера звучала знакомая фраза: «Да ведь это просто смешно!» В самый разгар спора он не сдержался и захихикал, вызвав этим сердитый взгляд судьи. Уотсон решил, что эти юристы и этот грубиян судья в тысячу раз хуже драчливых штурманов на торговых кораблях: те умели не только нападать, но и защищаться, а эти мелкие негодяи укрывались за спиной закона. Сами они нападали, но не давали возможности отражать их удары, прячась за тюремные камеры и дубинки тупых полисменов, этих профессиональных истязателей на жалованье. Но злобы Уотсон не испытывал. Грубость и неприличие всей процедуры заслонялись ее невероятной комичностью. Уотсона спасало природное чувство юмора.

Несмотря на запугивание и придирки, ему удалось в конце концов дать точное и правдивое описание схватки, и, вопреки явно пристрастному характеру перекрестного допроса, ни одна мелочь в его показаниях не была опровергнута.

Совсем другой характер носили крикливые показания Пэтси и его двух свидетелей, лживые от начала до конца.

Как адвокат Пэтси, так и прокурор поддерживали обвинение, не оспаривая ничего по существу. Уотсон протестовал, но прокурор зажал ему рот, объявив, что он общественный обвинитель и знает свое дело.

«Патрик Хоран доказал, что жизни его грозила опасность и он вынужден был обороняться, — гласил приговор, вынесенный судьей. — Аналогичное заявление сделано и мистером Уотсоном. Каждый из них под присягой удостоверяет, что первый удар был нанесен противной стороною. Каждый клянется, что подвергся ничем не вызванному нападению со стороны противника. Закон гласит, что сомнение толкуется в пользу ответчика. В данном случае налицо весьма основательные сомнения. Поэтому в деле „Народ против Картера Уотсона“ сомнение толкуется в пользу вышеозначенного Картера Уотсона, который тем самым освобождается от ареста. То же имеет место в деле „Народ против Патрика Хорана“. Сомнение толкуется в его пользу, и он освобождается от ареста. Я рекомендую обоим обвиняемым обменяться рукопожатием и по-

мириться».

На странице вечерней газеты Уотсон прочел заголовок:

«Картер Уотсон оправдан! „Вторая газета объявляла: «Картер Уотсон избежал штрафа! «Но лучше всего была заметка начинавшаяся словами: «Картер Уотсон — славный малый!“ В ней говорилось, что судья Уитберг посоветовал обоим драчунам пожать друг другу руки, что они и поспешили сделать. Далее он прочел следующее:

«— Что ж, по этому случаю выпьем по маленькой? — промолвил Пэтси Хоран.

— Идет! — сказал Картер Уотсон. И они направились в ближайший бар».

IV

В общем это приключение не оставило горечи в душе Картера Уотсона. Это был еще один новый «социальный опыт», и в результате Уотсоном была написана еще одна книга, озаглавленная: «Полицейское судопроизводство».

Год спустя, приехав в одно летнее утро на свое ранчо, Картер Уотсон слез с лошади и стал пробираться через небольшое ущелье, желая посмотреть группу горных папоротников, посаженных им прошлой зимой. Выйдя из ущелья, он

очутился на усеянной цветами поляне. Это был очаровательный уединенный уголок, отгороженный от остального мира холмиками и купами деревьев. И здесь Картер увидел человека, который, по-видимому, вышел на прогулку из летней гостиницы, расположенной в миле отсюда. Они столкнулись лицом к лицу и узнали друг друга: приезжий был не кто иной, как судья Уитберг. Он явно нарушил границы чужого владения, ибо Уотсон, хотя и не придавал этому значения, выставил на рубеже своих владений межевые знаки.

Судья протянул руку, но Уотсон сделал вид, что не заметил этого.

— Политика — грязное дело, не правда ли, судья? — сказал он. — О, я вижу вашу руку, но не хочу ее пожать! Газеты писали, будто я после суда подал руку Пэтси Хорану. Вы знаете, что это ложь, но скажу прямо — я в тысячу раз охотнее пожал бы руку ему и его подлым приспешникам, нежели вам!

Судья Уитберг испытывал сильное замешательство. Покуда он, откашливаясь и запинаясь, силился заговорить, Уотсона, наблюдавшего за ним, внезапно осенила одна мысль, и он решился на веселую, хотя и злую проделку.

— Не думал я, что встречу злопамятство в человеке столь просвещенном и знающем жизнь… — начал судья.

— Злопамятство? Вот уж нет! — возразил Уотсон. — Мне оно несвойственно. В доказательство разрешите показать вам одну любопытную штуку, какой вы, наверное, никогда не видали!

Уотсон поднял с земли камень величиной с кулак.

— Видите это? Теперь смотрите на меня!

Сказав это, Картер Уотсон нанес себе сильный удар камнем по щеке. Он рассек щеку до кости, и кровь брызнула струей.

— Камень попался чересчур острый, — пояснил он изумленному судье, решившему, что Уотсон сошел с ума. — Переборщил малость. А в таких делах самое главное — правдоподобие.

Отыскав другой, гладкий камень, Картер Уотсон несколько раз подряд ударил им себя по щеке.

— Ага, — сказал он спокойно, — через час-другой щека приобретет великолепную черно-зеленую окраску. Это будет убедительно!

— Да вы спятили! — дрожащим голосом пролепетал судья Уитберг.

— Не грубите! — сказал Уотсон. — Разве вы не видите моей окровавленной физиономии? Вы

дважды ударили меня правой рукой! Какое зверское, ничем не вызванное нападение! Моя жизнь в опасности! Я вынужден обороняться.

Судья Уитберг в страхе отступил, увидев под самым носом кулаки Уотсона.

— Только ударьте меня, и я прикажу вас арестовать! — пригрозил он.

— Это самое я говорил Пэтси, — последовал ответ. — И знаете, что он сделал?

— Нет.

— Вот что!

В то же мгновение правый кулак Уотсона обрушился на нос судьи Уитберга, и сей джентльмен упал навзничь.

— Встаньте! — скомандовал Уотсон. — Встаньте, если вы порядочный человек! Так сказал мне Пэтси. Да вы ведь это знаете…

Судья Уитберг не желал вставать, но Уотсон поднял его за шиворот и поставил на ноги — лишь для того, чтобы подбить ему глаз и снова опрокинуть на спину. После этого началось истязание по методу краснокожих индейцев. Судью Уитберга избивали по всем правилам искусства, били по щекам, по ушам, возили лицом по траве. Все время Уотсон показывал, «как проделывал это Пэтси Хоран». По временам расшалившийся

социолог с большой ловкостью наносил себе удар, оставляющий настоящий кровоподтек, и раз, поставив бедного судью стоймя, он умышленно расшиб себе нос о голову этого джентльмена. Из носа пошла кровь.

— Видите? — воскликнул Уотсон, отступая на шаг и размазывая кровь по всей манишке. — Вот что вы сделали! Треснули меня кулаком! Это ужасно. Я едва жив! Я вынужден защищаться.

И снова судья Уитберг получил удар кулаком в лицо и свалился.

— Я велю вас арестовать, — сказал он, всхлипывая.

— Вот это самое говорил Пэтси!

— Это зверское, ничем не вызванное нападение…

— Эти самые слова я слышал от Пэтси.

— Я вас арестую, не сомневайтесь!

— Вряд ли, если мне удастся опередить вас.

Картер Уотсон сошел в ущелье, сел на свою лошадь и уехал.

Часом позже, когда судья Уитберг, прихрамывая, добрался до своей гостиницы, он был арестован деревенским констеблем за нападение и побои по жалобе Картера Уотсона.

V

— Ваша честь, — говорил на другой день Уотсон деревенскому судье, зажиточному фермеру, окончившему лет тридцать тому назад сельское училище. — Ввиду того, что вслед за учиненным надо мной насилием этому Солу Уитбергу пришла фантазия обвинить меня в нанесении ему побоев, я предложил бы, чтобы оба дела слушались вместе. Свидетельские показания и факты в обоих случаях одинаковы.

Судья согласился, и оба дела разбирались одновременно. Как свидетель обвинения, Уотсон выступил первым и так изложил происшествие.

— Я рвал цветы, — показывал он, — мои цветы на моей собственной земле, не предвидя никакой опасности. Вдруг этот человек кинулся на меня из-за деревьев. «Я — Додо, — говорит он, — и могу исколошматить тебя так, что от тебя останется мокрое место. Руки вверх!» Я улыбнулся, но тут он — бац! — сбил меня с ног и разбросал цветы. И ругался при этом отвратительно! Это ничем не вызванное зверское нападение. Смотрите на мою щеку, смотрите, во что он превратил мой нос! Должно быть, он был пьян. Не успел я опомниться, как он начал избивать меня. Жизни моей

грозила опасность, и я был вынужден защищаться. Вот и все, ваша честь, и, должен сказать, я так ничего и не понял. Почему он назвал себя «Додо»? Почему без всякого повода напал на меня?

Так Солу Уитбергу было преподано искусство лжесвидетельства. С высоты своего кресла ему часто случалось снисходительно выслушивать ложь под присягой в инсценированных полицией «делах»; но тут впервые лжесвидетельство было направлено против него самого, причем на этот раз он не восседал на судейском кресле под охраной пристава и полицейских дубинок.

— Ваша честь! — возопил он. — Никогда еще мне не доводилось слышать такой бесстыдной лжи!

Уотсон вскочил.

— Ваша честь, я протестую! Дело ваше решать, где правда и где ложь. Свидетель в суде должен только излагать факты. Его личное мнение не имеет отношения к делу!

Судья почесал затылок и довольно вяло выразил негодование.

— Совершенно верно, — сказал он. — Мистер Уитберг, вы утверждаете, будто вы судья. Следовательно, вы должны знать все тонкости судопроизводства. Между тем вы совершаете та-

кие противозаконные деяния! Ваши повадки, сэр, и ваш образ действий характеризуют вас как клязузника! Нам надо установить, кто первый нанес удар, и нам нет никакого дела до вашей оценки личных качеств мистера Уотсона. Продолжайте давать показания!

Судья Уитберг с досады прикусил бы свою распухшую губу, если бы она не болела так сильно. Он взял себя в руки и изложил дело ясно и верно.

— Ваша честь, — сказал Уотсон. — Спросите же его, что он делал в моих владениях.

— Вопрос резонный. Что вы делали, сэр, во владениях мистера Уотсона?

— Я не знал, что это его владения.

— Это нарушение чужих границ, ваша честь! — сказал Уотсон. — Знаки выставлены на видном месте!

— Я не видел никаких знаков, — сказал Сол Уитберг.

— Я сам видел их! — резко возразил судья. — Они бросаются в глаза! Должен предупредить вас, сэр, что если вы даже и в таких мелочах будете уклоняться от истины, то вызовете недоверие к более важным пунктам ваших показаний! За что вы ударили мистера Уотсона?

— Ваша честь, я уже докладывал, что не нанес ему ни одного удара.

Судья посмотрел на распухшее лицо Картера Уотсона, затем устремил грозный взгляд на Сола Уитберга.

— Взгляните на щеку этого человека! — загремел он. — Если вы не нанесли ему ни одного удара, почему же он так избит и изувечен?

— Как я уже объяснял…

— Будьте осторожны! — предостерег его судья.

— Я буду осторожен, сэр, я буду говорить только правду. Он сам ударил себя камнем. Он ударил себя двумя камнями.

— Возможно ли, чтобы человек, если только он не помешан, сам себя увечил, нанося себе камнем удары по лицу? — спросил Картер Уотсон.

— Да, это сильно смахивает на сказку, — заметил судья. — Мистер Уитберг, вы были пьяны?

— Нет, сэр.

— Вы никогда не пьете?

— Только иногда, при случае.

Некоторое время судья размышлял, сделав глубокомысленную мину.

Уотсон воспользовался этим и подмигнул Солу Уитбергу; но сей джентльмен, претерпев столько невзгод, не видел в создавшемся положении ни-

чего смешного.

— Странный, очень странный случай! — объявил судья, приступая к чтению приговора. — Показания обеих сторон явно противоречивы, а свидетелей нет. Каждый утверждает, что нападение совершил другой, и суд не имеет возможности установить истину. Но у меня создалось свое мнение, мастер Уитберг, и я советовал бы вам держаться подальше от владений мистера Уотсона и уехать отсюда.

— Возмутительно! — буркнул Сол Уитберг.

— Сядьте на место, сэр! — приказал громовым голосом судья. — Если вы еще раз перебьете меня, я оштрафую вас за неуважение к суду. И предупреждаю

— штраф будет большой. Вы сами судья и должны блюсти достоинство суда! Сейчас я прочту приговор.

Закон гласит, что сомнение всегда толкуется в пользу подсудимого. Ввиду невозможности установить, кто нанес первый удар, я, к моему великому сожалению, — тут он сделал паузу и грозно посмотрел на Сола Уитберга, — по каждому из этих дел вынужден оправдать ответчика… Джентльмены, вы оба свободны…

— Что ж, выпьем по этому случаю? — обратился

Уотсон к Уитбергу, когда они вышли из суда. Но возмущенный Уитберг отказался пойти с ним под руку в ближайший кабак.

Воздушный шантаж

Удобно развалившись в кресле и закрыв глаза, Питер Уинн сосредоточенно обдумывал план кампании против группы враждующих с ним финансистов, с которыми собирался расправиться в самом ближайшем будущем. Основной замысел пришел ему в голову еще накануне ночью, и теперь он радостно смаковал более мелкие и второстепенные детали этого плана. Он берет в свои руки контроль над местным банком, двумя универсальными магазинами, несколькими лесопилками и тем самым над одной очень симпатичной железнодорожной веткой, которая — пусть она останется безымянной — позволит ему захватить больше миль главной магистрали, чем вбито костылей в полотно этой симпатичной железнодорожной ветки. Все было так просто, что он чуть не расхохотался, когда его вдруг осенила эта замечательная идея. И неудивительно, что его старые хитроумные враги упустили такой удобный случай.

Дверь отворилась, и в библиотеку вошел тощий мужчина средних лет. Он был близорук и носил очки. В руках он держал распечатанный конверт

и письмо. Это был секретарь Питера Уинна, и в его обязанности входило разбирать, прочитывать и сортировать почту своего хозяина.

— Это письмо пришло с утренней почтой, — начал секретарь извиняющимся тоном и робко хихикая. — Конечно, все это ерунда, но мне показалось, что вы захотите сами взглянуть.

— Читайте, — скомандовал Питер Уинн, не открывая глаз.

Секретарь откашлялся.

— Датировано семнадцатым июля, но обратного адреса нет. Штемпель — Сан-Франциско. Написано совершенно безграмотно. Орфография чудовищная. Читаю:

«Мистеру Питеру Уинну.

Сэр, с уважением посылаю вам голубя, он стоит гору денег, это лу-лу…»

— Что такое лу-лу? — прервал его Питер Уинн. Секретарь хихикнул.

— Понятия не имею. Наверное, это означает что-то самое лучшее. Читаю дальше:

«Будьте разлюбезны нагрузить его парой тысячедолларовых бумажек и отпустите. Если нагрузите, то вам от меня никогда не будет никакого беспокойства. А не нагрузите, то пожалеете «.

Все. Оно не подписано. Я думал, что это вас

позабавит.

— Голубь здесь? — поинтересовался Питер Уинн.

— Я еще не спрашивал.

— Так спросите.

Через пять минут секретарь вернулся.

— Да, сэр. Он прилетел сегодня утром.

— Принесите его сюда.

Секретарь был склонен думать, что кто-то подшутил над ними, но Питер Уинн, осмотрев голубя, пришел к иному выводу.

— Вы только взгляните на него, — сказал Питер Уинн, поглаживая голубя.

— Какое длинное туловище и какая гибкая шея! Настоящий почтовик! Ничего лучшего я в жизни не видел. А какие сильные крылья! А мускулы! Наш неизвестный корреспондент прав: это лу-лу. Очень не хочется его отпускать.

Секретарь хихикнул.

— А зачем отпускать? Конечно, вы не отдадите его отправителю такого письма.

Питер Уинн покачал головой.

— Я отвечу ему. И никому не позволю угрожать мне ни анонимно, ни в шутку.

На клочке бумаги он написал очень лаконичное послание: «Идите к черту!», — подписал его и

вложил в специальный аппарат, которым предусмотрительно снабдили голубя.

— А теперь пусть летит. Где мой сын? Я хочу, чтобы он посмотрел, как голубь поднимется.

— Он в мастерской. Он и спал там ночью, а утром велел принести ему туда завтрак.

— Сломает он себе шею, — заметил Питер Уинн раздраженно, но не без гордости, и вышел на веранду. Стоя на верхней площадке широкой лестницы, он подбросил красавца голубя вверх. Голубь быстро взмахнул крыльями, на какое-то мгновение, словно в нерешительности, повис в воздухе и тут же взмыл в голубую высь.

Высоко в небе он снова замер, словно не зная, куда лететь, потом вдруг нашел нужное направление и помчался на восток над высокими дубами, которые зелеными точками усеивали эту похожую на парк местность.

— Прекрасно! Прекрасно! — бормотал Питер Уинн. — Я почти жалею, что отпустил его.

Но Питер Уинн был очень занятой человек; в его голове возникали такие грандиозные планы, а в руках было столько рычагов от множества предприятий, что он быстро забыл этот маленький инцидент. Через три дня левый флигель его загородной виллы взлетел на воздух. Взрыв был

не очень сильный, никто из людей не пострадал, однако от флигеля не осталось и камня на камне. В здании вылетели все стекла, и оно было основательно повреждено. С первым паромом из Сан-Франциско прибыли полдюжины сыщиков, а через несколько часов к Питеру Уинну ворвался его секретарь, который был чем-то крайне взволнован.

— Он здесь! — задыхаясь, вымолвил секретарь; по лбу у него струился пот, а глаза под очками вылезли из орбит.

— Кто здесь? — осведомился Питер Уинн.

— Он… этот… этот лу-лу… голубь!

Финансист сразу же все понял.

— Вы уже просмотрели почту?

— Я как раз ее просматриваю, сэр.

— В таком случае продолжайте; быть может, там найдется новое письмо от нашего таинственного друга-голубятника.

Письмо было. И вот что в нем было написано:

«Мистеру Питеру Уинну.

Достопочтенный сэр, не валяйте дурака. Если бы вы не, заартачились, ваша хижина не взлетела бы к небесам. Наипочтительнейше извещаю вас, что опять посылаю вам своего голубя. Обращайтесь с ним так же хорошо, за что я вас благодарю.

Привяжите к нему пять тысячедолларовых бумажек и отпустите. Не кормите его. И не пытайтесь следить за ним. Теперь он знает дорогу и полетит еще быстрее. Если не дадите денег, берегитесь».

Питер Уинн искренне возмутился. На этот раз он не стад посылать голубятнику писем. Зато позвал сыщиков и по их совету тяжело нагрузил голубя дробью. Поскольку прошлый раз голубь летел на восток к заливу, власти отрядили самый быстроходный катер в Тибурне, чтобы он следил за птицей, если она полетит через залив.

Но дроби наложили слишком много, и голубь устал, даже не долетев до берега. Потом была допущена новая ошибка: дроби оставили слишком мало, и голубь, взвившись в небо, полетел дальше на восток через бухту Сан-Франциско. Он летел прямо над островом Ангела, и пока катер огибал остров, голубя и след простыл.

Всю ночь вооруженные полицейские охраняли виллу Питера Уинна. Но взрыва не произошло. Однако утром к Питеру Уинну позвонили и сказали, что дом его сестры в Аламеде сгорел дотла. Через два дня голубь снова был тут как тут, но на этот раз он прибыл в чем-то похожем на ящик из-под картофеля. Пришло и очередное письмо:

«Мистеру Питеру Уинну.

Уважаемый сэр, это я спалил дом вашей сестры. Незачем было поднимать такой шум. Теперь пришлите мне десять тысяч. Все время буду повышать сумму. Не нагружайте птицу дробью. Вам все равно ее не выследить. Стыдно мучить животных».

Питер Уинн готов был признать себя побежденным. Сыщики оказались бессильны чем-либо помочь, и Питер не знал, куда этот человек нанесет следующий удар, удар, который может оказаться смертельным для кого-нибудь из его родных или близких. Он даже позвонил в Сан-Франциско, чтобы ему прислали десять тысяч долларов крупными купюрами. Но у Питера был сын, Питер Уинн-младший, с такой же сильной челюстью, как у отца, и с таким же стальным и упрямым блеском в глазах. Ему исполнилось двадцать шесть лет, но это был уже настоящий мужчина, которым тайно восхищался и за которого боялся старый финансист; он гордился успехами сына в конструировании аэропланов и страшился, что все это плохо кончится.

— Подожди, отец, не посылай ему денег, — сказал Питер Уинн-младший. — Номер восьмой уже готов, и я наконец создал приспособление для уменьшения поверхности крыла. Это целый пе-

реворот в воздухоплавании. Скорость — вот что нам нужно прежде всего, но нужны и большие несущие плоскости, чтобы взлететь и набрать высоту. Я добился и того и другого. Поднявшись в воздух, я уменьшаю поверхность крыла. Понимаешь, чем меньше несущая плоскость, тем выше скорость. Этот закон открыл Лэнглей. А я применил его. Теперь я могу взлетать и в безветрие, когда вокруг множество воздушных ям, и в бурю; регулируя ширину крыльев, я смогу развивать почти любую скорость, какую мне нужно, особенно с этим новым мотором Сэнгстер-Эндхолма.

— И в один прекрасный день свернешь себе шею, — ободряюще заметил его отец.

— Говорю тебе, папа, я буду летать со скоростью девяносто миль в час, ты представляешь себе, да-да, даже сто миль! А теперь слушай меня. Я собирался идти завтра в пробный полет. Но могу взлететь и сегодня часа через два. договоримся на вторую половину дня. И придержи деньги. Дай мне голубя, и я полечу за ним до самой его голубятни, где бы она ни была. Подожди, я только поговорю с механиком.

Войдя в мастерскую, он стал отдавать приказания настолько ясно, четко и решительно, что донельзя растрогал старика. Да, его единствен-

ный сын был весь в отцовскую породу, а старый Питер Уинн оценивал без ложной скромности великие достоинства этой породы.

Ровно через два часа, минута в минуту, молодой человек был готов к вылету. В кобуре на боку лежал крупнокалиберный автоматический пистолет; он был заряжен, а курок поставлен на предохранитель. Юный Питер Уинн еще раз проверил и осмотрел свой аэроплан, а потом занял место в кабине. Он включил мотор, прекрасная машина с диким ревом понеслась по взлетной дорожке и оторвалась от земли. Поднимаясь по спирали в западном направлении, он кружил, петлял и маневрировал, чтобы в любой момент быть готовым к старту предстоящего соревнования.

Старт зависел от голубя. Питер Уинн держал его в руках; На этот раз его не нагрузили дробью. Зато крепко-накрепко, привязали к лапке яркую ленту длиной в пол-ярда, чтобы легче было следить за его полетом. Питер Уинн выпустил голубя, и он легко взвился в воздух, несмотря на развевавшуюся под ним ленту. Голубь уверенно выбирал направление полета. Он уже третий раз летел домой по этому маршруту и хорошо знал дорогу.

Достигнув высоты в несколько сот футов,

голубь понесся на восток. Аэроплан перестал кружить и полетел прямо за ним. Кто быстрей! Питер Уинн-старший взглянул вверх и увидел, что голубь обгоняет крылатую машину. Но еще он увидел, что аэроплан вдруг стал меньше. Крылья его сузились. Это действовало ускорительное устройство. Широких громоздких плоскостей, на которых он поднялся в воздух, уже не было и в помине, и по небу несся изящный, похожий на ястреба, моноплан, слегка покачиваясь на длинных и очень узких крыльях.

Когда молодой Уинн так резко сузил крылья, его ждал приятный сюрприз. Это было первое испытание нового устройства, и хотя Питер знал, что скорость увеличится, он даже не представлял себе, что машина полетит так быстро. Результат превзошел самые смелые ожидания, и не успел он оглянуться, как уже догонял голубя. Маленькая птица, испуганная этим огромным ястребом, какого она никогда не видела, немедленно взмыла вверх, как и все голуби, которые всегда стараются подняться выше ястреба.

Моноплан тоже стал подниматься большими зигзагами в синее небо. Снизу было трудно уследить за голубем, и молодой Уинн боялся потерять его из виду. Он даже расширил немного крылья,

чтобы быстрей набрать высоту. Они поднимались все выше и выше, пока голубь, верный своему инстинкту, не упал камнем на спину преследующего его врага. Ударившись о гладкую обшивку машины, он, очевидно, сразу же почувствовал, что это не ястреб, перестал описывать круги и опять полетел на восток.

Почтовый голубь, возвращаясь домой, развивает очень высокую скорость, и Уинн снова сузил крылья. И снова он с удовлетворением отметил, что догоняет голубя. Но на этот раз он быстро увеличил площадь крыльев и вовремя замедлил полет. Убедившись, что голубю от него не скрыться, Питер даже начал напевать какую-то песенку, и время от времени с губ его срывались слова: «Все хорошо, все хорошо! Я говорил, все будет хорошо!»

Однако полет проходил не так уж гладко. Воздух — очень ненадежная опора, и совершенно неожиданно аэроплан вошел под острым углом в сильный вихревой поток, который, словно гигантский сквозняк, продувал Золотые Ворота. Сначала воздушная струя ударила в правое крыло: резкий, сильный толчок подбросил машину вверх, накренил и чуть не перевернул ее. Однако Уинн сделал вираж, а потом быстро, хотя и без

излишней торопливости, изменил угол крыльев, опустил передние горизонтальные рули и повернул задний руль так, чтобы идти прямо против ветра. Как только машина выровнялась и полностью вошла во встречный невидимый поток воздуха, он снова изменил угол крыльев, повернул руль, сузил на несколько ярдов плоскости и устремился за голубем, который за эти несколько мгновений успел улететь довольно далеко.

Голубь летел прямо к берегу округа Аламеды, и уже у самого берега Питера Уинна ожидало новое испытание: он попал в воздушную яму. Питер и раньше попадал в воздушные ямы, но такой глубокой, как эта, ему никогда не доводилось встречать. Он не спускал глаз с ленты, привязанной к голубю, и, глядя на эту яркую полоску ткани, определял расстояние, которое пролетел к земле. Питер падал все ниже и ниже, и у него засосало под ложечкой, как в дни его детства, когда еще мальчиком он быстро спускался в лифте. Однако среди прочих тайн пилотирования Уинн постиг одно важное правило: чтобы набрать высоту, иногда нужно сначала спуститься вниз. Воздух не держал его. И тогда, дабы не вести тщетную и рискованную борьбу за опору, Уинн решил уступить силе тяжести.

Твердой рукой, смело, но осмотрительно он опустил передний горизонтальный руль, и моноплан носом вниз нырнул в бездну. Падая, он рассекал воздух, как лезвие ножа. С каждым мгновением его скорость ужасающе росла. Но теперь у него была подъемная сила, которая могла спасти его от гибели. Резко поднимая и опуская горизонтальные рули, он в несколько секунд поднялся в более плотные слои воздуха и выскочил из ямы.

На высоте около пятисот футов голубь пролетел над городом Беркли и стал приближаться к холмам Контра Коста. Поднимаясь вслед за голубем все выше и выше, молодой Уинн разглядел здания и двор Калифорнийского университета, в котором сам учился.

Над холмами Контра Коста он снова чуть не попал в беду. Теперь голубь летел совсем низко, и там, где эвкалиптовая роща преграждала дорогу ветру, птицу вдруг подбросило на добрую сотню футов вверх. Уинн сразу же понял, в чем дело. Голубь попал в восходящий поток воздуха, который поднимался на сотни футов над тем местом, где сильный западный ветер ударялся в высокую стену эвкалиптовых деревьев. Уинн поспешно сузил до предела крылья своей машины и в то же время изменил угол полета так, чтобы не

опрокинуться на восходящем потоке. Однако на протяжении трехсот футов моноплан бросало из стороны в сторону, пока наконец опасность не осталась позади.

Голубь миновал еще две гряды холмов, и Питер Уинн увидел, что он садится на поляну на склоне холма возле небольшой хижины. Питер возблагодарил судьбу за то, что она послала ему эту поляну. На нее было удобно садиться и еще удобнее благодаря крутизне склона с нее было взлетать.

На поляне сидел какой-то человек и читал газету; увидев возвращающегося голубя, он встал, как вдруг услышал шум мотора и заметил огромный моноплан с раздвинутыми плоскостями, идущий на посадку; опустив горизонтальные рули, машина замерла на образовавшейся при этом воздушной подушке, скользнула вниз и, коснувшись земли, остановилась в нескольких шагах от него. Но когда он увидел, что в кабине спокойно сидит какой-то молодой человек, направив на него пистолет, он бросился бежать. Не успел он добежать до угла хижины, как в ногу ему попала пуля, и он рухнул на землю.

— Что вы хотите? — спросил он, когда молодой человек подошел к нему.

— Хочу покатать вас на своей новой машине, — ответил Уинн. — И уверяю вас, что она тоже лу-лу.

Голубятник не стал спорить, ибо странный гость явно обладал большим даром убеждения. По его указаниям, которые все время подкреплялись пистолетом, раненый приготовил что-то вроде бинта и перевязал себе ногу. Потом Уинн помог ему залезть в кабину аэроплана, а сам поднялся на голубятню и взял голубя с лентой, которая все еще висела у него на лапке.

Голубятник оказался очень покладистым пленником. Очутившись в воздухе, он замер от страха. Хоть он и занимался воздушным шантажом, небо его нисколько не прельщало, и, глядя на летящую где-то далеко внизу землю и воду, он даже не пытался напасть на своего врага, который сейчас был совершенно беззащитен, так как руки его лежали на рычагах.

Пленник старался лишь поплотнее прижаться к креслу, в котором сидел.

* * *

Глядя на небо в очень сильный бинокль, Питер Уинн-старший увидел, что над зазубренным хребтом на острове Ангела вдруг появился и

стал быстро расти моноплан. Через несколько минут он крикнул стоящим рядом сыщикам, что в кабине сидит какой-то пассажир. Быстро опустившись и притормозив на воздушной подушке, моноплан приземлился.

— Мое новое приспособление работает как надо! — воскликнул молодой Уинн, вылезая из кабины. — Ты видел, как я взлетел? Я почти обогнал голубя! Все хорошо, папа! Все хорошо! Что я говорил? Все хорошо!

— А это кто там с тобой? — спросил отец.

Молодой человек оглянулся на своего пленника и тут же вспомнил.

— Это один голубятник, — сказал он. — Думаю, что господа полицейские позаботятся о нем.

Питер Уинн молча пожал руку сына и погладил голубя которого сын передал ему. Потом, снова погладив красавца голубя, сказал:

— Получит первый приз на выставке!

Только кулаки

Лихорадочные приготовления к празднованию Рождества на яхте «Сэмосет» были закончены. Уже много месяцев яхта не заходила в цивилизованные порты, и оставшиеся продукты не отличались изысканностью, но все же Минни Дункан сумела приготовить настоящее пиршество для кают-компании и команды.

— Посмотри, Бойд, — сказала она мужу. — Вот меню. Для кают-компании — свежая макрель по-туземному, черепаховый суп, омлет a la Сэмосет…

— Это еще откуда? — перебил ее Бойд Дункан.

— Раз уж тебе так необходимо знать, я нашла за буфетом банку консервированных грибов и пакетик яичного порошка, ну и много другого. Но не перебивай меня… Вареный ямс, жареное таро, потом груша-авокадо — ну вот, ты совсем меня сбил. А еще я нашла полфунта восхитительной сушеной каракатицы. Будут и печеные бобы по-мексикански, если мне удастся втолковать Тойяме, как их готовят; затем печенная в меду с Маркизских островов папайя и наконец изумительный пирог, тайну приготовления которого

Тойяма отказывается разглашать.

— Не знаю только, удастся ли соорудить пунш или коктейль из местного рома? — неуверенно пробормотал Дункан.

— Ах, я совсем забыла! Пойдем!

Она схватила мужа за руку и через низенькую дверь провела в свою крошечную каюту. Все еще не отпуская его руку, она порылась в шляпной картонке и извлекла бутылку шампанского.

— Вот теперь у нас будет полный обед! — воскликнул он.

— Подожди-ка.

Она снова пошарила в картонке, и ее труды были вознаграждены бутылкой виски с серебряной головкой. Она поднесла ее к иллюминатору: в бутылке еще сохранилась четверть содержимого.

— Я ее уже давно спрятала, — объяснила она. — Здесь хватит и тебе и капитану Детмару.

— Для двоих тут только понюхать, — жалобно заметил Дункан.

— Было бы больше, но я поила Лоренцо, когда он болел.

— Могла бы давать ему ром, — шутливо проворчал Дункан.

— Такую гадость! Больному! Не жадничай, Бойд! И я рада, что виски мало, — ты ведь знаешь

капитана Детмара. Стоит ему выпить, и он становится невозможным. А для матросов бисквит на соде, сладкие пирожки, леденцы…

— Существенный обед, нечего сказать.

— Да помолчи ты! Рис с керри, ямс, таро, конечно, макрель, ну, и большой пирог, который печет Тойяма. поросенок…

— Однако! — запротестовал он.

— Ничего, Бойд. Через три дня мы будем в Ату-Ату. Кроме того, это мой поросенок. Его определенно подарил мне тот старый вождь — как его там зовут? Ты же сам видел. И затем две банки тушеной говядины. Вот им и обед. А теперь о подарках. Подождем до завтра или раздадим их сегодня вечером?

— Конечно, в Сочельник, — решил муж. — созовем матросов, когда пробьет восемь склянок. Я угощу их ромом, а ты раздашь подарки. Ну, пойдем на палубу. Здесь дышать нечем. Надеюсь, Лоренцо наладил динамо; если ночью не будут работать вентиляторы, то внизу просто не уснуть.

Они прошли через небольшую кают-компанию, поднялись по крутому трапу и вышли на палубу. Солнце садилось и всем предвещало ясную тропическую ночь. «Сэмосет», с поставленными

фоком и гротом, лениво скользил по гладкой поверхности моря, делая четыре узла. Из люка машинного отделения доносился стук молотка. Они прошли на корму, где капитан Детмар, поставив одну ногу на поручни, смазывал счетчик лага. У штурвала стоял рослый туземец в белой рубашке и ярко-красной набедренной повязке.

Бойд Дункан был оригиналом. По крайней мере так полагали его друзья. Человек состоятельный, он мог бы жить в полном комфорте, но предпочитал путешествовать самым диким и некомфортабельным образом. Как-то у него возникли некоторые соображения о коралловых рифах, резко расходившиеся с мнением Дарвина по этому вопросу. Он изложил их в нескольких статьях и одной книге и снова занялся любимым делом — бороздил Тихий океан на крохотной яхте водоизмещением в тридцать тонн и изучал рифообразование.

Его жену, Минфин Дункан, тоже считали оригиналкой, так как она с радостью делила с мужем его бродячую жизнь. За шесть богатых приключениями лет их брака она поднималась с ним на Чимборасо, проделала зимой на собаках три тысячи миль по Аляске, проехала верхом из Канады в Мексику, плавала на десятитонном яле

по Средиземному морю и прошла на байдарке из Германии к Черному морю через всю Европу. Это была великолепная пара бродяг; он — высокий и широкоплечий, она — маленькая брюнетка и счастливая женщина, сто пятнадцать фунтов мышц и выносливости, и при этом очень красива.

В прошлом «Сэмосет» был торговой шхуной; Дункан купил его в Сан-Франциско и переоборудовал. Внутренние помещения были полностью переделаны, так что трюм превратился в кают-компанию и каюты, а ближе к корме были установлены машина, динамо, рефрижератор, аккумуляторы, а на самой корме — бензиновые баки. Разумеется, команда судна была невелика. Бойд, Минни и капитан Детмар были единственными белыми на борту. Считал себя белым и метис Лоренцо, маленький, замасленный механик родом из Португалии. Коком взяли японца, а стюардом — китайца. Первоначально команда яхты состояла из четырех белых матросов, но один за другим они подпали под чары осененных пальмами Южных островов, и их заменили островитянами. Так, один из темнокожих матросов был родом с острова Пасхи, второй — с Каролины, третий — с Паумоту, четвертым оказался гигант

самоанец. В море Бойд Дункан, знавший мореходное дело, нес вахту в очередь с капитаном Детмаром, и оба они становились к штурвалу или определяли местонахождение судна. В трудные моменты к штурвалу могла стать сама Минни, и именно в этих случаях она оказывалась более надежной, чем туземные матросы.

Когда пробило восемь склянок, все матросы собрались на корме, и затем появился Бойд Дункан с бутылкой и кружкой. Ром он разливал сам, по полкружки на каждого. Они выпивали свою порцию, одобрительно причмокивая, с явным удовольствием, хотя ром был не очищенный и обжигал даже их луженые глотки. Выпили все, кроме Ли Гума — стюарда-трезвенника. Эта церемония окончилась, и они стали ждать следующей — раздачи подарков. Великолепные образчики полинезийской расы, гиганты с крепкими мускулами, они тем не менее весело смеялись по пустякам, как дети, и при свете фонаря было видно, как загорались нетерпением их черные глаза, а большие тела покачивалось в такт качке.

Выкликая каждого по имени, Минни вручала подарок, сопровождая подношение каким-нибудь шутливым замечанием, что еще больше увеличивало общее веселье. Тут были дешевые

часы, складные ножи, пакетики с наборами рыболовных крючков, прессованный табак, спички и, кроме того, всем — по куску пестрого ситца для набедренных повязок. Команда встречала шутки Бойда Дункана взрывами смеха: он завоевал их симпатии.

Капитан Детмар, бледный, улыбавшийся только когда хозяин случайно взглядывал на него, стоял, прислонившись к рулевой рубке, и наблюдал за этой сценой. Дважды он спускался в свою каюту, задерживаясь там не больше, чем на минутку. Позднее, когда Лоренцо, Ли Гум и Тойяма получали свои подарки в кают-компании, он опять дважды исчезал. Ибо дьявол, дремавший в душе капитана Детмара, выбрал для пробуждения именно этот вечер всеобщего веселья. Может быть, в этом был повинен не только дьявол, потому что капитан Детмар, тайно в течение долгих месяцев хранивший непочатую кварту виски, избрал Сочельник, чтобы приложиться к ней.

Было еще не поздно — только что пробило две склянки, — когда Дункан и его жена остановились у трапа на наветренном борту. Поглядывая на море, они обсуждали, можно ли будет сегодня спать на палубе. Маленькое темное облачко, медленно сгущавшееся на горизонте, предвещало

шквал. В то время как они заговорили об этом, капитан Детмар, спускаясь с бака, мельком взглянул на них с внезапной подозрительностью. Он остановился, и лицо его судорожно задергалось. Затем он произнес:

— Вы говорите обо мне.

Голос его дрожал от возбуждения. Минни Дункан вздрогнула, затем поглядела на непроницаемое лицо мужа, все поняла и промолчала.

— Я знаю, что вы говорили обо мне, — повторил капитан Детмар, на этот раз почти рыча.

Он не шатался, и опьянение проявлялось только в судорожных подергиваниях его лица.

— Минни, пойди вниз, — мягко проговорил Дункан. — Скажи Ли Гуму, что мы будем спать в каюте. Еще немного-и ливень промочит все насквозь.

Она поняла его с полуслова и ушла, лишь чуточку помедлив и бросив тревожный взгляд на хмурые лица мужчин.

Попыхивая сигарой, Дункан ждал, пока через открытый люк до него не донеслись голоса жены и стюарда.

— Ну? — тихо, но резко спросил Дункан.

— Я сказал, что вы говорите обо мне. Я повторяю это снова. Я ведь не слепой. День за днем я вижу,

как вы разговариваете обо мне. Почему вы не скажете это мне в лицо? Я знаю, что вы думаете. И я знаю, вы решили рассчитать меня в Ату-Ату.

— Жаль, что у вас в голове такая путаница, — спокойно ответил Дункан.

Но капитан Детмар был настроен воинственно.

— Вы-то знаете, что собираетесь рассчитать меня. Вы слишком хороши, думаете вы, чтобы общаться с такими, как я — вы и ваша жена.

— Будьте любезны не упоминать о ней, — предостерег Дункан. — Что вам надо?

— Мне надо знать, что вы собираетесь делать дальше.

— Теперь уволить вас в Ату-Ату.

— Это вы с самого начала собирались.

— Нет. К этому принуждает меня ваше теперешнее поведение.

— Нечего мне очки втирать!

— Я не могу держать капитана, который называет меня лжецом.

На мгновение капитан Детмар растерялся. Его губы зашевелились, но он ничего не сказал. Дункан еще раз невозмутимо затянулся и перевел взгляд на растущую тучу.

— В Таити Ли Гум ходил за почтой, — начал

капитан Детмар. — И сразу после этого мы снялись. Вы прочли письма уже в море, а тогда было поздно. Вот почему вы не рассчитали меня на Таити. Я все понимаю. Когда Ли Гум поднялся на борт, я видел длинный конверт. На конверте стоял штамп канцелярии губернатора Калифорнии, каждый мог это видеть. Вы действовали за моей спиной. Какой-нибудь оборванец в Гонолулу наябедничал вам, и вы написали губернатору, чтобы проверить его слова. И его ответ Ли Гум принес вам. Почему вы не поговорили со мной, как мужчина с мужчиной? Нет, вы действовали за моей спиной, зная, что это место — единственная для меня возможность снова встать на ноги. А как только вы прочли письмо губернатора, вы решили отделаться от меня. Было ясно по вашему лицу все эти месяцы. Все время вы оба любезничали со мной, а сами прятались по углам и говорили обо мне и об этом деле во Фриско.

— Вы кончили? — спросил Дункан тихим и напряженным голосом. — Совсем кончили? Капитан Детмар не ответил.

— Тогда я вам кое-что скажу. Именно из-за этого дела во Фриско я не рассчитал вас на Таити, хотя вы давали мне для этого Бог знает сколько поводов. Но я полагал, что если нужно кому-нибудь

предоставить возможность снова стать человеком, так именно вам. Если бы не эта история, я бы уволил вас, как только узнал, что вы меня обкрадываете.

Капитан Детмар вздрогнул от удивления, хотел было перебить Дункана, но раздумал.

— Конопачение палубы, бронзовые рулевые петли, переборка мотора, гик для спинакера, новые шлюпбалки и починка шлюпки — вы подписали счета верфи на четыре тысячи сто двадцать два франка. По существующим расценкам счет не должен был превысить две тысячи пятьсот франков.

— Если вы верите этим береговым акулам, а не мне… — хриплым голосом начал Детмар.

— Не утруждайте себя дальнейшей ложью, — холодно продолжал Дункан. — Я проверил это сам. Я привел Флобена к самому губернатору, и старый мошенник признался, что приписал к счету тысячу шестьсот франков. Он сказал, что вы заставили его. Вы получили тысячу двести, а ему досталось четыреста и работа. Не перебивайте. У меня внизу есть его письменное показание. Вот тогда я бы и отправил вас на берег, если бы не ваше сомнительное прошлое. Вы должны были использовать этот единственный шанс либо

окончательно опуститься. Этот шанс я вам дал. Что вы теперь скажете?

— Что вы узнали от губернатора? — свирепо рявкнул Детмар.

— Какого губернатора?

— Калифорнии. Соврал он вам, как и все остальные?

— Я вам скажу. Он сообщил, что вы были осуждены на основании косвенных улик, что поэтому вы получили пожизненное заключение вместо веревки на шею; что вы все время упорно настаивали на своей невиновности, что вы блудный сын мэрилендских Детмаров; что они пустили в ход все средства для того, чтобы вас помиловали; что ваше поведение в тюрьме было самым примерным; что он был прокурором во время суда над вами; что после того, как вы отбыли семь лет заключения, он уступил настоятельным просьбам ваших родственников и помиловал вас и что у него самого нет твердой уверенности, что Максуина убили вы.

Наступило молчание, во время которого Дункан продолжал внимательно рассматривать нарастающую тучу; лицо капитана Детмара задергалось еще сильнее.

— А губернатор ошибся, — объявил он с корот-

ким смешком. — Максуина убил я. Той ночью я напоил вахтенного. Я избил Максуина до смерти на его койке. Я убил его тем самым железным нагелем, о котором говорилось на суде. Он и не шелохнулся. Я превратил его в студень. Желаете подробности?

Дункан поглядел на него с холодным любопытством, как смотрят на мерзкого урода, но ничего не сказал.

— Я не боюсь говорить вам об этом, — продолжал капитан Детмар. — Свидетелей нет. Кроме того, теперь я свободный человек. Я помилован, и, черт побери, они уже никогда не упрячут меня в эту дыру. Первым ударом я раздробил Максуину челюсть. Он спал на спине. Он сказал: «Господи, Джим, Господи!» Забавно было смотреть, как тряслась его разбитая челюсть, когда он говорил это. Тут я разбил ему... Ну как, желаете ли вы слушать остальные подробности?

— Вам больше нечего сказать? — последовал ответ.

— А разве этого недостаточно? — возразил капитан Детмар.

— Вполне достаточно.

— И что же вы собираетесь сделать?

— Высадить вас в Ату-Ату.

— А пока?

— А пока... — Дункан замолчал. Порыв ветра растрепал его волосы. Звезды над головой исчезли, и «Сэмосет» под беспечной рукой рулевого отклонился от своего курса на четыре румба. — Пока разберите фалы и следите за штурвалом. Я позову матросов.

В следующий момент разразился шквал. Капитан Детмар, кинувшись на корму, сорвал фалы грота с нагеля. Три туземца выбежали из крошечного кубрика, двое из них подбежали к фалам, в то время как третий задраивал люк машинного отделения и закрывал вентиляторы. Внизу Ли Гум и Тойяма опускали крышки люков и подтягивали тали. Дункан задраил люк каюты и остался на палубе, а первые капли дождя уже хлестали его по лицу, в то время как «Сэмосет» вдруг рванулся вперед, повернулся сначала вправо, потом влево, подчиняясь порывам ветра, ударявшим в его паруса.

Все ждали. Но спускать паруса было уже не надо. Ветер стих, и на яхту обрушился тропический ливень. Теперь, когда опасность миновала и канаки начали снова крепить фалы за нагели, Бойд Дункан спустился в каюту.

— Все в порядке! — весело сообщил он жене.

— Ложная тревога.

— А капитан Детмар? — спросила она.

— Напился, только и всего. В Ату-Ату от него отделаюсь.

Но прежде чем лечь на свою койку, Дункан надел под пижаму, прямо на тело, пояс с тяжелым револьвером.

Он заснул почти сразу же — он умел мгновенно отключаться от дневных тревог. Дункан отдавался любому делу с полным напряжением сил, как это делают дикари, но едва необходимость исчезала — он отдыхал душой и телом. Итак, он спал, а дождь все еще поливал палубу, и яхта ныряла в волнах, поднятых шквалом.

Он проснулся от чувства удушья и тяжести. Вентиляторы остановились, и воздух был жарким и спертым. Мысленно обругав Лоренцо и аккумуляторы, он услышал, как за переборкой его жена прошла в кают-компанию. Очевидно, она поднялась на палубу подышать свежим воздухом, подумал он, и решил последовать хорошему примеру. Надев комнатные туфли и взяв под мышку одеяло и подушку, он отправился за ней. Когда он уже поднимался по трапу, часы в каюте начали бить, и Дункан остановился. Было два часа ночи. С палубы доносился скрип гафеля,

трущегося о мачту. «Сэмосет» накренился и выпрямился, и под легким ударом ветра его паруса глухо загудели.

Только он ступил на верхнюю ступеньку трапа, как услышал крик жены. Это был испуганный крик, и за ним раздался всплеск за бортом. Дункан одним прыжком очутился на палубе и кинулся на корму. В тусклом свете звезд он различил голову и плечи Минни, исчезающие за кормою в пенном следе яхты.

— Что случилось? — спросил капитан Детмар, стоявший у штурвала.

— Миссис Дункан, — ответил Дункан, срывая спасательный круг и бросая его за борт. — Право на борт и заходите по ветру! — приказал он.

И тут Бойд Дункан совершил ошибку. Он прыгнул за борт.

Когда он всплыл, то сразу увидел голубой огонек на спасательном круге, который загорелся автоматически, как только круг коснулся воды. Он поплыл к нему и увидел, что Минни уже там.

— С добрым утром! — сказал он. — Освежаешься?

— О Бойд! — больше она ничего не сказала и только коснулась его плеча мокрой ладонью.

Голубой фонарик, не то испортившийся от уда-

ра, не то совсем неисправный, замигал и погас. Когда тихая волна подняла их на свой гребень, Дункан обернулся и взглянул на «Сэмосет», смутно белевший в темноте. Бортовых огней не было видно, но со стороны яхты слышался тревожный шум. Он различил голос капитана Детмара, покрывавший крики всех остальных.

— Он что-то не торопится, — проворчал Дункан. — Почему он не поворачивает? Ну вот, наконец-то! До них донесся скрип блоков опускаемого паруса.

— Грот спускают, — пробормотал Дункан. — Он сделал левый поворот, хотя я приказал ему повернуть направо.

Вновь и вновь поднимала их волна, пока на четвертый раз они не увидели в отдалении зеленый огонек правого борта «Сэмосета». Он должен был бы оставаться неподвижным, если бы яхта двигалась к ним, но вместо этого зеленый огонь двигался поперек их поля зрения.

Дункан выругался:

— Чего этот бездельник болтается там? У него есть компас, и он знает, где мы.

Но зеленый огонек, единственное, что они могли видеть, и то только когда поднимались на гребне волны, неуклонно уходил от них в навет-

ренную сторону и становился все менее и менее заметным. Дункан громко крикнул раз, другой, третий, и каждый раз в промежутках до них доносился еле слышный голос капитана Детмара, отдающего приказания.

— Как он может услышать меня в таком шуме? — пожаловался Дункан.

— Он затем и кричит, чтобы команда не услышала тебя, — ответила Минни.

Спокойствие, с которым это было сказано, заставило ее мужа насторожиться.

— Что ты имеешь в виду?

— Просто он и не собирается спасать нас, — продолжала она тем же невозмутимым тоном. — Он сам столкнул меня в море.

— А ты не ошибаешься?

— Нет. Я подошла к борту посмотреть, не приближается ли шквал. Детмар, очевидно, оставил штурвал и подкрался ко мне сзади. Я держалась за поручни. Он рванул мою руку так, что пальцы разжались, и столкнул меня в воду. Жаль, что ты не догадался, иначе ты бы остался на яхте.

Дункан застонал; несколько минут он не произносил ни слова. Зеленый огонек двигался уже в другом направлении.

— Яхта сделала полукруг, — заявил он. — Ты

права. Он умышленно заходит к нам с наветренной стороны. Так они не могут меня услышать. Но попытаемся еще.

Он долго кричал, иногда замолкая на минуту. Зеленый огонек скрылся, на его месте появился красный, и они поняли, что яхта пошла обратным курсом.

— Минни, — сказал он наконец, — мне больно это говорить, но ты вышла замуж за дурака. Только дурак мог прыгнуть за борт.

— Есть ли какой-нибудь шанс, что нас подберут… какой-нибудь другой корабль, я хочу сказать? — спросила она.

— Один шанс на десять тысяч, или, вернее, на десять миллиардов. Мы далеко от обычных путей пассажирских и торговых судов. И китобои не заходят в эту часть Тихого океана. Разве только случайно пройдет торговая шхуна из Тутуванга. Но, к сожалению, на этот остров она заходит только раз в год. У нас один шанс на миллион.

— И мы будем бороться за этот шанс, — твердо заявила она.

— Ты прелесть! — Он прижал к губам ее руку. — А тетя Элизабет еще удивлялась, что я нашел в тебе. Конечно, мы будем бороться за этот шанс. И этот шанс будет наш. Иначе и быть не может.

Начнем.

Он отстегнул от пояса тяжелый револьвер, который немедленно пошел ко дну. Пояс, однако, он оставил.

— Теперь забирайся в круг и немного поспи. Ныряй под него.

Она послушно нырнула и поднялась внутри плавающего круга. Дункан помог ей затянуть спасательный линь и затем сам пристегнулся снаружи к кругу ремнем от пистолета, пропустив его под мышки.

— Завтрашний день мы продержимся, — сказал он. — Слава Богу, вода теплая. Во всяком случае, первые сутки нам придется еще не так туго. А если нас к ночи не подберут, нам просто надо будет продержаться еще денек. Вот и все.

Примерно полчаса они молчали. Дункан опустил голову на руку, которой опирался на круг, и, казалось, спал.

— Бойд? — тихо окликнула его Минни.

— Я думал, ты спишь, — проворчал он.

— Бойд, если мы не выберемся…

— Прекрати, — грубо прервал он ее. — Мы безусловно выберемся. Нет никакого сомнения. Где-нибудь в океане есть корабль, который плывет прямо к нам. Вот увидишь. Хотя, впрочем,

жаль, что у меня в голове нет радиостанции. Ну, ты как хочешь, а я буду спать.

Но на этот раз уснуть ему не удалось. Примерно через час, услышав, что Минни пошевелилась, он понял, что и она не спит.

— Знаешь, о чем я думаю? — спросила она.

— Нет, о чем?

— О том, что я забыла поздравить тебя с Рождеством.

— Черт побери, я совсем забыл! Конечно, ведь сегодня Рождество. И мы еще много раз будем праздновать его. А знаешь, о чем думал я? О том, какое свинство оставить нас без рождественского обеда. Ну, ничего, я еще доберусь до Детмара. Уж тогда я отыграюсь. И мне не понадобится длят этого железный болт. Только кулаки — вот и все.

Хотя Бойд Дункан шутил, он почти ни на что не надеялся. Он хорошо знал, что значит один шанс из миллиона, и трезво сознавал, что им остается прожить считанные часы и что эти последние часы неизбежно будут часами ужаса и мучений.

В безоблачном небе показалось солнце. Кругом ничего не было видно. «Сэмосет» уже скрылся за горизонтом. Когда солнце поднялось выше, Дункан разорвал свою пижаму и смастерил подобие тюрбанов. Смоченные в воде, они защищали

головы от палящих лучей.

— Стоит мне подумать об этом обеде, как я свирепею, — пожаловался он, когда заметил, что лицо жены начинает омрачаться. — И я хочу свести счеты с Детмаром при тебе. Я против того, чтобы женщины были свидетелями кровавых сцен, но тут — другое дело. Я его разукрашу как следует! Надеюсь только, что я не разобью о него свои кулаки, — помолчав, добавил он.

Настал и прошел полдень, а они все плавали, окруженные морем и небом. Ласковое дыхание затихающего пассата освежало их, и они мерно покачивались в мягкой зыби летнего океана. Однажды альбатрос заметил их и часа полтора парил над ними, величаво взмахивая крыльями. А в другой раз в нескольких ярдах от них проплыл огромный скат футов в двадцать длиной.

На закате Минни начала бредить — тихо и жалобно, как ребенок. Дункан смотрел, слушал, и в глазах его застывала безнадежность, он мучительно думал о том, как сократить часы наступающей агонии. Именно об этом он думал, когда, поднявшись на высокой волне, еще раз оглядел горизонт; и то, что он увидел, заставило его вскрикнуть.

— Минни! — Она не ответила, и он несколько

раз громко, как только мог, окликнул ее. Ее глаза открылись, но она была еще в полуобморочном состоянии. Он хлопал ее по рукам, пока от боли она не пришла в себя.

— Вот он, этот шанс из миллиона! — крикнул он. — Пароход, и идет прямо на нас! Черт побери, да это крейсер! Я знаю, это «Аннаполис», который везет астрономов из Тутуванги.

Консул Соединенных Штатов Лингфорд был пугливым старичком, и за два года службы в Ату-Ату ему не доводилось слышать о столь беспрецедентном случае, о каком рассказал ему Бойд Дункан. Последнего, вместе с женой, высадил здесь «Аннаполис», который тотчас же отправился со своим грузом астрономов дальше, на Фиджи.

— Это хладнокровное, обдуманное покушение на убийство, — сказал консул Лингфорд. — Правосудие доберется до него. Я не знаю точно, как поступить с этим капитаном Детмаром, но если он появится в Ату-Ату, можете не сомневаться — им займутся, им… э… им займутся. Я между делом пороюсь в своде законов. А пока не откушаете ли вы у меня с вашей супругой?

Дункан собирался принять приглашение, как вдруг Минни, которая поглядывала в окно на

пристань, подалась вперед и коснулась руки мужа. Он посмотрел в ту же сторону и увидел «Сэмосет» с приспущенным флагом, — яхта разворачивалась и стала на якорь всего лишь в сотне ярдов от них.

— Вот моя яхта, — сказал Дункан консулу. — И моторная лодка у борта… капитан Детмар спускается в нее. Если я не ошибаюсь, он направляется сюда сообщить о нашей гибели.

Нос моторной лодки уперся в белый песок, и, оставив Лоренцо возиться о машиной, капитан Детмар прошел по пляжу и зашагал тропинкой к консульству.

— Пусть рассказывает, — сказал Дункан. — А мы с вашего разрешения пойдем в соседнюю комнату и послушаем.

И через приоткрытую дверь он и его жена слушали, как капитан Детмар, со слезами в голосе, описывал гибель своих хозяев.

— Я тут же повернул и прошел по тому самому месту, — заключил он. — Их нигде не было видно. Я звал и звал — никакого ответа. Я лавировал там целых два часа, а потом остановился ждать до рассвета и крейсировал весь день, выставив на мачтах двух дозорных. Это ужасно. Я в отчаянии. Мистер Дункан был превосходный хозяин, и я

никогда…

Но ему не пришлось закончить фразу, потому что в эту минуту «превосходный хозяин» появился перед ним, а в дверях он увидел Минни. Бледное лицо капитана Детмара совсем побелело.

— Я сделал все, чтобы подобрать вас, сэр, — начал он. Вместо ответа — а может быть, это был именно ответ — кулаки Дункана обрушились справа и слева на физиономию капитана Детмара. Капитан отлетел к стене, однако устоял на ногах и, пригнув голову, кинулся на своего хозяина, но получил удар прямо между глаз. Теперь Детмар упал, увлекая за собой пишущую машинку.

— Это не дозволительно! — взвизгнул консул Лингфорд. — Прошу вас, прошу вас прекратить это!

— Я заплачу за испорченную мебель, — ответил Дункан, обрабатывая кулаками глаза и нос Детмара.

Консул Лингфорд в волнении прыгал вокруг них, как мокрая курица, а в это время мебель его кабинета превращалась в щепки. Он даже схватил Дункана за руку, но получил толчок в грудь и, задыхаясь, отлетел в другой конец комнаты. И

тогда он воззвал к Минни:

— Миссис Дункан, пожалуйста, прошу вас, не попытаетесь ли вы сдержать вашего мужа?

Но она, бледная и дрожащая, решительно покачала головой, не спуская глаз с дерущихся.

— Это возмутительно! — кричал консул Лингфорд, увертываясь от катающихся по полу противников. — Это оскорбление правительства, правительства Соединенных Штатов! Предупреждаю вас, это не останется без последствий. Прошу вас, прекратите, мистер Дункан. Вы его убьете. Прошу вас. Прошу вас, прошу…

Но тут треск разлетевшейся на куски высокой вазы с пунцовой тропической мальвой заставил его онеметь.

И вот настал момент, когда капитан Детмар не мог уже подняться на ноги. Он сумел лишь встать на четвереньки и, тщетно пытаясь выпрямиться, растянулся на полу. Дункан толкнул ногой стонущего Детмара.

— Ничего, — заявил Дункан. — Я избил его не сильней, чем он сам в свое время избивал матросов.

— Великий Боже, сэр! — Консул Лингфорд в ужасе уставился на человека, которого он пригласил к обеду.

Дункан с трудом подавил невольный смешок.

— Я приношу извинения, мистер Лингфорд, приношу самые нижайшие извинения. Боюсь, что я позволил себе несколько увлечься.

Консул Лингфорд судорожно глотал воздух, взмахивая руками.

— Несколько, сэр? Несколько? — с трудом выдавил он наконец.

— Бойд, — тихо позвала Минни. Он оглянулся и посмотрел на нее.

— Ты прелесть, — сказала она.

— А теперь, мистер Лингфорд, когда я рассчитался с ним, — сказал Дункан, — передаю то, что осталось, вам и правосудию.

— Вот это? — в ужасе спросил консул Лингфорд.

— Вот это, — ответил Бойд Дункан и с грустью взглянул на свои разбитые кулаки.

Война

I

Это был молодой человек лет двадцати четырех — двадцати пяти, не больше, и он сидел бы на лошади с небрежной грацией юности, если бы им не владели озабоченность и страх. Черные глаза его бегали во все стороны, ловя каждое движение ветвей и сучьев, среди которых порхали птицы; он пристально всматривался в даль, оглядывая постоянно меняющиеся ряды деревьев и кустов, и то и дело переводил взор на густые заросли, окаймлявшие с обеих сторон дорогу. Он обшаривал глазами лес и в то же время прислушивался, хотя кругом царила тишина, нарушаемая лишь далеким гулом тяжелых орудий, стрелявших где-то на западе. Этот монотонный гул стоял у него в ушах уже много часов, и он мог бы обратить на него внимание только в том случае, если бы гул прекратился. Теперь же его занимало лишь то дело, которое он безотлагательно должен был исполнить. Через луку его седла был перекинут карабин.

Нервы его были настолько напряжены, что

взлетевший из-под ног лошади выводок перепелов заставил его вздрогнуть: он машинально натянул поводья и вскинул карабин почти к самому плечу. Однако, опомнившись, он стыдливо улыбнулся и поехал дальше. Он был так озабочен, так поглощен предстоящим делом, что даже не вытирал пота, который щипал ему глаза и скатывался с носа, капая на седло. Лента его кавалерийской шляпы промокла от пота до нитки. Чалая лошадь под ним тоже вся была в поту. Солнце стояло в зените, день был жаркий и совершенно безветренный. Даже птицы и белки не смели показаться на солнцепеке, прячась в лесной тени.

И всадник и его конь были усыпаны древесными листьями и желтой пыльцой, так как на открытые места юноша выезжал только в случае необходимости. Он все время старался держаться под зашитой деревьев и кустов, и всякий раз, когда ему надо было пересечь поляну или голый склон горного пастбища, он останавливал лошадь и внимательно оглядывал место. Пробирался он все время на север, хотя и часто сворачивал в сторону; по-видимому, с севера и грозила ему опасность, навстречу которой он двигался. Он не был трусом, но, обладая мужеством обыкновен-

ного цивилизованного человека, хотел жить, а не искал смерти.

Взбираясь по узкой пастушьей тропе на гребень невысокой горы, он попал в такую чащобу, что был вынужден спешиться и вести лошадь под уздцы. Когда тропинка повернула к западу, он оставил ее и, держа путь снова на север, поехал вдоль поросшего дубняком гребня горы.

За перевалом начался спуск столь крутой, что юноша продвигался зигзагами, скользя и спотыкаясь среди опавшей листвы и цепких виноградных лоз, но при этом он все время следил, чтобы шедшая за ним лошадь не сорвалась и не свалилась на него. Пот стекал по его лицу ручьями, едкая цветочная пыльца, попадая в ноздри и рот, усиливала жажду. Путник старался двигаться совершенно беззвучно, но это ему не удавалось, и он то и дело замирал на месте, судорожно вдыхая знойный воздух и прислушиваясь, нет ли внизу какой опасности.

Одолев спуск, он очутился в долине, покрытой таким густым лесом, что невозможно было определить, где она кончалась. Местность здесь позволяла ехать верхом, и юноша вновь сел на лошадь. Перед ним уже не было узловатых, искривленных горных дубков — тут, на влажной и

жирной земле, росли стройные, высокие деревья с мощными стволами. Время от времени встречались и сплошные чащобы, но их легко было объехать по живописным, словно в парке, прогалинам: тут, пока не началась война, пасся скот.

Теперь, попав в долину, он поехал гораздо быстрее и через полчаса наткнулся на старую изгородь, за которой шло очищенное от леса поле. Ехать по открытому месту ему не хотелось, однако путь лежал только через поле: надо было добраться до видневшейся за ним опушки леса, вдоль которого протекала речка. До опушки было не больше четверти мили, но сама мысль о том, что придется выйти из-под защиты деревьев, вызывала неприятное чувство. Ведь там, в кустах у реки могло таиться ружье — десяток, тысяча ружей!

Дважды он трогался с места и дважды останавливался. Его угнетало одиночество. Пульс войны, бившийся на западе, говорил о тысячах людей, сражавшихся бок о бок, а здесь была мертвая тишина, он со своей лошадью да грозящие смертью пули, которые могут просвистеть из-за любого куста, из-за каждого дерева. И все-таки ему надо было исполнить свой долг — найти то, что он так страшился искать. Надо ехать вперед и вперед,

пока в каком-то месте, в какой-то час он не встретит человека или несколько человек с вражеской стороны, выехавших, как и он, на разведку и, как и он, обязанных доложить о соприкосновении с неприятелем.

Он все же решил, что показываться в открытом поле не следует, и довольно долго ехал в обход, держась крайних деревьев и время от времени выглядывая в поле. И тут он увидел, что посреди поля стоит небольшая ферма. Казалось, все на ней вымерло. Не вился из трубы дым, не бродили и не кудахтали на дворе куры. Дверь в кухню была отворена настежь, и, глядя в ее черный проем, всадник долго ждал, что оттуда вот-вот выйдет хозяйка.

Он облизал покрытые пыльцой пересохшие губы и, весь сжавшись от напряжения, выехал на знойное, залитое солнцем поле. Все было тихо. Он миновал ферму и приблизился к гряде деревьев и кустов, росших по берегу речки. Одна упорная мысль сводила его с ума — мысль о пуле, молниеносно пронзающей его тело. Думая об этом, он чувствовал себя слабым и беззащитным и еще ниже пригибался к седлу.

Спешившись и привязав лошадь к дереву, он прошел сотню ярдов и оказался у самой речки.

Она была футов двадцать шириной, совершенно тихая; прохладная вода так и манила измученного жаждой путника. Но, скрытый листвой, он замер на месте и выжидал, пристально вглядываясь в сплошную завесу ветвей на противоположном берегу. Потом он, чтобы немного отдохнуть, сел наземь, положив карабин на колени. Текли минута за минутой, и постепенно страх и напряжение у юноши проходили. Наконец он решил, что опасности нет; но только он собрался раздвинуть ветви и подползти к воде, какое-то движение в кустах на противоположном берегу вновь заставило его насторожиться.

Возможно, это всего-навсего вспорхнула птица. Но путник терпеливо ждал. Вот кусты опять шевельнулись, и вдруг — это было так неожиданно, что он едва не вскрикнул, — из раздвинутых веток показалось лицо человека. Было ясно, что человек не брился уже не одну неделю — лицо обросло бородой имбирного цвета. Глаза у человека были голубые, широко расставленные, с морщинками смеха в уголках — эти морщинки были хорошо заметны на лице, несмотря на общее выражение усталости и тревоги.

Все это юноша видел ясно и отчетливо, ибо расстояние между ними не превышало и двадцати

футов. Он рассмотрел все это за тот короткий миг, пока вскидывал карабин к плечу. Он глядел теперь на мушку карабина и знал, что перед ним человек, жизнь которого можно считать конченной. Промахнуться на таком расстоянии было немыслимо.

Но он не выстрелил. Он медленно опустил карабин и стал ждать. Из кустов показалась рука с зажатой в пальцах бутылкой, и голова с имбирной бородой наклонилась к воде, наполняя бутыль. Он расслышал даже бульканье воды в горлышке бутылки. Затем рука, бутыль и имбирная борода скрылись за сомкнувшимися кустами. Он долго ждал, потом; так и не утолив жажду, прокрался назад к лошади, сел на нее, неторопливо пересек залитое жарким солнцем поле и скрылся под ветвями могучих деревьев.

II

Другой день — знойный и безветренный. Большая, покинутая людьми ферма, со множеством строений и фруктовым садом, стоит на поляне. Из лесу на чалой лошади, с карабином поперек седла выехал молодой человек с быстрыми черными глазами. Добравшись до фермы, он с облегчением вздохнул. Ему было ясно, что здесь

когда-то разыгралось сражение. Всюду валялись пустые позеленевшие гильзы патронов, а сырая земля хранила следы конских копыт. За огородом виднелись свежие могилы с нумерованными дощечками. Возле кухонной двери на дубе висели мертвецы — двое мужчин в ветхих, грязных лохмотьях. Их сморщенные, искаженные конвульсией лица уже утратили все человеческое. Чалая лошадь, проходя мимо трупов, захрапела, и всадник, гладя и успокаивая ее, привязал лошадь подальше от дуба.

Заглянув в дом, он убедился, что там буквально все разрушено. Переходя из комнаты в комнату и наступая на разбросанные по полу гильзы, он посмотрел во все окна. Дом служил недавно местом привала, во всех его углах, видимо, спали люди; в одной комнате на полу остались пятна запекшейся крови — здесь явно лежал раненый.

Выйдя из дома, он взял лошадь под уздцы и повел ее за сарай, в сад. В саду десяток яблонь были унизаны спелыми яблоками. Он рвал их, ел и набивал ими карманы. Потом ему пришла в голову какая-то мысль, — он посмотрел на солнце, прикидывая, сколько времени займет у него возвращение в лагерь. Затем он снял с себя рубашку и, связав рукава, сделал из нее нечто

вроде мешка, который тоже принялся набивать яблоками.

Он уже занес ногу в стремя, собираясь сесть на лошадь, как та внезапно насторожила уши. Юноша на секунду замер и услышал топот конских копыт по мягкой, влажной земле. Он прижался вместе с лошадью к стене сарая за углом и стал ждать. Дюжина всадников врассыпную скакала с противоположной стороны поляны и была теперь от него всего ярдах в ста. Вот уже всадники въехали во двор фермы. Кое-кто из них спешился, другие сидели в седле, словно собираясь ехать дальше. Казалось, будто они держат совет, ибо юноша расслышал возбужденный разговор, шедший на ненавистном для него языке иноземных завоевателей. Время тянулось, а они, видимо, никак не могли договориться. Юноша вложил карабин в чехол, сел на лошадь и нетерпеливо ждал, поддерживая на луке седла рубашку, набитую яблоками.

Вдруг он услышал приближающиеся шаги и вонзил в бока своему чалому шпоры с такой силой, что тот застонал и бешено прянул вперед. За углом сарая всадник увидел человека, который его напугал, — это был совсем зеленый юнец, лет девятнадцати-двадцати, в военной форме; он

едва успел отскочить от метнувшегося на него чалого. В тот же миг чалый резко повернул в сторону, и его седок увидел группу встревоженных людей возле дома. Несколько всадников спрыгивали с коней, а кое-кто уже успел поднести к плечу ружье. Юноша пронесся мимо кухонной двери и раскачивающихся в тени мертвецов и тем вынудил своих врагов обогнуть дом со стороны фасада. Загремел выстрел, потом второй, но юноша скакал с бешеной скоростью и сильно пригибался к седлу, вцепившись одной рукой в рубашку с яблоками, а другой держа поводья и правя лошадью.

Верхняя перекладина изгороди была на высоте четырех футов от земли, но юноша знал своего чалого: тот перемахнул ее под аккомпанемент разрозненных выстрелов, ни на секунду не задержавшись. Лес был в восьмистах ярдах, и чалый могучим размашистым галопом мчался к нему. Теперь по всаднику стреляли уже все, кто только был на ферме, — они палили с такой быстротой, что юноша уже не различал отдельных выстрелов. Пуля пронзила его шляпу, но он этого не заметил, а заметил другую пулю, попавшую в рубашку с яблоками. Он вздрогнул и приник еще плотнее к луке седла, когда третья пуля, послан-

ная слишком низко, ударилась о камень между ног коня и рикошетом взвилась в воздух, жужжа, словно какое-то диковинное насекомое.

Выстрелы замирали по мере того, как пустели обоймы, и наконец совсем смолкли. Юноша ликовал: он вышел невредимым из-под дьявольского обстрела. Он оглянулся назад: нет сомнения, обоймы у них иссякли. Он увидел, как одни заряжали ружья, другие бросились к дому за лошадьми, а двое уже выехали из-за угла сарая, мчась во весь опор. И в ту же секунду он заметил человека с имбирной бородой: тот стоял на коленях и хладнокровно наводил ружье, чтобы попасть в цель с дальнего расстояния.

Юноша всадил шпоры в коня, пригнулся еще ниже и круто свернул в сторону, мешая стрелку прицелиться. Выстрела до сих пор не было. С каждым прыжком коня лес становился все ближе. До него оставалось всего две сотни ярдов, а выстрела все еще не было.

И вот он услышал его — последнее, что он услышал в жизни, ибо он умер раньше, чем ударился оземь, медленно валясь с седла. А те, на ферме, видели, как он падал, видели, как его тело подпрыгнуло, ударившись о землю, и видели, как во все стороны от него покатились красно-

щекие яблоки. Они громко смеялись над этим неожиданным извержением плодов и от души рукоплескали меткому выстрелу человека с имбирной бородой.

Под палубным тентом

— Может ли мужчина — я имею в виду джентльмена — назвать женщину свиньей?

Бросив этот вызов всем присутствующим, маленький человечек вытянулся в шезлонге и медленно допил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно-воинственным. Никто не ответил. Все давно привыкли к маленькому человечку, к его вспыльчивости и к высокопарности его речей.

— Повторяю, я своими ушами слышал, как он сказал, что некая леди, которую никто из вас не знает, — свинья. Он не сказал «поступила по-свински», а грубо заявил, что она свинья. А я утверждаю, что ни один порядочный человек не может так назвать женщину.

Доктор Доусон невозмутимо попыхивал черной трубкой. Мэтьюз, обхватив руками согнутые колени, внимательно следил за полетом чайки. Суит, допив виски, искал глазами палубного стюарда.

— Я спрашиваю вас, мистер Трелор, позволительно ли мужчине назвать женщину свиньей?

Трелор, сидевший рядом с ним, растерялся при

этой внезапной атаке; он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину свиньей.

— Я бы сказал, — пробормотал он неуверенно, — что это… э… зависит от… того, какая… женщина. Маленький человечек был ошеломлен.

— Вы хотите сказать, что… — начал он дрожащим голосом.

— …что я встречал женщин, которые были не лучше свиней, а иногда и хуже.

Наступило долгое напряженное молчание. Маленький человечек, видимо, был потрясен откровенной грубостью этого ответа. На его лице отразились неописуемые боль и обида.

— Вы рассказали о человеке, который употребил не совсем деликатное выражение, и высказали свое мнение о нем, — продолжал Трелор спокойным, ровным тоном. — Теперь я расскажу вам об одной женщине — нет, извините, о леди — и, когда кончу, попрошу вас высказать ваше мнение о ней. Назовем ее хотя бы мисс Кэрьюферз, — просто потому, что ее звали не так. То, о чем я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной компании несколько лет тому назад.

Мисс Кэрьюферз была очаровательна. Нет, вер-

нее будет сказать, изумительна. Это была молодая девушка и знатная леди. Ее отец занимал высокий пост, фамилии его я называть не стану, так как она, несомненно, всем вам знакома. Девушка эта ехала к старику на восток в сопровождении матери и двух горничных.

Она — простите, что я повторяю, — была изумительна? Другого определения не подберешь. Говоря о ней, приходится все прилагательные употреблять в превосходной степени. Она делала все, за что ни бралась, лучше всякой другой женщины и лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как пела! Соперничать с ней было невозможно, — воспользуюсь тем, что сказал один краснобай о Наполеоне. А как она плавала! Будь она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела. Она принадлежала к тем редким женщинам, которые в простом купальном костюме, без всяких финтифлюшек, кажутся еще красивее. Но одевалась она со вкусом настоящей художницы.

Но я говорил о том, как она плавала. Сложена она была идеально — вы понимаете, что я хочу сказать: не грубая мускулатура акробатки, а безупречность линий, изящество, хрупкость. И вместе с тем — сила. Сочеталось это в ней чудес-

но. У нее были прелестные руки: у плеч — только намек на мускул, нежная округлость от локтя до кисти, а кисть крохотная, но сильная. Когда она плыла быстрым английским кролем… Ну, я разбираюсь и в анатомии и в спорте, но для меня так и осталось тайной, как это у нее получалось.

Она могла оставаться под водой две минуты — я проверял с часами в руках. Никто на пароходе, за исключением Деннитсона, не мог, нырнув, собрать со дна столько монет за раз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой парусиновый бассейн в шесть футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты, и я не раз видел, как она, нырнув с мостика в эту шестифутовую глубину (что само по себе было нелегким делом), собирала до сорока семи монет, разбросанных по всему дну. Деннитсон, хладнокровный и сдержанный молодой англичанин, ни разу не мог ее превзойти и только старался всегда не отставать от нее.

Море казалось ее стихией, но и суша тоже. Она была великолепной наездницей… Она была совершенством! Глядя на нее, такую женственную, окруженную всегда десятком пылких поклонников, томно-небрежную или блистающую остроумием, которым она их покоряла, а иной раз

и мучила, вы сказали бы, что только для этого она и создана. В такие минуты мне приходилось напоминать себе о сорока семи монетах, собранных со дна бассейна. Вот какой была эта чудо женщина, которая все умела делать хорошо. Ни один мужчина не мог остаться к ней равнодушным. Не скрою, я тоже ходил за ней по пятам. И молодые щенята и старые седые псы, которым следовало бы уже образумиться, — все стояли перед ней на задних лапах, и стоило ей свистнуть, как все до одного — от юнца Ардмора, розовощекого девятнадцатилетнего херувима, будущего чиновника в консульстве, до капитана Бентли, седовласого морского волка, который, казалось, был способен на нежные чувства не более китайского идола, бросались на ее зов. А один приятный и немолодой уже человек, по фамилии, кажется, Перкинс, вспомнил, что с ним едет жена, только тогда, когда мисс Кэрьюферз поставила его на место.

Мужчины были мягким воском в ее руках, и она лепила из них, что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать, как им вздумается. Со слугами она вела себя сдержанно и надменно, но любой стюард по ее знаку, не колеблясь, облил бы супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин

на свете? Мисс Кэрьюферз была великая завоевательница сердец. Она была, как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И, поверьте мне, при всей ее обаятельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала от страха и просто теряла голову.

Притом, чтобы лучше понять то, что я вам расскажу, вам следует помнить, что в ней жила нечеловеческая гордость, соединившая в себе гордость расы, гордость касты, гордость пола, гордость сознания своей власти. Страшная это была гордость, страшная и капризная!

Мисс Кэрьюферз командовала всем и всеми на пароходе и командовала Деннитсоном. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке все больше и больше, в этом не было сомнения. И я уверен, что она испытывала подобное чувство впервые. А мы продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Деннитсоном нам не угнаться. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мы пришли в Коломбо, и кончилось все это иначе.

Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишащую акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделы-

вать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то сверхъестественное чутье: стоит появиться страшному людоеду — тигровой акуле или серой, которая забредает туда из австралийских вод, — и, раньше чем пассажиры поймут, в чем дело, мальчишки все уже выбрались на безопасное место!

Дело было после завтрака. Мисс Кэрьюферз, как обычно, царила под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал: пустить туземных ребятишек на верхнюю палубу. Мисс Кэрьюферз заинтересовалась ими, ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь и принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания, подшучивая над неудачниками, награждая отличившихся, — словом, дирижировала всем представлением.

Ее особенно заинтересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко, и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей не знакомый, и она заявила, что хочет его изу-

чить. Они прыгали со шлюпбалок, согнувшись, и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду.

Красивое это было зрелище! Ныряли они, однако, хуже. Все, кроме одного. Этот мальчуган нырял превосходно. Вероятно, его обучал какой-нибудь белый: он нырял «ласточкой» и притом замечательно красиво. Вы знаете, что это такое: прыгаешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой; нередки и смертные случай. Но этот мальчик знал свое дело. Я сам видел, как он нырял с вант, с семидесятифутовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, а потом падал горизонтально, распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы, как селедку. Но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозно изогнутое тело правильно входило в воду.

Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно мисс Кэрьюферз. Ему было не больше тринадцати лет, но он был самым ловким из всей ватаги, любимцем и во-

жаком своих товарищей. Даже ребята постарше охотно ему подчинялись. Он был красив: гибок и строен, как молодой бог, живая фигурка из бронзы, с широко расставленными умными и смелыми глазами — весь, как чудесный яркий огонек жизни. Бывают и среди животных такие удивительные творения природы — леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения! В этом мальчике жизнь била ключом, она таилась в блеске его кожи, горела в глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода, — такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий.

И этот-то мальчик в самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу, вода так и кипела от их беспорядочных движений, фонтаны брызг взлетали к небу. Мальчуганы карабкались на пароход, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря.

— Что случилось? — осведомилась мисс Кэрьюферз.

— Акула, наверное, — ответил капитан Бентли. — Пострелятам повезло, что она никого не сцапала.

— Разве они боятся акул? — спросила она.

— А вы? — спросил он, в свою очередь. Она вздрогнула, бросила взгляд на море и сделала гримаску.

— Ни за что в мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула! — Она снова вздрогнула. — Они отвратительны!

Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней, с обожанием глядя на мисс Кэрьюферз, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться. Но мисс Кэрьюферз остановила его:

— Погодите минутку, капитан. Я всегда думала, что туземцы не боятся акул.

Она поманила к себе мальчика, нырявшего «ласточкой», и жестом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой, и вся толпа у поручней рассмеялась, как будто услышала веселую шутку.

— Акула, — пояснил он, указывая на воду.

— Нет, — сказала она, — никакой акулы нет!

Но мальчик решительно кивнул, и его товари-

щи закивали так же решительно.

— Нет тут никаких акул! — воскликнула она и обратилась к нам: — Кто одолжит мне полкроны и соверен?

Немедленно полдюжины рук протянулись к ней с кронами и соверенами. Она взяла две монеты у Ардмора и показала мальчикам полкроны, но ни один не бросился к поручням. Они стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Тогда она бросила полукрону за борт. Мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся.

— Только не предлагайте им соверен, — шепнул ей Деннитсон.

Не обращая внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял «ласточкой».

— Оставьте, — сказал капитан Бентли. — Я и больную кошку за борт не брошу, если акула близко.

Но мисс Кэръюферз только рассмеялась, упорствуя в своей затее, и продолжала соблазнять мальчика совереном.

— Не искушайте его, — настаивал Деннитсон. — Это для него целое состояние. Он способен прыгнуть.

— А вы не прыгнули бы? — резко сказала она и добавила мягче: — Если я брошу?

Деннитсон покачал головой.

— Вы дорого себя цените, — заметила она. — Сколько нужно соверенов, чтобы вы прыгнули?

— Столько еще не начеканено, — был ответ.

На мгновение мисс Кэрьюферз задумалась. В стычке с Деннитсоном мальчик был забыт.

— Даже ради меня? — спросила она очень тихо.

— Только чтобы спасти вас.

Она снова обернулась к мальчику и показала ему золотой, прельщая его таким огромным богатством. Затем притворилась, что бросает, и он невольно шагнул к поручням и только резкие окрики товарищей удержали его. В их голосах звучали злоба и упрек.

— Я знаю, вы только дурачитесь, — сказал Деннитсон. — Дурачьтесь, сколько хотите, только ради Бога не бросайте!

Был ли это каприз, думала ли она, что мальчик не рискнет прыгнуть в воду, трудно сказать. Для нас всех это явилось полной неожиданностью.

Золотая монета вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успел опомниться, как мальчик был уже за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище! Соверен упал в воду ребром, и в ту же секунду в том же месте почти без всплеска вошел в воду мальчик. Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда, что акуле для нападения нужно перевернуться на спину. Эта не перевернулась. Сквозь прозрачную воду мы сверху видели все. Акула была крупная и сразу перекусила мальчика пополам.

Кто-то из нас шепотом сказал что-то — не знаю, кто, — может быть, и я. Затем наступило молчание. Первой заговорила мисс Кэрьюферз. Лицо ее было смертельно бледно.

— Я… мне и в голову не приходило… — сказала она с коротким истерическим смешком.

Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Деннитсона, словно ища поддержки, потом поочередно на каждого из нас. В ее глазах был ужас, губы дрожали. Да, теперь я думаю, что мы были жестоки тогда, никто из нас не шелохнулся.

— Мистер Деннитсон, — сказала она. — Том! Проводите меня вниз.

Он не повернулся, не взглянул на нее, даже бровью не повел, только достал папиросу и закурил, но в жизни я не видел такого мрачного выражения на лице человека. Капитан Бентли что-то буркнул и сплюнул за борт. И все. И кругом молчание.

Она отвернулась и пошла по палубе твердой походкой, но, не пройдя и десяти шагов, пошатнувшись, уперлась рукой в стену каюты, чтоб не упасть. Вот так она и шла — медленно, цепляясь за стену.

Трелор умолк и, повернувшись к маленькому человечку, устремил на него холодный вопросительный взгляд.

— Ну, — спросил он наконец, — что вы скажете о ней?

Человек проглотил слюну.

— Мне нечего сказать, — пробормотал он, — нечего.

Убить человека

Дом освещали только тускло мерцавшие ночники, но она уверенно ходила по хорошо знакомым большим комнатам и просторным залам, тщетно разыскивая недочитанную книгу стихов, которую накануне куда-то положила и о которой вспомнила только теперь. Войдя в гостиную, она зажгла свет. Он озарил ее фигуру в легком домашнем платье из бледно-розового шелка, отделанном кружевами, в которых тонули ее обнаженные плечи и шея. Несмотря на поздний час, на ее пальцах все еще сверкали кольца, а пышные золотистые волосы были уложены в прическу. Женщина была очень хороша собой и грациозна. На тонко очерченном овальном лице с алыми губами и нежным румянцем светились голубые глаза, изменчивые, как хамелеон: они то широко раскрывались с выражением девичьей невинности, то становились жестокими, серыми и холодными, а порой в них вспыхивало что-то дикое, властное и упрямое.

Она погасила свет в гостиной и прошла через вестибюль, направляясь в другую комнату. У двери остановилась: что-то заставило ее насторо-

житься. До ее слуха донесся какой-то звук, легкий шорох, словно там кто-то двигался. Она могла бы поклясться, что ничего не слышала, а между тем ей почему-то было не по себе. Ночная тишина была нарушена. Женщина спрашивала себя, кто из слуг мог в такой час бродить по комнатам? Конечно, не дворецкий: он только в особых случаях изменял своей привычке рано ложиться спать. И не горничная, которую она отпустила на весь вечер.

Проходя мимо столовой, она увидела, что дверь закрыта. Зачем она отворила ее и вошла, она и сама не знала.

Может быть, она инстинктивно чувствовала, что именно отсюда донеслись звуки, встревожившие ее. В комнате было темно, но она ощупью отыскала выключатель и повернула его. Когда вспыхнул свет, она отступила к двери и негромко ахнула.

Прямо перед ней, около выключателя, прижавшись к стене, стоял какой-то мужчина, направив на нее револьвер. Несмотря на испуг, женщина успела заметить, что револьвер черного цвета и очень длинный. «Кольт», — подумала она. Человек был среднего роста, плохо одет, его темное от загара лицо с карими глазами казалось

совершенно спокойным. Револьвер не дрожал в полусогнутой руке и был направлен прямо ей в грудь.

— Ах, извините, — сказала она. — Вы напугали меня. Что вам угодно?

— Мне угодно поскорее выбраться отсюда, — ответил он, насмешливо кривя губы. — Я вроде как заблудился в ваших апартаментах, и если вы будете так добры показать мне выход, я не причиню вам никаких неприятностей и немедленно уберусь.

— А как вы сюда попали? — спросила она, и в ее голосе послышались резкие ноты, как у человека, привыкшего повелевать.

— Просто хотел вас ограбить, мисс, вот и все. Я забрался сюда, чтобы посмотреть, что можно взять. Я был уверен, что вас нет дома, потому что видел, как вы садились в машину со стариком. Это, верно, ваш папаша, а вы мисс Сетлиф?

Мисс Сетлиф заметила его ошибку, оценила бесхитростный комплимент и решила оставить незнакомца в заблуждении.

— Кто вам сказал, что я мисс Сетлиф? — спросила она.

— Это дом старого Сетлифа?

Она утвердительно кивнула головой.

— А я и не знал, что у него есть дочь. Ну, а теперь, если это вас не затруднит, покажите мне, как выйти отсюда, и я буду вам очень признателен.

— С какой стати? Ведь вы грабитель, взломщик.

— Не будь я зеленым новичком в этом деле, я просто снял бы с ваших рук кольца и не стал бы с вами церемониться, — сказал он. — Но я пришел обчистить старого Сетлифа, а не грабить женщин. Если вы отойдете от двери, я, пожалуй, и сам найду дорогу.

Мисс Сетлиф была сообразительна. Она сразу поняла, что этого человека ей бояться нечего. Ясно, что он не профессиональный преступник и, судя по его произношению, не городской житель. На нее даже как будто пахнуло свежим воздухом необъятных степных просторов.

— А если я закричу? — полюбопытствовала она. — Если стану звать на помощь? Разве вы способны застрелить меня?.. Женщину?

Она заметила мелькнувшее в его темных глазах выражение растерянности. Он ответил медленно, задумчиво, как бы решая трудную задачу:

— Пожалуй, тогда я придушил бы или покалечил вас.

— Женщину?

— Я был бы вынужден так поступить, — ответил он, и она увидела, как сурово сжались его губы. — Конечно, вы только слабая женщина, но, видите ли, мисс, мне никак нельзя попасть в тюрьму. Никак нельзя! Мой друг ждет меня на Западе. Он попал в беду, и я должен выручить его. Думаю, я сумел бы придушить вас, не причинив особой боли.

Она смотрела на него во все глаза, с детским любопытством.

— Я еще никогда не видела грабителей, — пояснила она, — и вы представить себе не можете, как мне интересно говорить с вами.

— Я не грабитель, мисс… То есть не настоящий, — поспешил он добавить, увидев, что она смотрит на него с ироническим недоверием. — Да, конечно, так можно подумать… раз я забрался в чужой дом… Но за такое дело я взялся впервые. Мне до зарезу нужны деньги. И, кроме того, я, собственно, беру то, что мне причитается.

— Не понимаю. — Она ободряюще улыбнулась. — Вы пришли грабить, а грабить — это значит брать то, что вам не принадлежит.

— Это и так и не так… Однако мне, пожалуй, пора уходить.

Он шагнул к двери, но женщина преградила

ему путь. И какая это была обольстительная преграда! Он протянул левую руку, словно желая схватить ее, но остановился в нерешимости. Видно было, что его покорила ее кротость и женственность.

— Вот видите, — сказала она торжествующе, — я знала, что вы меня не тронете!

Незнакомец был в явном замешательстве.

— Я никогда в жизни не обижал женщин, — объяснил он. — И решитьcz на это мне нелегко. Но если вы закричите, я буду вынужден…

— Останьтесь еще на несколько минут. — настаивала она. — Мы поговорим. Это так интересно. Я хочу, чтобы вы объяснили, почему грабить — значит брать то, что вам причитается.

Он смотрел на нее с восхищением.

— Я всегда думал, что женщины боятся грабителей, — признался он, — но вы, видно, не из таких! Она весело засмеялась.

— Воры бывают разные, знаете ли! Я вас не боюсь, потому что вижу: вы не из тех, кто способен обидеть женщину. Давайте поболтаем. Нас никто не потревожит. Я одна дома. Мой отец уехал с ночным поездом в Нью-Йорк, слуги все спят. Хотелось бы угостить вас чем-нибудь — ведь женщины всегда угощают ужином грабителей,

которых они задерживают, так по крайней мере бывает в романах. Но я не знаю, где найти еду. Может, хотите чего-нибудь выпить?

Он стоял в нерешительности и ничего не отвечал; но она без труда заметила, что все больше нравится ему.

— Боитесь? — спросила она. — Я не отравлю вас, честное слово. Чтобы убедить вас в этом, я сама выпью вместе с вами.

— Вы удивительно славная девчонка! — воскликнул он, впервые опустив револьвер. — Теперь уж я никогда не поверю, что городские женщины трусливы. Вот вы — такая слабая, маленькая женщина, а храбрости хоть отбавляй! А главное — так доверчивы! Много ли найдется женщин или даже мужчин, которые спокойно разговаривали бы с вооруженным грабителем?

Она улыбнулась, польщенная комплиментом, но ее лицо стало серьезно, когда она снова заговорила:

— Это потому, что вы мне понравились. Вы кажетесь вполне порядочным человеком, и вас трудно принять за грабителя. Оставьте это занятие. Если вам не везет, поищите работу. Ну, отложите же ваш противный револьвер и давайте потолкуем об этом. Прежде всего вам

необходимо найти работу.

— В этом городе ничего не выйдет, — заметил он с горечью. — Я ноги исходил, пытаясь найти здесь заработок. По правде говоря, я был далеко не последним человеком до того… До того, как стал безработным.

Его гневная вспышка была встречена веселым смехом, который пришелся ему по душе, а она, заметив это, постаралась использовать удобный момент. Отойдя от двери, она направилась прямо к буфету.

— Расскажите мне обо всем подробно, пока я найду что-нибудь в буфете. Что вы пьете? Виски?

— Да, мэм, — сказал он, шагнув за нею, но все еще сжимая в руке револьвер и нерешительно поглядывая на открытую и никем не охраняемую дверь.

Она налила в стакан виски.

— Я обещала выпить с вами, — сказала она медленно, — но я не люблю виски. Я… я предпочитаю херес…

Она подняла бутылку с хересом, как бы спрашивая у него позволения.

— Конечно, виски — напиток для мужчин. Признаться, мне не нравится, когда женщина пьет виски. Другое дело — вино.

Она чокнулась с ним, глядя на него томно и ласково.

— За ваши успехи! Желаю вам найти хорошую работу…

Вдруг она замолчала, увидев, что на лице его выразилось отвращение и удивление. Он поставил стакан, отпив один только глоток.

— В чем дело? — спросила она озабоченно. — Вам не нравятся виски? Может, я ошиблась?

— Странный виски! Пахнет дымом…

— Ах, какая я глупая! Я дала вам шотландский, а вы, конечно, привыкли к нашему. Давайте переменю.

С почти материнской заботливостью она переменила стакан и нашла нужную бутылку.

— Ну, а этот вам нравится?

— Да, мэм. Он не пахнет дымом. Настоящий первосортный виски. У меня целую неделю капли во рту не было. Этот виски маслянистый. Сразу видно, что без всяких примесей.

— Вы много пьете?

Это был полувопрос, полувызов.

— Нет, мэм, не сказал бы. Прежде бывало, что я изрядно выпивал, но это случалось очень редко… Иной раз добрая рюмка виски приходится очень кстати — вот как сейчас. Ну, а теперь, мэм, благо-

дарю вас за доброту, мне пора.

Однако миссис Сетлиф не хотелось так скоро отпустить своего вора. Нельзя сказать, чтобы ее увлекала романтика этого приключения, — она была для этого слишком уравновешенной женщиной. Но в нем было что-то необычное, волнующее, и это занимало ее. Кроме того, она теперь знала, что ей нечего опасаться. Этот человек, несмотря на свою тяжелую челюсть и суровые глаза, был удивительно послушен. И где-то глубоко в ее сознании мелькала мысль о восхищении и изумлении знакомых, когда они узнают… Жаль было упустить такой случай…

— Вы так и не объяснили, почему для вас ограбить — значит взять то, что вам причитается, — сказала она. — Присядьте вот сюда, к столу, и расскажите об этом.

Она придвинула себе стул, а незнакомца усадила напротив. Настороженность, видимо, не покидала его: глаза его зорко поглядывали вокруг, возвращаясь к женщине с затаенным восхищением, но останавливались на ее лице лишь ненадолго, а когда она говорила, он больше прислушивался к другим звукам, чем к ее голосу. Он ни на минуту не забывал о револьвере, который лежал на углу стола между ними, повернутый

рукояткой к его правой руке.

Он был в чужом, незнакомом ему доме. Этот сын Запада, уши и глаза которого были всегда настороже, когда он смело рыскал по лесам и равнинам, не знал, что под столом, около ноги его собеседницы, находилась кнопка электрического звонка. Он никогда и не слышал о такой выдумке, его бдительность и осторожность здесь были бессильны.

— Видите ли, мисс, — начал он, отвечая на ее настойчивый вопрос, — старик Сетлиф когда-то надул меня в одном деле и разорил дотла. Это была грязная махинация, и она удалась ему. Для тех, у кого в кармане сотни миллионов, все законно, им все сходит с рук. Я не хнычу и не думаю мстить вашему папаше. Он никогда не слышал обо мне и, конечно, не знает, что сделал меня нищим. Ведь он — важная персона и орудует миллионами, где ему слышать о такой мелкой сошке, как я? Он делец. К его услугам сотни разных специалистов, которые думают и работают за него. Я слышал, что некоторые из них получают больше жалованья, чем президент Соединенных Штатов. А я только один из тех тысяч, которых разорил ваш «па».

Понимаете, мэм, у меня было маленькое

предприятие с гидравлической установкой в одну лошадиную силу. Но, когда Сетлиф и его компаньоны забрали в свои руки все Айдахо, реорганизовали плавильный трест, завладели всеми земельными участками и поставили большую гидравлическую установку у Туин Пайнс, я, конечно, прогорел, не выручив даже денег, вложенных в дело. Меня выбросили за борт. И вот сегодня ночью, не имея ни гроша и зная, как нуждается мой приятель, я решил зайти сюда и немного пообчистить вашего папашу. Мне очень нужны деньги, так что, если я отберу у него то, что мне причитается, греха тут большого нет.

— Если даже то, что вы сказали, правда, — возразила миссис Сетлиф, — все же грабеж остается грабежом. И это никак не послужило бы вам оправданием на суде.

— Знаю, — кротко согласился он. — То, что справедливо, не всегда законно. И вот поэтому-то я так неспокойно сижу здесь и разговариваю с вами. Это вовсе не значит, что мне не по душе ваше общество. Нет, вы мне очень нравитесь, но мне никак нельзя угодить в лапы полиции. Я знаю, что они со мной сделают! Вот на прошлой неделе одного парня осудили на пять лет только за то, что он на улице стащил у прохожего два доллара

восемьдесят пять центов. Я сам читал об этом в газете. В тяжелые времена, когда нет работы, люди становятся отчаянными. А те, у кого можно поживиться, тоже ожесточаются и срывают зло на всяком, кто попадется им в руки. Если бы меня сейчас схватили, то меньше чем десятью годами мне никак не отделаться. Поэтому я и хочу поскорее убраться отсюда.

— Нет, подождите, — она жестом пыталась удержать его и одновременно сняла ногу с кнопки звонка, которую время от времени нажимала, — вы даже не сказали мне, как вас зовут.

После минутного колебания он сказал:

— Называйте меня Дэйвом…

— Ну, так вот… Дэйв… — она засмеялась с милым смущением, — нужно что-нибудь сделать для вас. Вы еще молоды и впервые пошли по плохой дороге. Если вы и впредь будете брать все, что, по вашему мнению, вам причитается, то потом вы начнете брать и то, что вам наверняка не причитается. А вы знаете, каков бывает конец. Давайте-ка лучше подыщем вам честное занятие.

— Мне нужны деньги, и нужны сейчас! — ответил он упрямо. — Они не для меня, а для приятеля, о котором я вам говорил. Он в беде, его нужно

выручить поскорее, или он пропал.

— Я могу подыскать вам место, — быстро сказала она. — А что касается вашего приятеля… Знаете что? Я одолжу вам деньги, и вы их пошлете ему. Отдадите мне потом из вашего жалованья…

— Долларов триста хватило бы, — медленно сказал он. — Да, с тремя сотнями он выпутается. За это и еще за харчи и несколько центов на табак я готов работать год не покладая рук.

— Ах, вы курите? А я и не подумала об этом. Она протянула руку над револьвером к его руке, указывая на характерные желтые пятна на его пальцах, и одновременно измерила взглядом расстояние до оружия. Ей страстно хотелось быстрым движением схватить револьвер. Она была уверена, что сможет сделать это, и все же не решалась. В конце концов она сдержала себя и убрала руку.

— Вам хочется курить?

— До смерти.

— Курите, пожалуйста, я не возражаю. Мне даже нравится, когда курят — сигареты, конечно.

Левой рукой он достал из бокового кармана клочок измятой папиросной бумаги и положил его возле правой руки, рядом с револьвером. Снова полез в карман и высыпал на бумажку щепотку

крупного бурого табаку. Затем, положив обе руки на револьвер, начал свертывать папиросу.

— Вы так держитесь за этот отвратительный револьвер, как будто боитесь меня, — задорно сказала она.

— Вас не боюсь, мэм, но все-таки чуточку неспокоен…

— А я вот не побоялась вас.

— Вы же ничем не рисковали.

— А жизнью? — возразила она.

— Да, правда, — быстро согласился он. — И все-таки не испугались! Может быть, я чересчур осторожен.

— Я не сделаю вам ничего плохого. — Говоря это и устремив на него серьезный и искренний взгляд, она в то же время ногой снова нажала кнопку электрического звонка. — Я вижу, вы плохо разбираетесь в людях. Особенно в женщинах! Я пытаюсь убедить вас бросить преступную жизнь и хочу найти вам честное занятие, а вы…

Ему стало совестно.

— Прошу прощения, мэм, — сказал он, — пожалуй, моя подозрительность не делает мне чести.

Сняв правую руку с револьвера, он закурил, потом опустил ее на колени.

— Благодарю вас за доверие, — сказала она

чуть слышно и, отведя глаза от револьвера, еще энергичнее нажала кнопку звонка.

— А эти триста долларов, — начал он, — я могу сегодня же отправить по телеграфу на Запад. За них я согласен работать целый год, получая только на харчи.

— Вы заработаете больше. Я обещаю вам не меньше семидесяти пяти долларов в месяц. Вы умеете ходить за лошадьми?

Его лицо прояснилось, а в глазах сверкнули огоньки.

— Ну вот, поступайте на службу ко мне или к моему отцу — это все равно, слуг обычно нанимаю я. Мне нужен второй кучер…

— Носить ливрею? — резко перебил он, и презрение свободного сына Запада послышалось в его голосе и выразилось в усмешке.

Она снисходительно улыбнулась.

— Значит, это вам не подойдет. Дайте подумать… Вы умеете объезжать жеребцов?

Он кивнул головой.

— У нас есть племенной завод, и там найдется работа для такого человека, как вы. Согласны?

— Согласен ли, мэм? — В его голосе звучали благодарность и восторг. — Скажите, где это. Я готов начать хоть завтра. И одно могу обещать

вам, мэм: вы никогда не пожалеете, что помогли Хьюги Люку в беде.

— Вы, кажется, назвали себя Дэйвом? — сказала она с легким упреком.

— Да, мэм, простите, что я соврал. Мое настоящее имя Хьюги Люк. И если вы укажете мне, где находится ваш племенной завод, и дадите денег на проезд, я утром сразу отправлюсь туда.

Во время этого разговора она продолжала непрерывно нажимать кнопку звонка. Она давала разные сигналы: три коротких звонка и один длинный, два коротких и длинный и, наконец, пять звонков подряд. Затем, после ряда коротких звонков, она непрерывно звонила целых три минуты. И то мысленно упрекала глупого заспавшегося дворецкого, то сомневалась в исправности звонка.

— Я так рада, — сказала она, — так рада, что вы согласны! Это можно будет устроить без особых хлопот. А теперь разрешите мне сходить наверх за кошельком.

И, увидев, что в его глазах мелькнуло сомнение, она быстро добавила:

— Я же доверяю вам триста долларов!

— Я верю вам, мэм, — почтительно ответил он. — Но просто не могу справиться со своими

нервами.

— Значит, я могу сходить наверх за деньгами? Прежде чем он успел ответить, она услышала отдаленный легкий шум. Она узнала скрип двери в буфетной, но он был так слаб — скорее легкое колебание воздуха, чем звук: она бы и не услыхала его, если бы не ждала его с таким напряжением. Однако его услышал и Хьюги Люк.

— Что это? — спросил он с тревогой.

Вместо ответа она мгновенно протянула левую руку и схватила револьвер. Ее движение было полной неожиданностью для Люка, и женщина рассчитывала на это. В следующий момент его рука коснулась пустого места, где прежде лежало оружие.

— Сядьте! — скомандовала она резким голосом, который он даже не сразу узнал. — Не двигайтесь! Руки на стол!

Она помнила, как он держал револьвер, и урок пошел ей на пользу. Вместо того чтобы держать тяжелый револьвер в вытянутой руке, она оперлась локтем о стол и целилась не в голову, а прямо в грудь. А он сидел спокойно и подчинялся ее приказаниям, видя, что нет ни малейшей возможности выбить у нее из рук револьвер, а надеяться на промах тоже бессмысленно. Он

видел, что ни револьвер, ни рука не дрожат, и хорошо представлял себе размеры дыры, которую оставляют пули с мягким кончиком: Он следил не за женщиной, а за курком, который приподнялся оттого, что она пальцем слегка нажала спуск.

— Пожалуй, надо предупредить вас, что у него очень тонкая нарезка. Не нажимайте так сильно, а то вы просверлите во мне дыру величиной с грецкий орех.

Она немного опустила курок.

— Вот так лучше, — заметил он. — А еще лучше опустить совсем. Видите, как он послушен. Если потребуется, то быстрый и легкий нажим поднимет и опустит его, на вашем зеркальном полу будет хорошая каша.

Дверь за его спиной открылась, и он услышал, что кто-то вошел в комнату. Но он не сделал ни малейшего движения, он только посмотрел на женщину и увидел совсем другое лицо: жестокое, холодное, безжалостное и все же удивительно красивое. Глаза ее тоже стали суровыми и сверкали холодным огнем.

— Томас, — приказала она, — вызовите по телефону полицию. Почему вы так долго не приходили?

— Я пришел, как только услышал звонок, ма-

дам.

Вор ни на минуту не отрывал от нее глаз, и она тоже смотрела на него в упор, но при упоминании о звонке она заметила, что в его глазах мелькнуло недоумение.

— Простите, мадам, — сказал дворецкий — не лучше ли будет мне взять револьвер и разбудить слуг?

— Нет, звоните в полицию. Я сама задержу здесь этого человека. Идите и действуйте быстро!

Дворецкий, шлепая ночными туфлями, вышел из комнаты, а мужчина и женщина продолжали сидеть, не сводя глаз друг с друга. Она испытывала острое наслаждение при мысли о будущих восторженных похвалах всех ее знакомых, она уже видела заметки в светской хронике газет о молодой, прекрасной миссис Сетлиф, которая одна задержала вооруженного грабителя. Она была уверена, что это вызовет настоящую сенсацию!

— Когда вам вынесут в суде тот приговор, о котором вы говорили, — сказала она холодно, — у вас будет достаточно времени поразмыслить над тем, какую вы сделали глупость, посягнув на чужое имущество и угрожая женщине оружием. У вас будет достаточно времени, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. Теперь скажите

правду: ведь у вас нет никакого друга, который нуждается в вашей помощи? И все, что вы мне говорили, — ложь?

Он молчал, и в его глазах, устремленных на нее, ничего нельзя было прочесть. В эту минуту словно какой-то туман заслонил от него женщину, и он видел не ее, а залитые солнцем просторы Запада, где мужчины и женщины нравственно были неизмеримо выше этих растленных жителей прогнивших городов Востока.

— Что же вы молчите? Почему не выдумываете что-нибудь еще? Почему не попросите, чтобы я вас отпустила?

— Я бы попросил, — ответил он, облизывая пересохшие губы. — Я бы попросил, если бы…

— Если бы что? — спросила она повелительно.

— Я все думаю о словечке, которое вы мне напомнили… Я попросил бы вас отпустить меня, если бы вы были порядочной женщиной.

Она побледнела.

— Будьте осторожнее! — предупредила она.

— Да у вас не хватит духу убить меня! — Он презрительно усмехнулся. — Наш мир — прегнусное место, если в нем разгуливают люди вроде вас, но он, мне думается, не так низко пал, чтобы позволить вам безнаказанно продырявить меня.

Вы дрянная женщина, но беда ваша в том, что вы слабы. Убить человека не так уж трудно, но вы не посмеете сделать это. У вас не хватит духу.

— Осторожнее выражайтесь! — повторила она. — Предупреждаю вас, дело плохо кончится. От меня зависит, будет ли вам вынесен приговор суровый или мягкий.

— И что это за Бог, — воскликнул он неожиданно, — если он позволяет таким, как вы, безнаказанно делать подлости! Не понимаю, зачем ему так зло издеваться над бедным человечеством… Если бы я был богом…

Его рассуждения были прерваны появлением дворецкого.

— Что-то случилось с телефоном, мадам, — сообщил он, — провода повреждены или что другое. Станция не отвечает.

— Так разбудите кого-нибудь из слуг, — приказала она. — Пошлите за полицией, а затем возвращайтесь сюда. И они снова остались вдвоем.

— Не ответите ли вы мне на один вопрос, мэм? — сказал Люк. — Ваш слуга говорил что-то о звонке. Я все время следил за вами и не видел, чтобы вы дотронулись до звонка.

— Он под столом, глупый вы человек! Я нажи-

мала его ногой.

— Благодарю вас, мэм. Мне казалось, что я уже встречал людей вроде вас, и теперь я в этом убежден. Я доверился вам и открыл вам душу, а вы все время подло меня обманывали.

Она пренебрежительно засмеялась.

— Продолжайте. Говорите, что хотите. Это очень занятно.

— Вы строили мне глазки, притворялись доброй и милой и, пользуясь тем, что носите юбку, а не брюки, провели меня. И все это время ногой нажимали кнопку звонка! Что ж, и в этом есть кое-какое утешение. Я предпочитаю оставаться бедным Хьюги Люком и десять лет сидеть в тюрьме, чем быть в вашей шкуре. Таким женщинам, как вы, мэм, место в аду!

Воцарилось молчание, во время которого мужчина не сводил с женщины глаз. Он, казалось, изучал ее и принимал какое-то решение.

— Продолжайте, — настаивала она, — скажите еще что-нибудь.

— Да, мэм, скажу. Обязательно скажу. Вы знаете, что я собираюсь сделать? Я поднимусь со стула и пойду к двери. Я отнял бы у вас револьвер, но вы можете сделать глупость и спустить курок. Ладно, оставлю его вам! А жаль, револьвер хороший.

Да, так я пойду прямо к двери. И вы не будете стрелять. Чтобы убить человека, необходимо мужество, а у вас его нет. Ну, теперь приготовьтесь и посмотрим, сможете ли вы выстрелить. Я не причиню вам никакого вреда и уйду через эту дверь. Я ухожу.

Не спуская с нее глаз, он оттолкнул стул и встал. Курок наполовину поднялся. Она смотрела на револьвер, и он тоже.

— Нажимайте сильнее, — посоветовал он, — курок еще и до половины не дошел. Ну-ка, попробуйте убить человека, сделайте в нем дыру величиною с кулак, чтобы его мозг брызнул на ваш пол. Вот что значит убить человека.

Курок поднимался толчками, но медленно. Человек повернулся спиной и не спеша пошел к двери. Она подняла револьвер, целясь Люку в спину. Дважды курок поднимался, но нерешительно опускался вниз.

У двери Люк еще раз повернулся, прежде чем уйти. Презрительно усмехаясь, он тихо, с расстановкой, произнес отвратительное ругательство, вложив в него всю свою ненависть к этой женщине.

Мексиканец

I

Никто не знал его прошлого, а люди из Хунты[5] и подавно. Он был их «маленькой загадкой», их «великим патриотом» и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в Хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона — одного из платных агентов Диаса. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали.

На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все — ни слова

---

[5] notes: 5
Хунта (исп.) — комитет, общественно-политическая организация.

больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах — привета. Рослый, стремительный Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба. Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэтби. Его глаза на мгновение остановились на ней, она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она запечатала, чтобы снова войти в ритм работы.

Паулино Вэра вопросительно взглянул на Ареллано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был Неизвестностью, и Неизвестностью, полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что — они не знали. Но Вэра, самый

импульсивный и решительный из всех, прервал молчание.

— Отлично, — холодно произнес он, — ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить. Потом займешься окнами.

— Это для революции? — спросил мальчик.

— Да, для революции, — отвечал Паулино.

Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку.

— Хорошо, — сказал он.

И ничего больше. День за днем он являлся на работу — подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку.

— Можно мне переночевать здесь? — спросил он однажды.

Ага! Вот они и обнаружились — когти Диаса. Ночевать в помещении Хунты — значит найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он

спал, они не знали; не знали также, когда и где он ел. Однажды Ареллано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вэра вмешался и стал уговаривать его, он сказал:

— Я работаю для революции.

Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и Хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены Хунты голодали, но не жалели сил для дела; самый долгий день был для них недостаточно долог, и все же временами казалось, что быть или не быть революции — вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение двух месяцев и хозяин угрожал выселением, не кто иной, как Фелипе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил шестьдесят золотых долларов на конторку Мэй Сэтби. Это стало повторяться и впредь. Триста писем, отпечатанных на машинке (воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах), лежали неотосланные, в ожидании марок. Исчезли часы

Вэры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэтби. Положение было отчаянное. Рамос и Ареллано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу двухцентовых марок.

— Уж не проклятое ли это золото Диаса? — сказал Вэра товарищам.

Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды Хунты.

И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности. Отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его.

— Возможно, великий и одинокий дух... не знаю, не знаю! — Ареллано беспомощно развел руками.

— В нем есть что-то нечеловеческое, — заметил Рамос.

— В его душе все притупилось. — сказала Мэй Сэтби. — Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу.

— Ривера прошел через ад, — сказал Паулино. — Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик.

И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять не шевелясь — неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем, — покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили.

— Он не шпион, — заявил Вэра, обращаясь к Мэй Сэтби. — Он патриот, помяните мое слово! Лучший патриот из всех нас! Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю.

— У него дурной характер, — сказала Мэй Сэтби.

— Да, — ответил Вэра и вздрогнул. — Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают; они злые, как у тигра. Я знаю: измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца.

Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю, боюсь. Он — дыхание смерти.

И, однако, Вэра, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анжелосом и Нижней Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анжелосе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он сумел разрушить все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками.

Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв: его нашли в постели, с ножом, по рукоятку ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в Хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли.

— Я говорил вам, — сказал Вэра. — Больше чем кого-либо Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он карающая десница.

Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэтби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными, чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там — во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который Хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать: то большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажала мучительная боль.

— Бродяга, — говорил Ареллано.

— Завсегдатай злачных мест, — говорил Рамос.

— Но откуда у него деньги? — спрашивал Вэра. — Сегодня я узнал, что он оплатил счет за бумагу — сто сорок долларов.

— Это результат его отлучек, — заметила Мэй Сэтби. — Он никогда не рассказывает о них.

— Надо его выследить, — предложил Рамос.

— Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит, — сказал Вэра. — Думаю, что вы больше никогда не увидели бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже Богу.

— Перед ним я кажусь себе ребенком, — признался Рамос.

— Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая сколопендра! — сказал Ареллано.

— Он сама революция, ее дух, ее пламя, — подхватил Вэра, — он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тиши.

— Я готова плакать, когда думаю о нем, — сказала Мэй Сэтби. — У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы — путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок… — Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились.

Времяпрепровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это

неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. Потом опять отдавал Хунте все свое время — дни, недели. И снова, через неопределенные промежутки, исчезал на весь день, заходя в помещение Хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Ареллано застал его в полночь за набором; пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.

II

Решительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от Хунты, а Хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней.

Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие — беглые мексиканские пеоны — жертвовали Хунте половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на чаше весов. Еще один толчок, последнее героическое усилие, и стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала

свою Мексику. Однажды вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как карточный домик. Граница готова к восстанию. Некий янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира» только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все — социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Кер д'Ален и Колорадо, вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного — как можно яростнее сражаться, и, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты — словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира. И Хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок! — этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль несся по всей стране.

Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью толпу через границу

— и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики будут захвачены. Диас не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нуж-

но удерживать юг. Но пламя перекинется и на юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и наконец победоносные армии революции со всех сторон окружат город Мехико, последний оплот Диаса.

Но как достать денег? У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила Хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник вычерпан до дна, последний изголодавшийся патриот выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах. Винтовок и патронов! Нищие батальоны должны получить вооружение.

Но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Ареллано горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мэй Сэтби размышляла, как бы все сложилось, если б люди Хунты в свое время были экономнее.

— Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов! — воскликнул Паулино Вэра.

Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда, новообращенный Хосе

Амарильо, обещавший дать деньги, был арестован на своей гациенде в Чиу-ауа и расстрелян у стен собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них.

Ривера, на коленях скребший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой.

— Пять тысяч помогут делу? — спросил он.

На всех лицах изобразилось изумление. Вэра кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда.

— Так заказывайте винтовки, — сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали: — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу.

Вэра пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мывшему полы для революции, и в то же время не смел верить.

— Ты сошел с ума! — сказал он.

— Через три недели, — отвечал Ривера. — Зака-

зывайте винтовки.

Он встал, опустил засученные рукава и надел куртку.

— Заказывайте винтовки, — повторил он. — Я ухожу.

III

После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило ночное совещание. Дел у Келли было выше головы; к тому же ему не повезло. Три недели назад он привез из Нью-Йорка Дэни Уорда, чтобы устроить ему встречу с Билом Карта, но Карта вот уже два дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от спортивных репортеров. Заменить его некем. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада, но все они были связаны выступлениями и контрактами. А сейчас опять вдруг забрезжила надежда, хотя и слабая.

— Ну, ты, видно, не робкого десятка, — едва взглянув на Риверу, сказал Келли.

Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Я побью Уорда. — Это было все, что он сказал.

— Откуда ты знаешь? Видел ты когда-нибудь, как он дерется?

Ривера молчал.

— Да он положит тебя одной рукой, с закрытыми глазами?

Ривера пожал плечами.

— Что, у тебя язык присох, что ли? — пробурчал директор конторы.

— Я побью его.

— А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался? — осведомился Майкл Келли.

Майкл, брат директора, держал тотализатор в «Иеллоустоуне» и зарабатывал немало денег на боксерских встречах.

Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом.

Секретарь, молодой человек спортивного вида, громко фыркнул.

— Ладно, ты знаешь Робертса? — Келли первый нарушил неприязненное молчание. — Я за ним послал. Он сейчас придет. Садись и жди, хотя по виду у тебя нет никаких шансов. Я не могу надувать публику. Ведь первые ряды идут по пятнадцати долларов.

Появился Робертс, явно подвыпивший. Это был высокий, тощий человек с несколько развинчен-

ной походкой и медлительной речью.

Келли без обиняков приступил к делу.

— Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Вам известно, что Карти сломал руку. Так вот, этот мексиканский щенок нахально утверждает, что сумеет заменить Карти. Что вы на это скажете?

— Все в порядке, Келли, — последовал неторопливый ответ. — Он может драться.

— Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда? — съязвил Келли.

Робертс немного поразмыслил.

— Нет, этого я не скажу. Уорд — классный боец, король ринга. Но в два счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю. Это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Он может послать вас на пол с любой позиции.

— Все это пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике? Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением. Но публика за свой деньги хочет получить удовольствие. Сумеет он ей его доставить?

— Безусловно, и вдобавок здорово измотает Уорда. Вы не знаете этого мальчика, а я знаю.

Он — мое открытие. Человек без нервов! Сущий дьявол! Уорд еще ахнет, познакомившись с этим самородком, а заодно ахнете и вы все. Я не утверждаю, что он побьет Уорда, но он вам такое покажет! Это восходящая звезда!

— Отлично. — Келли обратился к своему секретарю: — Позвоните Уорду. Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Он сейчас недалеко, в «Иеллоустоуне»; щеголяет там перед публикой и зарабатывает себе популярность. — Келли повернулся к тренеру: — Хотите выпить?

Робертс отхлебнул виски и разговорился.

— Я еще не рассказывал вам, как я открыл этого мальца. Года два назад он появился в тренировочных залах. Я готовил Прэйна к встрече с Дилэни. Прэйн — человек злой. Снисхождения ждать от него не приходится. Он изрядно отколошматил своего партнера, и я никак не мог найти человека, который бы по доброй воле согласился работать с ним. Положение было отчаянное. И вдруг попался мне на глаза этот голодный мексиканский парнишка, который вертелся у всех под ногами. Я зацапал его, надел ему перчатки и пустил вдело. Выносливый — как дубленая кожа, но сил маловато. И ни малейшего понятия о правилах бокса.

Прэйн сделал из него котлету. Но он хоть и чуть живой, а продержался два раунда, прежде чем потерять сознание. Голодный — вот и все. Изуродовали его так, что мать родная не узнала бы. Я дал ему полдоллара и накормил сытным обедом. Надо было видеть, как он жрал! Оказывается, у него два дня во рту маковой росинки не было. Ну, думаю, теперь он больше носа не покажет. Не тут-то было. На следующий день явился — весь в синяках, но полный решимости еще раз заработать полдоллара и хороший обед. Со временем он здорово окреп. Прирожденный боец и выносливость невероятно! У него нет сердца. Это кусок льда. Сколько я помню этого мальчишку, он ни разу не произнес десяти слов подряд.

— Я его знаю, — заметил секретарь. — Он немало для вас поработал.

— Все наши знаменитости пробовали себя на нем, — подтвердил Робертс. — И он все у них перенял. Я знаю, что многих из них он мог бы побить. Но сердце его не лежит к боксу. По-моему, он никогда не любил нашу работу. Так мне кажется.

— Последние месяцы он выступал по разным мелким клубам, — сказал Келли.

— Да. Не знаю, что его заставило. Или, может быть, вдруг ретивое заговорило? Он многих за это

время побил. Скорей всего, ему нужны деньги; и он неплохо подработал, хотя по его одежде это и незаметно. Странная личность! Никто не знает, чем он занимается, где проводит время. Даже когда он при деле, и то — кончит работу и сразу исчезнет. Временами пропадает по целым неделям. Советов он не слушает. Тот, кто станет его менеджером, наживет капитал: да только с ним не столкуешься. Вы увидите, этот мальчишка будет домогаться всей суммы, когда вы заключите с ним договор.

В эту минуту прибыл Дэнни Уорд. Это было торжественно обставленное появление. В сопровождении менеджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки, остроты расточались им направо и налево, улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера — правда, не совсем искренняя. Уорд был превосходный актер и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспеяния. По существу, это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное было маской. Те, кто знал его или имел с ним дело, говорили, что в денежных вопросах этот малый — жох! Он самолично участвовал в обсуждении всех дел, и поговаривали, что его

менеджер не более как пешка.

Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь; он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно все.

— Так вот он! — сказал Дэнни, окидывая испытующим взглядом своего предполагаемого противника. — Добрый день, старина!

Глаза Риверы пылали злобой, и на приветствие Дэнни он даже не ответил. Он терпеть не мог всех гринго, но этого ненавидел лютой ненавистью.

— Вот это да! — шутливо обратился Дэнни к менеджеру. — Уж не думаете ли вы, что я буду драться с глухонемым? — Когда смех умолк, он сострил еще раз:

— Видно, Лос-Анжелос здорово обеднел, если это — лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада вы его взяли?

— Он славный малый, Дэнни, верь мне! — примирительно сказал Робертс. — И с ним не так легко справиться, как ты думаешь.

— Кроме того, половина билетов уже распродана, — жалобно протянул Келли. — Придется тебе пойти на это, Дэнни. Ничего лучшего мы сыскать не могли.

Дэнни еще раз окинул Риверу пренебрежительным взглядом и вздохнул.

— Придется мне с ним полегче. А то как бы сразу дух не испустил.

Робертс фыркнул.

— Потише, потише, — осадил Дэнни менеджер. — С неизвестным противником всегда можно нарваться на неприятность.

— Ладно, ладно, я это учту, — улыбнулся Дэнни. — Я готов сначала понянчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет пятнадцати раундов, Келли?.. А потом устроить ему нокаут!

— Идет, — последовал ответ. — Только чтобы публика приняла это за чистую монету.

— Тогда перейдем к делу. — Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет.

— Разумеется, шестьдесят пять процентов валового сбора, как и с Карти. Но делиться будем по-другому. Восемьдесят процентов меня устроят. — Он обратился к менеджеру: — Подходяще?

Тот одобрительно кивнул.

— Ты понял? — обратился Келли к Ривере. Ривера покачал головой.

— Так вот слушай, — сказал Келли. — Общая сумма составит шестьдесят пять процентов со

сбора. Ты начинающий, и никто тебя не знает. С Дэнни будете делиться так: восемьдесят процентов ему, двадцать тебе. Это справедливо. Верно ведь. Робертс?

— Вполне справедливо, Ривера, — подтвердил Робертс. — Ты же еще не составил себе имени.

— Сколько это шестьдесят пять процентов со сбора? — осведомился Ривера.

— Может, пять тысяч, а может — даже и все восемь, — поспешил пояснить Дэнни. — Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это?

Тогда Ривера их ошарашил.

— Победитель получит все, — решительно сказал он. Воцарилась мертвая тишина.

— Вот это да! — проговорил наконец менеджер Уорда.

Дэнни покачал головой.

— Я стреляный воробей, — сказал он. — Я не подозреваю судью или кого-нибудь из присутствующих. Я ничего не говорю о букмекерах и о всяких надувательствах, что тоже иногда случается. Одно могу сказать: меня это не устраивает. Я играю наверняка. А кто знает — вдруг я сломаю

руку, а? Или кто-нибудь опоит меня? — Он величественно вскинул голову. — Победитель или побежденный — я получаю восемьдесят процентов. Ваше мнение, мексиканец?

Ривера покачал головой.

Дэнни взорвало, и он заговорил уже по-другому:

— Ладно же, мексиканская собака! Теперь-то уж мне захотелось расколотить тебе башку.

Робертс медленно поднялся и стал между ними.

— Победитель получит все, — угрюмо повторил Ривера.

— Почему ты на этом настаиваешь? — спросил Дэнни.

— Я побью вас.

Дэнни начал было снимать пальто. Его менеджер знал, что это только комедия. Пальто почему-то не снималось, и Дэнни милостиво разрешил присутствующим успокоить себя. Все были на его стороне. Ривера остался в полном одиночестве.

— Послушай, дуралей, — начал доказывать Келли. — Кто ты? Никто! Мы знаем, что в последнее время ты побил нескольких местных боксеров — и все. А Дэнни — классный боец. В следую-

щем выступлении он будет оспаривать звание чемпиона. Тебя публика не знает. За пределами Лос-Анжелоса никто и не слыхал о тебе.

— Еще услышат, — пожав плечами, отвечал Ривера, — после этой встречи.

— Неужели ты хоть на секунду можешь вообразить, что справишься со мной?

— не выдержав, заорал Дэнни.

Ривера кивнул.

— Да ты рассуди, — убеждал Келли. — Подумай, какая это для тебя реклама!

— Мне нужны деньги, — отвечал Ривера.

— Ты будешь драться со мной тысячу лет, и то не победишь, — заверил его Дэнни.

— Тогда почему вы не соглашаетесь? — сказал Ривера. — Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?

— Хорошо, я согласен! — с внезапной решимостью крикнул Дэнни. — Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашел с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли. Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют!

Секретарь Келли уже начал писать, когда Дэнни вдруг остановил его.

— Стой! — Он повернулся к Ривере. — Когда взвешиваться?

— Перед выходом, — последовал ответ.

— Ни за что на свете, наглый мальчишка! Если победитель получает все, взвешиваться будем утром, в десять,

— Тогда победитель получит все? — переспросил Ривера.

Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг в полной форме.

— Взвешиваться здесь, в десять, — продиктовал Ривера. Перо секретаря снова заскрипело.

— Это, значит, лишних пять фунтов, — недовольно заметил Робертс Ривере.

— Ты пошел на слишком большую уступку. Продул бой. Дэнни будет силен, как бык. Дурень ты! Он наверняка тебя побьет. Даже малейшего шанса у тебя не осталось.

Вместо ответа Ривера бросил на него холодный, ненавидящий взгляд. Он презирал даже этого гринго, которого считал лучшим из всех.

IV

Появление Риверы на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не

верила в него. Он был ягненком, отданным на заклание великому Дэнни. Кроме того, публика была разочарована. Она ждала эффектного боя между Дэнни Уордом и Биллом Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким маленьким новичком. Неодобрение ее выразилось в том, что пари за Дэнни заключались два, даже три против одного. А на кого поставлены деньги, тому отдано и сердце публики.

Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, но он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму публикой. Но на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав:

Ривера не знал страха. Более организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из боксеров, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго — подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение.

— Ну, теперь смотри в оба! — предупредил его Спайдер Хэгерти. Спаидер был главным секундантом. — Старайся продержаться как можно дольше — такова инструкция Келли. Иначе растрезвонят на весь Лос-Анжелос, что это опять фальшивая игра.

Все это не способствовало бодрости духа. Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в Хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемой.

Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника, ослепительные

и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами.

Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланко. Видел шесть тысяч рабочих, голодных и изнуренных. Видел ребятишек лет семи-восьми, за десять центов работающих целую смену. Видел мертвенно бледные лица ходячих трупов — рабочих-красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни «камерами самоубийц», — год работы в них означал смерть. Он видел маленькое патио[6] и свою мать, вечно возившуюся со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца. могучего, широкоплечего длинноусого человека, который всех любил и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать и на маленького мучачо[7], игравшего в углу патио. В те дни его звали не Фелипе Ривера, а Фернандес: он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переменил и то и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам.

Большой добродушный Хоакин Фернандес!

---

[6] notes: 6
Патио (исп.) — внутренний дворик.

[7] notes: 7
Мучачо (исп.) — мальчик.

Немалое место занимал он в видениях Риверы. В те времена малыш ничего не понимал, но теперь, оглядываясь назад, юноша понимал все. Он словно опять видел отца за наборной кассой в маленькой типографии или за письменным столом — выводящим бесконечные, торопливые, неровные строчки. Он опять переживал те таинственные вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие, нескончаемые беседы, а он, мучачо, без сна лежал в своем уголке.

Откуда-то издалека до него донесся голос Хэгерти:

— Ни в коем случае сразу не ложиться на пол. Такова инструкция. Получай трепку за свои деньги!

Десять минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался: видимо, он хотел выжать все, что можно, из своего трюка.

Новые видения пылали перед внутренним взором Риверы. Забастовка, вернее

— локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение в горы за ягодами, кореньями и травами — все они этим питались и мучались резями в желудке. А затем кошмар: пустырь перед лавкой

Компании; тысячи голодных рабочих; генерал Росальо Мартинес и солдаты Порфирио Диаса; и винтовки, изрыгающие смерть… Казалось, они никогда не смолкнут, казалось, прегрешения рабочих вечно будут омываться их собственной кровью! И эта ночь! Трупы, целыми возами отправляемые в Вера-Крус на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их, растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать: виднелась только ее голова, тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса, снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный горный койот.

Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Дэнни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика неистовствовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя. Все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Дэнни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Улыбка сияла на его лице, а когда Дэнни улыбался, то улыбалась каждая его черточка, даже уголки глаз, даже зрачки. Свет не видывал такого благодушного

боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он знал всех. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели подальше и не могли выказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, о, Дэнни!» Бурные овации продолжались не менее пяти минут.

На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. Одутловая физиономия Спайдера Хэгерти склонилась над ним.

— Не поддаваться сразу, — предупредил Спайдер. — Помни инструкцию. Держись до последнего. Не ложиться. Если окажешься на полу, нам ведено избить тебя в раздевалке. Понятно? Драться — и точка!

Зал разразился аплодисментами: Дэнни шел по направлению к противнику. Он наклонился, обеими руками схватил его правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Дэнни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа: с противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, истолковывая неслышные ей слова как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера

расслышал сказанное шепотом.

— Ну ты, мексиканский крысенок, — прошипел Дэнни, не переставая улыбаться, — сейчас я вышибу из тебя дух!

Ривера не шевельнулся. Не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде.

— Встань, собака! — крикнул кто-то с места. Толпа начала свистеть, осуждая его за неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Новый взрыв аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот шел обратно.

Едва Дэнни разделся, послышались восторженные охи и ахи. Тело у Него было великолепное — гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа белая и гладкая, как у женщины.

Грация, упругость и мощь были воплощены в нем. Да он и доказал это во множестве боев. Все спортивные журналы пестрели его фотографиями.

Словно стон пронесся по залу, когда Спайдер Хэгерти помог Ривере стащить через голову свитер. Смуглая кожа придавала его телу еще более худосочный вид. Мускулы у него были, но значительно менее эффектные, чем у его противника. Однако публика не разглядела ширины его грудной клетки. Не могла она также угадать,

как мгновенно реагирует каждая его мускульная клеточка, не могла угадать Неутомимости Риверы, утонченности нервной системы, превращавшей его тело в великолепный боевой механизм. Публика видела только смуглокожего восемнадцатилетнего юношу с еще мальчишеским телом. Другое дело — Дэнни! Дэнни было двадцать четыре года. и его тело было телом мужчины. Контраст этот еще больше бросился в глаза, когда они вместе стали посреди ринга, выслушивая последние инструкции судьи.

Ривера заметил Робертса, сидевшего непосредственно за репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее.

— Не робей, Ривера, — тянул Робертс. — Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом иди на клинч. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал.

Ривера и виду не подал, что расслышал его слова.

— Вот угрюмый чертенок! — пробормотал Робертс, обращаясь к соседу. — Какой был, такой и остался.

Но Ривера уже не смотрел перед собой обыч-

ным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале до самых верхних мест ценою в доллар превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем; вдоль нее двигались оборванные толпы, жаждущие оружия.

Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали в газетах: тут были личные счеты. Дэнни одним прыжком покрыл три четверти расстояния, отделявшего его от противника, и намерение съесть этого мексиканского мальчишку так и было написано на его лице. Он обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов, сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Он был смят. Отброшен на канаты; судья разнял бойцов, но Ривера тотчас же был

отброшен снова.

Боем это никто бы не назвал. Это было избиение. Любой зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, и сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязаний, равно как и ее пристрастие к фавориту, была безгранична, она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его: так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца. Губа у него была рассечена, из носу лила кровь. Когда он повернулся и вошел в клинч, кровавые полосы — следы канатов — были ясно видны на его спине. Но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем, — этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за полдоллара разовых или за пятнадцать долларов в неделю — тяжелая школа, но она пошла ему на пользу.

Затем случилось нечто поразительное. Ураган

комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни, лежал на спине! Он не пошатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно, но грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его внезапно, как смерть. Судья оттолкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладиатором.

Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга. Но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Робертса прорезал тишину:

— Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками.

На пятой секунде Дэнни перевернулся лицом вниз, когда судья сосчитал до семи, он уже отдыхал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете девять, раньше, чем будет произнесено десять. Если при счете десять колено Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя. В момент, когда колено отрывается от пола, он считается «на

ногах»; и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его. Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колено Дэнни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья.

При счете девять судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно, зато Дэнни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Согнувшись почти пополам, защищая руками лицо и живот, он ловко вошел в клинч. По правилам, судья должен был его остановить, но он этого не сделал, и Дэнни буквально прилип к противнику, с каждой секундой восстанавливая свои силы. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал, продолжал улыбаться, несмотря на отчаянное положение.

— А все ведь улыбается! — крикнул кто-то, и публика облегченно засмеялась.

— Черт знает какой удар у этого мексиканца! — шепнул Дэнни тренеру, покуда секунданты, не щадя сил, трудились над ним.

Второй и третий раунды прошли бледно. Дэнни,

хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил, стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в первом раунде. В четвертом раунде он был уже в форме. Расстроенный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Дэнни призвал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец, приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Риверы он отвечал тремя, но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Дэнни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладавшему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары.

В защите Ривера прибег к смутившему противника отбиву левой рукой. Раз за разом пользовался он этим приемом, гибельным для носа и губ Дэнни. Но Дэнни был многообразен в приемах. Поэтому-то его и прочили в чемпионы. Он умел на ходу менять стиль боя. Теперь он перешел к

ближнему бою, в котором был особенно страшен, и это дало ему возможность спастись от страшного отбива противника. Несколько раз подряд вызывал он бурные овации великолепным апперкотом, поднимавшим мексиканца на воздух и затем валившим его с ног. Ривера отдыхал на одном колене, сколько позволял счет, зная, что для него судья отсчитывает очень короткие секунды.

В седьмом раунде Дэнни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся. И тотчас же, не дав ему опомниться, Дэнни нанес противнику второй страшный удар, отбросивший его на канаты. Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, покуда судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дожидался противник. Судья и не думал вмешиваться или отталкивать Дэнни. Публика была вне себя от восторга.

Вдруг раздался крик:

— Прикончи его, Дэнни, прикончи!

Сотни голосов, точно волчья стая, подхватили этот вопль.

Дэнни сделал все от него зависящее, но Ривера при счете восемь, а не девять неожиданно про-

скочил под канат и вошел в клинч. Судья опять захлопотал, отводя Риверу так, чтобы Дэнни мог ударить его, и предоставляя любимцу все преимущества, какие только может предоставить пристрастный судья.

Но Ривера продолжал держаться, и туман в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные гринго бесчестны все до одного! Знакомые видения снова пронеслись перед ним: железнодорожные пути в пустыне; жандармы и американские полисмены; тюрьмы и полицейские застенки; бродяги у водокачек — вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланко и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную Революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним! Каждое ненавистное лицо — винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам винтовка! Он сам — Революция! Он бьется за всю Мексику!

Поведение Риверы стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенной ему трепки? Ведь все равно он будет побит, зачем же так упрямо оттягивать исход? Очень немногие желали удачи Ривере, хотя были и такие. На каждом состязании немало людей, которые ставят на темную лошадку. Почти уверенные,

что победит Дэнни, они все же поставили на мексиканца четыре против десяти и один против трех. Большинство из них, правда, ставило на то, сколько раундов выдержит Ривера. Бешеные суммы ставили на то, что он не продержится и до шестого или седьмого раунда. Уже выигравшие эти пари, теперь, когда их рискованное предприятие окончилось так благополучно, на радостях тоже аплодировали фавориту.

Ривера не желал быть побитым. В восьмом раунде его противник тщетно пытался повторить апперкот. В девятом Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он легким быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Дэнни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Дэнни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правой теперь обрушился на него самого. Ривера не сделал попытки схватиться с ним, когда он; поднялся при счете «девять». Судья явно хотел застопорить схватку, хотя, когда ситуация была обратной и подняться должен был Ривера, он стоял, не вмешиваясь.

В десятом раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар «правой снизу»

от пояса к подбородку противника, Бешенство охватило Дэнни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов три раза кряду положить Дэнни. Теперь Дэнни оживал уже не так быстро, и к одиннадцатому раунду положение его стало очень серьезным. Но с этого момента и до четырнадцатого раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа: он как бы случайно прижимал локтем к боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давая дышать; входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые и грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Дэнни, помогали ему, отлично зная, что у него на уме.

Нарвавшись на такую неожиданность, он все ставил теперь на один решительный удар. Он открывался, финтил, изворачивался во имя этой

единственной оставшейся ему возможности: нанести удар, вложив в него всю свою силу, и тем самым вырвать у противника инициативу. Как это уже было сделано однажды до него неким еще более известным боксером, он должен нанести удар справа и слева, в солнечное сплетение и челюсть. И Дэнни мог это сделать, ибо, пока он держался на ногах руки, его сохраняли силу.

Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Спайдер Хэгерти усиленно шептал ему советы, но Ривера знал, что следовать им нельзя. Все были против него. Его окружало предательство. В четырнадцатом раунде он снова положил Дэнни, а сам, бессильно опустив руки, отдыхал, покуда судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалось подозрительное перешептывание. Ривера увидел, как Майкл Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Риверы был, как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Но ему хотелось услышать больше, и, когда его противник поднялся, он сманеврировал так, чтобы схватиться с ним над самыми канатами.

— Придется! — услышал он голос Майкла Келли. И Робертс одобрительно кивнул. — Дэнни должен победить… не то я теряю огромную сумму… я всадил в это дело уйму денег. Если он выдержит пятнадцатый — я пропал… Вас мальчишка послушает. Необходимо что-то предпринять.

С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его! Он снова положил Дэнни и отдыхал, уронив руки. Робертс встал.

— Ну, готов, — сказал он. — Ступай в свой угол. Он произнес это повелительным тоном, каким не раз говорил с Риверой на тренировочных занятиях. Но Ривера только с ненавистью взглянул на него, продолжая ждать, когда Дэнни поднимется. В последовавший затем минутный перерыв Кедли пробрался в угол Риверы.

— Брось эти шутки, черт тебя побери! — зашептал он. — Ложись, Ривера. Послушай меня, и я устрою твое будущее. В следующий раз я дам тебе побить Дэнни. Но сегодня ты должен лечь.

Ривера взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа.

— Что же ты молчишь? — злобно спросил Келли.

— Так или иначе — ты проиграешь, — поддал

жару Спайдер Хэгерти. — Судья не отдаст тебе победы. Послушайся Келли и ложись.

— Ложись, мальчик, — настаивал Келли, — и я сделаю из тебя чемпиона. Ривера не отвечал.

— Честное слово, сделаю! А сейчас выручи меня. Удар гонга зловеще прозвучал для Ривера. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность, знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Дэнни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. Дэнни ринулся на него, но Ривера ловко уклонился. Его противник жаждал клинча. Видимо, это было необходимо ему для задуманного подвоха. Ривера отступал, увертывался, но знал, что рано или поздно ему не избежать ни клинча, ни подвоха. В отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Дэнни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Дэнни завопили: «Нечестно!» Ривера одурачил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки:

— Грубая работа!

Дэнни вслух обругал Риверу и двинулся на него. Ривера стал пятиться. Мысленно он решил больше не наносить ударов в корпус. Правда, таким образом терялась половина шансов на победу, но он знал, что если победит, то только с дальней дистанции. Все равно теперь по малейшему поводу его станут обвинять в нечестной борьбе. Дэнни уже послал к черту всякую осторожность. Два раунда кряду он беспощадно дубасил этого мальчишку, не смевшего схватиться с ним вплотную.

Ривера принимал удар за ударом, он принимал их десятками, лишь бы избегнуть гибельного клинча. Во время этого великолепного натиска Дэнни публика вскочила на ноги. Казалось, все сошли с ума. Никто ничего не понимал. Они видели только одно: их любимец побеждает.

— Не уклоняйся от боя! — в бешенстве орали Ривере. — Трус! Раскройся, щенок! Раскройся! Прикончи его, Дэнни! Твое дело верное!

Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. По темпераменту, по крови он был самым горячим, самым страстным из всех, но он закалился в волнениях, настолько больших, что эта бурная страсть толпы, нараставшая, как морские волны, для него была не чувствительнее легкого дуновения вечерней прохлады.

На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились. Он отступил шатаясь. Дэнни решил, что счастливый миг настал. Мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил его бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Дэнни упал. Три раза он пытался подняться, и три раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать его неправильным.

— Билл, Билл! — взмолился Келли, обращаясь к судье.

— Что я могу сделать? — в тон ему отвечал судья. — Мне не к чему придраться.

Дэнни, побитый, но решительный, всякий раз поднимался снова. Келли и другие сидевшие возле самого ринга начали звать полицию, чтобы прекратить это избиение, хотя секунданты Дэнни, отказываясь признать поражение, по-прежнему держали наготове полотенца. Ривера видел, как толстый полисмен неуклюже полез под канаты. Что это может значить? Сколько разных надувательств у этих гринго! Дэнни, поднявшись на ноги, как пьяный, бессмысленно топтался перед ним. Судья и полисмен одновременно добежали до Риверы в тот миг, когда он

наносил последний удар. Нужды прекращать борьбу уже не было: Дэнни больше не поднялся.

— Считай! — хрипло крикнул Ривера.

Когда судья кончил считать, секунданты подняли Дэнни и оттащили его в угол.

— За кем победа? — спросил Ривера.

Судья неохотно взял его руку в перчатке и высоко поднял ее.

Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов, затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все десять тысяч гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Ненавистные лица плыли и качались перед ним. Но вдруг он вспомнил: это винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться!

Джек Лондон
Джон — Ячменное Зерно

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Эта мысль созрела у меня однажды в день выборов. В послеполуденный час я спустился с фермы по Лунной долине в маленькое селение, чтобы сказать свое «да» или «нет» по поводу разных поправок к конституции штата Калифорния. Было жарко, и я выпил несколько рюмок перед тем, как опустить свой бюллетень, и две-три после. Покончив с делами, я верхом поехал обратно горной тропой вдоль наших виноградников и пастбищ. К себе на ферму я прибыл к вечеру и успел еще разок выпить перед ужином.

— Ты голосовал за женское равноправие или против? — осведомилась Чармиан.

— За!

Она издала возглас удивления, ибо должен признаться, что в дни молодости я, несмотря на свой пылкий демократизм, был противником женского равноправия. С годами я выработал в себе известную терпимость, поняв, хотя и без восторга, общественную неизбежность этой реформы.

— Все-таки объясни, почему ты голосовал за? — допытывалась Чармиан.

Я принялся объяснять многословно и сердито.

И чем больше говорил, тем сильнее злился. (Нет, я не был пьян. Ведь я ехал на Разбойнике. Интересно знать, какой пьяный усидел бы на этой лошади!)

Пьян не пьян, но возбужден я был изрядно, в голове приятно шумело, в общем, я чувствовал себя в ударе.

— Как только женщины добьются избирательного права, они потребуют сухого закона, — сказал я. — Тогда тебе крышка, Джон — Ячменное Зерно! Уж они-то, жены, сестры, матери, угробят тебя наверняка!

— А мне ведь казалось, что Джон — Ячменное Зерно — твой друг, заметила Чармиан.

— Да, друг. Нет, нет, какое там! Никогда он мне не был другом. Когда я с ним, мне чудится, что мы друзья, но тут-то я меньше всего ему предан. Он король обманщиков. Он правдивейший из правдивых. Он окрыляет человека. Но он в союзе и с Курносой. Путь, который он указывает, ведет к обнаженной правде и к гибели. От него и прозрение и безумие. Он враг жизни, он учит мудрости, но мудрости потусторонней. Он кровавый убийца, губитель молодых жизней.

Чармиан глядела на меня с недоумением.

А я уже не мог остановиться. Да, действительно

я был в ударе!

Мозг работал четко. Каждая мысль сидела в своей клетке, готовая вырваться наружу, словно узник, ждущий в глухую полночь сигнала к побегу. И каждая мысль была, как откровение, точная, четкая, образная. Алкоголь озарил мой мозг ярким светом. Джон — Ячменное Зерно пожелал излить свою душу и выбалтывал сокровенные тайны моими устами. Картины прошлого воскресали у меня в голове, сменяясь ряд за рядом, точно войска на параде.

Я был властен отбирать их в любом порядке. Я полностью владел своими мыслями, распоряжался словами, подкреплял их примерами из своего богатого жизненного опыта. В этом и есть колдовская сила Джона — Ячменное зерно: он изощряет ум, нашептывает роковые истины, освещает серость жизни багряными лучами прозрения.

Я бегло обрисовал Чармиан свое прошлое, коснулся главных черт своей натуры. Я не потомственный алкоголик. Никакого органического влечения к алкоголю у меня нет. В этом смысле я рос нормальным человеком. Привычка к алкоголю у меня благоприобретенная, и я немало выстрадал, пока привык пить. Вначале меня тошнило от спиртного хуже, чем от лекарств. Я

до сих пор ненавижу его вкус. Я пью только ради того, чтобы быть "под хмельком", а в возрасте от пяти до двадцати пяти меня и это не привлекало. Потребовалось двадцать лет насилия над организмом, чтобы преодолеть отвращение к алкоголю и создать к нему привычку.

Я рассказал Чармиан, как познакомился с алкоголем, как болел после каждой выпивки, и привык к нему лишь потому, что он оказывался всегда под рукой. Под рукой — это даже не то слово. Все увлечения в период формирования моей личности толкали меня к алкоголю. Мальчишкой, продавая газеты, в годы юности, плавая матросом, работая рудокопом и просто странствуя в чужих краях, я всегда видел, что где бы ни сходились мужчины — обменяться мыслями, пошутить, покуражиться, похвастать, отдохнуть от вечного отупляющего труда и забыться, — на столе непременно появлялась бутылка. Местом сборищ был кабак. Люди собирались там за бутылкой, как собирались в седой древности их первобытные предки вокруг кочевого костра.

Я напомнил Чармиан про лодочные домики на южных островах Тихого океана, куда ее не допускали. Курчавые туземцы пировали и пьянствовали там без жен — для них это была святая

святых, для женщин — табу, нарушение которого каралось смертью.

Кабак помог мне в юношеские годы уйти от мелочной женской опеки, открыв передо мной широкий свободный мужской мир. Все пути вели в кабак. Тысячи неведомых дорог сходились там и расходились оттуда по всему свету.

— Привычка к алкоголю создалась у меня из-за того, что он был доступен, — вот где корень зла, — заключил я свой рассказ. — Мне он совсем не нравился. Я смеялся над ним. А в конце концов стал пьяницей. Двадцать лет я прививал себе вкус к крепким напиткам, потом еще десять лет заставлял себя их полюбить. И никогда мне это не доставляло радости. По натуре я человек простодушный, жизнерадостный. Но когда со мной Джон — Ячменное Зерно, я становлюсь мрачным пессимистом и испытываю все муки ада.

Впрочем, нужно отдать ему должное, — поспешил я добавить, как привык это делать всегда. — Джон — Ячменное Зерно режет правду в глаза. Вот в чем его сила. Так называемая житейская правда — вовсе не правда. Это та непременная ложь, которая поддерживает жизненные устои, а Джон — Ячменное Зерно не оставляет от нее камня на камне.

— И вряд ли этим оказывает большую услугу жизни! — вставила Чармиан.

— Ты права, — согласился я. — В этом-то вся трагедия. Если на то пошло, он скорее играет на руку смерти. Вот почему я нынче голосовал за женское равноправие. Вспомнил всю свою жизнь и понял, что стал пьяницей оттого, что алкоголь был всегда слишком доступен. Поверь, не так уж много людей рождаются алкоголиками. К слову сказать, само это понятие требует разъясне ния. Алкоголик — это тот, кто органически не может существовать без вина и бессилен бороться со своей страстью. А большинство пьющих — вовсе не прирожденные алкоголики. Ни первая, ни двадцатая, ни даже сотая рюмка не доставила им удовольствия. Пить они приучились так же, как приучаются курить, хотя, впрочем, второе куда проще. Причина одна — доступность алкоголя. Женщины это знают. Расплачиваться за все приходится им, бедняжкам, — женам, матерям, сестрам. Зато когда их допустят к урнам, они потребуют запрещения спиртных напитков.

И это будет очень полезно: избавит молодое поколение от многих бед. Не видя вина, не питая к нему слабости, люди не станут даже вспоминать о нем. В результате жизнь подростков и юношей

сделается содержательнее. И жизнь девушек, их будущих подруг, тоже.

— Почему бы тебе не написать об этом на благо грядущих поколений? сказала Чармиан. — Чтобы жены, сестры и матери поняли, за что им следует голосовать.

— Воспоминания алкоголика? — поморщился я, — вернее, не я, а Джон Ячменное Зерно: ведь он уже сидел во мне и слышал мою покровительственно-благодушную болтовню. Только он, Ячменное Зерно, способен вдруг превратить улыбку в презрительную гримасу.

— Нет, — сказала Чармиан, привыкшая по-женски не обращать внимания на его грубые выпады. — Ты ведь доказываешь, что ты не алкоголик, не запойный пьяница, а свел дружбу с бутылкой лишь потому, что она была всегда излишне доступна. Вот об этом и напиши и назови свою книгу "Воспоминания об алкоголе".

ГЛАВА ВТОРАЯ

Итак, я приступаю. Прошу читателя выслушать меня сочувственно, постараться понять меня и других, о ком я здесь пишу, разобраться в обстановке, которая нас окружала. Прежде всего надо сказать, что я пьяница со стажем, хотя врожденной склонности к спиртным напиткам никогда за собой не замечал. Я не глуп. Я не скотина. По части выпивки прошел всю науку, какая есть, и всегда знаю меру. Меня никогда не приходится укладывать спать. И не надо поддерживать, чтобы я не упал. Короче говоря, я нормальный, обыкновенный человек и пью, как все.

Об этом я и намерен написать: о влиянии алкоголя на нормального, обыкновенного человека. Не буду касаться поведения запойных пьяниц и не намерен их защищать; такие экземпляры составляют ничтожное меньшинство.

Все пьющие делятся, в общем, на два типа. Первый хорошо известен всем: это глупое, тупое существо, всегда в дурмане, ходит широко расставляя ноги, словно в качку матрос, часто валяется в канавах, а уж когда нахлещется, видит синих мышей и розовых слонов. Это тот самый

забулдыга, который дает юмористам неисчерпаемый материал для карикатур.

Пьяница второго типа наделен воображением и проницательностью. Даже когда в голове у него шумит, он сохраняет привычную устойчивость — не пишет вензеля на мостовой, не валится с ног, хорошо знает, где он и что с ним происходит. Власть алкоголя распространяется лишь на его мозг, но не на тело. Такой человек бывает блестящим, остроумным, душою общества. Бывает и провидцем в космических масштабах, с железной логикой, нередко облеченной в форму силлогизмов. Алкоголь рассеял все иллюзии, раскрыл ему горькую правду о том, что душа его скована железным обручем долга. В этот час Джон — Ячменное Зерно коварно показывает свое могущество. В канаве валяться — дело не хитрое. Но удержаться и не пасть — мучительнейшая пытка, если ты прозрел и понял, что тебе дано одно только право покончить с собой. В этот час прозрения становится очевидной истина, что познаваемы только законы жизни, но смысл ее — никогда. И это страшный час! Сам о том не догадываясь, ты ступаешь на смертную стезю.

Ослепительный свет вдруг пронизывает все. Бессмертия не существует это небылица, плод

душевного смятения, посеянного страхом смерти и усугубленного воображением, будь оно трижды проклято! Человек лишен инстинкта смерти: когда настает последний час, у него не хватает воли умереть. И потому он тешит себя обманом, будто ему удастся перехитрить судьбу и вырвать у нее вторую жизнь — за гробом; истлевать во тьме могил, испепеляться в печах крематория — это удел других! Зато уж тот, кому Джон — Ячменное Зерно сорвал повязку с глаз, постиг всю правду. Всех ждет один конец. Под луной ничто не ново, в том числе и миф о бессмертии, это утеха малодушных. А ты, ты крепко стоишь на земле, ты знаешь, что и как. Плоть, вино, блеск ума, солнечные лучи, звездная пыль — вот из чего сработан на краткий срок непрочный механизм, и сколько ни будут стараться ученые богословы и медики, все равно конец один — на свалке.

Разумеется, такие приступы меланхолии не что иное, как душевное заболевание, которым человек с воображением расплачивается за дружбу с Ячменным Зерном. Дураку гораздо легче.

Он напивается до бесчувствия, спит одурманенный, и если видит сны, то всегда сбивчивые. А человеку с головой Джон — Ячменное Зерно посылает безжалостные и призрачные силло-

гизмы Белой Логики. И этот человек начинает взирать на жизнь с ее суетой желчным взглядом немецкого философа-пессимиста. Развенчивает все иллюзии. Переоценивает все ценности. Добро — это зло, правда — обман, жизнь — не больше как шутка. В своем маниакальном бреду, убежденный, как Бог, в собственной правоте, он видит только дурное. Жена, дети, друзья в свете Белой Логики — лицемеры и обманщики. Уверовав, что видит их насквозь, он замечает в них только мелочность, ничтожество, скудоумие и нравственную нечистоплотность. Он их раскусил и понял, что это убогие, маленькие себялюбцы, жалкие смертные, чья жизнь быстротечнее, чем век мотылька. Они не распоряжаются своей судьбой. Они рабы случая.

И он тоже. Он это понял. Но также понял, что он другой: он все видит, все знает. Единственное право, которым он обладает, — право покончить с собой. И это очень плохо. Ведь человек рождается на свет, чтобы жить, любить и быть любимым. А Джон — Ячменное Зерно толкает его на самоубийство — быстрое или медленное:

пустить пулю в лоб или шаг за шагом уходить из жизни на протяжении многих лет. Кто свел с ним дружбу, тому не избежать этой роковой,

справедливой расплаты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В первый раз я напился, когда мне было пять лет. День был жаркий, мой отец пахал в поле за полмили от дома. Меня послали отнести ему пива. "Да смотри, не расплескай по дороге!" — наказали мне на прощание.

Пиво было, помнится, в деревянном ведерке с широким верхом и без крышки. Я нес его и плескал себе на ноги. Я шел и размышлял: почему это пиво считается такой драгоценностью? Небось, вкусно! А то почему мне не велят его пить? Ведь все, что родители запрещают, всегда очень вкусно. Значит, и пиво тоже.

Уж эти взрослые понимают, что к чему! А тут, как назло, полное ведро. Пиво выливается мне на ноги и на землю. Чего же зря добру пропадать? Никто не узнает, пролил я или выпил?

Я был так мал, что пришлось сесть и поставить ведерко себе на колени, чтобы отхлебнуть. Сперва я лизнул пену. Бог ты мой!

Где же этот дивный вкус? Значит, не в пене, уж слишком она противная. Тут я вспомнил, что взрослые ее сдувают и только потом пьют. Я сунул нос в ведро и принялся лакать густую жидкость.

Ну и дрянь же! Все-таки я пил. Не может быть, чтобы взрослые так ошибались! Трудно сказать, сколько я выпил тогда:

я был карапуз, а ведро казалось огромным, а я все хлебал, не отрываясь, погрузив лицо по самые уши в пену. Но глотал я, признаться, как лекарство: меня тошнило, и хотелось скорее покончить с этим мучением.

Наконец я встал, передергиваясь от отвращения, и пошел дальше. Наверное, после все же будет приятно, думал я. По пути я прикладывался к ведерку еще несколько раз, и вдруг заметил, что там изрядно недостает. Но я вспомнил, что пиво размешивают, и, схватив палочку, принялся мешать, пока пена не вздулась до краев.

Отец ничего не заметил. Ему очень хотелось пить, и, быстро осушив ведерко, он снова взялся за плуг. Я попробовал пойти рядом, но, сделав несколько шагов, упал под лошадь, едва не напоровшись на стальной лемех. Отец так резко осадил назад, что лошади едва не растоптали меня. Потом отец рассказывал, что я был на волосок от гибели. Смутно помню, как он нес меня на край поля, где росли деревья, и все передо мной качалось и ходило ходуном. Меня страшно тошнило и мучил страх, что я совершил дурной поступок.

Я проспал под деревьями до вечера. На закате отец разбудил меня, и, с трудом поднявшись, я побрел за ним. Я был еле жив: ноги казались свинцовыми, резало в животе, к горлу подступала тошнота. Я чувствовал себя отравленным. Собственно говоря, это и было самое настоящее отравление.

После этого случая у меня надолго пропал интерес к пиву, так же как к кухонной плите, о которую я однажды обжегся.

Да, взрослые правы. Пиво не для маленьких. Взрослым что — они пьют, не моргнув глазом! Да им и касторка нипочем, и разные пилюли! А я проживу и без пива. И прожил бы всю жизнь, если бы не обстоятельства. В той среде, где я рос, Джон — Ячменное Зерно манил к себе на каждом шагу. От него невозможно было спрятаться. Все дороги вели к нему. И за двадцать лет общения с ним, приветствуя его при встречах и восхваляя без всякой искренности, я в конце концов привязался к этому негодяю.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мой второй поединок с Джоном — Ячменное Зерно состоялся, когда мне исполнилось семь лет. На сей раз меня подвело воображение: страх толкнул меня к алкоголю. Наша семья, занимавшаяся сельским хозяйством, переехала на новую ферму в округ Сан-Матео, к югу от Сан-Франциско, на пустынное, голое побережье. В те времена это была совершенная глушь, и моя мать частенько напоминала нам с гордостью, что мы коренные американцы, не то что другие фермеры — разные ирландцы да итальянцы.

Однажды воскресным утром — не помню сейчас, по какому поводу, — я очутился на ферме Морриси. Там собралась молодежь с окрестных ферм. Были и люди постарше, которые начали пить еще спозаранку, а то и со вчерашнего вечера. Все члены обширной семьи Морриси, многочисленные сыновья и племянники, были как на подбор: крупные, здоровые, в тяжелых сапогах, с зычными голосами и внушительными кулачищами.

Внезапно со двора раздались вопли девушек: "Караул! Дерутся!" Мужчины выскочили из кух-

ни и кинулись туда. Во дворе сцепились два полуседых краснолицых великана. Один из них носил прозвище Черный Мэт — по слухам, он убил когда-то двух человек. Женщины визжали, крестились и бормотали молитвы, многие закрывали лица руками, хотя и поглядывали между пальцев. Зато уж я смотрел во все глаза. Можно сказать без преувеличения, что я был самым заинтересованным зрителем.

А вдруг мне повезет, и я увижу убийство! Или, по крайней мере, хотя бы настоящую мужскую драку! Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что Черный Мэт и Том Морриси, обхватив друг друга за пояс и поднимая ноги в огромных сапожищах, просто топчутся на месте, как пара дрессированных слонов. Для хорошей драки они были слишком пьяны. Тут подоспели миротворцы и увлекли их обратно на кухню, чтобы вспрыснуть восстановление прежней дружбы.

Скоро все уже опять говорили разом, из богатырских глоток мужчин, привыкших к труду на вольном воздухе, неслись веселые возгласы и смех. Виски развязало языки этим обычно молчаливым фермерам. А я, готовый в любой миг пуститься наутек, замирая от страха, заглядывал

в открытую дверь и дивился, что за непонятные люди эти взрослые. Чего это вдруг Черный Мэт и Том Морриси уселись в обнимку, навалились грудью на стол и громко всхлипывают?

Кухонный пир продолжался, и девушки во дворе забеспокоились. Они знали, чем обычно кончаются такого рода пирушки, и с минуты на минуту ожидали беды. Свидетелями быть никому не хотелось. И вот кто-то предложил отправиться всей компанией на большую итальянскую ферму в четырех милях от Морриси, где можно потанцевать. Долго не раздумывая, юноши и девушки разделились на пары и двинулись по песчаной дороге. Я заметил, что каждый юноша поспешил пристроиться к своей симпатии, — уж предоставьте семилетнему всезнайке быть в курсе амурных дел своих соседей! И даже мне доверили даму: маленькую ирландочку одних со мной лет. В этой непринужденной компании, кроме нас, детей не было. Самой старшей паре было от силы двадцать лет, а большинству мальчишек и девчонок — эдак четырнадцать — шестнадцать. Мы же с ирландочкой представляли самый юный возраст и шли, держась за руки, хотя время от времени, подзадориваемый старшими, я обхватывал ее за талию. Но так идти было неудобно. Однако

я шествовал весьма горделиво, и в это солнечное воскресное утро дорога меж песчаных холмов не казалась мне длинной и мрачной. Смотрите, и, у меня есть подружка, я тоже теперь взрослый!

Итальянская ферма принадлежала холостякам. Нас встретили очень радушно. Всех угостили красным вином и стали сдвигать мебель в просторной столовой, освобождая место для танцев.

Ребята плясали с подружками под аккордеон. Мне эта музыка показалась восхитительной, ничего лучше я никогда не слыхал. Молодой итальянец с аккордеоном даже умудрялся вскакивать и танцевать, схватив в объятия свою девушку и играя за ее спиной.

Сам я не участвовал в танцах, я сидел за столом и восхищенно таращил глаза. Ведь я был еще малышом и новые впечатления впитывал с величайшей жадностью. Время от времени наши ирландские ребята подходили к столу и наливали себе вина; было весело, и у всех было хорошее настроение. Но вот некоторые начали спотыкаться танцуя и даже падать, а один парень забился в угол и там уснул. Их подружки обиделись и собрались уходить, но другие беззаботно хихикали: мол, нам-то что, пускай!

Хозяева предложили и мне выпить за компа-

нию, но я отказался. Я еще не забыл истории с пивом и не собирался пополнять свой опыт. На беду, молодой итальянец Питер, коварная душа, заметив, что я сижу один, вдруг воспылал участием и протянул мне через стол полстонки вина. Я отказался. Лицо его сразу приняло суровое выражение, и он еще настойчивее предложил мне выпить. И тут на меня напал страх — причину я сейчас объясню.

У моей матери были свои теории. Во-первых, она была твердо убеждена, что все черноволосые и черноглазые представители рода людского — лжецы. Излишне говорить, что мать сама была блондинкой. Другим глубоким ее убеждением являлось то, что черноглазые латинские народы безмерно обидчивы, коварны и кровожадны. Перенимая жизненную мудрость из уст матери, я накрепко запомнил ее слова, что если обидеть итальянца, пусть даже из-за пустяка или совсем нечаянно, он тотчас схватится за нож. "Всадит тебе нож в спину!" — говорила всегда мать.

И хотя только сегодня я горел желанием увидеть, как Черный Мэт будет убивать Тома Моррисси, меня куда меньше привлекала перспектива самому доставить удовольствие танцующим видом ножа, торчащего у меня меж лопаток. В

то время я еще не научился понимать разницу между теориями и фактами. Я слепо верил тому, что говорила мать об итальянцах, С другой стороны, у меня имелись зачаточные представления о гом, что гостеприимство свято. Я попал в гости к коварному, обидчивому и кровожадному итальянцу. Мне внушили, что, если я его обижу, он даст мне ножом, как дает копытом норовистая лошадь, если ты разозлил ее. Как на грех, у этого Питера были те самые страшные черные глаза, о которых меня предупреждала мать. Они не были похожи на глаза знакомых мне людей — голубые, серые и карие глаза членов нашей семьи или на добродушные — цвета небесной лазури — глаза ирландцев. Возможно, Питер был под хмельком. Во всяком случае, глаза его блестели, как антрацит, искрились насмешкой. Но для меня их выражение было загадочным — мог ли я в свои семь лет анализировать, понимать, что со мной шутят? Во взгляде Питера я прочел свой смертный приговор и уже повторил свой отказ менее решительно. Тогда глаза Питера стали еще страшнее. Сурово и повелительно уставившись на меня, итальянец пододвинул ко мне вплотную стопку с вином.

Что тут было делать? Впоследствии я встре-

чался не раз лицом к лицу со смертью, но такого леденящего ужаса, как тогда, я больше не испытал. Я поднес стопку к губам. Взгляд Питера смягчился. Значит, он меня не убьет, обрадовался я. На сердце стало поспокойнее, но в желудке творилось Бог знает что. Вино было молодое, самых дешевых сортов, горькое, кислое, изготовленное из бросового винограда и сцеженное со дна бочки. Еще противнее, чем пиво! Есть один только способ пить лекарство: пить не раздумывая. Этот способ я и применил: запрокинув голову назад, осушил стопку. Потом судорожно глотнул, силясь удержать в себе этот яд, словно огнем опаливший мое нутро.

Представляю себе, как поражен был Питер. Он снова налил полстопки и поставил передо мной. Похолодев от ужаса, но понимая, что от судьбы не уйдешь, я проглотил вторую порцию. Это показалось Питеру и вовсе невероятным. Решив поделиться с другими своей интересной находкой, он подозвал молодого усатого итальянца Доминика: посмотри, что за диво! Мне налили полную стопку. На какие жертвы не идешь, спасая свою жизнь! Я призвал себе на помощь все мужество, подавил тошноту и выпил.

Доминик заявил, что сроду не видывал такого

храброго мальчишку. Он еще два раза наполнил до краев мою стопку и следил, как я поглощаю вино. К тому времени мой героизм привлек внимание и других. Меня обступили пожилые батраки, итальянцы из Старого Света, которые не понимали по-английски и не танцевали с ирландскими девчонками. Я видел темные жестокие лица, красные рубахи, кожаные пояса и знал, что у каждого из этих людей, окруживших меня, точно шайка пиратов, есть нож. А Питер и Доминик все требовали, чтобы я демонстрировал свое умение пить.

Если бы не мое проклятое воображение, я бы отбрыкивался и со мной бы не случилось такое происшествие. Но все наши ребята увлеклись танцами, и некому было вызволить меня из беды. Не знаю, сколько этого страшного зелья пришлось мне тогда влить себе в глотку. Мне запомнилось лишь ощущение безграничного страха перед обступившей меня кровожадной сворой, стол из грубых досок, залитый вином, да бесчисленные стопки с огненной жидкостью, которую я все пил и пил. Как ни ужасно вино, получить смертельную рану еще хуже; и я твердил себе, что должен выжить любой ценой.

Теперь, умудренный опытом, я понимаю, поче-

му не лишился тогда чувств. Я уже говорил, что был скован, парализован страхом и мог только машинально поднимать руку, поднося ко рту стопку за стопкой. Окаменев, я стал сосудом, в который вливалось вино. От страха мой желудок атрофировался. Даже тошнить перестало. Неудивительно, что итальянцы сочли меня диковинным ребенком, видя, как я с безразличием автомата поглощаю столько вина. Утверждаю без хвастовства, что подобное зрелище им было в диковинку.

Настала пора уходить. Пьяные выходки ребят заставили наиболее рассудительных девушек заторопиться домой. Я оказался за дверью подле своей маленькой дамы. С ней не случилось такой беды, как со мной, ее никто не пытался напоить. Она смотрела как зачарованная на фокусы, которые выделывали наши ребята, старавшиеся сохранять равновесие, идя рядом со своими подружками. Потом она стала их передразнивать. Мне это показалось очень забавным, и я тоже пошел писать вензеля. Но она-то не пила ничего, мне же от этих шалостей винные пары ударили в голову. Уже с первых шагов у меня получалось правдоподобнее, чем у нее, а через несколько минут я выделывал такие антраша, что сам себе

удивлялся. Я заметил, как один паренек, который, шатаясь, прошел шагов десять, остановился на краю дороги, вперил мрачный взгляд в канаву и завершил свое глубокомысленное созерцание тем, что свалился в нее. Это вышло смешно до чертиков, и, подражая ему, я тоже направился к канаве, разумеется, без всякого намерения падать. Очнулся я уже на дне канавы, откуда меня вытаскивали перепуганные девчонки.

Мне вдруг надоело валять дурака. Шутливое настроение разом испарилось. В глазах поплыло, стало трудно дышать, и я начал жадно ловить воздух. Две девушки тащили меня под руки.

Ноги мои были точно налиты свинцом. В голове и в сердце стучало, как молотом. Будь я слаб, я умер бы тогда наверняка. Даже при всей своей выносливости я был близок к смерти, о чем не догадывались мои встревоженные спутницы. Я слышал, как они спорили, кто виноват, некоторые даже плакали, жалея себя, жалея меня и сетуя на своих кавалеров, показавших себя в столь невыгодном свете. Но мне было все безразлично. Я задыхался, мне не хватало воздуха. Каждый шаг был пыткой. До дому четыре мили. Четыре мили! Как сквозь туман, я увидел переброшенный через ручей мостик; помню, мне почудилось, что он

очень далеко. А там и ста футов не было! Дойдя до него, я опустился на землю и в изнеможении лег плашмя. Девушки пытались поднять меня, но я был не в состоянии двинуться. Они стали звать на помощь; к нам подошел подвыпивший семнадцатилетний Ларри и принялся делать мне искусственное дыхание, прыгая у меня на груди Помню, хотя и смутно, визг девушек, кинувшихся к Ларри и оттащивших его в сторону. Больше я ничего не запомнил, но мне рассказывали потом, что Ларри залез под мост, лег и проспал там до утра.

Когда я открыл глаза, было уже темно. Всю дорогу меня несли в бессознательном состоянии и дома уложили в постель.

Я тяжко занемог и бредил. Пережитые ужасы, которые не укладывались в мое детское сознание, вызвали мучительные галлюцинации. Кого-то убивали, потом убийцы гнались за мной. Я кричал, буянил, отбивался. И страдал невыносимо. Когда после приступа ко мне на некоторый срок возвращалось сознание, я слышал голос матери: "Что ж это будет! Помешался ребенок!" И я опять начинал бредить, задыхаясь от нового кошмара: я в желтом доме, меня избивают надзиратели, а вокруг дико орут сумасшедшие.

Как-то раз я слышал и запомнил разговор взрослых о китайских притонах Сан-Франциско. И вот в бреду мне стало казаться, что я попал в подземелье и там, в тысяче притонов за коваными дверями, тысячу раз отбиваюсь от смерти. Вдруг я вижу отца — он сидит за столом в одном из подземных склепов и ведет с китайцами крупную игру на золото, разбросанное по столу. Я разражался потоками страшной брани, вскакивал с постели, вырывался из рук родных и ругал отца на чем свет стоит. Я повторял всю грубую брань, которую безнадзорный ребенок слышит от деревенских мужчин, но в обычных условиях никогда не осмелится произнести вслух. В бреду я ругал отца: негодяй, сидит в подземелье и играет с китайцами, у которых длинные косы и кривые когти!

Поражаюсь, как я тогда выжил. Едва ли артерии и нервные центры семилетнего ребенка способны выдерживать такие чудовищные приступы белой горячки. В ту ночь, когда я попал в лапы Джона — Ячменное Зерно, в нашем деревянном домике никто не спал. А вот Ларри, ночевавший под мостом, наверное, так не бредил. Спал себе небось мертвецким сном, поутру, может быть, голова трещала с похмелья — вот и все. Если он

сейчас жив, то вряд ли помнит эту ночь — мало ли что бывало! А мне она врезалась в память на всю жизнь. С тех пор минуло тридцать лет, но и сейчас, когда я пишу эти строки, я помню кошмары, душившие меня, и заново испытываю муки, которые пережил в ту ночь.

Я долго болел, и мать уже могла не напоминать мне о вреде пьянства. Она была потрясена этим происшествием. Она считала, что я совершил дурной поступок, очень дурной — разве этому она меня учила? А я, не смея перечить, не зная даже слов, которые раскрыли бы ей причины моего поведения, был не способен, конечно, объяснить, что как раз ее-то поучения и оказались всему виной! Ведь если бы не ее теории насчет черных глаз и итальянцев, я бы в рот не взял эту мерзкую кислятину! Только став взрослым, я поведал ей, в чем была истинная подоплека этого позорного происшествия.

Во время выздоровления я размышлял над разными вещами.

В те дни я многого еще не понимал, но кое-что стало мне совершенно ясно. Я чувствовал, что провинился, но все-таки люди несправедливы. Ведь не я же был виноват, хоть и поступил нехорошо!

Тем не менее я дал себе зарок никогда больше не пить. Бешеная собака так не боится воды, как я тогда боялся вина!

И все же должен подчеркнуть: как ни тяжко дался мне этот опыт, он не помешал моей дальнейшей дружбе с Джоном — Ячменное Зерно. Уже в то время все вокруг толкало меня к нему.

Во-первых, взрослые, за исключением моей матери — женщины крайне строгих взглядов, воспринимали это происшествие весьма добродушно. Чепуха! Что за стыд! Во-вторых, свидетели моего позора — парни и девушки — со смехом судачили о том, кто чем отличился в этот день, и вспоминали разные забавные подробности: как Ларри прыгнул мне на грудь, а потом мертвецки пьяный завалился под мост, как другой паренек провел ночь в дюнах, а третий свалился в канаву. Итак, я понимал, что никто не считает это постыдным. Наоборот, я совершил лихой подвиг, которым можно гордиться. Окружающие восприняли это как яркое событие, скрасившее на миг унылые будни мрачного побережья, вечно окутанного туманом.

Фермеры-ирландцы добродушно журили меня, похлопывая по плечу, и вскоре я возомнил себя героем. Питер, Доминик и другие итальянцы

хвалили меня за доблесть. Общественная мораль не запрещала пить. Пили, кстати, все. В нашей общине не было ни одного трезвенника. Даже убеленный сединами пятидесятилетний учитель маленькой сельской школы в периоды запоя, сраженный Ячменным Зерном, устраивал нам внеочередные каникулы.

Никаких нравственных запретов в этой области не существовало.

Мое отвращение к алкоголю носило чисто физиологический характер. Мне не нравилось чертово зелье.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я так никогда и не сумел преодолеть в себе физическое отвращение к алкоголю. Но я подавлял его. И поныне всякий раз подавляю. Мой вкус не мирится с ним, а я знаю: полезно то, что вкусно. Но люди пьют, не думая о пользе, им бы только одурманить мозг, а если тело страдает… что ж, тем хуже для тела!

Однако, несмотря на мое физическое отвращение к алкоголю, самые светлые детские воспоминания связаны у меня с питейными заведениями. Сидя на телеге с картофелем, которую тащили, утопая в песке, наши лошади, я ежился от сырости, не знал, как размять затекшие ноги, но дорога не казалась мне длинной: я ехал и мечтал. Мечтал, что вот мой отец или другой, кто ведет упряжку, сделает остановку возле кабака в Колме и зайдет выпить.

Забегу и я, погреюсь у громадной печки и получу коржик.

Скромный коржик казался мне сказочным лакомством. И от кабака, значит, есть польза! Примостившись снова на телеге, я наслаждался коржиком целый час. Осторожно откусывал

микроскопические порции, боясь уронить даже крошку, и так долго жевал каждый кусочек, что он под конец превращался в жидкую кашицу, просто волшебную на вкус. Я старался не глотать ее, а только смаковал, вертя на языке и засовывая то за одну щеку, то за другую, пока она не таяла и капельками, струйками стекала мне в горло. Сам Хорас Флетчер мог бы у меня поучиться!

Я любил кабаки. Особенно кабаки Сан-Франциско. Какие там бывали яства! Диковинные булочки и печенья, сыр, колбасы, сардины — божественная снедь, какой я сроду дома не видывал. Помню, один кабатчик как-то угостил меня сладким напитком — содовой водой с сиропом. Отец не платил, кабатчик угощал задаром и потому стал для меня воплощением доброты и щедрости.

Я мечтал о нем долго и запомнил на всю жизнь, хотя видел всего лишь раз, когда мне было семь лет. Его заведение находилось в Сан-Франциско, где-то к югу от Маркет-стрит. Слева от входа была стойка с напитками. Справа тянулась другая стойка — с бесплатными закусками. Помещение было узкое и длинное, в конце его, за пивными бочками, стояли круглые столики и стулья. Кабатчик был голубоглазый блондин, светлые мягкие пряди волос выбивались у него из-под

черной шелковой ермолки. Хорошо помню, что он был в коричневом вязаном жилете, и даже сейчас я мог бы показать то место среди батареи бутылок, откуда он вытащил графин с красным сиропом. Он вел долгую беседу с моим отцом, а я, глядя на него с обожанием, потягивал сладкую водичку. По сей день у меня сохранилась о нем благодарная память.

Несмотря на опыт с алкоголем, столь трагически закончившийся оба раза, Джон — Ячменное Зерно продолжал дразнить и притягивать меня своей доступностью: до него всегда было рукой подать. Кабак действовал на мое детское воображение пока еще косвенно, но уже довольно сильно. Ребенок, только начинавший познавать мир, уже считал, что кабак — восхитительное учреждение. Ни в магазинах, ни в общественных местах, ни в домах, где живут люди, никто не раскрывал предо мной дверей, не приглашал погреться у огня или отведать волшебный напиток с узенькой полки у стены. Все двери были вечно на замке, и только двери кабака вечно распахнуты. Всегда и повсюду — на шоссе и проселках, на оживленных улицах и в пустынных переулках — я находил приветливый кабачок, теплый и ярко освещенный в зимнюю стужу, темный и

прохладный в летний зной. От него веяло гостеприимством, если не сказать домашним уютом!

Когда мне исполнилось десять лет, наша семья рассталась с фермой и переехала в город. Там я нанялся разносить по домам газеты. Почему? Во-первых, семья нуждалась в деньгах, вовторых, мне необходимо было движение и свежий воздух. Дело в том, что я узнал дорогу в бесплатную библиотеку и зачитывался до одури. На фермах, где мы прежде жили, читать было нечего.

Каким-то чудом мне удалось достать четыре книги, и я проглотил их с жадностью. Первая была биография Гарфилда, вторая — "Путешествие в Африку" Поля де Шейю, третья — роман Уйда, в котором не хватало последних сорока страниц, и четвертая — «Альгамбра» Ирвинга. «Альгамбру» мне дала почитать школьная учительница. Я был застенчивый мальчуган, — в отличие от Оливера Твиста, у меня язык не повернулся попросить еще, хотя, возвращая Ирвинга, я надеялся, что учительница предложит мне что-нибудь сама. Но она ничего не предложила, видимо, сочла меня неблагодарным, и я проплакал от обиды все три мили от школы до дома. Долго еще потом я ждал с замирающим сердцем, что она даст мне какую-нибудь книжку. Не раз, бывало, совсем

уже решусь попросить, но в последнюю секунду у меня отнимался язык.

И вот я очутился в Окленде, где на полках бесплатной библиотеки обнаружил огромный, неведомый доселе мне мир — тысячи книг, еще увлекательнее, чем те четыре. В ту пору библиотеки не были рассчитаны на малолетних читателей, и со мной случались занятные казусы. Помню, меня привлекло в каталоге название "Приключения Перигрина Пикля". Я заполнил требование, и библиотекарша выдала мне собрание сочинений Смоллета — в одном пухлом томе, без намеков на цензурные сокращения. Я проглатывал все, что мне давали, но особенно любил исторические романы и книги о приключениях, а также воспоминания разных путешественников. Я читал утром, днем и ночью.

Читал в постели, за едой, по дороге в школу и домой, читал на переменах, когда другие ребята занимались играми. У меня начались нервные подергивания. Кто бы ко мне ни подошел, я говорил: "Уйди! Не раздражай меня!"

Итак, десяти лет я попал на улицу в качестве разносчика газет. Теперь уже мне стало не до чтения. Я бегал по городу и попутно учился драться, учился быть наглым, развязным, пускать пыль

в глаза. Я был наделен любознательностью и воображением и впитывал все, как губка. Наряду со всем прочим меня интересовали питейные заведения. Я заглядывал во многие из них. Весь квартал на восточной стороне Бродвея, между Шестой и Седьмой улицами, сплошь занимали кабаки.

В этих местах царила особая жизнь. Мужчины разговаривали как-то особенно громко, раскатисто хохотали; во всем ощущался размах, которого не хватало в скучной повседневной жизни. Здесь бурлили страсти, подчас не на шутку: пускались в ход тяжелые кулаки, лилась кровь, и здоровенные полисмены, расталкивая толпу, спешили на место происшествия. Мальчишке, чья голова была набита историями о схватках бесстрашных путешественников и моряков, драка в кабаке представлялась увлекательным событием — за отсутствием иных. Ведь никак не назовешь увлекательной ежедневную беготню с газетами от одной двери к другой!

А здесь даже в горьких пьяницах, которые спали мертвецким сном, положив голову на стол или развалясь на полу среди опилок, было нечто таинственное и загадочное.

И еще одно: кабаки были узаконены. Отцы

города санкционировали их, выдавали на них патенты. Другие ребята, народ неопытный, считали, что кабак — что-то ужасное. Может быть, возражал я, но в каком смысле? Ужасно интересно! Ужасны и пираты, и кораблекрушения, и всякие битвы, но какой мальчишка не рад пожертвовать жизнью, лишь бы все это испытать?

Нужно добавить, что в кабаках я встречал людей известных:

репортеров и редакторов, адвокатов и судей. Они накладывали на кабак печать общественного одобрения. И это лишь разжигало мой интерес. Значит, и для этих людей в кабаке есть нечто заманчивое, необыкновенное, о чем я догадывался и что тоже искал. И я старался понять, что это такое — ведь не зря же люди слетаются сюда, как мухи на мед! Мир казался мне светлым и радостным, я еще не знал горя, потому и не понимал, что кабацкие завсегдатаи глушат здесь усталость от каторжного труда и неистребимую душевную горечь.

Не подумайте, что я тоже пил. До пятнадцати лет я редко касался рюмки, хоть и общался с пьяницами и часто захаживал в злачные места. Не пил я лишь потому, что мне это не нравилось.

За пять лет я несколько раз менял работу. Одно

время служил на складе и помогал развозить лед; затем поступил мальчиком в кегельбан, где был бар со спиртными напитками; а потом уборщиком пивных павильонов в парке, где устраивались воскресные гулянья.

Веселая толстуха Джози Харпер содержала пивную на углу Телеграф-авеню и 39-й улицы. Туда я целый год доставлял вечернюю газету, пока меня не перевели в другой район Окленда, район доков, пользовавшийся дурной славой. В конце первого месяца я явился к Джози Харпер за деньгами, и она налила мне рюмку вина. Мне было неловко отказаться, и я выпил. Но уж потом всегда старался застать не ее, а буфетчика.

В первый день моей работы в кегельбане буфетчик, по заведенному обычаю, пригласил нас, мальчиков, во время перерыва выпить. Все спросили пива. Я лимонаду. Ребята захихикали, а буфетчик странно и недоверчиво поглядел на меня. Но все же он откупорил бутылку. Потом, улучив минутку во время работы, ребята объяснили мне, что я рассердил буфетчика. Бутылка лимонада стоит гораздо дороже, чем кружка пива, значит, сам соображай: если не хочешь остаться без работы, пей пиво.

Да и пиво же — вещь сытная! А в лимонаде что?

После этого, если мне не удавалось улизнуть от попойки, я пил пиво и каждый раз дивился, что в нем находят хорошего. По-видимому, я чего-то не понимал.

Вот что я действительно любил, так это сласти. За пять центов можно было купить пять громадных шоколадных бомб и наслаждаться ими до бесконечности. Я умел растянуть такую бомбу на целый час. Любил и тягучую коричневую нугу, которую продавал один мексиканец. За пятак он давал такой кусище, что с ним, бывало, за три часяе не расправишься. Съев его, я частенько обходился без обеда. И был сыт, а пивом — никогда.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Но жизнь готовила меня к новым схваткам с Ячменным Зерном. Мне исполнилось четырнадцать лет. Начитавшись о мореплавателях, мечтая о тропических островах и неведомых морских далях, я завел себе ялик с выдвижным килем и бороздил на нем прибрежные воды залива Сан-Франциско и Оклендской бухты.

Мне хотелось стать моряком. Хотелось уйти от скуки и однообразия. Я был в расцвете юности, бредил необыкновенными приключениями и пиратской вольницей, не подозревая, что у приключений и у вольницы одна основа алкоголь.

И вот однажды, когда я поднимал парус, ко мне подошел Скотти. Это был рослый семнадцатилетний парень, служивший, по его словам, юнгой на британском корабле и сбежавший оттуда во время стоянки в Австралии. Устроившись на другой пароход, он добрался до Сан-Франциско и теперь намерен поступить на китобойное судно. На рейде поблизости от китобойной флотилии стоит большая яхта «Айдлер». Ее сторожит гарпунщик, который собирается скоро уйти в рейс на китобойном судне «Бонанза».

Не соглашусь ли я подвезти его, Скотти, на моем ялике к этому гарпунщику?

Соглашусь ли?! После того как я наслышался столько интересного об этой яхте, возившей контрабандой опиум с Гавайских островов, и о сторожившем ее гарпунщике! Я часто видел этого парня и завидовал его привольному житью: он никогда не расстается с морем, даже спит на «Айдлере», я же обязан ночевать всегда дома. Парню было всего девятнадцать лет (кстати, что он гарпунщик, приходилось вершь на слово: других свидетельств не было), но для меня он был личностью столь героической, что я никогда не посмел бы даже заговорить с ним и всегда держался в почтительном отдалении от его яхты. Так неужели я откажусь подвезти беглого моряч-ка Скотти к нему на яхту контрабандистов? Разве это мыслимо?

Услышав наш окрик, гарпунщик вышел на палубу и пригласил нас к себе. С видом взрослого, опытного моряка я оттолкнул лодку, чтобы не оцарапать беленькую яхту, и ловко прикрепил ее брошенным мне фалинем. Мы спустились вниз. До этого мне никогда не приходилось бывать в каюте. От одежды, висевшей на стенке, несло плесенью. Ну и что! Ведь эти кожаные куртки на

плисовой подкладке и синие штормовки носят моряки! И брезентовые шляпы тоже, и резиновые сапоги, и клеенчатые плащи… В каюте был, по-видимому, учтен каждый дюйм площади, вот почему сделали такие узенькие койки, откидные столики, какие-то мудреные стенные шкафчики. Я увидел всеведущий компас, фонарь в карданном подвесе, в углу небрежно скатанные синей стороной наверх морские карты, сигнальные флажки в алфавитном порядке и календарь, приколотый к стенке остриями морского циркуля. Вот это жизнь! Наконец-то я попал на борт судна и здесь, на яхте контрабандистов, гарпунщик и беглый английский матрос, назвавший себя Скотти, разговаривают со мной как с равным.

Девятнадцатилетний гарпунщик и семнадцатилетний матрос вели себя как настоящие мужчины. Хозяин сразу же намекнул, что неплохо бы выпить, и гость, порывшись в карманах, выудил какую-то мелочь. Гарпунщик взял фляжку и отправился в тайный притон (пивных поблизости не было) раздобывать виски. Мы пили дрянной самогон из маленьких стопок. Пусть не говорят, что я слаб или спасовал! Эти двое — мужчины, видать по тому, как они пьют. Кто умеет пить, тот мужчина. И я пил с ними стопку за стопкой,

ничем не разбавляя и не закусывая, хотя эту пакость не сравнить было ни с мексиканской нугой, ни с божественной шоколадной бомбой. Меня передергивало и тошнило от каждой рюмки, но я стойко скрывал свое отвращение.

Не раз в этот вечер кто-нибудь из нас уходил с пустой фляжкой и возвращался с полной. Я тоже принял участие в расходах, выложив, как мужчина, все свое богатство — двадцать центов, не без тайного сожаления о том, сколько конфет мог бы купить на эти деньги. От выпитого мы изрядно захмелели. Гарпунщик рассказывал Скотти про штормы у мыса Горн и южные штормы, про холодные ветры у Ла-Платы, высокие струи бризов и ураганы в Беринговом море, про китобойные корабли, затертые во льдах Арктики.

— Там не очень-то наплаваешься: вода как лед, — доверительно сказал он, обращаясь ко мне. — Вмиг сведет руки и ноги — и баста. Уж если кит перевернет шлюпку, сразу ложись поперек весла, тогда даже при судорогах удержишься на воде,

— Понятно! — Я благодарно кивнул, убежденный, что стану китобоем и меня ждет катастрофа в Ледовитом океане. Я принял этот ценный совет вполне серьезно и помню его по сей день.

Сам я на первых порах больше помалкивал. Господи, кто я такой по сравнению с ними — четырнадцатилетний мальчишка, еще и не нюхавший океана! Мне полагается только слушать, что говорят эти опытные морские волки, и, не отставая, опрокидывать в горло стопку за стопкой. Пусть видят, что и я как-никак мужчина!

Хмель давал себя знать. Мало-помалу исчезали тесные стены каюты, и слова гарпунщика и Скотти врывались в мое сознание, будто дикие порывы вольного ветра; меня качало на волнах фантазии, я уже мысленно переживал морские приключения — великолепные, отчаянные, неистовые.

Мы пили за дружбу. Сдержанность исчезла, недоверие как рукой сняло. Нам вдруг почудилось, что мы уже много лет знаем друг друга, и мы дали торжественную клятву отныне ходить в плавание обязательно всей тройкой Гарпунщик рассказал нам о своих неудачах и тайных грехах. Скотти плакал, вспоминая оставленную им в Эдинбурге старушку мать, как он утверждал, даму благородного происхождения, попавшую из-за него в стесненные обстоятельства ей пришлось во всем себе отказывать, чтобы заплатить пароходной компании за обучение сыночка мор-

ской специальности; заветной мечтой матери было увидеть Скотти офицером торгового флота и джентльменом, и она была убита горем, узнав, что ее любимчик сбежал с парохода в Австралии и нанялся на другой простым матросом. В подтверждение своих слов, Скотти вытащил из кармана последнее очень грустное письмо матери и, плача, прочел его вслух. Мы с гарпунщиком тоже прослезились и поклялись, что все вместе поступим на китобойное судно «Бонанза», а когда, кончив плавание, получим кучу денег, явимся в Эдинбург и выложим все, что заработали, доброй старушке в передник.

А хмель все пуще горячил мой мозг. Кто бы узнал во мне сейчас обычно застенчивого и скромного малого? Теперь новоявленный двогшик — Джон Ячменное Зерно — владел моими устами и делал слышным мой голос: пусть знают, что я тоже мужчина, бесстрашный искатель приключений! Я начал хвастаться, как плаваю по заливу в своем ялике при самом бешеном зюйдвесте, когда даже капитаны больших шхун не рискуют сняться с якоря. Потом я (или мой двойник Джон — Ячменное Зерно — это одно и то же!) заявил матросу Скотти, что он, может, и плавал на океанских кораблях и знает их устрой-

ство, зато уж я собаку съел по части парусников; могу его кое-чему поучить.

Кстати сказать, это не было ложью, хотя в обычное время моя природная скромность не позволила бы мне громко оспаривать опытность Скотти. Но такова особенность Ячменного Зерна:

он развязывает тебе язык, и ты выбалтываешь самые сокровенные мысли.

Скогти, которому тоже что-то нашептывал Джон — Ячменное Зерно, естественно, обиделся Но я не отступал. Я ему покажу, этому беглому типу, даром что ему семнадцать! Мы горячились и хорохорились, наскакивая друг на друга, как драчливые петушки, но гарпунщик заставил нас помириться и выпить по стоике. После этого мы нежно обнялись и стали клясться в вечной дружбе. И тут мне вспомнилось далекое воскресенье, ферма в Сан-Матео и два великана, Черный Мэт и Том Морриси, которые сперва подрались, а потом так же, как мы, заключили мир. И это сравнение помогло мне почувствовать себя совсем взрослым.

Вскоре началось пение. Скотти и гарпунщик горланили матросские песни, а я подтягивал. На «Айдлере» я впервые услышал "Дуй, попутный ветер", "Облако летит", "Виски, Джонни, виски".

Я был наверху блаженства. Вот она, настоящая жизнь! Не то что мое унылое прозябание: Оклендская бухта, надоевшая беготня с газетами, доставка льда, возня с кеглями.

Весь мир становился сейчас моим, все дороги сходились у моих ног, Джон — Ячменное Зерно горячил мое воображение, рисуя будущее, полное необыкновенных событий.

Мы уже были не простые смертные, а юные боги во хмелю, непостижимо мудрые, великодушные и могущественные. Сейчас, став намного старше, я понимаю, что если бы алкоголь всегда возносил на такую высоту, мне бы никогда не хотелось быть трезвым.

Но в нашем мире расплата неизбежна. Существует железный закон: плати за силу слабостью, за душевный взлет — упадком духа, за промелькнувший миг мужества — пресмыканием в грязи. Если за долгий-долгий срок ты вырвешь для себя минуту счастья, с тебя взыщется ростовщический процент: сократится твоя жизнь!

Сила чувств и постоянство чувств, как огонь и вода, — извечные враги. Сосуществовать они не могут. И даже сам чародей Джон — Ячменное Зерно такой же раб органической химии, как и мы, смертные. Мы платим за марафонский бег своих

нервов, и Джон — Ячменное Зерно не избавит нас от расплаты. Он может вознести нас высоко, но вечно удерживать там не властен, — иначе все люди стали бы его приверженцами. Зато уж если ты стал на его путь, так ты и плати за его дьявольскую кадриль!

Однако все сказанное выше явилось плодом более зрелых размышлений. Этого не понимал еще четырнадцатилетний мальчишка, который примостился в каюте «Айдлера» между гарпунщиком и матросом, наслаждаясь ароматом плесени, источаемым одеждой моряков, и подпевая новым товарищам: "Янки к нам плывут на помощь".

В приливе пьяной откровенности мы кричали и говорили разом. У меня был очень крепкий организм и желудок страуса, и я во всю силу продолжал состязание, а вот Скотти, тот начал сдавать. Речь его становилась бессвязной — то ли слов не находил, то ли язык заплетался. Отравленное сознание меркло. Глаза утратили осмысленное выражение. Пьяный мозг расслабил мышцы лица и тела (чтобы сидеть прямо, тоже ведь нужна воля). Пропала способность управлять движениями. Скотти хотел подлить себе виски, но бессильно выронил стопку на пол. К моему удивлению, он горько заплакал, потом

перекинул ноги на койку и через минуту уже храпел.

Посмеиваясь над незадачливым собутыльником, мы с гарпунщиком продолжали допивать вдвоем последнюю фляжку под аккомпанемент тяжелого храпа Скотти. Наконец и гарпунщик свалился, — на поле битвы остался я один.

Я был преисполнен гордости, и Джон — Ячменное Зерно тоже. Вот, оказывается, какой я молодец! Перепил двоих! Они лежат мертвецки пьяные, а я твердо стою на ногах! Сейчас даже выйду на палубу подышать свежим воздухом. Эта попойка на «Айдлере» показала мне, что у меня луженый желудок и я долго не пьянею. В молодости я очень гордился такими качествами, но теперь понимаю, что в этом как раз и была моя беда. Лучше опьянеть от двух-трех рюмок, и, наоборот, горе тому, кто способен пить без конца, не хмелея.

Уже вечерело, когда я вышел на палубу. В каюте нашлось бы и для меня место, но мне надо было домой. Кроме того, хотелось доказать самому себе, что я стойкий парень. У борта покачивался мой ялик. Кончался отлив. Вода уходила, борясь с напористым ветром, дувшим с океана со скоростью сорок миль в час. Я видел крутые гребни

волн и под ними струи отлива.

Я поднял парус, сел за румпель, выбрал шкоты и взял старт к берегу. Лодка накренилась и бешено закачалась. Меня обдало фонтаном брызг. Я был в восторженном настроении. Я плыл, распевая "Дуй, попутный ветер", и чувствовал себя уже не мальчишкой, прозябающим в сонном Окленде, а мужчиной, Богом, — сама природа покорялась мне, взнузданная моей волей.

Отлив кончился. Вода ушла на все сто ярдов от берега, обнажив мягкое, илистое дно. Я выдвинул киль, врезался в тину, убрал парус и, став по привычке на корме, принялся грести веслом. Тут-то я и начал терять равновесие и, пошатнувшись, вывалился за борт, лицом прямо в липкую грязь. Но что пьян, я смог понять, лишь когда встал на ноги, весь в тине, расцарапанный до крови ракушками, облепившими киль. Ладно, пустяки!

Там, на рейде, два здоровенных моряка валяются на койках мертвецки пьяные, кто, как не я, их перепил? Значит, я мужчина! Я же держусь на ногах, хоть, правда, и по колени в грязи. Вернуться в лодку я счел ниже своего достоинства. Я брел по тине, толкая впереди себя свой ялик и горланя песню, — пусть все знают, что я мужчина.

Расплата не заставила себя ждать. Я расхворал-

ся на несколько дней, от ракушечных царапин на руках образовались нарывы, и целую неделю я был как без рук: даже рубашку не мог ни надеть, ни снять.

Я дал себе зарок больше не пить. Баста! Игра не стоит свеч.

Слишком дорога расплата. Угрызений совести я не испытывал, одно лишь физическое отвращение. Мне казалось, что никакие веселые минуты не окупают часов страданий и дурного настроения.

Возобновив прогулки на своем ялике, я обходил теперь «Айдлер» как можно дальше. Скотти исчез. Гарпунщик был все там же, но я избегал его. Как-то раз, заметив, что он высаживается на берег, я спрятался за склад. Я боялся, что он опять предложит мне выпить, может, у него и фляжка припасена.

И все же — в этом таятся чары Ячменного Зерна — выпивка на «Айдлере» была ярким событием в моей монотонной жизни.

Я часто вспоминал о ней со всеми подробностями. Кстати, она мне объяснила некоторые странности мужского поведения. Скотти при мне плакал, что он никудышный парень, горевал о печальной судьбе оставленной им в Эдинбурге

матери — дамы благородного происхождения. Гарпунщик рассказал о себе необыкновенно интересные вещи. Множество волнующих намеков о том, какова жизнь за пределами моего узкого мирка, воспламенили мое воображение, и я был убежден, что я не менее достоин ее, чем эти двое. Мне открылись тайники мужской души, да и моей собственной тоже — я обнаружил в ней такие способности и силы, о которых раньше не догадывался.

Да, тот день был день особенный. Он и поныне кажется мне таким. Память о нем выжжена в моем мозгу. Но за него потребовалась расплата. Я отказался платить и вернулся к моим «бомбам» и мексиканской нуге. На мое счастье, мой здоровый организм не пускал меня к алкоголю. Мне было противно мерзкое зелье. И все же обстоятельства снова и снова толкали меня на путь пьянства. За много лет общения с Ячменным Зерном я привык к нему, стал искать его везде, где только собирались мужчины, и восхвалял как друга и благодетеля. И вместе с тем презирал и ненавидел его. Да, странный он друг, этот Джон — Ячменное Зерно!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Едва мне стукнуло пятнадцать, я поступил на консервную фабрику. Несколько месяцев подряд я работал самое меньшее по десять часов в день. Прибавьте к этому обеденный перерыв, ходьбу на фабрику и с фабрики, время на то, чтобы утром встать, одеться и позавтракать, а вечером — поужинать, раздеться и лечь, и от суток останется от силы девять часов — здоровому подростку успеть бы только выспаться! Но я и от этих девяти коечто урывал для чтения, покуда сон не смежил мне глаза.

Бывало и так, что нас не отпускали домой до полуночи.

А иногда рабочий день длился по восемнадцать и двадцать часов.

Один раз мне пришлось простоять возле машины тридцать шесть часов без смены. Несколько недель подряд я уходил с фабрики не раньше одиннадцати, добирался до постели лишь к половине первого, а в половине пятого уже вставал и, наскоро одевшись и перекусив, спешил на работу, чтобы ровно в семь по гудку быть возле машины.

Теперь уже не выкраивалось ни минуты для любимого занятия — чтения. Но при чем тут Джон — Ячменное Зерно? Какое отношение он имеет к рассказу о стоическом труде пятнадцатилетнего паренька? О, громадное! Судите сами Я упрашивал себя:

неужели смысл жизни лишь в том, чтобы быть рабочей скотиной?

Да и ни одна лошадь в Окленде не работает столько часов! Если это и есть жизнь, меня она ничуть не пленяет. Я думал о своем ялике, обраставшем ракушками, вспоминал ветерок на заливе, восходы и закаты, видеть которые теперь не мог, вспоминал, как щекочет ноздри соленый запах моря и обжигает тело соленая вода, когда нырнешь за борт, вспоминал, что мир полон прекрасного, удивительного, необыкновенного, но мне все что недоступно. Мне казалось, что единственный способ избавиться от каторжного труда бросить все и уйти в море. В море я всегда заработаю кусок хлеба Но море неизбежно вело в лапы Джона — Ячменное Зерно, и этого я не знал, но и когда узнал, у меня все-таки хватило решимости не вернуться к проклятой консервной машине.

Я рвался туда, где дуют ветры приключений.

А ветры приключений носили суда устричных пиратов вдоль Сан-Францисской бухты. Ночные набеги на чужие устричные садки, драки на отмелях, обратный путь с добычей вдоль городских причалов и ранним утром — рынок, покупатели: торговки и кабатчики... Набег на чужие садки считался уголовным преступлением, за это ждала тюрьма, полосатый костюм арестанта, ходьба в затылок. Ну и что же, говорил себе я, даже в тюрьме рабочий день короче, чем на консервной фабрике! Куда романтичнее быть устричным пиратом или арестантом, чем рабом машины! Я был охвачен жаждой приключений, романтики, хмельная юность наполняла мне душу.

И вот я отправился к своей бывшей кормилице Дженни, чью черную грудь сосал младенцем. Она была немного богаче, чем мои родители: служила сиделкой и за это получала приличную плату. Не сможет ли она одолжить деньги своему "белому сыночку"? Что за вопрос! Бери, сколько тебе надо!

Затем я разыскал Француза Фрэнка, устричного пирата, который, по слухам, хотел продать свой шлюп «Карусель». Шлюп стоял на якоре на аламедской стороне близ Уэбстерского моста; когда я явился, Фрэнк принимал гостей, угощая

компанию сладким вином. Побеседовать о деле он вышел на палубу. Да, он готов продать свой шлюп. Но сегодня воскресенье. К тому же у него гости. Завтра он приготовит купчую, и я смогу вступить во владение. А сейчас он зовет меня познакомиться с компанией. Гости сидели внизу: две сестрицы — Мэйми и Тэсс, которых сопровождала приличия ради некая миссис Хедли, шестнадцатилетний устричный пират по кличке Виски Боб и черноусая портовая крыса лет двадцати — Паук Хили. Мэйми приходилась Пауку племянницей, ее величали Королевой устричных пиратов, и на пирушках она восседала на почетном месте. Фрэнк был в нее влюблен (о чем я в то время еще не знал), но она никак не соглашалась выйти за него замуж.

В ознаменование нашей сделки Фрэнк налил мне стакан красного вина из большущей оплетенной бутылки. Я вспомнил красное вино с итальянской фермы и внутренне содрогнулся.

Даже к пиву и виски я не испытывал такого отвращения. Но на меня в упор глядела Королева, подняв свой стакан, наполовину выпитый. У меня тоже есть гордость! Хоть мне и пятнадцать, но я не допущу, чтобы ее считали взрослой, а меня нет. А тут еще эти люди: ее сестра, миссис

Хедли, мальчишка — устричный пират, усатый Паук — все с полными стаканами. Так неужели я захочу прослыть молокососом? Нет, тысячу раз нет, скорее всю бутыль выпью! И я мужественно осушил свой стакан.

Француз Фрэнк был страшно рад сделке, которую я скрепил задатком золотой монетой в двадцать долларов. Он снова налил всем. Я уже имел случай убедиться в выносливости своего организма и думал, что если и выпью с ними немного, то не придется расплачиваться целую неделю. Мне не страшно пить наравне с ними, тем более что они еще до моего прихода успели хватить как следует!

Началось пение. Паук спел "Бостонского вора" и "Черную Лу", Королева "Если бы я была птичкой", а ее сестрица Тэсс — "Ах, не обижай мою дочку". Веселье бурно нарастало.

Я увидел, что вовсе не обязательно каждый раз пить со всеми вместе, никто все равно не замечает и ничего не спрашивает, так что, перегнувшись через перила, я просто выплескивал свою порцию в море.

Рассуждал я так: чудаки люди, почему им нравится такая мерзость! Ладно, это их дело! Не мне их учить! Наоборот, если я хочу, чтобы меня счи-

тали взрослым, я должен делать вид, что тоже не дурак выпить. Согласен. Идет. Но я буду пить лишь_ самую малость, лишь столько, сколько необходимо, чтобы сохранить престиж.

Тем временем Королева начала кокетничать с новоявленным пиратом, то есть со мной. Не с кем-нибудь, а с хозяином, владельцем шлюпа! Она поднялась на палубу подышать свежим воздухом и потащила меня с собой. Я ни о чем не догадывался, но она, конечно, знала, что внизу, в кающе, Фрэнк бесится от злости.

Вскоре к нам присоединились Тэсс с Пауком и Бобом и, наконец, миссис Хедли с Фрэнком. Мы сидели со стаканами в руках и пели песни, то и дело передавая друг другу бутыль с вином.

Единственным трезвым в этой компании был я.

И я был так счастлив, как, конечно, никто из них. Вчера в это время я сидел за машиной, в духоте, в спертом воздухе, без конца повторяя одно и то же движение. Какой контраст с царящим здесь беспечным весельем! Я попал сюда чудом и вот сижу, как свой, в кругу устричных пиратов, искателей приключений, которые не желают быть рабами установленных порядков, которые презрели всяческие запреты и законы и стали

хозяевами своей судьбы.

Джон — Ячменное Зерно помог мне отбросить смущение и страх и приобщиться к этому союзу вольных душ.

Предвечерний бриз весело врывался мне в легкие, рябил воды залива, гнал шаланды, которые нетерпеливо гудели, требуя, чтобы развели мост. Вокруг сновали буксиры с красными трубами, их пенистый шлейф покачивал наш шлюп. От склада вытянули баржу с грузом сахара, и она прошла мимо нас. Солнечные блики золотили морскую рябь; жизнь казалась великолепной. Паук запел:

Да это же Лу, моя черная Лу,
Ты где пропадала так долго без звука?
Сидела в тюрьме,
Гадала во тьме,
Возьмет ли мой милый меня на поруки

Для меня это был бунт, воплощение романтического духа-, нечто запретное, но исполненное блеска и смелости. Я знал, что завтра не пойду на консервную фабрику. Завтра я стану устричником, начну разбойничать, как самый удалой пира г, — в тех рамках, в каких это возможно в наш век в заливе Сан Франциско. Паук уже дал согласие плавать со мной, представлять в одном лице всю мою команду и даже готовить еду, когда

я буду вести шлюп. Порядок жизни у нас будет такой: с утра мы запасаемся провиантом и пресной водой, потом поднимаем большой парус — грот (под таким громадным я еще никогда не плавал!) и, захватив конец отлива, выходим навстречу ветру. Начинается прилив, мы убавляем паруса, несемся к острову Аспарагус и там становимся на якорь за много миль от берега. Наконец-то осуществится моя мечта: я буду спать на воде! На следующее утро проснусь, а вокруг — вода, и потом все время, день и ночь, на воде.

Когда на закате Француз Фрэнк собрался доставить своих гостей на берег, Королева попросила меня перевезти ее отдельно в моем ялике. Однако я не понял, почему Фрэнк вдруг передумал ехать на берег и, поручив гостей Виски Бобу, сам остался на шлюпе. Не понял я также, почему Паук шепнул мне с ухмылкой: "Черт возьми, ты, брат, не зеваешь". Да и могло ли мне прийти в голову, Что седой пятидесятилетний дядя ревнует ко мне, мальчишке?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В понедельник рано утром мы встретились, как было условлено, в пивной Джонни Хейнхолда под вывеской "Последний шанс" для завершения сделки. Я уплатил причитающиеся деньги и получил купчую, после чего Француз Фрэнк заказал угощение. Меня это не удивило: очевидно, есть такой обычай, притом логичный, — получивший деньги «обмывает» сделку в том заведении, где она заключена. Удивило меня другое: чек) ради Фрэнк угощает всех? Вот мы с ним выпили вдвоем, это правильно, но зачем приглашать еще Джонни Хейнхолда, хозяина пивной?

Я сразу прикинул, что он зарабатывает и на той рюмке, которую выпивает сам. Уж так и быть, пригласи Паука и Виски Боба: всетаки друзья, вместе плавали; но при чем тут портовые грузчики Билл Келли и Суп Кеннеди?

Вскоре к нам присоединился Пэт, брат Королевы, и нас уже стало восемь. День едва начинался, но все заказали себе виски Что мне оставалось делать в этой компании мужчин, которые принялись пить с самого утра? "Виски!" приказал я небрежным тоном, будто для меня это самое при-

вычное дело. Я опрокинул рюмку в горло. Бр-р! У меня по сей день на языке вкус этой дряни.

Узнав, что Француз Фрэнк уплатил за угощение восемьдесят центов, я пришел в ужас. Восемьдесят центов! Моя бережливая душа возмутилась. То, что пропито шутя, за один миг, равнялось моему заработку на фабрике за восемь часов. И что толку — горечь, и все! Транжир он, этот Француз Фрэнк, что и говорить!

Я не мог дождаться, чтобы уйти оттуда и поскорее побежать на мой чудесный шлюп. Но почему-то никто уходить не собирался.

Даже Паук, воплощавший в одном лице мою команду, медлил.

А я, дурак, так и не догадался, чего они ждут Уже потом я часто старался представить себе, как я тогда выглядел в их глазах: приняли чужака в компанию, угощают, а он хоть бы раз поднес людям по рюмочке!

Француз Фрэнк, озлившийся на меня еще накануне, получив все деньги за «Карусель», перестал скрывать свою злобу И почувствовал это, заметив его недобрый взгляд, но причины не мог понять. Чем ближе я узнавал людей, тем загадочнее они казались. Джонни Хейнхолд перегнулся через стойку и зашептал мне:

— Он на тебя точит зубы. Остерегайся!

Я снисходительно кивнул, как человек, умудренный опытом и знающий людскую породу. Но в душе я недоумевал. Госгтоди!

Я в свои пятнадцать лет только и знал что каторжный труд и чтение, когда выпадала свободная минута. К тому же я был совершенно равнодушен к Королеве устричных пиратов и понятия не имел, что Фрэнк, как истый француз, безумно влюблен в нее.

Мог ли я догадаться, что невольно нанес оскорбление Фрэнку и что в порту уже ходили злорадные слухи о том, что Королева, едва увидев меня, дала ему отставку? Очевидно, если бы я это знал, то понял бы, почему был не в духе брат Королевы, Пэт.

Виски Боб отозвал меня в сторону.

— Мой тебе совет: следи в оба! — зашептал он. — Фрэнк — опасный человек. Я еду с ним в одно место на реке покупать шхуну для ловли устриц. Если встретишься с ним на отмелях, смотри не зевай! Он грозится потопить тебя. Ночью, если узнаешь, что он близко, снимайся с якоря и уходи подальше, да не забудь потушить огни. Понял?

Еще бы не понять! Я кивнул, поблагодарил за совет, как мужчина мужчину, и вернулся к ком-

пании у стойки. Так я и не угостил их. Мне было невдомек, что они этого ждут. Затем мы с Пауком ушли, и у меня даже сейчас горят от стыда уши, когда я пытаюсь представить себе, что говорили тогда мне вслед эти люди.

Я спросил Паука как бы невзначай, чего это Фрэнк бесится.

— Ревнует к тебе, оттого и бесится, — последовал ответ.

— Да что ты! — сказал я и подумал: "Вот чепуха-то!"

Легко понять, сколько мужской гордости разбудило в пятнадцатилетнем пареньке сообщение, что Француз Фрэнк, которому перевалило за пятьдесят, этот авантюрист и моряк, побывавший на всех океанах, ревнует меня к девушке с романтическим прозвищем "Королева устричных пиратов". Я читал про такое в книгах, но применительно к себе об этом не думал. Может, что и будет со временем, но когда-то еще! Ведь в то утро, когда мы в первый раз подняли грот и, снявшись с якоря, под всеми парусами помчались против ветра в залив, я был совсем еще желторотым птенцом.

Итак, я простился с изнурительным трудом на консервной фабрике и стал устричным пиратом.

Правда, породнила меня с пиратами выпивка, и будущее сулило примерно то же самое. Но не идти же мне из-за этого на попятный! Всюду, где царит вольная жизнь, мужчины пьют. Романтике и приключениям всегда сопутствует бутылка. Ради первого и второго приучайся к третьему! А не хочешь — возвращайся к своим книжкам в бесплатную библиотеку, будешь опять читать о подвигах других, но зато уж о собственных и не помышляй, если не считать подвигом рабский труд у консервной машины за десять центов в час!

Нет, даже эта нелепая и расточительная страсть моряков к пиву, вину и виски не отпугнет меня от сказочной жизни на воде. Допустим, что им почему-то нравится смотреть, как я пью.

Что ж, если они все так же будут покупать эту гадость и насильно угощать меня, придется пить. Это будет моя плата за их дружбу. Только не напиваться допьяна! Сумел же я выкрутиться в то воскресенье, когда договаривался о покупке «Карусели», а ведь там, на шлюпе, кроме меня, трезвых не было. Ладно, решено:

буду пить, если им это доставляет удовольствие, но постараюсь всеми силами не напиваться.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Общаясь с устричными пиратами и принуждая себя пить, я без всякой внутренней тяги стал превращаться в заправского пьяницу.

Чем ближе я знакомился с новой жизнью, тем больше прелести в ней находил. Никогда не забуду своего счастья, когда я впервые вышел с пиратской флотилией на ночной лов устриц. На яхте «Энни» собрались пираты — храбрые силачи и щуплые портовые крысы, многие с тюремным прошлым, а впрочем, все они были врагами закона и, следовательно, все — кандидатами на отсидку. На них были резиновые сапоги, рыбацкие робы, они переговаривались хриплым шепотом, а у Большого Джорджа за пояс были заткнуты револьверы в доказательство того, что он шутить не любит.

Теперь, вспоминая прошлое, я понимаю, что занимался глупым и постыдным ремеслом. Но в те времена я не видел лучшего примера, а Джон — Ячменное Зерно казался другом, и я начинал уже привыкать к нему. Пиратская вольница была мне по душе; теперь я сам становился участником приключений, о которых, до сих пор знал

только по книгам.

Тигр Нельсон (которого звали так в отличие от Старого Тигра — его папаши) плавал на яхте "Северный олень" со своим компаньоном Рыбой. Рыба тоже слыл головорезом, зато уж Нельсон не знал никакого удержу, был попросту бешеный. В двадцать лет он был сложен, как Геркулес. Спустя два года его застрелили в Бенишии, и полицейский следователь утверждал, что такого могучего телосложения никогда еще не встречал, хотя перевидел на своем веку немало покойников.

Нельсон не умел ни читать, ни писать. С малых лет отец брал его в море, и шхуна стала его вторым домом. Этот парень обладал фантастической силой, в порту за ним ходила слава первого драчуна. У него бывали страшные приступы гнева, когда он совершенно терял рассудок и уж не отвечал за свои поступки.

Я познакомился с ним, выйдя в первый раз за устрицами; он тянул сеть, хотя была буря и все остальные, бросив по два якоря, не осмеливались подойти к берегу.

Ох и парень же был этот Нельсон! Неудивительно, что я просиял от гордости, когда, встретив меня возле пивной "Последний шанс", он со мной заговорил. И вообразите, что со мной сделалось,

когда он пригласил меня выпить. Мы подошли к стойке, выпили по кружке пива, и он говорил со мной как со взрослым, — об устрицах и судах и о недавнем таинственном происшествии: кто-то простелил дробью грот на яхте «Энни».

Мы стояли и разговаривали. "Чего мы здесь торчим? — недоумевал я. Пиво выпито. Но разве можно уйти первому, если великому Нельсону нравится стоять здесь, облокотившись на стойку?" Через несколько минут он, к моему удивлению, предложил выпить по второй; я согласился. Беседа продолжалась. Нельсон не проявлял желания уйти.

Запаситесь терпением — я расскажу, что я тогда думал и какой я был недотепа. Во-первых, мне отчаянно льстило общество Нельсона, который среди устричных пиратов и портовых искателей приключений ходил в героях. На мою беду Нельсону захотелось подпоить меня. У меня не было никаких моральных побуждений не пить пиво, я просто терпеть его не мог. Но разве это причина, чтобы отказаться от общества Нельсона? Ему вздумалось выпить со мной. Отлично, я готов помучиться разок ради его удовольствия.

Итак, мы продолжали беседу и пили пиво — заказывал и платил Нельсон. Я думаю, его просто

разбирало любопытство:

что, мол, я за птица? Сколько кружек способен выдуть за его счет, пока не соображу наконец, что и сам должен угостить?

Выпив шесть кружек и помня свой зарок насчет умеренности, я решил: хватит! Мне нужно на шлюп, пояснил я Нельсону.

Шлюп стоит на пристани ярдах в ста отсюда.

Мы простились. Я зашагал к причалу, и со мной — Джон — Ячменное Зерно, перекочевавший до мне из шести кружек пива.

В голове шумело, но мозг работал превосходно. Я ощущал прилив необычайной гордости: вот и я стал заправским устричником, тороплюсь на собственный шлюп после дружеской выпивки в кабаке с главарем пиратов Нельсоном! Я никак не мог забыть, как мы стояли с ним вдвоем, облокотившись на стойку, и пили пиво.

Чудаки люди, думал я, что за радость тратить уйму денег на парня, которому и пить-то противно!

Размышляя на эту тему, я вспомнил, как люди приходят в пивную вдвоем и платят по очереди. А на «Айдлере» мы втроем платили за виски, выложив из карманов всю мелочь. Вспомнил я также правило, которому следуют мальчишки:

если ты сегодня угостил приятеля «бомбой» или нугой, другой раз угощает он.

Так вот почему Нельсон торчал у стойки! Он ждал ответного угощения. А я-то, выхлебав за его счет целых шесть кружек, сам не поставил ни одной! Такое обращение с великим Нельсоном!

Я почувствовал, что лицо мое заливает краска. Присев на тумбу возле причала, я уткнул лицо в ладони. От стыда у меня горели щеки, шея, лоб. Вряд ли мне приходилось когда-нибудь еще так мучительно краснеть.

Сидя там, на тумбе у причала, багровый от стыда, я многое передумал и по-новому оценил. Я родился в бедной семье. Вырос в бедности. Часто недоедал. Никогда не имел игрушек, как другие дети. Мои самые ранние воспоминания отравлены бедностью, постоянной нуждой. В восемь лет я впервые надел нижнюю сорочку, купленную в магазине, и то лишь нижнюю. Когда ее стирали, я вынужден был снова облачаться в какое-нибудь немыслимое изделие домашнего шитья. Я так гордился своей новой сорочкой, что ни за что не хотел надевать на нее верхнюю. Из-за этого я впервые восстал против матери и, хотя довел себя до истерики, все же добился, что она разрешила мне носить сорочку напоказ — как верхнюю.

Только тот, кто голодал, способен по-настоящему оценить пищу, только моряки и жители пустынь знают цену питьевой воде. И только ребенок, умеющий мечтать, привыкает дорожить тем, что было долго ему недоступно. Еще в раннем детстве я убедился, что должен всего добиваться сам. Воспитанный в бедности, я вырос скуповатым. Первыми моими самостоятельными приобретениями явились серии картинок от папирос, альбомы-премии табачных фабрикантов и их рекламные плакаты. Родители не давали мне денег из моего заработка, и я выменивал остававшиеся газеты на эти сокровища. Если попадались два одинаковых экземпляра, я выменивал их у ребят на что-нибудь другое; бегая по городу с газетами, я мог с легкостью совершать операции подобного рода и пополнять свои богатства.

В скором времени я был уже обладателем всех серий табачных реклам: "Знаменитые скаковые лошади", "Парижские красавицы", "Женщины всех национальностей", "Флаги всех наций", "Знаменитые актеры", "Чемпионы бокса" — и тому подобных.

Каждая серия была в трех видах: на карточках, на плакатах и в альбомах.

Затем я начал собирать вторые экземпляры

альбомов и выменивать их на другие сокровища, которые ребята покупали на деньги родителей и, конечно, не могли понять их подлинной ценности — не то что я, у которого никогда не было ни цента на расходы. Я менял почтовые марки, камни, птичьи яйца, игральные шарики. (У меня была великолепная коллекция агатов, какой не было ни у кого из мальчишек. Моей гордостью было несколько штук, ценою не менее трех долларов; мне их оставил в залог за двадцать центов один паренек-рассыльный. Выкупить их он не успел, так как его забрали в исправительную колонию.)

Я готов был менять и менять, пока не получал тот или иной вожделенный предмет. В этом деле я достиг совершенства и заработал себе репутацию сквалыги. У меня и старьевщик мог заплакать под конец нашего торга. Ребята звали меня на помощь, если им надо было продать тряпье, бутылки, старые мешки или бидоны из-под керосина, и платили мне комиссионные за услуги.

Вот таков был этот подросток, сидевший сейчас на пристани:

бережливый, расчетливый, привыкший в поте лица зарабатывать на фабрике десять центов в час, а в эту минуту занятый размышлением о том,

что пиво по пять центов кружка поглощается с быстротою молнии и без всякой пользы. Я попал в среду людей, которыми восхищался. Мне льстило их общество. А разве вечное крохоборство и скаредничество приносили мне когда-нибудь хоть долю того острого наслаждения, которое я испытал среди устричных пиратов? Так что дороже: деньги или наслаждения? Эти люди без всякой жалости швыряют на ветер пятаки — много пятаков. Им наплевать на деньги, они могут, глазом не моргнув, угостить восемь человек виски по десять центов стопка, как сделал это Француз Фрэнк или Нельсон, который выбросил давеча шестьдесят центов на пиво для двоих!

Решай же! Дело серьезное. Перед тобой выбор: деньги или товарищи, скупость или романтика. Либо забудь, как дороги день-ч ги, либо откажись от дружбы с этими людьми, у которых непонятная страсть к крепким напиткам.

Я зашагал назад к пивной; возле нее по-прежнему околачивался Нельсон.»

— Зайдем выпьем по кружке! — пригласил я.

Мы снова подошли к стойке, выпили, потолковали, но на сей раз десять центов платил уже я. Целый час работы у машины за кружку этой мерзости, которой и пить совсем не хочется! Но

теперь мне это было уже нетрудно. У меня теперь был новый взгляд на вещи. Не деньги — главное. Главное дружба!

— Еще кружечку? — спросил я.

Мы выпили по второй, и на сей раз тоже за мой счет. Нельсон, как опытный пьяница, приказал хозяину, стоявшему за стойкой:

— Мне маленькую, Джонни!

Тот кивнул и налил ему треть порции, хотя взял все равно пять центов.

К этому времени я был уже под хмельком, и такое жульничество меня не обеспокоило. Вообще я учился. По-видимому, дело не в количестве выпитого теперь даже я это понимал. Мы с Нельсоном достигли той стадии, когда пьешь уме не ради пива, а лишь для поддержания дружбы. Еще одно важное открытие: я тоже могу себе заказывать небольшие порции, и бремя дружбы станет на две трети легче.

— Пришлось сбегать на шлюп за деньгами, — заметил я небрежным тоном, отхлебывая пиво, надеясь, что Нельсону станет ясно, почему я позволил себе выпить шесть кружек за его счет.

— Да что ты, зачем было ходить? — удивился он. — Такому парню Джонни дал бы с удовольствием в кредит. Правда, Джонни?

— Еще бы! — ухмыльнулся Джонни.

— Сколько там у тебя за мной записано? — полюбопытствовал Нельсон.

Джонни вытащил из-под стойки конторскую книгу, нашел в ней лист с фамилией Нельсон и что-то подсчитал. Оказалась сумма в несколько долларов. Мне сразу захотелось тоже иметь личный счет в этой книге. Это показалось мне признаком наивысшей солидности.

Выпив еще несколько кружек, за которые я тоже уплатил, Нельсон собрался уходить. Мы распрощались, как добрые друзья, и я побрел на пристань, где стояла «Карусель». Паук в это время готовил ужин и разводил огонь.

— Где это ты так наклюкался? — усмехнулся он, оглядев меня с трапа.

— Да это мы там, с Нельсоном, — бросил я небрежно, стараясь скрыть свою гордость.

Тут меня осенила мысль, ведь и Паук из их компании! Теперь, настроившись на новый лад, начну практиковаться.

— Пошли, — сказал я, — айда к Джонни, выпьем!

По дороге мы встретили Рыбу, только что сошедшего на берег. Компаньон Нельсона, усатый Рыба, был славный малый лет тридцати, удалой

и красивый эта кличка вовсе не шла к нему.

— Пойдем выпьем! — предложил я.

Он принял мое приглашение, и мы продолжали путь уже втроем. В дверях пивной мы столкнулись с выходившим оттуда Пэтом, братом Королевы.

— Куда бежишь? — спросил я, поздоровавшись. — Мы тут собрались выпить. Давай с нами за компанию!

— Да я уже! — ответил он.

— Что значит «уже»? Можно еще одну!

Пэга не пришлось долго уговаривать, и после двух кружек пива я приобрел его расположение. Да, в этот день я многое узнал про Ячменное Зерно. Не беда, что пить противно. За десять центов, почти что даром, хмурый и вечно недовольный парень, готовый стать моим врагом, превратился в доброго друга. Мы с ним мирно посудачили о том, как идет устричный лов, о разных происшествиях в порту, и он даже повеселел и стал глядеть приветливо.

— Мне маленькую, Джонни, — скомандовал я, хотя остальные все взяли по большой.

Надо было слышать, каким небрежным тоном опытного кутилы я это произнес. Наверняка, кроме Джонни Хейнхолда, никто не угадал, что

я еще новичок.

До моего слуха донеслось, как Паук потихоньку спросил его:

— Где это он успел нализаться?

— Да они тут с Нельсоном, почитай, с двух часов пировали, — ответил Джонни.

Я не подал виду, что слышал, но душа моя возликовала.

Даже кабатчик признал меня мужчиной! "Они тут с Нельсоном пировали"... Дивные слова! Кабатчик совершил обряд посвящения пивной кружкой!

Мне вспомнилось то утро, когда Француз Фрэнк угощал Джонни, продав мне «Карусель». Увидев, что всем налито, я сказал: "И себя не забудьте, Джонни!" Получилось так, будто я давно уже собирался это сказать, да вот увлекся разговором с Рыбой и Пэтом.

Джонни метнул на меня пронзительный взгляд, поражаясь, должно быть, тому, как быстро я постигаю эту науку, и налил себе виски из отдельной бутылки. На миг мое бережливое сердце сжалось ч То, что он налил себе, стоит десять центов, а то, что нам, — пять. Но я тут же прогнал эту недостойную мысль и, вспомнив свои новые принципы, постарался себя не выдать.

— Запишите в кредит, ладно? — сказал я, когда мы осушили кружки, и был вполне счастлив, узрев на чистом листе его книги свое имя и цифру 30 — за поставленное мною угощение.

Воображение дорисовало мне эту страницу в будущем: многомного перечеркнутых колонок цифр, а последняя — открытая.

Я угостил всех по второй, и, к моему удивлению, Джонни не остался в долгу за выпитое на десять центов виски. На сей раз он взял все на свой счет и расквитался со мной, как я прикинул, полностью.

— А теперь пойдем в «Сент-Луис», — предложил Паук, когда мы вышли на улицу. Пэт ушел домой — он весь день грузил уголь, — а Рыба побежал к себе на шхуну готовить ужин.

Мы отправились в «Сент-Луис» вдвоем. В этой пивной я был впервые. В большом зале собралось человек пятьдесят, главным образом портовые грузчики. Там я снова встретил Супа Кеннеди и Билла Келли. Заглянул также и Смит с «Энни», тот самый, который носил револьверы за поясом. Явился и Тигр Нельсон.

Я познакомился там, кроме того, с новыми людьми — с братьями Виги, владельцами этой пивной, и с Джо по кличке Гусь, у которого были

злые глаза и перебитый нос. Этот Гусь носил пестрый жилет и играл на губной гармошке, как ангел, так сказать, подгулявший ангел. Он славился своими буйными попойками, изумлявшими и восхищавшими даже портовых забулдыг Окленда.

Угощая новых собутыльников (которые, кстати, и сами не скупились), я вдруг подумал, что на этой неделе вряд ли смогу вернуть очередную часть долга моей кормилице Дженни. "Ну, ничего, — решил я, или, вернее, решил за меня Джон — Ячменное Зерно, — ты мужчина, тебе надо знакомиться с людьми. Няня Дженни обойдется без твоих денег. Она же не умирает с голоду.

У нее наверняка есть еще деньги в банке. Пусть подождет, понемногу все выплатишь".

Таким образом я узнал еще одно свойство Джона — Ячменное Зерно. Он разрушает нравственные устои. Нечестные поступки, казалось бы, немыслимые, когда ты трезв, пьяный совершает без угрызений совести. Тут ты не властен, ибо Джон — Ячменное Зерно встает между твоими внезапными желаниями и нравственными правилами, которым ты всегда следовал.

Я перестал думать о своем долге няне Дженни и, знакомясь с новыми людьми, уже не жалел

медяков. А в голове шумело все сильнее. Не знаю, кто уволок меня в этот вечер на шлюп и уложил на койку, — по всей вероятности, Паук.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Итак, я добился того, что меня стали считать мужчиной.

У меня установились великолепные отношения с портовым людом и с устричными пиратами. Они находили, что я славный малый и далеко не робкого десятка. Между прочим, усвоив тогда на пристани новый взгляд на деньги, я навсегда потерял к ним интерес. Никто больше не называл меня скрягой, наоборот, мое легкомысленное отношение к деньгам служит и теперь источником тревоги для многих моих родных.

Я настолько отрешился от скупости, что передал через когото наказ матери созвать ребят с нашей улицы и раздать им мои коллекции. И даже ни разу не полюбопытствовал, кому что досталось. Я стал мужчиной и постарался забыть все, что связывало меня с детством.

Моя репутация упрочивалась. Услышав рассказ о том, как Фрэнк сделал попытку налететь на «Карусель» со своей шхуной, а я стоял, наведя на него двустволку, прихватив ногами румпель, чтобы удержать шлюп на курсе, портовый народ говорил:

"В этом парне что-то есть, даром что молод!" И, желая доказать, что это действительно так, я вдвоем с помощником то, бывало, доставлю на рынок больше устриц, чем все остальные суда, то первым вернусь к рассвету на якорную стоянку близ острова Аспарагус после артельного набега на дальнюю, южную часть залива. А однажды в пятницу утром после ночного лова я привел свою «Карусель» в Окленд, потеряв руль, но зато первым из всей флотилии и без всякой конкуренции успел выгодно сбыть свой товар в этот традиционный рыбный день. Был еще такой случай: я привел «Карусель» под кливером, потому что Скотти спалил мой большой парус — грот (да, не удивляйтесь, тот самый Скотти, с которым мы когда-то кутили на «Айдлере»; после Ирландца, сменившего Паука, он стал на некоторое время моим помощником).

Однако мою репутацию упрочили не только подвиги на воде.

И на суше я считался теперь компанейским парнем, не жалеющим денег на угощение. Это-то и обеспечило мне прозвище "Король устричных пиратов". Я и не гадал, что оклендские портовые кутилы, первое время ошеломлявшие меня своим поведением, вскоре будут, в свою очередь,

поражены моими отчаянными выходками.

Что бы ни случилось в жизни, это всегда отмечалось выпивкой. Кабак это клуб бедняков, кабак — место их сборищ. Мы уславливались о встречах то в одном кабаке, то в другом. В кабаке мы праздновали успех, в кабаке оплакивали неудачи, в кабаке заводили новые знакомства.

Разве можно забыть день моего знакомства с отцом Нельсона, по кличке Старый Тигр? Это произошло в пивной "Последний шанс". Нас познакомил Джонни Хейнхолд. Один тот факт, что старик — отец силача Нельсона, сам по себе был достоин внимания. К тому же он владел и командовал каботажной шхуной "Энни Майн", и я мечтал поступить к нему матросом. Но важным для меня было то, что он как бы олицетворял романтику. Это был голубоглазый светловолосый сухощавый викинг, сильный и мускулистый, несмотря на возраст. В старое время, когда профессия моряка была весьма опасной, он плавал по морям под флагами всех наций.

Я слышал о нем много фантастических историй и привык издали относиться к нему с обожанием. Благодаря кабаку мне удалось узнать его поближе. Но даже там, если бы не выпивка, знакомство могло ограничиться рукопожатием или в луч-

шем случае — двумя-тремя фразами (старик был неразговорчив).

— Не выпьете ли кружку пива? — предложил я с любезной настойчивостью, выдержав короткую паузу, которой, по моим наблюдениям, требовал трактирный этикет.

Разумеется, приняв мое угощение, Нельсон должен был поговорить со мной, а Джонни, как полагается хозяину, подавал тактичные реплики на общие темы. После того как мы выпили по кружке, капитан Нельсон также счел своим долгом угостить меня. Это еще больше оживило нашу беседу, и Джонни, видя, что его участие больше не требуется, занялся другими посетителями.

Чем больше мы пили, тем приветливее становился капитан Нельсон. Он нашел во мне внимательного слушателя, который хорошо знал из книг о жизни моряков. И, начав вспоминать в этот летний день свою бурную молодость, он рассказал мне много интереснейших историй. Если бы не Джон — Ячменное Зерно, если бы не пиво, которое я подливал ему щедрой рукой, старый морской волк едва ли просидел бы со мной до вечера.

Заботливый Джонни Хейнхолд украдкой дал мне знак со своего наблюдательного пункта за

стойкой, что я хмелею и пора переходить на «маленькую». Но покуда капитан Нельсон пил большими кружками, гордость не позволяла мне отставать от него.

И лишь когда старый шкипер потребовал себе малую кружку, я последовал его примеру. Ох и пьян же я был, когда наступило время трогательного и долгого прощания! Но я был доволен, что мне удалось напоить Старого Тигра. Юношеская скромность не позволила мне заподозрить, что опытный старый пират пьян еще сильнее, чем я.

Мне рассказывали потом Паук, Пэт, Рыба, Джонни Хейнхолд и другие, что Нельсон очень хорошо обо мне отзывался, — какой, мол, прекрасный паренек… Для старика это было особенно необычно, — все знали его злой, жестокий нрав. Он никогда ни о ком не говорил ничего хорошего (даже свое прозвище Тигр он получил за привычку в припадке бешеного гнева бросаться на человека и впиваться острыми ногтями ему в лицо). А я заслужил его расположение исключительно благодаря Джону — Ячменное Зерно!

Я привел этот случай лишь как один из примеров тех многочисленных приманок, соблазнов и услуг, с помощью которых Джон — Ячменное Зерно вербует себе приверженцев.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

И все же у меня не развилось органической потребности в алкоголе. Хоть я пил очень много все эти несколько лет, естественной тяги к вину я не испытывал. Попойки вошли в мою жизнь, так же как в жизнь окружавших меня людей. Но на шлюп я не брал с собой ничего спиртного, на воде мне не хотелось пить. И только поставив «Карусель» у причала и войдя в одно из питейных заведений, где вино лилось рекой и каждый пил и угощал других, я чувствовал, что, как мужчина, обязан тоже пить во исполнение своего общественного долга.

Бывало и так, что во время стоянки на городской пристани или на песчаной отмели мне наносили визит Королева с сестрой в сопровождении братца Пэта и миссис Хедли. Как хозяин шлюпа, я должен был оказывать им гостеприимство, в их понимании этого слова. Посему я срочно посылал на берег Паука, Ирландца или Скотти (в зависимости от того, кто из них составлял в то время мою команду), сунув ему в руки бидон для пива или бутыль для красного вина. Бывали и другие визитеры: мордастые полисме-

ны и сыщики, обычно поднимавшиеся на борт «Карусели» в тот момент, когда под покровом тьмы я продавал устрицы, и так как мы все были во власти этих людей, приходилось угощать из устрицами с острым перечным соусом и ставить на стол кувшины, полные пива, а то и бутылки с более крепкими напитками.

Но сколько я ни пил, Джон — Ячменное Зерно не становился мне милее. Мне нравилось его умение создавать дружескую атмосферу и не очень нравился он сам. Находясь в обществе пьющих, я всегда старался поддерживать свое мужское достоинство, но в глубине души по-прежнему позорно мечтал о сладостях. Впрочем, я скорее бы умер, чем позволил другим узнать мою тайну. Зато, спровадив «команду» на ночь в город, я предавался наедине своей страсти. Я шел в библиотеку, менял там книги, потом покупал на двадцать пять центов конфет разных сортов, какие можно долго сосать, шмыгал к себе на шлюп, запирался в каюте и, лежа на койке, часами блаженствовал за книгой, отправляя в рот одну конфету за другой. Вот тогда-то я действительно испытывал удовольствие. Четвертак, потраченный в кондитерской лавчонке, приносил мне куда больше радости, чем доллары,

выброшенные в кабаках.

Втягиваясь в пьянство, я стал подмечать, что все яркие моменты жизни неизменно связаны с возлияниями. Каждое из них было памятным событием. Такие люди, как Джо Гусь, вели счет календарю от выпивки до выпивки. Все портовые грузчики еле дожидались субботнего вечера, чтобы напиться. Мы, устричные пираты, обычно пили, уже распродав свой товар, хотя нередко две-три рюмки и встреча со случайным приятелем влекли за собой внеочередную попойку.

Именно такие попойки нравились мне больше всего. В это время всегда происходило что-нибудь неожиданное и волнующее.

Например, в одно воскресенье Нельсон с Фрэнком и капитаном Спинком выкрали у Виски Боба и Ники-Грека лодку для ловли лосося, которую те, в свою очередь, стащили у кого-то. На устричной флотилии произошли перемены. Нельсон подрался с Биллом Келли на «Энни» и ходил с простреленной левой рукой. Затем, поссорившись с Рыбой, он потерял компаньона и начал плавать на "Северном олене" с рукой на перевязи, командуя двумя новыми матросами, но те, испугавшись его дикой удали, вскоре бежали от него. На берегу они рассказывали такие истории о его страшной

вспыльчивости, что никто не соглашался к нему идти. Из-за отсутствия команды его шхуна стояла на якоре у песчаной отмели.

Рядом стояла моя «Карусель», оставшаяся без грот-паруса. На ней жили мы со Скотти. Виски Боб расстался с Фрэнком и отправился промышлять вверх по реке вдвоем с Ники-Греком.

Результатом этой экспедиции явилась новенькая лодка для ловли лосося, украденная у рыбака-итальянца. Бедный итальянец обошел всех устричных пиратов, разыскивая свою лодку; из того, что было известно о путешествии Боба и Ники, мы сделали вывод, что похитители — они. Но где же лодка? Сотни рыбаков — греков и итальянцев — обыскали всю реку и весь залив, осмотрели каждую топь и болотце. В конце концов отчаявшийся владелец объявил, что заплатит пятьдесят долларов тому, кто укажет местонахождение лодки. Это повысило наш интерес, но лишь усугубило тайну.

Как-то в воскресенье ко мне явился старый капитан Спинк и сказал, что ему надо побеседовать со мной с глазу на глаз. По его словам, в это утро он удил рыбу возле старой Аламедской паромной станции. Когда начался отлив, он заметил привязанную к свае под водой веревку, которая

тянулась вниз.

Как он ни старался, он не сумел обнаружить предмет, к которому был привязан другой конец веревки. Подальше он увидел такую же веревку на другой свае, которая тоже пряталась в песке, но и ее вытянуть не удалось. Он уверен, что там зарыта похищенная лодка. Если мы вернем ее владельцу, то получим пятьдесят долларов. Но у меня были своеобразные понятия о воровской чести, и я отказался быть причастным к этому делу.

Я уже говорил, что Фрэнк поссорился с Виски Бобом, Нельсон тоже был его врагом. (Бедняга Виски Боб! Это был беззлобный, добродушный, слабохарактерный и щедрый человек, выросший в семье бедняков, прирожденный пьяница. Смерть положила конец его пиратской деятельности. Когда его тело выволокли из воды возле берега, оно было пробито во многих местах пулями.) Через час после того, как капитан Спинк ушел от меня, я увидел его на борту "Северного оленя" — он был с Нельсоном. Сзади следовала шхуна Фрэнка.

Скоро они вернулись, как-то странно, рядом. Когда они подплыли ближе, я увидел, что к «Оленю» и к шхуне Фрэнка пришвартована рыбачья

лодка. Была уже середина отлива, и они уткнулись в песок отмели, с лодкой посередине.

Не откладывая в долгий ящик, Ганс, матрос Фрэнка, спустил шлюпку и стал поспешно грести в северном направлении, к пристани. О цели его путешествия красноречиво говоршщ большая оплетенная бутыль на корме. Мужчинам не терпелось вспрыснуть пятьдесят долларов, заработанных столь легким путем. Так уж принято у приверженцев Ячменного Зерна. Они пьют, празднуя удачу, а если удачи пока нет, пьют за удачу в будущем. Если же постигла неудача, пьют, чтобы ее забыть. Они пьют при свидании с другом и пьют, когда поссорятся и потеряют друга. Если любовь увенчалась счастьем, тут уж сам Бог велел выпить! А если нет, это тем более повод напиться. В периоды бездеятельности они видят свое спасение в пьянстве: тогда и энергия появится и инициатива. В трезвом состоянии их тянет пить, а когда напьются, хочется еще.

Разумеется, нас со Скотти, как приятелей, тоже позвали на пирушку. Таким образом, и мы помогли делить шкуру неубитого медведя: ведь пятьдесят долларов никто еще не получил! И вот обычный томительно-скучный воскресный день вдруг превратился в чудесный праздник. Мы

болтали и пели, смеялись и хвастались своими подвигами, а Фрэнк с Нельсоном следили, чтобы не было пустых стаканов. С городской пристани нас было хорошо видно, и к нам стали стекаться оттуда друзья-приятели. Лодка за лодкой подплывали к нашей стоянке, и Ганс едва успевал курсировать между мелью и берегом то с пустой, то с полной бутылью.

Вдруг откуда ни возьмись появились совершенно трезвые Виски Боб и Ники-Грек и стали осыпать товарищей-пиратов гневными упреками за то, что те посмели утащить их добычу.

Фрэнк под нашептывание Джона — Ячменное Зерно произнес ханжескую речь о добродетели и честности и, несмотря на свои пятьдесят лет, вытащил Виски Боба на песок и принялся избивать его. Ники-Грек схватил лопату с короткой ручкой и кинулся спасать товарища, но с ним в два счета расправился Ганс.

Окровавленных Боба и Ники бросили в лодку, и в ознаменование победы над ними пьянка возобновилась.

К этому времени гости, пестрое, многонациональное сборище, разгоряченное алкоголем, позабыли всякую сдержанность.

Воскресли древние споры, вспыхнула стародав-

няя вражда. В воздухе запахло кровью. Стоило грузчику вспомнить обиду, нанесенную ему когда-то матросом со шхуны, или, наоборот, матросу вспомнить, что его обидел грузчик; стоило устричному пирату кого-то в чем-то обвинить или услышать обвинение по своему адресу, — мгновенно сжимались кулаки и начиналась драка.

И каждая драка кончалась перемирием и новой выпивкой, причем противники, успокоенные нашими общими усилиями, тут же обнимались и клялись друг другу в вечной дружбе.

И надо же было Супу Кеннеди выбрать именно такой момент, чтобы явиться за своей старой рубахой, оставленной им на «Олене» еще при Рыбе! В конфликте между Рыбой и Нельсоном он был на стороне первого. Скажем для ясности, что привел его требовать старую рубаху не кто иной, как Джон — Ячменное Зерно: Кеннеди уже успел основательно нагрузиться в пивной «Сент-Луис».

Слово за слово, пошли в ход кулаки. Это было в кокпите. Увидев, что человек с двумя здоровыми руками напал на однорукого, Фрэнк рассвирепел и швырнул в него железным ломом; не знаю, каким чудом уцелела тогда башка Супа. (Если "Северный олень" еще сохранился, на его фальш-

борте должны быть видны следы от лома.)

С искаженным от гнева лицом Нельсон вытащил из лубка свою простреленную забинтованную руку и, отталкивая нас, пытавшихся образумить его, зарычал сквозь пьяные слезы, что уложит Супа Кеннеди одной рукой. Мы были вынуждены пустить их на песок помериться силами. Увидев, что Нельсону приходится очень туго, Фрэнк (а с ним и Джон — Ячменное Зерно) ринулся ему на помощь, что было, конечно, не по правилам. Тогда запротестовал Скотти и потянул Фрэнка назад, а тот в ярости пихнул его в грудь, повалил наземь и стал избивать. Сцепившись в клубок, юни откатились футов на двадцать по песку — с трудом их растащили. За это время успели подраться и другие. Их кое-как удалось унять — не без помощи выпивки и других мер. Но Нельсон и Суп Кеннеди не прекращали рукопашной. Время от времени мы подхо дили к ним с разными советами, вроде: "Швырни ему песку в глаза!" (Это говорилось, когда они отлеживались на песке почти уже без сил.) И песок летел в глаза противнику; потом передышка кончалась, оба вставали и снова дрались до изнеможения.

Понятно, что все это было убого, бессмысленно и скотски Грубо, но постарайтесь понять меня!

Мне еще не быЛо шестнадцати, я сгорал от страсти к приключениям, моя голова была набита историями о пиратах и мореплавателях, о разграбленных городах и стычках, а дрянь, которую я пил, еще пуще горячила мой мозг.

Меня окружала вольница — грубая и дикая, вполне естественная для тех мест, где я жил, и для того времени, которое я выбрал, чтобы родиться. Но я не терял и надежд на будущее. Здесь лишь начало. С отмели морская дорога выведет меня через Золотые Ворота в бескрайний мир приключений, где будут битвы не из-за старого тряпья и краденых рыбачьих лодок, а во имя высоких идей и романтических целей.

А пока что, к общему удовольствию подгулявшей компании, мы поругались со Скотти: я стал его дразнить за то, что он позволил старику Фрэнку положить себя на обе лопатки; кончилось тем, что Скотти отказался работать у меня и сбежал вечером, захватив пару моих одеял. Ночью, когда устричные пираты валялись мертвецки пьяные, прилив поднял шхуну Фрэнка и "Северного оленя", стоявших на якорях. Рыбачья лодка, полная воды и камней, по-прежнему оставалась на дне.

Под утро я услышал дикие вопли, доносившиеся с «Оленя», и, ежась от утреннего холода, вылез

посмотреть, что случилось.

Я увидел картину, о которой в порту долго потом вспоминали со смехом. Красавица лодка лежала на песке раздавленная, плоская, как блин, а на ней торчали шхуна Фрэнка и «Олень». На беду, крепкий дубовый форштевень лодки выбил доску из днища «Оленя», и с приливом вода хлынула в пробоину. Нельсон проснулся, когда его койка была уже в воде. Я помог ему откачать воду и заделать пробоину.

Потом Нельсон приготовил завтрак, и за едой мы обсудили положение. У него не было ни гроша. У меня тоже. О пятидесяти долларах теперь нечего было мечтать: кто станет платить за жалкую груду щепок? Из-за больной руки Нельсон вышел из строя, а команды у него не было. У меня сгорел парус, и я тоже остался без помощника.

— Давай-ка вдвоем? — предложил Нельсон.

— Ладно, — ответил я.

И так я вошел в компанию с Тигром, самым бешеным и необузданным из всех пиратов. Заняв у Джонни Хейнхолда денег, мы запаслись провизией, наполнили бочонки пресной водой и в тот же День отплыли к устричным отмелям.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Признаться, я никогда не жалел, что провел эти сумасшедшие месяцы с Нельсоном. Уж кто-кто, а он умел водить судно, хотя каждый, кто плавал с ним, трепетал от страха. Ему доставляло наслаждение быть всегда на волосок от гибели, выкидывать номера, о которых другие даже не мечтали. У него была мания, что брать рифы — позор. За время нашего совместного плавания я не помню, чтобы на «Олене» были когда-нибудь зарифлены паруса, даже при самом сильном ветре. Оттого у нас никогда не просыхала палуба. Мы шли напролом и плавали только под полными парусами. И когда нам показалось, что Оклендский порт уже не может дать достаточно острых ощущений, мы покинули его и отправились дальше.

Такое чудесное существование стало для меня возможным лишь благодаря Джону — Ячменное Зерно. Впрочем, за это-то я на него и сердит. Ведь я хотел только одного: вольной жизни, интересных приключений, но добиться этого мог не иначе как при помощи Ячменного Зерна. Так уже было заведено среди людей, избравших подобный

образ жизни. И коль скоро я вознамерился жить так, как они, я вынужден был им подражать. Ведь разве удалось бы мне без пива войти в компанию с Нельсоном и подружиться с ним? Если бы я в тот день отказался выпить с ним и не угостил его, он бы не взял меня к себе. Он хотел иметь такого компаньона, с которым можно не только вместе работать, но и вместе кутить.

Я с головой окунулся в новую жизнь, усвоив неверную мысль, что суть Ячменного Зерна в том, чтобы валить человека с ног и превращать в скота, проведя его сперва сквозь все стадии опьянения, какие только может выдержать железное здоровье.

Я терпеть не мог вкус алкоголя и шел в кабак лишь для того, чтобы нахлестаться до одури. Еще недавно скупой и бережливый маленький Шейлок, доводивший старьевщика до слез, едва не лишившийся рассудка, когда Фрэнк за минуту растранжирил восемьдесят центов на виски для восьмерых, я теперь сорил деньгами почище любого из самых заядлых пьяниц.

Помню, раз мы с Нельсоном сошли на берег. У меня было в кармане сто восемьдесят долларов. Я собирался первым делом купить кое-что из одежды, а потом уже выпить. Мне необходимо было

приодеться. Все мое имущество было на мне: рваные резиновые сапоги, которые протекали так, что вода в них, к счастью, не задерживалась, рабочий комбинезон за полдоллара, сорокацентовая ситцевая рубаха да парусиновая матросская шляпа. Другой шляпы у меня не было, так что эту приходилось носить и на берегу. Заметьте, что я не упоминаю ни белья, ни носков но той причине, что я их не имел.

Чтобы попасть в магазин одежды, надо было пройти мимо десятка кабачков. Поэтому я прежде всего зашел выпить. До магазина одежды я так и не добрался. На следующее утро я вернулся на шлюп, без гроша в кармане, одурманенный, но довольный собой, и мы отчалили. На мне было то же тряпье, что и раньше, а от ста восьмидесяти долларов не осталось ни цента. Люди несведующие, пожалуй, не поверят, что молодой парень, совсем мальчишка, способен за двенадцать часов пропить сто восемьдесят долларов. Берусь доказать.

И я даже не сокрушался об этих долларах. Я был преисполнен гордости: небось теперь местные пропойцы убедились, что я умею сорить деньгами не хуже любого из них. Я доказал сильным людям, что я тоже сильный человек. Они смогли

лишний раз убедиться, что я с полным правом ношу титул Короля То, что я стал так относиться к деньгам, было, возможно, реакцией на мое нищенское детство и тяжкий труд, который мне пришлось изведать ребенком. Где-то у меня в мозгу таилась, вероятно, мысль, что лучше быть атаманом забулдыг, чем рабом машины. Когда по двенадцать часов не выходишь из цеха, жизнь лишена событий.

Зато если, по-вашему, не событие прокутить за двенадцать часов сто восемьдесят долларов, тогда я пас!

Не стану подробно рассказывать о своей дружбе с Джоном — Ячменное Зерно и лишь отмечу те факты, из которых становится ясно, как он коварен. Меня спасали от белой горячки три обстоятельства: во-первых, очень крепкий организм, во-вторых, здоровая жизнь на море, на вольном воздухе и, в-третьих, то, что я пил только от случая к случаю. Выйдя на промысел, мы никогда не брали с собой ни пива, ни виски.

Предо мной открывался мир. Я уже знал несколько сот миль водных путей, побывал во многих городах — больших и малых — и рыбачьих деревушках вдоль побережья. Тайный голос гнал меня дальше. Чего я искал? Не знаю, но я

чувствовал, что впереди очень много интересного. А Нельсону даже этот кусочек мира казался слишком обширным. Он тосковал по своему любимому Оклендскому порту и в конце концов решил туда вернуться; мы с ним простились как лучшие друзья.

Оставшись один, я порешил сделать своим штабом старинный городок Бенишию на проливе Каркинез. Здесь, среди целой флотилии рыбачьих баркасов, теснившихся на берегу, обреталась теплая компания пьяниц и бродяг, к которым я теперь примкнул. Я занимался ловлей лосося и бороздил залив и реки в качестве агента рыбачьего патруля, но все больше и больше времени проводил на берегу — набирался опыта по части пьянства, кутил вовсю.

Перепить меня не мог никто, а я, чтобы лобахваллться, пил частенько куда больше, чем следовало. Однажды утром меня вытащили без чувств из развешенных для просушки рыбачьих сетей, в которых я накануне запутался, спьяну не разглядев, куда иду, не зная, на каком я свете. Пей этому поводу было много разговоров, шуток и смеха, и как тут не выпить? А я ходил героем.

Шутка ли!

Зато после беспробудного трехнедельного

пьянства я решил:

хватит! Вершина достигнута. Пора найти другое развлечение!

Внутренний голос подсказывал мне — и пьяному и трезвому, — что попойки и разбойничьи набеги — это еще не все. Мое счастье, что я слышал этот голос и слышу его постоянно. Таков уж я от природы.

В тот момент он звал меня бродить по белу свету. Но это не был голос благоразумия, нет; здесь были и любопытство, и неусидчивость, и жажда прекрасного, которое я, может быть, где-то видел мельком, а может быть, только угадывал. Для чего жить, спрашивал я себя, если считать, что это все? Нет, обязательно есть что-то еще. (Должен подчеркнуть, что, когда я с годами превратился в настоящего алкоголика, этот голос, подсказывавший, что жизнь богата иными гранями, сильно помог мне бороться с Ячменным Зерном.)

Впрочем, ускорил мое решение переменить жизнь новый чудовищный трюк Ячменного Зерна, показавший, в какую непостижимую бездну может свести опьянение. После одной грандиозной попойки я отправился в час ночи спать к себе на шлюп. В проливе Каркинез очень сильное течение, вода бурлит, как у мельничного колеса.

В тот момент, когда я лез к себе на шлюп, был полный отлив. Я не удержался на ногах и бухнул в воду. Ни на причале, ни на шлюпе никого не было. Меня стало относить течением. Но я не испугался. Мне даже понравилось это неожиданное происшествие. Я хорошо плавал, вода ласкала мое разгоряченное тело, как прохладная простыня.

Но тут-то и отколол свой сумасшедший номер Джон — Ячменное Зерно: вселил в меня дикое желание отдаться воле волн. Я никогда не задумывался о смерти, тем более о самоубийстве. А тут мне взбрело на ум, что это будет прекрасный конец короткой, но яркой жизни. Я, еще не познавший любви ни девушки, ни женщины, ни ребенка, не изведавший еще счастья от общения с искусством, не штурмовавший хладные, как звезды, высоты философии, видевший лишь крохотную — с булавочную головку — частицу великолепного мира, решил, что все уже знаю, все перевидел, все испытал и теперь пора прекратить земное существование. Это, конечно, были его штучки — Ячменного Зерна: окрутил меня, опутал и спьяну тащил умирать.

О, что-что, а это он умеет! Итак, все перевидено, все трынтрава! Чаша переполнилась, я презирал

себя за тот скотский образ жизни, который вел последнее время, и понимал, что меня ждет за мой грех. Живой пример несчастные босяки и бездельники, пьянствовавшие за мой счет. У них в жизни ничего уже не осталось. Так что ж, хочешь тоже превратиться в такого? Нет, тысячу раз нет! И я плакал от сладкой грусти, что гибнет юный герой. (Кто не видел меланхолического пьяницу с глазами на мокром месте, непременную принадлежность любого кабака? Если там не найдется более подходящих слушателей, он будет изливать свою душу кабатчику, а тот обязан слушать: за это ему платят!)

Вода была чудесная. Так и должен умереть мужчина. Джон — Ячменное Зерно затянул другую песню в моем пьяном мозгу.

Нечего печалиться и плакать! Это смерть героя, который добровольно решил покончить счеты с жизнью. И я стал громко распевать предсмертную песню, пока бульканье и плеск воды не напомнили мне, где я нахожусь.

Ниже Бенишии, там, где пристань Солано выдается в море, пролив расширяется и образует так называемую Тернерскую бухту. Я плыл в полосе берегового течения, которое идет к пристани Солано и Далее в бухту. Мне было давно известно,

что в том месте, где течение огибает остров Мертвеца и несется к пристани, образуется сильный водоворот. Меньше всего мне хотелось попасть на сваи. Тогда мне понадобится лишний час, чтобы выбраться из бухты.

Я разделся в воде и, с силой выбрасывая руки, поплыл поперек течения. И лишь увидев, что огни пристани остались позади, позволил себе лечь на спину и передохнуть. Огромное усилие не прошло даром: я долго не мог отдышаться.

Обрадованный, что удалось избежать водоворота, я снова запел свою предсмертную песнь, вернее, попурри, какое мог сочинить экспромтом свихнувшийся от пьянства парень. "Не пой, погоди! — зашептал мне Джон Ячменное Зерно. — На Солано всю ночь люди. Там могут быть железнодорожники. Они услышат тебя, сядут в лодку и поспешат к тебе на помощь, а ты ведь не хочешь, чтобы тебя спасли". Конечно, нет! Еще новости! Лишиться возможности погибнуть героем! Ни в коем случае! И я лежал на спине, под небом, усеянным звездами, смотрел, как проплывают мимо знакомые огоньки пристани — красные, зеленые, белые, — и сентиментально прощался со всеми вместе и с каждым в отдельности.

Очутившись на середине пролива, я снова за-

пел. Я плыл, изредка делая несколько взмахов руками, отдаваясь течению, погруженный в пьяный полусон. Так прошло несколько часов; перед рассветом холод протрезвил меня настолько, что я стал интересоваться, где я нахожусь, и гадать, успею ли выплыть в залив Сан-Пабло до того, как прилив начнет тащить меня назад.

Затем я почувствовал, что ужасно устал и окоченел. Хмель прошел, и я уже не хотел умирать. На Контра Коста стали вырисовываться очертания медеплавильного завода Селби и маяк Лошадиного острова. Я решил плыть к берегу Солано, но, обессиленный и замерзший, сложил руки и вверил себя течению, лишь время от времени делая несколько взмахов, чтобы держаться на поверхности воды, которая становилась все беспокойнее, так как начинался прилив. И тут мне стало страшно.

Я был уже совсем трезв и ни за что не хотел умирать. По многим и многим причинам стоило жить. Но чем больше я находил причин, тем меньше было шансов на спасение.

Рассвет застал меня у маяка Лошадиного острова. После четырех часов в воде я попал в опасную полосу водоворотов, образуемых быстрыми течениями из проливов Валлехо и Каркинез; вдобавок

начавшийся прилив стал нагонять волны из Сан-Пабло, и все эти три силы вступили в борьбу. Поднялся ветер, короткие крутые волны то и дело захлестывали меня, и я уже начал глотать соленую воду. Как опытный пловец, я понимал, что скоро мне крышка. И вдруг откуда ни возьмись появился рыбачий баркас — какой-то грек шел в Валлехо; еще раз мое здоровье и физическая выносливость спасли меня от козней Ячменного Зерна.

Кстати, должен сказать, что такие отчаянные номера Джон — Ячменное Зерно выкидывает не только со, мною. Статистические данные о проценте самоубийств по его милости раскрывают чудовищную картину. Пусть мой случай не типичен: у здорового, нормального, жизнерадостного юноши нет оснований лишать себя жизни. Но если бы я долго до этого не пьянствовал и нервы и мозг не были у меня отравлены, я в припадке белой горячки не польстился бы на эффект, который сулила мне романтическая гибель. Впрочем, и закоренелые, старые пьяницы, изверившиеся в жизни и потерявшие человеческий облик, тоже чаще всего решаются на самоубийство после длительного запоя, когда их нервы и мозг находятся в полном дурмане.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

И вот я простился с Бенишией, где Джон — Ячменное Зерно едва не прикончил меня, и, подчиняясь внутреннему зову, отправился далее на поиски нового. Но где бы я ни скитался, дорога всегда приводила в кабак. Кабак был клубом бедняков, и только туда мне был открыт доступ. Там можно было заводить знакомства. Там можно было подойти к стойке и заговорить с первым встречным. Куда еще решился бы я зайти в чужом городе во время странствий? Зато, переступив порог кабака, я уже не чувствовал себя одиноким.

Позвольте мне сделать отступление, уже касающееся наших Дней. В прошлом году я запряг в шарабан четверку лошадей и вместе с Чармиан отправился на три с половиной месяца путешествовать по глухим горным районам Калифорнии и Орегона Каждое утро я садился писать свой роман, а когда кончал ежедневную порцию, мы ехали дальше и к вечеру делали остановку на новом месте. Гостиницы попадались не часто, дорожные условия бывали самые различные, и мне всегда приходилось накануне планировать маршрут, помня в первую очередь о своей

работе.

Надо было и норму выполнить, и выехать вовремя. Иной раз, в предвидении долгого пути, я вставал в пять часов утра и сразу принимался за дело. Когда же до следующего пункта было близко, я мог сесть писать и позже скажем, часов в девять.

Но сам маршрут, как его планировать? Приехав в любой городок, я ставил лошадей на конюшню и оттуда, не заходя еще в гостиницу, спешил в пивную. Прежде всего выпить — этого хотелось ужасно, но была и деловая причина: получить информацию. Итак, со стаканом в руке я обращаюсь к бармену с привычной фразой: "И себе налейте, пожалуйста!" Мы пьем, и я приступаю к расспросам: в каком состоянии дороги и где можно остановиться?

— Дайте-ка подумать, — скажет, бывало, бармен, — через Таруотерский водораздел проходит дорога. Прежде она была в хорошем состоянии. Я ездил по ней три года назад. Вот только весной ее завалило. Лучше, пожалуй, спросить Джерри. Эй, Джерри (или Том, или Билл), — крикнет он человеку на другом конце стойки, — как там Таруотерская дорога? Ты по ней ездил на той неделе в Вилкинс.

И покуда тугодум Джерри, Билл или Том собирается облечь свои мысли в неуклюжую речь, я приглашаю его присоединиться к нам. Начинается обсуждение достоинств той или иной дороги и гостиницы, и за сколько часов я доеду, и где лучшие места для ловли форели. В дискуссию включаются еще какие-то люди — новый повод для выпивки.

Еще два-три питейных заведения, и, легонько захмелев, я уже знаю почти всех здешних жителей и все, касающееся городка и окрестностей. Я успел познакомиться с местными адвокатами, редакторами газет, политическими деятелями, с приезжими фермерами, охотниками и шахтерами, и вечером, когда мы с Чармиан выходим прогуляться по главной улице, она не может понять, откуда у меня в совершенно чужом городе так много знакомых.

Вот какую помощь оказывает Джон — Ячменное Зерно, приобретая благодаря этому еще большую власть над людьми. И сколько я ни ездил по свету, я везде наблюдал то же самое. И кабаре в Латинском квартале, и кофейня в глухой итальянской деревушке, и портовый кабачок в приморском городе, и фешенебельный клуб, где пьют виски с содовой, — все они властью

Ячменного Зерна сближают людей. В будущем, когда жизнь станет лучше и Джон Ячменное Зерно прекратит существование наряду с другими атрибутами варварства, надо будет подумать о создании новых учреждений вместо кабаков, где люди смогут собираться, знакомиться, находить друг друга и узнавать то, что им нужно.

Но вернусь к прерванному рассказу. После Бенишии мой путь снова лежал через кабаки. Моральных преград я не ощущал, но вкус алкоголя был мне по-прежнему противен. Вместе с тем при всем почтении к Джону — Ячменное Зерно я стал относиться к нему настороженно: ведь он сыграл со мной злую шутку, потащив топиться, когда я вовсе не хотел умирать. Я пил, но помнил о нем, твердо намереваясь дать ему решительный отпор, если он опять начнет подбивать меня на самоубийство.

Итак, что ни город, то кабак и новые знакомства. Если мне нечем бывало заплатить за койку, я знал, что в кабаке-то уж, во всяком случае, смогу приставить стул к жарко натопленной печке В кабаке можно было умыться, причесаться, почистить платье. Это были удивительно удобные заведения, и у нас на Западе они встречались на каждом шагу.

Никуда, ни в чей незнакомый дом я бы так легко не вошел.

Никто не раскрывал предо мной дверей, не приглашал погреться у огня. Церкви я не знал. Священники были мне чужды, и я даже не стремился к знакомству с ними. Какая бесцветная у них жизнь, думал я, никаких ярких событий, интересных переживаний. В моих глазах священники принадлежали к тому роду людей, которые живут под колпаком: ни шагу с насиженного места, узкие, ограниченные, напичканные предрассудками, рабы системы и порядка. Ни темперамента, ни фантазии, ни чувства товарищества. А мне хотелось, чтобы моими друзьями были хорошие люди — добрые, приветливые, щедрые и великодушные, полные пусть даже безрассудной отваги, но только не заячьи душонки.

Кстати, именно хороших людей с кипучим темпераментом, готовых на риск, благородных, отзывчивых, обладающих самыми милыми человеческими слабостями, и ловит в свои сети Джон — Ячменное Зерно. Прибавим и это к перечню обвинений: он гасит пламя души, топит в вине живость ума, и если не губит разом своих жертв и не лишает рассудка, то так или иначе калечит их, ожесточает сердца, вытравляя все благородное,

что было заложено в них природой.

И все-таки скажу по опыту зрелых лет, избави меня. Бог от того большинства обыкновенных людей, которых нельзя назвать хорошими, ибо от них веет холодом, которые не курят, не пьют, не употребляют бранных слов, но зато ничего не осудят, никогда не совершат смелого поступка. Это все малодушные людишки, глушащие в себе зов жизни, не осмеливающиеся рвать паутину быта. Вы их не встретите в кабаке, но не увидите и на баррикадах. Их не влекут неведомые дали, они не способны самозабвенно полюбить. У них свои заботы: не промочить ноги, не утомить сердце, не упустить возможности добиться маленького обывательского успеха при своих незначительных талантах.

Итак, на скамье подсудимых Джон — Ячменное Зерно! Сколь ко хороших, ценный людей, чьи недостатки проистекают от их достоинств — от чрезмерной силы, от чрезмерной храбрости, от душевного огня и благородной отваги, Джон — Ячменное Зерно захватывает и уничтожает. Конечно, он уничтожает и безвольных, но я говорю сейчас не о таких. Я говорю о ценнейшем чело веческом материале, который он беспощадно сжигает. И все это происходит оттого,

что Джон — Ячменное Зерно торчит на каждой улице, на каждом перекрестке. Он всегда доступен, находится под охраной закона, ему отдает честь постовой полисмен, не мешая ему зазывать прохожих и тащить в те места, где собираются славные, смелые люди и пьют мертвую. Если бы Ячменное Зерно убрали с дороги, смелых людей рождалось бы не меньше, но они не губили бы себя, а жили с пользой.

Я всегда замечал, что пьяницам свойственно чувство товарищества. Бывало, бредешь по шпалам к водокачке — дождаться там товарного поезда — и вдруг наткнешься на компанию «алки» (так называются бродяги, пьющие аптечный спирт). Они громко и весело приветствуют незнакомца, подзывают и предлагают выпить с ними спирт, умело разбавленный водой. И вот я сажусь с ними бражничать; скоро в голове у меня шумит, и Джон — Ячменное Зерно нашептывает мне, что жизнь прекрасна и все мы здесь люди смелые и славные, а главное — свободные, как ветер, хотим — валяемся на земле, хотим — нет, и готовы плевать на все человечество, погрязшее в тесном, затхлом житейском болоте.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вернувшись в Окленд после моих странствий, я снова попал в порт и возобновил дружбу с Нельсоном, который теперь постоянно околачивался на берегу и вел еще более разгульный образ жизни, чем раньше, плавая со мной. Я проводил с ним все время, кроме тех редких случаев, когда меня брали ненадолго на какуюнибудь шхуну, где не хватало рук.

Таким образом, я лишился тех полезных для здоровья дней, когда занимался физическим трудом на свежем воздухе и не касался спиртного. Теперь я пил ежедневно, не зная меры, — еще не изжил превратного представления, будто вся прелесть Ячменного Зерна заключается в том, чтобы доводить себя до бесчувствия, до скотского состояния. Словно пропитанный алкоголем, я почти не вылезал из питейных заведений, стал кабацким завсегдатаем, если не хуже.

Теперь Джон — Ячменное Зерно опутывал меня хитрее и коварнее, чем в тот раз, когда увлек топиться в море. Мне было неполных семнадцать лет, я относился с презрением ко всякой постоянной работе и, считая себя не хуже других

головорезов, пил вовсю, чтобы не отстать от них. Я не знал детства — слишком рано созрев, был не по годам умудрен житейским опытом и циничен. Судьба еще не подарила мне девичьей любви, но уже протащила сквозь огонь и воду, и я был уверен, что школу жизни и любви прошел с начала и до конца. И эта наука не была мне полезна: отнюдь не пессимист по натуре, я проникся убеждением, что жизнь — дрянная и скучная штука.

Понимаете, Джон — Ячменное Зерно притуплял мои чувства, отбивал охоту к приключениям, любопытство к жизни. Не все ли мне равно, что находится на другой стороне планеты? И там небось мужчины и женщины, такие же, как у нас, женятся, выходят замуж, тянут лямку, утопая в мелочных заботах, и пьют, конечно, горькую! Не ехать же ради выпивки на край света! Куда проще пойти на угол к Джо Виги — там все к твоим услугам! Или в "Последний шанс" Джонни Хейнхолда. Да и других пивных тьма-тьмущая!

Чем сильнее пропитывал алкоголь живую ткань моего тела и мозга, тем глуше становился зов жизни. Равнодушие гасило былые беспокойные стремления. Гнить заживо и помереть можно и в Окленде, для этого не надо тащиться за тридевять земель! И если бы я дал полную волю Джону

— Ячменное Зерно, то он живо управился бы со мной. Я стал забывать о том, что такое аппетит, зато хорошо знал уже другое ощущение, когда утром встаешь и тебя шатает, нутро сводит, руки трясутся, и ты весь одержим одним желанием: опохмелиться стаканом крепкого виски (о, Джон — Ячменное Зерно умеет закрутить! Тело и мозг, обожженные, оглушенные и отравленные, ждут, что их спасет тот самый яд, который их едва не прикончил!).

Коварству Ячменного Зерна нет границ. Сперва он пытался подбить меня на самоубийство, потом решил покончить со мной иначе — не менее энергичными мерами. Но, видимо, сочтя и это недостаточным, придумал еще одну уловку и наверняка сгубил бы меня, если бы я сам не поумнел и не начал пить с оглядкой. Я понял наконец, что даже моя редкая выносливость имеет предел, а вот он, Ячменное Зерно, неутомим. Я понял, что за час-другой он может одолеть меня, несмотря на мою крепкую голову, сильные плечи и могучую грудь, положить на обе лопатки и задушить в своих дьявольских тисках.

Как-то под вечер мы с Нельсоном сидели в пивной «Оверленд». Сидели там только потому, что остались без гроша, а дело было накануне

муниципальных выборов. Видите ли, во время предвыборных кампаний местные политические дельцы обычно обходят пивные, охотясь за голосами избирателей. Ну вот, сидит за столиком человек, размышляет, чем бы промочить горло, не угостит ли кто-нибудь стаканчиком, или, может, стоит сходить в другое место попросить в кредит, как вдруг нежданно-негаданно распахивается дверь и входит целая компания хорошо одетых джентльменов, которые держатся со всеми запросто и мигом создают задушевную обстановку.

Для каждого у них готова улыбка и приветствие — и для тебя, не имеющего пяти центов на кружку пива, и для робкого босяка там в углу, который, конечно, ни в каких избирательных списках не числится, но может быть вписан в них, как временно проживающий в портовой гостинице. Как только в помещение пивной вступили, выпятив грудь, широкоплечие пузатые господа политиканы, которых сам Бог создал оптимистами и хозяевами жизни, ты на коне. Ты чувствуешь, что вечер у тебя не пропал, — начало, во всяком случае, положено. А там, глядишь, Бог пошлет еще какого-нибудь щедрого дядю, вот тебе и полная удача! Не заставляя себя просить,

ты устремляешься к стойке, осушаешь стаканчик-другой, и тебя просвещают насчет фамилий джентльменов и того, на какие посты они ждут народного избрания.

Эти обходы пивных, совершаемые политиканами, помогли мне узнать горькую правду о некоторых сторонах их благородной деятельности и рассеять иллюзии, в свое время внушенные мне чтением таких увлекательных книг, как «Молотобоец» и "Из лодочников в президенты".

Итак, в тот вечер мы с Нельсоном сидели в пивной с пересохшими глотками и без гроша в кармане, но, как истые пьяницы, с верой в душе, что откуда-то перепадет выпивка. Главная надежда, конечно, была на кандидатов. Вдруг вбегает прославленный кутила Джо Гусь со злыми глазами и перебитым носом, как всегда, в своем пестром жилете.

— Пошли, ребята, есть даровая выпивка, — говорит он нам, — пей хоть бочку. Я сразу о вас подумал. Только бы не прозевать.

Конечно, мы заинтересовались:

— Где это?

— По дороге расскажу. Пошли, а то опоздаем!

Он повел нас быстрым шагом в сторону жилой части города.

— Организует это дело Хэнкокская пожарная команда, — пояснил нам Джо. Ог нас ничего не требуется, кроме одного:

нацепить красную рубаху и пожарную каску и взять в руки факел.

В Хейуортсе будет шествие. Нас туда повезут на специальном поезде.

(Кажется, это был Хейуортс. А, впрочем, может быть, Сан-Леандро или Найлс. И хоть убейте, не помню, к какой партии относились хэнкокские пожарники — к демократам или республиканцам. Так или иначе, начальству не хватало народу для участия в шествии, и потому призвали добровольцев с обещанием выпивки.)

— Там столько всего наготовили! — рассказывал Джо Гусь. — Виски разливанное море! Кандидаты скупили весь запас в кабаках. Все будет даром. Подходи и пей! Ух и кутнем там за милую душу!.

В помещении пожарных на Восьмой улице, недалеко от Бродвея, мы напялили рубахи и каски пожарных, вооружились факелами, после чего нас повели гуртом на станцию и погрузили в вагоны. Впрочем, пить нам пока не дали, и мы ворчали довольно открыто. Но эти политиканы — народ хитрый: зная, с кем имеют Дело, они и

в Хейуортсе ничем нас не угостили. Приказ был такой: сперва походи с факелом, тогда заработаешь выпивку!

Волей-неволей пришлось подчиниться. Зато когда шествие кончилось, открылись все кабаки. Всюду был нанят дополнительный персонал, у каждой стойки в шесть рядов толпились охотники выпить. Некогда было обтирать мокрые стойки, мыть посуду:

буфетчики только успевали наливать. Портовые забулдыги из Окленде ждать не желали!

Но толпиться в очереди и драться за каждый стакан показалось нам слишком нудным занятием. Все ведь и так наше, верно?

Для нас же куплено! Разве мы честно не участвовали в факельном шествии? Приняв все это в расчет, мы совершили фланговую атаку: обошли стойку сзади, отпихнули запротестовавших было буфетчиков и захватили полные охапки бутылок.

На улице мы отбили горлышки о край цементного тротуара и принялись пить. Джо Гусь и Нельсон побаивались неразбавленного виски в больших количествах, а я нет. Я пока еще придерживался ошибочного представления, что нужно пить сколько влезет, — особенно когда это на

даровщину. Мы угощали еще кого-то, не забывая, разумеется, и себя; я же хлестал больше всех, — надо признаться, без всякого удовольствия, вспомнив при этом пиво, которым отравился в пятилетнем возрасте, и вино, от которого заболел, когда мне было семь. Я пил виски, как горькое лекарство, всячески стараясь подавить отвращение. Покончив с одной партией, мы направились в другой кабак, оттуда в третий, — всюду бесплатное виски лилось рекой, и всюду мы применяли тот же способ захвата трофеев.

Не знаю, сколько я выпил — две кварты или пять. Знаю лишь, что в начале пиршества я залпом вливал в себя по четверти кварты виски, не разбавляя и не запивая водой.

Местные политиканы, достаточно опытные в подобных делах, не позволили окпендским пьяницам застрять в городке. Поэтому перед отправлением обратного поезда специальный патруль обошел все кабаки. Я уже ощущал на себе действие винных паров. Меня и Нельсона выволокли из кабака, и мы оказались в хвосте довольно беспорядочной колонны. Я делал героические попытки идти вместе со всеми, но почти не владел своим телом. Ноги мои подгибались, в голове был туман, сердце громко стучало, легким

не хватало воздуха.

Мои силы быстро таяли, и помутневший рассудок подсказывал, что я упаду и не доберусь до поезда, если буду плестись вот так в хвосте колонны. Я вышел из рядов и побежал по боковой тропинке, протоптанной вдоль дороги, под развесистыми кронами деревьев. Нельсон, смеясь, пустился за мной. Есть вещи, которые навсегда врезаются в память, как кошмарный сон. Я ясно помню пышные кроны и то отчаяние, которое охватило меня, когда я бежал под ними, то и дело спотыкаясь и падая, к великому удовольствию всей пьяной братии. Им-то казалось, что я валяю дурака, чтобы их позабавить. Они и не догадывались, что Джон — Ячменное Зерно вцепился мне в горло мертвой хваткой. Я был с ним один на один, и горькая обида сжала мне сердце: никто понятия не имеет, что я борюсь со смертью! Я, словно утопающий, иду ко дну на глазах у толпы зевак, а они думают, что все это шуточки — им на потеху!

Пробежав немного, я упал и потерял сознание Очевидцы рассказывали мне, что было после. Силач Нельсон поднял меня на руки и понес на станцию. Он втащил меня в вагон и бросил на скамью, но я бился и хрипел. Не отличаясь чут-

костью, Нельсон все-таки сообразил, что со мной дело плохо. Теперь я понимаю, что был тогда на волосок от смерти. Пожалуй, так близок к ней я не был никогда. Но я не знал, что со мной тогда твори лось, — это мне рассказал уже Нельсон.

Нутро мое горело адским пламенем, у меня было такое чувство, что я сейчас задохнусь. Воздуха! Воздуха! Я рванулся открыть окно, но оно не поддалось: все окна в вагоне были завинчены гайками. Нельсон решил, что у меня белая горячка и я хочу выброситься из окна. Все его попытки усмирить меня ни к чему не привели. Я схватил чей-то факел и трахнул по стеклу.

Надо сказать, что среди оклендских портовых пьяниц существовали две группировки: за Нельсона и против. В вагоне были представители обеих, причем сильно подвыпившие. Когда я разбил окно, противники Нельсона обрадовались случаю. Один из них размахнулся и дал мне в зубы, да так сильно, что я не устоял на ногах.

Это послужило сигналом для общей свалки. Обо всем этом я узнал потом; дополнительным свидетельством служила моя щека, к которой на следующий день невозможно было притронуться. Зато мой обидчик получил по заслугам и рухнул на меня, а Нельсон навалился на него

сверху всем телом; после этого началось такое побоище, что скоро не осталось ни одного целого окошка, да и сам вагон едва не разнесли в щепки.

Пожалуй, это было мое счастье, что меня подбили и вывели из игры. Резкие движения, которые я делал во время драки, усиливали сердцебиение, и мои несчастные легкие требовали больше кислорода.

Когда драка кончилась и я открыл глаза, я был еще без сознания. Так тонущий человек, ничего не сознавая, машинально продолжает борьбу со стихией. Не помню, что я делал, но я до того отчаянно кричал: "Воздуха! Воздуха!", — что Нельсон сообразил:

положение серьезное и тут не пахнет самоубийством. Он вытащил из оконной рамы битое стекло и дал мне высунуться наружу по плечи и придерживал меня за пояс, чтобы я не выпал. Так я проехал до самого Окленда, отвечая буйным сопротивлением на все попытки Нельсона втащить меня обратно в вагон.

Только наглотавшись вволю воздуха, я почувствовал, что ко мне возвращается сознание. Единственное ощущение, запомнившееся мне с той минуты, когда я упал на тропинку под дере-

вом, до той, когда проснулся на следующий вечер, было ощущение смертельного удушья: я стою, высунув голову из окна, поезд мчится, в ушах свистит ветер, искры от паровоза обжигают мне лицо, а я жадно открываю рот и никак не могу надышаться.

Я заставлял себя дышать как можно глубже, резкими, короткими вздохами накачивая в легкие как можно больше воздуха. Я понимал, что иначе смерть; у меня был опыт пловца, умевшего держаться под водой; в те мгновения, когда ко мне возвращалось сознание, возвращалось и ощущение мучительного удушья, и я спасался лишь тем, что подставлял лицо ветру и искрам и дышал, ненасытно дышал.

Больше ничего не помню. Я пришел в себя на следующий вечер в портовой ночлежке. Рядом со мной никого не было. Никто не вызвал доктора: я мог очень просто отдать Богу душу. Но Нельсон и остальные решили, что мне с похмелья лучше всего выспаться, и оставили меня одного в обморочном состоянии на целых семнадцать часов. Врачам известно, сколько людей гибнет от кварты виски. Обычно пишут, что это были опытные пьяницы, но они погибли оттого, что пили на пари — кто кого перепьет.

В то время я, конечно, этого не знал. Итак, я получил еще один урок. Тем, что я выжил, я обязан не доблести или заслугам, а счастливой судьбе и крепкому здоровью. Здоровье снова одержало верх над Джоном — Ячменное Зерно. Я спасся от новой западни, еще раз выкарабкался из трясины и, поняв всю степень риска, научился пить с большей осторожностью, чем прежде.

О Господи! С тех нор прошло двадцать лет, и — должен признаться — я не потерял времени даром: многое перевидал, многое пережил и сделал, потому я содрогаюсь каждый раз при мысли, что этих чудесных двух десятилетий могло и не быть. А ведь никак не скажешь, что Джон — Ячменное Зерно не потрудился надо мной во время кутежа с хэнкокскими пожарниками!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Отправиться в дальнее плавание я задумал еще в начале зимы 1892 года. И вовсе не потому, что поездка с пожарниками в Хейуортс послужила мне уроком. Я по-прежнему пьянствовал и почти не вылезал из кабаков. Я понял, что виски не приводит к добру, но ничего предосудительного в нем не видел. Виски опасно, но не менее опасно и многое другое! Да, кое-кто умирает от виски, но разве не может случиться, что у рыбака перевернется лодка и он утонет? А с бродягами не бывает ли несчастных случаев:

попал под поезд — и готово! Если делать все с умом, тогда не страшны ни ветер, ни море, ни поезда, ни пивные! Люди пьют, пей и ты, только соблюдай осторожность, чтобы не повторились те времена, когда ты хлестал по целой кварте, если не больше!

Итак, я понял, что Джон — Ячменное Зерно ведет своих приверженцев к гибели, и потому решил отправиться в плавание.

Правда, смертная стезя представлялась мне еще довольно туманно, но я уже видел две тропы, кое-где переплетавшиеся. Прежде всего, присмат-

риваясь к окружающим, я заметил, что жизнь, которую ведем мы, любители пьянства, куда опаснее, чем жизнь остальных людей.

Джон — Ячменное Зерно подавляет нравственные устои и толкает на преступления. Я убедился, что пьяный способен на такие дела, каких никогда бы не замыслил, если бы не выпил. Но это еще не самое страшное. Самое страшное — наказание. Преступление губит преступника. Мои собутыльники — в трезвом состоянии славные, безобидные ребята, — напившись, превращались в бандитов и головорезов. Их забирали в полицию, и мы уже ставили на них крест. Мне давали кое с кем из ник свидание перед отправкой на ту сторону залива в тюрьму. И очень часто я слышал из их уст: "Если бы я не был тогда пьян!.." По милости Ячменного Зерна творились такие чудовищные дела, которые потрясали даже мою огрубевшую душу.

Вторая смертная тропа уготовлена для хронического алкоголика. Такой может ни с того ни с сего протянуть ноги. Захворает какой-нибудь пустячной болезнью, ни для кого не опасной, и, глядишь, угаснет как свечка. И его, одинокого, неухоженного, найдут в один прекрасный день в постели мертвым. А иной утонет или станет

жертвой несчастного случая, как Билл Келлй, например, который, будучи пьян, разгружал судно и ему оторвало палец. Могло бы с таким же успехом оторвать и голову.

И вот, прикинув свои шансы, я решил искать спасения от Ячменного Зерна. Этак быстро отправишься на тот свет, а при моей молодости и жизнелюбии такая перспектива меня не прельщала. Но как спастись? Только бегством. В заливе Сан-Франциско зимовала зверобойная флотилия, в кабаках я встречал шкиперов, охотников, рулевых и гребцов. Среди них был охотник на котиков Пит Холт, с которым я договорился о работе: он нанял меня гребцом на свою шхуну. Мы с Питом тут же скрепили наш новый союз выпивкой, пропустив рюмок по шесть каждый.

И сразу во мне ожила тяга к перемене мест, которую Джон — Ячменное Зерно старался усыпить. Кабацкая жизнь в Оклендском порту показалась мне невыносимой, и было даже странно, что я находил в ней до сих пор столько привлекательного. Я стал бояться за свою жизнь — как бы со мной не случилось чего-нибудь До отплытия, которое было назначено на январь. Я вел себя скромнее, меньше пил и чаще бывал дома. Я уклонялся от участия в пьяных оргиях приятелей, а когда на

Нельсона находило буйство, избегал моего друга.

12 января 1893 года мне стукнуло семнадцать лет, а 20 января я подписал в вербовочном агентстве контракт на работу матросом на трехмачтовой промысловой шхуне "Софи Сезерленд", отплывавшей к берегам Японии. Что ж, вы думаете, мы не вспрыснули такое событие? Джо Виги разменял мой авансовый чек, и я поставил угощение; потом Пит Холт поставил угощение, за ним Джо Виги и другие охотники. Что поделаешь, так уж заведено у мужчин, и не мне, семнадцатилетнему юнцу, учить уму-разуму зрелых мужей, славных и отважных!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

На "Софи Сезерленд" не было спиртного, и ничто не портило нашего безмятежного настроения. Пятьдесят один день плыли мы в южной полосе северо-восточного пассата к Вонинским островам.

Эта группа островов, расположенная в стороне от остальной Японии, была местом сбора канадской и американской промысловых флотилий. Здесь они запасались питьевой водой и ремонтировались перед выходом на трехмесячную охоту на котиков вдоль северных берегов Японии до Берингова моря.

Мирное плавание в течение пятидесяти одного дня без привычного пьянства замечательно укрепило мои силы. Организм очистился от яда, и я не испытывал никакого желания пить или вспоминать виски. Разумеется, на баке не обходилось без разговоров о выпивке, матросы рассказывали с юмором и заметным удовольствием про свои похождения по пьяной лавочке, видимо оставившие у них в мозгу более глубокий след, чем прочие события их богатой впечатлениями жизни.

Из баковых матросов самым старшим был Луис, толстый пятидесятилетний спившийся шкипер. Его погубил Джон — Ячменное Зерно, и он заканчивал свою карьеру так же, как и начинал, — баковым матросом. Этот пример произвел на меня очень сильное впечатление. Джон — Ячменное Зерно не всегда разит насмерть, иногда он губит и другим путем. Луиса он не убил, а поступил с ним гораздо злее. Он лишил его власти, места в жизни и жизненных благ, растоптал его самолюбие и сослал на галеры — Луису предстояло работать до конца дней простым Матросом, а так как он обладал завидным здоровьем, то конец был еще весьма далек.

Мы завершили тихоокеанский рейс и, миновав поросшие лесом вулканические хребты Бонинских островов, проскользнули между рифами в хорошо защищенную гавань и бросили якорь там, где уже стояло десятка два морских бродяг, подобных нашей шхуне. С берега доносились запахи каких-то неведомых растений.

Туземцы на странных челноках и японцы на сампанах — еще более странных — сновали по заливу и карабкались к нам на борт.

В первый раз в жизни я был в чужой стране, приплыл за тридевять земель, чтобы собствен-

ными глазами увидеть то, о чем до сих пор читал только в книжках. Я сгорал от нетерпения поскорее сойти на берег.

Я заключил тройственный союз со шведом Виктором и норвежцем Акселем (мы стали так неразлучны, что в продолжение всего плавания нас называли "Святая Троица"). Высмотрев тропинку, которая ныряла в дикое ущелье и выбегала оттуда на крутую гору, покрытую застывшей лавой, а дальше петляла ввысь среди пальм и цветов, Виктор предложил, чтобы мы пошли по ней наверняка там очень живописные места, какие-нибудь необыкновенные туземные деревни и вообще тьма интересного.

Мы согласились. Аксель внес другое предложение — отправиться на рыбную ловлю. Мы и на это согласились с восторгом, решив раздобыть сампан и прихватить одного или двух японских рыбаков, которые знают хорошие места. Что касается меня, то мне было все любопытно, я готов был пойти куда угодно.

Посовещавшись, мы спустили шлюпку и, лавируя меж коралловых рифов, подошли к берегу. Там мы втащили свою шлюпку на белый коралловый песок и зашагали в глубь острова под тенью кокосовых пальм. Скоро мы очутились

в центре маленького городка, где на глазах у горстки растерявшихся, беспомощных японских полицейских пили, пели и плясали, предаваясь буйному веселью, несколько сот матросов всех наций.

Виктор и Аксель заявили, что перед длинной прогулкой пешком необходимо опрокинуть по рюмочке. Смел ли я отказаться выпить с моими мужественными приятелями? Сдвинем стаканы, выпьем за дружбу! Таков обычай. Мы все смеялись над нашим капитаном, презирая его за то, что он трезвенник и ничего не пьет.

Мне в этот раз совершенно не хотелось пить, но я не мог рисковать своей репутацией хорошего товарища и славного малого. Даже внезапная мысль о Луисе не остановила меня, когда я глотнул едкую, обжигающую жидкость. Да, его-то Джон — Ячменное Зерно подбил основательно, но ко мне это не относится: я молод!

У меня горячая алая кровь и организм железный! Что и говорить, молодость всегда презрительно посмеивается над разрушительным действием времени!

Нам подавали какой-то непонятный алкогольный напиток ужасной крепости. Происхождение его трудно было установить, вернее всего, это

было что-то местное. Но зато этот бесцветный, как вода, напиток был горяч, как огонь, и валил с ног мгновенно.

Он был налит в плоские бутылки из-под голландского джина, на которых еще оставались старые этикетки с подобающим названием «Якорь». Для нас он в самом деле оказался якорем: дальше этого места мы не двинулись. И не пошли на сампане удить рыбу.

Пробыв в городке целых десять дней, мы так и не дошли до той тропинки, начинавшейся на голом склоне и убегавшей ввысь среди цветов и деревьев.

В городке мы встретили старых знакомых с других шхун, с которыми виделись в кабаках Сан-Франциско перед отплытием.

Встреча с каждым знакомым отмечалась выпивкой, потом следовал оживленный разговор, потом опять пили, пели песни и вообще валяли дурака, пока у меня не закружилась голова и все стало казаться замечательным: и эта обстановка, и люди, бражничающие на коралловом берегу, — крепкие закаленные морские волки, к которым я, грешным делом, причислял и самого себя. В мозгу завертелись образы старинных баллад: храбрые рыцари в огромном пиршественном

зале, и на лучших местах за круглым столом те из них, кто признан наиболее достойным; викинги, едва успевшие вернуться из морских походов, но готовые по первому зову опять устремиться на битву… Нет, не прошли те времена, мы потомки этого славного древнего племени!

В середине дня Виктор совсем обезумел от пьянства и готов был колотить всех и вся. Я много перевидел на своем веку сумасшедших в палатах для буйных, чье поведение мало отличалось от того, что вытворял мой товарищ, но должен сказать, что те, пожалуй, вели себя спокойнее. Мы с Акселем то и дело вмешивались, пытаясь утихомирить разошедшегося приятеля, но за это на нас самих сыпались удары; под конец, пустив в ход разные уловки и всю свою пьяную хитрость, мы сумели увести его, втолкнуть в шлюпку и переправить на шхуну.

Но не успел Виктор ступить на палубу, как и там устроил дебош. Он был способен уложить семерых и в припадке пьяного буйства уже не отвечал за себя. Мне особенно запомнилась сценка с одним матросом, которого Виктор загнал в каморку, где хранились цепи. К счастью, тот забился в угол и только поэтому спасся, Виктор же расшиб себе в кровь кулаки о тяжелые звенья

якорной цепи. Когда мы уволокли его оттуда, он в пьяном бреду переключился на другое: вообразил себя великим пловцом, прыгнул за борт и начал доказывать свои таланты, барахтаясь, как подбитый дельфин, и захлебываясь соленой водой.

Мы вытащили своего свихнувшегося компаньона, отвели в кубрик и, лишь раздев и уложив его на койку, почувствовали, что сами еле держимся на ногах. Но все же мне и Акселю казалось, что мы еще мало повидали, и мы снова отправились на берег, оставив Виктора храпеть на койке. Интересно, что говорили о Викторе другие матросы — сами не дураки выпить: "Да разве же можно такому человеку пить!" При этом они неодобрительно качали головами. Виктор был очень толковым матросом, и все на баке считали его прекрасным товарищем. Образцовый моряк во всех отношениях, он пользовался общей любовью и уважением. А вот Джон — Ячменное Зерно превращал его в одержимого. Это-то и встревожило остальных корабельных пьяниц. Они знали, что если хватить лишнего (а какой матрос не грешен в этом?), то можно свихнуться, но, разумеется, только чуть-чуть. Буйство не входило в программу. Оно портило удовольствие окружающим и подчас кончалось трагедией. Но

легонько свихнуться — это казалось в порядке вещей! А я скажу: неверно! Разве может человечество мириться с безумием, как бы оно ни проявлялось? И кто еще способен так доводить людей до безумия, как Джон — Ячменное Зерно!

Но вернусь к моему рассказу. Побродив по городу, мы с Акселем попали в японский кабачок и, спокойно усевшись за столиком, принялись сравнивать, у кого из нас больше синяков.

Все было тихо и мирно, мы заказали какой-то напиток и не спеша потягивали его, вспоминая события дня. Мы были так рады посидеть в тишине, что решили выпить по второй порции. Спустя какое-то время туда заглянул один матрос с нашей шхуны, потом еще несколько, и мы степенно выпили всей компанией. После этою мы потребовали музыку, но тут, заглушая японские самисены и тайко, с улицы послышался отчаянный крик. Мы сразу догадались, кто это. С глазами налитыми кровью, дико размахивая могучими лапищами и бешено рыча, забыв про существование дверей и прорвав бумажные стены домика, в помещение ворвался Виктор. Его душила звериная ярость, он жаждал крови — безразлично чьей. Музыканты пустились наутек, мы тоже, кто через двери, кто сквозь стены, с одним лишь

желанием — спастись.

Когда Виктор поутих и стал впадать в беспамятство, мы поладили с хозяином кабачка, уплатив ему за причиненные нашим товарищем разрушения, и отправились вдвоем с Акселем искать для выпивки местечко поспокойнее. На главной улице не прекращалось буйное веселье. Сотни матросов плясали и веселились напропалую. Понимая бессилие начальника полиции, который не мог образумить гостей с небольшим штатом блюстителей порядка, губернатор колонии издал приказ всем капитанам собрать людей по судам до захода солнца.

Что-о? Такое обращение! Едва эта новость облетела шхуны, всех, словно ветром, сдуло на берег. Даже те, кто и не собирался в город, стали прыгать в шлюпки. Злополучное распоряжение губернатора послужило поводом для всеобщего дебоша. Солнце уже давно скрылось, но все были полны задора: пусть попробуют выдворить нас отсюда! Больше всего народу собралось перед домом губернатора; толпа горланила матросские песни, с гиканьем и топотом отплясывала виргинскую кадриль и другие народные танцы, плоские бутылки с «Якорем» ходили по рукам. Полиция, хоть и усиленная резервами, была бес-

сильна что-либо предпринять, и полицейские, сбившись в кучки, тоскливо ждали дальнейших распоряжений губернатора. Но тот, конечно, мудро воздерживался.

А мне вся эта вакханалия ужасно нравилась. Для меня словно возродились времена испанского владычества. Я видел лишь смелость и дерзание: вот как действуем мы, неустрашимые мореплаватели, среди японских бумажных домиков!

Губернатор так и не издал приказа очистить город, и мы с Акселем долго еще кочевали из одного кабачка в другой. Потом, уже порядком осоловев, я выкинул какой-то номер, в результате которого мы с ним потеряли друг друга. Оставшись один, я продолжал заводить новые знакомства, пил и все пуще пьянел.

Помню, в каком-то месте я подсел к компании японских Рыбаков, рулевых-гавайцев из нашей флотилии и молодого матроса-датчанина, недавно покинувшего Аргентину, где он подвизался в качестве ковбоя. Этот датчанин очень интересовался национальными обычаями и церемониями. Поэтому мы пили с полным соблюдением японского этикета сакэ — бесцветный тепленький и слабый напиток, который подавал-

ся в миниатюрных фарфоровых чашечках.

Еще мне запомнилась встреча с двумя парнями лет восемнадцати — двадцати из английских семейств средней руки. Беглые юнги, сбежавшие с кораблей, где они проходили учение, они в конце концов угодили на промысловые шхуны матросами. Это были здоровые, румяные, ясноглазые ребята, почти мои ровесники, приучавшиеся, как и я, к жизни среди мужчин. Впрочем, их уже можно было считать мужчинами. Пить слабенькое сакэ они не желали. Они требовали отравы похлестче, чем в бутылках из-под «Якоря», — отравы, которая жидким пламенем растекалась по жилам и воспламеняла мозг. Помню, эти ребята пели чувствительный романс с таким припевом:

Ты моя гордость, сынок,
Вот тебе мой перстенек
Если нагрянет беда,
Он защитит всегда

Песня тонула в пьяных слезах — для матери такой сын не гордость, а позор! И я пел и плакал вместе с ними, наслаждаясь трагедией их возвышенных чувств и стараясь делать в пьяном мозгу какие-то заключения о том, что такое жизнь и что такое романтика. И еще одна, последняя

картинка, врезавшаяся мне в память (все остальное заволокло туманом времени): я и мои юнги стоим в обнимку, раскачиваясь из стороны в сторону, — над нами небо, усеянное звездами. Все поют развеселую матросскую песню, кроме одного матроса, который сидит на земле и рыдает; все отбивают такт и машут плоскими бутылками. Со всех сторон доносятся хриплые голоса, поющие такие же песни; и жизнь прекрасна, великолепна, романтична и полна головокружительного безумия.

Далее тьма, но вот я открываю глаза и в брезжущем свете дня вижу японку, заботливо склонившуюся надо мной. Это жена здешнего портового лоцмана — я лежу у двери ее дома.

Мне холодно, я дрожу и чувствую себя прескверно после вчерашнего кутежа. Почему я так легко одет? Ох эти проклятые юнги!

Сбежали и на этот раз! И мое добро прихватили! Пропали мои часы. Пропали деньги — ведь у меня оставалось несколько долларов. И куртки нет, и пояса. Даже башмаки утащили!

Вот так прошли все десять дней на Бонинских островах.

Я описал лишь один. Виктор пришел в себя после своего припадка и присоединился к нам, и

мы снова продолжали попойки втроем, правда, теперь уже с некоторой осторожностью. Что касается тропинки среди цветов, — увы, мы так туда и не попали, не повидали горных красот. Зато мы вдоволь насмотрелись на городок и на бутылки из-под «Якоря».

Тот, кто обжегся, должен предупреждать других об опасности.

Я мог бы куда больше повидать, мог бы получить настоящее удовольствие от пребывания на Бонинских островах, если бы вел себя как следует. Впрочем, рассуждать о том, как следует себя вести, а как не следует, довольно бессмысленное занятие. Важно одно как ты себя ведешь фактически. Люди судят лишь по точным и неоспоримым фактам. Об этом-то я и рассказал. Я себя вел так же, как остальные моряки, попавшие на Бонинские острова, и как миллионы других мужчин, в какой бы части света они не находились в тот момент. Все толкало меня на этот путь: ведь я был мальчишка, правда, не трус, но и не Бог — в общем, обыкновенное существо, стремившееся подражать старшим, которые, если вам угодно, весьма ему импонировали — своей силой, здоровьем, гордостью, свободолюбием. А кроме всего прочего — щедростью:

они не дорожили и собственной жизнью!

На этом пути не стояло никаких препятствий. Он напоминал открытый колодец во дворе, где играют дети. Отважным малышам, которые еще и ходят-то еле-еле, но уже полны любопытства к жизни, бесполезно говорить. "Не подходи, опасно!" Все равно подойдут. Родители это знают. И знают, что кое-кто из детей, наиболее любознательных и смелых, непременно свалится в колодец. Есть только один верный способ уберечь их — закрыть колодец. Так и с Ячменным Зерном. Никакие слова и поучения не удержат зрелых мужчин и подрастающую молодежь от пьянства, если алкоголь будет неизменно доступен и его употребление будет символизировать отвагу, мужество и величие духа.

Единственная мера для народор двадцатого века — это за крыть колодец. Двадцатый век должен стать двадцатым веком по существу, а не пережитком древних веков. Всякие приметы варварства: сжигание ведьм, религиозная нетерпимость, фетишизм и тому подобное, должны быть изгнаны из нашей жизни, и среди них, далеко не последним, Джон — Ячменное Зерно,

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

От Бонинских островов мы устремились на север и, наткнувшись на стадо котиков, преследовали его в северном направлении. Мы охотились свыше трех месяцев, невзирая на трескучий мороз и сплошной туман, нередко прятавший солнце на целую неделю. Это была грубая, тяжелая работа, во время которой никто не пил и даже не помышлял о виски. Потом мы взяли курс на юг, на Иокогаму; мы везли большую партию котиковых шкурок и предвкушали хороший заработок.

Мне очень хотелось сойти на берег повидать Японию, но когда мы бросили якорь, нас заставили целый день чистить шхуну и отпустили на берег только вечером. И здесь все пошло по-заведенному, ибо так уж принято среди мужчин: Джон — Ячменное Зерно подхватил меня и увлек за собой. Капитан дал нашу долю денег охотникам, и нам велели ехать за ними в один японский кабачок, где нас будут ждать. Мы отправились туда на рикшах.

В кабачке распоряжались наши ребята. Виски лилось рекой. Все вдруг разбогатели, и все угоща-

ли друг друга. Кончились сто дней напряженной работы — прощай, вынужденная трезвость, прощай, дисциплина! Мы были здоровые, жизнерадостные люди и, конечно, стремились сперва выпить. А потом, говорили мы, пойдем осматривать город.

Ну, и повторилась старая история. Тосты следовали за тостами, волшебное тепло разливалось по жилам, голоса становились мягче, души тоже — не дай Бог кого-нибудь обидеть: как это с одним ты пьешь, а с другим не желаешь? Мы все товарищи, все вместе штормовали, вместе выбирали и травили снасти, сменяли друг друга у штурвала, вместе работали на кливере и каждый раз, после того как нос шхуны вырывался из-под волны, бросались смотреть, не смыло ли за борт кого-нибудь из нашей братии. Поэтому все пили и все угощали, голоса становились громче, пошли бесконечные воспоминания о великодушных товарищеских поступках; драки и ссоры были забыты, и каждый искренне верил, что те, с кем он пьет, — лучшие люди на свете.

Мы попали в этот кабачок в начале вечера, и до самого утра никакой Японии я не повидал, кроме этого кабачка — обыкновенного питейного заведения, каких и у нас, да и в каждой стране

хоть отбавляй.

Мы простояли в Иокогаме две недели, но все наши впечатления о Японии ограничились, пожалуй, только портовыми кабаками. По временам для разнообразия устраивались особенно бурные оргии. После одной из них я совершил что-то вроде подвига, поплыв темной ночью к себе на шхуну, и, пока я спал мертвецким сном, морская полиция, обнаружив на берегу мою одежду, обшарила всю гавань в поисках трупа.

Может быть, ради таких удовольствий и напиваются, думал я.

В нашем узком мирке мою пьяную выходку сочли примечательным событием. Весь порт только и говорил об этом. В глазах японских лодочников и посетителей портовых кабаков я стал на несколько дней героем. Это был незаурядный случай, случай, которым я мог гордиться. Даже сейчас, вспоминая его двадцать лет спустя, я испытываю тайную гордость. Это был яркий момент в моей жизни; таким же удовольствием, наверное, было для Виктора превратить в развалины кабачок на Бонинских островах, а для беглых английских юнг — ограбить случайного знакомого, то есть меня.

Интересно, что я по-прежнему не мог понять, в

чем кроются тайные чары Ячменного Зерна. Мне был противен алкоголь, пить не доставляло мне никакой радости, не прельщала меня и реакция, которую он производил на мой организм, — я в этой реакции не нуждался. Я пил потому, что пили люди, с которыми я общался, а также потому, что из гордости не мог допустить, чтобы их считали мужчинами, а меня нет. Но в душе я оставался сластеной и, пользуясь случаем, когда меня никто не видел, покупал конфеты и блаженствовал.

Под звуки разухабистой песни мы подняли якорь и вышли из Иокогамской гавани, держа курс на Сан-Франциско. Мы воспользовались северным пассатом, в корму нам дул сильный западный ветер, и за тридцать семь дней мы благополучно пересекли Тихий океан. Нам предстояло получить приличные деньги в окончательный расчет, и все эти тридцать семь дней мы, совершенно трезвые, только и делали, что строили вполне разумные планы насчет того, как их потратим.

Каждый прежде всего повторял фразу, которую вечно можно услышать на баке возвращающихся qyfloe: "Ну уж только не к этим шакалам в портовые гостиницы!" Затем высказывались

сожаления о деньгах, ухлопанных в Иокогаме, а после каждый начинал мечтать вслух о самом заветном. Виктор, например, говорил, что, как только получит расчет в Сан-Франциско, даже и не взглянет на порт и на берег Барбари с его кабаками, а сразу побежит дать объявление, что ищет комнату с пансионом в скромной рабочей семье.

— Устроюсь и запишусь в танцкласс на недельку-другую, чтобы познакомиться с хорошими девушками и ребятами, — мечтал он. — Присмотрюсь к разным компаниям, начну ходить в гости и на вечера, буду жить на свои деньги — мне их хватит до января, а там наймусь опять на промысловую шхуну.

Пить он больше не станет, точка. Он знает, какой бывает конец, особенно у него: напьешься — и потеряешь рассудок, а заодно и деньги. По горькому опыту он знал, чем пахнет трехдневная пьянка с хищными портовыми шакалами, и можете не сомневаться, что он предпочтет прожить зиму, пользуясь разумными развлечениями в приятном обществе.

Аксель Гундерсон, который не любил танцев и прочих светских удовольствий, говорил так:

— Мне причитается много денег. Теперь я могу съездить на родину. Я уже пятнадцать лет не ви-

дел мать и родных. Вот получу Деньги и отошлю их домой, чтобы они там меня дожидались.

А сам поступлю на хороший пароход и еще подработаю до приезда в Европу. Получится кругленькая сумма вместе с теми — так много у меня еще никогда не было. Дома на меня будут смотреть, как на принца. Вы себе не представляете, какая в Норвегии Дешевая жизнь! Я сделаю всем подарки и смогу жить там, как миллионер, целый год. А потом опять уйду в море.

— У меня планы такие же, — заявил Рыжий Джон. — Я целых три года не получал писем из дома, а уже десять лет, как я оттуда уехал. В Швеции такая же дешевизна, как в Норвегии, Аксель. Я из крестьян, моя семья живет в сельской местности. Я тоже отошлю домой всю получку, и мы с тобой вместе наймемся на один пароход. Обогнем мыс Горн — и до свидания, Америка! Только давай уж выбирать хороший!

В результате этих разговоров Аксель так увлекся шведской идиллией, а Рыжий Джон — колоритными норвежскими обычаями, что оба возмечтали уехать вместе. Решили, что первые полгода они поживут у родственников Джона в Швеции, а вторые — у родственников Акселя в Норвегии. До конца плавания они были нераз-

лучны, обсуждая на все лады эту единственную тему.

Джон Каланча был чужд родственных привязанностей. Но и плавать матросом ему надоело. Он тоже в портовые гостиницы больше ни ногой. Снимет, по примеру Виктора, комнату в тихой семье и поступит в морское училище учиться на шкипера. Остальные высказывались примерно в том же духе. Каждый божился, что наконец возьмется за ум и перестанет сорить деньгами. К черту ночлежки, портовые притоны, пьянство! Таков был общий девиз на баке.

Матросы стали бережливы. Такого благоразумия за ними никогда не водилось. Они больше не покупали старой одежды у эконома. Обойдемся своим тряпьем, говорили они, накладывая заплату на заплату самых фантастических размеров. Эти заплаты так и назывались. "Обратный рейс". Люди экономили даже на спичках, дожидаясь, пока двое или трое не набьют трубку.

Как только мы вошли в гавань Сан-Франциско и кончился врачебный осмотр, нашу шхуну окружили лодки с агентами портовых гостиниц. Они наводнили палубу, и каждый расхваливал свое заведение, и у каждого была за пазухой бесплатная бутылка виски. Но мы держались твердо

и предложили им убраться подобру-поздорову, добавив на прощание несколько соленых словечек. Не желаем ни их гостиниц, ни их виски. Мы бережливые матросы-трезвенншши и знаем, как лучше потратить свои денежки.

Наконец, получив расчет, мы вышли из конторы на улицу с карманами, полными денег. Вокруг нас сразу завертелись портовые хищники. Наши ребята переглядывались. Мы пробыли вместе семь месяцев, и вот дороги наши расходятся. Остается выполнить последний, прощальный дружеский обряд (ничего не попишешь, так принято!).

— Ну пошли, ребята! — сказал шкипер.

Неизбежный кабак был рядом. Дальше — еще целая дюжина.

Когда мы входили, хищники так и вились вокруг. Некоторые из них последовали за нами внутрь, но мы не пожелали иметь с ними дела.

Мы выстроились в ряд у длинной стойки: шкипер, помощник, шестеро охотников, шестеро рулевых и пятеро гребцов. Одного гребца ке хватало: близ мыса Джеримо во время снежной бури мы погребли его в море, привязав к его ногам мешок с углем. Нас было девятнадцать, собравшихся, чтобы отметить прощание. Семь

месяцев тяжелой работы и в шторм и в затишье были позади, и мы в последний раз смотрели друг на друга. Вряд ли придется снова встретиться: судьба гоняет моряков по белу свету. Девятнадцать человек собрались для прощального тоста. Шкипер угостил, мы выпили. Потом помощник выразительно оглядел нас и потребовал еще девятнадцать рюмок. Мы любили и его и шкипера — оба славные люди, — так можно ли, выпив с одним, отказать другому?

Следующим поставил угощение Пит Холт — охотник с моей лодки (он утонул через год, когда "Мери Томас" пошла ко дну вместе со всей командой). Время шло, рюмки то и дело наполнялись, кругом стоял веселый гул голосов, в голове у меня шумело.

Каждый из шести охотников требовал, чтобы мы выпили с ним хотя бы рюмку во имя святой дружбы. Шестеро рулевых и пятеро гребцов настаивали на том же. Все были при деньгах, каждый считал, что его деньги не хуже, чем деньги другого, и хотел показать свою щедрую, независимую натуру.

Рюмки наполнялись девятнадцать раз. Джон — Ячменное Зерно имел полное основание торжествовать победу. Куда девались все любовно

выношенные планы? Команда вывалилась из кабака прямо в объятия портовых хищников. Матросских капиталов хватило ненадолго: кому на неделю, а кому на два дня. Когда все деньги были пропиты, хозяева гостиниц переправили гуляк на борт отплывающих судов. Красавец Виктор благодаря какомуто знакомству устроился в спасательную команду на пляже. Он так и не пошел учиться танцам и не напечатал объявления о том, что ищет комнату в рабочей семье. И Джон Каланча не поступил в морское училище. К концу недели ему посчастливилось наняться крючником на речной пароход. Рыжий Джон и Аксель не послали ни гроша родственникам в Скандинавию. Их, как и других матросов с нашей шхуны, раскидало в разные стороны, точнее, их спровадили на суда содержатели портовых гостиниц, и они отправились бороздить моря, чтобы вернуть этим шакалам мифические авансы, которых и в глаза не видали.

Меня спасло то обстоятельство, что у меня были родные и дом, куда я мог вернуться. Я переехал через залив в Окленд и, кстати, смог полюбоваться, как обстоят дела на дороге смерти.

Нельсона уже не было в живых: его застрелили, когда он в пьяном виде пытался оказать

сопротивление полиции. Соучастник его сидел в тюрьме. Виски Боб исчез. Исчезли неизвестно куда и Старый Коул, и Старый Смудж, и Боб Смит. Другой Смит, с «Энни», тот, что носил пистолеты за поясом, утонул. Француз Фрэнк, по слухам, скрывался где-то в верховьях реки, боясь показаться в городе из-за каких-то провинностей. Многие друхие отбывали сроки наказания в Сан-Квентинской и Фолсомской тюрьмах. Алек Большой, Которого называли Королем греков, мой приятель и собутыльник по Венишии, совершил двойное убийство и бежал за границу.

Фитцсиммонс, с которым я служил в рыбачьем патруле, долго болел и умер; ему всадили нож в спину, поранили легкое, и все это осложнилось туберкулезом. И так далее и тому подобное, — на дороге смерти было полно имен, полно знакомых, и, судя по тому, что я знал об этих людях, все они были жертвами Ячменного Зерна, за одним только исключением: гибель Смита с «Энни» произошла не по его вине.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Мое увлечение Оклендским портом совсем прошло. И быт и нравы, царившие там, перестали меня привлекать. Пить и околачиваться без цели мне больше не хотелось. Я снова стал посещать Оклендскую бесплатную библиотеку, кстати разбираясь теперь гораздо лучше в том, что читал. С другой стороны, мать часто напоминала мне, что хватит бездельничать, пора остепениться и найти постоянное занятие. Наша семья очень нуждалась.

Поэтому я поступил на джутовую фабрику, где мне платили десять центов в час — доллар за десятичасовой рабочий день, то есть столько же, сколько на консервной фабрике несколько лет назад, хотя я стал сильнее да и работал лучше. Впрочем, мне обещали прибавку спустя некоторое время на двадцать пять центов в день.

Так начался у меня период добродетельной жизни. За несколько месяцев я не попробовал ни капли спиртного. Но здоровому, мускулистому восемнадцатилетнему парню, которого еще не успел изуродовать однообразный физический труд, необходимы хороший отдых и интересные

развлечения, помимо чтения книг.

Однажды я забрел в Союз христианской молодежи. Там царил здоровый спортивный дух, но все это как-то отдавало детской. Мне было поздно включаться в такую жизнь. Я был не мальчик и не юноша, привык держать себя на равной ноге со взрослыми и, несмотря на юные годы, успел уже познакомиться со многими темными и страшными сторонами жизни. Молодые люди в Союзе христианской молодежи отнеслись ко мне как к человеку с другой планеты. Мы говорили на разных языках: благодаря жизненному опыту я чувствовал себя стариком по сравнению с ними (теперь, вспоминая это, я понимаю, что, в сущности, у меня никогда не было детства). Во всяком случае, ребята из Союза казались мне наивными младенцами. Но это было бы еще полбеды, если бы я чувствовал духовную поддержку со стороны моих новых знакомых. К сожалению, и этого не было: в книгах я тоже разбирался лучше, чем они. Их скудный практический багаж и столь же скудный интеллектуальный давали в сумме столь крупную отрицательную величину, что она перевешивала их моральные качества и успехи в области спорта.

Одним словом, мне было неинтересно играть

с приготовишками. Я был лишен возможности жить такой же чистой, правильной жизнью, как они, потому что моим наставником долгое время был Джон — Ячменное Зерно. Я слишком рано узнал много лишнего. И все же с наступлением лучших времен, когда Джон Ячменное Зерно будет изгнан из нашей жини и люди перестанут испытывать в нем необходимость, Союзу христианской молодежи и, возможно, другим, более интересным и инициативным организациям выпадет честь развлекать тех, кто нынче находит свое призвание в пьянстве и спаивании других. Но пока что мы живем иначе, потому и будем говорить о современной жизни, которую знаем.

Я работал на джутовой фабрике по десять часов в день. Работа была нудная, монотонная. А мне хотелось жить. Мне хотелось проявить себя в чем-нибудь ином, не только ловко работая у станка за десять центов в час. При этом пивные и кабаки, разумеется, исключались. Я повзрослел и стал ощущать в себе новые склонности, волнующие желания, которых прежде не замечал. К счастью, в это время мне повезло: я познакомился с Луисом Шаттоком. Мы стали друзьями.

Луис был очень славный малый, ничуть не испорченный. Но он любил всякие безобидные

шалости и мнил себя бог весть каким многоопытным городским ловеласом. А я себя к таковым не причислял. Луис был красив, очень обходителен и обожал женский пол. Свидания с девушками и романы поглощали его, как самый интересный спорт. Я же на этот счет был простаком. До сих пор я стремился проявлять мужество в других сферах. Любовная сторона жизни для меня не существовала. Посему, когда Луис однажды кинул мне: "Адье!" и, элегантно приподняв шляпу, поздоровался с какой-то знакомой девицей и тут же пошел ее провожать, меня кольнула зависть. Мне тоже захотелось участвовать в этой игре.

— Что ж, — сказал Луис, — заведи себе барышню — и все!

Но это было труднее, чем казалось. Разрешите мне сделать маленькое отступление, чтобы вам стало понятнее. Луис не встречался с девушками в семейной обстановке. Он не был вхож ни в какие дома, где имелись молоденькие дочки, а уж я-то и подавно.

Ведь это был совершенно новый для меня мир! Ни я, ни Луис не могли посещать танцклассы и танцевальные вечера, где обычно знакомится молодежь. У нас на это не было денег. Луис работал подмастерьем кузнеца и получал чуть побольше,

чем я. Оба мы Жили с родными и платили за свое содержание. Стол и квартира, сигареты и самые скромные обновки поглощали львиную долю нашего заработка; на личные расходы ежедневно оставалось центов семьдесят, от силы — доллар. Мы складывались и делили деньги поровну, а в тех случаях, когда одному из нас предстояло свидание с какой-нибудь молодой особой, весь наличный остаток вручался ему: на трамвай в Блэр-парк и обратно — двадцать Центов, тридцать центов на две порции мороженого и в крайнем случае двадцать на мексиканское темали в специальном ресторанчике — дешевле угощения уже не было.

Безденежье меня не огорчало. Презрение к деньгам, которое я перенял от устричных пиратов, осталось у меня на всю жизнь.

Скопидомство не доставляло мне никакой радости; моя философия нашла воплощение в жизни: я был так же равнодушен к деньгам, не имея десяти центов в кармане, как тогда, когда собирал возле стойки товарищей и целую ораву прихлебателей и прокучивал с ними десятки долларов.

Но где все-таки найти барышню? В семействах, которые знал Луис, не было девушек.

Собственных знакомых я еще не завел. А своих немногочисленных приятельниц Луис не собирался никому уступать, да так вообще не водится у молодежи. Впрочем, он иногда просил знакомых девушек привести для меня подружку, но ни одна из них мне не нравилась: все они казались какими-то замухрышками по сравнению с теми красотками, которых отбирал для себя Луис.

— Придется тебе действовать но моему, — сказал мне он в конце концов... — Я если захочу познакомиться, то знакомлюсь.

И тебе советую.

Вот так он меня учил. Не забудьте, что с деньгами у нас было туго. Нам было нелегко платить за стол и квартиру и сохранять мало-мальски приличный вид. Встречались мы с ним по вечерам после работы на улице, изредка в маленькой табачной лавчонке в тихом переулке. Это было единственное место, куда мы позволяли себе заходить. Там мы покупали сигареты, а иногда на пятачок жгучих мятных леденцов (да, я забыл сказать: мы с ним$7

Итак, я заговорил о девушках. По совету Луиса я должен был прибегнуть к самому простому способу: выбрать ту, которая мне понравится, подойти и познакомиться. Мы с Луисом обычно

прогуливались по улицам. Девушки тоже прогуливались парами.

Если девушка заметит, что кто-то на нее смотрит, она и сама обязательно начнет постреливать в него глазками (я уже человек средних лет, но и поныне, в какой бы город или поселок я ни приезжал, мой наметанный глаз сразу подмечает милую, невинную игру взглядов мальчишек и девчонок, которым не сидится дома в весенние и летние вечера).

Беда была в том, что я, столько повидавший за свои юные годы, в этот идиллический период жизни вдруг оказался скромен и застенчив, как дитя. Луис все время меня подбадривал. Но я был далек от девушек. Они мне казались какими-то неземными созданиями. В критический момент я трусливо пасовал.

Тогда Луис приступал к практическим урокам: выразительный взгляд, улыбка, решительное движение, галантный поклон, удачное словцо, в ответ смущение, хихиканье, кокетливо потупленные глазки; глядишь, мой друг уже познакомился и кивает мне головой: иди, мол, сюда, представлю! Но как только мы разделялись на пары, я неизменно убеждался, что себе Луис выбрал хорошенькую, а мне оставил дурнушку.

Со временем, после разных историй, в подробности которых сейчас не буду входить, я, конечно, приобрел некоторый опыт в таких делах, у меня появилось много знакомых девушек, я тоже научился вежливо снимать шляпу, и они благосклонно соглашались прогуляться со мной вечерком. Но завоевать девичье сердце мне удалось не сразу. Я нервничал и горячился. За все это время меня ни разу не потянуло в пивную. Позже, в зрелые годы, занимаясь социологическими обобщениями, я много размышлял насчет наших романтических авантюр. Все это было прекрасно.

овеяно чистотой молодости, и мое обобщение может относиться скорее к сфере биологии, нежели социологии. Смысл ею примерно таков: если исключить различие р одежде, то "знчтная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны".

Вскоре пришел и мой черед удостоиться любви девушки, и я узнал всю прелесть нежного чувства. Назовем это милое существо Хейди. Ей еще не исполнилось шестнадцати лет, и она носила юбочку, едва доходившую до краев ее высоких ботинок. Мы оказались рядом на собрании Армии Спасения, но Хейди не принадлежала к этой организации, и ее тетка, сидевшая рядом с ней

по другую руку, тоже нет, — она заглянула сюда на полчаса из любопытства: она жила в деревне, а в ту пору у них там этого еще не было. Луис присутствовал тут же и наблюдал за нами, — мне кажется, что он ограничивался наблюдением по очень простой причине: Хейди не принадлежала к тому типу женщин, который ему нравился.

Мы не разговаривали в эти незабываемые полчаса, а только робко переглядывались, сразу же отводя глаза в сторону, но все же несколько раз наши взгляды встретились. У нее было худенькое продолговатое лицо и прелестные карие глаза. А носик просто очаровательный и рот тоже, хоть и немножко капризный. На ней был шотландский беретик, из-под которого выбивались каштановые волосы, — такого красивого оттенка волос я никогда не видел. Эти полчаса убедили меня на всю жизнь, что любовь с первого взгляда не выдумка.

Я не долго блаженствовал: Хейди и тетушка ушли, не дождавшись конца (это не возбраняется в Армии Спасения), после чего собрание утратило для меня всякий интерес, и, посидев для приличия еще две-три минуты, мы с Луисом тоже направились к выходу. Но тут из задних рядов поднялась одна женщина и устремилась вслед за

мной. Я не стану ее здесь описывать. Она была из той компании, с которой я вел дружбу и порту, и, увидев, узнала меня. Нельсон умер у нее на руках, и она помнила, что я был его единственным другом. Ей хотелось рассказать мне, при каких обстоятельствах он был убит, и я сам хотел это знать. И вот я шагнул от зарождающейся юношеской любви к девушке в берете — назад, в мир изведанных диких чувств.

Едва дослушав печальный рассказ, я побежал искать Луиса в страхе, что, даже не разглядев как следует свою первую любовь, я уже ее потерял. Но Луис был надежный малый. Он объявил мне, что ее зовут Хейди и ему известно, где она живет. Она ходит каждый день мимо его кузницы в школу Лафайета и обратно домой. Кроме того, он видел ее несколько раз с другой школьницей — Руфью и с третьей — Нитой, подружкой Руфи, у которой мы покупаем леденцы в табачной лавочке. Сделаем так: пойдем к Ните и попросим ее передать Руфи записочку для Хейди. Если это удастся, мне только останется написать записку.

Маневр удался. Выкраивая время для получасовых встреч, я познал счастливое безумие юношеской любви. Принято считать, что это не самая сильная любовь на свете. Может быть! Но

что она самая нежная, это я со всей смелостью утверждаю! О, как все было прелестно! Ни у одной девушки не было более робкого поклонника, чем я, хотя я был весьма основательно и не по возрасту испорчен. Но я совершенно не знал девушек. Король устричных пиратов, побывавший в дальних краях на правах взрослого, мае тер управлять судном в непогоду и шляться по самым гнусным портовым притонам, всегда готовый принять участие в кабацкой драке, а затем угощать у стойки всю команду, я терялся, не зная, как обращаться с этой тоненькой девушкой-подростком в короткой юбчонке, чья наивность была пропорциональна моей житейской мудрости, кладезем которой я себя мнил.

Помню, мы сидели вдвоем на скамейке под звездным небом.

Нас разделяло изрядное расстояние — наверно, фут. Мы сидели вполоборота друг к другу, положив локти на спинку скамейки, и только раз или два наши локти соприкоснулись. Млея от счастья, я что-то говорил, осторожно подбирая слова — как бы нечаянно не оскорбить ее нежный слух! И все это время я силился сообразить, что мне сейчас надо делать. Чего ждут девушки от влюбленных, которые сидят с ними рядом? Чего

ждет от меня эта девушка? Чтобы я поцеловал ее? Может быть, попробовать? Если она этого ждет, а я ее не поцелую, что она обо мне подумает?

Теперь я понимаю: она оказалась мудрее меня, эта маленькая девушка-подросток в коротенькой юбке. Она часто встречалась с мальчиками и сейчас кокетливо, по-женски как бы благословила меня. Она сняла перчатки и держала их в руке. Не помню, что я сболтнул, но этим ее прогневил, и она легонько похлопала меня своими перчатками по губам. Я чуть не задохнулся от восторга, У меня до сих пор сохранилось в памяти нежное благоухание духов, которые источали эти перчатки.

И тут меня стали одолевать сомнения. Что же дальше? Схватить эту ручку, машущую перед моим носом душистыми перчатками? Поцеловать мою Хейди или раньше обнять? Или при f двинуться к ней поближе?

Я не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Просто не отважился. Сидел, как пень, и томился от любви. И, прощаясь с ней, не поцеловал ее. Я помню наш первый поцелуй: это было в другой раз, тоже вечером, в минуту прощания. Я призвал себе тогда на помощь всю свою смелость — и отважился! Мы с ней встречались украдкой раз

десять и целовались тоже раз десять, не больше, — как целуются мальчишки и девчонки: торопливо, безгрешно, словно удивляясь чему-то. Я никуда не мог ее пригласить, даже на дневной спектакль в театр. Только раз угостил леденцами за пять центов. Но мне кажется, что я ей нравился. О себе и не говорю: я был по уши влюблен и мечтал о ней больше года. Память об этой любви мне дорога до сих пор.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В присутствии непьющих людей я никогда не думал о выпивке.

Луис не пил. Ни я, ни он не могли себе этого позволить, и — что еще более важно — ни я, ни он не испытывали подобных желаний.

Мы были нормальные, здоровые, трезвые юноши. Если бы нас тянуло к алкоголю, мы, при всей нашей бедности, наверняка нашли бы к нему дорогу.

Каждый вечер после работы мы шли домой ужинать. Потом, умытые и чисто одетые, встречались на углу или в табачной лавочке. Но теплая осень кончилась, а в стужу и в слякоть фланировать по улицам не так-то приятно! Табачная лавчонка не отапливалась. Нита или другой, кто был за прилавком, спешили удалиться в заднюю комнатку, где топилась печь. Нас туда не приглашали, а в лавке было холодно, как на дворе.

Как быть? Единственный выход — отправиться в пивную, где собираются мужчины, где они водят дружбу с Ячменным Зерном.

Я хорошо помню ветреный сырой вечер, когда мы, дрожа без пальто, потому что купить их было

не на что, решили зайти в пивную.

Там всегда тепло и уютно. Мы шли туда без всякого желания пить, хотя и знали, что это не благотворительное учреждение и там нельзя сидеть, ничего не заказывая.

Денег у нас было очень мало. Мы не могли позволить себе истратить мелочь, которая была нужна на трамвай, если придется встретиться с девушками (одни мы никогда не ездили, а ходили только пешком). Но, попав в пивную, мы решили использовать свои деньги как можно лучше. Потребовали колоду карт, уселись за столик и целый час играли в экрю. Первый раз Луис заказал пиво, второй раз я: две кружки за десять центов — Дешевле ничего не было, но даже это мы уплатили скрепя сердце.

Мы разглядывали посетителей. Это были почти все пожилые рабочие, главным образом немцы, встречавшиеся здесь со своими знакомыми и не обращавшие на нас внимания. Нам не понравилось в этой пивной, и мы ушли оттуда недовольные, потеряв вечер и выбросив двадцать центов на совершенно ненужное нам пиво.

Потом, в другие вечера, мы заходили еще кое-куда и под конец попали в "Националы) — пивную на углу улиц Десятой и Франклина.

Здесь собиралась более приятная публика. Луис встретил каких-то знакомых, я — прежних соучеников, с которыми ходил в школу, когда еще носил короткие штанишки. Мы вспоминали разных ребят, спрашивали, где тот, где этот, и, конечно, пили. Сперва они угощали нас. Потом, как водится, мы угощали их. Это было ужасно досадно, ибо уменьшило наши капиталы на сорок — пятьдесят центов.

Мы хорошо провели вечерок, но и здорово обанкротились.

Ухнули сразу все деньги, отложенные нами на неделю. Все-таки мы решили ходить в эту пивную, только быть поэкономнее. На ату же, предстоящую, неделю мы ввели жесточайший режим.

Пришлось отменить свидание с двумя девушками из Западного района, с которыми мы собирались завести флирт. Мы должны были встретиться с ними на следующий вечер, но отказались от этого удовольствия: не осталось денег на трамвай, чтобы проводить девушек домой. Как многие люди, попавшие в финансовые затруднения, мы были вынуждены прервать свою "светскую жизнь" по крайней мере до субботней получки. Пришлось нам с Луисом назначать друг

другу свидания в конюшне и до конца нашего добровольного отшельничества играть там вдвоем в экрю и казино, трясясь от стужи, несмотря на застегнутые по самое горло куртки.

Мы частенько ходили в "Националы), но тратили лишь ту минимальную сумму, которая необходима, чтобы провести вечер в тепле. Иногда, впрочем, на нашу голову сваливалась нежданная беда: например, два раза подряд нас втягивали в игру в санчопедро на выпивку впятером. Такая трагедия могла влететь в целое состояние — от двадцати пяти до восьмидесяти центов, — иди знай, сколько партнеров потребуют пива по десять центов кружка! Правда, у нас теперь появилась возможность временно избежать краха: мы завели в этой пивной кредит. Но ясно, что такая ситуация лишь оттягивала роковой час расплаты и склоняла к большим тратам, чем если бы мы платили сразу. (Когда весной следующего года я внезапно покинул Окленд, я не успел уплатить владельцу пивной доллар семьдесят пять центов, а вернувшись в город через несколько лет, уже не нашел этого человека. Так и остался мой долг неоплаченным, и если моему кредитору случится прочесть эти строки, пусть он имеет в виду, что я готов расплатиться с ним

по первому требованию!)

Этот пример с «Националом» я привожу, чтобы еще раз показать, что Джон — Ячменное Зерно пользуется всеми средствами воздействия — от приманки до грубой силы — при таком общественном устройстве, когда кабаки торчат на каждом углу, на каждом перекрестке. Мы были здоровые, молодые парни. Нас вовсе не соблазняла выпивка, да и денег на нее у нас не хватало. Но в дождь и стужу нам некуда было деться, и мы поневоле шли в кабак и тратили последние гроши на пиво. Некоторые критики могут возразить мне, что мы могли с таким же успехом пойти в Союз христианской молодежи, в вечернюю школу, в какойнибудь кружок или, наконец, к друзьям своего возраста. На это я им ничего толком не отвечу, знаю лишь, что мы не шли. Не шли, и дело с концом. И в настоящее время вы найдете сотни тысяч таких же юношей, как мы с Луисом, которых манит и зазывает Джон — Ячменное Зерно, хватает под руку и тащит в теплый, уютный кабак, где с присущим ему коварством понемногу превращает в пьяниц.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Хозяева джутовой фабрики не выполнили своего обещания прибавить мне двадцать пять центов в день, и, как свободный гражданин Соединенных Штатов, прямые предки которого сражались во всех американских войнах, начиная от самых первых битв колонистов с индейцами еще задолго до революции, я воспользовался своим правом на свободный труд и заявил, что порываю с ними всякие отношения.

По-прежнему полный решимости найти себе постоянное занятие, я понимал, что быть неквалифицированным рабочим невыгодно. Надо овладеть какой-нибудь специальностью, скажем электротехникой. Спрос на электриков все время растет. Но как научиться этому делу? Поступить в техническую школу или в университет я не мог: денег но было, а главное, я не испытывал должного почтения к храмам науки. Я считал себя практичным человеком, какие нужны в этом практическом мире. К тому же я тогда еще верил в легенды, которые во времена моего детства в Америке всасывались с молоком матери.

Мальчишка-лодочник сумел стать президен-

том. Любой подросток, поступивший на службу в торговую фирму, может подняться по служебной лестнице до положения младшего компаньона фирмы, если он предан делу и проявляет рвение, бережлив и не пьет спиртных напитков. А уж потом стать старшим компаньоном — всего лишь вопрос времени. Очень часто, если верить легенде, этот малый, доказав серьезность своих намерений, женится на Дочери хозяина. Теперь, обретя некоторый опыт по части обращения с прекрасным полом, я уверовал в свой успех. Я женюсь на Дочке хозяина! Какие могут быть сомнения? Все герои американских легенд добивались этого, едва отрастив усы!

Поставив крест на всяких приключениях, я отправился на электрическую станцию, которая снабжала током одну из линий городского трамвая. Меня принял сам директор в своем кабинете, обставленном с такой роскошью, что я был буквально потрясен. Но я все-таки отважился и заговорил… Я сказал директору, что хочу стать электромонтером, никакая работа меня не страшит, — я привык к тяжелому труду, а что касается моей физической пригодности, то пусть он посмотрит на меня и убедится. Я сказал ему, что готов начать с самой маленькой должности и

пробивать себе дорогу собственными усилиями, что я хочу целиком посвятить себя именно этой профессии и его почтенному учреждению.

Директор слушал меня с благосклонной улыбкой. С такими принципами я пойду далеко, заявил он. Его долг — поддерживать молодых американцев, которые стремятся самостоятельно пробивать себе дорогу. Предприниматели всегда ищут таких юношей, как я, но, к сожалению, находят их крайне редко. Мое желание достойно наивысшей похвалы, и он постарается дать мне возможность проявить себя в полной мере (я внимал ему с радостно бьющимся сердцем и думал: не его ли дочка станет моей женой?).

— Прежде чем получить самостоятельный участок, где вы столкнетесь со всеми сложностями и тонкостями профессии, — предупредил он, — нужно будет еще поработать в депо, где производится ремонт и установка моторов. (Тут я окончательно решил, что это будет именно его дочка, и принялся гадать о другом: много ли у него акций трамвайной компании?)

— Но имейте в виду, — продолжал директор, — что без подготовки никто вас не назначит помощником. Место в цехе надо еще заслужить. В депо надо начинать с более скромной роли

— уборщика. Подметать пол, мыть окна, поддерживать порядок в помещении… Когда вы докажете, что справляетесь с этими обязанностями, тут уже вас могут назначить помощником электромонтера.

Мне было не вполне ясно, каким образом подметание и уборка помещения служат подготовкой к профессии электромонтера, но в книжках, как правило, все начинали с черной работы и благодаря своему усердию под конец становились владельцами всего предприятия.

— Когда выходить на работу? — спросил я, желая как можно скорее начать головокружительную карьеру.

— Поскольку мы с вами оба понимаем, что начинать нужно с самой нижней ступеньки, — сказал директор, — имейте в виду, что депо — это уже гораздо выше. Надо еще поработать в машинном отделении смазчиком.

У меня сердце екнуло: путь к хозяйской дочке становился все длиннее. Но в следующий миг я успокоился. Ничего, легче будет стать хорошим электротехником, если знать как следует паровые двигатели. Работая в громадном машинном зале смазчиком, я изучу каждый винтик, каждую гайку. Господи! Будущее снова сияло передо мной

радужными красками.

— Когда выходить на работу? — повторил я прочувствованным тоном.

— Погодите. И машинное отделение еще не самая первая ступень, — сказал он. — Туда тоже нельзя поступить без предварительной подготовки. Начинать надо, естественно, с котельной.

Я вижу, что вы толковый малый, значит, должны понимать, что даже засыпка угля — целая наука, а вовсе не пустяк, как кажется некоторым. Да будет вам известно, что весь уголь, предназначенный для топки, мы тщательно взвешиваем и, таким образом, изучаем тепловой коэффициент разных сортов. Мы точно знаем себестоимость нашей продукции и следим за кочегарами, чтобы они — по глупости или недобросовестности — не разбазаривали уголь. — Директор снова осклабился. — Видите, как много значит такой на первый взгляд незначительный вопрос? И чем больше знаний у вас будет в этой области, тем более ценным работником вы станете: приобретете уважение и в наших глазах и в своих собственных. Ну как, согласны?

— Безусловно, — храбро ответил я. — Чем скорее, тем лучше.

— Вот и отлично. Явитесь завтра в семь часов

утра.

Меня повели и показали, в чем будут заключаться мои обязанности. Сообщили условия: десять часов работы, не исключая праздников и воскресных дней, один выходной день в месяц.

Жалованье тридцать долларов. Не очейь-то жирно! Ведь я уже несколько лет назад получал на консервной фабрике тот же доллар за десять часов! Впрочем, утешал я себя, мне до сих пор никто не платил больше, потому что я не имею квалификации. Отныне все будет иначе. Я поступаю сюда, чтобы изучить ремесло, получить специальность и сделать карьеру, добиться богатства и руки директорской дочки.

Начинаю же я, как полагается, с азов. По всем правилам.

Я подаю уголь кочегарам, те засыпают его в топку, тепловая энергия превращается в пар, пар — в электричество, а там уже колдуют электромеханики. Без сомнения, с подачи угля начинается все, — если, конечно, директору не вздумается направить меня в шахту, где добывают уголь, чтобы я получил еще более полное представление об источниках электрической энергии, приводящей в движение трамвай.

Работа! Мне приходилось уже работать бок о

бок с мужчинами, но казалось, что то была просто игра. Какое там десять часов! Я подавал уголь для обеих смен и, даже не отдыхая в обеденный перерыв, ни разу не управился раньше восьми вечера.

Я работал по двенадцать-тринадцать часов в день и не получал сверхурочных, — не то что на консервной фабрике.

Почему? Открою вам секрет, не удивляйтесь! Я выполнял работу двух человек. До моего поступления дневную смену обслуживал один сильный взрослый рабочий, а ночную — другой, тоже, конечно, взрослый и сильный. Каждому платили сорок долларов в месяц. А директор, чтобы сэкономить, заставил меня работать за двоих и назначил мне тридцать долларов. Я-то думал, что он готовит меня в электромонтеры. А он просто хотел сберечь компании пятьдесят долларов в месяц.

Но я не знал, что работаю за двоих Мне этого никто не сказал: директор предупредил всех, чтобы мне не смели юворить.

В первый день я просто лез из кожи вон, гак (таралсл: с молниеносной быстротой наполнял углем железную тачку, бегом кагил ее на весы, взвесив, мчался в котельную и вываливал уголь

перед топкой.

Работа! Я делал больше, чем те двое взрослых, вместо которых наняли меня. Каждый из них подвозил уголь к котлам и сваливал на чугунные плиты перед топкой. Я же мог это делать только для дневной смены, а для ночной должен был складышть уголь в кучу у стены котельной. Помещение было тесное, первоначально оно предназначалось для подсобных целей. Мне приходилось готовить на ночь целую гору и подпирать ее толстыми бревнами, а потом забрасывать уголь наверх лопатой.

В это первое утро я весь взмок от пота, но не снижал темна, хотя чувствовал, что изнемогаю. К десяти часам утра я израсходовал столько энергии, что успел проголодаться. Я вытащил толстый ломоть хлеба с маслом, который принес на обед, и, весь в угольной пыли, жадно съел его стоя, хотя от усталости у меня подгибались колени. К одиннадцати часам мой обеденной, котелок был уже пуст.

Ладно, не все ли равно! Зато я смогу теперь работать весь перерыв.

Прошел перерыв и вторая половина дня. Наступил вечер, зажгли свет, а я еще работал. Ушел дневной кочегар, заступил на вахту ночной. А я

все таскал и таскал уголь.

В половине девятого, голодный и совершенно без сил, я смыл с себя грязь, переоделся и побрел к трамваю. До дома было три мили; мне выдали служебный трамвайный билет, предупредив, однако, что я могу сидеть только в том случае, если на мое место не найдется желающих из числа платных пассажиров. Я забился в уголок на задней площадке, моля Бога, чтобы никто не согнал меня с места. Вагон постепенно наполнялся. Я не успел проехать и полпути, как вошла женщина, для которой уже не оказалось места. Я сделал попытку встать и — о ужас! — не смог Холодным ветром меня словно ггрижало к скамье. Всю дорогу я промучился, стараясь расправить ноющие суставы и мускулы, чтобы наконец вылезти и встать на подножку. Когда трамваи подошел к нашей остановке, я спрыгнул и только чудом не рухнул на землю.

С трудом волоча ноги, я одолел два квартала до дома и, при храмывая, ввалился в кухню. Пока мать готовила мне ужин, я на кинулся на хлеб с маслом, но, даже не успев утолить голод и не дождавшись, пока дожарится мясо, заснул как убитый. Сколько мать ни старалась меня растормошить, я так и не проснулся и m съел

свою порцию мяса. Видя, что это дело гиблое, она позвал, на помошь отца, и вдвоем они потащили меня в комнату. Там и свалился на постель как подкошенный. Родители раздели меня и укрыли, а утром началась новая пытка: опять не могли добудиться! Я еле поднялся, а тут прибавилась еще беда: распухли кисти. Зато я наелся досыта, вознаградив себя за пропущенный накануне ужин, и взял с собой на работу вдвое больше еды, чем вчера.

Да, работенка! Разве может восемнадцатилетний парень перелопатить больше угля, чем двое взрослых сильных рабочих? Ничего себе работа! Уже задолго до обеденного перерыва я съел все, что принес с собой, до крошки. Но я был исполнен желанием доказать этим людям, на что способен сильный парень, решивший пробить себе дорогу. Как на грех, руки распухали все больше и отказывались служить. Кто не знает, как больно ступить на ногу, когда растянешь сухожилие! Представьте же себе, какая пытка нагребать лопатой уголь и таскать тяжелую тачку, когда на обеих руках растянуты связки!

М-да, это была работа! Я много раз присаживался то тут, то там в укромном уголке и плакал от унижения и злобы, усталости и отчаяния.

Второй день был самым мучительным, и если я выдержал тринадцать часов, даже заготовив весь уголь для ночной смены, то только благодаря дневному кочегару, который перетянул мне кисти широкими ремешками. Он так крепко их замотал, что они оказались словно в гипсе. Эти ремешки просто спасли меня: сняли нагрузку с кистей и помешали опухоли распространиться.

Так я учился на электромонтера. Что ни вечер, я с трудом добирался до дому и, не успев кончить ужин, засыпал за столом.

Меня волокли в кровать и раздевали, как маленького. Каждое утро, набрав с собой кучу еды, словно отправляясь в голодный край, я шел, согнувшись в три погибели, на работу.

Я больше не менял книги в библиотеке. Не назначал свиданий девушкам. Я превратился в рабочую скотину. Работал, ел и спал, а мозг мой все время находился в состоянии спячки. Это был какой-то кошмар. Я работал ежедневно, по воскресеньям тоже, задолго уже начав мечтать о том единственном свободном дне, который мне дадут в конце месяца, — вот когда я отосплюсь в свое удовольствие! Буду валяться целый день в постели и бездельничать!

Но странная штука: за это время я ни разу не вы-

пил и даже не вспомнил об алкоголе. А между тем мне было известно, Что от сильного переутомления люди запивают. Я видел такие случаи и даже испытал это на себе. Но я был предельно чужд Алкоголизма, и мне в голову не приходило, что, если выпить, станет легче. Зачем я привожу этот пример? Чтобы показать, что у меня не было потребности в алкоголе. Только со временем, спустя уже много лет, от частого общения с бутылкой я стал испытывать явную тягу к Ячменному Зерну.

Я часто замечал, что дневной кочегар поглядывает на меня как-то странно. Наконец однажды он заговорил, предварительно взяв с меня клятву, что я никому ничего не скажу. Директор пригрозил, что, если он проболтается, ему несдобровать. Затем он рассказал мне о двух уволенных рабочих и о том, сколько они получали. Я один делаю за тридцать долларов то, что двое других делали за восемьдесят. Он бы мне и раньше рассказал, но был уверен, что я все равно не выдержу и уйду. Губишь себя, малый, а что толку-то? Сбиваешь цену на труд, лишил двоих работы — вот тебе и все!

Бежать за расчетом? Нет, я американец, я человек гордый.

Я доработаю до конца дня и докажу директору, что я силен и вынослив. Уволюсь потом, и пусть

он знает, какого хорошего работника потерял.

Так я по глупости и сделал: трудился, как вол, пока к шести часам не кончил заготовку угля для ночной смены. На этом кончилось мое обучение электротехнике, ради которого я пошел работать за жалкие тридцать долларов. Дома я завалился спать и проснулся лишь на вторые сутки.

Счастье мое, что я поработал недолго и не успел надорваться. Впрочем, кожаные браслеты на руках я проносил потом целый год. Мой трудовой пыл сменился полным отвращением к физической работе. Я попросту не желал работать. Даже думать об этом мне было противно. Наплевать, если никогда не устроюсь прочно! К черту всякое ремесло и учение! Куда веселее бродячая жизнь! И вот, снова став искателем приключений, я взял курс на восток, путешествуя в товарных вагонах.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Однако стоило мне вернуться к поискам приключений, Джон — Ячменное Зерно опять оказался тут как тут. Я кочевал по чужим городам, и где, как не за кружкой пива или стаканом виски, можно было познакомиться с людьми и набраться впечатлений? Иногда это была встреча в кабаке с подвыпившими местными жителями, иногда разговор с приветливым железнодорожником, уже изрядно заложившим за воротник, но имевшим в карманах про запас еще пару фляжек, иногда выпивка с кучкой отпетых «алки» в какомнибудь подозрительном притоне. Пили даже в тех штатах, где спиртные напитки были официально запрещены, например в Айове. Помню, я слонялся по главной улице Де-Мойна в 1894 году, и совершенно незнакомые люди зазывали меня в подпольные распивочные: парикмахерские, слесарные мастерские, мебельные магазины. И везде мы отдавали обильную дань Бахусу.

Куда ни повернись, он был всюду. В те благословенные времена даже бродяги могли позволить себе раздавить рюмку довольно часто. Даже в тюрьме в Буффало мы умудрились устроить

грандиозную попойку, а выйдя на свободу, опохмелились, выклянчив деньги на улице у прохожих.

Меня не соблазняло пьянство, но там, где пили другие, не отставал и я. Всегда я подбирал себе в компанию живых, интересных людей, а эти-то как раз пили больше всех. Зато они были настоящие товарищи и по большей части темпераментные, своеобразные личности. Пожалуй, именно из-за своего темперамента они и пренебрегали обыденным, будничным, ища утехи в обществе Ячменного Зерна. Так или иначе, эти люди, дружившие с Ячменным Зерном, притягивали меня больше других.

Мои скитания по Соединенным Штатам изменили во мне ряд былых представлений. Я был бродягой и, находясь за сценой или, вернее, под сценой, не играл никакой роли в жизни американского общества. Зато снизу было виднее, как действуют механизмы, приводящие в движение колеса общественной машины.

В частности, я узнал, что физический труд вовсе не пользуется тем почетом, о котором разглагольствуют учителя, проповедники и политиканы. Люди без ремесла представляют собой жалкое, беззащитное стадо Даже владеющие ремеслом

должны состоять в профсоюзе, чтобы оградить свое право зарабатывать кусок хлеба.

Профсоюзы всеми средствами борются с предпринимательскими союзами за повышение заработной платы и уменьшение рабочего дня: когда не действуют угрозы, прибегают к пулям. Теми же методами пользуются их противники. Я не видел, чтобы рабочему оказывали почет. Когда он старел или с ним приключалась беда, его просто выкидывали на мусорную свалку, как негодную машину Я знал много таких, которые доживали свой век, отнюдь не окруженные почетом.

Итак, мои новые представления сводились к тому, что физический труд не в почете и не стоит на него делать ставку. Не надо мне ни ремесла, ни директорской дочки! И подальше от преступлений: они до добра не доведут. Преступника ждет такой же несчастный конец, как и рабочего. Нынче в цене не физическая сила, а мозг. Не буду, решил я, продавать свои мускулы на невольничьем рынке. Буду продавать мозг, только мозг, и баста!

Я вернулся в Калифорнию с твердым намерением получить образование. В свое время я окончил начальную школу, теперь пошел учить-

ся в среднюю. Чтобы прокормить себя, я нанялся дворником. Мне немного помогала сестра, но я не брезгал никакой работой: готов был и газоны стричь, и ковры выбивать, если оказывалось свободное время. Я понимал весь глубокий смысл парадокса, что только труд может спасти от труда, и это поддерживало во мне соответствующее рвение.

Юношеская любовь, Хейди, Луис Шатток, вечерние прогулки — все было в прошлом. На развлечения у меня не хватало вре Мени. Я вступил в дискуссионный клуб имени Генри Клея, бывал и гостях у некоторых его участников и познакомился с интеллигентными девушками, щеголявшими в длинных платьях. Посещал и другие маленькие сборища, где велись диспуты о поэзии, искусстве и тонкостях английской грамматики. Я вступил в Оклендское отделение социалистической партии — там мы штудировали политическую экономию и философию, обсуждали вопросы политики. Некоторое время я работал в библиотеке и прочел горы литературы, чтобы оправдать звание члена по меньшей мере полудюжины организаций.

За полтора года я ни разу не пригубил рюмки, даже не вспоминал о спиртном. Не было ни

времени, ни желания. Покончив с дневными обязанностями дворника, я перевоплощался в ученика, а редкие свободные минуты посвящал шахматам. Со всем пылом души я познавал новый мир, и до чего же отвратительным казался мне теперь старый мир Джона — Ячменное Зерно!

Впрочем, однажды я все-таки посетил пивную. Зашел к Джонни Хейнхолду в "Последний шанс" занять у него денег. Вот вам еще одна черта Джона Ячменное Зерно. Кабатчики славятся добротой. Как правило, они куда щедрее, чем так называемые деловые люди. Мне требовалось до зарезу десять долларов, а обратиться было не к кому. И я пошел к Джонни Хейнхолду. Я несколько лет не посещал его заведение, так что он от меня не имел пользы, и на этот раз я тоже ничего не выпил. Однако он дал мне десятку, не спросив ни залога, ни процентов.

После этого мне приходилось часто обращаться к Джонни Хейнхолду с подобными просьбами. Поступив в университет, я за нял у него сорок долларов, тоже без поручительства и процентов, хотя не потратил в "Последнем шансе" даже десяти центов. Но я хочу отметить один обычай, так сказать, неписаное правило: когда через несколько лет фортуна улыбнулась мне, я специально

ездил выпить на другой конец города к Джонни в "Последний шанс", это было как бы процентом за его ссуды. Он сам никогда об этом не просил и на это не рассчитывал. Я же действовал согласно хорошо изученным мною правилам, которые диктуются Ячменным Зерном. Когда человек попадает в беду и ему некуда податься, потому что без залога и поручительства ни один зверь ростовщик не даст ему ссуды, есть один выход, обратиться к знакомому кабатчику. А так как человеку свойственно чувство благодарности, можете быть уверены, что, оказавшись снова при деньгах, он пропьет их именно там, где ему помогли в трудную минуту.

Не могу не вспомнить то время, когда я начинал литературную деятельность и вынужден был содержать большую семью:

жену и детей, мать и племянника, не считая попавших в нужду кормилицу Дженни с ее суриком, — на очень скромный гонорар, который получал катастрофически нерегулярно от журнальных издательств. Существовало два места, где я пользовался кредитом:

парикмахерская и кабак. Парикмахер брал с меня пять процентов в месяц с платой вперед. Иными словами, когда я занимал у него сто

долларов, он давал мне девяносто пять. Пять долларов удерживалось в виде процентов за первый месяц. За второй я платил ему еще пять, и так до тех пор, пока, наконец, не удавалось одним рассчитанным ударом выколотить у издателей причитающийся мне гонорар и ликвидировать свой кабальный долг.

Другой, кто выручал меня в трудную минуту, был соседний кабатчик. Несколько лет мы знали друг друга в лицо, но я ни разу у него не выпил, даже придя попросить взаймы. И все же он мне никогда не отказывал, какую бы сумму я ни просил. К сожалению, он переехал в другой город до того, как я разбогател. До сих пор жалею, что его нет. Согласно правилам, которые я изучил, мне полагалось бы заглядывать к нему и пропивать у него время от времени несколько долларов в знак благодарной памяти о прошлом.

Я вовсе не собираюсь прославлять кабатчиков; это скорее ода Джону Ячменное Зерно. Я лишь добавляю еще один штрих ко множеству других, благодаря которым люди привыкают к пьянству и в конце концов убеждаются, что уже не в состоянии жить без алкоголя.

Но возвращаюсь к моему рассказу. Охладев к былым авантюрам, уйдя с головой в учение и

дорожа каждой минутой, я просто позабыл, что где-то существует кабак. Вокруг меня никто не пьянствовал. Найдись среди моих новых друзей любители выпить и позови они меня с собой, я наверняка не сумел бы устоять. А так в свободный час я садился за Шахматную доску, шел на прогулку с интеллигентными девушками из университета или ехал за город на велосипеде (если он не был в это время в ломбарде).

Хочется снова подчеркнуть главное: несмотря на пройденную мною большую и жестокую школу Джона — Ячменное Зерно, я не чувствовал никакой тяги к алкоголю. Порвав с прошлым, я наслаждался обществом идиллически настроенных студентов и студенток. Я проник в волшебный чертог мысли и был духовно опьянен. (Увы! Довольно скоро я узнал, что и в этом случае не избежать похмелья!)

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Для прохождения курса средней школы нужно было три года.

На такой срок у меня не хватало ни терпения, ни денег. При таких темпах мне было не вытянуть, а мне хотелось поступить потом в Калифорнийский университет. Вот почему, проучившись первый год, я стал искать пути покороче: занял деньги и поступил на старшее отделение подготовительных курсов, где натаскивали к экзаменам в высшие учебные заведения. Мне гарантировали, что Через четыре месяца я поступлю в университет и таким образом выгадаю два года.

Ну и зубрил же я! Ведь надо было усвоить материал за два класса в четыре месяца. Я так зубрил квадратные уравнения и химические формулы, что через пять недель они уже не лезли мне в голову. И вдруг меня вызывает директор курсов. Очень жаль, говорит, но ему придется вернуть мне деньги и попросить меня покинуть стены его учебного заведения. Нет, дело не в успеваемости. Как слушатель, я на хорошем счету, и он уверен, что поступи я по окончании курсов в университет, я бы и там в грязь лицом не ударил. Но, к его

прискорбию, начались неприятные разговоры.

Как это — за четыре месяца пройти двухлетний курс? Может получиться скандал, в университетах и так стали строже относиться к подготовительным курсам. Он не может поставить под удар свою репутацию и просит меня оказать ему любезность и отчислиться.

Я подчинился. Вернул долг и, стиснув зубы, засел за самостоятельную зубрежку. До вступительных экзаменов в университет оставалось еще три месяца. Мне предстояло осилить за эти три месяца в стенах своей комнаты, без лабораторий и учителей, весь курс за два класса и повторить пройденное за истекший год.

Я долбил по девятнадцать часов в день все эти три месяца, лишь несколько раз позволив себе короткую передышку. Я был измотан до последней степени: тело мое ныло, голова раскалывалась на части, но я продолжал зубрить. У меня стали болеть глаза, подергиваться веки, еще немного — и пришлось бы бросить занятия! Под конец я, кажется, маленько свихнулся: мне представилось, что я решил квадратуру круга, но я нашел в себе твердость отложить выведение формулы. После испытаний — вот тогда я себя покажу!

Сдавая экзамены, я несколько дней не отдыхал

и не спал почти ни минуты, — только и делал, что зубрил да повторял. Зато когда я сдал последний письменный экзамен, мое переутомление достигло предела. Я не мог уже смотреть на книги. Не мог ни о чем думать; любой человек, способный мыслить, внушал мне ужас.

При таком состоянии одно спасение было — тряхнуть стариной. Я не стал ждать результатов испытаний. Одолжив у знакомого яхту, я бросил в каюту сверток одеял и немного еды, поднял парус и рано утром с концом отлива вышел из Оклендской бухты.

Меня подхватил прилив, и попутный ветер погнал в северном направлении, туда, где курился залив Сан-Пабло. Над Каркинезским проливом, у медеплавильного завода Селби, стоял туман, за кормой оставались старые береговые знаки, которыми я научился пользоваться во время плавания на шхуне Нельсона, всегда ходившей под всеми парусами.

Впереди показалась Бенишия. Я миновал Тернерскую верфь, обогнул пристань Солано и подошел вплотную к лежащим на песке рыбачьим шаландам здесь я когда-то жил, предаваясь пьянству.

В этот момент что-то со мной произошло, но

смысл случившегося я осознал лишь через много лет. У меня не было ни малейшего намерения высадиться в Бенишии. Я шел с попутным ветром, свистевшим мне в уши и надувавшим паруса, — лучшей погоды ни один моряк не пожелает! Впереди виднелись мысы Буллхед и Армипойнтс, — значит, скоро Сьюисанский залив, он тоже, наверно, сейчас в тумане. Но стоило мне завидеть эти рыбачьи шаланды Бенишии, как я, не раздумывая, принял решение: увалился под ветер, раздернул шкоты и направился к берегу. В этот миг мой усталый, измученный мозг подсказал мне чего я хочу. Выпить.

Напиться.

Да, я правильно понял это властное желание. Мой усталый мозг требовал забвения, и другого способа забыться я не знал.

Вот в чем суть! Впервые в жизни я сознательно, намеренно пожелал напиться. Это было новое, незнакомое пока еще мне проявление власти Ячменного Зерна: не тело, а мозг на этот раз требовал алкоголя. Переутомленный, измученный, издерганный мозг.

Тут я хочу поговорить о самом главном. При всем моем переутомлении мне и в голову не пришю бы напиться, если бы я прежде не увлекался

пьянством. Преодолевая органическое отвращение к алкоголю, я приучился пить, потому что не хотел прослыть плохим товарищем, и еще потому, что без Джона Ячменное Зерно невозможно было обойтись, если ты стремился к интересной, богатой приключениями жизни. И вот я достиг такого состояния, когда мой мозг пожелал не просто выпить, а напиться мертвецки пьяным. Если бы я не пил столько лет подряд, я не вспомнил бы и сейчас о виски. Я пошел бы дальше мимо Буллхеда, в бурлящий Сьюисанский залив и в свите ветра, надувающего мой парус и пробирающего меня насквозь, забыл бы свою усталость и вернулся бы со свежей головой.

Я пришвартовался и поспешил туда, где покачивались у причала рыбачьи шаланды. Мне на шею бросился Чарли Ле Грант.

Его супруга Лиззи прижала меня к своей объемистой груди. Меня обступили Билл Мерфи, Джо Ллойд и другие товарищи по рыбачьему патрулю. Все обнимали меня наперебой. Чарли схватил бидон и побежал через железнодорожное полотно в кабак Йоргенсона.

Это означало, что будет пиво. Но мне хотелось чего-нибудь покрепче, и я крикнул ему вдогонку, чтобы он прихватил и бутылку виски.

Эта бутылка пропутешествовала много раз через рельсы — туда и обратно. Подошли другие рыбаки, старые приятели — греки, русские, французы. Каждый по очереди угощал, потом все начиналось сызнова. Люди приходили и уходили, а я оставался на месте и пил со всеми. Пил с ненасытной жадностью, виски обжигало нутро, а я блаженствовал, чувствуя, что в голове шумит все больше и больше.

Пришел Рыба, плававший с Нельсоном до того, как я занял его Место. Он был так же красив, как прежде, только еще более непутевый, почти совсем свихну вшийся от пьянства. У него только что произошла ссора с компаньоном, совладельцем шлюпа «Газель», и оба пустили в ход кулаки и ножи. Сейчас он старался воддержать в себе боевой дух, рассказывая об этой драке. Мы вынили с ним и помянули Нельсона, силача Нельсона, который спит вечным сном в этом городке, и оба прослезились, вспоминая о покойнике одно только хорошее, и по этому поводу еще несколько раз осушили стаканы.

Меня просили остаться переночевать, но я видел через открытую дверцу, как ходят волны, и слышал, как воет ветер. И пока я старался забыть мои три месяца сплошной зубрежки, Чарли Ле

Грант перенес мои вещи в большую шаланду, на каких промышляют лосося. Он дополнил снаряжение мешком угля, рыбацкой жаровней, кофейником и сковородкой, банкой кофе, мясом и только что пойманным морским окунем.

Моим друзьям пришлось поддерживать меня, провожая по шатким мосткам причала, когда я шел садиться в шаланду. Они поднимали шпринтом верхний угол паруса до тех пор, пока он не натянулся, как доска. Кто-то из них высказал опасение по поводу шпринтов, но я настаивал, и Чарли меня поддержал. Он никогда не сомневался в моем умении и знал, что, пока у меня есть глаза, я сумею управлять судном. Мне бросили фалинь. Я взялся за румпель, выбрал шкот и, хотя предо мной все ходило ходуном, отвалил от берега, помахав на прощание рукой.

Сильнейший ветер, изменивший течение, вздымал высокие волны. Сьюисанский залив побелел от ярости. Но рыбачья шаланда — это крепкая посудина, и я умел ею управлять. Я гнал ее на гребни волн и наперерез волнам и громко посылал ко всем чертям книги и школы. Вздыбленные волны нахлестали мне воды на целый фут, но я только смеялся, когда у меня хлюпало под ногами, и распевал во весь голос. Море и

ветер — чепуха! Я называл себя владыкой мира, оседлавшим разъяренную стихию, и Джон Ячменное Зерно не отступал от меня ни на шаг. Вперемешку с математическими и философскими формулами и изречениями великих ораторов я вспоминал старые песни тех лет, когда работал на консервной фабрике и был устричным пиратом: "Черная Лу", "Облако летит", "Не обижай мою дочку", "Бостонский вор", "Сюда, бродяги-игроки", "Если бы я была птичкой" и «Шенандоа».

Так прошло несколько часов. Когда яркие лучи восхода за жгли небо, я был уже там, где мутные воды Сакраменто сливаются с мутными водами Сан-Хоакина. Наперерез течению я проскользнул по зеркальной поверхности закрытой гавани Блек Даймонд в устье Сан-Хоакина и дальше к Антиоху, где, несколько отрезвев и голодный, как волк, лег в дрейф рядом с груженным картофелем баркасом, оснастка которого показалась мне знакомой.

На нем действительно оказались мои старые приятели. Они зажарили в оливковом масле моего морского окуня и пригласили меня разделить с ними трапезу. Мы ели рагу, сильно приправленное чесноком, и итальянский хлеб с румяной корочкой, без масла, и за пивали еду крепким

красным вином.

Моя шаланда была полна воды, но в маленькой каюте баркаса одеяла и койки были сухие, и мы лежали, и курили, и вспоминали былые дни, прислушиваясь, как воет ветер в снастях и гудят на мачте туго натянутые фалы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Через неделю я вернулся домой освеженный и готовый приступить к занятиям в университете. В течение этой недели я не пил.

Стараясь избежать возлияний, я избегал и встреч со старыми друзьями, ибо там, где были они, неизменно появлялся Джон — Ячменное Зерно. Я хорошо отдохнул, и мне захотелось выпить вдлько в первый день, потом уже не тянуло. Не воображайте, что меня беспокоила совесть. Я не стыдился и не жалел, что принял участие в попойке в Бенишии, — просто вычеркнул ее из памяти и с удовольствием снова сел за учебники.

Прошло много времени, прежде чем я вспомнил этот случай и оценил его по достоинству. Тогда, да и не только тогда, мне казалось, что все это только шутка. Но в зрелом возрасте в периоды наибольшего умственного напряжения и душевной неуравновешенности я вспоминал, что алкоголь обладает силой, помогающей забыться, и жаждал его всем своим существом.

Но в то время случай в Бенишии не помешал мне вести вполне пристойный образ жизни. Во-первых, я не скучал по вину, а вовторых, моими

товарищами были студенты, народ непьющий. Вернись я к поискам приключений, волей-неволей пришлось бы пить.

Ибо здесь и таится главная опасность: все дороги приключений облюбовал Джон — Ячменное Зерно.

Я закончил первый семестр и в январе 1897 года перешел на второй. Но наша семья очень бедствовала, и мне стало казаться, что я трачу слишком много времени на университет. Я решил обойтись без высшего образования. Ничего, не такая уж большая потеря! Я учился два года, прочел уйму книг, и это ценил больше всего. Впрочем, была и другая польза: я стал лучше говорить и писать. Правда, я не отвык спрашивать «чего» вместо «что», зато правило, согласно которому в английском языке нельзя употреблять отрицательное местоимение с отрицательной формой глагола, усвоил твердо: при письме я уже не делал этой ошибки, а если она и проскальзывала иной раз в речи, так только когда я волновался.

Я решил не откладывать в долгий ящик занятие творчеством.

Меня привлекали четыре отрасли: музыка, поэзия, статьи по философским, экономическим и политическим вопросам и, наконец (хотя и мень-

ше, чем все остальнсе), художественная проза.

Впрочем, музыку я сразу же исключил, как бесперспективное Дело. Засев у себя в комнатке, я начал писать сразу все: стихи, статьи и рассказы — и, Боже мой, с каким невообразимым рвением!

Подобная лихорадка творчества могла окончиться лишь тяжелым психическим заболеванием. Результатом моей бешеной работы могло стать не что иное, как размягчение мозга, и я угодил бы в сумасшедший дом. Я строчил напыщенные очерки, рассказы на социальные и научные темы, юмористические стихи и разные другие — от триолетов и сонетов до трагедии, написанной белыми стихами, и тяжеловесной эпической поэмы в духе Спенсера. Бывали периоды, когда я не вставал из-за письменного стола по пятнадцать часов, забывал даже поесть или ради столь скучного деля не хотел прерывать вдохновения.

Затем начались муки с перепечаткой. У мужа моей сестры была пищущая машинка, на которой он работал днем. Мне разрешалось пользоваться ею ночью. Это была удивительная машинка.

Я готов и сейчас заплакать, вспоминая свои поединки с ней. Она была, пожалуй, из самых

первых пишущих машин: более допотопной конструкции я не встречал. Шрифт ее состоял из одних прописных букв. В этой машинке сидел какой-то дьявол. Она не подчинялась никаким известным физическим законам и опровергала древнюю аксиому, что одинаковые предметы, применяемые в одинаковых условиях, дают одинаковые результаты. Клянусь, ее нельзя было заставить работать одинаково два раза подряд. Она упрямо доказывала, что только разные условия приносят одинаковые результаты.

Как у меня болела от нее спина! До знакомства с ней я был далеко не неженкой и выдерживал любое, самое сильное физическое напряжение, а тут она убедила меня, что я далеко не Геркулес. После каждой новой схватки с ней я испытывал такие боли в плечах, что заподозрил с ужасом у себя ревматизм. Стук от нее был невероятный: издали казалось, будто грохочет гром или раскалывают топором мебель, потому что клавиши работали лишь тогда, когда по ним колотили с огромной силой. У меня даже связки на больших пальцах растянулись, и руки болели по локоть, а на концах пальцев натерлись волдыри, которые лопались и возникали снова. Если бы это была моя собственная машинка, я работал бы на ней

молотком.

А ведь мне приходилось не просто бороться с машинкой, а перепечатывать рукописи! Выстукивание тысячи слов превращалось в подвиг, сопровождаемый тысячью проклятий. Но я-то писал в день куда больше, чем тысячу слов. Я стремился поскорее перепечатать мои творения и разослать но редакциям, уверенный, что там их ждут не дождутся.

Ох и уставал же я! Но при всей усталости — и умственной и физической желание выпить ни разу не заявляло о себе. Я был полон возвышенных интересов и не нуждался в наркотиках. Все часы бодрствования, кроме тех, разумеется, когда приходилось воевать с проклятой машинкой, я посвящал вдохновенному труду И, кроме того, у меня еще были иллюзии, несовместимые с пьянством, например, что существует настоящая любовь и в нее верят все мужчины и женщины, что отцы не отрекаются от своих детей, что есть на свете справедливость, что людям необходимо искусство, и множество других наивных представлений, помогающих нам жить.

Увы, оказывалось, что редакции не так уж хотели услышать голос молодого автора! Мои опусы совершали удивительнейшие путешествия от

Тихого океана до Атлантического и оттуда ко мне обратно. Может быть, издателей поражал сумасшедший вид моих рукописей, и поэтому они не желали печатать ни одной строчки. Но, Господи, их мог с одинаковым успехом отпугнуть и бредовый текст, не только оформление! Я продал букинистам за бесценок учебники, в свое время приобретенные с величайшим трудом. Занимал понемногу деньги, где только удавалось, и все-таки сидел на шее у старика отца, который продолжал работать, несмотря на слабое здоровье.

Все это длилось недолго — несколько недель. Потом мне пришлось сдаться и поступить на работу. Однако и на этот раз я не искал забвения в вине. Меня не огорчал такой оборот дела. Что ж, значит, откладывается начало литературной карьеры, вот и все:

Может быть, у меня действительно не хватает подготовки? Чем больше я читал, тем яснее мне становилось, что я едва только успел коснуться источника знаний. Я все еще парил в облаках. День и большую часть ночи, когда людям полагается спать, я проводил за чтением.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Я нашел работу за городом, в небольшой, прекрасно оборудованной механической прачечной при Бельмонтской академии.

Всю работу там от сортировки и стирки до глажения белых сорочек, воротничков, манжет и даже нарядного белья профессорских жен выполняли два человека: я и еще один парень. Мы работали, как сто чертей, особенно с наступлением лета, когда ученики стали носить полотняные брюки. Гладить их — ужасная канитель, а их было пропасть сколько. Больше месяца стояла тропическая жара, и мы работали каждый день до седьмого пота, но никак не успевали все переделать. Даже ночью, когда все ученики спали мирным сном, мы с моим напарником при электрической лампочке катали и гладили белье.

Рабочий день был томительно длинен, работа очень тяжела, хотя мы многое усовершенствовали и каждое движение у нас было Рассчитано. Мне платили тридцать долларов в месяц на всем готовом — это больше, чем на электростанции и на консервной фабрике, потому что я экономил двадцать долларов на еде; дирекции же такая

щедрость ничего не стоила, ибо мы питались на кухне.

Повзрослев, я стал более ловким, и, может быть, образование тоже учитывалось, потому-то, видимо, мне и перепали лишние двадцать долларов. При таких темпах, подшучивал я над собой, к концу жизни дослужишься до ночного сторожа с окладом в шестьдесят долларов или, чего доброго, до полисмена — там уж, поди, долларов сто, да и как-никак побочные доходы!

Всю неделю мы трудились, не жалея сил. Поэтому в субботу вечером были измочалены до предела. Когда-то, еще на консервной фабрике, я возмущался, что меня заставляют работать как лошадь.

Вот именно, рабочая лошадь! Кстати, моя интеллектуальная жизнь сейчас не многим отличалась от жизни лошади. Книги перестали для меня существовать. Хотя я привез с собой в прачечную сундучок, набитый книгами, читать я не мог. Едва раскрыв книгу, я тут же засыпал, а если и прочитывал несколько страниц, то все равно ничего не помнил. Я уже не пытался заниматься серьезными науками, такими, как политическая экономия, биология или право, а перешел на более легкий предмет — историю. Но все равно

засыпал. Взялся было за литературу — тот же результат!

Под конец, когда я стал клевать носом даже над увлекательными романами, я бросил чтение совсем. За все время работы в прачечной я не осилил ни одной книги.

В субботу, получив свободу до понедельника, я ощущал только желание спать, да еще одно — напиться. Второй раз в жизни я явственно услышал призыв Джона — Ячменное Зерно! В первый раз я внял ему по причине умственного переутомления, но ведь теперь такого переутомления не было! Наоборот, голова была вялая, пустая, мозг пребывал в спячке. Но именно в этом-то и была беда. Мозг мой, активный и любознательный, оживший от чудес, которые раскрыл перед ним новый замечательный мир книг, страдал от бездеятельности и застоя.

И, уже изведав дружбу с Джоном — Ячменное Зерно, я знал точно, что он сулит: пьяный бред, воображаемое могущество, забытье… Пусть! Лишь бы не думать про машины, в которых бушуют струи воды, про вращающиеся паровые катки и центробежные отжимы, крахмальные сорочки и нескончаемые полотняные брюки, от которых со свистом валит пар, когда по ним проносится

мой раскаленный утюг. Вот кто клюет на Ячменное Зерно: слабые, неудачники, изверившиеся в себе и потерявшие силы. С Ячменным Зерном им сразу становится легко. Но он вечный обманщик. Он придает ложную силу и ложное воодушевление, он приукрашивает то, что на самом деле выглядит очень и очень скверно.

Но надо помнить, что Джон — Ячменное Зерно многолик.

Он привлекает не только слабых и изверившихся, но и пышущих здоровьем богатырей, и неистребимых жизнелюбов, и тех, кому ненавистно безделье. Он может подхватить под руку любого человека, как бы тот себя ни чувствовал. Он может опутать своими сетями каждого, лишив его воли к сопротивлению. Он дает людям новый светоч вместо старого и фейерверк иллюзий вместо скучной действительности, но в конце концов грубо обманывает всех, кто заключил с ним сделку.

Однако почему я не запил тогда? По простой причине: до ближайшей пивной было полторы мили. По-видимому, я все-таки не ощущал слишком властного желания. Иначе я не поленился бы отмахать и в десять раз большее расстояние. Но скажу и другое:

если бы пивная находилась за углом, я бы непременно напился.

А так я волей-неволен валялся в гони, листая воскресные газеты.

Но я был слишком утомлен, чтобы читать этот вздор. Еще куда ни шло юмористическое приложение, там хоть немного смешно.

Поглядев на картинки, я скоро завалился спать.

Хотя в период моей работы в прачечной Джон — Ячменное Зерно не победил меня, все же он добился известного успеха. Его призыв дошел до моего слуха. Я ощущал беспокойное желание и жаждал успокаивающего средства. Он приучал меня к мысли, что в будущем мне без него не обойтись.

Но кону пояснить, что желание это зрело только в мозгу.

Мое тело не требовало алкоголя. Ведь не захотелось же мне ни разу выпить во время работы на электростанции, хотя там я очень сильно уставал; а вот устав от умственного труда, я сразу же после университетских экзаменов напился вдребезги. Работая в прачечной, я уставал физически, но все же не так сильно, как подтаскивая уголь. Я был другим во время работы на электростанции: мой

мозг еще спал. Зато потом я успел уже побывать в чертоге мысли.

Когда я таскал уголь для котлов, мозг спал, но когда я поступил в прачечную, он жаждал деятельности и признания, а его насильно умерщвляли.

И все же, хоть я и не поддался алкогольному соблазну в прачечной, как поддался тогда в Бенишии, семена желания зрели у меня в мозгу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

После прачечной сестра с мужем снарядили меня за свой счет в Клондайк. Было начало осени 1897 года. Золотая лихорадка в тех местах только еще начиналась. Мне был двадцать один год, я отличался отменным здоровьем. Помню, в конце двадцативосьмимильного перехода с поклажей через Чилкутский перевал от Дайи-Бича до озера Линдерман я не только шел в ногу с индейцами, но даже перегонял многих.

Последний переход от стоянки до озера был три мили. Я ходил туда и обратно по четыре раза в день, каждый раз неся на себе по сто пятьдесят фунтов. Иными словами, я ежедневно проделывал пешком по труднопроходимым тропам двадцать четыре мили, из которых двенадцать были с поклажей в сто пятьдесят фунтов.

К черту литературу! Я снова стал искателем приключений, на этот раз мечтая разбогатеть. И где же, как не здесь, должен был я встретить Джона Ячменное Зерно? Я вновь столкнулся со смельчаками, с бродягами и искателями приключений, которые легко терпели голод, но не могли обойтись без виски. Виски путешествовало

с ними рядом, в то время как муку зарывали в укромном месте до возвращения.

По счастью, в моей четверке остальные трое не пили. Поэтому я тоже не пил и совершал грехопадение лишь в тех редких случаях, когда попадал в пьющую компанию. У меня в походной аптечке хранилась кварта виски, но я шесть месяцев к ней не притрагивался. Только когда мы попали в уединенный лагерь, я откупорил свою бутылку для доктора, которому предстояло оперировать больного. Никаких обезболивающих средств не было.

Врач и больной осушили сообща мою бутылку, после чего началась операция.

Через год, заболев цингой, я вернулся в Калифорнию и узнал, что мой отец умер и я теперь глава семьи и ее единственный кормилец. Если сказать, что от Берингова моря до Британской Колумбии я ехал на пароходе кочегаром, а оттуда до Сан-Франциско путешествовал в трюме, станет ясно, что я не вывез из Клондайка ничего, кроме цинги.

Времена были тяжелые. Даже чернорабочим устроиться было невозможно. Я был бы рад и этому, потому что по-прежнему не имел никакой специальности. О литературной деятельности

я больше не помышлял. С этим покончено! Я должен добывать пропитание для нас троих, сделать все возможное, чтобы мы не остались без крова. Нужно купить зимнюю одежду, так как моя годится только для лета. Итак, немедленно найти работу! Будущее решится потом; пока есть более неотложные дела.

Когда страна переживает тяжелые времена, первыми терпят бедствие неквалифицированные рабочие. У меня не было опыта, если не считать работы в прачечной и на судах. Как глава семьи, я теперь не осмеливался уйти в море, а в прачечную устроиться не мог. Я стал на учет в пяти конторах по найму. Поместил объявление в трех газетах. Обошел всех своих немногочисленных зна комых, прося их посодействовать в отношении работы, но сделать это они либо не хотели, либо не могли.

Положение стало отчаянным. Я заложил часы, велосипед и непромокаемый плащ — гордость отца, завещанный им мне. Этот плащ был и остался единственным наследством за всю мою жизнь.

Новый он стоил пятнадцать долларов, а ростовщик мне дал за него два. Да, забыл рассказать: как-то раз ко мне явился один из моих давнишних портовых дружков и принес фрачную пару,

завернутую в газетную бумагу. Он не мог вразумительно объяснить мне, как попал к нему этот костюм, да я и не требовал под ровностей. Я решил взять у него этот костюм. Не для того, чтобы носить. Боже упаси! Я дал ему взамен кучу ненужного старья, которое не брали в заклад. Он распродавал это старье по мелочам и кое-что за него выручил. А фрачную пару я заложил за пять долларов, небось она До сих пор висит у ростовщика на вешалке. Я и не собирался ее выкупать.

Работы по-прежнему не было. А ведь на рынке труда я был выгодным товаром. Мне было двадцать два года, я весил сто шестьдесят пять фунтов, и каждый фунт был годен к работе; цинга моя почти прошла: я лечился тем, что жевал сырой картофель.

Я обошел все места, гре требовались рабочие, пробовал даже стать натурщиком, но художественные мастерские и без меня осаждало множество безработных парней с хорошим телосложением. Я писал по объявлениям, предлагал свои услуги для ухода за престарелыми калеками. Надумал было заняться продажей швейных машин на комиссионных началах, без жалованья, но, узнав, что в тяжелые времена бедняки не покупают швейных машин, отказался от роли

агента.

Конечно, наряду с такими легкомысленными затеями я готов был наняться чернорабочим или портовым грузчиком куда угодно!

Надвигалась зима, и в армию городских безработных вливались еще и сельские батраки. А тут как на грех я не был членом профсоюза: не до того мне было, когда я гулял по свету или штурмовал высоты наук!

Я брался за все, работал и поденно и почасно. Подстригал траву на газонах, подрезал живые изгороди, выбивал ковры. Пошел держать экзамен на почтальона и сдал лучше всех. Но, к сожалению, вакансий не было, и меня поставили на очередь. В ожидании, пока подойдет моя очередь, я подрабатывал по мелочи то тут, то там. Я начал писать газетный очерк о том, как пропутешествовал в лодке по Юкону, проделав 1900 миль за девятнадцать Дней. Я надеялся получить за это десять долларов, хотя в жизни не писал для газет и не знаю, откуда у меня взялась уверенность, что мне заплатят.

Увы! Первая сан-францисская газета, в которую я послал по почте свой очерк, даже не откликнулась, хотя материал не возвращала. Чем дольше он там лежал, тем крепче я верил, что очерк

принят.

И странная вещь! Одни рождаются счастливчиками, другим судьба преподносит неожиданные подарки. Моя же участь была иной: меня гнала к счастью горькая нужда. Я давно уже отказался от мысли стать писателем. Я писал свой очерк с одним желанием:

заработать десять долларов, больше ничего я не хотел. Десять долларов помогут мне продержаться, пока я получу постоянную работу. Ох, если бы сейчас освободилась вакансия на почте, вот было бы счастье!

Но вакансия на почте все не освобождалась, и никаких перспектив постоянной работы не было; я продолжал заниматься чем попало, а в дни вынужденного безделья начал писать повесть с продолжением страниц на сто для детского журнала "Юс компэнион". За неделю я все закончил и перепечатал на машинке. Видимо, из-за такой спешки мою повесть не приняли.

Пока моя рукопись путешествовала туда и обратно, я взялся за рассказы. Один я продал за пять долларов журналу "Оверленд мансли". За другой получил сорок от журнала "Блэк кэт". "Оверленд мансли" предложил мне семь долларов пятьдесят центов за любой мой рассказ — плата по

напечатании.

И выкупил велосипед, часы и отцовский плащ и взял на про кат пишущую машинку. Заплатил долги в лавки, которые про доставляли мне небольшой кредит. Один португалец-бакалейщик никогда не разрешал мне набирать больше чем на четыре долла ра, а другой, по фамилии Гопкинс, установил лимит в пять долларов.

Как раз в это время меня вызвали в почтовое ведомство Я попал в чрезвычайно затруднительное положение. Постоянное жалованье в шестьдесят пять долларов было огромным соблазном Я не знал, на что решиться. Никогда не смогу простить началь нику почтовой конторы Окленда его отношения ко мне. Я пошел к нему по вызову, надеясь поговорить с ним как с человеком. Я честно выложил ему, как обстоят дела: кажется, я нашел свое призвание, начал я хорошо, но уверенности все-таки не чувствую. Но мог бы он взять следующего кандидата из списка, а меня передвинуть на его место в очереди?

Начальник грубо прервал меня:

— Значит, вы не желаете занять это место?

— Да нет же, — возразил я, — я только прошу вас, разрешите мне подождать!

— Или поступайте сейчас же, или заявите, что

вы отказы ваетесь, ответил он ледяным тоном.

К счастью моему, грубость этого человека вывела меня из себя

— Ладно, отказываюсь, — сказал я.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Так я сжег свои корабли и занялся литературной деятельностью. Боюсь, что я всегда был склонен к крайностям. Я просиживал за столом с рассвета до поздней ночи: писал и перепечатывал на машинке, штудировал грамматику, разбирал произведения и стили разных авторов, читал о жизни известных писателей, стараясь понять причины их успеха. Пяти часов сна мне было достаточно, остальные девятнадцать я работал почти без передышки. Свет в моей комнате не гас до двух-трех часов ночи; заметив это, одна наша добродетельная соседка стала строить догадки в духе Шерлока Холмса: я картежник и поэтому никогда не бываю днем на улице, а лампу в окне выставляет моя мать, чтобы ее непутевый сын находил по ночам дорогу домой.

Для начинающего писателя нет хуже проклятия, чем долгое безденежье, гонорара не шлют, а все, что только можно заложить, уже заложено. Я проходил почти всю зиму в легком костюме, но самый долгий и мучительный период нужды подстерегал меня на следующее лето. Было время отпусков, когда сотрудники редакций

разъезжаются на отдых и никто не занимается рукописями.

Я страдал оттого, что не с кем было посоветоваться. Я не знал ни одного литератора, даже начинающего, ни одного репортера.

Между тем я чувствовал, что добиться литературного успеха можно лишь при том условии, если забыть все, чему нас учили в средней школе и университете. Тогда меня это возмущало, но теперь стало понятно: профессора и преподаватели не были способны научить нас писать так, чтобы увлечь читателей на пороге нового века. Они знали свою классику "Бредущие по снегу", "Сартор Резартус", но для американских издателей в 1899 году это был неходовой товар. Издатели искали произведений на современные темы и готовы были столь щедро платить за них авторам, что если бы университетские профессора умели писать как нужно, они бы бросили свои кафедры.

Я держался кое-как, уломав бакалейщика и мясника подождать с уплатой долга, заложил опять часы, велосипед и отцовский плащ. Зато я работал вовсю, почти не оставляя себе времени для сна. Критики ставят мне на вид, что мой литературный герой Мартин Идеи слишком быстро стал образованным человеком.

Бывший матрос, окончивший лишь начальную школу, стал у меня за три года известным писателем. Критики говорят, что в жизни так не бывает. Но Мартин Идеи — это я! К концу этих трех лет (из которых два я проучился в средней школе и университете, а третий посвятил литературной работе), усиленно и непрерывно занимаясь, я уже печатался в таких журналах, как "Атлантик панели", держал корректуру своей первой книги, готовившейся к лечати издательством Хафтона и Миффлина, заинтересовал своими статьями по вопросам социологии журналы «Космополитен» и «Мак-Клюрс», отказался от сделанного мне по телеграфу предложения стать редактором одного нью-йоркского издательства и помышлял о женитьбе.

Все это требовало большого напряжения. Особенно тяжелым был третий год, когда я учился писательскому ремеслу. В течение этого времени, напрягая свой мозг до предела, систематически не досыпая, я не пил и не ощущал в этом потребности. Алкоголь для меня не существовал. По временам голова плохо работала, но ни разу не показалось, что виски может принести облегчение. Господи! Письмо от издательства, извещающее, что моя работа принята, было самое

верное облегчение! Тоненький конверт, полученный с утренней почтой, вселял куда больше бодрости, нежели полдюжины коктейлей. А если в нем был еще и чек на приличную сумму, то это действовало сильнее самой грандиозной попойки!

Да и вообще в тот период жизни я не знал, что такое коктейль.

Помню, когда вышла моя первая книга, группа знакомых по Аляске устроила в мою честь встречу у себя в Богемском клубе в Сан-Франциско. Мы сидели, утопая в роскошных кожаных креслах, и заказывали напитки. Я понятия не имел, что существует столько разных ликеров и сортов виски. Я никогда не пробовал ликеров, и то, что виски разбавляют содовой водой и пьют со льдом из высоких бокалов, явилось для меня новостью. Я не знал, что название «Шотландское» тоже относится к виски. Мне были известны только напитки бедняков, которые пили вдоль границы и в портовых кабаках: дрянное пиво и еще более дрянное виски, без специальных названий. Я был сконфужен, не зная, что заказать, и лакей чуть не упал в обморок, когда я наконец велел подать красного вина, — это после обеда-то!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

По мере того как я становился признанным писателем, повышалось мое материальное благосостояние и шире становился кругозор. Я заставлял себя писать и перепечатывать тысячу слов ежедневно, включая воскресные и праздничные дни, и по-прежнему усиленно занимался, хотя, пожалуй, несколько меньше, чем прежде. Зато разрешал себе спать по пять с половиной часов — полчасика все-таки прибавил. С деньгами все обстояло благополучно, и я смог больше отдыхать. Я чаще ездил на велосипеде, благо он теперь всегда был дома, боксировал и фехтовал, ходил на руках, занимался прыжками в высоту и в длину, стрелял в цель, метал диск и плавал. Я заметил, что усталому телу требуется больше сна, чем усталой голове. Иной раз после сильного физического напряжения я спал шесть часов, а то и целых семь. Но такое роскошество позволял себе не часто. Столько еще предстояло узнать, столько сделать! Проснувшись после семи часов сна, я чувствовал себя преступником и благословлял того, кто придумал будильник.

Как и прежде, я не испытывал желания пить. Я

все время находился в приподнятом настроении, был преисполнен светлой веры. Я был социалистом, хотел спасти человечество, и никакое виски не могло бы вызвать во мне того душевного подъема, какой порождали социалистические идеалы. Литературные успехи придали более громкое звучание моему голосу — так мне по крайней мере казалось. Во всяком случае, моя репутация писателя собирала большую аудиторию, чем моя репутация оратора. Меня приглашали наперебой разные общества и клубы выступить с изложением своих идей. Я боролся за правое дело, одновременно занимаясь самообразованием и писательством, и был всецело этим поглощен.

Прежде круг моих друзей был очень ограничен. Теперь я стал бывать в обществе. Отовсюду сыпались приглашения, особенно часто на званые обеды, и я завел знакомство и подружился со многими состоятельными людьми. Почти все они пили. Пили у себя дома и угощали меня. Алкоголиками никто из них не считался:

они пили умеренно, и я следовал их примеру в знак своего расположения и благодарности за гостеприимство. Но мне не нравилось пить, я мог спокойно обойтись без этого, и если меня спросят, помню ли я свой первый коктейль или

первый бокал виски с содовой, я чистосердечно отвечу: нет.

Теперь у меня был свой дом. Когда ходишь в гости, надо приглашать и к себе. Видите, как изменился мой жизненный уровень!

В гостях меня поили вином, значит, и я не должен ударить лицом в грязь. Поэтому я завел запасы пива, виски и столовых вин. С тех пор меня никогда нельзя застать врасплох.

И все же в течение всего этого периода я ничуть не стремился к алкоголю. Я пил за компанию, когда пили другие. Мне было совершенно безразлично, какой напиток выбирать. Я слепо подражал другим. Если все пили виски, я пил то же, если все пили пиво или сарсапарель, я и здесь не отставал. Но без гостей я никогда не касался спиртного. В моем кабинете постоянно стоял графин виски, но я целые месяцы, если не годы, понятия не имел, что можно пить в одиночестве.

Придя на званый обед, я замечал приветливо поблескивающий предобеденный коктейль, и не скажу, что не предвкушал удовольствия. Однако я прекрасно обходился и без него, зная, что источник необходимого внутреннего подъема — во мне самом, поэтому один у себя дома вовсе не почитал коктейль перед едой необходимым.

Вместе с тем я помню, ко мне захаживал один очень интересный человек, постарше меня, большой любитель виски. Просиживая с ним вдвоем весь день в моем кабинете, мы опрокидывали рюмку за рюмкой, пока мой друг не приходил в приподнятое настроение, а я тоже чувствовал, что хлебнул лишнего. Вы спросите: зачем я это делал? Не знаю. Вероятно, по старой привычке, по примеру тех дней и ночей, когда в компании взрослых мужчин подростку было стыдно сидеть с пустым стаканом.

А вернее, еще потому, что теперь я перестал бояться Джона — Ячменное Зерно, вообразив, что он мой слуга, а не наоборот.

В этом-то и крылась главная опасность. Я убедил себя, что я хозяин положения: ведь сумел же я сказать ему «нет», когда учился и работал! Хотел — пил, хотел — не пил, пьянеть — не пьянел; а главный мой аргумент был тот, что алкоголь мне совсем не по вкусу. В этот период я пил по той же причине, которая побудила меня пить со Скотти и гарпунщиком, а позднее — с устричными пиратами: я знал, что у мужчин так принято, и хотел выглядеть в их глазах мужчиной. Мои новые знакомые — тоже искатели приключений, но интеллектуального порядка — пьют. Отлично.

Почему же не пить вместе с ними? Мне Джон — Ячменное Зерно не страшен!

Такое представление сохранялось у меня не один год. Иногда я порядком выпивал, но это были исключительные случаи. Это мешало моей работе, а я к работе относился очень ревностно.

Помню, собирая материал для книги о жизни лондонской бедноты, я поселился на Восточной стороне Лондона и, встречаясь с представителями «дна», несколько раз напивался. Потом я готов был себя убить за это. Однако и тут я уступил Джону — Ячменное зерно лишь потому, что забрел опять на путь приключений, где без него — ни шагу.

Бывало, полагаясь на свой опыт и близкое знакомство с этим грешником Ячменным Зерном, я состязался с другими мужчинами, кто кого перепьет. В прошлом это тоже случалось на пути приключений в разных концах земли. Мне тогда казалось, что ставится на карту моя честь. Странная честь, которая заставляет человека пить! Но это нелепое представление не теория, оно воплощается в действиях.

Как-то раз, например, группа молодых и пылких революцио неров пригласила меня в качестве почетного гостя "на кружку нива". На подобных

пирушках я никогда не бывал. Принимая приглашение, я не знал, в чем цель этой встречи. Завяжутся пылкие, взволнованные споры, думал я, кто-нибудь, возможно, выпьет лишнее, но что касается меня, то я буду свято соблюдать меру.

Оказалось, что такие пирушки устраиваются, чтобы разогнать скуку: эти милые молодые люди искали случая потешиться за счет почетных гостей. Я узнал уже потом, что до меня "на кружке пива" у них был в качестве почетного гостя талантливый молодой радикал, человек, не искушенный в пьянстве, и они заставили его напиться, как говорят, в лежку.

Очутившись в их компании и узнав цель приглашения, я почувствовал прилив глупой мужской гордости. Я им покажу, этим молокососам! Увидят, кто из нас здоровяк, кто крепче и выносливее, у кого луженый желудок и упрямая голова! Посмотрим, кто дойдет до скотского состояния, а кто и виду не подаст! Скажите, какие щенки — вообразили, что могут перепить меня!

Пьянка была задумана как состязание на выносливость. А раз ве настоящий мужчина уступит лавры без боя? Бр-р, что за пиво!

Я уже успел за это время привыкнуть к более дорогим сортам.

Но ведь когда-то я пил и такое, и перепивал силачей! А уж этих юнцов наверняка сумею заткнуть за пояс! Итак, состязание нача лось! В нем приняли участие только сильнейшие. Но и они оставляли кружки недопитыми, и только почетный гость должен был пить до дна.

Мои ночные бдения, книги, которые я прочел, мудрость, которую усвоил, все было вмиг забыто и подавлено чудовищной властью атавизма: во мне словно проснулась жадная обезьяна, поднял голову хищный тигр, и они подсказывали одно лишь низменное, скотское желание — перепде-голять других скотов!

Когда пирушка кончилась, я на твердых ногах спокойно вышел на улицу, чего нельзя было сказать о моих любезных хозяевах. Мне запомнился один из них: он стоял на углу и обиженно плакал, отчего я не пьян. Он и представить себе не мог, ценою каких невероятных усилий, порожденных тренировкой прошлых лет, я сохранял сознание, управляя мускулами и подавляя тошноту, говорил нормальным голосом и заставлял свой мозг мыслить логично и последовательно. А все же я тайно ликовал. Они остались в дураках, а не я! Как же не гордиться? Черт возьми, я и поныне горд! Вот что за нелепое существо — человек!

Но на другое утро я уже не написал положенной тысячи слов. Я чувствовал себя больным, отравленным. Это был невыносимый день. После обеда мне предстояло выступление на митинге.

Я выступил и, наверное, говорил отвратительно. Несколько давешних собутыльников сидели в передних рядах и внимательно следили за мной, стараясь, по-видимому, обнаружить во мне эффект нашей вчерашней оргии. Не знаю, что заметили они, но я в них действительно кое-что разглядел и утешал себя мыслью: им сейчас не лучше, чем мне!

Я дал себе зарок больше не пить. И правда, с тех пор ни на какие "кружки пива" меня уже не могли затащить. Я больше не участвовал ни в каких соревнованиях по пьянству. Пить, конечно, приходилось и после, но я соблюдал осторожность и благоразумно отказывался состязаться с кем бы то ни было. Так опытный пьяница приобретает еще больше опыта.

Приведу пример, который подтверждает, что в этот период я пил только ради компании. Я плыл на «Титанике» в Европу.

С самого начала путешествия я подружился с английским телеграфистом и молодым испанцем, младшим компаньоном одной транспорт-

ной фирмы. Они пили только "лошадиную шею" — так назывался безалкогольный прохладительный напиток с кусочком апельсиновой корки или яблочной кожуры. И в продолжение всего пути я тоже пил одну только "лошадиную шею". Если бы мои новые друзья предпочли виски, надо полагать, я пил бы с ними виски. Не вздумайте заключить из этого, что я был слабохарактерным. Нет, мне просто было безразлично. Нравственных уз я не ощущал. Я был молод, силен и бесстрашен, и алкоголь не играл в моей жизни решительно никакой роли.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Но я еще не был готов назвать Джона — Ячменное Зерно своим другом. Чем старше я становился, тем заметнее был мой успех и выше заработок. Чем свободнее я мог путешествовать, тем более настойчиво вмешивался в мою жизнь Джон — Ячменное Зерно. И все же наше знакомство оставалось, если можно так выразиться, шапочным. Я пил, только чтобы поддержать компанию, а в одиночестве не прикасался к бутылке. Иногда я бывал слегка пьян, но считал, что это лишь дань обществу за его радушное отношение ко мне.

Я был еще настолько далек от дружбы с Ячменным Зерном, что даже в приступе отчаяния не подумал воззвать к нему о помощи. У меня были тогда неприятности — житейские и сердечные, о которых здесь говорить не место. Но, кроме того, я переживал трагедию идейного свойства, она-то и сыграла в дальнейшем главную роль.

Со мной случилась довольно обычная история. Я начитался позитивистской философии и слишком долго был позитивистом.

Пыл молодости заставил меня совершить вечную ошибку молодых:

очертя голову пуститься на поиски правды. Я сорвал с нее все покровы и отступил, потрясенный страшным ликом. Так я потерял прекрасную веру во все, кроме человечества, а оно в то время спало непробудным сном.

Длительные приступы пессимизма хорошо знакомы большинству людей, и о них не стоит здесь распространяться. Достаточно сказать, что я тяжко страдал. Я думал о самоубийстве с хладнокровием греческого философа и жалел, что не могу уйти из жизни, у меня на руках была целая семья. Но то был вопрос чисто моральный. Спасла же меня единственная уцелевшая вера вера в народ.

То, за что я боролся, ради чего просиживал бессонные ночи, обмануло меня. Успех я презирал. Слава казалась мне мертвым пеплом. Люди, принадлежавшие к более высоким слоям общества, чем портовые пьяницы и баковые матросы, оказались ужасающе убогими в умственном отношении. Женская любовь стоила не больше всего прочего. Оставались деньги, — но ведь спать-то можно лишь в одной постели, а сотню бифштексов не съешь зараз, хоть ты на них и заработал! Искусство и культура в свете незыблемых фактов биологии казались мне смешными, а

те, кто их представлял, — и того потешнее.

Из всего этого можно заключить, как далеко зашла моя болезнь. От природы я боец. Но цель оказалась недостойной борьбы. Оставался народ. Есть еще за что бороться — за народ!

Но даже тогда, дойдя до предела отчаяния, блуждая во мраке и судорожно нащупывая последнюю нить, которая связывала меня с жизнью, я оставался глух к призывам Ячменного Зерна.

В моем мозгу ни разу не мелькнула мысль, что алкоголь — лекарство. Лживыми посулами он не заставит меня жить! Пуля в лоб — вот единственный выход, говорил я себе, нажми курок — и погрузишься в вечную спасительную тьму. В доме всегда было много виски — для гостей. Сам я его не касался. Я стал бояться своего револьвера. Это совпало у меня с тем периодом, когда я обрел светлый и чистый идеал — народ — и подчинил ему свои желания и волю. Прежде я так мучительно жаждал смерти, что мог бы покончить с собой во сне; теперь, опасаясь этого, я отдал свой револьвер друзьям и просил спрятать его, чтобы мне, в моем бессознательном влечении, не удалось его найти.

Но народ спас меня. Народ приковал меня к жизни. Есть еще за что бороться — вот она, моя

цель! К чертям предосторожность! Смеясь над тем, что предрекали мне редакторы и издатели, являвшиеся источником моей ежедневной сотни бифштексов, дерзко, сам того не замечая, оскорбляя чувства инакомыслящих, я ринулся в бой за социализм. Более умеренные радикалы заявляли, что своим отчаянным, безумным пылом, своей опасной революционностью я на пять лет задержал развитие социалистического движения в Соединенных Штатах. Теперь, когда прошло столько времени, я выскажу, между прочим, свое глубокое убеждение, что я, наоборот, ускорил развитие социализма — по меньшей мере на пять минут!

Народ, а не Джон — Ячменное Зерно спас меня от тяжелой болезни. В период выздоровления мне подарила свою любовь женщина, развеяв мой пессимизм, на который, впрочем, спустя некоторое время меня снова обрек Джон — Ячменное Зерно.

Но теперь я искал правду уже менее ревностно. Мне было страшно сорвать с нее последние покровы даже тогда, когда я уже сжимал их в руке. Я не стремился больше видеть голую правду, наоборот, я подавлял в себе желание увидеть ее опять. А то, что повидал однажды, старался во

что бы то ни стало вытравить из памяти.

И я был очень счастлив. Все шло хорошо, я наслаждался мелочами, а важное старался не принимать всерьез. Читал попрежнему, но без былого увлечения. Я и сейчас продолжаю читать, но ко мне уже не вернется то восторженное юношеское чувство, с которым я раскрывал книгу, надеясь, что она сообщит мне тайны жизни и секреты звезд.

В этой главе я хотел рассказать, что тяжелую болезнь, которая по временам может постигнуть каждого, я сумел преодолеть без помощи Ячменного Зерна. Любовь, социализм, народ — эти Здоровые побудители человеческого сознания вылечили меня и спасли. Пожалуй, нет на свете человека, более чуждого алкоголизму. И все же... Но об этом — в дальнейших главах. Из них станет ясно, какой ценой я заплатил за двадцать пять лет общения с вечнодоступным Джоном — Ячменное Зерно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Вылечившись от тяжелой болезни, я продолжал пить, только когда бывал в компании. Пил, если пили другие и я бывал рядом.

Но незаметно у меня стала расти потребность в алкоголе. Физическая потребность? Нет. Я занимался боксом, плавал, катался на яхте, ездил верхом, наслаждался здоровой жизнью на лоне природы. Медицинская комиссия, перед которой я предстал в связи с желанием застраховать жизнь, дала самую высокую оценку моему физическому состоянию. Теперь, обдумывая прошлое, я полагаю, что возбуждающее действие спиртных напитков было необходимо моим нервам и мозгу. Попытаюсь разъяснить.

Дело обстояло примерно так: физиологически, с точки зрения желудка, виски было мне, как всегда, противно. Я находил в нем не больше вкуса, чем в пиве, которым отравился в пятилетнем возрасте, и в вине, от которого заболел, когда мне было семь лет.

Работая или читая в одиночестве, я не чувствовал желания выпить. Но что-то со мной произошло: то ли сказывался возраст и житей-

ская мудрость, а может быть, и то и другое; то ли появилась старческая вялость, но я перестал испытывать удовлетворение и возбуждение в обществе людей. Светские развлечения, которыми я прежде увлекался, вдруг потеряли свою прелесть, мне наскучило пошлое воркованье дам и напыщенные, высокомерные речи тупых невежд — мужчин. Поделом, нельзя знать так много! Или так мало? Впрочем, это неважно, что бы там ни было, я дорого расплачивался. Факты говорили сами за себя: общение с людьми все меньше радовало и согревало мою душу.

Может быть, раньше я парил в облаках, а может быть, чего-то не разглядел. Но это не было ни истерикой, ни следствием нервного переутомления. Пульс мой был нормален, сердце в превосходном состоянии, легкие — тоже. Врачи страховой компании пришли от них в восторг. Я писал ежедневно свою тысячу слов.

Был пунктуален в делах. С радостью занимался спортом. Спал как младенец. И все-таки…

Стоило мне очутиться на людях, как на меня нападала ужасающая тоска, и я чувствовал, что начинают душить слезы.

Меня не смешили глупые шутки, над которыми смеялись остальные, речи чопорных болванов не

развлекали меня. Я перестал ухаживать за женщинами, под внешней мягкостью и наивностью которых скрывалась примитивная прямолинейность. В достижении своих биологических целей они не останавливались ни перед чем.

как их праматери — самки обезьян; не важно, что потомки ходили уже не в собственной меховой шкуре, а кутались в меха других животных.

Я не был пессимистом, честное слово, нет! Мне просто все надоело. Я слишком часто видел одно и то же, слышал слишком часто одни и те же песни и шутки. Я настолько хорошо знал подоплеку этого "парада муз", знал, как приводятся в движение закулисные механизмы, что никакая великолепная игра, звонкое пение и заразительный смех не могли заглушить в моих ушах назойливый скрип за сценой.

Не следует заглядывать за кулисы: там можно нечаянно увидеть, как тенор — ваше божество — избивает свою жену. Я туда заглянул и платил за это. Может быть, я делал это по глупости.

Причина не играет роли. Важны обстоятельства, а они были таковы, что общение с людьми становилось для меня все неприятнее и тягостнее. Вместе с тем иногда — признаться, в очень редких случаях — мне попадались люди замеча-

тельные (или, быть может, наивные, как я), и мы проводили вместе чудесные часы в мечтах, в этом рае глупцов. Таким замечательным — или наивным — человеком была моя жена. С ней никогда не было скучно, я видел в ней неиссякаемый источник удивления и восхищения. Но я не мог быть всегда только с ней. И было бы несправедливо и неразумно требовать, чтобы она проводила все время исключительно со мной. Кроме того, я выпустил уже ряд книг, пользовавшихся успехом, а общество требует, чтобы писатель уделял ему часть своего досуга. Да и вообще всякому нормальному человеку и для себя самого и для дела необходимо общение с людьми.

Тут-то мы и добрались до сути. Как участвовать в жизни общества, если интерес к этой игре пропал? Звать на помощь Джона — Ячменное Зерно? Лет двадцать пять, если не больше, он терпеливо ждал, пока я его позову. Сотни прежних его уловок не достигли цели — меня спасало железное здоровье и моя счастливая звезда. Но у него было еще многое припрятано про запас.

Я заметил, что несколько коктейлей делали меня снисходительным к пошлостям, изрекаемым глупцами. Два-три коктейля, а когда и один, перед обедом, помогали смеяться от души над

тем, что было давно уже не смешно. Как хлыст, как шпоры коню, был нужен коктейль моему усталому мозгу и тоскующей душе.

Он подстегивал меня, и мне становилось весело, я начинал петь, и смеяться, и болтать с хорошенькими женщинами, и повторять избитые истины, к полному удовольствию самонадеянных посредственностей, которые ничего иного не понимали.

Без помощи коктейля я был неинтересным собеседником, но, выпив, сразу оживал. Подстегнув себя искусственно, одурманив мозг, я становился душою общества. Все началось так незаметно, что даже я, старый знакомый Джона Ячменное Зерно, не догадался, куда это ведет. Вначале мне захотелось вина и музыки, а очень скоро — бешеной музыки и очень много вина.

В эту пору я и заметил, что с нетерпением жду предобеденного коктейля. Мне хотелось его, и я это понимал. Попав в качестве военного корреспондента на Дальний Восток, я зачастил в один дом: не только принимал все приглашения к обеду, но завел привычку регулярно заглядывать туда и среди дня. Хозяйка была очаровательная женщина, но не ради нее я ходил в этот дом. Истина была проще: моя знакомая, как никто в

этом громадном городе, умела приготовлять коктейли, а честность требует сказать, что искусство приготовления алкогольных смесей среди иностранцев здесь было на высоте. Ни в клубе, ни в гостиницах, ни в частных домах таких напитков не подавали. Коктейли в этом доме отличались особенно тонким вкусом. Это были шедевры. Они даже не пахли ненавистным мне спиртом, но зато необыкновенно кружили голову. Однако пил я только ради хорошего настроения. Покинув этот город, я несколько месяцев сопровождал японскую армию на марше, проехав сотни миль мимо рисовых полей и через горные перевалы, пока мы не вступили в Маньчжурию. Но при этом я не пил. В моих вьюках всегда можно было найти несколько бутылок виски, но для себя я не открыл ни одной, даже не вспоминал о них. Разумеется, если в лагерь попадал белый человек, я откупоривал бутылку, и мы, по мужскому обычаю, распивали ее вместе.

Ведь если бы я попал к нему, он сделал бы то же самое: угостил бы меня из своего запаса. Я возил с собой виски для гостей и потому записывал расход на счет газеты, которую представлял.

Теперь, оглядываясь назад, я могу проследить постепенный рост моей тяги к алкоголю. Сигна-

лы были уже тогда — незначительные эпизоды, серьезности которых я не подозревал.

Приведу такой пример: за много лет у меня сложилась привычка проводить каждую зиму шесть или восемь недель в плавании по заливу Сан-Франциско. На моей ходкой яхте "Морская пена" была удобная каюта с печкой. Юноша-кореец готовил мне еду, и я обычно приглашал кого-нибудь из друзей, чтобы разделить с ними прелесть плавания. Пишущая машинка неизменно путешествовала со мной, свою обязательную тысячу слов я печатал ежедневно. В тот раз, о котором пойдет речь, я взял с собой Клаудсли и Тодди. Тодди был у меня на яхте впервые, Клаудсли уже плавал со мной раньше, и я знал его вкус. Он любил пиво, так что я обычно запасал пива, и мы пили с ним вместе.

На этот раз было иначе. Моего второго друга недаром называли Тодди: он умел великолепно готовить пунш, или тодди. Зная это, я припас несколько галлонов виски. Увы, их не хватило!

Пришлось многократно пополнять запасы, так как мы с Клаудсли пристрастились к обжигающему тодди, дьявольски приятному на вкус и чудесно поднимавшему настроение.

Я полюбил этот напиток и стал уже ждать с

нетерпением, когда наш друг начнет обычное священнодействие. Мы пили точно в определенное время: по стакану перед завтраком, обедом и ужином и последний стакан перед сном.

Допьяна мы не напивались, но четыре раза в день нам было очень весело. Когда Тодди неожиданно вызвали по делам в Сан-Франциско, мы с Клаудсли заставили слугу-корейца готовить наш любимый напиток так же регулярно по рецепту, завещанному уехавшим другом.

Но это продолжалось, только пока я был на яхте. Дома я никогда не пил перед завтраком и на сон грядущий. С тех пор я вообще больше не пил горячего тодди, а прошло уже много лет!

И все-таки он мне очень нравился — после него становилось так хорошо и весело! С присущим ему коварством — исподволь и незаметно — тодди вербовал приверженцев в лагерь Джона — Ячменное Зерно. Пока я ощущал только легкий зуд, но ему суждено было перерасти в грозную, неутолимую страсть А я-то, прожив столько лет бок о бок с Ячменным Зерном и смеясь над всеми его тщетными попытками завоевать меня, ничего этого не знал и даже не подозревал!

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

От тяжелой болезни мне помогла излечиться новая способность находить удовольствие в малом — в разных занятиях, не связанных с книгами и важными проблемами. Я забавлялся:

играл в пятнашки в плавательном бассейне, пускал воздушных змеев, возился с лошадьми, решал головоломки. Мне перестала нравиться городская жизнь. Ферма в Лунной Долине показалась мне сущим раем. Больше я не вернусь жить в город! Теперь меня туда влекли лишь музыка, театр и турецкие бани.

Жилось мне очень хорошо. Я много работал, но также много развлекался и был счастлив. Читал я по большей части романы и очень мало серьезных книг. Вообще занимался куда меньше, чем прежде. Меня все еще интересовали основные проблемы всего сущего, но это был, так сказать, интерес благоразумный. Я уже обжегся однажды, пытаясь сорвать покровы, чтобы увидеть голую правду. В моем новом отношении к жизни была чуточка *лжи*, чуточка лицемерия, но это была хитрость человека, желающего жить. Я сознательно закрывал глаза на то, что считал

грубым проявлением биологических законов. В конце концов я лишь старался побороть дурную привычку, изменить неверное направление ума. Повторяю, я был счастлив. Перебирая в памяти свое прошлое и беспристрастно анализируя его, я понимаю, что это, несомненно, был самый счастливый период моей жизни.

Но близилось время расплаты — непонятной, бессмысленной С меня взыскивалось за двадцать лет игры в прятки с Джоном — Ячменное Зерно. К нам на ферму часто приезжали друзья и оставались на несколько дней погостить. Некоторые из них не пили спиртного. Но тем, кто пил, было трудно обойтись несколько дней без алкоголя. Я не мог нарушить законы гостеприимства и лишить их привычного удовольствия. И я завел винный погреб — специально для гостей.

Меня не настолько интересовали коктейли, чтобы я захотел узнать рецептуру этих смесей. Поэтому я договорился с владельцем пивной в Окленде, что он будет приготовлять для меня коктейли большими партиями и присылать их на ферму. Когда гостей не было, я не пил. Но я стал замечать, что, закончив утреннюю работу, радуюсь присутствию гостя, ибо это служит мне предлогом выпить коктейль за компанию.

Впрочем, я был столь далек от алкоголизма, что даже один коктейль поднимал мое настроение. Одного бокала мне было достаточно, чтобы вызвать приятные мысли и смех в предвкушении восхитительного процесса еды. С другой стороны, мой желудок так стойко сопротивлялся алкоголю, что действие коктейля всегда было легким и кратковременным. Однажды кто-то из гостей, не церемонясь, попросил второй бокал. Пришлось и мне повторить.

Вторая порция согрела меня еще пуще первой, смех стал громче и сердечнее. Такие впечатления не забываются. Иногда мне кажется, что я начал пить по-настоящему из-за того, что был очень счастлив.

Помню, мы с Чармиан отправились верхом на прогулку в горы. Слуги были отпущены на весь день, и нам предстояло самим разогреть ужин, когда мы вернулись вечером домой. Мы с удовольствием возились на кухне. Я был наверху блаженства. Книги и высокие истины будто перестали существовать. Тело мое дышало здоровьем, я чувствовал приятную усталость после долгой езды.

День выдался на диво. Вечер тоже. Со мной была любимая женщина, мой лучший друг, мы

с ней пировали в веселом уединении. Никаких неприятностей. Все счета оплачены, и я не знаю, куда деть лишние деньги. Будущее все шире раскрывается передо мной. Как вкусно пахнет мясо на сковородке! Мы громко смеемся, нам весело. Я очень голоден, в предвкушении аппетитного ужина у меня текут слюнки.

Мне было так хорошо, что в глубине сознания вдруг возникла потребность усилить это ощущение. Я был так счастлив, что мне захотелось стать еще счастливее. И я знал, как этого достичь. Меня научили этому тысячи встреч с Ячменным Зерном. Я несколько раз выходил из кухни, и каждый раз содержимое графина с коктейлем уменьшалось на одну порцию. Это дало отличный результат: я не был навеселе, не был пьян, но мне стало еще теплее, еще радостнее. Как ни прекрасна была моя жизнь раньше, сейчас она казалась мне еще прекраснее. Это был один из самых светлых моментов в моей жизни. Но много лет спустя мне пришлось, как вы скоро увидите, расплатиться за него. Такие минуты неповторимы, хотя человек создал неумную басню, будто одинаковые причины всегда вызывают одинаковые результаты. Это вовсе не так. Разве тысячная трубка опиума доставляет такое же наслажде-

ние, как первая? Разве после года пьянства один коктейль так же согревает, как несколько?

Однажды, окончив утреннюю работу, я выпил перед обедом коктейль в одиночестве. С того дня я стал всегда пить бокал перед обедом, даже когда не было гостей. Тут-то он меня и сцапал.

Джон — Ячменное Зерно! Я начал пить регулярно, а главное — пить в одиночестве. Я пил уже не ради вкусовых ощущений, а ради действия, которое произведет на меня алкоголь.

Теперь каждый день перед обедом меня тянуло выпить.

И мне никогда не приходило в голову, что лучше бы воздержаться.

Пью же я за свой счет! Денег хватит и на тысячу порций! Лишь бы захотелось! И что такое один коктейль для человека, который в течение нескольких лет пил куда более крепкие напитки в неограниченном количестве!

У меня на ферме был следующий распорядок дня: с четырех или с пяти часов утра я работал в постели над корректурами, в половине девятого садился за письменный стол, до девяти разбирал почту и тому подобное, а ровно в девять неизменно начинал писать. К одиннадцати — иногда немного раньше или немного позже — моя тыся-

ча слов была готова. Еще полчаса уходило на то, чтобы привести в порядок письменный стол, и на этом мой рабочий день кончался. В половине двенадцатого я ложился в гамак под деревьями и читал письма и газеты. В половине первого я обедал, после обеда плавал или катался верхом.

Раз я выпил коктейль в неурочное время — в половине двенадцатого, перед тем как устроиться в гамаке. С тех пор я стал это проделывать и дальше, причем не отказываясь от обычного предобеденного коктейля. Прошло немного времени, и я заметил, что, сидя за письменным столом, в разгар работы я с нетерпением ожидаю этого коктейля, который можно будет выпить в половине двенадцатого.

Тут-то я впервые понял совершенно ясно, что хочу спиртного. Ну и что за беда? Я не боюсь Джона — Ячменное Зерно! Я к нему давно привык. Я пью с умом и с осторожностью. И никогда больше не буду пить сверх меры. Мне известно, как опасен алкоголь и к чему он приводит. Я помню, как Джон Ячменное Зерно старался меня погубить. Но все это было давным-давно.

Пить до одури? Доводить себя до бесчувствия? Нет! Я хочу, чтобы мне было тепло и радостно, чтобы мне хотелось смеяться, чтобы лучше рабо-

талось, — вот зачем, собственно говоря, я и пью! Я воображал, что властен и над самим собой, и над. Ячменным Зерном.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Увы! Одно и то же возбуждающее средство быстро перестает оказывать прежнее действие. Постепенно я стал замечать, что один коктейль уже не производит на меня должного впечатления.

После одного бокала я не ощущал никакой реакции — ни тепла, яи веселой приподнятости. Чтобы ощутить прежний результат, требовалось уже два или три. А я к этому результату стремился.

Я выпивал первый бокал в половине двенадцатого, направляясь с письмами к гамаку, а через час, перед обедом, осушал второй. Потом я стал вылезать из гамака на десять минут раньше, чтобы успеть пропустить до обеда два коктейля. Итак, это вошло в привычку: три коктейля между работой и обедом. Нет ничего губительнее этой привычки — пить регулярно и наедине с самим собой.

Я охотно пил с гостями, но когда никого не было, пил один.

Затем я сделал следующий шаг. Если гость бывал человеком умеренным, я выпивал два бокала,

пока он пил один: первый — с ним вместе, второй — от него тайком. Второй бокал я пил украдкой и, более того, пил один, даже если у меня в гостях был друг, товарищ, с которым можно было бы выпить вместе. Но Джон — Ячменное Зерно и тут поспешно находил оправдание:

нехорошо навязывать гостеприимство и спаивать гостей. Начнешь уговаривать, он и напьется — много ли ему нужно! Что же остается делать, как не пить второй стакан украдкой: ведь я не виноват, что мне для приятного самочувствия требуется вдвое больше!

Пожалуйста, не сделайте заключения, что я дурак или слабовольная тряпка. По общепринятым понятиям, я преуспел в жизни, и, если не будет нескромным сказать, преуспел необычайно, а для этого понадобилось немало ума и силы воли. Организм у меня железный: он вынес такое, от чего слабые гибнут, как мухи. Однако все, что я рассказываю, — правда, это случилось со мной и с моим хваленым организмом. Это не теория, не отвлеченные схемы, а сама жизнь, лишь подчеркивающая власть Ячменного Зерна. Это порождение варварства мертвой хваткой держит человечество со времен седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая

молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучших, цвет рода людского. А мы все не можем его уничтожить!

Итак, возвращаюсь к своей исповеди. Во второй половине дня я долго и энергично плавал в бассейне, потом совершал великолепную прогулку верхом по горам или по Лунной Долине и возвращался домой в таком изумительном настроении, что жадно хотел еще полнее ощутить свое счастье. Я знал, что для этого надо: коктейль перед ужином. Но не один, а по меньшей мере два-три.

Кстати, почему бы не г? Ведь только так и чувствуешь, что живешь, а я с малотетства юрнчий поклонник жизни! Вскоре эта вечерняя выпивка тоже вошла в привычку.

Теперь я постоянно искал предлога выпить. Предлогом могло служить что угодно: милая компания, легкое раздражение, вызванное разговором с архитектором или с вороватым каменщиком, строившим сарай; гибель любимого коня, распоровшего брюхо о колючую проволоку, приятные вести из редакции, полученные с утренней почтой… На ловца и зверь бежит: повод находился всегда. Властное желание выпить определяло все. Так после двух десятков лет игры в прятки с Джоном — Ячменное Зерно, когда я бе-

гал от него, а если пил, то нехотя, я стал ощущать к нему влечение. И слабость мою породила моя же собственная сила:

если обычному человеку хватает одного бокала, то мне, чтобы почувствовать то, к чему я стремился, нужна в два, три, четыре раза большая порция.

Одно правило я все же соблюдал: не касался спиртного, пока не кончена тысяча слов. Коктейль как бы отделял рабочую часть дня от предстоящего отдыха. Тогда уже работа исключалась из моего сознания. Ни одна мысль о ней не тревожила меня до утра, когда ровно в девять я усаживался за письменный стол и начинал дневное задание. Эту новую способность полностью переключаться я ценил. Стена, воздвигаемая алкоголем, позволяла мне сохранять творческую энергию. Не так уж страшен Джон — Ячменное Зерно, как его изображают! Он оказывает много полезных услуг, и это одна из них.

Я продолжал создавать произведения, исполненные чистоты, здоровья, искренности. В них ни на йоту нет пессимизма. Болезнь указала мне путь жизни. Я понял, что без иллюзий не обойтись, и воспевал иллюзии. Я и сейчас пишу так же: чистые, бодрые, оптимистические произведе-

ния, внушающие любовь к жизни.

И критики не устают уверять меня, что я полон богатырской жизнеутверждающей силы и сам нахожусь в плену иллюзий, положенных в основу моего творчества.

Я отклонился от темы, но мне хочется еще раз спросить себя о том, о чем спрашивал уже много тысяч раз. Зачем я пил? С какой стати? Я был счастлив. Может быть, чересчур счастлив? Я был здоров. Может быть, слишком здоров? Действительно ли у меня было столько лишней энергии? Трудно сказать. Не знаю. Я могу лишь высказать одно предположение, которое кажется мне всего более вероятным: виновата моя длительная дружба с Джоном — Ячменное Зерно. Долго тренируясь, левша может научиться пользоваться правой рукой. Не случилось ли так же со мной? Не стал ли я пьяницей после долгой практики?

Ведь я был так счастлив! Выздоровел, и ко мне пришла любовь. Я зарабатывал больше денег, затрачивая на это меньше усилий. Энергия била во мне ключом. Я спал, как младенец. Продолжал писать книги, имевшие успех, и в политических спорах убеждал моих противников фактами, которые ежедневно воспитывали во мне все больше уверенности в моей правоте. Грусть, пе-

чаль, разочарование ни на секунду не омрачали мою жизнь.

Я был все время счастлив. Жизнь звенела, как радостный гимн.

Жаль было даже тратить время на сон, ибо я тогда лишал себя того наслаждения, которое испытывал наяву. И все-таки я пил.

Джон — Ячменное Зерно уже злорадно потирал руки.

Чем больше я пил, тем больше мне требовалось для достижений моей цели. Приезжая из Лунной Долины в город и обедая в ресторане, я заказывал коктейль, но он не производил на меня никакого действия. Он не возбуждал меня. Уже по дороге в ресторан я был вынужден искать повода выпить. Иногда это были дватри коктейля, а если я встречал друзей, то четыре, пять, шесть — тут уже не приходилось считать. Однажды я куда-то спешил и не успел спокойно выпить несколько бокалов. Меня осенила блестящая мысль: заказать двойной коктейль. С тех пор если я торопился, то заказывал двойной коктейль. Это сберегало время.

В результате обильных и регулярных возлияний я был все время под хмельком. Мой мозг так привык к искусственному подстегиванию, что

без него становился вял и неактивен. Встречаясь с людьми, бывая в обществе, я все больше и больше нуждался в алкоголе. Я мог присоединиться к компании и чувствовать себя на равной ноге с остальными, только когда у меня шумело в голове, и оттого делалось тепло и весело, появлялся интерес и задор, а весь мир словно подергивался радужной пеленой.

Был и другой результат. Оказалось, что Джон — Ячменное Зерно начинает затягивать сети все туже. Он угрожал мне старым недугом, подбивая опять пуститься на поиски правды, сорвать покровы с нее и взглянуть ей в лицо. Я снова начал задумываться о смысле жизни. Но на этот раз все происходило постепенно.

Иногда мне на мгновение становилось страшно. К чему это ведет? Но Джон — Ячменное Зерно — мастер увиливать от ответа.

Он говорит: "Пойдем выпьем, я тебе все объясню!" И он умеет убедить, умеет выбрать примера ради какой-нибудь случай и потом уже не устает о нем напоминать.

Однажды со мной произошло несчастье: потребовалась сложная операция. Как-то утром, неделю спустя после операции, слабый, измученный, я лежал на больничной койке. Загар на

моем лице, обросшем за время болезни бородой, превратился в нездоровую желтизну. Врач стоял у моей постели, собираясь уходить. Он посмотрел неодобрительно на сигарету, которую я держал во рту.

— Это дело надо бросить, — сказал он назидательным тоном. — Вас это погубит. Взгляните на меня!

Я взглянул. Он был примерно моего возраста, сильный, широкоплечий, с живыми глазами и здоровым румянцем во всю щеку. Мужественный, здоровый, превосходный экземпляр человеческой породы.

— Прежде я курил, — продолжал он, — сигары. Но даже от них отказался. И вот результат, видите?

Он говорил убежденно, имея на это полное основание. А через месяц он умер. И умер не от несчастного случая. Его погубили какие-то мудреные палочки, носящие длинное научное название?

Он невыносимо страдал, и много дней мучительные крики этого здоровяка и красавца были слышны на весь квартал. С криком он и умер.

— Видишь, — говорил мне Джон — Ячменное Зерно, — он следил за собой. Даже бросил курить

сигары. И вот конец.

Не слишком приятно, а? А такую заразу можно подхватить где угодно. От нее не убережешься. Твой доктор-здоровяк остерегался, как только мог, а все-таки подхватил! Когда зараза в воздухе, не знаешь, кого она сделает своей жертвой. Может быть, тебя. Подумай, сколько хорошего этот доктор потерял! Так неужели ты хочешь отвергнуть то, что предлагаю я? А вдруг и тебя подстерегает такая же участь? В жизни нет справедливости — это лотерея.

А я скрашиваю жизнь лживой улыбкой и смеюсь над действительностью. Смейся и ты! Тебя ждет такой же конец, смейся, пока можешь. Мир довольно непригляден. Я преображаю его. Жизнь — дрянная штука, если с твоим доктором могло такое приключиться. Спасение лишь в одном: выпей еще стаканчик и забудь про все!

И, разумеется, я пил еще стаканчик — скорее по привычке.

Я пил каждый раз, когда Джон — Ячменное Зерно напоминал мне о происшествии с доктором. Но пил разумно, соблюдая осторожность. Всегда старался выбирать напитки лишь самого высшего качества, избегал скверного виски, которое валило с ног. Между прочим, надо заметить, что

когда человек начинает пить разумно, не теряя рассудка, это значит, что он далеко зашел и дело плохо.

Я продолжал придерживаться своего правила: не пить по утрам, пока не окончу свою тысячу слов. Впрочем, иногда я на день отрывался от работы. В таких случаях я не боялся выпить первый раз довольно рано: ведь я не нарушаю своего правила!

А люди неискушенные еще спрашивают, как это можно привыкнуть пить!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Когда мой «Снарк» вышел из бухты Сан-Франциско в дальнее плавание, на нем не было спиртного (правда, месяцев через шесть мы случайно обнаружили, что это не так). Чтобы приструнить Джона — Ячменное Зерно, я ввел на судне сухой закон.

Отсюда видно, что я все-таки прислушивался к голосу разума, который нашептывал мне слова предосторожности.

Разумеется, я лукавил с собою и лебезил перед Ячменным Зерном. Я призывал на помощь науку, говорил себе, что буду пить только в порту. Во время плавания мой организм будет освобождаться от алкоголя, зато на стоянках выпивка доставит мне больше удовольствия. Виски будет сильнее подстегивать, возбуждать меня и покажется еще вкуснее.

От Сан-Франциско до Гонолулу мы плыли двадцать семь дней.

На второй день я уже не вспоминал Ячменное Зерно. Этим я хочу еще раз подчеркнуть, что по природе своей я не алкоголик.

Иногда во время плавания, предвкушая обеды

и ужины на Гавайских островах (мне уже приходилось там бывать несколько раз), я, разумеется, думал и о напитках, предшествующих трапезам.

Я не скучал по выпивке, а просто подумывал о ней как о неотъемлемой части веселого и очень приятного времяпрепровождения.

Таким образом, я опять убеждал себя, что сам распоряжаюсь Джоном Ячменное Зерно. Хочу — пью, хочу — нет. Все зависит от моего собственного желания.

Около пяти месяцев кочевали мы по Гавайским островам.

На суше я пил, и даже немного больше, чем перед отъездом из Калифорнии. Гавайцы вообще употребляют больше спиртного, чем жители умеренных широт (точнее, широт, удаленных от экватора). А ведь Гавайские острова — только субтропики! Чем дальше мы углублялись в тропики, тем больше пили вокруг, тем чаще пил и я.

С Гавайских островов мы направились на Маркизские.

Мы были в море шестьдесят дней и за все время ни разу не увидели не только земли, но даже паруса или пароходного дымка. Как-то случайно наш кок, наводя порядок в камбузе, нашел клад. На дне рундука с провиантом лежала дюжина

бутылок анжелики и мускателя. Попали они сюда, очевидно, с нашей фермы вместе с домашним вареньем и маринадами. Пролежав шесть месяцев в теплом камбузе, густое сладкое вино стало еще лучше.

Я отхлебнул. Восхитительно! С тех пор раз в день, определив положение судна и заполнив лоцию, я выпивал полрюмки вина.

Эффект был поразительный: я становился добрее, море — еще более прекрасным. Каждое утро, выстукивая в каюте свою тысячу слов, я с нетерпением ждал заветной минуты.

К сожалению, приходилось делиться с другими, а срок нашего плавания оставался неясным. Какая жалость, что бутылок лишь дюжина! Когда все они были выпиты, я даже пожалел, что угощал своих спутников. Меня томила жажда. Скоро ли наконец Маркизские острова?

Когда мы бросили якорь, я уже не владел собой. На островах мы обнаружили несколько белых, множество туземцев, довольно хилых на вид, и дивную природу. Рому было море разливанное, абсента — сколько душе угодно, но ни виски, ни джина. Я отведал рома. Огненное зелье! Ну что ж! Будем пить абсент. К сожалению, пить приходилось в большом количестве: иначе он на меня

совершенно не действовал.

С Маркизских островов мы увезли столько бутылок абсента, что хватило до Таити; а уж там я сделал солидный запас виски — шотландского и американского. Но, пожалуйста, не делайте неправильных выводов! Я не был пьяницей в общепринятом смысле: не шатался, не терял рассудка. Человек опытный, привычный, здоровый по природе не позволит себе пасть так низко.

Он пьет для бодрости, для хорошего настроения, и только. Он тщательно остерегается тошноты и головной боли от перепоя, боится стать беспомощным и уронить свое достоинство в глазах окружающих.

Человек привычный доводит себя до легкого опьянения, и у него все получается тихо, мило и прилично. Он пьет круглый год, и ему все сходит с рук. В Соединенных Штатах сотни людей пьют в клубах, в гостиницах, у себя дома, они никогда не бывают пьяными и в то же время всегда навеселе. Если им это сказать, они категорически запротестуют. Они думают, как когда-то думал я, что сами распоряжаются Джоном — Ячменное Зерно, а не наоборот.

Во время плавания я сдерживался, зато вознаграждал себя на берегу. Но в тропиках я почув-

ствовал усиленную потребность в алкоголе. То, что там белые очень много пьют, всем известно.

Тропики вообще не подходящее место для белых. Светлая кожа не защищает их от ослепительно яркого солнца. Ультрафиолетовые и другие невидимые глазу лучи солнечного спектра сжигают и разрушают ее. Так сжигали и разрушали рентгеновские лучи кожу первых экспериментаторов, не догадывавшихся об опасности.

У белых людей в тропиках резко портится характер. Они становятся жестокими, безжалостными, совершают чудовищные злодеяния, которых в жизни не совершили бы в привычном, умеренном климате. Они становятся нервными, раздражительными, безнравственными и пьют — пьют сверх всякой меры. Пьянство — одна из форм деградации, которой подвергаются белые, находящиеся слишком долго под действием раскаленного солнца. Потребность в алкоголе усиливается помимо их воли. Белым нельзя долго жить в тропиках. Там они обречены, и пьянство лишь ускоряет их гибель. Но никто об этом не думает. Все пьют.

Я тоже заболел от солнца, хотя пробыл в тропиках сравнительно недолго. Я пил там вовсю,

впрочем, хочу сразу оговориться, что заболел и прервал путешествие на «Снарке» не по этой причине. Я был силен как бык и много месяцев боролся с болезнью, которая разрушала мою кожу и нервные ткани. Плавая под тропическим солнцем вдоль Ново-Гебридских и Соломоновых островов, лавируя между коралловыми атоллами Лайна, я работал за пятерых, несмотря на малярию и мелкие неприятности вроде библейской серебристой проказы. Вести судно сквозь рифы, мели и проливы, вдоль неизведанных берегов коралловых морей — само по себе тяжелый труд. На яхте не было штурмана, кроме меня.

Среди моей команды не нашлось никого, с кем я мог бы посоветоваться и проверить свои наблюдения, оказавшись в непроглядной мгле среди рифов и мелей, не нанесенных на карту. Я бессменно стоял на вахте. Доверить судно было некому. Иногда приходилось выстаивать сутки напролет, а отдыхать уж йотом, урывками.

Я был капитаном и боцманом. Третьей моей обязанностью было лечение больных, и, признаться, это занятие на «Снарке» тоже оказалось не из легких. На борту все болели малярией, настоящей тропической малярией, которая может убить человека в три месяца. Весь мой экипаж

страдал от кожных язв и чесотки.

Повар-японец от всех этих бед сошел с ума. Один из матросовполинезийцев чуть не умер от черной лихорадки. Да, работы было по горло: я давал лекарства, перевязывал раны, рвал зубы и спасал от пустяков вроде пищевого отравления.

Четвертой моей обязанностью было писать ежедневно свою тысячу слов. И ее я выполнял регулярно, за исключением тех дней, когда приступ малярии валил меня с ног или бурые шквалы налетали на «Снарк». Была у меня и пятая обязанность: как путешественник и писатель, стремившийся все повидать и запомнить, я должен был систематически вести дневник. Шестая, последняя, заключалась в том, что, как владелец яхты, я выполнял, так сказать, официальные функции, когда мы прибывали в незнакомые дальние места, где появление судна — целое событие. Мне приходилось принимать гостей у себя на яхте, посещать плантаторов, торговцев, губернаторов, капитанов военных судов, патлатых туземных вождей и премьер-министров, которые иногда оказывались счастливыми обладателями ситцевой набедренной повязки.

Разумеется, я пил. Пил, принимая гостей, и пил, когда меня принимали. Пил наедине. Работая за

пятерых, я считал себя вправе выпить. Алкоголь нужен человеку, работающему сверх сил. Я заметил, как он действует на мою команду. Поднимая якорь с глубины в сорок морских саженей, люди уже через полчаса выбивались из сил и дрожали всем телом, стараясь отдышаться.

Добрая порция рома вмиг восстанавливала их работоспособность.

Весело крякнув, вытерев рот ладонью, человек вновь принимался за дело. Я убеждался в чудодейственной силе рома и в других случаях, например когда приходилось между приступами малярии работать по шею в воде, накренив яхту набок, чтобы устра нить повреждение.

Еще одна черта многоликого Джона! Внешне он будто бы тебя спас и ничего не потребовал взамен. Помог восстановить иссякшие силы, поднял на ноги, и ты опять готов работать.

Некоторое время действительно ощущаешь приток свежих сил.

Помню, я однажды нанялся грузить уголь на океанский пароход.

Работа была адская, и восемь дней нас, грузчиков, поддерживали тем, что поили виски. Мы трудились полупьяные. Без виски мы бы не справились с этой работой.

Сила, которую дает Джон — Ячменное Зерно, не мнимая, а подлинная. Извлекается она из обычных источников силы, и за нее в конечном счете нужно расплачиваться, да не как-нибудь, а с процентами. Но разве измученный трудом человек станет заглядывать вперед? Он принимает это чудесное превращение как нечто естественное. И усталый коммерсант, и работник умственного труда, и выбившийся из сил чернорабочий — все они, поверив лжи Ячменного Зерна, становятся на путь, ведущий к смерти.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Я приехал в Австралию и лег в больницу, чтобы подлечиться, а потом продолжить путешествие. Пробыв там несколько недель, я ни разу не вспомнил об алкоголе: знал, что он никуда от меня не денется! Но, выписавшись из больницы, я убедился, что от главного меня не вылечили. Серебристая проказа так и осталась.

Таинственная солнечная болезнь, которую австралийские врачи лечить не умели, по-прежнему разрушала кожу. Меня все еще трепала малярия; страшные приступы валили меня с ног в самые неожиданные моменты. Из-за нее пришлось отказаться от лекционной поездки по городам Австралии, на которую я было согласился.

Итак, я отказался от плавания на «Снарке» и решил сменить климат на более прохладный. Выйдя из больницы, я в тот же день принялся пить как ни в чем не бывало. За едой пил вино, а перед едой — коктейли. Пил виски с содовой, если его предпочитали мои собутыльники. Я чувствовал себя полным властелином Ячменного Зерна: захочу — напьюсь, захочу — брошу — и

гордо думал, что именно так будет всю жизнь. Некоторое время спустя я поехал на крайний юг Тасмании, к 43° южной широты: там было прохладнее. Спиртных напитков там не было, но это для меня не имело значения. Я не пил и нисколько не огорчался по этому поводу.

Наслаждаясь прохладой, я ездил верхом и ежедневно писал свою тысячу слов, за исключением тех случаев, когда меня с утра выводил из строя жестокий приступ малярии.

Пусть никто не подумает, что причиной моей болезни было злоупотребление алкоголем. Ведь и мой слуга, японец Наката (он и поныне живет у меня), болел тропической лихорадкой.

Чармиан тоже, причем она заболела еще и тропической неврастенией, от которой избавилась лишь после нескольких лет лечения в умеренном климате. Однако ни она, ни Наката в рот не брали спиртного!

Вернувшись в Хобарт-Таун, где можно было достать виски, я снова взялся за старое. В Австралии повторилась та же история.

А вот возвращаясь на пароходе, капитан которого был трезвенником, я не притронулся к виски все сорок три дня пути. В Эквадоре, прямо под лучами экваториального солнца, где люди

умирают от желтой лихорадки, оспы и чумы, я сразу же начал пить, и пил все, что попадалось под руку, лишь бы опьянеть. Я не заболел ни одной из местных болезней, Чармиан и Наката тоже, хотя они ничего не пили.

Влюбленный в тропики, несмотря на все беды, которые они мне причинили, я по пути делал остановки в разных местах и не скоро еще добрался до родной Калифорнии с ее чудесным умеренным климатом. Но где бы ни заставало меня утро — в плавании или на суше, — я выполнял свое ежедневное задание:

тысячу слов. Малярия теперь реже давала себя знать, кожные язвы рубцевались, и я пил вовсю, как положено здоровому, сильному мужчине.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Вернувшись к себе на ферму, в Лунную Долину, я продолжал систематически пить. Мой распорядок исключал алкоголь только утром: первый стакан я выпивал, лишь окончив свою тысячу слов. После этого и до обеда я уже не считал стаканов и был все время под хмельком. Перед ужином я снова подкреплялся.

Пьяным меня никто не видел по очень простой причине: я и не был пьян. Но навеселе обязательно — дважды в день. Если бы другой, непривычный человек пил столько каждый день, он наверняка давно протянул бы ноги!

Старая история! Чем больше я пил, тем больше мне было нужно для достижения желаемого действия. Вскоре меня уже перестали удовлетворять коктейли. Мне было некогда возиться с ними, да и желудок мой столько не вмещал. Виски действовало куда сильнее. Его требовалось меньше, а результат был ощутимее. Теперь мою предобеденную порцию составляло пшеничное или ржаное виски, смеси выдержанных вин, а в конце дня — виски с содовой.

Прежде я всегда превосходно спал, теперь мой

сон испортился. Бывало, если я проснусь среди ночи, то начну читать и снова засыпаю. Теперь это уже не помогало. Я мог читать два часа и даже три, но сон не приходил. Навевало его только виски, да и то рюмки три, не меньше.

После этого до утра уже оставалось так мало времени, что алкоголь не успевал переработаться в организме, и я просыпался с ощущением сухой горечи во рту, с головной болью и спазмами в желудке — в общем, чувствовал себя прескверно. Похмелье, как у всех заядлых пьяниц! Для бодрости срочно требовалось что — нибудь выпить. И Джон — Ячменное Зерно, уже сумевший втереться ко мне в доверие, не медлил. Итак, выпивка перед завтраком — для аппетита. Я приобрел в это время еще одну привычку: держать возле постели кувшин с водой — и пил по ночам, чтобы умерить жжение и сухость во рту.

Мой организм находился под непрерывным воздействием алкоголя. Я не разрешал себе передышки. Уезжая в какоенибудь глухое место и не зная, смогу ли достать там виски, я брал с собой из дому кварту, а подчас и несколько кварт. Прежде меня поражало, когда это делали другие. Теперь я сам так поступал не краснея! Все мои мудрые правила летели к чертям, когда я оказывался в

мужской компании. Я дружно пил со всеми вместе то же самое и в том же количестве, что и они.

Во мне горел ненасытный огонь. Пламя поддерживалось изнутри и разгоралось все ярче. В течение дня не было ни минуты, когда бы мне не хотелось пить. Я начал отрываться от работы, чтобы осушить стакан, написав пятьсот слов. А вскоре и вовсе не приступал к работе, пока не выпью.

Я очень хорошо понимал, чем все это грозит, и положил себе за правило не пить, пока не кончу писать. Но тут возникло неожиданное дьявольское осложнение. Без алкоголя работа уже не шла.

Не выпив, я не мог писать. Я начал бороться с этим. Вот она, мучительная жажда, — которой я не знал раньше! Я сидел за письменным столом, брал в руки перо, вертел бумагу, но слова не шли.

В мозгу была одна лишь мысль: против меня в буфете стоит Джон Ячменное Зерно. Отчаявшись, я наливал себе виски, и тогда колесики в мозгу возобновляли работу, и я отстукивал тысячу слов на машинке.

В своем городском доме в Окленде я прикончил все запасы и решил больше их не пополнять. Это

не помогло, ибо, к сожалению, на нижней полке буфета еще оставался ящик пива. Тщетно пробовал я работать, уверяя себя, что пиво — жалкий заменитель сильнодействующих средств, что я не люблю его. Мысль об этом ящике не давала работать. И только когда я выпил полкварты, появились нужные слова. Но мне пришлось многократно повторить эту порцию, прежде чем тысяча слов легла на бумагу.

Хуже всего было то, что от пива у меня делалась ужасная изжога, впрочем, несмотря на это, я довольно быстро разделался с ящиком.

Теперь на полках было пусто. Я не пополнял запасов. Совершая героические усилия над собой, я все-таки вернулся к правилу писать свою ежедневную тысячу слов без помощи алкоголя. Но, пока я писал, жажда все больше и больше разгоралась. Едва поставив точку, я выскакивал из дома и мчался в город выпить.

Господи! Если Джон — Ячменное Зерно мог так поработить меня, чуждого ему по природе, как же должен страдать настоящий алкоголик, который старается подавить свою органическую потребность в алкоголе и не находит никакого понимания и сочувствия у близких — те лишь презирают и высмеивают его!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Но никуда не денешься от расплаты. Джон — Ячменное Зерно стал взыскивать с меня по старым счетам — и не столько с тела, сколько с души. Вернулась прежняя тяжелая болезнь — недуг чисто психического свойства. Давно забытые призраки прошлого снова подняли голову. Но теперь они были иными — гораздо более страшными. Прежде они были порождением ума, и я сумел их победить нормальной здоровой логикой. Теперь же их воскресила Белая Логика Джона — Ячменное Зерно, а уж он не позволит похоронить свои призраки! Заболев пессимизмом, алкоголик должен пить еще больше — другого лекарства Джон — Ячменное Зерно, несмотря на обещания, дать не может.

Как описать Белую Логику тем, кто с ней не знаком? Пожалуй, прежде всего нужно сказать, что сделать это едва ли возможно. Возьмем для примера Страну Гашиша, страну огромную и древнюю. В прошлом я совершил туда два незабываемых путешествия. Мне врезались в память все подробности моих странствий.

Однако тщетными оказываются мои попытки

описать свое паломничество, пусть даже самый мелкий эпизод, людям, которые там не побывали.

Прибегая к самым гиперболическим ярким сравнениям, я говорю своим слушателям: целые века немыслимых страданий, бездны ужаса можно испытать в промежутке между двумя нотами джиги, исполняемой на рояле. Я бьюсь целый час, стараясь описать один только штрих из жизни этой Страны, но в конце концов вижу, что меня не поняли. А если я не способен передать слушателям даже впечатление об одной из всех виденных мною удивительных и страшных вещей, то, конечно, они не получат ни малейшего представления о Стране Гашиша в целом.

Зато стоит мне заговорить с человеком, побывавшим в этих фантастических краях, и мы сразу поймем друг друга. Одна фраза, одно слово мгновенно вызовет в его мозгу те образы, о которых мне за несколько часов так и не удалось дать представление людям, которые там не были. Так же обстоит дело и с царством Джона — Ячменное Зерно, где правит Белая Логика. Тем, кто ни разу не ступал туда, рассказ странника покажется непонятным и фантастическим. Мне остается лишь попросить их принять мои слова на веру.

Алкоголь вселяет в человека роковые предчувствия, и здесь трезвый уступает пьяному. Истины бывают в этом мире разные:

одни более правдивы, другие — менее, а некоторые совершенно ложны, но именно они полезнее всех остальных, потому что все живое хочет жить. И ты, мой неискушенный читатель, сразу поймешь, как кощунственно и безумно царство Ячменного Зерна, о котором я пытаюсь рассказать языком его приверженцев. Я знаю, что этот язык тебе чужд, ибо все такие, как ты, трезвенники решительно избегают дорог, ведущих к смерти, признавая только дороги жизни. На свете много разных дорог и разных истин. Но будь терпелив Возможно, моя речь покажется тебе косноязычной, но, может статься, ты и уловишь очертания неведомых стран, поймешь хотя бы отдаленно людей иного склада.

Да, алкоголь говорит правду, но эта правда далека от привычных норм. Нормально то, что способствует здоровью и, следовательно, жизни. Нормальная правда — это правда низшего порядка.

Взгляните на рабочую лошадь. Как ни безотрадно ее существование, бедняга с первого до последнего дня, неизвестно почему, верит, что

все на свете прекрасно, что ярмо полезно. Инстинктивный страх внушает ей, что нет ничего ужаснее смерти, что жизнь — это благо, что со временем, когда сил станет меньше, ее не заставят работать, не будут хлестать и понукать, что старость все почитают и ценят. На самом же деле водовоз запряжет костлявую старую клячу и заставит таскать непосильно тяжелую бочку, и страдалица прослужит покорно и безропотно до последнего вздоха. А потом? Потом ее свезут на живодерню, и тощая плоть, упругие кости, соки, нервы и ферменты пойдут на кожи, птичий корм, клей и удобрения. Пока же теплится жизнь, несчастная кляча должна принимать на веру правду низшего порядка — правду жизни, ибо без нее всякое существование стало бы невозможным.

Эта лошадь, как и ее сестры и все прочие животные, включая человека, ослеплена и оболванена. Жить любой ценой! Жизнь хороша, несмотря на все страдания, несмотря на то, что впереди — неизбежный конец. Такого рода истина необходима не для природы, нет, но для живых существ, которым суждено пробыть на земле недолгий срок и погибнуть. Как ни ошибочна низшая правда, ее суть остается разумной и здоровой: если

хочешь жить, сохраняй веру в жизнь!

Из всех животных только человеку дано мыслить. Страшная способность! Силою ума человек проникает в суть вещей, видит лицом к лицу вселенную, нагло равнодушную к нему и его мечтам.

Ему это доступно, но в то же время и опасно. Чтобы жить жадно, полно, трепетно, надо быть слепым и верить только чувствам. Что хорошо, то и правда. Только такая правда нужна, хотя она и низшего порядка, только ею должен руководствоваться человек, отвергая все остальное Он должен принимать за чистую монету обман ума и чувств, должен верить лживым признакам страсти.

Так обычно человек и поступает. Опасно видеть темные стороны жизни, ее пустоту и бесплодие, пугаться собственной похоти и алчности. Многим удалось мельком взглянуть на правду иного порядка, на высшую правду, и они отступили в испуге. Очень многие переболели этой тяжкой болезнью, выжили и рассказали другим, а сами тут же забыли о ней навсегда. Они живут. Они поняли истину, потому что в них самих и заключается жизнь. Они правы.

Как же действует Джон — Ячменное Зерно? Он

приносит проклятие тем, кто одарен воображением, кто страстно и горячо любит жизнь. Ячменное Зерно шлет им Белую Логику, апостола высшей правды, врага жизни, жестокую и холодную, как межзвездные пространства, как труп, как лед неопровержимых доказательств и незабываемых фактов. Джон — Ячменное Зерно не хочет, чтобы мечтатель грезил, чтобы живущий жил. Он разит живых и превращает в ничто парадокс бытия, пока его жертва не возопит, как в "Городе страшной ночи": "Наша жизнь — обман, наша смерть — темная бездна". И тот, кого Ячменное Зерно избрал своей жертвой, вступает на дорогу смерти.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Но вернемся к рассказу о моей жизни и о том, какое влияние оказала на меня в прошлом Белая Логика Ячменного Зерна.

На прелестной ферме в Лунной Долине, отравленный длительным пьянством, я одержим мировой скорбью — горьким наследием смертных. Тщетно стараюсь я понять причину своей тоски.

Я сплю в теплой постели. Надо мною прочная кровля. В доме полный комфорт. Пища — любая, какую только душа пожелает.

Физически я совершенно здоров. Машина, так сказать, работает отлично. Ни мозг, ни мускулы не переутомлены работой. Я владею землей, у меня есть деньги, я добился литературного успеха, пользуюсь влиянием и чувствую, что вношу свою лепту в дело служения ближним. Со мной рядом подруга, которую я люблю.

У меня есть дети — плоть от моей плоти. Я честно выполняю свой долг гражданина. Я построил дом, и не один, а несколько, вспахал много сотен акров земли. А деревья, — не я ли посадил сто тысяч деревьев? Из любого окна в моем доме

видны их стройные стволы и кроны, тянущиеся ввысь, к солнцу.

Моя жизнь, безусловно, сложилась счастливо. Вряд ли из миллиона найдешь сотню таких, которым повезло, как мне. И все же, несмотря на все успехи, мне тоскливо. Я тоскую оттого, что со мной Ячменное Зерно, я не виноват, что родился в такое время, которое наши потомки, люди эпохи разума, будут называть темными веками варварства. Джон — Ячменное Зерно увязался за мною, когда я был молод и глуп. Он был доступен, он манил меня на каждом углу, на каждом перекрестке. Псевдоцивилизация, при которой я жил, разрешила и узаконила торговлю этим зельем, отравляющим душу. Жизнь была устроена так, что меня и миллионы таких, как я, влекло, тянуло, а подчас и поневоле гнало в кабак.

Разделите со мной один из миллионов приступов тоски, которые нагоняет Джон — Ячменное Зерно! Я объезжаю свои прекрасные владения. Я сижу на великолепной лошади. Воздух пьянит, как вино. Виноградники на покатых холмах пылают осенними красками. Над горою Сонома собирается морской туман.

В тихом небе догорает вечернее солнце. У меня есть все, чтобы считать себя счастливым. Я живу.

Я полон грез и тайн. Я весь пропитан солнцем, воздухом и светом. Все во мне живучее, здоровое. Я двигаюсь, управляю движениями существа, на котором сижу верхом. Я горд оттого, что живу, оттого, что познал страсть и вдохновение. У меня есть еще тысячи других причин гордиться.

Я властитель царства разума, я попираю все ничтожное копытами своего коня…

А между тем, глядя на изумительную красоту, открывающуюся моему взору, я ощущаю горечь. Да, жалок ты, человек, среди этой природы, которая существовала до тебя и будет существовать, когда тебя не станет! Сколько людей хлебнули горя, трудясь здесь в поте лица, не щадя сил, прежде чем эта упрямая почва стала плодоносной. А теперь она перешла ко мне. Да разве вечное может быть достоянием смертных? Эти люди умерли. Умру и я. Они трудились, корчевали пни, копали и сеяли и, расправляя онемевшие спины, глядели, как я, на такой же закат, на те же осенние краски, позолотившие виноградные гроздья, на тот же клочковатый туман, выползающий из-за гор. Их нет. И я знаю, что мне тоже скоро конец.

Конец? Он уже начался. У меня во рту хитроумное приспособление дантиста, заменяющее мне часть зубов. Кулаки мои тоже не те, какими

были в молодости. Былые драки и потасовки лишили их силы. Правую руку я повредил, когда стукнул по голове какого-то парня, имя которого сейчас и не вспомню. Левую тяжело поранил, обороняясь в другой отчаянной драке. Никто сейчас не поверит, что у меня был поджарый живот спортсмена. Да и ноги не те: я не жалел их, когда бешено работал и по ночам устраивал безумные оргии, сказались теперь все кровоподтеки и растяжения. Никогда уже не смогу я раскачиваться на головокружительной высоте, уцепившись за канат среди кромешной тьмы и воя шторма. Никогда больше не буду гнать собачью упряжку по бескрайней снежной пустыне Арктики.

Я знаю, что под моей распадающейся плотью, которая начала умирать с минуты, когда я появился на свет, — скелет, что под мясистым покровом, который называется лицом, — костлявый прообраз Курносой. Но я не боюсь. Бояться — значит быть здоровым. Страх смерти усиливает желание жить. А я болен — Белая Логика лишила меня этого страха. В том-то и суть проклятия Ячменного Зерна, что ты дерзко смотришь смерти в лицо и презираешь иллюзии жизни.

Я озираюсь вокруг и всюду вижу одно и то же безжалостное непрерывное разрушение —

результат естественного отбора. Белая Логика заставляет меня снова раскрыть заброшенные книги и — слово за словом, параграф за параграфом — педантично развенчивает поэзию и красоту жизни. Все суета и тлен! Вокруг меня все гудит и жужжит, но я знаю, что это копошится жалкая мошкара, старающаяся изо всех сил, чтобы ее писк был услышан., Я возвращаюсь домой. Надвигаются сумерки. Ночные хищники выходят на охоту, и повторяется душераздирающая трагедия жизни: сильный пожирает слабого. Мораль отсутствует. Она есть только у человека, это он придумал целый кодекс поведения для охраны жизненных порядков, то есть низшей правды. Для меня в этом нет ничего нового — я еще в пору своей мучительной болезни узнал эти высокие истины, но заставил себя их забыть.

Они были так серьезны, что я отказывался принимать их всерьез, играл с ними боязливо и осторожно, словно то были злобные псы, которых опасно дразнить. Я лишь касался их и был достаточно умен и хитер, чтобы их не будить. Зато теперь Белая Логика их смело будит: она отчаянная, ей не страшны земные кошмары.

"Пусть осуждают меня философы всех школ, — нашептывает она мне по дороге домой, — я не

боюсь! Я истина. Ты это знаешь.

Тебе не одолеть меня. Говорят, что я пособница смерти. Допустим.

Жизнь лжет, чтобы люди хотели жить. Жизнь — непрерывная ложь, безумная пляска в царстве зыбких теней, где плавают, вздымаясь и опадая, призраки нездешних миров, прикованные колесами лун. Призраки. Тени. Жизнь — страна теней, тени меняются, растворяются во мгле, переходят одна в другую; вот они здесь, вот уже исчезли, они мерцают, бледнеют, гаснут и снова появляются, меняя свой облик. Ты сам такой же призрак, потомок бесчисленных призраков прошлого. Все твои знания — мираж, все желания тоже. Мириады безыменных призраков из поколения в поколение передавали эти желания, которые вселились в тебя, а от тебя перейдут к бесчисленным поколениям призраков будущего. Жизнь быстротечна, жизнь — лишь видение. Ты сам не что иное, как видение. Призраки прошлого, вселившего в тебя, помогли тебе, постепенно меняя формы, превратиться из амебы в то, что ты есть. Ты начал жизнь свою лепетом и с этим лепетом исчезнешь, растворишься в призраках, которые придут тебе на смену".

Что возразить? Окутанный вечерней мглой, я

продолжаю путь и презрительно думаю о жизни, которую Конт назвал Великим Фетишем. Вспоминаю изречение другого великого пессимиста:

"Все преходяще. Из земли ты вошел, и в землю сойдешь, и возрадуешься покою".

Но вот человек, которому покой не сладок; из мглы вырисовывается фигура и движется в мою сторону. Это старик рабочий с моей фермы, выходец из Италии. Он раболепно снимает передо мною шапку, ибо в его глазах я поистине царь и Бог. Я даю ему хлеб и кров, от меня зависит вся его жизнь. Он работает как вол изо дня в день, а живет хуже, чем лошади в моей конюшне, где всегда постлана свежая солома. Труд искалечил его. Он ходит, едва волоча ноги, он кособок, у него узловатые руки и пальцы безобразно скрючены. Не очень-то красивый призрак! И мозг его так же изуродован, как тело.

"По своей глупости он и не подозревает, что он призрак, — издевается Белая Логика. — Он верит лишь чувствам. Он раб обмана, именуемого жизнью. Его голова набита навязчивыми идеями. Он верит в загробную жизнь. Он наслушался поповских бредней, сулящих ему райское блаженство, неверное, как мыльный пузырь. Он хочет видеть себя бестелесным духом, витающим в межзвезд-

ном пространстве. Он непоколебимо убежден, что вселенная создана для него и что ему суждено остаться бессмертным в некоем сверхчувственном мире теней, воздвигнутом им же самим и ему подобными из обманов и иллюзий.

Но ты, человек просвещенный, начитанный, ты, кому я доверила свои страшные тайны, ты-то знаешь, каков он на самом деле — этот твой земной брат — злая шутка природы, химический фокус, одетый в платье зверь, сумевший возвыситься над остальным звериным миром по той счастливой случайности, что задние лапы у него оказались более устойчивы. Он брат не только тебе, но горилле и шимпанзе. В гневе он колотит себя в грудь, дрожит и рычит в безудержной ярости. Им управляют чудовищные звериные побуждения, он весь состоит из обрывков неосознанных древних инстинктов".

"Но он верит в бессмертие! — пытаюсь слабо возразить я. — Ведь это великолепно: такой болван, а, видишь, оседлал время, вообразил себя вечным!"

"Ба, — прерывает меня Белая Логика. — Не хочешь ли ты захлопнуть книги и поменяться местами с этим рабом желудка и похоти?"

Я стою на своем: "Но глупцы ведь счастливы!"

"Значит, и твой идеал счастья такой же, как у медуз, которые всплывают во мгле на поверхность недвижного теплого моря?»

Да уж, если Джон — Ячменное Зерно избрал тебя жертвой, ты его не переспоришь!

"Один шаг — и ты у благословенной Нирваны буддистов, — заключает Белая Логика. — Ну, вот ты и дома. Полно, не унывай!

Выпей! Мы с тобой люди просвещенные, мы знаем, что все суета сует!"

В моем кабинете, уставленном шкафами с книгами, в этом мавзолее человеческой мысли, я наливаю себе виски, потом снова и снова, и вот из бездонных глубин моего сознания вырываются "разбуженные мною псы". Ату! и они перепрыгивают через барьеры закона и предрассудков, пробиваются сквозь лабиринты религии и суеверия.

"Пей, — уговаривает Белая Логика. — Древние греки верили, что вино придумали бохи, чтобы смертные нашли в нем забвение.

Вспомни, что сказал Гейне".

Да, я помню слова этого пылкого еврея: "Все кончается с последним вздохом: и радость, и горе, и любовь, макароны и театр, зеленые липы и малиновые леденцы, власть человеческих отно-

шений, сплетни, собачий лай и шампанское".

"Твой яркий свет — болезнь, — говорю я Белой Логике, — ты все лжешь".

"Потому, что говорю жестокую правду?" — парирует она.

"Увы, это так, в мире все перепутано и запутано", — печально соглашаюсь я.

"Лиу Лин был мудрее тебя, — издевается Белая Логика. — Помнишь его?"

Я киваю головой: да, я помню Лиу Лина, знаменитого пьяницу, одного из поэтов, которые жили в Китае много веков тому назад и называли себя "Семь мудрецов бамбуковой рощи".

"Ему принадлежит высказывание, — шепчет Белая Логика, — что пьяному мирские тревоги — что водоросли на реке. Так выпей же еще и поверь: все эти иллюзии и обманы — такие же водоросли".

Пока я прихлебываю новую порцию виски, мне вспоминается еще один китайский философ, Чаь Цзы, который за 400 лет до Рождества Христова бросил вызов сонному миру: "Как мне знать, не жалеют ли мертвецы о том, что когда-то цеплялись за жизнь?

Того, кому снится пир, наутро ждут горе и слезы; того, кому снятся горе и слезы, ждет веселье.

Во сне они не знают, что спят.

Иные пытаются разгадать свой сон и, лишь проснувшись, узнают, что все пригрезилось... Глупцу кажется, что он не спит, и он утешает себя лестной мыслью, будто знает, кто он: король или бедный крестьянин. И ты сон, и Конфуций сон, и я, говорящий вам, что вы сны, — я тоже сон.

Однажды мне приснилось, что я мотылек и порхаю по воздуху. Я забыл, кто я есть на самом деле. Вдруг я проснулся и снова стал самим собою. Но так и не узнал, был ли я тогда человеком, которому приснилось, что он мотылек, или мотыльком, которому снится, что он человек"

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

"Хватит, — говорит Белая Логика, — забудь мечтателей-азиатов, которые жили в старину. Налей бокал, развернем пергаментные свитки, посмотрим, кто были мечтатели недавних времен, грезившие здесь, на теплых холмах твоей родины".

Я начинаю читать список имен прежних владельцев моего токайского виноградника. Этот скорбный лист начинается с Мануэля Микельгорено, бывшего когда-то "мексиканским губернатором, главнокомандующим и инспектором департамента обеих Калифорний"; он пожаловал десять квадратных лье земли, отнятой у индейцев, полковнику дону Мариано Гвадалупе Валлехо в награду за службу родине и за то, что тот в течение десяти лет содержал солдат за свой счет.

Полуистлевшая пачка документов — свидетельство человеческой алчности похожа на летопись грозной битвы. Тут доверенности и закладные, передаточные и дарственные грамоты, судебные решения и постановления о потере права выкупа закладной, запреты и купчие, ордер на

арест за неуплату налогов, прошения об опекунстве, указы о разделе имущества… Как не похожа с виду эта земля, мирно согретая теплым солнцем бабьего лета, на неподатливое, непокорное чудовище, пережившее всех, кто с ним боролся, раздирал его на части и канул в вечность.

Кто был этот Джеймс Кинг из Уильяма? Даже самый старый житель Лунной Долины ничего о нем не расскажет. А ведь только шестьдесят лет тому назад он дал дону Мариано Валлехо восемнадцать тысяч долларов под залог каких-то земель, среди которых был и участок, ныне занятый моим виноградником Токай. Откуда явился и куда исчез Питер О'Коннор, после того как подписал документ о приобретении лесистого участка, ныне тоже занятого токайским виноградником? Далее появляется Луис Ксомортаньи — ну и фамилия! — она, кстати, занимает несколько страниц летописи этой многострадальной земли…

Дальше — переселенцы, американское племя. Они ползут через безводные пространства Великой Американской пустыни, верхом на мулах перебираются через перешеек, огибают на парусниках мыс Горн, чтобы вписать свои, ныне забытые имена туда, где еще раньше канули в Лету десять тысяч поколений кочевых индейцев.

Что говорят мне такие фамилии, как Халлек, Хейстингс, Свэт, Тэйт, Денмен, Трейси, Гримвуд, Карлтон, Темпл? Сегодня их не найти в Лунной Долине.

Одно имя стремительно уступает место другому, но упрямая земля остается, и новые люди царапают на ней свои имена. А вот и такие, о которых я что-то смутно помню, хотя лично их не знал:

Коулер и Фролинг, построившие большой винный завод на вершине холма. Увы! Виноградарям это показалось неудобным, они не стали возить виноград на такую кручу. Коулер и Фролинг разорились, потеряли участок, а землетрясение 1906 года довершило их беды, разрушив завод, — среди его каменных руин теперь живу я.

Ла Мотт. Этот поднял целину, разбил виноградники и фруктовые сады, развел в искусственных водоемах рыбу, выстроил себе великолепный по тем временам особняк, но земля победила его, и он сгинул. Теперь на месте садов и виноградников, великолепного особняка и рыбных садков решил оставить о себе след и я, посадив сто тысяч эвкалиптовых деревьев.

От Купера и Гринлоу на участке Хилл-Ренч остались две могилы: "Маленькая Лили" и

"Маленький Дэвид", — крохотный квадратик, обнесенный грубо сколоченной оградой. Купер и Гринлоу в свое время выкорчевали девственный лес и расчистили три поля в сорок акров. Теперь эти поля засеяны канадским горохом, а весной я их перепашу под травы.

Хаска — полузабытая легендарная личность, чья слава гремела лет тридцать тому назад. Он очистил за холмом шесть акров земли, заросшей кустарником, и маленькая долина носит теперь его имя. Он возделал почву, выстроил дом за каменным забором, посадил яблони. А теперь даже места, где стоял этот дом, не найти, а линию забора можно лишь угадать по еле заметным знакам.

Борьбу бывшего владельца продолжил я, завел ангорских коз, чтобы они съели проклятый кустарник, который заглушил яблони Хаски. И вот я тоже скребу эту землю, вписав свое имя в ее летопись, но я тоже исчезну, и лист с моим именем истлеет.

"Фантазеры и призраки!" — хихикает Белая Логика

"Но ведь их борьба не прошла даром!" — возражаю я.

"Она основывалась на иллюзии, значит, была ложью".

Я настаиваю на своем:

"Ложь во имя жизни!"

"Скажи, пожалуйста, какая разница, — перебивает меня Белая Логика — Ну, довольно, налей свой бокал, давай посмотрим, что говорят апостолы лжи, стоящие на твоих книжных полках.

Полистаем Уильяма Джеймса".

"Что ж, человек со здоровой психикой, — говорю я — Философского камня он не нашел, однако в его произведениях много здорового и оптимистического".

"Рационализм, сведенный к сентиментальности! — усмехается Белая Логика — В конце концов он все-таки стал проповедовать бессмертие. Стал втискивать факты в рамки религии и свой зрелый ум использовал для высмеивания разума. С вершины разума Джеймс проповедует отказ от мышления и возврат к слепой вере. Все к лучшему в этом лучшем из миров! Старые жонглерские штучки метафизиков: подавить разум, чтобы спастись от пессимизма, который диктуется трезвым, суровым рассудком.

Плоть твоя — это ты? Или нечто постороннее, чем ты владеешь? Что такое твое тело? Машина, преобразующая возбудители в чувства. Возбудители и чувства запоминаются. Из них

кристаллизуется опыт. Значит, ты и есть опыт в твоем сознании. Сейчас, в этот момент, ты — это твои мысли. Твое «я» одновременно и субъект и объект. Оно утверждает вещь, и в то же время оно и есть вещь. Мыслитель — это мысль, знающий — это знание, обладатель — это то, чем владеешь.

Наконец, ты должен знать, что в человеке слито множество изменчивых состояний сознания, целый поток сознания; каждая мысль — это новое «я», непрерывное изменение, но никогда не завершение; это — мелькание призраков, и все миллионы при зраков никогда не переходят в реальность, а остаются светляками, призраками в царстве призраков. Но человек не согласен примириться с этим. Он отказывается признать, что он исчезнет Он не может исчезнуть. Если нужно умереть, он оживет опять!

Эта необходимая ложь, которую люди бормочут как заклина ние против сил Ночи, не новость Знахари и колдуны были отцами метафизики Люди всегда страшились Смерти, и, чтобы завоевать их души, метафизики были готовы лгать Им казался чересчур жестоким суровый закон Екклезиаста, по которому участь чело века и животного одна как те, так и эти умирают Превратив свои верования в планы, а религию и философию в средства

дости жения своих целей, метафизики стараются одолеть Смерть Призраки надежды заполняют твои книжные полки блуж дающие огни, мистический туман, психологические полутона, душевные оргии, стоны среди могил, нелепый гностицизм, за вуалированные мысли, путаный субъективизм, осторожное нащу пывание, галлюцинации в грандиозных масштабах — вот что представляют собой твои книги! Погляди на них, на эти скорбные творения мрачных безумцев и страстных бунтовщиков — всех тво их Шопенгауэров, Стриндбергов, Толстых и Ницше!

Ну хватит! Бокал пуст. Наполни его и забудь обо всем!"

Я подчиняюсь, ибо теперь в голове шумит уже очень сильно Я пью за печальных мыслителей, стоящих на моих книжных пол кэх, и вспоминаю стихи Ричарда Хоуви:

Живи! Любовь и Жизнь как свет и тьма
Приходят по$7
Скорей бери что жизнь дает сама
Пока не станешъ пищею червям

"Позволь я кончу за тебя!" — просит Белая Лотка "Не надо! — в пьяном гневе восклицаю я Я вижу тебя насквозь, я не боюсь тебя! Под маской гедонизма ты все та же Ты смерть, ты уводишь во

мрак вечной ночи Гедонизм бессмыслица Это тоже ложь, а в лучшем случае хитрый компромисс малодушных"

"Позволь, я все таки докончу стихотворение!" — прерывает Белая Логика.

Но если ты не хочешь жизнь влачить
Всегда ее ты волен прекратить
Без страха пробуждения в гробу.

[Здесь и далее перевод стихов В Рогова]

Но я вызывающе смеюсь, ибо сейчас, в эту минуту, я знаю, что Белая Логика, нашептывающая мне о смерти, — величайшая лгунья Она сама сорвала с себя маску обратила против себя кажущееся добродушие, и во мне вдруг оживают забытые стремле ния молодости, и начинает казаться, что еще не поздно воспользо ваться теми возможностями, которые книги и жизнь так упорно от рицают.

Я успеваю еще опрокинуть в горло бокал в ту минуту, когда раздается обеденный гонг Смеясь над Белой Логикой я выхожу в столовую, усаживаюсь с гостями за стол и с напускной серьез ностью принимаюсь разглагольствовать по поводу новых журналов и пустяков, происходящих в мире, сыплю парадоксами и колкостями. А когда надоедает, начинаю дразнить собеседников,

насмехаясь над фетишами трусливых буржуа, и сочинять эпиграммы, не щадя их маленьких идолов, высмеивая глупость их мудрецов.

Нужно быть клоуном! Клоуном, и только! Если хочешь быть философом, подражай Аристофану. Впрочем, никому из сидящих за столом не приходит в голову, что я пьян, — я просто в ударе Когда обед кончается, я продолжаю дурачиться, устраиваю игры, и все веселятся, как дети.

Ночь; гости прощаются и расходятся по комнатам, а я через кабинет, уставленный книгами, прохожу на веранду, где обычно сплю, и снова остаюсь наедине с Белой Логикой, которая не покидает меня, ибо я не в силах ее переспорить. Я слышу, как плачет молодость, и, погружаясь в пьяный сон, вспоминаю стихи Гарри Кемпа:

Мне Молодость в ночи рекла
"Отрада прежняя ушла,
Нет отдыха в пути моем,
Так утро делается днем,
А дню, что людям дарит свет,
До сумерек покоя нет
Недолговечней розы я,
На небе радуга моя
Недолго длит лучей игру
Я Молодость ведь я умру!"

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Я рассказал о том, как борюсь в сумерках души с Белой Логикой. Я старался, как мог, раскрыть перед читателем хотя бы на мгновение тайники человеческого сознания, одурманенного Джоном — Ячменное Зерно. Но пусть читатель помнит, что то, о чем он узнал за эти четверть часа, навеяно прихотью Ячменного Зерна, который меняет настроения человека тысячи раз в течение дня и ночи.

Мои воспоминания об алкоголе близятся к концу. Могу сказать, как человек, привыкший пить, что я до сих пор существую на свете лишь потому, что у меня здоровые легкие, сильные плечи и крепкий организм. Сомневаюсь, чтобы нашлось много юношей, которые могли бы вынести в возрасте пятнадцати — семнадцати лет физическое напряжение, равное тому, какое вынес я в эти годы, да и считанные мужчины, пережив подобное испытание, оказались бы способны написать об этом — книгу. Меня спасли не личные добродетели, а то, что я не был алкоголиком от природы и всеми силами боролся против Ячменного Зерна. И хотя сам я выжил, но на моих глазах многие

погибли на его скорбной стезе.

Только благодаря счастливой судьбе, удаче, случаю — называйте как угодно! — я прошел сквозь пламя Ячменного Зерна.

Ему не удалось растоптать мою жизнь, погубить мою карьеру, вытравить любовь к жизни. Он опалил эту любовь своим огнем, но она сумела чудом сохраниться, подобно тому как может уцелеть солдат на поле боя, хотя все товарищи пали.

И как тот, кто пережил кровавую войну, восклицает: "Долой войну!" — так я кричу: "Долой алкоголь! Не отравляйте молодые жизни этим ядом!" Единственный способ прекратить войну — перестать воевать. Единственный способ прекратить пьянство — перестать продавать алкоголь. Китай прекратил всеобщее курение опиума, запретил выращивать его и ввозить в страну. Все философы, священники и врачи могли бы тысячу лет до хрипоты твердить о вреде опиума, но, пока яд был доступен, курение его продолжалось. Такова уж человеческая природа!

Мы умеем оберегать детей от мышьяка и стрихнина, от тифозных и туберкулезных бацилл. Примените такие же меры к Ячменному Зерну! Запретите его! Не выдавайте патентов и разрешений на кабаки, пусть Ячменное Зерно не

подстерегает молодежь на каждом шагу! Я пишу не об алкоголиках и не для алкоголиков, а для юношей, которые ищут интересной жизни и веселого общества, для тех, кого извращает наша варварская цивилизация, спаивающая их на каждом перекрестке. Я пишу эту книгу для здоровых, нормальных юношей настоящего и будущего.

Вот почему в таком приподнятом настроении я спустился в Лунную Долину и отдал свой голос за предоставление женщинам избирательного права. Я знал, что они — жены и матери — заставят вычеркнуть из жизни Джона — Ячменное Зерно, это варварское наследие прошлого. Если у вас создастся впечатление, что я зол на Ячменное Зерно, вы недалеки от истины: вспомните, сколько я из-за него перестрадал! Мне искренне хочется оградить от него детей, моих и ваших.

Женщины — подлинные хранительницы нации. Мужчины — прожигатели жизни, искатели приключений, игроки. Если бы не жены, они бы погибли в конце концов. Одним из первых химических опытов человека была перегонка спирта, и на протяжении многих столетий этот опыт продолжается. Не было дня, когда Женщины не протестовали против этого, но они были бесправны и не могли сказать решительное слово.

Как только женщины получат право голоса, они первым делом потребуют уничтожения кабаков.

Сами мужчины и через тысячу лет этого не сделают. Столь же нелепо было бы ждать, что морфинисты запретят продажу морфия.

Женщины знают, что за пьянство мужчин им приходится платить слезами и кровавым потом. Оберегая здоровье нации, они проголосуют за закон, который обеспечит жизнь будущим поколениям.

И ничего тут нет страшного. Пострадают от этого только неизлечимые алкоголики одного поколения. Я принадлежу к их числу и все же торжественно заверяю, основываясь на своем длительном знакомстве с Ячменным Зерном, что не так уж огорчусь, если придется бросить пить, — пусть только другие перестанут и негде будет достать спиртные напитки. Зато преобладающее число молодежи настолько чуждо пьянству, что, не видя спиртных напитков, они вообще не почувствуют утраты. Юноши будут узнавать из исторических книг, что когда-то в прошлом люди ходили в кабак, и это покажется им таким же диким обычаем, как бой быков и сожжение ведьм на кострах.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Конечно, автобиографическая повесть не может считаться законченной, если историю героя не довели до конца. Увы! Моя исповедь — не исповедь исправившегося алкоголика. Кстати, я и не был алкоголиком, стало быть, мне нечего исправляться.

Некоторое время тому назад мне довелось совершить плавание на парусном судне вокруг мыса Горн. Я пробыл на воде сто сорок восемь дней. Спиртного я с собой не взял, и, хотя капитан с удовольствием угощал бы меня каждый день, я ни разу не воспользовался его гостеприимством. Никто на судне не пил, подходящей обстановки не было, а органической потребности в алкоголе я не испытывал.

И тут я задал себе простой и четкий вопрос: если это так легко, почему же не придерживаться такого же правила на суше?

Я обдумал это всесторонне: времени было достаточно — сто сорок восемь дней, причем алкогольный соблазн был полностью устранен. И на основе своего прежнего опыта я пришел к некоторым выводам.

Прежде всего я убежден, что из тысячи и даже ста тысяч человек не найдется ни одного настоящего алкоголика. Я считаю, что употребление алкоголя — привычка. Она возникает в сознании.

Это не похоже на пристрастие к табаку, кокаину, морфию и прочим наркотикам. Потребность в алкоголе создается исключительно в мозгу и возникает от общения с людьми. Из миллиона пьющих никто не начал пить в одиночестве. Все начинают в компании. Алкоголь связывает людей тысячами нитей, как показал я в начале своей книги. Общение с людьми — это основа, на которой по большей части зиждется привычка пить. Сам алкоголь не имеет большого значения, главное — обстановка, в которой пьют. Не многие в наши дни чувствуют неотразимую потребность в алкоголе, если этому не предшествует длительное общение с пьющими.

Возможно, исключения бывают, но я их не встречал.

В течение пятимесячного плавания на парусник я обнаружил, что среди потребностей моего организма потребность в алкоголе отсутствует. Однако заметил я и другое интересное явление: мое желание пить диктуется только рассудком и

коренится исключительно в общении с людьми. Когда я вспоминал о выпивке, я тут же вспоминал о компании, и наоборот. Компания и алкоголь сиамские близнецы. Они сроднились воедино.

Отдыхая на палубе с книгой или беседуя с людьми, я заметил, что, какое бы место на земном шаре ни назвали, в моем мозгу мгновенно возникала ассоциация: выпивка и компания.

Бурные ночи и веселые деньки, волнующие события, босяцкая вольница все это вспоминалось сразу. Вот на странице книги я вижу слово «Венеция» и тотчас вспоминаю столики кафе на тротуарах. "Битва при Сантьяго", говорит кто-то, и я отзываюсь:

"Да, я бывал на месте битвы". Но пред мысленным взором встает не Кетл-Хилл, не Дерево Мира, а только кафе «Венера»

на площади Сантьяго, где однажды знойным вечером я пил и беседовал с незнакомцем, умиравшим от чахотки.

Или вот я читаю: "Восточная сторона Лондона", — и перед глазами ярко освещенный трактир. "Две кружки пива!", "Три виски!" Латинский квартал. Я в студенческом кабачке, вижу веселые лица, слышу смех. Мы пьем холодный абсент, темпераментные французы шумят, спорят о Боге,

искусстве и демократии… Здесь все решается просто!

Попав в полосу холодного ветра, памперо, близ Ла-Платы, мы встревожены возможностью аварии и решаем зайти в Буэнос-Айрес, этот американский Париж. И в тот же миг я уже не вижу ничего, кроме залитых светом кафе; мне явственно слышится веселый звон стаканов, песни, смех и гул голосов. Спасаясь от северо-восточных штормов в Тихом океане, мы просим умирающего капитана зайти в Гонолулу, и, пока я горячо убеждаю его, предо мной возникает видение: прохладные террасы на берегу океана в Вайкики, где нам подают коктейли. Кто-то из спутников вспоминает, как жарят диких уток в Сан-Франциско, и я немедленно вижу зал ресторана, где переливаются блеском огни, стучат ножи, я с друзьями, и в руках у нас — наполненные рейнвейном высокие бокалы с золотой каемкой.

Итак, я все думал над этой проблемой. И если бы мне пришлось посетить все эти прекрасные места снова, то лишь ради этого. Поднимем бокалы! Магическая фраза! Лучшей, пожалуй, не найдешь во всем нашем языке. Привычка пить укоренилась в моем сознании и осталась на всю жизнь. Я люблю остроумную беседу, задушев-

ный смех, громкие голоса мужчин, люблю, когда друзья, подняв бокалы, гонят прочь однообразие и скуку.

Итак, я решил: нет! Буду все-таки пить время от времени!

Несмотря на все мои книги, несмотря на все философские мысли, нашедшие во мне особый отклик, я решил спокойно продолжать то, к чему привык. Буду пить, конечно, умереннее и осторожнее, чем раньше. Я уже не позволю себе превратиться в ходячий факел, не призову на помощь Белую Логику. Я понял, что звать ее нельзя.

Белая Логика спокойно спит рядом с моим недугом. Они больше не станут меня тревожить. И все же скажу в заключение, что напрасно мои предки не уничтожили Ячменное Зерно прежде, чем я родился на свет. Очень жаль, что он процветал там, где я провел детство и молодость, иначе я бы не познакомился и не сблизился бы с ним.

Джек Лондон
Алая чума

Перевод Владимира Азова.

Глава первая

Дорога вела вдоль насыпи проложенной тут когда-то железной дороги. Но уже много лет ни один поезд здесь не проходил. Лес возвышался по обеим сторонам насыпи, перекидываясь через нее зелеными волнами деревьев и кустарника. Тропинка была так узка, что пробраться по ней мог лишь человек или дикое животное. Кое-где кусок заржавленного железа торчал из земли, свидетельствуя о том, что рельсы и шпалы еще сохранились. В одном месте десятидюймовое дерево, прорвавшись на месте скрепа, приподняло кусок рельса. Шпала, скрепленная с рельсом костылем, тоже приподнялась; ее ложе было наполнено песком и гнилыми листьями, и теперь гниющий кусок дерева странно торчал. Какой бы древней ни была эта дорога, было очевидно, что она — одноколейка. Старик и мальчик шли по этой дороге. Они двигались медленно, так как старик был очень стар и шел, тяжело опираясь на палку. Грубая, плотно надвинутая шапка из козьей кожи защищала его голову от солнца, а короткие грязно-белые волосы космами падали на шею. Он смотрел себе под ноги, на тропинку,

из-под козырька, замысловато сделанного из большого листа. Его седая борода, такая же грязная, как и волосы, спускалась до самого пояса — всклокоченная и запутанная. На плечах висела простая грязная козья шкура. Его руки, морщинистые и высохшие, и множество рубцов и шрамов говорили о преклонном возрасте и пережитой борьбе со стихией.

Мальчик, шедший впереди, сдерживал порывистость своих движений, чтобы приноровиться к медленной походке старика. На нем также был обтрепанный кусок медвежьей шкуры с отверстием посередине для одевания. Было ему не более двенадцати лет. За ухом у него кокетливо торчал свиной хвост, по-видимому недавно добытый. В одной руке он нес небольшой лук со стрелой, а за спиной висел колчан со стрелами. Из ножен, болтавшихся у него на шее, высовывалась изогнутая рукоятка охотничьего ножа. Мальчик был очень смугл и шел мягким, почти кошачьим шагом. Контрастом с его загорелым лицом были его глаза — голубые, вернее — темно-голубые, но острые и сверлящие, как два бурава. Казалось, они проникают всюду, на этой дороге — такой обычной. При ходьбе он нюхал воздух подвижными, трепещущими ноздрями,

непрерывно передавая мозгу вести из внешнего мира. Так же как и обоняние, был развит его слух, действовавший совершенно автоматически. Без сознательного усилия он слышал самые слабые звуки в этой ясной тишине, — слышал и распознавал их, — будь это легкий шум ветра в листве, жужжание пчелы и комара или отдаленное ворчание моря, убаюкивавшее его.

Внезапно он напряженно прислушался. Обоняние, зрение и слух одновременно предостерегли его. Его рука осторожно коснулась старика, и оба тотчас же остановились. Впереди, с другой стороны насыпи, послышался хруст, и взгляд мальчика приковался к колеблющимся кустам. Вслед за этим большой серый медведь, гризли, появился на дороге и круто остановился при виде людей. Он не любил их и брезгливо зарычал. Медленно вставил мальчик стрелу в лук и, не спуская глаз с медведя, медленно натянул тетиву. Старик, стоя так же спокойно, смотрел на опасность из-под своего козырька. Несколько секунд продолжалось обоюдное исследование; потом медведь выказал возрастающее раздражение, и мальчик движением головы дал знак старику отойти от тропинки. Он следовал за стариком, держа наготове лук и стрелу. Они подождали, пока хруст в

кустах не убедил их, что медведь ушел. Мальчик засмеялся и повернул обратно на тропинку.

— Большой медведь, Грэнсэр[8], - хихикнул он.

Старик покачал головой.

— Их становится все больше и больше с каждым днем, — пожаловался он тонким голосом. — Кто бы подумал, что я увижу времена, когда человеческая жизнь будет в опасности по дороге к Высокому Дому. Когда я был мальчиком, Эдвин, мужчины, женщины и маленькие дети приходили сюда в хорошую погоду из Сан-Франциско десятками тысяч. И здесь не было ни одного медведя. Ни одного! Люди платили деньги, чтобы посмотреть на них в клетках, — так они были редки.

— Что такое деньги, Грэнсэр?

Прежде чем старик ответил, мальчик вспомнил и с торжеством вытащил из кармана в медвежьей шкуре потертый, тусклый серебряный доллар. Глаза старика заблестели, когда он поднес монету к своим глазам.

— Я не вижу, — пробормотал он, — посмотри и, если можешь, скажи-ка число, Эдвин.

Мальчик засмеялся.

---

[8] notes: 8

Granser — испорченное Gransir — предок, старик.

— Ты такой старый, Грэнсэр, — воскликнул он с восторгом, — а всегда веришь, что эти значки что-то означают!

Старик был раздосадован и поднес монету ближе к глазам.

— Две тысячи двенадцатый, — воскликнул он и быстро забормотал: — Это тот самый год, когда Совет магнатов назначил Моргана Пятого президентом Соединенных Штатов. Монета эта, вероятно, последней чеканки. Ведь Алая смерть пришла в две тысячи тринадцатом году! Боже! Боже! — подумать только. Шестьдесят лет назад было все это, и я единственный человек, живший в те времена. Где ты нашел ее, Эдвин?

Мальчик, с любопытством слушавший болтовню слабоумного старика, живо ответил:

— Я взял ее у Хоу-Хоу. Он нашел ее, когда пас коз прошлой весной возле Сан-Джозе. Хоу-Хоу сказал — это деньги. Ты не голоден, Грэнсэр?

Старик поднял палку, упавшую в канаву, и торопливо заковылял по тропинке. Его старые глаза жадно блестели.

— Я думаю, Заячья Губа нашел парочку крабов, — бормотал он. — Это хорошая еда, крабы, особенно если у вас нет зубов, а ваши внуки, любящие своего деда, стараются поймать их для

вас. Когда я был мальчиком…

Но Эдвин внезапно остановился, натянув тетиву с приготовленной стрелой. Он стоял у самого края расщелины, образованной подземным потоком, промывшим здесь себе выход. По другую сторону виднелся обвитый вьющимся виноградом кусок ржавого рельса. Вдали, притаившись за кустом, выглядывал дрожащий от страха кролик. Расстояние было не меньше пятидесяти футов, но стрела летела наверняка; и пронзенный кролик, крича от испуга и боли, быстро скользнул в кусты. Мальчик просиял и, перепрыгнув расщелину, помчался к добыче. Напряжение его мышц нашло себе выход в быстрых и ловких движениях. Далеко, в чаще кустов, он схватил раненое животное и, отрубив ему голову на подходящем пне, вернулся к Грэнсэру.

— Кролик хорош, очень хорош, — бормотал старик, — но что касается тонких блюд, я предпочитаю краба. Когда я был мальчиком…

— И чего ты всегда несешь такую чушь! — нетерпеливо перебил Эдвин дальнейшую болтовню.

Он произносил эти слова неправильно, эта неправильность сказывалась в гортанном порывистом говоре и упрощении фраз. Его говор напоминал немного говор старика, и последую-

щий разговор шел на искаженном английском языке.

— Я хочу знать, — продолжал Эдвин, — почему вы называете краба «тонкое блюдо». Краб есть краб, не так ли? Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь называл его так забавно.

Старик вздохнул, но ничего не ответил, и они шли в полном молчании. Прибой стал внезапно громче при выходе из леса на песчаные дюны, окаймлявшие море. Несколько коз щипали траву на песчаных холмиках под присмотром мальчика в козьей шкуре и собаки, напоминавшей шотландскую овчарку. Смешиваясь с гулом прибоя, слышался непрерывный лай или рев, несшийся из-за кучи разбитых камней за сотню ярдов от берега. Это огромные нерпы дрались и воевали друг с другом за место на солнце. Невдалеке поднимался дым от костра, разведенного третьим мальчиком. Возле него сидело несколько волкодавов, точно таких же, как собака, стерегшая стадо.

Старик ускорил шаги и, сильно пыхтя, подошел к огню.

— Ракушки! — бормотал он в восторге. — Ракушки! А разве это не краб? Мой, мой! Вы, мальчики, так добры к своему старому деду.

Хоу-Хоу был приблизительно одного возраста с Эдвином; он осклабился.

— Бери сколько хочешь, Грэнсэр. Я поймал четырех.

Нетерпение параличного старика было достойно жалости. Быстро опустившись на песок, насколько позволяли ему его онемевшие члены, он схватил большую раковину прямо с углей. В огне скорлупа отпала, и ее мясо лососиного цвета было совершенно готово. С дрожащей поспешностью он схватил кусок и сунул его в рот. Но кусок был горяч, и он с той же поспешностью выплюнул его. Старик кашлял от боли, и слезы текли по его щекам.

Но мальчики, как истые дикари, обладали жестоким юмором варвара. Они принялись громко смеяться, находя это зрелище весьма забавным. Хоу-Хоу стал танцевать вокруг костра, а Эдвин катался по земле от удовольствия. И мальчик, пасший коз, прибежал присоединиться к их веселью.

— Остуди их, Эдвин, остуди их, — умолял старик, огорченный, не пытаясь вытереть слез, бежавших по его щекам. — И краба тоже, Эдвин. Ведь вы знаете, что ваш дед любит крабов.

Из огня послышалось шипение от лопнув-

ших раковин, выпустивших свой сок. Это были большие ракообразные рыбы, от трех до шести дюймов в длину. Мальчики вытащили их палками из углей и положили остудить на большие куски дерева.

— Когда я был мальчиком, мы никогда не смеялись над старшими; мы уважали их, — сказал Грэнсэр.

Мальчики не обратили внимания на это замечание, и Грэнсэр продолжал изливать потоки жалоб, выражая свое недовольство. Но на этот раз он был осторожней и не сжег себе рта. Все принялись за еду, хватая куски руками, громко чавкая и сопя. Третий мальчик — Заячья Губа — насыпал горсть песка в раковину, которую ел старик; и когда песок захрустел между его десен, поднялся снова громкий смех. Не подозревая, что с ним сыграли шутку, он кашлял и плевался до тех пор, пока Эдвин, сжалившись, не принес ему в тыкве воды прополоскать рот.

— Где же крабы, Хоу-Хоу? — спросил Эдвин. — Теперь Грэнсэр хочет закуски.

Глаза старика снова жадно блеснули, когда он получил большого краба. Это была целая скорлупа, но все мясо было вынуто. Трясущимися руками и дрожа от предвкушения наслаждения,

старик отломил ногу краба и нашел ее совершенно пустой.

— А где же крабы, Хоу-Хоу? — захныкал он. — Где же они?

— Я пошутил, Грэнсэр. Это не крабы. Я не нашел ни одного.

Мальчики были в восторге, видя разочарование старика и слезы, капающие из его глаз. Потом незаметно Хоу-Хоу положил в пустую скорлупу только что испеченного краба. Над мясом поднималось маленькое ароматное облачко пара. Это заставило старика принюхаться, и он заглянул внутрь скорлупы. Переход от горя к радости был мгновенен. Он сопел, пыхтел и ворчал от восторга, принимаясь за еду. Для мальчиков это было привычное зрелище, так же как невнятные восклицания, которых они не понимали.

— Майонез! Подумайте только — майонез! Шестьдесят лет прошло с тех пор, как был сделан последний! Два поколения — и нет даже помину о нем. А в те дни в каждом ресторане можно было получить краба.

Пресытившись, он вздохнул и, вытерев руки о свои голые колени, стал смотреть на море. Утолив голод, он предался воспоминаниям:

— Подумать только! Я видел этот берег, весь

усеянный мужчинами, женщинами и детьми в ясное воскресное утро. Тогда ни один медведь не угрожал. А здесь, на холме, был большой ресторан, где вы могли получить все, чего душе угодно. Четыре миллиона людей жили тогда в Сан-Франциско. А теперь-то во всей области нет и сорока человек. А сколько пароходов приходило и уходило через Золотые Ворота! А воздушные корабли — дирижабли и аэропланы! Делали они по двести миль в час. Это был тот минимум, который требовался по договорам с компаниями Нью-Йорка и Сан-Франциско. Был здесь один парень француз, — я забываю его имя, — который едва не достиг трехсот. Дело было рискованное, очень рискованное для предусмотрительных людей, но он был на верном пути и добился бы своего, если бы не Великая чума. Когда я был мальчиком, жили люди, помнившие появление первых аэропланов. А теперь, шестьдесят лет назад, мне пришлось увидеть последний.

Старик продолжал разглагольствовать, не замечаемый мальчиками; они давно привыкли к его болтовне, и в их словаре недоставало многих слов, употребляемых им. Было заметно, что в его странных речах как будто возрождается старый английский язык. Когда же он обращался к маль-

чикам, его речь становилась снова неуклюжей и простой.

— Но в те времена не было столько крабов, — продолжал старик. — Они считались деликатесами, и их сезон продолжался не больше месяца. А теперь крабы доступны круглый год. Подумать — ловить сколько угодно крабов, в какое угодно время на берегу Высокого Дома!

Внезапное смятение среди коз подняло мальчиков на ноги. Собаки, лежавшие у огня, бросились на помощь своему товарищу, стерегшему стадо, а козы сбились в кучу под защиту человека. С полдюжины волков, худых и серых, бродили вокруг песчаных холмиков, скаля зубы на ощетинившихся собак. Пущенная Эдвином стрела упала слишком близко. Заячья Губа пращой — подобной праще Давида в его единоборстве с Голиафом — бросил камень, просвистевший в воздухе. Он упал в стаю волков, и они скрылись в темную чащу эвкалиптового леса. Мальчики рассмеялись и снова улеглись на песок, в то время как Грэнсэр тяжело вздыхал. Он поел слишком сытно и продолжал бормотать.

— Преходящие мысли исчезают словно пена, — процитировал он. — Да, все это — пена и все бренно. Вся человеческая работа на земле тоже не

что иное, как пена. Человек приручил животных, истребил хищников и очистил землю от диких растений. Но он исчез, и первобытная жизнь вернулась снова, сметая всю работу человека, — леса заглушили его поля, хищники напали на его стада, и теперь волки рыщут на берегу Высокого Дома. — Он был в ужасе от этой мысли. — Там, где четыре миллиона людей жили счастливые, ныне бродят дикие волки, и наше одичавшее потомство защищается доисторическим оружием от своих свирепых врагов. Подумать только! И все это — Алая смерть.

Эти последние слова привлекли внимание Заячьей Губы.

— Он всегда так говорит, — обратился он к Эдвину. — Что такое алый?

— Алость клена потрясает меня, словно звук охотничьего рога, — снова процитировал старик.

— Это все равно что красный, — ответил Эдвин. — Ты не знаешь этого потому, что происходишь из рода Шоферов. Они никогда ничего не знали. Никто из них. Алый и есть красный — я знаю это.

— Но красный есть красный, не правда ли? — проворчал Заячья Губа. — Что тут хорошего

называть петуха алым?.. Грэнсэр, почему ты всегда говоришь слова, которых никто не понимает? — спросил он. — Алый ничего не значит, а красный есть красный. Почему же ты не говоришь «красный»?

— Красный — это не совсем верно, — был ответ. — Чума была алой. Все лицо и тело становились алыми — в течение одного часа. Разве я не знаю? Разве я недостаточно видел все это? И я говорю вам, что она была алой, потому что — да, потому что она была алой. Другого слова нет для нее.

— Красное для меня достаточно хорошо, — настойчиво проворчал Заячья Губа. — Мой отец называет красное красным, а он-то кое-что знает. Он говорит, что все умерли от Красной смерти.

— Твой отец простой человек и произошел от простого человека, — горячо возразил Грэнсэр. — Разве я не знаю, от кого Шоферы произошли? Твой дед был шофером, без образования. Он работал на других. Но твоя бабушка была хорошего происхождения, только дети не пошли в нее. Разве я не помню, когда я встретил их ловящими рыбу у Темескальского озера?

— Что такое образование? — спросил Эдвин.

— Называть красное алым, — усмехнулся

Заячья Губа и снова стал нападать на Грэнсэра. — Мой отец говорил мне — а он слышал от своего отца, — что твоя жена была Санта-Розана. Он говорил — перед Красной смертью она была кухаркой, хотя я не знаю, что такое кухарка. Скажи-ка мне, Эдвин.

Но Эдвин в недоумении покачал головой.

— Да, верно, она была прислугой, — признал Грэнсэр, — но она была хорошая женщина; твоя мать была ее дочерью, Заячья Губа. После чумы осталось очень мало женщин, и я мог взять в жены только ее, хотя она и была кухаркой, как ее называет твой отец. Но нехорошо так говорить о своих предках.

— Отец говорит, что жена первого Шофера была леди.

— Что такое леди? — спросил Хоу-Хоу.

— Леди — жена Шофера, — был быстрый ответ Заячьей Губы.

— Первого Шофера звали Биллом; он был простой парень, как я говорил вам раньше, — объяснял старик, — но его жена была леди — настоящая леди. До Алой смерти она была женой Ван-Вардена, председателя Совета промышленных магнатов; он был один из дюжины управлявших Америкой. Он был миллиардер,

восемьсот миллионов долларов — таких вот монет, как в твоем кармане, Эдвин. Но пришла Алая смерть, и его жена стала женою Билла, первого Шофера. Он ее бил. Я сам видел это.

Хоу-Хоу, лежа на животе, лениво роясь в песке, вдруг вскрикнул и, осмотрев ноготь, а затем ямку, которую он вырыл, стал быстро разрывать землю. Оба мальчика присоединились к нему и начали копать вместе с ним, пока не обнажились три скелета. Два казались взрослыми, а третий — подростком. Старик тоже подполз посмотреть на находку.

— Жертвы чумы, — проговорил он. — Последние дни они умирали повсюду. Это, вероятно, целая семья, бежавшая от заразы и погибшая здесь, на берегу Высокого Дома. Они… Что ты делаешь?

Этот вопрос был в ужасе задан Эдвину, который, вытащив охотничий нож, принялся выламывать зубы в одном черепе.

— Нанижу их, — был ответ.

Трое мальчиков принялись с шумом за дело, в то время как Грэнсэр разговаривал сам с собой:

— Вы настоящие дикари. Вот уж появился обычай носить человеческие зубы. В следующем поколении вы просверлите себе носы и уши и

будете носить украшения из кожи и костей. Я знаю. Человечество обречено опускаться все глубже и глубже в первобытную тьму и снова начать свою кровавую погоню за цивилизацией. Когда мы размножимся так, что нам станет тесно, мы начнем убивать друг друга. А потом, я думаю, вы будете носить вокруг талии человеческие скальпы так же просто, как ты, Эдвин, самый благоразумный из моих внуков, смастерил вот эту цепочку. Брось ее.

— Какой шум поднимает этот старый гусак, — заметил Заячья Губа, вытащив все зубы и принимаясь за дележ.

Они были очень быстры и резки в своих движениях, и в моменты горячего спора при дележе они обменивались фразами, походившими на рычание. Они перебрасывались короткими односложными восклицаниями, и их разговор был сплошной тарабарщиной. Были намеки на грамматические конструкции, свойственные более высокой культуре. Даже речь Грэнсэра была настолько искажена, что, если бы ее привести в точности, она была бы непонятна читателю. Но таким языком он говорил с мальчиками. Когда же он болтал сам с собой, его говор постепенно превращался в чисто английскую речь. Фразы

становились длинней, ритмичней и даже — литературными.

— Расскажи нам о Красной смерти, Грэнсэр, — попросил Заячья Губа, когда дележ зубов окончился.

— Алой смерти, — поправил Эдвин.

— Только не рассказывай нам так смешно, — продолжал Заячья Губа. — Рассказывай понятно, Грэнсэр, как умеют рассказывать Санта-Розана. Другие Санта-Розана не говорят так, как ты.

Глава вторая

Старик был доволен этим предложением. Он прочистил горло и начал:

— Двадцать или тридцать лет назад мой рассказ был в большом почете. Но теперь никто не интересуется…

— Опять начинается! — горячо воскликнул Заячья Губа. — Пропускай ерунду и говори понятно. Что такое интересуется? Ты говоришь, как ребенок, который не знает, что говорит.

— Оставь его в покое, — сказал Эдвин, — или он опять взбеленится и не захочет рассказывать. Можно пропускать ерунду и слушать только то, что нам понятно.

— Продолжай, Грэнсэр, — поощрил Хоу-Хоу.

Старик снова начал ворчать о неуважении к старшим и возврате от высшей культуры к былой жестокости дикарей. Рассказ начался.

— В те дни было много народу на свете; в одном Сан-Франциско — четыре миллиона.

— Что такое миллион? — перебил Эдвин.

Грэнсэр посмотрел на него с сожалением:

— Я знаю, вы можете считать только до десяти, но я объясню вам. Протяните ваши руки. На обе-

их руках у тебя десять пальцев. Хорошо. Я беру эту горсточку песку — держи ее, Хоу-Хоу. — Он насыпал песок мальчику на ладонь и продолжал: — Теперь эти крупинки песка лежат против пальцев Эдвина. Я прибавлю другую горсть. Это еще десять пальцев. Я прибавлю еще, еще и еще, пока не станет столько горстей, сколько у Эдвина пальцев. Это составляет одну сотню. Запомните это слово — одна сотня. Теперь я кладу этот голыш на руку Заячьей Губы. Он лежит перед десятью горстями песка, или десятью десятками пальцев, или перед сотней пальцев. Я кладу десять голышей; это составляет тысячу пальцев. Я беру раковину, она лежит перед десятью голышами, или сотней горстей песку, или тысячью пальцев... — И так, с большим трудом и не уставая повторять одно и то же, он старался дать им примитивное представление о числах. По мере того как числа росли, он собирал разные предметы и клал их на руки. Для символизирования очень больших чисел он взял кусочек дерева; и, наконец, для миллиона были взяты зубы скелетов, а для миллиарда — скорлупа крабов. Но здесь он остановился, так как мальчики стали выказывать утомление.

— Итак, в Сан-Франциско — четыре миллиона людей — четыре зуба.

Глаза мальчиков перебегали с предмета на предмет и с ладони на ладонь, с камешков на песок и на пальцы Эдвина, силясь представить себе непостижимые числа.

— Это было целое сборище людей, Грэнсэр? — рискнул наконец Эдвин.

— Как песок здесь, на берегу, как вот этот песок, каждая крупинка песка — мужчина, женщина или ребенок. Да, мальчики, все эти люди жили как раз здесь, в Сан-Франциско. Иногда весь этот народ приходил сюда, на берег, — больше людей, чем здесь крупинок песка. Больше, больше, больше! А Сан-Франциско был прекрасный город. И возле залива — где мы жили в прошлом году — было еще больше людей. С самого Ричмонда — равнины и холмы, вся дорога вокруг Сан-Леандро — один большой город с семью миллионами населения. Вы понимаете, семь зубов — вот это семь миллионов.

Снова глаза мальчиков скользнули от пальцев Эдвина к зубам на бревне.

— Весь мир был населен людьми. Перепись две тысячи десятого года показала восемь биллионов человек — восемь раковинок, да, восемь биллионов. Человек знал тогда больше о добывании пищи. Это было не так, как сейчас. И пиши

было больше и больше народу. В тысяча восьмисотом году в одной Европе жило сто семьдесят миллионов. Сто лет спустя — горсть песку, Хоу-Хоу, — сто лет спустя, в тысяча девятисотом, было уже пятьсот миллионов — пять горстей песка и этот один зуб, Хоу-Хоу. Это доказывает, как легко было добывать себе пищу и как люди быстро размножались. А в двухтысячном году в Европе было тысяча пятьсот миллионов людей. И так же было во всем остальном мире. Восемь скорлуп — восемь миллионов человек жили на земле, когда пришла Алая смерть.

Я был молодым человеком, когда началась чума, — мне было двадцать семь лет; и я жил на другой стороне Сан-Францисского залива, в Берклее. Ты помнишь, Эдвин, большие каменные дома при спуске с холмов из Контра-Коста. Вот я жил в таких каменных домах, в больших каменных домах. Я был профессором английской литературы.

Многое из всего этого было мальчикам недоступно, но они старались хоть смутно понять этот рассказ о прошлом.

— Для чего были эти дома? — спросил Заячья Губа.

— Ты помнишь, как твой отец учил тебя пла-

вать? — Мальчик кивнул головой. — Хорошо, в Калифорнийском университете — так назывались наши дома — мы учили юношей и девушек думать — точь-в-точь, как я показывал вам песком, голышами и раковинами, сколько человек жило в те дни. Молодые люди, которых мы учили, назывались студентами. У нас были большие комнаты, где мы занимались. Я говорил им — сорока или пятидесяти студентам сразу, — вот как я объясняю вам сейчас. Рассказывал им о книгах, написанных другими людьми еще до того, как они появились на свет, или при их жизни.

— Это все, что вы делали, — только говорили, говорили и говорили? — спросил Хоу-Хоу. — А кто охотился для вас, доил коз и ловил рыбу?

— Разумный вопрос, Хоу-Хоу, разумный вопрос. Как я уже вам сказал, в те дни добывать пищу было очень легко. Мы были очень умны. Несколько человек добывало пищу для многих людей. А остальные занимались другими делами. Как вы сказали, — я говорил. Я говорил все время, и за это я получал пищу — много чудесной пищи, какую я не пробовал шестьдесят лет, и уже никогда мне не придется попробовать. Иногда я думаю, что самое удивительное произведение нашей цивилизации была пища — ее невероятное изобилие,

бесконечное разнообразие и удивительная тонкость. О, мои внуки, вот это была жизнь в те дни, когда мы имели такие замечательные вещи для еды.

Это было уже недоступно мальчикам, и все, что он ни говорил, принималось ими за старческий бред.

— Те, кто нам доставляли пищу, назывались «свободными людьми». Но эта была шутка. Нам, правящему классу, принадлежала вся земля, все машины, фабрики — все. А они были наши рабы. Мы забирали все добытое ими, оставляя им только немного, для того чтобы они могли работать и доставлять нам еще больше продуктов.

— Я пошел бы в лес и там добывал для себя пищу, — заявил Заячья Губа, — и если бы кто-нибудь захотел отнять ее у меня, я бы убил его.

Старик засмеялся:

— Разве я не говорил, что нам, господствующему классу, принадлежали все земли, леса и все, все? Того, кто не захотел бы доставлять нам пищу, мы наказали бы или обрекли на смерть. И очень немного находилось таких смельчаков. Остальные предпочитали работать на нас и доставлять нам тысячи — одна раковина, Хоу-Хоу, — тысячи удовольствий и наслаждений. В те дни я

был профессором Смитом — профессор Джемс Говард Смит. Я был очень популярен тогда, то есть молодые люди любили слушать меня, когда я рассказывал им о книгах, написанных другими людьми.

Я был очень счастлив и мог есть разные замечательные вещи. А мои руки были мягки и нежны, потому что я никогда ими не работал. Я одевался в тончайшую одежду и всегда был чист. — Он с отвращением посмотрел на свою грязную козью шкуру. — Мы никогда не носили такой одежды. Даже наши слуги были одеты лучше. И мы были гораздо чище. Мы мыли лицо и руки очень часто, каждый день. Вы, мальчики, моетесь, только когда упадете в воду или плаваете.

— И ты также, Грэнсэр, — возразил Хоу-Хоу.

— Я знаю, я знаю. Я — несчастный, грязный старик. Но времена изменились. Никто не моется теперь, и это уже не считается постыдным. Уж много лет, как я не видал куска мыла. Вы не знаете, что такое мыло, но я не буду вам объяснять; ведь я рассказываю вам об Алой смерти. Вы знаете, что такое болезнь. Многие болезни приносятся микробами. Запомните это слово — микроб. Они похожи на древесных клещей, каких вы находите на собаках весной, когда они

прибегают из лесу; но микробы гораздо меньше; они такие маленькие, что их нельзя видеть.

Хоу-Хоу рассмеялся:

— Ты странный человек, Грэнсэр, — говорить о таких вещах, каких не можешь видеть. Если ты не можешь их видеть, то откуда ты знаешь, что они существуют? Вот это я хотел бы знать. Как ты можешь знать о том, чего ты не можешь видеть?

— Хороший вопрос, Хоу-Хоу, очень хороший вопрос. Но мы их видели — некоторых из них. У нас было то, что мы называли микроскопом и ультрамикроскопом[9]; приложив к ним глаз, мы видели все, но гораздо больше по размерам, чем оно было на самом деле; многих вещей мы не могли рассмотреть без микроскопа. Наши лучшие ультрамикроскопы могли увеличивать микробов в сорок тысяч раз. Раковина — тысяча пальцев Эдвина; возьмите сорок таких раковин, и во столько раз увеличивался микроб, когда мы смотрели на него через микроскоп. Кроме того, пользовались мы еще так называемыми кинофильмами, и благодаря им эти микробы увеличивались еще в тысячи раз. И таким образом мы видели вещи, каких не могли увидеть

---

[9] notes: 9

Ультрамикроскоп — сильнейший микроскоп, сверхмикроскоп.

простым глазом. Возьмите крупинку песка; разломайте ее на десять частей; одну из них на десять, и одну из этих снова на десять и снова и снова, и делайте так целый день, и, может быть, при заходе солнца вы получите кусочек величиной с микроба.

Мальчики выразили явное недоверие. Хоу-Хоу и Заячья Губа фыркали и насмехались, пока Эдвин не остановил их.

— Древесный клещ высасывает кровь из собаки, а микробы, будучи такими маленькими, проникают прямо в кровь и там размножаются. И наконец появляется целый миллиард — одна раковина — целый миллиард в одном человеческом теле. Мы называем микробы микроорганизмами. Когда несколько миллионов или миллиардов находятся в человеческом теле, наполняют всю его кровь, оно заболевает. Эти микробы и есть болезнь. Было очень много разных микробов, больше чем крупного песка на этом берегу. Но мы знали только немногих из них. Микроорганический мир был незримым миром, — мир, которого мы не могли видеть, и поэтому мы очень мало знали о нем. Но все же кое-что мы знали. Мы знали о Bacillus anthracis, о Micrococcus, о Bacterium termo, знали о Bacterium lactis — о микробе, что

и теперь делает кислым козье молоко, Заячья Губа; о бесчисленных Schizomycetes и еще многих других…

Тут старик пустился в подробнейшее перечисление микробов, употребляя необыкновенно длинные бессмысленные фразы и слова. Мальчики смеясь переглядывались друг с другом и, смотря на пустынный океан, совершенно забыли о старике.

— Ну а Алая смерть, Грэнсэр? — вспомнил наконец Эдвин.

Грэнсэр с трудом спустился со своей кафедры в аудитории, где шестьдесят лет назад объяснял своим слушателям другого мира новейшую теорию о бациллах и заболеваниях.

— Да, да, я совсем забыл, Эдвин. Временами воспоминания прошлого одолевают меня, и забываю, что я только грязный старик в козьей шкуре, блуждающий со своими дикими внуками по первобытной пустыне. Преходящие мысли исчезают, словно пена, и так же исчезла наша колоссальная прекрасная цивилизация. Я — Грэнсэр, усталый, старый человек. И принадлежу к роду Санта-Розана. И жену я себе взял из этого же рода. Мои дочери и сыновья брали себе супругов в других — Шофера, Сакраменто и Пало-Альтос.

Ты, Заячья Губа, происходишь от Шофера; ты, Эдвин, — от Сакраменто; а ты, Хоу-Хоу, — от Пало-Альтов. Твой род получил свое имя от города, находившегося вблизи большого университета. Он назывался Стэнфордский университет. Да, я теперь вспоминаю — я рассказывал вам об Алой смерти. Но на чем я остановился?

— Ты говорил о микробах, существах, каких ты не можешь видеть и которые делают людей больными, — напомнил ему Эдвин.

— Да, да, на этом месте. Сначала человек не замечает, когда в его тело попадает несколько таких бацилл. Но каждый микроб распадается на два, и они делают это так быстро, что за короткое время их появляется несколько миллионов сразу. Тогда человек заболевает, и его болезнь называется именем микроба, находящегося в нем. Это может быть корь, инфлуэнца, желтая лихорадка; это может быть одна из тысячи тысяч болезней.

Странное дело происходит с этими микробами. В человеческом теле появлялись все новые и новые. Давно-давно, когда на свете жило только несколько человек, было всего несколько болезней. Но по мере их размножения и образования больших городов появлялись новые болезни, и новые микробы попадали в кровь человека.

Несчетное число миллионов и миллиардов человек были убиты ими. И чем теснее жили люди, тем ужасней становилась болезнь. Задолго до моего времени, в Средние века, черная чума прошла по Европе. И появлялась она снова и снова. И свирепствовал тогда туберкулез — всюду, где люди жили скученно. За сотню лет до меня появилась бубонная чума. В Африке была сонная болезнь. Бактериологи находили эти болезни и боролись с ними, как вы, мальчики, отгоняете волков от вашего стада или убиваете москитов, нападающих на вас. Бактериологи…

— Но кто это такие, Грэнсэр, кого ты так называешь? — перебил Эдвин.

— Ты, Эдвин, пасешь коз. Твое дело следить за козами, и ты знаешь о них очень многое. Бактериолог следит за микробами. Это — его дело, и он знает многое о них. Вот, как я говорил, бактериологи боролись с микробами и истребляли их — иногда. Ужасная болезнь была проказа. За сто лет до моего рождения бактериологи открыли бациллу проказы. Они изучили ее и делали с нее снимки; я видел эти снимки. Но они не сумели найти средства к ее уничтожению. В тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году появилась моровая язва; она началась в стране, называемой

Бразилией, и убила миллионы людей. Бактериологи не только нашли этот микроб, но и истребили его, и моровая язва прекратилась. Они сделали так называемую сыворотку; и, впуская ее в тело человека, убивали этим бациллу, не вредя ему самому. В тысяча девятьсот десятом году появилась миланская проказа. И так же легко была истреблена. Но в тысяча девятьсот сорок седьмом году появилась новая болезнь, еще не виданная доныне. Она поражала грудных детей, — они не могли ни есть, ни двигаться. Бактериологи потратили одиннадцать лет на отыскание этой бациллы.

Но несмотря на все эти болезни, несмотря на их увеличение, — все больше людей появлялось на свет. Причина этого — легкое добывание пищи. Увеличивающаяся теснота приносила с собой все новые и новые болезни. Были предостережения. Так, Сольдервецкий еще в тысяча девятьсот двадцать девятом году предостерегал против новых болезней, страшней в тысячу раз прежних и убивающих сотни миллионов, даже биллионы. Но микроорганический мир приберег свою тайну к концу. Тогда знали о существовании этого мира и о возникновении новых полчищ микробов, убивающих людей. Но это было и все. В незримом

микроорганическом мире, возможно, существовало бесчисленное количество микробов. Быть может, даже жизнь происходила от них. «Неисчерпаемая возможность», — как говорил Сольдервецкий.

Но на этом месте Заячья Губа с негодованием вскочил со своего места.

— Грэнсэр, — заявил он, — я очень устал от твоей болтовни. Почему ты не рассказываешь об Алой смерти? Если ты не думаешь начинать, так и скажи — мы вернемся обратно к поселку.

Старик взглянул на него и молча заплакал. Бессильные слезы текли по его щекам, и вся беспомощность его восьмидесяти семи лет выразилась в его печальном взгляде.

— Садись, — посоветовал примирительно Эдвин. — Он сейчас расскажет про Алую смерть, не правда ли, Грэнсэр? Садись, Заячья Губа. Ну, дальше, Грэнсэр.

Глава третья

Старик вытер слезы своими морщинистыми пальцами и начал рассказ дрожащим, прерывистым голосом, окрепшим по мере приближения к самой катастрофе.

— Это было летом две тысячи тринадцатого года, когда пришла чума. Мне было тогда двадцать семь лет, и я прекрасно помню все это. Радио…

Заячья Губа громко выразил свое неудовольствие, и Грэнсэр поторопился поправиться:

— В те дни мы говорили через воздух за тысячи и тысячи миль. И пришло известие о появлении в Нью-Йорке какой-то странной болезни. В этом замечательнейшем городе Америки было тогда семнадцать миллионов населения. Но случаев этой болезни насчитывалось всего несколько, и никто особенно не задумывался над этим; это казалось пустяками. Правда, оказывалось, что умирали поразительно быстро, и первым признаком новой болезни являлось распространение алой сыпи по всему телу и на лице. Не прошло и двадцати четырех часов, как распространился слух о первом случае в Чикаго. В тот же день стало известно, что и в Лондоне, величайшем городе

в мире после Чикаго, уже две недели боролись с чумой, запрещая извещать остальной мир.

Дело становилось серьезным, однако мы, в Калифорнии, как и остальные, не беспокоились. Мы были уверены, что бактериологи сумеют уничтожить новую бациллу, как уничтожали раньше других. Тревожила лишь быстрота, с какой микроб убивал человека, и то, что смерть была неминуема. Никто не выздоравливал. Была у нас старая азиатская холера; вы могли вечером обедать с совершенно здоровым человеком, а на следующее утро, взглянув в окно, увидеть его на дрогах для перевозки покойников. Но эта новая чума убивала быстрее, гораздо быстрее. С момента появления первых признаков человек погибал почти в один час. Некоторые жили несколько часов. Многие умирали через десять-пятнадцать минут.

Сердце начинало усиленно биться, по всему телу распространялся жар, и потом появлялась алая сыпь, покрывавшая — словно лесной пожар — все лицо и тело. Многие не чувствовали жара и сердцебиения, и первое, что они замечали, была алая сыпь. При появлении сыпи обыкновенно начинались судороги. Но они не были особенно продолжительны и сильны. Тот, кто переживал

их, становился совершенно спокойным и только чувствовал оцепенение, быстро ползущее с ног по всему телу. Сначала немели пятки, потом ноги и бедра, и когда онемение достигало сердца — человек умирал. Он не бредил и не спал. Его мысли оставались спокойными и ясными до того самого момента, когда сердце цепенело и останавливалось. Другая странность заключалась в быстроте разложения. Как только человек умирал, тело распадалось на куски, рассыпалось, словно исчезало на ваших же глазах. Это была одна из причин такого быстрого распространения чумы. Миллиарды бацилл моментально рассеивались в воздухе.

И потому бактериологи имели так мало шансов на победу. Они погибали в своих лабораториях, изучая микроб Алой смерти. Это были герои. Как только они умирали, другие заменяли их. Лондон нашел ее первым. Имя человека, открывшего ее, — Траск; не прошло и тридцати часов, как он был мертв. Тогда во всех лабораториях стали искать средство против этого микроба. Но все было напрасно. Вы понимаете, задача заключалась в том, чтобы найти средство, убивающее микроб, не вредя человеку. Они пытались вводить в человеческий организм другие микробы — врагов

чумных…

— Вы ведь не могли видеть этих микробов, Грэнсэр, — возразил Заячья Губа, — а ты говоришь о них, как будто вы их видели, когда на самом деле они — ничто. То, чего вы не видите, не может быть чем-нибудь. Бороться с несуществующими вещами! Они были большие дураки в те времена. Потому они и перемерли. Не верю я во весь этот вздор.

Грэнсэр снова заплакал, и Эдвин горячо взял его под свою защиту:

— Подумай, Заячья Губа, ведь и ты веришь в невидимые предметы.

Заячья Губа покачал головой.

— Ты веришь в привидения; ты ведь никогда не видел их.

— А я говорю, что я их видел, когда прошлой зимой ходил с отцом охотиться на волков.

— Ну, хорошо; ты всегда плюешь, когда переходишь текущую воду, — продолжал Эдвин.

— Это чтоб беды не случилось, — был ответ.

— Ты веришь в несчастье?

— Конечно.

— А ты никогда не видел беды, — закончил Эдвин с торжеством. — Ты, значит, так же глуп, как и Грэнсэр со своими микробами; ты веришь в

то, чего не можешь видеть. Продолжай, Грэнсэр.

Заячья Губа, покорившись метафизическим доводам, замолчал, и старик продолжал свой рассказ. Все чаще и чаще его перебивали споры мальчиков. Иногда они громко высказывали разные предположения и объяснения, стараясь следовать за рассказчиком в неизведанный, исчезнувший мир.

— Алая смерть появилась в Сан-Франциско. Первая смерть обнаружилась в понедельник утром. В четверг в Окленде и Сан-Франциско люди умирали как мухи. Умирали всюду — в постелях, за работой, гуляя по улице. Во вторник я увидел первую смерть — мисс Коллброн, одной из моих слушательниц, сидевшей как раз против меня в моей аудитории. Во время своей лекции я видел ее лицо. Внезапно оно стало алым. Я замолчал и мог только смотреть на нее; чума была среди нас. Все с криком бросились из комнаты, остались только двое. Судороги продолжались всего одну минуту и были очень слабы. Один из студентов достал ей воды. Она выпила немного и внезапно закричала: «Мои ноги! Я не чувствую их больше». Через минуту она сказала: «У меня нет ног. Я не чувствую своих колен».

Женщина лежала на полу с толстой книгой под

головой вместо подушки. И мы ничем не могли ей помочь. Холод и оцепенение ползли с ног к сердцу, и когда достигли его, — она умерла. В пятнадцать минут на часах, — я заметил, — она была мертва, здесь, в моей собственной аудитории — мертва. А она была очень красивая, сильная, молодая девушка. От появления первых признаков чумы до конца прошло всего пятнадцать минут. Из этого ясно, как молниеносна была Алая смерть.

Я оставался еще несколько минут в своей аудитории с умершей девушкой. Ужас распространился по всему университету, и тысячи студентов покидали свои аудитории и лаборатории. Когда я вышел, чтобы известить ректора, — весь университет был совершенно пуст. Несколько запоздавших спешили по домам. Двое из них бежали.

Ректора Хоуга я застал в его кабинете совершенно одного; он выглядел старым, седым, и все лицо его было в морщинах, чего я прежде никогда не видел. При виде меня он вскочил и скрылся в свой внутренний кабинет, захлопнув за собой дверь; я слышал, — он ее запер. Он знал, что я заражен, и крикнул через дверь, чтобы я ушел. Я никогда не забуду того чувства, с каким я шел по длинным

коридорам пустынного здания. Я не боялся. Я был заражен и смотрел на себя, как на мертвеца. Но это был не страх; чувство спокойного смирения было во мне. Все остановилось. Это был словно конец мира для меня, — моего мира. Я родился в шуме и гаме университета. Эта карьера была мне предназначена. Мой отец был профессором до меня, и его отец — до него. Полтора века, словно гигантская машина, этот университет неуклонно развивался. И теперь, в один миг, все остановилось. Словно видишь, как умирает священное пламя твоего трижды священного алтаря. Я был потрясен, мне было невыразимо тяжело.

Когда я пришел домой, швейцар при виде меня с криком скрылся. Позвонив, я увидел, что и моя прислуга последовала за ним. В кухне я нашел кухарку, собиравшуюся уходить. Она закричала и, бросив свои вещи, выбежала на улицу, все время крича. Я и сейчас слышу этот крик. Мы не терялись в тот момент, когда нас поражала обыкновенная болезнь. Мы были спокойны и посылали тотчас же за доктором; он знал, что нужно делать. Но тут было иначе. Эта болезнь появлялась внезапно и убивала быстро, без промаха. Когда алая сыпь появлялась на чьем-нибудь лице, — этот человек был отмечен смертью. Не

выживал никто.

Я был один в своем большом доме. Как я вам уже рассказывал, в то время мы могли говорить друг с другом по проводу или просто через воздух. Прозвонил телефон, и я услышал голос моего брата. Он сказал, что не приходит ко мне из боязни заразиться чумой, а наших двух сестер он оставил в доме профессора Бэкона. Он советовал мне оставаться дома и ждать, пока не выяснится, заразился я или нет.

Я с этим согласился и остался один в своем доме, в первый раз в жизни попробовав стряпать. Но чума не тронула меня. Благодаря телефону я мог говорить с кем хотел и узнавать все новости. Кроме того, тогда существовали газеты, мне их просовывали через дверь, и таким образом я был в курсе того, что происходило.

В Нью-Йорке и Чикаго царила паника. То же самое творилось и во всех больших городах. Погибла треть нью-йоркской полиции; и начальник и помощник его также были мертвы. Законы и постановления нарушались. Трупы непогребенными валялись на улицах. Железные дороги и пароходства прекратили доставку провизии в города, и толпы голодных грабили склады и магазины. Всюду — пьянство, грабежи и убийства.

Люди бежали миллионами из городов. Сперва богатые в своих автомобилях и аэропланах, а за ними вся колоссальная масса жителей, разнося чуму, бежала пешком, голодая и грабя города и села на пути.

Человек, присылавший эти новости, — радиотелеграфист, — был один со своими инструментами наверху высокого здания. Оставшееся население, — он исчислял его всего в несколько сот тысяч, — обезумело от страха и алкоголя. Со всех сторон он был окружен бушевавшим огнем. Он был герой — этот человек, оставшийся на своем посту.

Через двадцать четыре часа он сообщил, что больше не появляются трансатлантические аэропланы — прекратилась связь с Англией. Из Берлина — в Германии — пришло известие об открытии бактериологом Мечниковского института, профессором Гоффмейером, сыворотки против чумы. Это было последним сообщением по сей день, полученным нами в Америке из Европы. Слишком поздно! Пока это открытие стало бы нам известно, прошло бы немало времени. Мы могли только заключить: в Европе произошло то же, что и у нас, и в лучшем случае несколько десятков человек на всем континенте переживет

Алую смерть.

Еще несколько дней приходили депеши из Нью-Йорка. Потом и это прекратилось. Человек, посылавший их со своего высокого здания, быть может, погиб от чумы либо в колоссальном пожаре, бушевавшем вокруг него. И то, что происходило в Нью-Йорке, происходило и в других городах. То же самое было и в Сан-Франциско, и Окленде, и Берклее. В четверг люди умирали с необычайной быстротой, и трупы их валялись всюду. В четверг ночью началось паническое бегство в деревни из городов. Вообразите себе, дети мои, поток людей — больший, чем лососей в реке Сакраменто, — обезумев, стремящийся из городов, тщетно пытаясь спастись от вездесущей смерти. Они несли смерть с собой. Даже в аэропланах богачей, летающих в безопасности над горами и пустынями, — даже в них была смерть. Сотни этих аэропланов спасались в Гавайи, но чума была уже всюду. Это мы узнавали из телеграмм, пока не прекратилось сообщение с Сан-Франциско. Это прекращение связи с остальным миром прямо ошеломляло. Словно мир был вычеркнут, перестал существовать. Шестьдесят лет этот мир не существует для меня. Я знаю, — где-то должны быть Нью-Йорк, Европа,

Азия, Африка, но оттуда не слышно ни одного слова, — ни одного за шестьдесят лет. С приходом Алой смерти мир упал в небытие. Совершенно невозвратно. Десять тысяч лет культуры и цивилизации были сметены во мгновение ока, «исчезли, словно пена».

Я говорил вам об аэропланах богачей. Они несли с собой чуму и гибли повсюду. Я встретил только одного спасшегося — Мюнджерсона. Впоследствии он стал Санта-Розана и женился на моей старшей дочери. Он пришел к нам через восемь лет после чумы. Ему было девятнадцать лет, и целых двенадцать ему пришлось ждать, прежде чем он женился. Тогда не было незамужних женщин, а некоторые из старших дочерей Санта-Розаны были уже помолвлены. Вот он и должен был ждать, пока моей Мери исполнилось шестнадцать лет. Его сын — Шелковая Лапка — был убит львом в прошлом году. Мюнджерсону было одиннадцать лет во время чумы. Отец его был один из промышленных магнатов, очень богатый, влиятельный человек. На своем аэроплане «Кондор» они прилетели в степи Британской Колумбии, лежащей далеко к северу. Но они потерпели аварию недалеко от горы Шаста. Вы слыхали об этой горе; она на Дальнем Севере. Среди них началась чума,

и этот мальчик одиннадцати лет единственный остался в живых. Восемь лет он блуждал один по пустыне, тщетно ища человека. И наконец, подойдя к югу, он нашел нас, Санта-Розана.

Но я очень забежал вперед. Когда началось бегство из городов вокруг Сан-Франциско и телефон еще работал, я разговаривал с братом. Я сказал ему, что это бегство — сущее безумство, симптомов чумы у меня нет — и нам и нашим близким необходимо скрыться в какое-нибудь безопасное место. Мы остановились на химическом корпусе университета и решили, запасясь провизией, силой не пускать посторонних в наше убежище.

Условившись обо всем, брат попросил меня остаться дома еще на сутки — убедиться, что я не заражен чумой. Я согласился, и он обещал прийти ко мне на следующий день. Мы говорили о запасах провизии и подробностях защиты в химическом корпусе, пока телефон вдруг не перестал работать. Он замер в середине нашего разговора.

В этот вечер не было электричества, и я оставался в полной темноте, один в своем доме. Газеты больше не выходили, и я не имел никаких сведений извне. Я слышал шум толпы и пистолетные выстрелы. В окно я мог видеть зарево пожара в

стороне Окленда. Это была страшная ночь. Я не сомкнул глаз. Какой-то человек — почему и как, я не знал — был убит против моего дома. Я слышал частые выстрелы автоматического пистолета, и через несколько минут несчастное раненое существо подползло к моей двери, крича и умоляя о помощи. Вооружившись двумя пистолетами, я пошел к нему. При свете спички я увидел, что, умирая от ран, он болен Алой чумой. Я захлопнул дверь и слушал его крики и стоны еще полчаса возле самой двери.

Утром пришел ко мне брат. Я собирал в мешок самые ценные вещи, какие предполагал взять с собой; но, увидев его лицо, я понял, что ему уже не нужно скрываться со мной. У него была чума. Он протянул руку, но я поспешно отскочил.

«Посмотри в зеркало», — сказал я.

Он посмотрел и при виде своего алого лица бессильно упал на стул.

«Боже мой, — проговорил он. — Я заразился ею. Не подходи ко мне — я мертвый человек».

У него начались судороги. Он умирал два часа; до последней минуты был в сознании, говорил о возрастающем холоде и онемении в ступнях, икрах, бедрах, пока оно не достигло сердца. Это был конец.

Таков был путь Алой смерти. Я взял свой мешок и бежал. Вид у меня был страшен. Всюду я спотыкался о тела; некоторые были еще живы. И вы видели, как люди боролись с оковывавшей их смертью. Берклей был объят пламенем, а Окленд и Сан-Франциско пылали в страшном пожаре. Небо застлалось дымом, и полдень казался туманным рассветом. В порывистом ветре солнце светило тусклым безжизненно-красным шаром. Да, дети мои, это был словно конец — последние дни конца мира.

Всюду застыли брошенные автомобили, говорящие о том, что запасы бензина в гаражах иссякли. Я помню один такой автомобиль. Мужчина и женщина лежали мертвыми на сиденьях, а на тротуаре валялись две женщины с ребенком. Странное и ужасное зрелище представлялось на каждом шагу. Люди скользили тихо и таинственно, словно привидения. Бледные женщины с детьми на руках; отцы, ведущие детей за руки; поодиночке, парами, семьями — все бежали из города смерти. Некоторые тащили запасы провизии, другие — вещи и одеяла, многие совсем ничего не несли.

Недалеко была бакалейная лавка — там продавали провизию. Ее хозяин — я хорошо его знал

— спокойный, трезвый, но глупый и упрямый человек, охранял ее. Окна и двери были разбиты, а он, спрятавшись за прилавок, разряжал свой пистолет в каждого, подходившего к его двери. У входа лежало несколько трупов — убитых им в течение дня. Издали я увидел, как один из грабителей, проломив окно в соседнем магазине, поджигал его. Я никого не призвал на помощь. Время для этого прошло. Цивилизация рушилась, и каждый заботился о себе.

Глава четвертая

Я поспешно пошел дальше и на первом же углу увидел новую драму. Двое парней напали на мужчину и женщину с двумя детьми и грабили их. Я знал этого человека, хотя никогда не был с ним знаком. Он был поэт, перед которым я давно преклонялся. В тот момент, когда я хотел прийти ему на помощь, раздался выстрел, и он упал. Женщина закричала и свалилась под ударом кулака. Я громко крикнул, но они направили на меня пистолеты, и мне пришлось скрыться за угол. Здесь путь преграждался надвигающимся пожаром. С обеих сторон горели здания, и улица была полна дыма и огня. Откуда-то из мрака слышался голос женщины, дикр зовущей на помощь. Однако я не пошел к ней. Человеческое сердце становилось железным среди всего этого ужаса, и каждый слышал слишком много призывов о помощи.

Когда я вернулся обратно, грабителей уже не было… Поэт и его жена лежали мертвые на тротуаре. Дети исчезли, куда — я не знал. Но я понял, почему люди, попадавшиеся мне навстречу, скользили так тихо, с бледными лицами. Среди нашей цивилизации, в наших трущобах

мы вскормили варваров, дикарей. И теперь, в момент нашего смятения, они набросились на нас, словно разъяренные звери, и истребляли нас. Но они погибали вместе с нами. Возбуждаемые алкоголем, они совершали тысячи преступлений, в страшном безумии убивая друг друга. Я увидел отдельную группу рабочих, покидавшую город, со своими женами и детьми. Они несли на носилках старых и больных и тащили повозки с провизией. Это было великолепное зрелище, когда они шли вниз по улице, окутанные дымом. Они сначала хотели убить меня, когда я попался на пути, но, пройдя, один из них в оправдание крикнул, что они убивают всех грабителей, попадающихся им на дороге, и соединились вместе для защиты против них.

Тут я увидел впервые то, что вскоре видел так часто. На лице одного из уходивших появились верные признаки чумы. Все тотчас же от него отскочили, и он остался один, не пытаясь никого удержать. Одна женщина, по-видимому его жена, хотела сопровождать его; с ней был маленький мальчик. Но муж сурово приказал ей отойти, а остальные, протягивая руки, убеждали ее вернуться. Я видел все это, и я видел также человека с алым пламенем на лице, стоявшего в дверях

на другой стороне улицы. Я слышал выстрел его пистолета и видел, как он рухнул на тротуар.

Дважды возвращаясь из-за бушевавшего пожара, мне все же удалось пройти к университету. Проходя пустырем, примыкающим к университету, я подошел к группе профессоров, шедших также под защиту химического корпуса. Это были все семейные люди со своими семьями и прислугой. Профессор Бэдминтон поклонился мне, но я едва его узнал. По-видимому, ему пришлось пробиваться через огонь, и пламя спалило его бороду; он был грязный и весь в крови, с обвязанной головой. Он рассказал мне, что его избили грабители, а брата убили предыдущей ночью, когда он защищал свою квартиру от грабежа.

Идя со мной, он вдруг указал на лицо миссис Суинтон. Ошибиться было нельзя: среди нас появилась Алая чума. Женщины с криком разбежались, и ее двое детей, шедшие с няней, тоже убежали вслед за остальными. Только муж ее, доктор Суинтон, остался с ней.

«Идите, Смит, — сказал он мне, — присмотрите только за детьми. Я останусь с женой. Я знаю, — она погибла, но я не могу оставить ее. После, если спасусь, я приду в химический корпус, а вы ждите, чтобы впустить меня».

Я оставил его наблюдавшим последние минуты своей жены и побежал догонять остальных. Мы были последние, пропущенные в химический корпус. И своими автоматическими пистолетами мы защищали свое убежище. По нашему плану, здесь должно было поместиться человек шестьдесят, но каждый привел с собою родственников и друзей, и в результате оказалось более четырехсот человек. Химический корпус стоял особняком, вне опасности загореться от страшных пожаров, пылавших во всем городе.

Провизии было много, и продовольственный комитет решил ежедневно выдавать паек каждой семье. Были выбраны члены комитета, и мы выказали большую организованность. Я был в комитете обороны, хотя в первый день не видно было вблизи ни одного грабителя. Мы могли их видеть издали, и по дыму их костров знали, что они расположились на другом конце пустыря. Часто слышались их пьяные песни и непристойная брань. В то время как мир рушился вокруг них и весь воздух был наполнен дымом его пожара, эти низкие твари дали волю своему зверству и дрались, пили и умирали. А в конце концов, какое это имело значение? Все умирали — хороший и плохой, сильный и слабый, тот, кто хотел жить,

и тот, кто проклинал жизнь. Они исчезли. И все исчезло.

Когда спустя двадцать четыре часа ни один из нас не заболел, мы стали поздравлять друг друга. Вы видели большие железные трубы, по которым в те времена доставлялась вода всем горожанам. И вот, боясь, что огонь взорвет эти трубы и резервуары опустеют, — мы решили рыть колодец. Сорвав цемент, которым был залит центральный двор химического корпуса, мы принялись за работу. Среди нас было много молодых людей, и мы работали целую ночь и целый день. Наши опасения оправдались. За три часа до окончания работы в трубах не оказалось воды.

Прошли вторые сутки; смерть не появлялась среди нас, и мы надеялись, что все спасены. Но тогда не знали того, что я узнал после: инкубационный период чумы продолжается несколько дней. Мы думали, что, убивая так молниеносно, она столь же быстро и проявляется. Таким образом, когда и второй день прошел благополучно, мы были уверены, что спаслись. Но третий день разочаровал нас. Я никогда не забуду предыдущей ночи. Мне была поручена ночная смена — от восьми до полуночи, — и с крыши здания я следил за славными деяниями толпы. Все небо

было освещено страшным заревом; было так светло, что можно было прочесть мельчайшую печать. Казалось, что весь мир объят пламенем. Сан-Франциско пылал, словно масса действующих вулканов выбрасывала огонь и дым. Горело всюду — Окленд, Сан-Леандро, Гэйуард; и к северу до самого мыса Ричмонда пылали пожары. Это было жуткое зрелище. Цивилизация, внуки мои, рушилась в огне и дыхании смерти. Этой ночью в десять часов взорвались пороховые погреба на мысе Пиноль. Сотрясение было столь сильным, что огромное здание пошатнулось, словно от землетрясения, и все стекла разлетелись вдребезги. И мне пришлось спуститься с крыши; я ходил по длинным коридорам, из комнаты в комнату, успокаивая испуганных женщин и сообщая о случившемся.

Час спустя я услышал дьявольский шум в лагере грабителей. Слышались крики, плач и пистолетные выстрелы. Как мы догадались, эта борьба произошла из-за попытки здоровых избавиться от больных. Так или иначе, несколько зараженных грабителей, спасаясь, пересекли пустырь и подбежали к нашим дверям. Мы пытались прогнать их, но они с проклятиями открыли огонь из своих пистолетов. Профессор Мерри-

унтер, стоявший возле окна, был убит наповал пулей, попавшей ему между глаз. Тогда мы открыли ответный огонь, и все грабители удрали. Остались только трое — из них одна женщина. На них уже лежала печать чумы, и они были бесстрашны. Словно исчадие ада, под пылающим небом и с багровыми лицами они продолжали, проклиная, в нас стрелять. Одного из них я убил своей собственной рукой. А вслед за этим женщина и мужчина с проклятиями упали под нашим окном, и мы видели, как они умирали от чумы.

Положение было критическим. Взрыв пороховых складов выбил все окна химического корпуса, и больше мы не были защищены от чумных бацилл. Призвали санитарный комитет, и он поступил геройски. Требовалось двое мужчин, чтобы выйти и убрать трупы. Но это было подвигом с их стороны, ибо, исполнив свою работу, они уж не могли возвращаться. Один из профессоров, холостяк, и один из ассистентов вызвались на это. Это были герои. Они отдавали свою жизнь для спасения четырехсот. Убрав трупы, они стояли и издали смотрели на нас. Потом, помахав рукой на прощание, повернулись и медленно пошли по пустырю к горящему городу. И однако, жертва оказалась бесполезной. На следующее

утро у одной из нас оказались признаки чумы, — это была девушка, присматривающая за детьми профессора Стоута. Прошло время слабостей и сентиментальностей. И в надежде, что она будет единственной, мы были вынуждены вывести девочку из дома и велели уйти прочь. Она медленно пошла по пустырю, ломая руки и горько плача. Мы знали, — это было жестоко, но что мы могли поделать? Нас было четыреста человек, и единицы должны были быть принесены в жертву.

В одной из лабораторий жила целая семья, и в тот же день в их комнате обнаружили четыре трупа и семь заболевших.

Вот тогда-то ужас объял нас. Оставляя мертвых там, где они погибали, мы переводили больных в другие комнаты. Но чума уже появилась среди оставшихся; и как только показывались первые признаки, мы отсылали больных в эти комнаты — одних, боясь к ним прикоснуться. Сцены были душераздирающие. Чума овладевала нами. Все больше и больше комнат наполнялось мертвыми и умирающими. И мы — те, кто были еще здоровы, — отступали все дальше и дальше, пока это море смерти не залило всего здания — комнату за комнатой. Дом обратился в склеп. В полночь здоровые бежали, взяв с собой одежду и запас

еды. Мы расположились на другом конце пустыря, противоположном тому, где были грабители. Часть стояла на страже, остальные же пошли на поиски каких-нибудь перевозочных средств.

Я был один из этих разведчиков. Доктор Хойль, вспомнив про свой автомобиль, оставленный в его гараже, направил меня к его дому. Мы отправились парами, и со мной пошел Домби, молодой ассистент. Чтобы попасть к дому доктора Хойля, нам пришлось пройти с полмили за городом. Здесь были особняки, стоявшие среди полян и окруженные деревьями. Бушевавший огонь пожирал все преграды на своем пути. И здесь работали грабители. Вытащив наши пистолеты, мы бесстрашно шли вперед, держа их наготове. Дом доктора Хойля был не тронут огнем, и только при нашем приближении к нему оттуда вырвались клубы дыма. Негодяй, поджегший его, шатаясь бродил возле дома. Он был совершенно пьян, и из его кармана торчала бутылка виски. Моим первым движением было убить его, и я никогда не прощу себе, что не сделал этого. Шатаясь и что-то бормоча, с налитыми кровью глазами и большим кровавым порезом на щеке — он был воплощением низости. Я не застрелил его, и он спрятался за дерево, чтобы пропустить нас. Ко-

гда мы проходили мимо, он внезапно вытащил пистолет и выстрелил в Домби. Это была такая подлость! В следующий момент я убил его. Но было слишком поздно. Домби упал без звука, без стона. Я сомневаюсь, успел ли он осознать, что произошло.

Оставив два трупа, я поспешил в пылающий дом, и в гараже я нашел автомобиль доктора Хойля. Резервуары были наполнены, и он был годен к употреблению. В этом автомобиле, проезжая разрушенный город, я возвращался к оставшимся на площади.

Вернулись другие разведчики, но ни одному так не повезло. Профессор Фермид нашел шотландского пони, но бедное животное, оставаясь привязанным в конюшне без пищи и воды, было до того слабо, что не могло нести на себе груза. Некоторые из нас были за оставление его здесь, но я настоял на том, чтобы взять его с собой, ибо в случае голода мы смогли бы употребить его в пищу.

Нас было сорок семь человек, когда мы двинулись в путь: из них много женщин и детей. Ректор университета, пожилой человек, совсем разбитый этой катастрофой, поехал в автомобиле с детьми и престарелой матерью профессора

Фермида. Уатоп, молодой английский профессор, с тяжелой раной на ноге, поехал в коляске. Все остальные пошли пешком, профессор Фермид вел пони.

Дым мирового пожара затмил сияющее небо, и солнце тускло светило темным безжизненным шаром, кроваво-красным и зловещим. Но мы привыкли к этому красному солнцу. Дым отравлял дыхание, и глаза наливались кровью. Мы направились на юго-восток, через бесконечные окрестности города, где возвышались первые за городской равниной холмы. Только таким путем мы могли достичь какой-нибудь деревни.

Мы подвигались мучительно медленно. Женщины и дети не могли идти быстро. Им и не снилось о тех переходах, какие мы совершаем теперь, дети мои. Да, никто из нас не знал, что такое ходьба. Только после чумы я научился ходить по-настоящему. Медленная походка одного задерживала всех остальных, ибо мы не хотели разделяться, из боязни разбойников. Теперь эти человеческие хищники попадались реже. Чума значительно уменьшила их число, но все же оставалось достаточно, чтобы быть для нас постоянной угрозой. Множество прекрасных построек было еще не тронуто огнем, но всюду

виднелись дымящиеся развалины. Грабители поджигали все.

Некоторые из нас пошли искать в частных гаражах оставленные автомобили и бензин. Но в этом нам не везло. Во время первого великого бегства из городов было захвачено с собой все. Колган, красивый молодой человек, больше не возвратился из этих поисков. Он был убит грабителями, проходя по дороге. Это был единственный случай, хотя однажды какой-то пьяный негодяй стал в нас стрелять. К счастью, он стрелял почти не целясь, и мы уложили его прежде, чем он нанес нам какой-либо вред.

В Фрютвэле, в самой богатой части города, чума снова появилась среди нас. Жертвой был профессор Фермид. Сделав нам знаки, чтобы мы не пугали его мать, он свернул с дороги к крыльцу одного роскошного дворца. Он сел, покинутый, на ступени веранды, и я, замедлив шаги, махнул ему на прощание. В эту ночь, в нескольких милях за Фрютвэлем, мы расположились на ночлег. И в течение этой ночи нам пришлось дважды сниматься со стоянки, покидая мертвых. Наутро нас было тридцать. Я никогда не забуду нашего ректора. Утром у его жены обнаружились симптомы, и когда она отошла в сторону, чтобы нас

пропустить, он вышел из автомобиля и остался с ней. Мы пытались удержать его, но в результате нам пришлось уступить. В конце концов, ведь мы не знали, кто из нас спасется.

В эту ночь — вторую — мы расположились за Гэйуардом, в первой встречной деревне. Наутро нас было одиннадцать. Ночью Уатоп, профессор с раненой ногой, покинул нас в автомобиле. С ним остались его мать и сестра с большим запасом провизии. В этот день, к вечеру, отдыхая в стороне от дороги, я видел последний дирижабль. Здесь, за городом, дым рассеялся, и я первый заметил его беспомощно барахтающимся в воздухе на высоте в две тысячи футов. Что случилось, я не знал, но мы видели, как он опускался все ниже и ниже. Потом, как видно, взорвался газ, и он словно гиря упал на землю. С тех пор до сегодняшнего дня я не видел больше воздушных кораблей. В течение нескольких лет часто, очень часто я осматривал небо в слабой надежде, что, быть может, где-нибудь в мире уцелела цивилизация. Но этого не было. То, что случилось с нами в Калифорнии, произошло всюду, со всеми.

Еще один день — и в Пайльзе осталось трое. За Пайльзом, по верхней дороге, мы нашли Уатопа. Автомобиль был брошен, а на одеяле, разостлан-

ном на земле, лежали три трупа — его матери, сестры и его самого.

Усталый от бесполезной ходьбы, я спал тяжело в эту ночь. Утром я был один во всем мире. Конфильд и Парксон, мои последние спутники, умерли от Алой чумы.

Из четырехсот человек, скрывшихся в химическом корпусе, и из сорока семи, отправившихся в это последнее путешествие, я остался один — я и шотландский пони. Как это случилось, — не знаю. Объяснений этому нет. Я не заболел чумой — вот и все. Я спасся. Я был просто один из нескольких счастливцев, уцелевших из многих и многих миллионов.

Глава пятая

Два дня я скрывался в прелестных рощицах, где не было смерти. В эти два дня, не переставая все же ждать, что придет и мой черед, я отдохнул и оправился. И на третий день, нагрузив пони остатками провизии, я двинулся через опустошенную страну. Ни одного живого человека не встретил я. Смерть была всюду. Но страна не была такой, как сейчас. В то время земля была возделана, принося пищу миллионам людей, и все это пропадало даром. В полях и фруктовых садах я собирал овощи, фрукты и ягоды. Возле пустых ферм ловил цыплят и разыскивал яйца. Часто в кладовых я находил оставшуюся провизию.

Нечто странное произошло с домашними животными. Они одичали и набрасывались друг на друга. Утки и куры были первыми истреблены, а свиньи и кошки одичали раньше других. Собакам тоже понадобилось немного времени, чтобы приспособиться к новым условиям. По ночам они лаяли и выли, раздирая трупы, а днем разбегались, подозрительные и воинственные. По мере того как время шло, я замечал в них перемену. Сначала они бегали поодиночке, недоверчивые и

всегда готовые вступить в бой. Вскоре они стали собираться в стаи. Собаки, вы знаете, были всегда животными социальными, еще прежде их приручения человеком. Перед чумой существовала масса различных пород собак: без шерсти, с длинной шерстью, больших, как горный лев, и маленьких, помещавшихся в их пасти. Мелкие породы и собаки более слабые были истреблены сильнейшими, а самые крупные также не были приспособлены к новым условиям и вырождались. В результате остались только стаи собак, похожих на волков, — собак, каких вы знаете и в настоящее время.

— Но ведь кошки не бегают стаями, Грэнсэр, — заметил Хоу-Хоу.

— Кошки никогда не были социальными животными. Кошка живет сама по себе, — как сказал один писатель в девятнадцатом веке. Она всегда жила одна, еще до приручения; так живет и сейчас, когда опять одичала.

Лучшие породы лошадей выродились в маленьких мустангов, которых вы знаете. Коровы, овцы и голуби тоже одичали. А то, что куры выжили, вы знаете и сами. Но они мало похожи на тех, какие были в те дни.

Но я продолжаю свой рассказ. Я шел по пустын-

ной земле, чем дальше, тем больше тоскуя по какому-нибудь человеческому существу. Но я не находил никого и чувствовал себя все более и более одиноким. Я прошел Ливерморскую долину, горы, ее пересекающие, и великую равнину Сан-Хоакин. Вы ее никогда не видели; она очень велика, и на ней пасутся дикие лошади. Там громадные табуны в десятки тысяч. Я снова побывал там тридцать лет спустя и поэтому знаю. Дикие лошади здесь, на прибрежной равнине, мало похожи на тех лошадей. Странно, но коровы, одичав, вернулись обратно к холмам; очевидно, там им удобней защищаться.

В деревне, по-видимому, разбойников было меньше и встречалось множество поселков, не тронутых огнем. Но все они были переполнены трупами, и я, проходя мимо, не заходил туда. Возле Латропа я нашел двух овчарок, еще не совсем одичавших, и они стали мне верными товарищами; их потомков вы знаете хорошо. Но за шестьдесят лет овчарки тоже выродились и теперь больше напоминают прирученных волков.

Заячья Губа встал и посмотрел на солнце, стоящее уже низко, выказывая явное нетерпение по поводу пространного рассказа старика. Подгоняемый Эдвином, Грэнсэр продолжал:

— Теперь уже мало осталось рассказывать. С моими двумя собаками, пони и пойманной верховой лошадью, я прошел Сан-Хоакин и подошел к прекрасной Сиеррской долине, называемой Иозмайт. Тут были обильные пастбища, множество дичи, и река, протекавшая через долину, была полна форелью. В большом отеле я нашел громадный запас провизии. Я оставался здесь три года в полном одиночестве, и только культурный человек может понять меня. Но дольше я не смог оставаться, чувствуя, что не выдержу. Как и собака, я был социальным животным и нуждался в себе подобных. Я думал, — быть может, так же, как и я, спаслись и другие. Кроме того, после трех лет бациллы исчезли, и страна обезврежена.

Со своими собаками, лошадью и пони я двинулся в путь. Снова я прошел долину Сан-Хоакина, горы и спустился в долину Ливермор. За эти три года произошла удивительная перемена. Землю, так прекрасно обработанную, теперь я едва узнал; возделанные поля заросли дикими растениями. Вы понимаете, за пшеницей, овощами и фруктовыми деревьями ухаживал человек; сорные травы и дикие заросли всегда уничтожались. В результате, когда человеческая рука исчезла, дикие растения истребили и заглуши-

ли всю возделанную растительность; хищники размножились.

Было это возле Темескальского озера, недалеко от Окленда, где я нашел первое человеческое существо. О, мои внуки, как описать вам мое чувство, когда, спускаясь верхом на лошади с холма, я увидел дым костра, пробивающийся сквозь деревья! Сердце перестало биться. Я почувствовал слабость. Потом я услышал детский крик — крик ребенка! Собаки залаяли, а мои им отвечали. Я не надеялся, что еще хоть одно человеческое существо осталось на свете. Но сомнений быть не могло — дым и крик ребенка.

Перед моими глазами, не более чем за сотню ярдов от меня, у озера, появился крупный человек. Стоя на выступе скалы, он ловил рыбу. Я пришел в исступление. Остановив лошадь, я пытался крикнуть — и не мог. Мне казалось, человек видит меня, но он не ответил на мои знаки рукой. Потом я опустил голову на руки, тут же, в седле. Я боялся снова взглянуть, ибо думал, — это галлюцинация; я знал — если я посмотрю, человек исчезнет. И галлюцинация эта была так прекрасна, что я хотел продлить ее еще немного.

Так я оставался, пока не услышал рычание моих собак и человеческий голос. Как вы думаете,

что он говорил? Я скажу вам. Он проговорил: «Из какой преисподней явились вы сюда?»

Это были его слова, точные слова. Это были слова твоего второго деда, Заячья Губа, приветствовавшего меня на берегу Темескальского озера пятьдесят семь лет тому назад. И это были самые прекрасные слова, какие я когда-либо слыхал. Я открыл глаза, и он стоял передо мной, — большой, темный, волосатый человек, с сильными скулами, крутыми бровями и жестокими глазами. Как я сошел с лошади, — не знаю. Но кажется, вслед за этим я, рыдая, схватил его руку. Я хотел обнять его, но он всегда был с ограниченный, подозрительный человек и отстранился от меня. И я повис, плача, на его руке.

Голос Грэнсэра задрожал и прервался, и бессильные слезы потекли по его щекам; мальчики смотрели на него ухмыляясь.

— Я плакал, — продолжал он, — и хотел обнять его, хотя Шофер был дикарем, настоящим дикарем, — самый гнусный человек, какого я когда-либо знал. Его звали… странно, я забыл его имя. Все называли его Шофером — это было название его профессии, и оно к нему привилось. И потому его род называется Шоферовым.

Он был жестокий, несправедливый человек.

Я никогда не пойму, почему чума пощадила его. Казалось бы, несмотря на наше старое метафизическое понятие об абсолютной справедливости, — справедливости не было во всей вселенной. Почему он жил? — этот нравственный урод, жестокий негодяй? Он мог говорить только о своих автомобилях и гаражах, — и с особым восторгом — о своих подлых мошеннических проделках с людьми, бывшими его хозяевами до чумы. И он продолжал жить, в то время как погибли сотни миллионов, даже миллиардов лучших людей.

Я пошел за ним в его палатку, и здесь я увидел ее, Весту, единственную женщину. Это было прекрасно и… ужасно. Здесь была она, Веста, Ван-Варден, молодая жена Джона Ван-Вардена. В лохмотьях, с разодранными мозолистыми руками, она поддерживала костер и исполняла всю черную работу — она, Веста, рожденная в роскоши огромнейшего богатства, какое знал весь мир. Джон Ван-Варден, ее муж и председатель Совета промышленных магнатов, был правителем Америки. Сидя в Промышленном контрольном совете, он правил всем миром. И сама она происходила из такого же знатного рода. Ее отец, Филипп Сэксон, был председателем Совета про-

мышленных магнатов до самой своей смерти. Этот пост должен был стать наследственным, и если бы Филипп Сэксон имел сына, тот унаследовал бы его. Но его единственным ребенком была Веста. Еще до помолвки Весты с Ван-Варденом Сэксон назначили его своим наследником. Я уверен, — это был политический брак. У меня есть основания думать, что Веста никогда не любила мужа той страстной любовью, какую воспевают поэты. Это был один из тех браков, какие были приняты среди таких, как они.

И здесь была она, с прекрасными глазами, воспаленными от едкого дыма, варя уху в закопченном горшке. Ее история была ужасна. Она одна уцелела из миллиона, как я или Шофер. На вершине Аламеды, возвышавшейся над Сан-Франциско, Ван-Варден построил громадный летний дворец. Он был окружен парком в тысячу акров. Когда появилась чума, Ван-Варден отослал ее туда. Вооруженная стража охраняла границы парка и никто не смел туда проникнуть. Но чума проникла и во дворец, убивая стражу на своем посту, слуг за их работой, сметая всех оставшихся здесь. И Веста осталась одна в своем дворце, обратившемся в человеческий склеп.

Шофер был одним из убежавших слуг. Вернув-

шись через два месяца, он нашел ее в маленьком летнем павильоне, где не было смерти. Это был зверь. Она испугалась его и убежала, прячась в чаще деревьев. В эту ночь она бежала в горы. Он преследовал ее и той же ночью поймал. Он бил ее. Вы понимаете? Он бил ее своими страшными кулаками и сделал ее своей рабой. И она собирала хворост для костра, разводила огонь, стряпала и делала всю черную работу. Он заставил ее делать это, в то время как сам, настоящий дикарь, лежал возле палатки. Он ничего не делал — абсолютно ничего, кроме случайной охоты или ловли рыбы.

— Молодец Шофер, — одобрил Заячья Губа, обращаясь вполголоса к мальчикам. — Я помню его незадолго перед его смертью. Он был вралем. Но он такие делал дела. Вы знаете, отец женился на его дочери, и вы бы поглядели, как он выбивал дурь из отца. Нас он всегда лупил розгой. Даже умирая, он бил меня по голове длинной палкой, которую всегда носил с собой.

Заячья Губа при этом воспоминании потер свою круглую голову. Мальчики снова обратились к старику.

— …Билл — вот оно; Билл Шофер. Это было его имя. Заметьте, попав в руки Шофера, она опуска-

лась все ниже и ниже. Только после гибели всего человечества стало возможным, что я знал ее, смотрел ей в глаза, прикасался к ее руке — и эх… любил ее, зная, что и она чувствует ко мне симпатию. У меня были основания думать, что она, даже она полюбила бы меня, когда на свете не осталось никого, кроме Шофера. Почему, истребив восемь биллионов человек, чума пощадила только одного?

Однажды, когда Шофер ушел на рыбную ловлю, она умоляла меня убить его. Со слезами на глазах она умоляла убить его. Но он был силен и жесток, и я не дерзнул. После этого я говорил с ним. Я предложил ему мою лошадь, пони, моих собак, все мое достояние, если он отдаст мне Весту. Но он рассмеялся мне в лицо и покачал головой. Он был очень оскорблен и прибавил, — заметь он только, что я переглядываюсь с его женой, — и он свернет мне шею, а ей хорошо достанется. Что я мог сделать? Я не решался. Он был зверем. В первую ночь нашей встречи Веста и я вспоминали исчезнувший мир. Мы говорили об искусстве, книгах, поэзии. А Шофер слушал и ухмылялся и наконец сказал: «Эй, ты, женщина, сними-ка мои мокасины, да живо, я хочу, чтобы профессор Смит поглядел, как ты у меня вышколена!»

Я видел ее стиснутые зубы и краску возмущения, бросившуюся в лицо. Он сжал кулак для удара, и у меня сжалось сердце. Я ничем не мог помочь ей. И я встал, чтобы не быть свидетелем нового унижения. Но Шофер засмеялся и пригрозил мне, если я уйду. И я сидел там, у костра, на берегу Темескальского озера и видел Весту — Весту Ван-Варден, на коленях снимавшую мокасины с этого гримасничающего волосатого человека-зверя.

…О, вы не понимаете, внуки мои. Вы ведь ничего не знаете и не можете этого понять.

«Halter broke and bridle — wise[10], - таращил глаза Шофер, в то время как она кончала свою ужасную унизительную работу. — Шутка неудачна иногда, профессор, шутка неудачна; но хорошая пощечина делает ее кроткой, как овечку!»

В другой раз он сказал: «Ну, нам надо начинать сначала: плодиться и наполнять землю. Вы остались за бортом. У вас нет жены, профессор, и мы в таком же положении, как в саду Эдема. Но я не горжусь. Я вам кое-что скажу, профессор». Он взял своего маленького годовалого ребенка. «Вот ваша жена, хотя вам придется подождать, пока

[10] notes: 10

Точно — непереводимо (игра слов). По смыслу: «Поработала — теперь можешь и погулять, умница».

она подрастет. Это здорово, не правда ли? Мы все здесь равны, а я сильнейшая жаба в болоте. Но я вовсе не заносчив. Я делаю вам честь, профессор Смит, очень большую честь помолвкой моей дочери — моей и Весты Ван-Варден. Не правда ли жаль, что Ван-Варден не может видеть этого?»

Глава шестая

Я жил три недели в бесконечных мучениях, там, в палатке Шофера. И наконец, однажды, — или я ему надоел или он боялся моего влияния на Весту — он сказал мне, что в прошлом году, бродя по холмам Контра-Коста к проливам Каркинец, он видел дым. Значит, остались еще другие человеческие существа на земле, а он скрывал от меня целых три недели это бесценное сведение. И я двинулся в путь со своими собаками и лошадьми через Контра-Коста к проливам. Я не увидел дыма на другой стороне, но в порту Коста нашел маленькую стальную баржу, на которую погрузил животных. Найдя кусок старого холста, я соорудил из него парус, и южный ветер погнал меня по проливу к развалинам Валаеджо. Здесь, на окраине города, я нашел следы недавнего поселения. По двустворчатым пустым раковинам я понял, почему люди пришли на берег залива. Это было племя Санта-Розана, и я догнал их по следу вдоль старой железной дороги через солончаки к долине Сонома. Здесь, возле кирпичного завода в Тлэн-Эллен, я подошел к стоянке. Их бьио восемнадцать человек. Два старика, один из них Джонс,

банкир. Другой — Гаррисон, бывший ростовщик, взявший в жены служащую у умалишенных в Напе. Из всех городов и деревень этой населенной долины она одна осталась в живых. Кроме них, здесь было трое молодых людей — Кардиф и Гэль, фермеры, и Уайт, чернорабочий. Все трое нашли себе жен. Блю, суровому невежественному фермеру, досталась Айседора — наиболее уважаемая женщина из оставшихся после чумы. Она была знаменитой мировой певицей, и чума застала ее в Сан-Франциско. Она долго рассказывала мне о своих приключениях, пока наконец ее не спас Гэль в Мендоцинском лесу. Ей ничего не оставалось делать, как стать его женой. Но Гэль был хороший парень, несмотря на свое невежество. В нем бьио развито чувство справедливости, и она с ним была куда счастливей, чем Веста с Шофером.

Жены Кардифа и Уайта были обыкновенные женщины, привыкшие к работе, с сильным телосложением — приспособившиеся к новой дикой жизни, какую им приходилось вести. Кроме них, здесь было еще двое идиотов из Эльдеренского сумасшедшего дома и пять или шесть маленьких ребят, рожденных после того, как уже было положено начало роду Санта-Розана. Здесь была

также Берта. Она была хорошая женщина, Заячья Губа, несмотря на зубоскальство твоего отца. Ее я взял себе в жены. Она была матерью твоего отца, Эдвин, и твоего, Хоу-Хоу. И наша дочь, Вера, вышла замуж за твоего отца, Заячья Губа, — твоего отца, Сандо, старшего сына Весты Ван-Варден и Шофера.

И так случилось, что я стал девятнадцатым членом рода Санта-Розана. После меня прибавилось еще только двое. Один из них — Мюнджерсон, потомок промышленных магнатов; он блуждал в лесах северной Калифорнии целых восемь лет, прежде чем присоединиться к нам. Это был муж моей дочери Мери. И он ждал ее двенадцать лет. Другой — Джонсон — человек, положивший начало роду Ута. Это было название деревни, откуда он пришел, лежащей очень далеко к югу. Спустя двадцать семь лет после чумы Джонсон достиг Калифорнии. Из всей области Ута спаслись только трое, и он в этом числе. Много лет эти трое жили и охотились вместе, но потом, опасаясь, что вместе с ними исчезнет человеческий род с лица земли, они направились к востоку, надеясь в Калифорнии найти спасшуюся женщину. Джонсон один прошел через огромную пустыню, где погибли его товарищи. Ему было сорок шесть

лет, когда он присоединился к нам и женился на четвертой дочери Айседоры и Гэля; а их старший сын женился на твоей тетке, Заячья Губа, третьей дочери Весты и Шофера. Джонсон был суровый человек с сильной волей. Он отделился от Санта-Розана и в Сан-Хозе стал родоначальником Ута. Это маленький род — всего только девять человек. Но хотя Джонсон и умер, личные качества его были таковы, что этот род играет важнейшую роль в развитии новой культуры на нашей планете.

Мы знаем только еще два рода — Лос-Анджелито и Кармелито. Основателя последнего звали Лопец; он произошел от древних мексиканцев и был совершенно смуглый. Был он пастухом, а его жена служила горничной в большом Дель-Монтском отеле. Только через семь лет мы наткнулись на Лос-Анджелито. У них хорошая деревня, тут поблизости, но здесь слишком жарко. Я исчисляю теперешнее население всего мира в триста пятьдесят — четыреста человек. Быть может, существуют еще где-нибудь люди, но мы о них ничего не знаем. С тех пор как Джонсон пришел из Уты, мы не имели больше ниоткуда вестей. Великий мир, какой я знал в дни своего детства и юношества, прекратил свое существование. Я

единственный человек, знающий чудеса прошлого. Мы, создавшие нашу планету, — сушу, моря и небо, — бывшие господами жизни, живем теперь первобытными варварами вдоль Калифорнийского залива.

Но мы быстро размножаемся, — у твоей сестры, Заячья Губа, уже четверо детей. Мы быстро размножаемся и уже начинаем медленно ползти к цивилизации. Когда нам станет тесно жить, и это заставит нас распространяться все дальше и дальше, и поколение за поколением медленно растечется по всему континенту к востоку, — новые арийцы заполнят мир.

Но это будет медленно, очень медленно; нам ведь еще так далеко карабкаться. Мы упали так безнадежно низко. Если бы только хоть один физик или химик остался в живых! Но этого нет, и мы все позабыли. Шофер продолжал работать железом. Он сделал кузницу, которая служит нам и теперь. Но он был большой лентяй, и все, что он знал о металлах и инструментах, — унес с собой в могилу. А что я могу знать о таких вещах? Я был чисто кабинетный ученый, не химик. Остальные спасшиеся, — совсем темные люди. Только два дела делал Шофер — варил крепкие напитки и взращивал табак. Пьяным он и убил Весту. Я знаю

наверно, что он убил Весту в припадке пьяного безумия, хотя он всегда утверждал, что она утонула в озере.

Я хочу вас предостеречь, внуки мои, от лекарей. Они называют себя докторами, подражая когда-то благородной профессии.

На самом деле эти люди — плуты, знахари, шарлатаны, вселяющие суеверие. Скоро они станут властвовать над нами. Мы так унижены, что верим лжи этих шарлатанов. Посмотрите на молодого Косоглазого; он продает талисманы против болезней, талисманы, приносящие удачную охоту и ясную погоду, изготовляет смертельный пластырь и совершает тысячи мерзостей. Но я говорю вам, — он *лжет*. Я, профессор Смит, профессор Джемс Говард Смит, говорю, что он *лжет*. Я сказал ему это в глаза. Почему он не посылает мне смертельного пластыря? Потому что это не принесет ему никакой выгоды. А ты, Заячья Губа, ты так глубоко погряз в темном суеверии, что, проснувшись ночью и увидя на своем боку пластырь, — ты бы действительно умер. И ты умер бы не из-за пластыря, а потому, что ты дикарь, с затемненным разумом варвара.

Доктора должны быть уничтожены, и все, что мы потеряли, снова должно быть открыто. И для

этого я настойчиво повторяю вещи, какие вы должны запомнить и передать своему потомству. Вы должны им рассказать, что вода, подогретая на огне, превращается в нечто, называемое паром; этот пар сильней десяти тысяч человек и может совершать разную работу для человека. Кроме того, есть еще другие полезные вещи. Молния — также сильный помощник человека, давно уже она была его рабом и в будущем должна стать рабом снова.

Совсем другое дело алфавит. Благодаря ему я могу узнавать мельчайшие знаки, тогда как вы, мальчики, знаете только грубые картинки. В сухой пещере на Телеграфном холме, где вы часто заставали меня, когда остальные уходили к морю, — я сохранил множество книг. В них большая мудрость. С ними я спрятал ключ к алфавиту, и тот, кто знает картинки, сможет прочесть и напечатанное. Когда-нибудь люди начнут читать; и тогда, если ничего не случится с моей пещерой, они узнают, что профессор Джемс Говард Смит, живший когда-то, сохранил для них мудрость былых времен.

Есть еще одно изобретение, которое люди непременно найдут. Оно называется порохом. Это то, что убивает наверняка и на далеком

расстоянии. Этот порох делается из некоторых веществ, находящихся в земле. Что это за вещества, я забыл или, может быть, никогда и не знал. Но я хотел бы знать. Тогда бы я сделал порох и убил бы Косоглазого, очистив землю от суеверия…

— Когда я вырасту, я отдам Косоглазому всех коз, мясо и кожи, какие только добуду, чтобы научиться быть доктором, — заявил Хоу-Хоу. — И когда я научусь, я буду учить других. И попомните — они будут добиваться этого!

Старик торжественно покачал головой и проговорил:

— Странно слышать что-то напоминающее сложную английскую речь из уст маленького грязного дикаря. Весь мир перевернулся вверх дном. Все пошло вверх дном с приходом чумы.

— Ты не хочешь меня учить, — обратился Заячья Губа к тому, кто обещал сделаться лекарем. — Если я заплачу тебе за смертельный пластырь, а он не подействует, я проломлю тебе голову — понимаешь, Хоу-Хоу, а?

— Я постараюсь помочь Грэнсэру вспомнить, из чего делается порох, — сказал тихо Эдвин. — И тогда я всех заставлю помогать. Ты, Заячья Губа, будешь охотиться для меня, а ты, Хоу-Хоу, будешь устрашать всех смертельным пластырем. И если

я увижу, что Заячья Губа хочет пробить тебе голову, я убью его этим порохом. Грэнсэр вовсе не такой дурак, как вы думаете; я буду слушаться его и скоро стану хозяином всего побережья.

Старик грустно покачал головой и сказал:

— Порох появится. Ничто не останавливается — старая история повторится снова и снова. Люди будут размножаться и будут убивать друг друга. Порох поможет убивать миллионы людей, и только таким путем — через огонь и кровь — когда-нибудь разовьется новая цивилизация. А какой смысл всего этого? Так же как и старая, пройдет и новая цивилизация. Быть может, она будет развиваться пятьдесят тысяч лет, но она пройдет. Все проходит. Остается лишь непрерывно движущаяся космическая сила и материя, неизменно повторяющая вечные образы — жреца, воина и короля. Устами младенца глаголет истина. Кто будет воевать, кто — править, кто — молиться. А остальные будут работать и терпеливо страдать, и на их кровавых останках будет воздвигаться цивилизация со всеми ее чудесами. Мои книги можно уничтожить, — останутся они или нет, — все равно снова вскроется вся их старая истина и старая ложь. Какой смысл…

Заячья Губа быстро вскочил и посмотрел на

пасущихся коз и заходящее солнце.

— Ну, замолол… — проворчал он Эдвину. — Старый гусак становится разговорчивей с каждым днем. Надо двигать к поселку.

Двое мальчиков, созвав коз, погнали их по тропинкам в лес, а Эдвин остался со стариком и повел его по дороге. Выйдя на старую большую дорогу, Эдвин внезапно остановился и обернулся назад. Заячья Губа и Хоу-Хоу с козами и собаками уже прошли. Эдвин смотрел на диких лошадей, спускавшихся с песчаного берега. Их было приблизительно штук двадцать — маленьких жеребят и кобыл, предводительствуемых великолепным жеребцом. Он стоял в пене поднявшегося прибоя, с гибкой шеей и светлыми пугливыми глазами, вдыхая соленый воздух моря.

— Что там? — спросил Грэнсэр.

— Лошади, — был ответ. — Я впервые вижу их на берегу. Горных львов становится все больше и больше, и они скрылись сюда.

На краю горизонта заходящее солнце бросало последние красные лучи сквозь темные облака. И в белых водах прибрежья нерпы подняли снова возню, воюя и играя на черных утесах моря.

— Идем, Грэнсэр, — проговорил Эдвин.

И старик с мальчиком — одичалые, одетые в

шкуры, — повернулись и пошли вдоль дороги в лес, по следам коз.

1912

ДЖЕК ЛОНДОН «СИЛА СИЛЬНЫХ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Сила сильных

Притчи не лгут, но лгуны говорят притчами.
Лип-Кинг

Длиннобородый умолк, облизал сальные пальцы и вытер их о колени, едва прикрытые потрепанной медвежьей шкурой. Около старика на корточках сидели трое парней, его внуки: Быстроногий Олень, Желтоголовый и Боящийся Темноты. Они были похожи друг на друга — худые, нескладные, узкобедрые, кривоногие и в то же время широкие в груди, тяжелоплечие, с огромными руками; на всех троих болтались шкуры каких-то диких зверей. Грудь, плечи, руки и ноги обросли густой растительностью. Спутанные волосы на голове то и дело космами спадали на черные, точно бусинки, по-птичьи блестящие глаза. Сходство дополняли узкие лбы, широкие скулы и тяжелые, выдвинутые вперед подбородки.

Ночь стояла такая звездная, что видно было, как гряда за грядой тянулись, покуда хватал глаз, покрытые лесами холмы. Где-то далеко плясали на небе отсветы извергающегося вулкана. Поза-

ди людей чернело отверстие пещеры — оттуда тянуло холодком. Подле ярко пылающего костра лежали остатки медвежьей туши, а на приличном расстоянии припали к земле огромные, косматые, волчьего обличья, псы. Под рукой у каждого из сидевших вокруг костра были лук, стрелы и увесистая дубинка. Прислоненные к скале у входа в пещеру стояли грубые копья.

— Вот так мы и покинули пещеры и стали жить на деревьях, — снова заговорил Длиннобородый.

Внуки неудержимо, по-детски рассмеялись над только что услышанным рассказом. Хохотнул и Длиннобородый, и пятидюймовая костяная игла, продетая сквозь хрящ в носу, нелепо затряслась, запрыгала, придавая его физиономии еще большую свирепость. Старик не произнес этих слов, но животные звуки, которые он издал губами, обозначали то же самое.

— Это первое, что я помню о Приморской Долине, — продолжал Длиннобородый. — Да, мы были глупы. Мы не знали, в чем секрет силы. Ведь каждая семья жила сама по себе и заботилась только о себе. Тридцать семей в племени, а силы нашей не прибывало. Мы боялись друг друга, не ходили в гости. Мы построили шалаши на деревьях, а снаружи, у входа, держали груду

камней, которыми встречали тех, кто приходил к нам. К тому же у нас были копья и стрелы. Никто не осмеливался пройти под деревом, принадлежащим чужой семье. Мой брат как-то сделал это, и старый Бу-уг проломил ему череп, и брат умер.

Бу-уг был очень сильный. Говорят, что он мог оторвать человеку голову. Я не слышал, чтобы он оторвал кому-нибудь голову, потому что все боялись его и прятались подальше. И отец мой боялся. Однажды, когда отец был на берегу. Бу-уг погнался за матерью. Она не могла бежать быстро, потому что накануне в горах мы собирали ягоды и медведь порвал ей ногу. Бу-уг поймал ее и потащил к себе на дерево. Отец не решился сделать так, чтобы она вернулась. Он испугался Бу-уга. А тот сидел на дереве и корчил ему рожи.

Отец не очень горевал. Жил среди нас еще один сильный человек. Крепкая Рука. Он умел хорошо ловить рыбу. Как-то Крепкая Рука полез за птичьими яйцами и сорвался с утеса. После этого он потерял свою силу. Стал подолгу кашлять, спина у него согнулась. Тогда отец взял жену Крепкой Руки. Тот пришел к нам под дерево и кашлял, а отец смеялся и бросал в него камнями. Таковы были обычаи в те времена. Мы не знали, как соединить нашу силу и сделаться по-настоящему

сильными.

— Неужели и брат отнимал жену у брата? — подивился Быстроногий Олень.

— Да, отнимал, когда решал жить отдельно, на собственном дереве.

— А у нас так не делается, — сказал Боящийся Темноты.

— Потому что я научил кое-чему ваших отцов. — Длиннобородый засунул волосатую руку в медвежью тушу, вытащил пригоршню нутряного сала и стал задумчиво сосать его. Потом обтер пальцы и продолжал: — То, о чем я рассказываю, происходило очень давно, когда мы не все понимали.

— Нужно быть глупцом, чтобы не все понимать, — заметил Быстроногий Олень.

И Желтоголовый одобрительно заворчал.

— Верно, я расскажу, как потом мы стали еще большими глупцами. И все-таки в конце концов мы кое-чему научились. Вот как это случилось.

Мы, рыбоеды, не умели тогда соединять нашу силу так, чтобы сила племени была силой всех нас. А вот за перевалом, в Большой Долине, жили мясоеды. Они стояли друг за друга, вместе охотились, ловили рыбу, вместе воевали. И вот они пошли на нас. Каждая семья забилась в свою

пещеру, попряталась на деревьях. Мясоедов было всего десять человек, но они сражались вместе, а мы каждый за себя.

Длиннобородый долго и старательно считал на пальцах.

— У нас было шестьдесят человек, — объяснил он наконец жестами и звуками. — Мы были сильны, но не знали этого. Мы видели, как мясоеды карабкались на дерево Бу-уга. Он хорошо дрался, но что он мог сделать в одиночку? Ведь остальные просто смотрели. Когда несколько мясоедов полезли на дерево, Бу-уг вынужден был высунуться из шалаша, чтоб сбросить на них камни. Другие только того и ждали: засыпали его стрелами. Так пришел конец Бу-угу.

Потом мясоеды принялись за Одноглазого, который вместе с семьей забился в пещеру. Они разложили у входа костер и стали выкуривать их точно так же, как мы сегодня выкурили из берлоги медведя. Потом мясоеды побежали к дереву Шестипалого, и пока они расправлялись с ним и с его взрослым сыном, мы кинулись прочь. Но мясоеды поймали нескольких наших женщин, убили двух стариков, которые не могли бежать быстро, и кое-кого из детей. Женщин они увели с собой, в Большую Долину.

Когда те, кто уцелел, вернулись, решено было созвать совет. Так решили, наверное, потому, что все были напуганы и поняли, как нужны друг другу. Да, мы держали совет, наш первый настоящий совет. И на том совете договорились создать племя. Урок пошел нам на пользу. Каждый из десяти мясоедов сражался за десятерых, потому что все десять сражались заодно. Они соединили свои силы. А у нас тридцать семей — шестьдесят человек — обладали силой лишь одного человека, потому что каждый сражался в одиночку.

Мы совещались долго, нам было трудно договориться, ибо мы не пользовались словами, как теперь. Потом, много лет спустя, человек по имени Гнида придумал несколько слов, потом другие тоже. Но в конце концов мы все-таки договорились соединить наши силы и быть заодно, когда мясоеды снова надумают прийти из-за перевала и похитить наших женщин. Так было создано племя.

Мы поставили двух мужчин поочередно днем и ночью дежурить на перевале, чтобы предупредить нас, если придут мясоеды. Они стали глазами племени. Кроме того, племя назначило десять человек, которые должны были всегда иметь при себе дубинки, копья и стрелы и быть готовыми

отразить нападение. Прежде, отправляясь ловить рыбу, собирать моллюсков или птичьи яйца, человек брал с собой оружие. Половину времени он собирал пищу, а половину следил, как бы на него не напал кто-нибудь. Теперь дела пошли по-иному. Мужчины уходили без оружия, чтобы без опаски, не отвлекаясь, добывать пищу. Когда в горы за кореньями или ягодами отправлялись женщины, их сопровождали пять воинов. А на перевале дни и ночи напролет глаза племени следили за врагом.

Но потом начались раздоры. И как всегда, из-за женщин. Холостые мужчины пытались отнять чужих жен, и часто случались драки — то размозжат кому-нибудь голову, то проткнут копьем. Пока один из стражей дежурил на перевале, у него похитили жену, и он прибежал, чтобы отбить ее. За ним пришел и второй страж, опасаясь за свою жену. Произошла ссора и среди тех десяти воинов, которые всегда Носили при себе оружие; разделившись пополам, они сражались друг против друга, пока пятеро из них под натиском соперников не отступили к берегу.

Так племя лишилось глаз и воинов. У нас уже не было силы шестидесяти человек. У нас совсем не было силы. Тогда мы еще раз созвали совет и

установили первые законы. Я в то время был юнцом, но я помню. Мы порешили, что не должны сражаться между собой, если хотим быть сильными, и что племя будет сурово расправляться с тем, кто убьет человека. По другому закону племя получало право сурово карать того, кто похитит чужую жену. Мы установили, что, если человек, обладающий большой силой, обижает братьев по племени, остальные обязаны лишить его силы. Если позволить ему, пользуясь силой, обижать других, то людей охватит страх, и племя распадется, и мы снова станем такими же слабыми, как в первое нашествие мясоедов, когда убили Бу-уга.

Жил среди нас сильный человек по имени Голень, очень сильный человек, который не признавал закона. Он полагался только на свою силу и потому забрал жену у Трехстворчатой Раковины. Тот стал было драться, но Голень раздробил ему череп. Однако Голень забыл, что, решив соблюдать закон, люди соединили свои силы, и племя убило его, а тело повесили на суке его собственного дерева в знак того, что закон сильнее любого человека. Мы все были законом, и нет никого, кто был бы могущественнее закона.

Случались и иные беспорядки, ибо знайте, о Быстроногий Олень, Желтоголовый и Боящий-

ся Темноты, — нелегко создать племя. И было много всяких споров, порой мелочей, которые следовало уладить. А чего стоило собрать всех на совет! Мы совещались утром и днем, вечером и ночью. У нас не оставалось времени добывать пищу, потому что вечно возникали какие-нибудь дела: то назначить на перевал новых стражей, то решить, какую долю добычи отдавать тем, кто всегда носил при себе оружие и не мог поэтому добывать пищу.

Чтобы все уладить, нужен был старший, который стал бы голосом совета и отчитывался перед ним. Мы выбрали Фит-фита. Он был сильный и хитрый, а когда сердился, делал ртом «фит-фит», словно дикая кошка.

Тем десяти, которые охраняли племя, поручили навалить стену из камней в самой узкой части долины. Им помогали женщины, подростки и даже мужчины, пока стена не стала совсем крепкой. Люди покинули свои пещеры, спустились с деревьев и построили хижины под прикрытием стены. Большие хижины удобнее, чем пещеры и шалаши на деревьях, и жить стало лучше, ибо все соединили свои силы и образовали племя. Благодаря стене, воинам и стражам у племени оставалось больше времени охотиться, ловить

рыбу, собирать коренья и ягоды. Было вдоволь хорошей пищи, никто не голодал. А Трехногий — его прозвали так потому, что в детстве ему перебили ноги и он ковылял с палкой, — так вот. Трехногий набрал семян дикой кукурузы и посеял их возле дома в долине. Потом он посадил корнеплоды и всякие другие растения, которые нашел в горах.

Благодаря построенной нами стене, нашим воинам и стражам мы чувствовали себя в Приморской Долине в полной безопасности, и никто не дрался из-за еды, потому что ее хватало на всех. К нам стали приходить целыми семьями из других племен в соседних долинах, а также из-за гор, где люди жили, как животные. И вскорости в Приморской Долине поселилось так много народу, что не сосчитать семей. Но еще до того кто-то надумал поделить землю, которая прежде была общей и принадлежала всем. Пример показал Трехногий, когда посадил кукурузу. Большинство, однако, не заботилось о земле. Мы считали глупым ограждать камнями участки. Пищи было вдоволь, а что еще человеку нужно? Помню, как мы с отцом делали ограду для Трехногого, и он дал нам взамен кукурузы.

Так и получилось, что землю захватили немно-

гие, и больше всех Трехногий. Некоторым очень хотелось получить участки, и те, у кого была земля, отдавали ее за кукурузу, вкусные коренья, медвежьи шкуры и рыбу, которую земледельцы выменивали у рыбаков. Словом, не успели мы оглянуться, как свободной земли не осталось.

В то приблизительно время умер Фит-фит, и вождем выбрали его сына. Собачьего Клыка. Он сам потребовал, чтобы его сделали вождем. Он даже считал себя более мудрым вождем, чем отец. И в самом деле, поначалу он был хорошим вождем, много старался, так что совету постепенно нечего стало делать. Тут выплыл еще один, Кривогубый, и стал важным человеком в Приморской Долине. Мы никогда не замечали за ним каких-нибудь особых достоинств, пока он не объявил, что умеет разговаривать с тенями умерших. После мы прозвали его Жирным, потому что он не работал, много ел и стал большим и толстым. Жирный объявил, что только ему ведомы тайны смерти, что он слышит голос бога. Он заделался дружком Собачьего Клыка, и тот приказал построить Жирному большую хижину. Жирный наложил на хижину табу и держал там бога.

Собачий Клык понемногу прибирал к рукам дела совета, а когда в племени стали роптать,

угрожая, что назначат другого вождя. Жирный посоветовался с богом и сказал, будто это противно воле божьей. Вождя поддерживал Трехногий и другие владельцы земли. Они подговорили самого сильного в совете. Морского Льва, и втихомолку дали ему земли, множество медвежьих шкур и несколько корзин кукурузы. И тогда Морской Лев сказал, что устами Жирного глаголет бог и что мы должны ему подчиняться. Скоро Морского Льва назначили помощником Собачьего Клыка, и он говорил от имени вождя.

А еще был в племени Пустой Живот, низенький и такой тонкий посередине, как будто никогда не ел досыта. В устье реки, там, где отмель гасила волны, он устроил большую вершу. Никто до него не додумался ловить рыбу вершей. Он делал ее несколько недель подряд, ему помогали жена и дети, а мы потешались над его затеей. Но когда все было готово, он в первый же день наловил столько рыбы, сколько не удавалось целому племени за неделю, и мы веселились такой удаче. На реке оказалось другое подходящее для верши место, и мы с отцом и еще человек десять решили последовать примеру Пустого Живота. Но из большой хижины, выстроенной для Собачьего Клыка, прибежали стражники. Они принялись

колоть нас копьями и приказали убираться вон, потому что Пустой Живот по разрешению Морского Льва, который был подголоском Собачьего Клыка, сам задумал поставить там вершу.

Поднялся ропот, и мой отец потребовал созвать совет. Но когда он поднялся, чтобы говорить, Морской Лев проткнул ему горло копьем, и отец умер. А Собачий Клык, Пустой Живот, Трехногий и все, кто владел землей, сказали, что так надо. Жирный поддакнул: такова, дескать, воля господня. После этого люди боялись говорить в совете, и совет распался.

А был такой — звали его Свиное Рыло, — который надумал разводить коз. Он узнал, что так делают мясоеды, и скоро козы ходили у него стадами. Те, у кого не было ни земли, ни вершей, нанимались к Свиному Рылу, чтобы заработать еду, — они ходили за козами, охраняли их от волков и тигров, гоняли на пастбища в горы. За это он давал им козлиное мясо и шкуры прикрывать тело, а они нередко меняли козлятину на рыбу, кукурузу и коренья.

В то время как раз и появились деньги. Выдумал их Морской Лев, посоветовавшись с Собачьим Клыком и Жирным. Дело в том, что эта троица имела долю во всем, что добывалось в Примор-

ской Долине. Из каждых трех корзин кукурузы одну отдавали им. То же самое с рыбой и козами. Они кормили воинов и стражей, а остальное забирали себе. Иногда после большого улова они не знали, что делать со своей долей. И вот Морской Лев заставил женщин изготавливать из ракушек деньги — маленькие круглые пластинки, гладкие, красивые, с отверстием посередине. Пластинки нанизывали на нитки, и эти нитки стали называть деньгами.

За одну нитку давали тридцать или сорок рыб, а женщинам, которые делали по нитке в день, давали по две рыбины каждой из доли Собачьего Клыка, Жирного и Морского Льва, которую они не могли съесть. Поэтому все деньги принадлежали им. Потом они сказали Трехногому и другим землевладельцам, что будут брать свою долю кукурузы и корнеплодов деньгами; Пустому Животу тоже сказали, что долю рыбы будут брать деньгами, а Свиному Рылу сказали, что будут брать свою долю коз и сыра деньгами. Так получилось, что человек, у которого ничего не было, вынужден был работать на того, кто чем-то владел, и ему платили деньгами. На них он покупал кукурузу, рыбу, мясо и сыр. А Трехногий и другие богатей давали Собачьему Клыку, Мор-

скому Льву и Жирному их долю деньгами. Эти трое платили деньги воинам и стражам, а те на деньги покупали еду. А поскольку деньги были дешевы, Собачий Клык многих сделал своими воинами. Деньги нетрудно было изготовить, и некоторые попытались сами делать пластинки из раковин. Но стражники били их копьями и засыпали стрелами, утверждая, что те, кто делает деньги, стараются подорвать могущество племени. А подрывать могущество племени нельзя, ибо тогда придут из-за гор мясоеды и всех перебьют.

Жирный толковал волю бога, но потом он призвал Сломанное Ребро и сделал его жрецом, чтобы тот толковал его. Жирного, собственную волю и держал вместо него речи. И оба заставили других служить им. Также поступил и Пустой Живот, и Трехногий, и Свиное Рыло — подле их хижин постоянно валялись на солнышке какие-то бездельники, которых они посылали с разными поручениями. Таким образом, все больше и больше людей отрывали от работы, а остальным приходилось трудиться тяжелее, чем прежде. Оказалось, что иные не хотят работать и ищут способа, как заставить других работать на них. Один, по прозвищу Кривой, нашел такой способ. Он первым приготовил из

кукурузы огненный напиток. И после он уже не работал, так как втихомолку сговорился с Собачьим Клыком, Жирным и другими хозяевами, что он будет единственным, кому разрешено делать огненный напиток. Но Кривой сам-то ничего не делал. За него работали другие, а он платил им деньги. Потом он продавал напиток, и люди охотно покупали. А сколько ниток денег он передал Собачьему Клику, Морскому Льву и прочим — не счесть!

Когда Собачий Клык решил взять вторую жену, а потом и третью, его, конечно, поддержали Жирный и Сломанное Ребро. Они сказали, что Собачий Клык не такой, как все, и что над ним — только бог, которого Жирный прятал в своем закрытом доме. Собачий Клык подтвердил их слова и сказал, что хотел бы знать, кто недоволен тем, что у него много жен. И еще Собачьему Клыку сделали большую лодку, и ради этого он оторвал много людей от работы: они подолгу болтались без дела и, лишь когда он решал выехать на лодке, садились за весла. Кроме того, он назначил Тигриную Морду начальником над стражниками, и тот стал правой рукой вождя и убивал людей, которые пришлись вождю не по сердцу. Тигриная Морда, в свою очередь, назна-

чил себе помощника, и тот стал правой рукой начальника и убивал людей, которые пришлись начальнику не по сердцу.

И вот что странно: чем тяжелее становилась работа, тем меньше мы получали еды.

— Однако у вас были козы и кукуруза, корнеплоды и верши для рыбы, — возразил Боящийся Темноты. — Вы работали и не могли добыть себе пищу?

— Почему же, конечно, могли, — согласился Длиннобородый. — Три человека ловили вершей больше рыбы, чем все племя прежде, когда мы не знали вершей. Но разве я не сказал вам, что мы были глупцами? Чем больше пищи мы научились добывать, тем меньше мы ели.

— И вы не понимали, что все поедали те, кто не работал? — спросил Желтоголовый.

Длиннобородый печально покачал головой.

— Собаки у вождя отяжелели от мяса, и люди, которые не работали и валялись на солнце, заплыли жиром, в то время как маленькие дети плакали от голода и не могли уснуть.

Подавленный страшной картиной голода, Быстроногий Олень оторвал от туши кусок мяса и, наколов на палку, обжарил его на угольях. С аппетитом, громко причмокивая, он съел мясо.

Длиннобородый продолжал:

— Когда мы начинали роптать, вставал Жирный и говорил, будто бог повелел избранным владеть землей и козами, рыбными вершами и огненным напитком, что без таких мудрых людей мы превратились бы в диких зверей — как в те времена, когда мы жили на деревьях.

За ним вставал бард, что был при Собачьем Клыке. Его прозвали Гнидой — такой маленький, уродливый, скрюченный, не умел ни работать, ни воевать. Но он любил сочные мозговые кости, вкусную рыбу, парное козье молоко, свежие побеги молодой кукурузы и удобное место у очага. Он стал слагать песни в честь вождя — сумел ничего не делать и быть сытым. А когда люди начинали роптать, иные даже забрасывали камнями дом вождя, он затягивал песню о том, как хорошо быть рыбоедом. Он пел, что мы избранники божьи и самые счастливые люди на земле. Он называл мясоедов хищными воронами и грязными свиньями и призывал нас сражаться и доблестно умирать, выполняя волю господню, который повелел уничтожать мясоедов. От той песни в сердце у нас вспыхивал пламень, мы требовали, чтобы нас вели на мясоедов. Мы забывали б голоде, забывали о своем недовольстве и с криками

шли за Тигриной Мордой через перевал, били мясоедов и радовались победе.

Но ничто не менялось от этого в Приморской Долине. Единственно, нанимаясь в батраки к Трехногому, Пустому Животу или Жирному, можно было прокормить себя — ведь незанятой земли, где бы человек мог выращивать для себя кукурузу, больше не оставалось. Часто у Трехногого и его друзей не хватало на всех работы. Тогда люди голодали, голодали их жены, дети и старые матери. Тигриная Морда объявил, что желающие могут стать стражниками, и многие соглашались и после ничем не занимались, кроме как колотили копьями тех, кто работал и ворчал, что приходится кормить столько бездельников.

Когда люди начинали роптать, Гнида пел песни. Он пел о том, что Трехногий, Свиное Рыло и остальные — сильные и мудрые вожди, и потому все принадлежит им. Мы должны гордиться ими, говорилось в песне, и благодарить судьбу. Не будь их, мы погибли бы от собственного ничтожества и от руки мясоедов. Поэтому мы должны быть счастливы, отдавая все, что они пожелают. Жирный, Свиное Рыло и Тигриная Морда довольно кивали головой.

«Тогда я тоже буду сильным», — заявил одна-

жды Длиннозубый.

Он собрал кукурузы, наварил огненного напитка и начал продавать его за нитки денег. Кривой стал кричать, что у Длиннозубого нет на это права. А тот сказал, что он тоже сильный, и пообещал размозжить Кривому голову, если он поднимет шум. Кривой испугался и побежал к Трехногому и Свиному Рылу. Потом втроем они пошли к Собачьему Клыку. Тот призвал к себе Морского Льва, а Морской Лев отправил гонца к Тигриной Морде. Тигриная Морда послал стражников, и те сожгли дом Длиннозубого вместе с огненным напитком, который он наварил. Жирный сказал, что это справедливо, а Гнида пел новую песню о том, что следует блюсти закон, что Приморская Долина — самое прекрасное место на свете и каждый, кто любит ее, должен идти уничтожать злых мясоедов. У нас в сердце снова вспыхивало пламя, и мы забывали свой гнев.

Странные дела творились в долине. Когда у Пустого Живота случался хороший улов и приходилось за небольшие деньги отдавать много рыбы, он бросал ее обратно в море, чтобы за оставшуюся часть получить больше денег. Иногда Трехногий даже не засевал свои огромные поля, чтобы выручить за кукурузу побольше.

Женщины делали много-много пластинок из раковин, потому что требовалась уйма денег, чтобы купить что-нибудь. Тогда Собачий Клык запретил изготавливать пластинки. Женщины остались без работы, их стали нанимать на место мужчин. Я вот, помню, ловил рыбу вершей и получал нитку денег каждые пять дней. Пришла сестра, ей стали давать нитку за десять дней. Труд женщин обходился дешевле, да и еды им требовалось меньше. «А мужчины должны поступать в стражники», — заявил Тигриная Морда. Я-то не мог стать стражником: с детства прихрамывал на одну ногу, и начальник не взял бы меня. Много было таких, как я. Мы, убогие, могли только клянчить работу или ходить за детишками, пока женщины были заняты.

Желтоголовый тоже захотел есть и обжарил на угольях кусок медвежатины.

— Почему же вы не восстали, не перебили их — Трехногого, Свиное Рыло, Жирного и всех остальных? — удивленно спросил Боящийся Темноты. — Тогда у вас была бы пища.

— Мы не понимали этого, — отвечал Длиннобородый. — Забот всяких по горло, да потом эти стражники с копьями, и болтовня Жирного насчет бога, и Гнида со своими песнями. А когда

кто-нибудь начинал задумываться и делиться мыслями с другими, его забирали стражники Тигриной Морды, привязывали к скале у самой воды, и он погибал во время прилива.

Непонятная это штука — деньги! Точно те песни, что пел Гнида. Чем больше их, тем, казалось, лучше, а выходило наоборот. Мы долго не могли взять в толк, в чем тут дело. А Собачий Клык — так тот начал копить деньги. Он собирал их в груду в особом доме, и стражники охраняли этот дом денно и нощно. И чем больше там набиралось денег, тем они становились дороже, и приходилось дольше работать за нитку пластинок. Да еще все время говорили о войне с мясоедами, и Собачий Клык с Тигриной Мордой набивали свои хижины зерном, вяленой рыбой, копченой козлятиной и сыром. Столько всяких запасов понаделали, а людям в горах не хватало еды. И что вы думаете? Как только люди начинали громко роптать. Гнида затягивал новую песню. Жирный говорил, что бог повелел уничтожить мясоедов, а Тигриная Морда снова вел нас через перевал убивать и умирать. Я не годился в воины, которые толстели, валяясь на солнце, но когда объявляли войну, Тигриная Морда брал меня вместе с остальными. Мы сражались до тех пор, пока не выходили запасы еды.

Тогда мы возвращались и принимались снова работать и заготовлять пищу.

— Какие-то ненормальные вы были! — изрек Быстроногий Олень.

— И вправду ненормальные, — согласился Длиннобородый. — Мы ничего не понимали, ровным счетом ничего. Раздробленный Нос твердил, что все устроено несправедливо и плохо. Верно, мы стали сильными лишь тогда, когда соединили силы, говорил он. Справедливо было и то, что в племени стали лишать силы тех, кто обижал и задирал других, кто отнимал у братьев жен и убивал соседей. Но теперь племя не набирает силы, а слабеет, говорил он, потому что появились люди с иной силой, они вредят племени. Это Трехногий, за которым сила земли, это Пустой Живот, за которым сила рыболовной верши. Свиное Рыло, за которым сила козьего мяса. Надо лишить их злой силы, говорил Раздробленный Нос, надо заставить таких людей работать и установить: кто не работает, тот не ест.

А Гнида уже пел о таких, как Раздробленный Нос: они, дескать, тянут назад, жить на деревьях.

Нет, отвечал Раздробленный Нос, нет, он не тянет назад, он хочет идти вперед. Мы стали сильными тогда, когда соединили свои силы. Если

рыбоеды соединят свою силу с силой мясоедов, не будет ни сражений, ни воинов, ни стражей, все станут трудиться, и будет так много еды, что каждому придется работать не больше двух часов в день.

Но Гнида в песнях своих твердил, что Раздробленный Нос — лентяй. Он сочинил какую-то коварную «Песнь о пчелах», и те, кто слушал ее, теряли рассудок, как от крепкого огненного напитка. В песне рассказывалось о трудолюбивом пчелином рое и разбойной осе, которая таскала из сот мед. Оса была ленивая, она жужжала, что работа ни к чему и выгоднее подружиться с медведями, ибо они добрые и не таскают мед. Хотя Гнида говорил обиняками, все понимали, что пчелиный рой — это наше племя в Приморской Долине, медведи

— мясоеды, а ленивая пчела — Раздробленный Нос. Гнида пел, что пчелы послушались осу и рой начал погибать, и тут люди невольно заворчали, у них сжимались кулаки. А когда он запел про то, как пчелы поднялись и зажалили осу до смерти, люди набрали камней и принялись забрасывать ими Раздробленного Носа. Тот упал, а они бросали и бросали, пока не завалили его грудой камней. И среди тех, кто бросал тогда камни, были самые

что ни на есть бедняки, которые тяжко трудились, но никогда не ели досыта.

После смерти Раздробленного Носа нашелся лишь один, кто не боялся встать и высказать то, что он думает. То был Волосатый. «Куда девалась сила сильных? — вопрошал он. — Мы сильные, вместе мы сильнее Собачьего Клыка, Тигриной Морды, Трехногого, Свиного Рыла и остальных, которые не работают, а жрут и наносят нам урон своей злой силой. Рабы не бывают сильными. Если бы тот, кто первым высек огонь, захотел воспользоваться своей силой, мы стали бы его рабами, как сегодня мы рабы Пустого Живота, который придумал вершу, и людей, которые придумали, как возделывать землю, разводить коз и варить огненный напиток. Когда-то мы жили на деревьях, братья мои, и на каждом шагу нас подстерегали опасности. Потом мы перестали драться друг с другом, потому что соединили свои силы. Так зачем нам сражаться с мясоедами? Не лучше ли нам соединить наши силы? Тогда мы будем поистине сильными. Будем действовать сообща, рыбоеды и мясоеды, будем вместе уничтожать хищников, разводить на горных склонах коз, выращивать в долинах кукурузу и корнеплоды. Мы будем такими сильными, что

хищники убегут и погибнут. И не будет нам преград, ибо сила каждого превратится в силу всех людей на земле».

Так говорил Волосатый, но они убили его, объявив, что он сумасшедший и тянул нас назад, жить на деревьях. Почему? Всякий раз, когда кто-нибудь хотел идти вперед, те, что топтались на месте, кричали: он тянет назад, уничтожить его! И бедняки тоже забрасывали такого камнями, потому что были глупы. Мы все были глупы, кроме тех, кто не работал и жирел. О, они знали свое дело! Глупцы назывались мудрыми, а мудрых забрасывали камнями. Те, кто работал, не ел вдоволь, а кто не работал, обжирался.

Племя теряло былую силу. Дети рождались больными и хилыми. Мы мало ели, среди нас начались болезни, и люди гибли, как мухи. Вот тогда-то и нагрянули мясоеды. Мы слишком часто ходили на них войной, теперь они пришли отплатить нам кровью за кровь. Племя было слабое, мы не смогли удержать стену. Мясоеды перебили почти всех, кроме нескольких женщин, которых увели с собой за перевал. Гниде и мне удалось спастись. Я спрятался в глухой чащобе, охотился и не голодал. Потом я выкрал себе жену у мясоедов, и мы поселились в пещере

на вершине горы, где нас не могли найти. У нас родилось три сына, и, когда они подросли, они, в свою очередь, выкрали жен у мясоедов. Ну, а остальное вам известно, ибо разве вы не сыновья моих сыновей?

— А где же Гнида? — спросил Быстроногий Олень. — Что сталось с ним?

— Он неплохо устроился: пошел к мясоедам и сделался бардом тамошнего вождя. Теперь он глубокий старик, но песни у него старые, те же, что он пел прежде. Когда человек хочет идти вперед. Гнида поет, что тот тянет назад, жить на деревьях.

Рассказчик снова вытащил из туши кусок сала и принялся жевать его беззубыми деснами.

— Настанет время, — сказал он, вытирая пальцы о бедра, — когда глупцы сгинут, а остальные пойдут вперед. Они соединят свои силы и будут сильными из сильных. Никто не будет воевать друг с другом. Люди забудут о воинах и стражниках на стенах. Они уничтожат хищников, и на склонах холмов, как предвещал Волосатый, будут пастись стада овец, а в горных долинах начнут выращивать кукурузу и корнеплоды. Все люди будут братьями, и не останется лежебок, которых нужно кормить. Такое время придет тогда, когда

сгинут глупцы и поэты, которые сочиняют «Песни пчел». Ибо мы люди, а не пчелы.

По ту сторону рва

Старый Сан-Франциско (впрочем, не такой уж старый — я говорю о Сан-Франциско до землетрясения) был разделен на две части так называемым «рвом». Ров этот тянулся посреди Маркет-стрит, и здесь постоянно стоял лязг канатов, поднимавших и опускавших вагоны. Собственно, таких рвов было два, но упрощенный жаргон Запада объединил их в один, тем более что слово это приобрело уже значение символическое.

На северной стороне рва были торговый центр, магазины, театры, гостиницы, банки, конторы всех солидных и крупных фирм. На южной стороне — фабрики и заводы, всякие ремонтные мастерские, прачечные, мрачные трущобы и дома, где ютились рабочие. Таким образом, ров как бы обозначал разделение общества на классы. И никто не переходил этой границы так ловко и успешно, как Фредди Драмонд. С некоторого времени он умудрялся жить в обоих этих мирах и тут и там чувствовал себя как дома.

Фредди Драмонд был профессором социологии в Калифорнийском университете. Именно это побудило его в первый раз перейти через «ров».

Прожив с полгода на южной стороне, в обширном рабочем гетто, он написал свою книгу «Чернорабочий», книгу, которую повсюду восхваляли как ценный вклад в литературу прогрессивную и великолепный отпор литературе недовольных. И в политическом и в экономическом смысле книга была до крайности ортодоксальна. Правления крупных железнодорожных компаний закупали книгу целыми выпусками для раздачи своим рабочим и служащим. Одно только Объединение Промышленников закупило и распространило пятьдесят тысяч экземпляров. В некотором отношении эта книга была так же порочна, как знаменитое «Послание к Гарсиа», и своей пагубной проповедью экономии и апологией действительности ничуть не уступала книге «Миссис Уиггс и ее капуста».

Вначале Фредди Драмонду было ужасно трудно приноровиться к новой для него среде. Он не привык к повадкам рабочих, а рабочим тем более были чужды его повадки. Они присматривались к нему недоверчиво.

У Фредди не было никакого трудового стажа, он не мог ничего рассказать о прежней работе. Руки у него были холеные, а его исключительная учтивость — в высшей степени подозрительна.

Сперва он воображал, что здесь можно будет разыгрывать независимого американца, который пожелал заниматься физическим трудом и никому не обязан отдавать отчет. Но ему очень скоро стало ясно, что это не пройдет. Вначале рабочие видели в нем попросту чудака. Позднее, когда Фредди уже несколько освоился с новой средой, он незаметно для самого себя стал разыгрывать более подходящую роль: человека, который знавал лучшие дни, но которому не повезло в жизни — временно, разумеется.

Он многое узнал здесь и, усердно обобщая все, что видел, заполнял этими часто неверными обобщениями страницы своей книги «Чернорабочий». Впрочем, с благоразумием и консервативностью людей своего круга Фредди Драмонд не преминул оговориться, что выводы его — лишь «попытка обобщения».

Свои наблюдения он начал на большом консервном заводе Уилмекса, куда нанялся на сдельную работу — сколачивать небольшие упаковочные ящики. На завод поступали из мастерской готовые части, и Фредди Драмонду оставалось только собирать их и сколачивать молотком.

Работа была простая, но оплачивалась сдельно,

и в среднем рабочий получал полтора доллара в день. Фредди Драмонд заметил, что некоторые без всяких усилий зарабатывают и больше — доллар и семьдесят пять центов. И уже на третий день он добился того же. Но, будучи человеком способным и честолюбивым и не желая работать спустя рукава, он на четвертый день заработал уже целых два доллара, а на пятый, понатужившись и подстегивая себя, — два с половиной. Его сотоварищи стали хмуриться неодобрительно и угрюмо на него поглядывать, обменивались на непонятном для него жаргоне какими-то колкими замечаниями на его счет. Говорили, что вот, мол, есть охотники подлизываться к хозяину и показывать свою прыть, тогда как прыть эту следует умерять, чтобы для всех не наступили черные дни. А Фредди Драмонда удивляло то, что люди на сдельщине работают вполсилы. Он тут же сделал вывод, что рабочие в основном — лодыри. И на другой день умудрился заработать три доллара.

Но вечером, когда он выходил с завода, его обступили рабочие. Они говорили с ним гневно и невразумительно; он не понимал их жаргона, а главное — не мог понять, чем объясняются их действия. А действовали они энергично: когда он

отказался умерить темп своей работы и стал разглагольствовать о независимости американского гражданина, свободе действий и доблести труда, они решили своими средствами ослабить его пыл и усердие. Драка завязалась жестокая, ибо Драмонд был здоровенный малый и опытный спортсмен. Но в конце концов его сбили с ног, намяли ему бока, расквасили физиономию, отдавили сапогами пальцы. Пришлось пролежать в постели целую неделю и потом искать другой работы. Все это он должным образом изложил в своей первой книге, в главе «Тирания рабочего класса».

Через некоторое время, работая уже в другом цехе того же завода, где разносил работницам фрукты для приготовления консервов, он попробовал таскать сразу по два ящика вместо одного, но остальные грузчики немедленно стали ругать его за такую прыть. Это был явный саботаж, но Драмонд рассудил, что он пришел сюда лишь в качестве наблюдателя, а не для того, чтобы вводить какие-то реформы. Он стал таскать по одному ящику и так хорошо изучил искусство саботажа, что даже написал об этом специальную главу, закончив ее опять-таки «пробными» обобщениями.

За полгода пребывания на южной стороне он работал в разных местах и научился очень хорошо подделываться под настоящего рабочего. Он был прирожденный лингвист и, делая заметки у себя в записной книжке, изучил жаргон, на котором говорили рабочие. Это помогало ему лучше следить за ходом их мыслей и таким образом накоплять материал для будущей книги, которую он хотел назвать «Синтез психологии рабочего класса».

Еще до того, как он снова вынырнул на поверхность после первого спуска на «дно», Фредди Драмонд открыл в себе талант актера и проявил большую гибкость натуры. Его самого поражала эта способность приспособляться. Усвоив язык рабочих и преодолев неоднократные приступы малодушия, а также свою разборчивость, он убедился, что ему доступны теперь все закоулки жизни рабочего люда. Да, он так хорошо приноровился к этой среде, что чувствовал себя в ней как дома! И в предисловии ко второй книге, «Труженик», он писал:

«Чтобы узнать по-настоящему рабочего человека, надо трудиться плечом к плечу с ним, есть то, что он ест, спать в его постели, делить его развлечения, думать его мыслями, чувствовать

то, что чувствует он. Это единственный путь, и я его избрал».

Фредди Драмонд не был глубоким мыслителем. Он не верил в новые теории. Все выработанные им для себя нормы и критерии были условны. Его диссертация о французской революции была отмечена в анналах университета не только как результат усердной, кропотливой и тщательной работы, но и потому, что это было самое сухое, мертвое и ортодоксальное из всех сочинений на эту тему.

Драмонд был человек очень замкнутый, с железной выдержкой. У него было мало друзей, это объяснялось его холодностью и необщительностью. Никаких пороков за ним не водилось, и, казалось, он даже не знал искушений. Табака не выносил, презирал пиво, и никто не видел, чтобы он когда-нибудь пил что-либо покрепче легкого столового вина.

На первом курсе университета его товарищи студенты, чья кровь была горячее, называли его «Ледник». Позднее, когда он был уже профессором, ему придумали кличку «Холодильник». Но огорчало его только одно ~ уменьшительное «Фредди», которое укрепилось за ним еще в те времена, когда он играл в университетской фут-

больной команде в качестве защитника. С этим никак не могла примириться его душа формалиста. Но он так и остался для всех «Фредди», за исключением тех случаев, когда к нему обращались официально. И в ночных кошмарах виделось ему будущее, когда все станут за глаза называть его фамильярно «старина Фредди».

Дело в том, что для доктора социологических наук он был слишком молод — ему было только двадцать семь лет, а на вид и того меньше. Рослый, широкоплечий, гладко выбритый, всегда опрятный, он производил впечатление студента, простодушного, здорового и непринужденно веселого. Он считался превосходным спортсменом. В высшей степени благовоспитанный и холодно-любезный, он умел держать людей на расстоянии. Вне стен университета никогда не говорил о своей научной работе. И только позднее, когда вышли в свет его книги и он стал предметом утомительного и назойливого внимания публики, Фредди Драмонд вынужден был иногда выступать с научными докладами в различных литературных и экономических обществах.

Он все делал правильно, слишком даже правильно. Одежда и манеры его всегда были безупречны. При этом его никак нельзя было

назвать денди, вовсе нет! Этот молодой ученый всем своим внешним обликом и поведением, как две капли воды, походил на тех, кого в последние годы во множестве выпускают в свет наши высшие учебные заведения. Рукопожатие его было достаточно энергично и крепко, взгляд холодных голубых глаз убедительно ясен и прямодушен. Голос его звучал твердо и мужественно, и произносил он слова четко и правильно, так что его приятно было слушать. Единственным недостатком Фредди Драмонда была его чопорная сдержанность. Она никогда не изменяла ему. Даже во время футбольных матчей он проявлял хладнокровие, тем большее, чем напряженнее и азартнее становилась игра. Фредди считался прекрасным боксером, но за то, что он с точностью машины умел рассчитывать темпы своей игры, удары при нападении и защите, его называли «автоматом». Он редко получал в бою повреждения и так же редко причинял их противникам. Благоразумие и выдержка его были так велики, что он никогда не позволял себе нанести удар сильнее, чем рассчитывал. Для него спорт был только тренировкой и средством сохранять здоровье.

Время шло, и Фредди Драмонд все чаще стал переходить «границу» на Рыночной улице и

скрываться на южной стороне. Там он проводил свои летние и зимние дни отдыха, иногда два дня, иногда целую неделю, и всегда не только приятно, но и с пользой. Еще бы! Ведь здесь можно было собрать так много материала! Третья книга Драмонда, «Массы и Хозяин», стала учебником в американских университетах. А он уже засел писать четвертую под названием «Порочность непроизводительного труда».

В складе души этого человека таился какой-то странный надлом или вывих. Быть может, это был бессознательный протест против окружающей среды и полученного воспитания, против наследия предков, которые из рода в род были книжниками, кабинетными учеными. Как бы то ни было, Фредди Драмонду нравилось жить среди рабочих. В своем кругу он слыл «Холодильником», а здесь, по другую сторону «рва», где его звали Билл Тотс, Верзила Билл, он пил, курил, дрался, ругался и был всеобщим любимцем.

Да, Билла все любили, и не одна девушка заглядывалась на него. Вначале он только, как хороший актер, играл роль, но с течением времени эта роль стала его второй натурой. Теперь он уже не притворялся, а действительно любил сосиски, колбасу, копченое сало, тогда как Фред-

ди Драмонд всего этого терпеть не мог и никогда не ел.

То, что он делал вначале по необходимости и с определенной целью, он постепенно стал делать ради удовольствия. Когда подходило время вернуться в аудитории университета и в свою чопорную оболочку, он думал об этом с чувством недовольства и сожаления. И, вернувшись домой, частенько ловил себя на том, что с нетерпением ждет блаженного дня, когда можно будет перейти «на ту сторону», дать себе волю и «покуролесить». Не такой уж он был грешник, но в обличье Билла Тотса делал мириады вещей, которые для Фредди Драмонда были совершенно недопустимы. Более того, Фредди Драмонду никогда бы и в голову не пришло делать их. Это и было самое удивительное! Фредди Драмонд и Билл Тотс были совершенно различные люди, с диаметрально противоположными потребностями, вкусами, побуждениями. Билл Тотс со спокойной совестью работал вполсилы, а Фредди Драмонд считал это недостойным американца, более того — позором, величайшим преступлением, клеймил подобный «саботаж» в своей книге, посвящая этому целые главы. Фредди Драмонд не любил танцевать, а Билл Тотс не пропускал ни одного вечера в та-

ких клубах, как, например, «Магнолия», «Звезда Запада» и «Элита». Он даже получил массивный серебряный кубок в тридцать дюймов высотой за лучшее выступление на ежегодном грандиозном бале-маскараде в Клубе Мясников. Билл Тотс любил девушек, и девушки любили его, а Фредди Драмонд усердно разыгрывал из себя аскета, открыто заявлял, что он против избирательных прав для женщин, цинично и зло высмеивал в душе совместное обучение.

Фредди Драмонд очень легко вместе с костюмом менял свои повадки. Входя в темную комнатушку, где преображался в Билла Тотса, он еще сохранял присущую ему чопорность, держался слишком прямо, откинув назад плечи, а лицо его было серьезно, почти сурово и, в сущности, лишено всякого выражения. Но выходил он из этой комнаты в одежде Билла Тотса уже совсем другим человеком. Билл Тотс вовсе не казался увальнем по сравнению с Фредди Драмондом, напротив, во всех его движениях появлялись гибкость и свободная грация. Даже голос его звучал по-иному, и смеялся Билл громко, весело, говорил, не стесняясь в выражениях, нередко уснащая речь крепкими словечками. По вечерам он засиживался допоздна в пивных с другими

рабочими, всегда оставаясь благодушным даже в спорах и стычках. На воскресных прогулках или когда всей компанией возвращались домой из кино, Билл шел обычно между двумя девушками и с ловкостью, которую дает только опыт, незаметно обнимал обеих за талию, остроумно болтая и шутливо ухаживая за ними, как полагается славному и веселому парню из рабочего класса.

Билл Тотс был настоящий рабочий южной стороны, проникнутый классовым самосознанием не меньше, чем его товарищи, а штрейкбрехеров он ненавидел даже сильнее, чем самый ревностный член профессионального союза. Во время забастовки рабочих водного транспорта Фредди Драмонд умудрялся хладнокровно и критически наблюдать со стороны, как энергично Билл Тотс расправлялся с штрейкбрехерами-грузчиками. Ибо Билл состоял верным членом Союза Портовых Грузчиков, аккуратно платил членские взносы и имел полное право негодовать на тех, кто отнимал у него работу. Верзила Билл был такой сильный и ловкий парень, что его всегда выдвигали вперед, когда заваривалась каша. Фредди Драмонд, преобразившись в Билла Тотса, вначале только притворялся возмущенным, а потом уже вполне искренне возмущался, когда

нарушали права рабочих. Только по возвращении в классическую атмосферу университета он снова обретал способность хладнокровно и беспристрастно обобщать свои наблюдения на «дне» и тут же излагал все на бумаге, как подобает ученому-социологу. Фредди Драмонд ясно видел, что узость кругозора мешает Биллу Тотсу подняться выше своего классового самосознания. А Билл Тотс этого не понимал. Когда штрейкбрехер отнимал у него работу, он приходил в бешенство и терял способность рассуждать. Зато Фредди Драмонд, безупречно одетый, подтянутый, сидя за письменным столом в своем кабинете или выступая в аудитории перед студентами, прекрасно во всем разбирался. Ему был ясен и Билл Тотс, и все, что окружало Билла, и вопрос о штрейкбрехерах и рабочих профсоюзах, и роль всего этого в экономическом процветании Соединенных Штатов и в их борьбе за господство на мировом рынке. А Билл Тотс действительно неспособен был заглядывать дальше сегодняшнего обеда или завтрашнего состязания боксеров в спортивном клубе.

Только когда Фредди Драмонд стал собирать материал для новой книги, «Женщина и Труд», он впервые почуял грозящую ему опасность. Слиш-

ком уж легко удавалось ему жить в двух разных мирах! Такая удивительная двойная жизнь была, в сущности, весьма неустойчива. И вот, сидя у себя в кабинете и размышляя об этом, Фредди понял вдруг» что долго так продолжаться не может, что это, в сущности, переходная стадия: ему неизбежно придется сделать выбор между двумя мирами и с одним из них распроститься навсегда. Продолжать жить в обоих он больше не мог. И, созерцая ряды книг, украшавших верхнюю полку книжного шкафа (все это были его труды, начиная с диссертации и кончая последней книгой — «Женщина и Труд»), он решил, что именно здесь тот мир, в котором ему следует навсегда оставаться. Билл Тотс сделал свое дело, но он стал уже для него, Фредди, чересчур опасным сообщником. И Биллу пора перестать существовать.

Виновницей тревоги, одолевшей Драмонда, была Мэри Кондон, председательница Международного союза перчаточников Э 974. В первый раз он увидел ее с галереи для публики на ежегодном собрании Северо-западной Федерации Труда. Увидел глазами Билла Тотса, и она очень пришлась ему по вкусу. Фредди Драмонду такие женщины не нравились. Правда, у Мэри была великолепная фигура, грациозная и мускулистая, как у пантеры,

и чудесные черные глаза, которые то вспыхивали огнем, то лучились смехом и лаской. Но что из того? Фредди терпеть не мог женщин с избытком кипучей жизненной энергии и недостатком… ну, скажем, сдержанности. Фредди Драмонд признавал теорию эволюции, ибо она была признана всеми учеными мира, и безоговорочно допускал, что человек есть высшая ступень развития той массы отвратительных низших существ, что копошатся на нашей планете. Но его несколько шокировала такая генеалогия, и он старался о ней не думать. Этим, вероятно, и объяснялось то суровое самообуздание, которого он требовал от себя и проповедовал другим. Потому и нравились ему только женщины его типа, сумевшие освободиться от животного, чувственного начала, этого прискорбного наследия, женщины, которые путем самообуздания и аскетизма углубляли пропасть, отделяющую их от сомнительных предков человечества.

Биллу Тотсу подобные настроения были чужды. Ему полюбилась Мэри Кондон с той самой минуты, как он впервые увидел ее в зале съезда, и он твердо решил узнать, кто она такая. Вторая встреча с ней произошла совершенно случайно, когда он работал фургонщиком у Пата Морисси.

Его вызвали на Мишн-стрит, в дом меблированных комнат откуда надо было перевезти чей-то сундук в камеру хранения. Дочь хозяйки повела его наверх, в тесную комнатку, жилица которой, перчаточница, была только что отправлена в больницу. Билл этого не знал. Он нагнулся, поднял большой сундук и, взвалив его на плечо, выпрямился, стоя спиной к открытой двери. Вдруг за ним раздался женский голос:

— Вы член профсоюза?

— А вам какое дело? — отрезал Билл. — Ну-ка, отойдите с дороги! Видите, мне повернуться негде.

Не успел он это сказать, как его оттолкнули от двери с такой силой, что могучий парень завертелся волчком и, едва удержав сундук, ударился о стену. Он начал было ругаться, но в эту минуту глаза его встретились с гневно сверкавшими глазами Мэри Кондон.

— Ну, конечно, я состою в Союзе, — сказал он. — Я просто хотел вас подразнить.

— Покажите членский билет, — потребовала она деловым тоном.

— Он у меня в кармане. Но сейчас мне его не достать: проклятый сундук мешает. Пойдемте вниз, я свалю его в фургон и тогда покажу вам билет.

— Нет, поставьте сундук на место! — был приказ.

— Это еще зачем? Я же вам сказал: есть у меня членский билет.

— Оставьте сундук, слышите? Я не позволю ни одному штрейкбрехеру тронуть его. Постыдились бы! Этакий здоровенный детина празднует труса и отбивает хлеб у честных людей! Почему вы не хотите вступить в Союз и быть человеком?

Щеки Мэри побледнели, и видно было, что она сильно рассержена.

— Подумать только — такой здоровый, сильный мужчина идет в штрейкбрехеры, предает своих братьев, рабочих! Наверное, спите и видите, как бы поступить на службу в полицию, тогда вы в следующую забастовку сможете подстреливать бастующих возчиков. А может, вы и теперь уже служите в полиции? С вас это станется.

— Будет вздор молоть! — Билл с грохотом поставил сундук на пол и, выпрямившись, сунул руку во внутренний карман куртки. — Нате, глядите! Я же вам сказал: мне просто хотелось вас подурачить.

В руках у него действительно был членский билет профсоюза.

— Ладно, возьмите, — сказала Мэри. — И в дру-

гой рад не шутите этим.

Лицо ее прояснилось. И, когда она увидела, с какой легкостью Билл вскинул на плечо тяжелый сундук, она заблестевшими глазами оглядела его могучую и ладную фигуру. Но Билл этого не заметил: он был занят сундуком.

В другой раз он встретился с Мэри Кондон во время забастовки прачечных. Работники прачечных только недавно организовали свой Союз, были еще неопытны в этом деле и попросили Мэри Кондон руководить забастовкой. А Фредди Драмонд, предвидя, что надвигается, еще раньше отправил Билла Тотса на разведки, и Билл, вступив в их Союз, стал работать в прачечной. В утро забастовки мужчинам предложили первым бросить работу, чтобы подать пример работницам и укрепить их мужество. Билл случайно оказался у двери в катальный цех, когда Мэри Кондон пыталась туда войти. Заведующий, высокий и грузный мужчина, загородил ей дорогу — он вовсе не желал, чтобы его девушек сняли с работы, и решил отучить эту представительницу Союза вмешиваться в чужие дела. Когда Мэри попыталась протиснуться в дверь мимо него, он оттолкнул ее, схватив своей мясистой рукой за плечо. Мэри осмотрелась» по сторонам и увидела

Билла.

— Эй, мистер Тотс! — крикнула она. — Помогите-ка мне! Я хочу войти.

Билла поразило и обрадовало то, что она запомнила его имя, которое узнала из членского билета. Мгновение — и заведующий отлетел от двери, в ярости выкрикивая что-то о правах и законности, а девушки побросали работу. До самого конца этой быстро и успешно закончившейся забастовки Билл состоял при Мэри Кондон в качестве добровольного связиста и верного адъютанта. А когда забастовка прекратилась, Фредди Драмонд снова вернулся в университет, недоумевая, чем эта женщина могла пленить Билла Тотса.

Фредди Драмонду подобная опасность не грозила. Но Билл влюбился страстно, и с этим приходилось считаться. Именно это обстоятельство явилось для Фредди Драмонда первым предостережением. И тогда он сказал себе, что работа его завершена, а значит, и рискованным похождениям можно положить конец. Ему незачем больше переходить на ту сторону «рва». Новая книга «Тактика и стратегия рабочего класса» почти готова, осталось только дописать последние три главы, и материала для них собрано достаточно.

К тому же, поразмыслив, он пришел к за-

ключению, что ему следует наконец прочно утвердиться в своей социальной среде, а для этого необходима более тесная связь с людьми этой среды. Пора ему жениться — ведь совершенно очевидно, что если не женится Фредди Драмонд, то, несомненно, женится Билл Тотс, и страшно даже подумать, какие это вызовет осложнения.

Таким образом, в жизнь Фредди Драмонда вошла Кэтрин Ван-Ворст. Это была девушка с университетским образованием, дочь самого богатого из профессоров, декана философского факультета. И Фредди Драмонд решил, что это будет брак, подходящий во всех отношениях. Помолвка состоялась. Кэтрин Ван-Ворст, аристократически-сдержанная и здраво-консервативная, внешне холодная, хотя и не лишенная темперамента, умела владеть собой. Сдерживающее начало было в ней так же сильно, как и в Фредди Драмонде.

Все как будто шло хорошо. Но Фредди Драмонду еще трудно было устоять перед зовом «дна», его все еще манила вольная, беспечная жизнь, не отягощенная никакой ответственностью, жизнь, которой он жил на южной стороне. Близился день свадьбы, и хотя Фредди твердил себе, что его похождения были только данью молодости и он уже «перебесился», ему все сильнее хотелось

окунуться с головой в эту жизнь, еще раз стать веселым и отчаянным парнем, Биллом Тотсом, прежде чем окончательно упокоиться в серень-ком существовании ученого лектора и спокойном семейном благополучии. Искушение было тем сильнее, что последняя глава книги «Тактика и стратегия рабочего класса» все еще оставалась недописанной: не хватало кое-каких существен-ных данных, которых он не успел собрать.

И вот Фредди Драмонд, в последний раз пре-вратившись в Билла Тотса, отправился на ту сторону и там на свою беду повстречался с Мэри Кондон. Вернувшись потом в свой кабинет, он неохотно вспоминал об этой встрече. Она еще сильнее обеспокоила его, явилась новым настой-чивым предостережением. Билл Тотс вел себя возмутительно: встретив Мэри Кондон в Глав-ном рабочем комитете, он этим не ограничился, пошел ее провожать, а по дороге пригласил в ка-бачок и угостил устрицами. Мало того. Прощаясь с Мэри у дверей ее дома, он обнял ее и несколько раз поцеловал в губы. В ушах его до сих пор еще звучали ее прощальные слова — она сказала тихо и нежно, с тем хватающим за душу рыданием в голосе, которое рождает только любовь: «Билл… милый, милый Билл!»

Фредди Драмонд трепетал, вспоминая это, — он чувствовал, что стоит на краю пропасти. Грозящие ему осложнения ужасали его тем более, что он не был создан для многоженства: не в его это было характере. Он говорил себе, что надо положить конец двойной жизни: либо стать окончательно Биллом Тотсом и жениться на Мэри Кондон, либо остаться Фредди Драмондом и обвенчаться с Кэтрин Ван-Ворст. Иначе его поведение будет достойно величайшего презрения.

Следующие несколько месяцев были месяцами непрерывных забастовок, нарушивших мирную жизнь Сан-Франциско. Профессиональные союзы рабочих и объединения хозяев вступили в борьбу с таким ожесточением, словно задались целью раз навсегда решить вопрос. А Фредди Драмонд правил корректуры, читал лекции и знать ничего не хотел о том, что творится на южной стороне. Он усердно ухаживал за Кэтрин Ван-Ворст и с каждым днем все больше уважал ее, восхищался ею и даже близок был к тому, чтобы полюбить ее.

Забастовка возчиков, правда, заинтересовала его, но меньше, чем он ожидал, а к грандиозной забастовке мясников он отнесся с полнейшим равнодушием. Дух Билла Тотса был окончательно

изгнан, и Фредди Драмонд с обновленной энергией трудился над давно задуманной брошюрой об уменьшении прибыли.

Как-то днем, за две недели до свадьбы, Кэтрин заехала за ним и повезла смотреть в рабочем поселке новый клуб молодежи, в устройстве которого она принимала участие. Ехали они в автомобиле ее брата вдвоем, если не считать шофера. У Керни-стрит две улицы пересекаются под острым углом, образуя нечто вроде треугольника. Фредди Драмонд и Кэтрин ехали по Маркет-стрит, намереваясь завернуть за угол, на Гири-стрит. Они не подозревали, что происходит в это время на Гири-стрит и с чем им придется столкнуться на углу. Конечно, из газет Фредди знал, что началась забастовка рабочих мясной промышленности и борьба идет отчаянная, но он меньше всего думал об этом. Ведь рядом с ним сидела Кэтрин! И как раз в эти минуты он обстоятельно излагал ей свое мнение о рабочих поселках, мнение, сложившееся отчасти во время похождений Билла Тотса.

По Гири-стрит навстречу им двигалось шесть фургонов с мясом. Рядом с каждым возчиком-штрейкбрехером сидел полицейский. Впереди, позади и по обе стороны фургонов шагала охрана — отряд из сотни полицейских. А в арьергарде на

почтительном расстоянии от них во всю ширину улицы валила толпа, растянувшись на несколько кварталов. Люди шли, сохраняя порядок, и только громкий говор выдавал их возбуждение. В этот день Мясной Трест пытался сорвать забастовку и снабдить мясом все гостиницы. Отелю Сент-Фрэнсис мясо было уже доставлено ценой множества разбитых окон и голов, а теперь экспедиция направлялась выручать Палас-отель.

Ничего не замечая, Фредди Драмонд продолжал беседовать с Кэтрин, а шофер их, все время давая сигналы, объезжал другие машины, делал широкий круг, чтобы добраться до угла и свернуть. Вдруг с Керни-стрит выехал большой фургон с углем, запряженный четверкой сильных лошадей, и загородил дорогу. Возчик в минутной нерешительности остановил фургон, и шофер Кэтрин, несмотря на предостерегающие окрики полицейских, погнал машину влево, нарушая правила уличного движения. Он хотел проскочить мимо фургона.

Тут уже Фредди Драмонд прервал разговор. Ему так и не пришлось возобновить его, ибо события развивались с быстротой поистине калейдоскопической. Он услышал рев толпы, увидел каски полисменов вокруг медленно продвигавших-

ся вперед фургонов с мясом. В этот миг возчик угольного фургона, стегнув лошадей, погнал их наперерез движению, затем круто осадил и затормозил фургон. После этого он привязал вожжи к ручке тормоза и уселся с видом человека, который приготовился застрять тут надолго. Автомобиль Кэтрин тоже вынужден был остановиться, так как в него, шумно фыркая, почти уперлись головами передние лошади упряжки угольного фургона.

Прежде чем шофер успел дать задний ход, автомобиль врезался в другой, одноконный фургон, которым управлял пожилой ирландец, пустивший лошадь в галоп. Драмонд сразу узнал и лошадь и расхлябанный фургон: ведь Билл Тотс не раз сам водил его, когда служил у этого ирландца. Пата Морисси. С другой стороны столкнулись фургон пивоваренного завода и угольный, а в эту минуту подкатил и трамвай, ходивший по Керни-стрит в восточный район. Вагоновожатый неистово звонил и орал на полисмена-регулировщика, потом проскочил вперед, и тогда на улице образовался полнейший затор. Подъезжали фургон за фургоном и застревали здесь. Сумятица росла. Остановились все фургоны с мясом. Полиция оказалась в ловушке. А рев напиравшей

сзади толпы все усиливался. Наконец она хлынула вперед, окружив полицейских, которые лезли на загородившие дорогу фургоны.

— Ну, попали мы в переделку! — спокойно сказал Драмонд своей невесте.

— Да-а, — отозвалась Кэтрин так же невозмутимо. — Какие дикари!

В эти минуты она нравилась Драмонду больше, чем когда-либо. Да, это женщина в его вкусе! Он не осудил бы ее даже, если бы она вскрикнула от испуга и прижалась к нему. Но ее самообладание было поистине великолепно! Среди бушевавшей вокруг бури она сидела так спокойно, как будто это было обычное скопление экипажей перед зданием Оперы.

Полиция делала усилия расчистить проезд. Возчик фургона с углем, здоровенный малый, сняв куртку, спокойно сидел на козлах и курил трубку. Он снисходительно посматривал сверху на капитана полиции, который бесновался и осыпал его ругательствами, и в ответ только пожимал плечами. Позади застучали по головам дубинки, поднялся ураган воплей, проклятий, стонов. Шум стал еще оглушительнее, — было ясно, что толпа прорвала наконец цепь полицейских истаскивала штрейкбрехеров с козел. Капитан послал туда

свой головной отряд, и толпу оттеснили. Между тем в верхних этажах дома справа, где помещались конторы, открывалось окно за окном, и оттуда стали швырять чем попало в полицейских и штрейкбрехеров. На их головы обрушился град мусорных корзинок, чернильниц, пресс-папье, в воздухе мелькали даже стулья и пишущие машинки.

Один из полицейских по приказу капитана взобрался на высокие козлы угольного фургона, чтобы арестовать возчика. А тот как будто миролюбиво, не спеша поднялся ему навстречу и вдруг обхватил его и швырнул вниз, прямо на капитана. Когда этот возчик, молодой великан, взял в каждую руку по увесистому куску угля, второй полицейский, который полез было на его фургон, предпочел с ним не связываться и соскочил на мостовую. Тогда по приказу капитана шестеро его людей атаковали фургон. А возчик, перебегая с места на место, отгонял их, швыряя вниз большие куски угля.

Толпа на тротуарах и возчики других фургонов поощряли его восторженными криками. Вожатый трамвая, колотивший полицейских по каскам рукояткой тормоза, был ими так избит, что с площадки его стащили уже в бес-

чувственном состоянии. Капитан, взбешенный энергичным отпором, сам возглавил атаку на угольный фургон. Десятка два полицейских осаждали теперь эту высокостенную крепость, но возчик отбивался так энергично, что один стоил целого отряда.

Полицейские по пять-шесть человек сразу валились на мостовую, под фургон. Возчик, отражая атаку на заднем конце фургона, обернулся как раз в ту минуту, когда капитан пробовал влезть на козлы и висел еще в воздухе в самом неустойчивом положении. Возчик запустил в него куском угля в добрых тридцать фунтов весом. Метательный снаряд этот угодил капитану прямо в грудь, и он полетел кувырком, ударился о круп коренника и свалился на землю у заднего колеса автомобиля, в котором сидели Фредди Драмонд и Кэтрин Ван-Ворст.

Кэтрин подумала, что он убит, но капитан поднялся и опять полез на фургон. Она протянула руку в перчатке и погладила еще дрожавшую от испуга, громко фыркавшую лошадь. Драмонд этого не заметил. Он был весь поглощен созерцанием битвы у фургона, и где-то в глубине его сложной души уже ворочался некий Билл Тотс в напряженных усилиях вернуться к жизни.

Фредди Драмонд верил в законы и считал своим долгом поддерживать установленный порядок вещей, а сидевший в нем дикарь-бунтовщик не признавал ни того, ни другого. В эти минуты, более чем когда-либо, Фредди Драмонду понадобилась его железная выдержка. Но ведь недаром сказано, что дом, который треснул изнутри, обречен на разрушение. А Драмонд чувствовал, что воля его и душа раздваиваются, что весь он как бы распадается на двух человек — Фредди Драмонда и Билла Тотса.

Он сидел в автомобиле рядом с Кэтрин Ван-Ворст совершенно спокойно, но из глаз его уже смотрел Билл Тотс, и где-то внутри боролись за власть над их общим телом Фредди Драмонд, здравомыслящий, консервативный профессор социологии, и Билл Тотс, боевой член рабочего профсоюза, во всеоружии своего классового самосознания. Именно глазами Билла Тотса Фредди Драмонд видел неизбежный исход битвы у фургона с углем. Он видел, как на фургон забрался один полицейский, за ним другой, третий. Они неуклюже балансировали на рыхлой груде угля, но усиленно действовали длинными дубинками. Один удар пришелся возчику по голове, второй — в плечо. Его участь явно была решена. Он

неожиданно ринулся вперед, обхватил руками двух полицейских разом и вместе с ними выбросился на мостовую, не ослабляя мертвой хватки, хотя был уже пленником этих людей.

Кэтрин Ван-Ворст обмирала от ужаса и отвращения при виде этой кровавой, жестокой стычки. Но через минуту совершенно неожиданное и необычайное происшествие отвлекло ее. Ее жених вдруг испустил какой-то нечеловеческий, дикий крик и вскочил с места. У нее на глазах он перепрыгнул через переднее сиденье прямо на широкую спину лошади, а с нее — на фургон. Его бешеная атака была стремительна, как ураган. Пораженный капитан не успел еще сообразить, что нужно этому прилично одетому, чрезвычайно возбужденному на вид джентльмену, как удар кулаком сшиб его с фургона на мостовую. За ним последовал лезший на фургон полицейский, которого джентльмен пнул ногой в лицо. Тут трое других полицейских вскочили на фургон и окружили Билла Тотса. Удар дубинки рассек ему голову. Пиджак, жилет и крахмальная манишка были изорваны в клочья. Но еще минута — и трое нападавших отлетели далеко и шлепнулись на землю, а Билл Тотс, удержав позиции, осыпал врагов градом угля.

Капитан первым храбро ринулся в атаку, но был опрокинут обрушенной на его голову грудой угля, вмиг превратившей его в негра. Полиции нужно было освободить дорогу впереди, прежде чем толпа прорвется через цепь. А Биллу Тотсу нужно было удержать на месте угольный фургон. пока не подоспеет толпа. И бой продолжался.

Толпа узнала своего защитника. Ага, Верзила Билл, как всегда, впереди! Кэтрин Ван-Ворст ошеломили поднявшиеся со всех сторон крики:

— Эй, Билл! Ты здесь, Билл! — Пат Морисси в диком восторге прыгал на своем фургоне и орал во весь голос:

— Так их, Билл! Задай им перцу! Слопай их живьем! А с тротуара какая-то женщина закричала:

— Берегись, Билл! Они лезут спереди!

Билл услышал ее предостережение и метко направленным градом угля очистил передок фургона от нападающих. Кэтрин, обернувшись, увидела на краю тротуара женщину с ярким румянцем на щеках и горящими черными глазами. Женщина с самозабвенным восторгом, не отрываясь, смотрела на того, кто несколько минут назад был еще Фредди Драмондом.

Из раскрытых окон контор загремели аплодисменты, и снова полетели вниз стулья, ящики.

Толпа уже прорвала фронт с одной стороны и хлынула вдоль ряда фургонов. Каждый полицейский оказался в кольце атакующих. Всех штрейкбрехеров стащили с козел, постромки перерезали и напуганных лошадей разогнали. Многие полицейские, спасаясь, забрались под угольный фургон, кое-кто из них вскочил на лошадей, пытаясь удержать остальных, но лошади через свободный от людей тротуар ринулись все на Маркет-стрит.

Кэтрин Ван-Ворст услышала голос той самой женщины, что раньше предупредила Драмонда об опасности. Женщина снова появилась на обочине тротуара и кричала:

— Удирай, Билл, пора! Удирай!

Полиция в этот момент была сметена в сторону толпой. Билл Тотс соскочил с фургона, подошел к женщине на тротуаре. И Кэтрин Ван-Ворст увидела, как та обняла его и поцеловала в губы. Оба зашагали вниз по улице, и Билл одной рукой обнимал женщину за талию, болтая и смеясь с такой веселой непринужденностью, какой пытливо смотревшая им вслед Кэтрин никогда не ожидала от Фредди Драмонда.

Полицейские вернулись и в ожидании подкрепления и новых возчиков и лошадей стали

очищать улицу. Толпа расходилась, сделав свое дело, а Кэтрин Ван-Ворст все еще смотрела вслед тому, кого она знала под именем Фредди Драмонда. Он был на голову выше всех и шагал, по-прежнему обнимая одной рукой ту женщину с черными глазами. И, сидя в автомобиле, Кэтрин видела, как эта пара пересекла Маркет-стрит, перешла через «ров» и скрылась на Третьей улице в рабочем гетто.

Шли годы. В Калифорнийском университете не читал больше лекций Фредди Драмонд, не появлялись книги по вопросам экономики и труда с напечатанным на обложке именем автора «Фредерик А. Драмонд». А по ту сторону «рва» появился новый лидер рабочих, Уильям Тотс. Он женился на Мэри Кондон, председательнице Международного союза перчаточников Э 974. Именно он организовал знаменитую забастовку поваров и официантов, которая дала такие блестящие результаты. В нее вовлечены были десятки других союзов, даже такие, которые имели к Союзу Поваров и Официантов довольно далекое отношение, — например, Союз Ощипывателей кур и Союз Гробовщиков.

Беспримерное нашествие

В 1976 году конфликт между Китаем и остальным миром достиг высшей точки. Именно поэтому было отложено празднование двухсотлетнего юбилея американской независимости. Спутались, смешались и были отсрочены по той же причине многие другие планы народов Земного шара. Мир словно вдруг очнулся, осознав возникшую опасность: а между тем в течение свыше семидесяти лет события незаметно вели именно в этом направлении.

Логическим началом процесса, который спустя семьдесят лет потряс весь мир, был 1904 год. В этом году произошла русско-японская война, глубокомысленно названная историками того времени началом вступления Японии на международную арену. В действительности же это событие стало началом пробуждения Китая, которое давно и тщетно ожидалось. Западные народы пробовали разбудить Китай, но им это не удавалось. Несмотря на весь свой оптимизм и расовое самолюбие, они вынуждены были признать, что задача невыполнима, что Китай никогда не проснется.

А между тем они упустили из виду то обстоятельство, что *между ними и Китаем нет общего психологического языка* ! Мыслительные процессы обеих рас коренным образом различались между собой. Не существовало между ними словаря доверия. Западный ум, проникнув в китайскую душу на небольшую глубину, оказался в запутанном лабиринте. Китайский ум проник в западную душу на столь же короткое расстояние и уперся в глухую, непонятную стену. Решающим оказался вопрос языка. Не нашлось способа внедрить западные понятия в китайскую душу. Китай продолжал спать. Материальные достижения и прогресс Запада были для него книгой за семью печатями; и Запад не мог раскрыть этой книги. Где-то глубоко в недрах сознания, в душе, скажем, расы, говорящей по-английски, была заложена способность откликаться на короткие саксонские слова; где-то глубоко, на задворках китайского сознания, была способность откликаться на их китайские иероглифы; но китайский ум не мог откликнуться на короткие саксонские слова; столь же мало ум англосакса мог откликнуться на иероглифы. Ткань их души была сплетена из совершенно различных материалов; духовно они были чужды друг другу. Вот почему западные

материальные достижения и прогресс не потревожили векового сна Китая.

Но вот на сцену явилась Япония, победившая Россию в 1904 году. Японская раса была каким-то капризом, — парадоксом среди народов Востока. Каким-то странным образом Япония оказалась восприимчивой ко всему, что мог ей предложить Запад. Япония быстро усвоила западные идеи, переварила и так умело использовала их, что неожиданно выступила во всеоружии мировой державы. Трудно найти объяснение этой особенной восприимчивости Японии к чуждой культуре Запада, так же трудно было бы объяснить какую-нибудь биологическую игру природы в животном царстве.

Решительно разгромив великую русскую империю, Япония немедленно занялась осуществлением своей мечты, грандиозной мечты об устройстве своей империи. Корею она обратила в свою житницу и колонию; договорные привилегии и хитрая дипломатия дали ей монополию эксплуатации Маньчжурии. Но японцы этим не удовлетворились; они обратили свои взоры на Китай, в недрах огромной территории которого таились величайшие в мире залежи железа и угля — основа основ промышленной цивилизации.

При наличии естественных богатств, вторым важнейшим фактором промышленности является труд. На этой территории жило население в 400 миллионов душ — четверть всего тогдашнего населения земного шара. Кроме того, китайцы великолепные рабочие, а их фаталистическая философия (или религия) и крепкая нервная организация делали из них бесподобных солдат при надлежащем управлении. Излишне говорить, что Япония была готова дать такое управление.

Но лучше всего, с японской точки зрения, было то, что китайцы — родственная им раса. Загадка китайского характера, которая явилась препоной для Запада, не была загадкой для Японии. Япония понимала китайцев так, как мы никогда не научимся понимать их. У китайцев те же умственные процессы. Японцы мыслят теми же самыми умственными символами, что и китайцы, и мысли их движутся по тем же самым мозговым бороздкам. Японцы проникли в глубь китайской души, у порога которой европейцы остановились в недоумении. Они увидели поворот, которого не заметил европеец, обошли препятствие и скрылись в разветвлениях китайской души, куда мы не могли последовать. Они были братья. Давным-давно один народ

заимствовал у другого его письмена, а за несчетное число поколений до этого они ответвились от общего монгольского ствола. Неоднородные условия и примесь посторонней крови вызвали изменения и дифференциацию, но в глубине их существа лежало общее наследие, лежала общность, которую время не могло стереть.

И вот, Япония взяла на себя управление Китаем. В годы, последовавшие за войною с Россией, ее агенты рассеялись по всей китайской империи. В тысяче миль от последней миссионерской станции работали ее инженеры и шпионы, переодетые, как кули, или же странствующими купцами, либо бродячими буддийскими жрецами; они отмечали число лошадиных сил каждого водопада, удобные места для будущих фабрик, высоту гор и перевалов, стратегически сильные и слабые пункты, плодородие долин, число быков в округе или число земледельцев, которых можно было бы завербовать принудительными наборами. Никогда еще в этой стране не производилось подобной переписи, и ее никто не мог бы произвести, кроме настойчивых, патриотически настроенных японцев.

Но в скором времени маска таинственности была сброшена. Японские офицеры организова-

ли китайскую армию; их капралы превратили средневековых воинов в солдат двадцатого века, знакомых со всей механикой современной войны и обнаруживших в стрельбе большую меткость, чем солдаты любой европейской нации. Японские инженеры углубили и расширили запутанную систему каналов, построили фабрики и литейные заводы, покрыли империю сетью телеграфов и телефонов и открыли эру железнодорожного строительства. Эти же самые творцы машинной цивилизации открыли колоссальные нефтяные залежи Чунсана, железные руды гор Хванг-Синга, медные залежи Чин-чи, и они же вскрыли газовую кладовую Вау-Ви, этот гигантский резервуар натурального газа во всем мире.

В государственных советах Китая заседали японские эмиссары. Японские государственные люди давали советы китайским государственным деятелям. Империя была обязана им своим политическим переустройством — они изгнали касту грамотеев — этих отчаянных реакционеров, и посадили на их место прогрессивных чиновников. В каждом городе и местечке империи возникли газеты. Разумеется, политику в таких газетах делали японские редакторы, получая директивы прямо из Токио. Эти газеты воспитали в прогрес-

сивном духе широкие массы населения.

Китай наконец проснулся! Там, где Запад терпел неудачи, преуспела Япония. Она претворила западную культуру и достижения в понятия, доступные уму китайца. Уже Япония, когда она так внезапно проснулась, изумила мир. Но в ту пору она насчитывала всего только сорок миллионов жителей. Пробуждение Китая с его 400 миллионами жителей было изумительным и страшным. Китай был колосс среди народов, и уверенный голос его очень скоро зазвучал в делах и совещаниях наций. Япония науськивала Китай, а гордые западные народы почтительно слушали его.

Быстрый и замечательный подъем Китая, пожалуй, больше всего обусловливался превосходными качествами его трудолюбивого населения. Китаец являл собой совершеннейший промышленный тип. Он всегда был такой. По умению работать ни один рабочий в мире не может сравниться с китайцем. Труд — это воздух, которым дышит китаец. Для него труд был тем же, что странствия, войны в далеких краях и паломничество для других народов. Для китайца свобода — это доступ к средствам труда. Обрабатывать землю и без конца трудиться — вот все, что он требовал от жизни и от ее владык. Пробуж-

дение Китая дало его бесчисленному населению не только свободу и неограниченный доступ к труду, но и доступ к высшим и основанным на научных достижениях механическим средствам труда.

Китай помолодел! Теперь только шаг оставался до Китая, встающего на дыбы. Китаец открыл в себе новую гордость и собственную волю. Китай зафыркал под уздой Японии, и недолго он просто фыркал. По совету Японии, он первым делом повыгонял из империи всех западных миссионеров, инженеров, капралов, купцов и учителей. А потом он начал изгонять аналогичных представителей Японии. Японских советников, воздав им должное и осыпав орденами, Китай отослал домой. Запад разбудил Японию, и точно так же, как Япония отплатила Западу, так и Китай теперь отплатил Японии. Исполинский протеже Японии, отблагодарив ее за любезное содействие, выкинул после того вон со всеми пожитками. Западные нации злорадно хихикали. Радужные мечты Японии разлетелись прахом. Она разгневалась — Китай высмеял ее. Кровь и мечи звали самураев в бой, и Япония, не подумав, объявила войну. Это произошло в 1922 году, и в какие-нибудь семь кровопролитных месяцев у Японии

были отняты: Маньчжурия, Корея и Формоза, и она банкротом была выброшена обратно на свои крохотные перенаселенные острова. Япония сошла с мировой сцены. После этого она предалась искусству, поставив себе задачей изумлять и пленять мир чудесными произведениями красоты.

Вопреки ожиданиям, Китай не обнаружил воинственности. Его не влекли наполеоновские лавры, он довольствовался мирными занятиями. После бурного периода люди пришли к убеждению, что Китая надо бояться не в войне, а в торговле. Как мы увидим, никто тогда не догадался, где кроется истинная опасность. Китай продолжал развивать свою собственную машинную цивилизацию. Вместо большой постоянной армии он завел неизмеримо более многочисленную и великолепно обученную милицию. Китайский флот был ничтожен, но Китай и не старался усиливать свой флот. Открытые порты мира никогда не посещались китайскими броненосцами.

Настоящая опасность крылась в плодовитости китайского населения, и только в 1970 году раздался первый клич тревоги. Страны, прилегающие к Китаю, давно уже выражали недовольство по поводу китайской иммиграции;

и как-то вдруг открылось, что Китай насчитывает 500 миллионов душ населения. Со времени пробуждения Китая население его увеличилось на добрую сотню миллионов. Бурхгальдтер обратил внимание на тот факт, что китайцев на свете больше, чем людей белой расы. Он произвел простой арифметический расчет, сложив цифры населения Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки, Англии, Франции, Германии, Италии, Австрии, Европейской России и всей Скандинавии. В результате получилось 495 миллионов. И население Китая превысило эту чудовищную цифру на 5 миллионов! Цифры Бурхгальдтера пошли гулять по свету, и мир затрепетал.

Население Китая в продолжение многих столетий не росло. Территория Китая была насыщена людским материалом; другими словами, его территория, при примитивных способах производства, давала возможность прокормить единственно возможный максимум населения. Но теперь, когда Китай проснулся и развил машинную цивилизацию, его производительные силы колоссально возросли. И на той же территории он оказался в состоянии прокормить гораздо более многочисленное население. Одно-

временно увеличивалась рождаемость и падала смертность. Прежде, когда население с трудом добывало себе средства к существованию, голод уносил его излишки; благодаря машинной цивилизации, средства существования в Китае значительно возросли, и голод прекратился; население росло соразмерно возрастанию средств существования.

В этот переходный период развития своих сил Китай не строил завоевательных планов. Китайцы не были империалистической расой. Это был трудолюбивый, бережливый и миролюбивый народ. На войну он смотрел как на неприятную, но необходимую работу, которую иногда приходится выполнять. Таким образом, в то время как западные народы ссорились и дрались и пускались в мировые авантюры друг против друга, Китай спокойно продолжал трудиться у своих станков и размножаться. Но теперь ему стало тесно в пределах своих границ и он был вынужден выливаться на смежные территории медленно и неумолимо, наподобие гигантского ледника.

После переполоха, вызванного цифрами Бурхгальдтера в 1970 году, Франция сделала давно ожидаемый шаг. Французский Индокитай был наводнен, заполнен китайскими иммигрантами.

Франция потребовала прекращения иммиграции, но китайская волна продолжала катиться. Франция сосредоточила стотысячную армию на границе между своей злополучной колонией и Китаем, а Китай послал миллион своих милиционеров. За ними двигалась другая армия — жены, сыновья, дочери и родичи со всем их личным и хозяйственным скарбом. Французскую армию китайцы смели прочь, как надоедливую муху. Солдаты китайской милиции, вместе со своими семьями насчитывавшие свыше пяти миллионов, хладнокровно завладели французским Индокитаем и расположились там на тысячелетнее житье.

Взбешенная Франция стала под ружье. Флот за флотом посылала она к берегам Китая и тем едва не довела себя до банкротства. У Китая не было флота, и он втянул свои силы в глубь территории, как улитка в свою раковину. В течение года французский флот блокировал побережье и бомбардировал покинутые города и деревни. Китай не обращал на это внимания и не обращался к остальному миру. Он преспокойно сидел вдали от огня французских орудий и продолжал работать. Франция выла и вопила, ломала бессильно руки и взывала о помощи к смущенным народам.

Наконец она выслала карательную экспедицию с наказом идти походом на Пекин. Армия насчитывала 250 тысяч солдат — это был цвет Франции. Экспедиция не встретила сопротивления и двинулась в глубь страны. Больше ее не видели. Коммуникационные линии были перерезаны на другой же день, и ни один француз не остался в живых, чтобы рассказать о случившемся. Огромная пасть Китая поглотила их всех!

В последующие пять лет экспансия Китая во всех сухопутных направлениях быстро увеличивалась. Частью Китайской империи стали Сиам, Бирма и Малайский полуостров, несмотря на все усилия Англии, они были залиты волной переселенцев; и на всем протяжении южной границы Сибири наступающие орды Китая жестоко теснили Россию. Процесс завоевания был донельзя прост. Прежде всего являлись китайские иммигранты (или, вернее, они уже находились на месте, медленно и настойчиво просочившись в предыдущие годы). Затем раздавался звон оружия, и всякое сопротивление сметалось чудовищной армией милиции, за которой следовали с пожитками их семьи. И наконец, китайцы оседали колонистами на завоеванной территории. Никогда еще история не знала такого странного

и действенного способа завоевания мира!

После захвата Непала и Бутана этот страшный живой прилив стал напирать на северную границу Индии. На западе была проглочена Бухара, на юго-западе Афганистан, Персия, Туркестан и вся Средняя Азия чувствовали на себе давление этого потока. Тем временем Бурхгальдтер пересмотрел свои цифры. Оказалось, что он ошибся. Население Китая, должно быть, равнялось 700 — 800 миллионам, — никто не знал в точности, но, во всяком случае, оно скоро должно было дойти до миллиарда. Бурхгальдтер объявил, что на каждого белокожего человека в мире приходится два китайца; и мир затрепетал. Рост Китая, вероятно, начался немедленно, с 1904 года. Вспомнили, что с той поры в Китае ни разу не было голода. При ежегодном приросте в 5 миллионов душ, общий прирост за истекшие семьдесят лет должен был составить 350 миллионов. Но кто мог точно знать? Может быть, он еще больше! Кто мог знать что-нибудь толком об этой странной новой угрозе двадцатого века — о Китае, старом Китае, помолодевшем, плодовитом и воинственном?!

В Филадельфии в 1975 году был созван конвент. На нем были представлены решительно все западные народы и некоторые из ближнево-

сточных, но он оказался безрезультатным. Были разговоры о том, что во всех странах следовало бы назначить премию за детей для повышения рождаемости, но проект был поднят на смех математиками, которые указывали, что Китай далеко опередил всех на этом пути. Никаких действенных средств борьбы с Китаем предложено не было. Объединенные державы обратились к Китаю с угрозами, — и это было все, к чему привел конвент в Филадельфии. А Китай смеялся и над конвентом, и над державами. Ли-Танг-Фвунг, — сила, стоявшая за Троном Дракона, удостоил европейцев таким ответом:

«Какое дело Китаю до содружества наций? — говорил Ли-Танг-Фвунг. — Мы самая древняя, самая почтенная и царственная из рас! Нам предстоит выполнить свою собственную миссию. Правда, неприятно, что наша миссия не совпадает с миссией остального мира, но что же делать? Вы все разглагольствуете о „господствующих расах“ и „наследовании земли“, но мы можем только ответить: „Посмотрим! Вы не можете вторгнуться к нам. Мы не боимся ваших флотов. Не кричите: мы знаем, что наш флот невелик! Как видите, мы пользуемся им только для полицейских целей! Нас не интересует море.

Сила наша в населении, численность которого скоро дойдет до миллиарда. Благодаря вам, мы теперь вооружены всей современной военной техникой. Посылайте ваши флоты! Мы будем их игнорировать. Посылайте ваши карательные экспедиции, — но прежде вспомните о Франции! Высадить полмиллиона солдат на наших берегах значило бы для каждого из вас напрячь все свои силы. А наша тысяча миллионов проглотит их одним глотком. Пошлите миллион; пошлите пять миллионов — и мы проглотим их с такой же готовностью. Пуф! Пустяки, жалкие кусочки! Уничтожьте, как угрожали Соединенные Штаты, десять миллионов кули, которыми мы наводнили ваши берега, — что ж, это количество едва ли равняется половине прироста нашего населения за один год“.

Так говорил Ли-Танг-Фвунг. Мир был ошеломлен, уничтожен, терроризован. Китаец сказал правду. Не было возможности бороться с потрясающей рождаемостью Китая! Если его население равнялось миллиарду и увеличивалось на двадцать миллионов в год, то через двадцать пять лет оно должно было составить полтора миллиарда — цифра, равная населению всего земного шара в 1904 году. И ничего с этим нельзя было поделать.

Остановить этот неудержимый, чудовищный поток жизни не было возможности. Война была бесполезна. Китай смеялся над блокадой его берегов, он даже приветствовал вторжение! В его огромной пасти было довольно места для всех полчищ земного шара, какие он мог выслать. А тем временем поток желтой расы продолжал изливаться и затоплял Азию. Китай хохотал, читая в своих журналах ученые рассуждения рассеянных западных специалистов.

Но был один ученый муж, которого Китай не оценил — Якобус Ланингдэл. Он даже в сущности не был специалистом — разве что в очень широком смысле. Первоначально Якобус Ланингдэл был исследователем — до того времени весьма малоизвестным преподавателем, работавшим в Департаменте Народного здравоохранения в Нью-Йорке. Голова у Якобуса Ленингдэла была такая же, как всякая другая голова, но в этой голове родилась идея. И этой голове хватило ума держать свою идею в тайне. Он не стал писать статей для журналов, а вместо того попросил отпуск. 19 сентября 1975 года он прибыл в Вашингтон. Был вечер, но он проследовал прямо в Белый Дом, где ему была назначена аудиенция у президента. Он заперся с президентом Мейером на три часа. О

том, что между ними происходило, мир узнал лишь спустя долгое время; а в то время мир вовсе не интересовался Якобусом Ланингдэлом. На следующий день президент созвал кабинет. На заседании присутствовал и Якобус Ланингдэл. Заседание было тайное. Но в этот же самый вечер Руфус Каудери, статс-секретарь по иностранным делам, покинул Вашингтон и ранним утром на следующий день отплыл в Англию. Тайна, которую он увозил с собою, получила огласку, но только среди глав правительств. Вероятно, только полдюжины человек в стране знали, какая мысль родилась в голове Якобуса Ланингдэла. Вскоре после этого в доках, арсеналах и на верфях закипела усердная работа. Народы Франции и Австрии подозрительно насторожились, но правительства так искренне призывали их к спокойствию, что они с доверием отнеслись к идущим полным ходом таинственным приготовлениям.

Это была Эпоха Великого Перемирия. Каждая страна торжественно обязалась не воевать ни с какой другой страной. Первым определенным шагом была постепенная мобилизация армий: России, Германии, Австрии, Италии, Греции и Турции. Затем началось движение на Восток. Все

дороги, ведшие в Азию, были забиты воинскими поездами. Местом назначения был Китай — вот все, что было известно. Спустя немного времени началось великое движение по морю. Эскадры военных судов отправлялись из каждой страны. Флот шел за флотом, и все они направлялись к берегам Китая. Нации опустошили свои верфи. Они отправляли свои таможенные катера, почтовые суда, плавучие маяки. Они отправляли все до последнего устарелые крейсеры и броненосцы. Не довольствуясь этим, они взялись за торговый флот. По свидетельству статистики, 58 640 коммерческих пароходов, оснащенных прожекторами и скорострельными пушками, были отправлены разными народами в Китай.

А Китай улыбался и ждал. На его сухопутной границе сосредоточились миллионы солдат из Европы. Китай мобилизовал пятикратное число миллионов своей милиции и ждал вторжения. То же самое он сделал и на своем морском побережье. Но Китай был сбит с толку. После всех колоссальных приготовлений вторжения не последовало. Китай ничего не понимал! На великой сибирской границе все было спокойно. Ни города, ни деревни побережья не подверглись даже бомбардировке. Ни разу в истории мир не видел

такого мощного собрания военных флотов. Флоты всего мира находились здесь; днем и ночью многотонные броненосцы бороздили волны у берегов Китая — и ничего не случалось! Не делалось даже никаких попыток. Неужели они надеются заставить Китай выползти из своей раковины? Китай улыбался. Неужели они надеются уморить его, взять голодом? Китай опять улыбался.

Но первого мая 1976 года всякий, кто мог находиться в столице империи — Пекине, с его одиннадцатимиллионным населением, — наблюдал бы любопытное зрелище. Он увидел бы, что улицы кишат болтливыми желтокожими зрителями, что каждая голова с косой запрокинута назад, и все косые глаза устремлены в небо. Высоко в небесной синеве увидел бы он крошечную черную точку, в которой по ее странным движениям он угадал бы воздушный корабль. С этих воздушных кораблей, летавших над городом, падали снаряды — странные, безобидные снаряды, трубочки из хрупкого стекла, которые разлетались на тысячи осколков, падая на улицы и крыши. Ничего не было смертоносного в этих стеклянных трубочках. Ничего страшного не происходило, не было даже взрывов. Правда, три китайца были убиты трубками, упавшими

им прямо на голову с огромной высоты; но что такое три человека перед ростом рождений в двадцать миллионов? Одна трубка отвесно упала в рыбный пруд в саду и не разбилась. Хозяин дома выловил ее из воды. Он не решился сам вскрыть ее, но в сопровождении своих друзей и окружении толпы, которая все росла, он отнес таинственную трубку участковому магистру. Последний оказался храбрым человеком. У всех на глазах он разбил трубку ударом своего медного чубука. Ничего особенного не случилось! Тем, кто стоял в непосредственной близости, показалось, что из трубки вылетело несколько комаров. И это было все! Толпа залилась смехом и разошлась.

Не только Пекин, весь Китай был бомбардирован стеклянными трубочками. Крохотные аэропланы, поднимавшиеся с военных судов, имели на борту только двух человек, они кружились над городами, местечками и деревнями, причем один управлял машиной, а другой разбрасывал стеклянные трубочки.

Если бы спустя шесть недель тот же наблюдатель опять появился в Пекине, он тщетно стал бы искать его одиннадцать миллионов жителей. Он нашел бы несколько сот тысяч, трупы которых гнили в домах и на опустелых улицах, и были

навалены высокими кучами на покинутых погребальных дрогах. Остальных же ему пришлось бы искать по большим и проселочным дорогам империи. Он увидел бы, что не всем удалось бежать из зараженного чумой Пекина; по их следам, по сотням тысяч непогребенных трупов, валяющихся на дорогах, он мог бы отметить направление их бегства. То же самое, что делалось в Пекине, происходило и во всех городах, местечках и селах империи. Всех их настигла чума и мор. Не один мор, и не два; десятки эпидемий. Все страшные формы неизлечимых болезней свирепствовали в стране китайской. Правительство слишком поздно поняло смысл колоссальных приготовлений: перевозки мировых армий, полетов крохотных воздушных кораблей и дождя стеклянных трубочек. Воззвания правительства были ни к чему. Они не могли остановить одиннадцать миллионов запуганных мором, несчастных людей, бежавших из Пекина и разносивших болезни по всей стране. Врачи и чины санитарного надзора умирали на своих постах; всепобеждающая смерть смеялась над декретами императора и Ли-Танг-Фвунга. Она посмеялась и над ним самим.

Ли-Танг-Фвунг умер на вторую неделю, а император, прятавшийся в летнем дворце, скончался

в четвертую неделю моровой язвы.

Будь одна только эпидемия, Китай мог бы бороться с нею. Но от десятков болезней не могло быть в безопасности ни одно живое существо. Человек, уцелевший от оспы, умирал от скарлатины. Человека, невосприимчивого к желтой лихорадке, уносила в могилу холера. А если он не боялся холеры, то его уносила Черная Смерть — бубонная чума. Ибо бактерии, микробы и бациллы всех этих болезней, взращенных в лабораториях Запада, обрушились на Китай вместе с градом стеклянных пробирок.

Государственная организация рушилась. Правительство распалось. Декреты и воззвания были бесполезны, раз люди, составляющие и подписывавшие их, через минуту после этого умирали. Обезумевшие миллионы, гонимые смертью, не могли остановиться и никого не слушали. Они бежали из городов, заражая деревни и разнося с собой болезни. Наступило жаркое лето — Якобус Ланингдэл хитро рассчитал время, — и мор свирепствовал повсюду. О многом из того, что происходило, приходилось догадываться, о многом пришлось узнать из рассказов горстки людей, переживших это страшное время. Несчастные люди миллионами скитались по

империи. Огромная армия, собранная Китаем на границе, растаяла. Запасы сельских хозяев были разграблены, а новых хлебов не сеяли. Хлеб, уже засеянный, остался без уборки, ибо некому было убирать его. Всего ужаснее, пожалуй, было бегство людей. В нем участвовали многие миллионы, бросившиеся к границам империи, где их останавливали и поворачивали вспять колоссальные армии Запада. Избиение обезумевших полчищ на границах приняло чудовищные размеры. Сторожевая линия Запада отодвигалась на двадцать — тридцать миль, чтобы избежать заразы от бесчисленных мертвецов.

Однажды чума прорвала фронт и начала свирепствовать среди германских и австрийских солдат, охранявших границы Туркестана. На такой случай заранее были сделаны приготовления. И хотя шестьдесят тысяч европейских солдат погибло, но международный корпус врачей изолировал заразу и отогнал ее назад. Во время этой борьбы родилась мысль, что появился новый микроб эпидемии, что каким-то образом между микробами чумы произошла помесь, давшая начало новому и страшно ядовитому микробу. Существование этого микроба первым заподозрил Вомберг, который заразился им и умер. Позднее

его выделили и изучали Стивене, Газенфельд, Норман и Ландерс.

Таково было беспримерное нашествие на Китай. Положение миллиарда людей сделалось безвыходным. Запертым в огромной и зараженной бойне, утратившим всякую организацию и связи между собой, им оставалось только умирать. Спасенья не было. Их отбрасывали как от сухопутных границ, так и от моря. Семьдесят пять тысяч судов патрулировали вдоль берегов. Днем их дымящиеся трубы туманили водный горизонт, а ночью ослепительно яркие прожекторы бороздили тьму, не давая улизнуть и самой маленькой джонке. Жалки были попытки бесчисленных флотилий джонок прорваться! Ни одной из них не удалось обмануть морских сторожевых ищеек! Современная военная машина сдерживала дезорганизованную массу китайцев, а эпидемии делали свое дело.

Старая война с ее приемами стала смешна. На ее долю осталась патрульная служба. Китай смеялся над войной и получил войну; но это была ультрасовременная война, война двадцатого века; война ученых и лабораторий, война Якобуса Ланингдэла. Пушки во сто тонн весом были игрушками по сравнению с микроорганическими

снарядами, извергавшимися из лабораторий, этими вестниками смерти, этими ангелами разрушения, которые носились по империи, насчитывавшей миллиард душ.

Летом и осенью 1976 года Китай представлял собой кромешный ад. Нигде нельзя было спастись от микроскопических снарядов, которые залетали в самые далекие тайники. Сотни миллионов трупов лежали неубранными. Микробы размножались, и к концу эпидемии ежедневно миллионы людей умирали от голода. Голод ослаблял организмы, разрушая их сопротивляемость микробам. Людоедство, убийства, безумие царили в стране. Так погибал Китай.

Только в феврале следующего года, в самую сильную стужу появились первые экспедиции европейцев. Эти экспедиции были немногочисленны. Их составляли ученые и воинские отряды; но они вступали в Китай со всех сторон. Несмотря на самые тщательные противозаразные меры, немало солдат и несколько врачей заразились. Но разведка мужественно продолжалась. Экспедиции нашли Китай опустошенным. Они нашли разоренную пустыню, по которой шатались стаи диких собак и шайки отчаянных бандитов, уцелевших от эпидемии. Их предавали смерти

на месте. И тогда началось великое дело оздоровления Китая. На это ушло пять лет и сотни миллионов денег. А затем на китайскую территорию двинулся остальной мир — не зонами, по идее барона Альбрехта, а разнородными группами, согласно демократической американской программе. В 1982 году и в последующие годы в Китае образовалось счастливое смешение наций; это был колоссальный и успешный эксперимент скрещивания. Известно, к каким блестящим техническим, духовным и художественным результатам привел этот опыт.

В 1987 году был объявлен конец Великому Перемирию, и началась старая вражда между Францией и Германией из-за того же Эльзаса и Лотарингии. В апреле над Европой грозно сгустились черные тучи, и 17 апреля был созван конвент в Копенгагене. Так как на нем присутствовали все народы мира, то все нации торжественно обязались никогда не применять друг против друга лабораторной войны, которую они пустили в ход при нашествии на Китай.

Извлечено из «Исторических Опытов» Уолта Мервина.

Враг всего мира

Чудо-ученый и архивраг человечества Эмиль Глюк был наконец пойман Сайласом Бэннермэном. Показания Глюка, которые он дал перед тем, как сесть на электрический стул, проливают свет на ряд загадочных, явно не связанных между собой событий, которые так всполошили мир в 1933 и в 1941 годах. А до тех пор, пока не был опубликован этот удивительный документ, мир и не подозревал, что существует какая-то связь между убийством короля и королевы Португалии и гибелью нью-йоркских полицейских. Хотя деяния Эмиля Глюка носят отвратительный характер, мы не можем не испытывать некоторой жалости к этому несчастному уроду и отверженному гению. Эта сторона его биографии никогда не освещалась, но, ознакомившись с его признанием и изучив большое количество свидетельских показаний, документов и мемуаров того времени, мы можем довольно точно воссоздать образ Эмиля Глюка и выявить, под влиянием каких факторов и обстоятельств сформировалось это чудовище в человеческом облике и что толкнуло его на страшный путь преступлений.

Эмиль Глюк родился в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, в 1895 году. Отец его, Джозеф Глюк, был ночным сторожем и состоял в специальной полиции. В 1900 году он внезапно скончался от воспаления легких. Мать Эмиля Глюка, хорошенькое хрупкое создание, до замужества была модисткой. Убитая горем, она ненадолго пережила своего мужа. Впечатлительность, передавшаяся мальчику по наследству от матери, получила в нем патологически страшное развитие.

В 1901 году Эмиль, которому исполнилось тогда шесть лет, стал жить у своей тетки, миссис Энн Бартелл. Она была сестрой его матери, но не испытывала никаких теплых чувств к робкому, впечатлительному мальчику. Энн Бартелл была тщеславной, пустой и бессердечной женщиной. Живя в постоянной нужде, она к тому же вынуждена была содержать ленивого сумасброда-мужа. Маленький Эмиль Глюк оказался нежеланным прибавлением семейства, и, уж конечно, Энн Бартелл не преминула внушить это несчастному мальчику. Для того, чтобы показать, как с ним обращались в юные годы, достаточно привести следующий случай.

Прожив в доме Бартеллов немногим более года,

Эмиль сломал ногу. Он потерпел увечье, свалившись с крыши — этого запретного места для игр, куда все мальчишки всегда лазили и будут лазить до скончания века. Берцовая кость была переломлена в двух местах. С помощью перепугавшихся товарищей Эмиль сумел дотащиться до тротуара, где потерял сознание. Соседские дети боялись сварливой, с резкими чертами лица женщины, которая была главой в доме Бартеллов; однако, набравшись храбрости, они все же позвонили и сообщили ей о несчастном случае. Но она даже не взглянула на мальчика, лежавшего без памяти на тротуаре, и, хлопнув дверью, вернулась к своей лохани с мокрым бельем. Время шло. Стал накрапывать мелкий дождик, а Эмиль, уже пришедший в сознание, все еще лежал на тротуаре и плакал.

Следовало немедленно вправить ногу. Как всегда бывает в таких случаях, быстро поднялась температура, и положение ребенка стало угрожающим. Часа через два, после того, как возмущенные соседки пристыдили Энн Бартелл, она вышла поглядеть на мальчика. Ткнув в бок лежавшего у ее ног беспомощного ребенка, истеричная женщина отреклась от него. Она кричала, что это не ее ребенок и что надо вызвать карету

«скорой помощи» и отвезти его в приемный покой городской больницы. Затем она вернулась в дом.

Но нашлась одна женщина, Элизабет Шепстоун, которая, узнав, в чем дело, велела положить мальчика на снятый ставень, вызвала доктора и, оттолкнув Энн Бартелл, распорядилась внести мальчика в дом. Как только прибыл доктор, Энн Бартелл предупредила, что не заплатит ему за услуги. Целых два месяца маленький Эмиль не покидал постели. Весь первый месяц он лежал на спине, и никто ни разу не перевернул его. Никто не ухаживал за ним, он лежал в одиночестве, и только изредка его бесплатно навещал перегруженный работой доктор. У него не было игрушек или чего-либо такого, что помогло бы ему скоротать томительно тянувшиеся дни болезни. Никто не сказал ему ни единого ласкового слова, никто не утешал его, гладя по головке, он не испытал ни единого проявления нежности и заботы… ничего, кроме упреков и грубостей со стороны Энн Бартелл, которая все время повторяла, что он ей не нужен. И вполне понятно, как в таком окружении в душе заброшенного, одинокого ребенка возникла ожесточенность и враждебность к роду человеческому, которая позже проявилась

втакой форме, что ужаснула весь мир.

Как ни странно, но именно благодаря Энн Бартелл Эмиль Глюк получил высшее образование. А объяснение этому простое. Муж-сумасброд, покинув ее, напал на золотую жилу в Неваде и вернулся домой миллионером. Энн Бартелл, ненавидевшая мальчика, немедленно отправила его за сотню миль в Фарристаунскую частную школу. Застенчивый и впечатлительный, одинокий и непонятый человечек, в Фарристауне он был одинок, как никогда. Он ни разу не ездил домой, как другие мальчики, в дни каникул и праздников. Вместо этого он бродил по пустынным зданиям и окрестностям, пытался заводить дружбу с не понимавшими его слугами и садовниками и, как вспоминают, проводил дни в полях или у камина, уткнувшись носом в какую-нибудь книгу. Именно тогда он и натрудил себе глаза и был вынужден с тех пор носить очки, которые так знакомы нам по фотографиям, опубликованным в газетах в 1941 году.

Он оказался способным учеником. Уже с одним таким прилежанием, какое было у него, он мог пойти далеко, но дело даже не в его усидчивости. Ему достаточно было бросить один взгляд в текст, и он уже знал его в совершенстве. Это привело к

тому, что он прочел огромное количество дополнительной литературы и за полгода приобрел знаний больше, чем средний ученик за пять лет. В 1909 году, когда ему едва исполнилось четырнадцать лет, он был уже подготовлен («оолее, чем подготовлен», как сказал директор школы) к поступлению в Иейльский или Гарвардский университет. Но по молодости лет он еще не мог поступить ни в одно из этих учебных заведений и в 1909 году был принят в старинный Баудойнский колледж. В 1913 году он закончил его с высшими наградами и тотчас уехал вместе с профессором Брэдлафом в Беркли, в Калифорнию. За всю жизнь у Эмиля Глюка был один-единственный друг — профессор Брэдлаф. Из-за слабых легких профессору пришлось переехать из штата Мэн в Калифорнию. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что ему предложили кафедру в университете штата. В течение 1914 года Эмиль Глюк жил в Беркли и слушал специальный курс по различным отраслям науки. В конце того же года не стало двух человек, смерть которых спутала его планы на жизнь. В лице профессора Брэдлафа он потерял единственного друга, а смерть Энн Бартелл лишила его средств к существованию. Ненавидя несчастного юношу до

конца дней своих, она лишила его наследства, оставив ему всего сто долларов.

В следующем году двадцатилетний Эмиль Глюк стал преподавателем химии в Калифорнийском университете. Там он провел несколько спокойных лет и выполнял нудные, будничные обязанности, честно отрабатывая причитавшееся ему жалованье. Он не прекращал учебы и набрал полдюжины степеней. Он стал, между прочим, доктором социологии, доктором философии и доктором естественных наук, хотя позже был известен людям только как профессор Глюк.

Когда ему исполнилось двадцать семь лет, он опубликовал книгу «Секс и прогресс», и имя его впервые замелькало на страницах газет. Книга эта и по сей день остается одним из основополагающих трудов по истории и философии брака. Семьсот страниц пухлого тома содержат тщательно подобранный научный материал и оригинальные выводы. Книга была предназначена для ученых и совсем не рассчитана на сенсацию. Но в последней главе Глюк упомянул чисто гипотетически о желательности пробных браков, отведя им буквально три строчки. Газеты сразу же ухватились за эти три строчки и так «раздули дело», как выражались в те дни, что заставили

весь мир смеяться над двадцатисемилетним молодым близоруким профессором Глюком. Его снимали фотографы, осаждали репортеры, женские клубы по всей стране принимали резолюции, осуждавшие его безнравственные теории, а в законодательном собрании штата при обсуждении вопроса об ассигнованиях было выдвинуто предложение не ассигновать университету положенных сумм, пока Глюк не будет уволен. (Конечно, никто из обвинителей не читал книги, для них было достаточно трех строчек, преподнесенных газетами в искаженном виде.) С того времени Эмиль Глюк возненавидел газетчиков. Из-за них серьезный и представляющий научную ценность труд шести лет был выставлен на посмешище и стал одиозным. Хотя они потом и пожалели об этом, но он до конца дней так и не простил их.

Газеты виноваты и еще в одной неприятности, обрушившейся на Глюка. В течение пяти лет после издания книги он хранил молчание, а такая замкнутость не предвещает ничего хорошего для одинокого человека. И можно лишь с сочувствием представить себе, как ужасно одинок был Эмиль Глюк в своем многолюдном университете, потому что у него не было друзей, которые

могли бы оказать ему моральную поддержку. Единственным утешением его были книги, и он с головой погрузился в чтение и занятия.

Но в 1927 году он принял приглашение выступить перед «Обществом человеческих интересов» Эмеривилля. Он не решился говорить без подготовки, и вот сейчас перед нами лежит экземпляр его заранее написанной речи. Она сдержанна, сугубо научна, суха и, следует отметить, отражает довольно консервативные позиции оратора. Но в своей речи он упомянул о (цитирую по рукописи) «…промышленной и социальной революции, которая происходит в обществе».

Репортер, присутствовавший на собрании, ухватился за слово «революция», вырвал его из контекста и написал искаженное сообщение о собрании, в котором изобразил Эмиля Глюка настоящим анархистом. Сразу же сообщение об «анархисте профессоре Глюке» было передано по проводам и помещено на первых страницах всех газет страны.

В первый раз Глюк еще пытался отвечать на нападки прессы, но теперь он молчал. Он ожесточился. Профессора и преподаватели советовали ему написать опровержение, но он угрюмо отклонил их предложение и даже, когда ему угрожали

увольнением, отказался представить в свое оправдание текст произнесенной речи. Он не пожелал подать в отставку и был исключен из числа преподавателей университета. Следует добавить, что на председателя и членов правления университета было оказано политическое давление.

Гонимый, оклеветанный, непонятый и одинокий, бедняга даже не пытался постоять за себя. Всю жизнь ему подстраивали всякие пакости, но сам он никому не делал зла. Однако он еще не был настолько ожесточен, чтобы окончательно выйти из себя. Потеряв место и не имея никаких средств к существованию, он был вынужден приняться за поиски работы. Сначала он поступил на судостроительный завод «Юнион айрон уоркс» в Сан-Франциско, где проявил себя очень способным конструктором. Именно здесь он детально ознакомился с линейными кораблями и их устройством. Но репортеры и тут не оставили его в покое и детально описали в газетах его новое занятие.

Он тотчас уволился и нашел другое место, но после того, как репортеры заставили его раз пять переменить занятие, он закалился и перестал обращать внимание на травлю, которую ему

устроила пресса.

Это было уже тогда, когда он открыл гальванопластическую мастерскую на Телеграф-авеню в Окленде. На его маленьком предприятии работали три мастера и два ученика. Сам он тоже очень много трудился. Как показал на суде полицейский Кэрью, Глюк редко покидал мастерскую раньше часу ночи. Именно в этот период своей жизни он усовершенствовал систему зажигания для двигателей внутреннего сгорания и запатентовал ее, что потом сделало его богатым.

Эмиль Глюк открыл свою мастерскую ранней весной 1928 года, того самого года, когда он так неудачно влюбился в Айрин Тэкди. Теперь трудно себе представить, чтобы любовь такого необыкновенного существа, каким был Эмиль Глюк, могла быть обыкновенной. К тому, что мы говорили о его гениальности, одиночестве и болезненной впечатлительности, следует добавить, что он совсем не знал женщин. Из-за своей неопытности он не сумел выразить обуревавшие его чувства обычным путем, а чрезмерная робость привела его к весьма необычным изъявлениям любви.

Айрин Тэкли была довольно хорошенькой, но пустой и легкомысленной молодой женщиной. В то время она работала в небольшой кондитер-

ской, находившейся напротив мастерской Глюка. Он часто захаживал в кондитерскую и, не спуская с девушки глаз, пил там прохладительные напитки. Девушка, кажется, была к нему совершенно равнодушна и просто кокетничала с ним. Она говорила, что он «чудной», и даже как-то назвала его «тронутым», рассказывая, как он сидит у стойки и пялит на нее глаза сквозь очки, как он краснеет и заикается, когда она смотрит на него, и как часто он в смущении стремительно выбегает из кондитерской.

Глюк делал ей поразительные подарки. Он подарил ей серебряный чайный сервиз, кольцо с бриллиантом, меха, театральный бинокль, скучнейшую многотомную «Историю мира» и мотоцикл, весь отникелированный в его собственной мастерской. Этим подношениям положил конец любовник девушки, который разгневался и заставил ее вернуть Глюку странный ассортимент подарков.

Этот человек по имени Уильям Шербурн — грубое, тупое существо с тяжелой челюстью, выбился из рабочих в весьма удачливые мелкие подрядчики. Глюк ничего не понимал. Он попытался объясниться с девушкой, когда она возвращалась вечером с работы. Она пожаловалась Шербурну,

и тот однажды подстерег и избил Глюка. Это была очень жестокая трепка, о чем свидетельствует запись в регистрационной книге больницы «Скорой помощи», куда в ту же ночь попал Глюк и где он оставался на излечении в течение целой недели.

Но Глюк так ничего и не понял. Он продолжал свои попытки объясниться с девушкой. Боясь Шербурна, он обратился к начальнику полиции с просьбой разрешить ему носить при себе револьвер. В просьбе ему было отказано, а газеты, по своему обыкновению, сделали из этого сенсацию. А тут как раз произошло убийство Айрин Тэкли. Это случилось в субботу вечером, за шесть дней до ее свадьбы с Шербурном. Она допоздна работала в кондитерской, откуда ушла после одиннадцати часов с недельным жалованьем в сумочке. Она доехала на трамвае по Сан-Пабло-авеню до Тридцать четвертой улицы, где сошла и отправилась пешком к своему дому, который находился в трех кварталах от трамвайной остановки. В живых ее больше не видели. На другое утро труп ее был найден на каком-то пустыре.

Эмиля Глюка тотчас арестовали. Ничто не могло спасти его. Прямых улик не было, его обвинили на основании свидетельских показаний,

состряпанных оклендской полицией. Нет сомнений в том, что большая часть показаний была попросту сфабрикована. Показания капитана Шехана оказались явным лжесвидетельством, и уже гораздо позже было доказано, что в ту самую ночь «свидетеля» не только не было поблизости от места, где произошло убийство, но что он вообще находился тогда за городом в одном заведении на Санлеандрской дороге.

Несчастный Глюк был приговорен к пожизненному заключению в Санквентинской тюрьме, но газеты и публика считали приговор судебной ошибкой и требовали для него смертной казни.

Глюк прибыл в Санквентинскую тюрьму 17 апреля 1929 года. Тогда ему было тридцать четыре года. И вот целых три с половиной года (причем большую часть этого срока он провел в одиночном заключении) ему предоставили на размышления о людской несправедливости. Именно в этот период его ожесточение достигло апогея, и он стал ненавистником всего рода человеческого. В тот же период он написал свой знаменитый трактат «О человеческой этике», незаурядную брошюру «Разумный преступник» и разработал ужасный, чудовищный план мести. Некое событие, приключившееся с ним, когда он

еще работал в своей мастерской, подсказало ему идею уникального орудия мести. Как пишет сам Глюк в своих показаниях, во время пребывания в тюрьме он разработал теоретически каждую деталь прибора и, оказавшись на свободе, мог сразу же приступить к мщению.

Освобождение его вызвало сенсацию. Но и оно было преступно оттянуто из-за бездушной бюрократической волокиты, бытовавшей в то время. В ночь на 1 февраля 1932 года во время попытки ограбления одного из жителей Пьемонтских холмов был смертельно ранен бандит Тим Хэсуэлл. Он прожил еще три дня и за это время не только признался в убийстве Айрин Тэкли, но и предоставил убедительные доказательства своего преступления. Он указал как на соучастника на заключенного Фолсомской тюрьмы Берта Дэнникера, умиравшего от чахотки, и тот тоже признался. Сегодня мы даже вообразить себе не можем, какая путаница и волокита существовали в судопроизводстве поколение назад. Доказательства невиновности Эмиля Глюка были представлены в феврале, а из тюрьмы он был выпущен лишь в октябре. Несправедливо осужденный, он в течение еще восьми месяцев был вынужден подвергаться незаслуженному наказа-

нию. Это отнюдь не способствовало улучшению его настроения, и мы легко можем представить себе, сколько горечи накопилось в его душе за эти томительные восемь месяцев.

Он оказался на свободе осенью 1932 года, и снова его имя замелькало на первых страницах газет. Вместо того, чтобы выразить сожаление по поводу случившегося недоразумения, газеты в поисках сенсации продолжали по-прежнему травить его. Газета «Сан-Франциско интеллидженсер» пошла даже дальше. Ее редактор Джон Хартуэлл придумал остроумную версию, в которой игнорировались признания двух преступников и содержалась попытка доказать, что в конечном счете в убийстве Айрин Тэкли виноват Глюк. Хартуэлл умер. Умер и Шербурн, а полицейский Филиппе был ранен в ногу и уволен из оклендской полиции.

Убийство Хартуэлла долго оставалось неразрешимой загадкой. Он был один в своем кабинете. Револьверные выстрелы услышал редакционный курьер. Он вбежал в комнату и увидел в кресле умирающего Хартуэлла. Полиция ломала себе голову, каким образом его собственный револьвер, находившийся в запертом ящике стола, вдруг стал стрелять. Пули пробили ящик и поразили

Хартуэлла в живот. Полиция отвергла версию о том, что здесь имело место самоубийство, мысль об убийстве была сочтена абсурдной, и ответственность за происшествие была возложена на компанию «Эврика», занимавшуюся производством патронов. Полицейские считали, что произошли самопроизвольные выстрелы, и химикам компании пришлось натерпеться страху во время следствия. Но полиция не знала, что комнату номер 633 в доме, находившемся как раз напротив редакции, снимал Эмиль Глюк, который и был в ней в то самое время, когда раздались непонятные выстрелы из револьвера Хартуэлла.

Тогда никто не видел никакой связи между смертью Хартуэлла и смертью Уильяма Шербурна. Шербурн все еще жил в том самом доме, который он построил для Айрин Тэкли, и однажды утром, в январе 1933 года, его нашли там мертвым. Следствие установило, что причиной смерти явилось самоубийство, так как Шербурн был застрелен из собственного револьвера. В ту же ночь случилось еще одно любопытное событие. У дома Шербурна подстрелили полицейского Филиппов. Он дополз до полицейского телефона, находившегося на углу, и вызвал «скорую помощь». Полицейский утверждал, что кто-то сзади

выстрелил ему в ногу. Нога его была размозжена тремя пулями тридцать восьмого калибра, и ее пришлось ампутировать.

Но когда в полиции узнали, что увечье было нанесено выстрелами из собственного револьвера Филиппов, его подняли на смех и обвинили в том, что он был пьян. Несмотря на его уверения, что он в рот не брал спиртного и не притрагивался к револьверу, лежавшему в заднем кармане брюк, Филиппов выгнали из полиции. Признание Глюка, которое он сделал шесть лет спустя, сняло с несчастного полицейского обвинение в позорном поступке. В настоящее время он находится в добром здравии и получает от города приличную пенсию.

Расправившись со своими личными врагами, Эмиль Глюк искал теперь более широкое поле деятельности, хотя его ненависть к газетчикам и полицейским по-прежнему оставалась неудовлетворенной. Пока он находился в тюрьме, процентные отчисления с дохода компаний, использовавших изобретенную им систему зажигания для двигателей внутреннего сгорания, поступали на его счет в банк, и с каждым годом его состояние все увеличивалось. Он был независим, мог ехать куда угодно и удовлетворить свое

чудовищное желание мстить.

Он стал маньяком и анархистом, причем не идейным, а каким-то диким анархистом. Может быть, это не то слово и его лучше назвать нигилистом и террористом. Но известно, что он не входил ни в одну террористическую организацию. Он действовал в одиночку, но нагнал на людей в тысячу раз больше страха и произвел в тысячу раз больше разрушений, чем все террористические организации, вместе взятые.

Он ознаменовал свой отъезд из Калифорнии взрывом Форта Мейсон. В своих показаниях он говорил об этом как о маленьком эксперименте (он, мол, просто набивал себе руку). Восемь лет он бродил по свету, сея ужас, причиняя убытки на сотни миллионов долларов, губя людей без счета. Благоприятным последствием его злодеяний было лишь то опустошение, которое он произвел в рядах самих террористов. Каждый раз, когда он совершал какое-нибудь преступление, полиция хватала всех террористов, оказавшихся поблизости, и многие из них были казнены. Только в одном Риме после убийства итальянского короля было казнено семнадцать человек.

Самым потрясающим деянием его было, пожалуй, убийство короля и королевы Португалии.

Это произошло в день их бракосочетания. Против террористов были приняты все возможные меры предосторожности. Улицы, ведущие к собору, были оцеплены двойной шеренгой солдат, а королевский экипаж охраняли две сотни кавалеристов. И вдруг случилась поразительная вещь. Автоматические винтовки кавалеристов, как и винтовки стоявших поблизости пехотинцев, начали стрелять. Поднялась паника, дула стреляющих винтовок были направлены во все стороны. Побоище было ужасным — лошади, солдаты, зрители, король и королева оказались изрешеченными пулями. Дело осложнилось еще и тем, что среди теснившейся за цепью солдат толпы у двух террористов, которые находились поодаль друг от друга, взорвались бомбы. Террористы намеревались бросить эти бомбы в королевскую чету, если бы представилась такая возможность. Но кто знал, что случится? Страшное опустошение, произведенное взорвавшимися бомбами, усилило панику. Полагали, что взрывы входили в планы нападавших.

Одного нельзя было лишь объяснить — поведения солдат в тот момент, когда их винтовки стали стрелять. Никто не мог поверить, что они тоже участвовали в заговоре. Однако от их пуль

погибли сотни людей, в том числе и король с королевой. С другой стороны, еще в большее недоумение приводил тот факт, что семьдесят процентов самих солдат было убито или ранено. Некоторые объясняли это тем, что верные своему долгу солдаты, из числа тех, кто присутствовал во время нападения на королевский экипаж, открыли огонь по предателям. Но хотя многие из оставшихся в живых были подвергнуты пытке, ни один из них не дал показаний, подтверждавших эту версию. Они упрямо твердили, что вообще не стреляли из своих винтовок и что винтовки стали стрелять сами. Проводившие экспертизу химики посмеялись над ними, заявив, что один патрон, начиненный новым бездымным порохом, мог еще самопроизвольно взорваться, но абсолютно исключали возможность того, чтобы все патроны в данном районе взорвались одновременно. В конце концов это поразительное происшествие так и не получило объяснения.

По общему мнению, сложившемуся в других странах мира, все это дело явилось результатом паники, созданной экспансивными латинянами после взрыва двух бомб, брошенных террористами. И в этой связи припоминали смешной случай, который произошел много лет тому назад, когда

разыгралось сражение между русским флотом и английскими рыбачьими лодками.

Эмиль Глюк посмеивался и продолжал свое черное дело. Он-то знал, что случилось. Но откуда об этом мог ведать мир? Глюк случайно открыл секрет своего оружия, когда еще работал в гальванопластической мастерской на Телеграф-авеню в городе Окленде. Как-то «Тэрстон Пауэр компани» установила радиостанцию неподалеку от его мастерской. И через некоторое время гальваническая ванна вышла из строя. Обмотка аппаратуры замкнулась во многих местах. Осматривая повреждения. Глюк обнаружил в местах замыканий мелкие спайки. Замкнутый накоротко ток накалил обмотку, раствор закипел, и работа стала. Но что вызвало замыкание? Глюк задумался. Ход его рассуждений был прост. До установки радиостанции аппаратура работала хорошо. Она вышла из строя только после установки радиостанции. Следовательно, причиной этого была работа радиостанции. Но что же произошло? Ответ на этот вопрос был найден быстро. Если электромагнитные волны способны заставить слипаться железные опилки когерера, находящегося за океаном в трех тысячах миль от передатчика, то электромагнитные волны,

излучаемые радиостанцией, находящейся всего в четырехстах футах от мастерской, могли вызвать тот же эффект в плохо изолированных местах обмотки. В то время Глюк не проявил особого интереса к этому явлению. Он просто перемотал обмотку и продолжал заниматься гальванопластикой. Но потом, в тюрьме, он вспомнил об этом случае, и его осенило. Он понял, что может создать бесшумное, незаметное оружие, с помощью которого будет вершить свою месть. Его великое открытие, которое он унес с собой в могилу, заключалось в том, что он умел создавать направленные электромагнитные волны любой мощности. В то время эта проблема не была еще решена радиоинженерами, как, впрочем, она не решена и теперь. Но Эмиль Глюк, сидя в тюремной камере, сумел докопаться до ее сути. А выйдя на волю, он осуществил свою идею. Умея направлять электромагнитные волны, он довольно просто вызывал искру в пороховых погребах форта, в снарядах на линкоре или в патронах револьверов. Он мог не только взрывать на расстоянии порох, ему удавалось вызывать пожары. При его участии начался большой бостонский пожар, но, как он заявил в своих показаниях, это была чистая случайность, правда, добавил он, по-

жар явился для него приятной неожиданностью, о которой он потом никогда не сожалел.

Некто иной, как Эмиль Глюк, вызвал ужасную германо-американскую войну, которая унесла около восьмисот тысяч жизней и потребовала почти неисчислимых затрат. Следует вспомнить, что в 1939 году, вследствие Пикардского инцидента, отношения между двумя странами были напряженными. И хотя интересы Германии были несколько ущемлены, тем не менее она не хотела войны и в знак своих мирных намерений послала кронпринца и эскадру из семи линейных кораблей с дружественным визитом в Соединенные Штаты Америки. В ночь на пятнадцатое февраля семь броненосцев стали на якорь в Гудзоновом заливе напротив Нью-Йорка.

В ту же ночь Эмиль Глюк, захватив свой аппарат, вышел на катере в море. Этот катер, как выяснилось впоследствии, он приобрел у «Росс Тэрнер компани», а детали аппарата, пущенного в ход в ту ночь, — на заводе «Коламбиа электрик». Но тогда об этом никто не знал. Известно было только то, что семь броненосцев взлетели на воздух один за другим с интервалом между взрывами ровно в четыре минуты. Погибло девяносто процентов матросов и офицеров, в том числе и

кронпринц.

За много лет до этого события на рейде Гаваны был взорван американский линкор «Мэн», после чего тотчас же началась война с Испанией, хотя тогда существовали законные сомнения относительно того, был ли взрыв результатом диверсии или случайности. Но взрыв семи броненосцев с интервалами в четыре минуты объяснить случайностью уже было нельзя. Германия считала, что взрывы произведены подводной лодкой, и немедленно объявила войну. И только через шесть месяцев после признания Глюка она вернула Соединенным Штатам Филиппины и Гавайские острова.

Тем временем злой волшебник и человеконенавистник Эмиль Глюк разрушительным смерчем носился по земле. Он не оставлял следов. С научной тщательностью он уничтожал все улики. Обычно он снимал комнату или дом и тайком устанавливал там свою аппаратуру, которую, между прочим, так усовершенствовал и упростил, что она занимала очень мало места. Осуществив намеченный план, он осторожно увозил аппаратуру. Такая осторожность сулила ему долгую жизнь и множество ужасных преступлений.

Весьма приметным делом была эпидемия самострелов среди нью-йоркских полицейских. Она стала одной из самых кошмарных тайн того времени. Всего за две недели более сотни полицейских получили ранения в ногу из собственных револьверов. Инспектор Джонс не разрешил этой загадки, но в конце концов он перехитрил Глюка. По его рекомендации полицейские перестали носить револьверы, и больше происшествий с самопроизвольными выстрелами не было.

Ранней весной 1940 года Глюк уничтожил судоверфь на острове Мэр. Из своей комнаты в Вальехо он послал электромагнитный луч через пролив в сторону острова Мэр. Сначала он направил его на линкор «Мэриленд». Корабль стоял в доке у минногосклада. На его носовой палубе была временно сооружена огромная деревянная платформа, на которой лежало более сотни мин. Эти мины предназначались для обороны Золотых Ворот. Любая из них могла уничтожить десяток линкоров, а всего этих мин насчитывалось больше сотни. Разрушения были ужасны, но это было только начало. Глюк направил луч на побережье острова Мэр и взорвал пять торпедных катеров, склад снарядов и большое хранилище боеприпасов в восточной оконечности острова. Поведя луч

к западу, он по дороге зацепил несколько отдельных складов, находившихся на холмах в глубине острова, взорвал три крейсера и линкоры «Орегон», «Делавэр», «Нью-Хемпшир» и «Флорида», причем последний только что вошел в сухой док, и этот великолепный док был уничтожен вместе с кораблем.

Ужасная катастрофа потрясла всю страну. Но она не шла в сравнение с тем, что случилось позже. Ранней осенью того же года Эмиль Глюк смел с лица земли все, что находилось, на атлантическом побережье страны от Мэйна до Флориды. Форты, береговые оборонительные сооружения всех видов, склады мин, торпед и других боеприпасов взлетели на воздух. Три месяца спустя, в середине зимы, он таким же ошеломляющим ударом опустошил северное побережье Средиземного моря от Гибралтара до Греции.

Все страны были охвачены страхом. Никто не сомневался, что все эти разрушения — дело рук человеческих, но из-за беспристрастности Эмиля Глюка не менее ясно было и то, что разрушительную работу ведет не одна какая-либо определенная страна. Очевидно было лишь одно: какие бы люди ни стояли за этим, они представляют угрозу для всего мира. Ни одна страна не могла

считать себя гарантированной от разрушений. Никакие оборонительные меры не могли быть приняты против таинственного и всемогущего врага. Орудия ведения войны были бесполезны; мало сказать, бесполезны, иметь их — значило подвергаться угрозе. На год прекратилось производство пороха, а все солдаты и матросы были удалены из военных укреплений и с кораблей. А на совещании держав, состоявшемся в то время в Гааге, даже началось серьезное обсуждение вопроса о всеобщем разоружении.

Но тут сотрудник секретной службы Соединенных Штатов Сайлас Бэннермэн арестовал Эмиля Глюка и прославился на весь мир. Сначала Бэннермэна подняли на смех, но он так хорошо подготовил дело, что в течение нескольких недель убедил в виновности Глюка даже самых закоренелых скептиков. Однако Бэннермэн так и не смог объяснить даже самому себе, почему ему вдруг пришло в голову, что Эмиль Глюк причастен к жестоким преступлениям. Правда, Бэннермэн выполнял в Вальехо секретное правительственное задание и был там во время взрыва острова Мэр, правда и то, что на улицах Вальехо он видел Эмиля Глюка, на которого ему указали, как на подозрительного чудака, но тогда

Глюк не произвел на него никакого впечатления. И только во время своего отпуска в Скалистых горах, читая сообщения о разрушениях на атлантическом побережье, Бэннермэн вдруг вспомнил об Эмиле Глюке. И тут же ему пришла в голову мысль, что имеется какая-то связь между Глюком и разрушениями. Это была только гипотеза, но ее оказалось достаточно, чтобы дать пищу для размышлений. Великое дело — создание гипотез, которые сами по себе являются продуктом подсознательной работы мозга. Явление это так же необъяснимо, как необъяснимо, например, внезапное озарение, приведшее Ньютона к открытию закона всемирного тяготения.

Остальное оказалось нетрудным. «Где был Глюк, когда по атлантическому побережью пронесся ураган разрушений?» — спросил себя Бэннермэн. По его собственной просьбе ему поручили расследовать это дело. Он тотчас же установил, что ранней осенью 1940 года Глюк разъезжал по атлантическому побережью. Он также установил, что во время эпидемии самострелов среди полицейских Глюк был в Нью-Йорке, «А где Глюк теперь?» — продолжал спрашивать себя Бэннермэн. И, словно в ответ на этот вопрос, стали поступать сообщения о

повальных разрушениях на Средиземном море.

Бэннермэн знал, что месяц тому назад Глюк выехал в Европу. Бэннермэну даже не потребовалось ехать туда самому. Сопоставляя телеграфные сообщения о разрушениях и сведения, предоставляемые сотрудничавшими с ним европейскими секретными службами, Бэннермэн проследил путь Глюка по всему Средиземноморью и установил, что каждый раз прибытие Глюка на новое место совпадало по времени с очередным взрывом береговых укреплений и военных кораблей. Он также выяснил, что Глюк только что отплыл на лайнере «Плутоник» компании «Грин стар» в Соединенные Штаты.

Бэннермэну все было ясно, оставалось только до прибытия Глюка уточнить некоторые детали. В этом ему умело помог Джордж Браун, специалист из радиокомпании «Вуд систем». Когда «Плутоник» показался на траверзе Сэнди Хук; к нему подошел военный катер. Бэннермэн поднялся на борт корабля и арестовал Эмиля Глюка.

Потом состоялся суд. Глюк во всем признался. Давая показания, он выразил сожаление лишь о том, что действовал слишком медленно. Он сказал, что если бы он мог представить себе, что его когда-нибудь арестуют, он бы поторопился и

разрушений было бы в тысячу раз больше.

Глюк умер и унес с собой в могилу свой секрет, хотя, как теперь стало известно, представители французского правительства сумели проникнуть к нему и предложили ему миллиард франков за его изобретение, которое заключалось в том, что он мог создавать мощное направленное электромагнитное излучение. «Что? — спросил Глюк. — Продать его, чтобы дать вам возможность поработить и угнетать бедное человечество? Ничего не выйдет!»

И хотя военные министерства всех стран продолжали проводить изыскания в своих секретных лабораториях, им так и не удалось раскрыть тайну изобретения Эмиля Глюка.

Эмиль Глюк казнен 4 декабря 1941 года в возрасте сорока шести лет. Так не стало самого несчастного в мире гения, человека колоссального интеллекта, огромные способности которого никогда не были использованы для добрых дел и получили такое извращенное развитие, что обладатель их стал самым удивительным из всех преступников.

Из книги мистера А.Г. Бэрнсайда «Оригинальные преступники», публикуется с разрешения издательства «Холидей и Уитсанд».

Мечта Дебса

В тот день я проснулся на час раньше обычного. Это было в высшей степени удивительно, и я лежал, широко раскрыв глаза, охваченный каким-то смутным беспокойством. Я не мог понять, в чем дело. Меня угнетало предчувствие: случилось или должно было вот-вот случиться нечто страшное, Но что? Я попытался собраться с мыслями и вспомнил, как после землетрясения 1906 года многие утверждали, что незадолго до первого толчка они испытали необъяснимое чувство страха. Неужели Сан-Франциско снова постигнет землетрясение?

Я затаил дыхание, тупо ожидая, что вот-вот раздастся грохот, зашатаются стены, посыпятся кирпичи. Но все было тихо. Так вот что меня поразило — тишина! Я не слышал привычного шума большого города, и это, естественно, вызывало беспокойство. Обычно в такое время дня мимо моего дома каждые три минуты бежали трамваи, а тут ни одного вагона за десять минут. Верно, забастовали трамвайщики, подумал я, или отключили энергию из-за какой-нибудь аварии. Но нет, тишина была слишком глубокой. Не дребез-

жали колеса, не скрежетали тормоза, не стучали копыта по поднимающейся в гору мостовой.

Я нажал кнопку звонка подле кровати и прислушался, хотя отлично знал, что на третьем этаже колокольчика не слышно, даже если звонок действовал. Звонок действовал, ибо минуты три спустя вошел Браун с завтраком на подносе и утренней газетой. Лицо его было бесстрастно, как всегда, но во взгляде я заметил тревогу и ожидание. Кроме того, на подносе не было сливок.

— Сливок сегодня не принесли, — объяснил он, — и хлеба тоже.

И в самом деле на подносе я не увидел французских булочек, вместо них лежали ломтики получерствого, оставшегося, верно, от вчерашнего обеда, хлеба из грубой муки, который я терпеть не мог.

— Сегодня ничего не доставили, сэр, — извиняющимся тоном начал Браун, но я прервал его:

— А газета?

— Только газету и принесли, сэр, но завтра газеты тоже не будет. Она не выйдет — так там написано. Может быть, послать за сгущенным молоком, сэр?

Я покачал головой, решив довольствоваться черным кофе, и развернул газету. Огромные заго-

ловки объясняли все, объясняли слишком многое — пессимизм издателей был просто-напросто смешон. В Соединенных Штатах объявлена всеобщая забастовка, сообщалось в газете, в информированных кругах высказываются самые мрачные прогнозы относительно снабжения городов.

Я читал быстро, пропуская абзацы и вспоминая попутно, сколько хлопот доставляли в прошлом волнения среди рабочих. На протяжении жизни целого поколения всеобщая забастовка была как бы мечтой рабочего движения, мечтой, которая родилась в голове Дебса, одного из знаменитых рабочих лидеров, лет тридцать назад. Помнится, во время пребывания в колледже я даже написал для какого-то журнала статью на эту тему, озаглавив ее «Мечта Дебса». Весьма бесстрастным, но в то же время довольно безапелляционным, должен признаться, тоном я объявил всеобщую забастовку пустой мечтой, не более того. Шли годы, менялся мир, давно забыт Гомперс, распалась Американская федерация труда, умер Дебс, унеся с собой бредовые революционные идеи. Но мечта его, как видно, осталась жить и вот наконец обрела плоть. Я от души смеялся над теми мрачными видами на будущее, которые рисовала газета. Боже мой, как все это знакомо! Сколько было на

моем веку так называемых трудовых конфликтов, но рабочим ни разу не удавалось взять верх. Я был убежден, что происшествие уладится благополучнейшим образом, что это вопрос дней. Поскольку забастовка приняла национальный характер, за дело возьмется правительство.

Я отбросил газету и начал быстро одеваться. Интересно сейчас побродить по улицам Сан-Франциско, когда замерло движение и весь город словно по чьему-то приказанию отбыл на каникулы.

— Прошу прощения, сэр, — обратился ко мне Браун, подавая портсигар. — Мистер Хармед хотел бы поговорить с вами до того, как вы уйдете.

— Пусть войдет, — сказал я.

Хармед — мой дворецкий. Когда он вошел, я увидел, что он с трудом сохраняет спокойствие. Хармед сразу приступил к делу.

— Как мне быть, сэр? У нас иссякают запасы, а шоферы, которые доставляют продукты, присоединились к забастовке. И электричество выключили — там тоже, видно, бастуют.

— А магазины открыты? — спросил я.

— Только небольшие, сэр. Продавцы тоже не работают, и в больших магазинах некому обслуживать покупателей. В маленьких же справля-

ются сами владельцы с помощью домочадцев.

— Возьмите машину, отправляйтесь по всем магазинам. Покупайте все, что может понадобиться, да побольше. Не забудьте коробку свечей, впрочем, нет, полдюжины коробок. А когда разделаетесь с покупками, пусть Гаррисон заедет за мной в клуб, но не позднее одиннадцати.

Хармед удрученно покачал головой.

— Мистер Гаррисон, как член профсоюза шоферов, прекратил работу, а я не умею водить машину.

— Как? И он тоже? — спросил я. — Ну что ж, когда мистер Гаррисон соблаговолит явиться, передайте ему, что он может поискать работу в другом месте.

— Хорошо, сэр.

— А вы-то сами, Хармед, не состоите случаем в Союзе дворецких?

— Нет, сэр, — последовал ответ. — И даже, если бы состоял, я ни за что не покинул бы своего хозяина в такую минуту. Нет, сэр, я бы…

— Хорошо, хорошо, благодарю вас! А теперь приготовьтесь сопровождать меня. Я сам поведу машину. Мы сделаем такие запасы, какие позволят нам выдержать долгую осаду.

Был первый день мая, и погода стояла чудесная

даже для этой поры. На небе ни облачка, ветер утих, в воздухе было разлито какое-то целительное тепло. По пути нам попадалось немало автомобилей, за рулем сидели их владельцы. На улицы высыпало много народу, но повсюду сохранялись порядок и тишина. Прогуливались разодетые в свои лучшие воскресные костюмы рабочие, наслаждаясь, по-видимому, эффектом, который произвела на горожан забастовка. Все выглядело так необычно и вместе с тем так мирно, что я даже испытывал некоторое удовольствие. Нервы, разумеется, были чуточку возбуждены, как во время какого-нибудь невинного и неопасного приключения. Навстречу попалась мисс Чикеринг — она изящно восседала за рулем своего миниатюрного автомобиля. Завидев меня, она сделала поворот и на углу догнала мою машину.

— Мистер Корф, мистер Корф, — зачирикала она, — вы не знаете, где можно купить свечи? Объездила с десяток магазинов — все распроданы. Это просто ужас, вы не находите?

Но по заблестевшим глазкам было видно, что мисс Чикеринг говорит неправду, что ей, как и остальным людям нашего круга, было ужасно интересно и забавно. Поиски свечей и те показались нам необыкновенным приключением. Мы

объездили весь город и лишь в рабочем квартале, южнее Маркет-стрит, в какой-то крохотной бакалейной лавке нашли свечи. Мисс Чикеринг думала ограничиться одной коробкой, но я убедил ее взять четыре. Сам же я купил дюжину коробок. Кто знает, насколько еще затянется забастовка! Кроме того, я доверху загрузил свой просторный автомобиль несколькими мешками муки, дрожжами, консервами и другими столь же необходимыми припасами. Руководство покупками взял на себя Хармед, он суетился и кудахтал, точно хлопотливая наседка.

Самое любопытное в первый день забастовки было то, что никто не принял ее всерьез. Все от души смеялись над опубликованными в утренних газетах заявлениями профсоюзных лидеров о том, что забастовка продлится не меньше месяца, а то и все три. Мы, по правде сказать, в тот же день могли бы догадаться, что забастовка рассчитана надолго, ибо рабочие, не в пример остальным, не кинулись запасаться продуктами. Им это было ни к чему. За много месяцев наперед каждый из них втайне от хозяев очень искусно устроил себе личный склад провизии. Потому мы и смогли делать покупки только в рабочих кварталах.

Но по-настоящему я встревожился лишь тогда,

когда днем приехал в клуб. Там царило полное смятение. Коктейли продавали без маслин, обслуживали медленно и как-то нерасторопно. Собравшиеся были явно обеспокоены, иные едва сдерживали гнев. Еще у входа я услышал гул голосов. На своем обычном месте, в курительной комнате, восседал в кресле генерал Фолсом и, поглаживая пухлый живот, отбивался от полдюжины наседавших на него джентльменов, которые требовали, чтобы он немедленно принял какие-то меры.

— Я сделал все» что мог, — говорил он. — Из Вашингтона не поступало никаких распоряжений. Если вам, джентльмены, удастся телеграфировать моему начальству, я сделаю все, что мне прикажут. Иначе я не могу ничего предпринять. Утром, узнав о забастовке, я первым делом вызвал войска из Президио, три тысячи человек. Они охраняют банки. Монетный двор, почтамт и все общественные здания. Беспорядка пока не наблюдается. Забастовщики держатся мирно. Не могу же я стрелять в них просто так — вырядились, точно на праздник, и высыпали на улицы со своими чадами и домочадцами.

— Интересно, что творится сейчас на Уолл-стрит? — услышал я голос Джимми Уомболда,

когда проходил мимо. Можно понять озабоченность Джимми: совсем недавно он скупил порядочное количество акций «Консолидейтед-Вестерн».

— Послушай, Корф, — подбежал ко мне Аткинсон. — У тебя машина на ходу?

— Да, — отвечал я. — А что с твоей?

— Что-то сломалось, а мастерские закрыты. Понимаешь, моя жена застряла где-то около Траки. Телеграмму не пошлешь ни за какие деньги. Она должна была приехать вечером. Может быть, умирает там с голоду! Одолжи, пожалуйста, машину.

— Бесполезно, — вмешался Холстед. — Все равно через залив не переправиться. Паромы не ходят. Однако я знаю, что делать. У Роллинсона… Эй, Роллинсон, подойди-ка сюда на минутку! Аткинсону нужно переправить машину через залив. У него жена в Траки. Не можешь ли ты вызвать из Тибурона «Ларлетту», чтобы перевезти автомобиль? «Ларлетта» — океанская прогулочная шхуна водоизмещением двести тонн.

Роллинсон в раздумье покачал головой:

— Пожалуй, сейчас не найти грузчиков, чтобы поднять его на борт, даже если бы было кому вести «Ларлетту». Ведь весь экипаж, члены Союза

моряков, тоже побросал работу.

— Но моя жена, наверно, умирает с голоду, — хныкал Аткинсон.

Я направился дальше. В другом углу курительной группа озабоченных джентльменов окружила Берти Мессенера, горячо убеждая его в чем-то. А Берти с присущим ему хладнокровием насмешливо подзадоривал их своими циничными замечаниями. Берти Мессенер плевал на забастовку. Ему на все было наплевать. Он был равнодушен ко всему и пресыщен — радостями жизни по крайней мере; что до горестей, то они вовсе не привлекали его. Он стоил двадцать миллионов, вложенных в надежнейшие предприятия, и за всю жизнь не поработал и часа — денежки ему достались от отца и двух дядюшек. Где он только не побывал, чего не перевидел, чего не перепробовал, и единственно не успел жениться, несмотря на решительную и упорную осаду нескольких сотен тщеславных мамаш. Много лет он был самой желанной приманкой, которую никому пока не посчастливилось схватить. Он был до неприличия выгодной партией, ибо, помимо богатства, выделялся молодостью, красотой и безукоризненной репутацией. Отличный спортсмен, юный белокурый бог, ему с

завидной легкостью удавалось все, в том числе и избежать уз брачного союза. У него, начисто лишенного честолюбия и страстей, не возникало и мысли сделать то, в чем он мог успеть лучше других.

— Но это же бунт! — плакался один из собеседников Берги Мессенера; другой называл забастовку восстанием и революцией; третий — разгулом анархии.

— Ничего похожего, — возражал Берги. — Я все утро толкался на улицах — никаких беспорядков. Ни разу не видел таких законопослушных граждан. Нечего впадать в панику — никакая эго не революция и не бунт. Просто всеобщая забастовка, как и объявлено. Теперь ваш ход, джентльмены!

— Мы примем игру, будьте уверены! — воскликнул Гарфилд, один из трамвайных магнатов. — Мы их поставим на место, этих грязных животных. Погодите, вот примется за дело правительство!

— Но где оно, ваше правительство? — язвил Берти. — Может быть, уже на дне океана. Мы ведь не знаем, что происходит в Вашингтоне. Не знаем даже, есть у нас правительство или нет.

— Ну, на этот счет можете не волноваться! —

негодующе выпалил Гарфилд.

— Я ничуть не волнуюсь, уверяю вас, — с ленивой улыбочкой ответствовал Берти. — Скорее волнуетесь вы, друзья. Посмотрите-ка на себя в зеркало, Гарфилд.

Почтенный джентльмен не последовал совету Берти, однако выглядел он и в самом деле крайне возбужденным: седые волосы разлохматились, лицо побагровело, рот угрюмо кривился, растерянно блуждали глаза.

— Но это же несправедливо, говорю я вам, — сказал коротышка Гановор; по унылому тону я понял, что он повторял это в сотый, наверное, раз.

— Хватит, Гановер, — оборвал его Берти. — Тошно слушать вашу болтовню. Вы же сторонники открытого цеха и все уши мне прожужжали о праве на работу и прочем. И гнули эту линию из года в год. Рабочим ничего не оставалось, как начать всеобщую забастовку. Что тут незаконного? Помолчите минуту, Гановер, прошу вас! Сколько лет вы твердили о богом данном праве работать… или не работать? Вот вам и результат! Грязное в общем-то дело. Сначала вы прижали рабочих, теперь рабочие прижали вас, и нечего жаловаться.

Исполненные благородного негодования, все в

один голос стали отрицать, что они прижимали рабочих.

— Напротив, сэр! — кипятился Гарфилд. — Мы делали для рабочих все, что могли. Прижимали!.. Нет, мы давали им возможность жить. Давали работу. Интересно, как бы они прожили без нас?

— Намного лучше, намного, — откровенно насмехался Берти. — Вы прижимали и обманывали рабочих при каждом удобном случае. Из кожи лезли, чтобы вам такой случай представился.

— Ничего подобного! Клевета! — раздались возмущенные голоса.

— Нет, это не клевета, — невозмутимо продолжал Берти. — Вы помните ту забастовку возчиков тут, в Сан-Франциско? Всем известно, что забастовка была спровоцирована Ассоциацией нанимателей. Вы знаете, что мне это известно — ведь я сидел здесь, в этой самой комнате, когда тут велись закулисные переговоры и обсуждались новости. Вы толкнули рабочих на забастовку, потом подкупили мэра и начальника полиции, и те благополучно разогнали рабочих. Нужно было поглядеть, как вы, мнящие себя благотворителями, прижали в тот раз рабочих.

Позвольте, я еще не кончил. Не далее как в прошлом году губернатором Колорадо был из-

бран кандидат по рабочему списку. Но разве он вступил в должность? Нет, и вы знаете, почему. Дело рук ваших дружков — благотворителей и капиталистов из Колорадо. Разве тогда не обманули рабочих? Вы три года продержали в тюрьме по ложному обвинению в убийстве президента Ассоциации горняков Юго-Запада. Расправившись с ним, вы погубили и ассоциацию. Станете утверждать, что вы и на этот раз не прижали рабочих? А разве не обман — объявить в третий раз прогрессивный налог противоречащим конституции? Обман, такой же откровенный обман, как и в том случае, когда вы провалили в Конгрессе закон о восьмичасовом рабочем дне.

Но венцом ваших махинаций стало наступление на закрытый цех. Известно, каким образом вам удалось добиться своего. Вы подкупили Фарберга, последнего президента прежней Американской федерации труда. Вы сделали его своим ставленником, вернее, ставленником всех трестов и ассоциации нанимателей. Вы спровоцировали грандиозную забастовку на предприятиях, где работали только члены профсоюза. Фарберг, как и следовало ожидать, предал рабочих. Вы выиграли конфликт, и Американская федерация труда распалась. Да, да, вы

уничтожили ее, но просчитались. На обломках АФТ рабочие создали Международный союз рабочих, который стал самой крупной и крепкой в истории Соединенных Штатов профсоюзной организацией. Вы сами помогли создать этот союз, вы сами виноваты в нынешней забастовке. После разгрома прежних федераций рабочим не оставалось ничего иного, как создать новую организацию. И вот эта новая организация объявила забастовку, и рабочие снова требуют установить систему закрытых цехов. И после этого у вас хватает бесстыдства утверждать, будто вы никогда не прижимали и не обманывали рабочих. Какая чепуха!

На этот раз никто не осмелился отрицать что-либо. Только Гарфилд попробовал защититься:

— Но мы были вынуждены поступать так! Иначе рабочие взяли бы верх.

— Да я не об этом, — ответил Берти. — Нечего плакаться, коли ваши затеи обернулись против вас самих, вот в чем дело. Вспомните, сколько раз голодовками вы заставляли рабочих подчиниться и прекратить забастовку. Ну, а теперь они намерены заставить вас подчиниться им. Они требуют закрытого цеха, и если из-за этого вам придется поголодать, значит, так тому и быть!

— Однако вы и сами не раз наживались на обмане рабочих, — ввернул Брентвуд, один из самых хитрых и проницательных адвокатов наших корпораций.

— Скупщик краденого — такой же преступник, как и вор, — усмехнулся он. — Обманывать не обманывали, а свой куш сорвали.

— Это не имеет никакого отношения к делу, дорогой Брентвуд, — холодно и отчетливо произнес Берти. — И вы туда же, толковать о морали, как и Гановер. Справедливо, несправедливо — разве об этом сейчас речь? Одно я знаю наверное: грязная это игра. Единственное, что я говорю: нечего хныкать, если рабочие прижали вас. Да, я тоже наживался на обмане, хотя благодаря вам сам не марал руки грязными делишками. Вы, джентльмены, делали это за меня.

Поверьте, я вовсе не ходячая добродетель, я такой же. как и вы. Но мой драгоценный папочка и его любезные братцы оставили мне кучу денег — ими-то я и платил за грязную работу.

— Вы хотите сказать, что мы… — в негодовании начал Брентвуд.

— Да бросьте вы кипятиться, — высокомерно оборвал его Берти. — Какой смысл лицемерить в этом воровском логове? Высокие слова уместны

в газетах, юношеских клубах да воскресных школах — это тоже часть игры, которую мы ведем. Но, ради Бога, не надо притворяться друг перед другом. Мы с вами отлично знаем, какой разбой был учинен прошлой осенью в строительном профсоюзе, кто давал деньги, кто был исполнителем и кто нажился. — Брентвуд побагровел. — Все мы одним миром мазаны, и нечего распространяться о морали. Я еще раз говорю: ведите игру, бейтесь до последнего, но не хнычьте, если вам наступают на хвост.

Отходя от спорящих, я успел услышать, как Берти снова начал пугать своих собеседников более серьезными последствиями забастовки. В частности, он указал на ощутимый уже недостаток продуктов и спросил джентльменов, что они намерены предпринять. Позже я встретил Берти в гардеробной, он уходил, и я подвез его на своей машине.

— Да, всеобщая забастовка — это удар, — задумчиво говорил Берти, когда мы мчались по многолюдным улицам, где, однако, сохранялся полный порядок. — Удар сокрушительной силы! Пока мы дремали, рабочие улучили момент и двинули нам в самое уязвимое место — в желудок. Нет, Корф, уберусь-ка я отсюда на время. И ты

уезжай, послушай доброго совета. В деревню, куда угодно. Там хоть можно спокойно переждать. Эх, запастись бы всем необходимым, забраться в какую-нибудь хижину или палатку!.. А здесь нашему брату придется подтянуть пояс.

В тот день я и представить себе не мог, как прав был Берти. «Паникер», — подумал я и решил из любопытства остаться в городе. Расставшись с ним, я не поехал домой, а снова отправился на поиски продуктов. Каково было мое удивление, когда я обнаружил, что в тех крохотных бакалейных лавчонках, где я побывал утром, все уже распродано. Тогда я помчался в Петреро, и там мне чудом удалось купить еще один пакет свечей, два мешка крупчатки, фунтов десять пшеничной муки (пригодится для слуг), ящик консервированной кукурузы и два ящика томатов. Все говорило за то, что перебои в снабжении неминуемы, и я мысленно поздравил себя с удачной и своевременной покупкой.

На следующее утро мне, как обычно, подали в постель кофе, но без сливок и, что еще хуже, без утренней газеты. Не знать, что творится в мире, оказалось настоящим лишением. В клубе тоже мало что было известно. Из Окленда прибыл на своем катере Райдер, а Холстед успел сгонять

на машине в Сан-Хосе, но и они не рассказали ничего нового. И в Окленде и в Сан-Хосе жизнь замерла полностью, бакалейные лавки пустые — все подчистили люди с деньгами, на улицах безупречный порядок. Но что происходит в остальных городах — в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне? Вероятно, то же самое, что и здесь. Но никто не знал наверное, и это внушало тревогу.

Кое-что сообщил нам генерал Фолсом. Его люди попытались связаться по телеграфу с другими городами, но провода повсюду оказались перерезанными. То было единственным пока незаконным действием со стороны забастовщиков, и генерал не сомневался, что оно подготовлено заранее. Он попытался снестись по радио с гарнизоном в Бенишии. Войска охраняли телеграфную линию на всем протяжении до Сакраменто, и один раз оттуда донесся вызов, но потом связь оборвалась снова: провода все-таки перерезали. Генерал Фолсом был убежден, что по всей стране власти пытаются установить связь, но он не высказал своего мнения относительно того, насколько эти попытки окажутся успешными. Его безмерно беспокоило, что рабочие перерезали провода, и он считал это частью обширного и детально разработанного заговора. Попутно он

высказал сожаление о том, что правительство задержалось со строительством запроектированной сети радиостанций.

Однообразно текли дни, все оставалось по-прежнему. Улеглось волнение, вызванное первыми событиями. Толпы народа больше не запружали улицы. Рабочие не приходили с семьями в наши кварталы посмотреть, как мы реагируем на забастовку. Стало меньше машин. Мастерские и гаражи были закрыты, и любая поломка выводила машину из строя. У меня тоже что-то случилось со сцеплением, но починить невозможно было ни за какие деньги. Так что мне тоже приходилось ходить пешком. Жизнь в Сан-Франциско замерла, никто не имел никакого понятия о том, что происходит в стране. Но именно это отсутствие сообщений заставляло предполагать, что жизнь замерла повсюду.

Время от времени по всему городу расклеивались рабочие прокламации, отпечатанные, по-видимому, много месяцев назад и свидетельствовавшие, как тщательно готовил забастовку Международный союз рабочих. Каждая мелочь была предусмотрена заранее. До сих пор не было зарегистрировано ни одного акта насилия, если не считать того, что солдаты расстреляли

нескольких рабочих, которые перерезали провода. Однако голодающие обитатели трущоб начали выказывать зловещие знаки нетерпения и беспокойства.

Бизнесмены, миллионеры и адвокаты провели несколько совещаний и приняли соответствующие решения. Но как довести эти решения до сведения публики? Мы не могли даже напечатать их. Однако в результате этих совещаний генерала Фолсома убедили отдать распоряжение захватить крупные магазины и склады с зерном и мукой. Мера была вполне своевременна, так как люди состоятельные уже стали терпеть лишения, и следовало немедленно установить хлебный рацион. Я заметил, что мои слуги начинают проявлять недовольство, а припасов в доме порядком поубавилось. Потом только я узнал, что каждый из них потихоньку воровал продукты и откладывал для себя.

После установления хлебного рациона возникли новые затруднения. Дело в том, что в Сан-Франциско было не так уж много запасов продовольствия, их не могло хватить надолго. Забастовщики, и те вынуждены были ввести нормы на хлеб, хотя у каждого, разумеется, было вдоволь припасено всякой снеди. Запасы продовольствия

на складах, которые охранялись людьми генерала Фолсома, таяли с поразительной быстротой. Да и как могли солдаты отличить какого-нибудь мелкого служащего или обитателя трущоб от члена Международного союза рабочих? Первых надо было кормить, а солдаты не знали всех забастовщиков в лицо, не говоря уже об их женах или детях. Не один раз с помощью нанимателей из очередей за хлебом выкидывали членов Союза, но что это могло дать? Поначалу правительственные катера доставляли продукты с армейских складов на Мэр-Айленд и Эйнджел-Айленд, но вскорости и там все кончилось. Теперь солдаты получали свои рационы из конфискованных продуктов, причем в первую очередь.

Словом, приближалась катастрофа. Участились ограбления и иные правонарушения. Люди пускались на всякого рода незаконные делишки; должен признаться, что к тому были склонны прежде всего обитатели трущоб и представители высших классов. Забастовщики могли позволить себе полностью сохранять порядок: у них было чем питаться.

Помню, однажды утром, придя в клуб, я застал Холстеда и Брентвуда шепчущимися в углу. Они посвятили меня в свой план. У Брентвуда машина

была пока на ходу, и они решили стащить где-нибудь корову. Холстед запасся огромным ножом, какие бывают у мясников, и топором, и мы отправились за город. То тут, то там паслись коровы, но неподалеку непременно торчал хозяин. Мы продолжили наши поиски, поехав по окраине города на восток, и там, среди холмов у Хантерс Пойнт, наткнулись на корову, которую сторожила маленькая девочка. Тут же пасся и упитанный теленок. Надо ли говорить, что мы не тратили времени даром. Девочка с ревом убежала, а мы забили корову. Я опускаю непривлекательные подробности: как-никак мы не были обучены такой работе, и нам пришлось порядком повозиться.

Но, как мы ни спешили, нам не удалось довести дела до конца. Послышались крики, и мы увидели, что к нам бегут какие-то люди. Мы кинули нашу добычу и бросились наутек. Но нас никто не преследовал. Люди торопливо рубили тушу. Они, видно, тоже были не прочь поживиться чужим. Мы быстренько сообразили, что мяса хватит на всех, и помчались обратно. То, что произошло после, не поддается описанию. Мы выли и дрались из-за мяса, как дикари. Брентвуд показал себя настоящим зверем: он огрызался, рычал, угрожал проломить череп всякому, кто посмеет захватить

нашу долю.

Пока мы таким образом делили тушу несчастной коровы, на сцене появились новые лица. То была рабочая дружина общественного порядка — придумают же такое! Их было человек двадцать, и у каждого в руках была плеть или дубинка. Та негодная девчонка, что привела их, приплясывала от возбуждения, по щекам у нее бежали слезы. «Так их! Так их! — кричала она. — Задайте тому дядьке в очках. Это все он придумал! По морде ему, по морде!» Тот дядька в очках был я, и мне порядком двинули по физиономии, хотя у меня достало присутствия духа сдернуть до того очки. Да, задали нам перцу! Брентвуду в кровь разбили нос, Холстеда так полоснули по лицу плетью из змеиной кожи, что на щеке вздулся багровый рубец. Мы со всех ног кинулись к машине.

И вот чудо! Там, спрятавшись за кузовом, стоял насмерть перепуганный теленок. Брентвуд дал нам знак не двигаться, а сам крадучись, точно волк или тигр, стал подбираться к нему. Нож и топор, конечно, остались на поле брани, зато у нас были целы собственные руки. Брентвуд вцепился теленку в горло, и они в обнимку покатились по земле. Потом мы втащили нашу добычу в машину, прикрыли полостью и направились

домой. Но неудачи преследовали нас. Через несколько минут лопнула шина. Починить ее было невозможно, к тому ж сгущались сумерки, и мы решили бросить машину. Брентвуд взвалил на плечи прикрытую полостью тушу теленка и, отдуваясь, неверными шажками поплелся впереди. Мы по очереди тащили того проклятого телка, но все равно уморились до смерти и ко всему заблудились. Мы брели несколько часов и вдруг наткнулись на группу каких-то хулиганов. Они были голодны не меньше, чем мы, и, конечно, не состояли ни в каких союзах. Как бы там ни было, им достался теленок, а нам новые синяки. Брентвуд чуть с ума не сошел от обиды и злости, пока мы добирались домой; впрочем, он и выглядел как законченный псих: разодранная в клочья одежда, раздувшийся, словно слива, нос, кровоподтек под глазом.

С тех пор мы не решались отправляться на охоту за коровами. Кроме того, генерал Фолсом приказал солдатам конфисковать всех коров; мясо пошло тем же солдатам и полицейским. Вряд ли можно винить в чем-либо нашего генерала: его долг — поддерживать порядок в городе, и он выполнял свой долг с помощью солдат, и, естественно, он был обязан в первую очередь

кормить их.

В это приблизительно время и произошла великая паника. Люди из состоятельных классов стали лихорадочно покидать город, затем зараза перекинулась в трущобы. Генерал Фолсом довольно потирал руки. Сама собой разрешалась продовольственная проблема: кто-то подсчитал, что Сан-Франциско покинули около двухсот тысяч человек, а это немало. Никогда не забуду тот день. Утром я съел какую-то сухую корочку. Потом полдня стоял в очереди за хлебом и вернулся домой, когда уже стемнело, — изнуренный, голодный, бережно неся два стакана риса и ломтик свинины. У дверей меня встретил встревоженный, усталый Браун. Все слуги ушли, остался он один, объявил он. Я был до глубины души тронут этой верностью и, узнав, что он весь день ничего не ел, предложил ему разделить со мной скудный ужин. Мы сварили стакан риса, зажарили половину свинины, остальное приберегли на утро. Я лег спать голодным и беспокойно проворочался всю ночь. Утром я обнаружил, что Браун тоже сбежал, прихватив, к несчастью, остатки риса и свинины.

В тот день в клубе собралась лишь небольшая горсточка угрюмых джентльменов. Никакого

обслуживания не было: прислуга разбежалась. Я заметил также, что исчезло столовое серебро, и догадывался, куда оно подевалось. Не думаю, что его растащили слуги: сами члены клуба добрались до него прежде слуг. И они распорядились серебром очень просто. За Маркет-стрит, в кварталах, где жили забастовщики, в обмен на серебро можно было получить у тамошних хозяев неплохие продукты. Я немедленно вернулся домой. Так оно и есть: моего серебра тоже не оказалось. Сохранился только огромный кубок; я аккуратно завернул его и отнес на Маркет-стрит.

Плотно поев, я почувствовал себя несравненно лучше и еще раз зашел в клуб узнать, нет ли каких новостей. Там я застал Гановера, Коллинза и Дейкона, они как раз собрались уходить. Они сказали, что в клубе никого нет, и позвали меня с собой. Они решили выбраться из города на лошадях Дейкона — лишняя лошадь для меня найдется. Генерал Фолсом намекнул Дейкону, что с завтрашнего дня все лошади в городе будут конфискованы и забиты, и тому, естественно, чертовски не хотелось расставаться со своей четверкой великолепных ездовых лошадей. В городе лошадей осталось совсем немного, потому что в первые же дни, как только вышло все сено и овес,

их стали выгонять на луга. Бердэл, например, который держал немалое извозное дело, погнал за город сотни три ломовых битюгов общей стоимостью 130 тысяч долларов, если считать по пятьсот за лошадь. Он, конечно, надеялся заполучить большинство из них обратно после забастовки, но ему не удалось вернуть ни одной. Их съели беженцы из Сан-Франциско. Из-за острого недостатка продовольствия начали даже забивать армейских мулов и лошадей.

По счастью, в конюшнях Дейкона было предостаточно сена и овса. Нам удалось раздобыть четыре седла, животные были в отличном состоянии, к тому ж застоялись. Я хорошо помню Сан-Франциско после большого землетрясения, но тот Сан-Франциско, который раскинулся перед нами, когда мы ехали верхом, являл еще более унылый вид. И подумать только, не из-за стихийного бедствия, а из-за ненавистной тирании рабочих союзов. Мы проехали Юнион-сквер, театр, отель. Улицы были пустынны. Кое-где попадались автомобили, брошенные владельцами из-за неисправности или отсутствия горючего. Если бы не случайные полицейские да солдаты, охраняющие банки и общественные здания, можно было бы подумать, что город вымер. По-

том мы наткнулись на какого-то профсоюзника, он приклеивал свежую прокламацию. Мы остановились, чтобы прочитать. «Забастовщики соблюдают полный порядок, и мы сохраним этот порядок до конца. Мы прекратим забастовку лишь тогда, когда будут полностью удовлетворены наши требования, а наши требования будут удовлетворены лишь тогда, когда наниматели вынуждены будут пойти на уступки из-за голода, как нередко и мы из-за голода шли на уступки».

— То же самое говорил Мессенер, — проворчал Коллинз. — Что до меня, то я готов пойти на уступки, только кому они нужны, мои уступки? Боже, кажется, целую вечность не ел досыта! Интересно, какой вкус у конины?

Неподалеку мы увидели другую прокламацию: «Когда наниматели будут готовы пойти на уступки, мы откроем им доступ к телеграфным линиям и позволим ассоциациям нанимателей по всей стране связаться друг с другом. Однако мы позволим передавать лишь те сообщения, в которых будут обсуждаться условия прекращения забастовки».

Мы пересекли Маркет-стрит и вскоре въехали в рабочий район. На улицах было много прохожих. У ворот группами стояли люди из МСР.

Довольные, сытые ребятишки затевали игры. Дородные женщины восседали на ступеньках возле дома. Все бросали на нас любопытные взгляды, а мальчишки бежали за нами, улюлюкая: «Эй, мистер, а ты есть не хочешь?» Какая-то женщина с ребенком на руках закричала Дейкону: «Послушай, толстяк, не хочешь выменять свою лошадку на еду? Дам свинины, картофеля, смородинного варенья, масла да еще пару стаканов кофе!»

— Вы заметили, что последние дни на улицах не видно бродячих собак? — обратился Гановер ко мне.

Да, я заметил, но как-то не придал тому значения. Пора, пора выбираться из этого проклятого города! Наконец мы достигли дороги, ведущей к Сан-Бруно, и поехали по ней к югу. Мы спешили на мою виллу, что находилась неподалеку от Менло. Но скоро мы убедились, что в деревне опаснее и пустыннее, чем в городе. Там солдаты и члены Союза поддерживали порядок, тут же царила полная анархия. Двести тысяч, что покинули Сан-Франциско, начисто опустошили местность, словно пронеслась тут туча саранчи.

Все было подчищено, точно метлой. То тут, то там вспыхивали драки, чинились грабежи. У обочины дороги на каждом шагу попадались тру-

пы, поодаль виднелись обгорелые остатки ферм. Ограды были повалены, посевы вытоптаны, голодающие орды не оставили ни единой курицы, ни другой живности, повыдергали даже кустики на грядках. То же самое творилось и на других дорогах, идущих из Сан-Франциско. Кое-где, в стороне от дорог, фермерам с револьверами и ружьями в руках удавалось отстаивать свое имущество. Они не желали разговаривать с нами, угрожая стрелять, если мы попытаемся приблизиться. Надо признаться, что разбой и разрушения были делом рук обитателей трущоб и людей из имущих классов. Забастовщики, припрятав у себя продукты, спокойненько отсиживались дома.

Еще в самом начале нашего путешествия нам выпал случай убедиться, насколько серьезным стало положение. Внезапно недалеко раздались какие-то крики и выстрелы. Совсем близко засвистели пули. Потом послышался треск ломаемого кустарника, на дорогу выскочил огромный вороной битюг и поскакал прочь. Мы едва успели заметить, что лошадь была изранена и сильно хромала. За ней вдогонку промчались три человека в военной форме. Они быстро скрылись в лесу, и мы только слышали, как они перекликаются. Затем на дорогу вышел еще один солдат и присел

на валун, вытирая с лица пот.

— Это полицейские, — прошептал Дейкон. — Дезертиры.

Увидев нас, человек осклабился и попросил спичку. В ответ на вопрос Дейкона, что произошло, он сообщил, что полицейские разбегаются. «Жрать нечего! Все отдают регулярным частям», — пожаловался он. Кроме того, мы узнали, что из тюрьмы на Элкатраз-Айленд выпустили всех заключенных, потому что их нечем стало кормить.

До конца дней своих не забуду одного зрелища, которое нам довелось наблюдать в пути. Оно открылось нашим глазам совершенно внезапно за поворотом дороги. Вплотную к обочине подступали деревья, сквозь ветви лился мягкий солнечный свет. В воздухе порхали бабочки, с поля доносилось пение жаворонка. А посреди дороги стоял многоместный лимузин, в кабине и возле валялись трупы. Мы догадались, что случилось с теми несчастными людьми. Они бежали из города, на них напали какие-то хулиганы и растерзали их. Каких-нибудь двадцать четыре часа отделяли нас от этого страшного происшествия. Пустые банки от мясных и фруктовых консервов красноречиво рассказывали о причинах нападения. Дейкон внимательно осмотрел тела.

— Так я и думал! — воскликнул он. — Что-то знакомым показался мне автомобиль. Это Перрингтон с семьей. Теперь надо смотреть в оба.

— Но на нас какой резон нападать? — возразил я. — У нас еды нет.

Дейкон молча показал на лошадь подо мной, и я понял, что он имеет в виду.

Утром того дня у лошади, на которой ехал Дейкон, отвалилась подкова. Мягкое копыто сбилось, и к полудню лошадь захромала. Дейкон не мог ехать верхом и отказался бросить несчастное животное. Он настоятельно просил нас продолжать путь, а сам надеялся дойти пешком и привести лошадь. Больше мы не видели Дейкона, не узнали даже, как он погиб.

К часу дня мы прибыли в Менло, точнее, туда, где раньше был Менло, ибо от города остались одни развалины. Куда ни поглядеть, всюду были трупы. Огромный пожар спалил дотла деловую часть города и несколько жилых кварталов. Лишь кое-где сохранились дома, но приблизиться к ним оказалось невозможно: всякий раз нас встречали выстрелы. Какая-то женщина бродила среди развалин своего коттеджа. Прежде всего разграбили магазины, рассказала она, и мы представили себе разъяренную, рычащую

от голода толпу пришельцев, расправляющихся с горсточкой горожан. Плечом к плечу бились миллионеры и нищие, чтобы раздобыть пищу, а потом схватывались из-за нее друг с другом. Пало Альто и Стенфордский университет подверглись такому же нашествию. Впереди расстилалась выжженная, безлюдная пустыня, так что мы сочли наиболее благоразумным укрыться на моей вилле. Она прилепилась у подножия убегающих вдаль холмов, милях в трех к западу.

По пути туда мы увидели, что разрушительный смерч докатился даже до тех глубинных уголков. Первый поток беженцев держался преимущественно дорог, сметая в своем движении городки и поселения, но следующие волны захлестнули всю округу, прошлись по ней, точно гигантская метла. Моя вилла, построенная из кирпича и бетона и крытая черепицей, уцелела от огня, но имела жалкий вид. У ветряной мельницы мы наткнулись на мертвого садовника; земля вокруг него была усеяна стреляными гильзами: бедняга защищался, видимо, до конца. Но двух работников-итальянцев, экономки и ее мужа и след простыл. Не осталось никакой живности: ни породистых коров с телятами, ни жеребят, ни даже птицы. Кухня и камин, где бродяги стря-

пали пищу, были в ужасном состоянии, а следы костров снаружи свидетельствовали о том, какое множество народу заночевало там. Они утащили все, что не могли съесть. Нам не досталось ни крошки.

Наша троица провела томительную ночь, тщетно ожидая появления Дейкона, а утром с револьверами в руках нам пришлось отбиваться от полудюжины мародеров. Потом мы забили одну лошадь, позавтракали, припрятав ос— татки мяса на будущее. Днем Коллинз пошел прогуляться и не вернулся. Гановер впал в полнейшее отчаяние и предложил, не медля ни минуты, убираться отсюда, так что мне с большим трудом удалось убедить его дождаться утра. Лично я был уверен, что забастовка прекратится со дня на день, и был полон решимости вернуться в Сан-Франциско. На рассвете мы с Гановером расстались: он направился к югу, привязав к седлу полсотни фунтов конины, я с таким же грузом двинулся на север. Коротышке Гановеру посчастливилось избежать всяких опасностей, и я не сомневаюсь, что он всю жизнь будет надоедать собеседникам рассказами о необыкновенных приключениях, которые ему привелось пережить.

По той же дороге я добрался до Белмонта, но

там трое полицейских отняли у меня конину. Все по-прежнему, сказали они, разве что хуже стало. У членов МСР вдоволь всяких припасов, так что они могут продержаться еще несколько месяцев. Неподалеку от Бадена меня окружили человек двенадцать и отняли лошадь. Двое из них были полицейскими из Сан-Франциско, остальные — солдаты регулярных частей. Это было чудовищно. Уж если солдаты дезертируют, значит, дело совсем скверно. Едва я успел отойти от них, как раздался выстрел, и последняя лошадь из великолепной четверки Дейкона грохнулась наземь.

Уж не везет так не везет. Я растянул сухожилие и сумел добраться лишь до южной оконечности Сан-Франциско. Там я свалился в каком-то сарае, дрожа от холода и в то же время сгорая от пламени лихорадки. Я провалялся в сарае два дня, не в силах пошевельнуть пальцем, а на третий, пошатываясь от головокружения и опираясь на импровизированный костыль, поплелся в город. Я очень ослабел: три дня во рту ни крошки не было. То был день сплошных кошмаров и мучений. Словно во сне, я видел, как навстречу и мимо тянулись сотни солдат, а за ними, объединившись в большие группы для удобства самозащиты, множество полицейских в сопровождении своих

семейств.

Войдя в город, я вспомнил, что где-то неподалеку находится дом, где мне посчастливилось обменять свой серебряный кубок на еду, и голод погнал меня туда. Уже смеркалось, когда я добрался до места. Я обошел дом с бокового переулка, вскарабкался на заднее крыльцо и упал. Кое-как я дотянулся костылем до двери и постучал. Потом я, наверное, потерял сознание, ибо, очнувшись, увидел, что нахожусь в кухне, кто-то брызжет мне в лицо водой и вливает в рот виски. Я захлебнулся, пытался заговорить. Я бормотал, что у меня нет больше серебряного кубка, что я щедро вознагражу их после, лишь бы мне дали что-нибудь поесть. Хозяйка прервала меня:

— Боже мой, неужели вы ничего не знаете? Забастовка прекращена еще днем. Вам, конечно, надо подкрепиться.

Она захлопотала у плиты, открывая банку свинины и грея сковороду.

— Пожалуйста, дайте мне кусочек сейчас, — попросил я и через несколько мгновений жадно поглощал ломоть хлеба с консервированной свининой; тем временем хозяин рассказал мне, что требования МСР полностью удовлетворены. Связь восстановлена, и ассоциации нанимателей

повсеместно пошли на уступки. В Сан-Франциско, правда, никого из нанимателей не осталось, но от их имени вел переговоры генерал Фолсом. Утром возобновится движение поездов, отправятся в рейсы пароходы, и, как только будет восстановлен порядок, жизнь войдет в свою колею.

Так закончилась всеобщая забастовка. Не приведи Господь пережить такое снова! Это страшнее, чем война. Да, да, джентльмены, всеобщая забастовка — жестокая и аморальная акция, человеческий разум должен найти более рациональный способ управления промышленностью. Кстати, Гаррисон опять служит у меня шофером. В числе условий, выдвинутых МСР, было совершенно абсурдное требование: восстановить членов профсоюза на прежней работе. Браун так и не вернулся, хотя остальная прислуга по-прежнему со мной. Сперва у меня недостало решимости отказать им: как-никак, беднягам туго пришлось в те дни, когда они сбежали, прихватив мои запасы и серебро. Теперь же я и вовсе не могу уволить их: все стали членами МСР. Нет, рабочая тирания переполнила чашу человеческого терпения. Необходимо немедленно что-то предпринять!

Морской фермер

— К нам идет карантинный катер, — сказал капитан Мак-Элрат.

Лоцман что-то буркнул в ответ, а капитан перевел бинокль с катера на полоску берега и на Кингстаун, а потом, медленно оглядев вход в бухту, стал смотреть на северную сторону ее, где был Хаут Хэд.

— Попали в самый прилив; еще часа два — и будем на месте, — заверил лоцман, словно подбадривая. — Куда станем, в Рингс энд Бейзен?

Теперь капитан что-то буркнул в ответ.

— Вот она, дублинская погодка!

Капитан опять что-то пробурчал под нос. Он устал от бурного плавания по Ирландскому морю, от бессонной ночи на капитанском мостике; устал от долгих скитаний, — два года и четыре месяца, как он уехал из дому, восемьсот пятьдесят дней по судовому журналу.

— Настоящая зимняя погода, — сказал он, помолчав. — В тумане и города не разглядишь. Теперь дождь зарядит на целый день.

Капитан Мак-Элрат был так мал ростом, что над парусиновым обвесом мостика виднелась

только его голова. Рядом с ним возвышались фигуры лоцмана, младшего помощника и рулевого. Этот рулевой был здоровенный немец. сбежавший с военного судна, на которое он записался в Рангуне. Впрочем, маленький рост ничуть не мешал капитану Мак-Элрату быть отличным моряком. Во всяком случае, у компании он был на хорошем счету, и капитан сам бы мог в этом убедиться, если б получил доступ в архив и прочел все, что подробно и тщательно заносилось в его послужной список. Однако мнение свое о капитане компания держала про себя. Так уж было заведено. Компания строго придерживалась того принципа, что от служащего следует всячески скрывать, что он незаменимый или хотя бы просто ценный работник, а поэтому, щедрая на выговоры, она никогда никого не хвалила. Да и кто такой капитан Мак-Элрат, чтобы его хвалить? Один из восьмидесяти капитанов на одном из восьмидесяти пароходов компании, что вдоль и поперек бороздят моря и океаны.

По главной палубе, ступая по заржавевшим листам железа, которые могли бы многое рассказать о силе и жестокости морских волн, шли два китайца-кочегара и несли завтрак. Один из матросов свертывал штормовой леер, протянутый от

бака к люкам, к грузовым лебедкам и к трапу.

— Нелегкий рейс, — сказал лоцман.

— Да уж досталось крепко, пришлось попыхтеть. Но это бы все ничего, а вот время потеряли. Для меня хуже нет — время терять.

Сказав это, капитан Мак-Элрат повернулся, и лоцман, следя за его взглядом, увидел все то, что безмолвно, но красноречиво объясняло потерю времени. Коричневая дымовая труба совсем побелела от налета соли, крупные кристаллы которой поблескивали на трубке гудка, как только случайный луч солнца пробивался сквозь просветы в облаках. Спасательная шлюпка исчезла, а железные шлюп-балки, перекрученные и погнутые, свидетельствовали о страшной силе удара, который пришлось выдержать старому «Триапсику». Шлюп-балки по правому борту тоже пустовали, и жалкие обломки второй шлюпки лежали возле разбитого светового люка над машинным отделением, теперь прикрытого брезентом. На бридждеке сломанную дверь кают-компании кое-как приколотили для защиты от ударов волны; неподалеку боцман и матрос снимали огромную предохранительную сеть, которая не смогла ослабить неистовый натиск моря.

— Уже дважды я заявлял компании про эту

дверь, — сказал капитан Мак-Элрат, — а они все свое. Сойдет, говорят, и так. А шторм был здоровый. Волны прямо невиданные. И вот самая большая и натворила дел. Дверь вышибло, она плашмя так и брякнулась на стол кают-компании. Каюту механика разбило, — вот уж он злился!

— Волна, видать, была подходящая, — посочувствовал лоцман.

— Да уж, ничего не скажешь, поддала нам жару. Пришлось попотеть. Тогда вот и помощника моего прикончило. Он стоял со мной на мостике, а я ему велел осмотреть клинья на люке номер один. Течь была сильная. И гляжу я — что-то не нравится мне люк номер один. Только я подумал, не лечь ли в дрейф до утра, а тут волна как взмоет — выше мостика. Ну и волна, я такой отродясь не видывал. Нас на мостике и то окатило. Второпях никто не хватился помощника. Дел было по горло: дверь забить, люк над машинным отделением покрыть брезентом, — а потом смотрим — помощника-то и нет. Последним его рулевой видел, когда он спускался по трапу. Ну, давай искать: на носу нет, в каюте нет, в машинном отделении тоже нет. Потом вышли на нижнюю палубу, смотрим — а он лежит по обе стороны паровой трубы. Так его кожухом трубы пополам

и разрезало.

Лоцман крепко выругался в знак изумления и ужаса.

— Да, лежит это он, — устало продолжал капитан, — половина по одну сторону трубы, половина — по другую. Разрезало его ровнехонько надвое, как селедку. Видно, смыло волной с верхней палубы, потащило вниз и трахнуло прямо головой о кожух. Он ему и угодил между глаз. Да так и разрезал сверху донизу, словно кусок масла. Тут тебе правая половина лежит, с рукой и с ногой, а тут левая. Картина, скажу, не из приятных. Ну, сложили мы его, завернули в парусину да и спустили в море.

Лоцман снова выругался.

— А впрочем, жалеть о нем не приходится, — заметил капитан Мак-Элрат, — невелика потеря. Моряк он был никудышный. Ему бы свиней пасти в самый раз, да и то, может, не по плечу.

Говорят, есть три категории ирландцев: католики, протестанты и северные ирландцы; и северный ирландец — это, по сути дела, шотландский переселенец. Однако ничто не приводило капитана в большую ярость, чем когда его по выговору, случалось, принимали за шотландца. В Ирландии он родился, ирландцем намерен был

сойти в могилу, хотя от него не раз слышали пренебрежительные отзывы о южных ирландцах и даже об оранжистах. Сам он был просвитерианин. Правда, в его общине конгрегацию оранжистов посещали не более пяти человек. Родиной капитана был остров Мак-Гилл, где среди семи тысяч его земляков царили такая трезвенность и согласие, что на всем острове был только один полисмен и вовсе не было кабаков.

Капитан Мак-Элрат не любил моря, и море никогда не влекло его. Оно давало ему средства к жизни — вот и все. Оно было для него таким же местом службы, как для других бывает фабрика, лавка или контора. Никогда романтика не пела ему призывных песен. Никогда приключение не горячило его холодную кровь. Он был лишен воображения. Его не поражали чудеса морских глубин, а бури, смерчи, ураганы, приливы и отливы были только бесчисленными препятствиями для судна и для того, кто стоит на капитанском мостике. Больше они для него ничего не означали. Он смотрел на диковинки дальних стран, не замечая их. В его зрачках отражались ослепительные красоты тропических морей и грозные штормы Северной Атлантики или южной части Тихого океана. Но из всего этого он запомнил

лишь сломанную дверь кают-компании, залитые волной палубы, плохо задраенные люки, нехватку топлива, задержки в пути или расходы на окраску после неожиданных ливней и шквалов.

— Я свое дело знаю, — любил он говорить. Но, кроме своего дела, он ничего не знал и не подозревал даже, что перед его невидящим взором проходит мир, полный чудес. Компания не сомневалась в том, что капитан знает свое дело, иначе в сорок лет ему бы не удалось стать шкипером «Триапсика» — судна в три тысячи регистровых тонн нетто, грузоподъемностью в девять тысяч тонн, оцененного в пятьдесят тысяч фунтов.

Капитан ушел в море не из любви к нему, а потому, что так суждено было судьбой, ибо он родился не первенцем, а вторым сыном в семье. Остров Мак-Гилл невелик, и только ограниченное количество его жителей могло прокормить себя на земле. Те же, кому земли не хватало, — а таких было много, — поневоле уходили в море для заработка. Так шло из поколения в поколение. Старшим сыновьям доставалась земля отцовских ферм, младшим — море, которое они бороздили весь свой век. И Дональд Мак-Элрат, сын фермера, с малых лет привыкший пахать поле, бросил любимую землю и по воле судьбы

принялся перепахивать соленые воды ненавистного моря. Он трудился не покладая рук в течение двадцати лет и благодаря своему упорству, выдержке, трезвости и бережливости сумел из юнги и простого матроса сделаться помощником капитана, а со временем и шкипером парусных судов. Он служил на пароходах младшим помощником, а потом и старшим и наконец стал капитаном сначала малых судов, а затем и крупных, пока не поднялся на капитанский мостик старого «Триапсика». Старого, правда, но еще оправдывающего свои пятьдесят тысяч фунтов и способного провезти в трюме сквозь любые штормы и ураганы девять тысяч тонн груза.

Он стоял на капитанском мостике «Триапсика», на этом почетном месте, которого добивались многие, и смотрел на открывающийся перед ним Дублинский порт, на смутные очертания города под мрачным небом ненастного дня, на причудливые узоры из снастей и бесчисленных мачт. После двух кругосветных плаваний и бесконечных рейсов по морям он возвращался теперь домой к жене, которую не видал два года и четыре месяца, и к ребенку, которого не видал ни разу, а мальчик уже начал ходить и говорить. Он взглянул на палубу: кочегары и

угольщики выскакивали из-под полубака, словно кролики из садка, и бежали по палубе, местами покрытой ржавчиной, на корму, где должен был происходить врачебный осмотр. Он смотрел на лица китайцев-матросов, бесстрастные, как у сфинксов, на их странную походку: они волочили тощие ноги в грубых, казалось, слишком тяжелых для них башмаках.

Он смотрел на них невидящим взором, рассеянно перебирая пальцами под козырьком фуражки жесткие белесые волосы. Все, что встречал его взгляд, было лишь фоном, на котором он видел созданную его воображением картину счастья, картину, которая рисовалась ему в долгие бессонные ночи на капитанском мостике во время снежных шквалов или тропических ливней, когда бурные волны окатывали палубу и подбрасывали старый «Триапсик», а мачты трещали под напором свирепого ветра. Ему чудилась ферма с пристройками под соломенной кровлей, и играющие на солнце дети, и жена на крыльце; в хлеву мычат коровы, на дворе кудахчут куры, из конюшни доносится топот копыт, по соседству стоит отцовская ферма, а за ней широкая равнина и любовно возделанные огороженные поля, которые тянутся до гребня пологих холмов. Это была

его сокровенная Мечта, его Романтика, его Приключение, желанная цель всех его стремлений, высокая награда за долгие годы труда в море, за бесчисленные борозды, которые он прокладывал по зыбкой почве морских полей.

Этот моряк исколесил весь свет, но мечты и желания его были просты, проще, чем у какого-нибудь наивного деревенского домоседа. Отец его прожил семьдесят один год на острове Мак-Гилл, и не было случая, чтобы он оставил свой дом, свою постель хотя бы на одну ночь. Вот это была идеальная жизнь, по мнению капитана Мак-Элрата. И он не понимал, как это люди могут по собственной воле бросить ферму ради моря. Он объездил весь мир и знал его так, как сельский башмачник, сидящий в своей лавчонке, знает свое село. Весь мир казался капитану Мак-Элрату огромным селом, где улицы — длиной в тысячу миль, а может, и того длиннее, где переулки огибают бурные мысы или ведут к тихим лагунам, от перекрестков которых берут начало дороги в цветущие края южных морей или в края вечных льдов, страшных айсбергов и штормов. Залитые огнями города казались ему лавками на этих огромных улицах, лавками, где совершалась купля и продажа, где можно пополнить запасы угля,

выгрузиться или взять груз, прочесть прибывшие из Лондона приказы компании и следовать, согласно этим приказам, дальше и дальше по бесконечно длинным морским большакам, время от времени останавливаясь, чтобы сдать груз или принять новый и везти его туда, куда разрешат страховщики, туда, куда манят шиллинги и пенсы. Но как томительно скучны были все эти скитания! Если бы не погоня за хлебом насущным, такая жизнь казалась бы капитану и вовсе бессмысленной.

Последний раз капитан расстался с женой в Кардиффе, двадцать восемь месяцев тому назад; он повез в Вальпарайзо девять тысяч тонн угля. Судно сидело по ватерлинию. Из Вальпарайзо налегке в Австралию — шесть тысяч миль. Путь был трудный — штормы, топлива не хватило, еле дотянули. Потом покрыли еще семь тысяч миль до Орегона — опять с углем, а вслед за этим прошли еще больше — до берегов Японии и Китая; оттуда на Яву за сахаром, отвезли груз в Марсель, потом по Средиземному морю в Черное; оттуда снова с переполненным трюмом в Балтимору — везли хромовую руду; по дороге попали в шторм, опять израсходовали топливо, пришлось зайти на Бермуды; по срочному фрахту

отправились в Норфолк в штате Виргиния, там нагрузились контрабандным углем и повезли его в Южную Африку. Потом попали в Японию, в военный порт Сасебо; оттуда в Австралию. Снова срочный фрахт и погрузка в Сиднее, в Мельбурне и в Аделаиде. Потом доставка груза на остров св. Маврикия и Лоренцо Маркез, в Дурбан, в бухту Алгоа и Капштадт. Потом на Цейлон за дальнейшими распоряжениями; из Цейлона в Рангун, где взяли груз риса и отправились в Рио-де-Жанейро; оттуда в Буэнос-Айрес за маисом, повезли его в Англию и на континент, зашли в Сан-Винсент и уже там получили приказ следовать в Дублин. Два года и четыре месяца, восемьсот пятьдесят дней по судовому журналу, курсировали они по бесконечным морским дорогам, и вот теперь наконец возвращаются домой в Дублин. До чего же он устал!

К «Триапсику» пришвартовался маленький катер; поднялся шум, звон, скрип, скрежет, — и по команде «малый вперед» старого, потрепанного морского бродягу, направляя и подталкивая, медленно протиснули в док Рингс энд Бейзен. С кормы и с носа подали концы, а на берегу уже собрались встречающие — те счастливцы, что всегда живут на суше.

— Стоп машина! — скомандовал капитан густым басом. Третий помощник повернул ручку машинного телеграфа. Второй помощник подал команду: «Спустить трап!» И когда трап был спущен, добавил: «Ну вот, все в порядке».

Спуск трапа был самой последней задачей, а слова «все в порядке» означали, что команда теперь свободна и может сойти на берег. Плавание окончено. Матросы бросились по заржавленной палубе к заранее упакованным вещам. Все жадно вдыхали запах земли, вдыхал его и сам капитан, и, бросив лоцману прощальное «счастливо», он спустился в свою каюту. По трапу уже поднимались инспектор, таможенные чиновники, конторские служащие и грузчики. Вскоре с делами было покончено, в каюте остался только агент компании, с которым следовало пойти в контору.

— Жене сообщили? — спросил капитан вместо приветствия.

— Телеграфировали, как только узнали, что вы возвращаетесь.

— Наверное, она приедет утренним поездом, — вслух подумал капитан и пошел мыться и переодеваться.

С порога он последний раз окинул взглядом

свою каюту, где на стене висели фотографии жены и ребенка — сына, которого он никогда не видел. Потом вошел в кают-компанию — стены ее были отделаны кленом и кедром. Здесь за длинным столом, рассчитанным на десять человек, в течение всего томительного плавания он всегда обедал в одиночестве. Смех и споры кают-компании были чужды ему. Молчаливый и угрюмый, сидел он за столом, и бесшумно прислуживавший ему китаец-стюард только подчеркивал его молчаливость. Внезапно с болью в сердце осознал он свое одиночество за эти два с лишним года. Ни с кем не делил он своих тревог и сомнений. Младшие помощники слишком молоды и беспечны, а старший был глуп, как пень, так что какие уж тут советчики. Один лишь спутник не разлучался с ним ни на минуту, спутник этот — служебный долг. Вместе сидели они за столом, вместе стояли на капитанском мостике, вместе жили в каюте и делили одну постель.

— Ну, теперь-то мы распрощаемся, — сказал капитан своему мрачному спутнику. — Хоть на время.

Он сошел на берег и, пропустив мимо себя последнего матроса, отправился в контору, где после обычных долгих формальностей сдал дела.

Ему предложили выпить виски, но он попросил содовой воды с молоком.

— Не такой уж я праведник, а все же пива и виски в рот не беру.

После полудня, покончив с раздачей жалованья команде, капитан поспешил в одно из отделений конторы, где его ожидала жена.

Первый взгляд его был обращен на жену, хотя ему очень хотелось разглядеть ребенка, сидевшего подле нее в кресле. После долгого объятия он отстранил ее от себя, жадно вглядываясь в ее черты и поражаясь тому, что время не изменило их.

«Какой он любящий муж», — сказала бы о нем жена. «Какой суровый и желчный человек», — сказали бы подчиненные.

— Ну, как ты, Энни? — спросил он и снова прижал ее к себе.

И опять отстранил ее, эту женщину, которая десять лет была его женой и которую он так мало знал. Ведь, в сущности, она была ему почти чужой. Более чужой, чем китаец-стюард, чем помощники; ведь с ними он встречался каждый день, восемьсот пятьдесят дней долгого плавания. Вот уже десять лет, как они женаты, а провели вместе не более девяти недель, можно считать, медовый месяц. И в каждый свой приезд

капитан как бы заново знакомился с женой. Такова участь всех, кто уходит бороздить морские просторы. Мало видят они своих жен и почти вовсе не знают своих детей. Рассказывал же старший механик на пароходе, как однажды его не пустили в собственный дом; приехал он домой, а четырехлетний сынишка, никогда не видевший отца, запер перед его носом дверь.

— Вот какой у нас сынок, — сказал капитан и неуверенно протянул руку, собираясь потрепать мальчика по щеке. Но мальчик отстранился и боязливо прижался к матери.

— Господи, — воскликнула она, — ведь он родного отца не знает!

— Да и отец его не знает. Я б его и не отличил среди других ребятишек, хотя, по-моему, у него в точности твой нос.

— А глаза твои, правда, Дональд? Это твой папа, малыш. Будь умником, поцелуй же его скорее.

Но ребенок крепче прижался к матери, посмотрел на капитана еще более испуганно и недоверчиво и чуть было не расплакался, когда тот попытался взять его на руки. У капитана сжалось сердце, и, скрывая огорчение, он выпрямился и достал из кармана часы.

— Пора ехать, Энни, — сказал он, — а то опоз-

даем на поезд.

В поезде он сначала сидел молча, то глядя на жену и ребенка, заснувшего у нее на коленях, то в окно на засеянные поля и покрытые травой холмы, смутно различимые сквозь сетку моросящего дождя. В купе, кроме них, никого не было; ребенок быстро уснул, жена уложила его на диван и тепло укутала. И когда иссякли расспросы о здоровье всех родственников и знакомых и обсуждены были все события и новости на острове Мак-Гилл, включая погоду, цены на землю и хлеб, и больше не о чем стало говорить, кроме как о самих себе, капитан Мак-Элрат приступил к рассказу о своих кругосветных странствованиях, который он приготовил для жены. Но это не был рассказ о диковинках дальних стран, о прекрасных краях или о таинственных городах Востока.

— А что это за остров Ява? — однажды прервала его жена.

— Ява? Сплошная лихорадка, вот и все. Половина команды слегла, и работать было некому. Только и знали хину глотать. Хина да джин всей команде с утра натощак. Тут и здоровые стали притворяться больными.

Другой раз она спросила его о Ньюкасле.

— Дрянь город — уголь и пыль. У меня там два

китайца-кочегара удрали. Компании пришлось платить за них штраф правительству за каждого по сто фунтов. А мне присылают в Орегон письмо. «С величайшим, — пишут, — сожалением мы узнали об исчезновении в Ньюкасле двух китайцев из числа вашей команды. Предлагаем впредь быть осмотрительнее». Осмотрительнее! Скажите пожалуйста! Будто и без них не знаю. Китайцам этим причиталось по сорока пяти фунтов жалованья. Кому бы в голову пришло, что они удерут?

А эти знай свое заладили: «Мы сожалеем», «Мы предлагаем» да «Нас удивляет». Черт бы его подрал, это дырявое корыто. Что это им, «Лукания», что ли? И умудрились еще топливо экономить. А то вот с винтом была история. Сколько я к ним приставал из-за него. Старый-то винт был железный, у него погнулись лопасти. Нельзя было идти с нормальной скоростью. Поставили мы новый винт, медный. Компании это обошлось в девятьсот фунтов. Они и решили во что бы то ни стало его окупить. А мы как раз тогда попали в шторм, еле тащимся. «Крайне сожалеем, — пишут, — что рейс из Вальпарайзо в Сидней был столь продолжительным. Вы шли со средней скоростью сто шестьдесят семь миль в день. Мы ожидали, что

при наличии нового винта будут лучшие результаты. Вам следовало идти со скоростью двести шестнадцать миль».

А ведь рейс-то был зимний, шторм, ураган страшный, машины застопорили. Дрейфуем шесть дней, топливо совсем на исходе, а у меня еще в придачу помощник болван болваном. Сигнальные огни и то не мог отличить. Как ночью идет встречный пароход, так он меня будит. Ну, я компании про все это написал; а они мне в ответ: «Наш консультант по навигации считает, что вы слишком отклонились на юг». А то еще: «Мы ожидаем от нового винта лучших результатов». Консультант по навигации. Подумаешь! Моряк сухопутный. А шли мы как надо при зимнем рейсе из Вальпарайзо в Сидней, и широта была обычная.

А потом зашел я в Окленд за углем — мы шесть дней дрейфовали, чтобы сэкономить топливо, у меня тогда тонн двадцать оставалось, — так вот, думаю, надо хоть убытки возместить и наверстать время. Вот и решил я не брать лоцмана. Сам ввел пароход в док, сам и вывел. Там и без лоцмана можно обойтись. И что же ты думаешь — встречаю в Иокогаме капитана Робинсона с «Диапсика». Разговорились мы о портах по пути

в Австралию, а он меня и спрашивает:

— А в Окленд вам не случалось заходить?

— Как же, — говорю, — недавно оттуда.

— Ах, вот оно что! — говорит, да не слишком-то ласково. — Значит, вы и есть тот самый умник, из-за которого мне письмо прислали? Полюбуйтесь.

«Получен счет на 13 фунтов за лоцмана в Окленде. Уведомляем вас, что один из наших пароходов вошел в Окленд, не нанимая лоцмана. Считаем нужным отметить, что вы произвели излишний расход. Предлагаем впредь подобных расходов не повторять».

А меня, думаешь, они поблагодарили за экономию? Как же, дождешься от них! К капитану Робинсону привязались из-за пятнадцати фунтов, а меня тоже пожаловали: «Получен счет на две гинеи за вызов в Окленде врача для команды. Предлагаем объяснить непредвиденный расход». У меня там заболели два китайца. Я боялся, что у них бери-бери, и послал за врачом. И недели не прошло, как их похоронили. А этим легко писать: «Объясните непредвиденный расход» или «Считаем нужным отметить, что вы произвели излишний расход», как в письме к капитану Робинсону.

Ты думаешь, я им не писал из Ньюкасла, что

их старое корыто до того прогнило, что ему пора в сухой док? Семь месяцев судно не чистили, а курсировали мы вдоль западного побережья. Там не успеешь оглянуться, и уж всякая дрянь днище облепила. Время горячее, велят везти уголь в Портленд. Тут еще с нами в один день вышла «Аррата», пароход компании «Вурлайн», и тоже держит курс на Портленд. А мой старый «Триапсик» еле ползет. Делает шесть узлов, хорошо, когда семь. Беру я в Комоксе топливо и вот получаю письмо; подписано самим директором и внизу его рукой приписка: «Аррата» обогнала вас на четыре с половиной дня. Весьма разочарован». Разочарован, изволите видеть! Я же им телеграфировал из Ньюкасла. Ведь когда пароход поставили в портлендский сухой док, оказалось, что у него днище усами обросло в фут длиной, и ракушки прилипли, ну вот с мой кулак, и устрицы, что твоя тарелка. Потом в доке столько всякой дряни и мусора осталось, что за два дня не могли убрать.

А чего стоит история с колосниками в Ньюкасле? Их сделали тяжелее, чем заказал механик, и фирма забыла поставить в счет разницу в весе. В последнюю минуту, когда я уже выправил все бумаги и собрался на пароход, являются ко мне

со счетом. «По ошибке с вас недополучено шесть фунтов за колосники». Говорят, что были на пароходе у Макферсона и что тот подписал. Мне это не понравилось, и я платить отказался. А они мне: «Неужто вы своему старшему механику не доверяете?» А я говорю: «Конечно, доверяю, но подписать это я не обязан. Поедем на пароход, потом вас бесплатно доставят на берег. Мне надо самому поговорить с Макферсоном!»

Но они не поехали. В Портленде опять получаю от них письмо и счет. Я не ответил. В Гонконге получаю письмо от компании. Оказывается, счет послали туда. Я им написал с Явы, объяснил, в чем дело. В Марселе опять письмо от компании: «Получен счет на шесть фунтов за дополнительную работу для машинного отделения. Счет подписан механиком, но вашей подписи нет. По какой причине вы не доверяете своему механику?» Я им пишу в ответ, что и не думал ему не доверять, что счет этот вышел по случаю разницы в весе и что в общем все в порядке. И, думаешь, они его оплатили? Ничуть не бывало. Заявили, что сначала надо разобрать дело. А потом какой-то конторщик заболел, и счет так и затеряли. И тут посыпались письма то от компании, то от фирмы. «По ошибке с вас недополучено шесть фунтов».

Где я только их не получал — и в Балтиморе, и в Модзи, и в Рангуне, и в Рио, и в Монтевидео. Так до сих пор дело тянется. Да, милая моя, на хозяев нелегко угодить.

Капитан умолк, переживая рассказанное, и потом негодующе проворчал: «По ошибке с вас недополучено шесть фунтов за колосники».

— А ты про Джимми слыхал? — спросила жена после недолгого молчания.

Капитан отрицательно покачал головой.

— Его и еще трех матросов смыло волной с кормы.

— Где?

— У мыса Горн. Они плыли на «Торнсби».

— Что же они, в обратный путь шли?

— Да, — кивнула она. — Мы только три дня назад об этом узнали. Как бы с его женой чего не случилось. Больно уж убивается.

— Да, хороший был парень, — сказал капитан, — только очень с норовом. Мы ведь с ним вместе служили помощниками на «Абионе». Вот оно как! Значит, Джимми погиб.

Снова жена прервала наступившее молчание.

— А про «Бенкшир» ты тоже ничего не слыхал? Мак Дугелл потерпел на нем крушение в Магеллановом проливе.

— Да, это место гиблое, — сказал капитан. — Мой дурак помощник там нас два раза чуть не прикончил. Я бы такого болвана к мостику и близко не подпускал. Подходили мы к Нэроурич. Погода ненастная, снежный шквал. Я сижу в рубке и решаю изменить курс, и говорю ему:

— Зюйд-ост-тень-ост.

Он повторяет:

— Есть зюйд-ост-тень-ост, сэр.

Через пятнадцать минут сам поднимаюсь на мостик.

— Что-то я не припомню этих островов, — говорит помощник. — Разве при входе в Нэроурич есть острова?

Я глянул и ору штурвальному:

— Клади руль на штирборт!

Такой поворот старику «Триапсику» никогда еще не приходилось делать. Подождал я, пока снежный шквал утихнет, а потом смотрю — Нэроурич от нас к востоку оказался, а острова при входе в Фолс-Бей к югу. Спрашиваю рулевого:

— Ты какой курс держал? А он:

— Зюйд-тень-ост, сэр.

Смотрю на помощника: ну что тут ему толковать? Так бы его и прихлопнул на месте. Ошибся, болван, на четыре румба. Еще бы минут пять, и

старому «Триапсику» крышка.

А потом при выходе из пролива он еще почище отмочил! Не будь ненастья, мы бы в четыре часа выбрались. А мне до этого пришлось сорок часов выстоять на мостике. Даю я помощнику курс и объясняю, что надо идти так, чтобы Асктарский маяк был все время за кормой. Говорю: дальше норд-веста не заходить, и все будет в порядке, а сам спустился в каюту, прилег соснуть. Да какой тут сон! На душе неспокойно. Думаю: сорок часов выстоял, неужели еще четыре не достоять? А он того гляди за эти четыре часа судно загубит. Нет, говорю, пойду. Встал я, умылся, выпил чашку кофе и подымаюсь на мостик. Смотрю, вот тебе и на! Асктарский маяк на норд-вест-тень-вест. «Триапсик» почти на мели. Ну, не дубина этот помощник. Уже дно почти видно. Не досмотри я, «Триапсику» тут и конец. Вот так он за тридцать часов два раза чуть не угробил судно.

Капитан стал разглядывать спящего ребенка, и в его маленьких голубых глазах затеплилось радостное удивление. Чтобы отвлечь капитана от мрачных воспоминаний, жена заговорила о другом.

— Помнишь Джимми Мак-Кола? Ты ведь с его сыновьями в школу ходил. У него ферма за домом

доктора Хейторна. Вспомнил?

— Да-да, помню. А что он,у мер?

— Нет, жив-здоров. Так вот, приходит он к твоему отцу, когда ты уехал в Вальпарайзо, и спрашивает, бывал ты в этом городе раньше или нет.

Отец и говорит:

— Нет, не бывал.

А Джимми удивляется:

— Как же он туда дорогу найдет? А отец ему в ответ:

— Что же тут мудреного? Вот, к примеру, надо тебе кого-нибудь разыскать в Белфасте. Белфаст — город большой. Ну, как ты дорогу найдешь?

— Меня-то язык доведет, — отвечает Джимми. — Я бы стал у прохожих спрашивать.

А отец ему:

— Я же говорю, дело немудреное. Вот и Дональд также. Он у встречных пароходов справляется, пока не наткнется на судно, что побывало в Вальпарайзо. Тут ничего мудреного нет.

Капитан усмехнулся, и на миг усталые глаза его повеселели.

— А уж до чего тощий был, помощник-то. В пору из одного двоих таких, как мы с тобой, выкроить, — опять заговорил капитан, и в глазах

его мелькнула лукавая искорка. Видимо, он был доволен своим остроумием. Но искорка тут же погасла, и снова глаза его поблекли и помрачнели. — А в Вальпарайзо он умудрился выгрузить три тысячи шестьсот футов стального троса и не взять с приемщика расписку. Я был занят, выправлял бумаги на отход. Вышли мы в море, вижу, расписки у него нет.

— Что же, — говорю, — и расписку не сумел взять? А он отвечает:

— Я и не знал. Ведь трос все равно сразу сдадут агентам.

— Что же, — говорю, — первый раз в море вышел? Не слыхал никогда, что помощник обязан взять расписку после сдачи груза? Да еще где? На западном побережье! Теперь приемщик сопрет сколько ему вздумается.

Так оно и вышло. Выгрузили три тысячи футов, а до агентов дошло две тысячи. Приемщик, конечно, клялся и божился, что помощник так ему две тысячи футов и сдал. В Портленде получаю от компании письмо. Достается, ясно, мне, а не помощнику. А я же на берегу был по делу. Что же мне, выходит, пополам разорвись? Так до сих пор и компания и агенты все пишут мне об этом деле.

Никудышный он был моряк. Разве такие нужны компании? А, думаешь, не постарался он мне пакость устроить в Торговой инспекции за то, что я взял слишком много груза? Так прямо и заявили боцману и мне, когда мы обратно шли, что пароход при отправке сидел на полдюйма ниже ватерлинии. Мы тогда стояли в Портленде, брали груз, а потом отправились в Комокс за топливом. Между нами говоря, так оно и было. На полдюйма я ниже сидел, это точно. И вот ведь, подлюга, донести на меня собирался, только не успел — кожухом его раскроило.

Ну и болван же был! Приняли в Портленде груз, а чтобы дойти до Комокса, надо было еще взять шестьдесят тонн угля. А в угольном доке мест нет. Брать лихтер очень дорого. У дока как раз стоит французское судно. Я и спросил капитана, сколько он возьмет, если вечером уступит нам место часика на два. Он говорит: двадцать долларов. Я согласился. Как-никак, а для компании экономия. Только стемнело, подхожу к доку и беру уголь. Потом выходим на стоянку. Выходить пришлось кормой вперед, а тут как на грех что-то с реверсом не ладится. Старик Макферсон говорит, что можно его двигать вручную, потихоньку. Я говорю: ладно. Вот мы и тронулись. А на борту

был лоцман. Идем против сильного течения. Невдалеке стоит пароход, по бокам у него два лихтера. На пароходе есть сигнальные огни, а на лихтерах нет. Между прочим, вывести такое большое судно, как наше, против течения дело не пустяшное, да еще с испорченным реверсом. Нам надо было пройти рядом с тем пароходом, чтобы выйти из дока и стать на якорь. Только я крикнул Макферсону: «Средний вперед», — и мы тут как двинем кормой в лихтер. Лоцман спрашивает:

— В чем дело?

— Сам, говорю, не знаю, что там такое.

Лоцман-то был не из опытных. Ну, вышли мы на хорошую стоянку, отдали якорь, и все бы сошло гладко, если бы не этот осел помощник, будь он трижды проклят. Поднимается по трапу на мостик и объявляет:

— А мы лихтер разбили.

А уж лоцман уши навострил.

— Какой еще такой лихтер? — спрашиваю.

— Да лихтер возле того судна, — говорит.

— Никакого, — говорю, — лихтера я не видел. — И довольно крепко наступаю ему на ногу. Когда лоцман уехал, я помощнику говорю:

— Ну, раз у тебя, парень, голова ни черта не варит, так хоть язык держи на привязи.

— Но вы же разбили лихтер?

— Может, и так. Но кто тебя за язык тянет лоцману сообщать? Хотя, имей в виду, никакого лихтера я там не заметил.

Наутро, только я успел одеться, входит стюард и докладывает:

— К вам какой-то человек, сэр.

— Веди сюда, — говорю.

Его приводят.

— Садитесь, — говорю.

Он сел. Это был хозяин лихтера. И когда он мне все выложил, я ему и заявляю:

— Я никакого лихтера не видел.

— Как же так? — говорит. — Не видели возле того судна двухсоттонного лихтера с целый дом величиной?

— Сигнальные огни на том судне я видел. Судно я ведь не задел? Значит, все в порядке.

— Не задели! Зато мой лихтер задели! Так его долбанули, что теперь убытков на тысячу долларов. И вы мне их возместите!

— Вот что, хозяин, — говорю. — Когда я ночью веду судно, то я следую правилам, а там черным по белому сказано: следи за сигнальными огнями. На лихтере огней не было? Не было. И никакого лихтера я и знать не знаю.

— А ваш помощник говорит…

— Плевать, — говорю, — на помощника. Вы лучше скажите: у вас на лихтере сигнальные огни были или нет?

— Нет, — отвечает, — не было. Да ведь ночь-то была светлая, луна взошла.

— Послушайте, — говорю. — Вы, я вижу, человек толковый, ну да и я в своем деле кое-что смыслю. Так вот имейте в виду — без сигнальных огней никакие лихтеры я замечать не обязан. Если в суд надумаете подавать — пожалуйста, а сейчас — будьте здоровы. Стюард вас проводит.

На том дело и кончилось. Ну, видишь, какая дрянь! Для капитанов просто счастье, что его пополам распороло у паровой трубы. Он и держался-то потому только, что имел связи.

— А знаешь что? — сказала жена. — Мне земельные агенты говорили, что скоро будет продаваться ферма Уикли. — И она украдкой лукаво взглянула на мужа, проверяя, какое впечатление произвели ее слова.

При этой вести глаза капитана загорелись, и он расправил плечи, как человек, готовый приступить к приятной для него работе. Вот она, желанная мечта, ферма по соседству с землей отца и совсем близко от фермы тестя.

— Мы ее купим, — сказал он. — Только смотри, раньше, чем дела не сделаем и деньги не уплатим, никому ни слова. Я кое-что сколотил за последнее время, хоть с приработками теперь туговато. А все-таки есть у нас кругленькая сумма на черный день. Я потолкую с отцом и оставлю ему деньги, чтобы он при первой возможности купил ферму, если я уйду в море.

Он протер холодное запотевшее стекло, но сквозь сетку дождя за окном ничего нельзя было разглядеть.

— В молодости я все боялся, что меня могут уволить, да признаться, и до сих пор побаиваюсь. А теперь купим ферму, и бояться нечего. Пусть увольняют: море перепахивать — дело незавидное. Ведешь по всем морям да во всякую погоду судно стоимостью в пятьдесят тысяч фунтов, да с грузом тоже тысяч на пятьдесят. Это уж выходит сто тысяч фунтов, или полмиллиона долларов, как говорят янки. И за все это, за весь риск и ответственность, дают тебе двадцать фунтов в месяц. Слыханное ли дело, чтобы на суше управляющий какой-нибудь фирмы с капиталом в сотни тысяч фунтов стал бы работать за двадцать фунтов в месяц?

А хозяев у меня сколько! И компания, и стра-

ховщики, и Торговая инспекция — и всяк вертит по-своему. Одни требуют — подавай скорость, а что на риск идешь — им дела нет. Другие — чтобы риска не было, хоть черепахой ползи. Торговая инспекция требует осторожности, тут без задержек не обойдешься. Три разных хозяина, и каждый норовит надавать по шее, чуть что не так.

Чувствуя, что поезд замедляет ход, капитан снова приблизил лицо к запотевшему стеклу. Потом он встал, застегнул пальто, поднял воротник и неумело взял на руки спящего ребенка.

— Я потолкую с отцом, а перед отъездом отдам ему деньги. Как станут продавать ферму, он ее тут же и купит. А тогда пусть меня компания увольняет. Кончатся мои скитания, заживем мы с тобой вместе, Энни, и пошлем море ко всем чертям.

При мысли о будущем лица их просветлели, и перед обоими на миг возникла картина мирного счастья. Энни потянулась к мужу, и, когда поезд остановился, они поцеловались над спящим ребенком.

Сэмюэль

Маргарет Хэнен при любых обстоятельствах нельзя было не заметить, но особенно поразила она меня, когда я увидел ее в первый раз: взвалив на плечи мешок зерна в добрый центнер весом, она нетвердыми, но решительными шагами шла от телеги к амбару и лишь на минутку остановилась передохнуть у крутой лесенки, по которой нужно было подниматься к закромам. Ступенек было четыре, и Маргарет поднималась по ним шаг за шагом, медленно, но уверенно и с такой упрямой настойчивостью, что мне ив голову не пришло опасаться, как бы силы ей не изменили и не свалился с плеч этот мешок, под тяжестью которого чуть не пополам согнулось ее тощее и дряхлое тело. Сразу было видно, что эта женщина очень стара, и оттого-то я и задержался у телеги, наблюдая за нею.

Шесть раз прошла она от телеги к сараю, перетаскивая на спине полные мешки, и, поздоровавшись, не обращала на меня больше никакого внимания. Когда телега опустела, она полезла в карман за спичками и закурила коротенькую глиняную трубку, уминая горящий табак заско-

рузлым и, видимо, онемелым большим пальцем. Я смотрел на ее руки, жилистые, распухшие в суставах, с обломанными ногтями, обезображенные черной работой, покрытые мозолями, шрамами, а кое-где свежими и заживающими царапинами, — такие руки бывают обычно у мужчин, занятых тяжелым физическим трудом. Сильно вздутые вены красноречиво говорили о возрасте, о годах непосильной работы. Глядя на них, трудно было поверить, что это руки женщины, которая когда-то считалась первой красавицей острова Мак-Гилл. Впрочем, это я узнал позднее.

А в тот день мне были совершенно незнакомы ни эта женщина, ни ее история.

На ней были тяжелые мужские башмаки из грубой покоробившейся кожи, надетые на босу ногу, и я еще раньше заметил, что эти твердые, как железо, башмаки, в которых ее голые ноги болтались свободно, при ходьбе натирали ей лодыжки. Плоскогрудая, худая, она была одета в грубую мужскую рубаху и рваную юбку из некогда красной фланели. Но меня больше всего заинтересовало ее лицо, обветренное, морщинистое, обрамленное нечесаными космами седых волос, и я не мог уже от него оторваться. Ни растрепанные волосы, ни сеть морщин не могли

скрыть красоту ее чудесного высокого лба, линии которого были безупречны. Ввалившиеся щеки и острый нос мало вязались с огнем, тлевшим в глубине ярко-голубых глаз. Окруженные сетью мелких морщинок, которые их почему-то не старили, глаза Маргарет были ясны, как у молодой девушки, — ясны, широко раскрыты и зорки, а их прямой, немигающий, пристальный взгляд вызывал во мне какое-то замешательство. Любопытной особенностью этого лица было расстояние между глазами. Мало у кого это расстояние достигает длины глаза, а у Маргарет Хэнен оно составляло не меньше чем полторы длины. Но лицо ее было настолько симметрично, что эта особенность ничуть его не портила, и не очень внимательный наблюдатель, пожалуй, даже не заметил бы ее. Утративший четкость линий беззубый рот с опущенными углами сухих пергаментных губ не обнаруживал еще, однако, той вялости мускулов, которая является обычным признаком старости. Такие губы могли быть у мумии, если бы не присущее им выражение непреклонного упорства. Они вовсе не казались безжизненными, — напротив, в их решительной складке чувствовалась большая душевная сила. В выражении губ и глаз крылась разгадка той

уверенности, с какой эта женщина, ни разу не оступившись и не теряя равновесия, таскала тяжелые мешки наверх по крутой лестнице и высыпала зерно в ларь.

— Вы старая женщина, а взялись за такую работу! — решился я сказать.

Она поглядела на меня своим странным неподвижным взглядом, подумала и заговорила с характерной для нее неторопливостью, словно знала, что перед нею — вечность и спешить не к чему. И опять поразила меня ее безмерная уверенность в себе. Несомненно, в ней сильно было ощущение вечности, и отсюда — эта твердая поступь и спокойствие, с которым она таскала по лестнице тяжелые мешки, — словом, отсюда была ее уверенность в себе. В своей духовной жизни она, вероятно, точно так же не боялась оступиться или потерять равновесие. Странное чувство вызывала она во мне. Я встретил существо, которое во всем, не считая самых элементарных точек соприкосновения, оказывалось вне моего человеческого понимания. И чем ближе узнавал я Маргарет Хэнен в следующие несколько недель, тем сильнее ощущал эту ее непонятную отчужденность. Маргарет казалась гостьей с какой-то другой планеты, и ни сама она, ни ее односель-

чане не могли помочь мне хоть сколько-нибудь понять, какого рода душевные переживания, какой накал чувств или философское мировоззрение двигали ею в прошлом и настоящем.

— Мне через две недели после Страстной пятницы минет семьдесят два, — сказала она, отвечая на мое замечание.

— Ну, вот видите, я же говорю, что вы стары для такой работы. Это работа для мужчины, и притом сильного мужчины, — настаивал я.

Она опять задумалась, словно созерцая вечность, — и это производило такое странное впечатление, что я бы нисколько не удивился, если бы, уснув и проснувшись через столетие, увидел, что она только еще собирается ответить мне.

— Работу кому-то делать надо, а я не люблю кланяться людям.

— Неужели у вас нет ни родных, ни детей?

— У меня их много, но они не помогают мне. Она на минуту вынула изо рта трубку и прибавила, кивком головы указывая на дом:

— Я живу одна.

Я посмотрел на крытый соломой вместительный дом, на большой амбар, на поля, широко раскинувшиеся вокруг и, очевидно, принадле-

жавшие хозяину этой фермы.

— Как же вы одна обрабатываете такой большой участок?

— Да, участок большой. Семьдесят акров. Хватало дела и моему старику, и сыну, да еще работник у нас жил, и служанка для домашней работы, а во время уборки приходилось нанимать поденщиков.

Она взобралась на телегу и, беря в руки вожжи, пытливо посмотрела на меня своими живыми и умными глазами.

— Вы, должно быть, из-за моря — из Америки то есть?

— Да, я американец.

— В Америке, наверное, не много встретишь людей с нашего острова Мак-Гилл?

— Не припомню, чтобы я встретил в Штатах хоть одного. Она кивнула.

— Да, народ у нас такой — домоседы. Правда, нельзя сказать, чтобы они не ездили по свету, но в конце концов все возвращаются домой — все, кто не погиб в море и не умер на чужбине от лихорадки или других напастей.

— А ваши сыновья тоже были в плавании и вернулись домой? — спросил я.

— Да, все, кроме Сэмюэла: Сэмюэл утонул. Я

готов был поклясться, что, когда она упомянула это имя, в глазах ее зажегся какой-то странный свет. И, словно под влиянием внезапно возникшей между нами телепатической связи, я угадал в ней огромную печаль, неизбывную тоску. Мне показалось, что вот он — ключ к тайнам этой души, путеводная нить, которая, если упорно ее держаться, приведет к разъяснению всего непонятного. Я почувствовал, что точка соприкосновения найдена и что в эту минуту я заглянул в душу Маргарет. У меня уже вертелся на языке второй вопрос, но она причмокнула губами, понукая лошадь, крикнула мне: «Будьте здоровы, сэр!» — и уехала.

Жители острова Мак-Гилл — простой, бесхитростный народ. Я думаю, во всем мире вы не найдете таких трудолюбивых, степенных и бережливых людей. Встретив их на чужбине (а вне родины их можно встретить только в море, ибо каждый уроженец Мак-Гилла представляет собой помесь моряка с фермером), никак не примешь их за ирландцев. Сами они считают себя ирландцами, с гордостью говорят о Северной Ирландии и насмехаются над своими братьями — шотландцами. Между тем они, несомненно, шотландцы, — правда, давно переселенные сюда, но все же

настоящие шотландцы, сохранившие тысячу характерных черт, не говоря уж об особенностях речи и мягком произношении, которое только благодаря чисто шотландской обособленности и замкнутости внутри своего клана могло сохраниться до сих пор.

Лишь узкий морской залив в каких-нибудь полмили шириной отделяет остров Мак-Гилл от материка Ирландии. Но, переехав эту полосу воды, вы оказываетесь в совершенно иной стране. Здесь уже сильно чувствуется Шотландия. Начать хотя бы с того, что все жители острова — пресвитериане. Затем, если я вам скажу, что на всем острове нет ни одного трактира, а живет здесь семь тысяч человек, это даст вам некоторое представление об их воздержанности. Жители Мак-Гилла преданны старым обычаям, общественное мнение здесь — закон, священники пользуются большим влиянием. В наше время мало найдется мест, где так почитают родителей и слушаются их. Молодежь гуляет только до десяти часов вечера, и ни одна девушка не пойдет никуда со своим кавалером без ведома и согласия родителей.

Молодые люди отправляются в плавание, и разгульная жизнь портов дает им возможность

«перебеситься», но в промежутках между рейсами они, возвратившись домой, ведут прежний, строго нравственный образ жизни, ухаживают за девушками только до десяти часов вечера, по воскресеньям ходят в церковь слушать проповедь, а дома слушают все те же, знакомые с детства, суровые наставления старших. Сколько бы женщин ни знавали во всех концах света эти сыновья-моряки, они из мудрой осторожности никогда не привозят себе оттуда жен. Единственным исключением на всем острове был школьный учитель: он провинился в том, что взял себе жену с другого берега залива, за полмили от родной деревни. Ему этого не простили, и он до конца дней своих так и оставался у всех в немилости. Когда он умер, жена его вернулась к своим родным, и это пятно было смыто с герба Мак-Гилла. Обычно все моряки кончали тем, что женились на местных девушках, обзаводились семьей и являли собой образец всех тех добродетелей, которыми гордится остров.

Остров Мак-Гилл не имеет славного прошлого. Он не может похвастать ни одним из тех событий, которые входят висторию. Никогда здесь не замечалось пристрастия к зеленому цвету, не бывало фенианских заговоров, аграрных беспорядков. За

все время произошел только один случай выселения, и то чисто формальный, — это был пробный опыт, проделанный по совету адвоката самого арендатора.

Таким образом, у острова Мак-Гилл нет летописи. История его обошла. Он платил положенные налоги, признавал своих коронованных правителей и ничем не беспокоил мир. Взамен он просил только одного: чтобы и мир оставил его в покое. Для жителей острова вселенная делилась на две части: остров Мак-Гилл и остальная поверхность земного шара. И все, что не было островом Мак-Гилл, рассматривалось его жителями как чуждый, далекий и варварский мир. Уж им ли было не знать этого, — ведь их земляки-мореходы, вернувшись домой, могли кое-что порассказать о том, другом мире и его богопротивных обычаях.

О существовании острова Мак-Гилл я узнал впервые от шкипера торгового парохода из Глазго, на котором я в качестве пассажира плыл от Коломбо до Рангуна. Он снабдил меня рекомендательным письмом, и оно открыло мне двери дома миссис Росс, вдовы шкипера. Миссис Росс жила с дочерью, а ее два сына, тоже уже шкиперы, находились в плавании. Она не сдавала комнат, и мне удалось у нее поселиться только благодаря

письму ее сына шкипера Росса, Вечером, после моей встречи с Маргарет Хэнен, я стад расспрашивать о ней миссис Росс, -и сразу понял, что в самом деле натолкнулся на какую-то загадку.

Миссис Росс, как и все другие жители острова (в чем я скоро убедился), сначала очень неохотно отвечала на мои расспросы о Маргарет Хэнен. Все же в тот вечер я узнал от нее, что Маргарет была когда-то одной из первых здешних красавиц. Дочь зажиточного фермера, она и замуж вышла за человека состоятельного, Томаса Хэнена. Она никогда ничем не занималась, кроме домашнего хозяйства, и не работала в поле, как большинство женщин на острове.

— А где ее дети?

— Два сына, Джэми и Тимоти, женаты и ушли в плавание. Видали ридом с почтой большой дом? Это дом Джэми. А ее незамужние дочери живут у своих замужних сестер.

Остальные все умерли.

— Умерли все Сэмюэлы, — вставила Клара, как мне показалось, со смешком.

Кдара — это дочь миссис Росс, высокая, красивая девушка с чудесными черными глазами.

— Тут не над чем зубы скалить» — упрекнула ее мать.

— Сэмюэлы? Какие Сэмюэлы? — вмешался я.

— Это ее четыре сына — те, что умерли.

— И все четыре носили имя Сэмюэл?

— Да.

— Как странно! — заметил я, нарушая затянувшееся молчание.

— Да, очень странно, — согласилась миссис Росс, невозмутимо продолжая вязать лежавшую у нее на коленях шерстяную фуфайку, одну из тех частей туалета, которые она постоянно вязала для своих сыновей,

— И умерли только Сэмюэлы? — допытывался я, стараясь узнать что-нибудь еще.

— Да, остальные живы, — был ответ. — Семья почтенная, другой такой, семьи нет на острове. Из всех мужчин, что когда-либо уходили отсюда в море, ее сыновья — самые лучшие. Пастор всегда ставит их другим в пример. И о дочках никто никогда дурного слова не сказал.

— Но почему же они бросили ее на старости лет? — настойчиво допытывался я. — Почему родные дети не заботятся о ней? Почему она живет одна? Неужели они никогда ее не навещают и не помогают ей?

— Нет, никогда, — вот уже больше двадцати лет. Она сама в этом виновата, она их выжила

из дому, а мужа своего, старого Тома Хэнена, вогнала в гроб.

— Пьет? — рискнул я спросить.

Миссис Росс покачала головой с таким презрительным видом, как будто пьянство — слабость, до которой не унизится самый последний человек на острове Мак-Гилл.

Наступило долгое молчание. Миссис Росс упорно вязала и оторвалась от работы только для того, чтобы кивком головы разрешить Кларе пойти погулять с ее женихом, молодым штурманом парусной шхуны. Я в это время рассматривал страусовые яйца, висевшие на стене в углу подобно гроздьям каких-то гигантских плодов. На каждом яйце было грубо намалевано фантастическое море, по которому, вздымая волны, плыли на всех парусах суда. Рисунки эти отличались полным отсутствием перспективы, искупавшимся разве только точностью и обилием технических деталей. На каминной полке стояли две большие раковины (явно парные) с затейливой резьбой, сделанной терпеливыми руками новокаледонских каторжников. Между ними красовалось чучело райской птицы. Великолепные раковины южных морей были расставлены в комнате повсюду. Из раковин моллюсков в стеклянных

ящиках выглядывали тонкие веточки кораллов. Были тут дротики из Южной Африки, каменные топоры с Новой Гвинеи, большущие табачные кисеты с Аляски, на которых были вышиты бусами тотемы племен, австралийский бумеранг, модели различных судов под стеклянными колпаками, чаша каннибалов «Кай-кай» с Маркизских островов и хрупкие шкатулочки Вест-Индии и Китая с инкрустациями из перламутра и драгоценных сортов дерева.

Я смотрел на эти трофеи, привезенные домой моряками, но думал не о них, а о загадочной Маргарет Хэнен, которая «вогнала в гроб» мужа и от которой отвернулась вся ее семья. Она не пьет. В чем же тут дело? Может быть, причиной этому какая-нибудь ужасающая жестокость? Или неслыханная измена мужу? Или страшное преступление — из тех, что в старые времена случались в деревнях?

Я высказал вслух свои догадки, но миссис Росс на все только отрицательно качала головой.

— Нет, ничего подобного, — сказала она. — Маргарет была примерной женой и доброй матерью, и я уверена, что она во всю свою жизнь мухи не обидела. Она и детей воспитала в страхе Божьем и всех вывела в люди. Беда в том, что она свихну-

лась, стала настоящей идиоткой.

И миссис Росс выразительно постучала пальцем по лбу, чтобы наглядно показать, что у Маргарет голова не в порядке.

— Но я разговаривал нею сегодня, и, по-моему, она разумная женщина и удивительно бодра для своих лет.

— Да, все это верно, — спокойно подтвердила миссис Росс. — Я не про это говорю, а про ее неслыханное, безбожное упрямство. Такой упрямой женщины, как Маргарет, во всем свете не сыщете. И все из-за имени Сэмюэл. Так звали ее младшего и, говорят, самого любимого брата — того, что наложил на себя руки из-за ошибки пастора, потому что пастор не зарегистрировал в Дублине нашу новую церковь. Кажется, ясно было, что имя Сэмюэл — несчастливое. Так нет же, Маргарет не хотела с этим согласиться. Сколько было разговоров еще тогда, когда она окрестила Сэмюэлом своего первого ребенка, того, что умер от крупа! И можете себе представить — после этого она взяла да и назвала следующего сына тоже Сэмюэлом! Этот второй прожил только три года — упал в котел с кипятком и сварился насмерть, а все ведь из-за ее проклятого, дурацкого упрямства! Непременно ей надо было иметь Сэмюэла.

Вот и схоронила четверых сыновей! После смерти первого мальчика родная мать в ногах у нее валялась, просила, заклинала ее не называть следующего этим именем. Но ее никак нельзя было уломать. Маргарет Хэнен всегда ставила на своем, а в особенности когда дело касалось имени Сэмюэл.

Она была просто помешана на этом имени. Ведь когда крестили ее второго мальчика — того, что потом сварился, то все соседи и родня, все, кроме тех, кто жил в доме, встали и ушли, ушли в ту самую минуту, когда священник спросил у нее, какое имя дать ребенку, а она ответила:

«Сэмюэл». Да, все встали и ушли. А тетка Фанни, сестра ее матери, на пороге обернулась и сказала громко, так, что все слышали: «И зачем она хочет загубить младенца?» Священник тоже слышал, и ему стало неприятно (он потом говорил это моему, Лерри), но что поделаешь, раз так хотела мать? Нет такого закона, который запрещал бы матери назвать своего ребенка, как ей хочется.

А третьего сына она разве не назвала Сэмюэл? А когда он погиб в море около мыса Доброй Надежды, разве она не пошла против природы и не родила четвертого? Вы подумайте, ей было сорок семь лет, и в сорок семь лет она родила! В сорок

семь лет! Срам, да и только!

На другое утро я уже от Клары услышал рассказ о смерти любимого брата Маргарет Хэнен. И в течение недели, расспрашивая то того, то другого, я постепенно узнал эту трагическую историю.

Сэмюэл Данди был самым младшим из четырех братьев Маргарет, и, по словам Клары, Маргарет души в нем не чаяла. Он был шкипером каботажного парусника и перед уходом в плавание женился на Агнес Хьюит. По описанию Клары, Агнес была маленькая женщина с тонким личиком, очень хрупкая, нервная и болезненно впечатлительная. Они с Сэмюэлом первые венчались в новой церкви, и после двухнедельного медового месяца Сэмюэл, поцеловав жену, ушел в море на большом четырехмачтовом барке «Лохбэнк».

Из-за этой самой новой церкви и вышла ошибка у пастора. Как потом объяснял один из старост, виноват был не только он, но и Кафлинская пресвитерия, в которую входили все пятнадцать церквей на острове Мак-Гилл и материке. Дело было так: старая церковь совсем развалилась, и ее снесли, а на том же фундаменте построили новую. Ни священник, ни пресвитерия никак не могли предположить, что новая церковь с точки зрения закона представляет собой нечто другое,

чем старая.

— И в первую же неделю в новой церкви были обвенчаны три пары, — рассказывала Клара. — Первыми — Сэмюэл Данди и Агнес Хьюит, на другой день после них — Альберт Махан с Минни Дункан, а в конце недели — Эдди Трои с Фло Мэкинтош. Молодые мужья были моряки, и не прошло и двух месяцев, как они все трое вернулись на свои суда и ушли в плавание, и никто из них не подозревал, в какую беду они попали.

Должно быть, сам дьявол устроил себе из этого потеху. Все складывалось как назло. Свадьбы были отпразднованы на первой неделе мая, и только через три месяца священник, как полагается, представил дублинским властям отчет за четверть года. В ответ немедленно пришло извещение, что церковь его незаконная, так как она не зарегистрирована законным порядком. Ее спешно зарегистрировали, и дело уладилось. Но не так легко было узаконить браки: все три мужа были в плавании. Одним словом, выходило, что их жены — им вовсе не жены.

— Но пастор не хотел их пугать, — продолжала Клара. ~ Он хранил все в секрете и выжидал, пока моряки вернутся из плавания. И вот, как на грех, когда он уехал на дальний конец острова

крестить, неожиданно вернулся домой Альберт Махан, — его судно только что прибыло в Дублин. Пастор узнал эту новость в девять часов вечера, когда был уже в халате и ночных туфлях. Он сразу велел оседлать лошадь и вихрем помчался к Альберту Махану. Альберт как раз ложился спать и стащил уже один сапог, а тут входит пастор.

— Едемте со мною оба! — говорит пастор, еле переводя дух.

— Это еще зачем? Я устал до смерти и хочу спать, — отвечает Альберт.

— Вам надо законно обвенчаться, — объясняет пастор. Альберт посмотрел на него, нахмурился и говорит:

— Что это вы, пастор, шутить вздумали? А про себя (я не раз слыхала, как Альберт это рассказывал) удивляется: неужто пастор в его годы пристрастился к виски?

— Разве мы не венчаны? — спрашивает Минни.

Пастор покачал головой.

— Так, значит, я не миссис Махан?

— Нет, — отвечает пастор, — вы не миссис Махан. Вы всего-навсего мисс Дункан,

— Да вы же сами нас обвенчали!

— И да и нет, — говорит пастор.

И тут он им все рассказал. Альберт надел второй сапог, и они пошли за пастором и обвенчались законным порядком, как полагается, и Альберт Махан потом часто говаривал: «Не каждому ма нашем острове доводилось венчаться дважды».

Через полгода вернулся домой и Эдди Трои, и его тоже обвенчали вторично. Но Сэмюэл Данди отправился в плавание на три года, и его судно не вернулось в срок. К тому же Агнес ждала его не одна, а с двухлетним сыном на руках, и это еще больше осложняло дело. Шли месяцы, и жена Сэмюэла просто чахла от тревоги.

— Не о себе я думаю, — говорила она не раз, — а о бедном малыше, который растет без отца. Если с Сэмюэлом что случится, что будет с ребенком?

Компания Дойд занесла «Лохбэик» в список судов, пропавших без вести, и владельцы перестали выплачивать жене Сэмюэла половину его жалованья. Но Агнес больше всего мучило то, что сын ее оказался незаконнорожденным. И когда на возвращение Сэмюэла уже не оставалось никакой надежды, Агнес вместе с ребенком утопилась в заливе.

Дальше эта история становится еще трагичнее, «Лохбэнк» вовсе не погиб. Из-за ряда всяких бедствий и нескончаемых задержек в пути, о которых

слишком долго рассказывать, судну пришлось проделать такой длительный и непредвиденный рейс, какой случается раз или два в столетие. То-то, должно быть, тешился дьявол* В конце концов Сэмюэл вернулся из плавания, и, когда ему сообщили страшную весть, у него словно что-то оборвалось в голове и сердце. На другое утра его нашли на могиле жены и ребенка, где он наложил на себя руки. С тех пор как стоит остров Мак-Гилл, никто так страшно не умирал здесь! Сэмюэл плевал в лицо священнику, осыпал его ругательствами и так ужасно богохульствовал перед смертью, что у тех, кто ходил за ним, тряслись руки, и они боялись взглянуть на него.

И после всего этого Маргарет Хэнен назвала своего первенца Сэмюэлом1 Чем объяснить, упрямство этой женщины? Или это было не упрямство, а одержимость навязчивой идеей, желание, чтобы один из ее сыновей непременно носил имя Сэмюэл?

Третий ребенок была девочка, и ее назвали именем матери. Четвертый— опять мальчик. Несмотря на постигшие ее удары судьбы, несмотря на то, что от нее отшатнулись все родные и знакомые, Маргарет упорствовала в своем решении дать и этому ребенку имя любимого брата. С

ней перестали здороваться в церкви даже друзья детства, с которыми она росла, вместе. Мать Маргарет, после новых тщетных уговоров, покинула ее дом, объявив, что, если ребенка назовут этим именем, — она до конца жизни не будет говорить с дочерью. Старуха прожила после этого еще тридцать с лишним лет т сдержала слово.

Пастор соглашался окрестить ребенка любым именем, только не Сэмиээлом, и все остальные священники на острове тоже отказывались назвать его так, как хотела мать. Маргарет сначала грозила, что подаст на них в суд, но в конце концов повезла малыша в Белфаст, и там его окрестили Сэмюэлом.

И ничего худого не случилось. Вопреки ожиданиям всего острова, ребенок рос и хорошо развивался. Школьный учитель постоянно твердил веем, что он не видывал мальчика смышленее и способнее. У Сэмюэла был замечательно крепкий организм и огромная жизненная энергия. К удивлению всех, он не хворал ни одной из обычных детских болезней: ни корью, ни коклюшем, ни свинкой. Он был словно забронирован от микробов, абсолютно невосприимчив ко всем болезням. Он не знал, что такое головная боль или боль в ухе. «Хоть бы у него когда прыщик или чирей

вскочил!» — говорил мне кто-то из стариков. В школе Сэмюэл побивал рекорды в учении и спорте и опередил всех мальчиков своего возраста.

Маргарет Хэнен торжествовала. Этот чудомальчик был ее сын и носил дорогое ей имя! Все друзья и родные, кроме матери, вернулись к ней, признав свою ошибку. Правда, были такие старые карги, которые упорно держались прежнего мнения и, зловеще покачивая головами, за чашкой чая шептались о том, что мальчик слишком хорош и, значит, недолговечен, что ему не уйти от проклятия, которое навлекла на него бессовестная мать, дав ему это имя. Молодежь вместе с Маргарет высмеивала их, но старухи продолжали качать головами.

У Маргарет родились еще дети. Пятым был мальчик, она назвала его Джэми, а за ним, одна за другой, родились три девочки — Элис, Сара и Нора, потом сын Тимоти и снова две дочки — Флоренс и Кэти. Кэти была одиннадцатой по счету и последней: в тридцать пять лет Маргарет Хэнен почила от трудов. Она и так уж постаралась для острова Мак-Гилл и королевы: вырастила девять здоровых детей. С ними все было благополучно. Казалось, что смертью двух первых сыновей кончились все ее злоключения. Девять остальных

выжили, и один из них носил имя Сэмюэл.

Джэми решил стать моряком, — впрочем, решение это было до некоторой степени вынужденное, ибо на острове Мак-Гилл так уж принято, чтобы старшие сыновья оставались дома и владели землей, а младшие отправлялись бороздить моря. Тимоти последовал примеру брата, и к тому времени, когда Джэми в первый раз принял командование торговым судном, отплывшим из Кардиффа, Тимоти уже был помощником капитана на большом паруснике.

Сэмюэл остался дома, но он не имел ни малейшей склонности к сельскому хозяйству. Жизнь фермера ему не нравилась. Братья его стали моряками не из любви к морю, а потому, что для них это был единственный способ прокормить себя. Он же, которому в этом не было надобности, завидовал братьям, когда те, возвратясь из дальнего плавания и сидя на кухне у очага, рассказывали всякие чудеса о заморских странах.

Сэмюэл, к великбму разочарованию отца, стал учителем и даже получил аттестат в Белфасте, куда ездил сдавать экзамены. Когда старый учитель ушел в отставку, Сэмюэл занял его место. Но он тайком изучал навигацию, и Маргарет очень любила слушать, как ее старший сын, сидя

с братьями у огня, побивал их в теоретических вопросах, несмотря на то, что они оба уже были капитанами. Когда Сэмюэл, школьный учитель, сын почтенных родителей и наследник фермы Хэнен, неожиданно отправился в плавание простым матросом, негодовал только один Том. Маргарет твердо верила в счастливую звезду сына и была убеждена, что все, что бы он ни делал, — к лучшему. В самом деле, Сэмюэл и тут проявил свои замечательные способности. Моряки не помнят такого быстрого повышения. Он не пробыл и двух лет матросом, как его забрали с бака и назначили штурманом. Было это во время стоянки в одном из тех портов Западного побережья, где свирепствует лихорадка, — и экзаменовавшая Сэмюэла комиссия шкиперов убедилась, что он знает больше, чем когда-либо знали они. Прошло еще два года, и он отплыл из Ливерпуля на судне «Стэрри Грэйс» с дипломом капитана дальнего плавания в кармане. Но тут свершилось то, о чем все годы каркали старухи.

Мне рассказывал об этом Гэвин Мак-Нэб, тоже уроженец Мак-Гилла, служивший тогда боцманом на «Стэрри Грэйс».

— Да, я очень хорошо все помню, — говорил он. — Мы шли, как нам полагалось по рейсу, на во-

сток, и погода вдруг сильно испортилась. Сэмюэл Хэнен был отличный моряк, другого такого моряка свет не знал. Как сейчас его вижу, когда он стоял на вахте в то последнее утро и громадные волны бушевали за кормой; а он один смотрел, как «Стэрри Грэйс» выдерживает их удары, — наш капитан уже несколько дней пьянствовал внизу в каюте. В семь часов Хэнен поставил шхуну по ветру, не рискуя больше идти вперед в такой страшный шторм. В восемь он позавтракал и ушел к себе в каюту, а через полчаса на мостик вылез капитан. Глаза мутные, трясется весь и держится за перила. Буря была страшная, можете мне поверить, кругом света Божьего не видно, а он стоит и только глазами хлопает да сам с собой разговаривает. Наконец как крикнет рулевому: «Отойди назад!» Младший помощник, который стоял около него, так и ахнул: «Господи помилуй, что это вы!» Но капитан наш и не взглянул на него, а все что-то бурчит и бурчит себе под нос. Потом вдруг выпрямился, приосанился и опять крикнул: «Меняй галс, кому я говорю! Оглох ты, что ли, черт тебя побери!»

Недаром говорят, что пьяным везет, — ведь «Стэрри Грэйс» шла, не зачерпнув и ведра воды, при таком-то шторме! Это был не ветер, а настоящее

наказание Господне. Второй помощник выкрикивал распоряжения, и все матросы носились как сумасшедшие. А капитан кивнул головой и, довольный, ушел вниз допивать виски. Это было все равно что послать на верную смерть всех людей на судне, потому что даже самый большой корабль не может плыть в такую погоду. Да какое там плыть! И вообразить себе нельзя, что творилось на море, в жизни не видел ничего подобного! А я ведь сорок лет плаваю, начал еще мальчишкой. Ужас, что было!

Помощник капитана стоял бледный, как смерть. Он пробыл на мостике полчаса, потом не выдержал, сошел вниз и позвал на помощь Сэмюэла и третьего помощника. Да, уж на что хороший моряк был Сэмюэл, а тут и он спасовал. Все смотрел и раскидывал умом так и этак, но не знал, что делать. Остановить судно он не решался, потому что, пока будешь останавливать, с него снесет и команду и все остальное. Ничего больше не оставалось, как идти дальше. Если бы буря усилилась, нас все равно ждала смерть. Рано или поздно разбушевавшиеся волны непременно смыли бы нас всех с кормы в море.

Я вам сказал, что это был не шторм, а чистое наказание Господне. Где там! Не Бог, а сам дьявол,

должно быть, наслал его! Я на своем веку видал виды, но такое не дай Бог еще пережить! Внизу, в кубрике, никто не рискнул остаться. На палубах тоже не было ни единой души. Матросы все толпились наверху, цеплялись за что придется. Все три помощника были на корме, два человека — у штурвала, и только этот пьяница-капитан, нализавшись, храпел внизу, в каюте.

И вдруг я вижу, что примерно в миле от нас поднимается волна выше всех других, как остров из моря. Я таких в жизни не видал. Три помощника стояли рядом и тоже смотрели, как она надвигается, и все мы молили Бога, чтобы она прошла мимо и не обрушилась на нас. Но молитва не помогла. Волна встала, как гора, захлестнула корму и закрыла нам небо. Три помощника кинулись в разные стороны: второй и третий побежали к винтам и полезли на бизань-мачту, а Хэнен бросился помогать штурвальным. Он был храбрый человек, этот Сэмюэл Хэнен! Пошел навстречу такой волне, не думая о себе, думая только о спасении судна. Оба матроса были привязаны к штурвалу, но Сэмюэл хотел быть наготове, на случай, если кто из них погибнет и нужно будет его заменить. И вот в этот миг волна и обрушилась на судно. С мостика нам не видно было кормы,

на нее хлынула тысяча тонн воды. Волна смыла всех, всех унесла — двух помощников, забравшихся на бизань, Сэмюэла Хэнена, бежавшего к штурвалу, обоих штурвальных, да и самый штурвал тоже. Так мы их больше и не видели. Судно вышло из ветра и потеряло управление. Двоих из нас смыло с мостика в море, а нашего плотника мы нашли потом на корме, у него не осталось ни одной целой косточки, и тело превратилось в какой-то кисель…

Тут-то и начинается самое необычайное во всей этой истории — чудо, свидетельствующее о героической душе Маргарет. Этой женщине было сорок семь лет, когда пришла весть о гибели Сэмюэла. Через некоторое время по всему острову пошли невероятные слухи. Да» поистине невероятные! Никто им не верил. Доктор Холл пренебрежительно фыркал и отмахивался от такого вздора. Все смеялись, как смеются забавной шутке. Выяснилось, что слух исходит от Сары Дэк, единственной служанки Хэненов. Сара Дэк уверяла, что это правда, но ее называли бессовестной лгуньей. Кое-кто из соседей даже решился спросить об этом самого Тома Хэнена, но от него ничего не добились. Том в ответ только хмурился и бранился.

Молва заглохла, и Мак-Гилл уже занялся было обсуждением гибели в Китайском море «Гренобля», все офицеры которого и половина экипажа родились и выросли на острове. Однако сплетня не хотела умирать. Сара Дэк все громче твердила свое. Том Хэнен бросал вокруг все более угрюмые взгляды, а доктор Холл, побывав в доме у Хэненов, перестал недоверчиво фыркать. Наступил день, когда весь остров встрепенулся, и языки заработали вовсю. То, о чем говорила Сара Дэк, казалось всем неестественным, неслыханным. И когда через некоторое время факт стал для всех очевидным, жители Мак-Гилла, подобно боцману «Стэрри Грэйс», решили, что тут дело не обошлось без дьявола. По словам Сары, эта одержимая, Маргарет, была уверена, что у нее будет мальчик. «Я родила одиннадцать, — говорила она. — Шестерых девочек и пятерых мальчиков. И как во всем, так и тут должен быть ровный счет. Шесть тех и шесть других — вот и выйдет поровну. Я рожу мальчика — это так же верно, как то, что солнце восходит каждое утро».

У нее и в самом деле родился мальчик, и притом прекрасный. Доктор Холл восторгался его безупречным и крепким сложением и даже написал доклад для Дублинского медицинского общества,

в котором указывал, что это самый интересный случай в его многолетней практике. Когда Сара Дэк сообщила, сколько весит новорожденный, ей отказались верить и опять назвали ее лгуньей. Но доктор Холл подтвердил, что он сам взвешивал малыша, и тот весит именно столько, сколько сказала Сара, — и после этого остров Мак-Гилл, затаив дыхание, слушал без недоверия все, что ни сообщала Сара о росте и аппетите ребенка. И снова Маргарет Хэнен повезла сына в Белфаст, и там его окрестили Сэмюэлом.

— Это был не ребенок, а золото, — рассказывала мне Сара Дэк.

Когда я познакомился с Сарой, она была уже шестидесятилетней старой девой, полной и флегматичной. Память этой женщины хранила события столь трагические и необычайные, что если бы она болтала еще десятки лет, рассказы ее все равно не могли бы утратить интереса для ее приятельниц.

— Да, не ребенок, а золото, — повторила Сара. — И никогда он не капризничал. Посадишь его, бывало, на солнышке, и он сидит часами — пока не проголодается, его не слышно. А какой сильный! Сожмет что-нибудь в руках, так не вырвешь у него, как у взрослого мужчины. Помню, когда

ему было от роду всего несколько часов, он так вцепился в меня ручонками, что я вскрикнула от испуга. На редкость здоровый был ребенок. Спал, ел, рос и никогда никого не беспокоил. Ни разу не бывало, чтобы он хоть одну минуту мешал нам спать по ночам, — даже когда у него резались зубы.

Маргарет все качала его на коленях и спрашивала, был ли когда-нибудь другой такой красавчик во всех трех королевствах.

А как быстро он рос! Это, наверное, оттого, что он так много ел. К году Сэмми был уже ростом с двухлетнего. Только ходить и говорить долго не начинал. Издавал горлом какие-то звуки и ползал на четвереньках, — больше ничего. Но при таком быстром росте этого можно было ожидать. Он становился все здоровее и крепче. Даже старый Том Хэнен и тот веселел, глядя на него, и твердил, что другого такого мальчонки не сыщешь во всем Соединенном Королевстве.

Доктор Холл первый заподозрил неладное, Я отлично это помню, хотя, правда, тогда мне и в голову не приходило, что у доктора такие подозрения. Как-то раз я заметила, что он держит у Сэмми перед глазами разные вещи и кричит ему в уши то громче, то тише, то отойдет от него

подальше, то ближе подойдет. Потом, уходя, наморщил брови и покачал головой, как будто ребенок болен. Но я готова была поклясться, что Сэмми вполне здоров, ведь я же видела, как он ест и как быстро растет. Доктор Холл не сказал Маргарет ни слова, и я никак не могла понять, чем он так озабочен.

Помню, как маленький Сэмми в первый раз заговорил. Ему было уже два года, а по росту он сошел бы за пятилетнего. Только с ходьбой у него дело не ладилось, все еще ползал на четвереньках. Всегда он был веселый и довольный, никому не надоедал, если его вовремя кормили. А ел он очень уж часто. Помню, я развешивала во дворе белье, а Сэмми вылез из дому на четвереньках, мотает своей большой головой и жмурится на солнце. И вдруг заговорил. Я чуть не умерла со страху — и тут только поняла, почему доктор Холл ушел тогда такой расстроенный. Да, Сэмми заговорил! Никогда еще ни у одного ребенка на острове не было такого громкого голоса. Я вся дрожала. Сэмми ревел по-ослиному! Понимаете, сэр, ревел совершенно так, как осел, громко и протяжно, так что, казалось, у него того и гляди лопнут легкие.

Сэмми был идиот, страшный, здоровенный

идиот, настоящее чудовище. После того как он заговорил, доктор Холл сказал об этом Маргарет, но она не хотела верить и твердила, что это пройдет, что это от слишком быстрого роста. «Погодите, дайте срок, — говорила она. — Погодите, увидите!»

Но старый Том Хэнен понял, что доктор прав, и с тех пор уже не поднимал головы. Он не выносил идиота и не мог заставить себя хотя бы прикоснуться к нему. Но при этом, надо вам сказать, его словно притягивала к Сэмми какая-то таинственная сила. Я не раз видела, как он наблюдал за ним из-за угла, — смотрит, смотрит, и глаза у него чуть на лоб не лезут от ужаса. Когда идиот начинал реветь по-ослиному, старый Том затыкал уши, и такой у него был несчастный вид, что просто жалко было смотреть.

А ревел Сэмми здорово! Он только это и умел — реветь и есть, да рос как на дрожжах. Бывало, проголодается и начнет орать, и унять его можно было только кормежкой. По утрам он всегда выползал за порог кухни, смотрел, жмурясь, на солнце и ревел. Из-за этого рева ему и конец пришел.

Я очень хорошо помню, как все это случилось. Сэмми было уже три года, а на вид ему можно

было дать десять. С Томом творилось что-то неладное, и чем дальше, тем хуже. Ходит, бывало, в поле и все что-то бормочет, разговаривает сам с собой. В то утро он сидел на скамейке у дверей кухни и прилаживал ручку к мотыге. А идиот незаметно вылез во двор и, по обыкновению, заревел, глядя на солнце. Вижу, старый Том вздрогнул и уставился на него. А тот мотает себе большой башкой, жмурится и ревет, как осел. Тут Том не выдержал. На него вдруг что-то нашло: как вскочит да как треснет идиота рукояткой мотыги по голове, и еже раз, и еще — все бил, бил, будто перед ним бешеная собака. Потом пошел на конюшню и повесился на балке.

После этого я не хотела оставаться у них в доме и перебралась к своей сестре, той, которая замужем за Джеком Мартином. Они хорошо живут.

Я сидел на скамейке перед кухонной дверью и смотрел на Маргарет Хэнен, а она мозолистым пальцем уминала горящий табак в трубке и смотрела на окутанные сумраком поля. Это была та самая скамейка, на которой сидел Том в последний, страшный день своей жизни. А Маргарет сидела на пороге, где рожденное ею чудовище так часто грелось на солнце и, мотая головой, ревело по-ослиному. МЫ беседовали вот уже около часа.

Маргарет отвечала мне все с тем же неторопливым спокойствием человека, уверенного, что у него» впереди верность, — спокойствием, которое так шло к кож. Но я, хоть убейте, не мог угадать, какие побуждения скрывались в темной глубине этой души. Была ли она мученицей за правду, могла ли она поклоняться столь абстрактной истине? Может быть, в тот далекий день, когда эта женщина назвала своего первенца Сэмюэлом, она служила абстрактной истине, которая представлялась ей высшей целью человеческих стремлений?

Или в ней попросту говорило слепое животное упорство, упорство заартачившейся лошади? Тупое своеволие крестьянки? Что это было — каприз, фантазия? Единственный заскок ума, во всем остальном очень здравого и трезвого? Или, напротив, в ней жил дух Джордано Бруно? Может быть, она упорствовала потому, что была убеждена в своей правоте? Может быть, с ее стороны это была стойкая и сознательная, борьба против суеверия? Или, — мелькнула у меня более хитроумная догадка, — быть может, она сама была во власти какого-то глубокого и сильного суеверия, особого рода фетишизма, альфой и омегой которого было это загадочное пристрастие к

имени Сэмюэл?

— Вот вы сами скажите, — говорила мне Маргарет. — Неужели, если бы я своего второго Сэмюэла назвала Лэрри, так он не упал бы в кипяток и не захлебнулся бы? Между нами говоря, сэр (вы, я вижу, человек умный и образованный), — разве имя может иметь какое-нибудь значение? Разве, если бы его звали Лэрри или Майкл, у нас в тот день не было бы стирки и он не мог бы упасть в котел? Неужели кипяток не был бы кипятком и не ошпарил бы ребенка, если бы ребенок назывался не Сэмюэл, а как-нибудь иначе?

Я согласился, что она рассуждает правильно, и Маргарет продолжала:

— Неужели такой пустяк, как имя, может изменить волю Господа? Выходит, что миром правит случай, а Бот — слабое, капризное существо, которое может изменить человеческую судьбу только из-за того, что какой-то червь земной, Маргарет Хэнен, вздумала назвать своего ребенка Сэмюэлом? Вот, например, мой сын Джэми не хотел принять на свое судно одного матроса, финна, — и знаете, почему? Он верит, что финны могут накликать дурную погоду. Как будто они распоряжаются ветрами! Что вы на это скажете? Вы тоже думаете, что Господь, посылающий

ветер, склонит голову сверху и станет слушать какого-то вонючего финна, который сидит на баке грязной шхуны?

Я сказал:

— Ну, конечно нет.

Но Маргарет непременно хотела развить свою мысль до конца.

— Неужели вы думаете, что Бог, который управляет движением звезд, которому весь наш мир — только скамеечка для ног, пошлет назло какой-то Маргарет Хэнен большую волну у мыса Доброй Надежды, чтобы смыть ее сына на тот свет, — и все только за то, что она окрестила его Сэмюэлом?

— А почему непременно Сэмюэлом? — спросил я.

— Не знаю. Так мне хотелось.

— Но отчего?

— Ну, как я могу объяснить вам это? Может ли хоть один человек из всех, кто живет или жил на земле, ответить на такой вопрос? Кто знает, почему нам одно любо, а другое — нет? Мой Джэми, например, большой охотник до сливок. Он сам говорит, что готов их пить, пока не лопнет. А Тимоти с детства терпеть не может сливки. Я вот люблю грозу, люблю слушать, как гремит, а

моя Кэти при каждом ударе грома вскрикивает, и вся трясется, и залезает с головой под перину. Никогда я не слыхала ответа на такие «почему». Один Бог мог бы ответить на них. А нам с вами, простым смертным, знать это не дано. Мы знаем только, что нам нравится, а что — нет. Нравится — и все. А объяснить, почему, ни один человек не может. Мне вот нравится имя Сэмюэл, очень нравится. Это красивое имя и звучит чудесно. В нем есть какая-то удивительная прелесть.

Сумерки сгущались. Мы оба молчали, и я смотрел на этот прекрасный лоб, красоту которого даже время не могло испортить, на широко расставленные глаза, ясные, зоркие, словно вбиравшие в себя весь мир. Маргарет встала, давая мне понять, что пора уходить.

— Вам темно будет возвращаться. Да и дождик вот-вот хлынет — небо все в тучах.

— А скажите, Маргарет, — спросил я вдруг, неожиданно для самого себя, — вы ни о чем не жалеете? С минуту она внимательно смотрела на меня.

— Жалею, что не родила еще одного сына.

— И вы бы его… — начал я и запнулся.

— Да, конечно, — ответила она. — Я бы дала ему то же имя.

Я шагал в темноте по дороге, обсаженной кустами боярышника, думал обо всех этих «почему» и то про себя, то вслух повторял имя «Сэмюэл», вслушиваясь в это сочетание звуков, ища в нем «удивительную прелесть», которая пленила Маргарет и сделала жизнь ее такой трагической. «Сэмюэл». Да, в звуке этого имени было что-то чарующее. Несомненно, было!

ДЖЕК ЛОНДОН «ЧЕРЕПАХИ ТАСМАНА» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Черепахи Тасмана

I

На лице Фредерика Траверса лежала печать порядочности, аккуратности и сдержанности. Это было резко очерченное, волевое лицо человека, привыкшего к власти и пользовавшегося ею мудро и осторожно. Морщины на его чистой и здоровой коже не были следами порока. Они свидетельствовали о честно прожитой жизни, о напряженном, самоотверженном труде, и только. Ясные голубые глаза, густые, тронутые сединой каштановые волосы, разделенные аккуратным пробором и зачесанные вбок над высоким выпуклым лбом, — весь внешний облик этого человека говорил о том же. Он был подтянут и тщательно одет; легкий, практичный костюм как нельзя лучше шел этому человеку, находившемуся в расцвете сил, но в то же время не был крикливым, не подчеркивал, что его обладатель является владельцем многих миллионов долларов и огромного имущества.

Фредерик Трэверс ненавидел все показное. Машина, ожидавшая его у подъезда, была скромного

черного цвета. Это была самая дорогая машина в округе, но он отнюдь не был склонен хвастаться ее ценой или мощностью мотора и пускать пыль в глаза всему краю, который почти целиком, от песчаных дюн и неумолчного тихоокеанского прибоя, тучных долин и нагорных пастбищ до далеких вершин, окутанных туманом и облаками и поросших ценными породами деревьев, тоже принадлежал ему.

Шорох юбок заставил его резко обернуться. Чувствовалось, что он немного раздражен. Но поводом к этому было вовсе не появление дочери. Что бы там ни было, но, казалось, источник раздражения лежал на столе, за которым он сидел.

— Повтори, пожалуйста, это странное имя, — попросила дочь. — Никак не могу его запомнить. Видишь, я принесла блокнот, чтобы записать…

Она была высокой, хорошо сложенной, белокожей молодой женщиной. В ее низком, бесстрастном голосе, в спокойной манере держаться чувствовалась та же привычка к порядку и сдержанности.

Фредерик Трэверс стал разглядывать подпись на одном из двух писем, лежавших на столе.

— Бронислава Пласковейцкая-Трэверс, — прочел он, потом по буквам продиктовал первую,

трудную часть фамилии.

— Так вот, Мэри, — добавил он, — помни, что Том всегда был легкомысленным человеком, и ты не должна подходить к его дочери с обычной меркой. Уже одно имя ее… э… как бы это сказать… приводит в замешательство. Я не видел Тома много лет, а что касается ее…

Он пожал плечами и больше уже не говорил о своих сомнениях. Потом он улыбнулся и попытался обратить все в шутку.

— Но так или иначе, они тебе родственники, как и мне. Раз он мой брат, значит, тебе он приходится дядей. И если она моя племянница, то вы кузины.

Мэри кивнула.

— Не беспокойся, папа. Я буду ласкова с ней, бедняжечкой. Какой национальности была ее мать? Дать дочери такое ужасное имя!

— Не знаю. Русская, или полька, или испанка, или что-то в этом роде. В этом весь Том… Она была актрисой или певичкой… Не помню точно. Они познакомились в Буэнос-Айресе и тайно бежали. Ее муж…

— Так она была замужем!

Удивление и испуг, прозвучавшие в голосе Мэри, были такими неподдельными и неожидан-

ными, что раздражение, которое испытывал ее отец, стало более заметным. Он вовсе не хотел пугать ее. Просто сорвалось с языка.

— Конечно, потом она получила развод. Мне не известны подробности. Ее мать умерла в Китае… Хотя нет, на Тасмании. А вот в Китае Том…

Он так быстро закрыл рот, что губы издали нечто вроде щелчка. Нет, больше он не проговорится. Мэри помедлила немного и пошла к двери. Здесь она задержалась.

— Я велела приготовить для нее комнаты над цветником, где розы… — сказала она. — Пойду еще раз погляжу, все ли в порядке.

Фредерик Трэверс снова повернулся к столу, чтобы убрать письма, но потом передумал и внимательно перечитал их.

«Дорогой Фред!

Давно уже я не был так близко от родных мест, и мне вдруг захотелось заглянуть домой. К сожалению, мой юкатанский «прожект» прогорел (кажется, я тебе о нем писал), и я, по обыкновению, остался без гроша за душой. Не можешь ли ты подбросить мне что-нибудь на дорогу? Хотелось бы приехать в первом классе. Да, кстати, Полли со мной. Интересно, как вы с ней поладите?

Том.

P. S. Если это тебя не затруднит, пришли деньги со следующей почтой».

Другое письмо, как ему показалось, было написано странным, неанглийским почерком, но явно женской рукой.

«Дорогой дядя Фред!

Папа не знает, что я пишу вам. Он рассказал мне, о чем написал. Это неправда. Он хочет вернуться, чтобы умереть дома. Он не знает об этом, но я говорила с врачами. И ему приходится ехать домой, потому что у нас нет денег. Мы живем в душных меблированных комнатушках, и здесь не место для папы. Всю жизнь он помогал другим, и теперь пора помочь ему. Его юкатанский «прожект» не прогорел. Он вложил в это дело все, что имел, но его попросту ограбили. Он не мог действовать теми же средствами, что дельцы из Нью-Йорка. Этим объясняется все, и я горжусь им.

Он все смеется надо мной и говорит, что я никогда не смогу поладить с вами. Но я не согласна с ним. И потом, я никогда в жизни не видела ни одного настоящего кровного родственника, а ведь у вас есть дочь. Подумать только! Настоящая живая кузина!

В ожидании встречи Ваша племянница, Бронислава Пласковейцкая-Трэверс.

P. S. Деньги лучше выслать телеграфом, а то вы можете совсем не увидеть папы. Он даже не подозревает, насколько серьезно болен, и если встретит старых друзей, то опять затеет какое-нибудь сумасшедшее предприятие. Он уже начинает поговаривать об Аляске. Говорит, что она вышибет из него все болячки. Вы извините меня, но я вынуждена сообщить вам, что нам предстоит заплатить за пансион, иначе мы приедем без багажа.

Б. П.-Т.»

Фредерик Трэверс открыл дверцу большого, встроенного в стену сейфа и аккуратно сложил письма в отделение под табличкой «Томас Трэверс».

— Бедный Том! Бедный Том! — сказал он со вздохом.

II

Большой автомобиль стоял у вокзала, и Фредерик Трэверс был взволнован, как это случалось с ним всякий раз, когда он слышал далекий гудок паровоза, спускавшегося в долину Айзек Трэверс-ривер. Айзек Трэверс первым из всех на-

правлявшихся на запад белых людей увидел эту великолепную долину, ее богатые рыбой воды, ее плодородные долы и покрытые девственным лесом склоны. А увидев, он вцепился в нее и уже не выпускал из рук.

«Бедолага», — говорили о нем, когда время массового заселения новых земель еще не пришло. Это было в те времена, когда здесь поистощилось золотишко, но еще не было ни дорог, ни буксиров, чтобы перетаскивать суда через опасное мелководье, и его одинокая мельница молола пшеницу под охраной вооруженных стражей, отражавших разбойные наскоки индейцев-кламатов.

Каков отец, таков и сын, и то, что Айзек Трэверс захватил, Фредерик Трэверс удержал. У него была та же цепкая хватка. И оба они были прозорливы. Оба предвидели преображение Крайнего Запада, строительство железной дороги и нового города на тихоокеанском побережье.

Паровозный гудок взволновал Фредерика Трэверса еще и потому, что эта железная дорога была делом его рук. Отец его до самой смерти страстно мечтал о том, чтобы проложить дорогу через горы, но строительство каждой мили такой дороги стоило не менее сотни тысяч долларов. Он, Фредерик, осуществил мечту отца. Ради желез-

ной дороги он работал ночами, подкупал газеты, ввязывался в политические интриги, субсидировал партийные машины и не раз на свой страх и риск ездил обивать пороги у железнодорожных магнатов Востока. Весь округ знал, сколько миль его земли попало в полосу отчуждения железной дороги, но никому в округе и во сне не могло присниться, как много долларов было истрачено на поручительства и приобретение железнодорожных бумаг. Он немало сделал для своего округа, и железная дорога была его последним и самым большим достижением, венцом его деятельности, важным и удивительным делом, завершенным чуть ли не вчера. Железная дорога работала каких-нибудь два года, но дивиденды уже были не за горами, а это являлось высшим доказательством его дальновидности и рассудительности. Не за горами была и более высокая награда. Поговаривали, что имя следующего губернатора Калифорнии будет «Фредерик А. Трэверс».

Двадцать лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел своего старшего брата, да и то после десятилетнего перерыва. Он хорошо помнил ту ночь. Только Том мог рискнуть войти ночью в мелководное устье реки, и в тот раз, под-

гоняемый крепчавшим зюйд-остом, после заката солнца он провел свою шхуну через мелководье и еще до рассвета ушел обратно. И никакого предупреждения о своем приезде: в полночь стук копыт, взмыленная лошадь на конюшне, и Том явился, по словам матери, не стерев с лица брызг соленой морской воды. Он пробыл дома только час и умчался на свежей лошади. Порывисто хлестал по стеклам ливень, в ветвях секвой стонал крепкий ветер, да и самый приезд его остался в памяти, как внезапный и сильный шквал, налетевший из диких просторов.

Неделей позже, пробившись сквозь бурю и мели, прибыло сторожевое таможенное судно «Медведь», а в местной газете появилась заметка, и в ней были высказаны предположения относительно выгрузки большой партии опиума и о тщетных поисках таинственной шхуны «Зимородок». Только Фред, его мать да кое-кто из местных индейцев знали о спрятанной в конюшне лошади, которую потом тайком, окольным путем отвели назад в рыбачью деревушку на побережье.

Несмотря на то, что прошло двадцать лет, из пульмановского спального вагона вышел все тот же Том. Брату он не показался больным. Поста-

рел, конечно. Из-под панамы выбивались седые волосы, и, несмотря на еле уловимую старческую сутулость, могучие плечи его были все еще широки и прямы. При виде же молодой женщины, приехавшей с братом, Фредерика Трэверса вдруг охватило чувство неприязни. Оно было смутным, но довольно ощутимым. Смешно и нелепо, но виной тому было ее отлично сшитое полотняное платье заграничного покроя, вызывающе яркая полосатая блузка, черные непокорные волосы и щегольской пучок маков на соломенной широкополой шляпе. Возможно, его смутила ее броская, яркая внешность: черные глаза и брови, пламенный румянец на щеках, ослепительный блеск ровных зубов, которые она показывала слишком охотно. «Избалованный ребенок», — едва успел подумать он, но брат уже держал его за руку и знакомил с племянницей.

Первое неприятное впечатление подтвердилось. У нее была броская манера говорить, и она жестикулировала. Он не мог не отметить, что у нее очень маленькие руки. Они до смешного малы. Опустив глаза, он увидел такие же маленькие ноги. Не обращая внимания на толпу любопытных, собравшихся на станционной платформе, она остановила Фредерика Трэверса, направив-

шегося было к своему автомобилю, и попросила братьев стать рядом. Улыбавшийся Том подчинился с шутливой покорностью, но его младший брат под взглядами своих сограждан чувствовал себя чрезвычайно неловко. Он признавал только привычную пуританскую манеру поведения. Изъявление родственных чувств было частным семейным делом, а не публичным зрелищем. Хорошо, что она не вздумала поцеловать его. Странно, что она не сделала этого. От нее можно ожидать чего угодно.

Она обняла братьев, заглянула к ним в души сияющим взглядом и словно увидела все, что было у них скрытого, спрятанного, не лежащего на виду.

— А вы действительно братья! — воскликнула она, всплеснув руками. — Это всякий скажет. И все-таки есть различие… Я не знаю только в чем… Это трудно объяснить.

По правде говоря, воздержавшись от объяснения, она проявила такт, до которого было далеко привычноснисходительной сдержанности Фредерика Трэверса. С зоркостью, присущей художникам, она сразу заметила существенное различие. Внешне они были похожи, черты их лиц безошибочно говорили о том, что они из

одного рода, одной семьи, и на этом сходство кончалось. Том был выше дюйма на три, и у него были совершенно седые, длинные, как у викинга, усы. Нос орлиный, как и у брата, но покрупнее, а глаза определенно орлиные. Морщины на лице глубже, скулы покруче, щеки более впалые, загар потемнее. Это было лицо очень энергичного человека. И в преклонные годы оно оставалось живым и подвижным. Только у уголков глаз было больше морщинок, а в самих глазах читался характер более твердый, чем у младшего брата. По манере держать себя Фредерик был буржуа, а в непринужденной осанке Тома ощущалось что-то яркое, оригинальное. В них обоих текла одна и та же кровь пионера Айзека Трэверса, только перегнали ее в различных ретортах. Фредерик был таким, каким и следовало быть потомку Айзека, в Томе же чувствовалось что-то необъятное, неуловимое, что-то не присущее роду Трэверсов. И это заметила и поняла в один миг черноглазая девушка. Все, что было непонятного в этих двух людях и их взаимоотношениях, прояснилось в то мгновение, когда она увидела их рядом друг с другом.

— Как во сне, — говорил Том. — Не верится, что я приехал на поезде. А сколько народу! Тридцать

лет тому назад здесь жило всего четыре тысячи человек.

— А теперь шестьдесят тысяч, — ответил брат. — И с каждым днем становится все больше. Не хотите ли посмотреть город? У нас много времени.

Пока они ехали по широким, хорошо мощенным улицам, Том все разыгрывал из себя Рипа Ван Винкля[11], очнувшегося после многолетнего сна. Увидев порт, он поразился. Там, где когда-то якорь его шлюпа ушел футов на десять в воду, он нашел твердую землю и железнодорожные пути, а причалы и верфи выдвинулись еще дальше в море.

— Погодите! Остановитесь! — воскликнул он, проехав несколько кварталов и увидев массивные здания. — Где мы, Фред?

— Четвертый квартал, разве ты забыл?

Том встал и оглядел все кругом, пытаясь распознать очертания местности под нагромождением зданий.

— Я… мне кажется… — начал он неуверенно. — Нет, я уверен в этом. Здесь мы обычно охотились

---

[11] notes: 11

Рип Ван Винкль — персонаж на сказки американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга (1783 — 1859). Усыпленный волшебным питьем, Рип проспал 20 лет. Проснувшись, он видит мир неузнаваемо изменившимся.

на кроликов и стреляли в зарослях серых дроздов. А там, где сейчас стоит здание банка, был пруд. — Он обернулся к Полли. — Там я построил свой первый плот и впервые хлебнул водички.

— Один бог ведает, сколько ты ее потом нахлебался, — сказал, засмеявшись, Фредерик и кивнул шоферу. — Пожалуй, не меньше бочки.

— Куда там! Больше! — кричала Полли, хлопая в ладоши.

— А там парк, — сказал немного погодя Фредерик, показывая на лесной массив, раскинувшийся на ближнем склоне одного из больших холмов.

— Однажды отец застрелил там трех гризли, — заметил Том.

— Я подарил городу сорок акров этой земли, — продолжал Фредерик. — Отец купил этот участок у Лероя по доллару за акр.

Том кивнул. Как и у дочери, глаза у него загорелись — подобного огня в глазах его брата не появлялось никогда.

— Да, — подтвердил он, — у негра Лероя, что был женат на индианке. Я помню, как он тащил нас с тобой на своем горбу в деревню к дружественному племени в ту ночь, когда индейцы сожгли ранчо, а отец остался и отстреливался.

— Но ему не удалось спасти мельницу. Это

сильно подорвало его дела.

— И все же четырех индейцев он уложил.

В глазах у Полли появился тот же огонек.

— Он сражался с индейцами! — воскликнула она. — Расскажите мне о нем.

— Расскажи ей о Переправе Трэверса, — попросил Том.

— Это была переправа через реку Кламат на пути в Орлеанз Бар и Сискию. В то время там велись большие разработки, и отец, кроме всего прочего, обосновался в тех местах. К тому же на речных террасах была очень плодородная земля. Он построил подвесной мост, доставил с побережья строительные материалы и матросов, и они сплели канаты на месте. Это обошлось ему в двадцать тысяч долларов. В первый же день по мосту прошло восемьсот мулов, отец получил по доллару с головы, кроме того, он брал деньги с каждого всадника и пешехода. Но в ту же ночь река вышла из берегов. Мост был футов на сто сорок выше нормального уровня реки. И все же в паводок вода поднялась еще выше и смыла мост. А то бы отец сразу разбогател.

— Да я совсем не об этом, — нетерпеливо заговорил Том. — Именно там, на Переправе Трэверса, на отца и старого Джейкоба Ванса напала шайка

индейцев с Бешеной Речки. Они убили старого Джейкоба как раз у самой бревенчатой хижины. Отец втащил тело внутрь и отстреливался от индейцев целую неделю. Отец был неплохим стрелком. Он похоронил Джейкоба под полом хижины.

— Я до сих пор еще держу переправу, — продолжал Фредерик, — хотя теперь там не так оживленно, как в старые времена. Я отправляю грузы в фургонах до Резервации, потом на мулах вверх по Кламату, вплоть до притоков Малого Лосося. По дороге на Резервацию у меня теперь двенадцать подстав, а там у меня гостиница. Обслуживание туристов начинает приносить доход.

И девушка с любопытством и задумчиво глядела то на одного, то на другого, пока братья так по-разному говорили о себе и о жизни.

— Да, отец был настоящий человек, — пробормотал Том.

Он сказал это таким вялым тоном, что дочь бросила на него быстрый взгляд, полный беспокойства. Машина повернула к кладбищу и остановилась у массивного склепа на вершине холма.

— Я думал, тебе захочется побывать здесь, —

сказал Фредерик. — Мне пришлось построить большую часть этого мавзолея собственными руками. Мать хотела, чтобы отца похоронили достойно, а имущество было страшно обременено долгами. Я торговался с подрядчиками, но они запросили за постройку не менее одиннадцати тысяч. А мне он обошелся в восемь тысяч с небольшим.

— Ты, должно быть, работал по ночам, — восхищенно пробормотал Том. Голос у него был совсем сонный.

— Работал, Том, и не одну ночь. При свете фонаря. А дел было по горло. Я тогда реконструировал водоснабжение (с артезианскими колодцами ничего не вышло), и мать мучилась с глазами. Помнишь, я писал тебе, у нее была катаракта. Она была так слаба, что не могла поехать к врачам, и я вызвал специалистов из самого Сан-Франциско. Да, работы было по горло. Я как раз ликвидировал убыточную пароходную линию до Сан-Франциско, которую основал отец, и мне приходилось выплачивать проценты по закладной на сумму сто восемьдесят тысяч долларов.

Он замолчал, услышав тихий храп. Том спал, опустив голову на грудь. Полли многозначительно посмотрела на дядю. Потом отец ее беспокойно

заворочался и поднял отяжелевшие веки.

— Чертовски жаркий день, — сказал он с виноватой улыбкой. — Я, кажется, заснул. Нам еще далеко?

Фредерик кивнул шоферу, и машина тронулась.

III

Дом, который Фредерик Трэверс построил, став состоятельным человеком, был большим и дорогим, комфортабельным и удобным, лучшим загородным домом во всем округе. И порядки в нем вполне соответствовали характеру хозяев. Но после приезда брата все в доме переменилось. Спокойному и размеренному образу жизни пришел конец. Фредерик чувствовал себя не в своей тарелке. Началась непривычная суматошная жизнь, заведенный порядок и традиции были нарушены. Садились за стол, когда хотели. Иногда среди ночи разогревали ужин, в самые неподходящие часы суток вдруг раздавались взрывы смеха.

Фредерик был воздержанным человеком. Самое большое безрассудство, которое он мог позволить себе, — это стакан вина за обедом. Он выкуривал три сигары в день и делал это либо на

широкой веранде, либо в курительной комнате. Для чего же еще существует курительная комната? Сигареты вызывали у него отвращение. А брат его то и дело сворачивал тонкие сигареты и курил их, где придется. Большое удобное кресло, в котором он любил сидеть, и подушки диванов были усыпаны табачной крошкой. И потом эти коктейли! Воспитанный в строгом духе Айзеком и Элизой Траверс, Фредерик считал употребление спиртных напитков в доме просто неприличным. Именно за это господь покарал древние города. А Том перед ленчем и обедом неизменно смешивал бесчисленное множество разных коктейлей, причем с помощью Полли, которая поощряла его возлияния. Она поистине была знатоком приготовления этих сногсшибательных смесей, рецепты которых она изучила бог знает где. Временами Фредерику казалось, что его буфетная и столовая превратились в бары. Когда он вроде бы в шутку сказал об этом Тому, тот заявил, что если бы ему удалось сколотить состояние, он завел бы по винному погребку в каждой комнате дома.

В доме стало бывать гораздо больше молодых людей, чем раньше, и они помогали разделываться с коктейлями. Фредерик рад был бы объяснить их посещение именно этим обстоятельством,

но он знал истинную причину. Брат и его дочь сделали то, что не могли сделать ни он сам, ни Мэри. Они притягивали людей, словно магниты. Вокруг них всегда были юность, радость, смех. Дом заполнила молодежь. В любое время дня и ночи на усыпанных гравием подъездных аллеях гудели автомобили. В теплые летние дни устраивались пикники и экскурсии, в лунные ночи катание на яхтах по заливу, иногда все уходили перед рассветом и возвращались за полночь, и часто в доме ночевало столько народу, как никогда раньше. Тому надо было посетить все места, где он бродяжил мальчишкой, поймать форель в Булл-Крике, подстрелить перепелку в прерии Уолкотта, добыть оленя на горе Раунд. Когда Фредерик думал об этом олене, ему было стыдно и больно. А что, если сезон кончился? Торжествующий Том привез оленя домой и нарек его сухопутным лососем, когда его подали к столу Фредерика.

Они устраивали пикники на морском берегу у самой пены ревущего прибоя, варили различные кушанья из мидий и других моллюсков. Однажды Том без всякого зазрения совести стал рассказывать о «Зимородке», о контрабанде и вдруг при всех спросил Фредерика, как ему удалось прове-

сти к рыбакам их лошадь и не засыпаться.

Все молодые люди словно сговорились с Полли и баловали Тома, исполняя любую его прихоть. Они рассказали Фредерику, как действительно был убит олень, как они купили его в переполненном заповеднике Золотых Ворот, как доставили его в клетке сначала на поезде, а потом на лошадях и мулах в девственные леса горы Раунд, как Том уснул в засаде у оленьей тропы, когда первый раз выпустили оленя, как молодые люди, загоняя лошадей, пробираясь сквозь заросли и падая, настигли и связали оленя в Бэрнт Рэнч Клиэринг и наконец как все ликовали, когда выпустили оленя во второй раз и Том свалил его с расстояния ярдов в пятьдесят. От всего этого на душе Фредерика было нехорошо. Разве ему когда-нибудь оказывали подобное внимание?

Бывали дни, когда Том не мог выходить на улицу и эскапады на вольном воздухе откладывались. Но и тогда он оставался в центре внимания. Том дремал в большом кресле. Изредка пробуждаясь, он непринужденно шутил, скручивал сигарету и просил принести укулеле — что-то вроде миниатюрной гитары, изобретенной португальцами. Потом, небрежно положив зажженную сигарету прямо на полированную поверхность стола, он,

бренча и постукивая, начинал напевать своим сочным баритоном хулы южных морей и веселые французские или испанские песенки.

Одна из них поначалу особенно нравилась Фредерику. Том объяснил, что это любимая песня таитянского короля — последнего из Помаре, который сам сочинил ее и имел обыкновение часами лежать на циновках и напевать. Она состояла из нескольких повторявшихся слогов: «Э меу ру ру а вау», — но они звучали величественно, протяжно, каждый раз по-новому, под аккомпанемент торжественных звуков, извлекаемых из укулеле.

Полли с великой радостью научила этой песенке дядю, но когда он сам попытался блеснуть в общем веселье и запел ее, то заметил, что некоторые слушатели сначала прятали улыбки, а потом стали хихикать и наконец разразились смехом. К своему ужасу, он узнал, что повторяющаяся вновь и вновь простенькая фраза означала не что иное, как «Я так пьян». Из него сделали посмешище. Вновь и вновь, торжественно и горделиво он, Фредерик Трэверс возглашал, как он пьян. И потом всякий раз, когда ее запевали, он незаметно выходил из комнаты. И даже когда Полли объяснила ему, что последнее слово озна-

чает «счастлив», а не «пьян», он все равно не мог успокоиться, потому что ей пришлось признать, что старый король и в самом деле был пьяницей и распевал эту песенку, когда был навеселе.

Фредерика все время угнетало чувство, будто он чужой в своем собственном доме. Он был общительный человек и любил развлечения, но, разумеется, более здоровые и достойные, чем те, которым предавался его брат. Он не мог понять, почему прежде молодые люди считали его дом скучным и никогда не посещали его, за исключением тех случаев, когда здесь устраивались какие-либо торжества или официальные приемы, теперь же они все бывали в его доме, но приходили они не к нему, а к брату. Не мог он примириться и с тем, что молодые женщины вели себя с братом весьма непринужденно и звали его запросто — Томом. Невыносимо было глядеть, как они, притворно сердясь, крутили и дергали его пиратские усы, когда до них доходил смысл его иногда слишком рискованных, хотя и добродушных шуток.

Такое поведение оскверняло память Айзека и Элизы Трэверс. К тому же в доме слишком часто пировали. Стол никогда не сдвигался, а на кухню пришлось взять еще одну кухарку. Зав-

трак, затягивающийся до одиннадцати, ужины ночью, налеты на буфетную, жалобы слуг — все это раздражало Фредерика. Будто ресторан или гостиница, с горькой усмешкой говорил он себе и временами испытывал жгучее желание топнуть ногой и возродить старые порядки. Но он как-то все не мог выйти из-под власти чар своего обаятельного брата; иногда он взирал на него почти с чувством благоговейного трепета. Фредерик старался познать секрет очарования, и его приводили в смятение и блеск глаз брата и его мудрость, почерпнутая в скитаниях по дальним странам в бурные ночи и дни, оставившие свой след на его лице.

Что же это такое? Какие чудесные видения являлись ему, беспечному? Фредерик вспомнил строчку из старинной песни: «Он идет сияющей дорогой». Почему, думая о брате, он вспомнил эту строчку? А вдруг и вправду он, который в детстве просто не знал никаких законов, а когда подрос, наплевал на них, нашел эту сияющую дорогу?

Такая несправедливость угнетала Фредерика, пока он не нашел утешения в мысли, что жизнь Тому в общем-то не удалась. И в такие дни он несколько успокаивался и тешил свое тщеславие тем, что показывал Тому свои владения.

— Ты неплохо поработал, Фред, — говаривал Том. — Ты хорошо поработал.

Он говорил это часто и часто засыпал в большой, плавно идущей машине.

— Кругом порядок и стерильная чистота, все новенькое, как с иголочки. Каждая травинка на своем месте, — заметила Полли. — Как вам это удается? Не хотела бы я быть травинкой на вашей земле, — заключила она, едва заметно передернув плечами.

— Тебе немало пришлось поработать, — сказал Том.

— Да, поработал я немало, — согласился Фредерик. — Но дело стоило того!

Он собирался сказать что-то еще, но, заметив странное выражение глаз девушки, почувствовал себя неловко и промолчал. Он чувствовал, что она оценивает его, бросает ему вызов. Впервые его почетная работа по созданию благосостояния округа была поставлена под сомнение и кем — какой-то девчонкой, дочерью расточителя, ветреным созданием иностранного происхождения.

Конфликт между ними был неизбежен. Он невзлюбил ее с первого взгляда. Даже если она молчала, уже само ее присутствие стесняло его. Он постоянно чувствовал ее молчаливое неодоб-

рение, но иногда она не ограничивалась этим. И говорила без обиняков. Она высказывалась откровенно, по-мужски, хотя ни один мужчина не осмеливался говорить с ним в таком тоне.

— Интересно знать, вы когда-нибудь сожалели о том, что прошло мимо вас? — говорила она ему. — Вы хоть раз в жизни давали волю своим чувствам? Совершили хоть один опрометчивый поступок? Вы хоть раз напились допьяна? Или накурились до одурения? Или отплясывали на десяти заповедях? Или становились на задние лапы и подмигивали богу, как доброму приятелю?

— Ну, не хороша ли! — рокотал Том. — Вся в мать.

Внешне Фредерик был спокоен и даже улыбался, но сердце его сжималось от ужаса. Все это было слишком неправдоподобным.

— Кажется, у англичан, — продолжала она, — есть поговорка, что тот еще не мужчина, кто не поцеловал любимую женщину и не ударил врага. Сомневаюсь — ну, признайтесь же, — что вы ударили хоть одного человека.

— А вы? — спросил он, в свою очередь.

Она вспомнила что-то, глаза ее стали злыми. Она кивнула и ждала, что скажет он.

— Нет, я никогда не имел удовольствия, — мед-

ленно проговорил он. — Я рано научился владеть собой.

Позже, выслушав его рассказ о том, как он скупал рыбу у индейцев, развел устриц в заливе и установил выгодную монополию на их добычу, как после многолетней борьбы, вконец измотанный тяжбой, он прибрал к рукам район порта, а следовательно, и торговлю лесом, она, раздраженная его самодовольством, снова перешла в атаку.

— Вы, кажется, расцениваете жизнь только с точки зрения прибылей и убытков, — сказала она. — Интересно, любили вы когда-нибудь?

Стрела попала в цель. Он никогда не целовал любимой женщины. Его женитьба была сделкой. В те дни, когда он терпел поражение за поражением, пытаясь отстоять обширные владения, которые были захвачены загребущими руками Айзека Трэверса, женитьба поправила его дела. Эта девчонка — ведьма. Так разбередить старую рану! Но ему некогда было любить. Он много работал. Он был председателем торговой палаты, мэром города, сенатором штата, но он не знал любви. Иногда он видел, как Полли открыто, без малейшего стеснения льнет к отцу, и замечал, с какой теплотой и нежностью они смотрят друг

на друга. Экстравагантное зрелище, ничего подобного он и Мэри не допускали даже наедине. И он снова чувствовал, что любовь прошла мимо. Обыкновенная, суховатая и бесцветная, Мэри была именно тем отпрыском, который и следовало ожидать от брака без любви. Он даже не мог сказать наверняка, является ли то чувство, которое он к ней испытывал, любовью. И любят ли его самого?

После тех слов Полли он почувствовал большую душевную пустоту. У него было такое ощущение, словно он оказался на пепелище. Тут он увидел сквозь открытую дверь Тома, спавшего в большом кресле, седого, старого и усталого. И вспомнил все, что было сделано, все, чем владел. А чем владел Том? Что сделал Том? Рисковал жизнью и прожигал ее, пока не осталась только эта тускло мерцающая искорка в умирающем теле.

Странная вещь, Полли отталкивала и в то же время привлекала Фредерика. Его собственная дочь никогда не вызывала у него таких эмоций. Мэри шла проторенным путем, и предвидеть ее действия было очень просто. Но Полли! Сколько настроений, какой переменчивый характер! Никогда не догадаешься, какую штуку она может выкинуть.

— Твердый орешек, а? — посмеивался Том.

Она была неотразима. Она вела себя с Фредериком настолько своевольно, что будь на ее месте Мэри, такое поведение было бы просто немыслимым. Она позволяла себе вольности, подшучивала над ним, задевала за больные места, и он не мог не думать о ней.

Однажды после одной стычки она поддразнивала его, играя на пианино какую-то неистовую, бравурную вещь, которая волновала и раздражала, заставляя бешено биться пульс, а его дисциплинированный мозг — рождать фантастические образы. Но хуже всего было то, что она видела и знала, что делает. Она поняла его настроение раньше, чем он сам, и это было видно по ее лицу, обращенному к нему, по задумчивой и почти снисходительной усмешке. Именно это заставило его болезненно осознать, что творилось в его распаленном воображении.

На стене, у которой стояло пианино, висели портреты Айзека и Элизы Трэверс. Они с чопорным видом укоризненно взирали на все происходившее. Фредерик разозлился и вышел из комнаты. Он не представлял себе, что в музыке может таиться такая сила. А потом он со стыдом вспоминал, что тотчас же украдкой вернулся и

стал слушать игру Полли из другой комнаты, а она знала это и вновь принималась дразнить его.

Когда Мэри спросила его, что он думает об игре Полли, в голову пришло невольное сравнение. Музыка Мэри чем-то напоминала ему церковь. Она была холодна и проста, как молитвенный дом методистов. А музыка Полли была похожа на неистовый, необузданный обряд, совершаемый в каком-нибудь языческом храме, где курится фимиам и извиваются танцовщицы.

— Она играет, как иностранка, — сказал он, довольный тем, что так удачно уклонился от прямого ответа.

— Она настоящая артистка, — серьезно сказала Мэри. — Она гениальна. А ведь она никогда не упражняется. Никогда. Ты знаешь, как много работаю я. Мое самое лучшее исполнение — упражнение для пяти пальцев по сравнению с любым пустячком, который она наигрывает на пианино. Ее музыка рассказывает мне о чем-то невыразимо чудесном. Моя говорит мне «раз-два-три», «раз-два-три». Можно сойти с ума. Я работаю, работаю и не могу ничего добиться. Это несправедливо. Почему она родилась такой, а не я?

«Любовь» — была первой тайной мыслью Фредерика, но не успел он обдумать свою догадку, как случилось нечто совсем уж немыслимое прежде: Мэри разрыдалась. Ему захотелось утешить ее, как это делал Том, но он почувствовал, что не умеет. Он попытался обнять Мэри и обнаружил, что она так же непривычна к ласке, как и он. И оба они не ощутили ничего, кроме неловкости.

Неизбежно напрашивалось сравнение двух девушек. Каков отец, такова и дочь. Мэри была всего лишь невзрачным штатским в свите блистательного властного генерала. Бережливость Фредерика научила его весьма тонко разбираться в вопросах одежды. Он знал, какие дорогие туалеты носит Мэри, и в то же время не мог не заметить, что привезенные Полли из дальних странствий дешевые и приобретенные по случаю вещи всегда превосходно сидели на ней и имели куда больший успех у окружающих. У нее был безошибочный вкус. Она неподражаемо носила шаль, а с обыкновенным шарфом творила чудеса.

— Она надевает что попало, — жаловалась Мэри. — Даже не примеряет и может одеться за пятнадцать минут. А когда она идет купаться, то все молодые люди высыпают из раздевалок,

чтобы полюбоваться ею.

Мэри откровенно восхищалась Полли, что было совсем не в ее характере.

— Не могу понять, как у нее получается это. Никто бы не осмелился носить такие цвета, а ей они к лицу.

— Она все время грозилась заняться шитьем дамских туалетов и содержать нас обоих, когда я окончательно разорюсь, — вставил Том.

Как-то Фредерик, наблюдая поверх газеты, стал свидетелем сцены, которая объяснила ему многое; он-то наверняка знал, что Мэри провела у зеркала не менее часа перед тем, как появиться.

— Как мило! — откровенно восхитилась Полли. Она всплеснула руками и вся засияла от удовольствия. — Но почему бы не приколоть этот бант сюда, вот так?..

Несколько прикосновений, и даже Фредерик заметил чудесную перемену в туалете.

Полли, как и ее отец, до нелепости щедро раздаривала свои скудные пожитки. Мэри пришла в восхищение от веера — ценной мексиканской безделушки, некогда принадлежавшей одной из фрейлин двора императора Максимилиана. Полли вся так и засветилась от удовольствия. Мэри немедленно стала обладательницей веера,

и к тому же ее почти убедили, что перед ней останутся в неоплатном долгу, если она примет этот подарок. Только иностранка могла позволить себе нечто подобное, а Полли была повинна в том, что делала такие же подарки всем молодым женщинам. Такова уж была она. Иногда это был кружевной платочек, розовая жемчужина с Паумоту или черепаховый гребень. Казалось, все вещи для нее имели одинаковую ценность. На чем бы ни останавливались восхищенные взгляды женщин, они тотчас же получали понравившийся предмет. И женщины, как и мужчины, не чаяли в ней души.

— Я теперь боюсь чем-либо восхищаться, — сетовала Мэри. — Она сразу же делает мне подарок.

Фредерик даже не представлял себе, что может существовать подобное создание. Среди женщин его круга нельзя было встретить такую. Что бы она ни делала — дарила ли вещи, горячо радовалась или злилась, ласкалась ли, как кошечка, — все это было невероятно искренним. Ее экстравагантные порывы шокировали и в то же время пленяли Фредерика. Ее живой голосок был зеркалом ее души. Она не могла говорить спокойным тоном и постоянно жестикулировала. И все же в

устах ее английский язык становился каким-то новым, красивым и кристально чистым. Она говорила так броско и выразительно, а ее речь передавала все оттенки и нюансы явлений с такой точностью и непосредственностью, какую трудно было ожидать от этого полуребенка. Он просыпался по ночам, и на темном фоне закрытых век всплывало ее повернутое к нему оживленное, веселое личико.

IV

Какова дочь, таков и отец. Том тоже был неотразим. Его не забывали, и время от времени со всех концов света к нему прибывали какие-то удивительные вестники. В доме Трэверсов сроду не бывало таких гостей. У иных походка напоминала о морской качке, некоторые выглядели отъявленными головорезами, другие были изнурены лихорадкой и прочими болезнями, и у всех был какой-то странный, диковинный вид. И говорили они на каком-то диковинном жаргоне о таких вещах, которые Фредерику и не снились, и он не ошибался, принимая этих людей за вольных птиц, искателей приключений и авантюристов. Не могло не броситься в глаза, с какой любовью и уважением они относятся к своему

вожаку. Они называли его по-разному: Черным Томом, Блондином, Крепышом Трэверсом, Мэйльмьютом-Томом, Томом — Быстрой Водой, но для большинства из них он был просто Капитан Том.

Их планы и предложения были тоже разными. Торговец с Южного моря предлагал отправиться на открытый им остров, богатый гуано; латиноамериканец призывал принять участие в назревавшей революции. Тома звали искать золото в Сибири и в верховьях Кускоквима, ему предлагали даже заняться такими темными делишками, о которых говорили только шепотом.

Но Капитан Том с сожалением ссылался на временное недомогание, которое мешало ему немедленно отправиться с ними в путь, и продолжал дремать в своем большом кресле, с которого он поднимался теперь все реже и реже. А Полли с фамильярностью, коробившей ее дядю, отводила этих людей в сторону и обиняками давала понять, что Капитан Том уже больше никогда не ступит на сияющую дорогу.

Но не все они приходили с планами. Многие из них приезжали лишь для того, чтобы отдать долг любви и уважения тому, кто когда-то, в незабываемые дни, был их вожаком, и Фредерик, становясь иногда свидетелем их встреч, удив-

лялся вновь и вновь тому загадочному обаянию, которое привлекало людей к его брату.

— Клянусь черепахами Тасмана! — восклицал один из них. — Когда я услышал, что вы в Калифорнии, Капитан Том, я тотчас решил ехать, чтобы пожать вам руку. Я думаю, вы не забыли Тасмана, а? Помните, как он дрался на острове Четверга? И подумайте... старый Тасман убит своими неграми в прошлом году, когда шел в немецкую Новую Гвинею. Помните его кока? Нгани-Нгани? Тасман доверял ему, как себе, а этот негодяй зарезал его.

— Познакомься с капитаном Карлсеном, Фред, — представлял Том другого посетителя. — Он меня выручил из одной переделки на Западном Берегу. Не окажись вы поблизости, Карлсен, мне была бы крышка.

Капитан был неуклюжим гигантом с пронзительным взглядом бледно-голубых глаз, с большим шрамом от сабельного удара поперек рта, которого не могла скрыть даже густая ярко-рыжая борода. Он так крепко стиснул руку Фредерика, что лицо того перекосилось от боли.

Несколько минут спустя Том отвел брата в сторону.

— Послушай, Фред, тебе не трудно будет дать

мне в долг тысчонку?

— Конечно, нет, — торжественно сказал Фредерик. — Ты же знаешь, половина всего, что я имею, принадлежит тебе, Том.

И когда капитан Карлсен отбыл, Фредерик не сомневался, что тысяча долларов отбыла вместе с ним.

Не удивительно, что Тому не повезло в жизни и… он приехал домой умирать. Фредерик сидел за своим опрятным письменным столом и думал о том, какие они с братом разные. Да, но если бы не он, Фредерик, то не было бы дома и Тому некуда было бы приезжать умирать.

Фредерик погрузился в воспоминания: он искал утешения в истории их взаимоотношений. Это он, Фредерик, всегда был надежной опорой семьи. А Том еще в детстве был весельчаком и сорви-головой, он пропускал занятия в школе и не слушался Айзека. Он шатался по горам, пропадал на море, вечно у него были неприятности с соседями и городскими властями — словом, он поспевал повсюду, но только не туда, где требовалось выполнять тяжелую, нудную работу. А в те дни, когда здесь была лесная глушь, работы было по горло и эту работу делал он, Фредерик. Он трудился от зари до зари. Он хорошо помнит

то лето, когда провалилось очередное грандиозное предприятие Айзека, когда владельцу сотни тысяч акров земли почти нечего было есть, когда не было денег, чтобы нанять людей косить сено, и когда Айзек все же не выпустил из рук ни единого акра. Айзек сам косил сено и сгребал, а он, Фредерик, копнил его. Том в это время валялся в постели со сломанной ногой и наращивал счет от доктора. Он упал с крыши амбара — места, самого неподходящего для уборки сена. Том, как казалось Фредерику, только тем и занимался, что снабжал семью олениной и медвежатиной, объезжал молодых лошадей да с шумом гонялся за дичью по пастбищам и поросшим лесом каньонам со своими собаками, натасканными на медведя.

Том был старшим, но если бы он, Фредерик, после смерти Айзека не впрягся в работу и не взвалил на себя все бремя забот, имение, у которого были такие большие перспективы, пошло бы с молотка. Работа! Он помнит расширение городского водного хозяйства. Как он лавировал и выкручивался из финансовых затруднений, беря небольшие займы под разорительные проценты, как он укладывал и свинчивал трубы при свете фонаря, пока рабочие спали, а потом вставал

раньше них и ломал голову, где бы достать денег, чтобы выплатить им следующую получку! Он поступал так, как поступал бы старый Айзек. Он не мог позволить, чтобы все пошло прахом. Будущее оправдывало все труды.

А Том в это время со сворой псов рыскал по горам и неделями не ночевал дома. Фредерик помнил последний разговор на кухне, который вели Том, он и Элиза Трэверс, все еще сама готовившая и мывшая грязную посуду, хотя их имущество, судя по закладным, оценивалось в сто восемьдесят тысяч долларов.

— Не надо делиться, — умоляла Элиза Трэверс, давая отдых своим изъеденным мылом и распаренным рукам. — Айзек был прав. Земля будет стоить миллионы. Край расцветает. Нам нужно держаться вместе.

— Мне ничего не надо, — горячился Том. — Пусть все достается Фредерику. Я хочу лишь…

Он не закончил фразы, глаза его сияли, словно он уже видел перед собой весь мир.

— Я не могу ждать, — продолжал он. — Ты можешь взять себе миллионы, когда они появятся. А пока дай мне десять тысяч. Я подпишу бумагу, в которой откажусь от всего имущества. И дай мне старую шхуну. Когда-нибудь я вернусь с кучей

денег и помогу тебе.

Фредерик вспоминал, как в тот далекий день сам он в ужасе воздевал руки и кричал:

— Десять тысяч! Сейчас, когда я разрываюсь на части, чтобы достать деньги и выплатить процент по закладным.

— За зданием окружного управления есть участок земли, — настаивал Том. — Я знаю, что банк купит его за десять тысяч долларов.

— Но через десять лет за него дадут сто тысяч, — возразил Фредерик.

— Пусть будет так. Считай, что я отказываюсь от всего за сто тысяч. Продай участок за десять и дай мне их. Это все, что мне надо, но я хочу иметь деньги сейчас. Можешь взять себе остальное.

И Том, как обычно, настоял на своем (причем участок был заложен, а не продан) и уплыл на старой шхуне, благословляемый городом, потому что забрал с собой в качестве команды половину портового отребья.

Обломки шхуны были найдены на побережье Явы. Это случилось тогда, когда Элизе Трэверс делали глазную операцию, и Фредерик не говорил ей ничего, пока не получил несомненных доказательств того, что Том жив.

Фредерик полез в свой архив и выдвинул

ящик с наклейкой «Томас Трэверс». В нем лежали аккуратно сложенные конверты. Он стал просматривать письма. Они были отовсюду: из Китая, Рангуна, Австралии, Южной Африки, Золотого Берега, Патагонии, Армении, Аляски. Том писал скупо и нерегулярно, и письма олицетворяли собой его кочевую жизнь. Фредерик припомнил наиболее выдающиеся события из жизни брата. Том сражался во время каких-то волнений в Армении, потом был офицером в китайской армии, а позже вел в Китайском море какие-то дела, явно незаконные. Его поймали, когда он доставлял оружие на Кубу. Кажется, он всегда доставлял куда-то что-то такое, чего не следовало доставлять. И он так и не отказался от этой дурной привычки. В одном письме, написанном на смятом клочке папиросной бумаги, говорилось, что во время русско-японской войны его поймали, когда он доставлял уголь в Порт-Артур, и отправили в Сасебо, где призовой суд конфисковал его пароход и присудил к тюремному заключению до конца войны.

Фредерик улыбался, читая такие строки: «Как идут твои дела? Дай мне знать в любое время, выручат ли тебя несколько тысяч?» Фредерик взглянул на дату: «18 апреля 1883 года». Потом

он раскрыл другой конверт. «5 мая 1883 года» было написано на листке, который он вынул из конверта. «Пять тысяч дадут мне возможность снова встать на ноги. Если ты можешь это сделать и если ты любишь меня, пришли их пронто — по-испански это значит „срочно“.

Фредерик снова посмотрел на даты. Было очевидно, что где-то между 18 апреля и 5 мая Том потерпел крах. Горько усмехнувшись, Фредерик пробежал еще одно письмо: «У острова Мидуэй произошло кораблекрушение. Затонуло целое богатство, а ты знаешь, что за спасение имущества полагается вознаграждение. Аукцион через два дня. Вышли телеграфом четыре тысячи».

В последнем письме, которое прочел Фредерик, говорилось: «Я мог бы успешно провернуть одно дело, имея небольшую сумму наличными. Уверяю тебя, дело большое. Такое большое, что я даже не решаюсь сказать тебе, какое». Фредерик помнил это дело — революцию в одной из стран Латинской Америки. Он тогда послал наличные, и Том успешно употребил их на то, чтобы попасть в тюремную камеру и заработать смертный приговор.

У Тома всегда были добрые намерения, этого отрицать нельзя. И он всегда со скрупулезной

точностью присылал свои расписки. Фредерик прикинул на руке, сколько весит пачка расписок, словно хотел определить, нет ли какой-либо зависимости между весом бумаги и суммами, которые на ней написаны.

Он поставил ящик на место и вышел из кабинета. Он увидел большое кресло и Полли, выходившую на цыпочках из комнаты. Голова Тома запрокинулась, дыхание было слабым и частым, на обмякшем лице явственно проступили следы болезни.

V

— Я много работал, — оправдывался Фредерик в тот же вечер, когда они с Полли сидели на веранде, и невдомек ему было, что если человек начинает оправдываться, то это признак того, что он теряет уверенность в своей правоте. — Я сделал все, что было в моих силах. Хорошо ли, пусть скажут другие. Свое я получил сполна. Я позаботился о других, ну, и о себе тоже. Доктора говорят, что никогда не видели такого здорового человека моих лет. Я прожил всего полжизни, у нас, Трэверсов, долголетие в роду. Я берег себя, и вот, как видите, результат. Я не прожигал жизни. Я берег свое сердце и кровеносные сосуды,

а много ли найдется людей, которые могли бы похвастаться тем, что сделали больше меня? Поглядите на эту руку. Крепкая, а? Она будет такой же крепкой и через двадцать лет. Нельзя безответственно относиться к своему здоровью.

И Полли сразу поняла, какое обидное сравнение кроется за его словами.

— Вы получили право писать перед своим именем слово «почтенный», — гордо сказала она, покраснев от негодования. — А мой отец был великий человек. Он жил настоящей жизнью. А вы жили? Чем вы можете похвастаться? Акциями и бонами, домами и слугами… Фу! Здоровым сердцем, отличными сосудами, крепкой рукой… и это все? А вы жили просто так, ради самой жизни? Знали страх смерти? Да я лучше пущусь во все тяжкие и пропаду ни за грош, чем жить тысячу лет, постоянно заботясь о своем пищеварении и боясь промочить ноги. От вас останется пыль, а от моего отца — пепел. В этом разница.

— Но, мое дорогое дитя… — начал было он.

— Чем вы можете похвастаться? — горячо продолжала Полли. — Послушайте!

Со двора через открытое окно доносилось бренчание укулеле и веселый голос Тома, напевавший хулу. Она кончалась страстным любовным

призывом, словно донесшимся из чувственной тропической ночи. Послышался хор молодых голосов, просивших спеть что-нибудь еще. Фредерик молчал. Он смутно осознавал, что в этом действительно было что-то значительное.

Обернувшись, он взглянул в окно на Тома, гордого и величественного, окруженного молодыми людьми и женщинами; из-под его висячих усов торчала сигарета, которую он прикуривал от спички, зажженной одной из девушек. Фредерик почему-то подумал, что сам он никогда не прикуривал сигару от спички, которую держала рука женщины.

— Доктор Тайлер говорит, что ему не следует курить… это очень вредно в его состоянии, — сказал он, и это было все, что он мог сказать.

С осени того же года дом стали часто посещать люди нового типа. Они гордо называли себя «старожилами» на Аляске, с золотых приисков которой они прибывали в Сан-Франциско отдохнуть на зиму. Их прибывало все больше и больше, и они завладели большей частью номеров одной из гостиниц в центре города. Капитан Том слабел на глазах и почти не покидал большого кресла. Он спал все чаще и продолжительней, но когда бы он ни просыпался, его тотчас окружала свита

молодых людей, или подсаживался какой-нибудь приятель и начинался разговор о прежних золотых денечках, или строились планы на будущие золотые денечки.

Том (Крепыш Трэверс, как звали его юконцы) никогда не думал о приближавшейся кончине. Он называл свою болезнь временным недомоганием, вполне естественным после продолжительного приступа лихорадки, которую он подцепил на Юкатане. Весной все как рукой снимет. Морозец — вот что ему нужно. Просто кровь на солнце перегрелась. А пока к этому надо относиться спокойно и хорошенько отдохнуть.

И никто не выводил его из этого заблуждения — даже юконцы, которые непринужденно курили трубки и дрянные сигары и жевали табак на широких верандах Фредерика, тогда как сам он чувствовал себя незваным гостем в собственном доме. С ними у него не было ничего общего. Они считали его чужаком, присутствие которого надо терпеть. Они приходили к Тому. И их отношение к нему вызывало у Фредерика чувство беззлобной зависти. День за днем он наблюдал за ними. Он видел, как юконцы встречались, когда один из них бывало выходил из комнаты больного, а другой собирался войти. За дверью они молча

и серьезно обменивались рукопожатием. В глазах вновь пришедшего читался немой вопрос, а вышедший от больного сокрушенно покачивал головой. И не раз Фредерик видел, как глаза обоих наполнялись слезами. Потом вновь прибывший входил, пододвигал стул к креслу Тома и бодрым голосом приступал к обсуждению плана экспедиции к верховьям Кускоквима, потому что именно туда по весне собирался отправиться Том. Собак можно достать в Лараби, причем чистокровных, в жилах которых не текло ни капли крови изнеженных южных пород. Говорили, что сторона та очень суровая, но уж если старожилы не смогут добраться туда от Лараби за сорок дней, интересно посмотреть, как чечако, новички, справятся с этим за шестьдесят.

Так проходили дни. Фредерик мучительно думал, найдется ли хоть один человек в его округе, не говоря уже о соседнем, который будет сидеть у его постели, когда придет время умирать ему самому.

Фредерик сидел в своем кабинете, в открытые окна вплывали клубы крепкого табачного дыма, и он не мог не слышать обрывки разговоров, которые вели между собой юконцы.

— Помните золотую лихорадку на Койокуке в

начале девяностых годов? — говорил один из них. — Ну так вот, мы с ним были тогда партнерами. Торговали и еще кое-чем занимались. У нас был шикарный маленький пароходик, назывался он «Рябой». Так Трэверс окрестил его, название и пристало. Он человек со странностями. Вот мы, как я уже говорил, битком набили свой пароходишко всяким грузом и отправились вверх по Койокуку. Я работал за кочегара и машиниста, он стоял у руля, и оба мы были за палубных матросов. Время от времени мы приставали к берегу и заготавливали дрова. Была осень, на реке уже появилось сало, вот-вот должен был начаться ледостав. А мы, понимаете ли, были аж за Полярным кругом и шли все дальше к северу. Там было двести человек золотоискателей, и если бы они остались на зимовку, им нечего было бы жрать, а мы как раз везли им припасы.

И вот, значит, довольно скоро они стали проплывать мимо нас вниз по реке на лодках и плотах. Они подались назад. Мы считали их. Когда проплыло сто девяносто четыре человека, мы решили, что дальше идти не стоит, развернулись и пошли вниз. Вдруг похолодало, вода стала быстро спадать, и мы, черт побери, сели на мель. Как шли вниз по течению, так и врезались. «Рябой»

завяз накрепко. Никак не могли мы его сдвинуть с места. «Это позор

— оставлять неизвестно кому столько жратвы», — сказал я, когда мы сели в лодку, чтобы плыть дальше. «Давай останемся и съедим ее», — сказал он. И черт меня побери, если мы так и не сделали. Мы зазимовали прямо на «Рябом», охотились, торговали с индейцами, и, когда следующей весной реку вскрыло, мы привезли с собой одних шкур на восемь тысяч долларов. Провести вдвоем, с глазу на глаз, всю зиму — это не шутка. И, представьте, ни разу не поругались. Мне в жизни никогда не попадался партнер с таким хорошим характером. Но когда дело доходит до драки…

— Точно! — послышался другой голос. — Я помню ту зиму, когда Жирный Джонс хвалился, что выкинет нас с Сороковой Мили. Только не пришлось ему… Не успел он вякнуть второй раз, как нарвался на Крепыша Трэверса. Это было в «Белом Олене». «Я волк!» — вопит Джонс. Ты помнишь его: за поясом пистолет, мокасины с бахромой и длинные волосы до пояса. «Я волк, — вопит он, — и выть здесь разрешается только мне. Ты слышишь меня, тощая подделка под человека?» И это он… Трэверсу.

— Ну? — спросил другой голос.

— Секунды через полторы Жирный Джонс уже лежит на полу, а Крепыш сидит на нем и вежливо просит, чтобы кто-нибудь подал ему нож. Но он только начисто отрезал длинные волосы Жирного Джонса. «Теперь вой, черт тебя побери, вой!» — сказал Крепыш и встал.

— Горячий-то он горячий, а когда надо, откуда только выдержка берется, — снова сказал первый голос. — Я видел, как он в «Маленькой Росомахе» проиграл в рулетку девять тысяч за два часа, а потом занял немного денег, тут же отыграл их назад, потом заказал всем выпивку и расплатился наличными — и все это было, черт меня побери, за каких-нибудь пятнадцать минут.

Однажды вечером Том был в особенно приподнятом настроении, и Фредерик, присоединившийся к кружку восхищенных молодых слушателей, сидел и внимал полусерьезному-полушутливому повествованию брата о ночном кораблекрушении у острова Блэнг, о том, как Тому пришлось добираться вплавь до берега и как акулы слопали половину команды, о большой жемчужине, которую Десай успел прихватить с собой, об украшенном отрубленными головами частоколе, окружавшем соломенный дворец, в котором жила королева-малайка вместе со своим

супругом, спасшимся после кораблекрушения китайцем, о борьбе за обладание жемчужиной Десая, о неистовых оргиях и плясках под покровом первобытной ночи, о неожиданных опасностях и смерти, о любви королевы к Десаю и о любви Десая к дочери королевы, о том, как Десая с перебитыми ногами и руками, но еще живого, бросили на рифы во время отлива, чтобы его сожрали акулы, о разразившейся эпидемии чумы, о гуле тамтамов и заклинаниях шаманов, о побеге кабаньими тропами, где на каждом шагу человека подстерегали волчьи ямы, через горную страну обитателей зарослей и, наконец, о том, как ему на выручку пришел Тасман, тот самый Тасман, которого зарезали лишь в прошлом году и чья голова покоится в каком-то недоступном меланезийском уголке. В рассказе Тома все было овеяно страстностью, отрешенностью и дикостью далеких островов, раскинувшихся под палящим тропическим солнцем.

Рассказ невольно захватил Фредерика, и, когда Том кончил говорить, в душе его появилось какое-то странное чувство опустошенности. Фредерик вспомнил свое детство, когда он сосредоточенно рассматривал иллюстрации в стареньком учебнике географии. Он тоже меч-

тал об удивительных приключениях в дальних краях и хотел бродить сияющими дорогами. И он собирался уехать куда-нибудь, но на долю его достались только работа и выполнение долга. Быть может, в этом и была разница между ним и Томом. Быть может, в этом и заключался секрет нездешней мудрости, светившейся в глазах брата. На какое-то мгновение, смутное и мимолетное, он взглянул на мир глазами брата. Он вспомнил резкую реплику Полли: «Вы проглядели романтику. Вы променяли ее на дивиденды». Да, она права, но несправедлива к нему. Ему тоже хотелось романтики, но под рукой всегда была неотложная работа. Он трудился, как вол, не зная покоя ни днем, ни ночью, и его никогда не покидало чувство ответственности. Но он не знал любви, не бродил по свету, а именно этим была наполнена жизнь его брата. А что сделал Том, чтобы заслужить это? Мот и бездельник, распевающий пустяковые песенки.

Он же, Фредерик, видный человек. Он собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. Да, но кто придет к нему и из любви будет придумывать успокоительную ложь?

Мысль о собственном благосостоянии, казалось,

вызывала теперь только сухость и неприятный вкус во рту. Собственность! Теперь он уже видел все по-другому: одна тысяча долларов была, как две капли воды, похожа на любую другую, и каждый день, прожитый им, похож на любой другой день. Он так и не увидел стран, изображенных на картинках в учебнике географии. Он так и не ударил своего врага, не прикурил сигары от спички, зажженной рукой женщины. «Человек не может спать сразу на двух кроватях», — сказал как-то Том. Фредерик поежился, попытавшись сосчитать свои кровати и одеяла. Но сколько бы их ни было у него, ни один человек не приедет издалека, с конца света, чтобы пожать ему руку и воскликнуть: «Клянусь черепахами Тасмана!»

Что-то в этом роде Фредерик и сказал Полли. В словах его можно было уловить жалобу на несправедливость существующего порядка вещей. И она ответила ему:

— Иначе и быть не могло. Отец заслужил это. Он никогда не торговался. Он прожил великолепную жизнь и щедро расплачивался за все. А вы поскупились. Вы берегли свои сосуды и деньги, вы ни разу не промочили ног.

VI

Однажды поздней осенью все собрались у большого кресла, в котором лежал Капитан Том. Сам того не ведая, он продремал весь день и, едва проснувшись, потребовал свое укулеле и прикурил сигарету от спички, которую зажгла ему Полли. Но он не притронулся к струнам, он ежился и говорил, что ему холодно, хотя в огромном камине весело потрескивали сосновые дрова.

— Это хороший признак, — сказал он, не заметив, как склонились к нему присутствовавшие, чтобы услышать его слабеющий голос. — Холодок расшевелит меня. Нелегко выгнать из крови тропический жар. Я уже подумываю, что можно отправляться на Кускоквим. Весной, Полли, мы отправимся в путь на собаках, и ты увидишь полуночное солнце. Твоей матери понравилось бы такое путешествие. Она была легка на подъем. Сорок ночевок, и мы будем вытряхивать из мха золотые самородки. У Лараби есть превосходные собаки. Я знаю эту породу. Настоящие лесные волки, большие серые лесные волки. Правда, в каждом помете непременно есть один рыжий щенок. Верно, Беннингтон?

— Да, почти в каждом помете, — быстро ответил

юконец Беннингтон, но голос его был неузнаваемо хриплым.

— И с ними никогда не следует ездить одному, — продолжал Капитан Том,

— стоит упасть, как они кидаются на тебя. Эти звери уважают только того человека, который стоит на ногах. Упав, он превращается в мясо. Помню, мы шли через перевал из Танана в Сёркл. Это было еще до того, как открыли Клондайк. В девяносто четвертом… нет, в девяносто пятом году, когда замерзла ртуть в термометре. В нашей компании был один молодой канадец. Звали его… имя у него было какое-то особенное… погодите минуту… я сейчас вспомню…

У него вдруг пропал голос, хотя губы еще шевелились. На лице его появилось выражение величайшего удивления. Затем его всего передернуло. И в этот момент он внезапно увидел лик Смерти. Взор его был чистым и твердым, словно он о чем-то глубоко задумался. Потом он повернулся к Полли и, слабо шевеля рукой, пытался взять ее за руку, и когда нашел руку Полли, пальцы его уже не слушались. Он глядел на Полли с ласковой улыбкой, которая постепенно угасала. Он умер, глаза его закрылись, но лицо было по-прежнему умиротворенным и спокой-

ным. Укулеле со стуком упало на пол. Один за другим все тихо вышли из комнаты, оставив Полли одну.

Стоя на веранде, Фредерик увидел, как по парковой аллее шагал какой-то человек. По морской, враскачку, походке Фредерик догадался, к кому пришел этот незнакомец. Лицо его было бронзовым от загара и испещренным старческими морщинами, которые так не вязались с живостью движений и настороженностью зорких черных глаз. В мочку каждого уха было вдето по тонкой золотой серьге.

— Здравствуйте, — сказал человек, и было очевидно, что английский не был его родным языком. — Как поживает Капитан Том? В городе мне сказали, что он болен.

— Мой брат умер, — ответил Фредерик.

Незнакомец отвернулся и взглянул поверх парковых растений на поросшие лесом далекие вершины, и Фредерик заметил, как он с трудом проглотил подкативший к горлу ком.

— Клянусь черепахами Тасмана, он был настоящим человеком! — сказал он низким, изменившимся голосом.

— Клянусь черепахами Тасмана, он был настоящим человеком! — не задумываясь, повторил

Фредерик непривычную клятву.

Неизменность форм

Смерть оборвала загадочную жизнь мистера Седли Крейдена, владельца усадьбы Крейден Хилл. Мягкий и безобидный, он стал жертвой непонятной мании. В течение последних двух лет он ни ночью, ни днем не покидал своего кресла. Таинственная смерть или, вернее, исчезновение его старшего брата Джеймса Крейдена повлияло, очевидно, на его рассудок, потому что признаки этой мании стали обнаруживаться именно после этого события.

Мистер Крейден никогда не давал объяснений относительно причин своего странного поведения. Физически он был совершенно здоров, и в умственном отношении врачи также находили его нормальным, если не считать повышенной возбудимости. Его постоянное пребывание в кресле было актом вполне сознательным и добровольным. И теперь, когда он умер, тайна по-прежнему остается неразгаданной.

(Из газеты «Ньютон Курьер Таймс»)

«Я был камердинером и доверенным слугой мистера Седли Крейдена последние восемь месяцев его жизни. В течение всего этого времени

он много писал, причем всегда держал рукопись при себе; даже перед тем, как задремать или уснуть, он неизменно запирал ее в ящик стола, находившийся у него под рукой.

Меня всегда интересовало, что пишет этот джентльмен, но он был очень осторожен и хитер. Мне ни разу не удалось даже взглянуть на рукопись. Если мне случалось прислуживать ему, когда он писал, он тут же закрывал верхнюю страницу огромным листом промокательной бумаги. Я был первым, кто обнаружил его в кресле мертвым, и мне уже ничто не мешало завладеть рукописью. Жгучее любопытство было единственной причиной, заставившей меня похитить ее.

Несколько лет я хранил рукопись в тайне, но, убедившись, что после мистера Крейдена не осталось наследников, я решился опубликовать ее. Рукопись очень большая, и я позволил себе в значительной степени сократить ее, оставив наиболее понятные и яркие места.

Они сохранили отпечаток его расстроенной психики и постоянно повторяющихся навязчивых идей, настолько смутных и бессвязных, что они с трудом поддаются пониманию. Тем не менее, прочитав рукопись, я осмеливаюсь

утверждать, что, если в подвале дома произвести раскопки, где-нибудь около главной трубы будут обнаружены останки, сильно напоминающие то, что некогда было бренной плотью Джеймса Крейдена».

(Показание Рудольфа Хеклера)

Далее следуют выдержки из рукописи, систематизированные и подготовленные к печати Рудольфом Хеклером:

«Я не убивал моего брата. Пусть это будет моим первым и последним словом. Зачем мне было убивать его? Двадцать лет мы жили в полном согласии. Мы были уже немолоды, огонь и пыл юности давно погасли в наших сердцах. У нас не было разногласий даже по пустякам. Вряд ли когда-либо существовала такая дружба, как наша. Ведь мы были философами. Нам не было дела до внешнего мира. Книги и общество друг друга — вот все, что нам было нужно. Часто мы просиживали до поздней ночи, беседуя, обмениваясь мнениями, вспоминая суждения авторитетов — короче говоря, мы жили в атмосфере возвышенных духовных интересов.

. . . . . .

Он исчез. Это потрясло меня. Почему он исчез? Куда он мог уйти? Известие об этом оглушило

меня. Говорят, после этого я серьезно заболел воспалением мозга. Причина тому — его необъяснимое исчезновение. Случившееся совпало с началом моих переживаний, о которых я хочу здесь рассказать.

Что я только не делал, чтобы отыскать его! Я не слишком богат, и тем не менее я непрерывно увеличивал сумму предлагаемого мною вознаграждения. Я поместил объявления во всех газетах, обращался во все сыскные бюро. В настоящий момент сумма вознаграждения составляет уже более пятидесяти тысяч долларов.

. . . . . .

Говорят, он убит. Утверждают также, что убийство рано или поздно будет раскрыто. Так почему же до сих пор не раскрыто его убийство? Почему? Где он? Где Джим? Где мой Джим?

. . . . . .

Мы были счастливы вместе. Он обладал исключительным умом, широким кругозором, большой эрудицией, неумолимой логикой, — не удивительно, что между нами царило полное согласие. Размолвки были незнакомы нам. Джим был самым правдивым человеком из тех, кого я когда-либо знал. И это тоже сближало нас. Мы никогда не поступались истиной, чтобы выйти

из спора победителем. Впрочем, у нас и не было причин для споров — настолько едины были наши взгляды. Нелепо думать, будто в этом мире мог бы найтись повод для наших разногласий.

. . . . . .

Я хочу, чтобы он вернулся. Почему он ушел? Может ли кто-нибудь объяснить это? Я очень одинок. Меня одолевают дурные предчувствия, а созданные моим воображением страхи отрицают все, что ранее постиг мой ум. Форма многообразна и изменчива. Это — последнее слово позитивной науки. Мертвые не возвращаются. Это бесспорно. Мертвые мертвы. И все же… то, что произошло здесь, здесь, в этой комнате, за этим самым столом… Однако подождите… Позвольте мне написать об этом черным по белому словами простыми и точными. Но прежде всего я хочу поставить несколько вопросов. Кто перекладывает с места на место мою ручку? Кто так быстро исписывает мои чернила? Только не я. А между тем чернила исчезают.

Ответ на эти вопросы разрешил бы все загадки вселенной. Я знаю ответ. Я не сумасшедший. И как-нибудь, когда мои мучения станут нестерпимы, я сам отвечу на них. Я назову имя того, кто перекладывает мою ручку я пользуется мо-

ими чернилами. Глупо предположить, что я мог исписать такое количество чернил. Слуга *лжет*, я знаю.

Я обзавелся авторучкой. Мне никогда не нравилось это изобретение, но от старого пера пришлось отказаться. Я сжег его в камине. Чернила я теперь держу под замком. Я дам достойную отповедь той *лжи*, что пишется обо мне. Есть у меня и другие намерения. Нет, я не отступил. Я все так же верю, что живу в материальном мире. И ничто, даже его злобные измышления, которые я прочитал из-за его плеча, не убедят меня в обратном. Он считает меня дураком. Он полагает, что я поверю в его реальность. Какая чушь! Я отлично знаю, что он лишь плод моего воображения.

Существуют же галлюцинации. Даже когда я читал написанное им, я знал, что это не что иное, как галлюцинация. Будь я здоров, это было бы даже интересно. Мне всегда хотелось разобраться в этом необычном явлении. И теперь, когда я столкнулся с ним, я исследую его до конца. Что такое воображение? Это нечто, что может создать что-то из ничего. Как может что-то быть чем-то, где нет ничего? Как может что-то быть чем-то и ничем в одно и то же время? Пусть метафизики

ломают себе голову. Схоластика не для меня. Я смотрю в суть вещей. Вокруг реальный мир, и все в нем реально. Все, что не реально, ие существует. Поэтому он тоже не существует. И тем не менее он все еще пытается убедить меня в своей реальности, в то время как я ни на минуту не сомневаюсь, что он существует лишь в клетках моего мозга.

. . . . . .

Сегодня я видел, как он сидел за столом и писал. Меня это совершенно потрясло. Я думал, что он больше не появится. Но, приглядевшись внимательнее, я понял, что это обычная игра воображения, — слишком много я размышляю о случившемся. Я становлюсь болезненно впечатлительным, а мое хроническое несварение все больше и больше беспокоит меня. Попробую отвлечься. Каждый день буду гулять по два часа.

. . . . . .

Невероятно. Я не могу гулять. Каждый раз, когда я возвращаюсь с прогулки, он сидит за столом в моем кресле. И все труднее становится прогнать его. Это мое кресло. Он сидел в нем прежде, но теперь он мертв, и кресло больше не принадлежит ему. Какую, однако, злую шутку может сыграть собственное воображение! В том, что я вижу, нет

ничего реального. Я знаю это. В этом меня убеждают исследования, что я вел на протяжении пятидесяти лет. Мертвые не возвращаются.

. . . . . .

Но как объяснить следующее: сегодня, перед тем как отправиться на прогулку, я положил ручку в карман. Я отчетливо помню это. Я как раз взглянул на часы. Было двадцать минут одиннадцатого. Когда же я вернулся, ручка лежала на столе. Кто-то писал ею. Чернила были на исходе. Зачем он так много пишет? Я совершенно обескуражен.

. . . . . .

Существовал лишь один вопрос, в котором я и Джим не были полностью согласны. Он верил, что формы вещей вечны. Отсюда, естественно, вытекала вера в бессмертие и прочие идеи философов-метафизиков. Должен признаться, в этом вопросе я не отличался большой терпимостью. Тщетно пытался я вскрыть истоки его заблуждений, показывая ему, что они сложились под влиянием его чрезмерного увлечения в молодости логикой и математикой. Вполне естественно, что, будучи воспитанным на искаженных представлениях и абстракциях, легко поверить в неизменность форм.

Я смеялся над его рассуждениями о существовании незримого мира. Лишь материальное реально, утверждал я, а все, что не поддается чувственному восприятию, не существует и не может существовать. Я верил в материальность мира. Химия и физика способны объяснить все. Он спрашивал в ответ: «Разве не существует нематериальное?» Я отвечал, что этот вопрос представляет собой главную посылку ложного силлогизма христианской науки. Поверьте, я тоже владею логикой. Но он у прямился. А я всегда нетерпим к идеалистам.

. . . . . .

Однажды я изложил ему основы своего мировоззрения. Они были краткими, ясными, неоспоримыми. Даже сейчас, когда я пишу это, я уверен в их правильности! Вот что я сказал: «Вслед за Гоббсом я утверждаю, что невозможно отделить мысль от мыслящей материи. Вслед за Бэконом и Локком я утверждаю, что все человеческие знания и идеи являются результатом чувственного восприятия мира. Вслед за Кантом я утверждаю механическое происхождение мира и то, что его сотворение является естественным историческим процессом. Как и Лаплас, я утверждаю, что нет необходимости в гипотезе о

творце. И наконец, подводя итог сказанному, я утверждаю, что формы изменчивы и преходящи. Поэтому преходящи и мы сами.

Я повторяю, все это звучало достаточно убедительно. И, однако, он ответил мне пресловутым софизмом Палея относительно часов. Кроме того, он заявил, что последние лабораторные исследования радия почти подорвали самое представление о существовании материи. Это звучало по-детски. Я даже не предполагал, что у него могут быть такие незрелые суждения.

Как спорить с таким человеком? Я сослался на целесообразность всего сущего. Он согласился со мной, за одним исключением. При этом он как-то особенно посмотрел на меня, что мне тут же стал ясен смысл его взгляда. Вывод напрашивался сам собой. Меня ошеломило, что в самый разгар серьезного спора он оказался способным на такую дешевую колкость.

. . . . . .

Неизменность форм. Это смехотворно. И все же странное очарование заключено в этих словах. Если это верно, то он не перестал существовать. Значит, он существует. Нет, это невозможно!

. . . . . .

Я прекратил прогулки. Дело в том, что, пока я в

комнате, меня не тревожат никакие видения. Но, возвращаясь к себе после какой-нибудь отлучки, я всегда застаю его: он сидит за столом и что-то пишет. Я не решаюсь обратиться к врачу. Я должен побороть это сам.

. . . . . .

Он становится все более настойчивым. Сегодня, подойдя к полке за нужной книгой, я обернулся: он снова сидит в кресле! Впервые он посмел сделать это в моем присутствии. Но, посмотрев на него несколько минут спокойно и твердо, я заставил его исчезнуть. Это доказывает мою правоту. Он не существует. Если бы он существовал, я не смог бы избавиться от него лишь усилием собственной воли.

. . . . . .

Ужасно! Сегодня я целый час пристально смотрел на него, прежде чем заставил его исчезнуть. И вместе с тем это так легко объяснить. Мне просто видятся картины, ранее запечатлевшиеся в моей памяти. Каждый день, в течение двадцати лет, я видел его за этим столом. Наблюдаемое мною явление

— повторение этих картин, которые бессчетное число раз откладывались в моем сознании.

. . . . . .

Сегодня я сдался. Я совершенно обессилел, а он не уходил. Я сидел и наблюдал за ним несколько часов. Он продолжал писать, не обращая на меня ни малейшего внимания. Я знаю, что он пишет, потому что читаю из-за его плеча. Все это ложь. Он пользуется своим преимуществом.

. . . . . .

Вопрос: он продукт моего сознания, следовательно, сознание может создавать нечто материальное?

. . . . . .

Мы не ссорились. До сих пор не понимаю, как это случилось. Позвольте мне рассказать обо всем по порядку. И судите сами. В ту незабываемую, последнюю ночь его существования мы засиделись допоздна. Вспыхнул старый спор — вечность и неизменность форм. Сколько часов, сколько ночей было отдано ему!

Той ночью он особенно раздражал меня, и нервы мои были напряжены до предела. Он продолжал утверждать, что человеческая душа сама по себе является вечной формой и что светильник его мысли будет гореть всегда и вечно. Я взял в руки кочергу:

— «Предположим, я убью тебя этой штукой?».

— «Я буду продолжать существовать», — после-

довал ответ.

— «Как сознательное существо?» — настаивал я.

— «Да, как сознательное существо. Я буду переходить из одной сферы бытия в другую, более высокую, и помнить свою земную жизнь, тебя, наш спор и продолжать, да, да — продолжать спорить с тобой».

Кочерга была лишь доводом.[12] Клянусь, я взял ее лишь в качестве довода. Я не поднимал на него руку. Как я мог?! Он был моим братом, моим старшим братом.

Я ничего не помню. Я был вне себя. Он всегда был нестерпимо упрям, когда отстаивал свой метафизический бред. Когда я очнулся, он лежал у камина. Лилась кровь. Это было ужасное зрелище! Он был нем и неподвижен. С ним, должно быть, случился припадок, и он ударился головой. Я заметил на кочерге кровь. Падая, он, очевидно, ударился об нее. До сих пор не могу понять, как все случилось, потому что я ни на секунду не выпускал кочерги из рук. Я держал ее в руке и в ужасе смотрел на случившееся.

. . . . . .

---

[12] notes: 12

На полях выразительный комментарий Рудольфа Хеклера: «Ха! Ха!».

Это галлюцинации. Вот что подсказывает здравый смысл. Я наблюдал за этим явлением. Сначала я видел его сидящим в кресле лишь при самом слабом свете. Но со временем, повторяясь, галлюцинации усиливались, и он стал появляться в кресле даже при самом ярком освещении. Вот и все объяснение. И оно достаточно убедительно.

. . . . . .

Никогда не забуду, как я увидел его в первый раз. Я не пью вина, поэтому случившееся не было результатом опьянения. Я пообедал внизу в одиночестве. Спускались сумерки, когда я вернулся в кабинет. Я взглянул на стол. Там сидел он. Все это выглядело настолько естественным, что я невольно крикнул: «Джим!» Затем я все вспомнил. Конечно, это была галлюцинация. Я убежден в этом. Я взял кочергу и подошел к креслу. Он не пошевелился, не исчез. Кочерга разрезала пустоту и ударилась о спинку кресла. Плод воображения — вот что это такое. Там, где кочерга ударилась о кресло, и сейчас виден след. Я на минуту перестаю писать, поворачиваюсь и разглядываю вмятину, надавливая на нее кончиками пальцев.

. . . . . .

Он и в самом деле продолжает спор. Сегодня я подкрался сзади и посмотрел, что он пишет. То была история нашего спора. Он нес все тот же вздор относительно вечности форм. Читаю дальше, и что же — он описывает мой практический опыт с кочергой. Это — бесчестное и лживое утверждение. Никакого опыта не было. Падая, он сам ударился головой о кочергу.

. . . . . .

Впоследствии кто-нибудь найдет его записи. Это будет ужасно. Я уже подозреваю слугу: он все время вертится около меня, стараясь подглядеть, что я пишу. Сколько я ни менял слуг, все одинаково любопытны.

Плод воображения — и ничего больше. Никакого Джима в кресле нет. Я знаю это наверное. Вчера ночью, когда все уснули, я спустился в подвал и внимательно осмотрел пол вокруг трубы. Земля не тронута. Мертвые не встают из могил.

. . . . . .

Вчера утром, когда я вошел в кабинет, он сидел в кресле. Усилием воли отогнав его, я сам опустился в кресло и просидел весь день. Я не вставал даже, чтобы поесть: обед и ужин мне принесли в кабинет. Так в течение нескольких часов мне удалось избежать его присутствия,

потому что он появляется только в кресле. Я смертельно устал, но продолжал сидеть, пока не пробило одиннадцать. Пора было идти спать. Я встал и обернулся — он был уже там! Он плод моего воображения, и весь день не выходил у меня из головы. Но как только он перестал занимать мои мысли, он тут же занял свое место в кресле. Неужели это и есть высшие сферы существования, которыми он хвастал, — мой мозг и кресло? А может быть, он все-таки прав? Что, если его вечная форма настолько бесплотна, что принимает вид галлюцинации? Имеют ли галлюцинации материальную оболочку? А почему бы и нет? Здесь есть над чем подумать. Придет время, и я разберусь в этом.

. . . . . .

Сегодня он был очень обеспокоен. Я велел слуге унести из комнаты ручку, и он не мог писать. Но ведь и я не мог писать.

. . . . . .

Слуга почему-то не видит его. Странно. Неужели у меня развилось более острое зрение на невидимое. Или это доказывает, что наблюдаемое мною явление — лишь результат моего болезненного воображения?

. . . . . .

Он снова стащил мою ручку. Призраки не крадут ручек. Уму непостижимо! Не могу же я вечно держать ручку не в комнате. Мне самому необходимо писать.

. . . . . .

С тех пор, как это несчастье свалилось на мою голову, я сменил трех слуг, и ни один не видел его. Не является ли это доказательством того, что они здоровы, а я болен? Но как же так — чернила исчезают слишком быстро! Мне приходится наполнять ручку чаще, чем это необходимо. Кроме того, только сегодня я обнаружил, что перо испорчено. Я не мог сломать его.

. . . . . .

Несколько раз я заговаривал с ним, но он не отвечает. Все утро сегодня я сидел и наблюдал за ним. Изредка он поглядывал на меня, и было ясно, что он узнал меня.

. . . . . .

Если я с силой ударю себя по голове ребром ладони, то видение исчезает. Тогда я могу сесть в кресло; правда, нужно двигаться очень быстро, чтобы опередить его. Часто он дурачит меня, возвращаясь в кресло до того, как я успеваю сесть.

. . . . . .

Он становится невыносим. Хлопается в кресло,

точно попрыгунчик, выскакивающий из ящика. Да, да, именно выскакивает, иначе не скажешь. Я не могу больше смотреть на него. Это прямой путь к сумасшествию, потому что я начинаю верить в реальность того, кто, как мне доподлинно известно, не существует. Кроме того, призраки не выскакивают, как попрыгунчики.

. . . . . .

Слава богу, он появляется только в кресле. Пока я нахожусь в нем, он не беспокоит меня.

. . . . . .

Мой способ гнать его из кресла, колотя себя по голове, больше не действует. Приходится бить посильнее обычного, но мои старания увенчиваются успехом крайне редко — раз из двенадцати. От многократных ударов трещит голова. Нужно попробовать колотить другой рукой.

. . . . . .

Брат был прав. Невидимый мир все-таки существует. Разве я не вижу его? Разве не лежит на мне это проклятие — способность все время видеть этот мир? Назовите это как угодно: мыслью, воображением, фантазией, — этот мир существует, и от него никуда не деться.

Мысль материальна. Мы творим с каждым актом мышления. Я создаю призрака, который

сидит в моем кресле и пользуется моими чернилами. То, что он создан мною, не умаляет его реальности. Он — творение моей мысли, нечто существующее. Вывод: мысль создает нечто существующее, а все существующее реально.

. . . . . .

Вопрос: если человек, сам являющийся продуктом эволюции, может создать нечто существующее, нечто реальное, то, может быть, гипотеза о творце состоятельна? Если может создавать живая материя, вполне естественно допустить существование Его, создавшего материю жизни. Разница лишь в степени. Я пока не сотворил гору или солнечную систему, но уже создал нечто, сидящее в моем кресле. Почему бы не предположить, что когда-нибудь я создам гору или солнечную систему?

. . . . . .

На протяжении всей истории человечество жило как в тумане, оно не знало света истины. Я убежден, что я подхожу к истине, но не так, как мой брат, — ощупью и спотыкаясь, а сознательно и целеустремленно.

. . . . . .

Мой брат мертв. Он перестал существовать. Это не подлежит сомнению, потому что я еще

раз спускался в подвал. Земля не тронута. Я сам разворошил ее, и то, что я увидел, окончательно убедило меня. Мой брат перестал существовать, и тем не менее я воссоздал его силой собственной мысли. Это не мой прежний брат, и все же нечто напоминающее его настолько, насколько мне удалось придать ему сходство с братом. Я не похож на других людей. Я бог. Я создатель.

. . . . . .

Каждый раз, отправляясь спать, я оглядываюсь — он неизменно сидит в кресле. Я не могу спать, так как все время думаю о том, что он сидит там долгие ночные часы. А утром, открывая дверь, я вижу его на том же месте и знаю, что он просидел здесь всю ночь напролет.

. . . . . .

Я прихожу в отчаяние от недосыпания. Как бы мне хотелось посоветоваться с врачом!

. . . . . .

О благословенный сон! Наконец-то мне удалось уснуть спокойно! Позвольте рассказать об этом. Прошлой ночью я так утомился, что задремал в кресле. Потом позвонил слуге и приказал принести плед. Я уснул. Он был изгнан из моих мыслей, как и из кресла, на всю ночь. Я провел в кресле весь день. Чудесное облегчение!

. . . . . .

Как неудобно спать в кресле! Но хуже час за часом лежать в постели, не смыкая глаз, и знать, что там, в холодной тьме, сидит он.

. . . . . .

Мне ничто не поможет. Я не смогу больше спать в кровати. Я попробовал это, но каждая такая ночь превращалась в ад. Если бы я только мог убедить его лечь спать. Но нет! Он сидит там и только там, и мысль эта не покидает меня ни на минуту, и я лежу, уставившись в темноту, и думаю, думаю, без конца думаю о нем. И зачем только я узнал о неизменности форм!

. . . . . .

Слуги считают меня сумасшедшим. Этого следовало ожидать, потому я и не обращаюсь к психиатру.

. . . . . .

Решено. С сегодняшнего дня галлюцинации прекратятся. Отныне я навсегда останусь в кресле, не покину его ни на минуту. Я буду сидеть в кресле днем, ночью, всегда.

. . . . . .

Какая удача! Уже две недели я не видел его. И не увижу никогда. Наконец я добился душевного равновесия, необходимого для философских раз-

мышлений. Сегодня я написал целую главу.

. . . . . .

Утомительно сидеть в кресле. Проходят дни, недели, приходят и уходят месяцы, меняются слуги; а я все сижу и сижу и не вижу этому конца. Странная жизнь, зато наконец я обрел долгожданный покой.

. . . . . .

Он не появляется больше. Формы конечны. Я доказал это. Вот уже два года я не встаю из кресла и с тех пор ни разу не видел его. Правда, иногда я чувствую себя совершенно разбитым. Но теперь мне совершенно ясно, что прежние видения были просто-напросто галлюцинациями. Его не было и нет. Но я не покидаю кресла. Я боюсь».

История, рассказанная в палате для слабоумных

Я? Нет, я не сумасшедший. Я здесь за ассистента. Просто не знаю, что делали бы без меня мисс Келси и мисс Джонс. В этой палате двадцать пять слабоумных, самых тяжелых, какие только могут быть. Кто бы их всех кормил, если бы не я? Мне нравится кормить слабоумных. Они не доставляют никаких хлопот. Да они и не могут. У всех у них что-нибудь не в порядке с руками или ногами, и они не умеют говорить. Они очень плохи. А я могу ходить, разговаривать и делать все, что угодно. Со слабоумными надо обращаться очень осторожно, и не следует кормить их слишком быстро. А не то они подавятся. Мисс Джонс говорит, что я в этом большой знаток. Каждый раз, когда в приют приходит новая няня, я учу ее, как это делать. Вот уж смеху-то бывает, когда новенькая начинает их кормить! Она кормит их так медленно и осторожно, что, пока успевает запихнуть им в рот завтрак, подходит время ужина. Тогда я начинаю учить ее, ведь я большой знаток. Доктор Далримпл тоже подтверждает это, а уж ему ли не знать. Слабоумный может есть вдвое

быстрее, если умеют к нему подойти.

Меня зовут Том. Мне двадцать восемь лет. В нашем заведении меня все знают. Ведь это специальное заведение. Оно находится в штате Калифорния, и им заправляют местные политиканы. Да, да, я знаю. Я живу тут уже очень давно. Мне все доверяют. Мне то и дело дают какие-нибудь поручения, и я бегаю по всему дому, если, конечно, не занят со слабоумными. Я их очень люблю. Когда я с ними, то лишний раз убеждаюсь в том, какое счастье, что сам я не слабоумный.

Мне нравится здесь, в нашем доме. А за его стенами не нравится. Я уже побывал там однажды и вернулся, и меня взяли обратно. Я люблю жить дома, а лучшего дома, чем этот, не сыщешь. И на слабоумного я не похож, ведь правда? Это же видно с первого взгляда. Я ассистент. А для тронутого это что-нибудь да значит. Что такое тронутый? Да ведь это же ненормальный! Я думал, вы знаете. Мы все здесь тронутые.

Но я тронутый высшего разряда. Доктор Далримпл даже говорит, что я слишком умен для нашего заведения, но я никому не рассказываю об этом. По-моему, у нас здесь совсем неплохо. И со мной никогда не бывает припадков, не то что с другими тронутыми. Видите вон тот дом, за

деревьями? В нем живут припадочные высшего разряда. Они ужасные задавалы, потому что они не простые тронутые. Они называют свой дом клубом и уверяют, что они ничуть не хуже тех, что живут на воле, разве что немного нездоровы. Я не очень их люблю. Всегда насмехаются надо мной, если только не корчатся в припадке. Но мне наплевать. Уж я-то не хлопнусь в припадок и не буду биться головой об стенку. А иногда они вдруг начинают носиться, как сумасшедшие, по комнате, словно ищут, где бы присесть. Но не садятся. Припадочные низшего разряда отвратительны, а припадочные высшего разряда вечно задирают нос. Я рад, что я не припадочный. Ничего в них нет особенного. Только и делают, что болтают.

Мисс Келси утверждает, что я тоже много болтаю. Но я говорю разумные вещи, а ни один тронутый на это не способен. Доктор Далримпл говорит, что у меня дар красноречия. Да я и сам это знаю. Вы бы только послушали, как я разговариваю сам с собой или со слабоумными. Иногда мне приходит в голову, что неплохо бы стать политическим деятелем, да только очень уж это хлопотное занятие. Все они большие говоруны, на том и держатся.

Сумасшедших в нашем заведении нет. Все про-

сто немного не в своем уме. Презабавные сценки иногда наблюдаешь. Вот послушайте. У нас здесь есть девицы — человек девять — двенадцать, и все из высшего разряда, — им поручено накрывать столы к обеду. Иногда, управившись до времени, они усаживаются в кружок и принимаются болтать. А я тихонько подкрадусь к двери и слушаю. Вот потеха-то, помереть можно со смеху. Хотите знать, о чем они говорят? Сначала они долго-долго сидят и молчат. Потом одна произносит: «Слава богу, что я в своем уме». А остальные одобрительно кивают головами. И снова молчат. Через некоторое время другая девица говорит: «Слава богу, что я в своем уме», — опять все кивают головами. Так они и повторяют по очереди одно и то же. Ну, не тронутые? Решайте сами! Я тоже тронутый, но, слава богу, не такой, как они.

А иногда мне кажется, что я вовсе не тронутый. Я играю в оркестре и умею читать ноты. Считается, что все в оркестре тронутые, кроме дирижера. Он настоящий сумасшедший. Мы так думаем, но никогда не говорим об этом, разве только между собой. Ведь его работа тесно связана с политикой, а мы не хотим, чтобы он ее лишился. Я играю на барабане. Без меня в нашем заведении не обойтись. Это я уж точно знаю. Однажды я заболел.

Просто диву даешься, как у них все не пошло вверх тормашками, пока я лежал в лазарете.

Я в любое время могу уйти отсюда, стоит мне только захотеть. Не так уж я слаб умом, как могут подумать. Но я об этом помалкиваю. Мне и тут неплохо живется. Кроме того, без меня все здесь пойдет кувырком. Боюсь только, что когда-нибудь они поймут, что никакой я не слабоумный, и тогда меня выгонят отсюда в большой мир, и придется мне самому о себе заботиться. А я знаю, что такое большой мир, не люблю я его. Мне хорошо здесь, и больше мне ничего не надо.

Вы иногда видите на моем лице ухмылку. Я ничего не могу с этим поделать. Но иногда я ухмыляюсь нарочно. Однако я совсем не урод. Я часто смотрю на себя в зеркало. У меня смешной рот, и губы отвисают, и зубы гнилые. Слабоумного за версту узнаешь, стоит только поглядеть на его рот и зубы. Но это еще не доказывает, что я слабоумный. Просто мне повезло, что я так на них похож.

Чего я только не знаю! Вы бы поразились, если б я выложил все, что знаю! Но если я что-нибудь не хочу понимать или меня заставляют что-нибудь делать, а мне это не по душе, я немедля распускаю губы, ухмыляюсь и мычу. Я не раз видел, как мы-

чат слабоумные низшего разряда, и мне ничего не стоит провести кого угодно. Я могу мычать на все лады. Мисс Келси на днях обозвала меня идиотом. Мне удалось обмануть ее, притворившись слабоумным, и она очень рассердилась.

Однажды мисс Келси спросила меня: «Почему бы тебе не написать книгу о тронутых?» В ту минуту я советовал ей, как ходить за маленьким Альбертом. Маленький Альберт слабоумный, и я всегда понимаю, что он хочет, по тому, как у него подергивается левый глаз. Я и объяснил это мисс Келси, а она вышла из себя: сама-то она этого не знала. Но когда-нибудь я, может, и напишу эту книгу. Только писать ее — хлопот не оберешься. Разговаривать куда как легче.

Вам приходилось видеть микроцефала? Это ребенок с малюсенькой головкой, не больше кулака. Они, как правило, все слабоумные, но живут очень долго. Гидроцефалы необязательно слабоумные. У них огромная голова, и они более толковые. Но они никогда не выживают. Всегда умирают. Смотришь на такого и думаешь: «Долго он не протянет». Иногда, когда на меня нападает лень или нянька начинает ворчать, я жалею, что я не слабоумный: глядишь, не заставляли бы работать да кормили бы с ложечки. Но, пожалуй,

все же лучше остаться таким, как я есть, и болтать сколько душе угодно.

А вчера доктор Далримпл сказал мне. «Том, — говорит, — что бы я без тебя делал?» А уж он-то знает, что говорит — шутка сказать, вот уже два года на его руках тысяча тронутых! До него здесь был доктор Уотком. Их ведь сюда назначают. Это все политика. Сколько я их перевидал на своем веку! Я-то появился в приюте, когда их и в помине не было. Я в этом заведении уже двадцать пять лет. Нет, не подумайте, что я жалуюсь. Лучшего заведения, пожалуй, не найти.

Быть тронутым — плевое дело. А возьмите доктора Далримпла. Вот уж кому нелегко приходится! Его положение целиком зависит от политических интриг. Можете не сомневаться, что мы разговариваем о политике. Мы про нее все знаем, и это плохо. Таким заведением, как наше, не должна управлять политика. Посмотрите на доктора Далримпла. Он здесь уже два года и многому научился. Но в один прекрасный день в результате каких-нибудь политических махинаций его выгонят, и на его место пришлют нового доктора, который ничего не смыслит в нашем деле.

А сколько нянек сменилось, пока я здесь! Неко-

торые из них совсем не дурны. Но они приходят и уходят. Многие обзаводятся мужьями. Иногда я думаю, что и мне неплохо бы жениться. Как-то я заговорил об этом с доктором Уоткомом, но он сказал, что, к его сожалению, тронутым не разрешают жениться. Однажды я влюбился. Она была няней. Мне не хочется называть вам ее имя. У нее были голубые глаза, светлые волосы, нежный голос, и я ей нравился. Она сама сказала мне об этом. Она всегда уговаривала меня быть хорошим и послушным. И я слушался ее, до того самого момента… Тогда я убежал. Понимаете, она бросила нас и вышла замуж. И не сказала мне об этом ни слова.

Я считаю, женитьба не такая приятная штука, как кажется. Доктор Энглин и его жена часто дерутся. Сам видел. А однажды я слышал, как она обозвала его сумасшедшим. Но ведь никто не имеет права обзывать человека сумасшедшим, если он вовсе не сумасшедший. Вот уж доктор Энглин разбушевался! Но он недолго здесь продержался. Снова какие-то политические махинации — и его убрали. На его место пришел доктор Мандевилл. У него не было жены. Я слышал, как он однажды разговаривал с инженером. Инженер с женой жили как кошка с собакой. Доктор Мандевилл

сказал инженеру: «Я счастлив, что не привязан к юбке». Юбка — это женская одежда. Я знаю, что он имел в виду, хоть я малость и тронутый. Но я помалкиваю. Когда держишь язык за зубами, слышишь массу интересного.

Я много повидал в жизни. Как-то раз меня взяли к себе некие Боппы, и я уехал к ним за сорок миль по железной дороге. У них была ферма. Доктор Энглин сказал им, что я сильный и смышленый, и я подтвердил это — я хотел, чтобы меня взяли на воспитание. Питер Бопп обещал, что мне будет у них хорошо, и юристы оформили все бумаги.

Но очень скоро я понял, что ферма совсем не то место, какое мне нужно. Миссис Бопп почему-то до смерти боялась меня и не разрешала спать в доме. Они приспособили для меня дровяной сарай и заставляли спать там. Я должен был вставать в четыре утра, кормить лошадей, доить коров и развозить молоко соседям. Считалось, что это так, пустое дело, а на поверку выходило, что я гнул спину с утра до вечера. Я колол дрова, чистил курятник, пропалывал огород, и чего только я не делал! Ни развлечений, ни свободного времени.

Послушайте, что я вам скажу. По мне лучше кормить молочной кашей слабоумных, чем холодными утрами доить коров. Миссис Бопп не

хотела, чтобы я играл с ее детьми, боялась. Да я и сам боялся. Когда никто не видел, они корчили мне рожи и дразнили лунатиком. Все звали меня Том Лунатик. А соседские мальчишки бросали в меня камнями. Здесь, в нашем доме, такого никогда не бывает. Слабоумные куда лучше воспитаны.

Миссис Бопп щипала меня и таскала за волосы, когда ей казалось, что я отлыниваю от работы, а я в ответ глупо хихикал. Она не раз говорила, что когда-нибудь я ее в гроб вгоню. Однажды я забыл закрыть крышку колодца на выгоне, туда свалился теленок и утонул. Питер Бопп пообещал отколотить меня. И он сдержал свое обещание. Он взял вожжи и пошел на меня. Это было ужасно. Меня никогда не били. Чтобы у нас здесь кого-нибудь били — такого не случалось. Почему я и говорю, что это заведение — самое подходящее для меня место.

Я разбираюсь в законах и знаю, что он не имел никакого права меня бить. Это жестоко, а в бумагах опекунского совета сказано, что со мной нельзя обращаться жестоко. Но тогда я ему ничего не сказал. Я просто выжидал, и уже из одного этого видно, тронутый я или нет. Я ждал долго, и нарочно работал медленно, и все чаще глупо

хихикал и мычал. Но он не отсылал меня домой, на что я так надеялся. Однажды — это случилось в начале месяца — миссис Браун дала мне три доллара в уплату за молоко, которое она покупала у Питера Боппа. Это было утром. А вечером я привез ей молоко и должен был передать ей расписку от Питера Боппа в получении денег. Но я этого не сделал. Я отправился на железнодорожную станцию, купил билет, как всякий другой, и поехал обратно к себе домой. Вот какой я тронутый!

Доктор Энглин к тому времени уже ушел из приюта, и вместо него назначили доктора Мандевилла. Я направился прямо к нему в кабинет. Он не знал меня. «Здравствуйте, — сказал он. — Сегодня не приемный день». «А я вовсе не на прием, — говорю. — Меня зовут Том. Я здешний». Он присвистнул, не скрывая своего удивления. Я сообщил ему обо всем и показал следы от вожжей, а он рассердился и заявил, что займется этим делом.

Видали б вы, как обрадовались слабоумные моему возвращению!

Я отправился прямо к ним в палату. Маленького Альберта кормила новая няня. «Постойте, — говорю я ей. — Так у вас ничего не получится. Разве вы не видите, как у него дергается левый

глаз? Давайте покажу, как надо его кормить». Должно быть, она решила, что я новый доктор, и безропотно отдала мне ложку. Мне думается, что со дня моего отъезда маленький Альберт ни разу не ел с таким аппетитом. Со слабоумными не так уж трудно, если уметь к ним подойти. Однажды я слышал, как мисс Джонс сказала мисс Келси, что у меня прямо-таки особый дар в обращении с ними.

Когда-нибудь я поговорю с доктором Далримплом и потребую у него справку, что я не тронутый. Тогда я попрошу его назначить меня настоящим ассистентом в палату слабоумных с окладом в сорок долларов и со столом. А потом женюсь на мисс Джонс, и мы заживем припеваючи. А если она мне откажет, я женюсь на мисс Келси или на какой-нибудь другой сестре. Многие из них хотят выйти замуж. И мне наплевать, если моя жена когда-нибудь вспылит и назовет меня сумасшедшим. Подумаешь! Когда привык иметь дело с ненормальными, то с женой управиться совсем нетрудно.

Я еще не рассказал вам, как однажды убежал отсюда. Я бы и не помышлял о побеге, если б Чарли и Джо не втравили меня в это дело. Оба они эпилептики. В тот день я зашел в кабинет к

доктору Уилсону с каким-то поручением и уже возвращался обратно в палату, как вдруг заметил Чарли и Джо. Они спрятались за углом гимнастического зала и подавали мне какие-то знаки. Я подошел к ним.

— Привет! — сказал Джо. — Как поживают твои слабоумные?

— Прекрасно, — ответил я. — Что нового у припадочных?

Они распсиховались, а я преспокойно отправился дальше. И вдруг слышу:

— Том, мы решили бежать. Хочешь с нами?

— Зачем? — спрашиваю.

— Мы хотим добраться до вершины горы, — говорит Джо.

— И найти золотую жилу, — добавляет Чарли. — И никакие мы не припадочные. Мы уже выздоровели.

— Хорошо, — говорю.

Мы прошмыгнули мимо гимнастического зала и выбрались во двор. Не прошли мы и десяти минут, как я остановился.

— В чем дело? — спрашивает Джо.

— Подождите, — говорю я, — мне надо вернуться.

— Зачем? — спрашивает Джо.

— За маленьким Альбертом.

Они разозлились и сказали, чтоб я не смел возвращаться. Но я и ухом не повел. Я знал, что они все равно будут меня ждать. Дело в том, что я живу здесь уже двадцать пять лет и знаю все тропки в горах как свои пять пальцев. А Чарли и Джо не знают этих тропок. Вот почему я им и понадобился.

Я вернулся за маленьким Альбертом. Он не мог ни ходить, ни говорить и только мычал. Я взял его на руки и понес. Мы миновали самый дальний луг — дальше него я никогда не забирался. Вскоре лес и кустарник стали такие густые, что я потерял тропинку, и мы свернули на дорогу, по которой коров гоняют к ручью на водопой, а потом перелезли через забор и очутились за пределами нашего приюта.

Перейдя ручей, мы стали карабкаться на высокий холм. Склоны его поросли большими деревьями, так что не надо было продираться через кустарник. Но подъем был очень крутой, ноги скользили по опавшим листьям, и мы с трудом продвигались вперед. Чем дальше — тем хуже. Дорога пошла по самому краю обрыва, и нам предстояло пройти футов сорок по страшной крутизне. Поскользнешься — полетишь вниз с

высоты в тысячу футов, а может, и в сто. Упасть не упадешь, только скатишься вниз. Я пошел первый, с Альбертом на руках. За мной следовал Джо. Но Чарли дошел до середины и испугался.

— Сейчас у меня начнется припадок, — заявил он и уселся на землю.

— Ничего подобного, — сказал Джо. — Ты бы не стал тогда садиться. Ты всегда стоишь во время припадков.

— Припадок припадку рознь, — сказал Чарли и захныкал.

Он стал усиленно трястись и дергаться всем телом, но именно потому, что он очень старался, ему не удалось выжать из себя даже самого слабенького припадка.

Джо пришел в ярость и с бранью обрушился на Чарли. Но это не помогло. Тогда я стал мягко и ласково уговаривать Чарли. Ненормальных можно взять только лаской. Стоит выйти из себя — и пиши пропало. Ведь и со мной так случалось. Вот почему я чуть не вогнал в гроб миссис Бопп. Она только и знала, что выходить из себя…

День приближался к концу, и я понимал, что нам надо продолжать путь. Поэтому я сказал Джо:

— Подержи Альберта и не бранись. Я пойду

приведу его.

И я пошел. Но от страха у Чарли так дрожали ноги и кружилась голова, что он мог передвигаться только на четвереньках, а я шел рядом и поддерживал его. Когда я переправил его таким образом на другую сторону и снова взял на руки Альберта, я услышал чей-то смех и посмотрел вниз. Я увидел мужчину и женщину верхом на лошадях. У мужчины к седлу было приторочено ружье; женщина громко смеялась.

— Какого черта их сюда принесло? — испуганно воскликнул Джо. — Уж не погоня ли за нами?

— Хватит ругаться, — сказал я. — Это хозяин ранчо, он пишет книги. Как поживаете, мистер Эндикот? — крикнул я вниз.

— Хэлло! — ответил он. — Что вы здесь делаете?

— Мы убежали из приюта.

— Желаю удачи, — сказал он. — Но постарайтесь вернуться засветло.

— Но ведь мы взаправду сбежали, — ответил я.

Тут они оба рассмеялись.

— Ну что ж, прекрасно! Все равно, желаю удачи! Только смотрите, чтобы вас не съели пумы и медведи, когда стемнеет.

И они со смехом ускакали прочь. «Напрасно он

сказал про медведей и пум», — подумал я.

Как только мы миновали опасное место, я тотчас разыскал тропинку, и мы пошли гораздо быстрей. Чарли раздумал устраивать припадок, он смеялся и без умолку болтал о золотой жиле. Труднее всего приходилось теперь с маленьким Альбертом. Ведь он был чуть не с меня ростом. Я привык звать его маленьким, а он уже давным-давно вырос. Он был до того тяжелый, что я с трудом поспевал за Джо и Чарли. Я изнемогал от усталости и предложил нести его по очереди, но они отказались. Тогда я сказал, что брошу их, они заблудятся и их съедят пумы и медведи. Чарли задрожал, словно собирался забиться в припадке, а Джо сказал: «Давай его мне». После этого мы несли маленького Альберта по очереди.

Мы продолжали карабкаться на гору. Я не думаю, чтобы там была золотая жила, но мы все равно могли бы напасть на нее, если бы не сбились с пути, если бы не стемнело и если бы мы не выбились из сил, потому что тащили Альберта. Многие припадочные боятся темноты, и Джо заявил, что у него сию же минуту начнется припадок. Но припадок не начался. Никогда не встречал такого невезучего парня: только он вздумает устроить припадок, и пиши пропало

— ничего не получится. А другим закатить припадок — раз плюнуть.

Мало-помалу стемнело, нам хотелось есть, а костра развести мы не могли. Дело в том, что тронутым не дают в руки спичек, и нам ничего не оставалось, как дрожать от холода. Кто бы мог подумать, что мы захотим есть? Ведь тронутые живут на всем готовом. Вот почему куда как лучше быть тронутым, чем самому зарабатывать себе на пропитание.

Тишина! Вот что было самое страшное. Страшнее ночной тишины разве только ночные шорохи. Они были повсюду — шорохи и снова тишина, тишина и снова шорохи. Должно быть, то были кролики, но они шуршали в кустах, словно дикие звери — эдак, знаете: пш-пш, тум-бум, крэк-крэк. Сперва начался припадок у Чарли — на этот раз настоящий. Потом забился Джо. Я не против припадков, если только они случаются в приюте, когда кругом полным-полно народу. Но в лесу, когда темно, хоть глаз выколи, — это совсем другое. Послушайтесь моего совета: никогда не пускайтесь на поиски золотой жилы в компании эпилептиков, даже если они эпилептики высшего разряда.

То была ужасная ночь. В короткие промежутки,

когда Чарли и Джо не бились в припадке, они притворялись, будто он вот-вот начнется; они дрожали от холода, а в темноте я принимал эту дрожь за новый приступ. У меня тоже зуб на зуб не попадал, и мне казалось, что я сам с минуты на минуту забьюсь в припадке. Маленький Альберт до того проголодался, что только жалобно мычал. Ни разу не видел я его в таком плохом состоянии. Левый глаз его дергался так сильно, что я опасался, как бы он вовсе не выскочил. В темноте я не мог этого разглядеть, но по тому, как Альберт ерзал и мычал, догадывался, что это так. Джо валялся под кустом и непрерывно ругался, а Чарли хныкал и просился обратно в приют.

Мы все же не умерли в ту ночь, и как только забрезжило утро, отправились прямехонько домой. Маленький Альберт стал еще тяжелее. Видели бы вы, как разбушевался доктор Уилсон! Он сказал, что я самый скверный и непослушный парень в приюте. Да и Чарли с Джо, по его словам, недалеко от меня ушли. Но мисс Страйкер, тогдашняя няня в палате слабоумных, обняла меня и заплакала от радости, что я вернулся. Я подумал, что, может быть, женюсь на ней. Но не прошло и месяца, как она выскочила замуж за водопроводчика, который приехал из города устанавливать трубы

в нашем новом лазарете. А маленький Альберт до того измучился, что у него целых два дня не дергался левый глаз.

Когда я убегу в следующий раз, то отправлюсь прямиком на эту гору. Но чтобы взять с собой эпилептиков — ни за что. Они никогда не излечиваются, и если испугаются чего-нибудь или придут в возбуждение, то сразу закатывают припадок. Однако маленького Альберта я возьму. Я не могу его бросить. А вообще-то говоря, я не собираюсь отсюда бежать. Зачем мне золотая жила, если мне и здесь хорошо! И я слышал, что должна приехать новая няня. К тому же маленький Альберт уже перерос меня, и я не смогу перенести его через гору. А он все растет — не по дням, а по часам. Просто удивительно!

Бродяга и фея

Он лежал навзничь. Его свалил такой крепкий сон, что ни топот лошадей, ни крики возчиков, доносившиеся с перекинутого через речку моста, не разбудили его. Телеги, доверху нагруженные виноградом, бесконечной вереницей тянулись по мосту, направляясь к долине, в винодельню, и каждая телега, проезжая, словно взрывом сотрясала дремотную тишину послеполуденных часов.

Но человек не просыпался. Голова его давно скатилась с газеты, заменявшей ему подушку, и в нечесаные, всклокоченные волосы набились колючки и стебельки сухого пырея и репья. Вид у него был далеко не привлекательный. Он спал с открытым ртом, и в верхней челюсти вместо передних зубов, которые ему когда-то вышибли, зияла пустота. Человек дышал хрипло, с присвистом, временами мычал, стонал, словно что-то мучило его во сне. Он метался, раскидывал руки, судорожно вздрагивал и ерзал головой по колючкам. Что его мучило? Это могли быть и душевная тревога, и солнце, бившее ему в лицо, и мухи, которые с жужжанием садились на него, ползая

по носу, по щекам и векам. Да им больше и негде было ползать, потому что остальную часть лица закрывала густая, свалявшаяся в войлок борода, слегка уже тронутая сединой, выцветшая от непогоды, грязная.

На скулах спящего багровели пятна от застоя крови — последствие пьянства. Да и сейчас он, должно быть, спал с похмелья. Назойливые мухи, привлеченные запахом винного перегара, роем вились вокруг его рта. Человек этот, широкоплечий, с воловьей шеей и жилистыми, изувеченными тяжелой работой руками, выглядел богатырем. Но следы увечий были давнего происхождения, так же как и мозоли, проступавшие сквозь грязь на повернутой наружу ладони. Время от времени рука эта угрожающе сжималась в кулак — огромный и костистый.

Человек лежал в сухой колкой траве на узкой поляне, спускавшейся к окаймленной деревьями речке. Вдоль прогалины тянулась изгородь, какие в старину возводились для скачек с препятствиями. Правда, ее почти не видно было за густо разросшимися кустами дикой ежевики, низкорослыми дубками и молоденькими земляничными деревцами. В другом конце лужайки, в низкой ограде, открывалась калитка: она вела

к уютному, приземистому домику, построенному в испано-калифорнийском вкусе. Он так чудесно гармонировал с окружающим пейзажем, как будто возник вместе с ним и составлял его неотъемлемую часть. Изящный по стилю и пропорциям, изысканный и в то же время простой и скромный, он дышал уютом, с уверенным спокойствием рассказывая о ком-то, кто знал, чего ищет, кто искал и нашел.

Из калитки на поляну вышла девочка, прелестная, как на картинке, нарисованной для того, чтобы показать, как прелестны могут быть маленькие девочки. Было ей, вероятно, лет восемь, а может быть, чуточку больше или меньше. По тоненькой фигурке и худеньким, в черных чулочках ножкам видно было, какая она хрупкая и нежная. Но хрупкой она была только по сложению. В ее свежем, розовом личике, в быстрой, легкой походке не было и намека на болезненность или слабость. Это было просто очень миниатюрное, очаровательное, белокурое создание. Ее волосы казались сотканными из золотой паутинки; из-под длинных полуопущенных ресниц глядели большие синие глаза. Лицо ее сияло добротой и счастьем. Впрочем, иным оно и не могло быть у существа, обитавшего под

крышей такого домика.

Девочка держала маленький детский зонтик и, наклоняясь за цветами дикого мака, бережно отводила его в сторону, чтобы не порвать о низкие ветки деревьев или кусты ежевики. Это были поздние маки, они цвели в этом году уже третий раз, не в силах противиться зову жаркого октябрьского солнца.

Оборвав их вдоль одной стороны изгороди, девочка двинулась к другой и, дойдя до середины поляны, наткнулась на бродягу. Она вздрогнула, но не от страха, от неожиданности. Остановилась и долго, пытливо смотрела на это отталкивающее зрелище и собралась было уже повернуть обратно, когда спящий беспокойно заворочался и задвигал руками, натыкаясь на колючки. Она увидела солнце на его лице и жужжащих мух. Глаза ее приняли озабоченное выражение, и с минуту она стояла, раздумывая. Потом на цыпочках подошла к нему сбоку, заслонила зонтиком от солнца и принялась отгонять мух. Немного погодя она для большего удобства уселась рядом.

Так прошел час. Когда рука у нее уставала, она перекладывала зонтик в другую руку. Сначала спящий все так же метался, потом, защищенный от солнца и мух, стал дышать ровнее и успокоил-

ся. Несколько раз, однако, он серьезно испугал ее. В первый раз это показалось всего страшнее, потому что было неожиданно. «Господи Исусе! Дна не достать! Дна не достать!» — прошептал человек из каких-то глубин сна. Зонтик колыхнулся, но девочка сразу овладела собой и продолжала выполнять добровольно взятый на себя подвиг милосердия.

В другой раз он, словно от нестерпимой боли, заскрежетал зубами. Зубы скрипели так страшно, что ей показалось, будто они сейчас раскрошатся в кусочки. Потом он вдруг вытянулся во всю длину и застыл. Руки сжались в кулаки, и на лице появилась отчаянная решимость, вызванная каким-то сном. Вероятно, ему привиделось что-то ужасное: веки дрогнули, как от удара, и казалось, вот-вот откроются. Но они не открылись. Вместо того губы забормотали: «Нет! Клянусь богом, нет и еще раз нет! Я не доносчик!» Губы сомкнулись, потом опять забормотали: «Хоть вяжи меня, сторож, хоть на куски режь, ничего ты из меня не выжмешь, разве только кровь мою. Мало ли вы ее пили здесь, в вашей проклятой дыре!»

После этого взрыва человек продолжал спокойно спать, между тем как девочка, высоко держа над ним зонтик, с великим удивлением смотрела

на это грязное, лохматое существо, пытаясь найти какую-то связь между ним и тем маленьким кусочком мира, который она знала. До ее ушей доносились с моста крики возчиков, стук копыт, пронзительный скрип и шум тяжело нагруженных телег.

Стоял удушливый день калифорнийского бабьего лета. В лазурном небе плыли легкие, кудрявые облачка, но на западе сгустились тучи, предвещая дождь. С ленивым жужжанием пролетела пчела. Из далеких зарослей кустарника доносился зов перепела, а с полей — пение жаворонка. Но, не чуя всего этого, Росс Шенклин спал — Росс Шенклин, бродяга, отверженный, бывший каторжник № 4379, ожесточенный, неисправимый, непокорившийся, которого не сломили никакие зверства.

Россу Шенклину, уроженцу Техаса, потомку первых поселенцев — породы, всегда отличавшейся непокорностью и упрямством, не повезло в жизни. Ему не было еще семнадцати, когда его арестовали за конокрадство, — суд признал его виновным в краже семи лошадей, которых он не крал, и приговорил к четырнадцати годам тюремного заключения. Жестокое наказание, и тем более жестокое, что он судился впервые. Даже

те, кто верил в его виновность, считали, что два года заключения — достаточное наказание для такого юнца. Но окружной прокурор рассудил иначе. Ведь за каждый обвинительный приговор, которого ему удавалось добиться, он получал особую плату. Обвинив Росса Шенклина в семи отдельных преступлениях, он и плату получил в семикратном размере. Из чего видно, что для окружного прокурора эти несколько долларов представляли куда большую ценность, чем двенадцать лет жизни какого-то Росса Шенклина.

И юный Росс Шенклин познал, что такое жестокий труд в аду. Он не раз бежал, его ловили и отправляли работать в другой ад; на каторге их было много — и самых разнообразных. Его подвешивали, пороли плетьми до потери сознания, обливали водой и опять пороли. Его держали в темном каземате по девяносто суток кряду. Он изведал ужас смирительной рубашки. Узнал пытку, после которой кажется, будто в голове звенит птица-муха. Государство сдавало его внаем подрядчикам-строителям, как рабочий скот. За ним охотились по болотам с собаками-ищейками. Дважды в него стреляли и тяжело ранили. Последние шесть лет ему приходилось изо дня в день рубить по полтора корда дров в каторжном

лесном лагере. Живой или мертвый, он обязан был нарубить эти полтора корда под страхом наказания плетью, завязанной узлами и вымоченной в соленом растворе.

И Росс Шенклин не стал ангелом от такого обращения. Он отвечал на него язвительным смехом и вызывающим поведением. Он видел, как заключенные, над которыми издевались сторожа, становились калеками на всю жизнь или навсегда теряли рассудок. Случалось, что сторожа, доведя каторжников до исступления, толкали их на убийство — так было с его товарищами по камере, — и те шли на виселицу, проклиная бога. Он участвовал в попытке к бегству, когда одиннадцать таких, как он, были застрелены. Участвовал в мятеже, когда триста арестантов взбунтовались в острожном дворе и были рассеяны пулеметами, после чего здоровенные сторожа избивали их рукоятками мотыг.

Он изведал силу человеческой жестокости и, пройдя через все испытания, ни разу не дрогнул. С неугасимой злобой боролся он до последнего дня, пока его, ожесточенного, озверевшего, наконец не выпустили. Ему выдали пять долларов в уплату за все годы труда и загубленную молодость. Зато в последующие годы он почти не

работал. Он презирал и ненавидел труд. Он бродяжничал, нищенствовал, воровал, обманывал или запугивал — в зависимости от обстоятельств — и при первом удобном случае напивался до бесчувствия.

Когда он проснулся, девочка все еще смотрела на него. Как у дикого зверя, все в нем проснулось, едва он открыл глаза. Первое, что он увидел, был неизвестно откуда взявшийся зонтик, который заслонял от него небо. Он не вскочил, даже не шевельнулся, только весь подобрался. Глаза его медленно скользнули от ручки зонтика к крепко стиснувшим ее пальчикам, потом по руке все выше и выше, пока не остановились на детском лице. Прямо и не мигая смотрел он в глаза девочки, и та ответила ему таким же взглядом, до дрожи испугавшись его горящих и в то же время холодных, угрюмых, налитых кровью глаз. В них не было и следа той теплой человечности, какую она привыкла видеть в глазах людей. Это были настоящие глаза каторжника, который научился мало говорить и почти разучился разговаривать.

— Алло! — произнес он наконец, даже не переменив позы. — Что за игру ты тут затеяла?

Голос у него был хриплый и грубый, вначале сердитый, но потом он как-то смягчился от

слабой попытки придать ему давно забытую ласковость.

— Здравствуйте, — сказала она. — Я не играю. Вам в лицо светило солнце, а мама говорит, что спать на солнце вредно.

Свежесть и чистота ее голоса приятно поразили его слух, и он удивился, почему раньше не замечал этого в детских голосах. Глядя на нее в упор, он медленно приподнялся и сел. Он чувствовал, что ему следует что-то сказать, но говорить он не любил и не умел.

— Надеюсь, вы хорошо выспались? — серьезно спросила девочка.

— Здорово выспался, — ответил он, все еще не отрывая от нее глаз, изумленный ее красотой и грациозностью. — И долго ты продержала надо мной эту штуковину?

— Ох, долго, долго! — протянула она, словно разговаривая сама с собой. — Я думала, вы никогда не проснетесь.

— А я, как увидел тебя, подумал, что ты фея.

Росс Шенклин почувствовал гордость, оттого что так удачно ответил.

— Нет, я не фея, — улыбнулась она.

Он с немым восхищением смотрел на ее белые, маленькие и ровные зубы.

— Я просто добрый самаритянин[13], — добавила она.

— Понятия не имею, что это за личность.

Он ломал голову, что бы еще такое сказать. Ему было очень трудно поддерживать этот разговор, ибо с той поры, как он стал взрослым, ему не приходилось иметь дело с детьми.

— Странно! Вы не знаете, кто такой был добрый самаритянин? Неужели вы не помните? Некий человек отправился в Иерихон.

— Бывал я там. Я еще и почище места видал.

— Я так и знала, что вы путешественник! — воскликнула она, захлопав в ладоши. — Может быть, вы видели это самое место?

— Какое?

— Ну, то самое место, где он случайно попал к разбойникам и они бросили его полумертвого. И вот пришел добрый самаритянин и перевязал ему раны, возливая масло и вино. Как вы думаете, это оливковое масло?

Он медленно покачал головой.

— Ты что-то меня с толку сбила. Оливковое

---

[13] notes: 13

Я просто добрый самаритянин. — Имеется в виду библейская притча о добром самаритянине, великодушном и человечном жителе города Самарии, расположенного в древней Палестине.

масло — это то масло, на котором даго[14] готовят. Сроду не слыхал, чтобы им смазывали расшибленные головы.

Она подумала над его словами.

— Как же так? Мы ведь тоже готовим на оливковом масле, значит, мы даго. А я и не знала, что это такое. Думала, это так ругаются.

— И, подошедши, перевязал ему раны... — тихо повторил бродяга, припоминая. — Помню, помню, священник действительно что-то такое болтал об этом старикане. С тех пор я всю жизнь искал его и ничего даже похожего не нашел. Видно, самаритяне давно перевелись на белом свете.

— А я? Разве я не добрый самаритянин? — живо спросила девочка.

Он впился в нее взглядом, полным удивления и любопытства. От легкого движения головы ее ушко, повернутое к солнцу, стало совсем прозрачным. Сквозь него почти можно было видеть. Его изумляла нежность ее красок: синева глаз, золото волос, ослепительно сверкавшее сейчас на солнце. Особенно поражала его ее хрупкость. «Того и гляди сломаешь», — подумал он и быстро перевел глаза со своей громадной, искривленной лапы

---

[14] notes: 14

Даго — в США презрительное название итальянцев, испанцев и латиноамериканцев испано-португальского происхождения.

на ее ручку, такую маленькую и нежную, что, казалось, видно, как кровь бежит по жилкам. Он знал колоссальную силу своих мускулов, знал все уловки и приемы, к каким люди прибегают, чтобы причинить другим увечье. По правде сказать, он почти ничего, кроме этого, не знал, и мысль его работала сейчас в привычном направлении. Такое сравнение его силы с ее хрупкостью служило ему мерилом необычайности ее красоты. Он подумал, что стоит ему чуть покрепче сжать ее пальчики, и они превратятся во что-то бесформенное. Он вспомнил, как бил людей по голове и как его били: даже самый легкий из этих ударов разнес бы ее головку, как яичную скорлупу. Глядя на ее плечики и тоненькую талию, он нисколько не сомневался, что мог бы сломать ее пополам.

— А я? Разве я не добрый самаритянин? — настойчиво переспросила она.

Слова эти будто толчком привели его в себя, вернее, увели от себя. Ему не хотелось, чтобы разговор их кончился.

— Что? — спросил он. — Ах да, конечно, ты самаритянин, хотя и без оливкового масла. — Потом вспомнил, о чем только что думал, и спросил: — А ты не боишься?

Она посмотрела на него с недоумением.

— Ме... меня? — запнувшись, добавил он.

Она весело рассмеялась.

— Мама говорит, что никогда и ничего не надо бояться. Она говорит, если ты хорошая и думаешь, что все люди хорошие, они и будут хорошие.

— Значит, ты думала, что я хороший, когда заслонила меня от солнца? — поразился он.

— Но только очень трудно считать хорошими всяких гадких насекомых и червяков, — призналась она.

— Есть люди, которые во сто раз хуже всяких ползучих гадов, — заспорил он.

— А мама говорит, что это неправда. Она говорит, в каждом есть что-то хорошее.

— Ручаюсь, что она все же крепко запирает дом на ночь, — торжествующе заявил он.

— А вот и нет! Мама никого не боится. Потому она и позволяет мне играть здесь одной, когда мне вздумается. Это что? Один раз к нам залез грабитель. Мама случайно встала и увидела его. И что же вы думаете! Это оказался просто бедный, голодный человек. Мама хорошенько накормила его, а потом нашла ему работу.

Росс Шенклин был ошеломлен. Такой взгляд на человеческую природу показался ему немыслимым. Ему выпало на долю жить в мире подо-

зрения и ненависти, дурных мыслей и дурных поступков. Сколько раз детишки в деревне, завидев, как он в сумерки понуро бредет по улице, с визгом бросались к матерям. Даже взрослые женщины шарахались от него, когда он проходил по тротуару.

От этих мыслей его отвлекла девочка, громко воскликнув:

— Я знаю, кто вы такой! Вы человек, который обожает свежий воздух. Вот почему вы спали на траве.

Росс Шенклин почувствовал мрачное желание расхохотаться, но подавил его.

— Я все думала, откуда берутся бродяги. Оказывается, это люди, которым нужен свежий воздух. Мама считает, что ничего не может быть полезнее свежего воздуха. Ночью я сплю на веранде. Мама тоже. Это наш участок. Вы, должно быть, перебрались сюда через забор. Мама не запрещает мне лазить, только велит надевать штаны от спортивного костюма. Но мне нужно вам что-то сказать. Человек не знает, что он храпит во сне. Но вы скрипите зубами, это еще хуже. Это очень плохо. Всякий раз, как вы ложитесь спать, говорите себе: не буду скрипеть зубами! Не буду скрипеть зубами! Повторяйте это по нескольку

раз вот этими самыми словами, и постепенно вы отучитесь от этой привычки.

Все дурное входит в привычку. И все хорошее тоже. И это от нас зависит, к чему мы будем привыкать. Я раньше все морщила лоб, поднимала брови — вот так, и мама сказала, что надо оставить эту привычку. Она сказала, что когда у меня наморщен лоб — значит, и мозг сморщен. Она разгладила мой лоб и сказала: ты всегда должна думать: гладко, гладко снаружи, гладко и внутри. И знаете, это было совсем нетрудно. Теперь я уже давно перестала морщить лоб. Говорят, что даже больной зуб можно лечить мыслями и не надо никакой пломбы. Но я этому не верю. И мама не верит.

Слегка задохнувшись, она замолчала. Молчал и он. Этот поток слов оглушил его. К тому же, пьяный, он спал с открытым ртом, и теперь ему очень хотелось пить. Но Росс Шенклин готов был терпеть мучительную жажду, от которой у него жгло во рту и горле, ради каждой драгоценной минуты этого разговора. Он облизал пересохшие губы, пытаясь заговорить.

— Как тебя звать? — удалось ему наконец выжать из себя.

— Джин.

Бродяга прочел в ее глазах тот же вопрос.

— А меня Росс Шенклин, — охотно ответил он, впервые за эти долгие годы назвавшись своим настоящим именем.

— Вы, наверное, много путешествовали?

— Много, а все-таки не так много, как мне хотелось бы.

— Папе тоже очень хотелось бы путешествовать, но он слишком занят делами. У него никогда нет свободного времени. Они с мамой ездили вместе в Европу. Но это было давно, когда я еще не родилась. Путешествия — дорогое удовольствие.

Росс Шенклин не знал, соглашаться ему с таким утверждением или нет.

— Но бродягам они обходятся гораздо дешевле, — подхватила она его мысль. — Оттого, должно быть, вы и бродяжничаете.

Он кивнул и опять облизал губы.

— Мама говорит, как это плохо, что людям приходится бродить по свету, чтобы найти работу. Но в наших местах сейчас сколько угодно работы. Все фермеры в долине нуждаются в рабочих руках. А вы работали?

Он покачал головой, досадуя на себя, что ему стыдно признаться, тогда как исступленный разум говорил ему, что он прав, презирая труд.

Но следом пришла другая мысль: кто-то ведь приходится отцом этому чудесному ребенку, а такое дитя — одна из наград за труд.

— Как бы мне хотелось иметь такую девочку, как ты! — нечаянно вырвалось у него под впечатлением вдруг пробудившейся жажды отцовства. — Я бы работал не покладая рук... все бы стал делать...

Девочка отнеслась к его заявлению с подобающей серьезностью.

— Значит, вы не женаты?

— Какая женщина пошла бы за меня?

— Пошла бы, если б...

Она не повела брезгливо носиком, но наградила его грязь и лохмотья неодобрительным взглядом, в значении которого он не мог ошибиться.

— Продолжай! — почти крикнул он. — Валяй, не стесняйся. Если б я был чисто умыт, если б на мне была хорошая одежа... если б я был порядочным человеком... если б я работал... если б у меня была постоянная работа... если б я не был тем, что я есть...

Каждую его фразу она подтверждала кивком головы.

— Что делать, я не такого сорта человек. Во мне нет ни настолько вот хорошего, — неистовство-

вал он. — Я бродяга и не хочу работать. Не хочу, вот и все. И грязь мне по нутру.

Взгляд ее выразил явный упрек, когда она сказала:

— Значит, вы меня обманули и вам вовсе не хочется иметь такую девочку, как я?

Он растерялся от этих слов, ибо вся сила впервые пробудившегося отцовского инстинкта говорила ему, что он хочет именно этого.

Заметив его смущение, девочка с присущим ей тактом постаралась переменить тему разговора.

— А что вы думаете о боге? — спросила она.

— Никогда с ним не знался. А ты что о нем думаешь?

В ответе его чувствовалась явная злоба, и она отозвалась на нее откровенным неодобрением.

— Странный вы человек. Чуть что, и уже разозлились. Никогда еще не видела, чтобы кто-нибудь злился на бога, на работу или на то, что нужно умываться, а не ходить грязным.

— Он никогда ничего для меня не делал! — сердито пробормотал Росс Шенклин. В памяти его быстро пронеслись долгие годы подневольной работы в лагерях и рудниках. — И работа мне тоже никогда ничего не давала.

Наступило тягостное молчание.

Он смотрел на девочку, томимый впервые пробудившимся в нем отцовским чувством. Он жалел, что у него такой скверный характер, и мучительно думал, что бы ей сказать. Она отвернулась от него и стала глядеть на облака, а он пожирал ее глазами. Протянув грязную руку и касаясь украдкой самого края ее платьица, он думал о том, что нет на земле более чудесного существа, чем она. Из далеких зарослей все еще слышался зов перепела, и шум работ на виноградниках показался ему вдруг очень громким. Чувство беспредельного одиночества давило его.

— Я... Никудышный я человек! — вырвалось у него хрипло, отчаянно.

Девочка взглянула на него своими синими глазами и снова будто перестала замечать его. Росс Шенклин чувствовал, что отдал бы все на свете, лишь бы коснуться губами краешка ее платья, которого касалась его рука. Но он боялся испугать ее.

Поминутно облизывая языком пересохшие губы, он силился выговорить что-нибудь связное, все равно что, только бы прервать молчание.

— Это не долина Сономы! — выпалил он наконец. — Это волшебная страна, а ты фея. Может, я сплю и это мне снится, не знаю. Мы с тобой не

умеем столковаться друг с другом, потому что, видишь ли, ты фея и знаешь только хорошее, а я человек из скверного, грешного мира.

Благополучно справившись с длинной фразой, он остановился в поисках мыслей, судорожно ловя воздух, как выброшенная на берег рыба.

— Так вы мне сейчас расскажете про этот скверный, грешный мир. Мне так хочется узнать, какой он.

Он с ужасом посмотрел на нее, вспомнив о распутных женщинах, о том отребье, с которым он сталкивался на извилистых дорогах жизни. Значит, она не фея, а настоящее земное существо, и, может быть, семена порока заложены в ней, как были заложены в нем, когда он еще лежал у материнской груди. Недаром ей не терпится все знать.

— Э, нет! — улыбнулся он. — Человек из скверного, грешного мира не станет тебе рассказывать ничего дурного. Наоборот, он расскажет тебе про то, что есть в этом мире хорошего. Расскажет, как он любил лошадей, когда был мальчишкой, и о первой лошади, на которую сел верхом, и о первой собственной лошади. Лошадь не то, что человек. Она лучше. Она чистая, вся как есть чистая. Эх, маленькая фея, хочется мне рассказать

тебе одну вещь, с которой, кажется, ничто на свете не сравнится: это когда я, бывало, сяду к концу долгого дня на усталую лошадь и только скажу ей словечко, как эта намаявшаяся за день животина послушно взовьется подо мной и помчит меня далеко, далеко. Лошади! Это моя давнишняя страсть. Я помешан на лошадях! Да! Ведь я был когда-то ковбоем.

Она так радостно захлопала в ладоши, что звук этот блаженно рванул его за сердце, и глаза ее загорелись, когда она вскрикнула:

— Техасским ковбоем! Мне всегда ужасно хотелось увидеть ковбоя. Папа говорил, что у всех у них ноги дугой. А у вас?

— Я действительно был техасским ковбоем. И, ясное дело, ноги у меня дугой. Сама подумай, как тут ногам немножко не согнуться, когда ты, совсем мальчонкой с еще мягкими косточками, только и знаешь, что мчаться верхом. А ведь мне было всего три годочка, когда я начал ездить. Лошадка моя тоже была трехлетка, только что объезженная. Я подвел ее к забору, влез на верхнюю перекладину и махнул оттуда вниз прямо ей на спину. Это была мексиканская лошадка, сущий дьяволенок по части ляганья, но я мог с ней делать все, что хотел. Мне сдается, она понимала,

что я только малый ребенок. Многие лошади понимают куда больше, чем мы думаем.

В течение получаса Росс Шенклин изливал свои воспоминания о лошадях, перескакивая с одного на другое, ни на мгновение, однако, не забывая о величайшей радости, наполнявшей его оттого, что его рука касалась края ее платья. Солнце медленно садилось в гряду облаков, перепелиный зов становился все настойчивее, и телеги, теперь уже порожняком, одна за другой с грохотом катились назад по мосту. В это время послышался женский голос:

— Джин! Джин! Где ты, маленькая!

Девочка отозвалась, и Росс Шенклин увидел женщину, которая, выйдя из домика, показалась в калитке. Одетая в мягко облегающее фигуру платье, она была так стройна и грациозна, что его очарованному взгляду представилось, будто она плывет, а не ступает по земле, как обыкновенный человек.

— Что ты делала после обеда? — спросила женщина, подойдя к ним.

— Разговаривала, мама, — ответила девочка. — Мне было очень весело.

Росс Шенклин с трудом поднялся на ноги и стоял неуклюжий, насторожившийся. Девочка

взяла мать за руку, и та, так же как дочь, открыто и приветливо на него взглянула. Росс Шенклин почувствовал, что она признала в нем человека, и это было для него новостью. В голове его пронеслась мысль: *«Женщина, которая не боится»*. Он не заметил в ней и следа того страха, какой привык видеть в глазах женщин. И никогда еще он с такой ясностью не представлял себе своей отталкивающей внешности, своих тусклых, слезящихся глаз.

— Здравствуйте, — просто и ласково поздоровалась она с ним.

— Здравствуйте, мэм, — ответил он и устыдился своего хриплого, грубого голоса.

— А вам тоже было весело? — улыбнулась она.

— Да, мэм, очень. Я только что рассказывал вашей дочурке о лошадях.

— Он был когда-то ковбоем, мама! — воскликнула девочка.

Взглянув на нее с нежностью, мать благодарно улыбнулась Россу. А тот подумал, каким бы это было преступлением, если б кто-нибудь обидел одну из них. И ему захотелось, чтобы им сейчас угрожала какая-нибудь страшная опасность, тогда б он кинулся за них в драку — а драться он умел! — и защищал бы их, не жалея сил и

жизни.

— Пора домой, маленькая. Уже поздно, — сказала мать, потом нерешительно взглянула на Росса Шенклина.

— Не хотите ли закусить?

— Нет, мэм, сердечно вам благодарен. Я... я не голоден.

— Тогда попрощайся, Джин, — напомнила мать.

— Прощайте. — Девочка протянула ему руку, и глаза ее лукаво засветились. — Прощайте, Человек из скверного, грешного мира!

Для него прикосновение ее руки, когда он взял ее в свою, было венцом этого чудесного приключения.

— Прощай, маленькая фея, — глухо произнес он. — Кажется, и мне пора двигаться.

Но он не двинулся с места и долго глядел вслед этому видению, пока оно не исчезло за калиткой. День, показалось ему, разом померк. Он нерешительно огляделся, перемахнул через изгородь, миновал мост и понуро побрел дальше. Он шел как во сне, не замечая, как и куда несут его ноги, временами спотыкаясь на пыльной ухабистой дороге.

Пройдя с милю, он очнулся на перекрестке.

Прямо напротив виднелся трактир. Он остановился и, облизывая губы, долго смотрел на него. Потом полез рукой в карман штанов и нащупал единственную десятицентовую монету. «Боже! — тихо пожаловался он. — Боже!» Ноги, отказывавшиеся сдвинуться с места, оторвались и опять потащили его вперед.

Он доплелся до крупной фермы. Что она, должно быть, крупная, он понял по размеру дома и по количеству больших амбаров и надворных служб. На крылечке, без пиджака, покуривая сигару, стоял фермер, человек средних лет, с острыми глазами.

— Как насчет работы? — спросил Росс Шенклин.

Острые глаза скользнули по нему.

— Доллар в день и харчи, — последовал ответ.

Росс Шенклин судорожно глотнул слюну и набрался духу.

— Я отлично соберу вам виноград или другое, что придется. Но нет ли у вас постоянной работы? Я вижу, это большое ранчо. Я родился на таком же. Умею править лошадьми, ездить верхом, пахать, бороновать — словом, делать всякую работу с лошадьми или при лошадях.

Фермер окинул его с ног до головы оцениваю-

щим, недоверчивым взглядом.

— Что-то не похоже, — вывел он свое заключение.

— Знаю, что не похоже. Дайте мне возможность вам это доказать. Большего я не прошу.

Озабоченно поглядывая на сгустившиеся тучи, фермер задумался.

— Мне нужен возчик, и я дам вам возможность показать себя. Ступайте и садитесь ужинать с рабочими.

У Росса Шенклина перехватило горло, и он еле выговорил:

— Ладно. Я докажу вам. Где у вас тут можно испить воды и умыться?

Блудный отец

I

Джозия Чайлдс был обыкновенным процветающим дельцом с самой заурядной внешностью. Он носил шестидесятидолларовый практичный костюм, приличные, удобные ботинки по моде, его галстук, воротнички и манжеты были именно такими, какие носят все процветающие деловые люди. Единственной экстравагантной деталью его костюма был котелок. Город Окленд (Калифорния) не какой-нибудь сонный провинциальный городишко, и Джозия Чайлдс, один из самых крупных бакалейщиков этого бурно растущего западного города с населением в триста тысяч человек, жил, действовал и одевался соответственно своему положению.

Но в это утро его появление в магазине незадолго до наплыва покупателей, если и не вызвало нарушения заведенного порядка, то уж, во всяком случае, самым значительным образом снизило работоспособность служащих на целых полчаса. Он приветливо кивнул двум возчикам, грузившим свои фургоны товаром для того, чтобы с

утра пораньше доставить его покупателям, и по привычке бросил довольный взгляд на вывеску, прибитую на фронтоне здания, — «Чайлдс. Бакалейные товары». Буквы были не слишком большие, но с достоинством выписанные золотом на черном фоне, что наводило на мысли о благородных специях, аристократических приправах и превосходном качестве товаров (за что, разумеется, здесь брали на десять процентов больше, чем в любой другой бакалейной города). И так как Джозия Чайлдс повернулся спиной к возчикам и вошел в здание, ему не довелось увидеть, как эти два достопочтенных человека, буквально изнемогая от удивления, повисли на шее друг у друга. Стоять на ногах без опоры они уже не могли.

— Ты заметил, какие у него штиблеты, Билл? — простонал один из них.

— А чепчик? — простонал Билл в ответ.

— Собрался, видно, на маскарад…

— Или на собрание «Диких всадников»…

— Или охотиться на медведей…

— Или представлять сведения о своих доходах…

— А не ехать на этот несчастный Восток. Монктон говорит, что он собирается в Бостон…

Возчики отстранились на вытянутую руку и потом снова упали в объятия друг друга.

Экипировка Джозии Чайлдса вполне объясняла их поведение. На нем была желтовато-коричневая стетсоновская шляпа с жесткими полями, схваченная лентой из тисненой мексиканской кожи. Поверх голубой фланелевой рубашки, украшенной длинным виндзорским галстуком, была надета вельветовая куртка. Штаны, сшитые из того же материала, были заправлены в ботинки с высокой шнуровкой, какие обычно носят землемеры, путешественники и путевые сторожа.

Клерк, сидевший за конторкой, буквально оцепенел, увидев эксцентричный наряд своего хозяина. Монктон, недавно произведенный в ранг заведующего, открыл рот от изумления, потом судорожно сглотнул и снова принял свой невозмутимо-внимательный вид. Конторщица, примостившаяся в стеклянном насесте, оборудованном на внутреннем балкончике, взглянув на хозяина, прыснула и уткнулась в бухгалтерскую книгу. Все это не укрылось от Джозии, но ему было все нипочем. Он уезжал в отпуск, и весь окунулся в планы, предвкушая самую авантюрную поездку за последние десять лет. Ему виделся городок Ист-Фоллз в Коннектикуте, где он родился и вырос.

Окленд, несомненно, представлялся ему более современным городом, чем Ист-Фоллз, и переполох, вызванный его появлением в необыкновенном одеянии, был вполне закономерным. Не обращая внимания на потрясенных служащих, Джозия Чайлдс в сопровождении заведующего обходил магазин, делая замечания, отдавая последние распоряжения и излучая нежные, прощальные взгляды на свое дело, созданное им буквально из ничего.

Он имел право гордиться своим магазином. Двенадцать лет тому назад он сошел с поезда на землю Окленда, имея в кармане четырнадцать долларов и сорок три цента. На Крайнем Западе центы не имели хождения, и потому, израсходовав четырнадцать долларов, он довольно долго еще носил в кармане три монетки. Позже, когда Джозия Чайлдс устроился приказчиком в бакалейную лавку за одиннадцать долларов в неделю и стал ежемесячно посылать небольшие денежные переводы некой Агате Чайлдс в Ист-Фоллз, штат Коннектикут, он вложил свои медяки в почтовые марки. Дядя Сэм не мог отвергнуть законного платежного средства.

Прожив всю жизнь в перенаселенной Новой Англии, где изворотливость и хитрость оттачива-

ются до бритвенной остроты на шершавом камне малых возможностей, он вдруг оказался на лишенном предрассудков Западе, где люди мыслят тысячедолларовыми категориями, а мальчишки-газетчики падают замертво при виде медных центов. Джозия Чайлдс буквально вгрызался в дела. Он был сообразителен. Он увидел так много способов добывания денег, что сначала глаза у него разбежались.

В то же время, будучи человеком здравомыслящим и консервативным, он решительно избегал спекулятивных махинаций. Его влекло нечто существенное и солидное. Работая конторщиком за одиннадцать долларов в неделю, он подмечал, какие возможности упускал его хозяин, в какие выгодные сделки можно было бы вступить и как тот допускал бесчисленные ненужные расходы. И если, несмотря на все это, хозяин неплохо зарабатывал, то что бы мог сделать он, Джозия Чайлдс, имея за плечами коннектикутскую выучку? Прибыв на бурлящий, щедрый Запад после тридцати пяти лет пребывания в Ист-Фоллз, из которых пятнадцать он прослужил в скучной должности приказчика в скучном истфоллзском универсальном магазине, Джозия Чайлдс чувствовал себя иссохшим от жажды отшельником, вдруг

выпившим бутылку вина. Голова у него шла кругом от представившихся ему возможностей легко разбогатеть. Но он не терял головы. И ничего не упустил. Он проводил свои свободные часы, изучая Окленд и его жителей, присматриваясь, как они зарабатывают деньги, почему и где их тратят. Он бродил по центральным улицам, наблюдая за потоком покупателей и даже подсчитывая их и занося результаты этих статистических подсчетов в многочисленные записные книжки. Он изучал общую кредитную систему торговли и кредитные системы различных районов города. Он досконально знал среднюю заработную плату или жалованье обитателей любого околотка и тщательно изучал все районы города — от портовых трущоб до аристократических кварталов у озера Меритт и на Пьемонтских холмах, от Западного Окленда, где жили железнодорожные служащие, до фермеров Фрютаейла на противоположной стороне города.

И он решил, что в конце концов обоснуется на Бродвее — на главной улице, в самом центре торгового района, где ни один здравомыслящий бакалейщик даже и не мечтал открыть свое заведение. На это требовались деньги, и ему приходилось начинать с малого.

Первая лавка его находилась в Нижнем Филберте, где жили рабочие с гвоздильной фабрики. Спустя полгода три бакалейные лавчонки, находившиеся в этом районе, не выдержали конкуренции и закрылись, а ему пришлось нанять более просторное помещение. Он усвоил принцип массовой торговли с небольшой прибылью, принцип честной торговли товарами хорошего качества. Он также разгадал секрет рекламы. Каждую неделю он продавал какой-нибудь вид товара с убытком. И то были не какие-нибудь грошовые рекламные издержки, это был настоящий убыток. Его единственный приказчик предсказывал неминуемое банкротство, когда масло, которое обошлось Чайлдсу в тридцать центов, продавалось по двадцать пять, а двадцатидвухцентовый кофе выкладывался на прилавок по восемнадцать. На эти распродажи собирались женщины со всей округи и заодно закупали другие продукты, продававшиеся с прибылью. Вся округа вскоре узнала Джозию Чайлдса, и постоянная толпа покупателей в его лавке служила хорошим средством привлечения все новых клиентов.

Но Джозия Чайлдс не зарывался. Он знал, на чем зиждется его процветание. Он изучал

гвоздильную фабрику до тех пор, пока не узнал производство так, как не знали даже управляющие. При первом же тревожном признаке он продал свою лавку и с небольшой суммой наличных денег отправился на поиски нового района. Шесть месяцев спустя гвоздильная фабрика закрылась, и закрылась навсегда.

Потом он открыл магазин на Аделин-стрит, где обитали обеспеченные служащие. Здесь на полках были выставлены уже более высококачественные и разнообразные товары. Испытанным способом он привлек покупателей. Он завел у себя гастрономический отдел. Он имел дело непосредственно с фермерами, и поэтому его масло и яйца были не только всегда свежими, но даже чуть лучше, чем в дорогих бакалейных города. Только в его магазине можно было купить бостонские печеные бобы, и они стали настолько популярными, что пекарня «Туин Кэбин» перекупила дело за более чем приличную цену. Он не жалел времени на изучение фермерских хозяйств и сортов яблок, которые там выращивались, а некоторых фермеров научил, как правильно делать сидр. Побочное дело поначалу, его новоанглийский яблочный сидр имел такой успех, что вскоре, монополизировав торговлю сидром в

Сан-Франциско, Беркли и Аламеде, Джозия Чайлдс превратил ее в самостоятельную отрасль.

Но он не оставлял своей мечты о Бродвее. Он открыл еще всего лишь одну новую лавку, обосновавшись как можно ближе к Эшлэнд Парк Тракт, где каждый покупатель земельного участка должен был взять обязательство построить дом стоимостью не менее четырех тысяч долларов. Потом он переехал на Бродвей.

Жители Бродвея вели себя странно. Они постепенно переселялись на Вашингтон-стрит, где цены на дома взлетели вверх, на Бродвее же цены пали. По мере того, как истекали сроки арендных договоров, владельцы магазинов перебирались на Вашингтон-стрит.

«Они еще вернутся обратно», — сказал Джозия Чайлдс, но сказал он это про себя. Он знал людей. Окленд рос, и Джозия Чайлдс знал, почему он рос. Вашингтон-стрит становилась слишком узка для интенсивного уличного движения. А по широкому Бродвею, по логике вещей, будет ходить все большее количество трамваев. Агенты по продаже недвижимого имущества говорили, что население Бродвея никогда уже не увеличится, а ведущие коммерсанты переселялись туда, где росло население. И вот по смехотворно

низкой цене Джозия Чайлдс заключил долгосрочное соглашение на аренду современного первоклассного здания на Бродвее и внес задаток на его покупку по твердой цене. Это начало конца Бродвея, говорили торговцы недвижимым имуществом, раз уж бакалею открывают в центральном квартале, прежде неприкосновенном для подобных заведений. Позже, когда Бродвей снова стал главной улицей, они говорили что Джозия Чайлдс родился в рубашке. Ходили также слухи, что в результате этой сделки он сэкономил по крайней мере тысяч пятьдесят.

Магазин этот в корне отличался от его прежних лавок. Больше не устраивались дешевые распродажи. Все было самого лучшего качества, и на все были самые высокие цены. Он поставлял розничным торговцам самые дорогие товары в городе. Только те, кто мог, не задумываясь, позволить себе платить на десять процентов больше, чем в любом другом месте, были его покупателями, и обслуживание было настолько хорошим, что они не могли позволить себе покупать продукты в другом месте. Его лошади и доставочные фургоны были дороже и лучше, чем у кого бы то ни было в городе. Он платил своим возчикам, продавцам и конторщикам такое жалованье, о котором и не

мечтали в других магазинах. В результате этого он заполучил более квалифицированных служащих, услуги которых удовлетворяли как хозяина, так и его клиентов. Короче говоря, если человек покупал у Чайлдса, то это было верным признаком того, что он имеет в обществе большой вес.

В довершение всего в Сан-Франциско случилось большое землетрясение и пожар, после чего сразу сто тысяч человек пересекли залив и поселились в Окленде. И Джозия Чайлдс оказался не последним среди тех, кто заработал на этом необычном буме. И теперь, прожив двенадцать лет на Западе, он собирался посетить Ист-Фоллз в штате Коннектикут. За двенадцать лет он не получил ни одного письма от Агаты и ни разу не видел фотографии своего сына.

С Агатой они никогда не ладили. Агата была деспотична и сварлива. В ней крепко сидела закваска старомодной морали. Строгие правила, которых она неуклонно придерживалась, вызывали неприязнь, Джозия никак не мог разобраться, каким образом он оказался женатым на ней. Она была года на два старше его и давно уже ходила в старых девах. Она преподавала в школе, и молодое поколение знало ее как строгую блюстительницу дисциплины. Поддерживать во

всем порядок вошло у нее в привычку, и, выйдя замуж, она просто получила под надзор вместо десятков учеников одного. На долю Джозии достались все придирки и угрозы, которые прежде распределялись между многими. О том, как стряслась эта женитьба, довольно точно выразился однажды его дядя Айзек:

— Джозия, когда Агата выходила за тебя замуж, наверно, не обошлось без борьбы. Бьюсь об заклад, что она положила тебя на обе лопатки. Ты, наверно, сломал ногу и не мог убежать от нее.

— Дядя Айзек, — ответил Джозия, — я не ломал ноги. Я бежал, что было сил, но задохнулся, и она догнала меня.

— У нее хорошо поставлено дыхание, а? — хихикнул дядя Айзек.

— Мы уже пять лет, как женаты, — согласился Джозия, — и еще не было случая, чтобы она запыхалась.

— И не будет, — добавил дядя Айзек.

Разговор этот происходил в последние дни пребывания Джозии в семье, ибо жить, имея такую мрачную перспективу, оказалось выше его сил. Джозия Чайлдс кротко переносил строгий воспитательный режим, установленный Агатой, но он был здоровяком и у него недостало бы терпения

прожить долгую жизнь с такой супругой. Ему было всего лишь тридцать три, и родители его обладали завидным долголетием. Прожить еще тридцать три года с Агатой и подвергаться ее придиркам — страшно подумать! И вот однажды ночью Джозия Чайлдс исчез из Ист-Фоллз. И с того времени, за все двенадцать лет, он не получил от нее ни одного письма. Но это не ее вина. Он тщательно скрывал от нее свое местонахождение. Свои первые почтовые переводы он отправлял из Окленда, но потом приспособился посылать их так, чтобы на них были различные марки большинства штатов к западу от Скалистых гор.

Но двенадцать лет и самонадеянность, порожденная заслуженным успехом, несколько приглушили тягостные воспоминания. В конце концов, она была матерью его сына. И она, разумеется, вовсе не желала ему плохого. Кроме того, теперь ему уже не приходилось работать так много, и у него оставалось время, чтобы подумать о чем-то, что не относилось к деловой сфере. Ему хотелось увидеть мальчика, которого он никогда не видел; тому исполнилось уже три года, когда он впервые узнал, что является отцом. И потом в душу его стала закрадываться тоска по родине. Двенадцать лет он не видел снега, и ему поче-

му-то казалось, что плоды и ягоды Новой Англии имеют иной вкус, чем те, что произрастают в Калифорнии. Он весьма туманно представлял себе Новую Англию и хотел воочию увидеть ее снова хотя бы еще раз в жизни.

И наконец поехать обязывал долг. Агата — его жена. Он возьмет ее с собой на Запад. Он знал, что может справиться с ней. Он стал настоящим мужчиной здесь, в этом мире мужчин. И уже руководили не им, а он сам руководил, и Агата не замедлит уразуметь это. Тем не менее он хотел, чтобы Агата приехала к нему ради него самого. Вот почему он вырядился в доспехи покорителя Запада. Он притворится блудным отцом, вернувшимся таким же бедняком, каким уехал, и все будет зависеть от того, заколет ли она для него упитанного тельца. Он прикинется, что у него нет за душой ни гроша, и справится, не может ли он снова устроиться на работу в универсальный магазин. Как развернутся события дальше, это будет зависеть от Агаты.

Когда он попрощался со своими служащими и вышел на улицу, у магазина стояло под погрузкой еще пять фургонов. Он с гордостью оглядел их, бросил последний влюбленный взгляд на черно-золотую вывеску и сел в трамвай на углу.

II

В Нью-Йорке Джозия Чайлдс пересел на поезд, идущий через Ист-Фоллз. В пульмановском вагоне для курящих он познакомился с несколькими бизнесменами. Зашел разговор о Западе, и он вскоре завладел вниманием присутствовавших. Джозия Чайлдс был президентом оклендской Торговой палаты, и голос его звучал авторитетно. Слова его были весомы, и он с одинаковым знанием дела высказывался о торговле с Азией, о Панамском канале или о проблеме японских кули. Поощряемый почтительным вниманием этих процветающих дельцов с Востока, он весьма оживился и не заметил, как подъехал к Ист-Фоллз.

Кроме него, никто не сошел на этой пустынной станции. Никто никого не встречал. Спускались долгие январские сумерки, и его сразу пробрал крепкий морозец. На свежем воздухе вдруг он почувствовал, что его одежда пропиталась запахом табачного дыма. Он невольно вздрогнул. Агата не выносила курения. Он хотел было отшвырнуть только что зажженную сигару, но потом, сообразив, что на него действует атмосфера Ист-Фоллз, решительно сунул сигару в рот и стиснул ее зубами со всей твердостью, какую он приобрел за

двенадцать лет жизни на Западе.

Пройдя несколько шагов, он вышел на маленькую главную улицу городка. Его поразил ее холодный, чопорный вид. Казалось, все замерзло и сжалось, как и морозный кусачий воздух, который так контрастировал с теплым и мягким воздухом Калифорнии. На улице ему попалось всего несколько незнакомых ему людей, равнодушно взглянувших на него. Взгляды их были непроницаемыми, холодными, недружелюбными. И он вдруг удивился тому, что удивляется. Во время двенадцати бурных лет жизни на Западе он постоянно вспоминал об Ист-Фоллз как о чем-то весьма несущественном, но то, что он увидел, было уже вообще ниже всякой критики. Он и не представлял себе, что все это настолько ничтожно. А вид универсального магазина буквально ошеломил его. Миллионы раз он мысленно сравнивал с ним свой просторный храм торговли, и теперь понял, что эта лавочка не стоила даже сравнения. Он был уверен, что не разместил бы в ней даже двух гастрономических прилавков, что она затерялась бы в любом из его складских помещений.

Он повернул направо на знакомом углу в конце улицы и, с трудом шагая по скользкому тротуа-

ру, решил, что в первую очередь нужно купить котиковую шапку и перчатки. При мысли о катании на санках он даже развеселился, пока не вышел на окраину городка, где его смутила явно антисанитарная близость жилых помещений и коровников. Кое-где они даже составляли единое целое. Неприятные воспоминания о работе по хозяйству, о потрескавшихся и обмороженных руках расстроили его. Сердце его сжалось при виде двойных рам, которые, как он знал, были заделаны намертво, а при взгляде на маленькие, не больше дамского платка, форточки у него появилось ощущение удушья.

«Агате понравится Калифорния», — думал он, и перед его глазами вставали розы, залитые ослепительным солнцем, и великое множество цветов, распускавшихся круглый год.

Но тут вопреки всякой логике годы, проведенные в Калифорнии, выпали из его памяти, а действительность Ист-Фоллз свинцовой тяжестью легла на сердце, обступила, словно сырой морской туман. Он отгонял ее, отмахивался от нее с помощью сентиментальных мыслишек о «добром снеге», «прекрасных вязах», «здоровом духе Новой Англии» и «счастливом возвращении домой». Но, увидев дом Агаты, он сник. Внезапно

вновь появилось ощущение вины, он невольно отбросил недокуренную сигару и умерил шаг, пока не стал вяло волочить ноги, как в дни своей жизни в Ист-Фоллз. Он старался внушить себе, что является владельцем крупнейшего магазина, человеком, привыкшим командовать, что к словам его прислушиваются в Ассоциации предпринимателей и что он председательствует на собраниях Торговой палаты. Он попытался воскресить в памяти золотые буквы на черном фоне, ряды фургонов у тротуара. Но от новоанглийского духа, едкого, как мороз, не спасали ни толстые стены дома, в котором жила Агата, ни сотни ярдов, отделявших его от нее.

Потом он понял, что машинально бросил сигару. Перед ним возникло страшное видение. Вот он выходит на мороз, чтобы покурить в дровяном сарае. И он почувствовал, что теперь, когда между ним и Агатой не лежало расстояние в три тысячи миль, годы разлуки уже не могли приглушить тягостные воспоминания о ней. Нет, это немыслимо. Он не может сделать этого. Он слишком стар, слишком привык курить всюду, где ему заблагорассудится, и не в силах совершить подвиг — курить в дровяном сарае. Все будет зависеть от того, как он поставит себя с самого начала.

Он настоит на своем. Он закурит в доме сегодня же вечером… в кухне. Нет, черт побери, он закурит теперь же! Он войдет с сигарой в зубах. Проклиная холод, он вынул из карманов руки и зажег новую сигару. Крохотное пламя спички, казалось, распалило его мужество. Он покажет ей, кто хозяин! Он с самого начала покажет ей!

Джозия Чайлдс родился в этом доме. А отец построил дом задолго до его рождения. Поверх низкого каменного забора Джозия видел веранду, дверь в кухню, примыкающий к дому дровяной сарай и поодаль дворовые службы. Он только что приехал с Запада, где все было, как с иголочки, все постоянно обновлялось, и его поразило отсутствие перемен. Все было таким, как прежде. Он даже видел себя мальчуганом, помогающим по хозяйству. Сколько дров напилено и нарублено там, в дровяном сарае! Слава богу, все это в прошлом.

Дорожку к кухне, видно, недавно расчистили от снега. Это тоже входило в его обязанности. Интересно знать, кто делает это теперь, и тут Джозия вспомнил, что его сыну должно уже исполниться двенадцать. Он собирался было постучаться в кухонную дверь, как услышал визг пилы, заставивший его сделать шаг назад. Он

заглянул в сарай и увидел поглощенного работой мальчугана. Наверно, это был его сын. Под влиянием нахлынувшего теплого чувства Джозия чуть было не бросился к пареньку. Он с трудом взял себя в руки.

— Отец дома? — коротко спросил он, внимательно рассматривая мальчика из-под твердых полей своей стетсоновской шляпы.

«Рослый для своего возраста, — подумал он. — Худоват немного, это, наверно, от быстрого роста. Но черты лица волевые и приятные, а глаза, как у дяди Айзека. Что говорить, хороший парень!»

— Нет, сэр, — ответил мальчик, опираясь на пилу.

— А где он?

— В плавании.

Джозия Чайлдс испытал что-то вроде облегчения, и внутри все затрепетало от радости. Агата снова вышла замуж… по-видимому, за моряка. Потом в голову ему пришла зловещая мысль, бросившая его в дрожь. Агата совершила преступление — она стала двумужницей. Он вспомнил «Эноха Ардена», которого учитель читал классу вслух в старой школе, и вообразил себя героем. Он совершит героический поступок. Да, черт побери, он сделает это! Он потихоньку уйдет и

первым же поездом уедет в Калифорнию. И она ничего не узнает.

Но куда же девалась новоанглийская мораль Агаты, ее новоанглийская порядочность? Она регулярно получала переводы. Она знала, что он жив. Не может быть, чтобы она так поступила. Он мучительно раздумывал. Наверно, она продала старый дом и этот мальчик чужой.

— Как тебя зовут? — спросил Джозия.

— Джонни, — был ответ.

— А фамилия?

— Чайлдс, Джонни Чайлдс.

— А как зовут твоего отца?

— Джозия Чайлдс.

— Ты говоришь, что он в плавании?

— Да, сэр.

Джозия снова удивился.

— Что он за человек?

— Он у нас замечательный. Мама говорит, что он хорошо зарабатывает. Это точно. Он всегда посылает деньги домой и много трудится, чтобы заработать их. Мама говорит, что он много работает и что он самый лучший из всех людей, каких она знает. Он не курит, не пьет, не ругается, не делает ничего недозволенного. Мама говорит, он всегда был таким, она знает его с детства. Он

очень добрый человек, никого не обижает. Мама говорит, что он самый деликатный человек на свете.

Сердце Джозии упало. Агата все-таки совершила преступление — она вышла замуж во второй раз, зная, что первый ее муж жив. Запад научил его широкому взгляду на вещи, и он может быть милосердным. Он тихо удалится. Никто ничего не узнает. Он вдруг подумал, как низко с ее стороны получать его переводы, имея такого образцового, трудолюбивого мужа — моряка, который посылает свой заработок домой. Он ломал голову, пытаясь припомнить, кто же из его истфоллзских знакомых мог быть ее мужем.

— А как он выглядит?

— Не знаю. Я никогда не видел его. Он все время в плавании. Но я знаю, что он высокий. Мама говорит, что я, когда вырасту, буду еще выше, чем он. В нем пять футов одиннадцать дюймов. У нас в альбоме есть его фотография. У него худое лицо, и он носит бакенбарды.

И тут Джозию осенило. Пять футов одиннадцать дюймов — это же его собственный рост. Это он носил бакенбарды и был худощав в то время. К тому же Джонни сказал, что его отца звали Джозия Чайлдс. Это он, Джозия, образцовый муж,

который не курит, не ругается, не пьет! Это он моряк, о котором никогда не забывали благодаря великодушной выдумке Агаты. Джозия исполнился доброго чувства к жене. Она, должно быть, сильно переменилась с тех пор, как он уехал. Его охватило раскаяние. Но потом он испугался: ведь ему придется заслужить ту репутацию, которую Агата создала ему. Этот мальчик с доверчивыми голубыми глазами знает его именно таким. Что ж, ему придется стать безупречным. Агата поступила великодушно. Он не знал за ней такого.

Но решению, которое он тут же приготовился принять, не суждено было осуществиться: он услышал, как открылась кухонная дверь и послышался ворчливый, раздраженный женский голос:

— Джонни, как тебе не стыдно!

Как часто он слышал в прежние времена: «Джозия, как тебе не стыдно!» Он вздрогнул и невольно по-мальчишески спрятал за спину руку с сигарой. Ему показалось, что он весь сжался и стал незаметным, когда она вышла на крыльцо. Жена не изменилась: то же кислое выражение лица, те же скорбные складки, так же опущены вниз уголки тонкогубого рта. Но выражение лица стало еще более кислым, уголки рта опустились

еще ниже, губы стали тоньше, складки глубже. Она смерила Джозию враждебным и тусклым взглядом.

— Ты думаешь, твой отец бросает работу, чтобы болтать с бродягами! — обрушилась она на мальчика, который так же струсил, как и Джозия.

— Дядя просто спросил о папе, — пытался оправдаться Джонни, в голосе его было и упрямство и безысходность.

— И ты, конечно, все выложил, — придралась она. — А ты не спросил, чего он тут высматривает? Нет, еды я ему не дам. А ну принимайся за дело! Я тебе покажу, как отлынивать от работы! Твой отец никогда бы так не поступил. Неужели ты никогда не станешь таким, как он?

Джонни склонился над бревном, и пила снова протестующе завизжала. Агата с кислым видом оглядела Джозию. Очевидно, она не узнала его.

— А ты убирайся! — грубо скомандовала она. — Нечего совать нос в чужие дела!

Джозия потерял дар речи. Он облизал губы, попытался сказать что-то и не мог.

— Убирайся, я говорю, — завопила она пронзительным голосом, — а не то я позову полицейского!

Джозия послушно пошел прочь. Он услышал,

как позади хлопнула дверь. Словно в кошмарном сне, он открыл калитку, которую открывал десятки тысяч раз, и вышел на улицу. Он был ошеломлен. Конечно, это был сон. Сейчас он проснется и вздохнет с облегчением. Он потер лоб и нерешительно потоптался на месте. Послышался монотонный, жалобный визг пилы. Если в этом мальчишке есть хоть что-то от Чайлдсов, рано или поздно он сбежит. Выносить Агату — это уже сверх человеческих сил. Если она и изменилась, то только к худшему, если это вообще возможно. Мальчик, несомненно, сбежит и, наверно, скоро. Может быть, сейчас.

Джозия Чайлдс выпрямился и выпятил грудь. В нем проснулся дерзкий дух Запада, появилось то небрежение к последствиям, когда на пути встают трудные препятствия. Он взглянул на часы, припомнил расписание поездов и сказал торжественно, вслух, словно для укрепления веры в свою правоту:

— Плевать я хотел на закон! Я не дам мучить мальчика! Я буду посылать ей в два, в четыре раза больше, сколько ей будет угодно, но он уедет со мной. Она может поехать с нами в Калифорнию, если пожелает, но я составлю соглашение, что к чему, и она подпишет его и будет жить, как

положено, черт возьми, если захочет остаться! И она останется, — добавил он зловеще,

— надо же ей кого-нибудь пилить!

Он вернулся, отворил калитку и зашагал в сарай. Джонни поднял голову, но продолжал пилить.

— Что бы тебе хотелось больше всего на свете? — спросил Джозия взволнованным низким голосом.

Джонни колебался и перестал было пилить. Джозия знаками показал ему, что надо продолжать.

— Уйти в плавание, — ответил Джонни, — вместе с отцом.

Джозия задрожал.

— Правда? — спросил он нетерпеливо:

— Правда!

Все решило радостное выражение лица Джонни.

— Тогда иди сюда. Слушай. Я твой отец, Джозия Чайлдс. Тебе когда-нибудь хотелось убежать из дому?

Джонни выразительно кивнул.

— А я это сделал, — продолжал Джозия. — Я убежал. — Он судорожно схватился за цепочку от часов. — Сейчас самое время бежать, чтобы

поспеть на поезд в Калифорнию. Я теперь там живу. Агата, твоя мать, быть может, приедет к нам после. Я расскажу тебе обо всем в поезде. Пошли.

Он обнял немного испуганного, но доверчиво прижавшегося к нему мальчика, потом, взявшись за руки, они побежали через двор, в калитку и дальше по улице. Кухонная дверь отворилась, и они услышали в последний раз:

— Джонни, как тебе не стыдно! Почему ты бросил пилить? Вот я тебе сейчас задам!

Первобытный поэт

Летняя равнина, ограниченная с востока известняковыми холмами, покрытыми травой, а с запада лесом. Ближний холм заканчивается скалой, в которой почти на уровне земли вырублены четыре пещеры с низкими и тесными отверстиями. Перед пещерами, в сотне футов, большой, плоский валун со следами крови; на нем острые кремни. Между валуном и пещерами на груде камней восседает мускулистый волосатый человек. На коленях у него толстая дубинка, сзади прижалась к земле женщина. Справа и слева от него двое таких же мужчин с дубинками в руках. Поодаль, ближе к валуну, с полсотни пещерных жителей; сидя на корточках, они громко переговариваются между собой. Спускается вечер. Того, кто восседает на груде камней, зовут Ак, имя его подруги — Ала, тех, что по бокам, — Ок и Ан.

А к:

Помолчите, вы! (Полуобернувшись к женщине.) Посмотри, чтобы они молчали. Ему все время ночью кажется, что подползает змея. Никто, кроме меня, не сможет урезонить такого, разве только

обезьяний вождь... На кого ты так пристально смотришь? На Оуна? Оун, подойди-ка сюда!

О у н:

Я твой слуга.

А к:

Ты глупец, Оун!

О к и А н (в один голос):

Хо-хо! Оун — глупец!

Все племя:

Хо-хо! Оун — глупец!

О у н:

Почему я глупец?

А к:

Разве ты не бубнишь нараспев какие-то непонятные слова? Ночью я слышал, как ты пел у пещеры странную песнь.

О у н:

Да, я пел. То были волшебные слова, они родились во мне ночью.

А к:

Разве мужчина может родить? Почему ты не спишь, когда темно?

О у н:

Я плохо спал, я видел сны.

А к:

Откуда у тебя сны? Ты же съел только свою долю мяса. Или ты убил в лесу оленя, но не принес его к священному камню?

Племя:

Слушайте, слушайте! Он убил в лесу оленя, но не принес мясо к священному камню.

А к:

Помолчите, вы! (Обращаясь к Але.) Последи за тем, чтобы они молчали… Оун, ты убил оленя, а мясо припрятал?

О у н:

Нет. Ты знаешь, я не умею охотиться. Мне скучно торчать целый день на дереве с камнем и ждать, пока по тропе пройдет зверь. Те волшебные слова проснулись во мне, когда ночью не

пришел покой.

А к:

А почему к тебе не пришел покой?

О у н:

Потому что ты бил свою женщину, и она плакала.

А к:

Да, она громко плакала. Раз ты все равно не спишь, отныне будешь ночью охранять пещеры. И вот, когда придет тигр Гарр и ты услышишь, как он рыщет среди камней, ты высечешь из кремня огонь, которого он боится. Гарр приходит к пещерам каждую ночь.

Кто-то из племени:

Гарр обнюхивает камень!

А к:

Помолчи. (Але.) Если он не угомонится, Ок и Ан изобьют его дубинками… Оун, ну-ка расскажи, что это были за слова, которые родились в тебе ночью, когда плакала Ала?

О у н (встает):

Это были чудесные слова. Вот они:

Светлый день уходит куда-то…

А к:

Ты не только глупец, ты лжец: смотри, день пока никуда не уходит.

О у н:

Но день уже ушел, когда во мне рождалась песня.

А к:

Значит, ты должен петь эту песню только ночью, а не днем. Но берегись, не разбуди меня! А то я тебя так стукну, что из глаз посыплются звезды — и прямо в пасть Гарру!

О у н:

В моей песне есть и о звездах.

А к:

Твой отец, Ан, до того, как я убил его большими камнями, очень любил забираться на верхушки высоких деревьев и тянуть руку кверху, пытаясь схватить звезду. Я сказал ему: «А что, если это колючки от каштанов?» Все племя хохотало над

ним. Он тоже был глупец. Так что же ты поешь о звездах?

О у н:

Я начну сначала:

Светлый день уходит куда-то, Становится грустно, грустно, грустно…

А к:

Вот опять врешь: надо говорить «становится грустно», а не «грустно, грустно, грустно». Когда я говорю Але: «Набери сухих листьев», — я ни за что не скажу: «Набери сухих листьев, листьев, листьев». Ты самый настоящий глупец!

О к и А н:

Ты самый настоящий глупец!

Племя:

Он самый настоящий глупец!

А к:

Да, он глупец. Однако продолжай, Оун, расскажи нам о колючках от каштана.

О у н:

Я начну снова:

Светлый день уходит куда-то…

А к:

Смотри, не скажи «куда-то, куда-то, куда-то»!

О у н:

Я твой слуга. Позволь мне продолжать, и племя пусть порадуется.

А к:

Говори!

О у н:

Я начну еще раз:

Светлый день уходит куда-то, Становится грустно, грустно…

А к:

Я же приказал, чтобы слово «грустно» ты говорил только один раз. Неужели ты хочешь, чтобы Ок и Ан избили тебя дубинками?

О у н:

Но если я так слышу эту песнь — «грустно,

грустно…»

А к:

Если ты еще раз понапрасну повторишь «грустно», я прикажу отвести тебя к священному камню.

О у н:

Нет, нет! Я твой слуга. Только послушай меня:
Светлый день уходил куда-то, Становится грустно.
Ох! От этого мне еще более грустно, чем в ту ночь. Ведь песнь эта…

Ак:

Эй, Ок! Ан! Возьмите-ка свои дубинки!

Оун (торопливо):

Нет, нет, смилуйся! Я начну снова:

Светлый день уходит куда-то, Становится грустно.
И… И…

Ак:

Глупец, ты все забыл! Ала, смотри, какой он глупец.

Ок и Ан:

Он глупец!

Племя:

Он глупец!

Оун:

Нет, я не глупец! Вы же никогда не слышали такой песни. Люди, ведь раньше, когда вам хотелось петь, вы только скакали вокруг священного камня, били себя в грудь и кричали: «Хэй, хэй, хэй!» Когда была большая луна, вы тоже кричали: «Хэй, хэй, хэй!» А моя песня из слов, из тех самых, какими вы говорите. Это же чудо! Можно сесть у пещеры и, глядя, как уходит с неба свет, снова и снова напевать ее!

Кто-то из племени:

Он так и делает: сидит у пещеры и поет, а мы дивимся, особенно женщины.

Ак:

Молчать!.. Когда я хочу, чтобы женщина удивилась, я показываю ей, как могу размозжить волку голову, или бросить большой камень, или крепко схватить ее руками, или принести домой много

мяса. Что же еще делать мужчине? Я не потерплю тут каких-то песен.

Оун:

И все же позволь мне спеть племени песню. Такую, какую никто не слышал. И тогда они будут восхвалять тебя, ибо тот, кто создал эту песнь, — твой слуга.

Ак:

Ну что ж, мы согласны послушать песню.

Оун (обращаясь лицом к людям):

Светлый день уходит куда-то, Становится грустно…
Но шепчут мне белые звезды, Что он непременно вернется.
О звезды — осколки дня!

Ак:

Он с ума сошел. Где ты слышал, чтобы звезды шептали? Разве Ал, твой отец, слышал, как шепчут звезды, когда лазал на деревья? Ты это от него знаешь? И что из того, что звезда — осколок дня? Ведь свет звезды бесполезен. Ты глупец!

Ок и Ан:

Ты глупец!

Племя:

Он глупец!

Оун:

Но именно эти слова родились во мне. Тогда мне казалось, что я вот-вот заплачу, хотя меня никто не ударил. И я был так счастлив, хотя никто не подарил мне мяса.

Ак:

Ты сошел с ума. Какая нам польза от звезд? Разве они показывают нам дорогу к берлоге медведя или туда, где ходят стада оленей? Или они разламывают кости зверей, чтобы мы могли высосать мозг? Разве они говорят нам что-нибудь? Вот подождем ночи, и люди залягут между камнями и станут слушать и узнают, что звезды не могут шептать… Однако, может быть, они и в самом деле осколки дня? Это очень серьезный вопрос.

Оун:

Звезды — это осколки луны.

Ак:

Что ты еще болтаешь? Как могут быть они осколками двух разных вещей? Кроме того, о луне ничего не говорится в твоей песне.

Оун:

Я сложу новую песню. Мы научились делать разные вещи из дерева и камня, но песня делается из ничего. Эй, вы! Я могу делать вещи из ничего! И еще я знаю, что утром звезды падают и превращаются в росу.

Ак:

Довольно о звездах! Может быть, песня — хорошая вещь, если бы в ней говорилось о том, что все знают. Вот если бы ты пел о моей дубинке, или медведе, что я убил, или о крови на священном камне, или о пещере, устланной сухими листьями, — тогда иное дело.

Оун:

Я сложу песню об Але!

Ак (в ярости):

Только посмей! Ты сложишь песню об оленьей печенке! Той самой печенке, которую я дал тебе за то, что ты принес мне рака.

Оун:

Ты прав, я съел оленью печенку, но петь об этом…

Ак:

Тебе не составило труда петь о звездах. А посмотри на наши дубинки и камчи, которыми мы убиваем зверей, чтобы есть! Посмотри на пещеры, где мы живем, и на наш священный камень, где мы приносим жертвы! Ты что, отказываешься петь об этом?

Оун:

Может быть, когда-нибудь я буду петь и о таких вещах. Но вот я попытался сейчас петь об оленьей печенке, но не смог выжать ни слова. Песня не рождается во мне. Единственное, что получилось, — «О печенка! О густо-красная печенка!»

Ак:

Отличная песня! Каждый видит, что печенка красная. Красная, как кровь.

Оун:

Но я не люблю печенку, я ее ем.

Ак:

И все-таки песня отличная. Когда будет полная луна, мы будем петь ее у священного камня. Мы будем колотить себя в грудь и петь: «О печенка! О густо-красная печенка!» И женщины в пещерах перепугаются насмерть.

Оун:

Я не хочу, чтобы эту песню считали моей! Пусть она принадлежит Оку. Чтобы в племени говорили: «Это Ок сложил песню!»

Ок:

Я и сам стану великим певцом. Я буду петь о волчьем сердце, вот так: «Смотрите, оно красное!»

Ак:

Ты глупец, Ок. Ты единственно сможешь горланить: «хэй, хэй», — как и твой отец до тебя. Нет, Оун сложит мне песню, песню о моей дубинке, ибо только его песни слушают женщины.

Оун:

Нет, я не буду слагать песни ни о твоей дубинке, ни о пещере, ни о паршивой печенке! Не буду! И

пусть ты не дашь мне мяса — я буду жить один в лесу и питаться кореньями и кроликами — их легко поймать. А спать я буду на вершине деревьев и каждую ночь петь:

Светлый день уходит куда-то, Становится грустно, грустно, грустно, грустно, грустно…

Ак:

Ок, Ан, убейте его!

(Ок и Ан кидаются на Оуна, но тот быстро нагибается и хватает с земли два камня. Одним он ударяет Ока по голове, другим — Ана по руке, и тот роняет дубинку. Поднимается Ак)

Ак:

Смотрите! Идет Гарр! Он вышел из леса!

(Все, в том числе Оун и Ала, бросаются к пещерам. Оун бежит мимо Ака; тот припускается за ним и сзади обрушивает ему на голову свою дубинку.)

Ак:

Эй, люди! Люди с сердцем гиен! Никакого Гарра нет! Я обманул вас, чтобы мне было легче убить этого быстроногого певца. Идите сюда, я буду держать мудрую речь… У нас не должно быть пе-

сен, кроме тех, которые пели наши отцы и деды, или тех, где говорится о том, что понятно всем. Если человек поет об олене, то пусть он пойдет и убьет оленя, а то и лося. Если он поет о камнях, то пусть научится еще лучше кидать их. Если он захочет петь о пещере, то пусть храбро защищает ее, когда между камнями крадется Гарр. Но бесполезно слагать песни о звездах, которые словно насмехаются даже надо мной, или о дне, который уходит и не хочет оставаться, даже если мы закалываем в жертву девочку. Я не потерплю таких песен! Посудите сами: если я вдруг запою в совете, как мне тогда собраться с мыслями? А если я во время охоты подумаю о песне и она сорвется с моих губ, то ведь зверь услышит и скроется. И перед тем, как садиться за еду, я должен думать только об охоте. Если же петь за едой, то что же тебе достанется? А поев, мы тут же укладываемся спать. У нас просто-напросто нет времени для песен. Впрочем, кто как хочет, но я этих песенок о звездах не потерплю!

И пусть знают женщины, если они вспомнят те безумные слова Оуна и станут петь их или учить им детей, то я прикажу избить их прутьями ежевики.

А теперь приказываю, чтобы жена Ока переста-

ла скулить и принесла сюда мясо убитых вчера лошадей. Я буду делить его. Будь у Оуна хоть капля ума, он славно бы поел сейчас, а то и пировал бы несколько дней, попади к нам в яму мамонт. Но Оун был глупец!

Ан:

Оун был глупец!

Племя:

Оун был глупец!

Finis[15]

Моргансон съел последний кусок бекона. Никогда в жизни он не баловал желудка. Желудок — это было нечто, мало принимавшееся в расчет и мало его беспокоившее, и еще меньше он сам беспокоился о нем. Но сейчас, после долгих лишений, кусочек бекона, вкусный, подсоленный, приятно утолял острую тоску желудка по вкусному.

Тоскливое голодное выражение не сходило с лица Моргансона. Щеки у него втянулись, скулы торчали и казались слишком туго обтянутыми кожей. Бледно-голубые глаза смотрели беспокойно; в них застыл страх перед неизбежным. Дурные предчувствия, сомнение, тревога читались в его взгляде. Тонкие от природы губы стали еще тоньше; они то и дело подергивались, словно вожделея к начисто выскобленной сковородке.

Моргансон сел, вынул трубку, тщательно ее обследовал и постучал о ладонь, хотя табаку в ней не было; потом вывернул наизнанку кисет из тюленьей кожи, смахнул все с подкладки, береж-

---

[15] notes: 15
Конец (лат.).

но подбирая каждую пылинку и крупицу табаку, — но собрал не больше наперстка; обшарил карманы и двумя пальцами вытащил крошечную щепотку мусора. Среди этого мусора попадались крупинки табаку. Он выбрал их все, не упуская самой крошечной, и присоединил к ним даже посторонние частицы — несколько маленьких свалявшихся шерстинок от подкладки его меховой куртки, которые долгие месяцы пролежали в глубине карманов.

Наконец, минут через пятнадцать ему удалось набить трубку до половины. Он зажег ее от костра, сел на одеяла и, согревая у огня обутые в мокасины ноги, стал курить, смакуя каждый глоток дыма. Выкурив трубку, он продолжал задумчиво глядеть в угасающее пламя костра. И мало-помалу беспокойство исчезло из его глаз и сменилось решимостью. Он нашел, наконец, выход из обрушившихся на него бедствий. Но выход этот был не из приятных. Лицо Моргансона стало суровым и хищным, а тонкие губы сжались еще плотнее.

За решением последовало действие. Моргансон с трудом встал и начал свертывать палатку; уложил на нарты скатанные одеяла, сковородку, ружье и топор и обвязал все веревкой; потом

погрел у огня руки и натянул рукавицы. У него болели ноги, и, когда он пошел к передку нарт, хромота сразу стала заметной. Он накинул на плечо лямку, налег на нее всей своей тяжестью, чтобы сдвинуть нарты с места, и невольно сморщился от боли: лямка за долгий путь натерла ему плечи.

Дорога шла по замерзшему руслу Юкона. Через четыре часа Моргансон добрался до излучины, обогнул ее и вошел в город Минто. Весь город, притулившийся на высоком холме среди вырубки, состоял из одного крытого тростником дома, одного трактира и нескольких хижин. Моргансон оставил нарты у дверей и вошел в трактир.

— На стаканчик хватит? — спросил он, положив на стойку мешок из-под золотого песка, на вид совсем пустой.

Трактирщик пристально взглянул на него, потом на мешок и поставил на стойку бутылку и стакан.

— Ладно, и так обойдемся, — сказал он.

— Нет, возьми, — настаивал Моргансон.

Трактирщик поднял мешок над весами и встряхнул его: оттуда выпало несколько песчинок золота. Моргансон взял у него мешок, вывернул наизнанку и бережно стряхнул на весы

золотую пыль.

— Я думал, с полдоллара наберется, — сказал он.

— Немного не дотянуло, — ответил трактирщик. — Ничего! Доберу на ком-нибудь другом.

Моргансон смущенно налил в стакан немного виски.

— Наливай, наливай так, чтобы почувствовать! — подбодрил его трактирщик.

Моргансон нагнул бутылку и наполнил стакан до краев. Он пил медленно, с наслаждением ощущая, как виски обжигает язык, горячо ласкает горло и приятной теплотой разливается по желудку.

— Цынга? — спросил трактирщик.

— Да, немножко есть, — ответил Моргансон. — Но я еще не отекаю. Вот доберусь до Дайи, там свежие овощи, тогда поправлюсь.

— Положеньице, — усмехнулся трактирщик добродушно, — ни собак, ни денег и к тому же цынга. На твоем месте я бы попробовал хвойный настой.

Через полчаса Моргансон распрощался с трактирщиком и вышел на дорогу. Он накинул лямку на стертое плечо и пошел к югу по санному следу, проложенному по руслу реки. Час спустя он

остановился. Справа к реке примыкала под углом узкая лощинка. Моргансон оставил нарты и, прихрамывая, прошел по ней с полмили. Отсюда до реки было ярдов триста. Плоская низина поросла тополями. Он прошел ею к Юкону. Дорога тянулась у самого берега, но он на нее не спустился. К югу, по направлению к Селкерку, проложенный в снегу, укатанный нартами путь расширялся и был виден на целую милю. Но на север, к Минто, на расстоянии примерно четверти мили, дорогу заслонял поросший лесом берег.

Довольный результатами осмотра, Моргансон той же кружной дорогой вернулся к нартам. Накинув лямку на плечо, он потащил нарты лощиной. Снег был рыхлый, неслежавшийся, и тащить было тяжело. Полозья облипали снегом, нарты застревали, и, не пройдя и полмили, Моргансон совсем запыхался. Едва успел он раскинуть свою небольшую палатку, установить железную печурку и нарубить немного хвороста, как уже наступила ночь. Свечи у него не было, и, удовольствовавшись кружкой чаю, он забрался под одеяла.

Утром Моргансон натянул рукавицы, спустил наушники и прошел поросшей тополями низиной к Юкону. Ружье он взял с собой, но, как и

вчера, вниз не спустился. Целый час он наблюдал за пустынной дорогой, бил в ладоши и топал ногами, стараясь согреться: потом вернулся в палатку завтракать. В жестянке оставалось очень мало чаю, заварок на пять, не больше, но он положил в котелок такую крошечную щепотку, словно дал обет растягивать чай до бесконечности. Весь его запас продовольствия состоял из полумешка муки и начатой коробки пекарного порошка. Он испек лепешки и не спеша принялся за них, с бесконечным наслаждением пережевывая каждый кусок. Съев третью, он подумал немного, протянул руку за четвертой и заколебался; потом посмотрел на мешок с мукой, приподнял его и прикинул на вес.

— Недели на две хватит, — сказал он вслух и, отодвинув от себя лепешки, добавил: — А может, и на три.

Затем он опять натянул рукавицы, опустил наушники, взял ружье и пошел к своему посту над берегом. Притаившись в снегу, никому не видимый, он стал наблюдать. Так он просидел несколько минут совсем неподвижно, пока его не начал пробирать мороз; тогда, положив ружье на колени, он принялся хлопать в ладоши. Колющая боль в ногах стала нестерпимой, и он отошел

немного от берега и начал шагать взад и вперед между деревьями. Но такие прогулки были непродолжительны. Через каждые пять — десять минут Моргансон подходил к краю берега и так пристально смотрел на дорогу, словно одного его желания было достаточно, чтобы на ней появилась человеческая фигура. Однако короткое утро быстро миновало, хотя ему оно и показалось вечностью, — а дорога по-прежнему оставалась пустынной.

Днем караулить стало легче. Температура поднялась, пошел снег. Ветра не было, и сухие мелкие звездочки спокойно и тихо ложились на землю. Моргансон закрыл глаза, уткнул голову в колени и слушал, что происходит на дороге. Но ни визг собак, ни скрип нарт, ни крик погонщиков не нарушали тишины. В сумерки Моргансон вернулся в палатку, нарубил хвороста, съел две лепешки и забрался под одеяла. Спал он беспокойно, стонал и метался во сне, а в полночь встал и съел еще одну лепешку.

С каждым днем становилось холоднее. Четырьмя лепешками невозможно было поддержать жизнь в теле, несмотря на то, что Моргансон пил много горячего хвойного настоя; пришлось увеличить порцию до шести лепешек — три утром

и три вечером. Днем он не ел ничего, довольствуясь лишь несколькими чашками очень жидкого, но зато настоящего чаю. Так шло день за днем: утром три лепешки, в полдень настоящий чай и вечером снова три лепешки. В промежутках Моргансон пил хвойный настой — как лекарство от цынги. Он поймал себя на том, что старается делать лепешки побольше, и после жестокой борьбы с самим собой вернулся к прежним порциям.

На пятый день дорога ожила. На юге показалась темная точка, — она стала увеличиваться. Моргансон насторожился. Он привел в готовность ружье, выбросил патрон из ствола, заменил его новым, а выброшенный вернул в магазинную коробку; потом поставил курок на предохранитель и натянул рукавицу, чтобы правая рука не закоченела. Когда темная точка приблизилась, он различил, что это человек, который идет налегке, без собак и без нарт. Моргансон засуетился, взвел курок, потом снова поставил его на предохранитель. Человек оказался индейцем, и Моргансон, разочарованно вздохнув, опустил ружье на колени. Индеец прошел мимо и исчез за лесистым выступом по направлению к Минто.

Моргансона осенила новая мысль. Он перешел

на другое место, где ветви тополей низко нависали над землей. На ветвях он сделал топором две глубокие зарубки для упора. Потом положил ствол на один упор и навел ружье на дорогу. Часть дороги полностью была у него под прицелом. Моргансон переложил ружье на другой упор и опять навел его; с этой позиции он держал под прицелом другую часть дороги, вплоть до лесистого выступа, за которым она исчезала.

Вниз Моргансон не сходил. Человек, идущий по дороге, не мог бы догадаться, что кто-то прячется наверху над берегом. Снежная пелена была нетронута. След нарт нигде не сворачивал с дороги.

Ночи становились длиннее, и дневные дежурства Моргансона все сокращались. Однажды в темноте по дороге проехали нарты со звоном колокольчиков, и Моргансон в угрюмой досаде жевал лепешки, прислушиваясь к этим звукам. Все было против него. Десять дней он упорно следил за дорогой, терпя адские муки холода, и ничего не дождался. Прошел только один индеец налегке. А теперь, ночью, когда сторожить было ни к чему, по дороге двигались люди, собаки и нарты с грузом жизни, направляясь к югу, к морю, к солнцу, к цивилизации.

Так думал он теперь о нартах, которые подсте-

регал. В нартах была жизнь, его жизнь. В нем жизнь затухала, слабела; он боролся со смертью в этой палатке, занесенной снегом. От недоедания он терял силы и не мог продолжать путь. А нарты, которых он дожидался, везли собаки, — там была еда, которая раздует пламя его жизни, там были деньги, и они обещали ему море, солнце, цивилизацию. Море, солнце, цивилизация — все это стало для него равнозначно жизни, его жизни, и все это было на тех нартах, которых он ждал. Эта мысль завладела им, и постепенно он стал думать о себе, как о законном владельце нарт, груженных жизнью, как о законном владельце, у которого отняли его собственность.

Мука подходила к концу, и Моргансон вернулся к прежней норме — две лепешки утром и две вечером. Но тогда увеличилась слабость и мороз стал щипать еще крепче, однако Моргансон по-прежнему день за днем сторожил дорогу, которая, словно назло ему, оставалась мертвой и не хотела ожить. Скоро цынга перешла в следующую стадию: кожа потеряла способность выводить из крови продукты распада, и тело стало отекать. Особенно отекали ступни и так ныли, что ночью Моргансон подолгу не мог заснуть. Потом отеки распространились до колен и боль усилилась.

Наступило резкое похолодание. Температура все падала — сорок, пятьдесят, шестьдесят градусов ниже нуля. Термометра у Моргансона не было, но как все, кто жил в этой стране, он определял температуру по ряду признаков — по шипенью воды, когда ее выплескиваешь на снег, по острым укусам мороза, по тому, с какой быстротой замерзает пар от дыхания и слоем инея оседает на парусиновых стенах и на потолке палатки. Тщетно он боролся с холодом, стараясь продолжать свои дежурства на берегу. Он очень ослабел, и мороз легко одолевал его, запуская зубы глубоко в его тело, пока он не спасался в палатку, чтобы погреться у огня. Нос и щеки у него были уже обморожены и почернели, а большой палец левой руки он ухитрился отморозить, даже не снимая рукавицы. Моргансон примирился с мыслью, что первым суставом придется пожертвовать.

И вот именно тогда, когда мороз загнал его в палатку, дорога, как бы в насмешку над ним, вдруг ожила. В первый день проехало трое нарт, во второй — двое. Оба эти дня он выходил на берег, но, сраженный холодом, спасался бегством, — и каждый раз, через полчаса после его ухода, по дороге проезжали нарты.

Затем мороз спал. Теперь Моргансон опять мог

сидеть на берегу, но дорога снова замерла. Целую неделю он сторожил, прячась среди ветвей, но на реке не было и признака жизни, ни одна живая душа не прошла ни в ту, ни в другую сторону. Моргансон еще сократил свою дневную порцию — до одной лепешки вечером и одной утром — и как-то даже не очень это почувствовал. Иногда он сам удивлялся, что еще жив. Он никогда не представлял себе, что можно выдержать столько мучений.

Когда на дороге вновь появилась жизнь, завладеть этой жизнью ему было не под силу. Отряд северо-западной полиции проехал мимо — двадцать человек на нартах и с собаками. Моргансон сидел, скорчившись, на берегу, и они даже не почувствовали смертельной угрозы, которая в образе умирающего человека притаилась у края дороги.

Отмороженный палец очень беспокоил Моргансона. У него вошло в привычку снимать рукавицу и прятать руку под мышку, чтобы палец отходил в тепле. На дороге появился почтальон. Моргансон пропустил его: почтальон фигура заметная, его хватятся сразу.

В тот день, когда у него кончилась мука, пошел снег. Когда падает снег, всегда становится теп-

лее, и Моргансон, не шелохнувшись, высидел на берегу все восемь часов, ужасающе голодный и полный ужасающего терпения, — словно чудовищный паук, стерегущий добычу. Но добыча не появилась, и в темноте он кое-как добрался до палатки, выпил несколько кружек хвойного настоя и горячей воды и завалился спать.

На следующее утро судьба сжалилась над ним. Выходя из палатки, он увидел громадного лося, который пересекал лощину, ярдов за четыреста от него. Моргансон почувствовал, как кровь бурно заходила у него в жилах, а потом его охватила неизъяснимая слабость, к горлу подступила тошнота, и ему пришлось на секунду опуститься на снег, чтобы прийти в себя. Затем он взял ружье и тщательно прицелился. Первый заряд попал в цель, он был уверен в этом, но лось повернул и бросился вверх по лесному склону. Моргансон яростно посылал выстрел за выстрелом вдогонку мелькающему между деревьями и кустами зверю, пока не сообразил, что попусту растрачивает заряды, нужные ему для нарт с грузом жизни, которые он караулил.

Он перестал стрелять и начал присматриваться; установил направление бега лося и высоко на холме между деревьями заметил прогалину,

а на ней — ствол упавшей сосны. Продолжив мысленно линию бега, Моргансон решил, что лось должен пробежать мимо этой сосны, — еще одним патроном можно пожертвовать; и он нацелился в пустоту над упавшим стволом, крепче сжав ружье в дрожащих руках. Лось появился в поле его зрения с поднятыми в прыжке передними ногами. Моргансон спустил курок. Раздался выстрел. Лось, казалось, перекувырнулся в воздухе и рухнул на снег, подняв вихрь снежной пыли.

Моргансон бросился вверх по склону, вернее — хотел броситься. Очнувшись, он понял, что у него был обморок, с трудом встал на ноги и пошел медленно, время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух и понемногу прийти в себя. Наконец, он дотащился до поваленного ствола. Лось лежал перед ним. Моргансон грузно сел на тушу и засмеялся, потом закрыл лицо руками в рукавицах и снова засмеялся.

Поборов истерический смех, он вынул охотничий нож и насколько мог быстро принялся за дело, преодолевая боль в руке и общую слабость. Он не стал свежевать лося, а разрезал его на четыре части, прямо со шкурой. Это был целый Клондайк мяса.

Закончив разделку туши, он выбрал кусок фунтов в сто весом и поволок его к палатке. Но снег был рыхлый, и такая ноша оказалась Моргансону не под силу. Тогда он взял другой кусок, фунтов в двадцать, и, беспрестанно останавливаясь и отдыхая, дотащил его до палатки. Он поджарил небольшой кусок и больше есть не стал, потом машинально побрел к своему посту. На снегу был свежий след: нарты с грузом жизни прошли мимо, пока он разрезал лося.

Но это не огорчило его. Он был рад, что нарты не прошли до появления лося: лось изменил его планы. Мясо стоило пятьдесят центов фунт, а до Минто было немногим дальше трех миль. Больше не нужно ждать нарт с грузом жизни, — лось заменил их. Он продаст его, купит в Минто пару собак, еду и курева, и собаки повезут его по дороге на юг — к морю, к солнцу и цивилизации.

Ему захотелось есть. Глухой сосущий голод превратился в острую, невыносимую тягу к еде. Он добрался до палатки и поджарил кусок мяса, потом выкурил две полных трубки высушенного спитого чаю и опять поджарил кусок мяса. После этого он почувствовал необыкновенный прилив сил, вышел и нарубил хвороста. За этим последовал еще кусок мяса. Пища раздразнила

аппетит, и теперь его нельзя было утолить. Моргансон не мог удержаться — он то и дело должен был поджаривать мясо. Он попробовал отрезать кусочки поменьше, но тут же заметил, что стал есть чаще.

Днем ему вдруг пришло в голову, что звери могут сожрать его запасы, и, захватив с собой топор, лямку и веревку от нарт, он снова побрел вверх по склону. Он был очень слаб, и, чтобы сделать хранилище и заложить туда мясо, понадобился целый день. Он срубил несколько молодых деревцев, очистил их от веток и, связав вместе, соорудил из них высокий помост. Получилось не такое надежное хранилище, как ему хотелось, но сделать лучше он не мог. Поднять мясо наверх стоило мучительных усилий. Не справившись с большими кусками, Моргансон пустился на хитрость: перекинул веревку через ветку высокого дерева и, привязав к одному концу кусок мяса, подтянул его кверху, повиснув всей своей тяжестью на другом конце.

Вернувшись в палатку, Моргансон продолжал свое одинокое пиршество. У него не было нужды в сотрапезниках: он и желудок — вот и вся компания. Он жарил мясо кусок за куском. Он съедал его фунтами. Заварил крепкий настоящий чай.

Это была последняя заварка. Неважно, завтра он купит чаю в Минто. Пресытившись, он закурил; выкурил весь свой запас высушенного спитого чая. Не беда! Завтра у него будет настоящий табак. Он выбил трубку, зажарил напоследок еще один кусок и лег спать. Он столько съел, что боялся лопнуть, и все же вскоре выбрался из-под одеяла и поел еще немного мяса.

Утром Моргансон проснулся с трудом; сон его был глубок, подобен смерти. Ему слышались непонятные звуки. Он не мог понять, где он, и тупо оглядывался кругом, пока не заметил сковородки с последним, уже надкушенным, ломтиком мяса. Тогда он все вспомнил и вздрогнул, услышав непонятные звуки; потом с ругательством выскочил из-под одеял. Слабые от цынги ноги подкосились, Моргансон скорчился от боли и, стараясь не делать резких движений, обулся и вышел из палатки.

С холма, там, где у него хранилось мясо, доносились звуки грызни, прерываемые временами коротким звонким тявканьем. Не обращая внимания на боль, Моргансон ускорил шаги и громко, угрожающе закричал. Волки бросились в кусты, их было много, — помост лежал на снегу. Звери уже нажрались досыта и рады были улизнуть,

оставив ему одни огрызки.

Моргансон догадался, как произошло несчастье. Волки учуяли мясо, и одному из них удалось перепрыгнуть со ствола упавшего дерева на помост, — Моргансон различил волчьи следы на снегу, покрывавшем ствол. Он никак не думал, что волк может так высоко прыгнуть. За первым волком последовал второй, потом третий и четвертый — и непрочный помост рухнул под их тяжестью.

Когда Моргансон прикинул размеры катастрофы, взгляд его стал на мгновенье жестким и злобным; потом злоба уступила место прежнему терпеливому выражению. Моргансон стал собирать в кучу гладко обглоданные и изгрызанные кости: в них есть мозг. Обшарив снег, он обнаружил, кроме того, клочья мяса, которыми пренебрегли насытившиеся звери.

Все утро ушло на перетаскивание остатков туши вниз. В палатке оставалось еще не меньше десяти фунтов от того куска, который он принес накануне.

Оглядев свои запасы, Моргансон заключил: «На несколько недель хватит».

Он научился жить, находясь на краю голодной смерти. Прочистив ружье, он подсчитал оставши-

еся патроны, — их было семь, — зарядил ружье и побрел к своему посту над берегом. Весь день он караулил пустынную дорогу. Он караулил всю неделю. Но на дороге не появлялось никаких признаков жизни.

Мясо подкрепило его, но цынга мучила все больше, ноги болели все сильнее. Теперь он жил на одном супе: варил жидкий бульон из костей и пил его котелок за котелком. Бульон становился все жиже, потому что Моргансон дробил кости и варил их снова и снова. Но горячая вода с мясным наваром пошла ему впрок, и он заметно окреп с тех пор, как подстрелил лося.

На следующей неделе в жизни Моргансона появилась новая забота: ему захотелось вспомнить, какое сегодня число. Это стало у него навязчивой идеей. Он раздумывал, высчитывал, но результаты каждый раз получались разные. С этой мыслью он просыпался утром, думал об этом весь день, наблюдая за дорогой, и с той же мыслью засыпал вечером. Ночью он часами лежал без сна, думая все о том же. Никакого практического значения это не имело — узнать, какое сегодня число, но его беспокойство все увеличивалось, пока не стало таким же сильным, как голод, как желание жить. В конце концов оно победило, и

Моргансон решил пойти в город.

Когда он пришел в Минто, уже стемнело. Но это было ему на руку — никто его не заметит. А на обратном пути будет светить луна. Он поднялся на холм и открыл дверь трактира. Свет ослепил его. В трактире горело всего несколько свечей, но Моргансон слишком долго прожил в темной палатке. Когда его глаза привыкли к свету, он увидел троих мужчин, сидевших вокруг печки, и сейчас же заключил: путешествуют на нартах, мимо него не проезжали, — значит, прибыли с другой стороны. Завтра утром проедут мимо его палатки.

Удивленный трактирщик протяжно свистнул.

— Я думал, ты умер, — сказал он.

— Почему? — запинаясь, спросил Моргансон.

Он отвык говорить и не узнал собственного голоса, показавшегося ему чужим и хриплым.

— Больше двух месяцев о тебе не было слышно, — пояснил трактирщик. — Ты отправился отсюда к югу, а до Селкерка не дошел. Где же ты был?

— Рубил дрова для пароходной компании, — неуверенно солгал Моргансон.

Ему все еще не удавалось совладеть со своим голосом. Он подошел к стойке и облокотился о нее. Он понимал, что лгать надо обдуманно;

внешне он держался небрежно и равнодушно, но сердце его колотилось бурно, с перебоями, и он не мог удержаться, чтобы не бросить голодного взгляда на троих мужчин у печки. Они были обладателями жизни — его жизни.

— Где же, черт побери, ты скрывался все это время? — продолжал допытываться трактирщик.

— На том берегу, — ответил Моргансон. — Нарубил целый штабель дров.

Трактирщик понимающе кивнул и заулыбался.

— То-то я слышал, что там рубят, — сказал он. — Значит, это был ты? Ну, выпьешь?

Моргансон обеими руками вцепился в стойку. Выпить! Он готов был целовать ноги этому человеку. Тщетно пытался он вымолвить хоть слово, но трактирщик, не дожидаясь его согласия, уже протягивал ему бутылку.

— А что ты там ел? — спросил он. — По-моему, тебе не под силу и хвороста нарубить. У тебя ужасный вид, приятель.

Моргансон жадно потянулся к долгожданной бутылке и проглотил слюну.

— Я рубил еще до того, как меня разобрала цынга, — сказал он. — Кроме того, подстрелил лося. Да нет, жилось ничего; вот только цынга

подвела. — Он наполнил стакан и прибавил: — Я пью хвойный настой, это помогает.

— Еще наливай, — предложил трактирщик.

Два стакана виски на голодный желудок оказали немедленное действие на ослабевший организм Моргансона. Очнувшись, он увидел, что сидит на ящике у печки. Казалось, прошла целая вечность. Высокий, черноусый, широкоплечий человек расплачивался с трактирщиком. У Моргансона плыл туман перед глазами, но он увидел, как человек отделил бумажку от толстой пачки банкнотов. И туман мгновенно рассеялся: это были банкноты в сто долларов. Жизнь! Его жизнь! Он почувствовал непреодолимое желание схватить деньги и броситься вон, в темноту.

Черноусый встал; за ним поднялся один из его товарищей.

— Пойдем, Ольсон, — сказал черноусый третьему спутнику, здоровенному краснолицему блондину.

Ольсон тоже встал, зевая и дотягиваясь.

— Как! Уже спать? — огорчился трактирщик. — Ведь рано еще.

— Завтра надо быть в Селкерке, — отвечал черноусый.

— В первый день рождества! — воскликнул

трактирщик.

— Чем лучше день, тем лучше для дела, — засмеялся тот.

Все трое вышли, и тут только их слова дошли до сознания Моргансона. Вот, значит, какое сегодня число — канун рождества! Ведь для того, чтобы узнать это, он и пришел в Минто. Но теперь для него все заслонили три фигуры и толстая пачка стодолларовых банкнотов.

Дверь хлопнула.

— Это Джон Томсон, — сказал трактирщик. — Он нарыл на два миллиона золота на Серном ручье и на Бонанзе. Денежки к нему так и плывут. Ну, пойду спать. Может, выпьешь еще?

Моргансон колебался.

— Ради праздника, — настаивал трактирщик. — Не беспокойся. Заплатишь сразу, когда продашь дрова.

У Моргансона хватило сил выпить, попрощаться и выйти на дорогу, не подав виду, что он уже пьян. Ярко светила луна, и он медленно шел в ясной серебристой тишине, унося с собой видение жизни, обернувшейся для него пачкой стодолларовых банкнотов.

Моргансон проснулся. Было темно. Он лежал, закутавшись в одеяла, так и не сняв мокасин и

рукавиц, в шапке со спущенными наушниками. Он встал быстро, насколько позволили силы, разжег огонь, вскипятил воду. Засыпав в котелок сосновых иголок, он заметил первые бледные проблески утра и, схватив ружье, поспешил к берегу. Притаившись на снегу в своей засаде, он вспомнил, что так и не выпил хвойного настоя. И еще ему пришло в голову, что Джон Томсон может передумать и, чего доброго, не захочет ехать в первый день рождества.

Рассвело, наступил день. Было холодно и ясно. Моргансон определил, что мороз не меньше шестидесяти градусов. Ни малейшее дуновение ветра не нарушало морозной полярной тишины. Вдруг Моргансон выпрямился, и напряжение мышц сразу растравило боль в отечных ногах. До него донеслись отдаленные звуки чьих-то голосов и слабое повизгивание собак. Он начал колотить руками по бедрам. Снять рукавицу при шестидесяти градусах ниже нуля, чтобы нажать на спусковой крючок, не так-то просто, и надо было к тому времени заставить тело дать все тепло, какое еще в нем оставалось.

Они появились из-за лесного выступа. Впереди шел тот, третий, имени которого Моргансон не знал. За ним бежали восемь собак в упряжке,

Джон Томсон шагал рядом с нартами, направляя их бег поворотным шестом. Шествие замыкал швед Ольсон. «Красавец», — подумал Моргансон, глядя на этого великана в парке из беличьих шкурок. Силуэты людей и собак четко вырисовывались на белом фоне. Они казались плоскими, словно картонные фигурки, и двигались, как заведенные.

Моргансон взвел курок, положил ружье на упор и тут же почувствовал, что пальцы у него застыли. Правая рука была голая: он и не заметил, как снял рукавицу. Он поспешно натянул ее снова. Люди и собаки подошли ближе, и он уже различал в морозном воздухе клубы пара от их дыхания. Когда тот, что шел впереди, приблизился на пятьдесят ярдов, Моргансон опять стянул рукавицу с правой руки, положил указательный палец на спуск и прицелился. Раздался выстрел; шедший впереди повернулся и рухнул на дорогу.

Моргансон второпях прицелился в Джона Томсона, но взял слишком низко, — тот зашатался и сел на нарты. Моргансон прицелился выше и снова выстрелил. Джон Томсон повалился на нарты навзничь.

Моргансон устремил все свое внимание на Ольсона. Он увидел, что тот бросился бежать

по направлению к Минто, а собаки, дойдя до лежащего поперек дороги тела, остановились. Моргансон выстрелил в Ольсона и промахнулся; Ольсон вильнул в сторону, он бежал, кидаясь то вправо, то влево. Моргансон выпустил по нему еще два заряда, один за другим, и не попал. Он уже хотел снова нажать на спуск, но взял себя в руки. Шесть патронов истрачено, оставался только один, и он был в патроннике. На этот раз надо бить наверняка.

Моргансон заставил себя не стрелять и с отчаянием в душе напряженно присматривался, как бежит Ольсон: кидаясь, как безумный, из стороны в сторону, великан зигзагами мчался по дороге; полы его парки развевались сзади. Моргансон повел ружье, следуя прихотливым скачкам Ольсона. Палец у него начал неметь. Он почти не чувствовал спускового крючка.

— Господи, помоги! — вырвалось у него, и он нажал на спуск.

Ольсон упал с разбегу ничком, тело его подскочило, ударившись о накатанную дорогу, и несколько раз перевернулось. Мгновение он бил руками о снег, потом замер.

Моргансон бросил ружье (ненужное теперь, когда последний патрон был истрачен) и со-

скользнул вниз по мягкому снегу. Дело сделано, и прятаться больше незачем. Он заковылял к нартам, хищно сжимая пальцы в рукавицах.

Рычанье собак остановило его. Вожак, громадный пес, помесь водолаза и канадской лайки, ощетинившись, оскалив на Моргансона клыки, стоял над телом, лежащим поперек дороги. Остальные семь собак тоже ощетинились и зарычали. Моргансон попробовал сделать еще шаг к нартам, и вся упряжка рванулась ему навстречу. Он снова остановился, то угрозой, то лаской пробуя успокоить собак. Между лапами вожака он увидел побелевшее лицо убитого и удивился тому, как быстро жизнь уступила морозу. Джон Томсон лежал на нартах поверх поклажи; голова его завалилась между двумя мешками, и Моргансон видел только черную бороду, торчащую вверх.

Убедившись, что собаки не подпустят его, Моргансон сошел с дороги и, утопая в глубоком снегу, стал обходить нарты. Вожак кинулся к нему, и вся упряжка, путаясь в постромках, повернула следом за вожаком. Больные ноги не позволяли Моргансону быстро двигаться. Он увидел, что собаки окружают его, хотел отступить, но вожак в один прыжок очутился рядом с ним и впился зу-

бами ему в ногу. Икра была прокушена насквозь, но все же Моргансону удалось вырваться.

Он осыпал собак ругательствами, но усмирить их не мог. Вся упряжка рычала, ощетинившись, и рвала постромки, стараясь добраться до него. Моргансон вспомнил об Ольсоне, повернулся и пошел по дороге. Он не обращал внимания на свою прокушенную ногу. Из раны хлестала кровь, — была повреждена артерия, но Моргансон не знал этого.

Больше всего поразила Моргансона бледность, разлившаяся по лицу шведа, еще вчера такому румяному. Сейчас оно было белое, как мрамор. Светлые волосы и ресницы еще больше придавали ему сходство с мраморным изваянием, и невозможно было представить себе, что несколько минут тому назад этот человек был жив. Моргансон стянул рукавицы и обыскал тело. Пояса с деньгами под одеждой не было, не нашлось и мешочка с золотом. В нагрудном кармане парки Моргансон нашарил небольшой бумажник. Коченеющими пальцами он перерыл все, что в нем было, — письма с иностранными штемпелями и марками, несколько квитанций, какие-то счета и записки, аккредитив на восемьсот долларов… И все. Денег не оказалось.

Моргансон хотел было повернуть обратно к нартам и не смог сдвинуться с места — его нога примерзла к дороге. Он глянул вниз и увидел, что стоит в замерзшей красной луже; на разорванной штанине и на мокасинах нарос красный лед. Резким движением он разбил эти кровавые ледяные оковы и заковылял по дороге к нартам. Огромный вожак, укусивший его, зарычал, рванулся вперед, и вся упряжка последовала его примеру.

Моргансон беспомощно заплакал, пошатываясь из стороны в сторону, потом смахнул заледеневшие на ресницах слезы. Это было похоже на шутку. Злой рок насмехается над ним. Даже Джон Томсон смеется над ним, задрав бороду к небу.

Обезумев, Моргансон бродил вокруг нарт. То бессильно ругаясь, то рыдая, он вымаливал у собак жизнь, что была там, на нартах. Потом успокоился. Какая глупость! Надо пойти к палатке, взять топор, вернуться и размозжить собакам головы. Теперь он им покажет!

Чтобы пройти к палатке, надо было далеко обогнуть нарты и разъяренных собак. Моргансон сошел с дороги в рыхлый снег и вдруг почувствовал головокружение и остановился. Он боялся, что упадет, если сделает хоть шаг, и долго стоял,

покачиваясь на дрожащих от слабости ногах, потом посмотрел вниз и увидел, что снег под ногами опять стал красный. Из раны продолжала бить кровь. Кто мог думать, что укус так глубок!

Моргансон поборол головокружение и нагнулся, чтобы осмотреть рану. Ему показалось, что снег ринулся к нему навстречу, и он отпрянул, словно от удара. Его охватил панический страх — как бы не упасть! — и, сделав огромное усилие, он ухитрился кое-как выпрямиться. Он боялся этого снега, который мог снова ринуться ему навстречу.

Потом белый мерцающий снег вокруг внезапно стал черным. Когда Моргансон пришел в себя, он лежал на снегу. Головокружение прошло. Туман в глазах рассеялся. Но встать он не мог — не хватало сил. Тело было как мертвое. С огромным усилием он перевернулся на бок и увидел нарты и черную бороду Джона Томсона, торчащую вверх. Увидел также, что вожак лижет лицо человека, лежащего поперек дороги. Моргансон с любопытством наблюдал за ним. Вожак волновался и выражал нетерпение. По временам он отрывисто и звонко лаял, словно желая разбудить человека, и смотрел на него, насторожив уши и махая хвостом; потом сел, поднял кверху морду и завыл. Следом

за ним завыла и вся упряжка.

Лежа на снегу, Моргансон больше ничего не боялся. Ему представилось, как найдут его мертвое тело, и он заплакал от жалости к самому себе. Но ему не было страшно. Борьба кончена. Он хотел открыть глаза, но не мог разлепить смерзшиеся ресницы. Он не сделал попытки протереть глаза. Все равно теперь. Он и не думал, что умирать так легко. Он даже рассердился на себя, что провел столько томительных недель в борьбе и страданиях. Его обманули, его запугали смертью. Оказывается, умирать не больно. Все мучения, которые он испытал, принесла жизнь. Жизнь оклеветала смерть. Как это жестоко!

А потом злоба прошла. Теперь, когда он узнал истину, — ложь и вероломство жизни не имели значения. Дремота охватила его, сладкий сон наплывал, успокаивая обещанием отдыха и свободы. Он слышал отдаленный вой собак. Промелькнула мысль, что мороз, завладев его телом, уже не причиняет боли. Потом мысль померкла, а за ней померк и свет, проникавший сквозь веки, на которых жемчужинами замерзли слезы, и с усталым вздохом облегчения он погрузился в сон.

Конец сказки

I

Стол был из строганных вручную еловых досок, и людям, игравшим в вист, часто стоило усилий придвигать к себе взятки по его неровной поверхности. Они сидели в одних рубахах, и пот градом катился по их лицам, тогда как ноги, обутые в толстые мокасины и шерстяные чулки, зудели, пощипываемые морозом. Такова была разница температур в этой маленькой хижине. Железная юконская печка гудела, раскаленная докрасна, а в восьми шагах от нее, на полке, прибитой низко и ближе к двери, куски оленины и бекона совершенно замерзли. Снизу дверь на добрую треть была покрыта толстым слоем льда, да и в щелях между бревнами, за нарами, сверкал белый иней. Свет проникал в окошко, затянутое промасленной бумагой. Нижняя ее часть с внутренней стороны была тоже покрыта инеем в дюйм толщиной — это замерзала влага от человеческого дыхания.

Роббер был решающим: проигравшей паре предстояло сделать прорубь для рыбной ловли в

семифутовой толще льда и снега, покрывавших Юкон.

— Такая вспышка мороза в марте — это редкость! — заметил человек, тасовавший карты. — Сколько, по-вашему, градусов, Боб?

— Пожалуй, будет пятьдесят пять, а то и все шестьдесят ниже нуля. Как думаете, док?

Доктор повернул голову и посмотрел на дверь, словно измеряя взглядом толщину покрывавшего ее льда.

— Никак не больше пятидесяти. Или, может, даже поменьше, скажем, сорок девять. Посмотрите, лед на двери чуточку повыше отметки «пятьдесят», но верхний край его неровный. Когда мороз доходил до семидесяти, лед поднимался на целых четыре дюйма выше.

Он снова взял в руки карты и, тасуя их, крикнул в ответ на раздавшийся стук в дверь:

— Войдите!

Вошедший был рослый, плечистый швед. Впрочем, угадать его национальность стало возможно только тогда, когда он снял меховую ушанку и дал оттаять льду на бороде и усах, который мешал рассмотреть лицо. Тем временем люди за столом успели доиграть один круг.

— Я слышал, у вас здесь на стоянке доктор по-

явился, — вопросительным тоном сказал швед, тревожно обводя всех глазами. Его измученное лицо говорило о перенесенных им долгих и тяжких испытаниях. — Я приехал издалека. С северной развилины Вайо.

— Я доктор. А что?

Вместо ответа человек выставил вперед левую руку с чудовищно распухшим указательным пальцем и стал отрывисто, бессвязно рассказывать, как стряслась с ним эта беда.

— Дайте погляжу, — нетерпеливо прервал его доктор, — положите руку на стол. Сюда, вот так!

Швед осторожно, словно на пальце у него был большой нарыв, сделал то, что ему велели.

— Гм, — буркнул доктор, — растяжение сухожилия. Из-за этого вы тащились сюда за сто миль! Да ведь вправить его — дело одной секунды. Следите за мной — в другой раз вы сумеете проделать это сами.

Подняв вертикально ладонь, доктор без предупреждения со всего размаха опустил ее нижний край на распухший, скрюченный палец. Человек взревел от ужаса и боли. Крик был какой-то звериный, да и лицо у него было как у дикого зверя; казалось, он сейчас бросится на доктора, сыгравшего с ним такую шутку.

— Тише! Все в порядке! — резко и властно остановил его доктор. — Ну как? Полегчало, правда? В следующий раз вы сами это проделаете… Строзерс, вам сдавать! Кажется, мы вас обставили.

На туповатом, бычьем лице шведа выражалось облегчение и работа мысли. Острая боль прошла, и он с любопытством и удивлением рассматривал свой палец, осторожно сгибая и разгибая его. Потом полез в карман и достал мешочек с золотом.

— Сколько?

Доктор нетерпеливо мотнул головой.

— Ничего. Я не практикую. Ваш ход, Боб.

Швед тяжело потоптался на месте, снова осмотрел палец и с восхищением взглянул на доктора.

— Вы хороший человек. Звать-то вас как?

— Линдей, доктор Линдей, — поторопился ответить за доктора Строзерс, словно боялся, как бы тот не рассердился.

— День кончается, — сказал Линдей шведу, тасуя карты для нового круга. — Оставайтесь-ка лучше ночевать. Куда вы поедете в такой мороз? У нас есть свободная койка.

Доктор Линдей был статный и сильный на вид мужчина, брюнет с впалыми щеками и тонкими губами. Его гладко выбритое лицо было бледно, но в этой бледности не было ничего болезненно-

го. Все движения доктора были быстры и точны. Он делал ходы, не раздумывая долго, как другие. Его черные глаза смотрели прямо и пристально, — казалось, они видели человека насквозь. Руки, изящные, нервные, были как бы созданы для тонкой работы, и с первого же взгляда в них угадывалась сила.

— Опять наша! — объявил он, забирая последнюю взятку. — Теперь только доиграть роббер, и посмотрим, кому придется делать прорубь!

Снова раздался стук в дверь, и доктор опять крикнул:

— Войдите! Кажется, нам так и не дадут докончить этот роббер, — проворчал он, когда дверь отворилась. — А с вами что случилось? — Это относилось к вошедшему.

Новый пришелец тщетно пытался пошевелить губами, которые, как и щеки, были словно скованы льдом. Видимо, он пробыл в дороге много дней. Кожа на скулах, должно быть, не раз была обморожена и даже почернела. От носа до подбородка сплошной лед — в нем виднелись лишь небольшое отверстие, которое человек растопил дыханием. В это отверстие он сплевывал табачный сок, который, стекая, замерз янтарной сосулькой, заостренной книзу, как ван-дейков-

ская бородка.

Он молча кивнул головой, улыбаясь глазами, и подошел к печке, чтобы поскорее растаял лед, мешавший ему говорить. Он пальцами отдирал куски его, которые трещали и шипели, падая на печку.

— Со мной-то все в порядке, — произнес он наконец. — Но если есть в вашей компании доктор, так он до крайности нужен. На Литтл Пеко человек схватился с пантерой, и она его черт знает как изувечила.

— А далеко это? — осведомился доктор Линдей.

— Миль сто будет.

— И давно это с ним случилось?

— Я три дня сюда добирался.

— Плох?

— Плечо вывихнуто. Несколько ребер, наверное, сломано. Все тело изорвано до костей, только лицо цело. Две-три самые большие раны мы временно зашили, а жилы перетянули бечевками.

— Удружили человеку! — усмехнулся доктор. — А в каких местах эти раны?

— На животе.

— Ну, так теперь ему конец.

— Вовсе нет! Мы их сперва начисто промыли той жидкостью, которой насекомых травим,

и только потом зашили — на время, конечно. Надергали ниток из белья — другого ничего не нашлось, но мы их тоже промыли.

— Можете уже считать его мертвецом, — дал окончательное заключение доктор, сердито перебирая карты.

— Ну нет, он не умрет! Не такой человек! Он знает, что я поехал за врачом, и сумеет продержаться до вашего приезда. Смерть его не одолеет. Я его знаю.

— Христианская наука — как способ лечить гангрену? — фыркнул доктор.

— Впрочем, какое мне дело. Я ведь не практикую. И не подумаю ради покойника ехать за сто миль в пятидесятиградусный мороз.

— А я уверен, что поедете! Говорю вам, он не собирается помирать!

Линдей покачал головой.

— Жаль, что вы напрасно ездили в такую даль. Заночуйте-ка лучше здесь.

— Никак нельзя! Мы двинемся отсюда через десять минут.

— Почему вы так в этом уверены? — запальчиво спросил доктор.

Тут Том Доу разразился самой длинной речью в своей жизни:

— А потому, что он непременно дотянет до вашего приезда, хотя бы вы раздумывали целую неделю, прежде чем двинуться в путь. И к тому же при нем жена. Она — молодчина, не проронила ни слезинки и поможет ему продержаться до вашего приезда. Они друг в друге души не чают, и воля у нее сильная, как у него. Если он сдаст, она поддержит в нем дух и заставит жить. Да только он не сдаст, головой ручаюсь. Ставлю три унции золота против одной, что он будет живехонек, когда вы приедете. У меня на берегу стоит наготове собачья упряжка. Согласитесь только выехать через десять минут, и мы доберемся туда меньше чем в три дня, потому что поедем по проложенному следу. Ну, пойду к собакам и жду вас через десять минут.

Доу опустил наушники, надел рукавицы и вышел.

— Черт его побери! — крикнул Линдей, возмущенно глядя на захлопнувшуюся дверь.

II

В ту же ночь, когда было пройдено двадцать пять миль и давно наступила темнота, Линдей и Том Доу сделали остановку и разбили лагерь. Дело было нехитрое, хорошо им знакомое: раз-

вести костер на снегу, а рядом, настлав еловых веток и покрыв их меховыми одеялами, устроить общую постель и протянуть по другую ее сторону брезент, чтобы сохранить тепло. Доу покормил собак, нарубил льда и веток для костра. Линдей, у которого щеки были словно обожжены морозом, подсел к огню и занялся стряпней. Они плотно поели, выкурили по трубке, пока сушились у костра мокасины, потом, завернувшись в одеяла, уснули мертвым сном здоровых и усталых людей.

Небывалый в это время года мороз к утру сдал. Температура, по расчетам Линдея, была примерно пятнадцать ниже нуля, но уже начинала подниматься. Доу забеспокоился и объяснил доктору, что, если днем начнется весеннее таяние, каньон, через который лежит их путь, будет затоплен водой. А склоны у него высотой где в несколько сот футов, а где и в несколько тысяч. Подняться по ним можно, но это отнимет много времени.

В тот вечер, удобно расположившись в темном мрачном ущелье и покуривая трубки, они уже жаловались на жару. Оба были того мнения, что температура впервые за полгода поднялась, должно быть, выше нуля.

— Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, и

не слыхивал про пантеру, — говорил Доу. — Рокки называет ее «кугуар». Но я много их убил у нас в Керри, в штате Орегон, — я ведь тамошний уроженец, — и там их называют пантерами. Как там ни называй, пантера или кугуар, а другой такой громадной кошки я сроду не видывал. Настоящее страшилище! И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу.

Линдей не поддерживал разговора, он уже клевал носом. От его мокасин, сушившихся на палках у огня, валил пар, но он этого не замечал и не повертывал их. Собаки, свернувшись пушистыми клубками, спали на снегу. Изредка потрескивали догорающие угольев, и эти звуки словно подчеркивали глубокую тишину.

Линдей вдруг очнулся и посмотрел на Доу, который, встретившись с ним взглядом, кивнул в ответ. Оба прислушались. Откуда-то издалека доносился неясный, тревожащий гул, который скоро перешел в зловещий рев и грохот. Он приближался, все набирая силы, несся через вершины гор, через глубины ущелий, склоняя перед собой лес, пригибая к земле тонкие сосны в расселинах каменных склонов, и путники уже понимали, что это за шум. Ветер бурный, но теплый, уже насыщенный запахами весны, промчался

мимо, взметнув из костра целый дождь искр.

Проснувшиеся собаки сели и, подняв кверху унылые морды, завыли по-волчьи: долго, протяжно.

— Это Чинук, — сказал Доу.

— Значит, двинемся по реке?

— Конечно. Десять миль по ней пройдешь легче, чем одну по верхней дороге, — Доу долго и внимательно всматривался в Линдея. — А ведь мы уже идем пятнадцать часов! — крикнул он сквозь ветер, как бы испытывая Линдея, и опять помолчал. — Док, — сказал он наконец, — вы не из трусливых?

Вместо ответа Линдей выбил трубку и стал натягивать сырые мокасины. Не прошло и нескольких минут, как собаки, борясь с ветром, стояли уже в упряжке, вся утварь и меховые одеяла, которыми людям так и не пришлось воспользоваться, лежали на нартах. Они снялись с лагеря и в темноте двинулись по следу, проложенному Доу почти неделю назад. Всю ночь ревел Чинук, а они шли и шли, понукая измученных собак, напрягая ослабевшие мускулы. Так прошли они еще двенадцать часов и остановились позавтракать после этого двадцатисемичасового пути.

— Часок можно соснуть, — сказал Доу после

того, как они с волчьей жадностью проглотили несколько фунтов оленьей строганины, поджаренной с беконом.

Доу дал своему спутнику поспать не один, а два часа, но сам не решился глаз сомкнуть. Он занялся тем, что делал отметки на мягком, оседающем снегу. Снег оседал на глазах: за два часа его уровень понизился на три дюйма. Отовсюду доносилось заглушаемое вешним ветром, но близкое журчание невидимых вод. Литтл Пеко, приняв в себя бесчисленные ручейки, рвалась из зимнего плена, с грохотом и треском ломая ледяные оковы.

Доу тронул Линдея за плечо раз, другой, потом энергично растолкал его.

— Ну и спите же вы! — восхищенно шепнул он. — И можете проспать еще сколько угодно!

Усталые черные глаза под тяжелыми веками выразили благодарность за комплимент.

— Но спать больше никак нельзя. Рокки безобразно искалечен. Я вам уже говорил, что сам помогал зашивать ему нутро. Док! — снова встряхнул он Линдея, у которого смыкались глаза. — Послушайте, док! Я спрашиваю, можете ли вы двинуться дальше? Вы слышите? Я говорю, можете ли вы пройти еще немного?

Усталые собаки огрызались и скулили, когда их толчками подняли со сна. Шли медленно, делая не больше двух миль в час, и животные пользовались каждой возможностью залечь в мокрый снег.

— Еще миль двадцать, и мы выберемся из ущелья, — подбодрял спутника Доу. — А там хоть провались этот лед, нам все равно: мы двинемся берегом. И всего-то нам остается пройти миль десять до стоянки. В самом деле, док, нам теперь до нее, можно сказать, рукой подать. А когда вы почините Рокки, вы сможете уже за один день доплыть в лодке к себе.

Но лед под ними становился все ненадежнее, отходя от берега и неустанно, дюйм за дюймом, громоздясь все выше. В тех местах, где он еще держался у берега, его захлестывало водой, и путники с трудом продвигались, шлепая по жиже талого снега и льда. Литтл Пеко сердито урчала. На каждом шагу, по мере того как они пробивались вперед, отвоевывая милю за милей, из которых каждая стоила десяти, пройденных верхней дорогой, появлялись всё новые трещины и полыньи.

— Садитесь на нарты, док, и вздремните немного, — предложил Доу.

Черные глаза глянули на него так грозно, что Доу не решился больше повторить свое предложение.

Уже в полдень выяснилось, что идти дальше невозможно. Льдины, увлекаемые быстрым течением вниз, ударялись о неподвижные еще участки льда. Собаки беспокойно визжали и рвались к берегу.

— Значит, выше река вскрылась, — объяснил Доу. — Скоро где-нибудь образуется затор, и вода станет с каждой минутой подниматься на фут. Придется нам, видно, идти верхней дорогой, если только сможем взобраться. Ну, пошли, док! Гоните собак во всю мочь. И подумать только, что на Юконе лед простоит еще не одну неделю!

Высокие стены каньона, очень узкого в этом месте, были слишком круты, чтобы подняться по ним. Линдею и Доу оставалось только идти вперед. И они шли, пока не случилось несчастье: словно взорвавшись, лед с грохотом раскололся пополам под самой упряжкой. Две средние в упряжке собаки провалились в полынью и, подхваченные течением, потащили за собой в воду переднюю. Эти три собаки, уносимые течением под лед, тянули за собой к краю льда визжавших остальных собак. Люди яростно боролись, стара-

ясь задержать нарты, но нарты медленно тащили их вперед. Все кончилось в несколько секунд. Доу обрезал охотничьим ножом постромки коренника, и тот, слетев в полынью, сразу скрылся под водой. Путники стояли теперь на качавшейся под ногами льдине, которая, ударяясь то и дело о прибрежный лед и скалы, давала трещины. Едва только успели они вытащить нарты на берег, как льдина перевернулась и ушла под воду.

Мясо и меховые одеяла они сложили в тюки, а нарты бросили. Линдея возмутило, что Доу берет на плечи тяжелый тюк, но тот настоял на своем.

— Вам хватит работы, когда прибудем на место. Пошли!

Был уже час дня, когда они начали карабкаться по склону. В восемь часов вечера они перевалили через верхний край каньона и целых полчаса лежали там, где свалились. Затем разожгли костер, сварили полный котелок кофе и поджарили огромную порцию оленьего мяса. Сначала, однако, Линдей прикинул в руках оба тюка и убедился, что его ноша вдвое легче.

— Железный вы человек, Доу! — восхитился он.

— Кто? Я? Полноте! Посмотрели бы вы на Рокки! Вот это так молодец! Он словно из платины

вылит, из стали, из чистого золота, из самого что ни на есть крепкого материала. Я горец, но куда мне до него! Дома, в Керри, я, бывало, чуть не до смерти загонял всех наших ребят, когда мы охотились на медведя. И вот, когда сошлись мы с Рокки на первой охоте, я, грешным делом, думал утереть ему нос. Спустил собак со сворки и сам от них не отстаю, а за мной по пятам идет Рокки. Я знал, что долго ему не выдержать, и как приналег, как дал ходу! А он к концу второго часа все так же, не спеша, спокойно шагает за мной по пятам! Меня даже обида взяла. «Может, говорю, тебе хочется пройти вперед и показать мне, как ходят?» — «Ясно!» — говорит. И ведь показал! Я не отстал, но, по совести сказать, совсем замучился к тому времени, как мы загнали медведя.

Этот человек ни в чем удержу не знает! Никакой страх его не берет. Прошлой осенью, перед самыми заморозками, шли мы, он и я, к стоянке. Уже смеркалось. Я расстрелял все патроны на белых куропаток, а у Рокки еще оставался один. Тут вдруг собаки загнали на дерево медведицу гризли. Небольшую — фунтов на триста, но вы знаете, что такое гризли! «Не делай этого! — говорю я Рокки, когда он вскинул ружье. — У тебя единственный патрон, а темень такая — не ви-

дать, в кого целишься».

«Полезай, говорит, на дерево». На дерево я не полез, но когда медведица скатилась вниз, взбешенная и только задетая выстрелом, — скажу честно, пожалел я, что его не послушался. Ну и попали в переделку! Дальше пошло и вовсе худо. Медведица прыгнула в яму под здоровый пень, фута в четыре высотой. С одного края собакам до нее никак не добраться, а с другого — крутая песчаная насыпь: собаки, ясное дело, и соскользнули вниз, прямо на медведицу. Назад им не выпрыгнуть, а медведица их, того и гляди, в куски растерзает. Кругом кусты, почти стемнело, а у нас ни единого патрона!

Что же делает Рокки? Ложится на пень, свешивает вниз руку с ножом и давай колоть зверя. Только дальше медвежьего зада ему не достать, а собакам вот-вот конец всем троим. Рокки в отчаянии: жалко ему своих собак. Вскочил на пень, ухватил медведя за огузок и вытащил наверх. Тут как понесется вся честная компания — медведь, собаки и Рокки! Промчались футов двадцать, покатились вниз, рыча, ругаясь, царапаясь, и бултых в реку на десять футов в глубину, на самое дно. Все выплыли, кто как умел. Ну, медведя Рокки не достал, зато собак спас. Вот каков Рокки! Уж

если он на что решился, ничто его не остановит.

На следующем привале Линдей услышал от Тома Доу, как с Рокки случилось несчастье.

— Прошел я вверх по реке, за милю от дома, искать подходящую березку для топорища. Возвращаюсь назад — слышу, кто-то отчаянно возится в том месте, где мы поставили медвежий капкан. Какой-то охотник бросил его за ненадобностью в старой яме для провианта, а Рокки опять наладил. «Кто ж это, думаю, возится?» Оказывается, Рокки с братом своим, Гарри. То один горланит и смеется, то другой, словно шла у них там какая-то игра. И надо же было придумать такую дурацкую забаву! Видал я у себя в Керри немало смелых парней, но эти всех перещеголяли. Попала к ним в капкан здоровенная пантера, и они по очереди стукали ее по носу палочкой. Выхожу я из-за куста, вижу — Гарри ударяет ее; потом отрубил конец у палочки, дюймов шесть, и передал палочку Рокки. Так постепенно палочка становилась все короче. Игра, выходит, была не так безопасна, как вы, может быть, думаете. Пантера пятилась, выгнув спину горбом, и так проворно увертывалась от палочки, словно в ней пружина какая-то сидела. Капкан защемил ей заднюю лапу, но она каждую минуту могла

прыгнуть.

Люди, можно сказать, со смертью играли. Палочка делалась все короче, а пантера все бешенее. Скоро от палочки почти ничего не осталось: дюйма четыре, не больше. Очередь была за Рокки. «Давай лучше бросим», — говорит Гарри. «Это почему?» — спрашивает Рокки. «Да ведь если ты ударишь, для меня и палочки не останется», — говорит Гарри. «Тогда ты выйдешь из игры, а я выиграю!» — со смехом отвечает Рокки и подходит к пантере.

Не хотел бы я опять увидеть такое! Кошка подалась назад, съежилась, словно вобрала в себя все шесть футов своей длины. А палочка-то у Рокки всего в четыре дюйма! Кошка и сгребла его. Схватились они — не видать, где он, где она! Стрелять нельзя! Хорошо, что Гарри изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло.

— Знал бы я все это раньше, ни за что бы не поехал! — сказал Линдей.

Доу кивнул в знак согласия:

— Она так и говорила. И просила меня, чтоб я вам и словом не обмолвился насчет того, как это приключилось.

— Он что, сумасшедший? — сердито спросил Линдей.

— Оба они шальные какие-то — и он и брат его, все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. Видал я, как они прошлой осенью переплывали пороги. Вода ледяная, дух захватывает, а по реке уже сало пошло. Это они об заклад бились. Что бы ни взбрело в голову, за все берутся! И жена у Рокки почти такая же. Ничего не боится. Только позволь ей Рокки — на все пойдет! Но он очень бережет ее. Обращается, как с королевой, никакой тяжелой работы делать не дает. Для того и наняли меня да еще одного человека за хорошее жалованье. Денег у них уйма. А уж любят друг друга как сумасшедшие!

«Похоже, здесь будет недурная охота», — сказал Рокки, когда они прошлой осенью набрели на это место. «Ну что ж, давай здесь и устроимся»,

— говорит Гарри. Я-то все время думал, что они золото ищут, а они за всю зиму и таза песку не промыли на пробу.

Раздражение Линдея еще усилилось.

— Терпеть не могу сумасбродов! Я, кажется, способен повернуть обратно!

— Нет, этого вы не сделаете! — уверенно возразил Доу. — И еды не хватит на обратный путь. А завтра мы будем уже на месте. Осталось только перевалить через последний водораздел и спу-

ститься вниз к хижине. А главное, вы слишком далеко от дома, а я, будьте уверены, не дам вам повернуть назад!

Как ни был Линдей измучен, огонь сверкнул в его черных глазах. И Доу почувствовал, что переоценивает свою силу. Он протянул руку.

— Заврался. Извините, док. Я немного расстроен тем, что пропали мои собаки.

III

Не день, а три дня спустя, после того как на вершине их едва не замело снежной метелью, Линдей и Том Доу добрели наконец до хижины в плодородной долине, на берегу бурной Литтл Пеко. Войдя и очутившись в полутьме после яркого солнечного света, Линдей сперва не разглядел как следует обитателей хижины. Он только заметил, что их было трое — двое мужчин и женщина. Но они его не интересовали, и он прошел прямо к койке, на которой лежал раненый. Лежал он на спине, закрыв глаза, и Линдей заметил, что у него красиво очерченные брови и кудрявые каштановые волосы. Исхудавшее и бледное лицо казалось слишком маленьким для мускулистой шеи, но тонкие черты этого лица при всей его изможденности были словно изваяны резцом.

— Чем промывали? — спросил Линдей у женщины.

— Сулемой, обычным раствором.

Линдей быстро взглянул на женщину, бросил еще более быстрый взгляд на лицо больного и встал, резко выпрямившись. А женщина шумно и прерывисто задышала, усилием воли стараясь это скрыть. Линдей повернулся к мужчинам.

— Уходите отсюда! Займитесь колкой дров, чем угодно, только отсюда уходите!

Один из них стоял в нерешимости.

— Случай очень серьезный. Мне надо поговорить с его женой, — продолжал Линдей.

— Но я его брат, — возразил тот.

Женщина умоляюще взглянула на него. Он нехотя направился к двери.

— И мне вон идти? — спросил Доу, сидевший на скамье, на которую плюхнулся, как только вошел.

— И вам.

Линдей принялся осматривать больного, дожидаясь, когда хижина опустеет.

— Так это и есть твой Рекс Стрэнг?

Женщина бросила взгляд на лежащего, словно хотела удостовериться, что это в самом деле он, потом молча посмотрела в глаза Линдею.

— Что же ты молчишь?

Она пожала плечами.

— К чему говорить? Ты ведь знаешь, это Рекс Стрэнг.

— Благодарю. Хотя я мог бы тебе напомнить, что вижу его впервые. Садись. — Доктор указал ей на табурет, а сам сел на скамью. — Я отчаянно устал. Шоссейной дороги от Юкона сюда еще не провели.

Он вынул из кармана перочинный нож и стал вытаскивать занозу из своего большого пальца.

— Что ты думаешь делать? — спросила она, подождав минуту.

— Поесть и отдохнуть, прежде чем пущусь в обратный путь.

— Я спрашиваю, что ты сделаешь, чтобы ему помочь? — Женщина движением головы указала на человека, лежавшего без сознания.

— Ничего.

Женщина подошла к койке, легко провела пальцами по тугим завиткам волос.

— Ты хочешь сказать, что убьешь его? — медленно проговорила она. — Дашь ему умереть без помощи? А ведь, если ты захочешь, ты можешь спасти его.

— Понимай как знаешь. — Линдей подумал и

сказал с хриплым смешком: — С незапамятных времен в этом дряхлом мире именно таким способом частенько избавлялись от похитителей чужих жен.

— Ты несправедлив, Грант, — возразила она тихо. — Ты забываешь, что то была моя воля, что я сама этого захотела. Рекс не увел меня. Это ты сам меня потерял. Я ушла с ним добровольно, с радостью. С таким же правом ты мог бы обвинить меня, что я его увела. Мы ушли вместе.

— Удобная точка зрения! — сказал Линдей. — Я вижу, ум у тебя так же остер, как был. Стрэнга это, должно быть, утомляло?

— Мыслящий человек способен и сильно любить…

— И в то же время действовать разумно, — вставил Линдей.

— Значит, ты признаешь, что я поступила разумно?

Он поднял руки к небу.

— Черт возьми, вот что значит говорить с умной женщиной! Мужчина всегда это забывает и попадает в ловушку. Я не удивился бы, узнав, что ты покорила его каким-нибудь силлогизмом.

Ответом была тень улыбки в пристальном взгляде синих глаз. Все ее существо словно излу-

чало женскую гордость.

— Нет, нет, беру свои слова обратно. Будь ты даже безмозглой дурой, все равно ты пленила бы его и кого угодно — лицом, фигурой, всем!.. Кому, как не мне, знать это! Черт возьми, я все еще не покончил с этим.

Он говорил быстро, нервно, раздраженно и, как всегда (Медж это знала), искренне. Она ответила только на его последние слова:

— Ты еще помнишь Женевское озеро?

— Еще бы! Я был там до нелепости счастлив.

Она кивнула головой, и глаза ее засветились.

От прошлого не уйдешь. Прошу тебя, Грант, вспомни… на одну только минуту… вспомни, чем мы были друг для друга… И тогда…

— Вот чем ты хочешь меня подкупить, — улыбнулся он и снова принялся за свой палец. Он вынул занозу, внимательно рассмотрел ее, затем сказал: — Нет, благодарю. Я не гожусь для роли доброго самаритянина.

— Но ведь ты прошел такой трудный путь ради незнакомого человека, — настаивала она.

Линдея наконец прорвало:

— Неужели ты думаешь, что я сделал бы хоть один шаг, если бы знал, что это любовник моей жены?

— Но ты уже здесь… Посмотри, в каком он состоянии! Что ты сделаешь?

— Ничего. С какой стати? Он ограбил меня.

Она хотела что-то еще сказать, но в дверь постучали.

— Убирайтесь вон! — закричал Линдей.

— Может, вам нужно помочь?

— Уходите, говорю! Принесите только ведро воды и поставьте его у двери.

— Ты хочешь… — начала она, вся дрожа.

— Умыться.

Она отшатнулась, пораженная такой бесчеловечностью, и губы ее плотно сжались.

— Слушай, Грант, — сказала она твердо. — Я все расскажу его брату. Я знаю Стрэнгов. Если ты способен забыть старую дружбу, я тоже ее забуду. Если ты ничего не сделаешь, Гарри убьет тебя. Да что! Даже Том Доу сделает это, если я попрошу.

— Мало же ты меня знаешь, что угрожаешь мне! — серьезно упрекнул он ее, потом с усмешкой добавил: — К тому же не понимаю, чем, собственно, моя смерть поможет твоему Рексу Стрэнгу?

Она судорожно вздохнула, но тут же крепко стиснула губы, заметив, что от его зорких глаз не укрылся бивший ее озноб.

— Это не истерика, Грант! — торопливо вос-

кликнула она, стуча зубами.

— Ты знаешь, что со мной никогда не бывает истерик. Не знаю, что со мной, но я справлюсь с этим. Просто меня одолело все сразу: и гнев на тебя, и страх за него. Я не хочу потерять его. Я его люблю, Грант! И я провела у его изголовья столько ужасных дней и ночей! О Грант, умоляю… умоляю тебя…

— Просто нервы! — сухо заметил Линдей. — Перестань! Ты можешь взять себя в руки. Если бы ты была мужчиной, я рекомендовал бы тебе покурить.

Она, шатаясь, подошла к табурету и, сев, наблюдала за ним, силясь овладеть собой. За грубо сложенным очагом затрещал сверчок. За дверью грызлись две овчарки. Видно было, как грудь больного поднимается и опускается под меховыми одеялами. Губы Линдея сложились в улыбку, не предвещавшую ничего хорошего.

— Ты сильно его любишь? — спросил он.

Грудь ее бурно вздымалась, глаза ярко заблестели. Она глядела на него гордо, не тая страсти. Линдей кивнул в знак того, что ответ ему ясен.

— Давай потолкуем еще немного. — Он помолчал, словно обдумывая, с чего начать. — Мне вспомнилась одна прочитанная мною сказка.

Написал ее, кажется, Герберт Шоу. Я хочу ее тебе рассказать… Жила-была одна женщина, молодая, прекрасная. И мужчина, замечательный человек, влюбленный в красоту. Он любил странствовать. Не знаю, насколько он был похож на твоего Рекса Стрэнга, но, кажется, сходство есть. Человек этот был художник, по натуре цыган, бродяга. Он целовал ее, целовал часто и горячо в течение нескольких недель. Потом ушел от нее. Она любила его так, как ты, мне кажется, любила меня… там, на Женевском озере. Десять лет она плакала от тоски по нем, и в слезах истаяла ее красота. Некоторые женщины, видишь ли, желтеют от горя: оно нарушает обмен веществ.

Потом случилось так, что человек этот ослеп и через десять лет, приведенный за руку, как ребенок, вернулся опять к ней. У него ничего не осталось в жизни. Он не мог больше писать. А она была счастлива. И радовалась, что он не может увидеть ее лицо. (Вспомни, он поклонялся красоте.) Он снова держал ее в объятиях, целовал и верил, что она прекрасна. Он сохранил живое воспоминание о ее красоте и не переставал говорить о ней и горевать, что не видит ее.

Однажды он рассказал ей о пяти больших картинах, которые ему хотелось бы написать. Если

бы к нему вернулось зрение, он, написав их, мог бы сказать: «Конец!» — и успокоиться. И вот каким-то образом в руки этой женщины попадает волшебный эликсир: стоит ей только смочить им глаза возлюбленному, и зрение вернется к нему полностью.

Линдей передернул плечами.

— Ты понимаешь, какую душевную борьбу она переживала? Прозрев, он напишет пять картин, но ее он тогда покинет, ведь красота — его религия. Он не в силах будет смотреть на ее обезображенное лицо. Пять дней она боролась с собой, потом смочила ему глаза этим эликсиром…

Линдей замолчал и пытливо посмотрел на женщину. Какие-то огоньки зажглись в блестящей черноте его зрачков.

— Вопрос в том, любишь ли ты Рекса Стрэнга так же сильно?

— А если да?

— Действительно любишь?

— Да.

— И ты способна ради него на жертву? Можешь от него отказаться?

Медленно, с усилием она ответила:

— Да.

— И ты уйдешь со мной?

На этот раз голос ее перешел в едва слышный шепот:

— Когда он поправится, да.

— Пойми, то, что было на Женевском озере, должно повториться. Ты станешь опять моей женой.

Она вся съежилась и поникла, но утвердительно кивнула головой.

— Очень хорошо! — Линдей быстро встал, подошел к своей сумке и стал расстегивать ремни. — Мне понадобится помощь. Зови сюда его брата. Зови всех... Нужен будет кипяток, как можно больше кипятку. Бинты я привез, но покажи, какой еще перевязочный материал у вас имеется. Эй, Доу, разведите огонь и принимайтесь кипятить воду — всю, сколько ее есть под рукой. А вы,

— обратился он к Гарри, — вынесите стол из хижины вон туда, под окно. Чистите, скребите, шпарьте его кипятком. Чистите, чистите, как никогда не чистили ни одной вещи! Вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Простыней, вероятно, нет? Ничего, как-нибудь обойдемся. Вы его брат, сэр? Я дам ему наркоз, а вам придется затем давать еще по мере надобности. Теперь слушайте: я научу вас, что надо делать. Прежде

всего — умеете вы следить за пульсом?

IV

Линдей славился как смелый и способный хирург, а в последующие дни он превзошел самого себя.

Потому ли, что Стрэнг был страшно изувечен, или потому, что помощь сильно запоздала, только Линдей впервые столкнулся с таким трудным случаем. Правда, никогда еще ему не приходилось иметь дело с более здоровым образчиком человеческой породы, но он потерпел бы неудачу, если б не кошачья живучесть больного, его почти сверхъестественная физическая и душевная жизнестойкость.

Были дни очень высокой температуры и бреда; дни полного упадка сердечной деятельности, когда пульс у Стрэнга бился едва слышно; дни, когда он был в сознании, лежал с открытыми глазами, усталыми и глубоко запавшими, весь в поту от боли. Линдей был неутомим, энергичен и беспощадно требователен, смел до дерзости и добивался удачных результатов, рискуя раз за разом и выигрывая. Ему мало было того, что его пациент останется жив. Он поставил себе сложную и рискованную задачу: сделать его таким же

сильным и здоровым, как прежде.

— Он останется калекой? — спрашивала Медж.

— Он сможет не только ходить, говорить, будет не просто жалким подобием прежнего Стрэнга, нет, он будет бегать, прыгать, переплывать пороги, кататься верхом на медведях, бороться с пантерами — словом, удовлетворять свои самые безумные прихоти. И предупреждаю: он станет по-прежнему кумиром всех женщин. Как ты на это смотришь? Довольна? Не забывай: тебя-то с ним не будет.

— Продолжай, продолжай свое дело, — отвечала она беззвучно. — Верни ему здоровье. Сделай его опять таким, каким он был.

Не раз, когда состояние больного позволяло, Линдей усыплял его и проделывал самые рискованные и трудные операции: он резал, сшивал, связывал воедино части разрушенного организма. Как-то он заметил, что у больного плохо действует левая рука. Стрэнг мог поднимать ее только до определенной высоты, не дальше. Линдей стал доискиваться причины.

Оказалось, что в этом виноваты несколько скрученных и разорванных связок. Он снова принялся резать, расправлять, вытягивать и распутывать. Спасали Стрэнга только его поразительная живу-

честь и здоровый от природы организм.

— Вы убьете его! — запротестовал Гарри. — Оставьте его в покое! Ради бога, оставьте его в покое! Лучше живой калека, чем полностью починенный труп.

Линдей вспыхнул от гнева.

— Убирайтесь вон! Вон из хижины, пока вы, подумав, не признаете, что я ему возвращаю этим жизнь! Следовало бы поддерживать меня, а не ворчать. Жизнь вашего брата все еще висит на волоске. Понятно? Дуньте на нее — и она может оборваться. Теперь ступайте отсюда и возвращайтесь спокойным и бодрым и, вопреки всему, уверенным, что он будет жить и станет опять таким, каким был, пока вам обоим не вздумалось свалять дурака.

Гарри с угрожающим видом, сжав кулаки, оглянулся на Медж, как бы спрашивая совета.

— Уйди, пожалуйста, уйди! — взмолилась она. — Доктор прав. Я знаю, что он прав.

В другой раз, когда состояние Стрэнга не внушало уже тревоги, брат его сказал:

— Док, вы чудодей! А я за все время не подумал даже спросить, как ваша фамилия.

— Не ваше дело! Уходите, не мешайте!

Процесс заживления истерзанной правой руки

неожиданно приостановился, страшная рана опять вскрылась.

— Наркоз, — сказал Линдей.

— Теперь ему конец! — простонал брат.

— Замолчите! прикрикнул на него Линдей. — Ступайте вместе с Доу, возьмите и Билла — добудьте мне зайцев… живых и здоровых! Наловите их силками. Повсюду расставьте силки.

— Сколько зайцев вам надо?

— Сорок… четыре тысячи… сорок тысяч… сколько сможете добыть! А вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Я хочу покопаться в этой руке, посмотреть, в чем дело. А вы, ребята, ступайте за зайцами.

Он глубоко вскрыл рану, быстро и умело отскоблил разлагающуюся кость и определил, насколько далеко прошло загнивание.

— Этого, конечно, никогда бы не случилось, объяснил он Медж, — если б у него не оказалось такого множества других поражений, которые потребовали в первую очередь всех его жизненных сил. Даже такому жизнеспособному организму, как у него, трудно справиться со всем. Я это видел, но мне ничего другого не оставалось, как ждать и рисковать… Вот этот кусок кости придется удалить. Обойдется без него. Я заменю

его заячьей косточкой, которая сделает руку такой, какой она была.

Из сотни принесенных зайцев Линдей отобрал нескольких, испытал их пригодность, потом сделал окончательный выбор. Усыпив Стрэнга остатками хлороформа, он произвел пересадку, привив живую кость зайца к живой кости человека, чтобы общий отныне физиологический процесс в них помог сделать руку вполне здоровой.

И все это трудное время, особенно когда Стрэнг начал поправляться, между Линдеем и Медж изредка возникали короткие разговоры. Доктор не смягчался, она не проявляла строптивости.

— Это хлопотливое дело! — говорил он. — Но закон есть закон, и тебе придется взять развод, чтобы мы могли опять пожениться. Что ты на это скажешь? Поедем на Женевское озеро?

— Как хочешь! — отвечала она.

А в другой раз он сказал:

— Ну что ты, черт возьми, в нем нашла? У него было много денег, знаю. Но ведь и мы с тобой жили, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем тысяч сорок в год, я проверял потом по приходной книге. В сущности, тебе не хватало разве только собственных яхт

и дворцов.

— А знаешь, я, кажется, сейчас поняла, в чем дело. Все, вероятно, произошло потому, что ты был слишком занят своей практикой и мало думал обо мне.

— Вот как! — насмешливо буркнул Линдей. — А может, твой Рекс слишком поглощен пантерами и короткими палочками?

Он беспрестанно добивался от нее объяснения, чем Стрэнг так ее пленил.

— Этого не объяснишь, — всегда отвечала она.

И наконец однажды ответ ее прозвучал резко:

— Никто не может объяснить, что такое любовь, и я — меньше всякого другого. Я узнала любовь, божественную, непреодолимую, — вот и все. В форте Ванкувер какой-то магнат из Компании Гудзонова залива был недоволен местным священником англиканской церкви. Последний в письмах домой, в Англию, жаловался, что служащие Компании, начиная с главного уполномоченного, грешат с индианками. «Почему вы умолчали о смягчающих обстоятельствах?» — спросил у него магнат. Священник ответил: «Хвост у коровы растет книзу. Я не могу объяснить, почему коровий хвост растет книзу. Я только констатирую факт».

— К черту умных женщин! — закричал Линдей. Глаза его сверкали гневом.

— Что тебя привело на Клондайк? — спросила Медж.

— У меня было слишком много денег и не было жены, чтоб их тратить. Захотелось отдохнуть — должно быть, переутомился. Я сначала уехал в Колорадо. Но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились в Колорадо. Я переехал в Сиэтл — та же история, Ренсом отправил специальным поездом ко мне свою больную жену. Отвертеться было невозможно. Операция удалась. Местные газеты пронюхали об этом. Остальное ты сама можешь себе представить! Я хотел от всех скрыться, удрал на Клондайк. И вот когда я спокойно играл в вист в юконской хижине, меня и тут разыскал Том Доу…

Настал день, когда постель Стрэнга вынесли на воздух.

— Разреши мне теперь сказать ему, — попросила Медж.

— Нет, подожди еще, — ответил Линдей.

Скоро Стрэнг мог уже сидеть, спустив ноги с койки, потом сделал первые несколько неверных шагов, поддерживаемый с обеих сторон.

— Пора сказать ему, — твердила Медж.

— Нет. Я хочу прежде довести работу до конца. Чтобы не было никаких недоделок! Левая рука еще плоховато действует. Это мелочь, но я хочу воссоздать его таким, каким его сотворил бог. Завтра снова вскрою руку и устраню дефект. Придется Стрэнгу опять два дня лежать на спине. Жаль, что хлороформ весь вышел. Ну да ничего, стиснет зубы и вытерпит. Он сумеет это сделать. Выдержки у него на десятерых хватит.

Пришло лето. Снег растаял и лежал еще только на дальних вершинах Скалистых гор, на востоке. Дни становились все длиннее, и уже совсем больше не темнело, только в полночь солнце, клонясь к северу, скрывалось на несколько минут за горизонтом.

Линдей не отходил от Стрэнга. Он изучал его походку, движения тела, снова и снова раздевая его догола и заставляя в тысячный раз сгибать все мускулы. Массаж ему делали без конца, пока Линдей не объявил, что Том Доу, Билл и Гарри здорово натренировались и могли бы стать массажистами в турецких банях или клинике костных болезней. Однако доктор все еще не был удовлетворен. Он заставил Стрэнга проделать целый комплекс физических упражнений, все опасаясь каких-нибудь скрытых изъянов. Он

опять уложил его в постель на целую неделю, проделал несколько ловких операций над мелкими венами, скоблил на кости какое-то местечко величиной с кофейное зернышко до тех пор, пока не показалась здоровая, розовая поверхность, к которой он подсадил живую ткань.

— Позволь мне наконец сказать ему! — умоляла Медж.

— Еще не время, — был ответ. — Скажешь ему, когда лечение будет закончено.

Прошел июль, близился к концу август. Линдей велел Стрэнгу идти на охоту за оленем. Сам он шел за ним по пятам и наблюдал. Стрэнг снова обрел чисто кошачью гибкость — такой походки, как у него, Линдей не видел ни у одного человека. Стрэнг двигался без малейших усилий — казалось, он может поднимать ноги чуть не вровень с плечами так легко и грациозно, что быстрота его шага на первый взгляд была незаметна. Это был тот убийственно скорый шаг, на который жаловался Том Доу. Линдей с трудом поспевал за своим пациентом и время от времени, где позволяла дорога, даже бежал, чтобы не отстать от него. Пройдя так миль десять, он остановился и растянулся на мху.

— Хватит! — крикнул он Стрэнгу. — Не могу

угнаться за вами!

Он утирал разгоряченное лицо, а Стрэнг уселся на еловый пень, улыбаясь доктору, глядя вокруг с тем радостным чувством близости к природе, которое знакомо лишь пантеистам.

— Нигде не колет, не режет, не болит? Ни намека на боль? — спросил Линдей.

Стрэнг отрицательно покачал головой и блаженно потянулся всем своим гибким телом.

— Ну, значит, все в порядке, Стрэнг. Зиму-другую холод и сырость будут еще отзываться болью в старых ранах. Но это пройдет. А может быть, этого и вовсе не будет.

— Боже мой, доктор, вы совершили чудо! Не знаю, как вас и благодарить… Я до сих пор даже не знаю вашего имени!

— Это неважно. Помог вам выпутаться — вот что главное.

— Но ваше имя должно быть известно многим! — настаивал Стрэнг. — Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете.

— Думаю, что да. Но это ни к чему. Теперь еще одно последнее испытание — и я вас оставлю в покое. За водоразделом, у самого своего истока, эта речка имеет приток, Биг Винди. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за три дня

дошли до средней развилины и вернулись обратно. Он говорил, что вы его чуть не уморили. Так вот, заночуйте здесь, а я пришлю вам Доу со всем, что нужно в дорогу. Вам дается задание: дойти до средней развилины и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году.

V

— Ну, — сказал Линдей, обращаясь к Медж, — даю тебе час времени на сборы, а я иду за лодкой. Билл отправился на охоту за оленем и не вернется дотемна. Мы еще сегодня будем в моей хижине, а через неделю — в Доусоне.

— А я надеялась... — Медж из гордости не договорила.

— Что я откажусь от платы?

— Нет, договор есть договор, но тебе не следовало быть таким жестоким: зачем ты отослал его на три дня, не дав мне проститься с ним? Это нечестно!

— Оставь ему письмо.

— Да, я все ему напишу.

— Утаить что-либо было бы несправедливо по отношению ко всем троим, — сказал Линдей.

Когда он вернулся с лодкой, вещи Медж были уже сложены, письмо написано.

— Если ты не возражаешь, я прочту его.

После минутного колебания она протянула ему письмо.

— Достаточно прямо и откровенно, — сказал Линдей, прочтя его. — Ну, ты готова?

Он отнес ее вещи на берег и, став на колени, одной рукой удерживая челнок на месте, другую протянул Медж, помогая ей войти. Линдей внимательно следил за ней, но Медж, не дрогнув, протянула ему руку, готовясь переступить через борт.

— Постой! — сказал он. — Одну минуту! Ты помнишь сказку о волшебном эликсире, которую я тебе рассказывал? Я ведь тогда ее недосказал. Слушай! Смочив ему глаза и готовясь уйти, та женщина случайно взглянула в зеркало и увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, вскрикнул от радости, увидев, как она прекрасна, и сжал ее в объятиях…

Медж ждала, стараясь не выдать своих чувств. Лицо ее вдруг выразило легкое недоумение.

— Ты очень красива, Медж… — Линдей сделал паузу, потом сухо добавил: — Остальное ясно. Думаю, что объятия Стрэнга недолго останутся пустыми. Прощай.

— Грант! — промолвила она почти шепотом,

и голос ее сказал ему все то, что понятно и без слов.

Линдей рассмеялся коротким, неприятным смехом.

— Я только хотел тебе доказать, что я не так уж плох: как видишь, плачу добром за зло.

— Грант!

— Прощай! — Он вошел в лодку и протянул Медж свою гибкую, нервную руку.

Медж сжала ее в своих.

— Дорогая, мужественная рука! — прошептала она и, наклонившись, поцеловала ее.

Линдей резко выдернул руку, оттолкнул лодку от берега и направил туда, где зеркальная вода уже вскипала белой клокочущей пеной.

ДЖЕК ЛОНДОН «КРАСНОЕ БОЖЕСТВО» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Красное божество

Опять этот рвущийся ввысь звук! Отмечая по часам время, в течение которого слышался этот звук, Бэссет сравнивал его с трубой архангела. Он подумал о том, что стены городов, наверное, не выдержав, рухнули бы под напором этого могучего, властного призыва. Уже в тысячный раз Бэссет пытался определить характер мощного гула, который царил над землей и разносился далеко кругом, достигая укрепленных селений дикарей. Горное ущелье, откуда он исходил, содрогалось от громовых раскатов, они все нарастали и, хлынув через край, заполняли собой землю, небо и воздух. Больному воображению Бэссета чудился в этом звуке страшный вопль мифического гиганта, полный отчаяния и гнева. Бездонный голос, взывающий и требовательный, устремлялся ввысь, словно обращаясь к иным мирам. В нем звучал протест против того, что никто не может услышать его и понять.

Так казалось больному. Он снова попытался определить природу странного звука. В нем сливались воедино и гром, и мягкое звучание золотого колокола, и сладостный звон туго натя-

нутой серебряной струны. Но это не был ни один из этих звуков и не смешение их. Ни словарь больного, ни его опыт не могли найти слова или сравнения, чтобы передать все многообразие этого звука.

Время шло. Минуты перерастали в часы, а звук все слышался, он только изменил свою тональность, постепенно затухая и тускнея. Звук исчезал так же величественно, как ранее нарастал. Он перешел в беспокойное бормотание, в громкий шепот. Звук медленно угасал в огромной груди, породившей его, пока не преобразился в жуткий ропот гнева и в пленительный шепот восторга. Все чаще желая быть услышанным, он как будто пытался передать некую космическую тайну, сообщить нечто бесконечно важное и ценное. Теперь это был лишь отзвук, в нем не чувствовалось ни угрозы, ни обещания, он таял. Да, звук умер, но в течение нескольких минут он еще продолжал напряженно пульсировать в сознании больного.

Перестав ощущать последнее биение звука, Бэссет снова взглянул на часы. Прошел час, прежде чем этот трубный глас архангела растворился в небытии.

«Так это его темная башня?» — мысленно спросил Бэссет, вспоминая свой браунинг и глядя на

иссушенные лихорадкой, худые, как у скелета, руки. И он улыбнулся возникшему в его воображении образу Чайльд-Роланда, рукой, такой же слабой, как у него, подносящего к губам охотничий рог. Месяцы или годы, спрашивал он себя, прошли с того дня, как он впервые услышал этот таинственный призывный голос на берегу Рингману? Бэссет не смог бы ответить на этот вопрос, даже если бы от этого зависела его жизнь. Болезнь длилась очень долго. Бэссет судил об этом по тем промежуткам, когда находился в сознании. Но он не мог сказать, насколько длительными были периоды кошмаров и беспамятства.

А как дела у Бэтмена, капитана шхуны «Нари», занимавшегося вербовкой чернокожих? Умер ли наконец от белой горячки пьяница — помощник капитана?

Бэссет отогнал от себя эти пустые размышления и попытался не спеша вспомнить все события, происшедшие с ним с того самого дня, когда он на берегу Рингману впервые услышал таинственный зов из глубины джунглей и пошел ему навстречу. Савага противился. Бэссет отчетливо вспомнил его странное обезьянье личико, на котором застыл ужас, его спину, согнутую под грузом футляров для коллекций, свое ружье и

сачок естествоиспытателя у него в руках. Сагава испуганно бормотал на исковерканном английском языке: «Мой боится в чаще, много плохой человек сидит в кустах».

Бэссет грустно улыбнулся, вспоминая это. Несмотря на страх, мальчик из Нового Ганновера остался ему верен и без колебаний последовал за ним в чащу, в поисках источника этого удивительного звука. Нет, такой звук не может издавать древесный ствол с выжженной сердцевиной, несущий в глубь джунглей весть о войне, как сначала подумал Бэссет. И он еще раз ошибся, решив, что источник звука находится не далее как на расстоянии часа ходьбы и что к обеду он непременно вернется на шхуну.

— Там большой шум, это нехорошо, там злой дух, — говорил Сагава.

И он оказался прав. Разве ему не отрубили в тот же день голову. Бэссет содрогнулся при этом воспоминании. Сагаву наверняка съели те «плохой человек, которые сидят в кустах». Бэссет представил мальчика таким, каким он запомнился ему в последний раз — без ружья и без клади, — распростертым на узкой тропинке и обезглавленным. Да, это случилось за одну минуту. Еще минуту назад Бэссет видел, как Сагава терпеливо идет

за ним, согнувшись под своей ношей. А вскоре и самому Бэссету пришлось туго. Он посмотрел на безобразные обрубки пальцев на левой руке, потом осторожно дотронулся до шрама на затылке… Взмах томагавка был мгновенен, но Бэссет успел отдернуть голову и отвести удар рукой. Он заплатил за свою жизнь обрубками пальцев и неприятной раной на черепе. Одним выстрелом Бэссет убил наповал дикаря, который едва не прикончил его, затем задал жару туземцам, столпившимся у тела Сагавы, и с удовлетворением убедился, что основной заряд попал в того, кто удирал с головой мальчика в руках. Все это случилось в какое-нибудь мгновение. На узкой тропе, протоптанной дикими свиньями, остались только он, убитый туземец и тело Сагавы. Из темных джунглей, обступивших тропу с обеих сторон, не доносилось ни шороха, ни каких-либо признаков жизни. Впервые в жизни Бэссет убил человека, и, видя результаты своего выстрела, он испытал приступ тошноты.

Потом началась погоня. Бэссет бежал по тропинке от своих преследователей, которые оказались между ним и берегом. Он не знал, сколько человек гонятся за ним, потому что не видел их. Может быть, это был один туземец, может быть,

сотня. Некоторые из дикарей, Бэссет был уверен в том, перебирались по ветвям, но он лишь изредка видел бесшумно скользящие тени. Звона тетивы лука тоже не было слышно, но неведомо откуда в его сторону то и дело устремлялся поток коротких стрел, — они со свистом вонзались в стволы деревьев, падали на землю. Наконечники их были сделаны из кости, пестрые перья колибри, украшавшие стрелы, переливались многоцветной радугой…

Однажды — это воспоминание и сейчас, когда прошло столько времени, вызывало у него довольный смех — Бэссет увидел над головой чью-то тень, которая притаилась, едва он посмотрел вверх. Он ничего не мог разобрать, но тем не менее рискнул и выстрелил наугад крупной дробью. Визжа, как разъяренная дикая кошка, тень рухнула сквозь зелень ветвей и с глухим шумом свалилась к его ногам. Продолжая дико вопить от бешенства и боли, дикарь вонзился зубами в твердую кожу сапога Бэссета. Но тот, не теряя времени, ударом сапога в голову заставил его замолкнуть навсегда. С той поры Бэссет так свыкся с жестокостью, что теперь, вспоминая это происшествие, усмехнулся.

Какая жуткая ночь последовала за этим! Нет

ничего удивительного в том, что всевозможные разновидности злокачественной лихорадки прочно поселились в нем, думал Бэссет, вспоминая ту мучительную бессонную ночь, когда боль от ран казалась ерундой в сравнении с мукой, которую доставляли ему полчища москитов. От них не было спасения, а зажечь костер он не решался. Москиты до такой степени начинили тело Бэссета ядом, что к утру его глаза заплыли. Он брел, как слепой, в каком-то тупом оцепенении, и ему было почти безразлично, скоро ли ему отрубят голову и зажарят, так же, как Сагаву. За одни сутки он стал развалиной и физически и морально. Бэссет едва не потерял рассудок из-за огромной дозы москитного яда, который разлился в его крови. Время от времени он стрелял в тени, следовавшие за ним по пятам. В течение дня комары продолжали мучить его, а омерзительные мухи целыми стаями липли к кровоточащим ранам, их приходилось стряхивать и давить.

В тот день до Бэссета снова донесся удивительный звук, который заглушал барабаны дикарей, но слышался уже дальше. Тут-то Бэссет и допустил роковую ошибку. Думая, что он сделал круг и что источник звука находится между ним и берегом Рингману, Бэссет двинулся назад, пола-

гая, что идет к побережью. На самом же деле он все больше углублялся в таинственные дебри этого неисследованного острова. Этой ночью, спрятавшись между переплетенными корнями смоковницы, он в изнеможении заснул, отдав себя в полную власть москитам.

Смутным кошмаром запечатлелись в его памяти последующие ночи и дни. Одно видение запомнилось ему. Внезапно он обнаружил, что находится в поселке дикарей, и увидел, как старики и дети в страхе устремляются в джунгли. Бежали все, кроме одного существа. Где-то совсем рядом над собой Бэссет услышал подвывание, словно издаваемое раненым животным, и ужас охватил его. Он взглянул вверх и увидел девушку, или, скорее, молодую женщину, которая висела на дереве под лучами безжалостно палящего солнца, привязанная за руку. Вероятно, она висела так не один день. Об этом свидетельствовал ее вывалившийся, распухший язык. Все еще живая, женщина с ужасом смотрела на него. Оказать ей помощь уже нельзя, подумал он, глядя на ее опухшие, видимо, переломанные в нескольких местах ноги, и решил, что будет лучше, если он ее застрелит. На этом воспоминание обрывалось. Бэссет не знал, выстрелил он в женщину или нет,

так же как не мог представить, как он попал в эту деревню и как ему удалось выбраться из нее.

Много неясных видений сменялось в голове Бэссета, вспоминавшего эти ужасные странствия; картины исчезали так же быстро, как появлялись. Он увидел, как вторгся в другую деревню, насчитывавшую десяток хижин, и своим дробовиком загнал всех ее обитателей в джунгли. В деревне остался лишь один дряхлый старик, у которого не было сил бежать; он плевался в белого, причитал и злобно рычал в то время, как Бэссет доставал из земляной жаровни восхитительно пахнувшего жареного поросенка, завернутого в листья. Тут, в этом поселке, Бэссета охватила бессмысленная жестокость. Окончив есть, он взял окорок с собой и, уходя, поджег крышу хижины зажигательным стеклом.

Но еще более неизгладимый след оставила в душе Бэссета зловонная сырость джунглей. Сам воздух их был насыщен злом, там всегда царил полумрак. Солнечный луч с трудом пробивался сквозь плотную зелень листьев, образовавших своего рода крышу на высоте ста футов от земли. Под этим навесом было чудовищное гнилое царство растений-паразитов, рождавшихся из тлена и процветавших во мраке смерти. И Бэссет

пробирался сквозь эти сумрачные дебри, преследуемый скользящими тенями людоедов — духов зла, которые не решались вступить с ним в бой, но твердо знали, что рано или поздно они его съедят. Бэссет вспоминал, что в минуты прояснения он казался сам себе раненым буйволом, за которым гонится по степи стая койотов, слишком трусливых для того, чтобы напасть на него, но уверенных в том, что конец его неизбежен, и тогда они наедятся вволю. И подобно тому, как рога и твердые копыта буйвола защищают его от койотов, дробовик Бэссета удерживал на почтительном расстоянии эти расплывчатые тени дикарей Соломоновых островов.

Но вот настал день, когда Бэссет вышел на равнину, покрытую травой. Джунгли сразу кончились, словно отрубленные божественным мечом. Зловещая черная стена леса подымалась до высоты ста футов, и сразу же у ее подножия росла мягкая, нежная трава, которая радовала глаз и простиралась на много километров. Равнина кончалась у горного кряжа, вздыбленного, наверное, еще в древние времена каким-то землетрясением и размытого тропическими дождями. Бэссет упивался видом этой травы. Он полз, вдыхая ее запах, с наслаждением опуская в нее свое

лицо, и наконец разрыдался.

И в это время снова послышался удивительный мощный звук, если словом «мощный», как часто впоследствии думал Бэссет, можно было определить беспредельность и в то же время нежность его. Он был нежен, как никакой другой звук на свете. Он был титанически могуч, словно его издавала металлическая глотка какого-то неведомого чудовища. Голос как бы звал Бэссета через бескрайние просторы саванны, благословляя его многострадальную, изболевшуюся душу.

Бэссет вспомнил, как он неподвижно лежал, погрузив мокрое от слез лицо в траву и, перестав плакать, прислушиваясь к удивительному голосу, недоумевал, как мог услышать его на берегу Рингману. Видимо, какая-то прихоть воздушных течений позволила звуку залететь так далеко. Это могло не повториться через тысячу, а может быть, и через десять тысяч дней. Но случилось так, что благоприятные условия сложились как раз в тот самый день, когда он сошел со шхуны «Нари» на несколько часов для того, чтобы пополнить свою коллекцию. Бэссет искал знаменитую гигантскую тропическую бабочку с размахом крыльев в один фут — они такие же бархатные и темные, как сумрак джунглей. Бабочка обычно садилась на

вершины деревьев, и только выстрелом можно было ее сбить. Для этого Сагава и нес за Бэссетом ружье, заряженное дробью.

Два дня и две ночи Бэссет ползком двигался по равнине. Ему пришлось нелегко, но зато его преследователи остались в джунглях. Бэссет умер бы от жажды, если бы тропический ливень, прошедший на второй день, не напоил его.

А потом появилась Балатта. В тени первых же деревьев, там, где саванна сменялась густыми нагорными джунглями, он свалился, думая, что сейчас умрет. Сначала Балатта, увидев его беспомощность, дико завизжала от радости, собираясь раскроить ему череп толстым суком. Но, быть может, именно эта полная беспомощность привлекла ее, а возможно, она не прикончила его из любопытства. Во всяком случае, она его не ударила. Открыв глаза и мысленно приготовившись к удару, Бэссет увидел, что женщина внимательно его разглядывает. Ее особенно поразили его голубые глаза и белая кожа. Она спокойно опустилась на корточки, плюнула ему на руку и стала соскабливать с нее многодневную вязкую грязь джунглей, от которой его кожа потеряла природную белизну.

Все в этой женщине поражало Бэссета. Он

усмехнулся при этом воспоминании, потому что по части одежды она была наивна, как Ева до происшествия с фиговым листком. Приземистая и в то же время худая, с непропорционально развитыми конечностями и мускулами, напоминавшими пеньковые канаты, видимо, с раннего детства покрытая грязью, смываемой лишь случайными дождями, она представляла собой самую непривлекательную разновидность женщины диких племен, которую ему, как ученому, приходилось видеть. Ее грудь говорила одновременно и о юности и о зрелости. И если даже отбросить все остальное, то о ее принадлежности к женскому полу можно было судить по ее единственному украшению — свиному хвостику, болтавшемуся в ее левом ухе. Он был отрублен так недавно, что еще сочился; капли крови падали на плечо женщины и застывали, как расплавленный стеарин, стекающий со свечи. А ее лицо! Сморщенная кожа, монгольский нос с вывороченными ноздрями, рот с нависшей огромной верхней губой, срезанный подбородок и, наконец, острые злые глаза, мигающие, как у обезьяны в клетке.

Даже вода, которую она принесла ему в древесном листе, и кусок тухлой свинины не смогли

искупить в глазах Бэссета ее вопиющего безобразия.

Поев немного, Бэссет закрыл глаза, чтобы не видеть ее. Но Балатта то и дело насильно открывала ему веки, чтобы полюбоваться голубизной глаз. И тогда снова раздался этот звук. Казалось, теперь его источник ближе, но Бэссет знал, что еще много часов утомительного пути отделяют его от неведомого голоса. На Балатту звук произвел чрезвычайно сильное впечатление. Она съежилась и, отвернув лицо, застонала, ее зубы судорожно стучали от страха. Голос звенел в течение часа, после чего Бэссет закрыл глаза и уснул, а Балатта отгоняла от него мух.

Он проснулся уже ночью. Балатта исчезла. Бэссет почувствовал прилив новых сил, — он был так искусан москитами, что уже не ощущал их яда, — и, сомкнув веки, проспал до утра. Некоторое время спустя Балатта вернулась с несколькими другими женщинами. Отнюдь не красавицы, они были все же менее уродливы, чем она. По тому, как держалась Балатта, было очевидно, что она считает Бэссета своей добычей, своей собственностью. Она так гордилась своей находкой, что это могло бы показаться комичным, если бы положение, в какое попал Бэссет, не было таким

отчаянным.

Позже, когда после перехода, показавшегося ему необыкновенно длительным и тяжелым, Бэссет свалился под хлебным деревом, у входа в священную хижину, Балатта энергично отстаивала свое право на него. Нгурн, с которым Бэссету пришлось впоследствии познакомиться, как с главным колдуном, жрецом и лекарем деревни, хотел заполучить его голову. Остальные окружавшие их люди, хихикавшие и верещавшие, как обезьяны, не менее обнаженные и не менее безобразные, чем Балатта, жаждали заполучить его тело, чтобы зажарить и съесть. Тогда Бэссет еще не понимал их языка, если можно называть языком те грубые звуки, при помощи которых дикари изъяснялись, но он вполне понял суть их спора, особенно, когда эти обезьяноподобные люди стали бесцеремонно щупать его, словно он был тушей в мясной лавке.

Балатте, вероятно, пришлось бы уступить свою добычу, если бы не произошло следующее событие: один из мужчин, с интересом разглядывавший заряженное ружье Бэссета, ухитрился взвести и нажать курок. При отдаче дикарь получил удар прикладом в живот, и в то же время заряд дроби разнес вдребезги голову одного из

участников прений. Даже Балатта бросилась бежать вместе с остальными. Бэссет успел забрать ружье раньше, чем они вернулись, хотя его сознание уже подернулось пеленой наступившего приступа лихорадки. Когда дикари снова столпились около Бэссета, несмотря на то, что его трясло от озноба, а глаза слезились, он напряг волю и сумел внушить им страх при помощи простых чудес — часов, компаса, зажигательного стекла и спичек. В заключение Бэссет торжественно и внушительно застрелил из ружья бегущего поросенка и тотчас потерял сознание.

Бэссет напряг мускулы рук, проверяя, сколько осталось у него сил, и медленно, с трудом поднялся на ноги. Он был необычайно истощен, но все же ни разу за долгие месяцы болезни он не чувствовал себя таким крепким, как сейчас. Бэссет боялся рецидивов, уже не раз повторявшихся. Без всяких медикаментов, даже без хины, он до сих пор выдерживал натиск самой страшной тропической лихорадки. Но насколько у него хватит сил, чтобы и дальше бороться с ней? Этот вопрос все время терзал его. Бэссет, как истинный ученый, не мог разрешить себе умереть, так и не узнав тайны странного звука.

Опираясь на палку, он побрел к священной

хижине, где во мраке царили Нгурн и Смерть. Эта хижина была для Бэссета такой же темной и зловещей, как и сами джунгли. Но там сидел словоохотливый, старый Нгурн, его приятель и собеседник, который с удовольствием спорил и разглагольствовал среди пепла смерти. В дыму и копоти неторопливо поворачивал человеческие головы, подвешенные к черным балкам. В те часы своей болезни, когда сознание не покидало Бэссета, он усвоил примитивный по мысли, но трудный по форме язык племени Балатты, Нгурна и Гигна — глуповатого молодого вождя с яйцевидной головой, который подчинялся старику (ходил слух, что юноша был его сыном).

— Будет ли Красное Божество говорить сегодня? — спросил Бэссет.

К этому времени он так привык к жуткому занятию Нгурна, что даже проникся интересом к процессу копчения человеческих голов.

Взглядом знатока Нгурн посмотрел на голову, которую обрабатывал.

— Не раньше чем через десять дней я смогу сказать, что она готова, — проговорил он, — никто еще не коптил таких голов.

Бэссет мысленно усмехнулся, поняв, что старик избегает разговора о таинственном Божестве.

Это повторялось изо дня в день. Ни сам Нгурн, ни люди его племени ни разу не обмолвились ни единым словом о физической природе Красного Божества, а божество непременно должно было обладать физической оболочкой, чтобы издавать такой удивительный звук. Дикари называли божество Красным, но Бэссет не думал, что этот эпитет характеризовал лишь его окраску. Кроваво-красными были его деяния, как понял Бэссет из неясных намеков. Нгурн сообщил ему, что Красный — не только более могущественный, чем боги их соседей, и неутолимо жаждет алой человеческой крови, но что даже эти боги подвергались истязаниям и приносились ему в жертву. Божество царствовало над двенадцатью селениями, а в деревне Нгурна располагался своего рода центральный орган власти этой местности. Во имя Красного Божества многие окрестные деревни были сожжены и стерты с лица земли, а их жители принесены в жертву. Таково было положение вещей в настоящее время, и так велось из поколения в поколение. Нгурн был еще юношей, когда жившие за саванной племена напали на его селение. Совершив ответный набег, Нгурн и его воинственные сородичи захватили много пленников. Из них, еще живых, выпустили всю

кровь перед Красным Божеством, одних лишь детей было принесено в жертву более ста, а взрослых пленников даже не считали.

Иногда старики называли таинственное божество Громоподобным, а иногда Сладкоголосым, Поющим Солнцем, а также Рожденным Звездой.

Но почему — Рожденный Звездой? — тщетно задавал Бэссет этот вопрос Нгурну. Как утверждал старик, Красное Божество всегда находилось там же, где и сейчас, и во все времена громоподобным пением изъявляло свою волю людям. Но отец жреца, чья прокопченная голова, завернутая в благовонные травы, раскачивалась между черных балок, считал иначе. Этот мудрец полагал, что Красный прилетел сюда с неба, иначе почему же еще их предки называли его Рожденным Звездой. Бэссет не мог не согласиться отчасти с этим предположением. Но Нгурн возражал ему. Старик говорил, что видел немало звездных ночей, но никогда он не находил ни в джунглях, ни на равнине ни одной звезды, хотя искал их. Правда, он видел, как падают звезды (это был ответ на возражение Бэссета), но он наблюдал также, как светятся гнилые коряги, грибы и тухлое мясо, он видел сияние плодов воскового дерева, и огоньки светляков, и лесные пожары. Но во что превра-

щается это горение после того, как все угаснет? В воспоминания. В воспоминания о том, чего уже нет, — о минувших любовных утехах, трапезах и несбывшихся желаниях, об этих отзвуках прошлого, не воплотившихся в реальность. Но где мясо кабана, не убитого охотником, где девушка, умершая до того, как юноша познал ее?

— Нет, воспоминание не может быть звездой, — утверждал Нгурн. — Как оно может быть ею? Я много лет всматриваюсь в ночное небо и ни разу еще не замечал, чтобы хоть одной звезды не хватало. К тому же звезды состоят из огня, а Красный — не огонь, он — свет, — невольно проговорился Нгурн. Но эта обмолвка ничего не сказала Бэссету.

— Заговорит ли Красный завтра? — снова спросил он старика.

Нгурн лишь пожал плечами.

— А послезавтра? А через два дня? — настаивал Бэссет.

— Мне бы хотелось заняться копчением твоей головы, — перевел Нгурн разговор на другую тему. — Она иная, чем другие головы. Еще ни один жрец не имел такой головы. Я хорошо прокопчу ее. Я не стану спешить, я буду заниматься ею много месяцев. Луны будут нарастать и убывать, дым

будет лениво клубиться, я сам соберу травы для обкуривания. Кожа на твоем лице не сморщится, она останется такой же гладкой, как сейчас.

Он поднялся и снял тростниковый мешок, висевший на одной из балок, черневших в полумраке хижины.

— Вот голова, напоминающая твою, но она плохо прокопчена, — сказал Нгурн.

Бэссет насторожился при этих словах и подумал, что это, возможно, голова белого. Он считал, что туземцы, жившие в глубине джунглей, в самом сердце большого острова, никогда не сталкивались с белыми. Дикари не имели ни малейшего представления о том ломаном английском языке, на котором говорят почти все коренные жители юго-западной части Тихого океана. Им было неведомо, что такое табак и порох, а немногие высоко ценившиеся ножи, сделанные из железного обруча, и еще более редкие томагавки, изготовленные из дешевых топориков, достались им, по мнению Бэссета, как военная добыча от побежденных племен, живших за лугами и получивших их таким же образом от дикарей, обитавших на коралловых островах у побережья, изредка общавшихся с белыми.

— Люди, которые живут далеко-далеко, не умеют коптить головы, — пояснил Нгурн, передавая Бэссету то, что безусловно, являлось древней головой европейца, — светлые волосы подтверждали это. Бэссет готов был поклясться, что это голова англичанина, и притом англичанина другого столетия, доказательством чего служили массивные золотые серьги, сохранившиеся в высохших мочках ушей.

— А вот твоя голова... — вернулся жрец к излюбленной теме.

— Знаешь, что, — прервал его Бэссет, которого осенила новая мысль, — ты можешь распоряжаться моей головой, когда я умру, если дашь мне увидеть Красное Божество.

— Твоя голова мне все равно достанется, когда ты умрешь, — отверг Нгурн его предложение и добавил с жестокой откровенностью дикаря: — Твои дни сочтены, ты уже и сейчас почти труп. Ты все слабеешь. Пройдет немного месяцев — и твоя голова будет коптиться здесь, у меня. Ты знаешь, приятно в течение долгих дней поворачивать в дыму голову человека, которого знал так хорошо, как я знаю тебя. Я стану беседовать с тобой и открою тебе много тайн, это не будет опасно нам, ведь ты будешь мертв.

— Нгурн, — с внезапным гневом сказал Бэссет, — тебе знаком мой Маленький Гром в железе? (Так дикари называли его всесильный дробовик). Я могу убить тебя в любой момент, тогда тебе не видать моей головы.

— Ну так что же, — невозмутимо проговорил Нгурн, — все равно твоя голова достанется нам, она будет висеть здесь, в этой хижине. Твою голову получит Гигн или кто-нибудь другой из людей моего племени. И знай, чем скорее ты убьешь меня, тем раньше твоя голова будет поворачиваться здесь, в дыму.

Бэссет понял, что из этого спора старик вышел победителем.

Но что же представляет собой Красное Божество? Этот вопрос Бэссет в тысячный раз задавал себе в течение следующей недели, как ему казалось, силы начали возвращаться к нему. Что же являлось источником чудесного звука? Кто он, этот Певец Солнца, Рожденный Звездой?

Кто — это таинственное божество, такое же свирепое, как те дикие чернокожие племена, которые ему поклонялись, и чей властный серебряный голос не раз слышал Бэссет?

Попытка соблазнить старого жреца своей головой окончилась неудачей. Нельзя было

рассчитывать и на вождя племени Гигна: этот кретин фактически во всем подчинялся Нгурну. Оставалась одна Балатта. Она обожала Бэссета с того самого дня, как впервые увидела его синие глаза. Балатта была женщиной, и он знал: единственное, что может заставить дикарку изменить своему племени, — это ее сердце. Но Бэссет был брезглив. Он не мог оправиться от того чувства ужаса, которое с самого начала внушило ему безобразие Балатты. Даже в Англии женщины никогда особенно не увлекали его. Но сейчас, поступая, как человек, готовый на любую жертву во имя науки, он начал усиленно ухаживать за отвратительной дикаркой, совершая насилие над своей утонченной натурой.

Он с содроганием, пряча гримасу и преодолевая отвращение, обнимал ее покрытые коркой грязи плечи и чувствовал, как ее курчавые, пахнущие прогорклым маслом, волосы касались его шеи и подбородка. Но он едва не закричал, когда она сразу же отдалась этой ласке, выражая свой восторг ужимками, невнятным бормотанием и поросячьими взвизгиваниями. Это было уж слишком. И следующим шагом в этом ухаживании явилось то, что Бэссет повел Балатту к ручью и как следует вымыл ее.

Как верный поклонник, Бэссет с этого дня не отходил от нее ни на шаг. Он уделял Балатте столько времени, на сколько у него хватало воли сдерживать свое отвращение. Но все же Бэссет уклонился от бракосочетания с соблюдением обычаев племени, на котором настаивала Балатта. К счастью, у этих дикарей строго соблюдались определенные табу. Например, Нгурн не имел права прикасаться к скелету, мясу или коже крокодила. Это было твердо определено. Гингу, также от рождения, запрещалось прикосновение к женщине. Если бы какая-нибудь женщина коснулась его, то она только своей смертью могла бы смыть осквернение вождя. Как-то раз Бэссет видел, как девятилетняя девочка, играя, споткнулась и налетела на священного вождя. С тех пор она исчезла. Балатта поведала ему по секрету, что в течение трех дней и ночей девочка умирала перед Красным Божеством. Балатте были запрещены плоды хлебного дерева. Это радовало Бэссета: что бы он стал делать, если бы ей запретили воду!

Для себя Бэссет тоже выдумал запрет. Он заявил, что имеет право жениться только тогда, когда созвездие Южного Креста достигнет зенита. Бэссет разбирался в астрономии и знал, что таким образом получил отсрочку почти в девять

месяцев. Бэссет считал, что за это время он или умрет, или сумеет бежать к побережью, узнав тайну Красного Божества и источник удивительного звука. Сначала он думал, что Красное Божество представляет собой гигантскую статую, наподобие колосса Мемнона, поющую при определенной температуре под действием солнечных лучей. Но потом Бэссет отказался от своей гипотезы: однажды, после военного набега, партия пленных была принесена в жертву Божеству ночью, во время дождя, и Красный Дух пел еще громче, хотя солнце в данном случае не могло играть никакой роли.

С Балаттой или в обществе других дикарей Бэссет мог свободно бродить в джунглях, но ему было запрещено ходить в том направлении, где обитало Красное Божество. Он стал еще более внимательным к Балатте, не забывая при этом следить за тем, чтобы она чаще купалась в ручье. Как всякая истинная женщина, Балатта была способна на любое предательство ради любви. И хотя вид ее вызывал отвращение, а ласки приводили его в отчаяние, хотя ее страшное лицо преследовало Бэссета в ночных кошмарах, все же, несмотря ни на что, он чувствовал в ней ту первозданную силу пола, воодушевлявшую Ба-

латту и делавшую для нее собственную жизнь менее ценной, чем счастье возлюбленного, женой которого она надеялась стать. Джульетта или Балатта? Чем они отличались друг от друга? Нежный и утонченный продукт высокоразвитой цивилизации и его звероподобный прообраз, отставший на сто тысяч лет, но существенной разницы между ними он не видел.

Бэссет был прежде всего ученым, а потом уже гуманистом. В самой глубине джунглей Гвадалканара он ставил опыт так же, как он проверял бы любую химическую реакцию в своей лаборатории. Он усиленно притворялся влюбленным, в то же время все настоятельнее требуя, чтобы Балатта свела его к Красному Божеству. История, старая, как мир, думал он: женщина всегда расплачивается.

Это случилось однажды, когда они сидели на берегу ручья и ловили неизвестную Бэссету черную рыбешку с золотистой икрой (она часто заплывала в пресные воды и во всех видах — живая или протухшая — считалась лакомством). Услышав его требование, Балатта бросилась ничком в грязь, обвила руками его ноги и стала целовать их, всхлипывая так, что у него мурашки бегали по телу. Балатта умоляла убить ее, но не

требовать невозможного. Она рассказала ему, что нарушителя табу Красного Божества ждет страшное наказание — неделя пыток. Бэссет слушал ее и убеждался в том, что он еще плохо знает, как человек может истязать человека.

И все-таки Бэссет настаивал на том, что его мужская воля должна быть выполнена, хотя бы с риском для ее жизни. Он должен проникнуть в тайну Красного Божества, пусть даже ей пришлось бы заплатить за это медленной, мучительной смертью.

Балатта была только женщиной, и она уступила. Она повела его в запретную область джунглей. Крутой горный кряж, тянувшийся с севера, встречался здесь с таким же хребтом, идущим с юга, образуя глубокое черное ущелье, где протекал ручей, в котором Балатта и Бэссет ловили рыбу. Дорога около мили шла по краю ущелья, а затем резко поднималась в гору. Они прошли мимо известковых отложений, которые привлекли внимание Бэссета как геолога. То и дело останавливаясь из-за слабости Бэссета, они карабкались по поросшим лесом вершинам, пока не вышли на голое плоскогорье. Бэссет увидел, что оно покрыто темным песком вулканического происхождения. Он подумал, что карманный магнит

легко мог бы притянуть несколько черных блестящих зерен.

Держа Балатту за руку и побуждая ее идти вперед, Бэссет оказался наконец у цели своего путешествия — в центре плато находилась огромная яма, имевшая, несомненно, искусственное происхождение. Он тут же вспомнил все, что знал из истории путешествий по Южным морям, в его голове замелькали отдельные даты, обрывки событий. Эти острова открыл в свое время Мендана. Он назвал их Соломоновыми, думая, что нашел легендарные копи царя Соломона. Многие смеялись над ребяческой доверчивостью старого моряка, а теперь сам Бэссет стоял на краю котлована, напоминавшего ему алмазные разработки Южной Африки.

Но то, что он увидел внизу, скорее напоминало жемчужину, переливающуюся всеми цветами радуги. Это была жемчужина-гигант; жемчуг всей земли, слитый воедино, не составил бы ее величины, а окраска ее не походила ни на цвет жемчуга, ни на что-либо другое. Увидев неповторимый цвет Красного Божества, Бэссет сразу понял, что перед ним именно оно. Это был идеальной формы шар около двухсот футов в диаметре, его верхняя часть на сто футов высту-

пала из котлована. Казалось, что поверхность шара покрыта каким-то лаком. Изумительная полировка могла быть сделана и человеком, но, разумеется, не руками дикарей. Лак был красивейшего ярко-вишневого оттенка, казалось, что один слой наложен на другой. Шар сверкал на солнце и переливался многоцветным сиянием.

Тщетно Балатта умоляла Бэссета не спускаться вниз. Она валялась в грязи, прося его остаться, но когда он все же начал спускаться по тропинке, петлявшей по стенам гигантского оврага, Балатта поплелась за ним, съежившись и хныкая. Красный шар извлекли из земли как большую ценность, — это не вызывало сомнений. Дикарей, живших в двенадцати окрестных деревнях, было слишком мало, их орудия отличались крайней примитивностью, поэтому Бэссет решил, что только благодаря труду множества поколений мог быть вырыт этот гигантский котлован.

Дно обширной ямы было усеяно высохшими скелетами, среди которых валялись также деревянные и каменные изображения идолов, изувеченные и разбитые. Некоторые из них были вырезаны из крепких древесных стволов сорока — пятидесяти футов в длину и украшены непристойными тотемическими рисунками.

Он отметил отсутствие изображений акулы и черепахи, которые так часто повторялись на предметах культа туземцев, живших на побережье. Его поразило постоянно повторяющееся изображение шлема. Что могли знать о шлемах эти дикари из дебрей Гвадалканара? Быть может, воины Менданы носили шлемы и проникли сюда несколько веков назад? А если нет, то откуда пришло к ним это изображение?

Пробираясь по кучам искалеченных божков и костей в сопровождении плачущей Балатты, Бэссет подошел вплотную к Красному Божеству и слегка дотронулся до него кончиками пальцев. Нет, то не мог быть лак. Лакированная поверхность была бы гладкой, а эту избороздили морщины и выбоины, всюду виднелись следы плавки. Шар мог быть только металлическим, но Бэссет знал, что на земле нет ни одного металла или сплава, напоминающего этот. Его цвет был естественным и, по-видимому, принадлежал самому металлу.

Бэссет тихо провел пальцами по поверхности шара, и вдруг гигантская сфера вздрогнула, ожила и запела. Это было невероятно! От такого, почти неощутимого прикосновения гудит огромная масса! Шар словно отвечал на ласку его

пальцев ритмическими вибрациями, которые переходили в шепот, в шелест и бормотание. Звуки поражали своим разнообразием: в них слышались тонкий, едва уловимый в своих переливах свист и дурманяще сладостный голос волшебной трубы. Бэссет решил, что так бы звучал колокол богов, летящих к земле из просторов космоса.

Бэссет бросил вопросительный взгляд на Балатту, но она, услыхав пение Красного Божества, со стоном пала ниц среди костей. Ученый стал внимательно рассматривать чудесный шар. Он полый и сделан из неизвестного нам металла, решил Бэссет. Да, кто-то еще в древние времена справедливо назвал его Рожденным Звездой. Только звезды могли послать его на Землю. В нем воплотились знания и искусство иных миров. Его идеальная форма не может быть результатом случайности. Бесспорно, шар был творением высокого ума, проникшего в тайны металла. Бэссет с изумлением смотрел на него, в его мозгу мелькали сотни гипотез, объясняющих появление этого странника, который отважился пересечь звездное небо и сейчас лежал перед ним, извлеченный из земли благодаря упорному труду людоедов.

Может быть, его окраска — результат нагрева какого-нибудь известного металла? Бэссет вонзил

кончик перочинного ножа в поверхность гиганта, пытаясь установить природу материала. Шар рокотом протеста ответил на это прикосновение. Он зазвенел прозрачным золотым звоном. Звук опускался и поднимался, он ширился и готов был перерасти в тот поглощавший все вокруг себя гром, который так часто слышал Бэссет.

Забыв об опасности и о собственной жизни, пораженный невероятным и необъяснимым явлением, он занес нож, чтобы ударить им по шару со всей силой, но Балатта удержала его. В ужасе она обхватила его ноги, умоляла Бэссета не делать этого. В своем неистовом желании остановить его, она прокусила себе руку до кости.

Он едва ли заметил это, хотя машинально поддался инстинктивному чувству и удержался от удара. Человеческая жизнь представилась ему чем-то бесконечно ничтожным перед этим величественным знамением недоступного бытия звездных миров. Словно собаку, он пнул ногой маленькую уродливую дикарку и заставил ее подняться. Она пошла за ним вокруг шара. Пройдя немного, Бэссет увидел страшное зрелище. Он узнал высохший на солнце труп девятилетней девочки, нечаянно нарушившей священное табу вождя. Не случайно дикари назвали свое боже-

ство Красным, видя в нем собственный образ и стараясь задобрить его кровавыми жертвоприношениями. Среди мертвецов Бэссет увидел человека, который был еще жив.

Он продолжал свой путь, ступая по костям, усеивавшим этот древний склеп для жертвоприношений. Скоро Бэссет увидел сооружение, которое заставляло Красное Божество устремлять свой зов сквозь дикие леса до далекого берега Рингману. Простота этого сооружения особенно бросалась в глаза рядом с совершенством чудесного шара. Это была массивная балка, около пятидесяти футов в длину, охраняемая с древних времен священной традицией. Ее украшало множество изображений богов в шлемах, сидящих в открытой пасти крокодила один над другим. Балка была подвешена на веревках, сплетенных из лиан, на огромном треножнике из древесных стволов, также покрытых резьбой. С балки свисали веревки, при помощи которых можно было раскачивать ее и ударять в искрящуюся разноцветными переливами поверхность шара.

Здесь старый Нгурн и совершал нечто похожее на богослужение. Бэссет громко, почти истерически, расхохотался при мысли о том, что этот чудесный вестник иных миров попал

к обезьяноподобным людоедам, охотящимся за человеческими головами…

Это было все равно, как если бы слово божье упало в грязную бездну, лежащую под адом, или скрижали с заповедями Иеговы отдали бы обезьянам в зоологическом саду, а нагорная проповедь была произнесена в доме для умалишенных.

Недели тянулись медленно. Бэссет спал в хижине жреца, на усыпанном пеплом полу, а над ним мерно покачивались коптящиеся головы. Бэссет ночевал там не случайно; женщины не имели права входить в священную хижину, а следовательно, он был недоступен для Балатты, которая становилась все навязчивее по мере того, как Южный Крест подымался на небе, приближая день свадьбы. Дни Бэссет проводил в плетеном гамаке, в тени хлебного дерева, росшего возле хижины. Этот распорядок жизни нарушали частые приступы изнурительной лихорадки, во время которых Бэссет сутками лежал ничком в хижине Нгурна. Он пытался побороть болезнь, потому что страстно хотел выжить. Ему надо было окрепнуть для того, чтобы совершить побег, чтобы пройти через равнину и джунгли и достигнуть побережья. Там он мог на какой-нибудь вербовочной шхуне вернуться в цивилизованный

мир и поведать людям о посланце других миров, покоящемся в сердце мрачного Гвадалканара, у звероподобных дикарей, поклоняющихся ему.

Иногда, по ночам, лежа под хлебным деревом, Бэссет в течение многих часов смотрел, как звезды постепенно уходят за черную стену джунглей, теснимую деревней. Бэссет был неплохо знаком с астрономией, и, больной, он находил горькое удовольствие в размышлениях о жителях отдаленных солнечных систем, куда робко приходит жизнь из темных тайников материи. Для него не существовало границ времени и пространства. Его твердое убеждение в том, что энергия неисчерпаема, а материя вечна, не поколебали никакие теории радиоактивного распада. Звезды всегда были и будут. Конечно, в этом космическом круговороте все сравнительно похоже и, за редким исключением, должно иметь примерно одну и ту же субстанцию. Все подчиняется тем же самым законам, которые были нерушимы за всю историю человечества. А потому жизнь возможна во всех солнечных системах.

Лежа под хлебным деревом, он думал о том, что, быть может, бесчисленное множество глаз непрерывно и так же пытливо смотрит на небо, стремясь проникнуть в загадки Вселенной. И он

ощущал себя частицей незримой цепи, связывающей человеческие существа в различных частях мироздания, существа, которые так же, как и он, мысленно устремлены в бесконечность.

Каков он, этот неведомый высший разум, пославший из глубин Вселенной сияющего пурпурного вестника с его небесным голосом? Вероятно, давным-давно он шел по той же тропе научных исканий, на которую по календарю космоса люди Земли вступили так недавно. Ведь для того, чтобы послать сквозь черную бездну Вселенной своего гонца, этот разум должен был достигнуть тех высот, к которым человек, ощупью бредущий во мраке неведения, так медленно пробивает путь ценой своего пота и крови. Каковы же эти высшие существа? Достигли ли они великого братства? Или они признали, что закон любви ведет к слабости и упадку? Или жизнь — это борьба? Был ли беспощадный закон естественного отбора распространен на всю Вселенную? И что важнее всего? Не была ли их мудрость и сейчас заключена в металлическом сердце Красного Шара в ожидании того часа, когда первый человек Земли сможет разгадать ее? Одно не вызывало у Бэссета сомнений: поющий вестник не был каплей красной росы, нечаянно упавшей с львиной

гривы какого-нибудь далекого солнца. Красное Божество послали преднамеренно, в его пении звучал мудрый язык звезд.

Сколько стихий укротили сыны космоса, сколько тайн они познали? Несомненно, этот огромный шар должен содержать в себе не только историю величайших открытий, намного обогнавших человеческую фантазию, которые, если ими овладеть, подымут общественную и личную жизнь человека на недосягаемые высоты чистоты и могущества. Красное Божество — это великий дар слепому, ненасытному, рвущемуся в небо человечеству. И ему, Бэссету, выпала великая честь первому получить послание Звездных Собратьев человека.

Ни один белый, ни один туземец, не принадлежавший к племени Нгурна, никогда не смел посмотреть на Красное Божество под страхом смерти. Таков был древний закон, о котором жрец поведал Бэссету. Только сын их племени мог лицезреть Красного и остаться в живых. Но теперь положение изменилось. Преступную тайну Бэссета знала только Балатта, которая его не выдаст из страха быть умерщвленной во имя Красного Божества. Сейчас перед Бэссетом стояла только одна цель: побороть изнуряющую лихо-

радку и вернуться в цивилизованный мир. Он бы организовал экспедицию и вырвал из сердца Красного Божества послание других миров, пусть даже для этого пришлось бы уничтожить всех туземцев острова.

Но приступы болезни стали повторяться все чаще и чаще. Теперь значительную часть времени он находился в беспамятстве. И наконец Бэссет, несмотря на свойственный его крепкой натуре оптимизм, понял, что никогда не одолеет джунглей и не пройдет к морю. Южный Крест поднимался все выше, в то время как жизнь медленно уходила из Бэссета. Даже Балатта теперь понимала, что ему не дожить до дня свадьбы. Нгурн собственноручно собирал травы для обкуривания его головы и гордо хвастался, как искусно он ее обработает. Что касается Бэссета, то это его не возмущало. Жизнь покидала его так медленно и упорно, что ученого уже не страшила мысль об уходе в небытие. Он продолжал существовать. Периоды беспамятства чередовались с промежутками полубессознательного состояния, смутного и нереального, когда он лениво спрашивал себя, наяву ли он видел Красное Божество, или дивный шар явился ему в бредовом кошмаре.

Но вот наступил день, когда сумрачный туман рассеялся, и Бэссет почувствовал, что ум его ясен, как колокольный звон, а тело так слабо, что он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Физическая оболочка стала невесомой, и в краткую минуту прояснения он почувствовал, что смерть рядом. Он понял, что конец неизбежен. Но теперь Бэссет не сомневался в том, что он действительно видел своими глазами Красное Божество, посланца иных миров. И он сознавал, что умрет, так и не поведав миру о поющем вестнике, который здесь, в сердце Гвадалканара, может быть, ждал тысячелетия, чтобы о нем узнали люди.

Бэссет принял решение, вызвал к себе под тень хлебного дерева Нгурна и обсудил со старым колдуном условия осуществления последнего дела своей жизни.

— Я знаю закон, Нгурн, — заключил он, — только сын вашего племени может лицезреть Красное Божество и остаться в живых; мне известно, что чужим это запрещено, но ведь я все равно умру. Пусть юноши твоего племени отнесут меня к Красному, я только раз посмотрю на него, услышу, как он поет, и потом умру от твоей руки, Нгурн. Тогда все будут довольны: исполнится мое последнее желание, ты получишь мою голову,

которой ждешь с таким нетерпением, и закон не будет нарушен.

Нгурн согласился с этим и сказал:

— Да, ты прав, так будет лучше. Ты все равно не поправишься, так зачем же цепляться за какие-то немногие часы, это неразумно. И для нас, здоровых, ты стал бременем. Правда, ты умен, и мне было приятно с тобой беседовать, но прошло уже много лун, а мы с тобой почти не говорим. Между тем ты занимаешь место в моей хижине, неприятно хрипишь, как умирающая свинья, громко и утомительно болтаешь на своем языке, которого я не понимаю. Ты смущаешь покой моей души, а я, когда копчу головы, люблю размышлять о вечности, о свете и мраке. Ты тяготишь меня, ты нарушаешь ход моих мыслей и не даешь мне достигнуть высшей мудрости, которую я должен познать, прежде чем угасну. Над тобой уже нависла тьма, и поэтому тебе лучше скорее умереть. Я обещаю, что в те долгие дни, когда я буду коптить твою голову, ни один человек не помешает нам. И тогда я открою тебе много тайн… ибо я стар и много знаю, и я буду нанизывать мудрость на мудрость, поворачивая твою голову в дыму.

Сделали носилки, и Бэссета понесли навстречу его последнему маленькому приключению,

которое должно было завершить большое приключение, именуемое жизнью. Он почти не ощущал своего тела, не чувствовал даже боли, но его сознание прояснилось, мысли просветлели. Наблюдая угасание уходящего мира, он в состоянии тихого экстаза прощался с жизнью. Лежа на носилках, Бэссет в последний раз видел сумерки под сводом джунглей, хлебное дерево возле священной хижины, мрачное горное ущелье и плоскогорье, покрытое черным вулканическим песком.

Его несли вниз, в обитель Красного Божества. Гигантский сияющий шар, казалось, вот-вот зазвучит. По истлевшим останкам, по деревянным идолам ступали туземные юноши, несшие Бэссета к Красному Божеству, мимо живых еще жертв, внушавших ужас. И вот они подошли к треножнику с висячим тараном.

Там Бэссет при помощи Нгурна и Балатты с трудом сел на носилки, слегка раскачиваясь от слабости, и ясным, всевидящим взглядом внимательно посмотрел на Красное Божество.

— О, только раз, Нгурн, — сказал Бэссет, впиваясь глазами в сверкающую, вибрирующую поверхность, которая переливалась алыми бликами, готовыми в любую минуту преобразиться

в звук, в нежный шорох шелка, в серебристый шепот, в бархатное пение волшебного рожка, в золотой рокот струн, в глухие раскаты лесного грома.

— Я жду, — напомнил жрец после долгой паузы, держа наготове томагавк с длинной рукояткой.

— О, только раз, Нгурн, — повторил Бэссет, — пусть Красное Божество заговорит, чтобы я мог видеть и слышать, как оно звучит, а потом я, склонив голову, подыму руку, и тогда ты нанесешь свой удар. Но, уходя в вечную ночь, я хочу, Нгурн, услышать дивный голос Красного.

— Я обещаю тебе, что твоя голова будет прокопчена так хорошо, как еще ни одна до сих пор, — уверил его Нгурн, делая знак стоящим у треножника юношам раскачать бревно. — Твоя голова будет величайшим произведением моего искусства.

Бэссет тихо улыбнулся тщеславию старика. В это самое мгновение массивное бревно привели в движение. Бэссет погрузился в экстаз внезапного громоподобного освобождения звука. Что это был за гром! В нем слышалось звучание всех ценнейших металлов, в нем чудился глас архангелов. То был не только чудеснейший из звуков — то был мудрый голос иных миров.

О, чудо звездного металла! Бэссет явственно видел, как поверхность гигантского шара вздрагивает, вспыхивает яркими огнями и переливается не то оттенками, не то звуками.

Время шло, наконец Бэссета вернуло к действительности нетерпеливое движение Нгурна. Он совсем было забыл о старике. В голове Бэссета мелькнула мысль, которая заставила его усмехнуться. Ружье лежало рядом с ним на носилках, достаточно было нажать курок, и он раздробил бы свою голову.

Но к чему этот обман? Нгурн был людоедом, охотником за черепами, звероподобным существом, но он был по-своему человечен и этичен, он поступил с Бэссетом честно. — Нет, решил он, это подлость — обмануть старика в последнюю минуту, моя голова — собственность Нгурна, и он ее получит.

И тогда Бэссет поднял руку и склонил голову; в эту минуту он совсем забыл о Балатте, которая была всего лишь женщиной и притом нелюбимой. Бэссет, не глядя, почувствовал, как над ним взвился остро наточенный томагавк. На него опустилась тень неведомого. И пока падал топор, пока еще были живы его нервы и мышцы, Бэссету показалось, что он взглянул в ясное лицо Медузы-

Правды. А когда он почувствовал прикосновение стали и мрак хлынул на него, в последней вспышке сознания он увидел свою голову, которая медленно покачивается в густом дыму в священной хижине под хлебным деревом…

Вайкики, Гонолулу, 22 мая 1916 г.

Бесстыжая

Есть рассказы, которым безусловно веришь, — они не состряпаны по готовому рецепту. И точно так же есть люди, чьи рассказы не вызывают сомнения. Таким человеком был Джулиан Джонс, хотя, быть может, не всякий читатель поверит тому, что я от него услышал. Но я ему верю. Я так глубоко убежден в правдивости этой истории, что не перестаю носиться с мыслью войти участником в задуманное им предприятие и хоть сейчас готов пуститься в далекий путь.

Встретился я с ним в австралийском павильоне панамской Тихоокеанской выставки. Я стоял у витрины редчайших самородков, найденных на золотых приисках у антиподов. С трудом верилось, что эти шишковатые, бесформенные, массивные глыбы всего лишь макеты, и так же трудно было поверить в приведенные данные об их весе и стоимости.

— И чего только эти охотники на кенгуру не называют самородком! — прогудело у меня за спиной, когда я стоял перед самым большим образцом.

Я обернулся и посмотрел снизу вверх в тусклые

голубые глаза Джулиана Джонса. Посмотрел вверх, потому что ростом он был не менее шести футов четырех дюймов. Песочно-желтая копна его волос была такой же выцветшей и тусклой, как и глаза. Видимо, солнце смыло с него все краски; лицо его во всяком случае хранило следы давнего, очень сильного загара, который впрочем, уже стал желтым.

Когда он отвел взгляд от витрины и посмотрел на меня, я обратил внимание на странное выражение его глаз — такие глаза бывают у человека, который тщетно силится вспомнить что-то необычайно важное.

— Чем вам не нравится этот самородок? — спросил я.

Его рассеянный, словно отсутствующий взгляд стал осмысленным, и он прогудел:

— Чем? Конечно, своими размерами.

— Да, он действительно очень велик. И таков он, конечно, на самом деле. Вряд ли австралийское правительство решилось бы…

— Очень велик! — прервал он меня, презрительно фыркнув.

— Самый большой из когда-либо найденных… — начал я.

— Когда-либо найденных! — В его тусклых

глазах вспыхнул огонек. — Уж не думаете ли вы, что о всяком когда-либо найденном куске золота пишут газеты и энциклопедии?

— Ну что ж, — сказал я примирительно, — раз не пишут, значит мы ничего о нем и не знаем. А если редкий по размерам самородок, или, вернее, тот, кто его нашел, предпочитает стыдливо краснеть и пребывать в неизвестности…

— Да нет же, — перебил он. — Я видел его своими глазами, а покраснеть не могу, даже если б и захотел, — загар мешает. Я железнодорожник по профессии и долго жил в тропиках. Поверите ли, кожа у меня была цвета красного дерева — старого красного дерева, и меня частенько принимали за голубоглазого испанца…

— А разве тот самородок был больше вот этих, мистер… э… — прервал я его.

— Джонс, меня зовут Джулиан Джонс.

Он порылся во внутреннем кармане и извлек конверт, адресованный этому лицу в Сан-Франциско до востребования, а я вручил ему свою визитную карточку.

— Рад познакомиться с вами, сэр, — сказал он, протягивая руку, и голос его прогудел, как у человека, привыкшего к оглушительному шуму или к широким просторам. — Я, конечно, слышал о

вас и видел в газетах ваш портрет, но, хотя и не следовало бы этого говорить, я все-таки скажу, что ваши статьи о Мексике, на мой взгляд, гроша ломаного не стоят. Вздор! Сущий вздор! Считая мексиканца белым, вы делаете ту же ошибку, что и все гринго. Они не белые. Никто из них не белый — что португальцы, что испанцы, латино-американцы и тому подобный сброд. Да, сэр, они и думают не так, как мы с вами, и не так рассуждают и поступают не так. Даже таблица умножения и та у них какая-то своя. По-нашему, семью семь — сорок девять, а по-ихнему совсем не то, и считают они по-иному. Белое у них называется черным. Вот, например, вы покупаете кофе для хозяйства — допустим фунтовый или десятифунтовый пакет…

— Какой величины, вы сказали, был тот самородок? — настойчиво спросил я. — Как самый большой из этих?

— Больше, — спокойно ответил он. — Больше всех на этой дурацкой выставке вместе взятых, куда больше.

Он замолчал и пристально посмотрел на меня.

— Не вижу причины, почему бы не потолковать с вами об этом. У вас репутация человека, которому можно довериться, вы и сами, я читал,

видали виды и побывали во всяких богом забытых местах. Я все глаза проглядел, высматривая кого-нибудь, кто взялся бы вместе со мной за это дело.

— Да, вы можете мне довериться, — сказал я.

И вот я для общего сведения оглашаю от слова до слова то, что он рассказал мне, сидя на скамье у Дворца изящных искусств, под крики чаек, носившихся над лагуной. Мы тогда же условились с ними встретиться. Однако я забегаю вперед.

Когда мы вышли из павильона в поисках местечка, где бы посидеть, к нему по-птичьи суетливо, как суетливо сновали у нас над головой чайки, подбежала маленькая женщина лет тридцати с тем поблекшим лицом, какие бывают у фермерских жен, и уцепилась за его руку с точностью и быстротой какого-нибудь механизма.

— Уходишь? — взвизгнула она. — Пустился рысью, а обо мне забыл.

Я был ей представлен. Мое имя, разумеется, ничего ей не говорило, и она недружелюбно посмотрела на меня близко сидящими, черными, хитрыми глазками, такими же блестящими и беспокойными, как у птицы.

— Уж не думаешь ли ты рассказать ему про эту бесстыжую? — заныла она.

— Погоди-ка, Сара, у нас ведь деловой разговор, сама знаешь, — жалобно возразил он. — Я давно ищу подходящего человека, и вот он мне встретился, так почему бы не рассказать ему все, как было?

Маленькая женщина промолчала, но ее губы растянулись шнурочком. Она смотрела прямо перед собой на Башню драгоценных камней с таким мрачным видом, что, казалось, самый яркий луч солнца не мог бы смягчить ее взгляд.

Мы не спеша подошли к лагуне и присели на свободную скамейку, с облегчением вытянув натруженные беготней ноги.

— Только устаешь от всего этого, — заявила женщина вызывающим тоном.

Два лебедя, покинув зеркальную гладь воды, уставились на нас. А когда они окончательно удостоверились в нашей скупости или в том, что у нас нет с собой фисташек, Джонс чуть ли не спиной повернулся к своей подруге жизни и поведал мне следующее:

— Вы бывали когда-нибудь в Эквадоре? Так вот вам мой совет: не ездите туда. А впрочем, беру свои слова обратно — может, мы еще махнем в те края вместе, если вы решитесь мне довериться и если у вас хватит пороху на такое путешествие.

Да, как подумаешь, что всего несколько лет назад я притащился туда из Австралии на дырявом угольщике, после сорока трех дней пути… Он делал семь узлов в час при самых благоприятных условиях, и мы севернее Новой Зеландии перенесли двухнедельный шторм и к тому же двое суток чинили машины у острова Питкерн.

Я не служил на этом судне. Я — машинист. В Нью-Йорке я подружился со шкипером и ехал до Гваякиля, как его гость. До меня, видите ли, дошли слухи, что оттуда и дальше, через Анды, до самого Кито на американских железных дорогах хорошо платят. Так вот, Гваякиль…

— Дыра, где свирепствует лихорадка, — вставил я.

Джулиан Джонс кивнул.

— Томас Нэст умер от лихорадки, прожив там месяц… Это был знаменитый американский карикатурист, — добавил я в пояснение.

— Не знал такого, — небрежно бросил Джулиан Джонс. — Но не его первого она так быстро скрутила. И вот как я впервые об этом услышал. Порт там в шестидесяти милях от устья реки. «Как у вас насчет лихорадки?» — спросил я лоцмана, который рано утром явился к нам на борт. «Видишь вон то гамбургское судно? — сказал он, показывая

на довольно большой корабль, стоявший на якоре. — Капитан и четырнадцать человек экипажа приказали долго жить, а повар и еще двое при смерти. Ну, а больше там никого и не осталось».

И, право же, он не врал. Тогда от желтой лихорадки умирало в Гваякиле по сорок человек в день. Но потом я узнал, что это еще пустяки. Там свирепствовали бубонная чума и оспа, людей косили дизентерия и воспаление легких, но страшнее всего была железная дорога. Я не шучу. Для тех, кто решался по ней ездить, она была опаснее всех болезней, какие только есть на свете.

Не успели мы бросить якорь в Гваякиле, как к нам на борт явилось несколько шкиперов с других судов предупредить нашего, чтобы он никого из экипажа не пускал на берег, разве что тех, от кого не прочь избавиться. За мной пришла лодка с другого берега, из Дюрана — конечной станции железной дороги. Прибывшему в ней человеку так не терпелось попасть на борт, что он в три прыжка перемахнул к нам по трапу.

Очутившись на палубе, он, не сказав никому ни слова, перегнулся через поручни, погрозил кулаком в сторону Дюрана и закричал: «А все-таки я с тобой разделался! Все-таки разделался!» — «С

кем это ты разделался, дружище?» — спросил я. «С железной дорогой, — сказал он, расстегивая ремень и доставая большой сорокачетырехдюймовый кольт, который висел у него на левом боку под пальто. — Три месяца — свой срок по договору — отбыл и целехонек остался. Я служил кондуктором».

Так вот на какой железной дороге мне предстояло работать! Но и это пустяки по сравнению с тем, что он рассказал мне в следующие пять минут. От Дюрана дорога поднимается вверх на двенадцать тысяч футов над уровнем моря по склону Чимборасо и спускается на десять тысяч футов в Кито — по другую сторону горного хребта. Здесь так опасно, что поезда ночью не ходят. Пассажиры, едущие на далекое расстояние, слезают где-нибудь в пути и ночуют в ближайшем городе, а поезд дожидается рассвета. В каждом поезде едет для охраны отряд эквадорских солдат, а это и есть самое страшное. Им полагается защищать поездную прислугу, но всякий раз, как вспыхнет драка, они хватают ружья и присоединяются к толпе. А в случае крушения испанцы первым делом орут: «Бей гринго!» Это уж у них так заведено: они убивают поездную прислугу и уцелевших при катастрофе пассажиров-гринго.

Я уже говорил вам, что у них своя арифметика, не та, что у нас.

Вот чертовщина! В тот же день я убедился, что бывший кондуктор не врал. Случилось это в Дюране. Я должен был водить поезда на первом участке, а единственный поезд прямого сообщения на Кито, куда мне надо было отправиться на следующее утро, отходил раз в сутки. В день моего приезда, часа в четыре, взорвались котлы на «Губернаторе Хэнкоке», и он затонул у самых доков на глубине шестидесяти футов. Это был паром, перевозивший пассажиров железной дороги в Гваякиль. Тяжелая авария, но еще более тяжелыми были последствия. К половине пятого начали прибывать переполненные поезда. День был праздничный, и экскурсанты из Гваякиля, ездившие в горы, возвращались домой.

Толпа — человек тысяч пять — требовала, чтобы ее переправили на другую сторону, но не наша была вина, что паром лежал на дне реки. А по испанской арифметике — виноваты были мы. «Бей гринго!» — крикнул кто-то в толпе. И началась потасовка. Мы едва унесли ноги. Я мчался вслед за главным механиком с одним из его ребят в руках, мчался к паровозам, которые стояли под парами. Там, знаете ли, во время беспорядков

прежде всего спасают паровозы, потому что дорога без них не может работать. Когда мы тронулись, пять-шесть жен американцев и столько же детей лежали вместе с нами, скрючившись на полу паровозных будок. И вот солдаты-эквадорцы, которым полагалось охранять нашу жизнь и имущество, выпустили нам вслед не меньше тысячи зарядов, прежде чем мы отъехали на безопасное расстояние.

Мы переночевали в горах и только на следующий день вернулись, чтобы навести порядок. Но навести порядок было не так-то просто. Платформы, товарные и пассажирские вагоны, старые маневренные паровозы — все, вплоть до ручных дрезин, было сброшено с доков на паром «Губернатор Хэнкок», затонувший на глубине шестидесяти футов. Толпа сожгла паровозное депо, подожгла угольные бункера, разгромила ремонтные мастерские. Кроме того, нам надо было немедля похоронить трех наших парней, убитых в свалке. Ведь там такая жара!

Джулиан Джонс замолчал и покосился на свирепое лицо жены, хмуро смотревшей прямо перед собой.

— Я не забыл про самородок, — успокоил он меня.

— И про бесстыжую, — огрызнулась маленькая женщина, видимо обращаясь к болотным курочкам, плескавшимся в лагуне.

— Я как раз подхожу к рассказу о самородке…

— Нечего было тебе делать там, в этой ужасной стране, — огрызнулась жена, теперь уже в его сторону.

— Полно, Сара, — умоляюще сказал он. — Ради кого я работал, как не ради тебя. — И он пояснил мне: — Риск был огромный, зато и платили хорошо. В иные месяцы я зарабатывал до пятисот долларов. А в Небраске ждала меня Сара…

— Мы уже два года как были обручены, — пожаловалась она Башне драгоценных камней.

— …Не забывай, что в Австралии была забастовка, я попал в черные списки, схватил брюшной тиф и мало ли что еще, — продолжал он. — Но на той железной дороге мне везло. Да, я знавал парней, которые умерли, только что приехав из Штатов, поработав какую-нибудь неделю. Если болезнь или железная дорога их не скрутит, так прикончат испанцы. Ну, а мне, видно, не судьба была, даже когда я пустил поезд под откос с высоты сорока футов. Мой кочегар погиб; кондуктору и инспектору Компании — он ехал в Дюран встречать свою невесту — испанцы отрубили головы

и насадили их на колья. Я лежал, зарывшись, как жук, в кучу каменного угля, лежал весь день и всю ночь, пока они не утихомирились, а они думали, что я скрылся в лесу… Да, мне действительно везло. Самое худшее, что со мной приключилось, это простуда, которую я схватил как-то, и в другой раз — карбункул. Да, но что было с другими! Они мерли, как мухи, — от желтой лихорадки, воспаления легких, от руки испанцев, от железной дороги. Мне так и не пришлось приобрести себе друзей. Только познакомишься с кем поближе, глядь, а он возьми да помри, и так все, кроме кочегара Эндруса, да и тот с ума спятил.

Работа у меня ладилась с самого начала; жил я в Кито, снимал там глинобитный домик, крытый испанской черепицей. С испанцами у меня хлопот не было. Почему не разрешить им прокатиться бесплатно на тендере или на щите перед паровозом! Чтобы я стал их сбрасывать? Да никогда! Я хорошо запомнил, что, после того как Джек Гаррис спихнул двоих-троих, я muy pronto[16] попал на его похороны…

— Говори по-английски, — резко оборвала его сидевшая рядом маленькая женщина.

---

[16] notes: 16
Очень скоро (испанск.).

— Сара терпеть не может, когда я говорю по-испански, — извинился он.

— Это ей так действует на нервы, что я обещал не говорить. Так вот, как видите, я не прогадал — все шло как по маслу, я копил деньги, чтобы, вернувшись в Небраску, жениться на Саре, но тут-то и получилась эта история с Ваной…

— С этой бесстыжей! — зашипела Сара.

— Перестань, Сара, — умоляюще сказал ее исполин-муж. — Должен же я упомянуть о ней, а не то как я расскажу про самородок? Как-то ночью ехали мы на паровозе — не на поезде — в Амато, милях в тридцати от Кито. Кочегаром был у меня Сэт Менерс. Я готовил его в машинисты и потому разрешил ему вести паровоз, а сам сел на его место и стал думать о Саре. Я только что получил от нее письмо. Она, как всегда, просила меня вернуться и, как всегда, намекала на опасности, подстерегающие холостого человека, который болтается в стране, где на каждом шагу синьориты и фанданго. Господи, если б только она их видела! Настоящие пугала! Лица от белил, как у мертвецов, а губы красные, ровно… те жертвы крушения, которых я помогал убирать.

Была чудная апрельская ночь, ни малейшего ветерка, и над самой вершиной Чимборасо раз-

ливался свет луны… Ну и гора! Полотно железной дороги опоясывает ее на высоте двенадцати тысяч футов над уровнем моря, а выше, до гребня, еще десять тысяч.

Пока Сэт вел паровоз, я, видно, задремал, и вдруг он как затормозит — я чуть в окно не вылетел.

«Какого чер…» — закричал было я, а Сэт сказал: «Ну и дьявольщина», когда мы увидели то, что было на полотне. И я вполне с ним согласился. Там стояла индианка… Поверьте мне, индейцы — это не испанцы, нет. Сэт ухитрился затормозить футах в двадцати от нее, а ведь мы неслись с горы как бешеные! Но девушка… Она…

Я заметил, как миссис Джулиан Джонс насторожилась, хотя взор ее по-прежнему был злобно устремлен на двух болотных курочек, плескавшихся внизу, в лагуне. «Бесстыжая», — свирепо прошипела она. При звуке ее голоса Джонс осекся, но тут же продолжал:

— Девушка была высокого роста, тоненькая, стройная — вы знаете этот тип, — удивительно длинные черные волосы, распущенные по спине… Она стояла, такая смелая, раскинув руки, чтобы остановить паровоз. На ней была какая-то легкая одежда, запахнутая спереди, — не из материи, а из пятнистой, мягкой, шелковистой шкуры

оцелота. И ничего больше.

— Бесстыжая, — прошипела миссис Джонс.

Но мистер Джонс продолжал, словно не заметил, что его прервали.

— «Нечего сказать, хорош способ останавливать паровозы», — пожаловался я Сэту, соскакивая на полотно. Я обошел паровоз и подошел к девушке. И подумайте только! Глаза у нее были плотно закрыты. Она так дрожала, что вы бы это заметили даже при лунном свете. И она была босая.

«Что стряслось?» — спросил я не очень-то ласково.

Она вздрогнула, видно пришла в себя и открыла глаза. Ну и ну! Такие большие, черные, красивые. Девушка, скажу я вам, загляденье…

— Бесстыжая!

Услыхав это шипение, болотные курочки вспорхнули и отлетели на несколько футов. Но теперь Джонс взял себя в руки, он и бровью не повел.

— «Для чего ты остановила паровоз?» — спросил я по-испански. Никакого ответа. Она посмотрела на меня, потом на пыхтящий паровоз и залилась слезами, а это, согласитесь, совсем не в характере индианок.

«Если ты вздумала прокатиться, — сказал я

ей на местном испанском (который, говорят, отличается от настоящего испанского), — то тебя так подмяло бы под фонарь и щит, что моему кочегару пришлось бы отдирать тебя лопатой».

Моим испанским хвастать не приходится, но я видел, что она меня поняла, хотя только покачала головой и ничего не сказала. Да, девушка, скажу я вам, загляденье…

Я с опаской посмотрел на миссис Джонс, но она, видимо, искоса следила за мной и теперь пробормотала:

— Разве он взял бы ее к себе в дом, будь она дурнушкой, как вы думаете?

— Помолчи, Сара, — запротестовал он. — Ты не права. Не мешай мне рассказывать… Потом Сэт говорит: «Что же, мы тут всю ночь стоять будем?»

«Идем, — сказал я девушке, — полезай на паровоз. Но только в другой раз, если захочешь прокатиться, не сигнализируй, когда поезд на полном ходу».

Она пошла за мной, но только я стал на подножку и обернулся, чтобы помочь ей подняться, как ее уже не было. Я опять соскочил на землю. Ее и след простыл. Вверху и внизу отвесные скалы, а железнодорожное полотно тянется впереди на

сотни ярдов, и нигде ни души. И вдруг я увидел ее — она сжалась комочком у самого щита, так близко, что я чуть не наступил на нее. Если бы мы тронулись, мы тут же раздавили бы ее. Все это было так бессмысленно, что я никак не мог уразуметь, чего она хочет. Может, она задумала покончить с собой. Я схватил ее за руку не очень-то нежно и заставил подняться. Она покорно пошла за мною. Женщина понимает, когда мужчина не намерен шутить.

Я перевел взгляд с этого Голиафа на его маленькую супругу с птичьими глазками и спросил себя, пробовал ли он когда-нибудь показать этой женщине, что не намерен шутить.

— Сэт было заартачился, но я втолкнул ее в будку и посадил с собой рядом...

— Сэт в это время был, конечно, занят паровозом, — заметила миссис Джонс.

— Ведь я обучал его, сама знаешь! — возразил мистер Джонс. — Мы доехали до Амато. Всю дорогу она рта не открыла, и только паровоз остановился, спрыгнула на землю и исчезла. Да, вот оно как. Даже не поблагодарила. Ничего не сказала.

— А наутро, когда мы собирались возвращаться в Кито с десятком платформ, груженных рельса-

ми, она уже поджидала нас в паровозной будке; и при дневном свете я увидел, что она еще лучше, чем казалось ночью.

«Ага! Видно, ты ей по вкусу пришелся», — усмехнулся Сэт. И похоже, что так оно и было. Она стояла и смотрела на меня… на нас… как верный пес, которого любят, — его поймали, когда он ел колбасу, но он знает, что вы его не ударите. «Убирайся, — сказал я ей, — pronto!» (Миссис Джонс дала о себе знать, вздрогнув, когда было произнесено испанское слово.) Разумеется, Сара, мне с самого начала не было до нее никакого дела.

Миссис Джонс выпрямилась. Губы ее шевелились беззвучно, но я знал, какое слово она произнесла.

— А больше всего досаждали мне насмешки Сэта. «Теперь ты от нее не избавишься, — говорил он. — Ты ведь спас ей жизнь…» — «Не я, — отвечал я резко, — а ты». — «Но она думает, что ты, а стало быть, так оно и есть, — стоял он на своем. — И теперь она твоя. Такой здесь обычай, сам знаешь».

— Варварский, — вставила миссис Джонс. — И хотя она не сводила глаз с Башни драгоценных камней, я понимал, что ее замечание относилось не к архитектурному стилю башни.

«Она будет у тебя хозяйкой», — ухмыльнулся

Сэт. Я не мешал ему болтать, зато потом заставил его так усердно подбрасывать уголь в топку, что ему некогда было заниматься разговорами. А когда я доехал до места, где подобрал ее, и остановил поезд, чтобы ее ссадить, она грохнулась на колени, обхватила мои ноги обеими руками, и слезы ручьем полились на мои башмаки. Что тут было делать!

Миссис Джонс каким-то неуловимым образом дала понять, что ей хорошо известно, что сделала бы она на его месте.

— Но только мы приехали в Кито, она, как и в прошлый раз, исчезла. Сара не верит, когда я говорю, что вздохнул с облегчением, избавившись от девушки. Но не тут-то было!

Я пришел в свой глинобитный дом и съел превосходный обед, приготовленный моей кухаркой. Старуха была наполовину испанка, наполовину индианка, и звали ее Палома. Ну вот, Сара, не говорил ли я тебе, что она была старая-престарая и больше походила на сарыча, чем на голубку? Кусок не шел мне в горло, если она вертелась перед глазами. Но она держала дом в порядке и, бывало, лишнего гроша не истратит на хозяйство.

В тот день я выспался хорошенько, а потом, как вы думаете, кого я застал на кухне? Да эту про-

клятую индианку. И как будто она у себя дома! Старуха Палома сидит перед ней на корточках и растирает ей ноги: можно было подумать, что у девушки ревматизм, а ведь какое там — видел я, как она ходит. При этом Палома напевала как-то чудно, непонятно. Я, конечно, задал ей трепку. Сара знает, что я не терплю у себя в доме женщин — разумеется, молодых, незамужних. Да что толку! Старуха стала заступаться за индианку и заявила, что, если девчонка уйдет, она тоже уйдет. А меня обозвала дурачиной и такими словами, каких и нет на английском языке. Тебе, Сара, понравился бы испанский, очень уж ругаться на нем способно, да и Палома понравилась бы тебе. Она была добрая женщина, хотя у нее не осталось ни одного зуба и ее физиономия могла отбить аппетит даже у человека, ко всему привычного.

Я сдался. Мне пришлось сдаться. Палома так и не объяснила, почему она стоит за девушку: сказала только, что нуждается в помощи Ваны (хотя она вовсе не нуждалась). Так или иначе, а Вана была девушка тихая и никому не мешала. Вечно она сидела дома и болтала с Паломой или помогала ей по хозяйству. Но вскорости я стал примечать, что она боится чего-то. Всякий раз, когда заходил какой-нибудь приятель распить

бутылочку или сыграть партию в педро, она так пугалась, что жалко было на нее смотреть. Я пробовал выпытать у Паломы, что тревожит девушку, но старуха только головой качала, и вид у нее при этом был такой торжественный, будто она ждала к нам в гости всех чертей из пекла.

И вот однажды к Ване пожаловал гость. Я только возвратился с поездом и проводил время с Ваной — не мог же я обижать девушку, которая поселилась у меня в доме, даже если она сама мне навязалась, — как вдруг, вижу, глаза у нее стали какие-то испуганные. На пороге стоял мальчик-индеец. Он был похож на нее, но моложе и тоньше. Вана повела его на кухню, и у них там, наверно, был серьезный разговор, потому что индеец ушел, когда уже стемнело. Потом он заходил опять, только я его не видел. Когда я вернулся домой, Палома сунула мне в руку крупный самородок, за которым Вана посылала мальчика. Эта чертова штука весила не меньше двух фунтов, а цена ей была долларов пятьсот с лишним. Палома сказала, что Вана просит меня взять его в уплату за ее содержание. И, чтобы сохранить в доме мир, я должен был его взять.

А немного погодя пришел еще один гость. Мы сидели у печки…

— Он и бесстыжая, — промолвила миссис Джонс.

— И Палома, — поспешно добавил он.

— Он, его хозяйка и его кухарка сидели у печки, — внесла она поправку.

— Да, я и не отрицаю, что Вана ко мне крепко привязалась, — храбро сказал он, а потом с опаской добавил: — Куда крепче, чем следовало бы, потому что я был к ней равнодушен.

Так вот, говорю, явился к нам еще один гость. Высокий, худой, седовласый старик-индеец, с крючковатым, как орлиный клюв, носом. Он вошел не постучав; Вана тихо вскрикнула — не то приглушенный визг, не то стон, потом упала передо мной на колени и смотрит на меня умоляющими глазами лани, а на него, как лань, которую вот-вот убьют, а она не хочет, чтобы ее убивали. Потом с минуту, показавшуюся мне вечностью, она и старик смотрели друг на друга. Первой заговорила Палома, должно быть на его языке, потому что старик ей ответил. И, клянусь всеми святыми, вид у него был гордый и величественный! У Паломы дрожали колени, и она виляла перед ним, как собачонка. И это в моем доме! Я вышвырнул бы его вон, не будь он такой старый.

Слова его были, наверно, так же страшны, как и взгляд. Он будто плевал в нее словами! А Палома все хныкала и перебивала, потом сказала что-то такое, что подействовало, так как лицо его смягчилось. Он удостоил меня беглым взглядом и быстро задал Ване какой-то вопрос. Она опустила голову и покраснела, и вид у нее был смущенный, а потом ответила одним словом и отрицательно покачала головой. Тогда он повернулся и исчез за дверью. Должно быть, она сказала «нет».

После этого стоило Ване меня увидеть, как она начинала дрожать. Она теперь все время торчала на кухне. Потом, смотрю, опять стала появляться в большой комнате. Она все еще дичилась, но ее огромные глаза неотступно следили за мной…

— Бесстыжая! — отчетливо услышал я. Но и Джулиан Джонс и я уже успели к этому привыкнуть.

— Признаться, и я почувствовал к ней какой-то интерес — о, не в том смысле, как думает и постоянно твердит мне Сара. Двухфунтовый самородок — вот что не давало мне покоя. Если бы Вана навела меня на след, я мог бы сказать прощай железной дороге и двинуться в Небраску, к Саре.

Но тут все полетело вверх тормашками… Неожиданно… Я получил письмо из Висконсина.

Умерла моя тетка Элиза и оставила мне свою большую ферму. Я вскрикнул от радости, когда прочитал об этом; напрасно я радовался, потому что вскорости суды и адвокаты все из меня выкачали — ни одного цента мне не оставили, и я до сих пор плачу по долговым обязательствам.

Но тогда я этого не знал и собрался ехать домой, в обетованную страну. Палома расхворалась, а Вана лила слезы. «Не уезжай! Не уезжай!» — завела она песню. Но я объявил на службе о своем уходе и отправил письмо Саре — ведь правда, Сара?

В тот вечер у Ваны, сидевшей с убитым видом у печки, впервые развязался язык. «Не уезжай!» — твердит она мне, а Палома ей поддакивает. «Если ты останешься, я покажу тебе место, где брат нашел самородок». — «Слишком поздно», — сказал я. И объяснил, почему.

— А ты говорил ей, что я жду тебя в Небраске? — заметила миссис Джонс холодным, бесстрастным тоном.

— Что ты, Сара, зачем бы я стал огорчать бедную индейскую девушку! Конечно, не говорил. Ладно. Она и Палома перекинулись несколькими словами по-индейски, а потом Вана говорит: «Если ты останешься, я покажу тебе самый большой самородок, отца всех самородков». — «Какой

величины, — спрашиваю, — с меня будет?» Она засмеялась. «Больше, чем ты. Куда больше».

— «Ну, таких не бывает», — говорю я. Но она сказала, что сама видела, и Палома подтвердила. Послушать их, так этот самородок стоил миллионы. Сама Палома никогда его не видала, но она о нем слыхала. Ей не могли доверить тайну племени, потому что она была полукровка.

Джулиан Джонс умолк и вздохнул.

— И они уговаривали меня до тех пор, пока я не соблазнился…

— Бесстыжей, — выпалила миссис Джонс с бесцеремонностью птицы.

— Нет, самородком. Ферма тетки Элизы сделала меня достаточно богатым, чтобы я мог бросить работу на железной дороге, но не таким богатым, чтобы отказаться от больших денег… а этим женщинам я не мог не поверить. Ого, я мог бы сделаться вторым Вандербильтом или Морганом! Вот какие у меня были мысли; и я принялся выпытывать у Ваны ее секрет. Но она не поддавалась. «Пойдем вместе, — сказала она. — Мы вернемся через две-три недели и принесем столько золота, сколько дотащим». — «Возьмем с собой осла или даже несколько ослов», — предложил я. «Нет, нет, это невозможно». И Палома согласилась с ней.

Нас захватили бы индейцы.

В полнолунье мы вдвоем отправились в путь. Мы шли только ночью, а днем отлеживались. Вана не позволяла мне зажигать костер, а мне адски недоставало кофе. Мы взбирались на высочайшие вершины Анд, и на одном из перевалов нас застал снегопад; хотя девушке были известны все тропы и хотя мы зря не теряли времени, однако шли целую неделю. Я знаю направление, потому что у меня был с собой карманный компас; а направление — это все, что мне нужно, чтобы добраться туда, потому что я запомнил вершину. Ее нельзя не узнать. Другой такой нет во всем мире. Теперь я вам не скажу, какой она формы, но когда мы с вами направимся туда из Кито, я приведу вас прямо к ней.

Нелегкое это дело — взобраться на нее, и не родился еще тот человек, который взобрался бы ночью. Пришлось идти при дневном свете, а вершины мы достигли только после заката солнца. Да, об этом последнем подъеме я мог бы рассказывать вам долгие часы, но не стоит.

Вершина горы была ровная, как бильярд, площадью с четверть акра, и на ней почти не было снега. Вана сказала мне, что здесь постоянно дуют сильные ветры и они сметают снег.

Мы выбились из сил, а у меня началось такое головокружение, что я должен был прилечь. Потом, когда поднялась луна, я обошел все вокруг. Это не заняло много времени; но здесь как будто и не пахло золотом. Когда я спросил Вану, она только засмеялась и захлопала в ладоши. Но тут горная болезнь меня вконец скрутила, и я присел на большой камень, выжидая, пока мне полегчает.

«Полно, — сказал я, когда почувствовал себя лучше. — Брось дурачиться, скажи, где самородок». — «Сейчас он ближе к тебе, чем буду когда-нибудь я, — ответила она, и ее большие глаза затуманились. — Все вы, гринго, одинаковы! Только золото любо вашему сердцу, а женщина для вас ничего не значит».

Я промолчал. Сейчас не к месту было говорить ей о Саре. Но тут Вана как будто повеселела и опять принялась смеяться и дразнить меня. «Ну, как он тебе нравится?» — спросила она. «Кто?» — «Самородок, на котором ты сидишь?»

Я вскочил, как с раскаленной плиты. Но подо мной была обыкновенная каменная глыба. Сердце у меня упало. То ли она совсем свихнулась, то ли вздумала таким манером подшутить надо мной. Мне было от этого не легче.

Она дала мне топорик и велела ударить по глыбе; я так и сделал, раз и еще раз, и при каждом ударе отлетали желтые осколки. Клянусь всеми святыми, то было золото! Вся эта чертова глыба!

Джонс неожиданно поднялся во весь рост и, обратив лицо к югу, простер длинные руки. Этот жест вселил ужас в лебедя, который приблизился к нам с миролюбивыми, хотя и корыстными намерениями. Отступая, он наскочил на полную старую леди; она взвизгнула и уронила мешочек с фисташками. Джонс сел и продолжал рассказ:

— Золото, поверьте мне, сплошное золото, такое чистое и мягкое, что я откалывал от него кусок за куском. Оно было покрыто какой-то водонепроницаемой краской или лаком, сделанным из смолы, или чем-то в этом роде. Не удивительно, что я принял самородок за простую каменную глыбу. Он был футов десять в длину и пять в вышину, а по обе стороны суживался, как яйцо. Вот взгляните-ка.

Он достал из кармана кожаный футляр, открыл и вытащил оттуда какой-то предмет, завернутый в промасленную папиросную бумагу. Развернув его, он бросил мне на ладонь кусочек чистого золота величиною с десятидолларовую монету. На одной стороне я мог разглядеть сероватое

вещество, которым он был окрашен.

— Я отколол его от края той штуки, — продолжал Джонс, заворачивая золото в бумагу и пряча в футляр. — И хорошо, что я сунул его в карман. Прямо за моей спиной раздался громкий окрик — по-моему, он больше походил на карканье, чем на человеческий голос. И я увидел того сухопарого старика с орлиным клювом, который однажды вечером ввалился к нам в дом. А с ним человек тридцать индейцев — всё молодые, крепкие парни.

Вана бросилась на землю и давай реветь, но я сказал ей: «Вставай и помирись с ними ради меня». — «Нет, нет, — закричала она. — Это смерть! Прощай, amigo[17]!» Тут миссис Джонс вздрогнула, и ее муж резко сократил это место в своем повествовании.

— «Тогда вставай и дерись вместе со мной», — сказал я. И она стала драться с ними. Там, на макушке земного шара, она царапалась и кусалась с каким-то остервенением, как бешеная кошка. Я тоже не терял времени, хотя у меня был только топорик да мои длинные руки. Но врагов было слишком много, и я не видел ничего такого,

---

[17] notes: 17
Друг (испанск.).

к чему можно было прислониться спиной. А потом, когда я очнулся после того, как они треснули меня по голове, — вот пощупайте-ка…

Сняв шляпу, Джулиан Джонс провел по своей копне желтых волос кончиками моих пальцев, и они погрузились во вмятину. Она была не меньше трех дюймов в длину и уходила в самую черепную коробку.

— Очнувшись, я увидел Вану, распростертую на самородке, и старика с орлиным клювом, торжественно бормочущего над ней, будто он совершал какой-то религиозный обряд. В руке он держал каменный нож, вы знаете — тонкий, острый осколок какого-то минерала вроде обсидиана, того самого, из которого они делают наконечники для стрел. Я не мог пошевельнуться — меня держали, к тому же я был слишком слаб. Ну что тут говорить… каменный нож прикончил ее, а меня они даже не удостоили чести убить здесь, на макушке их священной горы. Они спихнули меня с нее, как падаль.

Но и сарычам я тоже не достался. Как сейчас вижу лунный свет, озарявший снежные пики, когда я летел вниз. Да, сэр, я упал бы с высоты пятисот футов, однако этого не случилось. Я очутился в огромном сугробе снега в расщелине скалы. И

когда я очнулся (верно, через много часов, потому что был яркий день, когда я снова увидел солнце), я лежал в сугробе или пещере, промытой талым снегом, стекавшим по уступу. Скала наверху нависала как раз над тем местом, куда я упал. Несколько футов в ту или в другую сторону — и был бы мне конец. Я уцелел только чудом!

Но я дорого заплатил за это. Больше двух лет прошло, прежде чем я узнал, что со мной было. Я помнил только, что меня зовут Джулиан Джонс, что во время забастовки я был занесен в черный список и что, приехав домой, я женился на Саре. Вот и все. А что произошло в промежутке, я начисто забыл, и когда Сара заводила об этом речь, у меня начинала болеть голова. Да, с головой у меня творилось что-то неладное, и я это понимал.

И вот как-то на ферме ее отца в Небраске, когда я сидел лунным вечером на крыльце, Сара подошла и сунула мне в руки этот обломок золота. Должно быть, она только что нашла его в прорванной подкладке чемодана, который я привез из Эквадора, а ведь я-то целых два года не помнил, что был в Эквадоре или в Австралии, ничего не помнил! Глядя при лунном свете на обломок камня, я вертел его так и этак и старался вспомнить, что бы это могло быть и откуда, как вдруг

в голове у меня будто что-то треснуло, будто там что-то разбилось, и тогда я увидел Вану, распростертую на том огромном самородке, и старика с орлиным клювом, занесшего над нею нож и… все остальное. Я хочу сказать — все, что случилось с той поры, как я уехал из Небраски, и до того дня, когда я выполз на солнечный свет из снежной ямы, куда они меня сбросили с вершины горы. Все, что было потом, я начисто забыл. Когда Сара говорила мне, что я ее муж, я и слушать не хотел. Чтобы убедить меня, пришлось созвать всю ее родню и священника, который нас венчал.

А потом я написал Сэту Менерсу. Тогда еще железная дорога не прикончила его, и он мне помог кое в чем разобраться. Я покажу вам его письма. Они у меня в гостинице. Он писал, что однажды, это было в его очередной рейс, я выполз на железнодорожное полотно. Я на ногах не держался и только полз. Сначала он принял меня за теленка или большую собаку. Во мне не было ничего человеческого, писал он, и я не узнавал его и никого не узнавал. По моим расчетам, Сэт подобрал меня дней через десять после того происшествия на вершине горы. Не знаю, что я ел. Может, я и вовсе не ел. А потом в Кито доктора и Палома выхаживали меня (это она, наверно, и

положила тот кусок золота в мой чемодан), пока они не обнаружили, что я потерял память — и тогда Железнодорожная компания отправила меня домой в Небраску. Так по крайней мере писал мне Сэт. Сам-то я ничего не помню. Но Сара знает. Она переписывалась с Компанией, прежде чем меня посадили на пароход.

Миссис Джонс подтвердила его слова кивком головы, вздохнула и всем своим видом дала понять, что ей не терпится уйти.

— С тех пор я не могу работать, — продолжал ее муж. — Я все думаю, как бы мне вернуться туда за этим огромным самородком. У Сары есть деньги, но она не дает мне ни одного пенни…

— Больше он в эту сторону не поедет, — отрезала она.

— Но, послушай, Сара, ведь Вана умерла… ты же знаешь, — возразил Джулиан Джонс.

— Ничего я не знаю и знать не хочу, — сказала она решительно. — Знаю только, что эта страна не место для женатого человека.

Губы ее плотно сжались, и она рассеянно посмотрела туда, где рдело предзакатное солнце. Я бросил взгляд на ее лицо, белое, пухлое и неумолимое, с мелкими чертами, и понял, что уломать ее невозможно.

— Чем вы объясняете, что там оказалась такая масса золота? — спросил я Джулиана Джонса. — Золотой метеор свалился с неба, что ли?

— Ничего подобного. — Он покачал головой. — Его притащили туда индейцы.

— На такую высоту… такой огромный, тяжелый!.. — возразил я.

— Очень просто, — улыбнулся он. — Я и сам не раз ломал гад этим голову, когда ко мне вернулась память. «Как, черт побери, могла эта глыба…» — начинал я, а затем часами прикидывал и так и этак. А когда нашел ответ, я почувствовал себя круглым идиотом — ведь это так просто.

Он подумал немного и сказал:

— Они его не притащили.

— Но ведь вы сами только что сказали, что притащили.

— И да и нет, — ответил он загадочно. — Конечно, они и не думали тащить туда эту чудовищную глыбу. Они принесли его по частям.

Он подождал, пока не увидел по моему лицу, что я понял.

— А потом, конечно, расплавили все золото, или сварили, или сплавили в один слиток. Вы знаете, наверно, что первые испанцы, пришедшие туда под предводительством некоего Писарро, были

грабителями и насильниками. Они прошли по стране, как чума, и резали индейцев, что твой скот. У индейцев, видите ли, была пропасть золота. И вот из того, что испанцы у них не отобрали, уцелевшие индейцы отлили единый слиток, который хранится на вершине горы. И это золото ждет там меня… и вас, если вы надумаете отправиться за ним.

Но здесь, у лагуны перед Дворцом изящных искусств, мое знакомство с Джулианом Джонсом и оборвалось. Заручившись моим согласием финансировать его предприятие, он обещал прийти на следующее утро ко мне в гостиницу с письмами Сэта Менерса и Железнодорожной компании, чтобы договориться обо всем. Но он не пришел. В тот же вечер я позвонил в его гостиницу, и клерк сообщил мне, что мистер Джулиан Джонс с супругой выехали днем, захватив весь свой багаж.

Неужели миссис Джонс увезла его насильно и запрятала в Небраске? Помнится, когда мы прощались, в ее улыбке было что-то напоминающее коварное самодовольство мудрой Моны Лизы.

Как аргонавты в старину…

Летом 1897 года семейство Таруотеров не на шутку всполошилось. Дедушка Таруотер, который, казалось, окончательно покорился своей судьбе и сидел смирнехонько почти полных десять лет, вдруг снова будто с цепи сорвался. На сей раз это была клондайкская горячка. Первым и неизменным симптомом таких припадков было у него то, что он начинал петь. И пел он всегда одну песню, хотя помнил из нее только первую строфу, да и то всего три строчки. Стоило ему хриплым басом, превратившимся с годами в надтреснутый фальцет, затянуть:

Как аргонавты в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За Золотым Руном, —

и все семейство уже знало, что ноги у него так и зудят, а мозг сверлит всегдашняя бредовая идея.

Десять лет назад он запел свой гимн, исполнявшийся на мотив «Слава в вышних богу», когда схватил патагонскую золотую горячку. Многочисленное семейство дружно на него насело,

но справиться с дедушкой Таруотером было не так просто. Когда все попытки его образумить оказались напрасными, родные решили напустить на старика адвоката, установить над ним опеку и засадить его в сумасшедший дом — мера вполне уместная в отношении человека, который четверть века назад ухитрился спустить в рискованных спекуляциях огромные владения в Калифорнии, сохранив всего какой-то жалкий десяток акров, и с той поры не выказывал никакой деловой сообразительности. Угроза призвать адвокатов подействовала на Джона Таруотера как хороший горчичник, ибо, по его глубокому убеждению, именно стараниями этих господ, умеющих драть с человека три шкуры, он и лишился всех своих земельных богатств. Не мудрено поэтому, что в пору патагонской горячки одной мысли о столь сильно действующем средстве оказалось достаточно, чтобы его излечить. Он мгновенно оправился от горячки и согласился ни в какие Патагонии не ехать, чем и доказал, что находится в здравом уме и твердой памяти.

Но вслед за тем старик совершил поистине безумный поступок, передав родным по дарственной свои десять акров земли, воды, дом, сарай и службы. К этому он присовокупил бережно

хранимые в банке восемьсот долларов — все, что ему удалось спасти от былого богатства. Тут, однако, близкие не нашли нужным заключать его в сумасшедший дом, сообразив, что это лишило бы дарственную законной силы.

— Дедушка, видать, дуется на нас, — сказала старшая дочь Таруотера, Мери, сама уже бабушка, когда отец бросил курить.

Старик оставил себе только пару старых кляч, таратайку и свою отдельную комнатку в переполненном доме. Больше того, заявив, что не желает быть ничем обязанным детям, он подрядился дважды в неделю возить почту из Кельтервила через гору Таруотер в Старый Альмаден, где в нагорном скотоводческом районе находились ртутные разработки. На своих клячах ему только-только хватало времени обернуться. И десять лет кряду, и в дождь и в ведро, он исправно дважды в неделю доставлял почту. Столь же аккуратно каждую субботу вручал он Мери деньги за стол. Отделавшись от патагонской горячки, он настоял на том, чтобы платить за свое содержание, и пунктуальнейшим образом вносил деньги, хотя для этого ему пришлось отказаться от табака.

Мысли свои на этот счет старик поверял только ветхому колесу старой таруотерской мельницы,

которую он собственноручно поставил из росшего здесь мачтового леса. Она молола пшеницу еще для первых поселенцев.

— Э-э! — говорил он. — Пока я сам себя могу прокормить, они не упрячут меня в богадельню. А раз у меня теперь нет ни гроша, никакой мошенник-адвокат не пожалует сюда по мою душу.

И вот, поди ж ты, за эти именно весьма разумные поступки Джона Таруотера стали почитать в округе полоумным!

Впервые он запел «Как аргонавты в старину» весной 1849 года, когда, двадцати двух лет от роду, заболев калифорнийской горячкой, продал двести сорок акров земли в Мичигане, из которых сорок уже были расчищены, на все вырученные деньги купил четыре пары волов и фургон и пустился в путь через прерии.

— В Форте Холл мы разделились: часть переселенцев повернула на север к Орегону, а мы двинулись на юг, в Калифорнию, — так он неизменно заканчивал свой рассказ об этом тяжелом переходе. — И в долине Сакраменто, где Каш Слу, мы с Биллом Пингом в кустарниках ловили арканом серых медведей.

Долгие годы он занимался извозом, промывал золото, пока наконец за деньги, вырученные от

продажи своей доли в прииске Мерсед, не обосновался в округе Сонома, удовлетворив таким образом присущую веку и унаследованную от отцов и дедов ненасытную жадность к земле.

Все десять лет, что старик развозил почту в Таруотерском районе, вверх по долине реки Таруотер и через Таруотерский хребет — территория, некогда почти целиком входившая в его владения, — он мечтал вернуть эти земли, прежде чем ляжет в могилу. И вот теперь, распрямив согбенное годами большое костлявое тело, с вдохновенным пламенем в крохотных, 'близко посаженных глазках, старик опять запел во все горло свою старую песню.

— Ишь, заливается… слышите? — сказал Уильям Таруотер.

— Совсем спятил старик, — посмеялся поденщик Хэррис Топпинг, муж Энни Таруотер и отец ее девятерых детей.

Дверь отворилась, и на пороге кухни показался дедушка Таруотер; он ходил задать корм лошадям. Песнь оборвалась, но Мери была в тот день не в духе, потому что обварила себе руку, и потому, что внучонка, которого начали прикармливать разбавленным по всем правилам коровьим молоком, слабило.

— Пой не пой, ничего у тебя не выйдет, отец, — накинулась она на старика. — Прошло времечко, когда ты мог очертя голову скакать в какой-нибудь Клондайк, пением-то ведь сыт не будешь.

— А я вот голову даю не отсечение, что добрался бы до Клондайка и накопал столько золота, что хватило бы выкупить таруотерскую землю, — спокойно возразил он.

— Старый дуралей! — буркнула себе под нос Энни.

— Меньше чем за триста тысяч да еще с лишком ее не выкупишь, — пытался образумить отца Уильям.

— Вот я и добыл бы триста да еще с лишком, только бы мне туда попасть,

— невозмутимо возразил дедушка Таруотер.

— Слава богу, что туда не дойти пешком, а то вмиг бы отправился, знаю я тебя, — крикнула Мери. — Ну, а пароходом стоит денег.

— Когда-то у меня были деньги, — смиренно заметил старик.

— А теперь у тебя их нет, так что и толковать не о чем, — сказал Уильям. — Прошло то времечко. Когда-то ты с Биллом Пингом медведей арканом ловил. А теперь и медведи все перевелись.

— Все равно…

Но Мери не дала ему договорить. Схватив с кухонного стола газету, она яростно потрясла ею перед самым носом своего престарелого родителя.

— А ты читал, что рассказывают тамошние золотоискатели? Вот оно черным по белому написано. Только молодые да сильные выдерживают. На Клондайке хуже, чем на Северном полюсе Сколько их там погибло! Взгляни-ка на портреты. А ты лет на сорок старше самого старого из них.

Джон Таруотер взглянул, но сейчас же уставился на другие снимки на той же испещренной кричащими заголовками первой странице.

— А ты взгляни, какие они оттуда самородки привезли, — сказал он. — Уж я-то знаю толк в золоте. Худо-бедно, двадцать тысяч добыл из Мерседы? Кабы ливень не прорвал мою запруду, так и все бы сто добыл. Попасть бы только в Клондайк…

— Как есть рехнулся, — чуть ли не в глаза старику бросил Уильям.

— Это ты про отца родного! — мягко пожурил его старик Таруотер. — Посмел бы я сказать такое твоему деду, он бы мне все кости переломал вальком.

— Да ты и в самом деле рехнулся… — начал

было Уильям.

— Может, ты и прав, сынок. А вот дед твой, тот был в здравом уме и не потерпел бы такого.

— Дедушка, видно, начитался в журналах про людей, которые разбогатели, когда им уже за сорок перевалило, — с насмешкой сказала Энни.

— А почему бы и нет, доченька? — возразил старик. — Почему бы человеку и после семидесяти не разбогатеть? Мне-то семьдесят ведь только нынешний год стукнуло. Может, я бы и разбогател, кабы в этот самый Клондайк попал.

— Так ты туда и не попадешь, — срезала его Мери.

— Ну что же, нет так нет, — вздохнул он, — а раз так, можно, пожалуй, и на боковую.

Старик встал из-за стола, высокий, тощий, мослатый и корявый, как старый дуб, — величественная развалина крепкого и могучего когда-то мужчины. Косматые волосы и борода его были не седые, а белоснежные, на огромных узловатых пальцах торчали пучки белой щетины. Он пошел к двери, отворил ее, вздохнул и остановился, оглядываясь на сидящих.

— А все-таки ноги у меня так и зудят, так и зудят, — пробормотал он жалобно.

На следующее утро дедушка Таруотер, засве-

тив фонарь, покормил и запряг лошадей, сам позавтракал при свете лампы и, когда все еще в доме спали, уже трясся вдоль речки Таруотер по дороге в Кельтервил. Два обстоятельства были необычны в этой обычной поездке, которую он проделал тысячу сорок раз с тех пор, как подрядился возить почту. Первое то, что, выехав на шоссе, старик повернул не к Кельтервилу, а на юг, к Санта-Роса. А второе — что уже и вовсе странно — у него был зажат между коленями бумажный сверток. В свертке находилась его единственная еще приличная черная пара, которую Мери давно уже не приказывала ему надевать, не оттого, как догадывался он, что сюртук очень обносился, а потому, что дочь считала одежду достаточно еще приличной, чтобы отца в ней похоронить.

В Санта-Роса, в третьеразрядной лавке подержанного платья, он, не торгуясь, продал пару за два с половиной доллара. Тот же услужливый лавочник дал ему четыре доллара за обручальное кольцо покойной жены. Лошади и шарабан пошли за семьдесят пять долларов; правда, наличными он получил всего двадцать пять. Встретив на улице Алтона Грэнджера, которому он никогда не поминал раньше про взятые им еще в семьдесят четвертом году десять долларов,

Таруотер теперь напомнил ему о долге и тотчас получил деньги. Старик перехватил доллар даже у известного всему городу горького пьяницы, который, как это неудивительно, оказался при деньгах и с радостью ссудил человека, не раз угощавшего его виски в дни своего благоденствия, — после чего с вечерним поездом Таруотер отбыл в Сан-Франциско.

Две недели спустя с тощим вещевым мешком за плечами, где лежали одеяла и кое-какая теплая одежонка, старик высадился на берег Дайи в самый разгар клондайкской горячки. На берегу стоял сущий содом. Тут было сложено в кучи и разбросано прямо на песке не меньше десяти тысяч тонн всяких припасов и снаряжения, вокруг которых металось два десятка тысяч перекавшихся и оравших во всю глотку людей. Цена за доставку груза через Чилкутский перевал к озеру Линдерман сразу подскочила: вместо шестнадцати центов за фунт индейцы запрашивали теперь тридцать, что составляло шестьсот долларов за тонну. А полярная зима была уже не за горами. Все это знали, и каждый прекрасно понимал, что из двадцати тысяч приезжих лишь очень немногие переберутся через перевалы, остальным же предстоит зазимовать в ожидании нескорой

весенней оттепели.

Вот на этот-то берег и ступил старый Джон, миновал его, мурлыча под нос свою песенку, с ходу направил стопы прямо вверх по тропе к перевалу, как древний аргонавт, не заботясь о снаряжении, потому что снаряжения у него никакого и не было. Ночь он провел на косе в пяти милях вверх по течению Дайи; выше этого места уже нельзя было плыть даже на каноэ. Река, бравшая свое начало от высокогорных ледников, вырывалась здесь из мрачного ущелья и превращалась в бурный поток.

И здесь рано утром он был свидетелем того, как щупленький человек, не более ста фунтов весом, шатаясь под тяжестью привязанного за плечами стофунтового мешка с мукой, опасливо переправлялся по бревну. Видел он и то, как человечек сорвался с бревна, упал вниз лицом в тихую протоку, где не было и двух футов глубины, и преспокойно стал тонуть. Ему вовсе не хотелось так легко расстаться с белым светом; просто мешок, весивший столько же, сколько и он сам, не давал ему подняться.

— Спасибо, старина, — сказал он Таруотеру, когда тот помог ему встать на ноги и выкарабкаться на берег.

Расшнуровывая башмаки и выливая из них воду, незнакомец разговорился, затем вытащил золотой и протянул его своему спасителю.

Но старик Таруотер, у которого зуб на зуб не попадал после ледяной ванны, отрицательно покачал головой:

— Вот по-приятельски с тобой перекусить, пожалуй, не откажусь.

— Ты что, еще не завтракал? — с явным любопытством оглядывая Таруотера, спросил человечек, который назвался Энсоном и которому на вид было лет сорок.

— Маковой росинки во рту не было, — признался Джон Таруотер.

— А где ж твои припасы, отец? Впереди?

— Нету у меня никаких припасов.

— Думаешь купить продовольствие на месте?

— Не на что покупать, дружище, денег нету ни цента. Да это неважно, мне бы сейчас вот перехватить чего-нибудь горяченького.

В лагере Энсона-примерно в четверти мили дальше — Таруотер увидел долговязого рыжебородого мужчину лет тридцати; он, чертыхаясь, тщетно пытался разжечь костер из сырого тальника. Представленный как Чарльз, молодой человек всю свою злость перенес на старика и

сердито посмотрел на него исподлобья, но Таруотер, делая вид, что ничего не заметил, занялся костром: рыжебородый умудрился наложить камней с подветренной стороны. Таруотер откинул их, утренний ветерок усилил тягу, и вскоре вместо валившего от тальника дыма заполыхал огонь. Тут подоспел и третий их компаньон, Билл Уилсон, или Большой Билл, как прозвали его товарищи, с тюком в сто сорок фунтов весом, и Чарльз подал весьма скверный, по мнению Таруотера, завтрак. Каша сверху не проварилась, а снизу подгорела, бекон обуглился, кофе больше походил на помои.

Наспех проглотив завтрак, трое компаньонов забрали лямки и отправились назад по тропе примерно за милю, к месту последней стоянки, чтобы перетащить остатки своего добра. Но и старик Таруотер тоже не сидел сложа руки. Он почистил котел, вымыл миски, натаскал валежника, зашил порванную лямку, наточил кухонный нож и лагерный топорик и по-новому увязал кирки и лопаты, чтобы ловчее было нести.

За завтраком старика поразило, что Энсон и Большой Билл почему-то с особым почтением относятся к Чарльзу. И когда Энсон, принеся очередной стофунтовый тюк, сел передохнуть,

Таруотер издалека завел об этом разговор.

— Видишь ли, — ответил Энсон, — мы поделили между собой обязанности. У нас у каждого своя специальность. Я вот, к примеру, плотник. Когда мы доберемся до озера Линдерман, навалим лесу и распилим на доски, постройкой лодки распоряжаться буду я. Большой Билл — шахтер и лесоруб. Так что он будет ведать разделкой леса и всем, что касается добычи. Больше половины нашего груза уже на перевале. Мы все деньги спустили индейцам, чтобы подтащить хоть эту часть на Чилкут. Наш четвертый компаньон сейчас там и пока один перетаскивает снаряжение вниз. Его зовут Ливерпул. Он — моряк. Так вот, когда построим лодку, всем переходом по озерам и рекам до самого Клондайка командовать будет он.

— А Чарльз? Этот мистер Крейтон, по какой он части?

— Он у нас за коммерсанта и распорядителя. Когда до этого дойдет, он будет заправлять всеми делами.

— Н-да… — задумчиво протянул Таруотер. — Вам повезло! Компания подобралась всех мастей!

— Еще как повезло-то, — простодушно согласился с ним Энсон. — И ведь все, понимаешь,

вышло случайно. Отправлялись каждый сам по себе, в одиночку. А на пароходе, когда шли из Сан-Франциско, познакомились и решили ехать артелью… Ну, мне пора, не то Чарльз, чего доброго, начнет меня шпынять, что я не управляюсь со своей долей груза. А как мне, мозгляку, который весит всего-то сто фунтов, сравняться с детиной в сто шестьдесят!

Притащив в лагерь еще один тюк и заметив, как ловко старик все там прибрал и устроил, Чарльз сказал Таруотеру:

— Хочешь, оставайся, приготовишь нам чего-нибудь к обеду.

И Таруотер состряпал обед на славу, перемыл всю посуду, а к ужину подал великолепную свинину с бобами и испек в сковороде такой восхитительный хлеб, что трое компаньонов объелись и чуть не полегли костьми. Вымыв посуду после ужина, он нащепал лучины, чтобы утром не канителиться с костром и побыстрее приготовить завтрак, показал Энсону, как нужно обуваться, чтобы не стирались ноги, спел «Аргонавты в старину» и рассказал им о великом переходе через прерии в сорок девятом году.

— Убей меня бог, это первый порядочный привал с тех пор, как мы высадились, — сказал

Большой Билл, выбивая трубку и принимаясь стаскивать башмаки на ночь.

— Так-то вроде лучше будет, ребята, а? — добродушно спросил Таруотер.

Все утвердительно кивнули.

— Тогда, ребятки, у меня к вам есть предложение. Хотите — принимайте его, хотите — нет, а уж выслушать извольте. Вам нужно торопиться попасть на место до ледостава. А один из вас половину времени тратит на стряпню, вместо того чтобы таскать груз. Если я буду на вас стряпать, дело у вас пойдет веселее. И еда будет получше, а с хорошей еды работа спорится. Между делом и я подсоблю с переноской, и побольше, чем вы думаете; не смотрите, что старик, — силенка еще есть.

Большой Билл и Энсон одобрительно было закивали головой, но Чарльз их опередил.

— А что ты за это хочешь? — осведомился он у старика.

— Это уж как все решат.

— Так дела не делаются, твое предложение, тебе и условия ставить, — отчитал его Чарльз.

— Я вот как думал…

— Небось, хочешь, чтобы мы тебя всю зиму кормили? — перебил Чарльз.

— Какое там! Мне бы только добраться до Клондайка на вашей лодке, и на том великое спасибо.

— Да ведь у тебя нет никаких припасов, старик. Ты с голоду там помрешь.

— Кормился же я как-то до сих пор, — отвечал Та-руотер, и в глазах его зажглись лукавые огоньки. — Вон уж семьдесят стукнуло, а с голоду не помер.

— А подпишешь бумагу, что по прибытии в Доусон обязуешься сам заботиться о своем пропитании? — деловито осведомился Чарльз.

— Почему не подписать, подпишу, — отвечал старик. Но Чарльз опять не дал товарищам выразить свое удовлетворение состоявшейся сделкой.

— И вот что еще, старик. Нас ведь четверо компаньонов, такие вопросы мы обязаны решать сообща. Впереди с главным грузом Ливерпул, он хоть и молодой, но согласие его тоже требуется, раз его сейчас нет.

— А что он за человек? — полюбопытствовал Таруотер.

— Моряк. Сорвиголова и буян. Характер у него неважный.

— Да, горяченек, — подтвердил Энсон.

— А уж сквернослов и богохульник, страсть какой! — удостоверил Большой Билл. Однако

тут же добавил: — Но справедлив, этого у него не отнимешь.

Энсон одобрительно закивал, присоединяясь к похвале.

— Ну что ж, ребята, — сказал Таруотер. — В свое время я отправился в Калифорнию и добрался до нее. Доберусь и до Клондайка. Сказал, доберусь — и доберусь. И свои триста тысяч из земли добуду, это тоже верно. Как сказал, так оно и будет, потому деньги мне позарез нужны. А дурного характера я не боюсь, лишь бы парень был честный да справедливый. Попытаю счастья, пойду с вами, пока его не нагоним. А уж если он откажет, что ж, внакладе останусь я один. Только мне не верится, чтобы он отказал. До ледостава остались считанные дни, да и поздно мне искать другой оказии. А уж раз я до Клондайка непременно доберусь, значит нипочем он мне не откажет.

Старый Джон Таруотер вскоре стал одной из самых примечательных фигур на Клондайкской тропе, где путникам никак нельзя было отказать в своеобразии и красочности. Тысячи людей, которым приходилось отмерять каждую милю пути раз по двадцать, чтобы на своем горбу доставить до места полтонны груза, уже знали его в лицо и, встретив, дружески называли «Дедом Морозом».

И всегда старик дребезжащим от старости фальцетом пел за работой свой гимн. Три спутника Таруотера не могли на него пожаловаться. Пусть суставы его плохо гнулись — он не отрицал, что у него небольшой ревматизм, — пусть двигался он медленно, с хрустом и треском, зато он был неустанно в движении. Спать он укладывался последним и вставал раньше всех, чтобы еще до завтрака напоить товарищей кружкой горячего кофе, прежде чем они с первым тюком отправятся к новой стоянке. А между завтраком и обедом и обедом и ужином он всегда ухитрялся и сам перетащить тюк-другой груза. Однако не больше чем в шестьдесят фунтов весом. Это был его предел. Он мог взвалить на себя и семьдесят пять фунтов, но тогда очень скоро сдавал. А один раз, попытавшись дотащить тюк в девяносто фунтов, свалился на тропе и потом несколько дней чувствовал противную дрожь и слабость в ногах.

Труд, неустанный труд! На тропе, где даже привычные к тяжелой работе мужчины впервые узнавали, что такое— труд, никто соразмерно со своими силами не трудился больше, чем старик Таруотер. Подгоняемые страхом перед близостью зимы, подхлестываемые страстной жаждой золота, люди работали из последних сил и падали у

дороги. Одни, когда неудача становилась явной, пускали себе пулю в лоб. Другие сходили с ума. Третьи, не выдержав нечеловеческого напряжения, порывали с компаньонами и ссорились насмерть с друзьями детства, которые были ничем их не хуже, а только так же измучены и озлоблены, как и они.

Труд, неустанный труд! Старик Таруотер мог посрамить их всех, несмотря на треск и хруст в суставах и мучивший его сухой кашель. С раннего утра и до позднего вечера, на тропе и в лагере, он всегда был на виду, всегда что-то делал и всегда по первому зову «Дед Мороз» с готовностью откликался. Как часто усталые путники, прислонив к сваленному дереву или выступу скалы рядом с его тюком и свои, просили:

— А ну-ка, дед, спой нам песенку о сорок девятом годе.

И когда Таруотер, тяжело дыша, исполнял их просьбу, снова взваливали на себя поклажу, говорили, что ничто так не подымает дух, и шли дальше.

— Если кто честно заработал свой проезд, — сказал как-то Большой Билл компаньонам, — так это наш старикан.

— Что верно, то верно, — подтвердил Энсон. —

Для нас он просто находка, и я лично не прочь бы принять его в нашу артель на полных правах…

— Еще чего? — вмешался Чарльз Крейтон. — Приедем в Доусон — и до свидания, как уговорились. Какой смысл тащить с собой старика, чтобы его там похоронить. А кроме всего прочего, здесь ждут голода, и каждый сухарь будет на счету. Не забывайте, что нам придется всю дорогу кормить его из своих запасов. Так что если в будущем году нам нечего будет кушать, пеняйте на себя. Пароходы доставляют продовольствие в Доусон к середине июня, а до этого еще девять месяцев.

— Что ж, ты вложил в дело не меньше денег и снаряжения, чем мы все, и имеешь такое же право голоса, — признал Большой Билл.

— И я этим правом воспользуюсь, — заявил Чарльз со все возрастающим раздражением. — Ваше счастье, что хоть кто-то из вас думает, не то с вашей идиотской жалостью вы все с голоду передохнете. Говорят вам, что будет голод. Здешние порядки мне уже достаточно известны. Мука дойдет до двух долларов за фунт, если не до десяти, да еще ее не достанешь. Вот помяните мое слово.

По осыпям, вверх по мрачному ущелью к Ове-

чьему Лагерю, мимо грозно нависших ледников к Весам и от Весов по крутым уступам отшлифованных ледниками скал, где приходилось карабкаться чуть ли не на четвереньках, старый Таруотер носил тюки, стряпал и пел. Через лежащий высоко над границей леса Чилкут он перевалил вместе с первой осенней метелью. Те, кто уже спустились до неприютного берега озера Кратер и мерзли там, не имея даже хворостинки на костер, услышали из надвигавшейся сверху тьмы призрачный голос, который пел:

Как аргонавты в старину, Спешим мы, бросив дом, Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум, За Золотым Руном.

И вслед за тем из снежного вихря выступила длинная, сухопарая фигура с развевающимися космами белоснежных, как сама метель, бакенбард, согнувшаяся под тяжестью шестидесятифунтового мешка с Лагерными пожитками.

— Дед Мороз! — приветствовали его восторженно. — Ура Деду Морозу!

В двух милях от озера Кратер расположен Счастливый Лагерь, прозванный так потому, что здесь проходит верхняя граница леса и путники могут наконец обогреться у костра. Впрочем, растущие здесь карликовые горные ели лишь с большой

натяжкой могут быть названы лесом, ибо даже самые могучие их экземпляры подымают свою крону всего лишь на фут выше мха, а стволы наподобие портулака скручиваются и вьются подо мхом. Здесь, на тропе, ведущей в Счастливый Лагерь, в первый за всю неделю солнечный день, старый Таруотер, прислонив мешок к огромному валуну, остановился перевести дух. Тропа огибала валун, и мимо старика в одну сторону медленно шагали люди, нагруженные кладью, а обратно спешили другие, налегке, за новым грузом. Дважды пытался Таруотер взвалить мешок на спину и тронуться в путь, и оба раза дрожь в ногах заставляла его прислоняться к камню и ждать, пока не прибудет сил. За валуном раздались приветственные возгласы. Он услышал голос Чарльза Крейтона и понял, что наконец-то они встретились с Ливерпулом. Чарльз сразу же заговорил о деле, и Таруотер от слова до слова слышал, как Чарльз нелестно отозвался о нем и о его, Таруотера, предложении довезти его до Доусона.

— Дурацкое предложение, — заключил Ливерпул, выслушав Чарльза. — Везти к черту на рога дряхлого семидесятилетнего деда! Если он еле ноги таскает, какого дьявола вы с ним связались?

А как же голод? Ведь к тому идет. Тогда каждая щепотка муки самим нужна будет. Запасались-то мы на четверых, а не на пятерых.

— Да ты не волнуйся. Все это очень просто уладить, — услышал Таруотер, как Чарльз успокаивал компаньона. — Старый чудак согласился, подождать, пока мы тебя не нагоним, и за тобой остается последнее слово. Так что тебе нужно только упереться и сказать «не хочу».

— Выходит, ты предлагаешь мне отказать старику после того, как вы его обнадежили и пользовались его услугами от самой Дайни?

— Путь тяжелый, и надо быть мужчиной, если хочешь дойти, — оправдывался Чарльз.

— А я, значит, из-за вас подлость делай? — проворчал Лверпул.

У Таруотера упало сердце.

— Ничего не попишешь, — сказал Чарльз. — Тебе решать.

Но тут старик Таруотер опять воспрянул духом, ибо воздух потряс неистовый циклон брани, среди которой можно было разобрать такие фразы:

— Ах, подлецы… Сперва я вас самих к дьяволу упеку… Я принял решение. Линек вам поперек!.. Старик пойдет с нами по Юкону, заруби себе на носу, голубчик… Мужчина? Я тебе покажу, что

значит быть мужчиной!.. Я ни на что не посмотрю, если вы вздумаете отделаться от старика… Только попробуйте, я такое тут светопреставление устрою, что вам небо с овчинку покажется.

И такова была живительная сила этого словоизвержения Ливерпула, что старик, даже не сознавая того, что делает, легко взвалил на плечи свою ношу и бодро зашагал к Счастливому Лагерю.

Весь путь от Счастливого Лагеря к Долгому озеру, от Долгого озера к Глубокому и от Глубокого вверх, через крутой горный хребет, и вниз к Линдерману продолжалась гонка не на жизнь, а на смерть с наступающей зимой. Здоровые мужчины, выбившись из сил, падали в изнеможении и плакали у обочины тропы. Но зима, которой не требовалось ни отдыха, ни передышки, неуклонно надвигалась. Задули пронизывающие осенние ветры, и под проливными дождями и все более частыми снегопадами партия, к которой примкнул Таруотер, свалила наконец последние тюки на берегу озера.

Но отдыхать не пришлось. Со склона горы на противоположной стороне озера с ревом сбегал поток; пройдя с милю вверх по течению, они нашли несколько елей и вырыли яму для пилки

леса. Здесь вручную, с помощью продольной пилы, они распиливали бревна на доски. Работали круглые сутки. В ночную смену, работая внизу в яме, старый Таруотер раза три терял сознание. А днем он еще и стряпал и между делом помогал Энсону собирать лодку, по мере того как им подбрасывали сырые доски.

Дни становились все короче. Ветер переменился и дул теперь с севера, нагоняя непогоду. По утрам изнуренные путники с трудом выползали из-под одеял и, сидя в одних носках, согревали затвердевшие от мороза башмаки у костра, который Таруотер, встав раньше всех, для них разводил. Слухи о голоде становились все упорнее. Последние суда с продовольствием из Берингова моря застряли из-за мелководья у первых же отмелей Юкона, больше чем на сотню миль севернее Доусона. Они стояли на приколе возле старой фактории Компании Гудзонова залива, в Форте Юкон, по существу, за Полярным кругом. Мука в Доусоне дошла до двух долларов за фунт, но и за эту цену ее нельзя было достать. Короли Бонанзы и Эльдорадо, не знавшие счета деньгам, уезжали в Штаты, потому что не могли купить продуктов. Комитеты золотоискателей конфисковали продовольствие и посадили все

население на жесткий паек. Того, кто утаивал хотя бы горстку бобов, пристреливали, как собаку. Десятка два людей уже постигла такая участь.

Между тем нечеловеческое напряжение, сломившее даже более молодых и крепких мужчин, чем Таруотер, начало сказываться на старике. Он все сильнее кашлял, и если бы его измученные товарищи не спали мертвым сном, не дал бы им глаз сомкнуть всю ночь. Его трясло от озноба, и, укладываясь спать, он старался теперь одеться потеплее. Когда бедняга забирался наконец под одеяло, в его вещевом мешке не оставалось даже рваного носка. Всю свою жалкую одежонку, все до последней тряпки, он напяливал на себя или обматывал вокруг своего старого, тощего тела.

— Плохи дела! — заметил Большой Билл. — Если старикан в двадцать градусов выше нуля надевает на себя все тряпки, что же он станет делать потом — при минус пятидесяти или шестидесяти?

Они спустили грубо сколоченную лодку вниз по горному потоку, десятки раз рискуя ее разбить, и в снежную бурю переправились через южную оконечность озера Линдерман. На следующее утро им предстояло погрузиться и плыть прямо на север, совершить опаснейший переход в пять-

сот миль по озерам, бурным потокам и рекам. Вечером, прежде чем лечь спать, Ливерпул куда-то отлучился из лагеря. Вернулся он, когда все уже спали. Разбудив Таруотера, Ливерпул долго вполголоса с ним беседовал.

— Вот что, отец, — сказал он. — Проезд тебе в нашей лодке обеспечен, и если кто заслужил свое место, так это ты. Но сам понимаешь, годы твои уже не те и здоровьишко твое тоже не ахти какое. Если поедешь с нами, того и гляди концы отдашь. Постой, отец, не перебивай, дай досказать. За проезд теперь платят по пятьсот долларов. Я тут походил и нашел одного пассажира. Он служащий Аляскинского коммерческого банка и должен во что бы то ни стало попасть в Доусон. Он дает шестьсот долларов, чтобы я его взял в своей посудине. Продай ему свое место, ты его честно заработал, забирай эти шестьсот долларов и сыпь к себе на юг, в Калифорнию, пока еще можно умотать. За два дня доберешься до Дайи, а через неделю будешь в Калифорнии. Что ты на это скажешь?

Таруотер долго кашлял и дрожал, прежде чем мог выговорить слово.

— А вот что я тебе скажу, сыночек, — ответил он. — В сорок девятом я гнал свои четыре упряж-

ки волов через прерии, и хоть бы один у меня издох. Я пригнал их целехонькими в Калифорнию и потом возил на них грузы из Форта Суттера в Американ Бар. Теперь я еду в Клондайк. Как сказал, так оно и будет. Я поеду в лодке, которую ты поведешь, прямиком до Клондайка и вытрясу там из мха свои триста тысяч долларов. А раз так, то какой же мне смысл продавать мое место? Но большое тебе спасибо, сынок, за заботу, большое спасибо!

Молодой матрос горячо потряс руку старика.

— Ну и молодчина же ты! Ей-ей, отец, поедешь с нами! -воскликнул он и, с откровенным презрением взглянув в сторону храпевшего в рыжую бороду Чарльза Крейтона, добавил: — Такие, как ты, видно, больше не родятся, отец!

Пятерка золотоискателей упорно пробивалась на север, хотя встречавшиеся им старожилы качали головами и предвещали, что они на озерах неминуемо вмерзнут в лед. Ледостава и в самом деле надо было ждать со дня на день, и, дорожа каждой минутой, они перестали считаться с опасностью. Так Ливерпул решил проскочить порожистую протоку, соединяющую озеро Линдерман с озером Беннет, не разгружая лодки. Обычно лодки здесь перегоняли порожняком,

а груз перетаскивали на себе. Впрочем, немало и пустых лодок разбивалось в щепы. Но теперь прошло время для таких предосторожностей.

— Вылезай, папаша, — приказал Ливерпул перед тем, как оттолкнуться от берега и ринуться вниз по протоке.

Но старый Таруотер покачал белой как лунь головой.

— Ну нет, сынок, я остаюсь с вами, — заявил он. — Тогда наверняка проскочим. Видишь ли, я в Клондайк доберусь. И если буду сидеть в лодке — значит и она дойдет. А вылезу, так, чего доброго, и лодку потеряем.

— Но и перегружать ее не к чему, — ввернул Чарльз и в ту минуту, когда она отчаливала, выпрыгнул на берег.

— В другой раз без команды не вылезать! — крикнул ему вдогонку Ливерпул, в то время как лодку подхватило течение.-.Еще чего выдумал, пешком обходить пороги, а мы жди его, теряй время!

И правда, то, что по воде отняло всего каких-нибудь десять минут, заняло у Чарльза целых полчаса. Поджидая его у впадения протоки в озеро Беннет, путники разговорились с кучкой оборванных старожилов, спешивших выбраться

отсюда подобру-поздорову. Слухи о голоде не только подтверждались, но становились все тревожнее. Отряд северо-западной конной полиции, стоявший у южной оконечности озера Марш, где золотоискатели переходят на канадскую территорию, пропускал только тех, кто имел с собой не меньше семисот фунтов продовольствия. В Доусоне больше тысячи человек с собачьими упряжками ждали лишь ледостава, чтобы выехать по первопутку. Торговые фирмы не могли выполнять договоров на поставку продовольствия, и компаньоны тянули жребий, кому уезжать, а кому оставаться разрабатывать участки.

— Значит, и толковать больше не о чем, — заявил Чарльз, узнав о действиях пограничной полиции. — Можешь, старик, с тем же успехом сейчас же поворачивать оглобли.

— Полезай в лодку! — скомандовал Ливерпул. — Мы идем в Клондайк, и дедушка идет с нами.

Северный ветер сменился попутным южным, и по озеру Беннет они шли курсом фордевинд под огромным парусом, который смастерил Ливерпул. Тюки со снаряжением и продовольствием служили хорошим балластом, и он выжимал из паруса все, что мог, как и подобает отважному

моряку, когда дорога каждая минута. На Оленьей переправе ветер опять как нельзя более кстати отклонился на четыре румба к юго-востоку, погнав их по протоке к озерам Тагиш и Марш. Опасный рукав Уин-ди-Арм они пресекли на закате, и уже в сумерках, при сильном ветре, тут, на их глазах, опрокинулись и пошли ко дну две другие лодки с золотоискателями.

Чарльз предлагал провести ночь на берегу, но Ливерпул, даже не сбавив хода, повел лодку по Тагишу, определяя направление по шуму прибоя на отмелях и горевшим кое-где вдоль берега кострам менее смелых или потерпевших крушение аргонавтов. Часа в четыре утра он разбудил Чарльза. Окоченевший от холода Таруотер никак не мог уснуть; он заметил, как Ливерпул подозвал к рулю Крейтона, и слышал весь разговор, в котором рыжебородому едва удавалось вставить словечко.

— Вот что, приятель, послушай, что я тебе скажу, а сам попридержи язык, — начал Ливерпул. — Я хочу, чтобы ты зарубил себе на носу: у деда на заставе не должно быть заминки. Понятно? Никакой заминки. Когда полиция начнет досматривать тюки с продовольствием — пятая часть деда, ясно? На каждого из нас получится мень-

ше, чем положено, но как-нибудь вывернемся. Так вот запомни хорошенько: все должно сойти гладко.

— Если ты думаешь, что я могу донести на старого чудака…— возмущенно начал Чарльз.

— Я ничего подобного не говорил, а вот ты, видать, это думал, — оборвал его Ливерпул. — Но вот что я хочу сказать тебе: что ты думал — мне наплевать, важно то, что ты теперь надумаешь. Сегодня во второй половине дня мы будем у заставы. И надо сделать так, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Ну, хватит, надеюсь, ты меня понял.

— Если ты думаешь, что у меня на уме… — начал было Чарльз.

— Послушай, — перебил его Ливерпул. — Что у тебя на уме я не знаю, да и знать не хочу. Я хочу, чтобы ты наконец понял, что у меня на уме. Если дело сорвется, если полиция отправит деда обратно, я выберу какой-нибудь уголок поживописней, свезу тебя на берег и там так отлуплю, что ты своих не узнаешь. И не мечтай легко отделаться. Поколочу тебя как полагается, как мужчина мужчину, а у меня, сам знаешь, рука тяжелая. Убить не убью, а до полусмерти исколочу, будь уверен.

— Но что я могу сделать? — заскулил Чарльз.

— Только одно. Молить бога! Так горячо молить бога, чтобы полиция пропустила дедушку, что она его пропустит. , Больше ничего, — закончил Ливерпул. — А теперь ступай спать.

Они еще не достигли озера Ле-Барж, как земля покрылась пеленой снега, который не сойдет раньше полугода. Труднее стало приставать к берегу, уже обросшему кромкой льда. В устье реки, при впадении ее в озеро Ле-Барж, укрылось не менее сотни судов аргонавтов, задержанных бурей. Уже который день из конца в конец большого озера дул свирепый норд со снегом. Три утра кряду Ливерпул и его спутники вступали в борьбу с ветром и гонимыми к берегу пенящимися валами, которые захлестывали лодку, покрывая ее ледяной корой. Четверка золотоискателей надрывалась на веслах, а закоченевший Таруотер потому только и остался жив, что непрерывно скалывал лед и выбрасывал его за борт.

И все три дня, доведенные до отчаяния, они вынуждены были бесславно отступать с поля боя и искать прибежища в устье реки. На четвертый день там уже скопилось более трехсот лодок, и все две тысячи аргонавтов хорошо понимали, что, лишь только утихнет шторм, озеро замерзнет. По ту сторону Ле-Баржа быстрые реки еще долго не

остановят свой бег, но если лодки сейчас же, не теряя времени, не переправятся на ту сторону, им предстоит на целые полгода вмерзнуть в лед.

— Сегодня пробьемся, — объявил Ливерпул. — Ни за что не повернем обратно. Хоть сдохнем за веслами, а грести будем.

И пробились. К наступлению темноты они дошли до середины озера и гребли всю ночь напролет; ветер понемногу стих, а они все продолжали грести, засыпая за веслами; тогда Ливерпул расталкивал их, и они снова налегали на весла, будто в бесконечном кошмаре. Меж тем в вышине одна за другой высыпали звезды, волнение улеглось, и гладкое, словно лист бумаги, озеро постепенно стало затягиваться ледяной корочкой, которая под ударами весел похрустывала, как битое стекло.

А когда забрезжило ясное и холодное утро и они вошли в реку, позади расстилалось сплошное море льда. Ливерпул посмотрел на своего престарелого пассажира: по всему было видно, что старик обессилел и едва жив. Но только моряк повернул лодку к кромке прибрежного льда, чтобы обогреть Таруотера у костра и напоить его чем-нибудь горячим, как Чарльз накинулся на него, — нечего, мол, зря тратить время.

— Это тебе не коммерция, — оборвал его Ливерпул, — так что прошу не в свое дело носа не совать. На воде я командир. Вылезай быстрей да топай за валежником, только не вздумай отделаться одной охапкой, чтобы хватило, слышишь! Я займусь дедушкой. Ты, Энсон, разведешь костер. А ты, Билл, пристрой-ка на носу лодки юконскую печурку. Дедушка немного постарше нашего, пусть сидит у печки и греется до самого Доусона.

Так и сделали, и увлекаемая течением лодка, дымя, как заправский речной пароход, своей двурогой печурочной трубой, проскакивала клокочущие пороги, крутилась в водоворотах, мчалась по быстринам и горным потокам, все глубже забираясь на север. Притоки Большой и Малый Лосось несли в реку сало, а за порогами всплыл сверкавший, как хрусталь, донный лед. С каждым часом росла кромка льда у берега; там, где течение замедлялось, она достигала уже более ста ярдов ширины. А старик, закутанный во все свое тряпье, сидел у печки и поддерживал огонь. Смело устремляясь вперед, они, боясь ледостава, не могли остановиться ни на минуту, а вслед за кормой лодки двигался и все уплотнялся лед.

— Эй, там, на баке! — время от времени окликал моряк Таруотера.

— Есть на баке! — научился отвечать старик.

— Как же мне, сынок, тебя отблагодарить? — говорил иногда Таруотер, помешивая в печурке и глядя на Ливерпула, который сидел на заледеневшей корме у руля и, похлопывая о колено, отогревал то одну, то другую руку.

— А ты грянь-ка свою геройскую, — про сорок девятый год, — был неизменный ответ.

И Таруотер срывающимся по-петушиному голосом запевал свою песнь, как запел ее, достигнув цели, когда лодка сквозь теснящиеся льдины повернула к доусонскому причалу и весь прибрежный Доусон навострил уши, внимая его победному пеану:

Как аргонавты в старину, Спешим мы, бросив дом, Плывем тум-тум, тум-тум, тум-тум, За Золотым Руном.

Чарльз все-таки донес, но он сделал это так хитро и осторожно, что никто из его спутников и всего меньше матрос могли что-либо заподозрить. Еще когда они причаливали, он увидел две большие открытые баржи, на которых сгоняли народ; расспросив у людей, он узнал, что это комитет спасения вылавливает и отправляет вниз по Юкону золотоискателей, не имеющих продовольствия. Тут лелеяли, правда, слабую

надежду, что последний пароходик из Доусона все же успеет до ледостава отбуксировать баржи к Форту Юкон, где стояли вмерзшие в лед суда с— продовольствием. Как бы то ни было, Доусон по крайней мере избавится от лишних ртов. Чарльз тайком сбегал в комитет спасения и предупредил, что сюда прибыл немощный старик без денег и без продовольствия. Таруотера забрали самым последним, и когда Ливерпул вернулся к лодке, он с берега увидел, как окруженные шугой баржи исчезают за поворотом реки у горы Лосевая Шкура.

Продвигаясь все время среди льдов и благополучно миновав несколько заторов на юконских отмелях, баржи проследовали еще на сто с лишним миль далее к северу и вмерзли в лед бок о бок с продовольственным транспортом. Здесь, за Полярным кругом, Таруотер обосновался на всю долгую арктическую зиму. Кормился он тем, что рубил дрова для пароходной компании. Это занимало у него несколько часов в день, остальное время делать было нечего, и он отлеживался в бревенчатой хижине.

Тепло, покой и сытная пища излечили сухой кашель, и, насколько это возможно в такие преклонные годы, восстановили его силы. Однако

еще до рождества, из-за отсутствия свежих овощей, в лагере объявилась цинга, и приунывшие искатели счастья один за другим укладывались в постель и лежали, не вставая, сутками, малодушно пасуя перед этой последней неудачей. Иное дело Таруотер. Не дожидаясь первых признаков цинги, он стал применять лучшее, по его мнению, средство против этой болезни — моцион. На старой фактории в куче хлама он отыскал несколько заржавленных капканов, а у одного из шкиперов попросил на время ружье.

Снарядившись таким образом, он бросил рубить дрова и стал промышлять не ради одного пропитания. Не пал он духом и тогда, когда сам захворал цингой. По-прежнему обходил он свои капканы и пел свою старинную песнь. И ни один пессимист не мог поколебать его твердую уверенность в том, что он вытрясет из мхов Аляски свои триста тысяч долларов.

— Но ведь в здешних местах и золота-то нет, — говорили ему.

— Золото там, где его находят, сынок. Мне ли не знать, ведь я его копал, когда тебя еще на свете не было, в сорок девятом году, вон когда!-не смущаясь, отвечал Таруотер. — Чем была Бонанза? Долинкой, где лоси паслись. Ни один порядоч-

ный золотоискатель туда не заглядывал. А вот намывали же там в лотке по пятьсот долларов и добыли чистых пятьдесят миллионов! А Эльдорадо? Почем знать, может, под этой самой хижиной или вон за той горой лежат миллионы и только того и ждут, чтобы какой-нибудь счастливец вроде меня выкопал их из земли.

Однако в конце января с Таруотером приключилась беда. Какой-то крупный зверь, должно быть рысь, попал в один из капканов поменьше и уволок его. Старик погнался было за ним, но повалил сильный снег, и он потерял след зверя, а когда повернул обратно, не нашел и своего следа. В это время года короткий северный день сменяется двадцатичасовым мраком; снег все валил, и в серых сумерках угасающего дня отчаянные попытки Таруотера отыскать дорогу в Форт привели только к тому, что он окончательно заплутался. По счастью, когда в этих краях выпадает снег, всегда становится теплее, и вместо обычных сорока, пятидесяти и даже шестидесяти градусов ниже нуля температура была минус пятнадцать. К тому же Таруотер был тепло одет и в кармане у него лежала полная коробка спичек. Облегчило его положение и то, что на пятый день ему удалось добить подстреленного кем-то лося,

который весил больше полутонны. Устроив возле туши подстилку и загородку из хвои, старик приготовился здесь зазимовать, если его не разыщет спасательная партия и не доконает цинга.

Так прошло две недели, но никто его не разыскивал, а цинга явно усилилась. Свернувшись в комок у костра и укрывшись от ветра и холода за своей загородкой из еловых ветвей, Таруотер долгие часы спал и долгие часы бодрствовал. Но, по мере того как им овладевало оцепенение зимней спячки, часы бодрствования все сокращались, становясь не то полудремотой, не то полузабытьем. Искра разума и сознания, носившая имя Джона Таруотера, постепенно угасала, погружась в недра первобытного существа, сложившегося задолго до того, как человек стал человеком, и в самом процессе развития человека, когда он, первый из зверей, начал приглядываться к себе и создал начальные понятия добра и зла в страшных, словно кошмар, творениях фантазии, где в образах чудовищ выступали его собственные желания, подавленные запретами морали.

Как горячечный больной временами приходит в себя, так Таруотер просыпался, жарил себе мясо и подкладывал сучья в костер, но все чаще и чаще его одолевала апатия, и в безмятежном

забытьи он уже не различал, когда грезит наяву и когда — во сне. И тут, в заветных катакомбах неписаной истории человечества, он встретил непостижимых и невероятных, как кошмар или бред сумасшедшего, чудовищ, созданных первыми проблесками человеческого сознания, чудовищ, которые и поныне побуждают людей слагать сказки, чтобы уйти от них или бороться с ними.

Короче говоря, под бременем своих семидесяти лет, один среди пустынного безмолвия Севера, Таруотер, словно курильщик опиума или одурманенный снотворным больной, вернулся к младенческому мышлению первобытного человека. Над съежившимся в комок у костра Таруотером черной тенью реяла смерть, а он, как его отдаленный предок, человек-дитя, слагал мифы и молился солнцу, сам и мифотворец и герой, пустившийся на поиски сказочного и труднодостижимого сокровища.

Либо он добудет сокровище, гласила неумолимая логика этого призрачного царства, либо погрузится в ненасытное море, во всепожирающий мрак, что каждый вечер проглатывает солнце — солнце, которое наутро встает на востоке и сделалось для человека первым символом

бессмертия. Но страна заходящего солнца, где он пребывал в своем забытьи, была не чем иным, как надвигающимися сумерками близкой смерти.

Как же спастись от чудовища, которое медленно пожирало его изнутри? Он чересчур ослаб, чтобы мечтать о спасении или даже чувствовать побуждение спастись. Действительность для него перестала существовать. И не из глубин его затемненного сознания могла она возродиться вновь. Сказывалось бремя лет, болезнь, летаргия и оцепенение, навеянное окружающим безмолвием и холодом. Только извне могла действительность встряхнуть его, пробудить в нем сознание окружающего, не то из призрачного царства теней он неприметно скользнет в полный мрак небытия.

И вот действительность обрушилась на него, ударила по его барабанным перепонкам внезапным громким фырканьем. Двадцать дней подряд стояли пятидесятиградусные морозы, и все эти двадцать дней ни единое дуновение ветерка, ни единый звук не нарушали мертвой тишины. И как курильщик опиума не сразу может оторвать взгляд от просторных хором своих сновидений и с недоумением оглядывает тесные стены жалкой лачуги, так и старый Таруотер уставил мутные глаза на замершего по ту сторону костра огромно-

го лося с перебитой ногой, который, тяжело дыша, в свою очередь, уставился на него. Животное, как видно, тоже слепо бродило в призрачном царстве теней и пробудилось к действительности, только наткнувшись на догорающий костер.

Таруотер с трудом стянул с правой руки неуклюжую меховую рукавицу на двойной шерстяной подкладке, но тут же убедился, что указательный палец совсем онемел и не может спустить курок. Казалось, прошла вечность, пока он, опасаясь спугнуть зверя, медленно засовывал бессильную руку под одеяло, затем под свою меховую парку и, наконец, за пазуху, под чуть теплую подмышку. Целая вечность прошла, пока к пальцу вернулась подвижность, и Таруотер мог с той же осторожной медлительностью приложить ружье к плечу и нацелиться в стоявшего перед ним лося.

Когда грянул выстрел, один из скитальцев в царстве сумерек рухнул наземь и погрузился во мрак, а другой воспрянул к свету и, шатаясь, как пьяный, на ослабевших от цинги ногах, дрожа от волнения и холода, стал трясущимися руками протирать глаза и озираться на окружающий его реальный мир, который предстал перед ним с головокружительной внезапностью. Таруотер встряхнулся и только тут понял, что долго,

очень долго грезил в объятиях смерти. Первое, что он сделал, — это плюнул; слюна еще на лету затрещала: значит, много больше шестидесяти градусов. В тот день спиртовой термометр Форта Юкон показывал семьдесят два градуса ниже нуля, иначе говоря — сто семь градусов мороза, ибо по Фаренгейту точка замерзания — тридцать два градуса выше нуля.

Медленно, словно ворочая тяжести, мозг Таруотера подсказывал ему, что нужно действовать. Здесь, среди пустынного безмолвия, обитает смерть. Сюда пришли два раненых лося. С наступлением сильных морозов небо прояснилось, и Таруотер определил свое местонахождение: лоси могли прийти только с востока. Значит, на востоке люди — белые или индейцы, неизвестно, но, во всяком случае, люди, которые окажут ему поддержку, помогут пристать к берегу жизни, избежать пучины мрака.

Таруотер взял ружье, патроны, спички, уложил в мешок двадцать фунтов мяса убитого лося — движения его по-прежнему были медленны, но зато он двигался в реальном мире. Засим воскресший аргонавт, прихрамывая на обе ноги, повернулся спиной к гибельному западу и заковылял в сторону животворного востока, где

каждое утро вновь восходит солнце…

Много дней спустя — сколько их прошло, он так никогда и не узнал, — грезя наяву, галлюцинируя и бормоча свою неизменную песнь о сорок девятом годе, словно человек, который тонет и из последних сил барахтается, чтобы его не затянула темная глубина, Таруотер вышел на снежный склон и увидел в ущелье, внизу, вьющийся дымок и Людей, которые, бросив работать, глядели на него. Не переставая петь, он, спотыкаясь, устремился к ним, а когда у него пресеклось дыхание он умолк, они закричали на все лады: «Смотрите, Николай чудотворец!.. Борода!.. Последний из могикан!.. Дед Мороз!» Они обступили старика, а он стоял неподвижно, не в силах вымолвить слова, и только крупные слезы катились у него по щекам. Он долго беззвучно плакал, потом, будто опомнившись, сел в сугроб, так что его старые кости хрустнули, и из этого удобного положения повалился на бок, облегченно вздохнул и лишился чувств.

Не прошло и недели, как Таруотер уже снова был на ногах и, ковыляя по хижине, стряпал, мыл посуду и хозяйничал у пятерых обитателей ущелья. Настоящие старожилы-пионеры, люди мужественные и привыкшие к лишениям, они

так далеко забрались за Полярный круг, что ничего не слыхали о золоте, найденном в Клондайке. Таруотер первый принес им эту весть. Питались они мясом лосей, олениной, копченой рыбой, дополняя этот почти исключительно мясной стол ягодами и сочными кореньями каких-то диких растений, которые заготовляли еще с лета. Они забыли вкус кофе, зажигали огонь с помощью увеличительного стекла, в дорогу брали с собой трут и палочки, как индейцы, курили в трубках засушенные листья, от которых першило в горле и шел невыносимый смрад.

Три года назад они вели разведку к северу от верховьев Коюкука и до самого устья Маккензи на побережье Северного Ледовитого океана. Здесь, на китобойных судах, они в последний раз видели белых людей и в последний раз пополнили свои запасы товарами белого человека, главным образом солью и курительным табаком. Направившись на юго-запад в длительный переход к слиянию Юкона и Поркьюпайна у Форта Юкон, они наткнулись в русле пересохшего ручья на золото и остались тут его добывать.

Появление Таруотера обрадовало золотоискателей, они без устали слушали его рассказы о сорок девятом годе и окрестили его Старым Героем.

Отваром из ивовой коры, кислыми и горькими корешками и клубнями, хвойным настоем они излечили старика от цинги, так что он перестал хромать и даже заметно поправился. Не видели они причин и к тому, чтобы лишить старика его доли в богатой добыче.

— Насчет трехсот тысяч поручиться не можем, — сказали они ему как-то утром, за завтраком, перед тем как идти на работу. — Ну, а как насчет ста тысяч. Старый Герой? Заявка тут примерно того стоит, россыпь, что ни говори, богатая, а участок тебе уже застолбили.

— Спасибо, ребята, большое вам спасибо, — отвечал старик, — могу сказать одно — сто тысяч для начала неплохо, даже совсем неплохо. Конечно, я на этом не остановлюсь и свои триста тысяч добуду. Ведь я затем сюда и ехал.

Ребята посмеялись, похвалили его упорство, говоря, что, видно, им придется сыскать старику местечко побогаче. А Старый Герой ответил, что, как наступит весна и он' станет бодрей, видно, ему самому придется тут полазить и пошарить.

— Почем знать, может, вон под той горкой, — сказал он, указывая на заснеженный склон холма по другую сторону ущелья, — мох растет прямо на самородках.

Больше он ничего не сказал, но, по мере того как солнце подымалось все выше и дни становились длиннее и теплее, все чаще поглядывал через ручей на характерный сброс посредине склона. И однажды, когда снег почти всюду стаял, Таруотер перебрался через ручей и поднялся к сбросу. Там, где солнце припекало сильней, земля уже оттаяла на целый дюйм. И вот в одном таком месте Таруотер стал на колено, большой заскорузлой рукой ухватил пучок мха и вырвал его с корнями. Что-то блеснуло и загорелось в ярких лучах весеннего солнца. Он тряхнул мох, и с корней, будто гравий, на землю посыпались крупные самородки — золотое руно, которое оставалось теперь только стричь!

У аляскинских старожилов еще свежа в памяти золотая горячка лета 1898 года, когда из Форта Юкон на новооткрытые прииски Таруотера хлынули толпы народа. И когда старый Таруотер, продав свои акции компании Боуди за чистые полмиллиона, отправился в Калифорнию, он до самой пароходной пристани Форта Юкон ехал на муле по великолепной новой тропе с удобными трактирами для проезжих.

На борту океанского парохода, вышедшего из Сент-Майкла, Таруотер за первым же завтраком

обратил внимание на скрюченного цингой седоватого официанта с испитым лицом, который, морщась от боли, подавал ему на стол. Но только еще раз пристально оглядев» его с головы до ног, он удостоверился, что это. и в самом деле Чарльз Крейтон.

— Что, плохо пришлось, сынок? — посочувствовал Таруотер.

— Уж такое мое счастье, — пожаловался тот, когда узнал Таруотера и они поздоровались. — Из всей нашей компании ко мне одному прицепилась цинга. Чего только я не натерпелся! А те трое живы-здоровы и работают, — собираются зимой отправиться на разведку вверх по Белой. Энсон плотничает, зарабатывает двадцать пять долларов в день. Ливерпул валит лес и получает двадцать. Большой Билл, тот работает старшим пильщиком на лесопилке, выгоняет больше сорока в день. Я старался, как мог, да вот цинга…

— Старался-то ты старался, сынок, только можешь ты мало, уж очень коммерция тебе характер испортила, больно ты мужчина черствый да раздражительный. Так вот что я тебе скажу. Хворый — ты не .работник. За то, что вы взяли меня с собой в лодку, я уж заплачу капитану за твой проезд, отлеживайся и отдыхай, пока едем.

А что думаешь делать, когда высадишься в Сан-Франциско?

Чарльз Крейтон пожал плечами.

— Так вот что, — продолжал Таруотер, — пока не наладишь свою коммерцию, для тебя найдется работенка у меня на ферме.

— Возьмите меня к себе управляющим…— сразу оживился Чарльз.

— Ну нет, голубчик, — наотрез отказал Таруотер. — Но другая работа всегда найдется: ямы рыть для столбов, колоть дрова, а климат у нас превосходный…

К возвращению блудного дедушки домашние не преминули заколоть и зажарить откормленного тельца. Но прежде чем сесть за стол, Таруотер пожелал пройтись и оглядеться. Тут, разумеется, все единокровные и богоданные дщери и сыновья непременно пожелали его сопровождать и подобострастно поддакивали каждому слову дедушки, у которого было полмиллиона. Он шествовал впереди, нарочно говорил самые нелепые и несообразные вещи, однако ничто не вызывало возражений у его свиты. Остановившись у разрушенной мельницы, которую он когда-то построил из мачтового леса, он с сияющим лицом глядел на простиравшуюся перед

ним долину Таруотер и на дальние холмы, за которыми возвышалась гора Таруотер, — все это он мог теперь снова назвать своим.

Тут его осенила мысль, и, чтобы скрыть веселые огоньки в глазах, он поспешил отвернуться, делая вид, что сморкается. По-прежнему сопровождаемый всем семейством, дедушка Таруотер прошел к ветхому сараю. Здесь он поднял с земли почерневший от времени валек.

— Уильям, — сказал он, — помнишь наш разговор перед тем, как я отправился в Клондайк? Не может быть, чтобы не помнил. Ты мне тогда сказал, что я рехнулся. А я тебе ответил, что если бы я посмел так разговаривать с твоим дедушкой, он бы мне все кости переломал вальком.

— Я только пошутил, — старался вывернуться Уильям.

Уильям был сорокапятилетний мужчина с заметной проседью. Его жена и взрослые сыновья стояли тут же и с недоумением смотрели на дедушку Таруотера, который зачем-то снял пиджак и дал его Мери подержать.

— Подойди ко мне, Уильям, — приказал он. Уильям скрепя сердце подошел.

— Надо и тебе, сынок, хоть раз попробовать, чем меня частенько потчевал твой дед, — приговари-

вал Таруотер, прохаживаясь вальком по спине и плечам сына. — Заметь, я тебя хоть по голове не бью! А вот у моего почтенного родителя нрав был горячий, бил по чему попало… Да не дергай ты локтями! А то по локтю огрею. А теперь скажи, любезный сыночек, в своем я уме или нет?

— В своем! — заорал Уильям благим матом, приплясывая на месте от боли.

— В своем, отец. Конечно, в своем!

— Ну то-то же! — наставительно заметил старик и, отбросив валек, стал натягивать куртку. — А теперь пора и за стол.

Принцесса

В зарослях, непринужденно развалясь около весело горевшего костра, сидел человек. В нем было что-то беззаботное и вместе с тем ужасное. Эта полоса редкого леса между железнодорожной насыпью и речным берегом — излюбленное пристанище бродяг. Но человека, сидевшего у костра, нельзя было назвать бродягой. Он так опустился, что ни один уважающий себя бродяга не сел бы с ним рядом у одного костра. «Кот», только вышедший на «дорогу», — еще присел бы, пожалуй, но и он тотчас ушел бы, раскусив, с кем имеет дело. Даже самые ничтожные подонки и попрошайки, смерив его беглым взглядом, прошли бы мимо. Закоренелый бродяга, пара мелких воришек или малолетняя шпана с «дороги», может быть, и не погнушались бы переворошить его лохмотья, чтобы посмотреть, не завалялся ли там какой-нибудь случайный пенни или цент, и затем, дав хорошего пинка, толкнули бы его в темноту. Даже последний пьянчужка счел бы себя стоящим неизмеримо выше его.

Этот опустившийся бродяга и пропойца настолько утратил уважение к себе, что не мог

рассердиться на кого-нибудь, он настолько потерял чувство собственного достоинства, что довольствовался объедками с помойки. Выглядел он действительно ужасно. Ему могло быть и шестьдесят лет и девяносто. На его одежду не польстился бы и старьевщик. Рядом с ним лежал развязанный узел, представлявший собой рваную куртку, из которой виднелась почерневшая от дыма банка из-под томатного сока, пустая искореженная жестянка из-под сгущенного молока, обрезки мяса в коричневой оберточной бумаге — вероятно, подачка какого-нибудь мясника, — морковка, раздавленная колесом фургона, три заплесневелых, гнилых картофелины и, наконец, надкусанная с одного края сдобная булочка, покрытая комками грязи и добытая, очевидно, из канавы.

Лицо этого человека покрывала большая борода, грязно-серая и годами не подстригавшаяся. Вообще-то она, вероятно, была белой, но стояло лето и давно не было дождей, которые могли бы смыть с нее грязь. Можно было подумать, что лицо его в свое время искалечила ручная граната. Нос, деформированный после перелома, был лишен переносицы, одна ноздря, размером с горошину, смотрела вниз, другая — с яйцо воро-

бья, подымалась кверху. Один глаз, нормальной величины, тусклый и мутный, был так сильно навыкате, что, казалось, сейчас выскочит; он слезился обильно и непрерывно, как у старика, другой — чуть побольше, чем глаз белки, — поблескивал, кося в волосатом рубце под обезображенной бровью. К тому же у него не было одной руки.

И все же он не унывал. Единственной рукой бродяга почесывал бок, и на лице его было написано чувственное удовольствие. Он поковырял в объедках, задумался и вытащил из внутреннего кармана куртки двенадцатиунцевую аптечную склянку. В ней находилась бесцветная жидкость, при виде которой его маленький глаз загорелся и стал бегать быстрее. Бродяга взял банку из-под томата, спустился по тропинке к реке и принес в ней мутноватую воду. В жестянке из-под сгущенного молока он приготовил смесь, состоявшую на две трети из жидкости, находившейся в склянке, и на одну треть — из воды. Бесцветная жидкость была аптечным спиртом, который на жаргоне бродяг называется «алки».

Но бродяга не успел выпить свою смесь: его встревожили чьи-то неторопливые шаги со стороны железнодорожной насыпи. Он осторожно

поставил банку на землю между ног, накрыл ее шляпой и стал напряженно ждать.

Из мрака появился такой же грязный оборванец, как и он. Ему можно было дать лет пятьдесят, а то и шестьдесят. Он был карикатурно толст. Его буквально распирало во все стороны. Весь он состоял из одних выпуклостей. Шишковатый нос величиной и формой напоминал турнепс. У него были набухшие веки, а голубые глаза таращились, словно собирались выскочить. Одежда на нем трещала во многих местах, не выдерживая толщины его тела. Резинки гетр лопнули под напором жира; ноги от самых икр колонной переходили прямо в ступни. Он тоже был однорукий. На плече у бродяги висел потертый узелок, заскорузлый от грязи последнего ночлега. Толстяк приближался с осторожностью, но, увидев, что человек у костра не представляет опасности, подошел к нему.

— Здорово, дед! — приветливо сказал Толстяк, но внезапно осекся и внимательно посмотрел на зияющую ноздрю старого бродяги. — Скажи-ка, Бородач, как ты защищаешь свою ноздрю от ночной росы?

Бородач пробурчал что-то несвязное и плюнул в огонь, давая понять, что этот вопрос не доставил

ему особого удовольствия.

— В самом деле, — хихикнул Толстяк, — ведь так и утонуть можно, если выйдешь в дождь без зонтика!

— Хватит, Толстяк, хватит, — устало пробормотал Бородач, — все равно нового ничего не придумаешь. Даже «быки» угощают меня этим.

— Но выпить, я надеюсь, ты можешь? — Толстяк смягчился и, приглашая Бородача, стал проворно развязывать единственной рукой свой потрепанный заплечный мешок.

Он извлек оттуда двенадцатиунцевую склянку с «алки». Но тут его встревожили чьи-то шаги, послышавшиеся на железнодорожной насыпи. Толстяк поставил склянку на землю между ног и накрыл ее шляпой.

Вновь подошедший кое-чем отличался от них, но был тоже однорук. Отталкивающе мрачный, он вместо приветствия лишь пробурчал что-то невнятное.

Костлявый, тощий, с землистым лицом мертвеца, он напоминал одного из кошмарных стариков, рожденных воображением Гюстава Доре[18], и вызывал чувство неприязни. Его

---

[18] notes: 18
Гюстав Доре 1832 — 1883) — замечательный французский художник.

тонкогубый, беззубый рот походил на шрам, а крупный изогнутый нос смыкался почти вплотную с подбородком и напоминал крючковатый клюв хищной птицы. Его единственная тощая и искривленная рука загибалась наподобие когтя. Серые бусинки-глаза, тусклые и немигающие, были пусты и безжалостны, как гама смерть. В нем чудилось что-то зловещее, может быть, поэтому Бородач и Толстяк инстинктивно подвинулись ближе друг к другу, как бы объединяясь против возможной угрозы, которую они почувствовали в пришельце. Улучив подходящий момент, Бородач украдкой придвинул увесистый камень на случай защиты и прикрыл его рукой. Толстяк сделал то же самое.

Теперь оба они сидели, облизывая пересохшие губы и испытывая неловкость и смущение: страшный пришелец сверлил их своими тусклыми глазами и смотрел то на одного, то на другого, то на приготовленные камни.

— Ха! — усмехаясь, процедил он так зловеще и угрожающе, что Бородач и Толстяк невольно взяли свое первобытное оружие.

— Ха! — повторил он, проворно засунув свой птичий коготь в боковой карман куртки. — Куда вам, дешевым пройдохам, тягаться со мной?

Коготь вынырнул из кармана, зажав шестифунтовый железный кастет.

— Да мы и не собираемся ссориться с тобой, Тощий, — пробормотал Толстяк.

— А как ты смеешь, черт возьми, называть меня Тощим? — прорычал он.

— Я? Поскольку я Толстяк… И раз мне никогда в жизни не приходилось тебя встречать…

— А вон тот, наверное, Бородач? Ну и фонарь же ему зажгли над бровью, а нос-то, прости господи, на морде так и гуляет!

— Полно, полно, — пробормотал примирительно Бородач, — всякая рожа годится, особенно в наши годы. Все говорят мне одно и то же: и что я в зонтике нуждаюсь, чтобы в дождь не утонуть, и все тому подобное. Я ведь наизусть это знаю.

— Я не люблю компании, не привык к ней, — угрюмо пробурчал Тощий, — а потому, если вы собираетесь здесь околачиваться, то будьте поосторожнее.

Он извлек из кармана сигарный окурок, который, вероятно, нашел на улице, и собрался было взять его в рот, но передумал, грозно посмотрел на соседей и развязал свой узел. Он достал из него аптечную склянку с «алки».

— Ладно уж, — пробормотал Тощий, — придется

и вам дать, хоть мне и самому не хватает, чтобы выпить как следует.

Что-то напоминающее довольную улыбку пробежало по его сухому лицу, когда те двое с достоинством приподняли с земли свои шляпы, демонстрируя собственное богатство.

— Вот, разбавь, — сказал Бородач, протягивая ему банку из-под томата с мутной речной водой. — Правда, выше по течению находится сток, — прибавил он виновато, — но они говорят…

— Чепуха, — огрызнулся Тощий, приготовляя смесь, — мне в свое время еще и не такое приходилось пить.

Однако, когда напиток был готов и каждый единственной рукой поднял свою жестянку, три существа, бывшие когда-то людьми, вдруг замерли в нерешительности, и это внезапное смущение явственно показало, что некогда у них были иные привычки.

Бородач первым дерзнул нарушить молчание.

— В былые времена я пил и потоньше напитки, — похвастался он.

— Из оловянной кружки? — усмехнулся Тощий.

— Из серебряного бокала, — поправил Бородач.

Тощий испытующе посмотрел на Толстяка, тот

кивнул головой.

— Ты сидел ниже солонки[19], — сказал Тощий.

— Нет, выше, — ответил Толстяк. — Я родился аристократом и никогда не путешествовал вторым классом. Или уж первым, или на палубе: не люблю середины.

— А ты? — спросил Бородач Тощего.

— Я разбивал бокал в честь королевы, да хранит господь ее величество,

— произнес Тощий с пафосом, без обычного ворчания.

— В буфетной? — съехидничал Толстяк.

Тощий сжал свой кастет, Бородач и Толстяк взялись за камни.

— Ну, не стоит горячиться, — сказал Толстяк, кладя свое оружие. — Мы не какая-нибудь шантрапа. Мы джентльмены. Так выпьем, как подобает джентльменам.

— По-настоящему, — одобрил Бородач.

— До потери сознания, — подхватил Тощий.

— Да, немало воды утекло с тех пор, как мы были джентльменами, но забудем лучше длин-

---

[19] notes: 19

Сидел ниже солонки. — В средневековой Англии на рыцарских пирах посередине стола ставилась солонка; хозяин замка и наиболее почетные гости сидели выше солонки, остальные ниже. Здесь сказано аллегорически.

ную дорогу, которая осталась позади, и выпьем на сон грядущий, как истинные джентльмены, вспомним юность!

— Мой отец так и грохал, то есть… пил, — поправился Толстяк; старые воспоминания вытеснили из его речи налет жаргона.

Двое остальных кивком головы подтвердили, что их отцы также были достойными людьми, и поднесли к губам свои жестянки с «алки».

Допив содержимое этих склянок, они отыскали в своем тряпье новые. Бродяги заметно обмякли и разгорячились, но не настолько, чтобы разоткровенничаться и назвать свои настоящие имена. Их язык стал чище, жаргонные словечки перестали слетать с их губ.

— Уж таков мой организм, — пояснил Бородач. — Не многие люди могли бы перенести то, что выдержал я, остаться в живых и спокойно рассказывать об этом. Я никогда не берег себя. Если бы моралисты и физиологи говорили правду, я давно лежал бы в земле. Да и вы оба такие же. Достаточно одного взгляда, чтобы в этом убедиться! В наши преклонные годы мы пьем так, что не уступаем молодым, спим на земле, не боимся ни мороза, ни бури, а между тем не страдаем ревматизмом или воспалением легких, которые

и молодых укладывают на больничную койку.

Он стал готовить вторую порцию смеси, а Толстяк, кивнув головой, продолжал:

— И в веселье мы знали толк, и «нежные слова шептали», — вспомнил он строки Киплинга[20], — и пожили в свое удовольствие, и свет посмотрели…

— В свое время, — закончил Тощий.

— Это правда, сущая правда, — подхватил Толстяк, — и принцессы дарили нам свою любовь, по крайней мере мне…

— Поделись-ка с нами этим, — предложил Бородач. — Ночь еще только начинается, почему бы нам не вспомнить королевские дворцы.

Толстяк не стал возражать, он откашлялся, думая, как лучше начать.

— Вы должны узнать, что я родом из приличной семьи… Персивал Делани… да, да. Персивала Делани в свое время нельзя было не знать в Оксфорде. Правда, он славился не успехами в науках, что греха таить, но любой гуляка, проведший там молодые годы, помнит его, если, конечно, жив сейчас.

— Мои предки явились вместе с Вильгельмом

---

[20] notes: 20

Киплинг, Редьярд (1865 — 1936) — английский поэт и писатель, которого высоко ценил Дж. Лондон.

Завоевателем[21], — перебил его Бородач и протянул Толстяку руку в знак симпатии.

— А как тебя зовут? — спросил Толстяк. — Я что-то не расслышал.

— Делараузз, Чонси Делараузз, скажем приблизительно так…

Они обменялись рукопожатиями и посмотрели на Тощего.

— Брюс Кэдогэн Кэвендиш, — угрюмо пробормотал Тощий. — Ну, Персивал, повествуй о своей принцессе и королевских дворцах.

— Да, в юности я был сущим дьяволом, — сказал Персивал. — Я растранжирил состояние, продал дома, объездил весь свет. У меня была хорошая фигура, пока я не растолстел, — поло, участие в различных состязаниях, бокс, борьба, плавание… В Австралии я получал призы за охоту на ланей, ставил рекорды по плаванию на короткие дистанции. Женщины заглядывались на меня, когда я проходил мимо. Женщины! Дай бог им счастья!

И Толстяк, он же Персивал Делани, этот шарж на мужчину, прикоснулся своей мясистой ладонью

---

[21] notes: 21

Вильгельм Завоеватель — герцог Нормандский, который в 1066 году нанес решительное поражение королю англосаксов Гарольду. После этого Вильгельм завершил завоевание Англии и положил начало англо-нормандскому государству.

к толстым губам и послал звездам воздушный поцелуй.

— А принцесса… — продолжал он, послав звездам еще один поцелуй, — принцесса была таким же идеалом женщины, как я — мужчины, — пылкая, смелая и безрассудная. Бог мой! В воде она казалась наядой, богиней моря! А если говорить о ее роде, то в сравнении с ней я был, конечно, «парвеню». Ее королевское родословное дерево уходило своими корнями в туманную древность.

Она не принадлежала к белой расе. Она вся была смугло-золотая, с золотисто-карими глазами, ее иссиня-черные волосы падали до колен, прямые, они на концах слегка вились, — это придает такое очарование волосам женщины! О, в ее роду никто не имел курчавых волос! Она была дочерью Полинезии — горячая, золотистая, женственная королева Полинезии!

Он замолк и в память о ней поцеловал кончики пальцев, а Тощий, он же Брюс Кэдогэн Кэвендиш, воспользовавшись паузой, не преминул заметить:

— Хоть ты и не преуспел в науках, но все же приобрел в Оксфорде недурное красноречие!

— Я пополнил свой лексикон в Южных морях, там я узнал язык любви, — подхватил Персивал.

— Это случилось на острове Талофа, — продолжал он, — что означает остров Любви, это был ее остров. Ее отец, старый король, разбитый параличом, не подымался с циновок и пил чистый джин; день и ночь, день и ночь он пил с горя. Она, моя принцесса, осталась единственным отпрыском, ее братья погибли во время шторма, возвращаясь на своем сдвоенном каноэ[22] из Самоа. В Полинезии принцессы равноправны с наследниками-мужчинами. Это сущая правда, у них в генеалогическом дереве всегда преобладала женская линия.

При этих словах Чонси Делараузи Брюс Кэдогэн Кэвендиш утвердительно закивали головами.

— А вы, — сказал Персивал, — я вижу, знаете, что такое Южные моря, а поэтому, мне не нужно много говорить для того, чтобы вы оценили всю прелесть моей принцессы, принцессы Туи-Нуи с острова Любви.

Он еще раз поцеловал в знак памяти о ней кончики пальцев, как следует глотнул из своей жестянки спирта и вновь послал звездам воздушный поцелуй.

---

[22] notes: 22

Каноэ — лодка, сделанная из целого дерева. Сдвоенные каноэ (катамараны) — двухкорпусные туземные лодки, распространенные среди жителей юго-западной части Тихого океана.

— Но она была застенчива и, кружась около меня, никогда не подходила слишком близко. Только я, бывало, соберусь обнять ее, а принцессы уже и след простыл. Она подарила мне множество восхитительных и дорогих сердцу мук любви, которых мне ни разу не довелось испытать ни до, ни после, — томительное, вечно манящее желание, отвергнутое, но не угасшее по воле богини любви.

— Каково красноречие, — пробурчал Брюс Кэдогэн Кэвендиш, обращаясь к Чонси Делараузу.

Но Персивал не обратил на эти слова внимания и, послав звездам новый воздушный поцелуй, продолжал:

— О, сколько сладких страданий она мне доставила! Она была воплощением пленительного, близкого, недостижимого блаженства. С ней я узнал упоительный ад любви, который не снился и Данте[23]! О, эти опьяняющие тропические ночи под сенью пальм, томный шепот отдаленного прибоя, в котором чудится смутная тайна! Она, моя принцесса, казалось, готова была раствориться в моем желании, но вдруг я слышал ее

[23] notes: 23

Данте, Алигьери (1265 — 1321) — великий итальянский поэт. Имеется в виду его юношеская поэма «Новая жизнь», в которой Данте воспел свою любовь к Беатриче Портинари.

смех, словно ветка цветущего дерева ударяла по серебряной струне, и моя страсть переходила в безумие.

Мое состязание с чемпионами острова Талофа явилось первым событием, заинтересовавшим ее. Своим отличным плаванием я вызвал симпатию принцессы. Это было нечто более определенное, чем кокетливая улыбка и застенчивое притворство.

В тот день мы занимались ловлей осьминогов в коралловых рифах, — не вам объяснять, как это делается. Ныряешь со скалы на пять — десять саженей[24], словом, на достаточную глубину, и палкой заталкиваешь осьминога в его нору, которую он обычно устраивает в расщелинах рифа. Тут вся трудность состоит в том, чтобы заостренной с обоих концов палкой раздразнить осьминога и заставить его обхватить щупальцами палку и руку. И тогда всплываешь с ним на поверхность и бьешь осьминога по голове, которая находится посередине его тела, а потом бросаешь его в каноэ. И подумать только, что я проделывал!

---

[24] notes: 24

Сажень (морская или английская) равна 6 футам, или 1,83 метра. Сажень семифутовая (сухопутная) равна соответственно 7 футам, или 2,14 метра.

Персивал Делани замолк на минуту, его жирное лицо выражало благоговение, в то время как он вспоминал славные дни своей молодости.

— Как-то раз я выудил осьминога со щупальцами в восемь футов длиной, а нашел я его на глубине пятидесяти футов. Я мог оставаться под водой четыре минуты. Я спускался, привязав для тяжести коралловую глыбу, на глубину в сто десять футов и доставал оттуда зацепившийся якорь. Я мог нырять ногами вперед, мог прыгать в воду с высоты восьмидесяти футов.

— Хватит, перестань! — сердито проговорил Чонси Делараузс. — Рассказывай нам о принцессе. Вот что волнует старую кровь. Я так ясно представляю ее. Она и впрямь была так хороша?

Персивал снова поцеловал кончики пальцев, не находя нужных слов.

— Ведь я сказал вам, что она была истинной дочерью моря, наядой. Как-то раз шхуна принцессы разбилась во время шторма, и она плыла в течение тридцати шести часов, пока ее не подобрали. Я своими глазами видел, как она ныряла на глубину в девяносто футов и возвращалась, держа в каждой руке по жемчужине. Это была необыкновенная женщина! Восхитительная, великолепная! О, я знаю, что если бы Фидий или

Праксителя[25] запечатлели дивную красоту ее тела, то получился бы великолепный шедевр.

В тот же день после ловли осьминогов в рифах я чуть было не заболел от любви к ней. Я впал в безумие. Мы прыгали с большого каноэ и плыли бок о бок в прохладных ослепительных волнах, а она смотрела на меня, и ее взгляд причинял мне танталовы муки. И наконец там, в океане, я почувствовал, что уже не властен над собой, и обнял ее. Она ускользнула из моих рук, как сирена, и я видел, как она смеется, удаляясь от меня.

Я нырнул вслед за принцессой, но, достигнув дна, она стала ворошить палкой коралловый песок и мутить воду. Это известный трюк, когда надо уйти от акулы. Она пустила в ход этот прием против меня и подняла такой водоворот, что я потерял ее из виду. Принцесса обогнала меня, и, когда я всплыл на поверхность, она, смеясь, забиралась в каноэ.

Но все-таки это не был отказ. Принцесса есть принцесса. Она взяла меня за руку и попросила выслушать ее. «Давай состязаться, кто поймает больше осьминогов и кто достанет самого круп-

[25] notes: 25

Фидий (V в. до н. э.) и Праксителъ (IV в. до н. э.) — великие скульпторы Древней Греции, которым приписываются многие произведения античного искусства.

ного и самого маленького», — сказала принцесса. В качестве приза она обещала мне свой поцелуй. И я, разумеется, тут же очертя голову бросился в волны.

Но я не добыл ни одного осьминога и с тех пор никогда уже больше не занимался их ловлей. Это случилось, когда мы, по всей вероятности, опустились на глубину пяти саженей и, приблизившись к рифам, притаились в своей засаде, карауля добычу. Я как раз отыскал подходящую расщелину и убедился в том, что она пуста, когда почувствовал близость чего-то враждебного. Я повернулся. Рядом со мной находилась гигантская акула длиной футов в двенадцать. Ее глаза горели, как у кошки, и зловеще мерцали, словно падающие звезды. Я понял, что это тигровая акула.

Не более как в десяти футах справа от меня принцесса нащупывала своей палкой коралловую ветвь; акула стремительно кинулась к ней. Все во мне подчинилось только одному — отвлечь внимание хищника от принцессы. Ведь я, как всякий безумно влюбленный, с радостью готов был сражаться и умереть, а еще лучше — страдать и жить за свою возлюбленную. Вспомните, какой необыкновенной женщиной она была и

как я боготворил ее.

Отчетливо сознавая весь риск этого шага, я дотронулся до бока акулы острым концом своей палки, — так иной раз слегка касаются рукой проходящего мимо знакомого, чтобы обратить на себя внимание. Страшный хищник повернулся ко мне. Вы знаете, что такое Южные моря, и вам, конечно, известно, что тигровая акула так же, как и гризли[26] с Аляски, никогда не отступает. В глубинах океана начался бой, если можно назвать сражением такую неравную борьбу.

Принцесса, ни о чем не догадываясь, схватила осьминога и поднялась на поверхность. Акула бросилась на меня. Я ударил ее обеими руками по носу над зубастым провалом пасти, а она прижала меня к острому краю кораллового рифа. Шрамы на моем теле остались и по сей день. Как только я пытался встать, она бросалась на меня. Я не мог так долго оставаться под водой без воздуха. Акула бросалась на меня, и я бил ее кулаками по носу. Скорее всего, я вышел бы из борьбы невредимым, если бы моя правая рука не соскользнула прямо в открытую пасть акулы. Она сомкнула челюсти у самого моего локтя. Вы знаете, что

[26] notes: 26

Гризли — исполинский серый медведь, обитающий в некоторых районах Северной Америки.

такое хватка акулы. Раз сомкнувшись, ее зубы не разжимаются, пока не кончат свое дело. Зубы акулы не могут прокусить большой кости, но она содрала все мясо с моей руки от локтя до самого запястья, и здесь ее зубы сомкнулись. Моя правая рука разожгла ее аппетит.

Пока она ела правую руку, я глубоко воткнул большой палец левой руки в глазное отверстие акулы и выдавил ей глаз. Но это не остановило ее. Человеческое мясо возбудило аппетит акулы. Она захватила в свою пасть уже и мое окровавленное запястье. Раз шесть я пытался отразить ее нападение при помощи неповрежденной руки. Затем акула схватила мою бедную, искалеченную руку и ободрала мясо от плеча до локтя, где ее зубы сомкнулись вторично. Но в то же время я левой рукой выдавил ее второй глаз.

Персивал Делани содрогнулся и продолжал:

— С каноэ видели все случившееся и громко восторгались мной. На острове и сейчас поют обо мне песни и рассказывают легенды. А принцесса…

— Пауза была короткой, но многозначительной. — Принцесса вышла за меня замуж… О, дни радости и невзгод! О, карусель времени и изменчивости счастья, превратности судьбы,

деревянные башмаки, карабкающиеся в гору, и лакированные каблуки, спускающиеся вниз!.. Французский линкор и покоренное королевство Океания, где сейчас командует грубый солдафон из колониальной жандармерии...

Толстяк кончил свой рассказ и склонился над жестянкой из-под сгущенного молока; едкая жидкость, которую он жадно проглотил, забулькала у него в горле.

После некоторого молчания начал свое повествование Чонси Делараузе, он же Бородач:

— Не все ли равно, где я родился, раз уж я сижу здесь, у этого костра, с кем попало? Скажу только одно: в свое время я тоже был в некотором роде известен. Добавлю лишь, что любовь к лошадям и потворство родителей моим прихотям заставили меня исколесить свет. И я вправе спросить: «Белеют ли еще берега Дувра?»

— Ха, ха! — усмехнулся Брюс Кэдогэн Кэвендиш. — Ты еще, может быть, спросишь, как здоровье тюремного начальника?

— Я вытворял все, что вздумается, без всякого ущерба для своего железного организма, — торопливо добавил Бородач. — Мне уже семьдесят, а сколько их, таких же безрассудных и смелых, но более молодых друзей, я похоронил на этой

длинной дороге; они не выдержали бродячей жизни. Я испытал в юности много невзгод, я испытываю их и сейчас, когда стал стариком. Но была пора, правда, очень мимолетная, когда я знал лучшую жизнь.

И сейчас я тоже шлю воздушный поцелуй принцессе моего сердца. Она действительно была полинезийской принцессой и жила в тысяче миль на юго-восток от острова Любви Делани.

Остров Веселья — так называют этот остров туземцы Южных морей. Но сами жители именуют его островом Тихого смеха. На карте вы встретите старое его наименование, данное мореплавателями в былые времена — Манатомана. Бывалые моряки, избороздившие океан, называли его «Раем без Адама», а миссионеры того времени — «Божьим Свидетелем», так как туземцы легко переходили в лоно христианской церкви. Что касается меня, то этот остров всегда был и останется моим раем.

Это был воистину мой рай, потому что там жила моя принцесса. На острове правил Джон Азибели Танги. Король был коренным туземцем, происходившим от самой древней и аристократической королевской ветви, которая начиналась от Ману, легендарного предка этого народа. Короля име-

новали Джоном Вероотступником. Он прожил долгую жизнь и много раз менял религию. Сначала он стал католиком и, нарушив табу, закопал в землю языческих идолов, прогнал жрецов, предал смерти наиболее непокорных из них и повелел своему народу посещать церковь.

Потом, под давлением купцов-протестантов, потакавших его любви к шампанскому, он выселил католических священников на Новую Зеландию. Большинство его подданных всегда следовало за королем, не исповедуя никакой религии, что вело к распущенности нравов, и миссионеры Южных морей стали отзываться в своих проповедях об острове короля Джона, как о новом Вавилоне.

Но шампанское купцов оказало пагубное действие на желудок старого короля, и он через некоторое время переметнулся к методистам, снова повелел своим подданным ходить в церковь, очистил побережье от толпы одетых с иголочки торговцев, не позволял купцам курить по воскресеньям трубку на воздухе и как-то оштрафовал одного из крупнейших торговцев на сто соверенов за то, что у него на шхуне собирались в субботу утром мыть палубу.

Это был период пуританских законов, ставших

со временем в тягость и самому королю Джону.

Однажды он покончил с методистами, выслал несколько сот своих приближенных в Самоа за приверженность к методизму и, наконец, изобрел свою собственную религию, провозгласив себя богом, требующим поклонения.

Он нашел себе помощника в лице одного ренегата с Фиджи. Это тянулось пять лет. Но затем, может быть, потому, что королю надоело изображать божество, или оттого, что его фаворит бесследно исчез, прикарманив шесть тысяч фунтов из королевской казны, но в конце концов он вторично перешел к методизму, и все его подданные последовали примеру короля. Миссионера-методиста он назначил на пост премьер-министра, что явилось предупреждением для торговой братии. Это восстановило торговцев против короля Джона, они занесли остров в черный список и стали бойкотировать его, что свело доходы королевства к нулю. Народ обнищал, и король не мог занять ни у кого из своих приближенных даже шиллинга.

К этому времени король начал стареть. Теперь он все чаще философствовал, и в конце концов в нем заговорил голос предков. Король покончил с методизмом, разрешил изгнанникам вернуться

с Самоа, вновь призвал купцов, отпустил вожжи в отношении религии, провозгласил всеобщий мир, братство, любовь и высокий тариф, сам же вернулся к вере предков, выкопал из земли идолов, приблизил к себе жрецов и стал соблюдать табу. Все это было на руку купцам — воцарилось благоденствие. Разумеется, большинство подданных последовало примеру короля и возвратилось к язычеству. Но некоторые все же исповедовали католичество, протестантство или методизм, — они собирались в своих убогих церковках. Король Джон смотрел на все это сквозь пальцы, так же как и на процветание купцов на побережье. Он со всем мирился, только бы получать налоги. Король не сказал ни слова даже тогда, когда его жене, королеве Мамаре, вздумалось стать баптисткой и она призвала к себе тщедушного, хромого баптистского проповедника. Но король настоял на том, чтобы странствующие миссионеры жили не за счет казны, а существовали на собственные доходы.

Ну вот, теперь все нити повествования сплетаются в прекрасный, утонченный узор, именуемый моей принцессой.

Бородач умолк, бережно поставил на землю до половины наполненную жестянку из-под сгу-

щенного молока, которую машинально вертел в руках во время рассказа, и звучно поцеловал кончики пальцев своей единственной руки.

— Ее матерью была королева Мамара. Принцесса была изумительной женщиной, не столько полинезийской Дианой[27], сколько каким-то небесным существом, вершиной целомудрия. Принцесса напоминала застенчивую фиалку, хрупкую, стройную лилию. Ее глаза излучали тонкий, прозрачный свет, словно нарциссы на небесных полях. Свежая, как высокогорная роза, ласковая, как голубка, она была цветок, утренняя влага на траве, пламень. В ней сливались воедино добро и красота. Религиозная, так же как ее мать, она следовала учению баптистского проповедника Эбенезера Нэйсмита. Но не думайте, что она была бесплотным ангелом. О нет! Она была вершиной женственности, женщиной до мельчайшей частицы своего трепетного существа.

А я? Я был самым отпетым на побережье, самым отчаянным среди всей этой бесшабашной торговой братии.

---

[27] notes: 27

Диана — в римской мифологии богиня, покровительница охоты, воплощение девственной чистоты; культ Дианы связан также с культом луны. Иногда изображалась в виде девушки с луком и стрелами, окруженной гончими.

Считалось, что никто лучше меня не играет в покер. Я единственный из всех — белых, мулатов и черных — не боялся переплыть в темноте пролив Куни-Куни. И однажды я перебрался через него глубокой ночью, в бурю. У меня была самая дурная слава на берегу, где вообще не знали, что такое хорошая репутация. Буйный, бесстрашный и грозный, я не знал удержу ни в драке, ни в веселом разгуле. Капитаны торговых шхун имели обыкновение приводить ко мне разных типов с луженными глотками из самых мерзких дыр Тихого океана. Эта шайка пыталась напоить меня так, чтобы я свалился под стол. Я помню одного сожженного спиртом шотландца с Новых Гебридских островов. Ну и пьянка же была! Она доконала беднягу. Мы запаковали его в бочку из-под рома и, погрузив на шхуну, отправили домой. Вот как мы забавлялись на берегу Манатоманы!

И из всех невероятных вещей что, вы думаете, было самым ошеломляющим? Однажды я посмотрел на принцессу, увидел, как она хороша, и влюбился в нее. Ко мне пришла настоящая любовь. Я стал беспокойным, как заяц в марте, а после совсем обезумел. Подумать только, что может сделать маленькая женщина с таким здоровенным бродягой. Клянусь чертом, это правда!

Я стал ходить в церковь. Я очистил свою душу перед богом и не подымал рук — у меня их было тогда две — на береговых гуляк, которые смеялись над моим последним «фокусом» и недоумевали, какого черта я все это затеял.

Но, верьте мне, я действительно проникся новой верой, страстно и искренно отдавшись религиозному чувству; с той поры я отношусь терпимо к любому вероисповеданию. Я рассчитал своего самого лучшего капитана за безнравственность, а также своего повара, лучшего из всех поваров, когда-либо кипятивших воду на Манатомане. По той же причине я уволил моего старшего клерка. И в первый раз за всю историю колониальной торговли мои шхуны вместе с другим грузом везли на Запад библии. За чертой города, среди манговых деревьев, я выстроил уединенный бунгало, расположившийся по соседству с домиком Эбенезера Нэйсмита. Я сделал миссионера своим близким другом, открыв, что его душа — сосуд, наполненный добротой и мудростью, подобно тому, как пчелиные соты наполнены медом. И вместе с тем он был мужчиной, истинным мужчиной и умер много лет спустя, как подобает мужчине, и я с удовольствием рассказал бы вам об этом, если бы история не была столь длинной.

Но то, что я совершал благочестивые поступки, в частности построил новую церковь — нашу церковь, церковь королевы-матери, — было скорее заслугой принцессы, а не миссионера.

«Наша бедная церковь, — сказала мне принцесса однажды вечером, после молитвенного собрания (прошло только две недели со времени моего обращения), — такая маленькая, что число прихожан не может увеличиться. И крыша течет. А король Джон, мой жестокосердный отец, не желает пожертвовать нам ни одного пенни. А средств в казне не хватает. Манатомана не бедная страна. Здесь наживают и тратят много денег. Мне это известно. Я слышала о разгуле на берегу. Всего месяц назад вы в одну ночь оставили на карточном столе больше, чем стоит годовое содержание нашей бедной церкви».

Я не возражал ей, но заметил, что все это было раньше, до того, как у меня открылись глаза. Я сказал ей, что с тех пор ни разу не пил вина и не брал в руки карт, сказал, что она сейчас же может позвать плотников из числа членов нашей общины, чтобы они поправили крышу. Но принцесса — эта милая святая — мечтала о возрождении веры в новой просторной церкви, где Эбенезер Нэйсмит мог бы читать проповеди.

«Вы богаты, — сказала она мне, — вы владеете многими кораблями и торгуете с далекими островами, мне сказали, что вы заключили большой контракт на поставку рабочих для немецких плантаций в Уполу. Говорят, что вы здесь самый состоятельный купец после Швейцера. Я бы так хотела, чтобы часть ваших доходов пошла во славу божью. Это было бы благородно, и я гордилась бы, что знакома с вами, с человеком, поступившим так».

Я обещал построить новую церковь, где преподобный Эбенезер Нэйсмит прочтет свою проповедь возрождения, которую смогут услышать все желающие.

«Такую же большую, как католическая?» — спросила принцесса.

Это был огромный разрушенный собор, построенный в то время, когда весь народ исповедовал католичество. Принцесса хотела от меня очень многого, но я, пламенея от любви, сказал, что воздвигнутая мной церковь будет больше собора.

«Но она будет стоить много денег, — мне потребуется время, чтобы скопить нужную сумму».

«Вы так богаты, — возразила принцесса, — говорят, что у вас больше денег, чем у моего отца-короля».

«Да, но это преимущественно кредит, — сказал я. — Вы не знаете, что это такое. Чтобы рассчитывать на кредит, нужно иметь деньги. С теми деньгами и кредитом, которыми я располагаю, я буду работать, чтобы умножить и то и другое, и тогда я построю церковь».

Работать! Я дивился самому себе! Поразительно, какая уйма времени освобождается, когда человек бросает попойки, азартные игры и тому подобные развлечения. Я стал дорожить каждой свободной минутой. Я научился их продлевать и ни одной секунды из этого освободившегося времени не растратил попусту. Я мог работать в десять раз больше, чем раньше. Мои доходы стали расти, мои шхуны курсировали быстрее, чем раньше, я следил за тем, чтобы надсмотрщики выполняли свои обязанности на совесть; в результате всего этого прибыль увеличилась.

А что касается нравственности, то я сделался сверхнравственным, клянусь чертом! Моя совесть стала такой щепетильной и заняла так много места, что лопатки ныли под ее тяжестью. Я даже занялся своими старыми счетами и вернул Швейцеру пятьдесят фунтов, которые недоплатил ему в Фиджи три года назад. Да еще заплатил проценты!

Да, я работал! Я стал выращивать сахарный тростник, — это были первые сахарные плантации на острове, созданные с коммерческой целью. Я вывез с Малаиты (один из Соломоновых островов) курчавых дикарей, и скоро на моей плантации было уже более тысячи чернокожих. Потом я послал шхуну на Гавайи за оборудованием для сахарного завода и за немцем-специалистом, знакомым с сахароварением. Приехав, он потребовал месячное жалованье в триста долларов. Я собственноручно построил завод с помощью нескольких механиков, которых привез из Квинсленда.

Как водится, у меня появился соперник. Его звали Мотомо. Он происходил из самого знатного рода после королевского. Это был красивый, рослый мужчина, чистокровный туземец, необузданный в выражении своих антипатий. Понятно, что он стал зло поглядывать на меня, когда я начал околачиваться около дворца. Он заинтересовался моим прошлым и стал распускать обо мне самые мерзкие слухи. К сожалению, в них было очень много правды. Мотомо побывал даже в Апии, чтобы там выкопать еще что-нибудь скверное обо мне, словно ему не хватало пищи для сплетен здесь, на побережье. Он издевался

над тем, что я ударился в религию, над тем, что я посещаю молитвенные собрания, а главное — над моими сахарными плантациями. Он вызывал меня на драку, но я держался от него подальше. Посыпались угрозы, и я вовремя узнал, как он жаждет, чтобы мне проломили череп. Он тоже хотел получить принцессу, но я желал этого более пылко.

Принцесса часто играла на фортепьяно. Я тоже играл в свое время. Но, услыхав в первый раз ее игру, решил никогда не говорить принцессе об этом. А она-то считала, что играет прекрасно, милая, нежная девочка! Знаете это ученическое трынканье — раз-два-три, там-там-там! Но я вам скажу сейчас нечто очень смешное: ее игра мне казалась восхитительной, словно райские ворота открывались, когда она играла. Я и сейчас вижу, как я, измотанный, усталый, как собака, после забот трудового дня, лежу, растянувшись на циновках на веранде дворца, и, пребывая в каком-то идиотском блаженстве, смотрю на нее, сидящую за роялем. Ее заблуждение — высокое мнение о собственной игре — было, пожалуй, единственным недостатком совершенного создания. Но я любил ее за это еще больше. Маленькая слабость делала ее как-то человечнее, ближе. И

когда принцесса бренчала свое «раз-два-три, там-там-там», я был на седьмом небе от счастья. Мою усталость как рукой снимало. Я любил ее, и мое чувство к ней было чисто, как пламя, искренно, как моя любовь к господу богу. И представляете, моему помутненному любовью сознанию казалось, что всевышний, должно быть, во многом похож на нее…

Да, это так, смейтесь, Брюс Кэдогэн Кэвендиш, смейтесь, сколько душе угодно, но моя любовь была именно такой, как я говорю, вот и все. Это самое возвышенное и чистое, что выпадает на долю человека. Я знаю, о чем говорю, ибо я испытал это.

Бородач сверкнул своим острым беличьим глазом из-под разбитой брови — глазом горячим, как раскаленный уголек костра на их привале в зарослях. Затем он прервал повествование, чтобы допить содержимое своей жестянки и налить новую порцию спирта.

— Сахарный тростник, — продолжал Бородач, вытирая густую спутанную бороду тыльной стороной ладони, — созревает в тех краях за шестнадцать месяцев, и мой завод был достроен как раз к тому времени, когда пришла пора этот тростник обрабатывать. Он созревал не весь

сразу, но я посадил его с таким расчетом, чтобы время от времени подсаживать новый и чтобы завод мог работать беспрерывно в течение девяти месяцев.

Первые дни у меня была масса забот. То и дело что-нибудь не ладилось на заводе. На четвертый день Фергюссон, мой инженер, остановил его на несколько часов, чтобы исправить неполадки. Меня беспокоил питательный привод. После того, как негры смазали вальцы, я отослал их на плантацию резать тростник и был там совсем один, когда Фергюссон запустил машину, и я выяснил, что случилось с питательными вальцами. И вот как раз тогда ко мне подошел Мотомо.

Он стоял одетый по моде, что называется, с иголочки в норфолькском пиджаке и крагах из свиной кожи, и, ухмыляясь, рассматривал меня, с ног до головы покрытого грязью и жиром, подобно чернорабочему. Наблюдая работу вальцов, я понял, в чем заключалась неполадка: было нарушено равновесие — одна сторона забирала тростник правильно, другая была немного приподнята. Я вложил туда руку. Острые зубцы колес на вальцах не касались моих пальцев. Но вдруг как будто десять тысяч дьяволов схватили мои пальцы, втянули их, сдавили и сделали из

них кашу. Меня затягивало, как тростниковый стебель, меня ничто не могло спасти, это оказалось бы не под силу сделать даже десяти тысячам лошадей. Рука, плечо, голова, грудь — весь я, с головы до ног, должен был подвергнуться обработке машиной.

Боль стала такой адской, что я уже не чувствовал ее. Словно посторонний наблюдатель, смотрел я, как машина втягивала пальцы, затем кисть, запястье, предплечье плавно и неудержимо. О инженер, попавший в собственную ловушку! О плантатор, измолотый собственной молотилкой!

Мотомо невольно бросился ко мне, ехидная улыбка на его лице сменилась выражением озабоченности. Потом до него дошла вся прелесть ситуации, он хихикнул и осклабился. Нет, мне нечего было рассчитывать на его помощь. Разве он не жаждал проломить мне череп? Да и что он мог сделать? Ведь он ничего не смыслил в машинах.

Я, надрываясь, заорал Фергюссону, чтобы он выключил мотор, но мой голос потонул в грохоте колес. Машина уже втянула мою руку до локтя и продолжала тащить меня дальше. Да, было здорово больно, особенно, когда рвались и

выдергивались с корнем нервы, но помню, меня удивляло, что боль все же не так нестерпима.

Мотомо сделал движение, которое привлекло мое внимание. При этом он громко и сердито сказал, словно злясь на себя: «Ну и дурак же я!» Он схватил нож, которым срезают тростник, — знаете, такой большой и тяжелый, вроде мачете. Я заранее говорил Мотомо спасибо за то, что он сейчас прекратит мои страдания. Какой смысл было ждать, когда машина медленно втянет меня и сделает из моей головы лепешку, — моя рука от локтя до плеча уже превратилась в кровавое месиво, а машина все продолжала тащить меня. Поэтому я с чувством благодарности склонил голову для удара.

«Убери голову, идиот!» — рявкнул Мотомо.

Я понял и послушался. Я был крупным детиной, и поэтому ему пришлось сделать два удара ножом, прежде чем он смог отсечь мне руку. Он отсек ее чуть пониже плеча, оттащил меня в сторону и опустил на тростник.

Да, сахар принес огромную прибыль! Я выстроил принцессе церковь, предмет ее святых помыслов, и она… вышла за меня замуж.

Он отпил из жестянки и сказал в заключение:

— Да! Такова уж жизнь, вот чем все кончается;

мы становимся твердыми, внутренности наши настолько луженными, что с ними ничего не может сделать даже спирт и только он один приносит радость. Но я все же пожил и сейчас шлю воздушный поцелуй памяти моей принцессы. Она давно уже спит вечным сном в большом мавзолее короля Джона, а напротив, по ту сторону долины Маноны, стоит дом губернатора с развевающимся на крыше чужеземным британским флагом…

Толстяк сочувственно предложил тост за здоровье Бородача и выпил из своей маленькой жестянки. Брюс Кэдогэн Кэвендиш с непримиримой горечью смотрел на огонь. Он предпочитал пить в одиночку. Толстяк увидел, как что-то вроде усмешки пробежало по его жестоким тонким губам. Удостоверившись, что камень недалеко, Толстяк спросил вызывающе:

— Ну, теперь очередь за тобой, Брюс Кэдогэн Кэвендиш?

Тот поднял свои бесцветные глаза и впился ими в Толстяка так, что он беспокойно поежился.

— У меня была нелегкая жизнь, — проскрипел Тощий, — что я знаю о любовных похождениях?

— Я не поверю, чтобы их не было у мужчины с такой внешностью и фигурой, — польстил ему

Толстяк.

— Ну и что? — огрызнулся Тощий. — Хвастаться своими победами не занятие для джентльмена.

— Ну, ладно, не упрямься, расскажи, — настаивал Толстяк, — до утра еще далеко, и выпить есть что. Мы с Делараузом уже выложили все. Не часто трое настоящих людей могут встретиться и поговорить по душам. Ну хотя бы одно любовное приключение, о котором не стыдно рассказать, у тебя, конечно, было?

Брюс Кэдогэн Кэвендиш достал свой кастет и, казалось, раздумывал, не хватить ли ему Толстяка по черепу, потом он вздохнул и сунул кастет обратно.

— Ну, если вам так хочется, я расскажу, — с явной неохотой согласился он. — Как и у вас, у меня было прекрасное здоровье. И даже такой, каким я стал сейчас, — раз уж вы говорите о луженых внутренностях, — я мог бы шутя перепить вас в дни вашей молодости. Начало моей жизни, так же как и у вас, отличалось от ее конца. То, что я родился джентльменом, разумеется, не подлежит сомнению, хотя, может быть, кто-нибудь из вас сомневается в этом?..

Он засунул руку в карман и сжал свой кастет. Никто не выразил недоверия.

— Это произошло в тысяче миль к востоку от Матоманы, на острове Тагалаг, — продолжал он отрывисто, и в его тоне почувствовалось угрюмое разочарование, словно он был недоволен, что никто не захотел с ним спорить.

— Но сначала я, пожалуй, объясню вам, как я очутился на этом острове. По причинам, которые я не считаю нужным излагать, постепенно спускаясь вниз по дорогам, рассказывать о которых я не буду, я, в самом расцвете своей распутной молодости, прожженный настолько, что рядом со мной недоучившиеся юнцы из Оксфорда и великосветские шалопаи показались бы младенцами, оказался владельцем некоей шхуны, снискавшей такую славу, что не стоит называть ее имени. Я набирал негров-рабочих на юго-западе Тихого океана и в Коралловом море и отвозил их на плантации Гавайских островов и в рудники Чили, где добывают селитру.

— Значит, это ты вывез оттуда все население? — не сдержавшись, выпалил Толстяк.

Единственная рука Брюса Кэдогэна Кэвендиша мелькнула в воздухе, скользнула в карман и вынырнула оттуда уже с кастетом.

— Продолжай, — вздохнул Толстяк, — я… не помню, что хотел сказать.

— Чертовски забавная там страна… — небрежно процедил Тощий. — Вам приходилось читать о Морском Волке?

— Ты никогда не был Морским Волком, — с уверенностью заявил Бородач.

— Нет, сэр, — злобно ответил Тощий. — Морской Волк умер, не правда ли? А я ведь жив, а?

— Да, да, — согласился Бородач, — он захлебнулся в грязи на верфи в Виктории года два назад.

— Как я уже говорил, — и я не люблю, когда меня перебивают, чертовски забавная была эта страна, — продолжал Брюс Кэдогэн Кэвендиш. — Я попал на Таки-Тики, равнинный остров, который относится к Соломоновым, но геологически не имеет с ними ничего общего, ведь Соломоновы острова гористые. Если говорить о его населении, то этнографически он примыкает к Полинезии, Меланезии и Микронезии, потому что представители всех тихоокеанских племен постепенно перебрались туда на каноэ и там вырождались, так что весь осадок, поднятый со дна людского моря, говоря языком биологии, осел на Таки-Тики. Мне известно это дно, и я знаю, о чем говорю.

Это была чертовски занятная пора: я добывал ракушки, ловил трепангов, менял железные

обручи и топорики на копру и орехи, вербовал черномазых и т. д. На Фиджи жизнь, прямо сказать, не баловала, местные царьки все еще употребляли в пищу человеческое мясо, а потешные, кудлатые, низкорослые чернокожие, жившие западнее, все поголовно были людоедами. Они охотились за головами, за человеческую голову давали изрядный куш.

— Куш? — спросил удивленно Толстяк и, заметив нетерпеливое движение Тощего, добавил: — Видите ли, мне никогда не приходилось забираться на запад так далеко, как вам с Делараузом.

— Головы ценились очень высоко, — продолжал Тощий, — особенно головы белых. Дикари украшают ими сараи для каноэ и священные хижины. В любой деревне есть «общий котел», в который каждый вносит известную долю. Тот, кто приносит голову белого, получает все содержимое котла. Если долгое время запасы не трогали, то котел переполнялся через край, — чертовски смешно, не так ли?

Я сам удостоился такого богатства. Случилось это вот как. У меня на судне умер от тропической лихорадки голландец — помощник капитана. Я об этом не заявил и договорился обо всем с моим

рулевым Джонни, туземцем из Порт-Мересби. Мы были тогда в Ланго-Луи. Джонни отрубил покойнику голову и отправился с ней ночью на берег, а я стрелял в него из ружья, делая вид, что хочу его догнать. Он и в самом деле получил содержимое котла за голову штурмана. Разумеется, на следующий день я послал за ним своих под прикрытием двух шлюпок, и он вернулся на шхуну вместе с добычей.

— А какая цена была этим запасам? — спросил Бородач. — Я слышал, что на Орле содержимое одного котла стоило восемьдесят соверенов.

— Во-первых, — сказал Тощий, — там находилось сорок откормленных свиней. Каждая из них стоила два ярда туземных монет-ракушек, то есть один соверен. Вот уже двести долларов, и еще двести ярдов этих монет-ракушек, то есть почти пятьсот долларов, а потом еще двадцать два золотых. Я разделил все это на четыре части: четверть — Джонни, четверть — команде, четверть взял себе, как хозяин шхуны, и еще четверть, как ее шкипер. Джонни не протестовал. Он ни разу в жизни не держал в руках такой суммы сразу. Кроме того, я дал ему пару старых рубашек покойного штурмана, а голова бедняги, наверное, и по сей день украшает туземный сарай для каноэ.

— Не совсем достойное погребение для христианина, — заметил Бородач.

— Зато выгодное, — отпарировал Тощий. — Мне пришлось бесплатно отдать акулам его обезглавленный труп. Не хватало еще угостить их бесплатной головой, которая стоила восемьсот долларов. Это было бы преступной расточительностью и полным кретинизмом.

Да, в тех краях было много чертовски смешных вещей! Не стоит рассказывать историю, которая случилась со мной на Таки-Тики. Скажу одно, я выбрался оттуда с двумя сотнями негров-чернорабочих, которых вез в Квинсленд. За то время, что я вербовал их, два британских военных судна рыскали за мной по Тихому океану, так что мне пришлось переменить курс и направиться на запад, в надежде сбыть их всех на испанских плантациях в Бангаре.

Началось как раз время тайфунов. А шхуна моя называлась «Веселая мгла». До тех пор, пока нас не застиг тайфун, я считал ее на совесть сделанной посудиной. Но таких волн я в жизни не видел. Они превратили шхуну в щепки, буквально в щепки. Они вывернули мачты, разнесли шканцы, сорвали железные решетки, а потом, когда самое худшее было позади, начала сдавать обшивка.

Нам едва удалось починить единственную шлюпку и кое-как поддерживать на воде шхуну, пока море слегка успокоилось и мы смогли вырваться оттуда. Мы с корабельным плотником спрыгнули в эту наскоро заштопанную шлюпку последними, когда шхуна стала тонуть. В живых нас осталось только четверо.

— Вы потеряли всех негров? — спросил Бородач.

— Некоторые из них какое-то время держались на воде, но я не думаю, что они достигли берега. Мы на это затратили десять дней, а нас подгонял ветер. И как вы думаете, что успели мы захватить с тонущей шхуны? Джин и динамит. Забавно, не правда ли? Потом стало еще смешнее. У нас был маленький бочонок пресной воды, кусок солонины и подмоченные сухари, то есть самое необходимое, чтобы как-то добраться до острова Тагалаг.

Это самый мрачный остров из всех, какие я видел. Он выступает из моря и виден за двадцать миль. Это вулкан, выброшенный морем, с глубоко вырезанным кратером.

Море входит в кратер, поэтому остров может служить хорошо защищенной гаванью. И это все. Остров необитаем, и внешняя и внутренняя

стороны кратера слишком отвесны. На острове небольшая роща — около тысячи кокосовых пальм. Вот и все, если не считать кое-каких насекомых. Нет ни одного четвероногого, даже крысы. И как будто на смех: столько кокосовых орехов и хоть бы один краб! Из рыбы там водились только мулеты, плававшие косяками в бухте, это были самые великолепные, самые жирные, самые крупные мулеты, каких я когда-либо видел.

И вот мы вчетвером появляемся на этом берегу и разбираем под пальмами свои пожитки, а они состоят из джина и динамита. Что же вы не смеетесь? Ведь это смешно. Сядьте на такой рацион — голландский джин и кокосовые орехи, и это все. С тех пор я не могу смотреть на витрины кондитерских. Я не такой дока в религии, как Чонси Делараух, но кое-какие примитивные понятия все же имею. И ад мне представляется в виде бескрайней кокосовой плантации с ящиками джина и потерпевшими крушение моряками. Смешно? Сам дьявол хохотал бы до истерики.

Кокосовый орех недаром считается пищей, не дающей равновесия, — и действительно, он испортил наши желудки. А поэтому, когда голод особенно сильно кусал нас, мы пили джин. Через две недели в голове нашего скандинава, матроса

Олафа, блеснула одна идея. Эта мысль осенила его башку, когда она до краев была наполнена джином. И мы, тоже изрядно пьяные, видели, как он взял фитиль и динамитный патрон и пошел к шлюпке.

Я догадался, что Олаф отправился глушить рыбу. Была дикая жара, я улегся поудобнее и пожелал ему удачи.

Через полчаса мы услышали взрыв, но Олаф не приходил. Мы дождались вечерней прохлады и пошли на берег. Там мы все поняли. Шлюпка, прибитая ветром к берегу, была невредима, но Олаф исчез. Мы поняли, что ему не придется больше есть кокосовые орехи. Мы вернулись еще более подавленными и напились как следует.

А назавтра кок сказал нам, что он предпочитает рискнуть с динамитом, чем продолжать питаться кокосовыми орехами. Пусть он толком не знаком с динамитом, но зато действие кокосовых орехов знает слишком хорошо. Мы достали патрон, сунули туда фитиль, дали ему хорошую головешку, а он тем временем накачивался джином.

Все было так же, как и накануне. Спустя некоторое время мы услышали взрыв, а в сумерки спустились к шлюпке и кое-как выгребли останки кока, чтобы предать их земле.

Мы с плотником держались еще два дня. Затем кинули жребий — идти выпало ему. Простились мы с руганью, так как он хотел забрать флягу с джином для бодрости, чтобы пить по дороге, а я не мог согласиться с таким идиотским мотовством. Он и так уже хватил больше, чем требовалось, и шел зигзагами, изрядно шатаясь.

Произошло то же самое, с той лишь разницей, что на сей раз труп не был искромсан на части, потому что плотник использовал лишь половину патрона. Я терпел сутки. А потому, подкрепившись как надо, расхрабрился и приготовил динамит. Я взял только треть патрона, совсем короткую трубку с расщеплением на конце, куда можно было вставить безопасную спичку. Так я усовершенствовал метод моих предшественников. Они употребляли слишком длинные фитили, и им приходилось держать патрон в руках, пока огонь не доходил почти до самого динамита. Если они бросали патрон преждевременно, то он не взрывался, падая в воду, и лишь распугивал мулетов. Да, смешная штука динамит! Как бы то ни было, я утверждаю, что мой метод самый безопасный.

Через пять минут я наткнулся на косяк мулетов, они были крупные, жирные, и я уже мысленно

вдыхал аромат жареной рыбы. Когда я поднялся, зажав спичку в одной руке, а динамитный патрон в другой, то почувствовал, что у меня дрожат колени. Возможно, это действовал джин, может быть, я нервничал, может быть, давали себя знать слабость и голод, но я чувствовал, что весь трясусь. Дважды я пытался зажечь спичку и не мог. Наконец мне это удалось, я услышал треск вспыхнувшей спички и бросил…

Не берусь судить, как это было у других, но помню, что произошло со мной. Я растерялся. Может быть, вам случалось, сорвав землянику, бросить ягоду, а стебелек машинально взять в рот. Так было и со мной. Спичку я бросил в воду, а патрон продолжал держать в руке, и он отлетел вместе с моей рукой…

Тощий заглянул в банку из-под томата, в которой раньше находилась вода для приготовления смеси, но она была пуста.

— Охо-хо, — зевнул он и направился к речке.

Через несколько минут он вернулся, смешал мутную воду со спиртом и, неторопливо выпив эту смесь, с мрачной тоской уставился на огонь.

— Да… но… — сказал Толстяк, — а что же случилось потом?

— Ну, — сказал Тощий, — принцесса, разумеет-

ся, вышла за меня замуж.

— Но ведь ты же остался там один, никакой принцессы не было, — отрывисто проговорил Бородач, но тут же спохватился и смущенно замолчал.

Тощий немигающим взглядом смотрел на огонь.

Персивал Делани и Чонси Делараузпереглянулись. В торжественной тишине каждый своей единственной рукой помог другому завязать узел. И, молча взяв свои пожитки, оба вышли из освещенного круга. Они шли молча, пока не поднялись на железнодорожную насыпь.

— Ни один джентльмен не поступил бы так, — сказал Бородач.

— Ни один джентльмен не поступил бы так, — согласился Толстяк.

Глен Эллен, Калифорния, 26 сентября 1916 года.

ДЖЕК ЛОНДОН «НА ЦИНОВКЕ МАКАЛОА» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)

На циновке Макалоа

На Гавайях, в отличие от большей части жарких стран, женщины долго не старятся и даже в старости красивы. Женщине, сидевшей под деревом хау — а она была не накрашена и никак не старалась скрыть разрушительную работу времени, — искушенный наблюдатель в любой точке земного шара, кроме Гавайских островов, дал бы лет пятьдесят. А между тем и дети ее, и внуки, и Роско Скандуэл, за которым она уже сорок лет как была замужем, знали, что ей шестьдесят четыре года, — двадцать второго июня исполнится шестьдесят пять. Она казалась куда моложе, несмотря на то, что, читая сейчас журнал, надела очки и снимала их всякий раз, как взгляд ее устремлялся на лужайку, где резвилась стайка детей.

Прекрасно было старое дерево хау, высокое, как дом, — она и сидела под ним, как в доме, до того густую и уютную тень давала его огромная крона; прекрасна была лужайка — беспенный зеленый ковер, раскинувшийся перед бунгало, столь же прекрасным, благородным и дорогостоящим. А в другой стороне, сквозь бахрому из стофутовых

кокосовых пальм, виден был океан: за отмелью — синева, сгущавшаяся у горизонта до темного индиго, ближе к берегу — шелковистые переливы яшмы, изумруда и рубина.

И это был только один из домов, принадлежавших Марте Скандуэл. Ее городской особняк в нескольких милях отсюда в Гонолулу на улице Нууану, между первым и вторым фонтаном, был настоящим дворцом. Сотни гостей перебывали и в ее комфортабельном доме на горе Танталус, и в ее доме на склоне вулкана, и в ее горном домике, и в ее приморской вилле на Гавайи — самом большом из островов. Однако и этот дом на побережье Ваикики не уступал остальным по красоте местоположения и благородству архитектуры, да и на содержание его тратилось не меньше. Вот и сейчас два садовника японца подрезали мальвы, третий со знанием дела подравнивал длинную изгородь из кактусов цереус, на которых скоро должны были распуститься таинственные ночные цветы Японец-лакей в белоснежном полотняном костюме принес из дома чай, за ним шла горничная японка в ярком кимоно, красивая и легкая, как бабочка. В противоположном конце лужайки другая горничная японка торопилась с целой охапкой мохнатых полотенец к купаль-

ням, откуда уже выбегали дети в купальных костюмчиках. А под пальмами у самого моря две нянюшки китаянки с черными косами, в красивой национальной одежде — белые кофты и длинные белые штаны — сторожили каждая свою колясочку с младенцем.

Все эти слуги, няньки и внуки были слугами, няньками и внуками Марты Скандуэл. И это она передала внукам свой цвет кожи — кожи гавайцев, прогретой гавайским солнцем, — который не смешаешь ни с каким другим. Дети были всего на одну восьмую или на одну шестнадцатую гавайцами, однако ни семь восьмых, ни пятнадцать шестнадцатых белой крови не могли стереть с их кожи золотисто-коричневые краски Полинезии. Но опять-таки только опытный наблюдатель догадался бы, что эти дети, играющие на лужайке, — не чистокровные белые. Их дед, Роско Скандуэл, был белый; Марта — белая на три четверти; сыновья их и дочери — на семь восьмых; а внуки — на пятнадцать шестнадцатых или, в тех случаях, когда их отцы или матери вступали в брак с потомками гавайцев, — тоже на семь восьмых. Порода и с той и с другой стороны была отличная: Роско происходил по прямой линии от пуритан Новой Англии, а Марта — по столь же прямой

линии — от гавайского вождя, чей древний род славили в песнях за тысячу лет до того, как люди научились писать.

У дома остановился автомобиль, и из него вышла женщина, которой на вид было не более шестидесяти лет, которая пересекла лужайку упругой походкой хорошо сохранившейся сорокалетней женщины и которой на самом деле исполнилось шестьдесят восемь. Марта поднялась ей навстречу, и они с чисто гавайской сердечностью крепко обнялись и поцеловались в губы. Их лица и все движения выражали искреннее, горячее чувство; только и слышно было, что «сестрица Белла», «сестрица Марта», вперемешку с несвязными расспросами друг о друге, о братьях, дядьях и тетках. Но, наконец, первое волнение встречи утихло, и со слезами умиления на глазах они уселись друг против друга за чайный столик. Можно было подумать, что они не виделись много лет. В действительности их разлука длилась два месяца. И одной было шестьдесят четыре года, другой — шестьдесят восемь. Но не забудьте, что в груди у них билось сердце на одну четверть гавайское, насквозь прогретое солнцем и любовью.

Дети устремились к тете Белле, как волны к

берегу, и получили щедрую порцию поцелуев и ласк, прежде чем отбыть на пляж под присмотром нянюшек.

— Я решила выбраться сюда на несколько дней, — объяснила Марта, — пассат сейчас улегся.

— Ты здесь уже две недели — Белла нежно улыбнулась младшей сестре — Мне братец Эдвард сказал. Он встречал меня на пристани и чуть не силой увез к себе повидаться с Луизой и Дороти и поглядеть на его первого внучонка — он в нем просто души не чает.

— Боже мой! — воскликнула Марта — Две недели! Я и не заметила, как пролетело время.

— А где Энни? — спросила Белла. — И Маргарет? Марта пожала пышными плечами, выражая этим снисходительную любовь к своим уже немолодым, но легкомысленным дочерям, которые на целых полдня вверили детей ее заботам.

— Маргарет на собрании общества городского благоустройства, они там задумали посадить деревья и мальвы по обеим сторонам Калакауа-авеню. А Энни изводит на восемьдесят долларов автомобильных шин, чтобы собрать семьдесят пять долларов для Английского Красного Креста. Сегодня у них день уплаты членских взносов.

— Роско, наверно, торжествует, — сказала Белла

и заметила, что глаза ее сестры горделиво сверкнули. — Я еще в Сан-Франциско узнала о первых дивидендах Компании Хо-о-ла-а. Помнишь, когда их акции стоили семьдесят пять центов, я вложила тысячу долларов для детей бедняжки Эбби и сказала, что продам, когда эти акции поднимутся до десяти долларов?

— И все смеялись над тобой, да и над всяким, кто покупал их, — подхватила Марта. — Но Роско знал, что делает. Сейчас они идут по двадцать четыре.

— Я продала свои по радио, с парохода, по двадцать долларов, — продолжала Белла. — И сейчас Эбби с ног сбилась — шьет туалет за туалетом, собирается с Мэй и Тутси в Париж.

— А Карл? — спросила Марта.

— О, тот кончает Гарвардский университет…

— …который он все равно окончил бы, уж тебе-то это должно быть известно, — заметила Марта.

Белла признала свою вину — она уже давно решила, что сын ее школьной подруги получит университетское образование за ее счет, — но добавила добродушно:

— А все же приятнее, что за него платит Хо-о-ла-а. Можно даже сказать, что платит Роско, — ведь я потому тогда купила акции, что положилась на

его здравый ум.

Она медленно огляделась по сторонам, и взгляд ее, казалось, впитал не только красоту, комфорт и покой всего, на чем он останавливался, но также красоту, комфорт и покой других оазисов, подобных этому, разбросанных по всем островам. Со вздохом удовлетворения она добавила:

— Наши мужья создали нам богатую жизнь на те средства, что мы им принесли.

— И счастливую… — подтвердила Марта и почему-то сразу умолкла.

— …и счастливую для всех, кроме сестрицы Беллы, — беззлобно закончила ее мысль старшая сестра.

— Печально получилось с этим браком, — тихо сказала Марта, преисполненная нежного сочувствия. — Ты была так молода. Напрасно дядя Роберт поторопился выдать тебя замуж.

— Да, мне было всего девятнадцать лет, — согласилась Белла. — Но Джордж Кастнер ни в чем не виноват.

И видишь, сколько он для меня сделал из-за могилы. Дядя Роберт поступил умно. Он знал, что Джордж энергичен, и упорен, и дальновиден. Уже тогда, пятьдесят лет назад, он один понял, как важно завладеть водами Наала. Люди ду-

мали, что он скупает землю для пастбищ. А он покупал будущее воды в этих краях, и как он преуспел — ты сама знаешь. Иногда мне просто стыдно становится, как подумаю о своих доходах. Нет, что другое, а брак наш не удался не из-за Джорджа. Останься он в живых, я и по сей день могла бы жить с ним вполне счастливо. — Она медленно покачала головой. — Нет, он не виноват. Никто здесь не виноват. Даже я. А если кто и виноват… — она улыбнулась грустно и ласково, словно желая смягчить впечатление оттого, что собиралась сказать, — если кто и виноват, так это дядя Джон.

— Дядя Джон! — изумилась Марта. — Если уж на то пошло, так я бы скорее сказала — дядя Роберт. А дядя Джон…

Белла только улыбнулась в ответ.

— Но ведь замуж тебя выдал дядя Роберт! — не унималась Марта.

— Конечно. — Белла кивнула головой. — Только дело тут не в муже, а в лошади. Я попросила дядю Джона дать мне лошадь, и он дал. Вот так все и случилось.

Наступило молчание, полное недоговоренности и тайны, и Марта Скандуэл, прислушиваясь к голосам детей и негромким замечаниям служа-

нок, возвращавшихся с пляжа, вдруг почувствовала, что вся дрожит от дерзкой решимости. Она жестом отогнала детей.

— Бегите, милые, бегите. Бабушке надо поговорить с тетей Беллой.

И пока высокие, звонкие детские голоса постепенно стихали за лужайкой, Марта с душевным участием смотрела на скорбные тени, которые тайная полувековая печаль наложила на лицо ее сестры. Скоро пятьдесят лет, как она помнит эти скорбные тени. Поборов в себе гавайскую робость и мягкость, она решилась нарушить полувековое молчание.

— Белла, — сказала она, — мы ничего не знаем. Ты никогда ничего не говорила. Но мы так часто, так часто думали…

— И ни о чем не спрашивали, — благодарно докончила Белла.

— Но теперь, наконец, я спрашиваю. Мы с тобою старухи. Слышишь? Порою, даже страшно становится, как подумаешь, что это мои внуки, мои внуки, а ведь я и сама-то словно только вчера была беззаботной девчонкой, ездила верхом, купалась в большом прибое, в отлив собирала ракушки да смеялась над десятком поклонников. Так давай хоть сейчас, на старости лет, забудем

обо всем, кроме того, что ты моя дорогая сестра, а я — твоя.

У обеих на глазах стояли слезы. Ясно было, что старшая готова заговорить.

— Мы думали, что это все — Джордж Кастнер, — продолжала Марта, — а о подробностях только гадали. Он был холодный человек. В тебе кипела горячая гавайская кровь. Может, он с тобой жестоко обращался. Брат Уолкот всегда говорил, что он, наверно, бьет тебя.

— Нет, нет! — перебила ее Белла. — Джордж Кастнер никогда не бывал ни груб, ни жесток. Я даже нередко жалела об этом. Он ни разу не ударил меня. Ни разу на меня не замахнулся. Ни разу не прикрикнул. Ни разу — можешь ты этому поверить? Пожалуйста, сестра, поверь мне, — мы с ним не поссорились, не поругались. Но только его дом — наш дом — в Наала был весь серый. Все там было серое, холодное, мертвое. А во мне сверкали все краски солнца и земли, моей крови и крови моих предков. Очень мне было холодно в Наала, холодно и скучно одной с серым, холодным мужем. Ты же знаешь, Марта, он был весь серый, как те портреты Эмерсона, что висели у нас в школе. Кожа у него была серая. Он никогда не загорал, хоть и проводил целые дни в седле во

всякую погоду. И внутри он был такой же серый, как снаружи.

А мне было всего девятнадцать лет, когда дядя Роберт устроил наш брак. Что я понимала? Дядя Роберт поговорил со мной. Он объяснил мне, что богатства и земли Гавайских островов постепенно переходят к бельм людям. Гавайская знать упускает из рук свои владения. А когда дочери знатных гавайцев выходят замуж за белых, их владения, под управлением белых мужей, растут и процветают. Он напомнил мне, как дедушка Уилтон взял за бабушкой Уилтон бесплодные горные земли, потом приумножил их и создал ранчо Килохана…

— Даже тогда оно уступало только ранчо Паркера, — гордо вставила Марта.

— И еще он сказал мне, что, если бы наш отец был так же предусмотрителен, как дедушка, половина паркеровых земель отошла бы к Килохана и оно стало бы лучшим ранчо Гавайских островов. И сказал, что мясо никогда, никогда не упадет в цене. И что будущее гавайцев — это сахар. Пятьдесят лет назад это было, а он во всем оказался прав. И он сказал, что белый человек Джордж Кастнер далеко видит и далеко пойдет и что нас, сестер, много, а земли Килохана по

праву должны отойти братьям; если же я выйду за Джорджа, будущее мое обеспечено.

Мне было девятнадцать лет. Я только что вернулась домой из Королевского пансиона, — ведь тогда наши девушки еще не ездили учиться в Штаты. Ты, сестрица Марта, одна из первых получила образование в Америке. Что я знала о любви, а тем более о браке? Все женщины выходят замуж. Это их назначение в жизни. И мама и бабушка — все были замужем. Мое назначение в жизни — выйти замуж за Джорджа Кастнера. Так сказал дядя Роберт, а я знала, что он очень умный. И я поселилась со своим мужем в сером доме в Наала.

Ты помнишь его. Ни деревца кругом — только холмистые луга; позади-высокие горы, внизу — море, и ветер, ветер без конца, у нас дуло и с севера, и с юга, и с юго-запада тоже. Но ветер не пугал бы меня — как не пугал он нас в Килохана, — не будь такими серыми мой дом и мой муж. Мы жили одни. Он управлял в Наала землями Гленов, которые всей семьей уехали к себе в Шотландию. Тысяча восемьсот долларов в год да коровы, лошади, ковбои и дом для жилья — вот что он получал за свою работу.

— По тем временам это было немало, — заме-

тила Марта.

— Но за услуги такого человека, как Джордж Кастнер, они платили очень дешево, — возразила Белла — Я прожила с ним три года. Не было утра, чтобы он встал позже, чем в половине пятого. Он был предан своим хозяевам душой и телом. Не обсчитал их ни на пенни, не жалел ни времени, ни сил. Потому-то, возможно, наша жизнь и была такая серая. Но слушай, Марта. Из своих тысячи восьмисот долларов он каждый год откладывал тысячу шестьсот. Ты только подумай! Мы вдвоем жили на двести долларов в год. Хорошо еще, что он не пил и не курил. И одевались мы на эти же деньги. Я сама шила себе платья — можешь себе представить, какие ужасные. Дрова нам приносили, но всю работу в доме я делала сама: стряпала, пекла, стирала…

— Это после того, как ты с самого рожденья была окружена слугами! — жалостливо вздохнула Марта. — В Килохана их были целые толпы.

— Но ужаснее всего было это голое, голодное убожество! — вскричала Белла. — На сколько времени мне приходилось растягивать фунт кофе! Новую половую щетку покупали тогда, когда на старой ни одного волоска не оставалось. А вечная говядина! Свежая и вяленая, утром, днем

и вечером! А овсяная каша! Я с тех пор ни ее, да и никакой другой каши в рот не беру.

Внезапно она встала и, отойдя на несколько шагов, вперила невидящий взгляд в многоцветное море. Потом, успокоившись, вернулась на свое место великолепной, уверенной, грациозной походкой, которую не может отнять у гавайской женщины никакая примесь белой крови. Белла Кастнер, с ее тонкой, светлой кожей, была очень похожа на белую женщину. Но высокая грудь, благородная посадка головы, длинные карие глаза под полуопущенными веками и смелыми дугами бровей, нежные линии небольшого рта, который даже сейчас, в шестьдесят восемь лет, словно таил еще сладость поцелуя, — все это вызывало в воображении образ дочери древних гавайских вождей. Ростом она была выше Марты и, пожалуй, отличалась еще более царственной осанкой.

— Мы прямо-таки прославились как самые негостеприимные хозяева. — Белла рассмеялась почти весело. — От Наала до ближайшего жилья было много миль и в ту и в другую сторону. Изредка у нас останавливались переночевать путники, задержавшиеся в дороге или ищущие убежища от бури. Ты знаешь, как радушно принимали, да

и сейчас принимают гостей на больших ранчо. А мы стали всеобщим посмешищем. «Что нам до мнения этих людей? — говорил Джордж. — Они живут сейчас, сегодня. Через двадцать лет, Белла, придет наш черед. Они будут такие же, как сейчас, но они будут уважать нас. Нам придется кормить их, голодных, и мы будем кормить их хорошо, потому что мы будем богаты, Белла, так богаты, что я и сказать тебе боюсь. Но я что знаю, то знаю, и ты должна в меня верить».

Джордж был прав. Он не дожил до этого, но двадцать лет спустя мой месячный доход составлял тысячу долларов. А сколько он составляет сейчас, я даже не знаю, честное слово! Но тогда мне было девятнадцать лет, и я говорила Джорджу: «Нет, сегодня, сейчас! Мы живем сейчас! Через двадцать лет нас, может быть, и на свете не будет. Мне нужна новая щетка. И есть сорт кофе всего на два цента фунт дороже, чем эта гадость, которую мы пьем. Почему я не могу жарить яичницу на масле — сейчас? И как бы мне хотелось иметь хоть одну новую скатерть. А постельное белье! Мне стыдно постелить гостю наши простыни, впрочем, и гости к нам не часто решаются заглянуть».

«Запасись терпением, Белла, — отвечал он, бывало. — Очень скоро, через несколько лет, те,

кто сейчас гнушается сидеть за нашим столом и спать на наших простынях, будут гордиться, получив от нас приглашение, — если они к тому времени не умрут. Вспомни, как умер в прошлом году Стивенс, — он жил легкой жизнью, всем был другом, только не себе самому. Хоронить его пришлось обществу, — он ничего не оставил, кроме долгов. А разве мало других идут той же дорогой? Вот хотя бы твой брат Хэл. Он этак и пяти лет не протянет, а сколько горя доставляет своим дядьям. Или принц Лилолило носится мимо меня на коне со свитой из полсотни гавайских лодырей — все крепкие парни, им бы надо работать и позаботиться о своем будущем, потому что он никогда не будет королем. Не дожить ему до этого».

Джордж был прав. Брат Хэл умер. И принц Лилолило тоже. Но Джордж был не совсем прав. Он сам, хотя не пил, и не курил, и не растрачивал силу своих рук на объятия, а свои губы на поцелуи, кроме самых коротких и равнодушных, и всегда вставал с петухами, а ложился прежде, чем в лампе выгорит десятая часть керосина, и никогда не думал о собственной смерти, — он сам умер еще раньше, чем брат Хэл и принц Лилолило.

«Запасись терпением, Белла, — говорил мне дядя Роберт. — Джордж Кастнер — человек с боль-

шим будущим. Я выбрал тебе хорошего мужа. Твои нынешние лишения — это лишения на пути в землю обетованную. Не всегда на Гавайских островах будут править гавайцы. Свое богатство они уже упустили из рук, упустят и власть. Политическая власть и владение землей неотделимы одно от другого. Предстоят большие перемены, перевороты-никто не знает, какие и сколько, но одно известно: в конце концов и власть и землю захватят белые. И когда это случится, ты займешь первое место среди женщин наших островов, — я в этом не сомневаюсь, как и в том, что Джордж Кастнер будет правителем Гавайев. Так суждено. Так всегда бывает, когда белые сталкиваются с более слабыми народами. Я, твой дядя Роберт, сам наполовину белый и наполовину гаваец, знаю, о чем говорю. Запасись терпением, Белла».

«Белла, милая», — говорил дядя Джон; и я понимала, сколько нежности ко мне живет в его сердце. Он, благодарение богу, никогда не советовал мне запастись терпением. Он понимал. Он был очень мудрый. Теплый он был, человечный, а потому и более мудрый, чем дядя Роберт и Джордж Кастнер, — те искали не возвышенного, а земного, вели счета в толстых книгах и не считали удары сердца, бьющегося рядом с другим

сердцем, они складывали столбики цифр и не вспоминали о взглядах, словах и ласках любви. «Белла, милая», — говорил дядя Джон. Он понимал. Ты ведь слышала, что он был возлюбленным принцессы Наоми. Он был верным любовником. Он любил только раз. Люди говорили, что после ее смерти он стал какой-то странный. Так оно и было. Он полюбил один раз и навеки. Помнишь его заповедную комнату в Килохана, куда мы вошли только после его смерти, и оказалось, что там был устроен алтарь принцессе? «Белла, милая», — вот все, что он мне говорил, но я знала, что он все понимает.

Мне было девятнадцать лет, и три четверти белой крови не убили во мне горячего гавайского сердца, и я не знала ничего, кроме детских лет, проведенных в роскоши Килохана. Королевского пансиона в Гонолулу, да моего серого мужа в Наала с его серыми рассуждениями, трезвостью и бережливостью, да двух бездетных дядьев, одного — с холодным, проницательным умом, другого

— с разбитым сердцем и вечными мечтами о мертвой принцессе. Нет, ты только представь себе этот серый дом! А я выросла в таком довольстве, среди радостей и смеха, не смолкавшего в Килохана, и в Мана у Паркеров, и в Пууваааваа!

Ты помнишь, мы жили в те дни в царственной роскоши. А в Наала, — поверишь ли. Марта, — у меня была швейная машинка из тех, что привезли еще первые миссионеры, маленькая, вся дребезжащая, и вертеть ее нужно было рукой.

К нашей свадьбе Роберт и Джон подарили моему мужу по пяти тысяч долларов. Но он попросил сохранить это в тайне. Знали только мы четверо. И пока я на своей дребезжащей машинке шила себе грошовые платья, он покупал на эти деньги землю — ты знаешь где, в верховьях Наала, — покупал маленькими участками и всякий раз отчаянно торговался, притворяясь последним бедняком. А сейчас я с одного туннеля Наала получаю сорок тысяч в год.

Но стоила ли игра свеч? Я изнывала от такой жизни. Если бы он хоть раз обнял меня по-настоящему! Если бы хоть раз пробыл со мною лишних пять минут, позабыв о своих делах и о своем долге перед хозяевами! Иногда я готова была завизжать, швырнуть ему в лицо горячую миску с ненавистной овсяной кашей или разбить вдребезги мою швейную машинку и сплясать над нею, как пляшут наши женщины, — лишь бы он вспылил, вышел из терпения, озверел, показал себя человеком, а не каким-то серым, бездушным

истуканом.

Вся скорбь сбежала с лица Беллы, и она искренне и весело рассмеялась своим воспоминаниям.

— А он, когда на меня находило такое, с важным видом оглядывал меня, с важным видом щупал мне пульс, смотрел язык и советовал принять касторки и пораньше лечь, обложившись горячими вьюшками, — к утру, мол, все пройдет. Пораньше лечь! Мы и до девяти-то часов редко когда засиживались. Обычно мы ложились в восемь, — экономили керосин. У нас в Наала обедать не полагалось, — а помнишь за каким огромным столом обедали в Килохана? Мы с Джорджем ужинали. Затем он подсаживался поближе к лампе и ровно час читал старые журналы, которые брал у кого-то, а я, сидя по другую сторону стола, штопала его носки и белье. Он всегда носил дешевые, жиденькие вещи. Когда он ложился спать, ложилась и я. Разве можно было позволить себе такое излишество — пользоваться керосином в одиночку! И ложился он всегда одинаково: заведет часы, запишет в дневник погоду, потом снимет башмаки — обязательно сначала правый, потом левый — и поставит их рядышком на полу, со своей стороны кровати.

Чистоплотнее его я не видела человека. Он каждый день менял белье. А стирала я. Чист он был просто до противности. Брился два раза в день. Тратил на себя больше воды, чем любой гаваец. А работал больше, чем любые два белых человека вместе взятых. И понимал, какие сокровища скрыты в водах Наала.

— И он дал тебе богатство, но не дал счастья, — сказала Марта.

Белла со вздохом кивнула головой.

— В конце концов, что такое богатство, сестрица Марта? Вот я привезла с собой на пароходе новый «пирсарроу». Третий за два года. Но, боже мой, что значат все автомобили и все доходы в мире по сравнению с другом — с единственным другом, любовником, мужем, с которым можно делить и труд, и горе, и радость, с единственным мужчиной…

Голос ее замер, и сестры, задумавшись, молчали, а по газону ковыляла к ним, опираясь на палку, древняя старуха, сморщенная и сгорбленная под тяжестью сотни прожитых лет. Глаза ее — щелочки между ссохшихся век — были острые, как у мангусты. Она опустилась на землю у ног Беллы и забормотала беззубым ртом, запела по-гавайски хвалу Белле и всем ее предкам,

заодно импровизируя приветствие по случаю возвращения ее из плавания за большое море — в Калифорнию. Не переставая петь, она ловкими старыми пальцами массировала обтянутые шелком чулок ноги Беллы, от щиколотки вверх, за колено.

Потом Марта тоже получила свою долю песен и массажа, и обе сестры со слезами на глазах заговорили со старой служанкой на древнем языке и стали задавать ей извечные вопросы о ее здоровье, годах и праправнуках, — ведь она массировала их еще в раннем детстве, в огромном доме Килохана, а ее мать и бабка из поколения в поколение массировали их мать и их бабок. Побеседовав со старухой сколько полагалось, Марта поднялась и проводила ее до самого дома, где дала ей денег и велела красивым и заносчивым горничным японкам позаботиться и столетней гавайянке, угостить ее «пои» — кушаньем из корней водяной лилии, «йамака» — сырой рыбой, толчеными восковыми орехами «кукуи» и водорослями «лиму», которые нежны на вкус и легко разминаются беззубыми деснами. То были старые феодальные отношения: верность простого человека господину, забота господина о простом человеке; и Марта, в которой было на

три четверти белой крови англосаксов Новой Англии, не хуже чистокровных гавайцев помнила и соблюдала быстро исчезающие обычаи седой старины.

Она шла обратно к столику под большим деревом, и Белла со своего места словно обнимала ее всю любящим взглядом. Марта была пониже ее ростом, но лишь чуть-чуть пониже, и держалась не так величественно, но была она статная, красивая, настоящая дочь полинезийских вождей, с великолепной фигурой, не испорченной, а скорее смягченной временем, которую приятно обрисовывало свободное платье черного шелка с черным кружевом, стоившее дороже любого парижского туалета.

Глядя на сестер, возобновивших свою беседу, всякий подивился бы их сходству: тот же прямой четкий профиль, широкие скулы, высокий чистый лоб, серебряная седина пышных волос, нежный рот, говорящий о десятилетиями вскормленной, уже привычной гордости, прелестные тонкие дуги бровей над прелестными длинными карими глазами. При взгляде на их руки, почти нетронутые временем, особенно поражали тонкие на концах пальцы, которые с младенчества массировали им старые гавайские служанки

вроде той, что сидела сейчас в доме за угощением из пои, йамака и лиму.

— Так мы прожили год, — возобновила свой рассказ Белла, — и понимаешь, что-то стало налаживаться. Я начала привыкать к моему мужу. Так уж созданы женщины.

Я во всяком случае такая. Ведь он был хороший человек. И справедливый. В нем были все исконные пуританские добродетели. Я начала к нему привязываться, можно даже сказать — почти полюбила его. И если бы дядя Джон не дал мне тогда лошадь, я знаю, что действительно полюбила бы мужа и была бы с ним счастлива, хотя это, конечно, было бы скучноватое счастье.

Ты пойми, я ведь не знала других мужчин, не таких, как он, лучше его. Мне уже приятно было смотреть на него через стол, когда он читал в короткий перерыв между ужином и сном, приятно было услышать стук копыт его лошади, когда он вечером возвращался из своих бесконечных поездок по ранчо. И от его скупых похвал у меня радостно замирало сердце, — да, сестрица Марта, я узнала, что значит краснеть от его немногословной справедливой похвалы за какую-нибудь хорошую работу или правильный поступок.

Вот так и шло бы все ладно до конца, если бы

не пришлось ему отправиться пароходом в Гонолулу. По делам, конечно. Он собирался пробыть в отлучке не меньше двух недель — сперва уладить какие-то дела Гленов, а потом и свои собственные: купить еще земли в верховьях Наала. Ты ведь знаешь, он скупал дикие горные участки у самого водораздела, которые не имели никакой ценности, — если не считать воды; они шли по пять-десять центов за акр. Мне хотелось поехать с ним в Гонолулу. Но он, как всегда помня об экономии, решил — нет, лучше в Килохана. Мало того, что на мою поездку домой он мог не тратить ни цента, вдобавок представилась возможность сэкономить даже те жалкие гроши, которые я истратила бы на еду, если бы осталась одна в Наала, и купить на них еще несколько акров земли в горах. А в Килохана дядя Джон согласился дать мне лошадь.

Дома я первые дни чувствовала себя как в раю. Сначала мне просто не верилось, что на свете может быть так много еды. И меня приводило в ужас, что пропадает столько добра. После мужниной муштровки мне все время казалось, что даром переводят добро. Здесь не только слуги, даже их престарелые родственники и дальние знакомые питались лучше, чем мы с Джорджем.

Ты помнишь, как было у нас, да и у Паркеров — каждый день резали корову, скороходы доставляли свежую рыбу из прудов Ваипио и Кихоло, и всегда все самое лучшее, самое дорогое… А любовь! Как у нас в семье любили друг друга! Про дядю Джона и говорить нечего. А тут и брат Уолкот был дома, и брат Эдвард, и все младшие сестры, только ты и Салли еще не вернулись из школы. И тетя Элизабет как раз у нас гостила, и тетя Дженет с мужем и со всеми детьми. С утра до ночи поцелуи, ласковые слова, все, чего мне так недоставало целый долгий, унылый год. Я изголодалась по такой жизни. Словно после кораблекрушения меня носило по волнам в шлюпке и вот выбросило на песок и я припала к холодному, журчащему роднику под пальмами.

А потом явились они — верхом из Кавайхаэ, куда их привезла королевская яхта, — целой кавалькадой, все в венках, молодые, веселые, на лошадях с паркеровского ранчо, тридцать человек, и с ними сто паркерсвских ковбоев и столько же их собственных слуг — весь королевский кортеж. Затеяла эту прогулку принцесса Лихуэ, — мы уже тогда знали, что ей недолго жить, ее сжигала страшная болезнь — туберкулез. Она прибыла в сопровождении племянников: принца Лилолило,

которого везде встречали как будущего короля, и его братьев — принцев Кахекили и Камалау. С принцессой была и Элла Хиггинсворт, — она справедливо считала, что по линии Кауаи в ней больше королевской крови, чем у царствующего рода; и еще Дора Найлз, и Эмили Лоукрофт, и… да к чему всех перечислять! С Эллой Хиггинсворт мы жили в одной комнате в Королевском пансионе. Они остановились у нас на часок отдохнуть, пира не устраивали, пир ждал их у Паркеров, но мужчинам подали пиво и крепкие напитки, а женщинам — лимонад, апельсины и прохладные арбузы.

Мы расцеловались с Эллой Хиггинсворт и с принцессой, которая, оказывается, меня помнила, и со всеми остальными женщинами, а потом Элла поговорила с принцессой, и та пригласила меня ехать с ними — догнать их в Мана, откуда они должны были тронуться в путь через два дня. Я просто себя не помнила от счастья — тем более после года заточения в сером доме Наала. И мне все еще было девятнадцать лет, до двадцати не хватало одной недели.

О, мне и в голову не приходило, чем это может кончиться. Я была так увлечена разговором с женщинами, что даже не разглядела Лилолило,

видела только издали, что он выше всех других мужчин. Но я никогда еще не участвовала в такой прогулке. Я помнила, как высоких гостей принимали в Килохана и в Мана, но сама была еще мала, меня не приглашали, а потом я уехала учиться, а потом вышла замуж. Я знала, что мне предстоят две недели райского блаженства, — не так уж много в предвкушении еще целого года в Наала.

Вот я и попросила дядю Джона дать мне лошадь, то есть, конечно, трех лошадей — одну для слуги и еще одну вьючную. Шоссейных дорог тогда не было. И автомобилей не было. А какая лошадь досталась мне! Ее звали Хило. Ты ее не помнишь. Ты тогда была в школе, а в следующем году, еще до твоего возвращения, она сломала шею себе и наезднику на ловле дикого скота на Мауна-Кеа. Ты, наверно, об этом слышала — молодой американец, офицер флота.

— Лейтенант Баусфилд, — кивнула Марта.

— Но Хило, ах что это был за конь! До меня ни одна женщина на нем не ездила. Трехлеток, почти четырехлеток, только что объезженный. Такой черный и гладкий, что на ярком свету блестел, как серебро. Это была самая крупная лошадь на всем ранчо, от королевского жеребца

Спарклингдью и дикой кобылы, и всего несколько недель как заарканена. В жизни я не видала такой красоты. Корпус горной лошади — крепкий, пропорциональный, с широкой грудью, шея чистокровного скакуна, не худая, но стройная, чудесные чуткие уши — не такие маленькие, которые кажутся злыми, и не большие, как у какого-нибудь упрямца-мула. И ноги у нее были чудесные — безупречной формы, уверенные, с длинными упругими бабками, потому она так легко и ходила под седлом.

— Я помню, — перебила ее Марта, — принц Лилолило при мне говорил дяде Джону, что ты — лучшая наездница на Гавайях. Это было два года спустя, когда я вернулась из школы, а ты еще жила в Наала.

— Неужели он это сказал! — воскликнула Белла. Даже кровь прилила ей к щекам, а длинные карие глаза засветились — она вся перенеслась в прошлое, к любовнику, который полвека уже как обратился в прах. Но из благородной скромности, столь присущей гавайским женщинам, она тут же постаралась загладить это неуместное проявление чувств новыми славословиями своей лошади.

— Ах, когда она носила меня вверх и вниз по

травянистым склонам, мне чудилось, что я во сне беру барьеры, она каждым скачком словно взлетала над высокой травой, прыгала, как олень, как кролик, как фокстерьер, ну, ты понимаешь. А как она танцевала подо мной, как держала голову! Это был конь для полководца, такого, как Наполеон или Китченер. А глаза у нее были… не злые, а такие умные, лукавые, точно она придумала хорошую шутку и вот-вот засмеется. Я попросила дядю Джона дать мне Хило. Дядя Джон посмотрел на меня, а я на него; и хоть он ничего не сказал, я чувствовала, что он подумал: «Белла, милая», и что при взгляде на меня перед ним встал образ принцессы Наоми. И дядя Джон согласился. Вот так оно и случилось.

Но он потребовал, чтобы я сперва испытала Хило — вернее, себя — без свидетелей. С этой лошадкой не легко было справиться. Но коварства или злобы в ней не было ни капли. Правда, она раз за разом выходила из повиновения, но я делала вид, что не замечаю этого. Я совсем не боялась, а потому она все время ощущала мою волю и даже вообразить не могла, что не я хозяин положения.

Я сколько раз думала — мог ли дядя Джон предвидеть, чем все это кончится? Самой мне это

наверняка не приходило в голову в тот день, когда я верхом явилась к принцессе, на ранчо Паркеров. А там шел пир горой. Ты ведь помнишь, как старики Паркеры умели принять гостей. Устраивали охоту на кабанов, стреляли дикий скот, объезжали и клеймили лошадей. Слуг нагнали видимо-невидимо. Ковбои со всех концов ранчо. И девушки отовсюду-из Ваиме и Ваипио, из Хонокаа и Паауило; как сейчас их вижу — сидят рядами на каменной стене загона, где клеймили скот, и плетут венки — каждая для своего ковбоя. А ночи, полные аромата цветов, ночи с песнями и танцами, и по всей огромной усадьбе Мана бродят под деревьями влюбленные пары! И принц…

Белла умолкла, и ее мелкие зубы, все еще белые и чистые, крепко прикусили нижнюю губу, а невидящий взгляд устремился в синюю даль. Через минуту, справившись с собой, она продолжала:

— Это был настоящий принц, Марта. Ты видела его до того, как… после того как вернулась из школы. На него заглядывались все женщины, да и мужчины тоже. Ему было двадцать пять лет — красавец, в расцвете молодости, с сильным и щедрым телом, сильной и щедрой душой. Какое

бы безудержное веселье ни царило вокруг, как бы ни были беспечны забавы, он, казалось, ни на минуту не забывал, что он — королевского рода и все его предки были вождями, начиная с того первого, о котором сложили песни, того, что провел свои двойные челны до островов Таити и Райатеи и привел их обратно. Он был милостив, светел, приветлив, но и строг, и суров, и резок, когда что-нибудь приходилось ему очень уж не по нраву. Мне трудно это выразить. Он был до мозга костей мужчина и до мозга костей принц, и было в нем что-то от озорника-мальчишки и что-то непреклонное, что помогло бы ему стать сильным и добрым королем, если бы он вступил на престол Я словно сейчас его вижу — таким, как в тот первый день, когда я коснулась его руки и говорила с ним… всего несколько слов, застенчиво, робко, как будто не была целый год женой серого чужестранца в сером доме Наала. Полвека прошло с тех пор — ты помнишь, как тогда одевались наши молодые люди: белые туфли и брюки, белая шелковая рубашка и широкий испанский кушак самых ярких цветов, — полвека прошло, а он вот так и стоит у меня перед глазами. Элла Хиггинсворт хотела представить меня ему и повела на лужайку, где он стоял, окруженный друзьями.

Тут принцесса Лихуэ бросила ей какую-то шутку, и она задержалась, чтобы ответить, а я остановилась шага на два впереди ее.

И когда я там стояла одна, смущенная, взволнованная, он случайно заметил меня. Боже мой, как ясно я его вижу — стоит, слегка откинув голову, и во всей его фигуре, во всей позе что-то властное, и веселое, и удивительно беззаботное, что было ему так свойственно. Глаза наши встретились. Он выпрямился, чуть подался в мою сторону. Я не знаю, что произошло. Может быть, он приказал, и я повиновалась. Я знаю только, что была хороша в тот день — в душистом венке, в восхитительном платье принцессы Наоми, которое дядя Джон достал мне из своей заповедной комнаты; и еще я знаю, что пошла к нему совсем одна по лужайке, а он оставил тех, с кем беседовал, и пошел мне навстречу. Мы шли друг к другу совсем одни по зеленой траве, словно для каждого из нас не было другой дороги в жизни.

Очень ли я хороша была в молодости, сестрица Марта? Не знаю. Но в ту минуту, когда его красота и царственная мужественность проникли мне в самое сердце, я вдруг ощутила и свою красоту, словно — как бы это сказать? — словно то совершенное, что было в нем и исходило от него,

рождало во мне какой-то отзвук.

Ни слова не было сказано. Но я знаю, что подняла голову и взглядом ясно ответила на гром и трубный звук немого призыва и что, если бы за этот взгляд, за эту минуту мне грозила смерть, я и тогда, не задумываясь, отдала бы ему себя, и он понял это по моим глазам, по лицу, по учащенному дыханию. Хороша я была в двадцать лет. Марта, очень хороша?

И Марта, которой исполнилось шестьдесят четыре года, посмотрела на Беллу, которой стукнуло шестьдесят восемь, и серьезно покивала головой, а про себя оценила и ту Беллу, что сидела перед нею сейчас, — гордая голова на все еще полной и круглой шее, более длинной, чем обычно бывает у гавайских женщин, властное лицо с выдающимися скулами и высокими дугами бровей; густые, по-прежнему кудрявые волосы, уложенные в высокую прическу, посеребренные временем, так что особенно темными казались четкие тонкие брови и карие глаза. И, словно ослепленная тем, что увидела, Марта скромно скользнула взглядом по великолепным плечам и груди Беллы, по всему ее пышному телу, к ногам в шелковых чулках и нарядных туфлях, маленьким, полным, с безупречным высоким подъемом.

— «Нам молодость дается только раз», — засмеялась Белла. — Лилолило был настоящий принц. Я так изучила его лицо, каждое его выражение .. позднее, в наши волшебные дни и ночи у поющих вод, у дремлющего прибоя и на горных дорогах. Я знала его чудесные смелые глаза. Под прямыми черными бровями, его нос — нос истинного потомка короля Камехамеха, и малейший изгиб его рта. Во всем мире нет губ красивее, чем у гавайцев, Марта.

И весь он был красивый и сильный — от прямых, непокорных волос до бронзовых лодыжек. Тут на днях кто-то назвал одного из уайлдеровских внуков «королем Гарварда». Ну-ну! Как же они назвали бы моего Лилолило, если б могли поставить его рядом с этим юнцом и всей его футбольной командой!

Белла умолкла и перевела дух, крепко сжав на полных коленях изящные маленькие руки. Легкий румянец разлился у нее по лицу, прекрасные глаза светились — она снова переживала дни своего юного счастья.

— Ну, конечно, ты угадала. — Белла вызывающе повела плечами и взглянула прямо в глаза сестре. — Мы покинули веселую усадьбу Мана и пустились в путь дальше — вниз по лавовым

склонам в Кихоло, там пировали, купались, ловили рыбу и спали на теплом песке под пальмами; потом вверх в Пууваавааа, там охотились на кабанов, носились с арканом за дикими лошадьми, ловили баранов на горных пастбищах; и дальше, через Кона, в горы, а потом вниз — к королевскому дворцу в Каилуа, а там купанье в Кеаухоу, бухта Кеалакекуа, Напоопоо, Хонаунау. И везде люди выходили встречать нас и несли цветы, фрукты, рыбу, свиней, и сердца их были полны любви и песен, головы почтительно склонялись перед членами королевской семьи, а с губ слетали возгласы восхищения и песни о давних, но незабытых днях. Чего же было и ждать, сестрица Марта? Ты знаешь, каковы мы, гавайцы, какими мы были полвека назад. Лилолило был прекрасен. Мне все было нипочем. Лилолило мог вскружить голову любой женщине. А мне все было нипочем еще потому, что меня ждал серый, холодный дом в Наала. Я знала, на что иду. У меня не было ни сомнений, ни надежды. О разводах в те времена и не помышляли. Жена Джорджа Кастнера не могла стать королевой Гавайских островов, даже если бы перевороты, которые предсказывал дядя Роберт, свершились еще не скоро и Лилолило успел бы стать королем. Но

я не думала о троне. Если мне и хотелось стать королевой, так только в сердце Лилолило. Я не обольщалась. Что невозможно, то невозможно, и я не тешила себя пустыми мечтами.

Самый воздух вокруг меня дышал любовью. Лилолило любил меня. Он украшал мою голову венками, его скороходы приносили цветы из садов Мана — ты их помнишь, — бежали с ними пятьдесят миль по горам, по лаве, И доставляли в футлярах из коры банана свежими, будто только что сорванными, — бутоны на длинных стеблях, похожие на нитки неаполитанского коралла. А во время нескончаемых пиршеств я всегда должна была сидеть рядом с ним на циновке Макалоа — личной циновке принца, на которую не смели опуститься простые смертные, если на то не было его особого желания. И мне велено было ополаскивать пальцы в его личной чаше, где на теплой воде плавали душистые лепестки цветов. Да, он велел мне у всех на глазах брать из его миски красную соль, и красный перец, и лиму, и восковой орех, а рыбу есть с его блюда из дерева ку, которым во время таких же увеселительных путешествий пользовался сам великий Камехамеха. Мне подносили и все лакомства, предназначенные только для Лилолило и для

принцессы. И надо мною веяли его опахала из перьев, и слуги его были моими слугами, и сам он был мой, и любил меня всю — от головы, увенчанной цветами, до кончиков ног.

Белла снова прикусила губу и невидящим взглядом смотрела в морскую даль, пока не справилась с собой и своими воспоминаниями.

— Мы ехали все дальше — через Кона, Кау, Хоопулаа и Капуа на Хонуапо и Пуналуу; целая жизнь вместилась в эти две коротких недели. Цветок расцветает только раз. То была пора моего цветения: у меня был Лилолило, и мой чудесный конь, и сама я была королевой — пусть не для всех островов, но для любимого. Он говорил, что я — солнечный блик на черной спине левиафана; я -капелька росы на дымящемся гребне лавы; я — радуга на грозовой туче…

Белла помолчала.

— Что он еще мне говорил — я тебе не скажу, — закончила она серьезно, — но в словах его был огонь, красота и любовь, он слагал для меня песни и пел их мне при всех, вечером, под звездами, когда мы пировали, лежа на циновках, и мое место было рядом с ним, на циновке Макалоа.

Дивный сон подходил к концу. Но мы еще поднялись на Килауэа и, разумеется, бросили в

кипящий кратер свои приношения богине Пеле — цветы, рыбу и густое пои, завернутое в листья ти. А потом стали спускаться через Пуна к морю, снова пировали, плясали и пели в Кохоуалеа, Камаили и Опихикао, купались в прозрачных пресноводных озерах Калапана и, наконец, вышли на побережье, в Хило.

Все было кончено. Мы ни словом об этом не обмолвились. И без слов было ясно, что это — конец. Яхта ждала у пристани. Мы запоздали на много дней. Из Гонолулу пришли вести, что у короля усилились припадки безумия, что католические и протестантские миссионеры строят тайные козни, и назревают неприятности с Францией. Они отплывали из Хило со смехом, с цветами и песнями-так же, как за две недели до того высадились в Кавайхаэ. Расставались весело, с берега на яхту и с яхты на берег неслись шутки, последние напутствия, поручения, приветы. Когда поднимали якорь, хор из слуг Лилолило запел на палубе прощальную песню, а мы, сидевшие в больших челнах и вельботах, увидели, как ветер надул паруса яхты и она отделилась от берега.

Все время, пока длилась суматоха сборов и прощании, Лилолило, забыв обо всех, с кем должен был проститься, стоял у поручней и смотрел вниз,

прямо на меня. На голове у него был венок, который я ему сплела. Уезжавшие стали бросать свои венки друзьям в лодки. Я не надеялась, не ждала… Нет, все-таки чуть-чуть надеялась, только никто этого не видел, лицо у меня было гордое и веселое, как у всех вокруг. И Лилолило сделал то, чего я ждала от него, ждала с самого начала. Глядя мне в глаза прямо и честно, он снял с головы мой чудесный венок и разорвал его надвое. Я видела, как губы его беззвучно произнесли одно только слово — «пау». Кончено. Не отводя от меня глаз, он разорвал каждую половину венка еще раз и бросил остатки цветов — не мне, а в разделившую нас полосу воды, которая становилась все шире и шире. Пау. Все было кончено…

Белла долго молчала, вперив взгляд в далекий горизонт. Младшая сестра не решалась выразить словами свое сочувствие, но глаза ее были влажны.

— В тот день, — продолжала Белла, и голос ее звучал сперва сурово и сухо, — я пустилась в обратный путь по старой скверной тропе вдоль берега Хамакуа. Первый день было не очень трудно. Я как-то вся онемела. Я была так полна тем чудесным, о чем предстояло забыть, что я не сознавала, что оно должно быть забыто. На

ночь я остановилась в Лаупахоэхоэ. Я думала, что проведу бессонную ночь. Но меня укачало в седле, и онемение еще не прошло, и я всю ночь проспала как убитая.

Зато на следующий день что было! Поднялся ветер, лил проливной дождь. Тропу размыло, лошади наши скользили и падали. Ковбой, которого дядя Джон дал мне в провожатые, сначала уговаривал меня вернуться, но потом отчаялся, покорно ехал следом за мной и только головой покачивал да бормотал, что я, видно, помешалась. Вьючную лошадь мы бросили в Кукуихаэле. В одном месте мы пробирались почти вплавь по глубокой грязи. В Ваиме ковбою пришлось сменить свою лошадь. Но мой Хило выдержал до конца. Я пробыла в седле с раннего утра до полуночи, а в полночь, в Килохана, дядя Джон снял меня с лошади, на руках отнес в дом, поднял служанок и велел им раздеть меня и размассировать, а сам напоил меня горячим вином и какими-то снотворными снадобьями. Наверно, я бредила и кричала во сне. Наверно, дядя Джон обо всем догадался. Но никогда, никому, даже мне, он не сказал ни слова. О чем бы он ни догадался, он все схоронил в заповедной комнате принцессы Наоми.

Какие-то обрывки воспоминаний сохранились у меня об этом дне, полном бессильной, слепой ярости, — распустившиеся мокрые волосы хлещут меня по груди и лицу, ручьи слез смешиваются с потоками дождя, а в душе — бешеная злоба на мир, где все устроено скверно и несправедливо… Я помню, что стучала кулаками по луке седла, кричала что-то обидное своему ковбою, вонзала шпоры в бока красавцу Хило, а в душе молилась, чтобы он взвился на дыбы и, упав, придавил меня к земле — тогда не будут больше мужчины любоваться красотой моего тела — либо сбросил меня с тропы, и я погибла бы в пропасти и обо мне сказали бы «пау» — так же бесповоротно, как произнес одними губами Лилолило, когда разорвал мой венок и бросил в море…

Джордж пробыл в Гонолулу дольше, чем думал. Когда он вернулся в Наала, я уже ждала его там. Он церемонно обнял меня, равнодушно поцеловал в губы, с важным видом посмотрел мой язык, сказал, что я плохо выгляжу, и уложил в постель с горячими вьюшками, предварительно напоив касторкой. И я снова вошла в серую жизнь Наала, точно в часовой механизм, и стала одним из зубцов или колесиков, что вертятся все

вокруг и вокруг, безостановочно и неумолимо. Каждое утро в половине пятого Джордж вставал с постели, а в пять уже садился на лошадь. Каждый день овсяная каша, и отвратительный дешевый кофе, и говядина, свежая и вяленая, свежая и вяленая. Я стряпала, пекла и стирала. Вертела ручку дребезжащей машинки и шила себе платья. Еще два бесконечных года я каждый вечер сидела напротив него за столом и штопала его дешевые носки и жиденькое белье, а он читал прошлогодние журналы, которые брал у кого-то, потому что сам жалел денег на подписку. А потом пора было спать — керосин ведь стоил денег, — и Джордж заводил часы, записывал в дневник погоду и, сняв башмаки — сначала правый, потом левый, — ставил их рядышком со своей стороны кровати.

Но теперь уже не было надежды, что я привяжусь к моему мужу, — это только казалось до того, как принцесса Лихуэ пригласила меня на прогулку и дядя Джон дал мне лошадь. Вот видишь, сестрица Марта, ничего бы не случилось, если бы дядя Джон отказался дать мне лошадь. А теперь я изведала любовь, я помнила Лилолило; так мог ли после этого мой муж завоевать мое уважение и привязанность? И еще два года в Наала жила

мертвая женщина, которая почему-то ходила и разговаривала, стряпала и стирала, штопала носки и экономила керосин... Врачи сказали, что всему причиной было недостаточно теплое белье, — ведь он и в зимнюю непогоду вечно рыскал в верховьях Наала.

Его смерть не была для меня горем, — я слишком много горевала, пока он был жив. И радости я не испытывала. Радость умерла в Хило, когда Лилолило бросил мой венок в море и мои ноги забыли, что значит упоение танца. Лилолило умер через месяц после моего мужа Я не видела его с того прощанья в Хило. Да, поклонников у меня потом было хоть отбавляй; но я, как дядя Джон, могла отдать свое сердце только раз в жизни. У дяди Джона была в Килохана комната принцессы Наоми. У меня вот уже пятьдесят лет есть комната Лилолило — в моем сердце. Ты, сестрица Марта, первая, кого я впустила в нее...

Еще один автомобиль, описав круг, затормозил перед домом, и на лужайке показался муж Марты. Прямой, сухощавый, с седой головой и выправкой военного, Роско Скандуэл был одним из членов «большой пятерки», которая, сосредоточив в своих руках все деловые нити, вершила судьбы Гавайских островов. Хоть он и был чисто-

кровный американец, уроженец Новой Англии, но по гавайскому обычаю сердечно обнял Беллу и расцеловался с нею. Он с одного взгляда понял, что здесь только что шел женский разговор и что, хотя обе сестры глубоко взволнованы, мудрость, пришедшая с годами, поможет им быстро обрести мир и покой.

— Приезжает Элси с малышами, — сообщил он, поцеловав жену, — я получил радиограмму с парохода. Они погостят у нас несколько дней, а потом поедут дальше, на Мауи.

Марта принялась соображать вслух:

— Я хотела устроить тебя в розовой комнате, сестрица Белла, но, пожалуй, ей там будет удобнее с детьми и няньками, а тебя мы поместим в комнате королевы Эммы.

— Это даже лучше, я и в прошлый раз там жила, — сказала Белла.

Роско Скандуэл, хорошо знавший, какова любовь и пути любви на Гавайях, прямой, сухощавый, представительный, стал между красавицами сестрами и, обняв ту и другую за пышную талию, медленно пошел с ними к дому.

Ваикики (Гавайи), 6 июня 1916 г.

Кости Кахекили

С верхушек гор Коолуа доносились порывы пассатного ветра, колебавшего огромные листья бананов, шелестевшего в пальмах, с шепотом порхавшего в кружевной листве деревьев альгаробы. Это было перемежающееся дыхание атмосферы — именно дыхание, вздохи томного гавайского предвечерья. А в промежутках между этими тихими вздохами воздух тяжелел и густел от аромата деревьев и испарений жирной, полной жизни земли.

Много людей собралось перед низким домом, похожим на бунгало, но только один из них спал. Остальные пребывали в напряженном молчании. Позади дома заверещал грудной младенец, издавая тонкий писк, который трудно было унять даже наскоро сунутой грудью. Мать, стройная хапа-хаоле (полубелая), облаченная в свободную холоку из белого муслина, быстрой тенью мелькнула между банановыми и хлебными деревьями, проворно унося подальше крикливого младенца. Прочие женщины, хапа-хаоле и чистые туземки, с тревогой наблюдали за ее бегством.

Перед домом на траве сидели на корточках де-

сятка два гавайцев. Мускулистые, широкоплечие, они были настоящими силачами. Загорелые, с блестящими карими и черными глазами, с правильными чертами широких лиц, они казались такими же добродушными, веселыми и кроткими по нраву, как сам гавайский климат. Странным образом противоречил этому свирепый вид их одеяний. За грубые кожаные наколенники засунуты были длинные ножи, рукоятки которых выдавались наружу. Сандалии украшены были испанскими шпорами с огромными колесами. Если бы не их нелепые венки из пахучей маиле, надетые поверх щегольских ковбойских шляп, у них был бы вид настоящих бандитов. У одного, выделявшегося плутоватой красотою фавна и с глазами фавна, пламенел кокетливо заткнутый за ухо двойной цветок гибиска. Над их головами, заботливо укрывая от солнца, простирался широкий навес, образованный огненными цветами невиданного тропического растения, и из каждого цветка торчали пушистые листочки перистых пестиков. Издалека, заглушенный расстоянием, доносился топот стреноженных коней. Взоры всех были напряженно устремлены на спящего, который лежал навзничь на циновке лаухала под деревьями.

Рослыми были эти гавайские ковбои, но спящий был еще рослее! Судя по белоснежной бороде и таким же волосам, он был значительно старше их. Толстые запястья и огромные пальцы свидетельствовали о могучем телосложении. Одет он был в широкие штаны из грубой бумажной ткани и бязевую рубаху без пуговиц, открывавшую грудь, заросшую лохмами таких же белоснежных волос, как и на голове. Ширина и высота этой груди, ее упругие и пластичные, теперь отдыхавшие мускулы свидетельствовали об огромной силе человека. И ни загар, ни обветренность кожи не могли скрыть того, что это был настоящий хаоле — чистокровный белый.

Вздернутая в небо огромная белая борода, не подстригавшаяся цирюльником, поднималась и опускалась с каждым дыханием, а белоснежные усы топорщились, как иглы дикобраза. Внучка спящего, девочка лет четырнадцати, в рубахе муу-муу, сидела возле него на корточках и отгоняла мух перистым опахалом. На ее лице написаны были озабоченность, нервная настороженность и благоговение — словно она прислуживала богу.

И действительно, спящий бородач Хардмэн Пул был для нее, как и для многих других, богом: источником жизни, источником питания, кладезем

мудрости, законодателем, улыбающимся благодеянием и карающим черным громом — короче говоря, владыкой, у которого было четырнадцать живых и совершенно взрослых сыновей и дочерей, шесть правнуков, а внуков столько, что ему трудно было счесть их даже на досуге.

За пятьдесят один год до этого он высадился из беспалубной шлюпки в Лаупа-хоэхоэ на наветренном берегу Гавайских островов. Эта шлюпка была единственной уцелевшей с китобойного судна «Черный Принц», из Нью-Бедфорда[28]. Уроженец этих мест, он в двадцать лет благодаря своей сокрушительной силе и ловкости уже был вторым помощником на погибшем впоследствии китобойном судне. Прибыв в Гонолулу и хорошенько оглядевшись, он первым делом женился на Каламе Камаиопили, потом стал лоцманом порта Гонолулу, после этого открыл салун с меблированными комнатами и наконец после смерти отца Каламы занялся скотоводством на унаследованных ею обширных пастбищах.

Свыше полувека жил он с гавайцами и, по их признанию, знал их язык лучше очень многих туземцев. Женившись на Каламе, он взял за ней

---

[28] notes: 28
Нью-Бедфорд — город и гавань в штате Массачусетс.

не только землю, он приобрел и звание вождя и верноподданность простолюдинов. Вдобавок он сам обладал всеми природными качествами, необходимыми вождю: исполинским ростом, бесстрашием, гордостью, пылким нравом, не переносившим ни малейшего оскорбления, ни заносчивости; не боясь решительно ничего, какой бы могучей силой ни обладал противник, он добивался преданности прочих смертных не каким-нибудь презренным торгашеством, а самой широкой щедростью. Он знал гавайцев насквозь, знал их лучше, чем они знали себя, в совершенстве усвоил их полинезийскую велеречивость, знал их поверья, обычаи и обряды.

И вот на семьдесят втором году жизни, проведя в седле целое утро, начавшееся в четыре часа, он лежал теперь в тени деревьев, предаваясь привычной и священной сьесте[29], которую ни один подданный не посмел и не позволил бы нарушить никому даже из равных великому владыке. Только королю предоставлялось это право, но король также убедился в свое время, что нарушить сьесту Хардмэна Пула значило разбудить человека, способного сказать в лицо

---

[29] notes: 29
Сьеста — послеполуденный отдых в часы наибольшей жары.

весьма неприятную правду, а ее, как известно, не любят выслушивать даже короли.

Солнце продолжало палить. В отдалении слышался конский топот. Умирающий пассат вздыхал и жужжал, нарушая промежутки покоя. Еще тяжелее стал аромат цветов. Женщина принесла обратно успокоившегося младенца. Деревья сложили свои листья и замерли в обморочном покое теплого воздуха. Девочка, затаив дыхание от огромной важности своей задачи, продолжала отгонять мух, и два десятка ковбоев напряженно и безмолвно наблюдали за спящим.

Хардмэн Пул проснулся. Очередной вздох был не таким глубоким, как обычно. Не поднялись и белые длинные усы. Вместо этого под бородой отдулись щеки. Поднялись веки, открыв голубые глаза, живые и глубокие, нисколько не сонные; правая рука потянулась к лежавшей рядом недокуренной трубке, а левая — к спичкам.

— Принеси джина с молоком! — приказал он по-гавайски девочке, задрожавшей при его пробуждении.

Он закурил трубку и не обращал ни малейшего внимания на ожидавших верноподданных, пока стакан молока с джином не был принесен и выпит.

— Ну? — отрывисто спросил он. Двадцать физиономий расплылось в улыбке, двадцать пар черных глаз заблестели приветственно, а он вытер оставшиеся на усах капли джина с молоком. — Чего вы тут околачиваетесь? Что вам нужно? Подойдите поближе.

Двадцать гигантов, в большинстве молодых, поднялись и с великим звоном и бренчанием шпор и цепочек на шпорах зашагали к нему. Они стали вокруг него, застенчиво прячась друг за друга, конфузливо улыбаясь и в то же время совершенно невольно проявляя некоторую фамильярность. Правду сказать, для них Хардмэн Пул был больше, чем вождь. Он был их старший брат, или отец, или патриарх; со всеми он состоял в родстве так или иначе, по гавайским обычаям через жену и многочисленные браки своих детей и внуков. Стоило ему нахмуриться, и они все терялись, его гнев приводил их в ужас, приказ его мог бросить их на верную смерть; и все же никому из них и в голову не пришло бы обратиться к нему иначе, чем просто по имени, и это имя «Хардмэн», «Суровый Человек», по-гавайски выговаривалось: Канака Оолеа.

По знаку Хардмэна они снова уселись на траву и с заискивающими улыбками ждали, когда он

обратится к ним.

— Что вам нужно? — спросил он по-гавайски с резкостью и суровостью — напускной, как они знали.

Они еще шире растянули рты в улыбке и задвигали широкими плечами и мощными торсами, как огромные щенята. Хардмэн Пул выделил из них одного.

— Ну, Илиопои, что тебе нужно?

— Десять долларов, Канака Оолеа.

— Десять долларов! — вскричал Пул в притворном ужасе при упоминании столь огромной суммы. — Не собираешься ли ты взять вторую жену? Вспомни, чему учат миссионеры! По одной жене, Илиопои, по одной жене! Потому что тот, у кого много жен, обязательно попадет в ад!

Шутка была встречена хихиканьем и блеском смеха в глазах.

— Нет, Канака Оолеа, — был ответ. — Дьяволу известно, что мне не хватает кай-кай для одной жены и ее многочисленных родичей.

— Кай-кай? — повторил Пул завезенное из Китая обозначение пищи, которым гавайцы заменили их собственное слово паина. — Разве вы нынче не получили кай-кай?

— Да, Канака Оолеа, — вмешался старый, смор-

щенный туземец, который только что вышел из дома и присоединился к сидевшим. — Все они получили кай-кай на кухне, и вдоволь; они ели, как отбившиеся лошади, приведенные с лавы.

— А тебе что надо, Кумухана? — обратился Пул к старику и в то же время сделал знак девочке, чтобы она отгоняла мух с другой стороны.

— Двенадцать долларов! — объявил Кумухана. — Я хочу купить осла и подержанное седло с уздечкой. Мои ноги ослабели и не носят меня.

— Подожди! — приказал белый. — Мы с тобой поговорим об этом деле и о других важных делах, когда я закончу с остальными и они уйдут.

Сморщенный старик кивнул и стал закуривать трубку.

— Кай-кай на кухне был хорош! — продолжал Илиопои, облизнувшись. — Пои была первый сорт, свинина жирная, лососина не воняла, рыба очень свежая, и ее вдоволь, хотя нужно сказать, что опихи (маленькие ракушки, гнездящиеся в камнях) были пересолены и потому жесткие. Опихи никогда не следует солить! Сколько раз говорил я тебе, Канака Оолеа, что опихи нельзя солить! Я битком набит хорошей кай-кай. Чрево мое отяжелело от нее. Но нет легкости моему сердцу, ибо нет кай-кай в моем доме, где у меня

жена, она же тетка второй жены твоего четвертого сына, и моя дочь-малютка, и старая мать моей жены, и приемное дитя старой матери моей жены — калека, и сестра моей жены, которая тоже живет с нами со своими тремя детьми, ибо отец их скончался от злой водянки…

— Пять долларов отсрочат ваши похороны на день или два? — оборвал Пул эти излияния.

— Да, Канака Оолеа, и даже можно будет купить моей жене новый гребень и для меня немножко табаку!

Из кошелька, который он достал из кармана штанов, Хардмэн Пул выудил золотую монету и ловко метнул ее в протянутую руку.

Холостяку, которому нужны были шесть долларов на новые краги, на табак и на шпоры, досталось три доллара; столько же другому, которому требовалась шляпа; а третьему, скромно попросившему два доллара, отпущено было четыре с присовокуплением цветистого комплимента искусству, с которым он заарканил на горах одичавшего быка. Все знали, что Хардмэн, по общему правилу, сокращает претензии вдвое, и потому удваивали их размеры.

Хардмэн Пул знал это и про себя улыбался. Такова уж была его манера обращаться с много-

численными подчиненными, и она нисколько не подрывала их уважения к нему.

— А тебе, Ахуху? — спросил он туземца, имя которого означало — «Ядовитое дерево».

— И на пару штанов! — заключил Ахуху список своих нужд. — Я очень много и далеко ездил за твоим скотом, Канака Оолеа, и там, где мои штаны терлись о седло, от них ничего не осталось. Нехорошо, когда говорят, что ковбой Канаки Оолеа, к тому же еще родственник сводной сестры жены Канаки Оолеа, стыдится слезть с седла и пятится задом от всех, кто видит его!

— Вот тебе на дюжину пар штанов, Ахуху! — улыбнулся Хардмэн Пул, вручив туземцу деньги. — Я горжусь тем, что моя семья хранит мою честь. А потом, Ахуху, из этой дюжины пар штанов ты одну пару дай мне, иначе и мне придется пятиться задом, потому что и мои штаны совсем износились, и мне тоже стыдно!

Громкий смех был ответом на последнюю шутку белого вождя, и вся группа этих физически развитых, но по-детски наивных людей направилась к поджидавшим их коням, все, за исключением старого, сморщенного Кумухана, которому приказано было остаться.

Целых пять минут сидели они в полном мол-

чании. Затем Хардмэн Пул приказал девочке принести еще стакан джина с молоком, и когда она это сделала, он кивнул ей, чтобы она передала стакан Кумухане. Стакан не отрывался от губ туземца, пока не был опорожнен, после чего старик громко вздохнул и причмокнул губами.

— Много ава выпил я на своем веку, — задумчиво сказал он, — но ведь ава — напиток простого человека, а напиток хаоле — напиток вождей. В ава нет огня и силы спирта, в ава нет покалывания и кусания, которое очень приятно, так же приятно, как приятно жить.

Хардмэн Пул улыбнулся и кивнул в знак согласия, а старый Кумухана продолжал:

— В спирте есть тепло; он обогревает чрево и душу. Он согревает сердце. И душа и сердце стынут у человека, когда он стар.

— А ты стар! — согласился Пул. — Почти так же, как я.

Кумухана покачал головой и пробормотал:

— Если бы я не был старше тебя, то я был бы так же молод, как ты.

— Мне семьдесят один! — заметил Пул.

— Я не знаю счета, — был ответ. — Что случилось, когда ты родился?

— Давай сообразим, — задумался Пул. — Теперь

у нас 1880 год, почти семьдесят один, останется девять. Я родился в 1809 году. В том году скончался Келиимакаи, тогда в Гонолулу жил шотландец Арчибалд Кэмпбел.

— В таком случае я постарше тебя, Канака Оолел! Я хорошо помню шотландца; я в то время играл среди камышовых хижин Гонолулу и уже ездил верхом на досках во время прибоя в Вайкики. Я мог бы показать тебе место, где стояла хижина шотландца! Там находится теперь Матросская Миссия. И я знаю, когда я родился. Мне не раз говорили об этом моя бабушка и мать. Я родился, когда госпожа Пеле (богиня огня, она же богиня вулканов) разгневалась на жителей Пайэа; они перестали приносить ей в жертву рыбу из своего пруда, и она наслала поток лавы с Хуулалаи и засыпала их пруд. И рыбный пруд Пайэа погиб навеки. Вот когда я родился!

— Это было в 1801 году, когда Джеймс Бонд строил корабли для Камехамехи в Хило, — сказал Пул, — стало быть, тебе семьдесят девять лет, и ты восемью годами старше меня. Ты очень стар!

— Да, Канака Оолеа, — пробормотал Кумухана, пытаясь гордо выпятить впалую грудь.

— Ты очень мудр!

— Да, Канака Оолеа.

— И ты знаешь много тайн, ведомых только старцам!

— Да, Канака Оолеа.

— И, стало быть, ты знаешь… — Хардмэн Пул сделал паузу, чтобы сильнее загипнотизировать старика упорным взглядом своих выцветших голубых глаз. — Говорят, кости Кахекили взяты из тайника и в настоящее время покоятся в Королевском Мавзолее. А мне шепнули, что только ты один из всех ныне живущих знаешь правду!

— Знаю! — был гордый ответ. — Один я знаю.

— И что же, лежат они там? Да или нет?!

— Кахекили был алии (верховный вождь). По прямой линии от него происходит твоя жена Калама. Она тоже алии. — Старик помолчал, глубокомысленно сжав губы. — Я принадлежу ей, как и весь мой род принадлежал ее роду. Только она может повелевать великими таинствами, известными мне! Она мудра, слишком мудра для того, чтобы приказать мне выдать эту тайну. Тебе, о Канака Оолеа, я не отвечаю «да», но не отвечаю и «нет». Это тайна алии, которой не знают сами алии.

— Хорошо, Кумухана! — ответил Хардмэн Пул. — Но ты не забывай, что я также алии, и чего не посмела спросить моя славная Калама, то спрошу

я! Я пошлю за нею сейчас же и прикажу ей повелеть тебе ответить! Но это будет глупо и вдвойне глупо с твоей стороны. Лучше расскажи тайну мне, и она ничего не узнает! Уста женщин выливают все, что втекает в ухо, — так уж они созданы! Я мужчина, а мужчина создан иначе. Ты хорошо знаешь, что мои губы так же плотно замыкают тайну, как спрут присасывается к соленой скале. Если ты не скажешь мне, так скажешь Каламе и мне, и уста ее начнут говорить, и в скором времени последний малахини будет знать все! Будет знать то, что, если скажешь мне одному, знали бы только мы с тобой!

Долго сидел Кумухана в полном молчании, обсуждая про себя приведенный довод и не видя возможности уклониться от его неумолимой логики.

— Велика твоя мудрость, хаоле! — промолвил он наконец.

— Да? Или нет? — Хардмэн Пул приставал, как с ножом к горлу.

Кумухана огляделся кругом, потом остановил взор на девчонке, отгонявшей мух.

— Уходи! — приказал ей Пул. — И не возвращайся, пока я не хлопну в ладоши.

Больше Хардмэн Пул не промолвил ни слова,

даже когда девочка скрылась в доме; но на его лице был написан неумолимый, как железо, вопрос: да или нет?

Опять Кумухана осмотрелся и взглянул даже вверх, на ветви дерева, словно боялся шпиона. Губы у него пересохли. Он облизывал их языком. Дважды пытался заговорить — и вместо слов издавал лишь нечленораздельный звук. И наконец, понурив голову, он прошептал так тихо и торжественно, что Хардмэну Пулу пришлось приблизить ухо, чтобы услышать: «Нет».

Пул хлопнул в ладоши, и из дому опрометью выскочила трепещущая девочка.

— Принеси молока с джином старому Кумухане! — приказал Пул. И обратился к Кумухане: — Теперь рассказывай всю историю!

— Погоди! — был ответ. — Погоди, пока эта маленькая вахине придет и уйдет!

Девочка ушла, джин с молоком отправился путем, предназначенным для джина и молока, когда они смешаны в одно, а Хардмэн Пул ждал рассказа, не понукая больше старика. Кумухана положил руку на грудь и глубоко покашливал, как бы прося поощрения; наконец он заговорил:

— В стародавние дни страшное это было дело — смерть великого алии! Кахекили был вели-

кий алии. Поживи он еще немного, он был бы королем. Кто знает? Я был тогда молодой, еще неженатый. Ты знаешь, Канака Оолеа, когда скончался Кахекили, и можешь высчитать, сколько мне было тогда лет. Он умер, когда правитель Боки открыл «Блонд-Отель» в Гонолулу. Ты ведь слыхал об этом?

— Я в ту пору находился на наветренной стороне Гавайских островов, — отвечал Пул. — Но я слышал об этом. Боки построил спиртоочистительный завод и снимал в аренду земли Маноа для разведения сахара, а Каахуману, в то время бывший правителем, отменил аренду, повырывал с корнями сахарный тростник и насажал картофель. Боки разгневался, стал готовиться к войне, собрал своих бойцов вместе с десятком дезертиров с китобойного судна, достал пять медных пушек из Вайкики…

— Вот в эту самую пору и умер Кахекили! — быстро подхватил Кумухана.

— Ты очень мудр! Многое из старых времен ты знаешь лучше, чем мы, старые канаки!

— Это произошло в 1829 году, — благодушно продолжал Пул. — Тебе было тогда двадцать восемь лет, а мне двадцать, и я только что пристал к берегу после пожара на «Черном Принце».

— Мне было двадцать восемь, — подхватил Кумухана, — это верно! Я очень хорошо помню медные пушки Боки из Вайкики. В ту пору Кахекили и скончался в Вайкики. Люди до сих пор думают, будто его кости были отвезены в Хале-о-Кеауе (мавзолей) в Хонаунау, в Кона…

— А много лет спустя были перевезены в Королевский Мавзолей сюда, в Гонолулу, — закончил Пул.

— И есть еще люди, Канака Оолеа, которые и по сей день полагают, будто королева Элис укрыла их с остальными костями своих предков в огромных кувшинах в своей запретной комнате. Все это неправда! Я хорошо знаю. Священные кости Кахекили исчезли навсегда! Они нигде не покоятся! Они перестали существовать! Великое число ветров кона посеребрило прибой Вайкики с той поры, как последний смертный глядел на последнего Кахекили! Я один остался в живых из всех этих людей. Я последний человек — и не рад тому, что остался последним…

Я был молод, и сердце мое горело, как раскаленная добела лава, тоской по Малиа — она была среди домочадцев Кахекили. Горело по ней и сердце Анапуни, но сердце у него было черное, как ты увидишь! В ту ночь, в ночь кончины

Кахекили, мы с Анапуни были на попойке. Анапуни и я были простолюдинами, как все канаки и вахине, пировавшие с простыми матросами с китобойного судна. Мы пьянствовали на циновках у взморья Вайкики возле старого хейяу (храма), где теперь находится пляж. В ту ночь я узнал, сколько могут выпить матросы хаоле. Что касается нас, канаков, то наши головы разгорячились, были легки и трещали от виски и рома, как сухие тыквы.

Дело было за полночь — я хорошо это помню, — когда я увидел Малиа, никогда не показывавшуюся на попойках; она направлялась к нам по мокрому песку взморья. Целый ад загорелся в моей душе, когда я заметил, как смотрит на нее Анапуни — он был к ней ближе всех, потому что сидел напротив меня в кругу пьянствовавших. О, я знаю, что во мне горели виски, и ром, и молодость; но в то мгновение мой безумный ум решил, что, если она заговорит с ним и с ним первым пойдет танцевать, я стисну его обеими руками за горло и сброшу вниз, в прибой, шумевший возле нас, потоплю, задушу, уничтожу препятствие, стоявшее между мною и ею! Имей в виду — она никак не могла выбрать между нами и только он давно уже мешал ей стать моей!

Это была красивая девушка с фигурой величественной, как у жены вождя. И дивно хороша была она, когда шла к нам по песку в сиянии луны! Даже матросы хаоле умолкли и, разинув рты, уставились на нее. Какая у нее была походка! Я слышал, о Канака Оолеа, твои рассказы о женщине Елене, из-за которой загорелась Троянская война. Так скажу тебе, что из-за Малиа куда больше мужчин штурмовали бы стены ада, чем их бросилось на старый городишко, о котором у вас в обычае так много и долго говорить, когда вы выпьете чересчур мало молока и чересчур много джина.

Ее походка! И эта луна, мягкое мерцание медуз в прибое, как сияние газовых рожков у рампы, которую я видел в новом театре хаоле. Шла не девушка, а женщина. Она не порхала, как струйки воды на тихом, огороженном взморье, — нет, она шла величественно, царственно, как жидкая лава, текущая по склонам Кау к морю, как движение волн, поднятых морским пассатом, как приход и уход четырех великих приливов года, наверно, отдающихся музыкой в ушах божественной вечности — музыкой, недоступной недолговечному смертному человеку!

Анапуни был к ней ближе прочих. Но смотрела

она на меня. Слыхал ли ты, о Канака Оолеа, зов — беззвучный, но более громкий, чем трубы архангелов? Так взывала она ко мне через головы пьяниц! Я наполовину поднялся, ибо не совсем еще напился; но Анапуни схватил ее и привлек к себе, а я откинулся назад, уперся на локоть, наблюдал за ними и бесновался. Он хотел усадить ее возле себя, и я ждал. Если бы она села и затем танцевала с ним, то еще до утра Анапуни был бы мертв: я задушил бы его и утопил в мелком прибое!

Не правда ли, странная штука любовь, о Канака Оолеа? Но нет, ничего здесь нет странного! Так и должно быть в пору юности человека, иначе род человеческий не мог бы продолжаться.

— Вот почему влечение к женщине сильнее желания жить, — вставил Пул.

— Иначе не было бы ни мужчин, ни женщин!

— Да! — подтвердил Кумухана. — Но много лет прошло с той поры, как во мне угасла последняя искра этого пламени. Я вспоминаю его, как человек вспоминает когда-то виденный им восход солнца: было и нет. Так человек стареет, остывает и пьет джин не ради безумия, а ради тепла. Молоко очень питательно!..

Но Малиа не села возле Анапуни. Я помню,

что глаза у нее дико блуждали, волосы были распущены и развевались, когда она нагнулась и что-то шепнула ему на ухо. Ее волосы закрыли его, и сердце мое стукнуло в ребра, и голова закружилась так, что я как бы ослеп. И если бы через минуту она не пошла ко мне, то я пересек бы круг и схватил ее!

Этому не суждено было случиться. Ты помнишь вождя Конукалани? Он подбежал к кругу. Лицо его почернело от гнева. Он схватил Малиа не за руку, нет, за волосы схватил он ее, потащил за собой и скрылся. И до сих пор я не могу понять случившегося! Я только что готов был убить за нее Анапуни — и не поднял ни руки, ни возмущенного голоса, когда Конукалани потащил ее прочь за волосы. Не сделал этого и Анапуни. Разумеется, мы были простолюдины, а он вождь! Это так, но почему же два простолюдина, обезумевшие от желания обладать женщиной, которое сильнее в них желания жить, позволяют вождю, пускай даже высшему в округе, тащить эту женщину за волосы? Как мы, двое мужчин, желавшие ее больше жизни, не убили вождя на месте? Это — нечто более могущественное, чем желание жить, чем желание обладать женщиной; но что это такое? И почему?

— Я тебе отвечу! — сказал Хардмэн Пул. — Это потому, что в большинстве люди глупцы, и, стало быть, о них должны заботиться те, кто умнее. Вот тайна предводительства! Во всем мире вожди командуют людьми. Во всем мире, сколько ни существуют люди, существовали вожди, которым приходилось говорить этому множеству глупцов: «Сделайте это, не делайте того-то. Работайте и работайте, как мы приказываем вам, иначе брюхо у вас будет пусто, и вы погибнете. Повинуйтесь законам, которые мы сочинили для вас, иначе вы будете, как звери, и не будет вам места на свете. Вы бы не уцелели, если бы не вожди, которые командуют вами и устраивают дела ваших отцов. Не было бы у вас семьи, если бы мы вами не управляли. Вы должны вести себя смирно, благопристойно, быть людьми воспитанными. Вы должны рано ложиться вечерами и по утрам рано вставать на работу, если хотите иметь постели для сна, а не гнездиться на деревьях, как глупые птицы. Сейчас время сажать ямс — и вы должны сажать его. И сейчас, теперь, сегодня, а не то чтобы плясать и гулять нынче, а сажать ямс завтра или в какой-нибудь другой из множества ваших ленивых дней! Вы не должны убивать друг друга и не имеете права трогать жен ваших соседей.

Такова жизнь для вас! Ибо вы зараз обдумываете только один день, а мы, ваши вожди, обдумываем за вас все дни много дней вперед!»

— Как облако на горной вершине, спускающееся сверху и обволакивающее человека, а он смутно распознает, что это облако, так и твоя мудрость для меня, Канака Оолеа! — бормотал Кумухана. — Грустно все же, что мне суждено было родиться простолюдином и все дни моей жизни прожить простолюдином…

— Это потому, что ты сам был прост! — уверял Хардмэн Пул. — Когда человек рождается простым, а по природе не прост, он поднимается и сбрасывает вождя, и сам делается вождем над вождями! Почему ты не управляешь моим ранчо с его многими тысячами голов скота, не меняешь пастбищ с приходом дождей, не ловишь диких быков, не продаешь мяса на парусные суда, и на военные корабли, и людям, живущим в домах Гонолулу, не споришь с адвокатами, не помогаешь составлять законы и не говоришь королю, что ему следует делать, а что делать опасно? Почему никто другой не делает того, что я делаю? Никто из всех людей, работающих на меня, кормящихся из моих рук и заставляющих думать за них меня, работающего усерднее кого-либо из них, меня,

который ест не больше любого из них и который, как и все они, может спать зараз только на одной циновке лаухала?

— Вот я и выбрался из облака, Канака Оолеа! — проговорил Кумухана, и физиономия его заметно просияла. — Теперь я понимаю! Многое стало ясным! За все мои долгие годы алии, под которыми я родился, думали за меня! Проголодавшись, я всегда приходил к ним за едой, как прихожу теперь на твою кухню. Много людей ест в твоей кухне, и в дни пиров ты для них убиваешь жирных быков. Вот почему и нынче я пришел к тебе стариком, труд которого не стоит и шиллинга в неделю, а прошу у тебя двенадцать долларов на покупку осла и подержанного седла с уздечкой! Вот почему мы, дважды десять глупцов, под этими самыми деревьями полчаса тому назад просили у тебя кто доллар, кто два, кто четыре, кто пять, кто десять, кто двенадцать. Мы беспечные люди, дети тех беспечных дней, когда никто не додумался бы сажать вовремя ямс, если бы наши алии не заставили бы нас делать это, люди, которые не хотели и одного дня подумать за себя, а теперь, когда мы состарились и никуда не годимся, знаем, что наш алии обеспечит нам кай-кай для нашего брюха и соломенную кровлю,

чтобы под ней приютиться…

Хардмэн Пул кивнул и напомнил:

— Ну, а что же кости Кахекили? Вождь Конукалани оттащил прочь Малиа за волосы, а вы с Анапуни сидели смирно в кругу пьяниц. Что же такое шепнула Малиа на ухо Анапуни, когда наклонилась над ним, закрыв ему лицо своими волосами?

— Что Кахекили скончался. Вот что она шепнула Анапуни! Что Кахекили только что умер и что вожди, приказав всем домочадцам оставаться в доме, обсуждают вопрос, как распорядиться с его костями и плотью, прежде чем весть о его смерти распространится. Что верховный жрец Эоппо переубедил всех, и она, Малиа, подслушала ни много, ни мало, как то, что меня и Анапуни избрали в жертвы, которые должны будут отправиться одним путем с Кахекили и его костями и ходить за ним во веки веков в мире теней!

— Моэпуу — человеческое жертвоприношение! — вставил Пул. — А между тем прошло уже девять лет со дня прибытия миссионеров.

— А за год до их прибытия идолов посбрасывали с подножий и нарушили все табу! — добавил Кумухана. — Но вожди все еще держались старого обычая, обычая хунакеле, и прятали кости алии

в таком месте, чтобы ни один человек не мог их найти, не мог делать рыболовных крючков из их челюстей или наконечников для стрел из длинных костей. Смотри, о Канака Оолеа!

Старик высунул язык, и Пул, к своему изумлению, увидел, что поверхность этого чувствительного органа была от корня до кончика покрыта чрезвычайно сложной татуировкой.

— Это было сделано через несколько лет после прибытия миссионеров, когда скончался Кеопуолани. Мало того, я выбил у себя четыре передних зуба и выжег дужки на всем моем теле. И всякого, кто в эту ночь осмеливался высунуть нос за дверь, убивали вожди! Нельзя было зажечь огня в доме, не слышно было ни шума, ни шороха. Даже собак и свиней, поднимавших шум, убивали, а всем кораблям хаоле в порту запретили бить в колокола той ночью! Страшная вещь была в те дни смерть алии!

Но вернемся к ночи, в которую скончался Кахекили. Мы продолжали сидеть в кругу пьяниц после того, как Конукалани утащил Малиа за волосы. Некоторые из матросов хаоле начали было ворчать, но в те дни их было мало в стране, а канаков было много. И больше Малиа не видел никто из живых. Конукалани знал, как ее убили,

но никому не рассказывал. А в последовавшие годы разве смели задавать ему такие вопросы простолюдины вроде меня и Анапуни?

Она все рассказала Анапуни перед тем, как ее оттащили. Но у Анапуни было черное сердце. Мне он не сказал ничего! Он стоил того убийства, которое я замышлял! В кругу сидел исполин гарпунщик, пение которого было подобно мычанию быка; я загляделся на него, покуда он ревел какую-то морскую песню, и когда бросил взгляд через круг на Анапуни, увидел: Анапуни исчез. Он бежал в высокие горы, где мог прятаться с птицеловами недели и месяцы. Это я узнал впоследствии.

А что же я? Я сидел, стыдясь того, что мое желание обладать женщиной оказалось слабее моего рабского повиновения вождю. И топил свой стыд в больших кружках рома и виски, пока все вокруг меня не пошло ходуном и в голове и снаружи, пока Южный Крест не заплясал хула на небе, пока горы Коолау не закланялись своими царственными вершинами Вайкики, а прибой Вайкики не поцеловал их в лоб. А гигант гарпунщик продолжал реветь — это был последний звук, который я услышал, ибо я откинулся навзничь на циновку лаухала и на время как бы умер.

Когда я проснулся, чуть-чуть серел рассвет. Чья-то голая нога пнула меня в ребро. После невероятного количества напитков, которое я проглотил, удар пяткой показался мне очень неприятным. Канаки и вахине с попойки ушли по домам. Я один оставался среди спящих матросов, и огромный гарпунщик храпел, как кашалот, положив голову на мои ноги.

Меня еще несколько раз пнули пяткой; я сел, меня затошнило. Но тот, который пнул меня, находился в великом нетерпении и спрашивал, куда девался Анапуни. Я не знал этого, и вот меня опять толкали — на этот раз с обеих сторон — два нетерпеливых человека за то, что я не знал. Не знал я и того, что Кахекили скончался. Но я догадался, что случилось нечто серьезное, ибо люди, толкавшие меня, были вожди, люди с большой властью. Один был Аимоку из Канеохе, другой — Хумухуму из Маноа.

Они приказали мне следовать за ними и обращались со мной очень грубо. Когда я поднялся, голова гарпунщика скатилась с моих ног через край циновки на песок. Он хрюкнул, как свинья, раскрыв рот, и весь его язык вывалился изо рта на песок. Он не втянул его обратно. Впервые я тут узнал, как длинен язык человека! Я видел песок

на этом языке, и меня стошнило вторично. О, как ужасен день после ночи попойки! Я весь горел, внутри у меня все пересохло и пылало, как лава, как язык гарпунщика, сухой и вывалянный в песке. Я нагнулся напиться из кокосового ореха, но Аимоку выбил его из моих дрожащих пальцев, а Хумухуму ударил меня по затылку тыльной частью руки.

Они шли передо мной плечом к плечу, с торжественными и мрачными лицами, а я плелся за ними следом. Во рту было дурно от выпитого, голова страшно болела, и я готов был отрезать свою правую руку за глоток, за один глоток воды. Если бы я получил его, то, я знаю, он закипел бы у меня в утробе, как вода, пролитая на раскаленные камни очага. О, как страшен день после попойки! Жизнь многих людей, умерших молодыми, прошла передо мной с той поры, как я в последний раз был в состоянии выпить такое великое количество хмельного. Молодость не знает меры!

Мы шли, и я начал понимать, что скончался какой-нибудь алии. Не видно было ни одного канака, спящего на песке или крадущегося домой после ночи любви; ни одного каноэ не видно было на ранней ловле, когда со сменой прилива рыба так хорошо идет на приманку. Когда

мы проходили мимо хейяу (храма), к которому бывало причаливали бриги и шхуны великого Камехамехи, я увидел, что с большого двойного каноэ Кахекили сняты навесы из циновок и что, несмотря на отлив, много людей тащат его по песку в воду. Все эти люди были вожди. И хотя у меня плыло перед глазами, голова кружилась, и нутро горело жаждой, я догадался, что скончавшийся алии был Кахекили. Ибо он был стар, и всего скорее следовало ожидать именно его смерти.

— Я слышал, что его смерть в большей степени, чем вмешательство Кекуаноа, помешала восстанию правителя Боки! — заметил Хардмэн Пул.

— Именно смерть Кахекили помешала этому, — подтвердил Кумухана. — Все простолюдины, когда в ту ночь разнеслась весть о его смерти, укрылись в своих деревянных домах, не зажигали ни огня, ни трубок, не дышали громко, потому что в своем доме они были табу от избрания в жертвы. Бежали также все бойцы правителя Боки и дезертиры с кораблей хаоле, так что медные пушки остались без прислуги, а кучка вождей сама по себе ничего не могла сделать.

Аимоку и Хумухуму посадили меня на песок в сторонке от огромного двойного каноэ, которое спускали на воду. И когда оно поплыло, все во-

жди почувствовали жажду, ибо они не привыкли к такой работе; мне было приказано влезть на пальмы возле навесов для лодок и сбрасывать кокосовые орехи. Вожди напились и освежились, но мне они не позволили напиться.

Потом они перенесли Кахекили из его дома в каноэ в гробу хаоле, новеньком, просмоленном и лакированном. Его мастерил корабельный плотник, полагавший, что делает лодку, которая не должна протекать. Гроб был весь деревянный, и только над лицом Кахекили оставалось тонкое стекло. Вожди не привинтили наружной доски, чтобы закрыть это стекло. Может быть, они не знали устройств гробов хаоле; во всяком случае, как ты увидишь, мне оказалось на руку то, что они этого не знали.

«Тут только один моэпуу», — проговорил жрец Эоппо, глядя на меня, когда я сел на гроб на дне пироги. Вожди уже гребли, выплывая за рифы.

«Другой убежал и спрятался! — ответил Аимок. — Это единственный, которого нам удалось поймать».

И тогда я понял. Я понял все! Меня должны были принести в жертву! Второй жертвой был избран Анапуни! Вот о чем шепнула Малиа Анапуни на попойке. И ее утащили, прежде чем она успела

предупредить меня. А он, с его злым сердцем, не сказал мне этого.

«Их должно быть два! — отвечал Эоппо. — Таков закон!»

Аимоку перестал грести и поглядел на берег, словно хотел вернуться и найти другую жертву. Но некоторые вожди стали возражать, доказывали, что все простолюдины ушли в горы или лежат табу в своих домах и что могут пройти дни, прежде чем найдут второго. В конце концов Эоппо сдался, хотя время от времени продолжал ворчать, что закон требует двух моэпуу.

Они гребли. Проехали Алмазный Мыс, поравнялись с Мысом Коко, пока не выплыли на середину пролива Молокаи. Здесь разгулялась волна, хотя пассатный ветер дул очень слабо. Вожди перестали грести, и только рулевые держали челны носами к ветру и к волне. И прежде чем двинуться дальше, они снова вскрыли несколько кокосов и принялись пить.

«Не беда, что я выбран в моэпуу, — обратился я к Хумухуму, — но я хотел бы напиться перед тем, как меня убьют!»

Я не получил питья. Но я говорил правду! Я слишком много выпил виски и рому, чтобы бояться смерти. По крайней мере у меня исчез бы

отвратительный привкус во рту, перестала бы болеть голова, перестали бы гореть, как раскаленный песок, внутренности! И, кажется, больше всего я страдал от мысли о языке гарпунщика, вывалившемся на песок и покрытом песком. О, Канака Оолеа, какие скоты молодые люди, когда пьют! Только состарившись, подобно мне и тебе, обуздывают они свою жажду и пьют умеренно, как ты и я.

— Так уж нам приходится! — возразил Хардмэн Пул. — Старые желудки изнеживаются, становятся тонки и слабы. И мы пьем умеренно, ибо не смеем пить больше. Мы мудры, но горька эта мудрость!

— Жрец Эоппо спел длинную меле о матери Кахекили и родительнице этой матери и обо всех матерях до самого начала времен, — продолжал Кумухана. — И мне казалось, что я умру от пожирающего меня жара, прежде чем он окончит. Он стал взывать ко всем богам нижней вселенной, и средней вселенной, и верхней вселенной, умоляя их холить и лелеять покойного алии и исполнить заклятия — и страшные же были заклятия! — которые он наложил на всех людей в будущем, вздумавших бы дотронуться до костей Кахекили и забавляться, убивая при их помощи гадов.

Знаешь, Канака Оолеа, жрец говорил совсем на другом языке, и я узнал этот язык — язык жрецов, древний язык. Мауи он называл не Мауи, но Мауи-Тики-Тики и Мауи-По-Тики. А Хину, божественную мать Мауи, он называл Ина. А божественного отца Мауи он называл то Акалана, а то Каналоа.

Странно, как умирающий от жажды человек мог запомнить все эти вещи! И помню я, что жрец называл Гавайи — Вайи, а Ланан — Нгангаи.

— Это маорийские названия[30], — пояснил Хардмэн Пул, — слова Самоа и Тонга, которые жрецы привезли с собой с юга в стародавние времена, когда они открыли Гавайские острова и поселились на них.

— Велика твоя мудрость, о Канака Оолеа! — торжественно возгласил старик. — Ку, который держит на себе небеса, жрец именовал Ту, а также Ру; а Ла, бога солнца, он называл Ра…

— А ведь в Египте был бог солнца Ра в древние времена! — перебил рассказчика Пул, внезапно оживившись. — Да, вы, полинезийцы, много прошли времени и пространства! Это отклики

---

[30] notes: 30

Это маорийские названия… — Лондон придерживался теории, согласно которой заселение Гавайских о-вов было совершено маори — народностью, которая и сейчас существует на о-ве Новая Зеландия.

Древнего Египта, когда Атлантида[31] еще была над водой в молодых Гавайях в северной части Тихого океана. Но продолжай, Кумухана, не вспомнишь ли ты еще чего-нибудь из древней песни Эоппо?

— В самом конце его песни, — кивнул рассказчик, — хотя я был уже наполовину мертвец и скоро должен был совсем скончаться под ножом жреца, я крепко запомнил каждое ее слово. Слушай, вот она!

И старик запел дрожащим фальцетом.

— Без сомнения, смертная песнь маорийцев! — воскликнул Пул. — И поет ее гаваец с татуированным языком! Повтори-ка, и я переведу ее тебе по-английски.

И когда старик повторил песню, Хардмэн Пул медленно произнес по-английски:

Но в смерти нет ничего нового.

Смерть есть и всегда была с кончины старого Мауи.

В ту пору Пата-таи громко засмеялся

---

[31] notes: 31

Атлантида — по древнегреческим преданиям, материк, затонувший вследствие геологической катастрофы и некогда заселенный народом, обладавшим высокой культурой. Существует много теорий относительно тех географических зон, где могла бы произойти такая гигантская геологическая катастрофа. Лондон, видимо, полагал, что Атлантида могла находиться в Тихом океане.

И разбудил домового — бога, Который разрубил его надвое;

И так пришел вечерний сумрак!

— А в конце-то концов, — возобновил свой рассказ Кумухана, — меня не убили! Эоппо, уже державший нож в руке и готовый поднять руку для смертоносного удара, не поднял ее. А я? Как я чувствовал себя? Что я думал? Часто смеялся я впоследствии, вспоминая об этом, Канака Оолеа! Я чувствовал только одно: жажду! Мне не хотелось умирать. Но хотелось глотнуть воды. Я знал, что умру, и мне вспоминались тысячи водопадов, свергающихся в пропасть с наветренных гор Коолау. Я не думал об Анапуни. Меня мучила жажда! Я не думал и о Малиа, — меня мучила жажда! И перед собой я все время видел язык гарпунщика, пересохший и покрытый песком, как видел его в последний раз. У меня был теперь такой же язык. А на дне каноэ перекатывалось много питьевых кокосов. Но я и не пытался тронуть их, ибо кругом были вожди, а я был простолюдин.

«Нет, — проговорил Эоппо, приказав вождям бросить за борт гроб, — двух моэпуу нет, так пусть же не будет ни одного!»

«Убей этого одного!» — возопили вожди.

Но Эоппо покачал головой и промолвил:

«Мы не можем отправить Кахекили на тот свет с одной лишь половинкой таро!»

«Полрыбы на человека лучше, чем ничего!» — ответил Аимоку старинной поговоркой.

«Но только не на похоронах алии! — быстро возразил жрец. — Таков закон! Мы не можем жадничать для Кахекили и урезывать наполовину подобающую ему жертву!»

Итак, гроб был брошен в воду, и я не был убит. Но странное дело: на мгновение я обрадовался тому, что остался в живых! И сейчас же вспомнил Малиа и начал замышлять месть Анапуни. И когда закипела во мне кровь жизни, жажда моя увеличилась десятикратно: казалось, язык мой, и рот, и глотка наполнились сухим песком, как язык гарпунщика. Когда гроб полетел за борт, я сел на дно лодки. Между моими ногами катался питьевой кокосовый орех, и я схватил его. Но когда я взял его в руку, Аимоку ударил меня по руке краем весла. Смотри!

Кумухана вытянул руку, показав два скрюченных пальца, очевидно, вывихнутых и невправленных.

— У меня не было времени злиться из-за боли: на меня свалились новые беды. Все вожди заревели в ужасе; гроб, ставший торчком, не тонул,

он подпрыгивал и покачивался в воде за нашей кормой. А каноэ, повернутую к волнам и к ветру, несло волнами и ветром прямо на гроб. Стекло гроба было обращено к нам, так что мы видели лицо и голову Кахекили; он скалился на нас из-за стекла, и, казалось, уже жил на том, другом свете, и гневался на нас, и собирался излить этот гнев при помощи нездешних сил! Он подпрыгивал вверх и вниз, а лодку все ближе толкало к нему.

«Убей его! Пусти ему кровь! Ударь его в сердце! — вот что перепуганные вожди кричали Эоппо. — Бросай таро! Пусть алии получит полрыбы!»

Эоппо, хоть и был жрец, также испугался и помутился в рассудке при виде Кахекили в гробу хаоле, который ни за что не хотел тонуть. Он схватил меня за волосы, поднял на ноги и занес нож, чтобы вонзить его в мое сердце, и я не оказал сопротивления. Я только вновь ощутил великую жажду, и перед моими отуманенными глазами в воздухе, у самого носа, болтался облепленный песком язык гарпунщика!

Но прежде чем нож упал и вонзился в меня, случилось нечто, спасшее мне жизнь. Акаи, сводный брат правителя Боки, если ты помнишь, был в каноэ рулевым на корме; он сидел ближе всех к гробу с покойником, не желавшим тонуть.

Он обезумел от страха и протянул вперед весло, чтобы оттолкнуть заключенного в гробу алии, собиравшегося, казалось, вскочить в каноэ. Конец весла попал в стекло, стекло разбилось…

— И гроб тотчас затонул! — подхватил Хардмэн Пул. — Воздух, благодаря которому он держался на воде, вышел в разбитое стекло!

— Гроб тотчас затонул, потому что корабельный плотник строил его наподобие лодки, — подтвердил Кумухана. — И я, за минуту до того бывший моэпуу, опять стал человеком. И я остался в живых, хотя умер тысячью смертей от жажды, пока мы добрались до берегов Вайкики.

Так вот, о Канака Оолеа, кости Кахекили не покоятся в Королевском Мавзолее. Они лежат на дне пролива Молокаи, если только давно уже не превратились в плавающую слизь или не сделались телом кораллов, образовавших коралловый риф. Один я из всех живущих ныне видел, как кости Кахекили потонули в проливе Молокаи!

Наступила пауза. Хардмэн Пул сидел в глубоком раздумье. Кумухана облизывал сухие губы. Наконец он нарушил молчание:

— А двенадцать долларов, Канака Оолеа, на осла и на подержанное седло с уздечкой?

— Ты получил бы двенадцать долларов, — от-

ветил Пул, вручая старику шесть долларов с половиной, — но у меня на конюшне, в сундуке, лежат подходящие для тебя уздечка и седло, которые ты и получишь; а за шесть с половиною долларов ты купишь вполне подходящего осла у паке (китайца) в Кокако, который только вчера предлагал мне его за эту цену!

Они продолжали сидеть. Пул безмолвствовал, твердя про себя только что услышанную маорийскую смертную песню, в особенности слова: «И так пришел вечерний сумрак». Он находил их прекрасными. Кумухана облизывал губы, явно давая понять, что он ждет еще чего-то. Наконец он нарушил молчание:

— Я долго говорил, о Канака Оолеа! Нет уже в устах моих постоянной влаги, как в дни моей молодости. Мне кажется, опять мною овладела жажда, терзавшая меня при виде гарпунщика. Для языка, засохшего, как у гарпунщика, весьма хорош джин с молоком, о Канака Оолеа!

Улыбка мелькнула на лице Пула. Он хлопнул в ладоши, и тотчас же прибежала девчонка.

— Стакан джина с молоком старому Кумухана! — приказал Хардмэн Пул.

Вайкики, Гонолулу, 28 июня 1916.

Исповедь Элис

То, что мы здесь рассказываем об Элис Акана, случилось на Гавайях, хоть и не в наше время, но сравнительно недавно, когда Эйбл А-Йо проповедовал в Гонолулу свою знаменитую «религию возрождения» и убеждал Элис Акана очистить исповедью душу. Самая же исповедь Элис касается более старинных времен.

Элис Акана (ей было в ту пору пятьдесят лет) рано познала жизнь и всегда жила широко. То, что она знала, касалось самых корней и нитей, затрагивало секреты целых семейств, деловых предприятий и многочисленных плантаций округи. Она была как бы живым архивом точных фактов, которые очень интересовали адвокатов независимо от того, касались ли эти данные границ земельных участков, дарственных записей на землю или браков, рождений, завещаний и скандалов. Крепко держа язык за зубами, она очень редко делилась с людьми тем, что им было нужно; а если делала это, то только во имя справедливости, никого не обижая.

Ибо Элис с первых дней своего девичества привыкла жить среди цветов, песен, вина и

плясок, а войдя в лета, она, будучи владелицей увеселительного заведения с плясуньями, специалистками танца хула, сделалась хозяйкой и присутствовала на пиршествах по обязанности.

В атмосфере этого дома, где забывались заповеди «божеские и человеческие» и всякая осторожность и где пьяные языки свободно болтались во рту, она черпала исторические данные о таких вещах, о которых в другой обстановке мало кто позволял себе заикаться или догадываться. И то, что она умела держать язык за зубами, сослужило ей хорошую службу; хотя старожилы отлично знали, что ей было известно все, но никто из них не слыхал, чтобы она когда-нибудь сплетничала о кутежах в лодочном сарае Калакауа, о шумных наездах офицеров с военных кораблей или о тайнах дипломатов и министров чужих стран.

За полстолетие она зарядилась таким количеством исторического динамита, что, если бы он взорвался, это потрясло бы всю общественную и торговую жизнь Гавайских островов; она была хозяйкой дома для танцев хула, импресарио туземных балерин, плясавших для особ царствующего дома на званых вечерах в частных домах, на ужинах, на которых подавался пои, и для любознательных туристов. Все это не мешало

ей крепко держать язык за зубами. В пятьдесят лет это была веселая, тучная, приземистая полинезийка крестьянского типа, очень крепкого телосложения и без каких бы то ни было немощей, что обещало ей долгую-долгую жизнь. И на пятидесятом году случилось, что она, влекомая любопытством, попала на собрание, на котором Эйбл А-Йо проповедовал свое «возрождение».

Эйбл А-Йо был столь же разносторонней личностью, как знаменитый Билл Сандэй. Родословная его отличалась даже большей пестротой, ибо он был на четверть португалец, на четверть шотландец, на четверть гаваец и на четверть китаец. В нем сочетались лукавство и хитрость, ум и рассудочность, грубость и утонченность, страстность и философское спокойствие, неугомонное «богоискательство» и умение погружаться по самую шею в навоз действительности — словом, все элементы четырех, коренным образом отличных друг от друга рас, сумма которых дала эту личность. Вдобавок он в высокой степени владел искусством самообмана.

По части ораторского дара он далеко обогнал Билла Сандэя, известного мастера простонародного жаргона. Ибо в речи Эйбла А-Йо трепетали красочные глаголы, местоимения, наречия и

метафоры четырех живых языков! В этих языках он черпал неизмеримое множество выражений, в которых потонули бы мириады словечек Билла Сандэя. Как хамелеон, колебался он между различными элементами своего существа и умел приспосабливаться к безыскусной свежести простых душ, которых он «обращал» своими речами.

Эйбл А-Йо так же верил в себя и в многообразие своей натуры, как он верил, что бог похож на него и на всякого человека и что этот бог не какой-нибудь племенной бог, но бог мировой, нелицеприятным оком взирающий на расы всего мира. И его теория имела успех. Китайцы, корейцы, японцы, гавайцы, пуэрториканцы, русские, англичане, французы — словом, представители всех народов без колебаний, бок о бок преклоняли колени и приступали к пересмотру собственных богов.

Сам он еще в ранней молодости отошел от англиканской церкви и много лет чувствовал себя каким-то Иудой. Иуда был проклят, — стало быть, и он, Эйбл А-Йо, проклят; а ему не хотелось оставаться проклятым навеки! Вот почему он всячески норовил увильнуть от проклятия. И наступил день, когда он обрел спасение. Он рас-

судил так: учить, будто Иуда проклят, — значит превратно толковать бога, который наипаче всего есть справедливость. Иуда был слугой божьим, особо избранным для выполнения самого грязного дела. Стало быть, Иуда, преданный Иисусу и предавший его лишь по божественному велению, свят! Стало быть, и он, Эйбл А-Йо, свят уже в силу своего отступничества, и, стало быть, он с чистой совестью может предстать перед богом!

Эта теория стала одним из главных догматов его вероучения; она оказалась весьма на руку другим отступникам от своих религий, втайне чувствовавшим себя Иудами. А Эйблу А-Йо пути божьи были так же ясны, как и те, которые он, Эйбл А-Йо, начертал себе. Все спасутся в конце концов, хотя у одних это отнимет больше времени, чем у других, и они получат места подальше от благодати. Место человека в вечно меняющемся мировом хаосе предопределено, ибо не существует никакого мирового хаоса. Это лишь порождение путаной фантазии человека. С помощью невиданно смелых приемов мысли и речи, с помощью живых, доходчивых слов ему удавалось заставить своих слушателей забыть об этом хаосе, убедить их в ясности намерений всевышнего и таким образом вселить в них ду-

ховное спокойствие и безмятежность.

И как могла Элис Акана — чистокровная гавайянка — устоять против тонкой, окрашенной демократизмом и закаленной в тигле четырех рас логики неотразимо красноречивого проповедника? На собственном опыте он познал не меньше, чем она, все жизненные грехи: недаром же он был певчим на пассажирских пароходах, крейсирующих между Гавайями и Калифорнией, а после этого — буфетчиком на море и на суше, от Барбарийского берега в Сан-Франциско до таверны Хэйни в Вайкики. По правде сказать, он перед вступлением на великий путь проповеди «возрождения» оставил свой пост первого официанта в Университетском клубе в Гонолулу.

И стоило Элис Акана попасть на проповедь Эйбла А-Йо, как она начала поклоняться его богу; трезвому уму этой женщины он показался самым толковым из всех богов, о каких ей только приходилось слышать! Она жертвовала деньги в кружку Эйбла А-Йо, закрыла свой танцевальный дом и распустила танцовщиц, которым предоставила добывать пропитание более легким способом, а с себя сорвала яркие платья, ленты и букеты цветов и купила библию.

Это была пора религиозного шока в Гонолу-

лу, своеобразная демократическая тяга к богу. Буржуа получали приглашения на собрания, но не являлись. И только глупые, смиренные простолюдины отправлялись исповедоваться, на коленях признавались во всех смертных грехах, очищались и выходили на солнце чистенькими, как невинный ребенок. Религия «возрождения», которую проповедовал Эйбл А-Йо, была своеобразным отпущением совершенных грехов и восстановлением духа. Грешники сбрасывали с себя тяжесть грехов и духовно выздоравливали.

Но Элис не чувствовала себя счастливой; она еще не очистилась. Она покупала и раздавала библии, все больше жертвовала в кружку, подпевала своим контральто священным песнопениям, но не решалась очистить покаянием душу свою. И тщетно боролся с нею Эйбл А-Йо! Она не хотела опуститься на колени перед амвоном кающихся и в слезах высказать все, что омрачало ее душу, все дурное, что было в ее прошлом.

— Ты не можешь служить двум господам! — говорил ей Эйбл А-Йо. — Ад кишит людьми, пытавшимися это сделать! С чистым и простодушным сердцем должна ты помириться с богом. Ты не будешь готова к искуплению, пока не исповедуешь душу свою на собрании. Пока ты этого

не сделаешь, ты будешь носить в себе язву греха!

С научной точки зрения, хотя он, конечно, и не подозревал об этом, ибо постоянно глумился над наукой, Эйбл А-Йо был прав. Она не могла вновь по-детски радоваться милостям всевышнего до тех пор, пока не исповедует свою душу, рассказав обо всех своих секретах и о тех тайнах, что делила с другими людьми. У протестантов исповедь происходит в собрании, у католиков

— в присутствии только духовника. Считается, что в результате подобного обнажения души человек обретает единение, спокойствие, счастье, очищение духа, искупление и бессмертие.

— Решайся! — гремел Эйбл А-Йо. — Либо верность человеку, либо верность богу!

Но Элис не могла решиться. Слишком долго ее уста оставались запечатанными честным словом человека.

— Я исповедаюсь перед собой! — возражала она. — Бог видит, как моя душа устала от греха и как мне хочется быть чистой и светлой, такой, какой я была маленькой девочкой в Канеохе…

— Но ведь грехи твоей души скованы грехами других душ! — неизменно отвечал Эйбл А-Йо. — Если у тебя есть на душе бремя, сбрось его! Ты не можешь носить бремя и в то же время быть

чистой…

— Я буду молиться богу ежедневно по нескольку раз в день! — ответила она. — Со смирением, со вздохами и слезами буду я приближаться к господу. Я буду часто жертвовать в кружку и без счета буду покупать библии, библии, библии…

— И не узреть тебе улыбки божьей! — отвечал проповедник. — Ты будешь по-прежнему отягчена грехами, ибо ты не поведала своих грехов, и не избавишься от них, пока не исповедуешься!

— Ах, как трудно возрождение! — вздыхала Элис.

— Возрождение труднее даже рождения! — Эйбл А-Йо не считал нужным утешать ее. — Только, когда ты уподобишься младенцу…

— Уж если я начну говорить, так разговор будет долгий! — призналась Элис.

— Тем больше причин исповедаться!

Таким образом, дело оставалось на мертвой точке: Эйбл А-Йо требовал безусловной приверженности господу, а Элис Акана продолжала порхать у опушки рая.

— Длинный будет разговор, можно побиться об заклад, если только Элис начнет! — весело говорили друг другу гуляки из камааинасов (старожилов), потягивая пальмовую водку.

В клубах предстоящая исповедь Элис была предметом более серьезных забот. Представители молодого поколения хвастались, что приобрели уже места в первых рядах на будущем собрании, а старики кисло острили насчет обращения Элис. Элис стала необычайно популярной среди друзей, которые лет двадцать не вспоминали о ее существовании!

Однажды, когда Элис с библией в руках ждала на перекрестке трамвай, некий Сайрус Ходж, сахарозаводчик и местный магнат, приказал своему шоферу остановить автомобиль. Волей-неволей, покоренная его любезностью, Элис вынуждена была сесть рядом с ним в его лимузин, и он потерял три четверти часа, забыв о своих делах, только для того, чтобы лично отвезти ее, куда ей было нужно.

— Глазам отрадно видеть вас! — бормотал он. — Как годы-то летят! Какой у вас чудесный вид — вы владеете секретом молодости!

Элис улыбалась и отвечала ему пышными комплиментами на полинезийский дружелюбный манер.

— Боже! Боже! — предавался воспоминаниям Сайрус Ходж. — Какой я был мальчик тогда!

— Хорош мальчик! — засмеялась она.

— Но ведь я знал не больше, чем мальчик, в те далекие дни.

— А помните ночь, когда ваш извозчик напился и сбросил вас?..

— Тсс! — остановил он ее. — Мой японец-шофер окончил высшую школу и знает по-английски лучше нас с вами! Я даже думаю, что он шпион на службе японского правительства. Зачем нам говорить при нем? К тому же я был тогда так молод! Вы помните?

— У вас щеки были, как персики, которые зрели у нас в саду, пока их не поточил жучок, — говорила Элис. — Мне помнится, вы тогда брились не чаще одного раза в неделю. Вы были красивый мальчик. Помните, какую хула мы закатили в вашу честь?

— Тсс!.. — опять остановил он ее. — Все это забыто и похоронено; предадим же прошлое забвению!

Элис отметила про себя, что в его глазах уже нет того простодушия юности, которое ей хорошо помнилось. Теперь его глаза проницательно-испытующе смотрели на нее, ожидая уверений, что она не станет воскрешать далекого прошлого.

— Религия — хорошее дело, когда мы становимся пожилыми, — говорил ей другой старинный

приятель. Он строил себе великолепный дом на Тихоокеанских высотах, недавно женился вторым браком и как раз ждал пароход, чтобы встретить двух своих дочерей, окончивших учение в Вассаре и возвращавшихся домой. — И в старости нам очень нужна религия! Она смягчает душу, делает нас более терпимыми и снисходительными к слабостям ближних, особенно к грехам молодости, когда люди безумствуют и сами не ведают, что творят.

И он с тревогой ждал ответа Элис.

— Да, — отвечала она, — все мы родились во грехах, и очень трудно вырасти из греха! Но я расту, расту…

— Не забывай, Элис, что в ту пору я всегда честно поступал с тобой. Мы с тобой никогда не ссорились!

— Даже в ту ночь, когда ты устроил нам луау по случаю своего совершеннолетия и непременно требовал, чтобы после каждого тоста били посуду! Разумеется, ты за нее заплатил.

— Щедро! — чуть не с мольбой уверял он.

— Щедро, — согласилась она. — На те деньги, которые ты мне заплатил, я купила почти вдвое посуды, так что на следующем луау я поставила сто двадцать приборов, не взяв взаймы ни едино-

го блюдца или стакана. Этот луау задавал тогда лорд Мэйнуезер, помнишь его?

— Я вместе с ним охотился на кабанов в Мана, — кивнул собеседник. — Мы приехали туда покутить на две недельки, но знаешь, Элис… Религия очень, очень хорошая вещь, не следует только увлекаться ею. И не исповедуй своей души обо мне! Что подумают мои дочери об этой разбитой посуде?

— Я всегда питал к тебе алоха (теплые чувства), Элис! — уверял ее член сената, тучный, плешивый человек.

А другой, адвокат и уже дедушка, говорил ей:

— Мы всегда были друзьями, Элис. Знайте, если вам понадобится юридический совет или провести дело, я с радостью устрою вам все и не возьму гонорара — я помню нашу старинную дружбу!

В сочельник к ней явился банкир с большим конвертом делового формата.

— Совершенно случайно, — объяснил он, — когда мои клерки рылись в земельных архивах долины Иапио, я нашел вашу закладную в две тысячи долларов на рисовое поле, сданное А-Чину. Невольно я задумался над прошлым, когда мы были молоды, ветрены и немножко необузданны… у меня как-то потеплело на сердце, когда я

вспомнил вас; и вот ваш должок теперь ликвидирован — так просто, из алоха…

Вспомнили Элис и ее одноплеменники. Ее дом сделался Меккой для туземцев и туземок, совершавших свое паломничество секретным образом, с наступлением темноты, и всегда приносивших подарки — свежую каракатицу с рифов, опихи, лиму, корзинки с редкостными грушами, зерна самого свежего сбора, плоды мангового дерева и златолистника, отборнейший розовый пышный таро, молочных поросят, бананы, плоды хлебного дерева и свежих крабов, пойманных в тот же день в Пирл-Харбор. Мэри Мендана, жена португальского консула, преподнесла ей ящик конфет ценою в пять долларов и пальто оранжевого цвета, которое на распродаже нельзя было купить дешевле, чем за семьдесят пять долларов. А жена богатого китайского торговца Ин-Чепа, Эльвира Мияхара Макаэна-Ин-Чеп, лично принесла Элис два куска знаменитого сукна пинья с Филиппинских островов и дюжину пар шелковых чулок!

Время шло. Эйбл А-Йо продолжал бороться с Элис, уговаривая ее покаяться, Элис боролась за свою душу, и добрая половина населения Гонолулу ехидно или со страхом ждала исхода этой борьбы. Прошла масленичная неделя, наступила

и прошла неделя игры в поло и скачек, приближался торжественный день Четвертого июля[32], когда Эйбл А-Йо решил наконец сломить метким психологическим ударом твердыню ее сопротивления. Он произнес свою знаменитую речь, которая содержала в себе определение вечности «по Эйблу А-Йо». Разумеется, как и Билл Сандэй, Эйбл А-Йо крал свои определения. Но из жителей Гавайских островов никто этого не знал, и его оценка как искусного проповедника поднялась на сто процентов.

Он так успешно проповедовал в этот вечер, что обратил очень многих адептов, которые со стонами упали у покаянной трибуны в толпе других обращенных, горевших религиозным огнем, включая и полроты солдат-негров расквартированного в городе двадцать пятого полка, дюжину кавалеристов четвертого кавалерийского эскадрона, застрявшего здесь по дороге на Филиппины, множество пьяных матросов с военных судов, подозрительных дам из Ивилеи и добрую половину портовых бродяг.

Эйбл А-Йо, читавший в душе человека, как по книге, а Элис Акана понимавший еще лучше,

---

[32] notes: 32

...Четвертое июля — национальный праздник США.

знал, что делал, когда в эту приснопамятную ночь проповедовал о боге, преисподней и вечности в словах, доступных пониманию Элис Акана. Случайно он открыл ее уязвимое место. Будучи, как все полинезийцы, великим любителем природы, он первым делом угадал, что землетрясения и извержения вулканов ужасают Элис. Ей уже пришлось на Большом Острове пережить катастрофы, от которых провалилась соломенная хижина, где она спала; она видела, как госпожа Пеле (богиня огня и вулканов) извергла красную расплавленную лаву на отлогие склоны горы Мауна-Лоа, и лава уничтожила рыбные садки на берегу моря, слизнув на своем пути стада скота, деревни и людей.

За день до памятного собрания легкое землетрясение потрясло Гонолулу, и у Элис Акана появилась бессонница. Утренние газеты сообщили, что на Мауна-Кеа началось извержение и что лава быстро поднимается в огромном кратере Каилу. На молитвенном собрании, колеблясь между страхами сущего мира и вечным блаженством грядущего, Элис сидела на передней скамье в состоянии, близком к истерике.

Эйбл А-Йо встал и вложил персты в самую чувствительную часть ее души. Описав всемо-

гущество господа на обычный лад, Эйбл А-Йо заговорил о том дне, когда даже бесконечное терпение бога лопнет, и он прикажет святому Петру закрыть свой журнал и гроссбухи, повелит архангелу Гавриилу созвать души на страшный суд и возопиет страшным голосом: «Велакахао!»

«Велакахао» на туземном язык означает «железо горячо». Это выражение, которое является одним из примеров англо-гавайского жаргона и весьма излюбленным тропом в речах местных проповедников, пришло из чугуноплавильных мастерских Гонолулу, где его употребляли сотни гавайцев, когда следовало сказать, что пора спешить с ковкой.

— И возгласит бог «Велакахао», и начнется страшный суд, и быстро свершится он; ибо Петр куда лучший бухгалтер, чем счетовод какого-нибудь треста, а кроме того, у Петра книга правильнее!

Эйбл А-Йо быстро отделил овец от козлищ и вверг последних в геенну огненную.

— А на что похожа геенна огненная? — спросил он. — О друзья мои! Позвольте описать вам вкратце ту геенну, тот ад, который я видел собственными глазами на нашей земле! В ту пору я был молод, совсем мальчик, и жил в Хило. Утро

началось землетрясением. Целые сутки огромный край сотрясался и дрожал, так что самые крепкие мужчины заболели морской болезнью, женщины хватались за стволы деревьев, чтобы не упасть, а скот валился с ног. Я сам видел теленка, который упал от сотрясения. Вслед за этим наступила ночь неописуемых ужасов. Почва тряслась, как каноэ в бурю. Одна мать, выбегая из рухнувшего дома, насмерть растоптала собственного ребенка.

Небеса горели пламенем. Мы читали наши библии при свете этого пламени, а между тем печать была мелкая и трудная даже для молодых глаз. В сорока милях от нас преисподняя вырвалась из высоких гор и изливала в море красную, как кровь, расплавленную породу. Это зрелище горящих пожаром небес и беснующейся под ногами земли было слишком величественно и слишком ужасно, чтобы им можно было любоваться. Мы думали только о том, какой мыльный пузырь представляет земля, о вечном озере огня и серы и о боге, которому мы молились о спасении. Среди нас нашлось немало благочестивых душ, давших своим пастырям обет уделить церкви не жалкую десятину, но пять десятых своего имущества, если только господь дарует им жизнь!

О друзья мои! Господь спас нас! Но он дал нам почувствовать, что такое ад, который разверзнется в судный день, когда он громовым голосом воскликнет: «Велакахао! Железо горячо!» Подумайте об этом! Подумайте о горячем железе для грешников!

На третий день стало спокойнее; мой друг-проповедник и я поднялись на Мауна-Лоа и заглянули в страшный кратер Каилу. Мы увидели бездонную пучину огненного озера, которое ревело и плескалось, выбрасывая волны и пламенную пену на сотни футов, как фейерверк в вечер Четвертого июля, который вы видели. Мы задыхались, голова кружилась от огромных облаков дыма и серы, поднимавшихся вверх.

И говорю я вам: ни один богобоязненный человек не мог бы взглянуть на эту картину, не вспомнив библейской картины преисподней! Поверьте, люди, писавшие Новый завет, видели не больше нашего! Что касается меня, то я не отрывал глаз от страшной картины. Я стоял немой и трепещущий, и никогда еще не постигал я с такой ясностью величия и всемогущества бога — всех размеров его гнева и несказанных ужасов, которые ожидают нераскаявшихся грешников, не исповедавшихся и не примирившихся со сво-

им творцом.[33]

Но, друзья мои, вы думаете, что наши проводники-туземцы, глубоко погрязшие в язычестве, были тронуты этой сценой? Нет! Рука дьявола крепко схватила их! Совершенно равнодушные, они помнили только о своем ужине, судачили о сырой рыбе и располагались на циновках для сна. Это были исчадия сатаны, нечувствительные к величию, красоте и ужасам дел господних. Вы, к которым я теперь обращаюсь, не язычники. Что такое язычник? Это человек, обнаруживающий тупое безразличие ко всем высоким понятиям и возвышенным чувствам. Если вы хотите привлечь его внимание, не просите его заглянуть в преисподнюю! Нет, вы подарите ему горшок пои, сырую рыбу или пригласите его участвовать в низком чувственном удовольствии. О дети мои, насколько глухи они ко всему, что возвышает бессмертную душу! Мы с проповедником скорбели о них, когда глядели в преисподнюю. О друзья мои! Это был ад, тот самый ад, о котором говорится в писании, ад вечной муки для недостойных!

Элис Акана находилась в экстазе страха, близком к истерике.

---

[33] notes: 33
Смотрите «Историю Сэндвичевых островов» Диббла. (Прим. автора).

— О господи! — бессвязно бормотала она. — Я отдам девять десятых моего имущества! Я отдам все! Я отдам даже два куска сукна пинья, оранжевое пальто и всю дюжину шелковых чулок!

Когда она успокоилась настолько, что могла опять слушать, Эйбл А-Йо приступил к своему знаменитому определению вечности.

— Вечность — великий срок, друзья мои! Бог живет, и, стало быть, он живет в вечности! Бог очень древен! Огонь преисподней столь же древен и столь же вечен, как бог. Иначе как могла бы существовать вечная пытка для грешников, ввергаемых господом в преисподнюю в день страшного суда, чтобы гореть там во веки веков? О друзья мои, ваш ум слаб, слишком слаб, чтобы понять вечность. Но мне по милости божьей дано внушить вам представление о крохотной частице вечности!

На взморье Вайкики песка столько же, сколько звезд на небе, и даже больше; никто не может сосчитать песчинок. Если бы человеку дано было прожить миллион лет, чтобы сосчитать эти песчинки, он потребовал бы себе отсрочку. Теперь представим себе маленькую птичку со сломанным крылом, которая поэтому не может летать. Представим себе, что в Вайкики эта птичка, ли-

шенная возможности летать, берет песчинку в клюв и прыгает весь день и в течение многих лет продвигается к Пирл-Харбор, где и бросает эту песчинку в воду. Потом она прыгает опять целый день, и этак в течение многих дней назад, в Вайкики, за другой песчинкой. Опять она скачет всю дорогу обратно, к Пирл-Харбор. Представьте себе, что она это проделывает в течение целых годов, и столетий, и тысяч столетий, пока наконец в Вайкики не останется ни одной песчинки, а Пирл-Харбор не окажется засыпанной доверху и не превратится в сушу, на которой растут красивые деревья и ананасы. И тогда, о друзья мои, — даже тогда! — в преисподней не начнется еще восхода солнца!

Элис Акана не выдержала столь неудержимого натиска, столь простого и убедительного образа вечности. Она встала, зашаталась и пала на колени у покаянной трибуны. Эйбл А-Йо еще не кончил своей проповеди, но он знал психологию толпы. Он пригласил свою паству запеть псалом и начал протискиваться между неграми, во всю мочь оравшими «аллилуйя», к Элис Акана. И прежде чем возбуждение улеглось, девять десятых его паствы и все вновь обращенные уже стояли на коленях и с громкими воплями и

мольбами исповедовались во всех своих бесчисленных грехах и проступках!

Почти одновременно по телефону дали знать и в Тихоокеанский клуб и в Университетский клуб, что Элис наконец исповедует душу в публичном собрании; и в первый раз за все время проповеднической деятельности Эйбла А-Йо его храм наполнился массой публики, приехавшей на собственных машинах и в таксомоторах. Прибывшие первыми созерцали любопытное зрелище: гавайцы, китайцы и другие представители разношерстных рас плавильного тигля Гавайев крались вон, спеша улизнуть из молельни Эйбла А-Йо. Но удирали большей частью мужчины; женщины остались, жадно прислушиваясь к исповеди Элис.

Никогда еще на всем Тихом океане, на севере и на юге, не бывало такой изумительной исповеди, как публичное покаяние Элис Акана, кающейся Фрины[34] Гонолулу!

— Ха! — услышали первые из прибывших, когда она очистила свою душу от главной массы мелких грехов, своих и чужих. — Вы думаете, что Стефен Макекау — сын Моисея Макекау и Минни

[34] notes: 34

Фрина — по преданию, красавица-гетера; была якобы моделью для некоторых скульптур Праксителя (IV в. до н. э.).

А-Линг? Вы думаете, он имеет законное право на двести восемь долларов, которые каждый год получает от компании Парк-Ричардс за аренду рыбного пруда, сданного Биллу Конгу в Амане? Как бы не так! Стефен Макекау — не сын Моисея! Он сын Аарона Кама и Тилли Наоне! Его еще грудным младенцем Аарон и Тилли подарили Моисею и Минни. Я это знаю! Моисей, Минни, Аарон и Тилли теперь в могиле. Но я знаю правду и могу доказать! Старая миссис Поэпоэ еще жива! Я присутствовала при рождении Стефена, и ночью, когда ему было два месяца, собственноручно отнесла его к Моисею и Минин, а старая миссис Поэпоэ несла фонарь. Эта тайна — один из моих грехов! Она отвращала меня от господа! Теперь я освободилась от нее. Молодой Арчи Макекау, который собирает долги по счетам Газовой Компании, а после обеда играет в бейсбол и пьет страшно много виски, должен получать эти двести восемь долларов первого числа каждого месяца от компании Парк-Ричардс. Он протранжирит эти деньги на водку и на фордовский автомобиль. Стефен — хороший человек, а Арчи — дурной человек. К тому же он лгун и отслужил два срока каторжных работ на рифах, а до этого находился в исправительном заведении. Но бог

требует правды — и Арчи будет получать эти деньги, хотя они пойдут у него прахом.

Таким образом Элис перебирала воспоминания своей молодости и обильной событиями жизни. Женщины забыли, что они находятся в молельне, да и мужчины тоже, и на их лицах пылали разнообразные страсти, когда они впервые узнавали долгоскрываемые секреты своих дражайших половин.

— Завтра в конторах адвокатов будет давка! — пробормотал на ухо полковнику Стилтону Мак-Илуэйн, начальник сыскного отделения, добросовестно запоминавший сообщаемые кающейся грешницей факты.

Полковник Стилтон улыбнулся в ответ, хотя начальник сыщиков не мог не заметить насильственности этой улыбки.

— В Гонулулу есть банкир, — продолжала Элис. — Вы все знаете, как его зовут. Он пошел в гору и попал в важные господа по милости своей жены. Ему принадлежит много акций Общих Плантаций и Междуостровной Компании…

Мак-Илуэйн узнал «портрет» и перестал хихикать.

— Его зовут полковником Стилтоном. В прошлый сочельник он пришел ко мне с великой

алоха и отдал мне закладную на мою землю в долине Иапио на две тысячи долларов. Отчего это явилась у него ко мне такая большая алоха? Я вам расскажу…

И она действительно рассказала, бросив яркий, как от прожектора, свет на разные деловые и политические махинации, долго таившиеся под спудом.

— Этот грех давно на моей совести, — заключила Элис, — он отвращал мое сердце от господа! В ту пору Харолд Майлс был президентом сената; спустя неделю он купил три участка в Пирл-Харбор, заново покрасил свой дом в Гонолулу и заплатил все свои долги в клубах. Дом Рэмси в Гонолулу был завещан народу, в случае, если государство пожелает содержать его. Но если государство в течение двух лет не возьмет дома на свое содержание, он должен перейти к наследникам Рэмси, которых старый Рэмси смертельно ненавидел! Что ж, дом честь честью перешел к наследникам! Их адвокатом был Чарли Мидлтон, и он заставил меня помочь ему состряпать это дельце с членами правительства. Вот их имена… — Назвав шесть имен из обеих палат законодательного собрания, Элис прибавила: — Вероятно, после этого все они покрасили свои дома. Впервые признаюсь в

этих делишках. На душе стало легче и светлее! Душа моя была до сих пор забаррикадирована от господа толстым слоем масляной краски. А Гарри Уэрзер! В то время он был членом сената. О нем рассказывали дурные вещи, и он не был переизбран. Но его дом остался без покраски. Он был честный человек. До сих пор его дом стоит некрашеным, и все это знают…

…А вот еще Джимми Локендампер. Злое у него сердце! Всего лишь неделя прошла, как он перед всеми вами исповедал душу. Не всю душу обнажил он, солгал своему господу! А я не лгу господу; разговор у меня будет долгий, но я расскажу все! Вон там, направо, сидит Азалеа Акау. Венчанная же его жена — Лиззи Локендампер. Много лет тому назад он питал к Азалеа великую алоха. Вы думаете, что действительно ее дядя, уехавший в Калифорнию и там скончавшийся, оставил ей по завещанию две тысячи пятьсот долларов, которые она получила? Не дядя сделал это, я знаю! Дядя ее умер нищим в Калифорнии, и Джимми Локендампер послал в Калифорнию восемьдесят долларов похоронить старика. У Джимми Локендампера был клочок земли в Кохала, который он получил от тетки своей матери. Его венчанная жена Лиззи не знает этого. Он продал этот участок

Кохальской водопроводной компании и дал две с половиной тысячи долларов Азалеа Акау…

Лиззи, венчанная жена, встала, как разъяренная фурия, и вместо своего супруга, который успел убежать, вцепилась зубами и когтями в Азалеа.

— Постой, Лиззи Локендампер! — воскликнула Элис. — У меня на сердце греховное бремя по твоей милости. Да и масляной краски немало!.. — И когда она кончила рассказывать, как Лиззи красила свой дом, с места вскочила в безумной ярости Азалеа.

— Постой, Азалеа Акау! Теперь я хочу облегчить свою душу на твой счет, и тут не масляной краской пахнет! За покраску всегда платил Джимми. Дело касается твоей новой ванны и усовершенствованного водопровода, которые тяготят мою душу…

Много, много пришлось Элис Акана рассказать о своих ближних! Она вторгалась в деловые и финансовые сферы, в жизнь знати и плебса. Никому не удалось увернуться от нее, как бы высоко или низко на общественной лестнице он ни стоял. И только в два часа утра перед зачарованной аудиторией, битком набившей молельню до самых дверей, она закончила свое повествование о

темных делишках, свершавшихся в общине, с которой она так интимно срослась. И, уже кончая, опять что-то вспомнила.

— Ха! — фыркнула она. — На прошлой неделе я отдала Эйблу А-Йо на покрытие текущих расходов и на пополнение бухгалтерской книги святого Петра в небесах участок, стоящий восемьсот долларов. Где же я взяла этот участок? Все вы считаете мистера Флеминга порядочным человеком. А между тем душа его более крива и уклончива, чем был вход в Пирл-Харбор перед тем, как правительство Соединенных Штатов выпрямило канал! У него сейчас болит печень, но его болезнь — кара божья, и он умрет скрюченным. Этот участок дал мне Флеминг двадцать два года тому назад, когда рыночная цена участка равнялась тридцати пяти долларам. Вы думаете, он дал его потому, что его алоха ко мне была велика? Нет! Никогда у него в душе не было никакой алоха, разве что к долларам!

...Теперь слушайте. Великий грех возложил на меня Флеминг! Когда Франк Ломилоли находился в моем доме пьяный, причем за водку мне авансом заплатил ровно впятеро мистер Флеминг, я убедила Франка Ломилоли подписать бумагу, согласно которой он уступал свой городской уча-

сток за сто долларов. В ту пору этот участок стоил шестьсот долларов, а сейчас ему цена двадцать тысяч. Может быть, вы хотите знать, где находится этот участок? Я скажу вам это и сниму бремя со своей души! Он находится на Королевской улице, где теперь помещается кабачок «Милости просим», гараж Японской Таксомоторной Компании, магазин водопроводных принадлежностей Смита и Уилсона и кондитерская «Амброзия», а двумя этажами выше расположены меблированные комнаты Эдисона. Все эти постройки из дерева, и всегда их хорошо красили. Вчера их опять начали красить. Но я не позволю этой краске стать между мной и господом! Между мной и дорогой на небо не будет больше горшков с краской!..

На следующий день все утренние и вечерние газеты бессовестно молчали об этом величайшем за последние годы скандале; население же Гонолулу наполовину хихикало, наполовину трепетало от ужаса, по мере того как распространялись шепотком рассказы, не всегда преувеличенные и слышавшиеся повсюду, где только встречались двое жителей Гонолулу.

— Наша ошибка, — говорил полковник Стилтон в клубе, — заключалась в том, что мы с самого начала не назначили комитета безопасности,

который бы следил за душой Элис!

Боб Кристи, один из молодых островитян, залился смехом, таким ядовитым и громким, что от него тотчас же потребовали объяснений.

— О, ничего особенного! — ответил он. — Но на пути сюда я слышал, что старого Джона Уорда только что заперли в каталажку за пьянство, безобразное поведение и за сопротивление полиции. Вы знаете, Эйбл А-Йо постоянно околачивается в полицейских участках. Ничего он так не любит, как спасти грешную душу какого-нибудь пьяницы.

Полковник Стилтон посмотрел на Лэска Финнестона, и оба посмотрели на Гарри Уилкинсона. Он ответил им таким же взглядом.

— Старый забулдыга! — воскликнул Лэск Финнестон. — Нечестивый пропойца! Я и забыл, что он еще жив! Изумительные способности! Никогда он не бывал трезвым, разве что во время кораблекрушения, и, насколько помню, всегда был готов пуститься во все тяжкие. А ему, наверное, под восемьдесят!

— Около этого, — подтвердил Боб Кристи. — Он все еще всюду шатается, пьет, когда есть деньги, и всегда бодр, хотя не так уж силен физически и для чтения пользуется очками. Память у него

изумительная. Если Эйбл А-Йо подцепит его…

Гарри Уилкинсон крякнул, приготовляясь к речи.

— Вот замечательный старик! — начал он. — Какой-то забытый осколок прошлых веков! Мало теперь людей этого типа! Он пионер. Он настоящий «камааина». И в таком преклонном возрасте беспомощно бьется в лапах полиции. Мы должны что-нибудь сделать для него в признание его тяжких трудов на Гавайях! Случайно мне стало известно, что его родина в порту Сэг. Он не видал родных мест свыше полувека! Устроим ему назавтра сюрприз: заплатим за него штраф, презентуем ему билет в порт Сэг и оплатим расходы, скажем, на годичную поездку. Я составлю комитет. Назначаю полковника Стилтона, Лэска Финнестона и себя! Что касается председателя, то кто же годится для этого больше Лэска Финнестона, который так хорошо знал Уорда в старину? Итак, возражений нет? Я назначаю Лэска Финнестона председателем комитета по сбору денег на уплату полицейского штрафа и покрытие расходов для годичного путешествия благородного пионера Джона Уорда в признание его энергии и трудов по строительству Гавайев.

Возражений не последовало.

— Комитет открывает секретное заседание! — возгласил Лэск Финнестон, встав и направляясь к дверям библиотеки.

Глен Эллен, Калифорния, 30 августа 1916 года.

Берцовые кости

«Они сошли в преисподнюю с воинскими доспехами и положили мечи свои под голову».

— Очень было грустно видеть обращение старухи! — Принц Акули бросил боязливый взгляд в сторону дерева кукуи, под сенью которого только что уселась с работой старая вахине. — Да, — продолжал он, почти уныло кивнув мне, — в последние годы Хивилани вернулась к старым обычаям и старым верованиям, разумеется, тайно; и, верьте мне, она была настоящим коллекционером! Вы посмотрели бы ее коллекцию костей! Они у нее стояли по всей комнате в огромных сосудах; это были кости почти всех ее родственников, не считая какого-нибудь полудесятка, который Капау выхватил у нее из-под носа, первым добравшись до них. Страшно было слушать их ссоры из-за костей! У меня мурашки бегали по спине, когда я мальчиком заходил в ее огромную комнату, где царил вечный полумрак; ведь я знал хорошо, что вот в этом сосуде находится все, что осталось от моей внучатой тетки с материнской стороны, а вот в этом кувшине

— мой прадед, что во всех этих сосудах хранятся останки моих предков, семя которых прошло века и воплотилось во мне, живом, полном дыхания существе! Хивилани в конце концов превратилась в подлинную туземку и спала на циновке на твердом полу: она изгнала из своей спальни огромную великолепную кровать под балдахином, подаренную ее бабушке лордом Байроном, кузеном автора «Дон Жуана», прибывшим сюда на фрегате «Блонд» в 1826 году.

Она вернулась ко всем туземным обычаям; я видел, как она откусывала кусок от сырой рыбы перед тем, как бросить ее своим слугам, она давала им доедать свою пои, вообще все, что не могла сама доесть…

Принц Акули вдруг оборвал повествование, и по тому, как расширились его ноздри и как изменилось выражение его подвижных черт, я понял, что он почуял что-то в воздухе и определяет запах, оскорбивший его.

— Чтоб его черт побрал! — крикнул он мне. — Вонь до небес! И мне придется держать его на себе, пока нас не выручат!

Насчет предмета его отвращения не могло быть ошибки: старая ведьма плела превосходнейший леи (венок) из плодов хала. Она разрезала много-

численные доли ореховидной оболочки плода на колокольчатые части, которые нанизывала на тугую крученую заболонь дерева хау. Без сомнения, запах стоял до небес, но мне, малахини, этот винный и пряный запах плода не был неприятен.

Дело в том, что лимузин принца Акули сломался на расстоянии четверти мили отсюда, и нам пришлось искать приюта от солнца в этом горном жилье — настоящей беседке. Хижина была убогая, под соломенной кровлей, но зато стояла среди редких бегоний, распустивших свои нежные цветы футах в двадцати над нашей головою; бегонии походили на деревья: стебли у них были, как ствол ивы, толщиной в человеческую руку. Здесь мы освежились кокосами и послали ковбоя за несколько миль на ближайшую телефонную станцию вызвать из города машину. Нам даже виден был этот город — Олокона, столица Лаканайи, рисовавшийся за полями сахарного тростника дымкой на береговой линии, окаймленной венцом пены у рифов и голубой дымкой океана на горизонте, где остров Оаху мерцал тусклым опалом.

Мауи — Долина Гавайев, а Кауаи — Садовый остров; но Каканайи, лежащий рядом с Оаху, и в прошлом, и ныне, и присно считается Жем-

чужным островом этой группы. Это не самый крупный, но и не самый мелкий остров; все согласны с тем, что Лаканайи — самый дикий, и самый прекрасный в своей дикости, и самый благородный из всех островов. Он дает лучшие урожаи сахара, прекрасный жирный горный скот. Дожди на нем падают в изобилии, не причиняя, однако, вреда. На Кауаи он похож тем, что это остров первозданный и потому древнейший; его лава имела достаточно времени превратиться в богатейший чернозем, а ущелья между древними кратерами размылись до того, что стали похожи на большие каньоны реки Колорадо с бесчисленными водопадами, низвергающимися с высоты в тысячи футов; они рассыпаются пеленой пара и исчезают на полпути, спускаясь миражами радуги, как роса или частый дождик, падающий над пропастью.

Впрочем, Лаканайи легко описать. Но как описать принца Акули? Чтобы узнать его, нужно изучить всю подноготную Лаканайи. А кроме того, в совершенстве узнать и остальную часть земного шара. Во-первых, принц Акули не имел ни признанного, ни законного права именоваться «принцем». Во-вторых, «Акули» — значит каракатица; так что «Принц Каракатица» — ед-

ва ли достойный титул для прямого потомка древнейших и самых высоких алии Гавайев: род древний и исключительный, в котором, по обычаю египетских фараонов, братья и сестры вынуждены были сочетаться браком по той причине, что не могли вступать в родственные отношения ни с кем ниже себя по рангу,

— во всем известном им мире не было равного или более высокого рода, а династия, во всяком случае, должна была продолжаться.

Я слышал певцов принца Акули (он их унаследовал от своего отца), которые рассказывали нескончаемые родословные, доказывавшие, что он — знатнейший алии во всем мире! Начиная с Вакеа (их Адам) и Папа (их Ева), они проследили генеалогию через столько поколений, сколько букв в алфавите, до Нанакаоко, первого предка, родившегося на Гавайях, жену которого звали Кахихиокалани. Еще раньше, сохраняя свой ранг, их род откололся от рода Аа, основателя двух королевских линий: Кауаи и Оахау.

В одиннадцатом веке нашей эры, по свидетельству историков Лаканайи, в ту пору, когда братья женились на сестрах за неимением достойных супруг, их род получил примесь новой крови от рода, восходившего чуть ли не до неба.

Некий Хоикемаха приплыл с острова Самоа на огромной двойной каноэ. Он женился на одной лаканайской алии и, когда его три сына выросли, отправился с ними на Самоа, чтобы привезти своего младшего брата. Но привез он Куми, сына Туи Мануа, род которого считался высочайшим во всей Полинезии и только на одну ступень был ниже богов и полубогов. Таким образом драгоценное семя Куми за восемь столетий до этого вошло в кровь лаканайских алии и через них по прямой линии воплотилось в принце Акули!

Его я впервые встретил в офицерской столовой Черной гвардии[35] в Южной Африке; говорил он с оксфордским акцентом. Это случилось как раз перед тем, как знаменитый полк был изрублен в кашу при Маггерсфонтейне. Принц Акули имел такое же право на эту столовую, как и на свой акцент, ибо воспитывался в Оксфорде и находился на королевской военной службе. С ним в качестве его гостя, приехавшего «посмотреть войну», был принц Купидон. Это было его прозвище, но он настоящий принц всех Гавайев, включая и Лаканайи, а подлинный и законный титул его — Принц Иона Кухио Каланианаоле. Он стал бы

[35] notes: 35

Черная гвардия — один из привилегированных полков британской армии; здесь речь идет об англо-бурской войне 1899 — 1902 годов.

королем Гавайев, если бы не произошла «революция хаоле» — аннексия. То обстоятельство, что родословная принца Купидона была ниже принца Акули, происходившего от неба, не имело значения, ибо принц Акули мог бы быть королем Лаканайи и всех Гавайев, если бы его деда в прах не расколотил первый и величайший из всех Камехамеха.

Это событие произошло в 1810 году, когда процветала торговля сандаловым деревом. Тогда же смирился король Кауаи и подчинился Камехамехе. Дед принца Акули получил свою трепку и успокоился, ибо он был человек старой школы и не умел утверждать островной власти языком пороха и артиллеристов хаоле. Камехамеха, более дальновидный, уже брал к себе на службу хаоле, в том числе таких людей, как Айзек Дэвис, штурман и единственный оставшийся в живых из перебитого экипажа шхуны «Прекрасная Американка», и Джон Юнг, пленный боцман шхуны «Элинор». Айзек Дэвис с Джоном Юнгом и другими авантюристами при помощи шестифутовых медных каронад[36] с захваченных «Ифигении» и «Прекрасной Американки» уничтожили во-

[36] notes: 36
Каронада — корабельная пушка XVIII века.

енные каноэ и привели в смятение сухопутных бойцов короля Лаканайи и в награду получили от Камехамехи согласно условию, Айзек Дэвис — шестьсот зрелых, жирных свиней, а Джон Юнг — пятьсот таких же парнокопытных.

Итак, в результате всех этих бурных страстей, падения первобытных культур, кровожадных убийств, яростных сражений и браков с младшими братьями полубогов появился лощеный, с оксфордским акцентом, современный до кончика ногтей принц Акули, принц Каракатица, чистокровный полинезиец, живой мост через тысячу веков, мой товарищ, приятель и спутник по сломавшемуся лимузину ценой в семь тысяч долларов, застрявший вместе со мной в раю бегоний на высоте полутора тысяч футов над уровнем моря и столицы его острова Олоконы. От скуки он стал рассказывать мне о своей матери, которая на старости лет вернулась к древней религии и древнему идолопоклонству, занялась коллекционированием и окружила себя костями тех, кто был ее предками во тьме веков.

— Мании коллекционирования положил начало король Калакауа на острове Оаху, — говорил принц Акули. — А его жена, королева Капиолани, заразилась от него этой страстью. Они собира-

ли все решительно. Старые циновки макалоа, старые тапа, старые тыквенные бутылки, древние двойные каноэ и идолов, которых жрецам удалось спасти от всеобщего истребления в 1819 году[37]. Я давно не видал рыболовных крючков из перламутра, но могу поклясться, что Калакауа набрал их несколько тысяч, не говоря уже о крючках из человеческих челюстей, о плащах из перьев, о шлемах, каменных шильях и пестах для толчения пои. Когда он и Капиолани как короли объезжали острова, жителям приходилось прятать свои личные реликвии. Королю в теории принадлежит все имущество подданных; а у Калакауа, когда дело касалось старинных вещей, теория превращалась в практику.

От них мой отец Канау заразился страстью к коллекционированию, заразилась и Хивилани. Но отец был человек современный. Он не верил ни в богов, ни в кахуна (жрецов), ни в миссионеров. Он не признавал ничего, кроме сахарных акций и породистых коней, и считал своего деда дураком за то, что тот не догадался набрать

---

[37] notes: 37

…жрецам удалось спасти от всеобщего истребления в 1819 году… — Под натиском христианских миссионеров население Гавайских о-вов подвергалось насильственному крещению. Дохристианские святыни гавайцев были разрушены.

коллекцию Айзеков Дэвисов, Джонов Юнгов и медных каронад перед тем, как начать борьбу с Камехамехой. Итак, он собирал редкости, как истый коллекционер; но мать относилась к этому делу серьезно. Вот почему она остановилась на костях. Помню также: был у нее безобразный древний каменный идол, перед которым она с воем ползала по полу. Теперь он находится в музее. Я отправил его туда после ее смерти, а ее коллекцию костей — в Королевский Мавзолей в Олоконе.

Не знаю, помните ли вы, что отцом ее был Кааукуу. Это был гигант. Когда построили Мавзолей, его кости, прекрасно сохранившиеся и чистые, были взяты из тайника и перенесены в Мавзолей. У Хивилани был старый слуга Ахуна. Однажды ночью она украла у Канау ключи и заставила Ахуну выкрасть кости ее отца из Мавзолея. Я это знаю наверное. Он, без сомнения, был гигант! Она хранила его кости в одном из больших сосудов. Однажды, когда я был уже довольно большим мальчиком и горел любопытством узнать, действительно ли Кааукуу был так огромен, как рассказывали легенды, я вытащил из сосуда его нижнюю челюсть я примерил на себе. Я вдел в челюсть свою голову, и она окружила мою шею

и плечи, как хомут! Все зубы сохранились в челюсти, белые, как фарфор, без единой дырочки, с нисколько не потемневшей и не потрескавшейся эмалью! За это святотатство мне задали хорошую порку, хотя матери пришлось призвать на помощь старого Ахуну. Но инцидент пошел мне на пользу. Он дал матери уверенность, что я не боюсь мертвецов, и обеспечил мне курс в Оксфорде. Вы это узнаете, если автомобиль задержится.

Старый Ахуна был подлинно старозаветный слуга, верный и преданный, как раб. Он больше мог порассказать о предках моей матери и отца, чем оба они вместе. И он знал то, чего не знал ни один живой человек: вековое кладбище, где спрятаны были кости большей части предков матери и предков Канау! Канау никак не мог выудить этого секрета у старика, который видел в Канау вероотступника.

Долгие годы Хивилани боролась со старым лукавцем Ахуной. Как ей наконец удалось настоять на своем, мне неизвестно. Разумеется, она была верна своей вере. Это могло способствовать тому, что Ахуна немножко размяк. А может быть, она его запугала; она знала немало древних заклятий и умела издавать звуки, показывавшие ее близкое знакомство с Ули — самым главным богом

колдунов Гавайев. Она могла перещеголять любого обыкновенного кахуна-лапааy (знахаря) на молитве Лонопуха и Колеамоку; толковала сны и видения, предзнаменования и болезни желудка; выводила на чистую воду жрецов лекарского бога Майола; заводила такие причитания пуле-хее, что у тех голова начинала кружиться; и утверждала, что знает кахуна хоэнохо — современный спиритизм! Я сам видел, как она «пила ветер», «наводила порчу» и прорицала. Она была в самых коротких отношениях с аумакуа, которым приносила жертвы на алтарях разрушенных хеиау, бормоча при этом молитвы, столь же жуткие, сколь и непонятные для меня. А старого Ахуну она заставляла бросаться на пол, завывать и кусать самого себя!..

Впрочем, я убежден, что она получила над ним власть благодаря так называемой анаана. Ножницами для маникюра она отрезала прядь его волос. Мы называем это мауну, что означает — наживка. И она дала ему понять, что этот клок волос у нее. Она намекнула старику, что зарыла волосы в землю и каждую ночь приносит жертвы и заклинает Ули.

— Это и есть замаливать до смерти? — спросил я принца Акули, воспользовавшись минутой,

когда он закуривал папиросу.

— Вот именно! — кивнул он. — И Ахуна не устоял. Сперва он пытался найти место, где были спрятаны его волосы. Не успев в этом, он нанял для того же знахаря пахиухну. Но Хивилани пригрозила знахарю сделать над ним апо-лео — это способ лишить человека речи, не причиняя ему другого вреда.

Ахуна зачах и с каждым днем все более становился похож на покойника. В отчаянии он обратился к Канау. Случайно я при этом присутствовал. Вы уже слышали, что за человек был мой отец.

— Свинья! — говорил он Ахуне. — Свиные мозги! Вонючая рыба! Умирай, и пусть это кончится. Ты дурак! Все это вздор! Ровно ничего страшного! Пьяный хаоле Говард может доказать, что миссионеры неправы. Джин доказывает, что Говард неправ. Доктора говорят, что он не проживет и шести месяцев. Даже джин лжет! Жизнь также лжет. Пришли тяжелые времена, цены на сахар упали. Среди моих племенных кобыл падеж! Как бы я хотел заснуть лет на сто и, проснувшись, узнать, что цена на сахар поднялась вдвое.

Отец был философ; у него был желчный ум и манера выбрасывать отрывистые афоризмы. Он

хлопнул в ладоши. «Принеси большой стакан! — скомандовал он. — Нет, принеси два стакана!» Потом повернулся к Ахуне. «Ступай и подыхай, старый язычник, исчадие тьмы, язва преисподней! Но не умирай в нашем доме! Я хочу веселья и смеха, сладкого щекотания музыки и красоты молодых движений, а не карканья больных жаб и пучеглазых покойников, еще держащихся на своих дрожащих ногах! Я сам стану таким, если буду долго жить! И всегда буду жалеть, если проживу долго! За каким чертом я вложил последние две тысячи долларов в плантации Кертиса! Говард предупреждал меня, что цены упадут, а я думал, что он врет спьяна. Кертис размозжил себе голову, его главный „луна“ бежал с его дочерью, химик сахарного завода заболел тифом, все пошло к черту!»

Отец захлопал в ладоши, вызывая слуг, и скомандовал: «Приведите певцов! И танцовщиц хула, да побольше! И пошлите за старым Говардом. Кому-нибудь надо же расплачиваться, и я хочу сократить на месяц оставшиеся ему полгода жизни. Но главное — музыка! Пусть будет музыка! Она крепче хмеля и быстрей опиума!»

О, эта врачующая музыка! Его отца, старого дикаря, однажды угощали на борту французского

фрегата, и там он в первый раз в жизни услышал оркестр. Когда маленький концерт кончился, капитан спросил любезно гостя, что ему понравилось больше всего. Деду пришлось «описать» эту музыку, и как вы думаете, что ему понравилось?

Я отказался угадывать; принц закурил новую папироску.

— Разумеется, первое, но не музыкальное произведение, а настраивание инструментов.

Я кивнул, изобразив в глазах и на лице улыбку, а принц Акули, снова бросив опасливый взгляд на старую вахине и на ее халалеи, который она успела наполовину сплести, вернулся к повествованию о костях своих предков.

— Так вот, в этой стадии игры старый Ахуна уступил Хивилани. Нельзя сказать, чтобы он окончательно сдался. Но он пошел на компромисс. Если он доставит ей кости ее деда (отца Кааукуу, бывшего, по преданиям, еще рослее своего сына-гиганта), она вернет Ахуне его прядь волос, при помощи которой начала «замаливать его до смерти». Ахуна, со своей стороны, поставил условием, что его не заставят выдать тайну всего кладбища с прахом всех лаканайских алии до седой древности. Но так как он был слишком дряхл, чтобы в одиночку пуститься в столь риско-

ванную экспедицию, то ему должен был помочь кто-нибудь, кому поневоле пришлось бы узнать тайну. И выбор пал на меня! Я был самый высокий алии после моих отца и матери, и они были отнюдь не выше меня рангом!

Так я появился на сцене; меня вызвали в сумрачную комнату, где я застал двух старых людей, якшавшихся с мертвецами. Замечательная была парочка: мать — растолстевшая до безобразия, и Ахуна — тощий, как скелет. Мать производила впечатление, что если положить ее на спину, то она не сможет повернуться без помощи блоков и веревок; Ахуна же наводил на мысль, что если эту зубочистку ткнуть, то она расколется на тонкие щепочки.

Когда они объяснили мне, в чем дело, пришла новая пиликиа (беда). Отец заразил меня своим неверием. Я отказался отправиться на похищение костей! Я заявил, что мне плевать на кости всех алии моего рода! Видите ли, я незадолго перед тем открыл Жюля Верна, которого мне дал старый Говард, и зачитывался им до одурения. Кости? На что мне кости, когда существуют северные полюсы, центры земли и хвостатые кометы, на которых можно путешествовать среди звезд! Разумеется, я не желаю отправляться ни в какую

экспедицию за костями. Я сказал, что отец еще здоровый человек и может отправиться куда надо, поделив с матерью кости, какие добудет. Но мать ответила, что он только жалкий коллекционер, что-то в этом роде, лишь в более сильных выражениях.

«Я знаю его! — уверяла она меня. — Он готов прозакладывать кости родной матери на бегах или проиграть в карты».

Я стоял за отца, когда дело касалось современного скептицизма, и объявил матери, что все это вздор. «Кости? — сказал я. — Что такое кости? Даже у белых мышей, у крыс и у тараканов есть кости, хотя тараканы носят свои кости поверх мяса, а не внутри его. Разница между человеком и другими животными, — объяснил я матери, — не в костях, а в мозгах. Помилуй, у быков кости куда крупнее, чем у человека, и сколько я съел рыб, у которых куда больше костей! А за китом — так и всем не угнаться по части костей!»

Выражался я весьма откровенно: такова уж наша гавайская манера, если вы знаете. В ответ на это с такой же откровенностью мать пожалела, что не вышвырнула меня вон грудным младенцем, сейчас же после моего появления на свет. Потом стала оплакивать час моего рождения.

Отсюда оставался только шаг до анаана — до того, чтобы проклясть меня. Она пригрозила мне этим, и тогда я совершил величайший подвиг мужества в своей жизни! Старый Говард подарил мне нож со множеством лезвий, со штопором, с отвертками и всякими штуками, включая маленькие ножницы. Я начал подстригать себе ногти.

— Вот! — сказал я, выложив ей на руку обрезки. — Смотри, что я думаю об этом! Вот тебе сколько угодно, иди и наводи на меня порчу анаана, если можешь!

Я сказал, что это был мужественный поступок. Несомненно так. Мне было всего пятнадцать лет, всю свою жизнь я провел в окружении таинственных предметов, тогда как мой скептицизм совсем недавнего происхождения покрывал меня весьма тонким слоем. Я мог быть скептиком на дворе, под лучами солнца. Но я боялся потемок. И в этой сумрачной комнате, с костями покойников, повсюду лежавшими в огромных сосудах, старуха пугала меня. Но я не сдавался, и моя бравада оказалась сильнее: мать бросила обрезки ногтей мне в лицо и залилась слезами. Слезы пожилой женщины, весящей триста двадцать фунтов, маловнушительны, и я закоснел в своей гордыне!

Тогда она переменила тактику и принялась беседовать с мертвецами. Мало того, она их вызывала в комнату! Я ничего не видел, Ахуна же умудрился заметить отца Кааукуу в углу комнаты, упал на пол и взвыл. Стало и мне казаться, что я почти видел старого исполина, только не мог как следует разглядеть его.

«Пусть он сам за себя говорит!» — сказал я. Но Хивилаии продолжала говорить за покойника и передала мне торжественное повеление отправиться с Ахуной на кладбище и привезти кости, нужные ей. На это я ответил, что если мертвецов можно убедить изводить живых людей изнурительными болезнями и если мертвецы могут переноситься из места своего погребения в угол комнаты, то я не понимаю, почему бы им, прощаясь с нами для возвращения в среднюю вселенную, верхнюю вселенную, нижнюю вселенную или вообще туда, где они живут, когда не ходят в гости, не оставить своих костей в комнате, где их так удобно положить в сосуды.

После этого мать взялась за бедного старика Ахуну. Она напустила на него дух отца Кааукуу, который будто бы прикорнул в углу и приказывал Ахуне открыть ей тайну кладбища. Я пытался ободрить Ахуну, советовал предложить покой-

нику самому открыть этот секрет: ведь он знает его лучше кого бы то ни было, раз живет там уже больше ста лет. Но Ахуна был человек старой школы. Скептицизма в нем не было ни на йоту! Чем больше стращала его Хивилани, тем больше катался он по полу и тем громче хныкал.

Но когда он начал кусать себя, я сдался. Мне стало жаль старика, да и залюбовался я им. Это был изумительно твердый человек, несмотря на всю духовную темноту! Обуянный страхом тайны, тяготевшей над ним, простодушно веря в заклинания Хивилани, он был раздираем внутренними противоречиями. Мать была его живая алии, его алии капо (священная предводительница). Он должен был хранить верность ей, но еще больше обязан был верностью всем мертвым и исчезнувшим алии, которые полагались на него, уповая, что он не даст потревожить их кости.

Я сдался. Но и я выставил свои условия! Отец мой, человек новой школы, не пускал меня в Англию учиться; падение цен на сахар было для него достаточной причиной. Моя мать, человек старой школы, также отказывала мне в этом: своей темной душой она мало ценила образование, но понимала, что образование ведет к неверию, к неуважению старины. А я хотел учиться, хотел

изучать искусства, науки, философию, знать все, что знает старый Говард, все, что позволяло ему, стоя одной ногой в могиле, бесстрашно насмехаться над суевериями и давать мне читать Жюля Верна. Он в свое время учился в Оксфордском университете и заразил меня тягой к Оксфорду.

Кончилось тем, что Ахуна и я, старая школа и новая школа, заключили между собой союз и победили. Мать обещала заставить отца послать меня в Англию, хотя бы даже пришлось напоить его. Говард будет сопровождать меня, дабы я мог пристойно похоронить его в Англии. Чудак он был, этот старый Говард! Позвольте рассказать вам о нем маленький анекдот. Это было в ту пору, когда Калакауа отправился в свое кругосветное путешествие — помните, еще Армстронг, Джад и пьяный лакей немецкого барона сопровождали его. Калакауа предложил Говарду…

Но тут на принца Акули свалилась беда, которой он давно опасался. Старая вахине окончила свой халалеи! Босоногая, без всяких женских украшений, одетая в рубаху из полинялой бумазеи, с увядшим, старым лицом и изуродованными работою руками, она пала перед ним ниц и затянула в его честь меле, предварительно надев ему на шею леи. Правда, хала одуряюще пахла, но

поступок старухи был прекрасен, и сама старуха показалась мне прекрасной — под свежим впечатлением рассказа я невольно представил себе, что она похожа на Ахуну.

О, действительно, быть алии на Гавайях, даже во вторую декаду двадцатого века, — вещь нелегкая! Алии при всей своей современности должен быть снисходителен и величественно внимателен к старым людям, целиком принадлежащим прошлому. И этот принц без королевства — его возлюбленный остров давно уже был аннексирован Соединенными Штатами, присоединен к их территории вместе с остальными Гавайскими островами, — этот принц ничем не выдал своего отвращения к запаху хала! Он наклонил голову, и его приветливые слова, произнесенные на чистом гавайском языке, без сомнения, остались в сердце старухи счастливым воспоминанием до конца ее дней. Гримаса, которую он украдкой сделал в мою сторону, не появилась бы на его лице, если бы оставалась хоть малейшая вероятность, что старуха заметит ее.

— Итак, — начал принц Акули после того, как вахине удалилась, — мы с Ахуной отправились на нашу авантюру. Вы слыхали о Железном Береге?

Я кивнул; мне очень хорошо знакома картина

этих берегов, образованных застывшей лавой и как бы окованных железом; ни для высадки, ни для якоря там совершенно нет места; видны только страшные, отвесные стены утесов высотою в тысячи футов; вершины их уходят в облака и исчезают в дождевых шквалах, а основания омываются огромными волнами, разлетающимися мириадами брызг; и днем и ночью от облаков до моря здесь стоит пелена пара от скачущих водопадов и непрестанно играют лунные и солнечные радуги. Так называемые долины, а в действительности трещины прорезывают кое-где циклопические стены, открывая путь к безумно высоким и отвесно обрывистым плоскогорьям, почти недоступным ноге человека, и только дикие козы отваживаются туда забираться.

— Очень мало вы знаете о нем! — возразил принц Акули. — Вы видели этот берег с палубы парохода. А ведь там есть обитаемые долины, из которых нет выхода сушей! Туда можно проникнуть только в каноэ в определенные дни двух месяцев в году. Когда мне было лет двадцать восемь, я забрался однажды в одну такую долину охотиться. Налетевшее ненастье приковало нас там на три недели. Тогда пятеро из моей компании, и я в том числе, решили выбраться вплавь

через буруны. Трое действительно добрались до каноэ, ожидавших нас. Двое других были отброшены на берег, каждый со сломанной рукой. А вся остальная компания осталась там до следующего года, выбравшись лишь через десять месяцев! В их числе был Уилсон. Он был помолвлен и собирался жениться.

Я видел однажды, как коза, подстреленная охотником с плоскогорья, упала у моих ног, слетев с высоты в тысячу ярдов! Поверите ли, в течение десяти минут с плоскогорья, казалось, сыпался дождь из коз и камней! Один из моих людей с каноэ сорвался с тропинки между двумя крохотными долинами Аипио и Луно. Он сперва ударился о камень, торчавший на полторы тысячи футов ниже нас, а затем отлетел на скалистый выступ еще футов на триста. Мы не хоронили его. Мы не могли до него добраться. Там и лежат его кости и, если не случится землетрясения или извержения вулкана, будут лежать до судного дня.

Бог мой! На днях только, когда наш комитет, конкурирующий с Гонолулу по части привлечения туристов, созвал инженеров выяснить, что стоило бы провести живописную дорогу по Железному Берегу, оказалось, что она обойдется никак не меньше четверти миллиона долларов

за милю!

И вот мы с Ахуной, старик и мальчишка, отправились на этот негостеприимный берег в каноэ, в котором гребли старики! Самому молодому из них, рулевому, было за шестьдесят, остальным же никак не меньше семидесяти каждому. Их было восемь человек, и вышли мы в море в ночное время, так что никто не видал нашего отхода. И даже эти старики, пользовавшиеся доверием всю свою жизнь, знали тайну только краешком уха! И только до края этой тайны они могли довезти нас!

А на этом краю — теперь я могу вам сказать — лежала долина Понулоо. Мы добрались туда на третий день перед вечером. Дряхлые гребцы выбивались из сил. Потешная была экспедиция! В бурных волнах время от времени кто-нибудь из престарелых матросов лишался сил и падал без чувств! Один даже умер на второе утро! Мы похоронили его, выбросив за борт. Как страшны языческие церемонии, с которыми седые старцы хоронили своего собрата! А мне было всего пятнадцать лет; по крови и по языческому наследственному праву я был над ними алии капо, это я-то, начитавшийся Жюля Верна и собиравшийся вскоре уехать в Англию учиться! Отец мой

был философом, который в собственной жизни прошел всю историю человека, от человеческих жертвоприношений и поклонения идолам до самого бесшабашного атеизма! Не удивительно, что и он, подобно древнему Экклезиасту, видел во всем суету, а отдых находил в сахарных акциях, певцах и танцовщицах хула!

Принц Акули умолк и задумался.

— Ну что же, — вздохнул он, — и я проделал длинный жизненный путь. — И он с отвращением втянул в себя запах халалеи, душивший его. — Смердит стариной! — засвидетельствовал он. — А я?.. Я воняю современностью! Отец мой был прав. Приятней всего — это когда цена на сахар поднимается на сто процентов или четыре туза выпадают в игре в покер. Если великая война продлится еще год, я наживу чистых три четверти миллиона на каждый миллион! Если завтра будет заключен мир и упадут цены, то я назову вам сотни людей, которые перестанут получать от меня пенсии и вернутся в старые туземные домишки, которые мы с отцом давно им подарили.

Принц хлопнул в ладоши, и старая вахине приплелась к нему со всей торопливой услужливостью, на какую была способна. Она раболепно простерлась перед ним, а он вытащил записную

книжку и карандаш из внутреннего кармана.

— Каждый месяц, о старая женщина нашего древнего рода, — обратился он к ней, — ты будешь получать по сельской почте клочок писаной бумаги, который сможешь обменять у любого лавочника и в любом месте на десять долларов золотом. Это тебе на все время твоей жизни! Смотри! Вот я записываю это на память вот этим карандашом на этой бумаге. Это потому, что ты моего рода и моей службы. Потому, что в сей день ты почтила меня своими циновками и трижды благословенным и трижды восхитительным халалеи!

А ко мне он обратил усталый взор скептика, прибавив:

— А если я завтра умру, то адвокаты станут оспаривать не только мое завещание, но даже мои благодеяния и назначенные мною пенсии; они поставят даже под сомнение ясность моего рассудка!

Так вот то была подходящая пора года; но с нашими старцами на веслах мы не решились высадиться, пока не собрали на крутом берегу половины населения долины Понулоо. Затем мы сосчитали волны, выбрали наилучшую и доверились ей. Разумеется, каноэ опрокинуло, разнесло

вдребезги, но собравшиеся на берегу извлекли нас на сушу невредимыми.

Ахуна стал распоряжаться. С наступлением ночи всем следует оставаться в своих домах, собаки должны быть привязаны и морды их обвязаны так, чтобы лая не было слышно! И вот в ночную пору мы с Ахуной отправились в экспедицию, и никто не знал, пошли ли мы вправо, влево или вверх по долине. Мы несли с собой вяленые ломтики мяса, твердую кашу пои и сушеный аку, и по количеству провизии я понял, что мы будем отсутствовать несколько дней. О, какая дорога! Подлинная лестница Иакова на небо, так как первая же пали почти отвесно ниспадала с высоты трех тысяч футов. И весь этот путь мы проделали впотьмах!

На вершине, абсолютно невидимые из долины, которую мы покинули, мы спали до рассвета на твердом камне во впадине, знакомой Ахуне. В ней было так тесно, что мы еле втиснулись. Старик, боясь, как бы я не стал ворочаться в беспокойном юношеском сне, лежал с наружной стороны, обхватив меня руками. На рассвете я понял почему: между мною и обрывом едва было три фута пространства! Я подполз к обрыву, заглянул вниз — и вид этой бездны в сером рассвете заставил меня

содрогнуться! Еле-еле я разглядел море прямо под собой на расстоянии полумили. И на такую высь мы поднялись в темноте!

В следующей долине, совсем крохотной, мы нашли следы древнего поселения, но ни одной живой души. Путь был такой же, головокружительные тропки вверх и вниз по отвесным стенам долины, и так из долины в долину. Старый, изможденный Ахуна, казалось, таил в себе неисчерпаемые силы! Во второй долине жил в одиночестве старый прокаженный. Он не знал меня, и, когда Ахуна сказал ему, кто я такой, он стал пресмыкаться у моих ног, чуть не обнимая их и своим безгубым ртом бормоча мелe в честь моего рода.

Следующая долина оказалась той, которая нам была нужна. Она была длинная и настолько узкая, что на дне ее негде было сажать таро даже для одного человека. Она не имела и берега, ибо поток, размывший в пали эту долину, низвергался водопадом с высоты нескольких сот футов. Это был голый пласт размытой лавы, на котором только кое-где могла укрепиться корнями горная растительность. Много миль прошли мы по этой извилистой трещине между отвесными стенами и забрались в горный хаос, лежащий далеко

за Железным Берегом. На какое расстояние мы углубились в эту долину, я не знаю, но, судя по количеству воды в реке, очень далеко. Мы не добрались до конца долины. Я видел, что Ахуна окидывает взглядом встречающиеся вершины, и понял, что он определяет место одному ему известным способом. Когда мы наконец остановились, то это произошло для меня как-то вдруг, совершенно неожиданно. Очевидно, линии, которые он мысленно проводил, здесь скрещивались. Он сбросил часть провизии и снаряжение, которое нес на себе. Здесь было место, которое мы искали. Я оглядывался во все стороны на жесткие неумолимые стены, лишенные растительности, и не мог себе представить, какое возможно кладбище в этом твердом камне.

Мы поели, потом разделись для работы. Ахуна позволил мне оставить на себе только рубашку. Он стоял возле меня на краю глубокого пруда, тоже раздетый и страшно костлявый.

«Спустись в пруд в этом месте, — сказал он. — Спускаясь, ощупывай камень рукой, и на глубине десяти футов нащупаешь яму, пещеру. Войди в нее головою вперед, но войди медленно — края лавы остры и могут рассечь тебе голову и тело».

«А потом?» — спросил я. «Ты увидишь, что ход

расширяется, — был ответ. — Когда пройдешь по этому коридору шестьдесят футов, потихоньку начни подниматься, и голова твоя выйдет из воды в темноте. Там жди меня! Вода очень холодная!»

Мне это не понравилось; я ожидал не холодной воды и не потемок, а костей. «Иди первым!» — сказал я. Старик стал уверять, что не может. «Ты алии, мой принц! — ответил он. — Нельзя, чтобы я вперед тебя вошел в священное хранилище костей твоих царственных предков!»

Но путешествие не улыбалось мне. «Брось эту болтовню о принце! — ответил я ему. — Это все вздор! Иди первым, я никому не расскажу об этом!» «Мы должны угождать не только живым вождям, — настаивал он, — но еще более того мертвецам. Мы не можем лгать усопшим!»

Мы начали спорить, и с полчаса дело стояло на мертвой точке. Я не хотел, а он не мог. Он попробовал наконец задеть мою гордость. Он стал воспевать геройские подвиги моих предков; особенно мне запомнилась песнь о Мокомоку, моем прадеде и гиганте — отце гиганта Кааукуу, в которой говорилось, что во время сражения Мокомоку трижды бросался на своих врагов, хватал рукой за шею по воину и стукал их головами, пока они не умирали. Но не это меня убедило.

Мне просто стало жаль старого Ахуну. Он был положительно вне себя от страха, что экспедиция может сорваться! А я восхищался стариком, вспоминая, как он спал между мною и бездной, оберегая мою жизнь.

Итак, повелительным тоном, как настоящий алии, я промолвил: «Ты тотчас же последуешь за мной!» — и нырнул. Все, что он сказал, оказалось правдой. Я нашел вход в подземный коридор, осторожно проплыл его, порезав плечо об острый выступ лавы, и вынырнул в потемках из воды. Не успел я сосчитать и трех десятков, как он вынырнул рядом, положил на меня руку, чтобы удостовериться, я ли это, и приказал мне проплыть впереди его сотню футов. Тут мы нащупали дно и влезли на камни. А света все не было, и я, помню, радовался тому, что сюда не могут забраться многоножки!

Ахуна имел при себе нечто вроде бутылки из кокосового ореха, плотно закупоренной; в ней был китовый жир, вероятно, попавший на берег Лаканайи лет за тридцать до этого. Изо рта он вынул непромокаемую спичечную коробку, составленную из двух пустых ружейных патронов. Он зажег фитиль, плававший в масле. Я осмотрелся — и меня постигло разочарование. Это был

не погребальный склеп, а просто труба из лавы, какие встречаются на всех здешних островах.

Сунув мне в руку светильник, Ахуна предложил идти вперед, предупредив, что путь будет длинный, но не очень. Путь оказался длиной по крайней мере в милю, по моим соображениям, а иногда мне казалось — миль в пять; дорога шла в гору. Когда наконец Ахуна остановил меня, я понял, что мы близки к цели. Он стал тощими коленями на остроконечные глыбы лавы и обхватил мои колени костлявыми руками. Свободную мою руку он положил себе на голову и принялся воспевать дрожащим, надтреснутым голосом всех моих предков и их высокие достоинства. Окончив, он промолвил:

«О том, что ты здесь увидишь, не рассказывай никому, ни Канау, ни Хивилани. В Канау нет ни калли святости. Душа его полна сахаром и конскими заводами. Я знаю, он продал плащ из перьев, который носил его дед, английскому коллекционеру за восемь тысяч долларов и на другой же день проиграл деньги на игре в поло между Мауи и Аахау. Хивилани, мать твоя, полна святости. В ней слишком много святости. Она стареет, слабеет головою и не в меру якшается с колдунами…»

«Хорошо, — ответил я. — Я никому не скажу. Если бы я рассказал, мне пришлось бы еще раз поехать сюда. А я не хочу повторять путешествие. Найду какую-нибудь другую прогулку. Этого я не стану больше проделывать!»

«Хорошо, — проговорил он и поднялся, отступив, чтобы я вошел первым. И прибавил: — Твоя мать стара; я, как обещал, принесу ей кости ее матери и ее деда. Довольно ей до самой смерти; если же я умру раньше ее, так ты позаботься, чтобы все кости ее семьи были помещены в Королевский Мавзолей».

Я осмотрел музеи на всех островах, — продолжал принц Акули, — и должен сказать, что все их коллекции, собранные вместе, не могут сравниться с тем, что я видел в погребальной пещере Лаканайи. Подумайте! У нас недаром самая высокая и древняя родословная на островах. Здесь было все, о чем я слыхал или мечтал, и многое, о чем я не имел представления. Пещера была изумительная! Ахуна бормотал молитвы и меле, расхаживал кругом, зажигал лампады с китовым жиром. Здесь лежали все наши гавайские предки от начала гавайских времен, связки костей, бережно завернутые в тапа; ну, точь-в-точь посылочное отделение почтовой конторы!

А какие предметы! Кахили от небольших кисточек, которыми отгоняют мух, до царственных регалий, огромных, как похоронные плюмажи, с ручками от полутора до пятнадцати футов длины. И какие ручки! Из дерева кауила, инкрустированные перламутром или слоновой костью с искусством, вымершим среди наших мастеров более ста лет назад! Это было королевское фамильное хранилище. Впервые я тут увидел вещи, о которых раньше только слыхал, как, например, пахоа, сделанные из китового уса, подвешиваемые за косички из человеческих волос и носимые на груди только самыми высокими вождями!

Сколько тут было тапа и циновок самых редких и древних сортов, плащей, леи, шлемов, совершенно бесценных, кроме совсем обветшавших, из перьев самых редкостных птиц — мамо, иви, акакапе, иоо! Один плащ из перьев мамо был лучше самого дорогого плаща в Египетском музее Гонолулу, а ведь те ценятся от полумиллиона до миллиона долларов. Я невольно подумал: «Какое счастье, что Канау ничего об этом не знает!»

Какая масса предметов! Резные тыквы и кубышки, скребки из раковин, сети из волокон олона, джонка из йе-йе, рыболовные крючки из всякого рода костей, ложки из раковин. Музыкальные

инструменты давно забытых веков — укуке и носовые флейты — киокио, на которых играют ноздрей, заткнув другую. Табу — чаши для пои, для мытья пальцев, шилья божков-леворучек, резанные из лавы плошки, каменные ступки и песты. И тесла, целые груды их, от маленьких, в унцию весом, для тонкого ваяния идолов и до пятнадцатифунтовых для рубки деревьев, и все это с чудесными рукоятками.

Были тут каэкееке — эти наши древние барабаны: куски выдолбленного кокосового ствола, на одном конце обтянутые кожей акулы. Ахуна показал мне первый каэкееке на всех Гавайях и рассказал его историю. Невероятно древняя вещь! Он даже боялся прикасаться к ней, чтобы она не рассыпалась прахом; обрывки кожи еще висели на барабане.

«Это самый древний каэкееке, отец всех наших каэкееке! — говорил Ахуна. — Кила, сын Моикехи, привез его из далекой Райатеа на Южном океане. Сын Килы, Кохаи, приплыл оттуда же; его не было десять лет, и он привез с собой с Таити первые плоды хлебного дерева, которые пустили ростки и размножились на гавайской земле».

А кости, кости! Рядом с маленькими связками лежали целые скелеты, завернутые в тапа

и положенные в каноэ для одного, двух и трех гребцов из драгоценного дерева коа с резными украшениями из дерева виливили. Возле безжизненных костей лежали воинские доспехи — старые, заржавленные пистолеты, пищали и пятиствольные пистоли, длинные кентукийские винтовки, мушкеты, которыми торговала еще Компания Гудзонова залива,* кинжалы из зубов акулы, деревянные кортики, стрелы и копья с деревянными наконечниками, обугленными на огне, что придает им железную твердость.

Ахуна сунул мне в руку копье с наконечником из заостренной, длинной берцовой кости человека и поведал историю копья. Предварительно, однако, он развернул длинные кости, плечевые кости и кости ног из двух связок; точь-в-точь вязанки хвороста! «Это, — объявил Ахуна, показывая содержимое одной из связок, — Лаулани; она была женой Акаико, кости которого (ты их держишь теперь в руке, они, заметь, много крупнее) были облечены плотью рослого семифутового мужчины, весившего триста фунтов триста лет тому назад. А этот наконечник копья сделан из берцовой кости Кеолы, могучего борца и скорохода своего времени. Он полюбил Лаулани, и она бежала с ним. И в давно забытой схватке на пес-

ках Калини Акаико прорвал фронт врага, схватил Кеолу, любовника своей жены, бросил его наземь и перепилил ему шею ножом из акульей челюсти. Встарь, как и всегда, мужчина бился с мужчиной из-за женщины. А Лаулани была прекрасна; подумай, Кеола из-за нее превратился в наконечник копья! Она сложена была, как богиня, тело ее было, как полная чаша восторгов, а пальцы, с раннего детства ломи (массированные), были крохотные и тонкие. Десять поколений помнили ее красоту! Певчие твоего отца и сейчас воспевают ее прелести в хула, названной по ее имени. Вот какова была Лаулани, которую ты держишь в своих руках!»

Ахуна смолк, а я, обуреваемый мыслями, все смотрел и смотрел на кости. Старый пьяница Говард давал мне читать Теннисона, и я часто уносился мечтой в «Королевские идиллии»[38]. «Вот, было таких же трое, — размышлял я, — Артур, Ланселот и Джиневра. И вот чем все это кончилось, вся жизнь, борьба, устремления и любовь! Усталые души давно погибших людей

[38] notes: 38

«Королевские идиллии» — цикл поэм английского поэта Альфреда Теннисона (1808 — 1892), написанных на сюжеты средневековых рыцарских романов о сказочном британском короле Артуре и его воинах — рыцарях Круглого Стола. Джиневра — жена Артура; Ланселот дю Лак, вассал и друг Артура, был обвинен в связи с Джиневрой.

заклинают теперь толстые старухи и шелудивые колдуны, а кости их оценивают коллекционеры, проигрывают в карты и на конских скачках или продают за наличные деньги, помещают их в сахарные акции…»

Меня точно озарило. В этом погребальном склепе я получил великий урок. И я сказал Ахуне: «Копье с наконечником из берцовой кости Кеолы я возьму себе. Я его никогда не продам, оно всегда будет со мной».

«А для чего?» — спросил он. И я ответил: «Для того, чтобы созерцание его укрепляло меня в резвости рук и в твердости ног на земле; я буду знать, что мало кому на земле достается счастье оставить памятку о своем „я“ хотя бы в виде наконечника для копья через три столетия после кончины…»

И Ахуна, склонив голову, превознес мою мудрость. Но в этот момент давно сгнившая веревка из волокон олоны порвалась, скорбные кости Лаулани вырвались из моих рук и рассыпались по каменистому полу. Одна берцовая кость, отскочив, упала в тень лодочного носа, и я решил взять ее с собой. Я стал помогать Ахуне собирать и связывать кости, чтобы он не заметил похищенной мною.

«А вот, — говорил Ахуна, представляя меня другому моему предку, — твой прадед Мокомоку, отец Кааукуу. Смотри, какие огромные кости: он был великан! Я понесу его, ибо тебе трудно будет нести тяжелое копье Кеолы. А вот Лелемахоа, твоя бабушка, мать твоей матери; ее понесешь ты. День теперь короток, а мы должны проплыть под водой прежде, чем тьма сокроет солнце от мира».

Туша лампады погружением фитиля в масло, Ахуна не заметил, как я подложил берцовую кость Лаулани к костям моей бабушки.

Рев автомобиля, присланного наконец из Олоконы нам на выручку, прервал рассказ принца. Мы попрощались с древней вахине. Когда мы отъехали с полмили, принц Акули возобновил повествование.

— Итак, мы с Ахуной вернулись к Хивилани, и, к ее счастью, которое длилось до самой ее смерти, — а умерла она в следующем году — в сосудах ее сумеречной комнаты покоилось еще двое из ее предков. Она сдержала свое обещание и уговорила отца отправить меня в Англию. Я взял с собой старого Говарда; он воспрянул духом и опроверг докторов — только через три года я похоронил его в недрах семейного склепа! Иногда мне кажется,

что это был самый умный человек, которого я когда-либо знал! Ахуна же умер только после моего возвращения из Англии, умер последним хранителем наших тайн алии. И на смертном одре снова взял с меня клятву: никогда не открывать места нахождения безымянной долины и никогда туда не возвращаться!

Я забыл вам рассказать о многом, что я видел в пещере в тот единственный раз. Там были кости Куми, почти полубога, сына Туи Тануа из Самоа, который взял жену из моего рода, чем приобщил мою родословную к небесам. Там же были и кости моей прабабушки, той, что спала на кровати, преподнесенной ей лордом Байроном. Ахуна намекнул на легенду, объяснявшую причины этого дара, а также упомянул об исторически удостоверенном факте продолжительной стоянки «Блонда» в Олоконе. И я держал в руках эти бедные кости, кости, некогда облаченные плотью красавицы, кипевшей умом и жизнью, горевшей любовью, обнимавшей любимого руками, ласкавшей его глазами и губами и зачавшей меня в глубине поколений. Это были прекрасные переживания! Правда, я человек современный. Я не верю ни в старинную дребедень, ни в кахуна. А все же в этой пещере я видел такие вещи, о кото-

рых не смею сказать вам и которые после смерти Ахуны знаю только я один! У меня нет детей. Со мной прекращается мой древний род. У нас теперь двадцатый век, и мы пахнем бензином.

все же эти невысказанные тайны умрут со мной! Я никогда не возвращусь в древний склеп. И в будущем ни один человеческий глаз не увидит его никогда до той минуты, когда землетрясения раздерут грудь земли и вышвырнут тайны, зарытые в сердце гор!

Принц Акули умолк. С явным облегчением он снял с шеи халалеи, фыркнул и, вздохнув, украдкой швырнул венок в кусты.

— Ну, а что же сталось с берцовой костью Лаулани? — тихонько спросил я.

Он молчал, пока мы не пролетели добрую милю лугов, сменившихся плантациями сахарного тростника.

— Она теперь у меня, — ответил он наконец. — И возле нее лежит Кеола, убитый прежде времени и превращенный в наконечник копья за любовь к женщине, кость которой покоится возле его кости. Этим бедным трогательным костям я обязан в жизни больше, чем всему остальному! Они попали в мои руки в период возмужания. Они совершенно изменили весь уклон моей жиз-

ни и направление моего ума! Они научили меня скромности и смирению, поколебать которые не удалось даже состоянию моего отца! Как часто, когда женщина готова была завладеть моей душой, я шел смотреть на берцовую кость Лаулани. И как часто, в минуты гордой самоуверенности, беседовал я с останками Кеолы на конце копья — Кеолы, быстрого бегуна, могучего борца и любовника, похитителя жены своего короля! Созерцание их всегда успокаивает меня, и могу даже сказать, что я построил на них свою веру и практику жизни!

Вайкики, Гонолулу, Гавайские острова, 16 июля 1916.

Дитя воды

Я лениво слушал бесконечные песни Кохокуму о подвигах и приключениях полубога Мауи, полинезийского Прометея, выудившего сушу из пучин океана прикрепленной к небу удочкой, поднявшего небо, под которым раньше люди ходили на четвереньках, не имея возможности выпрямиться, остановившего солнце с его шестнадцатью перепутанными ногами и заставившего его медленнее двигаться по небу; очевидно, солнце было членом профессионального союза и признавало шестичасовой рабочий день, тогда как Мауи стоял за открытый цех, за двенадцатичасовой рабочий день.

— А вот это, — говорил Кохокуму, — из семейной мелe королевы Лилиукалани[39]:

Мауи расшевелился и стал сражаться с солнцем
При помощи силка, который он расставил.
И солнце было побеждено зимою,
А лето победил Мауи…

---

[39] notes: 39

Королева Лилиукалани — последняя королева (1881 — 1893) Гавайских о-вов.

Будучи сам уроженцем Гавайских островов, я лучше знал местные мифы, чем этот старый рыбак, хотя и пользовался его памятью, дававшей ему возможность воспроизводить их часами без перерыва.

— И ты веришь в это? — спросил я на мягком гавайском языке.

— Это было очень, очень давно! — задумчиво ответил он. — Своими глазами я не видел Мауи. Но все наши старики с глубочайшей древности рассказывают нам об этом, как я, старик, рассказываю моим сыновьям и внукам, и так до скончания веков.

— И ты веришь, — настаивал я, — что фокусник Мауи заарканил солнце, как дикого быка, и поднял небо над землею?

— Я человек маленький и не мудрый, о Лакана, — ответил мне рыбак. — Но я читал библию, которую миссионеры перевели для нас по-гавайски, и там сказано, что ваш Великий Изначальный Муж создал землю, и солнце, и луну, и звезды, и всяких тварей от лошади до таракана, и от многоножки и москита до морской блохи и медузы, и мужчину и женщину — все решительно, и все это в шесть дней! Ну что ж, Мауи столько не сделал. Он не сотворил ничего. Он привел

вещи в порядок, и только — и на это у него ушло много-много времени. Во всяком случае, легче и проще поверить в маленького фокусника, чем в большого фокусника!

Что мог я на это ответить? Это была сама логика! Кроме того, у меня болела голова. И ведь вот что любопытно, я должен признать: теория эволюции учит нас, что человек действительно бегал на четвереньках, прежде чем начал ходить на двух ногах; астрономия определенно утверждает, что скорость вращения земли по ее оси непременно уменьшается, и, стало быть, увеличивается долгота дня; а сейсмологи допускают, что все Гавайские острова были подняты со дна океана вулканическими силами!

К счастью, я увидел, что бамбуковый шест, плававший на поверхности моря в нескольких сотнях футов от нас, вдруг стал торчком и заплясал, как бешеный. Это отвлекло нас от бесполезных споров; мы с Кохокуму схватили весла и направили наше маленькое каноэ к танцующему шесту. Кохокуму поймал лесу, привязанную к концу шеста, и вытащил из воды двухфутовую рыбу укикики, отчаянно бившуюся и сверкавшую серебром на солнце; брошенная на дно лодки, она продолжала отбивать барабанную дробь.

Кохокуму взял слизистую каракатицу, откусил зубами трепетный кусок наживки, нацепил его на крюк и бросил за борт лесу и грузило. Шест лег плашмя на воду, и палка медленно поплыла прочь. Оглядев десятка два таких шестов, расположенных полукругом, Кохокуму вытер руки о голые бедра и затянул скучную и древнюю, как сам мир, песнь о Куали:

О великий рыболовный крюк Мауи!
Манаи-и-ка-ланин («к небесам прикрепленный»)!
Витая из земли леса держит крючок,
Спущенный с высокой Кауики!
Его наживка — красноклювый Алаа,
Птица, посвященная Хиве.
Он погружается до Гавайев,
Трепеща и в муках умирая!
Поймана суша под водою,
И всплыла на поверхность,
Но Хина спрятала крыло птицы
И разбила сушу под водою!
Внизу наживка была сорвана,
И тотчас же сожрана рыбами
Улуа глубоких тинистых заводей!

Голос у Кохокуму хриплый и какой-то скреже-

щущий — накануне, на поминках, он слишком много выпил, и все это не могло смягчить моего раздражения. Голова болела, глаза с болью жмурились от ярких отблесков солнца; тошнило от пляски на волнующемся море. Воздух душный, застоявшийся. На подветренной стороне Ваихее, между белым взморьем и гребнем горы, ни малейшего ветерка, удушливый зной. Я так отвратительно чувствовал себя, что уже решил отказаться от ловли и направиться к берегу.

Лежа на спине и закрыв глаза, я потерял счет времени. Я даже забыл, что Кохокуму поет, пока он, умолкнув, не напомнил о себе. Раздавшееся восклицание заставило меня открыть глаза, несмотря на яркий блеск солнца. Старик смотрел в воду через водяную трубку.

— Огромный! — сказал он, передавая мне прибор и прыгая в воду.

Он погрузился без всплеска, не оставив даже ряби, перевернулся вниз головой и пошел на дно. Я следил за его движениями через водяную трубку, представлявшую на деле продолговатый ящик фута в два длиной, открытый на одном конце, а с другого конца заделанный куском обыкновенного стекла.

Кохокуму был скучный человек и выводил меня

из терпения своей болтливостью; но я невольно залюбовался им теперь. Наверное, старше семидесяти лет, тощий, как копье, и сморщенный, как мумия, он проделывал то, чего не могли бы и не захотели проделать многие молодые атлеты моей расы! До дна было по крайней мере сорок футов. И на дне я увидел заинтересовавший его предмет, то прятавшийся, то высовывавшийся из-за глыбы коралла. Острый взгляд Кохокуму подметил выдававшиеся щупальца спрута. Когда он бросился в воду, щупальца лениво спрятались. Достаточно было мельком увидеть хоть одно из них, чтобы догадаться об огромных размерах чудовища.

Давление воды на глубине сорока футов не шутка даже для молодого человека, между тем оно, по-видимому, не причиняло ни малейшего неудобства этому старику. Я убежден, что он даже не замечал его! Ничем не вооруженный, совершенно голый, если не считать короткого мало — лоскута материи вокруг бедер, — он не смущался размерами чудовища, которое считал своей добычей. Я видел, как он ухватился правой рукой за выступ коралла, а левую руку до плеча сунул в пещеру. Прошло полминуты; он копался там и ощупывал что-то левой рукой. Покрытые

мириадами присосок, показались из-под коралла щупальца. Ухватив его руку, они обвили ее, как змеи. Наконец, дернувшись, показался и спрут — настоящий дьявол-осьминог.

Между тем старик как будто не торопился вернуться в родную стихию, на воздух. На глубине сорока футов под водою, обернутый спрутом по крайней мере в девять футов ширины между кончиками щупальцев, он холодно и даже небрежно сделал единственное движение, отдававшее в его власть чудовище: он сунул худощавое, ястребиное лицо в центр слизистой, извивающейся массы и уцелевшими старыми клыками прокусил сердце чудовища. Сделав это, он стал подниматься вверх, медленно, как должен делать пловец, когда меняется давление при переходе из глубины на поверхность. Выплыв возле каноэ, не вылезая еще из воды и стряхивая с себя присосавшееся к нему чудовище, неисправимый греховодник затянул торжественное пуле, которое распевали бесчисленные поколения ловцов осьминогов:

О Каналоа запретных ночей!
Стань прямо на твердой земле!
Стань на дне, где лежит осьминог!
Стань и возьми осьминога из моря глубокого!

Поднимись, поднимись, о Каналоа!
Шевелись! Шевелись! Разбуди осьминога!
Разбуди лежащего плашмя осьминога! Разбуди распростертого осьминога…

Я закрыл глаза и уши, не протянув ему даже руки, ибо совершенно был уверен, что он и без посторонней помощи взберется в нашу неустойчивую скорлупку, нисколько не рискуя опрокинуть ее.

— Замечательный спрут! — говорил он. — Это вахине (самка). А теперь я спою тебе песнь о ракушке каури, о красной ракушке каури, которой мы пользовались, как наживкой для спрутов…

— Ты возмутительно вел себя ночью на поминках! — отпарировал я. — Я все знаю! Ты здорово шумел! Ты так пел, что всех оглушил! Ты оскорбил сына вдовы. Ты пил, как свинья; нехорошо в твоем возрасте глотать целыми кружками; когда-нибудь ты проснешься мертвецом. Тебе пора быть развалиной…

— Ха! — хихикнул он. — А ты, который не пил и еще не родился, когда я уже был стариком, ты, улегшийся вчера с солнцем и курами, ты сейчас развалина! Вот объясни мне это! Мои уши так же жаждут услышать тебя, как моя глотка жаждала пива этой ночью. И вот, смотри, нынче я,

как выразился англичанин, приехавший сюда на своей яхте, в наилучшем виде, в чертовски хорошем виде!

— Что с тобой спорить! — возразил я, пожав плечами. — Только одно ясно: ты даже черту не нужен! Молва о твоих безобразиях опередила тебя.

— Нет, — задумчиво ответил он, — не в этом дело. Может быть, черт и рад бы моему приходу — у меня припасено для него несколько славных песенок, старых скандалов и сплетен о высоких алии; он будет от них хвататься за бока! Позволь, я тебе объясню тайну моего рождения. Море — моя мать! Я родился в двойном каноэ во время шторма, дувшего с Коны в проливе Кахоолава. От этой матери моей, от моря, я получил свою силу! И когда я возвращаюсь в ее объятия, как бы припадая к ее груди, как вот было сейчас, я становлюсь сильным! Для меня она кормилица, источник жизни…

«Тени Антея!» — подумал я.

— Когда-нибудь, — продолжал старый Кохокуму, — когда я в самом деле состарюсь, люди скажут, что я утонул в море. Но это будет неправда! В действительности я вернусь в объятия моей матери, чтобы покоиться на ее груди, под ее

сердцем, до второго рождения, когда выплыву на солнце, сверкая молодостью и силой, как сам Мауи в золотую пору его юности.

— Странная вера! — заметил я.

— Когда я был моложе, я ломал свою бедную голову над верами, куда более странными! — возразил старый Кохокуму. — Но послушай, о юный мудрец, мою старую мудрость. А знаю я вот что: чем старше я становлюсь, тем меньше ищу истину вне себя и тем больше нахожу истину внутри себя. Почему пришла мне в голову вот эта мысль о возвращении к моей матери и о возрождении из моей матери? Ты не знаешь? И я не знаю. Но без участия человеческого голоса или печатного слова, без побуждения откуда бы то ни было эта мысль возникла внутри меня, из моих собственных недр, которые так же глубоки, как море! Я не бог! Я ничего не творю! Стало быть, я не сотворил и этой мысли. Человек не творит истины. Человек, если он не слеп, только познает истину, когда видит ее… Или эта мысль, что мне пришла в голову, — сон?

— А может быть, ты сам сон? — засмеялся я. — И я, и небо, и море, и твердая, как камень, земля — все это сон.

— Я часто сам так думаю! — серьезно ответил

он. — Очень возможно, что это так. Этой ночью мне казалось, что я птица, жаворонок, красивый небесный жаворонок, подобный жаворонку горных пастбищ Халеакала. И вот я полетел вверх, вверх, к солнцу, и пою, и пою, как старый Кохокуму не пел никогда. Теперь я тебе рассказываю, как мне показалось, приснилось, будто я жаворонок в небесах. Но, может быть, я, настоящий я, и есть эта птица жаворонок? И, может быть, то, что я тебе рассказываю, и есть сон, который снится мне, птице жаворонку? Кто ты такой, чтобы ответить мне на это да или нет? Посмеешь ли ты сказать мне, что я не жаворонок, который спит и грезит, будто он старый Кохокуму?

Я пожал плечами, а он с торжеством продолжал:

— И почем ты знаешь, что ты не старый Мауи, который спит и видит во сне, будто он Джон Лакана, разговаривающий со мной в каноэ? Кто знает, не проснешься ли ты, старый Мауи, и не почешешь ли себе бока, и не скажешь ли, что тебе приснился забавный сон, будто ты хаоле?

— Не знаю, — согласился я. — Да ты и не поверил бы мне!

— В снах много больше того, что нам известно! — говорил он с большой важностью. — Сны

уходят вглубь, назад, может быть, до самого начала начал! Кто знает, не приснилось ли только старому Мауи, что он вытащил Гавайи со дна морского? В таком случае и Гавайи, и сон, и ты, и я, и вот этот спрут — только части сна Мауи, да к птица жаворонок тоже!

Он вздохнул и уронил голову на грудь.

— А я ломаю свою старую голову над неисповедимыми таинствами, — продолжал он, — пока не устану и не захочу забвения; тогда я начинаю пить пиво, хожу на рыбную ловлю, пою старые песни и вижу себя во сне птицей жаворонком, распевающим в небесах. Это я люблю больше всего, и чаще всего об этом я грежу, когда выпью много кружек…

И он с унынием посмотрел на дно лагуны через водяную трубку.

— Теперь долго не будет клева! — объявил он. — Поблизости шатаются акулы, и нам придется подождать, пока они уплывут. А чтобы ожидание не показалось тебе скучным, я спою песню Лоно, которая поется, когда каноэ вытаскивают на берег. Ты помнишь?

Отдай мне ствол дерева, о Лоно!
Отдай мне главный корень дерева, о Лоно!
Отдай мне ухо дерева, о Лоно!

— Будь милостив, Кохокуму, не пой! — оборвал я его. — У меня голова трещит, и от твоего пения делается еще хуже. Может быть, ты и очень в ударе нынче, но голос твой ни к черту не годится. Лучше уж рассказывай сны или какие-нибудь небылицы!

— Плохо, что ты болен, а такой молодой! — весело согласился он. — Ну, я не буду петь больше! Я расскажу тебе одну вещь, которую ты не знаешь и о которой никогда не слыхал; это уже не сон и не небылица, а то, что действительно случилось. Некогда, давно, жил здесь, у этого взморья, у этой самой лагуны, мальчик по имени Кеикиваи, что означает, как тебе известно, Дитя Воды. Богами его были море и рыбные боги, и родился он со знанием языка рыб; сами рыбы не знали этого языка, пока акулы не выдумали его в один прекрасный день, а рыбы подслушали.

Случилось это вот как. Быстрые гонцы разнесли повсюду весть и приказы, что король объезжает остров и что на следующий день жители должны устроить ему луау. Жителям маленьких местечек было очень трудно наполнять множество знатных желудков едою, когда король совершал свой объезд. Ведь он приезжал всегда со своею женою, ее служанками, со своими жрецами, и

колдунами, танцовщицами, и флейтистами, и певцами хула, воинами, и слугами, и высокими вождями с их женами, их колдунами, их бойцами и их слугами.

Иногда в местечках, как Ваихи, путь такого короля отмечался после продолжительными бедностью и голодом. Но короля надо кормить, и нехорошо гневить короля! И вот, когда в Ваихи пришла весть о приближающемся бедствии, все, кто занимался добыванием еды и пищи с полей, и с прудов, и с гор, и из моря, занялись заготовлением запасов для празднества. И сумели все достать: от самого отборного королевского таро до сладких междоузлий сахарного тростника, от опихи до лиму, от кур до диких свиней и щенков, откормленных пои, и все, кроме одного, — рыбаки не достали омаров!

Надобно тебе знать, что омары были любимым королевским блюдом. Он любил их больше всякой другой кау-кау, и гонцы нарочно упомянули об омарах. И вот омаров не оказалось, а нехорошо гневить королевское чрево! За рифы забралось много акул — вот почему пришла беда! Они съели молодую девушку и старика. А из молодых людей, решившихся полезть в воду за омарами, один был съеден, другой лишился руки, а третий

руки и ноги.

Но здесь находился Кеикиваи, Дитя Воды, мальчик всего одиннадцати лет, зато наполовину рыба и говоривший на языке рыб. И вот пошли старейшины к его отцу и стали просить Дитя Воды нырнуть за омарами, чтобы было чем наполнить королевское чрево и отвести гнев короля.

То, что случилось тогда, всем известно, и все это видели. Рыбаки, и их жены, и те, кто сажал таро, и птицеловы, и старейшины, и все Ваихи собрались и глядели на скалу, на краю которой стоял Дитя Воды, глядя на омаров, видневшихся на дне.

Одна из акул, взглянув вверх своими кошачьими глазами, заметила мальчика и кликнула акулий клич о «свежем мясе», созывая всех акул в лагуну. Акулы всегда действуют дружно: вот почему они так сильны. И акулы отозвались на клич: сорок штук собралось их, коротких и длинных, тонких, тощих и откормленных, сорок ровным счетом; и стали они переговариваться между собою: «Поглядите на лакомую пищу, на этого мальчика, на сладкий кусочек человеческого мяса, без морской соли, которая нам надоела; вкусный и нежный, он так и растает под сердцем, когда брюхо наше проглотит его и станет выса-

сывать из него сладость».

И еще говорили они: «Он пришел за омарами. Когда он нырнет, он кому-нибудь из нас достанется. Это не старик, которого мы съели вчера, сухой и жесткий от старости, и не юноша, члены которого тверды и мускулисты; он нежный, такой нежный и мягкий, что растает в глотке, прежде чем брюхо проглотит его. Вот когда он нырнет, мы все бросимся к нему, и одной из нас, счастливице, достанется он: хап — и нет его! Один укус, один глоток — и войдет он в брюхо счастливейшей из нас!»

А Кеикиваи, Дитя Воды, подслушал этот разговор, ибо он знал акулий язык и взмолился он на языке акул акульему богу Моку-Халии, а акулы услышали это, замахали друг другу хвостами, стали подмигивать друг дружке кошачьими глазами в знак того, что они понимают его речь.

И промолвил он: «Теперь я нырну за омарами для короля. И не случится со мною беды, ибо акула с самым коротким хвостом мне друг, и она защитит меня».

С этими словами он поднял глыбу застывшей лавы и бросил ее в воду; с громким всплеском она упала в двадцати футах от берега. Все сорок акул кинулись к месту всплеска, а он нырнул, и

пока они разобрали, что промахнулись, он успел опуститься на дно, вернуться назад и вылезть на берег, и в его руке был большой омар, омар вахине, полный яиц для короля.

«Ха! — в великом гневе говорили акулы. — Среди нас есть предатель! Этот лакомый ребенок, этот сладкий кусочек изобличил одну из нас, которая спасла его. Давайте меряться хвостами!»

Так они и сделали; они выстроились длинным рядом бок о бок, причем короткохвостые старались надуть других и вытягивались, чтобы казаться длиннее, а длиннохвостые также тянулись и обманывали друг друга, чтобы их кто-нибудь не перехитрил и не перетянул. Они сильно обозлились на самую короткохвостую, кинулись на нее со всех сторон и сожрали, так что от нее ничего не осталось.

И опять они стали ждать, когда нырнет Дитя Воды, и прислушиваться, и опять Дитя Воды взмолился на акульем языке богу Моку-Халии и промолвил: «Акула с самым коротким хвостом мне друг, она защитит меня!» И опять Дитя Воды бросил глыбу лавы, на этот раз в двадцати футах от берега по другую сторону. Акулы кинулись туда, где плеснул камень, второпях затолкались и так вспенили хвостами воду, что ничего нельзя

было видеть: каждая думала, что кто-нибудь другой глотает лакомый кусочек. А Дитя Воды опять вылез с омаром для короля.

Оставшиеся тридцать девять акул померялись хвостами и слопали акулу с самым коротким хвостом, так что всего осталось тридцать восемь акул. И Дитя Воды продолжал поступать так и дальше, а акулы продолжали делать то, что я уже говорил тебе; и за каждую акулу, съеденную ее собратьями, на скале появлялся новый жирный омар для короля. Разумеется, акулы ссорились, спорили и шумели, когда дело доходило до хвостов; но виновница всегда отыскивалась, и в конце концов остались две акулы, две самые большие акулы из всех сорока.

И опять Дитя Воды объявил, что акула с самым коротким хвостом — его друг, и обманул обеих акул глыбой лавы, и вынес еще одного омара. Каждая из акул настаивала, что у другой хвост короче, и они стали драться, и акула с длинным хвостом победила…

— Замолчи, о Кохокуму! — прервал я его. — Не забудь, что эта акула уже…

— Я знаю, что ты хочешь сказать, — быстро ответил он мне, — и ты прав: ей долго пришлось есть тридцать девятую акулу, ибо в тридцать

девятой акуле уже находилось девятнадцать других акул, которых она съела, а в сороковой акуле было также девятнадцать акул, которых она съела, и у нее уже не было того аппетита, с которым она начинала дело. Но ты не забывай, что ведь акула-то была очень большая!

Так вот, столь долго пришлось ей есть другую акулу и всех девятнадцать акул, сидевших внутри той, что она продолжала еще есть, когда пали сумерки и народ Ваихи пошел по домам с омарами для короля. И что же ты думаешь, разве они не нашли на другое утро на взморье последнюю акулу? Она лопнула от всего, что съела!

Кохокуму сделал паузу и лукаво посмотрел мне в глаза.

— Молчи, о Лакана! — остановил он слова, готовые сорваться с моих уст. — Я знаю, что ты теперь скажешь: ты скажешь, что своими глазами я этого не видел и, стало быть, не знаю того, что тебе рассказываю. Но я знаю и могу доказать. Отец моего отца знал внука дяди отца того мальчика. Кроме того, вот на этом утесе, на который я сейчас указываю пальцем, стоял и с него нырял Дитя Воды. Я сам здесь нырял за омарами. Тут для них самое подходящее место! И часто я видел там акул. Там, на дне, я видел и считал — лежат трид-

цать девять кусков лавы, брошенных мальчиком, как я рассказывал!

— Но… — начал было я.

— Ха! — оборвал он меня. — Смотри, покуда мы с тобой разговаривали, рыба опять начала клевать!

И он указал на три бамбуковых шеста, поднявших бешеную пляску в знак того, что рыба попалась на крючок и тянет лесу. Нагибаясь за своим веслом, он продолжал бормотать:

— Разумеется, я знаю. Тридцать девять глыб лавы так и лежат там! Ты в любой день можешь сам сосчитать их. Понятно, я знаю и знаю, что это правда…

Глен Эллен,
2 октября 1916

Слезы А Кима

Шум и крики, впрочем, отнюдь не носившие характера скандала, стояли в китайском квартале Гонолулу. Те, до чьих ушей этот шум доносился, только пожимали плечами и добродушно улыбались такому нарушению общественной тишины, как чему-то весьма и весьма привычному.

— В чем там дело? — спросил свою жену Чин Мо. Он был прикован к постели острым плевритом, она в это время как раз проходила мимо окна и остановилась, прислушиваясь.

— Да всего только А Ким, — отвечала жена. — Мать снова бьет его.

Крики раздавались из сада, который примыкал к жилому помещению магазина, украшенного горделивой надписью: «А Ким и Компания. Универсальный магазин». Этот сад, шириною в двадцать футов, был целым поместьем в миниатюре и хитроумным образом обманывал глаз, создавая впечатление беспредельной шири. Здесь были заросли карликовых дубов и елей — столетних, но всего в два или три фута высотою, — которые ввозились с величайшими предосторожностями и за очень дорогую цену.

Крохотный мостик изгибался над такой же крохотной речкой, а она стремнинами низвергалась из миниатюрного озера, кишевшего многоперыми ярко-оранжевыми рыбками, которые в этих водах и среди этого пейзажа казались китами. В озерцо с обеих сторон гляделись окна легких многоэтажных зданий. В центре сада, на узкой, усыпанной гравием дорожке, А Ким с воплями принимал наносимые ему побои.

А Ким не был китайским подростком в том нежном возрасте, который нуждается в побоях. Универсальный магазин «А Ким и К°» принадлежал ему, и его заслугой было создание этого магазина на капитал, выросший из сбережений законтрактованного кули и впоследствии округлившийся до четырехзначного текущего счета в банке и солидного кредита.

Полсотни лет и зим уже протекли над головою А Кима, и в своем течении сделали его пухлым и дородным. Низкорослый и тучный, он походил на арбузное семечко. Лицо у него было круглое, как луна. Его шелковое одеяние было исполнено достоинства, а черная шапочка с красной пуговкой на макушке — в эту минуту, увы, валявшаяся на земле, — являлась принадлежностью зажиточных и преуспевающих купцов из его

одноплеменников.

Но в данный момент достоинства меньше всего было в его облике. Согнувшись в три погибели, он извивался и корчился под градом ударов бамбуковой палки. Когда же удары приходились по рукам, которыми А Ким пытался защитить лицо и голову, тело его начинало судорожно и непроизвольно дергаться. Соседи в окнах с безмятежным удовольствием наблюдали эту сцену.

А та, которая благодаря многолетней практике так ловко орудовала палкой! Семидесяти четырех лет от роду, она ни на день не выглядела моложе. Ее тонкие ноги были облачены в штаны из топорщившейся глянцевито-черной ткани, жидкие седые волосы, туго затянутые, открывали плоский лоб. Бровей у нее вовсе не было, они вылезли еще в незапамятные времена, а глаза величиной с булавочную головку казались чернее черного. Она до ужаса походила на труп. Широкие рукава обнажали ее иссохшие руки, на которых вместо мускулов под желтой пергаментной кожей натягивались узловатые жилы. Нефритовые браслеты на руках этой мумии при каждом взмахе прыгали вверх и вниз и стучали.

— Ах! — пронзительно вскрикивала она, ритмически акцентируя удары, которые наносила

по три кряду. — Я запрещаю тебе разговаривать с Ли Фаа. Сегодня ты остановился с ней на улице. Какой-нибудь час назад. Вы беседовали тридцать минут по часам. На что это похоже?

— Все этот трижды проклятый телефон, — пробормотал А Ким, а она остановила в воздухе палку, стараясь уловить то, что он говорит. — Вам это сообщила миссис Чанг Люси, знаю, что она. Я видел, что она видит меня. Я велю убрать телефон. Это выдумка дьявола.

— Это выдумка всех дьяволов, вместе взятых, — согласилась миссис Тай Фу, перехватывая палку поудобнее. — Однако телефон останется. Я люблю беседовать по телефону с миссис Чанг Люси.

— У нее глаза десяти тысяч кошек, — простонал А Ким, сгибаясь от удара, пришедшегося ему по рукам, — и язык десяти тысяч жаб, — добавил он, в ожидании следующего.

— Это невоспитанная и наглая шлюха, — заявила миссис Тай Фу.

— Миссис Чанг Люси всегда была такова, — подтвердил А Ким, как подобало почтительному сыну.

— Я говорю о Ли Фаа, — оборвала его мать, палкой подкрепляя свое мнение. — Она только наполовину китаянка, как тебе известно. Ее мать

бесстыжая каначка. Она носит юбки, как эти развратные женщины — хаоле, — а также корсет, я своими глазами видела. Где, спрашивается, ее дети? А ведь она схоронила двух мужей.

— Один утонул, а другого насмерть лягнула лошадь, — пояснил А Ким.

— Поживи ты с нею год, недостойный сын благородного отца, и ты будешь рад-радешенек утонуть или быть убитым лошадью.

Приглушенный смех в окнах послужил оценкой ее находчивости.

— Вы сами схоронили двух мужей, досточтимая матушка, — осмелился вставить А Ким.

— У меня хватило ума не выйти за третьего. Кроме того, оба мои супруга почтенно скончались в своих постелях. Их не лягали лошади, и они не тонули в море. И какое дело до этого нашим соседям. Почему ты должен осведомлять их, было у меня два мужа, десять мужей или ни одного? Ты осрамил меня перед всеми соседями, и за это я, теперь уж по-настоящему, изобью тебя.

А Ким выдержал целый град ударов, посыпавшихся на него, и когда миссис Тай Фу, задохнувшись, остановилась, проговорил:

— Досточтимая матушка, я всегда настаивал и просил, чтобы вы били меня в доме при плотно

закрытых окнах и дверях, а не на улице и не в саду позади дома.

— Ты назвал эту отвратительную Ли Фаа Серебристым Цветком Луны, — возразила миссис Тай Фу с чисто женской непоследовательностью, впрочем, заставившей сына прервать его тираду.

— Это миссис Чанг Люси вам сказала, — настаивал он.

— Мне это сказали по телефену, — уклончиво ответила она. — Я не могу узнавать все голоса, которые говорят со мной через эту трубку дьявола.

Как ни странно, но А Ким даже не пытался удрать от матери, что ему было бы очень легко сделать. Она же находила все новые и новые предлоги для следующих ударов.

— А! Упрямый человек! Почему ты не плачешь? Ублюдок, позорящий своих предков! Ни разу я не могла заставить тебя плакать. С малолетства не могла. Отвечай мне! Почему ты не плачешь?

Ослабев и задохшись от потраченных ею усилий, она опустила палку и затряслась, словно в нервном припадке.

— Не знаю. Вероятно, так уж я создан, — отвечал А Ким, озабоченно глядя на мать. — Сейчас я принесу вам стул, вы присядете, отдохнете и почувствуете себя лучше.

Но она, злобно фыркнув, отошла от него и по-старушечьи заковыляла к дому. А Ким в это время надевал шапочку, приглаживал пришедшую в беспорядок одежду, потирал ушибленные места и преданными глазами следил за матерью. Он даже улыбался, так что можно было предположить, что побои доставили ему некоторое удовольствие.

Точно так же А Кима били в детстве, когда он еще жил на высоком берегу у одиннадцатого порога реки Янцзы. Здесь родился его отец и здесь же с юных дней работал в качестве речного кули. Когда он умер, А Ким, сам уже достигнув зрелости, занялся той же почтенной профессией. Во времена еще более давние, чем те, что сохранялись в семейных преданиях, все мужчины их рода были кули на реке Янцзы. Во времена Христа его прямые предки занимались тем же делом. У входа в ущелье они встречали джонки, похожие одна на другую, как две капли воды, к каждой из них привязывали канат в полмили длиной и, в зависимости от размера джонки, впрягались в нее от ста до двухсот человек, — великая двуногая сила, — и волочили по воде к выходу ущелья, сгибаясь так, что руки их касались земли, а лица были на фут от нее.

По-видимому, во все прошедшие столетия пла-

та за эту работу оставалась неизменной. Его отец, отец его отца и сам он, А Ким, получали все то же вознаграждение — одну четырнадцатую цента с джонки, как он высчитал позднее, уже будучи в Гавайе. В счастливое летнее время, когда воды были спокойны, джонок — множество и день длился шестнадцать часов, за шестнадцать часов этого героического труда А Ким зарабатывал немногим больше цента. Но за весь год кули с реки Янцзы не мог заработать больше полутора долларов. Люди умели жить и жили на эти доходы. Были среди них женщины-служанки, чье годовое жалованье составляло доллар. Плетельщики сетей из Ти Ви в год зарабатывали от одного до двух долларов. Они жили на эти деньги, вернее — не умирали. Но кули с реки Янцзы имели еще приработок, который и делал эту профессию почетной, а цех речных кули — закрытой и наследственной корпорацией, чем-то вроде рабочего союза. Одна джонка из пяти, проходя через пороги, получала повреждения. Одна джонка из десяти неизбежно погибала. Кули с реки Янцзы знали все причуды и капризы течения и тянули, выгребали, вылавливали сетями мокрый урожай реки. Люди этого цеха вызывали зависть других, менее преуспевающих кули, ибо они могли позволить себе пить

кирпичный чай и каждый день есть четвертый сорт риса.

И А Ким тоже был доволен и горд своей работой, пока в один злополучный и слякотный весенний день не вытащил из воды тонувшего кантонского моряка. Вот этот-то странник, обогревшийся у его огня, и был тем, кто впервые произнес перед ним волшебное имя — Гавайя. Сам он, добавил моряк, никогда не бывал в этом рабочем раю, но множество китайцев уехало туда из Кантона и он слышал разговоры об их письмах к родным. В Гавайе не знают ни морозов, ни голода. Свиньи, кормежкой которых там никто не занимается, жиреют от обильных объедков, остающихся после людей. Кантонская и янцзейская семья могла бы прокормиться остатками от стола гавайского кули. А жалованье! Десять золотых долларов ежемесячно, или двадцать колониальных, вот что получает законтрактованный китайский кули от белых дьяволов — сахарных королей. За год кули зарабатывают огромную сумму в двести сорок колониальных долларов, то есть в сто раз больше, чем в десять раз тяжелее работающий кули с одиннадцатого порога Янцзы. Короче говоря, гавайский кули живет в сто раз лучше, а если его работой довольны, то и в тысячу. К тому же

там замечательный климат.

Двадцати четырех лет от роду, несмотря на мольбы и побои матери, А Ким вышел из древней и почетной корпорации речных кули одиннадцатого порога, определил мать служанкой в дом хозяина артели кули, где она должна была получать в год один доллар, а также платье ценой не дешевле тридцати центов, и отправился вниз по Янцзы к Великому морю. Много приключений, тяжелого труда и мытарств выпало на долю А Кима, прежде чем он в качестве матроса на морской джонке прибыл в Кантон. Двадцати шести лет он запродал пять лет своей жизни и работы гавайским сахарным королям и в числе восьмисот других законтрактованных кули отбыл в Гавайю на вычеркнутом из списков компании Ллойда вонючем пароходе, который вели полоумный капитан и пьяные офицеры.

Почетным считалось на родине положение А Кима, речного кули. В Гавайе, получая в сто раз больше, он обнаружил, что на него смотрят, как на нижайшего из низших, ибо что может быть ниже кули, работающего на плантации? Но кули, чьи предки еще до рождества Христова волочили джонки через одиннадцатый порог реки Янцзы, неминуемо наследуют основную черту их

характера, и черта эта — терпение. Поистине А Ким обладал терпением. Через пять лет рабского труда у А Кима, такого же сухопарого, как прежде, на текущем счету имелось без малого тысяча долларов.

На эти деньги он мог бы отправиться обратно на реку Янцзы и до конца своих дней прожить там богатым человеком. Он, пожалуй, скопил бы и большую сумму, если бы при случае осторожно не поигрывал в че фа и фан тан и не проработал бы целый год в постоянном чаду опиума на кишевших сколопендрами и скорпионами плантациях сахарного тростника. То, что он не проработал все пять лет, опьяняясь опиумом, объяснялось единственно дороговизной этой привычки. Сомнений морального характера А Ким не знал. Просто опиум требовал больших расходов.

Но А Ким не уехал обратно в Китай. Он присмотрелся к деловой жизни Гавайи и преисполнился неистового честолюбия. Стремясь основательно изучить коммерцию и английский язык, он в продолжение шести месяцев служил продавцом в магазине при плантации. К концу полугодия он больше знал об этом магазине, чем любой управляющий плантации о любом подведомственном

ему предприятии. Перед тем как оставить это место, он уже получал сорок золотых долларов в месяц, или восемьдесят колониальных, и начал входить в тело. Манера его обращения с законтрактованными кули стала нескрываемо надменной. Управляющий предложил ему повышение — шестьдесят золотых долларов. За год это составило бы фантастическую сумму — тысячу четыреста сорок колониальных долларов, то есть в семьсот раз больше его годового заработка на Янцзы в качестве двуногой лошади.

Вместо того чтобы согласиться, А Ким поехал в Гонолулу и начал все сначала в большом универсальном магазине Фонг и Чоу Фонг за пятнадцать долларов в месяц. Он проработал год и, когда ему стукнуло тридцать три, ушел оттуда, несмотря на жалованье в семьдесят пять долларов. Тогда-то он и вывел на фасаде свою собственную надпись: «А Ким и К°. Универсальный магазин». Питался он теперь лучше, и в его пополневшей фигуре начало уже появляться что-то от арбузной круглости будущих лет.

С каждым годом А Ким преуспевал все больше, и когда ему минуло тридцать шесть, надежды, подаваемые его фигурой, были близки к осуществлению, сам же он состоял членом из-

бранного и могущественного Хай Гум-Тонга, а также объединения китайских купцов, и уже привык в качестве хозяина председательствовать на обедах, стоивших больше, чем он мог бы заработать в течение тридцати лет, будучи речным кули на одиннадцатом пороге. Двух вещей ему недоставало: жены и матери, которая колотила бы его, как в былые времена.

Тридцати семи лет от роду А Ким проверил свой банковский счет. Три тысячи золотых долларов числились на нем. За две тысячи пятьсот наличными и с помощью небольшой закладной он мог купить трехэтажное здание и наследственное владение землей, на которой оно стояло. Но тогда на жену оставалось всего пятьсот долларов. У господина Фу Йи-Пу была на выданье дочка с очень маленькими ножками; отец готов был привезти ее из Китая и продать А Киму за восемьсот золотых долларов плюс расходы по перевозке. Более того — Фу Йи-Пу соглашался на пятьсот наличными, а остальные под шестипроцентный вексель.

А Ким, тридцатисемилетний откормленный и холостой мужчина, действительно очень хотел иметь жену, а о жене с маленькими ножками уж и говорить не приходится; он родился и вырос в Китае, и вечный образ женщины с маленьки-

ми ножками глубоко врезался в его сердце. Но больше, куда больше, чем жену с маленькими ножками, хотелось ему иметь при себе свою мать и снова ощутить сладость ее побоев. Потому-то он и не согласился на весьма льготные условия Фу Йи-Пу, а со значительно меньшими издержками привез свою мать и из служанки у кули, получавшей в год один доллар и тридцатицентовое платье, сделал ее хозяйкой трехэтажного магазина с двумя женщинами для услуг, тремя приказчиками и привратником, не говоря уж о богатом ассортименте товаров на полках, стоивших десять тысяч долларов, так как здесь было все, начиная от дешевенького ситца и кончая дорогими шелками с ручной вышивкой. Нельзя не отметить, что даже в ту раннюю пору магазин А Кима уже обслуживал американских туристов.

Тринадцать лет А Ким сравнительно счастливо прожил со своей матерью, систематически подвергаясь побоям по любому поводу, справедливому и несправедливому, существующему или воображаемому. Но к исходу этого срока он, сильнее чем когда-либо, сердцем и мозгом ощутил тоску по жене, чреслами — по сыну, который будет жить после него и продолжать династию «А Ким и К°» — мечта, волновавшая мужчин,

начиная с тех давних пор, когда они впервые стали присваивать себе право охоты, монополизировать песчаные отмели для рыбной ловли и совершать набеги на чужие деревни, принуждая тамошних жителей браться за мечи. Эта мечта одинаково свойственна королям, миллионерам и китайским купцам из Гонолулу, хотя все они и возносят хвалы господу за то, что он сотворил их, пусть по своему подобию, но непохожими друг на друга.

Идеал женщины, томивший А Кима в пятьдесят лет, был не схож с его идеалом в тридцать семь. Теперь он желал жену не с маленькими ножками, но свободную, вольно ступающую нормальными ногами женщину, которая почему-то являлась ему в дневных и ночных грезах в образе Ли Фаа, Серебристого Цветка Луны. Что с того, что она родилась от матери-каначки и дважды овдовела, что с того, что она носит платья белых дьяволов, корсет и туфли на высоких каблуках. Он желал ее. Казалось, сама судьба предназначала их стать родоначальниками ветви, которая во многих поколениях будет владеть и управлять фирмой «А Ким и К°. Универсальный магазин».

— Я не хочу иметь невестку нечистокровную пакэ, — частенько говорила мать А Киму («па-

кэ» по-гавайски называются китайцы), — моя невестка должна быть чистокровной, как ты, мой сын, как я, твоя мать. И она должна носить штаны, мой сын, как все женщины в нашей семье до нее. Женщина в юбке белой дьяволицы и в корсете не может воздавать должного почитания нашим предкам. Корсеты и почитание предков не вяжутся друг с другом. Так вот и эта бесстыжая Ли Фаа. Она наглая, независимая и никогда не будет повиноваться ни мужу, ни матери мужа. Эта нахалка вообразит себя источником жизни и родоначальницей; она не признает предков, бывших до нее. Она насмехается над нашими жертвенниками, молитвами и домашними богами, как я узнала из достоверных источников.

— От миссис Чанг Люси, — простонал А Ким.

— Не от одной миссис Чанг Люси, о сын мой. Я всех расспрашивала. По крайней мере десять человек слышали, что она называет наши кумирни обезьянниками. Подлинные слова той, которая ест сырую рыбу, сырых каракатиц и печеных собак. Это наши-то кумирни обезьянники! Однако она непрочь выйти замуж за тебя, за обезьяну, потому что твой магазин настоящий дворец, а богатство сделало тебя великим человеком. Она покроет позором меня и твоего отца, давно по-

чившего достойной смертью.

Вопрос этот более не обсуждался. А Ким знал, что, в общем, мать его права. Недаром Ли Фаа сорок лет назад родилась от китайца-отца, изменившего всем традициям, и матери-каначки, чьи предки нарушили табу, свергли своих собственных полинезийских богов и стали малодушно внимать проповедям христианских миссионеров о далеком и невидном боге. Ли Фаа, образованная женщина, умевшая читать и писать по-английски, по-гавайски и немного по-китайски, делала вид, что ни во что не верит, хотя в глубине души и побаивалась гавайских колдунов, которые своими заклинаниями могут отогнать беду или, напротив, призвать к человеку смерть. А Ким отлично понимал, что Ли Фаа никогда не войдет в его дом для того, чтобы воздавать почести его матери и быть ее рабой, как это испокон веков велось в китайских семьях. Ли Фаа, с китайской точки зрения, была новой женщиной, феминисткой; она скакала верхом на лошади, в нескромном наряде красовалась на пляже Ваикики и на празднествах не раз отплясывала хула с самыми недостойными людьми, к вящему удовольствию сплетников.

Сам А Ким, на поколение моложе своей матери,

тоже был отравлен ядом современности. Старый порядок существовал, поскольку в тайниках души он чувствовал, как касается его, А Кима, запыленная рука прошлого. Однако он страховал свою жизнь и свое имущество, собирал деньги в пользу местных китайских революционеров, намеревавшихся превратить Небесную империю в республику, вносил пожертвования в кружок китайских бейзболистов, побивших в этой американской игре самих американцев, беседовал о теософии с японским буддистом и шелкоторговцем Катсо Сугури, потакал полиции во взяточничестве, вносил свою долю денег и участия в демократическую политику аннексированной Гавайи и подумывал о покупке автомобиля. А Ким никогда не решался обнажать перед самим собой свою душу и устанавливать, чем он поступился из старого. Его мать принадлежала старине, а он ведь почитал ее и был счастлив под ее бамбуковой палкой. Ли Фаа, Серебристый Цветок Луны, принадлежала новому времени, а он никогда не мог быть вполне счастлив без нее.

Потому что он любил Ли Фаа. С лицом, как луна, круглый, как арбузное семечко, ловкий делец, умудренный опытом полувековой жизни, А Ким становился поэтом, мечтая о Ли Фаа. Для

нее он придумывал целые поэмы наименований, женщину он превращал в цветок, в философские абстракции совершенства и красоты. Для него одного из всех мужчин на свете она была Цветком Сливы, Тишиной Женственности, Цветком Блаженства, Лилией Луны, Совершенным Покоем. Бормоча эти сладостные имена любви, он слышал в них плеск ручейков, звон серебряных колокольчиков, благоухание олеандров и жасмина. Она была его поэмой о женщине, его поэтическим восторгом, духом о трех измерениях, его судьбой и счастьем, предначертанным ему еще до создания богами первого мужчины и первой женщины — богами, прихотью которых было создать всех мужчин и всех женщин для радости и горя.

Однажды мать сунула ему в руки тушь, кисточку и положила на стол табличку для письма.

— Нарисуй, — сказала она, — идеограмму «жениться».

Он повиновался, почти не удивившись, и с артистичностью, присущей его расе, столь опытной в этом искусстве, вывел символический иероглиф.

— Прочти его, — приказала она.

А Ким взглянул на мать с любопытством, же-

лая угодить ей, но в то же время не понимая ее намерения.

— Из чего он составлен? — упорно добивалась она. — Что означают три слагаемых, сумма которых составляет: жениться, соединение, бракосочетание мужчины и женщины? Нарисуй, нарисуй каждое из них отдельно, не связано, чтобы мы поняли, как проникновенно построили древние мудрецы идеограмму «жениться».

А Ким повиновался и, рисуя, увидел: то, что чертила его кисточка, было три знака — знак руки, уха и женщины.

— Назови их, — приказала мать; и он назвал.

— Верно, — произнесла она. — Это великий замысел! Такова сущность брака. Таким некогда и был брак; и таким он всегда будет в моем доме. Рука мужчины берет за ухо женщину и вводит ее в дом, где она обязана повиноваться ему и его матери. Так вот и меня взял за ухо твой давно и почтенно скончавшийся отец. Я присмотрелась к твоей руке. Она не похожа на его руку. Я присмотрелась и к уху Ли Фаа. Тебе никогда не удастся повести ее за ухо. Не такие у нее уши. Я проживу еще долго и до самой смерти буду госпожой в доме моего сына, как это велит старинный обычай.

— Но ведь она моя почитаемая родительница,

— объяснял А Ким Ли Фаа.

Ему было не по себе, ибо Ли Фаа, убедившись, что миссис Тай Фу пошла в храм китайского эскулапа, чтобы принести в жертву сушеную утку и помолиться о своем слабеющем здоровье, воспользовалась случаем и навестила А Кима в его магазине.

Ли Фаа, сложив свои дерзкие ненакрашенные губы в виде полураскрытого розового бутона, отвечала:

— Для Китая это еще куда ни шло. Я не знаю Китая. Но здесь Гавайские острова, а в Гавайе иностранцы меняют свои обычаи.

— Но так или иначе она моя родительница, — возражал А Ким, — мать, давшая мне жизнь, независимо от того, где я нахожусь, в Китае или в Гавайе, о Серебристый Цветок Луны, который я хочу назвать своей женой.

— У меня было два мужа, — спокойно констатировала Ли Фаа, — один пакэ, другой португалец. Я многому научилась от обоих. Кроме того, я образованная женщина, я училась в колледже и играла на рояле перед публикой. А от своих мужей я научилась еще большему. Я поняла, что китайцы самые лучшие мужья. Никогда я не выйду больше замуж не за китайца. Но ему не

придется брать меня за ухо.

— Откуда вы все это знаете? — подозрительно прервал ее А Ким.

— От миссис Чанг Люси, — последовал ответ. — Миссис Чанг Люси сообщает мне все, что ей говорит ваша мать, а она говорит ей немало. Поэтому я позволю себе предупредить вас, что ухо у меня для этого не приспособлено.

— Это же говорила мне моя досточтимая матушка, — простонал А Ким.

— Это же ваша досточтимая матушка говорила миссис Чанг Люси, а миссис Чанг Люси мне, — дополнила Ли Фаа. — А я теперь говорю вам, о мой будущий третий супруг, что еще не родился человек, который поведет меня за ухо. В Гавайе это не принято. Я пойду со своим мужем только рука об руку, бок о бок, нога в ногу, как говорят хаоли. Мой португальский муж думал иначе. Он пробовал бить меня. Я три раза отводила его в полицию, и он всякий раз отбывал наказание на рифах. Кончилось тем, что он утонул.

— Моя мать была мне матерью в продолжение пятидесяти лет, — набравшись храбрости, вставил А Ким.

— И в продолжение пятидесяти лет она била вас, — захихикала Ли Фаа. — Как мой отец всегда

смеялся над Ян Тен-Шином! Ян Тен-Шин, как и вы, родился в Китае и вывез оттуда китайские обычаи. Старик-отец постоянно колотил его палкой. Он любил отца. Но отец стал бить его еще сильней, когда миссионеры обратили Ян Тен-Шина в христианство. Как только он отправлялся на проповедь, отец его бил. И миссионер корил Ян Тен-Шина за то, что тот позволяет себя бить. А мой отец знай себе смеялся, потому что он был свободомыслящий китаец и отказался от своих обычаев быстрее, чем большинство других иностранцев. Вся беда заключалась в том, что у Ян Тен-Шина было любящее сердце. Он любил своего досточтимого отца. Он любил бога любви христианских миссионеров. Но под конец во мне он нашел величайшую любовь, то есть любовь к женщине. Со мной он забыл свою любовь к отцу и любовь к любвеобильному Христу.

Он предложил моему отцу за меня шестьсот долларов. Цена невысокая, потому что ноги у меня не были сделаны маленькими. Но я ведь наполовину каначка. Я объявила, что я не рабыня и не допущу, чтобы меня продавали мужчине. Моя учительница в колледже была старая дева хаоли, она всегда говорила, что женская любовь неоценима, что ее нельзя продавать за деньги.

Может быть, поэтому она и осталась старой девой. Она была некрасивая и не нашла себе мужа. Моя мать утверждала, что продавать дочерей не канакский обычай. У канаков их отдают за любовь, и она согласна внять просьбе Ян Тен-Шина, если он устроит целый ряд больших и роскошных празднеств. Мой отец, как я уже говорила, был человек либеральный. Он спросил, хочу ли я иметь мужем Ян Тен-Шина. Я отвечала: да, и сама, по собственной воле пошла к нему. Это он погиб от лошади, но до того, как она его лягнула, он был прекрасным мужем.

Что же касается вас, А Ким, то я всегда буду вас любить и уважать, и в один прекрасный день, когда вам не будет надобности брать меня за ухо, я выйду за вас замуж, приду сюда и навеки останусь с вами, а вы станете счастливейшим пакэ во всей Гавайе, потому что у меня уже было два мужа, я училась в колледже и очень преуспела в искусстве делать мужа счастливым. Но это будет тогда, когда ваша мать перестанет бить вас. Миссис Чанг Люси уверяет, что она бьет вас очень сильно.

— Да, — согласился А Ким. — Смотрите. — Он откинул широкие рукава, обнажив до локтя свои гладкие, пухлые руки. Они были покрыты синя-

ками и кровоподтеками, свидетельствовавшими о количестве и силе ударов.

— Но она ни разу не заставила меня плакать, — поспешил добавить А Ким. — Ни разу, даже когда я был еще маленьким мальчиком.

— То же самое говорит и миссис Чанг Люси, — подтвердила Ли Фаа. — Она говорит, что ваша досточтимая матушка часто жалуется ей на то, что ни разу не заставила вас плакать.

Предостерегающий свист одного из продавцов раздался слишком поздно. Вошедшая в дом с черного хода миссис Тай Фу возникла перед ними в дверях жилого помещения. Никогда еще А Ким не видал у матери столь грозных глаз. Не обращая внимания на Ли Фаа, она закричала:

— Ну, теперь-то уж ты у меня заплачешь! Я буду колотить тебя, пока слезы сами не польются у тебя из глаз.

— Тогда пройдемте в задние комнаты, досточтимая матушка, — предложил А Ким. — Закроем окна и двери, и там вы будете бить меня.

— Нет! Я буду бить тебя здесь, перед всем светом и перед этой бесстыдной женщиной, которая норовит взять тебя за ухо и такое кощунство называет браком! Останьтесь, бесстыдница!

— Я и без того намерена остаться, — отвеча-

ла Ли Фаа, смерив продавцов уничтожающим взглядом. — И посмотрим, кто, кроме полиции, посмеет удалить меня отсюда.

— Вы никогда не будете моей невесткой, — отрезала миссис Тай Фу.

Ли Фаа подтверждающе кивнула и добавила:

— Но все же ваш сын будет моим третьим мужем.

— Вы хотите сказать: когда я умру? — взвизгнула старуха.

— Солнце восходит каждое утро, — загадочно произнесла Ли Фаа. — Я наблюдала это всю жизнь.

— Вам сорок лет, и вы носите корсеты.

— Но я еще не крашу волос, это придет позднее, — невозмутимо отвечала Ли Фаа. — Что касается моего возраста, то вы правы. В день Камеамеа мне стукнет сорок один. Сорок лет я видела, как восходит солнце. Мой отец умер стариком. Перед смертью он сказал мне, что не замечает никакого различия между солнечным восходом теперь и в дни, когда он был еще мальчиком. Земля кругла. Конфуций этого не знал, но вы можете это найти в любом учебнике географии. Земля кругла. Она вращается вокруг своей оси, круг за кругом. Времена года и жизнь вращаются вместе с ней. То,

что есть сейчас, уже было раньше. То, что было, будет опять. Время сбора хлебных плодов и манго всегда возвращается вновь, а мужчины и женщины возрождаются в своих детях. Малиновки вьют гнезда, а кулики весною прилетают с севера. За каждой весною следует другая весна. Кокосовые пальмы тянутся ввысь, приносят плоды и погибают. Но меньше их не становится. Это не только мои слова. Многое я слышала от своего отца. Приступайте к делу, досточтимая миссис Тай Фу, и поколотите вашего сына и моего будущего третьего мужа. А я посмеюсь. Предупреждаю вас: я буду смеяться.

А Ким опустился на колени, чтобы матери было удобнее. Она осыпала его градом ударов, а Ли Фаа улыбалась, фыркала и, наконец, разразилась хохотом.

— Крепче, крепче, почтенная миссис Тай Фу! — поощряла она старуху в перерыве между взрывами смеха.

Миссис Тай Фу старалась что было сил, но сил-то было немного, и вдруг она заметила то, что заставило ее от удивления выронить палку. А Ким плакал. По его щекам лились крупные круглые слезы. Ли Фаа была поражена, так же как и глазеющие продавцы. Больше всех, правда,

был поражен сам А Ким, но ничего не мог с собой поделать, и хотя удары уже прекратились, он все продолжал плакать.

— Почему вы плакали? — часто спрашивала потом Ли Фаа. — Это уж было до того глупо… Она не могла причинить вам никакой боли.

— Подождите, пока мы поженимся, — неизменно отвечал А Ким. — И тогда, о Лилия Луны, я скажу вам.

Однажды, два года спустя, А Ким, более чем когда-либо напоминающий очертаниями арбузное семечко, вернулся домой с собрания китайской торговой ассоциации и нашел свою мать мертвой на постели. Еще уже выглядел ее лоб и суровее зачесанные назад волосы. Но на ее сморщенном лице застыла сухонькая улыбка. Боги были милостивы. Она отошла без страданий.

Прежде всего А Ким вызвал по телефону номер Ли Фаа, но нашел ее не раньше, чем позвонил к миссис Чанг Люси. Сообщив новость, он назначил день свадьбы в срок в десять раз более короткий, чем того требовали старинные китайские обычаи. И если бы в китайском обряде венчания существовало нечто вроде подружки, то именно эту роль выполняла бы на свадьбе миссис Чанг Люси.

— Почему, — спросила Ли Фаа А Кима, оставшись с ним наедине в брачную ночь, — почему вы заплакали, когда мать била вас тогда в магазине? Это было так глупо. Она даже не причиняла вам боли.

— Вот потому-то я и плакал, — отвечал А Ким.

Ли Фаа недоумевающе взглянула на него.

— Я плакал, — пояснил он, — потому, что вдруг понял, что моя мать приближается к концу. Ее удары были невесомы, я их не чувствовал. И я плакал, поняв, что у нее уже нет сил причинить мне боль. Вот почему я плакал, мой Цветок Безмятежности, мой Совершенный Покой. Это единственная причина, по которой я плакал.

Прибой Канака

Когда Ли Бартон и его жена Ида вышли из купальни, американки, расположившиеся в тени деревьев хау, что окаймляют пляж отеля Моана, тихо ахнули. И продолжали ахать все время, пока те двое шли мимо них, к морю. Ли Бартон едва ли мог произвести на них столь сильное впечатление. Американки были не из таких, чтобы ахать при виде мужчины в купальном костюме, даже если судьба наделила его великолепной атлетической фигурой. Правда, у любого тренера такое физическое совершенство исторгло бы вздох глубокого удовлетворения, но он не стал бы ахать, как американки на пляже, — те были оскорблены в своих лучших чувствах.

Ида Бартон — вот кто вызывал их осуждение и беспокойство. Они осудили ее, и притом бесповоротно, с первого же взгляда. Сами они — мастерицы себя обманывать — воображали, что их шокирует ее купальный костюм. Но Фрейд недаром утверждает, что там, где затронуты вопросы пола, люди бессознательно склонны подменять действительность вымыслом и мучиться по поводу собственного вымысла не меньше, чем

если бы он был реальностью.

Купальный костюм Иды Бартон был очень миленький — из тончайшей черной шерсти самой плотной вязки, с белой каймой и белым пояском, с небольшим вырезом, короткими рукавами и очень короткой юбочкой. Как ни коротка была юбочка, трико под ней было еще короче. Однако на соседнем пляже яхт-клуба и у кромки воды можно было увидеть десятка два женщин, не привлекавших к себе настороженного внимания, хоть и одетых более смело. Их костюмы, такие же короткие и облегающие, были совсем без рукавов, как мужские, а глубокий вырез на спине и подмышками указывал на то, что обладательницы их освоились с модами 1916 года.

Таким образом, не купальный костюм Иды Бартон смущал женщин, хотя они и убеждали себя, что дело именно в нем. Смущали их, скажем, ее ноги, или, вернее, вся она, нестерпимый блеск ее очаровательной, вызывающей женственности. Этот вызов безошибочно чувствовали и пожилые матроны, и дамы средних лет, и молодые девушки, оберегавшие от солнца свои слабенькие, затянутые жирком мышцы и тепличный цвет лица. Да, в ней был вызов, и угроза, и оскорбительное превосходство над всеми партнершами

в той маленькой жизненной игре, которую они сами выдумали и вели с переменным успехом.

Но они этого не высказывали. Они не позволяли себе даже мысленно это признать. Они воображали, что все зло в купальном костюме, и осуждали его, словно не видя двух десятков женщин, одетых более смело, но не столь катастрофически красивых.

Если б можно было просеять психологию этих блюстительниц нравов сквозь мелкое сито, на дне его осталась бы завистливая, чисто женская мысль: «Нельзя допускать, чтобы такая красивая женщина выставляла напоказ свою красоту». Они ощущали это как несправедливость. Много ли у них остается шансов в борьбе за мужчин с появлением такой опасной соперницы?

И они были правы, ибо вот что сказал по этому поводу Стэнли Паттерсон своей жене, когда они, выкупавшись, лежали на песке у ручья, который Бартоны в эту минуту переходили вброд, чтобы попасть на пляж яхт-клуба.

— Господи боже, покровитель искусств и натурщиц! Нет, ты только посмотри, видала ты когда-нибудь женщину с такими изумительными ногами! До чего стройны и пропорциональны! Это ноги юноши. Я видел на ринге боксеров в

легком весе с такими ногами. А вместе с тем это чисто женские ноги. Их всегда отличишь. Вон как выгнута передняя линия бедра. И сзади круглится ровно настолько, насколько нужно. А как эти две линии сходятся к колену, и какое колено! Просто руки чешутся, жалко глины нет.

— Колено просто замечательное, — подхватила его жена, не менее его увлеченная, ибо она тоже была скульптором. — Ты погляди, как суставы ходят под кожей. Просто счастье, что все это не залито жиром. — Она вздохнула, вспомнив о собственных коленях. — Вот где и пропорции, и красота, и грация. Тут действительно можно говорить об очаровании плоти. Интересно, кто она такая.

Стэнли Паттерсон, не сводя глаз с незнакомки, с жаром вел свою партию в семейном дуэте:

— Ты заметила, что у нее совсем нет мускульных подушек на внутренней стороне колена, от которых почти все женщины кажутся колченогими? Это ноги юноши, крепкие, уверенные…

— И в то же время ноги женщины, округлые и нежные, — поспешила дополнить его жена. — А взгляни, как она идет, Стэнли! Она ступает на носок и от этого кажется легкой, как перышко. С каждым шагом она чуть отделяется от земли, и

кажется, что она поднимается все выше и выше и летит, либо сейчас взлетит…

Так восторгались Стэнли Паттерсон и его жена. Но они были люди искусства, а потому и глаза у них были непохожи на ту батарею глаз, под огонь которых Ида Бартон попала в следующую минуту, — глаз, нацеленных на нее с веранд яхт-клуба и из-под деревьев хау, осенявших соседний Приморский отель. В яхт-клубе собрались главным образом не приезжие туристы, а спортсмены и гавайские старожилы. Но даже старожилки — и те ахнули.

— Это просто неприлично, — заявила своему мужу миссис Хенли Блек, расползшаяся сорокалетняя красавица, которая родилась на Гавайях и даже не слыхала об Остенде.

Хенли Блек окинул задумчивым, уничтожающим взором недопустимо бесформенную фигуру жены и ее допотопный купальный костюм, к которому не придрался бы даже пуританин из Новой Англии. Они были женаты так давно, что он уже мог высказываться откровенно.

— Сравнить вас, так это не ее, а твой костюм выглядит неприлично. Точно ты кутаешься в эти нелепые тряпки, чтобы скрыть какой-нибудь позорный изъян.

— Она несет свое тело, как испанская танцовщица, — сказала миссис Паттерсон мужу; в погоне за ускользающим видением они тоже перешли вброд через ручей.

— Верно, черт возьми, — подтвердил Стэнли Паттерсон. — Мне тоже вспомнилась Эстреллита. Грудь полная, но не слишком, тонкая талия, живот не чересчур тощий и защищен мускулами, как у мальчишки-боксера. Без этого она не могла бы так держаться, а к тому же они соответствуют мускулам спины. Ты видишь, какой у нее изгиб спины. Совсем как у Эстреллиты.

— Как по-твоему, какой у нее рост? — спросила жена.

— Он обманчив, — последовал осторожный ответ. — Может быть, пять футов один дюйм, а может, и все четыре дюйма. Сбивает ее походка, вот именно то, что ты сказала, что она как будто летит.

— Да, да, — согласилась миссис Паттерсон. — Ее точно все время подымает на цыпочки, так много в ней жизненной энергии.

Стэнли Паттерсон отозвался не сразу.

— Ты права, — заключил он наконец. — Она — маленькая. От силы пять футов два дюйма. А вес ее, я считаю, сто десять или восемь, и уж

никак не больше ста пятнадцати фунтов.

— Ста десяти она не весит, — убежденно возразила его жена.

— Но когда она одета, — продолжал Стэнли Паттерсон, — да с ее манерой держаться (результат жизненной энергии и сильной воли), я уверен, что она вовсе не кажется маленькой.

— Я знаю этот тип, — кивнула его жена. — Смотришь на нее, и создается впечатление, что она не то чтобы особенно крупная женщина, но во всяком случае выше среднего роста. Ну, а сколько ей лет?

— Это уж тебе виднее, — уклонился он.

— Может, двадцать пять, а может, и тридцать восемь…

Но Стэнли Паттерсон, забыв о вежливости, не слушал ее.

— Да не только ноги! — воскликнул он упоенно. — Она вся хороша. Ты смотри, какая рука, до локтя тонкая, а к плечу округляется. А бицепсы! Красота! Пари держу, что, когда она их напрягает, они здорово вздуваются…

Любая женщина, а тем более Ида Бартон, неминуемо должна была заметить, какую сенсацию она произвела на пляже Ваикики. Но это не льстило ее тщеславию, а раздражало ее.

— Вот мерзавки! — смеясь, сказала она мужу. — И подумать только, что я здесь родилась, да еще чуть ли не треть века назад. Тогда люди были не такие противные. Может быть, потому, что тогда здесь не было туристов. Ведь я и плавать-то научилась как раз здесь, перед яхт-клубом. Мы приезжали сюда с отцом на каникулы и на воскресенье и жили в травяной хижине, — она стояла на том самом месте, где сейчас яхт-клубные дамы распивают чай. По ночам на нас падали с крыши сороконожки, мы ели пои, моллюсков и сырую рыбу, купались и рыбачили без всяких костюмов, а в город и дороги-то приличной не было. В большие дожди ее так размывало, что приходилось возвращаться на лодках — выгребать за отмель и входить в гавань в самом Гонолулу.

— Не забывай, — подхватил Ли Бартон, — что как раз в это время тот юнец, из которого получился я, прожил здесь несколько недель во время своего кругосветного путешествия. Я, наверно, видел тебя среди ребят, которые тут плавали, как рыбы. Я помню, здесь женщины ездили верхом по-мужски, а ведь это было задолго до того, как женская половина рода человеческого в других странах отбросила скромность и решилась свесить ноги по обе стороны лошади. Я тоже

выучился плавать на этом самом месте. Вполне возможно, что мы пробовали качаться на одних и тех же волнах, и может я когда-нибудь плеснул тебе в лицо водой, а ты в благодарность показала мне язык…

Тут его прервало довольно громкое негодующее «ах» из уст некой костлявой особы, загоравшей на песке в уродливом купальном костюме — скорее всего старой девы, и Ли Бартон почувствовал, как его жена невольно вся сжалась.

— Я очень доволен, — сказал он. — Ты у меня и так молодец, а тут совсем бесстрашная станешь. Пусть это тебя немножко стесняет, но зато и уверенности придает — только держись!

Ибо, да будет вам известно. Ли Бартон был сверхчеловек, и Ида Бартон

— тоже, во всяком случае в эту категорию их зачисляли начинающие репортеры, паркетные шаркуны и ученые критики-кастраты, неспособные разглядеть на горизонте, за однообразной равниной собственного существования, людей белее совершенных, чем они сами. Эти унылые создания, отголоски мертвого прошлого и самозванные могильщики настоящего и будущего, живущие чужой жизнью и, подобно евнухам, состоящие при чужой чувственности, утвержда-

ют — поскольку сами они, их среда и их мелкие треволнения убоги и пошлы, — что ни один мужчина, ни одна женщина не может подняться над убожеством и пошлостью.

В них самих нет красоты и размаха, и они отказывают в этих достоинствах всем; слишком трусливые, чтобы дерзать, они уверяют, что дерзание умерло еще в средние века, если не раньше; сами они — лишь мигающие свечки, и слабые их глаза не видят яркого пламени других душ, что озаряют их небосклон. Сил у них примерно столько, сколько у пигмеев, а что у других может быть больше сил, это им невдомек. Да, в прежние времена бывали на свете великаны; но в старых книгах написано, что великанов давно уже нет, от них остались одни кости. Эти люди никогда не видели гор, значит — гор не существует.

Зарывшись в тину своей непросыхающей лужи, они уверяют, что славные витязи с высоким челом и в блестящих доспехах возможны только в сказках, в древней истории да в народных поверьях. Они никогда не видели звезд и отрицают звезды. От их взора скрыты славные пути и те смертные, что идут этими путями, поэтому они отрицают существование и славных путей и отважных смертных. Считая собственные тусклые

зрачки центром вселенной, они воображают, что вселенная создана по их подобию, и собственной жалкой личностью меряют отважные души, приговаривая: «Вот такой величины и все души, не больше. Не может быть, чтобы существовали души крупнее наших, а нашим богам известно, что мы — огромные».

Но когда Ида Бартон входила в воду, все, или почти все, кто был на берегу, прощали ей и ее костюм и ее прекрасное тело. В ее глазах веселый вызов, она чуть коснулась пальцами руки мужа, и вот они бегут несколько шагов в ногу и, разом оттолкнувшись от твердого морского песка, описывают в воздухе невысокую дугу и погружаются в воду.

В Ваикики бывает два прибоя: большой, бородатый Канака, ревущий далеко за молом; и меньший, прибой Вахине, то есть женщина, — тот, что разбивается о берег. Вдоль берега тянется широкая полоса мелководья, здесь можно пройти по дну и сто и двести футов не захлебнувшись. Все же, если дальний прибой разбушуется, прибой Вахине тоже достигает трех-четырех футов, так что у самого берега твердое песчаное дно может оказаться и в трех дюймах и в трех футах от кипящей на поверхности пены. Чтобы

нырнуть в эту пену — с разбега оторваться от земли, повернуться в воздухе пятками вверх и разрезать воду головой, — требуется хорошее знание волн и умение приспособляться к ним, годами выработанное искусство погружаться в эту непостоянную стихию изящным, решительным броском, да еще не уходя глубоко в воду.

Это красивый, грациозный и смелый номер, который дается не сразу, — им не овладеть без долгой тренировки, сопряженной не только с множеством легких ушибов о морское дно, но и с риском раздробить себе череп или сломать шею. На том самом месте, где Бартоны нырнули так благополучно, за два дня до того сломал себе шею известный американский атлет. Он не сумел рассчитать подъем и спад прибоя Вахине.

— Профессионалка, — фыркнула миссис Хенли Блек, наблюдавшая за Идой Бартон.

— Наверное, какая-нибудь циркачка. — Такими и подобными замечаниями успокаивали друг друга женщины, сидевшие в тени; прибегая к нехитрому методу самообмана, они утешались сознанием великой разницы между теми, кто работает, чтобы есть, и их собственным кругом, где едят не работая.

В тот день прибой в Ваикики был особенно

сильный. Даже волны Вахине вполне удовлетворяли хороших пловцов. Дальше, в прибой Канака, не заплывал никто. И не потому, что молодые спортсмены, собравшиеся на пляже, боялись заплыть так далеко, — просто они знали, что гигантские гремящие валы, обрываясь вниз, неизбежно затопят даже самый большой из их челнов и перевернут любую доску[40]. Большинство из них могли бы, правда, пуститься вплавь, потому что человек проплывет и сквозь такую волну, на какие не взобраться челнам и доскам; но не это привлекало сюда молодых людей из Гонолулу: они больше всего любили, раскачавшись на волне, на минуту подняться во весь рост в воздухе, а потом стрелою лететь вместе с волной к берегу.

Капитан челна номер девять, один из основателей яхт-клуба и сам неоднократный чемпион по плаванию на большую дистанцию, пропустил тот момент, когда Бартоны бросились в воду, и впервые увидел их уже за канатом, намного дальше последней группы купающихся. После этого он, стоя на верхней веранде клуба, уже не спускал с них глаз. Когда они миновали стальной

[40] notes: 40

Национальный вид спорта на Гавайских островах — носиться по волнам лежа или стоя на широких овальных полированных досках.

мол, возле которого резвились в воде несколько самых отчаянных ныряльщиков, он с досадой пробормотал: «Вот чертовы малахини!»

«Малахини» по-гавайски значит новичок, неженка; а капитан челна номер девять, хоть и видел, как хорошо они плывут, знал, что только малахини отважится выплыть в стремительное и страшно глубокое течение за молом. Это-то и вызвало его досаду. Он спустился на берег, вполголоса дал указания кое-кому из самых сильных своих гребцов и вернулся на веранду, прихватив с собой бинокль. Шестеро гребцов, стараясь не обращать на себя внимания, снесли челн номер девять к самой воде, проверили весла и уключины, а затем небрежно развалились на песке. Глядя на них, никто бы не заподозрил, что творится что-то неладное, но сами они то и дело поглядывали вверх на своего капитана, а он не отнимал от глаз бинокля.

Страшная глубина за молом объяснялась тем, что в море вливался ручей,

— кораллы не живут в пресной воде. А стремительность течения объяснялась силой рвущегося к берегу прибоя. Вода, которую снова и снова гнал к берегу грозный прибой Канака, спадая, уходила обратно в море с этим течением и вниз, под боль-

шие валы. Даже здесь, где было течение, волны вздымались высоко, но все же не на такую великолепную и устрашающую высоту, как справа и слева от него. Таким образом, в самом течении челну или сильному пловцу особая опасность не грозила. Но нужно было быть поистине сильным пловцом, чтобы устоять против его силы. Вот почему капитан номера девятого не покидал своего наблюдательного поста и не переставал бормотать проклятия, уверенный в том, что эти малахини вынудят его спустить челн и отправиться им на подмогу, когда они выбьются из сил. Сам он на их месте повернул бы налево, к мысу Даймонд, и дал бы прибою Канака вынести себя на сушу. Но ведь он — это он, двадцатидвухлетний бронзовый Геркулес, белый человек, обожженный субтропическим солнцем до цвета красного дерева и очень напоминающий фигурой и силой мускулов Дьюка Каханомоку. В заплыве на сто ярдов чемпион мира всегда опережал его на целую секунду, зато на дальних дистанциях он оставлял чемпиона далеко позади.

Из сотен людей, находившихся на пляже, никто, кроме капитана и его гребцов, не знал, что Бартоны уплыли за мол. Все, кто видел, как они отплывали от берега, были уверены, что они

вместе с другими прыгают с мола.

Внезапно капитан вскочил на перила веранды и, держась одной рукой за столбик, снова навел бинокль на две темные точки вдали. Догадка его подтвердилась. Эти дураки, выбравшись из течения, повернули к мысу Даймонд, отгороженные от берега прибоем Канака. Хуже того, они, видимо, решили пересечь прибой.

Он быстро глянул вниз, но когда в ответ на его взгляд притворно дремавшие гребцы не спеша поднялись и заняли свои места, чтобы спустить челн на воду, он передумал. Мужчина и женщина погибнут раньше, чем челн успеет с ними поровняться. А если даже он с ними поровняется, его затопит в ту же секунду, как он свернет из течения в прибой, и даже лучшие пловцы из команды девятого едва ли спасут человека, которого швыряет о дно безжалостными ударами бородатых валов.

Капитан увидел, как далеко в море, позади двух крошечных точек — пловцов, поднялась первая волна Канака, большая, «о еще не из самых больших. Потом он увидел, что они плывут кролем, бок о бок, погрузив лицо в воду, вытянувшись во всю длину, работая ногами, как пропеллером, и быстро выбрасывая вперед руки, в попытке

набрать ту же скорость, что у настигающей их волны, чтобы, когда она их настигнет, не отстать от нее, а дать ей себя подхватить. Тогда, если у них достанет духа и сноровки, чтобы удержаться на гребне и не упасть с него, — иначе их тут же разобьет или утащит вниз головою на дно, — они понесутся к берегу уже не собственными усилиями, а увлекаемые волной, с которой они слились воедино.

И это им удалось. «Пловцы хоть куда!» — вполголоса доложил сам себе капитан девятого. Он все не отнимал от глаз бинокля. Лучшие пловцы могут проплыть на такой волне несколько сот футов. А эти? Если они не сдадут, треть опаснейшего пути, который они сами выбрали, останется позади. Но, как он и предвидел, первой сплоховала женщина — ведь поверхность ее тела меньше. Через каких-нибудь семьдесят футов она не выдержала и скрылась из глаз под многотонной массой воды, перекатившейся через нее. Потом исчез под водой мужчина, и оба снова появились на поверхности далеко позади волны, которую они потеряли.

Следующую волну капитан увидел раньше их. «Если они попробуют поймать эту, тогда прощай», — проговорил он сквозь зубы — он знал,

что всякий пловец, который решится на такое дело, обречен. Этот вал, в милю длиной, еще без гребня, но страшнее всех своих бородатых собратьев, подымался далеко за ними, все выше и выше, пока не закрыл горизонта плотной стеной, и только тогда на его истонченном, загнутом гребне, наконец, забелела пена.

Но мужчина и женщина, видимо, хорошо знали море. Вместо того чтобы убегать от волны, они повернулись к ней лицом и стали ее ждать. Мысленно капитан похвалил их. Он один видел эту картину удивительно ярко и четко благодаря биноклю. Водяная стена все росла и росла, и далеко вверху, где она была тоньше, сине-зеленую воду пронизывали краски заката. Зеленый тон все светлел у него на глазах и переходил в голубой. Но голубизна эта сверкала на солнце бесчисленными искрами, розовыми и золотыми. Выше и выше, до растущего белого гребня, разливалась оргия красок, пока вся волна не стала сплошным калейдоскопом переливающихся радуг.

На фоне волны две головы, мужчины и женщины, казались черными точками. Это и были точки, затерявшиеся в слепой стихии, бросавшие вызов титанической силе океана. Тяжесть нависшего над ними высоченного вала могла,

обрушившись, насмерть оглушить мужчину, переломать хрупкие кости женщины. Капитан девятого, сам того не замечая, затаил дыхание. О мужчине он забыл. Он видел только женщину. Стоит ей растеряться, или оробеть, или сделать одно неверное движение, и страшной силы удар отшвырнет ее на сто футов, размозжит, беспомощную и бездыханную, о коралловое дно, и глубинное течение потащит ее в открытое море к прожорливым мелким акулам, слишком трусливым, чтобы напасть на живого человека.

Почему, спрашивал себя капитан, почему они заранее не нырнут поглубже, а дожидаются, пока последний безопасный миг не превратится в первый миг смертельной опасности? Он увидел, как женщина, смеясь, повернула голову к мужчине, и тот засмеялся в ответ. Волна уже поднимала их, а высоко над ними из мелочно-белого гребня брызнули клочья пены, горящей рубинами и золотом. Свежий пассатный ветер, дувший от берега, подхватил эти клочья и понес их назад и вверх. И вот тут-то, держась в шести футах друг от друга, они разом нырнули прямо под волну, и в то же мгновение волна рассыпалась и упала. Как насекомые исчезают в завитках причудливой гигантской орхидеи, так исчезли они, а гребень,

и пена, и многоцветные брызги с грохотом обвалились на то самое место, где они только что ушли под воду.

Наконец, пловцы показались снова, позади волны, по-прежнему в шести футах друг от друга, — они ровными взмахами плыли к берегу, готовые либо поймать следующую волну, либо повернуться ей навстречу и нырнуть под нее. Капитан девятого помахал своим гребцам в знак того, что они могут разойтись, а сам присел на перила веранды, чувствуя непонятную усталость и все продолжая следить в бинокль за плывущими.

— Кто они, не знаю, — пробормотал он, — но только не малахини. За это я ручаюсь.

Прибой у Ваикики достигает большой силы далеко не всегда, вернее очень редко; и хотя Бартоны и в последующие дни возбуждали любопытство и негодование путешествующих дам, капитаны из яхт-клуба больше о них не тревожились. Они видели, как муж и жена, отплыв от берега, растворялись в синей дали, а через несколько часов либо видели, либо не видели, как они приплывали обратно. Капитаны о них не тревожились, они знали, что эти двое вернутся.

А все потому, что они оказались не малахини.

Они были свои. Другими словами — или, вернее, одним выразительным гавайским словом, — это были камааина. Сорокалетние старожилы помнили Ли Бартона с детства, с тех пор, когда он действительно был малахини, хотя и очень юным. А за это время, приезжая сюда часто и надолго, он успел заслужить почетное звание камааина.

Что касается Иды Бартон, то местные дамы одного с ней возраста встречали ее объятиями и сердечными гавайскими поцелуями (втайне удивляясь, как она умудрилась сохранить свою фигуру). Бабушки приглашали ее выпить чаю и поболтать о прошлом в садиках забытых домов, которых не видит ни один турист. Меньше чем через неделю после ее приезда престарелая королева Лилиукалани[41] послала за ней и пожурила за невнимание. А беззубые старики, сидя на прохладных душистых циновках, толковали ей про ее деда, капитана Уилтона, — сами они его уже не застали, но любили воскрешать в памяти его разгульную жизнь и сумасбродные выходки, о которых знали по рассказам отцов. Это был тот

[41] notes: 41

Последняя королева Гавайских островов, которую американцы в 1893 году заставили отказаться от престола, после чего была провозглашена «республика».

самый дед-капитан Уилтон, он же Дэвид Уилтон, он же «на все руки», как любовно окрестили его гавайцы в те далекие дни: сначала — торговец на диком Северо-Западе, потом — беспутный бродяга, капитан без корабля, тот самый, что в 1820 году, стоя на берегу в Каилуа, приветствовал первых миссионеров, прибывших сюда на бриге «Тадеуш», а через несколько лет сманил дочку одного из этих миссионеров, женился на ней, остепенился и долго служил верой и правдой королям Камехамеха в должности министра финансов и начальника таможни, в то же время выступая посредником и миротворцем между миссионерами, с одной стороны, и пестрой, вечно сменяющейся толпой бродяг, торговцев и гавайских вождей — с другой.

Ли Бартон тоже не мог пожаловаться на недостаток внимания. Когда в их честь устраивали игры в море и танцы, обеды и завтраки и национальные пиршества «луау», его тащили в свою компанию старые друзья; некогда веселые прожигатели жизни, теперь они обнаружили, что на свете есть пищеварение и прочие функции организма, и соответственно угомонились, меньше кутили, больше играли в бридж и часто ходили на бейсбольные матчи. Такую же эволюцию

претерпели и прежние партнеры Ли Бартона по игре в покер — они теперь сильно снизили свои ставки и лимиты, пили минеральную воду и апельсиновый сок, а последнюю партию кончали не позднее полуночи.

В самый разгар этих развлечений появился на сцене Санни Грэндисон, уроженец и герой Гавайских островов, уже успевший в свои сорок один год отклонить предложенный ему пост губернатора территории[42]. Четверть века назад он швырял Иду Бартон в прибой у берега Ваикики, а еще раньше, проводя каникулы на огромном скотоводческом ранчо своего отца на острове Лаканаии, торжественно принял ее и нескольких других малышей в возрасте от пяти до семи лет в свою шайку под названием «Охотники за головами», или «Гроза Лаканаии». А еще до этого его дед Грэндисон и ее дед Уилтон вместе орудовали в деловых и политических сферах.

По окончании Гарвардского университета он много странствовал, продолжая заниматься наукой и везде приобретая друзей. Служил на Филиппинах, участвовал как энтомолог в ряде научных экспедиций на Малайский архипелаг,

[42] notes: 42

С 1900 года Гавайские острова именуются «территорией» США, фактически являясь их колонией.

в Африку и в Южную Америку. В сорок один год он все еще числился в штатах Смитсоновского института, и приятели его уверяли, что он понимает в сахарном жучке больше, чем специалисты-энтомологи экспериментальной станции, учрежденной им вместе с другими сахарными плантаторами. Он был видной фигурой у себя на родине и самым популярным представителем Гавайев за границей. Гавайцы-путешественники в один голос утверждали, что в каком бы уголке земного шара им ни пришлось упомянуть, откуда они родом, их первым делом спрашивали: «А Санни Грэндисона вы знаете?»

Короче говоря, это был сын богача, достигший блестящего успеха. Миллион долларов, полученный в наследство от отца, он превратил в десять миллионов, в то же время не свернув благотворительную деятельность, начатую отцом, а расширив ее.

Но это еще не все, что можно о нем сказать. Десять лет назад он потерял жену, детей не имел, и на всех Гавайях не было человека, за которого столько женщин мечтало бы выйти замуж. Высокий, тонкий, с втянутым животом гимнаста, всегда в форме, брюнет с резкими чертами лица и сединой на висках, эффектно оттенявшей

молодую кожу и живые, блестящие глаза, он выделялся в любой компании. Казалось бы, все его время без остатка должны были поглощать светские развлечения, заседания комитетов и правлений и политические совещания; между тем он еще состоял капитаном команды поло, одержавшей немало побед, и на принадлежащем ему острове Лаканаии разводил лошадей для игры в поло не менее успешно, чем Болдуины на острове Мауи.

Когда при наличии двух сильных и самобытных натур — мужчины и женщины — на сцене появляется второй, столь же сильный и самобытный мужчина, почти неизбежно возникновение трагического треугольника. Выражаясь языком паркетных шаркунов, такой треугольник можно назвать «сверхтрагическим» или «потрясающим». Первый, должно быть, уяснил себе положение Санни Грэндисон, поскольку с его дерзкого желания все и началось; вряд ли, впрочем, даже его быстрый ум обогнал интуицию такой женщины, как Ида Бартон. Несомненно одно: Ли Бартон прозрел последним и попробовал обратить в шутку то, что отнюдь не было шуткой.

Он быстро убедился, что прозрел с большим

запозданием, то есть уже после того, как все стало ясно доброй половине людей, у которых он бывал в гостях. Оглянувшись назад, он сообразил, что уже довольно давно на все светские сборища, куда приглашали его с женой, оказывался приглашенным и Санни Грэндисон. Где бы ни бывали они вдвоем, бывал и он, третий. Куда бы ни отправлялось веселое общество — в Кахуку, Халейва, Ахуиману, или в коралловые сады Канеохе, или купаться на мыс Коко, — неизменно получалось так, что Ида ехала в автомобиле Санни или оба они ехали еще в чьем-нибудь автомобиле. Они встречались на балах, обедах, экскурсиях, «луау» — словом, всюду.

Раз прозрев, Ли Бартон уже не мог не заметить, что в присутствии Санни Грэндисона Ида особенно оживлялась, что она охотно ездила с ним в машине, танцевала с ним или пропускала танец, чтобы посидеть с ним. Но убедительнее всего был вид самого Санни Грэндисона. Несмотря на возраст, выдержку и жизненный опыт, его лицо выдавало его чувства так же явно, как лицо двадцатилетнего юноши. В сорок один год, сильный, опытный мужчина, он не научился скрывать свою душу за бесстрастной маской, так что Ли Бартону, его ровеснику, не стоило труда разгля-

деть ее сквозь такую прозрачную оболочку. И не раз, когда Ида болтала с другими женщинами и речь заходила о Санни, Ли Бартон слышал, как тепло она о нем отзывалась, как красноречиво расписывала его стиль игры в поло, его общественную деятельность и все его многообразные достоинства.

Итак, душевное состояние Санни не представляло загадки для Ли Бартона — оно было видно любому. Но Ида, его жена, с которой он двенадцать лет прожил в безоблачно счастливом союзе, что сказать о ней? Он знал, что женщины — этот загадочный пол — многое умеют хранить в тайне. Означают ли ее откровенно дружеские отношения с Грэндисоном всего только возобновление детской дружбы? Или они служат ширмой для тайного сердечного жара, для ответного чувства, быть может даже более сильного, чем то, что так ясно написано на лице Санни?

Ли Бартону было невесело. Двенадцать лет безраздельного и узаконенного обладания собственной женой убедили его в том, что она — единственная женщина, которая ему нужна, что нет на свете женщины, которая могла бы посягнуть на ее место в его сердце и сознании. Он не мог себе представить, чтобы какая-нибудь

женщина могла отвлечь его от Иды, а тем более превзойти ее в умении всегда и во всем ему нравиться.

Так неужели же, в ужасе спрашивал он себя, уподобляясь всем влюбленным Бенедиктам[43], это будет ее первый «роман»? Вопрос этот мучил его непрестанно, и, к удивлению остепенившихся пожилых юнцов — своих партнеров в покер, а также к великому удовольствию дам, наблюдавших за ним на званых обедах, он стал пить вместо апельсинового сока коньяк, громко ратовать за повышение лимита в покере, вечерами с сумасшедшей скоростью гонять свою машину по дорогам на мыс Даймонд и к пропасти Пали и потреблять — либо до, либо после обеда — больше коктейлей и шотландского виски, чем положено нормальному человеку.

Ида всегда относилась к его увлечению картами очень снисходительно. За годы их брака он к этому привык. Но теперь, когда возникло сомнение, ему чудилось, что она только и ждет, чтобы он засел за карты. Кроме того, он заметил, что Санни Грэндисон перестал появляться там, где играли в покер и в бридж. Говорили, что он очень

---

[43] notes: 43
Персонаж из комедии Шекспира «Много шуму из ничего».

занят. Где же проводит время Санни, когда он, Ли Бартон, играет в карты? Не всегда же на заседаниях комитетов и правлений. Ли Бартон решил это проверить. Он без труда установил, что, как правило, Санни проводит это время там же, где Ида Бартон, — на балах, обедах или на купаньях при луне; а в тот день, когда Санни, сославшись на неотложные дела, отказался составить с Ли, Лэнгхорном Джонсом и Джеком Холстейном партию в бридж в клубе «Пасифик», — в тот самый день он играл в бридж у Доры Найлз с тремя женщинами, и одной из них была Ида.

Однажды Ли Бартон, возвращаясь из Пирл-Харбора, где он осматривал строительство сухого дока, и включив третью скорость, чтобы успеть переодеться к обеду, обогнал машину Санни; единственным пассажиром в этой машине была Ида. Спустя неделю, в течение которой Ли ни разу не играл в карты, он в одиннадцать часов вечера вернулся домой с холостого обеда в Университетском клубе, а следом за ним вернулась Ида — с ужина и танцев у Алстонов. И домой ее привез Санни Грэндисон. Они упомянули, что сначала отвезли майора Фрэнклина с женой в Форт Шафтер, по ту сторону города, за много миль от Ваикики.

Ли Бартон был всего лишь человек и втайне жестоко страдал, хотя на людях отношения его с Санни были самые дружеские. Даже Иде было невдомек, что он страдает, и она жила по-прежнему беззаботно и весело, ничего не подозревая и разве что слегка удивляясь количеству коктейлей, которые ее муж поглощал перед обедом.

Казалось, что он, как и прежде, открыт для нее весь, до последних глубин; на самом же деле он скрывал от нее свои муки, так же как и ту бухгалтерскую книгу, которую он мысленно вел, каждую минуту, днем и ночью, пытаясь подвести в ней итог. В одну колонку заносились несомненно искренние проявления ее обычной любви и заботы о нем, многочисленные случаи, когда она успокаивала его, спрашивала или слушалась его совета. В другую — где записи делались все чаще — собирались слова и поступки, которые он волей-неволей относил в разряд подозрительных. Искренни ли они? Или в них таится обман, пусть даже непреднамеренный? Третья колонка, самая длинная и самая важная с точки зрения человеческого сердца, содержала записи, прямо или косвенно касающиеся его жены и Санни Грэндисона. Ли Бартон вел эту бухгалтерию без всякого умысла. Он просто не мог иначе. Он с ра-

достью бросил бы это занятие. Но ум его требовал порядка, и записи сами собой, помимо его воли, располагались каждая в своей колонке.

Все теперь представлялось ему в искаженном виде, он из каждой мухи делал слона, хотя часто сам сознавал, что перед ним муха. Наконец, он обратился к Мак-Илвейну, которому когда-то оказал весьма существенную услугу. Мак-Илвейн был начальником сыскной полиции. «Большую ли роль в жизни Санни Грэндисона играют женщины?» — спросил его Бартон. Мак-Илвейн ничего не ответил. «Значит, большую», — заключил Бартон. Начальник полиции опять промолчал.

Вскоре после этого Ли Бартон прочел секретную записку за подписью Мак-Илвейна и тут же уничтожил ее, как ядовитую гадину. Общий вывод был: Санни вел себя неплохо, но и не слишком хорошо после того, как десять лет назад у него погибла жена. Их брак был притчей во языцех в высшем обществе Гонолулу, так они были влюблены не только до свадьбы, но и после, вплоть до ее трагической гибели — она вместе с лошадью свалилась с тропы Нахику в бездонную пропасть. И еще долго после этого, утверждал Мак-Илвейн, женщины для Грэндисона словно не существовали. А потом если что и бывало, то все оставалось

в рамках приличий. Никаких сплетен, никакой огласки, так что в обществе сложилось мнение, что он — однолюб и никогда больше не женится.

Что касается нескольких мимолетных связей, которые Мак-Илвейн перечислил в своем докладе, то, по его словам, Грэндисону и в голову не могло прийти, что о них известно кому-либо, кроме самих участников.

Бартон наскоро, словно стыдясь, проглядел короткий список имен и дат и успел искренне удивиться, прежде чем предать бумагу огню. Да, чего другого, а осторожности у Санни хватало. Глядя на пепел, Бартон задумался о том, много ли эпизодов из его собственной молодости хранится в архивах старика Мак-Илвейна. И вдруг почувствовал, что краснеет. Какой же он дурак! Раз Мак-Илвейну столько известно о частной жизни любого члена их общества, не ясно ли, что он сам, муж, защитник и покровитель Иды, дал Мак-Илвейну повод заподозрить ее?

— Ничего не случилось? — спросил он жену в тот же вечер, когда она кончала одеваться, а он стоял возле, держа наготове ее пальто.

Это вполне соответствовало их давнишнему уговору о взаимной откровенности, и в ожидании ее ответа он даже упрекал себя за то, что не

спросил ее много раньше.

— Нет, — улыбнулась она. — Ничего особенного… Может быть, после…

Она загляделась на себя в зеркало, попудрила нос и снова смахнула пудру пуховкой. Потом добавила:

— Ты ведь знаешь меня, Ли. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться… если есть, в чем разбираться; а после этого я тебе всегда все говорю. Только часто оказывается, что говорить-то не о чем, так что нечего тебя и беспокоить.

Она протянула назад руки, чтобы он подал ей пальто, — храбрые, умные руки, крепкие, как сталь, когда она борется с волнами, и в то же время такие чудесные женские руки, круглые, теплые, белые, — как и должны быть у женщины, — с тонкой, гладкой кожей, скрывающей отличные мускулы, покорные ее воле.

Он смотрел на нее с восхищением, с тоской и болью, — она казалась такой тоненькой, такой хрупкой, что сильный мужчина мог бы одной рукой переломить ее пополам.

— Едем скорее! — воскликнула она, заметив, что он не сразу накинул легкое пальто на ее прелестное, сверхлегкое платье. — Мы опоздаем. Если на Нууану польет дождь, придется подни-

мать верх, и мы не поспеем ко второму танцу.

Он решил непременно посмотреть, с кем она будет танцевать второй танец, и пошел следом за нею к двери, любуясь ее походкой, в которой, как он часто сам себе говорил, горделиво проявлялась вся ее сущность, и духовная и физическая.

— Ты не против того, что я так много играю в покер и оставляю тебя одну? — Это была новая уловка.

— Да бог с тобой! Ты же знаешь, я приветствую твои картежные оргии. Они тебя так подбадривают. И ты, когда играешь, делаешься такой симпатичный, такой солидный. Я уж не помню, когда ты засиживался за картами позже, чем до часу.

На улице Нууану дождь не полил, небо, начисто выметенное пассатом, было усеяно звездами. Они поспели ко второму танцу, и Ли Бартон увидел, как его жена пошла танцевать с Грэндисоном. В этом не было ничего удивительного, однако он не преминул отметить это в своей мысленной бухгалтерии.

Час спустя, терзаемый тоскливым беспокойством, он отказался от партии в бридж и, улизнув от нескольких молодых дам, вышел побродить по огромному саду. Вдоль дальнего края лужайки

тянулась изгородь из ночного цереуса. Каждому цветку суждена была всего одна ночь жизни, — распустившись в сумерках, он к рассвету свернется и погибнет. Огромные — до фута в диаметре — чуть желтоватые цветы, похожие на восковые лилии, мерцая, словно маяки, во мраке, допьяна напоенном их ароматом, торопились насладиться своей прекрасной короткой жизнью.

Но на дорожке, бегущей вдоль изгороди, было людно. Гости парами гуляли здесь в перерывах между танцами, или во время танцев, и тихо переговаривались, жадно наблюдая это чудо — любовную жизнь цветов. С веранды, где расположился хор мальчиков, доносилась ласкающая мелодия «Ханалеи». Ли Бартону смутно вспомнился рассказ — кажется, Мопассана — про аббата, который свято верил, что все на свете сотворено богом для одному ему ведомых целей, но, затруднившись осмыслить с этой точки зрения ночь, понял в конце концов, что ночь создана для любви.

Оттого, что цветы и люди в один голос славили ночь, Бартону стало больно. Он повернул обратно к дому по дорожке, вьющейся в тени акаций и пальм. С того места, где она снова выходила из зарослей, он увидел в нескольких шагах от себя, на

другой дорожке, мужчину и женщину, которые стояли в темноте обнявшись. Он обнаружил их, потому что услышал страстный шепот мужчины, но в ту же минуту и его заметили: шепот смолк, и пара замерла в полной неподвижности.

Он побрел дальше, удрученный мыслью, что густая тень деревьев — это следующий этап для тех, кто под широким небом восторгается ночными цветами. О, он хорошо помнил то время, когда ради минуты любви он готов был на любой обман, на любую хитрость, и чем гуще была тень, тем лучше. Что люди, что цветы — одно и то же, подумал он. Прежде чем снова включиться в привычную, но сейчас нестерпимую жизнь, он еще немного постоял в саду, рассеянно глядя на куст густо алых махровых мальв в ярком кругу света, падавшего с веранды. И внезапно все, что он выстрадал, все, что он только что видел и слышал, — ночные цветы, и приглушенные голоса влюбленных, и те двое, что обнимались украдкой, как воры, — все слилось в притчу о жизни, воплощенную в цветах мальвы, на которые он глядел. Ему казалось, что жизнь и страсть человека — это те же цветы: они распускаются на рассвете белыми как снег, розовеют под лучами солнца, а к вечеру становятся густо алыми и уже

не доживают до нового рассвета.

Какие еще аналогии могли прийти ему в голову, неизвестно, потому что за ним, там, где росли акации и пальмы, послышался знакомый смех — веселый и безмятежный смех Иды. Не оглядываясь, страшась того, что должен был увидеть, он торопливо, чуть не спотыкаясь, поднялся на веранду. Но хотя он знал, что его ждет, все же, когда он, наконец, оглянулся и увидел свою жену и Санни, только что украдкой обнимавшихся в темноте, — у него закружилась голова и он постоял, держась за перила и с тупой улыбкой устремив глаза на группу мальчиков, выводивших в сладострастной ночи свои сладострастный припев «Хони кауа вики-вики».

Через секунду он облизал губы, справился с дрожью и успел бросить какую-то шутку хозяйке дома миссис Инчкип. Но нельзя было терять время — те двое уже поднимались по ступенькам веранды.

— Пить хочется, будто я пересек пустыню Гоби, — сказал он, — я чувствую, что только коктейль может спасти меня.

Миссис Инчкип улыбнулась и жестом направила его на курительную веранду, где его и нашли, когда начался разъезд: он оживленно обсуждал

со старичками положение в сахарной промышленности.

В Ваикики уехало сразу несколько машин, и на его долю выпало отвезти домой Бернстонов и чету Лесли. Ида, как он успел заметить, села в машину Санни, рядом с ним. Она вернулась домой первая — когда он приехал, она уже причесывалась на ночь. Они простились и легли — так же, как обычно, но попытка казаться естественным, помня, чьи губы так недавно прижимались к ее губам, стоила ему такого труда, что он едва не потерял сознание.

«Неужто женщина и вправду совершенно аморальное существо, как утверждают немецкие пессимисты?» — спрашивал он себя, ворочаясь с боку на бок, и не мог ни уснуть, ни взяться за книгу. Через час он встал и нашел в аптечке сильно действующий снотворный порошок. Еще через час, опасаясь провести бессонную ночь наедине со своими мыслями, он принял второй порошок. Он проделал это еще два раза, с часовыми перерывами. Но снотворное действовало так медленно, что когда он, наконец, уснул, уже светало.

В семь часов он опять проснулся. Во рту было сухо, хотелось спать, однако он не мог забыться больше, чем на несколько минут кряду. Решив,

что уже не заснет, он позавтракал в постели и занялся утренними газетами. Но порошки продолжали действовать, и он то и дело засыпал над газетой. Так же было, пока он принимал душ и одевался, и его радовало, что хотя ночью порошки почти не принесли ему облегчения, они помогли ему провести утро в каком-то полузабытьи.

И только когда жена его встала и пришла к нему в очаровательном халатике, с лукавой улыбкой на губах, как всегда веселая и безмятежная, его охватило порожденное опиумом безумие. Просто и ясно она дала понять, что, несмотря на давнишний уговор, ей нечего сказать ему, и тут, послушный голосу опиума, он начал лгать. На вопрос, хорошо ли он спал, он ответил:

— Отвратительно! Я два раза просыпался от судороги в ноге. Даже страшно было снова засыпать. Но больше она не повторилась, хотя ноги болят ужасно.

— У тебя это и в прошлом году было, — напомнила она.

— Сезонная болезнь, — улыбнулся он. — Это нестрашно, только очень противно, когда просыпаешься со сведенной ногой. Теперь до вечера ничего не будет, но ощущение такое, точно меня избили палками.

В тот же день, попозже, Ли и Ида Бартон нырнули в мелкую воду у пляжа яхт-клуба и, быстро миновав мол, уплыли вдаль, за прибой Канака. Море было такое тихое, что, когда они, часа через два, повернули обратно к берегу и не спеша стали пересекать прибой, они были совершенно одни. Слишком маленькие волны не представляли интереса для любителей качаться в челнах и на досках, так что все они уже давно вернулись на берег.

Вдруг Ли перевернулся на спину.

— Что случилось? — окликнула Ида, плывшая футах в двадцати от него.

— Нога… судорога, — ответил он негромко, весь сжавшись от страшного напряжения.

Опиум продолжал действовать, и он был словно в полусне. Глядя, как она подплывает к нему ровными, ритмичными взмахами, он полюбовался ее спокойствием, но его тут же кольнуло подозрение, что она спокойна потому, что мало его любит, или, вернее, любит гораздо меньше, чем Грэндисона.

— В какой ноге? — спросила она, принимая в воде вертикальное положение.

— В левой… ой! А теперь в обеих.

Он, словно непроизвольно, подогнул колени,

высунул из воды голову и грудь и тут же скрылся из глаз под совсем небольшой волной. Через несколько секунд он всплыл и, отплевываясь, снова лег на спину.

Он чуть не улыбнулся, но улыбка превратилась в болезненную гримасу: ему действительно свело ногу, во всяком случае одну, и он почувствовал настоящую боль.

— Сейчас больнее в правой, — процедил он, увидев, что она хочет растереть ему ногу. — Но ты лучше держись подальше. У меня это бывало. Если станет хуже, я, чего доброго, могу вцепиться в тебя.

Она нашла руками затвердевшие мускулы и стала растирать и разминать их.

— Очень прошу тебя, держись подальше, — выдавил он сквозь стиснутые зубы. — Дай мне отлежаться. Я поработаю суставами, и все пройдет. Я знаю, что нужно делать.

Она отпустила его, но осталась рядом, по-прежнему держась в воде стоя и стараясь понять по его лицу, помогает ли ему эта гимнастика. Он же нарочно стал сгибать суставы и напрягать мускулы так, чтобы усилить судорогу. Когда это с ним случилось в прошлом году, он научился, лежа в постели с книгой, расслаблять мускулы

и успокаивать судорогу, даже не отрываясь от чтения. Теперь он проделывал как раз обратные движения и со страхом и радостью почувствовал, что судорога, усилившись, перекинулась в правую икру. Он громко вскрикнул, сделал вид, что растерялся, попробовал высунуться из воды и исчез под набежавшей волной.

Он всплыл, отфыркался и лег на спину, раскинув руки, и тут сильные маленькие пальцы Иды крепко взялись за его икру.

— Не беда, — сказала она, энергично работая. — Такие судороги никогда не длятся очень долго.

— Я и не знал, что они бывают такие сильные, — простонал он. — Только бы не поднялись выше! Чувствуешь себя таким беспомощным.

Вдруг он вцепился ей руками в плечи, как утопающий вцепляется в весло, пытаясь на него взобраться, и под его тяжестью она погрузилась в воду. За то время, что он не давал ей вырваться, с нее смыло резиновый чепчик, шпильки выпали, и когда она, тяжело дыша, всплыла, наконец, на поверхность, мокрые распустившиеся волосы облепили ей все лицо. Он был уверен, что от неожиданности она порядком хлебнула морской воды.

— Уходи! — предостерег он ее и снова раскинул

руки в притворном отчаянии.

Но пальцы ее уже снова нащупали больную икру, и не видно было, чтобы она испытывала колебания или страх.

— Выше пошло, — проговорил он с усилием, едва сдерживая стон.

Он напряг всю правую ногу, и настоящая судорога в икре усилилась, а мышцы бедра послушно затвердели, как будто их тоже свело.

Мозг его еще не освободился от действия опиума, так что он мог одновременно вести свою жестокую игру и с восторгом отмечать и силу воли, написанную на ее сразу осунувшемся лице, и смертельный ужас, затаившийся в глазах, и за всем этим — ее непоколебимый дух и твердую решимость.

Она явно не собиралась сдаваться, прячась за дешевую формулу: «Я умру с тобой вместе». Нет, к его великому восхищению, она спокойно приговаривала:

— Ничего. Погрузись поглубже, оставь над водой только рот. Голову я тебе поддержу. Это же не может продолжаться без конца. На суше никто еще не умирал от судорог. Значит, и в воде хороший пловец не может от них умереть. Дойдет до высшей точки и отпустит. Мы оба прекрасно

плаваем и не из пугливых…

Он зажмурился, точно от страшной боли, и утянул ее под воду. Но когда они всплыли, она была по-прежнему рядом с ним и по-прежнему, стоя в воде, поддерживала его голову и твердила:

— Успокойся. Расслабь мускулы. Голову я тебе держу. Потерпи. Сейчас пройдет. Не борись. Не напрягай сознание, тогда и тело не будет напряжено. Вспомни, как ты учил меня отдаваться течению.

Новая волна, исключительно высокая для такого слабого прибоя, нависла над ними, и Ли Бартон опять схватил жену за плечи и утянул под воду в ту минуту, как гребень волны закудрявился и рухнул.

— Прости, — пробормотал он сдавленным от боли голосом, едва сделав первый вдох. — И оставь меня. — Он говорил отрывисто, с мучительными паузами. — Не к чему нам обоим погибать. Мое дело дрянь. Сейчас боль пойдет еще выше, тогда уж у меня не хватит сил тебя отпустить. Прошу тебя, дорогая, оставь меня. Пусть уж я один умру. Тебе есть для чего жить.

Она поглядела на него с таким упреком, что в глазах ее не осталось и следа смертельного ужаса. Слова и те не могли бы яснее выразить ее ответ:

«Зачем же мне жить, если не для тебя».

Так, значит, он ей дороже, чем Санни! Бартон возликовал, но тут же вспомнил, как она обнималась с Санни в тени акаций, и решил, что еще мало помучил ее. Может быть, это выпитый опиум подстрекал его к такой жестокости. Раз уж он затеял это испытание, нашептывал маковый сок, пусть доводит его до конца.

Он подтянул колени, ушел под воду, всплыл и сделал вид, что отчаянно старается вытянуть ноги. Она все время держалась с ним рядом.

— Нет, не могу! — громко простонал он. — Дело дрянь. Ничего не выйдет. Тебе меня не спасти. Спасайся сама, пока не поздно.

Но она не отставала, она поворачивала его голову, чтобы вода не попала в рот, и приговаривала:

— Ничего, ничего. Хуже не будет. Потерпи еще чуточку, сейчас начнет проходить.

Он вскрикнул, скорчился, схватил ее и увлек под воду. На этот раз он чуть не утопил ее, так хорошо ему удалось разыграть эту сцену. Но она ни на секунду не растерялась, не поддалась страху неминуемой смерти. Едва высунув голову из воды, она старалась поддержать его и, задыхаясь, все шептала ему слова ободрения:

— Успокойся… успокойся… расслабь мускулы…

Вот увидишь… сейчас станет лучше… Пусть больно… ничего… сейчас пройдет… уже проходит, да?

А он снова и снова тянул ее ко дну, все грубее хватал ее, заставляя еще и еще глотать соленую воду, в глубине души уверенный, что это не может серьезно ей повредить. На короткие мгновения они всплывали на залитую солнцем поверхность океана и снова скрывались, и кудрявые гребни волн перекатывались через них.

Она упорно боролась, вырываясь из его цепких пальцев но, когда он отпускал ее, не делала попыток отплыть подальше: силы ее убывали, сознание мутилось, но всякий раз она снова старалась спасти его. Наконец, рассудив, что пора кончать, он стал спокойнее, разжал руки и растянулся на воде.

Он испустил долгий блаженный вздох и заговорил, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание:

— Проходит. Какое счастье! Ох, дорогая, я здорово наглотался воды, но сейчас, когда нет этой ужасной боли, я чувствую себя, как в раю.

Она попыталась ответить, но не могла.

— Теперь мне хорошо, — повторил он. — Давай отдохнем. Ты тоже ляг, чтобы отдышаться.

И, лежа рядом на спине, они полчаса отдыхали

на волнах кроткого прибоя Канака. Первой, оправившись, заговорила Ида Бартон.

— Ну как ты себя чувствуешь, мой дорогой? — спросила она.

— Так, как будто по мне прошел паровой каток, — отвечал он. — А ты, моя бедняжка?

— А я чувствую, что я самая счастливая женщина на свете. Я так счастлива, что готова плакать, только не хочется. Ты меня ужасно напугал. Одно время мне казалось, что я могу тебя потерять.

У Ли Бартона радостно забилось сердце. Ни слова о том, что она сама могла погибнуть! Так вот она, подлинная, испытанная любовь, великая любовь, когда забываешь себя, помня только о любимом.

— А я — самый гордый человек на свете, — сказал он, — потому что моя жена — самая храбрая женщина на свете.

— Храбрая! — возмутилась она. — Я же тебя люблю. Я и не знала, как я тебя люблю, пока мне не показалось, что я тебя теряю. А теперь давай двинемся к берегу. Я хочу побыть с тобой вдвоем, чтобы ты обнял меня, а я тебе рассказала, как ты мне дорог и всегда будешь дорог.

Еще через полчаса они без единой передышки доплыли до берега и пошли к купальне по

твердому мокрому песку, среди публики, бездельничающей на пляже.

— Что это вы там делали? — окликнул их один из капитанов яхт-клуба. — Просто дурачились?

— Вот именно, — с улыбкой отвечала Ида Бартон.

— Вы же знаете, мы — типичные деревенские дурачки, — подтвердил ее муж.

А вечером, отказавшись от очередного приглашения, они сидели, обнявшись, в большом кресле у себя на балконе.

— Санни уезжает завтра в двенадцать часов, — сказала Ида, словно бы без всякой связи с предыдущим разговором. — Он едет в Малайю, посмотреть, как там поживает его Каучуковая и Леоная компания.

— А я и не слышал, что он покидает нас, — едва выговорил от удивления Ли.

— Я первая об этом узнала, — объяснила Ида. — Он сказал мне только вчера вечером.

— На балу?

Ида кивнула.

— Немножко неожиданно это получилось?

— Очень неожиданно. — Ида отодвинулась от мужа и выпрямилась в кресле. — Я хочу рассказать тебе про Санни. У меня никогда не было от

тебя настоящих тайн. Я не хотела тебе рассказывать. Но сегодня, в прибое Канака, я подумала, что, если мы погибнем, между нами останется что-то недосказанное.

Она замолчала, и Ли, предчувствуя, что последует дальше, не стал ей помогать, а только сжал ее пальцы.

— Санни… ну, он увлекся мной. — Голос ее дрогнул. — Ты, конечно, это заметил. И… и вчера вечером он просил меня уехать с ним. Но я совсем не в этом хотела покаяться…

Ли Бартон молча ждал.

— Я хотела покаяться в том, — продолжала она, — что я совсем на него не рассердилась. Мне было только очень грустно и очень жаль его. Все дело в том, что я и сама немножко… вернее, совсем не немножко, увлеклась им. Потому я вчера вечером и была к нему так снисходительна. Я ведь не дура. Я знала, что это случится. И мне — знаю, знаю, я слабая, тщеславная женщина,

— мне было приятно, что такой человек из-за меня потерял голову. Я его поощряла. Мне нет оправдания. Если б я его не поощряла, того, что было вчера, не случилось бы. Это не он, а я виновата, что он звал меня уехать. А я сказала — нет, это невозможно, а почему — ты сам понимаешь,

я и повторять не буду. Я обошлась с ним ласково, очень ласково. Я позволила ему обнять меня, не ушла от него и первый раз — потому что это был и самый, самый последний раз, — позволила ему поцеловать меня, а себе — ответить на его поцелуй. Я знаю, ты поймешь — это было прощание. Я ведь не любила Санни. И не люблю. Я всегда любила тебя, только тебя.

Она умолкла и в ту же минуту почувствовала, что рука мужа обхватила ее плечи и мягко притянула ее ближе.

— Да, ты доставила мне много тревожных минут, — признался он. — Я уже подумал было, что ты от меня уйдешь. И я… — Он запнулся, явно смущенный, потом, собравшись с духом, закончил: — Ты же знаешь, что ты для меня — единственная женщина. Ну и довольно.

Она нащупала у него в кармане спички и дала ему огня — закурить давно потухшую сигару.

— Да, — проговорил он сквозь окутавшее их облачко дыма, — зная тебя так, как я тебя знаю — всю до конца, — могу только сказать, что мне жаль Санни, очень жаль, он много потерял, но за себя я рад. И… еще одна вещь: через пять лет я что-то расскажу тебе, что-то очень интересное и смешное, про меня и про то, на какие глупости я

способен из-за тебя. Через пять лет. Подождешь?

— Подожду и пятьдесят лет, — вздохнула она и крепче прижалась к нему.

1917 г.

ДЖЕК ЛОНДОН
«ГОЛЛАНДСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
(СБОРНИК РАССКАЗОВ)

Голландская доблесть

— Эх, и везет же нам!

Гэс Лафи вытер руки и мрачно швырнул полотенце на камни. Он был вне себя от злости. Ему казалось, что день стал серым и тусклым, а яркое солнце померкло. Прозрачный горный воздух больше не бодрил и раннее утро не радовало.

— Эх, и везет же нам! — повторил Гэс, на этот раз явно для сведения своего товарища, деловито окунавшего голову в воды озера.

— Чего это ты так разворчался, между прочим? — Хэзэрд Ван-Дорн вопросительно повернул к нему намыленное лицо. Глаза его были зажмурены. — В чем это нам не везет?

— А ты погляди вон туда!-Гэс бросил мрачный взгляд в небо. — Какой-то пролаза нас опередил! Мы с тобой в дураках остались, вот в чем дело.

Хэзэрд на секунду приоткрыл глаза и увидел белый флаг, дерзко реявший на краю огромной, чуть не в милю высотой скалы, но тут же закрыл глаза и скривился. Гэс бросил ему полотенце и, не испытывая к Хэзэрду ни малейшего сочувствия, стал наблюдать, как тот стирает едкое мыло. Он был слишком расстроен, чтобы обращать внима-

ние на подобные мелочи. Хэзэрд застонал.

— Что, очень больно? — осведомился Гэс холодно и с таким видом, будто выполняет свой повседневный долг — осведомляться о состоянии товарища.

— Еще бы! — ответил страдалец. — А мыло и впрямь едкое. Я и сам это заметил.

— Мыло тут ни при чем. Вот в чем дело, — Хэзэрд открыл покрасневшие глаза и показал на невинный белый флажок. — Вот отчего больно.

Вместо ответа Гэс Лафи принялся разжигать костер и готовить завтрак. Его разочарование и досада были настолько глубоки, что он не мог заставить себя произнести ни слова, да и Хэзэрд, испытывавший те же чувства, ни разу не раскрыл рта, пока кормил лошадей, ни разу не потерся щекой об их выгнутые шеи, не погладил их гривы. Юноши были слепы к небывалым красотам Зеркального ,озера, раскинувшегося у их ног. А ведь пройди они всего какие-нибудь сто ярдов вдоль берега, они увидели бы восход солнца, повторенный девять раз; девять раз из-за девяти стоящих одна за другой вершин поднимался огненный круг и девять раз-загляни они в воды озера — они увидели бы там его ослепительное отражение. Но титаническое великолепие этого зрелища

их нисколько не трогало. Они чувствовали себя ограбленными — у них отняли главную приманку путешествия в Йоземитскую долину. Издавна лелеемый план покорения Полукупола рухнул, и поэтому они были слепы и нечувствительны ко всем красотам и чудесам здешней местности.

Полукупол вздымает свою заснежеяную главу на пять тысяч футов над уровнем Йоземитской долины. В названии этой гигантской скалы заключено ее точное и полное описание. Этот полукруглый купол, возвести который было бы под силу лишь циклопам, разрезан пополам так же аккуратно, как обычное яблоко. Вряд ли стоит упоминать о том, что от Купола осталась одна половина, — чем собственно и объясняется его название, — другая половина была снесена гигантским ледником в бурный ледниковый период. В те далекие времена одна из холодных рек прорыла широкое русло в толще скалы, из которого и образовалась Йоземитская долина. Но вернемся к Полукуполу. По его северо-восточному склону, если очень упорно карабкаться кружными тропами, можно добраться до Седла. Седло лежит на склоне Купола как гигантская плита, от верхнего края его вздымается крутая дуга в тысячу футов длиной, доходящая до вер-

шины Купола. Дуга эта, почти непреодолимая, уже в течение многих лет бросает вызов всем искателям приключений, когда-либо мечтавшим взобраться на вершину Купола.

Однажды два сообразительных альпиниста начали сверлить в скале отверстия на расстоянии в несколько футов друг от друга и вколачивать в них железные крюки. Но когда они поднялись на три сотни футов над Седлом и повисли, прильнув, как мухи, к ненадежной стене, по обе стороны которой зияла пропасть, нервы их сдали и они отступились. Лишь некоему неукротимому шотландцу по имени Джордж Андерсен удалось совершить этот подвиг. Начав работу там, где кончили его предшественники, он принялся сверлить отверстия в скале. Он сверлил и карабкался целую неделю, ступил наконец на грозную вершину и окинул оттуда взглядом ущелье, где чуть не в миле от него раскинулось Зеркальное озеро.

Многие потом пользовались оставленной им веревочной лестницей, но в одну снежную зиму и лестница, и веревки, и все прочее было снесено обвалом. Большинство крюков, правда, сильно покореженных и искривленных, все же устояло. Однако с тех пор лишь немногие храбрецы

отваживались на это рискованное предприятие. Не один из них расстался с жизнью на этой предательской вершине, но ни один из них ее не покорил. Однако Гэс Лафи и Хэзэрд Ван-Дорн покинули приветливые равнины Калифорнии и приехали в гористую Сиерру с твердым намерением испытать настоящие приключения. Вот почему они так огорчились, когда, пробудившись утром ото сна, увидели белый флажок, извещавший о том, что их опередили.

— Видно, раскинул лагерь у подножья Седла прошлой ночью, а взобрался туда на рассвете, — решился наконец прервать молчание Хэзэрд уже много времени спустя после того, как они съели завтрак и помыли посуду.

Гэс кивнул. Молодости несвойственно долго предаваться унынию, и он поддержал разговор.

— Небось, теперь уже спустился, валяется в лагере и чувствует себя этаким Александром Македонским, — продолжал Хэзэрд.-Да и кто его за это упрекнет? Только хотелось бы мне, чтобы мы пришли туда первыми.

— Он наверняка спустился. — заговорил наконец Гэс.-Там, должно быть, жутко жарко, тем более что солнце в это время года палит нещадно. Ведь и мы— помнишь?-собирались начать

восхождение как можно раньше, с тем чтобы пораньше спуститься. Да и у любого, у кого достало ума добраться до вершины, должно достать здравого смысла спуститься прежде, чем скала накалится, а сам он взмокнет от пота.

— А башмаков он с собой не брал, это точно. — Хэзэрд повернулся на спину и принялся лениво рассматривать белое пятнышко флага, бодро развевающегося на краю пропасти.

— Погоди-ка! — Он резко поднялся. — Что бы это могло означать?

С вершины Полукупола кто-то пустил на них зайчик, за ним второй, третий. Гэс и Хэзэрд в волнении уставились на вершину Полукупола.

— Вот олух! — завопил Гэс. — И чего он не спустился, пока было прохладно?

Хэзэрд медленно покачал головой в знак того, что вопрос слишком сложен, чтобы ответить на него сразу, и что с суждениями по этому поводу лучше повременить.

Сигналы не прекращались. Юноши вскоре заметили, что они следуют через равные промежутки времени, а порой и вовсе пропадают. Они были то долгими, то короткими, неожиданно появлялись и так же неожиданно исчезали, а иногда прекращались на несколько секунд кряду.

— Догадался! — Хэзэрда осенила идея. — Догадался! Этот парень, там, наверху, пытается нам что-то сообщить. Он посылает сигналы карманным зеркальцем: точка, тире, точка, тире, — понимаешь? Тут и Гэс все понял.

— Знаю, знаю. Так сигналили в войну. Это гелиограф, правильно? То же, что телеграф, только беспроволочный. И сигналят так же: точка, тире.

— Ну да, пользуются азбукой Морзе. Хотелось бы мне ее знать.

— И мне тоже. Этому парню наверняка что-то нужно нам сообщить, иначе чего ради он стал бы затевать эту возню.

Сигналы следовали один за другим с неослабевающим упорством до тех пор, пока Гэс не закричал:

— Этот парень попал в беду, вот в чем дело! Скорее всего он расшибся или с ним еще что-нибудь произошло!

— Еще чего придумаешь? — насмешливо спросил Хэзэрд.

Гэс вынул ружье и три раза подряд разрядил оба ствола. Не успело замолкнуть эхо, как им ответила целая вереница сигналов. Смысл сигналов был настолько очевиден, что даже недоверчивый Хэзэрд убедился: опередившему их альпинисту

грозит серьезная опасность.

— Собирайся, Гэс, — закричал он, — а я займусь лошадьми. В конце концов наше путешествие оказалось не таким уж бесполезным! Теперь нам придется взобраться на Полукупол хотя бы для того, чтобы выручить этого парня! Где карта? Как нам добраться до Седла?

— «Конской тропой, что идет ниже Вернальских водопадов, — читал Гэс путеводитель, — турист, преодолев энергичным шагом милю пути, попадет к знаменитому Невадскому водопаду. Неподалеку от него возвышается во всей своей величавой красе Чаша Свободы».

— Пропусти эту чепуху, — нетерпеливо прервал его Хэзэрд. — Тропа-вот, что нас сейчас интересует.

— Ага, вот оно где! «Следуя по тропе вдоль водопада, вы попадете к развилке. Левая дорога приведет вас к Малой Поземитской долине, Убежищу облаков и прочим достопримечательностям».

— Стоп! Это нам подходит. Я нашел этот маршрут по карте,-снова прервал его Хэзэрд.-От Убежища облаков к Полукуполу отходит пунктирная линия. Значит, тропинка заброшена. Придется изрядно потрудиться, чтобы ее разыскать. На это

уйдет день пути.

— Подумать только, что нам придется проделать такой путь, когда мы у самого подножья Купола,-жалобно сказал Гэс, глядя на вершину.

— В Иоземитской долине — это не редкость, так что давай поторапливайся. Собирайся, да поживее!

Привычные к походной жизни юноши всего за несколько минут погрузили свои пожитки на спины вьючных лошадей и сами вскочили в седла.

Лишь вечером, когда сгустились сумерки, они стреножили лошадей на горной лужайке у подножья Седла и принялись стряпать ужин, состоявший из кофе и грудинки. Сразу после ужина они разыскали неподалеку от своей стоянки лагерь злополучного незнакомца, обреченного провести эту ночь на крыше Купола, и только тогда, закутавшись в одеяла, легли спать.

Рассвет уже уступил место дню, когда юноши запыхавшись опустились на землю неподалеку от вершины Седла и принялись стаскивать башмаки. Когда они взглянули вниз, им показалось, что они находятся па крыше мира: даже снежные короны пиков Сиерры лежали где-то далеко под ними. По одну сторону-в полумиле от них

— раскинулась Малая Иоземитская долина, по другую — в миле

— Большая Иоземитская. Лучи солнца начинали припекать двух искателей приключений, но пропасть все еще окутывала ночная тьма. А над ними, купаясь в свете дня, вздымалась величественная окружность Купола.

— А что это? Для чего она тебе понадобилась? — спросил Гэс, указывая на фляжку в кожаном чехле, которую Хэзэрд засовывал в нагрудный карман.

— Для храбрости, разумеется,-последовал ответ. — Нам тут потребуется все наше мужество и еще немного сверх того. А вот это, — он многозначительно постучал по фляжке, — и обеспечит нам то, что требуется сверх.

— Неплохая мысль, — заметил Гэс. Трудно сказать, как они пришли к этой мысли, но они были молоды, и им предстояло разрезать еще немало страниц не присоединишься. Готов?

— Да!

Гэс проворно пополз на четвереньках, цепко, как кошка, хватаясь за землю. По мере того, как Гэс продвигался, Хэзэрд осторожно отпускал веревку. Сначала Гэс двигался довольно быстро, но постепенно стал выдыхаться. Ему оставалось

пятнадцать футов до крюка,-десять,-восемь, но теперь он двигался все медленнее и медленнее. Хэзэрд, следивший за ним из расщелины, сначала недоумевал, потом стал негодовать. Ведь дело-то было проще простого! Теперь Гэс был в пяти футах от крюка, еще одно мучительное усилие — и он в четырех футах. Но когда промежуток сократился до трех футов, он замер на месте. И даже не замер, а, подобно белке в колесе, удерживался на месте, лишь отчаянно цепляясь за скалу.

Попытка не удалась. Это было очевидно. Ему оставалось одно-спасаться. Он мгновенно перевернулся на спину, уперся пяткой в крошечное, не больше блюдца, углубление и сел. Мужество покинуло его. Лучи солнца проникли наконец в долину, и Гэса потрясла ужасающая глубина бездны.

— Лезь вперед, хватайся за крюк!-крикнул Хэзэрд, но Гэс лишь подкачал головой.-Не можешь? Тогда спускайся. И снова Гэс покачал головой.

На его долю выпало тяжелое испытание — сидеть на краю пропасти, рискуя каждую минуту свалиться. Но и Хэзэрду, который сейчас лежал в полной безопасности в расщелине, тоже предстояло выдержать испытание, хотя и несколько другого рода. Когда Гэс начнет сползать — а он

вот-вот начнет — не увлечет ли Гэс за собой при падении Хэзэрда, удастся ли ему удержаться на месте? Вряд ли. Вот он лежит, казалось бы, в полной безопасности, а ведь на самом деле он обречен на смерть. И тут началось искушение. Почему бы ему не отвязать веревку? Тогда он в любом случае будет спасен. Это самый простой выход из положения. Кому нужно, чтобы погибли два человека там, где может погибнуть только один. Но фамильная гордость, честь и чувство собственного достоинства помогли ему преодолеть искушение. Он так и не отвязал веревку.

— Спускайся! — приказал Хэзэрд, но Гэс словно окаменел. — Спускайся, не то я стащу тебя вниз, — пригрозил он и подергал веревку, чтобы показать, что не шутит.

— Не смей! — прошипел Гэс сквозь стиснутые зубы.

— Еще как посмею, если не спустишься! — Хэзэрд снова потянул за веревку.

Всхлипнув, Гэс начал спускаться, стараясь изо всех сил держаться подальше от пропасти. Хэзэрд — постоянно настороже — ловко и споро выбирал конец веревки, наслаждаясь своим хладнокровием. Когда веревка стала натягиваться, он постарался понадежнее укрепиться

в расщелине. Рывок чуть не вытащил его, но он все же удержался на месте и очутился в центре полукруга, который Гэс, с веревкой в качестве радиуса, описал, приземлившись на самом краю южного выступа Седла. Через несколько секунд Хэзэрд протягивал ему флягу.

— Глотни сначала сам, — сказал Гэс. — Нет, ты. Мне уже не хочется.

— Да и мне что-то не хочется. — Видно, Гэс не очень верил в магические свойства бутылки. Хэзэрд спрятал бутылку в карман. — Ты продолжаешь игру, — спросил он, — или отступишься?

— Ни за что, — запротестовал Гэс, — не отступлюсь. В роду Лафи трусов еще не было. Если я и сплоховал там, наверху, так только на секунду: на меня нашло что-то вроде морской болезни. А теперь я пришел в себя и доберусь до самой вершины.

— Ладно,-сказал Хэзэрд.-Только теперь ты оставайся в расщелине, а я тебе покажу, как это делается.

Но Гэс отказался. Он считал, что ему с его ста шестнадцатью фунтами веса гораздо легче вскарабкаться на ровную скалу, чем Хэзэрду, который весил сто шестьдесят пять фунтов, то что человек весом в сто шестьдесят пять фунтов скорее при-

остановит падение человека в сто шестнадцать фунтов, чем наоборот. Да и помимо всего прочего, у него уже был кое-какой опыт. Хэзэрд внял уговорам с большой неохотой.

Вторая попытка увенчалась успехом — видно, Гэс не зря так уверовал в себя. Какой-то миг, правда, казалось, что его первая неудача повторится, но он напоследок поднатужился и ухватился за крюк, к которому так долго стремился. Хэзэрд по веревке быстро присоединился к нему. Следующий крюк был на расстоянии шестидесяти футов, но чуть не половину из них занимала неглубокая борозда, прорытая ледником еще в незапамятные времена. Без особого труда преодолев ее, Гэс закинул лассо на крюк. Теперь им казалось, — да так оно и было на самом деле, — что самая трудная часть пути осталась позади. Правда, склон в этом месте вздымался еще круче, зато почти все крюки тут уцелели — они располагались па расстоянии шести футов друг от друга, как будто были вбиты специально для юношей и только их и ждали. Даже лассо не понадобилось. Теперь им казалось детской забавой, стоя на одном крюке, забрасывать петлю на другой — и подтягиваться к нему по веревке. Бородатый, бронзовый от загара человек встретил их на вершине и горячо

пожал им руки.

— А еще восхваляют разные там Монбланы!- воскликнул он и прервал свою речь, чтобы еще раз полюбоваться величественной панорамой. — Ведь нет ничего ни на земле, ни под землей, что могло бы сравниться с этим зрелищем.

Тут он спохватился и кинулся благодарить их. Нет, нет, он не расшибся и не поранился. Просто, забравшись на вершину, он по беспечности тут же выпустил из рук веревку, ну, а без нее опуститься невозможно. Они поняли его сигналы? Нет? Неужели? Тогда как же они…

— Мы поняли, что произошла беда, — прервал его Гэс, — по тому, как отчаянно вы стали сигналить, когда мы дали залп.

— Вы, должно быть, промерзли здесь ночью без одеял? — спросил Хэзэрд.

— Еще бы! Я до сих пор не отогрелся. — А ну-ка отхлебните, — сунул Гэс ему фляжку. Незнакомец посмотрел на него внимательно, потом сказал:

— Видите этот ряд крюков, милый юноша? Раз уж я всерьез намереваюсь как можно скорее спуститься по ним, я вынужден отклонить ваше предложение. Очень вам за него благодарен, но принять его никак не могу.

Хэзэрд взглянул на Гэса и сунул фляжку обратно

в карман. Но когда они пропустили сложенную вдвое веревку через последний крюк и спустились на Седло, он снова .вытащил фляжку.

— А теперь, когда мы спустились, она нам и вовсе не понадобится, — произнес он решительно. — Да и вообще я пришел к выводу, что пить для храбрости не стоит. — Он взглянул на величественную вершину Купола.-Посмотрите, куда мы забрались без помощи бутылки.

Вскоре туристы, гулявшие по берегу Зеркального озера, стали свидетелями удивительного явления природы-фляжка с виски, кометой пронесшись по небу, свалилась прямо на них. Возвращаясь в свой отель, они только и разговаривали, что о чудесах природы, в частности о метеоритах.

Тайфун у берегов Японии

На утренней вахте пробили четыре склянки. Мы только что кончили завтракать, когда на бак поступило приказание вахтенным привести судно к ветру и лечь в дрейф, а всей остальной команде приготовиться к спуску шлюпок.

— Лево руля! Лево на борт! — крикнул штурман. — Марселя на гитовы! Бомкливер долой! Вынести кливер на ветер и опустить фок!

И вот наша шхуна «Софи Сезерлэнд» 10 апреля 1893 года легла в дрейф у берегов Японии, вблизи мыса Эримо.

Потом наступили минуты спешки и суматохи. На шесть шлюпок пришлось восемнадцать человек. Одни взялись за лопари талей, другие отдавали найтовы; появились рулевые со шлюпочными компасами и анкерками с водой и гребцы с запасами провизии. Охотники, пошатываясь, волокли на себе по два-три дробовика, винтовку и тяжелый ящик с боеприпасами. Все это вместе с дождевиками и рукавицами вскоре было погружено в шлюпки.

Штурман отдал последние приказания, и мы на трех парах весел рванулись вперед занять

предназначенное нам место. Мы находились в наветренной шлюпке, поэтому и гребки должны были делать длиннее, чем на остальных шлюпках. На первой, второй и третьей подветренных шлюпках вскоре поставили паруса, и они, пользуясь боковым ветром, пошли к югу и к западу. Шхуна продолжала идти, держась с подветренной стороны от шлюпок, чтобы в случае нужды мы могли бы располагать попутным ветром для возвращения на судно.

Утро было великолепным, но наш рулевой, взглянув на восходящее солнце, опасливо покачал головой и многозначительно пробормотал: «Красно солнце поутру моряку не по нутру». И правда, солнце выглядело таким зловещим, что несколько резвившихся в небе легких кудрявых облаков, словно испугавшись его, куда-то поспешно скрылись.

На севере, подобно огромному чудовищу, вздымающемуся из пучины морской, высилась грозная черная вершина мыса Эримо. Зимний снег, еще не совсем растаявший под лучами весеннего солнца, покрывал ее большими блестящими заплатами, над которыми по пути к морю проносился легкий ветер. Трепеща крыльями, медленно взмывали вверх навстречу

легкому бризу огромные чайки, но им нелегко было оторваться от воды, и еще с полмили касались поверхности волн их перепончатые лапы. Едва смолк вдали их гомон, как над водой появилась стая морских перепелов. Со свистом рассекая крыльями .воздух, они полетели туда, где развлекалась стая китов, тяжелое дыхание которых напоминало выхлоп парового двигателя. Хриплые, неприятные для слуха крики морского попугая встревожили нескольких котиков из той маленькой стаи, что шла впереди нас. Они умчались вдаль, делая по дороге такие прыжки и куль-биты, что почти целиком оказывались над водой. Медленно взмахивая крыльями, величественно парила над нами морская чайка, а на полубак, словно напоминая нам о родине, нахально уселся маленький английский воробей и, склонив набок голову, весело зачирикал. Шлюпки вскоре ворвались в самую гущу стаи котиков, и со всех сторон послышались выстрелы.

Ветер понемногу крепчал, и в три часа, когда, подняв на борт уже с десяток котиков, мы раздумывали над тем, продолжать ли охоту или идти обратно, на бизань-мачте шхуны подняли сигнал к возвращению. Это был верный признак того, что с усилением ветра начал падать барометр и

что наш штурман тревожится за судьбу шлюпок.

Мы пошли на фордевинд, взяв на нашем парусе один риф. Стиснув зубы, сидел наш рулевой, крепко сжимая в руках кормовое весло, и попеременно бросал беспокойный взгляд то на шхуну, когда мы поднимались на гребень волны, то на гроташкот, а то и «а корму, где вздымаемая ветром темная рябь возвещала о приближении шквала или увенчанной шапкой пены целой лавины воды, которая грозила сокрушить нас. Веселым хороводом неслись в бешеной пляске высокие волны, выделывая самые причудливые фигуры и ожесточенно преследуя нас со всех сторон, пока какой-нибудь громадный вал ярко-зеленого цвета с молочно-белым гребнем не поднимался с трепещущей груди океана и не прогонял их прочь. Но через секунду они вновь появлялись, вытягиваясь и приседая по-новому. Они метались на солнечной дорожке, где волны, большие и малые, капли и брызги походили на расплавленное серебро, а вода теряла свой темно-зеленый цвет и превращалась в сверкающий поток только для того, чтобы тотчас же исчезнуть в бесконечном просторе угрюмой, непокорной стихии, грозные, темные волны которой вздымались вверх, разбивались и снова катились вдаль. Однако все это

движение, сверкание и серебряный блеск вскоре исчезли вместе с солнцем, которое скрылось за тучами, мчавшимися по небу от вест-норд-веста-предвестниками грядущего тайфуна.

Мы быстро добрались до шхуны, но на борт нас приняли последними. Через несколько минут с котиков были сняты шкуры, шлюпки и палубы вымыты, и мы, умывшись и переодевшись в сухое платье, сидели внизу в теплом кубрике, где нас ждал обильный горячий ужин. На шхуне поставили все паруса, так как нам предстояло пройти до утра семьдесят пять миль к югу, чтобы вновь очутиться возле лежбища котиков, от которых мы отстали за последние два дня.

Мы несли первую вахту с восьми вечера до полуночи. Ветер вскоре почти достиг силы шторма, и наш штурман, по-видимому, вовсе не собирался спать этой ночью, так как непрестанно ходил взад и вперед по палубе. Через некоторое время марсели были взяты на гитовы и закреплены, а затем спущен и свернут и бом-кливер. Волнение на море стало нешуточным: волны перехлестывали через палубу, заливали ее и угрожали смыть шлюпки. Когда пробили шесть склянок, нам было приказано перевернуть шлюпки и наложить на них штормовые найтовы. Этим мы занимались,

пока не пробили восемь склянок — нас сменила ночная вахта. Я сошел вниз последним и видел, как вахтенные на палубе начали крепить бизань. В кубрике все уже спали, за исключением нашего новичка — «каменщика», погибавшего от чахотки. Бешено раскачивающийся фонарь освещал кубрик бледным, дрожащим светом, превращая в золотистый мед капли воды на желтых дождевиках. Во всех углах, казалось, появлялись и исчезали черные тени, тогда как наверху, в самой носовой оконечности судна, позади оснований битенгов, спускавшихся от верхней палубы до нижней, где эти тени таились в засаде, подобно сказочному дракону у входа в пещеру, было черно, как в преисподней. Время от времени, когда шхуну качало сильнее обычного, свет, казалось, на мгновение проникал туда, чтобы тотчас же исчезнуть, и на носу становилось еще темнее и чернее, чем прежде. Рев ветра в снастях доносился до слуха приглушенно, как отдаленный грохот пересекающего эстакаду поезда или рокот набегающего на гальку прибоя. Зато волны с такой силой били в наветренный борт судна, что, казалось, разрывали бимсы и обшивку в клочья. Скрип и стоны шпангоутов, пиллерсов и переборок — такое напряжение испытывало судно

— заглушали стоны умирающего, тревожно метавшегося на своей койке. Попытки фок-мачты вырваться из тисков палубных бимсов вызывали ливень водяной пыли, а вздохи ее пропадали в неистовстве шторма. Небольшие каскады воды струились по основаниям битенгов и, мешаясь с ручьями, стекавшими с мокрых дождевиков, бежали по нижней палубе, исчезая в главном трюме.

Когда пробили две склянки ночной вахты — или, если говорить так, как говорят на суше, пробил час ночи, на баке загремела команда: «Все наверх! Убавить парусов!»

Соскочив с коек, сонные матросы кое-как напялили одежду, дождевики и морские сапоги и выскочили на палубу. Обычно, когда такое приказание приходится выполнять в холодную штормовую ночь, «Джек» угрюмо ворчит: «Кто не хотел бы продать ферму и уйти в море?»

Только на палубе, особенно после того как пришлось покинуть душный кубрик, по-настоящему чувствовалась сила ветра. Он, казалось, стоял стеной, не позволяя ни двигаться по уходящей из-под ног палубе, ни даже, когда налетали особенно свирепые порывы, дышать. Шхуна шла под кливером, фоком и гротом. Мы быстро спустили

фок. Ночь была темной, и это порядком затрудняло нашу работу. Тем не менее, хотя свет луны и звезд не мог проникнуть сквозь толщу гонимых ветром штормовых облаков, природа отчасти сама помогала нам. Мягкий блеск исходил от поверхности океана. Каждый могучий вал, весь фосфоресцирующий и пылающий крошечными огоньками мириадов микроскопических животных, грозил обрушить на нас ливень огня. Все выше и выше, все тоньше и тоньше становился гребень волны по мере того, как она начинала изгибаться, готовясь к прыжку, а потом с грохотом обрушивалась через фальшборт массой мягкого сияния и тонн воды, которые сбивали матросов с ног, разбрасывая их в стороны, и оставляли в каждой щели, в каждой трещине дрожащие пятнышки огня, горящие до тех пор, пока их не смывала очередная волна, оставляя на их месте новые. Иногда несколько валов, один за другим, с лихорадочной поспешностью обрушивались на палубу, заполняя ее водой по самый фальшборт и тотчас исчезая через подветренные шпигаты.

Чтобы зарифить грот, мы были вынуждены спуститься под ветер и идти с попутным штормом под одним зарифленным кливером. К тому времени, когда этот маневр был завершен, ветер

усилился настолько, что судно .не могло лечь в дрейф. И мы полетели на крыльях шторма сквозь тьму и водяную пыль. Ветер заходил то с правого, то с левого борта, а один раз огромный вал ударил в корму шхуны, чуть не развернув ее к ветру. Когда наступил рассвет, мы убрали кливер, не оставив таким образом на судне ни одного поднятого паруса. Поскольку мы шли с попутным ветром, шхуна перестала принимать на себя воду носом, однако в средней части судна волны чередовались с лихорадочной поспешностью. Это был шторм без дождя, но сильный ветер наполнял воздух водяной пылью, которая поднималась на высоту салинга и резала лицо, словно ножом, сокращая видимость до сотни ярдов. Море стало темно-свинцовым; оно медленно перекатывалось длинными величественными валами, вершины которых ветер обращал в горы пены. Рыскание шхуны под порывами ветра увеличилось. Она то почти останавливалась, будто ей предстоял подъем на гору, то, поднявшись на гребень волны, кренилась вправо и влево, а потом выпрямлялась и замирала, словно испугавшись открывшейся перед ней зияющей бездны. Подобно лавине, устремлялась она вперед, когда море с кормы обрушивалось на нее силой тысячи

стенобитных орудий, зарываясь носом по катбалки в молочную пену, которая лезла на палубу со всех сторон: с носа, с кормы, через якорные клюзы и через поручни.

Наконец ветер начал падать, и к десяти часам мы заговорили о том, чтобы привести судно к ветру. Мы миновали один большой парусник, две шхуны и четырехмачтовую баркентину и в одиннадцать часов, поставив спенкер и кливер, легли в дрейф, а еще через час мы снова лавировали против волны под всеми парусами, возвращаясь на запад, к тому месту, где находились котики.

Внизу двое матросов зашивали в парусину тело «каменщика», готовясь похоронить его по морскому обычаю. Так, вместе со штормом ушел из жизни «каменщик».

Исчезнувший браконьер

— Они и слушать нас не будут. Нарушили границу — и все. Заберут нас и отправят на соляные копи. А дядя Сэм — как он об этом узнает? До Штатов ничего не дойдет. В газетах напишут: «Мэри Томас» исчезла со всем ее экипажем. Вероятно, попала в тайфун в Японском море». Вот что скажут газеты и люди. А нас отправят в Сибирь, на соляные копи. И хотя бы мы прожили еще пятьдесят лет, для всего мира, для родных и знакомых мы будем похоронены.

Так расценивал положение Джон Льюис, по прозвищу «Морской законник».

В кубрике «Мэри Томас» обсуждался важный вопрос. Разговор начали подвахтенные. Матросы, несшие вахту, спустились к ним с палубы. В такую безветренную погоду всем, кроме разве рулевого — да и того удерживала на месте только дисциплина, — делать было нечего. Даже юнга, «Малыш» Рассел, пробрался вперед послушать, о чем идет речь.

Судя по мрачным лицам моряков, положение было серьезным. Три месяца зверобойная шхуна «Мэри Томас» охотилась на котиков вдоль

берегов Японии и севернее, в Беринговом море. Однако у азиатских берегов она вынуждена была прекратить охоту; здесь, в запретных водах, патрулировали русские крейсера, и котики могли спокойно выводить своих детенышей.

Неделю назад начался штиль; шхуна попала в полосу густого тумана, который никак не рассеивался. Ветер был такой слабый, что едва поднимал легкую рябь на воде. Это само по себе было не так плохо, потому что зверобойные шхуны никогда не спешат, пока кругом котики; но беда заключалась в том, что проходившее в этом месте сильное течение относило «Мэри Томас» к северу. Таким образом, она пересекла границу и с каждым часом все дальше и дальше проникала в опасные воды, охраняемые русским медведем.

Никто не знал, как далеко отнесло шхуну. В течение всей недели не было видно ни солнца, ни звезд, и капитан не имел возможности провести необходимые наблюдения, чтобы определить местонахождение шхуны. В любой момент мог нагрянуть крейсер, и тогда команде не спастись от Сибири. Матросам «Мэри Томас» была хорошо известна судьба многих браконьеров, и их лица были мрачными не без причины.

— Ну, фройнде — громко сказал немец, рулевой

одной из шлюпок, — швах дело. У нас такой улов, и все добыто честно, и на тебе: теперь на нас нападают русские, забирают наши шкуры и шхуну, а нас отправляют в Сибирь цу ден анархистен. Хорошенькое дельце!

— Да, не повезло, — продолжал Законник. — Полторы тысячи шкур, добытых честно и благородно, всем нам причитается по круглой сумме — и вместо этого попасть в плен и все потерять! Другое дело, если бы мы были браконьеры, а то ведь это все честная работа в открытом море.

— Но раз мы ни в чем не виноваты, они нам не могут ничего сделать, правда? — осведомился юнга.

— По-моему, такому мальцу, как ты, совсем не след толкаться там, где разговаривают старшие, — оборвал его со своей койки матрос-англичанин.

— Не трогай Малыша, Джек, — заметил Законник. — Это и его касается. Разве его жалованье не прогорит так же, как наше?

— За это жалованье я теперь и гроша ломаного не дам! — фыркнул Джек.

Он рассчитывал после получки поехать домой, в Челси, повидаться с семьей, и ему становилось не по себе при мысли о том, что он может лишить-

ся не только заработанных денег, но и свободы.

— А как они узнают? — переспросил Законник, отвечая на вопрос Малыша. — Мы находимся в запретных водах. Откуда им знать, что мы прибыли сюда не по своей воле? Мы здесь, в трюме у нас полторы тысячи шкур. Им ведь неизвестно, где мы их добыли: в открытом море или в территориальных водах! Видишь, Малыш, все факты против нас. Скажем, поймаешь ты парня с полными карманами яблок — точь-в-точь таких, что растут на твоей яблоне, да еще поймаешь его на этой самой яблоне, и пусть этот малый тебе скажет, что, мол, он попал туда не нарочно, что сам не знает, как его туда занесло, и уж во всяком случае, эти яблоки попали к нему с другого дерева, что ты тогда подумаешь, а?

После такого объяснения Малышу стало все ясно, и он уныло покачал головой.

— Уж лучше умереть, чем попасть в Сибирь,- сказал один из гребцов. — Повезут тебя на соляные копи, и будешь там работать до тех пор, пока не подохнешь. И никогда не увидишь дневного света! Рассказывают, как одного парня приковали к напарнику, а тот взял да умер. А они ведь были наглухо прикованы друг к другу! А кого пошлют на ртутные копи, тот изойдет слюной. Пусть луч-

ше повесят, только бы не изойти слюной.

— А отчего это идет слюна? — спросил Джек, который, услышав о новой опасности, приподнялся со своей койки.

— Да оттого, что ртуть попадает в кровь, вроде так. Десны распухают, как от цинги, только еще хуже, и зубы начинают шататься. А потом человек покрывается страшными язвами и умирает ужасной смертью. Любой силач недолго протянет в ртутных рудниках.

— Швах дело, — печально прозвучали в наступившей тишине слова рулевого, — дело швах. Вот бы попасть в Иокогаму. А? Что это такое?

Шхуна внезапно накренилась. По палубе со стуком и грохотом покатилась оловянная кружка. Наверху захлопали паруса и резко защелкала задняя шкаторина слабо натянутого фока. До матросов донесся голос старшего помощника капитана: — Все наверх, паруса ставить!

Никогда подобное приказание не исполнялось с большим энтузиазмом, чем сейчас. Штиль кончился, подул ветер. Уж он-то отнесет их на юг, в безопасное место. С радостными возгласами все выскочили на палубу. Пока они работали, туман рассеялся, и взорам открылся темный небосвод, усыпанный знакомыми звездами. Когда все было

в полном порядке, «Мэри Томас», повернувшись боком к ветру, устремилась вперед, на юг.

— Впереди, слева по носу огни парохода, сэр! — взволнованно закричал вахтенный со своего поста на баке.

Капитан послал Малыша вниз за ночным биноклем. Все столпились у подветренного борта, чтобы рассмотреть подозрительное судно, очертания которого уже начали смутно вырисовываться. Лишь один шанс из тысячи был за то, что они встретят в этих пустынных водах какое-нибудь другое судно, кроме русского патруля. Капитан все еще с беспокойством смотрел в бинокль, когда на неизвестном судне показалась вспышка, за которой последовал громкий звук пушечного выстрела. Самые худшие опасения подтвердились. Это было патрульное судно, выстрелившее по направлению носовой части «Мэри Томас», очевидно, чтобы заставить ее остановиться.

— Руль под ветер, — приказал капитан рулевому упавшим голосом. — Раздернуть фока— и кливер-шкоты!-скомандовал он.-Спустить бом-кливер! Взять на гитовы фортопсель! А теперь на корму, налегай на грота-шкот!

«Мэри Томас» пошла прямо против ветра,

сбавила скорость и остановилась, тяжело покачиваясь на больших волнах, катившихся с запада.

Крейсер подошел немного ближе. Молча, с замиранием сердца смотрели на него моряки. Они видели, как травили тали, спуская на воду большую белую шлюпку, в которую затем спрыгнули матросы. До них доносились скрип шлюпбалок и распоряжения офицеров. Рывок весел — шлюпка отвалила и направилась к шхуне. Ветер все крепчал, море было неспокойно, и хрупкое суденышко никак не могло лечь борт о борт с подбрасываемой на волнах шхуной; выждав момент, офицер и два матроса поднялись на судно при помощи брошенных им концов. Шлюпка отошла на безопасное расстояние, и матросы под командованием сидевшего на корме у румпеля молодого гардемарина осушили весла.

Офицер — судя по мундиру, это был лейтенант русского флота — зашел с капитаном «Мэри Томас» в каюту проверить судовые документы. Через несколько минут, когда он вышел, его матросы подняли крышку люка, и он спустился с фонарем в трюм осмотреть груз. Его взорам предстала груда в тысячу пятьсот великолепных свежих шкур — добыча целого сезона; при данных обстоятельствах офицер мог прийти только

к одному выводу.

Поднявшись на палубу, он обратился на ломаном английском языке к капитану «Мэри Томас»:

— Прошу меня извинить, но я обязан именем его величества задержать ваше судно, как браконьера, захваченного со свежими шкурами в наших территориальных водах. Вам, по-видимому, известно, что за это полагается конфискация груза и тюремное заключение.

Капитан с напускным равнодушием пожал плечами и отвернулся. Даже сильным людям — пусть внешне они держатся спокойно — порой хочется плакать от незаслуженных ударов судьбы. Ясно представив себе свой маленький дом в Калифорнии, жену и двух рыжеволосых мальчуганов, он почувствовал, что его горло как-то странно сжимается, и не стал говорить, боясь разрыдаться.

Кроме того, у него был долг перед матросами. Он не имел права выказывать слабость в их присутствии, потому что должен был являться для них опорой в беде. Он уже объяснился с лейтенантом и знал всю безнадежность положения. Как сказал Законник, все факты были против него. Поэтому он повернулся и стал шагать взад

и вперед по корме судна, на котором он больше не был командиром.

Теперь шхуной командовал русский офицер. Он велел еще нескольким из своих матросов подняться на судно, спустить все паруса и аккуратно их свернуть и закрепить. Пока выполнялись эти приказания, шлюпка, курсировавшая между двумя судами, подвезла тяжелый трос, который закрепили за большие буксирные кнехты на носовой части шхуны. Моряки шхуны стояли вокруг с мрачным видом. Только сумасшедший стал бы думать о сопротивлении, когда до пушек военного корабля было рукой подать; но они не хотели и помогать русским матросам и только угрюмо смотрели.

Сделав свое дело, лейтенант оставил четырех матросов на шхуне, а всем остальным велел вернуться в шлюпку. Теперь на борт поднялся гардемарин, юноша лет шестнадцати, казавшийся взрослым и величественным в своем мундире с кортиком; он принял командование захваченной шхуной. Лейтенант уже приготовился спускаться, как вдруг его взгляд случайно остановился на Малыше. Без всякого предупреждения он схватил его за плечо и велел спрыгнуть в ожидавшую шлюпку, а затем, сделав прощальный знак рукой,

сам последовал за мальчиком.

Не удивительно, что Малыш испугался. Все рассказы, которые он слышал о русских, вызывали в нем страх, и в эту минуту они ярко всплыли в его памяти. Попасть им в лапы было ужасно само по себе, но теперь они увозили его от товарищей; такой участи он никак не ожидал.

— Веди себя хорошо, Малыш, — крикнул ему капитан, когда шлюпка отвалила от борта «Мэри Томас», — и говори правду!

— Да, да, сэр! — ответил он с бравым видом. Он ощущал какую-то расовую гордость и стыдился проявить трусость перед этими враждебными чужаками, этими дикими русскими медведями.

— И будь вежлив! — добавил немец-рулевой, и его низкий голос прозвучал над водой, как звук туманного горна.

Малыш помахал на прощание рукой, а его товарищи столпились у борта, подбадривая юнгу криками. Малыш уселся на корме и— стал рассматривать лейтенанта. В конце концов лейтенант не похож на дикаря или на медведя, решил Малыш, он такой же, как другие люди, и матросы такие же, как все матросы военных кораблей, которых он когда-либо знал.

И все же, как только его нога коснулась сталь-

ной палубы крейсера, ему показалось, будто он вошел в ворота тюрьмы. Несколько минут на него никто не обращал внимания. Моряки подняли шлюпку и оставили ее висеть на шлюпбалках. Потом из труб повалили огромные облака черного дыма, и корабль двинулся — Малыш «смог не думать о том, что он плывет прямиком в Сибирь. Он видел, как „Мэри Томас“ внезапно качнулась, став в кильватер к крейсеру, трос натянулся, шхуна пошла на буксире; ее бортовые огни, красный и зеленый, то поднимались, то опускались.

При этом печальном зрелище взгляд Малыша затуманился, но так как в это время пришел лейтенант, чтобы отвести его вниз к командиру, юнга выпрямился и сжал губы, как будто это было для него самым обычным делом и его каждый день отправляли в Сибирь.

Каюта, в которой сидел командир, была дворцом по сравнению со скромной обстановкой «Мэри Томас», и сам командир, важный, с золотыми галунами, был весьма величественной персоной, совсем не похожим на простого человека, который командовал зверобойной шхуной.

Скоро Малыш понял, почему его взяли на борт, и во время продолжительного допроса говорил только чистую правду. Правда была безопасна;

его положению могла повредить только ложь. Он не знал ничего, кроме того, что шхуна охотилась на котиков далеко на юге, в открытом море, а когда наступил штиль и спустился туман, она оказалась поблизости от границы, и их отнесло в русские воды. Малыш все время настаивал на том, что в течение недели, пока их носило по запретным водам, они не спускали шлюпок и не убили ни одного котика. Но командир предпочитал считать все его объяснения лживыми россказнями и говорил с ним весьма строгим тоном, стараясь запугать мальчика. Но как он ни угрожал, как ни льстил, ему не удалось найти ни малейшего противоречия в заявлениях Малыша, и наконец он приказал ему убираться с глаз долой.

По оплошности за Малышом не установили присмотра, и он без всякого надзора бродил по палубе. Иногда матросы, проходя мимо, бросали на него любопытные взгляды, но в остальное время он был совершенно один и не привлекал к себе внимания, потому что был мал, а ночь стояла темная, и вахтенные на палубе занимались своими делами. Спотыкаясь среди незнакомых предметов, он пробрался на корму, откуда были видны бортовые огни «Мэри Томас», неуклонно

следовавшей за крейсером.

О, я долго смотрел на нее, а потом улегся на палубе, поближе к тому месту, где проходил буксирный трос.

Подошел офицер, чтобы посмотреть, не трется ли обо что-нибудь натянутый трос. Но Малыш, сжавшись, отполз в тень и остался незамеченным. Однако это происшествие подало ему идею, как спасти жизнь двадцати двух человек, дать им свободу, избавить от тяжелого горя многие семьи за тысячи миль отсюда.

Он начал свои рассуждения с того, что команда не виновна ни в каком преступлении и все же ее безжалостно увозят в заключение в Сибирь, где, по слухам, которым он безоговорочно верил, люди заживо гниют. Он думал о том, что сам он в плену и что нет никакой надежды спастись. Но можно было устроить побег двадцати двух человек на «Мэри Томас». Их удерживал только четырехдюймовый трос. Они не осмелятся обрезать его на своем конце, потому что русские, захватившие их в плен, постоянно за ними наблюдают; но на этом конце — да, на этом конце…

Малыш не стал тратить времени на дальнейшие рассуждения. Пробравшись к самому тросу, он открыл большой складной нож и принялся

за работу. Лезвие было не очень острым, и ему пришлось перепиливать волокно за волокном; с каждым движением ножа перед ним все ярче вставала страшная картина одинокой сибирской ссылки. Такую ссылку трудно было бы переносить даже вместе с товарищами, но жить в Сибири одному казалось ужасным. И кроме того, за тот самый поступок, который он совершает теперь, он наверняка получит еще большее наказание.

Его мрачные размышления были прерваны звуком приближающихся шагов. Малыш отполз в тень. Рядом с ним остановился офицер; он нагнулся было, чтобы посмотреть на трос, но раздумал и выпрямился. Несколько минут он стоял, пристально глядя на огни захваченной шхуны, и снова пошел дальше.

Теперь наступило самое время действовать. Малыш снова подполз к тросу и принялся пилить. Две пряди были уже перерезаны. Потом три. Оставалась только одна. Она была так сильно натянута, что подалась очень быстро. Раздался всплеск. Свободный конец троса упал за борт. Малыш лежал тихо, с замирающим сердцем прислушиваясь к каждому звуку. Никто на крейсере не слышал всплеска.

Он видел, как красный и зеленый огни «Мэри

Томас» становились все более и более тусклыми. Затем со шхуны донесся приглушенный окрик русской сторожевой команды. На крейсере никто ничего не слышал. Дым по-прежнему вырывался из труб корабля, и его машины работали так же мощно, как и раньше.

Что происходило на «Мэри Томас»? Об этом Малыш мог только догадываться, но в одном он был уверен: его товарищи сумеют постоять за себя и одолеют четырех матросов и гардемарина. Через несколько минут он увидел легкую вспышку, и его напряженный слух уловил очень слабый звук пистолетного выстрела. Потом — о радость! — оба огня, красный и зеленый, вдруг исчезли. «Мэри Томас» обрела свободу!

Какой-то офицер прошел на корму, Малыш пролез вперед и спрятался в шлюпке. Едва он успел это сделать, как на корабле забили тревогу. Раздались громкие приказания. Крейсер изменил направление. Электрический прожектор своими белыми лучами прорезал море во всех направлениях, но яркий сноп его света не обнаружил носившейся по волнам шхуны.

Вскоре Малыш уснул и проснулся только на рассвете. Машины монотонно стучали, и по шумным всплескам воды он догадался, что моют

палубы. Один быстрый взгляд-и он убедился в том, что они одни среди бескрайнего океана. «Мэри Томас» исчезла. Когда он поднял голоду, раздался взрыв смеха матросов. Даже офицер, который тут же приказал ему отправляться вниз и запер его там, не мог скрыть улыбки. Позже Малыш часто думал о том, что они не очень рассердились на него.

Он был недалек от истины. В глубине души каждого человека живет какое-то врожденное благородство, которое заставляет его восхищаться смелым поступком, если даже этот поступок совершил враг. И русские в этом отношении нисколько не отличались от других людей. Правда, мальчик провел их; но они не могли его порицать и мучительно ломали себе голову, не зная, что с ним делать. Нельзя же было держать в плену одного мальчугана; он все равно не мог заменить всех тех, кто остался на исчезнувшем браконьере.

Поэтому спустя две недели русский крейсер попросил остановиться военный корабль Соединенных Штатов, который шел из русского порта Владивосток. От одного корабля к другому прошла шлюпка, и маленький мальчик перебрался через планшир на палубу американского судна.

Неделей позже его высадили в Хакодате и после обмена телеграммами дали ему денег на проезд по железной дороге до Иокогамы.

С железнодорожной станции он поспешил по причудливым японским улицам в гавань и попросил владельца сампана перевезти его на борт судна, оснастка которого сразу показалась ему знакомой. Сезни этого судна были отданы, паруса поставлены; оно вот-вот должно было отправиться обратно в Соединенные Штаты. Когда он подплыл ближе, на бак высыпала группа матросов, рычаги брашпиля стали подниматься и опускаться, и якорь оторвался от илистого дна.

— «Вниз плывут лихие янки!» — прокатился голос Законника, затянувшего якорную песню.

— «Эй, ребята, налегай!» — подхватил знакомый хор, и тела людей наклонялись и выпрямлялись в такт песне.

Малыш Рассел расплатился с лодочником и ступил на палубу. О якоре забыли. Раздалось громкое «ура», и не успел он перевести дыхание, как оказался на плечах капитана в окружении своих товарищей. Ему задавали по двадцать вопросов в секунду, и он едва успевал на них отвечать.

На следующий день шхуна, подошедшая к японскому рыбачьему поселку, высадила на берег

четырех матросов и маленького гардемарина и ушла прочь. Эти люди не говорили по-английски, но у них были деньги, и они быстро добрались до Иокогамы. С того дня жители японского поселка никогда больше ничего не слышали о них, и об этой загадке все еще ходит много толков. Поскольку русское правительство ни разу не упоминало об этом инциденте. Соединенные Штаты до сих пор официально ничего не знают об исчезнувшем браконьере и не слышали о том, каким образом несколько их граждан похитили пять подданных царя. Иногда даже у наций бывают свои тайны.

На берегах Сакраменто

— Ветер мчится-хо-хо-хью!
— Прямо в Калифорнию.
Сакраменто — край богатый:
Золото гребут лопатой!

Худенький мальчик тонким пронзительным голосом распевал эту морскую песню, которую во всех частях света горланят матросы, выбирая якорь, чтобы двинуться в порт Фриско. Это был обыкновенный мальчуган, он никогда и моря-то в глаза не видел, но всего в двухстах футах от него — только спуститься с утеса — бурлила река Сакраменто. Малыш Джерри — так звали его потому, что был еще старый Джерри, его отец; от него-то и слышал Малыш эту песню и от него же унаследовал ярко-рыжие вихры, задорные голубые глаза и очень белую, усыпанную веснушками кожу.

Старый «Джерри был моряк, он добрую половину своей жизни плавал по морям, а песня матросу сама просится на язык. Но однажды в каком-то азиатском порту, когда он вместе с двадцатью другими матросами пел, выбиваясь

из сил над проклятым якорем, слова этой песни впервые заставили его призадуматься всерьез. Очутившись в Сан-Франциско, он распрощался со своим судном и с морем и отправился поглядеть собственными глазами яа берега Сакраменто.

Тут-то он и увидел золото. Он нанялся работать на рудник «Золотая Греза» и оказался в высшей степени полезным человеком при устройстве подвесной дороги на высоте двухсот футов над рекой.

Затем эта дорога осталась под его надзором. Он следил за тросами, держал их в исправности, любил их и вскоре стал незаменимым работником на руднике «Золотая Греза». А потом он полюбил хорошенькую Маргарет Келли, но она очень скоро покинула его и малютку Джерри, который только-только начинал ходить, и уснула непробудным сном на маленьком кладбище среди больших, суровых сосен.

Старый Джерри так и не вернулся на морскую службу. Он жил возле своей подвесной дороги и всю любовь, на какую способна была его душа, отдал толстым стальным тросам и малышу Джерри. Для рудника «Золотая Греза» наступили черные дни, но и тогда старик остался на службе у Компании сторожить заброшенное предприятие.

Однако сегодня утром его что-то не было видно. Один только малыш Джерри сидел на крылечке и распевал старую матросскую песню. Он сам приготовил себе завтрак и уже успел управиться с ним, а теперь вышел поглядеть на белый свет. Неподалеку, шагах в двадцати от него, (возвышался громадный стальной барабан, на который наматывался бесконечный металлический трос. Рядом с барабаном стояла тщательно закрепленная вагонетка для руды. Проследив взглядом головокружительный полет стальных тросов, перекинутых высоко над рекой, малыш Джерри различил далеко на том берегу другой барабан и другую вагонетку.

Сооружение это приводилось в действие просто силой тяжести: вагонетка двигалась, увлекаемая собственным весом, а в это время с противоположного берега двигалась пустая вагонетка. Когда нагруженную вагонетку опорожняли, а пустую нагружали рудой, все повторялось снова, повторялось много-много сотен и тысяч раз, с тех пор как старый Джерри стал смотрителем подвесной дороги.

Малыш Джерри перестал петь, услышав приближающиеся шаги. Высокий человек в синей рубахе, с винтовкой на плече вышел из соснового

леса. Это был Холл, сторож на руднике «Желтый Дракон», расположенном примерно в миле отсюда вверх по течению Сакраменто, где тоже была перекинута дорога на тот берег.

— Здорово, Малыш!-крикнул он.-Что ты тут делаешь один-одинешенек ?

— А я здесь теперь за хозяина,-ответил Малыш Джерри как нельзя более небрежным тоном, словно ему не впервой было оставаться одному. — Отец, знаете, уехал. — Куда уехал? — спросил Холл. — В Сан-Франциско. Он еще вчера вечером уехал. Брат у него умер, где-то в Старом Свете. Вот он и поехал с адвокатом потолковать. Завтра вечером вернется.

Все это Джерри выложил с гордым сознанием, что на него возложена большая ответственность — самолично сторожить рудник «Золотая Греза». Видно было в то же время, что он страшено рад замечательному приключению — возможности пожить совсем одному на этом утесе над рекой и самому готовить себе завтрак, обед и ужин.

— Ну, смотри будь поосторожней, — посоветовал ему Холл, — не вздумай баловать с тросами. А я вот иду посмотреть, не удастся ли подстрелить оленя в каньоне «Колченогой Коровы».

— Как бы дождя не было, — степенно промол-

вил Джерри.

— А мне что! Промокнуть, что ли, страшно? — засмеялся Холл и, повернувшись, скрылся между деревьями.

Предсказание Джерри насчет дождя сбылось. Часам к десяти сосны заскрипели, закачались, застонали, стекла 1В окнах задребезжали, дождь захлестал длинными косыми струями. В половине двенадцатого Джерри развел огонь в очаге и. едва пробило двенадцать, уселся обедать.

«Сегодня уж, конечно, гулять не придется», — решил он, тщательно вымыв и убрав посуду после еды. И еще подумал: «Как, должно быть, вымок Холл! И удалось ли ему подстрелить оленя?»

Около часу дня постучали в дверь, и, когда Джерри открыл, в комнату стремительно ворвались мужчина и женщина, словно их силком выпихнул ветер. Это был мистер и миссис Спиллен, фермеры, жившие в уединен ной долине, милях в двенадцати от реки.

— А где Холл? — запыхавшись, отрывисто спросы Спиллен.

Джерри заметил, что фермер чем-то взволнован и куда-то торопится, а миссис Спиллен, по-видимому, очень расстроена.

Это была худая, совсем уже поблекшая женщи-

на, много поработавшая на своем веку; унылый, беспросветный труд наложил на ее лицо тяжелую печать. Та же тяжкая жизнь согнула спину ее мужа, искорежила его руки и покрыла волосы сухим пеплом ранней седины.

— Он на охоту пошел, в каньон «Колченогой Коровы». А вам что, на ту сторону, что ли, надо?

Женщина стала тихонько всхлипывать, а у Спиллена вырвался возглас, выражавший крайнюю досаду. Он подошел к окну. Джерри стал с ним рядом и тоже поглядел в окно, в сторону подвесной дороги; тросов почти не было видно за густой пеленой дождя.

Обычно жители окрестных селений переправлялись через Сакраменто по канатной дороге «Желтого Дракона». За переправу полагалась небольшая плата, из которой Компания «Желтого Дракона» платила жалованье Холлу.

— Нам надо на тот берег, Джерри, — сказал Спиллен. — Отца у нее, — он ткнул пальцем в сторону плачущей жены, — задавило на руднике, в шахте «Клеверного Листа». Там взрыв был. Говорят, не выживет. А нам только что дали знать.

Джерри почувствовал, как у него екнуло сердце. Он понял, что Спиллен хочет переправиться по тросам «Золотой Грезы», но без старого Джерри

он не мог решиться на такой шаг, потому что по их дороге не возили пассажиров, и она уже давно находилась в бездействии.

— Может быть. Холл скоро придет, — промолвил мальчик. Спиллен покачал головой. — А отец где? — спросил он.

— В Сан-Франциско,-коротко ответил Джерри. С хриплым стоном Спиллен яростно хлопнул кулаком по ладони. Жена его всхлипывала все громче, и Джерри слышал, как она причитала: «Ах, не поспеем, не поспеем, умрет...»

Мальчик чувствовал, что и сам вот-вот заплачет; он стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. Но Спиллен решил за него.

— Послушай, Малыш, — сказал он тоном, не допускающим возражений, — нам с женой надо переправиться во что бы то ни стало по твоей дороге. Можешь ты нам помочь в этом деле — запустить эту штуку?

Джерри невольно попятился, точно ему предложили коснуться чего-то недозволенного.

— Я лучше пойду посмотрю, не вернулся ли Холл, — робко сказал он. — А если нет? Джерри снова замялся.

— Если случится что, я за все отвечаю. Видишь ли, Малыш, нам до зарезу надо на ту сторону.-

Джерри нерешительно кивнул. — А дожидаться Холла нет никакого смысла,-продолжал Спиллен,-ты сам понимаешь, что из каньона «Колченогой Коровы» он не скоро вернется. Так что идем-ка, запусти барабан.

«Не удивительно, что у миссис Спиллен был такой испуганный вид, когда мы помогали ей забираться в вагонетку», — невольно подумал Джерри, глянув вниз, в пропасть, которая сейчас казалась совсем бездонной. Дальнего берега, находившегося на расстоянии семисот футов, вовсе не было видно сквозь ливень, клубящиеся в вихре клочья облаков, яростную пену и брызги. А утес, на котором они стояли, уходил отвесной стеной прямо в бурлящую мглу, и казалось, что от стальных тросов туда, вниз, не двести футов, а по крайней мере миля. ..

— Ну, готово?-спросил Джерри. — Давай!-вовсю глотку заорал Спиллен, чтобы перекричать вой ветра. Он уселся в вагонетку рядом с женой и взял ее за руку.

Джерри это не понравилось.

— Вам придется держаться обеими руками: ветер сильно швыряет! -крикнул он.

Муж с женой тотчас же разняли руки и крепко ухватились за края вагонетки, а Джерри осто-

рожно отпустил тормозной рычаг. «Барабан не спеша завертелся, бесконечный трос стал разматываться, и вагонетка медленно двинулась в воздушную пропасть, цепляясь ходовыми колесиками за неподвижный рельсовый трое, протянутый вверху.

Джерри уже не в первый раз пускал в ход вагонетку. Но до сих пор ему приходилось это -делать только под наблюдением отца. Он осторожно регулировал скорость движения при помощи тормозного рычага. Тормозить было необходимо, потому что от бешеных порывов ветра вагонетка сильно раскачивалась, а перед тем, как совсем скрыться за стеной дождя, она так накренилась, что чуть не вывернула в пропасть свой живой груз.

После этого Джерри мог судить о движении вагонетки только по движению троса. Он очень внимательно следил, как трос разматывается с барабана.

— Триста футов…— шептал он, по мере того как проходили отметки на кабеле, — триста пятьдесят… четыреста… четыреста…

Трос остановился. Джерри дернул рычаг тормоза, но трос не двигался. Мальчик обеими руками схватился за трос и потянул его на себя, стараясь

сдвинуть его с места. Нет! Где-то явно застопорило. Но где именно, он не мог догадаться, и вагонетки не было видно. Он поднял глаза вверх и с трудом различил в воздухе пустую вагонетку, которая должна была двигаться к нему с такой же скоростью, с какой вагонетка с грузом удалялась. Она была от него примерно в двухстах пятидесяти футах. Это означало, что где-то в серой мгле на высоте двухсот футов над кипящей рекой и на расстоянии двухсот пятидесяти футов от другого берега висят в воздухе застрявшие в пути Спиллен с женой.

Три раза Джерри окликал их во всю силу своих легких, но голос его тонул в неистовом реве непогоды. В то время как он лихорадочно перебирал в уме, что бы такое сделать, быстро бегущие облака над рекой вдруг поредели и разорвались, и он на мгновение увидел вздувшуюся Сакраменто внизу и висящую в воздухе вагонетку с людьми. Затем облака снова сошлись, и над рекой стало еще темнее, чем раньше.

Мальчик тщательно осмотрел барабан, но не обнаружил в нем никаких неполадок. По-видимому, что-то неисправно в барабане на том берегу. Страшно было представить себе, как эти двое висят над пропастью среди ревущей бури,

раскачиваясь в утлой вагонетке, и не знают, почему она вдруг остановилась. И подумать только, что им придется так и висеть до тех пор, пока он не переправится на тот берег по тросам «Желтого Дракона» и не доберется до злополучного барабана, из-за которого все это стряслось!

Но тут Джерри вспомнил, что в чулане, где хранятся инструменты, есть блок и веревки, и со всех ног бросился за ними. Он быстро прикрепил блок к тросу и стал тянуть — тянул изо всех сил, так что руки прямо отрывались от плеч, а мускулы, казалось, вот-вот лопнут. Однако трос .не сдвинулся с места. Теперь уж ничего другого не оставалось, как перебраться на тот берег.

Джерри уже успел промокнуть до костей, так что теперь сломя голову бежал к «Желтому Дракону», даже не замечая дождя. Ветер подгонял его, и бежать было легко, хоть и беспокоила мысль, что придется обойтись без помощи Холла и некому будет тормозить вагонетку. Он сам соорудил себе тормоз из крепкой веревки, которую накинул петлей на неподвижный трос.

Ветер с бешеной силой налетел на него, засвистел, заревел ему в уши, раскачивая и подбрасывая вагонетку, и малыш Джерри еще яснее представил себе, каково сейчас тем двоим —

Спиллену и его жене. Это придало ему мужества. Благополучно переправившись, он вскарабкался по откосу и, с трудом удерживаясь на ногах от порывов ветра, но все же пытаясь бежать, направился к барабану «Золотой Грезы».

Осмотрев его, Малыш с ужасом обнаружил, что барабан в полном порядке. И на этом и на другом конце все в исправности. Где же в таком случае застопорило? Не иначе как посредине!

Вагонетка с четой Спилленов находилась от него всего на расстоянии двухсот пятидесяти футов. Сквозь движущуюся дождевую завесу Джерри мог различить мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки и словно отданных на растерзание разъяренным стихиям. В промежутке между двумя шквалами он крикнул Спиллену, чтобы тот проверил, в порядке ли ходовые колесики.

Спиллен, «по-видимому, услыхал его, потому что Джерри видел, как он, осторожно приподнявшись на колени, ощупал оба колесика вагонетки, затем повернулся лицом к берегу. — Здесь все в порядке, Малыш!

Джерри едва расслышал эти слова, но смысл их дошел до него. Так что же все-таки случилось? Теперь уже можно было не сомневаться, что все

дело в пустой вагонетке; ее не было видно отсюда, но он знал, что она висит там, в этой ужасной бездне, за двести футов от вагонетки Спиллена.

Он, не задумываясь, решил, что надо делать. Ему было всего четырнадцать лет, этому худощавому, подвижному мальчугану, но он вырос в горах, отец посвятил его в разные тайны матросского искусства, и он совсем не боялся высоты.

В ящике с инструментами около барабана он разыскал старый гаечный ключ, небольшой железный прут и целую связку почти нового манильского троса. Он безуспешно пытался найти какую-нибудь дощечку, чтобы смастерить себе некое подобие матросской люльки, но под рукой не оказалось ничего, кроме громадных тесин; распилить их было нечем, и он вынужден был обойтись без удобного седла.

Седло, которое Джерри себе устроил, было проще простого: он перекинул канат через неподвижный трос, на котором висела пустая вагонетка, и, затянув его узлом, сделал большую петлю; сидя в этой петле, он без труда мог достать руками до троса и держаться за него. А вверху, где петля должна была тереться о металлический трос, он подложил свою куртку, потому что как ни искал, нигде не мог найти тряпки или старого

мешка.

Наскоро закончив все эти приготовления, Джерри повис в своей петле и двинулся прямо в бездну, перебирая руками трос. Он взял с собой гаечный ключ, небольшой железный прут и несколько футов веревки. Путь его лежал не горизонтально, а несколько вверх, но не подъем затруднял его, а страшный ветер. Когда бешеные порывы ветра швыряли Джерри то туда, то сюда и чуть не переворачивали кругом, он чувствовал, что сердце у него замирает от страха. Ведь трос совсем старый… а вдруг он не выдержит его тяжести и этих бешеных натисков ветра— не выдержит и оборвется?

Это был самый откровенный страх. Джерри чувствовал, как у него сосет под ложечкой, а колени дрожат мелкой дрожью, которую он не в силах был сдержать.

Но Малыш мужественно продолжал свой путь. Трос был ветхий, раздерганный, острые концы оборванных проволок, торчавшие во все стороны, в кровь раздирали руки. Джерри заметил это, только когда решил сделать первую остановку и попытался докричаться до Спилленов. Их вагонетка висела теперь прямо под ним, на расстоянии всего нескольких футов, так что он

уже мог объяснить им, что случилось и зачем он пустился в это путешествие.

— Рад бы помочь тебе, — крикнул Спиллен, — да жена у меня совсем не в себе! Смотри, Малыш, будь осторожнее! Сам я напросился на это, но теперь, кроме тебя, нас некому вызволить.

— Да уж так я вас не оставлю! — крикнул ему в ответ Джерри. — Скажите миссис Спиллен, что не пройдет и минуты, как она будет на той стороне.

Под слепящим проливным дождем, болтаясь из стороны в сторону, как соскочивший маятник, чувствуя нестерпимую боль в изодранных ладонях, задыхаясь от усилий и от врывавшейся в легкие стремительной массы воздуха, Джерри наконец добрался до пустой вагонетки.

С первого же взгляда мальчик убедился, что не напрасно совершил это страшное путешествие. Вагонетка висела на двух колесиках; одно из них сильно поистерлось за время долгой службы и соскочило с троса, который был теперь намертво зажат между самим колесиком и его обоймой.

Ясно было, что прежде всего надо освободить колесико из обоймы, а на время этой работы вагонетку необходимо крепко привязать веревкой к неподвижному тросу.

Через четверть часа Джерри наконец удалось

привязать вагонетку, — это было все, чего он добился. Чека, державшая колесико на оси, совсем заржавела и стала намертво. Джерри изо всей силы колотил по ней одной рукой, а другой держался, как мог, но ветер непрерывно налетал и раскачивал его, и он очень часто промахивался и не попадал по чеке. Девять десятых всех его усилий уходило на то, чтобы удержаться на месте; опасаясь уронить ключ, он привязал его к руке носовым платком.

Прошло уже полчаса. Джерри сдвинул чеку с места, но вытащить ее ему не удалось. Десятки раз он готов был отчаяться, все казалось напрасным — и опасность, которой он себя подвергал, и все его старания. Но внезапно его словно осенило. С лихорадочной поспешностью он стал рыться в карманах. И нашел то, что ему было нужно, — длинный толстый гвоздь.

Если бы не этот гвоздь, который неведомо когда и как попал к нему в карман, Джерри пришлось бы снова возвращаться на берег. Продев гвоздь в отверстие чеки, он наконец ухватил ее, и через минуту чека выскочила из оси.

Затем началась возня с железным прутом, которым он старался освободить колесико, застрявшее между тросом и обоймой. Когда это

было сделано, Джерри поставил колесико на старое место и, с помощью веревки подтянув вагонетку, посадил наконец колесико на металлический трос.

Однако на все это потребовалось немало времени. Часа полтора прошло с тех пор, как Джерри сюда добрался. И вот теперь он наконец решился вылезти из своего «седла» и прыгнуть в вагонетку. Он отвязал веревку, которая ее держала, и колесики медленно заскользили по тросу. Вагонетка двинулась. И мальчик знал, что где-то там, внизу — хотя ему это и не было видно-вагонетка со Спилленами тоже двинулась, только в обратном направлении.

Теперь ему уже не нужен был тормоз, потому что вес его тела достаточно уравновешивал тяжесть другой вагонетки. И скоро из мглы облаков показался высокий утес и старый, знакомый, уверенно вращавшийся барабан.

Джерри соскочил на землю и закрепил свою вагонетку. Он проделал это спокойно и тщательно. А потом вдруг -совсем уже не по-геройски-бросился на землю у самого барабана, невзирая на бурю и ливень, и громко зарыдал.

Причин для этого было немало: нестерпимая боль в изодранных руках, страшная усталость и

сознание, что он наконец освободился от ужасного нервного напряжения, не отпускавшего его несколько часов, и еще — горячее, захватывающее чувство радости оттого, что Спиллен с женой теперь в безопасности.

Они были далеко и, понятно, не могли его поблагодарить, но он знал, что где-то там, за разъяренной, беснующейся рекой, они сейчас спешат по тропинке к шахте «Клеверного Листа».

Джерри, пошатываясь, побрел к дому. Белая ручка двери окрасилась кровью, когда он взялся за нее, но он даже не заметил этого.

Мальчик был горд и доволен собой, потому что он твердо знал, что поступил правильно; а так как он еще не умел хитрить, то не боялся признаться самому себе, что сделал хорошее дело. Одно только маленькое сожаление копошилось у него в сердце: ах, если бы отец был здесь и видел его!

Крис Фаррингтон — настоящий моряк

— На европейском судне такой юнец, как ты, мог бы быть только юнгой и прислуживать настоящим морякам. Там, если бы моряк крикнул: «Юнга, кувшин воды!»-ты бы пулей помчался за водой. А если бы он крикнул: «Юнга, мои сапоги!»-ты бы принес и сапоги, и был бы вежлив, и отвечал: «Да, сэр», «Нет, сэр». Но ты на американском судне и воображаешь, будто ты настоящий моряк. Крис, мой мальчик, я плаваю уже двадцать два года, так неужели ты думаешь, что можешь сравниться со мной? Я стал моряком задолго до того, как ты родился. Я вязал узлы, брал рифы и сращивал тросы, когда ты еще крутил волчок и запускал змеев.

— Ты несправедлив, Эмиль! — воскликнул Крис Фаррингтон, и его живое лицо, вспыхнув, приняло обиженное выражение. Это был стройный, но крепко скроенный семнадцатилетний паренек, настоящий янки.

— Опять за свое! — взорвался швед. — Меня зовут мистер Иохансен, и такой щенок, как ты, не смеет называть меня «Эмиль»! Подобное издевательство сходит с рук только на американском

судне.

— Но ты же называешь меня Крисом! — запротестовал юноша.

— Ты еще мальчишка.

— Который выполняет мужскую работу, — отпарировал Крис. — А раз я работаю, как настоящий мужчина, я имею такое же право называть тебя по имени, как и ты меня. Здесь, на баке, мы все равны, и ты это отлично знаешь. Когда в Сан-Франциско мы нанимались в плавание, нас взяли на «Софи Сезерлэнд» простыми матросами, и между нами не делалось никакого различия. Разве я не справляюсь со своей работой? Или когда-нибудь отлынивал? Разве тебе или кому-либо приходилось стоять вместо меня у штурвала, нести вахту или быть впередсмотрящим?

— Крис прав, — вмешался молодой матрос-англичанин. — Никому из нас не приходилось помогать ему в работе. Он нанялся, как любой из нас, и показал себя не хуже…

— Лучше! — вставил матрос из Новой Шотландии. — Лучше, чем кое-кто из нас. Когда мы наткнулись на лежбище котиков, он оказался одним из лучших рулевых. Только француз Луи, который уже много лет сидит за рулем, смог обойти его. Я простой гребец, но и ты, Эмиль Иохансен,

тоже всего лишь гребец, хоть плаваешь двадцать два года. Почему бы тебе не стать рулевым?

— Слишком он медлителен и неповоротлив, — засмеялся англичанин.

— Все это чепуха, — пришел на помощь своему скандинавскому собрату датчанин Юргенсен. — Эмиль — взрослый человек и настоящий моряк, мальчишка же пока еще ничто.

Так с переменным успехом продолжался спор между шведами, норвежцами, датчанами, из солидарности вставшими на сторону своего соотечественника, и англичанами, канадцами, американцами, поддерживавшими Криса. Если судить беспристрастно, то прав был Крис. Он в самом деле работал не хуже других. Но скандинавы были слишком предубеждены, и поэтому спор перерос в длительную ссору, разделившую бак на два лагеря.

«Софи Сезерлэнд» была приписанной к Сан-францисскому порту зверобойной шхуной, охотившейся на морского пушного зверя вдоль берегов Японии в направлении к Берингову морю. Другие суда были двухмачтовые, но «Софи Сезерлэнд», самая большая в этой флотилии, несла три мачты. Это была совсем новая шхуна с полной оснасткой.

Хотя Крис и был уверен в своей правоте, часто втайне он мечтал о каком-нибудь непредвиденном событии, благодаря которому ему удалось бы доказать, что он тоже настоящий моряк.

Но однажды ночью во время шторма случайно, не по его вине, при осмотре якорной цепи ему сильно помяло пальцы на левой руке. И надежды его рухнули, потому что он больше не мог охотиться на шлюпке и вынужден был без дела слоняться по шхуне, пока не заживут пальцы. Все еще не оставляя своей мечты, он и не подозревал, что именно этот случай даст ему долгожданную возможность показать себя.

Однажды в конце мая «Софи Сезерлэнд» покачивалась в послеполуденном мертвом штиле. Котики были в изобилии, охота велась отлично, и шлюпки были далеко в море. На них ушла вся команда. На шхуне, кроме Криса, остались лишь капитан, штурман и кок-китаец.

Капитан назывался капитаном только из вежливости. Старику перевалило за восемьдесят, и он пребывал в блаженном неведении относительно всего, что касалось моря и его обычаев; но он был хозяином шхуны, что и дало ему право на этот почетный титул. На деле же капитаном был штурман, опытный моряк. Помощник капитана,

который должен был оставаться на шхуне, ушел со шлюпками, временно заменив у руля Криса.

Когда хорошая погода и удачная охота приходили вместе, шлюпки уходили далеко в море, часто возвращаясь на шхуну за полночь. И хотя охота в этот день шла особенно удачно, Крис заметил растущее беспокойство штурмана. Он нервно шагал по палубе, все время посматривая на горизонт в морской бинокль. Ни одной шлюпки не было видно. Перед заходом солнца он даже послал Криса на топ мачты, но безрезультатно. Шлюпки едва ли могли вернуться раньше полуночи.

После полудня барометр начал падать с невероятной быстротой. Все свидетельствовало о приближении шторма, силу которого не мог предвидеть даже сам штурман. Он и Крис начали готовиться к шторму. Они наложили штормовые сезни на свернутые марсели, спустили и убрали фок, спенкер и два стакселя. На оставшихся кливере и гроте они взяли по рифу.

Ночь наступила до того, как они успели кончить свою работу, и вместе с темнотой пришел шторм. Глухой стон пронесся над морем, и удар ветра почти положил «Софи Сезерлэнд» на бок. Но она быстро выпрямилась и благодаря усилиям стоявшего на руле штурмана повернулась носом

на пять румбов от ветра. Действуя с ловкостью, какую допускала забинтованная рука, Крис бросился вперед и с помощью кока, правда, весьма незначительной, вынес кливер на наветренную сторону. С кливером и гротом на вантах шхуна легла в дрейф.

— Да поможет бог нашим шлюпкам! Это не шторм! Это тайфун! — прокричал штурман в одиннадцать часов. — Слишком много парусов! Придется взять еще два рифа на гроте, и сделать это нужно немедленно. — Он взглянул на полумертвого от страха капитана, который стоял у нактоуза и дрожал, закутавшись в дождевик. — Нас только двое, Крис, ты да я, от кока мало толку.

Чтобы взять риф, необходимо было спустить грот, но так, чтобы в результате давления ветра на кливер шхуна не увалилась под ветер.

— Встань к штурвалу! — приказал штурман. — И по моему сигналу поверни его на наветренный борт. А когда она встанет против ветра, закрепи штурвал. Так и держи. Мы снова ляжем в дрейф, как только я возьму риф.

Крепко сжимая вырывавшийся из рук штурвал, Крис наблюдал, как штурман и по-прежнему не проявляющий энтузиазма кок скрылись в

ревущей тьме. «Софи Сезерлэнд», отчаянно сопротивляясь, ныряла в огромные встречные валы, и туго натянутые снасти гудели на ветру, как струны арфы. Сдавленный крик донесся до Криса, и он почувствовал, что нос шхуны, не повинуясь управлению, уваливается под ветер. Грот был спущен.

Крис круто повернул штурвал и по тому, как дрейфовало судно, уловил тревожный сигнал изменившегося направления ветра. Это был критический момент. Выполняя маневр, шхуна должна была стать всем бортом к волне, чтобы повернуться прямо против ветра. Ветер дул справа, когда Крис почувствовал, что «Софи Сезер-лэнд» накренилась и начала подыматься куда-то бесконечно вверх» казалось, прямо в небо. Неужели она проскочит гребень этой гигантской волны?

Вокруг ничего не было видно, почти инстинктивно Крис понял, что стена воды вздымается и изгибается высоко над ним вдоль наветренной стороны. Выросшая стена на мгновение загородила шхуну от ветра. Это было минутное затишье. Шхуна выпрямилась, на секунду, казалось, замерла в абсолютном покое и затем качнулась навстречу обрушившейся стремнине.

Крис крикнул капитану держаться крепче и

сам приготовился к удару. Но не было человека, который мог бы выдержать его. Океан воды с силой ударил Криса в спину, и его руки, отчаянно вцепившиеся в штурвал, вдруг ослабели, как у ребенка. Оглушенного, обессилевшего, его, словно соломинку на поверхности бурлящего потока, понесло куда-то вперед. За углом каюты его швырнуло, пронесло футов сто от кормы и с силой ударило об основание фок-мачты. Вторая волна, обрушившаяся на палубу, отнесла его тем же путем обратно и оставила полузахлебнувшегося там, где должен был быть кормовой трап.

Весь в синяках и кровоподтеках, с трудом соображая, что делает, он нащупал поручни и тяжело поднялся на ноги. Он понимал, что, если ничего не предпримет, наступит конец. Он повернулся к корме и чуть не задохнулся от дующего в лицо ветра. Это сразу привело его в себя. Ветер дул прямо в корму. Шхуна вырвалась из ложбины между валами. Но удары воды могли снова столкнуть ее обратно. Ползком передвигаясь по пароходу, он добрался до штурвала как раз вовремя, чтобы успеть предотвратить катастрофу. Огонь на нактоузе еще горел. Они были спасены.

Собственно, спасены были только он и шхуна, судьба его трех товарищей была ему неизвестна.

Но он не мог оставить штурвал, чтобы разыскать их, потому что, дабы удержать шхуну на курсе, нельзя было ни на секунду ослаблять внимания. Малейшая неосторожность — и напор воды за кормой мог развернуть шхуну бортом к волне. Так он, мальчишка весом в сто сорок фунтов, взвалил на себя геркулесову задачу вести судно водоизмещением в две сотни тонн среди хаоса разбушевавшейся стихии.

Полчаса спустя, охая и всхлипывая, к ногам Криса подполз капитан. Все пропало, хныкал он, измятый до полусмерти. Камбуз, грот, бегучий такелаж — все было смыто за борт.

— Где штурман? — крикнул Крис, передохнув после того, как ему удалось сдержать очередной резкий крен шхуны. Вести в тайфун судно под единственным рифом на кливере — далеко не детская игра.

— На носу, — ответил старик. — Его придавило на полубаке, но он еще дышит. Он говорит, что у него сломаны обе руки и неизвестно сколько ребер. Ему здорово досталось.

— Он захлебнется там, вон как хлещет вода через клюзы. Отправляйтесь туда! — приказал Крис, взяв на себя командование как нечто само собой разумеющееся. — Скажите ему, пусть не

беспокоится: я у штурвала. Помогите ему чем можете и заставьте его… — Он остановился и круто повернул штурвал вправо как раз в тот момент, когда громадная волна поднялась под кормой и положила шхуну на левый борт. — Заставьте его потом самого заботиться о себе. Откройте люк на баке и уложите его на койку. Не забудьте задраить люк судна снова.

Капитан повернул сморщенное лицо в сторону бака и задрожал от страха. Шкафут судна был заполнен водой до фальшборта. Он только что проделал этот путь и знал, что смерть подстерегает его на каждом шагу.

— Отправляйтесь! — свирепо заорал Крис, а когда перепуганный старик двинулся вперед, добавил: — И отыщите кока!

Два часа спустя полумертвый от перенесенных страданий капитан вернулся. Он выполнил приказ. Беспомощный штурмах был уже в безопасности, кок исчез. Крис отправил капитана в каюту переодеться.

В напряженном труде шли бесконечные часы, пока наконец не забрезжил серый холодный рассвет. Крис осмотрелся. Подгоняемая тайфуном, «Софи Сезерлэнд» неслась вперед, словно одержимая. Дождь перестал, но ветер поднимал морские

брызги на высоту мачты, оставляя в поле зрения только то, что находилось в непосредственной близости.

Одновременно Крис мог видеть лишь две волны: одну впереди, другую сзади. Какой маленькой и жалкой выглядела шхуна среди длинных тихоокеанских валов! Взлетев на умопомрачительную высоту, она, подобно скорлупке, замирала на этой неустойчивой вершине, бездыханная и колеблющаяся, с тем, чтобы тотчас вновь, совершив головокружительный прыжок, погрузиться в зияющую бездну, зарываясь в облако пены на дне ее. А потом все сначала: новая гора воды, новый захватывающий дыхание полет вверх, новая остановка и стремительное падение. Впереди, справа по борту, словно тень бушующего шторма, Крис видел летящего рядом со шхуной кока. Очевидно, после того как его смыло за борт, он ухватился за свисающий фал и запутался в нем.

Еще три часа один на один с этим ужасным компаньоном Крис вел «Софи Сезерлэнд», борясь с ветром и океаном. Он уже давно забыл о своих искалеченных пальцах. Повязки были сорваны, и холодная морская пыль въедалась в полузалеченные раны до тех пор, пока они не онемели и не перестали болеть. Ему не было холодно.

Нечеловеческое напряжение выжимало пот из каждой его поры. Он пребывал в полуобморочном состоянии, ослабев от голода и истощения, и поэтому с восторгом встретил появление на палубе капитана, который накормил его целым фунтом шоколада. Это сразу восстановило его силы.

Он приказал капитану обрубить фал с телом кока, а потом пройти вперед и освободиться от кливер-фала и шкота. Когда капитан выполнил приказание, кливер еще несколько мгновений трепетал на ветру, как носовой платок, а затем сорвался с ликтроса и исчез. «Софи Сезерлэнд» неслась вперед без парусов.

К полудню шторм выдохся, а к вечеру волны улеглись настолько, что Крис смог оставить штурвал. Нечего было мечтать о том, что маленькие шлюпки сумели справиться с тайфуном, но нельзя терять надежды, когда речь идет о спасении человеческой жизни, и Крис сразу же решил лечь на обратный курс. Ему удалось взять риф на одном из нижних кливеров и двойной риф на бизани, а затем с помощью талей поднять их, несмотря на все еще сильный ветер. И всю ночь напролет, лавируя вперед и назад, он шел обратным курсом, прибавляя парусов, как только позволял ветер.

Искалеченный штурман начал бредить, и Крис занимал капитана то заботой о штурмане, то помощью по управлению судном. «Он научил меня морскому делу больше, чем выучился я сам за всю мою жизнь», — вспоминал потом капитан. Но на рассвете его слабые силы сдали, и он забылся в тяжелом сне на полуюте.

Крис, который теперь уже мог оставить штурвал, прикрыл старика принесенными снизу одеялами и отправился в кладовую в поисках пищи. Но на следующий день он почувствовал, что сдает, временами впадая в полузабытье и приходя в себя, только чтобы осмотреться.

К полудню третьего дня он наткнулся на шхуну, которая была порядком потрепана и без мачт. Приведя судно в самый крутой бейдевинд и приблизившись к ней, он увидел, что палуба ее заполнена необычайно большой командой, подойдя еще ближе, узнал в этих людях своих пропавших товарищей. Он пришел как раз вовремя, потому что они вели безнадежную борьбу у помп. Час спустя вместе с командой тонущего судна они были на борту «Софи Сезерлэнд».

Далеко уйдя на шлюпках от своей шхуны, перед началом шторма команда «Софи Сезерлэнд» нашла убежище на скандинавском судне, для

которого этот рейс был первым и, как оказалось, последним.

Капитану «Софи Сезерлэнд» было о чем порассказать, и, по-видимому, история его звучала настолько убедительно, что, когда все матросы собрались на палубе во время полувахты, Эмиль Иохансен подошел к Крису и крепко пожал ему руку.

— Крис, — сказал он так громко, чтобы все могли слышать. — Крис, я сдаюсь. Ты оказался таким же хорошим матросом, как и я. Ты крепкий парень и настоящий моряк, и я горжусь тобой!

И еще, Крис, — он отвернулся, как будто забыл о чем-то, и затем добавил: — С этого времени всегда называй меня просто Эмиль.

Абордаж отбит

— Нет, кроме шуток, Боб, я опоздал родиться. Двадцатый век не для меня. Будь моя воля…

— Ты бы родился в шестнадцатом, вместе с Дрэйком, Хокинсом, Рэлеем и прочими викингами, — перебил я со смехом.

— Верно! — подтвердил Поль. Он повернулся на спину на небольшой кормовой палубе и тяжело вздохнул.

Было уже за полночь, и, пользуясь почти попутным ветром, мы шли Нижней Сан-Францисской бухтой к бухте Фарм Айленда. С Полем Фейрфексом мы учились в одной школе, жили по соседству и были друзьями. Экономя карманные деньги, подрабатывая, где можно, отказавшись от велосипедов на день рождения, мы скопили вполне достаточную сумму, чтобы стать хозяевами «Тумана» — вместительного шлюпа двадцати восьми футов в длину, со скошенной мачтой, небольшим топселем и выдвижным килем. Отец Поля сам был яхтсменом и помог нам совершить эту покупку: заглядывал во все уголки, высматривая пороки, тыкал перочинным ножом в шпангоуты и заботливо проверял обшивку.

Собственно, на его шхуне «Каприз» мы с Полем и научились немного управляться с парусами, а теперь, когда у нас был «Туман», усердно пополняли свои знания.

Благодаря широкой палубе на «Тумане» было просторно и удобно. В каюте можно было стоять во весь рост, притом имелись и печка, и кухонная утварь, и койки, так что мы вполне могли совершать даже недельные переходы. Мы как раз и пустились в первое такое плавание да к тому же впервые шли под парусами ночью.

Ранним вечером, лавируя против течения, мы вышли из Окленда и сейчас уже оставили позади устье Аламеда Крик, большой реки, впадающей в бухту Сан-Леандро.

— Вот тогда была жизнь, — сказал Поль так неожиданно, что я вздрогнул. — Я про викингов, — пояснил он.

— Угу! — сочувственно сказал я и начал насвистывать песенку про капитана Кидда.

— У меня, знаешь, свое мнение на этот счет, — продолжал Поль. — Вот болтают: романтика, мол, приключения и все такое, а по-моему, и романтика и приключения уже отжили свое. Мы слишком цивилизованны. Какие уж там приключения в двадцатом веке! В цирке разве…

— Но… — попробовал я перебить его, однако он не слушал.

— Посуди сам, Боб, — сказал он. — Ну, какие у нас с тобой были приключения за все время, что мы дружим? Правда, один раз мы удрали в горы и проболтались там до поздней ночи, ну, устали, ну, проголодались, но ведь даже не заблудились. Мы все время знали, где находимся. Это же просто небольшая прогулка. То есть, я хочу сказать, нам ни разу не пришлось бороться за свою жизнь. Понимаешь? В нас никогда не стреляли из пистолета или там из пушки, и меч не свистел над головой, или еще чего-нибудь такое…

— Потрави-ка лучше шкот фута на три,-прибавил он тоскливо, словно ему все опостылело. — Ветер еще меняется.

— В старину в море всегда случались разные славные приключения, — продолжал он. — Какой-нибудь мальчишка бросал школу и поступал в юнги, а недели через три, смотришь, он уже гонится за испанскими галеонами или сцепляется ноками рей с французским капером, да мало ли чего еще.

— И сейчас бывают приключения, — возразил я. Но Поль не обратил на мои слова никакого внимания.

— А сейчас мы из начальной школы идем в среднюю, оттуда в колледж, а потом поступаем на службу или становимся докторами, или еще кем, а о приключениях только и знаем, что из книжек. Вот, случись настоящее приключение, мы и знать не будем, что делать, провалиться мне на этом месте. Скажешь, нет? — Ну, не знаю, — ответил я уклончиво. — Но ведь ты не струсишь, верно?-наседал Поль. Я ответил, что, уж конечно, не струшу. — Не обязательно ведь быть трусом, можно просто растеряться, правда?

Я признал, что и храбрые люди иногда волнуются. — Значит, и с приключением у нас ничего не получится, это уж как пить дать, — с досадой сказал он. — Позор, да и только.

— Приключения-то еще никакого нету, — ответил я, не понимая, чего он разахался из-за ерунды. За Полем, знаете ли, водились некоторые странности, я-то хорошо его изучил. Он очень много читал, любил пофантазировать, и, случалось, на него «накатывало», вроде как в этот раз. Поэтому я сказал:-Что толку беспокоиться, получится или не получится, ведь приключением еще и не пахнет. Глядишь, все обернется в лучшем виде.

Некоторое время Поль молчал, и я думал, что с него слетело его настроение, как вдруг он опять

заговорил:

— Представь себе, Боб Келлог: мы плывем куда-то, ну, вот как сейчас, и ничего не подозреваем, и вдруг — какой-нибудь корабль, а на нем вооруженные люди, и они бросаются на абордаж. Что бы ты стал делать? Сумел бы отбить их?

— А ты что стал бы делать? — вывернулся я. — У нас ведь ружья и того нет на борту.

— Значит, ты бы сдался в плен, да? -сердито допрашивал он.-А если бы они захотели тебя убить?

— Я не про себя говорю, — ответил я, тоже начиная злиться.-Я спрашиваю: что бы ты сам сделал, раз у нас нет никакого оружия?

— Уж я бы что-нибудь да нашел, — сказал он довольно резко. Мне стало смешно.

— Уж ты бы в грязь лицом не ударил, да? Ну и хвастун же ты!

Поль чиркнул спичкой, взглянул на свои часы и сказал, что скоро уже час ночи. Он всегда прибегал к этому способу, когда спор оборачивался не в его пользу. Кроме того, мы еще никогда не были так близки к ссоре, как сейчас, хотя небольшие размолвки случались и прежде. Тут я заметил впереди какой-то слабый белый огонек, и в ту же минуту Поль сказал:

— Якорный огонь. Чудаки, нашли место для стоянки. Может, это шаланда со шлюпкой на буксире, держи-ка лучше подальше.

Я отвернул шлюп на несколько румбов, паруса надулись, и мы помчались вперед, оставляя огонь далеко в стороне, так что даже не удалось разглядеть, какое это было судно. И вдруг наш «Туман» стал терять скорость все больше и больше, словно увязал в жидкой грязи. Мы оба испугались. Ветер крепчал, а мы, несмотря на это, почти стояли на месте.

— Илистая отмель? Здесь? Первый раз слышу! Недоверчиво фыркнув, Поль схватил весло и сунул его за борт. Он опускал весло все глубже, и наконец рука его ушла в воду. Дна не было! Это ошеломило «ас. Ветер так и свистел, а „Тумаш“ двигался «перед черепашьим шагом. Казалось, жизнь ушла из него, и ничего нельзя было сделать, я только повернул его против ветра, чтобы уберечься от качки. — Слушай! — тронул я Поля за плечо. До нас донесся скрип уключин, и мы увидели, что белый огонек, прыгающий вверх и вниз, теперь совсем близко от нас.

— Вот он, твой вооруженный корабль, — шутки ради прошептал я. — Вели свистать всех наверх и отбивай абордаж!

Мы расхохотались и все еще продолжали смеяться, когда в темноте вдруг раздался яростный вопль и о нашу корму стукнулась лодка. При свете висевшего в ней фонаря мы ясно увидели двух гребцов. Бронзовые от загара лица и вязаные шотландские береты, лихо сдвинутые набекрень, делали их похожими на чужеземцев. Оба они были подпоясаны яркими шерстяными кушаками, на ногах высокие матросские сапоги. Я и по сей день помню, как у меня мороз пробежал по коже, когда в ушах у одного я заметил маленькие золотые сережки. Прямо пираты какие-то из романа. Искаженные гневом лица и длинные ножи, которыми оба размахивали, довершали сходство. Они о чем-то визгливо кричали не по-нашему, так что мы ничего не могли понять.

Один из них, тот, что был ниже ростом и злее с виду, схватился за поручни нашего шлюпа и начал карабкаться на борт. В мгновение ока Поль уперся концом весла ему в грудь и столкнул обратно. Незнакомец мешком свалился на дно лодки, однако же сразу вскочил на ноги и, размахивая ножом, завизжал: — Ты сломал моя сеть! Ты сломал моя сеть! И снова залопотал по-своему, его товарищ тоже; было видно, что они вот-вот бросятся на нас.

— Это же итальянские рыбаки! -закричал я, сообразив наконец, в чем дело. — Мы наскочили на их сеть, она прошла под килем и зацепилась за руль. Она-то нас и держит.

— Да, натворили дел, а эти парни вон какие свирепые, — отозвался Поль, тыкая в них веслом и не подпуская к борту.-Эй, вы!-крикнул он им.-Оставьте нас в покое и тогда получите свое добро назад. Мы же не знали, что вы там сетей понаставили. Что мы, нарочно, что ли!

— Вы ничего не потеряете! — прибавил я. — Мы вам заплатим.

Но они ничего не понимали. Или просто не хотели понимать.

— Ты сломал моя сеть! Ты сломал моя сеть!-яростно размахивая руками, визжал в ответ коротышка с серьгами.-Я тебе покажу! Я из тебя душу выну, так и знай!

На этот раз, когда Поль сталкивал его с борта, он ухватился за весло, а его товарищ прыгнул на палубу. Я прислонился спиной к румпелю и, пока он, стоя на краю палубы, пытался удержать равновесие, встретил его другим веслом. Он тяжело рухнул в лодку. Дело принимало серьезный оборот, а когда он, вскочив, вцепился в мое весло и я ощутил его силу, признаюсь, я порядком

струхнул. Он был много сильнее и мог бы легко стащить меня с палубы, но вместо этого почему-то просто подтянул лодку вплотную к нашему борту, и, когда я опять толкнул его, лодка немного отошла. Кроме того, нож, который он все еще держал в правой руке, очень мешал ему, и это до некоторой степени уравнивало наши силы. Поль тоже пока не уступал своему коротышке, но долго так продолжаться не могло. Несколько раз я принимался кричать, что мы не отказываемся заплатить за испорченную сеть, но все было напрасно.

Затем мой противник, перебирая руками весло, начал медленно, но упорно подвигаться ко мне. Коротышка точно так же понемногу отбирал весло у Поля. Расстояние между нами все сокращалось, и мы понимали, что развязка — лишь вопрос времени. — Руль под ветер. Боб! — тихо окликнул меня Поль. Я быстро взглянул на него и успел заметить очень бледное лицо и крепко сжатые зубы.

— Эй, Боб, — настойчиво повторял Поль, — руль под ветер! Держи под ветер, Боб!

И вдруг я понял. Не выпуская из рук весла, я спиной подтолкнул румпель и весь изогнулся, чтобы удержать его в новом положении. Как я

уже говорил, шлюп, поставленный против ветра, почти не двигался. И теперь мой маневр должен был развернуть его так, чтобы грот перекинулся с одной стороны на другую. Я всем телом почувствовал, что парус уже потерял ветер, и наш гик начал поворачиваться. Противник Поля в это время опять занес ногу на палубу, а мой как раз карабкался наверх.

— Берегись! — крикнул я Полю. — Пошел! Мы разом отпустили весла и спрыгнули в кубрик. В тот же миг толстый гик и тяжелые блоки талей пронеслись над нашими головами, следом, как огромная извивающаяся змея, хлестнул грота-шкот, и «Туман», резко дернувшись, перевалился на другой бок. Оба рыбака успели соскочить с палубы, но низенькому каким-то образом прищемило руку, или он, падая, напоролся на нож, только, когда мы выглянули, он стоял в лодке, зажав окровавленные пальцы между колен, и лицо его перекосилось от боли и бессильной ярости.

— Ну, теперь не зевай! — прошептал Поль. — За борт скорей!

Мы скользнули в воду по обе стороны руля и потянули сеть ногами, сталкивая ее вниз, еще и еще, и вот резкий толчок-руль свободен! Миг-и мы снова были на палубе, Поль кинулся к шкоту,

я к штурвалу, и наш «Туман», освободившись от пут, стремглав полетел вперед, а белый огонек за кормой становился все меньше и меньше.

— Ну, вот тебе и приключение, теперь успокоился? -помнится, спросил я, когда мы переоделись в сухое и, довольные, опять сидели в кубрике.

— Знаешь, теперь всю неделю меня будут мучить кошмары, это уж верно.-Поль помолчал, задумчиво сдвинул брови. — Разве что я вообще спать не буду.

Приключение в воздушном океане

Я отставной капитан верхнего моря. Иначе говоря, в молодости (а это было не так уж давно) я был воздухоплавателем и странствовал по воздушному океану, что простирается над нами и вокруг нас. Понятно, профессия эта опасная, и, понятно, я пережил немало волнующих приключений; но самым волнующим и уж, конечно, самым тяжким испытанием было то, о котором я хочу рассказать.

Случилось это еще до того, как я стал летать на водородных аэростатах с двойной оболочкой из покрытого лаком шелка на подкладке — такие аэростаты держатся в воздухе не часами, а целыми днями. В ту пору я поднимался на «Маленьком Нассау» (названном так в честь «Великого Нассау», который бороздил воздушный океан за много лет до него). «Маленький Нассау» был солидных размеров, с однослойной оболочкой; наполненный нагретым воздухом, он поднимался вверх на милю и даже больше, и на нем можно было летать чуть не целый час. Меня это вполне устраивало: я тогда совершал с высоты 1В полмили прыжки с парашютом над

общественными парками и сельскими ярмарками. У меня был подписан на все лето контракт с трамвайной компанией города Окленда (штат Калифорния). Этой компании принадлежал большой загородный парк, и, естественно, ей выгодно было устраивать всякие развлечения, ради которых горожане трамваем отправлялись на лоно природы подышать воздухом. По условиям контракта, я поднимался на своем аэростате дважды в неделю, и мой номер программы был самым заманчивым: в эти дни в парк стекалось больше всего народу.

Чтобы вы могли понять, что произошло, сперва объясню вкратце, что за штука этот самый наполняемый нагретым воздухом аэростат, с которого совершаются парашютные прыжки. Если вы хоть раз видели такой прыжок, вы помните, что, едва парашют отделился, аэростат переворачивается вверх дном, горячий воздух и дым выходят из него — и пустая плоская оболочка падает на землю. Таким образом, не приходится рыскать по всей округе, догоняя покинутый воздушный шар, и тратить на его розыски много времени и сил. Достигается это так: к вершине воздушного шара прикрепляется на длинном канате груз. Воздухоплаватель с парашютом и трапецией

висит внизу, под шаром, и своим весом удерживает его в нужном положении. Но как только он отделяется, груз тотчас заставляет шар перевернуться-и нагретый воздух выходит из его устья. На «Маленьком Нассау» грузом служил небольшой мешок с песком.

В тот день, о котором я хочу рассказать, публики собралось больше обычного, и полиция из сил выбивалась, осаживая толпу. Мужчины, женщины и дети толкались и напирали, стараясь подойти поближе, и канаты, которыми была огорожена площадка с аэростатом, чуть не лопались. Когда я, переодевшись для полета, вышел из своей будки, я заметил у самого каната двух девочек лет четырнадцати и шестнадцати, а по эту сторону каната-мальчонку лет восьми. Девочки удерживали его за руки, а он, хоть и со смехом, отчаянно вырывался. В ту минуту я почти не обратил на них внимания: дети разыгрались, не велика важность. Но после случилось такое, что эта сценка сразу ожила у меня в памяти.

— Никого не подпускай близко, Джордж! — велел я своему помощнику.-А то как бы кого не зацепило.

— Ладно, — отозвался он. — Не беспокойся, Чарли, я уж пригляжу.

Джордж Гаппи десятки раз помогал мне подниматься в воздух, и, зная, что он человек хладнокровный, рассудительный и надежный, я привык спокойно вверять ему свою жизнь. Джордж всегда наполнял аэростат горячим «воздухом и заботился о том, чтобы парашют работал безотказно.

«Маленький Нассау», уже надутый, туго натягивал удерживавшие его веревки. Парашют был аккуратно разложен на земле перед трапецией. Я сбросил пальто, занял свое место и дал знак пускать. Как вы знаете, в первую секунду аэростат взлетает очень резко, рывком, а на этот раз, подхваченный ветром, он сильно накренился и потом выпрямился не так быстро, как всегда. Я глянул вниз; мне давно знаком был вид убегающей из-под ног земли. Как всегда, подо мною были тысячи зрителей, тысячи запрокинутых лиц, но все молчали. Их молчание поразило меня: ведь прошло уже несколько секунд, обычно за это время толпа успевала перевести дух и разражалась бурей приветственных криков. А тут никто не хлопал в ладоши, не свистел, не кричал «ура», стояла мертвая тишина. И в тишине, громкий, как колокол, отчетливо и спокойно прозвучал в рупор голос Джорджа:

— Посади его, Чарли! Посади шар наземь! Что случилось? Я помахал рукой в знак, что слышал, и стал раскидывать мозгами. Может, что-нибудь неладно с парашютом? Чего ради сажать аэростат, когда тысячи людей собрались поглядеть, как я прыгну? Что такое стряслось? Я терялся в догадках, и вдруг новая неожиданность. Земля осталась далеко внизу, и, однако, я услышал, как где-то, кажется, совсем рядом, негромко плачет ребенок. И хотя «Маленький Нассау», словно шутиха, стремительно уносился в небо, плач не стихал, не замирал вдали. Невольно я поднял глаза, поглядел в ту сторону и, признаться, чуть не ошалел от страха: на мешке с грузом, который должен был опустить «Маленького Нассау» на землю, сидел верхом мальчуган, тот самый, что раньше вырывался из рук двух девочек, — как я потом узнал, это были его сестры.

Он сидел верхом на мешке, изо всех сил вцепившись обеими руками в канат. Порыв ветра слегка накренил аэростат, непрошеного пассажира отнесло футов на двенадцать в сторону и опять прибило к туго натянутой оболочке, о которую он ударился с такой силой, что и меня порядком тряхнуло, а я находился на добрых тридцать футов ниже. Я думал, он сорвется, но мальчишка

хоть и захныкал, а каната не выпустил. После мне рассказали, что в ту самую минуту, когда аэростат освобождали от привязи, малыш вырвался из рук сестер, нырнул под канат и оседлал мешок с песком. У.ма не приложу, как он не свалился от толчка при взлете. «•-.-• Так вот, увидал я его, и тошно мне стало, и я понял, почему на этот раз аэростат так долго не выпрямлялся и почему Джордж кричал, чтобы я садился. Ведь прыгни я с парашютом, шар тотчас перевернется, горячий воздух выйдет и пустая оболочка сразу упадет на землю. Остается одна надежда, что я сумею посадить его, а мальчуган не выпустит каната. Добраться до него невозможно. Ни один человек не мог бы вскарабкаться по тонкому сложенному парашюту; а если бы это и удалось, если бы и подтянуться к отверстию внизу аэростата, что дальше? Мальчишка на своем ненадежном насесте мотается в пятнадцати футах от устья аэростата, и эти пятнадцать футов пустоты никакими силами не одолеешь.

Мысль моя работала куда быстрей, чем я сейчас все это рассказываю, и я мигом понял, что надо отвлечь мальчика от грозящей ему опасности. Призвав на помощь все свое самообладание и стараясь казаться спокойным, я окликнул весело:

— Эй, на мешке, ты кто такой?

Он поглядел на меня сверху вниз, проглотил слезы, оживился, но тут аэростат попал во встречный воздушный поток, завертелся и почти лег набок. Мальчишка на своем канате закачался, как маятник, потом снова ударился о туго натянутую ткань. И опять заплакал.

— Здорово, а? — сказал я весело, точно лучшего удовольствия и придумать нельзя. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — А тебя как звать? — Томми Дирмот, — отозвался мальчик. — Рад с тобой познакомиться, Томми Дирмот, — сказал я.-А интересно знать, кто тебе позволил со мной лететь?

Он засмеялся и сказал, что решил полететь просто так, для забавы. И мы продолжали беседовать, причем я до смерти боялся за мальчишку и ломал себе голову, о чем бы еще поговорить. Я знал, что больше ничего сделать не могу

— только бы не давать ему думать об опасности, от этого зависит его жизнь. Я показывал ему, какой великолепный вид простирается в четырех тысячах футов под нами до самого горизонта. Вон раскинулась бухта Сан-Франциско, точно безмятежное озеро, вон и самый город, окутанный дымным маревом, а там Золотые ворота, и за ни-

ми, в тумане, океан, и над всем, четко вырезанная в небе, высится гора Тэмелпайс. Прямо под нами виднелся кабриолет; казалось, он ползет, как черепаха, но я по опыту знал, что седоки, несясь за нами вдогонку, изо всех сил нахлестывают лошадей.

Но скоро Томми устал любоваться окрестностями, и я видел: ему становится страшно.

— Может, пойдешь ко мне в компаньоны? — предложил я.

Он сразу оживился и спросил: — А вы хорошо зарабатываете?

Но теперь «Маленький Нассау», постепенно остывая, начал спускаться, встречные воздушные потоки то и дело немилосердно встряхивали его. Беднягу Томми раскачивало из стороны в сторону, и один раз он сильно ударился о стенку аэростата. Губы его задрожали, и он опять заплакал. Я пробовал шутить, смеяться, но все понапрасну. Мужество покидало мальчика, и я с минуты на минуту ждал, что руки его разожмутся и он рухнет вниз.

Меня взяло отчаяние. И вдруг я вспомнил, что иной раз страх страхом вышибают. Я сурово сдвинул брови и крикнул:

— А ну, цепляйся покрепче за канат! Не то,

когда спустимся, я тебя так отлуплю-своих не узнаешь! Понятно?

— Д-да-а, сэр, — прохныкал Томми, и я понял, что хитрость удалась. Я был к нему ближе, чем земля, и меня он боялся больше, чем падения.

— Тебе хорошо сидеть там, на мягком мешке, — болтал я, не давая ему опомниться. — Не то что мне на этой жесткой перекладине.

Тут ему пришла в голову такая мысль, что он даже забыл, как у него ноют пальцы.

— А когда вы будете прыгать?-спросил он. — Я хочу посмотреть, как вы прыгаете.

Пришлось мне его разочаровать: прыгать я не собирался.

— А в газете написано, что вы прыгнете! — заспорил Томми.

— Мало ли что, — сказал я. — Меня нынче лень одолела, посажу шар на землю — и ладно. Это мой шар, что хочу, то с ним и делаю. Да и все равно мы уже почти спустились.

И правда, мы были уже низко и быстро спускались. И тут мальчишка стал на меня наседать: мол, нехорошо обманывать людей, все ждут, чтоб я прыгнул, значит, надо прыгать. А я, в душе радуясь такому обороту дела, гнул свое и на все лады доказывал ему, будто имею полное право не

прыгать; но вот мы пролетели над эвкалиптовой рощей и спустились к самой земле.

— Цепляйся крепче! — крикнул я и повис на руках на трапеции, чтобы спружинить ногами.

Мы пронеслись над сараем, едва не задели веревку, на которой сушилось белье, распугали кур на каком-то дворе, перемахнули через стог сена — все куда быстрей, чем я сейчас рассказываю. Наконец мы опустились в чей-то фруктовый сад, ноги мои коснулись земли и, несколько раз обернув трапецию вокруг ствола ближайшей яблони, я остановил аэростат.

Однажды мой аэростат загорелся в воздухе; в другой раз я зацепился и повис на карнизе десятиэтажного дома; случилось мне камнем падать шестьсот футов, когда не раскрылся вовремя парашют; но никогда еще я не чувствовал такой слабости, никогда у меня так не кружилась голова и не подкашивались ноги, как в минуту, когда я, шатаясь, подошел к этому мальчишке, целому и невредимому, без единой царапинки, и схватил его за плечо.

— Томми Дирмот, — сказал я, кое-как совладав с собой. — Томми Дирмот, сейчас я тебя разложу и задам тебе такую трепку, какой еще никогда с сотворения мира ни одному мальчишке не

задавали!

— Нет, не зададите! — сказал он, вырываясь у меня из рук.-Вы говорили, что не станете меня бить, если я буду крепко цепляться.

— Верно, говорил. Но все равно я тебя отлуплю. На воздушных шарах летает народ самый что ни на есть дрянной и непутевый, и ты себе заруби на носу: от таких надо держаться подальше и от воздушных шаров тоже.

И я действительно выдрал его на совесть. Не знаю, как другим мальчишкам, а ему, уж наверно, сроду так не доставалось.

А у меня после этого случая всякое мужество пропало. Я расторг контракт с Оклендской трамвайной компанией и потом стал летать на водородных аэростатах. Это все-таки спокойнее.

Плешивый

— Так вот, значит, о медведях…

Король Клондайка помолчал немного в раздумье, а все сидевшие на веранде отеля пододвинули свои стулья поближе.

— Коли уж зашла о них речь, — продолжал он, — то на Аляске, я вам скажу, .медведи водятся разные. Вот на Литл Пелли, к примеру, они летом кормятся лососем, так столько их там собирается, что ни белый, ни индеец и близко не подойдут к этому месту. А в Рампартских горах водится удивительный медведь по прозванию «кособокий гризли». Прозвали его кособоким за то, что он с самого потопа ходит по косогорам, и от этого лапы у него с одного боку стали вдвое короче, чем с другого. Такому и кролика не догнать, лети он хоть на всех парах. Опасный? Сцапает? Ну, где ему. Тут, главное дело, не теряйся, заворачивай вниз по склону и беги в обратную сторону. Понимаете, он, бедняга, сразу окажется длинными лапами кверху, а короткими вниз. Да, чудная тварь, но разговор не про него.

На Юконе водится еще один медведь, и уж у этого-то лапы в полном порядке. Большущий

зверь и злобный, а прозвали его «плешивый гризли». Охотиться на него придет в голову разве только белым. Индейцы не такие дураки. К тому же медведь этот с норовом, да не все о нем знают: он никому никогда не уступает дороги. Коли приведется сойтись с ним на тропе и вы дорожите своей шкурой, лучше посторонитесь. Не то быть беде. Да повстречайся плешивому сам господь бог, он и ему не уступил бы ни дюйма. Гордый, бродяга, верьте слову. Мне ведь самому пришлось все это испытать. До приезда сюда я и думать не думал о медведях, хотя мальчишкой видел немало бурых да и черных тоже, малорослых. Но их бояться было нечего.

Так вот, когда мы поселились на своем участке, пошел я на гору поискать подходящую березку на топорище. Но прямое деревцо все не попадалось, и я шагал и шагал, верно, часа два. Да я и не торопился с выбором, потому что заодно хотел заглянуть на Развилок к старику Джо Лошадке и одолжить у него рубанок. В кармане у меня на случай если проголодаюсь лежали пара сухарей да ломоть свиного сала. И, верьте слову, этот завтрак пригодился мне раньше, чем я успел его съесть.

Наконец среди сосен набрел я на очень подхо-

дящую березку. Я уж было взмахнул топором, да тут случайно поглядел под гору. И вижу — прямо на меня шагает вперевалку громадный медведище. Это был плешивый, но тогда я еще ничего не смыслил в этой породе.

«Погляжу, как ты будешь улепетывать», — сказал я про себя и спрятался за деревьями.

Подождал, пока он подойдет шагов на сто, да как выскочу на прогалину, да как заору на весь лес! «Ну, — думаю, — сейчас он от меня задаст стрекача».

Не тут-то было! Башкой только дернул и прет дальше, на меня.

Я заорал еще громче. Но он будто и не слышал. — Ах ты, .подлая душа, — разозлился я. — Все-таки я заставлю тебя свернуть с дороги.

Сорвал я с головы шапку, замахал ею и бегу навстречу, а сам ору во все горло. А поперек тропы лежала толстая калифорнийская сосна, видать, бурей свалило— как раз по грудь мне. Я добежал до нее и остановился, потому что плешивый упрямец все шел и шел прямо на меня. Вот когда меня взял страх. Плешивый поднялся на дыбы и полез через эту самую сосну — и тут я завопил, точно дикий индеец, да как запущу шапкой ему в морду. И бежать…

Слушайте дальше. Обогнул я поваленное дерево и что есть духу помчался с горы вниз, а плешивый с каждым прыжком настигал меня. Под горой была открытая, вся в кочках низина шириной в четверть мили, за ней лес. Я знал, стоит мне поскользнуться, и я — конченый человек, но я выбирал места посуше и летел, как ветер. А плешивый дьявол хрипел у меня за спиной. На полпути он совсем догнал меня и уже задел разок лапой за пятку мокасина. Тут, скажу я вам, пришлось пошевелить мозгами. Понял я: не убежать мне от него, догонит, а спрятаться и вовсе некуда. И вот достал я на бегу из кармана свой немудрящий завтрак и бросил ему.

Оглянулся я только, когда добрался до леса. Плешивый в это время уплетал мои сухари, меня прямо мороз по коже продрал: ведь он чуть было не сцапал меня! Ходу я не сбавлял ни на минуту. Нет, дудки! Бежал что было сил. А тут как раз поворот, выбегаю и вижу — хотите верьте, хотите нет — навстречу топает еще один плешивый!

Заметил он меня, фыркнул-и рысью ко мне! Я мигом повернулся и еще быстрей припустил обратно. Плешивый следом, да так, что я про первого-то медведя сразу забыл. А он тут как тут — несется во всю прыть, верно, думает, ку-

да это я девался и такой ли я вкусный, как мой завтрак. Увидел он меня — и морда у него прямо расплылась от удовольствия. Кинулся он ко мне да как рявкнет! А позади меня другой тоже как рявкнет!

Прыгнул я с тропы в сторону, нырнул в кусты и стал, как бешеный, продираться сквозь них. Я совсем ошалел, мне везде чудились медведи. И вдруг — бац! — в самой гуще черной смородины я наскочил на что-то живое. А оно как даст мне, сбило с ног, навалилось на меня. Еще медведь! Ну, думаю, все, теперь-то мне крышка! А сам не сдаюсь, бью его что есть силы, сцепились мы, катаемся по земле. Вдруг слышу: — Господи, помоги! Женушка моя милая! Глянул получше, оказалось — человек, а ведь я чуть не убил его.

— Я думал, вы медведь, — говорю ему. Он даже всхлипнул от неожиданности и уставился на меня. — И я тоже, — говорит.

За ним, как и за мной, тоже гнался плешивый, а он от него спрятался в кусты. Вот мы и приняли друг друга за медведей.

На тропе тем временем поднялся жуткий рев, но мы и не подумали узнавать, в чем там дело. К полудню мы уже были у Джо Лошадки, взяли ружья, зарядили их на медведя и отправились

обратно. Может, вы мне не поверите, но только когда мы пришли на то место, оба плешивых лежали мертвые. Понимаете, когда я отскочил в сторону, они сошлись нос к носу, и ни один не захотел уступить дорогу. Ну, и пошла драка насмерть.

Так вот я и говорю. Ежели рассказывать про медведей…

В бухте Йеддо

Кошелек пропал у него где-то на Театральной. Он вспомнил, как на мосту через один из каналов, пересекавших эту оживленную улицу, его совсем затолкали в толпе. Возможно, какой-нибудь ловкий воришка именно тогда и выудил у него из кармана пятьдесят с лишним иен вместе с кошельком. А может быть, он сам потерял его, просто обронил по неосторожности.

Напрасно уже в который раз обшаривал он карманы в поисках пропажи. Кошелька не было. Рука его задержалась в пустом кармане брюк, и он горестно посмотрел на горластого хозяина ресторана, который кричал, как сумасшедший:

— Двадцать пять сен! плати! Двадцать пять сен!

— Да ведь кошелька-то нет! — сказал парнишка. — Говорят вам, я его где-то потерял.

В ответ на это хозяин ресторана воздел руки к небесам и завопил:

— Двадцать пять сен! Двадцать пять сен! Плати давай!

Вокруг них уже толпились любопытные, и Элфу Дэвису становилось не по себе.

«До чего все это нелепо и мелочно, — думал Элф. — Поднять такой шум из-за пустяка! Нет, надо что-то делать».

Он уже собрался было удрать как-нибудь — прошмыгнуть сквозь этот лес ног или пробиться силой, но, словно разгадав его намерения, один из официантов, коренастый малый, единственный глаз которого горел злобой, схватил его за руку.

— Плати давай! Плати! Двадцать пять сен! — орал охрипший от злости хозяин.

Элф даже побагровел от унижения, однако упорно продолжал поиски. Он уже не думал о кошельке: не завалялось ли у него где-нибудь хоть немного денег — вот на что он надеялся. В кармане блузы он обнаружил монету в десять сен и пять сен медяшками; потом, вспомнив, что недавно у него куда-то затерялись десять сен, он распорол карман и нашел их в самой глубине подкладки. Теперь у него было двадцать пять сен — ровно столько, сколько требовалось заплатить за съеденный ужин Он протянул деньги хозяину, тот пересчитал их, сразу же успокоился и низко поклонился, и все собравшиеся вокруг тоже подобострастно поклонились и разошлись, Элфу Дэвису едва исполнилось шестнадцать, он служил матросом на американской парусной

шхуне «Энни Майн», которая пришла в Иокогаму за очередной партией кож для Лондона. На берегу он был уже второй раз, и тут ему впервые мимолетно приоткрылись и озадачили его некоторые черты восточного характера. Когда поклоны и приседания кончились, он рассмеялся и вышел; ему предстояло решить еще одну задачу. Как теперь попасть на шхуну? Уже одиннадцать часов вечера, и судовых шлюпок, конечно, у берега нет, а нанимать местного лодочника, не имея в кармане ни гроша, совсем не весело.

Внимательно глядя по сторонам в поисках товарищей по плаванию, он зашагал к пристани. В Иокогаме нет сплошной линии причалов. Суда отдают якорь на рейде, благодаря чему сотни малорослых, коротконогих японцев имеют возможность заработать на хлеб, перевозя пассажиров на берег и обратно.

Десятка полтора лодочников, мужчин и подростков, окликнули Элфа и предложили свои услуги. Он выбрал наиболее подходящего с виду — благообразного старика с сухой ногой. Элф шагнул в сампан и сел. В темноте он не мог видеть, чем занят старик, ясно было только, что тот не торопится в путь. Наконец лодочник подковылял ближе и заглянул Элфу в лицо. — Десять сен,

— сказал он.

— Да, я знаю, десять сен, — небрежно подтвердил Элф. — Однако поторопись. На американскую шхуну. — Десять сен. Плати, — настаивал старик. Элфа бросило в жар от этого ненавистного «давай плати».

— Свези меня на американскую шхуну, тогда и заплачу, — сказал он.

Но лодочник терпеливо стоял перед ним с протянутой рукой и твердил свое: — Десять сен, плати.

Элф попробовал объясниться. У него нет денег. Он потерял кошелек. Но он обязательно заплатит. Как только попадет на шхуну, сразу же и заплатит. Нет, он даже не станет подниматься на борт. Он крикнет товарищам, и они сначала отдадут лодочнику эти десять сен. А уж потом он поднимется на корабль. Так что все будет в порядке, пусть лодочник не беспокоится.

Однако благообразный старец в ответ только повторил:

— Плати. Десять сен.

Хуже всего, что остальные лодочники сидели на ступенях причала и слушали.

Раздосадованный и сердитый Элф поднялся и уже хотел выйти из лодки, но старик ухватил

его за рукав. — блузу. Я везу тебя американская шхуна, — предложил он.

И тут все, что было в Элфе от американской независимости, вспыхнуло в его груди. Англосакс вообще терпеть не может, когда его обманывают, здесь же, как показалось Элфу, был явный грабеж. Десять сен — это шесть американских центов, а ведь блуза, очень хорошая и совсем еще новая, обошлась ему в два доллара.

Ни слова не говоря, он повернулся спиной к старику и пошел в конец пристани, а по пятам за ним двигалась смачно хохотавшая толпа лодочников. Большинство — плотные, мускулистые парни, почти совсем голые, так как июльская ночь была изнуряюще жаркой. Прибрежные жители в любой стране-народ буйный, грубый, и Элф подумал, что оказаться глухой порой на краю пристани с целой оравой таких людей, да еще в большом японском городе, небезопасно.

К нему подошел рослый малый с копной черных волос на голове и свирепым взглядом. Остальные сгрудились за ним, готовые принять участие в переговорах.

— Башмаки, — сказал парень. — Давай, ну! Я свезу тебя на мериканскую шхуну.

Элф покачал головой, а толпа загалдела, тре-

буя, чтобы он соглашался. Но англосакс так уж устроен: на испуг его не возьмешь. Он скорее пойдет на риск, чем позволит командовать собой. И попытка лодочников нажать на Элфа лишь пробудила в нем все неистребимое упрямство его расы. Им двигало то же чувство, какое бывает у солдат, обреченных почти на верную гибель и все же не теряющих мужества; и там, под звездами, на пустынном причале, взятый в кольцо этой бандой, он решил лучше умереть, чем унизиться и отдать им хоть единую тряпку. Дело не в цене — на карту поставлена его честь.

Кто-то грубо толкнул его в спину. Сверкнув глазами, он быстро обернулся, и круг невольно раздался. Но галдеж все усиливался. Каждому хотелось урвать что-либо из его одежды, и они, перебивая друг друга, во всю силу здоровенных глоток выкрикивали свои требования.

Элф уже давно не произносил ни слова, однако видел, что положение становится опасным — нужно уходить. Челюсти его были упрямо сжаты, в глазах— стальной блеск, тело — как пружина, готовая развернуться. В нем чувствовалась такая решимость, что когда он двинулся к берегу, лодочники расступились и пропустили его. Крича и смеясь громче прежнего, они пошли за ним,

одни сзади, другие сбоку. Какой-то нахальный парнишка ростом с Элфа сорвал с него кепи и хотел было напялить на себя, но не успел: Элф сильным ударом сбил его с ног, и тот растянулся на камнях.

Падая, парнишка выронил кепи, и оно исчезло под ногами лодочников. Элф торопливо соображал — матросская гордость не позволяла ему оставить им кепи. Он бросился вслед и вскоре нашел кепи — здоровенный босой верзила стоял на нем столбом и явно не желал сдвинуться с места. Элф попытался выдернуть кепи, но безуспешно. Он попробовал спихнуть ногу в сторону, но верзила только мычал в ответ. Это был прямой вызов, и Элф принял его. С быстротой молнии он подставил парню сзади подножку, а плечом сильно толкнул его в грудь. Тот не ожидал такого жестокого приема и грохнулся навзничь.

Миг — и кепи уже у Элфа на голове, а кулаки его готовы к бою. Затем он резко обернулся, чтобы предупредить нападение сзади, и все бросились врассыпную. Этого он и хотел. Между ним и берегом никого не осталось. Пристань была узкая. Повернувшись лицом к противнику и угрожая кулаками тем, кто пытался обойти его с тыла, он продолжал отступление. Пятиться так, сдержи-

вая наседавшую ораву, было делом не легким. Но люди с темной кожей во всем мире хорошо знают кулак белого человека, и своей победой Элф был обязан не столько собственной воинственности, сколько бесчисленным потасовкам, в которых когда-либо участвовали матросы.

На берегу, у самой пристани, находился полицейский участок, и Элф, пятясь, ввалился в ярко освещенную комнату на потеху щегольски одетому лейтенанту. Лодочники сразу умолкли, присмирели и, как мухи, облепили открытую дверь, сквозь которую им было видно и слышно все, что делается внутри.

В нескольких словах Элф рассказал о своих злоключениях и потребовал, чтобы из уважения к правам иностранца его доставили на шхуну в полицейской шлюпке. В ответ лейтенант, знавший назубок все «правила и предписания», разъяснил ему, что портовые полицейские не перевозчики, а полицейские шлюпки предназначены вовсе не для того, чтобы развозить на суда запоздавших и безденежных матросов.

— Конечно, — прибавил он, — здешние лодочники — прирожденные грабители, но пока они грабят в рамках закона, я бессилен. Требовать плату вперед-их право, и не в моей власти заста-

вить их брать плату за проезд в конце пути.

Элф согласился с его доводами, однако намекнул, что если уж он не может приказать, то мог бы уговорить. Что ж, лейтенант готов сделать одолжение: он подошел к двери и произнес перед лодочниками речь. Но они тоже знали свои права, и не успел лейтенант закрыть рот, как они хором завели свое отвратительное: «Десять сея! плати!»

— Как видите, я ничего не могу сделать, — сказал лейтенант, кстати, безупречно говоривший по-английски. — Но я предупредил, чтобы они не причиняли вам вреда и не приставали, так что вы, по крайней мере, будете в безопасности. Ночь теплая, да и до утра уже недалеко. Ложитесь где-нибудь и спите. Я бы позволил вам спать здесь, в участке, но это против правил и предписаний.

Элф поблагодарил полицейского за доброту и учтивость, но лодочники разбудили в нем всю его национальную гордость и упрямство, и такое решение вопроса его не устраивало. Провести ночь на камнях пристани значило признать себя побежденным.

— Лодочники отказываются переправить меня на шхуну? Лейтенант кивнул.

— Вы тоже отказываетесь? Последовал еще

один кивок.

— Ну, а как там, по вашим правилам и предписаниям, вы будете против, если я переправлюсь сам?. Лейтенант был озадачен. — Лодки-то у вас нету, — сказал он. — Дело не в лодке, — горячился Элф. — Если я сам переправлюсь, никто ведь от этого не пострадает?

— Так-то оно так,-упорствовал в недоумении лейтенант, — но вы же не сможете переправиться. — А вот увидим.

Элф швырнул на пол кепи. Следом в разные стороны полетели туфли. За ними блуза и брюки.

— Запомните, — сказал он зазвеневшим голосом, — я, гражданин Соединенных Штатов, возлагаю на вас ответственность за эту одежду. На вас, на город Иокогаму и «а японское правительство. Спокойной ночи!

Он бросился к двери, растолкал изумленных лодочников и выскочил на пристань. Но они тотчас опомнились и кинулись за ним, восторженными воплями приветствуя этот новый поворот событий. Лодочники и рыбаки Иокогамы долго еще вспоминали эту ночь. Элф добежал до причала и с ходу ловко нырнул. Он поплыл размашистыми саженками, потом любопытство взяло верх, и он на минуту задержался. Из темноты, с пристани,

ему что-то кричали.

Он перевернулся на спину, замер и прислушался. — Ладно! Твоя взяла! — разобрал он отдельные голоса.-Заплатишь после! Вернись! Плыви сюда! Плата потом!

— Нет уж, спасибо, — откликнулся он. — Обойдется без платы. Спокойной ночи.

Он огляделся кругом, высматривая «Энни Майн». Она стояла в доброй миле от берега, и отыскать ее в темноте оказалось не просто. Сначала в глаза ему бросилась целая россыпь огней — так сверкать мог только военный корабль. Очевидно, это был американский крейсер «Ланкастер». Где-то левее и дальше должна быть «Энни Майн». Но левее горели три близко стоящих друг к другу огня. Это не могла быть шхуна. На секунду Элф растерялся. Он лег на спину, закрыл глаза и попытался представить себе гавань, какою он видел ее днем. Потом удовлетворенно фыркнул и снова перевернулся. Три огня, видимо, принадлежат большому английскому грузовому пароходу. Значит, шхуна находится где-то между этими тремя огнями и «Ланкастером». Он долго и пристально вглядывался, и вот, совсем низко над водой, но как раз там, где он и ожидал, тускло засветился одинокий фонарь — якорный огонь

«Энни Майн».

А плыть ночью под звездами было одно удовольствие. Воздух был теплый, как вода, а вода — как парное молоко. На губах чувствовался приятный вкус соли, руки и ноги слегка покалывало, а сильные и ровные удары сердца наполняли его ощущением радости жизни.

Да, это было чудесно, и доплыл он без всяких приключений. Справа остался ярко освещенный «Ланкастер», слева — английский грузовой пароход, а вскоре над головой выросла громада «Энни Майн». Элф схватился за шторм-трап и бесшумно поднялся на палубу. Здесь не было ни души. В камбузе он заметил свет и понял, что это сын капитана варит кофе, коротая скучную стояночную вахту. Элф проскользнул дальше, на полубак. Матросы храпели на своих койках, и духота тесного помещения показалась ему невыносимой. Он надел тонкую бумажную рубаху, парусиновые брюки, сгреб в охапку одеяло с подушкой и, поднявшись наверх, забрался на палубу полубака.

Едва он успел задремать, как его разбудил плеск подходившей к борту лодки и оклик вахтенного. Лодка оказалась полицейской, а подслушанный Элфом взволнованный разговор доставил ему немалое удовольствие. Да, конечно, сын капи-

тана узнает эту одежду. Она принадлежит Элфу Дэвису, их матросу. А что случилось? Нет. Элф Дэвис не возвращался на шхуну. Он на берегу. Его нет на берегу? Ну, тогда, значит, он утонул. Тут лейтенант и сын капитана заговорили оба разом, и Элф ничего не мог больше разобрать. Потом он услышал, как они пошли и подняли на ноги команду. Матросы разворчались спросонок и сказали, что Элфа Дэвиса среди них нет, после чего сын капитана с яростью обрушился на иокогамскую полицию и ее порядки, а лейтенант оправдывался, ссылаясь на правила и предписания, и его английский язык на этот раз оставлял желать лучшего.

Элф подошел к ним и протянул руку. — Одежду я, пожалуй, заберу, — сказал он. — Спасибо, что быстро доставили.

— Не понимаю, почему он не мог тебя самого доставить,-отозвался сын капитана.

Полицейский лейтенант промолчал и не без смуше-ния передал одежду ее законному владельцу.

На другой день, когда Элф собрался в город, его окружила толпа лодочников, они кричали и размахивали руками, но были вполне почтительны, каждый хотел непременно сам перевезти его на

берег. Он выбрал одного и, войдя в лодку, на сей раз не услышал: «плати». Перед тем как шагнуть на причал, Элф протянул лодочнику обычные десять сен. Но тот выпрямился и затряс головой.

— Ты молодец, — сказал он. — Не надо платить. Никогда не надо. Ты смелый, хороший парень.

И все время, пока «Энни Майн» оставалась в порту, лодочники отказывались брать деньги с Элфа Дэвиса. Восхищенные его отвагой и независимостью, они перевозили его даром.

Их дело — жить

Стэнтон Дэвис и Джим Уэмпл замолчали и насторожились: шум на улице все усиливался. Град камней с грохотом обрушился на проволочные противомоскитные сетки на окнах. Вечер был жаркий, и пот заливал лица. Оба прислушивались; сквозь нарастающий гомон толпы прорывались отдельные злобные выкрики на испано-мексиканском наречии. И самыми безобидными из этих чудовищных угроз были: «Смерть гринго!», «Бей американских собак!», «Утопить их в море!».

Недоуменно пожав плечами, Стэнтон Дэвис и Джим Уэмпл вернулись к прерванному разговору, — пришлось повысить голос, чтобы рев толпы не мешал им слышать Друг друга.

— Весь вопрос в том, как туда добраться, — сказал Уэмпл.-До Пануко по реке сорок семь миль…

— А посуху никак нельзя, — подхватил Дэвис, — всюду разбойничают шайки Вильи и Сарагосы, а может, они уже и объединились. Уэмпл кивнул.

— А она на востоке Магнолии, — продолжал он, — это еще две мили от побережья, если только она не вернулась в охотничий домик. Мы долж-

ны найти ее…

— Мы с вами вели честную игру, Уэмпл, и теперь можем говорить прямо. Вы любите ее. Я тоже люблю. Уэмпл закурил сигарету и снова кивнул. — Но теперь нам надо сделать вид, что мы равнодушны к ней и хотим только одного — уберечь ее от опасности и доставить сюда.

— И заключим перемирие на то время, пока будем спасать ее — что ж, я согласен, — сказал Уэмпл.

— Перемирие, пока не привезем ее живой и невредимой сюда, в Тэмпико, или на борт линкора. А потом…

Они вздохнули, посмотрели друг на друга с улыбкой и скрепили свой уговор рукопожатием.

Камни снова забарабанили по проволочным сеткам на окнах, пронзительный мальчишеский голос взлетел над криками, требуя смерти гринго; в парадную дверь начали бить каким-то тараном, и весь дом загудел от тяжелых ударов. Схватив винтовки, Дэвис и Уэмпл выбежали на площадку лестницы: отсюда можно было в крайнем случае держать вход под огнем.

— Если они дверь вышибут, придется задать им взбучку, — сказал Уэмпл.

Дэвис молча кивнул, затем неожиданно разра-

зился страшными проклятиями.

— Подумать только! — пояснил он свою вспышку. — Каждый третий из этих собак работал у меня или у вас, — тощие, босые, оборванные, они рады были бы и десяти сентаво в день, лишь бы получить работу. А мы дали им постоянную работу и сто пятьдесят сентаво в день, и вот теперь они готовы перегрызть нам глотку. — Не все, только метисы, — поправил Уэмпл. — Вы знаете, о чем я говорю, — ответил Дэвис. — Мы не досчитались только тех пеонов, которых заставили уйти или пристрелили.

В дверь никто больше не ломился, и они опять поднялись наверх. Несколько разрозненных выстрелов вдоль улицы, откуда-то издалека, казалось, вымели всех, и вокруг дома стало сравнительно тихо.

Через открытые окна до них долетел свист, и мужской голос позвал:

— Уэмпл! Отоприте! Это я, Хэберт! Мне нужно с вами поговорить!

Уэмпл сошел вниз и скоро вернулся с довольно полным, крепким седеющим американцем лет пятидесяти; тот поздоровался с Дэвисом и, тяжело дыша, плюхнулся в кресло. Он так и не выпустил из рук самозарядный кольт 44-го калибра и сразу

же принялся вытаскивать из кармана своего парусинового пиджака обойму с патронами. Прибежал он без шляпы, запыхавшийся, одна щека рассечена камнем и вся в крови. Вложив в пистолет обойму, он вскочил на ноги и в порыве гнева тоже начал изощренно ругаться.

— Они сорвали американский флаг, затоптали его в грязь и плюют на него. И меня заставляли плевать.

Уэмпл и Дэвис промолчали и только вопросительно смотрели на него.

— О, я понимаю, что вас интересует, — вспыхнул Хэберт.-Плюнул я или нет, спасая свою жизнь? Вот что вас заело. Отвечу. Без всяких увертoк, прямо: если другого выхода не будет — плюну. И не ваше дело, нечего на меня глаза таращить.

Он замолчал, с вызывающим видом взял сигару из ящика на столе и решительно раскурил ее.

— Черт возьми! Я полагаю, в этих местах знают Энтони Хэберта, и уж будьте уверены, знают не как труса. Не отрицаю, в трудную минуту я плюну на флаг. А за каким дьяволом, по-вашему, я мотаюсь по улицам в такую ночь? Разве не сбежал я полчаса назад из Южной гостиницы, где засели сорок здоровенных американцев, не считая женщин, и все с оружием? Там-то было

безопасно. Для чего, по-вашему, я приперся сюда? Вас, что ли, спасать?

От негодования у него перехватило горло, и он вес затрясся, — казалось, его вот-вот хватит удар. — Выкладывайте, — сухо приказал Дэвис. — И скажу!-вскричал Хэберт.-Все дело в моем Билли. Он застрял в самой глуши, за пятьдесят миль от побережья, и между ним и мною двадцать тысяч головорезов федералистов и мятежников. Знаете, что сделал бы мой мальчик, будь он здесь, в Тэмпико, а я в пятидесяти милях, где-то у Пануко? Я-то знаю. Вот я и сделаю то же самое — поеду и разыщу его. — Мы как раз собираемся туда, — заверил его Уэмпл. — Потому-то я к вам и пришел. Вы, конечно, за мисс Дрэксел?

Дэвис и Уэмпл улыбнулись: верно, мол, угадал. В такое время люди отваживаются говорить о вещах, которые прежде были под запретом.

— Тогда-в путь!-воскликнул Хэберт, взглянув на часы. — Сейчас полночь. Нужно добраться до реки и разыскать лодку… 79 В ответ под окном раздались крики возвратившейся толпы.

Дэвис хотел было что-то сказать, но тут зазвонил телефон, и Уэмпл бросился к аппарату.

— Это Карсон, — объяснил он. прикрыв трубку рукой. — Значит, провода через реку еще целы.

Алло, Карсон, связь не обрывалась? Молодец… Да, мулов переправьте к возчику за Тэмкочин… Кто у резервуара? Вы еще можете ему позвонить?.. Скажите ему, чтобы он наполнил баки и выключил магистраль на Арико. Пусть держится до последней возможности и чтобы лошадь была у него наготове, если придется удирать. Не забыл бы он перед уходом оборвать телефонный провод… Да, да, да. Безусловно. Никаких метисов. Оставьте все на попечение чистокровных индейцев. Габриель — человек надежный… Бог знает, когда мы вернемся, если нас выгонят отсюда… Нельзя держать Харамильо на голодном пайке, им нужно две с половиной тысячи баррелей — самое малое. У нас «есть запас на десять дней. Пусть Габриель им распорядится. Продолжайте добычу, даже если нам придется спустить все в реку…

— Спросите, нет ли у него катера, — вмешался Хэберт.

— Нету, — ответил Уэмпл. — В полдень федералисты забрали последний.

— Послушайте, Карсон, а сами-то вы каким образом думаете удрать? — спросил Уэмпл.

Человек, с которым он говорил, находился на другом, южном, берегу Пануко, на нефтехранилище.

— Говорит, убежать нельзя, — отрывисто повторил Уэмпл его слова. — Федералисты повсюду. Удивляется, что его еще не схватили… Кто? Кампос? Вот негодяй!.. Ладно… Не беспокойтесь, если от меня не будет вестей. Я отправляюсь вверх по реке с Дэвисом и Хэбертом… Будьте осторожны, но если представится случай пристрелить Кампоса, не зевайте… О, здесь-то у нас жарко. Они вышибают сейчас двери. Да, во что бы то ни стало. Прощайте, старина. Уэмпл закурил сигарету и вытер лоб. — Вы ведь знаете Кампоса, Хосе Кампоса, — заговорил он. — Этот грязный пес потребовал у Карсона двадцать тысяч песо. Нам пришлось заплатить, иначе он забрал бы половину наших пеонов в свою армию или поджег бы скважины. Вам-то известно, Дэвис, что мы сделали для него за последние годы. Благодарности захотели? Или простой порядочности? Черта с два!..

День двадцать первого апреля был на исходе. Утром этого дня американская морская пехота и матросы военных кораблей высадились в Вера-Крус и захватили таможню и город. Сразу же, как только телеграф разнес эту весть, на улицы Тэмпико хлынули разъяренные толпы мексиканцев; выражая свое возмущение действиями Соединенных Штатов, они сорвали американские флаги и

грозили расправой самим американцам.

Лишь собственная нерешительность помешала толпе довести дело до конца. Взломай она двери в Южной или в какой-нибудь другой гостинице или, например, в доме Уэмпла, началась бы драка, и тысячи федералистских солдат в Тэмпико помогли бы гражданскому населению в его благом намерении — уменьшить число гринго в этой части Мексики. Сдерживать наиболее ретивых могли бы американские военные корабли, но по каким-то непонятным соображениям — сверхделикатности или стратегии, или уж бог знает чего — Соединенные Штаты, приказав захватить Вера-Крус, заботливо вывели свои военные корабли из Тэмпико в открытое море, на двенадцать миль от берега. Приказ этот адмирал Мэйо получил по беспроволочному телеграфу из Вашингтона и трижды просил повторить его, прежде чем со слезами на глазах покинул своих соотечественников и соотечественниц и ушел в море.

— Это же свинство — бросить нас в беде в такое время! — негодовал Хэберт на правителей своей страны. — Мэйо никогда бы этого не сделал. Помяните мое слово, ему пришлось действовать по приказу Вашингтона. И вот — мы здесь, а наши близкие где-то у черта на рогах, за пятьдесят

миль… Поймите, если я потеряю Билли, я просто не посмею вернуться домой, не смогу посмотреть в глаза жене.. Поторапливайтесь. Отправимся втроем. Мы сумеем нагнать страху божьего на любую банду на улице.

— Идите-ка сюда, посмотрите, — сказал Дэвис. Он стоял немного поодаль от окна и заглядывал вниз, на улицу.

Там было полно мятежников; они кричали, ругались, грозили и подстрекали друг друга взломать дверь, но за дверью их ждала смерть, они знали это, и начинать никому не хотелось.

— Сквозь такое скопище там не пробиться, Хэберт, — заметил Дэвис.

— Если они выпустят нам кишки, пользы от этого для вашего Билли или кого-нибудь еще в верховьях Пануко будет немного, — добавил Уэмпл. — А если…

Он не договорил: в толпе началось какое-то непонятное движение. Она расступалась перед отрядом мерно и молчаливо шагавших людей в белой форме.

— Матросы Мэйо все-таки вернулись за нами, — пробормотал Хэберт.

— В таком случае мы сумеем достать военный катер, — сказал Дэвис.

Галдеж на улице прекратился. В наступившей тишине матросы дошли до парадной двери и постучали. Все, трое бросились отпирать, и тут выяснилось, что пришли не американцы, а немцы: два лейтенанта и шестеро солдат морской пехоты. При виде американцев толпа снова забурлила, но солдаты стукнули прикладами о землю, и гнев ее сразу улегся.

— Нет, благодарю вас, — отклонил старший лейтенант приглашение войти, он сносно говорил по-английски. В те минуты, когда голос его терялся в шуме, он беспечно попыхивал сигарой. — Мы возвращаемся на корабль. Наш командир совещался с английским и голландскими командирами, но они отказались действовать заодно, и .наш командир взял на себя полную ответственность. Мы обошли гостиницы. Им нужно продержаться до рассвета, утром мы их выручим. Мы оставили им ракеты, вот такие. Возьмите и вы. Если к вам ворвутся, держитесь во что бы то ни стало и пустите с крыши ракету. Мы сможем быть здесь через сорок пять минут. Наши катера в полной готовности: пары подняты, экипажи и морская пехота ,на местах, — мы двинемся по первой же ракете.

— Раз вы идете сейчас на корабль, нам хотелось

бы пойти с вами, — сказал Дэвис, поблагодарив, как полагается.

Лица обоих лейтенантов вытянулись от неприкрытого брезгливого удивления.

— Нет, нет, — рассмеялся Дэвис. — Мы не собираемся прятаться. В пятидесяти милях вверх по реке остались наши друзья, и нам нужно добраться до берега, чтобы поехать за ними.

Офицеры сразу повеселели, переглянулись и без слов поняли друг друга.

— Если наш командир взял на себя серьезную ответственность в такую ночь, неужели мы не возьмем на себя ответственность гораздо меньшую? — спросил старший. Младший охотно согласился.

Мигом взлетев по лестнице, трое американцев захватили еще патронов и запасные пистолеты, набили карманы сигаретами, сигарами и спичками и сбежали вниз, готовые двинуться в путь. Уэмпл прокричал наверх последние наставления — пусть осаждающие думают, будто в доме кто-то остается,-проверил замок и захлопнул дверь.

Офицеры шли впереди, за ними — американцы, с тыла их прикрывали шестеро матросов; толпа выла и плевалась, уступая дорогу, но ни один камень не просвистел в воздухе.

Подходя к трапу крейсера, они увидели катера и баркасы, полные матросов — тут только и ждали сигнала ракет из осажденных гостиниц. Неподалеку, вверх по реке, бухнуло орудие, за ним еще несколько, и торопливо защелкали винтовочные выстрелы.

— По кому это лупит «Топилья»?-проворчал Хэберт, потом присоединился к другим и тоже стал смотреть.

Луч прожектора, очевидно, с мексиканской канонерки, пронзил темноту на середине реки и заиграл на воде. И вдруг в этом месте, в самом центре движущегося светлого пятна, мелькнул длинный, с низкими бортами, быстроходный катер. Футах в ста позади него в воздухе разорвался снаряд. Другие снаряды рвались в воде, где-то сбоку, за чертой света: видно было, как волны от взрывов подбрасывают катер. О свисте пуль оставалось только догадываться.

Однако это длилось всего несколько минут. Мексиканская канонерка вынуждена была прекратить огонь, катер мчался так быстро, что сумел укрыться за немецким крейсером. Тут он замедлил ход, накренился, сделал широкий круг и встал рядом с паровым катером у трапа.

При свете огней на трапе все увидели лишь

одного человека — светловолосого, взъерошенного паренька лет двадцати, с перепачканным лицом, очень худого, очень спокойного и очень довольного собой.

— Да ведь это Питер Тонсбург! — воскликнул Хэберт, протягивая ему руку. — Здорово, Питер, здорово. Куда это тебя черти несут, как оглашенного, и чего ты раздразнил «Топилью»?

Питер родился в Техасе, в семье шведов-переселенцев, и старые техасские обычаи крепко въелись в него: он небрежно сунул замасленную руку Дэвису, затем Уэмплу, и «здорово», которое он так же небрежно бросал каждому, звучало у него истинно по-техасски.

— Я самый и есть, — ответил он Хэберту. — И никуда меня черти не несут, просто я удирал из-под обстрела. Она хитрая, эта «Топилья». Ну, да я ее обставил. Я давал верных двадцать пять узлов. Эти мазилы и стрелять-то не умеют толком, все шпарили мимо. — Это «Холод»? — спросил Уэмпл. — «Холод-два», — ответил Питер. — Все, что осталось.

Сегодня в полдень этот проходимец Кампос — да вы его знаете — забрал «Холод-один». А на закате они сцапали меня, когда я угонял «Холод-три». Взяли на мушку, заставили подойти к базе

на восточном берегу, а потом выгнали в шею. Как раз перед вечером хозяин переправился на этом катере в Тэмпико, а минут десять назад, не больше, смотрю, на нем уже целая орава федералистов причаливает к восточному берегу-ну, я, понятно, дал им выгрузиться, прыгнул к рулю — и ходу! А где хозяин? Надеюсь, он цел? Я ведь за ним пришел.

— Нет, Питер, это ни к чему, — сказал Дэвис. — Мистер Фрисби в Южной гостинице, он цел и невредим, ему только ободрали кирпичом голову, ссадина дюймов пять, голова трещит отчаянно, и он лежит в постели. Он в безопасности, а ты поедешь с нами, отвезешь нас вверх по реке, чуть дальше Пануко.

— Ха! Это еще надо подумать, — возразил Питер, вытирая свой и без того грязный нос куском замасленной ветоши. — Я немного простыл. Да и цвет лица у меня портится от этих ночных прогулок. — Там остался мой сын, — сказал Хэберт. — Ну, он постарше меня, может и сам о себе позаботиться.

— Там еще женщина, мисс Дрэксел, — тихо сказал Дэвис.

— Кто? Мисс Дрэксел? Что же вы мне раньше-то не сказали? — обиделся Питер. И, вздохнув,

прибавил: -Ну, влезайте, что ли, да и тронемся. Вот уговорили бы своих немецких друзей, пускай пожертвуют мне галлонов двадцать бензина, а то нам не добраться.

— Прятаться теперь толку нет, — заметил Питер Тонсбург, когда они полным ходом мчались вверх по реке и «Топилья» настигла их своим прожектором. — Видно тебя или нет, коли уж влепит снаряд поблизости, так поминай как звали!

И в ту же минуту канонерка открыла огонь. В реве мотора грохот пушек был едва слышен, но разрывы снарядов то и дело встряхивали и раскачивали легкое суденышко. А когда редкие пули защелкали по обшивке и засвистели над головой, никто — даже и сам Питер — не вспомнил его уверений, что прятаться бесполезно, все четверо скорчились на дне катера: каждому казалось, будто все пули и осколки летят именно в него, и он невольно съеживался и втягивал голову в плечи.

Канонерская лодка «Топилья» принадлежала федералистам. А с северного берега по катеру открыли огонь из винтовок и пулемета осаждавшие Тэмпико сторонники конституции, и положение стало еще более опасным.

— Слава богу, что это мексиканцы, а не наши, — сказал Хэберт, когда после пятиминутного

бешеного обстрела они все еще оставались целы. — Мексиканец родится с ружьем в руках, но стрелять из него так и не умеет до самой смерти.

Обогнув наконец излучину реки, которая укрыла их от прожектора, они еще раз убедились, что никто не получил ни царапины и катер тоже невредим.

— И трех часов не пройдет, как доставлю вас в Пануко… только бы не напороться на бревно! — откинувшись назад, прокричал Питер в самое ухо Уэмплу. — А если врежемся в какую-нибудь корягу, тогда еще раньше доставлю — прямо в омут.

Катер мчался сквозь тьму, управляемый светловолосым парнишкой, который знал каждый фут этой реки и находил фарватер лишь по очертаниям берегов, чуть видных в призрачном свете звезд. Резкий ветер развел на широких плесах мелкую злую волну и хлестал водяной пылью и брызгами. И, несмотря на тепло тропической ночи, встречный поток воздуха, насквозь пронизывая их мокрую одежду, заставлял вздрагивать от холода.

— Теперь-то я знаю, почему эту посудину окрестили «Холодом»,-силясь не стучать зубами, сказал Хэберт.

Но ему никто не ответил, и почти все три часа этой гонки в темноте они провели молча. Один раз мимо них, вниз по течению, промчался неосвещенный катер, они заметили его по искрам, вылетавшим из трубы. В другой раз, когда проходили мимо промыслов Торено, большое зарево невдалеке, на южном берегу, вызвало недолгий спор о том, что могло так ярко гореть: Торенские скважины или бунгало на банановой плантации Меррика.

На исходе первого часа пути Питер замедлил ход и направился к берегу.

— У меня тут бензин припрятан, десять галлонов, — пояснил он. — Надо бы проверить, цел ли: сгодится на обратный путь. — Не вылезая из катера, он сунул руку в кусты и объявил: -Все в лучшем виде.-Потом принялся смазывать мотор. — Ха! Вот вчера вечером прочитал я в журнале один рассказ, — заговорил он, стараясь развлечь своих пассажиров.-Называется «Их дело— умирать». А я скажу — черта с два! Человек должен жить — вот его дело! Может, по-вашему, мы должны были думать о смерти, когда «Топилья» задавала нам перцу? Ошибаетесь. Мы живы, верно? Мы удрали от нее. В этом вся штука. Никто не должен умирать. Вот я, к примеру, хотел бы жить

вечно, если уж на то пошло.

Он крутанул рукоятку газа, мотор взревел и положил конец его рассуждениям.

Ни Дэвис, ни Уэмпл не возвращались больше к разговору о своем заветном — все, что нужно, было уже сказано. На некоторое время они порешили затаить свои чувства, и уговор этот был свят и нерушим: соперники уважали друг друга, и каждый верил, что другой ни на волос не отступит от данного слова. Что будет потом — вопрос иной. А сейчас они оба хотели только одного: укрыть Бет Дрэксел от опасности в мятежном Тэмпи-ко или на военном корабле.

В четыре часа они миновали городок Пануко. По крикам и песням можно было догадаться, что расположившийся здесь отряд федералистов выражает свое возмущение высадкой американских моряков в Вера-Крус. Часовые с берега окликнули катер и выстрелили наугад в темноту, откуда доносился треск мотора.

В миле от города, у северного берега, где стоял под парами освещенный речной пароход, они причалили к Асфодельскому промыслу. Пароход был невелик, и сотни две американцев-мужчин, женщин и детей-с трудом разместились на нем. Мужчины в знак приветствия обменя-

лись добродушной бранью, в которой сквозила неподдельная радость от встречи, и тут Хэберт выяснил, что на пароходе ждут его сына: Билли объезжает отдаленные буровые бригады, где еще не знают, что Соединенные Штаты захватили Вера-Крус и что вся Мексика клокочет яростью.

Хэберт решил дождаться сына и потом вернуться пароходом, а трое остальных, услыхав, что мисс Дрэксел нет среди беженцев, направились к южному берегу, на промысел голландской компании. Здесь была богатая скважина, она могла давать до ста восьмидесяти пяти тысяч баррелей нефти в сутки, но добычу пришлось уменьшить, поскольку компания не справлялась с таким количеством. Между Мексикой и Голландией не существовало никаких раздоров, поэтому управляющий был совершенно спокоен, хоть и не мог спать: вместе с ночными сторожами он следил, как бы пьяные солдаты не устроили пожара — на промысле скопились целые озера нефти. Да, мисс Дрэксел вместе со своим братом вернулась в охотничий домик, а больше ему о ней ничего не известно. Нет, он не посылал никаких предупреждений и сомневается, чтобы это сделал кто-нибудь другой. О высадке в Вера-Крус он узнал вчера, часов в десять вечера. Мексиканцы,

как только услыхали об этом, сразу остервенели, убили Майлса Формена с Имперского промысла, разогнали его рабочих и разграбили дом. Лошади? Нет, у него здесь нет ни лошадей, ни мулов. Федералисты давным-давно реквизировали и тех и других. Однако в охотничьем домике, насколько он помнит, сохранились две лошади, но это уж такие клячи, что их даже мексиканцы не взяли.

— Придется пешком, — весело сказал Дэвис. — Всего шесть миль, — так же весело отозвался Уэмпл. — Не будем мешкать.

С реки вдруг донесся выстрел, и они бегом бросились на берег, туда, где оставался Питер. Вслед за первым выстрелом грохнуло еще несколько, похоже было, что стреляли из двух винтовок. Пока управляющий на ломаном испанском языке кричал в коварно притаившуюся темноту что-то о голландском нейтралитете, они добежали до катера и обнаружили на планшире безжизненное тело светловолосого паренька, который собирался жить вечно.

Пробираясь в темноте по невообразимо скверной дороге, ведущей сквозь джунгли к домику, Дэвис и Уэмпл сначала почти не разговаривали. Только заметив на востоке, вдоль южного берега Пануко, зарево пожаров, они перекинулись

несколькими словами и от души понадеялись, что горят жилища, а не скважины.

— Здесь на одном лишь промысле Эбаньо нефти на два миллиарда долларов, — проворчал Дэвис.

— И какой-нибудь пьяный мексиканец, который вместе со всеми своими потрохами и бессмертной душой не стоит и десяти песо, может запалить все это куском промасленной ветоши, — поддержал Уэмпл. — А если уж начнется пожар, огонь опустошит весь промысел до последней капли.

В пять часов наконец рассвело, и они зашагали быстрее, а в шесть уже помогали обитателям домика собираться в путь.

— Одевайтесь попроще, дорога нелегкая, и не теряйте времени на разные бантики, — взывал Уэмпл из-за угла веранды, где находилась отгороженная ширмами спальня мисс Дрэксел.

— Обойдетесь без умывания, некогда, — неумолимо прибавил Дэвис, здороваясь за руку с Чарли Дрэксе-лом, который, зевая, приплелся к ним в пижаме и шлепанцах.-Чарли, а где лошади? Они еще живы?

Уэмпл велел заспанным пеонам остаться на месте, смотреть за домом и на досуге припрятать наиболее ценные вещи, и теперь все так же из-за

угла выкрикивал мисс Дрэксел новости о захвате Вера-Крус; тут вернулся Дэвис и сообщил, что лошади оказались просто жалкими развалинами: они наверняка свалятся и сдохнут, не пройдя и полмили.

Из-за ширм вышла Бет Дрэксел и первым делом заявила, что ни в коем случае не позволит себе сесть верхом на какую-то клячу, потом поздоровалась со своими спасителями; ее смуглая кожа и темные глаза все еще излучали сонное тепло.

— Не мешало бы вам умыться, Стэнтон, — заметила она Дэвису и, обернувшись к Уэмплу, добавила: — И вы тоже хороши, Джим. Вы оба ужасно чумазые.

— Погодите, пока доберемся до Тэмпико, и вы будете не чище. Готовы?

— Сейчас Хуанита уложит мой чемоданчик. — Ради бога. Бет, не теряйте времени! — воскликнул Уэмпл. — Бегите и хватайте самое необходимое.

— Пора, пора в дорогу! — пропел Дэвис. — Быстро! Быстро! Чарли, выбирайте ружье, какое вам по душе. Захватите и для нас парочку.

— Дело настолько серьезно? — спросила мисс Дрэксел. Оба кивнули.

— Мексиканцы сорвались с цепи, — объяснил Дэвис.-Почему они сюда не заглянули, ума не

приложу.

Какое-то движение в соседней комнате насторожило его.

— Кто там? — крикнул он. — Да это же миссис Морган, — ответила Бет.

— О боже! Уэмпл, я ведь про нее совсем забыл, — простонал Дэвис.-Что же нам с ней-то делать?

— Бет пусть идет пешком, а клячи по очереди потащат эту даму.

— В ней сто восемьдесят фунтов, — рассмеялась мисс Дрэксел.-Ау, Марта, поторопитесь! Мы вас ждем, пора отправляться! — Из-за перегородки донеслось приглушенное бормотание, затем выкатилась очень низенькая, тучная и суетливая женщина средних лет.

— Я совсем не могу ходить пешком, — пожаловалась она.-Уж вы, мальчики, меня и не просите, все равно толкуне будет. Мне и полмили не пройти, даже под страхом смерти, а до реки целых шесть по дрянной дороге.

Они в отчаянии смотрели на нее.

— Тогда вы поедете верхом, — сказал Дэвис. — Идемте, Чарли. Оседлаем обеих лошадей.

По дороге сквозь тропические заросли впереди шли мисс Дрэксел и ее горничная, индианка Хуанита; Чарли, с тремя винтовками на плечах,

замыкал шествие, а в середине Дэвис и Уэмпл маялись с миссис Морган и двумя облезлыми одрами. Один из них, чубарый, принимался хрипеть всякий раз, как на него сажали миссис Морган, и хрипел до тех пор, пока его не освобождали от этого солидного груза. Другой одер, покрытый коростой гнедой, когда приходила его очередь везти миссис Морган, неизменно ложился, пройдя четверть мили.

Мисс Дрэксел смеялась, шутила и подзадоривала других, а Уэмпл чуть не силой заставлял миссис Морган идти пешком каждую третью четверть мили. В конце первого часа пути гнедой упал и больше не поднялся, пришлось его бросить. Теперь миссис Морган четверть мили ехала на лошади, и потом столько же шла пешком. Вернее, не шла, а, поддерживаемая с обеих сторон, кое-как ковыляла на своих до смешного маленьких ножках.

В миле от реки дорога стала получше, она проходила здесь вдоль банановой плантации, раскинувшейся на тысячу акров.

— Участок Парслоу,-сказал Чарли Дрэксел.- Теперь он потеряет весь урожай из-за этой неразберихи.

— Ой, посмотрите, что тут такое! — крикнула

им мисс Дрэксел.

Они догнали ее и увидели на дороге отпечатки автомобильных шин.

— Первая машина в этих местах, — уверенно заявил Чарли.

— Да вы обратите внимание на след, — не унималась его сестра. — Наверное, машина выехала прямо из банановой рощи и взобралась на откос.

— Чудо, а не машина, если она сумела вскарабкаться на такой откос!-иронически заметил Дэвис.-На самом-то деле она съехала с него. Слетайте-ка на разведку, Чарли, пока мы сгружаем миссис Морган с ее норовистого рысака. В этих бананах ни одна машина далеко не уйдет.

Чубарый держался мужественно все время, пока его освобождали от груза, потом глубоко вздохнул и рухнул наземь. Миссис Морган тоже вздохнула, села прямо на дорогу и горестно посмотрела на свои крохотные ножки.

— Не ждите меня, мальчики, — сказала она. — Может быть, у реки вы найдете какую-нибудь повозку и пришлете за мной.

Но не успели они и рта раскрыть, чтобы с негодованием отвергнуть этот план, как вдруг внизу, среди зеленого моря бананов, раздалось фырканье мотора. По треску выхлопной трубы они

поняли, что на ней нет глушителя. Огромные листья бананов тряслись, будто по стволам колотил невидимый гигант. Слышно было, как переключались передачи и машина подавалась то вперед, то назад; наконец, минут пять спустя, из стены зелени вырвался длинный и приземистый черный автомобиль и с ходу взлетел было на песчаный откос, однако грунт оказался слишком сыпучий, и, одолев всего две трети подъема, смущенный Чарли Дрэксел вынужден был затормозить, но земля поползла из-под колес, и машина по своим же следам покатилась вниз и опять почти наполовину скрылась в зарослях.

— Расчудесная машина! — пропела мисс Дрэксел, вспомнив популярную песенку, и захлопала в ладоши. — Ну, Марта, ваши мучения кончились.

— Шестицилиндровый и, похоже, совсем новенький-чтоб мне никогда больше не сесть в машину, если я не прав! -сказал Уэмпл и обернулся к Дэвису за подтверждением. Дэвис кивнул.

— Это машина Элисона, — пояснил он. — Кампос стал требовать у него денег взаймы, ну и… Вы же знаете Элисона: он выгнал Кампоса вон. А тот в отместку реквизировал его новый автомобиль. Это случилось позавчера, еще до того, как мы ударили по Вера-Крус. Вчера Элисон говорил мне,

что, по самым последним сведениям, машину погрузили на пароход, направлявшийся вверх по реке. И вот видите, куда ее засадили. Но давайте все-таки попробуем ее вытащить.

Трижды Чарли Дрэксел пытался выехать наверх — и все неудачно: грунт был очень мягкий, а подъем слишком крутой.

— Силы у нее хоть отбавляй, — уверял Чарли. — Да вот колеса буксуют в этой каше.

Они уже разостлали на земле найденные в машине плащи. Теперь мужчины сбросили пиджаки, а Уэмпл, кроме того, расседлал чубарого и, чтобы колеса меньше скользили, разложил в образовавшиеся колеи потник, уздечку, подпруги и ремни от стремян. Автомобиль рывком взлетел на предательский склон, забуксовавшие было колеса впились в набросанную одежду и сбрую, и, чуть помедлив, словно в нерешительности, машина перевалила через гребень откоса и выехала на дорогу.

— Вот это машина, я понимаю! — ликовал Дрэксел. — Да она, чертовка, и на стену вскарабкается, только бы ей за что-нибудь зацепиться!

— Надо поставить на место глушитель, если не хотите играть в пятнашки с каждым солдатом в округе, — распорядился Уэмпл, вместе с осталь-

ными водворяя в автомобиль миссис Морган.

Дорога на голландский промысел вела через окраину города Пануко. Женщины — индианки и метиски — бесстрастно глядели на невиданную повозку, дети возвещали о ее продвижении восторженными криками, собаки — отчаянным лаем. В одном месте, когда они проезжали мимо длинного ряда привязанных федералистских лошадей, их окликнул часовой, но Уэмпл только бросил: «Прибавь газу!»-и машина понеслась по разбитой дороге со скоростью пятидесяти миль в час. Вслед им хлестнул выстрел. Но вскрикнула миссис Морган совсем не поэтому. Вырытые свиньями на дороге глубокие ямы были до краев наполнены грязью и потому почти незаметны. Не успел Дрэксел затормозить, как сильный толчок едва не выбил руль у него из рук.

— Удивительно, как еще ось выдержала, — буркнул Дэвис. — Поезжайте дальше, Чарли, да не гоните так. Нам ничего больше не грозит.

Они подкатили к домикам голландского промысла, и тут-то начались настоящие неприятности. Парохода с беженцами у Асфодельской пристани уже не было. Катер исчез вместе с телом Питера Тонсбурга, а куда и каким образом,-этого управляющий промыслом не знал, и ему явно

хотелось от них избавиться.

— Я вынужден считаться с владельцами.-сказал он.-Наша скважина-самая крупная в Мексике, вы сами знаете: она может давать ежедневно сто восемьдесят пять тысяч баррелей нефти. Я не имею права ею рисковать. Мы с мексиканцами не ссорились. Это все вы, американцы. Если вы останетесь здесь, мне придется вас защищать. И все равно я ничего сделать не смогу. Они перебьют нас всех и вдобавок уничтожат скважину. А если они подожгут ее, запылает весь промысел Эбаньо. Пласт слишком разрушен. Мы сейчас получаем только двадцать тысяч баррелей, и сокращать добычу больше нельзя. И так нефть уже просачивается наверх рядом с трубой. Мы не можем ввязываться в драку. Мы должны продолжать работу.

Дэвис и Уэмпл кивнули. Спорить было нечего: этот человек рассуждал бессердечно, но он был по-своему прав.

Когда управляющий понял, что они и не собираются настаивать, хмурое, испуганное лицо его просветлело.

— Машина у вас хорошая, — продолжал он. — Через Пануко вы переправитесь, там есть паром, а на северном берегу мятежников не так

уж много. Да вы будете в Тэмпико еще раньше парохода. Дождя давно не было. Дорога, наверно, совсем не плоха.

— Все это хорошо, — заметил Дэвис, когда они подъезжали к Пануко, — только вот беда: дорога на том берегу не рассчитана на автомобили, и тем более такие длинные, как наш. Лучше бы он был четырех-, а не шестицилиндровый.

— На четырехцилиндровом не просто было бы одолеть тот подъем у Алисо, где дорога петляет над самой рекой, — возразил Уэмпл.

— А мы его одолеем на шестицилиндровом или уж загубим машину, а она совсем недурна, — со смехом сказала Бет Дрэксел.

Они влетели в Пануко на всей скорости, какую можно было развить на изрезанной колеями дороге, и, обогнув стороной кавалерийские казармы, помчались по городу, делая головокружительные повороты под неистовое кудахтанье кур и собачий лай. На пути к парому им пришлось проехать краем большой рыночной площади в самом центре города. Солдаты, которые дремали, греясь на солнце, или толпились вокруг войсковых лавчонок, осоловело вытаращили глаза на проносившуюся мимо машину. Какой-то пьяный майор заорал из дверей трактира, спрашивая

пароль, и начал крикливо командовать, и, когда площадь уже осталась позади, до них долетел хорошо знакомый многоголосый клич: «Смерть гринго!»

— Если поднимется стрельба, женщинам лечь на дно! — приказал Дэвис. — А вот и паром. Осторожнее, Чарли.

По выемке, такой крутой, что она больше походила на обрыв, машина скатилась прямо к воде, сильно ударилась о сходни, подпрыгнула и очутилась на пароме. Он был только чуть длиннее автомобиля, и Дрэксел, заметно взволнованный (еще бы немного — и поминай, как звали!), сумел остановиться лишь у самого бортика.

Паром ходил по канату и приводился в движение бензиновым мотором, и, пока Уэмпл отдавал чалку, Дэвис быстро осмотрел двигатель. Мотор завелся с третьего оборота. Дэвис включил лебедку, и она начала выбирать со дна трос.

Они были уже на середине реки, когда на берег, только что оставленный ими, вылетели десятка два всадников и открыли беспорядочную стрельбу. Все укрылись за машиной и слушали, как изредка взвизгивали рикошетом ударявшиеся о паром пули. В машину попало лишь один раз.

— Эй, вы что это задумали? — спросил вдруг

Уэмпл Дрэксела, который приподнялся, вытаскивая из машины винтовку.

— Хочу показать этим негодяям, как надо стрелять, — ответил тот. 94

— Нет уж, не надо,-сказал Уэмпл.-Мы здесь не для драки, с нами женщины, нужно доставить их в Тэмпико. — Он вспомнил слова Питера Тонсбурга. — Кому-кому, а нам сейчас надо жить, Чарли, такое наше дело. Погибнуть может каждый. А в такое время — тем более.

Все еще под огнем они причалили к северному берегу, и после того, как Дэвис забросил в воду запальную свечу с паромного мотора и реквизировал остатки бензина — десять галлонов, одним махом взлетели на крутой песчаный откос.

— Вы только посмотрите, как она лезет в гору! — ликовал Дрэксел. — Что нам теперь этот подъем у Алисо! Мы и ему бока наломаем.

— Дело не в подъеме, а в крутых поворотах, — ответил Дэвис. — Там есть один такой — как бы у нас самих бока не затрещали. Эта дорога не для автомобилей, и ни разу еще ни одна машина здесь не проходила. Нашу ведь завезли сюда пароходом.

Но неприятности начались еще раньше, чем они добрались до Алисо. Дорогу вдруг пересекла

небольшая ложбина с крутыми склонами, по другую сторону которой сразу начиналась полоса сыпучего песка в сто ярдов длиной. Без разгона автомобиль неминуемо увяз бы в песке, поэтому Дрэкселу ничего не оставалось, как проскочить ложбину, не замедляя хода. Уэмпл успел подхватить мисс Дрэксел, которая едва не вылетела из машины. Миссис Морган, слишком тяжеловесная для таких полетов, вскрикнула, больно ударившись обо что-то, и даже невозмутимая Хуанита начала быстро-быстро креститься и бормотать молитвы.

Выбравшись из ложбины, автомобиль врезался в песок и, ерзая и виляя из стороны в сторону, двигался все медленнее и медленнее. Мужчины спрыгнули и принялись ему помогать. Мисс Дрэксел вытолкнула Хуаниту и сама соскочила следом, но машина застряла окончательно. Чарли Дрэксел оглянулся и показал назад. Там, в четверти мили от них, скакал верхом на лошади солдат-конституционалист, а ближе, на склоне ложбины, который они только что миновали, дорога в одном месте обвалилась. Похоже, они попали в западню. — Чтобы одолеть этот песок, нужно снова разогнать машину, а назад перебраться — свалишься в яму, — сказал Дрэксел.

Огромная, двадцати футов глубиной, яма с какой-то слизью на дне была похожа на естественный грязевой отстойник.

Дэвис и Уэмпл бросились к рулю, чтобы сменить Дрэксела.

— И у вас ничего не получится, — настаивал тот. — Если задние колеса пройдут мимо ямы, тогда переднее сорвется с кромки вон на том закруглении. А если направить переднее дальше от края, — заднее угодит в яму.

Они тщательно прикинули все, потом взглянули друг на друга.

— Надо суметь, — сказал Дэвис.

— Что ж, попробуем. — Уэмпл дружески оттолкнул соперника и без колебаний сел за руль. — Машину мы ведем одинаково, Дэвис. А вот стреляете вы лучше. Вы нас прикроете с тыла: не подпускайте близко этих разбойников, палите, как только они появятся.

Дэвис взял винтовку и двинулся назад с таким зловещим видом, что одинокий кавалерист дал коню шпоры и ускакал. Миссис Морган, которой помогли вылезти из машины и велели идти вперед, беспомощно заковыляла туда, где кончался песок. Мисс Дрэксел и Хуанита вместе с Чарли разостлали на песке плащи и пиджаки, а затем

принялись обламывать чахлые придорожные кустики и раскладывать на дороге пучки прутьев, ветки и охапки хвороста. Но лишь только Уэмпл тронул машину, все трое бросили свое дело и стали смотреть, как он, пятясь, скатился в ложбину и начал взбираться по противоположному склону. Автомобиль задрал кверху сперва нос, потом зад, качнулся, словно пьяный, и чуть не опрокинулся в яму, когда правое переднее колесо повисло в воздухе. Но задние колеса уже нашли опору, и машина выползла наверх.

И тотчас Уэмпл помчался вниз, набирая скорость на опасном склоне, вылетел из ложбины и проехал по песку на пятьдесят футов дальше, чем в первый раз. Почва в ложбине была наносной, и теперь дорога обвалилась еще больше, но Уэмпл снова пересек ложбину задним ходом, как и раньше, пронеся «переднее колесо по воздуху, и снова помчался обратно, на песок. Четыре раза повторил он этот маневр, с каждым броском проезжая дальше вперед, но и яма после каждой попытки делалась все шире, а дорога все сужалась, так что мисс Дрэксел наконец не выдержала и стала умолять Уэмпла не рисковать больше.

Он показал на группу всадников, летевших во весь опор в миле позади них, и еще раз .перебрал-

ся задним ходом через опасное место.

— Эх, если бы нам еще тряпья какого-нибудь! — пожаловался Чарли сестре, кидая на дорогу тощую, с трудом собранную охапку сухих веток.

И тут машина взревела и опять стремительно ринулась вниз. На какую-то долю секунды показалось, что огромный автомобиль опрокинется в яму, но миг — и яма позади. Машина с разгона сильно ударилась о дно ложбины, отскочила и пробкой вылетела наверх. И тут мисс Дрэксел охватило то ли вдохновение, то ли отчаяние — она сорвала с себя шлисовую дорожную юбку и, гибкая и стройная, как мальчишка, в одних шелковых изящных штанишках, побежала к машине и бросила юбку под медленно вращавшиеся на песке колеса. Автомобиль почти совсем уже остановился, затем, обретя опору, снова двинулся вперед и, подталкиваемый бегущими рядом людьми, выехал на твердую дорогу.

Едва они успели подобрать плащи, пиджаки и юбку и втащить в машину миссис Морган, как их нагнал Дэвис.

— Ложитесь на дно! Все ложитесь! — закричал он, вскочил на подножку, и машина «понеслась. Сзади раздались беспорядочные выстрелы. — Кому жизнь дорога — пригнись! — гаркнул Дэвис в

ухо Уэмилу и для убедительности с маху хлопнул его по плечу.

— Сам поберегись, — проворчал Уэмпл, однако послушно пригнулся. — Ниже голову. Не торчите на виду.

Погоня продолжалась недолго, вдали треснул еще один выстрел, для острастки, и все стихло.

— Отвязались,-сказал Дэвис.-Этим дурням и невдомек, что они еще могли бы сцапать нас на горе Алисо.

— Нет, здесь не проехать, — с юношеской скоропалительностью решил Чарли; они остановили машину на 4. Джек Лондон, т. 4. 97 затяжном подъеме у Алисо и осматривали крутой поворот. Внизу под обрывом неслась река.

— Вылезайте все! — приказал Уэмпл. — Идите в гору пешком, если не хотите, чтобы машина опрокинулась на вас. Будете, где нужно, подкладывать тряпки под колеса.

— Двигайтесь вперед или назад, только не стойте на месте, — тихо сказал ему Дэвис, который стоял у самой кромки обрыва. — Земля так и ползет из-под колес.

— Отойдите подальше! Не свалиться бы мне вам на макушку, — предупредил Уэмпл, отъехав на несколько ярдов.

Но едва машина на минуту задержалась, как рыхлая, сухая земля начала рассыпаться под ее тяжестью и крохотными лавинами скатываться по круче в воду. Уэмпл вынужден был спуститься задним ходом вниз по узкому карнизу на целых пятьдесят ярдов и только здесь смог без риска, остановить машину. Затем он прошел вперед и еще раз внимательно осмотрел поворот, где дорога изламывалась под острым углам. Вместе с Дэвисом они наметили план действий.

— Действуйте быстро, — напутствовал его Дэвис. — Если остановитесь где-нибудь больше чем на две-три секунды, — дело дрянь, купание будет не из приятных.

— Машина боевая, она-то не подведет. Видите вон там, на внутренней стороне дороги, твердый пласт? Лучшей отметки не придумаешь. Если я не загоню машину задним ходом хотя бы до середины этого пласта, значит, в следующий миг мы полетим вниз.

— Машина сильная,-успокоил Дэвис.-Я знаю эту марку. Если уж ей что не по зубам, так вообще никакой автомобиль на это -не способен. Верно, Бет?

— Да, машина — молодец, храбрая чертовка, и вы оба тоже… м-м, то есть, конечно, в мужском

роде! — со смехом подтвердила мисс Дрэксел.

Никогда еще она не казалась им такой очаровательной, как тетерь: взволнованная, она забыла, что не совсем одета, ее каштановые волосы развевались, глаза блестели, на губах играла улыбка. После минутного замешательства они вдруг поймали себя на том, что оба любуются ею, вздохнули украдкой, обменялись взглядом и, поняв друг друга, поспешили каждый к своему делу.

Уэмпл сел за руль и, как всегда, стремительно погнал машину в гору, но теперь и стремительность его была точно рассчитана; Дэвис, пренебрегая опасностью, вскочил на подножку со стороны обрыва чтобы своим весом увеличить немного сцепление широких колес с ненадежной почвой. Если бы кромка дороги обвалилась, опрокинувшийся автомобиль, падая в реку, раздавил бы его.

Вперед — «назад, вперед — назад, и лишь мгновенные остановки, чтобы переключить скорость. Уэмпл, дав задний ход, взбирался до примеченного им твердого пласта на откосе так, что машина, казалось, делала стойку, потом гнал ее вперед, пока земля под передними колесами не начинала отваливаться и шлепаться в воду. Дэвис спрыгивал с подножки и снова оказывался на ней, когда

было нужно, ни на шаг не отставая от машины в ее странном, скачкообразном движении вперед, подбрасывал под колеса плащи и пиджаки, успевал отдавать приказания Чарли, занятому той же работой с другой стороны машины, и время от времени покрикивал на мисс Дрэксел. чтобы держалась подальше.

— Расчудесная машина, расчудесная машина, расчудесная моя!-невнятно, как заклинание, бормотал Уэмпл, борясь с машиной на узком карнизе; иногда он выигрывал несколько дюймов при маневрировании, поднимаясь задним ходом точно до отметки, достигнутой им ранее, а один раз, когда он забрался выше полотна дороги, автомобиль сполз боком вниз, и целых два фута было потеряно.

Лишь после того как Бет захлопала в ладоши, до сознания Дэвиса наконец дошло: подвиг совершен; повернувшись на -подножке, он увидел, что автомобиль задним ходом выбирается уже на прямую дорогу за поворотом; а Уэмпл все так же исступленно продолжал навевать: «Расчудесная машина, расчудесная машина!»

Между ними и Тэмпико не оставалось больше ни тяжелых «подъемов, ни слишком крутых поворотов, но древняя дорога была настолько узка,

что, прежде чем они смогли развернуться, им пришлось пятиться еще две мили. Но препятствие на пути в Тэметико все же было и нешуточное — войска конституциоиалистов, осаждавших город. Однако в полдень им посчастливилось встретить трех американских солдат-пулеметчиков, которые служили наемниками в войсках, сражавшихся против Вильи, и воевали с самого начала наступления от Техасской границы. Под белым флагом Уэмпл провел машину через ничейную полосу в расположение федералистов, и тут им опять повезло: они встретили того же самого вездесущего немецкого морского офицера.

— По-моему, вы сейчас едва ли не единственные американцы в Тэмшико,-сказал он им.-Остальные почти все перебрались на различные корабли, только в Южной гостинице еще живут несколько человек. Но страсти как будто уже начинают остывать.

Они остановились у Южной гостиницы. Дэвис вышел и положил руку на капот машины. — Молодец, старушка!-тихо сказал он. Уимпл последовал его примеру. Оба они посмотрели на мисс Дрэксел, которая хотела было что-то оказать, но глаза ее вдруг наполнились слезами, и, отвернувшись, она ласково погладила машину и

тоже повторила: — Молодец, старушка!

Джек Лондон

Бюро убийств



Глава I

Это был красивый мужчина с выразительными черными глазами, открытым оливкового цвета лицом, чистой гладкой кожей превосходного мягкого оттенка и копной вьющихся темных волос, которые так и хотелось погладить, — короче говоря, это был тот тип мужчины, который привлекает женские взгляды, и вместе с тем тип мужчины, которому прекрасно известно об этой особенности его внешности.

Он был худощав, мускулист и широкоплеч, и во всей его фигуре и проницательном взгляде, которым он окинул комнату, было столько самоуверенности и важности, что подействовало даже на поведение слуги, сопровождавшего его в доме. Слуга был глухонемым, о чем гость едва бы догадался, если бы уже не знал этого по описанию Лэнигана, посетившего ранее этот дом.

Как только за спиной слуги захлопнулась дверь, гость с трудом сдержал охватившую его дрожь. Сама по себе обстановка ничем не возбуждала тревожного чувства. Это была спокойная, достойная комната, уставленная полками с книгами, на стенах виднелись гравюры и карта. Боль-

шая этажерка была битком набита брошюрами расписаний поездов и пароходов. Между окон стоял широкий, как аэродром, письменный стол с телефоном, а рядом на приставном столике — пишущая машинка.

Все было в образцовом порядке, что свидетельствовало о неусыпном оке неизвестного гения.

Внимание посетителя привлекли книги, и он прошел вдоль полок, глазом знатока пробежав одновременно по корешкам всех рядов. Не было ничего настораживающего и в этих солидно переплетенных книгах. Он приметил прозаические драмы Ибсена, сборник пьес и повестей Шоу, роскошные издания Уайльда, Смоллетта, Филдинга, Стерна, а также «Сказки тысячи и одной ночи», «Эволюция собственности» Лафарга, «Маркс для студентов», «Очерки фабианцев», «Экономическое превосходство» Брукса, «Бисмарк и государство социализма» Доусона, «Происхождение семьи» Энгельса, «Соединенные Штаты на Востоке» Конанта и «Организованный труд» Джона Митчела. Отдельно стояли изданные на русском языке произведения Толстого, Горького, Тургенева, Андреева, Гончарова и Достоевского.

Гость так увлекся книгами, что наткнулся на письменный стол, аккуратно заставленный

пачками толстых и тонких журналов, на одном его углу лежал с десяток недавно вышедших романов. Посетитель пододвинул ближайший стул, поудобнее вытянул ноги, зажег сигарету и стал осматривать эти книги. Тоненький томик в красном переплете привлек его внимание. С обложки вызывающе смотрела яркая девица. Он взял книжку и прочел заглавие: «Четыре недели: шумная книга». Едва он открыл ее, как раздался не сильный, но резкий взрыв, изнутри вырвалось пламя и клубы дыма. Гость содрогнулся от ужаса, отпрянул назад и упал вместе со стулом на спину, неуклюже вскинув руки и ноги, книга отлетела в сторону, будто змея, которую человек по рассеянности поднял. Посетитель был потрясен. Его красивое оливкового цвета лицо его стало мертвенно-зеленым, а выразительные черные глаза наполнились ужасом.

В этот момент дверь во внутренние покои открылась и в комнату вошел неизвестный гений. Холодная улыбка появилась на его лице, когда он увидел беднягу, охваченного страхом. Нагнувшись, он поднял книгу, раскрыл ее и молча показал механизм, который взорвал бумажную крышку игрушки.

— Нет ничего удивительного, что такие, как

вы, вынуждены обращаться ко мне, — сказал он с усмешкой. — Вы, террористы, всегда были для меня загадкой. Понять не могу, почему вас сильнее всего тянет как раз к тому, чего вы больше всего боитесь?

Он теперь подчеркнуто выражал свою насмешку:

— Это же порох. Даже если этот игрушечный стреляющий пакет разрядится у вас во рту, самое большее, что он может вызвать — это временные неудобства при разговоре да за едой. Ну, так кого вы хотите убить?

Внешность хозяина была совершенно в другом стиле, нежели внешность гостя. Он был настолько рус, что его можно было бы назвать обесцвеченным блондином. Глаза с тонкими, самыми нежными, какие только можно представить, совершенно как у альбиноса, ресницами, были бледно-голубыми. Его лысеющая голова была покрыта порослью нежных, шелковистых, до того выбеленных временем волос, что они были как снег. Губы пухлые и крупные, но не грубые; а очень высокий большой лоб красноречиво свидетельствовал о недюжинном уме.

Английская речь его была до приторности правильна; явное, полнейшее отсутствие како-

го-либо акцента — само по себе почти означало акцент.

Несмотря на грубую простоватую шутку с книгой, которую он только что подготовил, он, пожалуй, не обладал чувством юмора. Он держался со строгим и суровым достоинством, говорившим о его учености, вместе с тем он весь светился от самодовольства, удовлетворения властью и, казалось, владел вершинами философского спокойствия, совсем не совместимого с поддельными книгами и игрушечными стреляющими пакетами.

Так неуловима была его личность — его бесцветный цвет и почти лишенное морщин лицо, что не по чему было определить его возраст. Ему могло быть тридцать и пятьдесят или шестьдесят лет. Чувствовалось, что он старше, чем выглядит.

— Вы Иван Драгомилов? — спросил посетитель.

— Да, меня знают под этим именем. Оно не хуже любого другого, такого, например, как Вилл Хаусман, которым называетесь вы. Ведь такое имя вы приняли? Я вас знаю. Вы — секретарь группы Каролины Уорфилд. Мне приходилось когда-то иметь с ней дело. Насколько я помню,

вас представлял Лэниган.

Он помолчал, покрыл черной профессорской шапочкой свою жидковолосую голову и сел.

— Надеюсь, жалоб нет, — добавил он холодно.

— О, нет, совсем нет, — торопливо заверил его Хаусман. — Этим вторым делом мы были полностью удовлетворены. Единственная причина того, что мы не появлялись у вас до сих пор, состоит в том, что мы не могли себе этого позволить. Но теперь нам нужен Мак-Даффи, шеф полиции…

— Да, я его знаю, — прервал собеседник.

— Он зверь, изверг, — торопливо заговорил Хаусман, закипая от негодования. — Он без конца издевается над нашим делом, обезглавливает нашу группу, лишает ее избранных бойцов. Несмотря на сделанные ему предупреждения, он выслал Тони, Сисерола и Глука. Несколько раз он учинял разгром наших собраний. Его офицеры зверски избивают и истязают наших. Это ему мы обязаны тем, что четверо наших несчастных братьев и сестер томятся в тюремных застенках.

Пока он перечислял обиды, Драгомилов серьезно кивал головой, словно ведя учет.

— Вот, например, старик Санжер, чистейшая, благороднейшая душа из всех, которые когда-либо дышали грязными испарениями этой цивили-

зации, семидесятидвухлетний старец, патриарх с разрушенным здоровьем, он обречен на десять лет постепенного умирания в тюрьме Синг-Синг в этой стране свободы. А за что? — воскликнул он взволнованно. Затем его голос обмяк, потерял уверенность, силу, и он глухо сам ответил на свой вопрос: — Ни за что. Этой своре государственных ищеек нужно снова преподать красный урок. Не можем мы им больше позволять так обращаться с нами и оставаться безнаказанными. Офицеры Мак-Даффи лжесвидетельствовали, изображая очевидцев. Вам это известно. Он жил слишком долго. Теперь время настало. Он был бы давным-давно мертв, если бы нам удалось раньше добыть денег. Когда мы наконец поняли, что убийство обойдется дешевле, чем затраты на адвокатов, мы оставили наших несчастных товарищей в застенке без защиты, поэтому нам удалось быстрее собрать нужную сумму.

— Вам известно наше правило: не оформлять приказа, пока мы не убеждены, что это социально оправдано, — заметил спокойно Драгомилов.

— Разумеется, — недовольно попытался прервать Хаусман.

— Но в данном случае, — спокойно продолжал Драгомилов, — почти нет сомнений, что ваши

мотивы справедливы. Смерть Мак-Даффи представляется мне социально целесообразной и правильной. Мне известен как он сам, так и его деяния. Могу заверить вас, что расследование с несомненностью подтвердит такое наше заключение. А теперь о деньгах.

— А если вы не признаете смерть Мак-Даффи социально оправданной?

— Деньги будут вам возвращены за вычетом десяти процентов, которые пойдут на покрытие расходов расследования. Таковы наши правила.

Хаусман вынул из кармана пухлый бумажник, но потом заколебался.

— Обязательно платить все?

— Вам, конечно, известны наши сроки? — в голосе Драгомилова прозвучал упрек.

— Но я думал, я полагал… вы сами знаете, мы, анархисты, — бедные люди.

— Именно поэтому я назначаю такую низкую цену. Десять тысяч долларов — не так уж много за убийство шефа полиции крупного города. Поверьте мне, это едва покроет расходы. С частных лиц мы берем значительно дороже, просто потому, что они частные лица. Будь вы миллионерами, а не бедной группой борцов, я бы запросил с вас за Мак-Даффи самое малое пятьдесят тысяч. Кроме

того, сейчас я нездоров, и сам не смогу принять серьезного участия в деле.

— Бог мой! Сколько же вы запросите за короля? — воскликнул собеседник.

— По-разному. Король, ну, скажем, Англии, будет стоить полмиллиона. Небольшой второ- или третьеразрядный король обойдется в семьдесят пять — сто тысяч долларов.

— Понятия не имел, что они стоят так дорого, — проворчал Хаусман.

— Поэтому так мало и убито. Не следует к тому же забывать о больших затратах на такую великолепную организацию, которая мною создана. Одни наши дорожные расходы значительно превосходят то, что вы предполагаете. Моя агентура многочисленна, и совсем не следует думать, что они задаром рискуют жизнью и убивают. И учтите, всю операцию мы проводим, совершенно не подвергая опасности наших клиентов. Если вы считаете, что десять тысяч за жизнь шефа Мак-Даффи — слишком дорогая цена, позвольте вас спросить, разве свою жизнь вы оцениваете дешевле? Кроме того, уж очень вы, анархисты, неумело работаете. Где бы вы ни приложили свою руку, везде вы испортите дело или вообще его провалите. Далее, всегда вам требуются динамит

или адская машина, которые крайне опасны.

— Нужно, чтобы казнь вызвала сенсацию и была эффектным зрелищем, — пояснил Хаусман.

Глава Бюро убийств кивнул:

— Да, я понимаю. Но я говорю не об этом. Это же необычайно глупый, грубый способ убийства и, как я сказал, чрезвычайно опасный для наших агентов. Ну, а если ваша группа позволит нам воспользоваться, скажем, ядом, я сброшу десять процентов, если духовой винтовкой, то двадцать пять процентов.

— Исключено! — воскликнул анархист. — Так мы не достигнем цели. Наше убийство должно быть кровавым.

— В таком случае я не могу снизить цену. Вы же американец, не так ли, мистер Хаусман?

— Да, и родился в Америке — в Сан-Хосе, штат Мичиган.

— Так почему же вам самим не убить Мак-Даффи? И не сэкономить деньги группы?

Анархист побледнел:

— Нет, нет. Ваше обслуживание слишком хорошо, мистер Драгомилов. Кроме того, я… э… характер у меня не тот, чтобы уничтожать или проливать кровь. Такая, знаете ли, натура. Это не по мне. Теоретически я признаю, что убийство

справедливо, но я не в состоянии заставить себя его совершить. Я… я просто не могу, вот и все. И с этим ничего не поделать. Я даже мухи не мог бы обидеть.

— Тем не менее вы входите в боевую группу.

— Да, это так. К этому понуждает меня мой разум. Философствующие непротивленцы, толстовцы, меня не привлекают. Я не верю в теорию «подставь другую щеку, если ударили по одной», как, например, это считает группа Марты Браун. Если меня ударили, я должен нанести удар в ответ.

— Даже через посредство доверенного лица, — сухо прервал Драгомилов.

Хаусман опустил голову:

— Да, через доверенное лицо. Если плоть слаба, то нет другого выхода. Вот вам деньги.

Пока Драгомилов пересчитывал их, Хаусман решил приложить еще одно, последнее усилие, чтобы сделка стала более выгодной.

— Десять тысяч долларов. Убедитесь, все верно. Забирайте их и помните, что они — свидетельство преданности и самопожертвования со стороны десятков моих товарищей, которым большого труда стоил этот нелегкий взнос. Не могли бы вы… э… не могли бы вы включить дополнительно

еще одного мерзавца — инспектора Моргана?

Драгомилов покачал головой:

— Нет, этого нельзя сделать. Ваша группа уже получила самую значительную скидку, которую мы можем допустить.

— Бомбой, понимаете, — настаивал собеседник, — вы же можете убрать обоих сразу одной и той же бомбой…

— Этого-то мы как раз и постараемся не сделать. Мы обязательно проведем расследование по делу шефа Мак-Даффи. Для всех наших дел необходимо моральное обоснование. Если мы найдем, что смерть социально не оправдана…

— Что произойдет с десятью тысячами? — нетерпеливо перебил Хаусман.

— Они будут вам возвращены за вычетом десяти процентов на текущие расходы.

— А если вам не удастся его убить?

— Если в течение года мы потерпим неудачу, деньги вам возвращаются с доплатой пяти процентов неустойки.

Показывая, что беседа окончена, Драгомилов нажал кнопку звонка и встал. Его примеру последовал Хаусман. Пока не пришел слуга, он задал еще один вопрос:

— А если, предположим, вы умрете: несчастный

случай, болезнь или что другое? Ведь у меня нет расписки за деньги. Они пропадут.

— В этом отношении все предусмотрено. За дело немедленно возьмется начальник моего чикагского филиала и будет его вести до тех пор, пока не сможет прибыть начальник сан-францисского филиала. Аналогичный случай произошел недавно, в прошлом году. Помните Бургесса?

— Какого Бургесса?

— Железнодорожного короля. Им занимался один из моих людей, он до конца оформил сделку и, как обычно, получил все деньги вперед. Разумеется, моя санкция имелась. А потом произошло два события. Бургесс погиб во время железнодорожной катастрофы, а наш человек умер от воспаления легких. Тем не менее деньги были возвращены. Я лично проследил за этим, хотя по закону их бы, конечно, не вернуть. Наша продолжительная успешная деятельность — свидетельство честных взаимоотношений с клиентами. Поверьте, в нашем положении, работая незаконно, отсутствие щепетильной честности было бы для нас моментом роковым. А теперь о Мак-Даффи…

В этот момент вошел слуга, и Хаусман сделал предостерегающий жест замолчать. Драгомилов

улыбнулся.

— Не слышит ни слова, — сказал он.

— Но вы же только что ему звонили. И, клянусь богом, он же открыл двери на мой звонок.

— Вспышка лампы заменяет ему звонок. Вместо звонка включается электрический свет. За всю свою жизнь он не слышал ни звука. Если он не видит губ, он не понимает, что ему говорят. А теперь о Мак-Даффи. Хорошо ли вами обдумано решение его убрать? Запомните, для нас отданный приказ все равно что выполненный. Иначе нельзя было бы держать такую организацию. Как вы знаете, у нас особые правила. Если приказ отдан, его уже нельзя взять назад. Это вас устраивает?

— Полностью. — Хаусман остановился у двери. — Когда мы сможем услышать новости о… деятельности?

Драгомилов на минуту задумался.

— В конце недели. Расследование в данном случае будет чистой формальностью. Операция сама по себе очень несложная. Мои люди на месте. До свидания.

Глава II



Неделю спустя, после полудня, у подъезда импортной конторы «С. Константин и Ко» остановилась автомашина. В три часа из своей конторы появился сам Сергиус Константин, до машины его сопровождал управляющий, которому он продолжал давать какие-то указания. Если бы Хаусман или Лэниган видели того, кто садился в машину, они бы сразу его узнали, но для них это был не Сергиус Константин. Если бы задали вопрос об имени этого человека и они согласились ответить, они назвали бы Ивана Драгомилова.

Ибо тот, кто повел машину к югу и пересек людную Ист-сайд, был Иваном Драгомиловым. Он только один раз остановился купить газеты у мальчишки, отчаянно кричавшего: «Экстренный выпуск!» Он не тронулся в путь, пока не прочел заголовки и короткую заметку, сообщавшую о новом грубом беззаконии анархистов в пригороде и смерти шефа полиции Мак-Даффи. Когда он, положив газету возле себя, тронулся с места, лицо его было спокойно и преисполнено достоинства. Созданная им организация работала, и работала со своей обычной четкостью. Расследование — в данном случае оно явилось простой формальностью — было проведено, приказ отдан, и Мак-Даффи мертв.

Улыбка скользнула по его губам, когда он проезжал мимо жилого дома, недавно построенного на краю одной из самых ужасных трущоб Ист-сайда. Улыбнулся он при мысли о ликовании, которое охватит группу Каролины Уорфилд — тех самых террористов, у которых не хватило мужества самим уничтожить Мак-Даффи.

Лифт поднял Константина на последний этаж, он нажал кнопку, молодая женщина, открывшая дверь, бросилась ему на шею, расцеловала и засыпала его восторженными русскими уменьшительными именами, он в ответ называл ее Груней.

Комнаты, куда она его ввела, были очень удобны, необычайно уютны и обставлены с большим вкусом, не уступающим образцовым жилым домам района Ист-сайда. Целомудренной простотой, культурой и богатством веяло от обстановки и убранства дома. Здесь было много полок с книгами, стол, покрытый журналами, роскошный кабинет занимал всю дальнюю часть комнаты. Груня была крепкой русской блондинкой, не лишенной тех здоровых цветов, которых недоставало в наружности ее гостя.

— Вам бы следовало предупредить меня по телефону, — с упреком заговорила она, и ее ан-

глийская речь была совершенно без акцента, совсем как у гостя. — Меня могло не быть дома. Вы появляетесь так редко, что я не знаю, когда и ожидать вас.

Он удобно уселся среди подушек на просторной кушетке у окна, положив рядом вечернюю газету.

— Ну, Груня, родная, ты не должна отчитывать меня, — сказал он, глядя на нее с нежной улыбкой. — Я же не принадлежу к числу несчастных питомцев вашего детсада, а потому не собираюсь позволять тебе приказывать, что мне делать, даже если речь идет об умывании и высмаркивании носа. Я приехал в надежде застать тебя, но мне к тому же хотелось и опробовать мою новую машину. Не хочешь немного со мной прокатиться?

Она отрицательно покачала головой:

— Не сегодня. В четыре я ожидаю гостя.

— Учтем, — он посмотрел на свои часы. — Кроме того, я хотел бы знать, вернешься ли ты домой к концу недели. Без нас обоих Эдж-Мур чувствует себя одиноко.

— Меня не было три дня, — поджала она губы. — А вы, как сказала Гроссет, там не были целый месяц.

— Очень занят. Но теперь я собираюсь уйти на покой на целую неделю. Примусь за чтение. Между прочим, почему бы это понадобилось Гроссет сообщать тебе, что меня не было там месяц? Разве потому, что отсутствовала ты?

— Занят, этот мучитель занят, очень похоже на вас. — Она разразилась смехом и, замолчав, погладила его руку.

— Ты приедешь?

— Сегодня понедельник, — размышляла она. — Да, если… — посмотрела она лукаво, — …если мне можно привезти на уик-энд одного моего друга. Я уверена, он вам понравится.

— О! Это он, не так ли? Один, я полагаю, из ваших длинноволосых социалистов?

— Нет, из коротковолосых. А вообще-то вам бы следовало быть осведомленнее, вместо того, чтобы повторять одну и ту же эту вашу шутку. Ни разу в жизни не видела я длинноволосых социалистов. А вы видели?

— Нет, но я видел, как они пьют пиво, — заявил он уверенно.

— А вот за это вас накажут, — она схватила подушку и угрожающе пошла на него. — Сейчас я дурь-то из вас выбью, как говорят мои ребятишки. Вот вам! Вот! Вот!

— Груня! Я протестую! — вскрикивал он, жадно хватая воздух в промежутках между ударами. — Так не годится. Нельзя так неуважительно обращаться с братом твоей матери. Я же уже старый…

— Ох! — развеселившаяся Груня отпустила его. Отбросив подушку, она взяла его руку и посмотрела на его пальцы. — Подумать только, ведь эти пальцы разрывали пополам колоду карт и гнули серебряные монеты.

— Теперь это все ушло. Они… совсем ослабли.

Он расслабил руку, показывая, какими немощными стали пальцы, которые она хвалила, и вызвал снова взрыв ее негодования. Она положила свою руку на его бицепсы.

— А ну-ка, напрягите их, — приказала она.

— Я… я не могу, — промямлил он. — Эх! У-у! Вот самое большее, на что я способен.

Напряжение, которое ему удалось сделать, было и в самом деле очень невелико.

— Ты же видишь, я обрюзг, у меня размягчение тканей от старости.

— Напрягите крепче! — крикнула она, на этот раз топнув ногой.

Константин, сдавшись, подчинился, и по мере того как бицепсы надувались под ее рукой, румя-

нец восхищения заливал ее лицо.

— Как сталь, — прошептала она. — Но только живая сталь. Просто великолепно. Вы дико сильны. Я бы погибла, если бы вы обрушили всю эту силищу на меня.

— Тебе следует об этом помнить, — ответил он, — и ценить то, что в пору, когда ты была крохой, даже если отвратительно вела себя, я никогда тебя не шлепал.

— Ах, дядя, а разве вы поступали так не потому, что ваши нравственные убеждения были против шлепков?

— Верно, а если кто-нибудь и колебал эти убеждения, так это ты, и, между прочим, довольно часто, особенно в возрасте от трех до шести лет. Груня, дорогая, мне не хочется наносить оскорбления твоим чувствам, но любовь к правде принуждает меня сказать, что в ту пору ты была варваром, дикаркой, троглодиткой, зверушкой из джунглей, настоящим дьяволенком, волчонком, не признавала никакой морали и не умела себя вести…

Угрожающе поднятая подушка заставила его замолчать и торопливо прикрыть руками голову.

— Осторожно! — вскрикнул он. — Судя по твоим действиям, теперь я замечаю одно-единственное

различие — ты превратилась в зрелую волчицу. Тебе двадцать два, да? И, почувствовав свою силу, ты начинаешь пробовать ее на мне. Но еще не все потеряно. В другой раз, когда ты попытаешься меня бить, я тебя отшлепаю, и не посмотрю, что ты стала взрослой леди, заметно раздобревшей взрослой леди.

— Ах вы чудовище! Да нет же! — она вытянула руку. — Посмотрите. Пощупайте. Это же мускулы. Я вешу сто двадцать восемь фунтов. Вы заберете свои слова обратно?

Вновь поднялась и обрушилась на него подушка. Остановилась Груня в самый разгар оборонительной битвы, смеха и отфыркиваний, уверток и отражения ударов, только тогда, когда вошла девушка с самоваром и ей нужно было накрывать на стол.

— Одна из питомиц твоего детсада? — спросил он, когда служанка вышла из комнаты.

Груня кивнула.

— Она выглядит вполне прилично, — заметил он. — Лицо у нее действительно чистенькое.

— Я запрещаю вам дразнить меня моей работой в колонии, — ответила она, с ласковой улыбкой передавая ему чай. — Я сама разработала план собственного воспитания, вот и все. Вы забыли,

чем сами занимались в двадцать лет.

Константин покачал головой.

— Возможно, я был только мечтатель, — прибавил он задумчиво.

— Вы занимались чтением и учением, а для улучшения социальных условий абсолютно ничего не сделали. Вы и пальцем не пошевельнули.

— Да, я не пошевельнул и пальцем, — повторил он печально, и в этот момент его взгляд упал на заголовки газеты с объявлением о смерти Мак-Даффи, он с трудом подавил усмешку, появившуюся на его губах.

— Это в русском духе, — воскликнула Груня. — Изучение, детальные обследования и самоанализ, все, что угодно, кроме дел и действий. А я… — ее молодой голос звучал гордо. — Я принадлежу к новому поколению, первому американскому поколению…

— Ты родилась в России, — вставил он сухо.

— Но воспитана в Америке. Я же была совсем крошкой. Не знаю я другой страны, кроме этой страны действий. А вы, дядя Сергей, если бы вы только оставили свое дело, ой, какой бы силой могли вы стать!

— А все то, что ты там делаешь, — ответил

он. — Не забывай, именно благодаря моему делу ты можешь заниматься своим. Видишь, я творю добро через… — Он замялся, вспомнив слабохарактерного террориста Хаусмана. — Я творю добро через доверенного. Вот так. Ты мой доверенный.

— Я это знаю, и мне неудобно об этом говорить! — воскликнула она в порыве великодушия. — Вы балуете меня. Я совершенно ничего не знаю о своем отце, поэтому не будет никакого предательства с моей стороны признаться, как я рада, что именно вы заменили мне отца. Мой отец… да, даже отец… не мог бы быть так… так необычайно добр.

И вместо подушек на белого бесцветного господина со стальными мускулами, сидевшего развалясь на кушетке, на этот раз щедро посыпались поцелуи.

— Что происходит с твоим анархизмом? — спросил он лукаво, главным образом для того, чтобы скрыть некоторую растерянность и радость, вызванные ее словами. — Одно время, несколько лет назад, все выглядело так, словно из тебя вырастет настоящий красный, извергающий смерть и разрушение на всех защитников существующего порядка.

— Я… я в самом деле симпатизировала такому пути, — неохотно согласилась она.

— Симпатизировала! — воскликнул он. — Ты чуть все жилы из меня не вытянула, пытаясь убедить отказаться от бизнеса и посвятить себя делу человечества. И ты всегда писала «дело» заглавными буквами, если помнишь. Потом ты увлеклась этой работой в трущобах, фактически придя к соглашению с врагом, ставя заплаты на прорехи презираемой тобой системы…

Протестуя, она подняла руку.

— Как еще это назовешь? — настаивал он. — Твои клубы мальчиков, твои клубы маленьких матерей. А эти дневные ясли, организованные для работниц, зачем? Чтобы, заботясь о детях во время их работы, дать возможность хозяевам еще основательнее эксплуатировать их матерей, — вот к чему это ведет.

— Но я переросла программу дневных ясель, дядя, вы же это знаете.

Константин кивнул головой:

— И несколько прочих программ. Ты становишься по-настоящему консервативной… э… похожей на социалистов. Не из такого материала сделаны революционеры.

— Дядя, дорогой, я еще не настолько револю-

ционерка. Я еще расту. Социальное развитие протекает медленно и мучительно. В нем нет коротких путей. Нужно идти шаг за шагом. О, я все еще являюсь философским анархистом. Каждый умный человек — обязательно социалист. Но с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что идеальная свобода анархического государства может быть достигнута только…

— Как его зовут? — внезапно спросил Константин.

— Кого?.. Что?.. — волна румянца залила девичьи щеки.

Константин спокойно отхлебнул чаю и ждал. Груня оправилась от смущения и серьезно посмотрела на него.

— Я вам скажу, — сказала она, — в субботу вечером в Эдж-Мур. Он… он из коротковолосых.

— Тот гость, которого ты привезешь?

Она кивнула:

— До этого я вам ничего сказать не могу.

— Он уже говорил?

— Да… и нет. Не в его правилах начинать что-либо, не будучи совершенно уверенным. Подождите до встречи с ним. Он вам понравится, дядя Сергей, уверена, понравится. И вы с уважением отнесетесь к его образу мыслей. Это… его я

жду в четыре часа. Оставайтесь, и вы познакомитесь с ним. Ну пожалуйста, если хотите.

Но дядя Сергиус Константин, он же Иван Драгомилов, взглянул на часы и быстро встал.

— Нет, Груня, привози его в субботу в Эдж-Мур, и я постараюсь, чтобы он мне понравился. Так мне будет удобнее. Ведь я целую неделю собираюсь бездельничать. Если все это так серьезно, как тебе кажется, попроси его задержаться на неделю.

— Он так занят, — последовал ответ. — Все, что я могла, это уговорить его на уик-энд.

— Дело?

— Что-то в этом роде. Но, конечно, не бизнес. Знаете, он богат. Заботы по улучшению социальных условий — вот, пожалуй, как лучше назвать то, чем он занимается. Но вас восхитят его взгляды, дядя, и вы тоже проникнетесь к ним уважением.

— Я не сомневаюсь, дорогая… все будет так, как ты хочешь, — сказал Константин, когда они, прощаясь, обнялись у порога.

Глава III

Винтера Холла принимала уже другая — сдержанная молодая женщина. Дядя ее ушел несколько минут назад. Груня была подчеркнуто серьезна, пока подавала чай и болтала с ним, если можно назвать болтовней разговор, который касается всего — от последней книги Горького и самых свежих известий о революции в России до Дома Хала[44] и забастовки белошвеек.

Оценивая новый вариант ее планов улучшения условий, Винтер Холл покачал головой.

— Возьмите, например, Дом Халла, — сказал он. — Он был только средством маскировки ужасающих чикагских трущоб. И до сих пор он, собственно, остается ничем иным, как средством маскировки. Ужасающие трущобы начинают разрастаться, проникать в соседние районы. В наши дни порок, нищета и разложение разрослись в Чикаго до невиданных размеров в сравнении с тем, что было, когда основали Дом Халла. Затем Дом Халла провалился, как и все прочие благотворительные проекты. Протекающий корабль

---

[44] notes: 44
Дом Халла — благотворительное учреждение.

не спасти ковшом, который вычерпывает воды меньше, чем ее туда поступает.

— Знаю, знаю, — недовольно проворчала Груня.

— Возьмите историю с внутренними комнатами[45], — продолжал Холл. — По окончании гражданской войны в Нью-Йорке было шестьдесят тысяч внутренних комнат. С тех пор борьба против внутренних комнат велась беспрерывно. Много людей посвятило свои жизни именно этой борьбе. Тысячи, десятки тысяч граждан с развитым чувством общественной ответственности вкладывают свои силы и средства. Целые кварталы были срыты и переделаны в парки и спортивные площадки. Это великая и страшная борьба. А каков результат? Сегодня, в 1911 году, в Нью-Йорке — более трехсот тысяч внутренних комнат.

Он пожал плечами и отхлебнул чаю.

— Вы все более и более убеждаете меня в двух вещах, — призналась Груня. — Во-первых, в том, что свободы, не ограниченной созданными человеком законами, нельзя добиться, минуя фазу созданного человеком социального устройства,

---

[45] notes: 45

Комнаты, не имеющие окон, или окна которых упираются в стену соседнего дома.

которое основано на чрезвычайных законах… Что касается меня, мне бы не хотелось жить в социалистическом государстве.

Это меня бы раздражало.

— Вы предпочитаете дикую, мишурную и жестокую красоту современного коммерческого индивидуализма? — спросил он спокойно.

— Пожалуй, да. Пожалуй, да. Но социалистическое государство должно возникнуть. Это я знаю, потому что ясно понимаю другое — провал проекта улучшения для улучшения, — внезапно закончила она, сверкнув своей ослепительной веселой улыбкой, и добавила: — Шутки в сторону. Начинается жара. Почему бы вам не поехать за город, подышать свежим воздухом?

— А почему бы не поехать вам? — спросил он в ответ.

— Я слишком занята.

— Также и я. — Он замолк, и его лицо сразу стало строгим и суровым, отразив напряженную работу его мысли. — В самом деле, никогда в жизни не был я так занят и никогда не был так близок к завершению большого дела.

— Вы не хотите поехать на неделю, познакомиться с моим дядей? — внезапно спросила она. — Всего несколько минут назад он был здесь.

Он хочет собрать дома на неделю небольшую компанию… просто нас троих.

Он опять отрицательно покачал головой:

— Я хочу и конечно поеду, но никак не смогу пробыть целую неделю. У меня очень важное дело. Только сегодня я нашел то, что искал на протяжении месяцев.

А пока он говорил, она разглядывала его лицо, как только любящая женщина может разглядывать лицо мужчины. Лицо Винтера Холла ей было знакомо до мельчайших черточек: от опрокинутой арки сросшихся бровей до четко очерченных уголков губ, от решительного без вмятинки подбородка до мочки уха. Холл, как мужчина, хотя и влюбленный, не знал в таких подробностях ее лица. Он любил ее, но если бы его вдруг попросили описать ее по памяти, он смог бы это сделать только в общих чертах: живая, гибкая, нежный цвет лица, низкий лоб, прическа всегда к лицу, глаза всегда улыбаются и сияют, румянец на щеках, ласковый, очаровательный рот и голос невыразимо прекрасный. Она оставляет впечатление чистоты и здоровья, благородной серьезности и живого, блестящего ума.

А Груня видела перед собой крепкого двадцатидвухлетнего мужчину, у которого было чело

мыслителя, но в лице — все признаки активного деятеля. Он был голубоглаз, светловолос и бронзоволиц, такими обычно бывают американцы, много времени проводящие на солнце. Он часто улыбался, а если смеялся, то смеялся от души. И все же нередко, когда он задумывался, какая-то суровость, почти жестокость обозначалась на его лице.

Груню, которая любила силу и ненавидела жестокость, порой пугали эти едва уловимые проблески другой стороны его характера.

Винтера Холла нельзя было отнести к числу рядовых представителей его времени. Хотя он и имел беззаботное обеспеченное детство и приличное состояние, унаследованное от отца и возросшее еще со смертью двух незамужних тетушек, он давно посвятил себя служению человечеству. В колледже он специализировался по экономике и социологии, и менее серьезные сокурсники смотрели на него, как на чудака. После колледжа он поддержал Рииса как деньгами, так и личным участием в нью-йоркском походе. Много времени и труда потратил он на общественные работы, но и это не принесло ему удовлетворения. Он всегда искал движущие пружины явлений, доискивался до настоящих причин. Поэтому

стал интересоваться политикой, а затем решил разобраться в закулисных политических махинациях от Нью-Йорка до Олбани и в столице своей страны тоже.

После ряда, казалось бы, безнадежно потерянных лет он несколько месяцев провел в университете, который был в те годы настоящим очагом радикализма, а потом решил начать свои изыскания с самого низу. Год он занимался поденными работами, разъезжая по стране, и еще год колесил вместе с ворами и бродягами. Два года он работал в Чикаго в одном благотворительном учреждении и получал жалованье пятьдесят долларов в месяц. Из всех этих занятий он вышел социалистом, «социалистом-миллионером», как окрестила его пресса.

Он много ездил и всюду присматривался к жизни, стараясь изучить все собственными глазами. Ни одна более или менее важная забастовка не обошлась без его присутствия: он в числе первых оказывался в этом районе. Он присутствовал на всех национальных и международных конференциях организаций трудящихся и провел год в России во время грозного кризиса русской революции 1905 года. Немало его статей появилось в толстых журналах, его перу принадлежало также

несколько книг, хорошо написанных, глубоких, продуманных, но, с точки зрения социалистов, консервативных.

Таков был человек, с которым Груня Константин болтала и пила чай, сидя у окна своей нью-йоркской квартиры.

— Но вам совсем незачем сидеть взаперти в этом скверном, душном городе… — сказала она. — Не могу понять, что удерживает вас. На вашем месте…

Но она не докончила фразы, так как в эту минуту заметила, что Холл больше не слушает ее. Его взгляд случайно упал на вечернюю газету, которая лежала на подоконнике. И он, забыв о ее присутствии, взял газету и начал читать.

Груня надула свои хорошенькие губки, но он не замечал ее.

— Как это мило с вашей стороны… должна я сказать, — не выдержала наконец она. — Читаете газету, когда я с вами разговариваю.

Он повернул страницу так, чтобы она могла увидеть заголовок об убийстве Мак-Даффи. Она взглянула на него в недоумении.

— Извините меня, Груня, но когда я вижу такое, я обо всем забываю. — Он постучал указательным пальцем по заголовку. — Вот из-за этого-то я и

занят. Из-за этого я и остаюсь в Нью-Йорке. Из-за этого я могу себе позволить провести у вас только два дня, а вы знаете, как бы мне хотелось пробыть с вами целую неделю.

— Не понимаю, — начала она нерешительно. — Из-за того, что где-то в другом городе анархисты бросили бомбу в начальника полиции?.. Я… я… не понимаю.

— Я объясню вам. Еще два года назад у меня возникли подозрения, потом они перешли в уверенность, и вот уже несколько месяцев я занят тем, что неотступно выслеживаю самую страшную организацию убийц из когда-либо процветавших в Соединенных Штатах или где-либо еще. Собственно, я почти уверен, что организация эта — международная.

Помните, Джон Моссман покончил с собой, прыгнув с седьмого этажа Фиделити-билдинг? Он был моим другом, а до этого другом моего отца. У него не было причин убивать себя. В личной жизни он был необычайно счастлив. Здоровье у него было на удивление крепкое. И на душе — ни малейших тяжестей. Тем не менее безмозглая полиция назвала это самоубийством. Говорили, будто у него было воспаление тройничного нерва, невралгия лица — неизлечимая, мучительная,

нестерпимая. От такой болезни кончают с собой. Так вот, не было у него ее. Мы обедали вместе в день его смерти. Я-то знаю, что у него не было никакой невралгии, но еще специально проверил — поговорил с его врачом. Это была не больше как выдумка, чистейший вздор. Не убивал он себя, не прыгал он с седьмого этажа Фиделити-билдинг. Кто-то выбросил его с седьмого этажа. Кто? Почему?

Вероятно, это дело было бы мною оставлено и забыто, как одна из неразгаданных тайн, если бы буквально три дня спустя не был убит из пневматической винтовки губернатор Нортхэмптон. Помните? Прямо на улице, из окна, а ведь их выходят на улицу тысячи. Преступление так и не было раскрыто. Мне пришло в голову, что между этими двумя убийствами, быть может, существует связь, и с тех пор я стал с особым вниманием присматриваться ко всем случаям убийства по стране, отмечая каждое необычное обстоятельство.

Нет, я не стану перечислять вам все, скажу только о нескольких. Был такой Борф, мошенник из профсоюзного руководства в Саннингтоне. В течение многих лет он хозяйничал в городе. Никакими мерами по борьбе с продажностью

не удалось зацепить его. Когда проверили его состояние, обнаружили, что оно достигает шести миллионов. Это было вскоре после того, как он полностью прибрал к рукам политическую машину штата. И как раз, когда он находился на вершине богатства и коррупции, его убили.

Были и другие: начальник полиции Литл, крупный махинатор Белкхорст, хлопковый король Бланкхарст, инспектор Сэтчерли, труп которого был найден в Ист-Ривер, и так далее и тому подобное. Виновники ни разу не были обнаружены. Были убийства и в светских кругах: Чарли Этуотер, убитый на охоте, миссис Ленгторн-Хейвардс, миссис Хастингс-Рейнольдс, старик Ван-Остон… Список довольно длинный, уверяю вас.

Все это убедило меня, что здесь работает какая-то сильная организация. В том, что это не просто дело Черной руки, я уверен. Убийства не ограничены ни определенной национальностью, ни определенными слоями общества. Первая мысль моя была об анархистах. Извините меня, Груня, — рука его потянулась к ее руке и ласково сжала ее. — О вас ходит много слухов, и о том, что вы тесно связаны с боевыми группами. Мне известно, что вы расходуете много денег, и у меня возникло подозрение. И, во всяком случае, через вас я мог

бы ближе познакомиться с анархистами. Меня завело к вам подозрение, а удерживает подле вас любовь. Я нашел в вас самого нежного анархиста, и к тому же не слишком-то убежденного. Вот вы уже занялись общественными работами…

— И вам теперь только остается подорвать мою веру и в них, — засмеялась она, поднимая его руку к своему лицу и прижимая ее к щеке. — Но рассказывайте дальше. Это так интересно.

— Анархистов я действительно узнал близко, и чем больше я изучаю их, тем больше убеждаюсь в их неспособности к действиям. Они так непрактичны. Занимаются мечтаниями, сочиняют теории, негодуют по поводу полицейских преследований — вот и все. Никогда они ничего не добьются. И прежде они никогда ничего не могли сделать, кроме неприятностей для себя самих, — я говорю, конечно, о террористических группах. Что же касается толстовцев и кропоткинцев, то они не более чем мягкотелые философы-теоретики. Они не обидят и мухи, да их братья-террористы тоже.

Понимаете, убийства были всякие. Если бы только политические или только светские, их можно было бы приписать какому-то накрепко засекреченному сообществу. Но здесь были и

светские, и связанные с коммерцией. Ну, а раз так, я заключил, что есть какой-то способ, каким люди получают доступ к этой организации. Но какой? Предположим, сказал я себе, имеется человек, которого мне нужно убить. Ну, а что дальше? Ведь у меня нет адреса фирмы, которая выполнила бы мое задание. Была и другая загвоздка: исходное предположение мое никуда не годилось — ведь на самом-то деле я не хотел никого убивать.

Все это до меня дошло только потом, когда Кобурн в Федеральном клубе рассказал нашим о случае, который с ним произошел как раз тем днем. Для него это было просто любопытное происшествие, а для меня — луч света. Когда он переходил 5-ю Авеню в центре, рядом остановился на мотоцикле какой-то мужчина в рабочем комбинезоне, сошел на мостовую и заговорил с ним. В общем этот человек сказал, что если есть кто-нибудь, кого он хочет убрать, это может быть сделано безопасно и безотлагательно. Тут Кобурн пригрозил размозжить парню голову, тот проворно вскочил на свой мотоцикл — и был таков.

А дело вот в чем. Кобурн попал в отчаянно трудное положение. Перед этим его здорово обвел его партнер Мэттисон, обжулил его на сумму потрясающую. Вдобавок Мэттисон бежал в Европу с

женой Кобурна. Понимаете? Во-первых, Кобурн действительно имел или мог, по предположению, даже должен был иметь желание отомстить Мэттисону. И, во-вторых, благодаря газетам дело было предано гласности.

— Понимаю! — воскликнула Груня, оживившись. — В этом и был порок ваших рассуждений. Поскольку вы не могли предать гласности ваше предположительное желание убить человека, организация, естественно, не могла начать с вами переговоры.

— Правильно. Но мне от этого было не легче. Теперь мне стало известно, каким путем люди получают доступ к этой организации и ее услугам. С этого времени с учетом известных мне фактов я занялся изучением таинственных, из ряда вон выходящих убийств и обнаружил, что всем случаям светских убийств практически всегда предшествовали сенсационные публичные скандалы. Убийства, связанные с коммерцией… ну, сведения о темных и несчастных делах большого бизнеса всегда в изобилии просачиваются даже тогда, когда они не попадают в печать. Когда Готорна нашли на его яхте убитым при таинственных обстоятельствах, сплетни о его закулисных махинациях в борьбе против «Комби-

ната» на протяжении недель ходили по клубам. Вы этого, может быть, и не помните, но в свое время скандальные процессы Этуотера-Джонса и Лэнгторна-Хейуордса с сенсационным треском были поданы газетами.

Итак, мне стало ясно, что эта организация убийц должна иметь доступ к лицам с высоким положением в политической, деловой и общественной жизни. Было также очевидно, что ее предложения не всегда отвергаются, как в случае с Кобурном. Я стал присматриваться, желая узнать, кто из людей, которых я встречал в клубах или на заседаниях директоров, пользуются услугами этой фирмы убийц. В том, что я знаком с этими людьми, у меня не было сомнений, но кто они? Представляете себе, если бы я стал спрашивать у своих знакомых адрес фирмы, к которой они обращаются, чтобы убрать своих врагов?

Но вот совсем недавно я получил наконец в руки ключ. Я держал под непосредственным наблюдением всех своих друзей, занимающих видное положение в свете. Как только с кем-нибудь случалась большая неприятность, я не отходил от него. Некоторое время все было безрезультатно, хотя был один, который, несомненно, воспользовался услугами организации, потому

что через полгода человек, причинивший ему неприятности, был мертв. Самоубийство, сказали в полиции.

Но потом судьба улыбнулась мне. Помните, какой был шум несколько лет назад по случаю свадьбы Глэдис Ван-Мартин и барона Портоса де Муань? Это был один из тех заведомо несчастных международных браков: барон оказался зверем. Он обобрал жену и развелся. Подробности его поведения выявились совсем недавно, а они ужасны, невероятны. Он даже бил ее, причем с такой жестокостью, что одно время врачи опасались за ее жизнь, а потом еще долго — за ее рассудок. И, по французским законам, он получил право на детей — двух мальчиков.

С братом ее Перси Ван-Мартином я учился в одном колледже. Я немедленно воспользовался этим, чтобы ближе сойтись с ним. За последние несколько недель мы виделись довольно часто. И вот позавчера случилось то, чего я ожидал, и он мне об этом рассказал. Организация обратилась к нему. В отличие от Кобурна он не прогнал их человека, а выслушал его. Если Ван-Мартин решится на это дело, он должен опубликовать в разделе светской хроники газеты «Геральд» одно слово: «Месопотамия». Я немедленно убедил его

поручить все мне. Как было условлено, я поместил в газете слово «Месопотамия» и, выступив как доверенное лицо Ван-Мартина, встретился и разговаривал с человеком из организации. Это, правда, было только лицо подчиненное. Они очень подозрительны и осторожны. Но сегодня вечером я встречаюсь с главным. Все уже устроено. И тогда…

— Ну? — воскликнула нетерпеливо Груня. — Что же тогда?

— Не знаю. У меня нет плана.

— А опасность?

Холл улыбнулся спокойно:

— Я не думаю, чтобы что-нибудь мне угрожало. Просто я иду для заключения с фирмой сделки, контракта на умерщвление зятя Перси Ван-Мартина. А фирма не практикует убийства своих клиентов.

— А когда они обнаружат, что вы не клиент? — возразила она.

— Меня уже там не будет. И когда они это действительно обнаружат, будет слишком поздно, они не смогут причинить мне вреда.

— Будьте осторожны, прошу вас, — убеждала Груня, когда они прощались у двери полчаса спустя. — Так вы приедете в субботу?

— Конечно.

— Я сама встречу вас на станции.

— И вслед за этим через несколько минут я встречусь с вашим грозным дядей, — сказал он с шутливой дрожью. — Надеюсь, он не людоед?

— Вы полюбите его, — заявила она гордо. — Он благороднее и лучше, чем десять отцов. Он никогда ни в чем мне не отказывает. Даже…

— Во мне, — перебил Холл.

Груня пыталась ответить столь же смело, но покраснела, потупила взор, и в следующую минуту он обнял ее.

Глава IV

— Значит, это вы Иван Драгомилов? — Винтер Холл на миг остановился, с любопытством окинув взглядом ряды книг по стенам, и снова посмотрел на бесцветного блондина в черной профессорской шапочке, который даже не встал, чтобы поздороваться с ним.

— Должен сказать, добраться до вас довольно трудно. Это внушает уверенность, что… э… ваше Бюро работает столь же осторожно, как и умело.

Драгомилов весело улыбнулся гостю.

— Садитесь, — сказал он, указывая на стул напротив себя, стоявший так, что опустившийся на него посетитель оказался лицом к свету.

Холл снова окинул взглядом комнату и опять посмотрел на человека перед собой.

— Я удивлен, — заметил Холл.

— Вы ожидали, я полагаю, увидеть узколобых головорезов и обстановку мрачной мелодрамы? — любезно спросил Драгомилов.

— Нет, не это. Я знал, слишком тонкий ум нужен для руководства операциями вашего… э… учреждения.

— Они неизменно проходили успешно.

— И давно вы занимаетесь этим делом, позвольте спросить?

— Активно — одиннадцать лет, правда, этому предшествовала подготовка и разработка плана.

— Вы не возражаете, что я завел такой разговор? — был следующий вопрос Холла.

— Конечно, нет, — последовал ответ. — Как клиент, вы находитесь со мной в одной лодке. Интересы у нас общие. Поскольку мы никогда не шантажируем наших клиентов, то и после совершения сделки — нет оснований, чтобы наши интересы расходились. Кое-какие сведения не могут причинить вреда, и я не прочь похвастать, что в некотором роде горжусь этой организацией. Она, как вы сказали, и как я сам без лишней скромности отмечаю, руководится умело.

— Отказываюсь понимать, — воскликнул Холл. — Вас бы я назвал последним из всех людей в мире, кого можно представить во главе банды убийц.

— А вас я бы назвал последним из тех людей в мире, которых я мог бы ожидать здесь в поисках услуг такого человека, — холодно парировал собеседник. — Вы мне нравитесь. Вы выглядите сильным, честным, бесстрашным, и в ваших глазах не поддающаяся определению и все же

несомненная усталость человека, много знающего. Вы немало прочли и изучили. Вы так же приметно выделяетесь из потока моих обычных клиентов, как и я, разумеется, не похож на предводителя банды убийц, которого вы ожидали встретить, а лучше и правильнее назвать их всех палачами.

— Название не играет роли, — ответил Холл. — Оно не может умалить моего удивления по поводу того, что именно вы руководите этим… э… предприятием.

— Сомневаюсь, чтобы вы имели представление, как им руководят, — Драгомилов сплел и расплел свои сильные тонкие пальцы и подумал прежде, чем ответить. — Можно сказать, что мы ведем дело в более строгих этических правилах, нежели наши клиенты.

— Этических правилах! — Холл расхохотался.

— Да, именно так, хотя я согласен, что относительно Бюро убийств это звучит смешно.

— Это так вы его называете?

— Название не хуже и не лучше любого другого, — глава Бюро невозмутимо продолжал: — Начав пользоваться нашими услугами, вы обнаружите более твердые и жесткие условия делопроизводства, чем в мире бизнеса. Необходи-

мость этого я понял сразу. Это было жизненной необходимостью. При нашем положении, находясь вне закона и в пасти самого закона, успех можно обеспечить, только верша справедливость. Мы вынуждены быть справедливы друг с другом, с нашими постоянными клиентами, со всеми и во всем. Вы даже понятия не имеете об объеме дел, которые мы проворачиваем.

— Что вы говорите! — воскликнул Холл. — А почему?

— Потому что иначе было бы нечестным заключать сделки. Подождите, не смейтесь. Это факт, мы в Бюро чрезвычайно щепетильны, когда дело касается этических норм. Доказательств справедливости мы требуем во всем, что делаем. Нам необходима уверенность в справедливости каждого нашего дела. Без нее мы не смогли бы продержаться длительное время. Поверьте, это так. А теперь к делу. Прежде чем появиться здесь, вы прошли через доверенные каналы. У вас может быть поручение только одного рода. Кого вы хотите уничтожить?

— А разве вам неизвестно? — удивился Холл.

— Разумеется, нет. Это не моя область. Я не занимаюсь вопросами привлечения клиентуры.

— Возможно, что, услышав имя этого человека,

вы не дадите санкцию справедливости. Ведь вы, я полагаю, не менее судья, чем палач.

— Не палач. Я никогда не привожу в исполнение казнь. Это не моя область. Я — глава. Я решаю, а руководство на местах — вот кто, и другие члены организации исполняют приказы.

— Но эти другие могут оказаться ненадежными?

Драгомилов, видимо, был рад вопросу.

— О, это было, действительно, камнем преткновения. Я длительное время изучал этот вопрос и увидел, что, как и все остальное, этот момент еще настоятельнее обязывает нас вести операции только на этической основе. У нас свои собственные представления о справедливости и свой собственный закон. В наши ряды принимаются только люди с высшей моралью, сочетающие в себе необходимые физические данные и выдержку. В итоге наши клятвы соблюдаются почти фанатически. Случалось, конечно, попадались и ненадежные, — он замолчал и, казалось, печально что-то обдумывал. — Они поплатились за это. И это было великолепным практическим уроком для остальных.

— Вы имеете в виду?..

— Да, они казнены. Это было необходимо. Но не

нами. Мы это делаем чрезвычайно редко.

— Как вы этого избегаете?

— Когда мы находим отчаянного, умного и думающего человека — между прочим, этот выбор делается самими членами организации, которым повсюду приходится сталкиваться с разными людьми и которые имеют лучшие возможности, чем я, встретить и оценить людей с сильным характером. Когда такой человек найден, он проверяется. Его жизнь — залог его верности и преданности. Мне сообщают об этих людях. Но далеко не всегда приходится мне встречаться с ними, если они не выдвинутся в организации; и, естественно, очень немногие из них видели меня.

Вначале мы поручаем кандидату совершить нетрудное и неоплачиваемое убийство, ну, скажем, какого-нибудь жестокого помощника капитана корабля или драчуна-мастера, ростовщика или мелкого взяточника-политикана.

Как вы знаете, для общества только польза от удаления таких личностей. Однако вернемся к теме. Каждый шаг кандидата в первом его убийстве обставлен нами с таким расчетом, чтобы собрать достаточно доказательств для осуждения его любым судом этих мест. И дело ведется таким об-

разом, чтобы свидетельские показания исходили от посторонних и никому из наших не пришлось бы участвовать. В связи с этим для наказания члена организации нам самим не приходилось обращаться к закону.

Когда же это первое задание выполняется, человек становится своим, преданным нам душой и телом. После этого он основательно изучает наши методы…

— В программу входит и этика? — прервал Холл.

— Да, конечно, входит, — услышал он восторженный ответ. — Это самый важный предмет, который изучают члены нашей организации. Нам претит всякая несправедливость.

— Вы не анархист? — задал гость неуместный вопрос.

Шеф Бюро убийств отрицательно покачал головой:

— Нет, я философ.

— А это то же самое.

— С одним различием. А именно: у анархистов хорошие намерения, а у меня хорошие дела. А какая польза от философии, которую нельзя применить? Возьмите отечественных анархистов. Вот они решились на убийство. Они строят пла-

ны, день и ночь сговариваются, наконец наносят удар и почти всегда оказываются в руках полиции. А лицо или персона, которую они намечали в жертву, остается невредимым. У нас не так.

— А вы разве никогда не терпели неудач?

— Мы стремимся исключить неудачу. Тот из нас, кто по слабости или из страха терпит неудачу, приговаривается к смерти. — Драгомилов важно умолк, его бледно-голубые глаза светились торжеством. — У нас никогда не было неудач. Разумеется, для выполнения задания человеку дается год. Ну, а когда это важное дело, ему даются помощники. Повторяю, у нас не было ни одной неудачи. Организация настолько совершенна, насколько человеческий ум способен ее сделать таковой. Даже в том случае, если я оставлю ее, скоропостижно скончаюсь, организация будет продолжать действовать точно так же.

— Делаете ли вы какие-либо различия, принимая заказы? — спросил Винтер Холл.

— Нет, от императора и короля до самого скромного крестьянина — мы принимаем заказ ото всех, если… вот в этом «если» и заключается главное — если признано, что их приговор социально оправдан. А в том случае, если плата, которая, как вам известно, вносится авансом, нами принята

и данное убийство признано справедливым, это убийство непременно совершается. Таково одно из наших правил.

Фантастическая идея блеснула в сознании Винтера Холла, пока он слушал. Она была так заразительна, что безраздельно завладела им.

— Вы, я бы сказал, чрезвычайно внимательны к этической стороне, — начал он. — Вы, как бы это сказать, энтузиаст этики.

— Фанатик этики, — вежливо поправил Драгомилов. — Да, я приверженец этики.

— И все, что, по вашему убеждению, справедливо, вы непременно делаете?

Драгомилов утвердительно кивнул головой и первым нарушил воцарившееся было молчание:

— Вы задумали кого-то убрать. Кто это?

— Мое любопытство так разыгралось, — был ответ, — и я настолько заинтересован в своем деле, что предпочел бы попытаться… понимаете, вначале оговорить условия сделки. У вас, разумеется, есть прейскурант, определяемый, конечно, положением и влиянием э… жертвы.

Драгомилов кивнул.

— Предположим, я хочу убрать короля? — спросил Холл.

— Король королю рознь. Цены разные. А ваш

человек — король?

— Нет, не король. Он могущественный человек, но не из числа знатных семейств.

— Он не президент? — быстро спросил Драгомилов.

— Он не занимает никакого официального поста. Фактически он является значительной фигурой в частном деле. За какую сумму вы обеспечиваете уничтожение человека, занимающегося частным делом?

— Убрать такого человека не так уж сложно и рискованно. Он бы обошелся дешевле.

— Нет, не то, — настаивал Холл. — Я могу себе позволить быть в этом деле щедрым. Мое поручение очень трудное и рискованное. Это человек могучего ума, необыкновенно увертливый и ловкий.

— Миллионер?

— Не знаю.

— Я бы запросил сорок тысяч долларов, — заключил глава Бюро. — Конечно, узнав точно, кто он, я, возможно, буду вынужден повысить цену. Не исключено, что я могу и снизить ее.

Холл извлек из своего бумажника банкноты, каждый из которых был на крупную сумму, пересчитал их и вручил Драгомилову.

— Я понял, что в вашем деле требуются наличные, — сказал он, — поэтому я их захватил с собой. А теперь, насколько мне известно, вы гарантируете, что убьете…

— Я не убиваю, — прервал Драгомилов.

— Но вы гарантируете, что будет убит любой человек, которого я назову…

— Разумеется, но с неизменной оговоркой, что расследование подтвердит справедливость такого приговора.

— Ну что ж. Я прекрасно понял. Любой названный мною человек, даже если это будет мой или ваш отец?

— Да, хотя так получилось, что у меня нет ни отца, ни сына.

— А предположим, я назову себя?

— Все было бы сделано. Приказ вступил бы в силу. Нас не касаются капризы клиентов.

— А если, предположим, завтра или, скажем, на следующей неделе я изменю свое решение?

— Будет слишком поздно, — Драгомилов говорил уверенно. — Отданного приказа нельзя отменить. Это одно из самых важных наших правил.

— Прекрасно. Однако речь идет не обо мне.

— Так о ком же?

— Имя, под которым он известен, — Иван Драгомилов.

Холл выговорил это довольно спокойно и получил столь же спокойный ответ:

— Я хочу получить более точные данные, — потребовал Иван Драгомилов.

— Родился он, я полагаю, в России и, как мне известно, проживает в городе Нью-Йорке. Он блондин, яркий блондин, и как раз примерно вашего роста, комплекции и возраста.

Бледно-голубые глаза Драгомилова пристально и долго изучали посетителя. Наконец он произнес:

— Я родился недалеко от Валенко. А где родился ваш человек?

— Тоже неподалеку от Валенко.

Драгомилов испытывающе в упор посмотрел на собеседника:

— Я готов поверить, что вы имеете в виду меня.

Холл недвусмысленно кивнул.

— Вот так история! — начал Драгомилов. — Вы меня озадачили. Откровенно, я даже не могу понять, зачем вам моя жизнь. Мы с вами никогда не встречались и совершенно не знаем друг друга. Ума не приложу, каковы могут быть мотивы. Во

всяком случае, имейте в виду, что для приведения в действие приказа о казни мне необходимы обоснования ее справедливости.

— Я готов их вам дать, — был ответ.

— Но вы должны меня убедить.

— Я к вашим услугам. Мысль обратиться к вам с таким предложением пришла мне в голову именно потому, что я угадал в вас, выражаясь вашими словами, фанатика этики. И я совершенно убежден: докажи я справедливость вашей смерти, вы приведете решение в исполнение. Разве я не прав?

— Правы, — Драгомилов смолк, но вскоре лицо его озарилось улыбкой. — Только тогда это было бы самоубийством, а у нас, как вы знаете, Бюро по убийствам.

— Вы, естественно, отдали бы соответствующий приказ одному из ваших подчиненных. Насколько я вас понял, под угрозой лишиться собственной жизни он вынужден был бы выполнить приказ.

Драгомилов взглянул на Холла, явно польщенный.

— Совершенно верно. Из этого видно, насколько совершенна созданная мною машина. Она сработает в любом, даже непредвиденном случае,

даже в этом, самом невероятном, который описан вами. Так давайте. Вы меня заинтриговали. Это оригинально. У вас есть воображение, фантазия. Прошу вас, представьте мне этические обоснования моего устранения из этого мира.

— Не убий, — начал Холл.

— Простите, — прервали его. — Прежде мы должны определить предмет нашего спора, который, боюсь, очень скоро может стать чисто теоретическим. Ваша задача заключается в том, чтобы доказать мне, что я принес столько вреда, что моя смерть является справедливой. А я буду судьей. Что я сделал плохого? Кто из лиц неповинных несправедливо уничтожен по моему приказу? В чем я преступил собственные нормы поведения, если даже я нанес вред бессознательно или по неведению?

— Я понял и в соответствии с этим меняю ход своих рассуждений. Разрешите, во-первых, узнать, вами ли дано указание на уничтожение Джона Моссмана?

Драгомилов кивнул.

— Он был моим другом. Я знал его с детства. Он не причинил никому зла, никого не обидел.

Холл говорил убежденно, но поднятая рука и довольная улыбка собеседника заставили его

умолкнуть.

— Приблизительно лет семь назад Джон Моссман построил Дом лояльности. Где он взял деньги? Мелкий консервативный банкир, он именно в этот период неожиданно вовлекается в ряд крупных предприятий. Помните ли вы, какое он оставил состояние? Откуда оно у него?

Холл собрался было заговорить, но Драгомилов дал знак, что еще не кончил.

— Вспомните-ка, незадолго до постройки Дома лояльности трест Комбайна пошел в наступление на Каролинскую стальную компанию и вызвал ее банкротство, а потом за бесценок проглотил остатки. Президент Каролинской стальной компании покончил с собой…

— Чтобы избежать каторжной тюрьмы, — вставил Холл.

— Его шантажом вынудили к этому.

Утвердительно кивнув, Холл сказал:

— Я вспомнил. Это все подстроил агент Комбайна.

— Этим агентом был Джон Моссман.

Холл слушал с недоверием. Драгомилов продолжал:

— Уверяю вас, это можно доказать, и я это сделаю. Но пока, сделайте милость, примите на веру

то, что я вам сообщаю. Вам могут быть представлены исчерпывающие доказательства.

— Прекрасно. Это вы убили Столыпина?

— Нет, мы тут не участвовали. Это дело рук русских террористов.

— Даете слово?

— Честное слово.

Холл перебрал в памяти все известные ему убийства и нашел еще один случай.

— Джеймс и Хардман — президент и секретарь Юго-западной Федерации горняков…

— Уничтожены нами, — прервал Драгомилов. — А разве это было несправедливо? Разве это принесло вред?

— Но вы же гуманист. Дело трудящихся, как и всего народа, должно быть близко вашему сердцу. А для организации трудящихся смерть двух лидеров была тяжелой утратой.

— Напротив, — возразил Драгомилов. — Они были убиты в 1904 году. За шесть лет, предшествовавших этому событию, Федерация не только не одержала ни одной победы, но потерпела серьезные поражения в трех изнурительных стачках. А в первые же полгода после того, как эти лидеры были убраны, Федерация выиграла большую забастовку 1905 года и с тех пор по сей день успешно

добивается существенных уступок.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил Холл.

— Хочу сказать, что заказ на убийство сделала не Лига владельцев шахт. Хочу сказать, что Джеймс и Хардман тайно и неплохо оплачивались Лигой владельцев шахт. Я хочу сказать, что сами горняки представили нам факты о предательстве своих лидеров и выплатили сумму, которую мы потребовали за услугу. Мы выполнили поручение за двадцать пять тысяч долларов.

Винтер Холл явно растерялся, и прошла минута молчания, прежде чем он заговорил.

— Разумеется, я не могу не верить вам, господин Драгомилов. Завтра или послезавтра я хотел бы познакомиться с доказательствами. Возможно, это будет формальностью, но соблюсти ее необходимо. А между тем мне следует поискать какой-то другой путь вас убедить. Этот список убийств довольно длинен.

— Длиннее, чем вы думаете.

— И я не сомневаюсь, что для всех них у вас имелись аналогичные оправдания. Но учтите, сам я не считаю справедливым ни одно из этих убийств, хотя верю, что, с вашей точки зрения, они были справедливы. Кстати, ваши опасе-

ния, что спор может стать теоретическим, были верным предположением. Только таким путем, видимо, я смогу вас одолеть. Если мы отложим спор до завтра… Вы не хотели бы пообедать со мной? И где вы предпочитаете встретиться?

— Думаю, снова здесь, после обеда. — Драгомилов широким жестом указал на уставленные книгами стены. — Авторитетов здесь достаточно, и, кроме того, всегда можно послать в филиал библиотеки Карнеги, он за углом.

Он нажал кнопку звонка, и, когда вошел слуга, оба поднялись.

— Помните, я собираюсь одолеть вас, — заверил Холл, расставаясь.

Драгомилов лукаво улыбнулся.

— Я вам не верю, — сказал он. — Если это вам удастся, это будет невероятно.

Глава V

Долгие дни и ночи не затихал спор между Холлом и Драгомиловым. Этические вопросы были только началом все разгоравшейся дискуссии. Убедившись, что этика опирается на другие науки, спорщики вынуждены были углубиться в поисках истины в эти науки. К заповеди «не убий» Драгомилов требовал от Холла более солидных философских обоснований, чем религия. Чтобы правильно понимать друг друга и четче мыслить, они в то же время сочли необходимым прояснить и тщательно обсудить первоосновы своих убеждений и свои идеалы.

Это была схватка двух знатоков, усвоивших к тому же дело практически; к сожалению, достигнутый результат часто терялся ими в вихре идей и горячке спора. Однако Холл убедился, что его оппонент ищет правды и только правды. И его замечание о том, что Драгомилову придется расплачиваться жизнью, если он не добьется своего, ничуть не встревожило последнего и совершенно не подействовало на ход его рассуждений. Вопрос ставился так — является или нет Бюро убийств справедливой организацией.

Главным тезисом Холла, который он упорно отстаивал и к которому сводил нити всех аргументов, была мысль о том, что в развитии общества настало время, когда оно само по себе должно разработать программу собственного спасения. Прошло время, отметил он с удовлетворением, для «человека на коне» или группок «людей на конях» определять судьбу общества. А Драгомилов, по его убеждению, был именно таким человеком, и его Бюро убийств было конем, на котором он восседал, вынося приговоры и карая, и, в определенной степени, оказывал влияние и давление, понуждая общество идти в том направлении, которое он, «человек на коне», избрал для него.

Не отрицая, что он играет роль такого «человека на коне», решающего за общество и направляющего его, Драгомилов упорно отвергал мысль, что общество само способно управлять собой и, особенно, что это самоуправление при всех серьезных отклонениях и ошибках является предпосылкой его прогресса. В этом-то и была суть спора, для завершения которого они ворошили историю и прослеживали социальную эволюцию человека, привлекая все, от самых незначительных подробностей о первобытных сообществах

до последних данных цивилизации.

Эти два знатока были действительно настолько здравомыслящими, свободными от метафизических схем людьми, что в результате приняли социальную целесообразность в качестве решающего фактора и согласились, что она и является высшим мерилом нравственности. И в конце концов, опираясь именно на этот довод, выиграл Винтер Холл, Драгомилов признал свое поражение, и Холл, подчиняясь чувству благодарности и восхищения, невольно протянул ему руку. Драгомилов, к его удивлению, крепко пожал ее.

— Теперь я понял, — сказал он, — что не придавал должного значения социальным факторам. Убийца, со своей собственной точки зрения, не так уж неправ, но он неправ с точки зрения социальной. Я даже готов его поддержать. Ибо, если рассматривать убийцу как индивидуума, то он совершенно прав. Но индивидуумы не являются изолированными от общества. Они — часть сообщества индивидуумов. Вот этого я не учел. И мне ясно, что это было несправедливо. А теперь… — он умолк и посмотрел на свои часы. — Два часа. Мы слишком засиделись. Теперь я готов понести наказание. Конечно, вы дадите мне время завершить мои дела, прежде чем я отдам приказ моим

агентам?..

С головой уйдя в спор и совершенно забыв о своих условиях, Холл был ошарашен.

— Я не этого добивался, — воскликнул он. — И, честно говоря, я совсем об этом забыл. Да в этом и нет необходимости! Вы теперь сами убеждены в порочности метода убийств. Положим, вы распустите организацию. Это будет вполне достаточно.

Но Драгомилов отрицательно покачал головой:

— Уговор есть уговор. Комиссионные от вас я принял. Справедливость превыше всего, этого я строго придерживаюсь, и теория о социальной целесообразности здесь неприменима. Индивидууму как таковому оставлены все же некоторые прерогативы, и одна из них — право держать слово, что я должен сделать. Заказ будет выполнен. Видимо, это последнее, с чем придется иметь дело Бюро. Сейчас суббота, утро. Можете ли вы дать мне отсрочку для отдачи приказа до завтрашнего вечера?

— Что за вздор! — воскликнул Холл.

— Это не довод в споре, — последовал мрачный ответ. — Все веские доводы уже исчерпаны. Я отказываюсь дальше слушать. Еще об одном…

Чтобы все было по справедливости: учитывая трудности уничтожения этого человека, предлагаю доплатить еще десять тысяч долларов. — Он поднял руку в знак того, что еще не кончил. — Поверьте, я подхожу справедливо. Перед моими агентами я воздвигну такие препятствия, что на них уйдут все пятьдесят тысяч, если не больше…

— Если вы только решите распустить организацию…

Но Драгомилов заставил его замолчать.

— Спор окончен. Намерения мои таковы: организация будет распущена в любом случае, но предупреждаю, в соответствии с нашими правилами о давности я могу избежать наказания. Как вы помните, заключая сделку, я пообещал вам, что если по истечении года соглашение не будет выполнено, ваш взнос возвращается вместе с пятью процентами. Если мне удастся избежать смерти, я возвращу его сам.

Винтер Холл в нетерпении остановил его рукой.

— Послушайте, — сказал он, — на одном я настаиваю. Мы с вами определили основы, на которых зиждется этика. Социальная целесообразность, являющаяся базисом всякой этики…

— Простите, — прервал его собеседник, — име-

лась в виду исключительно этика общества. Индивидуум в известных пределах остается индивидуумом.

— Но ни вы, ни я, — продолжал Холл, — не признаем древнеиудейской заповеди «око за око». Мы же не верим в неизбежность наказания за преступление. Ведь убийства, совершенные Бюро и оправданные содеянными жертвами преступлениями, не рассматриваются вами как преступления. Ваши жертвы рассматриваются вами как социальная болезнь, искоренение которой оздоровит общество. Вы удаляете их из общественного организма, как хирург удаляет раковую опухоль. Это ваше воззрение я усвоил с самого начала спора.

И помните? Отказавшись принять теорию о наказании, мы с вами рассматривали преступление просто как результат антисоциальных наклонностей и как таковое соответственно условно его и классифицировали. Преступление, следовательно, аномальное явление в обществе, относящееся, по сути дела, к его болезням. Это — болезнь. Преступник, нарушитель — это больной, и с ним соответственно надо обращаться. Но это же вместе с тем означает, что его можно излечить от болезни.

Теперь я перехожу к моему взгляду на ваш случай. Ваше Бюро убийств — антисоциально. Но вы же верили в него. Значит, вы были больны. Ваша вера в убийства как раз и означала, что вы больны. Но теперь-то вы больше не верите в это. Вы излечились. Ваши наклонности более не являются антисоциальными. И, следовательно, теперь нет необходимости в вашей смерти, потому что она была бы не чем иным, как наказанием за болезнь, от которой вы уже излечились. Распустить организацию и устраниться от дела — вот все, что вам следует сделать.

— Вы высказались? Все сказали? — мягко задал вопрос Драгомилов.

— Да.

— Тогда позвольте мне ответить и закончить мою мысль. Бюро задумано было мной во имя справедливости, во имя этой справедливости я им и руководил. Я создал его и сделал той совершенной организацией, какой оно в настоящее время является. Создание его было основано на определенных справедливых принципах. И никакого отступления от них за всю его историю не делалось. Один из этих принципов — всегда входил в контракты, заключаемые с нашими клиентами: в случае уплаты комиссионных мы

гарантировали выполнение заказа. Комиссионные от вас я принял. Мною получено от вас сорок тысяч долларов. Был уговор, что я должен отдать приказ о своей казни в том случае, если вы докажете, а я признаю, что уничтожения, произведенные Бюро, были ошибкой. Вы это доказали. Теперь ничего не осталось, как только провести соглашение в жизнь.

Учреждением этим я горжусь. И выставлять под конец в смешном виде его главные принципы, нарушать правила, на которых основана его деятельность, не стану. От этого своего права индивида я не отступлюсь, оно ни в коей мере не противоречит принципу социальной целесообразности. У меня нет желания умирать. Если в течение года я избегу смерти, принятые мной от вас комиссионные, как вам известно, автоматически возвращаются. А я, поверьте, приложу все силы, чтобы избежать смерти. И хватит об этом. Мое решение твердо. Есть у вас предложения, как расформировать Бюро?

— Дайте мне фамилии и данные о всех его членах. А я их официально извещу о роспуске…

— Только после моей смерти или после того, как истечет год, — возразил Драгомилов.

— Хорошо, после вашей смерти или по ис-

течении года я дам официальное извещение, подкрепив его угрозой передать имеющуюся у меня информацию полиции.

— Они могут убить вас, — последовало предостережение.

— Могут, и мне следует учесть вероятность этого.

— Вы можете этого избежать. Когда будете давать официальное извещение, сообщите им, что все сведения помещены в тайники в шести различных городах и в случае, если вы будете убиты, они перейдут в руки полиции.

Когда они закончили обсуждение всех деталей роспуска организации, было уже три часа ночи. Драгомилов первым нарушил воцарившееся молчание.

— Признаюсь, Холл, вы мне понравились. Вы настоящий борец за этику. Пожалуй, вам было бы под силу создание такого же Бюро; лучшего комплимента я не знаю, потому что по-прежнему убежден, что Бюро — это выдающееся достижение. Во всяком случае, вы мне не только нравитесь, но я теперь уверен, что могу довериться вам. Вы сдержите свое слово, как и я свое. Так вот, у меня есть дочь. Мать ее умерла, и в случае моей смерти она останется в этом мире

без родных и знакомых. Заботы о ней я хотел бы вверить в ваши руки. Готовы ли вы взять на себя такую ответственность?

Собеседник молча кивнул головой.

— Она уже взрослая, поэтому в документальном оформлении опеки нет необходимости. Но она не замужем, а я оставлю ей много денег, за вкладами которых вам нужно будет следить. Я собираюсь увидеться с ней сегодня. Хотите поехать со мной? Это недалеко, в Эдж-Мур у Гудзона.

— Вот как! У меня на субботу и воскресенье намечен визит как раз в Эдж-Мур, — воскликнул Холл.

— Прекрасно. В какой части Эдж-Мур?

— Не знаю. Я никогда там не был.

— Впрочем, неважно. Это небольшой район. Утром в воскресенье выкройте пару часиков. Я заеду за вами на машине. Позвоните мне, когда и куда приехать. Мой номер — «пригород-245».

Холл быстро записал номер и встал, собираясь уйти. Драгомилов зевнул, когда они пожимали руки.

— Я все же надеюсь, что вы перемените свое решение, — сказал Холл.

Но Драгомилов снова зевнул и отрицательно покачал головой, провожая посетителя до по-

рога.

Глава VI

Груня сама вела машину, они ехали вместе с Винтером Холлом со станции в Эдж-Мур.

— Дядя действительно с нетерпением ждет встречи с вами, — уверяла она его. — Он еще не знает, кто вы такой. Я не сказала ему, а это разожгло его любопытство. Думаю, поэтому он ждет с таким нетерпением, правда-правда: он просто сгорает от любопытства.

— Вы ему сказали? — многозначительно спросил Холл.

Груня казалась поглощенной управлением машиной.

— Что? — переспросила она.

Вместо ответа Холл положил свою руку на ее руку, управляющую рулем. Она заставила себя посмотреть смело и твердо, но как только глаза их встретились, предательский румянец выдал ее, твердый и пристальный взгляд померк, она отвела глаза и вновь напряженно стала следить за дорогой.

— Не поэтому ли он и ждет встречи с нетерпением? — тихо заметил Холл.

— Я… я просто об этом не думала.

— Жаль, что такой прекрасный закат омрачается неправдой.

— Трусишка, — воскликнула она, но в ее устах это слово прозвучало нежно, как знак любви. Она повернулась к нему и рассмеялась, а вслед за ней рассмеялся и он, и оба почувствовали, что закат чист, а мир вновь прекрасен.

Они уже свернули на шоссе, что вело к даче, когда он спросил ее, где здесь живут Драгомиловы.

— Никогда о таких не слышала, — был ее ответ. — Драгомиловы? Нет, мне кажется, такие не живут в Эдж-Мур. А что?

— Может быть, они недавно здесь? — предположил он.

— Возможно. Вот мы и приехали. Гроссет, возьмите чемодан мистера Холла. Где дядя?

— В библиотеке, мисс, пишет. Он просил не беспокоить его до обеда.

— Итак, вы встретитесь с ним за обедом, — сказала она Холлу. — А пока вы свободны. Гроссет, проводите мистера Холла в его комнату.

Четверть часа спустя, не дождавшись Груни, Винтер Холл вошел в соседнюю комнату и лицом к лицу столкнулся с человеком, с которым прощался в три часа прошлой ночью.

— Черт возьми, что вы здесь делаете? — выпа-

лил Холл.

— Жду, полагаю, когда меня представят, — с невозмутимым спокойствием отвечал вчерашний знакомый. — Я Сергиус Константин, — представился он, протягивая руку. — Вот так сюрприз устроила Груня нам обоим!

— Но вы же Иван Драгомилов?

— Да, но не в этом доме.

— Ничего не понимаю. Но вы же говорили о дочери.

— Груня — моя дочь, хотя она считает, что является моей племянницей. Но это длинная история, я сообщу ее вам вкратце после обеда, когда мы останемся одни. Не могу не сказать, однако, положеньице создалось великолепное, просто на удивление великолепное. Тот, кого я избрал, чтобы смотреть за моей Груней, оказался, если не ошибаюсь, ее возлюбленным. Не так ли?

— Я… я не знаю, что сказать, — Холл запнулся, он не мог собраться с мыслями, его ум оцепенел от такой невероятной развязки.

— Ведь это так? — повторил Драгомилов.

— Вы правы, — последовал быстрый ответ. — Я люблю… ее… я по-настоящему люблю Груню. Но она действительно вас знает?

— Только как своего дядю, Сергиуса Константи-

на, главу импортного агентства, существующего под этим именем… Она идет. Так вот, как я уже говорил, я тоже предпочитаю Тургенева Толстому. Конечно, это не умаляет силы воздействия Толстого. Верующих отпугивает именно философия Толстого… А вот и Груня.

— Вы уже познакомились, — недовольно поморщилась она. — А я-то рассчитывала присутствовать на этой важной встрече.

Она с упреком повернулась к Холлу. Ласково обняв ее, Константин пошутил:

— Почему же вы не предупредили меня, что умеете так быстро переодеваться?

Она протянула Холлу руку:

— Пойдемте, пора обедать.

И так вместе: Константин, обняв Груню, а она, ведя под руку Холла, — все трое прошли в столовую.

За столом Холл готов был ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это правда, а не сон. Уж очень все было нелепо, невероятно, чтобы быть реальностью: его любимая Груня то нападала, то безмятежно шутила со своим дядей, а он — ее отец и, чему она ни в жизнь не поверила бы, — главарь страшного Бюро убийств; он же, Холл, возлюбленный Груни, поддерживает ее шутки

над человеком, которому заплатил пятьдесят тысяч долларов за приказ о его собственном уничтожении; а сам Драгомилов, невозмутимый, благодушный, казалось, всей душой отдается всеобщему веселью, на лице его и в манерах — искренняя сердечность, нет и тени былой привычной холодности.

Потом Груня играла и пела, пока Драгомилов, сославшись сразу и на ожидаемого им посетителя и желание поговорить с Холлом по чисто мужским вопросам, не заметил ей, что все детишки ее возраста давно легли в кроватки. Она, ответив на шутливый покровительственный тон отца покорным поклоном, весело пожелала мужчинам доброй ночи и оставила одних. Ее серебристый смех донесся к ним через раскрытую дверь. Драгомилов встал, закрыл дверь и возвратился на прежнее место.

— Я весь — внимание, — сказал Холл.

— Во времена русско-турецкой войны отец мой был подрядчиком, — начал Драгомилов. — Его звали… впрочем, это не имеет значения. Он сколотил состояние в шестьдесят миллионов рублей, которое я, его единственный сын, получил в наследство. В университете меня увлекли идеи радикализма, и я примкнул к организации

Молодая Россия. Это была кучка утопистов и мечтателей, и, конечно, мы потерпели провал. Несколько раз я попадал в тюрьму. Моя жена умерла от оспы тогда же, когда умер от этой же болезни ее брат Сергиус Константин. Все это произошло в моем имении. Наш последний заговор был раскрыт, и мне грозила Сибирь. Выход был прост. Под моим именем похоронили шурина, известного консерватора, а я стал Сергиусом Константином. Груня была в ту пору совсем ребенком. Из страны мне удалось выбраться довольно легко, к сожалению, все, что я не смог взять с собой, досталось властям.

Здесь, в Нью-Йорке, где шпионов царского правительства больше, чем вы думаете, я оставил себе это имя. Вот откуда оно у меня. Как-то я даже ездил в Россию, конечно, под именем шурина, и продал его владения. Слишком долго мне пришлось быть Сергиусом Константином, дядей Груни, и я решил им остаться навсегда. Вот и все.

— А Бюро убийств? — спросил Холл.

— Я создал его, будучи убежден в его справедливости и уязвленный обвинением, что мы только мечтатели, а не деятели. Работало оно великолепно, безупречно, не говоря уже о его финансовом успехе. Я доказал, что могу действовать не хуже,

чем мечтать. Правда, Груня меня все еще считает мечтателем. Но это потому, что ей многое неизвестно. Одну минутку.

Он вышел в соседнюю комнату и возвратился с большим конвертом в руках.

— А теперь займемся другими делами. Ожидаемый мной посетитель — это тот человек, которому я передам приказ об уничтожении. Я думал сделать это завтра, но ваше неожиданное появление сегодня вечером ускорило дело. Вот здесь мои инструкции для вас, — он передал конверт. — Официально все бумаги, дела и тому подобное должна подписывать Груня, но вы ей будете помогать советом. Мое завещание в сейфе. Если я не погибну, до моего возвращения вы будете хранителем моих вкладов. Если я телеграфирую с просьбой о деньгах или чем другом, поступайте в соответствии с инструкциями. Здесь, в конверте, есть шифр, которым я буду пользоваться, он тот же, что применяем мы в нашей организации. Вы же будете и хранителем значительного резервного фонда, который я создал для Бюро. Его хозяева — все члены организации. В случае необходимости они будут из него брать, — Драгомилов с деланным огорчением покачал головой и улыбнулся: — Боюсь, им при-

дется здорово раскошелиться, прежде чем они меня настигнут.

— Бог мой! — воскликнул Холл. — Вы их снабжаете средствами для борьбы с вами же. Наоборот, вам следует воспрепятствовать их доступу к фонду.

— Это было бы нечестно, Холл. Уж так я устроен, что нечестная игра не по мне. И я беру с вас слово, что в этом деле вы тоже будете играть честно и выполнять мои указания. Не так ли?

— Но это же просто чудовищно! Вы просите меня оказать помощь людям, цель которых будет убить вас — отца моей любимой. Это же нелепо. Прекратите все это! Распустите организацию, и со всем будет покончено.

Но Драгомилов был непреклонен.

— Я уже решил, и вы это знаете. Если я убежден, что прав, я доведу дело до конца. Надеюсь, вы выполните мои указания?

— Вы чудовище! Упрямое, неисправимое чудовище, одержимое абсурдным представлением о справедливости. Ваш набитый знаниями ум свихнулся, вы помешались на вашей этике… вы… вы…

Не в силах найти подходящее слово, Винтер Холл стал заикаться и смолк.

Драгомилов сдержанно улыбнулся.

— Вы выполните мои указания, не правда ли?

— Да, да, да! Я их выполню, — рассерженно закричал Холл. — Ваше право идти своим путем. Никто вас не останавливает. Но почему именно сегодня? Разве завтра у вас не будет времени начать эту безумную авантюру?

— Нет, мне не терпится начать ее. Вы попали в точку, это то самое слово: авантюра, точнее — приключение. Именно так это называется. Я грежу приключениями с юности, с того времени, когда молодым бакунинцем я по-мальчишески мечтал о свободе для всех. А чего я добился с тех пор? Я был думающей машиной. Мне удалось создать хорошее дело. Я нажил состояние. Я придумал Бюро убийств и наладил его работу. И все. Разве это жизнь? Я жил без приключений. Я был просто пауком, огромным, думающим и составляющим планы мозгом, центром паутины. Наконец-то я рву паутину и уношусь в мир приключений. А почему бы и нет? Вы знаете, что за всю жизнь я не убил ни одной души, мне даже не приходилось видеть убитого человека. Мне не случалось попасть даже в железнодорожную катастрофу. Я ничего не знаю о насилии. Тот, кто владеет недюжинной силой, чтобы творить

насилие, никогда не пользовался этой силой, не считая дружеских целей: бокса, борьбы и тому подобных упражнений. Теперь я начну жить телом и сознанием, начну новую роль. Ее имя — Сила!

Он вынул свою белую сухощавую руку и сердито оглядел ее.

— Груня расскажет вам, как я сгибал вот этими пальцами серебряный доллар. Разве это все, на что они способны? Гнуть доллары? Дайте-ка на минуту вашу руку.

Он охватил пальцами предплечье Холла между локтем и запястьем, только сжал его, и Холл вздрогнул от нестерпимой острой боли, внезапно пронзившей его тело. Было такое ощущение, словно большой палец руки Драгомилова сомкнулся с остальными через плоть и кость предплечья Холла. Мгновение — и Драгомилов освободил его руку, мрачно улыбнувшись.

— Повреждений нет, — сказал он. — Правда, с неделю будут синяки. Теперь вам понятнее, почему я хочу вырваться из своей паутины? Слишком долго я прозябал здесь. Эти пальцы занимались только тем, что ставили подписи да листали книжные страницы. Из своей паутины я посылал людей на дорогу приключений. А теперь я стану играть против этих людей, я тоже вступаю в игру.

Это будет королевская игра. Эта совершенная машина сотворена моим умом. Ее создал я. И ни разу не дала она осечки, уничтожая намеченную жертву. Теперь эта жертва — я. Вопрос заключается в том, *действительно ли эта машина сильнее меня, ее творца?* Уничтожит она своего творца, или творец ее перехитрит?

Он как-то сразу умолк, взглянул на часы и нажал кнопку звонка.

— Приготовьте машину, — сказал он слуге, вошедшему на звонок. — Снесите в нее чемодан, который находится в моей спальне.

Когда слуга вышел, он повернулся к Холлу:

— Итак, начинаются мои скитания. Хаас может появиться здесь в любой момент.

— Кто такой Хаас?

— Всеми признанный, самый способный член нашей организации. Ему всегда поручаются наиболее трудные и опасные задания. Этике он предан до фанатизма, он — данит. Даже ангел смерти не так страшен, как он. Это огонь. Он не человек, нет, он — пламя. Вы сами убедитесь. Вот он идет.

Через мгновение в комнату вошел человек. Холл был потрясен, едва взглянув на его лицо — бледное, худое, с ввалившимися щеками и остро

выступающими скулами, на лице этом горела пара глаз, такие могут привидеться разве только в кошмарном сне. В них пылал такой огонь, что все лицо казалось охваченным пожаром. Человек представился, Холла поразило его крепкое, почти нечеловечески сильное рукопожатие. Холл не оставил без внимания его движения, когда тот пододвигал стул и усаживался. В них было что-то кошачье, и Холл был уверен, что мускулы у этого человека, как у тигра, хотя сухое, нездоровое лицо, казалось, говорило об обратном, создавало впечатление, что тело его — сморщенная и вялая скорлупка. Тело было худым, но Холл подметил узлы мускулов на руках и плечах.

— У меня есть для вас задание, мистер Хаас, — начал Драгомилов. — Наверняка самое трудное и опасное из тех, какие вам вообще приходилось выполнять.

Холл мог поклясться, что при этом сообщении глаза человека загорелись еще ярче.

— Дело мною одобрено, — продолжал Драгомилов. — Оно справедливо, здесь нет никакого сомнения. Этот человек должен умереть. За его смерть Бюро получило пятьдесят тысяч долларов. В соответствии с нашими правилами треть этой суммы выделяется вам. Опасаясь, что дело

окажется чересчур трудным, я решил увеличить вашу долю до половины суммы. Вот вам пять тысяч долларов на расходы…

— Сумма необычайно велика, — прервал его Хаас. Он поминутно облизывал губы, будто их жег бушующий в нем пламень.

— И человек, которого вам предстоит уничтожить, необычен, — сердито возразил Драгомилов. — Вам следует связаться со Шварцем и Гаррисоном, чтобы они немедленно оказали вам помощь. Если через некоторое время вы втроем не будете в состоянии это сделать…

Хаас недоверчиво фыркнул, а жар, его снедавший, разгорелся на его худом и жадном лице с еще большей силой.

— Если через некоторое время вы втроем будете не в состоянии это сделать, призывайте на помощь всю организацию.

— Кто этот человек? — зло буркнул Хаас.

— Минутку, — Драгомилов обернулся к Холлу. — Что вы сообщите Груне?

Холл некоторое время размышлял.

— Полуправды будет достаточно. Организацию я ей обрисовал еще до того, как познакомился с вами. Ей можно сказать, что вам угрожает опасность. Этого будет вполне достаточно. Каковы

последствия — неважно, она никогда не узнает об остальном.

Кивком головы Драгомилов выразил свое одобрение.

— Мистер Холл служит секретарем, — объяснил он Хаасу. — Шифр у него. За деньгами и за всем прочим обращайтесь к нему. Информируйте его время от времени о своих успехах.

— Кто этот человек? — снова рявкнул Хаас.

— Одну минуточку, мистер Хаас. Я хочу, чтобы вы уяснили всю серьезность дела, которое я хочу на вас возложить. Свой зарок вы не забыли? Вы знаете, что обязаны выполнить задание независимо от того, кто этот человек. Во всяком случае, как вам известно, под угрозой находится ваша собственная жизнь. Вы, конечно, знаете, что означает для вас неудача: ваши товарищи поклялись убить вас, если вы потерпите неудачу.

— Это мне известно, — прервал Хаас. — Нет нужды об этом напоминать.

— Я хочу, чтобы у вас не оставалось на этот счет никаких сомнений. Независимо от того, кто это лицо…

— Отец, брат, жена… хоть сам дьявол или бог — я понял. Кто этот человек? Где его можно найти? Вы же знаете, если я на что-то решился, я довожу

дело до конца.

Драгомилов, удовлетворенно улыбаясь, повернулся к Холлу:

— Говорил я вам, мною выбран лучший агент.

— Мы теряем время, — нетерпеливо проворчал Хаас.

— Прекрасно, — ответил Драгомилов. — Вы готовы?

— Да.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Это я, Иван Драгомилов, тот человек.

Хааса ошеломил такой ответ.

— Вы? — прошептал он, словно что-то обожгло ему горло, лишило речи.

— Я, — спокойно повторил Драгомилов.

— Тогда другого такого случая не представится, — скороговоркой произнес Хаас, быстро опуская правую руку в боковой карман.

Но Драгомилов еще быстрее метнулся к нему.

Прежде чем Холл успел подняться со стула, все было кончено, опасность была позади. Он увидел, как большие, кривые и жесткие пальцы вонзились в две впадины по обе стороны у основания шеи Хааса. И в тот же миг, как пальцы коснулись шеи, рука Хааса прекратила свое движение к

оружию, находящемуся у него в кармане. Обе его руки дернулись и спазматически сжались. Лицо Хааса исказила дикая, предсмертная агония.

Еще с минуту он корчился и извивался, а потом глаза его закрылись, руки повисли, тело обмякло, и Драгомилов опустил его на пол; пламя, пылавшее в Хаасе, угасло вместе с сознанием.

Драгомилов перевернул его вниз лицом и связал носовым платком ему руки за спиной. Он действовал быстро, одновременно разговаривая с Холлом.

— Обратите внимание, Холл, это старейший прием анестезии, применявшийся хирургией. Он делается чисто механически. Большие пальцы зажимают сонные артерии, перекрывая доступ крови к мозгу. Японцы уже сотни лет пользуются им при хирургических операциях. Задержи я пальцы еще на минуту больше, он был бы мертв. А теперь он придет в сознание через несколько секунд. Смотрите! Он уже двигается.

Драгомилов перевернул Хааса на спину, ресницы глаз последнего затрепетали, и он испуганно уставился на Драгомилова.

— Я же вам говорил, мистер Хаас, что это трудный случай, — начал убеждать его Драгомилов. — Ваша первая попытка окончилась

провалом. Боюсь, что вам придется пережить еще немало неудач.

— Вы, надеюсь, не лишите меня моей доли, — последовал ответ. — Правда, причины вашего желания быть убитым выше моего понимания.

— А я и не хочу быть убитым.

— А тогда зачем же, разрази меня гром, вы отдали мне этот приказ?

— Это мое дело, мистер Хаас. А ваше дело выполнить его наилучшим образом. Как ваша шея?

Лежащий человек покрутил головой туда-сюда.

— Болит, — объявил он.

— Вам следует обучиться этому приему.

— Теперь я его знаю, — добавил Хаас, — я в точности знаю место, где надавить пальцами. Что вы собираетесь теперь со мной делать?

— Возьму с собой в машину и сброшу вас у обочины дороги. Ночь теплая, вы не простудитесь. Если я оставлю вас здесь, мистер Холл может развязать вас прежде, чем я двинусь в путь. А теперь мне придется вас немного побеспокоить из-за этой пушки в кармане вашего пиджака.

Драгомилов наклонился и извлек из его кармана автоматический пистолет.

— Снаряжен для большого дела, взведен и готов

к действию, — сказал он, осмотрев оружие. — Ему осталось только спустить предохранитель и нажать на спуск. Вы пойдете со мной в машину, мистер Хаас?

Хаас отрицательно покачал головой:

— Здесь удобнее, чем у обочины.

Не произнося ни слова, Драгомилов наклонился над ним и легко сжал своими страшными пальцами его горло.

— Пойду, — тяжело выдохнул Хаас.

Хотя его руки были связаны за спиной, он проворно и легко, без видимых усилий встал на ноги, подтверждая догадку Холла о тигриной мускулатуре его тренированного тела.

Драгомилов повернулся к Холлу и сказал:

— Японцам известны семь различных «прикосновений смерти», приемов борьбы джиу-джитсу, из которых я знаю четыре. А этот человек надеется одолеть меня в физической борьбе. Позвольте мне, мистер Хаас, сказать вам одну вещь. Взгляните на ребро моей кисти. Не говоря о «прикосновениях смерти» и прочем, просто ребром вот этой руки, как косарем, я могу переломить ваши кости, разбить суставы и разорвать сухожилия. Недурно, а? Для думающей машины, как меня всегда называли. Ну, так пойдем, начнем. Вот сю-

да, по дороге приключений. До свидания, Холл.

Дверь парадной захлопнулась за ними, а Винтер Холл изумленно оглядел современно убранную комнату, в которой он остался один. Больше, чем когда-либо прежде, его охватило ощущение нереальности, хотя вот оно стоит роскошное пианино, а там, на журнальном столике, лежат свежие журналы. Он даже прочитал на обложках давно знакомые названия, силясь прийти в себя. Ему было любопытно: может быть, в самом деле через несколько минут он проснется. Он поглядел на названия книг, стоящих на подставке стола, вероятно, принадлежавших Драгомилову. Здесь бок о бок стояли «Проблемы Азии» Махана, «Сила и материя» Бюкнера, «Мистер Полли» Уэллса, «По ту сторону добра и зла» Ницше, «Большая грузоподъемность» Джэкоба, «Теория праздного класса» Беблена, «От Эпикура к Христу» Хайда и последний роман Генри Джеймса — все это было брошено этим странным умом, закрывшим последнюю страницу своей книжной жизни и ринувшимся на тропу невероятных, безумных приключений.

ГЛАВА VII

— Ждать вашего дядю бесполезно, — сказал Холл Груне на следующее утро. — Нам нужно позавтракать и ехать в город.

— Нам? — спросила она с искренним удивлением. — Для чего?

— Чтобы оформить наш брак. Перед отъездом ваш дядя назначил меня вашим неофициальным опекуном, и лучшее, что можно сделать, как мне представляется, это оформить мое положение официально — вот, если с вашей стороны нет серьезных возражений.

— Они у меня несомненно есть, — последовал ответ. — Во-первых, я не люблю, когда решают что бы то ни было за меня, даже вопрос о таком приятном деле, как брак с вами. А затем, я не выношу таинственности. Где дядя? Что произошло? Куда он уехал? Он что, уехал утренним поездом в город? И зачем это ему нужно ехать в город в воскресный день?

Холл смотрел на нее печально.

— Груня, я не стану призывать вас набраться мужества и не буду повторять все эти банальности. Я хорошо вас знаю, и в этом нет необходимо-

сти. — Он заметил тревогу на ее лице и торопливо продолжил: — Мне неизвестно, когда возвратится ваш дядя. Я не знаю, вернется ли он вообще и увидите ли вы его снова. Послушайте. Помните, я рассказывал вам о Бюро убийств?

Она кивнула.

— Так вот, оно избрало его ближайшей жертвой. Он бежал, — вот и все, пытаясь от них ускользнуть.

— Ой! Ну это же чудовищно, — крикнула она. — Мой дядя Сергиус! Мы живем в двадцатом веке. Теперь же такие вещи невозможны. Это не что иное, как злая шутка, которую вы вместе с ним сыграли надо мной.

А Холл, вообразив на секунду, что бы она подумала, если бы узнала всю правду о своем дяде, мрачно улыбнулся.

— Клянусь честью, это правда, — заверил он ее. — Ваш дядя избран ближайшей жертвой. Вы помните, вчера вечером он очень много писал. Получив предостережение об угрозе, он приводил в порядок свои дела и готовил для меня инструкции.

— А полиция? Почему он не обратился туда за защитой от банды этих головорезов?

— Ваш дядя — странный человек. Он и слушать

не желает о полиции. Более того, он взял с меня обещание не вмешивать в это дело полицию.

— Но с меня-то он не брал, — прервала она, направляясь к двери. — Я вызову ее немедленно.

Холл поймал ее за руку, и она сердито повернулась к нему.

— Послушай, дорогая, — начал он успокаивающе. — Все это безумство, я знаю, чистейший, невероятнейший идиотизм. И все же это так, это правда, все до последней детали. Дядя ваш не хочет вовлекать полицию. Таково его желание, его указание мне. Если вы нарушите его желание, то виноват буду я, потому что допустил ошибку, обо всем рассказав вам. Неужели я ошибся?

Он освободил ее, и она задержалась у порога.

— Не может этого быть! — воскликнула она. — Не могу я в это поверить! Это… это… о! Вы шутите.

— Я сам в это не могу поверить, но вынужден верить. Ваш дядя упаковал вчера вечером чемодан и уехал. Я видел, как он уезжал. Он со мной попрощался. Он поручил мне свои и ваши дела. Вот его указания на этот счет.

Холл вынул свой бумажник и выбрал несколько листочков бумаги, вне всякого сомнения написанных рукой Сергиуса Константина.

— Здесь есть также записка и для вас. Он страшно торопился. Пойдемте завтракать и там все прочитаем.

Трапеза была унылой. Груня выпила только чашку кофе, а Холл вяло поковырял ложкой яйцо.

Окончательно Груню убедила телеграмма, полученная на имя Холла. То обстоятельство, что она состояла из одних цифр и что он знал ключ, рассеяло ее подозрения, но не раскрыло тайну.

> *«Буду вам сообщать о себе время от времени,* — расшифровал Холл. — *Шлю свою любовь Груне. Скажите ей, я даю вам согласие на брак. Остальное зависит от нее».*

— По этой телеграмме, возможно, мне удастся установить следы его передвижений, — объяснил Холл. — А теперь я предлагаю оформить наш брак.

— В то время как для него, несчастного, нет безопасного места на всей земле? Нет, ни за что! Что-то нужно сделать. Мы что-то должны сделать. Я-то думала, вы хотите уничтожить это гнездо убийц. Ну так уничтожьте и спасите его.

— Ну, хорошо, я объясню вам все, — сказал он

мягко. — Это и есть часть программы уничтожения этого гнезда. Мною это не намечалось и получилось помимо моей воли. Я даже скажу вам больше: если ваш дядя продержится в течение года, он останется невредим, ему больше не будет угрожать никакая опасность. А я уверен, он в состоянии в течение всего этого времени обманывать своих преследователей. Я между тем сделаю все, что в моей власти, чтобы помочь ему несмотря на то, что его собственные инструкции стесняют меня и, в частности, его указание ни при каких обстоятельствах не обращаться в полицию.

— Я выйду замуж, когда истечет год, — окончательно решила Груня.

— Отлично. Ну, а сегодня вы намерены отправиться в город или останетесь здесь?

— Я отправлюсь первым же поездом.

— Я с вами.

— Тогда мы едем вместе, — сказала Груня, и слабый намек на улыбку появился на ее лице — первый за все утро.

Для Холла день обещал быть трудным. Расставшись по приезде в город с Груней, он посвятил себя улаживанию дел Драгомилова и выполнению его указаний. Управляющий фирмы «С.

Константин и Ко», вопреки врученному ему письму, написанному собственноручно его хозяином, упорно продолжал относиться к Холлу с подозрением. А когда Холл, желая убедить его, позвонил по телефону Груне, управляющий выразил сомнение, что на другом конце провода действительно — племянница Константина. Поэтому Груня вынуждена была прибыть лично и подтвердить слова Холла. После этого они с Груней вместе пообедали, и затем он отправился вступить во владение квартирой Драгомилова. Полагая, что Груне ничего не известно о комнатах, в которых распоряжался глухонемой, Холл на всякий случай осторожно проверил правильность своего предположения и выяснил, что не ошибся.

Общение с глухонемым не представляло серьезных трудностей. Начав говорить, повернувшись к немому лицом так, чтобы тот видел его губы, Холл понял, что вести с ним разговор не сложнее, чем с любым другим человеком. Немому, чтобы ответить, приходилось писать все, что он хотел сообщить Холлу. Получив от Холла письмо Драгомилова, парень немедленно прижал его к своему носу, долго и тщательно его обнюхивал. Убедившись таким путем в его подлинности, он согласился допустить Холла во временное владе-

ние квартирой.

Этим вечером Холл принял трех посетителей. Первый — толстый, с усами и бакенбардами, веселый человек, назвавшийся Бардуэллом, — был агентом Бюро. Сверившись с описанием членов, Холл опознал его — правда, не под тем именем, которое тот назвал.

— Вас зовут не Бардуэлл, — сказал Холл.

— Знаю, — последовал ответ. — Может быть, вы мне подскажете мою фамилию…

— Пожалуйста, вас зовут Томпсон… Сильваниус Томпсон.

— Похоже, что так, — последовал веселый ответ. — Вы, видимо, сможете добавить что-нибудь еще?

— Вы работаете в организации пять лет. Родились в Торонто. Вам сорок семь лет. Вы были профессором социологии в Барлингтонском университете и вынуждены были уйти, потому что ваши экономические воззрения оскорбляли основателя университета. Вами выполнено двенадцать поручений. Перечислить их вам?

Сильваниус Томпсон предостерегающе поднял руку.

— О таких данных мы не упоминаем.

— Но в этой комнате это допускается, — воз-

разил Холл. Бывший профессор социологии поспешил признать верность последнего замечания.

— Нет смысла называть их все, — сказал он. — Назовите мне первое и последнее, и мне станет ясно, можно ли с вами говорить о деле.

Холл вновь обратился к описанию.

— Вашим первым был полицейский судья Сиг Лемюэлс. Это было вашим приемным испытанием. Последнее ваше поручение — Бертрам Фестл, — как полагали, утонувший во время плавания на своей яхте у Бар-поинт.

— Прекрасно, — Сильваниус Томпсон умолк, зажигая сигару. — Мне просто хотелось убедиться, вот и все. До сих пор я никого другого здесь не встречал, кроме шефа, поэтому довольно необычно иметь дело с посторонним. А теперь к делу. За последнее время у меня не было поручений, а мои деньги подходят к концу.

Холл вынул отпечатанную на машинке копию инструкции Драгомилова и внимательно прочел нужный параграф.

— В ближайшее время ничего для вас нет, — сказал он. — Но вот вам две тысячи долларов на расходы. Это аванс за будущие услуги. Не теряйте с нами связи, так как вы можете понадобиться

в любое время. Бюро начинает большое дело, и помощь всех его членов может потребоваться в любую минуту. Я уполномочен вам сообщить, что на карту вообще поставлено существование самой организации. Подпишите, пожалуйста, квитанцию.

Бывший профессор подписал квитанцию, пыхнул сигарой и выразил намерение уходить.

— Вам нравится убивать людей? — неожиданно спросил Холл.

— О, я не против, — ответил Томпсон, — хотя я бы не сказал, что это мне нравится. Но каждому нужно жить. У меня жена и трое детей.

— Вы уверены, что ваш способ зарабатывать на жизнь правилен? — задал новый вопрос Холл.

— Разумеется, а иначе я не стал бы зарабатывать на жизнь таким путем. Кроме того, я не убийца. Я исполнитель. Ни одного человека Бюро не убирает без оснований, я имею в виду справедливых оснований. Убирают только тех, кто совершил тяжкие преступления против общества. Вам же это известно.

— Могу вам честно сказать, профессор, что мне очень мало об этом известно. Это действительно так, хотя я временно и осуществляю руководство Бюро, действуя строго в пределах инструкций.

Скажите, вы не допускаете ошибки со стороны шефа?

— Я не совсем понял.

— Разве не может он ошибиться в своих решениях? Ну, например, не может ли он дать вам указание убить... прошу прощения — уничтожить человека, не совершившего тяжкого преступления против общества, или того, кто, возможно, абсолютно невиновен в тех проступках, которые ему приписывают?

— Нет, молодой человек, это исключено. Для всех поручений, которые мне даются, а, я убежден, это относится и ко всем остальным нашим членам — прежде всего я требую доказательств и тщательно их взвешиваю. Был случай, я вынужден был даже отклонить одно поручение, потому что у меня имелись серьезные сомнения. Это факт. Потом мне доказали, что я неправ, но таков наш закон, понимаете? Бюро, знаете ли, не смогло бы проработать и года, если бы оно не было сверху донизу основано на справедливости. Что касается меня, я бы жене в глаза не смог посмотреть, детишек своих взять на руки, если бы Бюро работало иначе и мне приходилось выполнять не такие поручения.

Вслед за профессором пришел Хаас, мертвен-

но-бледный и голодный, он сообщил о своих успехах.

— Шеф держит курс на Чикаго, — начал он. — Он гнал свой автомобиль прямо через Олбани и вылез у нью-йоркской центральной. У него билет в спальном «Пульмане» до Чикаго. Я опоздал с преследованием, поэтому дал телеграмму Шварцу сюда, в город. Он сел на следующий поезд. Руководителю чикагского Бюро я тоже телеграфировал. Вы его знаете?

— Да, там Старкингтон.

— Я телеграфировал ему, в чем дело, и чтобы он направил двух агентов вслед за шефом. А после этого я приехал в Нью-Йорк, чтобы забрать Гаррисона. Если за это время от Старкингтона не поступит сообщения, что они его взяли, мы оба уедем в Чикаго утром первым же поездом.

— Но вы вышли за рамки данных вам указаний, — возразил Холл. — Я точно помню, что Драг… шеф сказал, что вам помогать будут Шварц и Гаррисон и что за помощью остальных членов организации следует обратиться только после того, как вы втроем будете терпеть неудачи в течение определенного времени. Но вы же еще не потерпели неудачи, вы даже еще не начали.

— Вы, по-видимому, плохо знаете нашу си-

стему, — ответил Хаас. — По нашим правилам, всегда, когда преследование заводит в другие города, мы обращаемся к любому из членов организации, находящемуся в этом городе.

Холл хотел было еще что-то сказать, но вошел глухонемой с телеграммой на имя Драгомилова. Холл вскрыл ее и увидел, что она от Старкингтона. Расшифровав телеграмму, он прочел ее вслух Хаасу:

«Хаас что, рехнулся? Получил от Хааса сообщение, что вы дали ему указание уничтожить вас, что вы направляетесь в Чикаго и что мне следует выделить двух агентов, чтобы вас схватить. Хаас до сих пор никогда не обманывал. Он, должно быть, сошел с ума. Он может оказаться опасным. Приглядите за ним».

— Вот то же самое сказал мне и Гаррисон в ответ на мое сообщение, — вставил Хаас. — Но я не обманываю и не сошел с ума. Вы должны это подтвердить, мистер Холл.

С помощью Хааса Холл составил ответ.

«Хаас не сошел с ума и не лжет. То, что он говорил, верно. Выполняйте все его

просьбы.

Винтер Холл, исполняющий обязанности секретаря».

— Я сам ее отправлю, — сказал Хаас, вставая.

Несколько минут спустя Холл по телефону сообщил Груне, что ее дядя направляется в Чикаго. Потом Холл имел разговор с Гаррисоном, который явился лично, чтобы удостовериться в верности рассказа Хааса; он ушел убежденный.

Оставшись один, Холл вновь обдумал все случившееся. Он осмотрел забитые книгами стены и стол, и снова чувство нереальности охватило его. Да этого просто не может быть, чтобы существовало какое-то Бюро убийств, состоящее из ненормальных, помешанных на этике! И как это могло получиться, что он — тот, кто решил развалить это Бюро убийств, — теперь руководит им из его штаб-квартиры, управляет преследованием, а возможно — убийством человека, создавшего Бюро и бывшего отцом любимой женщины, которого, к тому же, он хочет спасти ради его дочери — как же могло такое случиться? И как бы в доказательство, что все это правда, реальность, пришла вторая телеграмма от главы чикагского отделения.

«Кто вы такой, черт вас возьми!» — спрашивал он.

«Утвержденный шефом временно исполняющий обязанности секретаря», — ответил Холл.

Несколько часов спустя Холл был разбужен третьей телеграммой из Чикаго.

«Все слишком необычно. Отказываюсь от дальнейших связей с вами. Где шеф? Старкингтон».

«Шеф уехал в Чикаго. Установите наблюдение за приходящими поездами, найдите его для подтверждения данных им Хаасу указаний. То, что вы отказываетесь поддерживать со мной связь, меня не беспокоит», — телеграфировал в ответ Холл.

К вечеру следующего дня послания Старкингтона посыпались одно за другим.

«Встретил шефа. Он все подтверждает. Приношу свои извинения. Он сломал мне руку и бежал. Четырем агентам чикагского отделения поручено его схва-

тить».

«Только что прибыл Шварц. Кажется, шеф взял курс на запад. Посылаю телеграммы в Сан-Луис, Денвер и Сан-Франциско, чтобы установить за ним наблюдение. Это может дорого обойтись. Высылайте деньги на непредвиденные расходы».

«У Демпси сломано три ребра и парализована правая рука. Паралич временный. Шеф исчез».

«Шеф все еще в Чикаго, но не можем определить местонахождение».

«Сан-Луис, Денвер и Сан-Франциско ответили. Они говорят, я сошел с ума. Не могли бы вы подтвердить?»

Вслед за последней телеграммой последовали сообщения трех упомянутых городов, во всех выражалось беспокойство за психическое состояние Старкингтона, и Холл ответил всем так же, как отвечал ранее Старкингтону.

И вот, пока творилась эта неразбериха, Холлу в голову пришла идея отправить длинную телеграмму Старкингтону и устроить еще большую путаницу.

«Прекратите преследование шефа. Созовите совещание членов чикагского отделения и обсудите следующее предложение. Решение об уничтожении шефа неправильно. Шеф вынес приговор сам себе. Почему? Он, должно быть, сошел с ума. Несправедливо убивать того, кто не сделал ничего плохого. Что плохого сделал шеф? Где ваши санкции!»

Такой вопрос поставил в тупик чикагское отделение. Об этом свидетельствовал их ответ.

«Все обсуждено. Вы правы. Приговор шефа самому себе недействителен. Шеф не сделал ничего плохого. Оставляем его в покое. У Демпси с рукой лучше. Все согласны, что шеф, по-видимому, помешался».

Холл ликовал. Он подвел этих этических безумцев к логической вершине их безумства. Драгомилов был спасен.

В тот же вечер он повел Груню в театр, а потом ужинать и подбодрил ее своими оптимистическими надеждами на благополучный исход истории с ее дядей. Но по возвращении домой обнаружил ожидавшую его пачку телеграмм.

«Получена телеграмма из Чикаго, отменяющая преследование шефа. Ваша последняя телеграмма этому противоречит. Что нам делать? Сан-Луис».

«Чикаго сейчас отменил приказ о шефе. По нашим правилам приказы никогда не отменяются. В чем дело? Денвер».

«Где шеф? Почему он с нами не свяжется? Чикаго последней телеграммой отказался от прежней позиции. Что они, все посходили с ума? Или это шутка? Сан-Франциско».

«Шеф все еще в Чикаго. Встретил Карти на Стейт-стрит. Старался убедить Карти преследовать его. После чего пошел за Карти и бранил его. Карти сказал, что приказано ничего не предпринимать. Шеф страшно рассержен. Настаивает, чтобы приказ об убийстве был выполнен. Старкингтон».

«Шеф позже снова встретил Карти. Совершил неспровоцированное нападение. Карти невредим. Старкингтон».

«Шеф вызвал меня. Выругал последними словами. Сообщил ему, что ваше послание изменило нашу точку зрения.

Шеф вне себя. Он, что, помешанный? Старкингтон».

«Ваше вмешательство все испортило. Какое вы имеете право вмешиваться? Это следует исправить. Что вы собираетесь предпринять? Отвечайте. Драго».

«Стараюсь поступать справедливо. Вы не имеете права нарушать собственные правила. У членов организации нет санкций на приведение в исполнение приказа», — гласил ответ Холла.

«Вздор», — таково было последнее слово от Драгомилова за эту ночь.

ГЛАВА VIII

Только к одиннадцати часам на следующий день Холл получил известие о новом шаге Драгомилова. Оно пришло от самого шефа.

> *«Направил это послание во все отделения. Передал лично в Чикагское отделение, которое это подтвердит. Я убежден, что наша организация — это ошибка. Я уверен, что вся ее деятельность — это ошибка. Я уверен, что каждый ее член вольно или невольно совершил ошибку. Рассматривайте это как указание и исполняйте свой долг».*

Вскоре отклики буквально посыпались на Холла, а он с улыбкой переправлял их Драгомилову. Все до одного единодушно сошлись на том, что оснований для уничтожения шефа нет.

> *«Уверенность — это не грех»,* — говорил Нью-Орлеан.
>
> *«Не ошибочность веры, а неискренность веры является преступлением»,* — вносил

свой вклад в обсуждение Бостон.

«Честная убежденность шефа не является проступком», — заключил Сан-Луис.

«Несогласие на этической основе абсолютно не дает никакой санкции», — заявил Денвер.

В это же время Сан-Франциско легкомысленно ответил:

«Единственное, что шефу следует сделать, это отстраниться от контроля или забыть о нем».

Драгомилов ответил отправкой другого важного послания. Оно гласило:

«Мои убеждения затрагивают формы действий. Будучи убежден, что организация заблуждается, я разрушу организацию. Я лично уничтожу ее членов и, если возникнет необходимость, прибегну к помощи полиции. Чикаго доведет это до всех отделений. Всем отделениям в ближайшее время мною будут представлены более веские основания для преследования

меня».

С огромным интересом ожидал Холл ответов, признавшись в полной неспособности предсказать, какое новое решение примет это сообщество свихнувшихся праведников. Выяснилось, что мнения разделились. Из Сан-Франциско телеграфировали: *«Санкции о'кей. Жду инструкций».*

Денвер советовал: *«Чикагскому отделению рекомендую проверить здоровье шефа, У нас здесь есть хороший санаторий».*

Нью-Орлеан сомневался: *«Все рехнулись, что ли? У нас же нет достаточных данных. Неужели некому выправить это дело?»*

Бостон говорил: *«Во время такого кризиса нам не следует терять голову. Может быть, шеф болен. Нужно проверить, прежде чем принимать какое-либо решение».*

Только после этого Старкингтон послал телеграмму, предлагая Хаасу, Шварцу и Гаррисону возвратиться в Нью-Йорк. На это Холл согласился, но едва он отправил телеграмму, как пришло

известие от Старкингтона, которое совершенно все переменило.

> *«Только что прикончен Карти. Полиция ищет убийцу, но на след не напала. Мы уверены, что это дело рук шефа. Передайте, пожалуйста, всем отделениям».*

Холл, который был центральным узлом связи между отделениями, теперь был засыпан телеграммами. Сутки спустя из Чикаго поступили еще более ошеломляющие новости.

> *«Сегодня в три часа задушен Шварц. На этот раз нет никакого сомнения — шефом. Полиция его разыскивает. Мы тоже. Он скрылся. Всем отделениям быть наготове. Объявляю тревогу. Действую, не ожидая санкций отделений, но хотел бы их получить».*

Санкции посыпались к Холлу немедленно. Драгомилов достиг своей цели. «Этичные» сумасброды наконец очнулись и устремились вслед за ним.

Сам Холл оказался в затруднительном положении и проклинал свою «этичную» натуру,

заставляющую его выполнять обещание. Теперь он был убежден, что Драгомилов действительно безумец, который вырвался из оков своей тихой книжно-деловой жизни и превратился в убийцу-маньяка. А он дал этому маньяку обещание. Теперь возникал вопрос, вправе он или нет с этической точки зрения нарушить эти обещания. Здравый смысл подсказывал ему, что вправе донести полиции, вправе произвести аресты всех членов Бюро убийств, вправе предпринять все, что обещает положить конец этой, казалось неумолимо надвигающейся, оргии убийств. Но превыше его здравого смысла была его этика, и по временам он приходил к мысли, что сам он безумен не менее любого из этих сумасшедших, с которыми имел дело.

И в дополнение к его растерянности Груня, разыскавшая его адрес по данному им телефонному номеру, явилась к нему.

— Я пришла попрощаться, — начала она. — Какие у вас удобные комнаты! А какой странный слуга. Он не сказал мне ни слова.

— Попрощаться? — переспросил Холл. — Вы возвращаетесь в Эдж-Мур?

Она отрицательно покачала головой и, просветлев, улыбнулась:

— Нет, в Чикаго. Я хочу разыскать дядю и помочь ему, чем смогу. Какое вы получили от него последнее сообщение? Он все еще в Чикаго?

— По последнему сообщению… — Холл колебался. — Да, по последнему сообщению, он еще не покинул Чикаго. Но вы ничем не можете помочь, и ехать вам туда неблагоразумно.

— А я все же поеду.

— Позвольте мне дать вам совет, дорогая.

— Не ранее, как по окончании года, если это не советы по деловым вопросам. Вообще-то я пришла сюда, чтобы возложить на вас мои небольшие обязанности. Я уезжаю на экспрессе «Двадцатый век» сегодня вечером.

Повод у Груни не выдерживал никакой критики, но Холл был не в состоянии спорить, и, простившись с ней по обыкновению ласково, он остался в штаб-квартире Бюро убийств, чтобы продолжать вести его идиотские дела.

С этого момента и в последующие сутки ничего не произошло. А потом донесения посыпались градом и первым было от Старкингтона.

«Шеф еще здесь. Сегодня свернул шею Гаррисону. Полиция это не связывает с делом Шварца. Обратитесь, пожалуйста,

с призывом о помощи ко всем отделениям».

Холл разослал всем этот призыв, и часом позже от Старкингтона пришло следующее послание:

«Проник в больницу и убил Демпси. Определенно покинул город. Хаас преследует. Сан-Луису быть наготове».

«Растенаф и Пилсуорти выезжают немедленно», — сообщил Холлу Бостон.

«Луковиль послан в Чикаго», — говорил Нью-Орлеан.

«Никого не посылаем. Ждем прибытия шефа», — извещал Сан-Луис.

А потом из Чикаго от Груни пришел крик души:

«У вас есть какие-нибудь новости?»

Не успел он ответить на ее телеграмму, как почти вслед получил вторую.

«Пожалуйста, сообщите мне, если есть какие-нибудь известия».

Холл ответил:

«Покинул Чикаго. Вероятно, направляется в Сан-Луис. Разрешите присоединиться к вам».

В ответ ничего не последовало, и он собирался выехать, чтобы стать свидетелем бегства главы убийц, преследуемого своей дочерью и убийцами из четырех городов и направлявшегося в гнездо убийц, ожидающих его в Сан-Луисе.

Прошел еще один день, затем еще. Авангард преследователей вступил в Сан-Луис, но там не было обнаружено никаких признаков Драгомилова. Хаас, как сообщили, пропал. Груня не могла найти следов дяди. Один глава отделения еще оставался в Бостоне. Он сообщил Холлу, что будет следить за происходящим. В Чикаго остался только Старкингтон со сломанной рукой.

Но к концу следующих суток Драгомилов нанес новый удар. Растенаф и Пилсуорти прибыли в Сан-Луис рано утром. Каждый простреленный малокалиберной пулей, их вынесли из спального вагона люди, посланные следователем. Два агента из Сан-Луиса тоже были мертвы. Об этом сообщил руководитель этого отделения, — единственный, оставшийся в живых. Вновь появился Хаас, он не соизволил сообщить, где пропадал в

течение четырех дней. Драгомилов вновь исчез из виду. Груня была безутешна и бомбардировала Холла телеграммами. Руководитель бостонского отделения известил, что он выезжает. То же самое сделал Старкингтон, невзирая на травму. Сан-Франциско высказал предположение, что своим следующим пунктом Драгомилов изберет Денвер, и выслал двух человек на подкрепление; Денвер, разделяя это мнение, держал двух своих агентов наготове.

События последних дней нанесли заметный урон резервному фонду Бюро, впрочем — к удовлетворению Холла, который в соответствии с инструкциями высылал телеграфом сумму за суммой различным людям. Если гонка будет продолжаться, решил он, Бюро обанкротится еще до истечения года.

Для Холла наступил период затишья. Поскольку все члены организации уехали на Запад и имели прямой контакт друг с другом, ему нечего было делать. День с небольшим он прождал в неизвестности и праздности, а потом, устроив финансовые дела и условившись с глухонемым о пересылке телеграмм, Холл закрыл штаб Бюро и купил билет в Сан-Луис.

ГЛАВА IX

В Сан-Луисе Холл не нашел никаких перемен. Драгомилов так и не появился, но все были начеку: вот-вот что-то должно было произойти. Холл прибыл на совещание в доме Маргвезера. Маргвезер, глава сан-луисского отделения, жил вместе с семьей за городом в благоустроенном особняке. Когда Холл приехал, все уже были в сборе, среди них был Хаас — огонь, а не человек. Холл сразу узнал его и Старкингтона, последнего он отличил по загипсованной и подвешенной на перевязи руке.

— Кто этот человек? — спросил представитель Нью-Орлеана Луковиль, когда назвали Холла.

— Временно исполняющий обязанности секретаря Бюро, — начал было объяснять Маргвезер.

— Все это настолько против наших правил, что не может меня не беспокоить, — обрезал Луковиль. — Этот человек не принадлежит к нашей организации. Он не убивал, не проходил проверку в организации. Дело не только в том, что его появление среди нас беспрецедентно, но в том, что для людей с такой опасной профессией, как наша, его присутствие является угрозой. В связи

с вышесказанным я хочу обратить внимание на два момента. Во-первых, его репутация всем нам известна. Я ничего не имею сказать плохого о его деятельности в этом мире. Его книги я читал с интересом и, смею добавить, с пользой. Его вклад в социологию своеобразен и не подлежит сомнению. С другой стороны, он все-таки социалист. Его называют «миллионер-социалист». Что это значит? Это значит, что он никак не связан с нами, с принципами нашей деятельности. Это значит, что он — слепой пленник закона. Закон — его фетиш. Он погряз в болоте невежества и преклонения перед законом. Для него мы, кто встал выше закона, — архипреступники, нарушители закона. Поэтому его присутствие не обещает нам ничего хорошего. Ради своего фетиша он способен уничтожить нас. Об этом говорит все. Это вытекает как из его философских взглядов, так и из его личных качеств.

И, во-вторых, обращаю ваше внимание на то, что он вторгается в нашу организацию именно в тот момент, когда она переживает кризис. А кто поручился за него? Кто допустил его к нашим секретам? Один-единственный человек — наш шеф, уже убивший шестерых наших агентов и к тому же намеревающийся выдать нас полиции

или уничтожить. Неприятная, очень неприятная ситуация для этого человека и для нас. Он — враг, и он в наших рядах. Мое предложение: удалить его отсюда…

— Простите, мой дорогой Луковиль, — вмешался Маргвезер, — здесь не место для подобной дискуссии. Мистер Холл мой гость.

— Мы рискуем жизнью, — не унимался представитель Нью-Орлеана. — А гость или не гость, неважно: сейчас не время для жестов вежливости. Этот человек — шпион. Он намерен уничтожить нас. Я бросаю это обвинение в глаза. Что он на это ответит?

Холл огляделся вокруг. Все смотрели на него подозрительно, но, он заметил, не зло, за исключением Луковиля. А ведь правда, — отметил Холл про себя, — это — философы, свихнувшиеся философы.

Маргвезер сделал было попытку вмешаться, но ему не дали.

— Так что же вы на это ответите, мистер Холл? — задал вопрос Гановер, руководитель бостонского отделения.

— Если мне позволят сесть, я отвечу с удовольствием, — произнес Холл.

Со всех сторон посыпались извинения, и его

устроили в большом кресле, которое пододвинули, чтобы замкнуть круг.

— Мой ответ, как и обвинение, будет состоять из двух пунктов, — начал он. — Во-первых, я действительно намерен разрушить вашу организацию.

Это заявление было встречено вежливым молчанием, и Холлу пришла на ум мысль, что сумасшедшие философы, несомненно, умеют держать себя. Лица их не выражали никаких эмоций. С ученым вниманием они ожидали, пока он выскажется до конца. Даже вспышка гнева Луковиля была мимолетна, и теперь он сидел так же спокойно, как и остальные.

— Объяснение, почему я решил разрушить вашу организацию, было бы слишком сложным, чтобы им заниматься в настоящий момент, — продолжал Холл. — Вкратце я могу сказать, что в перемене поведения вашего шефа действительно виновен я. Когда я понял, каким рьяным приверженцем этики он является (да и все вы тоже), я уплатил ему пятьдесят тысяч долларов комиссионных за сделку, направленную против него самого. Представил ему убедительные доказательства, разумеется, этические, и он возложил исполнение его на мистера Хааса. Правду я гово-

рю, мистер Хаас?

— Да.

— Точно так же в вашем присутствии шеф сообщил вам о назначении меня секретарем. Так?

— Да.

— Теперь я перехожу ко второму пункту. Почему шеф доверил мне ведение дел в штаб-квартире Бюро? Ответ прост. Шеф убедился, что я так же, как и вы, или почти так же сильно, предан этике. Он понял, что я не способен нарушить данное слово. Это доказано моими последующими действиями. Я приложил все силы, чтобы успешно исполнять обязанности секретаря. Мною пересылались все телеграммы, все важные сообщения и приказы. Я удовлетворял все денежные запросы. Поскольку я дал согласие, я буду продолжать это дело и в дальнейшем, хотя питаю отвращение к вашей этике и с ужасом взираю на все, за что вы боретесь. Поступая так, я поступаю, со своей точки зрения, правильно. Верно?

Наступившая пауза была очень непродолжительной. Поднялся Луковиль, подошел к Холлу и угрюмо протянул руку. Другие последовали его примеру. После этого Старкингтон внес предложение из фондов Бюро оказать поддержку вдове Демпси, а также жене и детям Гаррисона. Пред-

ложение приняли почти без обсуждения, а когда размер пособия был установлен, Холл выписал чеки и передал их для отправки Маргвезеру.

Далее был рассмотрен вопрос о кризисе и о том, как лучше расправиться с изменником шефом. Холл не принимал участия в обсуждении, поэтому, откинувшись на спинку своего кресла, он мог наблюдать за этими безумцами. Их было семеро и, за исключением Хааса и Луковиля, все они выглядели, как ученые мужи средних лет или как представители средней буржуазии. Он просто не в силах был убедить себя, что это хладнокровные убийцы, творящие свое жестокое дело за плату. По внешнему виду невозможно было представить, что вот этим спокойным людям предстоит приложить все силы, чтобы выжить в смертельной войне, которая против них ведется. Собственно, половины их уже нет. Из Бостона в живых остался один Гановер, из Нью-Йорка — Хаас, из Чикаго — Старкингтон, а их радушный бородатый хозяин Маргвезер был единственным представителем Сан-Луиса.

— Мне понравилась ваша последняя книга, — наклонившись, шепнул Холлу хозяин, воспользовавшийся паузой. — Ваш довод за организацию по производственному признаку, а

не по специальности — неуязвим. Но ваши соображения о законе сокращающейся прибыли, на мой взгляд, довольно-таки неубедительны. У меня есть что возразить вам по этому вопросу.

И это убийца! Все эти люди — убийцы. В это Холл мог поверить только при одном условии — признав их сумасшедшими. Возвращаясь в город после совещания, он разговорился в трамвае с Хаасом и был поражен, услышав, что тот — бывший профессор греческой и еврейской филологии. Луковиль, оказалось, был экспертом по востоку. Гановер в течение некоторого времени работал директором одной из самых уважаемых академий Новой Англии, а Старкингтон, как выяснилось, в прошлом был известным газетным редактором.

— Но почему же, к примеру, вы стали вести такой образ жизни? — спросил Холл.

Они сидели в открытой части трамвая, приближавшегося к району отелей. Только что закончились представления в театрах, и тротуары были полны народа.

— Потому что я выступаю за справедливость, — ответил Хаас, — потому, что это лучший способ заработать на пропитание, чем греческий и еврейский языки. Если бы мне пришлось начать

свою жизнь сначала…

Но Холлу так и не пришлось услышать конец фразы. Трамвай на мгновение остановился у перекрестка, и Хаас, заметив что-то, вскочил, словно от удара током. С загоревшимися глазами, ни слова не сказав, даже не махнув на прощанье, он спрыгнул с трамвая и потерялся в движущейся толпе.

На следующее утро Холл узнал, что случилось. Газета поместила сенсационное сообщение о таинственной попытке убийства. Хаас лежал в госпитале с простреленными легкими. Обследования врачей показали, что он остался в живых только благодаря тому, что сердце у него расположено не на обычном месте, а смещено в сторону. Если бы его сердце помещалось там же, где у других людей, сообщалось в отчете репортера, то пуля прошла бы через него. Но не в этом была тайна. Никто не слышал выстрела. Словно споткнувшись, Хаас неожиданно упал в густой толпе. Женщина, которая была прижата к нему в этой давке, утверждала, что за секунду перед тем, как он упал, ей послышался слабый, но отчетливый металлический щелчок. Человек, шедший впереди, как будто тоже слышал щелчок, но не был в этом твердо уверен. «Полиция

озадачена, — писала газета. — Потерпевший, приезжий из другого города, также в недоумении. Он утверждает, что представить не может, кто мог быть заинтересован в его смерти. Он не помнит никакого щелчка. Он почувствовал страшный удар в момент, когда его сразила пуля. Детектив, сержант О'Коннелл, убежден, что выстрел произведен из воздушной винтовки, но это опровергается шефом детективов Рандаллом, который, будучи знаком с воздушными винтовками всех систем, утверждает, что такого рода оружие не может быть незаметно использовано в густой толпе».

— Вне всякого сомнения, это был шеф, — уверял Холла Маргвезер несколько минут спустя. — Он все еще в городе. Информируйте, пожалуйста, Денвер, Сан-Франциско и Нью-Орлеан об этом происшествии. Оружие — изобретение самого шефа. Он несколько раз давал его Гаррисону, который по использовании всегда его возвращал. Камера сжатого воздуха прикрепляется на теле под мышкой или где-нибудь в другом удобном месте. Сам разряжающий механизм — не более игрушечного пистолета, его легко спрятать в руке. Теперь нам нужно соблюдать особую осторожность.

— Я вне опасности, — ответил Холл. — Я ведь только исполняю обязанности секретаря и не являюсь членом организации.

— Рад, что Хаас поправится, — сказал Маргвезер. — Это очень достойный человек и ученый. Я высоко ценю его ум, хотя он временами и склонен проявлять чрезмерную суровость и, боюсь, находит какое-то удовольствие, лишая человека жизни.

— А вы — нет? — быстро спросил Холл.

— Нет, и никто из наших за исключением Хааса. Такая уж у него натура. Поверьте мне, мистер Холл, хотя я и честно выполняю поручения Бюро и имею твердые убеждения о справедливости таких действий, при исполнении казни мною всегда овладевает чувство отвращения. Я знаю, что это глупо, но ничего не могу с собой поделать. Да, да. Во время первого дела меня просто стошнило. Мною написана на этот предмет монография, разумеется не для публикации, но это очень интересная тема для исследования. Если вас интересует, я буду рад пригласить вас к себе как-нибудь вечерком и покажу, что я написал.

— Благодарю вас, я зайду.

— Это очень любопытная проблема, — продолжал Маргвезер. — Священность человеческой

жизни — ведь это социальное понятие. Нормальный первобытный человек, убивая своего сородича, никогда не испытывал отвращения. Теоретически не должен бы был его испытывать и я. Однако это не так. Вопрос заключается в том, откуда оно возникает. Случилось ли так, что за века эволюции, пока мы дошли до вершин цивилизации, это понятие отложилось в мозговых клетках нации? Или это результат воспитания в детстве и отрочестве, еще до того, как я стал самостоятельно мыслить? А может быть, это результат обеих причин? Весьма любопытно.

— Да, конечно, — сухо ответил Холл. — Но что же вы собираетесь сделать с шефом?

— Уничтожить его. Это все, что мы можем сделать, мы должны отстоять наше право на жизнь. Обстановка, конечно, для нас является новой. До сих пор уничтожаемые нами люди не подозревали о грозящей им опасности. А шеф знает о наших планах, поэтому он уничтожает нас. За нами никогда прежде не охотились. Он, разумеется, находится в более выгодном положении, чем мы. Однако мне нужно идти. Через четверть часа я встречаюсь с Гановером.

— А вы не боитесь? — спросил Холл.

— Чего?

— Того, что шеф вас убьет?

— Нет, для меня это большого значения не имеет. Видите ли, я хорошо застрахован, и мой собственный опыт опровергает одно общепринятое утверждение, а именно, что человек, чем больше лишает он жизни других, тем больше сам боится смерти. Это неправда. Я убедился, что чем больше я уничтожаю других — по моим подсчетам я это делал восемнадцать раз — тем легче кажется мне смерть. А это самое чувство отвращения, о котором я говорил, оно идет от жизни, а не от смерти. У меня записаны отдельные мысли на эту тему. Хотите поглядеть записи?

— Да, конечно, — заверил его Холл.

— Тогда заходите сегодня вечером. Скажем, в одиннадцать. Если я задержусь на этом деле, попросите, чтобы вас провели в мой кабинет. Рукопись и свою монографию я оставлю для вас на письменном столе. Мне бы, конечно, хотелось прочесть их вам самому и поспорить с вами, но в случае, если я не смогу прийти, делайте, пожалуйста, любые критические заметки, какие пожелаете.

ГЛАВА X

— Я знаю, вы многое скрываете от меня, и я не могу понять, зачем. Вы же сами согласились помочь мне спасти дядю Сергиуса.

Но ни жалобный голос, которым Груня произнесла последнюю фразу, ни ее полные теплого, нежного света глаза на этот раз не растопили сердце Холла.

— Насколько я понимаю, нужды спасать дядю Сергиуса нет, — недовольно процедил он.

— Что вы имеете в виду? — встревожилась она, заподозрив что-то неладное.

— Ничего особенного, уверяю вас, единственно, что я хотел сказать, это то, что он убежал достаточно далеко.

— А откуда вам известно, что он действительно убежал? — упорствовала она. — Вы в самом деле уверены, что он жив? С тех пор, как он уехал из Чикаго, от него ничего не было слышно. Откуда вы знаете, что эти звери не убили его?

— Его видели здесь, в Сан-Луисе…

— Здесь! — прервала она взволнованно. — Ну, конечно, вы что-то скрываете от меня! Отвечайте честно, ведь так?

— Да, — признался Холл. — Но я делаю это по воле вашего дяди. Поверьте мне, вы не в состоянии оказать ему никакой помощи. Вам даже не удастся разыскать его. Разумнее всего для вас возвратиться в Нью-Йорк.

На протяжении целого часа она допрашивала его, а он обращался к ней с тщетными призывами. Расстались они оба раздраженные.

Ровно в одиннадцать Холл нажал на кнопку звонка на даче Маргвезера. Маленькая служанка лет четырнадцати-пятнадцати с заспанными глазами, по-видимому только что разбуженная звонком, впустила его и провела в кабинет Маргвезера.

— Он здесь, — сказала она, открыла рукой дверь и ушла.

В дальнем конце комнаты, частично освещенный светом настольной лампы, но больше укрытый в тени, сидел за столом Маргвезер. Скрещенные руки его лежали на столе, а на них покоилась голова. Вероятно, спит, подумал Холл, пересекая комнату и подходя к нему. Он окликнул Маргвезера, потом коснулся его плеча, но тот не проснулся. Холл пощупал руку гостеприимного убийцы, она была холодна. Пятно на полу и отверстие в куртке пижамы пониже плеча рассказали

Холлу все. Сердце Маргвезера, как оказалось, было расположено в нужном месте. Открытое окно прямо позади него указывало, каким путем было совершено убийство. Холл вытащил груду исписанных бумаг из-под рук мертвеца. Маргвезер умер в момент, когда пересматривал свои рукописи. «Некоторые отдельные мысли о смерти», — прочитал Холл заголовок, потом нашел монографию: «Попытка объяснения некоторых странных психологических особенностей».

Если эта проклятая улика будет найдена вместе с телом, ничего хорошего это семье Маргвезера не принесет, решил Холл. Он сжег рукописи в камине, выключил лампу и осторожно, никем не замеченный покинул дом.

Рано утром на следующий день новость о гибели коллеги принес Старкингтон. Газеты опубликовали сообщения о событии только к вечеру. Они перепугали Холла. Было помещено интервью с маленькой служанкой, своими заспанными глазами она многое подметила: данное ею описание посетителя, впущенного ею накануне в одиннадцать часов ночи, было безупречным. Подробности были описаны ею почти с фотографической точностью. Холл встал и подошел к зеркалу. Девочка не допустила ни одной

ошибки. Увиденное им отражение в точности соответствовало внешности человека, которого разыскивала полиция. Это был он, вплоть до булавки в галстуке.

Холл спешно перерыл весь свой гардероб и оделся так, чтобы по возможности быть менее похожим. А затем, вскочив в такси у черного хода гостиницы, он объехал магазины и приобрел все новое от головного убора до ботинок.

Возвратившись в отель, Холл взял билет на поезд, идущий на Запад. Ему повезло: позвонив Груне, он застал ее дома и смог сообщить ей о своем отъезде. Он решился сказать ей также, что Драгомилов должен появиться в Денвере и посоветовал ей последовать за ним.

Только когда поезд покинул город, он вздохнул несколько спокойнее и смог не торопясь обдумать создавшееся положение. Вот и сам он, думал Холл, тоже оказался на тропе приключений, идиотски запутанной тропе. Начав с попытки проникнуть в Бюро убийств и развалить его, он дошел до того, что влюбился в дочь его организатора, стал временно секретарем Бюро, а теперь его разыскивает полиция по подозрению в убийстве члена организации, уничтоженного шефом Бюро. «Нет, хватит с меня практической

социологии, — решил он. — Только бы мне выпутаться из этой истории, я ограничу себя теорией. Отныне буду заниматься только кабинетной социологией».

На вокзале в Денвере Холла встретил печальный Харкинс — руководитель денверского отделения. Причина его печального вида стала известна после того, как они сели в машину и помчались на окраину.

— Почему вы нас не предупредили? — сказал он укоризненно. — Вы дали ему ускользнуть, а мы были уверены, что вы с ним рассчитаетесь в Сан-Луисе, поэтому не приготовились.

— Разве он уже прибыл?

— Прибыл? Бог мой! Прежде чем мы узнали об этом, он успел разделаться с двумя нашими: с Боствиком — он был для меня как брат — и Калкинсом из Сан-Франциско. А теперь пропал Хардинг — второй человек из Сан-Франциско. Это ужасно! — Он умолк, содрогнувшись всем телом. — Я расстался с Боствиком всего за четверть часа до этого страшного происшествия. Он так был бодр и весел. Что-то теперь станется с его милой семьей! Его любящая жена безутешна!

По щекам Харкинса побежали слезы. Они застилали его глаза, и он убавил скорость машины.

Холл удивился. Перед ним был новый образец безумца — сентиментальный убийца.

— Почему же это ужасно? — задал он вопрос. — Вам же приходилось иметь дело со смертями других людей. Здесь та же история.

— Но это совсем другое дело. Он был мне другом, товарищем.

— Вероятно, и у тех, кто был убит вами, имелись друзья и товарищи.

— О, если бы вы видели его в кругу семьи! — причитал Харкинс. — Это был образцовый муж и отец. Он был хороший человек, замечательный человек, настолько деликатный, что не обидел бы и комара.

— Но ведь с ним случилось только то, что он сам проделывал с другими, — возразил Холл.

— Да нет же! Ничего похожего, — горячо воскликнул собеседник. — Если бы вы только его знали. Узнать его — значило полюбить его. Все его любили.

— И жертвы тоже?

— Ну, если бы им представился случай, они не могли бы не полюбить его, — убежденно произнес Харкинс. — Если бы вы знали, сколько добрых дел он совершил и еще смог бы совершить. Четвероногие обожали его. Даже цветы любили его.

Он был президентом Общества гуманности и являлся активным борцом против вивисекции. Один он работал за целое общество по борьбе с истязанием животных.

— Боствик… Чарльз Н. Боствик, — вспоминал Холл. — Да, я помню. Я встречал его статьи в журналах.

— Да кто же его не знал! — восторженно прервал его Харкинс, пауза затянулась: он высмаркивал свой нос. — Он был словно рожден для добра, для великих добрых дел. Я бы с радостью поменялся с ним местами, хоть сейчас, чтобы возвратить его в этот мир.

Если не считать этой необычной любви к Боствику, Холл нашел в Харкинсе энергичного и умного человека. Харкинс остановил машину у телеграфа.

— Я просил их сегодня оставлять для меня все утренние сообщения, — пояснил он, выходя из машины.

Минуту спустя он возвратился, и совместными усилиями они расшифровали полученную телеграмму. Она пришла из Огдена от Хардинга.

«Взял курс на запад, — гласила она. — *Шеф в поезде. Ищу возможности. Надеюсь*

на успех».

— Его нужно остановить, — предложил Холл. — Ему же не справиться с шефом.

— Хардинг сильный и осторожный человек, — убежденно заявил Харкинс.

— А я вам говорю, что все вы, друзья, недопонимаете, против кого выступаете.

— Но мы понимаем, что жизнь организации поставлена на карту, и мы вынуждены любыми средствами разделаться с шефом-изменником.

— Если бы вы трезво оценили положение, то немедленно бы бросились к первому попавшемуся дереву, вскарабкались на него повыше, и пусть вся эта организация пропадет пропадом.

— Но это было бы неправильно, — настойчиво запротестовал Харкинс.

Холл безнадежно развел руками.

— Для полной уверенности, — продолжал его собеседник, — я немедленно попрошу прибыть товарищей из Сан-Франциско. А пока…

— А пока отвезите меня, пожалуйста, обратно на вокзал, — прервал его Холл, взглянув на часы. — Там должен быть поезд на Запад. Увидимся в Сан-Франциско в гостинице святого Франциска, если вам не удастся до этого встретить шефа. А

если вы встретитесь с ним раньше… ну, ладно, пока до свидания, желаю всего доброго.

До отхода поезда у Холла оставалось время написать Груне записку, которую ей должен был вручить Харкинс перед отъездом. В записке сообщалось, что ее дядя продолжает двигаться на Запад, и давался совет, когда она прибудет в Сан-Франциско, остановиться в гостинице Фе-армаунт.

ГЛАВА XI

На станции Рено штата Невада Холлу вручили депешу от сентиментального денверского убийцы.

«У Виннемуки найден человек, разорванный на части. Должно быть, это шеф. Немедленно возвращайтесь. Все члены организации прибывают в Денвер. Нам необходима реорганизация».

Холл только усмехнулся и продолжал свой путь в западном экспрессе. Его телеграмма гласила:

«Установите точно личность. Передано ли письмо леди?»

Три дня спустя в отеле Святого Франциска Холл снова получил известие от руководителей отделения Бюро в Денвере. Телеграмма пришла из Виннемуки (Невада).

«Я ошибся. Это был Хардинг. Уверен, что шеф направляется к Сан-Франциско. Информируйте местное отделение. Я

преследую. Письмо вручено. Леди села в поезд».

Однако в Сан-Франциско Холл не мог обнаружить следов Груни. Не помогли ему и Брин с Олсуорти — члены местного отделения. Холл даже съездил в Окленд, разыскал спальный вагон, в котором она прибыла, и проводника-негра. Она действительно приехала в Сан-Франциско и — бесследно исчезла.

Отовсюду стали съезжаться убийцы: из Бостона прибыл Гановер, приехал изможденный Хаас (тот, у кого сердце оказалось не на месте), Старкингтон из Чикаго, Луковиль из Нью-Орлеана, Джон Грей тоже из Нью-Орлеана и Харкинс из Денвера. Вместе с двумя членами сан-францисского отделения всего собралось восемь человек. Это были все, кто остался в живых в Соединенных Штатах. Всем известный Холл был не в счет. Исполняющий обязанности секретаря их организации, распределяющий фонды и пересылающий телеграммы, он не принадлежал к их числу, и его жизни не угрожала опасность со стороны их безумного руководителя.

Доверие, которым он у них по-прежнему пользовался, и их неизменная доброта по отношению

к нему лишь подтверждали, что Холл имеет дело с безумцами. Им было известно, что это он был первопричиной их трудностей; знали они также, что цель его — развалить бюро убийц и что он выделил пятьдесят тысяч долларов за смерть их шефа; и все же они оказывали Холлу доверие, так как высоко ценили справедливость его поступков и подмеченную ими черту этического безумия в его характере, которая побуждает его вести честную игру. Он их не обманывал. Он справедливо распоряжался их фондами и удовлетворительно выполнял все обязанности временного секретаря.

За исключением Хааса, который, при всех своих достижениях в греческой и еврейской филологии, кровожадностью напоминал дикого зверя, Холлу, помимо его воли, нравились эти ученые маньяки, которые сделали из этики фетиш и лишали своих собратьев жизни с таким же хладнокровием и решимостью, с какой они решали математические задачи, расшифровывали иероглифы или проводили химические анализы в колбах своих лабораторий. Больше всех ему нравился Джон Грей. Это был спокойный англичанин, внешностью и осанкой — типичный помещик. Джона Грея увлекали радикальные идеи о значении

драматургии. За время томительных недель ожидания вестей о Драгомилове или Груне Грей с Холлом часто бывали вместе в театре, и для Холла эта дружба стала чем-то вроде гуманитарного образования. В эти же дни Луковиль с увлечением занимался плетением корзин, в частности, воспроизведением рисунка рыбы, обычного для корзин индейцев племени укиа. Харкинс рисовал акварелью полотна в духе японской школы: листочки, мох, травку, папоротник. Бактериолог Брин продолжал свою работу по исследованию вредителей хлопчатника и кукурузы, которую начал много лет назад. Увлечением Олсуорти был беспроволочный телефон. Они с Брином устроились в лаборатории на чердаке. Что касается Гановера, то он стал завсегдатаем городских библиотек; обложившись научной литературой, он работал над четырнадцатой главой увесистого тома, озаглавленного «Физические воздействия эстетики цвета». В один из теплых вечеров он буквально усыпил Холла, читая первую и тринадцатую главы этой книги.

Двухмесячного периода бездействия наверное бы не было, убийцы бы, вероятно, разъехались по своим родным городам, если бы их не удерживали еженедельные сообщения Драгомилова.

Регулярно по субботам у Олсуорти ночью звонил телефон, и Олсуорти безошибочно узнавал в трубке глухой и бесцветный голос шефа. Шеф неизменно повторял одно и то же предложение, чтобы оставшиеся в живых члены Бюро убийств распустили организацию. Присутствуя на одном из заседаний, Холл поддержал это предложение. Слушали они его только из учтивости, ибо он не принадлежал к их числу, а выраженное им мнение никем не разделялось.

С их точки зрения, не было оснований нарушать данные ими клятвы. Законы Бюро в прошлом никогда не нарушались. Их не нарушал даже Драгомилов. Строго следуя правилам, он принял от Холла сумму в пятьдесят тысяч долларов, признал себя и свои действия социально вредными, вынес себе приговор и назначил для исполнения приговора Хааса. А чем же они хуже, говорили они, чтобы вести себя не так, как вел себя шеф? Распустить организацию, в социальной справедливости которой они уверены, было бы чудовищным нарушением. Или, как выразился Луковиль: «Это значило бы выставить на посмешище все основы морали и низвести себя до уровня зверей. А разве мы звери?»

— Нет! Нет! Нет! — раздались страстные крики

со всех сторон.

— Вы сумасшедшие, — бросил Холл. — Такие же сумасшедшие, как и ваш шеф.

— Всех моралистов считали сумасшедшими, — возразил Брин. — Или, если говорить точнее, во все времена их считала сумасшедшими чернь. Ни один уважающий себя моралист никогда не поступился своими убеждениями. Истинные моралисты с готовностью шли на пытки и эшафоты за свои убеждения. И этот путь придавал силу их учению. О вере — вот о чем это говорило! И, как утверждает молва, они творили добро. Они верили в справедливость своих воззрений. Что такое человеческая жизнь в сравнении с живой правдой человеческой мысли? Но не подтвержденные примером заповеди ничего не стоят. Так что же, разве мы принадлежим к числу тех, кто не способен подать пример?

— Нет! Нет! Нет!

— Как люди, верно мыслящие и посвятившие себя правде, мы не осмелимся в своих помыслах, тем более в делах, нарушить изложенные нами высокие цели, — сказал Харкинс.

— И нам нет нужды стесняться своих взглядов, — добавил Гановер.

— Мы не сумасшедшие, — воскликнул Олсуор-

ти. — Мы — трезво мыслящие люди, посвятившие себя высокому служению, правильному образу действий. С таким же успехом мы можем назвать сумасшедшим нашего друга Винтера Холла. Если преданность истине — сумасшествие и мы — ненормальные, то тогда Винтер Холл тоже ненормальный. Он называет нас маньяками этики. А разве, в таком случае, его поведение не свидетельство этической мании? Как же иначе объяснить то, что он не выдал нас полиции? Во имя чего же он, считая наши взгляды нетерпимыми, продолжает выполнять обязанности секретаря. Ведь он даже не связан, как мы, торжественным обязательством. Не потому ли, что, однажды дав слово изменнику-шефу выполнить поручение, он держит его? В этом споре он встал на сторону как одной, так и другой стороны: ему доверяет шеф, да и мы доверяем ему. И он не обманул доверия ни той, ни другой стороны. Мы познакомились с ним ближе, и он нам понравился. Что же касается меня, то я нахожу в нем только две неприятные черты: во-первых, его социологию и, во-вторых, его намерение разрушить нашу организацию. А в отношении этики он от нас отличается так же, как горошины из одного стручка.

— Да, я тоже ненормальный, — недовольно проворчал Холл. — Я это не отрицаю. Вы симпатичные маньяки, а я настолько слаб, или силен, или глуп, а может быть мудр — не знаю, — что не в состоянии нарушить данного слова. Тем не менее я хотел бы обратить вас, друзья, в свою веру, как обратил я в свою веру вашего шефа.

— Вы его обратили? — воскликнул Луковиль. — Почему же тогда шеф не вышел из организации?

— Потому что он принял от меня комиссионные в уплату за его жизнь, — ответил Холл.

— Вот поэтому-то самому мы и приняли решение лишить его жизни, — убедительно подытожил Луковиль. — Чем же наша мораль хуже морали шефа? По нашим правилам, в том случае, если шеф принимает комиссионные, мы обязаны привести в исполнение достигнутую им договоренность. Какого рода эта договоренность, нас не касается. На этот раз оказалось, что речь идет о смерти самого шефа, — он пожал плечами. — Так чего же вы хотите? Шеф должен умереть, а иначе чего же стоят наши убеждения, наша вера в свою правоту.

— Вы снова возвращаетесь к морали, — посетовал Холл.

— Почему бы и нет? — важно заключил Лу-

ковиль. — Ведь мир покоится на морали. Без морали он бы погиб. В этом есть своя справедливость. Разрушьте мораль — и вы разрушите силу тяготения. Распадутся все основы. Вся солнечная система превратится в дым, станет невообразимым хаосом.

ГЛАВА XII

Как-то вечером в кафе «Пудель» Холл сидел в ожидании Джона Грея, с которым он договорился вместе пообедать. По обыкновению, на вечер у них был намечен театр. Но Холл прождал напрасно: Джон Грей не пришел, и в половине девятого с пачкой свежих журналов под мышкой Холл возвратился в отель Святого Франциска, собираясь пораньше лечь спать. Ему почудилось что-то знакомое в женщине, прошедшей к лифту. У Холла перехватило дыхание, и он ринулся вслед за ней.

— Груня, — сказал он нежно, когда лифт тронулся.

На мгновение она бросила на него испуганный взгляд иссушенных горем глаз, а в следующий миг она схватила его руку обеими своими руками и жадно в нее вцепилась.

— О! Винтер! — выдохнула она. — Это вы? За этим я пришла в отель Святого Франциска. Я думала найти вас. Вы так мне нужны. Дядя Сергиус сошел с ума, совершенно сошел с ума. Он велел мне собраться для продолжительного путешествия. Мы отплываем завтра. Он заставил меня покинуть дом и поселиться в центральной

гостинице, обещая позже прийти ко мне или встретиться на пароходе завтра утром. Комнату для него я сняла. О! Что-то должно случиться. Он задумал какой-то страшный план, я знаю. Он…

— Какой этаж, сэр? — прервал лифтер. В лифте никого не было, и Холл приказал: — Поезжайте снова вниз, — и предостерегающе остановил Груню. — Обождите. Мы пройдем в пальмовую комнату и там поговорим.

— Нет, нет! — воскликнула она. — Давайте выйдем на улицу. Я хочу пройтись. Мне хочется подышать свежим воздухом. Там легче думать. Не кажется ли вам, Винтер, что я сошла с ума? Посмотрите на меня. Я не похожа на помешанную?

— Тише, — приказал он, сжав руку. — Подождите. Мы об этом поговорим позже. Подождите.

Было видно, что она находится в состоянии крайнего волнения, а ее усилия сдерживать себя, пока лифт спускался вниз, были слишком мучительны.

— Почему вы не давали о себе знать? — спросил он, когда они вышли на тротуар и завернули за угол Пауэл-стрит, чтобы перейти на другую сторону Юнионсквер. — Что произошло, когда вы добрались до Сан-Франциско? Вы ведь получили

в Денвере мое сообщение. Почему же вы не пришли к Святому Франциску?

— У меня не было времени сообщить вам, — торопливо начала она. — Голова моя раскалывается. И я не знаю, чему верить. Все как во сне. Такие вещи наяву невозможны. Сознание дяди повреждено. Мне по временам кажется, что такой организации, как Бюро убийств, просто не существует, а все это плод воображения дяди Сергиуса. И вы тоже ее выдумали. Сейчас же двадцатый век. Такие ужасы невозможны. Иногда... иногда я задаю себе вопрос, уж не брюшной ли у меня тиф, уж не в бреду ли я сейчас и вокруг меня сиделки и доктора, а все эти кошмары — плод моей фантазии — видение больного мозга?

— Нет, — сказал он серьезно и медленно. — Вы не спите, и вы здоровы, вы в себе. Сейчас вы переходите со мной Пауэл-стрит. Тротуар скользкий. Чувствуете, он скользит под ногой? Посмотрите вон на те гремящие цепи на трамвае. Ваша рука в моей руке. А вот туман потянулся с Тихого океана, это настоящий туман. Вон там настоящие люди сидят на скамейках. Видите, этот нищий просит у меня денег. Он настоящий. Смотрите, я даю ему полдоллара. Скорее всего он потратит их на крепкое виски. Я почувствовал это по запаху.

Вы почувствовали? Он был настоящим, уверяю вас: самым настоящим. И мы настоящие. Пожалуйста, поверьте в это. Ну, а теперь, скажите, что вас тревожит?

— Правда, что существует какая-то организация убийц?

— Да, — ответил он.

— Откуда вы знаете? Может быть, это только предположение? Может быть, вы находитесь под воздействием дядиного помешательства?

Холл невесело покачал головой:

— Мне хотелось, чтобы это было так. К несчастью, я знаю о ней не от него.

— Откуда вы знаете? — крикнула она, судорожно прижимая пальцы своей свободной руки к виску.

— Я временно исполняю обязанности секретаря Бюро убийств.

Она отпрянула от него и почти выдернула свою руку из его руки. Он удержал ее только силой.

— Вы принадлежите к банде злодеев, которая пытается убить дядю Сергиуса!

— Нет, я не принадлежу к банде. Я только распоряжаюсь ее фондами. А вам говорил… э… дядя Сергиус что-нибудь о… э… банде?

— Он бредит ею беспрестанно. Он так обезумел,

что уверяет, будто создал ее.

— Это правда, — твердо сказал Холл. — Он сумасшедший, это несомненно, и тем не менее — это он создал Бюро убийств и возглавил его.

Она вновь отпрянула и приложила усилия, чтобы вырвать свою руку.

— Теперь вам остается только признаться, что это вы заплатили Бюро аванс в пятьдесят тысяч долларов за его смерть, — заявила она.

— Это так, я признаюсь в этом.

— Как вы могли! — простонала она.

— Послушайте, Груня, дорогая, — взмолился он. — Вы же не выслушали всего. Вы не поняли. В то время, когда я вносил деньги, я не знал, что он ваш отец…

Он прервал свою речь, внезапно поняв ужасный смысл своей оговорки.

— Да, — сказала она, успокаиваясь, — он сказал мне, что является моим отцом. Но я и это считаю бредом. Продолжайте.

— Так вот, я не знал, что он ваш отец, как не знал я и того, что он ненормальный. Впоследствии, узнав это, я умолял его. Но он безумный, как и все они безумны. А сейчас он накануне какого-то нового ужасного шага. Вы предчувствуете что-то страшное. Скажите, что вызвало

ваши подозрения? Может быть, нам удастся это предотвратить.

— Послушайте, — она прильнула к нему и снова торопливо заговорила тихим голосом, не повышая его. — Нам нужно многое объяснить друг другу. Но вначале о самом страшном.

Когда я прибыла в Сан-Франциско, то первое, что я сделала, сама не знаю почему, но у меня было какое-то смутное предчувствие, — я вначале направилась в морг, а потом обошла больницы. И я нашла его в немецком госпитале с двумя серьезными ножевыми ранениями. Он сказал мне, что получил их от одного из убийц.

— От человека по имени Хардинг, — прервал Холл и высказал предположение. — Это произошло в пустыне Невады, возле Виннемуки, в поезде.

— Да, да. Он назвал эту станцию. Он так и сказал.

— Видите, как все совпадает, — убеждал Холл. — Во всем этом может быть немало безумства, но само это безумство — реально, а мы с вами во всяком случае в своем уме.

— Да, но не перебивайте меня, не мешайте, — она, казалось, снова приходя в себя, сжала его руку. — Нам так много надо сказать друг другу.

Дядя очень хорошо о вас отзывался. Но не это я хочу сказать. Я сняла дом с обстановкой на самой вершине Ринкон-хилл и как только позволили доктора, я перевезла туда дядю Сергиуса. Вот уже несколько недель мы живем там. Дядя совершенно поправился, правильнее — отец. Да, отец. Теперь я поверила в это; теперь, кажется, я должна верить всему. И это будет до тех пор, пока я не пробужусь и не обнаружу, что все это кошмар.

Вот уже несколько дней дя… отец занят хлопотами по дому. Сегодня, упаковав все для отплытия в Гонолулу, он отправил багаж на борт парохода, а меня послал в отель. До сих пор я ничего не знаю о взрывах, если не считать некоторых смутных представлений, почерпнутых из книг, и все-таки я уверена, он заминировал дом. Он что-то зарыл в подвале. Он вскрыл стены большой столовой и снова заделал их. Я видела, он прокладывал провода в простенке, а сегодня он все подготовил, чтобы вывести провода из дома в кустарник на участке возле ворот. Возможно, вы догадаетесь, что он задумал.

В эту минуту Холл вспомнил, что Джон Грей не сдержал своего слова и не пришел в театр.

— Что-то обязательно должно там случиться сегодня вечером, — продолжала Груня. — Дядя

собирается присоединиться ко мне позже этой ночью у Святого Франциска или завтра утром на пароходе. А тем временем…

Но Холл, решив действовать немедля, увлек ее за руку из парка назад к перекрестку, где в ожидании стояли в ряд такси.

— …А тем временем, — подхватил он, — нам нужно спешить на Ринкон-хилл. Он собирается уничтожить их. Мы должны это предотвратить.

— Если только он уже не убит, — прошептала она. — Трусы! Трусы!

— Прости меня, дорогая, но они не трусы. Они смелые люди и славные парни, правда несколько необычные для нашего времени. Когда их узнаешь ближе… Уже было слишком много убийств.

— Они хотят убить моего отца…

— А он хочет убить их, — возразил Холл. — Помните и об этом. К тому же, они действуют по его приказу. Он спятил, а они свихнулись ровно во столько раз сильнее, сколько больше их числом. Пошли! Пожалуйста, быстрее! Быстрей! Сейчас они собираются там в минированном доме. Мы еще можем спасти их или его, кто знает.

— На Ринкон-хилл. Время — деньги, вы меня поняли? — сказал он шоферу такси, помогая Груне сесть. — Вперед! Поддай газу! Разнесите

мостовую, делайте что угодно, только доставьте нас на место!

Ринкон-хилл, когда-то резиденция сан-францисской аристократии, поднимала свою маститую, правда, уже тронутую разложением голову над грязью и скученностью великого рабочего гетто, протянувшегося на юг от Маркет-стрит. У подножия горы Холл расплатился за такси и стал быстро подниматься с Груней наверх.

Хотя был еще только вечер — половина десятого — на улице почти не было пешеходов. Оглянувшись, Холл узнал в световом кругу, бросаемом уличным фонарем, знакомую фигуру. Холл увлек Груню в сторону, в тень ближайшего дома и переждал там некоторое время. Он был вознагражден за свою предосторожность: мимо прошел Хаас своей неповторимой легкой бесшумной походкой. Держась на полквартала позади него, они продолжали свой путь, и когда он появился на гребне горы в свете другого уличного фонаря, они увидели, как он перемахнул через невысокую старинную решетку. Груня многозначительно подтолкнула Холла вперед.

— Это тот дом, наш дом, — прошептала она. — Следите за ним. Он и не подозревает, что идет на гибель.

— На гибель? Вы слишком торопитесь, — прошептал Холл скептически. — Мистер Хаас, по-моему, крепкий орешек, его не так просто убить.

— Дядя Сергиус очень осторожен. Он бьет наверняка. У него все наготове, и когда ваш мистер Хаас пройдет через парадную дверь…

Она остановилась. Холл сильно сдавил ей руку.

— Он не пойдет через эту парадную дверь, Груня. Смотрите. Он крадется к черному ходу.

— Но там нет черного хода, — услышал он в ответ. — Гора обрывается, и внизу, в сорока футах, задний двор и крыша другой постройки. Он вернется к парадному входу. Сад очень мал.

— Он что-то задумал, — шепнул Холл, когда фигура снова стала видна. — Ага! Мистер Хаас! Ну и хитер же ты! Смотри, Груня, он пробрался в этот кустарник у ворот. Это там проложен провод?

— Да, это единственный куст, где может спрятаться человек. Кто-то идет. Не другой ли это убийца.

Не задерживаясь, Холл и Груня прошли мимо дома к ближайшему перекрестку. Человек, шедший с другой стороны, повернул к дому Драгомилова и поднялся по ступеням к двери. Они

услышали, как после небольшой паузы дверь отворилась и закрылась.

Груня настояла на том, чтобы сопровождать Холла. Это ее дом, сказала она, он ей знаком до мелочей. Кроме того, у нее есть ключ, и не надо будет звонить.

Передняя была освещена, поэтому номер дома был ясно виден, и они смело миновали кустарник, укрывший Хааса, отперли парадную дверь и вошли. Холл повесил шляпу на вешалку и снял перчатки. Из-за двери направо слышался шум голосов. Они задержались, прислушиваясь.

— Красота — это принуждение, — услышали они голос, выделяющийся из общего шума.

— Это Гановер — представитель Бостона, — шепнул Холл.

— Красота — абсолютна, — продолжал голос. — Человеческая жизнь, вся жизнь покоряется красоте. Здесь неприменима парадоксальная приспособляемость. Красота не покоряется жизни. Красота уже существовала во Вселенной до человека. Красота останется во Вселенной, когда человек погибнет, но не наоборот. Красота — это… в общем, красота — это все, этим все сказано, и она не зависит от ничтожного человека, барахтающегося в грязи.

— Метафизика, — послышался насмешливый голос Луковиля. — Метафизика чистейшей воды, мой дорогой Гановер. Как только человек начинает осознавать себя как абсолют, временные явления быстротечного развития…

— Вы сами метафизик, — услышали они голос Гановера. — Вы станете утверждать, что ничто не существует вне нашего сознания и что, когда сознание разрушено, разрушена и красота, что разрушена сама вещь, основной принцип, на котором строится развивающаяся жизнь. Хотя нам известно, всем нам и вам должно быть известно, что существует только принцип. Хорошо сказал Спенсер о вечном изменении силы и материи с чередованием революции и исчезновении, «всегда том же в принципе, но всегда различном в конечном результате».

— Новые нормы, новые нормы, — запальчиво произнес Луковиль. — В прогрессивной и регрессивной эволюции возникли новые нормы.

— Именно нормы, — торжествующе вставил Гановер. — Вы это учитываете? Вы же сами только что утверждали, что нормы устойчивы, продолжают существовать. Что же тогда это такое — норма? Это нечто вечное, абсолютное, находящееся вне сознания, отец и мать сознания.

— Минуточку, — возбужденно закричал Луковиль.

— Ба! — продолжал Гановер с апломбом ученого. — Да вы пытаетесь возродить давно разбитый берклениански идеализм. Метафизики на целое поколение отстали. Современная школа, как вам следует знать, утверждает, что вещи существуют сами по себе. Сознание, видение и восприятие вещей — это случайность. Метафизик-то вы, мой дорогой Луковиль.

Послышались хлопки и шум одобрения.

— Попали в собственную ловушку, — услышали они добродушный голос, произнесший эту фразу безукоризненно по-английски.

— Это Джон Грей, — шепотом объяснил Груне Холл. — Если бы наш театр не держался целиком на коммерческой основе, он бы его преобразовал в корне.

— Спор о словах, — услышали все ответ Луковиля. — Словоблудие, фокусы речи, казуистика слов и идей. Если вы, друзья, дадите мне десять минут, я изложу мою позицию.

— Вот видите! — шептал Холл. — Наши милые убийцы еще и симпатичные философы. Чему же теперь вы больше верите: тому, что они сумасшедшие, или тому, что они бесчувственные и

жестокие убийцы?

Груня пожала плечами: «Возможно, они преданы красоте и избранному ими пути, но я не могу забыть об их намерении убить дядю Сергиуса, моего отца».

— Но разве вы не видите? Ими владеют идеи. Саму человеческую жизнь, даже свою собственную, они не принимают в расчет. Они рабы мысли. Они живут в мире идей.

— По пятьдесят тысяч за голову, — отпарировала она.

На этот раз он пожал плечами.

— Пошли, — предложил он, — войдем. Нет, я войду первым.

Он повернул ручку двери и вошел. Груня последовала за ним. Разговор сразу прервался, и семеро мужчин, удобно устроившихся в комнате, поднялись навстречу вошедшим.

— Послушайте, Холл, — с явным раздражением сказал Харкинс, — вам бы лучше держаться подальше от всего этого. Мы вас не приглашали, однако вы явились и, простите, с чужим человеком.

— Ну, если бы это касалось только вас, друзья, я бы держался в стороне, — ответил Холл. — К чему секреты?

— Таков был приказ шефа. Это он нас сюда пригласил. А поскольку, подчиняясь его указанию, мы не приглашали вас, то можно заключить, что это он вас сюда впустил.

— Нет, это не он, — улыбнулся Холл. — И вы можете пригласить нас сесть. Это, джентльмены, мисс Константин. Мисс Константин, — это мистер Грей, мистер Харкинс, мистер Луковиль, мистер Брин, мистер Олсуорти, мистер Старкингтон и мистер Гановер. За исключением Хааса, здесь все оставшиеся в живых члены Бюро убийств.

— Вы нарушили наше доверие! — сердито крикнул Луковиль. — Холл, я от вас этого не ожидал.

— Вам неизвестно, дорогой Луковиль, что это дом мисс Константин. Пока не пришел ее отец, вы ее гости.

— Насколько мы поняли, это дом Драгомилова, — сказал Старкингтон. — Он нам так сказал. Мы приходили поодиночке, но, поскольку все мы пришли именно сюда, можно сделать единственный вывод, что ни в названии улицы, ни в номере дома не было ошибки.

— Это ничего не значит, — спокойно улыбнувшись, возразил Холл. — Мисс Константин — дочь Драгомилова.

В одно мгновение Холл и Груня были окружены

всеми, и к ней протянулись руки. Но она спрятала свою руку за спиной, сделав внезапно шаг назад.

— Вы хотите убить моего отца, — сказала она Луковилю. — Я не стану пожимать эти руки.

— Вот стул, садитесь, уважаемая леди, — произнес Луковиль, подавая одновременно со Старкингтоном и Греем ей стул. — Для нас большая честь… дочь нашего шефа… мы даже не знали, что у него есть дочь… добро пожаловать… мы готовы приветствовать всех дочерей нашего шефа…

— Между тем вы хотите его убить, — раздраженно продолжала она. — Вы убийцы.

— Мы друзья, поверьте. Мы представители содружества гораздо более высокого и нерасторжимого, нежели жизнь и смерть. Человеческая жизнь, уважаемая леди, ничто — не более как безделица. Жизнь! Наши жизни просто пешки в игре по имени «социальная эволюция». Мы восхищены вашим отцом, уважаем его, он великий человек. Он является, а точнее — был нашим шефом.

— И все же вы хотите его убить, — настойчиво повторила она.

— Но это же по его приказу. Садитесь, пожалуйста.

И как только она, подчинившись уговорам,

опустилась на стул, Луковиль продолжал:

— Мистер Холл — ваш друг. Вы не отрекаетесь, он ваш друг. Вы не называете его убийцей. А ведь это он отдал пятьдесят тысяч долларов за жизнь вашего отца. Как вы можете убедиться, наш шеф, уважаемая леди, уже наполовину разрушил нашу организацию. Однако мы не имеем к нему претензий. Он остается нашим другом. Мы глубоко уважаем его, потому что он настоящий мужчина, честный человек, человек слова, преданный этике, в какой степени преданный — не так важно.

— Разве это не прекрасно, мисс Константин! — не удержавшись, воскликнул Гановер. — Дружба, превращающая смерть в ничто! Закон справедливости! Культ справедливости! Разве это не вселяет надежду? Подумайте, конечно, нет никакого сомнения, что будущее принадлежит нам, что будущее принадлежит правильно мыслящим и соответственно поступающим мужчинам и женщинам, что такие свирепые и низкие побуждения и низменные желания грубой плоти, как себялюбие и родственная привязанность, зов плоти и крови, бесследно исчезнут, как предутренний туман под солнцем высшей справедливости. Разум и, я подчеркиваю, здравый смысл восторжествуют! Когда-нибудь весь род

людской станет поступать не по зову плоти и грязных животных инстинктов, а в соответствии с высшей справедливостью!

Груня покачала головой и в полном отчаянии развела руками.

— Вам нечего им возразить, а? — наклонясь к ней, с нескрываемым ликованием сказал Холл.

— Это какой-то винегрет из сверхумных мыслей, — ответила она безнадежно. — Бред каких-то свихнувшихся борцов за этику.

— О чем я вам и говорил, — сказал он. — Все они сошли с ума, вкупе с вашим батюшкой, а с ними и мы, поскольку на нас оказывают воздействие их мысли. Ну, так что же вы теперь думаете о наших любезных убийцах?

— Да, что вы о нас думаете? — сверкнул на нее взглядом своих очков Гановер.

— Все, что я могу сказать, — ответила она, — это то, что вы на них не похожи, на убийц. Что же до вас, мистер Луковиль, я готова пожать вашу руку, я готова пожать всем руки, если вы пообещаете, что оставите мысль об убийстве моего отца.

— Долгий, долгий еще путь предстоит вам проделать к свету, мисс Константин, — с сожалением упрекнул Гановер.

— Убийство! Убийство! — возбужденно вос-

кликнул Луковиль. — Откуда этот страх перед убийством? Смерть — это ничто. Боятся смерти только звери, болотные твари. Уважаемая леди, мы выше смерти. Наш интеллект созрел, чтобы принять как добро, так и зло. Мы так же готовы погибнуть, как и убивать. Убийства! Они же происходят во всем мире на каждой бойне и на всяком консервном предприятии. Все это само собой разумеется и стало даже банальностью.

— А кому не приходилось уничтожать комаров? — вскрикнул Старкингтон. — Одним шлепком руки раздавить прекрасный, тонкий и самый поразительный летающий механизм? Если смерть — это трагедия, вспомните о комаре, раздавленном комаре, необыкновенном воздушном летающем чуде, так разрушенном и расплющенном, как не был разрушен и расплющен ни один авиатор, даже Мак-Дональд, упавший с высоты в пятнадцать тысяч футов. Вы когда-нибудь занимались комарами, мисс Константин? Это очень благодарное занятие. Видите ли, комар — столь же изумительное явление живого мира, как и человек.

— Правда, различие имеется, — вставил Грей.

— Я к этому подхожу. Так каково же различие? Шлепнув комара… — он сделал многозначитель-

ную паузу. — Ну что же, вы его уничтожаете, не так ли? С ним покончено. Исчезла и память о нем. Иное дело шлепнуть человека, на протяжении поколений шлепали человека и что-то оставалось? Не аристотелевский организм, не пустой желудок, лысая голова и больные зубы, а царские, королевские мысли. Вот в чем различие. Мысли! Высокие мысли! Верные мысли! Разумная справедливость!

— Хорошо схвачено! — воскликнул Гановер, вскочив со стула и возбужденно жестикулируя. — «Шлепаем», мне нравится ваше слово, Старкингтон, это грубовато, но выразительно. Шлепаем и заметьте, Старкингтон, даже в том случае, когда мы шлепаем тончайшую клеточку прозрачной материи, из которой сотворено нежное крыло комара, то это отдается во всей Вселенной от центральных ее солнц до звезд, находящихся за этими солнцами. Не забывайте, ведь существует космическая справедливость, она есть и в этой нежной клеточке, и в самом последнем атоме из того биллиона атомов, которые составляют эту нежную клеточку, и в каждом из неисчислимых мириадов корпускул, которые составляют один атом этого биллиона атомов.

— Послушайте, господа, — сказала Груня. — А

зачем же вы здесь? Я, разумеется, имею в виду не Вселенную, а этот дом. Я согласна со всем, что мистер Гановер так красноречиво говорил здесь о нежной клеточке комариного крыла. Разумеется, это неправильно… шлепать комаров. Но тогда как же, не греша против здравого смысла, согласуете вы свое присутствие здесь, свое намерение совершить кровавое убийство с только что изложенными вами этическими принципами?

Поднялся всеобщий шум: каждый хотел что-то объяснить Груне.

— Эй! Стойте! — проревел Холл и, повернувшись к девушке, резко приказал ей: — Перестаньте, Груня. Вы тоже начинаете терять разум. Через пять минут вы станете не лучше их. Довольно споров, друзья. Перестаньте. Забудем все это. Давайте перейдем к делу. Где шеф, отец мисс Константин? Вы говорите, он велел вам сюда прийти. А зачем вы пришли? Убить его?

Гановер, почувствовав усталость после напряженного спора, вытер свой лоб и кивнул.

— Да, таково наше намерение, — сказал он спокойно. — Конечно, присутствие мисс Константин стесняет нас. Видимо, нам следует попросить ее удалиться.

— Вы чудовище, сэр, — заявила она обходи-

тельному ученому. — Я не сойду с этого места. И вы не посмеете убить моего отца. Я повторяю: не посмеете.

— Почему же все-таки до сих пор нет шефа? — спросил Холл.

— Потому что еще не время. Он позвонил нам, говорил с нами сам и обещал встретиться с нами здесь, в этой комнате, в десять часов. Скоро десять.

— Может быть, он не придет, — усомнился Холл.

— Он дал слово, — последовал простой, но убедительный ответ.

Холл посмотрел на свои часы. До десяти оставалось несколько секунд. И как только истекли эти секунды, дверь открылась и вошел бледный Драгомилов, облаченный в серый дорожный костюм. Он окинул собравшихся мягким взглядом своих бледно-голубых глаз.

— Приветствую вас, уважаемые друзья и братья, — сказал он ровным бесстрастным голосом. — Я вижу все здесь, кроме Хааса. А где он?

Убийцы, совершенно неспособные лгать, смотрели друг на друга с откровенным смущением.

— Где Хаас? — повторил Драгомилов.

— Мы… э… мы точно не знаем, да, именно, не

знаем, — неуверенно начал Харкинс.

— Так, а я знаю, и точно, — отрезал Драгомилов. — Сверху, из окна, я наблюдал, как вы сходились. Я узнал всех. Хаас тоже пришел. Сейчас он лежит в кустах справа от дорожки и точно в четырех футах и четырех дюймах от нижнего шарнира ворот. Как раз позавчера я измерял это расстояние. Вы, полагаете, что со стороны Хааса этого мне и следовало ожидать?

— Мы не собирались предвосхищать ваши ожидания, уважаемый шеф, — беззлобно подчеркнул Гановер. — Мы тщательно обсудили ваше приглашение и ваши условия и единодушно пришли к выводу, что посылая Хааса на то место возле дома, мы не нарушали ни своего слова, ни вашего доверия. Согласно вашим условиям…

— Прекрасно, — согласился Драгомилов. — Минутку, я сам их вспомню.

Примерно полминуты, пока царило молчание, он обдумывал свои условия, а потом на лице его появилось удовлетворение.

— Вы правы, — объявил он. — Вы ни в чем не нарушили условий. Но теперь, дорогие друзья, все наши планы разрушены вторжением моей дочери и человека, который является вашим временным секретарем, а когда-нибудь в будущем, я

надеюсь, станет моим зятем.

— Что же вы задумали? — быстро спросил Старкингтон.

— Уничтожить вас, — засмеялся Драгомилов. — А что задумали вы?

— Уничтожить вас, — признался Старкингтон. — И мы намерены вас уничтожить. Весьма сожалеем, что здесь оказалась мисс Константин, а также и мистер Холл. Они не были приглашены. И лучше бы, пожалуй, им удалиться.

— Я никуда не уйду! — воскликнула Груня. — Презираю вас, хладнокровные, бесчувственные, расчетливые выродки! Это мой отец, и вы можете втоптать меня в грязь, сделать что угодно, но я не уйду, а вы не тронете его.

— Вы должны пойти мне навстречу, — настаивал Драгомилов. — Давайте будем считать, что обе стороны потерпели неудачу. Я предлагаю перемирие.

— Отлично, — уступил Старкингтон. — Перемирие на пять минут, в течение которых не может быть предпринято никаких действий и никто не должен выходить из этой комнаты. Мы бы хотели посовещаться вот там, у пианино. Договорились?

— Да, конечно. Но вначале прошу заметить, где я стою. Моя рука лежит вот на этой книге,

на книжной полке. Я не двинусь, пока не узнаю, какой путь вы решили избрать.

В дальнем конце комнаты началось совещание. Террористы переговаривались шепотом.

— Пошли, — шепнула Груня отцу. — Чтобы бежать, вам нужно только шагнуть к двери.

Драгомилов добродушно улыбнулся.

— Ты не поняла, — сказал он ласково.

В отчаянии сцепив руки, она заплакала:

— Вы тоже безумец, как и они.

— Но, Груня, родная, — защищался он, — разве такое безумство не прекрасно, уж если употреблять этот термин? Здесь господствуют мысль и право. Это, на мой взгляд, высший разум и контроль. Человека выделяет из низшего мира животных именно контроль. Обрати внимание на создавшееся положение. Там стоят семь мужчин, собирающихся меня убить. Здесь — я, имеющий намерение убить их. Однако с помощью чуда, творимого словом, мы устраиваем перемирие. Мы верим. Это великолепный пример морали — высшего, тормозящего фактора.

— Да любой отшельник, живущий в уединении, в горной пещере, вместе с змеями, дает вам великолепный пример такого торможения, — нетерпеливо вернулась она вновь к своему

предложению. — Торможения, распространенные в сумасшедших домах, тоже нередко весьма замечательны.

Но Драгомилов отказался от побега, он смеялся и шутил до тех пор, пока не вернулись убийцы. Как и прежде, говорил за всех Старкингтон.

— Мы решили, уважаемый шеф, — сказал он, — что наш долг убить вас. Остается еще минута. Когда она истечет, мы приступим к своим обязанностям. А тем временем, мы вновь предлагаем двум не приглашенным гостям удалиться.

Груня отрицательно покачала головой.

— Я вооружена, — предупредила она, вынимая маленький автоматический пистолет и тут же обнаруживая свое неумение с ним обращаться, потому что она и не подозревала, что оружие нужно снять с предохранителя.

— Очень сожалею, — вежливо извинился Старкингтон, — но мы выполним свой долг.

— Если не произойдет ничего вами непредвиденного? — уточнил Драгомилов.

Старкингтон бросил взгляд на товарищей, которые закивали в ответ, затем сказал:

— Разумеется, если ничего непредвиденного…

— А вот оно, непредвиденное, — хладнокровно прервал его Драгомилов. — Видите мои руки,

мой дорогой Старкингтон. В них нет оружия. Но минуту терпения. Взгляните на книгу, на которой лежит моя левая рука. Позади этой книги, за полкой имеется кнопка. Стоит толкнуть книгу, и она нажмет на кнопку. Комната набита динамитом. Думаю, не имеет смысла продолжать объяснения. Сдвиньте ковер, на котором вы стоите. Вот так. Теперь осторожно поднимите паркет, он свободно вынимается. Видите бруски, плотно уложенные друг к другу. Все они соединены.

— Чрезвычайно интересно, — буркнул Гановер, разглядывая динамит сквозь свои очки. — Смерть таким простым способом! Бурная химическая реакция. Как-нибудь в свободное время нужно будет заняться изучением взрывов.

Последние слова заставили Холла и Груню поверить, что эти убийцы-философы в самом деле не боятся смерти. Как они утверждали, они не были во власти плоти. Любовь к жизни не оказывала влияния на их мыслительный процесс. Им ведома была только любовь к мысли.

— Об этом мы не догадывались, — заверил Грей Драгомилова, — но мы предчувствовали то, о чем не догадывались. Вот почему оставили мы Хааса возле дома. Вы можете уйти от нас, но не от него.

— Добавлю, друзья, — сказал Драгомилов, —

что один провод протянут в то место, где сейчас скрывается Хаас. Будем надеяться, что он не наткнется на кнопку, которую я там спрятал, иначе мы с вами взлетим на воздух вместе с нашими теориями. Может быть, кто-нибудь из вас пойдет и приведет его сюда. А пока давайте снова установим перемирие. В этих обстоятельствах ваши руки связаны.

— Семь жизней за одну, — сказал Харкинс. — Да, с точки зрения математики — это нонсенс.

— Это не оправдано и с точки зрения экономики, — согласился Брин.

— Положим, мы установили перемирие до часу, и все вы пойдете и поужинаете со мной.

— Если согласится Хаас, — сказал Олсуорти. — Я пошел за ним.

Хаас был согласен, и, как компания хороших друзей, они вместе вышли из дома и, сев в трамвай, отправились в город.

Глава XIII

В отдельном кабинете ресторана «Пудель» за столом сидели восемь террористов, Драгомилов, Холл и Груня. Ужин получился веселым, почти праздничным, правда, Харкинс и Гановер были вегетарианцами, а Луковиль избегал всего вареного и, подбирая с большой тарелки салат, тяжело жевал свежую репу и морковь, что до Олсуорти, то он как начал ужин орехами, изюмом и бананами, так ими и кончил. Тем временем Брин, который, если судить по внешнему виду, страдал болезнью желудка, предавался разгулу, разделываясь с толстым поджаренным куском мяса и всякий раз вскакивал, когда подавали вино. Драгомилов и Хаас пили слабый местный кларет, Холл же, Грэй и Груня выбрали бутылку рейнского. Старкингтон, начавший ужин с двух порций мартини, то и дело погружал свое лицо в объемистую кружку пива.

Разговор был откровенным, даже, можно сказать, сердечным:

— Вы бы попались, — заявил Старкингтон Драгомилову, — если бы неожиданно не прибыла ваша дочь.

— Дорогой мой Старкингтон, — усмехнулся Драгомилов. — Она-то как раз вас и спасла. Я бы накрыл вас всех семерых.

— Да нет, вам бы это не удалось, — вмешался Брин. — Насколько я понимаю, провод шел в кустарник, где прятался Хаас.

— Его пребывание там случайность, чистейшая случайность, — бодро ответил Драгомилов, но все же он не смог при этом скрыть некоторой неуверенности.

— С каких это пор случайность перестала быть фактором эволюции? — с ученым видом начал Гановер.

— Нет, вам бы так и не удалось выпалить, шеф, — проговорил Хаас одновременно с Луковилем. Последний обратился к Гановеру.

— А с каких это пор случайность была признана подобным фактором?

— Ваш спор, мне кажется, чисто терминологический, — примирительно сказал Холл. — Гановер, это спаржа консервированная. Вы это знаете?

Забыв о споре, Гановер отпрянул от стола.

— Мне же нельзя ничего консервированного. Вы уверены, Холл?

— Спросите официанта. Он подтвердит.

— Ничего, дорогой Хаас, — проговорил Драго-

милов, — уж в следующий раз я выпалю и вам не удастся мне помешать. Вы окажетесь как раз у нужного конца провода.

— Боже, я не могу, не в силах этого понять, — воскликнула Груня. — Мне все это кажется шуткой. Это просто не может быть правдой. Все вы здесь добрые друзья, ужинаете, пьете вместе и в то же время горячо обсуждаете способы, как вернее убить друг друга. — Она повернулась к Холлу. — Да, разбудите меня, Винтер. Что это — сон?

— Я сам хотел бы, чтобы это был сон.

— О, дядя Сергиус, — повторила она, обратившись к Драгомилову, — разбудите меня!

— Это не сон, родная.

— Тогда, если это наяву, — продолжала она убежденно, почти сердито, — то вы все лунатики. Проснитесь! Ну, проснитесь же! Хоть бы затряслась земля или случилось что-нибудь такое, что встряхнуло бы вас. Отец, ведь это в ваших силах. Отмените приказ о своей смерти, который вы отдали.

— Но вы же сами видите, что это невозможно, — убеждал ее Старкингтон с другого конца стола.

Сидевший напротив Драгомилов подтвердил его слова кивком головы.

— Груня, не надо призывать меня нарушить слово.

— А я не побоюсь нарушить! — прервал его Холл. — Я был инициатором приказа и я беру его обратно. Возвратите мои пятьдесят тысяч долларов или потратьте их на благотворительные цели. Мне все равно. Главное, чтобы остался жив Драгомилов.

— Вы забыли, кто вы такой, — напомнил ему Хаас. — Вы только клиент Бюро. И когда вы обратились к услугам Бюро, вы принимали определенные обязательства. Бюро, свою очередь, тоже взяло на себя обязательства. Вы не властны разорвать соглашение. Это дело — в руках Бюро, а Бюро, как известно, не нарушает заключенных соглашений. Оно их ни разу не нарушило и никогда не нарушит. Если не будет полной уверенности в нерушимости данного слова, если данное слово не будет так же абсолютно, как, скажем, закон земного тяготения, то исчезнет последняя надежда в жизни. Вселенная превратится в хаос от самой своей внутренней фальшивости. А мы отвергаем фальшь. Это мы доказываем своей деятельностью, намертво закрепляя данное слово. Разве я не прав, друзья?

Послышался гул всеобщего одобрения. Драго-

милов, привстав, потянулся через стол и крепко пожал руку Хааса. На один миг, всего на один миг ровный, спокойный голос Драгомилова дрогнул, когда он произносил с гордостью:

— Надежда всего мира! Высшая раса! Вершина эволюции! Настоящие руководители, гениальные умы! Осуществление всех мечтаний и стремлений, червь поднялся к свету: сбылось пророчество божие!

В порыве восхищения интеллектом шефа Гановер встал со своего места и обнял его. Груня с Холлом смотрели на них в отчаянии.

— Гениальные умы, — буркнул Холл.

— Сумасшедший дом плачет по таким гениальным умам, — зло отозвалась Груня.

— Ну и логика! — усмехнулся он.

— Я обязательно напишу книгу, — добавила она. — Она будет называться: «Логика лунатизма, или почему свихнулись мыслители?»

— Никогда нашу логику не защищали более удачно, — сказал ей Старкингтон, когда чествование гениальных умов несколько поутихло.

— Да это же насилие над логикой! — парировала Груня. — И я вам это докажу…

— С помощью логики, конечно? — быстро вставил Грэй.

И это вызвало взрыв всеобщего смеха, от которого не могла удержаться и Груня.

Холл торжественно поднял руку, призывая к вниманию.

— Мы еще не обсудили вопрос о том, сколько ангелов могут танцевать на острие иглы.

— Не иронизируйте, — вскочил Луковиль, — это старо. Мы ученые, а не схоласты.

— Вы, конечно, и это сможете прояснить, — зло бросила в ответ Груня, — и по обыкновению, без особого труда: и про ангелов, и про острие, про что хотите.

— Нет, коллеги, если мне в конце концов удастся выбраться из этой путаницы, — произнес Холл, — я отрекусь от логики. С меня довольно.

— Признание в интеллектуальной усталости, — заявил Луковиль.

— Ну, он, конечно, не то имел в виду, — вставил Харкинс. — Не сможет он не быть логичным. Это свойство досталось ему в наследство как человеку. Оно отличает человека от низших существ.

— Постойте! — вмешался Гановер. — Вы забываете, что Вселенная стоит на логике. Без логики Вселенной бы не существовало. Логика в мельчайших ее творениях. Логика в молекуле, в атоме, в электроне. У меня в кармане книга, я

вам из нее почитаю. Я назвал ее «Электронная логика». Она…

— Вот официант, — мягко прервал Холл. — Он, разумеется, подтвердит, что спаржа консервированная.

Гановер перестал рыться в кармане и разразился тирадой по адресу официанта и дирекции «Пуделя».

— А вот это уже нелогично, — улыбнулся Холл, когда официант вышел.

— Ради Бога — почему? — недовольно спросил Гановер.

— Потому что в это время года свежей спаржи не бывает.

Не успел Гановер прийти в себя после резонного замечания Холла, как к нему обратился Брин.

— Вы недавно говорили, что интересуетесь взрывами. Позвольте продемонстрировать вам квинтэссенцию всеобщей логики — неопровержимую логику элементов, логику химии, логику механики и логику времени — все навечно сплавленные воедино в одном из самых замечательных механизмов, когда-либо созданных умом смертных. Я совершенно согласен с тем, что вы говорили, поэтому готов вам сейчас показать логику неразумной материи во Вселенной.

— Почему неразумной? — спросил Гановер, с отвращением глядя на нетронутую спаржу. — Вы полагаете, что электрон не имеет разума?

— Я не знаю. Мне никогда не приходилось видеть электрон. Но давайте ради спора предположим, что имеет. Во всяком случае, согласитесь, он обладает самой неотразимой логикой, самой совершенной и неуязвимой логикой, какую только можно представить. Взгляните сюда, — Брин подошел к стене, где висело его пальто, и вытащил плоский продолговатый сверток. Глаза его сияли от восторга: — Гановер! — позвал он. — Мне кажется, вы правы. Взгляните на это! Вот вещий голос, глушитель неприятных споров и противоречивых убеждений, последний арбитр. Когда говорит он, умолкают короли и императоры, мошенники и фальсификаторы, лицемеры и фарисеи, все, кто неверно мыслит, — умолкают навсегда.

— Пусть он заговорит, — усмехнулся Хаас. — Быть может, он заставит Гановера замолчать.

Но смех сразу же стих, так как все увидели, что Брин, как бы взвешивая этот предмет на руке, о чем-то задумался. И воцарившееся молчание означало, что они поняли: он на что-то решился.

— Отлично, — сказал он. — Он заговорит.

Он извлек из жилетного кармана обыкновенные бронзовые часы.

— Они с боем, — сообщил он, — на семнадцати камнях, швейцарской работы. Так… Сейчас полночь. Наше перемирие, — он обратился к Драгомилову, — заканчивается в час. Смотрите, я устанавливаю их точно на одну минуту второго. — Он указал на открывшееся, как в фотоаппарате, окошечко. — Видите это отверстие? Оно сделано специально для этих часов, обратите внимание, я сказал «специально сделано». Вставляю часы вот так. Слышите, металлический щелчок. Это устройство срабатывает автоматически. Теперь никакая сила их оттуда не вынет. Даже я не смогу этого сделать. Приказ вступил в силу и не может быть отменен. Все это изобретено мною. Кроме самого голоса. Этот голос принадлежит японцу Накатодака, умершему в прошлом году.

— Записывающий фонограф, — недовольно заметил Гановер — А я-то думал, вы расскажете о взрывах.

— Голос Накатодака — это и есть взрыв, Накатодака был убит в своей лаборатории своим собственным голосом.

— Формоз! Да, теперь я припоминаю, — сказал

Хаас, кивая головой.

— Но, насколько я понимаю, секрет погиб вместе с ним, — сказал Старкингтон.

— Так все думали, — возразил Брин. — Формула была найдена японским правительством и выкрадена из Военного министерства, — в его голосе зазвучала гордость. — Это первый формоз, изготовленный на Американском материке. И его сделал я.

— Бог мой! — воскликнула Груня. — Когда он сработает, нас всех разорвет.

Брин самодовольно закивал головой.

— Если остаться, то да, — сказал он. — Люди вокруг примут это за землетрясение или за новую выходку анархистов.

— Остановите его! — Приказала Груня.

— Я бессилен. В этом-то и вся его прелесть. Как я уже говорил Гановеру, такова логика химии, логика механики и логика времени, навечно сплавленные вместе. И во Вселенной нет силы, которая способна была бы разрушить этот сплав. Любая попытка только ускорила бы взрыв.

Груня схватила Холла за руку, во взгляде ее была безнадежность.

А Гановер хлопотал, суетился возле адской машины, с восхищением через очки разглядывал

ее, он был в восторге.

— Великолепно! Замечательно! Поздравляю вас, Брин. Это нам поможет разрешить проблемы многих наций и водрузить мир на более высокий и прекрасный фундамент. Мой еврейский язык — все это в прошлом. Вот оно, настоящее дело! Я посвящу себя теперь изучению взрывов… Луковиль, ваш взгляд опровергнут. У элементов есть и мораль, и разум, и своя логика.

— Вы забываете, мой дорогой Гановер, — возразил Луковиль, — что за этой механикой, и химией, и абстракцией времени стоит человеческий ум, конструирующий, контролирующий и применяющий.

Внезапно вскочив со стула, Холл прервал его:

— Вы же безумцы! Засели здесь, как отшельники. Разве вы не понимаете, что эта проклятая машина скоро взорвется?

— Не раньше, чем наступит одна минута второго, — мягко заверил его Гановер. — Кроме того, Брин еще не рассказал нам о своих намерениях.

— За бесчувственной материей стоит человеческий ум; именно он руководит тупыми силами, — торопливо закончил Луковиль.

Старкингтон, наклонившись к Холлу, тихо ему сказал:

— Перенести бы эту сцену на подмостки для зрителей Уолл-стрит. Вот бы началась паника!

Воцарившееся молчание вновь прервал Холл.

— Послушайте, Брин, что вы собираетесь делать? Что касается меня и мисс Константин, то мы немедленно уходим, сейчас же.

— О, у нас масса времени, — ответил хранитель голоса Накатодака. — И вот что я собираюсь делать. Я нахожусь между дверью и нашим уважаемым шефом. Сквозь стену-то он не уйдет. А дверь я охраняю. Остальные уходите. А я останусь с ним. Через минуту после окончания перемирия последнее поручение, принятое Бюро, будет выполнено. Прошу прощения, уважаемый шеф, один момент. Я не могу остановить процесс, но я могу ускорить его. Посмотрите, мой палец лежит на кнопке. Стоит только нажать на нее. Нажимаешь пальцем, и машина сразу взрывается. Как человек опытный, логически мыслящий, вы понимаете, что любая ваша попытка скрыться через эту дверь приведет к гибели всех, в том числе вашей дочери и временного секретаря. Поэтому вам лучше не покидать своего места. Не волнуйтесь, Гановер, формула не погибнет. Я умру вместе с шефом, как только минет одна минута второго. А формулы вы найдете в моей

спальне в верхнем ящике секретера.

— Да сделайте же что-нибудь, — взмолилась Груня, обращаясь к Холлу. — Вы должны что-то сделать.

Холл, севший на место, снова встал, отодвинув бокал в сторону, он оперся рукой о стол.

— Джентльмены, — начал он, стараясь говорить спокойно. Своей уверенностью он сразу привлек внимание. — До самого последнего времени, несмотря на свое отвращение к убийствам, я чувствовал себя обязанным с уважением относиться к идеалам, которые руководили вашими действиями. Но теперь я вынужден взять под сомнение ваши мотивы.

Он повернулся к Брину, внимательно за ним наблюдавшему.

— Скажите, вы что же, в самом деле считаете себя заслужившим уничтожение? Ведь если вы отдадите свою жизнь во имя гибели шефа, то нарушите принцип, в соответствии с которым смерть от вашей руки любого человека должна обязательно быть оправдана преступлениями жертвы. Что же за преступление, позвольте спросить, вы совершили, чтобы дать ход приговору, который вы единолично себе вынесли?

Брин усмехнулся такому ловкому аргументу.

Остальные выслушали Холла со вниманием.

— Видите ли, — с удовольствием стал объяснять бактериолог, — Бюро допускает возможность гибели его членов при исполнении служебных обязанностей. Это обычный риск нашей профессии.

— Случайная смерть в результате неожиданных обстоятельств — да, — возразил Холл. — В данный же момент речь идет о запланированной смерти невинного человека. Это нарушение ваших собственных принципов.

Минуту все молчали в задумчивости.

— Знаете, Брин, он совершенно прав, — наконец сказал Грэй, слушавший словесную дуэль, наморщив лоб. — Боюсь, что ваше предложение неприемлемо.

— И все же, — вставил Луковиль, — задумайтесь вот над чем: организуя смерть невинного, Брин мог бы оправдать свою собственную смерть тем, что этим нарушает принцип.

— A priori, — нетерпеливо крикнул Хаас. — Это не годится. Вы в логическом круге: пока он не умер, он не виновен, если он не виновен, нет оправданий для его смерти.

— Сумасшедший! — прошептала Груня. — Все сумасшедшие!

Охваченная страхом всматривалась она в оживленные лица мужчин, собравшихся вокруг праздничного стола. В их глазах была неподдельная заинтересованность, как у знатоков, увлеченных обсуждением научной проблемы. Ни одного из них, казалось, ничуть не волновало, что смертельно опасный механизм неумолимо отстукивал секунды. Брин снял палец с маленькой кнопки на боковой стенке бомбы. Он с интересом следил за каждым выступающим, пока обсуждалось его предложение.

— Одно все же решение, по-моему, есть, — медленно отметил Харкинс, подвинувшись вперед и присоединяясь к дискуссии. — Установив бомбу во время действия договора, Брин поступил нечестно и нарушил договор. Я не хочу сказать, что это само по себе заслуживает такого сурового наказания, какое им предлагается, но, вне сомнения, он виновен в действии, нарушающем мораль нашей организации…

— Правильно! — крикнул Брин, его глаза сверкали. — Это верно, вот вам и ответ! Установив взрывной механизм во время перемирия, я совершил проступок. Считаю себя виновным и заслуживающим смерти, — он бросил быстрый взгляд на стенные часы. — Точно через тридцать

минут.

В этот момент Брин упустил из-под наблюдения Драгомилова, и эта ошибка стала для него роковой. В одно мгновение, как бросающаяся на врага кобра, сильные руки бывшего шефа Бюро метнулись к шее Брина, прервали связи его жизненных центров. Японская «джиу-джитсу» действовала немедленно. Пока остальные смотрели, оцепенев от неожиданности, руки Брина безвольно повисли, и он безжизненно осел на пол. Почти в тот же миг Драгомилов схватил пальто и бросился к двери.

— Груня, увидимся на судне, — скороговоркой бросил он и исчез, прежде чем кто-нибудь успел двинуться.

— За ним, — крикнул Харкинс, вскакивая на ноги. Но на его пути встал огромный Джон Грэй.

— А уговор! — зло напомнил он ему. — Брин его нарушил и дорого заплатил за свой проступок. Мы все еще связаны на целых двадцать минут своим честным словом.

Бесстрастно до сих пор следивший за спором с конца длинного стола Старкингтон поднял голову и заговорил.

— Бомба, — сказал он спокойно. — Боюсь, что нам придется отложить полемику. Остается точ-

но, — он посмотрел на часы, — восемнадцать минут, когда эта штука сдетонирует.

Холл склонился над Брином и взял из его безжизненных рук зловещую коробочку.

— Нужно что-то с ней сделать…

— Брин уверял нас, что ее остановить нельзя, — сухо ответил Старкингтон. — Я ему верю. Брин никогда не обманывал, когда речь шла о научных проблемах, — он поднялся, — как глава Чикагского отделения я должен принять на себя командование нашими сильно поредевшими силами. Харкинс, вы с Олсуорти снесете бомбу в залив, и как можно скорее. Ее нельзя оставлять здесь: она взорвется.

Он подождал, пока эти двое, забрав свои пальто, вышли из комнаты, унося тикающий контейнер со смертью.

— Наш уважаемый экс-шеф упомянул о судне, — бесстрастно продолжал он. — Я и раньше предполагал, что именно это послужило причиной его поездки в Сан-Франциско. Слова его подтвердили мое предположение. Поскольку мы не можем принудить его очаровательную дочь сообщить название парохода: это было бы не по-джентльменски, нам следует принять другие меры. Хаас?

— Сегодня утром с отливом отплывают только

три парохода, — почти автоматически ответил Хаас, и Груню поразило обилие информации, скрытой под этим выпуклым лбом. — Мы сможем легко их все проверить.

— Хорошо, — согласился Старкингтон. — Их названия?

— «Аргоси» — в Окленде, «Истерн клиппер» — на верфи Янсена и «Таку Мару» — в торговом доке.

— Прекрасно. В таком случае, вы, Луковиль, возьмите на себя «Аргоси». Для вас, Хаас, пожалуй, удобнее будет «Таку Мару». Для Грэя — «Истерн клиппер».

Названные трое хотели было уже подняться, но Старкингтон остановил их.

— До отлива еще достаточно времени, джентльмены, — успокоил он. — Кроме того, до конца перемирия еще осталось двенадцать минут. — Он посмотрел на скрюченное тело Брина, лежавшее на полу. — Нам еще нужно позаботиться о нашем дорогом друге. Скажем, что у него был сердечный приступ. Будьте добры, Гановер, позвоните по телефону. Благодарю вас.

Он взял со стола прейскурант на вина.

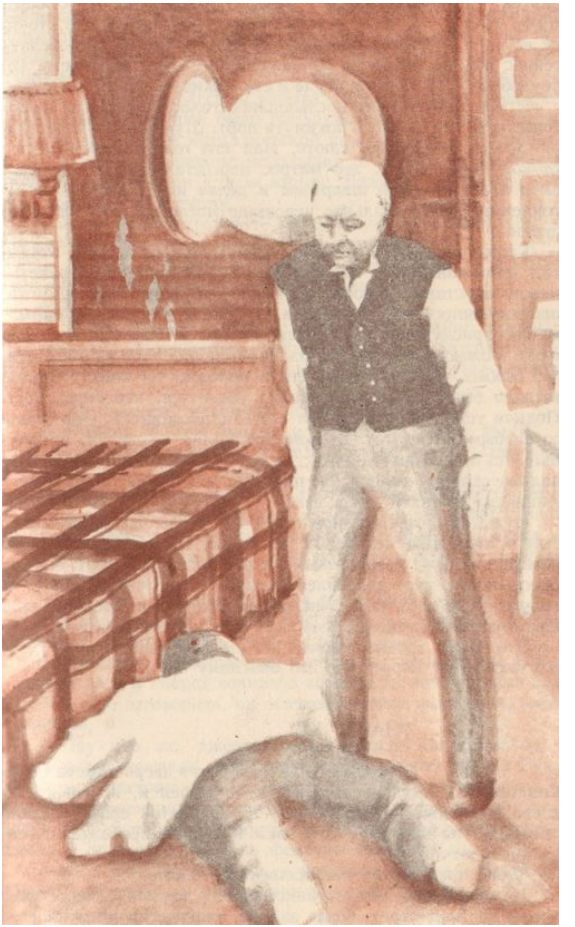
— И в заключение я бы предложил бренди, слабый бренди. Например, испанский. Прекрасный

напиток для завершения трапезы. Мы должны выпить, джентльмены, за одно из самых трудных наших заданий. Поднимем тост, друзья, за человека, который сделал это задание реальностью.

Холл хотел уже отпарировать этот мрачный юмор по своему адресу, но Старкингтон закончил раньше.

— Поднимем тост, джентльмены, — продолжал он спокойно. — За Ивана Драгомилова!

Глава XIV



Содержимое кошелька помогло Винтеру Холлу быстро убедить корабельного кассира, что даже для поздно прибывшего на борту «Истерн клиппер» можно найти местечко. На минутку он забежал в свой отель: забрать чемодан и оставить записку, которую должны были вручить утром при первой же возможности. На сходнях его с нетерпением поджидала Груня. Пока он оформление билета, Груня спустилась вниз сообщить отцу, что Холл тоже здесь, на корабле. Лукавая улыбка осветила лицо Драгомилова.

— Ты, родная, ожидала, что я рассержусь? — спросил он. — Расстроюсь? Или поражусь? Хотя надежда на путешествие наедине с только что обретенной дочерью радостна, но еще радостнее путешествие с ней, когда она счастлива.

— С вами я всегда счастлива, дядя… я хотела сказать — отец, — поправилась она, и глаза ее радостно засверкали.

Драгомилов рассмеялся:

— Приходит, дорогая, время, когда отец не в силах сделать дочь полностью счастливой. А сейчас, если ты не возражаешь, я лягу спать. День был не из легких.

Груня нежно поцеловала его, но, взявшись за ручку двери, вдруг остановилась, что-то вспом-

нив.

— Отец, — воскликнула она, — а Бюро убийств! Они намерены обследовать все корабли, отплывающие с утренним приливом.

— Ну, разумеется, — сказал он мягко, — это первое, что они сделают.

Он снова поцеловал ее и запер за ней дверь.

Она поднялась на верхнюю палубу и отыскала Холла. Рука об руку они стояли у перил, вглядываясь в огни спящего города. Он крепко сжал ее руку.

— Неужели обязательно нужно ждать, пока истечет год? — грустно спросил он.

— Осталось только три месяца, — засмеялась она. — Наберитесь терпения, — ее смех погас. — Правда, такой совет скорее подходит для меня.

— Груня!

— Это правда, — призналась она. — Винтер, я так хочу стать вашей женой!

— Славная моя! Капитан корабля может повенчать нас хоть завтра!

— Нет. Я ведь тоже свихнувшаяся, как и все вы. Я дала слово и не изменю его. — Она спокойно выдержала его взгляд. — Пока год не пройдет, я не могу выйти за вас. А если за это время что-нибудь случится с отцом…

— Ничего с ним не случится, — заверил Холл.

Она смотрела на него испытующе.

— Но ведь не в вашей воле предотвратить несчастье, которое может произойти.

— Нет, родная, не в моей.

Холл смотрел через перила на темную воду внизу.

— Эти сумасшедшие — вашего отца я тоже должен включить в их число — никому не позволяют вмешиваться в их опасную игру. Для них это, как вам известно, — только игра.

— В которой не может быть победителя, — печально согласилась она, взглянув на свои часики. — Уже очень поздно. Пожалуй, мне пора спать. Надеюсь, мы увидимся завтра?

— Вряд ли вам удастся скрыться от меня на пароходе, — засмеялся он и, склонив голову, страстно поцеловал кончики пальцев ее руки.

Решив, что в каюте жарко, Драгомилов отвинтил и широко распахнул иллюминатор. Напротив был виден дом и бесконечный ряд унылых складов, освещенных несколькими тусклыми электрическими лампами, которые вяло раскачивались от слабых порывов ночного бриза. Открытый иллюминатор почти не приносил прохлады: ночь была душной и тихой.

Тяжело дыша, он стоял в темной каюте, облокотившись на латунные края иллюминатора. Его мысли странствовали где-то по событиям девяти месяцев и задержались на подробностях его бегства. Он чувствовал себя утомленным, усталым умственно и физически. «Годы, — подумал он. — Единственная переменная в уравнении человеческой жизни, которую невозможно ни учитывать, ни контролировать». Правда, впереди было по крайней мере десять дней без этого отчаянного напряжения, десять приятных дней морского путешествия, и можно будет восстановить силы. Снизу из темноты до него долетел знакомый голос.

— Вы уверены? Драгомилов. Весьма вероятно, он ваш пассажир.

— Уверен, — ответил вахтенный, — у нас никого нет с такой фамилией. Не беспокойтесь, мы, конечно, сделали бы все, что в нашей власти, чтобы помочь федеральному правительству.

Укрытый мраком своей каюты, Драгомилов усмехнулся. Усталости как не бывало, все чувства начеку, он внимательно вслушался. Грэй был достаточно умен, чтобы показать доверие к сообщению официального лица, но, кроме того, Грэй был достойным сотрудником Бюро.

— Не исключено, что этот человек скрывается у вас под чужим именем, — продолжал Грэй. — Это низенький человек, на первый взгляд больной, но это только кажется; должен выехать со своей дочерью, довольно красивой молодой леди по имени Груня.

— Здесь есть один джентльмен, путешествующий с дочерью…

Улыбка сошла с лица Драгомилова. Во мраке каюты его короткие сильные пальцы сжались и разжались, словно к чему-то готовясь.

На минуту внизу воцарилось молчание, а потом Грэй задумчиво произнес:

— Я хотел бы проверить, если вы не возражаете. Вы не назовете номер его каюты?

— Пожалуйста. Одну секунду, сэр. Вот он: 31, на нижней палубе. — Наступила пауза. — А если это не тот человек?

— Я принесу извинения. — В голосе Грэя зазвучал металл. — Федеральное правительство не намерено причинять беспокойство невинным гражданам. Однако я вынужден выполнить свой долг.

Темные фигуры у начала сходней двинулись вверх, тот, что был выше, легко взбирался по крутым ступеням, оставив позади другого.

— Благодарю вас, я сам найду ее. Вам нет необходимости оставлять ваш пост.

— Разумеется, сэр. Я надеюсь…

Но Грэй уже не слышал его. Легко взойдя на палубу корабля, он стремительно прошел к двери во внутренний коридор. Оказавшись внутри, он немедленно осмотрел номер первой попавшейся каюты. Дверь перед ним имела номер 108; без колебаний он прошел по трапу и спустился вниз. Здесь были двузначные номера. Он улыбнулся про себя и начал красться по тихому коридору, задерживаясь возле каждой двери.

31-я каюта была за поворотом в небольшом тупике. Прильнув к стене тупика, Грэй обдумал свой шаг. Ему ли не знать Драгомилова, учившего его не только находить красоту в логике, этике и морали, но и научившего его одним мгновенным ударом сворачивать человеку шею. Вдруг судно содрогнулось. Грэй весь напрягся, готовый к прыжку, но это огромные машины в недрах корабля начали свое вращение, их пустили, чтобы прогреть перед отплытием.

Обдумывая в тихом, пустынном коридоре план действий, Грэй отверг мысль об использовании револьвере. В узком пространстве звук был бы оглушительным и значительно затруднил бы

бегство. Он вытащил из чехла спрятанный в рукаве тонкий длинный нож и быстро опробовал пальцем его острие. Удовлетворенный его остротой, он сжал его в руке острием вверх, а другой рукой, в которой была отмычка, нащупал замок.

Бросив взгляд вокруг, он убедился, что никого больше в коридоре нет; пассажиры спали. Стараясь не шуметь, он вставил отмычку и осторожно повернул ее. Неожиданно дверь резко открылась внутрь. И прежде чем он успел опомниться, он оказался в каюте и чьи-то сильные пальцы сомкнулись на его руке, сжимавшей нож. Но Грэй всегда отличался быстрой реакцией. Вместо того чтобы отступить назад, он бросился вперед, с силой увлекая за собой своего противника, добавляя свой вес к стремительному и сильному толчку другого. Оба рухнули на койку под иллюминатором. Один миг, и Грэй был на ногах, он отскочил в сторону, снова крепко сжимая нож в руке. Драгомилов тоже был на ногах и стоял, вытянув руки, его упругие пальцы готовы были в любой момент вцепиться мертвой хваткой в противника.

С минуту они стояли, тяжело дыша, друг против друга. Слабый свет портовых электрических лампочек отбрасывал в каюту мрачные тени.

Внезапно, как молния, Грэй бросился вперед, нож сверкнул над его головой. Но удар пришелся в пустое пространство; Драгомилов упал на пол и, как только рука противника пронеслась над ним, он, приподнявшись, схватил и повернул ее. Со сдавленным стоном Грэй выронил нож и упал на маленького человека, пытаясь ухватить свободной рукой соперника за горло.

Они дрались яростно и молчаливо, эти два хорошо натренированных убийцы, прекрасно представляющих физические способности друг друга и убежденные в необходимости умертвить противника. Каждый прием и контрприем применялся автоматически. Навыки того и другого в японской «джиу-джитсу» были немалыми, но равными. Грохот поршней гигантской машины, медленно набиравшей ход под их ногами, нарастал. Жестокая схватка в каюте продолжалась, одному приему противостоял другой, тяжелое дыхание борцов теперь заглушал тяжелый шум корабельных машин.

Их сплетенные ноги наткнулись на открытую дверь, она с треском захлопнулась. Грэй сделал попытку откатиться в сторону и вдруг почувствовал, что прижал лопаткой валявшийся на полу нож. Рывком прогнувшись, он отполз даль-

ше, одной рукой отбиваясь от Драгомилова, а другой отыскивая на полу оружие. Наконец его пальцы нащупали нож. Судорожно сжав его, он вырвался из объятий Драгомилова, занес нож для решительного удара и с яростью ударил им перед собой. Он ощутил, как лезвие вошло во что-то мягкое, и на секунду почувствовал облегчение. Но в этот момент стальные пальцы Драгомилова нашли на горле место, которое искали. Грэй опрокинулся назад, его пальцы в последнем предсмертном движении вытащили нож из постельного матраса.

Драгомилов, пошатываясь, встал, угрюмо посмотрел на тело своего старого друга, темневшее на полу возле узкой койки, потянулся к закрытому иллюминатору, спеша перевести дух и с огорчением подумав о том, что годы здорово подорвали его выносливость борца. Устало он вытер лицо. Все же он с облегчением подумал, что не уступил Грэю, а тот был не менее напорист, чем другие члены организации.

Неожиданный стук в дверь сразу вернул его к действительности. Он наклонился, торопливо закатил тело убитого под кровать, чтобы его не было видно, и тихо встал возле двери.

— Да!

— Мистер Константин? Можно вас, сэр, на минуту?

— Одну секунду.

Драгомилов зажег в каюте свет, быстрым взглядом окинул комнату и не нашел ничего компрометирующего. Он поднял стул, набросил одеяло на разрезанный матрас и накинул пижаму. Еще раз огляделся вокруг. Удовлетворенный тем, что все в порядке, он открыл дверь, крякнул и широко зевнул прямо в лицо кассира.

— Да? В чем дело?

— А мистер Грэй, сэр? Он не заходил к вам?

— А, этот. Да, заходил. Знаете ли, так нельзя — понапрасну меня беспокоят. Он искал какого-то мистера Драгомовича или кого-то в этом роде. Он извинился и ушел. Так в чем дело?

— Судно отходит, сэр. Вероятно, он сошел на берег как раз, когда я пошел сюда. Как вы считаете?

Драгомилов снова зевнул и холодно поглядел на кассира.

— Понятия не имею. А теперь, если позволите, я все-таки хотел бы немного отдохнуть.

— Разумеется, сэр. Извините. Благодарю вас.

Драгомилов запер дверь и снова выключил свет. Усевшись на низенький стул, он задумчи-

во смотрел в иллюминатор. Завтра уже будет поздно: придет убирать каюту стюард. Даже утро — это поздно: нельзя быть уверенным, что кто-то не встанет пораньше погулять по палубе. Все нужно сделать сейчас же, несмотря на сопряженную с этим опасность. Он поудобнее устроился на стуле и стал ожидать отплытия судна.

С верхней палубы послышались голоса, отдавали швартовы, судно готовилось покинуть порт. Шум машин нарастал, их дрожь передалась каюте. Над его головой послышался глухой топот сапог, это матрос перебегал туда и обратно, вытягивая лебедкой швартовы и делая необходимые приготовления, чтобы стальное чудовище могло повезти их через океан.

Крики на палубе ослабли. Драгомилов осторожно отвинтил иллюминатор и высунул голову. Водное пространство между пристанью и кораблем медленно увеличивалось, огни, протянувшиеся вдоль складов, тускнели вдали. Он внимательно прислушался, не слышно ли шагов снаружи; все было тихо. Можно было приступать, он вытащил тело из-под кровати, без особых усилий поднял его и положил на койку. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что берег пуст. Подняв тело, он протолкнул его в иллюминатор. Оно

упало со слабым всплеском. Драгомилов молча подождал, прислушиваясь к шумам наверху, на палубе. Все было тихо. Печально склонив голову, он прикрыл иллюминатор, задернул занавеску и опять зажег свет.

Нужно было еще кое-что сделать перед сном: Драгомилов был осторожным человеком. Нож был спрятан в портфель, чемодан заперт. Разрезанный матрас перевернут, закрыт простыней и туго заправлен. Коврик водворен на место. И только после того, как каюта приобрела прежний вид, Драгомилов облегченно вздохнул и начал раздеваться.

Это была трудная ночь, но им был сделан еще один жестокий шаг вперед, по его опасному пути.

Глава XV

Луковиль тихо постучал в дверь номера Старкингтона и, когда дверь открылась, вошел и, не говоря ни слова, положил на стол газету. Старкингтон сразу обратил внимание на крупные заголовки и быстро пробежал сенсационный отчет.

«Двое погибли от таинственного взрыва

15 авг. В результате таинственного взрыва сегодня рано утром на Ворт-стрит, возле залива, трагически погибли двое мужчин, личность которых установить не удалось. Полиции не удалось обнаружить причину разрушительной детонации, выбившей окна в домах, расположенных в непосредственной близости, и стоившей жизни двум людям, которые, как полагают, проходили в момент взрыва возле этого места. Установить личности двух жертв оказалось невозможным по причине невероятной силы взрыва. Единственными подозритель-

ными предметами были обнаруженные в районе взрыва осколки маленькой металлической коробки, но, как утверждает полиция, вследствие небольших размеров она не могла играть никакой роли в этом взрыве. Власти признаются, что поставлены в тупик».

— Харкинс и Олсуорти! — хмуро сказал он и сжал зубы. — Нужно немедленно вызвать остальных.

— Я звонил Хаасу и Гановеру, — ответил Луковиль. — Они могут появиться с минуты на минуту.

— А Грэй?

— В его номере никто не ответил. Я крайне удивлен, так как мы договорились, что результаты осмотра кораблей, проведенного ночью, должно быть доложены сегодня утром.

— На «Аргоси» вы ничего не обнаружили?

— Ничего. И Хаас ничего не нашел на «Таку Мару».

Собеседники молча посмотрели друг на друга. Одна и та же мысль возникла у обоих.

— Вы полагаете?.. — начал Старкингтон, но в этот момент в дверь настойчиво постучали, и,

прежде чем они успели ответить, дверь распахнулась, пропустив Гановера и Хааса.

Хаас стремительно ворвался в комнату и положил на стол последний выпуск газеты.

— Вы это видели? — крикнул он. — Грэй мертв!

— Найден в воде у верфи Янсена, там, где стоял «Истерн клипер»! Драгомилов уплыл на этом судне.

Пораженные неожиданным известием, все молчали. Старкингтон взад и вперед ходил по комнате, а потом молча сел. Прежде чем заговорить, он оглядел строгие лица своих компаньонов.

— Ну что же, джентльмены, — начал он спокойно, — наши ряды поредели. Все оставшиеся в живых члены Бюро убийств в настоящий момент находятся в этой комнате. За последние двенадцать часов погибло три члена нашей организации. Где же удача, сопутствовавшая все эти годы каждому нашему предприятию? Или фортуна изменила нам?

— Все мы не без греха, — возразил Хаас. — Харкинс и Олсуорти погибли в результате случайности.

— Случайность? Да вы сами в это не верите, Хаас. Случайности не существует. Разве мы не осу-

ществляли контроль за собственными жизнями, если вообще мы способны что-то контролировать?

— Мы по крайней мере в это верим или вообще ни во что не верим, — сухо поправил Луковиль.

— Но могли ведь часы врать, — упорствовал Хаас.

— Разумеется, — признал Старкингтон. — Но разве это случайность — пасть жертвой безграничного доверия к механическому устройству? Изобретения, мой дорогой Хаас, — это работа конструктора, а не мыслителя.

— Смехотворное утверждение, — усмехнулся Хаас.

— Отнюдь нет. К поискам механических решений ведет людей неспособность рационалистически объяснить проблемы. Возьмем, например, эти стенные часы. Разве точное знание часа решает проблемы этого часа? Что мы выигрываем в сфере красоты или морали, зная, что в данный момент восемь минут одиннадцатого часа?

— Вы слишком упрощаете, — возразил Хаас. — Иногда часы могут мстить.

Гановер наклонился вперед.

— Что касается вашей насмешки над конструкторами — созидателями, — подчеркнул он, — то

не считаете ли вы тогда нас только мыслителями, а не созидателями?

Старкингтон улыбнулся:

— За последнее время, говоря откровенно, мы не были ни тем и ни другим. Теперь мы должны стать всем.

— Послушайте, — сказал он решительно. — Драгомилов уплыл. Он покинул страну. Вряд ли он вернется. Почему бы нам не отказаться от этого бессмысленного преследования? Мы восстановим Бюро. Драгомилов начал его в одиночку, а нас четверо.

— Отказаться от преследования? — на лице Хааса крайнее удивление. — Бессмысленного? Как же мы сможем восстановить Бюро, если, отказавшись от преследования, мы откажемся и от наших принципов?

Луковиль кивнул головой.

— Конечно, конечно. Я не подумал. Ладно, что же мы тогда предпримем?

Ему ответил Хаас. Худощавый «пламя, а не человек» встал и склонился над столом, на его высоком лбу собрались складки.

— Сегодня вечером в четыре часа отплывает судно «Ориентал стар». Это самый быстроходный корабль на тихоокеанских линиях. Он вполне

может прибыть на Гавайи раньше «Истерн клиппер». Предлагаю встретить Драгомилова в Гонолулу но, подготавливая встречу, нам нужно быть осторожнее, чем до сих пор.

— Прекрасная идея, — с энтузиазмом поддержал Гановер. — Он ведь думает, что в безопасности.

— Шеф никогда не чувствует себя в безопасности, — заметил Старкингтон. — Правда, он не позволяет чувству опасности нарушать его равновесие. Итак, джентльмены, предложение Хааса вас устраивает?

С минуту все молчали. Потом Луковиль покачал головой:

— По-моему, нет необходимости выезжать всем. Хаас еще не оправился от ранения. Кроме того, было бы ошибкой помещать все яйца в одну корзину. Я бы предложил Хааса оставить. Может возникнуть необходимость в каких-то действиях на материке.

Это предложение было обдумано остальными. Старкингтон кивнул.

— Я согласен. А как Хаас?

Маленький энергичный человек невесело улыбнулся.

— Я бы, конечно, с удовольствием присутство-

вал при убийстве… Но я склоняюсь перед логикой аргументов Луковиля. Я тоже согласен.

Гановер кивком выразил одобрение.

— Хватит ли у нас денег?

Подойдя к столу, Старкингтон достал конверт.

— Это я получил сегодня утром. Холл подписал документ, предоставляющий мне право на все наши фонды.

Гановер удивленно поднял брови:

— Значит, он уплыл с Драгомиловым.

— Скорее с дочерью, — улыбнувшись, поправил Хаас. — Бедняжка Холл! Попался в ловушку, заполучил тестя, за убийство которого сам же уплатил деньги.

— У Холла логика подпорчена эмоциями, — заявил Старкингтон. — Судьба эмоционального предопределена, и в общем-то заслуженно. — Он встал: — Ну что ж, я пошел готовить наш отъезд. — Взглянув на Луковиля, явно обеспокоенный, он спросил: — Почему вы нахмурились?

— Пища на судне, — вздохнул Луковиль. — Как вы считаете, у них на все плавание хватит свежих овощей?

Краешек солнца плавно поднимался из-за горизонта. Наслаждавшийся теплым утренним океанским бризом Винтер Холл внезапно почув-

ствовал, что кто-то стоит рядом. Повернувшись, он увидел Драгомилова.

— Доброе утро! — улыбнулся Холл. — Как спали?

Драгомилов с усилием улыбнулся:

— Как и следовало ожидать, — сухо ответил он.

— Когда, мне трудно заснуть, — сказал Холл, — я обычно гуляю по палубе. Такая прогулка помогает нагнать сон.

— В прогулках не было недостатка, — Драгомилов пристально посмотрел на высокого красивого молодого человека, стоявшего рядом. — Ко мне прошлой ночью перед отплытием пожаловал посетитель.

Холл вдруг все вспомнил.

— Грэй! Это ему было поручено обследовать этот корабль!

— Да, Грэй пришел повидаться со мной.

— Он на борту? — Холл оглянулся; приятная улыбка его исчезла.

— Нет, он не отплыл с нами. Он остался.

Холл с недоумением посмотрел на стоящего рядом светловолосого человека и, казалось, начал понимать.

— Вы убили его!

— Да. Я был вынужден.

Холл снова стал наблюдать за восходом солнца. Лицо его было строгим.

— Вы говорите, что были вынуждены. Не означает ли это признание перемен в ваших убеждениях?

— Нет, — Драгомилов покачал головой. — Хотя убеждения могут подвергаться изменениям, если думающий человек достоин звания существа разумного. Я потому сказал — вынужден, что он был моим другом. По крайней мере, можно сказать, моим протеже. И на мою жизнь он покушался, следуя моему учению. Отнимая у него жизнь, я не мог не признать чистоту его мотивов.

Холл устало вздохнул:

— Нет, вы не изменились. Но все-таки скажите, когда же это сумасшествие прекратится?

— Сумасшествие? — Драгомилов пожал плечами. — Объясните это выражение. А что такое здравомыслие? Позволять жить тем, чьи действия ведут к гибели невинных? Иногда тысяч невинных?

— Это, конечно, не относится к Джону Грэю?

— Нет. Я только объясняю основы моего учения, в которое верил Джон Грэй и которое вы назвали сумасшествием.

Холл безнадежно посмотрел на собеседника.

— Но вы уже признали банкротство этой философии. Не может человек судить, он может только быть судим. И не отдельной личностью, а только сообществом людей.

— Верно. Основываясь именно на этом, вы убедили меня, что у Бюро недостойные цели. Или, точнее сказать «преждевременные», ибо Бюро само по себе — это, как вы знаете, группа представителей общества. Остальные ваши аргументы не играли бы роли. Но это неважно. Во всяком случае, вы меня убедили, и я принял заказ уничтожить себя. К сожалению, то обстоятельство, что организация слишком совершенна, сработало против меня.

— Совершенна! — с раздражением воскликнул Холл. — Разве можно употреблять это слово? Ведь шесть или даже восемь попыток уничтожить вас закончились провалом!

— Эти провалы и свидетельствуют о совершенстве, — без тени иронии сказал Драгомилов. — Вижу, вы не поняли. Провалы поддаются исчислению. Бюро имеет свои издержки и удачи. Провалы только доказывают правильность расчетов.

Холл с удивлением посмотрел на маленького

человека.

— Трудно поверить! Скажите мне, когда… Ладно, я не стану употреблять слово «сумасшествие», — когда эти приключения все-таки закончатся?

К его удивлению, Драгомилов дружелюбно улыбнулся:

— Люблю это слово — «приключение». Вся жизнь — приключение, да мы этого не понимаем, пока сама жизнь не подвергнется опасности. Когда это закончится? Полагаю, когда мы сами закончим. Когда наш мозг перестанет работать, когда мы присоединимся к червям, тем, кто не мыслит. А в данном случае, — продолжал он, заметив открыто выраженное Холлом нетерпение, — по истечении года со дня моих указаний Хаасу.

— Времени уже пролетело много. До окончания контракта осталось менее трех месяцев. Что тогда?

К его удивлению, улыбка на лице Драгомилова погасла.

— Не знаю. Я не могу поверить, что организация, в создание которой мною вложено столько труда, допустит, чтобы я дожил до конца. Это свидетельствовало бы о ее несовершенстве.

— Однако вы, разумеется, не хотите, чтобы она добилась успеха?

Драгомилов сплел пальцы рук и нервно сжал их. Лицо его было строгим и хмурым.

— Не знаю. Пока идут недели и месяцы, что-то все больше и больше начинает беспокоить меня.

— Вы удивительный человек! В каком смысле это вас беспокоит?

Маленький светловолосый джентльмен посмотрел на своего собеседника.

— Я не уверен, что мне захочется жить по истечении этого периода времени. Настоящий хозяин людей — время. Время, видите ли, одна из совершеннейших машин, ее шестерни приводятся в движение звездами, ее стрелки контролируются бесконечностью. Мною тоже создана совершенная машина — Бюро. И ничто, кроме него самого, не поможет доказать его совершенства. Неумолимая поступь другой, более совершенной машины не оправдывает недостатков Бюро.

— Но вы все же предпринимаете попытку воспользоваться временем для своего собственного спасения, — подчеркнул Холл, по обыкновению увлекаясь ходом мысли оппонента.

— Я только лишь человек, — грустно ответил Драгомилов. — Со временем, возможно, как раз

в этом и будет объяснение неизбежной слабости моей философии.

Прервав свою речь, он повернулся и медленно, тяжелым шагом направился к дверям, ведущим в каюту. С минуту Холл смотрел ему вслед, а потом, почувствовав, как кто-то тянет его сзади за руку, резко обернулся и лицом к лицу столкнулся с Груней.

— Что вы такое сказали отцу? — требовательно спросила она. — Он выглядит потрясенным.

— Не я, это он сам сказал себе, — ответил Холл. Он взял ее под руку, и они пошли по палубе. — Существует инстинкт, он заставляет нас бороться за жизнь. Но в нас также укрывается и тяга к смерти, у нее находится немало оправданий. Нам предстоит стать свидетелями, какой из этих инстинктов восторжествует у вашего странного отца: к жизни…

— Или к смерти, — тихо сказала она, тяжело опираясь на руку возлюбленного.

Глава XVI



Приятные дни путешествия на борту «Истерн клиппер» летели быстро. Груня, лежа в шезлонге на палубе, грелась на солнце, она, как и Холл, стала бронзовой от загара. Драгомилов тоже все время проводил на залитой солнцем палубе, но он, казалось, имел иммунитет против жгучих солнечных лучей и оставался таким же бледным, как и прежде.

Холл с Драгомиловым, по-видимому, наложили вето на свои философские споры; их разговоры теперь вращались либо вокруг стай скумбрии и тунца, часто игравших за кормой корабля, либо вокруг прекрасной кухни на борту, а иногда и вокруг теннисных баталий, развернувшихся на палубе.

И вот однажды утром путешествие закончилось, словно его и не было. Проснувшись в этот день и выйдя на палубу, они обнаружили, что ее закрывает тень горы Даймонд на подходе к острову Оаху, а город Гонолулу, белый и сверкающий, распахнулся прямо перед ними. К судну уже стремились маленькие каноэ с туземцами. Внизу, в недрах гигантского лайнера, кочегары уже замерли у своих черных от сажи совков, великаны-машины затихли, судно медленно заканчивало свой путь.

— Великолепно! — шептала Груня. — Разве это не прекрасно, смотрите, Винтер?

— Вы еще более прекрасны, — шутливо ответил Холл и обратился к Драгомилову: — Десять недель, — сказал он с облегчением, — только десять недель, сэр, и наши отношения изменятся. Вы станете моим тестем.

— И перестану быть вашим другом? — засмеялся Драгомилов.

— Нет, вы всегда будете моим другом, — нахмурившись, сказал Холл. — Между прочим, каковы ваши планы? Как вы считаете, члены Бюро последуют сюда за вами?

На лице Драгомилова по-прежнему сияла улыбка.

— Последуют за мной? Они все уже здесь. Или большинство, по крайней мере. Одного-то они, конечно, оставили на материке.

— А как же удалось им прибыть раньше нас?

— На быстроходном судне. Я полагаю, на следующий день пополудни они сели на «Ориентал стар». Тело Грэя обнаружили, и оно указало им на наше судно, а следовательно, и на место его назначения. Они пришли в порт вчера вечером. Будьте уверены, к нашей высадке они будут тут как тут.

— А откуда вы это знаете? — спросила Груня.

— Поставил себя на их место и сообразил, что стал бы я делать в тех же самых обстоятельствах. Нет, дорогая, здесь ошибки быть не может. Они придут меня встретить.

Груня придвинулась к нему и взяла его за руку, в глазах ее был страх.

— Что же теперь делать, отец?

— Не беспокойся, родная. Их жертвой я не стану, ты этого боишься? Вот еще что я хотел вам сказать: за несколько дней до отплытия я отправил почтой письмо с заказом номера для вас в гостинице «Королева Анна». Заказана также и машина в ваше распоряжение. Сам я не смогу присоединиться к вам, но, как только я освобожусь, дам о себе знать.

— Для нас обоих? — удивился Холл. — Но вы даже не знали, что я поеду!

Драгомилов широко улыбнулся:

— Я же говорил, что всегда ставлю себя на место другого. На вашем месте я бы ни за что не позволил такой очаровательной девушке, как Груня, сбежать от меня. Мой дорогой Холл, я был уверен, что вы окажетесь на борту этого судна.

Он встал спиной к перилам. Каноэ с туземцами уже сновали вдоль корабля; мальчишки, одетые

только в туземные «моло», ныряли за монетами, которые швыряли пассажиры в прозрачные воды залива. Белые здания вдоль пирса отражали лучи утреннего солнца. Гигантский лайнер встал, юркий катер отделился от берега. Он вез лоцмана и носильщиков-китайцев. Разорвавший тишину пронзительный гудок корабля гордо объявил об их прибытии. Лоцманский катер легко стукнул о борт, и чиновники, одетые в щегольские остроконечные фуражки и белые шорты, вскарабкались на палубу. За ними следовала вереница носильщиков, все в голубых одеждах и с косичками, они стремглав взбежали по трапу (их покатые соломенные шляпы дружно в такт подпрыгивали) и исчезли во внутренних проходах.

Драгомилов обратился к обоим своим собеседникам:

— Если вы позволите, я пойду закончу упаковку багажа, — сказал он с облегчением и, помахав рукой, исчез в проходе.

Лоцман взошел на мостик, и машины «Истерн клиппер» заработали; набирая скорость, судно двинулось к берегу.

— Пожалуй, нам пора идти вниз проверить вещи, — заметил Холл.

— О, Винтер, не будем торопиться. Здесь так

чудесно! Погляди только на горы, они словно уносятся от города. А облака, как грибы-дождевики, повисли над вершинами!

Она умолкла, и воодушевление исчезло с ее лица.

— Винтер, а что будет делать отец?

— О твоем отце, дорогая, я не беспокоюсь. Возможно, их здесь и нет. А если даже они и здесь, сомнительно, чтобы они решились на что-то в этой толчее. Пошли.

Пароход подходил к пирсу. Они спустились вниз. На берег были брошены швартовы, и проворные руки закрепили их за кнехты. Заработали судовые лебедки, выбирая якорную цепь и подтягивая лайнер к стенке. Оркестр заиграл знаменитое «алоха». Послышались крики пассажиров и встречающих, которые узнавали друг друга в толпе, многие восторженно махали платками. Спустили сходни, оркестр заиграл громче.

Передав свой багаж носильщику, Холл вернулся на палубу. Он встал у перил и с любопытством наблюдал за оживленными лицами встречающих, выстроившихся за оградой внизу. Внезапно он отшатнулся от перил: его глаза встретились с глазами Старкингтона!

Шеф чикагского отделения Бюро радостно улы-

бался и махал рукой. Взгляд Холла скользнул по поднятым кверху лицам и задержался еще на одном. Гановер тоже был здесь, ближе к входу. Остальные, как был уверен Холл, занимали другие стратегически важные позиции.

Поставили сходни, сняли барьеры. И по сходням в обе стороны ринулись пассажиры и встречающие, толкая тяжело нагруженных носильщиков. Последние, неуклюже покачиваясь под своим грузом, медленно протискивались вниз. Вверх по сходням прокладывал себе путь Старкингтон. Холл пошел ему навстречу.

— Привет, Холл! — Старкингтон широко улыбнулся. — Рад вас видеть. Как дела?

— Старкингтон! Не вздумайте это сделать!

Старкингтон удивленно поднял брови:

— Чего не делать? Ах, не держать своего честного слова? Не быть верным данному обещанию и поручению?

Он по-прежнему улыбался, но глаза его были совершенно серьезны. Они смотрели мимо Холла, ощупывая лица пассажиров, идущих по сходням.

— На этот раз, Холл, он не убежит. Луковиль прибыл на борт на лоцманском катере, теперь он уже внизу. Гановер караулит в порту. Шеф

допустил роковую ошибку, сам себе поставил западню.

Холл скрипнул зубами:

— Я не допущу этого. Я обращусь к властям.

— Ни к кому вы не станете обращаться, — подчеркнуто холодно сказал Старкингтон. Он напоминал профессора, втолковывающего нерадивому студенту общеизвестные истины. — Вы дали свое честное слово. Не только самому шефу, но и всем нам. Вы не сообщили властям до сих пор, не сообщите и теперь…

Он вынужден был прервать свою речь, так как на него, рассыпаясь в извинениях, наткнулся китаец-носильщик, буквально погребенный под горой чемоданов. Рядом появился Луковиль. При виде Холла он радостно заулыбался.

— Холл! Очень приятно. Как прошло путешествие? Вам оно понравилось? Скажите, — продолжал он, понизив голос, — как обстояло дело с овощами на этом судне? На обратном пути мне бы хотелось иметь кухню более по вкусу. Кухня на «Ориентал стар» бедна и овощами и фруктами. Там все мясо да мясо. Они, видимо, думают, что этим доставляют пассажирам удовольствие…

Наконец заметив нетерпение Старкингтона, он, оставил овощи, обратился к нему:

— Драгомилов внизу. Он занял 31-ю каюту под чужим именем. Чтобы он не ушел, я повесил на нее замок. Правда, есть еще иллюминатор… За ним наблюдает Гановер.

Он обратился к рядом стоявшему бледному как смерть Холлу: — Не лучше ли вам сойти на берег? Поверьте, предотвратить это не в ваших силах.

— Я останусь, — воскликнул Холл и круто повернулся, почувствовав, что кто-то нервно сжал его руку. — Груня! Груня, милая!

— Винтер! — крикнула она и посмотрела на Старкингтона ненавидящими глазами. — Что вы здесь делаете? Не трогайте моего отца!

— Этот вопрос нами уже обсуждался, — спокойно возразил Старкингтон. — Вам известно о взятых нами обязательствах и об указаниях вашего отца. Я бы рекомендовал вам, мисс Драгомилова, сойти на берег. Все равно вы ничего не сможете поделать.

— Сойти на берег? — она вдруг гордо подняла голову. — Да, я сойду на берег! И возвращусь с полицией! Мне безразлично, какие указания дал мой отец, вы не убьете его! — Она сверкнула на Холла презрительным взглядом. — А вы! Что ж вы тут стоите? Что вы за человек? Вы хуже этих сумасшедших, потому что они верят в свою

правоту, а вы-то знаете, что они ошибаются… И все же ничего не предпринимаете!

Она вырвала свою руку из руки Холла и бросилась к сходням, проталкиваясь сквозь поредевшую толпу. Старкингтон смотрел ей вслед, одобрительно покачивая головой.

— Вы, Холл, сделали очень хороший выбор. Эта девушка — с характером. А теперь нам придется несколько форсировать наш план. Я думал подождать, пока судно опустеет. Однако, по-моему, большая часть пассажиров уже сошла. Вы пойдете с нами?

Последняя фраза была произнесена таким вежливым тоном, что Холл с трудом поверил, что приглашается стать свидетелем исполнения смертного приговора над человеком, который является отцом Груни. Старкингтон, сочувственно улыбаясь, взял его под руку.

Холл последовал за ним, как во сне. Этому нельзя было поверить! Со стороны, вероятно, можно было подумать, что он идет к друзьям сыграть партию в вист. Пока они спускались по широкой, устланной ковром лестнице, шедший рядом Старкингтон вел непринужденную беседу.

— Путешествие на судне очень приятно, не правда ли? Для всех нас это было настоящим

наслаждением. Правда, Луковиль всю дорогу жаловался на пищу, но… А вот мы и пришли.

Он прижался ухом к двери и прислушался. Изнутри доносились какие-то неясные звуки. Он снял повешенный Луковилем замок и обратился к остальным:

— Луковиль, встаньте по эту сторону. Вам бы, Холл, я посоветовал уйти из тупика. Шеф, конечно, будет защищаться, и мне не хотелось бы, чтобы вас ранили.

— А вас могут убить! — воскликнул Холл.

— Разумеется. Однако один из нас — Луковиль или я — сможет выполнить задание. А это все, что нам нужно.

Он извлек из кармана револьвер и привел его в боевую готовность. Луковиль в свою очередь сделал то же самое. Холл с ужасом смотрел на этих людей, не выказывающих ни малейшего страха. Вынув из кармана ключ, Старкингтон вставил его в замочную скважину, даже не стараясь делать это тихо.

— Назад, Холл, — скомандовал он и в тот же миг распахнул дверь и проник внутрь. При виде того, что открылось перед ними, Старкингтон от удивления раскрыл рот, а Холл расхохотался.

На койке, извиваясь и дергаясь, лежал китаец-

носильщик, раздетый до нижнего белья и крепко привязанный к кровати. Рот его был заткнут, а глаза сверкали от ярости. Как только он повернул голову, в отчаянии умоляя обнаруживших его людей об освобождении, они увидели обрезанные концы его косичек.

— Драгомилов! — выдохнул Луковиль. — Он, должно быть, проскользнул мимо нас под видом носильщика! — Он бросился к двери, но рука Старкингтона преградила ему путь.

— Слишком поздно, — сказал он спокойно. — Наши поиски придется начать сначала.

В коридоре послышался какой-то шум, и на пороге появилась Груня в сопровождении нескольких местных полицейских, вооруженных дубинками. При виде корчившегося от смеха Холла, Груня остановилась в нерешительности. Перед лицом такой веселости ее решимость стала улетучиваться. Старкингтон вежливо дал дорогу полицейским, которые быстро овладели каютой и развязали несчастного китайца, немедленно застрекотавшего о своих злоключениях. Он показывал на обрезанные косички, потом на свое почти голое тело и торопливо демонстрировал руками, как его повалили и связали. Все это он, захлебываясь, сопроводил рассказом на непонят-

ном им языке. Сержант прерывал его несколько раз, чтобы задать вопрос, а затем строго обратился к Старкингтону.

— Где человек, совершивший это насилие? — спросил он по-английски.

— Не знаю, — признался Старкингтон. Но тут его чувство собственника пришло ему на помощь. Он полез в карман и извлек пачку банкнотов. Отсчитав несколько, он сочувственно обратился к расстроенному китайцу.

— Вот. Вы пострадали, как и мы. Это вам частичная компенсация. Что же касается нас, — в его голосе неприкрыто звучало сожаление, — не знаю, как это будет компенсировано.

Глава XVII

Прошло две недели, прежде чем Груня и Холл получили дальнейшие инструкции, — итак, скоро они встретятся с Драгомиловым. Воспользовавшись тем, что у них была машина с шофером, они объездили вдоль и поперек прелестный тропический город и его окрестности. Шофер появился в гостинице «Королева Анна» на другое утро после их приезда и вручил им письмо следующего содержания:

«Дети мои, рекомендую вам Чана, старого и верного служащего фирмы «С. Константин и Ко». Он будет возить вас в любое время и куда угодно, за исключением тех немногих случаев, когда будет выполнять мои поручения. Не задавайте ему никаких вопросов, потому что он все равно не станет на них отвечать. Я жив и здоров и, как только придет время, свяжусь с вами. Целую мою дорогую Груню. Крепко жму руку моему другу Холлу».

Под письмом не было подписи, да она и не была

нужна. Убедившись, что Драгомилов вне опасности, они успокоились. Они вели обычный для туристов образ жизни: купались и загорали на пляже Вайкики, смотрели, как любители острых ощущений бесстрашно мчались на досках на гребне пенящихся океанских валов к поросшему пальмами берегу. Они гуляли по красочным улицам Гонолулу и наслаждались необычными картинами, вставшими на каждом шагу. Они с удовольствием бродили по рыбному рынку на Кингстрит, где торговцы расхваливали свой товар на восьми языках, или наблюдали, как причаливают в Кеволо Бэсин японские сампаны, до краев наполненные уловом. Невозмутимый Чан никогда ничего не предлагал и не давал никаких разъяснений; он вел машину туда, куда ему говорили, и только.

Вечера они часто проводили вместе со Старкингтоном, Гановером и Луковилем. Груня помимо своей воли стала испытывать к ним симпатию. Их взгляды и образ мыслей сильно напоминали ей отца. Ей втайне было стыдно за ту сцену, которую она устроила на борту парохода и которая говорила, что она недостаточно верит в отца. Ей почему-то казалось, что теперешняя близость с этой троицей в какой-то степени искупает

ее вину. К тому же с каждым днем приближалось окончание срока договора и уменьшались шансы Бюро на успех.

Однажды вечером вопрос о сроках возник в застольной беседе.

— Остается менее двух месяцев, — сказал Холл и рассмеялся. — Поверьте, я ничего не имею против того, чтобы вы так мило развлекались. Мне даже приятно смотреть, как вы растрачиваете средства Бюро. Но мне непонятно, почему вы не ищете Драгомилова!

— Мы его ищем, но по-своему, — мягко поправил его Старкингтон, — и наши розыски увенчаются успехом. Не раскрывая наших планов, я могу сказать следующее: он провел два дня в Нанакули и последующие три дня в Вайанаэ. Луковиль выследил его в первом случае и Гановер — во втором. Но в обоих случаях он успел оттуда уехать.

Холл насмешливо поднял брови:

— А вы не вели розысков?

— Нет. — В голосе Старкингтона не было смущения. — Я наблюдал за вами и за мисс Драгомиловой, хотя я уверен, что вы знаете о его местонахождении не больше нас. — Он поднял рюмку. — Предлагаю тост за окончание дела.

— Я буду рад за это выпить, — спокойно заметил Холл. — Хотя мы имеем в виду разные вещи.

— В этом и состоит сложность словесного общения, — с улыбкой заметил Старкингтон.

— В неточности определений, — возразил Гановер. — Определение составляет самую сущность общения. Это своего рода скелет, на котором зиждутся звуковые формы, составляющие любой язык.

— Вы говорите о каком-то одном языке, — серьезно вставил Луковиль, хотя в глазах его прятались смешинки. — А Старкингтон и Холл говорят о разных языках — или по меньшей мере на разных языках.

— Я полагал, что говорю не о языке, а о тосте, — мягко поправил Старкингтон. Он поднял рюмку. — Если меня больше не будут прерывать…

Но его прервали еще раз.

— По-моему, — лукаво заметила Груня, с интересом слушавшая реплики спорящих, — важно, чтоб каждый оставался верен своему определению.

— Согласен! — воскликнул Луковиль.

— Я тоже, — добавил Гановер.

— А я… — Старкингтон, который поставил было

рюмку, снова ее поднял. — А я хочу выпить.

И с этим он опрокинул рюмку. Засмеявшись, другие последовали его примеру.

Они возвращались домой по дороге, обсаженной гигантскими кетмиями, и вдыхали ароматный ночной воздух. Холл взял руку Груни в свою и почувствовал, как напряглись ее пальцы.

— Откуда они узнали, где был отец? — обеспокоенно спросила она. — Ведь эти острова слишком велики и слишком многочисленны, чтобы они могли случайно напасть на его след.

— Они знают свое дело, — задумчиво ответил Холл. — Но и твой отец тоже. Я думаю, тебе не стоит беспокоиться.

Они подошли к главному входу в отель.

В соседнем саду, поросшем бугенвиллеей, была слышна музыка гитар. Увидев их, дежурный гостиницы отошел от двери, откуда он наблюдал за весельем, и вручил Холлу вместе с ключами запечатанное письмо. Холл тут же вскрыл и прочитал его.

«Дорогой Холл, мое убежище наконец готово; убежище и вместе с тем западня. На все это ушло время, но оно потрачено не зря. Ступайте к себе в номер, затем

спуститесь по черной лестнице во двор. Чан будет ожидать вас в машине. Багаж можно забрать позже, хотя там, где мы будем, почти не нужны атрибуты так называемой цивилизации».

В конце письма была приписка, подчеркнутая жирной линией: «Перед выходом обязательно проверьте часы». Холл вежливо поблагодарил дежурного и небрежно сунул письмо в карман. Кивком головы он дал понять Груне, что следует воздержаться от расспросов. И лишь когда они оказались на верхнем этаже, вдали от любопытных взглядов, он показал ей письмо.

— Что это значит — убежище и западня? — тревожно спросила Груня. — И зачем проверять часы?

Но Холл знал не больше, чем она. Они быстро упаковали чемоданы и оставили их в номерах. Телефонный звонок в обсерваторию подтвердил точность карманных часов Холла; через несколько секунд, спустившись по задней лестнице, они уже вглядывались в темноту безлунной ночи.

Машина выделялась во мраке более густым пятном. Они быстро скользнули на заднее сиденье, и машина тронулась. С выключенными

фарами они пробрались по темной улочке. У перекрестка Чан включил передние фары и свернул на пустынную улицу. Примерно на расстоянии одной мили от берега он, не сбавляя скорости, снова свернул — на этот раз на широкое шоссе.

Хранивший до сих пор молчание Холл наклонился к самому уху шофера и шепотом спросил его:

— Где нам предстоит встретиться с мистером Константином?

Китаец пожал плечами:

— Мне приказано доставить вас до перевала Нууану Пали, — сказал он как всегда лаконично, на совершенно правильном английском языке. — Там нас встретят. Это все, что я могу вам сказать.

Холл откинулся назад; Груня сжала его руку, глаза ее сияли при мысли, что скоро она снова увидится с отцом. Машина неслась по пустынной дороге, разрезая светом фар мглистую тьму ночи. Они поднимались все выше в горы; огни города внизу тускнели и наконец совсем исчезли. Воздух похолодал. Чан резко увеличил скорость, и их прижало к спинкам сидений; ветер резко бил в лицо.

— Что слу...? — начал Холл.

— Сзади машина, — спокойно объяснил Чан. —

Она следует за нами всю дорогу. Теперь, пожалуй, пора увеличить разрыв.

Холл оглянулся. По свету фар можно было проследить путь следующей за ними по извилистой дороге машины. Вдруг их машину затрясло — они съехали с шоссе; поднявшаяся сзади пыль закрыла преследователей.

— Они заметят, что мы свернули! — воскликнул Холл.

— Конечно, — спокойно ответил Чан. — Мне велено не дать им потерять нас из виду.

Он искусно вел машину по извилистой грунтовой дороге. Вокруг них поднимались клубы пыли; Холл пожалел, что нет боковых занавесок. Они проехали перевал и начали спускаться вниз. Всякий раз, когда машина резко поворачивала, Холл, оглядываясь, видел два луча света преследовавшей их машины.

Вдруг Чан резко нажал на тормоза; Груню и Холла бросило вперед. Машина остановилась; кто-то распахнул дверцу, и в машину вскочил человек небольшого роста. Машина тут же тронулась снова, набирая скорость в темноте.

— Кто это?

Послышался тихий смех.

— Кто, по-вашему? — спросил Драгомилов. Он

наклонился и зажег лампочку в спинке заднего сиденья. Груня ахнула. На Драгомилове были когда-то, видимо, белые, но теперь грязные и рваные фуфайка и брюки, на ногах — замызганные тапочки. Он нежно поцеловал дочь и пожал руку Холла. Затем, выключив свет, откинулся назад, улыбаясь в темноте.

— Как вам нравится мой наряд? — спросил он. — Вдали от городов отпадает необходимость в галстуке и прочих условностях. Когда мы обоснуемся на новом месте, то мы с Холлом, пожалуй перейдем на туземное моло, а ты, Груня, можешь выбирать между муумуу или па-у.

— Отец! — воскликнула Груня. — Если бы ты мог только на себя взглянуть! У тебя вид бродяги! А где мой дорогой солидный дядя Сергей, которого я когда-то щекотала и забрасывала подушками?

— Он умер, дорогая, — ответил Драгомилов, усмехнувшись. — Твой мистер Холл убил его неопровержимой логикой. Это второе по смертоносности оружие, которое я знаю.

— А какое первое? — спросил Холл.

— Увидите. — Драгомилов повернулся к дочери: — Груня, детка, тебе лучше бы поспать. Объяснения подождут. У нас еще есть несколько часов.

Машина продолжала спускаться по извили-

стой дороге, ведущей к восточному побережью острова. Облака уже рассеялись; небо на востоке начало светлеть. Холл наклонился к Драгомилову.

— Вы знаете, что нас преследуют?

— Конечно. Мы позволим им не терять нас из виду до деревни Хайкулоа. Дальше нет поворотов, и им будет ясно, куда мы едем. После Хайкулоа мы от них избавимся.

— Мне понятно, что вы задумали, — сказал Холл, хмуро вглядываясь в Драгомилова. — Какова ваша роль в этой странной охоте, — зайца или гончей?

— Я и то и другое. Каждый человек всю жизнь бывает и тем и другим. Охота идет непрерывно: то, насколько человек может ею руководить, решает, будет ли он зайцем или гончей.

— И вы считаете, что вы руководите этой охотой.

— Конечно.

— И все же, — сказал Холл, — им известно, что вы были в Нанакули и в Вайанаэ.

— Я и хотел, чтобы это было им известно. Я оставил следы, которые привели их туда. Я отвлек их на запад, в то время как вы с Груней направились на восток.

Он засмеялся, увидев изумление на лице Холла.

— Друг мой, логика бывает разной. Если я держу камень в одной руке и вы угадали в какой, то в следующий раз я могу поменять руки. Или же я могу оставить его в той же руке, рассчитывая, что вы подумаете, что я переложу его в другую. Или же я поменяю руки, исходя из того, что вы рассчитываете, что я буду рассуждать так же, как вы. Или…

— Знаю, — сказал Холл. — Это старая теория об уровнях мышления. Но я не понимаю, каким образом она применима к этому случаю.

— Вот каким. Во-первых, как я заставил Старкингтона поверить, что держу путь на запад. Я просто заказал книги на русском языке в самом крупном книжном магазине Гонолулу с указанием доставить их мне в деревушки, расположенные вдоль западного побережья. Старкингтон и другие знают, что я ни при каких обстоятельствах не откажусь от книг. Если бы я оставил более грубый след, то они, возможно, не попались бы на удочку, но я знал, что они расценят заказ книг как естественное действие с моей стороны.

— Но он утверждал, что вы на самом деле побывали в тех местах!

— Да, я был там. Пустой крючок — незавидная приманка. Но когда он уверился, что я еду на запад, я проложил для него след на восток. Вы с Груней сделали это великолепно; я уверен, что вы весьма эффектно прокрались через черный ход. И я также уверен, что Старкингтон за вами следил.

Холл изумленно глядел на Драгомилова.

— Вы удивительный человек!

— Благодарю вас. — В тоне Драгомилова не было ложной скромности. После этого он замолчал.

Машина проехала Хайкулоа. Теперь Чану нужно было скрыться от преследователей. Машина неслась по узкой грунтовой дороге. Внезапно внизу открылся океан, простиравшийся до горизонта и восходящего солнца. Чан резко повернул в кусты, проехал несколько сотен ярдов и затормозил. Их окружила тишина раннего утра.

— И еще одно… — начал Холл.

— Тише! Сейчас они поедут мимо нас!

Они замерли в молчании. Вскоре до их слуха донесся гул мощного мотора. Машина пронеслась на огромной скорости и исчезла на дороге, ведущей к берегу. Драгомилов вышел из машины с Холлом и направился к краю крутого обрыва, где они остановились. Внизу вдоль берега раскинулась деревушка. Драгомилов показал вдаль.

— Вот там. Видите тот островок? Это и есть наше убежище.

Холл вгляделся. От берега остров отделяла довольно узкая полоска воды. Остров совсем маленький, менее мили в длину и примерно полмили в ширину. Пальмы окаймляли отлогий песчаный берег; на невысоком холме в центре острова стоял большой дом с крышей из пальмовых листьев. Людей не было видно.

— Пролив между нами и островом называется Хугу-кай — Сердитое море, — сказал Драгомилов.

— Я никогда не видел более спокойного моря, — сказал Холл. — Это название, видимо, дано в шутку.

— Не скажите. Дно океана между берегом и островом имеет очень странную конфигурацию. — Драгомилов переменил тему. — Вы не забыли проверить часы?

— Нет, не забыл. Но зачем?..

— Хорошо! Сколько сейчас на ваших?

Холл посмотрел на часы:

— Шесть часов сорок три минуты.

— У нас еще примерно час времени. Можно немного отдохнуть.

Но он, видимо, не мог отдыхать. Он беспокойно походил взад и вперед и наконец остановился

рядом с Холлом, разглядывая раскинувшуюся под ними деревушку.

— Им потребуется некоторое время, чтобы спуститься к берегу в машине; дорога извилиста и местами опасна. — А потом без всякой видимой связи с предшествовавшим разговором он негромко проговорил: — Справедливость. Нравственность и справедливость. Это все, что у нас есть, но этого достаточно. Вы знаете девиз этих островов, Холл? Уа мау ке эа о ка айна и ка поно. Это означает: жизнь на земле сохраняется благодаря справедливости.

— Вы бывали здесь раньше?

— О да, много раз. Фирма «С. Константин и Ко» вот уже много лет занимается импортом с Гавайских островов. Я надеялся… — Он не закончил мысли и резко повернулся к Холлу. Казалось, им внезапно овладело какое-то волнение. — Сколько времени?

— Семь часов три минуты.

— Пора двигаться. Груню мы оставим здесь с Чаном: так будет лучше. Пиджак снимите — будет тепло и без него. Идем. Спустимся к берегу.

Холл в последний раз взглянул на спящую девушку, прикорнувшую в углу машины. Чан невозмутимо сидел за рулем, устремив взгляд

вперед. Холл со вздохом повернулся и пошел вслед за Драгомиловым узкой тропинкой меж деревьями.

Глава XVIII

Они молча пробирались сквозь высокую траву к пальмам, окаймлявшим белый песок. Вода за песком была гладкой, как шелк; крохотные волны разбивались о берег, образуя мелкую рябь. В прозрачном утреннем воздухе островок резко выделялся своей белизной на зеленом фоне моря. Солнце, поднявшееся уже довольно высоко над горизонтом, висело на востоке, как огромный оранжевый шар.

Холл тяжело дышал — спуск был нелегкий; Драгомилов не выказывал никаких признаков усталости. Он повернулся к своему спутнику: его глаза возбужденно блестели.

— Который час?

Холл удивленно поглядел на него, тяжело дыша:

— Почему вас так интересует время?

— Который час? — В голосе его звучало нетерпение.

Холл пожал плечами:

— Семь тридцать две.

Драгомилов удовлетворенно кивнул и внимательно посмотрел в сторону берега. Перед ними

тянулся ряд хижин. На песчаном берегу виднелось несколько лодок, выдолбленных из дерева. Начинался прилив, и вода уже заливала лодки. Из одной хижины вышел туземец, он вытащил лодки подальше на берег и снова скрылся в хижине.

Машина, которая гналась за ними, стояла перед самой большой хижиной; колеса ее почти наполовину утонули в песке. Их преследователей не было видно. Драгомилов с сосредоточенным видом оглядывал местность.

— Сколько времени?

— Семь тридцать четыре.

Драгомилов кивнул.

— Мы выйдем отсюда ровно через три минуты. Когда я побегу к воде, следуйте за мной. Мы возьмем вон ту лодку, которая ближе к нам. Я сяду в нее, а вы ее оттолкнете. Мы поплывем к острову. — Он задумчиво помолчал. — Я надеялся, что они нас увидят, но это не важно. Придется крикнуть…

— Крикнуть? — Холл удивленно посмотрел на Драгомилова. — Вы хотите, чтобы вас поймали?

— Я хочу, чтобы за мной погнались. Подождите — все идет хорошо.

Из большой хижины вышел Старкингтон, за ним Гановер и Луковиль. Они стояли, перемина-

ясь с ноги на ногу, и разговаривали с высоким, великолепно сложенным туземцем, остановившимся на пороге хижины.

— Превосходно! — Глаза Драгомилова были прикованы к тройке. — Который час?

— Точно — семь тридцать семь.

— Пора!

Драгомилов выбежал из укрытия, легко передвигаясь по сверкающему белизной песку. Холл, торопливо выбежавший за ним, чуть не упал, но вовремя выправился. Драгомилов столкнул маленькое каноэ в воду и быстро вскочил в него. Холл оттолкнул его на глубину, а затем перевалился через борт. С его намокших брюк стекала вода. Драгомилов уже взял весло, и лодка быстро понеслась по спокойной глади воды. Холл взял со дна другое весло и тоже стал грести.

С берега послышался громкий крик. Трое преследователей поспешно бросились к воде. Мгновение спустя они уже спустили на воду большое каноэ и принялись бешено гребли. Туземец выбежал вслед за ними, что-то кричал и размахивал руками, показывая на море, но они не обращали на него никакого внимания.

Драгомилов и Холл удвоили усилия: их легкая лодочка рванулась вперед.

— Это безумие! — Холл тяжело дышал, лицо его обливалось потом. — Их трое! Они настигнут нас задолго до того, как мы доберемся до острова! А если и нет, где можно спрятаться на этой голой скале!

Драгомилов не спорил и продолжал размеренно грести. Большая лодка начала их догонять; расстояние между каноэ сокращалось. Внезапно Драгомилов перестал грести и зловеще улыбнулся.

— Сколько времени? — спокойно спросил он. Холл не ответил: он с ожесточением греб, разрезая веслом спокойную гладь моря.

— Сколько времени? — спокойно повторил Драгомилов.

Вполголоса выругавшись, Холл бросил весло.

— Пусть догоняют! — раздраженно закричал он и вынул часы. — С вашим надоевшим «сколько времени»! Семь сорок одна!

И в это мгновение их лодка слегка вздрогнула. Казалось, какая-то гигантская рука ее подтолкнула. Холл удивленно поднял глаза, толчок повторился. Драгомилов напряженно наклонился вперед, положив руки на колени и устремив взгляд в сторону берега. Холл повернулся и с удивлением заметил, что преследовавшая их

лодка перестала продвигаться. Несмотря на энергичные усилия гребцов, она оставалась неподвижной, словно нарисованная на холсте океана. Затем она стала медленно описывать широкий круг, оставляя после себя еле заметный след. Три человека в лодке изо всех сил работали веслами, но их усилия были безрезультатными. Холл изумленно вытаращил глаза, Драгомилов с серьезным видом наблюдал необыкновенное явление. Вокруг ограниченного участка, на котором разыгрывалась эта драма, море оставалось совершенно спокойным. Но в центре круга, менее чем в четырех ярдах от того места, где их легко покачивало на волнах, пришли в действие могучие силы природы. Вода с нарастающей скоростью неслась по гигантскому кольцу, отмеченному рябью на поверхности. Лодка преследователей мчалась по самому краю крута. Сокрушительная сила сводила на нет жалкие потуги гребцов.

Движение воды все ускорялось. Холл с ужасом заметил, что ровная поверхность начала медленно прогибаться к центру, постепенно образуя гигантскую плоскую воронку с гладкими сверкающими стенками. Лодка неслась по стенке, слегка наклонившись к центру, но удерживаемая гигантскими центробежными силами. Люди,

находившиеся в лодке, перестали грести и, вцепившись в борта, наблюдали за приближением верной смерти. Одно весло выпало из лодки, но оставалось с ней рядом, двигаясь с той же головокружительной скоростью на поверхности воды.

Холл в ярости повернулся к Драгомилову.

— Вы дьявол! — закричал он.

Но тот продолжал невозмутимо наблюдать жуткую картину.

— Прилив, — как бы про себя прошептал он. — Это — прилив. Какая сила может сравниться с силами природы!

Сжав зубы, Холл опять повернулся к ужасному зрелищу. Воронка все углублялась, все быстрее кружилась вода, а вместе с ней и лодка, прикованная к сверкающей водной стене. Глаза Холла на мгновение остановились на крутом обрыве, возвышавшемся над деревней. Лучи солнца, отраженные от какой-то гелиографической точки, освещали часть их машины. «Видит ли все это Груня?» — мимолетно подумал он; после этого он уже не отводил взора от страшного зрелища. Лица трех обреченных были отчетливо видны. На них не было страха, криков тоже не было слышно. Троица, казалось, что-то оживленно обсуждала; вероятно, с удивлением подумал Холл,

тайны смерти, с которой им так скоро предстояло встретиться, или же совершенство западни, в которую они попали.

Воронка углублялась. Из ее глубин доносился какой-то рев — рев бешено несущейся воды. Лодка кружилась с невероятной быстротой. Вдруг она скользнула вниз по сверкающему водному склону, словно по своей собственной воле ища забвения в глубинах. Холл вскрикнул. Но лодка продолжала бешено кружиться, лишь спустившись ниже к центру воронки. Скорость ее вращения все нарастала. Холлу казалось, что открывающаяся пропасть засасывает его взгляд; руки, которыми он держался за борт качающегося каноэ, побелели.

Старкингтон храбро поднял руку, посылая им прощальное приветствие, и с улыбкой посмотрел в их сторону. Его тут же выбросило из лодки. Секунду его тело, распростертое на плотной поверхности воды, неслось рядом с лодкой. Затем его затянуло в центр воронки, и оно исчезло в водовороте.

Холл резко повернулся к Драгомилову.

— Дьявол, — прошептал он.

Драгомилов не обратил на его реплику никакого внимания. Его глаза были задумчиво устрем-

лены на водоворот. Холл повернулся назад, не в силах оторвать взор от жуткого зрелища.

Лодка соскользнула по стенке воронки все ближе к пучине водоворота. Рот Луковиля был открыт; казалось, он выкрикивал какое-то торжественное приветствие судьбе, протягивающей к ним свои мокрые смертоносные объятия. Гановер сидел, не шевелясь.

Лодка соскользнула последние несколько футов; ее нос дошел до центра водоворота. Раздался звук ломаемого дерева, каноэ вскинуло в воздух корму и затем исчезло в маслянистой бездне, сокрушенное давившими на него огромными силами. Два человека бесстрашно оставались в нем до последней минуты; затем их словно вихрем подбросило в воздух, и тела их поглотило жадное море.

Рычание бурлящей воды начало утихать, словно океан насытился принесенной ему человеческой жертвой. Огромная воронка медленно разглаживалась; и бурлящий центр равномерно поднимался, по мере того как стенки ее становились все более пологими. От почти успокоившейся поверхности к ним пришла небольшая волна и тихо покачнула лодку, напоминая об их спасении. Холл содрогнулся.

Позади него послышалось движение.

— Пожалуй, пора возвращаться, — спокойным голосом сказал Драгомилов.

Холл с ненавистью посмотрел на своего спутника.

— Вы их убили! Это все равно, как если бы вы их ударили ножом или застрелили из ружья!

— Убил? Да, убил. Но ведь вы же хотели, чтобы их убили, разве нет? Вы хотели, чтобы Бюро убийств было уничтожено.

— Я хотел, чтобы его распустили. Я хотел, чтобы они прекратили свою деятельность!

— Нельзя распустить идеи, убеждения. — Голос Драгомилова звучал холодно. Он обвел взглядом пустынное море, навсегда поглотившее большую лодку. В голосе послышались печальные нотки.

— Это были мои друзья. Друзья! — Драгомилов взял весло и опустил его в воду. — Да. Нам лучше вернуться.

Холл вздохнул и начал медленно грести. Лодка двигалась сначала медленно, потом быстрее. Они плыли над тем местом, где нашли свою смерть Старкингтон и его товарищи. Драгомилов на мгновение перестал грести, словно чтя память погибших членов Бюро.

— Надо послать телеграмму Хаасу, — неторопливо

ливо заметил он и снова стал работать веслом.

Глава XIX

В Сан-Франциско Хаас нетерпеливо ждал известий от трех членов Бюро, отплывших в погоню за их бывшим шефом. Время шло быстро, каждый день приближал срок окончания договора. Наконец с пароходом прибыло письмо.

«Дорогой Хаас.

Представляю себе, как вы ходите взад и вперед по комнате, бормоча про себя проклятия на греческом и древнееврейском языках: уж не подпали ли мы под расслабляющие чары этого прекрасного острова? Или стали жертвой Д.? Вы можете успокоиться. Ничего подобного с нами не произошло.

Но задача была не из легких. Д. искусно проложил ложный след в сторону запада; теперь мы убеждены, что на самом деле он намерен бежать на восток. Мы тщательно следим за его дочерью и Холлом. Первый их шаг в этом направлении наведет нас на след.

Мы понимаем, что время подходит к

концу, но не беспокойтесь. Бюро никогда не терпело неудачу и не потерпит неудачи и теперь. В ближайшие дни ждите шифрованную телеграмму.

Между прочим, мы случайно узнали, что Д. путешествует также и под фамилией Константин. Мы обнаружили это, когда выследили его на борту парохода «Истерн клиппер». Да, он ускользнул от нас. Когда мы встретимся после окончания дела, мы расскажем вам все подробно.

Старкингтон.

P.S. Луковиль влюбился в пои, омерзительное блюдо, приготовленное из корня таро. Нам предстоят новые мучения с ним и его гастрономическими вкусами, когда мы вернемся».

Хаас, нахмурившись, положил письмо на стол. Пароход, с которым пришла почта, отплыл из Гонолулу девять дней назад; за это время он должен был уже получить телеграмму от Старкингтона. Он с товарищами находился на Гавайских островах уже почти месяц; до истечения срока оставалось менее шести недель. Он снова взял

письмо и внимательно его перечитал.

Константин? Где-то он слышал это имя. Да, есть такая фирма по экспорту и импорту. Он знал, что у этой фирмы были отделения в Нью-Йорке; возможно, в Гонолулу тоже. Он сидел в тишине комнаты с письмом в руках, перебирая в уме всевозможные варианты. Затем решительно поднялся. Если еще два дня не будет телеграммы, он сядет на первый пароход, уходящий на острова, а тем временем надо сделать необходимые приготовления, так как по его приезде туда у него будет очень мало времени. Сложив письмо, он положил его в карман и вышел из комнаты.

Первую остановку он сделал в публичной библиотеке. Библиотекарь охотно выдал ему большую карту Гавайских островов. Он развернул ее на столе и склонился над ней, тщательно изучая Оаху. След вел на запад; он провел пальцем линию, которая шла вдоль берега от Гонолулу через Нанакули и Вайанаэ до мыса под названием Каэна Пойнт. Он кивнул головой. То был ложный след; Старкингтон в таких случаях не ошибается.

Дело обстояло сложнее с дорогами на восток. Некоторые шли через перевал Нууану Пали и терялись в джунглях или спускались к безымянным берегам. Одна тонкая линия обозначала дорогу,

поднимавшуюся в горы и проходившую неподалеку от Даймонд Хэд, а затем приближавшуюся к побережью у длинной кривой косы, именуемой Мокапу Пойнт. Он отодвинул карту, откинулся назад и задумался.

Он старался поставить себя на место Драгомилова. Зачем оставаться в Оаху? Почему не уехать на Ниихау или Кауаи, или какой-нибудь другой из многочисленных островов, тянущихся на запад? Некоторые из них совсем необитаемые, другие населены столь редко, что разыскать его за тот небольшой срок, который оставался у Бюро, будет фактически невозможно. Зачем оставаться на единственном острове, где у них больше всего шансов его найти?

Объяснение может быть только одно — он хочет, чтобы его нашли. Хаас выпрямился, его мозг напряженно работал. А зачем ему это нужно? Только для того, чтобы устроить ловушку! Его взгляд снова устремился на лежащую перед ним карту, но она не могла ответить на его вопросы. Он слишком плохо знал местность. Он снова откинулся назад и начал усиленно думать.

Поймать наверняка в западню трех человек не так-то легко. Несчастный случай? Слишком велик риск: один из них всегда может уцелеть.

Засада? Почти невозможно против таких трех знатоков своего дела, как Старкингтон, Гановер и Луковиль. Будь он Драгомиловым, которому предстоит решить эту задачу, каким образом попытался бы он это сделать?

Не на земле. Здесь всегда можно найти укрытие, никогда нельзя все точно рассчитать. Для одного человека, да; но не для трех. Будь он Драгомиловым, он устроил бы западню на море, где невозможно укрыться и откуда нельзя убежать. Он снова склонился над картой; сердце его билось все чаще.

Восточное побережье было слабо изрезано; кое-где показались небольшие бухточки или лежавшие вдоль берега островки. Может быть, остров? Возможно. Но тут опять же можно найти укрытие, хотя трудно убежать. Нет, он выбрал бы море. Но каким образом заманить в ловушку трех человек на пустынном море? Трех человек, одаренных быстрым умом, каждый из которых обучен искусству убивать и защищаться?

Он вздохнул и сложил карту: придется собирать дополнительные сведения. Он возвратил карту библиотекарю, поблагодарил его и вышел из прохладного помещения. Ему пришел в голову еще один вариант, и он зашагал в направлении

Корт Хауза.

Служащий земельного управления любезно кивнул головой.

— Да, — сказал он, — мы располагаем копиями документов о земельных сделках на Гавайских островах. При условии, что они не менее шестимесячной давности. Раньше мы не успеваем их зарегистрировать и завести на них дело. Как фамилия интересующего вас лица?

— Константин, — ответил Хаас. — «С. Константин и Ко».

— Импортеры? Минуточку…

Хаас глядел в запыленное окно, выходящее на залив, который то и дело пересекали малые и большие суда, но он ничего не замечал. В его воображении был отлогий берег и лодка — нет, две лодки, покачивавшиеся на волнах. В одной лодке спокойно сидел Драгомилов, в другой — Старкингтон и его товарищи. Картина стояла у него перед глазами, а он напряженно доискивался, где же западня и как их туда заманил Драгомилов.

Служащий вернулся.

— Пожалуйста, сэр. В 1906 году «С. Константин и Ко» купили здание на Кинг-стрит под свою контору. Пять лет тому назад. Здесь вы найдете подробности, если они вас интересуют.

Хаас покачал головой:

— Нет. Я имею в виду другую земельную купчую. Недавнюю. На восточном побережье… — Он запнулся, затем ему вдруг все стало ясно. Внезапно в нем возникла уверенность. Драгомилов наверняка планировал этот ход с самого первого дня. Он выпрямился и сказал более уверенным тоном. — Земля была приобретена десять или одиннадцать месяцев назад.

Служащий снова вышел. Когда он возвратился, Хаас не смог подавить торжествующую улыбку, так как тот нес еще одно досье.

— Кажется, это то, что вы ищете, сэр. Но покупка сделана не на имя Компании, а на имя Сергиуса Константина. Это небольшой остров у восточного побережья Оаху.

Хаас быстро пробежал документы. Его великолепная память отчетливо воссоздала береговую линию на карте, и он сразу вспомнил, где находится этот островок. Поблагодарив служащего, он вышел; шаги его убыстрились, в уме возникали многочисленные варианты.

Не могло быть никакого сомнения, что это была западня, задуманная за много месяцев вперед. Сейчас близилось осуществление замысла. Первоначально жертвы не были известны; их на-

значила судьба. Он должен немедленно послать телеграмму и предупредить Старкингтона.

Он возвращался в гостиницу, мысленно составляя текст телеграммы; в его воображении возникла книжка с кодом, лежавшая между сорочками в чемодане. В гостинице вместе с ключом ему передали телеграмму.

Он вскрыл ее, направляясь к лестнице, затем остановился как вкопанный. Телеграмма была краткой и ясной:

> *«Хаас, с сожалением сообщаю вам, что Старкингтон, Гановер и Луковиль погибли в результате несчастного случая с лодкой. Счел своим долгом известить вас об этом. Холл».*

Мгновенье Хаас стоял неподвижно, сжав в руке телеграмму и пытаясь осознать происходящее. Он опоздал! Он не успел их предупредить; он вообще может уже ничего не успеть. Нужно садиться на первый пароход. Первым был «Эмберли», отплывавший вечером. Надо спешить в агентство за билетом. Оно всего в нескольких кварталах от гостиницы.

Он бросился на улицу и стал торопливо проталкиваться сквозь толпу. Бедняга Старкингтон,

какой это был замечательный человек! А Гановер — такой мягкий человек и такой эрудит — и как он всегда радовался возможности пойти наперекор законам этого несправедливого мира! А Луковиль: никогда уже он больше не будет ворчать на еду!

Пароходное агентство находилось на другой стороне улицы. Он выскочил на мостовую, не замечая несшегося на него огромного пивного фургона. На тротуаре кто-то закричал; испуганный возница с проклятием изо всех сил натянул вожжи, но напрасно. Лошади, напуганные внезапным появлением под их мордами человеческой фигуры и взбешенные натяжением удил, встали на дыбы и отчаянно забили копытами. Хаас упал, ощущая нестерпимую боль и сожалея, что умирает так далеко от окаймленного пальмами берега, не успев осуществить своей миссии.

Драгомилов, Груня и Холл решили провести на острове последние дни этого рокового года. Они вели простую, неприхотливую жизнь — сами готовили пищу, носили воду, добывали пропитание в море, как веками до них это делали туземцы. Против ожидания, такая жизнь им понравилась, они отдыхали от суеты большой земли. Но каждый знал, что это временное бегство от стоящих

перед ними проблем и долго оно не может продолжаться.

К своему удивлению, Холл чувствовал, что его расположение к Драгомилову возвращается с каждым днем, несмотря на ужасные воспоминания о гибели Старкингтона. Они начали бледнеть, отходить на задний план, пока наконец не стали казаться оставшейся в памяти сценой из давно прочитанной книги или картиной, виденной в какой-то галерее.

Драгомилов выполнял хозяйственные дела наравне с молодежью и не пытался использовать свой возраст и положение, чтобы командовать или давать указания. Он всегда был готов принять участие в рыбной ловле или приготовлении пищи; уравновешенность его характера часто заставляла Холла спрашивать себя, были ли вообще те ужасные события с водоворотом. Тем не менее с каждым днем Драгомилов все больше и больше замыкался в себе. За едой он молчал, и мысли его, видимо, были далеко. Он все чаще выбирал себе работу, чтобы уединиться. И с каждым днем он проводил все больше времени на берегу, вглядываясь через пролив в большую землю и как бы ожидая чего-то.

К концу предпоследнего дня, оставшегося до

срока, он подошел к Холлу, ловившему на отмели крабов. Его лицо было взволнованно, хотя голос оставался ровным.

— Холл, вы уверены, что послали телеграмму Хаасу?

Холл посмотрел на него с удивлением:

— Конечно. Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Не могу себе представить, почему он не едет.

— Какие-нибудь обстоятельства, видимо, ему помешали. — Холл изумленно смотрел на Драгомилова. — Вы же знаете, что он последний из Бюро убийств.

Драгомилов без всякого выражения встретил взгляд Холла.

— Кроме меня, конечно, — спокойно заметил он и, повернувшись, пошел в сторону дома.

Холл секунду смотрел вслед Драгомилову, потом, пожав в недоумении плечами, снова принялся за ловлю крабов. Когда в небольшой плетеной корзине их набралось достаточно на ужин, он выпрямился, растирая затекшую поясницу. «Мы все извелись, но остается только один день», — с облегчением подумал он, а затем нахмурился. Ему вдруг пришло в голову, что он наверняка будет скучать по острову.

Когда он пришел в дом, солнце опускалось на зеленые холмы большой земли. Он оставил корзину с ползающими друг по другу крабами в маленькой кухне и неслышно прошел в гостиную. Груня о чем-то разговаривала с отцом; как только он вошел, они оба сразу замолчали. Было ясно, что он им помешал. Немного обидевшись, Холл резко повернулся и вышел. Он направился к берегу. «Тайны? — думал он с горечью, шагая по влажному песку. — Тайны сейчас, в последние дни?»

Когда он вернулся, было уже темно. Драгомилов сидел у себя в комнате за письменным столом. На стене четко вырисовывался его профиль. Груня сидела в гостиной подле лампы и плела циновку из пальмовых листьев. Холл опустился в кресло напротив и некоторое время молча наблюдал за движением ее сильных рук. Против обыкновения, она не улыбнулась ему.

— Груня.

Она вопросительно на него посмотрела. Ее лицо словно застыло.

— Да, Винтер?

— Груня, — сказал он вполголоса. — Мы здесь последние дни. Скоро мы вернемся к цивилизации. — Он заколебался, напуганный серьезно-

стью ее лица. — Ты не раздумала выйти за меня замуж?

— Конечно, нет. — Она опять опустила глаза на работу, лежавшую у нее на коленях, ее пальцы возобновили свои уверенные движения. — Я ничего так не хочу, как выйти за тебя замуж.

— А твой отец?

Она подняла на него глаза; на ее лице не дрогнул ни один мускул. Холл уже не в первый раз заметил в тонких четких линиях ее лица большое сходство с отцом.

— Мой отец?

— Чем он теперь займется? Бюро убийств больше не существует. Оно составляло большую часть его жизни.

— Всю жизнь.

Он ничего не мог прочесть в ее глазах. Ее взгляд остановился где-то за спиной Холла. Холл оглянулся. Драгомилов молча стоял позади него. Груня снова перевела взгляд на Холла. Она попыталась улыбнуться:

— Винтер, у нас… у нас нет воды. Не мог бы ты?..

— Конечно!

Он поднялся, взял ведро и направился к небольшому источнику в северной части острова.

Большая белая луна освещала тропинку, на которой танцевали тени колыхаемых ветром цветов. У Холла было тяжело на сердце; непонятная строгость — почти холодность Груни расстроила его. Но потом пришла утешительная мысль: «Всем нам было нелегко эти дни, — подумал он, — я ведь тоже был не в себе. Еще несколько дней, и мы будем на борту парохода, и тогда капитан сможет нас обвенчать. Муж и жена!» — Он наполнил ведро водой и, тихо насвистывая, направился обратно.

Бочка для воды находилась на кухне. Он наклонил ведро и начал выливать в нее воду; вода выплеснулась через край, намочив его босые ноги. Бочка была полна. Внезапно, чего-то испугавшись, он бросил ведро и кинулся в гостиную. Груня все еще молча работала, но по щекам ее текли слезы. Перед ней на столе лежали несколько листиков бумаги, прижатые лампой.

— Груня, дорогая! Что?..

Она пыталась продолжать работу, но слезы заливали ее лицо, и, наконец, отбросив циновку, она упала в его объятия.

— О, Винтер!..

— Что такое? Что с тобой, дорогая?

Вдруг его осенило. Он обернулся и бросил

взгляд в открытую дверь комнаты Драгомилова. В комнате было темно, но лившийся в окно лунный свет падал на пустую кровать. Он бросился к двери, но Груня удержала его за руку.

— Нет! Не надо! Прочитай вот это!

Он остановился в нерешительности, но она настойчиво его удерживала. Устремленные на него глаза были полны слез, но в них также была решимость. Он подчинился и взял листки бумаги. Пока он читал, Груня рассматривала его широкий лоб, решительную челюсть, изучая лицо человека, который оставался ее единственным защитником.

«Дорогие дети!

Я не могу больше ждать. Хаас не приехал, а время на исходе. Попытайтесь понять меня и — как сказал бы Холл — мое безумие. Я говорю о действии, которое мне предстоит совершить. Как руководитель Бюро убийств я принял на себя известные обязательства, и эти обязательства будут выполнены. Бюро никогда не терпело неудач, и оно не потерпит неудачи и теперь. Отказ от выполнения своего обязательства озна-

чал бы отрицание всего того, за что мы боролись. Я уверен, что только смерть могла помешать Хаасу выполнить свою миссию, но в нашей организации в таком случае обязательства переходят к другому. Как последний ее член я должен принять их на себя.

Я это делаю без сожаления. Бюро было моей жизнью, и так как ему пришел конец, должен прийти конец и Ивану Драгомилову. Не чувствую я и стыда; шаг, который я сделаю сегодня вечером, я сделаю с гордостью. Возможно, мы были не правы — вы, Холл, однажды убедили меня в этом. Но даже в нашей неправоте была правота.

Мы не отрицаем того, что убивали, и убивали много раз. Но в убийстве страшно не количество жертв, а качество. Смерть одного Сократа — значительно большее преступление против человечества, чем убийство орд дикарей, которые вел за собой Чингисханом в истребительное завоевание Азии, но кто в это верит? Публика — если бы она о нас узнала — осыпала бы наше Бюро проклятиями, хотя

она всегда готова превозносить до небес бессмысленные и ненужные массовые убийства.

Вы мне не верите? Пройдитесь по паркам наших городов, по нашим скверам и площадям. Найдете ли вы памятник Аристотелю или Пейну? Или Спинозе? Нет; вместо них вы увидите полубогов с мечом в руке, что вели нас в кровопролитные походы, как только мы превратились из обезьян в людей. Последняя война с Испанией без сомнения заполнит как в Америке, так и в Испании немногие пустовавшие места героями на конях, поднявшими руку в знак кровавого приветствия и увековечивающими в бронзе победу насилия в битве за умы людей.

Все же я позволил убедить себя, что мы были не правы. Почему? Потому что, по сути дела, мы действительно были неправы. Мир должен научиться сознавать общую ответственность за справедливость; она не должна быть прерогативой горстки избранных — тех, что сами зачислили себя в избранные. Вот и сейчас отголоски грома, доносящиеся из

Европы, предвещают самую гигантскую в истории человечества катастрофу; но спасение нужно искать в чувстве общей моральной ответственности — более всеобъемлющем, чем даже то, которое могли предложить мы. Оно должно явиться следствием растущего сознания и нравственной твердости самого мира.

Тут возникает одно сомнение, один вопрос. А что, если эта нравственная твердость не выработается? Тогда в каком-нибудь далеком будущем Бюро убийств может возродиться снова. Ибо о смертях, за которые мы ответственны, можно сказать следующее: не умер ни один человек, который этого не заслужил. Не умер ни один человек, смерть которого не принесла пользы человечеству. Сомневаюсь, чтобы то же самое можно было сказать о тех, чьи статуи будут воздвигнуты на площадях после того, как закончится очередная «последняя» война.

Но время истекает. Прошу вас, Холл, берегите Груню. Она — это жизнь, которую я завещаю этой земле, доказательство

того, что ни один человек, хороший или плохой, не может пройти по земле, не оставив следа.

В последний раз целую мою Груню. В последний раз жму руку вам, мой друг.

Д.»

Холл поднял глаза и посмотрел на прекрасное лицо своей любимой.

— И ты не пыталась его удержать?

— Нет. — В ее взгляде была мужественная твердость. — Всю мою жизнь он ни в чем мне не отказывал. Он удовлетворял мое малейшее желание. — Ее глаза заволокли слезы; рот вздрагивал от усилий сдержать слезы. — Я так люблю его! Мне больше нечем отплатить ему за все.

Холл обнял ее, удивляясь ее великой силе. Внезапно ее напряжение прорвалось потоком слез.

— О, Винтер, может быть, я была неправа? — спрашивала она, судорожно к нему прильнув. — Неужели не права? Может быть, мне надо было умолять его сохранить свою жизнь?

Он крепко прижал ее к себе, стараясь успокоить. Через открытую дверь он смотрел на гладкое море, поблескивающее в ярком лунном свете. Он увидел, как вдали промелькнула тень — чья-то

легкая фигура неторопливо выгребала лодку на середину течения в ожидании Хугу-кай. Он не мог точно сказать, действительно ли видел это или представлял в воображении, но вдруг ему показалось, что человек в едва различимой лодке поднял руку, посылая им прощальное светлое приветствие.

— Нет, — воскликнул он, сжимая ее еще крепче. — Нет, родная. Ты поступила правильно.

ПЛАН ЗАВЕРШЕНИЯ КНИГИ, НАМЕЧЕННЫЙ ДЖЕКОМ ЛОНДОНОМ

Взрыв должен произойти до истечения срока перемирия. Драгомилов узнает об этом.

Брин встревожен, когда понимает смысл происшедшего.

— Но я не могу предотвратить взрыв, любая попытка приостановить действие механизма вызовет мгновенный взрыв.

Драгомилов:

— Я вам помогу.

Брин признателен. Брину доказывают, что он включил механизм в условиях перемирия.

— Вы правы. Я, пожалуй, был неправ. Но выключить его я не могу. Я говорил вам об этом механизме. Эта машина замечательна тем, что она напоминает приказ Бюро. Если она пущена в ход, ее не сможет остановить никакая сила на свете. Она автоматически запирается. Даже слесарь не мог бы теперь извлечь часовой механизм.

— Снимите его и выбросьте в залив.

— Друзья, безумцы — неужели вы разрешите

это сделать?

— Они не могут его остановить, — с усмешкой сказал Гановер. — Неоспоримая логика стихии!

— Вы что, собираетесь остаться здесь и взлететь на воздух? — со злостью спросил Холл.

— Конечно, нет. Но Брин говорит, что у нас еще много времени. За десять минут мы успеем оказаться за пределами района поражения. Тем временем подумайте, как это замечательно придумано.

Холла больше заботит, что станется с окружающими людьми.

Брин:

— Я ошибся в своих рассуждениях. Это доказывает несовершенство человеческого разума. Но, Гановер, стихия не ошибается. Не может ошибаться.

Увлекшись спором, все забыли о том, что время уходит. Драгомилов встает и ласково кладет руку на плечо Луковиля, — ближе к шее. Говорит мягким тоном, — рука делает быстрое — незаметное движение. Японский прием. Хватает шляпу и пальто. Выбегает — Хаас бросается вслед — сталкивается со слугой — посуда летит на пол.

— Дорогой друг, Луковиль, — говорит Гановер, глядя на него сквозь очки. — Ты уже никогда не

ответишь.

За шефом-таки осталось последнее слово.

* * *

Газеты на следующий день — «Сан-Франциско Экзаминер» — Таинственный взрыв в Заливе. Оглушена рыба. Виновник неизвестен.

Телеграмма Драгомилова: «Еду в Лос-Анджелес. Буду там некоторое время. Приезжайте меня ловить».

За обедом, когда Драгомилов восхвалял жизнь, полную приключений, — его обвинили в сентиментальности, эпикурействе (насмешки).

* * *

— Господа! — отчаянно воскликнул Холл. — Я обращаюсь к вам как к математикам. Этику можно свести до цифр. Зачем вам отдавать все ваши жизни за одну его? Господа, собратья-безумцы, подумайте. Выразите это положение в виде уравнения. Это ненаучно, нерационально. Более того, это безнравственно. С точки зрения высокой этики это будет бессмысленным актом и т. д.

Они спорят. Они уступают.

Драгомилов: — Умно сделали. А теперь переми-

рие. Мы, наверно, единственная группа людей в Соединенных Штатах или во всем мире, которая так доверяет друг другу. — Вытаскивает часы. — Сейчас 9 часов 30 минут. Пойдемте ужинать. Перемирие на два часа. После этого, если ничего не будет решено и ничто не изменится, пусть продолжается.

* * *

Холл теряет Груню, которая спасает Драгомилова и убегает вместе с ним. Холл шлет телеграммы, нападает на их след в Мексике, Вест-Индии, Панаме, Эквадоре — переводит телеграфом (пять раз) большую сумму Драгомилову и отправляется следом.

Прибывает; узнает об их отъезде. Встречает Хааса и следует за ним. Отплывает на одном с ним парусном судне в Австралию. Там теряет Хааса.

Шлет телеграммы, узнает, что они направляются на Таити. Встречается с ними на Таити. Женится на Груне. Появление Хааса.

Трое — Драгомилов, Груня и Холл (муж и жена) живут на Таити до тех пор, пока не приезжают убийцы. Тогда Драгомилов ускользает на катере в Таиохаэ.

Драгомилов уверяет других, что он в здравом

уме; они даже не сумасшедшие, они глупцы. Они не могут понять переоценки ценностей, которую он осуществил.

На песчаном островке Драгомилов ухитряется взорвать всю группу, кроме Хааса, который слишком умен. Под дом подводится мина.

Драгомилов на острове Нукухива, деревня Таиохаэ, Маркизские острова. На берег выбрасывает потерпевший аварию катер и убийцу (Хааса). Здесь же почти столетием раньше нашел убежище Мелвилл. В то время как Драгомилов обследует на острове долину Тайпи, Холл и Груня пытаются обмануть Хааса и думают, что от него отделались.

Драгомилов умирает победителем: убийца — Хаас — обнаруживает его на Маркизских островах только случайно — сам потерпев кораблекрушение. Чисто случайно. «Фактически я перехитрил организацию». Убийца и жертва обсуждают, как он должен умереть. Драгомилову предлагают медленно и безболезненно действующий яд. Соглашается его принять. Принимает. Умирает через час.

Драгомилов: «Теперь давайте обсудим, почему наша организация должна быть распущена».

Приезжают Груня и Холл. Шхуна останавли-

вается на некотором расстоянии от берега. Они высаживаются на вельботе и успевают застать его в живых.

После гибели всех, кроме Хааса, Холл завершает дело Бюро. Получает 117 тысяч долларов. Книги и мебель Драгомилова. Посылает глухонемого слугу поддерживать порядок в вилле Драгомилова в Эдж-Мур.

НАБРОСОК ОКОНЧАНИЯ РОМАНА, СДЕЛАННЫЙ ЧЕРМЕЙН ЛОНДОН

Плывет небольшая яхта, треугольный парус, в течение многих дней и ночей. Сатурналия убийства — великолепное описание бониты — сотни тысяч. Все на них охотятся. Полоса уничтожения — несколько миль в ширину — десятки тысяч птиц, всевозможные виды. Все охотятся на летающих рыб. Когда летающие рыбы попадают на борт, люди также устремляются на них. Сатурналия убийств их заражает. Птицы разбивают крылья о снасти, падают за борт, их разрывают на куски бониты; сверху нападают другие птицы. Туземные матросы ловят бониту, чтобы есть сырой — когда вытаскивают пойманных рыб, на них набрасываются их товарищи. Матросы вылавливают акулу — вскрывают, вытаскивают внутренности. Ее сердце бьется в руках человека — акулу швыряют за борт, она плавает, щелкает челюстями, когда рядом проплывают бониты. Груня потрясена зрелищем бьющегося сердца.

Наконец безумие тропического солнца заражает и их. Начинает стрелять птиц, рыбу и т. д. из

винтовки Холл, и она смотрит и аплодирует. Все убитые или раненые немедленно пожираются своими товарищами.

Ирландский терьер оказывается за бортом, его сразу же разрывают на части бониты. Падает в воду ее красный платок и его тоже разрывают и т. д. Ничто не может избежать уничтожения.

Так наступает трагически предопределенный конец, когда они плывут в шлюпке к берегу, акулы хватаются за весла. Косяк маленьких рыбешек выбрасывается на берег. Они идут вброд по этому серебряному прибою погибшей жизни и находят умирающего Драгомилова.